АЛЕКСАНДРЪ БЕНУА
ALEXANDRE BENOIS

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

АКАДЕМИЯ НАУК СССР ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ Спойлер: АЛЕКСАНДР БЕНУА МОИ ВОСПОМИНАНИЯ в пяти книгах Издание подготовили Н. И. АЛЕКСАНДРОВА, А. Л. ГРИШУНИН, А. Н. САВИНОВ, Л. В. АНДРЕЕВА, Г. Г. ПОСПЕЛОВ, Г. Ю. СТЕРНИН 1980 ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА-; МОСКВА РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ» М. И. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, Г. П. Бердников, И, С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров, А. Л.Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Д. С. Лихачев (председатель), А. Д.Михайлов, Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Ольдерогге, Б, И, Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя), М. И. Стеблин-Камеиский, Г. В, Степанов, С О. Шмидт ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Д. С, ЛИХАЧЕВ

-
-
-
-
- ПРЕДИСЛОВИЕ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- «Мои воспоминания» Александра Венуа
- «Мои воспоминания» Александра Бенуа

Глава 3 ЦАРСКОЕ СЕЛО И ПАВЛОВСК

- /, /, 7. Мои родители

- /, 1, IS. Сестра Катя
- /, /, 14. Брат Альбер

- Глава 20

- I, I, 23. Моя собственная особа

- I, I, 23. Моя собственная особа
- I, I, 23. Моя собственная особа
- I, I t 24. Родительский дом

Глава 1 ПЕРВЫЕ ЗРЕЛИЩА

* * *

- //, 13. Venusberg

- Глава 14 ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ
- II, 14. Первое причастие
- Глава 15 «НАВЕРХУ»

* * *

IIj 17. Товарищи

Глава 1 «РОМАН ЖИЗНИ»

- lïl, Л «Роман жизни»
- ///, 1, «Роман жизни»
- Глава 3 МОЕ ХУДОЖЕСТВО

- Ill, 5. БезАти
- Ill, 7. Семейное
- Ill, 8. «Спящая красавица»

- Ill, 10. Университет
- Глава И СЕРЕЖА ДЯГИЛЕВ

- Глава 1
- IV , 1, Медовые месяцы

- Глава 4
- IV, 6. Первая дача. Мартышкино

- IV, 7. Рождение дочери
- Глава 9 ДРУЖБА С СОМОВЫМ

- IV, 12. По Германии

IV, 26. Сокровища Парижа

IV, 18. Дени, Валлотон, Воннар, Вюйар

IV, W. Поездка в Петербург

IV, 21. Лето в Бретани

Глава 22 ПО feРЕТАНН

* * *

IV, 22. По Бретани

- 1V,,\25' Открытиеˆ Русского музея
- IV, 26. Мадонна Леонардо
- IV, 26. Мадонна Леонардо
- IV t 26. Мадонна Леонардо
- IV, 27. Лето в Нормандии, 1898

- IV, 28. Возникновение «Мира искусства»
- IV, ВО. Смерть отца

- /F, 34. Училище Штиглица
- IV, 34. Училище Штиглица

IV, 34. Училище Штиглица

IV, 35. Религиозно-философское общество

IV, 36. Театральные дела

- IV, 40. Новые друзья
- IV, 41. Катастрофа с нСильвией»

- IV > 42. Лето в Ораниенбауме
- IV, 43. Появление Иг. Грабаря. И. С. Остроухое
- IV, 44. Теляковский. «Фея Кукол»
- IV, 44. Теляковский. «Фел Кукол»
- IV, 44. Теляковский. «Фея Кукол»
- IV, 45. «Современное искусство»

- Глава 46
- IV, 49, Конец «Мира искусства,»

- Глава 1 [ЛЕТО 1905-1906 гг. ПРИМЕЛЫ
- V > 1. Лето 1905 и 2906. Примель
- V , 1. Лето 1905 и 1906, Примель

* * *

Глава 2 1905-1906 гг. ВЕРСАЛЬ. ПАРИЖ

- V , 5. М . М. Фокин, «Старинный театр»
- V , 5. М . М. Фокин. «Старинный театр»
- РУССКИЕ БАЛЕТЫ В ПАРИЖЕ

ДОПОЛНЕНИЯ

- Глава 4
- Глава 16 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА ПАРИЖА
- СОДЕРЖАНИЕ
- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
- СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
- СОДЕРЖАНИЕ

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Примечания 1, I , 12
- Глава 5 ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ
- КНИГА ВТОРАЯ
- Глава 3 ТЕАТР
- Глава 17 ГИМНАЗИЯ МАЯ. ТОВАРИЩИ

- Примечания III , 2
-
-
- Примечания III , 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Примечания IV , 8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Глава 22 П© БРЕТАНИ
-
-
-
-
-

- Глава 26
- Глава 39
- Примечания IV, 42
- Глава 48
- Глава 6 ПАРИЖ. «БОРИС ГОДУНОВ»
- Воспоминания о балете

- Воспоминания о балете
- Воспоминания о балете

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
АЛЕКСАНДР

БЕНУА

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

в пяти книгах

Издание подготовили

Н. И. АЛЕКСАНДРОВА, А. Л. ГРИШУНИН, А. Н. САВИНОВ, Л. В. АНДРЕЕВА, Г. Г. ПОСПЕЛОВ, Г. Ю. СТЕРНИН

1980

ИЗДАТЕЛЬСТВО НАУКА-; МОСКВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

М. И. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой,

Г. П. Бердников, И, С. Брагинский, А. С. Бушмин,

М. Л. Гаспаров, А. Л.Гришунин, Л. А. Дмитриев,

Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров (заместитель председателя),

Д. С. Лихачев (председатель), А. Д.Михайлов,

Д. В. Ознобишин (ученый секретарь), Д. А. Ольдерогге,

Б, И, Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя),

М. И. Стеблин-Камеиский, Г. В, Степанов,

С О. Шмидт

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Д. С, ЛИХАЧЕВ

На контртитуле и щмуцтитулах

помещены рисунки

А Н Бену а

© Издательство **«Наука»,** 1980 г.
[image]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый мемуарист интересен в двух отношениях: в том, что он рассказывает и о чем, и в том, как проступает в рассказываемом его собственная личность, его художественный талант, его воззрения и его эпоха. В обоих этих отношениях воспоминания Александра Бенуа исключительно интересны. Он свидетель и он участник. Как свидетель он обладает удивительной памятью и даром художественного обобщения виденного.

Он сам писал о себе — как о мемуаристе: «А кто я сам? куда девались мои светлые кудри, моя гибкость, мое проворство? Осталось от прежнего одно только неутолимое любопытство и вот эта страсть запечатлевать вещи, достойные, с моей точки зрения, — запечатлепия».

Его необычайная память и точность восприятия позволили ему спустя полвека дать яркие характеристики тех, с кем ему довелось дружить, работать, встречаться. Едва ли найдутся характеристики Бакста, Дягилева и многих, многих других — равные тем, которые даны им, А. Н. Бенуа. Объемность мышления А. И. Бенуа, его зрительная точность художника и его богатое писательское дарование позволяют конкретно представить себе начало того значительного художественного движения, которое зародилось в конце XIX в. Как участника этого движения — его свидетельства первостепенны по своему значению, ибо он был главой этого движения, получившего позже название «Мир искусства».

С неповторимым мастерством воспроизводит Александр Бенуа дух и атмосферу артистического Петербурга конца XIX в., и не стоит упрекать его за то, что он редко выходил за пределы всего того, что было связано с этим артистическим кругом. Он не заметил в Петербурге многого из того, что находилось за пределами его художественных интересов. И все ж таки ему удалось заметить, что в России государственная власть сосредоточена в руках недостойных людей, а подавление революционного движения 1905 г. вызвало его возмущение.

Долгие годы отрыва от своей родины законсервировали его вкусы, его литературную манеру, его память. Он был долголетен не только годами, но и своими взглядами и суждениями, впрочем, не всегда последовательными. Он пишет так, как писали многие и как писал он сам в дни своей молодости, вдруг, однако, поднимаясь над самим собой и критически отзываясь о своих взглядах и поступках. В целом же его воспоминания сохраняют

известную долю старомодности, и это тоже интересно. Его вкусы и суждения в иных случаях сохраняются неизменными на протяжении полувека. Но они типичны для русской артистической интеллигенции, не очень разбиравшейся в политике, но склонной критически относиться к тогдашней действительности и не умевшей ее последовательно анализировать.

в*Предисловие*

Иногда он заявляет себя монархистом. Но «монархизм» Бенуа был особого рода. Он преклонялся в молодости перед императрицей Елизаветой Петровной и посвятил ей одну из первых своих книг, изданную с необыкновенной для того времени роскошью. Его восхищала придворная обстановка, а главным образом петергофские и царскосельские сады и парки. Правились они так же, как сады Версаля. Тем и другим по- . святил он множество картин. Монархизм Александра Бенуа я бы назвал «садово-парковым». В этом монархизме был типичный петербургский эстетизм. И далеко не случайно, что следующему поколению «цар-скосёлов» пришлось бороться с этим эстетским отношением к царскосельским садам, бороться за Царское Село поэтов конца XVIII — начала XIX в., что и отразилось, в частности, в переименовании Царского Села в город Пушкин. К числу этих борцов принадлежала и Лина Ахматова, чьи строки, обращенные к Садам Лицея («здесь лежала его треуголка и растрепанный том Парни»), были прямым вызовом «елизаветинскому эстетизму» Бенуа и людей его круга. «Его треуголка» — это треуголка Пушкина. Не Елизавета, а Пушкин стал для последующего поколения символом Царскосельских садов.

Вот как сам Александр Николаевич пишет об истоках своего детского и «эстетского» монархизма: «...культ прошлого подзадорил меня к тому, чтобы с большим упорством продолжать уже начатое, а иное начинать сызнова. Так я три раза принимался за картину, в которой захотел выразить свое увлечение XVIII в., в частности, эпохой императрицы Елпсаветы Петровны (Бенуа писал именно так — «Елисавета», подражая и орфографии XVIII в. —Д. Л.), эпохой, не пользующейся особым уважением историков, к которой я, однако, с отроческих лет питал особое влечение. ...Я буквально влюбился в портрет, на котором художник Каравакк изобразил восьмилетнюю девочку в виде маленькой, совершенно обнаженной Бонус. Этот нортрет красовался в «диванной» петергофского Большого дворца, а па другой стене тон же комнаты висел в затейливой раме ее же портрет, но уже в виде императрицы... Вся эта комната, с окнами, выходившими на столетние ели, обладала исключительным шармом. Помянутая же

моя композиция (мне так ее и не удалось довести до конца) представляла царицу и ее блестящий двор на фоне павильона «Эрмитаж» в Царском Селе». Не менее характерен и другой рассказ Бенуа о том, как он устроил у себя дома довольно роскошный ужин, сервировав его при свечах и водворив во главе стола портрет Елизаветы, «что означало, что ее императорское величество удостоило нас своим присутствием». Примерно этого же сорта было его увлечение и версальскими сюжетами.

Но к монархам — своим современникам — он относился с нескрываемой иронией. В его мемуарах мы найдем и короткие, но убийственные отзывы о любовной истории Александра II, о грубых шутках Александра III, об ограниченности и невзрачности, об «эмоциональном параличе» Николая II и о его политике, которую Бенуа считал губительной для страны. Он дал страшную характеристику некоторым лицам, близким ко

Предисловие

1

двору,— например, темной личности Д. А. Бенкендорфа, великому князю Николаю Михайловичу, у которого под оболочкой тончайшего «европейца», «парижанина» и «сказочного принца» обнаруживались весьма неприятные черты грубости и самодурства; «одному из самых тупых» царских министров — В. К. Плеве или К. П. Победоносцеву — этому российскому «Великому Инквизитору», самая впешность которого представлена в «Моих воспоминаниях» как олицетворение «мертвенного и мертвящего бюрократизма», наводящего жуть и создававшего вокруг себя «ледяную атмосферу».

В начале своих врспоминаний Бенуа называет себя «космополитом», но космополитом в нашем смысле этого слова он не был. Он хотел только сказать, что ему были дороги и ценны культурные памятники всех стран и народов, что сам он воспитывался в .многонациональной среде своего города, своей семьи и гимназии К. П. Мая, где русских было не более половины, а остальную половину составляли немцы, англичане и французы, жившие в Петербурге. Сам он переезжает из страны в страну и жадно изучает, всматривается в памятники искусства. Но любит и понимает он, по-настоящему гордится — только достижениями и успехами русской культуры, в которых для него отразилось «величие и великолепие России». Он пропагандирует русское искусство за рубежом, в известную историю искусств Мутера вписывает целый раздел о русском искусстве, восторгается триумфальными представлениями за рубежом русского балета, устраивает выставки неофициального русского искусства, открывает ценность русского искусства XVIII в. (здесь ему

пригодился и его «садово-парковый монархизм») и начала XIX в. Он гордится талантами «клана Бенуа», но гордится именно потому, что «клан Бенуа» так много дал русской культуре, и в конце концов сам признает, что по-иастоящему мог творить только па родине и для родины.

Не следует придавать значения многим из его заявлении, в которых он декларирует те или иные свои убеждения. Важнее его дела, а в них он — истинный, истый и даже неистовый патриот.

Показательна в этом отношении глава 8 третьей книги «Воспоминаний», где Бенуа признает, что с увлечения «Спящей красавицей» «начался во мне переворот в отношении русской музыки: от полного ее неведения (и даже какого-то презрения) это увлечение меня привело к восторженному поклонению. С того момента я стал ярым поклонником Чайковского. Постепенно (и очень скоро) это поклонение распространилось и на всю русскую музыку». «Пиковая дама», пишет Л. Бенуа, «буквально свела с ума». За Чайковским последовало увлечение Мусоргским и Бородиным. Появилась потребность пропагандировать все русское. Он пишет в конце своих воспоминаний: «Не раз уже в течение этих записок я касался того равнодушия, которое я обнаруживал в отношении ко всему национально русскому. В качестве продукта типичной петербургской культуры я грешил, если не презрением, то известным пренебрежением и к древней русской живописи, и к характерной русской архитектуре, а к древнерусской литературе».

8

Предисловие

Можно поверить ему тогда, когда он говорит о своем «прозелитизме» — страсти проповедничества. И эта страсть была направлена в конце концов на одно: открыть, добиться признания забытым или недостаточно обращавшим на себя внимание его современников духовным ценностям русского искусства, открыть «свое», родное ему в новых явлениях искусства. Всей своей деятельностью он заслужил звание патриота.

Впрочем, он не был так сентиментально восторжен, как может показаться сперва. Воспоминания Бенуа открываются своего рода гимном старому Петербургу. Этот гимн превосходно написан и, разумеется, идеализирует Петербург, ибо интересует его прежде всего Петербург «императорский», как и Царское Село интересовало его своей «елизаветинской красивостью». Здесь особенно сказывается ограниченность того круга общества, в котором он жил и которое по преимуществу изобразил. По, начав свою книгу на очень высокой ноте, Бецуа в дальнейшем с нескрываемой иронией изображает все то, что восхвалял сперва.

Читатель найдет в его книге ироническое изображение петербуржекой снобистской молодежи, театральной закулисной жизни императорских театров, преподавания в императорской Академии художеств, дилетаитствующих коллекционеров вроде богача Н. П. Рябушинского, отдельных служащих императорского двора. Апофеоз Петербургу, с которого открывается книга, поотепепно развенчивается. Характеристики царствующих особ и членов императорской фамилии поражают одновременно и своей колоритностью и некоторой наивностью. Читателю остается одно: следить за тем, что могли высмотреть глаза знаменитого художника и деятеля русской культуры и не очень доверяться всему тому, в чем он считает себя дальнозорким и дальновидным. Вернее,— читателю остается принимать все его обобщения как свидетельство не столько об окружавшей Бенуа действительно-. сти, сколько как свидетельства о нем самом и о его окружении.

Александр Бенуа был выдающейся личностью и поэтому стоит всмотреться и в его ошибки, в неточности его суждений. Они тоже «свидетельства»: свидетельства не только о нем, об Александре Бенуа, по и о его среде, игравшей исключительную роль в своеобразном расцвете всех видов русского искусства начала XX века и выхода русского искусства на мировую арену.

Воспоминания Александра Бенуа — огромнейший и бесценный клад различных сведений, блестящий литературный памятник,— памятпик, принадлежащий не только выдающемуся деятелю, но и человеку с глазами художника и искусствоведа, оценившему не только художественные произведения своего времени, но и все то художественное наследие, которое оказалось таким действенным для конца XIX — начала XX в.

Д. С. *Лихачев.*

Г. Ю. Стернин

«МОИ ВОСПОМИНАНИЯ» АЛЕКСАНДРА БЕНУА

И РУССКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Автора книги «Мои воспоминания» вряд ли нужно очень подробно представлять читателю, ибо чтение публикуемых мемуаров и есть, прежде всего, увлекательное знакомство с замечательной личностью этого человека, выступающего в книге

и как «объект» повествования, и как подлинный мастер трудного литературного жанра. Но дело не только в этом. Имя Александра Николаевича Бену а стоит в одном ряду с именами, которые олицетворяют в наших глазах крупнейшие достижения русской художественной культуры конца XIX — начала XX в. Подобная репутация автора мемуаров всецело опирается на его заслуги перед отечественным искусством, на его активную роль в русских художественных делах па протяжении, по крайней мере, двух десятилетий, захватывающих и новую историческую эпоху — первые годы существования Советского государства.

Интересный живописец, великолепный иллюстратор Пушкина, тонкий знаток театра и создатель прекрасных театрально-декорационных работ, глубокий и проницательный художественный критик — такая поразительная разносторонность таланта Бенуа очень рано придала его фигуре особый вес в художественной жизни России. Общественно-эстетическая ориентация Бенуа в современной ему идейной и художественной борьбе была по-своему последовательной, хотя и не совсем однозначной. Влюбленный в красоту, он определял свое отношение к действительности мерою ее художественных потенций, степенью ее возможностей рождать «большое искусство». Эта позиция художника и человека неизменно придавала его взглядам совершенно явную антибуржуазную направленность. Но она же, эта позиция, становясь для Бенуа главной путеводной нитью его общественного самоопределения, подчас сужала его социальный кругозор и мешала уловить историческую логику развития событий в сложные предоктябрьские десятилетия.

Указанные противоречия сказались и на некоторых размышлениях Бенуа-мемуариста, и ниже к этому понадобится еще вернуться. Пока же вновь стоит подчеркнуть самое основное, самое существенное: и по характеру своего редкого дарования и по многогранности своих творческих занятий Александр Бенуа был одной из самых ярких личностей в русской художественной культуре рубежа веков. *«Академик Алек-*

сандр Бенуа — тончайший эстет, замечательный художник и очаровательнейший человек»,—эта авторитетная рекомендация А. В. Луначарского1, данная наркомом просвещения молодой Советской республики в 1921 г., вспоминается не раз при чтении «Моих воспоминаний».

* * *

В течение всей своей долгой жизни Александр Николаевич Бенуа испытывал потребность в слове, в литературном способе выражения своих чувств, своего видения жизни и искусства. Можно сказать, что в этом заключалось одно из очень важных свойств его таланта, его миропонимания, его богато одаренной натуры. Он оставил огромное литературное наследие — капитальные историко-художественные исследования, многие и многие десятки критических статей, сотни, если не тысячи писем, помогающих понять разные грани общественного и художественного сознания эпохи 2. Уже в глазах современников лидерство Бенуа, его способность долгие годы возглавлять важное художественное направление эпохи связывались в первую очередь с глубиною и яркостью его критических суждений, с непререкаемым авторитетом его печатного слова, И когда один из критиков начала XX в. писал: «факт огромного влияния Александра Бенуа на ход нашего художественного развития остается неоспоримым. Бенуа — большая культурная сила и, хочешь — не хочешь, а считаться с нею необходимо» \ за этим утверждением (принадлежащим, кстати сказать, скорее оппоненту, чем единомышленнику художника), стоял, конечно, Бенуа-ндеолог, Беиуа-аолемист.

Публикуемые монументальные «Мои воспоминания» в полной мере отражают это яркое своеобразие творческой личности мемуариста. Венчая литературные занятия Бенуа, они оказываются естественным и органичным выводом из его настойчивого желания определить свою художественную позицию, рассказать читателю о себе и о своем времени, каким оно виделось деятельному участнику русской художественной жизни на рубеже двух столетий.

Очевидно, именно этим объясняется та особая торжественность, с которой художник глядел на свою задачу мемуариста, «...эта работа,— писал он своему сыну в 1935 г.— будет, пожалуй, единственной из всех моих работ, достойной пережить меня и *остаться,* как представляющая некий общий и детальный интерес» \ Имея в виду созданные в те годы

1 Литературное наследство, т. 80. В. И. Ленин и А, В. Луначарский. М., 1971, с. 260.

`*l* Общую характеристику литературных трудов Л. II. Бенуа см. в статье: *Зилъбер-штейн И. С., Савинов А. Н.* Литературное и эпистолярное наследие Александра Бенуа 1917—1960.—В кн.: «Александр Бенуа размышляет...» / Подгот. издания, вступительная статья и комментарии И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова. М., 1968. См. также: *Эрнст С.* Александр Бенуа. Пб., 1921; *Эткинд М.* Александр Николаевич Бенуа. Л.; М. 1965.

3*Исаков С.* Мечта Бенуа о казенном искусстве.— Против течения, 1911, 3 декабря.

4«Александр Бенуа размышляет...», с. 563.

начальные главы рукописи, Бенуа продолжал: «хоть и рассказывается у меня до сих пор про какого-то Шуреньку Бенуа, который в те годы ничего еще «мирового» не производил, однако в силу одной мне свойственной черты — этот рассказ про Шуреньку является в то же время довольно обстоятельным о целой культуре» 5.

Начав систематическую работу над «Моими воспоминаниями» зимой 1934—1935 гг., Бенуа занимался ими вплоть до самых последних лет своей жизни. Первые две части были изданы в Нью-Йорке в 1955 году в. Остальные главы появились в свет в Лондоне, в переводе на английский язык и в сильно сокращенном виде — первая книга в 1960 г., вторая — в 1964 г.7 Невозможность довести до читателя труд в полном и удовлетворительном виде «деморализировала» автора, тормозила его работу, и он с горечью писал о том, что, не имея перспективы издать книгу, он вынужден был остановить изложение на 1909 г. и что поэтому остались «недосказанными» очень важные эпизоды его жизни8.

Читатели «Моих воспоминаний» Бенуа могут лишь разделить эти сожаления, ибо за пределами мемуаров остались многие годы деятельного участия их автора в судьбах русской художественной культуры. Так, например, именно с предреволюционным десятилетием связаны систематические выступления Бенуа в роли художественного критика, выступления, регулярно привлекавшие к себе внимание современников. Огорчался Бепуа по поводу «недосказанности» и некоторых других эпизодов своей творческой жизни, в частности своей, совместной с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, работы над спектаклями Московского художественного театра9. Известным восполнением ненаписанных глав служат в этом смысле публикуемые в приложении «Воспоминания о балете» — интересный рассказ о знаменитых «русских сезонах» в Париже одного из их творцов.

Сожалея о том, чего мемуарист не успел написать, стоит вместе с тем с самого начала подчеркнуть и другое — подлинную историко-культурную и литературную ценность того, что Бенуа написать успел. Предлагаемые читателю мемуары освещают как раз тот период русской ху-

Там же.

А. Н. Бенуа. Жизнь художника. Воспоминания. Нью-Йорк,

1955, т. I—II. *Benoìs Alexandre.* Memoires. London, I960, v. 1; 1964, v. 2.

Так, в сентябре 1959 г. Бенуа писал А. Н. Савинову: «На днях получил наконец из Лондона грязновой пробный экземпляр перевода моих Воспоминаний. Обещают начисто выпустить книгу к концу декабря. Но насколько же мне было бы отраднее, если бы нашелся издатель, который взялся бы издать (сначала по-русски) оставшиеся в рукописи остальные три части! Ужасно боюсь, как бы этот мой труд со всем обилием документации относительно весьма значительного периода нашей истории культуры и искусства не пропал бы совсем зря и бесповоротно... Обиднее всего то, что, не имея сразу к своим услугам издателя, я свои записки запустил и даже вовсе оставил, прекратив их в 1909 году» («Александр Бепуа размышляет...», с. 706).

«Особенно досадно, что останутся недосказанными моя близость к Станиславскому и Немировичу-Данченко и все, что я знаю об их «системе»...»,— писал по этому поводу Бенуа («Александр Бенуа размышляет...», с. 558).

дожественной культуры, когда объективная роль Бенуа и всей той коллективной художественной программы, которую он отстаивал и которую он старался проводить в жизнь, имела наиболее важное историческое значение. Иными словами, хронологические границы «Моих воспоминаний» охватывают все основные этапы возникновения и развития «Мира искусства» как целостного художественного объединения и, шире, как крупного художественного движения эпохи, которое было возглавлено Александром Бенуа и которое одновременно выдвинуло его в ряды выдающихся деятелей русской культуры рубежа двух столетий.

Можно, конечно, несколько по-иному взглянуть на вещи, если временной диапазон повествования соотнести с долголетним жизненным путем мемуариста, с длинной чередою событий его личной непростой судьбы, судьбы человека, многие годы проведшего вдали от родины. Для художника, прожившего девяносто лет, его автобиография, доведенная до поры, когда ему не было еще и сорока, кажется оборванной слишком рано. Однако есть основания полагать, что именно это соотношение пе очень расстраивало мемуариста. Более того, можно утверждать, что Бенуа сознательно сужал хронологические рамки своего жизнеописания, точнее говоря, сильно сдвигал их в прошлое. Интересы хроникера повседневной жизни здесь были особенно явно подчинены внутренней идее произведения или, лучше

сказать, взгляду писателя на свое сочинение как на важное душевное дело. Довольно обычное для мемуарного жанра свойство — подробное внимание рассказчика к своим детским и юношеским годам приобретает в «Моих воспоминаниях» Бенуа настолько акцентированный характер, что становится одним из Главных отличительных признаков всего литературного замысла, всего композиционного построения мемуаров. О тематическом аспекте этого авторского плана речь пойдет ниже. Пока же хочется отметить, что подчеркнутое желание сохранить временную дистанцию между годами, когда создавались мемуары, и теми событиями, о которых идет в них речь, в значительной мере вызвано стремлением всячески объективировать лирическое чувство, как бы придать ему самостоятельное историческое бытие, независимое от столь естественной ностальгии позднего Бенуа-мемуариста.

Какими же путями шел автор, воссоздавая свои собственные молодые черты и облик эпохи, в которую прошли его лучшие годы? Что в этом способе литературной «реконструкции» принадлежало художественной традиции, а что — тому времени, когда создавались «Мои воспоминания»?

* * *

Характеризуя свой труд и намекая при этом на знаменитую книгу Гете «Dichtung und Wahrheit», Бенуа отмечал в одном из писем 1950-х годов: «...я вовсе не претендую на то, чтобы эти мемуары (особенно касающиеся самого рапнею периода) представляли собой вполне надежный исторический материал. Совершенно естественно, что Dichtung в них

сочетается с Wahrheit. Но все же в осиове-то имеется несомненная Wahr-heit (даже при невольно-неточной передаче фактов остается в силе Wahrheit «настроения», «атмосферы»), а это что-нибудь да значит...» 10

Само сочетание «поэзии» и «правды», «вымысла» и «были» не может разумеется, считаться каким-то особым признаком «Моих воспоминаний». Оно свойственно многим произведениям мемуарного жанра, в том числе и тем, в которых авторы стремятся воскресить культурную жизнь России рубежа двух столетий. Среди художников его поколения, литераторов, музыкантов, деятелей сцены Бенуа не был одиноким в желании рассказать о своей жизни, и «Мои воспоминания» — совсем не

единственное произведение мемуарной литературы, знакомящее с русским художественным бытом конца XIX — начала XX в., с людьми, чье творчество определяло собою облик русского искусства той поры. Некоторые книги подобного рода уже давно приобрели у нас хрестоматийную известность. Назовем в качестве примера капитальную автобиографическую трилогию Андрея Белого или же «Мою жизнь в искусстве» К. С. Станиславского. Прочно вошли в читательский обиход и такие произведения мемуаристики, возрождающие на своих страницах художественную Россию рубежа веков, как «Автомонография» И. Э. Грабаря, «Автобиографические записки» А. П. Остроумовой-Лебедевой, «Из прошлого» Вл. И. Немировича-Данченко, «Против течения» М. М. Фокина, «Хлы-новск» и «Пространство Эвклида» К. С. Петрова-Водкина.

Поставленные в этот литературный ряд «Мои воспоминания» сразу же обнаруживают свою неповторимость, свое крупное художественное своеобразие, и объясняется это не только особенностями таланта Бенуа, но и, быть может, в первую очередь реальными фактами его биографии, сложным содержанием его жизненного и духовного опыта.

Глядя на «Мои воспоминания» и как на литературный памятник, и как на важнейший источник постижения русской художественной культуры конца XIX — начала XX в., нетрудно выявить их основное содержательное ядро. Это — тема «Александр Бенуа и «Мир искусства»». Вокруг этого стержня располагаются основные сюжетпо-событийные линии повествования. Весь мемуарный материал тяготеет к нему и в другом, более глубоком смысле — как к тса основной социально-эстетической и социально-психологической проблеме, в сфере которой осмысливаются и осознаются излагаемые в книге факты. Точнее, здесь можно говорить о целом комплексе проблем, связапных с художественным развитием России в эту эпоху.

В своих литературных трудах Бенуа ранее уже рассматривал эту тему. Кроме различных сведений, сообщавшихся им в разное время в многочисленных критических статьях, он посвятил ей отдельную книгу — «Возникновение «Мира искусства» и, вышедшую в конце 20-х годов и

10«Александр Бенуа размышляет...», с. 564. Заметим, что эту книгу Гете Бенуа вспо

минает и в своих мемуарах.

11*Бенуа Александр.* Возникновение «Мира искусства». Л., 1928*

тоже носившую характер автобиографического **рассказа, хотя** и снабженного большим количеством документальных свидетельств, главным образом писем современников. Задача историка искусства, пусть не беспристрастного, но вооруженного лучше чем кто-либо знанием фактов, была для автора этой публикации явно ведущей, основной.

С той поры, особенно в последние два десятилетия, наша наука сделала многое для изучения русской художественной культуры рубежа столетий, и в частности для характеристики тех ее сторон, которые были связаны с деятельностью «Мира искусства» и «мирискусников» *iZ.* Обнаружены новые материалы, учтены некоторые ранее забытые источники, и наши теперешние знания эпохи позволяют органически вписать «Мои воспоминания» Бенуа в ее общий историко-культурный контекст.

Последнее представляется особенно важным в силу одного серьезного обстоятельства. «Мои воспоминания» Бенуа являют собой автобиографический рассказ в самом точном и узком смысле слова. В книге, если не считать глав, посвященных предкам и семье мемуариста, речь идет лишь о *личном* жизненном опыте художника — лишь о тех событиях, в которых он принимал участие, лишь о тех людях, с которыми он встречался, лишь о том искусстве, которое он видел своими глазами. Автор почти совсем избегает писать о фактах, известных ему из вторых рук, как бы весомы эти факты ни были и какое бы значение они ни имели для окружающей действительности и, в том числе, для его собственной судьбы. Такая исходная позиция мемуариста, конечно, несколько нарушает целостность общей картины, ограничивает жизненное пространство повествования и подчас разрывает причинно-следственные связи, существовавшие в истории русской культуры той поры. Но именно это строгое и очень целенаправленное самоограничение Бенуа ясно выявляет и объективный и субъективный «статус» рассказчика в жизни.

В «Моих воспоминаниях» умудренный жизнью мемуарист обычно не склонен морализировать по поводу мыслей и действий своего молодого героя. Встречаемая в книге ирония по отношению к некоторым эскападам юности никак не нарушает общего стремления автора не только подчеркнуть историческую правоту той общественно-культурной миссии, которую взял на себя «мирискуснический» кружок, но и всячески засвидетельствовать свою неизменную верность былому. Означает ли это, что позиция Бенуа-мемуариста всегда п всюду зеркально воспроизводит его ранние взгляды и убеждения? И да, и нет. Да, поскольку весь окружающий мир увиден в «Моих воспоминаниях» глазами человека, который до конца дней своих

был предан идеалам возглавлявшегося им прежде художественного движения. Нет, потому что сами эти идеалы, когда они

12 Для краткости назовем лишь те работы, которые специально посвящены «Миру искусства»: *Соколова Н.* «Мир искусства». М.; Л., 1934; *Петров В. Н.* «Мир искусства».—В кн.: История русского искусства. М., 1968, т. X, кн. 2; *Лапшина Н. П.* «Мир искусства».— В кн.: Русская художественная культура конца XIX — начала XX века (1895—1907). М.т 1969, кн. 2; *Гусарова Å,* «Мир искусства». М., 1972; *Петров В.* Я, «Мир искусства». М., 1975; *Лапшина Н, П.* «Мир искусства». М., 1977.

становятся предметом самостоятельных размышлений автора, подчас ли

шаются своего конкретного историко-культурного контекста и приобре

тают несколько деформированный, лучше сказать, односторонне деклара

тивный характер. Впрочем, и здесь немаловажную роль играет осознан

ное или нет стремление Бенуа оставаться верным своему прошлому

в данном случае тем мистификационным наклонностям, к которым «мирискусники» постоянно испытывали известную слабость.

«Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному...» 13. Этому пассажу, который сильно напоминает интеллектуальную «игру» молодого Бенуа, можно было бы не придавать значения, если бы он не открывал собою книгу, оказываясь первым штрихом в литературном автопортрете мемуариста. Последнее обстоятельство заставляет сказать по поводу этой автохарактеристики несколько слов.

Выражала ли она какие-то существенные свойства самосознания автора книги, определяла ли его действительное отношение к России? Ни в малой мере. Такое категорическое опровержение можно позволить себе, основываясь прежде всего на противоположных высказываниях самого же Бенуа, на его почти исповедальных заявлениях о своей глубокой связи с родиной. «Понадобился затем опыт многих лет, опыт, повторявшийся несколько раз, чтоб и я, и она (Анна Карловна Бенуа — жена художника.—Г. С.) поняли, до чего сердечно и душевно мы связаны с родиной и до чего трудно, а то и просто

невозможно нам, русским, вполне приобщиться к жизни на чужбине» (II, 106). Это признание тоже — из «Моих воспоминаний».

Именно в поздние годы, когда Бенуа оказался вдали от своего отечества, тема «родины» и «чужбины» приобрела для него по вполне понятным причинам особую остроту. Письма Бенуа 20-х — 50-х годов, выразительно рисуя общественное самочувствие художника, проникнуты нарастающей тоскою их автора «по своей родной атмосфере», его стремлением вновь оказаться дома. «Сидению на жердочке» и уподобляет он свое заграничное бытие в одпом из писем середины 20-х годов, а в другом, относящемся приблизительно к тому же времени, делает такое серьезное признание: «...помчался бы назад в матушку Россию, которую, странное дело, я только недавно, на склоне жизни и после всех горьких испытаний последних лет действительно признал за матушку, за родимый и нежно любимый край. Как это могло случиться, не знаю, но факт налицо — я сейчас чувствую себя несравненно более русским (без привкуса национализма), нежели прежде» 15. За несколько лет до смерти, в 1957 г., он пишет PL Э. Грабарю: «И как хотелось бы быть там, где у меня открылись глаза на красоту жизни и природу, где я впервые вкуспл люб-

13*Бенуа Александр,* Мои воспоминания. М., 1980, т. I, с. 11. В дальнейшем ссылки

на наше издание даются в тексте с указанием номера тома и страницы.

14«Александр Бенуа размышляет...», с. 615.

13 «Александр Бенуа размышляет...», с. 603.

ви и т. д. Почему я не дома?! Все вспоминаются какие-то кусочки самого скромного, по сколь милого пейзажа...» 16

Вот то эмоционально и психологически стойкое душевное состояние, на «фоне» которого возник и был осуществлен, хотя и не до конца, замысел «Моих воспоминаний». На это хотелось обратить внимание не только ради того, чтобы усомниться в полной искренности авторского зачина книги. Еще более существенно помнить об этом постальгическом чувстве Беиуа-мемуариста, чтобы лучше понять общую тональность всего повествования, его некоторые специфические смысловые акценты.

С этой точки зрения вступительные фразы книги — не просто защитная маска, не просто особый род авторского самовнушения. Они явно предназначены и для того, чтобы с первых же страниц ввести читателя в столь близкую автору тему «западничества».

К ней мемуарист возвращается неоднократно и по самым разным случаям. Чрезвычайно интересной и объемной она

предстает во многих главах «Моих воспоминаний» в качестве «внутренней идеи» художественного кредо Бенуа и всей «мирискуснической» программы. Ниже этот с1спект темы потребует специальной характеристики в связи с размышлениями мемуариста о своих увлечениях молодых лет, о своей эпохе и о роли в ней того общественно-культурного движения, которое он возглавлял.

Однако именно в те годы, когда писались мемуары, «западничество» Бенуа обернулось для него самого и другой стороной, оказавшись подвергнутым жизненной проверке — долголетним существованием художника на чужбине. Результаты этого испытания были для его душевного опыта вполне определенными. В своих поздних письмах мемуарист не раз признавался: вопреки его ожиданиям, ни чужеземная кровь его предков, ни его давние «западнические» привязанности никак внутренне не смиряли его сильного желания вернуться в Россию.

Разумеется, такое умонастроение Бенуа, как уже отмечалось, никоим образом не колебало в его глазах историческую правоту огромного художественного дела, затеянного им и его друзьями на рубеже XIX и XX вв. Влияние времени сказалось в другом: утратив для мемуариста свои жизненные основы, западнические идеалы стали в книге порою предметом декларативных авторских уверений и, если можно так выразиться, объектом некоторой стилизации.

Печатью стилизации отмечены иногда и те страницы — они связаны главным образом с впечатлениями юности художника,— па которых Бенуа вспоминает о доводившихся случаях наблюдать петербургское великосветское общество, лицезреть членов царской семьи. В этих бытовых зарисовках мемуариста можно ощутить не только заметную иронию, но и некое патриархальное благодушие, в общем-то мало свойственное главному, достаточно критическому взгляду автора на представителей вельможного «монда», на атмосферу придворной жизни.

1е «Александр Бенуа размышляет...», с. 664.

Рядом с упомянутыми бытовыми сценами, в которых основная задача автора — передать изумление и любопытство юноши, впервые сподобившегося собственными глазами увидеть царствующих особ и их окружение, Бенуа воспроизводит свои рассуждения о государственной системе России, о монархическом строе, о характере и типе русского самодержца, По-видимому, самому автору эти отступления казались не очень органичными,

и, вслед за одним из них, он спешил объясниться с читателем: «Вот я и снова не утерпел, чтоб не остановиться на моем отношении к режиму, к монархии, к самой личности монарха, но эти вопросы занимали и волновали нашу компанию в сильнейшей степени» (I, 634— 635).

Ища объяснения этим экскурсам мемуариста, нельзя, очевидно, совершенно сбрасывать со счетов время и условия его работы над книгой — ряд эпизодов «Моих воспоминаний» мог оказаться откликом на тот повышенный интерес к монархическому прошлому страны, который был свойствен части эмигрантского окружения художника в поздние годы его жизни. Но главное, как представляется, было в другом — в сложном переплетении многих, подчас противоречивых свойств личности самого Бенуа, его общественных и художественных устремлений. Здесь проявили себя и некоторые семейные традиции мемуариста, и его историко-культурная ориентация, и утопизм его эстетической программы дореволюционных лет, основанный на идее возрождения «государственного искусства».

Когда, например, Бенуа с увлечением повествует о вечере, на котором присутствовали «высочайшие» и который своей «большой торжественностью» напомнил ему «какой-то куртаг Екатерины II» (I, 586), или же когда он подробно описывает торжество «в духе и в масштабе великолепных придворных празднеств XVIII в.» (I, 588) — «высочайший въезд» в Петербург в связи с бракосочетанием одной из великих кня-жен, в нем говорит, конечно, прежде всего убежденный «мирискусник», поклонник театральной зрелищности, историк культуры, влюбленный в пышную красоту и праздничность русского искусства XVIII в,

Нетрудно понять коренное различие между этим «эстетическим взглядом» и восторгами какого-нибудь присяжного летописца придворной хроники. Более того, сама эстетика мемуариста в этом пункте была лишена тех прямолинейных социологических формул, которые иногда приписывали ей оппоненты художника. Так, размышляя о Версале, который в глазах Бенуа воплощал во Франции те же социально-исторические идеалы, что и загородные петербургские дворцы XVIII в. в России, автор писал однажды: «Версаль был предназначен для того, чтобы вещать о величии короля, но если вслушаться в его нашептывание, то легко различить нечто совершенно иное — символ веры о человеческом величии вообще, догму разлитой во всем мироздании красоты, догму осознанной человеческой красоты» 17.

Бенуа Александр. **Версаль. Пб., 1922, с. 15.**

Г. Ю. Стернин

О сколько-нибудь серьезной политической подоплеке интересов Бенуа к монархизму и к последним русским монархам невозможно говорить даже в тех случаях, когда, например, на нескольких страницах автор рисует вполне парадный портрет Александра III (I, 591 — 592). И если у нас нет доказательств, чтобы упрекать здесь мемуариста в сознательном уходе от правды, то так же точно мы не можем ставить иод сомнение искренность Бенуа, когда он, вскоре после февральской революции, писал об известном памятнике П. Трубецкого: «Александр III на Знаменской площади не просто памятник какому-то монарху, а памятник, характерный для монархии, обреченной на гибель. Это уже не легендарный государь-герой, не всадник, мчащийся к простору, а это всадник, который всей своей тяжестью давит своего коня, который пригнул его шею так, что конь ничего более не видит. Это — поистине монумент монарху, поощрявшему маскарад национализма и в то же время презиравшему свой народ настолько, что он считал возможным на все его порывы накладывать узду близорукого, узко династического упрямства» 18.

И все же упомянутые части книги требуют не только лишь верного понимания авторской позиции, но и подчас — прямых возражений. В них появляется необходимость прежде всего тогда, когда Бенуа-мемуа-ристу хочется оттенить свою особую «посвященность», позволяющую ему писать о тонкостях и хитросплетениях придворного быта с той же легкостью, с тем же профессионализмом, с каким он повествует о своих художественных увлечениях. Именно в таких случаях есть все основания говорить о стилизации, о некоей сословной маске, скрывающей тончайшую духовную культуру автора за декоративными чертами аристократического избранничества. Именно в подобных эпизодах в общественном самосознании мемуариста вдруг начинали сказываться некоторые внутренне далекие его собственной натуре черты фамильной психологии, идущие, например, от официального положения его отца как придворного архитектора или же от светской расторопности его брата Альбера. Но, разумеется, не эти страницы книги определяют ее главный смысл и не к этим сторонам семейного быта автор испытывал всю жизнь чувство глубокой нежности и признательности,

* * *

В одной из кратких автобиографических справок Бенуа назвал себя «продуктом художественной семьи» 1Э, и эту мысль свою в разных вариантах он очень любил повторять. Обстоятельство, действительно заслуживающее внимания, в особенности, если иметь в виду русский культурный быт последней трети XIX в., когда нередко встречавшиеся прежде целые художественные «династии» становились уже исключением.

18*Бенуа Александр.* О памятниках.— Новая **жизнь, 1917,** 2/15 **июля.**

19«Александр Бенуа размышляет...», с. 41.

*«Мои воспоминания» Александра Бенуа*593

Дед Александра Венуа по материнской линии — А. К. Кавос — был известным зодчим, строителем крупнейших театральных зданий Петербурга п Москвы. Видным архитектором и весьма заметной фигурой в русской архитектурно-общественной жизни второй половины прошлого столетия был и отец художника — Николай Леонтьевич Бенуа, чей образ рисуется на страницах «Моих воспоминаний» с особым чувством, возникая всякий раз, когда мемуарист старается воссоздать духовную атмосферу своего родительского дома. Старшие братья Александра — архитектор Леонтий Николаевич и популярный акварелист Альберт Николаевич поддерживали семейную художественную традицию уже в третьем поколении. Но и этим дело не ограничивалось — прочно вошли в историю русского и советского искусства дети одной из сестер мемуариста, вышедшей замуж за известпого скульптора Е. А. Лансере: З. Е. Серебрякова и Е. Е. Лансере.

О культе искусства, царившем в петербургском доме Бенуа, автор «Моих воспоминаний» рассказывает необычайно подробно, обстоятельно, повествование в этих главах книги кажется временами почти останавливающимся и подчеркивающим своим замедленным темпом прочную и устойчивую автономию духовных интересов семьи. Здесь в полной мере сказывалось, конечно, и обычное пристрастие мемуаристов к семейной хронике, к поэтизации всей атмосферы детских лет. Но в случае с Александром Бенуа были еще и свои, более глубокие причины, объясняющие столь явное желание рассказчика надолго погрузиться своими воспоминаниями в домашний быт своего детства, отрочества и юности,— этой поре жизни автор посвящает едва ли не половину своих мемуаров.

«Зовы прошлого обладали для меня величайшими чарами»,— подчеркивал в «Моих воспоминаниях» Бенуа (Н, 184), оглядываясь на всю свою долгую творческую жизнь, на всю

систему своих художественно-эстетических представлений. На других страницах книги эту склонность натуры он прямо возводит к детским годам, к особенностям мировосприятия малолетнего «Шуреиыш». Рассказывая о юношеской дружбе со своей будущей женой, А. К. Кинд, художник пишет: «Одним из самых значительных духовных звеньев, нас связывавших, была именно наша «верность детству», наша способность в любой момент как-то перенестись в другой, фантастический мир>* (I, 538). С этой точки зрения внимание мемуариста к самым ранним годам своим и, более того, к «предыстории» собственного бытия можно не в последнюю очередь объяснить желанием разомкнуть «реальный» план повествования в область мечты, предания, легенды.

Конечно, романтические тенденции в жизненных позициях Бенуа и в его творческой программе, а именно о них идет речь в приведенных выше словах, имели много истоков в самой русской действительности рубежа веков, в сложных общественно-эстетических исканиях художественной культуры той поры. Эти тенденции были слишком основательны и сложны, чтобы их смысл можно было хоть в какой-то мере уподобить детскому взгляду на мир. К ним нам понадобится еще не раз

возвращаться, соотнося материал мемуаров с реальным содержанием художественной жизни России. Но столь же несомненно, что размышления о детских годах постоянно питали романтизм Бенуа и хотя бы поэтому годы эти неизменно оказывались объектом его благодарной памяти. И когда Беиуа в трудные годы первой мировой войны в ряду деловых художественно-критических своих статей опубликовал два газетных «подвала» с интимными воспоминаниями о рождественской елке в родительском доме 20 (эти очерки, собственно говоря, и оказались первым подступом к работе над мемуарами), это выглядело не только лирическим отступлением, но и своеобразным прояснением эстетических убеждений автора,

Впрочем, в сфере воспоминаний о детстве тема романтизма возникает в книге и в гораздо более конкретном смысле — как «связь времен», как проблема ориентации нового поколения в историко-культурных традициях. Рассказывая о своих отношениях с Н. Л. Бенуа, человеком, формировавшимся в 30-е — 40-е годы XIX в.* мемуарист замечает: «...идеалы юности отца стали и идеалами моей юности, лишь с несколько иным оттенком. Я, как и папа, был насквозь пропитан романтикой, тогда как позитивистские идеи, которые владели умами в 70-х годах, были мне чужды...» (I, 48—49). Не ограничиваясь таким общим

утверждением, Александр Бенуа затем подробно останавливается именно на том, что казалось ему ближе и существеннее всего в этих «идеалах юности» своего родителя. Так, судя по книге, ему особенно запомнились рассказы Н. Л. Бенуа о его пребывании в качестве академического пенсионера в Италии в 40-х годах XIX в., о его общении с известной римской художественной колонией в пору, «когда молодые живописцы обращали большее внимание на Беато Анжелико, Пинтуриккио и Перуджино, нежели на Рафаэля, когда особенным почетом стала пользоваться архитектура «романского» и готического стилей и когда особенно презиралось искусство барокко с Бернини во главе» (I, 53). «Атмосфера романтики,— продолжает несколько далее мемуарист,— наложила особый отпечаток на все пребывание отца в Италии. Это был тот самый дух христианского Рима, отзвуки которого можно найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени, съезжавшихся в Рим со всех концов Европы и ведших в степах Вечного города обособленную космополитическую жизнь» (I, 53). Специально фиксируется в мемуарах и личное знакомство И. Л. Бенуа с находившимися тогда в Риме Гоголем и Александром Ивановым.

Нельзя сказать, чтобы поздний русский и западноевропейский романтизм середины XIX в., вошедший в сознание Александра Бенуа вместе с семейными рассказами отца, стал впоследствии предметом каких-либо особых увлечений «мирискусников» или же самого автора книги. Быть

Бенуа Александр. Художественные письма. Елка (Воспоминания).— Речь, 1915, 25 декабря; *Бенуа Александр.* О повом годе (Воспоминапия).— Речь, 1916, 1 япваря.

может, некоторым исключением из этого оказались, и то на время, английские прерафаэлиты — те самые художники, которые предпочитали Рафаэлю предшествовавших ему более «естественных» живописцев итальянского кватроченто. Однако, если этот тип романтизма как определенная художественная программа не стал особенно близок творческим интересам «Мира искусства», заключенная в нем вера в особую жизненную миссию искусства была совсем не безразлична, во всяком случае, главе содружества — Александру Бенуа. Что же касается Александра Иванова, то в историко-художественных построениях мемуариста ему неизменно отводилось особо чтимое место и как одному из крупнейших европейских живописцев XIX в. и как великому подвижнику.

То необычайное внимание, которое Бенуа уделил в «Моих

воспоминаниях» ранней поре своей жизни, характерно и еще в одном отношении. И в себе самом и в своих друзьях автор книги видел новый общественно-психологический тип художественного деятеля, и важнейшим содержанием столь разросшихся первых частей мемуаров становится как раз процесс формирования этого типа.

В позднейших спорах, ведшихся вокруг «Мира искусства», проблема эта иногда сводилась к вопросу о социальном происхождении членов будущего кружка. Для Бенуа, кстати сказать, всегда чуждого «генеалогическим» амбициям, ее суть заключалась совершенно в ином. Бесспорно, рисуемый в книге облик нового культурного деятеля, складывающийся в близкой мемуаристу среде, довольно отчетливо противопоставлен «властителю дум» предшествующего поколения, духовно связанному с разно-чинно-демократической интеллигенцией, но это противопоставление идет по другой линии.

Очень обстоятельно Бенуа пишет о кружке нескольких гимназистов, возникшем во второй половине 80-х годов XIX в. и окрещенном его участниками «полуироническим» названием «Общество самообразования». Неоднократно и по разным поводам возвращаясь *к* его истории, автор настойчиво указывает: именно из этого содружества нескольких «образованных юнцов с берегов Невы» вырос через несколько лет «Мир искусства». Превыше всего молодые люди дорожили общностью своих художественных увлечений и старательно оберегали «домашний» характер интеллектуальной жизни кружка. Внимательно приглядывались они к неофитам, к тем, кто хотел присоединиться к этому юношескому сообществу, и совсем не сразу включали их в число «своих». Так было, например, с «Левушкой» Розенбергом (впоследствии — известным художником Львом Бакстом), тогда еще единственным в этой среде человеком, учившимся в Академии художеств. Немало интересных страниц в мемуарах Бенуа посвящено рассказу о тех «искусах», которым подвергался он, появившись в 1889 г. в компании гимназических друзей, готовивших себя к служению искусству. Не без известной настороженности отнеслись они поначалу и к другому новичку — Сергею Дягилеву, приехавшему в Петербург из Перми и введенному в кружок своим двоюродным братом — Дмитрием Философовым (прим. 5, с. 693—694).

596*F· Ю, Стернин*

Мемуарист не раз и не два подчеркивает немаловажный в его глазах факт: кредо «мирискусников», складываясь в ту, раннюю пору под сильным воздействием домашних «сборищ», выражало не сколько-нибудь законченную систему художественной

идеологии (и еще менее — какое-то одно художественное направление), а просто глубокую привязанность к искусству. Бенуа отмечает по этому поводу: «именно тогда стал складываться и крепнуть во мне тот фундамент, на котором затем построилось в течение моей долгой жизни все здание моего художественного «Символа веры». В основе его лежало требование абсолютной искренности; ничего просто на веру не принималось, все проверялось посредством какого-то «нпстинкта подлинности». В то же время во мне с особой силой сказывалось отвращение ко всяким проявлениям стадности и велениям моды — к тому, что позже получило кличку снобизма. Все, в чем резко означалось какое-либо направление, как таковое, было мне тоже чуждо и нротивно. Если же художественное произведение — будь то живопись, скульптура, архитектура, музыка или литература — содержало в себе подлинную непосредственную прелесть поэзии или то, что припято называть «душой художника», то это притягивало меня к себе, к какому бы направлению оно ни принадлежало. Требовалась еще и наличность мастерства. Всякий дилетантизм был мне особенно ненавистен. Отчасти оттого, что я в собственном творчестве, не без основания, усматривал значительную долю любительства, я был невысокого мнения о нем. Своими взглядами я постепенно заразил своих товарищей. В моей сравнительной зрелости и уверенности находилась и причина моего воздействия на них; я оказался в отношении их в роли какого-то ментора и вождя. Впоследствии и орган нашей группы «Мир искусства» получил определенное отражение именно моего «кредо» — иначе говоря, самого широкого, но отнюдь не холодного, рассудочного (и еще меньше — модного) эклектизма. Иногда такое всеприятие приводило меня к ошибкам, к увлечению чем-либо недостойным, или к отвержению явлений, неизмеримо более значительных, нежели то, чем в данный момент я увлекался. Но иначе не могло быть в двадцатилетнем юноше и, как-никак, «провинциале». Ведь художественный Петербург того времени представлял собой нечто во многом весьма отсталое...» (I, 517—518).

На протяжении своей долгой литературной деятельности Бенуа многократно излагал свои взгляды на искусство, разъяснял свои художественно-критические позиции. Но, пожалуй, нигде до этого он не определял с подобной ясностью сам тип художественного сознания, свойственный «мирискусникам» в то время, когда они вступали в самостоятельную жизнь, точнее говоря, когда они собирались это сделать. Пока Бенуа и его гимназические, а затем и университетские друзья (большинство членов его кружка, окончив гимназию Мая, поступили, по

довольпо распространенной тогда традиции, па юридический факультет петербургского университета) вели домашние разговоры в своем «Обществе самообразования», пока их внутреннее, духовное самоопределение не было сопряжено с их самоопределением внешним, в конкретной общественно-

культурной ситуации России тех лет, они, действительно, ощущали себя группою единомышленников, чьи интересы целиком погружены в мир искусства, в мыр красоты. Дело существенно изменилось с выходом кружка на общественную арену. Сменив свой статус «любителей» на положение людей, самым прямым образом причастных к художественной злобе дня, «мирискусники» логикой самой жизни включались в сложную художественную борьбу, что сопровождалось, кроме прочего, серьезной дифференциацией идейно-эстетических взглядов внутри самого кружка, Но все это произошло несколько позже, на самом рубеже 90-х и 1900-х годов.

Некоторые из только что приведенных формулировок Бенуа не лишены известной парадоксальности. Таковым, например, выглядит утверждение мемуариста о том, что уже в ту раннюю пору он и его друзья считали своим основным противником в искусстве дилетантизм — ведь, если говорить о действительности, впервые за всю вторую половину XIX в. представлять интересы искусства, судить о нем, формулировать эстетическую платформу готовила себя группа людей, не имевших профессиональной художественной подготовки и являвших собой любителей в самом точном смысле слова. И, вместе с тем, память Бенуа воспроизводит здесь отнюдь не только браваду самонадеянной молодости. В заявлении автора книги точно отражено очень характерное свойство творческой психологии переходного периода в истории русского искусства, времени кризиса многих прежних художественных представлений. С этой точки зрения под борьбой против дилетантизма разумелось в первую очередь стремлепие утвердить новую ориентацию в проблемах художественного творчества и, шире, в вопросах художественной культуры21. Правда, и на это стоит обратить внимание как на весьма любопытную черту русской художественной жизни 90-х годов XIX в., полемические намерения будущих «мирискусников» поначалу сильно превосходили их собственные творческие возможности, их действительный научный и критический багаж. В этом неоднократно и с полной откровенностью признавался сам Бепуа, иллюстрируя, например, многими фактами свою (и в еще гораздо

большей степени — своих друзей) слабую осведомленность в современном европейском искусстве. Но как бы то ни было, чувство необходимости серьезных перемен в искусстве было важной чертой общественного и творческого самосознания молодых членов петербургского кружка.

В связи с рассуждениями о «верности детству», о юных увлечениях миром искусства рождается еще одна очень важная тема, проходящая

21 В этом смысле не таким уже противоречием отмеченному суждению Бепуа выглядит казалось бы прямо противоположное свидетельство Д. В. Философова: ««Мир искусства» никогда не имел определенной программы, на это он и не претендовал... Это был культ *дилетантства* в хорошем, верном смысле этого слова. Всякий профессионализм был глубоко чужд «Миру искусства». Он преследовал задачи общекультурные, а потому не ограничивался областью чисто практических искусств, а интересовался и литературой, и философией, и музыкой» *{Философов Д.* Тоже тенденция,— Золотое руно, 1908, № 1, с. 71—72).

598*Г. Ю, Стернин*

затем через все части «Моих воспоминаний»,— тема театра, его роли в духовном становлении личности художника и его места в профессиональных занятиях Бенуа.

«Он самый театральный человек, какого я в жизни встречал», — напишет позже об Александре Бенуа близко его знавший Игорь Грабарь 22. Особую «театральность» художника не раз отмечали и другие его современники, имея в виду и его работу для сцены, и его многочисленные статьи о спектаклях, и просто свойства его таланта. В тех главах книги, где речь идет уже о 1900-х годах, сам Бенуа подробно рассказывает о театре как о постоянном месте приложения творческих сил «мирискусников». Что же касается первых частей мемуаров, то в них театральная тема раскрывается в существенно ином значении.

О своей «театромании», проявившейся с первых же детских посещений театра, а потом, в гимназические годы, превратившейся в подлинную страсть, мемуарист повествует как о глубоко интимном и вместе с тем всеохватывающем чувстве. Ничто в этих главах так точно не фиксируется памятью мемуариста, как даты его встреч с миром сцены, с магией музыки, со зрелищем актерского лицедейства. Встречи эти — цепь событий, пробуждавших в юноше художника, мечтателя, человека. Так, например, в течение всего лишь одного, 1890 года, Бенуа знакомится с двумя спектаклями, перевернувшими, как он пишет, все его представления о русской музыке и, более того, побудившими размышлять о самых существенных законах

искусства,— со «Спящей красавицей» Чайковского и его же «Пиковой дамой». Благодаря театральным впечатлениям романтическое мироощущение юноши оформляется, кристаллизуется в определенный тип художественного сознания — вот что, в сущности, старается подчеркнуть мемуарист на этих страницах. В «Спящей красавице» он увидел «подлинную гофмановщину». «Кроме того,— делится он здесь же с читателем, — «Спящей» присуща еще одна черта (ее же я нахожу в «Пиковой даме» и в «Щелкунчике»), это то, что когда-то было нами окрещено уродливым словом «эиошистость» и что, не найдя другого выражения, мы затем называли не менее уродливым словом «пассеизм». Петр Ильич несомненно принадлежал к натурам, для которых прошлое-минувшее не окончательно и навсегда исчезло... этот дар расширяет рамки жизни... и самое «жало смерти» не представляется столь грозным» (I, 603). Еще более определенно роль театра в формировании художественного «символа веры» выступает в том месте, где Бенуа вспоминает о своих первых встречах с «Пиковой дамой». Приведем и это очень красноречивое высказывание: «Меня лично «Пиковая дама» буквально *свела с ума,* превратила на время в какого-то визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого. Именно с нее начался во мне уклон в сторону какого-то *культа* прошлого. Этот уклон отразился затем па всей художественной деятельности нашего содружества — в наших пов-

Грабаръ И. Моя жизнь. Автомонография. М., 1937, с. 159.

ременных изданиях — в «Мире искусства», в «Художественных сокровищах России», а позже и в «Старых годах» (I, 654).

«Пассеизм», «культ прошлого» — эти понятия в критическом обиходе начала века, когда речь заходила о «Мире искусства», часто приобретали почти терминологический, а иногда и слишком довлеющий себе смысл. Можно было бы, конечно, сразу же упрекнуть «мирискусников» в том, что, очень любя рассуждать о своем «культе прошлого», они сами создавали подчас довольно внешний (и, надо сказать, очень живучий) стереотип восприятия их творчества. Но об этом, вероятно, стоит говорить несколько позже, в связи с общей характеристикой эстетической платформы Бенуа и его друзей. Пока же заметим, что театром Бенуа увлекся задолго до того, когда он увидел «Спящую красавицу» и «Пиковую даму». Подробно рассказывает мемуарист о более ранних своих театральных восторгах, вызванных посещением популярных романтических балетов — «Жизели» Адана, «Дочери фараона»

Пуни, «Коппелии» Делиба.

Биографам Бенуа интересны признания автора в том, что именно с театральными впечатлениями самым прямым образом связаны первые рисовальные опыты художника, признания, в полной мере подтверждающиеся его сохранившимися ранними альбомными набросками23. Но гораздо существеннее в этих первых частях книги другое — духовный автопортрет молодого петербуржца, впитавшего в себя богатые художественные традиции семьи, испытавшего на себе преобразующее действие театра, человека мечтательного и вместе с тем очень энергичного, стоящего на пороге деятельной общественной и творческой жизни.

Не менее важен для понимания всего авторского замысла и рисуемый здесь групповой портрет друзей Бенуа, членов юношеского сообщества, и, разумея выше уже затронутую тему, moîkho было бы задаться следующим вопросом. Заключалась ли в столь ревниво охранявшейся «клановости» кружка оппозиция растущей демократизации художественного быта, желание противостоять все более множившимся формам вовлечения искусства в атмосферу социальной жизни? Или же в этом сказывалось совершенно иное — вполне естественное в рубежные периоды истории культуры усиленное внимание к «лабораторной», «кружковой» творческой работе, положительные примеры которой XIX век и в России и на Западе давал неоднократно.

Дать однозначный ответ на этот вопрос представляется невозможным. Сами «мирискусники» — и мемуары Бенуа служат тому лишним доказательством — склонны были всегда настаивать на втором. Некоторые их оппоненты в художественных спорах начала XX в. настойчиво упрекали их в первом — в стремлении отгородиться от многих коренных забот социально-культурного развития России. Сложность проблемы заключается в том, что для обеих этих точек зрения можно найти в реальной дейст-

Эткинд М. Указ. соч., с. 15.

вительности те или иные основания, хотя ни одна из них не выражает собою сущности «мирискуснического» движения, его истоков, его больших исторических заслуг и его некоторой ограниченности.

* * *

Работая над мемуарами, Бенуа, как свидетельствует книга, вспоминал не только безмятежную атмосферу детских и юношеских лет, он погружался также в обстановку напряженных споров и художественной борьбы в русской культуре рубежа веков. И главное здесь совсем не в том, что споры эти время от времени непосредственно входят в ткань повествования, становятся предметом специального внимания автора. Таких страниц в книге как раз сравнительно немного, гораздо меньше, чем этого можно было бы ожидать, памятуя о боевом критическом задоре молодого Бенуа, о его деятельном участии во многих громких событиях художественной жизни России конца XIX — начала XX вв. Тот накал острых полемических схваток, который был свойствен описываемой эпохе, оживает в мемуарах главным образом в другом — в подчеркнутой твердости эстетических взглядов и убеждений, лежащих в основе исходных позиций мемуариста. Для читателя эта твердость иногда смягчается лирическим тоном рассказчика, а в некоторых эпизодах — слегка ироничным отношением к былому. Порою же, наоборот, она выступает совершенно явно в нескрываемой категоричности суждений и оценок. Но в любом случае перед нами книга, насквозь проникнутая утверждением правоты того дела, которое отстаивал ее автор много десятилетий назад.

Среди характеристик, дававшихся современниками петербургскому кружку и лично Александру Бенуа, часто встречались два определения — «западничество» и «эстетизм». Эти понятия могли обретать оценочное значение и тогда чаще всего заключали в себе очевидный критический смысл. Могли они и просто констатировать отличительные черты художественной платформы «мирискусников». Среди пользовавшихся ими были и поклонники «Мира искусства» и его оппоненты, причем и те, и другие основывались не только на объективных свойствах этого художественного движения, но и на собственных признаниях членов кружка. Однако, по мере того как оба эти понятия стали все чаще и по разным поводам употребляться в печатной полемике и устных спорах, включаясь в широкий историко-культурный контекст идейно-художественной борьбы эпохи, они порою стали обнаруживать свою неадекватность тому содержанию, которое разумели «мирискусники», употребляя их в качестве автохарактеристики. В последующие годы подобное несоответствие не раз оказывалось причиной уже прямых недоразумений, когда, например, неоднократные признания Бенуа в своем западничестве совершенно безосновательно истолковывались как равнодушие идеолога «Мира искусства» к судьбам русской культуры. Все это

лишний раз подчеркивает необходимость серьезного анализа взглядов автора книги, его творческой деятельности. Особенно важным в оценке и дела и слов оказывается не-

обходимость строго придерживаться принципа историзма. «Мои воспоминания» значительно помогают такому постижению эпохи, учитывающему реальные факты и общественное самочувствие молодого Бенуа.

Рассказывая в книге о своих увлечениях Западом, его художественной культурой, мемуарист отчетливо фиксирует два их слоя, два уровня. Первый из них, достаточно поверхностный, связан с тем, что можно было бы назвать родом детской болезни петербургского кружка и его лидера. Это была сравнительно недолго продолжавшаяся приверженность не столько западному, сколько просто «заграничному», «иностранному». Здесь сказывалось, о чем не раз напоминает Бенуа, весьма еще слабое знание русской жизни, не говоря уже о духовной культуре России предшествующих десятилетий. Было и другое -— известная театрализация, желание некоторых членов кружка (кстати сказать, меньше всего — самого Бенуа) примерить на себя маску «западного декадента», чтобы пугать добропорядочного буржуа 2\

Этот вид пристрастия автор назвал в своей книге «фанатическим культом иностранного» и, имея в виду себя и жену, добавляет: «в нашем, часто слепом увлечении «заграничным» было много просто ребяческого и нелепого. Еще больше глупости было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того не заслуживающего. Мы просто не умели осознать и оценить то, что составляло самые устои нашего же жизненного счастья. Лишь постепенно однобокое отношение к своему стало меняться. Перевалив двадцатипятилетний возраст, мы даже пережили искреннее и прямо-таки бурное увлечение всем русским. Мы прозрели, и это прозрение освежило нас, обогатило нашу душу. Но «прозрев», мы не изменили и прежним детским идеалам. Мы не променяли одно на другое (что почти всегда служит обеднению), а, приобретая новое, присоединяя новый опыт к старому, мы обогащались, и надо прибавить, что это повое прекрасно укладывалось рядом со старым» (I, 425).

Этим желанием «присоединить новый опыт к старому», найти историко-культурную почву для их объединения и определялся второй, глубинный слой интересов Бенуа к Западу. Серьезность вопросов, возникавших в этом случае перед молодым художником, была тесно связана с остротою некоторых общих проблем, привлекавших тогда русскую общественную мысль и

ясно сказавшихся на духовной атмосфере эпохи.

24 На определенную склонпость молодых «мирискусников» к позе, к игре счел существенным указать и сам мемуарист: «Чего в нас наверняка не было, так это простоты. В этом и iie могу не покаяться, и делаю это с созвапием, что в позднейшие времена и тогда, когда последние следы юношеской блажи стерлись, мы все, и я в частности, все более и более стали опрощаться, «отвыкать от гримас и всяческого ломания» (II, 261).

Подобные же признания можно нередко обнаружить и в ранней переписке между членами кружка. И хочется подчеркнуть еще раз, что «Мои воспоминания» с их, можно сказать, программной искренностью, написаны в этом смысле в прямой полемике с некоторыми замашками молодости, хотя, как уже отмечалось выше, в отдельных случаях они дают себя зпать и в этом позднем труде.

Г. Ю. Стернин

Как и пятьдесят-шестьдесят лет до этого, в пору формирования нового, демократического этапа русского освободительного движения, в конце XIX в. многие политические споры приобретают характер полемики о национальном своеобразии социального уклада страны и общих закономерностях развития общества, о месте прошлого и будущего России в исторической судьбе других народов и об уроках, которые она может извлечь из исторического опыта европейских стран. Убедительным доказательством тому может служить борьба В. И. Ленина и других представителей марксистской мысли с поздненароднической теорией «русского социализма», с идеалистическими мелкобуржуазными взглядами, отстаивавшими национальную замкнутость и «особый» путь исторического развития России.

В сфере искусства все эти споры оказывали сильное влияние на общественное и творческое самосознание художников. Проблема взаимоотношений национальной духовной традиции и культурного опыта других стран нередко становилась, подчас в мистифицированном виде, основой эстетических систем и художественных концепций.

Александр Бенуа не был склонен вносить в проблему «Россия и Запад» (или, как ее иногда обостряли в художественных спорах, — «Восток и Запад») тот напряженный интеллектуализм, с которым подходили к ней, скажем, его современники-символисты, возводя ее в степень фило-софско-исторической формулы, обозначающей трагические коллизии эпохи. Его взгляд на нее был гораздо более конкретным и, главное, более

непосредственно художническим, смягчающим жесткость философских конструкций живым восприятием искусства. Далек был автор мемуаров и от того, чтобы, подобно символистам, считать провиденциальной миссией русской культуры быть местом борьбы двух противоположных стихий — «Востока» и «Запада». Однако все это ни в коем случае не означает, что проблема Запада имела в глазах Бенуа чисто эмпирический характер и не заключала в себе внутреннего, достаточно глубокого культурологического смысла. И его воспоминания, и его письма, и его критические статьи свидетельствуют, что часто встречающиеся там культурологические рассуждения отнюдь не были лишь малозначащими «заметками на полях», что они должны были показать читателю важность тех общих цепностных ориентиров, которые определяются историческими судьбами русской культуры, ее общественными потребностями, ее духовным содержанием.

Именно чувство патриотического долга перед русской культурой, ощущение своей глубокой сопричастности ее художественному опыту — вот, безусловно, та основная идейная и эмоциональная сфера, внутри которой раскрывается на страницах мемуаров многосторонний интерес Бенуа к Западу. И, пожалуй, лучше всего это сказывается в теме Петербурга, являющейся едва ли не основой драматургии всего писательского замысла. «К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу — как влюбленный к предмету своего обожания»,— заявляет автор с самого же начала (I, 15), и это свое намерение

полностью осуществляет. Тема северной столицы проходит через всю книгу, оборачиваясь поочередно двумя своими ипостасями. Самые проникновенные, самые интимные страницы мемуаров посвящены Бенуа описанию Петербурга и своего в нем существования. Но не менее выразительны те места, где мемуарист рассказывает о постоянном ощущении Петербурга в себе, в своих мыслях, чувствах, поступках.

Известно, что привязанность Бенуа к Петербургу дала на рубеже веков реальные плоды в его деятельности и как художника и как историка искусства. Достаточно, например, напомнить, что со статьями Бенуа современники не без основания связывали возрождение широкого общественного интереса к торжественной красоте классических архитектурных ансамблей города, возрождение пушкинской традиции его поэтического восприятия 25. Обо всем этом *в* дальнейшем понадобится еще кратко сказать. Возвращаясь к мемуарам, стоит обратить внимание на крайне

характерную в только что указанном смысле полемическую направленность их вступительных страниц. Начиная книгу с объяснения в любви Петербургу, с портрета самой «личности» (по слову Бенуа) своего родного города, мемуарист не довольствуется выражением своих восторгов и здесь же вступает в спор, за которым сразу вырисовывается сфера более общих проблем. Когда Бенуа пишет: «У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией, у этого «казарменного*, «безличного», «ничего в себе национального» не имеющего города, есть своя душа» (1, 16),— он иронизирует по поводу взглядов своих былых противников не только на архитектурный облик молодой столицы, но и, в известном смысле, на исторические судьбы художественной культуры послепетровской России. Именно на эту проблему ориентированы точно воспроизводимые автором доводы и определения его оппонентов.

«Испытание Петербургом» (если воспользоваться выражением современного исследователя русской литературы26) — чрезвычайно существенный момент в духовной биографии Бенуа, в его поисках путей идейного и творческого самоопределения. Кроме прочего, здесь имело значение и то обстоятельство, что в свойствах собственного сознания художника все время интриговал феномен, чем-то близкий «загадке» Петербурга: в обоих случаях автора интересовала трансформация западных, европейских начал (будь то семейная среда «Шуреньки» — этот,

25 Отмечая эти заслуги критика и историка искусства, современники обычно имели в виду в первую очередь статью Бенуа «Живописный Петербург», опубликованную в журнале «Мир искусства» в сопровождении большого количества архитектурных снимков и «петербургской» графики А. П. Остроумовой-Лебедевой, К. Е. Лансере, О. Э. Браза (Мир искусства, 19U2, т. VII). Статья эта находилась в ряду многих других критических выступлении Бенуа и его научных публикаций на ту же тему.

îе *Долгополое Л.* На рубеже веков. Л., 1977, с. 190. Упомянутое выражение употреблено автором в главе (ее название: «Миф о Петербурге и его преобразование в начале века»), интересно раскрывающей принципиальный идеологический и художественный смысл темы Петербурга в русской литературе начала столетия.

по словам Бенуа, «своеобразный космополитический клан» 27, или же заграничное происхождение многих строителей Петербурга) в объект и субъект национальной русской культуры. А ощущение своей причастности художественному движению

России и, более того, своей активной роли в этом движении всегда оставалось одной из определяющих черт общественной и творческой психологии Бенуа.

Обращая внимание на особую чувствительность Бенуа к этой теме, следует иметь в виду и другое. По мере того, как на берегах Невы разворачивало свою деятельность новое художественное объединение — «Мир искусства», не раз подчеркивавшее свою генетическую связь со столицей, тема Петербурга обретала еще один, самый прямой выход в современные творческие проблемы, и это еще более усиливало ее историко-культурный аспект. В художественных спорах рубежа веков назвать того или иного графика или живописца «петербуржцем» означало дать ему совершенно определенную характеристику, указать на его принадлежность «мирискусническому» лагерю и тем самым противопоставить его представителям «московской школы» — понятие в критическом обиходе тех лет тоже вполне устойчивое в своем нарицательном смысле. Правда, «Мир искусства» в более узком смысле, как выставочная организация с конкретным составом своих членов и экспонентов, был многим обязан, особенно в раннюю свою пору, как раз московским художникам. Именно они — К. Коровин, Левитан, Серов, Врубель и некоторые другие — задавали тон на первых экспозициях, устроенных Дягилевым. Кстати сказать, Бенуа полностью отдавал себе отчет в этом обстоятельстве, и как о событии первостепенной важности он пишет в мемуарах о своем «открытии» москвичей, последовавшем в 1896 г. и оказавшем большое влияпие на объединительные намерения «мирискуснических» лидеров. И тем не менее, основываясь на ситуации, сложившейся в русской культуре на самом исходе прошлого столетия, а затем, несколько позже, опираясь на факты художественной жизни второй половины 1000-х годов, критическая мысль настойчиво проводила рубеж между «Москвой» и «Петербургом».

Возникнув в сфере романтических настроений 30—40-х годов прошлого столетия (достаточно вспомнить статьи Гоголя, Герцена и Белинского), тема «Москва и Петербург» сразу выявила свою внутреннюю оппозицию отвлеченному толкованию общественных вопросов, нормативной трактовке социальных конфликтов. В контексте тогдашней идейной борьбы и литературных споров подчеркнутая поляризация Москвы и Петербурга отражала, кроме всего прочего, большой интерес деятелей

«Александр Бенуа размышляет...», с. 564. Впрочем, в западнических привязанностях семейноге «кланам Петербург тоже занимал одно из первых мест. «Петровским Петербургом» был пропитан весь дом Бенуа.— вспомипал позже Д. В.

Философов, член юношеского кружка,— и не случайна страстная любовь Александра Бенуа к Потру, к Монплезиру, русскому XVIII веку. К эпохе скрещивания России с Европой. Ее грубой здоровой непосредственности и холодной утонченности» *(Философов Д, В.* Записки.— Отдел рукописей *ИРЛИ,* ф. 102, ед. хр. 188, л. 76 об.).

культуры к познанию тех внутренних противоречий, которые существовали в национальных путях развития России и ее духовной жизни.

В годы, о которых пишет Бенуа, эти искания вновь стали важным фактом общественного самосознания эпохи. Нередко утрачивая свою прежнюю историческую основательность и как бы раздваиваясь на фи-лософско-социологические концепции, с одной стороны, и культурно-бытовые наблюдения — с другой, тема «Москва и Петербург» опять оказалась в центре полемических схваток. Свойственные многим людям конца XIX — начала XX вв. увлечения культурными ретроспекциями усиливали интерес к отмеченной проблеме, и там, где современная жизнь давала недостаточно аргументов, настойчиво пускались в ход исторические доказательства.

Чрезвычайно остро ощущавшаяся и переживавшаяся искусством того времени тема рубежа делала его творцов вдвойне восприимчивыми ко всякого рода внешним приметам действительности. Непосредственные впечатления от повседневной житейской среды (в том числе и от бытовавших в этой среде произведений искусства) никогда не играли такой трансформирующей роли в творческом сознании художника, как в те годы, становясь основой и романтического гротеска и философско-лири-ческих обобщений. Эти свойства художественного сознания, хорошо известные нам и по самой поэтике искусства и по многочисленным свидетельствам современников, еще более, конечно, усугубляли в сфере культуры то противопоставление Москвы Петербургу или Петербурга Москве, которое часто встречалось тогда в общественной полемике и творческих спорах. Бенуа был одним из первых среди тех, для кого разносторонняя характеристика русского искусства, выявление его духовного смысла было тесно связано с обозначением этой границы. Конкретные события художественной жизни той поры, деятельным участником которых мемуарист неизменно становился, придавали его позиции и вполне целенаправленный практический смысл.

В 1909 г. Бенуа публикует специальную статью—«Москва и Петербург», в которой подводит некоторые итоги своим частым размышлениям на эту тему28. В ней он, в частности, писал:

«Москва богаче нас жизненными силами, она мощнее, она красочнее, она будет всегда доставлять русскому искусству лучшие таланты, она способна сложить особые, чисто русские характеры, дать раскинуться до чрезвычайных пределов смелости русской мысли. Но Москве чужд дух дисциплины, и опасно, вредно оставаться в Москве развернувшемуся дарованию.

...Петербург угрюм, молчалив, сдержан и корректен. Он располагает к крайней индивидуализации, к выработке чрезвычайного самоопределения, и в то же время (в особенности в сопоставлении с Москвой) в нем живет какой-то европеизм, какое-то тяготение к общественности. Москва одарена яркостью и самобытностью, она заносчива и несправедлива,

28 *Бенуа Александр.* Художественные письма. Москва и Петербург.— Речь, 1909, 22 апреля.

предприимчива и коварна. Петербург одарен методичностью и духом правосудия; он скромен, с достоинством, он уважает чужое мнение, он старается примирить стороны...

Я люблю Петербург именно за то, что чувствую в нем, в его почве, в его воздухе какую-то большую строгую силу, великую предопределенность».

Верный себе, Бенуа и здесь выводил эту тему за пределы художественных вопросов: по мнению автора, желание Петербурга «примирять стороны» сказалось в его особой роли в русской истории — «служить ей уздой или рулем». Верный себе, он явно хотел провести параллель между этим историческим предназначением Петербурга и миссией «Мира искусства» в русских художественных делах. Кроме всего, это был прямой отклик на злобу дня. За четыре года до этого «Мир искусства» прекратил существование в качестве самостоятельной выставочной группировки со своим жюри, со своей эстетической платформой, и его участники, объединившись с молодыми московскими живописцами, образовали «Союз русских художников». Однако возникновение этой новой организации никак не повлияло на представление бывших «мирискусников» о своей особой роли в художественном развитии России начала XX в. и никак не уменьшило их стремления к автономии. И, мечтая о возрождении «Мира искусства» (таковое произошло, хотя и в значительной мере формально, в 1910 г.), Бенуа очень рассчитывал на его сдерживающую роль в начинавшихся шумных манифестациях «левой» художественной молодежи.

В самих мемуарах читатель не найдет подобной формы изъяснения авторской позиции, открытые сопоставления «их» и «нас», Москвы и Петербурга вынесены в книге за скобки. «Мои

воспоминания» пронизывает чувство *безотносительной* благодарности автора своему родпому городу, его *безотносительное* и гордое ощущение себя «продуктом типичной петербургской культуры» (I, 649).

В теме Петербурга идеи Бенуа обретают характер утверждения того европеизма, который к тому времени стал уже двухвековой русской художественной традицией, стал, иными словами, ее важнейшей ппоста-стью. Однако на некоторых страницах книги западничество ее автора выступает в совершенно ином обличье — в виде прямой полемики против того, что происходило тогда в художественной жизни России. Одно рассуждение мемуариста в этом смысле представляется особенно показательным: «...если в музыке и в литературе русские люди шли тогда нога в ногу с тем, что создавалось на Западе, если иногда они оказывались и далеко впереди, то в пластических художествах русское общество в целом плелось до такой степени позади, что и наиболее свежим элементам стоило особых усилий догнать хотя бы арьергард европейского художества» (I, 648).

Не стоит здесь подробно выяснять меру исторической истинности подобного утверждения. Его легко оспорить, причем с самых разных сторон. Имея в виду, что речь у Бенуа идет о конце 80-х — начале 90-х

годов XIX в., нетрудно вспомнить, например, что в это время создавали свои крупнейшие работы Суриков и Репин, что в те же годы уже вполне заявили о себе Левитан и Серов. Современники по-разному устанавливали соотношение между свойствами этих завоеваний русского изобразительного искусства и достижениями (но никак не «арьергардом») западноевропейской живописи (особенно интересовало сопоставление с французским импрессионизмом, причем разные точки зрения на этот счет выявлялись даже среди единомышленников, скажем, представителей передвижничества). Однако юный Бенуа вообще не мог судить об этой соотносительной ценности, так как, по его многочисленным позднейшим признаниям, тех же импрессионистов он тогда еще попросту не знал. Приведенное категорическое суждение мемуариста не вполне соответствует и его собственным взглядам тех лет па русские «пластические художества» — когда, напомним, в 1893 г. он написал для известной «Истории живописи в XIX веке» Рихарда Мутера главу о русской живописи (см. I, с. 685— 690), он ее кончал на достаточно мажорной, оптимистической ноте 29.

Но считать эту оценку изобразительного искусства России простой аберрацией памяти мемуариста или, тем более, сознательным искажением своих прежних позиций было бы тоже неверно. В своей общей, точнее сказать, декларативной форме этот приговор вполне отвечает тем оппозиционным настроениям, с которыми входили в русскую художественную жизнь Бенуа и его друзья, намереваясь возглавить новое направление в искусстве. Ссылка на «европейское художество» имела в виду в этом смысле прежде всего утверждение необходимости обновить и расширить национальную художественную традицию, ее историко-культурный контекст.

Выше приходилось отмечать, что, описывая свои детские годы, автор уже там определенно акцентирует романтические черты своего складывающегося взгляда на мир. Сейчас это наблюдение можно несколько развить. Сам тип художественного мировоззрения Бенуа в том его виде, в каком он складывается из перечисляемых в книге творческих интересов и художественных симпатий, бесспорно ставит мемуариста в ряд тех деятелей искусства его поколения (или на 8—10 лет старше или моложе), которые представляли в русской художественной культуре конца

XIX в. романтические тенденции. Сложное, подчас весьма эклектическое сочетание этих разнообразных увлечений достаточно точно отражало противоречивый характер самих романтических тенденций, в которых желание служить «чистой» красоте могло соседствовать с не менее настойчивым стремлением всячески «идеологизировать» искусство, ввести его в сферу более широких духовных и материальных интересов общественной жизни. Кстати сказать, последнее многое объясняет не только в творчестве, но и в иных профессиональных занятиях Бенуа, с годами приобретавших все более активную общественную направленность.

29 Этой работе, при всей ее очевидной незрелости и даже наивности, Бенуа придавал большое значение как первому выходу на арену общественной деятельности. Недаром он так подробно пишет в книге об этом эпизоде своей биографии.

0

608*F· Ю- Стерпин*

«Я был влюблен в романтику специфически германского типа»,— вспоминает художник про свои юпые годы (I, 577). Это попутное замечание не стоит истолковывать слишком расширительно, но назвать, вслед за Бенуа, некоторые факты, его подтверждающие,— существенно. Прежде всего зто — Вагнер. Не развивая подробно «вагнеровской» темы, мемуарист вместе с тем не раз возвращается к ней и, выбирая сильные эпитеты, пишет про «бешеный (или буйный) период своего увлечения Вагнером» (I, 594) и резюмирует: «Запоздалое мое знакомство с Вагнером в 1889 г. совершепно переработало мой музыкальный вкус» (I, 596) 30. Захваченный непосредственно музыкальной стороной вагнеров-ских спектаклей, Бенуа, по-видимому, не очень разделял энтузиазм некоторых своих коллег (особенно, среди «младших» символистов) по поводу философско-эстетических основ вагперианства ", но заключенная в нем идея синтетического искусства вполне отвечала романтическим устремлениям молодых петербуржцев.

Другим предметом почитания мемуариста, почитания, еще более страстного и постоянного, чуть ли не с детских лет стал Гофман. К романтическим образам гофмановских произведений Бенуа влекли самые сокровенные стороны его духовных интересов, его формирующегося художественного кредо. «Эта смесь странной правды и убедительного вымысла всегда особенно меня притягивала и в то же время пугала»,— отметит позже художник, характеризуя «фаптастический жутко-сладостный мир» своего «любимого писателя» (I, 602). Среди ранних графических работ Бенуа — несколько попыток иллюстрировать гофмаповские

рассказы. К этому хочется добавить, пожалуй, главное: та же «смесь странной правды и убедительного вымысла», но только окрашенная мировосприятием человека рубежа XIX п XX вв., явится примечатель-нейшей чертой творчества самих «мирискусников» — от Добужинского до Бакста, и, конечно, именно потому культ Гофмана в их среде оказался очень глубоким и органичным.

Сложнее обстояло дело с ранними привязанностями автора в области изобразительного искусства. Некоторые из них тоже имели прямое касательство к «романтике специфически германского типа». Тому много способствовали факты биографии мемуариста — «заграницу» он открывал для себя через Германию, и прежде всего именно с нею, с ее городами и музеями были связаны первые зарубежные впечатления юного путешественника. Но как раз в сфере пластических художеств вкусы молодого Бенуа оказались в гораздо большей мере подчинены моде, своего рода массовому гипнозу, хотя и, нужно признать, источник этого внушения

Увлечение Вагнером нашло п совершенно конкретный отклик в творчестве Бенуа: в 1902 г. он оформляет оперу Вагнера «Гибель богов» в постановке Мариинского театра.

Интересные и важные мысли по поводу судьбы вагнеровского наследия в русской художественной культуре конца XIX — начала XX вв. содержатся в работе: *Лосев А.* Проблема Рихарда Вагнера в прошлом и настоящем.-—В кн.: Вопросы эстетики. М., 1968, вып. 8.

*«Мои воспоминания» Александра Бенуа*600

подчас обладал достаточно серьезной силой воздействия. Речь идет прежде всего о картинах знаменитого швейцарца Арнольда Беклина, пользовавшихся необычайной популярностью в самых различпых слоях «образованной публики» 32 и привлекавших к себе внимание не только художников. но и представителей иных видов искусства. «Что же касается нашего другого культа — Беклина,— пишет по этому поводу автор,— то ныне никак нельзя себе представить, какое *ошеломляющее* действие в свое время производили его картины... С тех пор искусство Беклина удивительно устарело, оно как-то выдохлось, испошлилось именно благодаря тому успеху, который оно имело во всех слоях общества и не только в Германии» (I, 674).

И если говорить о тех художественных симпатиях Бенуа и его друзей. которые оказались наиболее переменчивыми, наиболее подверженными критическому пересмотру в последующие годы, то к ним надо как раз причислить прежде всего немецкое изобразительное искусство второй половины XIX в. Разумеется,

это ни в коем случае не значит, что среди немецких художников той поры не было таких, к которым «мирискусники)) (и Бенуа в их числе) не испытывали бы стойкой, временем не ко-лебпмой привязанности. Назовем прежде всего Адольфа Менцеля — в очень заинтересованном внимании к его живописи, к его известным графическим циклам сошлись тогда и Стасов, и кружок петербургской молодежи. Относительно долгое время существовали и другие, уже чисто «мирискуснические» кумиры, меньшие по масштабу, но отвечавшие своими исканиями художественным интересам Бенуа и некоторых его сподвижников. Таковыми были, например, два известных мюнхенских графика — Юлиус Диц и Томас Теодор Гейне, часто воспроизводившиеся на страницах «Мира искусства» вместе с посвященными им хвалебными комментариями. Кстати сказать, дело не ограничивалось словесными откликами: интерес именно к этому типу искусства подчас рождал в творчестве молодых петербургских мастеров черты, родственные немецкому «югендстилю». И однако же. когда на самом рубеже веков многие деятели искусства начинают все больше отдавать предпочтение завоеваниям французской живописи (знакомству с нею сильно способст-' вовала Всемирная выставка в Париже 1900 г.), «мирискусники» не остались в стороне от этой заметной переориентации вкусов русской художественной молодежи. В одном из последних номеров своего журнала, в статье И. Грабаря, они публично отреклись от того, что здесь было названо «гермащциной» и что было противопоставлено подлинным ценностям немецкой изобразительной классики 33.

32В особенности это относится к самому известному в то время беклиновскому по

лотну «Остров мертвыхˆ). «Кто не помнит засилья «Острова мертвых» в гостиных

каждого врача и присяжного поверенного и даже над кроватью каждой курсистˆ

ки»,— писал один из младших современников Бенуа, характеризуя культурный

быт начала XX века *{Тугендхольд Я. А.* Художественная культура Запада, М., 1928,

с. 65),

33*Грабарь Игорь.* По европейским выставкам.— «Мир искусства», 1904, № 7, хро

ника. Позже Грабарь вспоминал: «Прежде всего Париж повалил в а£оих глазах

Судьба определила особое отношение Бенуа к Франции. «Французская тема» обрамляет его воспоминания. Уже немолодой художник (в книге точно указывается время—«июньский вечер 1934 года»), оказавшись вдали от Родины, глядит из открытого окна па «милую (почти родную) Сену» (I, 13) и с нежным чувством вспоминает Петербург — с такой лирической и грустной ноты начинает мемуарист свой рассказ о себе, о своих близких, о друзьях далеких юных лет, о городе, где прошла лучшая пора его жизни. В последних главах мемуаров вновь заходит речь о французской столице, на этот раз — о Париже начала XX в., признанном центре европейской художественной жизни 1900-х годов, 'где в то время триумфально проходят знаменитые «Русские сезо-. ны» — предмет гордости Бенуа и один из важных итогов творческой и общественно-художественной деятельности бывших «мирискусников».

Между этими главами в книге находится много других очень выразительных страниц, посвященных Франции. Художественный быт Парижа, природа и люди Бретани, Версаль, многовековая традиция французской духовной культуры и пластических искусств, в особенности,— вот лишь несколько ведущих мотивов книги, вызванных впечатлениями Бенуа от своих частых поездок во Францию. При характеристике художественных позиций мемуариста стоит обратить внимание и на существенное различие между ролями, которые играли в их формировании его немецкие увлечения, с одной стороны, и французские — с другой, ибо в этом различии крылась важная особенность общей ориентации Бенуа в современной ему художественной культуре. В известном смысле оно помогает лучше понять некоторые черты и самого «мирискуснического» творчества. То, о чем вспоминает автор в книге, представляется интересным дополнить здесь рядом иных его высказываний.

Говоря очень кратко, это была разница между фактом самопознания молодого Бенуа и процессом развития его художественной личности. Недаром мир гофмановских образов постоянно переплетается в сознании мемуариста с его ранними театральными впечатлениями — ив том, и в другом случае радость художественных открытий юноши означала для него прежде всего обретение пути творческого самоопределения. Это был восторг перед искусством, открывшим художнику глаза на его собственные душевные порывы, на его приверженность романтическим стремлениям. По-иному входила в мир Бенуа французская художественная культура. Некоторые ее стороны оказались автору книги очень

Франца Штука и даже Ленбаха, двух художников,

возведенных в Мюнхене до степени гениев. С ними полетел и весь Сецессион, с его стариками и молодежью» *(Грабарь И.* Моя жизнь. Автомоиография. М., 1937, с. 130). О той же смене художественны:; симпатий писал через много лет и М. В, Добужинский, сам непосредственный участник петербургского кружка. Вспоминая о своей поездке в Париж в 19Ü1 г., он специально отмечал: «Теперь, после Парижа, все мюнхенское (и вообще немецкое) современное искусство мне представилось тяжелым, надуманным» *(Добужинский М. В.* Воспоминания, Нью-Йорк, 1976, т. 1, с. 254).

близкими, «почти родными», но ее постижение всегда было **фактом освоения,** пусть глубокого и органичного, нового духовного опыта.

Правда, рассматривая эту проблему, приходится считаться с тем, что довольно распространенное в свое время критическое мнение, превратившееся затем в стойкую историографическую традицию, видело во французских увлечениях Бенуа не только всепоглощающую художническую страсть, но и гораздо более общее свойство его мировоззренческой позиции. Причиной тому было главным образом постоянное возвращение художника в своих многочисленных гуашах, акварелях и литографиях к «версальской» теме. Вот один из таких вполне типичных взглядов современника: «Александр Бенуа — художник Версаля. Это говорилось столько раз, что настаивать было бы излишне... Тут вопрос не в самих картинах, а в идеологии, породившей это художественное пристрастие. Бенуа, живописец Версаля, может быть и не значительнее, как живописец, чем Бенуа, пишущий итальянские озера или Петергоф, или Крымское побережье. Главное тут не живопись, а мечта.

Версальская греза обнаружила как бы древнюю душу Бенуа, совершенно не похожую на несколько наивные души огромного большинства русских художников. ...Русский духовным обликом своим, страстной привязанностью к России, всем проникновением в русские идеалы и русскую красоту, Бенуа в то же время не то, что далек от исконной, древней, народной России,— напротив, он доказал, что умеет ценить и своеобразие ее художественного склада и размах чисто национальных порывов сердца и мысли,— не то, что он обрусевший чужак, отравленный своим европейским первородством, но все же смотрит-то он на Россию «оттуда», из прекрасного далека, и любит в ней «странной любовью» отражения чужеземные и бытовые курьезы послепетровских веков»34. В итоге творчество Бенуа критик определял как

«художественное латинство».

Но уже в раннюю пору, в середине 1900-х годов, по поводу «версальских» увлечений художника существовали и прямо противоположные и не менее категоричные суждения. Обращаясь к Бенуа и убеждая его скорее вернуться из Франции на родину, Бакст, например, писал в январе 1908 г.: «...не устану звать тебя скорее сюда; не потому, что ты сейчас здесь необходим, но Россия *тебе* необходима, как теплый свет. Поверь мне, дорогой друг, что я лучше тебя вижу тебя, художника, и мечу метко, если решаюсь прямо сказать тебе, что эта «заграница», Версаль, Людовик и rococo французские тебе чужды. Ты полюбил их с детства, не видя их, и не по-французски, а по-русски, по-нашему, скурильному... По 18 век — ты его действительно любишь и он действительно тебе сродни... Это чертовски знаменательно, что курьезную, нелепую (и шармант-ную) российскую заграницу ты полюбил чистосердечно...» 3\

84 *Маковский Сергей,* Силуэты русских художников. Прага, 1922, с. 90—91, *5 Секция рукописей *ГРМ,* ф. 137 (Александра Бенуа), ед. хр. 671, л. 20.

20*

612- **Г. Ю. Стернин*

В мемуарах Бенуа мы не найдем ни спора, ни изъявления солидарности с подобными взглядами современников, ни вообще упоминания о них, хотя из их столкновения автор мог бы, если захотел, извлечь немало поучительного для характеристики художественной жизни эпохи. Можно было бы, например, отметить, как в годы первой русской революции (а именно к ним относится только что процитированное письмо Бакста), когда вопрос о причастности деятелей искусства историческим судьбам России стал занимать особое место в общественном и национальном самосознании художников, в среде «мирискусников» выявилось явное желание заново и гораздо строже взглянуть на проблему западничества/стремление отграничить свою расхожую репутацию от глубинного слоя своих творческих интересов. Но, повторим, в книге проблема эта сознательно взята вне своего полемического контекста как сквозная автобиографическая тема, логика развития которой целиком и полностью определяется общим процессом духовного формирования личности мемуариста.

Первое знакомство петербургского «Общества самообразования» с французской художественной культурой носило определенно выраженную «литературоцентристскую» направленность. И Бенуа, н некоторые другие члены кружка свидетельствуют, что главным предметом почитания был здесь

Золя. «Вся наша дружеская компания,— вспоминает автор,— разделяла мой восторг от Золя и надо признать, что он нас познакомил с великим множеством вещей и обстоятельств... Нам импонировал и самый принцип творчества Золя, его проповедь натурализма и ничем не прикрытой правды» (I, 874). По-видимому, именно через Золя, точнее говоря, через его, роман «L'Oeuvre», одним из прототипов которого был, как известно, Эдуард Мане, молодые петербуржцы кроме всего получали первое представление о борьбе, которую передовая живопись Франции 60-х — 80-х годов прошлого века вела против рутины официального академизма 36.

Входивший одно время в кружок парижанин Шарль Бирле, сотрудник французского консульства в Петербурге, посвятил Бенуа и его друзей в поэзию Бодлера, Малларме, Рембо, Верлена и вместе с нею в те явления художественной жизни Парижа, которые были связаны с символизмом. Имевшие у себя на родине репутацию декадентов, поэты эти привлекали к себе некоторую часть русской художественной молодежи конца века еще и тем, что своею приверженностью к ним она старалась подчеркнуть собственную «эпатирующую» роль в обществе. Сами «мирискусники» тоже не избежали обвинений в декадентстве. Иногда, особенно в раннюю пору, они даже несколько бравировали этим своим прозвищем. Стоит, однако, тут же отметить, что подобная их слава имела в глазах

Д. В. Философов свидетельствует по этому поводу: «Влюбленные в «L'Oeuvre» Zola, в сборник его статен «Mes haines», мы с радостью увидели у Мутера утверждение дорогого нам Мане, оценку импрессионизма» *{Философов Д. В.* Записки.— Отдел рукописей *ИРЛИ,* ф. 102, ед. хр. 188, л. 70 об.).

«Мои воспоминания» Александра Бенуа

613

их критиков иную генеалогию, не очень связанную с французским символизмом, что в общем-то отвечало истине.

Летом 1896 г. Бенуа впервые попадает в Париж, и именно лишь тогда он начинает серьезно знакомиться с художественной Францией.

Среди покаянных высказываний Бенуа-критика и Бенуа-историка два звучат в его книгах и статьях, пожалуй, наиболее настойчиво. Одно из них — это недооценка врубелевских произведений при первой с ними встрече. Другое — это запоздалое знакомство с современной ему французской живописью. О последнем можно не раз прочесть на страницах воспоминаний.

Мемуарист не только констатирует этот факт, но и подробно

повествует о том, как он постепенно осваивался с художественной жизнью Парижа, как он настойчиво стремился наверстать упущенное, усиленно посещая мастерские живописцев и лавки маршанов. Пересказывать здесь эти разделы мемуаров нет необходимости. Однако один пункт хочется отметить, ибо он многое проясняет и в творческой платформе «мирискусников», и в логике поведения самого Бенуа.

Автор книги свидетельствует: изучая на месте французскую живопись, он составил себе достаточно полное представление о классиках импрессионизма и о гораздо более молодом поколении мастеров, своих ровесниках — художниках, входивших в так называемую группу «наби» (Дени, Боннар, Вюйар и другие) и служивших на рубеже веков предметом пристального внимания «мирискусников». Тем самым, подчеркивает Бенуа, он знакомился с французской художественной культурой, «как бы минуя одно звено в эволюции современного искусства» (II, 152). Назовем вслед за автором это «звено»: Сезанн, Гоген, Ван Гог. Об этом явном упущении, вызванном, кстати, чисто внешними причинами (в самой Франции конца прошлого века картины и Сезанна, и Гогена^ и Ван Гога были известны лишь узкому кругу ценителей живописи), можно было бы не упоминать, если бы отношение Бенуа именно к этим крупнейшим представителям постимпрессионизма не имело своей истории, с необычайной ясностью очертившей строгие пределы и историко-культурную ориентацию его «западничества».

Кульминационным моментом этой истории оказалась середина 1900-х годов, и ее подоплека была совершенно ясна. Дело касалось усилившегося влияния названных мастеров (к ним надо добавить еще и более молодого Матисса) на европейский художественный процесс и, в частности, на творческие искания русской художественной молодежи. Определяя свое отношение к заново «открытым» и приобретавшим мщювую известность французским живописцам, Бенуа имел в виду прежде4 всего как раз эту сторону проблемы. В нем говорил не столько изощренный знаток и ценитель искусства, сколько идеолог целого направления в русской художественной культуре рубежа веков, считавший необходимым отстаивать его принципы. Когда-то прилагавший много усилий для того, чтобы познакомить зрителей Петербурга с зарубежным творчеством, критик склонен теперь упрекать молодое поколение — надо сказать, под-

час совсем несправедливо — в «провинциальной погоне» «за последним парижским словом» ".

Знаменательный спор на ту же тему произошел у Бенуа *с* Грабарем, близко сошедшимся за несколько лет до того с «мирискусническим» сообществом. Спор продолжался довольно долго и касался в основном все тех же трех фигур: Сезанна, Гогена и Ван Гога. Грабарь ни минуты не сомневался в большой художественной весомости их произведений и в одном из писем 1905 г. подчеркивал, что «у Гогена и особенно у Ван Гога есть прямо гениальные черты» 3\

Бенуа поначалу решительно не соглашался с такой позицией и не скрывал, что его при этом в первую очередь беспокоят судьбы русского искусства. В одном из ответных писем он утверждал: «...если мы люди 1890-х годов (как раз это вздор, ибо перед Аполлоном никаких 1890-х годов нет),— мы все равно не станем людьми общей культуры—грубой и нелепой. Нам нужно поставить это в программу: *быть самими собой до конца,* не уступать ни пяди какой-либо ереси, хотя бы самоновейшей.., принимать за формулу новаторства, поступать в стадо ослов, кадящих идолам: Сезанну и Редону, я считаю недостойным и себя, и всех моих друзей. Напротив того, нам нужно помнить о нашей священной художественной культурной миссии и с ее точки зрения одинаково вооружаться как против ˆгрубости Вл. Маковского, так и против сугубой грубости доморощенных редончиков и сезаинчиков» 39.

О «священной художественной культурной миссии» искусства в России Бенуа в те годы заявлял не раз и в не менее торжественной форме. Повествуя в книге о своей усиленной общественно-культурной деятельности в 1900-е годы, мемуарист, по сути дела, рассказывает о тех практических шагах, которые были вызваны именно этими его убеждениями. Но в данном случае хочется обратить внимание на другое. Важно отметить, что эта задача толкуется здесь критиком в виде решительной альтернативы интересу и симпатиям к современной зарубежной живописи. Такая альтернатива связывала художественное самосознание Бенуа с комплексом совершенно определенных утопических взглядов — как эстетических, так и социальных. Что дело было именно в этом, убедительно доказывает завершение спора. А оно оказалось весьма красноречивым. Отстаивая свою точку зрения, Грабарь вновь подчеркивал: «Нам теперь многое кажется ерундой, какой-то современной кашей. Но уж если на то пошло, то Мане, Гогены и Ван Гоги — совершенно понятны в дни бетона, железа, радия и кабелей. Все это одно и то же, и Беклин, Коро и Ватто совершенно этому времени не пристали. Ты скажешь, что

37 *Бенуа Александр.* Художественные письма. Еще раз о

«Салоне».— Речь, 1909,

И февраля. *• *Грабарь Игорь.* Письма. 1891—1917. Редакторы-составители, авторы введения

и комментариев Л. В, Андреева, Т. П. Каждан. М» 1974, с. 171. В комментариях

к изданию публикуются пространные выдержки из многих «встречных» писем,

в том числе цитируемых ниже писем Александра Бенуа. 39 Отдел рукописей *ГТГ,* ф. 106/2150, лл. 3 и 3 об.

«Мои воспоминания» Александра Бенуа

бетон и кабель — отчаянная проза. А черт его знает, проза это, или нет. Все это, во всяком случае, *стиль,* несомненнейший, цельный, гигантский стиль, как бы бесстильным наше время ни казалось» 60. Ответ Бенуа последовал очень быстро: «...с твоим восхвалением бетона и кабелей согласиться не могу. ...Когда видишь, как буржуа поганят красивейшие местности мира (здесь в Бретани) своими погаными виллами (с бетонными усовершенствованиями) и ломают драгоценнейшие и священнейшие скалы для того, чтобы строить отели и казино, то ни минуты нельзя оставаться в сомнении, что все на ложной дороге. Никому никакого дела до красоты нет...» ".

Эта инвектива против современной западной цивилизации легко вписывается в романтическую традицию русской художественной мысли, традицию, восходящую еще к первой половине XIX столетия и основанную в конечном счете на решительном неприятии буржуазного прогресса. Разумеется, и это стоит всячески подчеркнуть, Бенуа никогда и ни с какой точки зрения не рассматривал в одном ряду «поганые виллы», с одной стороны, и картины Сезанна, Ван Гога или Гогена — с другой: в своих статьях, особенно более позднего времени, он высказал немало уважительных слов о творчестве последних, хотя и до конца дней своих но разделял панегирического к ним отношения. Несомненно, однако, и то, что европеизм Бенуа, его «западничество» вступали здесь в сложный внутренний конфликт с его же понятием красоты, с его культурологической моделью, с его представлениями о целях и задачах современной культуры.

Заговорив об этой модели, мы сталкиваемся с другим, весьма распространенным в критическом обиходе начала века определением историко-культурной и творческой позиции Бенуа — эстетизм. Хотя мемуарист подробно не посвящает читателя в связанную с этим понятием крайне существенную плоскость идейно-художественной полемики вокруг «Мира искусства» и его лидера, она постоянно ощущается в книге — то в виде специально уточняющих автохарактеристик, то в качестве подоплеки некоторых описываемых событий. Более того, можно определенно сказать, что все те страницы воспоминаний, на которых автор излагает свои общие взгляды на искусство, внутренне соотнесены с этим ходовым обозначением «мирискуснической» платформы и вызваны желанием разъяснить

позицию именно по этому поводу.

В «эстетизме» Александра Бенуа винили с самых разных сторон. Интересно заметить, что наиболее последовательную оппозицию он здесь встретил не вне, а внутри самого кружка, в лице Д. В. Философова, оспаривавшего многие суждения Бенуа со своих религиозно-философских позиций. Полемика между ними, казавшаяся поначалу «семейным» делом дружеского сообщества, вскоре приобрела публичный характер, выразившись в резких статьях, публиковавшихся на протяжении 1900-х го-

*° *Грабарь Игорь.* Письма. 1891—1917, с. 183—184. 41 Отдел рукописей *ГТГ,* ф. 106/2155, лл. 1 и 1 об.

дов. Она выявила весьма характерную сторону творческой истории «Мира искусства», идейной эволюции его членов и оставила след в художественной жизни России начала века. Этой разделительной черты, этой, крайне важной для понимания духовной атмосферы эпохи, сферы острых противоречий и борьбы мемуарист касается неоднократно — и в рассказах о своем отношении к «Религиозно-философскому обществу», и в критических портретных характеристиках Д. С. Мережковского и В. В. Розанова, и в ряде других мест книги.

Но «эстетизм» Бенуа и его друзей вызывал серьезные нарекания и с иных* позиций. Неодобрительно упоминал, например, о нем Александр Блок, имея в виду недостаточно глубокое, на его взгляд, воплощение «мирискусническим» творчеством драматических коллизий эпохи, недостаточное напряжение лирического чувства. Дело осложняется еще и тем, что на протяжении того сравнительно короткого времени, о котором идет речь в мемуарах, сам Бенуа резко менял свое отношение и *к* самому слову «эстетизм» и, что гораздо существеннее, к вкладываемому в него содержанию.

Каков же был действителъный смысл «мирискуснического» «эстетизма», если рассматривать его в контексте всей русской художественной культуры рубежа веков? В чем заключалась его историческая «правда» и в чем — социальная и художественная ограниченность? Конкретные задачи послесловия к «Моим воспоминаниям» не дают права ни слишком углубляться в эти очень сложные вопросы, ни полностью обойти их.

В уже упоминавшейся выше книге о «Мире искусства», написанной в 1924 г., Бенуа видел основание самой идеи «мирискуснического» движения в «известной гуманитарной утопии» и подчеркивал, что это была идея, «столь характерная для общественной психологии конца XIX в.»42. Оба эти утверждения крайне существенны для понимания того

идеологического знамени, которое поднял Бенуа, возглавив борьбу петербургского кружка за обновление русской художественной культуры. Недаром и в своих мемуарах он уделяет такое большое место социально-психологическому портрету своих молодых сподвижников, людей, начинавших в 90-х годах свою самостоятельную деятельность.

Правда, и это мы тоже уже видели в одном из цитированных писем, художник прежде возражал против причисления его к «людям 1890-х годов» («как раз это вздор, ибо перед Аполлоном никаких 1890-х годов нет»). Но именно этот аргумент выразительнее многого другого выдавал в нем представителя художественной интеллигенции конца века. Он ясно характеризовал собою особый тип художественного сознания, искавшего путей возвысить искусство и всю духовную деятельность над «частными», текущими социальными проблемами. «Гуманитарная утопия» «Мира искусства» питалась глубокими настроениями эпохи, в ее сложных духовных устремлениях романтический талант Бенуа обретал стимулы и возможности для своего разностороннего проявления. И дело было здесь

совсем не только в тех художественных новациях, которые выявились в живописи и графике петербургской молодежи. Кстати сказать, поначалу они были более чем скромны. Гораздо показательнее для времени желание кружка реформировать всю художественную жизнь, сформулировать задачи искусства на уровне определенной идеологической системы (как позже выяснилось — «утопии»).

Здесь нет необходимости подробно характеризовать объективные исторические предпосылки упомянутых общественно-культурных процессов (разумеется, они не исчерпывали собою идейного содержания эпохи), происходящих в России в конце века. Отметим лишь, что в области общественной мысли это было время кризиса народнических идей, время, когда, по словам В. Г. Короленко, «у так называемой интеллигенции начиналась с «меньшим братом» крупная ссора» 43, время, когда по наблюдению того же писателя, «огорченный и разочарованный, русский интеллигентный человек углублялся в себя, уходил в культурные скиты или обиженно требовал «новой красоты», становясь особенно капризным относительно эстетики и формы» 44.

Петербургское «Общество самообразования», а затем

редакция журнала «Мир искусства» были совсем не единственными в художественной среде того времени, кто пытался утвердить самостоятельное значение красоты и для кого проблемы искусства вновь оказались требующими пересмотра «сложными вопросами» (как известно, под таким названием в первых номерах «Мира искусства» была опубликована программная статья Дягилева, сбивчивая и непоследовательная, но вполне определенно направленная против демократической эстетики передвижничества45). В те же годы с призывом к «свободному искусству» и к красоте как к главной его цели выступил в своих известных статьях такой корифей русского реализма второй половины XIX в. как Репин. Декларативный смысл этих репинских заявлений, имевших большой резонанс в русской художественной жизни 90-х годов, делал их знаменательными прежде всего в качестве общего симптома тех кризисных явлений, которые были свойственны русскому искусству интересующей поры 46.

Стремление радикально пересмотреть вопрос о соотношении в искусстве красоты и добра, истины и красоты оказалось основным пафосом знаменитого трактата Льва Толстого «Что такое искусство?», появившегося в то же десятилетие. Хорошо известно, что, исследуя проблему, писатель приходил к прямо противоположным выводам и в устанавливаемой им иерархии духовных ценностей полностью подчинял красоту морали, утверждал «бесполезность», а стало быть и ненужность красоты В этом смысле Толстой явился прямым антагонистом многих деятелей ис-

43*Короленко В.* Г. Собр. соч.: в 10 т. М., Художественная литература, 1955, т. 8, с. 13.

44Там же, с. 14.

45*Дягилев С.* Сложные вопросы.— «Мир искусства», 1899, № № 1-2 и 3-4.

46Подробнее см.: *Стернин Г. Ю.* Художественная жизнь России XIX—XX веков. М.,

1970, с. 83 и след..`

кусства, и разносторонняя полемика с его сочинением занимает существенное место в русской художественной мысли конца века.

Однако констатировать лишь это совершенно очевидное различие — значит упустить очень важную сторону дела. Прежде всего желание Толстого допустить «только точку зрения «вечных» начал нравственности, вечных истин религии» 47 сближало его. на уровне принципов осознания творческой миссии, с теми, кто

ратовал за вечные формы прекрасного, за вечную красоту универсального «эллинского» духа. Не менее важно и другое. Противопоставленная живой плоти художественных образов нравственность в системе толстовских идей теряла свою непосредственно эстетическую окраску. Но вместе с тем эта этическая проповедь обретала большой самостоятельный духовный потенциал, влияя на романтические представления эпохи о нравственно-преобразующих (в эстетическом кодексе символизма — «жизнетворческих») задачах искусства.

Бенуа в своих мемуарах не касается этой общей ситуации 90-х годов. Не пишет он и о некоторых частных ее эпизодах, имевших уже непосредственное отношение к ранней истории «Мира искусства», например, о попытках Дягилева—ˆправда, неудачных — использовать упомянутые выступления Репина для того, чтобы привлечь маститого художника па свою сторону и тем самым укрепить авторитет петербургского кружка48. И однако же сложные пути художественного самоопределения эпохи, в которую формировалась личность мемуариста, ощущаются непрерывно.

«Мережковские назвали меня эстетом. Но это неверно или верно лишь отчасти» 4Э. Это выразительное признание находится в одном из писем Бенуа, датированном июлем 1905 г. В известной — и достаточно серьезной — мере здесь сказывалось время: как раз в годы первой русской революции художник особенно остро переживает необходимость пересмотреть свое отношение к «эстетизму», к идее «свободного», «чистого» искусства и т. д. Но приведенная автохарактеристика имела, бесспорно, и общий смысл, распространяющийся на более раннюю позицию Бенуа. В «Моих воспоминаниях» мемуарист старается подробно обосновать ее, давая понять читателю, что для него — это вопрос не только личной репутации, но и человеческого и художественного смысла всей той «целой культуры», представителем которой он осознавал себя с юношеских лет.

Определяя свою жизненную и творческую миссию, Бенуа любил называть себя «служителем Аполлона», а само искусство уподоблять «улыбке божества». Такие определения можно встретить на страницах мемуаров, к ним же, как мы отчасти видели, критик прибегал не раз, изъясняя свою позицию в статьях и письмах ранних лет. При всей распространенности подобных метафор в литературном обиходе начала XX в., в них заключалось здесь определенное эстетическое кредо, и именно в таком

47*Ленин В. И.* Поли. собр. соч., т. 20, с. 101.

48См., например: *Дягилев С.* Письмо по адресу И. Репина.—

«Мир искусства», 1899,
№ 10.
*9 *ЦГАЛИ,* ф. 781, оп. 1, ед. хр. 3, л. 56.

своем качестве признания Бенуа воспринимались в художественной среде той поры. Отмечая полемическую заостренность этой программы против «направленства» позднего передвижничества, с одной стороны, и «теургических» притязаний символизма — с другой, современники обращали основное внимание на два ее аспекта: ретроспективизм и понимание красоты. Они имели при этом в виду не только слова «мирискусоического» лидера, но и все дела возглавляемого им направления.

«Ретроспективные мечтатели» — это не очень складное выражение, мимоходом высказанное по адресу петербургского кружка одним из его современников, вноследствии прочно вошло в историко-художествениую характеристику «мирискусников». Желание воплотить «ретроспективную мечту», мечту, обращенную в прошлое, видели, и не без основания, в самых различных сторонах творческой и общественной деятельности членов объединения — в их картинах и сценических интересах, в их музейно-знаточеских пристрастиях, в их восторя^енных публикациях Петербурга Растрелли и классицизма, в их выставочных предприятиях, имевших целью воскресить культуру и быт послепетровской России. Во всех этих делах внутренние побуждения Бенуа играли ведущую, если не главную роль.

Характеризуя это свойство своего художественного сознания, мемуарист замечает в книге: «У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. ...Из выдумок Уэллса мне особенно соблазнительной показалась «машина времени», но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед, в будущее, а легонечко постепенными переездами и с долгими остановками по дороге, посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно, я в одной из этих станций и застрял бы навеки» (I, 181).

Однако сколь бы соблазнительным для себя ни представлял автор свое желание «застрять навеки» в одной из прошлых эпох — а к этой теме он возвращается в своих мемуарах не раз,— на деле другой соблазн или, лучше сказать, другая потребность постоянно корректировали логику поведения Бенуа, заставляли соотносить прошлое не только с настоящим, но и с будущим. С того момента, когда Бенуа стал осознавать себя деятелем, призванным открыть перед русским искусством новые

перспективы (в книге очень хорошо показано, что это представление о своей жизненной миссии было свойственно ему еще с юношеских лет), его тяготение к прошлому, его «пассеизм» оказывались не столько способом уйти от реальных Проблем культуры, сколько средством вмешаться в них. Позиция эта была далека от безмятежного созерцания былой, ушедшей красоты. В ней постоянно ощущалась забота о текущих художественных делах, об их перспективах и сложностях.

Между прочим, если с этой стороны поглядеть на «Мои воспоминания» как на художественное произведение, то, возможно, они окажутся, как это ни парадоксально, самым «безмятежным» творением Бенуа. Именно здесь автор мог позволить себе (или смог заставить себя) целиком **погрузиться** в прошлое, **ощутить** его как полностью **довлеющий себе мир,**

620*Т· їО· Стернин*

имеющий безотносительную ценность, именно здесь вектор времени авторской позиции направлен постоянно в одну и ту же сторону — назад. Но тогда, на рубеже веков, как только «мирискусническая» программа становилась пе только внутренним делом кружка, но и планом активной общественно-творческой деятельности, она оказывалась двойственной в своей основе. Влюбленные в художественное великолепие давних эпох, пытавшиеся воскресить его и прямо, путем пропаганды памятников искусства прошлого, и другим способом, заставляя оживать прошедшие века в своих театральных постановках, картинах, рисунках, «мирискусники» и Beriya, в первую очередь, вместе с тем ясно отдавали себе отчет, что предмет их поклонения как целостный тип культуры, как особый социально-эстетический феномен, уже целиком принадлежит истории. Никакой двойственности, конечно, могло бы и не быть, если бы дело касалось лишь желания извлечь некие нормативные уроки «красоты» из художественного опыта прошлого — именно этой целью задастся Бенуа несколько позже, на рубеже 1900-х и 1910-х годов, в пору своего сотрудничества в «Аполлоне», поддерживая развитие неоклассических тенденций в пластических искусртвах. Однако в годы, о которых идет речь в мемуарах, выдвигавшийся «мирискусниками» лозунг «возрождения» подразумевал решение именно общекультуриых проблем и как раз своей ориентацией на синтетический подход к задачам искусства они любили противопоставлять себя предшествующему поколению художников.

Все это весьма заметно сказывалось на общественном и творческом самосознании членов петербургского сообщества, самосознании, в котором удовлетворенное чувство причастности

к новым художественным открытиям, к новым завоеваниям русской культуры рубежа XIX и XX столетий соседствовало с «ретроспективной мечтательностью», с сентиментальной грустью по ушедшим временам. В попытках взглянуть на это противоречие как на естественное порождение буржуазной цивилизации члены кружка иногда искали опоры своим лозунгам в эстетических утопиях прошлого века. В частности, популярным в их среде было имя Уильяма Морриса. Но это не решало существа дела, что стало особенно ясным в годы первой русской революции, еще более подчеркнувшей рубеж между прошлым и настоящим и, главное, с предельной зримостью выявившей глубокую связь между вопросами «культуры» и общими историческими судьбами страны 50.

Документом, необычайно выпукло выразившим эту психологическую ситуацию в художественной жизни революционных лет, оказалась, например, речь Дягилева, сказанная им в 1905 году по поводу знаменитой Таврической выставки русских портретов, устройству которой Бенуа уделяет так много внимания в мемуарах и которую действительно можно уверенно причислить к числу крупнейших общественно-культурных акций «мирискуснического» сообщества. Сразу же опубликованная под знаменательным заголовком — «В час итогов» («Весы», № 4), речь эта характерно сочетала в себе несколько театральное расставание с прошлым, с одной стороны, и трезвое понимание исторической неизбежности глубоких политических и социально-культурных перемен.

«Мои воспоминания» Александра Бенуа

621

Отмеченные коллизии прямо сказались на биографии петербургского кружка, переставшего в 1904 г. существовать в качестве самостоятельного объединения — возродившийся в 1910 г. «Мир искусства» не имел уже своей общей идеологической и творческой программы. В нашем случае важнее обратить внимание на другое. Вступая в художественную жизнь России с призывами к «свободному искусству», Бенуа, оказавшись вскоре в роли идеолога и главы крупного культурного движения, значительно углубил свою позицию. Его эстетизм — по крайней мере, в том своем виде, в каком он определялся общественно-культурными импульсами этого движения — не только питался «ретроспективной мечтой», но и вступал с нею в сложные, драматические отношения.

Вопрос об эстетизме Бенуа часто обсуждался в начале века, да и позже, и в более специальном смысле. Речь шла о самих принципах истори-ко-художественного и критического подхода

Бенуа к оценке искусства, к понятию красоты. Многие страницы «Моих воспоминаний» — косвенный, а иногда и прямой отклик мемуариста именно на эту сторону полемики вокруг его деятельности критика и историка искусства.

Понятно, что поводы для подобных споров предоставлялись на каждом шагу. Суждения человека, регулярно выступавшего с критическими статьями, публиковавшего в печати крупные исследования, были все время открыты суду современников, тем более, что Бенуа не только никогда не маскировал свои аналитические принципы, но, наоборот, любил всячески заострять их, считая целенаправленную последовательность критической позиции ее основным достоинством. Никак не рассматривая себя созидателем или даже просто адептом какой-либо целостной эстетической системы, Бенуа вместе с тем охотно принимал вызов, который не раз бросали ему по поводу его взглядов на основополагающие категории искусства. Критик мог выступать в этом случае как выразитель коллективного «мирискуснического» кредо. Но не менее настойчиво он подчеркивал, что формулирует свои собственные убеждения, во многом отличные от художественного символа веры некоторых других членов кружка, а иногда (как в случае с Д. В. Философовым) и решительно ему противостоящие.

Обе эти позиции — «коллективная» и «личная» — нашли свое отражение в мемуарах. Первая из них больше всего дает себя знать в главах, где рассказывается о раннем периоде петербургского сообщества и где сама личность мемуариста прочно вписывается в идиллическую картину духовного братства нескольких «образованных юнцов», гутирующих семейные коллекции предметов старины или же завороженных зрелищем балетного спектакля. В последующих разделах «Моих воспоминаний» все более отчетливо выявляется личная позиция Бенуа, причем порою автор заявляет о ней в подчеркнуто открытой форме, явно разумея при этом весь полемический контекст рубежа веков. Вот одно из таких очень симптоматичных заявлений мемуариста: «В вопросе оценки художественного значения и достоинства М. В. Добужинского особенно ярко выразились те две противоположные точки зрения, которые руководили Дягилевым

и мной. Для меня, как-никак, *главным* в искусстве всегда было (и до сих пор остается) то, что за неимением другого слова, приходится назвать избитым словом «поэзия» или еще более предосудительным в наши дни словом — «содержание». Я не менее другого падок на красоту красок, и меня может пленить в

сильнейшей степени игра линий, сочетание колеров, блеск и виртуозность техники, но если эта красочность, эта игра форм и эта техника ничему более высокому или более глубокому (все слова, потерявшие прежнюю свою силу, но вот других пока не создано) не служат, то они не будят во мне тех чудесных ощущений, для которых по-моему и существует искусство. Здесь дело не в «сюжете», который может оставаться и чуждым, непонятным, неугадываемым, а здесь все дело в какой-то тайне, которая проникает до глубины нашего существа и возбуждает там ни с чем не сравнимые упования, надежды, мысли, эмоции и вообще то, что называется «движениями души». В моем представлении и в моем непоколебимом убеждении *эта тайна и есть искусство*» (II, 340-341).

Читателю, не очень посвященному в детали русской художественной жизни начала XX в., это авторское утверждение может показаться, вероятно, недостаточно конкретным, даже при всех многократных оговорках Бенуа о том, что, за неимением других слов, он вынужден пользоваться «избитыми» понятиями. Однако взятый в контексте журнально-газетной полемики той поры, приведенный отрывок очень точно обозначает ту, свойственную именно Бенуа критическую позицию, которая определяла его особое место в «мирискусническом» сообществе и которая, вместе с тем, постоянно притягивала к нему остальных членов кружка, делала его в их глазах признанным авторитетом.

Многое, конечно, определялось выдающимися профессиональными качествами Бенуа: его тончайшим художественным чутьем и огромным литературным даром. Многое, но не все. Речь здесь должна идти также о широте художественных взглядов критика, о совмещении в них на основе глубокого и, стоит еще раз подчеркнуть, «содержательного» подхода к искусству различных сторон романтического искусствопонимания.

Эта особенность художественного сознания, которую сам мемуарист не раз определял как особый род эклектизма, иногда воспринималась современниками как внутренняя противоречивость, как непоследовательность позиции Бенуа-критика, Бенуа-историка искусства. Бывало и другое, когда Бенуа, волею писавших о нем, сознательно или нет, превращался в весьма однозначную фигуру. Одни видели в нем чуть ли не последователя передвижнического реализма, другие, наоборот, считали его художественным деятелем, равнодушным к лучшим традициям русской духовной культуры и пытавшимся всячески отгородить искусство от переживаний и надежд эпохи.

«Мои воспоминания», кроме всего прочего, интересны и

важны тем, что не только выбранными местами, где прямо говорится о художественных взглядах мемуариста, но и всем своим содержанием рисуют гораздо более многосторонний и сложный образ их автора.

*«Мои воспоминания» Александра Бенуа*623

И в мемуарах, и в статьях, и в письмах Бенуа много раз писал о том. что ему глубоко свойствен культ красоты, и эти его признания были основою его репутации поклонника эстетизма и «чистого» искусства. Эта репутация полностью соответствовала действительности в той мере, в какой эти качества определяли полемическую позицию критика по отношению к эстетической платформе его предшественников. Но как только оппоненты Бенуа пытались расширительно толковать его стремление «служить Аполлону» и представить дело так, что красота заслоняет от него все иные духовные ценности, он самым решительным образом отвергал подобную постановку вопроса и не уставал напоминать о существующей для пего неразрывной связи между культом красоты и культом высшей истины. Приведенное выше рассуждение Бенуа о его взглядах на искусство — одно из многих его объяснений именно этой стороны дела.

* * *

Если рассматривать «Мои воспоминания» как литературный памятник и попытаться оценить их с точки зрения типологии мемуарного жанра, нетрудно увидеть существенное различие между первым и вторым томами (к последнему близки по своему характеру и «Воспоминания о балете»). Объединенные хронологической последовательностью излагаемых событий, обе эти части заметно отличаются друг от друга мерою внимания рассказчика к собственным «впечатлениям бытия», степенью наполненности текста жизненными реалиями.

Характерное свойство первого тома — поразительная бытовая плотность его повествовательной ткани. Бенуа создает здесь свой, особый мир, поэтическое обаяние которого неотъемлемо от множества его материальных примет. Пространства петербургских улиц и архитектурпых ансамблей, обжитые стены родительского дома, интерьеры загородных дач и дворцовых построек — вот четко обозначенные мемуаристом физические координаты этого мира, населенного в книге близкими «Шуреньке» людьми. Автор как'будто возвращается к любимому занятию своих юных лет — неторопливому разглядыванию старых альбомов с пожелтевшими гравюрами и дагерротипами. Только на этот раз он рассматривает и заставляет ожить в памяти семейные фотографии и открытки с видами Петербурга прошлого

столетия м.

Второй том демонстрирует иную сторону литературного дарования автора — его мастерство летописца художественных событий, его замечательную способность средствами слова передать восторг человека перед красотой, перед творениями искусства. По композиционной основе, по своей внутренней задаче этот раздел «Моих воспоминаний» гораздо бли-

«Я трепещу, когда встречаю у букиниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга»,— отмечает Бенуа, имея в виду свои парижские годы (I, 15).

же, чем первый, к типу «профессиональных» мемуаров деятелей культуры, повествующих о «жизни в искусстве» 52.

Но за всем тем «Мои воспоминания» как монументальное литературное полотно обладают и неоспоримым единством. Главная причина тому — цельность поэтического таланта Бенуа и глубокая внутренняя последовательность того жизненного опыта, о котором идет речь в книге. В этом смысле и содержательные и литературно-стилевые особенности каждого из двух томов мемуаров — всего лишь ипостась общей человеческой позиции автора, его художнического зрения, его отношения к проблемам бытия, его взгляда на прожитое и пережитое.

С известной стороны, как уже выше говорилось, «Мои воспоминания» можно, пожалуй, считать наиболее «безмятежным» художественным творением Бенуа. По поводу первого тома мемуаров к сказанному можно добавить и другое: никогда раньше в творческой практике мемуариста его ретроспективные идеалы не опирались на столь конкретную материальную основу, нигде раньше — ни в живописи, ни в графике, ни в театральных постановках Бенуа — реконструкция прошлого не имела такого прочного и осязательного каркаса. Конечно, это было предопределено основной задачей книги, заключавшейся в том, чтобы правду «настроения» совместить с правдою реальных фактов детства и юности героя. Но любопытен и сам путь, по которому идет автор, реализуя эту свою цель.

Обращаясь к историческим эпохам в своем изобразительном творчестве, Бенуа-художник внимательно изучал образцы музейного искусства, постигал отношение к миру старых мастеров. Беиуа-мемуарист, воссоздавая окружающую среду и духовную атмосферу петербургской жизни прошлого столетия, тоже не остается безразличным к художественному опыту, заключенному в давних памятниках культуры. В данном случае

его интересуют, и это вполне естественно, уроки мемуарной прозы.

Мы уже говорили о том, что, работая над текстом, автор все время помнил знаменитое автобиографическое сочинение Гете «Dichtung und Wahrheit». Характер намеков Бенуа на этот гетевский труд позволяет утверждать, что в нем он видел классический пример того сочетания «поэзии» и «правды», которое позволяет свободно и органично соединять «жизнеописательные» мотивы с прямым выражением художественного кредо мемуариста, с его поэтической системой видения мира.

Упоминает Бенуа в своей книге еще одно произведение мемуарной литературы — «Записки» А. Т. Болотова, пользовавшиеся большой популярностью у русского читателя со времени их первой публикации в

В этом разделе мемуаров (и особенно в «Воспоминаниях о балете») Бенуа явно ставил перед собой еще одну, частную, но важную для него задачу — внести некоторые коррективы в сложившееся позже, главным образом после «Русских сезонов» в Париже, представление о главенствующей роли С. П. Дягилева в осуществлении художественной программы петербуржцев. Не отрицая дягилевских заслуг перед русским искусством и никак не умаляя ценных свойств весьма одаренной натуры «Сережи», мемуарист вместе с тем не раз отмечает его попытки монополизировать коллективные достижения многих начинаний.

«Мои воспоминания» Александра Бенуа

625

70-х годах прошлого столетия. Воспроизводящие жизнь и быт просвещенного русского помещика екатерининских времен, много сделавшего для развития агрономической науки в России, «Записки» эти тематически довольно далеко отстояли от семейной хроники петербургского артистического «клана» и в этом смысле стать источником вдохновения не могли. Их значение для творческой лаборатории Бенуа-писателя, Бенуа-мемуа-риста заключалось в другом. Традиции подобной автобиографической прозы прочитываются в «Моих воспоминаниях» прежде всего как определенный стилевой импульс, влиявший на интонационный строй повествования и, главное, на способ наполнения слова свободным от рефлексии рассказчика предметным содержанием. Этот художественный ресурс в соединении с остротою и цепкостью художнического глаза Бенуа придает его мемуарам совершенно особую стилевую окраску. С этой точки зрения «Мои воспоминания» предстают перед читателем как интересный опыт распространения

некоторых принципов «мирискуснической» ретроспекции на область словесного творчества.

Если в первом томе мемуаров эта проекция дает себя знать в самой предметно-изобразительной функции слова, то во втором она сказывается больше в общих эстетических взглядах автора, в характере устанавливаемых им тройственных взаимоотношений между собою, искусством и действительностью. Талантливое профессиональное зрение Бенуа в полной мере сказывается и здесь на литературных особенностях памятника, на многоцветности, осязаемой пластичности его предметного мира, но теперь мемуарист чаще рассказывает и убеждает, чем показывает и рассуждает. Воссоздавая картину художественной жизни рубежа XIX и XX вв., Бенуа во втором томе пользуется иными .средствами реконструкции прошлого. На этих страницах он подчеркивает в литературном «статусе» мемуариста прежде всего позицию свидетеля и участника происходивших событий, именно таким непосредственным образом дистанцианируя расстояние между настоящим и прошедшим, между историей и временем создания книги.

¿4*i¾%i¾%

В начале статьи уже отмечалось, что «Мои воспоминания» охватывают наиболее значительный период в жизни Александра Бенуа и всего того художественного движения, которое он возглавил. Если же иметь еще в виду публикуемые в Дополнениях «Воспоминания о балете», то можно без всяких оговорок утверждать, что читатель предлагаемых двух томов мемуарного наследия художника получает в руки литературный документ эпохи, дающий полное представление о всем самом важном, что было в творческой биографии автора как необычайно яркого выразителя глубоких художественных устремлений рубежа веков.

Разумеется, это никоим образом не значит, что все то, что осталось за пределами книги,— малосущественно. После тех событий, которыми кончается повествование, Бенуа прожил еще почти полвека и до последних дней своих продолжал размышлять, продолжал трудиться,

Так, начало 1910-х годов отмечено тесным сотрудничеством Бенуа с Московским Художественным театром — его участием в постановках пьес Мольера, Гольдони, «маленьких трагедий» Пушкина. Это сотрудничество оставило заметный след и в судьбах предреволюционной сценографии, и в истории русского театрального искусства.

На протяжении всего предреволюционного периода Бенуа

оставался и деятельнейшим художественным критиком. Не ограничиваясь суждениями по поводу текущей выставочной жизни, он постоянно держал в своем поле зрения основные события театральной хроники Москвы и Петербурга, 4¾cto и горячо вступался за архитектурные памятники прошлого.

Логика развития художественной жизни России в этот период ставила его порою в очень сложные взаимоотношения с представителями новых течений в искусстве. В Частых тогда острейших спорах Бенуа не всегда был прав в резком отрицании некоторых важных творческих исканий. Но гораздо дальше от истины были самые шумные деятели «левых» художественных кругов, пытавшиеся порой представить имя критика в качестве символа отживающих вкусов и пристрастий. Бенуа действительно оставались близкими идеалы его молодости, но его безупречный критический глаз, свойственная ему всегда творческая искренность, серьезная озабоченность судьбами русской культуры позволяли ему очень часто в запутанной, раздробленной картине предреволюционного искусства находить точную границу между подлинными художественными ценностями и модными поделками.

Не раз на протяжении своей жизни заявлявший о своей неприспособленности к практическим делам, Бенуа вместе с тем уже в годы первой русской революции задумывался о том пользе, которую он мог бы принести, занимаясь государственными проблемами искусства. И сразу же после свержения самодержавия в феврале 1917 г. художник включается в серьезную общественную деятельность. Вместе с А. М. Горьким он принимает одно время участие в работе «Особого совещания», проявляя постоянную заботу об охране памятников художественной культуры России, этого, как он выражался, «народного имущества». В эти же месяцы новые свойства обретают и газетные выступления Бенуа. В них он предстает не только художественным критиком, но и публицистом, не желающим сторониться социальной злобы дня. Многие его статьи той поры-прямой отклик на развернувшуюся тогда в стране острую политическую борьбу. «Приветствовал Октябрьский переворот еще до Октября»,— так позже определит А. В. Луначарский общественную позицию Бенуа в этот период 53.

Сразу же после победы Октябрьской революции Бенуа — весьма заметная фигура в художественной жизни Петрограда. В 1918 г. он становится заведующим картинной галереей Эрмитажа и на этом посту делает очень многое для превращения этого крупнейшего художественного со-

Литературное наследство, т. 80. В. И. Ленин и А. В.

Луначарский, с. 260.

брания, пополненного после Октября многими частными коллекциями, в государственный музей — богатейший источник культурного воспитания народа.

Не оставляет Бенуа в эти первые послереволюционные годы и свои творческие занятия. Он вновь тесно связывает себя с театром, с жизнью сцены, причем выступает подчас не только декоратором, но и режиссером новых постановок, отдавая отчет в большой общественной роли театрального искусства в духовной атмосфере новой действительности. Событием культурной жизни стало издание в 1923 г. пушкинского «Медного всадника» с известными иллюстрациями художника — результатом его многолетнего труда и одной из вершин его графического творчества.

Со второй половины 20-х годов Бенуа живет за границей. Его основным местом пребывания становится Париж. Как уже говорилось выше, вагранічные письма художника свидетельствуют о его постоянной и глубокой тоске по родине, о его неизменном (увы, так и не осуществленном) желании вновь оказаться дома, на берегах Невы, в родительском доме возле Никольского собора.

В этот поздний период своего творчества Бенуа продолжает много работать и в станковой живописи, и в книжной иллюстрации, и особенно в области театрально-декорационного искусства, являясь желанным художником для многих крупнейших сцен мира. Однако, насколько позволяют судить наши фрагментарные знания этого материала, в этих произведениях уже не было тех замечательных творческих открытий, того радостного вдохновения красотою, которыми были отмечены его лучшие создания прежних лет.

Продолжалась в «парижские» годы и литературная деятельность Бенуа. Как и когда-то у себя на родине, критик систематически выступал в печати с «художественными письмами», отзываясь на самые разнообразные явления западноевропейского культурного быта. Но, как совершенно справедливо подчеркивают публикаторы поздних высказываний художника, «сквозь все литературное наследие Бенуа 30-х годов (а также и более поздних работ) еще более настойчиво, неизменно и верно проходит дорогая для него тема — русская культура и ее деятели» 54. Именно эта тема становится сквозной и ведущей и для «Моих воспоминаний ».

Если даже считать некоторым преувеличением уже цитированные слова Бенуа о том, что «эта работа будет, пожалуй,

единственной из всех моих работ достойной пережить меня и остаться, как представляющая некий общий и детальный интерес», к ним необходимо отнестись с полной серьезностью. В них — не только, безусловно, искренняя оценка мемуаристом своего капитального труда, но и итог его долгих размышлений над своим местом в русской художественной культуре, над всей своей духовной эволюцией.

54 «Александр Бенуа размышляет...», с. 19.

* * *

Представляя «Мои воспоминания» Александра Бенуа советскому чи

тателю, необходимо в заключение с благодарностью вспомнить имя ныне

покойного Алексея Николаевича Савинова — видного искусствоведа, мно

го сделавшего для того, чтобы это издание увидело свет. А. Н. Савинов

был среди тех деятелей советской культуры, которые в середине 1950-х го

дов завязали дружескую переписку с автором мемуаров. Из писем, адре

сованных Бенуа, последний с полным основанием увидел, что его «не за

были на родине» (слова Бенуа из его ответного письма А. Н. Савинову

от 18 августа 1956 г.), и это еще более усилило его желание увидеть

свой труд изданным в Советском Союзе. Впоследствии, когда старшая

дочь Александра Бенуа Анна Александровна Черкесова, выполняя волю

отца, прислала рукопись в Ленинград, А. Н. Савинов в течение несколь

ких лет занимался подготовкой мемуаров к печати. Смерть помешала ему

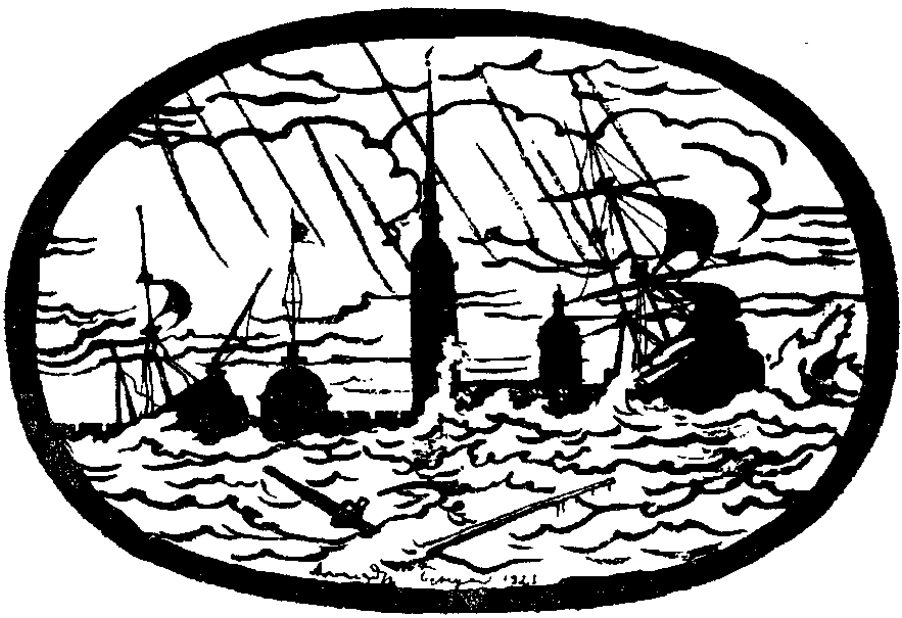
довести эту работу до конца.¡

«Мои воспоминания» появляются в свет в то время, когда интерес к русской художественной культуре конца XIX — начала XX вв. приобрел у нас устойчивый и глубокий характер. Среди явлений этой культуры, пользующихся сейчас пристальным вниманием, «Миру искусства» принадлежит одно из первых мест. Издаются книги и статьи, посвященные «мирискусническому» движению и его крупнейшим представителям. С большим

успехом прошли персональные выставки произведений Александра Бенуа, М. В. Добужинского, К. А. Сомова. С этой точки зрения первая публикация полного текста «Моих воспоминаний» — не только важное, но и вполне закономерное событие нашей современной художественной жизни, естественный результат растущих потребностей познать наше национальное культурное наследие.

Выход в свет «Моих воспоминаний» не менее существен и в другом смысле. Отныне русская проза пополняется еще одним крупным литературным памятником, а в ряд с ведущими мастерами отечественной мемуаристики встает еще одно имя — имя Александра Бенуа.

Памяти моей дорогой



КНИГА ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава 1 МОЙ ГОРОД.

Я должен начать свой рассказ с признания, что я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом *, я так и не узнал пламенной любви к чему-то огромно-необъятному, не понял, что его интересы — мои интересы, что мое сердце должно биться в

унисон с сердцем этой неизмеримой громады. Таким, видно, уродом я появился на свет и возможно, что причиной тому то, что в моей крови сразу несколько (столь между собой завраждовавших) родии — и Франция, и Неметчина, и Италия. Лишь обработка этой мешанины была произведена в России, причем надо еще прибавить, что во мне нет ни капли крови русской. Однако в нашей семье я один только таким уродом и был, тогда как мои братья все были русские пламенные патриоты с большей или меньшей примесью чего-то скорее французского или итальянского в характере. Факт во всяком случае остается: я Россию как таковую, Россию в целом знал плохо, а в характерных чертах ее многое даже претило мне, и это еще тогда, когда я о существовании каких-то характерных черт не имел ни малейшего понятия.

Напротив, Петербург я любил. Во мне чуть ли не с пеленок образовалось то, что называется «patriotisme de clocher» *. Я понимал прелесть моего города, мне нравилось в нем все; позже мне не только уже все нравилось, но я оценил значение всей этой целостности. Я исполнился к Петербургу того чувства, которое, вероятно, жило в римлянах к своей urbs **, которое у природного француза к Парижу, у англичанина к Лондону, у истинно русского человека к Москве, которого, пожалуй, нет у немцев. Немцы, те действительно патриоты всей своей страны в целом: Deutschland über Alles...*** А во мне скорее жил (да и теперь живет) такой императив — Petersburg über Alles...****

Я отлично знаю, что это вовсе не то чувство, которое полагается в себе питать и которым можно гордиться. Тем не менее это чувство мое имеет абсолютное утверждение. Скажу тут же — из всех ошибок «старого» режима в России мне представляется наименее простительной его измена

Местным патриотизмом *(франц.]*.

Город *{лат.)*.

Германия превыше всего *(нем.)*.

Петербург превыше всего *(нем.)*.

12'*I, I, 1. Мой город*

Петербургу2. Николай II думал, что он вполне выражал свое душевное созвучие с народом, когда высказывал чувство неприязни к Петербургу, однако тем самым он отворачивался и от самого Петра Великого, от того, кто был настоящим творцом всего его самодержавного величества. Внешне и символически неприязнь эга выразилась, когда он дал свое со- * гласис на изменение самого имени, которым прозорливый вождь России нарек свое самое удивительное творение. Я даже склонен считать, что все наши беды произошли как бы в наказание за такую

измену, за то, что измельчавшие потомки вздумали пренебречь «завещанием» Петра, что, ничего не поняв, они сочли, будто есть нечто унизительное и непристойное для русской столицы в данном Петром названии. «Петроград» означало нечто, что во всяком случае было бы не угодно Петру, видевшему в своей столице большее, чем какое-то монументальное поминание своей личности. Петроград, не говоря уже о привкусе чуждой Петру «славянщины», означает нечто сравнительно узкое и замкнутое, югда как Петербург, или точнее Санкт-Петербург, означает город-космополит, город, поставленный под особое покровительство того святого, который уже раз осенил идею мирового духовного владычества 3 — это означает «второй» или «третий» Рим. Самая несуразность соединения сокращенного латинского sanctus * и слов германского звучания «Петер» и «Бург», как бы символизирует и подчеркивает европейскую, вернее, космополитическую природу Петербурга.

Все эти мысли, осознанные давным-давпо, достигли во мне крайней напряженности именно в тот момент, когда Санкт-Петербург был переименован в ознаменование чудовищной международной, но главным образом европейской, распри (европейцы против европейцев — «своя своих не нозпаше»). Тогда я с особой силой ощутил и то, что во мне живет *культ* Петербурга. Но любил я его уже и тогда, когда вовсе не понимал, что вообще можно «любить» какие-то улицы, каменные нагромождения, каналы, какой-то воздух, какой-то климат и всевозможные лики сложного целого, менявшиеся в зависимости от времени года, от часа дня, от погоды. «Открывал» я Петербург в течение многих лет, в сочетании с собственными настроениями и переживаниями, в зависимости от радостей и огорчений своего сердца.

О, как я обожал петербургскую весну с ее резким потеплением и особенно с ее ускоренным посветлением. Что за ликование и что за щемящая тоска в петербургской весне... И опять-таки я ощущал как нечто исключительно чудесное и патетическое, когда, после сравнительно короткого лета, наступала «театрально эффектная» осень, а затем «оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза». Зима в Петербурге именно катила в глаза. В Петербурге не только наступали холода и шел снег, но накатывалось нечто хмурое, грозно мертвящее, страшное. И в том, что все эти ужасы все же вполне преодолевались, что люди оказывались хитрее стихий, в этом было нечто бодрящее. Именно в зимнюю

Святой *(лат.)*.

мертвящую пору петербуржцы предавались с особым рвением забаве и веселью. На зимние месяцы приходился петербургский «сезон» — играли театры, давались балы, праздновались главные праздники — Рождество, Крещение, Масленица. В Петербурге зима была суровая и жуткая, но в Петербурге же люди научились, как нигде, обращать ее в нечто приятное и великолепное. Такой представлялась мне петербургская зима и в детстве, и это несмотря на то, что зима неизменно влачила за собой всякие специфические детские болезни. Позже наступление ее означало еще и начало многострадального «учебного года»!

Когда я сижу у открытого настежь'окна, выходящего на милую (почти родную) Сену, мне в сегодняшний жаркий и светлый июньский вечер 1934 г. представляется особенно соблазнительным перенестись на машине времени в те далекие времена, когда я жил в своем родном городе. Попытаюсь восстановить в памяти то, чем был на берегах Невы вечер в такую же июньскую пору, чем вообще был весной весь мой милый, милый город. Повторяю, это была пора, когда я особенно любил Петербург. Именно в мягкие июньские вечера, совпадающие с особенно ликующими молтентами моих личных переживаний, я стал сознавать п свою влюбленность в родной город, в самое его лицо и в его персону. Красив и поэтичен Петербург бывал в разные времена года, но действительно, весна была ему особенно к лицу. Ранней весной, когда скалывали по улицам п площадям кору заледенелого снега, когда между этими пластами по открывшейся мостовой неслись откуда-то веявшиеся блиставшие на солнце ручьи, когда синие тени с резкой отчетливостью вылепляли кубы домов и круглоту колонн, когда в освобожденные от двойных рам и открытые настежь окна вливался в затхлую квартиру «новый» воздух, когда лед на Неве набухал, становился серым и, наконец, вздымался, ломался и сдвигался с места, чтобы поплыть к взморью,— петербургская весна была уже изумительна в стихийной выразительности своего пробуждения. Не могло быть сомнения, что одно время года сменяло другое. Но когда, наконец, новый порядок бывал окончательно установлен, наступало ноистине благословенное время. Суровый в течение месяцев Петербург становился ласковым, пленительным, милым. Деревья в садах покрывались нежнейшей листвой, цвела дурманящая сирень и сладко-пряная черемуха, стройные громады дворцов отражались в свободно текущих водах. Тогда же начинались (в ожидании переезда па дачу) паломничества петербуржцев, соскучившихся по природе, на Острова, и начиналось гуляние нарядной толпы по гранитным панелям набережной — от Адмиралтейства до Летнего сада.

Самый Летний сад заполнялся не одними няньками с детьми да старичками и старушками, совершавшими предписанную гигиеническую прогулку, но и парочками влюбленных.

Р1з всяких воспоминаний о петербургской весне мне особенпо запомнились какие-то «плавания» в тихпе белые ночи по шири нашей красавицы-реки. Совершались эти поездки то на суетливо попыхивавшем пароходике, то на бесшумно скользившем ялике, едва колыхавшем водную

гладь. А плыл я, бывало, таким образом пли с дальней Охты, с Куше-левки от сестры, или с Кресто-вского, или Елагина, где я только что гулял с невестой, или еще из Зоологического сада, куда было принято ездить поглядеть на спектакли в двух стоявших среди зверинца театрах. Воспоминания о вечерах, проведенных в «Зоологии», не принадлежат к самым поэтичным в моем прошлом. Слишком все тамошнее было доморощенно-провинциальным, слишком много распивалось пива, слишком жалкое впечатление производили безнадежно хиреющие звери в их тесных и дурно пахнущих клетках. Но с момента, когда, покинув ворота «Зоологии», я садился в ярко раскрашенную лодку перевозчика и когда после нескольких ударов весел ялик выезжал на тот простор, что расстилается между многоколонной Биржей, гранитными стенами крепости и роскошными массами дворцов, то всякие тривиальные впечатления сглаживались и начиналась та фантасмагория, которая по своему возвышенному благородству не имела ничего себе равного.

Белые ночи — сколько о них уже сказано и писано. Как ненавидели их те, кто не могли к ним привыкнуть, как страстно любили другие. Но нигде белые ночи так не властвовали над умами, не получали, я бы сказал, такого содержания, такой насыщенности поэзией, как именно в Петербурге, как именно на водах Невы. Я думаю, что сам Петр, основавший свой Петербург в мае, был зачарован какой-нибудь такой белой ночью, неизвестной средней полосе России.

Весла равномерно и глухо хлопают по воде, едва журчит струя за кормой, и освещенный зарей гребен то наклоняется вперед, то отклонится назад, босые его ноги крепко уперлись в перекладину на дно лодки, через каждые три удара он оборачивается, чтобы проверить направлен ние, а иногда тряхнет головой, чтобы отбросить от глаз коему непокорных волос. Насторожившаяся тишина стоит вокруг, всякий разговор давно замолк. И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду,

начинают литься точно полые, «стеклянные», «загробные» звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости, это они возвеща-ют в двух молитвенных напевах 4, что наступила полночь... Играли куранты «Коль славен наш господь» и сейчас же затем «Боже, царя храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как темп был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно... Обе столь знакомые мелодии превращались в нечто новое, и это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы.

Говорят, узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы, длительное это капанье звуков в ночной тиши доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали, как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхъестественный и прямо-таки потусторонний характер уже потому, что произносила его высокая башня со своим длинным-

длинным золотым шпилей, который в сгущающемся мраке продолжал светиться, точно вынутый из ножен п устремленный к небу меч. На самом конце этого меча, совсем под небом, сверкала золотая точка. На таком расстоянии невозможно было определить, что эта фигура изображает. При поворотах она меняла свой облик: то казалось, что это ангел снизился, чтобы передохнуть, на самое острие колокольни, а то, что это парус какого-то плывшего в поднебесье сказочного корабля...

Увы, весенние и летние недели протекали быстро, и кончались белые ночи. Наглядно этот поворот от светлой поры к потемнению (а дальше к зимней тьме и стуже) выражался тогда, когда на улицах Петербурга снова зажигали фонари, что происходило около 20 июля (старого стиля). И сразу тогда чувствовалось, что скоро лету конец. Еще накануне я бродил в часы, близкие к полуночи, по серому, лишенному красок городу, а тут вдруг появлялся со своей лесенкой фонарщик, и один за другим фонарики вспыхивали своими газовыми язычками. Фантасмагория исчезала, все возвращалось к обыденности. Накануне даже городовые на углах казались в своих белых кителях какими-то бесплотными существами, а теперь весь порядок жизни, и заодно блюстители оного,— все восстанавливались в своей прозаичности. Да и расстояния как-то сокращались, .улица съеживалась. Вчера даже собственное обиталище казалось каким-то привиденческим, я в него входил не

без некоторой опаски, и я не был бы удивлен, если бы из темных туманных углов парадной лестницы вдруг выступили бесплотные призраки, а теперь при свете зажженного газа ничего, кроме давно мне известного, меня уже не встречало. От всего этого становилось чуть скучно. Это возвращение к реальности ощущалось как некоторая деградация.

К Петербургу я буду возвращаться в своих воспоминаниях по всякому поводу — как влюбленный к предмету своего обожания. Но здесь я хотел бы набросать еще несколько картин «моего» города5, которые рисуют, так сказать, самую его «личность». Теперь, оглядываясь назад и лишенный всякой возможности туда вернуться, я любое изображение Петербурга представляю милым и любезным сердцу. Я трепещу, когда встречаю у букиниста хотя бы самую банальную фотографию, изображающую и наименее любимый когда-то уголок Петербурга. К наименее любимому, например, относилась Благовещенская церковь 6 с ее неудачной претензией на древнерусское зодчество, с ее золочеными пирамидальными главами, с ее гладкими стенами, выкрашенными в скучнейший бледно-коричневый цвет. Но теперь мне больно, что, как слышно, эту церковь снесли. Уже очень было мне привычно встречать ее на своем пути в гимназию и обратно, pi сколько сотен раз я со своей невестой обходили ее вокруг, совершая бесконечные паши вечерние прогулки... В двух шагах от того же Благовещения жили мои друзья: Нувель, Дягилев, Философов 7. Да и сам я со своей семьей впоследствии, в течение семи лет, жил в том же околотке — на Адмиралтейском канале.

В своем месте и в связи с тем культом Чайковского и в частности «Пиковой дамы», которому я предавался в начале 90-х годов, я еще кос-

нусь разных петербургских настроений. Мне придется рассказать о Летнем саде, о ранней петербургской грозе, о Зимней Канавке, обо всем том, что тогда, благодаря музыке, стало еще сильнее «хватать за душу». Но вот музыку «Пиковой дамы» с ее чудодейственным «вызыванием теней» я как бы предчувствовал еще с самых детских лет, а когда она появилась, то я принял ее за нечто издавна жданное. Вообще во всем Петербурге царит изумительно глубокая и чудесная музыкальность. Пожалуй, это идет от воды (по количеству рек и каналов Петербург может соперничать с Венецией и Амстердамом), и музыкальность эта как бы заключается в самой влажности атмосферы. Однако что там доискиваться и выяснять* У Петербурга, у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией8, у этого «казарменного», «безличного», «ничего в себе

национального» не имеющего города, есть своя душа, а ведь душа по-настоящему только и может проявляться и общаться с другими душами посредством музыки.

Остановлюсь здесь на тех петербургских пейзажах, которые были ближе к нашему дому9, некоторые из пих я мог даже изучать, не покидая родительской квартиры, в дни, когда болезнь приковывала меня к дому.

Каждая из диковин нашего околотка значила для меня очень много, но надо всем господствовала сверкающая золотыми куполами Никольская церковь 10. Она была одним из самых роскошных и самых внушительных среди петербургских храмов. В раннем детстве, однако, мое отношение к ней было какое-то смешанное, складывалось опо из любования, почитания и из жути. Я не мог отделаться от впечатления, что вся эта группа из пяти вышек составляла какую-то семью богатырей, чела коих были украшены шлемами, и что старший из них, стоявший в середине, и есть «сам боженька», что на его лице написано скорбно-строгое выражение. Когда я себя чувствовал в чем-либо виноватым, то именно этот боженька, казалось, глядел на меня с особой укоризной, а то и с гневом. Нижняя часть Николы Морского была несравненно приветливее. В многоугольном плане его стен, в кудрявых капигелях, в бесчисленных херувимах, которые барахтаются в пухлых облаках над окнами и дверями, в узорчатых, частью позолоченных балконах, в лепном сиянии, окружающем среднее овальное окно,— выражено нечто радостное, все приглашает не столько к посту и покаянию, сколько к хвале господа, к празднованию его великих благодеяний. Я не уставал все эти подробности разглядывать и, вероятпо, от этого «интимного» знакомства с чудесным произведением XVIII в. родилось мое восторженное отношение к искусству барокко. Очень уважал этот шедевр и мой папа, от которого я и узнал замысловатое, но хорошо усвоенное имя строителя Никольского собора — Саввы Чевакинского. Благодаря примеру моего же отца, который, будучи ревностным католиком, все же относился с величайшим благоговением и к православному вероисповеданию, я мог относиться к Нпколе Морскому, как к нашей церкви,— и это тем более, что папа носил то же имя, как и великий святитель, именем которого наречен

/, I, 1, Мой городfj

собор, и что храмовой праздник Николы, 6 декабря, совпадал с празднованием папиных именин. Самый адрес нашего обиталища тогда, когда еще действовал старомодный обычай давать адреса в несколько описательной форме,— звучал так: «Дом Бенуа, что у Николы Морского».

Однако церковь церковью, а светские соблазны соблазнами, и как раз два соблазнительнейших места находились тут же по соседству, всего в нескольких шагах от нашего дома. То были театры — два главных театра государства Российского: Большой и Мариинский. И к обоим-то семья наша имела весьма близкое отношение. Большой театр, когда-то построенный Томоном и, но сгоревший ъ 1836 г., был восстановлен «папой моей мамы», а второй и целиком построен тем же моим дедом в сотрудничестве с моим отцом **. Кстати, внутри Мариинского театра имелось убедительное доказательство его семейной к нам близости. В одном из писаных медальонов, которые были вставлены в своды фойе, вырисовывался профиль носатого господина с баками и в очень высоких воротничках — и это был мой прадедушка, когда-то знаменитый композитор Катарино Кавос.

В смысле внешней архитектуры я предпочитал Большой театр Ма-риинскому. Уж очень внушителен был его портик с толстенными ионическими колоннами, под который подъезжали кареты, высаживавшие публику у дверей в театр. Остальная грандиозная масса этого здания представлялась мне каким-то вместилищем таинственных чудес. Характеру чудесного способствовал ряд круглых окон, тянувшихся во всю длину крыши, и даже та уродливая толстая, несуразная железная труба с капюшоном поверх, которая как-то асимметрично сбоку возвышалась над зданием, обслуживая нужды вентиляции. У Мариинского театра вид был более скромный и менее внушительный, однако до того момента, когда его изуродовали посредством пристроек и надстроек, и он являл изящное и благородное целое. Система его плоских арок и пилястров и выдающийся над ними полукруг, соответствующий круглоте зрительного зала, производили на меня впечатление чего-то «римского)). Известной грандиозностью отличался театр со стороны Крюкова канала, в который упиралась его задняя стена. Отражаясь в летние сумерки в водах канала, силуэт его положительно напоминал какое-либо античное сооружение.

К ближайшему окружению нашего дома принадлежали еще два характерных для Петербурга здания — Литовский рынок и Литовский замок, находившиеся оба как раз непосредственно за Мариинским теат-

Про Мариинский театр можно даже сказать, что он был дважды построен моим дедом Альбертом Кавос. Сначала, в 40-х годах, был на этом месте сооружен по его проекту императорский театр-цирк, а когда это здание в 50-х годах сгорело, то на старой основе был построен Мариинский театр 12. При этоп вторичной постройке работами заведовал мой отец, так как дед был тяжело

болен. Возможно, что именно ему принадлежит очаровательное убранство зрительного зала.

18-*lt I, 1. Мой город*

ром2*. Архитектурной красоты оба здания, обслуживавшие самые прозаические нужды, не были лишены. Рынок, построенный в конце XVIII в., представлял собою обширное целое, выходящее на четыре улицы одинаковыми фасадами, состоящими из массивных арок и ниш с этажом полукруглых окон над ними, а тюрьма, перестроенная на ампирный фасон из сооруженного при Екатерине «турецкого» семибашенного замка (также выходившего на четыре улицы), состояла из гладких голых стен, соединенных кургузыми необычайной толщины круглыми башнями. Окон в этом здании было до странности мало, а те окна, что были расположены по верхнему этажу башен, были круглой формы, что и давало впечатление каких-то выпученных в разные стороны глаз. Центральный фасад был украшен фронтоном в «греческом вкусе» со статуями двух держащих крест ангелов посреди. Это мрачное (несмотря на свою белую окраску) здание принадлежало к лучшему, что было построено в классическом стиле в Петербурге, а на меня, ребенка, Литовский замок производил одновременно как устрашающее, так и притягивающее впечатление. Ведь за этими стенами, за этими черными окнами с их железными решетками, я рисовал себе самых жутких разбойников, убийц и грабителей, и я знал, что из этой тюрьмы выезжали те «позорные колесницы», которые я видел медленно следующими мимо наших окон, с восседающими на них, связанными преступниками. Несчастных везли на Семеновский плац для выслушивания приговора ошельмования. Спешу добавить, что таких колесниц я видел не более трех, да и видел я их в возрасте четырех или пяти лет. Позже этот обычай был отменен.

Раз я вспомнил про то, что можно было видеть из окон нашей квартиры, то тут же я расскажу и про другие такие «уличные спектакли». Зрителем их я мог быть, оставаясь па весьма близком расстоянии от самого «зрелища» —ведь жили мы в бельэтаже («о премье» * — по французскому счету). Совершенно другого характера, нежели тот ужас, который меня охватывал при только что упомянутом проезде «позорных колесниц», было чувство, которое я испытывал, когда мимо наших окон шествовала погребальная процессия, что происходило чуть ли не каждый день и даже по нескольку раз в день, так как через Никольскую улицу лежал путь к расположенным по окраинам города кладбищам — Волкову и Митрофаньсвскому, Всякие похороны оказывали на меня какое-то странное действие, но одни были только

«жутковатыми» — это в особенности когда простолюдины-староверы несли своего покойника на плечах в открытом гробу, а другие похороны в своей строгой церемониаль-ности производили впечатление возвышающее. Чем важнее был умерший, тем зрелище было торжественнее.

Мало-мальски заслуженный, знатный или зажиточный человек мог в те времена «рассчитывать^ на проводы до могилы с большой парадно-

Ничего специфически литовского ни в том, ни в другом здании не было и, признаюсь, я теперь забыл, по какой причине они это прозвище получили 13.

От «au premier» *(франц.)* —на первом этаже. По русскому счету —на втором. .

/, lt 1. Мой город

19`

стью. Православные отправлялись на последнее местопребывание на дрогах под балдахином из золотой парчи со страусовыми перьями по углам и золотой короной посреди. Парчовый покров почти скрывал самый гроб. Дроги же лютеран и католиков были также с балдахином, но они были черные и вообще «более европейского вида)). И тех и других везли ступавшие медленной поступью лошади в черных до земли попонах, а на боках попон красовались большие пестро раскрашенные гербы. Эта последняя особенность была уже вырождавшейся традицией, и от такой наемной геральдики вовсе не требовалось, чтобы она точно соответствовала фамильному гербу умершего. Их просто давал напрокат гробовщик, и можно было выбирать по своему вкусу гербы поэффектнее и попараднее.. Даже купца побогаче, хотя бы он вовсе к дворянству не принадлежал, везли лошади в попонах с такими гербами.

В особенно важных случаях погребальное шествие приобретало род. скорбного празднества. В столице жило немало особ высокого ранга, немало генералов, адмиралов, тайных и действительных статских советников, и на каждого сановника «сыпались царские милости» — в виде орденов, золотого оружия, медалей и других знаков отличия. Эти-то знаки при похоронах полагалось нести на бархатных, украшенных галунами подушках. Старшие мои братья относились к этому ритуалу с некоторой иронией, но на ребенка дефиле орденов производило глубокое впечатление. Кто-нибудь из больших тут же называл ордена: вот Георгий, вот Анна, вот Владимир, а вот и «сам» — Андрей Первозванныйи.

Напротив, цветов в те времена не было принято нести, и лишь два-три веночка с лентами лежали рядом с каской или

треуголкой покойного на крышке гроба. Печальная торжественность шествия подчеркивалась тем, что всю вереницу носителей орденов, шествующее пешком духовенство и самую колесницу окаймляли с двух сторон — одетые во все черное господа в цилиндрах с развевающимся флером, несшие среди дня зажженные фонари. Эти «факельщики» на богатых похоронах были прилично одеты и шли чинно, строго соблюдая между собой расстояние, если же покойник был попроще (лошадей всего пара, да и дроги без балдахина), то в виде факельщиков плелись грязные оборванцы с лоскутами дрянного крепа на продавленных шляпах, и шли они кое-как,. враскачку, так как они успевали еще до начала похода «выпить лишнего».

Военного провожал шедший за гробом отряд полка, к которому он принадлежал, а если это был человек высоких военных чинов, то сопровождало его и несколько разных отрядов, не исключая конницы и громыхающей артиллерии. О, до чего мне раздирали душу те траурные марши, которые при этом играли на ходу военные оркестры, инструменты которых были завернуты в черный флер. Бывало, я еще издали услышу глухое громыхание барабанов, визг флейт и мычание труб и с ужасом бегу к себе в детскую, где зарываюсь в подушки, только бы не слышать этих звуков. Но любопытство брало верх, я прокрадывался обратно к окну и столбенел в каком-то «трагическом восторге» — глядя,,

20"Л *h 1· Мой город*

как мимо окон проплывает вся процессия, заключением коей были бесчисленные кареты, ряд которых подчас вытягивался на добрую четверть версты.

Полным контрастом этим «триумфам смерти» были военные триумфы— проходы войск под нашими окнами. Так как путь от казарм Измайловского и Семеновского полков, а также морского Гвардейского экипажа к центру города лежал через нашу Никольскую и далее через Морскую, то этих солдат мы видали каждый день, то большими, то маленькими отрядами, и уж обязательно проходил туда и обратно караул Зимнего дворца от одного или от другого из названных полков. Кроме того, через нашу же улицу выступала весной значительная часть петербургского гарнизона, уходившая в лагери под Красным Селом. Тут я мог вдоволь наглядеться всяких отборных и очень эффектных форм. Наконец, к майскому параду являлись в Петербург и гатчинские кирасиры, и казаки, и все-то они на чудесных лошадях шли шагом под звуки своих оркестров мимо наших окоп. В мае дозволялось мне уже выйти па балкон, и тогда положительно казалось, что я сам участвую в этом чудесном празднике. Казалось, что стоит руку протянуть, и уже

дотронешься до расшитого полкового штандарта или сможешь погладить сияющие латы и шлемы, в зеркальной поверхности которых отражались дома и небо.

Надо сказать, что вид солдат в те времена был куда эффектнее позднейшего. Царствовал государь Александр II, сын знаменитого фрун-товика Николая I, и хотя кое-что в обмундировке было при нем упрощено, однако все же формы оставались роскошными — особенно в избранных гвардейских полках. Некоторые из пехотинцев сохраняли каски с ниспадающим густым белым султаном, у других были кепи, похожие на французские, также украшенные султаном. Грудь у большинства полков была покрыта красным сукном, что в сочетании с черно-зеленым цветом мундира, с золотыми пуговицами и с белыми (летом) штанами давало удивительно праздничное сочетание. Некоторые же привилегированные полки отличались особой декоративностью. До чего были эффектны белая пли красная с золотом парадная форма гусар, золотые и серебряные латы кирасир, кавалергардов и конногвардейцев, высокие меховые шапки с болтавшимся на спине красным языком кониогрена-деров, молодцевато набок одетые глянцевитые шапки улан и так далее.

Особенный восторг во мне вызывали оркестры — как те, что шествовали пешком, так особенно те, что, сидя на конях, играли свои знаменитые полковые марши (душу поднимавшие марши!). Великолепное зрелище представлял такой конный оркестр. Сколько тут было золота и серебра, как эффектны были расшитые золотом литавры, прилаженные по сторонам седла. А как величественно прекрасен был гигант тамбурмажор, шествовавший перед полковым оркестром. Что только этот весь обшитый галунами человек не проделывал со своей окрученной галуном с кистями налкой. То он ее швырял и на ходу схватывал, то крутил на все лады,

1, ž, 1. Мой город

21

Упомяну я заодно и о тх>м апофеозе военного великолепия, которого свидетелем я бывал раза два или три в свои детские годы. Я говорю об упомянутых только что майских парадах, происходивших на широком Царицыном Лугу i5, окаймленном садами, дворцами и похожей на дворец казармой Павловского полка. Из-под колоннады этой казармы я в компании знакомой детворы и наслаждался зрелищем. Место парадов называлось лугом, но «луга» никакого не было, а была очень просторная площадь, посыпанная песком. На этой площади и происходил царский парад. Начало мая редко бывает в Петербурге теплым

днем, и поэтому, будучи четырех- или пятилетним мальчиком, я немилосердно мерз, несмотря на свое бархатное пальтишко, суконную шапочку п шерстяной шарф. Однако сколько мама ни убеждала меня войти погреться в комнаты, я упорно оставался на своем месте, пожирая глазами происходившее передо мной. И как было не наслаждаться этим зрелищем, как можно было променять его на скучное сидение среди дам (еще, не дай бог, они стали бы тискать и целовать). Тысячи и тысячи моих любимых солдатиков продвигались стройными рядами во всех направлениях, все в ногу и все же без всякого видимого усилия, с удивительной быстротой повинуясь одним только выкрикам офицеров. Восторг, сопряженный с некоторой тревогой, возбуждал во мне проезд грохочущей артиллерии, но букетом всего спектакля являлась джигитовка кавказских воинов: черкесов, лезгинов, хевсуров. Иные из них в те времена были еще одеты точь-в-точь как средневековые рыцари — в серебряные кольчуги и в паицыри, и на головах у них были высокие серебряные шлемы. Джигиты неслись во весь опор, некоторые стоя на седле, стреляли вперед и назад, а подъезжая к палатке с особами императорской фамилии, они соскальзывали иод брюхо своих коней и с небывалой ловкостью схватывали брошенные им царицей или великими княгинями платки.

С особым восторгом относился я и к проходу того полка, у которого мы были в гостях,— павловцев. На головах у этих рослых парней были высокие медные кивера с красной спинкой, а мундиры их сверкали золотом, но самое замечательное было то, что все они были на подбор курносые — как того требовала традиция, восходившая еще ко временам державного учредителя этого полка, Павла I, отличавшегося, как известно, вздернутым до уродства носом. В жизни курносые люди мне только представлялись смешными, но в таком подборе они представлялись замечательно интересными. Вернувшись домой, я подходил к зеркалу, приподнимал пальцем свой нос кверху и радовался тому, что и сам становился похожим на павловца.

Вспоминая эти Марсовы потехи — как становится понятной муштро-вально-мундирная мания, коей были одержимы едва ли не все государи прошлого, но которая особенно «ставится в вину» пруссакам Фрпдриху, Вильгельму I и Фридриху II, а также нашим царям: Петру III, Павлу, Александру I и Николаю 1. Однако, хоть и кажется это смешно и хоть много бывало под этим мучительства, однако насколько же тогдашние

22~h h 2. Петергоф и Ораниенбаум

царские забавы в общем были менее жестоки и чудовищны, нежели все то дьявольское усовершенствование военного дела, до

которого теперь дошло человечество — ив самых демократических странах.

Глава 2

ОКРЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРГА. ПЕТЕРГОФ И ОРАНИЕНБАУМ

В мой культ родного города были включены и его окрестности. Но одни я узнал на самой заре жизни, другие лишь впоследствии. К первым относятся Петергоф, Ораниенбаум и Павловск, ко вторым — Царское Село, Гатчина и прилегающая к Петербургу часть Финляндии.

Наиболее нежное и глубокое чувство я питаю к Петергофу. Быть может, известную роль тут сыграло то, что я с Петергофом познакомился в первое же лето своего существования, ибо мои родители в те годы всегда уезжали на дачу в Петергоф, переехали они туда и в 1870 г., еще когда мне минуло не более месяца. В Петергофе же в следующие годы я стал впервые «осознавать» окружающее, да и в дальнейшем Петергоф не переставал быть «родным» местом для всей семьи Бенуа. В нем всегда проводили лето мои братья, в Петергофе начался мой «роман жизни», в Петергофе же живали не раз и я с собственной своей семьей. Но есть и вообще в Петергофе что-то настолько чарующее, милое, поэтичное и сладко меланхоличное, что почти все, кто знакомятся с ним, подпадают под его чары.

Петергоф принято сравнивать с Версалем. «Петергоф — русский Версаль», «Петр пожелал у себя устроить подобие Версаля»,— эти фразы слышишь постоянно. Но если, действительно, Петр был в 1717 г. поражен резиденцией французского короля, если в память этого он н назвал один из павильонов в Петергофе Марли, если и другое петергофское название — Монплезир — можно принять за свидетельство его «французских симпатий», если встречаем как раз в Петергофе имена трех художников, выписанных царем из Франции (архитектора Лсблона, живописца Пильмана и скульптора Пино), то все же в целом Петергоф никак не напоминает Францию и тем менее Версаль. То, что служит главным художественным украшением Петергофа,— фонтаны, отражает общее всей Европы увлечение садовыми затеями, однако ни в своем расположении. ни в самом своем характере эти водяные потехи не похожи на версальские. Скорее в них чувствуются влияния немецкие, итальянские, скандинавские, но и эти влияния сильно переработаны, согласно личному вкусу Петра и других русских

царей, уделявших немало внимания Петергофу. В Петергофе все несколько грубее, примитивнее, менее проработано, менее сознательно продумано в художественном смысле. Многое отражает и некоторую скудость средств и, несмотря на такую ску-

дость,— желание блеснуть <и поразить, что греха таить — Петергоф «провинциален» 1. Наконец и природа, несмотря на все старания (особенно самого Петра) победить суровость петербургского климата или создать хотя бы иллюзию, будто эта победа удалась,— природа осталась здесь несколько худосочной, почти чахлой. Временами непосредственная близость к морю делает и то, что существование в Петергофе становится мучительным. Дожди, туманы, пронизывающая сырость — все это характерные явления для всей петербургской округи, по в Петергофе они сказываются с особенной силой, действуя разлагающим образом на петергофские постройки, подтачивая камень, заставляя позолоту темнеть, периодически разрушая и искажая пристани, дамбы, обрамления водоемов и набережные каналов. Это одно лишает Петергоф той «отчетливости в отделке», какой могут похваляться знаменитые западноевропейские резиденции.

И все же Петергоф «сказочное место». Посетивший меня летом 1900 г. Райпер Мария Рильке2, стоя на мосту, перерезающем канал, ведущий от дворца и главных фонтанов к морю, воскликнул перед внезапно открывшимся видом: «Das ist ja das Schloss der Winterkönigin!» * PI при этом от восторга на глазах поэта даже выступили слезы. И действительно, в тот ясный летний вечер все казалось каким-то ирреальным, точно на миг приснившимся, готовым тут же растаять сновидением. Серебряные крыши дворца, едва отличавшиеся от бледного неба; мерцание золотой короны на среднем корпусе, блеклый отблеск в окнах угасавшей зари, ниже струи не переставивших бить фонтанов, с гигантским водяным столбом «Самсона» посреди, а еще ближе, по берегам канала, два ряда водометов, белевших среди черной хвои,— все это вместе создавало картину, полную сказочной красоты и щемящей меланхолии. Прибавьте к этому плеск и журчание воды, насторожившееся спокойствие могучих елей, запахи листвы, цветов,

Этот вид с моста — классический Петергоф, это тот вид, который отмечается крестиком в путеводителях. Однако к нему скорее можно привыкнуть, нежели ко всем тем более интимным или менее знаменитым красотам, которые открываются в Петергофе на каждом шагу. Так, меня с самого раннего детства особенно волновали два купольных здания, стоявшие на концах

большого дворца, один одноглавый, носивший название «Корпус под гербом», другой, служивший церковью и сверкавший своими пятью куполами, роскошно убранными густо позолоченными орнаментами. Перед первым на разводной площадке я не раз видел смотры войск, и тогда казалось, что как-то особенно гордо парит в небе, расправляя и вздымая своп крылья, гигантский золотой геральдический орел, венчающий купол этого павильона. Что же касается до придворной церкви, то нигде, даже перед нашим роскошным Никольским собором, церковные процессии не казались мне более умилительными, нежели там, когда в солнечное июньское утро крестный ход выходил из

* Это же замок Снежной королевы *(нем.)*.

церкви, спускаясь по наружной лестнице в сад, где на одном из ближайших бассейнов строился помост — «Иордань» для водосвятия. Как чудесно отражались в воде ликующее ясное небо и золотые купола, какими праздничными представлялись священнослужители в роскошных ризах, несшие хоругви ливрейные лакеи и случайно подошедшая посторонняя публика — особенно дамы в своих светлых платьях. Это были скорее интимные церемонии; двор еще не переезжал на летнее пребывание. Из особенно важных особ на них никто не присутствовал, потому и народу было не так уже много и можно было, пробравшись к самому краю бассейна, любоваться всем вдоволь.

По сколько еще очаровательного было в Петергофе. Не отдавая себе в чем-либо отчета, я уже ребенком все это впитывал в себя, гуляя за ручку с папой или сидя в коляске, сопровождая своих родных на «музыку». Постоянно возвращаясь к тем же местам в разные эпохи моей жизни, я часто находил то, что некогда мне представлялось грандиозным и роскошным, съежившимся, измельчавшим и «обедневшим». Flo и тогда душа всех этих мест заговаривала с моей душой — и не только потому это происходило, что вспоминались трогательные подробности, детские игры или первые воздыхания любви, а потому, что самому Петергофу действительно свойственна особенная и единственная пленительность. В самом петергофском воздухе есть нечто нежное и печальное, в этой атмосфере все кажется легким и ласковым. В Петергофе образ двух русских государей, стяжавших себе славу неумолимой строгости, получает иной оттенок. Фигуры Петра Великого и Николая I приобретают в окружении петергофской атмосферы оттенок «милой уютности». Один превращается в голландского средней руки помещика, радушпого хозяина, любителя цветов, картин, статуй и всяких

курьезов. Другой рисуется романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо.

Я не стану здесь более подробно описывать Петергоф, ибо в дальнейшем я неоднократно буду возвращаться к нему. Здесь скажу только еще, что как раз в Петергофе имеется ряд строений, созданных моим отцом, и эти постройки служат к немалому его украшению: грандиозные, имеющие вид целого города, придворные конюшни; два элегантных, связанных мостиком дворца для придворных дам, составляющие гармоничное и роскошное продолжение Большого петергофского дворца; наконец.— первое, что видишь, прибывая в Петергоф,— вокзал «Нового» Петергофа 3 с его готическими залами и своей узорчатой башней. Факт, что все эти здания были произведениями папы, что, кроме того, он в годы моего раннего детства имел по службе какое-то касательство вообще ко всем петергофским постройкам, объезжал их, давал распоряжения относительно их ремонта, что всюду его встречали как «любимого начальника», что многие придворные служащие были обязаны ему своим местом — это все способствовало тому, что я Петергоф мог считать своим родным местом. И к этому необходимо прибавить, что мой отец помнил

*I, /, 2. Петергоф и Ораниенбаум*25

Петергоф еще в годы, когда Россией правил Александр I, когда на «Петергофский праздник» (в честь вдовствующей императрицы Марии Федоровны) съезжалось пол-Петербурга. Наконец, многие члены нашей семьи родились в Петергофе, а два моих дяди и три моих брата всегда в нем проводили свой летний отдых. Пожалуй, сам царь пе обладал таким ощущением собственности в отношении Петергофа, каким обладал я. Для меня Петергоф был одним громадным поместьем, во всех своих частях абсолютно для меня доступным и близким. Не входила только в эту мою усадьбу интимная резиденция императорской фамилии, огороженная со всех сторон,— Александрия 4. Туда я в детстве не был вхож, и тем более казалась соблазнительной жизнь за этой нескончаемой высокой глухой стеной, выкрашенной в «казенные», желтую и белую краски. За ней и за воротами в ней, охраняемыми пешими часовыми и казаками на конях, жили царь с царицей и царские дети.

* * *

От Петергофа до Ораниенбаума всего десять километров, и

соединяет оба города широкое шоссе, идущее параллельно берегу Финского залива. Теперь с этой дороги уже почти нигде не видно моря, так как весь берег застроился дачами, во времена же моего детства в тех местах, где море не заслоняли парки принца Ольденбургского, собственной его величества дачи, герцога Лейхтенбергского и графа Мордвинова, там оно открывалось во всю ширь, а на горизонте, с приближением к Ораниенбауму, все яснее и яснее вырисовывался Кронштадт с его крепостями и кораблями. Берег этих открытых мест оставался диким; среди поросших скудной травой песков стояли одни жалкие рыбацкие хижины или же высились одинокие крепкостволые сосны, расправлявшие во все стороны свои могучие ветви.

В самый Ораниенбаум, городок убогий и глухо провинциальный, въезжали через «триумфальные», классического стиля ворота, затем тянулась улица с очень невзрачными домами, но дальше то же шоссе перерезало сад ораниенбаумского дворца — как раз у того моста, откуда начинается канал, ведущий среди пустынных земель и болот к морю. Тут Кронштадт виден был совершенно отчетливо, ибо расстояния до него всего шесть километров.

В Ораниенбауме никто из наших родных в моем детстве не живал, но это не препятствовало тому, что у меня сложилось к нему какое-то «родственное» чувство и что он оказывал на меня большую притягательную силу. Вероятно, поэтому первое же лето нашей самостоятельной жизни мы с женой пожелали провести именно под Ораниенбаумом, да и впоследствии мы два раза жили в самом этом чарующем месте.

В детстве меня ожидали разные специальные приманки в Ораниенбауме. Почему-то там я получал шишки с превкусными орешками, похожими на те итальянские пииьоли, которые у нас ставились на стол на больших обедах, там же откуда-то доставались крошечные райские, или

китайские яблочки, которые не отличались большой сладостью, но которыми я все же объедался, веря, что они действительно — из рая. Более же всего меня пленил самый дворец5, широкой дугой раскинувшийся на холме с двумя грузными павильонами па концах. Этот дворец был сооружен еще в царствование Петра Великого, но не самим царем, а его «выведенным из грязи в князи» любимцем Меишиковым, герцогом Ин-германландским. Большая герцогская корона, положенная на алую подушку, и венчала бельведер среднего корпуса дворца. Эта корона, годная по своим размерам разве только для какого-нибудь сказочного великана, производила на мое детское

воображение огромное впечатление. Но еще большее и доходящее до ужаса впечатление производили на меня помянутые пузатые павильоны (один из них называется Японским, другой служил придворной церковью), с выкрашенными одинаково в зеленую краску широко расплывшимися куполами, заканчивающимися причудливыми «фонарями». Когда на повороте дороги один из этих куполов вынырял из масс деревьев, то, бог знает почему, мною овладевал род паники, и я даже старался не глядеть в эту сторону.

Другие достопримечательности Ораниенбаума меня в детстве не касались, зато трепет мой усиливался, когда, миновав дворец, мы выезжали в густые еловые леса, расположенные на много верст вокруг Ораниенбаума и пребывавшие тогда в совершенной дикости. О, как дивно в них пахло, особенпо под вечер, нагревшейся за день хвоей. Какая поэзия леса была в них «отчетливо выражена». Обыкновенно среди леса коляски нашего пикника останавливались, седоки разбредались по рыхлым мхам в поисках грибов или черники, а прислуга располагала под деревьями скатерти, самовар, посуду и закуски. Но я боялся углубляться в неведомую чащу, благоразумнее было оставаться около мамы; мне казалось, что стоило бы мне удалиться на двадцать шагов, как меня схватил бы притаившийся за деревом волк или я увидел бы вдали медведя. Несколько раз даже казалось, что я и впрямь впжу чернобурого мишку, тогда как то были только подпятые корни поваленных ветром деревьев. Вблизи такая поднявшаяся на сажень или на две обросшая мхом корчага казалась разинутой пастью, зловещая чернота зияла под ней, и, как змеи, свисали тонкие отростки. Зато какое милое, безмятежное наслаждение доставляло мне собирание (точнее, съедание на месте) ягод, мириадами красневших, черневших и синевших всюду под ногами. Их было так много, что, не двигаясь с места, можно было наесться до отвала, стоило только нагибаться и класть ягоду за ягодой в рот, а мне в то время и нагибаться-то особенно не приходилось. Дивное удовольствие я испытывал, запихав за щеку десять-пятнадцать разных душистых ягод земляники, черники и голубицы и устраивая у себя во рту из них превкусную кашку — маседуан.

/, I, 3. Царское Село и Павловск

Глава 3 ЦАРСКОЕ СЕЛО И ПАВЛОВСК

Продолжая вспоминать об окрестностях Петербурга, я еще должен упомянуть о Павловске и о Царском. С Павловском я познакомился, когда мне было пять лет и когда я уже хорошо знал Петергоф и Ораниенбаум, с Царским же я познакомился гораздо позже, когда мне был уже двадцать один год. Последнее может показаться странным, ибо Царское Село как раз то место, которое пользуется наибольшей известностью за границей — известностью почти равной той, которой пользуется Версаль или Потсдам. Но случилось это потому, что мои родители в Царском не живали и что папа там ничего не строил. Раза три, впрочем, меня возили в Царское Село к нашим родственникам Шульманам и Лилле, но эти поездки совершались зимой, в темноту, и у меня не сохранилось о них иных воспоминаний, кроме каких-то темных вокзалов и вагонов. Помню и о той скуке, которую я испытывал, находясь «в гостях» в «чужом доме». Известное понятие, но, правда, совершенно фантастическое, о Царском я все же и в детские годы имел. Оно сложилось у меня от разглядывания трех гравюр, входивших в состав «альбома Махаева» *, и от одного из занавесей Большого театра. Особенно мне импонировал сложенный и раскладывавшийся во все стороны громадный лист в махаевском увраже, изображающий фасад дворца со стороны цнр-кумференции с проезжающей «лиыеей» императрицы, запряженной в двадцать лошадей цугом. И этим же фасадом я мог любоваться на помянутом занавесе, служившем для антрактов. Здесь дворец во всю свою ширь был виден через арки (никогда не существовавшего) перистиля, в нишах которого в вычурных позах стояли мифологические персонажи. Самый же дворец был изображен блистающим позолотой, как оно и было в действительности в первые годы его существования. Занавес этот принадлежал кисти знаменитого декоратора Роллера и был в своем роде шедевром.

Что же касается Павловска, то я не могу причислить его к наиболее любимым в детстве местам. Позже я оценил всю его грустную поэзию, его зеленую, напитанную сыростью листву, его благородные классические дворцы, киоски, надгробия, мавзолеи, храм Дружбы и храм Аполлона. В детстве же вся эта поэзия, типичная для позднего XVIII в., наводила на меня уныние... Однако несколько уголков пленили меня и тогда, а именно знаменитый Павильон роз и не менее знаменитая Сетка.

Скажу еще два слова о павловских настроениях. Будучи маленьким мальчиком, я, разумеется, не давал себе в них отчета,

по ощущал я их все же в чрезвычайной степени. В Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного. Именно в Павловске легче всего испытать «панический» страх. Недаром именно в Павловске, в крутые годы царствования императора Павла, дважды произошли так и оставшиеся необъяснимыми военные «тревоги», заставившие все части

войск, стоявших т^огда в Павловске, без форменного приказа, в самом спешном порядке, стянуться к дворцу — точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное и роковое. Недаром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест «Идиота» выбрал именно Павловск.

Это мрачное настроение, чему особенно способствует преобладание в парке черных и густых елей, царит в Павловске рядом с чем-то уютным и приветливым, и это соединение как-то по-особешюму манит а пугает, куда бы ни направить свои шаги. В сумерки подчас такие сме-шанные чувства достигают чего-то невыносимого, если окажешься в эту пору где-нибудь в темных аллеях Сильвии2 с ее темными бронзовыми статуями, изображающими гибнущих от стрел Аполлона Ниобид, или перед сумрачным фронтоном мавзолея Павла, или в запущенных просеках вокруг Круглого зала. И что же, даже в детстве именно эта пугавшая меня мрачность оказывала в то же время притягательное действие, а впоследствии и говорить нечего, именно эта кошмарная жуть, этот сказочный ужас особенно манили и пленили меня. Манила меня рі Крепость 3 — романтическая затея императора Павла, состоявшая из двух башен и дома, с перекинутым через ров подъемным мостиком, но больше всего меня в Павловске притягивал монумент Павлу I, что стоит перед дворцом4 и что изображает императора совсем таким, каким он был в жизни — с огромной треуголкой на голове, со вздернутым до карикатурности носом и в громадных ботфортах.

Глава 4

НАША СЕМЬЯ. ПРЕДКИ С ОТЦОВСКОЙ СТОРОНЫ

Известно, что С.-Петербург, став в XVIII в. настоящей - столицей, не пользовался симпатией остального Российского государства. Что это было так в начале его существования, вполне понятно, ибо русским людям, привыкшим считаться с Москвой,

как с сердцем России, было трудно поверить, что такое же и даже большее значение во всей их жизни получило какое-то новообразование, считавшееся сначала пустой, ничем не обоснованной прихотью царя. Такое недоверие должно было особенно утвердиться в Москве, в этой первопрестольной, чувствовавшей горькую обиду за то, что ей, древней, священной и богатой воспоминаниями, предпочли какого-то временщика без роду и племени, к тому же обладающего отвратительным климатом и худосочной природой. Это презрение и прямо-таки ненависть продолжались и дальше1. Ничего не противодействовало этим чувствам — ни величественная красота нового города, пи блеск его жизни (блеск, главным образом, сообщавшийся двором), пи расцвет культуры,— то, что именно в Петербурге величайшие русские художники слова, кисти и музыки имели свое пребывание и даже

вдохновлялись им. «Настоящему» русскому человеку все в Петербурге претило, и он продолжал в нем видеть чужестранца...

На самом же деле Петербург, несмотря на миссию, возложенную на него основателем, и на то направление, которое было дано им же его развитию, если и рор под руководством иностранных учителей, то все же не изменял своему русскому происхождению. Это «окно в Европу» находилось все же в том же доме, в котором жило все русское племя, и это окно этот дом освещало. С другой стороны, естественно, что в силу само-го его назначения, в Петербурге жило немало самых разнообразных иностранных элементов. Замечательно и то, что из очень многочисленных христианских храмов в Петербурге значительное число принадлежало иным вероисповеданиям, нежели православному, и в этих церквах служба и проповедь происходили на немецком, польском, финском, английском, голландском и французском языках. Паства этих церквей была исключительно иностранного происхождения, но в значительной своей части она ассимилировалась с русским бытом и пользовалась в своем собственном обиходе русским языком.

Нечто аналогичное уже знала Москва — в знаменитой Немецкой слободе, которая постепенно образовалась из иностранцев, массами селившихся по приглашению Москвы, закосневшей в стародавних навыках и потому нуждавшейся в более передовых элементах. Но в Москве чужестранцы жили отдельным, отгороженным от всего пригородом, куда русские люди почти не имели доступа, и которые сами могли обходиться без того, чтобы прибегать к непосредственному постоянному

общению с московским людом. Это было нечто вроде тех концессий, которые существуют на Востоке или еще вроде гетто в еврейском средневековье. Такого обособленного города при городе в Петербурге не было, а напротив, правительство Петра и его преемников всячески поощряло смешение своих подданных с пришлыми элементами, продолжавшими насаждать желанную (и необходимую) заграничную культуру. Если иностранцы в Петербурге и имели известную наклонность селиться группами по признаку одинакового происхождения, то это делалось свободно и из чисто личных побуждений. Вообще же иностранцы, частью вполне обрусевшие, жили в Петербурге (да и по всей России) в разброску, и если можно говорить в отношении Петербурга о какой-то Немецкой слободе, то только в очень условном и переносном смысле. Такая «слобода» существовала только «в идее», и это понятие не соответствовало чему-либо топографически-обособленному.

К составу такой идеальной Немецкой слободы принадлежала и наша семья. Несмотря на столетнее пребывание в Петербурге, несмотря на то,. что наш быт был насквозь пропитан русскими влияниями, несмотря на русскую прислугу, семья Бенуа все же не была вполне русской, и этому в значительной степени способствовало то, что наша религия не была православной и что большинство браков нашей семьи происходило с такими же потомками выходцев из разных мест, какими были мы. Чисто русские элементы стали постепенно проникать посредством браков в нашу

семью лишь к концу XIX в., и вот дети, рождавшиеся от этих браков, крещенные по православному обряду, постепенно теряли более явственные следы своего происхождения, и только по-иностранному звучавшая фамилия выдавала в них то, что в их жилах еще теч-ет известная доля французской, немецкой или итальянской крови.

Фамилия Бенуа — родом из Франции, из провинции Бри, из местечка Сент-Уэн, находящегося где-то неподалеку от Парижа... Мы не можем похвастать благородством нашего происхождения. Самый древний из известных нам предков Никола Дени Бенуа2 значится на родословной, составленной моим отцом, в качестве хлебопашца,— иначе говоря, крестьянина. Женат он был на Мари «Перу, очевидно, тоже крестьянке, но уже сын их — Никола Бенуа (1729—1813) успел значительно подняться по социальной лестнице.

Этот мой прадед получил достаточное образование, чтобы самому открыть школу, в которой воспитывались и его

собственные дети. С ним я уже как бы знаком лично. Пастельный портрет его, копированный моей теткой Жаннетт Робер с оригинала, оставшегося во Франции, изображает окривевшего на один глаз, очень почтенного и милого старичка. Его доверху застегнутый сюртук зеленоватого цвета выдает современника тех старцев, которые фигурировали на картинах Греза; под рукой у него книжка с золотым обрезом. Чему учил, где и как Никола Бенуа, я не знаю, по, вероятно, он был педагогом по призванию, так как иначе трудно было бы объяснить, почему он отказался от профессии дедов а избрал себе иной жизненный путь. Лицо на портрете прадеда мягкое, доброе и несколько скорбное. Моральную же характеристику мы находим в тех стихах, которые были сочинены его сыном (моим дедом) и которые в рамке под стеклом красовались под помянутым портретом, висевшим в папином кабинете, стены которого были сплошь покрыты семейными сувенирами.

Привожу здесь этот акростих, так как он не только характерен для своей эпохи, но является до настоящего времени своего рода «скрижалью идеалов» нашей семьи вообще. (Сохраняю орфографию подлинника3.)

*A Nicolas B é noh * ne U 17 Juillet Van 1729*

JVI *de parents obscur$, mais honn>ßtes et sincères't*

II †ut toujours bon Epoux et ion P,èr`e¦

Content de son état, humble dans ses dêsirs, On ne le vít jamais d'unr ard¢: ur imprudente: L·ivrer aux projets vains son âme independantel A rester Vertueux, il borna so4 pìaisir: Se rendre utile à tous fut son unique erwie f

*Николаю Бенуа,

родившемуся 17 июля 1729

Рожденный от людей незнатных, но честных и искренних, Он всегда был хорошим супругом ы отцом;

***ƒ, I , 4. Предки с отцовской** стороны*

31

Bienfaisant sans orgueil, doux¡ charitable, hit main `Et defendant toujours la Veuve et VOrphelin ` JV¿ Vorˆ ni les btsoin$ ne troublèrent sa vie,

On est riche en tout temps lorsquon fait du bien, Ji sut y dans ses bienfa¿ts placer son opulence, Son bonheur et le noire en soat la récompense.

Par son res¡jectueux iils Louis Be no is

Надо думать, что все сказанное в этом стихотворении не пустой поздравительный комплимент, но настоящая правда. Такая же характеристика могла бы вполне подойти, например, и к моему отцу, родившемуся как раз в год смерти моего деда 4, да и

вообще семья Бенуа отличается известной склонностью к домашним добродетелям при тяготении к скромности, к «тени», к достойному довольству своим положением. В отцовском собрании семейных портретов был один, изображавший дочь того же Никола Бенуа, сестру моего деда. Это был превосходный «кусок живописи», который можно было бы без натяжки приписать самому Давиду (видно, уже в те времена в семье Бенуа жили какие-то художественные вкусы и даже настоящий толк в живописи). Однако то, что эта моя grande tante Marie Madelaine * (в замужестве Meut5) изображена не в виде дамы, а в типичном крестьянском чепчике и с самой простецкой косынкой вокруг шеи, показывает, что у членов семьи Бенуа из Сент-Уэна тогда еще не обнаруживалось желание изменить своему происхождению «humble et obscure» **. Возможно, впрочем, и то, что в дни революции

Довольный своим положением, скромный в своих желаниях,

Он никогда не отдавал душу во власть неосмотрительной горячности,

Никогда не увлекался неосуществимыми планами.

Желая сохранить добродетель, он ограничивал свои удовольствия:

Быть полезным всем — было его единственным желанием,

Добрый без гордости, мягкий, милосердный, человечный,

Он всегда защищал вдову и сироту.

Ни золото, ни потребности не смущали его жизни;

Человек поистине богат, когда он делает добро.

Он сумел стать богатым своими добрыми делами;

Его и наше счастье стали наградой за это.

Написано его почтительным сыном

Луи Бенуа

Любопытно, что в этом стихотворении фамилия Bénois не только написана с одним «s» на конце и с accent aigu на букве «e». Из этого можно заметить, что наша фамилия в XVIII в. выговаривалась не Beunoua, как теперь, а Bénoua, и подтверждением этому служит строчка акростиха, которая начинается со звука «et defendant toujours la veuve et ГогрпеНп». Такая орфография едва ли свидетельствует о грамотности наших предков, однако мы дорожим ею, так как она отличает нас от бесчисленных французских фамилий, звучание коих тождественно (или почти тождественно) с нашей, но которые пишутся: Benoit ou Benoist.

Сестра деда Мари Мадлен *{франц.)*.

Скромному и незнатному *(франц.)*.

наши деды могли в такой намеренной скромности находить известную гарантию безопасности — тем более, что, судя по семейным преданиям, они отнюдь не разделяли массовых увлечений, а продолжали быть верными своим роялистским симпатиям, что, кстати сказать, вовсе не было редкостью во французском дореволюционном крестьянстве.

Мой отец во время своего путешествия во Францию (в 1846 г.) побывал в родной деревне, где он застал и самый дом семьи Бенуа. Он тогда же зарисовал его. На этой акварели мы видим каменное одноэтажное довольно большое здание с высокой черепичной крышей и с высокими тяжелыми трубами. У этого дома было странное прозвище «ГАЬЬауе» д, и возможно, что он служил когда-то служебным помещением какого-либо соседнего аббатства, но едва ли мой прадед был повинен в покупке конфискованного у духовенства имущества — ведь глубокая религиозность была также одной из основных наших фамильных черт. По акварели отца трудно судить, были ли вокруг дома еще какие-либо угодья, но скорее всего, что это было так, что за домом был расположен плодовый сад и далее тянулись огороды и поля, принадлежащие Никола Дени. Нужно думать, что эти угодья возделывались хорошо, ибо что, как не земные плоды, дали возможность накопить тот достаток, который позволил его сыну бросить крестьянское дело, открыть школу и перейти в разряд буржуазии.

У прадеда было три сына и две дочери 7. Изображения одной из дочерей и всех трех сыновей дошли до нас. Старший сын Анн Франсуа па превосходном портрете, висевшем в отцовском кабинете, подписанном Буало, имеет очень «благородный» вид. Глаза его ласковые, а на устах играет приветливая улыбка. Тот же Буало написал и его супругу — прелестную даму с «пикантными» чертами лица, в бархатном темно-зеленом платье с большим вырезом, с прихотливой прической на голове и с газовой рюшкой вокруг шеи. Любопытно отметить, что па своем портрете моя тетка, носившая в девичестве фамилию Бодар и вышедшая замуж за брата моего деда '* в Петербурге, имеет сходство с моей женой, что как будто указывает на известное «тождество семейных вкусов» на протяжении пелого столетия. Чем в точности занимался А*нн Франсуа, я не знаю 10, по, несомненно, это был человек со средствами. Косвенно на это указывает уже то, что его сын Луи, архитектор, мог взять себе в жены одну из богатых невест парижской буржуазии — дочь знаменитейшего на всю Европу серебряных и золотых дел мастера Одио.

4* Потомки брата моего деда в настоящее время живут в Париже, но все они принадлежат к жопской линии — и не носят

фамилии Бенуа. Последний французский Бенуа скончался лет двадцать назад8, и этот Артгор Бенуа был тоже архитектором. Второй сын моего прадеда, носивший имя Жан Франсуа и прозвище Кадо, был женат на своей кузине, но брак этот остался бездетным9. В папиной коллекции был портрет этого моего граид-оикль [брата дедушки] во вкусе Буальи, относившийся приблизительно к 1815 г. На нем «Кадо» имеет вид довольно полного, совершенно лысого господина. Взгляд и усмешка его выдают доброго п приятного человека. Мой дед позировал самому Буальи, и этот писанный на фарфоре превосходный портрет был приобретен у моей сестры Эрмитажем.

ƒ, I, 4. Предки с отцовской стороны

33

От младшего сына прадеда —- моего родного деда (1772—1822) и произошли все бесчисленные русские Бенуа, родился же мой дед за целый без двух лет век до моего рождения — в дни, когда во Франции еще царствовал Людовик XV. Воспитание этот Луи Ж голь получил во Франции 12, но еще совершенно молодым человеком, чувствуя непреодолимое отвращение перед революционным беснованием, он покинул родину и в 1794 г. оказался в России, где уже временно находился один из его братьев. По дороге дед, как всякий другой эмигрант, выучился всевозможным художествам и рукомеслам, но видно его истинным призванием было кулинарное искусство, ибо через несколько лет после своего прибытия в столицу мы уже застаем его при дворе Павла I в качестве царского метрдотеля, а по кончине государя он продолжал занимать до конца жизни эту должность при вдовствующей императрице Марии Федоровне. В Петербурге же дедушка женился (в самый год его прибытия) па фрейлен Гроппе, происходившей от одной из тех многочисленных немецких семей 13, которые при всей скромности своего общественного положения образовывали как бы самый фундамент типичной петербургской культуры. В качестве свадебного подарка Луи Жюль поднес своей невесте собственный портрет, писанный волшебной кистью Ритта, а в ответ он получил от нее роскошную черепаховую с золотом табакерку с ее портретом, на котором она изображена в виде цветущей и очень миловидной девушки. Увы, ее красота и прелесть после того, как бабушка подарила своему супругу семнадцать человек детей 1А (из которых одиннадцать остались в живых), исчезла к сорока годам бесследно. На портрете, писанном академиком Куртейлем около 1820 г., мы видим отяжелевшую матрону, с резко определившимися чертами лица, а еще через двадцать лет дагерротип и живописный портрет академика Горавского рисуют

нам вдову метрдотеля Екатерину Андреевну Бенуа старухой с одутловатым и скорбным лицом.

На портрете, писанном тем же Куртейлем в пару бабушкину, за **год** или за два до его кончины, дедушка выглядит важным и довольно строгим господином. Записка, которую он держит в правой руке, служит как будто намеком на его поэтические упражнения. У нас в архиве хранилась толстая тетрадь 15, включавшая опыт его автобиографии, полной довольно пикантных подробностей, относившихся к французскому периоду жизни деда, тогда как в Петербурге, под влиянием жены, он остепенился и вел жизнь образцового семьянина. То же благотворное влияние бабушки позволило, вероятно, Луи Бенуа стать зажиточным человеком, обладателем двух каменных домов 16, из которых один, усадебного типа (неподалеку от Смольного), он занимал с семьей целиком, а другой, на Никольской улице, он сдавал внаем.

Скончался дедушка от того повального недуга, который в 1822 г. косил сотнями и тысячами жителей Петербурга, и скончался он благодаря собственной неосторожности. Прослышав, что все подступы к Смоленскому кладбищу завалены гробами, он полюбопытствовал взглянуть на столь удивительное зрелище и отправился туда **верхом** вместе **с** мужем

старшей дочери Огюстом Робер. Прибыв на место, им захотелось взглянуть, действительно ли мертвецы, ставшие жертвами ужасной болезни, мгновенно после смерти чернеют (откуда и название «черной оспы»), Убедились ли они в этом или нет, я не знаю, но через день или два у обоих, и у тестя и у зятя, обнаружились признаки недуга, а еще через несколько дней оба они уже лежали рядышком в земле 17, но не на Смоленском кладбище, а на Волковом.

Вся семья дедушки изображена целиком на картине, писанной каким-то «другом дома», по фамилии, если я не ошибаюсь, Оливье 18. Это совершенно любительское произведение, над которым в былое время принято было у нас потешаться из-за его слишком явных погрешностей в рисунке, досталось по наследству мне. Но как раз любительский характер этой картины в последующие годы (когда начался культ всякого примитивизма в искусстве, а строгие академические заветы стали постепенно забываться) — возбуждал восторги всех моих гостей. Иные из них ничего другого на стенах не удостаивали внимания, кроме именно этого портрета «à la (k>unnier Rousseau»*. Нельзя, однако, отрицать, что в этой картине так же, как и во многих

подобных непосредственных и ребяческих произведениях, было действительно масса характерности.

На этой группе фигурирует между прочим и мой отец — пятилетний Коленька Бенуа. Он сидит, улыбающийся и бравый, позади братьев и сестер на комоде; на голове у него казацкая шапка, а в руке он держит знамя с двуглавым орлом. Видно, в те дни он был таким же милитаристом, каким я был в детстве, по впоследствии ни в нем, ни во мне ничего от этой воинственности не осталось. Укажу тут же, что один из братьев отца — Михаил (изображенный справа на портрете) готовился посвятить себя военной карьере и воспитывался в кадетском корпусе; дойдя по службе до чина полковника, он завершил свой жизпенный путь воспитателем в Пажеском корпусе. Типичный вояка николаевской эпохи, этот дядя Мишель представлен на акварели Горавского сидящим верхом на стуле с длинной трубкой в руке 2*.

Овдовев неожиданно, бабушка оказалась в несколько затруднительном материальном положении, и ей пришлось сократить весь образ жизни. Младшие ее дети были еще малютками, и они требовали особенного ухода. К счастью, личное благоволение императрицы Марии Федоровны к бабушке выразилось в том, что ей была ассигнована значительная пенсия, а воспитание нескольких детей взято на казенный счет. В особо привилегированном положении оказался мой отец, бывший крестником

* Р> манере «таможенника» Руссо *(франц.)*.

2* Двое из сыновой этого Мишеля Бенуа были также военными. Один был тяжело ранец в голову во время русско-турецкой войны 1878 г. и так от этого ранения и не поправился; другой — генерал Александр Михайлович Бенуа, после революции, в hí2Û-х годах эмигрировал в Германию19 и жил на пособие от германского правительства в Вернигероде в Гарпе, занимаясь продажей открыток, которые он сам оклеивал собранными им засушенными цветами. В начале этой войны он был переведен в богадельню, которая была разрушена бомбой при налете. Он уцелел, но вскоре после этого скончался (в ноябре 1943 г.).

царицы. Ввиду **того, что он** уже **в** детстве обнаруживал влечение к искусству, его взяли из немецкого Петропавловского училища и определили на полный пансион в императорскую Академию художеств, что предопределило всю его дальнейшую судьбу. Прибавлю для характеристики самого дедушки и бабушки, что, по заключенному при их вступлении в брак договору, все их мужское поколение принадлежало католической

церкви, все же женское — лютеранству (каковым было и вероисповедание самой бабушки). Эта религиозная разница нисколько не отразилась на сердечности отношений между братьями и сестрами, и скорее именно ей следует приписать ту исключительную широту взглядов, ту веротерпимость или, точнее, «вероуважение», которыми отличался мой отец, да и вообще все члены семьи Бенуа.

Глава 5 ПРЕДКИ С МАТЕРИНСКОЙ СТОРОНЫ

Мои предки с материнской стороны, пожалуй, более «декоративны», нежели предки с отцовской. Они принадлежали если не к венецианской зпати, то к зажиточной буржуазии Венеции. В XVII в. какой-то Ка-вос — бывший, если я не ошибаюсь, каноником одной из главных церквей Венеции, сделал щедрый дар библиотеке Сан-Марко, а мой прапрадед Джованни Кавос * состоял директором театра «Фениче». Сын его Ката-рино был необыкновенно одарен в музыке. Двенадцатилетним мальчиком он написал кантату в честь посетившею Венецию императора Леопольда II, а четырнадцати он сочинил для театра в Падуе балет «Сильфида». Концерты, которые он давал в «Скуоле Сан-Марко» (что близ церкви Сап-Джованни в Паоло) и в соборе Св. Марка, пост органиста в котором он получил по копкурсу, привлекали толпы венецианских меломанов. Однако после падения Республики Катаритю, как и многие его сородичи, предпочел отправиться искать счастья в чужие края, и после короткого пребывания в Германии он оказался в Петербурге, где талант Катарино Кавоса был вполне оценен и где он вскоре поступил на службу в императорские театры 2. Мой прадед, состоявший «директором музыки» в Петербурге 3, написал множество опер, балетов и симфонических сочинений, часть которых сохранилась в архивах дирекции императорских театров. В истории русской музыки Кавос заслуживает особенно почетного места, как непосредственный предшественник Глинки 4. Свидетельством его благородного бескорыстия является то, что, ознакомившись с партитурой своего младшего собрата на тот самый сюжет, на который он сам уже сочинил оперу «Иван Сусанин», прадед признал преимущество этой «Жиз-пи за царя», и, по собственному почину, снял с репертуара свое произведение, дав таким образом дорогу своему молодому и опасному сопернику. К сожалению, о характере музыки моего прадеда я могу судить лишь по его романсам, исполненным нежной мелодичности, и по тем

«куплетам» торжественного характера, которые были сочинены им в ознаменование вступлении союзных войск в Париж в 1814 г. По установившейся традиции, этими куплетами завершался каждый ежегодный Инвалидный концерт, дававшийся всеми военными оркестрами в Марианском театре. Должен сознаться, что куплеты Кавоса, слышанные мной несколько раз в юности, не производили на меня большого впечатления, и мне кажется, что они едва ли поднимались выше обыкновенного уровня того времени.

На акварельном портрете Катарнио Кавоса, работы Осокина, висевшем у папы непосредственно под акростихом Луи Жюля Бенуа, представлен немолодой, изысканно одетый господин. Волосы над высоким лбом взбиты коком, щеки с бакенбардами подпираются высоким воротником рубашки, широкий черный галстух туго забинтован, жилетку форменного зеленого вицмундира с золотыми нуговнпамп перерезает длинная раздваивающаяся цепочка, в жабо рубашки вставлена рубиновая запонка. На шее красуется орден св. Владимира. Характерность лицу придает выдающийся сильно горбатый нос (завещанный им многим из его потомков), а вся осанка обладает известной важностью. В то же время чувствуется, что этот человек только старался казаться строгим и взыскательным, что на самом деле под напускной личиной жил характер типичного венецианца, очень добросовестного в исполнении своих обязанностей, очень усердного в работе, необычайно благожелательного, а в отношении своих интересов скорее беспечного. Семейные предания и печатные источники рисуют его, кроме того, как человека независимых убеждений, великого ненавистника низкопоклонства, ябеды и судачества. Умер Катарнио Кавос сравнительно еще не старым (65 лет), 28 апреля 1b4ü г. Деятельность двух сыновей Катарнио протекала также па новой родине, в России. Младший, Джованни, избрал своей профессией музыку и состоял одно время помощником отца в опере, старший, Лльберто, мой дед с материнской стороны, окончил Падуанскпй университет по математическому факультету и занял затем на архитектурном поприще одно из самых выдающихся мест в России. Альберт Кавос (1801 — 1862) приобрел даже широкую известность как специалист по постройке театров, а монументальный труд его по этому вопросу считался классическим ь. Смерть похитила моего деда в тот самый момент, когда проект, составленный им для большой Парижской онеры, одобренный Наполеоном III и министром Фульдом, имел много

шансов быть принятым. Едва ли «Гранд-Опера» дедушки была бы столь же эффектной, как знаменитое произведение Шарля Гарнье, но можно быть уверенным, что его театр лучше отвечал бы требованиям удобства п акустики и что зрелище на сиене не было бы так раздавлено окружающим сцену тяжелым, давящим великолепием. Такое предположение навязывается само собой, если сравнить зрительный зал Марнинского театра со зрительным залом Парижской оперы. Вообще на свете едва ли существует более приветливое театральное помещение, нежели этот необычайно просторный воздушный зал Марнинского театра, построенный с таким расчетом, чтобы с каждого места,

будь то последнее кресло в ложе или самое крайнее место в «парадизе» . открывалась вся сцена. Но и декоративная отделка зала Мариинского театра в своем роде совершенство. Правда, тот стиль «рококо Луи Филиппа», в котором выдержаны орнаменты его, не пользуется сейчас признанием, однако сама по себе вся система этой декорировки необычайно грациозна и лишена какой-либо навязчивости, а комбинация голубых драпировок лож и обивки барьеров и кресел с позолотой на общем фоне создают гармонию удивительной праздничности и в то же время уютности. <…>

Совершенно в другом роде был зрительный зал Большого театра, снесенного в начале 90-х годов, и его близкое подобие — существующий до сих пор зал Большого театра в Москве — оба также произведения моего деда. В обоих преследовалась задача поражать богатством и роскошью, и задача эта доведена даже до некоторого эксцесса именно в московской Опере, вероятно, потому, что полное возобновление театра было спешно закончено к специальному моменту — к коронационным торжествам 1856 г.6

В обоих театрах отделка краспая с золотом, причем золото покрывает почти сплошь всю архитектурную поверхность. И эти два зала в смысле нарядности почитались образцовыми, не говоря уже о том, что их акустика отвечала самым строгим требованиям.

Громадные заказы, которыми был завален дед Кавос, позволили ему достичь значительного благосостояния, а оно дало ему возможность вести довольно пышный образ жизни и отдаваться коллекционерской страсти. Его дом в Венеции (на Канале Гранде) был настоящим музеем. Дедом построен там же вместо глухой стенки, служившей оградой узенькому садику, выходившему на канал, существующий поныне переход па мраморных колоннах. Чего-чего не скопилось в этом венецианском доме. Превосходные картины, рисунки, старинная

мебель, масса зеркал, фарфора, бронзы, хрусталя. Все это, однако, было расставлено и развешено без того, чтобы производило впечатление антикварного склада. Впоследствии многие из этих вещей были перевезены в Петербург, а после смерти деда в 1864 г. поделены между вдовой и другими наследниками. Больше всего досталось старшему сыну Альберту Сезару, но немало картин и других вещей из его собрания украшало в 80-х годах нашу квартиру, а также квартиры бабушки Кавос и дяди Кости.

II этого своего деда Кавоса я не имел счастья знать — он умер за шесть лет до моего появления па свет, но все же мне он был более близок, нежели дедушка Бепуа. Моей матери было тридцать четыре года, когда она его потеряла, его вдова была непременным членом нашего семейного круга; его лично помнили мои сестры и старшие братья, да и среди наших знакомых многие любили о нем рассказывать. Меня же к покойному дедушке особенно влекла унаследованная от него коллекционерская страсть. Очень рано я стал чувствовать к нему род признательности за то, что именно благодаря этой его страсти, о которой с меньшим восторгом отзывалась моя мать, у нас было столько красивых вещей, чу-

десная же Венеция в целом продолжала, благодаря этим семейным сувенирам, быть чем-то для меня родным и близким. Когда часами я разглядывал висевшую в кабинете папы длинную узкую раскрашенную панораму Венеции (с неизбежной лупой), когда я мечтал о том, как сам буду когда-нибудь плыть мимо этих дворцов, когда я изучал в зале маленькие две картинки, представлявшие виды дедовского палаццо,— то мне казалось, что я все это уже знаю и что во мне оживают жизненные восприятия, симпатии, радости и художественное любопытство дедушки. Сам же он па меня глядел молодым человеком с холста, писанного Натале Скья-воне, человеком средних лет с овальной литографии 40-х годов и уже стариком с фотографин, висевшей в папином кабинете. Всюду дедушка на этих изображениях меня пленил своей элегантностью и своим «барством о, Мне было почему-то лестно, что я его внук, что во мне течет его кровь. Я знал также, что и весь образ его жизни пришелся бы мне по вкусу. Дом его был поставлен на широкую ногу, а постоянное сношение с родипой должно было придавать этому дому тот ореол «заграничности», который как-то сливался у меня с представлением об аристократичности. Этот же тон поддерживали и оба сына, родные братья моей матери. Напротив, я чуть сетовал на моих родителей, что они этого тона не придерживались, что они даже создали себе идеалы и принципы

какого-то «благоразумного, буржуазного juste milieu» * и что весь порядок в пашем доме носил скорее простоватый оттенок.

Глава 6 «БАБУШКА КАВОС»

Вдова дедушки Кавос и после его смерти продолжала занимать видное положение в нашем семейном кругу, ей же было уделено самое почетное место в домашних торжествах. Все ее обожали, и не только «линия Кавос», но и «линия Венуа». Между тем она не была родной бабушкой в прямом смысле — «бабушка Кавос» была второй женой дедушки 1*.

* Умеренного образа жизни *(франц.)*.

'* О нашей настоящей бабушке со стороны матери у нас было самое смутное представление, хотя два ее портрета — один акварельный, другой рисоваппый карандашом— висели в папином кабинете. Бедная эта «забытая» бабушка, мать моей матери, скончалась от чахотки еще в начале 30-х годов. Она была тоже венецианкой, и девичья ее фамилия была Каробио. Женился дед на ней в 20-х годах. Матери моей было всего три года, когда она скончалась. Кроме мамы детьми этой прелестной и хрупкой женщины были дядя Сезар, дядя Костя и бедный калека дядя Стефано, о котором речь кпереди. Судя по упомянутому портрету, старшая дочь моя вышла совершенной копнен своей прабабки. Несколько лучше сохранилась у нас в семье намять о прабабке, о супруге моего прадеда Кавоса-комнозитора. Даже па портрете (отличный карандашный рисунок в стиле Каммучшш) видно, что это была дама, хоть и любезная, но и несколько строгая и умевшая соблюдать

I , I , 6. «Бабушка Кавос»

39

Ксения Ивановна Кавос была живописнейшей фигурой. В молодости она была писаной красавицей, и роман между ней и дедом возник совсем так, как писали в книжках эпохи Сю и М горже. Проходя как-то по одной из линий Васильевского Острова, Альберт Кавос увидел в окне нижнего этажа очаровательную блондинку, занимающуюся шитьем. Недолго думая, дед вошел в эту белошвейную мастерскую и заказал хозяйке дюжпну сорочек, дав довольно крупный задаток. Явившись за ними через неделю, он уже вступил в бесеiv с очаровательной блондинкой, после чего произошло более близкое знакомство с ее уважаемой матушкой, а уже через месяц он сделал Ксении Ивановне предложение. После свадьбы молодые тотчас же уехали за границу, и несомненно именно то обстоятельство, что масса совершенно новых

впечатлений сразу нахлынула на юную (ей было лет семнадцать) Ксению Ивановну, что эти впечатления сочетались с самыми счастливыми моментами ее жизни, с истинным «медовым месяцем», проведенным в обществе молодого, красивого и блестящего человека, это обстоятельство (это стечение обстоятельств) произвело то, что Италия получила для этой простой русской девушки значение какой-то обетованной земли и чуть что не рая земного. Этому культу Италии и всего итальянского мадам Кавос осталась затем верной на всю жизнь. Ни малейшей критики Италии она в своем присутствии ие допускала. Все там было безоговорочно прекрасно — и местности, и здания, и картины, и статуи, и люди, и нравы, и, разумеется,— музыка. Прекрасны Рим, Неаполь, Флоренция, но все же прекраснее всего была Венеция — родина мужа, где она оказалась хозяйкой очаровательного дома насупротив божественной Салуте \ Хотя дом был меблирован старинной мебелью и увешан старинными картинами, однако все казалось таким чистеньким, светлым, ярким, так весело играло па потолках отражение зыби каналов, а в открытые окна среди заколдованного венецианского безмолвия так весело врывались клики гондольеров. Кроме того, Ксении Ивановне был оказан радушнейший прием, чисто итальянский прием со стороны кавосских родных и знакомых, и, в частности, со стороны топко образованной ее невестки Стефани Корронини, которая ее сразу взяла под свое покровительство и занялась ее светским воспитанием.

К сожалению, венецианская идиллия не могла продолжаться до бесконечности. В Петербурге деда ждали большие постройки, и, между прочим, надлежало строить здание Императорского цирка (то самое здание, которое было затем перестроено им же в Мариипский театр),— и вот молодые, после нескольких месяцев отсутствия, снова оказались в Петербурге, на сей раз в казенной квартире, предоставленной деду в одном из флигелей Пажеского корпуса. Ксении Ивановне выпало на долю не только воспитание своих собственных детей, но и трех уже взрослых мальчиков и одной девушки. Последняя, впрочем, воспитывалась вне до-

свое достоинство. Тут кстати будет сказать, что вообще женщины в обеих семьях — как Бепуа, так и Кавос — обладали большей жизненной толковостью, нежели мужская половина их.

ма — в Смольном институте для благородных девиц. И вот постепенно, благодаря врожденному такту, молодая женщина завоевывает искреннюю любовь всех этих «детей», да и сама принимается их любить, как своих. Можно даже сказать, что в

некотором смысле она этих «чужих» детей предпочитала тем, которых сама родила: двух мальчиков и одну девочку. Возможно, что в последних ее раздражало как раз их слишком определенное, от нее унаследованное русское начало. Те «чистокровные венецианцы» вышли такими же «тонкими» людьми, каким был ее муж (и какими ей рисовались чуть ли не все итальянцы), тогда как в ее мальчиках, даром, что старший сын — Миша сразу стал выказывать блестящие способности, ее тревожила какая-то склонность к грубоватой прямолинейности. Зато единственная дочь Софи не уступала но красоте матери, и бабушка в ней души не чаяла.

Надо, впрочем, сказать, что сама бабушка Кавос так и не преуспела вполне в смысле усвоения светского тона и светских манер. Свое происхождение она выдавала как некоторыми оборотами речи, так подчас и слишком резкими жестами, в которых она, пожалуй, старалась походить на своих любезных итальянцев. Чуть грешила она и порывами невоздержанной веселости или слишком ясно выраженными вспышками гнева. Но выручали ее величественность осанки, ее уменье одеваться, причесываться, ее природная ласковость и «гармония» ее походки.

Совершенной королевой она выглядела на большом поколенном портрете 40-х годов Скьявоне и не менее величественной на рисованном портрете Беллоли. Дед мог вполне гордиться своей «находкой», а о том, что он совершил своего рода мезальянс, все со временем забыли. Когда подросла и стала выезжать моя мать, то «бабушка», хотя и казалась почти одних лет с пей, с большим тактом и с подобающей сердечностью играла роль опекающей, а у себя дома она умела и принять, и угостить, и занять. Тут пришелся кстати ее столь быстро усвоенный «итальянизм». Это создало ей в те дни бешеного увлечения итальянской музыкой и итальянской оперой особый ореол. Она перестала быть петербурж.анкой, а превратилась в какое-то своеобразное подобие чужестранки, а ведь еще со времен Петра за иностранцами сохранялось в столице до некоторой степени привилегированное положение.

Увы, супружеское счастье Ксении Ивановны не было прочным. Постепенно Альберт Катаринович, страдавший вообще непостоянством, охладел к своей красавице-жене, стал ухаживать за другими и наконец попался в лапы одной заправской интриганки. Измена мужа омрачила существование Ксении Ивановны, а после его смерти возникли и заботы материального порядка. Оба своих петербургских доходных дома дед завещал своей новой пассии и, вероятно, передал ей, кроме того, значительную сумму денег. После раздела остального наследства

пришлось сократить образ жизни Ксении Ивановне, а дочь ее, «тетя Соня», только что вышедшая замуж за Мнтрофана Ивановича Зарудиого, оказалась почти бесприданницей. К довершению горя, эта очаровательная молодая женщина умерла в родах первого же ребенка, и бабушке пришлось взять на

/, I, 6. ((Бабушка Кавос»

себя воспитание внука. Однако когда я мальчиком лет четырех начал «осознавать» бабушку, то и следов всех этих потрясений не оставалось. За несколько лет бабушка при помощи сыновей успела привести в некоторый порядок свои дела, забыть о горестях и обидах, а к памяти мужа она выработала в себе настоящий пиетет. В ее квартире, менее обширной, нежели прежняя, по все-таки нарядной, висели его портреты вперемежку с ее собственными, в гостиной на особом постаменте красовалась севрская ваза, присланная Наполеоном III при собственноручном письме императора к деду, а целую степу спальни занимали картинки, представлявшие внутренность Кавосского дома в Венеции. Кроме того, в столовой, в гостиной п даже в коридоре были развешаны акварели и сепии Зичи, Садошшкова, Шарлеманя, изображавшие фасады и ьпутренности построенных дедом театров, а также ту грандиозную иллюминацию, которой в дни коронации Александра II было ознаменовано открытие Большого театра в Москве.

Я, вероятно, не раз бывал у бабушки Кавос в детстве, но воспоминаний об этом у меня не сохранилось. Зато незабываемым остается тот день рапней осени 1884 г., когда у бабушки был устроен парадный обед в честь моего брата Миши, только что женившегося на своей кузине Ольге Кавос (дочери дяди Кости). Весь обед состоял из венецианских национальных блюд, а в качестве пьес-де-резистаяс *, сейчас после ми-нестропе, была подана тембаль-де-макаропп 2, специально заказанная у знаменитого Пивато на Большой Морской. Однако не все это угощение а не несколько бокалов шампанского наполнили мою душу тогда каким-то особенным восторгом, а то наслаждение, которое я испытывал благодаря чувству зрения. Много всяких венецианских сувениров было и у нас, и у наших дядьев, но здесь сувениры составляли одно целое, удивительную, единственную в своем роде гармонию. Восхитительно сверкали свечи в хрустальных люстрах, отражаясь в зеркалах, вставленных в изощренные золоченые рамы с живописью иа них Доменико Тьеполо. Тол-поп стояли на комодах и по этажеркам изящные фарфоровые фигурки. Самая сервировка была особенная; даже стекло стаканов и графинов, даже вышивки на скатертях и на

салфетках были не такие, какие я встречал в других домах. Вероятно, бабушка к столь торжественному случаю вытащила со дна сундуков самое ценпое и заветное, а может быть она и призаняла кое у кого из своих итальянских знакомых. Только прислуга была совсем не похожа на венецианскую. То был типичный русский лакей с длинными бакенбардами, который состоял иа службе у одних наших родственников, по которого всегда «брали напрокат» все, кто нуждались в его глубоких познаниях обеденного этикета, и то была тоже архнрусская старушка горничная; иногда же из далекой кухни появлялась «сама Лидия» — русская кухарка, выучившаяся наизамысловатей-шим итальянским блюдам, и появлялась она затем, чтобы но традиции выслушивать комплименты по поводу всякого нового созданного ею шедевра. * От piece de resistance *(франц.)* — основпого блюда.

42**h h 6. ((Бабушка F(aeoc»*

Бабушка к 3T¢My обеду особенно принарядилась, впрочем, принарядилась она во все то, что неизменно облекало ее на подобных' же торжествах. Следов прежней красоты не оставалось в этой шестидесятипятилет-ней, несколько расползшейся женщине, но «царственного величия», смешанного с ласковой веселостью, у нее было еще сколько угодно. Она очень волновалась, и вследствие того лицо ее пылало румянцем, но это ей скорее «шло» и отлично вязалось с седыми волосами и с тем из венецианских кружев построенным чепцом, что венчал ее голову. На плечах же и поверх темно-фиолетового канаусного платья у нее была знаменитая белая мантилья, отороченная горностаем. Мех порядком пооблез, а бархат начинал обнаруживать следы долголетнего служения, но это была все еще очень нарядная и очень пышная вещь, говорившая о славе и о великолепии былых времен. Рядом со своим прибором, по стародавнему обычаю, лежал веер, и когда изредка бабушка им обмахивалась, то до полной иллюзии создавалась картина прошлого, и вовсе не прошлого бабушки, а более далекого — какой-то Венеции Гольдони или Гоцци. Как раз я тогда только начал определенно и не совсем уж по-мальчишески вкушать прелесть стародавних времен, и, вероятно, именно потому меня все это так поразило и так запомнилось.

К сожалению, в той квартире, которая так меня поразила в 1884 г., бабушке недолго оставалось жить. Ей пришлось выселиться из-за какой-то перестройки всего дома (то был дом церкви Св. Анны на Кирочной), а та квартира, которую ей нашел дядя Миша в Поварском переулке, далеко не была такой же привлекательной и нарядной. Неприятное впечатление

производило уже то, что парадная лестница — светлая и пологая внизу, становилась все круче и темнее, приближаясь к квартире К. И. Кавос, занимавшей весь верхний этаж. Да и потолки в комнатах были не такие высокие, и расположение комнат, которые перерезал длинный и темный коридор, было довольно нелепым. Многое из обстановки перед переездом пришлось распродать, а многое было продано в последующие годы, в удовлетворение все той же страсти бабушки к Италии и ее потребности изредка посещать свой «парадиз». Ушли, таким образом, наиболее ценные вещи — бронзы Джованни ди Болонья, изумительная резная шкатулка XVI в., расписные и инкрустированные шкафики, какие-то замечательные ширмы и многое другое. В те времена ежегодно в Петербурге появлялись (и останавливались в «Европейской» гостинице) агенты больших антикварных фирм, о чем сообщалось в газетах, и вот им бабушка и предпочитала продавать свои редкости, так как таким образом легче удавалось оставлять сделку в тайне. На вырученные деньги бабушка, не затрагивая скромного капитала, ехала затем в Венецию, где и проводила в необходимой для ее души атмосфере два или три месяца.

Было время, когда эти поездки бабушки я ценил чисто эгоистически. Она привозила оттуда мне, младшему из ее внуков, то труппу преумори-тельных фантошек, то целый театрик. Но позже я уже негодовал, когда узнавалось, что безвозвратно ушла та или другая из бабушкиных худо-

жественных драгоценностей, негодовали и другие члены семьи, предлагая вперед самим покупать то,' что она обрекала на продажу. Бабушка все же предпочитала свой способ — по крайней мере не влекший за собой «лишних разговоров».

В последние годы своей жизни бабушка очень изменилась. Что-то не ладилось с ногами, и она утратила свою прелестную легкость поступи: ей приходилось опираться на костыль. Однако лицо, хоть и превратилось в старушечье, оставалось в своем роде привлекательным и необычайно благородным. Теперь она еще более напоминала осанку и ласковую величественность Екатерины II, какими мы себе представляем их по портретам государыни. И тем более контрастными сделались всякие причуды и чудачества бабушки, с годами только усилившиеся. Ее franc parler *, бывший когда-то только чарующим, теперь приобрел почти карикатурную по своей резкости форму. Не совершенно отвыкла Ксения Ивановна и сдерживать свои порывы гнева, выражавшиеся подчас совершенно недопустимым образом.

Другие чудачества бабушки носили невинный характер. К ним относилось и то, что она поминутно и по всякому поводу восклицала: «Sant1 Antonio di Padova...» ** Это восклицание она затем русифицировала и превратила в совершенно фамильярное: «Святой Антон», и даже просто «Антошка». За это маленькие правнуки ее, дети Жени Кавоса, прозвали ее «Бабушкой-Антошкой», и под этим прозвищем она стала известна и в более широких кругах.

Милая «Бабушка-Антошка»! Я чувствую здесь потребность высказать ей несколько слов специальной и личной благодарности. Ксения Ивановна, быть может, памятуя, как ей трудно было преодолеть вначале разные противодействия и недоброжелательства в том обществе, в которое она вступила, относилась вообще снисходительно, а то и просто покровительственно к разным возникавшим в нашей семье романам. Необычайно милостиво относилась она и к моему «роману жизни», и это в такие времена, когда обе наши семьи были оскорблены нашим поведением — не менее, нежели родные Ромео и Джульетты. Подумайте только. Шура стал ухаживать за Атей Кипд — за сестрой той самой Марии Карловны, «с которой только что разошелся его брат Альберт» или «Атя собирается замуж за Шуру Бенуа...» Напротив, бабушка Кавос, питавшая несомненную симпатию к моей возлюбленной, только повторяла: «Пусть делают, что хотят, и вы увидите, что они пайдут друг в друге счастье». Впрочем, бабушка и вообще отличалась большой «сердечной мудростью» и прозорливостью. В свойственной ей шуточной форме, смешивая русские, французские и итальянские выражения, она иногда делала очень меткие характеристики или освещала какое-либо «создавшееся положение» с надлежащей стороны. Естественно, что ее привлекали к себе люди с родственной душой. Ей моя Атя именно тем и нравилась, что больше»

Бесцеремонный, резкий тон *(франц.)*. Святой Антоний Падуанский *(итал.)*.

чем в других, она в ней находила прямодушие, природную веселость и решительное отсутствие ломанья или ноны.

Особенной же симпатией пользовалась у бабушки Кавос ее внучка, моя сестра Камилла, у которой на Кушелевке она временами подолгу гостила. Здесь ее любимым местопребыванием была большая, покрытая тентом терраса перед домом, с видом на поросший водяными лилиями пруд... Сидя часами на самом краю этого балкона, там, где тент не

препятствовал солнцу ни греть, ни светить (зябкая бабушка даже летом куталась в свою мантильку), положив больную ногу на табурет, она оттуда следила за возней и за играми детей Камиллы в саду. Не вспоминала ли она при этом то время, когда ее родные дети, и среди них очаровательная Сонечка, так же играли и возились в узком садике венецианской «Каза Кавос»? Увы, не одну Сонечку, но и всех трех своих детей бабушка пережила, и не оставайся при ней сын Сони — Сережа Зарудный, постепенно превратившийся из крошки-сироты в правоведа, а из правоведа в господина прокурора, то с ней некому было бы жить, некому было бы и завещать то милое, памятно родное, чем и после всех переездов и после всех продаж битком была набита ее квартира. Скончалась бабушка среди всех этих сувениров глубокой старухой, но ни мне, ни Ате не удалось проводить ее до последнего ее жилища — мы в это время жили в Риме (1903).

Глава 7 МОИ РОДИТЕЛИ

Моего отца я не помню иным, нежели довольно пожилым человеком, с седыми волосами и бакенбардами, с начинающейся лысиной и в очках. Папе было около пятидесяти семи лет, когда я родился, самые же ранние мои воспоминания о нем относятся к тому моменту, когда он вступил в седьмой десяток. Немолодой казалась и мама, хотя она была на пятнадцать лет моложе своего мужа. Вероятно, она состарилась преждевременно от многочисленных родоь. Да она и вообще была довольно хрупкого сложения. Я ее помню сильно сутуловатой, с известной склонностью к полноте, с легкими морщинами па лбу. Но не такой она выглядит на портрете Капкова, начала 50-х годов, висевшем у нас в гостиной. Там она представлена такой, какой ее «взял» папочка — совершенно еще юной, тоненькой, прямой. Я даже не совсем верил, когда мне говорили, что это «мама», и удостоверялся я н том, что это та же обожаемая мамочка, с которой я никогда не расставался, по чисто внешнему признаку — по знакомой лорнетке, которую она на портрете держит в своих бледных прозрачных руках. Знакомо мне было и несколько грустное выражение лица этой «дамы» — выражение, отлично подмеченное художником. Ведь в основе характера мамочки лежала какая-то грусть: она как-то «не доверяла» жизни, ей казалось, что на нее и на близких отовсюду и

везде надвигаются какие-то напасти. Моментами это

«недоверие» принимало болезненный оттенок — например, при любой поездке в экипаже и особешю в санях, тогда взгляд ее становился растерянным, страдальческим и она хваталась за все руками.

Непрерывно она была озабочена и нашим благосостоянием. Тревога из-за недостатрчяой обеспеченности ее мужа и ее детей тем более ее терзала, что мама, в противоположность мужу, не была религиозной. Впрочем, она исповедовала какую-то свою религию, несколько материалистического оттенка. Возможно, что в глубине души она и вовсе не верила во что-либо «сверхъестественное» (и менее всего в загробную жизнь), но об этом она предпочитала молчать, и подлинные, но тайные убеждения ее лишь изредка, невзначай прорывались наружу. Не сказывалось ли в характере мамы ее венецианское происхождение? Она не была отпрыском той Венеции, которая героически воевала за господство на морях, строила церкви и дворцы сказочной красоты, а была отпрыском той Венеции, которая доживала свой век во всем разочарованная, ослабленная, изверившаяся.

Напротив, в отце жила не знавшая уныния бодрость и непоколебимое упование на господа. Я его помню всегда веселым, жизнерадостным, вовсе не озабоченным тем, что будет дальше. О бережливости у него было самое сбивчивое представление, тогда как бюджетом нашего дома заведовала хрупкая мамочка. Пользуясь советами своих двух братьев, она даже пробовала (временами не без удачи) производить кое-какие финансовые операции, мало что в них понимая по существу. Папочке же всякая возня с деньгами, с банками была абсолютно чуждой, и, увы, эту черту я от него унаследовал. Папа только думал о своем искусстве, о своей семье, о том, как бы доставить всевозможную приятность своим детям, а главное — как бы ему нагляднее выразить свое обожание их матери, завтрашний же день для него просто не существовал. И это его отношение к жизни коренилось в глубокой религиозности. По воскресеньям, во всякую погоду, он отправлялся в пер копь и отстаивал всю мессу на коленях, внимательно следя по молитвеннику за ходом богослужения. Раз в году, на Пасху (а иногда и чаще), он исповедовался и причащался, а его духовник — уютный, тихий старичок-доминиканец патер Лукашевич был другом дома, постоянным участником наших домашних событии и торжеств.

В отце при этом не было и теки какого-либо ханжества или одпобоко-го фанатизма. Веря безоговорочно во все то, чему учит католическая церковь, он в то же время крестился на все православные храмы, а когда ему случалось присутствовать при

каком-либо богослужении в них, то он и подтягивал вполголоса певчим, так как с академических времен знал все русские обрядовые слова и напевы, С великим почтением он относился также к лютеранским и реформатским священнослужителям, а также к представителям еврейства.

Широкая веротерпимость (или даже известная форма пантеизма) выразилась однажды у папы в том ответе, которым он меня поразил, когда

я, лет десяти, как-то обратился к нему с вопросом — существовали ли в действительности Юпитер, Аполлон, Венера и Минерва? Я переживал тогда большое увлечение богами Греции и Рима и не уставал разглядывать их изображения в книгах или их изваяния во время прогулок по Петергофу и по Летнему саду. В связи с этим увлечением меня мучила мысль, что эти дивные существа никогда на самом деле не жили, а являются лишь человеческим вымыслом. И вот, когда я это сообщил папе, то он пе только не высказал решительного отрицания существования этих языческих богов, но «допустил» мысль, что они когда-то были и жили, чем он меня осчастливил бесконечно, так как компетенция его в таких вопросах была для меня неоспоримой.

Что же касается до моего отношения вообще к отцу, то для периода раннего детства я не могу иначе его характеризовать, как словом «обожание». Мама составляла в те годы (лет до шести) столь неразрывное со мной целое, что я даже как-то не «ощущал ее в отдельности», и поэтому я даже не мог и обожать ее — ведь обожание означает некое «объективное» отношение. Напротив, при всей моей близости к папе, личность его представлялась мне *отдельной;* я его видел, я к нему обращался, я* что-то от него ждал и получал. И у меня сохранился от тех далеких дней детства целый ряд воспоминаний о нем, тогда как о маме для тех же лет у меня их до крайности мало.

Папочку я вижу, как оп меня носит в ночную бессонницу по всей квартире, стараясь меня успокоить, когда я весь дрожу после напугавшего меня кошмара. Или вот, посадив меня па колени, он любуется, как я, схватив карандаш, быстро покрываю лист за листом своими каракулями. Или еще он меня, уже раздетого для спанья, в одной рубашонке, а то и просто нагишом, показывает, как «Петрушку», над альковной перегородкой ахающим от умиления тетушкам. А вот и такие ранние воспоминания: я на коленях у папы и испытываю предельное блаженство, глядя, как из-под его карандаша появляются на бумаге солдаты, барабанщик у часовой будки, лающие собаки и спящие кошки, рыцарь, весь

закованный в броню, санки, запряженные рысаком, или какие-либо шутки, карикатуры. Смеясь при виде их до слез, я тычусь головой в его халат, а оп меня тискает, щекочет и с упоением Целует, приговаривая «папин сын».

Каждый раз при этих воспоминаниях я отчетливо вижу свое божество таким, каким я его видел в те дни. Я вижу его добрую улыбку, его милые серо-зеленые глаза, прикрытые поблескивающими очками. Я ощущаю и запах его пропитанного сигарами халата, я различаю жилки на его стареющих руках, я слышу его голос, его шутки и прибаутки или те прозвища, которые он давал всем нам на каком-то вымышленном языке,— целая серия этих слов была посвящепа именно мне — последнему. А вот напочка сел за рояль в гостиной и играет (по слуху) полковой марш, я же под пего марширую с ружьем в руках и с каской на голове, стараясь производить повороты «совсем по-военному». Вижу папу и за работой в те дни, когда мне было строго запрещено мешать ему. Дымя

сигарой, он что-то рисует на одном из высоких столов в чертежной, п группа помощников обступает его, внимательно следя за тем, что он им, не переставая рисовать, объясняет. Или вот в своем кабинете он сидит на стуле с вычурной спинкой и с кожаным сидением '* и что-то пишет, пишет при свете той особой масляной лампы, которую он сберег с древних времен своей юности.

Не могу не рассказать здесь же (а то где еще найдется для этого место) об этих, только что упомянутых, постоянных помощниках папы, которые в то время были «своими людьми» в нашем доме и к которым я очень благоволил, так как и они всячески баловали меня. Особенно ласков был Карл Карлович Миллер, уже пожилой немец с темно-малиновым лицом, но его ласк я побаивался из-за его плохо выбритой, ужасно колючей бороды. Контрастом ему являлся Антонин Сергеевич Лыткии — молодой, высокий, довольно красивый господии с длинной холеной бородой. Лыткин сохранял постоянно достойную серьезность, под которой, впрочем, было больше стеснительности, нежели спеси. Третьим помощником был «Саша» Панчетта, которого скорее следует зачислить в категорию «домочадцев». Он был пасынком доктора деда Кавоса, синьора Киокетти, и хотя сам доктор давно отошел к праотцам, однако вдова его и ее сын продолжали быть чем-то вроде членов нашей семьи. Без них не обходилось ни одно сборище, а кроме того Панчетта, избравший архитектурное поприще и пожелавший состоять у паны в

помощниках, мог являться к нам чуть ли не ежедневно.

Панчетта числился помощником, но в сущности его «помощь» сводилась к нулю. Он и его печальная мамаша обладали достаточным состоянием, чтобы вести незатейливый, но и безбедный образ жизни, и этим они удовлетворялись вполне. Отсюда непробудная лень Александра Павловича. Панчетта проболтается с четверть часа в чертежной, а затем норовит проникпуть в другие комнаты и подсесть к маме или к сестрам, занимая их разными разговорами. Темами служили: погода, извозчики, дворники, дурные мостовые, взятки полиции и т. д. При этом Саша Панчетта имел замашки «настоящего элеганта». И всклокоченная, но расчесанная борода, в которую он то и дело просовывал пальцы с предлинными холеными ногтями, и криво свисавшая на лоб прядь волос должны были свидетельствовать о принадлежности Панчетты к людям лучшего общества. В смысле общества, однако, он довольствовался нашим домом и еще двумя-тремя такими же художественными, отнюдь не светскими домами. Надо прибавить, что беспредельное благодушие этого никому не нужного и совершение бездарного, но все же в своем роде милого человека обеспечивало ему всюду если не радостный, то все же радушный прием, и всюду он был на положении какого-то «далекого родственника». Ребенком я его очень любил, хотя меня смущали его длинные ногти и то, что Саша Панчетта сильно косил, что придавало ему всегда растерянный и недоумевающий вид.

** У пас было два таких подлинных чиппепделя, но они были не красного дерева, а искусно резаны в дубе.

48-*7, h 7. Мои родители*

Был у напы в моем детстве еще и четвертый помощник но фамилии Мореплавцев. Это 'был исключительно даровитый человек, превосходный рисовальщик и акварелист, но, к сожалению, он был сумасшедшим. Временами он произносил самые несуразные речи, среди разговора или работы начинал как бы к чему-то прислушиваться, вдруг хватался за шапку, мчался па улицу, а через минуту, крадучись, возвращался и снова садился за работу как ни в чем не бывало. Естественно, что о нем у нас было много разговоров, я на него взирал с некоторой опаской и с боль-. шим любопытством. Папа пробовал бедного Мореплавцева образумить, отечески журил его, но в общем он был им доволен п нередко поручал ему особенно трудные задачи, с которыми тот великолепно справлялся. И вдруг приходит известие, что Мореплавцев — Meereschwimmer, как стояло на оборотной стороне его визитной карточки,— зарезался бритвой. В первый раз самоубийцу удалось спасти, но во второй раз он повторил

свой жест с такой энергией, что почти отсек себе голову. Произошло это событие, когда мне было не более пяти лет, но я запомнил тот ужас, с которым я представлял себе столь хорошо мне знакомого человека лежащим в луже крови с отделившейся головой.

Итак, когда я хочу вызвать в себе представление о своем отце — в те ранние годы моего существования, то я вижу его в качестве мне очень близкого, но все же отдельно от меня стоящего «божества». Напротив, я, повторяю, почти не вижу в те годы мамы. Она так тесно, так нежно окутывала меня своей заботой и лаской, что я и не мог ее видеть. Явившись на свет вскоре после кончины моей маленькой сестры Лунзы, о которой мои родители не переставали скорбеть, я, естественно, сделался предметом особенного их попечения и тем, что немецкие бонны называли Schoskindchen *.

Не встречая со стороны матери никакого сопротивления моему деспотизму, я, естественно, злоупотреблял и мучил ее. Но мог ли я это сознавать? Мог ли я в этом раскаиваться? К тому же мама никогда не жаловалась и брала меня под защиту даже тогда, когда я уже этого никак не заслуживал.

Дальнейшие взаимоотношения наши, между мной и родителями, стали меняться. По мере того что я рос и из младенца с личностью весьма смутной превращался в мальчика с независимым и довольно-таки капризным характером, связь моя с отцом стала ослабевать. А когда я из мальчика превратился в отрока, то временами эта связь п вовсе нарушалась. До настоящего разрыва, слава богу, так и не дошло, но, несомненно, что папа и я — мы «перестали понимать друг друга», и это тем более объяснимо, что между отцом и сыном разпица в годах была у нас «не нормальная», а в целые полвека. Теперь, впрочем, мне думается, что именно благодаря столь большой разнице мы, пожалуй, и не были так уж далеки. Ведь идеалы юности отца стали и идеалами моей юности, лишь с несколько иным оттенком. Я, как и папа, был насквозь пропитан романти-

Любимчиком *(нем.)*.

/, I, 7. Мои родители

Ш

кой, тогда как позитивистские идеи, которые владели умами в 70-х годах, были мне чужды и даже омерзительны. Лишь на очень недолго длившийся момент, подпав под влияние более «передовых» людей, я, «про-слившись с предрассудками», приобрел четырнадцати лет п какие-то замашки циника. И вот как раз этот короткий момент и оказал разлагающее действие на мои отношения с папой. Ему, семидесятилетнему человеку, не

хватило тогда внимания, чтобы разобраться в том, что во мне происходит и насколько мое мальчишеское вольнодумство неглубока и несерьезно. Его это слишком огорчало и возмущало. Я же в силу нелепости, присущей «неблагодарному» возрасту, принялся тогда чуть ли не презирать отца за его «отсталость». Несколько резких стычек с иапой,, происшедших в этот период, обострили эти недоразумения, и во мне укоренилось убеждение, что мы — натуры совершенно друг другу чуждые,. не способные ко взаимному пониманию и, разумеется, при этом я мнил себя несравненно более совершенной и изощренной натурой, нежели мой уже слишком простоватый и «слишком старосветский» родитель...

К чему-то совершенно иному привел процесс моего «отделения» or матери. С момента этого отделения я только и начал вполне ее оценивать, только тогда я стал ощущать и ту глубинную связь, которая продолжала неразрывно меня с ней соединять. Постепенно из какой-то части; меня самого она стала превращаться в моего друга. Первоначальный унисон заменился гармонией. И эта метаморфоза чувств нроисходила *с* постепенностью и внешней незаметностью органического процесса. Подходя к десяти годам, я стал сознавать, что я обожаю свою мать, что она мне дороже всего на свете и она меня понимает лучше, чем кто-либо. Это не значит, чтоб менаду мной и ею не случалось споров или чтоб я частенько не огорчал ее или на нее не обижался. Я был слишком своеволен и причудлив, чтобы вообще менаду мной и кем бы го ни была Mourn существовать отношения de tout repos *. Надо сознаться, что свою* тогдашнюю репутацию «невозможного и неспоспого мальчишки» я вполне заслуживал. Но как раз мамочка всему этому моему своеволыо оказывала полное доверие, оно ее не пугало, и даже когда она меня бранила и упрекала, я явственно различал под сердитыми (столь ей не свойственными) тонами не только ее безграничную нежность, но именно и эта ко мне доверие. Опа не сомневалась, что все со временем обойдется, и может быть именно благодаря ее доверию оно и обошлось. Сколько раз. в тех случаях, когда я переходил границы допустимых шалостей, а то и «безобразий», мысль о том, что это может огорчить мою «обожаемую»,. производила во мне какой-то «взрыв совести» и повергала мепя в раскаяние. Надо тут же прибавить, что мамочка очень любила читать всякие педагогические книжки, вроде «FEducaLion des tnères de famille» **, ионе эти добронравные сочинения сделали мамочку педагогом совершенно исключительной чуткости, но был это у пее природный дар: читала же

* Ровные, мирные *(франц.)*. ** «Руководства для матерей семейства» *(франц.)*.

она эти книжки, только для того, чтобы собственные свои соображения проверить и как бы увидеть со стороны.

Исключительная чуткость мамочки подсказала ей и ее поведение в том раздоре, которым омрачались мои отношения с отцом. Не будь ее, этот раздор мог бы действительно выродиться в уродливые и опасные формы. Однако мамочка активно не вмешивалась в наши недоразумения, а лишь после таких стычек у нее бывали объяснения со мной и с мужем. И странно: не столько эти увещания меня, сколько ее урезонивания папы производили на мое сердце целительное действие. При этом она отнюдь не заступалась за меня, она только «объясняла меня» мужу. Фраза «il fauL le comprendre» * особенно часто слышалась в этих увещеваниях, происходивших, впрочем, не в моем присутствии, а где-либо в комнате рядом. Главным же образом она старалась и своего Никола заразить доверием ко мне. В папочке было немало упрямства, и оно мешало ему отказываться от занятой позиции, однако по топу его ответов чувствовалось, что гнев его смягчается, и если между мной и им после такого объяснения и не происходило «ритуальных изъявлений мира» (это у нас в доме вообще не водилось), то на самом деле мир бывал заключен, и все возвращалось на время в свою колею.

Я только что упомянул о тех педагогических книжках, которые мама любила (или даже считала своим долгом) читать. Но она и вообще любила читать, и ее чтение вовсе не ограничивалось такой «скучноватой материей^, как педагогика. Напротив, она любила и романы, и исторические книги, и мемуары, и путешествия. Во всем же она главным образом искала и любила правду; и самому блестящему вымыслу она предпочитала то, что носило отпечаток реальности — «Seul le vrai est aimable»> **. Свойственное ей от природы правдолюбие было настолько даже сильно, что это лишало ее удовольствия, получаемого от всего того, в чем особенно высказывается сущность художественного творчества — фантазии. Из них двух, несомненно, папа был природным художником и «поэтом», мама же прозаиком и натурой, плохо реагирующей па то, что является самым •существом искусства. В картинах она любила точность, выписаниость, близость к натуре, в литературе — верное воспроизведение действительности. Характерно еще, что эта дочь коллекционера чувствовала ко всяким видам художественного собирательства настоящее отвращение. Быть может, то

обстоятельство, что все собранное ее отцом «пошло затем прахом», развеялось и распалось, не принеся никакой «реальной пользы», сыграло при этом свою роль. Картины на стенах, особенно же скульптурные безделушки, она называла «aitrapes poussière» *** и вовсе не дорожила ими. Были случаи, когда она и очень цепные вещи раздаривала— больше из желания просто от них, «ненужных и лишних», изба-

Нужно его понять *(франц.).*

J¢wibi;o правда хороша ! *{франц.),*

Уловителями пыли *(франц.).*

I, I, 7. Мои родители

5f

виться. Из истории искусства она знала то, что всякому воспитанному человеку надлежит знать, —имена знаменитых мастеров были ей знакомы но она не была способна любоваться произведениями их, а картины таких художников, как Рембрандт или Делакруа, она должна была просто ненавидеть за то только, что они так «неряшливо написаны».

Да и к музыке у этой правнучки исключительно даровитого композитора не было настоящего художественного отношения. У нее был несколько слабый слух, она знала всего одну пьеску наизусть (ту самую, которую она когда-то выучила для выпускного экзамена в Смольном институте), а когда она разбирала по нотам, ей с трудом давался счет и особенно ритм. В опере, в которой она бывала почти каждую неделю, она больше дивилась фиоритурам и колоратурам, нежели настоящим музыкальным достоинствам; наконец, в игре на рояле она ценила только-беглость пальцев и не входила в обсуждение того, как вообще следует понять то или другое произведение.

При всей мамочкиной природной «прозаичности», все же никак нельзя сказать, чтобы в целом ее облик был лишен поэтичности, и еще менее, она страдала какой-то сухостью души. Напротив, она была настоящей музой моего отца и всего нашего дома. Одна ее манера думать вг излагать свои мысли, ее чуткая правдивость, ее глубокое понимание других (понять — простить, была одной из ее постоянных поговорок), ее-терпимость, ее беспредельная доброта, заставлявшая ее всегда и во всем жертвовать собой и совершенно отрешаться от каких бы то ни было личных утех,— все это вместе производило то, что она как-то вся светилась изнутри. Она представляла собой удивительно цельную и на редкость выдержанную человеческую личность. Иногда мне казалось, что ее печалит ее собственная неспособность разделять художественные эмоции окружающих, тогда как «излияния художественных чувств» были в нашем доме

чем-то обыденным. Мне становилось жаль ее, когда она признавалась, что «ничего не видит там, где я видел чуть ли не отверстые небеса». Однако, быть может, именно то, что она была «бездарна на художественные переживания», способствовало тому, что она была такой: «чудесной женщиной». Будь в ней больше какого-либо эстетического начала — я убежден, это нарушило бы ее моральный облик. В ней, маловерующей, не понимавшей фантазии, поэзии, религии и церкви, все же светилась несомненная благодать божия. Бездарная на искусства, она была одарена «гениальностью сердца»...

Здесь в моих мемуарах не место распространяться о художественной карьере моего отца. Она достойна целой отдельной книги, и таковую затевал мой брат Леонтий, успевший даже изготовить клише для таблиц и иллюстраций к этой монографии (лишь революция помешала исполнить его намерение, сопряженное с большими расходами). Но в нескольких словах мне все же нужно рассказать, кем был мой отец как художник и каково было его общественное положение. Мне эту задачу облегчает то, что, хотя я и застал отца уже на склоне лет, мне все же казалось, благодаря его рассказам и его бесчисленным рисункам, точно я ега

знал и в те времена, когда он маленьким мальчиком посещал «Петершу-ле», и тогда, когда благодаря повелению его крестной матери, императрицы Марии Федоровны, он был зачислен учеником Академии художеств, где он и прошел курс архитектуры, блестяще окончив его с большой золотой медалью. Благодаря рассказам капы дальнейшие происшествия его жизни приобретали еще большую отчетливость и яркость. Четыре года но окончании Академии он проводит в Москве, участвуя иод руководством знаменитого Константина Тона в постройке грандиозного храма Спасителя2, а в 1840 г. он отправляется в заграничное путешествие, право и средства на которое давала золотая медаль, полученная еще в 1836 г.

Проехав Германию, он попадает в Италию, где и проводит почти все свое пепсиоиерство. главным образом в Риме и в Орвието. В 1846 г., на обратном пути, Н. Л. Бепуа посещает Швейцарию, Францию и Англию, а оказавшись на родине, поступает на казенную службу и быстро завоевывает особое расположение государя Николая Павловича, для которого он создает свои помянутые выше наиболее замечательные постройки. Но умирает Николай I, на престол вступает Александр II, и в России (после разрухи Крымской кампании) водворяется эра чрезвычайной экономии, благодаря чему столь блестяще

начавшаяся карьера Н. Л. Бепуа юрмозится, и его творческая деятельность постепенно сводится к задачам более утилитарного, нежели художественного порядка. Чрезвычайно разросшаяся семья и связанные с этим расходы заставляют его искать заработка в сфере городского самоуправления, и он выставляет свою кандидатуру в гласные Городской думы. После избрания в гласные К. Л. Бенуа вскоре назначается в члены Городской управы, в каковой должности он остается без перерыва более четверти века, почти до самой •смерти, исполняя в то же время функции начальника Технического отделения столицы.

Из рассказов папы о своем прошлом меня особенно пленили те, что касались его пребывания в Италии и, в частности, в Орвието, где он со своими двумя закадычными друзьями — Резановым и Кракау — провел два года, посвятив их целиком изучению того дивного архитектурного памятника3, которым с таким правом гордится этот небольшой, живописно на скале расположенный городок «панской области». С утра до вечера они проводили за работой, обмеривая и зачерчивая каждую деталь собора, для чего, с разрешения св. отца, были построены специально для них леса. Не желая оставаться в долгу перед таким одолжением, русские архитекторы собственноручно и на свой счет вымыли губками весь собор, в том числе и мозаичные картины в его тимпанах и совершенно заросшие грязью тончайшие барельефы фасада. В память этого подвига была выбита медаль, изображающая с одной стороны собор, с другой же — носящая надпись с упоминанием всех трех добровольных реставраторов. Кроме того, каждый из них получил тогда же из панской хдлкографии4 по огромному, роскошно переплетенному тому гравюр Лиранези. Через несколько лет результаты изучения собора были изданы

во Франции 5, и до сих пор увраж этот считается образцовым для ознакомления с архитектурой Орвпетского собора.

Но не так история «подвига» трех друзей занимала меня в папином рассказе, как его воспоминания бытового характера, а также всевозможные встречи и анекдоты. Папочка сохранил поразительно отчетливую память о тех счастливых годах, когда он с друзьями наслаждался красотами благодатного края и с энтузиазмом изучал разбросанные по нем создания человеческого гения, мечтая о великих делах, которые и он надеялся совершить по возвращении па родину. Надо при этом заметить, что, хотя все трое и получили воспитание в строго классическом духе (свою большую золотую медаль папа получил за проект биржи, «соответствовавший во всем идеалам античности»), однако,

оказавшись в Риме, они (и в особенности мой отец) подверглись воздействию тех идей, которыми была тогда насыщена вся атмосфера Вечного города. Это было время, когда благочестивый Овербек еще продолжал свою проповедь возвращения к средневековой чистоте, когда молодые живописцы обращали большее внимание на Беато Лижелико, Пнntуриккио и Перуджиио, нежели на Рафаэля, когда особенным почетом стала пользоваться архитектура «романского» и готического стилей и когда особенно презиралось искусство барокко с Бернипи во главе. Если выбор моего отца пал именно на Орвието, то это потому, что там возвышался один из самых замечательных памятников итальянской готики. Хотя мой отец и предпочел бы тогда же обратиться прямо к более выдержанным примерам стрельчатого стиля во Франции, Германии или Англии, однако регламент Академии требовал оставаться несколько лет именно в Италии, поэтому, «faute de mieux» *, он с товарищами и принялись за изучение Орвиетского собора. Утешением являлось то, что они верили в теорию, согласно которой средневековая архитектура Италии имела много общего с древнерусской архитектурой, а возрождение этой отечественной архитектуры они ставили себе задачей по своем возвращении в Россию.

Атмосфера романтики наложила особый отпечаток на все пребывание отца в Италии. Это был тот самый дух христианского Рима, отзвуки которого мояшо найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени, съезжавшихся в Рим со всех концов Европы и ведших в стенах Вечного города обособленную космополитическую жизнь. Многих из этих художников и писателей, в том числе «самого» Овербека, Моллера, Александра Иванова и Гоголя, отец мой знал лично. Он то встречался с ними в сборных пунктах иностранной колонии (например, в кафе «Греко»), то посещал их на дому. Живо вспоминалась папе насупленная мрачность такого великого «смехотворна», каким представляется нам Гоголь в своих сочинениях, и болезненное уныние автора «Явления Христа», внешний облик которого поражал своей карикатурностью (темные очки иод высокой соломенной шляпой, поношенная разлетайка, вечный зонтик и

* За неимением лучшего *(франц.)*.

галоши). Наружность Иванова и все его чудаческие манеры не мешали ему вместе с ere сердечным другом, живописцем «Васей» Штернбергом, относиться к художнику-подвижнику, как к святому, а со своей стороны и Иванов делал для них исключение и не раз приоткрывал им двери своей замкнутой для всех мастерской...

Со Штернбергом, юным и высокодаровитым художником, отец дружил больше, чем с кем-либо. В периоды разлуки он вел именно с ним самую ревностную переписку, причем и ои и Штернберг украшали свои письма бесчисленными чарующими рисунками. К великому горю отца, светлая дружба эта была нарушена кончиной Штернберга, для которого, как и для многих других уроженцев северных стран, пребывание в «райских» климатических условиях оказалось роковым. Он захворал скоротечной чахоткой, приведшей его к ранней могиле на кладбище у пирамиды Цестия, где вообще хоронили еретиков и схизматиков. Из других ближайших друзей отца я назову русских живописцев Фрикке и Скотти, скульпторов Рамазанова и Логановского, архитекторов Росси-младшего и Энингера. Из них я уже никого (за исключением старичка Фрикке) не застал в живых, но мне кажется все же, что я со всеми ними общался, до того мне знакома была их наружность, увековеченная в острых и чарующих рисунках и акварелях (часто незлобиво карикатурных) папы, до того я как бы даже изучил их жесты, тики и замашки. Приятельские отношения, которые у отца завязались с немецкими художниками, увенчались тем, что он был «посвящен в рыцари» знаменитого клуба, собиравшегося и пировавшего в гротах Червары. Рыцарский свой диплом и программы каких-то шутовских сборищ этой «Червара' риттершафт» папа хранил в своей «Семейной хронике». Я любил разглядывать те мастерские виньетки (офорты Нейрейтера), которыми они были украшены, и теперь простить себе не могу, что я эти листы оставил на произвол судьбы в своей петербургской квартире6. Еще более досадую я на то, что, покидая навсегда свою родину и свой родной дом, я не захватил с собой всех тех работ самого моего отца, которые достались мне по наследству. Что бы я теперь дал, чтобы снова войти в их обладание, чтобы иметь возможность их изучать — в частности любоваться тем листом, но котором в девяти эпизодах было изображено путешествие Н. Бенуа и его товарищей на пароходе из Анконы в Венецию.

А что за прелесть были путевые альбомы моего отца. Сколько в каждом пейзажном мотиве было вложено чувства природы, сколько понимания в каждом «портрете здания», сколько во всем меткости, вкуса и мастерства. Виды местностей чередовались в этих альбомах с архитектурными памятниками и с зарисовками жанрового и костюмного порядка. Особенно поразили отца в его поездке в Венецию разные типы, встречавшиеся на улице и на площадях. Грациозные водоноски с коромыслами, рыбаки и гондольеры, монахи всевозможных орденов, какие-то таинственные персонажи, кутавшиеся в широкие «альмавивы», и,

наконец, молодцеватые, стройные австрийские военные в своих белых мундирах и синих рейтузах.

*I, I, 7. Мои родители*55

Разглядывание иаиочкиных альбомов (при дележе наследства каждому из нас досталось их по два) было для нас большим праздником, но таким же праздником было это для самого отца, для которого все, когда-то им в них зарисованное, оживало при этом разглядывании. Каждую страницу он сопровождал ценнейшими комментариями. Эти рассказы, впрочем, не касались наиболее интимных сторон его жизни, речь шла больше о художественных впечатлениях или о затеях, которыми он с товарищами тешился, например, о том празднике, который был устроен в честь посетившего Рим К. А. Топа, для которого пана и Штернберг нарисовали целый ряд очаровательных картин. Однако но некоторым намекам чувствовалось, что пана там, в Риме и в Орвието, оставил и частицу своего сердца, что там у него, полного молодости и сил, были и романические, и довольно даже серьезные переживания. Самым счастливым периодом как будто бы были именно те годы, которые он провел в Орвието, где он устроился своим хозяйством... Холод бывал зимой чудовищный, в качестве освещения служила лишь одна лампа — лучерна о трех фитилях без абажура и стекла, и все же папе и там удалось создавать тот уют, который он умел распространять вокруг себя. Работал он не только днями, но и вечерами. Тончайшие свои акварелированные чертежи '*, в которых иногда нередан с абсолютной точностью каждый камушек мозаик «Космати» 7, он как раз делал при свете этой примитивной лампы. Удивительнее всего, что подобные упражнения не помешали папе сохранить безупречное зрение до глубокой старости, и еще за год до смерти папа мог чертить ц раскрашивать, точно ему не восемьдесят четыре, а двадцать четыре года.

И в позднейшие времена папа заносил на бумагу все, что его поражало, радовало или смешило. Так, к весьма замечательным альбомам принадлежат те, которые были заполнены пм в 1385 г., когда мы всей семьей гостили в имении у сестры Кати, а также тот альбом, в котором он день за днем увековечил лето 1891 г., проведенное им в Финляндии. Где-то эти оставленные в Петербурге чудесные серии 8— достойные фигурировать рядом с «Поездкой в Данциг» Д. Ходовецкого 9?

У отца была столь сильная потребность изображать и запечатлевать, что мне иногда думается, не была ли настоящим его призванием живопись? Дня не проходило, чтобы при всей своей занятости скучными служебными работами он что-либо йе

зарисовал, а нарисованное не раскрашивал. Технические его приемы могли казаться несколько устарелыми (это были еще все те приемы, которыми пользовались мастера начала XIX в.), но сколько во всем было знания, уверенности и меткости. Массы таких же акварельных рисунков иллюстрировали его письма к детям и родным, и едва ли не прелесть этих виньеток послужила причиной того вандализма, который был учинен теми, кто эти письма получали. Вместо того, чтобы хранить эти замечательные во всех смыслах «документы»,

Предельной тонкостью отличается акварельный чертеж, изображавший надгробный памятник папы Адриапа V в Витербо.

56-/, /, 7. *Мои родители*

мои братья, прельщенные картинками, вырезали их и наклеивали в отдельную тетрадку, бросая текст, как нечто недостойное хранения. Особенно осчастливлены бывали такими иллюстрациями в письмах братья Николай, живший вдали от Петербурга — в Варшаве, и Михаил — во время его кругосветного плавания. Но наиболее замечательных два таких иллюстрированных письма моего отца принадлежали дочери Федора Антоновича Брунп (впоследствии генеральши Бентковской), которая получила их еще в бытность папы в Италии — тогда, когда самой Тере-зиве было не больше десяти лет. Папочка любил и впоследствии вспоминать о когда-то поразившей его прелести этой девочки и, принимая в расчет необычайную «детскость» всей его натуры, ничего нельзя найти удивительного в том, что подобная корреспонденция могла завязаться между крошкой и тридцатилетним молодым человеком. Где-то теперь и эти драгоценные письма, украшенные через каждые пять строк чарующей виньеткой и хранившиеся дочерью Терезы Федоровны.

Из всего сказанного совершенно ясно, что папа был самым уютным человеком и, пожалуй, как раз эту черту уютности, скорее чуждую французам, следует приписать тому, что на целую половицу папа был немец. Папочка был олицетворением Gemüllichkeit * и, разумеется, если я сам знаю толк в этом, если я, как мало кто, понимаю прелесть домашнего очага, если, читая Гофмана, Штнфтера или разглядывая Людвига Рихтера и Швиида, я испытываю своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение, то это благодаря той «школе уюта», которую я прошел, живя в обществе своего отца. Однако в свое время я не сознавал вполне всей этой прелести, не оценивал по-должному выдавшегося мне счастья. Мне казалось, что это так вообще полагается, что иначе быть не может. Когда я вступил в неблагодарный возраст, я даже стал критиковать особую атмосферу нашего дома и вносил в нее

какой-то нарушающий ее гармонию диссонанс. Но к двадцати годам мой бунт улегся совершенно, • а к моменту моего вступления в самостоятельную жизнь создание уюта стало моим идеалом, осуществить который мне помогла моя жена.

Эта папина уютность имела два аспекта или два нюанса, смотря по времени года и в зависимости от того, где пребывала наша семья. Один аспект был зимний, другой — летний. Зимний уют имел своим цептром папин кабинет, а в нем папин письменный с гол. На этом столе, стоявшем посреди комнаты под висячей старинной медной лампой своеобразной формы, не только составлялись скучные сметы или проверялись еще более скучные донесения папиных подчиненных, но па нем же, расчищенном от всего лишнего, папа в виде отдыха раскладывал пасьянсы, клеил очаровательные игрушки и акварелировал. На этом же столе, рядом с большой бронзовой группой Лансере, изображавшей воз чумака, стоял поднос, в желобах которого покоились карандаши, гусиные перья, резинки и сургучи, а также фарфоровая чернильница совершенно особой формы. В углу комнаты в зимнее время топился дровами и коксом камин.

* Уюта *{нем.)*.

*I, /, 7. Мои родители** -57

Кульминационного пункта уют иапочкипого кабинета в зимнюю пору достигал во время вечерних семейных собраний. К этому моменту придвигался к помянутому письменному столу другой квадратный стол и за ним устраивались дамы — мамочка со своим рукоделием, ее подруга Елизавета Ильинишна Раевская, тетя Катя Камииопа (сестра покойной жены дяди Кости), почти ежедневно приходившая посидеть и кутавшаяся в серую оренбургскую шаль, сестра Катя, а также другие родственницы. К дамам подсаживались мои братья, муж моей сестры Камиллы, друаья дома — Зозо Россоловский, Артюр Обер или Саша Панчетта. Иногда папа, не успев закончить свои служебные работы, продолжал свое дело в присутствии дам, ничуть не отвлекаясь их разговорами, по в большинстве случаев очередная работа к девяти часам была уже исполнена, и тогда наступал счастливый для папочки момент, когда можно было приступить к пасьянсам. За другим письменным столом, тут же у окна, иногда образовывался второй кружок. Там, вокруг фарфоровой лампы, собирались гостившие у нас внуки, там сиживал и я, когда ко мне не являлись мои собственные гости, которых я обыкновенно уводил < в свою комнату.

Папина способность «работать на людях» была прямо изумительной. Он не только мог продолжать начатое дело под чуть притушенный говор помянутого дамского кружка, но он с

ангельским терпением выносил и возню детей, часто принимавшую довольно буйный характер. Мало того, он же сам устроил в широком простенке дверей в соседний зал висячие качели, и на них-то, прямо за папиной сшитой, производились и мной (лет до тринадцати) и моими племянниками самые рискованные, сопровождавшиеся визгами и криками полеты. Все это выносил папочка, и только когда являлся кто-либо с деловым визитом или когда дамский угслок начинал протестовать, качели отвешивались, и двери в залу затворялись.

Другим мучительством для папы являлась музыка, доносившаяся из соседней залы, где стояли рояль и фисгармония. Там в последующие времена я с Валечкой Нувелем на двух этих инструментах, и с величайшим фортиссимо, играли «WalkurenriU» *, увертюру Тангейзера, марш из «Нерона» и т. д. И все это так же безропотно переносил папочка, лишь иногда обращаясь к нам с деликатной просьбой, чтобы мы хоть немного сдерживали оглушительную бурность нашего исполнения.

«Летний аспект» папочкиной уютности выражался в самой его внешности. Зимой и в «полусезоне» он был всегда одет если пе в домашний халат, то в черный сюртук при рубашке с отложным воротничком и с черным галстуком. Для выхода на улицу в морозные дни на голову одевалась старомодная бобровая шапка с выдающимся кожаным козырьком и тяжелая медвежья шуба; в менее суровые дни на голове у папочки появлялся котелок старомодного овального фасона, а на плечах разлетайка с пелериной. Летом же папа любил белые холщевые или желтова-

тые чесунчевьте костюмы, а в качестве головного убора надевалась несуразно большая '«панама»; серая разлетайка служила верхней одеждой. Таким «светлым» я папочку помню или возвращающимся из «города» в Петергоф, па Кушелевку, в Павловск или же на даче, занятым какой-либо работой в саду. Без дела он не мог оставаться ни минуты, и если погода позволяла, то он усердно мел сад, очищал дороги от сорной травы, поливал цветники, что-то подпиливал и приколачивал. И все это он делал с удивительной сноровкой.

Середина лета была отмечена рядом семейных празднеств. Начинались они 1 (13) июля — днем рождения папочки, следовали именины кузины Ольги (11 июля), мамочки и сестры Камиллы (15 июля), рождение сестры Кати (19 июля), именины жены Альбера Марин (22 июля), а когда моя Атя вступила в нашу семью, то еще присоединились два праздника, ее имешшы (26 июля) и день ее рожденья (9 августа)... Однако из всех этих

торжественных дней бесспорно самым торжественным было именно 1 июля. Уже к завтраку съезжались многочисленные папины сослуживцы, к обеду собирался весь синклит нашей многочисленной родин. Казалось, что самая погода, паша северная, капризная погода щадила это сборище милых людей, ибо я положительно не помню, чтобы 1 июля когда-либо шел дождь, а раз не было дождя, то совершенно естественно было устраивать стол (или столы) в саду. Вот это мы, дети, особенно любили, ибо в этом было что-то совсем необыденное — цыганское. кочевое, и в то же время нечто особенно веселое. Весело было видеть, как наши горничпые при помощи разных пришлых служанок в светлых ситцевых платьях и белых передниках «летают», шурша накрахмаленным]! юбками, с блюдами из кухни к столу, обнося ими гостей; весело было слышать, как выскакивают пробки из бутылок меда, пива и шампанского; странно и тоже весело было ощущать вместо паркета под ногами песок и беспрепятственно бросать на землю косточки и лакомые кусочки, которые тут же поедались собаками и кошками.

Обязательным на этих пирах был к завтраку колоссальный пирог с лососиной и визигой, а к обеду Кавосскии семейный суп — венецианское «ризи-бизи» — нечто столь вкусное, что пи один гость не отказывался от повторной порции, а мы, обжорливые ребята, съедали этого «ризи-бизи» и целых три тарелки. Впрочем, если день был особенно жаркий, то кроме этого горячего супа сервировалась еще холодная, со льдом и с белорыбицей ботвинья, и я, отличавшийся особенной склонностью к обжорству, умудрялся не только съедать три тарелки первого супа, но еще и две второю. Да и не я один... И как это только выдерживали желудки? Как люди не заболевали? Мамочка и в эти дни не изменяла своей обычной умереппости, но гостей она потчевала усердно, приговаривая: «N'ayez aucune crainte ~ au grand air on peut se permettre certainá exct·s» *.

* Не бойтесь: на свежем воздухе можно позволить себе некоторые излишества

(франц.),

/, /, 7. Мои родители

А после обеда столы убирались, и на балконе дачи уже шли приготовления к чаю, за которым можно было еще наесться и простоквашей и варенцом или отсыпать себе на блюдечко изрядную порцию земляники или клубники. Между обедом и чаем по традиции затевалась игра в «бочн» lü, в шары, до которой великим охотником был не только наиа, но и многие его приятели. Но только игра эта не производилась у нас, как везде за границей, на специально уготовленной площадке, а происходила она по обыкновенным, вовсе не укатанным дорожкам, причем папочка, выбрасывая первый «маленький» шар, позволял себе разные шуточные вольности; он то запустит шар так далеко, что его едва стапет видно, '10, напротив, бросит чуть ли не себе под ноги. «Итальянцы» — дядя Костя п дядя Сезар — пытались в таких случаях протестовать во имя оправил» игры, но нам, детям, тем из пас, кого большие допускали до игры с ними, эти папины причуды доставляли особенную радость. Потешными были сяоры, возникавшие в тех случаях, когда два или три шара оказывались на почти равном расстоянии от «маленького». Приходилось размерять эти расстояния платками, палками или шагами, и тут *в* наших почтенных, всегда столь сдержанных дяденьках, вдруг прорывался их итальянский темперамент, бывало, что дело доходило и до негодующих криков... Это детям еще более правилось — нравилось, что те самые дяди, которых нам ставили в пример, которых мы побаивались, становились сами похожими на пас, мальчишек. Папочка же относился к этим спорам с невозмутимым благодушием.

I) июне или в начале июля по вечерам света в Петербурге не зажигали, и это было так необычайно, так странно и так прелестно. Но в конце июля темнота наступала в 9 часов, а с каждым днем затем все раньше и раньше, и тогда приходилось зажигать лампы и свечи. Особенно мне нравилось, когда зажигались свечи в специальных подсвечниках, предназначенных для открытого воздуха. В них пламя было защищено стеклянным бокалом, а свеча автоматически подымалась по мере сгоранья, толкаемая снизу пружиной. Вокруг источников света роилась мошкара и мотыльки, налетали на них и тяжелые мохнатые ночные бабочки. Прелестная картина получалась за дачным чайным столом, не менее уютная, нежели зимние заседания в городе под висячей лампой.

Все более и более сгущаются сумерки, листва и плетение ветвей начинают выделяться кружевным силуэтом па фойе

лимопной зари, освещенный же первый план от контраста приобретает особую яркость. Такими летними вечерами обыкновенно ничего не делалось, пасьянсы не раскладывались, не производилась клейка, не рассматривались журналы или книги, а среди стихающей природы шла тихая беседа. Тут-то папа и любил вспоминать былое, рассказывать про Рим н Орвието, про государя Николая Павловича и его страшного министра Клейнмихеля, про свои академические годы. А то кто-нибудь из оставленных ночевать гостей начнет свой рассказ, и, бывало, его так заслушаешься, что и самые настойчивые увещевания мамочки или бопны не заставят меня пойти

спать. Я очень рюбил, чтобы у нас ночевали,— ведь так весело было, когда на составленных стульях, на диванах, чуть ли не на полу устраиваются постели, а за утренним кофием появляются чуть заспанные люди, которых в эту пору дня и в такой интимной обстановке никогда не увидишь.

Едва ли не эта самая склонность к уюту и отчасти сопряженная с ней незлобивость и непротивление злу помешали моему отцу при всем его таланте пройти весь тот триумфальный путь, который ему открывался с .момента его возвращения из римского пенсионерства на родину. В нем не было и тени интриганства или хотя бы простой хитрецы, ему были омерзительны всякие хлопоты за себя и менее всего он был способен на пресмыкательство или подсиживание товарищей. II вот почему Николай Леонтьевич Бенуа, будучи несомненно самым даровитым и знающим из архитекторов своего времени в России, все "же остался в какой-то тени. Впрочем, пока был жив император Николай I (лично его отмечавший особенным вниманием), папе доставались и большие и очень значительные задачи. *К* самому замечательному, что сооружено но его проектам, принадлежат придворные конюшни в Петергофе, по своей величине едва ли не превосходящие знаменитые конюшни Копде в Шан-тийи. Это целый городок, выдержанный в характере английского средневековья, к которому питали слабость и мой отец и его державный покровитель. Сейчас принято иронизировать над всякой такой «псевдоготикой^, и редко кто потрудится пересмотреть этот вопрос с тем, чтобы удостовериться, что вовсе не все в этой архитектуре «эпохи Луи Филиппа, Николая Í и ранней Виктории» грешит легкомыслием, и плохим вкусом. Напротив, иные из сооружений того времени (начиная с лондонского здания «Парламент Хауз») неизмеримо более внушительны и даже просто прекрасны, нежели то, что за ними последовало, и то, в чем современная архитектура

воображает, что опа, наконец, открыла новый, вполне идеальный стиль. Папины же петергофские конюший, как по общему замыслу, так и но изяществу деталей, не уступают лучшему, что в том же роде было создано на Западе и в общем и целом представляют собой нечто удивительно гармоничное, стройное и царственное. Но, увы, на этом грандиозном сооружении и еще на нескольких постройках, тоже затеянных при Николае I, останавливается расцвет архитектурной деятельности отца — дальше же и до самой смерти почти сплоить тянется нечто, если и почтенное, то несколько тусклое и не заслуживающее быть отмеченным историей искусства. Его менее даровнтьте товарищи успевают создать за тот же период несколько значительных построек: так, Резанов строит дворец в. к. Владимира Александровича, и тот же Резанов доводит до конца грандиозную постройку Храма Христа в Москве; Кракау строит и отделывает дворец барона Штиглица, ставший затем дворцом в. к. Павла Александровича; другие архитекторы, посвятившие себя разработке русского стиля, пользуются, благодаря усилению националистских (точнее, псевдо-националистских) теорий,— особым успехом (Гедике, Гримм, Кузьмин и др.). Напротив, Н. Л. Бенуа должен довольствоваться по-

I, If 7. Мои родителиß¿

стройками частных доходных домов и дач и такими скучными задачами как Богадельня в Петергофе.

Тем не менее юбилейное чествование моего отца осенью 1886 г. и приняло характер настоящего «триумфа». Происходило оно в центральном круглом Конференц-зале Академии художеств при огромном стечении публики, под председательством брата государя Александра III,. в. к. Владимира, бывшего президентом нашего высшего художественного учреждения. Нам, семье юбиляра, была отведена ложа над входной дверью, и оттуда все было видно, как на ладони. Мой, всегда столь скромный в своей внешности, папа выглядел, сидя между великим князем и принцессой Ольденбургской, совершенно преображенным. На нем. был новый, украшенный золотым шитьем мундир министерства двора и белые с золотыми лампасами панталоны. Грудь его была увешана орденами и звездами, а через плечо шла алая лепта св. Анны I степени.. Вокруг амфитеатром заседали очень важные персонажи, и в глазах рябило от золота придворных мундиров, от блеска звезд и орденских ((кавалерии». Что-то очень лестное произносили, подходя к столу, депутации от разных учреждений и обществ, и после каждой такой приветственной речи из соседнего «Рафаэлевского» зала раздавался громкий трубный туш академического оркестра. Особенно же

торжественным моментом был тот,. когда великий князь, произнеся несколько слов своим зычно-сдавленным. голосом, вручил отцу выбитую в его честь медаль с его профильным портретом. В этот знаменательный день Н. Л. Беиуа должен был считать. себя «восстановленным в своих нравах».

Увы, «иллюзия» такого восстановления длилась только в течение нескольких еще дней, заполненных приемами, банкетами и даже молебнами. Вслед за этой праздничной шумихой помянутые иллюзии рассеялись. как дым, и папочка снова вернулся к своей обычной атмосфере, окруженный общим уважением, нужный для целой массы лиц, имевших до-нею дело и добивавшихся его ценнейших советов, однако все же «отставленных! и почти забытый». Впрочем, сам он в те юбилейные дни тяготился всем этим блеском, и потому, когда он снова мог водвориться в свой уют, он почувствовал большое облегчение. Слава богу, что вся эта суета миновала. Еще больше радовалась мамочка: кончились утомительные для нее хлопоты, прекратился стоявший шум от толп полузнакомых,. а то и вовсе незнакомых людей; жизнь в нашем доме снова вошла в своп берега и потекла ровно, безмятежно, полная того душевного мира,. с которым поистине ничто не может сравниться.

О поэтической уютности моей матери, пожалуй, труднее дать представление, нежели об уютности отца. Однако в создании и в поддержке* всей прелести нашего домашнего очага участие их обоих было одинаково. Только у папы уютность носила оттенок чего-то, пожалуй, германского-(наследство от матери) с сильным привкусом и французского и русского начала («русскость» папы, между прочим, выражалась в том, что он постоянно напевал русские народные песенки). Напротив, в мамочкиной уютности чувствовалась Италия. Мамочкина чуть меланхоличная «тиши-

на» — очень типичная для Венеции, и этот легкий налет меланхолии был важным элементом в создании атмосферы нашего дома. То, что эта атмосфера была все же полна свежести и чистоты — это было делом ее, впрочем, не столько сознательным делом, сколько какой-то ее «эманацией». Одинаковое и всегда равное ко всем отношение сообщало нашему дому удивительный мир и благоволение, и это несмотря на то, что в нем жило - столько далеко не смирной и вовсе не апатичной молодежи. В этом специально маме подвластном царстве бурлили всякие страсти, происходили маленькие драмы, завязывались и развязывались романы, но все это происходило без того, чтобы от нее исходили какие-либо стеснительные правила и в пределах

общего нерушимого мира и лада. В маме было что-то ют идеально справедливого, беспристрастного судьи-миротворца. Немало тревог, забот мы все восьмеро должны были ей приносить, а периодами каждый из нас порядком даже мучил ее; мучил ее подчас и папа по какой-то своей непонятливости в делах самых обыкновенных, но для него далеких, однако все это как-то обезвреживоли доброта и беспредельная снисходительность мамы, а также страх, который жил во всех нас, как бы ей не причинить слишком большое огорчение. Когда на ее лице, несмотря па усилие это скрыть, появлялось хорошо знакомое каждому из нас выражение страдания, то являлось только одпо желание, чтобы вместо этого выражения снова вернулось ее нормальное, спокойное и милое выражение, нужное нам, как солнечный свет. Мне думается, что в глубине души мамочка была человеком страстным, быть может, даже порывистым и нетерпеливым, но она еще в рашшх годах сама занялась своим «укрощением», и к тому моменту, когда я стал ее осознавать, она уже в совершенстве владела собой и никогда не обнаруживала ни нетерпения, пи гневности; даже безобидные досадливые нотки вырывались у нее до крайности редко. И никто, как она, не умел так действовать на совесть, будить ее, как она. Если же, пробудив совесть, она видела, что кто-либо из нас упорствует в чем-то таком, что уже никак опа не могла приять, то опа сдавалась, опа уступала — и зато эта уступка ее оказывала свое действие на очень долгий период, а то и на всю жизнь. Упорствующий нес в себе это чувство задолженности и постепенно это чувство перерабатывало его внутри.

Что же касается того, чем она была для папы, какой она была ему женой, то об этом я не могу судить. Мне только кажется, что все «благоухание» пашей домашней атмосферы исходило именно из их «романа». Роман этот начался с настоящего «coup de fond re» * во время бала, в квартире ректора Академии художеств, знаменитого живописца Федора А. Бруни. Совершенно юную, только что выпущенную из институте Камиллу Кавос вывозила, как я уже упомянул, в свет ее мачеха Ксения Ивановна, бывшая всего на несколько лет старше своей «дочери» и обращавшая на себя общее внимание своей царственной красотой и

■* Внезапного увлечения *(франц.)*.

туалетами. Мамочка- же была очень скромная и робкая барышня, еще не привыкшая к шуму блестящих собраний. Тем не менее именно эту «фиалку» заметил и отметил на том, памятном

в анналах пашей семьи, балу тридцатичетырехлетний Николай Бенуа, недавно вернувшийся из чужих краев и уже особенно отмеченный благоволением грозного и великолепною государя. Да и смоляночка после первого же контрданса поняла, что этот не совсем уже молодой человек — ее суженый-ряженый, Через несколько недель пана сделал предложение, а через несколько месяцев — 15 сентября 1848 г., произошло бракосочетание в прекрасной: церкви Пажеского корпуса, находившейся в той же группе здаипйг в которой помещалась и казенная квартира деда. И с самого того дня молодые поселились в той квартире, в которой до них жила моя бабушка Екатерина Андреевна Бенуа и в которой они прожили затем в безмятежном единении всю жизнь. Единственной непроизвольной «изменой» мамочки можно считать то, что она первая ушла от своего мужа в иной. мир, существование которого ей казалось мало вероятным. Но пана верил. в этот мир, и ему послужило великим утешением то, что в течение г ех. ' семи с половиной лет, которые он прожил оставленный ею, он не переставал надеяться, что снова соединится со своей обожаемой «Ками-лунзой».

Скажу еще несколько слов об этом маловерии или даже неверии мамочки. Оно было совершенно особого рода. Это было ее интимным делом, она никому его не навязывала, она и не была кому-либо обязана этим отсутствием религиозного сознания. Она не верила, ибо не находила в душе нужной подсказки и подтверждения. Тут сказывалось как отсутствие того, что называется благодатью, так и ее отвращение перед всяким обманом или самообманом. Думается, что сложилось это ее неверие постепенно и не без некоторой борьбы. Случилось, вероятно, так, что-наперекор сильнейшему желанию эту благодать (о чем она имела определенное представление) сохранить, она ее все же утратила, а утратив». не смогла приобрести снова. В позднейшие времена, впрочем, никакой такой борьбы уже в пей не чувствовалось, по оставалась лишь печаль а покорность. Все это имело самую нодлпнпую, «абсолютно честную» основу, и не было в маме и тени каких-либо модных в те времена материалистических убеждений. Она просто не была способна сама перед собой лгать.

В заключение еще несколько слов о мамочке как о хозяйке, ибо в-этой сфере заключалось ее настоящее призвание, выражался ее талант.. Образцовое ведение ею хозяйства немало способствовало созданию благосостояния нашего дома и его уюта. Сохраняя и в этой сфере свое обычное невозмутимое спокойствие, она, однако, входила решительно во все и,. мало того,— не только в пределах собственного своего дома, но еще

бдительно следя за хозяйственной жизнью своих детей. Если, однако, у себя она была полномочным и неоспоримым диктатором, то за пределами своего дома (с поразительным тактом) она предоставляла себе лишь совещательный голос. Иначе говоря, мама была «идеальной тещей», и я не

помню случая, г чтобы между ней и теми, кто через брак вступали в состав нашей семьи, у нее возникали хотя бы самые незначительные трения.

Глава 8 НАША ПРИСЛУГА

Изо дня в день, без передышки, даже в дни недомогания, мама тянула свою «лямку». Такое вульгарное выражение однако в применении к ней требует оговорки, ибо этими словами «сама» мамочка во всяком случае не называла то, что было ее «призванием», «приятным долгом», «делом жизни». Ее отношение к этому делу напоминало священнодействие. Никогда ни ропота, ни жалобы — и лишь изредка тихий вздох, то вызванный простой физической усталостью, то выражающий огорчение, вызванное неряшеством или недобросовестностью ее прямых подчиненных и сотрудников, иначе говоря, нашей домашней прислуги.

Прислуга у нас была исключительно женская (единственные крепостные моих родителей — лакей, кучер и конюх были отпущены еще до 1861 г.). Но кухарка, прачка и судомойка часто менялись, тогда как обе горничные были постоянными. Их я увидел впервые, когда, ничего еще не сознавая, я лежал в своей колыбели, их же я и видел каждодневно, они же оставались у нас в доме до самого того момента, когда этому дому настал конец в 1899 г.

Несколько слов нужно посвятить и этим «блюстительницам нашего домашнего порядка», и это тем более, что они с течением времени превратились в нечто вроде членов семьи, К ним не без «решпекта» относились и наши знакомые, называя обеих по имени, а мамину горничную даже и по отчеству. Эта «Ольга Ивановна» была сугубо почтенной особой, проводившей большую часть времени либо па кухне за глажением белья, либо у себя в темноватой комнатке, странным образом освещавшейся откуда-то сверху, за штопкой и починкой. В господскую половину она заходила только для того, чтобы принять участие в утренней уборке спальных, в приготовлении ванны, а но какой-то курьезной аномалии и для того, чтобы затопить камин

исключительно в моей комнате. На время починки белья она одевала очки в железной оправе, скрепленной нитками, и тогда она становилась еще более почтенной. Вообще же это была тощая, очень некрасивая девица, которую я всегда считал «старой», хотя в первые годы моего существования ей было не более тридцати пяти лет. Ольга Ивановна Ходепева была бывшей крепостной, однако, находясь в доме своих помещиков на положении «подруги барышень», она получила некоторое воспитание, умела читать и писать, что одно давало ей преимущество перед всеми ее сплошь неграмотными коллегами.

Ко мне Ольга Ивановна относилась с особым вниманием, но без тени какого-либо искательства и даже без особенной ласковости. Я уже был

*ƒ, ƒ, 8. Наша прислуга*ß5

большим балбесом, а она все еще считала своим долгом не только помогать мне одеваться, но и помогать мне мыться в ванне. Это даже был целый ритуал, который мы оба ценили, но вовсе не из каких-либо «гигиенических соображений», а из соображений театральных. Ольга Ивановна в те времена была страстной театралкой и улучала всякий удобный вечер, чтобы пойти в театр — чаще всего в соседний Мариинский, где в те времена, в очередь с русской оперой, которой она не интересовалась, давалась русская драма. Вот после каждого такого спектакля она принималась мне рассказывать содержание пьесы и описывать все особенности игры своих любимцев, причем рассказ начинался с самого того момента, когда я влезал в ванну, а завершался во время вытирания простыней или даже тогда, когда «уложенный в постель» я пил вечерний чай. В такой «послеванный ритуал» входило и то, что и чай я пил в постели непремен^ но из стакана и закусывая черным хлебом с маслом, что в другое время не полагалось. Рассказывала Ольга Ивановна не без таланта, живо переживая всякий момент, заливаясь до слез хохотом при передаче комических сцен и, напротив, принимая очень серьезное и даже скорбное выра-' жение, когда речь шла о драме, нередко кончавшейся смертоубийством. Но увы, эти-то наши театральные собеседования неожиданно оборвались. Ванночки я продолжал брать, и Ольга Ивановна продолжала, лет до 13-ти, мне мыть ноги и спину, а также помогать вытираться, но самый источник ее рассказов иссяк, и это по совершенно необычайной причине — потому что приехала в Петербург на гастроли... Сара Бернар. Ольга Ивановна любила не только театр, но и церковь божью, и особенное внимание уделяла она проповедям отца Палнсадова, которые этот священнослужитель держал в своей церкви при гимназии «Человеколюбивого

общества» (моей первой гимназии), находившейся в двух шагах от нас на Крюковом канале. Отец Палисадов и вообще не очень-то одобрял тех из своих пасомых, которые хаживали в театр — учреждение, несомненно, бесовское, однако эти запреты ие принимали акутного * характера, пока не приехала парижская дива. Когда же она приехала, и весь Петербург стал неистовствовать от восторга перед ней и простаивать ночи, чтобы получить места на спектакли, то батюшка Палисадов воспылал гневом и от благодушных укорений перешел к громам и чуть ли не к проклятиям. В сущности, едва ли из той паствы, которая собиралась в храме, кто-либо грешил тем, что ходил любоваться, как она «ломается», и менее всего наша Ольга Ивановна имела охоты послушать «Даму с камелиями» на непонятном ей французском языке. Однако именно с этого момента вечерние проповеди вознегодовавшего отца Палисадова приняли неистовый и в то же время столь убедительный характер, что бедная наша театралка до глубины души оказалась потрясенной ими и тогда же приняла решение больше в театр не ходить. Свой этот завет она строго исполняла, а я лишился своей театральной Шехерезады.

* От acuité *(франц,)* — острота, резкость. 3 А. Бенуа

ее

If /, 5. *Наша прислуга*

Полным контрастом Ольги Ивановны была Степанида, которую обыкновенно звали'Степой и к которой обращались на «ты», тогда как Ольгу Ивановну величали на «вы». Степанида была сущая деревенщина. Она была взята в дом в качестве кормилицы брата Михаила (в 1862 г.) и затем так и застряла навсегда, однако решительно не поддавалась какой-либо цивилизации. Она неаппетитно хлюпала носом, иногда даже украдкой сморкалась в пальцы, любила выпивать, имела говор типично простонародный, с растяжкой, а временами скороговоркой, бухалась в случае провинности господам в ноги, крестилась, божилась и клялась, охотно наговаривала на других, на кухонных же балах плясала до упаду, была сердцеедкой и обладала очень влюбчивым сердцем. От дворника Василия она прижила несметное количество детей, которые, однако, перемерли в младенчестве.

Мы, барчуки, имели привычку шутить со Степанидой, ее дразнить и разыгрывать. Какие-либо наши пожелания мы высказывали непременно в форме приказов. Мы делали Стенаниде и грозные выговоры, а иногда даже, к великому огорчению мамы, колотили ее но ее сутулой спине, что, впрочем, несомненно, ей самой нравилось, ибо она при таких_ расправах

только хихикала и приговаривала: «Да ну вас, Шуренька (Мишенька, Коленька). Ведь больно, больше, ей богу, не буду. Ишь рука какая тяжелая, даром что маленький». Когда Степа выходила со двора, то она довольствовалась тем, что кутала голову в платок, а на себя надевала какую-то ветошь с барского плеча, тогда как у Ольги Ивановны водились шляпы с цветами и с перышками, в зимнее же время она щеголяла в атласной ротонде с меховым воротником.

По странной игре судьбы — классовое их положение было как раз обратное их «положению в свете». Степа по паспорту была «панцирной бояркой», т. е. вдовой «панцирного боярина», следовательно «почти дворянка» **, тогда как Ольга Ивановна родилась в крепостном состоянии, а получила свободу всего девять лет до моего рождения. Впрочем, Степанида ничуть не кичилась своей весьма относительной знатностью (да к тому же муж ее давным-давно пропал без вести), а узнали мои родители об этом ее ранге только из паспорта, содержание которого неграмотной Степаниде было неведомо.

Типичнее всего Степанида становилась в дни своих именин, которые праздновались в нашей обширной кухне при сборе всей соседней дворни. Это были гомерические пиры, на которые уходило немало из ее сбережений (значительную часть таковых составляли те «на-чаи», которые она получала с гостей в особо торжественные дни — на именины моего отца и на Новый год). Зато какое же обилие и разнообразие всяких яств

*1** Сословие «панцирных бояр» восходило ко времени Иоанна Грозного, при котором были поселены по границе с Литвой мелкопоместные дворяне, на обязанности которых лежало владеть панцирем и конем. Представителей этого курьезного пережитка было в ХІХ в. всего не больше горсточки, да возможно, что муж Степапиды был единственным и последним из этих сллгжилых людей...

ƒ, I, 9. Наши поставщики•ß7

было тогда разложено по бесчисленным тарелкам и блюдам. И сколько же бутылок пива и водки выстраивалось рядами по подоконникам и просто на полу. Все это за ночь поглощалось и выпивалось, и одновременно специфический дух от этой вакханалии распространялся, несмотря на тщательно закрываемые двери, по всей квартире. Доносился из далекой кухни и шум многолюдного общества, а также звуки гармоники и скрипки, иод которые шел неистовый топот сапожищ по полу, сопровождаемый обязательно криками и визгами «дам».

В начале такого пира я еще решался, одолеваемый любопытством, заглянуть, что делается на кухне,— но и это было

рискованное предприятие, ибо меня схватывали какие-то руки и начинали меня тискать, а уже сильно пахнущая вином Степанида набрасывалась на меня и норовила поцеловать в губы, что я терпеть не мог и что вообще не полагалось. При таких посещениях я видывал Стенаниду, нашу раболепную, почтительную Степаниду уже в состоянии какого-то оргиастического исступления. Помахивая платочком, подняв передник, она или топталась на месте или «плыла лебедем», как-то боком, тем временем как у ног ее откалывал присядку губернаторский кучер с двумя другими бородачами. Плясали и другие, но бесноватее всех плясала именинница. И в эти минуты она молодела на двадцать лет, спина ее выпрямлялась, и в движениях рук была даже известная грация. После 11 часов, т. е. в разгар бала, мне было строго запрещено проникать на кухню, да и сам я туда не пошел бы — до того там было начадено, накурено, до того жуткие крики доносились оттуда.

Глава 9 НАШИ ПОСТАВЩИКИ

В обыкновенные дни хозяйственные заботы заполняли лишь мамочки-но утро (тогда же происходило выслушивание доклада старшего дворника), по часто попадались у нас «более ответственные» дни, и тогда ма-мочкина служба начиналась накануне и поглощала все ее время. В эти отмеченные дни — будь то очередной diner de famille*, или большой званый завтрак, или вечеринка с ужином (не говоря о событиях первого ранга — вроде свадеб, крестин, балов и юбилейных торжеств) — мамочка делала самолично обход своих поставщиков, и тогда на эти закупки всякой спеди уходили многие часы. Правда, большинство нужных ей лавок помещались недалеко от нас в Литовском рынке, но, кроме того, надлежало посетить погреб французских вин Рауля па Исаакиевской площади и проехать на Малую Морскую в кондитерскую Верен заказать мороженое и всякие сласти1*. На эти экспедиции мамочка, в качестве про-

* Семейный обед *(франц.)*. 4* О телефоне только-только начинали поговаривать, как о курьезном открытии, **в** начале 80-х годов, но общественного применения он до начала 90-х годов не имел.

гулки «для моциона» часто брала меня, и я в этих случаях шел охотно (питая, наоборют, ненависть к простой бесцельной прогулке) — не только к Берену, где приятные мамзели меня

угощали конфетами, но и в другие места — по-разному манившие главным образом своими ... запахами.

О, эти заседания мамы на деревянном ларо в лавке колониальных товаров купца Васильева в Литовском рынке! Почему я о них сохранил столь отчетливое воспоминание, что, кажется, и теперь мог отличить тембр звякавшего при открывании двери колокольчика, хотя с последнего моего посещения этой лавки прошло больше полустолетия? Не потому же, что и здесь мне иногда перепадало какое-либо лакомство (ведь лакомств у нас в доме было достаточно) и не потому, что я мог погладить и пощекотать своего любимца — огромных размеров кота Ваську, восседающего па прилавке у самых весов. Скорее всего'мне льстило вкрадчиво-заискивающее обращение важного, медлительного, по-купечески одетого самого Василия Петровича и в то же время меня пленил весь бытовой ансамбль этой торговли, вовсе не живописной, но во всем «ладной» и характерной. Своими двумя окнами и стеклянной дверью лавка выходила па тот перекрытый сводами ход, что огибал со всех четырех сторон рынок, прерываемый лишь там, где находились ворота, через которые можно было въехать в обширный общий дврр. Поэтому в лавке дарил полумрак, и в темные зимние дни в ней зажигалась с утра висячая керосиновая лампа. Отделка лавки была простого светлого вощеного дерева, включая сюда и перерезывающий ее во всю ширину прилавок, из-за которого можно было выйти в переднее помещение, приподняв среднюю доску. Справа к прилавку примыкал такого же дерева ларь-диван с высокой прорезной спинкой. Слева в стену был вделан мраморный камин (никогда не топившийся), а на нем единственным чисто декоративным элементом помещения красовались бронзовые золоченые часы под стеклянным колпаком. По стенам на полках стояли бутылки с винами и наливками, банки с леденцами и консервами, а также целый батальон наполовину завернутых в синюю бумагу сахарных голов. В специальных ящиках и витринах лежали пряники, халва разных сортов и неприхотливые конфеты. В бочках же хранился погруженный в опилки виноград разных сортов, сохранявший свою свежесть в течение всей зимы. Все зто было самое обыкновенное, но все это носило характер солидности и добротности, и это внушало уважение даже мне, шести-восьмилетнему мальчику.

Впрочем, больше всего меня пленял лавочный ритуал. Как только отворится, звеня колокольчиком, входная дверь и старший приказчик уяс-

Приблизительно в 1885 г. была проведена первая

проволочная линия, но она обслуживала исключительно царскую резиденцию Гатчина и соединяла один из покоев дворца со сценой Мариипского театра. Благодаря этому члены императорской фамилии могли, не отправляясь в небезопасную в те времена поездку, слышать любимые оперы, сидя вокруг центральною приемника и вооружившись Каждый трубкой, приложенной к уху. Этот гатчинский телефонный провод, поддерживаемый специальными столбами, как раз проходил мимо нашего дома.

I , I , 9. Наши поставщики

i·

69

нит себе, что вошла «Камилла Альбертовна», так он уже вскидывает доску прилавка и бежит к ней настречу, низко кланяясь. И сейчас же следом ИЗ| внутренних покоев, из какой-то темной святая святых, выступает сам хозяин, с картузом на седых кудрях, с большущими очками на носу. И тогда мама усаживает меня на ларь-диван, сама садится рядом к самому прилавку (там, где стояла конторка и лежали счеты), и начинается на добрые полчаса конференция. То и дело один из приказчиков ныряет в святую святых и является оттуда с лежащим на кончике ножа тонким, как лепесток, куском дивного слезоточивого швейцарского сыра, или с ломтиком божественной салфеточной икры, или с образчиком розовой семги. Но копченый золотисто-коричневый сиг выносится целиком, и его приходится оценивать с виду, лишь чуть дотрагиваясь до его глянцевитой, отливающей золотом кожи, под которой чувствуется нежная масса розовато-белого мяса. Приносятся и черные миноги, и соленые грибки, а в рождественские дни всякие елочные, точно свитые из металла крендели, румяные яблочки, затейливые фигурные пряники, с целыми на них разноцветными барельефами из сахара. Эти пряники не полагалось , кушать; считалось, что это вредно, но было бы и жаль съедать такие шедевры причудливого народного искусства2*. Всякую вещь Васильев умел охарактеризовать с тонкостью, с вежливой строгостью отрекомендовать, а когда все было забрано, то начиналось щелканье на счетах и записывание в книгу, лежащую на окаймленной галерейкой конторке. Если во время конференции в лавку входили другие покупатели, то их обслуживал приказчик, сам же Васильев никогда бы не дерзнул оторваться от совещания с «генеральшей Беиуа», а генеральша не спешила, обдумывала, принимала и отменяла решения, заставляла снова бежать за какой-либо пробой. Было что-то внушительное и трогательное в этой своеобразной, основанной на взаимном уважении, беседе между моей тихой, совершенно не

требовательной для себя, совершенно не лакомой мамочкой и этим степенным и даже строгим стариком, великим знатоком в своей области, умевшим уловить желание клиента с полуслова...

Другим фаворитом мамы на рынке был ютившийся в погребном помещении (под помянутым сводчатым ходом) зеленщик Яков Федорович, В этой лавке, с ее почти всегда на улицу отворенной дверью, зимой стояла стужа, а хозяин, дабы не замерзнуть, вынужден был непрестанно потчеваться чаем. Три проворных мальчика шмыгали, как крысы, принимая отрывистые приказания, снимали со своих мест товары, укладывали, вешали, завертывали, то и дело приговаривая: «Еще чего не прикажете?» Если у Васильева пахло чем-то пряным, заморским, далеким, то здесь

Впоследствии и незадолго до того, что эти фигурные пряники исчезли, я собрал коллекцию из них, но через очень короткий срок обнаружилось, что они поедены червями, да и краски фигур побледнели. Тогда же я узнал и имя того мастера, специальностью которого было создание этих съедобных барельефов. Его звали Увакин. Да сохранится хотя бы здесь память об этом народном художнике-поэте. Чего-чего нельзя было найти па этих фигурных пряниках: и русалок, и амуров, и пылающие сердца, и рыцарей на конях, и генералов, и цветы, и фрукты...

70

I , I , 9. Наши поставщики

пахло своим: лесами, огородами, травой, дичью. Здесь вас встречала при входе висящая ˆоленья туша в своей бархатистой коричневой шкуре, здесь кучками, отливая бурыми перышками, лежали рябчики, тетерки, а среди них красовался черный с синим отливом глухарь. А сколько еще всякой живности было вперемежку со всевозможными произрастаниями, начиная с едва пустившего тоненькие побеги кресс-салата в аппетитных миниатюрных, выложенных ватой корзиночках, кончая морковью, репой, свеклой и луком. У Якова Федоровича была довольно-таки жуликоватая физиономия, но я сомневаюсь, чтобы он дерзал надувать госпожу Бенуа,— уж больно ценилась такая покупательница, уж больно она сама во все входила, все самолично проверяла. От Васильева закупленный товар присылался; из зеленной огромную корзину тащил прямо за нами один из мальчиков, и делал он это с удовольствием,' ибо знал, что получит целый двугривенный на чай.

Всего, впрочем, про Литовский рынок не перескажешь, хоть и соблазнительно было бы в воображении проникнуть в мучной лабаз, учреждение довольно унылое, где хозяин был неимоверной

тучности, но где мне нравилось то, как медными совочками черпаются из мешков крупы для моих любимых каш: ячменной, смоленской, пшенной, гречневой, манной и ими заполняются с потрясающей сноровкой свернутые из бумаги «фунтики». Здесь опять-таки удивительно тонко, солидно и сдобно пахло, вызывая в представлении поля, мельницы, печи с хлебами и пирогами. Впрочем, больше всего из запахов я, пожалуй, любил те, которыми была напитана колбасная и самая простецкая из всех лавок — «мелочная». Но тут я уж отступаю от принятой топографической системы, ибо «наша» колбасная лежала на углу Екатерингофского и Вознесенского проспектов, тогда как «наша» мелочная, принадлежавшая торговцу Ключкину, занимала с незапамятных времен угловое помещение в первом этаже самого дома Бенуа. Запах колбасной интернационального характера. Так же вкусно пахнет всюду, где торгуют всякими наперцовап-ными и копчеными изделиями из свинины — будь то в России, во Франции или в Германии. Но запах русской мелочной нечто нигде больше не встречающееся, и получался он от комбинации массы только что выпеченных черных и ситных хлебов с запахами простонародных солений — плававших в рассоле огурцов, груздей, рыжиков, а также кое-какой сушеной и вяленой рыбы. Замечательный, ни с чем не сравнимый это был дух, да и какая же это была вообще полезная в разных смыслах лавочка; чего только нельзя было в ней найти, и как дешево, как аппетитно в своей простоте сервировано. Однако закупать в мелочной лавке мамочке не нужно было — туда посылалась Степанида, которая в лавку проникала не с улицы, а со двора — по-домашнему.

*1,1,10. Мамино парадное платье*71

Глава 10 МАМИНО ПАРАДНОЕ ПЛАТЬЕ

Насколько мама была бдительна в отношении сохранения декорума в нашем семейном обиходе, настолько же она была индифферентна к «личному декоруму». Меня даже иногда коробило оттого, до чего скромно мамочка была одета. И я думаю, так было и тогда, когда меня еще не было на свете, когда она была той стройной, совсем молодой женщиной, которая представлена на портрете Капкова. Ведь в этом изображении есть нечто «аскетическое», чуть ли не квакерское. Золотая лорнетка, которую она держит в руках, и венецианские кружева у ворота только подчеркивают эту скромность. У мамочки в спальне, как всегда тогда полагалось, стоял специальный туалетный стол работы Гамбса — с зеркалом в изогнутой раме и с десятками

всяких ящиков для драгоценностей и косметики. Самих этих «бижу» у нее было не так мало, но кроме подаренной когда-то женихом эмалевой брошки в виде цветка иван-да-марья, она из этих сокровищ ничего не носила, а когда обе ее дочери вышли замуж, то девять десятых маминых драгоценностей перешло к ним, а самый туалетный стол оказался у сестры Камиши, после чего мама уже причесывалась перед своим маленьким зеркальцем, попросту стоявшим на комоде. Причесывалась она всегда на один манер, гладкими, разделенными пробором, прядями с шипьоном из ее же волос, пришпиленным на затылке.

Всего замечательнее то, что у матери за всю ее жизнь было всего одно вечернее платье. Сшито оно было как подвенечное, в 1848 г., но затем добротный без износу шелковый штоф выдержал целых сорок лет, подвергаясь бесконечным перешиваниям, чисткам, а то и перекраске. Когда близилось какое-либо торжество, на которое «нельзя было не ехать», то на дом приглашалась портниха — статная, пожилая и очень скромная дама (в остальное время шитьем и перешиванием была занята жалкая, смешная карлица синьора Тарони, которую мои братья дразнили, рифмуя ее фамилию с «макарони»), и тогда сначала происходил так называемый conseil de guerre *, в котором участвовали и мои сестры, и тетя Лиза Раевская. «Вечное платье» надлежало еще раз подогнать под моду дня и под изменившееся с годами сложение самой мамочки. Из преувеличенно длинного шлейфа выкраивались воланы, перехваты, буфы, приходилось раздать бывшую «рюмочкой» талию, изменить форму выреза. Сколько раз папа настаивал на том, чтобы мамочка сделала себе новое платье, но она об этом и слышать не хотела. Впрочем, для полуторжественных обедов и для театра она себе сделала еще два платья темного цвета — одно бархатное и одно канаусовое — но от форменно вечернего, бального она решительно отказывалась. В конце концов от

* Военный совет *(франц.),*

1, I, 11. Тетя Лиза

шлейфа остался лишь куцый кусочек, а в целом «вечное» платье из белого превратилось в светло-фиолетовое. Могло и так сойти.

И все же среди моих воспоминаний о матери, вообще озаренных поэтичным, но ровным, мирным светом, остается одно, в котором этот «сероватый» свет уступает более яркому и торжественному: у мамочки тоже был момент своего рода «апофеоза». Я и ее увидел dans toute sa gloire * и чуть не захлебнулся от гордости, когда убедился, что и она может быть такой блестящей и нарядной дамой, как некоторые наши

знакомые. Это был тот момент, длившийся не более четверти часа, когда мама, одетая в только что перешитое платье, с роскошной наколкой из бантов и серебряных кружев на голове, причесанная парикмахером, с веером в руках, обтянутых кремовыми перчатка'ми, с букетом искусственной сирени на плече, надушенная и сосредоточенная стояла в ярко освещенной зале в ожидании кареты. Особенно меня поразили нити жемчуга; толстые золотые браслеты и три рубиновые запонки, которые были нашиты на темно-лиловую бархотку, обхватывающую ее еще не отучневшую шею. Откуда только появились все эти Diamanten und Perlen **? Мне казалось, что я вижу самое царицу, я прямо не узнавал мамы, тем более что у нее и выражение в тот вечер было совсем особенное, не лишенное известной важности. Казалось, она говорила: вот я какая, вот какая я всегда могла бы быть —не хуже других и, несмотря на маленький рост, не менее величественная, нежели всякие знакомые модницы. Если же я только сегодня такая, а завтра и вообще никогда больше такой не буду, а снова приму свой образ Сандрильоны ***, то это потому, что мне так хочется, чтоб всем вам лучше жилось и чтоб моему бедному Никола не приходилось еще изнурять себя работой. Этот необычайный парад мамочки был тогда вызван приглашением на какой-то большой бал (кажется, у Жюля Бруни), и бывшие на том знаменитом балу люди потом рассказывали о той сенсации, которую произвело появление Камиллы Альбертовны в таком необычайном виде.

В том вечном платье мамочка положена в гроб и в могилу. Какой милой, спокойной, довольной казалась она, когда в последний раз я ее поцеловал в лоб, в любимое свое местечко — между двумя крошечными родимыми пятнышками — одним красным и одним синеватым...

Глава И ТЕТЯ ЛИЗА

Единственной подругой мамы была Елизавета Ильинична Раевская. Ее все в семье звали тетей Лизой, хотя на самом деле никаких родственных связей между ею и нами не было, а была она товаркой мамы по Смольному институту, и нежнейшая дружба, завязавшаяся еще тогда

* Во всем блеске *(франц.)*. ** Бриллианты и жемчуга * *(нем.),* *** Золушки *(франц.)*.

между Лизой и Камилей, продлилась затем между ними на всю жизнь. Впрочем, и после смерти мамы тетя Лиза продолжала

у нас бывать каждый понедельник и, кроме того, во всех особенно торжественных случаях. Вообще с товарками-смолянками мама, кроме тети Лизы и княгини Касаткиной-Ростовской, рожденной Норовой, знакомства в дальнейшей жизни не поддерживала, но княгиня умерла, если я не ошибаюсь, еще в 70-х годах, тогда как тетя Лиза пережила маму на целых десять лет. Могла бы она прожить и дольше, если бы не несчастный случай,— бедняжка обгорела, опрокинув на себя горящий бензин, «бен-зинкой» же она пользовалась потому, что была очень бедна и, снимая комнату в доме дешевых квартир на Лиговке, сама себе готовила еду. Средства ее состояли из пенсии, получавшейся ею со смерти отца — одного из героев Отечественной войны (я так и не удосужился узнать, какую роль в пей играл Илья Раевский), и из ничтожного жалования, которое она получала, служа в ведомстве императрицы Марии \

Эти биографические данные ничего не говорят о том, что за личность была тетя Лиза Раевская. Между тем это была, несомненно, очень особенная личность, не по своему общественному положению (о своих аристократических родственниках она не особенно любила говорить и считала себя несколько обиженной ими), не но уму и талантам, а потому, что она была типичной представительницей отжившей и уже забытой эпохи. Мама успела за свои супружеские годы утратить все «институтское», она, может быть, и вообще не была никогда типичной смолянкой. Напротив, Елизавета Ильинична Раевская, несмотря на свой преклонный возраст, производила впечатление только что выпущенной из стен Смольного девицы, и даже не столько выпущенной, сколько «выпорхнувшей»,— точно вчера только она исполняла экзаменационный «па де шаль» *! И вся она была полна какого-то затаенного восторга, то и дело вырывавшегося наружу. Она и к Камилле питала именно такое институтское восторженное чувство, тогда как отношение мамы к ней не было лишено легкой и благодушной иронии. Еще можпо так сказать: тетя Лиза была типичной старой девой, тогда как мама была типичной матерью семейства. Этот контраст не мешал им нежно любить друг друга, и если мама и посмеивалась иногда над ужимками своей подруги детства, то она и бесконечно ее уважала за кристаллическую ее чистоту душевную, за ее правдолюбие (правдолюбие у мамы доходило почти до мании), и в то же время маме было сердечно жаль ее Lise, жизнь которой в сущности сложилась очень и очень неудачно.

Сама тетя Лиза, впрочем, как будто не сознавала эту неудачливость или же она умела скрывать такое свое сознание. Скорее она действительно не сознавала,— и в этом была одна

сторона ее типичного старо-девичества. Она была старой девой «по призванию», у нее был талант быть старой девой. Мало того, это стародевичество сообщало ее жизни какую-то жеманную и чуть гротескную изящность. Она гордилась, что

* От pas de ciiâle *(франц.)* — танец с шарфом.

осталась барышней, гордилась даже тем, что вся ее наружность была столь «типичной». Она гордилась своим далеко выдававшимся вперед «римским» носом, своими черными, гладко-гладко причесанными волосами, своей худобой, своей прямой осанкой, своими костлявыми руками, своей длинной шеей,— иначе говоря, всем тем, что именно и слагалось в несколько карикатурный образ старой девы,— в тот тип «спинстер» *, который был так использован английскими рисовальщиками и романистами. Да и поступки тети Лизы соответствовали тем поступкам, которые приписывают старым девам Диккенс или Теккерей. Так, в продолжение целой зимы (кажется, 1879 г.) она забавляла нашу семью переживаемым ею «романом». В нее якобы влюбился какой-то отставной генерал, оказавшийся с пей рядом в конке и вступивший с ней в, разговор, начав с заявления, что он еще никогда не встречал такого классического носа. Несомненно, старый хрыч вздумал потешиться над действительно поразившей его, казавшейся удивительно старомодной дамой. Но тетя Лиза, что называется, «клюнула» на эту удочку, и в продолжение нескольких месяцев мы от понедельника до понедельника могли следить за развитием этой авантюры, которая после поднесения генералом нескольких букетов и двух коробок конфет (в чем тетушка уже усматривала «предложение») кончилось бесследным исчезновением героя. Не был ли то какой-нибудь бытописатель, заинтересовавшийся типом и вздумавший его вывести во всех подробностях в повести или в пьесе?

Тетя Лиза была страстной театралкой. Как ни скромны были ее средства, однако при соблюдении ею систематической экономии ей хватало их, чтобы абонироваться и в Мариинском театре на русскую оперу и в Михайловском театре на французскую драму, а в какой-то другой день недели она успевала еще посещать итальянскую оперу. Кроме того, она была непременной посетительницей и всяких гастрольных спектаклей: Сары Бернар, Коклена, Дузе, Росси, Сальвини и т. д. По понедельникам она у нас обедала именно перед тем, чтобы к 8 часам отправиться на свое обычное место в райке Мариинского театра и с замиранием сердца ждать момента, когда обожаемый ею Направник подымет свою дирижерскую палочку. По вторникам она обедала у своей племянницы, баронессы Медем, и

оттуда спешила на свой «балкон», чтобы аплодировать Гитри, Вальбелю, Апдрие, Брендо, Томассен 2 и чтобы с негодованием, которое она считала искренним, слушать «ужасные сальности» Хиттеманса, Жу-мара и мадам Дарвиль... Настоящим горем было для нее, если два интересных спектакля совпадали и приходилось выбирать один из них. Но не могло возникать у нее пи малейших колебаний при таком выборе, если одиц из спектаклей был украшен, «удостоен» участием Мазипи. В таких случаях тетя Лиза отправлялась в Малый театр, в котором частная итальянская опера нашла себе приют после того, что перестала быть казенной, а ее абонементным местом в Мариинском па данный вечер пользовался кто-нибудь из нас. Таким образом и я познакомился с

* От spinster *(англ.)* — старой девы.

«райком», и4 должен сказать, что как раз воспоминания от спектаклей, которые я видел и слышал оттуда, с этой высоты (у тети Лизы было место в самом центре амфитеатра и в первом ряду) — принадлежат к лучшим,— то ли потому, что общий вид театра из райка особенно эффектен, то ли потому, что оттуда действительно хорошо слышно, то ли оттого, что вас со всех сторон окружают не какие-либо люди скучные, равнодушные, а самые пламенные энтузиасты. О, в какое неистовство впадали иные из этих поклонников, какой стоял там крик и какое происходило неистовое маханье платками и шарфами!

Случалось мне видеть такое неистовство и в лице самой тети Лизы. Это бывало, когда соседнее с ней место в Итальянской онере, принадлежавшее одной ее сослуживице, оказывалось свободным, и она его предлагала мне. Во что превращалась в конце каждого акта, пропетого Ма-зиии, обыкновенно столь чопорная и даже величественная тетя, отлично подходившая к роли какой-либо строжайшей обергофмейстерины! Она становилась разъяренной менадой! Да и в своих же рассказах об «ее» Анджело она выдавала всю силу накопившегося в ее сердце чувства: она краснела, путалась, не договаривала,— точно и впрямь между пей и знаменитым тенором, с которым она не была знакома, установился род романа. Впрочем, до знакомства все же дошло. Для какого-то прощального спектакля тетя Лиза сшила и расшила орнаментами в русском стиле башлык и, выждав минуту, когда знаменитый певец, после всех артистов, вошел в вестибюль театра — по обыкновению своему с расстегнутым воротом—она накинулась на него и, прикрикнув: «Mais vous êtes fou, Masi-ni» *, — ловким движением обвила его шею своим подарком. Капризный и балованный певец был в этот вечер (после

бесконечных оваций) в благодушном настроении, а потому в ответ на столь бурный натиск он не только не реагировал какой-либо грубой выходкой, но промолвил: «Grazie, molto grazie» **,— и даже поцеловал ручку дарительнице. Я думаю, во всей жизни тети Лизы именно этот момент был самым светлым и торжественным. Во всяком случае, рассказывала она о нем по всякому поводу, причем даже и мимировала свой поступок: я вот так накинула башлык, быстро-быстро связала концы, а он вот так поцеловал мне руку. Она верила, что именно ее башлык спас ее любимцу не только голос, но и прямо жизнь. Действительно, морозы в тот год стояли жестокие, и возможно, что башлык «в русском стиле» и впрямь пригодился Мазини... если только он в тот же вечер не отдал его своему слуге...

Еще необходимо упомянуть о двух черточках тети Лизы, иначе ее портрет не получился бы вполне схожим. Одна из этих черточек — патриотизм. При всем своем поклонении итальянской опере, при всей своей верности французскому театру, тетя Лиза была самой горячей патриоткой, и это неудивительно, если вспомнить, что она была дочерью бородинского героя и воспитанницей Смольного института в дни Николая

* Да Вы с ума сошли, Мазипи *(франц.)*. :* Спасибо, большое спасибо *(итал.)*.

Павловича. Как раз к последнему она питала настоящий культ, точно это не политическая личность, а личность мистическая, нечто вроде какого-то святого, чудотворца. Напротив, Александра III она не любила, и совсем он ее огорчил своей открыто выразившейся супружеской неверностью. Когда тетю Лизу поддразнивали (что вообще было у нас принято), уверяя, что и Николай I не подавал хорошего примера в этом отношении, она зажимала уши, закрывала глаза и кричала: «Неправда, это все клевета!» Почти так же восторженно относилась она к Александру III, и все мероприятия государя, имевшие целью поднять национальное самосознание, она приветствовала с энтузиазмом, а «чудесное спасение» 1887 г.3 она от всего сердца считала именно за чудесное и даже обзавелась по этому случаю какой-то хромолитографией, которая изображала событие с несомой ангелами иконой в облаках. Смерть императора в 1894 г. тетя Лиза пережила как личное несчастье, тем более что не питала никакого доверия ни к Николаю II, ни к царевичу Георгию. Напротив, она возлагала самые пламенные надежды на Михаила Александровича, считая его истинно русским человеком, и потому именно ожидала от него, что он будет прекрасным правителем. Надо, впрочем,

сказать, что вообще у Михаила Александровича даже при жизни его брата Георгия была такая «негласная партия», скорее род какого-то ни на чем реальном не основанного культа. До рождения цесаревича Алексея, «оттеснившего» дядю от престола, тетя Лиза не дожила.

Патриотизм тети Лизы выразился и в том, что она одно время в досужие часы со страстью занималась рукоделием в русском стиле и даже, несмотря на скудость средств, отделала свою крошечную квартирку (до переезда на Лиговку) бесчисленными полотенцами и мебелью в русском стиле с петушками, рукавицами, дугами и прочими национальными элементами. Кроме простого вышивания крестиком, она выучилась более замысловатому способу, при котором орнаменты и фигуры получались сплошными силуэтами на прозрачном фоне. По этой системе она изготовила себе занавески к окнам, а затем попробовала даже продавать подобные изделия. Для этой цели она попросила моего отца делать ей рисунки такого орнаментного шитья, от чего он по своему добродушию не отказывался. Запомнились мне такие занавески с фигуркой пляшущей с платком девушки и с танцующим вприсядку парнем. И А. Обер тоже изготовлял тете Лизе рисунки. По его композициям была вышита серия басен Крылова с очень выразительными фигурами животных. К сожалению, в коммерческой пользе этих изделий, требовавших большой кропотливости, тетя Лиза через год или два разочаровалась.

Нельзя, наконец, не упомянуть и о том, что тетя Лиза была хранительницей стародавних заветов хорошего тона. Я уже говорил, что она внешне походила на какую-нибудь камерьеру-майор при испанском дворе, но в ней этой внешности отвечала и глубокая убежденность, неуступчивая приверженность разным правилам приличия. Увы, жизнь тети Лизы сложилась так, что вместо участия на куртагах, она целые дни проводила в более чем скромной обстановке и среди людей невоспитанных и

хамоватых ˆ(это столь ныне распространенное слово тогда еще не употреблялось, но если бы оно употреблялось, то тетя Лиза должна была бы употреблять его ежеминутно). Благодаря этому милая и добрейшая тетя Лиза не выходила из каких-то историй с коллегами по службе, с соседями в доме дешевых квартир, а то и со встречными на улице. Она то и дело изливала «доброй Камилль» свое возмущение то грубостью своего начальника, то дерзостями каких-то старых дам, живших с ней рядом и пользовавшихся с ней общей плитой. Все эти истории неизменно возникали из-за какого-либо невежливого поступка.

Но и у нас в доме выходили иногда если не истории, то забавные инциденты. Тетя Лиза считала, что поздороваться с дамой «известного возраста» и только пожать ей при этом руку равносильно форменному оскорблению. А потому, когда кто-либо из моих гимназических или университетских товарищей являлся в компату, где восседала тетя Лиза (один профиль, один величественный вид которой так и требовал, чтобы человек подтянулся), то она уже вся как-то настораживалась, готовясь произвести оценку этого новичка с точки зрения хорошей воспитанности. Если «новичок» ограничивался одним только «шекхендом» * и не изъявлял намерения почтительно склониться для «безмэпа» **, то она резко выдергивала руку, а иногда даже тут же читала ему потацию. Такие случаи произошли и с Валечкой Нувелем, и с Бакстом, и со Скалоном, и с Калиным; она сочла их всех за «нигилистов» и чуть ли не за людей опасных. Напротив, она исполнилась благоволения к Диме Философову и к Сереже Дягилеву за то, что они (предупрежденные мной) произвели церемонию лобзания руки по всем правилам и даже не без некоторой театральной подчеркнутости. «Сейчас видно, что это юноши из хорошей хемьи»,—заявила она. Поцелую же и я здесь на прощанье сухую, белую с длинными пальцами ручку покойной маминой подруги, и да простит меня ее тень, если не все то, что рассказал, оказалось в соотношении с ее вкусом. Впрочем, лично меня тетя Лиза так любила (уже за одно то, что я любил театр и музыку) , что мне (как и Леонтию и Николаю) она готова была простить и самые непростительные провинности.

Образ тети Лизы так сросся у меня с нашим домом, что я не могу себе представить некоторые наши комнаты без того, чтобы сейчас же не возник ее строгий профиль и гордая осанка ее тощей фигуры. Особенно срослось это представление о ней с воспоминанием о столовой — и не столовой парадных дней, где скорее «тронировала» бабушка Кавос,— как именно со столовой будней, точнее понедельника, когда ничего специального не готовилось, а скорее «доедались» вкусные вещи, подававшиеся накануне. Против папиного места, по левую руку от мамы и восседала тогда эта наша «духовная родственница», не столько занятая едой, сколько сообщением того, что с ней за неделю произошло. Кстати сказать, она . была крайне воздержана в еде, а вина выпивала, как и мама, всего не-

* От shake hands *(англ.)* —рукопожатием. ** От baise main *(франц.)* — поцелуя руки,

сколько капель, подлитых «для цвета» —в стакан воды. Невскую же воду почитала за самую превосходную на всем свете

(воспоминания юно? сти) и даже приписывала ей целебные свойства.

Глава 12

СЕСТРЫ И БРАТЬЯ. СЕСТРА КАМИЛЛА

Всего у моих родителей было девять детей, но сестра моя Луиза умерла одного года, а брат Юлий (Иша) четырнадцати лет, другие все — и я в том числе — достигли почтенного возраста... Все мы вышли очень разные, но и с некоторыми общими фамильными чертами. Если говорить о расовых особенностях, то одни из нас более отчетливо выдавали свою итальянскую породу, другие — французскую. Характерно немецкого, что могло быть унаследовано от бабушки Беыуа, пожалуй, ни в ком из нас не найти, но одни из нас относились к германскому началу с большей симпатией, другие с меньшей. Больше всего сознательно такая симпатия выразилась во мне, что не помешало мне как раз быть наиболее «космополитичным» из нас. В сущности у меня столько же нежности к англичанам и к их быту, к испанцам и даже к скандинавам, хотя уже ни одной капли ни английской, ни скандинавской крови во мне нет, а если и есть капля испанской (через Кавосов), то она за три века пребывания моих дедов в Италии должна была дойти до меня в совершенно гомеопатической дозе.

Можно еще расположить братьев и сестер Бенуа по степени их «рус-скости». Русской крови, повторяю, в нас нет даже и в гомеопатической дозе, но это не помешало нам стать «вполне русскими», и не только по подданству и по языку (вот я и эти свои воспоминания предпочитаю писать по-русски — ибо это мой родной, наиболее мне свойственный язык), но и по бытовым особенностям и по некоторым свойствам нашего характера. Тут замечаются известные вариации. Вполне естественно, что наиболее русским стал с годами, не изменяя нашему общему космополитизму, тот из моих братьев, который, благодаря своему браку, породнился с чисто русскими людьми — это брат Людовик, Луи, или, как его называли на более русский лад, Леонтий. Все остальные женились или выходили замуж за лиц иностранного происхождения, старшая сестра за англичанина, младшая за француза, трое братьев женились на немках, один женился на своей кузине — на итальянке, но с примесью русской крови.

Оба мужа моих сестер были католиками, три из жен братьев

были православными, две лютеранками.

Я не стану здесь говорить о братьях, сестрах и о наших «свойственниках» с теми подробностями, которых они все заслуживают,— я дол-

\жеп беречь место и держаться известной системы,— но как не мог я в своих воспоминаниях не упомянуть о происхождении нашей семьи и дать хотя бы очень эскизные «портреты» моих родителей, так я никак не могу умолчать и о своих братьях, игравших в моем существовании очень большую роль. Однако мое положение в семье было особенным. Явившись на свет после всех и без того, чтобы у родителей могла быть надежда, что за мной последуют и еще другие отпрыски, я занял положение несколько привилегированное, какого-то Вениамина1. Я не только пользовался особенно нежной заботой со стороны моих родителей, по был как бы опекаем и всеми сестрами и братьями. Особенно нежны были со мной сестры, годившиеся мне по возрасту в матери (старшей был 21 год, когда я родился, а младшей 20 лет). Но и братья всячески меня баловали, заботились обо мне и каждый по-своему старался влиять на мое воспитание. Все это подчас не обходилось без маленьких драм и недоразумений, без ссор и обид; иные заботы и попечения принимали неприемлемый для меня оттенок, и тогда я всячески против таких посягательств на мою независимость восставал. Однако в общем мы все жили дружно, и о каждом из братьев и сестер я храню добрую и благодарную память.

* * *

Переходя к отдельным членам нашей семьи, я начну по старшинству — с моей сестры Камиллы Николаевны, которой, как я упомянул, был 21 год, когда я родился, и которая в 1875 г, покинула родительский дом, выйдя замуж за Матвея Яковлевича Эдвардса. В совершенно рапном детстве я ей, не отличавшейся красотой, с лицом, чуть тронутым оспой, тихой, почти безмолвной, предпочитал сестру Екатерину — веселую и очень хорошенькую, стройную, «розовую» Катю. Впоследствии же я сумел по-должному оценить всю прелесть, всю мудрость сердца, весь «абсолют доброты» и даже полное самоотречение и самопожертвование «Камшпи», и эта моя оценка приняла в конце концов форму известного обожания. Если кого я в нашей семье после матери и отца действительно обожал, так это именно ее, и если после смерти мамы мне действительно кто-либо давал

иллюзию, что она все еще со мной, так это именно Камиша. Но только в маме было гораздо больше духовной крепости, того дара, который Гете называет «des Lebens ernstes Führen» *, в Камише же доминировала венецианская, часто граничившая с пассивностью indolence ** и какая-то безграничная покорность обстоятельствам. Она как-то не совсем справлялась с трудностями жизни и не была способна влиять на близких людей так, как паша мать.

Свою Camille-darling, свою нежную и хрупкую подругу жизни «вполне оценил» и ее муж Матью Эдварде — громадного роста, типичнейший

Серьезное отношение к жизни *(нем.)*.

Вялость *(франц.)*.

80Л /, *12. Сестра Камилла*

«бритт», появившийся на нашем горизонте в 1874 г. в качестве препода^ вателя английского языка. Он сразу влюбился в свою ученицу и нашей с ее стороны полный (хотя едва ли в пылких формах выразившийся) ответ. Выход замуж барышни нашего круга за гувернера едва ли можно было считать выгодной партией, и несомненно родители мои призадумались, когда Камиша спросила их согласия. Но «Матью» так быстро, так верно завоевал симпатии и их и всех прочих членов семьи, что колебания эти продолжались недолго, чему способствовало то, что по наведении справок на родине Матью оказалось, что этот молодой человек принадлежит если и не к очень зажиточной, то все же к весьма уважаемой семье. Да и в гувернеры-то он попал случайно, приехав в Петербург искать счастья и заработка вообще и не зная наперед, куда приложить свои силы. Преподавательская деятельность не была ему вовсе по вкусу, вследствие чего при первой же оказии (оказией оказался его брак, и событие это произошло необычайно скоро после его приезда в русскую столицу) он навсегда бросил педагогию, отдавшись всецело таким делам, которые ему лежали ближе к сердцу.

Ближе сердцу Матью были «дела» — все равно какие, в какой области, лишь бы это были дела честные, но и доходные, сулившие быстрые, блестящие прибыли. Сначала он подбил мою мать и ее брата, моего дядю богача Сезара Кавос построить завод, которого он и стал управляющим, но затем он этот завод у них выкупил, скупил и все земли вокруг, приобрел и многие другие предприятия и кончил Матвей Яковлевич Эдварде богатым и притом необычайно уважаемым всеми человеком. Мало ли таких самородков расселилось по белу свету, и очень многие среди них достигли несравненно более блестящих результатов, нежели мой зять. Однако некоторые особенности Матвея Яковлевича

заслуживают того, чтобы ему среди других самородков было отведено особенное место. Так, в нем не было ничего от парвеню: образ жизни его оставался на протяжении всего этого «восхождения» одним и тем же, таким же незатейливым, каким он был вначале, и в этом более всего выразилось какое-то, я бы сказал, «изящество» его духовной натуры. Кроме того, в Мате совершенно отсутствовала жадность или какая-либо узко-эгоистическая корысть. При его беспредельном благодушии, так чудесно гармонировавшем со «святой добротой» его жены, он и не был способен что-либо «урвать», лишив другого чего-то, тому нужного; в нем ничего не было от агрессора и профитера*. Его «завоевания» были вполне мирного характера. Свои сделки ои устраивал полюбовно посредством переговоров и убеждений, иногда очень длительных и очень сложных, но доставлявших ему самому большое удовольствие. Самый процесс таких переговоров с бородатыми мулшковатыми купцами и промышленниками в трактирах за бесконечными стаканами чая имел для него какую-то притягательную силу и привел к тому, что этот очень образованный англичанин, дававший в России уроки английского языка и английской ли-

* От profiteur *(франц,)* — рвач, спекулянт.

тˆратуры, в конце концов если и не правильно, то бегло говорил по-русски и даже приобрел всякие характерные простонародные замашки.

Я нежно любил Мата. Мне импонировал его рост, его Геркулесово сложение, и в то же время я совершенно не боялся его — столько было в его характерной голове, в его густой рыжей бороде и в его покрытых веснушками и золотистыми волосками могучих руках доброты при сознании исключительной своей силы. О том, какую любовь он снискал среди своих многочисленных служащих, может свидетельствовать тоу что когда он скончался, то его гроб на руках пожелали нести рабочие ,от самого дома до самой могилы па Католическом кладбище, версты три. <.„>

Я не прочь употребить слово «художественность» в приложении к финансово-промышленной деятельности Мата, однако это слово следовало бы понимать здесь в совершенно особенном смысле. «Художественность» эта заключалась в том, что Мат трудился, рисковал, падал, снова подымался, производя все это согласно принципу искусство для искусства. Вообще же ничего художественного в нем не было, если не считать „ его любви к Шекспиру, к Теннисону, к Муру, о чем, впрочем, он с

годами все реже и реже напоминал. Известная склонность к поэтичности сказывалась еще в том, что он любил дремать у камина, слушая старые английские романсы, которые ему играла на их расстроенном пианино Камиша. К художественному творчеству членов той семьи, в которую он вступил, он относился совершенно безразлично, в театр ездил только тогда, когда его туда «насильно» тащили, выставки и концерты его не интересовали. Меньше всего его интересовал декорум личной жизни, что, в связи с беспечностью Камишеньки, накладывало на их домашний быт отпечаток «богемы». Те, кто пытались оправдать неряшливость и даже некоторую неопрятность, царившие в их доме на Кушелевке, многочисленной семьей, добрая половина которой находилась в состоянии беспомощных беби,— были неправы. Мне известны дома, в которых маленьких ребят еще больше, но в которых все содержится в порядке и в которых жизнь протекает в формах известного изящества. Да и средства Эдвардсов позволяли им вполне пользоваться нужным количеством нянек и бонн, чтоб не оставлять детей без присмотра. Но таков был именно стиль их дома и, как ни странно, безалаберность составляла и своеобразный шарм его. Лет до двенадцати мне нигде так приятно не было гостить, как именно у Эдвардсов, и это не только потому, что я у них объедался самыми сочными ростбифами и самыми вкусными пирогами (Камишенька усвоила себе все тайны английской национальной кулинарии), но и потому, что весь этот быт и именно эта их простота, этот своеобразный уют в беспорядке (одно то, что кошки и собаки как-то распоряжались домом на равных правах с хозяевами) — все это казалось мне после сравнительной чинности нашего дома чем-то даже завидным. И до чего были распущены дети Камиши и Мата. До чего шумно и бурно выражалась их радость жизни в просторных комнатах их прелестного, построенного по чертежам моего отца дома на Кушелевке.

82

I, /, 12. Сестра Камилла

Сколько портилось и ломалось вещей, и до чего все же эти их дети были добрые и милые дети, до чего мне, предводителю этой шайки разбойников, было с ними весело. Изредка слышался окрик Матвея Яковлевича: «Have done, Ellen, you naughty girl, I will whip you, Jommy...» *, но, разумеется, никакого кнута, необходимого для исполнения последней угрозы, в доме не было, а скверная девочка через минуту после грозного выговора отца уже сидела у пего на коленях и теребила его рыжую бороду. Камишеяька, та и замечаний не делала, а только, глядя на

шалости, скорбно вздыхала,— не переставая возиться с пеленками, из которых только что выволокла последнего беби; а вид розового тельца этого беби или его широкая улыбка сразу рассеивали ее скорбь — впрочем, чисто напускную.

Я упомянул только что о бороде Мата. Она была у него рыжая и пропахла смолистым духом. Впрочем, такой же аромат исходил у него не только от бороды, но и от всего: одежды, белья, волос, малейших принадлежавших ему предметов. Когда ватага «кушелевских» появлялась в нашей квартире, то и по ней распространялся этот дух, вовсе не противный и имевший в себе нечто здоровое, чуть ли не целебное. Получался же этот дух от канатной фабрики, стоявшей па расстоянии всего нескольких сажен от их дома. Сам Матвей Яковлевич проводил почти целые дни на своей фабрике, и его массивная фигура показывалась то в кладовой, где находились гигантские весы, то в квартире, где писаря ведали гроссбухами, то среди сверлящих ухо визжащих машин. Смешной говор его, полный неисправимых «британизмов», слышался в самых неожиданных местах, и это был всегда добродушный, подзадоривающий говор. Только в крайних случаях он повышался до величественно-грозных нот, и тогда в нем вдруг неожиданно открывалось нечто зевсоподобное. Напротив, никогда Мат не унижался до раздражения, до нервного визга. За эти-то черты, за эту его какую-то товарищескую простоту, связанную с мудрым начальствованием, его особенно и любили рабочие.

К несчастью, смерть не пощадила и эту чудесную и милую пару — она разлучила Камишу и Мата... Он умер в Петербурге, в том же доме близ канатной фабрики, и его похоронили на Католическом кладбище на Выборгской стороне. Камишенька через три года после его смерти эмигрировала и кончила жизнь в Англии в большой бедности, в скромном деревянном домике, предоставленном ее дочерям и внукам зажиточными английскими родственниками Мата. Но оба были верующими людьми (Матвей был ревностным католиком, несколько фанатического уклона), и надо думать, что для них вопрос о том, где суждено покоиться бренным останкам, едва ли имел большое значение. В одном они могли не сомневаться, а именно в том, что жизнь и после земного существования имеет продолжение и в этом продолжении они снова будут соединены.

* Елена, скверная девочка, я выдеру тебя, Джомми... *(англ.)*.

Глава 13 СЕСТРА КАТЯ

I Вторая моя сестра — Екатерина, по-семейиому Катя или Катишь, была всего на год моложе Камиши, но казалась гораздо моложе своей несколько старообразной сестры. Она росла иремиленькой девочкой-резвушкой и шалуньей, а сделавшись взрослой барышней, превратилась в очень хорошенькую особу с чудным цветом лица, с очень быстрыми и притом грациозными движениями (сестра Камиша, напротив, была скорее медлительна). Детей вообще привлекает изящное или яркое проявление жизни. В этом следует искать то несомненное, впоследствии изменившееся предпочтение, которое я, будучи совсем маленьким, оказывал сестре Кате перед сестрой Камиллой. Но с годами отношение мое несколько изменилось; не то, чтобы я разлюбил Катечку, но я все же стал определенно предпочитать ей Камишеяьку.

Если искать причины этой «измены», то таковые скорее всего найдутся в некотором, правда, очень незначительном, дефекте в характере Кати. Она была менее ровной в настроений, более вспыльчивой, а главное,— у Кати вечно женственное особенно сказывалось в некоторой склонности к судачеству. Она любила слушать сплетни, она их даже с самым невинным видом вызывала, и — что уже хуже — она с тем же невинным видом передавала их кому не следовало, вследствие чего получались иногда разные осложнения. Тут не было и тени злого намерения, но все же тут «Евино начало», которое совсем отсутствовало у Камиши или у мамы, заслоняло природную благожелательность Кати. Понять — простить — было одним из коренных убеждений и мамы и моей старшей сестры,— и они почти никогда никем не возмущались и никого не осуждали. Напротив, Катя любила в обществе близких и не близких людей ноужасаться и понегодовать, а в связи с этим находилась и ее потребность вызывать поводы к таким ужасаниям и негодованиям.

Надо при этом иметь в виду, что судьба бедной Катиши была, в общем, куда менее счастливой и куда менее «ровной», нежели судьба старшей сестры. Она вышла замуж по любви за несколько месяцев до замужества Камиши, вышла за молодого, талантливейшего и вскоре ставшего знаменитым скульптора Евгения Александровича Лансере, и этот «роман Кати и Жени», начавшийся летом 1874 г., продолжался до самой гробовой доски Жени, случившейся в феврале 1886 г. Катя, которой в момент смерти мужа было всего 36 лет и которая по-прежнему была прелестной, осталась верной ему до конца своей жизни. Она отвергла несколько предложений, из коих одно, во всяком случае, представлялось для всех окружающих вполне желательным. Сказать, однако же, чтобы роман Кати и Жени был счастливым,

тоже нельзя. Евгений Лансере был с самого начала «обреченным человеком», в нем еще в конце 70-х годов обнаружился туберкулез, и страшная эта болезнь вслед за тем только ухудшалась и взяла наконец верх над его хрупким организ-

■*i

mom. Самый характер Жени был тяжелым, и существование с ним было нелегким. Насколько я любил своего английского зятя Мата, настолько я недолюбливал своего «французского» зятя, настолько меня все в нем коробило — и его едкая насмешливость, и его бурные вспышки, и его состояние непрерывной раздражительности. Иначе как в каком-то ироническом тоне он ни к кому не обращался, и даже в отношении горячо и нежно любимой жены он редко менял свой «хронически-злобный тон». Тут многое было от болезни, но многое и оттого, что он создавал, что он недостаточно оценен как художник, что он по рукам связан заботой о благосостоянии своей семьи, что он находится в своего рода порабощении у бронзовщика Шопена, заставлявшего его пробавляться мелкими вещицами и не позволявшего ему развернуться.

Только постепенно, но мере роста своей известности, Лансере стал освобождаться от этой кабалы, и в последние два-три года жизни он стал диктовать Шопену свою художественную волю. Но произошло это тогда, когда чувство обреченности уже ни на минуту не оставляло его и исчезла всякая надежда, что он еще успеет себя показать вполне достойным образом.

Можно считать, что Лансере, внук застрявшего во время похода 1812 г. в русском плену француза и его жены, балтийской немки (баронессы Таубе), был таким же полноправным гражданином «Немецкой слободы», какими были мы, Бенуа, однако существенной разницей между нами и им был его пламенный русский национализм. От своего французского происхождения он не отказывался и даже ценил его, однако эта кровная симпатия к Франции была ничтожной в сравнении с боготвореиием России. И это боготворение России, распространенное на все славянство, являлось основой закадычной дружбы его с В. С. Россо-ловским, в котором, как в племяннике знаменитых славянофилов Аксаковых, эти чувства можно было считать вполне естественными. Лансере не скрывал в вопросах религии своего предпочтения православию, и на этой почве возникали между ним и нашим другом дома Бианки лютые споры, начинавшиеся обыкновенно с поддразнивания Женей бедного старика-фанатика и кончавшиеся прямо-таки своего рода проповедями, посредством которых оба оппонента, не щадя

голоса и в состоянии крайнего раздражения, старались друг друга перекричать. И эти споры не могли меня, мальчика в общем религиозного и слепо веровавшего в спасительность католической церкви, расположить к моему зятю. Я помню, как я старался бедного Бианки после таких стычек утешать изъявлением моей с ним полной солидарности.

В общем я видел в Жене Лансере врага, но года за два до смерти его это мое отношение к нему стало меняться — впрочем, в связи с изменением и его отношения ко мне. Пока он во мне видел одного из многочисленных ребят, бывавших у них в доме, я был для пего незначительной величиной и скорее предметом той же ненависти, которую он питал к детям вообще, за исключением своих собственных. Не раз он разражался против меня криком и бранью, и это меня, пользовавшегося

A_.-

с¿ стороны всех близких особой лаской и снисходительностью, не могло h¿ возмущать. Но во время моего гощения в имении Лансере в 1884 г. (я считал, что гощу у своей сестры Кати, а вовсе не у «моего врага Жени»), стала намечаться какая-то перемена в его отношении ко мне. Он по-прежнему придерживался иронического тона, и даже— в связи с моими тогдашними четырнадцатилетними романами — этот тон приобретал моментами и очень колючий, саркастический характер, однако под этой иронией и под этим сарказмом стало обнаруживаться что-то вродс «любопытства», а затем, к концу этого моего пребывания, появилась даже и известная доля «симпатичного интереса». В течение же нашего следующего сожительства в том же Нескучном в 1885 г. это любопытство и этот интерес Жени ко мне обозначились в гораздо более отчетливой форме, да и с моей стороны лед начал таять, а при расставании с Женей, в конце августа 1885 г. я был «почти в него влюблен». Я расставался с собеседником, который «понимал меня», а ведь в том возрасте такое внимание обусловливает всякие «виды влюбленности». Незаметно , для себя и у менн стал меняться ■ мой тон с Женей. Это теперь был тон «излияний и признаний», и если даже Женя еще над чем-либо иногда подтрунивал, то в общем все же этот мой новый «тон» трогал его, человека крайне любопытного до всяких человеческих чувств.

Когда я хочу вызвать в своей памяти образ Матвея Яковлевича, то он сразу предстает передо мною — здоровый, громадный, с расплывшейся в рыжей бороде улыбкой; я его вижу или шагающим по фабрике или танцующим джигу на фоне ярко горящей всеми свечами елки. Свой национальный танец этот

массивный колосс танцевал с балетной легкостью. Напротив, когда я вызываю в памяти образ Жени Лансере, то я неизменно вижу его в зале дома в Нескучном, сидящим в глубоком кресле у самого окна и занятого отделкой очередной статуэтки, которую он ворочает в своей руке, то и дело протягивая к горящей маленькой стеклянной спиртовке металлический шпатель с кусочками воска на нем. У него, еще совсем молодого человека, на носу очки, да и весь он, исхудалый и согбенный, с совершенно прозрачными пальцами, казался глубоким стариком. Работал он часами без перерыва, не выпуская из рук очередной фигурки лошади или человека. Изредка его кашель приобретал раздирающий характер, и тогда Женя прерывал работу и прогуливался несколько минут по комнате, борясь изо всех сил с новыми приступами. И не странно ли, что тот же человек даже в этом своем последнем году жизни чувствовал себя днями настолько хорошо, что ходил купаться в студеной речке, протекавшей неподалеку от их имения, и мог совершать далекие объезды верхом своих поместий. Приказав подвести к крыльцу свою любимую кобылу Кабарду, он по-прежнему ловко вскакивал на нее и выезжал за ворота с видом лихого черкеса. На черкеса он вообще походил потому, что неизменно и дома и в гостях носил полувосточный костюм, род застегивавшейся на боку поддевки серого цвета, бархатные шаровары и татарские сапоги.

/, 1, IS. Сестра Катя

Наездником Е. А. Лансере был изумительным. Он буквально срастался с лошадью, и от этого соединения человека с лошадью получалось впечатление кентавра... Он и знал лошадь так, как никто. В малейших подробностях он знал как тело ее, ее костяк и ее мускулатуру, так и все ее повадки, самую душу лошади. Зато и лошадь в его присутствии становилась точно более осмысленной и какой-то наэлектризованной. Страстью к лошади объясняется и постоянное возвращение Лансере к конским сюжетам. Он превосходно знал и человеческую фигуру и без особенного труда, как бы на лету примечал всякую характерную особенность других животных: верблюдов, овец, коз, но «вполне по себе» чувствовал он себя, когда изображал лошадь, то одинокую, то в групповом соединении... Его большие группы, вроде араба, гонящего табун, или казаков у водопоя, быть может, сейчас не встретили бы прежнего восторга; ведь обязательным для скульптора считается теперь статичная ясность и простота очертаний. Однако если когда-либо эти требования будут, как все в области человеческих вкусов, изжиты, то я убежден, что именно эти группы Лансере будут почитаться своего рода художественными чудесами. Тогда будет понята та труднейшая задача, которую ставил себе художник, и восторг будет вызывать то, с какой легкостью, с каким знанием и вкусом эта задача бывала им решена. Лансере-отец еще ждет своей настоящей оценки.

После смерти бедного Жени, который скончался у себя в Нескучном в 1886 г. в самое глухое зимнее время и который был похоронен у церкви, стоявшей насупротив барского дома, жизнь моей сестры получила совершенно иной характер. Со своими шестью детьми, из которых младшей дочери было около двух лет, она осенью того же 1886 г. переехала в Петербург и поселилась с нами в родительской квартире. Всем пришлось потесниться, однако квартира была достаточно просторной, чтобы это стало кому-либо в тягость. Более всего, разумеется, добровольно «пострадали» наши родители, которые перевели свою спальню в последнюю в ряду анфилады узкую комнату, в которой стояла ванна. В пей было так тесно, что двухспальную кровать пришлось поставить вдоль стены. Но едва ли папа и мама действительно страдали от этого. Они к тому же были как бы приучены к такому уплотнению, так как во время периодических вселений к нам внуков из-за разных детских болезней и для изоляции «еще не больных» папа и мама то и дело переезжали из одной спальни в другую. Что же касается меня, то я только мог радо-ваться такому

прибавлению наших сожителей, тем более что моя прелестная комната продолжала оставаться в полном моем распоряжении. Я особенно был доволен тем, что под одной крышей со мной теперь оказался мой любимый племянник Женя или /Кеняка Лансере, очень рано начавший обнаруживать необычайное художественное дарование. Беседы с этим очаровательным, нежным и в то же время исполненным внутреннего горения отроком постепенно стали превращаться для меня из мимолетных развлечений в какую-то необходимость. Когда я возвращался из гимназии или с прогулки, мне было приятно, что я сейчас уви-

жу Женяку, что мы что-нибудь будем с ним вместе читать, о чем-либо рассуждать, что-либо рассматривать. Большое удовлетворение мне доставляло и то, что я при отом мог давать волю своим педагогическим наклонностям, что я как бы могу «воспитывать» своего племянника, помогать ему стать художником. Вероятно, художественное поприще Женя выбрал бы и без моей помощи, просто в силу дарованного ему богом таланта, но в чем-то я все же, думается, ему помог. Постепенно, с годами в наши беседы стал втягиваться и младший брат Жени Коля, мальчик совершенио исключительной доброты и усердия. Он больше всего был похож на своего деда, на моего отца, и как-то совершенно естественно вышло так, что именно он избрал деятельность Николая Леонтьевича — архитектуру, в которой он выказал впоследствии и определенное дарование, и исключительную культурность. Эти «ученики» мои делают и продолжают делать мне, как их вдохновителю и первому руководителю, много чести.

Но не только этими двумя членами семьи Лансере обогатилось русское искусство; младшая из дочерей Кати — Зина оказалась обладательницей совершенно исключительного дара. Однако ее я уже не имею права считать своей ученицей. Прибыв к нам в младенческом возрасте (двух лет), она росла с сестрами, как-то «вдали от моего кабинета», где происходили наши собеседования и всякие паши затеи с Женей, с Колей и с моими друзьями. Росла Зина к тому же болезненным и довольно нелюдимым ребенком, в чем она напоминала отца и вовсе не напоминала матери, ни братьев и сестер, которые все отличались веселым и общительным нравом. И все же несомненно, что Зина была взращена той атмосферой, которая вообще царила в нашем доме и настоящими творцами которой были наши родители — ее дед и ее бабушка. Впрочем, отголоски того, что происходило или что «назревало» у дяди Шуры в кабинете и куда она изредка заглядывала, должны были доходить и до нее, будить ее

любопытство. Во всяком случае, когда двадцать лет спустя описываемого времени Зинаида Серебрякова неожиданно для всех предстала уже готовой художницей, она оказалась «одного с нами лагеря, одних направлений и вкуса», и ее причисление к группе «Мир искусства» произошло само собой. Нам же, художникам «Мира искусства», было лестно получить в свои ряды еще один и столь пленительный талант.

Судьба Кати — и сначала-то не вполне благополучная — приняла к концу жизни драматический оттенок в силу всех, почти стихийных обстоятельств, которые были вызваны войной и революцией. До этих <...> дней она, окруженная детьми и внуками, не знала нужды, и если ее дом и отличался большей скромностью, нежели дома ее родственников, то это исключительно в силу как раз ее личного тяготения к какой-то тени. Но <.„> революция, застигшая ее во время ее пребывания в деревне, заставила ее покинуть Нескучное. <...> У Кати, как и у всех нас, не оказалось ни гроша, и она погибла бы, если бы не спасли ее дети и особенно не расставававшаяся с матерью и после своего замужества, во время революции овдовевшая Зина Серебрякова.

/, /, 14. Брат Альбер

В 1920 г. общими стараниями родственников удалось их обеих и малолетних детей Зины переправить обратно из Харькова в Петербург, а в Петербурге поселить в той самой квартире нашего прародительского дома, в котором Катя родилась и провела первые двадцать четыре года своей жизни. Здесь, на улице Глинки, она и кончила свой век. <...>

Глава 14 БРАТ АЛЬБЕР1

Старший из моих братьев родился за восемнадцать лет до моего рождения, иначе говоря он почти годился мне в отцы. И однако, несмотря на такую разницу в годах, это не сказывалось на наших отношениях. Я так и не исполнился к нему чувством, похожим на сыновье почтение. Сложилось это так еще в моем раннем детстве, да так и осталось на всю жизнь. Альбер до самой гробовой доски оставался для меня тем самым Бертой или Бертушей или Альбертюсом, каким я его когда-то «осознал» и полюбил. Надо при этом заметить, что этот удивительный человек сохранил и в восемьдесят четыре года абсолютную свежесть и юность души. В значительной степени это получалось от его органической (в сущности завидной) неспособности проникать в сущность вещей и положении. Не будь такой частичной несознательности, состояние, в которое впал Альбер, когда лет семидесяти он лишился ног, потерял все свое имущество и вынужден был доживать свой век, пользуясь милостью зятя, человека не злого, но сумасбродного,— состояние это могло бы ему казаться просто невыносимым. Однако и безногий и жалкий, прикованный к месту, забытый как художник, копейки за душой не имевший, брат мой все эти беды принимал легко и нисколько не терял своей жизнерадостности. Он никогда не скорбел и не жаловался, и это не потому, что он умел скрывать свои чувства, а потому, что его натура была насквозь пропитана оптимизмом и он так и не утратил чисто детской способности жить только данной минутой, ни над чем не задумываясь, не заглядывая вперед и даже не оглядываясь назад. Довольно безразлично он относился и ко всем тем неприятностям, которые в силу одного своего положения калеки, он причинял другим. Его дочь, М. А. Черепнина, была настоящей мученицей. Муж ее — Н. Н. Черепнин отчасти потому и относился к тестю с нескрываемой неприязнью, что страдал за жену, убивавшуюся в ухаживании за

бессильным и беспомощным стариком. Альбер же эту жертву дочери едва ли оценивал по-должному и оставался таким же требовательным (по-детски требовательным), каким был, когда он был хозяином своего дома и главой семьи. Происходило это не от какой-либо сердечной черствости, а все по той же неспособности схватывать сущность вещей, отдавать себе в них отчет.

/, /, 14. Врат Альбергg

Сразу надо прибавить, что Альбер был величайшим шармером *. В этой природной пленительности надо искать как бы его жизненное назначение, весь смысл его пребывания на земле. Он как будто для того именно и явился на свет, чтобы пленять. Всю жизнь он всех и всячески пленял, притом он сам нуждался в том, чтобы эту свою сущность «эманировать». Эманация эта ему не стоила ни малейших усилий. Он был в разных смыслах поразительно одаренным человеком, но главный из этих даров Альбера— был именно le don de plaire **, который, как известно, действует тем сильнее, чем меньше проявляется намерение, основанное на самовлюбленности. Будучи абсолютно эгоцентричной натурой, Альбер сам этого не сознавал и уже во всяком случае в этом не каялся. Вообще нельзя себе представить Альбера кающимся и раскаивающимся. Он без устали «срывал цветы жизни» и нередко при этом ломал хрупкие их стебли или топтал их, но ему самому казалось, что в каждом случае он поступает вполне правильно, и он никогда не задумывался над тем, дозволено ли то, что ему показалось соблазнительным. Он с упоением лакомился наиболее лакомым из того, что предоставляла жизнь, и приступал к удовлетворению этой непоборимой потребности в лакомстве, не успев сообразить, соответствует ли это каким-либо божеским или человеческим законам. И еще черта: отведав того или иного запретного плода, он не сохранял ни малейшей памяти об этом проступке. Он был вообще индифферентен к прошлому,— стоило повернуть страницу, как он уже забывал то, что на ней стояло. Я, впрочем, имею в виду только живую книгу жизни; ее он и читал с упоением. Напротив, он почти никогда не касался книг, сочиненных и напечатанных. Я не припомню Альбера читающим, если не считать утреннего беглого просмотра газет.

Альбер был шармером — это была его основная черта, но не менее важной чертой его было то, что он был в самом своем существе импровизатором. Впрочем, одно находилось в связи с другим. В импровизационном начале едва ли не сказалась кровная связь Альбера с Италией и с Венецией. Ведь уже прадед наш, Катарипо Кавос, собирал в «Скуола ди Сан-Марко» избранную и просвещенную публику, приходившую наслаждаться

его мгновенно возникавшими и чудесно сплетавшимися музыкальными импровизациями. Этот дар прадеда, перескочив через два поколения, достался затем двум правнукам — Альберу в большей степени и в меньшей степени — мне. Как раз именно потому, что я обладаю тем же даром, но обладаю им в меньшей степени, я могу судить (а начал я судить об этом чуть ли не с пеленок) о высоком качестве альбе-ровской импровизации. К сожалению, этот дар ныне вообще не ценится. Самый близкий к Альберу человек — его жена, будучи превосходной музыкантшей, питая какой-то трепетный культ к «настоящей», к серьезной музыке, занятая музыкой профессиональным образом, относилась без

От charme»r *(франц.)* —очарователь, чаровник. Способность нравиться *(франц.)*.

90Л Л *î½` ïïl > a > T Альбер*

малейшего уважения и даже с некоторой иронией к музыке, рождавшейся из-под пальцев мужа. Между тем, одна манера играть Альбера на рояле (или на скрипке), его неподражаемое туше, его своеобразная, но по-своему блестящая техника — все было чудесным. Когда на Альбера «накатывало», когда Аполлон удостаивал не столько призвать его на серьезное творчество, а как бы «полушутя» поманить его к инструменту, он весь преображался, являя все признаки такой «охваченности».ˆ В такие минуты, в годы своей юности, он становился поразительно красив. Его аристократически длинные и сильные пальцы (такие пальцы любил изображать Себастьяио дель Пьомбо) приобретали беглость, а музыкальная мысль мелодии, гармонические соединения и модуляции возникали в безупречной связанности, обогащаясь все новыми и новыми находками. Звуки у Альбера лились непрерывным потоком, точно ото все давным-давно было сочинено и крепко заучено. В то же время музыкальные эти фантазии были только какой-то «фата-морганой», способной очаровать в ту минуту, когда она возникала, на самом же деле эта музыка была лишена подлинной прочности и внутреннего смысла. Замечательно, что уже через минуту после того, как это волшебство кончалось, сам Альбер не мог вспомнить то, во что он сам только что с упоение за вслушивался. Обладая некоторыми теоретическими познаниями, он мог бы вполне записывать свои импровизации, однако он пренебрегал этим; ему было достаточно того, что он и себя и других потешил.

Нередко Альбер прибегал к музыке и в качестве тайного любовного языка. Надо было видеть, как та или иная девушка или дама замирала, стоя у рояля, как все ее существо начинало трепетать перед обольщением этих пламенных любовных

«деклараций». Не одну Евину дочку Альбер соблазнил именно тем, что он вкладывал в свои эти музыкальные «объяснения в любви». Нередко такие сцены обольщения происходили среди какой-либо самой что ни на есть светской гостиной, наполненной людьми, на глазах у матерей и у мужей мимолетных жертв, п однако «объяснение» Альбера было понятно только той, к которой оно обращалось.

Здесь будет уместно сказать, что эти же импровизации Альбера сыграли немалую роль в истории «моей балетомании». В сущности, все с них и началось. С осени 1882 г. Альбер поселился в нашем прародительском доме — в квартире, находившейся как раз над нашей, и вот с тех нор я сделался постоянным слушателем его игры. Из своей «Красной» комнаты благодаря каминной трубе я отчетливо слышал как гаммы и экзерсисы Маши, как вокализы и арии ее сестры Сони, готовившейся стать оперной певицей, так и сменявшую эти «скучные вещи» игру Альбера. Гаммы, экзерсисы и вокализы скорее раздражали меня, отвлекая от занятий. Напротив, стоило мне услышать бодрые, звучные, «вкусные», заманчивые аккорды Альбера, как я, не будучи в состоянии противостоять их призыву, уже летел наверх. Вмиг оказывался я в альберовской зале и уже начинал производить ногами, руками, всем телом, всеми чертами лица то самое, что мне повелевала музыка брата. Я «действовал», я «тво-

/, /, 14, Брат Алъбер'g¾

рил», я находился в трансе, я был одновременно и балетмейстером, и танцовщиком, и целой балетной труппой. Мои маленькие племянницы вторили, как могли, моим танцам и мимическим сценам, а старшая из них, очаровательная Машенька, та и улавливала то, что я на ходу ей предписывал делать, и послушно исполняла это. Нередко присоединялся к нам брат Марии Карловны, ставший моим закадычным другом Володя и «маленький Петя», и тогда уже можно было наладить целое «действо», в котором эпизоды возникали, развивались и сменялись с удивительной быстротой — все по прихоти нашего общего вдохновителя, которого, впрочем, и мы подстрекали своим все растущим энтузиазмом.

Нередко эти импровизированные балеты (длившиеся минут двадцать) принимали драматический уклон; не обходилось без убийств, дуэлей, похищений, проклятий. Главному действующему лицу грозили ужаснейшие беды. В нужный момент все актеры оказывались поверженными на паркете, что выражало ужас перед близящейся катастрофой. Но и лежа бездыханными, мы знали, что все кончится ликованием и радостью; после самых грозных и гнетущих аккордов музыка вдруг сно-,ва как-то озарится, и все

завершится каким-то неистовым галопом или бешеной тарантеллой. Но сколько бы после того финала мы ни просили Альбера продолжать, он все же, мило улыбаясь, захлопывал крышку Шредера и нашему балетному экстазу наступал решительный конец. Впрочем, лично я, более чутко воспринимавший ход музыкальных импровизаций брата, в этих случаях не настаивал на продолжении. Что было кончено, то было копчено,— и всякое продолжение было бы бессмыслицей.

Из некоторых, чаще других возвращавшихся, мотивов Лльбера получилась, наконец, своего рода сюита. Это облегчало мою «балетмейстерскую» задачу. Там, где среди всего произвольного и только что рожденного появлялись уже знакомые «номера», в их установленном порядке, там я лучше знал, что делать, и мог заботиться о совершенствовании моей «постановки». Еще более облегчало мою задачу участие Володи, который был всего на три года старше меня, но беспрекословно подчинялся моим указаниям. Он к тому же был таким же энтузиастом танца, как и я. При эт>м он владел и кое-какими (им же самим выработанными и высмотренными в настоящем балете) хореографическими приемами. Он далее мог свободно ходить па носках, задирать ноги выше головы, становиться на арабеск. С Володей у нас выходили настоящие «по всем правилам» па-де-де, причем балериной был он, а я «поддерживал». Когда же Володя, наоборот, становился первым танцором, то он, обладавший необычайной для своих лет силой, подымал меня и носил по всей зале, что доставляло мне огромное удовольствие, вероятно, то самое, что испытывают заправские танцовщицы в подобных случаях. Однажды на каком-то званом вечере Володя даже выступил в образе настоящей балерины. В те времена это был хорошенький розовый мальчик (ему было лет четырнадцать, и ему так пошел традиционный костюм с газовой юбкой и с трико телесного цвета на ногах, с венком роз в светлых волосах, к которым был пришпилен шиньон), он так виртуозно подражал Вазем или

Соколовой, он был до того гибок и делал такие воздушные антраша, а в конце номера «Баядерки» он до того головокружительно пронесся вертушкой два раза по зале, что многие гости поверили, что перед ними настоящая танцовщица, и сконфуженный Володя подвергся даже ухаживаниям со стороны наиболее воспламенившихся поклонников.

Эти импровизационные танцы под музыку Альбера продолжались — смешно сказать — до самых моих студенческих лет. Начавшая пробиваться борода была еще не так заметна, и

наспех надетые всякие -тряпки и повязки «дополняли» иллюзию, что я Жукова, что я Никитина, что я сама Цукки. В то же время я вовсе не считаю эти свои танцеваль-пые упражнения за одно ребяческое баловство. Подзадориваемый музыкой, я чувствовал, что творю что-то вовсе не вздорное, мне даже казалось, что я готовлюсь к чему-то весьма значительному. Когда же через много лет после того я на настоящей сцене, па той самой сцене, на которой порхали действительные, настоящие балетные звезды, приступил к постановке своего «Павильона Армиды», то я как бы продолжил когда-то начатое и лишь временно прерванное дело, «мое дело». Я вернулся в тот с детства знакомый мир «музыкально выливающегося в танцах вдохновения», в который меня ввели импровизации моего брата.

Импровизационный дар Альбера оказал услуги и в его художественной карьере. В 1883 г. акварели Альбера через посредство нашего свойственника, английского воспитателя царских детей, мистера Чарльза Хиса, который сам очень ловко и талантливо акварелировал, были показаны государю и до того понравились его величеству и императрице, что Альбер был приглашен принять участие в ближайшей царской экскурсии по финляндским шхерам, что являлось из года в год летним развлечением императорской фамилии. Боже мой, сколько волнений было пережито по этому поводу, с каким тщанием, точно невесту к венцу, снаряжали Альбера, когда ему выдалась честь в первый раз явиться перед государевы очи в Александрии (в те времена и хотя бы среди палящего солнечного дня надлежало являться ко двору во фраке), как ожидалось нами его возвращение, сколько было рассказов. Сошла аудиенция как нельзя более благополучно. Императрица Мария Федоровна очаровала Альбера своим ласковым приемом, государь живо заинтересовался каждой подробностью в тех пейзажах, которые Альбер им повез показать. Во время же последовавшей затем croisière * Альбер не только изумлял всех своим блестящим мастерством в передаче на бумаге самых мгновенных эффектов освещения (особенно ему удавались закаты), но и тем еще, что он с беспредельной точностью воспроизводил конструкцию каждого из судов той миниатюрной эскадры, которая сопровождала царскую чету. Надо сознаться, что в чисто художественном отношении эти шхерные акварели Альбера скорее страдали как раз от обилия таких «технических» деталей, зато они привлекали к нему сердца моряков, среди которых он вскоре приобрел бесчисленных друзей и поклонников.

* Морской поездки *(франц.)*.

Вот в первую же такую поездку по шхерам Александр III и Мария Федоровна оценили и музыкальный талант Альбера, и уже с тех пор не обходилось ни одной царской поездки без того, чтобы Альбер не сопровождал императорскую чету, не проводил целые дни на плавучей царской резиденции «Царевне», где в атмосфере полной непринужденности он и обедал, а после обеда услаждал общество своей игрой. Когда Альбер был в ударе, то ему удавались и комические, тут же импровизированные номера. Так, Александр 111, вообще охотник до шуток, а за ним все приближенные, смеялись до слез, когда мой брат в одном своем лице представлял типичную итальянскую оперу, выставляя в карикатурном виде и нелепость сюжета и те трафаретные приемы, которыми композиторы пользовались для изображения встречи трагических любовников или для «сбора заговорщиков», или для бегства «на месте» спасающихся от преследований, со вторжением в самый патетический момент балета и т. п. Не он один в те времена глумился над «итальянщиной», ато издевательство выразилось в знаменитой «Вампуке» 2. Но пародии Альбера отличались не одним только юмором, по и вкусом; особенно они пленяли тем исключительным брио *, с которым все это тут же созидалось. Шутки могут быть прекрасны, когда они заранее продуманы, отшлифованы и затвержены (ведь все еще хороши пьесы Мольера), но они действуют еще более неотразимым образом, когда они тут же внезапно возникают, когда они являются прелестной неожиданностью даже для самого автора.

Эти поездки по шхерам повторялись ежегодно, и Альбер, кажется, не пропустил ни одной. Однако и кроме того ему удавалось нередко но разным поводам видеть и царя и царицу, и неоднократно он получал приглашения посещать их в интимной обстановке то в Аиичковом дворце, то в Гатчине, то в Петергофе.

Импровизаторский дар Альбера вдохновеннее всего выражался на рояле, но сплошной импровизацией была и вся его художественная деятельность. Импровизациями были, в сущности, и бесчисленные любовные похождения «нашего семейного Казановы». Правда, в жизни Альбера было и несколько серьезных увлечений, и три раза таковые кончались браком, но вперемежку с этими главными романами сколько было еще мелких, мимолетных, случайных, в полном смысле импровизированных. Надо при этом сказать, что он совершенно не интересовался ни тем разрядом любовных похождений, который носит название le genre ancitlai-ге **, ни теми представительницами прекрасного пола, которые являются

жрицами Венеры.

По своему художественному воспитанию Альбер был архитектором, и не случись так, что его работа над конкурсным проектом, сулившая ему почти наверняка золотую медаль и связанную с ней посылку за границу, совпала с самым пламенным периодом его увлечения Марией Кинд, ставшей затем его (первой) женой, он, вероятно, получил бы и

* От brio *(итал.)* — блеском, живостью. ** Романы со служанками *(франц.)*.

медаль и поездку, а это предопределило бы и всю дальнейшую его карьеру. Но вот роман помешал Лльберу представить проект в закопченном виде, медали он не получил, и хотя по окончании Академии он и занимался строительством, однако занимался он им как-то «между прочим», нехотя, тогда как его тянуло к чему-то иному, более соответствующему его натуре. Из Альбера несомненно мог бы выйти не менее блестящий мастер архитектуры, нежели те, какими были наш отец и брат Леонтий; несколько построенных им особняков и вилл служат тому свидетельством. Однако архитектура — искусство, требующее усидчивости, расчетов, возпи с цифрами, а также руководства целыми полчищами рабочих и подрядчиков. Все это давалось без труда Альберу, однако это ему «не нравилось», и натура его требовала большей свободы. Он годами находился на службе в одном из главных наших страховых обществ, в дальнейшем же он принял должность старшего хранителя Музея Александра III и состоял действительным членом Академии художеств, заведуя в то же время всеми художественно-ремесленными училищами России, подчиненными министерству финансов, но все эти посты и занятия отнимали у Альбера сравнительно мало времени, тогда как главным образом оно было заполнено живописным творчеством — почти исключительно акварельными работами с натуры.

В этой области, столь подходившей ко всему его «вечноспешащему» и «быстрому» темпераменту и к чему-то легковесному, что было в нем, он в несколько лет достиг положения, не знавшего себе соперников в России. В 80-х и в 90-х годах Альбер Бенуа стал одним из любимейших русских художников; его акварели раскупались нарасхват, он был награжден званием академика, ему был поручен акварельный класс в Академии, члены «Общества акварелистов» избрали его своим председателем 3 и, наконец, акварель, как я уже сказал, открыла ему доступ ко двору, точнее, к особам государя и государыни. Альберу акварельные выставки обязаны тем, что они

стали одним из самых выдающихся событий петербургского сезона, и ему же — тем, что эти выставки ежегодно удостаивались посещения как императорской четы, так и большинства членов императорской фамилии. Через Альбера наша семья лучше знакомилась с жизнью при дворе, и не столько с тамошними сплетнями и интригами (к ним Альбер никогда не чувствовал ни малейшей склонности), сколько с духом и с настроениями, которые царили в непосредственном окружении Александра III. И нужно признать, что эта придворная жизнь, имевшая столь мало общего с традиционным представлением о всяком дворе, представлялась нам как нечто весьма привлекательное в своей простоте.

Живописные способности Альбера проявились еще тогда, когда он готовился быть архитектором; самое исполнение программ обязывало к преодолению специфических трудностей акварельной техники. Недаром и брат Леонтий был превосходным акварелистом. На счастье Альбера в те времена жил и работал в России один из самых изумительных мастеров акварельной техники миланец Луиджи Премацци (1814—1891). Лучшего

учителя Альбер не мог бы отыскать себе и на Западе. Теперь акварели этого миланца должны казаться старомодными. Чрезвычайная выписан-ность деталей (особенно архитектурных) и известные формулы, унаследованные им еще от Мильяры и Корроди, придают его произведениям некоторую сухость. Но как все это сделано! Сколько во всем этом глубокого знания, какое богатство накопленного опыта! Особенно виртуозно исполнены интерьеры Премацци (русские родовые и финансовые аристократы требовали наперерыв, чтобы он увековечил их роскошные хоромы во всех подробностях). Однако и пейзажи Премацци, и то, как он передавал солнечность, синеву небес, скалы, море, каменные и деревянные постройки, свидетельствуют об его талантливости и об его исключительных знаниях.

Вот с этими знаниями, со всеми «секретами», со всей «кухней акварели» Премацци и успел поделиться со своим лучшим учеником, с Аль-бером Бенуа, но ученик, преодолев трудности ученья, все же почти сразу отошел от заветов учителя, дав свободу своему темпераменту. И с каким же упоением работал Альбер! Не проходило дня весной, летом и осенью, 'чтобы он не делал по этюду или даже по нескольку в день. И чем эти этюды были свободнее и проще, тем они были прекраснее. При этом твердые знания, приобретенные от Премацци, помогли Альберу справляться и с труднейшими задачами. Наслаждением было

глядеть, как у него сразу на бумаге намечался плениВший его эффект, с какой быстротой вырисовывались предметы, как ловко, где нужно, он пользовался не успевшим еще высохнуть местом, а где нужно работал по сухому. Все становилось на свои места и расцвечивалось красками, и это с такой быстротой, что в полчаса, в час самое большее главное было готово, наме* чено, и Альбер уже складывал свои «орудия труда» и летел дальше в поисках другого мотива. При этом расположении к быстрому схватыванию, Альберу особенно удавались скоро меняющиеся эффекты. Бывало, он приедет усталый па дачу из города со службы или с какой-либо постройки и едва успеет утолить голод, как уже его тянет изобразить то, что творится в небе или отражается в водах Финского залива. И многие из этих прославленных «закатов Альбера Бенуа», созданные в каком-то припадке восторга, были действительно настоящими перлами. К сожалению, явившийся успех несколько повредил художественной стороне альберовского творчества. Альбер до конца жизни оставался в полном смысле слова мастером, но уже к концу первого периода его творчества стал намечаться в его работе некоторый поворот от свежести и непосредственности к излишней законченности, а то и к вымучеиности. Если бы в те дни петербургский художественный мир был лучше знаком с тем, что творилось на Западе, если бы художественный вкус был развит настолько, чтобы оценить по-должиому то, что в творчестве Альбера означало подлинное завоевание, если бы Альбер при своем положении «вождя в данной области» сам лучше отдавал бы себе отчет в том, что он из себя представляет и куда следовало бы ему стремиться, то при его изумительном даровании история русского пейзажа обогатилась бы совер-

шенно первоклассным мастером. Но вкус нашего общества в лучшем случае не шел дальше поклонения Айвазовскому или Орловскому, а самому Альберу в его «органической беспечности» было просто не до того, чтобы остановиться на каких-либо эстетических проблемах. Пока он творил непритязательно, ободряемый похвалами родных и товарищей, он оставался «очаровательным виртуозом», не дававшим себе отчета в своей виртуозности (Гварди самый яркий и блестящий пример подобного же явления), но когда Альбера стали оценивать широкие массы русской публики и он стал вкушать отраву исключительного успеха, когда, идя навстречу этой все растущей славе, он стал себя «усовершенствовать», стал искать большую «законченность», то и случилось, что лучшие природные качества его начали постепенно стушевываться. Бившая в нем живая струя

стала иссякать. Странным делом, еще раз блеснул подлинный альберовский дар в тех акварелях, которые он создал, участвуя в 1922 г. в ученой экспедиции в Мурманск, но с момента его поселения во Франции в 1924 г., куда его выписала его старшая дочь, начался упадок. Несколько отличных акварелей он создал и в этот последний период, но они были исключениями. В своем роде даже — удивительными исключениями, если принять в соображение, что это произведения глубокого старика, у которого отнялись ноги, которого выводили под руки «в природу» и который в течение зимних месяцев вообще не покидал своей комнаты.

Печальная судьба, постигшая на старости лет моих сестер, не миновала и моих братьев,— и едва ли не самая печальная досталась именно на долю Альбера. До самого своего отбытия за границу он все еще жил в своей квартире, в своем собственном доме, окруженный портретами предков, доставшимися ему по наследству, среди шкафов, ломившихся от тех его работ, которые у него накопились за его долгую жизнь. И вот все это он бросил на произвол судьбы 4, покинув родину буквально ни с чем, кроме кое-какого гардероба. В это время у него были иллюзии, что ои «за границей» сможет еще завоевать себе то почетное место, которое, даже в годы революционной разрухи, он не вполне утратил на родине. Но эти иллюзии вскоре исчезли. Устроенная им выставка (у Жоржа Пти, в том же помещении, в котором он когда-то с блеском выставлял) прошла незамеченной, а на какое-либо меценатство среди эмиграции нечего было и рассчитывать. И вот создалось положение, которое даже беспечному, ребячески-несознательному Альберу постепенно стало мучительным. При стесненных обстоятельствах, общих почти всему эмигрантскому миру, его мучило, что он живет в тягость своей обожаемой Дочери и ее мужу. По-прежнему этот прикованный к креслу старик очаровывал всех тех, кто попадал в его орбиту; мало того, у этого древнего Казаковы по-прежнему находились поклонницы. По-прежнему при встречах с ними глаза Альбера зажигались резвым огоньком, все так же восторженно он целовал им руки и с бурной радостью встречал «друзей», причем друзьями ои величал людей, которых даже и по имени иногда не знал. Однако все это прикрывало грустную драму — драму унизитель-

ной беспомощности. Если что и тут «пригодилось» Альберу из всех его природных качеств, так это его неугасаемая жизнерадостность, а также все то же «блестящее легкомыслие» его импровизаторской натуры...

Альбер был на редкость хлебосольным хозяином, и в этом с

ним вполне сходилась его первая жена. Гости у них буквально не переводились, а летом не только завтракали и обедали, но зачастую и ночевали. Бывало, что останется после какого-нибудь праздника (например, после именин Марии Карловны 22 июля) человек десять, и тогда они располагались кто как мог — один па диванах, другие иа тюфяках, разложенных на полу, третьи в сарае иа сеновале. Эти импровизированные ночевки доставляли большие хлопоты прислуге, но у Альбера прислуги было немало, и она не роптала, так как ночевки сопровождались щедрыми «начаями». И какие же тогда бывали весьма забавные «коллективные авантюры». Сколько тут получалось комических недоразумений, сколько неожиданных сближений, сколько смеха, сколько остроумных шалостей. Не менее многолюдными и веселыми бывали обеды, музыкальные вечеринки и балы у Альбера и Маши в городской их квартире. Особенно памятным остался маскарад, устроенный ими в 1883 г., когда их зала во время недолгого перерыва в танцах была внезапно превращена в ярмарку е лавками, с трельяжами, с гирляндами зажженных фонариков, Альбер был вообще великий мастер на организацию всякого такого «вздора», и сам более всего при этом веселился (именно в течение этих празднеств он мог с особенным успехом предаваться своему любимому занятию— «флирту»). Великим мастером он был также на устройство летних пикников, сопровождавшихся фейерверками, спуском воздушного шара, ристалищами на ослах или на деревенских клячах и т. д. Немудрено, что при баснословном количестве бывавших у Альбера и Маши гостей, при постоянной смене одних «групп» другими, Альбер не слишком разбирался в том, кто такие эти его «новые друзья». Тем не менее, представляя их, он неизменно повторял фразу: «Позвольте вас познакомить с моим лучшим другом». Бывало, не успеет он от такого лучшего друга отойти, как уже шепчет мне на ухо: «Si settlement je connaissais son noffi?» * Можно себе вообразить, как должен был страдать этот человек, когда он оказался на положении нахлебника своего затя и не только не мог принимать «друзей» подобающим образом, но принужден был есть горький хлеб из рук человека, его недолюбливавшего.

Кончился, угас Альбер в небольшом пансионе для больных под Парижем, в местечке, носящем поэтичное название: Haye-les-Roses **. Из окон его комнаты был виден типичный пейзаж Иль-де-Франса, лишь слегка изуродованный «прогрессом». Это был, вероятно, почти такой же пейзаж, в котором жили и умирали паши прадеды. Стояли весенние дни, природа только что стала распускаться, но уже Альбер, который всего лишь несколько недель до того с наслаждением рисовал и акварелиро-

Если б я только знал его имя? *{франц.)*.
Ограда из роз *(франц.)*.
4 А. Бенуа
98*1,1,16. Брат Леонтий*

вал, глядел на всю эту красоту с тускнеющим взором приговоренного. Особенно драматично показалось мне то, что когда по моей просьбе он попробовал записать ноты одной из своих очаровательных песенок — носившей у него название «Мельницы», он после мучительных усилий так и не смог, кроме самого начала затейливой мелодии, ее вспомнить... Через два дня после того он уже лежал в гробу. Так кончилась жизнь этого «принца жизни», этого любимца петербургского общества, этого баловня счастья, моего милого, радость сеявшего и никогда не унывавшего Аль-бертюса.

Глава 15 БРАТ ЛЕОНТИЙ

Настоящее имя моего второго брата было Людовик, но так как это имя казалось слишком необычайным для русских людей (Лудвиг звучало слишком по-немецки, а Луи звучало как-то претенциозно), то наш Людовик был превращен в Леонтия — по примеру того переименования, которому уже подвергся, вступив па русскую почву, наш дед. В детстве «Леонтия» звали Лулу или Люля, а в последующие времена взяло верх прозвище Левушка. В раннем детстве я помню, как Бертушу, так и Лулу уже взрослыми людьми, помню последнего, когда на щеках стал пробиваться курчавый пушок, а затем очень скоро он оброс настоящей, густой, всегда по моде остриженной бородой. Ростом он был ниже Альбера, а склонность к полноте доставила ему еще одно прозвище Грогро *. Нрава он был спокойного, рассудительного, отнюдь не буйного и мятежного, но темперамент у него все же был пылкий, что особенно наглядно выражалось в его восторгах от итальянской оперы. Я живо помню, что на столах и на комодах в общей спальне Альбера и Леонтия стояли полчища фотографий итальянских певцов и певиц, а часто произносимые им имена мне были хорошо знакомы; Марио, Вольпини, Тамберлик, Лук-ка, Богаджоло и др. О Патти же говорилось, как о каком-то сверхъестественном и прямо-таки божественном явлении, тогда как к Нильсон Леонтий если и относился с уважением, то все же без увлечения, ему казалось, что «школа» ее не так хороша, как у подлинных итальянцев. Вообще же то и дело слышались его рассуждения насчет emissione della voce **, манере петь французской, немецкой и итальянской, о том, что надо петь

грудью, а не горлом и т. п. Я постепенно выучился этой специальной терминологии и в подражание старшим не прочь был пощеголять ею, на самом деле ничего в ней не смысля.

Основной чертой Левушки было благодушие. Он был в полной мере «славным малым». Это значит, что он не только был добряком, честным

От gros *(франц.)* — толстый-претолстый. Подачи звука *(итал.)*.

и хорошим человеком, по что и производил он впечатление на всех такого «славного» человека и тем самым сразу располагал к себе. И в нем был большой шарм, по совершенно иного характера, нежели шарм Альбе-ра. При этом в Леонтии не было и тени лицемерия, двуличия, коварства. Он мог быть грубоватым, а подчас и несправедливым, он легко вспыхивал, но любое проявление чувства у него неизменно шло от сердца, и он так же быстро «отходил», как сердился. При этом Леонтием в жизни управляли настоящие принципы — не очень быть может обоснованные теоретически, но все же неукоснительно прочные. Говорят, он в раннем детстве всегда заступался за обижаемых, он как-то органически не переносил, чтобы при нем совершалась какая-то несправедливость; он ненавидел ложь во всех ее проявлениях и на всю жизнь сохранил «способность возмущаться» как разными событиями мира, так особенно некоторыми специфическими безобразиями русской жизни или бессмысленными мерами, принимаемыми правительством. Возмущало его в сильнейшей степени все то, в чем он усматривал «безвкусие». Особенно же он негодовал па немцев — будь то в политике или в художестве. Объясня-

, ется это отчасти тем, что ему было уже 14 лет, когда грянула франко-прусская война 1870 г., и в оценке ее он, типичный француз, всецело стал на сторону французов против немцев. Когда я подрос и стал несколько сам разбираться в том, что слышу вокруг, то частенько я удостоверялся, что Левушка слишком охотно верит слухам, что он не слишком задумывается над разными вопросами жизни, словом, что вся его манера быть отличается некоторой простоватостью. Но и в тех случаях, когда я не был в состоянии с ним соглашаться, я всегда любовался теми «хорошими чувствами», которые руководили его «возмущением» и «приговорами».

Трое из нас братьев унаследовали от отца художественное дарование и любовь к искусству: Альбер, Леонтий и я, по едва ли не самый даровитый из нас был именно Леонтий, который, однако, в качестве «чистого» художника менее всех из нас

выдвинулся. Дело в том, что Леонтию при всей одаренности недоставало способности «задаваться темами» и выявлять в образах мысли и настроения. Альбер был большим виртуозом техники, но все же «ловкость руки» не была основной чертой в его творчестве и развивалась его виртуозность как-то попутно, на непрестанной практике и на восхищении от природы. У Леонтия же «ловкость руки» была чем-то «родовым» и «основным», какой-то чертой его характера. Он не был в состоянии провести липию или нарисовать малейший завиток, не обнаружив эту виртуозность. Когда он доводил рисунок до законченности, то всегда получалось нечто блестящее, «аппетитное», «вкусное» и искрящееся. Мне кажется, что именно эта «природная» виртуозность и предопределила художественное развитие Левушки и наметила то место, которое ему суждено было занять в русском

. искусстве — и именно в архитектуре. Самый факт, что этот виртуоз рисунка и кисти (акварельной) избрал своим поприщем зодчество, находится в некоторой зависимости от этой его черты. При изготовлении

проектов он мог ею щеголять — как во «вкусном» вычерчивании детален, так и в «аппетитной» заливке водяными красками, тушью или се-аией. Его чертежами можно было любоваться как картинами, и это тем более, что он (но примеру папы) их населял сотнями человеческих фигурок самого разнообразного характера, причем ему, великому любителю скачек и бегов, особенно удавались лошади.

Иногда Левушка работал и не в качестве архитектора, а в качестве как бы «случайного живописца», и такие вещи в момент их возникновения приводили меня в восторг. Они пленяют меня и теперь, как пленяют некоторые произведения Изабе, Калама, Жюля Дюпре или Гиль-дебрапдта. Но такие неархитектуриые произведения — редкость в обширном творении моего брата, и самые значительные из них были созданы в начале его карьеры — в 1877 г., когда он гостил в Курской губернии у наших свойственников Бер и мог вдоволь насладиться как сочной растительностью Украины, так и лошадьми и собаками, которых Беры держали для охоты. В этой украинской серии имеются и пейзажи, и этюды животных, и интерьеры. Все это сделано с исключительным, подкупающим, почти даже «чрезмерным» мастерством. Однако в них же удивляет отсутствие всяких красочных задач. Большинство этих (очень разработанных) этюдов — сепии или рисунки пером, лишь слегка и условно

подкрашенные.

Как архитектор-строитель Леонтий подавал блестящие надежды, и началась его карьера с исключительного триумфа. Он окончил курс Академии художеств за год до положенного срока, получив большую золотую медаль не в очередь. Такой же академический триумф выдался полвека до того нашему отцу,— вообще же это редчайшие случаи в жизни Академии. Однако правом на заграничное путешествие, сопряженное с получением медали, Леонтий не воспользовался, так как предпочел, не откладывая, жениться на той девушке, которую он полюбил. Влюбленность эта к тому же была обоюдная. Та, которая затем стала верной спутницей Левушки на всю жизнь, принадлежала к очень богатой купеческой семье, однако весь их роман случился как раз в тот год, когда состояние Сапожниковых было совершенно расшатано. Во всяком случае, в домогательстве Леонтием руки Марии Александровны не играли роли какие-либо корыстные побуждения. Считалось даже qu'il faisait sinon ime mesalliance du moins un parti très peu avantageux *. Но в дальнейшем этот брак повлек за собой и необычайное благосостояние. После нескольких лет дела Сапожниковых (колоссальные рыбные промыслы в Астрахани и по Волге) поправились, а так как к тому времени и личные доходы Леонтия как архитектора повысились, то он и Маша стали в полном смысле богатыми людьми. Через год после свадьбы и после рождения старшей дочери молодые отправились в путешествие по Италии. Оттуда посыпались восторженные письма, писанные типичным для Леонтия очень

* Если оп и не вступал в неравный брак, то, по крайней мере, делал невыгодную партию *(франц.)*.

уверенным и каллиграфическим (и все же неразборчивым) почерком и усеянные рисунками. Однако вернулись молодожены уже через полтора месяца —• путешествия не были в характере ни того, ни другого из них. Левушка привез с собой целый сундук фотографий, разглядывание и изучение коих стало с тех пор моим главным развлечением, когда я бывал у него в гостях.

Первое публичное выступление Леонтия связано с цареубийством 1 марта 1881 г. Городская дума поручила ему построить на месте гибели Александра II временную деревянную часовенку, которая, при всей своей незатейливости, обладала какой-то особой грацией, что и вызвало общее одобрение. Через год Леонтий принял участие в конкурсе на сооружение того храма, который должен был быть воздвигнут па месте убиения государя \ Проект он сочинил эффектный и красивый (едва ли не

лучшее, что им было сочинено за всю жизнь), в котором он, из уважения к стилю Петербурга, пожелал вдохновиться произведениями Растрелли. Однако жюри тгрисудило ему всего 3 премию, тогда как первые две были даны архитектурным композициям, сочиненным в более нацноиаль-нрм вкусе: мания национализма все более и более начинала тогда давать себя чувствовать. Однако и проект Томишко, удостоенный первой премии на этом конкурсе, не был приведен в исполнение, так как к государю проник со своим проектом (пользуясь связями с духовенством и низшими служащими) архитектор Парланд, и его чудовищное измышление, поднесенное в очень эффектной раскраске, нашло себе высочайшее одобрение. Уже во время постройки «Храма на крови» Академия художеств настояла на том, чтобы были исправлены слишком явные нелепости и недочеты проекта Парлаида, но, увы, и в этом исправленном, окончательном виде это жалкое подражание Василию Блаженному поражает своим уродством, являясь в то же время настоящим пятном в ансамбле петербургского пейзажа.

Из дальнейшего архитектурного творчества Леонтия Бепуа следует выделить постройку двух банков на Невском, здание «Страхового общества» на Морской улице, собор-базилику в фабричном поселке Гусь2 (Мальцевские заводы). <…> Увы, из всех этих зданий я не мог бы назвать ни одного в качестве архитектурного образца или хотя бы просто как настоящую удачу. Леонтий для своего времени был передовым архитектором, он не прочь был поискать новых путей, он старался освежить старые формы, заставить их лучше служить новым требованиям. Его планы остроумно сочинены, его детали отлично прорисованы, но всему, что он создал, недостает какого-то «художественного обоснования». Все носит характер чего-то случайного, все лишено убедительной гармонии. И вот спрашивается, не вредила ли моему брату больше всего та же легкость и ловкость, нечто такое, что ему мешало вдуматься, что заставляло его довольствоваться первой попавшейся комбинацией форм, раз таковая казалась складной и эффектной. Не давал он и подсознательному началу выявить внутри созревшее решение — он сразу начинал устанавливать свою композицию. При этом, обладая и хорошей памятью

и значительной эрудицией, он завершал свой проект в фантастически короткий срок, тогда как у других художников-архитекторов только еще начинала созревать мысль. Зато все произведения Леонтия и носили отпечаток подобной

скороспелости. А кроме того, Левушка попал в особенно скверное для зодчества время. Его воспитание было лишено уже тех строго классических основ, которые составляли самый фундамент воспитания архитекторов первой половины XIX в. и которые еще действовали облагораживающим образом на архитектуру эпохи романтизма. Эпо-х¾ же более позднего архитектурного воспитания (60 и 70-е годы) отличалась беспринципным дилетантизмом, а подражание всевозможным стилям (при очень поверхностном ознакомлении с каждым из них) дошло до известного «разврата». Это кидание из стороны в сторону, из одного мира идей и форм в другой стало еще более путаным, когда вдруг ни с того ни с сего возникли требования создания во что бы то ни стало чего-то нового, когда на сознание архитекторов стали давить разнообразные теории, ставившие непременным условием подчинение требованиям «конструктивности». Принципы соблазняли своей логикой, но сами по себе они не создавали солидной почвы: они витали где-то в воздухе, им недоставало того, что может быть дает только время и накопление традиций.

Но была и еще одна причина, благодаря которой наш славный и милый и исключительно одаренный Левушка все же так и не сделался большим или хотя бы хорошим художником. Этой причиной был... его слишком счастливый брак — самый счастливый из всех мне знакомых браков, если не считать моего отца и меня самого. Для сложения художественной личности моего брата этот «счастливый» брак был, пожалуй, роковым. Мария Александровна была маленькой пухленькой женщиной с приветливой улыбкой, не сходившей с полных губ, с ласково хитроватым взглядом своих серых глаз. Она физически очень подходила к мужу, который тоже был невысокого роста и отличался известной полнотой. Оба представляли собой отлично подобранную пару. Но и в смысле темперамента, в своем отношении к яшзни Левушка и Маша вполне друг с другом гармонировали. Между ними за все сорок пять лет супружества не возникало даже тех мелких ссор или не «более суток» длящегося раздражения, которых не удается избежать и при самых образцовых подборах. И все же Мария Александровна Сапожникова принадлежала — по своей породе, по своему воспитанию и образу жизни — к совершенно иной людской категории, нежели та, которая была подлинно нашей, а следовательно, категорией ее мужа. Ее среда была характерно купеческая, совершенно земная. Естественно, что она никак не чувствовала искусства и, мало того, совершенно в нем не разбиралась, не замечала его. Для нее, типичной дочери

торгового мира, искусство было средством добывать деньги, достижения почета в обществе, средством сделать жизнь удобной для себя и завидной для других, но чтобы художественное творчество было каким-то духовным подвигом, чтобы можно было выражать посредством него устремления и мысли более возвышенного

*ƒ, 1, 15. Брат Леонтий*доз

порядка — это было вне ее помыслов и желаний. Любопытно, что, воспитываясь вместе со своей сестрой Ольгой в Швейцарии, она близко сошлась с Марией Башкирцевой, которая была одних с ними лет и чуть ли не приходилась им сродни. Сохранились фотографии, на которых сестры Сапожниковы сняты вместе с автором знаменитого дневника 3. Но я сомневаюсь, что Мария Башкирцева действительно считала этих девушек за своих сердечпых подруг; упоминает она о них как-то вскользь и без какой-либо теплоты.

При довольно остром уме, при вовсе не злом сердце меня лично Машенька огорчала именно отсутствием всякого «взлета». И особенно мне было как-то досадно за брата, которого я любил и уважал и который, как мне казалось, именно благодаря ей все более и более погружался в житейскую прозаическую типу... Мне всегда было не по себе в их доме, в детские же годы (лет до 13-ти) меня даже трудно было гуда затащить, а когда попадал, мне сразу становилось у них невыносимо скучно. Чем роскошнее были обеды, которыми они угощали, чем деликатнее вина, чем оживленнее беседы в их очень теплой, но мне абсолютно неинтересной компании, тем мне становилось тяжелее на душе. Позже именно в доме Левушки и Машеньки я научился быть в каком-то особенном смысле «циничным»: я наедался вкуснейших и драгоценнейших вещей, запивая их винами из роскошного их погреба, но, наевшись и напившись, я спешил поскорее убраться — что и удавалось без особенного труда, так как после обеда и гости и хозяева садились за карты и сразу же до такой степени бывали увлечены игрой, что ничего другого вокруг себя не замечали. Полюбуешься на картины, доставшиеся Леоитию из кавосского и сапожниковского наследства (среди последнего красовалась и знаменитая «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи4, проданная впоследствии в Эрмитаж), полистаешь фотографии или какую-нибудь французскую edition de luxe *, до чего Леонтий был большим охотником, а там под шумок разговоров и карточных споров удастся пробраться в переднюю и на лестницу. На их даче в Петергофе, прелестном коттедже, построенном Леонтием на самом берегу моря, имелось и другое: пойдешь в смежный с дачей царский парк, понюхаешь цветов, обильно

рассаженных на клумбах, полюбуешься закатом над Финским заливом, поиграешь с собаками и с кошками, побеседуешь с попугаем; но и это все в специфической атмосфере дома брата теряло для меня свой соблазнительный характер. Я пробирался к калитке, а оттуда бежал на поезд или на пароход, чтобы скорее снова очутиться у себя, в нашей атмосфере, в атмосфере нашего дома и моих родителей.

Нашу чуждость, классовую и расовую, я особенно ощутил в тот день, когда к нам впервые пожаловали для знакомства родители Марии Александровны — тогда только что ставшей невестой моего брата. Александр Александрович Сапожников (мне уже самая фамилия не нравилась: фи — сапожник!) был необычайно ласковым человеком, с «манерами англий-

* Кишу в роскошном издании *(франц.),*

ского аристократа». Раз в неделю он составлял партию виста с в.к. Николаем Николаевичем, и это ему давало ощущение, что он какой-то вельможа. В то Ніе время у Александра Александровича было достаточно такта, чтобы не обнаруживать вследствие этого какой-то спеси." Меня поразил его необычайно маленький, почти карликовый рост и при этом поседевшая, прелестно надушенная борода, спускавшаяся до полгруди. Ногти у пего были длиннейшие и тщательно выхоленные, а одет А. А. Сапожников был с иголочки. Он отлично говорил по-французски и по-английски, щеголяя даже топкостью произношения, которая поражала наши уши, привыкшие к более простому разговору. И все же он оставался типичнейшим российским «купцом», что, впрочем, не без некоторого кокетства, он сам и подчеркивал, употребляя иногда простонародные, бывшие еще в ходу у его родителей выражения и называя непременно свою жену, женщину тогда вовсе не старую, «своей старухой». Что же касается до последней, то Нина Александровна Сапожпикова была одной из тех сумасбродных русских барынь, которая без тол*ку и без смысла сорила деньгами по всей Европе, польщенная, что ее в отелях и курортах величают «прэнсесс». Нелепая во всем, она претендовала на очень высокий ранг в обществе, на нестареющую молодость и на неотразимую ирель-стительность. Как следствие того, за ней волочился целый хвост разных авантюристов, непрестанно куривших вокруг нее фимиам лести и клянчивших у нее всякие подачки. Этот ее специфический образ жизни и был причиной того, что Сапожниковы несколько раз оказывались на самом краю разорения и спасало их лишь то, что каждый раз на их дело накладывалась «администрация». Держала себя Нина

Александровна несколько надменно, а это я уже никак не мог выносить, а тем паче со стороны «какой-то купчихи», хотя бы она была миллионершей и щеголяла бриллиантами и жемчугами невиданной величины **.

Нина Александровна, после смерти мужа (в конце 80-х годов) получившая полную свободу, пошла так дурить, что ее от времени до времени приходилось брать под опеку. Окружив себя штатом фаворитов и приживалок, она металась из Парижа в Астрахань, из Петербурга в Ниццу, слывя всюду за русскую богачку, проигрывая десятки тысяч рублей в Монте-Карло, заказывая себе, дочерям и внучкам бесчисленные платья у самых дорогих парижских портных. У своих родственников Альбрехтов она приобрела их имение под Ямбургом Котлы с великолепным барским домом и необъятным лесом, в Париже она купила на Шап-Элизэ * роскошно обставленный особняк одной из львиц Второй Империи — маркизы Паивы, в Ницце она заново отделала свою роскошную виллу и расширила сады, в Астрахани, в почтенном родовом доме она

Ей, между прочим, принадлежали диа колоссальной величины (но, увы, желтой воды) бриллианта, которые были выставлены в Париже на Всемирной Выставке 1900 г. (уже после ее смерти) ювелиром Бушерон в отдельной витрине. От Champs-Elysées *(франц.)* *- Елисейских полях.

I , I f 15. Брат Леонтий

105

принялась все переиначивать на новый лад. Если бы она прожила еще год или два, то состояние Сапожпиковых пошло бы окончательно прахом,— но тут она и окончила свою бесшабашную и безвкусную жизнь далеко еще не будучи дряхлой старухой. Года два ушли затем на то чтобы снова привести дела в порядок, расплатиться с долгами и ликвидировать все ненужное (в том числе и особняк Паивы), после чего обе семьи ее дочерей — Марии Бенуа и Ольги Мейснер — зажили в довольстве и в спокойствии.

Последние годы жизни Леонтия занимал должность ректора Академии художеств. Смутное время уже приближалось. Среди учащейся молодежи назревало поголовное фрондирование начальства, и постепенно оно перешло (во всех слоях общества) в открытое возмущение режимом. Но деятельность ректора Бенуа не подвергалась общей критике, ученический состав не выносил ему порицаний, его не собирались «вывезти на тачке». Уважение, которым Леонтий пользовался даже у молодежи, оставалось до конца непоколебимым. Уважали же ученики Академии своего профессора и ректора и как безупречно хорошего человека (вне

всякого вопроса о принадлежности его к какому-либо «классу») и как толкового и внимательного руководителя. Он не был словоохотлив, он ненавидел пустое разглагольствование, у него была манера просто, спокойно делиться своими знаниями, не навязывая советов; свою же критику он высказывал до того искрение и просто, что это не могло ни обидеть, ни озлобить. В чисто художественных вопросах он опять-таки искренно интересовался всякими «поисками нового», предлагаемыми современными теоретиками, и если не давал особенно убедительных ответов на эти вопросы, то умел в других возбудить к ним внимание. Наконец, покоряюще продолжала действовать и вся талантливость его па-туры, все та же изумительная легкость карандаша, та же аппетитная сноровка «заливать акварелью и тушью». Ныне характерные для него приемы могли бы показаться устарелыми, но кому давалось видеть самое применение этих приемов, получали огромное удовольствие с примесью большого уважения к подобному мастерству. Даже после революции Леонтий, бывший любимей в.к. Владимира Александровича и в.к. Марии Павловны, бывший архитектор высочайшего двора, продолжал профессорствовать, хотя уже ректором он не состоял (да и самая эта должность как будто была упразднена). Популярность же Леонтия в академической среде получила особенно внушительное выражение в момент его кончины, в 1928 г. <...) Его тело было выставлено в круглом Конфе-репц-зале, в котором он когда-то был чествуем как самый талантливый из учеников, у гроба его дежурили академисты, а до кладбища его провожала тысячная толпа.

В профессорской деятельности Леонтия и во время революции все оставалось по-старому. <.,.) Затем начались болезни и более тяжелые горести. Дважды за последние десять лет ему пришлось подвергаться операции, и это отозвалось на всем его мироощущении. Он как-то попик, завял, утратил в значительной степени свою жизнерадостность. Но, разу-

меется, всего трагичнее было то, что трое из его детей покинули Петербург и Россию 1*. <..->

Что касается духовного облика Леонтия за :>ти последние неблагополучные годы, то он представлял собой нечто удивительно просветленное. Одно за другим разваливалось и стиралось с земли то, что он почитал, чему служил, что любил,— однако ко всем этим катастрофам он относился со стоическим спокойствием или, вернее, с какой-то всепрощающей покорностью, которую я назвал бы христианской, если бы таковая

была исключительной принадлежностью христианства. К религии же Леонтий относился если и с глубоким почитанием, то все же без особенного рвения. Оставаясь добрым католиком, он унаследовал от отца и полную веротерпимость — в частности, в отношении православия, со служителями которого он непрестанно, как строитель церквей и соборов, находился в общении. Я и многие из нашей семьи даже считали, что on втайне обратился к религии своей горячо любимой жены и своих детей, однако на смертном одре он все же предпочел подтвердить свою верность церкви дедов и, следуя настойчивым убеждениям своего старого друга Э. К. Лип-гардта, пригласил остававшегося в единственном числе в Петербурге французского священника, отца Амодрю, который его и соборовал. Кончил жизнь Леонтий как благочестивый праведник.

Глава 16 БРАТ НИКОЛАЙ

Из всех братьев я менее всего был близок с братом Николаем, носившим уменьшительные имена Коли и Николашн. Причиной того, что мы не особенно сходились, была не столько разница в годах (он был на двенадцать лет старше меня) и не то, что он меньше бывал в доме, нежели другие, и не тот факт, что он был военным — сначала кадетом, потом юнкером, потом офицером. Ведь в детстве я питал большую слабость именно к «людям в форме». Скорее всего причиной нашей разобщенности было то самое, что и позволило Коле не только выбрать военную карьеру, но и остаться в ней па всю жизнь. Коля был военным по природе, до мозга костей — по призванию. Он был насквозь пропитан воинским духом, точнее «духом военщины», а вот это мне и не нравилось; мне инстинктивно претило это даже в такие времена, когда я ровно ничего в

* Одна из его дочерей, **Надежда —ныне известна в** Англии как художница, Надя Бенуа, сохранившая для выставок свою девичью фамилию, хотя ее настоящая фамилия по мужу Устинова. Переселилась она за границу не вследствие нужды, голода и опасности для жизни, а потому что вышла замуж по любви за одного молодою человека, приехавшего в Россию в поисках своей матери. Единственный сын их, Питер Устинов, ныне приобрел мировую славу как автор необычайно остроумных комедий и как первоклассный актер.

ƒ, /, 16. Брат Николай

этом пе сознавал, а красивыми формами «солдатиков» очень

увлекался. Отталкивал меня от Коли его особый «стиль», вплоть до его чуть сиплого, грубоватого голоса, до манеры лаконически изъясняться отрывистыми фразами и вплоть до его слишком шумливого нрава. Пожалуй, мне даже не очень нравилась его наружность, хотя, говорят, я одно время особенно сильно походил именно на него. Я и в детстве-то не часто видел Колю, ибо он воспитывался интерном в Кадетском корпусе и даже па лето уходил в лагери, с момента же его поступления в лейб-гвардии е. в. Уланский полк он совершенно переселился в Варшаву, где имел постоянное местожительство, дослужившись там до чина полковника. Уланская форма была одна из самых эффектных, и она не утратила своей традиционной декоративности даже после того, как Александр III ввел новую, очень уродливую, якобы национального характера обмундировку для почти всего российского воинства. Уланы же сохранили набекрень надетую шапочку из черной лакированной кожи со странно прилаженным к ней квад-*• ратным донышком и с белым султаном, и свой темно-синий мундир с желто-оранжевым околышком и красной грудью, и рейтузы, и сапоги, 'и серебряные аксельбанты, а зимой — распашистую серую шинель с бобровым воротником. В таком виде Николай представлял в нашей семье элемент какой-то особой аристократической парадности, да и самое его состояние в гвардейском полку давало ему в глазах общества особый «ореол». В известные дни он имел вход во дворец и фигурировал в качестве танцора па придворных балах. Постепенно он обзавелся обширным кругом светских знакомых, среди которых многие были титулованными и служили в таких же «эффектных» полках, как и он сам.

Но вот что замечательно. Эта светскость атмосферы, в которой вращался Николай, совершенно не меняла его духовного облика. Каким он был в корпусе — простым, чуть грубоватым «славным парнем», таким он и остался в полку, вследствие чего он и пользовался, несмотря на свою неуступчивую строгость, искренним расположением солдат и самой теплой дружбой со своими товарищами. Он даже приобрел известную популярность и не только благодаря своим неоспоримым моральным качествам — отзывчивости, абсолютной правдивости и тому тяготению к справедливости, которая его особенно сближала с братом Леонтием, но и своими чудачествами. Никаких художественных способностей или склонностей он не проявлял. Его варшавская квартира, сначала в полку, а затем в городе, была самая банальная, «пустая» и «голая»; он лично даже не нуждался в элементарном комфорте; однако какая-то художественная нотка все же проходила через его существование, и она имеяно

выразилась в его чудачествах, впрочем, не всегда отмеченных хорошим вкусом. Для примера приведу два случая — один характеризует Николая в качестве какого-то паладина в духе... Дон Кихота, другой в качестве строгого начальника; однако оба едва ли могут показаться достойными подражания. В первом случае особенно неприятно поражает его явно юдофобский оттенок, что, впрочем, входило в обычай стоявшего в Варшаве гарнизона.

lOg/, *I, 16. Брат Николай*

Как-то, когда он возвращался с ученья, где-то довольно далеко от города, в дождливый осенний день, Николаю, ехавшему со своим эскадроном, повстречалась типичная длинная-предлинная польская телега, в которой сидело человек двадцать сильно подвыпивших па свадьбе евреев, мужчин и женщин. Тащила иге эту галдевшую и шумливую компанию дряхлая, совершенно выбившаяся из сил лошаденка, еле ступавшая по липкой, глубокой грязи. Николаи не смог вынести такого издевательства над несчастным животным. Он остановил своего коня перед телегой и гаркнул: «Слезай». Все пассажиры не сошли, а слетели на землю... «Распрягай» —- было вторым приказом, а третьим: «Привязать лошадь сзади, а самим впрячься н тащить». Перечить уланскому офицеру никому и в голову не могло прийти, все было исполнено с величайшей поспешностью, но, дабы убедиться в том, что и в дальнейшем его распоряжение будет исполнено, Николай со своими уланами проводил спешившуюся свадьбу до самой той деревни, куда она возвращалась.

Второй, не менее живописный, случай был мне рассказан с возмущением самим пострадавшим, но, признаюсь, я в данном случае не мог отказать в доле симпатии моему свирепому братцу. Жертвой на сей раз был богатейший купеческий сыпок, эстет и самодур, который из соображений элегантности постарался для отбывания воинской повинности попасть в уланы. Таких господ Николай еще менее долюбливал, нежели польских иудеев, а потому жизнь бедного Н. П. оказалась в полку далеко не сладкой. Вящую же неприятность ему пришлось испытать перед самым концом своей службы. Желая вернуться в Москву прежним красавчиком, очень гордившимся своими светлыми кудрями, II. П. дал взятку кому следует и залег за полтора месяца до выхода на волю в госпиталь, где волосы у него снова успели отрасти вдали от глаз начальства. Но проделка эта дошла до Николая, и вот, не без доли садизма, он дождался предпоследнего перед выходом па волю дня и только тогда предстал перед своей жертвой. Сорвав с головы «больного» колпак, он увидел уже заготовленную прическу и тотчас же позвал полкового

цирульника, который при нем наголо обрил онемевшего от ужаса и стыда юного миллионера.

Эти два случая достаточно характеризуют моего брата с «юмористической» стороны, но достойны внимания все остальные стороны его личности как образцового служаки, как «отца своих солдат», как трогательно преданного товарища п, наконец, как семьянина, помещика и полкового командира. И тут было бы о чем порассказать, ибо несомненно мой брат был в полном смысле слова очень оригинальной, из ряда вон выдающейся личностью. Леонтий, тот после смерти Николая даже собирался издать о нем целую монографию. Среди материалов к пей он мог бы использовать ценнейшую исповедь Николая, не всегда складную по форме, но всегда правдивую. В ней он рассказывал свою не особенно радостную жизнь, в частности те глубокие недоразумения, что выросли между ним и его женой, а также все те мытарства, через которые приходилось ему пройти, раз задавшись целью спасти от ростовщиков колоссальное пмеиие-манорат, принадлежавшее его пасынку. В этой исповеди он ка-

ется в своих безудержных проявлениях гнева, подчас походивших на припадки безумия. Однако все это лежит как-то вне моей основной задачи, ибо все ото происходило где-то в стороне — частью в Варшаве частью в средневековом замке Межибоже, служившем резиденцией полкового командира ахтырских гусар, которыми командовал брат в течение нескольких лет. Гораздо раньше я получил возможность изучить Николая в непосредственной близи, и с этим мне хочется здесь поделиться.

Когда Коля приезжал в отпуск и останавливался у родителей, ему каждый раз отводилась большая комната, бывшая папиной чертежной. Не успеет брат в ней расположиться, как по всей квартире поползет типичный офицерский дух — особая, довольно приятная смесь из духов, табака и кожи. Вот этот-то запах стал неотделим от нашего обиталища в течение целых двух лет, которые Коля провел (в конце 80-х годов1*) в Петербурге, решив, что ему необходимо пополнить свое специальное образование посещением курсов Кавалерийской школы. На это время была перевезена к дам часть его личной обстановки, стены чертежной украсились фехтовальными рапирами и масками, саблями и шашками, а рядом в коридоре был поселен его денщик Степан, рослый и красивый, но необычайно тупой и нелепый парень. Впрочем, сугубая нелепость Степана была скорее всего вызываема тем страхом, который этот несчастный мужик, «взятый прямо от сохи в полк», испытывал перед его высокородием и, в частности,

перед теми уроками русской грамоты, которым Николай, желая просветить Степана, отдавал несколько утренних часов. Как было не дрожать Степану, когда за малейшей ошибкой следовала грозная распечка, причем не жалелись бранные, произносимые с неистовством слова, дико звучащие в пашем респектабельном доме, вообще иных криков не слыхавшем, кроме тех, что во время игр издавала возившаяся детвора. Особенно же трудно давалось Степану вытверживать наизусть все многочисленные имена великих князей, княгинь и княжеи, что в представлении Николая должно было возбуждать особенно лояльные чувства, приличествующие русскому воину. Тут-то в случае ошибок и раздавались особенные свирепые окрики, а два или три раза — за ним последовало физическое воздействие, за что затем сильно попадало Николаю от мамы.

В начале пребывания брата меня его присутствие тяготило, и особенно мучительно я переносил его шумливость, а также то, что он моментами, когда случайно Степан отсутствовал, требовал от меня всякие специальные услуги — например, чтобы я помог ему стащить сапоги или чтобы я продел в надлежащей системе аксельбанты, что никогда мне не удавалось сразу — откуда нетерпеливые ноты, которые я ощущал как очень обидные. Но постепенно я стал привыкать к брату и постепенно стал оценивать все то благодушие, которое скрывалось под оболочкой его «военной грубости» и всякого чудачества. Стал я оценивать и ненавист-

** С осени 1888 по осень 1890 г.

ное сначала общество его друзей, среди которых были отставные военные. Особенно со мной был ласков Ермолай Николаевич Чаплин (вышпаривалась его чисто русская фамилия точь-в-точь как выговаривается фамилия Шарло) — очень крупный, очень полный господии с усами и бакенбардами на широком, типично русском лице. Он был великий мастер па всякие пикантные анекдоты, при этом он был тем, что немцы называют «ein feiner Konditor» *. Кончил он свою карьеру, начатую в Уланском полку, петербургским почт-директором и жил он одно время в прелестном классическом здании Таможни1, где у пего была зала с колоннами и где он меня ыеоднократпо кормил вкусными обедами. Другим моим другом был царскосельский гусар Ратч, очаровательно крошечный офицерик-куколка, который являл в своих разнообразных формах (то красной, то темно-синей, то белой) необычайно кокетливый вид, точно он только что прибыл с балетной сцены, на которой откалывал мазурку. Ратч был большим весельчаком, и он очень оценил тот

непринужденный стиль, который царил у нас в доме. Он вскоре стал приходить не столько к Коле, сколько к моим родителям, запросто и без приглашения, являясь то к обеду, то к вечернему чаю, занимая всех неистовым своим хвастаньем, а то и просто враньем. За последнее ему часто доставалось от товарищей, но наших домашних и даже мою правдолюбивую мамочку он именно этой чертой пленил. Она заливалась при его рассказах своим бесшумным смехом до слез, и даже строгая тетя Лиза Раевская млела перед гусариком, тем более что он был с нею изысканно вежлив и по всем правилам прикладывался к ручке. Рассказывать же Ратч действительно был мастер. Рядом с приземистым Николаем и с громадным Чаплиным он был настоящей фитюлькой, но когда в парадные дни он во всей своей гусарской красоте приезжал к нам за Николаем, чтобы вместе ехать во дворец, он являл поразительно эффектный вид, особенно когда одевал свою меховую шапку с превысоким белым султаном.

Двое из друзей Николая имели своего рода абонемент па наши воскресные завтраки -- то был барон Карл Деллгшгсгаузен и граф Николай Ферзен, тот самый, который в последующие времена был адъютантом в. к. Владимира. Оба были тогда варшавскими уланами, и оба проходили тот же курс в офицерской школе, как и Коля. Оба были притом типичными «остзейцами», оба сильно белокуры, оба говорили по-русски правильно, но с легким немецким акцептом, оба были отлично воспитаны и изысканно вежливы. Мама ценила этих молодых людей и угощала разными «spécialités de la maison» **, среди которых особенно слзеился воскресный традиционный пирог с вязигой. Но между бароном и графом была и большая разница. Деллингсгаузеи был само добродушие; я очень скоро выпил с ним на брудершафт, после чего я стал по примеру его товарищей фамильярно называть его Карлушей. Напротив, граф Ферзен строго сохранял всегда дистанцию, что и соответствовало его

Тонким знатоком (не.и.).

Любимыми домашними блюдами *(франц.)*.

1, I , 16. Брат Николай

характерно германской, абсолютной прямой осанке, его высокому росту и «аполлоническому» сложению. Деллингсгаузен поминутно смеялся наслаждаясь шутками Николая, подчас довольно рискованными, Ферзен же довольствовался одними улыбками. Родители наши принимали малое участие в разговорах этих господ офицеров, обыкновенно делившихся своими наблюдениями о скачках, о лошадях, о приемах седлания и т. д. или же обсуждавших разные полковые дела, никогда при этом не

впадая в сплетни (напротив, Ратч был великим сплетником). Бывали, однако, случаи, когда папа что-либо расскажет о временах Николая Павловича, и это всегда было встречаемо с большим интересом, ибо рассказы отца отличались живописной яркостью.

Женился Коля, сравнительно с прочими братьями, поздно, в Варшаве, и взял он себе в жены даму тоже не самой первой молодости, вдову с двумя детьми — госпожу Слезкину, урожденную баронессу Бремзен. До того у него в течение нескольких лет был роман с цирковой наездницей, на которую он извел немало (родительских) денег: мама долгое время пребывала в ужасе, как бы он еще не женился на этой «акробатке». Женитьба на даме из лучшего общества гарантировала от повторения подобных авантюр, а так как в распоряжении госпожи Слезкиной и ее матери находилось очень крупное имение-майорат сына и внука, оцениваемое в несколько миллионов рублей, то можно было считать, что этот брак будет и в материальном отношении выгодным. Правда, имение было заложено и перезаложено, но Николай считал, что благодаря более толковому ведению дел ему удастся в несколько лет освободить его от задолженности. Имение своего пасынка он, в конце концов, действительно очистил от долгов, что и послужило к упрочению особенно нежных чувств между ними, но как раз к тому времени супружеские отношения между Николаем и Констанс приобрели невыносимый для обоих характер, и им пришлось разъехаться.

Эти семейные нелады приобрели особенную остроту в бытность Николая командиром ахтырских гусар и его пребывания в Межибоже, где стоял его полк. Возможно, что самая обстановка послужила обострению драмы. Командиру полка и некоторым офицерам был отведен обширный и мрачный древний польский замок, стоящий на самом слиянии двух рек, и вот крепостные его стены и своды, темные его переходы, унылые его башни и террасы сделались свидетелями почти ежедневных сцен, происходивших на глазах всего полкового штаба между супругами Бенуа. Однажды Николай, совершенно озверев, даже погнался с ножом за Констанс; насилу его удержали и нож вырвали. Кто был прав, кто виноват в каждом случае, решить было трудно, но песомненно, что главным образом здесь действовало полное несоответствие характеров. Насколько Николай был прям и абсолютно не выносил даже самой невинной лжи, настолько бедная Констанс была лишена простоты и естественности. Эту манеру она всосала с молоком матери — дамы, кстати сказать, довольно-таки склонной к интриганству. Остается удивляться,

как этой черты Николай не заметил еще до того, чтобы остановить свой выбор, как мог

!12

I , I , 17. Врат Юлий

on сделать подругой жизни особу, если и обладавшую всевозможными качествами, то отличавшуюся и такой чертой, которая должна была его коробить более, чем что-либо. Плодом этого плохо налаженного брака были три дочери, которых оба родителя сердечно любили, однако и на почве воспитания их также возникали всевозможные недоразумения, следствием которых было то, что в момент, когда Констанс разъехалась с мужем, все три девицы последовали за матерью.

Годы, непосредственно предшествующие войне 1914 г., Николай уже был в отставке, считается даже, что вечные скандалы в Межпбоже были поводом к тому, что недолюбливавший его министр Сухомлинов дал ему понять, что ему пора уходить. Николай переехал тогда в Петербург к своему любимому брату Леонтию и очень тяжко переносил свое одиночество, особенно же свое безделие. Зато ои с необычайным рвением вернулся к исполнению своих обязанностей, когда с началом военных действий он снова был призван на службу (в чине генерала) п был отправлен в сибирские губернии с ответственным поручением собирать ополчение... Но недолго продолжалась эта служба, которую оп, кстати сказать, всячески старался переменить на службу на фронте. В декабре 1915 г. Николая постиг удар, как раз в момент, когда ои что-то вносил в свой дневник. Тело его затем было перевезено в Петербург и заботой Леонтия похоронено рядом с тем местом, которое Леонтий уготовил на кладбище в Новодевичьем монастыре себе и своим близким. Последний раз я видел лицо Николая очень потемневшим, но все еще «вполне на себя похожим» через застекленное отверстие в крышке гроба. Вдова же его и дочери, прожив войну в Киеве, эмигрировали в Берлин, где Констанс скончалась, а ее дочери вышли замуж и обзавелись семьями.

Глава 17 БРАТ ЮЛИЙ

Еще немало людей на свете, которые хорошо знали моих братьев Альбера, Леонтия, Николая и Михаила; нередко ко мне обращаются особы преклонного возраста, от которых я слышу такие фразы: «я был сослуживцем вашего брата», «я очень любил Вашего брата», «я храню благодарную память о вашем брате». И это немудрено, каждый из моих братьев имел обширный круг

знакомых, и многие из них живы до сих нор. Не так обстоит дело с моим братом Юлием, которого из всех живущих на свете — и после смерти наших родителей и всех моих близких родственников — кроме меня, наверное, никто не помнит. Он и не оставил никакого следа о своем земном пребывании, если не считать его бренных останков, да и те, опущенные в наш семейный склеп осенью 1874 г., может быть, подверглись уничтожению. Между тем, я обязан рассказать здесь про этого отрока, покинувшего нас, будучи всего четырнадцати лет от роду. Впрочем, я не стану рассказывать здесь про те события семей-

ной жизни, в которых он участвовал (об этих событиях будет сказано в моей личной летописи), но постараюсь описать его самого. Это уже потому необходимо, что я храню до сих пор самую нежную память об Ише и потому еще, что эта моя нежность вызвана той необычайной для мальчика заботой, которой он, будучи на десять лет старше меня, окружал мою крошечную персону. Я имею основания думать, что если бы Иша остался в живых, я бы именно в нем имел того брата-друга, какого мне вообще недоставало, ибо сколько бы я ни любил моих других братьев и сколько бы они ни вызывали во мне братских чувств, я все же никого из них другом не могу назвать — у меня не было с ними определенной духовной связи. Напротив, меня влекла к Ише какая-то духовная общность. Будучи ребенком, едва только начинающим сознавать окружающее, я уже резко отличал Ишу от других братьев, и это отличие было явным предпочтением. Выражаясь словами, в те времена мне неизвестными, я чувствовал, что Иша понимает меня. Его одобрение и его порицание значило для меня больше, нежели одобрение или порицание других «старших». Да я и не видел в нем старшего, он был моим товарищем, причем он и тени «обидного снисхождения» не выказывал в отношении меня.

Большую роль тут играло то, что в нем была масса детского, ребяческого, и в то же время он был, я сказал бы, более «интеллектуален», нежели прочие мои братья. Он был тоньше их, внимательнее к другим, более страстно заинтересован всевозможными явлениями, людьми, вещами, природой. Под его руководством я развивался с быстротой не совсем нормальной, и, вероятно, именно благодаря этому я сохранил в памяти с такой абсолютной отчетливостью всякие тогдашние происшествия, да и самые обстановки, вид комнат и вид той петергофской дачи, в которой прошли последние прожитые с ним летние месяцы. Его смерть оставила меня среди массы людей — и людей самых близких — в некотором как бь[одиночестве. И мне думается, что

все мое развитие тогда вдруг замедлилось, что, может быть, было мне и в пользу.

Наружностью Иша очень походил на меня — точнее, я походил на своего старшего брата. Когда впоследствии я глядел на себя в зеркало, мне казалось, что я снова вижу брата, и в такие минуты я как-то утешался и более снисходительно относился к своей наружности, она не казалась мне столь обидно «не соответствующей моему идеалу». Особенно когда мне сшили гимназический мундир, я стал себе напоминать Ишу, которого я как раз помнил в таком же мундире. Но и волосы, несколько широко раздавшийся нос, постав глаз — все это было похоже на Ишу... Что же касается до сторон духовной и художественной, то тут я узнавал в себе именно Ишу. Меня тянуло, как и его, к изображению разных странных, а подчас и жестоких вещей, я обожал сказки и истории, в которых рассказываются жуткие вещи, в моих мечтах меня тянуло к авантюрам. Правда, я никогда не предавался с таким фанатизмом разным видам спорта, с каким предавался Иша, который был образцовым конькобежцем, бесстрашным мореплавателем и посвящал значительную часть каждого утра упражнениям на турникете, трапеции или развитию мускулов

посредством манипуляций с гирями. По я любил смотреть, как он вихрем летал на коньках по прудам Юсупова сада, я замирал от восторга, когда, управляя парусом, Иша производил всякие эволюции у казенной петергофской пристани, и я ликовал, когда он, разгоряченный и упоенный победой, являлся первым в каком-нибудь беге или выигрывал приз на каком-либо ином состязании. Не эти ли спортивные «излишества», против которых иногда восставала мама, и свели его к ранней могиле? Быть может, он испортил свое здоровье и разными экспериментами, вроде длительного поста или съедания каких-либо особенно горьких или отвратительного вкуса вещей, в чем он старался проявить свое поклонение спартанским нравам.

Наконец, и его отношение к учению, к самообразованию как бы предвещало мое отношение к тому же самому. Он был, по отзыву всех, совершенно исключительно одарен во всех науках, однако он плохо учился в гимназии и не лучше стал учиться, когда его перевели в ту самую осень, когда он умер, из классической гимназии в реальное училище. В зимние месяцы Иша никогда не сидел без дела, но если он и зачитывался книгой, то эта книга не была каким-либо учебником, если он часами что-

либо выводил пером или карандашом на бумаге, то это не было приготовлением школьных уроков. Единственные два предмета, которые его интересовали, были география и история, особенно древняя... К моим очень ранним воспоминаниям принадлежит такая сцена. Я стою на коленях на стуле рядом с Ишей и через локоть его левой руки с захватывающим волнением слежу за тем, что появляется из-под его карандаша. А получались у него высокие пирамиды, по склонам которых копошатся над постройкой сотни фигурок и работают подъемные машины. Вот колоссальный камень сорвался с крюка и летит вниз, укладывая на пути несчастных, и кровь струями сбегает со ступени на ступень. Или еще — стройными рядами выступают гоплиты *1* в золотых (желтых) касках, украшенных конской гривой. Они отражают натиск других воинов, что мчатся верхом или на колесницах им навстречу. И снова кровь бежит ручьями или капает с мечей и льется струями пз израненных тел, колеса подпрыгивают по кучам поверженных на землю. Иногда изображались и римские легионы и полчища Атиллы, а то и наполеоновские солдаты, Леонтий был тоже великий охотник до изображений военных сцен, и у меня в Петербурге хранились его юношеские, мастерски сделанные рисунки, изображающие сцены войны 1870 г., которая в его представлении и при его ненависти к немцам представлялась вся сплошным торжеством французской доблести. Но в этих рисунках у Леонтия все выплядело уж очень парадно и складно, все это даже носило нарядный характер. Не то у Инги. У пего доминировала трагедия, ужас, да он и сам во время рисовапия впадал в какой-то транс, принимался шипеть от ярости или издавать призывы, стоны, проклятия. Я же прижимался к его локтю ближе и ближе и, в конце концов, чуть ли не ложился на бумагу.

Наподобие нашего отца, Иша был большим мастером на всякие изделия из бумаги. Особенно мне запомнился «конверт» с историей солдата.

ƒ, ƒ, 18. Брат Михаил\\§

Из большого листа бумаги Иша складывал конверт, имевший вид обыкновенного письма, однако по мере того, что вскрывались хитро один за другим заложенные углы, открывались разные похождения отслужившего срок солдата, который после всяких бесчинств попадает, наконец, в преисподнюю. Это ужасное место было нарисовано во всю ширину открывавшегося в самом конце листа и служило чем-то вроде апофеоза. Я наизусть знал, что за чем последует, однако ждал каждый новый эпизод с замиранием сердца, а перед вскрытием ада приходил в такой ужас (сладкий ужас), что даже принимался визжать и умолять Ишу, чтобы он

мне не показывал этой страшной картинки. И действительно, кар-'тшгка могла хоть кого привести в ужас. Огненные вихри извивались ввысь, клубы дыма валили во все стороны, а языки лизали котел, в котором «варился» провинившийся солдат. В нижнем же правом углу восседал сам Сатана, косматый, черномазый, с трезубцем в руке и короной между рогами. По его приказу черти и чертенята, прыгая и кувыркаясь, поддавали жару, мешали вилами в котле и всячески издевались над своей жертвой.

По нынешним понятиям такие рисунки мало педагогичны; они должны воспитывать в ребенке свирепость. Однако никаких следов особенной свирепости ни ати рисунки, пи все те фантазии, которым я предавался уже но собственному почину в отроческие годы, во мне не оставили. Из последующего читатель увидит, что я самый миролюбивый человек, с сердцем, очень склонным к жалости, и таким же наверное вышел бы и Иша, если бы бог дал ему жизни. Но в каком-то возрасте в людях живет известное тяготение к этим выявлениям кровожадного инстинкта, и пожалуй, следует приветствовать, когда этот инстинкт выявляется в форме ребяческих безобидных рисунков и вообще всяческого художества. Вспоминать же мне сейчас об этих наших забавах приятно. Ведь в них совершенно отсутствовало настоящее осознание страдания. А разве не тот же инстинкт сказывается в нас, когда мы на сцене или па экране видим сердце раздирающую трагедию, хотя бы, например, последнее действие «Гамлета», когда все гибнут от меча или яда?

Глава 18 БРАТ МИХАИЛ

Брат Михаил — Миша мне не заменил покойного Ишу, хотя между мной и Мишей разница в годах была меньшая (на два года), нежели между мной и Ишей. В те дни Миша был очень хорошеньким мальчишкой, типичным школьником, но я его помню несравненно менее отчетливо, нежели Ишу. Часть фокусов, в которых отличался Иша, и он умел показывать; он умел складывать и «конверт с историей солдата», одно время и он возился с каким-то театриком, добиваясь воспроизвести в нем все ужасы «Волчьей долины». Иногда он с кузинами и товарищами носился

jß/, *I, 18. Брат Михаил*

то квартире, изображая калабрийских бандитов или краснокожих. Однако все это выходило у него пе так потешно, как у покойного брата. \ кроме того, у Миши не было таланта общаться с малышами; он их шбо не замечал, либо сторонился.

Между тем меня к нему притягивала зго необыкновенная красота. Тип у него был какой-то «сарацинский» (уж не какой-либо предок с острова Майорки, откуда Кавосы были ронж, откликнулся в нем?). Пухлые, как у негра, губы, слегка кудрявые, верные, как смоль, волосы и смуглый цвет кожи. Ни на кого из братьев эп в детстве не походил и лишь к старости в нем более определился эбщий тип нашей семьи, и особенно он приблизился к Леонтию.

Учился Мишенька еще хуже, нежели Иша, и в конце концов его пришлось из 4 класса взять (из 5 классической гимназии), после чего и зго стали готовить в реальное училище. Однако из этого ничего не вышло, и тогда-то в нем вдруг определенно заговорило призвание. Он пожелал стать моряком. Мамочку это сильно встревожило из-за тех опасностей, которым подвергается моряк, но отец, вообще питавший уважение ко всем видам военного ремесла, дал свое благословение. Пробыв в Морском училище положенный срок, он оттуда был благополучно выпущен в гардемарины. Еще не дождавшись этого, он и его друзья заделались настоящими «морскими волками» и заходили в морской одежде, с лен-ючками на шапке, с синим воротом, из-под которого виднелась нательная полосатая фуфайка. До той поры никогда не певший, Миша теперь выучился всяким солдатским песенкам вроде — «Царь Ляксаидра в поход поехал» или <*Солдатушки — браво ребятушки, где же ваши жены», или «Друзья, подагрой изнуренный» — и эти песенки он со своим другом, бароном Клюпфелем, распевал целыми часами. Выучился Мишенька и всяким веревочным плетениям и даже однажды смастерил себе очень искусно из тонкого каната фуражку, в которой я потом щеголял по своей склонности к необычайным одеждам и уборам. Ярким воспоминанием осталось у меня, как оба этих морских молокососа, сидя на «бельведере» нашей кушелевской дачи, грызут для вящего стиля «семечки», курят трубки (Мишу от курения тошнило, но он все же продолжал курить), пьют пиво и задирают прохожих на улице, свесившись через забор, к которому бельведер был прислонен. Во всем надлежало выражать военную удаль, и это выражение удали чуть не стоило однажды ему (и мне) жизни — в тот день, когда он вздумал со мной в неистовую бурю переехать на лодке через Неву, о чем я расскажу в своем месте. В другой раз его чуть не изувечило, когда у него под руками взорвались те снадобья, которыми он набивал трубки ракет: элементарная пиротехника входила в программу морского воспитания.

Этот период мишенькипого «приготовления к службе» представляется как очень беспечная, бестолковая, чуть нелепая и чуть шутовская эпоха. По время шло, и настал, наконец, тот день,

когда пришлось всерьез зажить жизнью моряка. Гардемарина Бенуа определили на клипер «Пластун», а «Пластуну» вышел приказ присоединиться к какой-то отбывав™ шей в дальнее плаванье эскадре. И начались сборы, Мишенька получил

новенькую с иголочки обмундировку, и особенно ему пошел парадный черный сюртук с черным галстуком при поясе с львиными головами, па котором болтался кортик из слоновой кости; на голове же в парадных случаях полагалась треуголка с кокардой. Мишеньку родственники стали наперерыв чествовать прощальными обедами, а там, в какой-то июньский день 1880 г., настал момент отплытия. Поехали мы, т. е. папа, мама и я, провожать Мишеньку в Кронштадт, в котором ни мама, ни я раньше никогда не бывали. Насилу разузнали, на каком рейде «Пластун» находится, а до него добрались на лодочке, причем пришлось пробираться между разными судами. Пана вез с собой для украшения каюты Миши (он разделял ее со своим товарищем, благодушным близоруким Виноградовым) вставленные в рамки литографированные портреты государя и (почему-то?) супруги наследника престола Марии Федоровны, и они гут же были торжественно повешены на стену. А затем все молодое офицерство (да и тучный, сонливого вида старший офицер) как следует выпили; сильно, после розданной водки, повеселел и прочий экипаж. Когда же-наступил вечер, то все провожающие перебрались на специально нанятый пароход, якоря были подняты, дым повалил из трубы клипера (мне было обидно, что у «мишиного» корабля всего одна труба, «зато» три мачты), и мы на своем пароходе неравной парой поплыли рядом с «Пластуном», мимо грозных гранитных фортов в «открытое море». Версты две-три наше пыхтевшее, сильно качавшееся суденышко старалось не отставать, но расстояние между нами и клипером все росло, и наконец наступила минута, когда наш пароход повернул в обратный путь. При этом произошло традиционное заключение проводов. По команде все реи «Пластуна» были в один миг засыпаны белыми фигурами матросов, и в то же время при дружных криках «ура» какие-то хлопья полетели в воду,— то, по древнему обычаю, офицеры бросали летние чехлы своих фуражек. Через несколько минут «Пластун» на пылающем фоне заката превратился в беззвучный, далекий, как-то вытянувшийся в высоту силуэт, а через еще несколько мгновений он точно нырнул за горизонт. В это время, взглянув на мать, я увидал, что она украдкой утирает слезы, тогда как до этого она крепилась, чтобы не «испортить всем настроения». Другие дамы, матери, жены или

невесты — те просто рыдали, продолжая махать платками и косынками. Поздно ночью, но в белую северную ночь, мы добрались до дому, в наше опустевшее родное гнездо...

Потянулись месяцы и годы плаванья нашего Мишеньки. Родители подписались на «Кронштадтский вестник», в котором вообще интересного для неморяков было мало, но по которому можно было следить за передвижением судов российского флота по земному шару. Когда сообщалось, что клипер «Пластун» в составе такой-то эскадры пришел туда-то, то в доме наступало успокоение. Когда же долго не приходило таких известий, то нарастала тревога. Особенно долгий перерыв получился во время перехода «Пластуна» от Сингапура через весь славившийся своими бурями Индийский океан до Капштадта. Я себе живо воображал, как десяти-саженные (такие нарисованы в одной из книг Жюля Верна) волны на-

кидываются на судно, на котором плыл Мишенька и которое превращалось среди разъяренной стихии в «жалкую скорлупку». Но совершенно иные видения рисовали письма брата, приходившие из Шанхая, Гонконга. Нагасаки, с Сахалина («Пластуну» было предписано произвести проверочные обмеры какого-то залива), из Гонолулу, из Сан-Франциско, с Таити, из Мельбурна и из Сиднея. Описания Миши были правдивы, просты, точны, но не обладали особенной красочностью и не вызывали ярких образов. Этот дефект до известной степени восполнялся путевыми записками Гончарова, совершившего кругосветное плаванье на фрегате «Паллада», которые мы с мамой читали по вечерам. Еще более возбуждали мою фантазию почтовые марки, отштемпелевапные на местах отправки, а также целые серии совершенно чистеньких, вложенных Мишей внутри письма. Эти последние специально предназначались не для моей коллекции, а для более серьезного собирателя, для городского садовника господина Визе, но кое-что перепадало и мне.

После Капштадта началось мишенькино определенное «приближение к дому». В сущности, на пути возвращения он был уже целый год после отплытия от крайнего пункта путешествия — Сан-Франциско, но пока он не обогнул мыса Доброй Надежды, это возвращение не представлялось вполне реальным. Тут же стало ясным, что он скоро снова будет среди нас. Еще успело прийти письмо из Амстердама, где Миша посетил тогдашнюю Всемирную выставку, а затем он и совсем замолк. И вдруг телеграмма из Кронштадта: «Благополучно приехал». Боже, какое тут поднялось у нас волнение. Легкая на слезы Степанида (когда-

то нанятая в кормилицы именно к Мишеньке и с тех пор служившая у нас в горничных), та даже стала от радости причитывать, как над покойником, причем ее очень тревожил вопрос, не женился ли ее любимец на японке, чем мы все время ее дразнили. Папа тот сразу приступил к приведению в порядок чертежной, предназначавшейся под Мишин кабинет,

Это был июнь 1883 г. Как раз случилось так, что я поехал с нашими английскими свойственниками — сестрой Мата Эдвардса Эллен и ее мужем Реджинальдом Ливесеп, совершавшим экскурсию в Петергоф, и было решено, что, по осмотре дворцов и парков, мы заедем передохнуть на дачу дяди Сезара, а затем, захватив моих кузин, отправимся все вместе через Ораниенбаум *в* Кронштадт. Однако программа не удалась вполне: до Кронштадта и до «Пластуна» мы добрались, но когда шумливой компанией мы вступили на палубу клипера, то Миши уже там не оказалось, он не утерпел и отпросился на землю, в Петербург. Это не помешало оставшемуся на корабле офицерству нас принять с честью, и меня особенно польстило, что Мишин друг, который особенно ласково меня угощал, был князь Путятин. Я тут же с ним выпил брудершафт, заедая шампанское особенно мне понравившимся закусочным блюдом — редькой в сметане. Осушив бокала два, я так охмелел, что, желая отличиться перед кузиной Инной, слетел с лестницы, ведущей к капитанскому мостику.

Очень меня тронуло, что в Мишиной каюте на тех же местах, куда их повесил папочка, по-прежнему висели овалы с портретами Александра II

I , I , 18. Брат Михаил

119

и Марии Федоровны, но теперь царствовавший в 1881 г. государь, убитый нигилистами, лежал в Петропавловской крепости, а эта миловидная дама со смеющимися глазами и с высокой прической стала нашей императрицей.

Достигли мы (все в той же компании) Петербурга на последнем пароходе уже в сумерки. Входя в нашу квартиру, я громко восклицал: «Где Миша, где Миша?» Но папа и мама замахали на меня руками: «Миша спит, и его не надо будить!» Мне только разрешили посмотреть на спящего путешественника. Пробравшись на цыпочках к кровати, я... обомлел от удивления. Вместо прежнего нежного юноши, я увидел «большущего», мощного, но все-таки такого же красивого мужчину, почти черного от 'загара. И как странно пахло в этой комнате: пряными духами, чем-то далеким, восточным, чужим. Запах этот шел от раскрытых и частью уже опорожненных чемоданов. Повсюду на столах, стульях, на комоде лежали пакеты, и я уже спрашивал,

что из всех сокровищ предназначается именно мне,— ведь в каждом письме Миша сулил мне какой-то сюрприз.

Увы, в этом отношении меня ожидало разочарование. Когда на следующее утро, после кофе, все пошли в Мишин кабинет и началась раскладка содержимого больших сундуков, то я вскоре получил свой подарок. Миша, очевидно, представлял себе на расстоянии своего маленького брата вовсе не тем «женомом» *, с ухватками молодого щеголя, какого я из себя теперь, в тринадцать лет, корчил, а все еще ребенком, для которого вполне подходящим подарком мог служить механический лаявший и скакавший пудель. Поняв свой промах, Миша смутился, мне же стало так его жалко, что представился, будто я в восторге от этой игрушки, но на следующий же день я ее уступил одному из своих маленьких племянников. Остальное же, что предстало в то утро, вынутое из Мишиных сундуков, было до того занимательно, что разглядывание этих диковинок вполне отвлекло и поглотило мое внимание.

Тут был и зубчатый клюв пилы-рыбы, и ожерелье из ракушек и птичьих яиц с Таити, и волшебное японское зеркало, и индусский ларец, выложенный тончайшей мозаикой, упоительно пахнувший внутри, и роскошный японский алый платок с вышитым на нем желтыми шелками павлином, и чашечки с завода Сатсумы, и какие-то издававшие дикие звуки музыкальные инструменты, и черепаховая модель рикши, и масса альбомов с фотографиями, и яркие шали, и невиданные раньше большие раковины, отливавшие цветной радугой. И от всего этого шел тот сладкий пряный дух, который меня поразил накануне и который теперь распространялся на всю квартиру. А из большого деревянного ящика вытаскивались бесчисленные байки с консервами заморских фруктов и прелестные полубутылочки со сладким капским вином. Его я затем пивал частенько или даже с гордостью потчевал им своих товарищей гимназистов.

* От jeune homme *(франц.)* — молодым человеком.

120Л Л -f& £/*#71 *Михаил*

Меня только огорчала Мишенькина несловоохотливость; он почти нит чего не рассказывал и еле отвечал па мои вопросы, отделываясь двумя-тремя фразами. Л мне так хотелось услыхать что-нибудь более подробное, и особенно про то, как он проводил время в Японии, где, говорят, все офицеры на время своей побывки на суше обзаводились прелестными женами-японочками. Да и таитянки меня интересовали чрезвычайно. О них уже тогда шла по свету молва, которая была одной из причин, побудивших несколько позже Гогена покинуть старую Европу и поселиться в Океании. Но от Миши, кроме отрывистых фраз, ничего

касающегося подобных тем я не мог добиться. Да я и сейчас уверен, что целомудренный наш брат вернулся после трехлетнего путешествия совсем таким же чистым и девственным, каким он уехал. Для него a maiden in every port * не существовала.

Зато его сердце сохранило во всей своей свежести способность любить, и это сказалось через несколько же недель после его прибытия, когда всем стало ясно, что возник роман между ним и его кузиной Олей Кавос, тоже за эти три года из «институтки-бакфиша **» превратившейся в девушку, если и не отличавшуюся красотой, то все же в своем роде привлекательную. «Cousinage — dangereux voisinage» *** — говорит пословица, и в данном случае она могла найти себе тем большее подтверждение, что Оля с отцом и теткой, служившей ей матерью заместо умершей родной, жила в двух шагах от нас, а парадная дверь пх квартиры выходила на ту же площадку, как и наша. Оля, впрочем, предпочитала приходить к нам, и тогда оба влюбленных засаживались в Миш ином кабинете, где они то читали, то целыми часами шушукались и ворковали. К весне 1884 г. этот роман принял официальный характер. Миша и Оля были объявлены женихом и невестой, а те препятствия, которые могли помешать браку между столь близкими родственниками, удалось благодаря связям дяди Кости в св. Синоде преодолеть.

Летом Миша и Оля отправились к Лансере в их Нескучное, но там Мишенька чуть было не сделался виновным в гибели своей невесты... По морским законам он не мог жениться, не достигнув какого-то положенного числа лет (двадцати четырех), но обоим молодым людям не терпелось «отведать предельного счастья». Поэтому Миша, наш морской волк, вынужден был выйти из флота. Однако свою страсть к лодке, к парусу ему не так легко было затушить. Уже зимой в Петербурге Миша принялся катать Олю на буере по льду, а когда Нева вскрылась, то и на парусной яхте. Оказавшись же в имении сестры па Украине, откуда до моря не доскачешь, он вздумал продолжать такие же спортивные упражнения, прикрепив к беговым дрожкам громадный парус. Первый эксперимент прошел благополучно, они прокатились по мягкой от пыли дороге версты две, но на следующий день произошла катастрофа.

* Девушка в каждом порту *(англ,)»* ** От backfisch *(нем.)* — ни рыба, ни мясо (подросток). ** Двоюродные братья-сестры — опасное соседство *(франц.)*.

*I, /, 18. Брат Михаил*f2l

Внезапно поднявшийся ветер понес Мишин сухопутный корабль по кочкам вспаханного поля, дрожки опрокинулись, а когда, наконец, Миша справился с парусом, то увидал Олю

далеко позади себя, лежащей бездыханным телом в глубоком обмороке, с лицом, испачканным кровью и землей. Еще не успели Олю донести до дома, как, очнувшись, она стала кричать: «Я изуродована», и лишь когда ее обмыли и она увидала в зеркале израненное, но все же похожее на прежнее лицо, бедняжка успокоилась. Миша же, стоя на коленях у ее ложа, обливался слезами, целовал ее ноги и молил простить его.

Свадьба была сыграна в середине сентября того же 1884 г. И какая ' же это была блестящая свадьба! Благословение брачующихся происходило в верхней «летней» церкви великолепного собора св. Николы Морского. Нага дядя Костя a bien fait les choses *. Густо раззолоченная церковь, более походящая на бальный зал, сверкала тысячами свечей; духовенство и певчие облачились в свои праздничные ризы; всюду стояли лавры и пальмы, среди толпы съехавшихся гостей алели ленты, сияли звезды и эффектно на фоне фраков выделялись военные мундиры и светлые вечерние платья дам. Со двора перед церковью, запруженного экипажами, была постлана дорожка красного сукна вверх по лестнице. В качестве посаженного отца невесту вел товарищ обернрокурора св. Синода (иначе говоря, правая рука самого Победоносцева) Смирнов. Это был высокого роста уже пожилой человек, с темным и на редкость некрасивым лицом, но этот контраст между разбойничьей физиономией, как определила Мария Александровна наружность Смирнова, с золотым шитьем придворного мундира, пересеченного синей лентой Белого Орла, так меня поразил, и он был действительно до того эффектен, что я именно это запомнил с совершенной отчетливостью. Очень эффектна была среди прочих дам бабушка Кавос в своей горностаевой сорти-де-баль **, с убором из венецианских кружев, свешивавшимся с головы на плечи. Впрочем, я и сам себя чувствовал в этот вечер каким-то «празднично-прекрасным» и с особым упоением отдавался этому чувству потому, что как раз переживал тогда некое возвращение к жизни после своего неудачного романа, о чем речь впереди. На мне к тому же был новый парадный гимназический мундир с серебряным шитьем на воротнике, и мне казалось, что в нем я произвожу неотразимое впечатление на бледненькую, тихонькую Аршеневекую, за которой я в тот вечер немного «приударил».

Начавшаяся столь блестяще супружеская жизнь Миши и Оли представляла затем в течение первых десяти лет картину полного лада и счастья. Двое прелестных детей, Константин и Ксения, придавали особую прелесть их дому. Мишенька, выйдя в отставку, поступил на государственную службу, которая не отнимала у него много времени. Жили они в полном довольстве

на отпускаемые дядей Костей средства в просторной

Все отлично устроил *(франц.)*.

От soMie-de-bal *(франц.)* —накидке на бальное платье, мантилье.

122*I, I, 18. Врат Михаил*

и изящно меблированной квартире на Английском проспекте. Весной же 1890 г. умер дядя Костя, и все его большое состояние перешло к единственной дочери. Образ жизни Миши и Оли меняется. Они переезжают в квартиру дяди Кости и сразу начинают ее переиначивать на новый и более модный лад. Мало того, большая эта квартира в 12 комнат представляется Оле тесной (надо же было куда-то поместить и весь штат прислуги, бонну, гувернантку, гувернера для детей), и поэтому к квартире, занимавшейся дядей, присоединяется квартира над ней. На видных местах в бывшем кабинете дяди Кости и в зале повешены старинные картины (среди них небольшая овальная «Похищение Елены» Тьеполо и две большущие венецианские перспективы из дедушкиного палаццо), особенно же удачной получилась столовая с ее орнаментами на золотом фоне и ее потолком, имитирующим деревянную резьбу. Какие чудесные обеды мы едали именно в этой приятной комнате!

Да и вообще традиции, учрежденные дядей Костей, продолжали жить вплоть до того, что Миша, ни в какой степени не готовившийся стать промышленником и финансистом, унаследовал от своего дяди и тестя как директорство пароходного общества «Кавказ и Меркурий» !, так и директорство в разных банках... По отзыву его сослуживцев, он во всех этих делах если и не обнаруживал настоящего призвания (тога призвания, которое так ярко сказывалось в дяде Косте), то, во всяком случае, выказывал большой толк и чрезвычайную добросовестность.

Большой радостью для Миши и его семьи была жизнь летом на собственной даче в Петергофе. Участок этот с одной стороны упирался в смежный парк «собственной его величества дачи»2, а с другой он прилегал к коттеджам, построенным в английском вкусе Леонтием для себя и для своего зятя А. Э. Мейснера. Мишину виллу — самую большую из трех — трудно было счесть за архитектурный шедевр, но удобное расположение многочисленных, не особенно больших, но уютных комнат, искупало то, что ей не хватало в смысле внешней декоративности. Совершенно прелестей был сад, разбитый вдоль самого берега моря. Мостки с перилами па тоненьких столбиках вели от него к собственной купальпе и к маленькой пристани, где всегда ждал хозяина «тузик», на котором и переправлялись к яхте,

стоявшей в море на более глубоком месте. На этой яхте Миша, став членом «Яхт-клуба», почти ежедневно предпринимал далекие прогулки, доказывая, что он не забыл своего основного ремесла. Было наслаждением видеть моего брата в его настоящей стихии — уверенность его маневров, спокойствие и тихую радость, которой он весь исполнялся, носясь чайкой на просторе.

А затем все это благополучие пошло прахом. Между когда-то влюбленными друг в друга Мишей и Олей пошли нелады, поведшие к тому, что они разъехались, поделив между собой детей, дочь перешла к матери, сын остался с отцом. Они бросили свою прекрасную двухэтажную квартиру в родительском доме, и каждый поселился особо. Еще через несколько лет моя бедная кузина и бэль-сёр *, уже годами страдавшая

* От èelle-soeur *(франц.)* — невестка.

неизлечимой болезнью, скончалась в каком-то * австрийском курорте. В последний раз я ее увидел лежащей в гробу среди той же раззолоченной церкви Никольского собора, в которой происходило ее венчание. Сначала Костя, а затем Кика — оба обзавелись собственными очагами, собственными семьями, а там началась трагедия войны. <...> Дочь Ксения, вышедшая замуж за талантливого архитектора В. фон Баумгартена, следуя за мужем, оказалась в Югославии, в столице которой Баумгар-тен построил несколько значительных государственных зданий. <...>

Хотя Миша до конца дней сохранил почти все волосы и первоначальный черный их цвет, однако он выглядел более понурым и усталым, нежели Леонтий и даже Альбер. В последний раз, что я посетил его, я застал его в комнате рядом с кухней за клеением крошечной кукольной мебели. В эту минуту он мне очень напомнил нашего отца, который тоже был большим мастером на такие дела и отдавался им со всем рвением своей души, оставшейся детской до глубокой старости. Но папочка создавал свои перлы для своей забавы и особенно для забавы детей и внуков. Для Мишеньки же это был единственный заработок. Он, подобно отцу, раз взявшись за что-либо, предавался весь работе, однако все же для него, больного, усталого — эта работа не была каким-то отдохновением. Смерть наконец сжалилась над ним, и он умер через три года после Леонтия и за четыре года до Альбера в Петербурге... Известие о том достигло нас уже в эмиграции.

Глава 19 ДЯДИ И ТЕТИ С ОТЦОВСКОЙ СТОРОНЫ

Попробую охарактеризовать еще тех лиц, которые составляли наш ближайший круг. К ним бесспорно принадлежали оба брата моего отца — дядя Лулу (на русский лад Леонтий Леонтьевич) и

дядя Жюль (Юлий Леонтьевич). Однако я несколько затрудняюсь представить именно их «портреты». При всей их нежности к папе и при всей его любви к ним, они вели образ жизни уж очень непохожий на наш. Главное отличие заключалось в том, что оба они были совершенно чужды искусству, тогда как папа был целиком отдан ему, и в нашей семье искусство было вообще чем-то даже «обыденным» и «насущным». Немудрено поэтому, что мне становилось убийственно скучно, когда я бывал в гостях у моих дядей с отцовской стороны, хотя все же мне нравился весь старосветский уклад дома дяди Лулу и его жены Августы, да и сами эти старички, дожившие в трогательном единении до золотой свадьбы, были удивительно милы. Дядя Лулу представлял собой типичнейшего француза эпохи Луи Филиппа, а его жена в своих широких кринолиновых платьях очаровательно пахла увядшими осенними листьями.

Дядя Лулу был на целых тринадцать лет старше папы (он родился вместе с веком), и это одно уже отодвигало его в глубь прошлого. На-

против, дядя Жюль был на девять лет моложе отца. Однако общество этого веселого, необычайно подвижного и бодрого сухенького старика, так же как и общество его величественно молчаливой супруги — тети Луизы, я еще менее ценил, нежели общество дяди Лулу, Попадая в дом последнего, я оказывался в каком-то ином мире, в эпохе, когда царил Александр I, когда еще в Петербурге памятны были заветы Екатерины. В самой атмосфере их дома жила какая-то поэзия прошлого. Этому способствовали и мебель, и картины, и даже посуда и лампы. Напротив, у дяди Жюля все отдавало жестокой прозой. Скопив себе порядочное состояние (он был значительно богаче своих братьев), дядя Жюль, однако, ничего не предпринимал, чтобы придать своему обиталищу приятную изящность. Все у него было голо, чопорно и банально. Ни ему, ни тете Луизе не было никакого дела до того, что я почитал самым важным в жизни. И как обстановка, так и беседа в доме дяди Жюля была тоскливо банальной и бесцветной. Старший сын его Юлий Юльевич (владелец знаменитой на весь Петербург «Лесной фермы») был совершенной копией отца как по наружности, так и в смысле своих интересов. Правда, он был архитектором, но такая как бы причастность «к художеству» не отражалась на его образе жизни. Из трех дочерей дяди Жюля две старшие — Женя была замужем за шотландцем Бертоном, а Аля за швейцарцем Массе. Они были очень похожи на моих двух сестер и уже потому были мне дороги,

но я их видел редко п ни разу не посетил их. Третья дочь — Эля была всего на три года старше меня и росла довольно миленькой девочкой, однако если я и питал к ней те чувства, которые подобает питать к своим родным, то все же это не привело к большому сближению. Зато ее брата, своего кузена Франца, бывшего на два года моложе меня, я прямо ненавидел. Уж из-за него одного я неохотно бывал у дяди Жюля и всячески топорщился, когда раза два-три в году меня силком тащили туда по случаю каких-либо именин или рождений. Находясь же в гостях у дяди, я старался не отходить от мамы, и все же Францу удавалось каждый раз совершать в отношении меня какие-либо проделки, нелепая жестокость которых наполняла меня бешеной злобой и возбуждала мысли о «кровавой мести». Это были самые обыкновенные мальчишеские шалости, однако вид, с которым Франц их проделывал, его сжатые губы, его тупо-злое выражение лица выдавали его «черные» намерения. Такую злость я вообще редко встречал и впоследствии в детях. Я был уверен, что из него неминуемо выйдет разбойник и душегуб. Однако ничего подобного не получилось. Франц, став также архитектором, архитектурой почти не занимался, а превратился в помещика, образцового пчеловода, засел где-то под Лугой в деревне и поэтому окончательно исчез с нашего горизонта. Недобрые же чувства, проснувшиеся у меня к нему, когда мне было восемь, а ему шесть, так с годами и не исчезли. Весьма вероятно, что к третьему брату папы я бы исполнился более горячих чувств, если бы он жил в Петербурге, но он жил почти безвыездно за границей и умер там сравнительно не старым человеком. Кончина брата необычайно огорчила папу, питавшего к нему особую

I, I, 19, Дяди и тети с отцовской стороны'j25

нежность. Дядя Александр (Саша) был очень похож на моего отца не только чертами и выражением лица, но и всем своим духовным складом, художественной жилкой, жившей в нем, и тем, что дядя Саша был большой затейник, тративший немало времени на всякие забавные вещи, в которых художественный элемент так или иначе проявлялся. Рассказы об этих затеях, в особенности о замечательном кукольном театре, устроенным дядей Сашей у себя в гамбургском доме, возбуждали мое любопытство в высшей степени. Но кроме того, моя к нему «нежность на расстоянии» поддерживалась тем, что почти в каждое письмо, приходившее от дяди, было вложено специально для меня несколько листиков рельефных картинок, носивших в те времена название «облатэн». И вот получение этих «оолаток» исполняло меня восторженной благодарностью. Дядя Саша представлялся мне издалека каким-то добрым волшебником,

владевшим несметными сокровищами, которыми он щедро одаривал своего племянника. На самом же деле жизнь дяди сложилась вовсе не блестяще. Женившись в Петербурге на дочери богатых коммерсантов Фиксен, он последовал за ней и за ее родителями, когда вся семья переселилась в свой родной Гамбург, но тут почти сразу произошла катастрофа. Родители разорились и вскоре после того умерли, а дяде Саше (тоже готовившемуся когда-то стать архитектором) пришлось кое-как зарабатывать себе на жизнь, обзаведясь небольшим магазином канцелярских принадлежностей. К счастью еще ему удалось сохранить один из домов, принадлежавших Фиксеиам, и в этом доме на Бургфельдер-пассаж он и прожил до своей слишком рано наступившей смерти. Единственный сын дяди Саши, называвшийся также Сашей, но с прибавкой — бог знает почему — Конский, вернулся при жизни отца в Петербург, женился на своей троюродной сестре Густе Эбергардт и основал свою собственную многочисленную семью. Он был сверстником и ближайшим другом моего брата Альбера и сам очень даровитым пейзажистом, с успехом участвовавшим на наших акварельных выставках. К этому Саше «Конскому» я питал всегда сердечную любовь, но не без нежности относился я и к его трем сестрам, также впоследствии переселившимся вместе с матерью в Петербург и носившим у нас в семье прозвище «гамбургских».

Следовало бы дальше остановиться на двух сестрах моего отца (остальные пять скончались до моего рождения), но я могу сказать только то, что обеих этих тетушек я искрение любил, а они меня усердно баловали. Особенно, как это и полагается, баловала меня крестная мама тетя Маша, я же ей за это платил бессовестной эксплуатацией. Боже, какой испуг рисовался на ее увядших чертах, каким отчаянием наполнялись ее серые, много горя и мало радости видевшие глаза, когда оказывалось, что почему-либо мою очередную прихоть исполнить невозможно, Я же, бессовестный, не щадил доброй тети Маши, и мне даже нравилось мучить ее, сознавая свою власть над ней.

Что же касается до старшей сестры моего отца, Жапнет Робер, родившейся еще в XVIII в., то мое представление об этой крошечной, в комочек съежившейся старушке, нераздельно связано с той квартирой в доме ее

дочери Катеньки Романовской у Покрова, в которой она жила до своей кончины в 1881 г. У папы вошло в обычай каждое воскресенье после службы в церкви св. Станислава заходить к своей старшей сестре, где его (и меня, когда я его сопровождал), ожидал вкусный завтрак с замечательным пирогом. Но в те годы

не пирогами можно было меня заманить к тете Жаннет и к тете Катишь (последняя была на пятьдесят лет старше меня и все же приходилась мне кузиной), а тем, что их квартира была полна котов, кошек и котят, кошачью же породу я буквально обожал. Мне тем более было приятно ласкать здесь этих очаровательных зверюг и играть с ними, что у нас дома таковые ие водились. Изредка, сдаваясь на мои просьбы, мне дарили то черненького, то серенького котенка, с которым я тогда и возился до совершенного исступления, в ущерб всем прочим занятиям — но затем наша прислуга, пенавидевшая кошек, к великому моему отчаянию, моего очередного любимчика куда-то спроваживала.

Вместе с тетей Катей жил и ее единственный сын, мой племянник (бывший лет па двадцать старше своего дяди), Евгений Осипович. Этот «Женя Романовский» был человеком унылым и печальным, особенно стал он таковым, когда после смерти матери остался один, как перст. Напрасно наши семейные свахи, в особенности моя невестка Мария Александровна, старались подыскать для этого довольно состоятельного «жениха» подходящую невесту. Он не поддавался их уговорам — мне думается потому, что абсолютно не знал, что с женой делать и как с ней поступать. Несмотря на свою унылость, Женя был непременным участником наших семейных сборищ, не внося, впрочем, в них ни малейшей доли веселья и приятности. Я не очень жаловал его, а однажды даже крепко с ним поссорился из-за того, что этот хмурый человек ни с того ни с сего позволил себе сыграть со мной довольно глупую шутку. За большим обедом у моей сестры на Кушелевке он запустил мне за шиворот кусочек льда. Однако позже наши отношения приняли более дружественный оттенок, произошло это в период моей разыгравшейся страсти к книгам, когда Женя, к большому моему удивлению, стал выказывать интерес к моим новым приобретениям. Интерес этот, впрочем, был чисто внешний. Он покрутит в руках книжку, вскроет ее, прочтет заглавие и оглавление, объявит, что ему данное сочинение уже известно (по заглавию или оглавлению) и затем отложит, чтобы приняться за другую. И у него самого была порядочная библиотека, но состояла она почти исключительно из книг по естественным наукам. Сам Женя состоял кем-то при Академии наук, даже издавал какие-то брошюры, быть может, и очень ученые, не то по геологии, не то по минералогии, но, признаюсь, я их не читал, хотя он мне их и подносил.

Глава 20

• РОДСТВЕННИКИ С МАТЕРИНСКОЙ СТОРОНЫ.

ДЯДЯ СЕЗАР

Несравненно более, чем родственники с отцовской стороны, меня интересовали и притягивали родственники со стороны матери. За исключением бабушки Кавос, о которой я уже рассказывал, и тети Кати Кам-пиони, о которой речь впереди, тут были только одни мужчины. Единственная же единокровная сестра моей матери, хорошенькая тетя Соня Зарудная, скончалась за несколько лет до моего появления на свет в родах своего единственного сына Сережи, и точно так же жены дяди Сезара и дяди Кости умерли до моего рождения, дядя Миша остался холостяцком, вдова же дяди Вани жила на Кавказе. И вот относительно этих «дядей Кавосов» я могу сказать, что они именно все, но каждый по-разному, меня пленили. Объединяла же их в моем представлении одна черта, нечто такое, что теперь я бы назвал стилем, но что тогда, в детстве, я не мог сознавать и что тем не менее оказывало на меня особое притяжение. Этот их стиль действовал на меня тем сильнее, что он был чем-то заключенным в самой их природе; тут не было ничего напускного, перенятого, никакой позы, никакой гримасы — просто в этих людях жила известная «изящная манера быть», и с нею они родились. Прибавлю, что контраст между этой группой лиц и родственниками Бенуа подчеркивался тем, что мне, мальчугану, не нравилось в последних. Рядом с дядей Сезаром, дядей Костей и прочими Кавосами, дядя Жюль и его дети, все потомство дяди Лулу, дяди Мишеля и других дядей и теток с папиной стороны представлялось мне несколько простоватым. Все они были людьми вполне воспитанными, но одно дело «уметь быть приличными», а другое производить впечатление каким-то своеобразным, во всем сказывающимся прирожденным стилем.

Дядя Сезар — Цезарь Альбертович Кавос был старший мамин брат **. Мне было всего тринадцать лет, когда он скончался, но помню я его с совершв-нной отчетливостью, а в то время мне казалось, что я уже «давным-давно живу на свете», и в этом прожитом периоде дядя Сезар занимал безусловно очень значительное место. Как всякого другого родственника, мне надлежало его любить, и я старался исполнять этот долг по мере своих сил, но удалось это мне не вполне, так как то чувство,

которое он мне внушал, не было лишено известного трепета. Уж если говорить про стиль, то дядя Сезар был самый стильный из братьев, но его стиль (как мне казалось тогда) выражался главным образом в высокомерии. Он мне казался ужасно важным и малодоступным. К тому

!* Возможно, что старшим из братьев был полоумный калека дядя Станислав, о котором говорю ниже. У меня здесь нет данных, которые позволили бы мне это проверить.

<j28Л *h 20. Дядя Сезар*

же.**меня** смущало его специфическое обращение с детьми — несколько свысока, покровительственное. Возможно, что это было вовсе не так, но **я** был мальчик преувеличенно обидчивый, избалованный всем тем, что **я** встречал со стороны своих близких, и малейшее отклонение от этого я принимал за нечто оскорбительное. Я даже избегал попадаться на глаза дяди Сезара — что было не так легко, когда я с родителями целыми месяцами живал на его даче и мог каждую минуту его встретить. Было бы, однако, ошибкой представить себе Цезаря Альбертовича в виде какой-то величественной фигуры. Подобно большинству Кавосов, ростом он был ниже среднего, ходил он отнюдь не задрав голову, голос у него был не громкий, он редко сердился ц никогда не кричал. Однажды он все же сломал зонтик об спину своего зятя Митрофана Ивановича Зарудного, но случилось это при столь исключительных обстоятельствах, что человек с натурой и самой покорной мог бы выйти из себя. Л именно дядя Мит-рофан, в обычном для него нетрезвом состоянии, так погнал своего рысака по петергофской Самсопиевской аллее, что угодил шарабаном в тянущийся вдоль этой аллеи капал. II вот, когда дядя Сезар с большим трудом вылез из воды, то ему показалось, что сын его Женя, продолжавший лежать без движения па берегу, мертв. Тут-то дядей Сезаром овладело такое бешенство, что он принялся бить незадачливого возницу, причем бил так крепко, что действительно сломал хороший, привезенный из Парижа зонтик. Повторяю, то был казус исключительный, потому и попавший в семейные анналы, что был слишком необычайный для моего дяденьки.

Оставшись с незначительными средствами после смерти своего отца, Цезарь Альбертович, хотя по профессии и был, подобно дедушке, архитектором, однако зодчество он постепенно запустил, предпочитая заниматься «делами» и главным образом спекулируя на покупке и продаже домов, что в 60-х годах приобрело в Петербурге прямо-таки азартный характер. На этих «аферах» он и составил в несколько лет очень крупное состояние, исчислявшееся в момент его кончины в три миллиона тогдашних

рублей. К сожалению, скончался дядя, не успев привести дела в должный порядок, и после разных операций наследников и опекунов капитал этот съежился. Тем не менее, мои кузины оставались богатыми невестами, а единственный сын дяди, мой двоюродный брат Женя Кавос, мог всю жизнь существовать в условиях вполне барских.

Представление о дяде Сезаре сплетено во мне наитесиейгаим образом с представлением об его обиталищах. Так я уже создан. Я и господа бога ощущаю вполне только в его «домах» — в церквах. Да и самых близких людей я представляю себе не иначе, как на каком-либо фоне — будь то комната или целая квартира или дача, усадьба. Возможно, что это во мне сказывается черта художественная, живописная... Так и дядю Сезара я вижу или в его петербургском доме или в саду его роскошной дачи. Дом дяди Сезара представлялся мне чуть ли не самым изящным во всем Петербурге. Стоял же он на Кирочной, насупротив того места, где начинается Падеждинская !.

*I, I, 20. Дядя Сезар*j29

Самый дом был полуособняком в два этажа над высоким подвалом, но можно было с натяжкой за третий счесть мансарды (в Петербурге явление в те времена чуть ли не единственное). Как раз слуховые окна (люкарны барочного стиля) этого мансардного этажа придавали дому дяди заграничный, парижский характер. Сам дядя с семейством занимал весь первый этаж (по русскому счету), а во втором, в комнатах очень высоких, с закругленными окнами жили Сабуровы — Андрей Александрович, бывший одно время министром народного просвещения, и любезнейшая супруга его, которую почему-то весь Петербург называл «тетей Лелей». Их две дочери, Мария и Александра, девочки лет восьми-девяти, бывали иногда приглашаемы вниз, к Кавосам, и принимали участие в наших играх. Позже в этой бывшей сабуровской квартире жила в течение многих лет другая знаменитая петербургская дама — баронесса Варвара И. Икскуль2. В последний раз я побывал в доме дяди Сезара (к тому времени уже переставшем принадлежать его наследникам) весной 1918 г., когда все еще прелестная, несмотря на восемьдесят лет, баронесса, собравшись покинуть навсегда Петербург, позвала меня, чтобы помочь ей выбрать то, что стоило бы взять с собой в эмиграцию. И в последний раз я тогда вошел в монументальный подъезд, поднялся по занимавшей всю ширину вестибюля лестнице и, минуя знакомые с детских лет стеклянные двери бывшей квартиры дяди, поднялся в верхний этаж, держась за перила кованого железа. Этот визит потому мне так и запомнился, что во время него с удивительной отчетливостью

встало передо мной все то, что в этом же доме мне когда-то импонировало и так мне нравилось.

Особенно мне импонировала именно эта лестница. Она была поистине парадной и неизменно производила на меня впечатление какой-то своей торжественностью. Уже одно то, что на ней чудесно пахло (дядя Сезар был большим любителем душистых цветов и «благовонных» курений), придавало ей в моем представлении особенно «знатный» характер. У нас в прародительском доме была тоже весьма замечательная лестница — одна из немногих в Петербурге уцелевшая в своем первоначальном виде со времен Павла I, но, по обычаю тех патриархальных времен, у нас не было швейцара, и лестница была холодная (она не отапливалась), а ее довольно стертые ступени пудожского камня не были покрыты ковром. Здесь же, у дяди Сезара, прямо с мороза я вступал в тропическую атмосферу, а ноги топтали густой алый ворс. По уступам с обеих сторон «марша» стояли горшки и вазы с пальмами, лаврами и другими вечнозелеными растениями...

Однако было время, когда лестница дяди Сезара таила для меня и известную жуть. Дело в том, что насупротив швейцарской в полуподвальном помещении доживал свой век несчастный полоумный брат моей матери и дяди Сезара — Станислав Альбертович Кавос, известный в семье под прозвищем «дяденьки Фа». Он родился калекой2*,— одна рука и

Считалось, что причиной такого несчастья было то, что бабушка до полусмерти испугалась, когда во время одной заграничной поездки, остановившись по дороге

одна нога была у него короче другой, в течение же своей печальной жизни дяденька Фа успел себе еще раза два поломать и здоровую руку и здоровую ногу. Вид у дяди Фа был страшноватый. Его толстенный выгнутый нос свешивался над непрестанно чмокавшими губами, а в темных его глазах то и дело вспыхивал тревожный огонек. Нрава он был вообще кроткого, но терпеть не мог, чтобы над ним подшучивали. В те годы, когда и меня к нему стали водить на поклон, дяденька Фа уже был совершенной развалиной. Оп не вставал со своего высокого ложа (мне, маленькому, казалось, что он лежит па каком-то катафалке) и почти не говорил, а больше мычал. Но в прежние годы, рассказывали мне, дядя Фа бывал иногда и опасен. Раз он чуть было не задушил нежно его любившую сестру — нашу обожаемую мамочку, ее насилу отняли, а за своими юными кузенами

(сыновьями Ивана Катариновича Кавоса) он гонялся с ножом, приведенный в ярость их шутками. Особенно выводили его из себя намеки на некоторую его нечистоплотность, что было выражено и в особой, дарованной ему кличке. Услыхав свое имя с присовокуплением (вместо обычного дяденька Фа —«Фафалифафёнок»). он начинал скрежетать зубами, брызгать пеной и, сорвавшись с места, долго носился за своими мучителями, натыкаясь на мебель и разрушая все, что попадалось ему под руку. Во время таких преследований он и ломал себе руки и ноги...

Каждый раз, когда мы, братья Бенуа, бывали у дяди Сезара, надлежало сделать визит и дяденьке Фа. Я боялся этого, но любопытство брало верх, и я без особого протеста следовал за другими. С высоты своих подушек и перин оп немедленно повертывал голову, взором окидывал пришедших и необычайно громко, почти крича, произносил протяжное «а а а...». В этот момент дяденька совершенно напоминал мне людоеда из сказки о Мальчике-с-пальчике. Затем начинался всегда один и тот же вопрос, причем он всех и все путал, мешая наши имена и не вполне разбираясь в родственных связях. «А,— говорил он, уставившись в кого-нибудь из нас,— это Бертуша», и тут же поправлялся: «Нет — это Л юля, нет — это Женя, нет — Сережа». — «Как поживает папа?» — «Как твоя мама?» — «Как, она померла? Когда?» — «А это кто? Шура? Какой такой Шура? (мое имя он произносил как-то по-итальянски «Сшиура»). Дай-ка я посмотрю на тебя поближе». Меня тащили к дяденьке, поднимали до его лица, а он чмокал меня своими мясистыми губами, причем больно колола его пебритая борода. Тут я не выдерживал, пускался в рев, и меня спешно уносили.

Кажется, в 1875 г. дяденька Фа скончался. Для всех это явилось

в Неаполь в гостинице какого-то захолустного местечка, она ночью увидала, что лезут в окно бандиты. Бабушка бросилась из кровати и упала, а была она на последнем месяце беременности. Кстати сказать, у меня в детстве представление об Италии *ц* в особенности о Неаполе и его окрестностях было неразрывно связано с представлением о бандитах, в частности я был уверен, что они грабят всех путешественников на большой дороге и уводят их к себе в гроты в качестве заложников.

облегчением, но мне его стало ужасно жалко. Я устыдился своих капризов и понял, что обижал его своим нежеланием к нему приближаться. С этого же момента лестница в доме дяди Сезара и получила для меня свою «мистическую атмосферу». Дух

дяди Фа для меня не переставал обитать в его подвальной квартире... Ни за что я не остался бы здесь один. Мне непременно почудилось бы, что дверь к дяденьке отворяется и что он в виде мертвеца выступает из нее, точнее, всползает вверх по ступенькам. Каждый раз, когда мы входили в вестибюль, надлежало пройти мимо этой двери, и хотя я знал, что она теперь ведет в приятную квартиру (гарсоньер) кузена Жени, я все же взглядывал на нее не без трепета.

Еще два слова о парадной лестнице дяди Сезара. Памятна она мне еще тем, что иногда на ней (несмотря на запрет) происходили наши игры с кузинами Кавос и другими детьми. Очень удобно было на ней устраивать засады при игре в «казаки-разбойники». Но особенно запомнились мне те заседания, которые по какой-то традиции устраивались здесь при разъезде гостей. Обыкновенно их «открывала» бабушка Кавос, которая, пока слуга или швейцар надевали ей зимние ботики (вешалки для верхней одежды находились на лестнице), опускалась на тут же стоявший ларь-диван. Рядом садилась мама, и начинался разговор. Давно уже и бабушка, и мама, и я, и все были готовы к отбытию, однако оказывалось, что так приятно сидеть в этом просторном и теплом помещении, так неприятна перспектива выйти на стужу, что беседа затягивалась. Постепенно к ней присоединялись и другие гости, одни за другими покидавшие квартиру дяди Сезара. И все-то рассаживались вокруг кто на фарфоровых тумбах-бочонках, служивших стульями, а кто просто на ступенях. Вот это подобие импровизированного табора и нравилось мне чрезвычайно. Я едва ли понимал что-либо из тех пересудов, которым предавались дамы; к тому же то и дело беседа переходила на французский или на итальянский языки, и как раз это случалось тогда, когда надлежало, чтобы я чего-либо не понимал, чему неизменно предшествовал наказ: «Pas devant les enfants» *. И тем не менее, несмотря на то, что мне становилось невыносимо жарко в полном зимнем снаряжении, с головой, закутанной в башлык, мне не хотелось, чтобы это заседание кончилось. Вся обстановка складывалась во что-то похожее на пикниковый бивуак, иначе говоря, на какую-то шаловливую игру, которой предавались «такие обычно скучные серьезные большие». Конец все же наступал, бабушка, поддерживаемая швейцаром и внуком Сережей, спускалась вниз, и все процессионально следовали за ними. А там за дверью чудовищный холод и скучнейший переезд в потемках кареты через весь город до нашего дома.

* Не при детях *(франц.),*

* * *

Кабинет дяди, коим замыкалось правое крыло квартиры, выходил своими окнами — так же, как и предшествовавшая ему приемная— на улицу. Это была глубокая, просторная, но по своей длине недостаточно высокая комната, что придавало ей характер несколько мрачный, давящий. По темно-зеленым стенам висели очень тесно картины, считавшиеся оригиналами Типторетто и Веронезе, а также и эффектная «перспектива» XVIII в. На столах, по полкам и па консолях выстроилась коллекция старинных бронз и других редкостей. Но главное свое украшение кабинет дяди получал от большого фламандского шкапа начала XVII в. (если я не ошибаюсь, замок, чудо слесарного искусства, был помечен 1610 годом). Этот шкап представлял собой целый архитектурный фасад с массивными колоннами и резными статуями. Он был сделан ил разноцветного прекрасно подобранного дерева и роскошно убран по карнизам, ящикам и всюду, где только можно было, изящными иитар-сиями. В моих глазах это был не просто шкап, а царь всех шкапов. Как ни обидно было в этом признаться, наша обстановка ничего подобного не содержала. Я не пропускал случая, чтобы потрогать и погладить эти полированные, столь аппетитно кругливпиеся колонны, полюбоваться тонкой резьбой капителей и тех мифологических персонажей, что стояли в нишах.

Вместе со шкапом и с самым банальным начальным креслом, на котором я любил качаться до одурения, в строгом кабинете дяденьки приманкой служили для меня английские старинные часы, заключенные в деревянный ящик, стоявшие на письменном столе против того места, где дядя обыкновенно работал. Этой замечательной диковине я мог (все из того же чувства «фамильной зависти») противопоставить из наших вещей единственно только мамочкин будильник, когда-то привезенный ей в подарок с лондонской Всемирной выставки. II действительно, будильник был вещицей затейливой — весь его сложный механизм можно было изучать через стеклянные стенки. Но нельзя не сознаться, что часы в кабинете дяди Сезара были все же куда более удивительные. Они могли играть разные старинные пьесы, да и кроме того каждые четверть часа раздавались отрывки чарующих переливов, а каждый час эти переливы складывались в подобие какой-то курьезной песенки, тем более пикантной, что в нее вплеталось несколько фальшивых ноток. Меня эта музыч-ка и

пленяла и чуточку мучила. Казалось, что из волшебной коробки доносится голос завороженного существа иного времени.

В сущности, настоящих сверстников для меня в семье дяди Сезара не было. Младшая его дочь Инна была на два года старше меня, а следующая по старшинству, Маша, даже на целых четыре. И все же я очень дружил с обеими кузинами, и мы резвились и играли в разные игры, никогда не ссорясь. Обе были необычайно добрые, покладистые девочки. Никогда не случалось, чтобы они сердились, капризничали. Мимолетные огорчения происходили лишь вследствие какого-либо придирчивого и незаслуженного замечания «Талябины» или миссис Кзв, о ко-

торых речь впереди. С отцом же они были почтительны, но такие изъявления нежности, какие были в обычае в нашей семье, здесь не полагались. Несомненно, они обожали отца, но эти чувства не выражались' вовне, что, впрочем, меня тогда не удивляло, так как подобная сдержанность и церемонность вязалась со всем характером дома дяди. Характер же этот был в значительной степени обусловлен тем, что дядя был вдовцом, что матери у моих кузин не было: она скончалась за несколько лет до моего рождения. С тех пор всем домом заведовала Наталья Любимовна Гальнбек — она-то и есть помянутая «Талябина», занимавшая в доме положение среднее между гувернанткой и ключницей. Когда же подросла старшая сестра Соня, то и ей было поручено следить за порядком и заменять сестрам мать.

Тети Сони (рожденной Мижуевой) я в живых не застал, но отлично знал, как выглядела эта «мама Сони, Жени, Маши и Инны», так как ее овальный портрет, рисованный в 60-х годах искусным итальянским художником Беллоли, висел в маленькой гостиной, находившейся между залом и столовой, а вокруг этого портрета висели в таких же овальных рамках портреты ее детей. Эти портреты детей были все еще похожи на тех, кого они изображали, хотя с момента их создания прошло семь или восемь лет, а потому нельзя было сомневаться, что и портрет этой молодой дамы в точности передает ее прелестные черты. Шестой овал, висевший в том же ряду, изображал незнакомую мне девочку с голубым бантом на голове, по от кузин я узнал, что это их сестра, умершая, когда ей было четыре года и которую звали Нина.

Кстати об этом салончике. Весь светлый, со стенами, покрытыми грациозными орнаментами, раскрашенными в бледно-розовые и фисташковые тона, с мебелью изогнутых форм, с фарфоровыми фигурками на зеркальном шкафчике, с большой

жардиньеркой ароматичных цветов у окна, он производил впечатление чего-то лакомого — комната эта напоминала мне любимые сладкие пирожные от Берена. Я любил забираться сюда и либо разглядывать книжки с картинками, либо складывать специально для меня припасавшуюся коробку детского театрика с декорациями и с вырезанными из бумаги действующими лицами. Женские персонажи в этом «Коньке-горбунке» были изображены в кокошниках «а ля рюсс», но и с широченными кринолинами, а большинство мужских ролей представляли татар в восточных халатах и доспехах. Некоторые из этих фигурок были на проволоках, благодаря чему их можно было водить по сцене или же поднимать для полета.

Из окна того же салончика и из окон соседнего зала я мог следить за тем, как в зимнее время возилась молодежь на «чистом», обсаженном елками дворе дяди Сезара. Весь двор в морозные месяцы превращался в каток, а по одной из его сторон строилась из дерева высокая гора, прилегавшая к самому дому. Во время многолюдных сборищ столовая дяди Сезара превращалась в раздевальню; надлежало переменить до и после беганья на коньках обувь, надеть специальные шубки и шапки. Впрочем, кадеты, а за ними и правоведы, коих всегда было несколько (кузены

Зарудиые приводили с собой целую ораву товарищей), щеголяли на морозе в одних мундирах. Обыкновенно коньки привинчивались пли привязывались внизу, у самого катка, но некоторые виртуозы производили эту операцию наверху, и тогда было слышно, как они с грохотом спускаются по черной лестнице во двор, причем не обходилось без падений. К самым отчаянным конькобежцам принадлежал мой брат Коля — кадет. У него была даже слава настоящего чемпиона, так как он не раз получал призы на публичных состязаниях в Юсуповском саду3. Барышни были несравненно скромнее и боязливее; они лишь изредка спускались на салазках с горы и тогда, как полагается, неистово пищали и визжали. Когда у дяди Сезара были только свои, то и я решался побороть свою опас-ливость и просил, чтобы меня одели для возни на дворе, но и в таких случаях, шлепнувшись раза два носом, я предпочитал бегать по льду без коньков, держась за деревянное кресло на полозьях; особенно же я любил, чтобы в этом кресле меня катала добрая Инна. Когда же на катке у дяди Сезара собиралось много чужих, то я предпочитал оставаться наверху и глядеть на эти потехи из окон. Особенно эффектное зрелище плавно скользящих на фоне светлого снега темных силуэтов становилось под вечер, когда зажигались фонари и

плошки, от коюрых во все стороны по льду и по стенам протягивались и сплетались тени. Все представлялось особенно фантастичным благодаря такому безмолвию. Самое скольжение по льду не производило шума, но и голоса, смех и крики едва достигали моего уха из-за двойных зимних рам. Было ужасно весело, когда мне удавалось, барабаня по стеклу, привлекать внимание мальчиков и девочек. Они мне корчили гримасы, манили к себе, жестами срамили меня, но что они при этом говорили и кричали, доходило до меня как еле слышное бормотанье. Мне было несколько стыдно оставаться взаперти, но в то же время я утешался тем, что вот я, маленький, смотрю па весь этот праздник, как «король или принц». Вообще во мне спортивных наклонностей не пробуждалось; я был порядочным неженкой, типичным маменькиным сынком, за что мне нередко попадало от моих более воинственных и мужественных братьев.

Почти все до сих пор сказанное относится к ранним годам моего детства, но и в позднейшие времена до кончины дяди Сезара у меня с домом его связано немало воспоминаний. Так, я помню происходившие здесь очередные семейные обеды, на которые бог знает почему родители брали с собой и меня и на которых я отчаянно томился. Мне не так уже нравилось все то, что на этих пирах подавалось, да и мое место за этим столом было незавидное — среди больших, рядом с мамой, откуда я не без зависти смотрел как за другим столом — за «катцентишом» веселилась молодежь. Некоторым вознаграждением служили напитки — шипучий мед, который наливался в затейливые стаканчики венецианского стекла, и сладкое итальянское вино асти спумаите. Памятны мне большой бал, а также экстраординарный домашний спектакль, состоявшийся у дяди Сезара первый в 1878 г., а второй — в 1882 г., но об этом я буду говорить в другом месте.

ƒ¿ *I, 20. Дядя Сезар*135

* * *

Не менее отчетливо, чем городской дом дяди Сезара и его квартира, запомнилась мне его дача в Петергофе. Незадолго до ее создания Ц. А. Кавос доказал свое архитектурное мастерство постройкой больницы принца Ольденбургского4, однако свою дачу он не пожелал строить сам, а поручил это дело племяннику — моему старшему брату Альберу, только тогда окончившему Академию художеств. Вероятно, дяде Сезару захотелось поощрить своего юного родственника, и он предоставил ему полную

свободу в сочинении проекта. Работы длились около года, и летом 1876 г. дача на Золотой улице была готова и торжественно освящена. Надо отдать справедливость Альберу, он отличился отменно; дача получилась не только самой значительной по размерам из всех, что были построены в Петергофе за последние тридцать лет, но она была и самой из них роскошной и нарядной.

Одновременно с главным жилым зданием, позади него были сооружены службы с сараями для экипажей, с конюшнями на шесть лошадей, с прачечной, с комнатами для друзей и с квартирами для прислуги. Это второе здание было целиком деревянным и увенчивалось высоким бельведером в каком-то необычайном стиле, представлявшим собой смесь мавританских и русских мотивов. Сама же дача была наполовину каменная, в два этажа над высоким подвальным помещением. Она была обнесена с двух сторон крытыми верандами и, кроме того, всюду, где только можно было, затейник Альбер украсил ее балконами разноообразной формы. В общем строитель пожелал создать подобие итальянского ренес-сансного палаццо, но получилось нечто смахивающее на те проекты, которые появлялись тогда в немецких и французских журналах. Как бы там ни было, ансамбль не был лишен приятности и производил элегантное впечатление. Вероятно, обошлись эти постройки дяде не в один десяток тысяч рублей, зато он был вполне удовлетворен в своей склонности к великолепию...

Существенным недостатком дачи было ее расположение на том участке земли, который дядя приобрел специально для нее. Непонятно почему, обладая таким обширным участком, выходившим на две улицы, решено было самую дачу соорудить близко к замыкающему ее со стороны Золотой улицы забору. Пространство, оставшееся между домом и этой высокой оградой, было до того узко, что на нем, кроме площадки для крокета и двух цветочных гряд, ничего не уместилось. Необычайно широкая и высокая масса дачи давила и ту часть сада, которая тянулась по боковому фасаду, и тот проезд от двора до ворот, что был расположен по другую сторону. Зато двор получился просторным; посреди него стоял столб для гигантских шагов, а недалеко от конюшни была устроена усаженная цветами горка — одно из любимых мест наших игр. Наконец, позади служб тянулся огород. Дядя был большой охотник до всяких ягод, поэтому в огороде произрастали редчайшие и чудеснейшие сорта земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, а также всевозможных

овощей, начиная от моркови и огурцов и кончая спаржей и

артишоками. Посреди этого огорода в круглом бассейне бил небольшой фонтан, и хоть он ни в какое сравнение не мог идти и с самым незначительным из петергофских дворцовых фонтанов, однако это все же был фонтан, и я имел все основания им гордиться и им любоваться. К сожалению, в этом же бассейне потонул крошечный щенок, которого мне подарили и с которым я не уставал возиться целыми днями.

Характерной особенностью дачи была та крытая веранда на столбиках, которая тянулась по двум фасадам на юг и на запад. На западной стороне дамы проводили дни за рукоделием и разговорами как в хорошую, так и в дождливую погоду, наблюдая оттуда за тем, как молодежь в саду играла в крокет и другие игры. Непременными членами этих собраний были моя мама, старшая кузина Соня, англичанка миссис Кэв, иногда же к ним присоединялись мать и две дочери Лихачевы, а также другие знакомые, приезжавшие из Петербурга или проводившие лето в Петергофе. Веранда, выходившая на юг, была вдвое шире первой и служила столовой; именно там в теплые дни устраивались большие парадные обеды. В комнатах, выходивших на эти веранды, было довольно темно; зато столовая и комната кузена Жени, выходившие во двор, были залиты светом. Наименее приветливую комнату дядя Сезар выбрал себе под спальню. В ней всегда царил мрак и пахло сыростью. Она выходила на север и к тому же была затемнена близко стоявшими деревьями и полукруглым балконом на колоннах. Когда дяди не бывало дома (он на целые месяцы уезжал пользоваться водами в Мариенбад и в Карлсбад), любимой моей комнатой была угловая рядом со спальней, служившая дяде кабинетом. Мне нравились ее темно-зеленые стены и крытая зеленым штофом мебель.

В гостиной рядом висела очень большая, прекрасно писанная картина — одна из тех «перспектив», считавшихся работами Антонпо Канале с фигурами Тьеполо, что некогда украшали дедушкин дом в Венеции. Занимаясь обязательными, очень скучными экзерсисами на рояле, стоявшем как раз под этой картиной, я утешался тем, что во всех подробностях разглядывал ее, как бы прогуливаясь по улицам и площадям этого вымышленного города и встречая по пути те странные фигуры, которыми его населил художник. Много лет спустя, когда эта же картина вместе со своей дружкой попала в столовую наших друзей Оливов, стоило мне во время какого-либо обеда взглянуть на эти столь знакомые башни и дворцы и особенно на того всадника, который был представлен в несколько неуклюжем ракурсе па самом первом плане, как в моем воображении восставало летнее утро, полумрак дачной гостиной и чудилось,

будто я снова слышу те унылые нотки, что отбивали на клавишах мои детские пальцы3*.

Другая перспектива, парная к этой, служила украшением верхней гостиной на даче, а третья принадлежала дяде Косте. При разделе наследства, оставшегося после смерти дяди, петергофская дача досталась Инне, однако она ни разу не вое-

Особенную прелесть придавало даче дяди **Сезара** необычайное количество цветов, за которыми ходил специальный садовник. И как же пахли все эти цветы! Особенно мне памятны с тех пор пряный запах гелиотропа, аристократический горьковатый резеды и сладко-дурманящий душистого горошка. Все эти божественные ароматы почему-то не пользуются фавором людей середины XX в., помешавшихся па том, чтобы цветы были как можно более пышны и красочны, и это хотя бы в ущерб их аромату. Здесь же все эти благовония сливались в настоящую симфонию, к которой в начале лета присоединялся запах цветущей черемухи и сирени, а позже густой, бальзамический дух липового цвета. Лип было много в саду дяди, и липами же был обсажеи тот капал, что тянулся ьдоль Золотой улицы и служил резервуаром для фонтанов Золотой горы и для марлийских прудов. Воспоминания о петергофской даче дяди Сезара приобретают во мне особую остроту, когда мне удается вызвать в себе как помянутую «симфопию запахов», так и все те звуки, которые в нее вплетались. Часть этих звуков были вульгарны и обыденны, часть даже довольно уродливы и назойливы, но на расстоянии все получало нежную мягкость и становилось элементами одного чарующего целого. С канала временами доносился яростный крик пасшихся там гусей, из казарм конногренадеров, расположенных за каналом, трубные звуки, зори и барабанная дробь, с соседних дач крики детей и скрип качелей. Иногда в этот концерт врезались крики разносчиков с цветами, с ягодами, с печеньями, а в тихие и несколько сырые вечера можно было различить топот лошадей по мосту купеческой пристани и даже то, что играл придворный оркестр на «музыке». На этом расстоянии (километра в полтора), добираясь до нас сквозь густоту парковых рощ, аккорды увертюры «Вильгельма Телля» или рапсодия Листа приобретали особую прелесть.

Последний раз я видел дядю летом 1883 г. и именно в той гостиной, в которой в предыдущие годы я брал уроки музыки и где висел большой Каналетто. На сей раз я не гостил у дяди Сезара, а проводил лето у Альбера в соседнем с Петергофом Бобьтльске; я случайно забрел к кузинам на Золотую улицу и тут

узнал, что как раз с часу на час ожидается возвращение дяди Сезара из Мариенбада. Я застал в доме гнетущее

пользовалась этим и сначала сдавала дачу, а затем и продала ее. Узнав об этой продаже, я обеспокоился тем, что сталось с любимыми моими картинами, и оказалось, что они, по нерадению, остались на даче как часть мебели. Тогда я стал приставать к кузену Жене, чтобы он обратился к новым обладателям дачи с предложением выкупить эти семейные драгоценности. Однако за это время владельцы успели узнать, что картины эти редкостные, и потребовали с Жени довольно крупную сумму. Когда же Женя через двадцать-тридцать лет пожелал с ними расстаться, я устроил продажу этих картин Оливам, и наконец, я ;ке постарался, чтобы вся роскошная обстановка Оливов 5 была в первые годы революции превращена в художественно-бытовой музей. Когда этот интереснейший комплекс был раскассирован, наши мнимые Каналетто попали в Эрмитаж. Однако тут они были переименованы и значатся теперь под более скромными именами Баталиоли и Дзупьо, что, впрочем, не мешает им оставаться прекрасными и высоко-мастерскими произведениями.

¾38‵ *h 2Õ· Дядя Сезар*

настроение и из бесед домочадцев между собой понял, что дяде очень плохо, что он умирает. Мысль, что я сейчас увижу умирающего, приговоренного к смерти и, вероятно, вовсе не желающего умирать человека, показалась мне столь невыносимой, что я даже не пошел к нему навстречу, когда в доме поднялась суматоха, означавшая, что дядя Сезар прибыл. Я сел за рояль и по своему обыкновению попробовал развлечь себя импровизацией. Но не успел я взять несколько аккордов, как услыхал приближение сложного шума, состоящего из топота многих людей, говора, приказаний. Это вверх по лестнице со двора несли дядю, несли его в кресле преданный камердинер Тимофей и кучер Ермолай. Позади шли мои кузины, миссис Кэв п семенила своими крошечными ножками Талябина, Дядя Сезар, исхудавший и изменившийся до неузнаваемости, сидел с ногами, покрытыми пледом, над головами других, и это прискорбное подобие триумфа медленно и осторожно продвигалось мимо меля в сторону кабинета. Не забуду никогда того взгляда, который дядя на миг остановил на мие, стараясь мне улыбнуться и произнося с необычайной для пего нежностью слова: «Здравствуй, Шуренька». О, эта страдальческая улыбка пе имела уже ничего общего с той, которая мне казалась надменной и которая чуть обижала меня. Это была бесконечно печальная улыбка человека, безвозвратно прощающегося с жизнью и

сознающего тщету всего земного.

Дядю живым я уже больше не видал, а когда через две педели я снова пришел на Золотую улицу, то дом был полой народу. Но не пировать на сей раз пришли эти гости, а пришли они проститься с тем, кого уже не стало. Стояла жара, но пе дивными ароматами был полон воздух, а зловещим духом тления, который не удавалось заглушить ни благовон-ньшп куреииями, ни густыми облаками ладана.

Дети дяди Сезара, последовавшие за его гробом в Петербург, где состоялось погребение (если я не ошибаюсь, на Волновом кладбище, где были похоронены и отец и дед дяди Сезара), не пожелали затем возвращаться туда, где еще только что жизнь для них была такой радужной и прелестной. Но хозяйственная Талябина пе могла перенести, что даром пропадут сокровища знаменитого огорода, и помня, что я был лакомкой, любил малину и черную смородину, она распорядилась, чтобы хотя бы я мог воспользоваться этой роскошью. Вот мы, т. е. я и мой закадычный друг Володя Кинд, запасшись огромной корзиной, отправились на Золотую улицу, а через два часа «работы» на огороде дяди Сезара покинули его, столь нагруженные всякими плодами, что пришлось взять извозчика, чтобы добраться до дому, ибо ноша показалась не по силам. Таким образом я в последний раз побывал на моем любимом огороде, но уже в качестве форменпого грабителя. В последний же раз я увидал то пространство, что некогда было занято дядиным огородом, в 1924 г., когда я приехал в Петергоф для отбора картин из дворцов, достойных попасть в Эрмитаж. За все истекшие годы я много бывал в Петергофе и даже прожил в нем целых три лета, однако я всегда избегал заглядывать на Золотую улицу, тут же меня одолело искушение взглянуть на

I, /, 20. Дядя Сезар

139

аиресто детских моих радостей. Лучше было бы этому соблазну не подда-©атъся. Картина, представшая передо мной, оказалась прямо-таки трагической. То место, что было отведено под Кавосский огород, расстилалось ©о всю ширь и во всю длину, по ни малейших следов прежних бесчисленных грядок с их чудесными произрастаниями ие осталось, и все поросло высокой сорной травой. Самой дачи тоже не существовало. <...>

Правда, курьезный павильон еще стоял, но, боже, в каком виде! Точно корабль, наскочивший на подводную скалу, здание раскололось пополам, *ж* обе половины угрожающим образом накренились одна к другой, готовые каждую минуту окончательно рухнуть. Эта картина развала чего-то жне

особенного дорогого была до того разительна, что подумалось, уже не заставила ли меня прийти сюда какая-то сила — нарочно, чтобы преподать особенно наглядный урок о тщете всего земного? Однако если это и было так, то урок пропал даром, Я по-прежнему остался верным поклонником прошлого, ревностным хранителем и собирателем старины.

Перед тем как покинуть этот зачарованный в моей памяти мир, мне хочется еще остановиться на нескольких обитателях дачи дяди Сезара. С одними из них я продолжал и впоследствии часто встречаться и общаться. другие же, напротив, после смерти дяди как-то сразу исчезли из моего кругозора навсегда. Всего страннее, что такое исчезновение произошло и с обеими моими подругами, с Инной и с Машей. Попав под бдительную и ревнивую опеку своей старшей сестры Сони, они и после целого года строжайшего траура редко затем появлялись на семейных собраниях, да, пожалуй, Маша — та и вовсе не выезжала. Инна вскоре затем вышла замуж за полковника Лашкевича, тогда как бедняжка Маша, болезненная, жалкая, почти совершенно оглохшая, не выдержала своего одиночества и угнетавшей ее тоски и, поселившись в Неаполе, отравилась серными спичками. Ей было в это время не более двадцати пяти лет. Ее самое я уже не видал, так как привезенный из-за границы гроб ее стоял в Сергиевской церкви закрытым. Маша была маленького роста, худенькая, хрупкая, во всем своем облике необычайно трогательная. Очень подходило к этому облику то, что она писала стихи и некоторые из них, отличавшиеся, при всей своей наивности, неподдельным чувством, мне очень нравились. «Поэтичная» и столь трагично погибшая Маша Кавос не была при этом какой-либо взбалмошной истеричкой. Напротив, она была сама простота, и бывали дни, когда она была жизнерадостна, весела, и с нею чаще, чем с другими, случались приступы беспричинного безудержного смеха. Была она и страстной любительницей чтения. Чаще всего ее можно было видеть с книжкой в руках, но только, разумеется, в те годы, о которых я вспоминаю (ей было не больше 14-16 лет), не разрешалось барышням «хорошего круга» читать иное, нежели всякие fadenrs *, английские и французские. Летом ее главной забавой был крокет, которому она отдавалась с неистовством. Только она да я могли заниматься этой тогда модной игрой часов но пяти подряд и доходить при этом до полного одуре-

* Скучные, нудные книги *(франц.)*.

ния. Страстно предавалась она и бегу на «гигантских шагах»,

единственному спортивному развлечению в те годы. Особенно любила Маша, чтобы ее «заносили», да и участники бега охотно производили с ней заноску, потому что легкая, как перышко, она взлетала выше всех и неслась по воздуху, как сильфида. Еще сближало меня с Машей ее поклонение скульптуру Оберу, гостившему целыми месяцами у дяди на даче, во флигеле под мавритано-русским бельведером.

Об Обере речь будет впередиG, он занимает в моей жизни и в моем художественном развитии исключительное место, но здесь я все же упомяну хотя бы об его способности смешить молодежь. Самые скучные дождливые дни проходили на Золотой улице, благодаря всяческим дурачествам милого Артюра, в бурно-веселом настроении. Обер ко всему находил какой-то остроумный, шутливый подход, и сам при этом первый веселился больше всех. Однажды вышла даже большая пеловкость именно из-за нашей привычки вместе с Обером веселиться. Приехали к Каво-сам с визитом две какие-то важные дамы, и Соня принимала их в гостиной с подобающей церемонностью, заставив и нас при этом присутствовать. И вот среди самых чинных скучнейших разговоров из угла, где мы сидели с Обером, раздалось сдавленное хихиканье, перешедшее сразу в самое неприличное прысканье, Маша же, задыхаясь от смеха, принуждена была даже убежать в другую комнату. И попало же нам тогда и от Сони, и от миссис Кэв, и от моей мамы. Соня решила даже сделать внушение Оберу, который был лет на двадцать старше ее и уже приобрел известность как выдающийся художник. Но Обер изобразил такое раскаяние, и это, в свою очередь, было до того комично, что и Соня не выдержала и рассмеялась.

Инна была самая миловидная из трех сестер. Она несколько походила на свою красавицу-мать, но было в ней что-то общее и с моей мамой. Я относился к ней, как к сестре, но уже рано стал чувствовать и ее женственную прелесть. И в данном случае поговорка, которую я не раз слышал, оказалась правильной, и я стал испытывать эту правильность на самом себе в отпошешш Инны. Я как-то по-особому замирал, когда находился в ближайшем соседстве с ней и еще более, когда мог к ней прикоснуться. Это бывало, например, во время бега на «паджане» * или во время игры в горелки, когда доходила до нас обоих очередь, убегая от «горящей», схватить друг друга и даже обняться. Наконец во время нашего пребывания в течение целого лета на даче дяди Сезара в 1881 г. я уже почувствовал нечто вроде определенной влюбленности, и в моем ребяческом воображении стали рисоваться сцены очаровательного счастья в обществе Инны. Но роман этот, точнее, намек на роман не принял

более определенных очертаний, а после смерти дяди мы и видаться с Инной стали редко, и никогда больше в той интимной обстановке, которая создавалась сожительством под одной кровлей. После ее замужества я не встречался с ней больше раза или двух в год, да и то только на каких-

* От pas de géant *(франц.)* —гигантских шагах.

/, /, 20. Дядя Сезар\½i

яиба многолюдных сборищах, а там у Инны пошла размолвка с мужем кончившаяся разводом и новым замужеством. Нашла ли Инна счастье со вторым мужем, из-за болезни которого она должна была жить годами в Швейцарии, я не знаю. Последний же раз я увидал свою подругу детства в 1916 г. Она неожиданно пришла посоветоваться со мной, стоит ли ее дочери заниматься искусством, нахожу ли я в ней талант. Она принесла с собой рисунки этой девушки, но я теперь не помню, что они представляли собой и каков был мой ответ и мой совет. Запомнился мне только несколько официальный тон Инны и то, что она обращалась ко мне па «вы». Несомненно, таких же прелестных воспоминаний о годах, прожитых вместе, у нее не сохранилось.

Кроме Маши и Инны, семья дяди Сезара состояла из старшей дочери Софьи и единственного сына Евгения. Если до сих пор я не говорил о них, то это не потому, что они не играли никаких ролей в доме, а потому что они для меня представлялись уже принадлежавшими к разряду «больших» и «старших». Впрочем, кузен Женя был само добродушие и благодушие; он был закадычным другом моих братьев Люди и Коли, разделял их спортивные увлечения, ко мне же он относился если не свысока, то с несомненным безразличием— ведь между нами была разница в десять или двенадцать лет. Ближе я с ним познакомился и лучше оценил его, когда из каких-то соображений меня на время поместили в его прелестную комнату, всю увешанную портретами знаменитых скаковых лошадей, и тогда на сои грядущий он стал меня удостаивать небольшими беседами. Мне нравилось при этом полное отсутствие в Жене покровительственного тона и его обращение со мной, мальчуганом одиннадцати лет, как с равным.

Напротив, главный недостаток кузины Сони в моих глазах заключался как раз в том, что она неизменно и недвусмысленно выражала свое какое-то превосходство над младшим поколением и что она даже позволяла себе делать нам замечания в довольно обидном тоне. Теперь, когда я смотрю на все это издалека, познав по долголетнему опыту жизнь со всеми ее требованиями, мне кажется, что Соня справлялась со своей ролью сестры, заменяющей мать при сиротах, с тактом, но в те дни я был

мальчиком своевольным, до крайности избалованным и самолюбивым, и естественно должен был приходить в столкновение с теми, кому надлежало следить за порядком и ладом в доме. Хорошо воспитанная Соня никогда не выходила из себя, не вспыхивала раздражением и была очень ровна и очень спокойна. Но от нее исходили запреты, и она же с явной укоризной молчала, когда не могла не сердиться на мои проделки. Мне не нравился и вообще ее гордый вид, прищуренный взгляд ее близоруких глаз, ее манера держаться, выражавшая, как мне казалось, большое самодовольство. Особенно меня злило, когда она в элегантной амазонке и с цилиндром на голове галопировала на своем гнедом коне. Мне не нравился ее певучий, несколько томный, в нос, говор, больше же всего меня огорчали подарки, которые делала Соня на елку, по об этом будет рассказано в своем месте.

142

/, /, 20, Дядя Сезар

Жизненная судьба Софьи Цезаровны была в некоторых отношениях. более счастлива, нежели судьба ее сестер. Она пользовалась отличным здоровьем и дожила до глубокой старости. Вышла Соня замуж согласно свободному выбору за известного в те времена врача Владимира Гавриловича Дехтерева, и ей удалось образовать в своем доме род литературно-художественного салона, в котором бывали всякие знаменитости, что несомненно льстило ее самолюбию. В ее нарядной гостиной, увешанной венецианскими зеркале -ш из палаццо дедушки и теми же портретами Беллоли, которые когда-то мне очень нравились в доме ее отца, я, например, слышал пение знаменитой Ферни Джермано и чтение стихов маститого Я. П. Полонского. Бок о бок с поэтами и художниками восседали на прелестных стульях, крытых белым шелком, знаменитости русской адвокатуры и разные политические деятели либерального толка. Дехте-ревские дети, три мальчика, росли, как все «кавосята», прехорошепькими, и Софья Цезаровна ревностно следила за их образованием. Словом, со стороны глядя, все обстояло благополучно,— во всяком случае до того момента, когда она овдовела. Но была ли Соня и в самый свой цветущий период по-настоящему счастливой, познала ли она истинную радость жизни, в этом я сомневаюсь.

Трудно, например, себе представить, чтобы она, такая разборчивая и брезгливая, могла страстно и нежно любить этого громоздкого, неотесанного бородача, каким был ее супруг, напоминавший видом вагнеровских первобытных героев вроде Фафпера или Гундиига. Во всяком случае, вся наша родня относилась к этому «Гаврилычу» с иронией, и так же относились к

нему мои друзья Дима Философов и Сережа Дягилев. У Философова, впрочем, были на то особые причины. В студенческие годы Дех-терев был один из деятельных ревнителей освободительного движения и даже «ходил в народ», сея среди мужиков семена того, что он и с ним несметные русские люди считали за самое доброе и святое. Он был в этой своей роли до того характерен, что удостоился даже быть изображенным в карикатурном виде в романе «Новь» 7. Тургенев использовал при этом хвастливые признания самого Дехтерева, содержавшиеся в одном из его писем к Анне Павловне Философовой, пересланном этой музой русского либерализма великому писателю в порыве ее восторженного увлечения Дехтеревым. Дима же Философов никаких увлечений матери не разделял и, напротив, питал к таким дилетантам революции непреодолимое отвращение.

Последние мои встречи с кузиной Соней происходили уже в эмигрантской обстановке в Париже. От всей прежней роскоши не оставалось и воспоминания. Правда, ее старший сын имел обеспеченное положение в Лондоне, куда он и звал свою мать, но она предпочитала делить нужду со своим младшим сыном, безнадежным неудачником, в Париже, где этот несчастный и покончил с собой в 1938 г. После этого Софье Цезаровне ие имело смысла дольше оставаться во Франции, **она** перебралась в Лондон и вскоре там умерла.

*I, I, 20. Дядя Сезар*j43

* * *

Не могу пройти молчанием еще тех лиц, которые, каждый по-своему, придавали известную характерность дому дяди Сезара. То была экономка Талябина, англичанка миссис Кэв, кучер Ермолай и лакей Тимофей. Мне уже потому хочется сказать о каждом из них несколько слов, что именно к каждому из них я имел особенно близкое касательство.

Самой замечательной фигурой из них была бесспорпо не раз уже упомянутая Талябина; прозванная так моими братьями, когда они были детьми, но настоящее имя которой было Наталья Любимовна Гальнбек. Когда-то она состояла ключницей в нашем доме, но затем мама «уступила» ее своему брату, когда тот, внезапно овдовев, совершенно растерялся,— дом остался без хозяйки, дети без материнского присмотра. Талябина же представляла собой поистине образец надежности во всех смыслах. С раннего детства я помню ее крошечной старушкой, почти карлицей, со смятым, как печеное яблоко, розовым

личиком и настолько сутулой, что она могла сойти за горбунью. На голове, почти лысой, она носила старомодную черную наколку, одета же она была всегда необычайно опрятно, но незатейливый фасон ее платьев восходил по крайней мере к 40-м годам. Зимний ее туалет состоял из короткой шелковой кофточки на пуговицах и шелковой юбки без шлейфа, и того же покроя была ее летняя одежда, но материал был ситцевый. Несмотря на преклонные годы (Талябине было тогда уже за семьдесят) и на внешнюю хрупкость, Талябина никогда не болела и отличалась баснословной выносливостью и энергией. Без отдыха рыскала она своей бесшумной, семенящей походкой в мягких башмаках из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестницам, обнаруживая свой дар вездесущности, особенно на даче, где она как-то одновременно следила и за приготовлением еды на кухпе, находившейся в подвале, и давала уроки музыки и немецкого языка, успевая посетить прачечную, сад и огород. При этом Талябина вставала с зарей, а ложилась позже всех, когда последний гость отбудет, а девочки подымутся к себе в верхние комнаты. И все это она производила безропотно, без охов и вздохов, почти весело. Говорила она шепотом, что, однако, вовсе не подрывало ее авторитета. Эту маленькую старушонку все не только уважали, но чуточку побаивались,— не исключая, пожалуй, даже самого строгого и важного дяди Сезара. Говорила эта природная немка почти всегда по-русски, но на таком странном жаргоне, что понимали ее только те, кто уже имел в этом опыт. Кроме занятий по хозяйству, присмотра за тем, чтобы весь порученный ей довольно сложный механизм работал без перебоев и задержек, Талябина успевала еще давать нам уроки немецкого языка и игры на фортепиано, и как раз к самым сладко-мелаихолическим воспоминаниям о даче дяди Сезара принадлежат часы, которые я переживал за инструментом под перспективой «Каналет-то» рядышком с неумолимо педантичной и изумительно терпеливой Та-лябиной. С механической точностью отсчитывала она шепотком такты и

костлявой своей ручкой изредка стучала по крышке. О, эти томные музыкальные заседания в жару, в дурмане цветочных запахов, в окружении жужжащих мух и пчел! Как я ненавидел эти уроки музыки тогда; моментами я принимался ненавидеть и свою неумолимую мучительницу. И как мне теперь подчас остро хочется очутиться на той скамеечке, на которой надлежало (с подкладыванием двух томов «Иллюстрированных лондонских новостей») сидеть за роялем. Увидать бы снова наяву освещенный

зеленым отблеском деревьев зал, почувствовать и тот легкий, чуть кисленький запах, который шел от милой, чистенькой и усердной старушки, от незабвенной Талябины. Если я ее и мучил порядком, то все же из бесчисленных учительниц своих я именно ее больше других почитал...

У Талябины были и свои очень странные причуды. Так, она до маньячества берегла хозяйское добро, и из-за этой ее скупости возникали домашние драмы. Однажды она чуть было не отравила весь дом потому, что не пожелала заменить подгнившую от жары дыню свежей, тогда как чтобы купить эту свежую, надлежало сделать ие более полсотни шагов до той знаменитой на весь Петергоф колониальной лавки, что стояла на конце Конногренадерского канала, насупротив Золотой горы. Свежее масло также было редкостью на богатой даче дяди Сезара — все благодаря экономической диктатуре Талябины. Это не помешало мне, однако, объесться тартинками с совершенно прогоркшим маслом. Даже хлеб к утреннему кофе подавался совершенно черствый, а то и с мухами, запеченными в тесте,— это потому, что Талябина предпочитала покупать хлеб в какой-то захудалой булочной, в которой он стоил на грош дешевле, нежели у разносчиков, обслуживающих других дачников. Все эти чудачества Талябины если и ие вызывали протесты, то прощались ей во имя ее «уж очень добрых намерений». При этом надо сказать, что сама она вела совершенно аскетический образ жизни и питалась, «как птичка». В интимном кругу она восседала на верхнем конце стола и ей принадлежала прерогатива разливания супа, когда же в доме были гости, то она оставалась в буфетной, следя оттуда за порядком сервировки.

Кончила свою жизнь Талябина на службе у Инны, когда ей уже было под девяносто лет. Годы ее пребывания у дочерей дяди Сезара (после его смерти) омрачились всякими дрязгами между ней и миссис Кэв. Ненавидели эти особы друг друга от всего сердца, но пока был жив дядя, взаимная их неприязнь не дерзала проявляться наружу. Когда же девушки остались одни, то один домашний кризис следовал за другим. Что-то окончательно возмутительное произошло однажды из-за жареной корюшки («курошка», как выговаривала Талябина), которой что-то уш очень много наложила себе на тарелку англичанка. Драма эта через несколько недель осложнилась до того, что миссис Кэв предпочла покинуть дом. Однако и Талябина, недовольная тем, что ее своевременно недостаточно поддержали, не пожелала оставаться с Соней и Машей, а пересолилась к «Иннушке». Рассказ про скандал с корюшкой с тех пор стал ее любимой темой, что до слез смешило Обера, который умел навести ста-

рушку на этот сюжет, продолжавший ее волновать даже тогда, когда в всякий след миссис Кэв в Петербурге простыл...

Должен сознаться, что я при всей моей нежности к крошечной Таля-бине не менее ценил и любил этого самого ее врага — англичанку. Впрочем, эта англичанка не была чистокровной британкой, а попала она в Европу из Бостона, к тому же при весьма странных и романтических обстоятельствах. Ее муж, англичанин, но родом из России, скончался в молодых годах и перед смертью высказал пожелание быть похороненным на родине. Исполнение такой воли было в сущности немыслимо, но сознание своего вдовьего долга помогло миссис Кэв добиться своего и, истратив на подкуп нескольких лиц из пароходной прислуги массу денег, она сумела-таки перевезти труп через океан в качестве своего багажа. Оставшись по совершении такого подвига совсем без средств, она перебралась в Петербург, где благодаря знакомству с моим зятем она и попала в семью дяди Сезара. Это плаванье через море в обществе покойника придавало миссис Кэв в наших глазах романтический ореол, а ее фанатическая преданность католической церкви служила в глазах моего дяди ручательством ее моральных качеств, что, однако, не помешало ему поставить одним из главных условий требование, чтобы она отнюдь не пыталась воздействовать на религиозные взгляды порученных ее воспитанию девушек. Дядя Сезар так же, как и его брат Константин Альбертович, был убежденным «либр пансёром» * (свободомыслящим), и если он не мешал детям посещать церковь (по матери они были православными), то все же строго следил за тем, чтобы никаким излишествам религиозного характера они не предавались. Доверие, которое оказал миссис Кэв дядя Сезар, она постаралась оправдать вполне, но, в сущности, она и не старалась, ибо у нее все естественно выходило мягко и тактично. Дама она была уже немолодая, некрасивая, с горбатым «римским» носом, выдержки образцовой и в то же время очень сердечная. Не будь ее глупейших распрей с Талябиной, никто из нас не узнал бы, что она вообще может питать недобрые чувства.

Уже до того, что я стал пользоваться обществом миссис Кэв и практикой с ней английского языка, я кое-что понимал и читал по-английски, но я почти не говорил по-английски. Напротив, проведя летние месяцы 1879, 1880 и 1881 гг. на даче дяди Сезара, я приобрел в общении с миссис Кэв такую беглость в изложении своих мыслей по-английски, что не только мог участвовать в беседах, ведшихся на этом языке, но мог и писать по-английски письма как моим кузинам, так и той же гувернантке, письма,

приводившие эту добрую даму в восхищение. «My sweet Shoura, you are such a clever boy» **,— писала она мне в ответ. Но нужно прибавить, что никто так не умел «завести» разговор и не давать ему иссякнуть, как именно миссис Кэв. Говорила она отчетливо, не слишком ско-

От libre penseur *(франц.)* — вольнодумцем.

Мой дорогой Шура, ты такой умный мальчик! *(англ.)*.

•ро и без тех вульгарных гримас, которые сейчас в моде у американцев .даже хорошего общества. Американизм в ее произношении сказывался только в своеобразном произношении некоторых слов и что th она, к великому негодованию Матвея Яковлевича, выговаривала почти как «д». Но она сама каялась в дефектах своего произношения и следила, чтобы мы их не перенимали. Что же касается стиля ее изложения, то он не был лишен известной живописности, а юмор ее так и искрился. Вообще миссис Кэв вовсе не напоминала классических чопорных, сухих гувернанток, а потому все дети, попадавшие в ее круг, быстро привязывались к ней, да и она несла свою подчас не очень легкую службу не как обузу, а как бы своего рода светское развлечение.

Самые книжки, которые она читала нам или давала читать, были всегда очень милые, забавные и не страдали той шаблонной приторностью, которая часто портит детскую литературу. Но почему-то она недолюбливала Диккенса, да и вообще предпочитала американских авторов. Ииые^ и как раз очень страшные, рассказы Эдгара По я узнал из ее живых, несколько измененных пересказов, но о том, что это были именно произведения По, я не имел понятия. Иной такой рассказ длился часами, и в осеннюю пору, когда в наступившей на дворе тьме бушевал ветер и по окнам хлестал дождь, эти повествования приобретали особую силу. Подчас нам становилось до того жутко, что никто не решался один пройти хотя бы в соседнюю команту. Я и заснуть после таких рассказов не мог иначе как при непременном условии, чтобы дверь моей комнаты оставалась открытой в смежную спальню Инны и Маши. И уже лежа в своих постелях, мы перекликались, отчасти чтобы придать друг другу смелости, отчасти чтобы вспомпить еще какую-либо подробность. Со строго педагогической точки зрения такая система должна казаться предосудительной, но... для практики английского языка она приносила несравнимую пользу.

После смерти дяди Сезара миссис Кэв недолго жила с моими кузинами, и это несмотря на всю их любовь к ней. Не только одни

недоразумения с Талябиной заставили ее покинуть их дом. Уступая необоримому влечению, она переселилась в Лурд, откуда первое время она нам писала довольно часто, приглашая и нас приехать, чтобы убедиться, какие чудеса творит вера и в наши дни 8. Собраться мы не собрались, но случилось так, что однажды миссис Кэв, живя в Лурде, оказала пашей семье некоторую услугу. А именно, через нее были наведены справки о тех испанских корреспондентах, которые в письмах к моей сестре Кате неожиданно объявили себя представителями каких-то родственников Лансере, оставивших после себя миллионное наследство. Надлежало только выслать известную сумму денег для некоторых формальностей, причем надлежало хранить все это в абсолютной тайне. Моя сестра попалась на эту приманку и переслала по сообщенному адресу какого-то священника несколько довольно крупных взносов. Когда же никаких миллионов из Испании в ответ не прибыло, не прибыла и та «сиротка-племянница», зоспитанием которой должна была заняться моя сестра, то у нас заро-

дплось подозрение, пе кроется ли под всем этим мошенничество. Об этих подозрениях мы сообщили миссис Кэв, .она же потрудилась поехать в Мадрид и по наведенным там справкам выяснилось, что наша бедняжка Катенька сделалась жертвой самой банальной и прямо даже классической проделки, известной под техническим названием «испанское наследство». С течением времени письма от миссис Кэв стали приходить реже, они все более пропитывались специфическим лурдским духом, не встречавшим в нас живого отклика, и, наконец, переписка с ней прекратилась вовсе.

* * *

Третьим из второстепенных персонажей в доме дяди Сезара мне хочется назвать кучера Ермолая. Пусть тени Талябипы и миссис Кэв не оскорбятся соседством с таким «мужиком», но так оно сложилось в моей памяти, на что имеются и настоящие основания. Стоит мне заглянуть в эту часть милого прошлого, как тотчас предо мной выступают топчущаяся по комнатам старушка Талябппа или восседающая на веранде миссис или, наконец, расхаживающая но двору богатырская фигура Ер* молая Ивановича.

Ермолай не был заурядным «бонмезонным» * кучером, а был настоящей знаменитостью, красой и гордостью всего Петергофа.

Недаром императорская придворная конюшенная часть подсылала к нему вербовщиков и пробовала его переманить па царскую службу, суля ему даже честь возить самого царя-батюшку. Ермолаю больше нравилось состоять при особе «Кесаря Альбертовича». Да и относились к нему все в доме с каким-то особенным почтением, вроде того как, скажем, меломаны относятся к исключительным артистам. Зная себе цену, он благосклонно принимал поклонение и все же никогда не задирал носа и был всегда любезен и почтителен. Лишь изредка (раза два в лето) Ермолай напивался до беспамятства и тогда уже не показывался, а валялся у себя в квартире под бельведером, охраняемый своей Акулиией.

В описываемые годы Ермолаю было лет сорок; росту оп был большого, сложения могучего, с широкой, вечно улыбающейся физиономией, с черной окладистой бородой и с такими же маслом помазанными и под скобку остриженными волосами. Операцию этой стрижки производила сама его супруга, для чего клался на голову горшок из-под каши, по краю которого она и обрезала торчащие волосы. Богатырь при этом сидел не шелохнувшись, жмурясь от блаженства. Было, впрочем, в Ермолае два человека. Один был домашний или, так сказать, закулисный, «без грима и костюма», и это был видный, но все же довольно обыкновенный мужик в бархатной жилетке, из-под которой торчали рукава розовой рубашки. Этот Ермолай не гнушался того, чтобы скрести и чесать лошадей, мыть с помощью конюха экипажи и сбрую, убирать солому в стойлах. Этот же Ермолай препотешно беседовал с лошадьми, поругивал или похваливал*

От bonne maison *{франц.)* — из хорошего дома.

их. Походка у него была вовсе неважная, чуть вразвалку, а когда он выпивал лишнее, то становилась она и вовсе валкой, ковыляющей. С видом крайнего смущения и полной покорности Ермолай выслушивал выговоры и распеканции Талябины за какую-либо провинность, и странно было видеть ее крошечную фигурку перед этим стоящим в согбенной позе исполином. Но был и другой Ермолай — не простой смертный, а существо высшего порядка, удивительно раздававшийся в своем объеме благодаря подложенным под его армяк подушкам, что, однако, не мешало ему с изумительной легкостью взбираться на высокие козла. Да и подвластные ему лошади при одном легком шлепке вожжей, сжатых в белых перчатках этого сверхчеловека, превращались из обыкновенных тварей в картино-подобных копей; они поводили ушами, крутили шеями и прелестно пританцовывали, исполняясь ретивого настроения. И повезет

такой полубог свою колесницу с господами на «музыку», где надлежало стать в ряд с другими экипажами, а то покатит ои их в «Рамбов», как называл он Ораниенбаум, или но Английскому парку. И выходило, что настоящий господин или герой именно он, а те, что сидели за его спиной в открытом ландо, вроде как бы только его подручные. Хорошо было катить под ритм дружно и ровно цокающих копыт. А захочет Ермолай показать удаль, то слегка только причмокнет или вполголоса крикнет, и уже мчимся мы вихрем, обгоняя всех, и даже великокняжеские экипажи, что, в сущности, не полагалось. В 1881 г., в первое лето после воцарения Александра III, чуть ли не на каждом перекрестке парка были расставлены конвойные казаки, и вот завидит такой конный часовой нашу коляску и приготовится к тому, чтобы отдать честь, принимая сидящих в ней за августейших особ. Нас эти ошибки очень забавляли, особенно льстило моему ребяческому тщеславию, что меня (все благодаря Ермолаю) принимают за государя-наследника. С подобающей величаво-милостивой улыбкой и я кивал опешившему казаку, старавшемуся справиться с приплясывающим конем и приложить руку к папахе.

И что же, этот колосс, этот полубог оказался более хрупким, нежели карлица Талябина. Не прошло и десяти лет с этих наших торжественных выездов, как Ермолая отвезли на кладбище. Уже кончина любимого барина его потрясла в чрезвычайной степени, а через год наследники объявили ему, что они больше не нуждаются в его услугах. Барышни Кавос сочли благоразумным избавиться от лишнего штата, дабы получить возможность когда вздумается уехать за границу, а Евгений Цеза-ревич — тот вообще не был охотником до помпы, а к тому же, женившись, и он отбыл в чужие края, где, по своей беспечности, сильно порастряс отцовское наследство. К чему тут было держать такое чудо-юдо? Ермолай с горя запил, а там, глядишь, у этого геркулеса обнаружилась чахотка, превратившая его через несколько месяцев в жалкую тень.

С Ермолаем никак не мог тягаться бледный, испитой, худенький камердинер дяди Сезара Тимофей, но и ему мне хочется посвятить хоть несколько слов, не лишенных доли благодарности. Я очень ценил этого тихого, услужливого, богобоязненного человека с грустным, несколько

стертым лицом. Бог не одарил его ни выгодной наружностью, ни какими-либо особыми, приличествующими его роДу деятельности талантами; его способности не шли далее толкового служения за столом, образцовой чистки сапог и платьев,

содержания всего барского имущества в порядке. Но все, что делал Тимофеи, было полно чего-то достойного и успокоительного. Он презирал суету и излишнее усердие. В нем было много и других качеств, много здравого смысла. С ним приятно и полезно было поговорить. Он и на чаи брал без всякой униженности, благодаря за них как подобает человеку, их заслужившему. Если Ермолая я охотнее всего представляю себе восседающим олимпийцем на козлах, то Тимофея вижу склоняющимся в утренний час надо мной со словами: «Пора вставать, Шуренька, уже все за кофием сидят». Он же с ласковой улыбкой предлагал мне вторично отведать какого-либо любимого блюда, вроде ракового супа пли пудинга под сабайоном *. Тимофей еще долго оставался при моих кузинах. В этом тщедушном и печальном человеке оказалось больше жизненных сил, нежели в его веселом и великолепном сослуживце.

Глава 21 ДЯДЯ КОСТЯ КАВОС

Перечитывая свой рассказ о дяде Сезаре, я замечаю, что очень мало говорю о нем самом. Но это объясняется тем, что он скончался, когда мне было всего тринадцать лет и когда, в сущности, он как-то проходил на горизонте всего того, из чего составлялась моя жизнь. Кроме того, в течение даже тех месяцев, которые мы проводили у него на даче, он подолгу отсутствовал, уезжая летом за границу. Напротив, о дяде Косте, о нем самом я имею рассказать гораздо больше, так как он вполне во-шел в мою жизнь, и, повзрослев, я мог в течение нескольких лет лучше изучить его, оценить и полюбить. Но характеристика и его не будет каким-либо всесторонним исследованием, а передает лишь мои отроческие и юношеские впечатления о нем.

Константин Альбертович Кавос был вторым братом моей матери, года на два старше ее. Молодым я его уже не застал, помню же я его с самого раннего детства и до его кончины в 1890 г. все в одинаковом, пе менявшемся облике маленького сухонького господина с длинным прямым носом, с черными короткими усами на бритом лице и с черной без проседи волной хорошо приглаженных волос. Он не был щеголем, вроде своего брата Сезара, он скорее предпочитал придавать своей наружности некоторую стушеванность, но он все же всегда был одет безукоризненно. Только воротничок рубашки он повязывал черным бантом à la Лавальер, и одна эта деталь придавала ему некоторый оттенок «художественности».

* От sabayon *{франц.)* — сладкой подливкой, соусом.

Кроме того, от него всегда пахло утонченными духами, что было редкостью среди мужчин. Держался он несколько сутуловато, ходил же дядя Костя удивительно размеренной походкой, ступая вывернутыми наружу носками. Была у него и своеобразная манера здороваться с меньшей братией и сестрой. Он подавал нам «на французский манер» левую, а не правую руку и одновременно подставлял свою гладкую выбритую щеку для поцелуя. Однажды, лет восьми, я позволил себе при этом довольно безвкусную шутку. Вместо того, чтобы поцеловать щеку дяди, я ему* тоже подставил свою, и обе щеки стукнулись. Дядя только усмехнулся, но долгое время после того он, здороваясь, отстранял меня рукой на значительную дистанцию, не допускавшую совершения ритуала, что я принимал не без огорчения и обиды.

Вообще я дяди Кости чуточку чуждался, но совершенно в другом роде, нежели я чуждался дяди Сезара. Дядю Сезара я по-настоящему боялся, а порою, обижаясь на его замечания, принимался даже его ненавидеть. Дядя Костя не переставал быть для меня милым дядей, и я питал к нему известную нежность, но эти чувства я хранил про себя и с такой примесью почтения, которое исключало всякую пламенность. Позже, в отроческие годы, я даже вздумал во многом подражать дяде Косте; заговорил его размеренной речью, начал выступать, выворачивая носки. Глупее же всего то, что, подражая ему, я стал горбиться. Мою сутуловатость следует в значительной мере приписать такой имитации импонировавшего мне образца — ведь вообще зачастую в аналогичных случаях «атавистические побуждения» руководят детьми. Воображая, что во мне больше кавосских элементов, нежели унаследованных от семьи Бенуа, я именно в дяде Косте видел квинтэссенцию «кавосизма», и именно это меня пленило.

По месту своей службы дядя Костя считался «дипломатом», но я должен это слово поставить в кавычки потому, что в сущности он был просто чиновником министерства иностранных дел, где, впрочем, он дослужился до чина тайного советника и до Анненской ленты через плечо, чисто же дипломатических миссий он не получал, но, состоя в продолжение многих лет присяжным переводчиком и будучи посвящаем в иные и очень сокровенные тайны международных отношений, он и сам носил на себе отпечаток чего-то таинственного, почти заговорщического, что вообще подходило к «дипломатическому стилю» тех дней. Дядя Костя и шутил и смеялся так, как тому учила школа Меттернихов и Горчаковых,— всегда с каким-то загадочным видом, давая почувствовать, что за тем, что сказано, кроется более

значительный смысл. Смеялся он не громко, а как-то про себя, чуть хмыкая и лукаво при этом оглядываясь, как будто он остерегался, чтобы его слов или его смеха кто-нибудь не подслушал. Смеялся он, впрочем, редко, зато улыбался часто и опять-таки с видом, что под улыбкой следует подразумевать нечто колючее, язвительное. Эта вольтеровская улыбка имела свойство особенно раздражать его брата Михаила Альбертовича, убежденнейшего либерала и гуманнейшего идеалиста. Сам же дядя Костя исповедовал взгляды «приличе-

/, /, 21. Дядя Костя Кавое\§

ствующие взглядам государственного человека». В людскую доброту и добродетель он абсолютно не верил, в международных дружбах усматривал один материальный интерес, во внутренних мероприятиях стоял за manière forte*. Он был усердным читателем «Голоса» и «Нового време-ни» *. Иные грубые, но талантливые фельетоны и пасквильные пародии Буренина доставляли ему особенное удовольствие. Среди же исторических фигур ос особенно почитал Тьера, Бисмарка, питая некоторую слабость и к Наполеону **III.**

Как почти все в нашей семье, дядя Костя был завзятым западником, тогда как ко всему характерно русскому он относился скорее пренебрежительно, а подчас и с нескрываемым презрением. Русское государство он чтил, русскую культуру готов был терпеть, но «русский стиль» он ненавидел, будь то в обыкновенном быту, в произведениях искусства или ь проявлениях государственной власти.

Так, мягкосердечие, растерянность и непостоянство Александра **II** были ему противны. Всякая расхлябанность, несдержанность в чувствах, способствующая созреванию опасных непоследовательностей в людях, стоящих у власти, он клеймил как особенно тяжкие грехи. «Корсет» моральный и политический казался ему первым условием человеческого благополучия. Впрочем, он не столько заботился о благополучии, сколько о порядке, о порядочности, о джентльменской выправке, о возможности сосуществования отдельных людей и целых народностей благодаря взаимной корректности и хотя бы фикции взаимного уважения.

В русском театре дядя Костя бывал в исключительных случаях, и тогда умел оценивать отдельные таланты и «сочность» всего ансамбля, не впадая при этом в какой-то патриотический преувеличенный восторг, вообще же русскому театру он безусловно предпочитал иностранный. Во французском (Михайловском) театре у него была абонементная ложа и, несмотря на занятость, он пропускал редкий спектакль, тонко

разбираясь в достоинствах и недостатках исполнителей; о самих же драматических произведениях он обыкновенно не высказывал суждений; мне кажется даже, это его как-то «мало касалось». Театр был для него тем» 4-ю для другого бывает спорт и чем для него же самого служила карточная игра,— каким-то развлечением и отдохновением. Он был особенно силен в винте, которому оп посвящал в Английском клубе несколько вечеров в неделю. Вообще Константин Альбертович находил удовольствие в том, когда комбинация слов, положений, чувств (да, пожалуй, и взаимоотношения звуков и красок) складывались в стройный порядок. Всякое нарушение его, всякое столкновение, всякий неразрешенный диссонанс вызывали в нем досаду, а ипогда и гнев.

В его гневности, в его горячности, не так уже редко прорывавшихся наружу через весь меттерниховский и талейрановский стиль, сказывалась итальянская основа его характера. Я, впрочем, не думаю, чтобы такие прорывы происходили **у него на** службе или на заседаниях тех банков и

* Крутые меры *(франц.)*.

компаний, в которых он был директором или членом правления. Зато довольно часто эти взрывы получались за семейными обедами, когда после супа появлялся вечно опаздывавший его (единокровный) брат, дядя Миша Кавос и «sur le tapis» (в порядке дня) ставилась какая-либо животрепещущая тема, часто им самим припасенная специально для этого момента. Пока дядя Миша «догонял» других и молча ел традиционную «минестру аль ризо», дядя Костя только лукаво взглядывал на негˆот пряча за пазуху острие своего оружия, но уже за рыбой перчатка оказывалась брошенной и подхваченной. Впрочем, не всегда спор заншгался сразу: иногда оп разгорался со значительным запозданием, но и в таких случаях атмосфера семейного симпозиума насыщалась особенным электричеством, которое затем разражалось настоящей, не лишенной патетичности грозой. Перепалка между дядьями достигала высшей напряженности за десертом, и уже оба антагониста с яростью кричали друг на друга, причем моя мама то и дело в ужасе восклицала: «Костя, не горячись, тебе это вредно».

Особенно запомнился мне тот жестокий спор, что возник по поводу национальных похорон, устроенных в Париже Виктору Гюго (1885). Дядя Костя не находил слов, чтобы клеймить такое «безвкусное преувеличение, ту нелепую (в его освещении) эффектность», с которым Франция почтила своего великого человека. Впрочем, он лично не любил Гюго, а памфлет его по

адресу «Наполеона маленького» 2 он прямо считал гнусным поклепом. Напротив, дядя Миша почитал Виктора Гюго и всю его, пусть и напыщенную, но все же вдохновенную проповедь свободы, душевного благородства и т, д. Поэтому та грандиозная церемония, в которой Франция решила выразить свое благодарное и благоговейное поклонение, представилась ему вполне естественной и заслуженной. Мне, впрочем, казалось тогда, что они оба правы поочередно, и именно с этого спора я как-то по-особенному полюбил слушать обоих. Меня восхищала их темпераментность, то самое, что жило во мне и просилось наружу. Нравился мне и специфически итальянский характер таких турниров.

Дядя Костя, имевший в себе одну итальянскую кровь, без примеси иной, если и не произносил никаких панегирик в честь Италии и, в частности, итальянского искусства, то все же стоял на страже того, чтобы ;<ero Италию» не задевали и не оскорбляли. Напротив, возможно, что в хяде Мише говорила значительная примесь русской крови и немного немецкой (так как мать бабушки была немка) и благодаря этому он не только не выступал паладином Италии и всего итальянского, а был склонен разделять общее тогдашнее мнение о безнадежном упадке этой стра-ш. И на подобные темы была истрачена обоими братьями баснословная масса пламенности, в особенности когда дело касалось итальянской му-1ыки и итальянской оперы. Но тут однажды произошел и инцидент, очень 1еожиданно прервавший спор. Бабушка Ксения Ивановна, возмущенная ì своем итальянском патриотизме (несмотря на то, что в ней не было и <апли итальянской крови), швырнула через весь стол салфеткой в своего :ына, приняв со всей ей присущей пылкостью сторону своего пасынка,

*1,1, 21. Дядя Костя Кавос*153

причем она свой жест сопроводила на самый российский манер возгласом: «Молчи, дурак». Дядя Миша тогда очень обиделся на мать, и, вероятно, дома у них последовало объяснение по всем статьям, но самый спор был вмиг прекращен и уже в тот вечер не возобновлялся.

Эта бестактная выходка бабушки очень огорчила и моих родителей. Вообще же ни тот ни другой из них в обеденных спорах участия не принимали, разве только иногда один из спорщиков обратится к папе по поводу какого-либо вопроса как к авторитетному специалисту. Но и подобные заключения отца, высказываемые в его обычном мягком тоне, выслушивались без особенного внимания, так как комбатапты* спешили вернуться на поле брани. Папочка не успевал сообщить требовавшуюся

справку, как уже оба они, стуча пальцами по скатерти и стараясь перекричать друг друга, с прежней яростью возобновляли свои доказательства. В этих же спорах обоих дядьев принимали иногда деятельное участие мой зять Женя Лансере и его закадычный друг Зозо Россоловский. Кузен Сережа также получил право голоса, но лишь после того, как он окончил «Правоведение».

Рано овдовев, дядя Костя поручил воспитание единственной дочери Ольги своей свояченице Екатерине Анжеловне Камниони. Эта дама, хоть и носила итальянскую фамилию, однако принадлежала к совершенно обрусевшей семье, к тому же исповедовавшей православие. Тетя Катя Камниони была маленькая, смуглая, очень некрасивая женщина, с некоторыми замашками «благожелательной важности». Улыбка не сходила с ее сжатых губ, а руки были всегда скрещены па животе под удивительно мягким и теплым оренбургским платком. Все это вместе придавало тете Кате приятную уютность. Лучшими месяцами своего существования она почитала те, что проводила на водах, преимущественно в Киссингене и в Мариенбаде, где-она сводила весьма лестные знакомства и где она, несмотря на некоторую щекотливость своего положения, могла сходить за барыню неоспоримо лучшего тона. В Петербурге она вела замкнутый образ жизни, но замкнутость эта не носила какого-либо предосудительного характера. Правда, ни для кого не было тайной, что тетю Катю с дядей Костей связывают не одни только отношения, получившиеся вследствие того, что она заменила Оле ее покойную мать, но эта «узурпация» произошла так давно, сожительство этих двух уже далеко не молодых людей носило столь корректный характер, что никому не приходило в голову их за это упрекать. Только как раз со стороны дочери дяди иной раз возникали довольно гневные упреки, переходившие в бурные объяснения. Но эти скандалы бывали только в первые годы после выхода Ольги из института, да и они происходили в самой строгой интимности, я же узнавал о них потому, что обе стороны обращались затем к моей маме, которой удавалось мирить отца с дочерью и заставить последнюю идти с повинной к воспитавшей ее, не без труда и некоторых жертв, тетушке. Вообще же тетя Катя участвовала в общей нашей семейной

От combattants *(франц.)* — противники.

154/» /# *%1· Дядя Костя Кавое*

жизни на самых почетных началах. И папа и мама относились к ней **с** такой же лаской, с какой они относились к прочим близким родным. Впоследствии тетя Катя сделалась почти нашей ежевечерней гостьей,— благо для этого стоило ей перейти площадку парадной лестницы, на которую выходили двери

квартир и нашей и ихней.

Вообще полное сближение обеих семей стало возможным с тех пор, как дядя Костя переселился в наш дом. До этого он занимал казенную квартиру в доме министерства иностранных дел на Большой Морской. Эта квартира была в верхнем этаже, выходила окнами во двор и не была особенпо привлекательной. В моем детском представлении она уже и вовсе не казалась парадной потому, что у мамы, в ее частых посещениях брата и тети Кати, выработалась довольно странная привычка: мы попадали туда не через парадный вход, а через наполненную чадом кухню, где хозяйничала толстенная и малоапиетитная кухарка Васильевна. Каким образом могла сложиться в те совершенно нормальные времена такая ненормальная привычка, я не сумею объяснить, возможно, однако, что тут действовала просто всегдашняя деликатность мамочки, нежелание заставлять эту самую Васильевну (других прислуг в те времена у дяди не было) бежать на своих распухших ногах по длинному коридору к парадной двери, о существовании которой я даже и не подозревал. Ход же через кухню, по моим понятиям, означал некоторое убожество, и именно впечатление какого-то убожества я и выносил из моих посещений дяди Кости, несмотря на то, что комнаты у пего были увешаны картинами и уставлены вовсе не бедной мебелью. Вследствие того же у меня в те времена образовалось отношение к дяде, вроде как бы к бедному родственнику.

Надо прибавить, что в этом обиталище дяди Кости царила (для меня в особенности) убийственная скука. Ведь кузина Оля, воспитывавшаяся в Смольном институте, никогда, кроме как на рождественские праздники, не приезжала домой, и мне приходилось коротать целые часы в обществе мамы и тетушки. Мама брала меня с собой специально для прогулки, чтобы я подышал «свежим воздухом», а я в данном случае повиновался и шел безропотно, так как путь наш лежал через Морскую, а там меня притягивала огромная роскошная витрипа магазина Кумберга (типа позднейших универсальных магазинов) и еще более то, что было выставлено насупротив в низеньких окнах «Иностранного магазина», где всегда на прельщение младшего поколения бывали расставлены оловянные солдатики и всевозможные hi рушкп — сущий рай для детей.

Насладившись лицезрением этих чудес, надлежало затем лезть на четвертый этаж по довольно темной лестнице с тем, чтобы попасть в объятия толстухи Васильевпы, неистово принимавшейся меня чмокать в обе щеки, что я ненавидел пуще всего, а там, вслед за этим обрядом, приходилось провести в

томительном бездействии часа два, пока обе дамы не переберут все интересующие их темы (самого дядп Кости при этих дневпых посещениях не бывало дома, так как он паходился на службе). Меня несколько притягивал письменный стол в кабинете дяди, **весь уста-**

вленный бронзовыми статуэтками, среди которых особенно меня пленяли два пресс-папье с изображениями Петра Великого — одно из них в миниатюрном воспроизведении знаменитого памятника Фальконета, другое, изображавшее Петра, спасающего гибнущих на Ладожском озере. Однако мне строго было запрещено до чего-либо дотрагиваться или что-либо сдвигать с места...

И вот однажды, именно в этой скучнейшей квартире дяди Кости, передо мною открылся целый неведомый мир. Меня уже давно интриговал деревянный ящик с двумя круглыми стеклышками на покатой крышке, что стоял в столовой перед окном. Однако тетя Катя Кампиони каждый раз, когда я спрашивал, что это такое, отводила мое любопытство разными предлогами,— она, видимо, опасалась, как бы я, не дай бог, не попортил этой вещи. Но однажды, желая от меня отвязаться *и* меня чем-либо занять, она посадила меня на высокий стул перед ящиком и пригласила взглянуть через стеклышки во внутрь ящика. И тут-то я мгновенно застыл от восторга. Предо мной на зеленом кресле, свернувшись калачиком, покоилась чудесная киска. Она спала сладчайшим безмятежным сном. Каждый волосок ее серого, с очаровательной правильностью разрисованного меха отделялся один от другого, составляя все же в целом одну сплошную, восхитительно заманчивую поверхность, а под носиком киски торчали, как тончайшие хрустальные прутики, длинные усы. Один вид зажмуренных глаз говорил о тех роскошных сновидениях, которыми упивался этот очаровательный Васька и которые вызывали на его сомкнутых устах род блаженной улыбки. Вообще всякий представитель и всякая представительница кошачьей породы вызывали (да и но сей день вызывают) во мне своеобразный восторг, а тут этот кот был тем более пленителен, что он был недоступен, что его нельзя было погладить и разбудить, что он имел в себе что-то сказочно зачарованное. Вот лежит тут под носом, спит, чуть что не дышит, а все же это только «так кажется» и, если захочешь тронуть, то иод рукой окажется одна лишь наклеенная на картон бумажка-фотография. Самое замечательное, что мой восторг от этого единственного в своем роде кошачьего портрета не остыл до самого сегодняшнего дня. Благодаря щедрости моего брата

Михаила, унаследовавшего многое из имущества дяди Кости, я впоследствии стал обладателем этой спящей киски, снятой и отпечатанной еще в те дни, когда Францией правил Наполеон III. Эту картинку я захватил с собою в эмиграцию, и она до сих пор тешит меня иногда своим олицетворением блаженного покоя.

Но, кроме кота, волшебная коробка дяди Кости содержала массу интересного. Тетя Катя научила, как нужно медленно вертеть ручку, вставленную в бок коробки, чтобы перед взорами проходили всевозможные изображения. Вслед за котом я увидел и чужеземные города — Париж, Рим, «родную» Венецию, пальмы Египта и льды глетчеров — чего-чего только не оказалось в этом удивительном ящике. Наглядевшись досыта одной картинкой, я вертел ручкой, и тогда картинка проваливалась куда-то в неведомое, а вместо нее возникала откуда-то другая. Пока новый

сюжет был только в пути, он казался плоским куском картона с двумя одинаковыми изображениями, а когда он вставал на нужное место, то обе эти картинки вдруг сливались в одну, и тут возникали перед мной не картинки, а сущая правда. Именно эта правдивость доставляла мне, безотносительно к сюжету и в силу одной своей чудесной иллюзорности, неописуемое наслаждение. Теперь я уже не докучал маме и тете все учащавшимися вопросами: «Когда же мы пойдем домой?», я оставался час и более в молчаливом оцепенении, не уставая разглядывать то обледенелые стенки ходов, проделанных в снежных завалах, то какую-либо тирольскую деревушку, каждый домик которой делился и лепился с удивительной отчетливостью. Одна из картинок изображала накрытый для чаепития стол, за которым сидели дети. Приятная дама с гладкой прической, вроде тех, которые еще носили тогда дамы постарше, грозила пальцем девочке, «вылито похожей» на одну из моих кузин, тогда как другая с видимым наслаждением опрокидывала чашку в рот; третья девочка в чем-то провинилась — ив наказание ее поставили к стенке в смешном колпаке на голове. Еще одна картинка мне полюбилась чрезвычайно. Она изображала столь значительный в детской жизни момент укладывания спать. В слабо освещенной, уставленной кроватями комнате «мама» наблюдала за тем, чтобы ее дочки отдали перед спаньем известную «дань природе»; одна уже сидела на горшочке, другая, постарше, в ожидании своей очереди стояла рядом, подобрав юбки. Все это мне казалось выхваченным из нашей же жизни, причем, разумеется, ничего предосудительного мне в голову не могло прийти — до того все было здесь знакомо и обыденно.

Были среди огромной коллекции стереоскопических карточек

дяди Кости и довольно пикантные сюжеты. Для взрослых, для понимающих, они, пожалуй, представляли собой известный соблазн, но мне, не понимающему, они тогда казались просто более скучными, чем другие. Почти все они изображали дам не очень привлекательных, с лицами очень обыденными. Эти дамы то отдыхали на диване, то читали книжку, то причесывались перед зеркалом, причем каждый раз оголены были руки, плечи, грудь, а из-под высоко задравшейся юбки виднелись ноги в белых чулках и прюнелевых башмачках. Это был типичный «артикль де Пари» * — товар, который привозили с собой и очень солидные люди, вроде дяди Кости, в память о веселых днях, прожитых на берегах Сены, или хотя бы рассказов об этих днях.

Много-много раз я видел все те же картинки, которые когда-то были вставлены в стереоскопический аппарат и с тех пор не менялись; я не подозревал, что данная серия может быть заменена другими изображениями, что у дяди припрятаны еще целые массы их. Но как-то раз меня ожидал сюрприз,— все картинки в аппарате оказались невиданными, и тогда тетя Катя открыла секрет, как эта замена производится. С тех пор я уже стал требовать все новых и новых картинок и не успокаи-

От article de Paris *(франц.)* — парижское изделие.

/, If 21. Дядя Костя ¶Саеос

157

вался, пока мне таковые не вынимали с* заповедной этажерки в кабинете. Вскоре я сам выучился вставлять картинки в предназначенные для них проволочные рамочки, приделанные к вращающемуся турникету, и с этого дня передо мной ставился весь снятый с этажерки ящик с его богатствами, я же до одурения разглядывал эти чудеса. Теперь я не только уже не звал мамы домой, но и сердился,, когда меня отрывали от этого занятия.

Возникшая тогда у меня стереоскопиая мания осталась затем на всю жизнь. Впоследствии я составил свою собственную коллекцию карточек, во много раз превосходившую дядину, а когда я стал заниматься фотографией, то первым долгом приобрел себе два съемочных стереоскопических аппарата, благодаря которым моя коллекция значительно обогатилась изображениями нашей семейной жизни, а также видами наших загородных дворцов и садов. Все эти драгоценнейшие документы я, увы, не мог взять с собой в эмиграцию, тогда как «спящую киску», «девочек за чаем» и «девочек, ложащихся спать», я взял, и эти картинки по сей день в любой момент позволяют мне окунуться в наслаждение, подобное тому, которое я познал, когда мне было пять лет. Пожалуй, в проснувшемся тогда инстинкте разглядывания изображений более, чем в чем-либо другом,

впервые выразилось мое живописное призвание.

* * *

В отдаленные годы моего детства (до 1880 г.) дядя Костя оставался для меня фигурой относительно далекой. Встречал я его не более раза в месяц и почти всегда па каком-либо семейном обеде — то у нас, то у дяди Сезара. У себя же дядя Костя в те годы обедов не устраивал, вероятно, из экономии. Крайне редко встречал я и его дочь, мою кузину Олечку, «гостившую» у себя дома лишь во время рождественских каникул. 25 декабря устраивалась крошечная, сохранявшаяся из года в год искусственная елочка, а самое празднование происходило в формах крайне интимных и скромных, не то что у нас или у других родственников и знакомых. В связи с «черным ходом» и это способствовало тому, что я был невысокого мнения о средствах дяди Кости. Летом он нанимал в Петергофе дачу, а Олечка ходила в самых простеньких платьицах, ничем не отличаясь от своих кузин Кампиони — Жени и Маши, родители которых были людьми скромными и малозажиточными.

Наконец, и то, что дядя Костя при всяком случае рекомендовал соблюдение чрезвычайной расчетливости, не свидетельствовало в моем представлении об его богатстве. Запомнился мне такой глупейший, но все же характерный случай. Как-то в Петергофе, зайдя к нам рано утром, он взял меня с собой пройтись в соседний Английский парк. Прогулка, проведенная в столь необычайный час, получила удивительное вознаграждение. Не успели мы зайти за чугунные «готические» ворота парка и сделать шагов тридцать, как мое внимание было обращено на что-то, блестевшее у самой дороги в траве. Оказалось, что то блестит

j58*I» ї> Я*- Дядя Костя Кавос*

металлическая ручка очень хорошенькой, совсем новенькой детской тросточки — как раз мне, шестилетнему, по росту. Я был в восторге от своей находки, дяденька же, совсем как в нравоучительной книжке для детей, счел своим долгом прочесть целую мораль: «Ты видишь, мой друг (иначе, как «мой друг», дядя ни к кому из близких пе обращался, не делая разницы ни по полу, ни по возрасту), ты видишь, как полезно рано вставать. Мы вошли в парк первыми и вот нашли эту вещь. Если бы пришли позже, то ею воспользовались бы другие» и т. д. в том же роде. Долгое время после этого я оставался при убеждении, что по утрам улицы бывают усеяны потерянными драгоценностями и что мусорщики, подбирая их, становятся со временем «ужасно

богатыми» людьми.

От дяди Кости слышал я и нравоучительный рассказ о том, с чего началась карьера тогдашнего богача, «русского Ротшильда»— барона Штиглица- В юности Штиглиц будто бы очень нуждался и тщетно искал себе заработка. Однажды он явился к одному банкиру, у которого в банке открылась вакансия, но банкир не пожелал брать человека без всякой рекомендации, и бедный Штиглиц покинул подъезд банкира, убитый своей неудачей. И тут-го и случилось то, что произвело полный поворот в его фортуне. Несмотря на все свое огорчение, Штиглиц заметил лежавшую на мостовой булавку, нагнулся, поднял ее и аккуратно засунул себе за отворот сюртука. Банкир все это увидел в окно и вынес сразу столь выгодное впечатление о достоинствах молодого человека, главным образом об его бережливости, что позвал его обратно и для пробы дал ему какую-то бухгалтерскую задачу. Штиглиц прекрасно с иен справился; через два дня он уже сидел в конторе, принимая участие в «общей работе», а в дальнейшем он получил ответственное место в том же банке, после чего он взобрался по всем ступеням финансовой иерархии и стал самостоятельным банкиром и миллионером, одним из самых богатых людей не только в России, но и на всем свете. И еще другой, не менее нравоучительный и не менее наивный рассказ я слышал от дяди Кости, на сей раз об известном кондитере в Петербурге — Ландрине. Фабрика Ландрина стояла на том же Екатерингофском проспекте, на который выходил одним фасадом и наш дом. Она была мне хорошо знакома по упоительным запахам шоколада и всяких сластей, соблазнительно ласкавших мое обоняние, когда я проходил мимо. Явился Ландрин в Петербург босоногим, нищим мальчишкой, но изворотливый его ум, а еще более выдержка и, главное, бережливость помогли ему в несколько лет составить весьма значительное состояние. Начал он с того, что коптил сахар на свечке и получавшиеся таким образом леденцы продавал на улице. Леденцы его имели успех и постепенно доставили ему известность. Но долгие годы Ландрин не позволял себе отходить от своего первоначального образа жизни, он только копил и накапливал, пока нажитое не составило сумму, давшую ему возможность сначала открыть лавку, а там обзавестись и фабрикой. И снова дядя Костя на этом примере настаивал на необходимости придерживаться принципа береж-

ливости. Увы, эти семена попадали на неблагодарную почву. Его племянник так делового отношения к жизни и не приобрел, а остался в финансовом отношении сущим калекой и уродом, о чем

он искренне и постоянно сожалеет.

И вот внезапно произошла радикальная перемена во всей манере дяди Кости. Случилось это в 1880 г., в момент, когда Оля окончила институт и, как говорили в старину, «заневестилась». Дядя выразил желание поселиться в нашем доме, на одном этаже с нами, и это так соблаз* нило маму, что она решилась на шаг, который показался бы немыслимым при других обстоятельствах. Ей пришлось попросить стародавних жильцов и к тому же наших хороших знакомых Свечинских «очистить место». Но дяде Косте оказалась мала их довольно поместительная квартира, и пришлось выселить еще и жильцов рядом со Свечинскими. Всю анфиладу комнат стали сразу в летние месяцы отделывать, и уже осенью того же года дядя мог въехать в свое новое обиталище. Жертвой этого переустройства стала между прочим прелестная, украшенная колоннами, гостиная Свечинских, так как из нее, с прибавлением соседней комнаты, была образована большая зала, настолько обширная, что в ней в одну из следующих зим можно было соорудить сцену для домашнего спектакля.

Как только работы были окончены, дядя Костя с тетей Катей и Олечкой переехали к нам в дом и стали нашими ближайшими соседями. Когда все было готово, мебель расставлена, картины, зеркала, портьеры и занавески повешены, меня поразило, до чего эта новая квартира дяди не похожа на ту, в которой он жил на Морской. И откуда только взялись эти изящные диванчики, столики, люстры, лампы и бра, рояль и ковры, что заполнили и украсили залу? Да и в новом кабинете дяди до чего все выглядело парадно и внушительно, хотя кабинет был устав-лен теми же предметами, которые мне были знакомы с давних пор. При этом ничего здесь не носило гого несколько случайного характера, какой господствовал у нас, вероятно, вследствие частых, вызываемых семейными обстоятельствами переборок. У дяди все стало точно на специально заготовленные места с тем, чтобы уже никогда не передвигаться и всегда говорить о том, что здесь живет человек с солидным состоянием, а к тому же и с хорошим вкусом.

Кое-что приобрело даже несколько официальный характер. Теперешний кабинет дяди годился бы для министра, зала с голубой обивкой мебели была настоящей парадной комнатой, предназначенной для многолюдных и блестящих приемов, столовая с ее закусочным буфетом и с огромным обеденным столом сулила великолепные пиршества, и это обещание она сдержала — нигде я так вкусно не едал, как на тех обедах, которые дядя устраивал теперь через каждое воскресенье, тогда как другие семейные обеды, но менее изысканные, происходили

по очереди у нас или у дяди Сезара. Были и уютные комнаты в этой квартире дяди Кости; мне особенно правилась комната тети Кати, в своей передней части служившая чем-то вроде будуара, в своей задней, за матерчатой перегородкой, спальней. В передней части так приятно было си-

деть на штофных креслицах и на диванчике, а драпировка, разделявшая комнату, придавала всему впечатление теплоты и замкнутости.

Естественно, что дядя не пожалел денег на то, чтобы его единственная дочь Оля забыла о казарменности институтских дортуаров и почувствовала бы себя, наконец, действительно дома, в теплом, приятном гнездышке. Ей досталась последняя, залитая светом комната, имевшая в плане круглую форму. Была она угловой и выходила и на Никольскую и на Екатерингофский проспект. Стены были обтянуты чинсом3 с большими яркими цветами, и такой же материей были обтянуты мягкие стулья, кресла и диван, а на всю комнату был постлан бархатный ковер. Попадая в эту комнату, не хотелось ее покидать. Меня особенно тянул в Олину комнату книжный шкаф, на полках которого стояли сомкнутым строем томики в разноцветных переплетах с золотым тиснением. Почти все эти книги были французские, а значительная часть их принадлежала перу графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Это собрание я досконально изучил в несколько месяцев. В другом шкафчике береглись игрушки, когда-то служившие Оле, и среди них была большая коробка с бесчисленными миниатюрными предметами кукольного хозяйства. У меня была особенная страсть как раз к таким карликовым вещицам. Расставляя их и рисуя себе при этом жизнь каких-то крошечных существ, я сам как бы превращался в одного из моих любимцев — в Гулливера среди лилипутов.

* * *

Теперь сам дядя Костя стал нашим завсегдатаем. Каждое утро около десяти он являлся и проходил прямо к маме, с которой у него были длинные разговоры — почти всегда финансового характера. Под его руководством и через него мама производила операции с покупкой и продажей бумаг, и как будто благодаря этим операциям одно время мы стали обладателями довольно значительного состояния. Но затем, к концу 80-х годов, произошел какой-то крах, приближение которого проглядел хитроумный дядя Костя, и все это богатство так же быстро

растаяло, как образовалось. Дядя тоже пострадал (я помню расстроенные и озабоченные лица обоих), но все же он скоро успел наверстать потерянное, так что к моменту его кончины капитал дяди исчислялся в 800 000 рублей. Сумма была немаловажная (капитал давал около 40 000 годового дохода) и позволила впоследствии наследнице дяди Кости вести столь же «полный» образ жизни, какой вели другие наши семейные богачи: мой брат Леонтий с женой, дети дяди Сезара и другие.

Возвращаюсь еще раз к семейным обедам, так как они играли в нашем быту большую роль. С момента поселения дяди Кости на Никольской улице и особенно после смерти его брата Сезара они вошли в окончательно утвержденную систему. Обеды у нас чередовались через неделю с обедами у соседей. К обедам у дяди Кости я спачала относился с некоторой опаской, как к чему-то скучному, но затем постепен-

I, 1, 21. Дядя Костя Кавос¾gˆ

но я к ним пристрастился. При всей своей расчетливости дядя оказался великим хлебосолом и тонким знатоком гастрономической части. Древнюю расхлябу Васильевну сменила первоклассная кухарка — настоящая мастерица. Особенно же дядино угощение славилось обилием закусок. Дядя сам ездил выбирать деликатесы к Смурову и к Елисееву, где он прислушивался к советам и рекомендациям преданных ему приказчиков. Он лично заведовал и погребом, в котором водились разнообразные отборные марки, но особенно прекрасны были рейнские вина. Солидной парадностью отличалась и сервировка. Серебро было массивное и тяжелое, скатерти и салфетки ослепительно белые, посуда, хрусталь — высшего качества. Среди стола красовались три вазы с отборными фруктами, а на тарелочках мейсенского фарфора были разложены специально заказывавшиеся конфеты от Кочкурова, на которые с самого начала обеда я кидал полные вожделения взоры. Мое место на этих обедах у дяди Кости было всегда на самом конце стола, между кузеном Сережей и дядей Мишей Кавос. И вот тут, незаметно от «главных старших», я мог тешить свое пристрастие к сладкому тем, что урывками схватывал то одну, то другую палочку, кругляшку или шарик — все сказочно вкусные вещи. Напрасно мама с другого, почетного конца делала мне знаки, чтобы я от этого воздерживался: соблазн становился только еще более сильным. В первые годы обеды у дяди Кости не представляли для меня иного интереса, нежели именно такое потворство моим плотоядным инстинктам, «духовное же содержание» этих обедов не доходило до моего сознания. Но по мере того, как я рос, я стал более внимательно прислушиваться к

возникавшим между старшими спорам, и эти «контроверсы» людей остроумных и на редкость культурных сослужили немалую службу моему развитию. Бывало, на наших домашних обедах мне делалось скучно, и тогда я под каким-нибудь предлогом покидал столовую и удалялся к себе в комнату, возвращаясь только к десерту **. Но на обедах у дяди Кости я не позволял себе подобных вольностей уже из-за одного уважения к нему, и вот постепенно я стал интересоваться тем, что говорилось, и меня начал пленять азарт, с которым велся спор. Вначале мне казалось, что каждый последний говорящий был абсолютно прав, но позже я стал чувствовать все большую солидарность с одной партией и соответственную враждебность к противоположной. В общем, я был на стороне более идеалистической, и подчас меня возмущали ультра-позитиви-стические и узко-материалистические взгляды самого дяди Кости, едкое остроумие которого я все же не переставал и тогда оценивать по достоинству.

В очень ранних летах я при таких приступах скуки за семейным обедом умудрялся соскальзывать под стол, где оказывался в совершенно особенном сумрачном мире, в чем-то вроде длинного мрачного зала, в котором роль колонн играли ножки стола, а кариатид — панталоны мужчин и юбки дам. Удивляло меня и то, что пол был здесь усеян крошками и объедками, которые я из одпого озорства, забыв о своей брезгливости, подбирал и совал в рот. Иногда мне в этом «подстолье» держали компанию собаки и кошки.

/, /, 21. Дядя Костя Кавос

Беседа обрывалась за кофием, который подавался в дядином кабинете, дамам же и «дамским кавалерам» — в зале. Главный спорщик дядя Миша, выбрав себе из великолепного старинного ящика сигару (у дяди Кости был всегда целый ассортимент сигар очень высоких сортов; сунув в этот ящик нос, я вкушал с особым удовольствием шедший из него сложный аромат), под предлогом, что ему нужно спешить в другое место или в театр, покидал семейное сборище, и с этого момента все как-то затухало. Красивый, статный, всегда облаченный в генеральский мундир лесного департамента Павел Анжелович Кампиони, милейший перс Мирза Казим-бек Абдинов, сослуживец дяди Кости по министерству иностранных дел и единственный его приятель, садились за винт; с кузиной Олей и ее подругами я не находил тем для разговоров, и единственным моим развлечением оставались все те же стереоскопы, в разглядывание которых я погружался, открывая все новые и новые прелести: аппарат в

таких случаях и ящик, вынутый из этажерки, ставились на стол перед кожаным дедушкиным диваном, в мое распоряжение предоставлялась лампа с шаровидным колпаком, и тут, сидя под большой «Венерой» Падованино, я в продолжение часа и больше отдавался лицезрению любимых карточек, напряженно разглядывая каждую деталь па них.

Иногда, впрочем, дядя вынимал из библиотечного шкафа карельской березы ту или иную книжку специально для того, чтобы отвлечь меня от стереоскопа, якобы портящего зрение. Но книжки у дяди Кости были куда менее интересные, нежели те, что составляли папину библиотеку. Меня еще занимала многотомная зоология, но все тонко раскрашенные изображения в ней я знал наизусть, а книжки научного содержания или скудно иллюстрированные сочинения исторические не могли удовлетворить мою жадность до всего изобразительного. Для полноты упомяну, что в зале на отдельном овальном столе лежал толстенный альбом с фотографиями самых знаменитых и самых популярных картин Дрезденской галереи, а рядом с ним три тома в роскошных переплетах —«Мозаики». Это были кипсеки большого формата с гравюрами на стали. В Дрезденской галерее меня особенно притягивала в те годы пробуждающейся чувственности картина Чиньяни: «Иосиф и жена Потифара», а в «Мозаиках» картина Маклейза, изображающая тот спектакль, что дает Гамлет при дворе короля Клавдия. В этой очень толковой композиции меня пленила, так сказать, «режиссерская часть»— то, как все было размещено и уравновешено в группах; к тому же эта картина изображала спектакль, и уже этого было достаточно, чтобы меня притягивать.

В общих же чертах жизнь этих обеих семей, так тесно связанных родственными узами, протекала в мире и дружбе, и только для меня лично этот лад был нарушен по моей вине в 1887 г., когда я случайно услыхал несколько иронический отзыв дяди Кости о моем романе с той, в которую я был без памяти влюблен и которой впоследствии суждено было сделаться моей подругой жизни. Сейчас я решительно не помню, что сказал дядя Костя, но, обуреваемый «ультрарыцарскими» чувствами»

/, ї, 21. Дядя Костя Кавос

я считал долгом выказывать их при каждой оказии, а посему, не задумываясь, я «вычеркнул)) дядю Костю за его провинность из круга моих знакомых. Напраспо мама увещевала меня изменить отношение к любимому брату, напрасно меня моментами сильно тянуло отказаться от принятой нелепой позиции, напрасно во мне иногда заговаривали соображения чревоугодия (мне становилось

особенно обидно, когда все наши собирались на обед к соседям, где, я знал, будут подаваться самые вкусные вещи),— верный своему решению, я оставался дома, довольствуясь тем обыденным, что готовилось у нас для младшего поколения Лансере. Все это сопровождалось еще и страданиями совести. Уже одно то, что мое поведение огорчало мамочку, вызывало во мне мучительные угрызения, но, кроме того, ведь я и сам продолжал любить и чтить дядю, а тут, в силу данного глупейшего обета, я при встречах еле отвечал кивком на его ласковую улыбку, а то проходил мимо, «не замечая его». Эта «опала» дяди началась осенью 1887 г. (одновременно за подобные же провинности моей опале подверглись и тетя Лиза Раевская и наша бывшая гувернантка мадемуазель Леклерк и еще несколько близких лиц) и длилась эта опала целый год. Кончилась она как-то сама собой, просто потому, что стыд за свою мальчишескую глупость взял верх над тем, что я почитал своим долгом.

Увы, недолго после того я еще пользовался обществом моего дорогого дяди. Проболев несколько недель, он скончался от сердечного припадка на пасхальной неделе 1890 г. В первый раз я понял «обреченность» дяди Кости, встретив его как-то на нашей парадной лестнице. Поднявшись всего ступеней десять, дядя присел на первой промежуточной площадке на креслице и тяжело дышал. Я до этого еще не видал столь явственной иечати смерти на чертах близкого человека, и вид этого перекошенного лица меня ужасно напугал и огорчил. Я бросился к нему, чтобы как-нибудь помочь, но он только замахал на меня рукой, указывая, чтобы я проходил мимо. Несомненно он страдал не только физически, но и нравственно. Ему было «стыдно» внезапно почувствовать себя таким слабым и униженным — ведь в каждом недуге есть что-то унизительное, какая-то насмешка судьбы, и это особенно должны чувствовать люди с таким гордым характером, каким обладал Константин Альбертович. И как раз за несколько дней до этого случая (и тогда, когда еще ничто не предвещало роковой развязки) я видел дядю во сне до того печальным, до того бледным, что я даже заплакал. Сон оказался вещим.

То был первый припадок грудной жабы, заставший дядю па лестнице, но уже через две недели он новторился в более сильной степени. Все же дядя продолжал себя вести как здоровый человек, бывал на службе и вечера проводил в клубе, куда он добирался в наемной карете (собственных лошадей он не держал). Однажды дяде сделалось дурно, когда он переступал порог дома, и его пришлось нести наверх — те двадцать ступеней, что отделяли его квартиру от улицы. С этого момента он стал, так сказать, официально значиться болеющим, доктора его навещали по два

раза в день, а **он,** облекшись **в халат,** медленно бродил по комнатам

6*

или отлеживался на диване в кабинете. Последний раз я видел дядю Костю живым, когда я явился с мамой его поздравить на Пасху2*. Он сидел в кабинете в своем довольно-таки поношенном шлафроке, желтый, восковой, со впалыми щеками, с тусклым светом в глазах. Однако на устах по-прежнему играла его тонкая «вольтеровская усмешка». Как раз то была эпоха, когда я до безумия увлекался мейнингенскими спектаклями 4 и даже мечтал поступить в герцогскую труппу, что, разумеется, немало вредило моим занятиям в гимназии. Для начала и для того, чтобы больше походить на актера, я даже сбрил бороду и усы. Мамочку мое решение очень тревожило, но, верная своим принципам, она не считала себя вправе противодействовать тому, в чем, как я уверял ее, я видел свое призвание. Все же она попросила брата как-либо меня урезонить. И вот, выслушав жалобу мамы, дядя Костя оживился, в глазах забегали искорки иронии, и он залился своим молчаливым смехом. А затем он протянул мне свою иссохшую, холодную, как лед, левую руку и, обратясь к сестре, молвил «Ne t'inquiète pas, Camille, cela va passer, ce n'est pas sérieux *. Это просто забавная мальчишеская блажь». И что же, благодаря этим словам умирающего дяди, мою блажь (мое «призвание» было действительно блажью) как рукой сняло, и если мир благодаря этому лишился нового Гаррика, Росси или Сальвини, то я лично от этого остался только в выигрыше.

Эти слова дяди Кости особенно глубок© запали мне в душу потому еще, что они оказались чем-то вроде предсмертного наставления. Через неделю его уже не стало. Я сидел за роялем и разбирал по нотам сцепу в лесу «Спящей красавицы», которой я тогда до полной одури увлекался. И как раз я дошел до веселенького «танца маркиз», когда раздались один за другим несколько нервных звонков на парадной, за которыми сейчас же последовал тревожный стук в дверь, когда же дверь была отперта, то вбежала Оля в полном горестном исступлении, с глазами, наполненными ужасом и слезами. Она на ходу повторяла одну и ту же фразу: <sllane дурно, папе дурно, нужно сейчас доктора, папа умирает». Тотчас же я помчался за одним из докторов, лечивших дядю, и с трудом его отыскал в женской палате для тяжелобольных Обуховской больницы. Доктор сначала отказывался прерывать начатый обход, но я все же убедил его, особенно настаивая на том состоянии, в котором находится дочь больного. Однако прибытие привезенного мною врача оказалось

лишним: он нашел уже бездыханный труп. То была третья из близко меня касавшихся утрат. Четвертой, о горе, была смерть мамы, последовавшая почти через год после смерти ее любимого брата.

2* В сущности, поздравлять дядю Костю со светлым Христовым воскресеньем было, пожалуй, лишним, т. к. он был человек неверующий. Ото его «свободомыслие» выражалось, между прочим, н в том, что он никогда ничего не дарил племянникам на Рождество, зато всегда являлся с чем-нибудь довольно роскошным на Новый год.

* Не беспокойся, Камилла, это пройдет, это не серьезно *{франц.),*

/, I, 22. Другие дяди Кавос\q§

Глава 22 ДЯДЯ МИША И ДРУГИЕ ДЯДИ КАВОС

В сущности, я дядю Мишу оценил только с того момента, когда стал прислушиваться к спору старших во время семейных обедов. До этого времени брат мамы '* (сын бабушки Ксении Ивановны) занимал меня исключительно тем, что он систематически на те же семейные обеды опаздывал и появлялся в дверях столовой тогда уже, когда все, закусив, сидели за супом. В этот именно момент, точно по расписанию, слышалась тяжелая поступь дяди, а через секунду он входил с виноватым видом, окидывая глазами общество. Неизменно ему каждый раз за это опаздывание попадало от папы, для которого соблюдение обеденного часа было чем-то священным, на что дядя Миша, помня, что когда-то мой отец носил его на руках, не обижался, а покорно извинившись и наскоро закусив, садился на свое место. Но этот растерянно покорный тон скоро сменялся другим и очень «крепким». Это случалось, как только затрагивалась какая-либо злободневная тема. Иногда дядя Миша сам провоцировал спор, привезя из города, где он делал свои воскресные визиты, ту или иную сенсацию. Иногда сюжет «подавался» дядей Костей и на лету подхватывался его младшим братом.

Я уже говорил выше, какое впечатление произвел на меня спор по поводу национальных похорон Виктора Гюго, но не менее горячие споры запомнились мне о картинах Репина, выставлявшихся на передвижных выставках. «Не ждали» в 1884 г. и «Убийство сына Иваном Грозным» в 1885 г. Особенно же как-то раз рассвирепел Михаил Альбертович, когда неугомонный забияка Зозо Россоловский без всякого «решпекта» коснулся особы баронессы Варвары Ивановны Икс куль. Баронесса была предметом рыцарского культа дяди; попросту говоря, он был в течение многих лет влюблен совершенно безнадежно в эту действительно пленительную чаровницу. Целыми днями он

просиживал у нее, да и она питала если и не какие-либо пламенные чувства к нему, то известную нежность, что особенно сказалось, когда он, уже болея грудной жабой, на довольно долгий срок нашел гостеприимное убежище в ее хоромах и когда она самоотверженно за ним ходила, пренебрегая даже своими светскими обязанностями. Но вот баронесса Икскуль, которую Репин увековечил в знаменитом портрете «Дамы в красном платье» (с лицом под черной вуалькой) *, была вообще притчей во языцех — и даже очень злых языцех — петербургского общества. Иные ее недолюбливали за ее слишком передовые взгляды, дамы же завидовали ее красоте, ее успехам. Все это были сплетни, ни на чем не основанные, однако одна из них, принесен-

** Младший брат мамы Иван Альбертович Кавос жил почти безвыездно на Кавказе, и видел я этого красивого, полного, беспечного и, кажется, не очень задачливого дядю Ваню всего раза три в жизни. Умер он в сравнительно молодых годах около 1890 г., с его же вдовой я познакомился (в Белграде) только в 1930 г,

ная В. С. Россоловским, повергла однажды за нашим патриархальным обедом паладина баронессы Михаила Кавос в настоящую ярость. Зозо Россоловский, в сущности, милый и сердечный человек, отличался вообще бестактностью и поминутно кому-нибудь наступал на мозоли, данная же гневная вспышка чуть не привела к дуэли; насилу моим родителям удалось успокоить Михаила Альбертовича, что же касается Зозо, то он охотно принес повинную, после чего не без некоторого журения был прощен.

Род настоящей дружбы между мпой, семнадцатилетним юношей, и моим пятидесятилетним дядей завязался около этого времени — в 1887 г. До этого нашему сближению уже способствовало увлечение театральными представлениями — мейнингенцами и Вирджинией Цукки. Тогда дядя Миша увидел, что едва замечаемый им за длинным семейным столом мальчик такой же ярый театрал и поклонник божественного искусства Мельпомены, Талии и Терпсихоры, каким он был сам. Но в 1887 г. и моя страсть к книгам получила особенную пламенность, я стал их забирать десятками у своего поставщика Эриксона, и вот разглядывание разных новинок повело к сближению. Когда я «открыл Беклина», то мне доставило особую радость, что дядя Миша уже имел представление об этом художнике и даже был очень высокого о нем мнения. В течение нескольких лет, приблизительно до 1891 г., мы только и делали, что возбуждали ДРУ1' друга восторгами от новых произведений «гениального

Арнольда». Теперь дядя уже не спешил сразу после кофия покинуть семейпое сборище, но забирался ко мне в «Красную» комнату и тут при тихом свете керосиновой лампы шло изучение всяких новых увражей или только что прибывших последних номеров заграничных художественных журналов. Иногда к нам присоединялся Сережа Зарудный, изредка брат Леонтий, мой племянпик Женяка Лансере и мои гимназические товарищи, приходившие по воскресеньям к вечернему чаю. Всем им очень импонировал мой высококультурный дядя.

Но из-за этих же моих товарищей начались и первые мои размолвки с дядей Мишей. Его раздражало наше молодое всезнайство, необузданное желание эти наши знания выказывать и навязывать другим. Особенно действовал ему на нервы Валечка Нувель — его апломб, его дурные манеры. Спорить с таким недорослем-гимназистом Михаилу Альбертовичу, приятелю знатнейших писателей и художников, казалось зазорным, и он избрал для парирования Валечкиных наскоков особый насмешливый тон. Подчеркивая то, что в Валечке было еще мальчишески незрелого, дядя прозвал его «кресс-салатом», по аналогии с той своеобразной травкой, которая играла известную роль в петербургской гастрономии и выращивалась парниковым способом в крошечных корзиночках. Кресс-салат мог служить олицетворением комнатной скороспелой культуры. И вот пропасть между всей нашей группой и дядей Мишей стала постепенно расти; он как-то принялся остерегаться нас, его раздражало то, что такие молокососы «тоже что-то о себе воображают». В разряд «кресс-салата» попали уже мы все, не исключая язвительного Димы Философова и присоединившегося к нам в ту пору Левушки Бакста.

/, I, 22. Другие дяди Кавос\$¡

Догало и до ссор. Мне особенно памятна одна, когда мне захотелось поразить дядю Мишу только что полученным из-за границы изданием «Die deutschen Malerradierer» *, где, между прочим, были воспроизведены и три очень эффектных офорта Макса Клингера. Но дядя Миша не только не разделил моего восторга, но и жестоко раскритиковал эти офорты, а меня высмеял. Выражая свое презрение, он иронически переделал само заглавие этого сборника из «Malerradierer» в «Mal-radierer» **. Я так тогда обиделся, что наговорил любимому дяде разных дерзостей и даже объявил ему, что вычеркиваю его из списка своих знакомых. Ссора длилась недолго, но какой-то холодок в наших отношениях с тех пор появился. Свое недовольство мной дядя выразил, между прочим, в том, что прервал показывание мне своих коллекций, среди которых меня особенно прельщали

литографии Гаварни и Домье. Оба художника были у него собраны в значительной полноте,— возможно, что эти листы достались в наследство от его отца, от моего деда Альберта Кавос.

Одна из запомнившихся последних встреч с дядей Мишей произошла в 1894 или в 1895 г., но на сей раз не в семейной обстановке, а в гостиной Мережковских. Это был первый мой визит в компании с Валечкой Нувелем уже знаменитым в те дни супругам-поэтам2. Хоть мы и очень храбрились, однако, очутившись в таком ультранередовом салоне, мы почувствовали себя порядком смущенными, тем более что хозяйка дома избрала в обращении с нами слегка насмешливый тон. Помню и тот вопрос, с которым, усадив нас прямо на пол перед камином, она обратилась: «В каком же роде вы декадентствуете?» Но постепешю мы стали осваиваться, не без удачи отвечать па ее язвительные колкости, а уже через час разговор принял вполне свободный характер, и как раз на тему о пашем неприятии всякого декадентствования. И вдруг хозяйка вскочила на обе ноги и побежала в соседнюю столовую, откуда послышались ее визгливые возгласы: «Миша пришел, здравствуй, Миша», после чего в гостиную вошел под руку с «Зииовеей Гиппиус»... почтенный мой дядюшка. Тут его близорукие глаза различили нас, греющихся перед камином, «совсем как у себя дома», и едва ли это ему понравилось. Одно было под слегка пьяную руку выпить брудершафт с уже прославленной петербургской Сафо и позволять ей «грациозно забываться» в общении с ним, почтенным «общественным деятелем», а другое — найти непредвиденными свидетелями такого ущерба собственному достоинству родного племянника, да еще в компании с раздражавшим его забиякой. С другой стороны, ему было, пожалуй, и лестно, что он предстал перед нами в виде «совершенно своего человека» в таком недоступном для профанов святилище.

Милый дядя Миша. Несмотря на свои иногда и очень язвительные замечания, он был само благодушие, а некоторое тщеславие его было очень безобидного характера. Мне думается даже, что именно из-за этих

«Немецкие художники-граверы» *(нем.)*.

Из «художников-граверов» в «скверных граверов» *(франц., нем.),*

1ß8*1 > I» %2· ДрУгие дяди Кавос*

черт из него, при всем его уме и образованности, «ничего не вышло». Он вполне удовлетворялся небольшими малозначащими и тут же проходящими «салопными» успехами. Сознавая, что его

остроумие создает ему известный ореол, он этим довольствовался и пренебрегал более существенными достижениями.

Служил он с давних времен в петербургской земской управе. Место это было невидное и малодоходное, однако он все же как-то гордился им. Он и выбрал такую общественную карьеру по убеждению, так как состояние на государственной службе противоречило бы его либеральным В31лядам. Будучи человеком усердным и дотошным, он пользовался в управе всеобщим уважением, но, разумеется, служба эта не могла ни в малейшей степени удовлетворять его, поклонника муз, в духовном смысле. Надо отметить еще ту странность, что этот наиболее культурный член нашей семьи сам никакими художествами не занимался. Зато несомненно, что я ему обязан многим, особенно тем, что в раннем возрасте встретил в близком родственном общении человека, который с абсолютным пиететом относился к искусству и обладал способностью разбираться в нем.

Дядя Миша скончался летом 1897 г. в Петербурге, в то время, когда я со своей маленькой семьей жил за границей, в Бретани. Его смерть потрясла меня не менее, нежели смерть дяди Кости. С его уходом завершилась очень важная страница не только моей личной молодости, но и молодости всего нашего кружка. Он умер в год, когда только назревал наш журнал «Мир искусства», но, увы, приходится сознаться, что если бы ои еще продолжал жить, он едва ли приветствовал бы выступление на общественной арене тех самых людей, которых он только что величал «кресс-салатом». В характерной полемике между нами и Репиным 3 он, наверное, принял бы сторону последнего против нас. Прибавлю еще, что если уже нам было горько увидать врага в лице Репина, художника, которого мы особенно чтили, то мне лично было бы особенно грустно оказаться в том лагере, против которого дядя Миша считал бы нужным ополчиться.

* * *

Для полноты семейной хроники необходимо еще рассказать о трех членах семьи Кавос, которые мне с братьями приходились двоюродными дядьями. То были сыновья брата моего деда Ивана Катариновича, служившего в театральной дирекции в качестве хормейстера петербургской оперы. Мать этих трех братьев была немка (балетная танцовщица), а воспитание они получили в русской гимназии, и, тем не менее, трудно было себе представить более типичных и живописных итальянцев, нежели эти Альберто, Камилло и Стефаио Кавос. Все трое при небольшом росте

обладали очень заметными горбатыми носами, голос же у всех трех имел своеобразно гортанное, характерно итальянское звучание; кроме того, все трое при необычайной темпераментности сопровождали свою речь обильными и выразительными жестами. Двое из них — Камилло и Стефаио — могли приобрести этот итальянизм на самой родине своей семьи,

так как оба они одно время служили в итальянской армии, а Стефано состарился даже в качестве итальянского офицера и вернулся в Россию только по выходе в отставку. Но старший брат, Альберт Иванович, как будто России не покидал вовсе, а между тем как раз он был из них всех наиболее выраженным итальянцем и не только по виду, но и по существу. В нем очень гармонично уживалась русская беспечность с итальянской dolce far niente*, он был горазд на всякие шутовские выдумки, его неодолимо влекло к сцене (одно время он даже выступал в качестве актера-любителя), а всем своим обликом он напоминал одного из персонажей commedia dell'arte — не то пройдоху Труффальдино, не то задиру Капитана, не то лукавого и все же часто проводимого Панталоне.

Однако в смысле отношения к деньгам Альберт Иванович не был похож на последнего. Дядя Берта страдал крайней степенью расточительности, и это, между прочим, сказывалось и в том, что он, будучи моим крестным отцом, задаривал меня всевозможными подарками. При этом Альберт Иванович уже тогда (т. е. в раннем моем детстве, приблизительно до семилетнего возраста), видимо, задавался целью направить своего крестника на театральное поприще, так как большинство его даров заключалось в картонных коробках, в которых лежали декорации, кулисы и фигурки действующих лиц. Иные из этих детских театриков были довольно аляповатыми изделиями (это те, которые носили определенно российский характер, вроде «Громобоя» или «Ивана-царевича»). Аляповатость эта отталкивала меня, воспитывала в то же время во мне отвращение от всего фальшиво-национального вообще. Другие же детские театрики, стоившие гораздо дороже, были заграничного производства, и те были прелестны. При помощи их я устраивал спектакли на потеху моим маленьким друзьям и еще более на потеху самому себе. В каждой такой коробке лежала и брошюрка с текстом данной пьесы, по которой надлежало читать роли выступавших (висевших на проволоках и подпираемых деревяшками) персонажей, но я предпочитал этими либретто не пользоваться, а экспромтом сочинять свой собственный текст, испещренный

патетическими междометиями.

Спасибо тебе, милый дядя-папа (так мне полагалось называть своего крестного), за все доставленные мне когда-то радости. Но почему же впоследствии, Альберт Иванович, ты стал таким редким у нас гостем, а потом и вовсе исчез с нашего горизонта? Не потому ли, что обиделся на то, как была принята в нашем доме твоя молодая жена, в которую ты был страстно влюблен, но манеры котором заставляли желать многого и голос которой отличался невыносимой пронзительностью?

Не подошла к нашему «двору» и жена добродушного дяди Камилло, состоявшего политическим сотрудником «Нового времени». Но тут были причины особого рода. Камилло как-то отважился привести ее к маме на поклон, и мама нашла эту мадам Кавос очень скромной, чуть ли не забитой, в сущности же симпатичной. Но можно ли забыть, что эта дама при-

* Блаженным ничегонеделанием *(итал.)*.

надлежала до своего замужества к разряду милых, но падших созданий в что Камилло познакомился с ней не в какой-либо светской гостиной, а в месте весьма предосудительном? В романах иной раз можно прочесть, что такие случаи приводят к полной реабилитации, но в жизни это почти никогда не бывает, и главной помехой служит то, что сами эти особы, вступив в среду, дотоле им недоступную, продолжают себя чувствовать в ней мучительно неловко.

Остроумнее своих братьев поступил младший брат Стефано — наш дядя Степа. Военное его прошлое в Италии было полно бурных романов и приключений. Будучи дерзким задирой, он не раз дрался на дуэли, за что попадал под арест и даже однажды удостоился сидеть в самом римском Кастель Сант-Анджело *. Вернулся он доживать свой век в Петербург вполне перебесившимся, а добытая им жизненная философия спасла его, несмотря на старания всех наших свах, от «совершения такого бессмысленного шага, как вступление в брак». С конца 1890 г. дядя Степа делается непременным членом всех сборищ в семьях Кавос и Беиуа, придавая им своими марциальными** манерами очень своеобразную пикантность. Своеобразно прелестен был и его говор, в котором было столько потешных итальянизмов. Я получал громадное удовольствие от одного слушания дяди Степы, безотносительно к тому, о чем он всегда с большим жаром толковал. Поэтому я был сердечно огорчен, когда после двухлетнего отсутствия из Петербурга я узнал, что дяди Степы уже нет в живых.

Глава 23 МОЯ СОБСТВЕННАЯ ОСОБА !

Теперь, когда я охарактеризовал ту среду и тех самых близких людей, среди которых я вырос, наступил, пожалуй, момент, когда я должен рассказать про «центральное действующее лицо» настоящего рассказа, т. е. про мою собственную особу. Однако задача эта вовсе не легкая. Хоть я с самых ранних лет интересовался этой особой, изучал ее и в зеркале и в своих внутренних переживаниях, но прийти к каким-либо определенным выводам мне тогда не удалось, да и впоследствии тоже. Теперь же, когда мне целых восемь десятков лет, оказывается, что задача эта стала еще менее мне под силу уже потому, что я успел за истекшие годы много раз меняться. Разумеется, особенно справедливы эти слова в отношении внешности. Между кудрявым «очаровательным» ребенком, бегавшим по комнатам родительской квартиры и влезавшим всем на колени, и почтенным, седым и согбенным старцем, каким меня теперь рисует зеркало,— даже я сам ничего не могу найти общего. Тут же, одна-

Замке Святого Апгела *(итал.)*.

От martial *(франц.)* — воинственными, дерзкими.

*/, I, 23. Моя собственная особа*171

ко, прибавлю, что мое внутреннее самоощущение не находится в соответствии с этим объективным и бесспорным показателем. Внутри я себя чувствую совершенно иным и если не тем младенцем и даже мальчиком или студентом,— то все же существом молодым, еще полным сил и стремлений, исканий,— не побоимся слова — иллюзий! Этот «курьез» можно объяснить главным образом тем, что моя подруга жизни, физически и нравственно изменившаяся несравненно менее меня, не перестала относиться ко мне так же, как относилась в своей ранней юности, и что, следовательно, в самом основном и главном нашего бытия мы остались как бы все теми же 1*.

Спешу прибавить, что при всем том я собой никогда особенно доволен не был. Не был я доволен даже тогда, когда, несомненно, был и мил и в разных отношениях приятен. Моя наружность никогда мне не нравилась, она не соответствовала моему идеалу. Я испытывал даже известное огорчение каждый раз, когда я свою физиономию и свою фигуру видел в зеркале. Настоящий же ужас меня охватывал, когда я в комбинации сопоставленных под углом зеркал (у портного, у парикмахера) вдруг видел профиль какого-то уж совсем чужого господина — и господина «мне мало симпатичного». Каких-либо мер, однако, для поправки того, чем

меня наделила природа, я не предпринимал и лишь в детстве радовался своему «похорошению», когда надевал на голову какой-либо тюрбан, утыканную перьями повязку или картонный шлем. Позже, с целью хоть чуточку изменить свою наружность, я разгуливал в феске, привезенной братом из Алжира, и едва ли не это способствовало тому, что я скорее, нежели полагается, стал терять волосы. О, какое щемящее чувство овладело мной — когда лет двадцати, причесываясь, я заметил в зеркале в своих темных волосах прогалины розовеющей кожи. Да, впрочем, и моя сутулость произошла едва ли не вследствие такой же ребяческой блажи, как ношение фескп. Отчасти это произошло от того, что, как уже сказано выше, я вздумал подражать дяде Косте, но, кроме того, мне «нравилось», когда я в зеркале напоминал себе не то самого Ричарда III, не то Риголетто. Эти деформации представлялись мне более пикантными и интересными, нежели мой настоящий образ, казавшийся слишком обыденным и банальным...

Вероятно, вследствие все того же неодобрения себя, я так и не приобрел способности хорошо одеваться. Но тут было и нечто семейное. Ни мой отец, ни моя мать не уделяли большого внимания своему туалету, да и брат Альбер, который во многом служил мне образцом, одевался неряшливо, а ближайший ко мне брат Михаил «неумело». Совсем скромницами в своих одеяниях были и мои сестры. Напротив, брат Леонтий в штатском платье и Николай в военной форме умели придавать себе всю требуемую «декоративность», но как раз это мне не импонировало. Впрочем, был период в моей жизни, когда я захотел, под влиянием чтения всяких романов, сделаться элегантным денди, чуть ли не вторым

Увы, обожаемая мною жена внезапно скончалась 30 марта 1952 г.

172

ƒ, I, 23. Моя собственная особа

Брюмелем 2. Эти старания продолжались даже целых два года, приблизительно с 1884 по 1886 г., и совпали с моими первыми «безумными» театральными увлечениями и с первыми собственными «серьезными» романами. Но именно тут моя бездарность в этой области и сказалась. Сваливаю вину на бездарность, а не на молодость и неопытность. Сколько моих сверстников я видел превосходно одетыми или превосходно умевшими носить одежду; ясно было, что они обладают талантом приобретать и хранить какую-либо «изящную видимость». У меня же это не выходило. и тогда я махнул на себя рукой и совершенно себя забросил. С тех пор и на всю жизнь у меня осталось какое-то абсолютное недоверие к себе в отношении своего костюма, а

всякое посещение портного сочеталось с известной моральной пыткой, вследствие чего я откладывал заказ нового платья до последней крайности, а результатом чаще всего оставался недоволен.

Борода у меня стала пробиваться еще четырнадцати лет, а к 17-ти я уже был форменным бородачом, и это старило меня удивительно. Но и с бородой и с прической я не зиал что делать. Брить ли бороду или нет? Брить ли ее целиком или оставлять короткие бачки (те бачки, которые так к лицу испанским тореадорам) или оставлять при бачках и подстриженные усы,— как это я видел на молодом портрете дедушки Ка-вос? Пребывание в Париже с 1896 по 1899 г. вовсе не подвинуло меня в этом отношении и, в конце концов, я себя так запустил, что даже заслужил среди французских друзей прозвище «человека с первобытной бородой». Оглядываясь назад, мне теперь кажется, что, может быть, это было не так плохо и что образ мой имел в себе нечто даже любопытное. Представьте себе господина несомненно юного, по с густой, запущенной бородой, из-за которой просвечивали ярко-малиновые губы, с длинными на затылке волосами, выбивавшимися из-под цилиндра,— неизменного в те дни придатка каждого парижанина. Положительно, это было весьма пикантно. Но вот мне тогда казалось, что это безобразно, и в то же время у меня не хватало ни воли, ни догадливости выйти из этого положения и принять вид «приличного» человека. Обидела меня природа...

Так обстояло, так и до сих пор обстоит дело с моим наружным обликом. Но почти так же обстоит дело и с обликом внутренним. Редкий человек не представляет из себя мешанины всяких противоречий, во мне же тзкая «пестрота» объясняется уже тем, что во мне столько разных кровей и чю эта моя пестрая основа еще раскрашена всевозможными колерами, значительную часть коих дала Россия. «Поскоблите русского — и вы обнаружите татарина»,— говорит поговорка, по если можно было бы поскоблить мое духовное «я», то обнаружилось бы не одно какое-либо племя, а целых три, причем особенности каждого вовсе с годами не сгладились и каждое до сих пор заявляет свое право на существование. Это касается «расовых покровов» моей души,— но под ними имеется еще зерно, и мне вот кажется, что и оно не такое цельное и «элементарное», каким ему полагается быть... Были времена, когда такая путаница меня

I, I, 23. Моя собственная особа

озадачивала и **огорчала, но** в **общем я** пронес **этот** свой духовный груз не особенно заботясь о нем, если же то одна, то другая особенность вылезала вперед, то «моя регулирующая воля» не особенно реагировала против этого. Je laissais faire *. Вернее, мне и не приходилось «laisser faire» **, так как это делалось само собой. Как-то все утрясалось и возвращалось к довольно сносному равновесию.

Духовная мешанина не позволила мне решить и один из самых краеугольных вопросов своего бытия. Я так и не решил, кто я таков. Во Франции за меня решило «общественное мнение» — и решило оно с чисто французской прямолинейностью, вернее, с чисто французской узостью. Я зарегистрирован в качестве художника-декоратора русских балетов. Так меня представляют в обществе. Естественно, что с такой явной несправедливостью, продолжающейся уже столько лет, я примириться не могу. Однако что мне «поставить на визитную карточку» взамен того? Не помещать же на ней, как это делают иные безвкусные люди, список всяких своих профессий. Даже в узкой сфере театра, разве я не в гораздо большем смысле «постановщик» и то, что называют в кинематографе «animateur» ***. Деятельность же моя отнюдь не ограничивалась театром. Я и художественный критик, я и журналист, я и «просто живописец», я и историк искусства... Если идти по линии тех разных дел, которые я возглавлял и коими заведовал, то я был и редактором двух весьма значительных художественных журналов, я был в течение трех лет и чем-то вроде «содиректора» Московского Художественного театра, я был и полновластным постановщиком в Большом Драматическом театре в Петербурге, я был управляющим одним из самых значительных музеев в мире — петербургским Эрмитажем и т. д. Все это, правда, относится к царству, подвластному Фебу-Аполлону, но не могу же я на карточке поставить:

АЛЕКСАНДР БЕНУ А,-и

;СЛУЖИТЕЛЬ АПОЛЛОНА.

Следовало бы просто ставить Александр Бенуа. Так я и делаю, но слава моя не достигла такой степени, чтобы подобная карточка, будучи подана в чужом доме или в казенном учреждении, могла бы производить впечатление — ну, вроде того, которое производят такие имена или сочетания имен, как Мистенгет или Морис Шевальед или Чарли Чаплин.

Выходит, что я в каком-то смысле «неудачник», а иные еще прибавят, что я и заслуживаю свою неудачу, что я за слишком

многое брался и потому ни в чем не преуспел до конца. С этим можно поспорить. Дело в том, что я сам ни за чем не гнался и сам ни за что не брался, а все складывалось так, что я был как бы принуждаем делать то одно, то другое.

* Я не вмешивался *(франц.)*. ** Не вмешиваться *(франц.)*. *** **Художественный руководитель *(франц.),***

174

/, /, 23. Моя собственная особа

Иногда я брался за что-либо потому, что мне надо было находить средства существования. И это «навязываемое дело» давало мне заработок. Но чаще я брался за те или иные задачи потому, что меня они соблазняли, что я усматривал в них случай создать нечто такое, что и мне и другим доставит удовольствие. И я справлялся с возложенными на меня задачами в полной мере, я почти ни в чем за свою жизнь не отведал горечи неуспеха,—и все же каждый раз что-то мешало тому, чтобы па данном успехе успокоиться и извлечь из него исчерпывающую пользу. Я не успевал завершить одно дело, как меня уже захватывало другое, и это другое увлекало в новую область. Из ученого и театрала я становился творцом-художником, из театрального деятеля я превращался в музейного и т. д.

Сыграла тут роль и моя абсолютная непрактичность, мало того, прямая ненависть ко всякой практичности. Под этим же таилась весьма пе-разумная, но, увы, непреодолимая жажда свободы. Величайшая роскошь, которую только можно себе позволить,— это когда человек всегда поступает так, < <как ему хочется». И вот я почти всегда поступал, «как мне хотелось», и поступал я так даже в тех случаях, когда «мне эта роскошь была совсем не по средствам», когда раздавался внутренний голос, пытавшийся урезонить меня во имя простого благоразумия, а то и долга перед семьей, перед обществом... Черта эта, если хотите, романтичная,— но, о господи, сколь неудобная.

Есть во мне еще одна черта, которая тоже повинна в моей «относительной иеудачливости». Каяться, так каяться,— во мне нет ни капли честолюбия, зато я в не малой степени страдаю пороком тщеславия. Эта черта чуточку постыдная и люди предпочитают в ней не признаваться, однако сколько самых даже перворазрядных людей этим пороком обладали, скольким он испортил существование и просто погубил их. Суетное тщеславие имеет то свойство, что оно способно удовлетворить человека сразу. Упиваясь сладостью удовлетворенного тщеславия, человек забывает принять надлежащие меры, чтобы данный успех упрочить, подвести под него фундамент, возвести вокруг него те укрепления, которые могли бы парализовать действие

неизбежных враждебных сил. Эта форма удовлетворения суетного чувства становится еще опаснее, когда человек, которому выдался успех, не только ничего не предпринимает, чтобы успех упрочить, но из какой-то «гордости навыворот» сам старается преуменьшить значение его. Он надевает маску скромности, а иногда даже сам нротив себя «интригует». Эта черта у нас, к сожалению, семейная. Она была очень выражена у моего отца. Я не страдаю этим дефектом в такой же степени, но все же я им страдаю, и выражение «самоуничижение паче гордости» мне знакомо но собственному и притом довольно горькому опыту.

Вот приблизительно таким я щеголяю на арене жизни. Если же теперь обратиться к моей духовной особе в ее интимных проявлениях, то тут получится нечто пестрое. Удивительно еще, что при этом не получилось уродливой какофонии. Напротив, духовная моя пестрота сочета-

ется в нечто даже гармоничное и приятное,— так, по крайней мере говорят близкие люди, друзья и широкий круг знакомых. В одном я могу поручиться,— я не злой человек и даже от природы я очень благожелательный человек. Во мне сильнее многих других чувств говорит известный альтруизм, выражающийся главным образом в желании доставить моему ближнему радость. На этом построена вся моя художественная деятельность и все то, что в ней есть неизбежно жертвенного. Но в то же время я никак не могу себя назвать в полном смысле добрым человеком и уже, во всяком случае, добродетельным. Последовать зову Христа или Франциска Ассизского, «продать все и раздать бедным» я не в состоянии. Я не в состоянии себя настолько обездолить и тем менее расстаться с тем, что необходимо для моего духовного равновесия. Моментами я очень жалею, что я не богач и никогда им не был. Мне кажется, что тогда я бы находил особую радость в том, чтобы творить всякие благодеяния направо и налево,— однако спрашивается, хватило ли бы у меня выдержки для таких операций, хватило ли бы толковости? Скорее всего с богатством я просто не сумел бы справиться. А в конце концов, мне нравится, что я не обладаю какой-либо обеспеченностью, благодаря чему я как-то и безответственен, мне это состояние гарантирует ту свободу, которую я почитаю за необходимую мне роскошь.

Помянутая только что черта «благожелательности» находится в связи с другой, которая иным представляется какими-то моими «педагогическими способностями». Это верно, что я оказал немалое влияние на развитие, на образование моих друзей и, в частности, на того, кто приобрел мировую известность,— на

Дягилева. Но под этим не было и тени какого-то планомерного воздействия и тем менее чего-то педантичного. Просто, исполняясь восторгом от того ндп другого «проявления человеческого гения» и не будучи в силах нести один этот восторг, я бывал вынужден делиться им, мало того, навязывать его другим. Я навязывал свой восторг «для их же пользы»,— для того, чтобы и они порадовались так, как я радуюсь. При этом сила восторга во мне всегда такова, что я не терпел возражений и доходил в своем навязывании даже до насилия. Не имея никакого плана, я однако «интриговал» бессознательно и «интуитивно», прибегая к некоторой системе для того, чтобы завербовать кого-либо (к кому я чувствовал влечение) в свой лагерь. Но, разумеется, мои эти «интриганские» приемы были не только чисты от какого-либо расчета материального порядка, но они не знали и велений честолюбия. Мне совсем не интересно было «вставать во главе какого-либо движения», какой-либо группы лиц, и это отсутствие во мне честолюбивых замыслов приводило к тому, что даже там, где я бывал официально «начальником» по своему положению, я старался стать со своими подчиненными на товарищескую ногу, что, разумеется, не всегда способствовало моему авторитету. Эта страсть «заражать других», этот прозелитизм не имел опять-таки в себе чего-либо «общественного». Напротив, мое отвращение к тому, чтобы входить в контакт с толпой, было всегда непреодолимым. Оно и мешало мне выступать на общественном поприще.

176

I, I, 23. Моя собственная особа

Ненависть эта, однако, не зиждется на каком-либо «презрении к толпе» — чувство, мне абсолютно неизвестное, страх же толпы носит у меня скорее патологический характер. Это еще один из моих неизлечимых и весьма «невыгодных» пороков.

Что же касается моего отношения к искусству, то надо различать два момента, я в одно и то же время «любитель искусства» (и знаток его), я и творец — художник. Иначе говоря, я являюсь и получающим и дающим субъектом.

Мой интерес к художественным произведениям, естественно приведший меня и к «знаточеству», стал проявляться с очень ранних лет. Скажут, что, рожденный и воспитанный в художественной семье, я просто не мог избегнуть такой «семейной заразы», что я не мог не интересоваться искусством, раз вокруг меня было столько людей, начиная с моего отца, кто знали в нем толк и обладали художественными талантами. Однако среда средой (не мне отрицать ее значение), но все же,

несомненно, во мне было заложено нечто, чего не было в других, в той же среде воспитывавшихся, и это заставляло меня по-иному и с большей интенсивностью впитывать в себя всякие впечатления. В старину это называлось «священным огнем», «благодатью Аполлона», теперь эти выражения кажутся смешными, но мне они представляются не пустой риторикой, а сущей простой правдой. Бывают натуры почему-то более отзывчивые, более горящие, нежели другие. Что касается меня, то горение во мне было (и продолжает быть) такой силы, что оно даже доставляло мне страдание,— страдание, связанное с величайшей радостью и тем самым имеющее в себе нечто родственное с наслаждениями любовными... При этом я вовсе не хочу сказать, чтобы это горение было всегда вызываемо предметами, заслуживающими поклонения. Да и не в том дело, чтобы иметь какой-то «абсолютный вкус», не в том, чтобы разобраться так, как разбирается какой-либо ученейший профессор эстетики. Вкус вырабатывается постепенно, к тому же я и сейчас затруднился бы назвать те объективные признаки, согласно которым можно одно почитать вполне за соответствующее хорошему вкусу, а другое нет. Испошленная поговорка «о вкусах не спорят» в основе своей права. Важно, чтобы этот личный субъективный «совершенно беспринципный» вкус вообще был, чтобы человека к чему-то непреодолимо влекло и чтобы он обладал способностью радоваться тому, к чему этот вкус его приводит. Такое наличие «дара вкуса» я в себе и констатировал во все времена. В детстве, естественно, эти влечения не были мной осознаваемы, но это вовсе не лишало их силы. Я живо помню, как мальчуганом четырех лет мной овладевал своего рода транс перед той или другой картиной или перед каким-либо музыкальным произведением, и я помню, в какую ярость я впадал, когда мне в этом перечили или, что еще хуже, позволяли себе над тем, что мной «отмечено», смеяться. Бывали случаи, когда я почти заболевал от какой-то обиды за что-либо, давшее мне радость,—причем в пашем доме такие проявления «неврастенического порядка» отнюдь не были чем-то принятым и привычным. Ведь отец мой, при всей художе-

ственности своей натуры, был человек вполне уравновешенный, а уже о матери моей и говорить нечего. И вот как раз мамочкино равнодушие в отношении к чему-либо, мне особенно поправившемуся, вызывало во мне род бешенства. Природная чуткость подсказывала ей как поступать, как меня успокоить, и эти приступы «священного гнева» против нее кончались моим раскаянием — отнюдь, однако, не сопровождавшимся какой-либо «сдачей позиций» по существу.

Но вот в этом горении не было никакой системы. Будучи «одарен вкусом» ко всевозможным и очень разнообразным явлениям, я и загорался от соприкосновения с ними в одинаковой степени. Это затрудняет меня ответить даже на вопрос,— к чему именно у меня было определенное призвание творческого порядка... «Случилось» на самом деле так, что я избрал своей основной карьерой живопись, и живопись привела меня к театру, но иногда мне кажется, что могло совершенно так же «случиться», что основной карьерой я бы выбрал музыку, архитектуру или актерство, причем весьма вероятно, что каждая из этих профессий меня также привела бы к театру. Выходит, что мое настоящее призвание есть театр...

В качестве курьеза я здесь должен сказать, что при множественности вкусов, влечений и связанных с ними талантов, я все же страдаю-и отсутствием некоторых из них. Так, я абсолютно бездарен к скульптуре и стихотворству. В сознании этого я даже никогда не пробовал свои силы в этих областях. Да и к музыке у меня проявляется своеобразная бездарность или что-то вроде «частичного паралича». Музыка является' как бы основной стихией всего моего отношения к искусству и особенно к театру; музыка способна вызывать во мне наиболее сильные эмоции и потрясения, а в моей театральной деятельности именно музыка порождала наиболее счастливые идеи и как бы поддерживала меня в творческом -процессе. И наоборот, там, где я должен был обходиться без музыки (например, в постановке драматических произведений), я лишался какой-то-очень верной опоры. Я и творчески не бездарен в музыке. Если мои импровизации и уступают блестящим импровизациям моего брата Аль-бера, то все же и они бывают удачными и «чуть ли не вдохновенными». При всем том, и несмотря на бесчисленные уроки музыки (фортепьянной игры) я так и не выучился самым элементарным правилам, без которых нельзя серьезно посвящать себя музыкальному творчеству. Так, например, я очень плохо

читаю по нотам, в особенности то, что касается ритма и такта,— причем страннее всего то, что в своих «импровизациях» я без труда и без явных ошибок этих правил придерживаюсь. Возможно, что повинна в такой аномалии неправильная (или мне лично-не подходившая) система преподавания, но возможно, что это своего рода органический дефект, повторяю, нечто вроде частичного паралича.

Такой дефект сказывался и на моем отношении к стиху. И здесь можно отметить некоторые курьезы, которые представляю на обсуждение специалистам по художественной психологии. Первый курьез — это моя неспособность что-либо понимать словесное во время того, что слышится.

178

I, I, 23. Моя собственная особа

музыка. Мне даже доставляет настоящее мучение то усилие, которое я делаю, чтобы схватить смысл спетых мною слов. И одновременно я совершенно лишаюсь слова, когда слух мой занят музыкальными звуками — будь то даже гаммы и арпеджио. Я их начинаю слушать, я принужден их слушать и при этом теряю контроль над собственными мыслями. Нечто аналогичное происходит во мне и при слушании стихов. Ритм их начинает меня баюкать, как бы усыплять мое внимание и настолько, что я перестаю (в данном случае) понимать смысл слов. Разумеется, мне удается и преодолевать эту свою парализованность; мало того, когда я слушаю какую-либо уже хорошо мне известную оперную арию или романс, одновременное воздействие музыки и слов, этих двух элементов, помогает мне и понимать и наслаждаться, однако именно то, что предварительно я нуждаюсь в каком-то усвоении отдельно того и другого, показывает, что где-то в моем «воспринимателытом» аппарате имеется дефект, своего рода «мешающая перегородка»... Не присутствие ли этой именно «перегородки» повлекло меня к балету, к искусству немому, выявляющемуся не в «чуждых» музыке словах, а в естественно рожденных музыкой движениях тела и лица? Упоение, испытываемое мной при «глядо-слушании» какой-либо сцены «Коппелии», «Спящей красавицы», «Щелкунчика» или «Петрушки», не может идти в сравнение ни с чем. Вот, когда я испытываю поистине божественные эмоции. В глубине души я даже уверен, что если «Кольцо нибелунга» было бы лири-ко-мимодрамой, то оно бы действовало еще сильнее, нежели оно действует сейчас, что, впрочем, не значит, чтобы я не испытывал при слушании «оперной версии» этого бесподобного произведения величайшее наслаждение.

Что еще сказать о характере моей особы? При изложении

фактов моей жизни этот характер неминуемо будет сам собой выявляться в большей или меньшей степени, но здесь не бесполезно, хотя бы для самого себя, в качестве упражнения на тему все того же «познай самого себя» выделить те черты характера, с которыми я родился и которые если с годами и притупились, то все же остались во мне и по сей день. Однако я теряюсь, куда отнести эти приметы—к «характеру» или к «темпераменту»? Одной такой чертой является, во всяком случае, вспыльчивость. Она и по сей день внутри меня— совсем такая же, какой она была в раннем детстве, когда я в минуту овладевавшего мною бешенства ломал игрушки, рвал па себе одежды и колотил няньку. В столь же бурных и «эффектных» выражениях эта черта ныне, разумеется, больше не проявляется, но не проявляется она единственно... из какого-то чувства самосохранения, однако это вовсе не потому, что я боюсь, как бы не наделать непоправимых бед, а потому, что я боюсь, как бы не совершить какую-либо глупость, не сотворить поступка совершенно не соответствующего моему же отношению к данному случаю... Сколько раз в былое время я успевал что-либо «выпалить» несуразное и смертельно обидное, прежде чем я вообще что-либо мог сообразить. Мной в буквальном смысле слова овладевает нечто вроде «вдохновения», род гневного экстаза,

I, I, 23. Моя собственная особа

в котором уже не остается и тени самокритики. Лишь накопившиеся за долгую жизнь раскаяния за такие «ужасно недостойные», в аффекте-произнесенные речи привели, наконец, к тому, что сейчас потребовалось бы уже нечто совсем чрезвычайное и при совершенно исключительных обстоятельствах, чтобы я опять дал волю своему «гневному экстазу».

Другая характерная черта сказывается в моем отношении к работе. Здесь я еще более «во власти вдохновения». Пока это вдохновение владеет мной, до тех пор я работаю удачно, идеи роями кружатся в голове^. просятся наружу. Я буквально не успеваю их фиксировать, а те, которые я успеваю, те меня самого иногда удивляют своей «неожиданной удачливостью». Увы, так же неожиданно, как является вдохновение, оно без предупреждения и исчезает. Когда я меньше знал себя и не был научен опытом, то часто пробовал реагировать против этих «капризов своей. музы», я упорствовал в разработке того, к чему почувствовал охлаждение. Но тогда я неминуемо портил то, что делал, а за порчей следовала отчаяние, желание все бросить и скрыть свой стыд перед другими и перед самим собой. Припадки такого бессилия не раз приводили меня к тому даже, что я бросал и запускал на месяцы, а то и годы начатую работу. Но со временем я понял, что эти «размолвки с музой» — нечто весьма безрассудное, и у меня постепенно выработалось подобие «творческой системы», которой я строго придерживаюсь. С одной стороны, я слежу за соблюдением правила nulla dies sine linea * и изо дня в день, как всякий другой профессионал, не ожидая вдохновения, я совершаю известный pensum **, исполняя только такие работы, которые, будучи необходимыми в общей экономике творчества, все же не требуют особенного возбуждения. Когда же наступает момент «призыва к священной лире», то я отдаюсь этому велению всецело, и тогда мпе выдается счастье совершать своего рода «подвиги» — в какие-нибудь два-три часа мне удается сделать то, на что нормально потребовались бы недели... И мне это действительно удается, т. е. то, что я делаю в такие минуты, мне самому нравится,

Мне не хотелось бы, чтобы эти последние черты моего «автопортрета» были бы приняты за «безвкусное хвастание». Потребность в хвастанье во мне с годами исчезла совершенно так же, как потребность в лганье (а каким я был лгуном в детстве и в отрочестве, и талантливым лгуном!). Если же я только что

упомянул слово «удача», то это отнюдь не в объективном, а исключительно в субъективном смысле. Для даннога вопроса (о моем темпераменте и о том, как он сказывался на моей работе) вовсе не важно, действительно ли хорошо мною рождаемое. Во всяком случае, в своем творчестве я лишен холодного расчета; я всегда нуждаюсь в некоем горении. Вот почему нельзя от меня требовать какой-либо выдержанности. В свою очередь эта же черта располагает ко всему тому, в чем с особой яркостью сказывается «искра божия». Я в некото-

* Ни дня без строчки *(лат.),* ** Урок *(лат.).*

■ром смысле даже «эксперт» именно в этой области. Я отличаю, где светится подлинная искра, а где только ее отблеск или даже просто подделка под нее. За наличие подлинной искры я готов многое простить, но в то же время я исполняюсь безграничного благоговения перед теми явлениями в искусстве, в которых эта искра разгорается в целый костер, особенно к таким явлениям, в которых такой пожар приобретает характер чего-то стройного, в которых стихийное начало вдохновения сочетается с направляющей и сдерживающей волей. Воля бывает подчас чем-то и губительным в искусстве, она приводит к нарочитости, но мы знаем такие гениальные натуры, в которых воля, и к тому же воля разумная. воля в дивной гармонии сочетается с бурей стихийности. Мы этих избран-ников потому и называем гениями, потому мы перед ними и поклоняемся, как перед божествами. Их творчество есть сплошное чудо чудесное и какая-то подлинная благодать Аполлона. Увы! Таких чудес мне не дано было совершить. Да и мало кому в нашу эпоху это было дано.

Теперь два слова о характере моего творения, преимущественно живописного. Характер, впрочем, я прошу не смешивать с направлением. Что касается до направления, то таковое просто во мне отсутствует. Я природный враг направления, т. е. чего-то предвзятого, что подчиняет -свободу творческого излияния. Эта-то моя враждебность выразилась и в том, что и журнал нашей группы «Мир искусства» был лишен какого-либо направления4; он даже выступал в качестве борца против всякого направленчества. Мы повели борьбу против всего того, что в русском художестве отражало идейные принципы предыдущего поколения. Для этого же поколения принцип свободного творчества не существовал. Целью искусства для него было общественное служение, способствующее проведению в жизнь известных полезных для общества идей. Моим главным оппонентом в данном вопросе был мой друг Дмитрий Философов,

но моя твердая «беспринципность» одержала верх над его слишком туманной тенденциозностью... Отсутствие определенной идейности перешло затем и в наше театральное дело — в частности, им отличались и наши <<Ballets Russes» *.

Возвращаясь еще к характеру моего творчества, я должен отметить определенное влечение к тому, что принято называть реализмом* Мои любимые художники в прошлом и в настоящем — фантасты, но только те фантасты среди них действительно мои любимцы, которым удается быть убедительными, а убедительность достигается посредством какого-то «стояния на земле и глубокого усвоения действительности». Можно сказать, что в этом мои коренные симпатии гармонируют с эволюцией вообще всего европейского искусства, которая происходила под зпаком именно «усвоения действительности». Скульптура готики, ван Эйк, Фуке, Боттичелли, Беллини, Рафаэль, Тициан, Брейгель, Рубенс, Рембрандт и еще сколько самых чудесных мастеров — это все великие знатоки жизни, это художники, творившие произведения ирреальные и фантастические

;* «Русские балеты» *(франц.)*.

ƒ, /, 23. Моя собственная особа{g{

по существу, однако убедительность коих покоится ни на чем ином, как на бесподобном знании видимости — на «реализме». Напротив, мне чужда живопись отвлеченная, и меня не удовлетворяют те художники, произведения которых выдают небрежное и нелепое отношение их творцов к природе, а то просто игнорирование ее. Я вовсе не хочу этим сказать, чтобы и среди такого художественного творчества не было ценных явлений, но пламенность моей симпатии к мастерам, знавшим толк в действительности, бесконечно превосходит то «холодное внимание», которое я уделяю мастерам, действительность игнорирующим...

Одной из особенностей моего личного творчества является определенное тяготение к прошлому. К такому тяготению приложено некрасивое слово «пассеизм», и для удобства терминологии пусть оно за ним и останется. Во мне «пассеизм» начал сказываться как нечто совершенно естественное еще в раннем детстве, и он остался на протяжении моей жизни «тем языком, на котором мне легче, удобнее изъясняться». Своим пассеизмом я заразил и моих лучших друзей — Сомова, Бакста, Добужинского и даже Дягилева. Сильный «пассеистский» привкус был присущ, исключительно благодаря моему влиянию, «Миру искусства», и тот же «пассеистский» привкус был присущ и постановкам всей нашей группы,— особенно же моим собственным постановкам. Откуда взялся этот «пассеизм», это

страстное желание вернуть к жизни прошлое, «воскресить» его, я не знаю, но возможно, что тут сказалось то, что в своем престарелом отце я имел «живое прошлое». В его рассказах, в его рисунках воскресал не «сегодняшний» день — а времена его далекой молодости и детства. Я и XVIII век мог считать своим уже потому, что мне через моего деда, родившегося еще в дни Людовика XV, Фридриха II и Екатерины II, было «как рукой подать» до той эпохи. Многое в прошлом представляется мне хорошо и давно знакомым, пожалуй, даже более знакомым, нежели настоящее. Нарисовать, не прибегая к документам, какого-нибудь современника Людовика XV мне легче, мне проще, нежели нарисовать, не прибегая к натуре, моего собственного современника. У меня и отношение к прошлому более нежное, более любовное, нежели к настоящему. Я лучше понимаю тогдашние мысли, тогдашние идеалы, мечты, страсти и самые даже гримасы и причуды, нежели я понимаю все это в «плане современности»... Из выдумок Уэллса мне особенно соблазнительной показалась «машина времени», но, разумеется, я на ней не отправился бы вперед, в будущее, а легонечко, постепенными переездами и с долгими остановками по дороге, посетил бы такие эпохи, которые мне наиболее по душе и кажутся особенно близкими. Вероятно, я в одной из этих станций и застрял бы навеки. Но очень далеко я бы при этом не забирался.

Ч* Ч* "I*

Резюмируя все сказанное, я ничем похвастать не могу. Если же все-таки я решаюсь поднести все то, что стоит на дальнейших страницах этой книги, то это не из какого-то самомнения, а из-за того, что память

моя содержит слишком много таких вещей, которые мне кажутся достойными передачи потомству... Я был свидетелем последних лет необычайно пленительной (несправедливо и бессмысленно охаянной и оклеветанной) культуры, и я имел случай наблюдать ее с разных точек зрения, пребывая в разнообразных слоях общества... Это и позволяет мне надеяться, что мой труд представляет известный общий интерес. Если в памятнике, который я таким образом дерзаю сооружать собственными руками данному «отрезку истории», слишком много (и даже поминутно) говорится обо мне самом, то это объясняется и оправдывается уже тем, что я п сам был «творческим участником» в данной культуре. Кроме того я большой любитель до воспоминаний (когда они правдивы и подлинны) и нахожу, что именно личные мемуары наиболее убедительно и ярко отражают описываемое время. В том же, что я

буду по мере моих сил честно правдив (не всегда удается отделить Dichtung от Wahrheit*) и по возможности точен — я здесь даю читателю клятвенное обещание.

Глава 24 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Невозможно продолжить мой рассказ, не описав ту обстановку, в которой протекло в составе общей жизни нашей семьи мое детство, отрочество и юность. Я говорю о нашей городской родительской квартире. Родители мои въехали в нее сразу после своей свадьбы в 1848 г., и в пей же и папа и мама прожили до самой смерти.

Квартира эта осталась в моей памяти как нечто целое и продолжающее существовать в своей целостности, тогда как уже более полувека она не существует и перестала быть «нашей». Впрочем, и в те времена, когда она была нашей, она вовсе не во всех своих частях оставалась неизменной. Несколько раз комнаты меняли свое назначение. Так, «моей» комнатой становилась то одна из комнат, выходивших во двор, то ее смежная; переезжали и мои родители, уступая свои покои внукам. Это бывало, когда кто-либо в семьях моих сестер заболевал заразной болезнью и все здоровые дети с матерями и няньками перебирались к дедушке и к бабушке. Столовая тогда переносилась в кабинет, кабинет в чертежную и т. д. Но всегда неизменно оставались передняя и «зала»; лишь на время танцевальных вечеров, «балов» последняя меняла свой характер гостиной — середина освобождалась от мебели, специально сгруппированной для приема визитов, а род гостиной тогда устраивался в соседней «Зеленой», служившей вообще разнообразным назначениям.

То обстоятельство, что «дом Бенуа» был нашим «родительским» домом в полном смысле слова, сыграло значительную роль во всем моем начальном мировосприятии, приблизительно такую же роль, какую игра-

Поэзию от правды5 *(нем.)*.

ют для других людей родовые усадьбы или замки. В смысле своего кубического содержания дом Бенуа, помещавшийся по Никольской улице (впоследствии переименованной в улицу Глинки) под номером 15, мог во всяком случае, вполне сравниться со средней величины замком, а так как в известный момент значительная часть его четырех этажей была занята разными членами семьи нашей, то в целом это и составляло .род семейной твердыни или патриархального клана. Для психологии мальчика, имевшего в своем распоряжении совершенно необычайное количество комнат, имевшего па правах близкого родного доступ повсюду и во всякое время, считавшего и самые лестницы, соединявшие разные этажи, за части своего обиталища, все это расширяло и разнообразило «ощущение своего». Оно воспитало и какое-то чувство защищенности в отношении всего окружающего,— здесь, мол, я настоящий хозяин и никто меня тронуть не может. Наконец, будучи домом старым, уже обретавшим в своих стенах моих прародителей, он был напитан атмосферой традиционности и представлял собой какую-то «верность во времени». Не я и не «мы» только находили в этой «крепости» свое убежище, но здесь уже жили и папа с мамой, и дедушка с бабушкой. Почти сто лет назад владели они все этим домом — срок для мальчика огромный, в особенности в городе Петербурге с его всего двухсотлетним прошлым.

Купил дом мой дед наполовину построенным еще в дни царствования Павла I, кажется, в 1799 г.1 Вначале «дом Бенуа» был всего в три этажа (по русскому счету), но в архитектурном смысле он был тогда гораздо красивее, нежели каким он стал потом: он даже был настолько красив со своими группами тройных окон под полукруглыми арками, что его можно было приписать самому Кваренги 2. К сожалению, папа, которому дом достался в наследство, пожелав увеличить его доходность, надстроил еще один этаж, и это обезличило фасад, ибо хотя тройные окна и остались, но как раз типичными полукружиями над ними пришлось пожертвовать. Зато сохранились в целости прелестные маски над окнами нижнего этажа **, и нетронутой осталась и характерная парадная лестница.

Эта парадная лестница начиналась внизу с прямого, ведшего вглубь коридора, под убранным сочными розетками сводом, а затем сворачивала влево и опять подымалась широкими всходами между массивными столбами; на каждом повороте открывалась своеобразная перспектива, Все это носило тяжелый и несколько

мрачный характер, но и усиливало одновременное впечатление чего-то крепкого и надежного, почти крепостного. Я был убежден, что фамильные тени продолжают бродить именно по этой оставшейся нетронутой лестнице и должны были встречаться с нами, с их живыми потомками. При луне или тусклом сумраке

4* Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону «рожу» с разинутым ртом, другая очень миловидную улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой прической. Чередование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии,

белых ночей, да и освещаемая отблеском единственного фонаря, продолжавшего гореть на дворе всю ночь, наша парадная превращалась в настоящую «декорацию для драмы», хоть никаких драм и трагедий в нашем доме за все мне известные периоды, слава богу, не произошла.

По простоте тогдашних нравов, как уже упомянуто, наша «парадная» не отапливалась, и в ней не было швейцара. Лишь дежурный дворник, завернувшись в свою шубу, дремал ночью снаружи в любой холод у входных дверей. До полуночи лестница освещалась газом, рожки которого были заключены в большие стенные фонари, сохранившиеся от времен, когда она освещалась масляными лампами. На ночь эти фонари тушились. Дверь нашей квартиры была со стороны лестницы обита для тепла черной клеенкой, а прибитая на ней гладкая медная дощечка курсивными буквами гласила, что здесь проживает «Николай Леонтьевич Бенуа, архитектор». Звонок был старомодный — надлежало дернуть за рукоять в медной чашечке, чтобы он зазвонил, но звонил он и в передней и в конце длиннейшего коридора у двери в кухню. Замок на входной двери был особый, довольно замечательной конструкции. Изнутри он открывался поднятием железной подковы, снаружи же можно была его открыть только посредством особого ключа, состоящего из стальной палочки, конец которой, будучи введен в круглое отверстие замка, перегибался (спадал) и таким образом достигал конца помянутой подковы; подкова от нажима поднималась, и дверь была открытой... Когда я получил (лет 15-ти) разрешение возвращаться домой ночью в такие часы, когда уже все спали, то, чтобы не будить прислугу, мне разрешалось брать этот «фамильный ключ», и мне до сих пор памятно ощущение холодного, гладкого, перегибающегося стержня, который я нащупывал в кармане пальто. Отчетливо запомнился и звук открываемой им двери,— звук, означавший днем возвращение

папы со службы. Характерно для моего отца, что он старался никого и никогда не беспокоить. Войдя к себе без звонка, он сам стаскивал и вешал свою тяжелую шубу; без посторонней помощи снимал он и старомодные деревянпые калоши, что не всегда сразу удавалось.

Любил ли я нашу квартиру, нравилась ли она мне? На такие вопросы трудно ответить. Многое мне в ней даже определенно не нравилось, особенно после того, как движимый своей отцовской нежностью папа вперемежку с хорошими картинами и гравюрами стал вешать на степах подношения своих детей и внуков; кто-то из них изуродовал росписью и абажур висящей над его рабочим столом лампы, в зале был поставлен громоздкий для гимнастических упражнений турникет, а Коля Лансере тут же держал свой велосипед. Возмущен я был и проникновением в парадные комнаты банальных «венских» стульев гнутого дерева. Впрочем, я и в исконной обстановке многое критиковал, многое (и не без основания) мне казалось «мещанским», уродливым и нелепым. Родители мои с годами все меньше и меньше обращали внимания на декоративную сторону жизни, еще меньше на нее обращала внимания поселившаяся в 1886 г. у нас сестра Катя, а то, что пришлось в квартире разместить ее

шестерых детей и оонну, произвело то, что несколько комнат получили (несмотря па соблюдавшуюся опрятность) сходство с цыганским табором. Я же мечтал о великолепных апартаментах дворцового характера или хотя бы о том изяществе, которое я видел у бабушки Кавос, у дяди Се-зара, у дяди Кости или у моего «богатого» брата Леонтия.

Да и не вполне уютно было у нас в квартире. Начать с того, что •анфилада комнат, выходившая на улицу, лишь утром освещалась солнцем, да и то как-то сбоку, в остальное же время дня ее затемнял фасад дома петербургского губернатора. Когда же солнце после полудня ударяло в этот фасад, то наша квартира наполнялась рефлексами, которые сообщали ей какую-то специфическую меланхоличность, и это приобретало даже щемящий характер как раз в яркие, радостные весенние дни. Кроме того, подоконники в парадной половине были заставлены так называемыми «цветами», т. е. вечнозелеными тропическими растениями, отнимавшими значительную часть света.

Я не стану делать подробного инвентаря нашей квартиры, хотя п помню ее в мельчайших подробностях и хотя я был бы так счастлив познакомиться с подобным инвентарем, касающимся обиталища кого бы то ни было из близких моему сердцу

художников прошлого. Не решаюсь же я это сделать из опасения, как бы такое описание не выросло в целый трактат.

Но вот спрашивается, была ли обстановка родительской квартиры характерна для нашей среды, для профессии отца и отвечала ли она вполне домашним традициям. На эти вопросы я только отвечу: наша обстановка, во всяком случае, не была выдержанной, а представляла собой смесь разных типов обстановок. Передняя была, как всякая передняя в «хорошем доме», с обязательными громоздкими вешалками, с длинным ампирным зеркалом над подзеркальником красного дерева. Особенностью нашей передней было лишь то, что для сидения служил большой деревянный ларь светлого дерева с волютами на боках и что спинкой этому ларю служила дверка, закрывавшая специальный шкаф, занимавший всю толщину стены и хранивший особенно ценные вина. Необходимой принадлежностью во всякой передней в то время был и большой красного дерева барометр. Наш был конца XVIII в.; он хронически бездействовал или врал,

Из передней дверь вела в длинную и глубокую «залу», выходившую окнами на Никольскую улицу. Простенок между окнами был занят зеркалом во всю высоту стены, но оно было перегорожено подстольем, на котором красовались бронзовые золоченые часы и канделябры с пышными, круглыми амурами. Намекая на принадлежность к художеству нашей семьи, один из этих putti держал циркуль, другой палитру, а у ног их валялись бюст, фолиант и тому подобное. Из-за того, что подстолье перегораживало зеркало, я мог любоваться своим отражением в нем (во время танцев) лишь до пятилетнего возраста, когда вся моя фигура целиком умещалась в нижнем отделении; но затем моя голова стала все более и более обрубаться сверху, и в конце концов я уже плясал

186

I, I, 24. *Родительский дом*

в зеркале обезглавленным. Ничто так ясно **не показывало мне, что *я***

расту...

В зале надлежало быть фортепьяно (слово «рояль» привилось позже) т стенным бра, люстре и той группе мебели, которая служила специально для визитов. Фортепьяно у нас было, но это не был ни Бехштейн, ни Блютиер, ни даже Шредер или Беккер, а это был почтеннейший длинный (палисандровый, а не черный) Гентш, что и было начертано курсивной надписью, инкрустированной над клавиатурой. Каждый повый настройщик при виде этой надписи говорил одно и то же (чаще по-немецки, ибо все настройщики были немцами): «Ах, у вас Гентш, это

прекрасная, но уже давно не существующая фирма». Может быть, фирма и была когда-то прекрасной, по, увы, звук Гентша был сухой и холодный, а клавиши туго поддавались пальцам. Это, однако, не мешало Альберу и моей кузине Нетиньке (о ней дальше) извлекать из этого инструмента то бурные, то нежные, то заразительные плясовые и душу веселящие звуки. При разделе наследства я выпросил Гентша себе, но принужден был отрезать ему треть хвоста, иначе он не влезал в небольшие комнаты нашей квартиры. Когда я прощался со всей моей обстановкой в момент отъезда навсегда из Петербурга в 1926 г., мне особенно тяжело было расстаться именно с этим старым другом.

Насупротив фортепьяно помещался помянутый «уголок» для визитов. То был полученный мамой в приданое ансамбль туровского производства (Тур, как и Гамбс, были знаменитыми мебельщиками в середине XIX в.), и состоял он из большого дивана, двух бержерок, четырех кресел, двух кушеток и нескольких стульев. Дерево этой мебели было темно-ореховое, крыта же она была синим «капитонированным» бархатом. Форма этой мебели была тяжелая, но все вместе создавало все же довольно внушительное и уютное целое, а когда на этом бархате сидели дамы в пышных тогдашних шелковых платьях, то получалось в общем и нечто парадное. Настоящую же парадность этому месту придавал превосходный портрет мамы в молодости работы художника Каикова, вставленный в роскошную золоченую раму, висевший над диваном 2*. На столе перед диваном стояла (покоясь на гарусном, имитирующем траву, плато) фарфоровая лампа с букетом цветов на белом фоне. Под столом лежал пестрый ковер обюссон 3 с желтыми разводами и крупными, яркими цветами. Этот ковер подвергался всяким испытаниям — в тех случаях, когда, вытащенный на середину залы, он, несмотря на протесты мамы, служил для наших игр. В сложенном пополам виде он становился чем-то вроде салазок для съезжания с той «горы», которую папа устраивал на время гощения своих внуков, на этом же ковре в течение пасхальной недели производилось катанье яиц, и случалось, что кто-нибудь раздавит яйцо под ногой, и тогда желток проникал в бархатистый ворс; наконец, во время елочных

Ему соответствовала на противоположной стене овальная пастель работы модного в 50-х годах Беллоли, изображавшая папу тоже в сравнительно еще молодых **годах.**

I, I, 24, Родительский дом

торжеств тот же ковер терпел от леденцов, изюма, пряников и капающего со свечей воска. Но, видно, добротность нашего

«обюссона» была «на высоте испытаний», ибо он и сорок лет спустя, после бесчисленных чисток, находясь на службе у Альбера, продолжал являть всю свою цветистость и яркость, нигде не обнаруживая ни дыр, ни пятен.

В детстве я особенно гордился этим ковром, а также тем небольшим «золотым шкафиком», что стоял на углу залы, а также тем, что на нем стояло. Шкафпк был в стиле буль (что это не был настоящий старинный boulle, разумеется, не играло в моей оценке никакой роли), черно-мраморную его доску поддерживали золоченые амурчики-кариатиды, а вся лицевая сторона была густо забрана орнаментом из медной и черепаховой инкрустации. В замке же торчал чудесный, узорчатый, золоченый (золотой, как мне казалось) ключик. Таким именно ключом, думал я, должна была запираться та комната, в которую был запрещен вход жене Синей Бороды. Однако, когда я повертывал ключик и открывал шкаф, глазам не представлялись какие-то ужасы, а напротив, по полкам здесь были расставлены особенно драгоценные книжки. Верхняя полка была занята роскошными молитвенниками (paroissiens, quinzaine de Paques *, бревиэрами), ниже стояли фолианты, среди коих я особенно любил «Le Magasin Franco-Anglais» ** с литографиями Гюстава Доре и альбом «La mozaïque des salons» ***, па нижней же хранились модные журналы молодости мамы, в которых была масса тонко раскрашенных картинок, представлявших дам в широченных кринолинах и ярко-цветистых платьях. Самый такой проволочный кринолин где-то хранился у нас, и, быть может, мама считала, что он еще пригодится, «к этому еще вернутся».

Комната направо от зала называлась по цвету своих ярких обоев «Зеленой». Она служила одно время мне спальней: из нее был выход на балкон — любимое мое местопребывание в летние дни. В глубине «Зеленом» висели две большие венецианские перспективы XVIII в., а по бокам зеркала на кронштейнах, над комодом рококо жеманно позировали золоченые и пестро раскрашенные арапы, произведения той же Венеции и того же settecento. Налево из залы был выход в коридор, а ближе к окнам дверь в папин кабинет.

Совсем же в углу залы папа пробил в стене того выступа, которым средняя часть фасада выдавалась на улицу, маленькое окошко — специально для того, чтобы можно было любоваться видом на всю улицу и на Театральную площадь — на манер того, как это допускают английские bow-windows****. Вид на Мариинский театр был закрыт рядом домов, примыкавших к нашему, зато Большой театр с его строгим колонным портиком был видеп «как на ладони». Ближе к нам, справа, на самом углу

площади и улицы, стоял милейший особняк XVIII в. графов Морд-

Служебниками, пасхальными молит вое ловиями, требниками *(франц.),*

«Франко-английский журнал» *(франц.).*

«Мозаика Салонов» 4 *(франц.).*

Выступающие окна *(англ.),* окна-эркеры.

188Л *h 24. Родительский дом*

виновых, в саду которого за решеткой иногда содержались медвежата. Перспективу Никольской улицы завершало красное здание казарм Флотского экипажа, и в нем жила та, которой было суждено стать моей подругой жизни. В глубокой амбразуре маленького окна всегда лежал молитвенник папы, и в те воскресенья, когда он почему-либо не мог попасть в церковь, он здесь, перед окошком, глядя на далекие купола Благовещенской церкви, прочитывал про себя обедню.

Двери в кабинет также заслуживали внимания. Впрочем, не самые двери, состоявшие из двух створок и глубокой «коробки», а вот то, что в притолоке были ввинчены крючки, на эти же крючки вешались детские качели. Вся любовь отца к детям и все его балование их выразилось в этой подробности. У какого другого, занятого, вечно что-то писавшего и проверявшего человека можно было бы встретить подобное «попустительство»? Ведь эти качели действовали не только тогда, когда папы не было дома или когда он отдыхал (последнее случалось иногда по вечерам, после обеда), но и во всякие другие моменты, невзирая даже на то, что у отца сидели какие-либо его служащие, пришедшие к начальнику с докладом. Какого мнения о слабости папы должны были быть эти господа, принужденные из-за нашей шумной возни повышать голос и мучительно прислушиваться к тому, что им говорил папа. В пяти шагах от их беседы Шуренька, Женяка Лансере или Джомми Эдварде предавались наслаждению взлетать на воздух н оказываться то в зале, то в кабинете. Лишь иногда папа при таких упражнениях терял терпение или мама подоспевала к нему па помощь, останавливала качающихся и убеждала их, взывая к совести и к «деликатности», отложить игру па потом. Не могла не раздражать папу и наша тут же за стеной игра на рояле, о чем я говорю в другом месте.

Папин кабинет был самой уютной комнатой всей квартиры. Он был квадратный в плане, с двумя окнами на улицу. Посреди стоял сделанный по собственному рисунку папы крытый черной клеенкой письменный стол в «готическом стиле». На столе, на специальном плато с желобами лежал набор циркулей, карандашей, резинок; тут же стояла бронзовая группа Лансере, изображавшая чумацкий воз. Чернильница у папы была

необыкновенная, фарфоровая со своеобразной системой наполнения и опорожнения того сосудика, в который макалось перо. Кроме плато и чернильницы на столе кабинета всегда находилось бронзовое «дупло» с воткнутым в него топориком для отрезания копчиков сигар и ящик с вышитым букетом под стеклом, в котором хранились марки, сургуч и стальные перья. Этот ящичек был привинчен к столу во избежание того, чтобы его уносили. Перед столом стоял крытый кожей превосходный дубовый стул петровского времени, вроде тех, что приписывают Чиппенде-лю. Вся же остальная мебель была конца XVIII в. и сделана из карельской березы. Это была русская «крепостная» работа, несколько грубоватая, но форма стульев и кресел отличалась оригинальностью. Спинкой служил выгнутый овал, ручки же подпирались дельфинами (чешую которых я любил ковырять), а ножки представляли собой что-то вроде пе-

ревитых лентами прутиков. Крыта была эта мебель полосатым зеленым с черным штофом.

Оригинальный столик XVIII в. красного дерева стоял позади папиного стола у стены. На нем под стеклянным колпаком красовался изумительно резаный в буксбауме * конь — копия с одного из коней, что украшают фасад св. Марка в Венеции. Эта скульптура приписывалась Бру-столоне, но мне теперь кажется, что это была немецкая работа XVI в. На камине в углу перед зеркалом в раме XVII в. стоял серебряный слепок с знаменитого кубка, приписываемого Бенвепуто Челлини, и толпилась всякая бронзовая мелочь. Доставшийся от деда Бенуа красивый. библиотечный шкаф красного дерева был весь набит ценными увражами по архитектуре и искусству. Но главным украшением папиного кабинета. служили фамильные портреты, развешанные по стенам. Папа гордился тем, что, благодаря этим портретам, у него «совсем, как у царя», но, кроме такого «тщеславного» чувства, у него был к этой портретной галерее настоящий и очень глубокий пиетет. Ему казалось, что все близкие ему и маме люди находятся вокруг него, а следовательно, что смерть не нарушила связей, соединивших разных членов семьи. Наиболее художественные из этих портретов принадлежали кисти французских мастеров начала XIX в.— Буало и Куртейля. Очень хороши были также акварельные портреты прадеда Кавоса работы Оеокина, портрет тетушки Стефани — Нечаева и посмертный портрет матери моей мамы работы неизвестного мастера. Акварельный портрет работы Горавского изображал давно уже скончавшегося дядю Мишеля Бенуа, старшего папиного брата, в полковничьем мундире нараспашку, сидящим верхом па стуле с

предливдым чубуком в руке. Наконец, между окнами висела английская гравюра со знаменитой картины Дзоффани, представляющая натурный класс в Лондонской «Royal Academy» **, а над столом с конем «Брустолоне» красовались те две дивные сепии Гварди, которые по смерти отца достались мне и которые, увы, в эмиграции я вынужден был продать.

В углу кабинета, у двери в столовую находилось «мамино место» — четырехугольный стол и кресло; над ними висела полка, где были разложены толстые поварские книги, лечебники, словари; там же стояли всякие медицинские снадобья, среди них гомеопатическая аптечка, банка с: «жизненным эликсиром провизора Шуппе» и другие баночки поменьше с «оподельдоком» — зелено-желатинной мазью для растирания. У мамы, при всем ее скептическом отношении к докторам, была слабость ко всяким таким «домашним панацеям». В гомеопатию же она как-то и верила* и не верила; во всяком случае, она придерживалась мудрого взгляда: если это и не помогает, то и не вредит.

Вечером, когда кабинет освещался висячей лампой над папиным письменным столом (в это время папа уже кончал работу и занимался раскладыванием пасьянсов или каким-либо клеением), к его столу пристав-

От Bucksbaum *(нем.)* —буковом дереве. «Королевской академии» [художеств] *(англ.)*.

лялся другой стол, и у последнего, рядом с мамой размещались вечерние завсегдатаи: тетя Катя Кампиопи, кто-либо из братьев или сестер, нередко Артюр Обер, по понедельникам же неизменно тетя Лиза Раевская, успевавшая между обедом и отправлением в театр пробыть здесь часок в обществе своей дорогой Камнль.

Остается еще упомянуть о столовой и о моем «кабинете», который можно считать «колыбелью «Мира искусства». Остальные же комнаты служили спальнями и были меблированы на «чисто утилитарный лад», а если в той или другой из них висела какая-либо картина или стоял какой-либо интересный предмет, то это была «игра случая». Исключения не составляла и спальня моих родителей, особенно с тех пор, как вся специальная меблировка была вместе с супружеской двухспальной кроватью роздана в приданое моим сестрам, а зеленая альковная занавеска на кольцах (та самая занавеска, из-за которой папа меня голеньким показывал восторгавшимся тетушкам) была отправлена на чердак, как нечто совершенно вышедшее из моды.

Своеобразный характер нашей столовой придавало то, что

она была оклеена ярко-синимп «дамаскировапными» обоями. Прочность этих обоев была такова, что они простояли без переклейки с 1848 г. и до самого оставления нашей квартиры в 1899 г. И все еще этот синий цвет веселил глаз и придавал комнате какой-то прелестный старосветский характер. Этот синий цвет в годы, когда я вообще протестовал (по глупости) против всего, что в нашем обиходе слишком напоминало отжившую эпоху, меня возмущал. Позже, напротив, я как раз оцепил особенную прелесть этой старинностп, и поэтому в каждой квартире, которую мы с женой снимали, непременно одна из комнат получала именно ярко-синюю оклейку. От нас даже пошла в Петербурге 1900-х годов мода па такие синие комнаты, самый же этот цвет получил в шутку название «bleu Benois» *.

Приятное (тоже очень старомодное) сочетание получалось от этих синих обоев с мебелью красного дерева — с рядом стульев, обступавших большой раздвижной стол, с закусочным столом, с буфетом, с другим буфетом жакоб (для парадного сервиза) и со шкафом-витриной, в котором были расставлены разные редкости. Среди последних красовалась роскошная кружка аугсбургского серебра, кубок слоновой кости с историей Эсфири, английские чашки, употреблявшиеся только для шоколада в дни особенно торжественные, бокалы и стаканы с вензелями Бенуа; все это представлялось мне бесценными сокровищами.

Наилучшим же украшением столовой была картина, занимавшая почти целиком одну из стен. То была копия известной картины Иорданса «Король пьет», изображающей пир в праздник Крещения, когда тот, кому попадется боб, запеченный в пироге, избирался «королем» и, в свою очередь, избирал себе королеву, министров и придворных. Наша версия представляла многие отступления от знаменитой композиции на тот же сюжет в Венской галерее, но нельзя сказать, чтобы эти отступления слу-

* Синий во вкусе Бенуа *(франц.)*.

жили к особенному ее украшению, да и общий тон был более темный,, краски более тяжелые, нежели в Вене, выдавая позднейшую манеру мастера. Тем не менее наш «Король пьет» был замечательным образцом живописи и, несмотря на некоторые «неаппетитные» подробности, служил подходящим украшением для трапезной. Не проходило дня, чтобы за обедом или за завтраком я ее не изучал. Я был пленен красотой королевы, в которой я находил сходство с нашей Катей, ее же отец, коронованный старик, с жадностью пьющий из своего огромного кубка, мне напоминал папу. Служанки, сгруппированные справа,

казались мне похожими на наших прислуг (особенно хороша была фигура нагнувшейся женщины, льющей в кувшин вино, а веселая девушка, оглядывающаяся на зрителя, точно приглашала его принять участие в пире, была совсем живая). Когда у нас пили за здоровье кого-либо, то орущие здравицу на картине как бы присоединялись к нашим тостам. Братскую нежность я чувствовал к тому малышу, который на первом плане, ровно посреди картины, отбивает дробь на барабане. С этим мальчиком, когда я был его роста, я пробовал заговаривать, и мальчик как будто улыбался мне в. ответ...

«Красная» комната стала служить мне кабинетом с того момента, когда отбыл в плаванье брат Миша, и продолжала быть моей, пока (уже-после смерти мамы) сестра Катя не настояла на том, чтобы меня оттуда перевели в смежную чертежную. О, как тяжело я пережил это «выживание» из насиженного в течение десяти лет гнезда. Долгое время я не мог простить этой обиды и почти возненавидел за это когда-то обожаемую Катечку. Вся меблировка и весь убор моей «Красной» комнаты были переведены вместе со мной на новое место, а стены там оклеены такими же красными обоями, однако того же прелестного ансамбля не получилось. Очень портило вид моего нового кабинета то, что одна стена была сплошь застеклена (что давало возможность дневному свету проникнуть в коридор). Уже раньше я лишился тех милых скульптурных фигур, изображавших двух дам, бородатого рыцаря и элегантного вельможу, которые я получил во временное пользование от отплывшего Миши и которые он по возвращении пожелал получить обратно. Я успел свыкнуться с этими ультраромантическими (позолоченными) фигурами; очень мне нравились и те золоченые консоли, на которых они стояли и которые представляли музицирующих детей и головки средневековых шателенок *t выглядывавших из каких-то полукруглых оконцев.

У другой стены моей «Красной» комнаты стоял большой диван, исполненный, по специальному заказу папы и согласно моим желаниям, превосходным столяром Биркеифельдом. Красное дерево для него выбрано было первейшего сорта, а крыт он был темно-малиновой кожей. В era боковых устоях были ящики, а на верхней полке были расставлены под резным венецианским зеркалом бронзовые и резные из дерева фигуры, раковины, японские статуэтки, чернильница XVI в. и т. п. Об эту полку

От chatelaines *(франц.)* — знатных дам,

неминуемо каждый раз, когда он садился на диван, ударялся

Дима Философов (превышавший товарищей своим ростом), что и вызывало в нем взрывы негодования. Была же прилажена эта полка к дивану по моему желанию,— в подражание тому, что я видел в книге G. Hirth. «Das deutsche Zimmer» *, в которой широкое место было отведено под немецкий Ренессанс, бывший тогда в особенном фаворе. Диван имел еще и ту особенность, что если дернуть за особые шпуры с толстыми кистями, то ■сидение и спинка складывались вместе и переворачивались, а на их месте появлялась мягкая и приятная постель. На ней я спал, когда служившая мне обыкновенно спальней «Зеленая» комната бывала почему-либо занята другими членами семьи.

Лишним было бы здесь приводить список всей той массы вещей, которые наполняли мой кабинет, но я все же укажу на те, которые были особенно характерны для конца 80-х годов. Над небольшим шкафиком для книг красного дерева висели фотографии и гелиогравюры с картин моего тогдашнего бога Бёклина; на шкафике красовался слепок превосходной скульптуры Обера «Бык победитель», в углу у окна стояла статуя голого мальчика работы Пименова (позже она была перенесена в папин кабинет), на одном из окон был повешен портрет (подражание живописи на стекле) другого тогдашнего моего бога — Вагнера. Кроме того, служили украшением стен акварели Альбера, литографированный портрет дедушки Кавос, декорация эпохи Империи — Корсики и три декорации последнего Бибиена. С потолка свешивался фонарь малинового стекла — тоже отголосок увлечения немецким Ренессансом, который я с невестой купили, еще будучи совершенно юными, специально для «нашей будущей квартиры». Наконец, один из внутренних углов комнаты был занят камином черного с желтыми жилками мрамора, а на нем стояли бронзовые часы, изображавшие девочку с обезьянкой. Когда камин топился, то получался особенный уют, и нередко я с друзьями предпочитали для наших бесконечных вечерних и ночных бесед не зажигать лампы, а довольствоваться отблеском пламени или тлеющих угольев. Так было более поэтично, более романтично.

* Г. Хирта «Немецкая комната» 5 *(нем.)*.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава 1

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В ПЕТЕРГОФЕ

С каких лет я себя помню — в точности не могу сказать. Но

едва ли мне было больше двух лет, когда папочка во время бессонницы, которой я страдал, носил меня на руках, стараясь успокоить и убаюкать. Это было нелегкое дело. Невыразимый страх овладевал мной в ночную пору. Какие только видения мне ни мерещились! Ходил он со мной по всей квартире. Длинный ряд темных комнат; лишь вдали, в спальне родителей, брезжит огонек ночника, и проникает через окна отблеск уличных фонарей. Иногда по потолку возникнет и веером простелется тусклое отражение проезжающей кареты...

Все это создавало нечто жуткое. Но жуть усиливалась вследствие тиканья больших часов, стоявших в углу в столовой... Наши часы были очень красивые, английские, XVIII в., со шкафом красного дерева и с подобием храмика на бронзовых колонках в верхней части для механизма и циферблата. В целом часы представлялись мне каким-то живым существом с круглым печальным лицом на длинном теле. Впоследствии я нежно полюбил эти часы, я стал их считать за нечто вроде нашего фамильного палладиума. И не странно ли, что в самый момент последнего вздоха моей матери, умиравшей в соседней комнате, эти стоявшие на страже времени часы сами собой остановились ! *.

Но, разумеется, двухлетний ребенок, трепетавший на руках своего отца, ничего еще не знал ни о времени, ни о смерти, и боялся я этих часов безотчетно. Особенно же пугало меня то заикание и поперхива-ние, чем часы предвещали, что они собираются пробить час или половину. Я в ужасе вскрикивал и зарывался глубже в подушечку и в халат папы. И вот, одновременно с отчетливым громким боем наших часов, откуда-то через пол доносилась странная полуночная музыка. Это било — одни вместе, другие вразбивку — великое множество часов, висевших и стоявших в часовом магазине Сираха, жившего в нижнем этаже нашего дома. Когда же постепенно все это чужое и страшное смолкало, то слышалось тихое папеваиие папочки, в котором единственно понятным мне был припев «баю-бай, баю-бай», означавший, что мне нужно спать.

4* После дележа отцовского наследства наши столовые часы попали к моей сестре Камилле Эдварде, и каждый раз. когда я бывал у нее, я приветствовал их как старого друга и родного. По где-то они теперь?

I, 11, 1. Первые впечатления

Другие страхи возбуждали во мне портреты на стенах и «темная комната». Ночью я портретов разглядывать не мог, но я

знал, что они тут и что особепно один из них продолжает зорко следить за мной глазами. Еще вечером, когда являлась нянька, чтобы унести меня в детскую, портрет уставлялся на меня особенно пристально, его взор упорно всюду следовал за мной... Что же касается «темной комнаты», то таковой назывался чулан, в который вела скрытая в обоях зала дверка. В этом чулане хранился всякий хлам и, между прочим, в особом чемодане маскарадные маски — одни миловидные, другие чудовищные. Все эти личины с дырками вместо глаз, несомненно, оживали тогда, когда их не было видно. Иногда мне положительно чудилось, что я из залы слышу их шепоты, смех, взвизгиванья... На той же белой стене, в которой была проделана потайная дверка в «темную комнату», у пас неизменно производились сеансы «волшебного фонаря», и как-то раз, тогда именно, когда на степе появилась картина, изображавшая траурное шествие с гробом какой-то принцессы, дверь в темную комнату сама собой бесшумпо отворилась и вместо красавицы и несших ее рыцарей зазияла черная дыра... Как было не бояться, как было не видеть во сне кошмары про «черную комнату»? Особенно мне запомнился один тогдашний сои: будто среди дня я иду по зале и вдруг дверка в чулан отворяется, п там на темпом фоне откуда-то сбоку спускается закутанное в белый саван «привидение»,

Вообще кошмары мучили меня; я просыпался от них, обливаясь холодным потом, и после этого я уже никак не мог снова заснуть. Навещали меня кошмары более или менее общие всем; плохо кончавшиеся (пли грозившие плохо кончиться) взлеты, появления всяких чудовищ — иногда вовсе «невообразимых», иногда же воспроизводивших тех чертей рогатых, мохнатых и когтистых, которые на лубочной картинке Страшного Суда мучили грешников. Но особенно часто повторялись мучительные сны про железную дорогу. Их было два варианта. Вариант первый: я стою на траве у самого пути и мне совсем не страшно, я знаю, что поезд ходит по рельсам и меня он не тронет. Но появляется дымок над деревьями, локомотив выскакивает из леса и вместо того, чтобы пройти мимо, он сворачивает и с какой-то злобой бросается прямо в мою сторону. Я погиб! Второй вариант: напоминает тот сон, который видит Анна Каренина. Опять рельсы, но я не па траве, а на платформе станции. Поезда вообще нет, его ждут, но какой-то незнакомый, бритый, беззубый, скрюченный старичок, похожий на нищего, с палочкой в руке мурлычет мне иод ухо одно и то же: «едет — не едет, едет — не доедет»... В этом сне, который я всегда как-то заранее «предчувствовал» и от которого я пе в состоянии был отвязаться, было что-то особепно гнусное; он неминуемо

предвещал какое-либо заболевание, да, вероятно, я и видел его уже в полубредовом состояшш...

Раз я уже заговорил про кошмары, которые вообще в детстве преследовали меня, то расскажу здесь еще один, запомнившийся мпе на всю Жизнь и показавшийся мне тогда же сном вещим. Приснился он мне, когда мне уже было лет пять или шесть. Будто в гости ко мне пришел

/, II, 1. Первые впечатления

незнакомый мальчик, который сразу мне особенно полюбился и с которым я стал играть, точно мы были всегдашними друзьями. Он был старше меня, вовсе не хорошенький, но какой-то весь прелестный, а одет он был в красный костюм, обшитый белой тесьмой. Мы играли с ним в разные игры, но вдруг он исчез, и я почувствовал, что стряслась ужасная беда. Я бегаю по ˆкомнатам, ищу мальчика, зову его, но он не откликается. И, наконец, я вижу — в коридоре стоит машина и в ней бьется мой мальчик, стараясь высвободиться от мнущих и раздирающих его члены рычагов и шестерней...

Должен тут же сказать, что всякие механизмы вызывали во мне непреодолимое и таинственное притяжение. Так, например, несмотря на запрет, я не в состоянии был противиться соблазну нажать кнопочку на часах, стоящих у мамы па комоде. Стоило эту кнопку нажать, и часы тоненьким, но отчетливым голоском звонили сначала тот час, который прошел, а затем и те четверти, которые приближали время к следующему часу. Вещица эта была дорогая и «памятная», привез ее не то дядя Сезар, не то дядя Костя с лондонской Всемирной выставки. В момент боя я смотрел на заднюю стенку стеклянного ящичка, где приведенные в движение молоточки на упругих прутиках отстукивали то, что полагалось, по полукруглой серебряной чашечке. Эти часики, в противоположность столовым «громадным», казались мне добренькими, и я, разумеется, нисколько их не боялся.

Еще более милыми были золотые часы на длинной, надевавшейся через голову цепочке, лежавшие в кармане папиного жилета. Они были совсем плоские, с тонко выгравированным на крышке видом Венеции. Что это была именно Венеция, я знал с тех же незапамятных времен, когда меня баюкал папа, да и вообще о существовании какой-то Венеции я, кажется, знал раньше, нежели я «осознал» существование Петербурга. В нашей квартире было развешано немало видов города маминых родителей. Но вот это крошечное изображение площади св. Марка на крышке часов особенно зачаровало меня — в ней все так сияло золотом, а четкая перспектива уводила глаз далеко-далеко... Каждый день и по

нескольку раз в день я, сидя на коленях у отца, требовал, чтобы он мне показал свои часы. Получив их в руки, я не уставал любоваться этим видом или же прикладывал к часам ухо, чтобы услышать их еле слышное тиканье. В довершение моего удовольствия папа отворял две крышечки на обратной стороне, и тогда появлялся целый волшебный мирок. Одни, блиставшие золотом и серебром, колесики вертелись быстро, другие медленно, третьи делали полуповорот то в одну сторону, то в другую. Все это было живое, суетливое, и я был уверен, что если бы заглянуть еще дальше, влезть в часы, то там открылись бы и те микроскопические человечки, которые всю эту хитрую машину приводят в движение.

Дальнейшая судьба этих часов, когда-то принадлежавших моему прадеду, композитору Кавосу, оказалась менее печальной судьбы тех больших «столовых». По смерти папы они достались в наследство его внуку Коле Лансере. Покидая в первые месяцы революции 1918 г. надолго

Петербург, он спрятал их в потайной ящик письменного стола, также перешедшего от деда. За время отсутствия Коли почти все его имущество было разграблено, но тяжелый письменный стол трудно было вынести, и воры, обшарив все его ящики и вынув оттуда содержимое, самый стол не тронули и до тайника не добрались. Какова же была радость Николая Евгеньевича, когда, по возвращении, он нашел часы (и еще кое-какие драгоценности) там же, куда оп пх положил. Радость его была такова, что он даже забыл погоревать о многом другом (и более ценном), что пропало безвозвратно.

Если вглядеться в полустертые, едва еще различимые тени той далекой поры, то рядом с папой и на фоне какой-то «домашней обыденной суеты» выступают еще фигуры моей кормилицы, остававшейся при мне лет до трех, и сменившей ее моей первой няньки. Впоследствии я слышал, что моя кормилица была «красивой бабой», что даже братец Альбер за ней приударял, но мне запомнился лишь ее полукруглый расшитый кокошник над высоким лбом, гладкие причесанные пряди волос и масса бус на белой рубахе. Возможно, что няня была вовсе не старая, но тучная, неповоротливая и рыхлая, она производила па .меня впечатление древней старухи. Больше всего мне запомнилось, что она была бабушкой того бойкого курносого Коли Лукина, который, одетый в синюю шелковую рубашку, приходил иногда по праздникам, чтобы играть со мной. Он был лет на пять старше

меня.

Отцу, как архитектору высочайшего двора, полагалась на лето казенная дача в Петергофе 2*, и ему предоставлялся один из тех «кавалерских» домов !, которые были расположены вдоль аллеи, идущей от Большого дворца к Старому Петергофу. Эти «кавалерские» дома, сооруженные еще при Александре I, были одноэтажные, крепкой деревянной стройки, они покоились на каменном фундаменте и отличались изящной простотой, вообще свойственной архитектуре той эпохи. Выкрашены они были в коричневый цвет с белыми барельефами над окнами и с зелеными ставнями-ширмочками на окнах. Эти низкие зеленые ширмы особенно врезались мне в память, вероятно, потому, что, проснувшись утром, я их видел первыми, а над ними видел густую листву лип, от которых в комнатах стоял сладкий дух и зеленый полумрак. Занятно было примечать, как через узкие скважины этих ширмочек мелькают головы людей, проходивших мимо нашего дома.

Каждая группа кавалерских домов обступала широкий двор, а к каждому дому примыкал со стороны двора садкк из сиреневых кустов с цветочными клумбами. Среди этих кустов устраивалась обычная резиденция мадгы и сестер, которые, расположившись вокруг круглого стола, то шили, то вязали, то занимались хозяйскими делами — чисткой ягод, варкой варенья, лущением горошка и т. д. В хорошую погоду за этим же столом по утрам мы всей семьей пили кофе. За ним же я помню и па-

2* Я могу считать себя до некоторой степени «уроженцем» Петергофа, так как, родившись 21 апреля (3 мая) в нашем родительском доме в Петербурге, я уже неделв две после этого был перевезен на лето в Петергоф.

почку в светлом чесунчовом костюме. Это, вероятно, бывало по воскресеньям или по праздникам, когда ему не нужно было ехать на службу в город. Вход в занимаемый нами дом был со двора, но окна парадных комнат и спальни родителей выходили на помянутую аллею-улицу. Близко от нашей дачи шел «спуск», приводивший к фонтану Евы и к средней аллее Нижнего сада. В начале спуска слева расстилалась окруженная деревьями полянка; на ней, почти у самой дороги, любила сиживать нянька, предоставляя мне возиться в высокой траве и изредка окликая меня, если я отваживался выбегать на дорогу, на которой, «не дай бог», меня могли раздавить проезжавшие экипажи. Я эту полянку не любил,— она была слишком близка к дому, и ничего особенно интересного на ней не было. Возненавидел же я ее окончательно

после того, как меня там укусила наша черная собака Трезор, которую я так долго дергал за уши и за хвост, что, наконец, она меня и цапнула. Я отделался легкой царапиной, но потекла кровь, и это меня так напугало, что я поднял рев, точно меня зарезали. Бедного Трезора за это отстегали плетью, а няньке была произведена строгая распеканция, почему не доглядела.

Бесконечно более соблазнительным представлялось мне спуститься вниз к фонтану Евы и особенно к тому, находившемуся вблизи фонтана, холмику, который дети называли «горкой», хотя он едва возвышался над общим уровнем окружающего парка. Взобравшись на эту горку, я сразу воображал, что сделался большим и что вижу оттуда беспредельно далеко во все стороны. Кроме того, было так занятно без всякого труда взбираться на горку и опрометью нестись с нее вниз. На горке собирались и другие дети с их няньками, кормилицами и гувернантками. Пока эти особы между собой судачили, малыши затевали игры в лошадки, в пятнашки, а то делали пирожки из тут же насыпанной кучи песка. Но обратный путь шел уже действительно «в гору», и это было толстухе-няньке не под силу, особенно если я требовал, чтобы она взяла меня к себе на руки.

«Горка» имела еще то преимущество, что когда начинал накрапывать дождь (явление в Петергофе нередкое), то стоило сделать несколько шагов, как мы уже оказывались в одной из четырех беседок, стоявших вокруг фонтана Евы. В этих беседках собирались все, кого застигал дождь в этой части парка. И занятные же были эти беседки, выходившие со своими зелеными трельяжами и белыми колоннами в сторону фонтана! Через решетки трельяж-а было весело смотреть, как продолжали бить и водяным букетом рассыпаться густые струи вокруг беломраморной статуи.

Две из этих четырех беседок представляли собой внутри странную конфигурацию. Уступая линии проложенных еще Петром I дорожек, архитектор (Кваренги) срезал свои постройки решительным образом, ничего не меняя на фасаде, а потому задние стены этих скромсанных павильонов приходились к передним под углом настолько острым, что и ребенок не мог пропихнуться в оставшееся узкое пространство. Такая несуразность занимала, но как-то и тревожила меня. Снаружи «дом как дом», а внутри его точно приплюснули, причем, вероятно, что-то **было**

раздавлено, «скрыто», «спрятано». Я даже видел сны, будто срезанные стены расступаются и я вхожу в какие-то новые и

огромные палаты. Наяву я затем пробовал «проверить» эти сны и искал, где могла бы быть приснившаяся мне лазейка, по вместо нее я натыкался всюду па выбеленную штукатурку. Это чувство заключенной в беседке тайны осталось у меня на всю жизнь, и даже в 1918 г, (когда мы последний раз жили в Петергофе) те же фантазии сразу принимались меня тешить. Детские воспоминания особенно обострялись благодаря запахам: несколько приторный и тяжелый запах шел от масляной краски, в которую были выкрашены зеленые трельяжи павильонов, и сливался он с освежающими ароматами бьющей воды и всей окружающей листвы.

В России меня когда-то называли «певцом Версаля»; это потому, что я не раз (с 1897 г.) выставлял этюды версальских садов или исторические фантазии из эпохи Людовика XIV. И действительно, Версаль произвел на меня в первый же день моего «личного знакомства» с ним, в октябре 1896 г., потрясающее впечатление. Однако это впечатление не может идти в сравнение с теми чувствами, которые я испытывал, когда маленьким мальчуганом ходил, держась за руку отца, по петергофским аллеям, когда я цепенел в восхищении от вида падающего по золотым ступеням каскада у Марли (так называемой Золотой горы) или когда, стоя совсем близко внизу у водопада Большого грота под Большим дворцом, меня осыпала водяная пыль, и я через нее видел, как взлетают среди сияющих на солнце золотых божеств струп водометов!

Среди чудесных петергофских фонтанов были и такие, которые на меня навевали некоторый страх. Я побаивался тех огромных золоченых рож, которые вверху Золотой горы извергают потоки воды, сбегающей затем по беломраморной лестнице до нижнего бассейна. По еще больше я боялся двух менажерных фонтанов 2 около той же Горы, которые бьют необычайно сильным столбом. Когда их пускали, они па глазах постепенно росли, пока не достигали своей предельной высоты. Если тогда долго всматриваться в их непрестанно клокотавшую макушку, то получалось впечатление — точно этот массивный и тяжелый белый столб валится на вас. К страшноватым фонтанам принадлежали и черные драконы Шахматной горы, а также фонтан Нептун в Верхнем саду... Черный «железный» повелитель морей в короне с острыми зубцами и с трезубцем в руке более походил на Вельзевула, нежели на греческое божество. Под ним копошились всадники, оседлавшие морских коней с рыбьими хвостами, а вокруг из воды широкого бассейна торчали толстые морды дельфинов, извергавшие водяные дуги.

Были в Петергофе и потешные, веселые фонтаны. Таковы

были те голенькие, в землю вросшие карапузы, что держали над головами подносы, а на подносах подобие стеклянных колпаков («клошей»), образуемых бьющей водой. Еще потешнее были Гриб и Елочка у Монплезира. Как весело было, когда какого-нибудь приехавшего из Петербурга гостя приглашали отдохнуть под шапкой Гриба или на скамейке около металлического деревца и когда перед ним, ничего не подозревавшим, вдруг

образовывалась сплошная стекловидная пелена воды или его со всех сторон орошали тонкие струйки, возникавшие из ветвей искусственной елки. Дамы визжали, мужчины смеялись, но были и такие, которые обижались и сердились. Самая же забавная шутка была та, что скрывалась за одним из мраморных павильонов у ковша Самсона. Я очень любил это незамысловатое зрелище и подымал рев, когда папа на прогулке отказывался зайти к этому детскому фонтанчику. Но как было не плакать, когда меня лишали удовольствия снова увидеть этих плавающих друг за дружкой уточек и преследующую их собачку3. Собака лаяла «тяв-тяв», уточки кричали «ге-ге-ге», а посреди сидел на вертящейся кочке пастушок с волынкой, из которой оп как бы извлекал жалобные звуки.

От этих разнообразных петергофских впечатлений — смешных, страшных и восхитительных — вероятно, и произошел весь мой дальнейший культ не только Петергофа, Царского Села, Версаля, по и всей эпохи «барокко». Много при этом значило то, что Петергоф моих детских лет не был обездушенной, бальзамированной мумией-музеем или объектом научного исследования. Это был еще совсем живой и продолжавший служить своему назначению организм. В Петергофе жили царь, царица и царские дети, и от этих остававшихся на недосягаемой высоте особ, имевших для детского воображения в себе нечто сказочное, излучалась на всю их резиденцию какая-то радостная торжественность. Таким же должен был быть Версаль, когда и в нем яшли его настоящие хозяева, задавая тон всему свету. Эту «душу Версаля» я постиг по Петергофу еще в те годы, когда я о Версале и истории Франции не имел никакого представления.

Должен упомянуть я здесь и о цели одной из моих обычных тогдашних прогулок. То была скромная башенка, стоявшая недалеко от нашего дома — в конце поперечного канала; она походила на перечницу, и мне казалась довольно внушительной. То, что в ней никто не жил, что она была всегда заперта, что стояла она, окруженная деревянным помостом, через скважины которого поблескивала вода,— все это сообщало этому месту таинственный характер. Мой детский ум населял эту пустоту, не

допуская мысли, что такой «каменный дом» может стоять пустым (на самом деле он служил водокачкой). Помост был ветхий, и моментами даже мои маленькие ножки, несшие мало весившее тельце, проваливались в какую-то труху, что меня очень забавляло. Особенно нравился рыхлый хруст, получавшийся при этих провалах, и те толпы муравьев, которые разбегались тогда по доскам. Няня, остававшаяся сидеть на скамейке, только стонала и молила, чтобы я вернулся к ней, сама же из-за своей тучности не рисковала ступать на ветхое дерево.

Но пора вернуться к дому, к тому летнему нашему дому, который я как-то «осознал» уже тогда, между тем как городскую квартиру, в которой проходило три четверти нашего существования, я все еще не примечал. Мне нравилось в петергофском доме, что комнаты в этом нашем летнем обиталище были такие громадные, высокие и просторные, а из-за

близости деревьев темноватые; мне нравилось и то, что, сойдя пять ступеней, я уже оказывался среди кустов, у того самого стола, за которым мама и сестры проводили целые дни.

Под боком у мамы и я здесь пристраивался на все утро, пока меня не поручали для прогулки няне. Тут я рисовал или слушал, что мне читали, или что на своем ломаном русском языке рассказывал мосье Paul, гувернер моих братьев, такой всегда аккуратненький, одетый в бархатный коричневый сюртучок и в светло-серые клетчатые штаны. Отсюда же, уверенный в том, что меня во всякую минуту защитит мама или няня, я следил за играми Коли, Иши и Миши, к которым присоединялись соседние маленькие Кавосы, Кроны, Лихачевы. Их шумных, буйных игр я сторонился, но Иша вытаскивал меня иногда из-под материнской опеки и заставлял вместе с другими бегать по двору. Будучи мальчиком необычайно добрым и обладая удивительной способностью играть с малышами, Ища никогда не злоупотреблял моим к нему доверием и всячески меня оберегал. Это было не излишним, когда компания мальчиков в азарте теряла свои приличные манеры и превращалась в отчаянных безобразников. Самые невинные игры — в пятнашки, в горелки в кошки-мышки, в серсо или в воланы — приобретали моментами буйный и свирепый характер, иногда возникали и форменные баталии, во время которых, несмотря на строгие запреты, пускались в ход палки и камни. Тут, того и гляди, меня могли затоптать...

Сам Иша имел большую склонность к спорту — спорту, как его тогда понимали, в формах очень скромных и незатейливых. Зимой все эти мальчики и часть девочек бегали на коньках, летом

же они участвовали в разных состязаниях. Не проходило дня без того, чтобы Л юля, Коля, Иша и Миша не отдавались гребле на лодке и плаванью под парусами. В поощрение специально этих морских забав папа даже соорудил в одном из углов нашего обширного двора высокую мачту — совершенно такую, какая бывает на настоящих кораблях. По ее веревочным лестницам старшие мальчики взбегали, как обезьяны, и, взобравшись до площадки, производили там, к ужасу мамы, акробатические упражнения. В праздничные дни мачта «иллюминовалась» бесчисленными пестрыми флажками, и на комбинации некоторых флажков братья учились языку морских сигналов. Особенно мне врезалось в память то пиршество, которое было однажды устроено Ишей в палатке под мачтой по поводу одержанной им победы на каком-то состязании... Чего-чего только пе нанесли в этот день мальчики в палатку — сколько бутылок шипучего меда, квасу, ланской фруктовой воды, сколько тарелок с закусками и сладостями! Мне ужасно хотелось проникнуть туда, но один я не решался. Наконец Иша вспомнил обо мне и ввел меня в компанию своих шумных товарищей — кадетиков в форменных блузах или мальчиков, одетых, как полагалось, в морские рубахи. Лица у всех были загорелые и раскрасневшиеся, шум от разговоров и смеха стоял невообразимый, холст палатки пронизывали лучи яркого солнца, на земле уже валялись выпитые бутылки. Мне дали отведать всяких запретных в обыкновенное время вещей. И до чего же мне тогда поправились соленые грибы и какие-то колбаски!

Совершенно же райским Иша объявил изобретенное им блюдо: огурцы с медом.

Эти «морские экзерсисы на суше» кончились однако печально. Они даже чуть не стоили жизни одному из мальчиков — французу Гастону, который был взят к моим братьям для практики языка. О чем-то поспорив на узенькой площадке мачты, Гастон оступился и слетел с трех или четырех саженей на землю. Убиться бедняжка не убился, но все же сломал себе ногу. Каким высокопатетическим осталось в моей памяти то, что за сим последовало. Как тут все засуетились, как забегали, какой пошел гомон и крик. Не кричал только Гастон, а лежал зеленый, точно мертвец, крепко стиснув зубы, чтобы до конца «оставаться спартанцем». Его подняли и понесли через весь двор. Войдя в дом, с величайшей осторожностью положили на черный клеенчатый диван, что стоял в папиной чертежной. Больше всего был огорчен маленький Крон — невольный виновник катастрофы;

он стоял в изголовье, проливал слезы и все что-то шепотом приговаривал...

Рядом с такой почти трагической картиной запомнилось мне, среди первых впечатлений, связанных с Петергофом, еще одно, более сентиментального порядка. В той же группе домов, к которой принадлежала наша дача, стоял небольшой деревянный флигель, окна которого меня очень интересовали. Проходя с няней мимо них, я всегда останавливался для того, чтобы полюбоваться птичками в многочисленных клетках, висевших одна над другой по обе стороны одного из окон. На подоконнике стояли горшки с цветами, а какая-то старушка бывала занята то поливанием их, то кормлением птиц. И вот однажды эта сморщенная старушка заметила меня под окном и ласково, тоненьким голоском, стала приглашать зайти. Нянька заартачилась, но старушка мне понравилась, и я так настойчиво стал тащить свою Филипповну за руку, что она уступила, и мы поднялись на крылечко, а из сеней вступили в глубокую темноватую, сплошь заставленную мебелью комнату. Вблизи старушка оказалась старичком: ошибка же объяснилась тем, что голова его была повязана, как повойником, и еще тем, что старичок был гладко выбрит и розовые его щечки казались мягепькими, пухленькими. Крошечным он показался даже мне, трехлетнему, а одет он был в выцветший, весь заштопанный халат из узорчатого шелка с китайцами, пальмами и павлинами на нем. Это был древний, очень сгорбленный старичок, и из того, что шамкал его беззубый рот, я еле различал какое-то мудрено звучавшее приглашение посидеть и отведать его угощений. Меня сразу потянуло к клеткам, и особенно к большой золоченой, с ярко-пестрым попугаем в ней. Тут же вышмыгнула откуда-то мартышка, начавшая скакать со шкафа на шкаф и корчить рожи... За этим первым визитом последовали другие. Уж очень меня манили к себе все эти диковинки, да и сам старичок с китайцами на халате притягивал меня тем более, что он потчевал меня пряниками, до которых я был большой лакомка; няньку же он усаживал за чаепитие с вареньем. Когда в следующем 1874 г. мы снова на лето приехали в Петергоф, то я в первые же дни пожелал навестить нашего знакомого, но увы... его уже не оказалось, а вместо него теперь жил в

том флигеле музыкант придворного оркестра, и из открытого окна неслось неистовое мычание его фагота. Это опустевшее, завешенное тюлевыми занавесами окно тогда дало мне впервые ощущение невозвратной утраты. Позже я узнал, что старичок этот доживал на покое свой почти столетний век, а состоял он когда-

то в пажах при Екатерине II, позже на службе в Дворцовом ведомстве. Жил он на этой казенной квартире безвыездно летом и зимой, в течение многих десятков лет.

Несомненно в том же 1874 г. я познакомился со страшной, но и как-то поманившей меня тайной Смерти. В один ясный праздничный день, идя с отцом по дамбе Купеческой пристани, я заметил на воде, на небольшом расстоянии, лодочку с сидящими в пей двумя городовыми, которая плыла по направлению к дамбе. Мое внимание, впрочем, было привлечено не столько самой лодочкой, сколько тем, что она волокла за собой. Этот предмет удивительно меня заинтересовал. Как раз в эту минуту папочка повстречался со знакомыми, они остановились, и между ними завязался разговор; я же, прильнув к перилам помоста, мог вдоволь изучать то, что происходило внизу. Теперь лодка пристала к лесенке, Которая вела к сторожевой будке, и городовые совещались с третьим полицейским, вышедшим к ним навстречу. В лучах солнца я мог теперь вполне разглядеть и то, что было привязано к корме лодки и что мягко колыхалось в волнах. Это было нечто похожее на большую куклу с раскинутыми руками и ногами; кукла была голая, а бледное тело ее было точно размалевано цветными пятнами; головы не было видпо: она оставалась за лодкой, глубоко свесившись под воду. Никакого ужаса я не испытывал; наоборот, меня что-то приковало к этому зрелищу — я оторваться от него не мог. Когда разговор между «большими» прервался, я поспешил указать папе на то, что меня так заинтересовало, но он только воскликнул: «Ах, боже мой, да это утопленник!» — и сразу потащил меня прочь, причем пришлось отрывать мои цепкие пальцы от массивных перекладин перил. Позже выяснилось, что то был труп матроса с одной из царских яхт, потонувшего несколько дней назад во время купанья, и что полиция везла труп к кладбищу, расположенному на самом берегу моря, по другую сторону дамбы.

Эта дамба играла немалую роль в жизни дачников. Я лично очень был огорчен, когда во время первой мировой войны ее и пристань, к которой опа вела, уничтожили. Петергоф лишился одной из своих достопримечательностей. Ввиду малой глубины Финского залива пароходы не могли подходить к самому берегу, а потому и была построена эта дамба, выступавшая на добрую четверть версты в море. От берега сначала тянулась земляная насыпь («дамба» в точном смысле слова), но дальше она переходила в мост на бесчисленных сваях, приводивший к общественным купальням (слева женским, справа мужским), в конце же моста находились те деревянные постройки, в которых помещались кассы пароходного общества, жилища для служащих

и самая пристань.

Купеческая пристань в цветущую пору петергофского пароходства (пора эта кончилась около 1900 г.) была весьма оживленным местом.

*/, II, 1. Первые впечатления*203

Сюда дачники являлись встречать приезжающих по морю из Петербурга, сюда же приходили вереницы провожающих, охотники же до морского купанья распределялись между купальнями. Чрезвычайное многолюдство в праздничные дни придавало гавани характер ярмарки, чему способствовал и неистовый галдеж наемных извозчиков, для стоянки которых была отведена сбоку очень обширная дощатая площадка. Извозчики накидывались на прибывавших, стараясь перебить друг у друга седоков и почти силой устраивая их в свои ландо, колясочки и пролетки. Так и слышались со всех сторон традиционные зазывания: «ваш-сиятельство», «ваш-благородие», «ваш-степенство»! Тут же, на площадке, в гордой обособленности ожидали своих господ «собственные» экипажи с их величественными бородатыми кучерами, а в свою очередь среди них выделялась кучерская аристократия — придворные кучера, по-иностранному бритые, с их товарищами — выездными лакеями; как те, так и другие с золотыми позументами на ярко-красных шинелях и с набок надетыми треуголками. Когда масса прибывших оказывалась размещенной,— гоеподские лошади двигались стройным топотом, извозчичьи клячи беспорядочной, путаной рысью,— и буквально на весь Петергоф раздавался грохот. Услыхав его, даже дачники, жившие за версту или за две от пристани, узнавали, что «пришел пароход», и тогда, если кого ожидали к завтраку или к обеду, то говорили прислуге: «они сейчас будут, можно подавать».

Услыхав в известный час такой топот на дамбе, мы знали, что приехал и наш папа, и тогда принято было идти к нему навстречу. Мы доходили до другой достопримечательности Петергофа — до высокого, выкрашенного в черный цвет свайного моста, который был перекинут через овраг, отделяющий Новый Петергоф от Старого. На пологом подъеме к этому мосту внизу и показывались перегонявшие друг друга возницы, а среди них и постоянный папин извозчик; вскоре можно было различить и папочкино милое лицо под широкополой соломенной шляпой. Въехав на верхнюю дорогу и заметив нас, папа останавливал дрожки, слезал с них и, схватив меня, начинал целовать и подбрасывать в воздух, приговаривая свои всегдашние смешные ласковые словечки. Затем он сажал меня рядом с собой, и мы шагом доезжали до кавалерских домов — я гордый тем, что сижу

рядом с папой в экипаже, тогда как моя нянька плетется, едва передвигая ноги, пешком...

С кавалерскими домами связаны у меня и первые воспоминания о домашних пиршествах. На семейные праздники (1 и 15 июля) собиралось человек сорок, если не шестьдесят, и тогда приходилось обедать в саду за поставленными в два ряда столами. На этих пиршествах я помню баловавшего меня поэта Якова Петровича Полонского, тогда еще ходившего без костылей и очень увлекавшегося живописью; помню еще и трех моих двоюродных дядей — Альберта, Камилло и Стефано Кавосов, из коих двое младших служили в итальянской армии, а поэтому, находясь наездом в Петербурге, являлись на семейные торжества в своих эффектных мундирах. С этой же поры я отчетливо помню и другого своего дядю (мужа покойной тети Софи) — Митрофана Ивановича Зарудного, блестящего краснобая и очень нарядного щеголя, к сожалению, тогда уже

злоупотреблявшего вином. Помню, как, стоя в траве на коленях перед далеко не привлекательной тетушкой Екатериной Анжеловной, он, подняв персты к небу, дурачась, клялся ей в вечной любви; помню и то, как, посадив меня на высококолесный свой шарабан, он гнал рысака, сея всеобщий ужас, по улицам Петергофа. Запомнился мне с тех пор и тот случай, как дядя Митрофаи, мчась таким же бешеным аллюром по Сам-сониевской аллее, опрокинул шарабан и его седоков в канал.

Однажды среди наших гостей я заприметил новое лицо — молодого человека с заостренной бородкой, одетого совсем не так, как другие,— в кафтан без пуговиц и в шаровары. На ногах у него были мягкие черкесские сапоги, а на голове странная кавказская шапочка. Уже одно это было поразительно, но еще поразительней было то, что являлся этот молодой человек всегда верхом на казацкой лошади. Почему-то в мое сердце вкралось сразу недоброе предчувствие, да долго и не пришлось догадываться: уже к концу лета (1874 г.) он был объявлен женихом моей сестры Кати.

Обеих сестер — и старшую Камишу, и младшую Катю — я нежно любил. Это были совсем взрослые барышни, которые годились мне в матери и которые старались одна перед другой излить на своего крошечного братца запасы своей материнской нежности. Выходило, точно у меня не одна, а целых три мамы, но одна из пих возбуждала во мне какое-то особое чуветво, которое я не знаю как назвать иначе, нежели как словами «художественный восторг». Катя считалась вообще очень хорошенькой, я же в ней

видел прямо-таки свой идеал. Пожалуй, будет вернее сказать, что это была моя первая (разумеется, совершенно безотчетная, но все же пылкая) влюбленность, и это чувство я «почти осознал» как раз тогда, когда мне сообщили, что Катя выходит замуж за Женю Лансере. Как-то раз меня позвали в гостиную, сунули в руку длинный узкий бокал, на дне которого было немножко желтоватого вина, и пригласили выпить за здоровье Кати и Жени. Все вокруг уже держали такие же бокалы, но у них вино, пенясь, переливалось через край и капало на пол. У всех был необычайно радостный вид, все стукались своими бокалами друг с другом и весело что-то приговаривали. «Что же, Шуренька, чокнись и ты со мной,— нагнулась ко мне Катя,— ведь я невеста, я выхожу замуж за Женю. Чокнемся!» Но Шуреньке было не до чоканья. Я выронил свой бокал из рук, и он разбился («это к счастью, это к счастью!» — загудели вокруг гости), сам же, заливаясь слезами, помчался к себе в детскую и, рыдая, зарылся в подушки. Что только не предпринимали, чтобы меня утешить,— ничего не помогало. Я не понимал, что значит «выйти замуж», я даже не представлял себе отчетливо, что сестра теперь вскоре покинет наш дом, но все мое существо возмутилось против того, что вот этот чужой человек станет близким к «моей» Кате! Я почти занемог от жгучей ревности. К самой свадьбе, которая была сыграна через несколько недель, я уже «примирился с судьбой», успокоился, а после свадьбы Женя и Катя уехали в Париж, где и прожили всю зиму. Там-то и сделала высокоталантливая ученица Зичи — Мери Эттингер их необычайно удачный двойной портрет.

/, II, 2. Брат Иша **205**

Глава 2 БРАТ ИША

Осенью того же 1874 г. наша семья пережила большое горе. Скончался мой брат, мой любимый брат Иша. Любили ли Ингу другие братья так же, как я? Одно из самых тяжелых впечатлений того времени связано у меня как раз с фактом, который, казалось бы, доказывал обратное. Иша как-то напроказил в «Зеленой» комнате, служившей тогда спальней для двух старших братьев, для Альбера и для Люли, Оба были уже учениками Академии художеств и в семейной иерархии были включены в разряд «больших», чему вполне соответствовала их внешность — их рост, их возмужалость и особенно их бороды. И вот эти-то двое «больших» так взбесились поступком Иши (он нечаянно разбил какой-то гипсовый бюстик), что набросились на него и расправились с ним жестоким образом.

Как сейчас вижу дикую картину, которая предстала тогда передо мной. Сначала послышалась перебранка в «Зеленой» комнате, потом какая-то необычайная возня в зале, затем топот по коридору и, наконец, уродливо толкающаяся группа, состоявшая из Альбера, Люли и Иши, ввалилась в столовую. Через секунду Иша лежал на полу... Откуда-то появилась веревка, и его, не обращая внимания на вопли, братья связали и связанного потащили в последнюю компату, где бросили на доску, прикрывавшую ванну. О, как возненавидел я тогда этих мучителей, как они сразу же потеряли весь свой престиж. Ни родителей, ни сестер не было дома, прислуга же оставалась на кухне и ничего не слыхала. По совершении казни оба «палача» удалились, и в квартире водворилась жуткая тишина. Не понимаю, почему моя нянька, сначала напуганная яростью братьев, теперь не поспешила развязать Ипгу и никого не позвала на помощь, но, во всяком случае, Иша оставался некоторое время лежать привязанньрй к крышке ванны, причем, верный своим спартанским принципам, он лишь изредка стонал и скрежетал зубами.

В первый раз я в тот же день увидел мамочку в гневе. Вообще она никогда нас не бранила, а старалась действовать убеждением и усовеще-ванием. Но здесь, когда, вернувшись домой, она нашла своего сына в таком ужасном положении, она воспылала негодованием. И какое же я получил удовлетворение, когда я увидал смущение обоих мучителей, их жалкий, поникший вид, их опущенные головы! Как я ликовал, когда мама их же самих заставила развязать Ингу и растереть его наболевшие члены. И как я принялся целовать бедного моего любимого брата.

Вскоре после того случилось с Ишей другое, более опасное злоключение — е>*`о укусила одна из наших собак. Иша, узнав, что с Полканом творится что-то неладное, сбежал во двор, но не успел ò*ii показаться, как пес бросился на него и вцепился ему в плечо; дворники тут же прикончили пса лопатами, а раненого Ингу понесли домой. В те времена не-

известна была прививка против бешенства, и. существовало лишь поверье, что, если прижечь сразу рану каленым железом или хотя бы чистым спиртом, то укушенный будет спасен. Раздев Ишу и найдя рану (которая была неглубокой), мама стала обмывать ее этим примитивным средством. Я отчетливо вижу картину: Иша сидит, выделяясь силуэтом иа фоне окна, дрожит мелкой дрожью и все же изо всех сил крепится, чтобы подавить боль и пережитое волненье, а мама с помощью Ольги Ивановны

прикладывает ему примочки, черпая спирт из поставленного на пол таза.

Увы, теперь трудно решить, могло ли спасти Ишу доморощенное средство. Месяца через два моего бедного брата не стало, но скончался он от совсем другой причины. Иша заболел воспалением брюшины (или брюшным тифом) и после недели мучений, столь же мужественно им перенесенных, он скончался, будучи всего четырнадцати лет от роду. Самая смерть явилась неожиданно. Еще утром он перебрался на кресло, пока ему меняли постельное белье. Незадолго до этого его перевели из «Красной» комнаты, в которой он жил вместе с Мишей, в просторную комнату на улицу, служившую спальней родителей. Раза два я забегал туда, движимый неясной тревогой, но он лежал молча с осунувшимся от страданья лицом... Выбитый из обычной колеи, я слонялся по комнатам, встречая во всех какой-то раздраженный отпор. К вечеру же мы все братья собрались в «Зеленой», меня усадили за стол, дали карандаш к бумагу, и я принялся рисовать. Что-то нависало все больше и больше. С другого конца квартиры доносился шорох, звон посуды, стоны Иши и иногда увещевание мамы принять лекарство. А потом все окончательно затихло, и я понял по тому, как переглядывались между собой братья и по раздававшимся рыданьям прислуг, что произошло нечто ужасное...

Через еще несколько минут послышались знакомые, лишь очень замедленные шаги папы. Войдя, он тихо произнес: «Иши больше нет, он умер». При этом папа не плакал, но лицо его было полно глухого страданья. Да и я, обыкновенно плакавший по всякому поводу, на сей раз не заплакал, хотя и ощутил всю меру своего несчастья. Вследствие этого ощущения я и запомнил каждый дальнейший момент злополучного вечера.

Гурьбой мы последовали за папочкой и вошли в спальню. Именно от Иши среди всяких других, мной любимых «страшных» рассказов я узнал, что мертвые начинают дурно пахнуть, а потому, когда я вошел, мне показалось, что сказанное им уже и подтверждается. В комнате действительно стоял тяжелый и приторный, никогда раньше мной не слышанный дух, но это пахло от всяких лекарств и особенно от мускуса, который Ише вспрыскивали за несколько минут до смерти. Сам Иша лежал на боку — точно спал. Лицо его спокойное, и даже слабая улыбка играла на устаˆх. Я подумал — вот он увидел ангелов...

Вдруг из передней послышались какие-то протестующие возгласы. То был голос жениха моей старшей сестры Матью Эдвардса. Он быстрыми шагами вошел в спальню, еще решительнее запротестовал, когда мама

подтвердила, что «Jules n'est plus» *. Подойдя к кровати, он дотронулся до покойного, затем, присев рядом, еще раз заявил: «C'est impossible il n'est pas mort, il dort» ** и, обращаясь прямо к Ише, он несколько раз воскликнул; «Well, my boy, wake up, it's no time to sleep» ***. О, как мне захотелось, чтобы совершилось одно из тех чудес, о которых любил рассказывать Иша, чтобы открылись эти глаза, чтобы он повернулся, привстал... Но тщетно взывал добрый Мат. Иша оставался нем, без движения, теплота не возвращалась, и наконец сам Мат поверил в непоправимое: он опустился на колени и, уткнув свою рыжую голову в одеяло, принялся, громко всхлипывая, молиться.

Сейчас вслед за этой сценой «неудавшегося воскресения» началось жуткое «убирание» покойника. Прислуги, под руководством мамы и Ка-миши, принялись омывать тело (мне удалось украдкой увидеть это через щель между половинками двери), а тем временем папа при помощи братьев и Мата — соорудили в кабинете под портретами дедов своего рода катафалк, для чего был использован высокий чертежный стол, а в головах повешено большое скульптурное распятие. Потом одетого уже в гимназический мундир Ишу общими усилиями понесли из спальни в кабинет и положили на это возвышение, окружив его зажженными свечами. Еще две подробности поразили меня. На закрытые веки Иши положили по большому медному пятаку, а в ноздри запихали вату. На все это я смотрел с крайним любопытством. Что Иша, совсем недавно еще бывший таким живым, разговорчивым, превратился в абсолютно бледную, недвижную и немую статую, что от него (как мне казалось) пахнет, что глаза его могут против его воли открыться (и потому на них и положили тяжелые пятаки),— все это до того меня «интересовало», что я как-то и «не успевал» предаваться тому горю, которому предавались остальные. Я даже нарушал несколько раз общее сосредоточенное молчание, задавая весьма нелепые вопросы. Мне было всего четыре с половиной года, и я еще не умел представляться, а все, что случилось, было столь необыкновенным, столь странным... И вот что удивительно: мне при отом вовсе не было страшно, наоборот, мной постепенно овладевала особенная экзальтация, то особенное чувство, которое неминуемо посещало меня в детстве при каждом событии, особенно потрясающем.

Дальнейшее сохранилось в моей памяти более отрывчато. Смутно помню появление у гроба Иши старого патера Лукашевича, смутно помню и то, как я в последний раз вижу Ишу

в открытом гробу в церкви св. Екатерины, куда его поставили на ночь перед погребением. Несколько лучше запомнилась картина погружения гроба в яму посреди того склепа, который в церкви Католического кладбища был отведен под место погребения нашей семьи. Но и эта церемония в сводчатой, пахнущей сыростью капелле не произвела на меня большого впечатления. Меня раз-

* Жюль скончался *(франц.)*. ** Это невозможно, оп не умер, он спит *(франц.)*. ** **Ну, мой мальчик, вставай, не время спать *(англ.),***

влекали масса лиц, обступивших могилу, и в особенности одетый во все белое père Cournan *, который совершал самый обряд в сослужении еще двух священников в черных с серебром ризах. Мне запомнилась и моя глупая «острота», которую я счел нужным выпалить из-за какого-то не-побс-рнмого желания обратить на себя внимание. Я вдруг повернулся к маме и громко спросил: «Его, вероятно, потому называют Курнан, что у него курносый нос?» Мне за мою остроту попало, но на некоторых лицах я увидел улыбку, и этого уже было достаточно для сознания какого-то успеха, до чего иногда дети, пожалуй, еще более падки, нежели взрослые,

Все последующие дни были заполнены разговорами об Ише. Я же не переставал рыться в его тетрадях и рисунках, отыскивая давно знакомые его композиции или же натыкаясь на еще мне неведомые и среди них на очень страшные и странные. Но кто мог теперь мне их объяснить и растолковать? Кому из братьев было дело до меня? Сестра Катя была далеко в Париже, а сестра Камиша целыми днями просиживала со своим женихом. Папочка же и мамочка были оба такие грустные, они так странно меня ласкали, что я не решался к ним приставать с вопросами. Поразила меня еще одна вещь. Разбирая бумаги Иши, мама набрела па тот брульон, в который он что-то еще записывал накануне дня, когда он почувствовал первые приступы недуга. То было классное сочинение по немецкому языку о «Марии Стюарт». И что же, эта черновая запись кончалась фразой, которую вложил Иша в уста несчастной королевы в момент, когда она идет на казнь: «Meine letzte Stunde hat ge-schlagen» **. В таком совпадении даже не имевшая склонности к мистике мамочка не могла не увидать своего рода предчувствие. Если кого может удивить, что на четырехсполовинойлетнего мальчика эта фраза, к тому же на чужом языке, произвела впечатление, то я укажу на то, что по-немецки, благодаря своей бопне Лине, заменившей как раз в том

году русскую няньку,— я уже кое-что понимал, а про судьбу Марии Стюарт я слыхал от того же Иши.

Глава 3 ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ

Моим главным развлечением в детские годы (приблизительно ` до 8 лет) были «солдатики» всякого вида и образца. Их я любил так, как только мог любить свои войска какой-нибудь немецкий «сереыиссимус» — великий охотник до «парадов». Друг дома А. П. Панчетта меня даже прозвал «бум-бум», ибо именно так я сам называл солдат, когда еще не умел произносить настоящие слова, но грохот барабанов проходивших

Отец Курнан *(франц.)*.

Мой последний час пробил *(нем.)*.

*/, II, 3. Любимые игрушки*209`

мимо наших окон полков уже вызывал во мне особенаое возбуждение. «Бумбумом» называл меня этот милый человек до самой своей смерти случившейся тогда, когда мне стало лет под сорок, и я из прежнего «милитариста» давным-давно успел превратиться в завзятого «пацифиста».

«Солдатиков» было у меня несколько сотен. Одни были оловянные, другие бумажные, вырезанные папой, наконец, в удовлетворение моей страсти, папочка мне делал их из игральных карт, которые он перегибал пополам в высоту и обкромсывал по краю с заострением кверху. Такая форма позволяла им стоять довольно стойко, но истинную радость мне все же доставляло не стояние их, а падение. Если, бывало, дунешь на первого, он валился на соседа, тот на третьего, и вся линия оказывалась «убитой». Никаких жестоких чувств я при этом не испытывал, впрочем, думаю, что и современный летчик, бросающий бомбу на город, тоже в этот момент «ни о чем, специфически жестоком», не помышляет. Он скорее так же «невинно веселится», как Шуренька веселился, когда ухлопывал свои бумажные легионы.

Из оловянных солдатиков особую слабость я питал к тем сортам, которые стоили дороже и которые являлись как бы аристократией среди прочего населения моих коробок. Это были «кругленькие», «выпуклые» солдатики, причем кавалеристы насаживались на своих коней и для большей усидчивости обладали штифтиком, который входил в дырочку, проделанную в седле лошади. «Спешенные» такие всадники имели прс-нотешный вид; они оставались с расставленными ногами, точпо они замочили себе штаны (неприятное чувство замоченных штанов

было мне тогда хорошо знакомо), и вместе с тем в таком виде они походили па настоящих кавалеристов, у которых от езды тоже йоги становятся колесом,— брат Коля в позднейшие годы являл живой пример такого типичного кавалериста. Эти «толстые» солдатики продавались в коробках, в которых обыкновенно помещались еще всякие другие вещи: холщовые палатки, которые можно было расставлять, пушки на колесах и т. п. Все это было страшно интересно, и я действительно блаженствовал, когда расставлял все это на столе, создавал себе иллюзию, что все это настоящее. Если же к этому прибавлялись оловянные тонко-ажурные кусты и деревца, а также те восхитительные домики, которые папа мне вырезал и клеил, то иллюзия правды становилась еще полнее.

Вся эта домашняя военщина, будучи привозной, заграничной, довольно дорого стоила. Напротив, почти ничего не стоили военные игрушки народные, иначе говоря те деревянные солдатики, которых можно было купить за несколько копеек на любом рынке. К сожалению, эти солдатики но формату не соответствовали оловянным,— самые маленькие из них раза в три превышали самого большого оловянного солдатика. Это обстоятельство, однако, не мешало мне любить и свои деревянные полки. Нравились они мне по двум причинам — и потому, что они были рас-крашепы в особенно яркие и глубокие «колеры» (например, голубые мундиры с желтыми пуговицами при белых штанах), и потому, **что они**

210Л *И>* & *Любимые игрушки*

восхитительно пахли, «пахли игрушками»,— пахли тем чудесным запахом, которым густо были напитаны и игрушечные лавки. Самые замечательные игрушечные лавки были Дойниковские в Апраксином рынке и в Гостином дворе, но по игрушечной лавке имелось и па пашем «фамильном» Литовском рынке и на недалеко от нас отстоявшем Никольском.

Эти деревянные солдатики «пролетарского» характера были разных типов: одни были крашеные, другие просто из белого дерева; были пехотинцы, были кавалеристы, были генералы. Но особенное удовольствие мне доставлял барабанщик, стоявший у своей будки, или целый полк с офицером во главе. Барабанщик выстукивал дробь,— стоило только повертеть за ручку, вделанную в кубик, служивший подставкой; что же касается «полка», то тут фигурки в светло-голубых формах при белых планах были нашпилены на деревянные, скрепленные накрест полоски, .которые раздвигались и сдвигались, вследствие чего солдатики то размыкали, то смыкали ряды.

Но не одни солдатики пленяли меня среди простонародных

игрушек: были еще такие, с которыми я познакомился в самом раннем детстве, но которые и позже вызывали во мне настоящую радость. К ним принадлежали, например, кланяющийся господин, одетый во фрак по моде 30-х годов, и его пара — дамочка, «делавшая ручкой» и одетая в широкое и короткое розовое платьице. Сколько я этих «Иван Петровичей» и «Марий Степаиовных» на своем веку переломал! И как был я счастлив, когда, принявшись в 90-х годах систематически собирать игрушки **, я приобрел несколько последних экземпляров этих удивительных «живых •статуэток», изобретенных еще во времена Гоголя и с тех пор неизменно повторяющихся мастерами Троицкого посада1. Тут же нужно помянуть с «сердечной благодарностью» и о тех игрушечных «усадьбах», перед которыми под дребезжащую струнную музычку плавали гусята, а также о всяких пестро раскрашенных птицах и зверях из папье-маше (барашки делали «мээээ», птички — «пью, пью, пью»), о турке, глотающем солдат, и т. п. Вспоминая выше о своем милитаризме, я позабыл упомянуть о предмете моего особенного вожделения — о большом солдате (из папье-маше), на котором был красный мундир и у которого была такая милая, круглая, розовая рожица с черными усиками. Он стоял вытянувшись, выпятив грудь, и браво держал ружье. Ростом он был с меня! Когда я, наконец, лет трех получил такого солдата и полагавшуюся при нем полосатую будку, то я точно получил себе живого товарища, Я даже клал его вместе с его неотделимым ружьем к себе в кровать под одеяло, а в его будку я мог свободно влезать. Временами, впрочем, я и сам походил на воина, нахлобучив на голову игрушечную каску или же облачившись в рыцарский панцирь. При панцире полагался и шлем с забралом и очень страшная кривая сабля. Все эти предметы были сделаны из картона и оклеены золоченой бумагой.

** Вся моя большая коллекция игрушек была в 20-х годах приобретена Русским музеем.,,

I, II, 3. Любимые игрушки

2lt

Если бы дать себе волю, то моя глава об игрушках могла бы разрастись в целый трактат. Однако я никак не могу не упомяпуть еще а двух категориях «игрушек» — о том, что я бы назвал «карликовым миром», и о том, что можно объединить термином «оптические игрушки». И то и другое отвечало, пожалуй, еще в большей степени существу моего характера; то и другое имеет связь с театром и со всяким художеством, воспроизводящим жизнь.

Что касается до «карликового начала», то, мне кажется, это

было *во* мне нечто наследственное, ибо, несомненно, уже у папы была страсть ко всему крошечному. Эту свою страсть он выражал в тех моделях, которые1 он клеил как для своих детей, так даже и для «представления начальству». У него в книжном шкафу, рядом с целой деревней чудесных домиков, привезенных им в 40-х годах из Швейцарии, хранилась модель Стрелинского вокзала 2, которую папа когда-то склеил для представления. ее самому государю Николаю Павловичу. Такие же модели (рассказывали братья) он делал раньше почти для каждой своей значительной постройки, больше для собственной утехи, нежели по необходимости, тратят на это кропотливое дело массу времени.

И вот в 1875 г. ко дню моего рождения папа пожелал особенно распотешить младшего своего сынка этим своим искусством. Для этого он вздумал склеить целую «квартиру», которая должна была заменить доставшиеся мне по наследству от братьев деревянные «комнаты» столярной работы, довольно-таки нелепые и громоздкие (ведь мог же я из одной комнаты в другую проползать на четвереньках через соединявшие их двери!). Приготовления к этому подарку держались в секрете, но я. очень скоро заподозрил, что нечто особенпое зреет для меня, да и пробегая по папиной чертежной, куда он с Альбером или с Леонтием, по окончании очередных серьезных дел, уединялись, я мог, бросив украдкой взгляд на рабочий стол, заметить какие-то крошечные рамы для-окон, что-то вроде кухонной плиты, что-то похожее на фортепьяно. Наконец день моего рождения, 21 апреля 1875 г., наступил. Когда я,. тщательно причесанный, в бархатном костюмчике с кружевной отделкой и в новых полосатых чулочках вышел сияюще-смущенный в столовую, то между двух горшков с гиацинтами я узрел настоящее чудо, сразу наполнившее мое сердце восторгом. Будучи, как большинство детей, лишенным чувства благодарности (назойливым и никчемным мне тогда казались все эти поминутно повторявшиеся понукания: «Dis done mercî, Ghourínka» *), я на сей раз все же «до краев сердца» переполнился этим чувством и даже расплакался. Маме и тут же стоявшим с поздравлением прислугам показалось, что Шуреньке опять не угодили, и уже собирались меня за это журить, но я, преодолев конфуз, все же успел между судорожными рыданиями промолвить: «Я заплакал, потому что боюсь это испортить...», после чего я зарылся головой в папин халат и бешена стял его (т. е. именно халат) целовать.

* Скажи «спасибо», Шуренька *(франц.)*.

Правда, этот домик был бумажный, картонный, комнаты были не выше пяти вершков, да и комнат было всего три, из

которых одна, ■большая, служила залой, другая — и столовой и спальней, а третья кухней, но зато все это изумительно воспроизводило настоящую и притом довольно «шикарную» квартиру. В зале, оклеенной белыми обоями, «то-. пился» (холодным пламенем из красной фольги) камин, над ним перед зеркалом стояли канделябры и часы, у окна (со слюдой вместо стекла) были повешены кружевные занавески, в углу стоял рояль с поднимавшейся крышкой; степы были украшены картинами в рельефных рамочках. В оклеенной красными обоями столовой, кроме обеденного стола и стульев, стоял еще «удобный» диванчик, кресло-качалка и большой буфет *с* настоящей фарфоровой и стеклянной микроскопической посудой, а смежная со столовой кухня была полна кастрюль, тазов, сковородок, на стене же висел колокольчик, который заливался тоненькой дробью, «ели отворяли «входную» дверь. В петербургских домах только тогда стили вводить общественное водоснабжение, но уже в моем домике был водопровод, по крайней мере, на это указывали кран и раковина.

Официальными жильцами моей квартиры значились куколки, очень миле одетые: господин и дама (для дамы пришлось прикупить железную кроватку с матрацем и подушками, тогда как господин удовольствовался диваном, на который я его укладывал, не снимая фрака). Однако подлинным обитателем был, разумеется, я. Мне и не нужны были эти «фигуранты», которых я вскоре и спровадил в коробку со всякой всячиной, раз я мог сам часами просиживать перед «своей» квартирой, расставляя мебель, накрывая стол, возясь с камином, у которого, за металлической решеточкой, лежала лопаточка и щипцы. При этом я воображал, что «сегодня будут гости», что вот гости явились и им из кухни несут вкусные вещи. Мне не приходило в голову, что тут нужна еще хозяйка, но с какими-то все же воображаемыми товарищами, с Петей и с Сашей, я мог подолгу разговаривать, они меня навещали в «квартире», и с ними же я продолжал беседовать, когда бопна укладывала меня спать.

Культ «маленького» достиг настоящего маньячества, когда в русском переводе я познакомился с Гулливером (прелестное издание «Зеленой библиотеки»5). Ах, как мне тогда захотелось попасть в столицу лилипутов, заглядывать в окошечки их домов и наблюдать, как они живут в своих крошечных квартирках! Я давал себе слово, что буду крайне осторожен при прогулках по их улицам и что никого из них не задавлю. Я так живо представлял себе этих человечков, их лошадок, их костюмы, вооружение, что моментами мне казалось, точно я, как Гулливер, действительно, уже когда-то держал их в руках, точно действительно чувствовал,

как они дрыгают в перепуге ногами, точно я их подносил под самый нос, чтобы лучше разглядеть. Да, может быть, я и впрямь все это видел в своих, всегда очень реальных снах. Вечером, когда тушили лампу, я начинал вглядываться в полумрак освещенной ночником комнаты в надежде, что кто-нибудь на комоде или на висячей полке вдруг и закопошится, и это окажется лилипут. Случись это действительно, я,

наверно, и не испугался бы, тогда как умер бы от страха при появлении какого-нибудь мохнатого-рогатого. Меня интересовал и точный размер гулливерских лилипутов. Когда мне прочли в книжке, что они были семидюймовой высоты, то я просто обиделся,— это уже не были бы те совсем маленькие людики, в существование коих я так слепо верил и с которыми так хотелось войти в общение! Как было бы приятно брать их в карман, вынимать во время прогулок — пусть погуляют среди травки, которая должна им казаться дремучим лесом. Но годы шли, а лилипуты не удостаивали меня своим посещением; приходилось довольствоваться марионетками и всякой другой неодушевленной мелочью. .

Здесь же нужно упомянуть о тех замках, о целых городках, которые продавались во время Вербного торга и в которых, как и в картонажных рыцарских доспехах, доживали свой век мечты отошедшей в вечность романтики! О «романтике», как о некоем литературном движении, пяти-ле!ний мальчик, разумеется, никакого понятия не имел, но о замках я знал, что в них жили разные персонажи из любимых сказок: рыцари, принцы и принцессы, Синяя Борода, Людоед, которого в виде мышонка сожрал Кот в сапогах, и т. п. Да и про самые замки мне много рассказывал Иша, и я знал, что у них подъемные мосты, что их окружают зубчатые стены с башнями по углам; я приблизительно знал и то, как выглядят замки внутри, какие там лестницы, переходы, залы. Многое такое я видел в папиных путевых альбомах, но со многим я знакомился как раз по тем замкам из пробки, о которых я упомянул только что.

Кто создавал эти чудесные и прямо-таки поэтичные вещицы? Кто был тот милый, уютный художник, который, вероятно, задолго до Вербного торга подбирал пробки, разрезал их на пласты, клеил их, сочинял самую архитектуру, бесконечно варьируя комбинации элементов, из которых складывались эти крошечные сооружения. Этот же анонимный волшебник выкладывал скалы, на которых возвышались его многобашенные замки, ярко-зеленым мхом, сажал по ним крошечные рощи из перьев, он же вставлял в пробочные берега зеркальца,

представлявшие пруды чистой воды. Какие тончайшие пальцы лепили этих малюсеньких восковых лебедей, что подплывали к ажурным перильцам пристани? Неужели этот архитектор, доживший вероятно до глубокой старости, «пережил себя» и познал коварную переменчивость вкусов? Неужели он терпел нужду, боролся за жизнь, производил все эти чудеса для того, чтобы заработать десятка два рублей за те семь дней, что длилась Вербная неделя? Постепенно мода на эти замки стала проходить. Их уже редко кто покупал, хоть и стоили они не больше рубля или двух; никого не трогала их подлинная поэтичность. Над ними стали смеяться, как над непонятным пережитком «глупой» старины. И странное дело, даже у меня, хотя не обходилось и года, чтобы я не приобретал такого замка, даже у меня не сохранилось их ни одного. Хрупкие эти изделия требовали большой осторожности, их следовало бы держать под стеклянными колпаками! Но и колпаки ломались от недостаточно осторожного обращения прислуги и меня самого.

214*h Ну $· Любимые игрушки*

Радость, совершенно подобную той, которую я получал от этих вербных замков, испытывал я при виде того, что. было сгруппировано в одной из зал Академии художеств. Через нее надо было проходить, отправляясь в компаты, отданные иод «конкурентов». Так как папа всегда меня брал с собой, когда делал свой обход знакомых академистов2*, в том числе и моих двух братьев, то я побывал в этом «зале моделей» 4 несколько раз. ■ Это была просторная, но не очень светлая комната. В самой глубине ее и ь наиболее освещенной ее части возвышался дивный купол римскогс Saiì-Pietro, а перед ним в некотором беспорядке были расставлены прямв на полу знакомые мне Исаакиевский собор, Михайловский замок, Петербургская биржа, Смольный монастырь и десяток античных руин. Каждая такая миниатюрная постройка была представлена со всеми подробностями — с крышами, трубами, колоннами, подъездами, колокольнями и шпилями. Вот где воочию я видел город Гулливера! Мне разрешалось пройтись среди этих зданий, из которых немногие превышали мой рост и внутрь которых я мог заглядывать через окошечки. Часть этих зданий стояла как бы разрезанная пополам, что позволяло различить и внутреннее убранство, местами весьма роскошное. Но выше всех и прекраснее Есех казался мне именно собор св. Петра! Мало того, когда я очутился уже зрелым человеком перед панским собором в натуре, я не ощутил столь же сильного восторга, какой я испытывал ребенком, когда цепенел перед этой «величественной» массой, хотя она и не превышала высоты одной сажени (двух метров). Ничего я еще тогда не знал о

«художественном значении» этого памятника, о том, когда и кем оп был построен, я имел только смутное представление о том, что это «самая большая церковь на свете» и что она находится в Риме, где живет папа,— не мой папа, а папа римский, «царь всех священников». Этот мой восторг был поистине непосредственным и подлинным! И именно этот восторг от собора св. Петра вместе с таким же подлинным восторгом от Рафаэля остался как бы путеводным талисманом на всю мою жизнь. Постепенно он отложился в моей душе в целую систему неопровержимых и совершенно для меня ясных аксиом, и каждый раз, когда мной овладевали сомнения в отношении «чего-то главного», я, благодаря этому талисману, спасался от деморализации. Впоследствии все эти модели были (благодаря моим же стараниям и после многих лет небрежного отношения) расставлены в залах нижнего этажа Академии художеств, но, увы, моде*

Папа имел звание профессора, но не состоял профессором-преподавателем Академии художеств, с которой у него в те времена, несмотря па личную дружбу со многими ее членами, были несколько натянутые отношения. Эти обходы и не были для него чем-то обязательным. Просто он был всегда готов преподать налипающим архитекторам что-либо из своего колоссального опыта, поделиться своими энциклопедическими знаниями по архитектуре и памятникам прошлого. Часто оп тут же брал карандаш и быстро, с поразительным мастерством, набрасывал какую-либо деталь, профиль карниза, волюту орнамента. Глядя, как просто он это делает, мне и в голову не приходило, каким редким даром он владеет и в результате каких трудов получилась эта легкость.

ƒ, //, *4. Оптические игрушки*215

ли св. Петра среди них не было; она погибла за несколько лет до того в пожаре 1900 г. Она была слишком велика, чтобы пожарные могли ее вынести через единственную дверь той залы, в которой была сгруппирована эта бесподобная коллекция.

Глава 4 ОПТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ

Всякие оптические игрушки занимали в моем детстве особенное и очень значительное место. Их было несколько: калейдоскоп, микроскоп, праксиноскоп, волшебный фонарь; к ним же можно причислить «гукка-стен» и стереоскоп. Из них калейдоскоп был в те времена предметом самым обыденным. В любой табачной лавочке, торговавшей, наряду с сигаретами и

папиросами, и дешевыми игрушками, можно было за несколько копеек приобрести эту картонную трубочку, которая на одном конце имела дырку, а на другом матовое стекло. Стоило посмотреть в дырку, как внутри обращенной к свету трубки появлялось удивительное зрелище, благодаря пересыпавшимся цветным стеклышкам, отражавшимся в стенках зеркальной призмы. Пронизанные светом, превратившись в драгоценные камни, эти кусочки при каждом повороте трубки соединялись, рассыпались и укладывались во всевозможные новые фигуры. Бывали и другие калейдоскопы с металлической трубкой, окленной цветной кожей с визирем, который можно было, как в микроскопе, двигать вперед. Но цветные фигуры получались в ней не более удивительные, а к тому же надо было с ним обращаться бережно. И ни в каком случае не разрешалось такую трубку вскрыть и изучить ее внутренность. Напротив, жизнь каждого дешевого калейдоскопа вскоре оканчивалась именно такой операцией. И до чего же было забавно, когда высыпешь на ладонь пригоршню снова превратившихся в поломанные стекляшки недавних яхонтов и рубинов!

Микроскоп не был игрушкой. Брат Иша унаследовал его от Альбера, который завел себе более усовершенствованный, но в руках Иши старый Бертушин микроскоп служил еще лучше, нежели у своего первого владельца,— ведь Иша был так пытлив, он столько знал, он столькому учился помимо своих гимназических уроков. Однако для такого маленького мальчика, каким был я, микроскоп был, разумеется, игрушкой, и игрушкой тем более чудесной, что она никогда мне прямо в руки не давалась. Помню, как Иша бережно кладет на стеклышко пыль, снятую с корки сыра, я же не могу дождаться, когда «это будет готово» и когда, закрыв один глаз и приложив другой к холодной меди, я увижу какой-то очень страшный мир; нечто вроде тех мохнатых чудовищ, которые меня навещали в кошмарах. Да уже не от этих ли сеансов и шло мое представление о рогатых, косматых и до тошноты гадких существах? Меня начинали мучить вопросы, где домики, норки этих зверей, и зачем бо-

женьке понадобилось создать их да еще посадить на такую вкусную вещь, как швейцарский сыр?

Вероятно, мало кому сейчас известно, что означает эффектное слово «праксиноскоп», а между тем эта была та самая штука, которая полвека назад заменяла кинематограф. Мало того, от праксиноскопа, от принципа, лежащего в основе его, кажется, родилась и сама идея движущихся картин. В своем простейшем виде это был картонный барабан, в котором проделаны узкие

вертикальные надрезы. Внутрь барабана кладется лента с изображениями разных моментов какого-либо действия — скажем, девочки, скачущей через веревку, двух дерущихся борцов и т. п. Приложив глаз к одному из надрезов, мы видим только ту часть ленты, что по диагонали круга находится насупротив. Но стоит дать ладонью движение барабану, свободно вращающемуся на штативе, как изображения начинают мелькать и сливаться, а так как каждое изображение представляет уже слегка измененное предыдущее, то от этого слияния получается" иллюзия, будто девочка скачет через веревку или будто борцы тузят друг друга. Разумеется, барабан, сделав круг, подводит к тому же месту, к начальной картинке, но неизбалованному тогдашнему зрителю и того было достаточно, что девочка, не сходя с места, все скакала да скакала, а борцы, оттузив друг друга, снова принимались тузить, пока барабан не остановится. Сюжеты на ленточках бывали и более затейливые, а иные даже страшные. Были черти, выскакивающие из коробки и хватающие паяца за нос, был и уличный фонарщик, влезающий на луну, и т. п.

Зоотроп — вариант праксиноскопа '*. Здесь принцип оставался тот же, но видели вы не самую ленту, а отражение ее в зеркальцах, которые были поставлены крест-накрест в середине круга. Из картинок этого типа (обыкновенно нарисованных в виде силуэтов) мне особенно запомнилась вальсирующая пара. Иллюзия того, что эти фигуры вертятся, была полная, причем казалось, что они и рельефно выступают. Этот аппарат нравился мне особенно потому, что он принадлежал к явлениям «из карликового мира»,— эти лилипутики танцевали мне на забаву, и я мог чуть ли не часами глядеть на такое милое зрелище. Мне кажется, что я перепутал здесь термины: то, что я говорю о праксиноскопе, относится к зоотропу, и наоборот \ Надо бы проверить по энциклопедическому словарю.

У дяди Сезара был чудесный праксиноскоп с массой лент, но была у него и другая оптическая «штука». Это была большая «иллюзионная камера» — целое сооружение на особом постаменте, в которой большие фотографии, вставлявшиеся в нее и ярко освещенные, получали удивительную рельефность и отчетливость. Окончательная же иллюзия получалась тогда, когда прикрывалось освещение сверху, и картины освещались транспарантом, причем день сменялся ночью, на небе оказывалась луна, в воде ее отблеск, на улицах зажигались фонари, Везувий выки-

** Все эти дико звучащие научные термины не были мне известны в детстве. Для меня все эти аппараты просто назывались «вертушками».

дывал (неподвижное) пламя, и красная лава текла по его склонам. Самой же эффектной была картина, изображавшая какое-то пожарище (Тюильри, сожженное в дни Коммуны?). Днем вид представлял унылые серые развалины, но на транспаранте они оказывались объятыми бушующим огнем, тысячи искр летели по небу, и жутко чернели силуэтами наполовину уже обгорелые стены. Наслаждение, получаемое мною при виде этих картин, было тем более острым, что мне не так-то легко было добиться подобного спектакля. Сам дядя Сезар был слишком занят, чтобы заниматься мной, барышни-кузины или их гувернантки не умели зажигать специальную лампу и переставлять эту довольно тяжелую машину, оставалось прибегать к помощи милого и всегда любезного кузена Жени, но он не всегда бывал дома.

Не меньшей приманкой, нежели гуккастен2* дяди Сезара, служил мне стереоскоп дяди Кости, но о нем я уже рассказал в первой части этих воспоминаний. У моего папы был тоже стереоскоп, но более скромный, более примитивный и лишенный удобства «манипулирования». Зато карточки, которые были у нас в доме, являлись своего рода редкостями стереоскопии. Это не были фотографии, а раскрашенные литографированные рисунки — теоретически скомбинированные так, чтобы разглядывание их в два стекла давало слитый рельефный образ. «Предрасположение» мое к стереоскопии сказалось в том, что я и этими «отвлеченными» образами мог упиваться часами. Особенно меня восхищало то, как геометрические построения, напоминавшие те формы, в которых подавалось в те времена мороженое или пеклись парадные торты, лепились, вырастали так, что казалось,—они вот-вот коснутся моего носа! Иные же удалялись в бесконечную даль.

В сущности «штука», которая меня так восхищала у дяди Сезара, была тем же, только усовершенствованным гуккастеном, с которым еще ходили в моем детстве «раешники» по улицам Петербурга. Пять или шесть таких раешников забавляли нетребовательную публику и во время масленичного гулянья на Марсовом поле, да и редкая деревенская ярмарка обходилась без того, чтобы не появлялся один из этих «разносчиков зрелища». Ходили раешники и по дворам, и тогда к коробке его прилипали дети самых различных классов, ибо всем было настолько интересно поглядеть через большие круглые застекленные отверстия на картинки, вставлявшиеся внутри коробки. Особенно заманчиво было послушать потешные пояснения к ним, дававшиеся раешником. Картинки русских гуккастенов были самые незатейливые, кое-как раскрашенные, а 10 это были просто

иллюстрации, вырезанные из журналов и наклеенные на картон. Зато чего только не «врал» раешник! Запомнились

2* Это немецкое слово «гуккастен» не было употребительно в моем детстве; его заимствовал я из «Записок» А. Т. Болотова (18 в.) 2, который любовно останавливается на том, что он такой гуккастен устроил у себя на квартире во время стоянки русских войск в «губернском городе» Кенигсберге. Товарищи, глядевшие в него, верить пе хотели, что перед ними лишь нарисованные изображения, а не действительность.

особенно классические пассажи: «Вот город Амстердам, в нем гуляет много дам».— «А вот город Париж, приедешь и угоришь, французы гуляют, в носу ковыряют». Про королеву Викторию гласило так: «А вот город Лондон, королева Виктория едет, да за угол завернула, не видать стало». Хороший раешник знал десятки всяких прибауток, причем он их варьировал, стараясь потрафить вкусу данного сборища публики или даже высказаться на злободневные темы. Бывало, что он и такое «наврет», что «дамы» — горничные, швеи или просто какие-либо девчонки — шарахались в сторону и, прыская от смеха, закрывались передниками. В газетах высказывалось возмущение такими непристойностями раешников (причем надо сказать, что самые картинки были всегда самого невинного характера), я же тогда этих непристойностей просто не понимал, и если что меня влекло к коробке раешника, то это больше как бы самый «принцип» —вот увидать хотя бы дрянную картинку, по в таких условиях, которые придавали ей характер чего-то волшебного. Однажды меня так затолкали «уличные мальчишки», желавшие увидеть то, чем я любовался, что я упал и больно ударился при этом о коробку. Такая бесцеремонность меня до того рассердила, что, не успев сообразить, до чего опасно вступать в бой с этими маленькими разбойниками, я схватил свою шапку и стал бить ею по их физиономиям. Это, кажется, единственный случай в моей жизни, когда я уподобился Роланду, причем, к собственному удивлению, я вышел из этого испытания с честью,— правда, при поддержке дворника Василия.

Из всех оптических игрушек, когда-то меня пленивших, не было ни одной столь замечательной и значительной, нежели волшебный фонарь. Два этих слова вызывают и по сей день во мне особые ощущения. Впрочем, в родительском доме, в котором французский и русский языки имели одинаковые права и в котором очень многое называлось иностранными словами, выражение «волшебный фонарь» не было в таком ходу, как слова: Lanterne magique или по-латыни — Lanterna magica.

Самый аппарат у нас был неказистый, и стоял он на полке рядом с прочим детским скарбом, но и он обладал способностью вызывать в темной комнате на пустой белой простыне самые удивительные образы; в те времена, не знавшие кинематографа, этого было достаточно, чтобы возбуждать в зрителях (и не только в детях) восторг. Стоило зажечь лампу, помещавшуюся внутри жестяной коробки, вставить в «коридорчик» между лампой и передней трубкой раскрашенное стеклышко, как на стене появлялись чудесно расцвеченные, совершенно необычайных размеров картины!

Характеру волшебной таинственности «лантерны-магики» особенно способствовало то, что эти представления должны были, по необходимости, происходить в темноте. Темнота настраивала на особый лад. Темная комната — страшная комната. Когда мне случалось проходить вечером одному через темную нашу залу, я предпочитал идти, зажмурив глаза, и находить путь ощупью, только бы не увидеть «чего-либо такого, от чего можно помереть со страху». А вот тут эта враждебная и страшная тем-

нота оказывалась желанной и заманчивой. Да она уже никому более из детей и не казалась страшной, раз в темно! е набиралось столько народу и со всех сторон во мраке доносились знакомые голоса, смех, вспышки ссоры и сдержанное хихиканье. В таких условиях не страшно даже и пугпуть другого,— подкрасться к кому-нибудь и внезапно схватить его за ногу или дернуть за косу.

Уже самые приготовления к «сеансу» волшебного фонаря вызывали волнение. Вот старшие братья устанавливают на табурете «машину». К стене прикалывается простыня, мы же, зрители, устраиваемся на собранных со всех углов стульях, а кое-кто и впереди, просто на полу. Домашпяя традиция требовала, чтобы на этих спектаклях непременно присутствовала прислуга и в первую голову наши две горничные — Сте-панида и Ольга Ивановна. Присутствие их было особенно желательно мне. Если бы я зпал в те времена что-либо о греческой трагедии, я бы сравнил их роль с ролью античного хора. Они наперерыв старались выражать свое изумление, восторг или сожаление перед всем, что появлялось на простыне, и хотя бы они видали это много раз и знали все наизусть, их «ахи» и «охи» необычайно усиливали наше собственное настроение..,

Но вот зрители все разместились, впереди малыши, позади кто постарше. Лампа, стоявшая на столе перед диваном, вынесена в другую комнату, и двери плотно-плотно закрыты, и тогда кажется, что вся комната погрузилась в непроницаемую тьму. Однако прежде, чем что-либо появилось па простыне, начинает

сильно попахивать копотью,— лампа в фонаре имеет неисправимую привычку дымить. Пахнет и накаленной лаковой краской, которой покрыта жестяная коробка, но эти ароматы способствуют только мистике момента. Тут же неизменно в начале сеанса повторяется одна и та же сцепа. Мама заглядывает через приотворенную в темноту дверь и встревоженным голосом произносит фразы: «Mon dieu, que cela sent malL» * «Смотрите, дети, будьте осторожны, как бы не наделать пожара!» Это вторжение трезвого благоразумия раздражает. Все в один голос протестуют, но с другой стороны становится как-то и лестно. Оказывается, что наше таинство связано с какой-то опасностью. Это *мы* можем наделать пожар, это *наше* колдовство может закончиться всамделишной ужасной катастрофой! Такая перспектива почему-то даже ь е селит.

По вот на простыне появился большой, правильный светлый круг, и в этот круг сбоку наползает первая выросшая в громадную величину картина. Раздаются крики! Произошла «вечная» ошибка. Стеклышко неправильно вложено, и изображение появилось вверх ногами; распорядители полушепотом обмениваются упреками. Но далее все идет как по маслу, и оттого, что па секунду мы увидали хорошо знакомый образ опрокинутым, иллюзия от спектакля нисколько не нарушается.

* Боже, как дурно пахнет! *(франц.),*

220Л *Н> 4- Оптические игрушки*

Наши сеансы волшебного фонаря обычно начинались со сказки про «Спящую красавицу». У трона стоит колыбель новорожденной принцессы; ее окружают король с королевой и несколько фей. «Это добрые феи»,—поясняет картину Миша, что, однако, давным-давно всем известно. Но почему же феи отвернулись от младенца и с ужасом глядят в одну сторону? Объяснение появляется тут же, ибо по мере того, как феи продвигаются влево и исчезают за круглым краем, справа вылезает длинный, крючковатый с бородавкой нос Карабосихи и ее протянувшаяся с грозящим пальцем рука. Ах, зачем ее не пригласили! Следующий эпизод. Горбунья, окруженная пламенем, творит свое проклятое колдовство, она зловеще подняла палочку, и напрасно ее умоляют о пощаде другие феи и царственные родители. Принцесса заснет от первого укола и будет спать целых сто лет... В дальнейшем, увы, историю прерывают весьма досадные пропуски. Так, выросшая писаной красавицей принцесса входит в комнатку к старушке, сидящей за веретеном, но от следующей, самой фатальной сцены сохранились лишь полруки и веретено,— остальное погибло от падения стекла на пол. Или — вот принц привязывает своего коня у ворот заросшего

шиповником замка, но от сцены, где он целует спящую принцессу, видно было только изголовье роскошной кровати и ее увенчанная короной головка.

Сказочная часть программы на этом не прекращалась. Вслед за «Спящей красавицей» скользили по светлому кругу истории про «Мальчика-с-пальчика», про «Золушку», или про «Кота в сапогах». Стекла эти были не так давно куплены, они были целы и горели всей яркостью своих красок. Зато в конце сказочной серии обязательно показывалась одинокая картина, про которую никто уже не помнил, к чему она когда-то относилась (это стекло сохранилось еще со времени детства старших братьев). Н о фрагмент этот производил потрясающее впечатление. То было погребальное шествие. Густой толпой, голова к голове, выступали благородные синьоры в «средневековых» костюмах, а сейчас за ними продвигался и самый несомый на плечах гроб. Кто лежал в нем, какому полу и возрасту принадлежали его останки, никто не знал, но нельзя было сомневаться в том, что то была особа царского рода, ток как провожали ее коронованные персонажи, да и на гробу лежала корона. Если Альбер оказывался с нами (несмотря на свои двадцать лет и на свою бороду, он не меньше нашего наслаждался таким спектаклем), то он осторожно пробирался к роялю, бесшумно отворял крышку и принимался под сурдинку играть траурный марш Шопена... И до чего же эти звуки способствовали усилению впечатления!

Были в нашей коллекции картинок для фонаря и видовые сюжеты. Стоили они дороже других, так как они были вделаны в дерево и тонко раскрашены от руки. Несколько из этих «драгоценностей» пережили всех своих более ломких товарищей, и две из них я хранил и в позднейшее время наряду с другими наиболее трогательными сувенирами детства. Разглядывая их на свет, я каждый раз испытывал магическое их действие. Происходившее более **чем** полвека назад восставало передо мной,

I, II, 4, Оптические игрушки

22t

как живое, и мне даже начинало казаться, что я снова слышу знакомые-шорохи в потемках и вдыхаю копотный запах.

То были: «Вид в Саксонской Швейцарии» и «Капелла зимой при лупе». Особенно хороша была капелла. Благодаря не особенно хитрому трюку, двери ее отворялись, и тогда внутренность оказывалась залитой светом. Уверяю вас, что, отдаваясь в детстве наслажденью от разглядыванья этих картинок, я испытывал чувство бесконечно более сильное и глубокое, нежели то, которое теперь дает и очень усовершенствованный красочный фильм. Ведь всякое

произведение искусства, будь оно самое наивное, становится прекрасным, раз оно находит доступ в душу,— а говорить нечего, что «Капелла зимой при луне» доступ этот находила и даже в такой степени, что у меня навертывались слезы умиления.

Сеанс завершался комическими номерами и «вертушками». Комические стекла изображали всякие гротескные рожи (иные из них, представая на простыне в исполинских размерах, не только смешили, но и пугали) или то были целые движущиеся сценки. Стоило, например, дернуть за ручку, торчавшую из-за деревянного обрамления стекла, как вмиг у повара на блюде вместо свиной головы оказывалась его собственная, а на его толстенной фигуре появлялось свиное рыло. Был и такой еще сюжет: мальчик весело катается по льду, но дернешь за ручку, и он уже в проруби, из которой торчат одни лишь ноги. Эффектнее всех была картинка, изображавшая жирного купца, угощающегося блинами; один блин за другим попадал в широко разинутую его пасть, и у нас на глазах пухла его утроба. Боже, какой смех вызывала эта примитивная юмористика... Хохотали дети, но пуще других хохотала почтенная Ольга Ивановна, причем, вероятно, для богомольной, стародевичьей постницы в этой картине было и нечто соблазнительное.

Вертушки служили апофеозом сеансов. Они представляли в них «чисто эстетическое начало». В своем роде это были эмбрионы тех причудливых разводов и тех красочных окрошек, которыми нас теперь услаждают разные авангардные беспредметники вроде Леже, Кандинского, Маркусси, Миро, Массой и т. д. Но у их эмбрионов было большое преимущество перед новомодными проявлениями того же художественного принципа: эти окрошки двигались, они вращались и сочетались в самые неожиданные «красочные симфонии». Одни при вращении производили впечатление, точно они разбрасывают узоры во все стороны и притом налезают на зрителя; другие, напротив, как-то всасывались внутрь и представляли собой подобие воронок или малыптремов. В обоих случаях оставалось непостижимым, откуда берется такая неисчерпаемость цветистой материи и куда она проваливается. При вертушках тоже требовалась музыка, причем «оператор» изощрялся, чтобы рисунок движущихся арабесок совпадал с ритмом звуков. Когда я сам научился производить кое-что складное на фортепьяно, то я с особым удовольствием брал на себя роль такого музыканта. Не знаю, получили ли большое удовольствие от моих импровизаций слушатели, но сам я впадал при

.этом в своего рода транс. Мне начинало **казаться, что это я**

вместе со

звуками произвожу всю эту красоту.

Все до сих пор рассказанное относится к фонарю, служившему еще моим братьям. Он был небольшого формата, стенки местами были продавлены, а труба давно потеряна... Но на елку 1878 г. я себе выпросил новый собственный фонарь, и уже это было нечто несравненно более эффектное и внушительное. Коробка фонаря была вдвое больше, увеличительное стекло было снабжено диафрагмой, свет лампы обладал силой достаточной, чтобы при круге, достигавшем до потолка, образы оставались яркими и отчетливыми. Тогда же мне были подарены вместе с новыми сериями сказочных стекол помянутая «Капелла зимой» и еще какие-то пейзажи, которыми я особенно любил поражать своих маленьких гостей. Но мог ли я тогда думать, что я еще увижу, благодаря волшебному фонарю, и такие «оптические иллюзии», в которых все изображенное будет двигаться, в которых и даже самые фантастические сказки будут развертываться во всем очаровании красок, пения, музыки и словесных диалогов?.. Что бы сталось со мной, если бы в 1878 г. на семейной елке новенький фонарь показал бы на белой стене нашей залы то, что теперь может увидеть где угодно и сколько угодно даже и весьма малоимущий ребенок?

Глава 5 ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ

Моей первой книжкой был, несомненно, «Степка-растрепка», **в** оригинальном немецком издании «Der Struwelpeter» *. Каким-то необъяснимым чудом этот же самый, уже до меня служивший братьям экземпляр сохранился до сих пор и находится здесь со мной в Париже. Когда-то, более чем восемьдесят лет тому назад, мой Степка-растрепка лишился ■своего оригинального картонажного переплета, и с тех пор его заменяет обложка собственного папашиного изготовления из зеленой «мраморной» бумаги. Внутри книжки тоже не все благополучно, некоторые листы надорваны, целая страница в одной из историй отсутствует совершенно, -а именно про мальчика-ротозея.. Но в детстве я так привык к отсутствию начала этой истории и так научился добавлять воображением то, что предшествует моменту, когда ротозей попадает в воду канала, что, когда я в цельном экземпляре «Степки-растрепки» увидал полную версию этой истории, я был даже как-то разочарован.

А вообще, какая это чудесная книжка — ныне забракованная специалистами в качестве антипедагогической. Известно ее возникновение. Автором ее был детский доктор, который для забавы своих маленьких пациентов рассказывал им сказки, снабжая их тут же примитивными ил-

* «Неряха Петер» *(нем.)*.

люстрациями. Кому-то пришло в голову собрать эти истории и побудить доктора издать их,— и вот успех получился совершенно неожиданный. Книга оказалась сразу в руках у всех мамаш, нянюшек и самих ребят и с тех пор издание книги было повторено бесконечное число раз; мало того, она переведена на *все* языки! Существовала и русская версия (она-то и называлась «Степкой-растрепкой»), но то было не дословное повторение, а скорее своеобразный вариант со внесением в него специфически русских бытовых черт. В чисто художественном смысле рисунки в русском издании, принадлежащие известному иллюстратору 40-х и 50-х годов Агину, превосходят рисунки оригинала.

Чудесное свойство «Штрувельпетера» заключается в совершенной его убедительности. Сколько вообще нарисовано на свете всяких фигур и сцен на забаву и поучение малышей, какие отличные художники отдавали иногда свои силы этой задаче,— и, однако, ничто так не убеждает, ничто так не поражает воображение ребенка, как те наивные фигуры и нелепые сцены, из

которых состоит «Struwelpeter» доктора Гофмана. Впрочем, и самому автору этой «архигениальной» книжки не удалось затем достичь такой же силы художественного воздействия. Существует еще несколько детских книжек того же автора, и в них рисунки сделаны, пожалуй, старательнее, исполнение обладает большим совершенством, но ни одна из этих, в своем роде тоже очаровательных, книжек («Bas-tian der Faulpelz», «Im Himmel und auf Erden» *) не может сравниться с первым созданием благодушного медикуса, так удивительно потрафившего вкусу и воображению детей. И до сих пор каждая из фигур «Штрувельпетера» для меня представляет нечто совершенно живое и как бы даже реально существующее. В детстве же я верил, что улицы, по которым пай-мальчик дает себя вести за ручку своей маменьке, есть наша-Большая Морская и что канал, в который свалился Ротозей,— соседний с нашим домом Крюков канал. Да и «парадная» лестница, на которую вышла дама, запрещающая своему сыну сосать палец,— была для меня нашей парадной, а дверь, из которой вылетает страшный портной,— это дверь наших соседей Свечинских! Именно то, что есть в этих рисунках наивного и чистосердечно обобщенного,— то самое дозволяет детскому уму добавлять эти картинки личным воображением. Я бы не запомнил столь многое в «Штрувельпетере», если бы на картинках было больше подробностей. Но кроме того, дети отлично разбираются в так называемой «художественной правде», хоть ребенок и не имеет понятия о смысле этих слов. В «Штрувельпетере» есть именно та самая подлинная непосредственность, которая подкупает детскую фантазию и подкупает настолько, что ребенок не отдает себе отчета в нелепостях и неточностях, а эти нелепости и неточности он исправляет и дополняет благодаря особой яркости своих первых восприятий жизни...

Наконец, сюжеты «Штрувельпетера» вполне подходят к ребяческим интересам и в сущности содержат, как бы в эскизах, некий «компендиум.

«Лентяй Бастиан», «На небе и на земле» *(нем.)*.

живой драмы». Что все это преподнесено- в дурашливом виде, вовсе не лишает убедительности и лишь смягчает силу впечатлений, которые без того могли бы «ранить» воображение и оставить в нем болезненные следы. Специалисты педагогики это-то и проглядели, когда они забраковали «Штрувельпетера». Жестокого и страшного каждый — и даже наиболее оберегаемый — ребенок видит достаточно вокруг себя,— но его охраняет кокая-то специфически детская душевная броня. Он видит все

иначе, по-иному, в известном смягчении, и самое ужасное становится благодаря тому «почти приемлемым». Именно такой «приемлемый ужас» присущ и историям «Штрувельпетера». Все страшно, многое даже жестоко, но «манера», с которой это поднесено, та детскость, что была в авторе и чем насыщены его рисунки, это делает страшное и жестокое забавным, ничуть не подрывая убедительности.

Моей симпатии к «Штрувельпетеру» я остался верен на всю жизнь. Если впечатления от разных классических картин, в частности от рафаэлевских стансов (о чем дальше), способствовали образованию моих «эстетических основ» (в глубине души и несмотря на весь мой эклектизм, я все же «классик»), то «Штрувельпетер» утвердил во мне способность чувствовать и распознавать правду и именно правду художественную, иначе говоря, такую, которая более правдива, нежели и самый точный объективный «фотографический документ». На такой основе выросла затем моя симпатия и к Людвигу Рихтеру, и к Доре, и к Бушу, и к Оберлендеру, позже к Ходовецкому и к Менцелю, к Брейгелю, к нидерландским и французским примитивам, к итальянским кватрочентистам, к Рембрандту и т. д., и т. д. И наоборот, я особенно чуток к распознаванию лжи в искусстве, тогда как за внутреннюю правду и подлинность я готов простить какие угодно недостатки и недочеты. Наконец, к своему собственному творчеству я был потому строг, временами даже несправедлив, что слишком часто сознавал в нем отсутствие того дара непосредственности, которым мне особенно хотелось бы обладать. Если, оглядываясь назад на свое творчество, я из него решился бы что-нибудь спасти, то сюда не попали бы те картины, которые принесли мне в свое время наибольший успех и что в момент их создания казались мне удовлетворительными, а напротив, то скромное, наивно-непосредственное, что меня подчас роднит с автором «Штрувельпетера».

Любимой книжкой после «Степки-растрепки» была в раннем детстве (тоже немецкая) история про путешествие какого-то «дяди Швальбе» на воздушном гааре. В очень ясных и на сей раз «академически умелых» картинках мы видим, как любитель-путешественник подымается над родным городом и при этом якорем зацепляется за церковного петуха, которого и увозит с собой в поднебесье. После разных похождений мы попадаем с ним на макушку египетской пирамиды, куда к нему приползает крокодил, и, наконец, мы переселяемся на луну, внутри которой имеется уютнейшая комнатка. В ней аэронавт в обществе лунного сторожа подкрепляется сыром и пивом, но, в конце концов,

сторож выбрасывает Швальбе в черную пустоту. Все это чистейшая чепуха, но почему-

то она оказывала удивительную притягательную силу. Уж не шевелились ли в мальчике 70-х годов инстинкты воздухоплавания, приведшие последовавшие поколения к овладению воздухом?

Такими же вернейшими спутниками моих детских лет, как Степка-растрепка и дядя Швальбе, были еще три книги, о которых я не могу умолчать. Одна из них познакомила меня с «моим другом» Арлекином, другая — ввела меня в царство музыки, а разглядывая третью, я переносился в древний классический мир, в его божественную ясность и гармонию. Название первой книги я не помню. Она еще в детстве исчезла из нашего обихода, и сколько я ни старался потом ее разыскать у букинистов, мне это так и не удалось. Вероятно, она принадлежит к большим библиографическим редкостям. Однако я отчетливо помню каждую из картинок, и мне сдается, насколько можно доверяться детским воспоминаниям, что эти картинки имели нечто общее с Домье. Одно несомненно — то были литографии и притом раскрашенные **. Из отдельных проделок Арлекина (именно им и посвящена вся книжка) мне особенно запомнилась одна с протянутым шнурком через улицу. На одной картинке Арлекин занят приготовлением своей злой шутки, но уже вдали виднеется фигура Кассандра, медленной походкой придвигающегося к фатальному месту; во второй Арлекин, спрятавшись за углом, натянул шнурок, и почтенный старец, споткнувшись об него, летит вверх тормашками. Другие проделки (вроде кражи всякой снеди) носят еще более «преступный» характер, и кончается история уже совсем плохо. Арлекина судят и приговаривают к повешению, но, к счастью, палач, движимый жалостью, освобождает его от петли, и на последней картинке Арлекин бежит со всех ног по полю с черной маской на лице,— дабы отныне никто не мог его узнать. Вдали же на горизонте виднеется виселица с каким-то болтающимся тряпьем.

Об Арлекине я еще буду говорить, рассказывая про балаганы, но и здесь будет кстати сказать два слова о моем культе Арлекина, о моей настоящей влюбленности в эту странную фигуру. Я видел о нем сны, я сам мечтал «стать Арлекином», я обожал маленького Арлекина, фигурировавшего среди фантошек, привезенных мне бабушкой из Венеции, и всем этим культом Арлекина (которому я, несмотря на его современное опошление, остался верен до сих пор) я обязан силе впечатлений, полученных

именно от дайной книжки. Несомненно, что, не получи я их в начале дней своих, я бы не считал Арлекина «своим другом» и даже чем-то вроде своего доброго гения. И как раз этот образ юного, прелестного существа — остался для меня «подлинным», тогда как, познакомившись впоследствии с «основным видом» данного персонажа из итальянской комедии, я огорчился и как-то обиделся за своего героя. Арлекин

** Эти строки были давно написаны, когда совершенным чудом я в Фонтенебло у уличного букиниста на рынке нашел-таки эту книжку. Называется она «Four-beries d'Arlequin» [«Проделки Арлекина»], и иллюстрации, действительно прелестные, принадлежат карандашу художника Baric.

с бородой, Арлекин-бродяга, Арлекин, смахивающий на уродливого арапа! Впрочем, почему не считать, что и на картинах Ватто или Жилло под уродливой маской с черным подбородком (или даже с бородой) скрывается тот же милый, поэтичный образ моего лукавого красавца и что этот проказник вовсе не чужд благородных побуждений. Когда в балаганных представлениях я видел, что феи балуют его и даже дарят ему волшебную палочку, я вовсе не удивлялся этому и принимал это как нечто, Арлекином вполне заслуженное...

В папиной библиотеке было очень много иллюстрированных книг, но в те времена раннего детства огромное большинство внушало мне лишь «решпект», не далекий от отвращения (особенно неприязненно я относился к большущим архитектурным фолиантам, в которых было столько планов н чертежей). Но было несколько книг, которые я любил и которые я особенно часто требовал, чтобы мне их показывали. На первых местах среди этих любимцев из папиной библиотеки стояли «Похождения Виольдамура» и «Душинька»—две русские книги, состоявшие из одних картинок, тогда как текст к ним находился совершенно в другом месте и был напечатан на страницах другого формата. Впрочем, в тексте я и не нуждался. Повесть «Казака Луганского» *i* о Виольда-муре я так и не удосужился прочесть, даже впоследствии, а «Душинь-ку» Богдановича хоть и прочел, но тех впечатлений, которые возникали во мне от рисунков Федора Толстого, я при этом чтении не получил; мало того, текст после рисунков показался мне пошловатым и глуповатым.

Картинки «Виольдамура» принадлежат перу остроумного и наблюдательного любителя-художника Сапожникова, издавшего

эти оригинальные литографии пером в 40-х годах. Еще до чтения повестей Гоголя, когда я не имел еще понятия об его «эпохе», во мне, благодаря этой серии картинок, создалось полное представление о гоголевском Петербурге, который был когда-то и «папиным», когда папа был молодым человеком, Сама повесть заключается в следующем. Родители Виольдамура прочили его в гении, он и превзошел науку музыки, выучившись играть на всевозможных инструментах; это, однако, не помешало жестокой неудаче сопровождать его до самой гробовой доски. Да и доски-то ему не удалось получить,— он умер в нищете на улице, и место его вечного упокоения было отмечено всего только еле заметным холмиком. Верная же его собака (о, как я любил этого Аргаета), которую Виольдамур когда-то щенком спас из воды, не пожелала пережить своего горемыку-хозяина и тут же на могиле издохла.

Вообще горемычных историй я терпеть в детстве не мог и прямо даже ненавидел те специфические горемычные истории, которыми уже тогда русские педагоги-писатели и писательницы считали долгом кормить юношество, якобы воспитывая в нем сострадание и другие благородные чувства. Надуманность и ложь этих писаний я угадывал инстинктивно и протестовал, если кто из больших пытался мне прочесть подобную историю. Но Виольдамур был чем-то совсем иным. Во-первых, это была

книга для взрослых, затем это была «смешная» история — смех сквозь слезы или, вернее, слезы сквозь смех. Мне было очень жалко Виольдаму-ра, но не для возбуждения жалости была эта история сочинена, и художник, ее иллюстрировавший, меньше всего заботился именно о жалости. Ему было интересно наглядно представить, «как все это произошло», и объективизм автора выражается в том, что его образы взяты прямо из жизни и что они похожи на самое обыденное и чрезвычайно типичны.

Особенно меня занимала серия сцен, в которых Виольдамур переходит от одного инструмента к другому, каждый раз возбуждая все более или менее громкую реакцию в своем воющем псе. Инструменты, имеющие вообще для детей особую притягательную силу, были изображены со всей присущей каждому «жутыо». Далее замечателен был эпизод с концертом Виольдамура,— как его приятели на все лады, и даже под угрозой пистолета, навязывают прохожим билеты и как несчастный виртуоз в элегантнейшем фраке и по моде завитой выходит на эстраду перед рядом именитых слушателей. Но не восторг возбудило его выступление, а негодование, ибо они вместо арии услыхали лишь поперхивание и кашель. Несчастный как раз перед концертом жестоко простудился! Не менее захватывал

любовный эпизод — особенно момент, когда Виольдамур в замочную скважину пытается увидеть то, что происходит в квартире возлюбленной, и вдруг получает удар по носу от отворившейся двери, через которую на лестницу выступает его счастливый соперник. Более же всего я трепетал перед картинкой приготовления Виольдамура к самоубийству. Для того, чтобы особенно поэтично обставить свою кончину, непризнанный гений завесил комнату траурной драпировкой, а сам, надев, на манер факельщиков, широкополую шляпу с флером, уселся в гроб, собираясь с выражением трагического восторга писать свой собственный «Реквием».

Мне кажется, что и в своем искусстве я весьма многим обязан подобным детским впечатлениям. Эти рисунки Виольдамура, так характерно отражающие мещанский быт гоголевского Петербурга, дожившего с незначительными изменениями и до моего детства, казались мне совершенно близкими. Подобно тому как я с детства «дружил» с Арлекином, я был «знаком» со всеми этими музикусами, понимал их чувствования и переживал с ними их радости и горести. Вместе с тем сцена писания «Реквиема» явилась одним из звеньев в той цепи, которой оплетена вообще моя жизнь. Когда смерть явилась за моим братом Ишей, чтобы оторвать его навеки от нас,— я не понял, кто Она и какова Ее роль в жизни и в природе. Но вот в картинке «Реквиема» Виольдамура я почему-то ощущал некое «эстетическое значение смерти», ее красоту, и она притягивала меня, хотя в то же время и пугала мучительным образом.

И еще вот что удивительно,— даже в лучезарной, напитанной истинно эллинским духом серии излюбленных мной рисунков графа Ф. П. Толстого к «Душиньке» Богдановича 2 меня, пожалуй, более всего приковывала та сцена, где Душинька встречается со Смертью. Я все любил в этом замечательном и чудесном творении русского поэта-художника, столь

высоко вознесшегося над своим литературным вдохновителем. Обворожительно прекрасно в нем все, что передает женские чары, прелесть любви, дивные видения царства Венеры, Олимпа, чертоги Амура и т. д. Но среди всей этой «райской симфонии» гениальной паузой, страшной угрозой того неминуемого конца, «который ожидает всякого», является именно момент, когда Душинька в отчаянии от утраты, по собственной вине, своего супруга (Амура), на коленях умоляет костлявое «чучело с плешивой головой», чтобы оно скосило и ее той косой,

которой оно подрезает степные травы, олицетворяющие все живое на земле.

Опять-таки может показаться мало педагогичным, что мне, четырехлетнему, пятилетнему мальчику давали в руки такие книги! Впрочем, когда я говорю давали, я выражаюсь неточно, ибо мои маленькие руки никак бы не могли взять и удержать такой огромный альбом, как «Душинька», который в раскрытом виде имеет по крайней мере полтора аршина ширины. Мне его не давали в руки, а папа клал альбом на стол, меня же усаживал на стул, подложив одну или две подушки. При этом, бывало, происходил и маленький диспут между родителями. Мамочка находила, что мне вредно глядеть на такие картинки «qui pourraient lui donner des idées» *. И она не ошибалась, я не равнодушно глядел, как Душинька «совершенно голенькая» входит в воду купальни или как она позже без единого покрова лежит в объятиях своего супруга под завесой, распростертой крылатыми детьми. Ничего еще не зная о любовных утехах и имея даже весьма сбивчивое представление о поле, я, глядя па эти картинки, несомненно «отравлялся», «подпадал известной отраве». Но если взглянуть на дело с другой стороны, то и папочка, едва ли отдавший себе отчет в «опасности», был по-своему прав. Его глубоко художественной натуре доставляло удовольствие то, что эти изображения мне нравились. Внутри себя он должен был чувствовать, что, глядя на эти образы, я как бы готовил в себе известный фундамент, па котором могло бы вырасти в дальнейшем «все сооружение моего художественного развития». Если при дальнейшем росте этой постройки папа утратил контроль над ней, то виной этому явилась слишком большая разница в годах между нами, а также и то, что по своему воспитанию он принадлежал к совершенно иной эпохе, нежели годы моего отрочества и юности...

Вообще вопрос о том, в чем должно заключаться воспитание художника,— точнее, какое воспитание полезнее всего для тех, которые призваны развиваться в художников,— вопрос этот остается для меня и до сих пор неразрешенным. Одно можно только сказать про художников (точнее, про тех, кто готовятся стать художниками),— что для них общий закон не писан, а писан иной закон. Им нужна своеобразная «эстетическая и моральная гигиена». Я при этом вовсе не имею в виду какое-либо преимущество художественных натур перед другими; не в том интерес — выше ли, ниже ли стоит художник по сравнению с другими

* Которые могли бы навести его на пескромные мысли *(франц.)*.

людьми, а в том, что, несомненно, он обретается в какой-то иной плоскости и, пожалуй, именно в этом весь смысл его существования. Моральное развитие художника должно идти своим особым путем, и этот путь лежит в иной сфере, нежели моральное развитие «простых смертных». Вся его натура так устроена, что даже в самом своем бессознательном периоде он по-особенному выхватывает из окружающей жизни то, что ему может «пригодиться». Бывает, что сопротивление окружающей среды этому процессу только усиливает такую страсть к выхватыванию. В моем случае сопротивление мамочки было очень слабым, и я лично с ним просто не считался, а «поощрение» папочки было очень деликатным, и благодаря этому я мог развиваться согласно тем импульсам, которые лежали внутри меня и которые определили весь мой жизненный путь.

Я сейчас не стану останавливаться на всех литературно-художественных увлечениях своих детских лет, но для полноты я все же не могу не упомянуть о моих любимых сказках Перро, Эмиля Сувестра, госпожи д'Онуа и Андерсена, о Мтонхаузене, а также о «романах» графини де Сегюр. К десяти годам моими любимцами становятся сокращенные романы Фенимора Купера, «Робинзон Крузо» и Жюль Верна, «80 000 верст под водой» которого была первая самостоятельно мной прочитанная книга.

Из всех французских сказок моими любимыми были «Мальчик-с-пальчик», «Белая кошечка» и «Красавица и чудовище»3. Первая из этих сказок, которая, как и многие другие, была мне известна и во французской и в немецкой редакции, вызывала очень странную смесь бесконечной жалости и какого-то неосознанного «садизма». Я переживал все ужасы вместе с заблудившимися ребятишками, от которых ожесточившиеся в нужде родители предпочли избавиться, но я почему-то был не прочь, чтобы людоед хотя бы одного из них пожрал, и я откровенно радовался тому, что он зарезал всех своих прекрасных дочерей, имевших странную привычку спать с коронами на голове. До одури я мечтал об обладании семиверстными сапогами людоеда, хотя и считал весьма неудобным каждым взмахом перелетать все семь верст без возможности по дороге остановиться, где захотелось бы. При моем обожании кошачьего царства (вечно у меня был под рукой котенок, которого я мучил своими исступленными ласками), сказка об очаровательной принцессе, превращенной в белую кошечку, доставляла мне несказанное удовольствие, и я не уставал ее слушать в мамином чтении (иногда среди ночи, в долгие часы бессонницы). Впрочем, мое обожание (я настаиваю именно на этом слове) кошек не

совсем согласовалось с «благополучным» исходом сказки. Я бы на месте принца, явившегося освобождать кошечку-принцессу, предпочел бы, чтобы так она и оставалась кошкой, тогда как в том, что он, все же сдавшись на ее убеждения, решился отрубить ей голову, я видел не только жестокий, но и в некоторой степени неблагоразумный, непужный для счастья поступок. Самой же любимой историей, самой страшной и в то же время самой пленительной

была для меня сказка о «Красавице и чудовище». Без содрогания я не мог глядеть на картинку Берталя в томике «Bibliothèque Rose» \ когда над обнимающим обреченную дочку отцом подымается косматая лапа чудовища. Я вполне понимал и чувства этой девушки, которая, будучи тронута беспредельным вниманием к- ней чудовища, в копце концов из жалости и для того, чтобы его утешить, признается ему в любви. Эта сцена одиноко страдающего под кустом кошмарно безобразного рогатого существа, которое удалилось в сад с роскошного бала, данного им в честь пленившей его девушки, трогала меня до слез, и мне впоследствии всегда казалось, что это превосходный сюжет для театра.

Многие сказки Андерсена принадлежали тоже к моим любимым, но не те, в которых чувствовались какие-то «моральные» тенденции. Иные из них я и вовсе не ценил, хотя мамочка из педагогических соображений старалась мпе разъяснять все те прекрасные мысли, которые в них вложены. Зато «менее осмысленные» сказки Андерсена про «Стойкого оловянного солдатика», про «Дорожного товарища», про «Старый дом» и более всего про «Русалочку» принадлежали (да и до сих пор принадлежат) к любимым мной особенно нежной любовью. И во всех них странная смесь печальной драмы с чем-то радужным и чудесным являлась главной основой их трогательности. В «Солдатике» (как в «Гулливере» или в «Щелкунчике» Гофмана) я, кроме того, особенно ценил прелесть всего этого миниатюрного игрушечного мира. В «Русалочке» меня пленила смесь горького со сладким, а также то переплетение всяких агаров, к которому почему-то в детстве особенно влечет. В частности, мир подводный меня необычайно притягивал, и я не раз, купаясь в Финском заливе, рисковал захлебнуться, пытаясь долго оставаться под водой и воображая, что я уже в царстве морского царя, у которого такие очаровательные дочки. Что у последних рыбьи хвосты вместо ног, меня не смущало; напротив, я бы сказал, что это даже сообщало этим особам, в существование которых я абсолютно верил, особую прелесть. Вообще в детстве, да и позже я был очень

жаден до вещей фантастических с примесью чего-то жуткого или даже ужасного. На этой склонности построена и моя любовь к Э. Т. А. Гофману, с которым я познакомился, когда мне было пятнадцать лет. На этой склонности покоится и моя нежность к книжке Эмиля Сувестра «Le Foyer Breton» *, в которой этот типичный для эпохи juste Milieu 5 автор передает всякие бретонские легенды. Впрочем, я не уверен, чтобы эта нежность была вызвана именно текстом Сувестра; вызывали ее главным образом прелестные иллюстрации, принадлежащие одному из самых тонких рисовальщиков романтической эпохи — ныне несправедливо забытому Пенгильи. Иные из этих картинок оставили во мне неизгладимое впечатление. Особенно запомнились: сцена, где прекрасная дама оказывается привязанной к скелету своего мужа или где за бретонским крестьянином, кружась, несутся крохотные кориганы6, или еще та картинка, на которой представлено

• «Бретонский очаг» *(франц.),*

ƒ, 11, 5. Любимые книжки

появление гроба в комнате гостиницы, у самого алькова, куда улегся путник. Такие сцепы мерещились мне в часы бессонницы; я как можно плотнее с головой укутывался в простыню, только бы как-нибудь нечаянно не увидать этих злобных кориганов или такой вот окруженный свечами гроб!

Совсем в другом роде было наслаждение, которое я получал от всего шутливого и вздорного. Но это уже такая широкая область, что я никак не в состоянии перечислить хотя бы главное. Задача облегчится, если я просто назову четыре имени: барона Мюнхаузена, в качестве гениального литературного враля, и трех рисовальщиков: Берталя, Буша и Обер-лендера 7, в качестве «изобразителей смешных вещей». Разумеется, сопоставление трех последних имен позволительно только в «сувенирном аспекте» — потому что все трое одинаково на меня действовали в детстве. Если же взвесить их действительное художественное достоинство, до которого мне тогда не было дела, то величины эти окажутся несоизмеримыми. Берталь — милый французский забавник, очень ловко рисовавший и создавший несколько уютнейших книжек вроде «Маши-Разини» или «Гоши Долгие руки» (не знаю их французских названий — в детстве у меня были лишь русские переиздания, рисунки которых все жо печатались и раскрашивались в Париже); истории в них уморительны, а картинки, нарисованные нервным штрихом и аппетитнейшим образом раскрашенные, полны жизни. И все же это только «детские иллюстрации». Другое дело Буш и Оберлендер... Но что

сказать об этих двух .«колоссах юмора», к которым я еще присоединяю первого сотрудника «Punch»'а Dicky Doyle8 и Гюстава Доре! Впрочем, Буш, в свою очередь, возвышается над другими. Буш как автор рисунков и одновременно как сочинитель текста, несомненно, явление гениальное, равное по своему калибру Домье, а то и Свифту или Рабле. Его творения наполнены стихией смеха, но под этой стихией, ничуть не омрачая ее, лежит стихия трагическая. Поистине чудесное сочетание и тем более чудесное, что вбираешь его в себя совершенно естественно, сам того не замечая.

Многие нынешние педагоги еще менее любят Буша, нежели «Степку-растрепку». Но на то они и «педагоги». Мне же кажется, что нет лучшей «книги жизни», нежели Буш: недаром немцы издали его полностью в виде настоящего кодекса, назвав таковой «Der Hausschatz» *! А впрочем, я не хочу пускаться в какие-либо споры о воспитательных преимуществах или недостатках Буша и ограничусь выражением личной моей душевной благодарности этому чудесному другу детства, оставшемуся мне другом и до самой старости. Что бы сталось со мной, каким бы я был, какой бы мне представлялась жизнь, как бы я ее вынес и как бы ее оценил, если бы у меня не было, рядом с другими «спутниками жизни», вот и этого «шута горохового», шута мудрейшего, шута, обладавшего изумительным даром в нескольких штрихах создавать самые

Сокровище для дома *(нем.)*.

232*1, /*Л *>· *Любимые книжки*

разительные образы и подобия, врезающиеся в воображение и навсегда в нем поселяющиеся...

Буша я впервые познал на листах «Münchener Bilderbogen». В этих «полународных» картинках я познакомился впервые и с Оберлендером, а также с массой вещей интересных и ценных, в том числе и с историей костюма,— что мне в дальнейшем так пригодилось. Отдельные эти превосходно раскрашенные листы мюнхенского издательства «Браун и Шней-дер» отец дарил мне по всякому случаю — то на елку, то в день моего рождения, то тогда, когда я болел какой-либо болезнью. Однако папа не давал мне их трепать. Оценивая по-должному их высокохудожественное значение, он, после первого просмотра, собственноручно наклеивал их па картон (по листу с каждой стороны), после чего наклеенные листы клались в им же склеенную папку. Бывало так, что одна сторона такого картона содержала какую-либо историю Буша, Оберлендера или Штейба (скажем, историю про виртуоза-пианиста — первого, или странную историю про оживленные игрушки — второго, или милейшую историю про ученого пуделя

Ка́ро — третьего), а оборот — нечто поучительное — например, сцены из древней истории или из быта краснокожих индейцев. Разумеется, смешная сторона имела больший успех, но попутно рассматривалась и менее интересная сторона — и постепенно благодаря этому где-то складывался запас разных ценных познаний, подносившихся в весьма приятной форме. Ведь и эти полезные картинки «Münchener Bilderbogen» были отлично скомпонованы и нарисованы; чуждаясь сухого педантизма, они обладали достаточной документальной достоверностью. Рядом с мюнхенскими картинками следует, для полноты, назвать выходившие в подражание им «Deutsche Bilderbogen» *, издававшиеся, кажется, в Штутгарте. И среди них встречается немало прелестных листов, но не было среди сотрудничавших в издании художников ни Буша, ни Оберлендера. В общем эти «Deutsche Bilderbogen» представляют собой как бы более академическую версию той же идеи.

Перечисление моих фаворитных книг и картинок может привести к заключению, что у нас в доме доминировала немецкая культура. Это было бы естественно, если вспомнить, что мать моего отца (моя родная бабушка) была немка (из петербургских немцев), а кроме того, весьма значительная часть петербургского общества тяготела в те времена к немцам, а среди аристократии и буржуазии существовал обычай поручать первое воспитание детей немецким боннам, которые вербовались главным образом в остзейских провинциях. И все же заключение, что у нас в доме преобладала немецкая культура, было бы неправильно. Если отец и очень любил чисто немецкое настроение уюта (Gemütlichkeit), если действительно у нас немецкие бонны и гувернантки не переводились, если мама, несмотря на свое итальянское происхождение, faisait grand cas ** в отношении немецкой педагогики, то все же уклон в нашем космополити-

* «Немецкие иллюстрированные листы» *(нем.)*. ¦* Расточала похвалы *(франц.)*.

ческом семействе был скорее в французскую сторону. Родители наши постоянно вплетали в свою речь французские фразы, охотнее писали письма по-французски, молитвы нас учили читать по-французски... Двое же моих братьев были настоящими энтузиастами Франции и французов они даже считали своим долгом (вероятно, под впечатлением франко-прусской войны, которую они пережили в «разумном» возрасте) ненавидеть немцев и все немецкое. Что же касается меня, то прежде чем . стать убежденным и безусловным «космополитом», презирающим бессмысленные и столь уродливые народные ненависти, я в

детстве и в юности был попеременно то французом, то немцем, то итальянцем, а то и русским! Последним наверное преимущественно, но сам я того не сознавал и периодами принимал свою русскую национальность даже за нечто чуть не совсем лестное... Но об этом подробнее постараюсь поговорить в другом месте, здесь же я только признаюсь, что чисто русские детские книжки (оставляя в стороне «Виольдамура» или «Душиньку», которые не были детскими книжками), я просто терпеть не мог. Меня раздражало в них и плохое качество иллюстраций, да и весь их дух — тот слюняво-сентиментальный стиль, в котором преимущественно писалась у нас литература для юношества.

О некоторых французских моих любимцах я уже упомянул, но их на самом деле было гораздо больше. Среди этих любимцев был и журнал — прелестная «Semaine des Enfants»*. В моем обладании были переплетенные томики, относившиеся к 50-м и к 60-м годам этого журнальчика, ■ когда в «Semaine des Enfants» участвовал еще юный Гюстав Доре. Достались же мне эти томики по наследству от сестер. В них я впервые познакомился с произведениями графини де Сегюр, урожденной Ростопчиной. Странно было встретить это русское имя в соединении с французской фамилией, и еще удивительнее было, что эта русская дама так хорошо сочиняет, да по-французски! Истории про «Харчевню ангела-хранителя» («L'Anberge de l'Ange Gardien») и «Воспоминания осла» («Les Mémoires d'un âne») я прочел и не раз именно в «Semaine deâ Enfants» и был необычайно восхищен ими. Помнится, как однажды я даже умолил маму сократить одно из моих пребываний в гостях у сестры Камиллы (а это гощение у доброй, разрешавшей вытворять всякие шалости Камишеньки — я вообще почитал за большое счастье), так как дома я оставил недочитанным какой-то особенно захватывающий эпизод. Какова же была моя радость, когда у кузины Ольги, поселившейся в 1880 г. в квартире рядом с нашей, я набрел на целую серию красных тисненных золотом книжек «Bibliothèque Rose», успех которой среди детей был главным образом и обязан сотрудничеству графини де Сегюр. Тут я не только еще раз перечел «L'Auberge de l'Ange Gardien», в которой действует живописная и с натуры списанная фигура русского генерала, но и продолжение этой повести, целиком посвященное доброму

* «Детская неделя» *(франц.)*.

чудаку. Повесть про «Le General Dourakine» * была запрещена русской цензурой (особенно за тот пассаж, в котором рассказывается про порку в полицейском участке), но это лишь

обостряло наслаждение от такого чтения. Ведь в русском обществе искони процветало своего рода невинное фрондирование и было принято критически относиться к правительству, в котором и стар и млад видели какой-то заговор мракобесия против просвещения.

С английскими детскими книжками (если не считать опять-таки переводных и переработанных «Робинзона» и «Гулливера») я познакомился тогда, когда меня стали учить английскому языку. Особенно благодаря моей «второй» англичанке — курьезнейшей старушке, о которой я храню особенно нежную память, хоть и была она, как две капли воды, похожа на злых фей, изображенных Берталем и Доре. Именно по рекомендации этой милейшей Miss Evans моя библиотека обогатилась всякими иллюстрированными и неиллюстрированными английскими книгами. Благодаря ей у меня появились альбомы Кальдокота, Гриневей, романы Диккенса, Мариэтта. Особенно я пенил действительно прелестные картинки Caldecott'a в классической истории: «The House that Jack built» ** и историю Англии в картинках — «Pictures of English History», которая у меня уцелела по сей день. Почти все картинки в последней книжке (их по четыре на странице) изображают то убийство, то войну, то казнь. Но это-то мне и нравилось. Кроме того, мне нравились и яркие краски костюмов и какие-то «настроения» в пейзажах. Иные из этих картинок врезались до такой степени мне в память, что я должен делать усилие, чтобы представить короля Альфреда Великого или Шекспира перед Елизаветой иначе, нежели так, как это несколько наивно изображено на этих картинках. Впрочем, с аппетитностью английских рисовальщиков я познакомился, кроме того, сделав однажды приобретение за рубль на Вербном базаре книжки-альбома со сказкой про «Желтого карлика» («The yellow Dwarf»). Это было русское переиздание, но красочные картинки во всю страницу были отпечатаны в Лондоне. Теперь я знаю, что эти картинки, среди которых особенно прекрасной мне казалась двойная, где происходит что-то с феей и с индюками, принадлежат Уолтеру Крену, и художник этот в дальнейшем не сохранил моей симпатии, но благодареп я ему остаюсь до сих пор — вот именно за ту радость, которую он мне, русскому мальчику, тогда доставил. Если я не ошибаюсь, приобретение этой книги было моим первым самостоятельным поступком библиофильского порядка, и надо отдать мне справедливость, что он делает некоторую честь моему вкусу,

«Генерала Дуракина» *(франц.)*.

Дом, который построил Джек *(англ.)*.

Глава 6 МУЗЫКА В МОЕМ ДЕТСТВЕ

Невыразимые радости доставляли мне в детстве все начертательные и пластические художества (и даже архитектура), но если сравнивать такие вообще плохо поддающиеся сравнению вещи, как впечатления, доставляемые разными отраслями искусства, то, пожалуй, все же наиболее интенсивные ощущения я получал от музыки. Да и в хронологическом порядке первые особенно разительные впечатления я получил едва ли от картин, а скорее от всякого рода музыки. Наконец, я очень рано стал чувствовать влечение к какому-то личному «музыкальному изъявлению». Меня тянуло к инструменту, и то, что у мепя выходило из-под пальцев, было чем-то «непосредственным»,— тогда как мое рисование часто носило скорее характер чего-то надуманного. Бывали периоды в дальнейшей жизни, когда я совсем обходился без карандаша и кисти, как-то не ощущая в них нужды, но без музыки, без слушания ее я без возможности вызывать самому какие-то музыкальные звуки я не был в состоянии прожить и неделю. Так, очутившись четырнадцати лет в имении сестры, где не было тогда рояля, я выучился довольно бегло играть на гармонике, а в следующем году я специально захватил туда же цитру, только бы иметь возможность что-то музыкальное производить и слышать.

В течение моей жизни я имел немало случаев наблюдать, как музыка действует на детей. Однако я так и не встретил ребенка, который столь же чутко и восторженно реагировал на музыку, как реагировал я сам, и это в годы самого раннего детства. Стоило кому-нибудь в зале заиграть на рояле, как трехлетний Шуренька, чем бы он в это время не был занят, срывался с места и как полоумный летел на эти звуки. А играли у нас в доме много и не только на рояле, но и на скрипке, на виолончели, на фисгармонии и на других инструментах. Устраивались домашние концерты, и в такие вечера нельзя было меня уложить спать.

Музицировали все, начиная с моих родителей, братьев, сестер, кузенов и кузин и кончая разными друзьями дома. Однако, как я уже указывал, ничто во мне не будило таких «категорических велений», таких «захватывающих стремлений», как импровизации Альбера (что это были импровизации, я, разумеется, тогда не знал). Один его совершенно особенный «удар» по клавишам пронизывал меня как электрический ток, и это ощущение было отнюдь не болезненным, а только «восхищающим» — в самом буквальном смысле слова. Я вдруг возносился куда-то в иной план и начинал как бы витать в совершенно особой сфере. Иногда Альбер, очень нежно со мной

обращавшийся, подчинял свой дар иллюстрированию каких-то им же выдуманных историй. Таким образом, я, не имея никакого представления о программной музыке (как раз в те времена этот вопрос вызывал отчаянные споры у меломанов), подпа-

дал ее прельщению. Я весь замирал, когда мой брат, сочиняя на ходу историю, подчеркивал ее соответствующими, тут же возникавшими мелодиями и гармониями. Образы, рождавшиеся в течение слушания, приобретали благодаря звукам необычайную яркость. Я утопал в блаженстве, когда «райская» музыка озаряла какие-либо волшебные сады п дворцы и, напротив, мороз пробегал по коже, когда «страшная» музыка подводила к какому-либо ужасу и чертовщине. Я знал, что можно изобразить звуками (теперь бы я сказал подчеркнуть звуками) любое движение, действие, походку, бег, преследование, полет, плавание, бурю и т. д.г а также можно изобразить появление доброго начала; предательское подползание зла, страх, радость, смех, горе, молитву, проклятие. И вот все это подавалось мне — истинному баловню судьбы, всегда в «свежем» виде, в формах, тут же возникавших. Альбер редко повторялся, а вполне, пожалуй, и никогда. Каждый раз музыкальная мысль облекалась у пего в наряд, если не всегда более совершенный, то, во всяком случае, новый...

Впрочем, наряду с переменчивой и зыбкой музыкальной фата-морганой Альбера, я знал и любил вещи «утвержденной формы». Не скажу, чюбы я с детства проявлял какой-либо очень образцовый вкус. О, нет! Напротив, я любил вперемежку и вещи «знаменитые», и вещи, в те времена самые обыденные, как русские, так и иностранные. Папочка должен был играть мне военные марши и русские песенки (которые он играл по слуху с собственной гармонизацией). У мамочки был свой репертуар, и среди него одна пьеска, оставшаяся в ее памяти от лет, проведенных в Смольном институте. Сестры исполняли в четыре руки увертюры Моцарта и Беллини, свою крестную маму — тетю Машу Андер-син я засаживал для того, чтобы она мне играла «Руслана», а брат Леонтий, великий обожатель итальянской оперы, мастерски имитировал манеру петь разных Николини, Котопьи и других артистов, исполняв-' ших шедевры Россини, Доницетти и Верди. Превыше же всего в раннем детстве я ставил две вещи — модную пьеску в четыре руки «Le Réveü du Lion» * Коптского и «Ave Maria» Баха—Гуно, исполнявшиеся у нас кузеном Сашей на фисгармонии и Альбером на скрипке.

Родные мои забавлялись моим восторгом и моей музыкальной памятью. Зная, что я где-то в задних комнатах,

сестры нарочно начнут играть «Пробуждение льва», и как бы глухо их игра на дальнем расстоянии ни звучала, но, достигнув моего слуха, она сразу забирала меня, я бросал рисованье, солдатиков или любимую книжку с картинками и мчался по коридору в залу, чтобы поспеть к моменту, когда вслед за вступлением раздастся бойкая и бодрая музыка, представлявшая самый скок льва по пустыне. Много я с тех пор слышал более прекрасных и самых гениальных музыкальных измышлений. Некоторые среди них понуждали меня также к «пластическим выявлениям» (желание «танце-

* «Пробуждение льва» *(франц.)*.

вать-музыку» осталось у меня даже до сих пор), по ничто не двигало мной так решительно, не вселяло в меня такого, я бы сказал, «героического упоения», как «Le Réveil du Lion», эта пустенькая, ныне кажущаяся наивной и банальной пьеска.

Напротив, «Ave Maria» рождало во мне, пятилетнем мальчугане, какой-то сладкий-сладкий экстаз. Перед моим воображением реяли ангелочки, я видел отверстые небеса, мягкий свет лился из облачных высот на которых, «как у Рафаэля», восседали бог и святые. И все эти возникавшие во мне картины навевали на меня упоительную истому и поистине неземную радость. Счастье мое, что тогда никто из окружающих не нарушал моего упоения какой-либо критикой этого произведения; никто не произносил по адресу Гуно слово «святотатство» за то, что он дерзнул свою «оперную мелодийку» наложить на ткань великого архигения. Но в нашей простодушной среде и не было кого-либо, кто занимался бы строгими пересудами, а вещи брались так, как «они говорили сердцу»... И в конце концов для чего же музыка и служит, как не для такого сердечного воздействия?

Я где-то, кажется, уже рассказал, почему из меня все же не вышло музыканта. Одной из главных причин, во всяком случае, был тот странный «частичный паралич», которым я страдаю в этой области. Я так и не выучился свободно читать по нотам, записывать свои измышления в даже справляться с простейшей вещью — со счетом. Но тут было и нечто другое. Если бы я серьезно занялся музыкой, то я только мог стать музыкантом-сочинителем, тогда как к виртуозничанью, к исполнению созданного другими я скорее чувствую своего рода «отчуждение». Между тем я очень рано понял, что мне не дано создавать такие вещи, которые вполне соответствовали бы заложенным во мне музыкальным идеалам. Иногда я сам изумлялся какой-либо удаче в сплетении звуков, которая при импровизации у меня

складывалась под пальцами. Но, если я это запоминал, если раз придумавшееся я повторял два и три раза, то оно переставало мне нравиться, и слишком явным становилось то, что удача была случайной, нечаянной и не столь уже значительной... Так это бывало уже тогда, когда лет десяти я отдавался своим музыкальным (столь наивным) фантазиям, когда, кроме «Чижика» и участия в «Собачьем вальсе», я пробовал играть на рояле темки собственного сочинения. Помню, например, как я «сам себя поразил», сочинив на даче у дяди Сеза-ра что-то «удивительно торжественное», причем это удивительное получалось главным образом от скрещения рук (то есть правая рука, перекинутая через левую, играла в басу). Но уже через неделю я убедился, что ничего удивительного и поразительного в этой моей паходкъ нет. Разочаровался я и в том «гимне торжествующей любви» *, который я сложил в дни своего «первого серьезного» сердечного увлечения, а позже — в музыке своего балета, успевшего, однако, сложиться в целую сюиту. После этого разочарования я уже и не пытался сочинять нечто «большое», «прочно связанное», «цельное», а довольствовался тем, что тешил себя (иногда и близких, когда бывал в ударе) удачами мимолетными.

238

l t II, 6. Музыка в моем детстве

В этой главе о музыке нужно сказать еще о моих музыкальных преподавателях, однако если бы я стал рассказывать о каждом из них, то ввиду их большого числа зто заняло бы слишком много места. Ограничусь тремя: моей belle-soeur Машей, пианистом Мазуркевичем и моей кузиной Нетинькой Храбро-Василевской **. Выло совершенно естественно, что когда такая чудесная «профессиональная музыкантша», какой была моя невестка Мария Карловна Бенуа, поселилась на одной даче с нами, то она предложила маме свои услуги в преподавании мне фортепианной игры, на что мама с радостью согласилась. Да и я отнесся к этому с полной готовностью и сел за первый урок с чувством, что вот я очень скоро выучусь так же играть, как Маша. Но уже первый урок кончился маленькой драмой, и я покинул его огорченный и надувшийся. Маша была слишком нетерпелива, слишком требовательна относительно всяких мелочей, а я «такого тона» в отношении к себе вообще не терпел. Второй урок кончился криком с ее стороны, слезами и бешенством с моей и беспомощным посредничеством с маминой. На третьем уроке вся затея и кончилась. Некоторое время после этого я даже «ненавидел» Машу, считая ее за своего рода врага и обидчика. Теперь же издали (из какой дали!) мне кажется, что Мария Карловна была и действительно неправа. Она сразу стала меня

учить подобно тому, как и ее учил ее строгий папаша, не любивший шуток в музыке,— Карл Иванович Кшщ, а со мной следовало начать со вселения в меня известного доверия — с того, чтобы меня чем-то заинтересовать и даже позабавить.

Подобная же история вышла с несчастным Мазуркевичем — говорю несчастным, ибо это был очень красивый поляк, лишившийся в какой-то железнодорожной катастрофе ноги. Он был настоящий виртуоз, и его игра вначале меня очаровывала. В то же время мне было безумно жаль его самого, и я дал себе слово, что не стану ни в каком случае огорчать этого калеку, что буду усердно исполнять все, что он от меня потребует. О, эта одинокая нога, эти костыли, которые он не без ловкости прислонял к роялю и снова схватывал и подкладывал себе подмышки. О, это его ковыляние, этот стук гуттаперчевых оконечностей по полу... Все это было так ужасно, так разворачивало мне душу!.. Сначала все шло хорошо, но уже на пятом уроке та же драма возобновилась. Ма-зуркевич потерял терпение: убедившись, что я плохо усваиваю учение о такте и счете, он «позволил себе» сделать замечание в раздраженном тоне, и все мои благие намерения разлетелись. Я заупрямртлся, я его возненавидел, а через десять уроков ему пришлось отказать, так как я решительно заявил, что больше учиться у Мазуркевича на хочу. Заметьте, что сам я при этом заявлении плакал,— плакал из жалости к своему несчастному преподавателю...

Тут и появилась в качестве преподавательницы музыки кузина Не-тинька. Это была действительно моя кузина, хотя разница в годах между нами была более чем в сорок лет. Но именно то, что Нетинька не

!* В своем месте я уже говорил о моих летних уроках с Талябиной.

была мне тетушкой, а двоюродной сестрой, производило то, что, при всем моем обожании ее, я никакого к ней решпекта не чувствовал. Нетпнька не будучи вовсе красавицей, была необычайно приятной особой, и к тому же в ней была масса благодушия, и вся она была такая ясная, веселая. Между тем я знал, что ей не с чего быть ясной и веселой: жизнь у Петиньки сложилась трудная, муж ей попался нехороший: он бросил ее без средств на содержание многочисленного семейства, а сам проживал где-то в своем поместье на юге. И вот в том тяжелом положении, в котором очутилась тогда Нетинька, ее выручила необычайная ее одаренность. Заработок ее складывался из уроков музыки и, в более значительной степени, из того гонорара,

который она получала, играя танцы на балах. А играла танцы Ыетинька поистине божественно, так что «ногы сами начинали ходить». В 80-х годах она стала своего рода знаменитостью в Петербурге, в течение бального сезона ее брали нарасхват, и даже образовывалась очередь из желавших получить госпожу Храбро-Василев-скую к себе тапершей. Случалось, что уже назначенные балы откладывались, если Нетинька была занята. Эта-то дивная музыкальность Не-тпньки являлась едва ли не главной основой моего обожания ее...

И все же как учительница музыки и Нетинька оказалась для меня совершенно непригодной. Ее приход каждый раз доставлял мне удовольствие, однако успехов я не делал никаких. На сей раз это происходило не из-за какой-либо incompatibilité de caractères *, а единственно из-за того, что я и она несколько цинично относились к делу. Мы, в сущности, с немого согласия разыгрывали в течение тех пяти лет, что продолжались уроки, известную комедию. Сидели мы за роялем положенное время, я играл гаммы, экзерсисы, я играл пьески, кончался же урок обязательным четырехручием, но при этом я бессовестно «мошенничал», а она потворствовала этому мошенничеству. Происходило это так. Каждый экзерсис, каждую пьесу, каждую мою часть в «четырех руках» она сначала проигрывала, я же по слуху сразу это запоминал, и дальше все шло как по маслу. Нетиньке следовало бы проверять, действительно ли я что-либо усваивал, но она удовлетворялась тем, что ей казалось, будто я делаю успехи, на самом же деле как раз главное усвоение «музыкальной системы» — чтение нот и свободное понимание такта — этого не было. Я только приобрел большую беглость, разученные (по слуху) пьесы обогатили гармонические приемы в моих собственных импровизациях, но я как был, так и остался музыкальным неучем и совершенно безграмотным в смысле музыкального языка. Мне, впрочем, думается, что сама Нетинька была из того же десятка. И у нее все держалось на памяти, на слухе, на инстинкте, на «вдохновении» и меньше на знании. Но как чудесно она пользовалась своими природными данными. Какие она исполняла блестящие вальсы, мазурки, полонезы, польки, кадрили, многое в собственном, иногда довольно фантастичном, но всегда эффектном переложении. Между прочим, ей целиком принадлежали два номера — ухарский галоп на мо-

Несовместимости характеров *(франц.)*.

гивы «Джоконды» Понкиелли и восхитительно звучавшее

переложение вальса из «Евгения Онегина» 2*.

Кто же были моими любимыми авторами на рубеже детства и отрочества? Совсем любимого автора или авторов у меня, пожалуй, тогда не было, но все же от многого я был в упоении — главным образом от опер и главным образом от «Фауста», являвшегося вообще «царем оперного репертуара» тех дней. Даже Альбер, индифферентно относившийся к музыке, не им играемой (да и к своей он не питал никакого «уважения»), возлюбил Фауста и знал его от первой ноты до последней наизусть. Фантазии на Фауста были даже одним из его средств воздействия на женские сердца. В них он вкладывал всю силу страсти, на которую он был способен. Сейчас после «Фауста» у меня шли «Аида», «Риголетто» (гораздо меньше я ценил «Травиату» и «Трубадура»), «Вильгельм Телль», «Се-вильский цирюльник», несколько позже «Король Лагорский», еще позже «Нерон» Рубинштейна. Первые же произведения музыки, которые меня действительно свели с ума, были «Кармен», которая до Петербурга доехала в 1882 или 1883 г.2, и «Коппелия» — в 1884 г. Благодаря своей памяти я играл целые сюиты каждого названного произведения. Через пашу домашнюю виртуозку Марию Карловну я познакомился с увертюрой «Тангейзера» (всю оперу я услыхал гораздо позже), с вальсами Листа на темы Шуберта, с его рапсодиями, с мазурками, с этюдами и балладами Шопена и, наконец, с «Карнавалом» Шумана. Все это я обожал, Напротив, хоть многое из бетховенского репертуара я успел изучить, прислушиваясь к ее же игре, Бетховен оставался мне чуждым. Без настоящего энтузиазма относился я и к серьезным концертам, а русской музыки я не знал вовсе, если не считать полонеза и мазурки из «Жизни за царя», марша Черномора из «Руслана» (то и другое входило в репертуар милой тети Маши). Вот почему я пережил в глубине своего существа настоящую революцию, когда в 1889 г. познакомился с «Кольцом» Вагнера, а в 1890 г. с произведениями Чайковского, Римского и Бородина.

Из бесчисленных тогдашних исполнителей, которых мне в детстве и отрочестве удалось слышать, я здесь назову певцов итальянской оперы— Мазини (сладчайшего из всех мною слышанных теноров), Котоньи, Уэта-ма, Девойо и певиц Нильсон, Репетто, Дюран, Зембрих и, несмотря на свою физическую неказистость, идеальную исполнительницу «Кармен» — Ферни Джермано. Вообще же я должен сознаться, что я к человеческому голосу был более равнодушен, нежели к инструментальной музыке. Из пианистов я назову чудесную мастерицу фортепьянной игры Есипову и Антона Рубинштейна. Игра последнего остается в моем представлении и

Курьезно, что та же Нетинька давала уроки моему будущему другу, Диме Филосо-фову, с которым лично в те годы я еще не был знаком. Чтобы меня подзадорить к учению, она утверждала, что вот у пее имеется такой замечательный ученик Философов, что он гораздо лучше меня учится. Когда же в 1885 г. я познакомился с Димой, я убедился, что это совершенная ложь, что Дима еще меньше меня пре-лзошел науку музыки. О, Нетинька!

*/, 11, 7, Мое художество*241*

по сей день непревзойденной. Могу только пожалеть, что слышал я Рубинштейна всего раза три, но эти «слушания» оставили во мне неизгладимое впечатление. Это была поистине вдохновенная игра. Он «мазал», он «врал», он «присочинял», но вещи, даже самые знакомые и избитые, приобретали под его толстыми, неуклюжими на вид пальцами совершенно новую и потрясающе яркую жизнь. Нравился мне и весь его облик — его приспущенные веки, неприглаженная «грива» и даже то, что он соединял. в себе нечто и от атлета и от «бабы». Странная была фигура! А какой это был чаровник, каким он умел прикинуться милым, простоватым, когда он ухаживал за дамами,— за этим занятием я мог его наблюдать, когда он бывал в гостиной у Марии Карловны. Что говорить: Антон Рубинштейн был настоящим солнцем музыкального мира, по вот то, что, добившись получения в дар для основанной им консерватории здания Большого Театра, он способствовал разрушению этого чудесного памятника З,— этого я ему простить не могу, а в свое время я его за это и, возненавидел,

Глава 7 МОЕ ХУДОЖЕСТВО

В семейных преданиях хранилась память о том, как я, будучи восемнадцати месяцев от роду, получив карандаш в руки, сразу схватил его надлежащим образом, т. е. сложил на нем пальцы именно так, как это считалось правильным '*. В этом факте все увидели чуть ли не какое-то предзнаменование того, что я буду художником. Думаю, что я и действительно награжден наследственным предрасположением к искусству, а художественная атмосфера нашего дома и то, что почти все вокруг меня занимались разными видами художественного творчества, в частности же папочка охотнее всех занимал меня рисованием, когда мне еще и году не было,— все это явилось настоящей школой — чуть ли не с пеленок. К сожалению, и очень ранние пробы мои в искусстве были до известной. степени

отравлены рано проснувшимся тщеславным чувством. Чуть только стало во мне просыпаться некоторое сознание того, что я делаю, как я уже перестал рисовать «просто для себя», в удовлетворение какой-та «потребности изображать», а стал добиваться в своих рисунках успеха. Надлежало поразить и вызвать то восхищение и те хвалы, которые я вкушал с особым наслаждением. Отсюда и забота о поражающих сюжетах, от-

!* Правильность такого держания карандаша, разумеется, относительная. В Азни, например, существуют совершенно разные взгляды на то, как надо держать то, чем рисуют или пишут. В даыпом случае, однако, для людей, занятых вопросами наследственности, интересно то, что бессознательный ребенок мог схватить пальцами,

карандаш именно так, как то привыкли додать отец и дед.

сюда и утрата непосредственности даже и в очень раннем моем рисовании. Между тем, как раз непосредственность составляет вообще главную прелесть детских рисунков.

Не надо все же думать, что я рисовал только «напоказ». Большинство и тогдашних моих рисунков создано для собственной утехи, но часто, особенно в присутствии посторонних, в присутствии гостей, желавших своими восторгами оказать приятность моим родителям, я в рисовании «щеголял».

Известное «щеголяние» своим даром оставило некоторые следы и на моем дальнейшем художественном развитии. Надлежало пройти многим годам, пока я сам не понял нелепость такого тщеславия, мешавшего мне делать то, что могло бы иметь действительную ценность и могло бы, первым долгом, давать удовлетворение мне самому. Между тем живой пример того, как надо относиться к делу, был у меня перед глазами— в лице папы. Я очень любил разглядывать его путевые альбомы, в которые он с такой точностью, с таким мастерством и с таким вкусом зарисовывал все, что его поражало, и я дрожал от наслажденья, когда он, заканчивая какой-либо свой архитектурный проект, «оживлял» его для собственной забавы бесчисленными малюсенькими фигурками. Я наслаждался всем этим, но делать так, как он, вернее, приступать к делу так, как он, я не догадывался. Да к тому же при всем моем наслаждении его рисованием (а также акварелями моих двух братьев) я, пятилетнее ничтожество, на них смотрел чуть свысока. Ведь я уже трех лет был объявлен Рафаэлем и собирался со временем поразить мир своим искусством.

Упомянул я здесь имя великого Санти вовсе не в качестве риторического приема, а потому, что имя Рафаэля было как раз

первым из всех имен художников, которое я запомнил. Запало же оно мне в душу благодаря тому впечатлению, которое производили на меня его ватиканские композиции, красовавшиеся в копиях в Академии художеств, исполненных в оригинальную величину лучшими русскими художниками: Брюлловым, Бруии, Васиным, Бориспольцем и др. Попадая в «Рафаэлевский зал» в Академии, я цепенел в любовании этими огромными картинами, известными под названием «Больсеиская месса», «Афинская школа», «Изгнание Гелиодора» и «Освобождение св. Петра из темницы». Сюжеты мне объяснял папочка в очень ясных выражениях, но не в сюжетах было дело, а в красоте. Да, тот трехлетний или четырехлетний карапуз, каким я был тогда, уже млел перед красотой этих произведений и одновременно с этим во мне тогда же просыпалась склонность к «священному негодованию», которое вспыхивало во мне каждый раз, когда я видел в других равнодушие к этим, так особенно меня волновавшим и столь изумительно красивым вещам. Особенно в композициях Рафаэля я был пленен коленопреклоненными фигурами на «Больсеие». Красивее того повернутого в профиль швейцарского офицера, который стоит в нижнем правом углу, я ничего не мог себе представить, а ведь красота этой фигуры заключается не в чертах лица и не в великолепии его одежды, а в чем-то совершенно ином, что только и можно почувствовать и что есть красота.

*/, II, 7. Мое художество*243`

Впрочем, для удовлетворения моей страсти к Рафаэлю мне не нужно было непременно находиться в академических залах. Я мог предаваться ей и дома. Как раз в эти годы выходило в Италии издание в гравюрах крупного формата всех фресок ватиканских «стансов» и стенных ковров, тканных но картинам Рафаэля. Пана получал это издание выпусками, доставлялись же они курьезнейшим маленьким, седеньким и лысым старичком, занимавшимся всякого рода комиссионерством. Он же привозил нам настоящие итальянские макароны, вино кьянти в соломенных бутылках и превосходные апельсины. За все это я его нежно любил, но, к стыду своему, как звали этого скромного, ласкового синьора, которого папочка встречал всегда с изъявлением дружбы (мамочка же несколько сдержаннее, ибо она не слишком поощряла всякие папашины художественные folies*), я не запомнил. Мне это тем более совестно, что специально мне старичок приносил особенно диковинные подарки. То были сделанные из папье-маше подобия грецких орехов, которые внутри, в обеих половинках содержали по целой, тончайшим образом выпиленной из кости капелле с алтарем, свечами,

цветами и херувимами. Какая это была прелесть. Закроешь — орех как орех, а вскроешь — там целый тончайший ажурно-узорчатый мир. Эти чудеса, изготовлявшиеся в каком-то итальянском монастыре, к сожалению, попадая ко мне, погибали очень быстро. Я не в состоянии был устоять перед соблазном залезть пальцами в хрупкую их внутренность, хотелось изведать, что еще находится позади алтаря и почему так горят выложенные красной фольгой окна. Разумеется, после такого вторжения грубой силы — ничего, кроме бесформенного лома, не оставалось.

Каждый новый выпуск гравюр Рафаэля (их появлялось по два или по три в год, а закончилось издание кажется около 1880 г.) рассматривался всей семьей. С папиного стола снималось все лишнее, покрывавшая его клеенка тщательно вытиралась, и на нее с особой, подчеркнутой торжественностью клались новые листы, из которых каждый был прикрыт прозрачной бумагой. Когда же все гравюры последней присылки были осмотрены, папочка их складывал в склеенную им самим большущую папку, и там в сохранности гравюры и покоились. До этой рафаэлевской папки никто без разрешения папы не смел дотронуться, и лишь в исключительных случаях рафаэлевская папка клалась на стол, развязывалась, вскрывалась, и тогда можно было лицезреть все, что в ней накопилось. В этой же папке хранились большие гравюры с пейзажей Пуссена, гравюра с грезовской «L'heureuse Famílle» ** и кое-что еще.

Рядом с нами, с выходом на ту же площадку парадной лестницы. жили старинные друзья семьи Бенуа Свечинские: почтенная старушка с сыном Николаем Кирилловичем — благодушнейшим стареющим холостяком, над которым у нас полагалось немного подтрунивать и для которого неустанно, но тщетно, наши дамы подыскивали «невесту». Меня.

Безумства *(франц.)*. «Счастливого семейства» *(франц.)*.

туда иногда водили, и там были всякие для меня приманки: курильница в виде черта, у которого зажигалась и докрасна накалялась голова, серый с красным, злой и надменный попугай и, наконец, девочка — внучка бабушки Свечинской Алечка Лепенау, к которой у меня была известная слабость. В столовой же у Свечинских стены были сплошь увешаны опять-таки «Рафаэлями». Гравюры эти были старинные и, вероятно, более цепные, нежели те новейшие, которые получал отец из Италии, но, разумеется, этого я не понимал, а из какого-то чувства фамильного гонора я гравюры у Свечинских презирал; они мне

казались совсем «не похожими» на то, что я видел в Академии и у пас. дома. Сколько раз добрый Свечинский. зная мою любовь ко всякого рода изображениям, пытался обратить мое внимание и на эти «картинки», я глядеть на них не хотел, причем бесцеремонно заявлял, что «наши лучше».

В конце концов, я так освоился с Рафаэлем, а с другой стороны, я до такой степени был уверен, что я сам Рафаэль, что однажды пожелал это доказать неоспоримым образом. Копировка была у нас обычным занятием. Копировали обе мои сестры, а Катя даже до того успела в этом, что копировала на заказ в Кушелевской галерее (только что тогда устроенной) картины разных сладковатых художников середины XIX в., иногда же она решалась пробовать свои силы и на передаче картин более трудных. Знаменитая в те дни «Украинская ночь» Куииджи (это было, когда Катя была уже замужем) прогостила у Лансере года два, не то потому, что собственник «Ночи» пожелал иметь дубликат, пе то потому, что сама Катя пожелала «поучиться» па таком образце. Копировал всяких художников (в том числе Гильдебрандта и Калама) и Альбер, дабы преуспеть в акварели, копировал Леоптий, и последний делал это очень свободно и искусно, внося в копию свои собственные усовершенствования. Почему же было и мне не скопировать Рафаэля? Я и не сомневался в том, что срисую все точка в точку.

Увы, совсем иначе мне представилось дело, когда папа по моей просьбе вынул из лиловой папки гравюру с «Больсенской мессы» и, нашпшгив ее на большую доску, укрепил последнюю на мольберте, меня же посадил перед пей на табурете.

Мне было тогда пять лет, и уже далеко было то время, когда, рисуя кружочки, под ними две палочки и род штыка рядом, я воображал, что изображаю солдатиков; далек был и период, когда кружочки оживились глазами, носами, ноги я стал приставлять не прямо к голове, а к туловищу (на котором непременно изображались пуговицы), штыки же вкладывались в руки (более похожие на грабли). Затем все это еще более «ожило», стало входить в контакт друг с другом, появились лошади (или то, что мне казалось таковыми), «взрывы бомб», пушки, выстреливавшие целые «охапки пуль», а все в целом должно было изображать баталии. Под влиянием Иши появились на моих рисунках и рыцари — в касках, с забралами, с мечами и пиками в руках, на копях в попонах, что, кстати сказать, было и эффектнее и легче нарисовать. Однажды я даже попробовал сделать портрет папы (его портрет как раз тогда писала Катя), но

меня смутило, что у меня это «не совсем вышло» — лишь то,

что на щеках были бакенбарды, а глаза прикрыты очками, действительно, создало известное подобие, от которого все домашние, как полагалось, пришли в восторг. Словом, за мной был уже «пройденный путь» и, вечно захваливаемый, я действительно мог вообразить, что я «Рафаэль». Тут-то меня и ожидало первое прискорбнейшее разочарование. Еще куда ни шло, я довольно точно передал полукруг, замыкающий сверху композицию, и тот квадрат окна, что в него включен снизу, но когда дело дошло до первой же фигуры, то и получилась осечка... Через несколько минут рисования я совершенно размяк и ужасно устал, пот выступил на лбу, ц, вероятно, я сделался весь красный. Действовали и досада, что у меня «ничего не выходит», стыд и даже род какой-то обиды на Рафаэля, почему он мне не дается. Однако, пожалуй, тогдашняя досада послужила мне па пользу! В первый раз я понял, «как это трудно», в первый раз я почувствовал, кроме простого восторга перед картиной, и какое-то почтительное «изумление».

К сожалению, моим разочарованием, как мне теперь кажется, не сумели тогда воспользоваться. Правда, папа собствепиоручно и с необычайной аккуратностью склеил для меня из бристоля целую серию геометрических, частью очень сложных фигур и попробовал меня пристрастить к срисовыванию их, показав на бумаге, как это делается (тогдашний рисунок папы я храню). Но, попробовав раза два собственные силы на таком срисовывании, я почувствовал только непреодолимое отвращение к нему, и фигуры были сложены в ящик моего рабочего стола. Пролежав в нем лет шесть, они расклеились. Братья Альбер и Люля, видя мои рисовальные импровизации, говаривали: «Рисуй, Шурка, с натуры», «Надо с натуры рисовать», и оба подкрепляли эти воззвания собственным примером, причем опять-таки Альбер старался передавать натуру точно, а Леонтий скорее фантазировал на реальные темы. Но эти понукания только меня раздражали, так как я ничего хорошего в «натуре» тогда не усматривал, и меня гораздо сильнее тянуло рисовать солдатиков и рыцарей. Наслаждаясь безотчетно природой, как только может наслаждаться совсем юное существо, я не чувствовал потребности каким-либо способом эту природу передать.

Память моя регистрировала немало таких вещей, которые достойны были попасть на бумагу или быть изображенными в красках, но это самое их достоинство я не осознавал. Как раз помянутая «Украинская ночь» Куинджи приоткрыла мне «поэтическое достоинство» пейзажа. Вглядываясь в эту картину, особенно в бездонное темное небо, в мерцание огоньков в хате, белые стены которой так чудесно светились в фосфорических

лучах, я ощущал поэзию всего этого целого, а также почувствовал прелесть передачи ее. Но в те годы я не решился бы попробовать сделать нечто подобное и, поняв после ряда осечек, до чего вообще все это трудно, я предпочитал (со все меньшей уверенностью в успехе) рисовать «от себя» всякую всячину, то импровизируя на бумаге разные комические истории (отголоски моего восторга от Буша и Оберлендера), то

пробуя силы на «более внушительных» композициях «исторического характера».

Колоссальное впечатление, произведенное на меня Библией Шнорра (о чем я расскажу в своем месте) *, побудило меня изображать события Священного Писания, и одну такую мою тетрадочку, посвященную «Дням творения мира», бережно хранила до смерти директриса моего киндергар-тена Е. А. Вертер. Чтение и особенно разглядывание иллюстраций какой-то «Histoire de France»* для детского возраста познакомило меня с условными, но тем более пленительными для детского воображения фигурами Франциска I, Генриха IV и Людовика XIV — в результате чего в довольно большом формате я пробовал представить своего рода «синтетические» их портреты, которые я дарил отцу на елку или на рождение. При этом действовали и оперные сувениры,— так все мои герои получали неизменно бородку-эспаньолку — принадлежность тогдашних теноров, и кружево по низу панталон. Что же касается до уроков рисования, проходивших в киндергартене под руководством симпатичнейшего мягкого и тусклого художника Лемоха, то это, разумеется, было совершенно непроизводительной и скучной тратой времени.

Едва ли не важнейшую роль для дальнейшего моего художественного развития сыграла моя страсть к театру. Я еще вернусь к своим детским театрикам и, в частности, к тому, который мне устроил папа, но и тут необходимо отметить, что то самое, что в отверстие сцены и при свете крошечных керосиновых ламп, стоявших в кулисах, эти, специально для меня написанные и вырезанные папины акварели вдруг приобретали «полное правдоподобие»,— побудило и меня испробовать свои силы в этом роде. И вероятно оттого, что я был движим каким-то особенным воодушевлением, эти мои опыты удавались лучше (по тогдашней моей оценке) *у* а удача подзадоривала на дальнейшие. Запомнилась мне из тех моих первых театральных опытов размашисто, в бурых красках писанная декорация, изображавшая какой-то «ученый кабинет» с крокодилом, подвешенным к

потолку, а также «дремучий лес», в котором мне нравилась гамма зеленого с коричневым. К театральному же роду можно было бы отнести и другую мою тогдашнюю «гордость» — род театральной макет-ки, изображавшей европейцев, вступивших в бой с зулусами (как раз в Африке тогда погиб le Prince Imperial *г)*. Это был ряд нарисованных пером и раскрашенных, а затем тщательно вырезанных фигурок, которые,. окруженные такими же кустами и пальмами, были приклеены на картон, изображавший поросшую травой землю. Мне казалось, что на сей раз-мне не только удалось выразить стремительность движений, а также ярость и ужас на лицах сражающихся, но что мне особенно удались краски — гармония их, получившаяся от прозрачных колеров, положенных поверх очерка, залитого тушью.

Но вот с начала 80-х годов я все реже и реже берусь за карандаши и за краски (исключительно за акварельные, масляные у нас в доме во-

* «Истории Франции» *(франц.)*.

обще, после отбытия сестры Кати, не водились). Однако эти годы не пропали даром для моего художественного развития. Напротив, именно за этот период я постепенно, сам того не зная, начал становиться своего рода «любителем искусства». Запомнились мне несколько этапов в этом приобретении более осмысленного отношения к искусству. Рафаэль продолжал доминировать над всем, но Рафаэль был чем-то совершенно исключительным, я в нем видел божество, и принимал я его всего, не дерзая выяснить себе, чем именно он так хорош. Другие же художники приводили меня в восторг более определенными сторонами своего творчества — кто ловкостью и бойкостью штриха, кто сочностью светотени, а кто композицией (например, иллюстрации Невилля в книге Ж. Верна «80 000 верст под водой» или иллюстрации Доре к басням Лафонтэна). Постепенно стали на меня действовать краски, независимо от того, что изображено, — действовать как в положительном, так и в отрицательном смысле. На какой-то выставке в Академии я пришел в восторг от «Балаганов» и от «Перенесения ковра» К. Маковского. В Кушелевской галерее меня восхищали картины разных немцев, французов, бельгийцев середины ХÍХ в.2* Другие картины меня трогали и даже потрясали своими сюжетами. Я уже говорил про свой восторг от картины Делароша «Кромвель перед гробом Карла», перед которой я буквально столбенел; часами был я способен вглядываться и в помянутую «Украинскую ночь» Куинджи. Больше же всего (пока в гравюрах, ибо в Эрмитаже я в те времена, до 1883 г., не бывал) я восхищался «Последним днем

Помпеи» К. Брюллова, и мне прямо казалось невероятным, что папа когда-то мог лично знать такого совершенно божественного гения! Брюллов для меня был «почти Рафаэль». Наконец, в 1882 г. Леонтий, вернувшись из заграничного путешествия, навез с собой массу фотографий, и впервые меня тогда взволновали грустные взгляды, хрупкие фигуры и неловко-стыдливые жесты Сандро Боттичелли, и одновременно меня покорил Микеланджело, о котором, впрочем, я уже имел некоторое понятие. В своем месте, где я говорю (по поводу своих игрушек), что был пленен «лилипутским» началом, я упустил сказать, что в равной степени я был пленен и всякой колоссальностью. Во сне я часто видел, что подхожу к подножью какой-либо чудовищно громадной бронзовой статуи или что такая статуя сдвигается, протягивает ко мне свои страшные металлические руки. В Академии художеств я боялся (но чувство это было сладостное) подходить к стоящему в глубине Тицианов ского зала Диоскуру (слепок с одного из гигантов, стоящих па Монте-Кавалло в Риме), я мечтал увидеть на самом деле колоссы Мемнона или св. Карла Борромейского, а среди похождений Гулливера меня одинаково пленяло как его пребывание у лилипутов, так и его пребывание у бробдингпегов. И вот на одной гравюрке в «Maga-siii pittoresque» * фигура Ионы под потолком Сикстинской капеллы —

2* Собрание картин, пожертвованных Кушелевьгм-Безбородко Академии художеств. С 1920 г. почти все картины этой превосходной Коллекции находятся в музее Эрмитажа. * «Живописное обозрение» *{франц.),*

чудилась мне чем-то сверхъестественно ужасающим. Даже в таком виде Буонаротти действовал своей terribililà,— и этой-то его «ужасностью» я мог теперь вдоволь упиваться на фотографиях, привезенных Леонтием, с рисунков мастера и со статуй гробницы Медичисов...

Вообще я теперь все чаще и чаще вытаскивал книги с нижних полок папиного «желтого шкафа», и я все внимательнее к ним присматривался. Из них я узнал о существовании и о значении первоклассных архитектурных памятников, из них познакомился с историей костюма, из них заинтересовался всякими предметами культурно-исторического значения, из* них же узнал, как выглядели и разные знаменитые люди: музыканты, писатели, философы. В особенности же впивался я глазами в те картинки, которые довольно удовлетворительно передавали превосходные произведения изобразительных художеств — живописи и скульптуры. Тот же брат Леонтий подарил мне в 1883 г. популярную «Историю искусств» Рене Менара 3, которую я тогда

довольно основательно изучил.

Одновременно с «Magasin pittoresque» и «Историей искусств» я напитывался художественными впечатлениями и познаниями из журнала «Пчела», а также из нескольких томов «Illustrations», в которых я особенно наслаждался карикатурами Берталя, Кама, Марселена и Дики Дойля. Ряд композиций Доре содержал и выходивший во время Крымской кампании «Le Musée Français et Anglais». Отдельно я должен поставить серию книжек, унаследованных папочкой от своего отца и носящую собирательное название «Les Annales du Musée» *. Эта коллекция из более чем сорока переплетенных в светло-розовый картон книг занимала три четверти верхней полки большого папиного «красного* шкафа, и для того, чтобы достать один из этих томов, надлежало мне, десятилетнему мальчику, не только влезть на стул, но еще вытянуть до предельной возможности руку. С десяти лет я эти «Annales du Musée»* и стал изучать со все возрастающим интересом. Они состоят почти из одних только иллюстраций с короткими пояснительными текстами. Картинки воспроизводят картины и статуи Лувра (того Лувра, в котором рядом с основной коллекцией фигурировали и все художественные трофеи Наполеона), а также особенно замечательные произведения парижских «Салонов» начала века — все это сопоставленное в самом произвольном порядке: мифология чередуется с библейскими сюжетами, жанровые сиенки с глубокомысленными аллегориями. То, что в «Les Annales du Musée» гравюры исполнены одним штрихом, при отсутствии всякого оттенеиия, пе вредило моему наслаждению,— тем более, что к такому способу передавать образы я уже привык и достаточно его полюбил благодаря «Душиньке». Теперь же мне кажется, что именпо эта «отвлеченность» в передаче прекраснейших произведений искусства учила меня (без того, чтобы я сознавал, что учусь) тому, что в сущности является основой всякого изобразительного искусства,— тому, что называется ри-

* Анналы Музея» * *(франц.)*.

сунком и что вмещает в себе и композицию, и ритм, и большую или меньшую «правильность». Стал я заглядывать и в небольшие текстики, сопровождающие в «Анналах» каждую гравюру. В этих заметках я находил рядом с умеренными критиками и указания на колорит, на светотень. Из этих текстов я узнавал кой-какие данные из жизни авторов картин и скульптур. «Les annates du Musée» рядом с «Magasin pittores-que» были моими первыми художественными руководствами, причем главным образом благодаря «Анналам» я познакомился с чем-то вроде

конспекта истории искусства. Значительная часть гравюрок «Анналов» воспроизводит и картины эпохи наполеоновской эпопеи, и отсюда получилось, что я, сын конца XIX в., превратился тогда в какого-то восторженного приверженца классической школы конца XVIII в. Этому же я обязан и тем, что сохранил на всю жизнь известную нежность к классицизму. Ту самую роль, которую в настоящее время для начинающей жизнь художественной молодежи играет французская школа импрессионистов (если не всякие гримасы упадочного «модернизма»),— эту роль для двенадцатилетнего Шуры Бенуа сыграли строгие, благородные, полные убежденности произведения Давида, Жерара, Жироде, Гро и в особенности Прюдопа.

Почти все, что мной до сих пор названо из художественных произведений, которыми я увлекался в дни детства, относится к чужестранному и к тому же «старинному» и «отжившему». Однако, кроме того, видел я и тогда уже немало образцов современного искусства — главным образом на больших выставках- в Академии художеств, на которые меня ежегодно водили весной то папа, то мама, то один из братьев. Там я наслаждался уже не черными уменьшенными воспроизведениями, а оригиналами в красках; там я мог оценивать и манеру, ловкость, бойкость кисти, приятный колорит или, напротив, меня возмущала робость, беспомощность, уродливое сочетание красок. Свои личные оценки я затем мог проверять на основании общих споров во время семейных сборищ, причем в те дни я обыкновенно в душе вполне соглашался с мнением отца. Особенное впечатление произвела на меня та сборная выставка, которая была устроена в 1882 г. также в Академии художеств5, на которую попали разные знаменитые картины русских мастеров последнего времени, предназначавшиеся затем для большой выставки в Москве. Тут я увидел шедевры Ренина «Бурлаки» и «Проводы новобранца», тут же увидал исторические картины Якоби и Венига, лесные пейзажи Шишкина и всевозможные моря Айвазовского, общий восторг от которых я вполне тогда разделял. Кроме того, на меня около того же времени произвели потрясающее впечатление исполинское полотно «Светочи Нерона» Семирад-ского и несколько картин В. В. Верещагина на тех отдельных выставках, которые гремевший на весь свет художник устраивал то в «Обществе поощрения художеств», то в частных помещениях. Стечение публики на выставки Верещагина было таково, что приходилось на улице ждать очереди и очень медленно продвигаться загем среди густой толпы. Но эти страдания были вознаграждаемы тем, что показывалось при

«осле-

пительном», только что тогда изобретенном электрическом освещении. В лучах волшебного света и «Выезд принца Уэльского в Индии» и «Панихида» (священник служит над полем, покрытым голыми трупами солдат) приобретали удивительную иллюзорность. Бывал я как раз на этих выставках Верещагина (в виде исключения) с мамой, вообще к искусству относившейся довольно равнодушно. Тут же и опа не смогла устоять перед соблазном увидать вещи, о которых говорил весь город. Впрочем, не одно желание быть в курсе всего замечательного притягивало ее, но и ее глубокий «интерес к правде». Это сказывалось и во время споров за семейным столом, когда опа, вообще в них не вмешивавшаяся, робко, но не без настойчивости защищала Верещагина от нападок паших заправских эстетов. Что за беда была в том, что Верещагин в своих выступлениях прибегал к некоторым «шарлатанским трюкам» (самый его способ показывать вещи в темных помещениях под прожекторами вызывал обвинение в шарлатанстве), велика ли беда, что он, Верещагин, часто бывал «бестактным» (в бестактности его обвиняли паши домашние политиканы и «вояки» с Зозо Россоловским во главе), велика ли беда, что он представил «Взятие Плевны» как спектакль, устроенный в угоду царю, а в картине «Si jeune et déjà décoré» * он обличал кумовство и протекционизм военных кругов? 6 Все это была правда, но мама была непоколебимо убеждена, что «Seul le vrai est ainiable» **. Этот стих она очень часто цитировала.

Из разных других художественных событий того времени могу еще указать, но скорее как на курьез, на «гастрольные*» выставки новейших произведений немецких архизнаменитостей того времени: Макарта и Макса. Трудно себе представить, какую сенсацию производили все эти «показы», обыкновенно устраивавшиеся в только что отделанном новом помещении «Общества поощрения художеств» па Большой Морской. Успех этот свидетельствовал о том, в каких глубинах провинциализма утопала тогда художественная жизнь Петербурга. Не только широкая публика ничего не знала о подлинном художественном творчестве на Западе, но не ведали о нем сами художпики. Даже передовые мастера, даже передвижники и их трибун В. В. Стасов принимали всерьез вещи, едва возвышающиеся над уровнем ординарной посредственности. Только провинциализмом можно себе объяснить, что такие картины, как «Штиль» Судковского, «Невский проспект» Клевера, «Последние лучи» Куинджи или «Голова Спасителя» Габриэля Макса, могли вызывать яростные обвинения и бешеные восторги. Картины Куинджи и Клевера

казались до того иллюзорными, что на выставках происходили настоящие скандалы; посетители залезали через перегородку (эти картины тоже выставлялись при искусственном свете), дабы заглянуть за полотно и удостовериться, нет ли под этим «чудом» какого-либо фокуса, не освещаются ли картины транспарантом сзади. Иные же тыкали пальцем в полотно, гладили

«Такой молодой, а уже отличившийся» *(франц.)*.

Только правда хороша *(франц.)*.

его, искали каких-либо трюков, и таких дерзателей приходилось при помощи полиции выводить насильно.

Что же касается помянутой картины Габриэля Макса, изображающей голову Христа (более натуральпой величины) на плате св. Вероники7 то перед ней происходили даже настоящие сцены кликушества. Истерические дамы вдруг начинали голосить: «Он смотрит, он смотрит» и падали в обморок. Трюк же Макса заключался в том, что на опущенных веках Спасителя были едва обозначены полутенями зрачки. Сначала казалось, что глаза у Христа закрыты, если же долго в них всматриваться, то чудилось, будто они открылись, и не то с упреком, не то с каким-то призывом, взирают на вас. В зале, где была выставлена эта картина, царило поистине молитвенное настроение. Перед ней в несколько рядов стояли стулья и па них часами восседали в глубоком молчании дамы и господа, ожидавшие момента, когда «глаза Спасителя откроются для них». Посетил с кем-то из наших домашних и я раза три эту выставку. Мне не нравилась картина, я сразу «раскусил в чем дело» (и папа тоже неодобрительно отзывался о ней), но меня манила вся атмосфера, создавшаяся славой ее чудотворности. Впрочем, Макс, ныне забытый даже у себя на родине, был тогда до того знаменит, что и другие его картины, «гастролировавшие» в Петербурге, вызывали почти столько же толков, как и «Голова Христа». Так, очень поразила петербуржцев картина «Художественные критики», на которой были изображены (по примеру француза Декана) обезьяны, усевшиеся перед картиной и ее обсуждаю-шне, а также «Via Appia» *, изображавшая молодую нищенку, в отчаянии поникшую над своим младенцем, тем временем как готовая исчезнуть вдали карета последнего туриста подчеркивала ужас ее оставленности. Должен добавить, что в смысле живописной техники и того, что называется <'кухней», как раз эти картины Макса были очень замечательны, и я получил от их «фактуры» несравненно большее удовлетворение, нежели от той беспомощной мазни, которая в значительной степени наполняла Академические выставки. Изредка, впрочем, и на последней появлялись произведения

«первоклассных» иностранных мастеров (вероятно, в ответ на получение ими нашего академического звания). Так, на Академических выставках я видел картины Макарта и даже «самого Пилоти».

Может показаться странным, что, рассказывая про то, как я все более и более «приобщался» к искусству, я до сих пор не упоминал об Эрмитаже, а также о наиболее передовых выставках того времени — о передвижниках. Но на это имеются причины. Эрмитаж в более или менее «сознательном состоянии» я впервые обозрел тринадцати лет — в 1883 г., и об этом весьма значительном дне моей жизни я повествую в другом месте. Что же касается передвижников, то у нашей семьи не было принято посещать их выставки, так как отец и братья придерживались убеждения, что искусство могло цвести только в Академии художеств и «вокруг нее». Передвижники же представлялись им чем-то вроде разруши-

* «Аппиева дорога» *(лат.)*.

гелей устоев, чуть ли не «нигилистов». Однако и среди ближайших моих родственников был один человек, который держался более передовых взглядов, и стоило выставке передвижников открыться, как уже на ближайшем семейном обеде возникал спор, каждый раз вызванный сочувственными словами дяди Миши Кавоса о какой-либо новой картине Репина, Сурикова, Ярошенки, Вл. Маковского или Савицкого. И тогда сразу дядя Костя Кавос, брат Леонтий, бабушка и даже неизменный друг дома, Signor Bianchi, ловили мяч на лету, после чего начиналась словесная баталия между теми, кто на выставке не побывал, да и не собирался быть, и теми, кто выставку посетил и готовы были вслед за дядей Мишей счесть одобряемые им картины за шедевры. К таким защитникам более передового искусства принадлежали и великий забияка — Зозо Россоловский, по профессии журпалист, а также мой кузен, тогда еще учившийся в Училище правоведения,— Сережа Зарудный.

Тут я забегу вперед. Один из таких рьяных споров побудил, наконец,, и меня отправиться посмотреть, в чем дело и кто прав. Эта экспедиция уже имела до некоторой степени оттенок бунта против семейных традиций, что в последующие годы стало для меня чем-то обычным. Впрочем, к этому времени я уже несколько научился оценивать вещи самостоятельно и, отправляясь на «Передвижную», помещавшуюся в том году в доме Родоконаки на Невском, я уже не рисковал поддаться какому-либо совершенно случайному влиянию. Покинул же я выставку, как пьяный,— до

того меня поразила картина Репина <.Не ждали», до того это было не похоже на все то, что у нас в доме почиталось за достойное внимания и до того это было смело, просто и «подлинно». Наконец, и самая живопись и приемы поражали своей свежестью, уверенностью и свободой. В следующем, 1885 г. я стал ждать открытия очередной «Передвижной» как наизначительнейшего в течение года события. И на сей раз,. если впечатление от «Иоанна Грозного» Репина не могло сравниться с впечатлением от «Не ждали», то все же и оно было потрясающим. Упомяну еще здесь о том, что благодаря репинским картинам во мне проснулся интерес вообще к более серьезному современному творчеству, как к русскому, так и к иностранному. Правда, не было никакой возможности познакомиться в оригиналах с действительно передовым искусством в Германии и во Франции, но уже то было хорошо, что я стал искать, как бы удовлетворить свою любознательность и свою потребность в художественных впечатлениях по разным иностранным изданиям, книгам и журналам. Ознакомление это не имело никакой системы и было полно весьма странных блужданий, но уже достаточно было того, что я все же изредка находил ту или иную подлинную жемчужину, и когда находил, то восторгу не было пределов.

В 1885 г. я сподобился не только лично познакомиться с Репиным, но видеть его изо дня в день за работой и слушать его речи об искусстве. Илья Ефимович начал писать портрет жены Альбера, Марии Карловны 8. Происходило это в квартире брата, находившейся этажом выше пашей и служившей как бы продолжением нашего обиталища. Репин писал

*I, II, 8. 1875 г. в Павловске*253.

Машу играющей на рояле и метко схватил то выражение «холодной вакханки», с которым эта замечательно красивая женщина, откинувшись назад, как бы поглядывает на своих слушателей. Портрет уже после нескольких сеапсов обещал быть чудесным, но затем что-то помешало продолжению работы (пс то Марье Карловне просто надоело позировать, не то она отправилась в какое-либо турне), и портрет так и остался но-оконченпым `1*. Но пользу я себе извлек из того, что успел видеть в течение тех пяти-шестп раз, когда украдкой, не смея шевельнуться, замирая в молчаливом упоении, я следил за тем, как мастер пытливо всматривается в модель, как он затем уверенно мешает краски на палитре и как «без осечки» кладет их на полотно. Ведь ничто так не похоже на волшебство, как именно такое возникновение живого образа из-под кисти большого художпика. Но когда я говорю о пользе для себя, то я совсем не подразумеваю пользу творческую; я и не пытался использовать

эти «уроки» Репина для собственной работы. В это время я вообще почти бросил рисование и лишь редко касался красок (всегда акварельных — других, повторяю, у нас в доме не было). Польза заключалась в том, что я вообще видел, как это делается, как создается настоящее искусство, а не тот его эрзац, которым почти все вокруг меня довольствовались. Однако я сильно забегаю вперед, и пора теперь вернуться к прерванному хронологическому порядку моего рассказа.

Глава 8 ЛЕТО 1875 г. В ПАВЛОВСКЕ

Лето 1875 г. мы провели в Павловске, но познакомился я с Павловском за несколько месяцев до нашего переезда туда на дачу, и нельзя сказать, чтобы это первое знакомство произвело на меня приятное впечатление. Напротив, я сохранил об этом пребывании в Павловске, длившемся всего один вечер и одну ночь, очень жуткое воспоминание, и курьезнее всего, что какая-то тень, брошенная на Павловск тогда, когда мне не исполнилось еще пяти лет, оставалась лежать на нем и впоследствии, несмотря на мои частые посещения Павловска, на жизнь там целыми месяцами на даче, несмотря, наконец, на все мое художественное увлечение этим чарующим местом.

Сестра Катя, вернувшись из своего свадебного путешествия, поселилась па первых порах в Павловске, где у ее мужа был довольно большой каменный дом1*. Продолжая обожать своего маленького брата, она пожелала меня получить к себе на несколько дней, и, как я сначала

3* Грабарь неодобрительно отзывается об этом незаконченном произведении Репина, но в данном случае я с ним никак согласиться не могу 9.

1* Этот дом — одип из самых любопытных в Павловске. Считается, что он принадлежал знамепитому Аракчееву. В последний раз я его видел в 1922 г.. и тогда он был

ни упирался, не желая уходить из-под маминого крылышка, меня все же в конце концов уговорили, «забрали и потащили» поздно вечером за город. После часа езды в поезде, мы на трясучих дрожках (дело было к весне) дотащились до места назначения. От дома ничего нельзя было в темноте различить, но тем ярче выделилась освещенная свечой прислуга, отворившая нам дверь. Я сразу заподозрил нечто недоброе, готовый принять эту старую крючконосую женщину за «жену людоеда» из сказки о «Мальчике-с-пальчике>>, но идти на попятный было поздно.

Затаив ужас, я отдался в руки Кати; она освободила меня от башлыка, шубки и валенок, и я очутился в обширной, необычайно высокой комнате. едва освещенной канделябром, стоявшим среди уже накрытого обеденного стола. Все, чем меня угощали, мне не нравилось, и я сразу после обеда стал проситься домой, особенно после того, что Женя, раздраженный моими капризами, раза два на меня прикрикнул. Но как тут было ехать ночью в Петербург? Меня уверили, что и поездов теперь до утра не будет, и я покорился. Катя с трудом меня успокоила и уложила. Я уже стал засыпать, когда меня разбудил странный шум, доносившийся со двора. С назойливой равномерностью что-то стучало в ночной тишине; иногда эта стукотня затихала и прекращалась, но затем она снова раздавалась под самыми окнами... Это было не менее жутко, нежели появление «жены людоеда», и ничего подобного ни в Петербурге, ни в Петергофе я еще не слышал. Катя поспешила объяснить, что то бьет в колотушку ночной сторож, делающий обход, а делает он обход дач для того, чтобы «отгонять воров» и чтобы жители могли спать спокойно,— бот и мне надлежало успокоиться и заснуть. Не тут-то было. При словах «отгонять воров» мне сразу представилось, что здесь, в Павловске, и в соседнем лесу этих воров кишмя-кишит, и они только ждут, чтобы пойти нн нас походом. Где тут одному сторожу с ними справиться?.. Все же часам к двум, когда стук затих, я забылся и заснул, стараясь утешиться тем, что утром меня поведут к «настоящей» крепости, где стоят «настоящие» пушки, а затем мы проедемся по парку, к ферме, где царские дети пьют «самое вкусное молоко».

Но все вышло совсем иначе. Проснувшись еще до солнца, я, к беспредельному своему ужасу, увидал в окне две слабо выделявшиеся на «фоне еле брезжившей зари фигуры. На головах у них были каски; сами они не двигались, но, очевидно, они только и ожидали подходящего момента, чтобы ринуться в комнату. Вырвавшийся у меня пронзительный

все еще таким же, каким он был в моем детстве: трехэтажный, с затейливым, кирпичным фасадом, на красном фоне которого резко выделялись белые фигуры кариатид и другие лепные украшения. Он, несомненно, был павловского времени. На том же участке, принадлежавшем моему зятю, стояли еще две деревянные дачи. В одной из них, выходившей па улицу, поселились в 1875 г. мои родители вместе с молодыми супругами Лансере; в другой жила сестра Жени — Зинаида, только что вышедшая замуж за инженера Анатолия Серебрякова. Большой же -<*t*Аракчеевский» дом занимали наши знакомые Благово, которые вскоре после этого приобрели этот дом со всем участком

в свою собственность.

I, II, 8 1875 г. в Павловске*255

визг, такой визг, какого я и сам еще не слыхал, разбудил Женю и Катю. Оба бросились ко мне, я же продолжал кричать, не имея возможности произнести ни слова и только указывая пальнем в окно. Ы каков же был мой стыд, когда выяснилось, что то, что я принял за воров, были две стоявшие на подоконнике большие японские вазы с их шлемообраз-нымн крышками. Их пузатый силуэт, сквозивший через прозрачную штору, имел действительно что-то общее с человеческой фигурой, как бы старающейся подняться на локтях. Тут терпению Жени Лансере наступил конец, и он с первым же поездом сам отвез меня обратно к родителям, а злобный топ, с которым он объяснял маме столь непредвиденно скорое мое возвращение, в достаточной степени говорил о том, до чего пятилетний зятек ему надоел и отравил те несколько часов, что был его гостем. Это заслуженное озлобление не помешало ему вскоре после этой авантюры вылепить с меня превосходный бюст, который и был отлит из бронзы.

Причиной тому, что мои родители изменили летом того же 1875 г. Петергофу, в котором они до тех пор живали на даче в течение четверти века, было то, что в этом году папа отказался от своей службы в Министерстве двора, связанной с Петергофом, в Павловске же ему надлежало возвести у вокзала большой деревянный театр, простоявший затем без изменения целых пятьдесят лет (сгорел театр уже <...> в 1930 г.). Мы переехали ранней весной, когда деревья едва начинают покрываться светло-зеленым пушком и стоит порядочная стужа; таков был обычай семьи Бенуа, предпочитавшей мерзнуть и мокнуть на даче, лишь бы поскорее выбраться из Петербурга, подальше от его сутолоки. Но поселились мы не в каменном доме Лансере, а на деревянной дачке, довольно уютной и приятной, стоявшей рядом в глубине отдельного садика. Катя и Жепя Лансере переехали вместе с нами на эту же дачу, но им была отведена более отдаленная от улицы часть ее, дабы Кате было спокойнее, так как в конце лета она ожидала ребенка. Ожидание этого события наполнило меня торжественным любопытством. Особенно интересно было то, что я буду тут же поблизости, когда «прилетит ангел» и положит на постель крошечного малютку. Тому, что детей доставляет аист, я уже перестал тогда верить, хотя изображение этой птицы с запеленутым младенцем в клюве было очень распространенным.

И как раз первое, что бросилось мне в глаза в Павловске, когда мы ехали с вокзала, был именно аист — скульптурное изображение его в-гербе на фасаде только что тогда построенной

огромной виллы господина Шторх *. Папочка тогда же не преминул меня заверить, что именно этот аист и готовится принести обещанного мне племянника, однако неточность его слов была слишком очевидной. В ангелов я верил твердо: Не· могли же обманывать картинки в Священном Писании.

Столь поразившая меня дача господина Шторха и стала на первых порах главной приманкой моих прогулок по Павловску. Туда, к мосту„

* От Storch *(нем.)* — аист.

256'Л *Н,* & ^^ *е' в Павловске*

с которого открывался вид на это подобие з.амка, я и тяпул свою бонну, очень мне полюбившуюся Лину, и оттуда подолгу я любовался и замком, и его необычайным гербом. Лишь после всяких уговоров Лине удалось меня затащить и в другие места, в Павловский парк и ко дворцу. Там приманкой для меня явился памятник Павлу I, стоящий в центре овальной площади перед фасадом дворца, в те годы принадлежавшего в. к. Константину Николаевичу2*. Странное дело, но свою притягательную силу этот монумент оказал через много-много лет и на моего старшего внука «Татана» Черкесова, когда ему было еще неполных два года. К этой статуе, которую он сам, неизвестно почему прозвал «дядей Павлом», он требовал, чтобы его подвозили в колясочке, а подъехав, он сползал на землю, и тогда начиналась курьезная церемония. Малыш раза три обходил вокруг постамента, отвешивая поклоны и что-то бормоча себе под нос. Случай этот я предлагаю вниманию людей, интересующихся особенно загадочными проявлениями атавизма.

Нужно, впрочем, признать, что этот памятник имеет действительно в себе, помимо своих художественных достоинств, и какую-то особую притягательность. Гордо занеся голову в огромной треугольной шляпе, вычурно, но-балетному, расставив ноги в тяжелых ботфортах, отнеся в сторону правую руку, которой он опирается на трость, безумец-государь грел ставлен как бы присутствующим на смотру своих гренадеров. Меня, бредившего тогда военными парадами и маршами, пленило именно то, что в этой статуе выражено <<военно-начальственного», доведенного даже до карикатуры. Тогдашнее детское увлечение этой статуей несомненно легло в основу и тому своеобразному культу Павла, который я питал затем всю жизнь ко всей романтической фигуре императора. Уже тогда я знал «но секрету» от папы, что «бедного царя» задушили придворные, что он был добрый, но сумасшедший. Когда, едучи на Кирочную в гости к дяде Сезару, наша карета равнялась с Инженерным замком, то папа указывал мне на окна той комнаты,

в которой это убийство произошло. И то, что об этом нельзя было говорить открыто, что это была какая-то запретная, всем известная, но и «всеми хранимая» тайна, придавало в моих глазах особый ореол несчастному государю. Подойдя к памятнику в Павловске, я принимался его разглядывать со всех сторон, всматриваясь в ноздри вздернутого носа, любуясь сказочно огромными сапогами, треугольной шляпой, одетой набекрень, и длинной шпагой, выглядывавшей из-под подстегнутых фалд.

tКурносый император», комичный и страшный, нелепый и рыцарски-благородный, изящно-образованный человек и грубый солдафон, неудачный вершитель судеб мира, гроссмейстер иоаннитов2 без ореола святости, образцовый патер фамилиас, в конце же жизни запутавшийся в «неудачных амурных интригах»— почему он до сих пор так пленяет меня? Еще удивительнее, что он заинтересовывал меня — пятилетнего

*2** Эта превосходная, необычайно характерная статуя, является повторением той работы Витали, которая с 1851 г. украшает замковый двор Гатчины *i.*

*I, lì, 8; 1875 г. в Павловске*257

мальчугана! Чем приковывает к себе тот портрет Боровиковского, в котором Павел, несмотря па императорскую корону, на далматику и порфиру, на скипетр и державу, выглядит каким-то шутом гороховым? Или еще тот портрет Павла, который с него написал Тончи, на котором он являет как бы самый тип нелепого неудачника и который потомки царя (с полным основанием) скрывали в одном из недоступных для обычных посещений кабинетов гатчинского замка? Почему даже в те времена, когда я еще ничего не знал о Павле, кроме только того, что он был сумасшедшим и что его умертвили какие-то «злодеи», почему именно тогда я его «полюбил»? Как мне понятна и та любовь (вовсе не почтение и не страх, а именно нежное и любовное чувство), которое он умел внушить к себе тем, кого приближал к себе — Нелидовой, Ростопчину, даже Аракчееву и еще нескольким. Не потому ли еще живет во мне особое чувство к Павлу, что я узнал его через Павловск, что я подошел к нему через поэзию этого зачарованного мира, точно так же, как прадеда Павла — Петра Великого — я полюбил через поэзию Петергофа? Всего в нескольких шагах от нашей дачи стояла «Павловская крепость», носящая шутливое название «Бип» \ И вся-то крепость эта —-такая бессмысленная, такая «картонная» со своими никчемными, вовсе на средневековые замки не похожими башнями и с подъемным мостом, с равелинами и контрэскарпами, с «игрушечными» пушками на лафетах и со статуями рыцарей в нишах у ворот — носит такой же шутовской

характер, как ее прозвище. Пятилетним карапузом я чуть ли не ежедневно бывал у крепости, и, пользуясь тем, что Лина, усевшись на траве, отдавалась чтению какой-либо книжки, я без устали карабкался вверх по мягкой траве окопов, скатывался с них или же, взлезая на лафеты пушек, заглядывал (не без опаски) в их «грозные» жерла. Крепость — детская игрушка монументальных размеров, но не детской ли игрушкой представлялась Павлу вверенная ему богом империя, эта неисчерпаемая кладовая «оловянных солдатиков», которых он гонял через всю Европу, которых оп посылал сражаться в защиту священных и грандиозных, но все же им как-то по-детски понимаемых идей? А не взрослым ли ребенком он проехался по той же Европе * в сопровождении своей статной и добродетельной, но скучноватой супруги? Не детским ли гневом плохо воспитанного ребенка гневался он на тех, кто не умели ему угодить, кого оп прямо с плацпарада отправлял в Сибирь за отстегнувшуюся пуговицу? Не детским ли кошмаром было все его пресловутое безумие, его растерянность, его страх, его жажда подвигов и столь пеуместпая, несвоевременная, плохо направленная «справедливость»? Обреченная жертва, оп всю свою недолгую жизнь сознавал эту обреченность (не сознавал ли ее и потомок Павла — Николай II?) и пытался вырваться из-под гнета этого ужаса. Оп силился найти себя, утвердить свою волю, но ее-то ему и не хватило — ему не хватало той самой выдержки воли, которой было так много у мудрой и хитроумной и ненавистной ему матери и которую унаследовал от нее сын Павла — строгий Николай, с неукоснительной выдержкой отбывавший свою царскую-повинность, и за эту честную

и жертвенную службу России навлекший на себя презрение нескольких поколений.

Разумеется, в 1875 г. меня, пятилетнего, такие «исторические» мысли не посещали. Напротив, как и всякого другого ребенка, меня в Павловске особенно манили два места: Розовый павильон и Сетка. То были сборные пункты дачной детворы, хотя как раз Павильон роз находился на довольно далеком расстоянии от нашего жилища и туда иначе, как пешком, нельзя было добраться. Я часто таскал туда покорную Лину, а по воскресеньям и самого папочку.

Приманкой в Розовом павильоне служил мне вовсе не самый тот милый «помещичий домик», на фасаде которого написано по-французски: «Pavilion des Roses», и не тот садик, в котором погибало несколько чахлых розовых кустов, а служили приманкой

детские игральные приспособления, стоящие здесь с самых дней Марии Федоровны. Можно было крутиться, сидя па деревяпных лошадках, можно было катать шары на кегельбане, можно было до одури качаться на разного рода качелях, и тут же возвышалась катальная горка, с которой скатывались на специальных салазках или же просто садясь па гладкую наклонную плоскость. Это скатывание было моим любимым занятием — занятием, которому, кстати сказать, я предавался и зимой у нас в зале, где папа устраивал «горку» довольно примитивным образом, кладя на высокий табурет конец покрытой клеенкой широкой доски, другой конец которой касался пола. И сколько же заноз я и мои маленькие приятели получали на самом чувствительном месте благодаря тому, что мы с размаху съезжали на этот наш старинный паркет! Спрашивается, что в таком скатывании хорошего, что нам так нравилось? Однако нравится же людям, даже совершенно взрослым, летать с «американских» и «русских» гор. Бпутри дворцов для забавы царских детей сооружались такие же, но довольно высокие горы отличной столярной работы.

Сеткой называлась другая павловская забава. Она была устроена поблизости с дворцом в боскете, специально отведенном под «морские» упражнения детей великого князя, генерал-адмирала русского флота Константина Николаевича. Состояла Сетка из мачты с ее канатными лесенками и реями и из туго натянутой под ней канатной сетки. Можно было без риска увечий производить всякие эволюции на реях и на лесенках, так как в случае падения эта сетка вас подхватывала. Масса более взрослых мальчишек (все одетые в матросские рубахи) с утра до ночи взбегали здесь по лесенкам и проделывали, под наблюдением двух всегда при Сетке дежуривших матросов, всякие акробатические номера. Мы же, «малыши и карапузы», мальчики и девочки, довольствовались тем, что топтались по сетке, куда мамаши, няньки, гувернантки или те же дежурные матросы нас подсаживали. До сих пор я помню то насла-дительное ощущение, которое испытываешь, топчась по зыбкой, поддающейся и снова вздымающейся под ногами дырявой поверхности. Наслаждение это было столь острым, что когда наступал момент идти домой, то раздавался рев. Плакали все мои сверстники, но громче всех плакал я.

I, II, 8. 1875 $. в Павловске

259

Отчетливо запомнились мне и работы папочки над постройкой театра 9 Павловске. Покаюсь, мне не нравилось это здание, сочиненное им в каком-то, как в те годы требовалось, псевдо-русском стиле. Театр, несмотря на свои четыре яруса,

казался снаружи не в меру расползшимся и приземистым, а фасады его состояли из одних галерей на столбиках. Эги галереи обслуживали снаружи ложи и коридоры. Столбики соединялись посредством аркатур из прорезанных орнаментов, и это придавало зданию какой-то беспокойный и уже очень несерьезный вид. Неудачно был выбран и цвет, в который театр окрасили,— темно-коричневый, «скучный», плохо вязавшийся с зеленью парка. Впрочем, в своем окончательном виде театр предстал только в самом конце нашего пребывания, в тот день, когда я был доставлен на вокзал, чтобы на поезде вернуться в Петербург; во время же производства работ мне очень нравилось бывать на постройке, всюду сопровождая папу, лазая с ним по мосткам, взбираясь по сквозным ступенькам и доскам «под самое небо». Над сценой на «портале» папа поместил (но примеру Мариинского театра) большущие часы, но самый механизм их не поспел ко дню открытия театра, и циферблат на первых порах был заменен вставленным в его рамку изображением колоссальной головы Аполлона. Эту голову я «помогал» делать папе, когда он (больше для собственной забавы) вздумал ее написать сам. И как чудесно, по всем правилам школы Давида и Ше-буева, он это исполнил! Лист аршинной бумаги был положен на полу в гостиной нашей дачи и разграфлен бледными квадратиками, на которые и наносился абрис, согласно с предварительным эскизом. Мне была затем поручена (из чистого баловства) раскраска желтым гуммигутом лучей, шедших от головы бога, что я, с чрезвычайной аккуратностью и удачно исполнил. Какова же была моя гордость, когда я увидал на месте вставленного нашего Аполлона! Каким он мне показался прекрасным и грандиозным.

Папин театр вырос в нескольких шагах от «вокзала». Курьезно то, что зто слово «вокзал», которое для русского уха отождествляется с понятием о станции железной дороги, было впервые употреблено в России именно в применении к этой конечной станции первого в России железнодорожного пути, соединявшего столицу с Царским Селом и Павловском. Тогда же, в 30-х годах, при станции была устроена концертная эстрада и большой ресторан, и этому увеселительному ансамблю и было, в подражание лондонскому, всемирно когда-то известному Vaux-Hall5, присвоено название вокзала. Постепенно такое наименование стало затем означать любую, несколько значительную станцию.

«Вокзал» являлся для постоянных (взрослых) обитателей Павловска главным сборным пунктом, своего рода клубом на открытом воздухе. Сюда же по вечерам, отчасти для слушания

музыки, а более для того, чтобы хорошо покушать в славившемся вокзальном ресторане, приезжала масса петербуржцев, которые самим Павловском и его буколической красотой не интересовались вовсе. Была впоследствии и у меня полоса, когда я сделался завсегдатаем павловских концертов, перебрав-

шихся к тому времени в специально для того построенное закрытое помещение. Но это мое увлечение павловским вокзалом относится к иной эпохе, к моим студенческим годам, тогда как в детские годы «вокзал» в его округа были для меня местом скорее ненавистным. Трудно себе представить ту скуку, которую я испытывал, когда бонне удавалось меня затащить туда, и я был вынужден топтаться на солнцепеке по пыльному песку дорожек или смирно сидеть на скамейке, тем временем как Лина предавалась болтовне с какой-либо знакомой бонной или гувернанткой. Мы и в Петербурге иногда совершали подобные посещения .увеселительного сада, что находился при доме Демидовых, но там, на открытой сцене, я мог по крайней мере смотреть, как клоуны или акробаты готовили свои номера3*. А здесь, в Павловске, среди дня приходилось слушать настраивание инструментов или же репетицию непонятной, трудно усваиваемой и беспрестанно прерывавшейся дирижером симфонической музыки. Это было убийственно скучно!

Но вот, придя однажды с Липой на вокзальную площадку, где не было п намека на тень и где вместо кустов сирепп чахли в зеленых бочках «тропические растения» вокруг никогда не бившего фоптапа, *мы* застали здесь несравненно больше народа, нежели обыкновенно бывало днем, да и публика была совсем особенная, нарядная. Щеголихи шуршали шелками своих шлейфов и защищались от солнца крошечными пестрыми зоптичками, а кавалеры сосали тросточки и вскидывали в глаза монокли. Немало было и военных в белоснежных кителях. Л на эстраде — там, где в другие дни я видел махающего палочкой бородатого Главача6,— теперь стоял затяиутый, вытянувшийся в струнку, заморского вида затейливо причесанный господин. Он то широким взмахом правой, то успокаивающим жестом обеих рук, заставлял .музыкантов играть как раз те вальсы, от которых тогда в дикий восторг приходили «большие» и иод которые на балах кавалеры до обморока кружили своих дам. Этот стройный господин был среди дня во фраке (фрак в ту эпоху вообще надевался по всякому поводу и даже утром — для визитов), а его хорошенькое личико было украшено бравыми усами и обрамлено бачками.

То был сам Иоганн Штраус7. Божество всей Европы (об Америке тогда меньше думали), диктатор придворных и светских балов, покоритель мириада дамских и девичьих сердец. Тут в это летнее утро выдался случай поглядеть на него и послушать его во время репетиции на даровщинку (за вход на вокзал ничего не взималось), да еще и без тесноты и давки, которая получалась вечером, когда «на Штрауса» ожидались экстренные, битком набитые поезда. Но какое было мне тогда

3* Демидов сад, или, как его называли тогда, «Демидрон», выходил на Офицерскую.

-; В построенном на его территории театре впоследствии помещалась антреприза Не-метти, а позже театр В. Ф. Комиссаржевской, но в 70-х годах Демидов сад был только увеселительным садом, в котором были две открытые сцены и разные нехитрые развлечения» вроде стрельбища, карусели и кегельбана. Вход в этот сад Э утренние часы был свободен для детей и нянек.

I, lit 8. 1875 г . в Павловске

26î

дело до Штрауса? Разве только, что я смог затем похвастать, что собственными глазами видел этого знаменитого человека, портреты которого были даже мне известны. Знаменитые же его вальсы я тогда терпеть не мог, и это было даже первое во мне определенное выражение какой-то музыкальной идиосинкразии. Хотя я еще самого, слова «пошлость» не знал, однако пошлость я ощущал очень остро," и мне именно пошловатый дух этой музыки был не по нутру. Позже я изменил свое отношение к автору «Die blaue Donau» * так же, как-я изменил и отношение к авторам «La fille de madame Angot» ** й «La belle Hélène» ***. Я достаточно для того «развратился». Но пока я еще был «неиспорчен», я эту, типичную для своего времениˆ музыку терпеть не мог: она даже вызывала во мне странное чувство, похожее на тошноту. Видно,; я уже тстда «не шел с веком». Мне, например, ненавистны были такие причуды моды, особенно мужской, как прическа à la Capoule 9, растопыренные у- шеи воротнички, плоские круглые шляпы и штаны книзу раструбом; в дамском наряде мне ужасно не нравились высоко взбитые на спине массы материи, кружев и лент и низко свисавшие на спину шиньоны;

Наше павловское лето 1875 г. кончилось для меня довольно печально. Заразившись от детей дворника, я заболел скарлатиной. И нужно же было так случиться, что болезнь обнаружилась как раз накануне того дня, когда «дядя Чарльз Хис» пригласил меня к себе на дачу (стоило дорогу перейти, чтобы оказаться у пего) принять участие в играх его высочайших

воспитанников, любивших приезжать к нему и играть в его саду в солдаты! Для того даже была устроена палатка-землянка, а при палатки стояла настоящая полосатая будка со столбом для колокола.

Первые дни болезни я лежал в сильном жару и в довольно приятном полузабытье, но временами меня вдруг схватывало желание выскочить и прейти в соседние комнаты. Чтобы удержать меня под одеялом, мне сулили новые картинки, новые игрушки, и тогда мое возбуждение сменялось ожиданием этих подарков. Под вечер я мучительпо вслушивался в шумы, окружавшие дачу, стараясь уловить стук колес извозчика, па котором возвращался с вокзала папочка. Вот я слышу, как хлопнула калитка, по ступенькам крыльца подымаются папины знакомые шаги, он уже в дверях и обращается ко мне с обычными ласкательными словами на своем, специально для излияния чувств созданном, «тарабарском наречии». Меня, однако, вид его самого не трогает, а я стараюсь разглядеть, чтй у него в руках. Чаще это приводило к разочарованию,— у лапы, кроме портфеля, ничего не оказывалось, но в особо счастливые дни в ответ на мои плаксивые требования папины руки протягивали пакет с теми или иными «сюрпризами» (это было у нас традиционное слово для обозначения подарков), и тогда всякое ощущение болезни исчезало, хотя, вероятно, от волнения температура повышалась в значительной степени.

* «Голубого Дуная» *(нем.)*. ** «Дочери мадам Анго» *(франц.)*. *** «Прекрасной Елены»8 *(франц.)*.

ƒ, ƒ/, 5. *187.5 #. 9 Пав-ловске*

О самом течении болезни я почти ничего не помню. Не помню и о каких-либо определенных страданиях, в памяти осталось только то, как меня то и дело перекладывают из' моей кроватки на большую, родительскую кровать и обратно. Это перекладывание вызывалось «еобходимо-стью менять намокавшее от обильного пота белье. Мамочка при этом утешала себя, что «потом вся болезнь выйдет». Лучше я себя помню в периоде медленного поправленья, сидящим на просторе двуспального родительского ложа, окруженным игрушками и книжками. На колени мне положен большой картон, и я на нем расставляю только что полученные оловянные фигурки — охоты. Среди ажурных деревьев несутся олени, зеленые охотники стреляют в них из ружей, на конечности коих был представлен выстрел — дым и пламя, другие на конях гонятся за зайцами и кабанами. А то я разглядываю только что привезенные листы «München er Bilderbogen»—· препотешные истории про влезающих в дом воров,

про пуделя Каро, который находит серебряный талер в брюках странствующего мастерового, или про атлета, который проваливается через иол прямо на нижних жильцов. Вечером меня окончательно укладывали «к себе» в кроватку красного дерева, плотно-плотно запихивалось одеяло, и я лежал, как запеленутый. Но тут начиналась пытка бессонницы. Из соседней столовой проникал мягкий свет лампы, по крыше барабанил дождь, с улицы доносилась знакомая, уже не тревожившая меня стукотня ночного сторожа.

В этот же период болезни произошло обещанное с начала лета семейное событие. У Кати родился маленький Женя, и до меня стал доноситься его слабый захлебывающийся крик. Как я рассердился на Лину за то, что она меня не разбудила, когда прилетел ангел с ребеночком. Таким образом остался неразрешенным для меня вопрос, был ли то действительно ангел и как он выглядел? Катю я увидал через несколько дней, когда ее под руки провели мимо меня в гостиную. Она была в сером, никогда мной раньше не виданном халате, а за локоть ее поддерживала Софья Яковлевна — дама, иногда появлявшаяся на нашем горизонте и принадлежавшая к нашим интимным домочадцам. Степаиида, странно подмигивая, говорила в таких случаях — «это она и вас принесла», что, разумеется, меня возмущало, так как я не сомневался, что меня-то уже наверное принес самый распрекрасный ангел. И, подумаешь, та же Софья Яковлевна двадцать лет спустя стояла у постели моей жены, и это она «принесла» тогда нашу старшую дочь. А сколько отпрысков семьи Бенуа она успела еще «принести» между этими двумя событиями!

К концу болезни мне чуть было не произвели «операцию»— какое ужасно страшное слово. У меня образовался огромный нарыв за левым ухом, и лечивший меня в Павловске доктор Павлинов настаивал на том, чтобы эту шишку взрезать. Мамочка же была врагом всякого хирургического вмешательства, сопротивлялась и откладывала операцию. Все же день ее был назначен, и в положенный час доктор явился со своими инструментами. Но тут меня спасла хитрость, о которой я всегда вспоминаю не без известной гордости, вроде той, с которой какой-либо очень

лукавый дипломат должен вспоминать об особо удачном политическом ходе. Услыхав, как подъехала докторская пролетка, я повернулся на бок закрыл глаза и изобразил человека, заснувшего непробудным сном. Павлинов пробовал меня разбудить сначала словами, потом трясением и дерганьем, но я

продолжал «спать». Тогда доктор попробовал прибегнуть к хитрости: «Посмотри, Шуренька, какую я тебе привез штуку, какой барабан, каких солдатиков». При этих словах моя комедия сделалась мучительной. Мне ужасно захотелось взглянуть на столь замечательные вещи, но страх перед операцией превозмогал, я глаз не открывал и даже попробовал захрапеть. Наконец, мамочка произнесла прекрасные слова: «Оставьте его, доктор. Он так сладко спит, ему сон всего полезнее — он всю ночь не спал. Отложим операцию до завтра». И доктор сдался, забрал свои пожитки и покатил дальше.

И только тогда, когда и последний стук колес замер, я открыл глаза и сразу закричал: «Где барабан, где солдатики?» Разумеется, ничего этого не было, да я и сам понимал, что доктор меня обманывал. На ночь же мама поставила на шишку припарку из винной ягоды, и к утру опухоль прорвалась, причем вытекло невероятное количество какой-то дряни. Приехал Павлинов, а я уже сижу, обложенный подушками, с повязкой вокруг шеи, веселый и радостный, ибо всякие терзания кончились, и я отлично знал, что теперь меня резать не будут. При этом мне было ужасно смешно, что я этого бородатого, большущего господина в форме с золотыми эполетами так провел. Было забавно увидать его сконфуженный вид и услыхать в тоне мамы какое-то торжество. Ведь вышло, что права была она, точнее,— мы оба.

Через два дня я уже был поднят, и на меня надет халатик, а еще через день мне позволено было пройти в гостиную. Но при первой попытке ступить на пол я чуть было не грохнулся; к счастью, мама и Лина удержали. И потом некоторое время я не мог иначе передвигаться, как держась за стулья и столы. Это было смешно. Но вовсе не смешно было целыми днями сидеть в полутемной дачной гостиной. Несмотря на пылавшую круглый день печь, в комнате чувствовалась сырость, а на дворе лил непрестанный дождь, от которого до того размыло дорогу, что редкие извозчики, которых я отчетливо теперь видел из-за совершенно оголившихся кустов сада, колыхались по ней, точно лодки по волнам. Через последнюю желтую листву открывались какие-то далекие постройки и заборы, о существовании которых я раньше и не подозревал. Окна опустевшей дачи дяди Хиса стояли закрытыми, а от палатки для царских детей и след простыл. Часы тянулись тягучие, все новые игрушки успели надоесть, картинки изучены до последних подробностей, а от лакомств, от любимого гоголь-моголя тошнило,— уже слишком меня им пичкали. Хуже всего было то, что мама теперь реже сидела со мной — она проводила целые дни с новорожденным внуком. У меня даже

отняли мою Лину— ее уступили Кате после того как нанятая к ребенку нянька оказалась неподходящей. Поэтому-то я был счастлив, когда настал день отъезда, и с Павловском я простился без всякого сожаления.

264/, //, *9, Снова в Петергофе*

Вот я уже в вагоне, вот замелькали ели парка, а среди них белый павильон Музыкального зала: потянулись поля, огороды, промелькнули станции Царского Села и Средней Рогатки, справа проплыла роща со мно1ими надгробиями (там были похоронены жертвы первой в России железнодорожной катастрофы), слева, при замедленном ходе, появилась эффектная Егерская церковь. Мы снова в Петербурге. При выходе с вокзала и толкотне меня чуть было не потеряли, но снова нашли и посадили в карету. У самого нашего дома меня ожидало огорчение. Вместо любимого мной старого Никольского сада с его вековыми деревьями я увидал нечто, гюка.чавшееся мне жалким и общипанным,— то был только что разведенный но всем правилам городского садоводства новый «сквер», кустики которого едва подымались из-под земли. Исчезла со стороны нашего дома и старинная ограда Никольского сада с ее массивными столбами и зелеными решетками. Вместо нее садик окружала жидкая низенькая металлическая сетка. Я так обиделся па эту метаморфозу, что сначала отказывался посещать новый сад. Единственно, что меня в нем манило; были два фонтанчика с чугунными амурами посреди и с такими же клевавшими воду лягушками по краю водоема.

Глава 9 СНОВА В ПЕТЕРГОФЕ

На лето 1876 г. мои родители снова поселились в Петергофе, но на сей раз папа не получил казенной дачи (я уже упомянул, что он отказался от своей петергофской службы), и пришлось довольствоваться наемной. Нанятая большая дача стояла на участке, принадлежавшем госпоже Бабушкиной, и выходило, что мы живем па «бубушкиной даче»;, что, однако, не означало, что эта дача принадлежала нашей бабушке. На эту тему все по-всякому острили, и я не меньше других, ведь теперь я стал «совсем большой» — мне минуло в апреле шесть лет, и хотя я еще не умел ни читать, ни писать, но на окружающее я смотрел более сознательными глазами и имел даже о многом свое суждение.

Находилась Бабушкина дача не очень далеко от «кавалерских» домов и все же в совершенно иной местности. Через дорогу от нас расстилался обширный луг, служивший для упражнений кадетов, а сами, кадеты в своих холщовых светлых кителях с красными погонами населяли ряд одноэтажных белых домиков с красными крышами, расположенных в два или lì три ряда в глубине этого поля. Было очень интересно наблюдать, как эти «маленькие солдаты» стройными рядами выходили па учение, как* опи производили разные эволюции и как они упражнялись на трапециях и турникетах. Однажды какие-то знакомые кадетики затащили меня, с разрешения воспитателя, в свою беседку. Пришлось, несмотря на протесты, угощайся теплой, почти размокшей плиткой шоколада, вытащенной из брюк самого гостеприимного из мальчиков. Зато меня

пленил расписанный красками столик, стоявший посреди беседки. На его темно-зеленом фоне «до полного обмана» были изображены коробка спичек, три папиросы, игральные карты и две накрест положенные спички, точно кто-то здесь все это оставил. Автор оказался тут же — это был маленький краснощекий кадетик, так и расплывшийся от счастья, что его произведение заслужило восторженное внимание гостя. И кто знает, быть может, этот же кадетик, ставший с тех пор доблестным генералом, прочтет мои строки, вспомнит и тот ясный солнечный день, когда он с товарищами пригласили чужого «мальчика с соседней дачи ».

До Нижнего сада от Бабушкиной дачи было довольно далеко, зато до Верхнего сада,-который разбит у самого Большого дворца,

рукой подать, и входили мы в пего не через дворец, как это было принято, а через монументальные ворота, выходившие на большую шоссейную дорогу. Высокие каменные столбы этих ворот были украшены любимыми рас-треллиевскими шныркулями ' со львиными головами и были выкрашены в «казенные краски»: ярко-оранжевую и белую2. Неподалеку от ворот, справа и слева от средней аллеи стояли широко расползшиеся круглые беседки со скамьями вокруг, а затем, минуя «злого Нептуна» и чудесно пахнущие' сиреневые кусты, можно было в тени вековых лип с громадными наростами на стволах дойти до цветника, расположенного под самыми окнами Большого дворца. По не цветы тянули меня туда. Там ежедневно производилась смена дворцового караула, и это представляло для меня захватывающий интерес. Из гауптвахты дворца выбегала и выстраивалась одна партия «солдатиков», а другая подходила откуда-то издалека; слышались отрывистые приказы, играла музыка, опять приказы, и те солдатики, что вышли из дворца, уходили, а те, что пришли, сложив ружья,' располагались внутри гауптвахты. Один только выделенный из прибывшего отряда солдат с ружьем на плече оставался снаружи и безостановочно шагал взад и вперед по дощатой площадке. Недоступность этой площадки служила символом военной дисциплины и неприкосновенности.

Я знал, что на эту площадку ни в каком случае нельзя ступить. Это было вроде «чурного места», куда, забежав во время игры в пятнашки, можно было оказаться в недосягаемости. Но тут было нечто и совсем другое. Меня предупредили, что если бы все же на это чурное место кто-либо дерзнул вступить, то часовой должен такого человека зарубить пли застрелить! И вот какой-то бес толкал меня отважиться па проделку, связанную с .ˆаким риском. Я заставлял няню (после ухода Лины у меня снова была русская няня) подойти к самому краю площадки, и я уже заносил погу, как бы собираясь на нее вступить. Часовой настораживался, делал строгое лицо, я отходил, принимался разглядывать солнечные часы, стоявшие тут же, а через минуту, невзирая на мольбы няни, та жз дурацкая игра повторялась, и это до тех пор, пока солдат не буркнет что-либо или даже не пригрозит, что вот он меня сейчас отдаст придворному арапу, и как раз черномазый, одетый в роскошное платье негр,

266Л //* & *Снова в Петергофе*

стоя в дверях дворца, скалил белые зубы, имея обыкновение беседовать здесь с ливрейными лакеями.

До сих цор я как будто не говорил о главнейшей достопримечательности Петергофа, о Монплезире 3. Между тем, я

тогда уже, когда был еще совсем маленьким мальчуганом, питал особую нежность к этому месту с его низкими, под кирпич раскрашенными домиками, спрятанными в тени самим Петром посаженных лип. В среднем и главном из этих домиков, покрытых высокой, в малиновый цвет выкрашенной крышей, и живал когда-то сам Петр Великий. Это говорили мне с благоговением старшие, и я, прикладывая глаза к старинным, доходившим до земли окнам, смутно различал через толстые, чуть корявые стекла то, что было внутри: черные и белые шашки пола и какие-то длинные коридоры с расписными потолками, увешанные по темным дубовым стенам картинами. Особенно мне нравилась очаровательная комнатка, вся уставленная по золотым консолям белыми и синими вазочками. Если я долго так глядел в этот зачарованный мир, то чудилось, что сейчас распахнутся двери и из одной комнаты в другую пройдет своей саженной походкой по каменному полу большущий царь и грозно взглянет на меня. Через одно из окон бокового флигеля видна была еще обширная, почти пустая зала («ассамблейная»), уставленная по стенам рядом стульев, похожих на те, что стояли у папы в кабинете. Эти стулья точно всегда ожидали прибытия многолюдного собрания, но унылая эта зала с ее тканными шпалерами, на которых были изображены темнокожие люди с перьями на головах, крокодилы, носороги и «бешеные» лошади, не располагала к веселью.

Но к Монплезиру меня манила не одна старина. У самого дворца я у самого моря находилась знаменитая Мраморная площадка, пол которой был устлан беломраморными плитами. Вдоль окаймляющей ее белой же балюстрады с толстенными круглыми столбами были расставлены зеленые садовые скамейки. Сидя на них, полагалось любоваться видом на Финский залив и особенно теми натуральными фейерверками, которые божественные пиротехники устраивают вечерами по западному небоскло-sy. Это место было особенно облюбовано всевозможными гувернантками. «So beautiful» *,— вздыхали, вступая на ее плиты, англичанки; «c'est ravissant» **,— утверждали француженки; «wunderschön» ***,—лепетали немочки. Почему-то у меня осталось такое (довольно ложпое) воспоминание, что на площадке Монплезира, кроме кисейных барышень и вот этих мисс, мадемуазелей и фрейлейн, никого не бывало. Обычай требовал чинно прийти, восторженно воскликнуть, усесться и молча взирать на эту «признанную красоту» — вроде того, как скажем, посетители Дрезденской галереи в немом упоении млеют перед «Сикстинской Мадонной».

Что касается меня, то я был не особенно чувствителен к виду, открывавшемуся с мраморной площадки, зато мне нравилось

ощущать под

* Так красиво *(англ.)*. ** Восхитительно *(франц.)*. *** Великолепно *(нем.)*.

*ƒ, II, 9. Снова в Петергофе*267

ногами гладкий мрамор плит и тот невысокий мраморный порог, через который надлежало переступить, чтобы попасть на них. Дети вообще чувствительны ко всяким «аппетитностям» — будь то глазурь какой-либо вазы или шелковистый ворс кота или полированное дерево. Тут же рядом можно было ощущать и другую «аппетитность», ибо терраса вокруг миниатюрного дворца была выложена, на голландский манер, кирпичами ребром вверх. Кирпичи образовывали геометрические узоры. Приятно было попасть с песка дорожек на чуть взъерошенную поверхность кирпичной кладки, а с нее, переступив порог,— на гладкий мрамор, ощущение же этого благородного камня под ногами производило во мне сразу перестановку на торжественный лад. Я исполнялся какого-то театрального величия, мне казалось, что я принц, что я повелитель вселенной. Этому способствовала торжественная сень петровских лип, протягивающих свои могучие ветви над площадкой, и плеск морского прибоя о груды камней, которые ее подпирали. А в каком чарующем претворении доносилась сюда музыка придворного оркестра, игравшая под открытым небом, тут же за Монплезиром — у Царской купальни...

Для слушанья этой музыки съезжалась и сходилась публика со всего Петергофа. Но я не был в те времена большим охотником до этих концертов, особенно если в прохладные и очень сырые вечера надлежало при этом смирно сидеть под пледом в ландо и не мешать старшим слушать. Я не очень верил, что и старшие действительно наслаждаются. Бывало, только начнешь вслушиваться во что-то знакомое оперное или задорное, а тут как раз кузина Соня или бабушка и даст распоряжение кучеру, чтобы он выехал из ряда экипажей и проехался по аллеям. Вернувшись же после «тура» к «музыке», мы оказывались в ряду экипажей последними, и оттуда было уже плохо слышно. Бывало и так, что коляске позади нашей надоест стоять и топот ее лошадей врежется в самый насладительный момент. Иногда мне удавалось освободиться от опеки «наслаждающихся старших», меня отпускали с кем-нибудь из кузин на землю, и с этой мипуты — какая радость! — можно было пользоваться всем простором этого концертного зала под открытым небом для своих ребяческих развлечений,— велено только было не слишком удаляться и вернуться по первому зову.

И сама музыка с этого момента освобождения от обязательного сидения в коляске превращалась в чудесный

аккомпанемент нашим играм. Всегда я тут встречал знакомых детей, и с ними затеивались горелки, прятки, пятнашки и чудная игра в палочку-веревочку, а при преобладании мальчиков и более бурная — в «казаков-разбойников». Сколько тут было мест для пряток. Прикурнешь с какой-нибудь расфуфыренной и надушенной Лидочкой за стеклянным «птичником» и чувствуешь особое наслаждение, если какой-нибудь Павлуша или Саша никак не может тебя найти. А то начнешь в высокой и густой траве, несмотря на запрет, ловить лягушек, очень ценивших эту местность, всю изрезанную стремительно мчавшимися к морю ручейками. Теперь я бы, пожалуй, побрезгал взять лягушку в руки, тогда же мне доставляло особое удовольствие

держать скользкую, дрыгающую, неистово пульсирующую тварь и пугать ею кузин или какую-нибудь другую случайную участницу в играх.

Мне скажут, что для таких глупых забав можно было найти более подходящие места, нежели петергофскую «музыку»,— однако именно на этой «музыке» они получали особую приятность—ведь вся атмосфера «музыки» была какой-то приподнятой, праздничной. Журчащая аод мостиками вода и шелест листвы удивительно сливались со звуками оркестра. Особенно действовало и благочестивое молчание рассевшейся по скамьям публики, пришедшей наслаждаться тем, что для нее приготовил ее любимец, дирижер придворного оркестра Гуго Варлих. Действовала также вся «декорация» — эти своеобразные здания вокруг, «голландский поселок» Монплезира, рядом с которым стояли более внушительные дворцовые постройки елизаветинской эпохи, выкрашенные в желтый и белый цвет (в нем угощали раз в лето приезжавших в Петергоф институток-смолянок). Очень я любил н помянутую пузатую беседку, когда-то при Петре служившую птичником. Ее застекленные двери не распахивались, а подымались, а непомерно тяжелый зеленый купол, которым -она была увенчана, придавал ей сходство с дамой в широком роброне. Тут же, но другую сторону, стояла Царская купальня с аркадами и нишами и с вазами в них. Живопись, изображавшая пейзажи, как бы видимые через эти аркады, сильно от времени поблекла \ но это только прибавляло поэтичности этой затее времен Екатерины II. В те времена резвившийся шестилетний Шуренька Венуа редко вслушивался в то, что играли то духовой полковой оркестр, то тот самый струнный, который услаждал слух высочайших особ на придворных балах, но Шуреньку насыщенная музыкой атмосфера окружала, и он все же «по-музыкальному» блаженствовал в ней

так, как никогда, пожалуй, во всю свою жизнь затем не блаженствовал...

Были еще два павильона в Нижнем саду, к которым меня тянуло и куда я заставлял во время воскресных прогулок с папой заглядывать,— то были Марли и Эрмитаж 5. В Марли самое интересное было не самый этот белый домик с его опрятными комнатками, а золотые рыбки в пруду, у которого он стоял. Забавно было глядеть, как сотни этих рыбок устремляются на крошки хлеба, бросаемые старым-старым дворцовым лакеем. Чтобы привлечь к берегу рыбок, он звонил в колокольчик, и тотчас же массы сверкающих золотом обжор являлись и расхватывали хлеб. В Эрмитаже мне нравилось, что этот кубический домик, простой, но прелестной архитектуры был, как крепость, окружен рвом, выложенным кирпичами и плитами. Чтобы попасть в Эрмитаж, требовалось пройти через этот ров по перекидному мостику. Меня интересовали и картины, которыми были сплошь убраны степы верхнего зала,— с Полтавской баталией среди них; но верх удовольствия я испытывал, когда сторож демонстрировал механизм, посредством которого во время обедов блюда за круглым столом Эрмитажа могли опускаться и подыматься без помощи видимой прислуги. Кухня помещалась в нижнем этаже, и там дежурные слугп, не допускавшиеся в верхний зал, принимали спускавшиеся г раз-

ные тарелки и ставили на подъемные подносы чистые с новой переменой.

Первое, но очень ясное, и я бы сказал «фамильярное» представление о Петре Великом я именно получил при посещении этого игрушечного, на самом берегу стоявшего дворца с его шуточным столом. И разумеется ничего предосудительного и смешного я не усматривал в том, что вот царь у себя устроил такую потеху. Напротив, этот ребяческий кунстштюк приближал его грандиозный образ до моего понимания, вызывая к себе одновременно и то особое почтение, которое я питал ко всяким кудесникам и фокусникам. Петр Великий, угощающий своих царедворцев в этом квадратном «стеклянном» зале, из которого виднелся широкий простор моря, за этим круглым волшебным столом, блюда и тарелки которого «сами отправлялись» за едой, представлялся мне не иначе, как неким магом. Я еще ровно ничего не знал о том, о чем читали и спорили «большие», а уже был полон благоговейного восторга перед этим «веселым великаном», про которого мне рассказывали, что он был выше и сил* нее «всех», а широкое плоское лицо которого, с его

вздернутыми и подбритыми усами, мне бесконечно нравилось.

К тому же 1876 г. относится и мое первое отчетливое воспоминание о пикниках. Они предпринимались всей нашей семьей, иногда с участием и других знакомых семей. Самой характерной для Петергофа и самой обыкновенной целью таких пикниковых экспедиций были Бабигоны.

Откуда взялось это название, кажется, не выяснено. Возможно, что тут произошло такое же искажение какого-либо финского слова 6, как то, что привело к образованию пышно-великолепного названия Царское Село из скромного финского Зариц. Во всяком случае, слово Бабигоны могло способствовать образованию известной игры слов, а уже от этой игры слов образовался и обычай производить на Бабигоиских высотах «бабьи гонки». Впрочем, приезжавшие сюда в колясках и ландо гоняли не столько взрослых баб, сколько девчонок и мальчишек.

Ехали туда целым караваном и непременно с прислугой, с самоваром и с огромными корзинами. В одной из этих корзин были сложены угощения и вина, в другой — призы для гоняющихся: пестрые шелковые лепты, платочки, бусы, купоны ситца, а также гостинцы на особый деревенский вкус: пряники, леденцы-монпансье, стручки, орехи. Благодаря этим гостннпам лето для бабигонской детворы проходило в непрерывном лакомстве, и, пожалуй, здесь легче было найти ребенка окончательно пресыщенного сладостями, нежели в городе.

Конечной нелью бабнгонского пикника была самая деревня, расположенная по гребню довольно высокого холма, в нескольких верстах на юг от Петергофа. Но и путь до Бабигон представлял (особенно для меня и моих сверстников) большой интерес, так как он был украшен всевозможными достопримечательностями. Сначала надо было ехать длинной Сам-сониевской аллеей, посреди которой в канале лежали фонтанные трубы (это был тот самый канал, куда свалился шарабан дяди Митрофана, причем чуть не погиб кузен Женя Кавос). На половине своего протяжения аллея прерывалась железподорожным полотном, и тут, если шлагбаум был

опущен, надлежало ждать прохода поезда. Упиралась же Самсониевская аллея в павильон Озерки, похожий на тот, который украшал Царицын остров. Оба мне представлялись верхом роскоши, а позже эти здания, типичные для немецкой архитектуры середины XIX в. (их строил любимый архитектор Николая I — Штакеншнейдер) казались мне точным вое* произведением древнеримских вилл. Традиция требовала

остановиться у Озерков. Все, кроме бабушки и других пожилых дам, вылезали из экипажей и шли смотреть мраморную «спящую даму». Стояла эта прекрасная скульптура под увитой плющом перголой \ жерди которой поддерживались столбами из серого гранита с головами бога Морфея: для того же, чтобы увидать самое спящую красавицу, надо было дать на-чай дворцовому лакею, и тогда он подымал подвешенный на блоке целомудренно скрывавший наготу «дамы» кубический холщовый колпак. С этой же перголы открывался прелестный вид на небольшой пруд. На его водах, у самого дворцового сада, лет двадцать до моего рождения государь Николай Павлович угостил своих гостей незабвенным спектаклем балета «Наяда и рыбак», в котором блистала Черрито8 и декорацией которого служил весь окружающий, освещенный луной и фонариками, пейзаж.

Продолжая путь в Бабигоны, после Озерков покидаешь парковую тень и выезжаешь на деревенский простор. Правда, и здесь деревья были рассажены группами и казались прибранными и причесанными. Тут вскоре на одном из поворотов за речкой (или рукавом пруда) открывалась Руина — искусственные развалины, составленные из мраморов старого собора св. Исаакия, начатого строиться при Екатерине II и затем оставленного. Вероятно потому, что эта петергофская «руина» была первой, которую я видел в жизни, ничто (не исключая, пожалуй, и римского форума) меня так не волновало своей заброшенностью и не производило впечатления такой печальной оставленности, как именно эти розовые колонны, торчащие из-за чахлых северных кустарников среди недоступного, окруженного водой островка.

После Руины начинался подъем к первому из холмов, оцепляющих с юга петергофскую долину. И здесь, на полусклоне стоял прямо в поле большущий двуглавый черный бронзовый орел, протягивающий свои свирепые клювы в разные стороны и впивающийся когтями в гранитную глыбу. Эта черная царственная птица представлялась мне тем огромнее и чудовищнее, что неподалеку от нее стоял домик сторожа с садиком» и они казались в сравнении с орлом крошечными. В последующие времена, в разгар моего романа с Атей Кинд мы очень любили заходить к Орлу, пить молоко или хлебать простоквашу, закусывая краюхой черного хлеба (это всегда можно было найти за несколько копеек у милого сторожа-инвалида), но уже прежнего трепета я не испытывал. Орел мне казался сократившимся, съежившимся, «обезвреженным» — так что я не пожалел особенно, когда в середине 90-х годов его сняли с Вабигонских высот и перевезли в Петербург, чтобы поставить, в

ознаменование ряда побед, перед полковой церковью стрелков на Кирочной улице.

ƒ, //, Р. ***Снова в Петергофе***

271

Первый из трех бабигонских холмов украшен дворцом Бельведер9, высоко подымающимся своей колоннадой из синеватого мрамора над всей местностью. И тут пикниковая традиция требовала остановки, и снова все, кроме старушек, разбредались по террасам сада, в котором стояли совсем такие же бронзовые кони, как те, что украшают Аничков мост. А сверху, с балкона Бельведера, открывался на все стороны прославленный и действительно изумительный вид — вовсе не какой-либо унылый финский пейзаж, а самый подлинный российский с нежными тенями облаков, скользящими по мягко-волнистым полям, с разноцветными золотистыми нивами, зелеными лугами и темными лесами. В сторону Петергофа из-за деревьев торчала готическая башня «папиного» вокзала и сверкали купола Большого дворца, а вдали за горизонтом яркой звездой в лиловатой дымке сиял купол Исаакия. Российский характер всего этого ладного, мягкого, чуть дремотного простора подчеркивался церковью в русском стиле, возвышавшейся на соседнем холме, а подальше силуэтом двухэтажной избы «Никольского домика» 10.

Подъехав к этому «домику», построенному в исполнение фантазии Николая Павловича немецким архитектором и в стиле русской избы, мы должны были расположиться станом, выгрузить из колясок корзины, поручить самовар старичку с деревянной ногой и с бакенбардами, который охранял этот маленький дворец, и выискать по скату холма место поуютнее. Пока кучера распрягали лошадей (эта операция придавала экскурсии особенный характер цыганского кочевья), дети устремлялись к еще не сжатым полям собирать васильки и маки, а «молодые люди» шли в деревню кликать клич, чтобы набрать побольше девушек и девчонок для беговых ристалищ. Если пикник приходился в пору сенокоса или жатвы, то деревня оказывалась точно вымершей; по пустым дворам и избам можно было разгуливать, как по «сельскохозяйственной выставке» и лишь изредка можно было встретить там древних приветливых стариков. Но деревенские дети, заметившие прибытие колясок, сами уже начинали собираться вблизи от нашего стана и с конфузливым хихиканьем, прячась друг за друга, робко к нам подходить. Постепенно эта масса, как хор в опере, образовывала вокруг нас плотную стену.

В сущности, барская забава эта была не слишком отменного вкуса. Мне сейчас кажется странным, что в таком «осознавшем

человеческое достоинство» обществе, каким представлялась русская интеллигенция 70-х и 80-х годов, могли еще доживать подобные «крепостнические замашки». Но в те дни мое личное сознание, во всяком случае, не было на высоте гражданских требований, и моя радость от «гоняния баб» не омрачалась какими-либо хмурыми движениями «общественной совести». Да и не было намека какого-либо «благородного возмущения» в тех, кого мы приглашали (а не заставляли) нам на потеху побегать...

И какой же получался азарт. Какую можно было наблюдать мимику зависти, обиды или победоносного торжества. Как блестели глаза, в какие широчайшие улыбки осклаблялись рты. Сколько было крику, сколько ссор и сколько самого бурного веселья. И как это все было красиво.

272/, //, *9. Снова в Петергофе*

Какая подлинная сцена из «русского балета» получалась, когда после бегов девушки образовывали хороводы и, надев новые, заработанные яркие платочки, ленты и бусы, кружились по лугу, распевая плясовые песни. Все это на фоне Никольского домика и Николаевской церкви носило несколько неправдоподобный, театральный оттенок, но лазурь, неба была подлинная — наша северная прозрачная лазурь; вокруг стояли все же подлинные, обслуживающие действительные крестьянские нужды строения, а совсем рядом золотилась пшеница, посеянная настоящими мужичками и бабами, а вовсе не оперными пейзанами. Эти самые мужички и бабы к концу праздника с граблями и косами возвращались, распевая песни, с полей и окружали нашу группу веселой толпой...

И как представишь себе все эти картины, покажется, что вся эта поездка в Бабигоны и поэтичнейшее возвращение оттуда, да и все эти гонки, что все это происходило не далее, как вчера, а вовсе не более полустолетия тому назад. Существуют ли еще нынче Бабигоны? <„.>

А кто я сам? Куда девались мои светлые кудри, моя гибкость, мое проворство? Осталось от прежнего одно только неутолимое любопытство и вот эта страсть запечатлевать вещи, достойные, с моей точки зрения,— запечатлеиия. К ним, в чрезвычайной степени, и принадлежат все мои петергофские воспоминания.

Пикники в Бабигоны или в гористой деревушке Венки, за Ораниенбаумом, повторялись ежегодно, и я участвовал в них несчетное число раз, как маленьким мальчиком, так и отроком, и влюбленным юношей и, наконец, и самостоятельным «pater lamilias»*, которого сопровождали жена и дети-: Но пикник в дальнюю Лопухинку, устроенный братом Аль-бером в 1876 г., был единственный в своем роде. Особенную романтику ему придало

то, что, позавтракав в старинном трактире деревни Гости-лицы, где я с удивлением увидал колокольню, совсем похожую на нашу Никольскую, мы прибыли на место назначения поздно вечером, вследствие чего пришлось ночевать в крестьянских избах. А утром, чуть свет, я с папой совершили далекую прогулку и дошли до какого-то старинного здания, напомнившего мне те, в которых жили «рыцари» (что это был за замок, я до сих пор не знаю). Многим же молодым людям пришлось переночевать на сеновале и когда они покинули его, заспанные, в помятых одеждах, с сепом в волосах и в бородах, то все имели очень смешной и сконфуженный вид. Альбер любил такие авантюры — они отлично служили ему для его амурных предприятий; однако на сей раз он едва ли был ими занят — ведь он уже был безумно влюблен в свою будущую жену Машу Кинд, и о помолвке его с ней было как раз окало этого времени объявлено.

* Отцом семейства *(лат.),*

*I,-II, 9. Снова е Петергофе*273

* * *

К экскурсиям аналогичного характера принадлежит и наша поездка на маневры, происходившие в то лето под Петергофом. Наша карета (почему-то на этот раз мы ехали в закрытом экипаже или то было «поднятое» ландо, так как накрапывал дождь) заблудилась и попала не туда, куда следует,— совсем вроде того, как это рассказано в диккенсовском «Пиквике». Я был единственный, кроме кучера, «мужчина» среди дам, но, разумеется, я не мог чем-либо помочь, когда пришлось объясняться с офицером, подскакавшим к нам и разразившимся бранью на кучера. Тетушки, с которыми я сидел, были так напуганы, когда мимо нас пронеслись казаки с пиками наперевес и драгуны с шашками наголо, что стали жалобно молить, чтобы господин офицер их «отпустил», чтобы им дали вернуться обратно, но возврата туда, откуда мы приехали, уже не было, и пришлось ехать дальше, а взобравшись на Троицкие высоты, мы попали в тыл одной артиллерийской батареи. Тут и я натерпелся ужаса. В непосредственном соседстве с нами палили пушки, настоящие пушки, и каждый раз, когда готовился выстрел, я и мои «дамы», покинувшие карету и устроившиеся на склоне холма у передних изб деревни, замирали и закрывали уши. Но очень интересно было видеть во всех подробностях, как солдаты ставили пушку и как ее заряжали, А затем пушки и пороховые ящики в один миг с грохотом, но в удивительном порядке,

снялись и понеслись вниз, где, достигнув заворота под горой, исчезли из наших глаз.

Произошло еще несколько значительных событий в то же лето 1876 г. Два касались нашей семьи, третье имело общественное значение. Первое событие едва не получило трагической развязки. Брат Николай, плавая в бурный день на яхте, принадлежавшей кузену Жене Ка-восу, вместе с последним и их общим другом Ваней Лихачевым чуть было не погиб в морской пучине. Дежурные матросы на рейде Царской пристани, где стояла яхта, напрасно пытались им отсоветовать пускаться в море в такую погоду,— все же спортивный задор взял верх. Сначала было очень весело,— яхта, забирая воду, неслась с небывалой быстротой, но в ту минуту, когда малоопытные моряки захотели повернуть обратно, они не справились с парусами, суденышко ах перевернулось, и опи сами оказались под водой. Вайя Лихачев не сразу выбрался на поверхность — он запутался в парусе... Еще, к счастью, все трое были хорошими пловцами; им удалось зацепиться за борт опрокинувшейся яхты и с неимоверными усилиями взобраться на нее и сесть верхом на киль. Громадные мутные волны обдавали их, а вокруг ничего, кроме разъяренной стихии, не было видно. С отчаяния Женя Кавос собирался даже отправился к далекому берегу вплавь. Но тут подоспела помощь. Их заметили с большой царской яхты, всегда летом стоявшей перед Петергофом, и послали к ним паровой катер. Насилу их, уже совершенно окоченевших, сняли, и матросы, передавая с рук на руки, положили па дно катера. На «Царевне» же их принял капитан Дубасов — тот самый, кото-

рый через год после того заслужил геройскую славу во время русско-турецкой войны.

Всего этого я не видел, я даже не подозревал в те минуты, что рискую лишиться еще одного брата, но дождь погнал меня с нянькой раньше времени с прогулки домой, и вот тут, во дворе перед нашей дачей я застал большое смятение и, что меня особенно поразило, здесь же стояли дрожки дяди Сезара, запряженные черным рысаком, который, казалось, разделял общую тревогу, задирал голову, бил землю ногами и всячески показывал, что «надо спешить». Дрожки были окружены нашей и соседней прислугой, и все громко говорили, кричали, а некоторые женщины принимались даже голосить. Боком хлеставший дождь и неистовый ветер прибавляли свои трагические черты к общей картине. В эту минуту я увидал мамочку, выходившую из нашего сада и направлявшуюся к дрожкам. Она была в тальме — готовая к поездке, а лицо у нее

было перепуганное и глубоко печальное. Завидев меня, мамочка быстро подошла ко мне, подняла и крепко несколько раз поцеловала,— все поступки для нее необыкновенные, ибо она, сколько могла, свои чувства скрывала. «Дайте ему сначала поесть, а потом пусть тоже приедет на пристань»,— успела она распорядиться.

Тут и я получил объяснение того, что происходило. Оказалось, что на дачу дяди Сезара только что прибежал нарочный с Царской пристани и сообщил, что яхта «Нина» тонет, что на ней имеются сын Ц. А. Кавоса и один из братьев Бенуа. Самого дяди не было дома, но там сразу велели заложить экипаж, который и заехал за мамой. Доставив маму до гавани, кучер вернулся за мной, и вот я уже мчусь по парку к дамбе Царской пристани. Мне ужасно захотелось видеть, как вообще ■«люди тонут», но этого я уже не застал, а увидел совсем неожиданную картину. Человек тридцать матросов, собравшись в кучу, подбрасывали в воздух что-то, что я принял за куклу, одетую в матросскую рубаху. В стороне же стояла мамочка, утиравшая катившиеся из глаз слезы, но то были уже не слезы горя, а радости. Оказалось, что когда завидели катер, который вез на берег «утопленников» с «Царевны», то матросы собрались для того, чтобы их по всем правилам привести в чувство, но когда это оказалось лишним (на «Царевне» пострадавших успели переодеть и очень щедро угостить), матросы на радостях решили спасенных «качать»: Женя, Ваня и Коля и были теми «куклами», которые высоко взлетали на воздух и снова падали па протянутые руки. А затем их пощадили всех троих на дрожки дяди Сезара, которые и развезли их по домам, мы же с мамой вернулись на извозчике.

Дома вообще несловоохотливый Коля, отдохнув, закусив и еще выпив полбутылки мадеры, рассказал нам подробности катастрофы. Впрочем, свой рассказ он принужден был повторить не раз, и каждый раз он его начинал сначала, так как наша дача заполнялась людьми, желавшими поглядеть на чудесно спасенного. Последний же рассказ достался папе, когда он вернулся из города. Но к этому времени я уже сам все знал наизусть и перебивал Колю, поправляя его или вставляя забытые им де-

тали. Мне кажется, я переживал всю драму с большим волнением, нежели сам потерпевший. Особенно меня поразило то, что перед тем, как отправиться вплавь, наши мальчики, сидя на опрокинутой яхте, повытаскали из карманов золотые часы, серебряные портсигары и всякие другие предметы и все это побросали в воду, как бы в жертву Нептуну!

Вторым событием, происшедшим в нашей семейной обстановке, явилось то, что к нам пристала собака-кобель сеттер рыже-золотистой масти, постепенно завоевавший себе (и не только у нас, но и во всем нашем клане) особенно почетное положение. После случая с Ишей мамочка боялась собак и особенно берегла меня от всякого «общения» с ними. И к этому новому приживальщику, неизвестно откуда взявшемуся, она вначале относилась недружелюбно и даже всячески пыталась от него отделаться. Но ничего не помогало. Сколько раз дворник заводил Султана в самые глухие уголки парка, и Султан все же находил дорогу домой и с веселым видом, в котором чувствовалось что-то вроде иронии, махая хвостом, вбегал к нам в сад. Я же из всех сил «интриговал», чтобы Султана оставили. Мне нравилась вся его не лишенная известного достоинства повадка, мне нравился и его вид, его гладкая, шелковистая, золотистая шерсть, его красивый хвост, его терпение, ласковость и прямо-таки «благовоспитанность». Я скорее опасался, как бы не нашелся настоящий его хозяин и не отобрал бы его от нас.

Несколько к лучшему изменилось отношение к Султану мамочки (а заодно и папы), когда как-то поздно вечером, в ненастную погоду, он выкинул довольно фантастический фортель. Лил дождь, и ветер срывал сучья охапками. Тем не менее, жестокие люди не пожелали оставить на ночь Султана в доме и вывели его в сад, считая, что он уже сумеет как-нибудь там укрыться. Обыкновенно он и укрывался где-то, но тут не то его испугали молнии и гром, не то холод показался ему невыносимым, но он насильно проник в дачу и не через дверь, а влетев через окно спальни, которое не успели закрыть ставнями. Эффект получился удивительный. Султан, со всего размаха влетающий в комнату при эвоне разбившегося в мелкие куски стекла, врезался мне в память с полной отчетливостью. При этом бедный пес раскровянил себе нос и лапы. Тут сказалась сердечная доброта моих родителей. Они не только не стали его за такой предерзкий поступок бранить, но мама поспешила обмыть его раны, а одну лапу даже перевязала, папа же устроил Султану на ковре у топившейся печки уютное ложе. Султан с виноватым видом лизал им руки и всячески показывал, что он до глубины сердца тронут.

И все же, когда наступил день переезда с дачи в город, мама, поручив Султана дворнику дачи, который был рад получить отличного сторожа, решила, что мы расстанемся с ним. В самый момент отъезда, егог несмотря на мои протесты, куда-то заперли, а весь наш табор, отправив вперед возы с мебелью по шоссейной дороге, покатил в карете и на нескольких извозчиках ва

купеческую гавань, чтобы погрузиться на пароход. Всю дорогу я не переставал плакать и обвинять маму в жестокости к Султану. Вот мы уже и на палубе, раздается последний звонок»

276Л *Н>* & *Снова в Петергофе*

колеса начинают хлопать по воде, снимаются сходни, сбрасываются канаты, и в эту-то минуту Коля и Миша восклицают: «Боже мой, да ведь это Султан там бежит...» И действительно, из-за перил дамбы замелькала его рыжая фигура, его хвост. Он не бежал, а летел, и в ту самую секунду, когда пароход стал уже отделяться от пристани, Султан, сразу смекнув, как поступить, вскочил сначала на высокий дощатый настил, а с него прыгнул на верхнюю палубу, где его с овациями встретили пе мы одни, но буквально все пассажиры и даже капитан. Тут не выдержала мамочка. Вероятно, она и до того момента кренилась, мучаясь тем, что считала своим «жестоким долгом», теперь же она убедилась, что Султан не простая собака, а существо особенное, одаренное редчайшим чутьем и такими чувствами, которых и у людей не найти. Такой «подарок судьбы» было бы грешно отвергать.

С этого момента Султан превратился в члена семьи. Но, к сожалению, через год, когда мы жили на Кушелевке, его постигло жестокое злоключение. Разгуливая с компанией гостей по канатной фабрике моего затя, Султан зазевался, и его. хвост, которым он бодро размахивал, попал в какие-то шестерни. В одно мгновение наш красавец нес лишился половины своего лучшего украшения. Таким калекой ему и пришлось доживать свой век, но это скорее вызывало к нему всеобщее сочувствие и отнюдь не отозвалось на его положении домашнего фаворита. Постепенно, оставаясь нашим верным другом, он завел себе полезные связи и по всему околотку. Он очень полюбил старшего дворника Василия, а затем распространил свое расположение и на городового, жившего у нас во флигеле и имевшего свой пост у ворот Никольского сада. Там и можно было всегда найти Султана среди блюстителей порядка. Знали его и баловали все кухарки и горничные, все кучера и конюхи, да и просто все ближайшие обыватели. Окончательную популярность он себе заслужил тем, что как-то обнаружил бродягу, польстившегося па содержание повешенной у входа в собор кружки, и помог его изловить.

И все же кончина этого чудесного пса, случившаяся около 1886 или 1887 г., ие была вполне достойна того высокого положения, которого он достиг. Он скончался ие у пас в квартире, где его любимым местопребыванием была передняя (зимой — на коврике перед топящейся печью), а почувствовав, что срок жизни его истекает, он отправился умирать в дровяной сарай. И

положительно, мне думается, что при этом им руководил свойственный ему такт, его «природная благовоспитанность». Последнее время он уже с каким-то виноватым видом помахивал своим искалеченным хвостом и с трудом привставал на своих одеревенелых ногах, когда мы к нему обращались с ласковым приветствием. Он как бы извинялся, что не может нести свою службу, не может подобающим образом выражать свою безграничную нам преданность. Видом же своего трупа он не пожелал утруждать зрение хозяев и друзей, и поэтому предпочел умереть (слово «околеть» в данном случае никак не пристойно) вдали от наших глаз.

*I, 11, 9. Снова в Петергофе*277

* * *

Появление у нас Султана — событие интимного порядка, рассказ же **о** Петергофском лете 1876 г. я закончу событием общественного характера. Я говорю о той необычайно грандиозной иллюминации, которая была устроена в том году в Петергофе. Торжественные иллюминации устраивались здесь ежегодно, но обыкновенно они устраивались по однообразному, раз выработанному шаблону, и все потребные для нее деревянные части с приделанными к ним шкаликами хранились в специальном месте, в парке близ Царской пристани, причем некоторые, особенно громоздкие и высокие, торчали из-за высокого дощатого забора. Ребенком я поглядывал на них с тем же волнением, с каким разглядывал те театральные кулисы, которые иногда появлялись на площади около Ма-риинского и Большого театров перед тем, чтобы их увезти в особый склад. Однако в 1876 г. иллюминация, повод которой мне не известен (не было ли то чествование какого-либо принца или иностранного монарха?), была необыкновенно грандиозная, и вот почему она мне запомнилась с особой отчетливостью. Бабушкина дача находилась как раз не в далеком расстоянии от главной и центральной части этого праздника. Стоило пройти мимо большой готической дачи, тротуар которой состоял из свинцовых плит с гербами, стоило дойти до площади перед главными воротами Верхнего сада и обогнуть другую, тоже «готическую» дачу наших друзей Черемисиновых, как мы уже были там у самых приготовлений праздника, на берегу того пруда, на островках которого — Царицыном и Ольгином — стоят затейливые царские павильоны. Уже за неделю до праздника берега пруда были завалены бревнами, сваями и досками, и всюду мужики в красных

и голубых рубахах строгали, пилили, рубили. Туда же на телегах прибывали готовые, хитро выпиленные щиты с набитыми на них расписанными холстами. По мере установки этих огромных «кулис», превышавших местами высоту деревьев по берегам пруда, выяснялось, что эти щиты представляют знаменитейшие дворцы и храмы Европы. Я был особенно обрадован, когда среди них узнал хорошо мне знакомый Дворец Дожей с двумя стоящими около него колоннами. Из уст старших я слышал довольно строгую критику этой гигантской, обступавшей весь пруд декорации; говорилось, что эти памятники «до смешного» умепыне ЕШ и уродливо упрощены, по меня зрелище выросшего на петергофской почве Венецианского дворца только радовало и восхищало.

Во время хода работ можно было в течение нескольких дней изучить в закулисную сторону этой театральной затеи. Лицевой стороной дворцы **и** храмы были повернуты к пруду и к его островам (па одном из которых должно было состояться вечернее угощение членов царской семьи **и** двора), на аллеи же, огибавшие пруд, выходили оборотные стороны или «спины» этих кутшс и те массивные, сложные конструкции, которые их подпирали. Подойдешь к такому щиту сзади, с аллеи, и ничего, кроме стропил, досок и бревен не видишь, а пройдешь **мимо** него к самому

278Л *//# 9s Снова б Петергофе*

берегу, и в промежутке между двумя кулисами открывается противоположная картина, приобретавшая с каждым днем все более законченный вид. Это ли не была потеха и «сюрприз». Тут и мой Палаццо Дукале стал совсем как настоящий, колонны его галерей казались круглыми, балкон выпятился вперед, скульптурные украшения лепились до полной иллюзии...

Однако самой иллюминацией простым смертным, не приглашенным на гала на Царицыном острове, пришлось любоваться таким же «закулисным» образом, т. е. пробираясь между подпорками по довольно топкому берегу. Тут получалась еще та неприятность, что от ближайших фонарей-шкаликов, мириадами уснащавших все архитектурные линии декораций, шел нестерпимый жар и одновременно горевшее в них сало распространяло довольно тяжелый запах. Зато если выйти к самой воде, зрелище получалось сказочное. При свете фонарей и шкаликов дворцы и храмы вовсе уже не казались маленькими и ничтожными. Выделяясь всей своей яркостью на фоне темной листвы и отражаясь в воде, они превращались в громадные, прочные и роскошные сооружения. Придя в чрезвычайное возбуждение, я требовал, чтобы мои родные обошли со мной весь

круг пруда, а это было не так легко, приходилось протискиваться сквозь густые толпы, а местами мы рисковали оступиться и попасть в воду.

К сожалению, и на сей раз безжалостная петергофская погода не пощадила людской потехи. Еще не был сожжен стоявший в программе фейерверк, как поднялся сильный ветер, от которого целыми партиями тухли фонарики и одновременно стал накрапывать дождь. Праздник, несомненно, был испорчен, но и то, что происходило при этом с иллюминацией, представлялось мне ужасно интересным. Вдруг исчезнет половина какого-нибудь дворца и не успеют снова зажечь шкалики, как ветер задует соседние огни. Казалось, что волшебные здания на глазах разрушаются и гибнут, а ведь на детский вкус ничего не бывает более любопытного, как вообще всякие разрушения. Ведь мечтал же я в те годы, чтобы у нас в доме сделался пожар! То-то было бы занятно, если бы все — и папа, и мама, и братья, и прислуга — стали бы «хватать что попало» и пробиваться с поклажей среди дыма и пламени. А уж рояль непременно выбросили бы в окно прямо на мостовую...

Пожалуй, в этот вечер я во второй раз в жизни увидал царя и уже вполне осознал это счастье. Во всяком случае, это произошло тем же летом в Петергофе, тогда как в первый раз я увидел Александра II за год до того, в Павловске. Возможно, что я видел государя и тогда, когда его коляска въехала к нам во двор «кавалерских» домов и он насмерть перепугал нашу немку, запросто обратившись к ней с вопросом, где тут живет фрейлина Нелидова, которую корректный государь приехал навестить (об этом случае у нас в доме не переставали вспоминать в течение нескольких лет). Однако тогда я был еще совсем младенцем. К тому же мне не очень нравился этот «генерал», часто проезжавший мимо нашего дома с надвинутой на нос фуражкой и с густыми бакен-

бардами на щеках. Меня эти проезды касались только потому, **что** с меня при этих проездах спешно снимали **шляпку** и **старшие шепотом** приказывали: «поклонись, нагни головку».

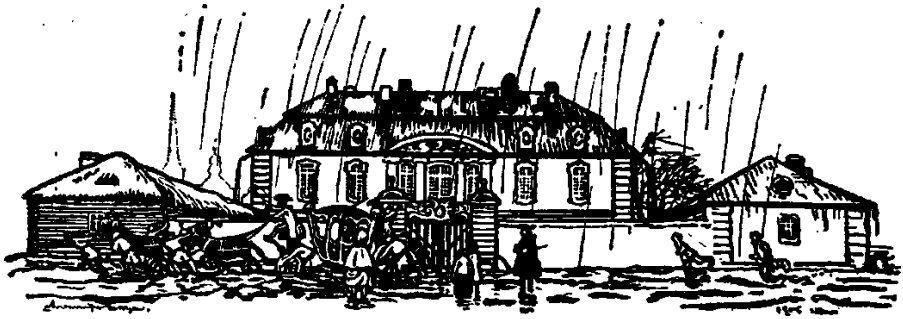
И вот в первый раз до моего сознания дошло, что передо мной «сам царь», когда во время прогулки перед нами шагом проехала появившаяся из-за деревьев кавалькада. То ли, что государь ласковым кивком и легким поднятием руки показал, что он узнал папу, то ли, что его на сей раз окружала и за ним следовала делая свита на прекрасных конях, то ли, что вся эта масса блистала золотом и серебром, а на головах у свитских колыхались султаны,— но момент этот врезался мне в память, и я

точно сейчас вижу и ту солнечную поляну и рощу в глубине и этого очень статного, очень прямо и спокойно сидевшего в седле, несколько строго поглядывавшего вокруг военного, который показался мне таким величественным — точно памятник.

Вторично же я «осознал» царя именно в Петергофе — на иллюминации. Па сей раз государь не ехал верхом, а сидел в причудливой плетеной колясочке, которую влекла шестерка белых лошадок, управляемых одетыми в золото жокеями. Это то, что называлось выездом à la Daumonti*Z*. Дама в белом платье и в белой шляпе с пером рядом с Александром II была, вероятно, императрица, а на странной подвеске позади восседали в застывшей позе, скрестя руки, два лакея. И царь и царица то и дело кланялись направо и налево, причем публика до того близко придвинулась к пути царского следования, что почти касалась колес. За царским экипажем следовали бесчисленные другие и среди них курьезные, длинные низкие дроги — «линей», на которых спинами друг к другу сидело человек по двенадцати. И так долго тянулся этот поезд, столько тут было дам, генералов, расшитых золотом камергеров и министров в треуголках с белым плюмажем, что мне это даже надоело. Царская коляска давно проехала (и проехала сравнительно быстро), а вот хвост тянулся, и причем приходилось ему моментами и замедлять движение, а то и совсем останавливаться.

Царя я успел разглядеть вполне явственно, так как я сидел на чьих-то плечах. И на этот раз он очень мне понравился — он показался мне добрым, милым, ласковым.

Небо казалось черным по контрасту с фантастическим светом от сотен тысяч огней, которыми был залит весь парк. И этот свет от шкаликов был не нынешний резкий, неподвижный, мертвый свет электричества, а весь он трепетал и жил, дымчатый же чад, шедший от горевшего сала, образовывал род сияния вокруг пылающих уборов. Стеклянные шкалики были разных цветов и пестрое их сверкание сообщало особую сказочность садовым перспективам. Я бы сказал, что даже смрадный, шедший от тогдашних иллюминаций дух был каким-то необходимым элементом праздничности — таким же необходимым и желательным, как сладковатый запах бенгальских огней, как гул толпы, ровный топот лошадей и как (нота специальная для Петергофа) непрерывавшееся журчание фонтанов и водопадов.



КНИГА ВТОРАЯ

Глава 1 ПЕРВЫЕ ЗРЕЛИЩА

О театрах и иных зрелищах я до пяти лет имел очень смутное понятие, только понаслышке, но этой «наслышкя» было у нас в доме достаточно. Разные члены нашей семьи любили, однако, разное. Одни были сторонниками итальянской оперы, другие — французского театра, третьи — цирка и даже оперетки. Менее всего пользовался милостью русский театр. Правда, папочка когда-то был большим почитателем Каратыгина и Щепкина, он с восторгом говорил о «Ревизоре» (в Риме он знавал Гоголя) и иногда не без известного умиления рассказывал о своих театральных впечатлениях, но все это было далекое прошлое, а сам он в мое время в театр ходил редко и то только тогда, когда его «потащат». Любил он чрезвычайно и «Руслана» и «Жизнь за царя», а мелодии из «Аскольдовой могилы» он напевал постоянно или подбирал их довольно искусно на рояле. Но среди родной молодежи у него не было товарищей по вкусам. Альбер, тот обожал только одного «Фауста» Гуно, а ко всему остальному, несмотря на свою исключительную музыкальность, относился индифферентно, хотя сам мог сочинять блестящие «фантазии» в духе и Листа, и Бетховена, и Шопена. Леонтий (он же Лулу) был страстным завсегдатаем итальянской оперы. У нас была абонементная ложа в Большом театре, и он не пропускал ни одного «нашего» вечера, до одури упиваясь пением своих любимцев. Сестры разделяли, но с меньшим увлечением, его вкусы. Среди старшего поколения «Бабушка Кавос» была опять-таки ярой итальяноманкой, и более сдержанными, но все же верными почитателями итальянской оперы были дядя Костя и дядя Сезар. Напротив, дядя Миша Кавос, имевший обо всем свое особое мнение, решался иногда превозносить Серова и ходил на премьеры в «Александринку», похваливая того или другого из русских актеров. Абсолютной и рьяной сторонницей русского театра была лишь тетя Лиза Раевская, да еще мамина горничная Ольга Ивановна Ходенева. Последняя, как я уже рассказывал, бегала по крайней мере раз в неделю в соседний Ма-риинский театр (где тогда давались русские спектакли) или в дальний Александрийский, и от нее я получал подробнейшие отчеты, причем в своих рассказах она то заливалась до слез от смеха, то становилась мрачной и торжественной.

* * *

Нельзя сказать, что моя карьера театрала началась с чего-либо очень эффектного и достойного. Моим первым спектаклем был... собачий театр, и увидел-то я его не в цирке, а в самой обыкновенной квартире, где-то на Адмиралтейской площади, снятой для того заезжим собачьим антрепренером. Мне было не более четырех лет, н маме пришлось поэтому меня во время всего спектакля держать в стоячем положении на своих колепях — иначе я бы ничего пе увидал через головы сидевших перед нами. Всего я пе помню, но четко врезался в память чудесный громадный черный и необычайно умный ньюфаундленд, который лаял нужное количество раз, когда кто-либо из публики вынимал из колоды ту или иную карту. Он же исполнил с хозяином в четыре рука (две руки и две лапы) известный «собачий вальс» на рояле. С тех пор я и выучился играть эту нехитрую пьеску.

Впрочем, пожалуй, я совершаю неточность, называя этот собачий спектакль своим первым. На самом деле первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли Петрушки. Но вот тут невозможно установить, когда я увидал самый первый из них — столько их было уже в самом раннем детстве, и в столь разных местах я был ими осчастливлен. Помню, во всяком случае, Петрушку на даче, когда мы еще жили в кавалерских домах. Уже издали слышится пронзительный визг, хохот и какие-то слова — все это, произносимое петрушечником через специальную машинку, которую он клал себе за щеку (тот же звук удается воспроизвести, если зажать себе пальцем обе ноздри). Получив разрешение родителей, братья зазывают Петрушку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, «музыкант» кладет свою шарманку па складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подт-ижный и юркий, ручки у него крохотные, но оп ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и дерзкими вопросами, па некоторые тот отвечает с полным равнодушием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развертывается сама драма. Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулнпоп Петровной» он делает ей предложение, она соглашается, и оба совершают род свадебной прогулки, крепко взявошсь под ручку.

Но является соперник — это бравый усатый городовой, и Акулина, видимо, дает ему предпочтение. Петрушка в ярости бьет блюстителя порядка, за что попадает в солдаты. Но солдатское учение и дисциплина не даются ему, он продолжает бесчинствовать и, о ужас, убивает своего унтера. Тут является неожиданная интермедия. Ни с того, ни с сего выныривают два в яркие костюмы разодетых черномазых арапа. У каждого в руках по палке, кот орую они ловко подбрасывают вверх, перекидывают друг другу и,

наконец, звонко ею же колошматят друг друга по деревянным башкам. Интермедия кончилась. Снова па ширме Петрушка. Он стал еще вертлявее, еще подвижнее, он вступает в дерзкие препирательства с шарманщиком, визжит, хихикает, но сразу наступает роковая развязка. Внезапно рядом с Петрушкой появляется собранная в мохпатый комочек фигурка. Петрушка ею крайне заинтересовывается. Гнусаво он спрашивает музыканта, что это такое, музыкант отвечает: «это барашек». Петрушка в восторге, гладит «ученого, моченого» барашка и садится на него верхом. «Ьарашек» покорно делает со своим седоком два, три тура по борту ширмы, но затем неожиданно сбрасывает его, выпрямляется и, о ужас, это вовсе не барашек, а сам черт. Рогатый, весь обросший черными волосами, с крючковатым носом и длинным красным языком, торчащим из зубастой пасти, Черт бодает Петрушку и безжалостно треплет его, так что ручки и ножки болтаются во все стороны, а затем тащит его в преисподнюю. Еще раза три жалкое тело Петрушки взлетает из каких-то недр высоко, высоко, а затем слышится только его предсмертный вопль, и наступает «жуткая» тишина... Шарманщик играет веселый галоп, и,представление окончено.

Вспоминается еще, как в весеннюю пору и тогда, когда ясная *x§¤`* лынь уже позволяла выставлять двойные зимние рамы и открывать окна, мы смотрели на представление Петрушки, происходившее у нас во дворе. В этих случаях спектакль получал более демократический характер. Мы сидели, как в ложе, па подоконнике, внизу же сбегались к Петрушке дворники, приказчики лавок, а все окна унизывались головами горничных и кухарок. Вероятно, и текст был здесь приноровлен для более низменных вкусов. Иногда обступавшая ширму толпа покатывалась от хохота специфического характера, того хохота, который вызывают «свинства», и в таких случаях братья мои заговорщически переглядывались, а мама — тревожилась, не услыхал бы «de ces choses in-décentes» * Шурепька. Но Шуренька,

если бы и услыхал, то ничего бы не понял, а к тому же «текст» вообще интересовал его мало, а трепетал он исключительно от всех действий и от внзга Петрушки.

Рядом с демократическим обликом Петрушки выступает в памяти и аристократический его облик. Петрушка в те годы был обязательным номером на елках и на детских балах. Последние я вообще ненавидел и поднимал скандал, если меня на одно из таких сборищ тащили, но стоило мне обещать, что там будет Петрушка, как я безропотно отдавался в руки мамы или няньки, позволял себя одевать в новый костюмчик и проделывать сложные операции с моей шевелюрой, а по приезде на место назначения терпеливо давал себя тискать и целовать незнакомым людям — все для того только, чтобы насладиться Петрушкой. Зато, как только Петрушка кончался, я требовал, чтобы меня везли домой. Бывало так, что меня за те же тридевять земель отправляли домой под присмотром няньки, тогда как остальные члены семьи оставались в гостях.

Каких-нибудь непристойностей *(франц.);*

286 ''' *• первые *зрелища*

Такие светские «Петрушкины» спектакли бывали у дяди Сезара, у С. И. Зарудного, у Оливов, у Жербиных, у родителей Алечки Лепе-нау. Видел я такие представления десятки раз, но это нисколько не притупляло моего интереса. В элегантных барских квартирах спектакль Петрушки устраивался обыкновенно в дверях гостиной, почти всегда увешанных пышными драпировками, и это придавало представлению несравненно более парадный и театральный характер. Да и приглашался для этого спектакля не простой, грязный петрушечник с улицы, а «салонный», чуть ли не во фрак одетый. Ширмы у него были шелковые с бархатным бортиком и золотой бахромой, а шарманщик был гладко выбрит и чисто одет. Инструмент у него был новый с более мягким, менее визгливым звуком и без тех досадных заиканий, которые получались вследствие изношенности валика. Самые куклы были одеты в атлас и в блестящую мишуру. Особенно эффектны были арапы, не облезлые и разбитые, а свежепокрашенные, черные-пречерные. На голове у них торчал пучок страусовых перьев, палка же перевита серебряным позументом. До слез смеялась аудитория на этих спектаклях, веселым задором сияли лица прелестных девочек в розовых открытых платьицах с цветными бантами в распущенных волосах!

* * *

В таком театральном доме, как наш, не могло обойтись без домашних спектаклей. Однако в раннем детстве меня не так интересовало то, что делали большие «для себя», разучив какую-либо пьесу или в виде тут же импровизированных шарад, а получал я огромное удовольствие от всяких кукольных театриков, в которых особенно прелестны были декорации и пестрые костюмы на действующих лицах. Еще доживал свой век тот, сильно усовершенствованный Ишей, детский театр, который служил моим братьям, но затем лет шести я получил в подарок и свой собственный, а с течением времени у меня их накопилось несколько. Родственники, зная мою страстишку, один за другим подносили все новые и новые коробки, в которых были уложены и портал, и занавески, и целые постановки, и труппа вырезанных из бумаги актеров.

Сейчас мода на детские театрики совсем прошла, и лишь у коллекционеров старины можно еще найти разрозненные части этих игрушек доброго старого времени. Но та эпоха, о которой я сейчас рассказываю, переживала настоящий расцвет детских театриков, и в любом магазине игрушек можно было найти их сколько угодно самого разнообразного характера. Персонажи бывали то снабжены небольшими приклеенными к их ногам брусочками, придававшими нужную устойчивость (но и неподвижность), то они болтались па проволоках, посредством которых можно было их водить по сцене. В коробке с пьесой «Конек-Горбунок» к таким летучим действующим лицам принадлежали сказочная Кобылица и ее конек, тот же конек с сидящим на нем Иваном-дурачком, Чудо-юдо-рыба-кит, ерш и другие морские жители. Были и такие театрики,

которые надлежало изготовлять самому. Покупалиоь все нужные элементы от занавеса до последнего статиста, напечатанные на листах бумаги и раскрашенные; их наклеивали на картон и аккуратно вырезали. За три-четыре рубля можно было купить целый толстый пакет листов в сорок немецкой фабрикации, и в этом пакете оказывалось все нужное и для «Вильгельма Телля», и для «Дон Жуана», и для «Орлеанской девы», и для «Фауста», и для «Африканки», и для «Ночного сторожа», и даже для популярной когда-то пьесы «Die Hosen des Herrn von Bredow» *. Стиль этих декораций и костюмов был курьезный, «самый оперный», «трубадуристый». Но разве можно было тогда мыслить представление без таких нарочито театральных костюмов, потешность которых я осознал лишь гораздо позже, когда вообще познакомился с историей костюма?

Кроме плоских бумажных куколок, у меня были и марионетки (тоже на проволоках), которые мне привозила бабушка Кавос из Венеции. Это были «совсем как настоящие» человечки-кавалеры в фетровых шляпах и в кафтанах с золотой мишурой, жандарм в треуголке с саблей в руке, Арлекин со своей batte **, Полишинель с крошечным фонариком, Коломбина с веером. И все они имели маленькие деревянные или оловянные ладошки и сапожки, которые легко болтались при всяком движении. Иные из этих «венецианцев» прожили у меня десятки лет, а некоторые даже послужили моим детям.

Особо следует выделить «дойниковские театры», названные так потому, что они изготовлялись специально для игрушечных магазинов фирмы Дойникова. Такой театр представлял собой целое сооружение и занимал довольно много места. Стоил же он вовсе недорого — всего рублей десять, а скорее и меньше. Был он деревянный, передок был украшен цветистым порталом с золотыми орнаментами и аллегорическими фигурами, сцена была глубокая, в несколько планов, а над сценой возвышалось помещение, куда «уходили» и откуда спускались декорации. Остроумная система позволяла в один миг произвести «чистую перемену» — стоило только дернуть за прилаженную сбоку веревочку. Все это было сделано добротно, прочно и при бережном отношении могло служить годами. Дефектом дойниковских театров было то, что актеров приходилось водить из-за кулис — на длинных горизонтальных палочках, к которым каждое действующее лицо было приклеено, и это было не очень удобно. Впрочем, стражи, драбанты, группы народа или придворных ставились на все данное действие, и уже фантазии зрителя предоставлялось оживлять эти неподвижные фигурки.

Славились дойниковские китайские тени. В них служили те же декорации (петербургская улица с каланчой, кондитерская, и красная гостиная), как в театриках, но только здесь декорации были сделаны в виде прозрачных транспарантов, а частых перемен нельзя было делать. Фигурки были частью русского, частью иностранного происхождения. Рядом

Штаны господина фон Бредов *(нем.)*.

Деревянной саблей *(франц.)*.

с французским гренадером или немецким пивоваром действовали й русский городовой, и наши родные мужички-разносчики.

Все эти типы театриков (самый красивый такой театрик я выклянчил себе со скандалом на елке у Лепенау) были в моем

распоряжении, и когда портился один, то мне дарили новый. Однако около 1878 г. папа заказал столяру Адамсону, жившему у пас во флигеле и дававшему мне одно время уроки столярного мастерства, сделать специально для меня сцепу, имевшую вид тех «чежурных макеток», которыми пользуются все профессиональные декораторы. Этот «почти настоящий» театр постепенно вытеснил другие — тем более, что папа сам для начала снабдил его прекрасными декорациями, из которых мне запомнилась роскошная комната с «настоящими» тюлевыми занавесками и море, дававшее полную иллюзию дали и шири. В добавление к ним я сам стал сочинять и малевать декорации. С этого и началась — моя личная карьера «театрального деятеля».

К самым сильным впечатлениям театрального характера в детстве я должен отнести спектакли фантошей * Томаса Ольдена *, появившегося в первый раз в Петербурге па масленичных балаганах. О Томасе Ольдене ходила уже и раньше молва, будто его кукольный театр не имеет себе равных и прямо чудесен; когда же Ольден предстал перед петербургской публикой, то весь город заговорил об его куклах, и это было вполне заслуженно.

Впоследствии я видел много марионеточных театров, включая кукольные пьесы в венецианском << Teatro Minerva», римские «piccoli», и мюнхенского «Kasperle», а также изумительный кукольный театр известного карикатуриста Альбера Гильома, который действовал во время Парижской выставки 1900 г. От всего этого у меня остались лучшие воспоминания, по всех их продолжает затмевать Томас Ольдеп, и я думаю, что в данном случае действует не одно розовое сияние детских лет, но ц действительная исключительность этих представлений.

Спектакль начинался с цирковых номеров: с канатной плясуньи, с шутовской возни клоунов, эквилибристов и акробатов. В заключение этих номеров появлялся скелет, который весь на глазах у публики расчленялся и снова складывался, причем на радостях череп принимался звонко щелкать челюстями. Кончался же спектакль Ольдена большой пантомимой «Красавица и чудовище». Декорации этой пьесы мне не понравились, они были слишком расцвечены и сплошь разукрашены блестками, но самое Чудовище было таким страшным, что при его появлении в зале поднимался неистовый панический крик детей. О тех пор прошло больше 70 лет, и я все еще вижу в своем воображении это представление с совершенной отчетливостью, мало того, я могу напеть две или три тем-ки той смешной «американской» музыки, которая сопровождала разные номера, в том числе и «разложение скелета».

* От fantoch.es *(франц.)* — марионетки.

Глава 2 БАЛАГАНЫ

В первый раз Ольден со своими куклами появился на масленичном гулянье — на Балаганах, и это было в 1877 или 1878 г. Однако балаганы были мне хорошо знакомы уже раньше, да в сущности то, что я видел в балаганных театрах, и должно считаться моими первыми, поистине театральными впечатлениями. Балаганами назывались специально в короткий срок построенные большие п маленькие сараи, в которых давались всякие представления. Эти балаганы служили главным аттракционом того гулянья, которое «испокон веков», а точнее, с XVIII в., являлось в России наиболее значительным народным развлечением, особенно в обеих столицах. Гулянье это соответствовало тому, что в Западной Европе называется «фуарами», ярмарками. Во многих отношениях наши эти развлечения и были копиями того, что было выработано на Западе, но все же и всему заморскому был придан у нас специфический «русский дух». На этих гуляньях веселье было более буйного, более стихийного характера. Кроме того, здесь можно было видеть и много своеобразного, местного, чего-то ультрапотешного и живописного. Да и пьяных шаталось здесь больше, чем где-либо в Европе, и они были более шумные, буйные, а то и страшные. Поголовное пьянство простого люда, остававшегося под вечер настоящим хозяином тех площадей, что отводились под эти забавы, придавало им какой-то прямо-таки демонически-ухарский характер, прекрасно переданный в четвертой картине «Петрушки» Стравинского.

Что мои первые воспоминания о балаганах относятся определенно к Масленой 1874 г., когда мне еще пе минуло четырех лет, находит себе подтверждение в том, что в компании тех «больших», которые потащили меня, карапуза, на балаганы, был и мой брат Инга, а он скончался как раз осенью того же года. Иша, бывший на десять лет старше меня, проявлял ко мне исключительную нежность, умел возбуждать во мне разные восторги, и сам совсем по-детски делился со мной впечатлениями. Потому и память о нем сохранилась у меня с совершенной ясностью. Я помню, точно это было месяц назад, что как раз в этот далекий, упоительный для меня день моего первого выезда на балаганы Иша беспрестанно пекся обо мне, поправлял мой башлык, следил за тем, чтобы пальтишко мое было

застегнуто, и он же взял меня к себе на колени, когда оказалось, что сидевшая перед нами в театре Егарева публика несколько заслонила от меня сцену.

1874 год был последним (или предпоследним) годом устройства балаганов на Адмиралтейской площади ', примыкавшей к площади Зимнего дворца. Уже на это одно стоит обратить внимание. В те годы, с самого времени царствования Николая Павловича, считающегося таким притеснителем народной самобытности, масленичная ярмарка с ее гомоном и всяческим неистовством, происходила под самыми окнами царской рези-

денции, что особенно ярко выражало патриархальность всего тогдашнего быта. Затем, в 1875 г., балаганы были перенесены на Царицын луг, где они устраивались приблизительно до 1896 г.... Это удаление от дворца означало, пожалуй, известную опалу, однако и на Царицыном лугу балаганы продолжали пребывать в центре столицы и даже в парадной ее части — у самого Летнего сада.

Мне именно хочется про Масленицу 1874 г. рассказать с самого начала — все, как это было с самого еще утра. Я вижу себя в нашей большой детской, выходившей тремя окнами на улицу. Она озарена белым отблеском снега, выпавшего за ночь, и залита боковыми лучами утреннего солнца. Весело трещат в печке березовые дрова. Осторожно шлепает в своих мягких туфлях нянька, приготовляя все для моего вставанья. На улице до странности тихо: ни шагов, ни топота копыт, ни грохота колес,— все заглушает густой спежпый ковер. Но изредка возникает новое для уха серебристое дребезжание: это приехали «вейки» — чухонцы; это звенят бубенчики, которыми увешана их сбруя. «Если будешь пай,— говорит няня,— то и тебя повезут на вейке по городу кататься, да и на балаганы».

Кто помнит теперь, что такое были вейки? Между тем они, хоть и на короткий срок (всего на неделю), становились очень важным элементом петербургской улицы. Вейками назывались те финны, «чухонцы», которые, по давней поблажке полиции, стекались в Петербург из пригородных деревень в воскресенье перед Масленой и в течение недели возили жителей столицы. Звук их бубенчиков, один вид их желтеньких белогривых и белохвостых сытых и резвых лошадок сообщал оттенок какого-то шаловливого безумия нашим строгим улицам; погремушки будили аппетит к веселью, и являлось желание предаться какой-то чепухе и дурачеству. Дети обожали веек. В программу

масленичного праздника входило обязательное пользование ими, хоть прогулка на их низких санках представляла и некоторый риск. С мрачным юмором чухонец норовил подкатить под самые колеса огромных тогдашних четырехместных карет, и нередко бывало, что санки перекувыркивались на крутом повороте со скатом. Детям же как раз от таких «авантюр», от этой полусознаваемой опасности, становилось особенно весело. «Вейкины» саночки к тому же были до того низенькими, что и ушибиться, падая с них, было трудно, а сидя в них, можно было без труда касаться рукой земли. Несешься по ухабам, а сам бороздишь снег,— точно плывешь в лодке и бороздишь, расплескивая, воду.

Контрастом этой серой деревенщине являлось масленичное катанье «смолянок». И в этом обычае праздничного выезда воспитанниц Смольного института сказывалось также нечто патриархальное, придававшее особую прелесть российским нравам того времени. Смолянкам па Масленице предоставлялись придворные экипажи с кучерами и лакеями в треуголках и в красных гербовых ливреях. Каждое такое ландо было запряжено четверкой прекрасных белых лошадей. Верепица карет в двадцать, растянувшись внушительным цугом, колесила вокруг отведен-

ной под гульбище площади, и из каждой кареты выглядывали веселые юные лица «благородных девиц», восседавших под присмотром строгих классных дам. Аристократические затворницы лишь издали могли любоваться народным весельем, смотреть на все эти перекидные качели, «американские» горы, на пестро раскрашенные театры,— но и это было уже достаточным развлечением в серой, унылой обыденности их пребывания «за монастырской стеной».

Вот мы и приехали на своем вейке-чухонце на площадь, отведенную под гулянье. Перед нами главная балаганная улица. Справа протянулся ряд большущих построек, обшитых только что напиленным, сверкающим на солнце и приятно пахнущим сосновым тесом. С другой стороны более мелкие и более разнокалиберные домики стоят как попало в беспорядке. Большие постройки — это театры, принадлежащие антрепренерам, всем давно известные фамилии которых значатся саженными буквами на стенах каждого балагана. Вот Малафеев, вот Егарев, там дальше Берг, Лей-ферт. Но пятый балаганщик, отдавая долг новым веяниям, скрыл свою персону под девизом педагогического привкуса — свой театр он назвал: «Развлечение и польза».

И среди мелких домишек имеется несколько плохоньких

театров, но главным образом площадь на этой стороне занята каруселями, катальными горами и бесчисленными лавчонками, в которых можно покупать разные лакомства: пряники, орешки, стручки, леденцы, мятные лепешки, семечки, а также баранки, сайки, калачи. Особенно бросается в глаза несколько в стороне стоящий большой сарай с торчащей из него тонкой дымящей трубой. На нем, под гигантской, широко улыбающейся рожей, заимствованной из сатирического журнала «Der Kladderadatsch» *, вывеска, приглашающая публику покушать «берлинских пышек». Тут же, прямо под открытым небом, тянутся столы, уставленные сотнями стаканов, из которых можно напиться горячего чаю, заваренного в толстых чайниках с глазастыми цветами и разбавлепного кипятком, который льется из самоваров-великанов. А пить хочется — за полуденным обедом все уже успели приналечь па блины, и пи что так не томит, как вместе с блипным угаром специфическая «блинная жажда».

Но далеко не все гуляющие пьют чай или предлагаемый разносчиками «горячий сбитень», бережно укутанный в толстую салфетку. Многие, весьма многие успели завернуть в кабаки или в распивочные и явились на праздник в сильно подгулявшем виде, неистово горланя песни. У иного торчит сороковка из кармана, и он то и дело, ничуть не стесняясь, прикладывается к ее горлышку, становясь от каждого глотка все озорнее и шумливее. Пьяные в будни где-нибудь на Фонтанке, на Гороховой — явление довольно-таки мерзкое, по здесь, на балаганах, «сам бог велел надрызгаться», и, несомненно, вид этих шатающихся людей придает особый оттенок густой и пестрой праздничной толпе.

* «Трах-тарарах» *(нем.)*.

II, 2. Балаганы

А вот и Дед — знаменитый балаганный дед, краса и гордость масленичного гулянья. Этих дедов па Марсовом поле было по крайней мере пять — по деду на каждой закрытой карусели. Самое карусель, или как прозвали ее французы, «манеж деревянных лошадок», наш холодный климат заставлял замыкать в деревянную избу-коробку, наружные стены которой были убраны яркими картинами, среди которых виднелись изображения разных «красавиц» вперемежку с пейзажами, с комическими сценами, с «портретами» знаменитых генералов. Из нутра этих карусельных коробок вместе с паром и винным духом доносилось оглушительное мычание оркестрионов и грохотание машины, приводящей в движение самую карусель.

На балконе, тянущемся по сторонам такой коробки, и стоял дед, основная миссия которого состояла в том, чтобы задерживать проходящий люд и заманивать его внутрь. Всегда с дедом на балконе вертелись «ручки в бочки» пара танцовщиц с ярко нарумяненными щеками и сюда же то и дело выскакивали из недр две странные образины, наводившие ужас на детей: Коза и Журавль. Обе одетые в длинные белые рубахи, а на их длинных, в сажень высоты, шеях мотались бородатая морда с рожками и птичья голова с предлинным клювом.

Не надо думать, чтобы балаганный Дед был действительно старцем «дедовских лет». Розовая шея и гладкий затылок выдавали молодость скомороха. Но спереди Дед был подобен древнему старцу, благодаря тому, что к подбородку он себе привесил паклевую бороду, спускавшуюся до самого иола. Этой бородой Дед был занят все время. Он ее крутил, гладил, обметал ею снег или спускал ее вниз с балкона, стараясь коснуться ею голов толпы зевак. Дед вообще находился в непрерывном движении, он ерзал, сидя верхом, по парапету балкона, размахивал руками, задирал ноги выше головы, а иногда, когда ему становилось совсем невтерпеж от мороза, с ним делался настоящий припадок. Он вскакивал на узкую дощечку парапета и принимался по ней скакать, бегать, кувыркаться, рискуя каждую минуту сверзиться вниз на своих слушателей. Мне очень хотелось послушать, что болтает и распевает «дедушка», Несомненно, он плел что-то ужасно смешное. Широкие улыбки не сходили с уст аудитории, а иногда все покатывались от смеха, приседали в корчах и вытирали слезы... Но те, кому я был поручен, не давали мне застаиваться и поспешно увлекали дальше под предлогом, что я могу простудиться... На самом же деле ими двигало не это опасение, а то, что болтовня деда была пересыпапа самыми грубыми непристойностями и даже непотребными словами. Произносил он их с особыми ужимками, которые красноречивее слов намекали на что-то весьма противное благоприличию.

Другим краснобаем был раешник,— о нем я уже рассказывал, говоря об оптических игрушках. Раешник был таким же непременным и популярным элементом балаганного гулянья, как и дед, но его приемы были более деликатные, вкрадчивые. Всегда, кроме тех двух клиентов, которые приклеивались глазами к большим оконцам его пестро размалеванной

коробки, вокруг толпилось, ожидая очереди, с полдюжины ребят и взрослых. Сеанс длился недолго, но за эти минуты можно было совершить кругосветное путешествие и даже спуститься в

преисподнюю. Стишкн раешника пересыпались потешными прибаутками, и эта болтовня помогала воображению добавлять то, что недоставало картинам.

Б маленькие балаганчики не стоило заходить — разве только, чтобы позабавиться какой-либо уже совершенно наивной ерундой. Тут же тянулась длинная постройка «зверинца», на фасаде которого яркими красками были изображены девственный тропический лес с пальмами, лианами, баобабами, а изнутри доносились дикие звуки: рев львов и тигров, своеобразное мычание слона и крики обезьян и попугаев. Увы, войдя в такой сарай, вас постигало разочарование: в холоде и, вероятно, в голоде здесь доживали век всякие отбросы знаменитых зверинцев: совсем оцепеневший, не встававший уже больше верблюд, сонные облезлые львы, походившие больше на пуделей, п чахоточные, жавшиеся друг к дружке, обезьяны. Только слон производил еще довольно внушительное впечатление, но слона я видел и более величественного в Зоологическом саду, в «Зоологии». Впрочем, в мое первое посещение балаганов меня более всего поразило в «зверинце» порхание на маленькой сцене танцовщицы, одетой в яркий корсаж и коротенькую газовую с блестками юбочку; однако, ò ужас, лицо ее было покрыто густой черной бородой.

Потребности в чем-то чудесном и блестящем вполне ответило зрелище, которое я сподобился тогда увидеть в одном из больших деревянных театров, а именно в театре Егарева, в котором все еще, по старой традиции давались арлекинады. Великим охотником до такого спектакля был как раз Иша. который мне уже вперед рассказывал о нем без конца. И тем не менее то, что я увидел воочию, во много раз превзошло ожидания! Выйдя из этого «первого моего театра», я был словно угорелый, а память об :-)том посещении не утратила свежести и силы даже и по сей день. Это мое первое знакомство с театром как-то озарило меня, а в главное действующее лицо, в Арлекина, я просто влюбился.

Я уже был знаком с личностью Арлекина и чувствовал к этому маскированному повесе какую-то восхищенную нежность, но тут я увидал его живым, действующим, победоносным, издевающимся над всеми, кто становился ему поперек дороги. Мне самому захотелось сделаться Арлекином, и я серьезно мечтал о том, чтобы получить такую же волшебную палочку, как та, что подарила ему (за что?) добрая и прекрасная фея. Мало того, я даже втайне от мамы молился про себя, чтобы эта фея явилась и сделала бы мне такой подарок.

Но до чего было холодно, пока в деревянном вестибюле пришлось ожидать очереди, чтобы попасть в самый зрительный зал. Я был закутан с ног до головы, башлык покрывал уши поверх

воротника толстого зимнего пальто, а йоги были обуты в валенки — и все же я зяб немилосердно. Совершенно невыносимым становилось покалывание пальпев йог и кончиков ушей, причем меня очень беспокоило, как бы не отморозить нос; я то и дело обращался к Ише с вопросом, не стал лн нос у меня

белым, а чтобы не стал, я тер его изо всех сил шерстяными рукавицами. Да и все, кто вместе с нами ожидали в этом дощатом нетопленном преддверии, пританцовывали на месте, поминутно сморкались, кашляли, чихали. По никто ие ослабевал, не покидал этого места пытки, дойдя до «самых врат» волшебного царства и ожидая, чтобы врата растворились.

И вот блаженный миг наступил. Проходят еще минуты три, во время которых зрительный зал покидают те, кто уже насладился представлением, а затем приходится вцепиться в моего попечителя, иначе меня затопчут, раздавят между дверьми, l·i вот мы уже сидим на своих местах, перед нами ярко-пунцовый с золотом занавес. Иша берет меня на колени. Зрительный зал представляет собою огромный, обитый досками сарай, освещенный рядом тусклых керосиновых ламп, повешенных по степам и издающих довольно острый запах. Но и полумрак и этот запах только усугубляют зачарованную таинственность. В то же время за нашими спинами творится нечто подобное стихийному катаклизму. Это врывается с неистовым шумом, с криками, с визгами, с воплями: «батюшки, задавили» публика вторых и третьих мест, ожидавшая очереди на наружных лестницах балагана. Лавина несется со стремительностью идущего на приступ войска. Передовые отряды с удивительной ловкостью перескакивают через тянущиеся во всю ширину зала скамейки, стремясь попасть в первые ряды, и становится боязно, как бы эта дикая масса не разнесла стен, не докатилась бы до нас, не растоптала бы нас.

Постепенно все успокаивается, стихает и замирает в ожидании. Оркестранты, успевшие в промежутке между двумя представлениями сходить выпить согревающего, возвращаются и размещаются по местам, дирижер (он же первая скрипка) — поднимает смычок, раздаются звуки увертюры, и занавес медленно ползет вверх. Перед нами сельский, но вовсе не русский пейзаж; слева, в тени раскидистого дерева домик с красными кирпичными стенами и с черепичной высокой крышей, справа холм, в глубине голубые дали,— и все «совсем, как па самом деле». Сразу же начинается что-то необычайное, волнующее, смешное и страшноватое. Старик Кассандр отправляется в город и наказывает двум своим слугам исполнить

порученную им работу. Один из слуг — весь в белом, с белым от муки лицом; у него самый глупый растеряпный вид, он, несомненно, лентяй и растяпа. Простонародье его называло попросту «мельник», но я знаю, что это Пьерро. Я уже и песенку про него слышал: «an claire de la hme топ ami Pierot» *, хотя еще плохо понимаю язык своих предков. Но почему же у Арлекина такой невзрачный, грязный костюм? С тревогой обращаюсь к Ише за объяснением и он успокаивает меня: «это его рабочее платье, подожди, сейчас увидишь, что будет дальше». Дальше же происходит нечто ужасное. Принявшись каждый за свою работу, Пьерро и Арлекин скоро начинают ссориться, мешать друг другу, они вступают в драку и, о ужас, нелепый, неуклюжий Пьерро уби-

* При лунном свете мой друг Пьеро2 *(франц.)**

вает Арлекина. Мало того, он тут же разрубает своего покойного товарища па части, играет, как в кегли, с головой, с ногами и руками (я недоумеваю, почему не течет кровь), в конце же концов пугается своего преступления и пробует вернуть к жизни загубленную жертву. Он ставит одии члены на другие, прислонив их к косяку двери, сам же предпочитает удрать. И тут же происходит первое чудо-чудесное. Из ставшего прозрачным холма выступает вся сверкающая золотом и драгоценностями фея, она подходит к сложенному трупу Арлекина, касается его, и в один миг все члены срастаются. Арлекин оживает; мало того, под новым касанием феиной палочки тусклый наряд Арлекина спадает и он предстает, к великому моему восторгу, в виде изумительно прекрасного, сверкающего блестками юноши. На коленях благодарит он добрую фею, а из дома выбегает дочь Кассандра прелестная Коломбина; фея их соединяет и в качестве свадебного подарка отдает Арлекину свою волше.бную палочку, получив которую, он становится могущественнее и богаче всякого царя.

Второе действие — сплошная кутерьма. Декорация изображает кухню в доме Кассандра. Оживший Арлекин шутит жестокие мстительные шутки с Пьерро и со своим бывшим хозяином. Он появляется в самых неожиданных местах. Его то находят в варящемся котле (из которого валит «настоящий» пар!), то в ящике стоячих часов, то в ларе из-под муки. Все слуги с главным поваром во главе гоняются за ним, но он остается неуловимым. Среди пола он неожиданно исчезает и сейчас же влетает в открытое окно. Только что он со звуком битого стекла вскочил в зеркало, как уже мчится через сцену, оседлав дракона. И, разумеется, только срамом покрываются его преследователи.

Выбегая из разных дверей, они сталкиваются, падают в кучу и в досаде наносят друг другу побои. Усилия их остаются тщетными, чтобы сдвинуть большой комод, за которым спрятался повеса, и вдруг комод сам срывается с места и начинает носиться за ними.

Третье действие я пропускаю, несмотря на то, что прелестная декорация изображала «мою родную» Венецию, а под Кассандром и его приятелями рушится балкон, с которого только что спрыгнул Арлекин. Зато дальнейшее уже совсем чудесно. Из дремучего темного леса, в котором еще раз появляется фея, Арлекин с Коломбиной заводят своих преследователей ни более ни менее как в ад, озаренный красным светом бенгальских огней; клубы дыма так и валят из-за кулис. Казалось, всем гро;nn` гибель — и беглецам и преследователям, но для первых все кончается самым благополучным образом — то была лишь шутка феи. Адский пейзаж сменяется райским; с небес спускаются гирлянды роз, поддерживаемые амурчиками, а фея соединяет Арлекина с Коломбиной. Но плохо кончается для врагов Арлекина. Они все оказываются со звериными мордами, и жесты их выражают беспредельное смущение... Этот апофеоз мне так врезался в память, что я хоть сейчас способен его нарисовать. Я даже долгое время помнил его музыку, но с годами она затерялась в кладовых моей памяти...

296

11, 2. Балаганы

Раза три, четыре в следующие годы видел я ту же пантомиму, лишь украшенную некоторыми новыми трюками, а затем, к моему горю, балаган Огарева исчез с Марсова поля, и остался один только его конкурент — Берг. У него тоже шли арлекинады, но актеры у Берга — о ужас! — говорили, и говорили они преглупые вещи, которые должны были сходить за остроты. Арлекин же выступал с бородой, торчавшей из-под маски, и это уже никак не вязалось с прежним, столь меня пленившим образом. Пьерро непрестанно зевал, и в этом состоял весь его комизм, тогда как Коломбина была старая и некрасивая; она, видимо, жестоко зябла, несмотря на шерстяные панталоны, выглядывавшие из-под ее поношенной мишурной юбки. Эффектны у Берга были лишь сверкающие вертящиеся колеса, на которых выезжали феи, да дружный смех возбуждали дамы-куклы, которые уморительно плясали, а когда падали, то оказывались полыми внутри. Мне еще нравилась декорация ада, в которой гигантские кулисы представляли собой сидящих на корточках чертей; головы их достигали самого верха сцены, а лапы схватывали врагов Арлекина и покачивали их при звуках «адской» музыки. Вообще же у Берга во всем сказывался упадок.

Театр был наполовину пуст, и в дешевых местах не происходило того столпотворения, о котором я только что рассказывал и которое можно было по-прежнему наблюдать на балаганах Малафеева и Лейферта. Вот где наружные лестницы готовы были рухнуть под тяжестью охотников до зрелищ, а перед каждым очередным представлением шел настоящий бон.

С 80-х годов началась и на балаганах эра национализма. Исчезли совсем легкие, забавные арлекинады и другие пантомимы иностранного происхождения, а на смену им явились тяжеловесные, довольно-таки нелепые народные сказочные «Громобои», «Еруслаы Лазаревичи», «Бо-вы-Королевичи» и «Ильи Муромцы». Завопили, загудели неистовые мелодрамы из отечественной (допетровской) истории, пошла мода на инсценировки Пушкина и Лермонтова. Повеяло духом педагогики, попечительства о нравственности и о трезвости. Тем не менее, общее настроение гуляющих на Марсовом поле оставалось прежпим. Все еще стоял стон мычащих оркестрионов, глухой, но далеко слышимый грохот турецких барабанов, все еще гудела и бубнила огромная площадь: шумела она так громко, что отголоски этой какофонии доносились даже до Гостиного двора и до Дворцовой площади. Да и кареты со смолянками продолжали кружиться цугом вокруг площади, также врали раешники и «деды», тут и там слышался визгливый хохоток Петрушки...

А потом все исчезло. «Общество трезвости» (дворец возглавлявшего его августейшего попечителя, принца А. П. Ольденбургского, выходил окнами прямо на Марсово поле) добилось того, чтобы эти сатурналии были удалены из центра. Еще несколько лет балаганы влачили жалкое существование на далеком и грязном Семеновском плацу3, а потом их постигла участь всего земного — эта подлинная радость народная умерла, исчезла, а вместе с ней исчезла и вся ее специфическая «культура»; забылись навыки, забылись традиции. Особенно это обидно за русских

детей позднейшего времени, которые уже не могли в истории своего воспитания и знакомства с Родиной «приобщиться к этой форме народного веселья». Уже для наших детей слово «балаганы», от которого я трепетал, превратилось в мертвый звук или в туманный дедовский рассказ.

Я не стану распространяться о моих первых цирковых впечатлениях. В первый раз я попал в цирк, наверное, не старше трех лет — благо тогда деревянный цирк (Берга?) помещался на Екатерининском канале, очень близко от нашего дома. Лучше

запомнились мне те спектакли, которые я видел во временном цирке на Караванной площади, а затем те, которые давались в каменном цирке Чинизелли4, построенном, если я не ошибаюсь, в 1875 г. у Симеоииевского моста. Это здание, в архитектурном отношении весьма неказистое, было украшено наружной живописью, представлявшей античные ристалища и средневековые турниры; да и внутри мне всегда импонировали те громадные портреты знаменитых наездниц, начиная с Царицы Томирис, которые были размещены по плафону купола. Но, видно, я, действительно, был рожден для того, чтобы стать театральным любителем, ибо одно то, что спектакль происходил в цирке на арене, а не на сцене, что он был лишен декорационной иллюзиониости — огорчало меня и заставляло меня, несмотря на всевозможные утехи, предпочитать цирковому спектаклю театральный. Менее же всего мне нравились в цирке те сложные пантомимы, которыми, при участии лошадей и других животных, иногда завершались цирковые программы.

Казалось бы, меня должна была восхитить история с краснокожими индейцами или та восточная феерия, которая кончалась гибелью лютого насильника хана, свергаемого его соперником — прекраснейшим прин-ием из «Тысячи и одной ночи». Запомнилось, как страшно в белом свете прожектора сверкнул в предсмертной агонии глаз у злодея, как грузно он свалился с коня на землю, какое ликование изобразили девы, освобожденные витязем из плена. Но вот все это происходило слишком близко, как бы на ладони, да и то, что вокруг оставались все те же ряды одетой в шубы и пальто публики, частью которой были и мы, что тут же, «на носу», на ярко освещенной эстраде играл оркестр, что разные похищения, дреследованнн и бегства происходили поперек арены, что всякие «горы» и «скалы» устанавливались в антракте на глазах у всех, а пе за занавесом, который в театре скрывал всю таинственность «кухни»,— все ,уго вместе взятое портило удовольствие и вселяло во мне какую-то странную «неловкость». Да и музыку цирка я ненавидел за ее грубую шумливость.

Все же я должен с благодарностью помянуть здесь и о некоторых радостях, испытанных в цирке. К ним принадлежали выезды и выводы дрессированных лошадей, в которых главным образом отличались члены семьи Чинизелли (Чипионе, Гаэтано и прелестная, как мне казалось, их сестра в костюме амазонки). Нравились мне те балерины, которые на плавном скаку прекраснейших снежно-белых копей плясали по плоскому тамбуру, служившему седлом, и прыгали в серсо, затянутое бумагой.

Бывали и действительно удивительные номера, вроде того акробата, который вылетал из пушки, с тем чтобы схватиться на лету за трапецию, или вроде той краснокожей индианки, которая, держась зубами за бежавшее по канату колесико, перелетала с одного конца цирка до другого. У этой акробатки были длинные черные развевавшиеся волосы, а когда красавица достигала предельного места, она ловко вскакивала на пунцовым бархатйый постамент и на весь театр пронзительно гикала, что и придавало ее выступлению особую пикантность «дикарки», обожал я выходы музыкальных клоунов, дрессированных собак и обезьян; больше же всего я однажды насладился сеансом чревовещателя, который с изумительной ловкостью манипулировал целой группой ужасно смешных больших кукол, создавая иллюзию, что это они говорят, а не он. Сохранились у меня в памяти и другие цирковые воспоминания и из них некоторые восходят до дней моего раннего детства, но все же цирк — не моя область, и поэтому я предпочитаю теперь сразу перейти к настоящему театру, к тому, что мне пришлось но душе и по вкусу во всех смыслах.

Глава 3 ТЕАТР

В первый **раз** меня свели в театр, когда мне было лет пять. Вероятно, это вышло случайно,— получена была от театрального начальства ложа на дневное представление, и вот те из нашей семьи, кто пожелали воспользоваться ею, потащили с собой меня — крошку, хотя то, что предстояло увидеть и услышать, вовсе не было рассчитано на детские вкусы. В Марпинском театре, до которого от нашего дома было рукой подать и где обыкновенно тогда давались русские оперы и драмы, на этот раз давался концерт какого-то странствующего дамского оркестра, и мне пришлось вынести тогда длинную серию увертюр, попурри, вальсов и чуть ли не целую симфонию. Однако, хоть это и было скучновато, я все же был так заинтересован всем тем новым, что меня окружало, начиная от впустившего нас в ложу ливрейного капельдинера и кончая чудесным занавесом, о котором дальше я скажу несколько слов, что я вынес это испытание с честью и, кажется, ни разу не вздремнул и не попросился домой. Когда занавес поднялся, то на сцене оказалась целая гора белых, пышных по тогдашней моде платьев, из массы которых торчали инструменты, среди которых мое особенное любопытство привлекли страшные, похожие на жуков контрабасы и роскошные

«золотые» арфы. Во время же антракта перед декорацией, изображавшей парк с высокими кипарисами, два клоуна тешили публику своими шутками. Всего важнее для меня было то, что я был, наконец, в театре. Я знакомился с самой атмосферой театра, с общим его видом. С жадностью разглядывал я во всех подробностях своеобразное, сверкающее огнями и позолотой великолепие этого раскрывающегося передо мной, над и подо мной простора.

*II, 3. Театр*299

Было как-то особенно жутко и сладостно ощущать себя в нем, в этой круиюй зале в пять этажей с рядами каких-то стойл-коробочек в каждом из них. Над голубыми портьерами царских лож толстые белые амуры держали золотые короны и гербы с орлами, а с круглого потолка, на котором были изображены пляшущие девы, светила большущая, горевшая бесчисленными огнями люстра. Таинственной казалась мне та черная дыра, из которой она свешивалась и куда, по рассказам папы, ее снова после представления убирали для чистки и зажигания '*. Поразил меня тогда и запах театра. Тогда театры освещались еще газом, и характерным запахом для них была та смесь всяких людских испарений, над которыми доминировал именно газовый дух. Долгое время и после того, как было введено электричество, остатки этого запаха, казалось, наполняли коридоры и залы казенных театров, а теперь запах газа неминуемо вызывает во мне с особой остротой воспоминание о театрах моего детства и юности,

Что касается помянутого занавеса Марнинского театра, то когда мы вошли в ложу, он был спущен и едва освещен рампой, но перед тем, чтобы его поднять, его ярко осветили, и тогда он предстал во всей своей красе. Впрочем, я не только тогда оценил этот замечательный занавес Маршшского театра, но и позже я всегда любовался им — до самого того момента, когда его заменили новым и очень безвкусным. Нежность к тогдашнему занавесу Маршшского театра разделяли со мной, как я впоследствии узнал, и Бакст, и Сомов, с уважением отзывался о нем и мой отец. Изображен был на этом занавесе в голубоватой гармонии полукруглый храм со статуей Аполлона Бельведерского посредине. Роскошная писаная рама, увитая розами и поддерживаемая амурами, окружала эту «картину», а сверху же и по бокам свешивались малиновые бархатные драпировки. Автором этого шедевра, если я не ошибаюсь, называли париж-

** О театральной люстре у нас хранился смешной рассказ про то, как папа дал билет в театр одному из своих подрядчиков — простому крестьянину, и как он от всего спектакля, кроме

люстры, на которую без перерыва три часа глядел, так ничего и не увидал. Другому подрядчику папа дал билет на спектакль «Ревизор». На следующий день он его спрашивает; «Ну что, Прохорыч, как тебе понравилось представление?» — «Покорно благодарим, очень понравилось, да только уж больно долго пришлось дожидаться».— «Почему, разве не началось, как полагается, в семь часов?» — «Никак нет, Николай Леонтьевич, без малого в полночь начали».— «Л что же было до этого?» — «Да так, все что-то господа приходили, уходили, да промеж себя разговаривали, я их и пе слушал — не мое дескать дело»... Оказывается, вся пьеса «Ревизор» прошла для первобытпого Прохорыча как «разговор промеж господ», а оценил оп только род движущейся картины, которыми в те времена (с незапамятных времен) кончались русские драматические спектакли. Занавес после заключительного акта еще раз подымался, и в свете бенгальских огней на сцене с полдюжипы балерин в сверкающих мишурой платьях — медленно проплывали кругом, сидя в лодочках, изгибая стан и сводя калачиком руки над головой. Это был обычай, специально учрежденный для простолюдинов и не имевший никакого отношения к предшествующей пьесе. Такой «апофеоз» в обиходе носил название «Волшебной карусели». Публика этим зрелищем пренебрегала и до него покидала театр.

ского художника Обе. Как не вспомнить тут же и о других театральных «sipario» — о занавесах в Большом театре, в Михайловском, в Большом театре в Москве (последний был мне знаком по раскрашенной литографии в папиной коллекции). Главный занавес в петербургском Большом театре (работы знаменитого Роллера) изображал греческий пейзаж с двумя храмами по сторонам и с колоссальными статуями богов перед ними. Все это было очень красиво, но особенно я любил разглядывать фигуры детей, которые оживляли эту картину. Слева мальчик возжигал курения на треножнике, справа — другой мальчик дразнил девочку, придерживая перед лицом маску сатира. О втором «антрактовом» занавесе в том же Большом театре (он только на момент показывался, когда вызывали артистов) я уже упоминал, когда говорил о Царскосельском дворце. Занавес же в Михайловском театре (с ним я познакомился позже, когда стал посещать французскую комедию) представлял для пас некоторый «семейный» интерес. Изображено было коронование бюста Мольера во время торжественного заседания французской Академии в XVIII в. Это была «историческая картина» исполинских размеров. На первом

же плане весьма многолюдной композиции среди великосветских дам в широких робронах эпохи Людовика XV художник Дузи изобразил нашу бабушку Ксению Ивановну, тогда еще молодую красавицу, и ее подругу — жену Ф. А. Бруни. Наконец, московский занавес в рамке псевдорусского стиля представлял встречу у стен Кремля царя Михаила Федоровича, иначе говоря,— заключительный акт оперы «Жизнь за царя».

* * *

Получив во время своего первого посещения театра представление о зрительном зале, насытившись зрелищем люстры н занавеса, я во время следующего своего театрального выезда мог уже все внимание сосредоточить па сцене и на том, что на ней происходит. А происходило в этом моем втором спектакле нечто совершенно удивительное — англичанин Филеас Фогг в сопровождении своего лакея совершал в 80 дней путешествие вокруг земного шара \ Понимал я тогда по-французски мало, но сюжет в общих чертах рассказали большие, и я мог следить за всеми перипетиями.

Давался этот спектакль в том, впоследствии сломанном деревянном театре, который стоял в двух шагах от Александринского. В нем давались французские оперетки, и знаменитая Жюдик сообщала антрепризе особенный блеск 2. В нашей семье опереткой особенно увлекался брат Коля, готовившийся тогда в офицеры. Как мог совмещать Николай ученье в строгом военно-педагогическом учреждении с частыми посещениями театра, да еще такого, в который едва ли вообще пускали беспрепятственно кадетов, этого я сейчас не смогу объяснить. Но самый факт увлечения Колей спектаклями опереток и Жюдик не подлежит сомнению, ибо мне даже запомнились те нотации, которые ему приходилось выслушивать от папы и мамы. Остается предположить, что кадеты ходили в

11, д. Театр

301

оперетту инкогнито, переодевшись в штатское, прячась от начальства в каких-либо ложах, взятых компанией. Запомнилось мне и то, как Коля делился с товарищами (Ниловым и Хрулевым) своими восторгами, а к тому же подобные похождения вполне соответствовали отчаянному характеру брата. Иногда приключения эти имели своим завершением отси-живание в карцере, если не на гауптвахте.

Возвращаюсь к моему первому спектаклю в настоящем

театре, к «Путешествию вокруг света». Меня не столько заинтересовал тогда сам кругленький, плотненький, с небольшими бачками Филеас Фогг, заключивший пари, что успеет в данный срок объехать всю планету, сколько юркий, веселый, расторопный его камердинер Паспарту, который неизменно выручал своего господина каждый раз, когда тот попадал в затруднительное положение. А попадал Филеас в затруднительное положение на каждом шагу. Спектакль состоял из двенадцати, если не из пятнадцати картин, и ни в одной из них не обходилось без какой-либо ужасающей авантюры, а в некоторых их было и по две. Не успеют Фогг и Паспарту отрезвиться от опиума в бомбейской курильне (через огромные окна которой можно было следить за сутолокой восточного города), как они, рискуя жизнью, уже спасают прекрасную индуску Ауду, вдову раджи, обреченную на смерть через сожжение на костре. В следующей же картине спасенная Ауда чуть не становится жертвой змей, наползающих на нее отовсюду. Только что путешественники спаслись от краснокожих, напавших среди зимнего снежного пейзажа на поезд, шедший из Сан-Франциско в Нью-Йорк, как они уже едва не тонут среди Атлантического океана. Это было особенно эффектно: судно раскалывалось на две половины и погружалось среди вздымавшихся мутно-зеленых волн. Кончалось, однако, все благополучно — к отменному торжеству главного героя. Снова мы видели залу того лондонского клуба, в котором произошло заключение пари и где под многочисленными шарообразными лампами восседали за чтением газет всякие джентльмены во фраках. Часовые стрелки над дверьми приближались к роковому моменту, и уже члены клуба спешили поздравить того, кого они считали выигравшим,— как при самом бое полуночи двери растворились и спокойной походкой «как ни в чем не бывало» вошел Филеас Фогг, нашедший свое вознаграждение за все претерпенное как в огромном количестве фунтов стерлингов, так и в посрамлении тех, кто дерзал сомневаться в его успехе.

Вся машинная часть этого спектакля не только поразила в те дни мою ребяческую голову, но она вызывала и всеобщее одобрение. Особенно восхищались все сценой со змеями, с жуткой плавностью сползавших с пальм и со стен пещеры. Столь же эффектны были метавший столбы искр локомотив, въезжавший на сцену, покрытую снегом, и большущий, прыгавший по волнам пароход. В одинаковой степени меня волновали не только самые эффекты, но и все, что я узнавал о том, «как это сделано». Особенно было интересно узнать, что волнение моря, казавшегося «совершенно настоящим», было

произведено посредством холста, ko` торый вздымался руками находившихся под ним людей...

302 ***II, B. Teatp***

Я уже упоминал, что «Фауст» был любимой оперой моего брата Аль-бера; правильнее было бы сказать, что это была единственная опера, которою увлекался наиболее музыкально одаренный из братьев Бенуа. Любил Альбер и воспроизводить на рояле особенно восхищавшие его места из «Фауста», причем он, вероятно, предавался тем своим личным воспоминаниям, которые с особенной ясностью будили в нем сладкие любовные звуки Гуно. Иногда я, зачарованный, присаживался рядом, и тогда милый Альбертюс снабжал свою игру отрывистыми комментариями, помогавшими мне вообразить все, что должна была изображать музыка. До озноба, до мурашек, до волос дыбом, не видав еще спектакля, я переживал все перипетии оперы. Еще «ничего не понимая в старости», я вполне сочувствовал бессильным терзаниям старца-ученого и до слез умилялся, когда он прислушивался к пасхальному пению, доносившемуся с улицы. Вслед за сим я знал, что должен появиться «черт» и т. д. Поэтому легко можно себе представить, что со мной сделалось, когда все это я увидал в 1878 г. на сцене Большого театра! Маргариту пела архизнаменитая Нильсон, и из всех тогдашних исполнителей только ее имя мне и запомнилось; оно было у всех па устах. Маргарита с ее длипными белокурыми косами, в сереньком платье показалась мне привлекательной, но от исполнения ею роли мне запомнилось лишь то, как она мечется перед Мефистофелем на ступенях церкви и как в последнем акте, в тюрьме, падает с глухим стуком. Сказочно прекрасным показался мне Фауст, когда он, помолодевший, предстал в костюме из черно-синего бархата с огромными белыми буфами и в круглой шляпе с белым страусовым пером. И все же еще больше пленил меня «черт» — Мефистофель, к которому я даже испытал род нежности, тогда же, впрочем, осознанной как нечто запретное. Его красная, тонкая фигурка с красным перышком на крошечной красной шапочке напоминала некоторые из моих сновидений того особенно сладостно-жуткого характера, которыми иногда Морфей 2* балует любимых детей. Когда среди тьмы, окутывавшей весь мрачный кабинет Фауста, в лучах красного света поднялся из пола этот остроносый красный господин, то я обрадовался ему, как хорошему знакомому и даже на радостях вскрикнул на весь театр. Мефистофель, подобно приятелю Арлекину, обладал всякими магическими возможностями: захотел — и стена кабинета «растаяла», и Фауст при звуках райской мелодии увидал Маргариту, как она у себя дома сидит за

прялкой; захотел Мефистофель — и из бочки Бахуса полилось вино; захотел — и вино вспыхнуло пламенем. Все же мне не стало жалко моего любимца, когда вслед за этим последним чудом черта окружили студенты с поднятыми

2* Умышленно ставлю здесь имя этого бога. У пас в доме слово «Морфей» было самым принятым, особенно в таком обороте: «отправиться в объятия Морфея», что значило просто отправиться спать. Я верил, что действительно какое-то «специальное» божество и меня усыпляет, а когда я как-то раз пристал к отцу, чтобы он мне объяснил, как же выглядит этот «всем известный» бог, то папа достал мне гравюру с бюс/а гр. Ф. П. Толстого, изображающего как раз Морфея. С тех пор **я был** уже **совершенно убежден, что он выглядит именно так, а не иначе.**

крестообразными шпагами, а он, как червяк, закорчился на земле. У детей это всегда так: и самое любимое они не прочь помучить или же они, со странной смесью жалости и упоенья, будут глядеть, как другие мучают и терзают. А тут я сознавал, что мученье вполне заслуженно.

В дальнейшем развитии оперы «черт» действительно проявляет всю свою злую природу. Как гадко, что он убивает доброго, честного брата Маргариты! И почему же он так злобно издевается над хорошеньким Зибелем, который только что принес для Маргариты огромный букет цветов? Не он ли также все устроил так, что бедная Маргарита попала, наконец, в тюрьму? Вот почему, когда под самый конец я увидал Мефистофеля лежащим в скрюченной позе под копьем Ангела,— я решил, что это ему поделом. За секунду перед тем вся грандиозная каменная стена тюрьмы куда-то провалилась, и вместо нее раскрылся вид на большой, видимый сверху город. Над черепичными крышами, над шпилями церквей медленно подымалась теперь к небесам странная, вся завешанная тюлем группа, напоминавшая мне несколько тот вид, который получали люстры, когда их на лето завешивали чехлами. Именно то, что «тут ничего нельзя было разобрать», особенно мне поправилось. В этом медленном вознесении чего-то бесформенного, что должно было означать душу Маргариты, была удивительная жуть. Торжественные аккорды апофеоз-пой музыки казались мпе поистине небесными и вызывали в душе такое же молитвенное чувство, как то, что должен был испытывать в это время вставший на колено Фауст. Из всей музыки «Фауста» мне ярче всего запомнился именно этот торжественный мажорный гимн, да еще, как это ни странно, комический хор стариков.

Несколько месяцев спустя я удостоился в первый раз попасть в балет. Так как судьба мне готовила сыграть известную роль как раз в этой отрасли театрального искусства и даже сыграть ее в «международном масштабе», то мои первые впечатления от балета могут даже представить и несколько больший интерес. Я и на этот раз как бы помешался. Но помешался я не столько от танцев (как и в опере, я не столько пришел в восторг от пения), сколько от всего представления в целом и главное,— особенно от фантасмагории, получившейся от соединения яркости декораций и костюмов с красотой движений и с музыкой. Напротив, самые танцевальные эволюции, особенно кордебалета, показались мне надоедливыми. С другой стороны, именно то, что в балете не говорили и не пели, а только молчаливо под музыку действовали, — это, видимо, отвечало какому-то моему коренному вкусу. Ведь этот же безотчетный вкус заставил меня отдать предпочтение немой пантомиме в балагане Егарева перед «говорящей» арлекинадой у Берга. Впрочем, я считаю лишним распространяться здесь на эту тему, которой целиком посвящены мои специально балетные воспоминания \ Ограничусь лишь тем, что я, сидя в 1876 г. в ложе первого яруса со своими кузинами и впиваясь глазами в то, что происходило на сцене, где шел балет «Баядерка», пережил тогда минуты, принадлежащие к самым счастливым в моей жизни, мало того. к минутам, имевшим в себе «нечто вещее», точно предчувствие в будущем

таких же, если не еще больших, радостей. Четырнадцати лет я сделался заправским балетоманом, но и до того я успел увидать почти все шедшие на императорской сцене балеты. Все они были à grand spectacle * и исполнены романтической поэзии. Водили меня сначала в балет приблизи-/ тельно два раза в году — па Рождество и на Пасху, а потом и горазда чаще. Таким образом, передо мной прошли и страшная история про «Дочь снегов», в которой мореплавателя, пренебрегшего любовью сказочной принцессы, пожирают белые медведи, и «Бабочку», начинавшуюся с веселого оживления всяких овощей и кончавшуюся апофеозом с павлином во всю сцену, и очень эффектно поставленный балет «Пигмалион» (кн. Трубецкого), в котором скульптор влюбляется в созданную им статую и в котором по золотой лестнице, занимавшей всю ширину сцены, сновали сверкающие драгоценностями пегры. Скорее я был разочарован балетом «Дон Кихот», в котором герой Сервантеса сражался с мельницами, колол марионеток странствующего театра и был, наконец, повержен таинственным, закованным в серебро рыцарем луны...

Некоторые балеты я видал по два, по три раза, и все — с неостывающим интересом. Это случилось, например, с «Роксаной», поставленной в 1878 г. в ознаменование увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах. Но я к этому балету еще вернусь в связи с моими воспоминаниями о русско-турецкой войне.

Совершенно особняком стояли балеты комические и полукомические, вроде «Фризака-Цирюльника» и «Марко Бомбы». К комическим же принадлежал отчасти и самый популярный из русских балетов «Конек-горбунок», сюжет которого был заимствован из сказки, обработанной Epuio÷· вым. Здесь главная роль принадлежала не какому-либо принцу, а простому мужичку, да вдобавок заведомому простофиле-дураку. Однако самое изумительное счастье выдавалось именно ему. Изловив волшебного конька, он превращал его в своего послушного слугу, но только, при невозможности ввести в число исполнителей настоящую лошадь, авторы балета прибегли к компромиссу. В первой картине Иванушка-дурачок действительно схватывает бежавшего среди полей картонного конька, во второй картине он даже взлетает в облако, сидя на нем задом наперед, но уже дальше зрители видели не горбатенькую лошадку, а какого-то скрюченного человечка, одетого в странный костюм и непрестанно слегка подпрыгивающего. И что же, мы, дети, верили, что это тот же, только что виденный жеребенок, и что именно в таком виде Конек-горбунок обладает чрезвычайной силой волшебства. Хлестнет «дурак» кнутиком, и уже «гений конька» тут как тут, прыгает и прыгает вокруг своего повелителя, вопрошая, что ему нужно. Благодаря Коньку, Иванушка попадает во дворец к самому хану — необычайно противному и сластолюбивому старику, благодаря Коньку он отправляется в некое сказочное царство, в котором бьет фонтан до самого неба и прелестные особы танцуют знаменитый вальс, благодаря Коньку Иван Дурак спускается в поисках за

* Пышно поставленными многократными спектаклями *(франц.)*.

обручальным кольцом для Царь-девицы на дно морское и, наконец, благодаря помощи Конька, Дураку удается перехитрить хана, обернувшись, после окунания в кипящий котел, красавцем-царевичем, тогда как хан, последовав его примеру, в том же котле сваривается и гибнет.

Балет кончался апофеозом. В глубине сцены появлялся новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих

население Российского государства и пришедших поклониться Дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки, и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды. Не понимаю только, как такое дерзкое вольнодумство могло быть пропущено строгой тогдашней цензурой, да еще на подмостках императорского театра! Очевидно, блюстители вериоподдашшчества проглядели то, что в этом может крыться непристойность и даже неблагонадежность! А детям было, разумеется, все равно — благо, гадкий старый хан погиб в котле, а полюбившийся им (в исполнении Стуколкииа) Иванушка получил в жены волшебную девушку и оказался на троне.

В дефиле народностей, населяющих Россию, выступала неоспоримо самая красивая из всех тогдашних танцовщиц — дочь балетмейстера, заведомая ножирательнпца сердец Мария Марпусовна Петипа. Уже в «Роксане» в 1878 г. она — совсем еще тогда юная, произвела на меня, восьмилетнего, некоторое впечатление, но а тут, будучи мальчиком три™ надцати лет, я и впрямь в нее влюбился,— особенно после того, как она, лихо станцевав малороссийский танец, в уста громко, на весь театр, целовалась со своим партнером Лукьяновым. Необычайный конец малороссийского танца вызывал всегда бурный энтузиазм и требование повторения. Маруся Петипа стала с этого момента и в течение нескольких месяцев предметом моего обожания.

Моя влюбленность в Петипа достигла своей предельной степени, когда я увидал ее в «Коппелпи» танцующей мазурку и чардаш. Но тут же должен прибавить, что длинноногая, ленивая, в сущности, вовсе не талантливая, Мария Марпусовна была плохой тапцовщицей. В смысле техники она уступала последним кордебалетным «у воды», она даже на носки вставала с трудом и охотно переходила с них на «полупальцы». Движения у нее были угловатые, а ее стану недоставало гибкости. В силу этого отец-балетмейстер и давал ей танцевать одни только «характерные» плясы, где она могла в безудержном вихре проявить весь свой «sex appeal» *. Или же ей поручались роли принцесс, королев и фей, требовавшие одних только прогулок «пешком» да кое-каких жестов. В том же «Коньке», в третьей картине, во дворце хана, Петипа изображала «любимую альмею»; протанцевав с грехом пополам какой-то пустячный танец, она затем принималась метаться по сцене, довольно бездарно изображая муки ревности, вызванные тем, что хаи предпочитает ей черноокую русскую девушку — ту самую Царь-девицу, которую ему добыл Иванушка... При всей моей влюбленности в Марусю, недостатки ее не

* Сексаиильность *(англ.)*.

были от меня сокрыты, мало того, именно эти недостатки я ощущал как-то особенно остро, ибо страдал от несовершенства моей пассии.

Только что упомянутый балет «Коппелия» сыграл в моем художественном развитии значительную роль. Одновременно с этим увлечением «Коппелией» я до безумия увлекся музыкой «Кармен», как раз в те же годы (1883—1884) поставленной, точнее, возобновленной; однако первое появление «Кармен» в Петербурге, за десять лет до того, прошло совершенно незамеченным. Но мое отношение к «Коппелии» было иного порядка, нежели мое отношение к гениальному произведению Бизе. Тут было несравненно меньше страстности «патетического» начала, зато «Коппелия» насыщена какой-то чарующей нежностью, какой-то сладостью без привкуса приторности. И не потому этот балет стал моим любимым, что в первом действии я не сводил глаз с Маруси Петипа, отплясывавшей чардаш и мазурку, и не потому еще, что исполнительница главной роли (Сванильды) — хрупкая, тоненькая, хорошеиькая Никитина— подкупала не столько танцами (она была скорее слаба на ногах), сколько своей чуть болезненной грацией, а потому, что музыка Делиба с ее окутывающей лаской проникала все мое существо. Это начиналось с первых же нот увертюры, переносившей меня в чудесный мир сладостных грез. Я бы даже сказал, что те минуты возбуждения, которые я испытывал (и мой сосед но креслу, Володя Кинд, не меньше чем я) во время беснования Маруси Петипа, скорее портили дело, нарушая нечто бесконечно более ценпое — то самое, что, по мере своего роста и утверждения, становилось моим основным художественным убеждением. Благодаря «Коппелии» пробудилась моя «личная эстетика», образовался мой вкус, начала слагаться для меня какая-то «мера вещей», которая с тех пор созревала и пополнялась в течение всей жизни, по существу оставаясь тем же самым. Я вообще человек постоянных привязанностей,— но тут было нечто большее, тут я *нашел себя* 3*. И я был безгранично счастлив этой находке...

Теперь такое признание может показаться странным, а иные сочтут это и чем-то недостойным. Балет Делиба до такой степени повсеместно истрепали и испошлили, что о нем даже чуть неловко говорить серьезно. Необходимо даже иметь для того известную долю храбрости. Эту храбрость я и черпаю все из той же силы воздействия, которую испытал тринадцати-четырнадцатилетшш мальчиком. Надо прибавить, что тогда соединились особенно счастливые условия для такой оценки

«Коппелии». Начиная с оркестра, который под управлением тончайшего музыканта Р. Дриго, боготворившего Делиба, передавал всю кружевную топкость партитуры,— все в тогдашнем петербургском исполнении «Коппелии» было идеальным. До чего просто и убедительно разыгрывалась нехитрая, но занимательная иптрига, до чего блистательно были поставлены бравурные пляски мазурки и чардаша и упоительный финальный галоп. Как

Дальнейшими этапами этого самонахождения я считаю увлечение Вагнером, Римским, Мусоргским, Чайковским.

II, 3. Театр

307

выгодно для различных артистов были придуманы их «сольные» номера, среди коих непревзойденными остаются сцены оживления куклы и ее шаловливые танцы. Впрочем, должен тут же сознаться, что как раз на (родине «Коппелии» — в Париже я (гораздо позже) увидал мой любимьш балет в неузнаваемом и искаженном виде, тогда как у пас он до конца существования императорских театров сохранил верность стилю той постановки, которую я сподобился увидать в свои отроческие годы. Очевидно, эта постановка была построена на столь прочной основе, что поколебать не удалось и в течение полувека дальнейшего ее появления на русской сцене. Менялись исполнители, менялись дирижеры, но по-прежнему оркестр зажигал не только артистов на сцене, но и зрителей. По-прежнему в начале II действия создавалось очаровательно «шутливо-мистическое» настроение, по-прежнему в спене опьянения и наследники Гердта в роли Франца и наследники Стуколкина в роли Коппелиуса были убедительны, по-прежнему все третье действие было полно подлинного настроения праздника...

Кстати, об этом третьем действии. В Париже одно время его перестали давать, и это из какого-то ложно понятого пиетета к памяти Делиба. Считается, что здесь мы имеем сотрудничество двух авторов — француза Делиба и немца Минкуса, причем трудно определить, что именно принадлежит первому, а что второму. Такой пиетет неуместен. Правда, третье действие не более, как «дивертисмент», какой-то придаток к главному (тогда как «пьеса» кончается с момента бегства Сванильды из кабинета восковых фигур), и все же этот придаток необходим для полноты впечатления. Кто бы ни был автор, но и «Марш колокола», и «Галоп», и «Танцы часов», и «Молитва» — настоящие музыкальные перлы. Что же касается «Крестьянской свадьбы», то это уже неоспоримо Делиб, и в его чудесном красочном творении едва ли найдется что-либо равное этому шедевру! И до чего же мягко, гладко, грациозно, игриво и серьезно исполнял этот скользящий

таиец бесподобный в своем роде танцор Литав-кин! Вот когда оживал во всей своей свежести и грации XVIII век, вот что лучше, нежели и самые изощренные слова, помогло мне познать самую суть этого очаровательного, столь нелепо охаянного времени, являющегося на самом деле одним из кульминационных пунктов всей истории' культуры... И еще два слова о «профанации». Если Гуно обвинять в «профанации» Гете (о, глупость неблагодарной толпы, в которую входит и вся клика якобы передового снобизма), то и Делиба обвиняют в известной профанации Гофмана. Я ли не поклонник последнего? Ведь и он — столь жуткий, столь близкий, столь «насквозь поэтичный», Эрнст Теодор Амадеус — является моим кумиром и художественным путеводителем. Вот еще кому я обязан созданием своей «меры вещей». Но именно благодаря этой самой мере я не могу согласиться с тем, что Делиб повинен в какой-либо профанации, когда оп передал на свой лад сюжет сказки «Der Sandmann» *. Правда, у Гофмана царит «великий серьез»,

* «Песочный человек» *(нем.)*.

308 *ff*, -3. *Teamp*

es ist sehr ernst gemeint *, тогда как у Делиба все носит характер потешной шутки. Однако я убежден, что, если бы Гофман услыхал музыку Делиба, он первый пришел бы в безоговорочный восторг. Получилось, во всяком случае, не уродливое искажение, а нечто самодовлеющее в своей убедительной прелести.

* * *

Считая, что я уже достаточно пространно рассказал о всем моем увлечении балетом в отдельной книге4*, я не стану в этих своих общих мемуарах особенно распространяться на эту тему. Однако ряд балетных впечатлений, полученных на заре жизни, был слишком значителен для формации моей личности и моего творчества, и обойти их здесь молчанием я не могу.

В том же году, когда я «открыл» «Коппелию» и когда получал на каждом спектакле этого балета непередаваемую радость, я познакомился и с «Жизелью». Этот балет, ставший последние годы во всем мире одним из самых излюбленных, был в те годы в загоне, его давали редко, а паши балерины избегали брать на себя главную роль. Я же увидал «Жизель» случайно на каком-то утреннике 1885 г. Танцевала не Вазем, не Соколова, не Никитина, а не очень любимая публикой костлявая, несколько угловатая, некрасивая и слишком большая Горшенкова, впрочем,

считавшаяся хорошей техничкой. Зал был наполовину пуст, и, вероятно, спектакль этот был дан «на затычку»,— чтобы утешить малопленительную и лишь «уважаемую» балетоманами танцовщицу. Декорации ветхие, выцветшие, костюмы «сборные». Да и я сам забрел в театр один без Володи, не из любопытства, а так —от нечего делать. И однако, этот спектакль оказался одним из самых значительных и произвел на меня впечатление прямо ошеломляющее. Оно было настолько сильно, что я с того же дня сделался каким-то пропагандистом «Жизели». В последующие времена я в разговоре с директорами театров — с Волконским и с Теляков-ским — настаивал на ее возобновлении, причем с момента, когда стала выдвигаться юная Анна Павлова, моей мечтой было увидать ее в этой роли. Наконец, я добился от Дягилева, чтобы во второй же сезон наших балетных спектаклей в Париже была включена «Жизель» (в моих декорациях и костюмах) и именно с Павловой. На самом деле получилось не совсем так. «Жизель» мы дали, но Павлова в последний момент подвела, отказалась, соблазненная каким-то более выгодным предложением, и ее заменила Карсавина. Но от этого ни мы, ни все исполнение балета нисколько не потеряли. Успех выдался «Жизели» с Карсавиной решительный, и именно с этого триумфа это очаровательное произведение французской романтики, совершенно было позабытое на родине, делается чем-

Это очень серьезпо задумано *(нем.)*.

Вышла в английском переводе в 1941 г. **под** заглавием «Reminiscences of the Russian Ballet» [Воспоминания **о Русском балете] .**

то почти модным, и его включают в репертуар всевозможных предприятий, и самые знаменитые балерины считают за честь в нем выступать. Я не утерпел перед соблазном забежать далеко вперед и упомянуть о дальнейшей судьбе «Жизели», но, разумеется, в тот день, когда мне выдалось счастье увидать этот балет впервые, я, тогда еще безбородый юнец, не мог себе вообразить все, что должно было произойти. И на сей раз я не увлекся артисткой, исполнявшей роль Жизели, а именно самой «Жизелью», всей печальной историей героини. Исключительная прелесть этого балета заключается именно в «истории» совершенно неправдоподобной и все же с полной убедительностью переданной в необычайно сжатой форме «милым Тео», ставшим с тех нор одним из моих идеалов, а в одном случае и прямым вдохновителем: сюжет моего «Павильона Армиды» навеян одной фантастической повестью Теофиля Готье \

Впрочем, не следует умалять и значение музыки Адана. Она не принадлежит к первоклассным шедеврам, она не может идти в сравнение с музыкой Делиба (или Чайковского), но два-три номера до того удачны и милы, это такие находки, что именно они в значительной мере способствуют какому-то исключительному воздействию балета на зрителей. Особенно это касается знаменитого аллегро-луре, в котором при первом его появлении столько любовной нежности, так передано любовное счастье и которое при репризе (в сцене сумасшествия) вызывает почти невыносимо щемящее чувство. Пожалуй, не найти чего-либо, что так бы заражало настроением, как эта, как будто простенькая и все же единственная в своем роде мелодийка... В описываемый период я уже совершенно отвык от слез; тем не менее мелодия аллегро-луре (равно как и некоторые вальсы Шуберта в обработке Листа) неизменно вызывали во мне известное «щипание в носу», и я должен был удерживаться, чтобы не разрыдаться.

* * *

Следующее мое театральное балетное увлечение уже совершенно выпадает из периода «детства», но я не могу не коснуться здесь и его в связи с предыдущим. Оно является увенчанием того внутреннего процесса, какого-то вкусового созревания, которое началось с «Коппелии» и «Жизели» 5* и привело к образованию самых основ моего художественного понимания. И это театральное увлечение было вызвано балетом, но на сей раз я увлекся не каким-либо произведением (как это было с «Коп-пелией» и «Жизелью»), а произвела на меня глубочайшее впечатление исполнительница, артистка. То была Вирджиния Цукки, появившаяся в Петербурге летом 1885 г.5 Мне только что минуло тогда пятнадцать лет, но во многих отношениях я себя чувствовал старше и был несравненно развитее большинства своих сверстников. Посему и мое увлечение Цукки нельзя отнести к каким-либо детским ошибкам.

5* В этом процессе оказала немалое воздействие и итальянская опера.

Повторяю, я не хочу здесь возвращаться к тому, что изложено в моих специально балетных воспоминаниях. Ограничусь напоминанием нескольких фактов. Впервые я вижу Цукки в конце нюня или в начале июля в оперетке «Путешествие на лупу» в

загородном театре антрепризы Лен-товского «Кинь грусть>>. В этих выступлениях итальянская балерина появлялась в небольшом и довольно скромном танце, не имевшем отношения к сюжету оперетки. Ее еще не знает широкая публика, и она танцует при пустующем зрительном зале. Я сразу подпадаю под шарм совершенно повой ее манеры, покидаю театр с ощущением чада в голове и затем предпринимаю раз пять то же длинное путешествие на Острова, только чтобы в течение трех-четырех минут любоваться, как под музыку популярного, но довольно пошленького вальса «Nur für Natur» * Вирджиния, точно подгоняемая каким-то дуновением зефира, пятясь мельчайшими шажками, скользит по полу сцены. В этом танце была самая подлинная поэзия, публика не могла оставаться равнодушной и требовала еще и еще повторений. В середине июля я уезжаю на полтора месяца гостить в имение в Харьковскую губернию и по возвращении застаю уже совершенно иную картину, совершенно иное настроение. Теперь о Цукки говорит весь город, а вовсе не одни только балетоманы. Места в тот же недавно пустовавший театр «Кинь грусть» берутся с бою, и без помощи барышников туда не попасть. Этот фантастический взрыв успеха артистка завоевала выступлением в отрывках балета «Брама» — и особенно она потрясла зрителей в сцене, которая ей давала возможность показать всю силу своего темперамента6, всю бесподобную убедительность ее мимики. Мое начавшееся увлечение вступает в новый фазис, и я начинаю «безумствовать». Когда же становится известно, что Цукки после своего выступления перед царской семьей в Красном Селе ангажирована с осени в наш Большой театр, то я готовлюсь к этому счастью с каким-то особенным возбуждением. Мой друг Володя вполне разделяет мою лихорадку, и мы являемся в театр на первое выступление Цукки на императорской сцене, как на великий праздник, готовые и к тому, чтобы, в случае надобности, вступить в борьбу против той кабалы националистически настроенных балетоманов, которые якобы поклялись устроить скандал заморской звезде. Но никакого скандала не получилось; видимо, кабала «поджала хвост» перед тем энтузиазмом, который Цукки возбудила, как только выступила в виде оживленной мумии дочери фараона. Весь спектакль прошел затем при сплошпых бешеных овациях, аплодисментах и криках, а временами слышался резкий голос в. к. Владимира, доносившийся из нижней царской ложи (-где обыкновенно сидели «августейшие»), голос, произносивший на весь театр слова: «Браво, Цукки».

И действительно, то, что увидал тогда Петербург, было нечто совершенно новое. Куда девалась известная академическая

чопорность, считавшаяся одним из главных достоинств русской балетной школы? Не только Цукки воплощала собой жизнь девушки, полной страсти, любви

* «Только для природы» *{нем.)*.

и нежности, но все вокруг нее были заражены «эманациями ее гениальности». Гердт был прямо неузнаваем. Он вдруг утратил всякий намек на привитую ему казенную выправку, он был совершенно заодно со своей новой партнершей. «Дочь фараона» — этот громоздкий, тяжеловесный, бесконечно длинный и уже тогда успевший стать старомодным балет выбрала себе для бенефиса Евгения Соколова, но она внезапно заболела, и вот только что прибывшую из-за границы Цукки заставили, чтобы спасти положение, в одну неделю разучить роль Аспичии, в сущности мало для нее подходящую. И произошло следующее: когда после нескольких недель выздоровевшая Соколова в свою очередь предстала перед публикой в той же роли, то это показалось до того пресно, тускло, что даже самые ее верные поклонники не могли скрыть своего разочарования. Правда, Соколова провела свою роль с большим благородством, более приличествующим царевне, но что это значило после волнующей жизненности Цукки?

Вся сила искусства Цукки заключалась именно в том, что это была сама жизнь, она не исполняла какой-либо порученной ей роли, а вся превращалась в данное действующее лицо. Сам Мариус Петипа, сначала споривший с поступившей иод его начало новой артисткой, постепенно подпал под ее шарм; вернее, будучи сам подлинным художником, он оценил по-должному то, что было в Цукки «самого главного», что горело в ней подлинным священным огнем.

II тогда раздавались голоса критиков, ипогда п очень злобные. Если память мне не изменяет — это С. А. Андреевскому принадлежит стихотворение, имевшее большой успех среди балетоманов старой школы, начинавшееся со строк: «Все Цукки да Цукки, знакомые штуки»... и в заключение прославлявшее имена вполне классических танцовщиц — «священные тени Лимидо, Дельэры» 7. Вообще критики ставили в вину Цукки самую необузданность, с которой выражались ее чувства, и то, что в этом было нечто чересчур человечное, следовательно, вульгарное. Раздавались и критики чисто технического порядка: сожалели, что она танцовщица terre à terre *, что в ней «мало баллона» 8, что она недостаточно высоко подымается над полом

сцены. Но можно ли вообще говорить о таких недочетах, когда налицо главное, и это главное есть жизнь. Бывают художники, перед глазами которых как бы отверсты небеса, и они беседуют непосредственно с ангелами и богами. Это чудо чудесное, и человечество вправе видеть в них представителей какого-то высшего начала. Таковы Сандро [Боттичелли], Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Тииторетто... Но иные художники остаются на земле, они «лишены полета», и однако они действуют на нашу душу с неменьшей силой, а в общем они даже ближе к нам, более доступны, более родственпы.

К таким земным, почвенным и все же пропитанным поэтичностью явлениям принадлежала и Цукки. Это не была сильфида (и едва ли она была бы хороша во втором действии «Жизели», когда бы ей пришлось

* Приземленная *{франц.)*.

изображать бесплотную виллис), но там, где требовалось присутствие на сцене олицетворения женщины и всего чисто женского обаяния, там Вирджиния была незаменима и являла предельную убедительность. Невозможно было не верить, что она искрение переживала те чувства, которые она выражала и не только мимикой своего отнюдь не красивого и, однако, сколь значительного и милого лица, но и всеми движениями своего тела — то порывистыми, то бурными, то мягкими и нежными до предельной степени. И опять-таки этот ее удивительный дар говорить без слов выражался не только в драматических сценах, по и в любом танце. Я помню, например, тот, не столь уже замечательно поставленный и чуть нелепый танец, который она исполняла во втором акте «Дочери фараона» на празднике, устроенном ее царственным отцом в честь прибывшего в качестве жениха Нумидийского царя. В афише этот номер значился под загадочными словами «Danse dn Théorbe oriental» *. И вот даже в этом курьезном, чуть угловатом танце Цукки была умилительна и трогательно прекрасна. Я знаю людей, которые плакали, буквально проливали слезы на спектаклях Цукки и вовсе не потому, что данная драматическая ситуация в балете становилась уже очень щемящей, а потому, что это было так хорошо! И хорошо это было потому, что было исполнено жизни, что здесь налицо было то искусство, в котором уже не видишь и тени искусственности. Настоящее чудо!

Глава 4 КУШЕЛЕВКА

Должно быть, желание быть поближе к своей старшей дочери, ожидавшей рождения второго ребенка, а также необходимость для папы часто бывать на постройке колокольни при церкви на Католическом кладбище (на Выборгской стороне) побудили моих родителей летом 1877 г. поселиться на Кушелевке. Здесь уже второй год жила сестра Камишень-ка со своим Матом и с первенцем Джомми. Кушелевкой называлась дача иод Петербургом графов Кушелевых-Безбородко, расположенная, не доезжая Охты, по набережной Невы. Рядом по Неве стояли и другие роскошные и менее роскошные дачи, среди которых особенно выделилась в дни революции 1917 г. дача Дурново с ее торжественной колоннадой. <..-> Недалеко от нее сохранилась и другая барская дача изящной классической архитектуры, служившая резиденцией директора чугунолитейного завода. Однако ни этот домик, ни дача Дурново не могли идти в сравнение с Кушелевкой.

В 50-х годах ХÍХ в. пышный и расточительный граф Кушелев мог еще, не рискуя ударить в грязь лицом, дать во дворце своего предка — знаменитого канцлера, пристанище «самому» Александру Дюма-отцу *,

* «Танец восточной теорбы»9 *(франц.)*.

и в эти годы на Кушелевке протекала роскошная, полная барских прихотей жизнь. Но с тех пор под боком у парка выросла па Охте английская бумагопрядильная фабрика, и одно ее красное здание, с трубой, выбрасывающей клубы черного дыма, и с ее непрестанным шумом, совершенно изменило характер всей округи. Кроме того, пробудившаяся страсть к наживе посредством продажи земельных участков толкнула и наследника графов Кушелевых, графа Мусина-Пушкипа, расстаться с некоторой частью своей усадьбы, и как раз в 1875 г. было построено на одном из таких участков (в двух шагах от дворца) другое, не менее грандиозное, нежели бумагопрядильная фабрика, здание — Славянский пивоваренный завод, тоже с трубой, с дымом и со своими своеобразными шумами.

Склонностью графа Мусипа-Пушкина «реализировать» свои земли воспользовался и мой дядя Сезар Кавос — человек и сам по себе предприимчивый, а тут еще подпавший под влияние нового члена нашей семьи, мужа моей сестры Камиллы М. Я. Эдвардса, уговорившего дядю вложить некоторый капитал в каиатиую фабрику. Под это предприятие и был дядей приобретен еще один значительный кусок парка, и в 1876 г. было там заложено первое здание завода, выросшего затем в течение нескольких лет в целый фабричный поселок.

Обе фабрики, пивоваренная и бумагопрядильная, расположенные на берегу Невы, теснили с двух боков усадьбу, созданную для досугов ека-терининского вельможи, тем не менее в 1877 г. и дворец, построенный Кваренгиz, и гранитная пристань, спускавшаяся монументальными лестницами до самой Невы, а также и многие постройки, разбросанные по парку, были еще в целости. Несколько комнат во дворце снимали в первое время после замужества Эдвардсы, и я помню ту пустую, отделанную под гладкий мрамор залу, в которой под огромной люстрой в полной диспропорции ежился их маленький круглый обеденный стол. Вход к сестре был из сада, но пе через дверь, а через окно, к которому приходилось подыматься по чугунной, пристроенной к фасаду лестничке, тогда как из сепей дворца не было хода в их выкроенную из парадных апартаментов квартиру. Эдвардсы прожили там лишь год с небольшим, а затем переехали в домик, стоявший неподалеку в парке и, наконец, поселились в специально построенном доме уже в непосредственном соседстве с канатным заводом.

При прежних хозяевах в самом парке, немного в стороне от дворца, было выстроено несколько дач, частью служивших помещением для гостей, частью сдававшихся внаем. Самый милый из этих домиков, украшенный балконом на четырех колоннах и стоявший довольно близко от входных ворот, сняли мои родители, отделив половину его педавно тогда жепившемуся брату Альберу. На других же кушелевских «дачах» проживали приятель М. Я. Эдвардса — шотландец Нетерсоль с женой и двумя малолетними дочерьми, милейшее немецкое семейство Лудвигов и еще какие-то господа, ire нарушавшие общей мирной гармонии, царствовавшей между дачниками. Единственно, что в тот первый наш кушелевский год впосило некоторый диссонанс, — это то, что самая крупная из дач

была сдана под общежитие пришлых издалека (не охтенских) рабочих, занятых на начавшем уже свою деятельность канатном заводе, но и этот люд вел себя тихо и скромно. Их даже никогда не было видно в нашей части парка; они рано уходили на работу, когда еще все спали, возвращались в полдень часа на два для обеда и отдыха и снова приходили вечером на ночевку, причем путь их через парк лежал в стороне от нашего обиталища. Никаких скандалов и пьяных дел мне не запомнилось.

На Кушелевке мы жили в 1877, 1878 гг. и затем еще в 1882 г., и вот эти три лета дали мне очень много. Разумеется, я тогда не мог вполне сознавать то, чему я был свидетелем, а именно, что на

моих глазах происходило разложение остатков славного прошлого; но когда папочка бранил меркантильность графа Мусина-Пушкина, когда он с горечью вспоминал, какой Кушелевка была в дни его молодости, когда Лудвиги мне рассказывали про те празднества, которых они сами «совсем еще недавно» были свидетелями, когда другие старожилы сообщали подробности о том, какие в парке стояли статуи и вазы и как чисто содержались каналы, по которым скользили золоченые гондолы, то все это вызывало во мне смутную печаль, а то, что доживало свой век на прежних местах, пробуждало во мне род тревожного предчувствия, как бы и это **все** не погибло. Оно и погибло, но уже значительно позже.

За год до того, как мы поселились на Кушелевке, и как раз, когда строился Славянский завод (строителем которого был мой двоюродный брат Жюль Бенуа), я в первый раз посетил Кушелевку, и в это первое мое посещение меня больше всего поразила Руина. Это была одна из тех затей, в которых, в предчувствии романтических веяний, уже в XVTÍT в., выразилась мечта о средневековье. Руина эта, построенная в дни Екатерины знаменитым Кваренги (изображение ее имеется в увраже, посвященном его творению), должна была представлять развалины замка, с «уцелевшей» круглой башней. О Кваренги я тогда не имел никакого понятия, о средневековье — весьма смутное и скорее «сказочное», зато я, как многие дети, был легко возбуждаем всем, что просто носило отпечаток таинственности. Не возьми меня тогда папа за руку, я бы ни за что не решился пройти мимо этих поверженных на землю грандиозных колонн и карнизов и взобраться по заплесневелым валким ступеням нескончаемой, как мне показалось, винтовой лестницы. Но с папой страх исчезал, а вид, открывавшийся с верхней площадки Руины, мне очень понравился. По ту сторону Невы, отражаясь в ней, сияли главы Смольного монастыря, на первом плане возвышалось внушительное здание Безбородкинского дворца, по другую сторону — сливался с далекими лесами парк, в котором белели павильоны и статуи. Там же, где готовилось сооружение пивоваренного завода, почва была вся разрыта для фундамента, лежали груды мусора, балки, доски, кирпичи. Естественно, что, когда мы в 1877 г. поселились на Кушелевке, я первым долгом попросился на Руину, но оказалось, что Руины больше нет; ее «пришлось снести» под какие-то сараи для пивных бочек и, мне кажется, что именно тогда я в первый раз понял (не зная **самого слова)** ужас художественных ван-

дализмов. Я даже возненавидел своего кузена Жюля, по распоряжению которого совершился этот чудовищный поступок, погубивший то самое, что в памяти у меня осталось, как чудесный сон.

Наше поколение, заставшее еще массу пережитков прекрасной старины и оказавшееся в то же время свидетелем начавшейся систематической гибели этой старины под натиском новых жизненных условий (и теорий), не могло не воспитать во мне какую-то особую горечь при виде совершавшегося процесса, находившегося в связи со все большим измельчанием жизни. Все па свете подчинено закону гибели и смены. Все старое, отжившее и хотя бы распрекраснейшее должно в какой-то момент уступить место новому, вызванному жизненными потребностями и хотя бы уродливому. Но видеть, как распространяется такая гангрена и особенно присутствовать при том моменте, когда гангрена только еще чего-либо коснулась, когда обреченное тело в целом кажется еще здоровым и прекрасным,— видеть это доставляет ни с чем не сравнимое огорчепие. Подобные ощущения чего-то бесконечно печального и жалкого, испытанные мной в детстве, оставили глубокий след на всю жизнь. Они, несомненно, предопределили мой исторический сентиментализм, а косвенно мои «кушелевские настроения» сыграли свою роль в образовании того культа прошлого, которому в начале XX в. со мной во главе отдавалась значительная группа художественных деятелей, ставящих себе целью убереже-ние исторических и художественных ценностей. От «моей» Кушелевки к созданию «Художественных сокровищ России» **, к работе в редакциях «Мира искусства» и «Старых годов», наконец, к образованию «Общества охраны памятников» — лежит прямой путь 3.

Кушелевский парк, называвшийся также Безбородкинской дачей, занимал неправильный четырехугольник, тянувшийся одной стороной по Неве и уходивший в глубину, пожалуй, на целую версту. Почти посреди набережной стоял (а, может быть, уцелел и до сих пор) летний дворец канцлера киязя Александра Андреевича Безбородко, состоявший из массивного трехэтажного корпуса с фронтоном и двумя круглыми башенками но бокам. От этого корпуса шли полукруглые галереи, упиравшиеся в два флигеля, выходившие на самую набережную. От одного флигеля к другому тянулась ограда, состоящая из ряда сидящих львов, через насти которых была продета тяжелая железная цепь. Двое ворот закрывали вход в передний палисадник, усаженный кустами сирени. По другую сторону набережной улицы, ровно против середины дворца, была расположена гранитная терраса с железными решетками и гранитными же сфинксами. По бокам

террасы, по склону берега, спускались к нижней площадке две, тоже каменные лестницы, а под террасой был род сводчатого погреба (какие мы видим на композициях Гюбера Робера), служивший в 70-х годах жилищем для рыбаков. От этого «грота» к воде во всю ширину пристани шли опять каменные ступени.

** «Художественные сокровища России» — художественно-исторический сборник, созданный мной в 1901 г.

316

II, 4. Кушелевка

В сад Безбородкинский дворец выходил террасой с перильцами кованого железа. Широкая липовая аллея, подходившая к самому садовому фасаду, была уставлена по обе стороны мраморными бюстами римских императоров; она доходила до моста, украшенного опять-таки львами, а конец этой аллеи упирался (с 1877 г.) в деревянный забор, отделявший участок завода «Нева» от остального парка. Слева от дворца, в саду под деревьями возвышалась грациозная беседка, так называемый «Кофейный дом», похожий па Турецкий павильон в Царском Селе. Внутри этот дом был расписан по желтому фону птицами и арабесками, но уже в 1877 г. он служил складом всякой рухляди и, глядя через щель в запертой двери, можно было различить внутри груды ломаных скульптур вперемежку со скамьями, столами, частями решеток н с садовыми инструментами. Еще более влево от дворца стояла до 1878 г, па доволыто открытом месте помянутая Руина, назначение которой было служить «бельведером», а рядом находился построенный в стиле английской готики дом управляющего, в котором в наше время варил свой портер и джин-джербир помянутый мистер Нетерсоль. Около готического дома возвышалась простая триумфальная арка, через которую, как гласило предание, пе раз въезжала па праздники, дававшиеся графом Безбородко, сама матушка Екатерина Великая. Вправо от дворца парк был замкнут со стороны набережной глухим дощатым забором с каменными столбами. Ближайшие к Охте ворота в нем и вели к дачному поселку, в котором жили и мы. Почти у самых ворот, рядом с небольшой двухэтажной желтой дачей сохранился гранитный пьедестал, па котором когда-то стояла ваза, каменная крышка которой все еще валялась тут же в траве; другая прекрасная ваза полированного гранита уцелела недалеко от завода моего зятя. Кубический домик с купольным прикрытием (типичный для Кваренги), рядом с нашей дачей, служил жилищем полуглухому дворнику Сысою и его сварливой старухе; по когда-то эта сторожка была бапей-купальней, и сам Александр Дюма в ней парился.

Запущенная дорожка вела от ворот в глубину парка, изобиловавшего деревьями всевозможных пород. Столетние дубы, березы, липы, ели стояли то сплоченными рощами, то образовывали цептр небольших полянок. Дорожка приводила к деревянному «китайскому» мостику, от китайского убора которого оставались лишь жалкие обломки. Однажды хрупкие перила этого мостика, на которые неосторожно облокотился кто-то из наших гостей, подломились, и он едва не сломал себе шею, упав в неглубокие воды канала. С тех пор ветхие узорчатые перила были заменены новыми, простыми, но прочными, да и весь мостик переделан на простейший лад.

За мостом возвышалась «горка», обязательная в каждом парке, она вся заросла кустами волчьих ягод, которых я, несмотря на их ядовитость, безнаказанно съедал целые гроздья, поражая всех своим бесстрашием. Еще через несколько шагов за изгибом канала открывался вид на главную диковину Кушелевского парка — на Кварепгиевскую ротонду, пожалуй, слишком колоссальную по месту, но являвшую собой образцовый

памятник классической архитектуры. Ротонда состояла из невысокого гранитного основания и из восьми величественных колонн с пышными коринфскими капителями, поддерживавшими плоский купол, богато разукрашенный внутри лепными кессонами. Колонны были белые, крыша зеленая. Еще в 60-х годах эта монументальная беседка служила сенью для памятника Екатерины II в образе Кибелы, но в мое время статуи уже там не было, и говорили, будто ее граф Кушелев подарил государю. Не та ли это статуя, что стояла в царскосельском «Гроте»? Сама же ротонда Кваренги простояла, несмотря на отсутствие каких-либо ремонтов, в полной целости до 90-х годов, и только тогда она была продана на слом за грошовую сумму моей кузиной Соней Кавос, которой но наследству от отца принадлежала эта часть парка 2*. Она же лет через пятнадцать нанесла последний удар Кушелевке, продав свою землю по участкам, на которых вскоре выросли самые ордииарные дома и домишки. Лишь кое-где уцелевшие среди них деревья и полузасохшие пруды продолжали напоминать о том, что когда-то здесь была расположена одна из самых великолепных барских усадеб.

Влево от ротонды был расположен славившийся когда-то, но постепенно совершенно запущенный фруктовый сад, от которого уцелели лишь несколько кустов одичавшей малины и крыжовника; далее, за главной аллеей у моста со львами открывался вид на первый большой пруд, в водах которого

отражались два соединенных одной общей мраморной лестницей павильона. Эти постройки, стоящие уже на территории, принадлежавшей Славянскому заводу, напоминали петергофские Озерки.

Первый пруд соединялся посредством пролива со вторым, находившимся в полном владении моего зятя и славившимся своими белыми и розовыми водяными лилиями. Здесь местами на берегах можно было различить остатки гранитных пристаней с терракотовыми скульптурами и здесь же стояла «ферма» — большая, выкрашенная в красный цвет постройка с круглой башней, похожая на ферму в Царском Селе. Рядом с ней по разбитым мраморным чашам и но уступам из пористого камня стекала ржавая вода, проведенная по прямому канальчику от железного источника деревни Полюстрово. Деревня эта тянулась «в глубь страны)) приблизительно на версту по обеим сторонам помянутого канальчика, воды которого становились все краснее и краснее по мере приближения их к своему источнику. У самого же источника канал расширялся в виде «ковша», на берегу которого вытяЕгулось длинное, выкрашенное в темно-красный цвет здание «Заведения минеральных вод», пользовавшегося значительной славой в 40-х и 50-х годах, но влачившего в наше время самое жалкое существование. В запущенном саду этого «Заведения» оставался от прежнего блеска один лишь киоск для музыки и какие-то но-

Я узнал недавно, что в момент продажи на слом ротонда представляла из себя развалину. Чудовищная буря, пронесшаяся над Петербургом, сорвала с нее крышу и повалила одну из колонн.

318

II, 4, Кушелевка

кривившиеся бараки для лавочек, но уже в паши дни музыка никогда здесь не играла, а лавочки стояли заколоченными, из чего явствовало, что вера в целебиость «железной воды» была поколеблена. Соответственно с этим дачи в Полюстрово, когда-то населенные довольно зажиточными людьми, теперь снимались исключительно мелким людом. Прямо за деревней Полюстрово начинался лес, пастоящий лес, куда мы ходили собирать чернику и грибы и в котором, говорили, водились волки и лисицы. С другой стороны Полюстрова открывался далекий простор полей и огородов, а вдали, у самой линии горизонта едва блистали купола церкви на Пороховых заводах.

Эта относительная близость с Пороховыми сообщала Кушелевке в моем представлении особенную «тревожную прелесть». Лудвиги рассказывали, что в день «большого взрыва»,

произошедшего за несколько лет до нашего поселения, все окна дач Безбородкинского дворца, Полюстрова и по всей Охте были выбиты, а земля дрогнула, точно от землетрясения. Проверить такое редкостное ощущение мне не пришлось, но вид Пороховых доставлял пищу моей фантазии. С одной стороны, я боялся, чтобы снова не произошло такого же взрыва, с другой, мне хотелось что-либо в этом роде пережить. Ведь ребенок уверен, что никакая катастрофа его коснуться не может. Во всяком случае, такая уверенность жила в детях тогда, ну а теперь, пожалуй, и у детей подобный «оптимизм» поколеблен.

* * *

Отчетливо запомнился мне самый момент нашего водворения в Кушелевке в 1877 г. Мы переехали очень рано, вероятно, в начале мая, когда деревья стояли еще голые, а трава только начинала зеленеть, оправляясь от зимней летаргии; однако уже масса нежных белых подснежников и других лиловеньких цветочков пробивалась и пестрела по буро-зеленому фону. Здесь, в тот самый вечер я увидал недалеко от нашей дачи старенького господина, собиравшего букетики именно этих простеньких цветков— для своих, как это он нам поведал, внучат. Старичок тщательно завертывал поникшие цветики и слабенькие стебельки в свой клетчатый платок, и эта картина имела в себе что-то ужасно печальное. Да и самый день выдался серый, унылый, воздух был холодный, а местами все еще лежал снег. Шумевший вокруг парк казался пустым и неˆ-приветливым.

Остался у меня в памяти л первый вечер, проведенный на новом месте. Снятые с только что прибывших возов ящики загромождали пустую дачу. Сено и солома, которыми они были набиты для предохранения посуды от ломки, лежали ворохами на полу, а тарелки, блюда, миски, стаканы, кастрюли стояли с осиротелым видом группами и рядами прямо на полу или на подоконниках и на стульях. На лицах у мамы и у прислуг было то выражение отчаяния, которое у них всегда бывало в этих случаях. Слышались слова: «Один голубой соусник разбит», «Боже мой,

забыли кофейную мельницу», «Все ли салфетки?», «Цела ли хрустальная сахарница?» Мамочка с напускной строгостью, а Степанида и Ольга ласково взывали, чтобы я посидел спокойно, перестал разрывать солому и оставил бы в покое разные ломкие предметы. Я же, как назло, любил переезды именно из-за того состояния кочевого развала, который при этом получался, и я не в силах был совладать с совершению особенным возбуждением. Начинало темнеть, а я все еще продолжал шмыгать между ящиками и чемоданами или же глазел в три высоких, лишенных занавесок окна на большой, общий для нескольких дач двор, куда меня из-за стужи не пускали, но который меня поэтому особенно манил. Больше всего меня поразили стаи ворон, с неистовым криком кружившихся вокруг макушек деревьев, отчетливо, всеми своими еще голыми веточками выделявшихся на блеклой заре.

А рано утром меня разбудил странный «шум водопада». Это

заработала бумагопрядильная фабрика, стоявшая тут же, за забором, через улицу. Из открытых во всех этажах ее окон вырывались трескотня и сверление сотен прядильных станков, и вот это на известном расстоянии и сливалось в могучий гул, не лишенный даже какой-то приятности и похожий на шум водопада. Впрочем, к нему быстро привыкали, и даже настолько, что иногда казалось, что фабрика перестала работать и молчит, тогда как ее жужжание и грохот продолжались с утра до вечера с неугомонным неистовством.

С первого же утра началось для меня «исследование окружающей местности». В те времена доставляло мне особое наслаждение, но и ныне я испытываю обостренное любопытство каждый раз, когда оказываюсь среди чего-то, до того невиданного. День был ясный и теплый. Хоть на деревьях еще не было листьев, хоть клумбы нашего собственного садика были еще без цветов, хоть были будни, а не воскресенье (иначе фабрика бы не гудела), хоть в доме все еще шла возня по уборке и мне некуда было приткнуться — мне казалось, что над Кушелевкой веет праздничное настроение.

Исследование началось с ближайшего — с самой дачи. Не особенно внушительная снаружи, внутри она оказалась довольно просторной и объемистой. Такому впечатлению способствовал зал, занимавший всю середину дома и выходивший окнами в одну сторону на двор, в другую на передний садовый балкон. Вся правая от зала анфилада из четырех комнат предназначалась под семью брата Альбера и стояла пока пустою, в левой анфиладе я выбрал себе третью комнату, перед ней была спальня папы и мамы, за ней — комната моей бонны, первая же из залы комната была устроена под папочкии кабинет.

Насупротив этого кабинета и тоже с выходом в зал помещалась «чертежная брата», и вскоре там закипела работа его помощников — двух братьев Домбровских, необычайно добродушного Карла (которому, мне кажется, я обязан своими польскими симпатиями) и Владислава, ставшего впоследствии видным архитектором у себя на родине, в Польше. Красивое матовое лицо Карлуши с острою подстриженной бородкою и

великолепными усами, всегда улыбавшееся, всегда ласковое, а также вся его аккуратненько и чистенько одетая, довольно плотная фигура, живет в моей памяти с полной отчетливостью именно на фоне окон нашей ку-шелевской дачи, в которые через деревья кое-где сквозили стены Красной фабрики. Я точно слышу и мягкую картавую речь Карлунш, его изящный польский акцент.

«Меня нисколько не тревожит этот шум,—была его первая фраза после проведенной ночи,—я под него спал прекрасно, мне казалось, точно я па Иматре».

Кухня помещалась в отдельной избе, соединенной с господской поло-виной крытым переходом, по валким доскам которого (вся дача была очень древняя и, вероятно, десятки лет не реставрировалась), я поминутно бегал, так как из этого перехода я попадал и в небольшой дворик, отделенный сквозным трельяжем от настоящего сада. Это огороженное, замкнутое со всех сторон место я выпросил себе, и оно стало особенно милым с момента, когда выросшие бобы совершенно закрыли зеленый переплет трельяжа и стало здесь, «как в комнате». Мне этот дворик сразу так понравился, что я чуть ли не в первый же день стал устраивать в нем «свой собственный сад», принялся проводить годные для лилипутов дорожки, обкладывать их камушками, рыть канавы и круглые бассейны — причем, к огорчению бонны, самым жестоким образом пачкался. Увы, первый же дождь размыл мои труды, после чего уже заправский садовник посадил там резеду и душистый горошек, что и придало моему садику прелестный вид и чудесный аромат.

Ото замкнутое уютнейшее место стало моей обычной резиденцией, так как и в дождь там можно было укрыться под навесом кухонного перехода. Здесь, за низеньким своим столиком я рисовал, разглядывал книжки с картинками, здесь же в исключительных случаях я поил шоколадом девочек Нетерсоль и маленьких дочерей какого-то фабричного управляющего. Иногда в садике разбивалась палатка, для чего, как я уже рассказывал, ставилась метла, на нее накидывался старый плед, концы которого привязывались к четырем колышкам. Мама не очень поощряла эту последнюю забаву, ибо, забираясь в палатку со своими гостями, я уже уходил из-под надзора старших. Однако в те годы всякие опасения, как бы Шуренька не вздумал «делать глупости с этими девочками», были напрасными. Да и подруги мои были такие тихие, скромные, робкие. Мне стоило больших трудов хоть немного развеселить их. Шоколад и другие лакомства они вкушали с фасоном, и все спешили уйти, не поддаваясь соблазну разглядывать картинки или сыграть партию в лото. Вообще же страсть к палатке была во мне до того сильна, что в дождливые дни я ее устраивал в полутемной зале. Если щетку я ставил прямо, то получался скорее большой зонт и сдашком все было открыто, но если ее наклонить, а плед привязать к положенным на бок стульям, то выходило нечто, подобное жилью бедуина, и все это представлялось верхом укромности. Как становилось тепло и даже жарко в этом убежище, несмотря на то,

что через открытую на балкон дверь проникал сырой воздух и видно было, как лили дождевые потоки. Совершенно не страшна была гроза, когда

//, 4. Кушелевка

321

чувствовал над собой не только крышу дома, но еще и мою собственную крышу, образованную пледом. Однажды, впрочем, когда уже очень в этом «обиталище кочевника» стемнело, я чуть было не наделал пожара, вздумав — для придачи уюта — зажечь в нем взятую с рояля свечу. Услыхав запах горелой шерсти, мама вбежала в ужасе, но все обошлось благополучно, и лишь большая дыра в пледе осталась напоминанием о том, что большие называли «Шурииой шалостью».

Вселенье через несколько дней после нас Альбера с семьей очень оживило наше житье-бытье. В то же время оно сразу лишило его тишины. Сам Альбер, настоящий природный «душа общества», не мог долго оставаться в покое, но так как из Кушелевки трудно было предпринимать пикники (проектировавшийся пикник в Шлиссельбург па пароходе так и не состоялся), то эта его способность выражалась здесь во всяких домашних увеселениях. Как раз дни рождения отца, именины мамы, Ка-миши и жены Альбера представляли ему желанные предлоги для фестивалей, иллюминаций и фейерверков. Особенно мне осталось памятным празднество 22 июля (именины Марии Карловны), когда наш затейник вздумал усовершенствовать традиционную иллюминацию тем, что бесчисленные фонари оп изготовил домашним способом из пестрого ситца. Часть молодежи (откуда только он ее набрал!) пилила и рубила деревянные дощечки, служившие донышком для фонарей, другая сшивала самую материю, третья (я в том числе) сверлила дыры для свечей. Надлежало, кроме того, приколачивать материю гвоздями к дощечкам, приделать проволочные подвески и обтачивать слишком толстые стеариновые свечи. Возни было много, всякого добра испорчено без счета, а эффект не оправдал этих усилий и затрат. Он получился настолько тусклый и неказистый, что пришлось все же прибегнуть к традиционным бумажным фонарям, благо у нас всегда бралась их на дачу целая большая корзина.

Не надо при этом думать, что Альбер был каким-то тунеядцем и бил баклуши. Он тогда вел уже вполне самостоятельные постройки и, кроме того, по службе в «Страховом обществе» постоянно должен был отправляться на пожары или на погорелые места в разные концы города, а то и предпринимать далекие поездки по провинции для составления

оценок или для проверки погибшего имущества. Надо при этом заметить, что зрелище пожаров доставляло ему столько же удовольствия, сколько иллюминации и фейерверки. С жадностью слушал и я его возбужденные рассказы о них, и особенное впечатление производили на меня по памяти набрасываемые им изображения этих бедствий. С этого же лета 1877 г. он с удвоенным рвением стал заниматься этюдами с натуры, что постепенно и создало ему большое имя в художественном мире и благодаря чему он впоследствии зарабатывал немало денег.

Особенно излюбленным местом для его живописных этюдов была невская «тоня», находившаяся как раз недалеко от ворот парка. Под тоней подразумевается рыболовное предприятие артельного характера. Наша тоня состояла из деревянной, утвержденной на сваях пристани, на которой помещался ворот (кабестан) для наматывания невода и деревянная

\\ А. Бенуа

322

//, 4. Кушелевка

лачужка, служившая жилищем для рыбаков. О тоне я говорю подробнее дальше. Сидя па помосте тони, можно было любоваться удивительными видами: прямо насупротив высились церкви и часовни Смольного монастыря, слева по берегу было расположено предместье Охта с ее церковью и с громадными старинными верфями; вправо виднелись далекие маковки и шпили петербургских церквей и водонапорная башня. Особенную живописность придавали пейзажу пестро расписанные дровяные барки, коими были заставлены оба берега реки или которые плыли гуськом, привязанные к буксиру. Сколько раз Лльбер возвращался к этим действительно бесподобным мотивам. Вообще он не знал усталости. Если вечер выдавался ясный, с теми удивительными небесами, какие только и можно видеть в Петербурге, да еще в Венеции,— то он, едва вернувшись со службы часов около шести, наскоро закусив и забрав свои художественные принадлежности, летел со всех ног на тоню. И то художественное возбуждение, которое им тогда овладевало, способствовало успеху. Это лето было одним из важнейших в его развитии, и «кушелевские» акварели Альбера Бепуа, сделанные с редкой уверенностью и простотой в порыве энтузиазма, я лично предпочитаю всему остальному в его. творении 3*. В них еще нет и намека на те влияния, которым оп подвергся в позднейшее время, когда он сделался любимцем публики и российской знаменитостью. Останься Альбер таким, каким он был в те ранние годы, он приобрел бы со временем европейское имя. Таких художников, каким он обещал быть, немного и на Западе.

Надо прибавить, что подвижность Альбера не была беспокойной для других, назойливой, шумливой. Правда, он тащил с собой всякого, кто ему попадался по дороге, вследствие чего ему приходилось затем работать в окружении довольно густой группы, что ничуть ему не мешало, по те, кто имел достаточный характер, чтобы противостоять этому урагану, оставались на месте, да и сам этот ураган уносился куда-то далеко от дома. Иным образом нарушала спокойствие и тишину нашего обиталища молодая жена Альбера. На следующее же утро после их приезда был доставлен на Кушелевку большущий рояль Шредера, и не успел он несколько отстояться, как уже Мария Карловна принялась на нем играть гаммы и этюды и разучивать разные труднейшие пьесы. Эта ученая и учебная музыка наполняла в течение шести часов в день наше кушелев-ское уединение. Что в сравнении с этим ближайшим громом представлял собой отдаленный «водопадный» рокот Красной фабрики. Игра профес-

Куда девались эти ранние этюды Альбера? Большинство их было раздарено им, а то и растеряно. И все же масса оставалась еще в его папках, но была распродана в тяжелые годы революции, особенно на той сепаратпой его выставке, которая была устроена в Доме искусства. Как я ни умолял тогда Альбера не прельщаться обесцененными деньгами,— ведь инфляционные «миллионы» не стоили на самом деле и десятков прежних рублей! — он не в состоянии был удержаться от соблазна эти «миллионы» получить и тут же превращать их в несколько фунтов картошки и муки.

//, 4. Кушелевка

323

сиональной пианистки была в то время чем-то совсем иным, нежели на слух подобранные марши и контрдансы папы или робкая игра по нотам мамочки, или даже блестящие импровизации того же Альбера. Тут каждая пота выстукивалась с редкой отчетливостью, а вереницы их кружились по гулким полупустым комнатам и градом выливались в сад. Даже уходя подальше в парк, я продолжал слышать рулады, пассажи, трели и арпеджио Марии Карловны. Меня особенно раздражало то, что и вещи, которые мне нравились, например рапсодия Листа или вальс Рубинштейна, Мария Карловна расчленяла, то и дело обрывая на полуфразе и возвращаясь по нескольку раз к тому же не дававшемуся ей пассажу. Музыка эта мешала слушать чтение моей бонны или же вести какой-либо связный разговор. Уже тогда проявлялось мое, довольно неудобное свойство: любая музыка, будь то даже простая гамма или «Чижик», неминуемо вызывает во мне состояние специфической рассеянности и какую-то

неспособность «думать о чем-либо другом». Позже я уразумел, что вся зта шумливая работа необходима для настоящего музыканта, иначе ему не одолеть трудности пианистического мастерства. Слушая ту же Марию Карловну, я впоследствии наслаждался даже тогда, когда она двадцать раз подряд подносила одну и ту же скачущую или бисером рассыпающуюся фразу или когда нарастала какая-то «подготовка», так и остававшаяся недосказанной. Но семилетний мальчик, ничего еще в музыке не смысливший и при этом все же очень отзывчивый на музыку, просто страдал от игры своей золовки. Какое я ни питал отвращение к прогулкам, как к таковым, к тем прогулкам, которые «надлежало делать для здоровья» и которые заключались в бесцельном шаганье под присмотром бонны, я все же соглашался гулять, только бы уйти из дому и не слушать эти катаракты звуков.

А тут еще между мной и Машей возникли и настоящие нелады, о чем я уже рассказал в главе о музыке.

Полной неудачей окончились в то же лето и мои уроки верховой езды. За них принялся брат Коля, только что тогда вышедший в офицеры, обзаведшийся прелестной гнедой лошадью и задумавший научить своего маленького брата тому искусству, которым он уже владел в совершенстве. Коля был тогда совершенным юнцом, ничем иным, кроме как воинским делом и фронтовой выправкой не интересовавшимся. По патуре добрый, но с грубыми «профессиональными» замашками, он относился ко мне немного как сержант к отданному ему на муштру рекруту. Естественно, что балованный, чуть даже изнеженный «недотрога и капризуля» Шурка боялся Коли и настолько даже, что прятался от него и подымал крик из-за каждой его ласки, выражавшейся, впрочем, не иначе, как в щипке или в легком дергании за уши.

Тем не менее, когда Коля, приехавший с лошадью погостить к родителям на Кушелевку (ему был предоставлен папин кабинет), спросил маму, не следует ли мне поучиться верховой езде, а мама, вообще мечтавшая усовершенствовать мое весьма недостаточное физическое воспитание, обратилась ко мне с вопросом, не хочу ли я воспользоваться уро-

ками брата, то я согласился с радостью. Мне показалось, что это будет очень эффектно, когда я, как генерал, буду «скакать» на лошади.

Но до скачков у нас не дошло. Уроки Коли длились еще меньше, нежели уроки Марии Карловны. Не желая считаться с

моим характером (и возрастом), он сразу взял в отношении меня ту манеру, которая у них была в ходу в полковом манеже, где новички, как мешки, падали с лошади. Посадив меня без седла на свою кобылу, всунув мне в руки поводья, он распустил, как берейтор, корду, встал в центре, хлопнул бичом, и лошадь пошла, описывая широкий круг. И сразу, к своему ужасу, я почувствовал, что соскальзываю с ее гладких боков. Не успел Коля подбежать, чтобы меня подхватить, как я уже лежал на траве, а мамочка, тревожно следившая с балкона за этим упражнением, мчалась на помощь.

Удивительно то, что я тогда не заплакал, сам встал на ноги, встряхнулся и опять, «запасшись мужеством», заявил, что готов продолжать с условием, однако, чтобы мне дали седло. Но это не входило в программу кавалерийского воспитания Николая, он насильно меня схватил, посадил на лошадь, причем довольно грубо отогнал мамочку и снова распустил корду. Тут мои запасы мужества иссякли сразу. Вцепившись в гриву и прильнув к шее лошади, я стал вопить какие-то угрозы по адресу моего тирана и все настойчивее требовать, чтобы меня отпустили на землю. Коля собирался пересилить то, что он считал капризом, но мама строго приказала ему снять меня с лошади. И какое же я испытал отрадное чувство, когда оказался в ее объятиях и ее рука стала гладить меня по голове! Разумеется, после этого о продолжении уроков верховой езды не могло быть и речи, и с того самого злополучного дня я и не пробовал взобраться на спину благороднейшего из животных, хотя в течение жизни представлялось немало соблазнов, а братья, сестры и отец все были очень приличными наездниками... На Колю я долгое время дулся и избегал с ним встречаться.

* * *

Католическое кладбище, к церкви которого папочка в этом году начал пристройку колокольни, лежало верстах в двух или трех от Куше-левки,— ближе к Финляндскому вокзалу. Самая церковь очепь простая, но изящная, была построена отцом в 50-х годах4 в романском стиле. Нижний этаж был на сводах, и там, в западном углу был наш фамильный склеп, где под плитами уже лежали умершая в младенчестве сестра Луиза и брат Иша. Уже поэтому семья наша была особенно связана с этой церковью, но, кроме того, она теперь сделалась приходской церковью поселившихся на Выборгской стороне Эдвардсов, и мой зять, ревностный католик Матью, не пропускал ни одного воскресенья, чтобы не побывать, иногда со всей семьей, на мессе. Прежний фасад без колокольни, надо сознаться, был и цельнее и гармоничнее; такою, кажется, церковь и была задумана папой. Но

теперь, благодаря нашедшимся средствам и в удовлетворение гонора польской колонии, пожелавшей, чтобы церковь более

II, 4, Кушелевка

325

выделялась среди окружающей местности, решено было пристроить колокольню и, по проекту папочки, главный вход в церковь должен был помещаться в ней. Кажется, в 1877 г. работы по возведению колокольни еще не начинались и фундамент был положен лишь весной 1878 г., но, во всяком случае, папа был занят проектом и часто ездил па кладбище, чтобы совещаться с местным священником-ксендзом Францискевичем. Ксендз приходил к нам часто на дачу, и все это вместе взятое придало нашему кушелевскому пребыванию какой-то оттенок «клерикальное™».

У меня вообще был род благочестивой нежности к духовным лицам, но иных — особенно среди поляков-доминиканцев св. Екатерины — я как-то побаивался, тем более что и папочка их иногда «деликатно» поругивал за притворство и лукавство (в качестве синдика св. Екатерины 5 он был с ними в постоянном общении). Но вот патера Францискевича я полюбил всем сердцем, да и оп как будто платил мне тем же. К сожалению, «дружба* паша продолжалась недолго: власти сочли этого безобидного и милого человека, вследствие его популярности, опасным, и его отправили в какую-то дальнюю сибирскую епархию. Случилось, впрочем, это позже, тогда как в течение всего времени постройки колокольни (1878—1879 гг.) патер Фраицискевич был неотлучно в Петербурге, проживая вместе со старухой-матерью в деревянном, покрашенном в черный цвет доме, стоявшем у ворот сейчас же у кладбищенской ограды.

Повторяю, я очень привязался к этому доброму патеру, но и папочка, бывший вообще очень чутким в оценке людей, считал его за исключительно чистого и благородного человека. Однако нельзя сказать, чтобы внешне патер сразу располагал к себе,— особенно тех, кто был склонен вообще скептически относиться к католическим духовным лицам. В своей внешности это был «настоящий» и притом комический «тип иезуита»,— настолько даже комический, что я, малыш, решался, при всем своем обожании Францискевича, имитировать его повадки, а мои родители, вообще такие дерзости не поощрявшие, в данном случае благодушно над моими имитациями потешались. Добрейшая мамочка даже смеялась до слез, вспоминая со мной те потешные гримасы, с которыми Фраицискевич отказывался от всякого угощения, и всё же затем сдавался и тогда проявлял неожиданный аппетит,— вероятно, дома бедняге жилось не

слишком сладко. Но и манеру говорить патера я довольно метко перенимал, особенно его специфические французские и русские выражения. У нас в доме никто по-польски не понимал, и ему приходилось прибегать к этим иностранным для пего наречиям, которыми он владел далеко не в совершенстве. Все это было в высшей степени курьезно, и все это могло бы виолпе пригодиться для актера, играющего роль Дона Базилио в «Севильском цирюльнике», причем на сцене манеры Францискевича могли бы показаться утрированным шаржем.

Самое курьезное в патере Францискевнче была его походка и, в частности, его манера входить в комнату. Другие знакомые патеры имели скорее «благородную» и даже величественную манеру «являться» к своим прихожанам; их осанка выражала, что они в качестве божьих пред-

ставителей делают честь простым смертным, и лишь для христианского декорума, протянув руку для поцелуя, они придавали лицу легкий оттенок смирения. Напротив, появляясь в дверях, патер Францискевич сразу перегибался два, три раза в разные стороны, причем руки его подымались в уровень с головой и, открывая ладони наружу, совершали движения, означавшие что-то вроде «не достоин», «слишком много чести», «прошу простить мою смелость». Если бы еще он был человек пожилой, то все эти ужимки имели бы другой характер, но патеру Францискевичу было немного за тридцать лет, лицо у него было молодое, тщательно всегда выбритое и лишь чуть сизое у щек (что вместе с его бледностью как-то подчеркивало его аскетический вид). Роста же он был выше среднего, очень худой, длинный-длинный и казался еще более длинным и тощим из-за своей тесно облегающей черной рясы.

И вот этот «тип иезуита из комической оперы» был на самом деле самый бескорыстный, самый благородный, самый отзывчивый человек и доброты прямо ангельской. Впрочем, и во внешнем облике эта серафич-ность Францискевича светилась и убеждала. Особенно же он озарялся, когда служил мессу, что он делал без всяких гримас, необычайно просто, внушительно и как-то даже строго. Видимо, он весь на эти моменты исполнялся глубочайшего религиозного чувства и совершал обряд не как привычную формальность, а воспламеняясь каждый раз живым экстатическим чувством. А затем надо было видеть, как патер Францискевич разговаривал с бедняками, чуть не плача в ответ на их жалобы, как он извинялся, когда не мог помочь им в желательной мере. На пособия беднякам уходили почти все его

доходы, и сколько бы он их ни получал (получал же он не так уже мало, ибо «с мертвецов доход верный»), он сразу раздавал большую часть, и тогда, как говорили, он нередко целыми днями голодал.

Особенно ярко я помню патера Францискевича именно на Кушелевке, шествующего своей странной, раскачивающейся походкой по аллее к нашей даче. Когда он шагал, его точно швырял ветер, оп точно боролся с ним, а крылатое длинное его пальто развевалось во все стороны, хотя бы стояла тихая погода. И вот едва заметит он «сына высокопочитаемого господина профессора», занятого ловлей лягушек в траве или какой-либо пачкотней на дорожках сада, как сейчас же па ходу он начнет производить весь свой ритуал приветствия, изгибаясь и подымая ладони вверх. Это очень затрудняло исполнение моего ответного ритуала, ибо приходилось на лету завладеть его рукой и приложиться к ней. При этом он приговаривал что-то необычайно ласковое и приветливое, но, к сожалению, непонятное, ибо это было по-польски. Заметив мамочку, он повторял с новым усердием ту же церемонию, произнося па каком-то французском жаргоне выспреннее приветствие, и, наконец, перед папочкой с ним приключался настоящий танец св. Вита. Однако как только начиналась между ним и папой деловая беседа, то патер становился непринужденным и очень серьезным. Францискевича папа никогда за глаза не критиковал ни за коварство, ни за интриганство, ни за особенно ненавистное ему

«маклачество». Францискевич к тому же был человек образованный хорошо знал как богословскую, так и светскую литературу и даже про-являл кое-какие знания по истории искусства, что в те времена было большой редкостью. Весьма возможно, что именно эти его исключительные достоинства помогли завистникам изготовить на него какой-то донос приведший к удалению его из столицы в далекое захолустье.

С постройкой колокольни у меня связано еще одно воспоминание — о «помощнике» папы, архитекторе Бикарюкове, тогда при нем состоявшем. Никого в жизни, мне кажется, не стало мне так жаль, как однажды именно этого молодого, тощего, белокурого человека с жиденькой бородепкой клином. И возможно, что и отца побудила жалость взять его к себе на службу, так как едва ли Бикарюков успел себя засвидетельствовать какими-либо выдающимися способностями и знаниями. Надо при этом заметить, что при необычайной спорости отцовской работы, при его умении со всем поспеть во-

время, при его любви все делать собственными руками, роль помощника сводилась к минимуму, к чисто техническому черченью, да к наблюдению за подрядчиками и за рабочими, а это мог делать всякий. Впоследствии из Бикарюкова вышел достойный техник; отец его определил к себе в городскую управу, и там он служил многие годы, а в конце концов даже удостоился какого-то академического звания. Обострилась же моя жалость к Бикарюкову в один памятный вечер на Кушелевке. Вечер был августовский, темный и довольно ненастный. Вся наша семья сидела за чаем; две свечи тускло освещали скатерть, наш древний самовар и какие-то закуски, вся же остальная огромная комната, служившая и столовой, и залой, тонула во мраке. И вот на какой-то вопрос папы Бикарюков стал рассказывать о своем прошлом, и рассказ этот сразу приковал наше внимание. Рассказывал Бикарюков, какую он в детстве испытал чудовищную нужду, о чем я, балованный маменькин сын, не имел до того времени ни малейшего представления. Рассказ этот так затянулся, что стало слишком поздно нашему гостю возвращаться в Петербург, и пришлось его уложить на черном клеенчатом диване, чем он был безмерно растроган и о чем постоянно вспоминал даже по прошествии многих лет.

Я слушал эту быль как увлекательную, но и мучительно жуткую сказку. Слушая ровный монотонный голос рассказчика, я в то же время глядел, как бабочка, обжегшая себе крылья о пламя свечи, медленно сгорала, утопая в растопленном стеарине у самого фитиля. Помочь бабочке было невозможно, и я с жалостью и с омерзением следил за тем, как ее крошечное тельце обугливалось. Вообще слезливых историй я терпеть не мог и потому не переносил русских детских книг и журналов, которые были почти всегда полны ими. Но слушая такую подлинную быль из уст самого страдавшего, я весь застыл, и мрачные картины одни за другими западали в душу, врезывались навсегда в память. Из отдельных эпизодов меня особенно поразило то, что Бикарюков, живя в каком-то провинциальном городе, принужден был для своего питания рыться в помойных ямах, и ои бывал счастлив, когда ему удавалось раскопать в

них какие-либо отбросы: кожуру от огурцов, селедочные головы, раковые скорлупы! Особенно меня поразила последняя подробность. Раковые скорлупы было очень приятно выуживать в «биске», когда они были наполнены превкусным фаршем, но раковая скорлупа, найденная в грязи, полутухлая — это было нечто совсем иное, при одной мысли о чем начинало тошнить.

* * *

Еще более глубокое чувство жалости я в то же кушелевское лето почувствовал в отношении другого человека, и это чувство было осложнено тем подобием дружбы, которая возникла между мной, семилетним мальчиком, и этим двадцатилетним молодым человеком. Его фамилии я не запомнил, да и не уверен, знал ли я ее когда-либо. Не только я, но и все паши домашние звали его просто мосье Станислас. Под этим же именем он живет и в моей памяти. Откуда он взялся, какая злая судьба его закинула в русскую столицу, как он попал на Охту, кто были его родители,— этого я не узнал никогда. Мосье Станислас как будто избегал вообще подобных тем. Но возможно, что он был сыном какого-либо пострадавшего во время польского восстания 1863 г. «мятежника». Несомненно, он принадлежал к хорошему обществу, что доказывали и его манеры и его говор. Да и владел он языками немецким и английским, а по-французски говорил так, как говорят только люди, приученные к тому с детства. Мамочка это его знание французского языка пожелала использовать и предложила ему быть чем-то вроде моего гувернера. (Возможно, что люсье Станислас был ей рекомендован патером Францпскевичем.) Но быть настоящим наставником ему не позволяла его хилость и хворость, почему все и свелось к отдельным урокам, да и уроки получались довольно бестолковые. Хорошо говорить по-фрапцузски я с ним не выучился, зато эти собеседования с ним принесли мне иную пользу,— я бы сказал «душевного порядка».

Мосье Станислас представлял собой истинно поэтичную фигуру — вроде тех мучеников, которые на картинах болонцев умирают под мечом палача, млея от восторга при виде раскрывающихся небес. Длинный, до жути тощий, мертвенно бледный, с темными, слегка кудрявыми волосами, он производил впечатление выходпа с того света. Одет он был почти как нищий (это не особенно тогда шокировало, так как студенты бывали часто похожи на бродяг), и свою единственную рубашку он стирал собственноручно. Однажды я его застал как раз за этой работой, и тогда же был поражен невероятной худобой его оголенного тела.

В чем именно заключались наши собеседования-уроки, я не помню, но, во всяком случае, мне на них не было скучно (вообще я ненавидел всякие уроки летом), и в целом воспоминание о мосье Станисласе сохранилось у меня во всех смыслах пленительное. Первые такие «уроки» происходили у нас на даче, но однажды он не явился, и тогда мама меня послала с бонной

узнать, почему он не пришел. Жил же он в мезонине

•

той самой большой дачи, низ которой был предоставлен под общежитие

ночлежку рабочих. Чтобы попасть на лестницу к мосье Станисласу, надлежало пройти через единственную открытую дверь этого помещения, остававшегося во время дня пустым. Поднявшись в его низкую комнату, я увидал его лежащим па низкой железной кровати, головой к полукруглому окну, опускавшемуся к самому полу. На одеяле и па полу рядом валялось несколько книг, но, видно, больной не в силах был читать, а пребывал в состоянии полной прострации с лихорадочно горящими глазами, с руками, вытянутыми вдоль тела. В те времена еще не знали, что чахотка заразительна, но, кроме того, мать моя вообще относилась к заразам довольно скептически, а потому мне вслед и за первым визитом, обнаружившим всю тяжесть недуга моего учителя, позволили посещать его ежедневно и даже без бонны, благо та дача, в которой он жил, стояла всего в нескольких шагах от нашей, и мама была уверена, что я не заблужусь по дороге.

Хочется думать, что эти мои посещения не были в тягость бедному мосье Станисласу. Несомненно, наши симпатии с первого же дня оказались взаимными. По натуре он был один из тех взрослых, которые обладают чудесным даром «сохранения детскости» и для которых общество детей, особенно развитых и интересных (к которым без лишней скромности я могу причислить и себя), иногда даже приятнее общества людей одного с ними возраста. Почти всегда я заставал мосье Станисласа лежащим на своей убогой кровати, но уже в слове «войдите», которое он произносил в ответ на мои стук, звучала радость, а очутившись в комнате, я сразу видел довольную улыбку на его посинелых губах, обыкновенно сложенных в горькую усмешку. В дни, когда недуг меньше его мучил, он даже вставал и принимался ходить по скрипучим половицам своего чердака, я же неизменно усаживался на дырявое серое одеяло и готов был сидеть так часами, забрасывая его вопросами самого разнообразного характера. У меня их накоплялась масса, и иногда брало такое нетерпение услыхать ответы, что я задавал все новые и новые, часто не вполне дослушав его «объяснение».

Часть беседы вертелась вокруг божественных и «философских» тем. Меня тогда особенно волновали мысли о загробной жизни, о привидениях, о вечности, о звездном

пространстве, о бесконечности. Иногда же мы переходили на естествознание (кажется, мосье Станислас был студентом-естественником, но не мог продолжать занятий в университете из-за безденежья и болезни). Тогда он с увлечением рассказывал про насекомых, жизнь которых была его специальностью и которых он собирал и хранил в изготовленных им же коробках. Несколько таких коробок под стеклом висели по рваным/ но тщательно подклеенным обоям. Эти коробки, несколько десятков книг и ветхий чемодан — это было все, чем он владел, а необходимой мебелью его снабдил Матвей Яковлевич, который и устроил мосье Станисласа наверху этой, снятой для рабочих дачи. Иногда, впрочем, мосье Станислас вспоминал и о взятых им на себя педагогических обязанностях, и тогда бралась французская грамматика Марго, но

эта серьезная и скучная книга обладала почему-то свойством нас обоих веселить, и над той или иной фразой мы оба до слез хохотали, причем смех мосье Стаиисласа неизменно переходил в раздирающий кашель, сопровождавшийся усиленным кровохарканьем.

К концу лета привязанность моя к мосье Станисласу дошла до чего-то восторженного. Ко мне, совершенно чужому мальчику, он относился как брат или как во всем равный со мной приятель. Бывали дни, когда мосье Станислас вдруг как-то оживал, молодел и тогда он мог говорить необычайно умно и красноречиво целыми часами. Если же, напротив, ему становилось слишком худо, то он просил меня уйти, но делал это с таким тактом, с такой трогательной вежливостью, что я хоть и огорчался, однако подчинялся беспрекословно. В дождливые дни я бежал к нему, накинув свой дождевик (ребенком я вообще любил бегать по дождю), и в такие дни наши беседы приобретали особую уютность. Слышно было, как ровно барабанит дождь по железной крыше, снизу доносилась перебранка между сторожихой и каким-нибудь застрявшим рабочим, через* поливаемое водой стекло глядела посеревшая листва. А я тем временем с другом блуждал но Индии, любовался скачущими по лианам обезьянами, охотился на львов, слонов и тигров, слушал сказочника на базаре. У Матвея Яковлевича была недурная библиотека и целый ряд иллюстрированных изданий; их он охотно предоставлял мосье Станисласу, и мы без конца могли разглядывать иллюстрации, частью красочные, Джильберта к Шекспиру или таблицы большой английской энциклопедии. И про все мосье Станислас мог рассказать что-либо захватывающее, если же ему попадался

сюжет совершенно незнакомый, то он тут же, без подготовки, переводил мне соответствующий текст.

С ним же, с милым незабвенным мосье итанисласом, я сподобился посетить первый раз в жизни кабинет восковых фигур6. «Гофманский тип» свел меня в этот гофманский мир, который для меня обладал в то время великой притягательной силой. Впрочем, человек-кукла и вообще сыграл во всей моей психологии известную роль, что отразилось и в моем творчестве. Достаточно, если я напомню, что сюжет «Петрушки» есть далекий отголосок всяких дум и настроений, возникавших «вокруг автоматов».

Попали мы в этот кабинет с мосье Станисласом потому, что в его обязанности «гувернера» входило также совершать со мной прогулки. Случилось же это во вторую половину лета, когда он себя чувствовал лучше и несколько окрепшим. Может быть, он просто у пас подкормился, тогда как до того буквально голодал. Кроме названного довольно далекого путешествия, мы успели совершить и несколько других экскурсий. Ходили мы к железному источнику в конце Полюстрова, в лес, тянувшийся за деревней, к церкви на Большой Охте; иногда мы переезжали на ялике к Смольному. Чувствуя прилив сил (чувство это было обманчиво), он сам с охотой шел, куда я его тащил, а в тех случаях, когда эти прогулки происходили на приволье, то попутно он собирал бабочек и растения. И в кабинет музея восковых фигур потащил его я. Меня уже давно за-

//, 4. Кушелевка

331

интриговывал тот деревянный балаганчик, что стоял в тени деревьев в Петровском парке за крепостью. Неоднократно я с родителями проезжал мимо него, совершая путешествие из города на Кушелевку (Литейного моста еще не существовало 7,— он как раз строился и надо было ехать кружным путем), и с первого же раза я в высшей степени заинтересовался этим домиком, снаружи которого под навесом стояло несколько фигур как будто живых и все же недвижных. Но как я ни убеждал папу и маму остановиться и посмотреть поближе, что это такое, они моим мольбам не внимали. Заветное мое желание наконец исполнилось лишь благодаря уступчивости доброго мосье Станисласа.

Музей восковых фигур помещался в длинной одноэтажной деревянной постройке, в которую попадали через помянутое крыльцо, под навесом его и стояли жуткого вида застывшие господа и дамы. Впрочем, одна из этих дам показалась мне вовсе и не жуткой. Она была сделана тщательнее других и хранилась

под стеклянным колпаком. Пленница, замкнутая в прозрачную тюрьму, была одета в ярко-малиповый корсаж и в розовую, блиставшую серебром юбку. Подбоченясь одной рукой, а другую держа на отлете, закинув голову, она балансировала шпагой, рукоятка которой покоилась у нее на носу, тогда как па острие стоял стакан, наполненный вином. Когда красавицу «заводили», то она начинала мягко перегибаться в стане, движение свободной руки выражало поиски равновесия, а стакан на острие качался, но не падал и вино не проливалось.

Замечательная была в этом паноптикуме и кассирша, заседавшая под афишей заграничного производства и с иностранными надписями между двух ужасающих уродов, из которых один должен был изображать Эдуарда, принца Уэльского, а другой — какого-то знаменитого бандита. Эта кассирша была та же самая Юлия Пастрана, которую я видел на Балаганах в зверинце. Но, разумеется, то была не настоящая, не знаменитая бородачиха, к тому времени, пожалуй, уже сошедшая r могилу, а какая-то другая молодая особа женского пола, обладавшая окладистой черной бородой. Эта борода служила ей источником заработка и славы. Я был обрадован встретить старую знакомую на повом месте. На сей раз доморощенная Юлия Пастрана была в костюме, похожем на тот, что облекал красавицу со шпагой, и восседала она не просто на стуле, а на расшитом золотом бархатном тамбуре, между выдачей билетов занимаясь вышиванием. Неживой жизнью живущая прелестная эквилибристка и несомненно живая, даже любезно разговаривавшая Юлия Пастрана подготовили меня к тому, чтобы внутри музея получить уже совершенно исключительные впечатления, но увы, за таким обещающим предисловием наступило разочарование. Повел нас по музею совершенно пьяный «директор», за которым Юлия Пастрана послала какого-то мальчишку. «Директор» понес на ломаном франко-немецком языке чудовищную ерунду. Только два автомата среди сотни других внутри балагана все же произвели на меня известное впечатление,— то был лежащий в поеденном молью сюртуке со звездой на груди мертвенно-желтый Наполеон и спящая длинноволосая девушка, сильное декольте которой плавно поднима-

лось и опускалось, создавая полную иллюзию натуры. Забавен был еще фокусник, у которого из-под двух стаканов появлялся то один предмет, то другой, а то и ровно ничего, и тогда он отрицательно мотал головой. Совершенно же безобразны и жалки были ряд сцен, как например жандармы, накрывающие

засевших в кабаке бандитов, или какой-то семейный скандал с битой посудой на полу и со стулом, застрявшим на голове у хозяина дома, и т. д. Наконец, целая зала была посвящена войне. Как раз в этом году началась русско-турецкая война, и хозяин музея поспешил представить у себя нечто вполне актуальное. Но даже от моего детского глаза не ускользнуло, что тут был собран старый полуистлевший сброд, к тому же расставленный по четырем стенам в самом диком беспорядке. Вероятно, это были какие-то остатки пластической картины, созданном четверть века назад в годы Крымской кампании, причем и создано-то это было с явным пристрастием к тогдашним нашим врагам — к туркам и французам. Мосье Станислас обратил на это внимание «директора» и спросил, почему все русские повержены на землю,, а турки с оружием в руках, а некоторые на конях имели вид победителей (за турок шли зуавы, благо и их головы покрыты феской). На это «директор» пробурчал какую-то грубость (дурное расположение его объяснялось тем, что, кроме нас двух, в Музее никого не было), после чего мы поспешили удалиться. Сидя затем на империале койки, которая медленно плелась по Петербургской и по Выборгской сторонам, мы делились со Станисласом впечатлениями, и оба старались уверить друг друга, что виденное нами все же очень интересно.

Увы, одному из нас двух было суждено самому через несколько ме-цев после посещения паноптикума стать такой же «бездвижной фигурой», как те, которыми мы любовались. Кое-как протянув зиму, мой милый друг скончался от чахотки следующей весной. С осени Матвей Яковлевич, спасая его от холода, поселил мосье Станисласа в конторе фабрики и поручил ему ведение каких-то книг, но несчастный юноша слабел с каждым днем и вскоре окончательно слег в постель. Последнее наше свидание произошло в этой конторе, в которой временно было оставлено только что полученное из Лондона пианино. Мосье Станислас по случаю моего прихода пожелал встать, но он еле держался на ногах и поминутно должен был ложиться на диван. Наконец он все же пересилил себя, сел за инструмент и попробовал играть. Пальцы у пего были совершенно тонкие и, что меня особенно поразило, прозрачные. Проиграв не без блеска тактов двадцать какого-то полонеза, он опустил руки и, тяжело дыша, оставался сидеть па стуле, поглядывая на меня с той улыбкой, которая была мне так знакома и в которой, мпе казалось, что-то было вроде мольбы о помощи. Умер он, по рассказам моего зятя, в полном сознании, «как святой», приобщившись из рук патера Францискевича святых тайн. Точно озаренный каким-то светом, он отчетливо произнес несколько раз: «Que c'est beau!» (Как это

прекрасно!).

* * *

Мне хочется спасти от забвения еще небольшую группку людей, воспоминание о которых во мне нераздельно сплетено с воспоминанием о Кушелевке. А хочется мне это сделать не потому, что эти люди были бы сами по себе замечательны и отличны от миллионов подобных им а потому, что они являлись в моем представлении как бы частью обстановки кушелевского парка, они как бы получили отблеск присущей ему поэзии. Я их и видел только на Кушелевке — в той низенькой дачке, недалеко от нашей, которая стояла, точно прячась, несколько в стороне. Дворовый фасад этого домика был закрыт кустами бузины и волчьей ягоды, и его было даже трудно разыскать, «парадным» же крылечком он выходил в другую сторону, на небольшой собственный сад, окруженный с трех сторон высокими деревьями парка. Такое расположение придавало обиталищу Лудвигов таинственный характер. Из наших, например, окон видна была только красная крыша их дачи, с других же сторон вообще ничего не было видно, пока не подходили вплотную к их калитке. За ней открывался весь очаровательный уют домика. Балкон перед дачей был обтянут парусиной с красной каймой, и у столбов балкона и на клумбах сада росли, распространяя дивные ароматы и горя всеми красками, чудесные цветы. Дорожки были тщательно выполоты и посыпаны красным кирпичом, а кусты кротегуса, служившие изгородью, так разрослись, что через них не было возможности пробраться.

Эту-то дачу с незапамятных времен снимала одна старосветская немецкая семья по фамилии Лудвиг. Папа Лудвиг был седобородый почтенный старец, служивший в конторе где-то на Невском; его подруга жизни была маленькой, кругленькой, сморщенной, вечно хлопотавшей старушкой; прочую семью составляли жившие с ними три сына: Костя, Федя и Саша и две дочери: Катя и Аня. Папа Лудвиг рано утром уезжал в город на службу в сопровождении старшего сына, которому было уже далеко за тридцать и который был занят в том же деле, как и отец. Длинные темно-русые бакенбарды придавали Косте важный вид, несмотря на то, что он косил на один глаз и частенько бывал пьян. Как сейчас вижу эту пару, шествующую каждый с портфелем под мышкой, в высоких котелках и в темных старомодных сюртуках от ворот паркэ в направлении к своей даче. Там их

ожидали удобные шлафроки и сытный немецкий обед — какая-нибудь бирзуппе и жаркое со сладким компотом. Из двух барышень Катя, неказистая стареющая дева, была существом необычайной доброты сердечной. Она меня особенно баловала, да и я ее, хотя и мучил всякими прихотями, но по-настоящему любил. Аня же, или Нюта, считалась в семье хорошенькой, и это наглядно подтверждалось тем, что у нее был жених,— но, к сожалению, жених этот был одной из самых курьезных и безобразных фигур, когда-либо мне ветре- . чавшихся. Горбатый, с рыжей эспаньолкой, он одевался с претензией на большую франтоватость, носил яркие галстуки, пестрые жилеты, светлосерые в клетку штаны раструбом, а на его красном носике вечно было

надето съезжавшее набок золотое пенсне на длинной цепочке. Свадьба Ани и Виктора должна была состояться лишь тогда, когда положение будущего супруга стало бы вполне обеспеченным, но это не мешало безумно влюбленной парочке ежеминутно лобызаться. Мое присутствие ничуть их не смущало; напротив, Виктор в перерыве между двумя поцелуями, лукаво мне подмигивал не то извиняясь, не то желая выразить свой восторг. Аня же грозила пальчиком и молила, чтобы я их не выдал. Но это только подстрекало меня, и я самым бессовестным образом тут же спешил к мамаше Лудвиг и доносил ей о том, что видел. На это старушка, продолжая свою стряпню, только кивала головой и молвила: «Пусть их, они же помолвлены».

Благоволил я, кроме Кати, и к двум братьям Лудвигам — к длинному, белобрысому Феде, готовившемуся стать пастором, и к Саше, которому было всего четырнадцать лет и с которым я поэтому чувствовал себя как с равным. Федя Лудвиг был очень остроумен и обладал ценным для настоящего смешителя даром, — когда другие покатывались от хохота, он продолжал хранить невозмутимый вид. Надев длинную черную рясу и взяв в руки какую-либо книжку, он иногда принимался нам говорить проповедь, и тут уже наш смех доходил до судорог... Это было довольно странно со стороны человека, предназначавшего себя духовному сану, но эти комические проповеди были совершенно безобидного характера — и только подчеркивали все то, что в обязательной осанке и в жестах пастора бывает напыщенного и карикатурного. Увы, ранняя смерть, последовавшая лет пять спустя, не дала Феде Лудвигу проявить себя на том поприще, к которому он готовился, да, признаться, я и не могу себе вообразить, как бы он себя держал на кафедре или на настоящих

свадьбах, крестинах или похоронах.

Мой тезка — Саша Лудвиг помог мне в течение 1878 г. забыть об утрате, понесенной весной того же года в лице мосье Станисласа. Во многом Саша напоминал мне дорогого брата Ишу. Саша был необычайно уютный юноша. Ко всему, за что он брался, он подходил с какой-то внимательной серьезностью, и этим он более всего отличался от балагура Феди, бывшего лет на пять старше его. Глядя на любое из занятий Саши, будь то какая-либо домашняя починка, или же возня с посадкой цветов, или, наконец, приготовление к фамильному празднику, я как-то застывал в наслаждении,— до того всё у него выходило споро, складно и быстро. В то время он был еще учеником реальной гимназии, но никогда в форме я его не видел, а носил он всегда полотняную, чистенькую полосатую блузу, когда же он уходил за покупками на Охту, то вместо форменной фуражки напяливал цветную жокейскую шапочку с козырьком, и тогда он мне казался удивительно хорошеньким. В далеком будущем Саша готовился стать инженером-пиротехником, и уже в те годы его приготовление к такой карьере сказывалось в том, что он по печатному руководству изготовлял всякие домашние огневые зрелища, за что я был готов его причислить к сонму матов и волшебников. Часами я слушал его тихим говорком передававшийся рассказ о том, ка-

кие фейерверки он видел и какие он мечтает сделать, когда превзойдет свою науку. И все эти рассказы приобретали особенную прелесть благодаря тем опасностям, с которыми связаны занятия с огнем и со взрывчатыми веществами. Раза три в год Саша показывал свое искусство на деле. Покупалась селитра, сера, порох, все это дозировалось на роговых весах, все это замешивалось прелестной роговой ложечкой и набивалось в специальные картонные трубки, которые затем аккуратнейшим образом заклеивались цветными бумажками. Если во время такого производства кто-либо появлялся в комнате с зажженной папиросой, то Саша, не теряя обычного спокойствия, предупреждал об опасности, мною же овладевала паника, и я бесцеремонно выталкивал неосторожного посетителя с его куревом. А затем по случаю чьих-либо именин устраивались среди кустов садика потешные огни; листья деревьев озарялись всевозможными красками, причудливые тени скользили неожиданными, иногда смешными силуэтами, знакомые фигуры становились чудовищами; били и шипели огненные фонтаны, вертелись «солнца», взлетали римские свечи и ракеты...

Превзошел же себя Саша Лудвиг устройством «морского» фейерверка. Его он готовил несколько недель и для обработки «главного сюрприза» даже заперся в своей комнатке, и тогда мне ничего не оставалось, как торчать перед этой дверью и через нее задавать Саше разные докучливые вопросы. Впрочем, я сносил эту разлуку с Сашей мужественно, так как верил, что буду вполне вознагражден за свое терпение. И действительно я был вознагражден! В назначенный день Саша вышел из комнаты с прекрасным трехмачтовым корабликом в руках, и весь этот фрегат был убран, «как елка», крошечными пиротехническими препаратами, а вдоль бортов корабля торчали маленькие медные пушки. Настоящий корабль из страны лилипутов! Оставалось ждать вечера и прибытия гостей. Когда же все собрались, в том числе и явившаяся за мной бонна: «Шуренька, пора спать!», то корабль был осторожно положен на воду канала, протекавшего у сада Лудвигов, и с берега зажжена пороховая нитка (известная мне уже по «балам», ибо не иначе, как посредством пороховой нитки зажигались свечи в люстре и в бра). Все сошло было на славу. Нитка подожгла другие такие же нитки, коими были уснащены мачты, и вдруг весь корабль осветился на разные лады бенгальскими огнями, а его пушки одна за другой стали палить. Только, видно, одна из них была заряжена слишком сильным зарядом. Раздался «оглушительный взрыв», кораблик покачнулся и стал тонуть — насилу вытащили. После того в продолжение многих дней обсуждались причины катастрофы. Саша был сконфужен, но его утешали, уверяя, что так получилось еще интереснее, ибо произошел «совсем такой» взрыв, как тот, что в те дни погубил турецкий монитор на Дунае. Этот «взрыв турецкого монитора» был представлен в большом виде и на пруду парка, так как в тот год при Славянском заводе образован был увеселительный сад под названием «Тиволи», и там происходили гулянья. Мы с противоположного берега пруда целых **два часа ждали, как** взорвется **то** сколочен-

ное и выпиленное из досок чудище, что стояло на воде и должно было изображать турецкое военное судно, но в конце концов было объявлено, что «фейерверк отсырел» и отложен. Пришлось, не солоно хлебавши, плестись по черному парку домой.

С Сашей же и с Катей совершались обыкновенно наши прогулки по каналам в лодочке, принадлежавшей Лудвигам и прицепленной у пристани близ их дачи. К сожалению, в позднейшие годы вода в кушслев-ских каналах, благодаря каким-

то непорядкам при спуске ее в Неву, сильно обмелела, и эти путешествия сопровождались всякими мученьями. Иногда даже лодка застревала совершенно, и тогда приходилось вылезать на берег и тащить ее на бечевке. Однако в блаженном 1878 г. воды в каналах было еще достаточно, пруды были свободны от водорослей, и гребцы могли то развивать «предельную» скорость, то оставлять свое судно скользить по инерции. Знакомый во всех подробностях парк с его затеями, видимый таким образом снизу и как бы из-под земли, казался новым. Лишь то, что стояло у самого берега, виднелось.сполна, все же остальное как бы пряталось и украдкой выглядывало из засады. Вдруг на повороте начинали белеть и расти колонны Ротонды, казавшейся снизу еще более величественной, или после очень узкого места с листвой, нависавшей над водой, открывался вид на широкий пруд с двумя его павильонами и мраморным между ними спуском. Так как эти павильоны' стояли на территории Славянского завода и к ним не разрешалось причаливать, то они казались особенно заманчивыми.

С этими прогулками по каналам Кушелевки у меня связано воспоминание об одном приключении слегка романтического оттенка. В лето 1878 г. Кушелевский дворец был предоставлен в качестве летней резиденции какому-то институту. Если мы в своей лодочке оказывались у моста, через который шла главная аллея от дворца, в часы рекреации или под вечер по окончании занятий, то на мосту и вблизи по берегам мы заставали нескольких «прелестных» институточек — прелестных уже потому, что все они были одеты в те грациозные старомодные платья с открытым воротом и с голыми руками, в которые казенных затворниц одели еще при Николае Павловиче. Цвет этого форменного костюма был светло-синий и поверх него надевался белый передник, а иногда белая пелеринка. Уже издалека синие фигурки виднелись на Львином мосту; одни стояли, опершись о перила или облокотившись на чугунных львов, другие гуляли по мосту, а еще некоторые — все парами — сидели на траве по откосам берега. Вот они завидели нашу лодочку, гуляющие остановились, те, что сидели на траве, вскочили и побежали на мост, и все сплоченной, нарастающей группой пас встречают, но встречают в молчании, лишь весело улыбаясь и делая робкие жесты приветствия. На момент, когда мы подплываем под мост, эта прелестпая картина исчезает, но тотчас же в новой группировке она снова предстает перед нами с обратной стороны; опять улыбки, на сей раз грустные, и жесты, выражающие печаль. Через час мы плыли обратно. Если в это время институтки были еще у моста, то вся эта сцена

возобновлялась.

//, 4. Кушелевка

337

Через несколько таких встреч обе стороны стали смелее. Сидящие в лодке стали произносить фразы вроде «какая чудная погода» или задавать вопросы: «не желаете ли прокатиться?», «завтра будете здесь?» и т. д. На что следовали еле слышные ответы. Если с нами были сестры Саши, то институтки решали с ними перемолвиться и другими фразами, и в этих случаях лодка наша застревала на несколько минут.

Эту-то прелестную идиллию, чуть ли не каждодневно повторявшуюся, мы сами, по собственной вине, нарушили. Вздумали мы с Сашей поднести нашим тайным «знакомкам» букет, и для этого букета были опустошены, несмотря на робкие протесты мама Лудвиг, многие клумбы и гряды ее садика. Подъезжая с этим ворохом цветов к мосту, и я и Саша были донельзя возбуждены, точно спешили на какое-то запретное свидание (о любовных свиданиях я понаслышке уже имел некоторое представление и очень даже этим интересовался). Оказавшись же у самого моста, я, улучив момент, когда лодочка остановилась, с неожиданным для себя проворством, выскочил с букетом на берег и стал карабкаться вверх. Взобравшись же к львам, красный как рак и немея от смущения, я положил наш дар к башмачкам голубеньких красавиц. Девиц так тронул «рыцарский поступок» мальчишки, что они гурьбой набросились на меня и стали тискать, теребить и притом, забыв всякую осторожность, они громко защебетали. Другие, постарше и похитрее, воспользовались этим моментом, чтобы вступить в диалог с Сашей, который, встав в лодке и зацепившись багром за мост, подавал каждой руку. В этих занятиях и в этом шуме мы и прозевали сигналы тех девиц, которые, исполняя роль передовых часовых, следили за тем, не идет ли из дворца классная наставница. Внезапно веселые разговоры замерли, лица вытянулись, а когда я обернулся, то увидал одетую во все коричневое фигуру пожилой и очень строгой дамы. От ужаса я прилип к земле и не знал, что мне делать. Дама же, не проронив ни слова, взяла меня за руку и отвела к берегу, по которому я, до слез посрамленный, сполз к лодке. Отъезжая от моста, мы еще видели, как к первой классной даме подошли еще две, как они долго разглядывали букет, ища, вероятно, какую-нибудь записочку, а затем они, преисполненные достоинства, удалились со всей гурьбой воспитанниц в сторону дворца. И с тех пор институточкам было запрещено доходить до рокового места, и мы их уже не видали. В следующие же лета дворец под институт не

сдавался, самый же мост был разрушен после того, как вся часть парка за ним была приобретена моим зятем.

* * *

Одной из самых замечательных достопримечательностей Кушелевки был тот вид, что открывался на Неву. Но вид этот был загорожен высоким глухим забором, и потому папа решил пристроить к забору род балкона, откуда, оказавшись на высоте четырех аршип от земли, можно было свободно любоваться широкой панорамой. Пребывание на этом

«бельведере» было столь же заманчивым, как и плавание по каналам, и мне случалось на нем проводить целые дни — одному или в обществе мамы, бонны, а в 1878 г. и той девочки Вари, о которой речь впереди. Так как то, что творилось на бельведере, было видно от самой нашей дачи, то пока я находился на нем, ближайшего присмотра за мной не требовалось. Когда мне надоедало глядеть на простор Невы или на то, что творилось под ногами на мощеной Набережной улице, то я обращался к принесенной с собой книжке или рисовал всякую приходившую в голову чепуху. Любил этот бельведер и брат Миша, готовившийся тогда стать моряком и гостивший иногда на Кушелевке вместе со своими то-варищами — долговязым бароном Клюпфелем и болезненно близоруким Виноградовым. Последний был еще замечателен тем, что, несмотря па семнадцать лет, обладал густой черной бородой. Все трое считали себя настоящими «морскими волками», а так как в традиции «морских волков» входит и пьянство, то и эти милые, благовоспитанные юноши, выпив за завтраком втроем бутылки две пива, изображали затем из себя совершенно охмелевших людей. Они горланили песни вроде «Друзья, подагрой изнуренный...» и этим обращали на себя внимание прохожих. Они же грызли, как истые матросы, семечки, сплевывая шелуху на улицу. Я не узнавал нашего скромного Мишу и в то же время потешался безгранично. Впрочем, юноши не всегда безобразничали на бельведере, а иногда они забирали с собой туда охапку учебников, зубрили по ним и производили друг другу пробные экзамены. Кажется, все трое тогда провалились на приемном испытании в Морском училище — и немудрено, так как все трое не отличались особым прилежанием; год же спустя они были приняты во флот, а в 1880 г. наш Мишенька и. Виноградов отбыли на клипере «Пластун» в кругосветное плаванье, о чем я уже рассказал.

Центром той панорамы, которая развертывалась с нашей призаборной вышки, служил Смольный монастырь, стоявший на берегу Невы насупротив нас. Это одно из самых прекрасных и поэтичных сооружений на всем пространстве государства Российского! Гордо и благолепно подымается над всем прочим колоссальная масса главного пятиглавого собора, и, точно дьяконы, совершающие торжественную литургию, обступают в значительном от собора расстоянии четыре совершенно одинаковые церкви; вокруг же всего этого божьего селения тянется высокая стена, прерывающаяся в известном ритме разнородными затейливыми башенками. Все вместе производит во всякое время и в любую погоду сказочное впечатление, но сказочность эта приобретает особенно волнующий характер, когда в ясные летние вечера все эти здания начинают таять в алых лучах заходящего солнца, а многочисленные их купола и шпили загораются золотом крестов и теми лепными гирляндами, коими убрала голубые луковицы церквей роскошная фантазия Растрелли! Мне кажется, именно на Смольном я понял прелесть архитектуры в пейзаже и, еще не осознав своей какой-то связи с прошлым Петербурга, уже напитывался, глядя на эту единственную картину, ее дивной красотой.

*11, 4. Кушелевка*339

Если перевести взор от Смольного влево, то открывался вид на Большую Охту с ее церковью, вокруг которой толпились деревянные домишки с их зелеными и красными крышами; дальше зияли чернотой отверстия старинных верфей для постройки судов, а из-за загиба Невы мерещились в затуманенной дали башни Александро-Невской лавры и очень оригинальная церковь, построенная в русском стиле приятелем отца — архитектором Щуруповьш. Если же обратить взор вправо, то на противоположном берегу вслед за заборами и амбарами дровяных складов (Громовской биржи) виднелся Таврический дворец с его плоским куполом, а рядом темно-красным силуэтом возвышалась недавно построенная водонапорная башня; совсем вдали сиял золотом сферический купол Иса-акия и высилась масса разных колоколен. Папа любил мне все эти здания называть и, «штудируя» Петербург с кушелевского бельведера, я выучился названиям многих его достопримечательностей и запомнил их типичные очертания.

Все это было неподвижное, далекое, каменное, ближе же к нам и во всю ширину панорамы лежала пребывавшая в непрестанном движении река. Лишь очень редко, в моменты полного безветрия, наступало затишье, и тогда в водах Невы отражались здания противоположного берега. Но даже в такие

дни голубая гладь то и дело нарушалась кипевшей на ней жизнью. То, дымя трубой, плыл черный, переполненный до отказа шлисссльбургский пароход, то суетливо несся крошечный пароходик финляндского общества, то буксир тащил за собой вереницу барок, Кроме того, сотни цветисто раскрашенных яликов беспрерывно сновали во всех направлениях или же уплывали далеко вверх по реке большие рыбацкие лодки, закидывавшие невода.

* * *

Движение no` Набережной улице вдоль забора Кушелевки было в обыкновенные дни не бог весь каким интересным и уже, во всяком случае, не отличалось нарядностью — слишком сказывалась близость рабоˆ чего пригорода. Редко-редко проедет какой-либо собственный экипаж, принадлежащий иностранцу-фабриканту или одному из помещиков-дачников, имевших свои усадьбы дальше за Охтой. Обыкновенно же мимо нас тянулись бесконечные вереницы возов с разными товарами или просто крестьянские телеги, отправлявшиеся из деревень в Петербург и обратно. Пеший люд состоял из всякого рода мастеровых и рабочих, да еще из охтенских молочниц, которые шли по утрам целыми взводами с коромыслами, на концах которых побрякивали жестяные кружки с молоком, и с корзинами масла и творога за спиной. То были или подлинные чухонки или русские бабы и девушки, старавшиеся, однако, в говоре подделаться под чухонок, дабы заслужить большее доверие покупателей — ведь особенна славилось именно чухонское масло. «Ливии», «метана», «ворог», «яйца вежие» — звонко выкликаемые чухонками — вызывали представление о чем-то чрезвычайно доброкачественном и за-

маичивом. Нередко обыденное шествие нарушалось каким-либо скандалом, и я должен покаяться, что как раз до такого зрелища, сидя в абсолютной недосягаемости и в полной безопасности, я был большой охотник. Бывало даже обидно, когда начавшаяся потеха какой-либо драки или озлобленной перебранки слишком скоро прекращалась благодаря прибытию городового или дворника. Оба они непрерывно дежурили у наших ворот. Эти блюстители порядка составляли род клуба. Членами его, кроме того, были и разные полупочтенные соседи, между прочим, хозяин той лавочки-ларька, которая помещалась у спуска

к тоне, как раз насупротив ворот парка.

Этот лавочник всячески занимал мое воображение. Во-первых, меня пленяли те коробья и банки с лакомствами, что стояли рядами у него на полочках и до которых я, балованный «господский» мальчик, был все же большой охотник (то были черные сладкие бобы-стручки, мятные и другие пряники, орехи, паточные леденцы). Во-вторых, меня интриговало то, что по окончании торгового дня хозяин ларька не уходил куда-то домой на ночлег (дома-то у него, вероятно, и не было), а укладывался калачиком, как собака в конуру, в нижний ящик своей незатейливой лавочки... Городовой и дворник уже потому благоволили к этому тихому и смиренному мужику, что он не скупился на угощение; в жаркие дни можно было любоваться, как то и дело он потчевал своих друзей квасом, кислыми щами или даже бутылочкой ланинской фруктовой воды, которая, несмотря на всякие наветы людей, недоверчиво относящихся к национальной промышленности, была все же очень вкусная и действительно напоминала то грушу, то ананас, то малину или смородину...

Но был день к концу лета, когда наша набережная приобретала совершенно особый характер,— и вот в этот день, сидя на своем бельведере в обществе всех наших домашних, я себя чувствовал, как царь на параде. Этим днем было 15 августа — иначе говоря, праздник Успения богородицы, ознаменованный грандиозным крестным ходом, обходившим всю Охту и часть Выборгской стороны. С самого утра чувствовалось на пашей набережной приподнятое настроепие. Толпы по-праздничному разодетых мужчин, женщин и детей, рабочих, мастеровых, рыбаков, матросов, солдат, мелких чиновников, купцов и купчих — спешили все в одном направлении из города, кто на Охту, а кто и еще дальше па Пороховые. Часам к 11-ти трезвон колоколов усиливался, и в то же время его начинал заглушать гул приближающегося людского потока. И вот из-за поворота главной охтенской улицы показывался самый крестный ход. Я ждал этот момент со смешанным чувством; в него входил и праздничный «подъем», но в него входило и подобие некоторого ужаса. Почему-то медленное продвижение процессии под заунывное пение священнослужителей, певчих и толпы вызывало ощущение чего-то грозного, чего-то даже «для меня лично опасного». Не будучи православным, относясь, по неведению, к православию с некоторым предубеждением (в чем меня укрепляли мои бонны, не иначе, как с оттенком презрения говорившие про русскую церковь), я не испытывал чувства благоговения, а вместо него

//, 4. Кушелевка

возникал странный щемящий ужас — мне начинало казаться, что эти приближающиеся колыхающиеся, склоняющиеся и снова выпрямляющиеся хоругви ведут род грозного наступления, что вот-вот они надвинутся на меня, и мне тогда несдобровать. Однако в момент, когда крестное шествие было уже под самым нашим балконом, страх исчезал, священные знамена, не причинив вреда, медленно проплывали мимо, и в ту же минуту внимание всех, стоявших на бельведере, было поглощено чем-то совершенно уже необычайным. Многие набожные люди норовили пройти или даже проползти по земле под громадную, блиставшую золотом и драгоценными каменьями икону Божьей матери, несомую на плечах обливающимися потом и явно изнемогающими под ношей богомольцами. И тут же происходили иногда сцены, совершенно «средневекового характера». В толпе раздавался вопль, и к иконе проталкивались дюжие мужики, таща за собою бьющуюся в корчах и неистово визжащую женщину-кликушу. Несмотря на сопротивление, ее валили на мостовую и держали распластанной во прахе, дабы икона, проносимая над ней, могла оказать свое чудотворное действие. И действительно, бесноватая вставала затем успокоенная, без чужой помощи, а все вокруг, да и наши прислуги на бельведере, пораженные явным чудом, усиленно крестились. По пути следования крестного хода такие сцены повторялись несколько раз..;

* * *

Раза два-три в моем рассказе я уже упоминал о «тоне», т. е, о том примитивном рыболовном предприятии, которое находилось в непосредственном соседстве с кушелевским парком. Эта тоня была столь любопытной достопримечательностью тех мест, а в моей памяти она занимает до сих пор такое значительное место, что я должен о ней рассказать подробнее.

До тони было от нас всего несколько шагов. Стоило выйти за ворота парка, перейти Набережную улицу и спуститься по деревянной лесенке с довольно крутого берега, как человек уже оказывался на пропахшем рыбой помосте тони. Когда в воскресные дни к нам или к Эдвардсам приезжали гости, то полагалось часа за три до обеда всем отправляться на тоню, и тогда Матвей Яковлевич, питавший настоящую страсть ко всякого рода азартным играм, «заказывал тоню» в надежде сделать чудесный улов. Иной раз в сетях оказывались и сиги, и судаки, не считая всяких ершей, окуней, корюшки и салакушки, а в особо

счастливые дни попадались и лососи. Но бывало (и это случалось чаще), что невод возвращался пустым или с одпой только мелочью, и тогда Матвей Яковлевич терял свои три рубля и уходил с берега благодушно раздосадованный, причем мама, хитренько улыбаясь, говорила ему: «Я это знала, вот почему и приняла меры: утром еще купила чудесную рыбу к обеду»..

Для нас, детей, долгое ожидание возвращения невода было томительным, и мы предпочитали этот час заполнять тем, что, сойдя с плота на береговой песок, немилосердно моча свои сапожки и новые костюмчики,

входили по колено в воду, набирая в ведерки всяких колюшек и другой крошечной рыбешки. Бывало, идущий в середине реки пароход всколыхнет воду, и волны, докатясь до берега, обдадут нас с ног до головы. При этом девочки неистово визжали и поднимали свои юбочки. Но вода у берега была нагретая, и никаких простуд вследствие этих рыболовных авантюр мы не испытывали. Кроме рыбок, можно было собирать на берегу и мелкие ракушки, а то и красноватую сосновую кору, из которой папа умел вырезать прелестные лодочки и кораблики. Особенным счастьем почиталось найти на берегу корабельный блок или какую-нибудь длинную жердь. Занятно было вдоль берега добраться до гранитной пристани перед безбородкинским дворцом и поглядеть, как рыбаки, не участвовавшие в тоне, варят на костре уху, которую они тут же хлебали, чинно усевшись кружком и черпая деревянными ложками из общего котла.

Вот рыбаки, вертящие ворот, потные, с коротким гиканьем, наматывают последние круги тянущего улов каната, и по тому, что это дается с усилием, ясно, что сети отяжелели от попавшей в них рыбы. Матвей Яковлевич сияет, а у других на лицах написано самое напряженное внимание, точно решается чья-то судьба. На воде появляются поплавки, поддерживающие сети, рыбаки схватывают концы невода и с трудом втаскивают содержимое на помост. Мату не приходится повторять то, что за последний час он твердил своей теще: «Вы увидите, мама, вы увидите!»—и все мы видим чудо-чудесное: в сетях, изгибаясь и хлопая хвостом, бьется двадцатпфунтовая лососка! Все копошащееся, сверкающее серебром население и сам царь этого обреченного народа вывалены на дощатый пол, и в течение нескольких минут идет разборка и укладка одних сортов в жбаны с водой и умерщвление других. По Матвей Яковлевич получил свою добычу, он собственноручно ее прикончил камнем по голове и, держа ее за жабры, роется другой рукой в кармане жилета, где у него лежит

серебряная монета. Еще раз потешил он свою душу очень удавшейся тоней, а к тому же получил такой гостинец к столу, каких мы давно не видывали. Рыба будет сварена, снесена в погреб на лед, и к обеду она поспеет, пахнущая свежестью, обложенная цветным гарниром, с петрушкой и укропом в разинутой пасти, в качестве главного лакомого блюда праздничного пира.

Не могу не упомянуть еще об одном случае, в котором Мату досталась роль главного действующего лица и который взволновал нашу тогдашнюю колонию. Это была большая драматическая сцена во вкусе тех, что теперь часто видишь на экране. В воскресенье, несмотря на запрет, в парк проникало через разные лазейки немало постороннего люда, и вот однажды где-то в кустах фабричный парень выхватил у гулявшей девицы кошелек и пустился бежать к выходу. На вопли ограбленной подняли тревогу, и несколько человек погнались за вором, в свою очередь оглашая воздух криками: «Держи, лови!» Все это разбудило в Матвее Яковлевиче его спортивно-рыцарские, искони английские чувства, и, хоть в это время он был занят с прочими нашими гостями игрой в бочи,

//, 4. Кушелевка

343

он бросил игру и тоже помчался за вором. Но тогда как другие преследователи и сам воришка бежали без всякого искусства, Мат сразу показал, что он знает, как это надо делать, п сразу стало ясно, что победа останется за ним. Громадная его фигура не выражала пи малейшей поспешности. Ноги сгибались и отпихивались методично; казалось даже, что он недостаточно скоро бежит, и, однако, расстояние между вором и им все сокращалось и сокращалось. Бежал Матвей Яковлевич восхитительно, ровным шагом и до странности — при своем росте и тяжелом сложении — легко. Когда же он оказался в полуаршине от вора, то его рука протянулась к бежавшему и легла ему на плечо, точно он захотел по-дружески его похлопать. Но вор иод этой могучей дланью только ахнул и осел. Мат, вздернув его вверх, как перышко, понес, держа за шиворот свою жертву,— ни дать ни взять как лосося. Тут же прибежавшие с набережной городовой и дворник схватили жулика подмышки и потащили в участок. .

* * *

Не всегда Нева была такой, какой она была в дни «чудесных

уловов»,— сверкающая, отливающая голубоватым атласом, ровно и торжественно несущая свои ясные воды в сторону моря. Бывали дни, когда мы ее видывали хмурой, темно-серой, ощетинившейся под порывами ветра, покрытой барашками. И, пожалуй, такой мне она нравилась еще более. В такие тревожные дни получались иногда к вечеру самые удивительные эффекты, особенно если солнце перед тем, как скрыться за горизонт, прорежет заволакивавшие тучи и вдруг обдаст все ярко-оранжевым светом. Краски становились резкими, и все в целом приобретало какой-то патетический характер. Охтенские постройки и Смольный горели, как жар, на фоне темных, свинцовых туч, а Нева чернела глубокой синевой. В такие-то, особенно заманчивые для художника вечера, Альбер мчался на свое излюбленное место у тони и с лихорадочной поспешностью, едва усевшись на треножник, наносил все на бумагу. Обыкновенно спокойный во время работы, он в такие дни обнаруживал чрезвычайное волнение — нельзя же было сплоховать там, где сама природа на кратчайший момент давала ему такие исключительные, такие возбуждающие темы!

В один из таких бурных дней я чуть не погиб вместе с братом Михаилом. Способов добраться из города на Кушелевку было несколько: простейший — на извозчике, но это было дорого, а у нас в почете была экономия, два же других способа заключались в пользовании «конкой». К сожалению, та конка, что подходила к самому Кушелевскому парку, тащилась с удручающей медлительностью, так что на сравнительно короткий путь от Финляндского вокзала до нас уходил целый час — час, во время которого приходилось дышать смраднейшим воздухом, терпеть раздражающее дребезжание стекол и душераздирающий лязг колес; приходилось и застревать по десяти и по пятнадцати минут на разъездах. Другая же конка, отходившая от Михайловской площади, доезжала всего

только до Смольного, и оттуда приходилось переправляться через Неву на ялике. Последний путь был уже потому приятнее, что новые, только что из Германии полученные вагоны на этом маршруте были чистенькие и даже отличались известным изяществом,— так, над каждым окном было вставлено по живописной картинке, и разглядывание этих пейза-жиков и натюрмортиков развлекало меня во время пути, длившегося около получаса. Если же я ехал с папой, то мы взбирались с ним на империал, и тут открывались довольно интересные виды. Особенно я любил переезд через Фонтанку с видом на Инженерный замок, а также проезд мимо церкви св. Симеония и тот вид, который открывался на «готическую» Евангелическую

больницу и на возвышавшуюся над прудом «круглую» Греческую церковь. А затем было так занятно очутиться под стеной Смольного монастыря, миновать его курьезные башенки и за последним поворотом увидать Неву.

В тот день, чуть было не ставший для нас роковым, мы с Мишей, которому я был поручен мамой, доехали до монастыря благополучно, но па сей раз, завернув за монастырскую стену, мы увидали перед сˆбой картину совершенно неожиданную и до чрезвычайности грозную. Вода буро-сизая, взбаламученная, косматая, вся в белых гребнях, металась, как в горячке. Даже тяжеловесные барки с дровами, стоявшие тремя рядами у берегов, покачивались и ударялись друг о друга, а ялики у пристани прыгали в какой-то дикой пляске. То была настоящая буря, силы которой мы не чувствовали, пока ехали городскими улицами. Никто из перевозчиков не соглашался переправить нас в такую погоду, но Миша счел, что ему, как моряку и будущему воину, не подобает сдаваться даже перед стихией и, когда его словесные убеждения не помогли, то он вынул из кошелька зеленую трешку. При виде такого богатства один молодой парень все же согласился доставить нас на Охту. Не успел я опомниться, как братец мой, схватив меня в охапку, прыгнул в качающийся ялик, и мы отчалили.

Пока мы плыли в «переулке» между барками и под их зашитой, опасность, которой мы себя подвергали, не была вполне ощущаемой, но не успели мы выехать за последнюю барку, как нашу лодку сразу подбросило так, что дух захватило, и весь ужас положения предстал перед нами. От дальнейшего я запомнил только то, что фигура сидевшего перед нами лодочника то взлетала высоко, то, когда мы скатывались с гребня волны, оказывалась под нами. Яростные массы разбивались о нос и окатывали нас как из ушата. Миша, взявший ковш, спешно выкачивал воду из лодки, я же сидел ни жив ни мертв, судорожно вцепившись в борт и в скамью. Шапка у яличника слетела, лицо его выражало ужас. Величайшего напряжения стоило ему пересекать под прямым углом каждую надвигавшуюся волну, тогда как боковой удар неминуемо должен был опрокинуть наш утлый челн... Лодку крутило и бросало. Наконец, ослабевший яличник взмолился, чтобы Миша взял одно из двух весел и сел перед ним. Не понимаю, как во время этой пересадки нас не опрокинуло! Но видно у Миши было настоящее призвание к морскому делу, да и к тому

же он обладал редкой силой и большим хладнокровием.

Сразу, с момента, когда он взялся за весла, продвижение ялика стало более заметным, и, наконец, через четверть часа или двадцать минут, мы снова оказались в противоположном коридоре, между дровяными барками,— и были спасены. Миша, отличавшийся вообще абсолютной правдивостью и никогда не лгавший, потребовал, однако, на сей раз, чтобы я помог ему скрыть от мамы нашу авантюру. Мы и явились на дачу, хотя и промокшие, но с видом «как ни в чем не бывало», уверяя, что это дождь промочил нас по дороге.

Полным контрастом к этой бурно-романтической сцене является в моей памяти другой переезд тоже через Неву, но в обратном направлении, т. е. с Охты к Смольному. На сей раз в ялике сидел я с отцом, и происходило это в конце последнего из наших кушелевских пребываний (осенью 1882 г.). Дожили мы тогда на даче до начала сентября. Стояла отменная погода, и было так тепло, что даже вечерний чай подавали все еще па балконе, причем заяшгались свечи, защищенные особыми стеклянными колпаками. Но как ни прекрасна была погода, а все же каникулы кончались, и мне надлежало возвращаться в гимназию, а раз Шуреньку нужно было водворять в городскую жизнь, то как же было оставаться на даче его родителям? Приехали телеги, застучали своими сапогами перевозчики, и от них по опустелым комнатам пошел тот крепкий дух — смесь пота и дегтя, который считается отменно русским. Ящики, корзины, стулья, столы, комоды — все это, постояв еще немного на дорожке сада у колес возов, стало погружаться на них с удивительной сноровкой'. Мамочка, Ольга Ивановна и кухарка были ужасно озабочены, считали, что все не так кладется, что в одном из ящиков что-то внутри звякнуло, что поцарапали крышку рояля, что вот-вот отломаются ножки у двух кресел, но Степанидушка не скрывала своей радости, ибо кончалась ее разлука с другом ее сердца — дворником Василием. Наконец первый воз с кухаркой, восседавшей на поперек поставленном на воз диване, тронулоя, а за ним гуськом потащились другие, и весь караваи исчез за воротами. Попрощались и мы с Эдвардсами, посидели все по неизменному обычаю на подоконниках (стулья уже уехали), перекрестились, промолвили «в добрый час» и пошли к заказанному экипажу. Но тут папа, у которого иногда бывали такие фантазии, вдруг предложил отправить с мамою мою гувернантку фрейлейн Штрамм, Сте-иакиду и Ольгу, нам же двоим, мне и ему, ехать отдельно, кружным путем через Неву, а от Смольного до дому — на извозчике. Мамочка попробовала протестовать— «Зачем это осложнение? ведь всем было бы место в ландо?»,—-но видя, что и мне уже очень захотелось последовать

папиной причуде, она сдалась, и мы расстались. Карета застучала по мостовой в сторону Петербурга, а мы с папой уже шествуем к мосту, отделяющему Кушелевку от Охты, а там и по улицам пригорода до «дальнего перевоза», который приходился против самой охтенской колокольни.

346

//, 4. Кушелевка

Идя по корявому, убогому, низенькому посаду, папа рассказывает все, что тут происходило в дни его детства, как именно здесь на лед выходили Охта и Пески на кулачные бон, какие богатейшие купцы живали в этих самых разваливающихся деревянных домиках, из которых иные были выкрашены в два цвета, дабы ясно было, кому после раздела наследства досталась та или другая половина. Но всего больше меня поразил рассказ о том, как тут, на Малой Охте, спускались в дни Александра I корабли. И, вероятно, именно это воспоминание побудило папу предложить яличнику, вместо того, чтобы прямо пересечь Неву, взять немного вверх по течению, дабы под самыми этими древними, все еще стоявшими верфями и проехать.

Уже сильно темнело, тишина стояла невозмутимая, полные воды реки текли плавно. Смольный монастырь потух и стоял призрачной блеклой массой на зеленеющем небе. В осеннем лиловатом полусумраке громады тех двух сараев-доков, из которых когда-то, при трубных звуках и пушечной пальбе, выкатывали и бухались па воду широкобокие корветы и фрегаты с их позлащенными кормами, казались еще огромнее. Но* дни их торжества миновали давным-давно, а сами они, обреченные на слом, лишь чудом продолжали доживать свой век. Черной пустотой зияли их непомерные внутренности, крыши их были испещрены дырами, покосились и повисли, но ряды колонн и другие части архитектурного убранства фасада на Неву все еще свидетельствовали, что зодчие александровских времен знавали толк в величественных формах архитектуры. И по-прежнему все еще царил над всем исполин Посейдон, резанный самим Мартосом из казанского дуба, так удобно примостившийся как **раз в** промежутке между двух крытых скатов верфей...

Незабываемое впечатление! Видя мое восхищение, папа попросил лодочника подплыть еще ближе, почти к самому дощатому спуску, шедшему от этих гигантских зал в воду. Снизу, в ракурсе бог морей с разметанной ветром бородой, с дланью, протянутой над стихией, казался, несмотря на поломанный трезубец, особенно грозным. В ветхих зданиях что-то потрескивало, что-то с глухим стуком обваливалось. А на противоположном берегу засветились огни газовых фонарей, и

где-то в монастыре или в Александро-Невской лавре колокола звонили **к** вечерне...

* * *

С 1882 г. родители уже не живали на Кушелевке, **но все** же мы **там** бывали нередко то всей семьей, то я с мамой, а то я один. Не раз (и даже зимой) мне случалось ночевать и гостить у сестры Камиши в течение нескольких дней. Притягательной силой являлось самое приволье, царившее на Кушелевке, и разнообразие тех прогулок, которые мы могли делать по парку и в его окрестностях. Кроме того, на Кушелевке я имел целых две группы товарищей по играм: своих племянников и племянниц — Эдвардсов и Лансере.

Что Эдвардсы жили на **Кушелевке, было вполне понятно. Матвею**

*//, 4. Кушелевка*347

Яковлевичу было необходимо находиться в непосредственной близости от своей фабрики, но на Кушелевку переселился из соображений здоровья и мой другой зять — Евгений Александрович Лансере. Для него и была перестроена та самая дача, в которой раньше помещалась «ночлежка» рабочих, а в мезонине прожил свое последнее лето мосье Стаиислас. У Эдвардсов в товарищи игр мне годились Джомми и Эля, у Лансере — Женя и Коля. Маленькие Эдвардсы были скорее «дикие», ибо росли почти без присмотра; тихенькие же и несколько хрупкие «лансерята» были предметом непрестанной заботливости со стороны своих родителей и со стороны бонн. Однако как те, так и другие, подпадали под мое влияние (вернее, поступали в мое распоряжение) и становились совершенно другими. Каждому я давал подходящую роль, втягивал и тихих и шумливых в одну какую-либо игру, вроде казаков-разбойников или палочки-воровочки. С Эдвардсами и не требовалось непременно оставаться дома или «при доме». Я уводил их далеко в парк, катался с ними часами иа лодке, бродил с ними по всей фабрике. К тому же у маленьких Эдвардсов была целая банда товарищей и товарок, детей соседних фабрикантов, а то и рабочих. В такой компании игры и прогулки, естественно, принимали буйный разгульный стиль. Совершались экспедиции к наиболее запущенным дебрям парка, а главное, прогулки в лодке приобретали зачастую очень рискованный характер. Совершенно даже удивительно, как мы так и не оказались на вязком дне прудов! Творилось и немало безобразий, ломки всяких вещей, происходили охоты на кошек

(которых я, однако, обожал), искали птичьи гнезда, дразнили собак, индюков и гусей. Но сколько во всем этом было упоительного возбуждения! Какими красными и потными, с какими волчьими аппетитами мы возвращались, заслышав свисток фабрики или колокол дачи, звавшие к завтраку или к обеду. Я тогда пристрастился к английским «специальностям» вкусного Ками-шенькиного стола, а на семейных обедах на Кушелевке наедался до отвала так, что еле мог встать из-за стола... Все было не только вкусно, но как-то по-особенному сочно. Таких ростбифов, таких индеек и гусей, таких паштетов я никогда уже с тех пор не едал! Многое, что происходило в моей жизни, я считаю за особенное счастье, за настоящую «привилегию судьбы», и вот среди этих привилегий я должен одно из первых мест уделить тому, что, не покидая родного города, благодаря Эдвардсам, я пе только познакомился с бытом «доброй старой Англии», но и лично как-то приобщился к нему. Кушелевка в той части, которая была подвластна Матвею Яковлевичу, па том большом отрезе парка, на котором стояла фабрика и его личная усадьба, являлась подлинным куском Англии, чудом, перенесенным на русскую территорию. Говорю же я, что должен быть благодарен такому дару судьбы, ибо ничего не знаю более привлекательного, более уютно-семейного, нежели именно этот милый «диккенсовский» быт! И то, что рыжий Матвей Яковлевич, являвший всем своим обликом характерный тип исконного бритта, что этот чистокровный кельт был женат на «русской итальянке» (или «русской француженке»), нисколько не портило сути дела, ибо Камиша быстро сród-

пилась с жизненными идеалами своего супруга и сама превратилась в настоящую англичанку. Ыо не в чопорную, педантичную хранительницу приличий, а именно в ту образцовую «деревенскую хозяйку», каких немало встречается и в английских романах, и в английской действительности.

О, нет, чопорности в домашнем быту на Кушелевке не было! Царила скорее полная непринужденность. Но при этом какое беспредельное сердечное гостеприимство, как широко и просто текла жизнь в семье Мата и Камиши! Стоило зимним вечером въехать с Полюстровского шоссе в широко раскрытые деревянные ворота и увидать двухэтажный их дом со всеми освещенными окнами, чтобы почувствовать себя в очаровательном, совершенно особенном и ни на что другое в Петербурге не похожем царстве. Благодаря обилию смолы, требовавшейся для канатов, даже пахло здесь совсем по-особенному не только на фабрике, но и в

комнатах и во дворе. Этот запах был специфически морским, мореходным, а следовательно, английским.

Самая фабрика Матвея Яковлевича носила на себе типично английский отпечаток. Она, правда, вовсе не походила на огромные казарменного вида дома с высокими дымящимися трубами, с настоящим адом шумных машин. Это была расползшаяся во все стороны, низенькая, всюду в один этаж, постройка, точнее, целый городок деревянных построек. Дымила она мало, и стоило войти в ее пределы, как вас обдавал тот же запах смолы, смешанный с своеобразным запахом пакли и веревок. Фабрика «Нева» шумела, но шумела мягко, «простодушно», с частыми передышками. Рабочие не исчислялись тысячами, и едва ли общее число их переходило за сотню, считая при этом и женщин и малолетних. Словом, это была скорее очень «домашняя» и вовсе не страшная фабрика, а рабочие па ней отнюдь не являли вида забитых и озлобленных от изнурительного труда рабов. Жаль было только тех трех или четырех баб, которые целыми днями ходили в вертящихся деревяппых колесах, наматывавших нити, по даже они проделывали эту работу с бодрым видом. Нередко для забавы и я входил в эти колеса и принимался в подмогу «пи с места не подвигающейся» женщине ступать по широким плоским лопастям, это было даже превесело. На фабрике царил образцовый порядок, но он достигался не суровыми дисциплинарными мерами, а какой-то любовной патриархальностью.

Прогулка по фабрике была одной из самых занимательных. Интересно было зайти в амбар, где горами были навалены запасы уже скрученных и намотанных веревок. Интересно было взобраться на самую верхушку такой плотно сложенной горы и там удобно устроиться на чудесно пахнущих мотках. Интересно было взвеситься на огромных весах, глухо и смачно ударявших о дощатый пол, когда на них клали страшные пудовые и пятипудовые гири; интересно было зайти в главную топку, где неустанно и методично вертелось огромное маховое колесо, а почерневшие от угля кочегары то и дело подбрасывали уголь в пылающую печь. **Интересно было изучать, как все устроено и пригнано; интересно, но и**

жутковато было подходить к стремительно бегущим ремням и к бешено крутящимся колесам (одним таким колесом и оторвало нашему милому Султану его пышный хвост). Но наибольший соблазн представляла собой тянувшаяся сажен па полтораста или двести деревянная галерея, казавшаяся еще более длинной потому, что она была и узкая и низкая. Она была так

длинна, что когда в конце ее на светлом квадратике открытой двери появлялась фигура взрослого человека, то с другого конца она казалась крошечной мошкой.

Во всю длину этой галереи шла «железная дорога», иначе говоря, были проложены рельсы, и по этим рельсам ходила особая, из Англии выписанная машина, в задке которой были размещены разного калибра крюки. Когда механизм был пущен в ход, то крюки начинали стремительно вертеться, свертывая несколько ниток в одну толстую веревку, несколько толстых веревок в один канат, несколько канатов в неимоверной толщины кабель. Для того, чтоб эта работа могла производиться, машине с крюками надлежало все более и более удаляться от своего начала и ползти к помянутой светящейся точке на другом конце галереи. Путь этот совершался медленно и деловито, со сверлящим, уши раздирающим шумом. Зато когда он бывал пройден, а свитые, готовые канаты сняты с успокоившихся крюков, то машина по тем же рельсам возвращалась к исходному месту, и это она проделывала со стремительностью, точно лошадь, почуявшая конюшню. Одним из больших кушелевских удовольствий была именно эта поездка на возвращающейся машине. Рабочих, приставленных к ней, мы знали всех хорошо, это были наши друзья, и им самим было приятно прокатить родственников хозяина — благо, от этого машине никакого вреда не причинялось. И какой же гордостью наполнялось сердце, когда я на «своем собственном локомотиве» катил по этому длиннейшему туннелю. Что только ни успеешь себе вообразить во время этого, не более двух минут длившегося путешествия! Казалось, что я лечу в поезде по всем знакомым мне и манившим меня странам, по Северной Америке, но Италии, по Франции, по Англии... Бывало, что я раз пять в день проделывал эту поездку. Я терпеливо шел шагом за плетущейся, работающей машиной с тем, чтоб, сев на нее, когда она освобождалась, вихрем мчаться обратно.

* * *

Чудесно было на Кушелевке летом, но сила ее прелести не убавлялась и зимой. Напротив. Что за дивные волшебные лунные ночи запомнились мне в этом старинном парке, когда голубоватые тени оголенных деревьев ложились на сверкающий белизной снег или когда все покрыто кружевным инеем и стоит в завороженной неподвижности. Как весело было на лыжах, коих у Эдвардсов было много пар, забираться в такие дебри, куда за нами не могли поспевать старшие! Как очаровательно праздновались у Камиши святки, когда после обеда зажигалась елка, вносился пунш, и Матвей Яковлевич, слегка навеселе, принимался с нзу-

мительнои при его росте легкостью, скрестив руки на груди, танцевать джигу!

Но ничто не может сравниться с тем наслаждением, которое я и вся молодежь испытывали на Кушелевке от катанья с горы. Деревянный, довольно высокий остов горы строился на самом берегу ближайшего к дому Эдвардсов пруда, но скат шел уже по льду и тянулся сажень на тридцать, если не больше. Ко дню, когда ожидались гости, скат расчищался от снега, причем образовывались по сторонам два довольно высоких вала, лед же, тщательно подметенный, блистал, как зеркало. Особенно фантастический характер приобретало катанье при луне или даже в полной тьме. Снег продолжал белеть и в звездную ночь, дорожка льда резко чернела, и лишь конец ее терялся во мгле. Салазок у Матвея Яковлевича было сколько угодно — на всех хватало, но были любители съезжать и без санок—на рогоже или просто на собственном заду. Самое веселое было слетать одним сразу вслед за другими; тогда внизу непременно получалась «каша», сани налетали друг на друга, нее валились в кучу, и только слышался визг, кокетливые жалобы барышень и дикий хохот юношей (в такие вечера на Кушелевке собиралась масса молодежи). Один раз, впрочем, я больно, почти до обморока треснулся головой о глыбу льда, лежавшую на краю вала, а какой-то знакомый Эдвардсов даже сломал или вывихнул себе руку.

Но шалости и безобразия являлись в конце, тогда как первый час катания проходил скорее чинно, наподобие спортивного состязания. На салазки надлежало сесть так, чтобы ими удобно было править, и чем дальше санки заезжали по дорожке, тем это

было более лестно. Уже и в те времена, не знавшие организованного зимнего спорта, встречались смельчаки, поражавшие других тем, что они съезжали с горы стоя на коньках, а иные виртуозы начинали спуск спиной и лишь по дороге повертывались лицом к цели. Я таких фокусов не пробовал. С меня было достаточно, если я всех напугаю тем, что направлю санки на вал, взлечу на него и перекувыркнусь на снежном поле. До помянутого удара об лед я считал это абсолютно безопасным, эффект же получался чрезвычайный. Снег на валу разлетался фонтаном, залепляя глаза и уши, проникая за воротник и за валенки; санки, кружась, «летели к черту», а я изображал из себя «убитого», оставаясь лежать распластанным, пока ко мне не подоспевали на помощь. Тут полагалось вскочить, «как ни в чем не бывало», и игра начиналась сначала. Длились эти удовольствия часами и кончались тогда уже, когда от усталости остро заломит плечо и оказываешься весь в поту и мокрым от проникшего до тела снега. Но в доме у Камиши так жарко пылал камин, что и переодеваться не стоило. Пожаришься в течение нескольких минут у самого огня, так что пар пойдет столбом, и уже просушился весь насквозь. И тут же у камина непременно застанешь Мата, сидящего с газетой в руках в покойном кресле (спинка которого была вышита руками самой Камишеньки), а но сторонам его чинно восседающих псов и кошек. Кстати сказать, ни собаки, ни кошки на Кушелевке не отличались породистостью, это были даже

очень неказистые представители животного пролетариата, бог знает как и при каких обстоятельствах нашедшие себе приют у добрейшей моей сестры, но, с другой стороны, это были преданнейшие, уютнейшие и умнейшие твари, почти полноправные члены всего кушелевского клана.

Глава 5 ПЕРВАЯ ШКОЛА

В 1877 г. я уже был довольно большой и довольно смышленый мальчик, но, странное дело, я все еще не умел ни читать, ни писать. Я и не ощущал особенной нужды в этом. В книгах у нас, как в моей «личной», так и в большой папиной библиотеке, недостатка не было, и я значительную часть времени проводил с ними, причем, однако, не тексты меня интересовали, а картинки. Когда же являлось желание что-либо разузнать о том, что изображено и о чем тут напечатано, то я всегда находил кого-

либо, кто бы прочел мне это, будь то мама или бонпа. Да и папа с величайшей готовностью отрывался от любой работы, чтобы удовлетворить мою любознательность. Кроме того, мама читала мне на сон грядущий, а иногда и ночью, когда меня томила бессонница. Некрасивую печальную бонну Марианну я полюбил именно за то, что и она всегда охотно читала мне, а по-немецки я уже в это время разумел в доста* точной степени, чтобы понимать все то (не особенно замысловатое), что стояло во всяких рассказиках какого-либо «Herzblättchens Zeitvertreib» *, в журнале «Kleine Leute» ** или в пересказах для детей Священного Писания.

Вообще об этой Марианне у меня сохранились наилучшие воспоминания, хотя пробыла она у нас не больше года. Мне все нравилось в ней: и чуть понурая фигура этой еще совсем юной девицы, и ее какой-то уютный запах, и ее тихая манера говорить, ее несомненная доброта, ее кротость. Но, любя Марианну, я, разумеется, и эксплуатировал ее бессовестным образом. Я же оказался виновником того, что она покинула наш дом. У Марианны была старшая сестра, которую она очень любила и к которой мы нередко заходили во время наших прогулок. Жила эта Амалия в очень маленькой квартирке где-то на Мойке. Меня в этих случаях усаживали в первой комнате, служившей и гостиной и столовой, сами же сестры уходили в соседнюю спальню и, заперев за собой дверь, без умолку о чем-то шептались. Марианна мне наказывала, чтобы я молчал об этих посещениях, да и несколько таинственный характер их а без того как бы подсказывал, что говорить о них дома не следует. Но вот Марианна что-то уже очень зачастила с этими визитами, и мне они

«Листок для приятного времяпрепровождения» *{нем.)*.

«Маленькие люди» *{нем.)*.

сделались порядочно скучноватыми. Что мне было делать в крошечной комнатушке, с окнами, выходившими на самый безотрадный темный двор? Раза два-три сестры давали мне в компаньоны не то сына Амалии, не то ее племянника, косоглазого мальчика лет пяти. Этот Эрик Швальбе пробовал меня занимать разговорами или показыванием своих, очень неказистых игрушек. В общем он скорее надоедал мне, нежели развлекал меня, и я был рад, когда его не было дома. Скука таких одиночных или полуодиночных заключений побудила меня, наконец, выболтать маме про наши визиты. Марианне был сделан допрос, бедняжка стала что-то путать, а тут как-то стороной выяснилось, что Амалия принадлежит к девицам, предпочитающим «обеспеченную

независимость тяжелой службе у чужих людей» (и кто только мог прельститься такой физиономией?). Все это привело к тому, что, хотя мама в общем была довольна Марианной, хотя она знала, что я к ней привязался, однако она все же решила, что оставаться ей при мне не годится: «Бог знает, чему Шуренька мог бы наглядеться и научиться в таком обществе». Тут только я понял, что я наделал, и горю моему не было пределов. Последнее впечатление о Марианне у меня сохранилось такое: она сидит в детской за столом под висячей лампой и тихо плачет, положив голову на скрещенные руки. Я попробовал ее приласкать, но она тихо отвела мою руку, поцеловала меня и сквозь рыдания промолвила: «Ах, сердечко, что ты наделал!» Вскоре после этого мамочка решила, что мне пора начать серьезно учиться и что дальнейшее пребывание в тесной домашней атмосфере может оказаться и вредным. Она надеялась, что самое общение с другими детьми сгладит шероховатости моего характера, в то же время, толкаемый соревнованием, я приобрету и первые основы грамоты. Все знакомьте мои сверстники и даже ребята на год или два моложе умели читать и писать, а я — что за срам! — ни того, ни другого не знал! Кое-какие попытки были сделаны, чтобы меня познакомить с азбукой. Так, еще четырех лет я получил коробку кубиков-складушек, в которых буквы и слоги (французские) были расположены вокруг центральной картинки. Одну из них я очень оценил и запомнил навсегда. Изображала она трап-шею, всю уставленную корзинами с землей, ящиками со снарядами и тому подобными военными предметами; посреди же траншеи группа солдат с кепи на головах и в пунцовых штанах грелась вокруг пылавшего костра, тогда как по ночному небу дугами летели и разрывались ракеты. Другие картинки были в таком же роде, выбирали для меня именно такие сюжеты, желая угодить моим тогдашним «милитаристическим» вкусам. Однако, если картинки я эти и складывал с охотой, то буквы вокруг них меня только раздражали, и если я из них и запомнил некоторые, то потому только, что я знал, что, сложив их, получается наша фамилия. И все же я никак не мог сообразить, почему буква «М» и буква «А» могут, поставленные рядом, создать звук «ма»? Когда же Ольга Ивановна, которая была грамотная, попробовала мне объяснить русскую азбуку, называя буквы по-старинному — «аз», «буки», «веди», «глагол», то это мепя уже окончательно спутало.

*//, 5. Первая школа*353

Наконец, осенью 1876 г. подходящая школа как будто была найдена. Правда, этот пансион фрейлейн Герке находился далеко от нашего дома — на Большой Конюшенной, но мама все же остановила свой выбор на нем, так как в хорошую погоду это

была бы для меня только хорошая прогулка, а в плохую можно брать извозчика. Вот « потащили меня к этой фрейлейн Герке, которая жила в третьем этаже, в доме лютеранской церкви, в квартире, обставленной (как мне помнится) на типично немецкий лад. Сама фрейлейн мне понравилась. У нее было мятое, старообразное, остроносое лицо, но доброта светилась из ее серых глаз, и встретила она меня с милой лаской. Понравились мне и дети, которые все были моложе меня и среди которых я, почти семилетний, чувствовал себя великаном. Без протестов и особенных страхов я расстался с приведшей меня мамочкой, и весь первый день прошел в интересных играх, в течение же следующих недель я постепенно и совсем свыкся с чужой обстановкой. Но недолго было мне суждено оставаться в этом пансионе. Глупейший случай положил тому конец. Прыгая на одной ноге в какой-то игре ио гладко натертому иолу, я поскользнулся и со всего размаху шлепнулся прямо на нос. Было очень больно, по еще болезненнее я ощутил свой позор, а когда я увидел потоки льющейся из носу крови, то мне чуть не сделалось дурно. Впрочем, не обошлось тут и без известного наигрыша. Я смутно чувствовал, что чем ужаснее будут мои страдания и жалобы, тем позорность моего падения будет менее значительна, а потому я не только плакал, пока мне мыли и бинтовали нос, положив на него компресс, но я продолжал плакать и стенать на всем пути до дому, куда меня и отвезла одна из воспитательниц пансиона. Дома я уже вовсе не страдал, однако устроил целый спектакль, чем совершенно переполошил бедную мамочку. Я даже сам потребовал, чтобы меня уложили в постель, как «настоящего раненого»! К вечеру все прошло, а на следующее утро я вполне мог бы отправиться в пансион, по тут я решительно запротестовал, мне казалось невыносимым, чтобы я, опозоренный, снова предстал перед всеми этими дамами и перед моими товарищами-малышами! По слабости сердечной, мамочка, несмотря на заплаченный ариместр, сдалась, и я уже больше фрейлейн Герке не видал.

И как раз тогда мама узнала о существовании другого воспитательного заведения в очень близком расстоянии от нашего дома и к тому же горячо рекомендованного какими-то знакомыми. Помещалось это заведение на Малой Мастерской, насупротив той католической церкви св. Станислава, куда мы с папой ходили по воскресеньям. Киндергартен госпожи Вертер занимал весь второй (верхний) этаж углового особняка, при котором был обширный и тенистый сад. Вход был с Малой Мастерской, широкая, барского вида лестница вела к классам, к квартире директорши и к длинному рекреационному залу, все

пять окон которого выходили на улицу. Просторные классы имели благодаря своим выбеленным стенам опрятный вид; в них было много воздуха и света — не то, что оклеенные бурыми и грязно-желтыми обоями комнаты фрейлейп Герке с их темными занавесками у окон. Киндергартен обслуживался целым **шта-**

том воспитательниц и учительниц, а в систему воспитания входили и уроки рисования, гимнастики и танцев. Меня сразу подкупило то, что на стенах висели большие, отпечатанные в красках картины, из которых одна изображала жизнь города, другая — жизнь деревни (разумеется немецкой), третья — железную дорогу и т. д. Несколько картин поменьше изображали сцены из Библии. Еще интереснее были те коробки под стеклом, которые тоже висели но стенам и в которых к картону были прикреплены разные миниатюрные предметы — в одной все, что относится к производству хлеба, начиная с нлуга, кончая приоткрытыми мешками, которые содержали разные зерна и крупы; в другой все, что требуется в столярном деле; тут среди разных орудий производства — пил, стамесок и т. д. — можно было любоваться крошечным, точно для лилипутов сделанным верстаком, а на верстаке лежал рубанок с дощечкой, с которой инструмент уже как бы соскреб малюсенькие стружки.

Надо всем витал дух Фребеля \ Вообще же о Фребеле и его системе было тогда среди мамаш и воспитателей столько разговоров, что' и детям имя знаменитого реформатора-педагога было знакомо. Слово «фребелич-ка» являлось вроде диплома полной и доброкачественной подготовленности для детского воспитания. Под фребеличкой подразумевались особы, самоотверженно отдавшиеся этому делу, согласно новейшим данным пауки. В моем же представлении это были очень милые, очень скромно, но опрятно одетые девицы, на редкость ласковые, но всегда некрасивые и немного... скучные. Контрастом к ним (в моем же представлении) являлись «курсистки-нигилистки», о которых тогда тоже было много разговору ¶— девицы необычайно решительные, нелепые, со стриженными, взлохмаченными волосами, далеко не опрятные, с вечной папироской во рту, с шляпой набекрень и непременно сопровождаемые студентами (тоже «нигилистами»).

Поступив в детский сад на Малой Мастерской, я попал в самое царство Фребеля и фребеличек. Меня пленили слова «детский сад» или «киндергартен», как было тогда даже по-русски принято называть такие школы для младшего возраста, однако я

был несколько разочарован, когда оказалось, что хотя сад (и даже довольно обширный и тенистый) при доме имеется, но воспитанников «детского сада» в него не пускают. Только тогда, когда уже водворилась весенняя тенлынь.и деревья стали распускаться, хозяин дома разрешал детям иногда в нем играть. Не понравилась мне с первого знакомства и директриса Евгения Аристовна Вер-тер, «тетя Женя», как нужно было ее величать. Она даже показалась мне довольно страшной. Это была внушительного роста дама, тучная, с совершенно круглым лицом и двойным подбородком, с золотым пенсне на выпученных строгих глазах и с золотой цепочкой, свешивавшейся по очень выпуклому бюсту к довольно объемистой талии. Одета она была всегда во все черное с небольшим кружевным воротничком. Особенную же грозность придавало этой, на самом деле сердечной, старой деве то, что она ходила па костылях; одно глухое постукивание по полу костылей, одно ее передвижение тяжелыми взмахами наводило на всех детей,

а на меня в особенности, трепет. Другие «тети» больше располагали к себе; особенно я привязался к толстенькой, сутулой, всегда одетой в серое «тете Наташе», п чувство известного поклонения стало у меня намечаться к «тете Саше» — хорошенькой юной блондиночке, но последняя вскоре вышла замуж и покинула киндергартен. По этому поводу был даже устроен шоколад.

Вообще я привык к школе довольно скоро, по должен сознаться, что самый фребелизм не всегда был мне по нутру. Поступив в приготовительный класс, где только урывками и исключительно в форме игры обучали детей грамоте, я должен был подчиняться всем тем приемам, которые были объединены задачей «занять детей посредством приятных и одновременно полезных упражнений». Некоторые из этих «упражнений», вроде, например, нанизывания на нитки пестрого бисера или плетения узоров из цветных бумажных полосок или еще лепки из глины, занимали меня и даже доставляли известное удовольствие. Напротив, всякое вышивание или рисование по клеточкам, и все, что имело целью развивать наблюдение, сосредоточивать внимание и сметливость, я ненавидел. Все это чередовалось с шуточными уроками грамоты и с настоящими играми. Но и в играх дети не были предоставлены себе; нам ие давали просто побегать в пятнашки, в горелки, в жмурки, а каждая игра обязательно должна была иметь какой-то смысл. Одни игры должны были «будить чувство природы», другие знакомили нас с

географией, с историей и т. п. Все это было очень мило и даже, если хотите, трогательно, но это и раздражало какой-то своей фальшью. Я лично остро ощущал эту фальшь, и она меня бесила. Дома я нередко жаловался маме и даже вышучивал ту или иную игру, но мамочка была уверена в целесообразности всех этих педагогических новшеств (она даже получала какой-то специальный педагогический журнал), журила меня и пыталась убедить меня в разумности и полезности всего того, что мне казалось глупым.

Из таких «природных игр» запомнилась мне одна с особой отчетливостью, но это вследствие чего-то, совершенно «в программе не предвиденного». Дело в том, что лично моя персона внесла в нее нечто такое, что в чрезмерной степени подчеркнуло «натуральность». Детям надлежало представить лес с его обитателями. Мальчики и девочки повзрослев изображали деревья и для этого должны были шевелить поднятыми над головами пальцами рук (что выражало трепетание макушек под действием ветерка), малыши же представляли заинек, лягушечек, а уже совсем крошки сидели на полу в качестве цветочков, земляники и грибков. Вот среди этой-то «поэтичной» игры и в самый разгар прыгания лягушечек и посвистывания птичек, у корней дерева, которое олицетворял я,— вдруг потек настоящий ручеек! Случился же этот грех потому, что я, в силу своей непоборимой стеснительности, не решился своевременно «попроситься выйти» — ведь при этом пришлось бы подвергнуться позору расстегивания штанов руками «тетушек», так как я сам этого сделать еще ив умел! И какой же тут получился конфуз и скандал! Какой безудержный и безжалостный смех раздался вокруг, какой переполох среди воспита-

тельниц. Как грозно застучали костыли примчавшейся откуда-то директрисы, как все засуетилось, стараясь освободить меня от намокших штанишек и удалить следы моей нечистоплотности. И нельзя мне было после того без штанов оставаться среди других детей. Две «тети» схватили меня, горько плачущего от стыда, и понесли в самую святая святых — в личные комнаты Евгении Аристовны, в ее спальню, и там уложили на диван, закрыв одеялом. Тут я должен был пролежать, пока мне не принесли сухую смену из дому и тут, лежа в одиночестве, я пережил часа полтора очень горьких размышлений. Уже то было ужасно, что я, самый большой в классе, так осрамился, но к этому прибавился страх, как бы меня за это не оставили дома, вместо

того чтобы поехать на большой бал к дяде Сезару, что было мне обещано, что я себе выпросил и о чем мечтал много дней...

К этому балу шли приготовления не только у самого дяденьки, но и у пас. Сочинялись и шились костюмы для каких-то выступлений, а домашние наши художники — Альбер и Люля рисовали пастелью на саженных листах бумаги какие-то уборы. Особенно мне запала в душу вырезанная фигура в натуральный рост ливрейного лакея, жестом и любезной улыбкой приглашавшего войти. Меня манило увидать на месте эффект этого trorape Гоейя (зрительного обмана). То-то будет потеха, когда гости станут принимать этого бумажного человека за настоящего! Но и, кроме того, на балу у дяди Сезара обещали быть всякие диковины: фокусники, рассказчики, пожалуй, и Петрушка. Бал этот был «полудетским», так как моим кузинам Инне и Маше было всего десять или двенадцать лет... Теперь же, оскандалившись, я рисковал ничего от всего этого великолепия не увидать! Лежа раздетый на диване тети Жени, точно всеми забытый, я предавался горестным мыслям. Пролежал я так, вероятно, не более двух часов, но мне они показались вечностью, тем более, что вскоре наступили ранние зимние сумерки и комната, оставленная без лампы, освещалась лишь мерцающим отблеском топящейся печи. Едва можно было различить одноногий столик, на котором покоилась толстая Библия с золотым обрезом, справа на шкафике белела фарфоровая фигура Христа, простиравшего руки. Она как бы благословляла целое полчище семейных фотографий. Но мне казалось, что все исполнено укоризной по моему адресу, по адресу того гадкого, большого семилетнего мальчика, который не умеет себя вести и которого поэтому никак нельзя взять на торжество, готовившееся у его дяденьки.

К счастью, опасения мои оказались напрасными. Меня пе оставили дома, а нарядили в парадный бархатный костюм с шелковым бантом у кружетшго воротника и повезли на Кирочную. Мамочка только слегка попрекнула за то, что я не «попросился». Таким образом, я увидел и «ливрейного лакея», прилаженного к стене на парадной, и тот изящный са-лончик, который был устроен в комнате, обыкновенно служившей секретарской, на сей же раз превращенной в палатку розового атласа. Вместо конторской мебели в ней стояли золоченые стулья и столики, а у окна, блистая серебром и хрусталем, манил фруктами и конфетами «бу-

фет», за которым хозяйничали два наемных лакея с

предлинными бакенбардами. Да и все было до неузнаваемости нарядно и светло. Кузины были такие хорошенькие в своих кружевных платьях с цветными лентами в волосах. У старшей же кузины Сони платье было до ног, декольте, с живыми цветами у корсажа и на голове. Получил я удовольствие и от изумительных фокусов знаменитого Рюля, и от смешных рассказов Горбунова, и от стихов про «фонариков-сударикова», произнесенных с удивительным мастерством тем высоким господином с лысиной, который на каждом вечере у Дяди Сезара или у Зарудных по общему требованию угощал с неизменным успехом общество этими и другими комическими стихами. Пробыл я на балу, вероятно, до полуночи, и на следующее утро мне дали выспаться, в киндергартен я не пошел, когда же на третий день я явился на место моего позора, то все как будто о нем забыли...

Увы, осенью того же 1877 г. я в том же киндергартене познал первые серьезные угрызения совести, познал, что за провинность следует кара, причем самым тяжелым при этом является именно ощущение стыда. В программу передовой педагогики входило, между прочим, и своего рода отечествоведепие, а в основу его рекомендовалось ознакомление детей с их ближайшим топографическим окружением. Так, однажды была дана задача нарисовать план нашего класса и всей школы. Другой раз на плане Петербурга нам было показано, где мы живем, по каким улицам ходим. Все это встречало во мне живой отклик, причем, пожалуй, не обходилось без известного атавизма, так как я, как сын и внук архитекторов, впитал в себя какое-то представление о соотношении между вертикальными фасадами с горизонтальными плоскостями. Но вот на этих же самых интересных уроках мы дошли до ознакомления с Невой; тетя Женя пыталась выяснить, откуда и куда текут воды нашей величественной реки и какими притоками она питается. Для того же, чтобы мы получили уже окончательное наглядное о том понятие, было решено всем классом совершить прогулку к Зимнему дворцу и там, посредством бросания деревяшек, проследить, как вода из Зимней канавки течет в Неву и в какую затем сторону эти же деревяшки поплывут дальше. В сущности, это было довольно занятно, по беда в том, что для этого понадобилось использовать воскресенье, а это мне представилось прямо убийственным, так как я чрезвычайно ценил день отдыха от школы pi вовсе не потому, что я был ленив и предавался ничегонеделанию, а потому, что только в воскресные дни я имел в своем распоряжении целый день и мог весь отдаться своим любимым занятиям: рисованию, вырезыванию, игре в театр и т. д. Поэтому экскурсия тети Жени пришлась мне в высшей степени не

по вкусу, и я как-то сразу решил, что я в ней участия не приму, а останусь дома. Помнится мне, что я даже подговорил своего нового друга и сверстпика Осю Трахтенберга тоже остаться, вместо того чтобы отправиться вместе со всем пансионом на Неву.

Но как было сделать так, чтобы мамочка об этом не узнала? Тут меня и «попутал лукавый» совершить нечто весьма предосудительное. Сначала я прибегнул было к заступничеству мамы, но она на сей раз не пожелала

потакать моим капризам и наотрез отказалась **ггослать** Евгении Аристов-не извинительную записку. И тогда я такую записку написал сам! Всего лишь несколько месяцев, как я одолел грамоту и был далеко не тверд в пей, и, однако, грамота уже пригодилась, чтобы от имени мамы написать госпоже Вертер письмо! В нем сообщалось, что я заболел и потому к назначенному часу явиться не могу. Затем, улучив момент, когда мама отправилась в своп обычный утренний обход Литовского рынка, я вызвал через Степаниду дворника Василия, дал ему этот лоскуток бумаги и приказал ему (от имени мамы) снести его в мою школу. Совершив это ужасное преступление, я тогда никаких угрызений совести не чувствовал и был совершенно спокоен, уверенный в том, что моя «стратегия» приведет к желанным последствиям. Каково же было мое недоумение, когда вернувшийся Василии передал маме какое-то письмо от директрисы п когда мама, прочитав его, взглянула на меня с совершенно не свойственным ей выражением! После завтрака она оделась и куда-то вышла, а вернувшись через час, не только, по обыкновению, не поцеловала меня, но, когда я стал к ней ласться, она, приняв строгий вид, отогнала меня... В воздухе запахло грозой, и таковая на следующее утро разразилась.

Гроза выразилась в беседе с глаза на глаз с тетей Женей. Эти двадцать минут беседы всколыхнули все мое нутро; только тут я понял, что я наделал! Воспоминание же об этой беседе принадлежит к самому мучительному в моем детском прошлом. Приведенный бонной в киндергартен, я уже было собирался последовать из рекреационного зала вслед за товарищами в наш класс, когда Евгения Арнстовна остановила меня и пригласила идти за ней, Мы тут же где-то и устроились в пустом классе, я па школьной парте, она же, сложив костыли, грузно опустилась на стул и все время не отводила от меня полный упрека взор. С минуту, а может быть и больше тянулась немая, по тем более тяжелая пауза. Тут же, до того еще, что она произнесла одно

слово, я залился горючими слезами. Слезы эти не были похожи на мой обычный капризный «рев». Никаких усилий, никаких гримас па сей раз не пришлось делать, никакой комедии я не ломал, но внутри меня точно прорвалась какая-то запруда, и оттуда с неудержимой силой потекли ручьи и ручьи. Убедившись, что грешник ступил на путь раскаяния, тетя Женя с тихой и даже как бы любовной строгостью стала увещевать меня, держа все время в руках мою злополучную бумажонку. Она вопрошала меня; понимаю ли я, что совершил, знаю ли я, что совершил подлог, знаю ли, что это пре-ступ-ле-ние, и даже *такое* преступление, за которое ссылают в Сибирь и т. д. Должен тут же сказать, что это стращание Сибирью подействовало на меня куда менее сильно, нежели простое сознание собственного греха и то чувство стыда, которое буквально раздирало мое сердце. Пожалуй, даже, чем дальше развивала тетя Женя эту тему, тем менее я ощущал пользу от этого, тем яснее во мне пробивалось чувство, похожее на досаду,— зачем она все это говорит, ведь я и без того уже все *понял!* Она же, видимо, наслаждалась взятой на себя ролью. Конец беседы оживил первое чувство. **Этот** конец был посвящен богу, и вот тут я снова стал вполне по-

■

нимать **ее; мне** стало понятно, что если **я кого-либо особенно обидел, так** это своего ангела-хранителя, а следовательно, и **самого** боженьку, **от** которого ничего не скроешь, который знает все!

Вообще я в это время уже молился. Лет до пяти я только бормотал какие-то имитации молитв на квази-францзском языке, кончая словом «ainsisil», что должно было означать ainsi-soit-il (да будет так). Это сопровождалось (уже на русском языке) молитвой за папу, маму, братьев, сестер и еще кого-либо по случайному выбору. Но затем я выучился произносить в точности слова «Отче наш>> (опять-таки по-французски, что являлось как бы неким подтверждением нашего происхождения), и я каждое слово отделял от другого, стараясь вникнуть в их смысл. Это было в то же время и первое усвоение целых фраз по-французски, тогда как вообще я по-французски еще не говорил. Вслед за «Отче наш» я произносил свои личные обращепия к господу, в которых, между прочим, просил его и о том, чтобы он помог мне быть «добрым и хорошим мальчиком» и специально о том, чтобы, помня свой главный порок, я «не лгал». В «поминании» же случались варианты. Если я бывал кем-нибудь обижен, то это лицо пропускалось в наказание. Особенно часто это бывало с

нашими прислугами и с очередной бонной или гувернапткой. Но, разумеется, такой опале родители и братья с сестрами не подвергались никогда.

Многие основные вопросы религиозного порядка понятны детскому разумению, мало того, они представляются ребенку как бы совершенно естественными. Едва ли правы те, кто указывают при этом на известный атавизм или на «исторические павыки». Если последние и существуют, то со многими из них человек расстается с легкостью. Но трудно в нем уничтожить непосредственный интерес к вопросам бытия и его ощущение потусторонности. Церковь, церковная атмосфера, чувство богобояз-ни и богопочитания и — что еще важнее — потребность в богопочитании, обращение к высшему началу и какое-то «желание благочестия» — все это представляется людям, вытравившим в себе в угоду материалистической доктрины подобные внутренние движения, искусственно парализовавшим или охолостившим душу (они и самое бытие души отрицают), все это представляется им чем-то недоступным для детского сознания и вообще для «существа, еще не тронутого культурой». На самом же деле ничего так скоро не усваивается детьми, хотя бы выросшими в безбожной среде, как именно отношение к богу и самый принцип благочестия. Но и «противоположные идеи» доступны детям — и среди них идея греха, не только как ослушание каких-то наказов, но как что-то нехорошее по существу. Представление же о грехе пробуждает и то, что мы называем совестью. Я, по крайней мере, в те ранние детские годы гораздо чаще, чем впоследствии, задумывался над такими, казалось бы, вовсе не детскими проблемами, как загробная жизнь, как царствие небесное, как божий суд, как смерть и бессмертие, как спасение души. Иногда, лежа в кроватке и уткнув нос в подушку, что создавало какое-то подобие отрешенности **от** всего окружающего, я **без** усилий вызывал в себе чувство

известного экстаза или, точнее, я чувствовал приближение такового ø за~ ранее радовался тому, что я его удостоюсь. В такие поистине блаженные минуты я совершал своего рода полеты в то, что принято называть небесными сферами, как бы приближаясь к самым «воротам рая». Замирая от священного ужаса, я сосредоточивал свою мысль на представлении о Вечности и о Бесконечности. Тогда и ад стал представляться мне уже в ином виде, нежели тогда, когда я, совершенным малышом, разглядывал картинки Страшного Суда, приколотые к стене в кухне. В реальном существовании ада я не сомневался, но самые

слуги сатаны мне не представлялись непременно в виде рогатых и хвостатых чудовищ, а представлялись они в виде злых, но, пожалуй, красивых и даже пленительных ангелов.

Вот в связи с представлением о каких-то верховных силах, добрых и злых, у меня сформировалось тогда нечто вроде культа «ангела-хранителя», что является наиболее человечной стороной всякого верования. Ангел-хранитель — это те же пенаты, те же лары, те же примитивные тотемы дикарей, те же феи и те же гении-покровители. В одно и то же время это и советники нашей совести и посредники между нами и богом. Господь бог все знает, все видит, он вездесущ и всемогущ, но, тем не менее, при нем состоят и более однородные с ним, нежели мы, смертные,— мириады неизменно ему преданных «сил небесных»— неисчислимые полчища ангелов. Их-то он и приставляет в качестве каких-то опекунов и руководителей к отдельным человеческим существам. В существование такого специально пекущегося обо мне, за мной следящего, меня охраняющего более высокого разряда лица (не «понятия», а именно лица), я верил так же твердо, как и в бога и в сына его Христа.

Тайну этого, самого близкого ко мне существа мне иногда мучительно хотелось разгадать. Я прямо изнывал, что не могу своего ангела-хранителя увидать, с ним заговорить. Проснувшись утром, я прикидывался спящим в надежде, что авось я захвачу тот момент, когда ангел «исчезает с глаз». Иногда я обращался к нему со страстной молитвой, чтобы оп мне открылся, предстал передо мной. Часто я вел с ним мысленные беседы, причем вопросы я задавал шепотом, а ответы слушал где-то глубоко в себе. Я непоколебимо верил, что при «отлете души от тела» или при рождении человека, ангел сразу оказывается тут же; в одном случае он «берет душу в свои руки и несет куда-то», в другом он «вкладывает ее в тело». Таких ангелов с душами в руках в виде младенцев я видел на картинках и в скульптурах (два фарфоровых медальона с известными барельефами Торвальдсена висели над моей кроваткой), но как раз такие изображения я вовсе не принимал за подлинные, к ним я относился как к неким символам, к иносказаниям. В то же время я не допускал мысли, что такие бесплотные силы вообще не существуют. Я имел и известное «конкретное представление» о природе ангелов. Ничего еще не ведая о различиях пола, я «знал», что ангел не мужчина и не женщина и все же нечто, подобное человеку. В том, что за спиной у него крылья, я не был уверен, но окрылеш-гость его мне нравилась, и я огорчился бы очень,

если бы меня стали уверять, что у ангелов крыльев нет. Не мог я себе представить ангела нагим — однако вот «ангелочки», вроде тех, что представлены у ног «Сикстинской мадонны» выглядывающими из-за какого-то парапета, те «могут быть» голенькими. Ангелочки, «херувимчики», почти что «амуры» — вообще особый разряд небожителей, они милейшие и нежно мною любимые, по наверняка не им поручается попечение о нас. Что же касается до тех одежд, в которые художники облачают ангелов,— то я чувствовал, что это «только так», нечто приблизительное и условное... Особенную нежность я, кстати сказать, питал к тем исполинским и действительно прекрасным полунагим юношам, которые восседали и «балансировали» на карнизах по сторонам боковых алтарей в нашей прекрасной церкви св. Екатерины на Невском...

Что же касается до самого господа бога, то его наружность я рисовал себе не иначе, как в виде почтенного, несколько печального старца с длинной бородой (и уже его я никак не мог бы вообразить не одетым). Впрочем, меня не смущало то, что иногда я видел бога изображенным в виде одного только «всевидящего» ока, заключенного в треугольник. Менее всего в те годы останавливалась мысль на Христе, если не считать, что я радовался его рождению на елку и его воскресению на Пасху. Картин, изображающих страдания Христа, я видел множество, не говоря уже о распятиях, которые встречались на каждом шагу (в спальне моих родителей висело большое скульптурное распятие), но эти изображения почему-то «не доходили до моего сердца». Марианна пыталась мне читать отрывки из Евангелия, но насколько я любил библейские истории, настолько эти истории Нового Завета мне казались скучноватыми,— я не понимал самой сути их.

Очень значительная перемена в моем отношении ко «всему божественному» произошла благодаря тому же киндергартену. Мой «подлог» всколыхнул неведомые мне до той поры духовные ощущения. Библейские же рассказы, из которых состояли субботние уроки тети Жени, осветили новым светом уже известные мне истории, случившиеся давным-давно в далекой «святой» земле. Я теперь безусловно стал верить в избранность божьего народа, в благо божьих путей, всего «божьего порядка», а также в конечное торжество божьего начала над всяким злом. Но неясным оставалось то, что господь должен был пожертвовать своим сыном и что избранный им же народ этого сына божьего не признал и даже, несмотря на совершенные чудеса, казнил его. И как же так «избранный народ» лишился затем божьего покровительства? В то же время я недоумевал, как этих же самых

«евреев, распявших Христа», все же терпят среди нас, христиан, а «святой землей владеют турки и басурманы»? Это были смущающие вопросы, но любое объяснение, всегда как-то наспех даваемое в таких случаях старшими, удовлетворяло меня, ибо я все равно йыл уверен в том, что все это точно и верно, доказано и признано всеми.

Урок Священного Писания Евгении Аристовны каждый раз неизменно оканчивался особой церемонией. Ее рассказы не захватывали боль-

шого периода, а довольствовалась она отдельными эпизодами — историей грехопадения и изгнания из рая, историей Каина и Авеля, историей потопа и т. д. Их хватало на целый урок. Рассказывать же она была мастерица. В драматические моменты ей удавалось заразить своим возбуждением весь класс. Передавая что-либо чувствительное или прелестное (скажем, описание рая или ликование Ноя после выхода из ковчега при виде обновленной, прощенной земли), она вся как-то млела, а в глазах показывались слезы. При этом она импровизировала целые диалоги и подолгу останавливалась на таких подробностях, о которых нет и помину в текстах. И вот, когда тема данного урока была исчерпана, то вызывались двое из маленьких слушателей (этот вызов служил известной наградой за поведение), и они отправлялись в ее спальню для того, чтобы оттуда припести Библию.

Это была не простая обыкновенная книга Ветхого и Нового Завета, а это был толстенный и внушительный фолиант с золотым обрезом и с золотыми гвоздями на черном переплете. Библия эта всегда покоилась на отдельном круглом одноногом столике, крытом вязаной салфеткой и стоявшем перед диваном. Книга была довольно тяжелая, а нам она казалась прямо огромной и пудового веса — до того она была наполнена святостью. Надлежало ее нести вдвоем, взяв ее с двух сторон, нести бережно, отнюдь не торопясь, дабы, не дай бог, не уронить ее. Когда же книга была передана в руки тети Жени, то она, не выпуская ее, вплотную придвигалась на костылях к нашим партам и клала ее на ближайшую. Затем с торжественной медлительностью она открывала ту страницу, в которую была вложена расшитая закладка, и тут показывалась картина, изображавшая как раз только что описанное событие. К этому моменту всем было разрешено сойти со своих мест и приблизиться; получался даже некоторый беспорядок, кое-кто взбирался на скамьи, чтобы лучше через головы товарищей вес разглядеть. Я же испытывал в эти

минуты дрожь восторга. Уж очень мне нравились эти большие во всю страницу картины. То не были какие-нибудь обыкновенные, а принадлежали они немецкому художнику Шнорру2, и рисовали они сцены Священной Истории с удивительной уверенностью, ясностью и убедительностью. Они были полны благородной красоты, на которую так отзывчива детская душа. Мне все это казалось не менее прекрасным, нежели композиции обожаемого Рафаэля! Вернувшись домой, все еще под впечатлением виденного, я спешил поделиться им с папой, и папа с большим одобрением отзывался о Шнорре, с которым он, кажется, и лично был знаком в Риме. Это меня трогало чрезвычайно, мой же восторг, видимо, умилял папочку. Вот почему, когда в качестве пожелания на Рождество я заявил, что хотел бы иметь Библию Шнорра, то папа вовсе тому не удивился, не сказал, что этот довольно дорогой подарок не для моих лет, а сразу согласился. Библию Шнорра, приобретенную в магазине Криха, я, к неописуемой моей радости, и увидал на столе под елкой вечером 24 декабря 1878 г. Моя Библия была точно такая, как Библия Е. А. Вертер, и даже переплет с золотыми гвоздями был такой же. Чудесную книгу я мог теперь

разглядывать, когда мне вздумается, и разглядывал я ее целыми часами. Большой драгоценностью я продолжал ее считать и впоследствии, и вот почему я поднес ее обожаемой девушке, которую избрал себе в подруги жизни. В свою очередь, Библия Шнорра красовалась среди приданого моей Ати, и она же по сей день находится с нами, взятая с собой в эмиграцию среди вещей, особенно для нас ценных.

Прибавлю еще, что именно восторг от рисунков Шнорра, от чудесной гармонии, коей исполнены эти несложные, но местами полные драматизма композиции, восторг от всего их духа, «действительно святая искренность» этого памятника искусства много значили в выработке моих эстетических запросов и убеждений. В частности, я через Шнорра подошел к немецким романтикам — к Швинду и Людвигу Рихтеру, а также и к прерафаэлитам и к нашему Александру Иванову. Благодаря Шнорру я получил некоторое мерило, которое и до сих пор вовсе не утратило своего значения, несмотря на все то пестрое и частью весьма смущающее, чем постепенно загромоздилась моя художественная память и самая моя «художественная совесть».

* * *

Как во всякой образцовой школе, так и в киндергартене госпожи Вертер преподавались еще два предмета: уроки рисования и уроки танцев. Рисованию учил художник Лемох, танцам — известный балетный артист Стуколкин. Однако как преподаватели ни тот, ни другой никуда ни годились, и, во всяком случае, я от их уроков не почерпнул ровно никакой пользы. Лемох был тихим, скромным господином, он говорил еле слышным голосом и позволял нам на своих довольно редких уроках шалить и баловаться, сколько нам угодно. И одет он был как-то «тускло» во все серенькое, однако не без изысканности, бородка же у него была жиденькая. Мне нравился, впрочем, грустный взор Лемоха, да и вся его ласковость. Значительный ореол сообщало Лемоху то, что он был участником передвижных выставок '*, и особенно, что он давал уроки детям наследника цесаревича (в том числе и старшему его сыну, будущему императору Николаю II).

Бестолковым учителем был и милейший Стуколкин. Возможно, что в Театральном училище, где жили прочно установившаяся система и весьма почтенные традиции, где он должен был подчиняться раз уста-

*1** Картины Лемоха мне совсем пе нравились, по они вполне отвечали программе передвижников 3, ибо изображали исключительно печальные события из крестьянского быта: «Больная мать», «Сиротка» и т. п. Позже я встречал Лемоха на многолюдных собраниях у Альбера, который одно время увлекался его красавицей-дочерью. Увидев одну из моих тогдашних, очень наивных и беспомощно-ребяческих композиций, изображавшую Жанну д'Арк при осаде Орлеана, он мне сказал: «Вам следовало бы серьезно заняться рисованием, у вас заметный талант». Возможно, что он таким образом предлагал себя в учителя, но, помня его преподавание, я, разумеется, не подумал обратиться к нему за руководством.

новленной программе, его уроки приносили пользу: возможно, что и как

преподаватель «салонных» танцев Стуколкин умел показать, как надо танцевать кадриль, вальс, польку и мазурку. Но в киндергартене он занимался не этим, а час, посвященный уроку, целиком уходил на то, что мы, расставленные в шашечном порядке, без конца шаркали то одной ногой, то другой, и это под гнусавые, убийственно печальные звуки скрипочки, на которой пиликал всюду сопровождавший его унылый господин в очепь поношенном сюртуке. Сам же Стуколкин был с утра одет с иголочки во фрак, а некрасивое, на клоунское похожее его лицо

было гладко выбрито. Когда он замечал, что наше шарканье теряет и последнюю степень энергии, он делал перерыв, и этого мы ждали с особым интересом, так как тогда он устраивал нам род спектакля. Корча самые уморительпые рожи, он показывал, как не нужно танцевать, и в этой гротескной имитации он доходил до виртуозности. Смеялись до упаду не только мы, малыши, но и заходившие в зал разные «тети» с самой Евгенией Ари-стовной во главе. Оставался печально-равнодушным один только музыкант, которому, видно, давно успели надоесть эти обезьяньи штучки своего патрона 2*.

Что касается до прочего преподавания в киндергартене, то оно было отлично поставлено, и я быстро выучился читать и писать; так называемая фонетическая система сразу объясняла мне, в чем дело и почему буквы сливаются. Да и в арифметике, и в каких-то началах географии киндергартен сумел сделать из меня усердного, добросовестного и понятливого ученика. Скажу больше — все, чему я тогда научился, создало основу, которую не удалось затем расшатать ни дилетантски поставленными домашними уроками, ни безобразной казенщиной гимпазии. Даже и до сих пор то малое, что я знаю твердо, это то, чему я выучился во время своего пребывапия с осени 1876 г. до весны 1878 г. в школе госпожи Вертер.

В этой же школе я испытал впервые сладость первого «публичного успеха». Это произошло на каком-то чествовании тети Жени — в день ее рождения или именин. Был подан на всю школу шоколад, были налажены какие-то танцы и игры, а затем кому-то пришло в голову устроить что-то «театральное». Детвору младших классов посадили в зале рядами

Мне вспоминается аналогичный случай «преподавательского смехотворчества». Такие же взрывы неудержимого хохота вызывал в казенной гимназии, куда я поступил в 1880 г., наш учитель чистописания господин Шпель. Казалось бы, что может быть скучнее, нежели уроки цыне все более пренебрегаемого художества каллиграфии, однако Шнель обладал, несомненно, настоящим даром карикатуриста, и этот дар проявлялся не в каких-либо шаржах на людей, а в гениально карикатурных претворениях букв. Шнель рисовал их на доске в громадную величину. Делал он это с похвальной целью присрамить перадевших или неумелых и показать, как надо рисовать. Нарисует он какое-либо уморительное *Б* или *Щ* и тут же рядом изобразит с изумительным совершенством те же *Б* или *Щ* уже в идеальном преображении — просто неописуемыми красавицами. Увы, и его уроки остались для меня лично совершенно бесплодными. Корявый почерк выработался у меня очень рано, и

таки-ы же корявым он и остался.

перед дверью в коридор, а в этих дверях поочередно стали появляться мои товарищи и товарки. Одни лопотали какие-то стишки, другие пели песенки. Все это показалось мне ужасно скучным, и меня стал разбирать какой-то особый задор. Ужасно захотелось что-либо представить удивительное. Что именно, я сам не знал до момепта, когда поднялся занавес, точнее, когда отворились двери из коридора в залу, но в этот момент меня «осенило вдохновение», и, побеждая обычную робость, я «начал действовать». Что именно я изображал, я не сумел бы и тогда объяснить. Публика увидала меня сидящим за низеньким (по моему же требованию поставленным) столом, погруженным в какое-то занятие. Я с азартом рылся в книгах, что-то быстро записывал и часто изо всех сил хлопал по столу, корча вдохновенные рожи. Кончалась же эта немая сцена тем, что я влез со стула на стол, на столе изобразил припадок безумного гнева, а затем со всего размаха грохнулся на пол, причем постарался это сделать, как заправский актер — так, чтобы не было больно. «Зала огласилась неистовыми аплодисментами», я же, счастливый, выходил на вызовы и раскланивался, раскланивался. Курьезно, что этот идиотский мой дебют запечатлелся во мне на всю жизнь. Запечатлелся не один только тогдашний успех, но и то не совсем приятное чувство, которое, несмотря на успех, во мне тогда же пробудилось. Я понял, что мой успех не заслужен, что я бессмысленно что-то наерундил, и это послужило мне навсегда уроком; я тщательно с тех пор старался от всякого подобного «бессмысленного гаерства» воздерживаться, по не могу утверждать, чтобы это мне всегда удавалось.

Глава 6 РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

Приближение войны стало чувствоваться задолго до ее объявления, и хотя я пребывал в том блаженном состоянии, когда газет еще не читают и политическими убеждениями не обладают, однако все же и на мне общие настроения отразились довольно ярко. Но та русско-турецкая война носила особый, я бы сказал несколько «семейный» характер — такой, по крайней мере, она представлялась всем тем, кто почувствовал, что семья русских людей вдруг может пополниться присоединением к ней «братьев славян» или, как их с чисто родственной фамильярностью называли,— «братушек». Все разговоры в обществе, где бы и когда бы они пи велись, вертелись вокруг сербов, болгар и черногорцев.

В них главным образом видели несчастных мучеников, стенавших под игом турок, а также изумительных героев, готовых жертвовать всем, чтобы завоевать свободу и независимость. Особенное впечатление на меня производили рассказы про те пытки, которым подвергали «кровожадные башибузуки» жителей подвластных Порте стран. На страницах иллюстрированных журналов печатались картипки на эту же тему, а на выставках

появлялись картины иной раз значительных размеров, в которых художники старались выразить свое негодование или свой патриотический восторг.

Одну из этих картин я особенно запомнил, и это потому, что рассказывали, будто «сам наш добрый государь», увидав ее, расплакался. Изображала она (описываю по памяти, по своей детской памяти) двух жутких разбойников в чалмах, которые держат под руки полураздетую женщину, казавшуюся мне пьяной. На земле лежала другая полураздетая женщина с закрытыми глазами. Называлась картина, если не ошибаюсь, «Турецкие зверства», и принадлежала она кисти наиболее прославленного в те годы художника — Константина Маковского. Увидав ее в Академии, я скорее был разочарован этой, па мой вкус, слишком пестрой в красках картиной. Еще не побывав на выставке, слушая разговоры старших, я готовился увидать нечто чудовищно страшное (что в детские годы служит величайшей приманкой), а тут как раз самих зверств я и не приметил. Женщина на полу была «просто мертвой», а что должно было произойти с девушкой, которую схватили злодеи, об этом я в те дни. не мог догадаться.

Весной 1877 г. война была объявлена, и с этого момента можно было видеть полки за полками и длиннейшие обозы, отправляющиеся на вокзалы, на городских же площадях происходили смотры и учения. Приехали к нам прощаться отправлявшиеся на фронт наши родственники, все три брата артиллеристы Шульманы, кузен Николай Михайлович Бенуа и кузен Миша Апдерсин, явились и разные знакомые, явился в белой блузе-рубахе и в белом кепи с подвешенным на затылке платком, с биноклем на черном ремне Зозо Россоловский, отряженный газетой в качестве военного корреспондента. Его и без того выпученные глаза теперь таращились от энтузиазма и преданности славянскому делу прямо ужасающим образом (недаром он был родственником Аксаковых). За семейными обедами разговоры на политические темы приобретали обостренный характер и зачастую обрывались «тяжелыми молчками», а в воздухе повисала угроза общей размолвки. Я не

узнавал своего зятя Женю Лансере, обычно столь тихого, угрюмого. Он, не стесняясь присутствием Мата Эдвардса, с яростью нападал на англичан, видя всюду их козни и провокации, а позже, в период Берлинского конгресса, от Жени особенно доставалось лорду Биконсфильду \ Именно тогда его фанатическое поклонение «святой Руси» обнаружилось с особой силой, не встречая в других настоящего сочувствия. Моментами Женя начинал даже до того вызывающе вести себя, что терпеливая, покорная его жена, сестра моя Катя, принуждена была его урезонивать и призывать к сдержанности.

Появилась и масса песенок, куплетов, а в сатирических журналах только и рисовались в смешном виде турки, англичане, иногда и австрийцы. Цель их была возбудить пародный гнев и презрение к врагу и его сообщникам. Даже мальчишки в школах и гимназиях, не говоря уже о кадетиках, все заделались бравыми, на всякое геройство готовыми воя-

//, 6. Русско-турецкая война

367

ками. Меня же это только смущало. Почему-то мне казалось, что все ломают какую-то комедию и стараются друг друга обмануть. Директриса нашего киндергартена, еще до объявления войны, пыталась вызвать в нас коллективное слезоточение и добилась-таки, что девочки и мальчики рыдали перед принесенной ею луоочиой картиной, на которой были изображены злодейства турок. Но, к собственному удивлению, мне тогда не удалось выдавить из себя ни одной слезинки, а чтобы скрыть от других такую свою непростительную черствость, я закрыл лицо платком и вздрагиванием и аханием старался передать то, чего не испытывал. Позже, к весне и ранней осенью, нас заставляли в киндергаргене часами щипать корпию. Это было не только очень скучно, но и опять-таки раздражало меня ощущением фальши. Работа у меня к тому же не клеилась, и как только тетя Наташа поворачивала спину, я клал порученные мне тряпки обратно в общую кучу. Впрочем, моментами мне удавалось вообразить те зияющие раны, на которые лягут эти нащипанные пами волокна, и тогда, движимый состраданием, я снова принимался за работу.

Детям война представлялась ие иначе, как победоносной. Так, например, мы совершенно не ощущали опасных и трагических перипетий, связанных с осадой Плевны. Правда, это происходило летом, когда игры на воздухе не позволяли сосредоточиваться на чем-либо таком. Зато и я и все мои маленькие товарищи были потрясены взрывом турецкого монитора на Дунае, но этому особенно способствовали на сей раз

эффектные отпечатанные в красках картинки, изображавшие это событие в виде какого-то извержения вулкана, с несколько притом комической нотой. Разве не «смешно» было видеть, как в столбе пламени и в кроваво-красных облаках дыма барахтаются фигурки турок? Мне при этом было лестно узнать, что автором этого извержения был тот самый Дубасов, который год назад спас нашего Колю от гибели в морской пучине. Когда приходило известие о гибели какого-либо знакомого, то это казалось чем-то совершенно исключительным и никакой угрозы для других не представляющим. Я убежден, что так же, как дети, относилось и большинство взрослых; так вообще относятся люди к самому ужасному из бедствий. Происходит же это нелепое и преступное отношение от недостатка воображения. В своем месте я говорю о том, какое потрясающее впечатление произвели на русское (и на все европейское) общество картины Верещагина, в которых художник представил и подчеркнул нелепость и преступность войны, но именно таких картин никто из бывших на войне тогда не рисовал и не описывал, а те, кто приезжали с фронта (приезжал на побывку и загорелый, как арап, Зозо), те все считали своим долгом выставлять виденное ими в одном и том же ура-патриотическом освещении и в каких-то ликующих красках.

С войной у меня связано и одно довольно яркое театральное впечатление. Я уже выше говорил о балете «Роксана — краса Черногории», теперь же нужно еще раз вернуться к нему. Премьера состоялась не то в конце 1877 г., не то в начале 1878 г.2, и на первом представлении мы присутствовали, сидя большой детской компанией в двух смежных ложах

в Большом театре. Спектакль имел определенно патриотический характер; он начался с национального гимна и завершился им же, причем публика заставляла оркестр повторять «Боже, даря храни» несколько раз. Подробности сюжета «Роксаны» стерлись в моей памяти, но отдельные эпизоды сохранились. Особенно меня поразил тот момент, когда во втором действии бравый черногорец, любящий красавицу Роксану, вступает в рукопашный бой со свирепым башибузуком, не то похитившим, не то собирающимся похитить любимую ими обоими девушку. Происходило это ночью на деревенском, лишенном перил мосту, перекинутом через сверкавший в лунном свете водопад; оба соперника встретились на нем, и черногорец после нескольких схваток сбрасывал огромного турка в стремительный поток... В конце балета происходило чествование воссоединившихся любовников, и среди всяких других плясок, в которых считалось,

что балетмейстер в точности воспроизвел подлинные танцы южных славян, выделился детский марш, исполненный воспитанниками театрального училища. Бодрая, веселая музыка этого марша приобрела сразу тогда исключительную популярность, и его можно было слышать еще десятки лет спустя во всех увеселительных садах и на детских и других балах. И я запомнил марш из «Роксаны» целиком; и помню его до сих пор от начала до конца. С этого же спектакля мне знакомо имя Марии Петипа, так как внимаппе взрослых, сидевших в нашей ложе, было обращено на красоту дочери знаменитого балетмейстера, только что тогда пачавшей выступать. О пей было даже больше разговоров, нежели о главной танцовщице, не очень казистой Евгении Соколовой.

Другое театральное воспоминание «военного времени» относится к балаганам. В эту зиму (1878 г.) балаганы, в которых продолжали идти «арлекинады» и другие безобидные истории, пустовали, зато исключительным успехом пользовался театр Малафеева, где вместо его специальности — инсценировок народных сказок (довольно грубых и безвкусных) на сей раз поставлены были на Масленицу и на Пасху по драматической пьесе с сюжетами, отражающими только что происходившие события. Я не любил такие представления, но меня потащили кузины Храбро-Васклевские, и кое-что из этих спектаклей я, если и не оценил, то запомнил. Действие пачииалось с идиллического изображения болгарского деревенского быта. В тесном семейном кругу шли приготовления к бракосочетанию дочери дома с молодым горцем. Но идиллии тут же наступал конец с момента появления все тех же злодеев — башибузуков. Древнего дедушку на глазах у всех убивали, отца, главу семейства, привязанного к столбу, подвергали пытке за то, что отказывался указать место, в котором засели русские, а связанную девушку злодеи собирались увезти с собой. Но, к счастью, очень миловидная, переодетая мальчиком, девочка успела предупредить русский отряд, и помощь поспевала вовремя. Башибузуки тут же были застрелены, болгарин отвязан от столба, невеста и жених освобождены и воссоединены, а над трупом дедушки все склонились в молитвенном умилении. В это время хата превращалась в апсфеоз, изображавший в центре «спасительницу Россию».

11, 6. Русско-турецкая война

369

Другая пьеса почти целиком состояла из военных действий. Генералы, и среди них чуть ли не сам Гурко ", допрашивали турецкого шпиона а во второй картине на фоне эффектной декорации, изображавшей спеж-ные вершины Балкан, в течение

добрых пяти минут проходили войска «белого цари» — все те же сорок человек солдат и все та же единственная пушка, запряженная двумя клячами. Солдаты и пушка скрывались в левой кулисе и тотчас снова появлялись из правой. В другой сцене было представлено сражение — пожалуй, самое взятие Плевны, если не Карса. Но это было не столько зрелище, сколько «слушаще». От выстрелов и взрывов подымался такой шум, что и после того звенело в ушах, а происходившее па сцене почти скрывалось за клубами дыма. Эти выстрелы были слышны и снаружи на площади и, несомненно, они оказывали притягательное действие; густая толпа ожидала очереди, несмотря на мороз; и приходилось ей ждать очень долго. Не могу сказать, чтоб и эти Мар совы потехи оказывали какое-либо возвышающее действие на меня. Видно, я в то время уже «перестал быть милитаристом». Если по-прежнему я и любовался формами, парадами и смотрами, если любил расставлять своих оловянных солдатиков, то уже ненавидел дело войны как таковое.

Отражением русско-турецкой войны явились еще выставки картин Верещагина и те панорамы, которые были показаны петербургской публике и которые изображали «Взятие Плевны» и «Взятие Карса».

Выше я уже упомянул о том впечатлении, которое произвели на меня каришы Верещагина, но здесь необходимо к ним вернуться: уж слишком они взволновали тогда общественное мнение, слишком много толкон и споров они возбудили. Наиболее нашумевшая из этих выставок — а именно та, на которой были представлены последние военные события,— давно закрылась, а на наших семейных обедах дядя Костя и дядя Сезар все еще схватывались по поводу произведений Верещагина с дядей Мишей, с Женей Лансере, с Зозо Россоловским и с почтеннейшим синьором Биапки. И как схватывались! Но только «партийной дисциплины» в этих схватках не было, вследствие чего получалась дикая путаница. Те же лица, кто восторгались живописью Верещагина, готовы были его обвинить чуть ли не в государственной измепе, а те, кто хвалили Верещагина за его правдивость, возмущались «шарлатапизмом» художника. Этот шарлатанизм они усматривали как в том, с каким искусством художник «умел рекламировать» свое творчество, так и в том, как эти выставки были устроены и освещены. Окна залы того частного дома (где-то на Фонтанке), в которой была устроена наиболее нашумевшая из них, были закрыты щитами, а в получившемся мраке самые картины ярко освещались электрическим (только что тогда изобретенным) светом; вследствие этого солнечные эффекты казались ослепительными и

предельно иллюзорными.

Как я уже упомянул, споры о Верещагине были до того возбуждающими, что даже мамочка, вообще выставок не посещавшая, решила отправиться посмотреть собственными глазами, что это такое. И несмоаря

370// *6. Русско-турецкая война*

на то, что ее предупреждали, что там невообразимая давка, она все же взяла меня с собой. Ее, болезненно боявшуюся толпы, не оттолкнуло и то, что пришлось ждать очереди снаружи у подъезда; внутри же в полутемноте топталось несметное количество пароду, но, раз попав за дверь, идти на попятный было поздно, н мы, толкаемые со всех сторон и не раз рискуя быть раздавленными, обошли-таки выставку, расположенную в нескольких залах. Почему-то у пас особенно спорили о картине «Si jeune <et déjà décoré» («Такой молодой, а уже отличившийся»), так по-французски и озаглавленной, которая изображала юного франтоватого свитского офицерика, увешенного орденами. Я эту картину сразу и стал искать, по власти уже успели ее удалить с выставки, увидав в ней какие-то дерзостные намеки на каких-то салонных военпых, которые умели делать карьеру на общем несчастье. Зато я увидал «Панихиду на поле битвы» 4, и эта картина меня поразила до глубины души. Странное дело, •оказала она на меня одновременно и отпугивающее, и притягивающее впечатление. Некоторых очень нервных детей притягивает все, что «пахнет смертью», и как раз я в те времена отличался в сильной степени этой странной необъяснимой чертой. Поэтому я и остолбенел, увидав это поле, на котором до самого горизонта вместо травы или вспаханной земли виднеются серо-желтые обнаженпые, точно кем-то посеянные людские тела! Фигуры смиренно и покорно кадящего батюшки в черной рясе и стоящего за ним навытяжку солдата только усиливают впечатление безнадежного молчания и пустынности, а унылое серое небо лежит тяжелым покровом над всей этой сценой.

Сейчас Верещагин почти забыт, и как раз я был одним из первых, кто еще в 90-х годах восстал против его «абсолютной» славы 5 — ведь в те времена за границами России из русских художников только его и признавали, в России же многие почитали Верещагина за какого-то мага живописи, до которого всем западным новаторам как до неба. Это была одна из вечно повторяющихся ошибок общественного вкуса, и я был прав, когда именно восстал против всего того, что в живописи Верещагина было жесткого, подчас даже любительского и просто безвкусного. Теперь же, мне думается, пора снова переменить такое отношение

к мастеру и заняться некоторой реабилитацией его. Верещагин не только возбуждал скандалы смелостью своих тем, но в нем была и та сила убеждения, та воля к творчеству, та острота наблюдения и яркость вымысла, которые, если и по создают еще живописца как такового, то, во всяком случае, являются отличительными чертами подлинного художника. Иные истинно жизненные памятники своего времени, созданные художником, бывают куда ценнее чисто «эстетических удач».

К таким «памятникам эпохи» следовало бы причислить и помянутые панорамы «Плевиы» и «Карса», которые были не без мастерства написаны па основании добросовестно собранных документов французским художником Фелипото и которые были выставлены напоказ публике одна после другой в специально сооруженном круглом здании на набережной Екатерининского канала недалеко от Казанского моста. К сожалению,

однако, панорама, как бы она хорошо ни была написана, не может служить памятником уже ио той простой причине, что срок ее существования всегда краток. Панорама требует целого сооружения и представляет собой нечто чересчур объемистое и громоздкое. Почти все панорамы (а на них была большая мода в конце XIX в.) и оказались по прошествии немногих лет уничтоженными1*, или, что равносильно уничтожению, полотна, на которых они написаны, свернуты и сложены в какие-либо склады. Между тем, какой громадный интерес представляло бы такое иллюзорное изображение действительности, если бы оно дошло до нас, скажем, от времени Людовика XIV или королевы Елизаветы? Да уж и сейчас было бы не безынтересно увидать панораму, написанную Невилем и Детайлем (фрагмент ее в Версальском музее) или те же панорамы русско-турецкой войны 1877 и 1878 гг., о которых я вспоминаю. Все это произведения, не удостаивающиеся попадать в «Историю искусств»,— но это не мешало им производить в свое время своеобразное и очень сильное впечатление. Что касается меня, то я, склонный вообще ко всякому проявлению иллюзорности, способен был простаивать часами на платформе, составляющей центр панорамы, и тешить свой глаз разглядыванием того, что расстилалось не только передо мной, но и вокруг меня. Нравилось мне чрезвычайно и то, что весь передний план панорамы был совсем как настоящий. Ои состоял из пластических деталей: земляных укреплений, кустов, лафетов, пушек, разбросанного оружия, а где-то из-за угла выделялся даже «настоящий» труп турка.

* * *

Необходимо упомянуть здесь и об эпилоге военной эпопеи русско-турецкой кампании. Я говорю о той торжественной встрече, которая была устроена возвращающимся с фронта войскам, что происходила у Московской заставы и чему прекрасной декорацией послужили грандиозные-триумфальные ворота, сооруженные (по проекту Стасова) еще в 1830 г. Городское управление столицы обставило это торжество особым блеском, соорудив у подножия черных дорических колонп ворот эстраду для представителей города, ложи для приглашенных и ступенчатый амфитеатр для публики. Все это было драпировано цветными тканями и украшено гирляндами цветов и лавров. Многосаженные национальные флаги — русские, сербские и болгарские свешивались с целого леса мачт и плавно-развевались по ветру. Гремели полковые оркестры, а публика почти несмолкаемо кричала «ура» — еще до того, как появились первые эшелоны «наших бравых героев». Я с родителями сидел в одной из лож, предо-ставлепных членам Городской управы, и рядом с нами стояли большие-

** Особенно я жалею о гибели превосходной панорамы древнего Рима (в дни Константина Великого), созданной проф. А, Вагнером и бывшей многие годы одной-из приманок Берлина, Она, кажется, сгорела. Сгорела, если не ошибаюсь, и превосходная нанорама Пигльхейна, изображавшая Голгофу 8.

372

II, 7. Andre Potelette

корзины, до самого верха заваленные лавровыми венками. Эти венки надлежало бросать в проходящие войска, и такая «игра» пришлась мне, восьмилетнему мальчугану, особенно по вкусу. К концу я навострился попадать венками на самые штыки проходящих под нами солдат, а брату Мише удалось даже так ловко бросить три венка в проезжавшего во главе своей артиллерийской части кузена Колю Шульмана, что два из них увенчали его, а третий Коля словил на лету своей шашкой. Именно благодаря этой удаче и тому, что героем здесь оказался близкий человек, картина эта запечатлелась во мне с несмываемой отчетливостью. Так и вижу счастливую физиономию Шульмана и его широкий жест признательности в нашу сторону. Но не так счастливо кончилась война для другого моего кузена — для Николая Михайловича Бену а. Раненный осколком в голову, он лишился рассудка и так до конца своих дней и остался калекой.

*Глава 7 ANDRE POTELETTE**

Осенью 1878 г. в моем лично-домашнем быту произошла довольно значительная перемена. Мамочка находила, что я не делаю достаточных успехов во французском языке на уроках слишком добродушпого мосье Апри и очень недалекой M-lle Leclerc**, стародавних педагогов нашей семьи,— и решила прибегнуть к способу, который был ей рекомендован какими-то знакомыми: выписать из Франции мальчика одних со мной лет. Среди публикаций, печатавшихся в «Journal de St. Petersbourg» ***, одна показалась ей вполне подходящей. В ней предлагала свои услуги дама (пожилая), вдова военного, которая готова была поступить в качестве гувернантки (в хороший дом) с условием, чтобы при ней остался сын. Это как раз соответствовало тому, о чем мечтала мамочка. Даму звали мадам Потлет, а сына Андре. После обмена письмами настал период ожидания приезда этого моего нового «друга». В том же, что он сразу станет мне самым закадычным другом, я не сомневался: ведь он ехал из Парижа, казавшегося мне каким-то благодатным местом! Я и играть, и рисовать, и читать бросил, до того все мои помыслы были направлены к этой встрече. Всюду я писал своими детскими каракулями карандашом имя «Андре». Одно из таких начертаний (на сей раз чернилами) можно было видеть еще долгое время спустя, к огорчению мамы, на прелестной цветной скатерти, привезенной дядей Сезаром со всемирной выставки.

Наконец, большой день настал. На вокзал за мадам Потлет была по-

* Андре Потлет *(франц.)*. ** Мадемуазель Леклерк *(франц.)*. ** «Санкт-Петербургской газете» *(франц.)*.

слана карета, **а часов около** шести вечера новоприбывшие водворились у нас. Им была отведена «Красная» (моя будущая) комната, и парижская дама, видимо, осталась довольна ею, после того как были исполнены разные, не слишком затруднительные ее пожелания, касавшиеся переставлеиия мебели и прибавления нескольких предметов па умывальном столе. Попросила также мадам Потлет, чтобы были удалены некоторые картины, на месте которых она сразу повесила свои фамильные фотографии и среди них большой овальный портрет бравого офицера с усами и с эспаньолкой à la Napoleon **III.** Я был несколько смущен, заметив, что Андре на вершок выше меня ростом (он был на полгода старше меня); что же касается до его мамаши, то это была плотненькая дамочка с правильными, но совсем неинтересными чертами лица.

Первые дни все шло как по маслу. Мадам Потлет была

донельзя предупредительна и любезна. Лндре ласков с тем легким оттенком по-кровтельствеыного тона, который дети постарше берут в отношении детей хотя бы всего на год их моложе. В общем же Андре мне скорее понравился. У него были веселые хитренькие глазки, смешной вздернутый носик, вел он себя скромно и тихо, с моими игрушками играл осторожно, ничего из них не ломая. Правда, однажды он мне предложил «подраться», но, поняв, что мне это совсем не но вкусу, он не настаивал.

Однако уже через неделю па мамочкином лице, на котором я умел читать ее затаенные настроения, появилось то особое выражение «душевного страдания», которое показывало, что она чем-то серьезно озабочена. И выяснилось, что француженка оказалась особой довольно капризной, привередливой и даже порядком несносной. По всякому поводу она обращалась к маме с разными претензиями, с прислугой говорила резко повелительным тоном, явно выражая свое презрение к этим «варварам», а раза три она повздорила и с моей немецкой бонной Софи.

Да и столь желанный Андре обнаруживал с каждым днем черты малоприятные. Моим любимым занятием, т. е. рисованием, он, видимо, совершенно пе интересовался, он пренебрегал и моим театриком и моими немецкими книгами, а французские он пробежал в один миг с таким видом, что все это он уже знает давным-давно. Еще большее фиаско потерпели мои любимые книги из папиной библиотеки, и даже «Душинька» Толстого, и даже «Виольдамур»! Он и глядеть на них не захотел, зато в свою очередь вздумал меня поразить принесенными из своей комнаты двумя альбомами с иллюстрациями в красках, представлявшими события французской революции и империи. За это самовольное распоряжение предметами, почитавшимися госпожой Потлет величайшими драгоценностями, ему была устроена распекаиция, альбомы отобраны, а когда и мать и сын ушли к себе, то послышались и громкие пощечины. Хуже всего было то, что Андре не оставлял меня в покое. Приняв всерьез свое назначение служить мне каким-то ментором с обязательной практикой французского разговора, он все время торчал передо мной и болтал, болтал без умолку, а когда я отвечал, то беспрестанно делал мне замечания, быть может и дельные, но ужасно меня раздражавшие. Я стал остере-

гаться, как бы он не проник в мой интимный мир, не помешал бы мне

жить, как мне хочется.

Кроме того, в этом типичном французском мальчике было что-то определенно чуждое, что меня раздражало. Раздражал его смех — и главным образом причины, этот смех вызывавшие, раздражало его непрерывное хвасювство, раздражала даже его ловкость, увертливость и гибкость. Совершенно же невыносимыми мне казались его ежеминутные каламбуры и двусмысленности. До его приезда я сам себя считал французом, но теперь несравненно более отчетливо, нежели от контакта с мосье Раулем, с мосье Гастоном, с мосье Анри и с мадам Леклерк, я стал понимать, что «французские люди» — нечто совершенно иное, нежели персонажи в книжках «Bibliothèque rose» *. «Типичного французика» я отчетливо почувствовал уже тогда, когда он предложил мне подраться и особенно когда стал мне показывать свои альбомы с картинками французской революции (вперемежку со сценами казней в них были изображены одни только битвы и победоносные триумфы), сопровождая это полными боевого пафоса комментариями.

Первый кризис наступил приблизительно через месяц после поселения Потлотов у пас. Между нами двумя произошла ссора из-за какой-то сломанной игрушки, от перебранки мы перешли к кулачкам и, наконец, дело дошло до столь желанной Андре драки. Правда, дрался он «осторожно», но тем большую обиду я почувствовал, когда оказался под ним. Оставалось только прибегнуть к «военной хитрости»: я стал неистово вопить, а затем прикинулся «мертвым». Бедный Апдре при виде этого так испугался, что побежал, крича во всю глотку: «Шура умер, я убил

Шуру!»

Ну и вышла же из этого история! До этого случая мадам Потлет держала себя в отпошении сына приличным образом и лишь иногда за обедом, скорчив презлую физиономию, она подымала над ним руку, грозя, что наградит его подзатыльником, а тут, вслед за криками Андре, я услыхал совершенно странный визг, а когда я, оживший покойник, подбежал к двери «Красной» комнаты, то увидал и совершенно возмутительное зрелище! Мамаша колотила сына кулаками, куда попало, а затем, схватив Андре за волосы, стала его бить головой об стену. Этого я не в силах был вынести; я бросился на мадам Потлет, стал тузить ее изо всех сил, а когда она схватила меня за шиворот, то даже укусил ее в противную пухлую руку... Чем кончилась эта схватка, я не помню, но когда вернулась мамочка, я ей рассказал все, что произошло, и «выражение страдания» обозначилось на ее добром лице еще отчетливее.

С этого дня подобные расправы с Андре сделались явлением

обыкновенным, но только для производства их мадам Потлет запиралась в своей комнате на ключ, и вопли Андре слышались оттуда приглушенными. Несколько раз вслед за такими сценами происходили между мамой и мадам Потлет объяснения, но напрасно мамочка просила строгую и вспыльчи-

* «Розевои библиотеки» *(франц.),*

вую даму применять другие способы воспитательного воздействия, она не унималась, и уже редкий день стал проходить без того, чтобы не раздавались крики и тот ужасный стук головой об стену. Не понимаю, как выдержала черепная коробка Андре, не понимаю и того, как он после таких истязаний мог сразу начинать резвиться и играть.

Постепенно положение все более обострялось, а кроме того, мадам Потлет как учительница не оказалась на высоте. Она не обладала никаким даром преподавания. Снова появился на сцену учебник Марго, но я уже не смеялся над его глупыми фразами, а она заставляла их заучивать наизусть; когда же я неточно их передавал (я был склонен по-своему их варьировать), то, не решаясь прибегать к пощечинам и к подзатыльникам, она все же делала мне незаслуженные строгие выговоры. Придиралась она и к моему произношению, требуя, чтобы я картавил или глотал «эры» на парижский манер, чтобы я соблюдал оттенки разных «е», между тем у нас в доме на все эти тонкости не обращали внимания, и считали все же, что говорим мы все безукоризненно, «как французы». Правда, у старшей сестры папы, тети Жанетты, и у старшего брата, дяди Лулу, выговор был несколько иной, какой-то более шлифованный и деликатный, но это казалось просто их индивидуальной особенностью, а не какой-то их большей близостью к настоящему языку наших дедов.

В конце концов пришлось отказать мадам Потлет; ей дали нужный срок для подыскания другого места, ей заплатили выговоренную по условию неустойку, и три месяца после въезда Потлеты от нас выкатились. Все обошлось по-хорошему, без скандала, но последние расчеты со вдовой «командана» были произведены в подчеркнуто официальной обстановке, в зале; мадам Потлет была уже в шляпе и в тальме. Андре сидел на кончике стула и держал в руках свою шотландскую шапочку. Уходя, он подал мне левую руку, так как правой он поддерживал портрет своего усатого папаши. «Красная» комната опустела (туда вскоре въехал Мишенька), а я вернулся к своим играм и занятиям — с облегченным сердцем. Это происходило в копце января или в начале февраля 1879 г.

Совершенно случайно встретился я с Андре через двадцать лет на даче в Финляндии. Несмотря на побои и мучительства, из него вышел совершенно нормальный, очень почтительных! к памяти матери, типично французский господин — рядовой француз. Он обрадовался нашей встрече и заговорил о возобновлении пашей «дружбы». Однако первый же проведенный с ним вечер заставил меня принять меры, чтобы таковые не повторялись. Добродушный, веселый и любезный, он все же показался мне каким-то олицетворением вульгарпости и пошлости. При этом окончательно обнаружилось, несмотря на то, что теперь Апдре говорил по-русски не хуже меня, его типично французское «нутро», его склонность к болтливости, к очень дешевому остроумию, к каламбурам, к безвкусному балагурству. В те два часа, что длился его визит, он совершенно затормошил меня и шуточками, и все той же прежней своей подвижностью, поминутным вскакиванием с места и бесцеремонным разгуливанием по комнате. Но особенно меня оттолкнули его рассказы про какие-то удач-

ныс аферы, его хвастанье хитроумными финансовыми комбинациями, его склонность к сутяжничеству: «И тогда я сказал моему адвокату», «Он понял, с кем имел дело». Эти и подобные фразы так и сыпались, а мне становилось все скучнее и скучнее. На этом наше знакомство и прекратилось.

Глава 8

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА I. ЦАРЕУБИЙСТВО 1 МАРТА

Большое удовольствие зрелищного порядка я получил среди зимы 1877—1878 г. на выставке, посвященной царствованию Александра I. Выставка была устроена Городской думой в ознаменование столетия со дня рождения Благословенного, под наблюдением моего отца в Мааеже конногвардейского полка и представляла собой два ряда специально для данного случая написанных картин очень большого формата, поставленных лицом к окнам. Ввиду того, что темнота в эту пору года наступает чуть ли не в два часа, то над каждой картиной было прилажено освещение газовыми рожками, спрятанными за черные щиты. Общее впечатление от этих ярко освещенных, пестро расцвечепных картин и от масс обрамлявшей декоративной зелени, получалось праздничное и в то же время чуть

«похоронное». Что же касается самих картин (если я не ошибаюсь, тут были работы Шарлеманя, Горавского и В. П. Верещагина), то они оставляли желать многого. Папа не скрывал своего огорчения от неудовлетворительности работ тех художников, к которым оп особенно благоволил, я же не был столь требователен, и вся эта «иллюминация», все эти персонажи, написанные в натуральную величину и одетые в костюмы времени, до того мне нравились, что я не желал портить себе удовольствие замечаниями о дефектах, которые, однако, даже мне бросались в глаза. Картины были писаны наспех клеевыми красками людь-ыи, никогда до того к такому формату не обращавшимися, и этим, главным образом, объясняется помянутая неудача.

Особенно меня подкупало, что всюду па этих картинах фигурировал знакомый мпе не менее, нежели образ Петра I, образ того, кого я хорошо изучил по разным портретам в папином собрании. А в том, что он прозвище Благословенпого заслужил, я нисколько тогда не сомневался. Ведь это он с божьей помощью прогнал французов, ведь это оп прославился своим благочестием, ведь это оп погладил по голове папу, когда тот, будучи совсем малышом, встретился как-то с ним в саду Павловского дворца, и ведь это он был изображен в виде древнего витязя на медных медалях графа Толстого, разглядывание которых доставляло мне огромное наслаждение. В честь него же поставлена колоссальная Александровская колонна, увенчанная ангелом, держащим крест! Наконец, он

*II, 8, Цареубийство 1 марта*377

был сыном как-то особенно меня пленившего Павла и его жены, которая была восприемницей от купели моего отца. Да и самая наружность Александра Павловича, его круглое лицо с небольшим носиком, с еле заметными белокурыми баками на щеках, с ясными глазами и ласковой улыбкой на устах, вся его чуть склоненная фигура, наконец, тот костюм, в котором его представляли,— с громадной треуголкой и в высоких блистательных ботфортах — казались мне донельзя близкими и милыми, почти что родными. Такого государя я бы не боялся... И вот на каждой ий от их картин юбилейной выставки был изображен то какой-либо героический, то какой-либо благородный его поступок. Среди последних особенное впечатление произвела на меня сцена, на которой государь, сошедши с коляски, устремляется к лежащему на земле совершенно нагому мужику с намерением его поднять и оказать ему помощь. Глубоко тронула меня и та картина, на которой была изображена смерть Благословенного. Простую его кровать, в самой простой, вовсе не дворцовой комнате, обступают несколько предающихся

горю военных и штатских, и среди них выделяется фигура милой Елизаветы Алексеевны, представлявшейся мне просто каким-то ангелом.

Но я потому еще так запомнил эту выставку, что в дни, пока она ус!раивалась, я несколько раз бывал на ней — все благодаря баловству моего отца. Я видел, как выставка зреет, как устанавливаются деревянные устои и самые щиты с картинами. Интересно было видеть, как некоторые художники еще что-то на месте добавляли, подмазывали и исправляли. Не обошлось тут и без ублажения моего тщеславия. Три раза выдалось мне счастье проехаться по выставке в высоком придворном шарабане, запряженном цугом в четыре лошади с жокеями на них. Правда, шарабан не был парадным и таким нарядным, как тот, в котором сидели члены царской семьи (или сам государь) в Петергофе. Это был служебный шарабан, специально служивший для таких «репетиций»; да и жокеи не были в парадной форме, а одеты были в дежурные темные сюртуки, однако не всякому простому смертному может выдаться случай прокатиться на царский манер à la Daumont, да еще в закрытом помещении, в колоссальной зале Манежа, пол которого усыпан песком. Немудрено, что, посаженный отцом в экипаж, я как-то весь «взбух» от чванства и уже окончательно на несколько минут поверил, что я высокопоставленное лицо, когда некоторые рабочие и какие-то господа, проникшие в помещение выставки до ее открытия, столбенея при виде этого экипажа с мальчиком в нем, вытягивались в струнку и снимали шапки. Произошла эта странная церемония ввиду того, что на следующий день должно было состояться открытие выставки и на нее ожидали «царей». Вот для того, чтобы приучить лошадей к необычайной обстановке и к эволюциям в закрытом и затемненном помещении, и была устроена эта пробная прогулка.

Вообще семья наша отличалась совершенной лояльностью. Правда, папа несколько критически относился как раз к царствующему государю. Он чувствовал себя обиженным, ибо именно со вступлением на престол

самого памятника Николаю I у Синего моста; карета, окруженная казаками, пересекала площадь с Вознесенской на Морскую. И может < быть, потому именно картипа эта запечатлелась с такой отчетливостью в моей памяти, что я, не вполне отдавая себе отчет, все же как-то особенно ощутил контраст между гордой осанкой Николая Павловича, невозмутимо сидящего на своем вздымающемся коне, и видом его

сына, уподобившегося преступнику, которого как бы влекут куда-то под охраной.

Вслед за покушением Соловьева произошло еще несколько террористических актов 3, среди коих особенно грозное впечатление произвел взрыв в Зимнем дворце, погубивший почти всех солдат, находившихся в это время в помещении гауптвахты под той (временной) столовой, в которой должен был состояться обед в честь ожидавшегося из-за границы принца Баттенбергского. На сей раз царь и прочие члены царской фамилии избегли гибели только вследствие случайного запоздания поезда, на котором прибыл прпиц. Но то, что при этом стало известно о порядках, точнее, беспорядках в самой резиденции государя в Зимнем дворце, превосходило все, что можно было себе вообразить. По городу ходила масса слухов,— и два из них особенно поразили мое детское воображение. Рассказывали, что чья-то «невидимая рука» клала ежедневно па стол государя письмо с угрозой близкой «казни». Очевидно, в Зимнем дворце было столько переходов, коридоров, тайников, что уследить за всем тем, что происходило в этом колоссальном лабиринте, не было никакой возможности. И вот хоть и буффонным, но все же угрожающим доказательством этого чудовищного беспорядка послужило то, что при ревизии дворца после взрыва, где-то на чердаке была обнаружена корова, приведенная туда каким-то служащим, нуждавшимся в свежем молоке для своего ребенка!

В атмосфере нараставшего ужаса и какой-то непонятной беспомощности всего гигантского охранного аппарата подошел день чествования двадцатипятилетия царствования Александра II. Всеми как-то чувствовалось, что царю сейчас не до того (большие толки возбуждал и стлавший известным всему русскому обществу «роман» царя с княжной Долгорукой), и тем не менее приготовления к чествованию шли, и мне как раз этот период с особенной яспостыо запомнился потому, что у нас в квартире готовился, под ближайшим наблюдением папы, тот роскошный подарок, который Городская дума собиралась поднести государю. Подарок этот состоял из большого ящика драгоценного дерева, украшенного серебряными орнаментами и цветной эмалью. Ящик этот покоился на особом, превосходно резанном подстолье (как ящик, так и стол были исполнены по рисункам моего брата Леонтия), в ящике же покоилось двадцать пять больших листов, на которых акварелью были изображены как наиболее значительные события, происшедшие в Петербурге за время царствования Александра ІЇ, так и наиболее значительные здания в нем, за этот период сооруженные.

В течение нескольких недель у нас только и было разговоров об этом подарке. У папы в кабинете собиралась особая комиссия, к папе за со-

11, 8, Цареубийство 1 марта

38і

ветами являлись один за другим художники, получившие заказы. Совершенно естественно, что несколько сюжетов были поручены двум сыновьям папы, уже успевшим к тому времени приобрести известность в качестве превосходных мастеров акварели. Каждый из них и справился с порученной ему задачей наилучшим образом. Кроме того, Леонтию была поручена и орпаментальная обработка всех листов. В изготовлении картин принимал участие и целый ряд других мастеров акварельной живописи: «сам Луиджи Премацци», фигурист Адольф Шарлемаиь, пейзажист Билье де Лиль-Адан, архитекторы Китнер, Шрётер, Лыткин и др.

Можно себе вообразить то возбуждение, то любопытство, те радости, которые меня охватывали, когда постепенное созревание этого монументального подарка стало происходить на моих глазах. Одна за другой акварели появлялись у пас, обсуждались во всех подробностях и присовокуплялись к предыдущим. Кое-какие замеченные неточности в подробностях приходилось исправлять — и наименее значительные производились тут же, в папиной чертежной, при мне. Я мог любоваться, с каким уверенным мастерством это производилось, как смывался целый дом или роща деревьев и как на месте получившегося грязноватого пятна уже через четверть часа вырастал новый дом или открытое место вместо сада. Некоторые картины вызывали общий восторг, и наибольший успех заслужила картина во весь лист, на которой Вилье де Лиль-Адап (в сотрудничестве с Шарлеманем?) изобразил площадь Зимнего дворца — в день объявления манифеста об освобождении крестьян. В первый раз я тогда увидал как бы воплощенным самый дух Петербурга. Но и в другом смысле я испытал при виде этой акварели своего рода откровение. Все другие работы (за исключением только еще акварелей Альбера) казались робкими, чуть любительскими или по архитектурному засушенными. С этого момента я ощутил, почти что понял и разницу между манерой «архитектурной» и «живописной». Восхищен я был и самим роскошным ящиком и столом. Оба предмета, составлявшие одно целое, были сначала доставлены к нам, и я мог их трогать, любоваться вблизи тонкостью чеканки, богатством эмали; приятно было н гладить идеально резанное и отполированное дерево. <...>

Самое торжество двадцатипятилетия прошло без особой

помпы. Горела «обязательная» иллюминация по улицам столицы; по краям тротуаров, распространяя чад, пылали плошки, домовладельцы обязаны были вывинчивать обыкновенные фонари и вставлять вместо них фигурные рожки в виде звезд, которые и были вечером зажжены, а на казенных и городских зданиях были устроены более сложные светящиеся украшения в виде императорских вензелей под короной и т. п. Но все это было слишком известно и повторялось по всякому поводу... Свою долю печали сообщало лояльной части населения тяжелое, не подававшее надежд на выздоровление состояние здоровья императрицы Марии Александровны. Рассказывали, что специально для нее в Зимнем дворце устроена особенная герметически закрывавшаяся камера для ингаляции, и мне это представлялось ужасно жутким, что супруга самодержца должна часами ся-

деть в своего рода темнице и дышать особенным, «для нее специально приготовленным воздухом». Бедная царица! Она не была популярна, но теперь нечто вроде популярности ее окружило благодаря тому, что измена ее державного супруга стала из&естна уже во всех слоях общества, о ней говорили всюду: и во дворцах, и в буржуазных домах, и в людских, и в трактирах. Тут-то тетя Лиза и перешла с критического топа на угрожающий и пророческий: «Только бы старик не вздумал жениться!» Обсуждался и вопрос о том, какова эта княжна Долгорукая, действительно ли она такая красавица? Действительно ли она совсем «забрала» государя? В художественных магазинах можно было теперь купить ее фотографии, и одну такую приобрела мама. И вот царица умирает (10 мая); погребение происходит согласно раз припятому церемониалу, но без какой-либо особой торжественности, в которой выразилось бы горе овдовевшего супруга, а уже через месяц по городу начинает ползти слух, что княжне дарован титул княгини Юрьевской, что государь собирается узаконить детей, от нее рожденных, и, наконец, что он уже с ней и обвенчался. Казалось совершенно невозможным, чтобы наш «добрый и сердечный» государь мог совершить такой поступок; чтобы хотя бы из простого приличия он, не дождавшись положенного конца годичного траура, назвал кого-либо своей супругой! Бог знает, что это готовило в будущем! Уже не собирался ли он короновать «эту княжну Долгорукую, свою любовницу?» Негодование тети Лизы приняло патетический характер. В это лето мы не переехали на дачу, и тетя Лиза не прерывала своих еженедельных посещений, оттого мне особенно и запомнился этот ее гнев,

сопровождавшийся совершенно убежденными пророчествами: бог-де непременно накажет его за такое попрание божеских и людских законов!

И, увы, пророчества эти сбылись всего через несколько месяцев. Самая катастрофа 1 (по новому стилю 13) марта 1881 г. связана у меня опять-таки с домашним воспоминанием. У папы в это время было рожистое воспаление ноги, и мой кузен (бывший на сорок лет старше меня) доктор Леонтий Л. Бенуа (а по-домашнему просто Люля-доктор) был как раз занят бинтованием больного места, когда раздался звонок на парадной и, опережая Степаниду, бежавшую по длинному коридору, я, находясь в соседней зале, открыл входную дверь. Передо мной стоял полицейский, сразу поразивший меня своим перепуганным видом. Быстро, комкая слова, он отрывистыми фразами произнес следующее: «У вас доктор Бенуа? Его вызывают в часть! Царя только что убили! Ранен оберполицмейстер! У него тридцать четыре раны! Бомба оторвала ноги государю...» Какой это был ужас! Со мной чуть не сделалось дурно, но в то же время обуяло странное подобие восторга, которое люди, и особенно дети, испытывают, когда они узнают нечто чудовищное и особенно когда им надлежит передать это другим. Уже в спальню папы я вошел «с настроением вестника смерти», и к доктору я обратился с чем-то вроде приказа: «Надо тебе сейчас ехать в часть, государя убили, у полицмейстера тридцать четыре раны!..»

II, 8. Цареубийство 1 марта

383

Никто не хотел верить. Столько уже раз бог спасал государя, наверное, и на сей раз обойдется. Правда, в Казанскую часть прибыла, по словам того же полицейского, карета государя в совершенно разбитом виде, но из этого еще не следовало, что государь убит или тяжело ранен. Постепенно, однако, стали прибывать вести из других источников. Ужасное известие подтверждалось: государю действительно почти оторвало обе ноги, но его все же еще живым довезли до дворца, довезли в открытых санях, так как полуразрушенной каретой, из которой он вышел после первой бомбы, нельзя было пользоваться. Дважды врачи пробовали вернуть кровообращение, и царь еще успел что-то вымолвить. При чьей-то помощи он даже смог осенить себя крестным знамением, но после этого он впал в беспамятство, а через несколько минут его не стало. Известно еще было, что на площади Зимнего дворца со всего города стекается народ и что когда императорский штандарт над главными воротами спустился, то все бросились на колени, и площадь огласилась рыданиями.

На месте преступления я побывал с мамой дня через два. Однако к самому месту, т. е. к перилам набережной Екатерининского канала, нельзя было подойти из-за толпы. Издали было видно, что на том месте,. где взорвалась вторая, убившая государя бомба, выросла целая гора венков и цветов, а вокруг этой горы стояли часовые и никого не пропускали. Запомнилось, как брат Леонтий приехал с эскизом временной деревянной часовни на месте покушения и как папа делал свои замечания насчет этого рисунка, а брат наносил тут же поправки. Еще через день окончательный проект был готов, а дней через десять выросла на месте покушения и сама часовня, скромная, но изящная, построенная из непо-крэшенного дерева и увенчанная золоченой луковицей. Внутри часовни перила набережной, панель тротуара и мостовая, обагренные кровью государя, оставались нетронутыми, и их можно было видеть, подойдя к двери. Все нараставшая гора цветов теперь была расположена вокруг часовни, и тут же стоял стол для пожертвований на постройку храма на месте убиения царя-мученика — иначе убитого государя не называли. Рассказывали, что уже собрапы баснословные суммы. Все рассказы носили тогда одинаковый характер — ужас перед совершившимся и абсолютное осуждение преступников-террористов, тогда как до того «нигилисты» были «почти в моде». Наступил период усиленных арестов, доносов, слежек, обысков. <...> Мне лично делалось невыносимо больно, когда я себе представлял, какие муки должен был испытать государь, пока он не впал в беспамятство, и как-то особенно кошмарным представлялось то, что врачи «насильно пытались ему вернуть кровообращение!» Ужасно было жаль и кучера и казаков, которые были убиты взрывом, и особенно того мальчика-разносчика, который случайно тут же проходил со своей корзиной и также был убит. О самом же происшествии ходило несколько версий, но все сходились на том, что государь мог еще спастись, если бы после первого взрыва он, выйдя нетропутым из разрушенной кареты, не оставался бы на месте взрыва и не пожелал сам удостовериться. не пострадал ли кто из сопровождающих. Позже Григорович рассказал

384//, *8. Цареубийство 1 марта*

еще одну подробность о последнем моменте катастрофы. Государь, выйдя из кареты, встал у перил набережной и прислонился к ним. В это время двое полицейских схватили человека, которого они считали за бросившего бомбу. Александр II окликнул их и приказал подвести человека к себе. «Оставьте его,— обратился он к полицейским,— это ты бросил бомбу?»,— спросил он и укоризненно прибавил (сильно картавя): «Хог'ош,

хог'ош!» В эту секунду подведенный выхватил из-за пазухи снаряд и бросил его под самые ноги царя. Произошел взрыв, убивший бросившего снаряд террориста наповал, государю же оторвало обе ноги, изранив все тело. Несколько осколков попало ему и в лицо. Следы этих рай были заметны тогда, когда положенные в гроб останки были выставлены народу. Сотни тысяч прошли в немом ужасе, преклоняя колена перед обставленным свечами гробом и прикладываясь к образку, который был положен в сложенные руки покойного. «В бозе почивший»,— поминали теперь офищтальные реляции того, в честь которого только что пели гимн: «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на страх врагам». Фотографии с лежавшего в гробу, одетого в форму государя, до пояса закрытого покровом (жутко было подумать, что там, где должны быть ноги, были лишь какие-'»о «клочки»), висели затем годами в папином кабинете4 и у Ольги Ивановны в ее каморке. Ольга Ивановна, Стеианида и прочие наши домочадцы ходили в Зимний дворец прощаться с государем, и на это у них ушла целая ночь.

* * *

Погребение состоялось ровно через неделю после убийства — в воскресенье 8/20 марта. Удивительно, как в такой короткий срок церемониальная часть, застигнутая врасплох, со всем справилась! Похороны должны были быть обставлены со всей торжественностью, подобающей при предании земле первого лица огромного государства Российского, а тут еще этот трагический конец и всенародная печаль. Папа получил приглашение на несколько мест в Академию художеств; из ее окон открывается вид на Николаевский мост, через который должны были везти кружным путем убитого государя в Петропавловский собор. Шествие должно было затем следовать по 1-й линии через Тучков мост (Биржевого моста тогда еще не существовало, а другие мосты были разведены). Правда, окна в канцелярии Академии из-за холода оставались закрытыми, но через большие н хорошо по этому случаю вымытые стекла все было видно отчетливо, как на ладони. День выдался пасмурный, но сравнительно мягкий, с наклонностью к оттепели, так что лед на Неве получил тот серый оттенок, который предвещал его скорое вскрытие. За невозможностью перебраться на Васильевский Остров по Николаевскому мосту, занятому шпалерами войск, нам пришлось пересекать реку по льду, по тому сапному пути, который шел от Апглийской набережной — наискось к Николаевской набережной. Эта дорога, за последние дни очень изъезженная, представляла собой непрерывную цепь ухабов, и четырехместные

сани до того швыряло по ним вверх и вниз, что меня даже затошнило. Приехали мы задолго до начала церемонии, и целых два часа пришлось томиться, сидя на одном месте в тесноте среди незнакомых или малознакомых людей, причем меня стал томить и голод, едва утоленный откуда-то появившимися бутербродами.

Наконец, раздались далекие, глухие выстрелы пушек, послышался погребальный гул колоколов (вторые зимние рамы окон были вынуты и некоторые звуки с улицы доходили до нас довольно явственно), появились и первые эшелоны процессии, поскакали на конях в разные стороны цереМониймейстеры и ординарцы. Увы, тут-то, после столь долгого ожидания сразу началось мое разочарование. Многие из составных частей были

каждая в своем роде интересны, но, вместо того, чтобы им непрерывно следовать одна за другой (в стройном порядке), как это я видел изображенным в «Illustration» или в «Illustrated London News», они путались, наталкивались одна на другую и отходили в замешательстве в сторону. Некоторые группы надолго застревали перед нами. Особенно надоела группа цеховых корпораций со своими знаменами, носившими каждое какое-либо символическое изображение — сапог для сапожников, ножницы для портных и т. п. При своем появлении эта курьезная компания меня забавила, но когда эти знамена целую четверть часа, если не более, спали мозолить глаза, закрывая то, что творилось за ними, то я чуть было не стал плакать от досады. Разочаровался я и в том, что ожидал с наибольшим трепетом, а именно в «рыцарях». По церемониалу, уста-* новленному еще Петром I, погребальное шествие высокопоставленных лиц (а тем паче государя) должно было, на манер того, что происходило **в** других европейских государствах, включать в себя и геральдическое олицетворение Жизни и Смерти. Жизнь была представлена закованным **в** золотую броню рыцарем, верхом на покрытом золотой парчой коне. Смерть же олицетворял рыцарь в черных доспехах, следовавший пешком. Эти рыцари, наконец, и появились, но золотого как-то оттиснули другие группы, так что я его заметил только тогда, когда он уже готов был исчезнуть из моего поля зрения, а черный рыцарь с опущенным забралом шел такой ковыляющей походкой, его так качало во все стороны, он так волочил ноги, что можно было заподозрить его в крайней степени нетрезвости. Потом рассказывали, что, дойдя до крепости, этот несчастный пеший «рыцарь смерти» свалился в беспамятстве, а по другим све-депиям он даже тут же умер,— несмотря на то, что для этой роли нашелся какой-то доброволец мясник с Сенной, знаменитый своей атлетической силой. Видимо, и сам Геркулес не смог бы одолеть весь этот бесконечный путь в пять, по крайней мере, верст, пешком, местами по скользкому снегу, коченея от холода, неся на своем теле пуда два железа и стали. Ведь его «доспехи» не были бутафорскими, а то были подлинные исторические латы XVI в., выданные на этот случай из императорского царскосельского арсенала...

Наконец-то, после многосотенной толпы духовенства **в** черных ризах появилась и печальная колесница с гробом. В этой части процессии **все**

отличалось примерным порядком и торжественностью. Цугом запряженных лошадей (в четыре или шесть пар) в траурных

попонах вели под уздцы конюхи в своих эффектных мрачных ливреях. Тут же шли еще более эффектные в своих касках со спадающим черным плюмажем скороходы. Четыре края высокого балдахина были уставлены рядами рыцарских шлемов с колыхающимися перьями. Шнуры держали важнейшие, облаченные в золотом шитые мундиры сановники. Гроб, покрытый золотой парчой, стоял па высоком помосте. Непосредственно за колесницей шествовали (на копях ли, пешком ли, я, странное дело, не запомнил) вместе с новым государем великие князья, а также иностранные короли, герцоги, прибывшие отдать последний долг усопшему. Это было особенно Енупгительпо. Но Александр III поразил меня своей тучностью, которую только подчеркивала форма прусского образца с каской па голове. Взрослые зрители подле меня обменивались своими впечатлениями. Они отметили утомленный вид нового государя; эта усталость, эта понурость были вполне понятными после всего того, что им было пережито и что еще его ожидало. Шествие замыкалось траурными каретами, в которых сидели дамы — с новой нашей царицей во главе. Длинный ряд этих карет все еще тянулся под окнами Академии, когда меня потащили домой. По дороге к выходу и пока меня закутывали в зале Академического совета я (именно тогда и несмотря па усталость) был поражен чудесными портретами, сплошпой массой покрывавшими обширную комнату. В первый раз я оценил портретную живопись как таковую (и без того «родственного чувства», с которым я оценивал паши домашние портреты). Тут были сгруппированы портреты Левицкого, Щукина, Боровиковского, Яковлева, Кипренского, Брюллова и других больших мастеров русской школы. И еще с трагической копчииой «моего первого императора» у меня связано воспоминание о бесчисленных и утомительных панихидах в гимназической церкви. Но это имело и свою хорошую сторону, так как панихиды освобождали учеников от уроков на весь остаток дня. Неизменно директор после окончания панихиды говорил: «Все могут идти по домам». А это ли не было радостью? Своего рода маленькие капикулы!..

Глава 9 ДОМАШНЕЕ ВОСПИТАНИЕ

В предыдущей главе я упоминал, что в 1881 г, я уже учился в гимназии. Действительно, меня в такое казенное учебное заведение определили осенью 1880 г. Однако прежде, чем продолжать в хронологическом порядке, нужно рассказать про то, что происходило со мной в 1879 и в начале 18S0 г.

В киидергартене «тети Женя» я оставался два с половиной года и за это время научился многому существенному: читать и писать по-русски и по-немецки, а также первым правилам арифметики. Там же я по-

//, 9, Домашнее воспитание

387

знакомился с главнейшими эпизодами священной истории. Я охотно пробыл бы еще один год (полагавшийся для лучшего усвоения пройденного) в этом заведении, о котором у меня сохранились лучшие воспоминания, но наш детский сад вздумал переменить местожительство и переехал в очень далекий квартал. Поэтому родители решили, что я его покину и что дальнейшее «совершенствование в науках» будет на первых порах происходить домашним способом, а там наступит и пора поступления в казенную гимназию. Пана готов был сделать это не откладывая но мама считала, что рано: она знала, как трудно далась гимназия моим старшим братьям и как им был противен самый гимназический быт.

Мое домашнее обучение было налажено следующим образом. Уроки французского и английского языков происходили у нас на дому, уроки же русского, немецкого, а также арифметики и географии — сообща с моими сверстниками и друзьями маленькими Брюпами, у них. Это было удобно уже потому, что Брюиы жили на нашей же Никольской улице — в громадном доме барона Фитингофа, у Поцелуева моста. Соединенными усилиями наших двух мамаш был выработан план и приглашены учительницы. Как звали учительницу русского п арифметики, я забыл. Учительницей же немецкого была фрейлейн Зубург. Моей первой учительницей английского языка была Mademoiselle Будаго и, наконец, французский язык преподавала мне все та же мадемуазель Леклерк, которую я знал чуть ли не с колыбели.

Что я не запомнил имени первой из упомянутых особ, можно скорее всего объяснить тем, что и оба Брюна и я возненавидели эту довольно миловидную блондинку. Она сразу оказалась не обладающей даром «подойти к нашей душе»; она раздражала пас своими ироническими словечками и замечаниями. Все это мы окрестили тогда словом «пошлость», и с этого самого времени понятие о пошлости, осуждение ее и омерзение к пей стали нам всем чем-то весьма привычным. Мы даже упражнялись в том, что делили всевозможные явления, предметы, факты, знакомых людей, рассказы, слышанные или читанные, на пошлые и непошлые, причем все характерно русское мы (без малейшего поощрения со стороны взрослых) почему-то были склонны относить к разряду пошлости. Я затрудняюсь указать, откуда

вообще взялось это слово у нас и как оно могло так пропитать наши детские умы, но самый факт его появления именно в эти годы (когда мне и старшему из Брюнов было всего около десяти лет) остается фактом. Возникновение же такого, в сущности необычайного и изощренного понятия в столь ранние годы, может служить доказательством какой-то его прирожденности, инстинктивности. Но да не подумают при этом, что все наши оценки отличались проницательностью и справедливостью, что наш этот «вкус» всегда был безупречен. Мы были еще совершенные мальчишки, во многом просто нелепые, подверженные всяким случайностям и капризам.

Совершенным контрастом русской учительницы была фрейлейн Зубург. Девица она была очень некрасивая и, как нам казалось, пожилая (хотя ей едва ли было много за тридцать лет); она была высокого роста,

держалась прямо, и осанка у нее была гордая. С первого взгляда она производила впечатление неприступности, но тем приятнее оказывалась ее настоящая сущность. Фрейлейн Зубург была сама доброта и уютность, а величественность ее была напускная, прикрывавшая, вероятно, природную застенчивость. Ее юмор (она любила шутить) был нам по вкусу; «пошлости» мы в ней не усматривали, а потому и уроки ее мы любили и относились к ним если не с похвальным усердием, то все же без того внутреннего сопротивления, с которым мы относились к ее русской коллеге. Благодаря фрейлейн Зубург немецкий язык, на котором я уже свободно изъяснялся, стал теперь моим любимым; я писал на нем свободно и правильно, и —что особенно удивительно — более каллиграфически, нежели на других языках, включая сюда и родной русский.

Что же касается до моей первой англичанки Будаго, то, должен сознаться, она была одной из моих жертв. Выше я уже упоминал про то сложное чувство, смешанное из жалости и постоянного раздражения, которое во мне возбуждал мой безногий учитель музыки Мазуркевич. Подобное чувство я испытывал и в отношении мадемуазель Будаго — очень еще молодой девушки с довольно миловидным, кругловатым, типично армянским лицом; больше всего меня раздражало в ней абсолютное отсутствие юмора. Она была печальна до глубины своего существа, и, несомненно, что она имела веские причины быть таковой. Была она дочерью когда-то богатых, но разорившихся родителей, а теперь ей пришлось бороться с

нуждой. Она должна была уроками кормить не только себя, но и других членов семьи, в том числе своего совершенно расслабленного брата Николая. Но мало ли я знал людей и нуждающихся, и страдающих, однако сохранявших бодрость духа и даже какую-то жизнерадостность. У бедной же мадемуазель Будаго ее унылость была как будто чем-то прирожденным или даже расовым — ведь обладал же аналогичной чертой и один из самых моих близких друзей князь В. Н. Ар-гутипский; эту свою «органическую печаль» он выражал уже тогда, когда еще по ведал тех грустных испытаний, которые ему впоследствии доставило эмигрантское существование.

Мне теперь трудно во всех подробностях вспомнить, каким именно образом я мучил бедную Будаго, но что я ее мучил, это я запомнил вместе с теми угрызениями совести, которые тогда же испытывал. Несколько раз она даже отказывалась от уроков, и только убеждения мамы заставляли ее продолжать их. Мучил я ее, впрочем, без злого умысла, а просто потому, что ненавидел эти уроки и мне было убийственно па них скучно. Поневоле, вместо того, чтобы относиться внимательно к тому, что толковала учительница, или к тому, что стояло в книжке, я заинтересовывался всякой всячиной, никакого отношения к делу не имеющей. Я вскакивал и подбегал к окну или тащил из шкафа свои любимые книжки и показывал в них понравившиеся мне или смешившие меня картинки, рассчитывая развеселить моего унылого профессора. Или же я принимался тут же рядом на бумаге что-либо рисовать, а то и вырезывать. Особенно же раздражало мадемуазель Будаго то, что я поминут-

11, 9. Домашнее воспитание.389

но всматривался в выпуклые голубоватые стекла очков, прикрывавшие ее воспаленные глаза. Это у меня сделалось чем-то вроде тика. Чем больше она сердилась на меня за это всматривание, тем сильнее становилось искушение еще и еще заглянуть в них, и, несомненно, это каждый раз вызывало в ней болезненное раздражение.

Наша обоюдная пытка продолжалась сезона два (1879—80, 1880— 81), но затем бедную Будаго сменила мисс Эванс, и вот эта милая старушка, являя полный контраст с моей первой «не-аиглийской англичанкой», пришлась мне по вкусу. Жизнь пе побаловала и мисс Эванс. В Россию она попала случайно, лет сорок до того потерпев кораблекрушение где-то у берегов Дании и лишившись тогда всего своего имущества (как это произошло, я теперь не совсем помню, но рассказ об этой катастрофе был одним из ее «любимых номеров»). Через Данию попала она в Германию, оттуда в Россию, и с тех пор она жила, зарабатывая

свой хлеб уроками... О том же, чтобы найти себе мужа и семейное счастье, бедняжке нечего было и думать: мисс Эванс была исключительно уродлива, и по отзыву лиц, знавших ее раньше, выглядела она так и в годы сравнительно еще молодые; теперь же ей было больше семидесяти. Ростом мисс Эванс была крошечная, совершенно сгорбленная, тощая-претощая, с каким-то смешным чепчиком на почти лысой голове, с двумя черными бородавкамрт на щеках, с крючковатым посом и костлявыми, «как у ведьмы», пальцами. Да и вся она походила па тех колдуний и злых фей, которых рисовали Доре и Берталь. Она не ходила, а как-то катилась, ни на минуту не выпуская из рук своего ридикюля и шурша своей шелковой, старинного покроя тобкой.

И все же приветливость не покидала ветхую, больную и обиженную судьбой, но милую, милейшую мисс Эванс. Эта жутковатая с виду старушенция, эта «ведьма» была всегда в наилучшем настроении и полна юмора. Юмор же ее был очень хорошего, чисто английского топа. Любимым ее писателем был, само собой разумеется, Диккенс, а среди произведений его любимой книгой «Записки Пиквикского клуба». С чтения этой классической юмористики и начались наши уроки, затем мы прочли и многое другое того же автора. В чтении проходила вторая половина урока, тогда как первая была посвящена премудростям грамматики, а также истории Англии, которую мисс Эванс знала назубок, благодаря чему и я кое-что в этом предмете усвоил с детства довольно прочно.

В основе преподавапия истории Англии у мисс Эванс лежали чисто монархические принципы, мало того,— чисто католические принципы. В своем убежденнейшем приверженстве к католической церкви она сходилась с моим затем Эдвардсом, и, вероятно, поэтому-то он ее нам и рекомендовал. Оценка же разных английских государей мисс Эванс зависела от того, в какой степени они сохранили свою верность к наместнику Христа, восседающему на римском престоле. Поэтому особенной ненавистью мисс Эванс пользовался король Генрих VITI и королева Елизавета. и, наоборот, превыше всех ставились разведенная супруга Генриха Екатерина Арагонская и дочь их Мария. Сколько раз я ни наво-

дил добрую мисс Эванс на эту тему, она каждый раз с одинаковой страстностью возмущалась тем, что королеву Марию прозвали «кровавой» (The blood Магу), тогда как в ее представлении это была самая добродетельная и самая благородная из монархинь Англии. Впрочем, «дух

справедливости», живший в мисс Эванс, заставлял ее отдавать должное и Елизавете, но это делалось с явным насилием над собой и со всевозможными оговорками. И уж, разумеется, не казнь (католички!) Марии Стюарт могла нарушить ту антипатию, которую она чувствовала к «королеве Шекспира»... Твердо верила мисс Эванс в то, что и Карл I и Карл II,— первый перед самой казнью, второй на смертном одре,— вернулись в лоно католической церкви, а уж о Якове II она иначе не говорила, как о святом, глубоко скорбя о том, что не его потомству дано править Англией...

Вот до чего курьезна была «моя» мисс Эванс! Но раз я заговорил о ней, то скажу тут и о том, до чего живописно и необычно она кончила свою жизнь... Это случилось несколько лет после того, что она перестала давать мне уроки (вероятно, в 1888 или в 1889 г.). Можно думать, что очи такой фанатичной католички сомкнет кто-либо из наших доминиканцев св. Екатерины, на самом же деле вышло иначе. Чувствуя приближение смерти, старушка вызвала к себе моего зятя Матвея Яковлевича, а когда он очутился перед ней и спросил ее, какова ее последняя воля, он услыхал самый неожиданный ответ: «Мне хочется устриц и немножко шампанского...» Матвей Яковлевич тотчас же помчался к Смурову, купил дюжину остендских и бутылку клико и с этим вернулся к умирающей. И что же, мисс Эванс съела устрицы, запила их бокалом пенистого вина — и, получив такое исполнение, быть может, и очень старого желания, она мирно отдала богу душу, которая, наверное, сразу была водворена в рай, где эта душа, надо думать, смогла засвидетельствовать свои верноподданнические чувства и Марии («Некровавой») и светящемуся всеми добродетелями Якову II.

И моя третья англичанка, о которой я уже рассказал в главе о дяде Сезаре, миссис Кэв, не блистала красотой и также была не первой молодости. И она была ярой католичкой, но в ней не было ничего фантастического, чего-либо напоминавшего ведьм и колдуний. Это была степенная, по ласковая, бодрая, с едва ощутимым налетом меланхолии дама. Вспомнив о муже, она вынимала платочек и прикладывала его к глазам, хотя с момента кончины мистера Кэва прошло немало лет. Свой же педагогический дар она доказывала тем, что дети (в том числе и я) страстно к ней привязывались. Когда она после смерти дяди Сезара решила покинуть моих кузин, не будучи в силах дольше терпеть неприязнь старушки ключницы, возникла целая драма. Плакали мои кузины, плакала миссис Кэв, очень расстроился и я. Миссис Кэв к тому же навсегда покидала Петербург, решив, что лучшего употребления своих небольших сбережений нельзя

придумать, как обратить их на то, чтобы поселиться в Лурде, где бы она могла всецело посвятить себя культу Пречистой Девы. Несколько лет еще продолжалась наша переписка (для

меня это была хорошая практика английского языка, что, однако не помешало мне затем совершенно разучиться на нем изъясняться), но затем эта переписка прекратилась и, к стыду своему, я не знаю, как и когда кончилось земпое существование миссис Кэв.

Глава 10 БРЮНЫ

Мальчики Брюны, в квартире родителей которых происходили наши общие уроки, были моими первыми близкими друзьями. Настоящая фамилия Брюнов звучала гораздо сложнее и эффектнее; они были сыновьями Анатолия Егоровича Brun de Saint-Hippolyte * и его супруги, сестры моего зятя — Елеоноры Александровны Лансере. Благодаря этому свойству, а также благодаря тому, что мы были почти сверстниками (Валя Брюи был на полгода моложе меня, Лева — года иа два) и, наконец, благодаря тому, что они были «русскими французами», между нами установилось тесное единение, которое наши родители всячески поощряли. Мы были «одного поля ягоды». И все же дом Брюнов сильно отличался от нашего. В нем совсем не было искусства, ни малейшего намека на художественную атмосферу. Анатолий Егорович был инженером (кажется, путейцем) и решительно никакого интереса к чему-либо, что выходило за пределы его профессии, не проявлял. Его отношение к музыке выражалось только в том, что иногда он в течение минут пяти играл род бойкого, состоявшего из аккордов «аккомпанемента», иод который мы пробовали танцевать. Однако нельзя сказать, чтобы эта музыка была особенно вдохновляющей и, если я, избалованный домашними виртуозами Альбером и Нетииькой, все же что-то отплясывал под аккорды Анатолия Егоровича, то это отчасти из вежливости, а отчасти потому, что мне было как-то жаль этого милого, добрейшего и столь скудно одаренного человека. Я сердечно любил его; мне нравилась его наружность, в которой пленял контраст между его резкими крупными чертами, говорившими чуть ли не о какой-то героической мужественности, и добрым, мягким взором серых глаз. Под необычайно выдающимся и круто согнутым носом стлалась густая, но уже почти седая борода; этот бурбопи-стый нос и эта «дикая» борода досталась ему, вероятно, от каких-то далеких воинственных

предков. Сам же он был кроткий, покладистый человек, ни во что в собственном доме не вмешивавшийся, нежно любивший детей, но как-то сконфуженно их сторонившийся, а главное беспрекословно во всем повиновавшийся своей супруге Елеоноре Александровне.

Напротив, эта «тетя Леля» была, как почти все члены семьи Лансере, особой до крайности нервной, раздражительной и властной. С со-

* Брюыа де Сеш^-Ипполита *{франц.)*.

вершенно болезненным самолюбием относилась она к своему, не бог весть какому хитрому хозяйству и с не меньшей ревностью отдавалась она своим материнским обязанностям. Почти за каждым завтраком и за каждым обедом (я нередко оставался у них к столу) происходили сцены между ней и мужем; точное она устраивала бедному Анатолию Егоровичу жестокие распеканции за то, что он то или другое из блюд недостаточно, по ее мнению, оценивал. С гневным наскоком она требовала от него объяснения, почему он не доел супа, почему не попросил вторично жаркого. Меня эти сцены особенно озадачивали, так как ничего подобного в нашем доме не бывало и не могло быть. Да и детям от матери попадало по всякому пустяку, чаще всего совершенно зря. Мальчики были, в общем, безупречно благонравны, точно сошедшие со страниц, добродетельных рассказов; они усердно готовили уроки и тихо занимались своими играми. Но мне и их удавалось растормошить; начиналась, дикая беготня по комнатам, а наши игры в индейцев приобретали подчас и весьма буйный характер. Происходили же эти безобразия в отсутствие Елеоноры Александровны и тогда, когда для присмотра за нами оставалась одна лишь древняя старушка-няня, которую мы все трое очень любили, ио с которой абсолютно не считались.

Одним из оснований моей дружбы с Брюнами было то, что мы жили очень близко друг от друга,— на двух концах той же недлинной улицы— мы у собора Николы Морского, они у Поцелуева моста. Ходу от нас до них было, даже детской походкой, не более семи минут, а самая прогулка была интересной, надлежало перейти Театральную площадь, что всегда доставляло мне удовольствие из-за двух украшавших эту площадь театральных зданий. Интересно бывало идти от Брюпов зимним вечером, когда уже начинались спектакли: кареты и сани подъезжа-ли к колоннам Большого театра, в круглых просторных грелках, стоявших среди площади, пылали костры, вокруг которых толпились кучера, а в окнах обоих театров виднелись

зажженные люстры, освещавшие фойе. Все это придавало площади праздничный вид. Сам я тогда бывал в театре два-три раза в году не более, моих же друзей никогда в театр не водили, и им приходилось довольствоваться моими (сильно приукрашенными) рассказами.

Квартира Брюнов находилась на самом верхнем этаже громадного дома барона Фитингофа. В подъезде встречал толстенный круглолицый, необычайно почтительный швейцар, которому я на Новый год вручал полученный от мамы на этот предмет целковый, и этот обычай до такой степени укоренился, что и тогда, когда я перестал бывать у Брюнов — я все же 1 января входил в подъезд и вручал тому же швейцару положенный на-чай, после чего он провожал меня с низкими поклонами до улицы. Лестница к Брюнам была необычайная. В широком, пустом пространстве пролета могли бы уместиться в каждом этаже по зале, а все вместе производило впечатление довольно жуткого колодца. Эта лестница запомнилась мне еще потому, что однажды старушка-пяиюш-ка застала Леву Брюна, которому тогда было не более шести лет, сидя-

//} lö: врюны

393

щим над этой притягивающей бездной, на перилах у двери их квартиры. «Еще минута, и он слетел бы вниз». Нянька, увидав эту картину, от

испуга онемела. Однако осторожно подкралась и «сняла» Леву с перил

после чего сама лишилась чувств.

А какая это была чудесная нянюшка! Она воспитала еще отца Анатолия Егоровича (сына французского эмигранта, застрявшего в России), но и тогда она уже была не первой молодости; теперь же ей было за девяносто лет. Она хорошо помнила «нашествие двунадесяти языков», иначе говоря, Отечественную войну 1812 года, но, к сожалению, как мы ни старались выведать у нее какие-либо подробности об этой героической эпохе, она, кроме самых общих фраз, в ответ ничего не сообщала. «Что вы ко мне пристаете? Ну была война и все тут».— «А самого Наполеона, нянюшка, ты видала?» — «Видела». — «Какой же он был?» — «Да такой невзрачный, маленький, по московским улицам верхом ехал».— «А пожар Москвы помнишь?» — «Нет, не помню, а только, что она сгорела, это верно». После такого ответа оставалось посмеяться над старушкой, а она, ворча, удалялась к себе в каморку у кухни. Вообще же она была добрейшая — позволяла с собой делать что угодно. Так, иногда мы сажали ее в наш индейский «вигвам» и заставляли изображать какую-нибудь

«мать» или «сестру» Ункаса и Чингачгука.

Каковы были наши игры в самые первые годы дружбы, я не помню, но после того, что и я и Брюны принялись за Купера, мы и сами превратились в индейцев, что было в ту эпоху явлением среди мальчиков почти повальным. В течение суровой петербургской зимы мы были естественно существами «комнатными», однако эти нам во всех подробностях знакомые комнаты теряли свой реальный характер и превращались, по повелению фантазии, то в непроходимые девственные леса, то в безграничные пампасы или в скалистую горную местность с пропастям^, потоками и озерами. Реквизитов у нас тоже было сначала немного, но постепенно их накопился целый арсенал — томагавки, копья, головные уборы из перьев, мокасины и т. д. При этом мы владели и довольно обильным специальным словарем и тем особенным жаргоном, который так убедительно выражает и благородство делаваров и гнусность гуро-нов, которые вообще в «Зверобое» и в «Следопыте» создает самую атмосферу этих романов. Моментами наше наваждение доходило чуть ли не до галлюцинации. Неважные гравюрки на стали в книжках вольфовско-го издания Купера (по одной на роман), изображения дикарей в разных изданиях «Робинзона» (что это были другие дикари, нежели те, о которых речь шла у Купера, не имело значения), а иногда и картинки в заграничных детских журналах или в «Magazin Pittoresque» давали нам достаточное представление о костюмах и нравах коренных обитателей Северной Америки. Кроме того, я живо помнил тех краснокожих, которых я «сам видел» нападавшими на поезд Филеаса Фогга в одной из сцен феерии «80 дней вокруг света».

О сценарии и распределении ролей наших коллективных иллюзионных действий мы заботились по очереди. То это я решал, **что Валя**

будет Зверобоем, я Чингачгуком, а Лева Ункасом (врагами бывали в тех случаях стулья и разные другие предметы), то вчерашние выразители всяческого благородства брали на себя роль лукавых предателей и гнусных интриганов. Пройдя коридор и обе детские, мы вступали в столовую, и это означало, что мы, миновав страшные опасности, очутились в блокгаузе, в «сравнительной безопасности»; совершив путь в обратном направлении и попав в залу, мы оказывались среди бесконечного простора прерий, а большая оттоманка под зеркалом между окнами являлась одинокой неприступной скалой. Тропические растения в горшках заменяли джунгли, из которых того и гляди

выбежит медведь, а приложив ухо к паркету, мы явственно слышали приближающийся топот тысяч бизонов. В таком случае надлежало оставаться распластанными «на земле», и тогда стада страшных рогатых животных с диким мычаньем проносились над нашими головами. Но особенную иллюзию создавала постройка вигвама, происходившая по хорошо знакомому рецепту. Брался плед, под него устанавливали половую щетку, концы пледа привязывали за бахрому к четырем опрокинутым стульям. Получалась идеальная палатка, в которую мы в качестве немого *и* только охающего статиста усаживали няньку, принуждая ее вертеть суповой ложкой в котле — котлом же служила шляпная картонка. Но долго засиживаться за курением трубки мира в палатке не полагалось. Насторожившись, как раз услышишь грозный шум: это приближается на своих мустангах вражеское племя или, может быть, близится в нашем направлении лесной пожар, *й* надо бежать без оглядки.

Как-то раз, вероятно из желания смягчить наши воинственные нравы и отвлечь нас от постоянного «снимания скальпов», нам дали прочесть «Хижину дяди Тома» — эту самую трогательную из трогательнейших повестей. Однако результат получился совсем неожиданный. Мы, правда, серьезно огорчились судьбой, постигшей доброго старого негра, но в то Ніе время мы особенно оценили неограниченную власть плантаторов, и это увлечение тотчас нашло себе отражение в наших играх. На время индейцы были забыты, заменил же их новый мир самых жестоких негодяев и самых беспомощных жертв. Лева почему-то с особенной готовностью брал на себя роль «беглого шклава» *, укрывавшегося в тростниках и в зарослях, а я с Валей с упоением играли роли его преследователей. В известный момент мы находили убежище несчастного, нападали на него, связывали (делали вид, что связываем) и вели на казнь. Лева так входил в роль, что скрежетал зубами, шипел, у губ от сознания собственного бессилия образовывалась пена. Мы же бывали обуреваемы настоящим восторгом садизма (разумеется, о Саде мы ничего не знали) и, не будь вовремя подоспевшей тети Лели или одной из старших сестер Анатолия Егоровича, мы смогли бы в разгаре игры учинить и настоящую беду, наказывая «беглеца». Пленного щипали «калеными щипцами», его «пролизывали пиками», ему, несмотря на страшное сопротив-

* От Sklave *(нем.)* — раба.

ление, «вырезали язык», ему «выкалывали глаза»! Когда же большие, заметив, что детки в играх перешли всякие границы

благонравия, усаживали пас для успокоения за рисование, то и при этом занятии мы продолжали предаваться тому же «садизму», причем появлялись в рисунках не одни рабы, но и рабыни. Не имея еще никакого понятия об эротике, мы доходили до крайнего возбуждения, изображая страшно бородатых людей в сапожищах и в широкополых шляпах, которые режут, колют и всячески терзают бедных негров. Это безобразие продолжалось несколько месяцев, пока, наконец, Елеопора Александровна не осознала вполне, что происходит нечто вовсе не соответствовавшее педагогическим идеалам. С того дня такие игры были строго запрещены, мало того, тетя Леля навестила мою маму специально по этому поводу, рассказала ей о наших ужасных радениях.

Тогда эту игру заменила другая — театральная. Я уже сказал, что мальчиков Брюнов никогда не водили в театр,— родители их никогда не позволяли себе такой роскоши. Но тем более моих друзей интересовало узнать и увидать, что творится «на сцене». Иногда я их угощал кукольными спектаклями на моих детских театриках, но куда интереснее показалось самим сделаться актерами и играть. За фабулами недалеко было ходить — они имелись в обилии в том альбоме карикатур Буша из «Münchener Bilderbogen», которого в каждой из наших семей было по экземпляру. Эти смехотворные рассказики в картинках были совсем коротенькие, и укладывались почти все па одну страницу, но мы их разукрашивали подробностями, и наш спектакль затягивался на добрый час. Особенным успехом пользовалась история про двух воров, забирающихся в дом, а также история «Похищение из сераля». Для последней пьесы требовались тряпки для тюрбапов и для чадры, покрывающей лицо прелестной Зулеймы. Я приносил из дому огромный маскарадный нос для палача, а игрушечная скрипка вполне заменяла гитару для того красавца-трубадура, который и похищал красавицу из гарема. Частью немецкий текст Буша оставался нетронутым, но он служил лишь как некое вступление для каждой сцены, тогда как дальнейшие диалоги импровизировались уже нами. Зрителями служила, если это происходило v Брюнов, та же старуха-нянька, а позже немецкая гувернантка фрейлейн Зельма Августовна. То, что последняя носила почти то же имя, как наша героиня Зулейма, и то, что она была миловидной крошечной блондиноч-Koii, придавало особую пикантность нашему представлению. Если представление происходило у меня, то тут в «царскую ложу» мы усаживали мою бои ну, а если в это время гостили у нас маленькие племянники, то и они удостаивались такой чести. И боже мой, в какое я впадал бешенство, если мои зрители говорили, что им скучно, или если они (какой скандал!) просто

покидали «зрительный зал».

Особеппо запомнились мне такие наши спектакли в имении Брюнов Глазове под Лугой, куда они уезжали на лето и где я гостил по нескольку недель два раза. Усадьба состояла из поместительного, но совершенно простого деревянного домика — комнат в десять, к которому

396

И, 10. Брюны

вела аллея старых берез и за которым спускался к реке большой, частью плодовый сад. На косогоре, по другую сторону реки, была расположена деревня, состоявшая из низких, темных, крытых соломой изб — типичная картина для севера России. Ясные дни мы, разумеется, проводили на воздухе, в прогулках, но когда лил дождь (а лил он часто, превращая и двор перед мызой ц сад в непролазное месиво), то приходилось или оставаться на крытом балкопе или же, когда становилось уже слишком неуютно, в комнатах. Тут эти импровизированные домашние спектакли и служили нам самым приятным и интересным препровождением времени. Стекла окон поливаются как из ушата; в печках трещат сырые дрова, а мы себе гуляем в волшебных садах багдадского калифа, греемся на мраморных плитах залитой солнцем террасы или же плывем по морю при лупе с похищенной красавицей.

В Глазово я был доставляем либо сестрой Катей, либо самим Анатолием Егоровичем. Меня до того манило деревенское приволье, что и разлука с мамой не казалась столь страшной. Три часа поездом, небольшая остановка в пыльной, убогой, безалаберно разбросанной Луге и затем двухчасовая тряска на тарантасе по песчаным ухабам. То были мои первые ((далекие» выезды, и я с ненасытным интересом разглядывал все новые для моего глаза предметы, попадавшиеся по дороге. В совершенный восторг я пришел как-то от тех лесистых холмов, мимо которых лежал наш путь. Солнце, стоявшее ровно за ними, обрисовывало их контуры светлой каймой, книзу же масса зелени была подернута синеватой дымкой. Тут я, кажется, в первый раз понял, что такое «красота природы», о чем я часто слышал, но что до того времени оставалось для меня чем-то не вполне осознанным...

Вообще эти пребывания в Глазове сыграли как раз в моем художественном развитии некоторую роль. Там от скуки во время дождя мной был нарисован первый пейзаж с натуры: забор, яблони, а па первом плане идущая с коромыслом Маша-скотница, довольно смазливая баба, про которую мы сложили глупейшую песенку. Там же па прогулках по песчаным дорогам через сосновые рощи, спускаясь в дикие заросли оврага («здесь и

медведи водятся»,—говорил лесничий), или во время лежания на траве у речки, пока Валя и Лева занимались ужением, я вкушал всю прелесть деревенской поэзии. И именно то, что я проводил в этой «простейшей красоте» целые дни. что я успевал вдоволь и поскучать в ней, что я ее видел при разном освещении, то под ясной лазурью, то под свинцовыми грозовыми тучами, что я успевал иногда и промокнуть и снова высохнуть, это все «ввело меня в природу». Имя Пана в те времена я еще на знал, но самое существование его я как бы чуял. Как раз в Глазове я испытал и характерный «панический» страх. Совсем недалеко от дома открывалась на несколько верст по лесу широкая просека, как-то неравномерно проведенная. Справа и слева, точно театральные кулисы, вступали или отступали лесные массивы. Стоило здесь хотя бы негромко что-либо крикнуть — как с поразительной отчетливостью раздавалось эхо и не один раз, а три, четыре, если же крикнуть во

всю силу, то и раз десять. Однажды нам втроем вздумалось громко захохотать и вдруг в ответ раскатился «настоящий адский хохот». Казалось, что хохочет сам лес, хохочут все находящиеся в нем лешие, о которых с ужасом и с убеждением рассказывала нянька, и нам стало так жутко, что мы опрометью бросились бежать домой и такого опыта больше не повторяли.

Хоть в Глазове на приволье мы иногда и играли в довольно буйные игры, изображая тех же краснокожих, однако мы, будучи, в общем, довольно благонравными мальчиками, никогда не дрались и вообще физических насилий избегали. «Представляя» самые жестокие схватки, пленения, казни, мы не делали друг другу больно, разделяя в этом обычай щенят, львят и других животных, отлично также знающих, что такое игра, что значит «ломать комедию». Тем более остается странным случай, происшедший как-то летом 1880 г., когда приехал гостить к Брюнам их дальний родственник, юноша лет четырнадцати, на голову выше самого высокого из нас троих. В общем, несмотря на разные шалости и всяческие кривляния, мы были скорее смирными, довольно благовоспитанными ребятами. Валя и Лева, те даже никогда не капризничали, да и не посмели бы, отчасти опасаясь не столько довольно крутых выговоров их матери, сколько самого факта огорчения родителей. Этот же новоприбывший Алеша был «настоящий мальчишка» — охотник до буйных игр и даже до драки. Вот он и затеял как-то на глазовском дворе игру в городки. Долгое время все шло дружно и весело; разделившись на два лагеря, мы с увлечением разрушали поочередно вражеские крепости. Но вот от слишком большой

горячности я угодил брошенной палкой в самую голову Алеши! Будь пострадавшим кто-либо из нас, все кончилось бы жалобами, перебранкой, слезами, но Алеша пришел в ярость, и, перелетев громадными шагами через двор, он дал мне со всего маху пощечину. Сначала я совершенно опешил! О том, чтобы вступить в бой с таким великаном, не могло быть и речи, и в моем распоряжении оставались только мои обычные «решительные средства». Я не просто заплакал, а завопил как зарезанный, а затем умчался в свою комнату, заперся в ней на ключ, и оттуда на весь дом понеслись пронзительные крики-требования, чтобы мне немедленно был подан экипаж, что я уезжаю, что своего обидчика убью и т. д. Трагедия эта длилась довольно долго, но затем я устал сам, и, сознавая, что в достаточной мере всех «наказал», я лег на постель и заснул. Несколько раз сама Елеонора Александровна подходила к двери, стучала и звала меня, но я «представлялся мертвым» и упорно молчал. Однако, когда через щели двери до меня донесся запах свежеиспеченных к чаю хлебцев «тамбовок», то я не утерпел перед соблазном, отпер дверь и направился в столовую. Алеша стоял у стола смущенный и, увидев меня, первый подошел и с чувством произнес: «Прости меня, Шура». Я же, почувствовав прилив великодушия, молча пожал ему руку и трижды с ним облобызался. На следующее утро Алеша покипул Глазово, и с тех пор мы никогда с ним более не встречались.

398

II, 10. Брюны

В долгие дождливые вечера мы с Валей и Левой вели всякие «умные беседы», иногда даже не лишенные философского оттенка. Особенно склонен был к ним Лева (этому «философу» было в то время лет восемь), который никак не мог успокоиться, размышляя на темы о бесконечности, о вечности, о боге, о загробной жизни. Что за последним мыслимым пределом мира все же должно открыться новое, «хотя бы пустое пространство», а что, быть может, в этой пляшущей в солнечном луче соринке могут быть целые солнечные системы и такая же Земля, как наша, а в ней такой же Лева, а на Леве опять такие же соринки — эти мысли наполняли его ужасом. Вообще в Леве было больше, чем в его брате, поэтического и даже художественного начала. Так, он, младший из нас трех, лучше рисовал животных и особенно ловко их вырезывал из бумаги, не прибегая к предварительному очерку. Небольшой квадратик бумаги под ударом ножниц превращался в целую группу зверей, расположенных в разных направлениях и соединенных между собой маленькими перемычками. Сколько надо было иметь сообразительности, какой заранее

установленный в голове план работы, чтобы такой «фокус» мог удасться! И каждая такая зверушка, имевшая в длину не более двух сантиметров,— будь то лев, хорек или слои,— была снабжена всеми характерными чертами, причем это не были ребяческие бесформеп-пые схемы, а силуэты, точно скалькированные с картинок зоологического атласа. Мне всегда казалось, что из Левы мог бы выйти совершенно замечательный художник, но едва ли это пришлось бы по вкусу его родителям. Такая «карьера» не соответствовала всему жанру брюповско-го дома, лишенного всякой художественности, и Леву не только в этом направлении никто не поощрял, по, напротив, его направили по совершенно другой дороге. В конце концов, из него вышел образцовый агроном, и последний раз я встретил этого милейшего, добрейшего человека после перерыва по крайней мере в двадцать лет в имении графа А. Орлова-Давыдова Отраде, где он и состоял кем-то вроде эксперта при экономии графа 1*.

Валя был совсем не похож на брата, и эта контрастность с годами обострилась в чрезвычайной степени. Насколько Лева был прямым, открытым и простым, настолько Валя, не будучи ни фальшивым, ни каверзным, был все же «извилистым» и «туманным». В Леве несомненно доминировало мужественное начало, в Вале — женственное. Жизненная же судьба Вали получила трагический исход. Он был превосходным учеником гимназии и, кажется, окончил ее с золотой медалью; он необычайно серьезно отнесся (не чета мне и моим позднейшим друзьям) к изучению законоведения в университете. Поступив затем в министерство юстиции, он быстро стал подниматься по бюрократической лестнице, и ему еще не было пятидесяти лет, когд* он был назначен директором департамента полиции, а в будущем ему сулили и министерский портфель. В это время я его уже не встречал, и, вероятно, вот почему в моем воображе»

** В 1947 г. получено из России известие, что Лева Брюн скончался.

II, 21. Казенная гимназия

нии представление о «моем» Вале — хрупком, нежном, необычайно похожем па мать мальчике,— никак не вяжется с образом какого-то сурового инквизитора, каким, говорят, он себя и зарекомендовал. <„.>

У Вали и Левы были еще два брата, Боря и Леша, но они в моих воспоминаниях не имеют места, особеппо последний, появившийся па свет тогда уже, когда паша дружба, пережив свой подъем, начала слабеть и тускнеть. Что сделалось с Лешей, я вообще не знаю, ибо с конца 80-х годов я его уже больше не

видел. Что же касается Бориса Анатольевича, то он рос прехорошеньким мальчиком, и из него вышел необычайно милый и приятный, живо мне напоминавший Анатолия Егоровича человек. <...> Скончался Боря Брюн уже во время немецкой оккупации где-то на юге Франции.

Глава И КАЗЕННАЯ ГИМНАЗИЯ

Я поступил в гимназию со значительным запозданием. Весной 1880 г. мне уже минуло десять лет; осенью того же года я поступил в приготовительный класс. Вследствие этого я и окончить гимназию должен был бы не восемнадцати лет, как нормально полагалось, а девятнадцати. На самом деле я ее окончил двадцати — но это вследствие того, что я два года просидел в седьмом классе, о чем будет рассказано в своем месте. Почему это так случилось, я не знаю, по я подозреваю, что тут действовала мамочкипа забота о том, чтобы я не переутомлялся. На самом деле я был готов для первого класса, поступив же в приготовительный, я имел значительное преимущество перед моими товарищами; я уже почти все знал, чему нас учили, и мог без труда занять положение одного из лучших учеников. Зато страдало самолюбие в другом смысле. Мне казалось, что я «совершенно большой», а приходилось сидеть на одних скамьях с «малышами». Впрочем, когда я осмотрелся, то оказалось, что среди моих одноклассников имеются и мальчики, вполне «достойные моего внимания», а иные, пожалуй, были даже более развиты, нежели я. Среди них я выделил того, кто оказался моим соседом по парте (пюпитры-нарты были двуместные, и ученики сидели парами, между рядами таких парпых парт оставались проходы),— Володю Николаева, который, к общему недоумению, среди года превратился в Володю Потапова; вероятно, тут произошло запоздалое узаконение отцом.

Володя был некрасивый мальчик. У него был сильно вздернутый и постоянно краспевший нос и пухлые бесформенные губы; зеленые глазки сильно косили. Он вечно беспокойно озирался, а когда его вызывали к кафедре, то Володя, не переставая, обдергивал свою блузу. Он был всего на три месяца моложе меня, но ростом едва достигал моего плеча. По разным признакам было видно, что он сын родителей очень неза-житочиых. Сначала он меня дразнил и высмеивал (впрочем, без злобы),

но потом мы сошлись на «коллекционерской почве», так как оба оказались страстными собирателями: он — перьев, я — марок. Позже (еще в том же году) у нас оказались и другие «более возвышенные» общие интересы, ибо и он очень увлекался Купером, Жюль Верном. При этом в нем уже сказывалось известное критическое отношение, тогда как мы — и я, и Брюны — брали наших любимых авторов безоговорочно; наши симпатии и антипатии скорее касались самих героев, а не того, хорошо ли их изобразил автор '*.

Меня определили в гимназию императорского «Человеколюбивого общества» \ Выбор мамой этого заведения объяснялся двумя обстоятельствами: во-первых, тем, что оно было горячо рекомендовано ее подругой Терезой Бентковской2*, двое сыновей которой в нем уже учились, во-вторых же,— гимназия эта находилась на очень близком расстоянии от нашего дома. Однако мне она с первого же дня не понравилась, и эту антипатию я сохранил в течение всех пяти лет, в ней проведенных. Суммируя свои впечатления, я думаю, что она особенно претила моему вкусу, что в ней был какой-то специфический—«слишком русский» — дух. Позже, когда я в литературе и в театре, в изображениях Гоголя, Островского, Щедрина познакомился с тем, что представляла собой типично русская жизнь, типичные русские чиновники, типичный быт ме-щапский, то я во всем этом узнавал именно дух и, так сказать, «тон» моей первой гимназии. С другой стороны, мне кажется, что в какое бы казенное заведение меня ни определили,— я бы там страдал не менее, и как раз не от каких-либо особенностей данного учреждения, а от всей «казенщины» вообще, к которой я уже тогда чувствовал непреодолимое отвращение.

С другой стороны, ничего особенно плохого я о своей гимназии «Человеколюбивого общества» рассказать не могу. Отношение учителей было скорее гуманное, классы если и не отличались чистотой, то были просторны и светлы. Правда, по всей гимназии стоял какой-то довольно-таки тошнотворный кисловатый дух, но происходило это от того, что половина нижнего этажа была занята столовой, в которой кормились жившие на полном пансионе ученики-интерны, казенный же обед не отличался изысканностью и, кроме гречневой каши и кислых щей с мясом, ничего не полагалось. Выпекаемый в гимназии хлеб, разумеется, был черный, но, странное дело, выпечка хлеба в казармах давала восхитительный и аппетитный «аромат» (этим ароматом я буквально упивался, проходя чо Благовещенской улице, на которую выходили пекарни Флотских ка-

** С момента, когда я в 1885 г. покинул гимназию

«Человеколюбивого общества*, я потерял Потапова из виду, но позже, уже в университетское время, я узнал, что он погиб где-то на Волге, куда был отправлен в командировку в качестве студента-медика и где свирепствовала холера. Погиб он, однако, не от холеры, а потому что в очень жаркий день по ошибке выпил залпом стакан раствора сулемы, приняв его за воду! Такой конец как-то соответствовал всей личности этого усердного, азартного, вечно спешившего, вечно разгоряченного человека.

2* Тереза Федоровна Вентковская была дочерью знаменитого художника Ф. А. Вруни.

зарм), а вот выпечка хлеба в нашей гимназии порождала этот самый отвратительный кислый дух. На этот хлеб жаловались пансионеры, будто он ложится камнем на желудок. Впрочем, вообще кормили их довольно голодно, и поэтому немудрено, что, возвращаясь со своего полуденного обеда в классы, они принимались клянчить у «богатых» товарищей, чтобы они с ними поделились своими домашними бутербродами и пирожками со вкусной начинкой. Свои бутерброды, над которыми каждое утро трудилась мамочка, я отдавал без всякого сожаления; во-первых, я знал, что, когда вернусь домой (около трех часов пополудни), то найду там оставленный для меня настоящий завтрак с кофием, с пирожными, а затем, я брезгал всем, что приходило в соприкосновение с чем-либо гимназическим — и даже брезгал своими руками, которые пачкались чернилами, от засаленных столов, больше же всего — от пожатия десятков нечистоплотных и потных рук. Моя брезгливость доходила до того, что придя домой, я не только основательно мылся, но даже менял форменную одежду на домашнюю, только бы не слышать тошнотворный гимназический запах, которым все на мне было пропитано.

Форма нашей гимназии была двух родов. «Парадная», которую в самой гимназии никто не носил. Она была общая по покрою и цвету с формой всех других классических гимназий, т. е. синяя куртка с серебряным шитьем на вороте и с серебряными пуговицами. Эта форма в других гимназиях не имела характера исключительно парадного, ее ученики носили всегда. Классная же одежда в пашей гимназии была более своеобразна: она состояла из черной блузы, обшитой по вороту лиловой тесьмой, спускающейся наискось к кушаку. На пряжке же кушака из белого металла стояли буквы Г. И. Ч. О., и эти же буквы занимали середину того серебряного «ажурного» значка, между двух дубовых ветвей, которыми была украшена фуражка. Я еще застал в 1880 г. фуражку французского образца, т. е. кепи со слегка

накрененным к переду донышком и с плоским кожаным козырьком, но в первые же годы царствования Александра III ее заменила фуражка круглая с козырьком полукруглым. Парадную форму сшили мне только к свадьбе брата Михаила в 1884 г.; шитье на ней было отменного качества и подкладка была белая шелковая. При всей моей ненависти к ношению формы, этим своим «шикарным» мундиром я гордился и охотно щеголял в нем в театре. Юпитером среди педагогического Олимпа был директор Голицынскнй — тучный, пожилой человек с круглой, как шар, головой, с глазами, прикрытыми очками, вечно съезжавшими с его носа. Под носом торчали белые усы, а щеки подпирались бритым двойным подбородком. Он ходил всегда несколько понурый, с руками, заложенными за спину. Для придачи пущей важности Голицынский взглядывал на учеников поверх очков, и это действительно придавало ему грозный, «инквизиторский» вид. Ученики его побаивались, на самом же деле Голицынский был скорее добряком, и все его грозное величие было напускным. Я отчетливо запомнил и двух классных наставников, из которых одного — маленького, черномазого, с густой, плохо чесаной бородой, Василия Васильевича

402*//, 11. Казенная гимназия*

Щеглова, я нежно полюбил с первого же дня за его ко мне ласку, а другого (Николая Петровича), длинного, болезненного, вялого с испитым лицом и тоскливым взором— все почему-то презирали. Далее шли учителя математики Цендлер, Фицтум фон Экштедт и Карпов, русского языка Орлов, латинского и греческого Евгеиов, Томасов, позже Мичатек, «француз» Бокильон, «немец» Шульц, каллиграф Шнэ (или Шнель) и, наконец, учитель закопа божьего — отец Палисадов, который был священником принадлежавшей гимназии церкви, соединенной с ней крытым переходом.

Назвал я всех учителей вместе, но, разумеется, преподавали они в разное время и в разных классах. Так, преподавание латинского языка начиналось только с первого класса, и я, в приготовительном, целый год •ему не учился; греческий же начинался еще позже — с третьего или с четвертого класса. Из математиков первый по порядку стал нам преподавать добрейший долговязый и близорукий Цейдлер, обладатель самой длинной во всем Петербурге (и притом рыжей) бороды. Он преподавал начальную арифметику, был вообще снисходителеп к ученикам, ко мне же в особенности — вероятно, в силу того, что он был братом близкого приятеля моего брата Леонтия (архитектора Владимира Цейдлера). Ходил гимназический Цендлер враскачку, причем борода его развевалась, «как флаг».

Его через год заменил корректнейший, даже элегантнейший Фицтум фон Экштедт, про которого ходила молва, что он «настоящий граф». Его мы не любили за сухость и аристократическую надменность. Ко мне Фицтум относился с оттенком известной «светскости», которой отличалось его обращение и с другими представителями «приличного общества» в нашем классе — с Жоржем Бруни, с графом Костей Литке, с братьями Княжевичами. Был и он огненно рыжий, но подбородок по-английски брит, щеки же его были украшены бачками-котлетками. Мне Фицтум скорее нравился, потому что в нем не было ничего типично русского, грубоватого. Это был джентльмен. Зато без симпатии относился я к его коллеге Николаю Афанасьевичу Карпову, грубому, заносчивому, придирчивому человеку. Этот Карпов, однако, впоследствии обнаружил значительные административные таланты, и это он с успехом сменил Голицынского на посту директора гимназии.

Не зпаю почему, отсутствием всякой симпатии среди гимназистов пользовался учитель русского языка Орлов. Имени и отчества его я не запомнил, вероятно, потому, что они ничего характерного в себе не имели, но прозвище, данное учениками,— Скула — ему подходило вполне, и я его запомнил. Он действительно иначе не говорил, как улыбаясь слащавой приятнейшей улыбкой во весь обложенный седой бородой рот; это выражение не сходило у него и тогда, когда он ставил двойки, единицы и нули или когда он просил кого-либо из учеников «встать лицом к стене». Такое несоответствие между приятностью улыбки и причиняемыми Орловым неприятностями и создало ему репутацию человека фальшивого и лицемерного. Надо отдать Орлову справедливость, что он не выделял и своего сына, учившегося вместе с нами. Не раз получал вообще пре-

скверно учившийся Володя Орлов по русскому языку единицы и нули, не раз, в назидание прочим, папаша-педагог заставлял его в течение четверти часа любоваться унылой загрязненной стеной... Меня несколько обижало то, что Орлов никак меня не выделял; далее тогда, когда я считал, что я ему ответил на пятерку, он, ставя четверку, ничем мои успехи не поощрял.

Латинский язык мне сначала не давался — несмотря па то, что мне, знавшему французский, было сравнительно легко заучивать слова и строить фразы. Не давался же он мне по вине учителя — чеха. С виду учитель мне скорее нравился, так как я находил в нем какое-то сходство с Шекспиром, а лицо Шекспира,

благодаря комбинации оголенного лба и заостренной бородки, мне казалось необычайно красивым. По на этом сходство господина Евгеиова с автором «Гамлета» и «Бури» кончалось. Был же он, если и не злой, то бестолковый и в педагогическом смысле недаровитый человек. Он вечно суетился, часто гневался, а когда гневался, то терял самообладание, и его и без того дефектное произношение русского языка становилось комичным. При основательных, вероятно, знаниях, он часто путался, сбивался и в этих случаях обрушивался на учеников. Но мы были уверены, что Евгенов в душе добряк, а потому, когда он собрался вернуться к себе на родину в Прагу, и в честь него было устроено прощальное сборище в актовом зале, то пе только он сам, произнеся свою последнюю речь, прослезился, но и все ученики были тронуты, многие даже всплакнули.

Лишившись Евгенова, мы, однако, оказались в выигрыше, ибо его заменил Николай Николаевич Томасов — единственный из учителей гимназии, которого я не только полюбил, но к которому и исполнился глубокого уважения. Между тем, это был совсем молодой человек, необычайно тощий, некрасивый, сдержанный, державшийся с той суховатой корректностью, которую вообще дети пе очень любят. Привлекало же меня к Томасову не только его болезненный, несколько чахоточный вид (напоминавший мне незабвенного мосье Станисласа) и не только его сходство с Гоголем, что особенно сказывалось в его остром носе и в его жидких белокурых усиках, но то, что он необычайно быстро помог мне (и многим из моих товарищей) преодолеть трудности латыни и тем самым как бы приотворил двери, вводившие в понимание классиков. Этому усвоению латыни посредством «форсированного» чтения способствовал и мой домашпий репетитор В. А. Соловьев, о котором я уже упоминал выше. Впрочем, Соловьев действовал скорее каким-то, я бы сказал, внушением. Он заставлял меня читать Цезаря и Овидия, «как читают роман», без словаря, бегло, стараясь вникнуть в смысл фразы по контексту, а также по сходству латинского с другими мне знакомыми языками. Уже через две педели такого форсированного натаскивания я действительно читал названных авторов, причем сам Соловьев ограничивался одними краткими пояснениями. Я очень жалею, что впоследствии так и пе собрался познакомиться с литературными работами Соловьева, подписывавшегося Андреевич, и, если я не ошибаюсь, принимавшего деятель-

ное участие (он чуть ли не состоял редактором?) в редактировании одного из значительных толстых прогрессивных

журналов («Русского богатства»?). Если он и в отношении своих читателей действовал с такой же энергией и «насилием», как когда-то в отношении меня, то для меня становится понятным тот авторитет, которым он пользовался в известном кругу. Однажды мне по делу пришлось посетить его в редакции, но он с трудом вспомнил про пашу давнишнюю кратковременную дружбу, а от его заразительной веселости пе осталось и следа. Он мне показался типичным представителем серьезной и передовой журналистики, которая, в общем, была мне далеко пе по нутру.

Увы, Томасова сменил в четвертом классе снова чех. На них у нас тогда был большой спрос: они всегда соединяли солидную немецкую ученость с довольно быстрым усвоением родствештого для всех славян русского языка. Эта смена оказалась для многих, и для меня в особенности, «роковой». Он преподавал латыпь и греческий, но преподавал так скверно, с таким отсутствием всякой чуткости к психологии учеников, он был так свиреп и так глуп, что не только я не постиг благодаря Мичатеку греческого языка, по я забыл и возненавидел латинский. Такой педагог, как он и многие ему подобные, были причиной того, что гимназисты в те времена ненавидели и тогдашнего министра народного просвещения графа Дмитрия Николаевича Толстого, в котором все видели главного виновника своих страданий. У Мичатека все сводилось к тупому зазубриванию, причем никаких отступлений от того, что стояло в книжке, он не допускал. Томасов, напротив, как бы даже поощрял нас на «фантазирования» — пользуясь ими, чтобы разъяснять особенности и самую прелесть латыни. Очень скоро мои отметки в журнале по древним языкам стали пестреть единицами и нулями. Мама и папа недоумевали, откуда такая странная перемена в моих успехах, а от других родителей на Мичатека поступали даже жалобы директору, но это не помогало. Злющий чех внедрился, как крепко засевший клещ, причем безнадежная глупость его не допускала мысли, что он ошибается, что взятый им курс неправилен. При этом Мичатек был необычайно уродлив, и физиономия его могла бы отлично служить моделью для какого-либо кошмарного монстра. Косой, с кривым ртом, с отвратительной, хлопьями росшей грязно-серой бородой, с нескладными движениями рук и ног, он напоминал и каких-то жутких нищих. Хуже всего было то, что мои неуспехи по классическим языкам обескураживали меня вообще, деморализовали меня. Мое школьное нерадение дошло, наконец, до того, что я (вместе с несколькими другими мальчиками) не был допущен до весенних экзаменов. Не желая, чтобы я прогулял целый год, родители решили тогда взять меня из гимназии «Человеколюбивого общества». Именно в этом Мичатек и

оказался «роковым», пе будь его, я, вероятно, до конца курса учения не покинул бы казенной гимназии, я бы не поступил в частную гимназию Мая, я бы не подружился с Философовым, с Сомовым, с Ну-велем, далее не произошла бы моя встреча с кузеном Философова — Дягилевым и т. д. и т. д.

Iį, 11. Казенная гимназия

405

Вернусь к моим учителям из гимназии «Человеколюбивого общества».

Французскому языку обучал нас мосье Бокильон. Совершенно естественно, что я, уже свободно говоривший по-французски, здесь оказался «вое конкурса». Даже другие мальчики «приличных семейств» — оба Княжевича, Бруни и граф К. Литке,— не могли в этом со мной тягаться. Кроме балла «5», я других отметок на уроках французского языка и не получал. Но, пожалуй, если бы я и не был силен во французском, то и тогда мосье Бокильон относился бы ко мне с особым благоволением. Ведь кроме своей педагогической деятельности, он был поставщиком французских и вообще иностранных вин, и в качестве такового каждый год являлся к нам для получения очередного заказа. В те времена (до конца 80-х годов) не принято было пить русское вино и тем паче угощать им гостей; напротив, и у нас, и у многих наших знакомых вино выписывалось бочками из Франции и разливалось по бутылкам на дому. Что касается мосье Бокильоиа, то он вполне оправдывал оказываемое доверие. Выдержанное у нас в бутылках красное вино «Сент-эмилиои» приобретало с годами изумительпый «букет», а попивая «Фин-шампань» отдаленных годов, знатоки щелкали языком и, держа рюмку на свет, любовались янтарно-золотой влагой. Доставлял нам мосье Бокильон и превосходную мадеру.

Заодно расскажу здесь и про самую процедуру разливки вина. Происходила она у нас в папиной чертежной, и на эти дни эта комната освобождалась от всей лишней мебели, а вместо нее устанавливались три или четыре бочки, из которых одна, с красным вином, была чрезвычайных размеров. Сюда же вносилось и все нужное для предстоящей операции: корзины с порожпими бутылками, большой ушат воды, в котором мокли пробки, и т. н. Священнодействие начиналось с утра. Человек, отряженный соседним винным погребом Фейка, являлся со своей хитрой машиной для закупорки и с крапом. Со вставления его в бочку и начинался обряд. Момент, когда образовывалась дырка в бочке, а и* нее, как кровь из чудовища, дугой пачинала бить красная струя — был особенно волнующим. Разливщик, все жесты которого отличались уверенностью, сразу останавливал

«кровотечение» вставлением крана, после чего дальнейшее шло с надлежащей методой, и па это было очень весело смотреть. Быстро-быстро влага поднималась в подставленную под кран* бутылку, одна наполненная бутылка сменялась пустой, и все устанавливались па полу вокруг оператора. Почти от каждой бутылки разливщик сбрасывал толику вина в специальный сосуд, этот сосуд шел затем на1 кухню. Самым же интересным была закупорка посредством принесенного инструмента. Полные бутылки вставлялись в особое «стойло», к горлышку прилаживалась пробка, оператор нажимал рычаг, и трах — пробка уже прочно сидела в стеклянном кольце. После этого оставалось надеть поверх пробки блестящую разноцветную кансюльку мягкой жести и наклеить на бутылку одну из тех этикеток, которые лежали в прилаженной к бочке коробке. Наш «Сент-эмилион» украшался в былое время эффектной овальной картинкой, изображавшей золотого льва на крас-

ном фоне, но впоследствии мода на такие украшения прошла, и этикетки стали простыми, белыми с каллиграфически написанным названием. Поданные в особо торжественные дни, такие бутылки со львом вызывали всегда восторг дяди Миши Кавоса и моего брата Леонтия: ведь эта этикетка означала, что вину по крайней мере десять, а то и больше лет... Под вечер, после того, как все вино было разлито, являлся сам мосье Бокильон и, попробовав от каждого вина по рюмочке, с авторитетом произносил: «Отлично!», после чего оставалось разместить бутылки по разным, специально для того устроенным в стенах квартиры и в погребе помещениям.

С разливом вина у меня связаны и два личных, довольно позорных воспоминания. Именно дважды во время этих разливов я испытал опьянение до полного одурения. Пользуясь тем, что бонна и мама оставили меня в чертежной любоваться работой разливщика, я стал подставлять ему, после наполнения каждой бутылки, свою игрушечную рюмку с тем, чтобы излишек попадал не в специал ьную посуду, а в мою рюмку, и хоть это и замедляло работу, однако разливщик благодушно потворствовал мне. Рюмочка была крошечная, с наперсток, однако, выпивая одну за другой, я стал пьянеть, а па двадцатой или тридцатой рюмке мною уже овладевало то чудесное чувство «потусторонности», для получения которого люди часто и предаются культу Бахуса. Увы, за этим чувством следовало другое — весьма неприятное: все начинало быстро вертеться вокруг, а сам я оказался уже лежащим на полу.

Первое такое опьянение, происшедшее осенью 1881 г., прошло сравнительно благополучно; меня вырвало, и я сейчас же пришел в себя, но второе имело более тяжелые последствия. Я пролежал несколько дней в постели, и одна мысль о вине ввергала меня после того в мучительные повторные приступы тошноты... Из этого можно заключить, что я вообще не рожден быть пьяницей, что просто моя натура не выдерживает. Эти два случая меня отвратили от вина — однако не настолько, чтобы я сделался каким-то адептом полной prohibition *. Вино — вещь чудесная и поистине божественная, по надо знать меру в пользовании им. Сейчас я спрашиваю себя, как могли старшие допустить, чтоб уже раз случившееся могло повториться? Вероятно, во второй раз, забыв о первом предостережении, я хитростью проник в разливочную и напился умышленно, просто из озорства, тогда как в первый раз я напился нечаянно. Любопытно еще в этот раз и то, что, уже лежа почти в беспамятстве на полу, я стал во все горло выкрикивать всякие бранные и самые неприличные слова, которым я только что научился у гимназических товарищей. Воображаю, какой получился конфуз! В полутумане я еще видел, как хихикает Степанида, как гувернантка фрейлейн Штрамм делает вид, что она ничего не понимает, и как мамочка, подавляя смех, пытд'ется сделать строгое лицо и остановить отвратительное словоизвержение. Сейчас же вслед за последним проблеском сознания я погрузился

* Запретности *(франц.)*.

в мрак небытия и снова вернулся к жизни только тогда, когда с забинтованной головой и с омерзительным вкусом во рту лежал у себя на постели... Этот второй урок, в котором косвенно повинен учитель французского языка мосье Бокильон, был и последним.

Как это ни странно, но с персоной гимназического учителя немецкого языка у меня тоже связано воспоминание домашнего характера. Щульц был русский немец и едва ли не лучше говорил по-русски, чем по-немецки, но физиономия и вся повадка были у него тевтонские, а его манеры и обычаи еще более соответствовали классическому представлению о грубом, нахальном и лукавом германце... У меня к немцам вообще, несмотря на все политические события, сохранилось и по сей день самое симпатичное отношение: я очень хорошо чувствую все то, что есть чарующего в немецкой натуре, хотя бы к этому чарующему часто бывает примешана доля неискоренимой

грубости. Но этого немца Шульца, его широкую рожу, окаймленную густой рыжей бородой, его ярко-красные волосы, ежиком торчавшие на голове, его неестественно бодрый топ, его вечную Auimunterung * я ненавидел, несмотря на то, что и у него (вполне естественно) я тоже получал одни пятерки. Впрочем, и мои товарищи терпеть не могли Шульца за склонность к ябедничанью, за пресмыкательство перед начальством, за шпионство, назойливые придирки и т. п. И вот этого самого Шульца я получил себе совершенно неожиданно в менторы. Случилось же это ранней весной 1884 г., когда мне было около четырнадцати лет. Это тогда со мной приключился в классе один из первых моих любовных кризисов. Девочка, в которую я был тогда влюблен и которая сначала как будто отвечала моим чувствам, затем переменила свое отношение ко мне и всячески стала выказывать полное ко мне равнодушие. Все это было нечто очень детское и довольно-таки нелепое, но переживал я свое несчастье с настоящими страданиями. К тому же я как раз тогда зачитывался романами Дюма и, кроме того, только что «совершенно сошел с ума» от прочтения «Призраков» Тургенева. Мои любовные терзания сопровождались подобием галлюцинаций, я пробовал вызывать духов, которые должны были явиться мне на помощь, и, разумеется, некоторая доля подлинности во всем этом тонула в целом море самовнушения и самообмана.

Дело дошло до того, что несколько раз у меня, при мысли об измене той, к которой тянулось все мое существо, делались припадки отчаяния. Ни с того ни с сего я заливался слезами, и мне казалось, что вот-вот я умру от горя. Один из таких приступов и случился как раз на уроке Шульца. Вызванный отвечать урок, я вдруг разрыдался и повалился на пол как бы в беспамятстве. «Немец» переполошился ужасно; при помощи других мальчиков он постарался меня привести в чувство (до настоящего обморока было далеко), затем вызвался сам отвести меня домой. Дома меня уложили в постель и обложили компрессами, отчего я размяк еще более и окончательно поверил, что «болен любовью» безнадежно и что

* Бодрость *{нем.)*.

мой конец близок. В естественной тревоге мамочка обратилась к Шульцу за советом, а он сразу ухватился за представившуюся оказию и уверил ее, что вся беда в том, что я не имею достаточно моциона, что я гге делаю гимнастики и что я совсем не гуляю. Тут же Шульц предложил свои услуги, чтобы

именно посредством моциона вывести меня из моего состояния, а мама с радостью за это предложение ухватилась. Настоящую же причину моих (наполовину воображаемых) страданий я при этом тщательно скрывал.

Но не так-то легко было преодолеть мою ненависть ко всяким бессмысленным, бесцельным упражнениям. Из гимнастики сразу ничего не вышло; я чувствовал к ней определенное отвращение, весь же проектировавшийся «моцион» свелся к прогулкам. Три раза в неделю Шульц за приличное вознаграждение являлся к нам и я с ним отправлялся гулять пешком по улицам. Сначала мне это даже нравилось, ибо я показывал Шульцу достопримечательности Петербурга (благодаря папе я уже начинал их знать и любить, а к тому же у меня вообще сильно сказывался уже тогда какой-то инстинкт пропаганды), однако, не встречая в Шульце настоящего отзвука, я вскоре охладел к этому бесплодному путеводительству. Иногда я заставлял Шульца войти в какую-либо церковь или в музей, но он уже через две минуты обнаруживал непреодолимую скуку, к тому же его честную немецкую натуру, видимо, начинали мучить угрызения совести. Ведь ему платили деньги за то, чтобы я с ним маршировал, дыша свежим воздухом, а не для того, чтобы топтаться в закрытых помещениях. А тут случился еще и такой глупейший казус — я его завел в открывшийся где-то на Невском проспекте паноптикум, в котором целое отделение было посвящено ужасающим «по натуральности» пластическим картинам разных венерических болезней! Шульц, по своему тупоумию, не сразу разобрал, в чем дело, и я успел осмотреть половину этих ужасающих экспонатов, когда он спохватился и в ужасе бежал из столь пагубного места. Зато какое удовольствие я испытал, рассказывая об этом случае дома, при всех за обедом. Мамочка сочла нужным объясниться с моим ментором, он же сдуру впал в амбицию. Прогулки после этого прекратились, а к тому же казалось, что они уже «успели принести всю ожидавшуюся от них пользу». Никто из взрослых не догадывался, что перемена в моем настроении и прекращение моих кризисов произошли вследствие того, что между мной и предметом моего обожания снова водворились полный лад и согласие и что из «несчастнейшего» человека я снова превратился в «счастливейшего».

Наиболее живописной фигурой из всего учительского персонала в гимназии был, несомненно, отец Палисадов, с которым читатель уже познакомился в моем рассказе о том воздействии, которое проповедь этого батюшки имела на нашу домашнюю театралку Ольгу Ивановну. Теперь же надо сказать два слова о Палисадове как об учителе закона божьего. Правда, в

качестве католика, я не состоял среди его учеников — и я мог бы даже вовсе и не присутствовать на его уроках, но эти уроки были до того занимательны, что первые два года я, вместо

того, чтобы проводить эти часы вне класса в рекреационном зале, предпочитал оставаться в классе па своем месте.

Занимательность и даже забавность уроков отца Палисадова заключалась в том, что он вел их сплошь в юмористическом тоне. Из того Савонаролы, каким он являлся в церковных проповедях, он превращался в шутника, в подобие капуцина из «Лагеря Валленштейиа». Одна из его «забав» заключалась в том, что не знавший своего урока ученик мог всегда вымолить себе пощаду (заключавшуюся в том, что вместо единицы ставилась в журнале тройка) —посредством подчинения себя своего рода епитимьи. Заключалась же епитимья или в простаивании па коленях у кафедры в течение пяти минут* или в том, что мальчик подставлял свою голову священнослужителю, а тот, схватив ее за волосы, ударял ею довольно сильно по кафедре, приговаривая: «Вот тебе, вот тебе за то, что у Адама был сын Ной» или «за то, что Авраам спасся из Содома». При этих экзекуциях (не очень жестоких; за каждым уроком их было пять или шесть) весь класс неистово хохотал; смеялся, делая гримасы, и наказуемый.

Несколько предосудительнее была склонность отца Палисадова к скабрезностям, иногда даже довольно рискованным. Он любил задавать вопросы вроде: «Мог ли у Адама быть пуп?» или же, складывая свою бородатую физиономию в сатирическую улыбку, делал прозрачные намеки на то, в чем выразилось первое грехопадение, или на то, что произошло между Авраамом и Сарой после посещения трех ангелов и т. п. Едва ли эти отступления от приличествующего этим урокам тона можно было счесть за нечто образцово-педагогическое или хотя бы за свидетельство хорошего вкуса, по зато популярность отца Палисадова в гимназии именно они и закрепляли.

Теперь несколько слов о моих гимназических товарищах. Но тут я буду краток. О том мальчике, которого я в течение двух лет мог считать своим другом,— о Володе Потапове, я уже говорил, а кроме него, друзей я себе среди гимназистов так и не приобрел. Одно время намечалась было дружба с двумя Кияжевичами. Они были милейшими и очень благовоспитанными мальчиками. Несмотря на то, что они были близнецами, они представляли собой поразительный контраст. Единственное сходство между ними была худоба и легкая склонность к заиканию, но старший, Володя, был определенный блондин с удивленным или рассеянным выражением на некрасивом, но очень симпатичном

лице, младший же, Коля, был смугл, как арапчонок, и в ласковых и лукавых его черных глазах «прыгали чертики». Наша дружба завязалась на том, что часть пути из гимназии мы иногда проделывали вместе (Княжевичи жили в собственном доме на пересекавшей нашу Никольскую Офицерской улице), еще более на том, что у нас были какие-то общие «духовные» интересы. Поощрительно к этой дружбе относились и наши родители. Тем не менее, я только одни раз побывал у них, а они ни разу — у нас, а через два года после их поступления в гимназию оба брата были переведены в Лицей, куда и я сам за ними стал проситься. Изредка

впоследствии я еще встречался то с Володей, то с Колей, но уже мы обращались на «вы», и паши жизненные дороги совершенно разошлись. Володя посетил нас в 1915 г., когда я с семьей жил в Судаке; в это время он был все такой же симпатичный, но уже и очень почтенный предводитель дворянства, Колю же я встречал изредка на светских собраниях. Эффектная форма лейб-гусара очень шла ему, но на его лице, в общем мало изменившемся, я уже не видел прежней веселости. Николай Княжевич был адъютантом Николая II. <...> Доживал свой век Н. Княжевич недалеко от Парижа, в «Русском доме» Сент-Женевьев де Буа 2, где он коротал свои досуги, исполняя роль садовника на кладбище. Недавно (писано в 1950 г.) я узнал, что Коля Княжевич скончался, оставив но себе память прямо святого человека. Меня в это время не было в Париже, и я не мог проводить своего товарища детства до могилы.

Почти то же приходится сказать о моей дружбе с двумя Литке — Саней и Костей. И это были очень приятные, милые, благовоспитанные мальчики. Мне несколько импонировало, что они графы, но они не кичились своим титулом и были необычайно ласковыми и простыми ребятами. С Саней я потом встречался часто, когда он уже был студентом, а я готовился стать таковым, но затем мы почти совершенно потеряли друг друга из виду — и это несмотря на то, что Литке состояли в каком-то родстве с Философовым, и Саня иногда появлялся на Галерной в дни семейных торжеств. То, что, кроме того, он был в родстве и с П. И. Чайковским, казалось, должно было бы способствовать моему сближению с человеком, которому ничего не стоило меня свести с обожаемым композитором, однако, как будет сказано дальше, я никогда не стремился лично знакомиться со своими кумирами. Теперь же не один десяток лет как граф Александр Николаевич покоится в земле, скончавшись сравнительно в молодых годах.

Музыка могла бы подружить меня с еще одним товарищем — с Жоржем Бруни, и это тем более, что между семьями Бенуа и Бруни существовали стародавние очень близкие отношения, носившие даже оттенок чего-то родственного. Родная тетка Жоржа — Тереза Федоровна Бентков-ская (та самая Терезина, которой посылал мой отец свои чудесно иллюстрированные письма) была одной из немногих дам, с которыми мама сохраняла еще в детстве завязавшуюся дружбу. Отец же Жоржа (сын знаменитого живописца Федора Антоновича Бруни) — Жюль с полным основанием славился на весь Петербург как гениальный импровизатор (он являлся в некоторой степени соперником моего брата Адь-бера), и этот дар мой сверстник унаследовал от отца. Все же из моей дружбы с Жоржем ничего не вышло. Этот высокий, стройный и очень красивый мальчик с типично итальянской наружностью слишком отставал от меня в умственном развитии. Бедный Жорж, благодаря своей простоте, служил даже посмешищем в пашем классе, мишенью разных злых шуток со стороны озорников-товарищей. Говорят, родители в раннем детстве опасались, что Жорж просто вырастет кретином, но своевре-

менно были приняты какие-то чрезвычайные педагогические меры, и постепенно удалось научить его говорить и читать не только на русском «о и на других языках (по-французски он даже любил изъясняться причем неизменно принимал при этом слегка фанфаронский вид). Когда ему минуло десять лет, родители решились поместить его в гимназию. Но следы какого-то странного умственного дефекта оставались у Жоржа; учился он отчаянно плохо, а когда его вызывали отвечать урок, то весь класс хохотал, до того уже комично он выкладывал свою неспособность что-либо усвоить и хотя бы вызубрить. Для меня было очевидно, что бедняжке хотелось со мной сблизиться, но как мог я дружить с мальчиком, который был так далек от всего, что меня занимало и интересовало? Что же касается до его музыки, то тут, пожалуй, те восхваления, которые уделяли импровизации Жоржа его кузены — все трое Бентковских (старший, Альфред Карлович, был сам удивительно музыкальным человеком и даровитым импровизатором), то это скорее ущемляло мое самолюбие и вызывало во мне чувство зависти, столь знакомое в детские годы. Несомненно, что импровизации Жоржа служили известным отводом для страданий родительского самолюбия и компенсацией за то, что во всем прочем трудно было им гордиться. Впоследствии из Жоржа вышел вполне нормальный

человек. После того, как отец его, «знаменитый» Жюль Бруни спустил не только все наследство, полученное от отца, но и большое приданое своей жены (урожденной Пель), Жорж женился и не без достоинства стал играть роль уважаемого отца семейства. Виделись мы, однако, редко и больше на улице. Его музыкальные способности нашли себе применение в том, что он по воскресеньям играл на органе в Швейцарской церкви на Большой Конюшенной.

Об остальном классе у меня осталось смутное и далеко не отрадное впечатление. Уже с самого начала я почувствовал к массе этих шалунов и дуралеев известное презрение, но оно только еще усилилось и достигло настоящего страдания, когда с осени 1881 г. в наш («первый») класс были определены человек двенадцать настоящих, мы бы теперь сказали,— хулиганов. Это были ученики какого-то Ивановского училища, воспитывавшиеся полными пансионерами на казенный счет. Почему их перевели в гимназию Ч. Л. О. и с какой стати наш класс подвергся их поистине тлетворному влиянию, это осталось загадкой, но что это были действительно разбойники и будущие преступники,— стало ясно с первых же дней прибытия к нам дикой и во всех смыслах развращенной оравы. К тому же это были грязные, в самом прямом смысле, мальчики, от которых шел неприятный запах. Со мной рядом посадили по другую сторону от Потапова — коренастого, удивительно уродливого хохла Дзубенко, который чуть ли не с первого дня принялся за пополнение моего «просвещения» в очень специальном смысле. От него я узнал целый словарь площадных выражений. На русском языке они отличаются исключительной звучностью — недаром Достоевский посвятил несколько страниц своего «Дневника писателя» «главному» среди них. От него же я узнал все то, что для меня до тех пор было тайной. Другие мальчики производили

тут же на глазах разпые игры, курили, пряча при входе учителя в класс зажженную папиросу в рукав, пили из горлышка водку, которую держали в парте за книгами или в печке, с ожесточением дрались и с удовольствием умыкали в свою пользу все, что «плохо лежало». Постепенно они терроризировали весь класс, и особешю доставалось от них одному крошечному, но необычайно усердному и способному еврею — Гурвичу, бывшему у нас первым учеником, но державшемуся на большой дистанции от товарищей. Любимым мучительством ватаги диких башибузуков было «крещение жида», для чего устраивалась целая церемония с пением богохульных гимнов. Кончилось это тем, что

однажды Гурвичу вымазали все лицо чернильными крестиками, но смыть эту татуировку сразу по удалось. В таком виде несчастный предстал перед учителем, а тот повел его показать директору. Башибузуки были наказаны, и зачинщики даже снова переведены куда-то. Но брошенные ими семена взошли на благодарной почве,— и это с тем большей легкостью, что все же часть ива-новцев осталась.

Я покинул гимназию весной 1885 г. Главной причиной тому было, как я уже говорил, преследование, которому я подвергался со стороны гнусного Мичатека, и получившаяся вследствие того моя полная деморализация. Деморализация привела к тому, что я совершенно запустил не только древние языки, но и все другие предметы, вследствие чего меня оставили за неуспехи на второй год без экзаменов. Это было слишком постыдно, и мне без труда удалось убедить маму, чтобы меня взяли из казенной гимназии и перевели без потери года в какое-либо частное училище. Я мечтал о Лицее — плененный тем, что это было нечто аристократическое и «шикарное». По окончании Лицея я уже видел себя на дипломатическом поприще... Но папа решительно воспротивился этой «глупой фанаберии» (он неохотно согласился и на- перемену школы) и, после наведения разных справок,— выбор нал на немецкую гимназию Мая — правда, находившуюся от нашего дома на расстоянии двух с половиной километров — по ту сторону Невы, но зато рекомендованную разными знакомыми и в особенности милым Обером как образцово поставленное заведение. Туда, благополучно сдав осенью того же 1885 г. вступительные экзамены, я и был определен.

Глава 12 «ЗАГРАНИЦА»

Не знаю как сейчас в России относятся к «заграницe», но в моем детстве, в Петербурге и в нашем кругу — заграница представлялась чем-то в высшей степени заманчивым, каким-то земным раем. О заграницe мечтали стар и млад, и едва ли младшее поколение не более сильно, нежели старшее. Ездили за границу все, и даже люди с очень скромными достатками, и даже те, кто из патриотизма готовы были все чуже-

земное хаять. Весьма многие ездили за грапицу лечиться, но часто и это бывал только предлог, чтобы перевалить за границу и очутиться в одном из таких заведомо приятных мест, как Карлсбад, Мариеибад, Эмс, Баден-Баден или Висбаден, в которых «столько чудесных прогулок» и в которых собиралось такое «избранное общество»... Мечтал о заграницe и я, когда еще был крошечным карапузом и имел самые смутные представления о географии. Одной из забав моего отца, когда мне было 3—4 года, было подымать меня высоко над своей головой и спрашивать: «Ну что видишь Москву?» Я делал усилия, вглядываясь пристальпо, и хоть бы это происходило где-либо в Петергофе, в конце концов, мне действительно казалось, что я различаю вдалеке какой-то чудесный город. Из-за границы шли все самые прелестные вещи: рельефные картинки, присылавшиеся из Гамбурга семьей дяди Саши, фаитоши, которые бабушка привозила из Венеции, чудесные швейцарские стереоскопические виды в коллекции дяди Кости и т. д. Из Мюнхена шли забавные картинки («Мюнхенер билъдербоген»), из Парижа всевозможные смехотворные, а иной раз и таинственные вещицы. В своем месте я забыл упомянуть о той «волшебной» книжке, которой я особенно любил изумлять своих товарищей. Она была так устроена, что если ее листать в одном направлении, то все страницы оказывались пустыми. В обратном направлении каждая страница была украшена красиво раскрашенной картинкой. В доме у нас все свободно говорили по-французски и по-иемецки, а многие друзья дома были иностранного происхождения, и как раз они казались мне более воспитанными и изящными, нежели русские знакомые. Наконец, папа увлекательно рассказывал о своем пребывании в Риме, в Орвието, в Венеции и в Англии, и хотя это все происходило за тридцать лет до моего рождения, однако рассказы его отличались такой живостью, они были так прекрасно дополняемы его

акварелями, что все это представлялось мне близким и современным. Я не сомневался, что, когда я, наконец, поеду за границу, то увижу все таким же, каким видал папа. В Риме ожидал встретить среди непролазных развалин стада буйволов, и я был уверен, что все итальянцы до сих пор одеты так, как они одевались в годы римского пенсионерства папы, иначе говоря, как одеты были те пифферари*, которые, по стародавнему обычаю, все еще ходили по петербургским дворам и плясали под заунывные звуки волынки.

Помнятся, наконец, мне и те мечты, которые вызывал во мне издали из Петергофа видимый Кронштадт с цепью его прямо по воде разбросанных фортов. В ясные летние вечера все это отчетливо вырисовывалось на фоне заката. Сидя на мраморной площадке Мопплезира, глядя вдаль, где между фортами лежала дорога за границу, туда, куда заходило солнце, я испытывал томительное, сладкое чувство — род ностальгии. В зрительную трубу (в кабинете Петра I в Монплезире стояла огромная такая труба, и придворный лакей, хорошо всех нас знавший, охотно позволял ею пользоваться) эти форты казались уже совсем близкими. Чудно было

* От pifferari *(итал.)* — волынщики.

видеть, как какой-либо большой трехмачтовый корабль, дройдя между ними, удалялся дальше, дальше и наконец погружался за линию горизонта. Этот корабль плыл за границу, в Гамбург, в Лондон, а то еще дальше, в Америку, в страну милых краснокожих и смешных янки. И ах, как мне хотелось оказаться на таком корабле — хотя бы юнгой! Только бы уехать, повидать, что творится там, где, по общему свидетельству, так хорошо.

Я думаю, в тогдашней Западной Европе едва ли можно было бы найти культ иностранщины столь интенсивной, как тот, что царил в России и особливо в Петербурге — в этом «окне в Европу». Город Санкт-Петербург по-прежнему служил перстом его основателя, указующим на то, что должно служить россиянам образцом всяческого подражания. Все петровское и самый дух Петра, витавший по улицам и площадям Петербурга — еще более Петергофа,— вещали, что оттуда, из-за границы идет спасение. Много было смешного и много было несправедливого в этом поклонении русских чужому; жизнь тогдашней России обладала, в сущности, большой (и даже ни с чем не сравнимой) прелестью, но к этой прелести так привыкли, что ее больше не замечали. О ней скорее можно -было слышать восторженные отзывы от заезжих иностранцев — особенно от англичан, по мы этим

восторгам не верили и принимали их за вежливые комплименты, С другой стороны, всякие уродливые и дурные стороны российского быта — будь то на улице или дома — лезли в глаза, люди «тонкого вкуса» не переставали их обличать, находя в этих обличениях своеобразное упоение. Много таких хулителей всего русского было и у нас в семье; к ним принадлежали и дяди Костя, и бабушка Кавос, и дядя Миша, и синьор Бианки, и Саша Панчетта. Напротив, убежденной и чуть комичной защитницей была тетя Лиза Раевская и настоящими ура-патриотами были Зозо Россоловский и мой зять Женя Лансере, за что я их немножко и ггрезирал, убежденный в несомненной ошибочности их оценок. Впрочем, до известной степени защитниками если не всего русского, то весьма многих хороших сторон русской жизни, были и мои родители... по мамочкин «патриотизм» подвергался осмеянию ее же братьев, а папочкин «патриотизм» носил явно космополитический харак-тер. Его «приятие России» входило в «общую систему его приятия»...

Быть за границей казалось мне до того соблазнительным, что как-то не верилось, что когда-нибудь я сам там побываю. И, однако, уже в 1881 г. это чудо свершилось! Зато я и вкусил неожиданно представившееся наслаждение, как только в сказках вкушают какие-либо фантастические чудесные лакомства. Продлилось это «пребывание за границей» всего десять дней, да и эта «заграница» была не настоящей, так как и оказался не где-либо за пределами государства Российского, а в одпом из ее же губернских городов... Но этот губернский город был Варшавой — столицей бывшего царства польского! Все население там говорило не по-нашему, одеты были тоже по-иному, а многочисленные церкви не были похожи на наши петербургские православные церкви; не перечесть всего, что с полной несомненностью свидетельствовало о «заграничности»

II, 12. «Заграница»

415

Варшавы. Вместо наших чумазых ванек с их дребезжащими дрожками тут были наемные коляски, запряженные парой, с кучером, одетым «по-господски»; вместо ужасных мостовых некоторые главные улицы были залиты асфальтом, вместо наших грязных бородатых мужиков всюду видел я бритых и опрятно одетых людей. А затем какая прелесть были встречавшиеся на каждом шагу кофейни-цукерни, где так весело гудел и свиристел хлесткий польский говор, где подавался такой нектароподоб-ный кофий со сбитыми сливками и такие соблазнительные булочки и крендельки. Когда через четырнадцать лет я снова посетил Варшаву, то она произвела на меня далеко не столь приятное

впечатление. Я как раз попал в нее, возвращаясь в Петербург из Вены. Сравнение резиденции Франца Иосифа с Варшавой 1894 г. оказалось отнюдь не в пользу последней. Мало того, я увидал ее тогда в зимнюю распутицу. В те же июньские дни 1881 г. стояла чудесная погода. Одуряюще пахли каштаны и цветы в Саксонском саду, гулявшие пешком или разъезжавшие в нарядных экипажах поляки были действительно не по-нашему элегантны,. и даже молоденькие евреи в пейсах, с тросточками в руках и в длинных лапсердаках, были полны сознания своего щегольства. Надо еще прибавить, что мне все тогда показалось каким-то праздничным, потому чта мы очутились в совершенно необычайной обстановке. В Варшаву родители поехали с целью навестить своего сына — моего брата Николая,. корнета лейб-гвардии его величества уланского полка,— а потому мы почти не расставались с целой ватагой молодых офицеров, эффектно носивших свою красивую форму, не испорченную нововведениями только что вступившего на престол императора и гарцевавших на своих прекрасных гнедых копях. Многие из офицеров при этом были титулованными, и так как все ближайшие друзья Николая в шутку со мной, мальчишкой, выпили при первой же встрече брудершафт, то мне особенно лестным казалось, что я «на ты» и с графом Ф., и с князем Г., и с* бароном Д... Вероятно, совсем иначе на русских офицеров смотрели поляки; для них они являлись ненавистными чужеземцами, чуть ли не притеснителями, но для моего детского глаза это не было заметно, тем более,. что и среди друзей нашего необычайно общительного Николая было немало и поляков (и тоже титулованных). Все они вместо смешивались для меня в «одну компанию» — веселых, приветливых, необычайно ласково ко мне относившихся людей и к тому же — людей «заграничных»! И еще прелестно было то, что стоял уланский полк в Лазейках, в этой очаровательной загородной резиденции польских королей. Сильнейшее впечатление произвела на меня тогда в Лазенках беломраморная группа намосту, изображавшая Яна Собеского на копе, попирающем турка. В совершенный же восторг я пришел в Лазепках от «античного» театра — несменяемая каменная декорация которого под открытым небом представляла руины, а места для зрителей возвышались амфитеатром насупротив — через узкий пролив.

Самые казармы уланов были невзрачны: низенькие, однообразные, симметрично расположенные каменные домики без всяких украшений,,

но и в этих казармах, с моей тогдашней точки зрения, шла особенная и притом сплошь праздничная жизнь. То один то другой из офицеров нас чествовали обедом или завтраком, причем рекой лилось шампанское — тот божественный напиток, который у нас дома так скупо наливался в узкие бокалы только на свадьбах и крестинах. Снаружи, в садиках, под окнами офицерских квартир, во время этих пиров распевали солдаты-песенники или гремел полковой оркестр. А как «шикарно» было приезжать в Лазенки в открытом (наемном от гостиницы) ландо и из него раскланиваться с попадавшимися навстречу по Уездовской аллее всадниками, многие из которых подъезжали к нашему экипажу и сопровождали его...

Всего десять дней провели мы тогда с родителями в Варшаве, остановившись в «Европейской» гостинице, окна которой выходили на площадь перед Саксонским дворцом, но эти десять дней моей «первой заграницы» врезались в память так, точно я пробыл в Варшаве несколько лет. Уже одно то, что мы жили в гостинице (это была моя первая гостиница); что нас встречал и провожал эффектный швейцар, что столько сновало всюду лакеев во фраках и горничных с наколками на голове, что комнаты наши были убраны, по тогдашнему обычаю, коврами и тяжелыми драпировками на окнах и дверях,— уже это все складывалось в самое «ощущение заграницы».

Моя «первая заграница» оказалась богатой и чисто художественными впечатлениями. Мои довольно еще беспомощные зарисовки в альбоме, подаренном папой, запечатлели то, что особенно меня тогда поразило. Разумеется, эти впечатления были довольно сумбурными, бессвязными и отнюдь не свидетельствовали о каком-то «верном вкусе». Так, например, едва ли не самое сильное впечатление на меня произвел огромный, несуразный черный обелиск, который стоял на площади прямо перед нашими окнами и загораживал вид на открытую колоннаду, соединяющую оба флигеля Саксонского дворца. Этот обелиск был сооружен Николаем I в назидание полякам после бунта 1830 г. и был снабжен золотой надписью: «Полякам, оставшимся верными своему государю». Папа, вообще пнэтетно относившийся к Николаю Павловичу, не одобрял постановку такого монумента прямо «на носу» у поляков и на главной площади польской столицы **, но мне этот аляповатый, несуразно огромный монумент необычайно нравился. В нем было что-то кошмарное, и это меня больше всего и пленило (вообразите тупоконечный тяжелый обелиск на

** Еще большей бестактностью было сооружение в позднейшие времена огромного православного собора в

«византийском» вкусе на том самом месте, где прежде стоял обелиск (перенесенный в сквер у одной из боковых улиц). Я ненавидел этот собор, хотя он и был построен моим братом Леонтием, ненавидел, как все, что отзывалось фальшью нарочитого патриотизма. Для поляков же этот собор, кроме того, был свидетельством их порабощения, и ненависть к нему выразилась в том, что собор, несмотря на свои колоссальные размеры, был сразу около 1920 г. снесен, как **только Царство польское возобновило свое самостоятельное существование.**

ступенчатом подложье, со львами по бокам, и все это сплошь покрашенное в черный цвет).

Вообще меня особенно, поразили тогда памятники и то, что их было так много в Варшаве. Импонировал памятник, сооруженный князю Паскевичу (усмирителю все тех же бунтовавших поляков), и такой уютный и вдохновенный Коперник, который сидел перед зданием гимназии, тогда еще не перестроенной в «русском стиле». Но больше всего, «даже» больше черного обелиска, меня очаровала колонна Сигизмунда т — то, что она такая топкая, что она увенчана тяжелой и вычурной капителью, что на ней стоит с крестом в руках коронованный рыцарь и что к подножию колонны неожиданно прильнули четыре сирены (сирена — герб Варшавы). Эту колонну я потом без конца рисовал на память, и она мне казалась куда интереснее, нежели наша хваленая и все же такая скучная (передаю тогдашнее мое мнение) Александровская колонна. Да и вся площадь, посреди которой стоял Сигизмундов памятник, была в 1881 г. еще необычайно живописна и «по-заграничному» занимательна. Ее высокие, узкие, иной раз в одно окно, дома с их треугольными завершениями, были совсем такими, какими изображались дома на площадях знаменитых средневековых городов... Тут же неподалеку стоял готический кафедральный собор. Я тогда не понимал, что эта церковь изуродована плохой реставрацией, изуродована до того, что ее подлинная готика стала походить на псевдоготику 30-х гг. Для меня достаточно было того, что это настоящий старинный собор — такой же собор, как те, в которых венчались и погребались любимые мои рыцари, паладины и короли. Внутри в стены его были вделаны изваяния, изображавшие закованных в броню рыцарей, а над могилами кардиналов (настоящих кардиналов!) свешивались со стрельчатых сводов красные шляпы, снабженные переплетенными кистями и шнурами. Это ли было не «заграничное? Одно это разве не говорило, что находишься не у «окна в Европу», а уже в

ней самой.

* * *

И все же Варшава в 1881 г. была лишь известным преддверием к ней, тогда как уже в следующем году я был осчастливлен превыше всякой меры, побывав в самых подлинных и несомненных заграничных столицах. Мои родители вообще были домоседами и не любили больших передвижений, но тут их соблазнило приглашение дяди Кости принять участие в небольшой поездке по северу Европы, и в течение трех педель мы побывали в Стокгольме, Копенгагене, Гамбурге и в Берлине. Ехали мы довольно большой компанией — в обществе дяди Кости, его дочери Оли, ее тетки Е. А. Кампиони и моего брата Коли. Таким образом, вместе со мной нас было семь человек, что давало возможность в гостиницах снимать целый ряд смежных комнат, а это придавало всему путешествию (начавшемуся 1 июля прямо по окончании традиционного пира в честь папиного дня рождения) характер какого-то семейного пикника. Впро-

чем, родители не всегда были довольны этим пикниковым характером нашей поездки. Много того времени, которое они и я с ними предпочли бы уделять более подробному обозреванию незнакомых мест, уходило на всякие файв-о'клоки *, на поездки в загородные рестораны и вообще на тот вздор, который считается «приятным препровождением времени». И этого было столько, что то, что удалось увидать действительно интересного, я с папой обозревали как-то урывками, контрабандой, во время утренних прогулок сразу после кофе. Зато эти наши прогулки носили особенно чарующий, слегка конспиративный характер. Мама была в заговоре с нами, и благодаря этому нам каждый раз удавалось улизнуть — и мы оказывались вне досягаемости, когда остальпая компания только-только начинала вставать...

На сей раз «заграница» началась почти тотчас же по выезде из Петербурга — ведь приходилось уже в Белоострове выходить из вагонов, предъявлять паспорта и тащить багаж на таможенный осмотр. А когда утром на следующий день я проснулся и подошел к окну, то поезд мчался по совершенно чуждому пейзажу, среди розовых и довольно высоких гранитных скал. В Гельсингфорсе я изумился собору, несколько похожему на петербургского Исаакия и все же отличавшемуся от него тем, что эта церковь стоит не на

плоском петербургском «болоте», а высоко над городом, и к нему надо подыматься по колоссальным лестницам. В каком-то загородном ресторане, в котором мы обедали, меня опять-таки привели в восторг обступившие его скалы, розовые, круглые, покрытые тонкими соснами. *Настоящее* же путешествие началось с момента, когда мы вошли на палубу и расположились по каютам парохода «Фон-Деб-бельн», совершавшего постоянные рейсы по шхерам между Гельсингфорсом и Стокгольмом. Вот где мне вспомнились романы Фенимора Купера и Жюля Верна. До чего же мне показался прекрасным строгий и все же любезный, ˆсовершенно заграничный» капитан, величественно председательствовавший во время обедов за общим столом и так изящно беседовавший (по-немецки) с соседними дамами. В первый же вечер я объелся превкусными закусками, которыми был уставлен стол. Расположились мы за ним, как только пароход отделился от набережной и Гельсингфорс с его квази-Исаакием и с остроконечным силуэтом русской церкви в порту, медленно поплыли от нас, а «Фои-Деббельн», разбивая волны, устремился вдогонку за спускавшимся к горизонту солнцем.

Хоть я запомнил почти каждый час этого путешествия, однако я tíe стану здесь передавать всех своих впечатлений. Ограничусь главнейшим, причем «главнейшим» окажется не то, что было значительным по общепринятой оценке, а то, на что я особенно реагировал. Если бы мне тогда поручили составить путеводитель подобного путешествия, то, несомненно, он представил бы довольно сумбурный набор пестрых и «разнокалиберных» вещей. Но все же я должен отдать себе справедливость, что мало из действительно достойного ускользнуло от моего внимапия, а то, что

* Вечерние чаи *{англ.).*

схватывала тогдашняя, еще совершенно свежая восприимчивость, запечатлелось с такой отчетливостью, что я и. до сих пор, без всякого насилия, способен вызвать в памяти яркие видепия всей поездки и каждого отдельного момента. Мало того, в отношении Стокгольма, в котором я снова побывал в 1914 г., и даже в отношении Берлина, в котором я потом бывал столько раз, я должен признаться, что над этими позднейшими впечатлениями продолжали господствовать впечатления мальчика двенадцати лет.

На пути в Стокгольм, после первой ночи, проведенной в каюте, я весь день простоял на палубе, не уставая любоваться сменой тех пейзажей, которые плыли мимо нас и состояли пз трех

элементов — из воды, из скал и из сосен. То розовые скалы-островки расступались, и мы оказывались как бы среди широкого озера, то снова они сдвигались и временами так близко подходили к пароходу, что ветви деревьев почти касались его. Большинство этих островков были пустынными и дикими, но иногда на них виднелась серенькая избушка рыбака, и совершенно вблизи можно было разглядеть его хозяйство, а дети бежали за пароходом и обменивались какими-то возгласами с нашими матросами. Очень эффектно в четыре часа пополудни выглянул вдали старинный замок, предвещавший город Або. Это был подлинный средневековый замок, и хотя бывшая резиденция рыцарей служила теперь тюрьмой, однако я все же впился в нее глазами и тут же набросал ее в альбом. В самом Або, где наш пароход простоял часа четыре, папа успел свести меня в древний собор. Меня поразили расписные стекла XIX в., представляющие какие-то события пз шведской истории (отказ королевы Христины от престола?), и грандиозное, как мне тогда показалось, старинное надгробие. Выезжая из залива, в глубине которого расположено Або, я снова увидал поразивший меня замок, но уже в лучах заходящего солнца.

Впечатление от Гельсингфорса и Або, от всей их «заграничности» померкло, когда пароход поравнялся с нарядными, чистыми, точно граненными набережными столицы Швеции, и когда предстал во всей своей величественности строгий королевский дворец с его террасой-садом, усаженной пирамидальными тополями. От первой же прогулки, совершенной после того, что мы расположились в прекрасном большом отеле у Музея я позавтракали (как вкусно, как совершенно по-особенному!), я совершенно обезумел. Сколько тут было садов, сколько цветов в этих садах, И все это мне казалось таким чистым, «шикарным». Необычайно изящными казались мне гуляющие в садах, и какую особенную нарядность придавала всему сверкающая сбруя экипажей и белизна бесчисленных спущенных над окнами маркиз. Да и тогдашняя моя страсть к памятникам нашла себе здесь особенное удовлетворение: вот благородный Густав Адольф верхом на величаво ступающем копе (он стоял у моста между двумя одинаковыми, необычайно красивыми зданиями2*); вот уродливый

Выдержанная красота этой площади у моста впоследствии оыла нарушена тем, что одно из двух одинаковых зданий, а именно оперный театр, было перестроено

14*

420*И, 12. «Заграница»*

Карл XII, тяжело ступающий в своих сапожищах и

протягивающий руку туда на восток, как бы завещая потомкам долг мщения за претерпенную под Полтавой обиду; вот облаченный в порфиру Густав III, с трагической кончиной которого я уже был знаком по либретто Скриба в опере «Вал-маскарад». Да всех и пе перечислить!

Максимум наслаждения мне доставили два посещения Риддаргольм-ской церкви и королевского дворца. Первую, готическую, с черным чугунным шпилем на кирпичной башне, живописно обступают капеллы, служащие королевскими усыпальницами, внутри же так жутко горели в глубоких сводчатых погребах десятки свечей, окружавшие пе преданные земле гробы с положенными на крышки коронами. Во дворце я пропустил без особенного внимания довольно-таки однообразные и безличпые парадные комнаты, зато был польщен, что нас впустили в спальню царствующего короля, в которой не только кровать еще не была сделана, но даже еще стоял перед ней ночной сосуд, что доказывало, что его величество Оскар II всего за несколько минут до того покинул свою опочивальню. Совсем в ином роде было впечатление, полученное от тронного зала. В спальне меня удивила столь мало отвечавшая моему представлению о монархе простота; в тронном зале я снова почувствовал королевское величие. Две исполинские белые мраморные статуи — Густава Адольфа и Густава Вазы стоят здесь по обеим сторонам трона, и тогдашнее впечатление от этих двух колоссов было до такой степени сильно, что я видел их затем не раз во сне.

Подробное изучение Стокгольма под руководством папы происходило на следующий же день, но уже третий день ушел на те «обязательные» для взрослых развлечения, которые мне доставляли одну только досаду и скуку. К полудню взобрались мы в ресторан на верхушку Мозебаке, откуда расстилается широкий панорамный вид, весь же остальной день ушел па несносные мытарства: чай мы пили в каком-то садовом ресторане, где, к довершению бед, присоединилось к нам несколько петербургских знакомых, обедали же мы за городом и уже в сумерки, так что мне не позволили пуститься на «исследование местности», а заставили томиться за нескончаемым табльдотом.

Если уже Стокгольм мог меня так пленить, то что сказать про Копенгаген, про город несравненно более живописный и курьезный. Особенно таким он был, когда Копенгаген еще сохранял целиком свою старосветскую уютную прелесть, самую атмосферу андерсеновских сказок. Каждый дом на узких кривых улицах и на рыночных площадях казался мне каким-то родственником того «старого дома», о котором так поэтично

рассказывает мой любимый писатель, а за мутно поблескивающими их окнами чудились комнаты, где на камине стоят фарфоровые пастушка в трубочист, а «стойкий оловянный солдатик» вздыхает по балерине.

и на месте прежнего здания, такого изящного в своей простоте, выросла одна из тем громадин, которыми в 80-х и в 90-х годах все столицы сочли своим долгом об` завестись в качестве главных оперных театров.

Н, 12, «Заграница»

421

К тому же Копенгаген был мне вообще уже несколько знаком. В папи-пой библиотеке хранились два толстенных фолианта архитектурного увража «Le Vilruvc Danois» *, там я видел и эту площадь, среди которой на выкрутасистом бронзовом коне какой-то король топчет побежденного врага, и этот совершенно необычайный шпиль Биржи, сплетенный из хвостов трех драконов, п башню какой-то церкви, кончавшуюся спиралью вьющейся наружной лестницы, и эту массивную круглую башню на верхнюю площадку которой можно было подняться хотя бы верхом по круговому «пандусу»... Теперь я все это видел наяву. Кроме того подъезжая на пароходе, я заметил замечательный портовый маяк, увенчанный короной,— вроде того, как был увенчай наш Ораниенбаумский дворец. Особенно мне поправился дворец Амалиеиборг, па круглом проездном дворе которого стоит еще один медный королевский всадник; видел я и другие весьма замечательные дворцы и замки, и, наконец, мы с папой посетили то своеобразное здание, в котором . умеющие ценить своих великих людей датчане сгруппировали в оригиналах и слепках творения Торвальдсепа. Странность этого выстроенного в каком-то архаическом стиле музея подчеркивается тем, что наружные стены его украшены фресками с фигурами на темпом фоне — и эти фигуры изображают не бох`ob и не героев, а господ в сюртуках и в цилиндрах, представляющих сцепы из жизни Торвальдсена... Перед красотой же изваяний «датского Фидия» я пришел в совершенный восторг; а особенно меня порадовал уже знакомый по Варшаве Коперник, которого я теперь видел не издали на высоком пьедестале, как там, а в непосредственной близости. Кое-что *я* запомнил и об остальных коллекциях музея, особенно те простые сценки из жизни, на которые обратил мое внимание папа и среди которых была картина, изображающая сборище веселых художников в каком-то итальянском кабачке. Некоторых из них пана знавал в Риме лично и мог их мне назвать поименно. Это та картина, на которой ху-ˆ дожник, между прочим, решился изобразить в курьезном ракурсе тень на полу от

протянутой руки одного из пирующих.

К сожалению, в Копенгагене последний вечер ушел опять па нечто такое, от чего я бы охотно отказался. Как могла нехудожественная часть компании отказаться от посещения знаменитого сада Тиволи? Прокатившись после обеда в колясках по ближайшим окрестностям столицы Дании, мы и отправились в это увеселительное заведение, а там прохлаждались какими-то напитками, слушая совсем неинтересные музыкальные номера и поглядывая на каких-то акробатов. Стоял мягкий, нежный вечер... Как бы я предпочел посвятить его посещению близлежащих замков, среди которых меня особенно манил Эльсипор, знакомый по «Гамлету», печальная история которого мне была хорошо известна. В тот же вечер мы погрузились на пароход и к утру прибыли в Киль. Папа в ожидании гамбургского поезда не пожелал упустить случай осмотреть и этот город, и от прогулки по нем в ранний предутренний час у меня

* «Датский Витрувий» *(франц.)*.

422ї*91%· *«'Заграница»*

сохранилось очень отчетливое воспоминание. Несомненно, с тех пор Киль, превратившись в грандиозный военный порт, утратил свой преж-вий характер, тогда же это был скромный провинциальный городишко, с ухабистой мостовой, с островерхими домами, которые только-только начинало золотить восходящее солнце.

В Гамбурге нас ждали родственные объятия. Проживавшая в своем небольшом особняке вдова дяди Саши (брата папы) тетя Мари и ее четыре дочери буквально затискали меня, зацеловали и сразу же задарили всякими, издавна припасенными для этого случая, подарками. Самое это погружение в чисто немецкую уютность оставило во мне наилучшие воспоминания, Сердечность приема, незатейливый благодушный юмор, царивший при всех беседах и на семейных обедах, самая старомодность обстановки, украшенная лишь несколькими художественными предметами, доставшимися «гамбургским» от деда Бенуа,— все это обладало необычайной прелестью.

Завершением гамбургской идиллии явилась прогулка на пароходе в местечко Бланкенезе. Против этого я не протестовал, тем более, что вожаком экспедиции была пятнадцатилетняя кузина Клара, в которую я вздумал чуть-чуть влюбиться. И тут все носило уютнейший характер. Особенно же весело было за прекрасным, изобиловавшим морской снедью обедом, который мы съели в простеньком ресторанчике, стоявшем среди рощи на самой макушке холма, откуда открывался чудесный, далекий вид на Эльбу.

Впрочем, и от самого Гамбурга с его прудами, с его высокими готическими церквами 3*, с его каналами, в то время еще обставленными древними, прямо к воде подходившими деревянными домами, я был в восторге. Побывал я с родителями и в Музее, в котором гвоздем коллекции считалась исполинская картина тогдашнего кумира Ганса Макарта «Торжественный въезд Карла V в Антверпен». Мне она, однако, несмотря на великолепие зрелища и на роскошь костюмов, не понравилась. Я как-то инстинктивно почувствовал, что художник выбрал этот сюжет только потому, что он давал ему случай развернуть особый блеск и, между прочим, представить полдюжины совершенно нагих красавиц, шествовавших по улицам города перед юным императором. Казалось бы, что присутствие столь соблазиительпого элемента могло бы особенно заинтересовать мою как раз тогда просыпавшуюся чувственность. В какие только картины, в каких только изображенных па них особ я тогда ие «влюблялся». Однако вот макартовские голые дамы были мне не но вкусу. Они показались мне неправдоподобными, не жизненными.

В последний день пребывания в Гамбурге мы познакомились с нашим свойственником Гансом фон Бартельс, блестящая художественная

Одна из этих* церквей, Николаскирхе, особенно заинтересовала моего отца. Он еще помнил прежнюю церковь, которая погибла в большом пожаре лет сорок назад, а вновь воздвигнутая грандиозная церковь считалась выдержанной в строжайшем средневековом характере.

карьера которого тогда только начиналась. Это был еще совсем молодой человек, довольно красивый, но, как мне показалось, несколько спесивый. Быть может, впрочем, та горделивая манера, с которой он показывал нам свои крупные акварельные этюды, только что привезенные им из Италии являлась просто следствием смущенности. Во всяком случае, при позднейших моих встречах с Гансом он мне предстал в совершенно другом свете — самым благодушным, веселым, общительным малым. Акварели его мне тогда в Гамбурге тоже не слишком импонировали; я нашел, что они грубоваты, недостаточно разработаны и выписаны. Но моему тщеславию льстило, что этот молодой «заграничный» художник, о котором критика отзывалась с большой похвалой,— мой почти родственник, что мне разрешено его называть Гансом и быть с ним па «ты». Много лет спустя между нами установились

дружеские отношения и эту дружбу Ганс распространил даже на Сережу Дягилева, которого, но моей рекомендации, он возил по разным достопримечательностям Мюнхена — с чего, в сущности, з началась художественная деятельность моего знаменитого друга.

В Гамбурге мы посеяли некоторых наших спутников. Дядя Костя со своими дамами отправился на воды в Мариепбад, а брат Коля, отпуск которого кончался, проследовал прямо в Варшаву. Я остался с родителями, и поэтому в Берлине я уже совершенно овладел папой (приятно было сознавать, что и мама теперь в моем исключительном распоряжении). Берлин мы с папой осмотрели досконально, тем временем как мама делала всевозможные закупки, удивляясь добротности товаров и необычайной их дешевизне. Вскоре две паши комнаты (в тогда только что отстроенном «Отель де Ром», поразившем меня роскошью мраморов и позолоты) оказались заваленными пакетами и коробками. В то же время возникла тревога, как это все перевезти через границу, как бы не заплатить непомерной пошлины, как бы чего не конфисковали. Этой тревогой заразился и я — тем более, что среди этих покупок немало было всяких мне принадлежащих вещей; был тут, между прочим, и новый микроскоп, и какая-то книжка с движущимися картинами и складной театр, и даже какая-то кукольная мебель. Но на русской таможне все обошлось благополучно — очевидно, подействовал папин паспорт, его чин, и нашего багажа просто пе осматривали вовсе.

Немало я наслышался речей, что Берлин де скучный город, что в нем нечего смотреть, что этот город новый, «казенный», «провинциальный», что это нечто вроде «плохого Петербурга». Мне же Берлин вовсе не показался таким, а напротив, он меня поразил своим богатством, великолепием и даже тем, что я теперь назвал бы романтикой. Возможно, что произведенное именно тогда впечатление предрасположило меня к тому, что я и в дальнейшем чувствовал всегда к Берлину некоторую нежность. Почти каждое путешествие за границу в последующие времена непременно начиналось и кончалось Берлином — и таким образом я перебывал в нем по меньшей мере раз двадцать, и вот каждый раз я с особенным удовольствием (иногда и без всякой нужды) в нем останавливался, при-

чем меня к этому располагали не только чудесные музеи, но и удовольствие «побегать» по улицам — по тем улицам, с которыми я познакомился, когда мне было двенадцать лет, и которые на моих глазах из года в год стали менять свой облик по

мере того, как Берлин терял свой старосветский характер прусской столицы и становился мировым городом.

За исключением двух-трех сказок, Гофман в 1882 г. мне еще не был знаком, да и эти сказки я знал в детском переложении и без того, чтобы слышать что-либо об их авторе. Мое увлечение Гофманом началось приблизительно только с 1885 г. Но я положительно уже почувствовал Гофмана на тогдашних улицах Берлина — и особенно в том малоизвестном туристам старом Берлине, что расположен за Курфюрстенбрюкке и что группировался вокруг высокой красной готической церкви св. Марии. Тогда там было еще немало улиц с низенькими домами, с остроконечными фасадами в два-три окна на улицу, с плохой, ухабистой мостовой. Чувствовалось, что еще недавно то был курьезный и «скурилытьтй» * город именно в духе Гофмана. Особенно это чувствовалось иа площади, где возвышались две странно вытянутые купольные церкви,— Жандар-менмаркт1. Ряд старых домов Schlossfreiung2 подходил к самой реке у бокового фасада дворца. В одном из них помещался рекомендованный нам ресторан и там, изменив чинному табльдоту в «Отель де Ром», мы обедали в беседочке, увитой хмелем,— у самой воды. Как это было мило, как уютно, как по-провинциальному простодушно.

От посещения в те дни берлинских музеев я запомнил немного. Музея императора Фридриха еще не существовало (да и сам несчастный кайзер Фридрих вступил на престол лишь шесть лет спустя). Главным художественным хранилищем служило еще шиикелевское здание Старого музея, нижний этаж которого был заполнен античными статуями. В Новом музее меня поразили гигантские фрески Вильгельма Каульбаха, украшавшие лестницу. Папа попробовал мне объяснить содержание некоторых из этих «синтетических» картин по всеобщей истории, и меня они очень заинтересовали. Разглядывая их, я получил представление о «решительных моментах» летописи человечества.

Берлином завершился праздник моего первого посещения заграницы. Вероятно, родители, утомленные переездами и ночевками в чужой обстановке, были рады вернуться к себе. Но не то чувствовал я, сидя в мчавшемся па восток поезде. Моментами, забившись в угол мягких диванов, я тихо плакал, до того горько я ощущал это водворение в повседневную прозу... Даже очутившись в милой домашней обстановке, имея возможность снова приняться за свои любимые занятия, я долго еще продолжал томиться, чувствовать, что мое сердце осталось там, где только что мне было так хорошо, где все меня так занимало. Напротив, Петербург показался мне пыльным и унылым. Один грохот ломовиков и дрожек по корявому булыжнику представлялся мне

безобразием и олзце-~ * От scurri!e *(франц.)* —смешной, шутовской.

творением возмутительного варварства. Я даже стал брезгать домашней кухней, наша кухарка, наши горничные казались мне неопрятными, не говоря уже о дворнике, вваливавшемся в комнаты в своих смазных сапожищах. А что сказать об их манере изъясняться, столь мало похожей па «тонкость обращения» заграничной прислуги?

Это отношение к «заграпице» я сохранил затем на все время своего отрочества и отчасти своей юности. Не зная еще ничего об учении западников и славянофилов (или русофилов), я заделался на добрый десяток лет завзятым «западником».

В известном смысле и мой «роман жизни», начавшийся в конце 1885 г. (когда мне минуло 15 лет), протекал в «заграничной атмосфере». Пожалуй, и прочность этого романа была в некоторой степени обусловлена тем, что та девочка-подросток, которая на моих глазах и в постоянном со мной общении превратилась в «барышню» и в «даму», была дочерью иностранцев и разделяла со мной то, что я не могу иначе назвать, как фанатическим культом иностранного.

Впрочем, я и теперь не каюсь в этом — ни за себя, ни за нее, мою подругу. Мало того, я убежден, что именно наша «заграничность» сыграла значительную и притом положительную роль не только в пашем личном развитии, но и в образовании того культурного ядра, из которого затем возникло целое художественное направление, известное под именем «Мира искусства». Не спорю, в пашем часто слепом увлечении «заграничным» было много просто ребяческого и нелепого. Еще больше глупости было в нашем игнорировании многого в русском быту, вовсе того не заслуживающего. Мы просто не умели осознать и оценить то, что составляло самые устои нашего же жизненного счастья. Лишь постепенно однобокое отношение к своему стало меняться. Перевалив двадцатипятилетний возраст, мы даже пережили искреннее и прямо-таки бурное увлечение всем русским. Мы прозрели, и это прозрение освежило пас, обогатило нашу душу. Но «прозрев», мы не изменили и прежним детским идеалам. Мы не променяли одно па другое (что почти всегда служит обеднению), а приобретая новое, присоединяя новый опыт к старому, мы обогащались, и надо прибавить, что это новое прекрасно укладывалось рядом со старым.

*Глава 13 VENUSBERG**

Когда-то я мечтал о том, чтобы посвятить этой стороне жизни чуть ли не центральное место в своих мемуарах. Я даже готов был сравняться в откровенности с теми писателями, которые славятся ею. И не из какого-нибудь цинизма или озорства я хотел это сделать, а скорео

* Гора Венеры1 *(нем.)*.

из чувства благодарности — чувства мне вообще свойственного. Однако ныне такая задача представляется мне не столь уж соблазнительной. Не то, чтобы во мне изменилась оценка когда-то испытанных чувств, а потому, что с годами во мне, естественно, погас прежний пыл, да и как-то неловко человеку, убеленному сединами, все еще заниматься «такими несоответствующими сюжетами». Иначе говоря, мне «стыдно», и я не Могу свой стыд побороть... Все же совсем исключить эту главу из своих воспоминаний я как бы «не имею права». Ведь я поставил себе задачей изложить правдиво и точно весь тот быт, который окружал меня и частью которого я был сам, и вот в этом быту, если и было принято скрывать или вуалировать область, посвящепиую Венере, то все же она играла большую, а часто и господствующую роль. Ведь самое наше существование, наше появление на свет целиком зависит от этого, а не от чего-либо иного.

С очень раннего детства во мне (и, вероятно, в большинстве людей) стали уже сказываться два, часто между собой сплетающиеся и все же по существу различные начала, которым присвоены названия «Любовь земная» и «Любовь небесная». Но только под небесной я вовсе не подразумеваю сейчас нечто совершепно от земли отделенное, серафическое, бесплотное, а подразумеваю то, что принято пазывать маловразумительным словом «глубокое чувство». Напротив, другое близкое и все же по существу отличающееся от него чувство остается на поверхности и точнее всего характеризуется словом «похоть». В каждом из нас (и даже в ребенке) проявляется влечение к телу, безразлично к какому, только бы это была ярко выраженная телесность. Это и есть похоть, чувство «животное, простое, наиболее естественное». В любви же «небесной» проявляется влечение к тому, что обусловлено личным началом. Одно чувство чисто стихийное, безразличное, часто принимающее нелепые, а то и безобразные формы (безобразные с точки зрения нашего внутреннего эстетического и этического критерия); другое чувство всегда как-то связано с нашим представлением о чем-то возвышенном — с

нашим «сердцем», с нашей «душой».

Из моих самых первых влечений к телу, безразлично к какому, мне припоминается случай, относящийся к тому лету, которое мы провели в 187G г. на даче в Петергофе. Мне было шесть лет. Здесь моими товарищами в играх были два сына местного дворника, и вот в Сашку я, ничего не зная о любви и о влюбленности, самым настоящим образом влюбился, но не столько в «него всего», сколько в его ноги. Это был мальчик лет семи, смазливенький, стройный, чистенький, но не это меня прельщало, а прельщало то, что оп всегда ходил босой. Я настоял, чтобы и мне разрешили у нас в саду разуваться, и с этого момента меня стало преследовать желание как-нибудь моими ногами коснуться до босых ног Сашки. Я даже вступил с ним в заговор, чтобы нам непременно уединиться у ледника в кустах, лечь и сплести наши ноги. Но мама во-время заподозрила что-то неладное, нас разъединили, и с тех пор Сашке было даже запрещено являться в господский сад.

//, 13. Venusberg

427

Этот пример показывает, до какой степени я был «предрасположен к культу Эроса», о других подобных случаях я умолчу. Однако к тому же разряду явлений можно отнести и мое обожание некоторых изображений, и в первую голову — композиций Ф. П. Толстого к поэме «Ду-шинька», о чем я уже повествовал. Я продолжал не иметь никакого представления, «в чем тут дело», и даже не подозревал, что вообще «какое-то дело» может быть, и, однако, упивался, глядя на то, как, например, Душинька сходит «вся голенькая» в купальню или как она лежит без единого покрова рядом со своим супругом. Не мог я оторвать глаз и от изображения некоторых античных и новейших статуй. Чувства эти я скрывал, смутно догадываясь, что это нечто не совсем дозволенное, Любопытно, что при этом я обнаруживал полное безразличие к полу и даже к возрасту. Мне одинаково нравились девочки и мальчики и даже бородатые люди или великолепные герои в шлемах. Не надо при этом думать, что я был каким-то развращенным ребенком и что, скажем, при виде таких изображений я впадал в болезненные трансы. С другой стороны, я солгал бы, если бы стал утверждать, что они действовали на меня «только в художественном смысле». Мне нравились их плечи, ногит торсы, руки, и я был уверен, что коснуться до всего этого было бы необычайно приятно. Тут действовал «зов плоти» в самом своем первобытном смысле. Прибавлю еще, что я и теперь лишен способности усматривать нечто нечистое во всем том, что составляет «область Венеры», Все,

что не есть прямой разврат, пошлятина и грязь для грязи, упиванье грязью, все в этой области *чисто.* С другой стороны, я представляю себе и какую-то «очищенную чистоту», и были периоды, когда я к этой серафической чистоте, к чистоте Беато Анжелико, стремился и хотел от всей души себе ее усвоить... Впрочем, спрашивается, в какой области человеческого бытия нет такой же путаницы, таких же оттенков? Разве не на них построены целые пирамиды мировых недоразумений? Разве не от них пошли религии, секты, чудесные экстазы и страшные изуверства?

Свою *настоящую* влюбленность я пережил только восьми лет, и если я ее называю настоящей, то это потому, что я в этот раз почувствовал не только безотчетное влечение, но и нечто осознаваемое. Не обошлось тут и без того, что древние называли «ранением стрелой Амура». Эту мою первую любовь звали Варей и была она дочерью кухарки, поступившей к нам весной 1878 г. Мама, как и большинство хозяек, была против подобных поблажек, но на сей раз ей очень захотелось иметь зту очень ей рекомендованную Дарью, да и одиннадцатилетняя ее дочка произвела на нее выгодное впечатление. Варя буквально всех очаровывала своей миловидностью, а для меня это была большая радость «получить в свое распоряжение» в добавление к унылой и злившей меня бойне такого прелестного товарища. Варю одели с иголочки, как тогда одевали гимназисток, т. е. в коричневое платье с черным передником, и этот скромный наряд удивительно ей шел и особенно способствовал тому, что ее и без того необычайно свежий цвет лица стал «сияющим». Варя

должна была меня очаровать и потому, что она мне. до странности напоминала ту пастушку, изображение которой я нашел в каком-то французском альманахе. Совсем такая же девочка очутилась теперь в моей непосредственной близости, и уже через два или три дня после появления у пас Вари я почувствовал упомянутый «укол стрелы». Ничего еще не смысля в этих вопросах, не зная даже в точности, в чем женщина отличается от мужчины, я все же почувствовал необходимость скрыть произведенное Варей впечатление. Особенно же тщательно я прятал заше-* велившесся во мне чувство от самой виновницы моего поранения. Мне все правилось в Варе*, и ее круглый, еще детский овал, и нежный румянец щек, и сверкавшие при улыбке зубы, и стройная ее фигура, и каштановые, подстриженные сзади, зачесанные пазад, захваченные полукруглым гребнем волосы.

Чтобы иметь Варю бог о бок со мной, ощущать ее теплоту и чувствовать ее дыхание, я придумывал всякие предлоги. Несмотря па то, что я как раз тогда сам уже умел читать, я все же требовал, чтобы Варя мне читала вслух всякую всячипу, а так как мне особенно правилось, когда она смеялась, то я норовил подсунуть ей какую-либо потешную чепуху. К сожалению, большинство такой юмористики среди моих книжек было на немецком пли па французском языках, ио были у меня и русские «смешные» книги, и среди штх «Гоша долгие руки» с превосходными и чудесно раскрашенными рисунками Берталя. Но не всегда эти чтения обходились без ссор. Варе надоедало вечно перечитывать один и тот же ребяческий вздор, она начинала ломаться, раза два она даже швырнула книжку под кровать, а однажды, взобравшись на стул, закинула ее на верхнюю полку висячего шкафнка, куда моя рука никак не могла дотянуться. Ио эти, как и всякие другие ее проказы, я сносил безропотно. Я даже любил с ней ссориться — это вносило разнообразие в наши отношепия, к тому же Варя, будучи девочкой незлобивой и уступчивой, сама первая сдавалась, в шутку просила у меня прощение, и мьт мирились. Ипогда такие ссоры завершались робким поцелуем, который я клал на подставленную свежую ее щечку.

Знала ли плутовка, какие чувства она возбуждает во мне? Вида, во всяком случае, она не подавала и продолжала со мной обращаться как с мальчишкой, порученным ее присмотру. Как раз моя бонна того периода была, повторяю, существом угрюмым, ленивым; она часами сидела, погруженная в какие-то печальные мечты. А затем, незадолго до переезда на дачу, этой печальной Наталии было отказано, и некоторое время прошло без того, чтобы вообще, кроме Вари, кто-либо состоял при моей особе.

«Роман» с Варей приобрел новый оттенок, когда мы переехали на Кушелевку. В предыдущее лето я уже отлично изучил все ближайшие окрестности нашей дачн, все заросли, все кустарники, а начав упиваться романами Ж. Верна и Купера, я все это превращал в своей фантазии в девственные леса, в джунгли, полные диких зверей и т. п. Варя должна была принимать участие в моих играх-представлениях; мы с ней

«блуждали, умирая с голоду, по пустыням», мы спасались от тигров и крокодилов, мы влезали (невысоко) на деревья и переходили реки вброд. Как раз для последнего похождения вполне подходящим местом был овраг, по дну которого тонким ручьем вытекал в Неву излишек воды из каналов Кушелевского парка. Чтобы перейти этот «страшный поток», достаточно было

мне разуться и немного засучить свои штаны. Но следовавшая за мной Варя сильно сконфузилась, когда ей пришлось забрать юбки выше колен и открыть перед моими восхищенными взорами своп белые стройные ножки...

Переехали мы на дачу в том году (по нашему обыкновению) рано. Деревья еще не все покрылись листвой, а после нескольких отменно погожих дней наступили свойственные северному маю холода. Наша экспедиция через «реку» происходила как раз в довольно скверную погоду, и Варя, схватив насморк, покаялась матери в том, что сначала мы решили от нее скрыть. Тут и мама забеспокоилась; нам были запрещены слишком долгие и далекие отлучки: «Играйте дома, зачем вам так удаляться?» — фразу эту приходилось слышать по нескольку раз в депь, и это меня очень раздражало. Раздражала эта фраза и Варю, в этих словах чувствовалось какое-то к ней недоверие. Раза два она в резкой форме отказалась последовать за мной в наш «девственный лес», а о «бурном потоке» и слышать больше не хотела. Кроме того, она стала проявлять какие-то «непозволительные» странности; то она начнет меня дразнить или высмеивать мои фантазии, то вдруг схватит и обнимет крепко, примем в таких случаях я топорщился, ибо мне становилось невыносимо стыдно Раз мы даже подрались, и я довольно больно ударил ее по спине; она заплакала, однако жаловаться к матери не пошла, я же чуть с ума не сошел от раскаяния и жалости. Несколько раз и Варя меня била чем попало, но странное дело,— от этих побоев мне и в голову не приходило плакать, и я даже испытывал при этом нечто похожее на удовольствие.

Своей кульминационной точки «мой первый роман» достиг при следующем случае. К нам на Кушелевку приехал к обеду (это уже было в конце июля) обожаемый мной Д. В. Григорович, большой Друг моего отца. Всякое посещение знаменитого сочинителя н бесподобного рассказчика ввергало меня в своеобразное восхищение, а тут еще летняя обстановка, чудный сияющий вечер, какие-то поэтические восторги Григоровича от деревьев, от цветов, от всего. Вместе с папой они предались воспоминаниям о тех празднествах, которые раньше происходили в этом же парке, когда гостил на Кушелевке сам Александр Дюма-отец. Словом, я был возбужден, как только бывают возбуждены дети, когда им случается оказаться с теми редкими взрослыми, которых они считают почему-то за своих близких. Григоровича же я не только считал за своего близкого, но, повторяю: я его обожал.

И вот этот обожаемый мной авторитет, этот полубог тоже не устоял перед прелестью Вари и даже в какой-то выспренней

форме выразил зто. Если у меня еще могли быть сомнения, что «моя» девочка пред-

ставляет собой нечто чудесное, то после того, что произошло в тот вечер за обедом, уже никаких сомнений оставаться не могло. Сцена эта до того меня поразила, что я ее запомнил во всех подробностях. За столом сидело всего четыре человека: папа, мама, Григорович и я. Было около шести часов, следовательно, еще совершенно светло, и в тройное «венецианское» окно, доходившее до потолка высокой комнаты, видны были какие-то деревянные постройку а за ними высокие деревья парка — всё это залитое солнцем. Кончалась закуска, и Дмитрий Васильевич, уплетая божественную, по его выражению, селедку, уже принялся за один из своих рассказов, как на пороге дверей из кухни появилась Варя с миской супа в руках. Появилась и остановилась в нерешительности. Дмитрий Васильевич сидел спиной к двери, но легкий шум заставил его обернуться. И не успел знаменитый сочинитель заметить девочку, как, прервав на полуслове свой рассказ, он вскочил, взмахом руки расправил бакенбарды и, подскочив к Варе, выхватил у нее миску, которую он и донес до стола, приговаривая: «Не могу я, нет, не могу, дорогая Камилла Альбертовна, чтобы такой ангел мне прислуживал. Ей быть в облаках среди небожителей, а не здесь, на Охтенской даче!»- Мама, привыкшая к чудачествам Григоровича, только рассмеялась, папа шутливо что-то прибавил, я же совершенно оторопел и густо покраснел. Григорович еще раз подошел к Варе, оставшейся стоять в дверяхг взял ее за руку и привлек к своему стулу, предложил ей несколько вопросов, на которые она ответила без особенной робости, и только после этого, закрывшись передником, она опрометью бросилась бежать.

Увы, пожалуй, именно этот случай, этот апофеоз Вари ускорил развязку. Вероятно, и до того мамочку начало беспокоить, что я так заинтересован кухаркиной дочкой, после же этого случая она встревожилась серьезно. Необходимо было удалить такую красавицу от Шуреньки, иначе ее присутствие могло бы еще «повредить его здоровью». И вот в августе, в самый разгар моего обожания Вари (зачем было теперь скрывать егог раз сам Григорович объявил, что она достойна жить среди богов), она была внезапно удалена. Ее определили помощницей к знакомой портнихе, а там она вскоре попалась в утайке каких-то ленточек, ей было отказано, и одновременно было отказано и ее матери от нашего места. С тех пор я уже никогда Варю не видел, и мой первый роман растаял, как марево, продолжая жить в одной

только моей памяти,

* * *

Следующие два года прошли без всяких особенных увлечений. Я часто встречался с разными девочками — например, со своими кузинами Верой и Катей Храбро-Василевскими или с дочерьми дяди Сезара (я вообще предпочитал играть и быть с девочками; мне нравилась самая атмосфера женственности и, напротив, я ненавидел типичных мальчиков-драчунов, забияк, хвастунишек), но ни одна из моих тогдашних подруг

не возбуждала во мне особенного внимания. Но вот в 1881 г. я все же влюбился, и влюбился я как раз в одну из моих кузин — в Инну Кавос, которую я и раньше видел постоянно, но которую я открыл только теперь. Мало того, на сей раз у меня впервые возникли какие-то матримониальные мечты.

Инна, в отличие от своей хрупкой, золотушной и уже тогда слегка глуховатой сестры Маши, росла здоровой девочкой с некоторой склонностью к полноте. Ее даже прозвали «генералом Бурбаки»2 не потому, что она была действительно похожа на знаменитого французского воина, а потому, что самое слово «Бурбаки» вызывает представление о` чем-то пышном, круглом. К Маше я тоже питал нежнейшие чувства, но они оставались неизменно братскими, такими же, как те, что я, скажем, питал к сестре Камишеньке. Они обе во многом были похожи друг на друга,— та же легкая грусть, та же «венецианская» склонность к беспечности, та же прекрасная, но какая-то стыдливая доброта. Проснувшееся жеˆ так неожиданно чувство к Инне, которая была всего на два года старше меня, носило оттенок чего-то иного. Маша была для меня милой, Инну же я находил прелестной, особенно когда в летние праздничные дни она рядилась в кисейные платья, на нежной шее появлялся медальон на бархотке, а темные волосы перевязывала голубая лента. И вот, живя целое лето 1881 г. на даче дяди Сезара в Петергофе (сам дядя лечился где-то на водах), пребывая ежечасно в обществе Инны, катаясь с ней по паркам, внимая с ней концертам в Мопплезире или же играя в крокет, я все более и более подпадал шарму этой, как раз тогда расцветавшей девушки. К концу лета я уже совершенно одурел и буквально прицепился к ее юбке; я уже не мог быть без нее.

О, как я страдал, когда, принуждаемый Талябиной играть гаммы и экзерсисы в полутемной гостиной, слышал из сада

звонкий смех Инны, стук крокетных молотков о шары, а иногда и азартные ссоры игроков из-за какого-либо удара. О, как еще более становилось нудно, когда под контролем миссис Ков я вынужден был дочитывать положенный кусочек какого-пибудь рассказа, а со двора по ту сторону дачи доносились визги бегающих и летающих на гигантских шагах. Как зато я бывал счастлив, когда за завтраком и за обедом (в хорошую погоду на веранде, в дурную — в столовой) я оказывался рядом с Инной и она мне передавала хлеб, наливала вино и квас. Этот домашний квас был невкусный, слишком кислый (сказывалась экономия на сахаре Натальи Любимовны), но я выпивал его целый большой графин — только для того, чтобы иметь удовольствие ■ видеть в непосредственной близости голый локоть Инны (самому же мне было запрещено наливать — я был очень неловок и мог испортить скатерть). Любил я также часы укладывания спать. Я с мамой помещался в верхнем этаже дачи в угловой комнате, а рядом была большая спальня обеих девочек. Урывками я мог видеть, как они раздеваются, как Инна в одних панталончиках, превратившись в «мальчишку», бежит к умывальнику или как она, стоя у окна и выделяясь силуэтом на фоне белой ночи, заплетает свою тяжелую черную косу.

432*!i, 13. Venusberg*

Но не урывками, а уже совершенно откровенно я рассчитывал налюбоваться ею такой, как бог ее создал, когда однажды мои кузины, ходившие каждый день в сопровождении миссис Кэв купаться в море, легкомысленно высказали пожелание, чтобы и я присоединился к ним. Для них я был, очевидно, все тот же маленький Шурка, с которым они совсем недавно нянчились, как с куклой, и чего-либо дурного в том, что мы все одновременно окажемся в воде, они не видели. Возможно, что я и попал бы в этот рисовавшийся мне рай, если бы меня не выдало то волнение, которое охватило меня, если бы я не слишком уж усердно торопил, чтобы мы скорее отправились па Купеческую пристань. Тут миссис Кэв, посоветовавшись с мамой, объявила, что будет довольно неприлично, если такой большой мальчик будет с ними купаться. Девочки, видя, что я готов расплакаться, попробовали уверить миссис Кэв, что я еще маленький, что детей другие дамы берут с собой и что, если мы разденемся в номере, а затем сразу войдем в воду, то никто даже не обратит внимания, мальчик я или девочка; гувернантка оказалась непреклонной. и меня оставили дома.

В каждом романе полагается быть кульминационному пункту. Такой кульминационный пункт моего романа с Инной (следовало бы написать моего одностороннего обожания Инны) случился в

осеннюю пору. То была поездка в Вабигоиы. Каким-то чудом вышло, что нас, детей, отпустили проехаться с одним только конюхом в плетеном шарабане. По временам правили то Маша, то Инна, а это было для каждой из них большим и редко разрешавшимся удовольствием. Невзирая па низкие, сулившие дождь тучи, мы добрались до самих Вабигон и даже зашли шлреться в Никольский домик. Отпер нам его знакомый сторож-инвалид, и как раз тогда Маша, Инна и я вместе с ними осмотрели эту «царскую избу» во всех подробностях. Но стал накрапывать дождь, сразу стемнело, поднялся ветер, и надо было спешить домой, чтобы не промокнуть. Тут-то села править Инна, а я примостился к ней. Маша же и конюх оказались позади нас, и таким образом, в течение всего обратного путешествия по склону бабигонскпх высот, мимо мраморного Бельведера, мимо Руины па острове, мимо Озерков и во всю длину Самсониевской аллеи я мог касаться обожаемой девочки, представляясь мерзнущим. Какое это было блаженство сидеть так. уткнув нос в ее плечо! Непосредственная опасность дождя миновала. Ходивший в шарабане пегий пони был самым смирным животным и плелся медленной рысцой; встречных экипажей не попадалось: многие дачники уже перебрались в город. Инна почти не делала движений и не прибегала к хлысту. При толчках, слишком на мой вкус редких, моя голова билась о мягко-упругое тело кузины и невольно (или вольно?) соскальзывала на ее уже слегка выдававшуюся грудь. Все это складывалось во что-то необычайно сладостное. Изредка я поглядывал на ее профиль, на короткую верхнюю губку, на родинку у виска, на выбившиеся из-под малиновой бархатной шапочки волосы. Все это было так очаровательно! Я тут же решил, что Инна должна стать моей женой, что я вообще без нее не смогу жить.

*ff, IB. Venusberg*433ˆ

На следующий день я сделал ей своего рода предложение! Лил проливной дождь, приходилось сидеть дома и заниматься комнатными работами. Я рисовал, Инна рядом вышивала. Маша в углу слагала стихи про петергофский пароход «Кокериль». Под впечатлением Никольского домика я принялся набрасывать на бумаге дачи в русском стиле. Вообще я скорее презирал все такое «мужицкое», по Никольский домик, мельницу и друше нарядные избушки, раскинутые в парках Петергофа, я считал прелестными и даже мечтал именно в подобном домике когда-нибудь поселиться. Так затейливо перекрещивались два конька над гребнем крыши, такие веселые букетики украшали ставин, такая хитрая резьба окружала оконца, а крылечко выпучивалось па кургузых с перехватцами столбиках. Но, сочиняя свой проект, я не

удовольствовался разными вариантами фасадов, представляя их на выбор Инне, а при помощи линейки и циркуля начертил и планы к ним. Тут я и выдал себя. Объясняя кузине, какому назначению должпо служить каждое помещение, я заговорил про «мой кабинет», про «ее гостиную», про «нашу спальню». Инна, вероятно, смеясь в душе, со всем соглашалась, а я делал из этого заключение, что она готова стать «моей», и был вне себя от счастья.

На этом наш «роман» завершился. Через несколько дней пришлось возвращаться в город; кончилось наше житье-бытье на даче у дяди, зимой же столь милый «интим» с Инной уже не возобновлялся, да н виделись мы редко, ведь от нас с Никольской до них па Кирочиой было целое путешествие. В следующие годы я на даче дяди Сезара бывал лишь урывками, а Инна уже слишком для меня повзрослела, я стал при ней конфузиться, и конфузился тем более, что теперь, хотя с виду все еще казался «невинным» ребенком, я уже имел представление, благодаря просветительному действию гимназических бесед, о многом таком, что превращало для меня всякую девочку в женщину, в «запретный плод»...

Первое, но еще смутное представление о запретном плоде я приобрел следующим образом. Осенью 1881 г. я провел несколько дней в гостях у сестры Камншп и там познакомился с мальчиком: — Борей Нарбутом (ничего общего не имеющим с моим позднейшим приятелем чудесным художником Егором Нарбутом). Он был на два года старше меня, но уже юворил о разных жизненных вопросах с топом опытного мужчины. Резвились мы и шалили, как дети, подымая па дорожках облака пыли, лазая па деревья, но в минуты отдыха, запыхавшиеся, красные п потные, мы усаживались па ступеньках крыльца дачи, в которой жили родители Бори, и каждый раз Боря начинал мне что-то рассказывать на темы, совершенно для меня до той поры неведомые. Узнал я от него и некие слова, необычайное звучание которых повергало меня в странное волнение. Однако все это я хоть и слушал с напряженным интересом, но еще без всякого «личного отношения». Таких собеседований было три или четыре, и в общем они прошли для меня бесследно,— мне показалось «все такое» скорее смешным и не заслуживающим полного доверия

* * * _- —

Но в первые месяцы 1883 г. мое знакомство с запретивши плодами -становится более реальным. В нашем доме на роли подпяньки при маленьких моих племянниках Лансере появляется

молодая и очень приятная девушка. Как раз детвора сестры Кати целых два месяца гостила у пас, во избежание заразы от свирепствовавшего тогда на Охте дифтерита. Такие меры предосторожности были тогда обычным явлением, но характер настоятельной необходимости они получили с момента, когда у Лансере и у Эдвардсов смерть от горловых болезней унесла по ребенку. Естественно, что родители стали дрожать при малейшем недомогании ■остальных и что дедушка с бабушкой давали при этом случае приют внучатам. Если у нас поселялись Эдвардсы, то я в лице Джомми и Эли получал самых ретивых участников в играх, носивших зачастую дикий характер, и наш мирный, чуть сонливый дом оглашался неистовыми криками и топотом. Если же поселялись Лансере, то мы затевали ■с Женей и Колей более спокойные игры, а то и занятия умозрительного характера — рисование, чтение, разглядывание картинок и т. п. «Англий-■ские» племянники, хоть и были соотечественниками Шекспира, обнаруживали мало интереса к моим театральным затеям. Напротив, оба моих -«полуфранцузских» племянника уже обнаруживали явные признаки художественного призвания. Они были лакомыми до всяких представлений, а Женя, которому в 1883 г. уже шел восьмой год, мог даже принимать участие в приготовлении декораций и в вырезании персонажей... Это ■был очаровательный сосредоточенный мальчик, обожавший разглядывать книги и часами просиживавший с карандашом над бумагой, на которой получались иногда и весьма затейливые композиции. Наследственный дар перспективы проявлялся в них с особой определенностью...

И вот помянутая девушка была приставлена специально к двум девочкам — трехлетней Соне и годовалой Кате, но естественно, что гораздо интереснее ей было находиться в обществе мальчиков — тем более что, будучи сама совсем юной (ей было всего 16 лет), она не обладала ни в какой степени теми способностями, которые требуются для ухода за малыми ребятами. Сопя к тому же была необычайно тихим и покладистым ребенком, и ее куда бы ни посадили, она там могла оставаться часами, впчего пе делая и ничего не требуя. Крошка же Катя три четверти дня спала, да о ней особенно пеклась мать, продолжавшая ее кормить.

Майя В. особой красотой не отличалась, но ее типично русские черты, *`ее* удивительно свежий цвет лица, ее ласковые карие глаза и сверкавшие белизной зубы составляли с темными волосами весьма привлекательное целое. Не такие ли именно «милые мовешки» одерживали в помещичьих гаремах победы над писаными красавицами и завоевывали прочные места в сердцах

своих обладателей? К тому же Маня не была простой и безграмотной девушкой из народа, а воспитывалась она в Патриотическом сиротском институте \ умела бегло читать и правильно писать, и говор У нее был чисто городской, лишенный простонародных оборотов. Словом,

моя новая пассия была «почти барышней», а единственная ее тетка была «почти купчихой», ибо держала молочную торговлю на Охте.

Начитавшись романов (не романов Купера и Верна, а уже настоящих Дюма и Феваля), я как раз мечтал тогда о собственном настоящем романе. Первые недели пребывания у нас Мани прошли без того, чтобы я почувствовал какой-либо особый интерес к ней, но постепенно я стал все больше обращать на нее внимание. В гимназии же я теперь томился вдвойне не потому, что там было скучно на уроках, и не потому, что меня дома ожидали игры с Женей и Колей, а потому, что мне уже очень хо~ телось очутиться снова в обществе этой веселой и милой девицы. Предлогом для того, чтобы получать Маню в наше распоряжение, у нас, мальчиков, служило общее чтение. Я засаживал Женю и Колю за рисование,. сам тоже принимался за какую-нибудь работу, Соне давали кубики,, а Маня В. должна была нас всех развлекать похождениями Гулливера или Робинзона, что она и делала с охотой, так как сама заинтересовывалась этими чудесными историями. И вот где-нибудь в чертежной, если? глядеть со стороны, представлялась милая и невинная картина, дышавшая семейственным уютом. При свете лампы дети разного возраста были* поглощены кто рисованием, кто какой-нибудь игрой, тогда как «старшая) сестра» в своем скромном сером платье с белым передником склоняла свою голову над страницами невинных рассказов. Однако, если вглядеться в эту картину, то оказывалось, что один из мальчиков с каждым вечером норовил сесть поближе к читальщице, а иногда даже клал руку вокруг ее талии и прижимал свою голову к ее плечу, не встречая с ее-стороны никакого сопротивления. Не раз мама, начинавшая подозревать. что-то неладное, внезапно входила в комнату и нарушала эту гармонию.,. И до чего же несносными казались мне эти «большие» и «старшие»,. вечно озабоченные нашим воспитанием и хранением нашего добронравия. Каждый раз вслед за таким посещением мамы или Кати Маня должна-была прерывать чтение, и ее усылали на другой конец квартиры, мне же-мамочка с несколько сокрушенным видом предлагала вопрос: «Почему ты так близко подсаживаешься к этой молоденькой девушке?» Мама даже-пробовала мне внушить, что это «вредно для здоровья», но с этим я уже* никак не мог согласиться, так как, напротив, чувствовал теперь наплыв-каких-то чрезвычайных новых сил.

Увы, такая идиллия не могла долго продолжаться. Тринадцатилетний Шуренька стал, наконец, проявлять свои назревшие чувства с такоа-недвусмысленной ясностью, что пришлось принять крутые меры. Заметил ли кто-нибудь, что тенерь и Маня стала отвечать на мои «авансы»,.. как тогда говорили, что мы все чаще уединяемся в последней «Зеленой* комнате, где нам обоим одновременно нечего было делать, но на jї-ути-: моей первой пассии стали восставать всякие препятствия. Так, моей избраннице стали поручать стирку на кухне, и я теперь видел ее там е оголенными до плеч руками за мытьем пеленок. Разумеется, такие репрессии не только не способствовали моему охлаждению, а напротив,. лишь возбуждали жалость к той, которую я хотел бы видеть «на троне».-

436

//, 13. Venusberg

Я даже несколько **раз** совершал вящую неосторожность **за** Маню заступиться.

Как бы то ни было, Мане было отказано от места.

Невозможно передать охватившее меня тогда горе. Сначала я догадался по заплаканным глазам Мани, что стряслась какая-то беда, а затем и доподлинно узнал из уст Ольги Ивановны про убийственную новость. Мое отчаяние было самым подлинным и без всякого наигрыша. И тут уж я не смог скрывать свои чувства. Напротив, я решил отомстить разлучникам — собственной смертью, и решил, к великому ужасу мамы, заморить себя голодом. Полтора дня я провалялся на постели, не вкушая никакой пищи и обливаясь слезами; на третий день я нашел, что мне необходимо как-то выявить свои трагические переживания, и сначала я попытался нарисовать портрет Мани (она сразу после отказа ушла и даже не простилась со мной; ей, вероятно, этого не позволили), а когда из этого ничего не вышло, то сочинил род какой-то печально-героической арии, которая показалась мне превосходным выражением того, что я испытывал.

Мой роман с Майей, естественно, должен был бы копчиться на этом, но совершенно неожиданно он получил иное завершение. Приблизительно через неделю после того, что она покинула наш дом и как раз в четверг на Вербной, мой дальний кузен Лркаша Храбро-Василевский, юноша лет шестнадцати, зашел к нам невзначай и, желая меня развлечь (мама, вероятно, жаловалась ему на мое состояние), предложил мне пойти вместе прогуляться. Последние дни я безвыходно сидел дома, в гимназию отказывался ходить и вообще всячески выражал, что я убит горем. Но добродушному и всегда веселому Аркаше (эта веселость не помешала ему года через два покончить с собой)

удалось-таки, после нескольких уговоров, выманить меня из моей комнаты. Как раз в этот день окна на улицу по всей квартире были с утра освобождены от зимних рам и некоторые стояли настежь открытыми. Необычайно нагретый для марта воздух вливался потоками, распространяя по комнатам тот особый бодрящий и опьяняющий дух, что так убедительно возвещал о начале весны. Тут мне и самому захотелось выйти на улицу. Я обожал эту странную пору ранней петербургской весны. На улицах виднелись дворники, которые, сняв тулупы и вооружившись метлами и лопатами, очищали мостовую от последних следов зимы; возникавшие от таяния снега потоки прокладывали себе путь между обледенелыми извилинами; 'Солнце ослепительно сияло пе только в небе, но и в любой луже, а уличные мальчишки пускали бумажные кораблики.

Когда мы дошли по Морской до Арки Штаба, у Аркашп явилась мысль, не зайти ли, благо оставалось перейти одну только Дворцовую площадь, в Эрмитаж. До того дня я в Эрмитаже был всего один раз, лет пяти, и осталось у меня о том самое смутное воспоминание — о каких-то зеркальных паркетах, об огромных вазах, о массе золота на диванах и столах и от бесчисленных картин в золоченых рамах на стенах. На сей же раз я входил в Эрмитаж более подготовленным и даже счи-

тая себя в некотором смысле знатоком в искусстве. И как раз то были дни, когда, по случаю пятисотлетня со дня рождения Рафаэля, была устроена в «Рафаэлевских лоджиях» выставка, состоявшая как из оригинальных картин кисти великого художника, коими тогда гордился наш музей, так и из целого ряда гравюр и фотографий с его произведений. Ио не это все меня тогда поразило, а обомлел я перед «Помпеей» Брюллова, висевшей в одной из русских зал нашего музея, Я оторваться не мог от этой великолепной грандиозной картины, восторжепиое описание которой я читал у Гоголя \ От избытка впечатлений у меня разболелась голова, я почувствовал даже род дурноты и потому сразу по выходе из Эрмитажа потребовал, чтобы кузен взял извозчика.

Тут-то, по возвращении домой, и получилось то чудо, которое придало какое-то очаровательное завершение моему первому «серьезному» роману. Все до того странно соединилось и до того сгармонировалось, что среди тысяч и тысяч других дней этот Вербный четверг 1883 г. остался в памяти, окруженный каким-то бесподобным сиянием.

И что за беда, если весь тот мой полудетский роман был чем-

то таким, что происходило чуть ли не в каждом доме? Сколько мне самому известно, с таких же «недостойных» амуров, в большинстве случаев не оставляющих пи малейших следов в дальнейшем, обыкновенно и начинается эротический опыт юношей «буржуазной» среды. С другой стороны, какое значение имеет то, что и в тогдашнем моем случае было больше воображения и всяких стечений обстоятельств, благодаря которым все представилось в особом и, вероятно, ложном свете? Мой роман с Маней В. трудно «раздуть» во что-то литературно-поэтическое и гораздо легче его изобразить в виде чего-то бапальпого и чуть комического...

Л произошло вот что. Доехав до дому, я почувствовал такую разбитость, что даже не попросил Аркашу к нам зайти, а простился с ним у подъезда. Я мечтал только об одном — лечь и выспаться. Полпый одного этого желания, я дергаю за звонок у двери пашей квартиры, слышу чьи-то приближающиеся шаги — и кто же мне отворяет дверь? Маня! Маня, взволнованная, розовая, улыбающаяся. Оказалось, что она зашла за своими пещами и чтобы попросить рекомендацию для нового места, но случилось как раз, что все наши должны были отправиться на праздничный шоколад в соседнюю квартиру к дяде Косте, а новая няня отпросилась со двора. Мане и предложили постеречь спящую маленькую годовалую Катю. Таким образом, в большой квартире мы оказались совершенно одни, так как и находившиеся за тремя дверьми в кухне прислуги в комнатах не появлялись. Мы могли делать, что нам угодно.

Только в момент, когда мы сомкнули наши уста в прощальном поцелуе, вернулись наши. Заслышав их издали, я успел пробежать к себе в «Красную» комнату и устроиться на своем узком диванчике — как нв в чем не бывало. Когда сестра Катя заглянула ко мне. то я очень удачно изобразил из себя глубоко заснувшего. Да действительно я вскоре и заснул, как убитый, а когда проснулся, то и следа больше не оставалось от Мани. Хоть мы и надавали друг другу обещания, что будем втайне ви-

деться, что я ей напишу, когда и где нам встретиться, однако по неопытности я забыл спросить ее адрес. Да и едва ли я сумел бы найти ту форму письма, которая годилась бы для таких, совсем для меня новых обстоятельств. Возможно, что нашим показалось странным, что я как-то сразу воспрянул и уже совершенно больше не страдал, но если им это ц показалось, то никто виду не подал. Я же как-то сразу примирился с тем, что продолжения не будет. Я успокоился, а уже через день или два

весь этот чудесный случай стал казаться далеким — чем-то вроде прочитанной прелестной книги. Мало того, когда Маня еще раз — ив последний — через несколько недель зашла, чтобы спросить новую рекомендацию (ибо на первом месте она не ужилась), я только пожал ей украдкой руку, но и тут адреса не спросил, вполне на сей раз сознавая, что все кончено...

* * * ` -

О следующем своем романе я предпочитаю молчать, хоть он и длился с двумя перерывами целых три года и моментами приобретал очень жгучий характер. Решил же я умолчать о нем, чувствуя себя бессильным передать хотя бы приблизительно то, что было в нем самого прекрасного и необычайного. Скажу только, что этот «второй настоящий» роман был совершенно лишен какой-либо «психологичности», и тем не менее он протекал далеко не безмятежно. Моя подруга проявляла то необыкновенную для ее возраста пылкость, то удалялась от меня, и тогда наступали длительные периоды размолвки и необъяснимых капризов... В счастливые периоды я затруднился бы признаться перед самим собой, что люблю ее, но когда она избегала меня, я страдал ужасно и тогда принимался ненавидеть прелестную, но и жестокую девочку. Тут и дошло, в первые месяцы 1884 г., до того, что я совершенно обезумел, тут со мной и стали делаться те припадки отчаяния, о которых я уже рассказывал. Тут однажды меня и отвел домой рыжий герр Шульц. Как в детстве я мечтал о волшебной палочке, так и теперь, начитавшись Жозефа Бальзамо \ я мечтал найти какое-либо магическое любовное зелье, чтобы снова вернуть мне мучительницу...

Впрочем, в этот же период мне иногда удавалось отвлекаться временами от своего главного романа. Несколько раз я бывал охвачен другими, но скоро проходящими увлечениями. Именно тогда, во время одного спектакля «Конька-горбунка» я воспылал страстью к Марии Петипа, и особенно тронул меня момент, когда молодцеватый Лукьянов в заключение малороссийского танца, схватив Марусю за оголенное, чудесно круглившееся и блестевшее белизной плечо, громко, на весь зал, поцеловал ее в уста, после чего она, отираясь рукавом, убегала в своих высоких красных сапогах за кулисы. То было время, когда мне в компании с моим другом Володей Кинд уже разрешали одним ходить в театр* и именно тогда мы оба (за год до приезда Цукки) сделались ярыми балетоманами. Театр был в трех минутах ходьбы от нашего дома, а так как на пустующие тогда балеты нам удавалось получать места даром, то мы

и не пропускали ни одного «Конька» или «Коппелии». В последнем балете та же Мария Мариусовна пленила и разжигала нас несказанно. Правда, она появлялась только в первом акте, в мазурке и в чардаше, но этого было достаточно, чтобы и я и Володя впадали на весь вечер в какое-то неистовство. Под чудесную музыку Делиба блестяще и лихо плясала долговязая Маруся, казавшаяся слишком большой среди других танцовщиц. Впрочем, даже ее дефекты как артистки прибавляли в наших глазах ей прелести. Благодаря им как-то особенно выявлялось в красавице нечто «вульгарно-обещающее». Взоры, которые она метала в партер, изгибы ее стана, ее безудержное (не слишком высокого вкуса) ухарство точно приглашали к развеселым и сладчайшим утехам. Как раз в ту эпоху у брата Альбера чуть ли не через день бывал официальный друг Марип Мариусовны флигель-адъютант Х. П. Дерфельден. Я мечтал, чтобы он меня познакомил с дивной вакханкой, но когда это однажды случилось на лестнице того дома, где они жили (и где поселился в квартире рядом мой брат Михаил), то я так опешил, что остался без языка, выразив всем своим обликом одну только беспомощность четырнадцатилетнего «пижона».

Запомнился мне и другой случай, имевший отношение к моему «безумному» увлечению прелестной танцовщицей. Сложность, а моментами и мучительность моих эротических переживаний в этот период (весна 1884 г.), привели к тому, что я сильно запустил свое гимназическое ученье, время же весенних экзаменов приближалось; пришлось прибегнуть к ускоренному способу подготовки, иначе говоря, к помощи репетитора. Перебывало тогда у меня их несколько, но лишь один, уже помянутый Владимир Андреевич Соловьев, сумел меня так подвинуть в латыни и в математике, что благодаря ему я явился на экзамены вполне подготовленным, Соловьев сумел и лично расположить меня к себе. Наши встречи заключались не в одном приготовлении уроков, но в беседах на самые разнообразные темы. Соловьев, с виду типичный студент-бедняк, одетый не по сезону легко во что-то светлое и очень ветхое, долговязый, курносый, с костлявыми красными руками, торчавшими прямо из пиджака без намека на белье, быстрый в движениях, но несколько неуклюжий, сначала меня шокировал своими манерами. При этом у Соловьева ко всяким его повадкам, с которыми он входил, садился, разваливался, закуривал одну папиросу за другой, соря всюду пеплом,— прибавлялось еще нечто плебейское (употребляю тогдашнее выражение), 0 это меня сначала так раздражало, что я даже стал просить маму ему отказать. Но постепенно наши

отношения стали меняться. Однажды мы случайно попали с ним на какую-то одинаково интересовавшую «вне наших учебных обязанностей» тему — вероятно, на какие-то театральные впечатления, и тут Цезарь и Овидий были отложены, и завязалась уютнейшая дружеская болтовня. С этого вечера я не только не избегал уроков Соловьева, но ожидал их, как некое удовольствие, и эти уроки сталв затягиваться на два, на три часа. Чай нам подавали в классную комнату, и бедный Соловьев съедал один бутерброд за другим, а также все пе-

ченье. При этом и учение пошло успешнее. Чтобы скорее добраться до разговоров, я прилагал несвойственное мне усердие, и, при совершенно исключительных педагогических способностях Владимира Андреевича, это давало великолепные результаты. Очень скоро я уже наловчился переводить с листа латинские тексты, а те ненавистные арифметические задачи, которые повергали меня в уныние (какие-то поезда, какие-то водоемы, какие-то цибики «смешанного» чая), я стал решать с удивительной быстротой.

Вспоминаю еще об одном глупейшем эпизодике в связи с моей «страстью» к Марусе Петппа. Сам этот случай настолько глуп, что расскажу я про него только потому, что именно эта глупость уже очень характерна для моего тогдашнего состояния. С одной стороны, рыцарь с оттенком Дон-Жуана, дебошир эпохи Регентства, а с другой, мальчишка, крадущий из-под носа учителя нечто такое, что ему вдруг совсем по-мальчишески захотелось иметь. Приходится покаяться — моя страсть к Марии Петппа довела меня до воровства! Но только предметом хищения оказалась не какая-нибудь драгоценная безделушка пли кошелек, набитый золотом, а была это маленькая картонная коробочка, в которой умещалось не более десяти штук дешевых папирос; ее только что в лавочке купил Владимир Андреевич, а войдя в классную, швырнул на стол. Каково же было мое изумление, когда на крышке этой коробки я увидел обожаемые черты Маруси, мало того, ее оголенные плечи, се прелестные, немного длинные руки. Это была посредственная репродукция с какой-то недавней фотографии (кажется, из балета «Фпаметта»)—по узнать ее все же было легко, мало того, удачно был передан ее заигрывающий взгляд, ее соблазнительная улыбка. Странное дело, при всей моей балетомании и при том, что у меня были кой-какие карманные деньги, я да того момента не догадывался, что можно купить за какой-нибудь рубль фотографпю популярной артистки, теперь же такой портрет валялся тут передо мной на столе... Занимался я в этот вечер из рук вон плохо, мешал

зародившийся в голове план, как бы этим талисманом овладеть. Под предлогом, что у меня разболелась голова и что комнату надо проветрить, я предложил Владимиру Андреевичу пойти (в виде исключения) выкушать чай в столовую, и вот во время чаепития я успел одип вернуться в учебную, схватить коробку и засунуть ее в самую глубину своего письменного стола. Оставалась еще одна папироска, п Соловьев, видимо, это помнил, ибо по возвращении из столовой он принялся искать коробочку. С еще большим рвением искал и я, но, разумеется, коробочка сгинула, или вернее, она осталось в моем владении...

Из сказанного явствует, что моя сентиментальная жизнь в этот период (1883—1884) была достаточно сложная и путл пая. Однако, кроме всех этих моих влюбленностей в реальных особ (причем я умалчиваю о главном тогдашнем моем «романе»), попутно я влюблялся и в существа ирреальные, и из них некоторые влекли за собой и очень интенсивные страдания. Эти предметы поклонения были то литературного, то художественного порядка. Среди художественных влюблений я, кажется, уже

упомипал Хлою, которую в целом ряде иллюстраций очаровательно изобразил Прюдон, а также Психею, созданную Ф. II. Толстым. Из литературных же особенно сильно захватило меня чувство, которым я воспылал к «полутелесной» героине рассказа Тургенева «Призраки». Как раз тогда известный книгопродавец Глазунов подарил папе только что им изданное полное собрание сочинений Ивана Сергеевича. Я с жадностью и с «путаной» для себя пользой поглощал один за другим все знаменитые рассказы (причем наибольшее впечатление на меня произвела «Ася» и «Вешние воды», а Базаров и Нежданов были зачислены сразу в злейшие мои враги), по свихнулся я только тогда, когда после всего я неожиданно паткиулся па ту странную повесть, которую так зло пародировал Достоевский в «Бесах»6. Сам же я был слишком доверчив (и просто юн), чтобы разобраться іі том, что в «Призраках» есть надуманного и фальшивого. Я по только не смог бы в этой повести что-либо критиковать, но в целом я принял ее за нечто возможное, за жуткую и совершенно достоверную быль. В течение многих ночей я после этого ждал, что и меня посетит прелестный призрак, и несколько раз мне даже казалось, что я слышу тот стеклянный звук, который предвещал его появление. Вперив взор в темноту комнаты, едва освещенную отблеском улич-пых фонарей, я пытался различить формы ее, и моментами мне мерещилось, что я и действительно вижу, что неясный милый

образ колышется, придвигается ко мне... В конце концов, муки, причиняемые мне капризами моей главной пассии, и нежелание тургеневского призрака меня осчастливить так, как он осчастливил героя рассказа, слилось в одно сложное и необычайно нелепое чувство. Я был тогда положительно близок к помешательству, и, пожалуй, со мной могло случиться нечто, чему не смогли бы помочь никакие Шульцы, если бы вся эта путаница не разрешилась тем, что капризы главной пассии внезапно прекратились. Одновременно городская жизнь с наступлением лета сменилась дачной с ее привольем...

* * *

Во вторую половину лета 1884 г. мне представился новый повод к «любовному помешательству». На сей раз полная реальность и все же известная фантасмагоричность сплелись в одно наваждение, в плену которого я оставался целых три месяца. Реальная сторона заключалась в том, что я тогда познакомился с настоящей усадебной деревенской жизнью, к тому же в чарующе своеобразной обстановке Украины. Фантасмагорическая же сторона заключалась в том, что я «без памяти» влюбился в деревенскую девушку, стоявшую у моей сестры Кати в услужении... Влюбившись, я наделил в своем воображении эту простую и, вероятно, совершенно обыкновенную крестьянку всеми качествами и добродетелями. Это было еще одно «недостойпое приличного человека» увлечение; это был — столь презираемый «роман с прислугой». Недо-стойность этого романа усугубилась еще тем, что я так-таки ничего от

этой особы не добился. В свое же оправдание я могу привести, во-первых, то, что вся новизна обстановки меня настроила на совершенно особый лад, так что я мог, пожалуй, подобно Дон Кихоту, и самую ужасную Мариторну принять за Дульцинею, а к тому же эта моя Дульцинея была вовсе не Мариторна, а достойна внимания человека и с весьма разборчивым вкусом.

Мой роман, в общем типично мальчишеский, начался с того, что я влюбился уже в некую «идею» такого деревенского романа, и это еще в Петербурге, понаслышке. Точнее, я не влюбился, а приготовился влюбиться, слушая восторженные рассказы об имении моей сестры, Нескучном, нашего свойственника Анатолия Александровича Серебрякова, мыза которого отстояла от усадьбы Лансере всего в полуверсте. Моей сестрой Катей было поручено

Серебрякову соблазнить моих родителей приехать погостить, и мама стала склоняться последовать этому приглашению, но какие-то дела заставили папу отложить эту поездку, и тогда мама предложила мне отправиться к сестре одному. Я не сразу согласился; меня смущало то, как это я лишусь мамочкина крылышка и поеду один через всю Россию, но Анатолий Александрович при повторных визитах до того красноречиво продолжал пастаивать, повел такие речи, что я, наконец, и поддался соблазну. Пока, впрочем, он описывал роскошь фруктовых садов, тенистость векового парка, красоту нолей, обилие раков в речке, занимательность экскурсий по окрестностям,— я не был в состоянии пересилить страх перед таким своим первым вылетом из родного гнезда. Когда же он заговорил о том, что у Кати «полон дом настоящих красавиц», а к тому еще прибавил шутя, что представительницы прекрасного пола на Украине необычайно милы и сговорчивы, то мое решение вдруг созрело. Немедленно было приступлено к сборам, и через день или два после того, что был отпразднован 1 июля день рождения папы, я отбыл из Петербурга в сопровождении пашей домашней портнихи Аннушки — особы уважаемой, богомольной, при этом очень некрасивой и абсолютно для меня не опасной. Ее тоже выписывала Катя для каких-то работ, а на время пути она должна была служить моим ментором. Нигде не останавливаясь, покатили мы с Аннушкой через Москву, Тулу, Орел, Курск, конечным же путем был Белгород. От Харькова было бы ближе до имения Лансере, но шоссейная дорога до Нескучного была размыта дождями, и по ней временно прекратилось движение.

Белгород, вполне оправдывающий свое название благодаря обступающим его меловым белым холмам, показался мне унылым и тоскливым, но нам не пришлось в нем пробыть и получаса, так как сразу нашелся у указанного в письме Кати трактира тарантас из Нескучного. Я был несколько обижен, что меня «не удостоили коляски», что вместо приличного кучера рядом (рядом, а не передо мной) сидел довольно плюгавого вида мужичонко, но это неприятное впечатление уступило другим, как только мы поднялись на первую из высот, которых предстояло на этом сорокапятиверстном пути одолеть немало. Вид, открывшийся оттуда, был

поистине восхитительный в своем безграничном просторе и в своей солнечной насыщенности. Ряды невысоких холмов тянулись один за другим все более растворяясь и голубея, а по круглым их склонам желтели и зеленели луга и поля; местами же выделялись небольшие, сочные купы деревьев, среди которых ярко белелп

хаты с их приветливыми квадратными оконцами. Своеобразную живописность придавали всюду торчавшие по холмам ветряные мельницы. Все это дышало благодатью и несравненно большей культурностью (почти что заграницей), нежели все то, что я видел в окрестных с Петербургом деревушках и только что на своем пути из окон вагона. Приглядевшись к моему мужичку-вознице, я и его оценил и даже вступил с ним в разговор. Это был великоросс, «москаль», говоривший по-русски, а не по-украински, и он сразу выказал себя парнем сметливым, остроумным и в некотором смысле даже образованным. Как затем выяснилось, он был мастер на все руки и в имении у сестры исполнял самые разнообразные обязанности, начиная, как в данном случае, с кучера, кончая механиком, слесарем и столяром. Но прозвище, ему данное (и которого он вовсе не стыдился), не рекомендовало его как человека образцовой честности. Его все звали Ванька-Жулик, и это свое наименование он частично оправдывал — правда, не серьезными, но все же непозволительными проделками. Надо еще сказать, что Ванька-Жулик был и великим виртуозом на гармонике, превосходно танцевал и ухаживал напропалую за дивчатами, а два раза в неделю напивался вдрызг пьян. Все это вместе взятое придавало его личности какой-то ореол. С виду же это был довольно щуплый, невысокий блондин, с мягкими, скорее приятными чертами лица, с жидкой бороденкой, с ясно-голубыми глазами. Одет он был почти по-нищенски: все, что зарабатывал, он пропивал или раздаривал своим подругам; если же что получал с барского плеча, то и это, через короткое время, он нес в кабак.

Проехав, качаясь и прыгая, оставляя за собой облака пыли, часа три с половиной и, как раз, когда мы взобрались на более высокий холм, Ванька попридержал лошадь, поднял кнут и вымолвил, не выпуская изо рта цигарку: «Вот она Нескучная». И действительно, в открывшейся перед нами долине — но еще довольно далеко,— показался белый господский дом, выделявшийся на фоне массы деревьев; поодаль в поле стояла белая церковь с двумя зелеными куполами, а еще дальше расположились сараи и амбары разной величины и назначения. Все это мне показалось очень внушительным, и я немало возгордился в душе, считая, что все это как бы и «наше», «мое», «раз оно принадлежит моей сестре Кате», Еще минут через десять тарантас прогремел по мосту через полувысохшую речонку, сбоку под липами мелькнула «готическая» кузница, потянулись крытые соломой здания скотного двора и конского завода, и, наконец, вытянулся отделенный от дороги дом какого-то курьезного доморощенного стиля, в котором формы готики и классики

сочетались весьма причудливым образом. Тут у ворот уже стояли поджидавшие меня родные с угрюмым Женей и с сияющей Катей во главе, а среди группировавшихся позади домочадцев я сразу же различил высокую стройную

444W» *13. Venusberg*

девушку с каким-то трогательно детским лицом: это была «подгориич-пая» Липа.

Первые дни моего нескучанского пребывания прошли без того, чтобы я почувствовал какое-либо «серьезное сердечное ранение». Не до того было; слишком было много новых впечатлений, слишком много меня таскада по прогулкам и устроенным в мою честь пикникам — в большое соседнее село Веселое, в рощу Дубки, к славившемуся орешником Оврагу; слишком обильно я нагружался всякими новыми для меня яствами,— непонятно даже, как желудок выдерживал такое количество снеди и особенно кукурузы, только что сорванной и которую так приятно было «отгрызать», смазав сливочным маслом. Я слишком уставал, слишком бесился, играя с племянниками; и тут же слишком старался показаться взрослым, ухаживая за сестрой Е. Л. Лансере — Зиной Серебряковой и за ее подругой — смазливой и смешливой вдовицей госпожой Поповой. Но когда все это первое возбуждение улеглось и потекла будничная жизнь, то я стал оглядываться на ближайшее,-— и тут я оцепил прелесть Липы, тут снова я и «попался в сети Купидона».

Спал я в угловой комнате с окнами, затемненными вековыми деревьями, но, несмотря на это, как только начинало брезжить утро, так начиналась мука от бесчисленных мух. Чтобы спасти меня от них, окна запошивались темной занавеской, и вот получавшаяся от этого искусственная ночь сменялась серым полумраком, когда отворялась дверь в соседнюю гостиную, а затем сразу наступал день, когда отдергивалась занавеска. Роль такой Авроры и играла Липа, которой было наказано будить меня за полчаса до утреннего кофе и которая входила, неся в руках вычищенное платье и сапоги. Слов никаких при этом она не произносила, а лишь спокойно и старательно производила довольно сложную операцию отшпиливания и отвешивания занавесок. Первые дни такое нарушение сладости предутреннего сна меня раздражало (и какой же у меня тогда был сон!), но постепенно я, напротив, стал этот момент ценить и ожидать. Меня он уже не будил, а я лежал добрых полчаса до него с открытыми глазами, прислушиваясь ко всем шумам пробуждающегося дома. Наконец, скрипнет дверь столовой, послышится поступь босых ног по полу гостиной, повернется ручка моей двери, и в комнату проскользнет ее тень. Эта тень

превращалась затем на фоне окна в силуэт стройной, полногрудой девушки, которая, освещенная зеленым отблеском деревьев, шла обратно к двери и с легким поклоном говорила: «Здравствуйте, барин, нора вставать». Самое прелестное в этом ежеутрен-нем явлении были именно эти шаги Липы — эти легкие удары босых ног по паркету. Из смазливой горничной, «за которой можно приударить», Липа с каждым днем превращалась в моих глазах в существо, не имеющее себе подобных. Происходила же эта метаморфоза как-то вкрадчиво и, разумеется, менее всего по вине или по желанию самой девушки, которая только тогда заметила, что у барчука к ней особенные чувства, когда я стал это выражать в откровенной форме.

*!I, 13. Venusberg*445,

Эти «откровенные формы» были в большом ходу в Нескучном, и откровеннее всего свои чувства выражал помянутый Ванька-Жулик. У нега была всему дому известная связь с сестрой Липы, Ольгой, также очень красивой женщиной, тоже служившей горничной, однако это не мешало Ваньке тут же, па глазах своей возлюбленной, заигрывать с другими дивчатами и даже хватать, тискать и целовать их куда попало. Сопротивлялись деревенские красавицы слабо. Легкость, с которой можно было-добиться у них чего угодно, и моя «дружба» с Жуликом, который меня занимал своими картинными и краппе нескромными рассказами, должны были и меня наталкивать на подобную предприимчивость, по для этого, скажу откровенно, у меня не хватило желания, я даже чуть брезгал этих не слишком чистоплотных и уж больно доступных прелестниц.

И вот, попробовав такое же «прямое действие» в отношении Лины, я наткнулся на решительное сопротивление. Это было при царивших местных нравах чем-то необычайным, но это особенно и разожгло мою страсть. Поцеловать Липа себя разрешала только в щеку; разрешала она и погладить себя по плечу или по наполовину оголенной руке, но как только я становился более отважным, так получал решительный отпор, и этот отпор действовал тем сильнее, что он сопровождался не каким-либо возмущенным восклицанием, негодующими взглядами, смехом или битьем по рукам, а сопровождался он простым, безмолвным, по явно неумолимым отстранением. В этой девушке было что-то до такой степени природно степенное, такая подлинная, приправленная грустью, скромность, что и при малейшем сопротивлении руки сами собой опускались» и мне становилось только убийственно неловко. И чем стыднее делалось от этих тщетных и все же то и дело возобновляемых попыток «завоевать» Липу, тем сильнее стал говорить во мне уже пе простой каприз

испорченного мальчишки, а чувство более серьезное. Мне уже казалось, что я не могу жить без нее, что я не в силах буду расстаться с пей. Забродили и нелепые для четырнадцатилетнего мальчишки мысли о браке.

И тут как раз я получил ошеломивший меня удар. От одной из прислуг, Лукерьи, я узнал, что Лина невеста и что на днях к ней приедет жених. Все вдруг для меня померкло, и, забравшись в самые запущенные-заросли сада, обжигаясь о крапиву, я бросился на землю и предался беснованию полного отчаяния... Нечто подобное я уже испытал год назад,. когда ушла от нас Маня, но там не было ревности, здесь же я впервые почувствовал, до физической боли, остроту ее укола. Кто же это мог быть, кто дерзал искать обладания «моей Липой», «этой богини»? Какой-нибудь мужик, набитый дурак, который ничего не сможет понять в исключительной красоте и прелести девушки, покорившей мое сердце? Некоторым утешением мне было только то, что Липа па вопрос, правд» ли, что она невеста, пожала плечами и молвила: «Все брешет Лукерья». Никакого-де у нее жениха нет, а действительно сватался вдовец из далекого, за сорок верст, села. Но сестра Ольга была более категорична. Когда, в поисках истины, я как-то отыскал ее в каморке под лестницей,. служившей ей спальней, то застал ее уткнувшейся головой в подушки а

всю содрогавшуюся от рыданий: она как раз переживала очередной кризис своего романа с Ванькой. Сквозь пальцы, закрывавшие ее залитое слезами лицо, она, всхлипывая от собственного горя, подтвердила Лу-керьино сообщение. Как будто даже она была рада, что сестру упекут куда-то и что ей готовится нелегкая жизнь. Пусть же отведает и она горя, пусть попробует, легко ли в семнадцать лет стать мачехой чужих

детей...

А через два-три дня, пережитых мной в сомнениях, я уже собственными глазами увидел жениха Липы. Мужик этот был тоже русский, а не хохол, с окладистой светлой бородой, рослый, довольно красивый и чисто одетый. Он степенно пил чай на кухне у окна, а Липа ему прислуживала. Я поздоровался с соперником за руку (у меня тогда выработалась такая демократическая манера со всеми здороваться за руку, и мне это очень нравилось), предложил ему даже какой-то вопрос, но от чаепития с ним отказался. К удивлению своему, я при этом никакой злобы против того, кого еще накануне готов был «зарезать», «изрубить», не почувствовал. Напротив, вся эта картина чаепития в белой болыпой кухне с плитой в пестрых изразцах осталась у меня в памяти как нечто скорее приветливое и милое. Но горе мое все же

не знало границ. В уединении я обливался слезами, да и на людях меня не оставлял трагический вид, что служило поводом к особенно злому издевательству моего зятя. Так и вижу его в его татарской ермолке, в его бешмете, сидящим в глубоком кресле в столовой и что-то делающим своими инструментами над очередной восковой фигуркой, которую он вертел в руках. Иногда он поверх очков бросал взгляд на меня, валявшегося тут же на диване, и изрекал по моему адресу нечто в высокой степени язвительное. Я сносил эти сарказмы с непривычной молчаливой покорностью. Какое мне было дело до оскорблений «злого» человека, которого я по-прежиему продолжал ненавидеть (оценил я своего зятя только во второй свой приезд в Нескучное в следующем году), какое мне было дело до таких ничтожных уколов, когда я был и без того «весь изранен», когда я себя чувствовал героем настоящего романа, скорее даже трагедии. Я почти серьезно подумывал, пе покончить ли мне с моей разбитой жизнью...

Не надо, впрочем, думать, что «страдания молодого Бенуа» поглощали все его время и совсем выбили его из своих привычек, занятий и игр. Горе горем (это горе, если и было несколько театрализовано, то все же оно было искренним), а время все же надлежало каким-либо образом убить, и это «убиение времени» по-прежнему заключалось в ловле для своей коллекции бабочек и жуков (какого красавца жука-оленя я тогда нашел посреди темной липовой аллеи, но особенно я был горд включением в свою коллекцию мохнатой кротоподобной медведки), в прогулках, в возне с племянниками. Урывками я даже принимал участие в крестьянском труде. Как раз тогда прибыла выписанная из Англии молотилка, и работа вокруг этой гудящей, тучи золотой пыли разбрасывающей машины увлекала всех. Совершены были и две большие прогулки в обществе Липы и приехавшей со мной Аннушки, которая внезапно вспомнила о своей обя-

занности за мной присматривать. Эту необычайно глупую, перезрелую и некрасивую девицу я тогда возненавидел. Оставаться в моем обществе я решительно ей запрещал, но так как она все же всерьез считала себя моим ментором, то надзор ее сводился к тому, что она, «соблюдая приличную дистанцию», следовала всюду за мной. Таким образом — на расстоянии пятидесяти шагов от меня и от Липы — она поплелась в необычайно жаркий день и по пыльной дороге до села Веселого, где жили старички-родители Липы. В Веселом же она не удостоилась быть допущенной внутрь хаты Липы, а чай ей был

вынесен наружу. Таким же образом бедная Аннушка следовала за мной по пятам и в состоявшейся за два дня до моего отъезда прогулке в лунную ночь к расположенной на холме деревне Кукуевке.

Но не одни воспоминания об Аннушкином следовании остались у меня от этих «прощальных» прогулок, а осталось в памяти то меланхолическое упоение, которое я испытал, пребывая в течение нескольких часов в непосредственной близости с Липой. Во время прогулки на Ку-куевку мне даже было разрешено взять ее под руку, и моментами я ощущал через легкую, бурую с красненькими пятнышками кофточку ее крепкое прохладное тело... Стояла изумительно светлая ночь, о которой я мечтал еще тогда, когда любовался гостившей у нас картиной Куинджи; теперь я наяву видел млеющие в фосфорическом свете белые хаты и те же-огоньки в них, те же шапки соломенных крыш, те же бархатистые чернеющие пирамидальные тополя. Нас ждали в деревне, т. е. ждали Липу й двух-трех других дивчат из Нескучапской «экономии». Сразу появилась гармошка, появились местные девки и парни. Начались танцы, в которых особенно отличался какой-то молодец, который не только вертелся, как волчок, взлетал высоко в воздухе или пускался вприсядку, но и со всего размаху бросался па землю и, уже лежа в пыли, продолжал неистовствовать. Дивчаты визгливо распевали свои странные дикие песни и водили хороводы. В них приняли участие и иескучаики, даже вытащили в круг и богомольную Аннушку. Но Липа не пожелала присоединиться и вместе со мной осталась в стороне; сидя рядом с ней на бревне, я изнывал от счастья. Дневная же прогулка в Веселое носила менее «оперный характер», но в своем роде тоже не была лишена поэзии. Пришлось идти шоссейной дорогой — большим трактом, на котором лежало Нескучное и который соединял Харьков с Белгородом. Пыли было много, зной полуденный, нигде по дороге ни дерева, пи даже кустика. И все же какое эта было наслаждение проделать весь этот пятиверстпый путь в обществе той, по которой я изнывал. Надо еще прибавить, что в этот день Липа оделась совсем по-украински, с шелковым платком на голове, повязанным тюрбаном, и в бархатной безрукавке поверх расшитой рубахи. В этом наряде она была действительно поразительно красива. И как отрадно было-после жаркого пути вступить в прохладную чистую хату почтенных родителей Липы и быть там принятым в качестве почетного (несмотря на юный возраст) гостя. Все показалось мне удивительно приветливым и «культурным» в этой выбеленной, полотенцами убранной просторной ком-

пате, один пз углов которой был занят образами и благочестивыми лубками. Засуетилась мать Липы, отец же, не говоривший ни слова по-русски, степенно просидел в своей белой рубахе в стороне на пестром сундучке. Появились свежеиспеченные коржики, чай с полдесятком кусочков сахара на цветном блюдце и только что снятые с дерева яблоки. Долгое время затем, по приезде в Петербург, я просил, чтобы мне подавали к чаю вместо лимона яблоки, так как один ароматичный, чуть приторный вкус их вызывал воспоминание о тогдашней прогулке. После чая мы прошлись по селу. Старинная церковь в Веселом была несравненно интереснее банальной, всего лет сорок до того сооруженной Нескучан-ской. Это была типичная для Украины пятиглавая постройка с пирамидально сокращающимися кверху этажами; и в общем она вызывала впечатление чего-то «китайского» и в то же время носила на себе явный отпечаток польских влияний. Выбеленная внутри, она была залита светом, а среди всей этой белизны торжественно блестело золото высокого затейливого иконостаса. Увы, и тут я исполнился горечью при мысли, что, пожалуй, в скором времени Липа будет стоять перед этими сверкающими иконами, но будет она стоять не со мной, а с бородатым мужиком и что увезет он ее к себе за много верст от Веселого и Нескучного!

День моего отъезда вдруг приблизился, и настал момент разлуки. В то утро уже, потеряв всякий стыд, не скрывая ни перед кем своих переживаний, я ежеминутно, длинным коридором отправлялся па кухню или в людскую — с тем, чтобы или поцеловать Липу в плечо или сказать ей две-три бессмысленные фразы, которые она, вероятно, и не понимала, так как не была сильна в русском языке. Странное дело, она и теперь отрицала, что выходит замуж, а это давало мне какие-то (какие?) надежды. Но пробили часы в столовой десять, и к крыльцу подъехала бричка (я и на сей раз не удостоился коляски). Уже понесли чемоданы, Аннушкии громадный узел и большую корзину с провизией «па дорогу». Я было попробовал заставить ненавистную Аннушку сесть ко мне спиной, но Женя Лансере на меня прикрикнул, кучер (то не был мой друг Ванька-Жулик, который валялся мертвецки пьяный) дернул вожжами, и мы покатили. Дети и прислуга побежали за нами и остались, помахивая платками, у ворот палисадника. Пока можно было их видеть, я оглядывался и все старался различить Липу среди прочих, но вскоре экипаж нырнул к мосту, усадьба скрылась за углом, поднялись столбы пыли, и я почувствовал, что «все кончено»... В Белгород я доехал в каком-то оторопелом состоянии и в том же состоянии, не удостаивая ни единым словом спутницу,

добрался до Петербурга.

До чего же мне все показалось дома тоскливым, тесным, душным! Первые дни я по памяти рисовал одни малороссийские хаты, тополя и пытался, но тщетно, передать очаровательные черты Липы. При этом я кое-как утешался последним заверением Липы, что она и «не думает» выходить замуж «за такого старика». Но недели через две пришло письмо от Кати, которое разбило последние иллюзии. Сестра писала: «Шу-реньке, вероятно, интересно будет знать, что у нас в доме невеста. Его

подруга Лина выходит замуж; в будущую субботу будет ее свадьба». От мамы я до этого момента скрывал причину моей мелапхолии, а тут я не счел нужным это делать. Сначала я даже заговорил о том, что мне совершенно необходимо ехать на эту свадьбу, мол, я «обещал», когда же я понял, что это мне никогда не позволят, то заперся у себя в комнате в отместку (чему? кому?) сжег массу всякой всячины в камине (тогда-то погибли всякие хорошие книги и все мои детские дневники), принялся варить на грелке для курения «яд» из своих акварельных красок и тут же обдумывал, не лучше ли покончить с собой, воткнув в сердце Мишин морской кортик. Мое состояние повергло бедную маму в настоящую тревогу: папа же взирал на все это, как на глупые гримасы. Желая как-то заглушить сердечную боль, я себя не жалел; отказывался от еды, надевал на ночь вымоченную в холодной воде рубашку и т. д. Мечтал при этом, что заболею воспалением легких и умру.

Однако я не умер и даже не заболел, и все эти терзания завершились совсем просто. Как раз подоспели приготовления к свадьбе брата Мппш, к которой мне был сшит новый парадный гимназический .мундир. Облекшись в него, я почувствовал себя почему-то совсем обновленным и удивительно элегантным. Деревенские настроения испарились. Сыграло большую роль в моем возвращении к нормальной жизни самое это бракосочетание Миши и Ольги, происходившее в верхней раззолоченной церкви нашего Никольского собора (моя кузина, Мишина невеста, была православной). Сколько тут оказалось красных и синих лент, сколько звезд, сколько разнообразных военных форм. Как разрядились наши дамы, среди которых эффектнее всех была бабушка Ксения Ивановна. Не подозревал я до тех пор о таком великолепии нашего круга знакомых. А тут мне приглянулось странное бледненькое личико барышни Аршеневской, казавшейся столь хрупкой и жалость возбуждающей. И в этот вечер и во время последовавших семейных торжеств я очень много пил шампанского, и потому

почти не выходил из какого-то затуманенного состояния. Постепенно мои малороссийские впечатления стали меркнуть, и сердечная рана зарубцевываться. Я уже не рисовал больше хохлушек, пирамидальных тополей и хат с соломенными крышами, а снова вернулся к своему кукольному театрику. Снова на моем горизопте появилась прелестная, ставшая после перерыва еще более ласковой моя девочка, попрекнувшая меня за то, что я-де «забыл свою невесту»... Все же образ Липы где-то в памяти не умер, не стерся, и я сохранил его, окруженным поэзией, на всю жизнь...

II, 14. Первое причастие

Глава 14 ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

Теперь необходимо вернуться несколько назад.

Когда мне минуло двенадцать лет, мамочка решила, что нельзя дольше оставлять меня без пастоящего религиозного воспитания. При всей своей глубокой преданности церкви, папочка как-то забывал об этом заботиться. Ему я все еще представлялся тем же малышом, который так еще недавно днями просиживал у него на коленях. Напротив, «неверующая» мамочка понимала, что я вступаю и уже вступил в возраст всяких соблазнов и что потому нельзя дольше медлить и пора как-то морально укрепить меня. Это входило в ее заботу о «гигиене моей души». Несколько раз я слышал, как она говорила; «Нужно, чтобы он прошел катехизис», а осенью 1882 г. она наконец и предприняла соответствующие шаги. Оказалось, что как раз при том доминиканском монастыре (скорее подворье или общежитии), который обслуживал главную приходскую католическую церковь в Петербурге — S-te Catherine *, с недавних пор среди прочих монахов, по большей части поляков, находится и один французский патер, «которого все очень хвалят». К нему мамочка и отправилась; от него она разузнала о всем распорядке уроков катехизиса и о материальных (удивительно скромных) условиях. После этого она повела меня прямо на первый же урок, купив предварительно серенькую книжку парижского издания катехизиса с гербом кардинала-архиепископа на обложке. Это был тот катехизис веры, по которому пэр ** учил свою невеликовозрастную паству.

Я порядочно трусил, вступая в сакристию при церкви св. Екатерины, в которой я застал целую толпу мальчиков и девочек, а также группу родителей. Посреди окруженного шкафами помещения стоял довольно высокий и полный, очень моложавый человек с превосходно выбритым лицом, одетый в белую суконную, лежавшую крупными мягкими складками рясу. Но робость моя сразу прошла, когда очередь знакомства с пэром Женье дошла до меня, и он с изысканной вежливостью, но и не без важпости, обратился к маме (тоже порядком в таких случаях робевшей) с Бопросамп — сколько мне лет, где я учусь, имею ли я представление о Священном Писании и т. д. Получив все ответы, он слегка нагнулся ко мне, и вот в эту секунду он сразу меня покорил. Я взглянул в его карие, ласковые глаза, я увидел его умную улыбку, и мне захотелось у него учиться, хотя я не очень отдавал себе отчет, в чем именно будет заключаться это ученье. Когда же пэр Женье с большой простотой и без всякого пафоса

положил свою большую добрую руку мне на голову, я совершенно естественно (будучи приучен к этому) поцело-

Святой Екатерины *{франц.)*.

Патер *(франц.),*

II, 14. Первое причастие

451

вал ее. Когда представление всех детей кончилось, он сгруппировал нас и повел через двери мимо главного алтаря (перед которым он и мы встали на колени) в капеллу Пресвятой Девы, находящейся в левом приделе. Почему-то я никогда здесь раньше не бывал и потому меня поразила прелестная архитектура этой отдельной церкви (папочка назвал имя ее строителя: Кваренги), состоящая из толстеньких колонн и из полукруглых ниш с несколько приспущенным сводчатым потолком в кессонах. На алтаре я увидел красивую картину Благовещения (если я не ошибаюсь, она кисти Дуайена), а в нишах низко поставленные большие статуи святых. Все началось с общей молитвы. Рассадив детей по длинным скамьям, занимавшим всю середину капеллы (родители кое-как расположились на скамьях вдоль стен, где, кроме того, стояли п исповедальные будочки — «конфессионалы»), пэр Женье подошел к алтарю и, встав на крытую вышитым ковром нижнюю ступень, сначала минуты две молился молча, а затем, обратившись к нам, предложил хором прочесть за ним «Отче наш» и молитву Богородице. Дружное жужжание явилось в ответ, но в нем я не участвовал, ибо мне было стыдно, хотя никто из соседей не мог бы заметить, бормочу ли я что-нибудь или нет. Эта моя конфузливость (робость) при всяком «массовом выступлении» не покидала меня всю жизнь, и я до сих пор страдаю ею, не зная, чем ее объяснить и как этому помочь. Любопытно, что такой же неожиданной и непобедимой конфузливостью отличается и моя жена, и ее же мы передали нашим детям. После молитвы пэр Женье взял стул и положил принесенные с собой книжки на аналой первой скамьи, почти рядом со мной (ибо мне посчастливилось попасть в первый ряд, благо тому, что моя фамилия начинается со второй буквы алфавита) и произнес род короткой, но очень трогательной проповеди на тему о любви к богу. Задав после того первый урок и пояснив нам своими словами все ответы первых двух глав катехизиса, которые надлежало заучить, он снова помолился, снова вслед за ним прожужжал детский рой, чем и завершилось это собрание.

Не все дети были одинакового со мной возраста; были мальчики лет восьми или даже шести, а были и почти взрослые юноши и барышни. Среди последних было несколько полек. Одна

была мадемуазель Любо-мирская (может быть, княжна), а другая Софи Кербетц. Упоминаю я здесь о них потому, что, как уже рассказано, я вообще переживал тогда период первого чувственного пробуждения (о вещах, подвластпых Венере и Купидону, я узнал всего год назад), и все усилия стать на тот путь добродетели и целомудрия, о которых учила церковь и который я клялся себе не покидать, особенно возбуждали во мне всякие соблазны. В частности, я не мог видеть мало-мальски привлекательную девочку без того, чтобы не задать себе вопрос: «не стоит ли в нее влюбиться?» Это Венерино наваждение сообщало моему катехизиспому году особую окраску, и если теперь совершенно объективно (по-стариковски) оценивать ее, то я бы сказал, что именно эта окраска придала всему и особую прелесть.

15*

452

II, 14. Первое причастие

Я только что рассказал, как в 1883 г. я пережил первый мой очень меня захвативший роман, влюбившись в девушку, за которой я раньше ухаживал больше из шалости, «от нечего делать», а затем полюбил ее (ее ли лично или в ней «вечно женственное») со всей страстью, на которую способен тринадцатилетний мальчик. И вот я думаю, что развязка этого романа, всего на несколько недель предшествовавшая знаменательному дню первого причастия, сообщила моему тогдашнему религиозному экстазу такую интенсивность, которая едва ли могла бы быть, если бы, скажем, я походил на моих товарищей по катехизису, этих здоровяков и простаков, из которых иным было и пятнадцать и шестнадцать лет, но которые были сущими детьми. Я же в своей скороспелости был до некоторой степени уродом. Это несколько мучило мою совесть и в то же время наполняло каким-то чувством превосходства. Да и все мои душевные переживания того года получали от этой сложности, от всего этого сплетения особую силу и род какого-то озарения.

Что же касается до самих уроков катехизиса, то я быстро заинтересовался ими, однако, когда до меня доходила очередь давать ответы па положенные вопросы, я отвечал не столько текстуально то, что вызубрил, сколько по существу и «своими словами». Пэр Женье казался иногда удивленным решительностью и свободой ответов такого тихонького и скромного мальчика (каким я должен был ему представляться) и неоднократно вступал со мной в отдельную беседу, но при этом у меня не было и тени желания как-то отличиться или поразить его.

Я слепо верил каждому его слову, а потому мне было легко в таком же духе мыслить и эти мысли излагать. Впрочем, я вообще от природы предрасположен к какой-то «ортодоксальности», и мне скорее претит всякий бунт. Сомпений каких-либо тогда во мне п не возникало. Лишь после того, что я познакомился с учением о благодати, во мне стали просыпаться какие-то «движения гордыни», какие-то мечты о «чрезвычайной святости». Эти мечты, однако, в самом зародыше терпели крушение как раз благодаря тем искушениям, тем «победам дьявола», которые особенно участились по мере моего приближения к половой зрелости. Иногда я прибегал, по совету пэра Женье, к помощи своего молитвенника и пробовал разобраться в себе. Разумеется, у меня не было на совести ни убийства, пи воровства, ни иных каких-либо уж очень страшпых и «эффектных» грехов, но были всякие пустячные грешки, а также немало грехов против церковных законов— их я не собирался утаивать ва исповеди. Но дальше шел перечень грехов «плотских», от зовов собственного тела исходящих, и тут получалось великое смущение. К тому же некоторые термины были абсолютно непонятны, например fornication (грехи плоти). Когда я обращался к маме, то и она не умела мне их объяснить. В конце концов, я решил всю как бы активную часть переложить на священника— пусть он спрашивает (как оно и полагалось), а я буду отвечать. Если он спросит про такие вещи, о которых мне никак не позволял стыд заговорить самому, то я и на эти вопросы отвечу честно. Если же не спросит, то я со своими сомнениями к нему «не полезу».

II, 14. Первое причастие

453

На таком компромиссе я п успокоился, а пэр Женье никаких предосудительных вопросов мне па духу и не поставил. Получив затем отпускную (как мне казалось совершенно заслуженно), я пошел затем к причастию с чистой, «голубиной душой/)...

Не могу на этом месте не отдаться воспоминаниям о всей атмосфере, царившей на уроках пэра Женье, исходившей как от его собственной особы, от его слов, жестов, от его белоснежной одежды, так н от всего окружающего — от уюта этой замкнутой капеллы, которую в зимние месяцы едва освещали две тусклые стенные лампы и полдюжины свечей, расставленных по аналойным доскам, на которые клались молитвенники. Тайной веяло от всего обширного и темного помещения самой церкви позади пас. В ней уже не было молящихся (двери на улицу с наступлением темноты запирались зимой в три или четыре часа), зато тем отчетливее слышалось тиканье больших часов и, каждые четверть часа, их кристальный бой. Шум Невского проспекта не

проникал к нам, особенно после того, как установился санный путь, а вся эта громадная и темная храмина, в которой при свете лампад едва блестела позолота обрамлений алтарных картин и мерещились белые фигуры исполняешь ангелов, отважно под самыми сводами восседающих на карнизах, казалась полной какой-то своей жизни. Совершенно особое чувство я испытывал, когда на пути из капеллы в сакристию (через которую приходилось и выходить и входить, когда главные двери церкви на улицу закрывались), я топтал плиты, под которыми былн похоронены последний король польский и «знаменитый французский полководец» генерал Моро *К*

Перед самым причастием атмосфера наших уроков изменилась. С приближением весны церковь с каждым разом казалась более светлой и, входя в нее после теплеющего воздуха, я уже ощущал ее прохладу и сырость. В зимние месяцы я даже своих соседей по скамьям различал с трудом и те только тех, которые сидели у самых свечей, тогда как вся остальная масса тонула в полных потемках. Теперь же я их видел, теперь я мог и любоваться теми девочками, которых я раньше почти не различал. Теперь они по приходили закутанные в бесформенные шубы и ротонды, а являлись в кокетливых шапочках и в цветных, обрисовывавших фигуру, пальто. Особенно теперь я отличал сидевшую через одно место от меня не очень красивую, но очень милую, очень по-видимому добрую и ласковую Софи Кербетц — дочь известного инженера. II как раз мне ее назпачили в пару (по росту), когда наконец пастушья высокоторжественный день. В паре с ней я ходил не один раз, ибо пэр Женье, как настоящий француз, не желал предоставить все случайностям, а строго выработал церемониал н, дабы не произошло никакой путаницы, заставил нас проделать две настоящие репетиции. В душе мне это не очень нравилось, я находил, что это нечто даже недостойное серьезности момента. Да и мамочка проронила что-то вроде «это совершенно лишнее». Но приходилось подчиниться, к тому же пэр Женье сумел нам растолковать все значение благолепия: мол, соблюдение его — лучшее выражение богопочитания. И вот, возможно, что как раз эстетическая, свет-

екая сторона его педагогики оказала особенно глубокое действие на меня и способствовала утверждению во мне таких взглядов, которые легли в основу всего моего «личного мировосприятия». С этого года мой «природный анархизм.» получил какое-то ограничение, и, хоть в душе я оставался верен ему, однако, я познал также пользу и смысл «узды». Самые

репетиции дали мне случай быть с Софи — «точно жених с невестой», и у нас даже получился какой-то намек на дружбу в озарении ожидаемого «дарования святости». Поэтому и дружба паша носила какой-то «райский, бесплотный» характер, перейти же во что-либо другое опа не успела...

Я сомневаюсь, чтобы пэр Женье хоть кого-либо «провалил» на том экзамене, которым завершились его уроки, но трусили все, и более сознательные — скорее за учителя, чтобы его не огорчить. Присутствовал на экзамене другой монах — австриец, патер Шумп. Он служил чем-то вроде ассистента, придававшего большую значительность процедуре. Несколько раз и Шумп предлагал на ломаном французском языке кое-какие очень легкие вопросы. Но не только внушительность придавал этот второй белый монах, но и одним своим видом он способствовал усилению той «атмосферы святости», в которую мы окунались всем нашим существом. Это был еще очень молодой человек, черноволосый с чудесным, вдохновенным «серафическим» лицом — полным того выражения, которое старинпые художники придавали св. Антопию Падуанскому или св. Франциску Ассизскому. Рядом с довольно полным, холеным и уже не совсем молодым пэром Женье его друг казался особенно просветленным. Не могло быть сомнений, что жизнь этот монах ведет суровую, аскетическую, что он должен целыми днями пребывать в экстазе и простаивать ночи на коленях. Весь наш класс увидал в нем прямо-таки подлинного святого, чуть ли не с нимбом вокруг головы.

Иллюзия, что Софи являлась вроде какой-то моей «небесной невесты», еще усилилась, когда на вторую репетицию (как и все прочие девочки) она явилась в белом платье до самого пола, с целым облаком кисейных вуалей, с венком из белых роз на голове. Костюм этот и ей и всем прочим девицам удивительно был к лицу, а в целом их рой производил прелестное впечатление. Напротив, мальчики в новеньких курточках выглядели не особенно авантажно, а многие даже казались смешными, представляя собой подобие карликов. Спасал широкий белый бант с великолепной золотой бахромой, которым была повязана левая рука каждого, а кроме того, в правой руке появилось по толстой свече, тоже украшенной белым бантом. Обращение с этой свечой представляло известные трудности; надо было то вставать на колени, то подыматься, сходиться и расходиться, и все это так, чтобы не закапать воском соседку — и не дай бог! — не поджечь ее фату. Некоторые дети были более ловкие и внимательные, они сразу понимали, что именно от них требовалось, но среди нас были и тупицы, которые наступали на подол, поворачивались налево, когда нужно было направо,

забегали вперед или отставали, не понимая еле слышным голосом произносимые команды пэра Женье. Пер-

вал репетиция затянулась на добрых три часа, а вторая отняла часа два причем все ужасно устали и более всего оба священника. Наконец, все наладилось, мы выслушали еще одно напутственное слово, еще раз исповедались — на тот случай, если что-либо греховное было соверщепо за последние два дня (тут просто приходилось выдумывать, дабы пэр Же-нье недаром сидел в своей будке) — после чего нас отпустили с тем, чтобы мы снова явились наутро, в воскресенье в 9 часов — отнюдь, одпако, не вкушая до тех пор какой-либо нищи. Тело наше должно было быть сосудом совершенно чистым — так как предстояло принять в него самого нашего Спасителя...

Большого труда соблюдение этого поста мне не доставило, напротив, мне тогда казалось, что я мог бы выдержать и бесконечно более тяжелое испытание. Ведь я находился после второй исповеди в состоянии «совершенной святости»,— не мог же ошибаться пэр Женье, утверждавший, что это так. Я чуть ли не чувствовал крыльев за спиной, и, представляя себе свою «внутренность», я думал, что она озарена каким-то белым светом. Даже смерть в такие часы не представляется страшной; я почти желал ее, ибо тогда я бы предстал перед божьим судом таким же белым и чистым и мое допущение к сонму блаженных произошло бы без всякого затруднения, без необходимости еще очищаться от греховной грязи в чистилище. Воздержание в тот вечер от чая с печеньями было чем-то совершенно пустячным, не заслуживающим даже пазвания жертвы, и лишь чуточку труднее было устоять от прельщения чудесно пахнувшего утреннего кофе с сухарями и булкой.

В церковь мы поехали в открытом ландо (весна была в полном разгаре) — папа, мама и я, а в церкви нас ожидали многочисленные наши родные и знакомые. На церемонию пожелали поглядеть близкие люди и других маленьких святых, а потому церковь переполнилась необычайно нарядном публикой, оттеснившей обыкновенных серых прихожан. Нас всех собрали в сакристии и в монастырском коридоре перед пею. Тут был нам произведен (без участия родителей, которые оставались в церкви) строгий смотр, затем мы были расставлены попарно, наши свечи были зажжены, и мы двинулись двумя длипиыми рядами к дверям церкви, откуда навстречу лились торжественные раскаты органа. В этот момент у меня так захватило дух, что я еле удержался от слез. И то же счастливое умиление отразилось во

взоре Софи. Описывая теперь эти моменты, я должен делать некоторое усилие, чтобы не съехать на добродушную иронию: прожитая жизнь и весь опыт очерствили душу, приучили ее к сомнению. Но -тогда, разумеется, было не до иронии и сомнений, тогда я как-то весь растворялся в восхищении, в каком-то сверхъестественном (как мне казалось) блаженстве.

О самой церемонии скажу только, что и оба патера и третий сослу-жащий мне показались преображенными благодаря тем сверкающим золотом ризам, в которые они облачились по случаю праздника. О как чудесна была та секунда: когда мне на язык была положена гостия*!

* От hoslie *{франц.)* —облатка (у католиков).

II, 14. Первое причастие

А затем все как-то сразу кончилось в суматохе поздравлений, и я не заметил, как уже снова очутился в экипаже с родителями. Подсел к нам и сеньор Бианки. Каким я был в тот день на несколько часов еще образцовым и мягким! Мне казалось, что я продолжаю излучать потоки добродетели. Как мило и ласково я отвечал на поздравления прослезившейся Степаниды и трижды поцеловался с Ольгой Ивановной. С какой отменной сдержанностью, не выказывая ни малейшей жадности, я вкушал (я ужасно проголодался) разных любимых блюд. В ощущении своей собственной святости я как-то цепенел и даже неохотно двигался, точно опасаясь расплескать всю накопившуюся в душе и сердце благодать.

Но к ощущению счастья примешивалось и немного меланхолии, ибо праздник-то как-никак прошел и наши общие занятия с пэром Женье кончились. Некоторым утешением служило то, что уже через педелю должна была состояться наша конфирмация, причем все только что проделанные церемонии должны были снова повториться. Они даже обещали приобрести еще большую торжественность, так как должен был присутствовать епископ. То был поляк, оказавшийся в Петербурге проездом па пути в свою епархию в Сибирь.

Только что я упомянул имя сеньора Бианки, оказавшегося среди близких людей при моем первом причастии и севшего с нами в коляску. Упоминал я о нем и раньше, но здесь необходимо сказать, кто это был, так как именно он был приглашен быть моим отцом-восприемником при конфирмации. Джоваипи Бианки как-то достался нашему дому в наследство от деда Кавоса. Это был художник-живописец, но в Петербург он прибыл еще при Николае Павловиче в качестве фотографа — чуть ли не первого в России. У нас в семье считалось, что именно Бианки познакомил

русских людей с изобретением Ниепса и Дагерра2. Специальностью его, однако, были не столько портреты, сколько пейзажи, памятники и особенно интерьеры. До последних в те дни усиленного строительства и «убранства» русские баре были особенно охочи. При этом Бианки не был простым профессиональным техником; на всех им изданных фотографиях он себя величает художником, и художником он действительно и был, что сказывалось как в выборе момента освещения, так и в точке зрения. В технику же фотографии он ушел с головой, уподобляясь в этом какому-либо средневековому алхимику. Ногти у него были всегда желтые от коллодиума, а весь он был пропитан какими-то «химическими» запахами, впрочем, не противными. Я узнал Бианки уже стариком, одевавшимся но моде 40-х годов, а на свадьбах и других торжествах он вызывал общие улыбки своим допотопным фраком с приподнятыми плечами. Волосы и бороду он оставлял в девственном состоянии, что, в связи с его слезливыми глазами, придавало ему вдохновенно-умиленный вид какого-либо мученика с картины Гвидо Рени. Обычным его состоянием было насупленное молчание, да и садился он всегда куда-нибудь в уголок, в тень. Но стоило беседе коснуться церковных или религиозных вопросов, как Бианки выходил из своей дремоты, настораживался и даже вступал в спор, причем быстро терял самообладание. Речь его тогда при-

шшала характер каких-то грозно-пророческих выкриков. Е. А. Лансере обладал даром выводить из себя бедного Биапки, и он не упускал случая его дразнить. Но бесили старика и вольнодумец-либерал дядя Миша Кавос, и консерватор дядя Костя, и скептик дядя Сезар. Зато к моим родителям Бианки чувствовал неограниченное почтение. Потому-то, когда экспромтом ему предложили, не согласится ли он быть моим крестным отцом на конфирмации, он (не теряя своего насупленного вида) принял это с восторгом, увидав в этом высокую честь. При этом Бианки не мог к участию в столь важном таинстве отнестись чисто формальным образом. Он вообразил, что ему поручают не более не менее, как самое спасение души моей, и бог знает, во что это его пестование со временем могло бы превратиться, если бы в этом же году ему не выдалось какое-то наследство от брата на родине и если бы он не предпочел отправиться туда на покой.

Еще несколько слов о Бианки... Увы, покоя Биапки не обрел. Он слишком отвык от мелко-провинциальных нравов и обычаев своей деревушки. Он сразу со всеми стал ссориться, больше же всего со вдовой брата. Непреодолимо его поэтому тянуло обратно

на берега Невы, где, однако, он перед отъездом все распродал, где у него не было ни кола, ни двора. Отчасти этим стремлением можно объяснить то, что когда моя сестра Катя в 1886 г. овдовела — семпдесятипятилетний Бианки в письме по-французски на двадцати страницах сделал ей предложение.

Вероятно, и вообще старого аскета не оставляли уколы в ребро беса, ибо через два года он сочетался браком в Лугано с какой-то своей ком-патриоткой. Гораздо позже причуды судьбы привели нас в ту самую тес-синскую Монтаньолу, в которой находился семейный дом Бианки, о чем я раньше не имел никакого понятия, так как всегда считал, что родина моего старого крестного — Италия. И опять-таки случайно в Монтаньоле я познакомился и с родным племянником Бианки, рассказавшим мне об его последних днях. Оказалось, что он всех досаждал своей сварливостью и постоянно грозился, что уедет и лишит родных наследства. Особенно поразило меня, что Биапки внутри каменного дома племянника выстроил род деревянной избы, нарушившей весь план здания, но якобы спасавшей старика от сырости. В эти годы старческого рамолисмепта к Бианки подобралась какая-то авантюристка, которая и женила его на себе. «Молодые» переселились в Лугано, и там эта женщина вскоре добилась перевода на ее имя всего капитала мужа, завладев коим, она самым бессовестным образом его покинула в обществе своего любовника. Несчастный разоренный Бианки, из гордости не желавший обратиться к родным за помощью, умер вскоре в больнице, в совершенной нищете, и был похоронен в общей могиле. Печально и то, что все привезенные из России негативы, бесценные в документальном смысле,— были перед этим проданы его женой как простые стекла.

Вернусь к описанию церемонии конфирмации. Она происходила под вечер, а не утром, и вышла весьма торжественной. Мы снова были в своих костюмчиках с бантами, а девочки Христовыми невестами в подве-

нечных платьях. Опять потянулись мы процессией и произвели те же движения перед окутанным ладаном алтарем; опять рокотал и гремел орган. Особенную же величественность придавали торжеству присутствие и участие епископа. Этот небольшого роста, довольно тучный человек с огромным орлиным носом и выдающейся нижней губой, в мнтре и с пастырским посохом в руке, стоял наверху ступеней, которые вели к главному алтарю, наподобие какого-то грозного стража. Подходя к нему, я почувствовал настоящую жуть, исчезнувшую

носле того, как вслед за помазанием благовонным маслом я ощутил ту легкую пощечипу, которой закапчивался обряд, причем я успел заметить и огромное аметистовое кольцо на пальце епископа. В целом же конфирмация оставила па мне мепее яркое и глубокое впечатление, нежели первое причастие. Это было торжественно и эффектно, но в этом не было того, что затрагивало душу и сердце. Надо еще сказать, что за эту одну неделю уже успела испариться значительная доля моей «святости». Я, правда, не совершил каких-либо уж очень явных грехов, в общем я продолжал себя вести похвально, по в то же время мне как бы начинала наскучивать такая «образцовость» и особеппо постоянный контроль над собой. Даже утренние и вечерние молитвы я теперь творил без настоящего внимания. В то же время образ Софи стал меркнуть. Я даже не помнил, как я простился с этой девицей после того, как последний раз мы прошлись с ней во время церемонии конфирмации.

А там скоро пошли гимназические экзамены (из второго в третий класс) со всеми их страхами о мучениями, а там наступило лето, и я переселился на дачу к брату Альберу. На даче я еще иногда посещал по воскресеньям ту католическую капеллу, что стояла на берегу залива в Лейхтепбергском парке, но капелла эта была крошечная, съезжалась же туда вся польская аристократия, жившая в Петергофе и его окрестностях, и в тесиом помещении становилось душно. Если вместе с другими запоздавшими я оставался снаружи на открытой галерейке или просто на траве, то, естественно, меня развлекала всякая всячина — и вид моря, куда тянуло поплавать (я только что пачал увлекаться купапьем и гребным спортом), и порхающие бабочки, которые так и просились попасть ко мне в коллекцию, и группы гуляющих, наводнявшие парк в праздничные дни. Тут как раз появится бопна Аделя с детьмп Альбера п с ручной козой Золушкой, направляющиеся па нашу любимую лужайку, что расстилалась за «собственной его величества дачей». О, эта чудесная лужайка с ее изумительными дубами! Какая там была высокая ароматичная трава, какие прыгали большущие и жирные кузнечики, как удобно было там играть в прятки за ветлами у канавки... Соблазн становился слишком великим, если старшая из племянниц делала мне издали знаки, чтобы я присоединился к их компании. Где тут было слушать возгласы священнпка и следить по молитвеннику за ходом службы!

С возвращением зимнего времени я первое время аккуратно посещал вместе с папой мессу, но из удобства и выигрыша времени мы не ездили в прекрасную и торжественную церковь св. Екатерины, а удовлетвори-

II, 14. Первое причастие

лись тем, что слушали раннюю мессу в церкви св. Станислава на Торговой. Но когда я говорю — слушали, то и это не совсем соответствует истине, ибо едва можно было различить, что в торопливом бормотанье произносил священник, прерываемый резкими ударами колокольчика в руках мальчишки, одетого в куцую рубашонку. II десяти минут не пройдет, как уже службе конец, и я ловлю себя на том, что именно этой ее краткости я радуюсь. Во вторую половину зимы, в посту, наслышавшись о великолепных проповедях пэра Женье, мы с мамой стали ездить к св. Екатерине, но там была такая давка, что мамочка была в страхе, как бы нас не задавили, а меня возмущало бесцеремонное толкание польских старушек-богомолок, которым было не до действительно прекрасных французских речей отца Женье, Когда наступила Страстная, папа напомнил мне, что нужно пойти к причастию (он сам никогда его не пропускал), но я пошел за ним без охоты, исповедался какому-то ксендзу без убеждения (уже сознательно скрыв по принятой привычке особенно стыдные грехи). И причащались мы тут же, в самой обыденной обстановке, среди всех прочих, в тусклом полумраке унылого и холодного утра. От этого моего принятия святых тайн до следующего прошло затем целых десять лет, да и тогда я едва ли решился бы превозмочь то, что в таких случаях удерживает хотя бы и верующего, но недостаточно крепкого в вере человека, если бы это не понадобилось в качестве неизбежной «формальности» для нашего бракосочетания...

Самая эта предбрачная исповедь происходила не в церкви, а в кабинете у патера Шумпа в общежитии св. Екатерины. Да и Шуми, за эти годы удивительно «возмужалый», отрастивший себе бороду во всю щеку, совсем больше не походил на прежнего, на юного святого с картины Сурбарана. После вынужденного отъезда пэра Жепье '*, он унаследовал всю светскую и великосветскую паству последнего, но мягкий, слишком добрый и любезный, он не сумел себя оградить от мирских соблазнов и постепенно привык ко всевозможным компромиссам. В беседе с ним поминутно слышались самые мирские нотки, которые, вероятпо, его самого возмущали бы в былое время. ÍI мне тогда он всячески облегчил «неизбежную формальность». Вопросы на исповеди он задавал самые ребяческие, точно перед ним пе двадцатичетырехлетний мужчина, готовившийся стать супругом, а все еще тот мальчишка, который сидел на уроках пэра Женье...

** Ходили тогда слухи, что он был отозван по требованию

русского правительства после того, как «переманил» в католичество нескольких особ из высшего обще-«юа.

460

ïj, 15. «Наверху»

Глава 15 «НАВЕРХУ»

Брат Альбер, живший со времени своей женитьбы в 1876 г. в разных частях города, а в последпие два года в близком от нас соседстве, в доме Войцеховского, выходившем па площадь Николы Морского, переселился осенью 1882 г. в прародительский дом. Для этого пришлось выселить из верхней квартиры стародавнего ее жильца доктора Реймера, аккуратненького, необычайно вежливого господина, и эта операция доставила моим родителям еще большие страдания, нежели выселение за два года до того Свечинских, Но уж очень хотелось маме иметь своего старшего сына около себя, да и Альберу уж очень захотелось оказаться спова под одним кровом с ней. При всем легкомыслии и некоторой «ненадежности» в чувствах Альбера, его никак нельзя было упрекнуть в безразличии к родителям; напротив, он их обоих любил не меньше пас всех, но, разумеется, выражались эти чувства в нем по-особенному, с каким-то, я бы сказал, итальянским «пафосом», куда менее спокойно, нежели у сестер ц у прочих братьев. Впрочем, известное сходство в выражении сыновней пежио-сти существовало между им и мной: ведь и во мне «итальяшцина», особенно в детстве, сказывалась очень сильно.

Для меня переселение Альбера к нам в дом приобрело огромное значение. До того я у него бывал редко и всегда с родителями, теперь же открывалась возможность посещать его, когда мне захочется, и хотя бы десять раз в день! Стоило только подняться па двадцать три ступени по черной лестнице, и я уже оказывался у кухонной двери брата, а оттуда прямой ход по коридору приводил либо в большую белую залу, где я его или его жену часто заставал за роялем, либо в его кабинет, где он с таким мастерством готовил архитектурные проекты или заканчивал свои акварели, либо, наконец, в «детские», где находил своих двух племянниц и их маленького брата. Старшей—Масе (впоследствии вышедшей замуж за композитора Н. II. Черешпша) было около семи лет, но эта удивительно хорошенькая девочка была для своих лет необычайно развита и выглядела гораздо старше своих лет; ее сестре Милечке (впоследствии «генеральше Хорват») — плотненькой, немного приземистой, всегда веселой и шаловливой — было около пяти; трехлетний Аля был толстеньким карапузом на немного кривых ножках, которые, впрочем, очень скоро совершенно выпрямились. Что же касается до четвертого ребенка Альбера и Маши, крошки Коли, то он только предыдущим летом явился на свет и, естественно, что он

эти первые годы своего существования никакого интереса для мепя не представлял. Настоящей участницей мопх забав (в играх, в беседах, в чтении) сделалась одна только Мася, но и то не сразу, а постепенно; в особенности с весны 1883 г., с того момепта, когда я стал подолгу гостить у брата на лаче под Петергофом. За детьми присматривала немецкая бонна Алел я — особа уже не первой молодости,

//, 15. «Наверху»

461

склонная к баловству и к шутовству, охотно подчинявшаяся и самым диким фантазиям своих воспитанников.

Весь уклад жизни Альбера стал очень скоро оказывать на меня bo3` действие и непреодолимую силу притяжения. В целом быт «наверху» резко отличался от нашего «нижнего». Это мне особенно и нравилось. Насколько наш уклад носил характер чего-то патриархального, тихого, чуть даже строгого и чинного, что вполне отвечало и годам моих родителей и их природной склонности к чему-то спокойному и уравновешенному,— настолько альберовский дом являл черты известного... «оргиазма» и «анархизма». Здесь царили артистическая свобода и беспечность, а это особенно нравится в детстве и в юности. В человеческой натуре живет столько еще мятежного, стихийного и дикого! Для того, чтобы как-нибудь укротить эту дикость, требуются годы, в течение которых мы постепенно начинаем ценить навыки того, что выработала многовековая культура, создавшая сложную систему правил для сносного и даже приятного сосуществования людей. Я же был тогда довольно пеобузданпым, очень до всего лакомым и любопытным мальчиком, а мою домашнюю «дрессуру» никак нельзя было назвать ни образцовой, ни выдержанной. И вот, моим .мятежным порывам, моему любопытству и жажде развлечений альберовский быт и потворствовал в сильнейшей степени. Я находил там всяческую поблажку и поощрение своим, подчас и очень странным фантазиям. Сам Альбер был моим великим поощрителем. В этом тридцатилетнем «муже» оставалось масса детского, и эта детскость сказывалась как в его ненасытной потребности в забаве, так и в удивительной способности организовать всевозможные развлечения, так и в его взглядах на семью, на обязанности супружеской жизни, на супружескую верность и т. д. Достойной парой ему являлась его жена Мария Карловна — женщина в полном расцвете сил и красоты, веселая, склонная ко всякого рода балагурству, добродушная, очень неглупая, порядочно начитанная, а к тому же столь же превосходная пианистка, сколь превосходным художником был ее

муж. И он н она естественно притягивали в свой дом самых разнообразных представителей искусства, литературы, музыки и просто «света». В то же время оба были самыми гостеприимными хозяевами. Дом их был всегда открыт для друзей, а в разряд друзей попадал почти сразу всякий, кто появлялся у них на горизонте, кого они умели приручить и заставить себя чувствовать, как дома.

Но кроме этого, быт альберовского дома был разукрашен всевозможными и весьма частыми праздниками. Не говоря уже об именинах и рождениях, по всякому поводу наверху устраивались обеды и завтраки, а по вечерам более или менее интимные «танцульки»; а раз в году непременно грандиозный маскарад, для которого многие (и особенно художники) норовили придумать особенно пикантные,, смешные и роскошные костюмы. Самый пышный из этих маскарадов был устроен на Масленой в 1883 г. В этот вечер альберовский зал среди бала в один миг (как в театре) превратился в ярмарку, с сотнями фонариков, с гирляндами цветов, свешивавшихся с потолка, а в каждой двери появилось по лавоч-

ке, в которых шла шуточная торговля всякой потешной ерундой. Хозяйка дома щеголяла в очень рискованном и очень оголенном туалете наяды, а Альбер носился по всем комнатам, наряженный (с полным на то основанием) волшебником — в длинную черную, усеянную звездами, мантию* Да и я был не плох в виде маленького Мефистофеля — весь в красном, с традиционным перышком на остроконечной шапочке. Этим костюмом я был чрезвычайно доволен, часто наряжался в него и в будни; именно в нем я приобрел ту отвагу, которая понадобилась для моих первых любовных атак...

Но кроме всей свободы, безалаберности и какой-то непрерывной праздничности, меня тянула наверх и чисто художественная сторона. Альбер периодически устраивал перед гостями демонстрацию, своих новейших работ, а таковых у него набиралось особенное множество после каждой его поездки. В летнее время он совершал путешествия по России, в другие времена года — по чужим странам. Так оп за сравнительно короткий период два раза объехал север Италии, один раз спустился до Сицилии (из Палермо он привез одну из своих самых удачных акварелей, изображающую Монте Пеллегрино), побывал он и во Франции, и в Англии **, а в 1884 г. проехал в Алжир до Бискры, что тогда могло сойти за нечто вроде подвига... Об его чудесных импровизациях я уже не раз упоминал; их я

слышал теперь снизу из своей «Красной» комнаты. При первых же аккордах я бросал все и летел наверх, чтобы хорошенько наплясаться — при соучастии моих племянниц, а иногда и братьев Марии Карловны — Володи и Пети. Я уже рассказал про игру моей невестки и про то, что я ее не очень долюбливал. Особенно меня раздражали нескончаемые экзерсисы, гаммы, арпеджио или повторения одного и того же не дававшегося ей пассажа. Однако, когда Маша играла что-либо начисто, то это доставляло мне удовольствие. Благодаря ей я впервые оценил такие вещи, как некоторые сонаты Бетховена, «Лесной царь» Шуберта и его вальсы в переложении Листа и особенно увертюру «Тангейзера» (в переложении Таузига). Но играла она и другую музыку, которая нынче едва ли нашла бы одобрение,— как блестящие фантазии Листа на вальс из «Фауста» Гуно, на финальный квинтет «Риголетто», как танец воинов из «Нерона» Рубинштейна (этот танец вслед за ней и я одолел), и только концерт Направника, который Маша разучивала специально для того, чтобы заручиться расположением автора, я терпеть не мог — может быть, и без основания.

Но импровизациями Альбера и разучиванием серьезной музыки Маши не ограничивалась музыкальная жизнь «наверху». Еще один член тамошнего «общежития» — постоянно гостившая у Альбера его невестка Соня

** В Лондоне Альберу был устроен необычайно радушный прием братом нашего аятя Эдвардса Жоржем, тогда владевшим несколькими театрами, в одном из которых шла оперетка «Court of Justice» [«Дворец Правосудия»], пользовавшаяся необычайным успехом. Альбер запомнил многие мотивы из нее и часто вплетал язг в свои импровизации.

II, 15. «Наверху»

463

(бывшая лет на десять моложе Маши) обладала на редкость «роскошным» голосом и готовилась стать певицей, знаменитой певицей. Ей пророчили, что она затмит Дюран и Зембрих — ив этом ее усиленно поддерживал ее профессор, старичок Кореи. Вставала эта склонная к лени шестнадцатилетняя толстушка довольно поздно и сразу, уединившись дабы не мешать ни сестре, ни зятю, в ванной комнате, она принималась за вокализы или за разучивание всяких арий — для ее будущего оперного репертуара. Но вот — эта «ванная» в квартире Альбера приходилась как раз над моей комнатой, и потому (а также вследствие звонкого голоса певицы) я волей-неволей слышал каждую ноту. В часы, когда я находился в гимназии, это не имело значения, но как раз в те дни, когда, прикинувшись больным, я

оставался дома и собирался заняться чтением или позабавиться каким-либо интересным делом, я принужден был с десяти часов выносить настоящую пытку — и тогда я посылал бедной, ни в чем неповинной Соне отчаянные проклятия — ведь я так несчастливо устроен, что всякая музыка отвлекает мое внимание, и хотя бы такая, которую я ненавижу. В то же время пение этой, в общем симпатичной и довольно, несмотря на склонность к полноте, красивой девушки постепенно меня заражало. Я как-то, помимо сознания, проходил, благодаря ей, своего рода «систематический курс пения» и, проходя его, открыл в себе богатые голосовые средства и возможности. Голос у меня — тринадцатилетнего мальчика — был еще дискантовый, но именно потому я мог усвоить весь Сонин репертуар. Родись я двумя веками раньше, надо мной, пожалуй, была бы произведена известная операция, и тогда я сделался бы соперником какого-нибудь Фаринати * или другого бесполого виртуоза. Так я с легкостью брал сразу и си, и до и даже ми, изумляя Соню своими трелями, а спеть какую-либо арию из «Фаворитки», «Мипьоны» или «Севильского цирюльника» было для меня сущим пустяком. Многому я также научился, бывая по-прежнему еженедельно в итальянской опере и наслаждаясь голосовыми фокусами Марчеллы Зембрих или синьоры Репетто. Все же никакой существенной пользы я себе из всего этого не извлек, а после того, как года через два у меня надломился голос и я заговорил басом, я и вовсе отвернулся от благородного искусства пения...

Но музыка музыкой, а все же не в ней и не во всей художественной атмосфере альберовской квартиры заключалась основная ее приманка, пожалуй даже и не в обитателях ее, а в том, о чем я уже упомянул,— в каком-то духе вящей свободы, в забавной бесшабашности, в отсутствии какой-либо стеснительной дисциплины. В этом отношении согласие между супругами было полное, и черты эти получили особую прелесть в особе моей невестки, с которой у меня тогда завязался, несмотря на почти двадцатилетнюю разницу в годах, род пастоящей дружбы. Одно время я даже вбил себе в голову, что я влюблен в Марию Карловну, а начитавшись всякого вздора, мне такая «преступная влюбленность» как-то нравилась своей греховностью. Но затем эта блажь, не встретив ни малейшего поощрения, прошла сама собой, после чего все же наша

дружба продолжалась несколько лет. Кончилась она только тогда, когда Мария Карловпа выступила противницей моего романа с ее младшей сестрой Атей, романа, оказавшегося

настолько сильным, что все козни против нас ни к чему не привели. Но об этом рассказ будет подробней в своем месте.

Более всего меня пленило в Марии Карловне (без того, чтобы я в то время отдавал себе в этом отчет) вечно женственное — типично женское отсутствие последовательности, какая-то смесь коварства с чистосердечной искренностью. Правилась и ее способность всем интересоваться и все же оставаться абсолютно далекой от какого-либо педантизма и вообще от какого-либо более глубокого вникания в предмет. Беседа с ней на самые разнообразные темы — будь то музыка или искусство, театр или светские сплетни, рассуждения о боге, о самых основах бытия, о морали и о порочности — была сплошным дилетантизмом, иногда сдобренным порядочной долей цинизма, но беседовать с ней было весело — особенно при ее манере перескакивать с одного предмета на другой, внося в каждую новую тему одинаковую страстность и живость! О чем только мы ни говорили, что только ни доказывали, до каких высот ни добирались, до каких бездн ни брезгали спускаться! Альбер в этих ежедневных словопрениях (обыкновенно вечерних, когда дети уже были уложены спать) участия не принимал. Ему было мало дела до всякого мудрствования. Зато очень любили вступать в словесное единоборство с Марией Карловной ее поклонники, а их постепенно образовался целый рой.

Вообще гости в доме старшего брата не переводились. Я не помню в эту эпоху (1883—188G) завтрака или обеда «наверху», за который пе садилось бы человека три-четыре посторонних. Были среди них такие, которые были как бы абонированы и которых можно было встретить там чуть ли не ежедневно. Таковыми были глуховатый шутник Лебурде, милейший горбунчик С. С. Гадон, друг многих петербугских дам, которых притягивало и его мпимо-злобыое остроумие, и его прелестпое лицо, так странно посаженное на кургузое его туловище; таков был еще блестящий флигель-адъютант Христофор Платонович фон Дерфельдеи и еще кое-кто. Но были и такие, кто появлялись как-то неожиданно, а недели через три исчезали бесследно. Альбер и их величал своими «лучшими друзьями», причем я убежден, что в эти минуты ои сам верил в эту дружбу... хоть иногда в точности и не знал, как их зовут и кто они такие!

Еще больше гостей у Альбера и Маши бывало летом, в дачной обстановке, где многие оставались ночевать, а то и проводили несколько дней под гостеприимным кровом моего брата и в той чарующей атмосфере, которую без всяких усилий умела создавать его жена. Такое присутствие многочисленных гостей приняло прямо хронический характер, когда Альбер, начиная с лета 1883

г., стал жить в «открытой» им деревушке Вобыльской, находившейся в двух верстах от Петергофа и расположенной у самого берега Финского залива, между двух обширных парков. Тот, что лежал на запад, входил в состав так называемой «соб-

ственной его величества дачи» и сливался с еще более пространным парком герцогов Лейхтенбергскнх, а тот, что лежал на восток, принадлежал пршщу А. П. Ольденбургскому и его супруге Евгении Максимилиановне (дочери в. к. Марии Николаевны). Гостил и я у Альбера и Маши в Бобыльской иа правах ближайшего родственника, но, в сущности, я и не гостил, а жил месяцами, имея свою комнату и все предметы, без которых я не мог обходиться. И, разумеется, воспоминания, связанные у меня с этим моим пребыванием, принадлежат к самым чудеспым в моей жизни! Начать с того ощущения какой-то стихийной легкости, которая была вообще присуща моему возрасту. Я только что вступал в отрочество. В эти годы обладаешь способностью уходить с головой в любое увлечение, а у меня уживалась их целая масса — начиная с влюбленности в разных девочек, которым, хотя и было еще меньше лет, нежели мне, по которые «умели отвечать на мои чувства», и кончая всяким вздором. вроде собирапия марок или насекомых 2*. Ах, каких я изумительных громадных кузнечиков ловил на дубовой полянке. Как безжалостно я их и всяких жуков п бабочек иашпилпвал па булавки, предварительна умертвив их эфиром (а однажды на берегу моря я словил и скорпиона, честное слово — то был скорпион!). Какие волшебные прогулки я совершал, бродя по тенистым, в лес переходящим аллеям Лейхтенбергско-го парка и добираясь по шоссе до Петергофа и вступая под сень Нижнего сада или Английского парка. И еще какое наслаждение — пожалуй, наиболее сладкое и острое — купанье в море! Стоило сделать шагов тридцать от калитки Альберовской дачи, перейти через береговую дорогу, спуститься по невысокому валу из крупного булыжника, и уж иод босыми ногами ощущаешь плотный песок, а еше через пять-шесть шагов на пальцы ног начинает набегать нагретая солннем волна! Любители и виртуозы купанья жаловались на то, что в Бобыльске приходится идти очень далеко, пока глубина воды не окажется достаточной для плавания, но я плавать не умел (так и не паучился), и с меня было довольно того, что я, барахтаясь в теплой и все же освежающей стихий или лежа на спине, ощущал ласковое прикосновение медленпо скользящей по мне воды. В последующие годы у каждой дачи в Бобыльске были построены

мостки, а на концах их раздевальные будочки (эти жиденькие постройки придавали под вечер что-то японское пейзажу), но в первое наше бобыль-ское лето (1883) такие мостки с купальней были только у дачи богатого фабриканта Сан-Галли, и туда были приглашены купаться наши дамы — Маша и Соня и вообще взрослые из Альберовской компании. Напротив, я все еще пользовался «привилегией мальчика», хотя и перерос обоих своих родителей и многое познал такое, что «мальчику еще рано знать». Поэтому я позволял себе вольность, завернувшись в простыню на голое тело, подобно античному греку, шествовать до воды и, дойдя до нее,

** Да не подумают, что я так пренебрежительно отзываюсь о филателии или о науке энтомологии. Вздором это собирательство было у Шурснъкп Бснуа тринадцати лет и оставалось вздором, впрочем, чрезвычайно его поглощавшим, до пятнадцати.

466//> *15. «Наверху»*

скинув свой гиматион, предоставлять все части тела беспрепятственному-лобзаиию солнца, воды и зефиров. Немного позже, впрочем, у меня с Володей и Петей Кинд появилась манера выезжать на рыбацкой лодке подальше в море, там бросать якорь (необходимо, однако, было, чтобы я продолжал чувствовать дно под ногами) и спускаться в воду; но вылезать из воды обратно в лодку было довольно мучительно, и потому этот способ не имел большого успеха у меня.

Никогда рапьше я серьезно не пробовал своих сил в гребле (прогулки по каналам и прудам Кушелевки в счет не идут), а тут, движимый примером друга Володи, я как-то присоединился к нему, чтобы сдвинуть с места тяжелую рыбацкую лодку, и это показалось мне не столь уж трудным и чем-то даже очень занятным. Через неделю мы с ним уже плавали в этой лодке довольно далеко вдоль берега, забираясь в густые тростники, наезжая на те бесчисленные подводные камни, которыми усеяны берега Финского залива.

Альбер не мог оставить эти паши забавы без какой-то (шуточной) регламентации и без того, чтобы самому не принять в них участия. Очень быстро он образовал из мальчиков нашего возраста, сыновей соседних дачников (тут были представители фамилий Штейпер, Кроте, Нэбо и др.), своего рода маленькую команду, нанял у рыбаков нужное количество лодок и сам возвел себя в чин адмирала. Он только что тогда научился ряду морских терминов, а мы — матросы — слушая его командные крики и боцманские свистки, выучились «класть весла на воду», «табанитв», «брать весла на валёк» и т. д. Для себя Альбер неизменно брал лодку, в которой матросами были Володя и я, и

мы в качестве «адмиральского судна» торжественно плыли впереди других, не допуская, чтоб лодни Нэбо или Штейнеров нас обгоняли. Чтоб особенно отличить нашу адмиралтейскую лодку от других, нам были сшиты особые красные костюмчики, на головы же мы получили тоже красные фуражки наподобие польских конфедераток. Наконец, па малепькой мачте нашей лодки развевался какой-то фаптастический «адмиралтейский» флаг, а с кормв1 к воде свешивался трехцветный национальный.

Альбер гордился своей флотилией, и особенно он радовался, когда в праздничные дни мы гуськом плыли к Купеческой пристани Петергофа (верстах в двух от Бобыльска), дабы встретить и отвезти к нам на дачу прибывших на пароходе из Петербурга приглашенных к завтраку или к обеду 3*. Надлежало как можно ближе подойти к надвигавшейся гро-

Как раз с 1883 г. стали ходить между Петербургом и Петергофом два новых, в чужих странах построенных, парохода. Их кормовые половины (1-й класс) были снабжены верхпей палубой и верхними каютами; под капитанским мостиком была устроена ванная (одно время я из мальчишеского спобизма брал такую ванну, что сокращало время пути). Превосходно был налажен ресторап-буфет, и нередко я, обладая юной ненасытностью, пожирал в нем чудесные бифштексы по-гамбургски и т. п. В эту эпоху путешествие в Петергоф морем пользовалось популярностью, особенно среди придворпых и василеостротзскпх коммерческих людей, из которых многие имели в Петергофе свои собственные, часто роскошные дачи.

II, 15. «Наверху»

467

маде (о, как начинало тогда качать на волнах, образованных сочно чмокающими лопастями пароходных колес!) и, поставив весла вертикально кричать во всю мочь «ура!». Пассажиры на пароходе едва ли бывали особенно поражены такой демонстрацией, но нам, и особенно самому Альберу, казалось, что эффект получался колоссальный. Вслед за тем, подъехав к сходу дамбы, мы принимали в лодки гостей и плыли обратно в Бобыльск. Вот этот обратный путь был гораздо утомительнее. Отяжелевшая наша ладья то и дело наезжала на мели или на подводные камни, и в таких случаях приходилось нам, матросам, снимать обувь и, засучив штаны под самый живот, слезать в воду и изо всех сил толкать лодку, пока она не сдвинется с места. У бедной нашей мамочки при таких похождениях делалось такое лицо, точно мы и впрямь терпим кораблекрушение, но Альбер, не теряя присутствия духа, продолжал отдавать распоряжения с классическим спокойствием морского волка. Несмотря па свои

тридцать лет, на свое положение отца четырех детей, он забавлялся еще пуще нашего. Впрочем, он и не мучился так, как мы. Шутка сказать,— прогрести подряд две версты в один конец и две — в обратный, да еще получив значительную нагрузку! Немудрено, что мы с Володей доплывали до Бобыльска совершенно уморенные, обливаясь потом, с лицами не менее красными, нежели наши костюмы.

* * *

Одно событие, произошедшее среди лета 1883 г. в нашей семье, способствовало тому, что Альбер, а за ним и я с Володей, «заделались моряками». В июле вернулся после своего кругосветного плавания наш брат Мишенька — мичман флота Михаил Николаевич. Пошли всякие чествования его, и естественно, что это повело к сбижению нас с рядом его товарищей по плаванию на клипере «Пластун». Из них особенно часто стали бывать у Альбера и Маши красавец Патрикеев, мягкий, нежный князь М. С. Путятин, до смешного близорукий бородач Виноградов, строгий, малодоступный Полис. Но еще за несколько месяцев до того один офицер с той же эскадры, получив официальное поручение, прервал кругосветное путешествие и прибыл в Петербург, привезя с собой от Мишеньки поклоны и кое-какие подарки. Дальше я расскажу, какую роль суждено было сыграть именно этому М. С. Истомину в семейной жизни Альбера; здесь же достаточно будет, если я скажу, что все эти господа, морские офицеры — то в белых летних кителях на даче, то в темных с золотыми пуговицами сюртуках в городской обстановке,— стали года на два, на три самым обычным у нас элементом и, в частности, придали альберовскому дому совершенно особый характер. Эта морская молодежь, с своей стороны, прямо влюбилась в моего брата, в его радушие, в ту радость, которую излучал Альбер. Некоторые стали совершенно своими людьми, другие оставались на несколько более официальной ноге.

Наконец, тому же странному преобладанию морского элемента в этот период жизни Альбера послужило то, что как раз тогда государь Алек-

сандр Ш через воспитателя своих детей, нашего свойственника Чарльза Хиса, познакомился с художеством Альбера, чрезвычайно оценил его и пожелал, чтоб сам художник лично сопутствовал ему во время летних плаваний по финским

шхерам. Первое такое плавание произошло в том же году, и с тех пор Альбер каждое лето бывал удостоен высочайшего приглашения. Продолжались эти царские плавания несколько недель, и происходили они в составе флотилии с большой царской яхтой «Царевна» во главе. Альбер, если память мне не изменяет, получил посюялиую каюту на небольшой пароходной яхте «Славянка», но почти ежедневно бывал приглашаем к царскому столу и после обеда принимал участие в совершенно непринужденной беседе в кают-компании «Царевны», услаждая иногда слух августейших хозяев импровизациями на рояле и забавляя их музыкальными пародиями или фокусами, на которые он был большой мастер. Во время же частых остановок он участвовал в пикниках, до которых и государь и государыня были большими любителями, причем он тогда же фиксировал в акварели тот или другой живописный уголок, изумляя всех своей виртуозной быстротой и редкой верностью глаза. Многие такие акварели приобретались царской четой, (уже в Петербурге) и часть их посылалась в дар родителям императрицы в Данию. Возвращался Альбер с таких экскурсий в очень приподнятом настроении, и его рассказы обо всем виденном, слышанном и пережитом знакомили нас с тем замкнутым и полным своеобразной прелести миром, куда он был допущен. Альбер с тех пор и в городе бывал в Аничковом дворце, куда ему был открыт доступ помимо обычных правил придворного церемониала.

Знакомство с оттенком дружбы, что завязалось у Альбера с командным составом яхты «Царевна», стоявшей все лето на Петергофском рейде (грациозный силуэт ее был мне до того знаком, что и я мог нарисовать его наизусть), получило свое увенчание в той авантюре, о которой я сейчас расскажу. Уже несколько раз господа офицеры «Царевны» приглашали Альбера и его близких провести вечер у них, но на сей раз за нами должен был прибыть большой парусный бот, на нем мы совершили бы предварительную прогулку по морю до Кронштадта, а к 9 часам этот бот доставил бы нас на «Царевну», к ужину. Программа представлялась весьма соблазнительной, по выполнение ее представило неожиданные и весьма неприятные особенности. Как раз тогда, когда бот показался на траверсе Бобыльска, небо затянулось черными тучами, поднялся ветер, и море покрылось «барашками». Однако было поздно отменять прогулку (ведь никаких радиопередач тогда не существовало), и пришлось-таки нам с Володей на нашей лодке отправиться к стоявшему в четверти вер-cib[от берега боту, не имевшему из-за недостаточной глубины возможности приблизиться к берегу. Дамы (Маша и Соня) стали было про-тесювать, но Альбер остался

неумолим — нельзя же было нанести такую обиду милым, радушным офицерам. И вот, скрепя сердце, мы и поплыли — я и Володя на веслах, Альбер у руля, обе дамы рядом с ним. Плавание это оказалось далеко не столь простым и легким, как наши

обычные прогулки. Ветер дул все сильнее нам навстречу, волны становились все выше, и нужно было напрягать особые усилия, чтобы их правильно перерезать! Плыли мы не десять минут, как рассчитывали, а целых полчаса. Качало немилосердно, и обе наши дамы заболели, а мы совершенно выбились из сил. Когда же, наконец, мы подплыли к боту, то потребовалась вся сноровка бывших па нем двух офицеров и нескольких матросов, чтобы нас, одного за другим, пересадить, точнее, перебросить, с одного судна па другое, причем надо было ловить момент, когда уровень крупного судна и уровень нашей утлой лодчонки на секунду равнялись. И ловкие же парии были эти матросы! Двое из них спрыгнули к нам в лодку; схватывали нас и с кажущейся легкостью передавали с рук на руки!

Нечего было и думать продолжать намеченную прогулку, нечего было и рассчитывать на то, чтобы сдвинуться с места, ибо буря не позволяла поднять ни одного паруса. Бот, стоя на якоре, плясал, как одержимый, палубу то и дело окатывала волна; дамы спустились в каюту, но оттуда, преодолевая шум ветра и волп, доносились отчаянные их стоны и крики. Зажгли фальшфейеры, в ответ на них па «Царевне» (но не сразу) взвилась ракета; это значило, что нас увидали, что нам пришлют помощь. 11. действительно, скоро по волнам заскакали огоньки приближающегося парового катера. О, как я оценил тогда преимущество Фуль-тоновского изобретения перед самыми прекрасными благородными системами парусного плавания! В конце концов, все обошлось благополучно. Нас снова «перебросили» с бота на пыхтевший рядом пароходик4*, а еще через несколько мипут мы уже взбирались (бедные паши дамы, в каком они были виде!) на «Царевну». Там нас одели в сухие одежды (дамские платья отправили в кухонное отделение для просушки у очага, а пока они должны были довольствоваться, на маскарадный манер, одеждами матросов, что придало всему лишнюю пикантность). На том же катере мы были доставлены затем до «Купеческой гавани», но до дому пришлось добираться пешком, так как в столь ранний час нельзя было и думать об извозчиках. Это возвращение оставило, впрочем, во мне и в Володе неизгладимое и весьма пленительное воспоминание. Очевидно, действовал контраст со всеми прежитыми ужасами, а

может быть, и те несколько бокалов шампанского, которые были выпиты за взаимное здоровье. Солнце уже медленно поднималось по совершенно очищенной лазури. Из садов, лежащих вдоль шоссе, текли дивные запахи цветов, в деревьях Ольденбургского парка птицы неистово заливались на самые разнообразные лады; в радостных, розоватых утренних лучах все казалось вымытым, точно покрытым свежим лаком. Лишь ветки, валявшиеся на дороге, говорили о только что пронесшемся шквале.

4* Наша лодка была привязана к боту.

470

Ну 15. «Наверху»

* * *

Помянутый только что М. С. Истомин, тогда г чине лейтенанта, обладал характерно российской наружностью. Широкоскулое лицо, монгольские хитрые голубоватые глазки, не «очень отчетливо» обрисованный нос, белокурая, еще юная борода, стриженная с намеком на бакенбарды, не сходившая с пухлых губ не то насмешливая, пето приглашающая улыбка. При этом стройное сложение, раскачка в походке и сиплый, точно с перепоя, голос. В общем, определенный «сердцеед», обладавший большим остроумием. Он сознавал свою неотразимость, свой победительный шарм, но отнюдь не щеголял этим, а скорее прикидывался славным, беспечным простаком. Как уже упомянуто, он прибыл в Петербург еще зимой, а к лету, когда вернулся и наш Мишенька, Истомин был уже совершенно своим человеком в доме Альбера, который в нем души не чаял. Проводил он «наверху» целые дии, с завтрака до ужина, и то слонялся по комнатам, без церемонии заглядывая и в спальню, и в детские, то сидел под боком у работающего Альбера, рассказывая ему свои путевые впечатления (рассказывать он был мастер), то пускался с Марией Карлов пой в споры на самые разнообразные темы, чаще всего обсуждая произведения литературы, преимущественно русской. Вопрос о виновности друг перед другом героев Тургенева и Достоевского, Пушкина п Лермонтова, ожесточенные попытки *оправдать* или обвинить «его» или «ее», приводили между ними даже к чему-то вроде ссор. Истомин становился неприятным, бичующим с высоты какой-то им самим сочиненной морали, Маша обижалась за своих любимцев,— и все это в освещении тогдашнего обязательного свободомыслия и «непризнания предрассудков».

Такое положение длилось в течение двух лет. Оно, видимо, не тревожило Альбера, который, со своей стороны, продолжал свои ухаживания за любой попавшейся ему па пути «юбкой». Но не так стали относиться к этому разные близкие люди и среди них жена брата Леонтия—«другая Машенька>>. Она являлась, несмотря на свои элегантные манеры и апглийский язык, типом, выхваченным из Островского пли Мельннкова-Печерского. Постепенно (особенно во время летних пребываний) войдя в доверие Марин Карловны, Мария Александровна окружила свою невестку целой сетью наблюдений, приведших ее к убеждению, что «дело с Истомипьтм» обстоит неладно, что под всем этим «что-то есть». Ие обошлось и без характерно женской провокации и усилий добиться, «по дружбе», каких-то признаний. А там

началось «наведение на подозрение» наших родителей и самого Альбера, который, вероятно, предпочел бы, чтоб его оставили в покое, чтобы ему не открывали глаз, считая, что поведение жеиы устраивает его собственные дела. Наконец, в 1885 г. положение обострилось настолько и многое стало «до того очевидным», что Альбер с женой завели две спальни. А потом произошла размолвка и между Истоминым и Машей. Истомин попытался было высказаться в художественной форме — он сочинил пьесу, которая была дана на сцене театра Неметти иа Офицерской. Но пьеса (кажется, то

II, 15. «Наверху»

471

была драма), прескверно сыгранная любителями, провалилась, и эта неудача окончательно омрачила существование молодого человека; разнесся слух, что он пытался покончить с собой... А затем (около 1887 г,) Истомин и вовсе исчез, и о дальнейшей его участи мне ничего не известно.

* * *

Мамочка сначала радовалась, что вот Шуренька нашел себе в доме старшего брата развлечение и отдых, но затем она стала все менее одобрительно взирать на мои учащавшиеся посещения «верха» и на мою «дружбу» с Марией Карловной. Когда я впал в ту мелапхолическую одурь, о которой я рассказал выше, то она oxoiho приписала это дурному влиянию своей невестки и даже имела с ней на этот счет объяснение, которое, естественно, ни к чему не привело. Бедная мамочка была на ложном пути — ведь Мария Карловна была совершенно ни при чем в этом моем кризисе. Вообще же я должен был в те годы безжалостно мучить свою обожаемую мать. Ее не могла не пугать моя скороспелость и то, что в четырнадцатилетием мальчике появились повадки юноши, отведавшего всех соблазнов жизни. Однако не по вине Марии Карловны я стал таким, а благодаря чтению и своеобразному восприятию прочитанного. Было и много напускного, какого-то «театра для себя». Мне нравилось корчить из себя порочпого, таинственного развратника. Я даже стал горбиться, волочить ноги, странно, с надрывом кашлять. На улице стал я появляться в довольно неожиданных нарядах, приставляя к глазу где-то найденную лорнетку, а однажды прогулялся по всей Морской в образе патера, шествовавшего уткпув пос в молитвенник. И в самом говоре моем появились тогда всякие «гримасы». Я вдруг принимался говорить фальцетом,

подслушанным у актеров нашего французского театра. Единственная вина Марии Карловны (если только это можно назвать виной) заключалась в том, что она, как старшая, не только не удерживала меня, не журила, а скорее забавлялась моими выходками, находя в них много пикантного и, пожалуй, кое-что и талантливого. Не прочь во время часто импровизированных полночных пирушек был я выпить (поощряемый Истоминым) лишнее, и тогда мое ломание переходило всякие границы; я нес безобразно циничную чепуху, мешая русскую речь с английской и с французской. Я переживал тогда, в полном смысле слов, «неблагодарный возраст» 5*.

В дальнейшем я, вероятно, еще не раз буду заглядывать в квартиру Альбера и Маши, так как именно в ней начался и получил свое первое развитие тот роман, которому было суждено стать моим «романом жизни», но здесь я хочу упомянуть про еще одно из любимых препровождении времени «наверху», а именно — об увлечении Марии Карловны спиритизмом!

age ingrat *{франц.)* — переходный возраст,

472*Н> tö· «Н&«ерху»*

Маша была вообще склонна придавать значение «общению с потусторонним». Так, довольно часто она посещала профессиональных гадалок и слепо верила их вещаниям. Любила она слушать и разговоры про всякие чудеса, происходившие в обыденной обстановке, и все это невзирая на то, что, как верное дитя своей эпохи материализма, она должна была бы такие россказни презирать. Таким же уклонением от «разумных принципов, достойных просвещенного XIX века», являлась и ее страстишка к столоверчению п к прочим попыткам входить в контакт с миром «неведомых, но пребывающих вокруг нас духов». Спиритические сеансы особенно участились «наверху» с 1884 г.— и это, вероятно, связано с тем, что сама Мария Карловна, после нескольких лет довольно ровного супружеского счастья, как раз как-то запуталась, сбилась с толку. Аль-бер никогда участия в этих сеансах не принимал и относился к ним скептически. Напротив, я, усердный читатель Дюма-отца и немецких романтиков, помешанный на трагедии Грпльпарцера «Праматерь», только что получивший глубочайшее впечатление от спектаклей Томмазо Саль-шиш (особенно от сцен с привидешшми в «Гамлете» и в «Макбете*), я стал верным участником этих радений. В компании Марин Карловны, ее сестры Сони, ее брата Володи и Истомина я просиживал часы в потемках за одноногим столиком, топчась, увлекаемый им по комнате или прислушиваясь к тем ответам, которые «вселившийся дух»> давал посредством ударов ножкой столика

по паркету.

И тут же я должеп покаяться, что весьма часто это был я, кто толкал стол п кто его наклонял для получения ударов. В то же время я не сомневаюсь, что и все прочие участники, и в первую голову наша верховная жрица Мария Карловна, занимались такой же мистификацией. Спрашивается, что могло в таком случае нас побуждать продолжать заниматься обоюдным надувательством? Ведь не те заверения, которые слышались то от одного, то от другого, что он де нли она не «жульничает». Получая такие заверения, каждый из нас знал, что и он не безгрешен в том же обоюдном обмане. Но вот таково прельщение, оказываемое па людей загадкой окружающей нас тайны, что даже ребячески-шаловливое и основанное на обмане решение этой загадки может не только тешить, но, в известной степени, и удовлетворять.

И вдруг наши радения за столиком получили совершенно неожиданное завершение, тем более нас изумившее и напугавшее, что месяцами продолжался помянутый взаимный обман. Все обманщики оказались посрамленными чем-то таким, что «действительно запахло жуткой тайной». Происходило это еще до перестройки альберовской квартиры, когда из большой залы (летом 1883 г.) были выкроены две комнаты. Именно г эюй просторной, довольно пустоватой зале с большими зеркалами до полу в простенках и с белыми бюстами Моцарта и Бетховена по углам происходил тот сеанс, который оказался последним. Заседание за столиком длилось уже добрый час, ничего особенно не совершалось, всем становилось скучно, и тогда кто-то нз пас, шутки ради, обратился к духу с вопросом: не пожелает ли он себя проявить в какой-либо материали-

П, 15, «Їїаеерху»

зации? Когда дух ответил утвердительно, я предложил ему, не сыграет ли он что-нибудь на рояле? II вот тут произошло совершенно неожиданное: в ту же секунду прогремела дикая рулада снизу доверху но всем клавишам благородного инструмента, стоявшего в совсем другом конце залы.

При слабом свете, проникавшем от уличных фонарей, мы еще успели разглядеть, что с клавиатуры соскочил большой кот, но вслед за тем поднялся такой визг, так все, сбивая друг друга с ног, ринулись к дверям, что осталось невыясненным ни откуда взялся, ни куда он затем девался: ведь Альбер не терпел у себя в квартире ни кошек, ни собак!

Под этим впечатлением спиритические сеансы у Марии Карловны тогда и прекратились, возобновились же опп лишь около семи лет позже, когда она, уже разведенная с Альбэром, жила отдельно в доме кн. Львова на Б, Морской. К этому времени

мода на столоверчение была временно вытеснена модой на сеансы с блюдечком, которое двигалось по бумаге с написанными на ней буквами. И вот однажды дух через блюдечко открыл, что его зовут Ратаксяпом и что он готов материалпзиро-ваться особым образом. В назначенный вечер Маша, ее сестра Атя (тогда уже моя невеста), кузен Киндов Джон Валдштейн и еще какие-то знакомые уселись (так приказал дух) перед камином в зале, готовясь *хг* тому, чтобы произнести заклятие. Формула была тоже преподана через блюдечко и гласила: «Дух тьмы Ратаксян, восстань и явись перед нами!» Надлежало его произнести три раза. Никто из присутствующих не верил в то, что он действительно что-нибудь увидит, и Марии Карловне пришлось строго приструнить тех, кто продолжали болтать всякий вздор илн с трудом удерживались от смеха. После первых двух возгласов ничего и пе произошло, но после третьего произошло нечто, столь же неожиданно, как тогда с роялем и котом. А именно — из каминной трубы со страшным грохотом посыпались кирпичи! И опять это оказалось достаточным, чтобы нагнать на всех дикую панику. Все разбежались в разные стороны, и всякий интерес к дальнейшей материализации исчез. «Блюдечная серия» сеансов у Марии Карловны тоже закончилась навсегда!

Чтобы исчерпать этот сюжет (весьма характерный для того времени — недаром Толстой счел нужным сочинить на ту же тему целую комедию) \ я расскажу тут же еще про один случай, произошедший года через два. Заразившись от друзей Сомовых, я сам стал тогда увлекаться блюдечной ворожбой. Эти сеансы происходили у приятеля Сомовых О. О. Преображенского (брата ставшей впоследствии знаменитой балериной Ольги Осиповны). Для этих сеансов я и посещал этого милого, но несколько вялого молодого человека в компании с Сашей и Костей Сомовыми и с каким-то нашим дальним свойственником, студентом Бауэром. Надо признать, что ответы через блюдечко бывали иногда поразительны по остроумию и по глубине, однако и эти умные речи внезапно сменялись дикими шутками, а то и просто ругательствами, причем дух выказывал особую склонность к порнографии (дам, к счастью, среди нас

не было). Однажды кому-то из пас пришла мысль положить на бумажку с азбукой маленький древний образок, но не успели мы тогда кос-вуться пальцами опрокинутого блюдечка, как оно с какой-то яростью налетело на образок и сбросило его со стола! Сила удара была такова, что .медная иконка полетела в другой конец комнаты, и ее насилу потом нашли под диваном. Стол же опрокинулся и сломался! Я тогда же решил, что с меня довольно,

что я не буду больше предаваться таким богомерзким делам. Тем более, что такие опыты и даже разговоры на темы, связанные так или иначе с потусторонним миром, неизменно вызывают у меня в темени своеобразное тупое и довольно болезненное нытье, указывающее, что заведующий именно этим департаментом моего мозга не склонен поощрять подобное. Предлагаю сей феномен вниманию ученых френологов и психиатров, сам же я с тех пор дал себе зарок больше не пытаться входить в какие-либо общения с духами6*.

Глава 16

ГИМНАЗИЯ МАЯ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

Период в пять лет, между осенью 1885 и весной 1890 г., проходит у меня под знаком частной гимназии Мая \ Не то, чтоб эта школа поглощала все мое время, все мои думы и чувства, но все же мое «общественное» положение означалось словами: ученик Майской гимназии, а затем, хотя я и учился с переменными успехами, однако все же здесь я получал те более или менее прочные основы, на которых затем построилась моя «образованность». Наконец, в гимназии Мая я приобрел тех друзей, которые остались моими верными спутниками в течение значительной части жизни и с которыми мне удалось создать многое, что позволяет и их и меня причислить к «деятелям культуры». Наконец, я сохранил совершенно особое воспоминание о гимназии Мая — род сердечной благодарности. А это что-нибудь да значит!

Я уже рассказал, как весной 1885 г. я не был допущен к экзамену в казенной гимназии «Человеколюбивого общества». Чтобы не терять год, я стал было добиваться, чтобы родители меня определили в Лицей, куда уже поступили два моих товарища — братья Кпяжевпчн. Меня эта мысль о Лицее привлекала по нескольким причинам, но все они были одного характера — суетно-мальчишеского. Особенно меня соблазняло то, что я найду в Лицее среди товарищей «избранное аристократическое общество». Меня соблазняла и прелестная форма; черная с красным и с

в* Но так отнесся к спиритизму мой приятель, знаменитый художник Н. К. Рерих. С начала XX в. он, вместе с женой, стал систематически заниматься общением Сгмнром духов, а позже, в эмиграции, превратил это занятия в нечто как бы профессиональное, что, как говорят, принесло ему немалую

материальную пользу и всяческий почет.

//, 16. Гимназия Мая

475

золотом, на голове треуголка, полагалась, кажется, и шпага. Движимый ребяческим честолюбием, я воображал, что, пройдя Лицей, я без труда достигну весьма высокого положения — именно па дипломатическом поприще. Так как я начитался всяких исторических романов (настоящих исторических трудов я не касался), то меня и манила перспектива попасть в разряд избранников, решающих судьбы государств: я бы сделался представителем своей страны и общался бы с чужими монархами почти как с равными! Мне казалось, что для этого я обладаю всеми нужными данными: незаурядным умом, необходимым лукавством и несомненным актерским талантом. Даже моя, тогда еще не изжитая склонность к лганью,— представлялась мне чем-то вроде профессионального дара, необходимого для данного ремесла. Однако все мои мольбы и убеждения не подействовали на папу, и мечты о том, чтобы благодаря Лицею стать вторым Горчаковым, Бисмарком или Меттернихом рассеялись, как дым. Впрочем, я очень скоро примирился с такой неудачей и даже забыл о ней.

Этому забвению способствовало и то, что, поступив к «Маю», я довольно скоро удостоверился, что эта новая школа мне по вкусу. Никакой формы в ней не полагалось, большинство товарищей принадлежало скорее к среднему кругу, никаких особенно блестящих путей гимназия не сулила... Зато я нашел в ней нечто очень ценное: я нашел известный уют, я нашел особенно мне полюбившуюся атмосферу, в которой дышалось легко и в которой имелось все то, чего не было в казенном учреждении: умеренная свобода, известная теплота в общении педагогов с учениками и какое-то «несомненное уважение к моей личности». Вообще в гимназии Мая не было и тени «казенщины».

Это было довольно своеобразное заведение.

С наружного виду это был самый обыденный безличный старый солидный петербургский дом в три этажа. От своих соседей этот дом ничем особенным не отличался и выкрашен он был в такую же, как они, светло-сероватую краску. Построен он был вероятно (без какой-либо заботы о стиле) в начале XIX в. На 10-ю линию Васильевского Острова он выходил половиной, которая сдавалась внаем под частные квартиры, и эта половина нас совсем не касалась, мы не интересовались, кто в ней живет и даже ни разу не полюбопытствовали заглянуть в подъезд.

Тон всему задавал основатель и директор гимназии, носящей его имя: Карл Иванович Май, человек в момент моего

поступления уже очень пожилой, по все еще деятельный и достаточно подвижной. Только что помянутая атмосфера была целиком его созданием — как личных его душевных и сердечных качеств, так и его принципов и целой теории, выработавшейся на основании этих качеств. Карл Иванович твердо верил в то, что от юного существа можно всего добиться посредством выказываемого к нему доверия. Понятно, что среди нас было немало мальчиков, которые злоупотребляли добротой Карла Ивановича и даже за спиной издевались над этой самой его доверчивостью. Но большинство учеников уважали и любили своего директора, и это нежное чувство

возникало почти сразу с момента первого контакта с ним самим. Во всяком случае я «Карлушу» полюбил именно в первый же день, а затем остался верен этому чувству до конца.

Мне сразу понравилась и вся его своеобразная, я бы даже сказал курьезная внешность. Это был маленький, щуплепъкий, очень согбенный старичок, неизменно одетый в черный долгополый сюртук. В своей старчески исхудалой, точно дряблой руке он всегда вертел табакерку, которой нередко пользовался, а из заднего кармана сюртука у него торчал большой красный с желтым платок,— что вообще полагалось всегда иметь нюхальщикам табака. Уже это одпо «отодвигало» Карла Ивановича во времени куда-то далеко и придавало его облику какую-то поэтическую стариниость. Но совершенно своеобразным было и все лицо, вся голова Карла Ивановича: черные, как смоль, волосы (злые мальчики уверяли, что они крашены), «кокетливо» подстриженные прямой челкой, выдающийся до карикатурности острый красный носик. Подбородок был «украшен» опять-таки совсем черной бородкой à la uncle Sam*, тогда как щеки и все вокруг рта было гладко выбрито. Подслеповатые, песколько воспаленные глаза были вооружены золотыми очками. Двигался Карл Иванович быстро, не совсем ровно семеня своими старческими ножками.

Этой смеси признаков глубокой старости, чуть ли не ветхости и сравнительной моложавости во внешности соответствовали н черты характера Мая, Нормальным состоянием Карла Ивановича было беспредельное благодушие. Его тонкие, еле заметные губы, вечно что-то не то жевавшие, не то посвистывавшие, охотно расплывались в приветливую улыбку. Но благодушие Карла Ивановича не было признаком слабости. Оп мог при случае и гпеваться, но только на то были всегда веские причины. В моменты огорчения он еще больше горбился, очки у него съезжали на кончик носа, и он скорбно глядел поверх них своими

слезившимися глазками на провинившегося. Это *уже* действовало. Действовало и то, что провинившийся мальчик не удостаивался того рукопожатия с Карлом Ивановичем, с чего начинался для всех каждый учебный день. Для этой церемонии Карл Иванович становился на верхней площадке лестницы, откуда мы попадали в рекреационный зал и в классы, а старческую свою, точно безжизненную руку он держал перед собой «для общего пользования». Торопливо проходили один за другим ученики мимо этой безучастной фигуры, произнеся приветствие, скорее хватая эту руку, нежели пожимая ее. Но безучастность Карла Ивановича была только кажущейся; он отлично примечал, кто с ним здоровался, и когда появлялся накануне в чем-то провинившийся (о чем успели донести Карлу Ивановичу) и очередь рукопожатия доходила до него, то ручка директора *отдергивалась.* Иногда при этом старческий рот шамкал по-немецки: «мне нужно тебе сказать что-то» или «я должен поговорить с тобой», и это означало, что директор чрезвычайно недоволен тобой и что с глазу на глаз произойдет головомойка.

* На манер дяди Сэма *(франц.* и *англ.),*

II, 16. Гимназия Мая

477

Ученики считали, что Карл Иванович по происхождению «скандинав» — не то швед, не то датчанин (с виду он, несмотря на черноту волос, больше всего походил па финна, на чухонца), но на самом деле он был, кажется, чистокровным и очень даже типичным немцем. Природный его язык, во всяком случае, был немецкий, тогда как по-русски он говорил, если и совершенно, даже безукоризненно правильно, то все же с чуть заметным иностранным акцептом... Кроме своих директорских функций, он взял на себя преподавание географии, и на этих уроках сказывался и настоящий учительский талант и что-то, я бы сказал, поэтическое, что было в его натуре. Мы все любили уроки Карла Ивановича и своеобразную систему их и те описания природы, стран и городов, благодаря которым исчезала всякая сухость из его преподавания. Система же была основана на рисовании на доске самых упрощенных схем. Нарисует «Карлуша» три линии в известной комбинации и, полуобернувшись к классу, тыча мелом в одну из линий, спросит по-немецки: «Что это?» Знакомые уже с системой мальчики отвечают: «Это Фихтельгебирге».— «А это?»— «Майн» и т. д. Постепенно эта голая схема разукрашивалась разными добавлениями, появлялись другие горные цепи, города, притоки рек. Мое знакомство с преподаванием Карла Ивановича именно с такого урока о

центральной Европе и началось, но этот же урок я затем слышал пе раз — и это благодаря «институту совместных уроков», когда ученики старшего класса оказывались в одном помещении с меньшими товарищами.

Эти «совместные уроки» входили в школьную систему Карла Ивановича. Под этим, вероятно, лежали экономические соображения, один и тот же учитель мог одновременно преподавать двум классам — а отсюда экономия во времени и в гонораре. Бывало, что такая комбинация получалась из-за того, что у данного учителя, занятого в другом учебном заведении, не оставалось времени дважды посетить нашу школу. Совместные уроки получались и вследствие случайных обстоятельств (скажем, из-за болезни одного учителя его класс временно поручался другому). Все это доставляло много забот Карлу Ивановичу. Перед доской с подвижными фишками, висевшей на степе в зале над фисгармонией, директор иной раз простаивал много минут, все что-то бормоча себе под нос, переставляя фишки и снова и снова их всовывая в прежние рубрики. Некоторые совместные уроки носили постоянный характер, так, например, Гомера читали одновременно и седьмой и восьмой класс, и этот порядок был установлен навсегда. Кажется, то же происходило и с физикой, коюрую преподавал инспектор Ларпнской гимназии элегантнейший Фохт.

Несколько преподавателей гимназии состояли при ней безотлучно и даже жили в том же доме, но большинство были приходящие. Постоянные, кроме преподавания, несли обязанности классных наставников. Их было трое — и все трое были немцами, по-русски даже не говорившими. Один из них к нам, ученикам старших классов, не имел отношения. Это был несколько обрюзгший пожилой человек с бритым н носатым лицом

Полишинеля. Его звали герр Деглау. Он следил за порядком в младших классах, помещавшихся в нижнем этаже, и к нам наверх подымался редко. Деглау отличался беспредельной мягкостью, и дети его обожали, но ходила молва, что он каждый вечер напивается в соседнем трактире «Белый медведь», служившем сборным пунктом для всех местных немцев. В общем, это была комическая и чуть жалкая фигура. Кроме того, за мальчиками до тринадцати-четырнадцати лет присматривала супруга Карла Ивановича — очень некрасивая, красноносая и не слишком приятная Агнеса Ивановна, которую полагалось величать tante Agnes*; помощницей ее была родственница Мая, старенькая,

такая же вся кругленькая, как ее фамилия, tanle Lugebill **, которую полагалось звать именно так, а не по имени.

Эти трое заведовали порядком в нижнем этаже (они же там и учительствовали), мы же наших маленьких товарищей встречали только по утрам на общей молитве, происходившей в рекреационном зале, и в субботу в полдень, перед тем как всем разойтись по домам. Наш же «мир верхней сферы» управлялся, кроме директора К. И. Мая и его помощника «инспектора» Кракау, господином Эмилем Молем и господином Винт дом.

К Эмилю Молю я сразу почувствовал особую симпатию. Это был огромный, несуразно сложенный и потому казавшийся тучным господин с «прекрасным» лицом Юпитера — на деле вызывавшим скорее сравнение с бегемотом. Он недавно попал в Петербург, а родился в Швабии, в городе Тюбингене (он произносил «Тибинген»). Один его швабский говор располагал к нему юные души. В нем была какая-то нежность, что-то сентиментально-уютное, типично-германское (в прежнем, догитлеровском понимании этого слова). Уютность его выражалась и в том, что восседа-нию на кафедре он предпочитал сидение среди учеников, чаще всего из одной из парт, причем он свои ножищи мастодонта с трудом укладывал на соединенную с пюпитром скамейку. И вот этот обыкновенно ласковый добряк мог внезапно обратиться в гневного и даже в яростного громовержца — в тех случаях, когда распущенные им же мальчики слишком далеко заходили за пределы позволительного. Тогда Моль вскакивал, становился в пространстве между рядами парт и кафедрой и оттуда начинал метать взоры, которые он, вероятно, считал за уничтожающие, но которые были только смешными, так как Моль был ужасно близорук и в его взгляде, каком-то рассеянном и подслеповатом, это сказывалось даже тогда, когда оп считал нужным превращаться в некое олицетворение гнева. Подобные проявления бешенства у Моля были чем-то обычным, в экстренных же случаях, когда его доводили до пароксизма гадкими, глупыми шалостями, гнев его получал уже совершенно дикое и какое-то плясовое выражение: он начинал кружиться на месте и даже подпрыгивать (прыгающий бегемот!), причем извергал по-немецки «страшные»

Тетей Агнес *(нем.)*.

Тетя Лугебиль *(нем.)*,

И, 16. Гимназия Мая

слова: «Все вы бессовестные», «Я вышвырну всех вас» и т. п. Но через секунду после такого извержения Моль уже снова сидел за одним из столиков, уткнув нос и правый глаз в грамматику

или в Ксенофонта, или в «Нибелунгов», и снова его швабская речь текла негромким уютным мурлыканьем.

Надо при этом прибавить, что Моль был очень образованный и начитанный человек — в особенности по части немецкой литературы, древней и новой; для пополнения же своего образования он пользовался каждой свободной минутой. Так и вижу его, как он сидит на деревянном диване в рекреационном зале с его печесанной рыжей бородой, с лоснящейся плешью, с какой-либо книжкой в руках, по большей части это был томик общедоступной «Универсальной библиотеки». Вместо того, чтобы пойти в учительскую покурить и поболтать с коллегами, он предпочитал такое полезное одиночество.

Нас, учеников 5, 6 и 7 классов, Моль учил немецкой литературе и древним языкам. Вскоре после нашего окончания гимназии его переманили от Мая в Училище правоведения, при котором, как я слышал, он находился затем многие годы. Лично я благодарен ему, во-первых, за те воспоминания, которые связаны с его живописным обликом, во-вторых, за те знания, которые я почерпнул из его уроков, чуть бестолковых и лишенных системы, но всегда исполненных жизни и увлекательных. Наконец, я косвенно обязан Молю тем, что я с тех самых пор заделался страстным собирателем книг. Однажды он принес в класс оба тома только что тогда вышедшей книги «История германской культуры», автором которой был Otto Henn am Rhyn. Это было одно из первых популярных исторических исследований, начиненное иллюстрациями, воспроизведениями старинных гравюр, изображениями всевозможных памятников, говорящих о нравах и обычаях прошлого. Книга эта так меня поразила и так мне понравилась, что, не откладывая, я упросил маму, чтоб она мне купила такую же, а в подражание мне ею же обзавелись и мои друзья Нувель и Философов. Начало нашим личным серьезным библиотекам было таким образом положено, и с тех пор я не переставал предаваться благородной, но, увы, и очень разорительной страсти книгособи-рания,

4 · 4 · 4 ·

Мой рассказ о господине Виндте будет короче. В противоположность Молю этот уроженец Вены был человеком изящной наружности с хорошо причесанными волосами и такой же бородой. Виндт был что называется красивый и даже элегантный господин; он никогда не гневался, не выходил из себя, но в нем не было и малой доли теплоты, и в общем он

вполне заслуживал репутацию «сухаря». К своим урокам он относился с нескрываемой скукой и, хоть читали мы с ним самую занимательную кишу из всей классической литературы —«Метаморфозы» Овидия, однако на его уроках царило уныние и дремота. Учеников он пе любил и скорее презирал. Единственный раз, когда я его видел веселым,— это тогда,

когда я уже по окончании гимназии его совершенно случайно встретил в его родном городе, т. е. на Ринге 2, и когда мы зашли выпить чашку кофе в ближайшее кафе. Виндт так тогда растаял, что даже стал зазывать меня к себе в Бадеп (под Веной), по мне, ввиду близкого отъезда, пришлось отказаться, и это, к моему большому удивлению, его огорчило.

Названными двумя педагогами не исчерпывается та часть учительского состава, которая была занята преподаванием древних языков. Напротив, Випдт и Моль только готовили нас к Парнасу, а на самой вершине Парнаса заседали господин Мальхии и господин Блумберг. Блумберг не оставил ни в ком из нас приятного впечатления. Правда, он выучил пас, посредством какой-то особой тренировки, читать без подготовки Гомера (водном только чтении «Илиады» и «Одиссеи» и состояли его уроки), но человек он был неприятный, с виду какой-то желтый, со светло-желтой общипанной бородкой, с зелеными глазами, прятавшимися под очень сильными стеклами очков, с дурным запахом изо рта. К тому же это был человек и довольно пошловатый и каверзный.

Пошлость Блумберга выражалась, между прочим, в том, что он заставлял нас' исправлять Гомера — из соображений более утонченного вкуса. Известно, что некоторые очень картшшьте, но и очень несовременные выражения и особенно эпитеты у певца Троянской войны повторяются на каждом шагу. И вот надлежало такие шокировавшие Блумберга выражения или просто пропускать или же заменять другими. Например, ни в коем случае нельзя было оставить за Герой эпитет «волоокой» или про Аякса сказать, что он «выступал, как бык». Блумберг готов был поставить дурной балл за такой (второпях сделанный) промах и, мало того, ои дулся затем в течение всего продолжения урока на того, кто совершал рецидив в этом смысле.

Настоящая культурная пропасть разделяла этого «русского грека» с его германским коллегой, с господином Мальхиным. О Моле у меня сохранилось воспоминание сентиментального порядка. Даже то, что в нем было глубоко комического, было в своем роде трогательным. Это был тип, словно слетевший с

картип Шпицвега или Швинда. Напротив, память, которую я храню о Мальхине, полна глубокого уважения. Пожалуй, из всех педагогов, не исключая милого Томасова в казенной гимназии, я именно к Мальхину почувствовал наибольшую степень почтения и ученической преданности. Это был мой идеал профессора, И не только потому, что Мальхин умел хороню учить (разбираться в тонкостях грамматик, разбираться в философии Платона), по и потому, что Мальхин подавал пример какого-то незыблемого чувства долга. Только под его руководством я понял, зачем вообще существует «классическое» воспитание, чему оно служит в жизни, как действуют на весь наш мыслительный строй и на наши критические способности упражнения в латыни и в греческом.

Появился Мальхии на нашем горизонте только тогда, когда мы перешли из шестого класса, или «сексты», в седьмой, но так как я и мой ближайший друг Валечка Нувель были оставлены без экзамена на вто-

рой год в этом предпоследнем классе, то нам посчастливилось «состоять под Мальхипым» целых три года, а не два, как это вообще полагалось. Тут же поясню, что наши «неуспехи», которые заставили доброго К. И. Мая (со скорбным сердцем) не допустить нас до конечного экзамена в 1889 г. (о чем дальше), никак не зависели от нашего нерадения на уроках Мальхина. Наши успехи по древним языкам были вообще вполне приличными, а временами и отличными. Но неблагополучно у нас обстояло с математикой, со всякими тригонометриями и космографиями, а к тому же мы тогда оба уж очень увлекались театром, да и вообще слишком жили домашними и личными, а не школьными интересами. Мы просто вышли из школьного возраста. Того же отношения, которое мы встречали со стороны Мальхина, мы в других преподавателях, и даже в самом Мае, который к концу нашего учения очень постарел, не встречали.

Самым характерным во внешности Мальхина была его недлинная, но густая, огненного цвета борода, а также «злой», пронизывающий взгляд его зеленых, искрящихся глаз. Преподавал он обыкновенно по системе перипатетиков, расхаживая по классу3, необычайно отчетливо и резко отчеканивая слова как немецкие, так и латинские и греческие. Он страдал застарелым плевритом, причинявшим ему внезапные острые боли, но Мальхин и в такие моменты не переставал разгуливать и лишь хватался за бок, как-то мычал, а в глазах мелькало отражение испытываемых мучений. Когда же припадок

кончался, то лекция продолжалась. Он именно читал нам лекции. В его преподавании не было ничего механического, тупого (это особенно сказывалось в его толковании Платона — мы прошли с ним «Протагора», «Федона» и «Пир»). Все должно было пройти через сознание, всякое новое познание утверждалось в голове посредством его уразумения. На это я и мои друзья — Нувель, Калин, Философов и Скалой шли охотно — и Мальхин поэтому относился к нам с особым благоволением.

Напротив, он не скрывал своего презрения к тупицам и бездарным зубрилам — хотя бы они отвечали на пять по заданному уроку. Некоторых же учеников он прямо ненавидел, одних за безнадежную глупость, других за лень и бездарность, прикрывавшихся подловатыми приемами. К разряду первых, к его беспредельному огорчению, принадлежал его родной сын Ваня («Ванья» — в произношении отца), среди вторых находился сын учителя русского языка Володя Доброписцев. На последнего, на этого вовсе не плохого, необычайно добродушного, но склонного к мужицкой лукавости веснушчатого малого Мальхин, такой всегда сдержанный, корректный, неоднократно набрасывался с криком, обзывая его бранными словами, совершенно не полагавшимися в устах культурного педагога. И мне кажется, что на этом примере с особой ясностью выражалась некая расовая непримиримость между типичным пруссаком и типичным россиянином. Пруссак никак не может понять и принять то, что в славянской душе скользкого, зыбкого, «складную русскую душу». Проявления ее выводят его из себя, он в них видит худшее, что может

16 А. Бену а

<582

II, 16. Гимназия Мая

быть в человеке, и с этим он готов бороться огнем и мечом! При этом ярость **его** растет по мере того, как он под своими ударами ощущает нечто уступчивое, рыхлое, не противопоставляющее ударам сопротивление.

В самый год нашего окопчания гимназии (1890) Мальхии принужден был подать в отставку (преподавание в гимназиях па немецком языке было запрещено правительственным распоряжением), и он предпочел оставить Россию и вернуться к себе, в свой родной Берлин. Там, движимый школьным сентиментализмом, я его посетил в 1894 г., но лучше было бы, если бы я этого не делал. Визит послужил только тому, что я не узнал «своего Мальхина». Вся обстановка ультрабуржуазпая, точно выхваченная из какой-либо карикатуры Т. Т. Гейне в «Симплициссимусе», была нисколько не похожа на ту

характерную обстановку «фанатика науки», в которой мы заставали нашего профессора, когда приходили к нему в Петербурге. Там обстановка нашего педагога, при огромном количестве книг, коими были сплошь покрыты стены его кабинета, состояла лишь из нескольких самых обыденных стульев и очень большого, сплошь заваленного книгами и бумагами стола. На одиноком окпе никаких занавесок. Здесь же меня принимали в типичнейшей гостиной с гарнитурой, крытой красным репсом, и с цветочным ковром на овальном столе. Кстати сказать, эти наши посещения Мальхина входили, я бы сказал, к своеобразную систему нашего общения с ним. Мы ходили к нему объясняться — или в тех случаях, когда чувствовали, что мы уж очень огорчили его каким-либо свидетельством нашего нерадения. Он это поощрял, принимал нас с ласковой строгостью, постепенно переходившей в ясно выраженное благорасположение; кончался же наш визит тем, что Мальхин- нас провожал до входных дверей и, пропуская одного за другим, повторял по-немецки одно и то же: «Ничего, я па вас не сержусь!» После такого посещения на его уроках устанавливалась атмосфера прошедшей грозы.

Не могу не упомянуть здесь об еще нескольких лицах нашего педагогического синклита. Необычайно живописной и внушительной фигурой был господин Штрунке, черный-пречерный, горбоносый; густую свою бороду он стриг клином по образцу некоторых древнегреческих бюстов. Он с подчеркнутой отчетливостью произиосил по-гречески имена древних деятелей. Когда Штрунке говорил о личности Пизистрата и называл его Пайзистратос, то мне чудилось, что передо мной стоит самый этот афинский тиран. Преподавал он древнюю историю всего еще год (мой первый год у Мая), после чего ему пришлось покинуть гимназию, так как вышло министерское распоряжение, потребовавшее, чтобы преподавание истории происходило на русском языке, которым Штрунке не владел вовсе. Большинство учеников очень жалело об этом уходе, так как Штрунке обладал даром необычайно ярко, картинно и выпукло передавать факты, а его характеристики производили впечатлепие какого-то портретного сходства. На смеиу ему явился тусклый, беспомощный Кракау, который с трудом, точно ученик, отвечающий заданный урок, говорил в **тех** же выражениях то, **что уже** стояло в учебнике...

Другой любопытной фигурой был Михаил Захарович Образцов, крошечный человек с длинной русой бородой. За ним у нас утвердилось изобретенное мной прозвище Зюзя, и

действительно это слово очень подходило к милому, доброму, но чересчур слабому человеку, абсолютно неспособному дисциплинировать порученную ему ватагу. Очаровательна была его манера улыбаться, точнее осклабляться; губы крошечного бородача широко раскрывались, открывая обе челюсти, причем усы как-то выпучивались в виде странных ворохов. Он считался весьма ученым математиком, и даже ходила молва, что он состоит членом-корреспондентом каких-то знаменитых иностранных обществ или академий, но возможно, что именно потому учил плохо — не будучи в состоянии приноровиться к уровню наших мыслительных способностей. Образцов был первым, кто при поступлении в гимназию Мая меня экзаменовал — и то, как мило и осторожно, как благожелательно он это произвел, расположило меня к нему навсегда. Даже в период, когда я становился из рук вон плохим учеником как раз на его уроках и когда получал от него вполне заслуженные плохие баллы, я не переставал его любить и как-то при этом жалеть этого маленького, чуть смешного гнома. Такое мое отношение продолжалось и после гимназии; он был единственным учителем, бывавшим у меня на дому. Разглядывая мои художественные книги, он при этом обнаруживал удивительные запасы наивности и большую готовность все узнать и понять. Если бы я тогда же не отбыл за границу (это было в 1896 г.), то, вероятно, мы бы поменялись ролями, Образцов стал бы моим учеником по истории искусства, а я его учителем. Раз я его посетил на дому. Он жил у своего отца — священника при Смоленском кладбище,— и окна гостиной в этом деревянном двухэтажном доме выходили прямо па тот своеобразный парк, в котором под березами покоятся, прижавшись друг к другу, несметные толпы мертвецов. Этот грустный пейзаж- показался мне очень подходящим для доброго и чуть жалкого Зюзи.

Неважно мы учились у учителя русского языка и русской словесности Михаила Евграфовича Добросцева. Фамилия Добросцева ничто иное, как перевод с греческого: Евграфос, из чего можно было заключить, что наш Михаил Евграфович был семинарского происхождения — ведь именно в семинариях было в ходу давать такие фамилии людям, поступавшим в них «без имени». Во всяком случае, наш Добросцев был типичным семинаристом, человеком, если и обладавшим нужными познаниями, то как-то плохо их усвоившим, а во всем своем облике не обнаруживавшим свою принадлежность к культурному и интеллигентному слою. Это был характерный пролетарий. Одень его в рясу, он явился бы идеальным натурщиком для изображения деревенского дьячка, одень его в армяк, повяжи его

передником, и он стал бы приказчиком какой-нибудь мелочной лавочки. У него был маленький красный носик, длинная рыжая борода и пучки рыжих волос торчали над глазами. Вся его нескладная, какая-то длинная и тощая фигура выдавала простолюдина, и определенно крестьянским был его говор на о́ и его жесты, удивительно угловатые и какие-то «прямоугольные». Учил он и русскую ис-

торию, строго придерживаясь учебника и, видимо, ничего не зная помимо него (впрочем, у него был определенный, довольно личного оттенка культ Петра Великого, и за это я его жаловал). К русской же литературе он относился с большей самостоятельностью: он обожал и хорошо знал Пушкина, ценил и Гоголя и Лермонтова, а также некоторых мастеров слова более отдаленных эпох. Каждое свое предложение он начинал словечком «ны-те», сопровождаемым движением сапожника, тачающего сапог. Бедный Михаил Евграфович был обременен семьей и поэтому должен был учить во всех классах, начиная с младших, да и не в одной нашей гимназии. Именно для того, чтобы позволить ему получить лишние уроки, К. И. Май сделал для него отступление от общего учебного плана и назначил Добросписцеву два часа в педелю от 8 часов утра до 9-ти. Из-за них мне приходилось вставать в 7 часов и идти по городу, еще погруженному во тьму, причем часть пути лежала но льду (что несколько сокращало дорогу), и это было очень жутко, так как ходили слухи, что «на Неве грабят». Дружные протесты родителей учеников заставили через два месяца такого опыта отменить эти ранние уроки.

В качестве католика мне не надлежало пользоваться уроками закона божьего ни у дьякона церкви Академии художеств Постникова, ни у лютеранского пастора Юргенса, но видел я их постоянно, а иногда и просиживал у них за уроками. Интересно было сравнивать обе манеры обу-чеппя. «Поп» был человек лет пятидесяти, довольно полный, ступавший животом вперед, кудрявый, с проседью, с тщательно расчесанной, не очень длинной бородой. Он был весь какой-то сочный, приветливый и веселый. Пастор тоже не производил аскетического впечатления; это был довольно высокого роста господии, гладко выбритый, что придавало его лицу сходство со старой и склонной к плаксивости женщиной. Сходство это усугублялось в минуты, когда он по понедельникам за утренней молитвой и по субботам за полуденной (перед роспуском на воскресенье), переминаясь с

ноги на ногу и воздев очи к потолку, произносил род коротенькой проповеди — каждый раз в выражениях, почти тождественных. Вслед за этим tante Аптеса садилась за фисгармонию, и вся школа пела полагавшийся на данный день недели хорал. С такого же хорового пения начинался и всякий другой день, но не всегда в присутствии духовного лица. По средам гремел хорошо всем знакомый благодаря опере Мейер-бера гугенотский гимн «Eine feste Burg ist unser Gott» *, и это меня каждый раз наполняло торжественным настроением. Напротив, понедельник начинался с печальнейшего хорала: «Allein Dir Gott in der Höhe sei Eh re» **, а в субботу мы с особым ликованием возглашали: «Segne ims behüte uns mit Deiner Güte» ***.

В общем жизнь в гимназии Мая протекала тихо, ровно и безмятежно, но раз в году — в день рождения директора — она отмечалась скромным

* «Господь — наша крепость» *(нем.)*. ** «Только тебе в небесах воздадим честь» *(нем,)*. *** «Благослови нас и охрани милостью твоей» *(нем.)*.

празднеством. В нижнем этаже, где находилась квартира Мая, варился для всего училища шоколад, и всех группами приглашали отведать этого праздничного напитка, разливкой которого заведовала супруга «Карлу-

ши», его дочка и tanle Лугебиль. Однажды — это было осенью 1886 г.

праздновали семидесятипятилетие Карла Ивановича — празднование получило несравненно более парадный характер, но уже вечером. Перед расироганным директором, сидевшим среди рекреационного зала в окружении всех педагогов и толпы приглашенных родителей, прошло «Шествие рек» в соответствующих костюмах4 и с произнесением каждой «рекой» уморительных немецких стишков, сочиненных известным академиком-этнографом Радловым. Я изображал Хуанхэ, а мой друг — Гриша Калин — Янцзыцзян. Нам из этпографического музея были одолжены настоящие китайские халаты, нам привесили длинные косы и приклеили висячие усы; мы должны были держать указательные пальцы перед носом и произносить довольно длинное стихотворение. Перед выходом мне казалось, что я нисколько не волнуюсь, однако, к собственному удивлению, и тогда уже, когда я произносил свои реплики, я заметил, что мои пальцы сами но себе и без всякого с моей стороны принуждения ритмично дергаются — точно метрономы. Это, вероятно, было сочтено за особенно изощренную китайскую стилистичность... Н. К. Рерих, который был в младшем классе, вспоминает в своих

мемуарах не без умиления об этом дебюте5, К сожалению, что представлял он сам в «Шествии рек», я не помню, пожалуй, он и не участвовал в нем, а сидел среди зрителей. В следующем 1887 г. я на рождение Карлу Ивановичу поднес изготовленный мной альбом акварелей, изображавших каждая какую-либо из олицетворенных рек на фоне соответствующего пейзажа. За «Темзой» виднелся четырехконечный замок Тауэра, за «Сеной»— Нотр-Дам, за нами — китайцами — какие-то пагоды и т. п. С этими акварельками я очень мучился, и все же, как я ни старался, сколько ни переделывал, а получилось нечто «позорно-ребячливое». Но дело было сделано, была заказана и шикарная папка, и я все же свое изделие поднес (оно с тех пор покоилось в гостиной Мая на отдельном столике).

Осенью 1887 г. я вошел в более тесное соприкосновение с жизнью гимназии Мая. Это было время, когда я вздумал сочетать свое гимназическое учение с вечерними классами Академии художеств, куда я поступил в качестве «вольноприходящего». Занятия в гимназии кончались в 4 часа; дома мы обедали в 5 с половиной, в Академии вечерние классы начинались в 6. Таким образом, у меня фактически не хватало бы времени поспеть домой и опять обратно на Васильевский Остров. Поэтому мамочка сговорилась с Маем, чтобы я столовался в гимназии с пансионерами и дирекцией. Столовая помещалась в нижнем этаже; здесь в довольно просторной, но низкой сводчатой комнате стояли два стола. За одним председательствовал сам Карл Иванович и несколько учеников (я среди них), за другим восседала íante Агнеса и с ней классные наставники и мадемуазель Май — девушка лет восемнадцати. Всем подавалось одно и то же. Прислуживали два сторожа, заведовавшие в те-

чение дня раздевальней. Одного из них, полунемца по фамилии Швебс, я, вероятно, потому и запомнил, что он оказывал нам разные услуги, а фамилия его своим звучанием как нельзя лучше выражала его расторопность и усердие. Мы все с симпатией относились к этому молодому и любезному парню и щедро награждали его по праздникам.

Запомнился мне один случай, связанный с этими обедами в гимназии. В какой-то октябрьский вечер Карлуша по окончании еды вдруг не без торжественности обратился ко всему собранию, заявив, что сегодня нам предстоит увидеть что-то осооенное, и с этими словами повел нас па двор. И действительно, то, что мы увидали, пас глубоко поразило. Все небо, свободное от туч, было в движении. Мириады «падающих звезд» бороздили его в разных

направлениях. Казалось: вот-вот весь небесный свод воспламенится, и тогда нам несдобровать. Карлуша не уставал любоваться этим зрелищем, причем вид у него был такой, точно это он устроил весь этот фейерверк. Он самодовольно улыбался и старался в общедоступной форме объяснить, каким образом такой огненный дождь мог получиться. Признаюсь, именно с этого вечера я почувствовал «известное недоверие» к небу и впервые ощутил то специфическое сердечное сжатие, которое во мне повторяется каждый раз, когда я слышу о каких-либо тревожных для всего мироздания астрономических открытиях или сообщениях. Самой мучительной из таких тревог была та, которую я испытал в 1910 г.— в ожидании кометы Галлея. Но мог ли добряк Карлуша предполагать, что приготовленный им тогда «сюрприз» получит значение какой-то душевной травмы для одного из его любимых учеников?

Глава 17 ГИМНАЗИЯ МАЯ, ТОВАРИЩИ

Только что я упомянул имя того моего товарища по гимназии Мая, который впоследствии приобрел наиболее распространенную славу,— Н. К. Рерих. Но как раз в стенах нашей общей школы я общался с ним мало, о моим другом он тогда не стал. На то причина простая: он был двумя классами ниже моего, и встречались мы с ним лишь благодаря случайностям системы комбинпровапных уроков. Поэтому я и мало что о нем запомнил в те годы — разве только, что это был хорошенький мальчик с розовыми щечками, очень ласковый, немного робевший перед старшими товарищами. Ни в малейшей степени оп не подпал влиянию нашей группы, да и после окончания гимназии он многие годы оставался в стороне от нас.

Напротив, несколько человек из моих одноклассников сделались моими спутниками на значительную часть жизни, а один из них — как раз тот мальчик, с которым, поступив в 5 класс к Маю, я быстрее всего сошелся, с которым сидел на одной парте, — тот до самой своей кончины

//, 17. Товарищи

487

в текущем году **, остался, несмотря на наши частые ссоры, а временами и довольно серьезные раздоры, моим близким другом, — я говорю о Вальтере Федоровиче Нувеле.

Естественно, что первое время я только «осматривался». Мне было копфузпо, что я, как мне казалось, значительно старше всех прочих (у меня уже начинала пробиваться борода), и лишь

немного позже я, к своему удивлению, узнал, что Костенька Сомов, несмотря на свой ребячливый вид, на целых семь месяцев появился на свет раньше меня. В те же первые недели я терпел обиды от другого моего будущего друга — от Димы Философова, который, несмотря на свое хорошенькое, «ангельское» личико, содержал в себе немало едкой злости. Он сразу высмеял мой действительно неуклюжий костюм (сшитый по чьему-то совету из пледа), и мою неряшливую прическу, и мои грязные ногти, но больнее всего меня кололи его «разоблачения», касавшиеся нашей семьи. Через мою кузину Нетипьку, дававшую и у Философовых уроки игры на фортепьяно, Дима был хорошо осведомлен не только о настоящем, но и о прошлом семьи Беиуа, тогда как я считал нужным из мальчишеского желания придать своей персоне больший вес, нести всякую чепуху вплоть до того, что будто наши французские предки были маркизами, а мои венецианские деды — дожами и кардиналами. Я даже остро возненавидел тогда Диму. Раздражало меня в нем и то, что этот мальчик слишком откровенно выражает свое презрение ко всему классу, выделяя лишь своего соседа по парте — Костю Сомова. С ним зато он держал себя совсем «как институтка», поминутно обнимаясь и чуть ли не целуясь. Впрочем, тогда я не усматривал в этом чего-либо специально предосудительного, и мне эти излияния казались просто неуместными и мужскому полу неподобающими.

Валечка Нувель, напротив, хоть и шокировал меня претензией на щегольство в одежде и некоторыми своими манерами, например тем, что он курил для вящего форса сигары, однако мне многое в нем и нравилось: больше всего его несомненное «западничество», нечто, отличавшее его от характерно русских мальчиков. Впрочем, у нас в классе было два Ну-веля. Старший Эдя (Эдуард) и младший Валечка (Вальтер) были по на-ружпости до того друг на друга похожи, что их можно было принять за близнецов, причем Эдя был на полголовы выше брата. Однако наружностью и исчерпывалось сходство'между ними. Насколько Эдя был мальчишка из самых озорных, настолько Валя и тогда уже держался корректно и казался рассудительным, «культурпым», Эдя, к великому общему удовольствию, был мастером на всякие шалости и изобретателем иной раз и очень хитрых шуток. Это он принес однажды в класс целую дюжину заводных лягушек и пустил их иод ноги подслеповатому старичку Лебурде — учителю французского языка. Он же устроил сложную махинацию, посредством которой кусок мела взлетал по черной классной доске без того, чтобы было заметно, как это происходит. Мел был под-

** Это писано в 1949 г.

вешен на черной же нитке, которая была проведена через весь класс к задним партам, где и восседал автор и «механик» фокуса. Вот собрался Зюзя Образцов взять мел, чтобы написать алгебраическую формулу, а мел вдруг полез по доске вверх! До чего же это было смешно, до чего оторопел наш крохотный педагог! И попало же тогда Эде за эту шалость! Был вызван сам Карл Иванович, грозно крикнувший ему по-немецки, чтобы он немедленно убирался, на что отчаянный мальчишка так швырпул дверью, что она вся задребезжала своими многочисленными стеклами, а два из них даже выпали из рамы и разбились!

И вот мой Валечка представлял собой полный контраст со старшим братом. Не надо все же думать, что он был образцовым тихоней, пай-мальчиком или скучным зубрилой. Н он, как и Эдя, обладал значительным запасом лени и не прочь был подурачиться. Что касается учения, то отличная память и большая сметливость выручали его, позволяя Валечке нерадиво относиться к урокам без риска быть зачисленным в разряд «отменных бездельников». Та же память и та же сметливость, при вечно возбужденном любопытстве, делали Валю интересным собеседником. Он был таким же скороспелым юнцом, как и я, ему, как и мне, ничто человеческое не было чуждо, он был таким же страстным театралом и таким же великим охотником до чтения, и естественно, что по всем этим причинам я вполне оценил общение с ним и очень быстро с ним сошелся. В общем Нувель был таким же «продуктом Немецкой слободы», как и я, и это одно располагало к нашему сближению. Но, кроме того, еще одно важное обстоятельство делало дружбу с Валечкой особенно цепной2*. Он был серьезным любителем музыки, он недурно играл на рояле и обладал завидной способностью быстро читать с листа. Подобно мне, он тогда увлекался итальянской оперой (переживавшей в Петербурге на императорской сцене свою особепно блестящую пору), а под моим влиянием он стал несколько позже интересоваться и балетом — главным образом балетной музыкой. Единственно, что огорчало меня в моем новом друге,— это известная его сухость мысли и склонность к готовым формулам. Это порождало между нами лютые споры, причем я не щадил Валечку и, «движимый священным негодованием», поносил его самой от-бсрпой бранью. Он же сносил все без протестов — не то по добродушию,

Семья отца Валечки происходила от французских refugiés (эмигрантов], переселившихся еще в конце XVII в. из Франции в

Германию. Французский дух, однако, оставался в семье Нувелей господствующим, и это несмотря даже на то, что мать Валечки была немкой. Отца Вали я не застал; он скончался года за два до моего поступления к Маю. По рассказам же, это был очень зажиточный человек — директор не 10 какого-то банка, не то страхового общества. Получая крупное вознаграждение, он позволял себе вести довольно роскошный образ жизни, занимать большую и нарядную квартиру, держать лошадей и часто ездить за границу. Но вот он скончался почти внезапно, и матери Валечки — добрейшей и величественной Матильде Андреевне — пришлось сильно сократить весь образ жизни. Она переехала в сравнительно скромную квартиру, а лошади и экипаж были проданы. Все же и тогда обстановка Нувелей сохраняла следы того, что французы называют Gossu [зажиточностью].

не то по какой-то вялости и по отсутствию темперамента. Особенно же огорчало меня в Валечке его безразличие к пластическим художествам. На искоренение последнего дефекта я и направил свои главные усилия и в конце концов мне удалось заразить Валечку своей страстью к живописи, обожанием архитектуры, наслаждением скульптурой. К сожалению этот «искусственно привитый» интерес глубоких корней в Валечке не пустил, а в старости мой друг даже как бы гордился тем, что «все это его больше не интересует, все это он перерос». Не лишним считаю здесь более обстоятельно познакомить читателя с семьей Нувель. У Вали было три брата и одна сестра. Старший брат Ричард Федорович обладал прекрасным голосом, что побудило его избрать карьеру оперного певца. Одно время он пел в каких-то заграпичных антрепризах, и имя Рикардо Нор-ди (избранный им псевдоним) стало довольно известным, но затем, будучи человеком слишком мягким, вялым, а может быть и ленивым, он бросил сцену и заделался учителем пения. Второй брат Федор являлся контрастом Риче. Это был настоящий герой из какого-нибудь романа Жоржа Оне. Рослый, хорошо сложенный блондин, он являл вид необычайно холеный и все же мужественный. Он должен был иметь большой успех у женщин, любил пикантные анекдоты, коих знал баснословное количество, и держал себя с характерной для высших коммерческих и биржевых кругов развязностью. Он рано умер, не достигнув и сорока лет. Рано умер и знакомый уже читателю Эдя — типичный бездельник и, как водится, любимчик матери. Наконец, была у Валечки и сестра, писаная красавица Матильда, но ее я видел в свои юношеские годы всего раза два, так как, выйдя замуж за голландского дипломата барона вап Геккерна (родственника того Геккерна, который сыграл столь роковую роль в трагической дуэли Пушкина), она жила за границей.

Постепенно наша с Валечкой дружба, наши беседы и споры стали привлекать к себе и других юношей, и уже в шестом классе (1886— 1887) я и ближайшие мои приятели сплотились в особый кружок, в нечто похожее на школьный клуб. Но не надо думать, что наше объединение представляло из себя нечто серьезное и ученое. Даже несколько позже, когда мы назвали себя в шутку «Обществом самообразования» (это было уже в седьмом классе) и даже сочинили род устава, общение наше продолжало носить совершенно свободный характер с некоторым уклоном в шутовство и в потеху. Всякий намек на педантизм был изгнан и

предан осмеянию. Изъята была и всякая цензура. Беседа шла о чем угодно и меньше всего о нашем ученье и о школьных делах. Не щадились и современные порядки, но только пересуды на темы, более или менее касавшиеся политической сферы, носили у нас чисто «академический» характер. Ни в ком из нас не жила склонность к какому-либо личному воздействию, к революционности, нам не был знаком соблазн вмешаться в общественную и политическую жизнь. Между тем именно этому соблазну поддавалось в те дни великое множество среди русской молодежи. Лишь один юноша в нашем классе явился исключением — то был Каррик, сын известного фотографа. Он был арестован в момент,

когда собирался стрелять в министра Д. А. Толстого. При обыске выяснилось, что он забыл зарядить револьвер, что не помешало тому, чтобы он был сослан. Но этот Каррик держался в стороне от нас, а если и вступал в общий разговор, то не скрывал своего презрения к нам, балованным барчукам. Со своей стороны, мы считали Каррика порядочным дураком. Пожалуй, в нашем отрицательном отношении к революционности действовало очень спльно в пас говорившее отвращение от всего стадного, модного. Из того же инстинктивного противодействия против моды нас привлекали некоторые идеи копсервативпого порядка. В частности, я и Валечка Нувель стали в эти годы чувствовать какую-то «симпатию» к личности государя Александра III. Положим, и мы иногда возмущались отдельными мероприятиями правительства, видя в них проявление бессмысленного ретроградства и обскурантизма, но при этом все же крепло какое-то наше тяготение к самому принципу монархического правления.

Начиная с седьмого класса, паши собеседования стали все чаще происходить у меня на дому. Приманкой могло служить то, что у нас, точнее у меня, товарищи находили немало всяких «паглядных пособий для просвещения» как в смысле предметов искусства, так и в смысле книг и журналов. Атмосфера нашего дома была насыщена художеством, чем-то таким, чего никто из моих товарищей не находил у себя. Надо еще прибавить, что я очень рано стал ощущать в себе известное «педагогическое призвание» и потребность собирать вокруг себя единомышленников. И, между прочим, как раз моя способность вживаться в давнопрошедшее оказывала свою притягательную силу даже на тех членов нашего кружка. которые сами по себе никакой склонности ни к истории, пи к искусству не имели.

Еще одна черта способствовала сплочению нашего «совершенно вольного единения»,— это наше отношение к патриотизму. Мы все были в одинаковой степени плохими патриотами, если под этим подразумевать какую-то исключительность, какое-то априорное предпочитапие своего чужому. Тут сказывалось нечто присущее не только всему русскому, сколько специфически петербургскому образованному обществу, тут, несомненно, сказывалось, что двое из нас — я и Валечка — были своего рода «воплощением космополитизма». Из этого нашего космополитизма мы тогда уже черпали силу определенной реакции против все усиливавшейся в те дни тенденции во имя идей национализма натравлять друг на друга целые огромные группы человечества. Нам же была дорога идея какого-то объединенного человечества. Это особепно ярко сказывалось в нашем отношении к искусству. Раз какое-либо произведение носило «печать гения», оно было нам дорого — все равно, какая национальность его породила. При этом нас одинаково интересовало и пленяло как древнее, так и новое и новейшее искусство. Несомненно, в отдельных наших тогдашних суждениях было много незрелого и просто нелепого, но в общем наши тогдашние беседы и споры способствовали выработке нашего кредо. Мы безотчетно как бы готовились к чему-то, и когда много дет спустя

настал нужный момент, то мы, наша группа (и как раз все то же гимназическое ядро ее), оказалась готовой к действию.

Здесь следует остановиться на только что упомянутом выражении «новейшее искусство». Оно требует ряда оговорок. Надо сознаться, что многое из того, что мы, образованные «юнцы с берегов Невы», считали за «новейшее искусство», таковым уже не было. Не могли нас по-настоящему осведомить и те кпиги и журналы, которые я пудами выписывал из-за границы. Почти все, что тогда издавалось и во Франции, и в Англии, и в Германии, игнорировало как раз то, что творилось под боком в каждой из этих стран, то, что было затем объявлено «достойным занять прочное место в истории». И не только мы, майские гимназисты, «не были тогда в курсе», но и весь тогдашний образованный мир обнаруживал удивительную, с теперешней точки зрения, «отсталость». Так, например, ныне твердо усвоено всеми, кто мнит себя что-то понимающим в искусстве, что в 60-х и в 70-х годах во Франции господствовал импрессионизм, что то было движение, если еще и не официально вполне признанное, то все же «очевидное», происходившее па глазах у всех. На самом же деле это было совсем не так. Импрессионизм вплоть до 90-х годов

был явлением скорее «подпольным», известным лишь тесному кругу. Еще более тесный круг не только знал о существовании каких-то художников, назвавшихся импрессионистами, но и оценивал их искусство, считал его чем-то интересным и прекрасным. Большие массы лишь изредка, урывками узнавали о существовании таких художников, как Мане, Дега, Моне, Ренуар, а если эти имена и произносились или печатались в каких-либо критических статьях, то всегда с оттенком иронии или возмущения. Эти нынешние неоспоримые представители «славы Франции» казались громадному большинству безумцами, если не шарлатанами. Напротив, несомненной «славой Франции» почитались Жером, Бенжамеи Коистан, Ж. П. Лоране, Эннер, Мейссонье, Бонна, Бугеро, Руабе, Жюль Лефевр. Передовыми смельчаками могли себя считать те, кто «шел дальше» и с уважением, с интересом или даже с восторгом относились к Пюви де Шаваину, к Гюставу Моро, к Бастьену-Лепажу, к Каролюсу Дюрану, к Даньяну Бувре, к Каррьеру, и уже самые отважные любовались Бенаром... Что же касается до ежегодного парижского «Салона», то там напрасно стали бы искать картины, хотя бы только похожие на импрессионистов. Особенно характерным явлением для этих публичных художественных базаров были гигантские картины с историческими потрясающими сюжетами. Больше всех других по формату были и более всех других возбуждали интерес масс полотнища Рошгросса.

В сущности, выражение «импрессионизм» стало известно широкой публике только по выходе в свет нашумевшего романа Золя — «Труд» \ но большинству его читателей оставалось каким-то недоступным для общего ознакомления — даже в самом Париже. Единственным местом, где постоянно выставлялись картины импрессионистов, была галерея Дюран-Рюэля, но существование этого довольно скромного магазина далеко ме всем было известно. Замечательно, что когда государство реши-

лось принять дар Кайботта в 1895 г., состоявший из картин импрессионистов, то это возбудило в художественном мире настоящий скандал, и раскаты того негодования, которым воспылало французское общество во имя здравого смысла, благоразумия, вкуса и даже «чести Франции»,— слышались еще многие-многие годы спустя. Посетители залы Кайботта в Люксембургском музее долго еще покатывались со смеха и держались за животики перед такими ныне ставшими классическими картинами, как «Олимпия» Мане, как «Bal du Moulin de la Galette» * Ренуара, как некоторые пейзажи Моне и

Сислея, Можно ли после этого удивляться, что в Петербурге 80-х годов никто об импрессионистах просто ничего не знал. Даже среди художняков. Даже наш самый выдающийся художник И. Е. Репин, несколько лет проживший в Париже как раз в эпоху расцвета импрессионистов, имел о них очень слабое представление 2 и относился к ним с пренебрежением.

В главе о зрелищах я упомянул о моем игнорировании русской музыки, но не в меньшей степени был невежественен в этом смысле тогда и Валечка. Еще кое-что нам было знакомо из Глинки, но остальное было для пас чем-то просто несуществующим, неведомым и абсолютно неинтересным. Нас тогда очень удивил бы тот, кто бы напророчил, что недалек тот день, когда мы же станем предпочитать отечественных композиторов всем остальным, и что даже мы оценим (да еще как оценим) тех самых «кучкистов», на которых обрушивались почти поголовно все критики.

И вот как раз в последние годы моего пребывания в гимпазии во мне обозначился поворот в отношении русской музыки. Дальше я расскажу, какое потрясающее впечатление произвела на меня «Спящая красавица» Чайковского, здеск же, в связи с моими школьными воспоминаниями, я ограничусь лишь этим упоминанием вскользь. Тогда же я впал (на время) в другую крайность — в какое-то исключительное приятие одной только русской музыки. Впоследствии все это утряслось. Полюбив и поняв то, что заключало в себе прекрасного русское художественное творчество (как в живописи, так и в музыке), я все же не стал каким-то тупым фанатиком-русофилом. Подобную эволюцию проделали и мои ближайшие друзья: Нувель, Философов, Сомов. Напротив, я остался ненавистником всего, что носит характер какого-то ограниченного предпочтения своего перед чужим — будь то в духе французского шовинизма пли немецкого «Deutschland über Alles».

* * *

Мое сближение с Н. Скалоном и с Г. Калиным началось в седьмом классе (с осени 1887 г.). Оба эти юноши (наши сверстники) были необычайно для своих лет развитыми и начитанными. G ними можно было

* «Бал в Мулан де' ла Галетт» *{франц.)*.

беседовать на всевозможные темы — в особенности на литературные, получая при этом не одно удовольствие, но и

пользу. Как личности, как характеры наши новые друзья были мало между собой схожи. Совсем не похожи они были и в своем внешнем облике. Коля Скалой, несмотря на французскую фамилию, принадлежал к тем типично русским людям, к которым приложима поговорка: «Поскребите русского, и вы найдете в нем татарина», причем остается под сомнением, действительно ли то окажется татарин или иной какой-нибудь монгол — мордвин, вотяк или чухонец. Во всяком случае, под оболочкой вполне прирученного культурного человека оказывается некое коренное дикое начало. Да и в «оболочке» это коренное начало часто просвечивает, как в чертах лица иногда очень приятных, но все же грубоватых или как-то «не совсем оформленных», так, в особенности, в жестах, в какой-то неуклюжей походке, в совершенном отсутствии грации.

Таким типичным русаком был Скалон, причем он как брат на брата был похож на других подобных же «татар» среди моих друзей и близких людей — на Владимира Княжевича, на моего репетитора В. А. Соловьева, на моего издателя Всеволода Протопопова, хотя вообще все эти господа ничего не имели между собой общего ни в смысле деятельности и общественного положения, ни даже в смысле характера. Очень похож был Коля Скалон, особенно в сложепии, в том, как он сколочен, на своего отца — известного земского деятеля либерального толка, очень умного, очень любезного и приятного человека, которого я всегда заставал за письменным столом, погруженным в вороха бумаг. По отцу наш Скалон мог бы быть отнесен к цвету русской передовой интеллигенции определенно демократического уклона. Напротив, мать Коли сочла бы себя обиженной от такой классификации. Это была дама такого же «скифского» облика, как муж и оба сына, однако она немало кичилась своей аристократической породой и своими высокопоставленными родственниками, особенно же гордилась своим дядей — адмиралом Шварцем. У Коли была младшая сестра Варя; из нее мать (в общем милейшая женщина) старалась сделать совсем светскую барышню с манерами, годными для представления ко двору. Однако эти старанья матери, эти вечные замечания только раздражали Вареньку и еще больше они раздражали ее братьев, нашего Колю и его меньшого брата Сашу (будущего художника и довольно влиятельного художественного критика), у которых, пожалуй, именно из-за одного чувства протеста против такого «калечения» могли развиться и утвердиться их типично пролетарские ухватки.

При других бытовых условиях, не обладай Коля Скалон душой нежной, чуть женственной, он мог бы, пожалуй, выработаться в какого-либо героя нигилиста, народника, как того

требовала от юношей тогдашняя политическая мода. Он в интеллектуальном отношении обладал в достаточной степени предрасположением к анализу, причем надо отдать ему справедливость, что его логические выкладки обладали необычайной, довольно даже убийственной последовательностью. Это был очень умный

юноша, пожалуй, самый умный из всех нас. Взгляды его отличались большой чистотой, прямотой и абсолютной искренностью. Он был мастером спорить и в два мига припирал к стене оппонента, даже и очень убежденного. Почти всегда при этом он переходил к какой-то моральной проповеди в духе властителя тогдашних дум — Льва Толстого. Все это скорее нравилось мне, за это я готов был любить Скалона, но, к сожалению, в то же время меня раздражала как уже помянутая нескладность всей его манеры, так и типично российская прямолинейность и однобокость его взглядов, его неспособность считаться с оттенками, нюансам» и его отказ находить в них красоту. Несомненно, мешало нашему единению и то, что если в литературе, особенно в русской, он и был на редкость для своих лет сведущ, то в сфере пластического художества он выказывал полную и притом безнадежную ограниченность и даже тупость. Он страдал полным отсутствием музыкального слуха (ах! до чего он врал, когда мы хором в шутку певали «Gaudeamus igitur»*), картины и скульптуры он разбирал не иначе как с точки зрения их общественной полезности, касаясь одной сюжетной стороны, а архитектура для него просто не существовала.

Надо еще прибавить, что Скалой был легко уязвим в своем самолюбии. При первом же подобии какого-либо пренебрежения к его особе он обижался и подолгу затем дулся. Немудрено, что наша дружба продлилась не долее пяти-шести лет и что уже на третьем курсе университета охлаждение в наших отношениях стало клонить к разрыву. Он все чаще стал «манкировать» нашими собраниями, а там, по окончании университета, и начисто исчез с горизонта. Уже стороной до нас дошли слухи, что Скалой, к безграничному огорчению своей матери, женился на ее прислуге, простой деревенской девушке, и удалился в какое-то захолустье на Волге, где его «толстовство» (лишенное всякой религиозной основы) выразилось не только в приятии облика настоящего мужика, но и в том, что он стал питаться одним только черным хлебом и простоквашей. Мне думается, впрочем, что в основе такой судьбы Скалона, разделенной тысячами подобных ему, чистых и хороших душ, лежали не столько «толстовские убеждения», сколько стихийный зов сквозь толщу

культурных наслоений начал степного кочевника.

* * *

Гриша Калин представлял собой другую категорию типично российских людей. По своему происхождению он был чистокровный пролетарий. Его отец служил швейцаром в доме, стоявшем на углу 10-й линии и Большого проспекта Васильевского Острова — следовательно, в самом близком соседстве с нашей гимназией. И ютился этот привратник с женой и детьми в тесной, душной и темной швейцарской. Но вот колесо

* «Будем веселиться»3 *(лат.),*

*//, 17, Товарищи*495

i i` ■ ■ i ■ —

фортупы сделало оборот, и получилась полная, совершенно театральная метаморфоза. Швейцар Кмельян выигрывает в лотерею сто тысяч рублей (что, пожалуй, равняется сотне миллионов нынешних франков) и сразу из «холопа» превращается в «барина». Однако ни сам Емельяп, ни его жена не оказались на высоте положения. На'радостях оба супруга предались столь беспутной жизни, что уже через три-четыре года их обоих не стало — оба скончались от белой горячки. К счастью, свалившееся на них богатство не было еще к этому моменту целиком растрачено и пропито. Оставался купленный на сумму, отложенную по совету одного доброго человека,— дом, тот самый дом, в котором Калин швейцарствовал, и благодаря доходу, получаемому с этого дома, опекун, назначенный над сиротами, смог дать им приличное воспитание и вывести их в люди. Я подружился со старшим из этих сыновей Емельяна Калина, с другими же только встречался в их общей квартире. Впрочем, одного брата Гриши — Александра я застал здесь, в Париже, в 30-х годах — он служил чем-то вроде привратника при «Архивах по истории танца».

Если я привожу всю эту генеалогическую справку, то не потому, что считал, будто какая-либо печать такого «низкого» происхождения лежала на Грише Калине, а скорее для того, чтобы констатировать как раз обратное. Ничего ни в наружности, ни в манерах, ни в мышлении не выдавало того, что Гриша принадлежит к разряду «выскочек из низов». С виду это был благообразный, хорошо сложенный юноша с длинным тонким носом, сообщавшим ему (так же, как Н. Н. Томасову) некоторое сходство с Гоголем, с близорукими щурящимися глазами, красиво нарисованным ртом под едва пробивавшимися усиками. В

противоположность манере держаться Скалона, Калин отличался свободой движений и даже некоторой грацией. Таким, несомненно, его уже создала природа, но, кроме того, он поддерживал и развивал гибкость тела своей страстью к гимнастическим упражнениям, дошедшей у него до того, что он одно время возмечтал посвятить себя карьере акробата. Ввиду этого Гриша построил в садике своего дома целое сооружение, отвечавшее техническим требованиям акробатического искусства, и тут можно было видеть в теплые светлые вечера Гришу в цирковом наряде, в трико с поясом, украшенным блестками, вертящимся, взлетающим, прыгающим, пользуясь трапециями, барами *, кобылкой и т. п. Как раз через улицу (через Большой проспект) находилось воспитательное заведение Патриотического института, уч:еницы которого, сидя по окнам, с большим интересом глядели на упражнения этого полуголого юноши, и, в свою очередь, эта публика подстрекала нашего гимнаста не щадить себя. Принимали участие в этих спектаклях и два младших брата Гриши, тоже в розовых трико и в коротких, расшитых блестками трусиках. Но вот надзирательницы Института, наконец, догадались, почему девицам так полюбилось сидеть у открытых окон, и это им было запрещено.

* От Ьагге *(франц.)* — гимнастическая палка.

Разумеется, не эта страсть Гриши Калина к акробатике послужила основой к нашему сближению; напротив, мы относились к пей неодобрительно, смеялись над ним и чуть даже не презирали нашего приятеля за такое неумное препровождение времени. Нравилось же нам в Калине то, что он отличался редким остроумием, что он отлично и самостоятельно изучил великое множество литературных произведений как русских, так и, в переводе, иностранных. У него была исключительная память, и он знал бесконечную массу стихов наизусть. Увлекаясь тем или другим произведением литературы, он любил знакомиться и с биографиями их авторов. Влекли Калина к более углубленному знакомству с литературой и личные творческие побуждения. Он обладал несомненным даром излагать свои мысли и серьезно готовился стать писателем. Его юношеские произведения (почти всегда в прозе) очаровывали нас своим своеобразным стилем и сверканием тонкого юмора. Я пророчил Грише блестящее будущее и твердо верил, что когда-нибудь мне будет лестно вспомнить про свою дружбу с таким замечательным человеком. Но таким пророчествам моим не суждено было сбыться. Еще студентом третьего курса юридического факультета Калин женился на миловидной, но пустенькой барышне, и с этого

момента он буквально погряз в мелкомещанском быту. Когда я встречался с ним впоследствии, он каждый раз «каялся» и уверял, что заботы о семье не дают ему ни минуты времени для какого-либо творчества, а над своими юношескими опытами он посмеивался, как над ребяческой блажью. В последний раз я застал Гришу в здании бывшей Городской думы (в том самом здании, которое когда-то было местом службы моего отца). Это было уже при большевиках. Он занимал какой-то начальнический пост по снабжению населения «пищевыми продуктами» — не то картофелем, не то капустой, и мне пришлось прибегнуть к его покровительству, чтобы ускорить получение чего-то, что выдавалось по карточкам. Калин с величайшей готовностью помог мне тогда пройти череа ряд бюрократических инстанций, и я проводил его затем до его квартиры (где-то в Коломне), болтая с той же милой п причудливой непринужденностью, с какой мы болтали когда-то у «Мая» или во время наших собрапий у меня. Я очень в свое время ценил дружбу с Калиным, но мне помнится, что он был довольно равнодушен к художеству и едва ли мои рефераты в нашем «Обществе самообразования» о Дюрере, Гольбейне, Кранахе и французских художниках времен Наполеона, которые Гриша выслушивал с примерным вниманием, могли его побудить взглянуть несколько внимательней на то, чем я и другие мои друзья интересовались больше всего.

* * *

Моя дружба с Костей Сомовым так же, как и моя дружба с Валечкой Нувелем, продолжалась до самой их смерти. Одно время эта дружба с Сомовым сделалась особенно тесной, нежной, по возникла она вовсе не сразу и не в стенах гимназии. Этот тихий замкнутый мальчик с «не-

правильными» чертами лица 3* казался мне в течение трех лет, что мы пробыли вместе в одном классе, совсем неинтересным. Его слегка вздернутый нос, его всегда плохо причесанные волосы (все же лучше причесанные, нежели мои), его карие, какие-то женские глазки, его пухлые губки и даже неизменная коричневая куртка и бантом повязанный черный галстук — все это, вместе взятое, составляло очень уж ребячливый облик — без всякой прелести подлинной детскости. Я был уверен, что Сомов года на два моложе меня, и был очень изумлен, когда выяснилось, что он на несколько месяцев старше! Совершенным ребячеством было и все его поведение в гимназии,

его манера держаться — особенно выражение его дружеских чувств к Диме Философову: непрерывные между обоими перешептыванья, смешки продолжались даже и тогда, когда Костя достиг восемнадцати, а Дима шестнадцати лет. Да и с виду Костя мало менялся и оставался все тем же «мальчуганом», каким я его застал, когда поступил в гимназию. Кстати сказать, эти «институтские» нежности между ним и Димой не имели в себе ничего милого и трогательного, однако я был тогда далек от того, чтобы видеть в этих излияниях что-либо предосудительное. Иначе относились к этому другие мальчики, а наш товарищ Федя Рейс, тот даже не скрывал своего брезгливого негодования с точки зрения известных моральных принципов. Меньше всего я мог тогда подозревать, что Сомов станет когда-нибудь художником, да еще к тому знаменитым художником, и что его слава как бы затмит ту, которая мне иногда мерещилась в моей карьере. Я знал, что он сын известного историка искусства, редактора художественного сборника «Вестник изящных искусств», который получал мой папа, но этот «Вестник» представлялся мне чем-то необычайно мертвым и скучным, а потому и к редактору его во мне выработалось полное недоверие, которое как-то распространилось и на его сына. Мой отец также не очень жаловал старика Сомова, с которым он часто встречался на разных заседаниях и в составе каких-то комитетов. Папа считал его придирчивым сухарем и мелочным каверзником, лишь «контрабандой» проникшим в царство Аполлона. Однако, познакомившись лично с Андреем Ивановичем Сомовым, я постепенно во многом изменил свое первоначальное, заочное мнение о нем. Совсем не одобрял я те рисунки, которыми Костя (подобно мне) испещрял свои школьные черновики. Уже одним своим однообразием они меня отталкивали. Это были почти исключительно женские профили, в которых Костя пытался воспроизвести черты актрисы французского театра Жанны Брендо, пользовавшейся тогда, наряду с Люсъеном Гитри, большим успехом благодаря своей красоте и таланту. Он увлекался этой статной брюнеткой, и особенно нравился Косте ее действительно прелестный профиль. И вот вариации на этот профиль и покрывали все страницы его учебных тетрадей, лишь изредка чередуясь с совершенно ребя-

Зинаиде Гиппиус Сомов, напротив, напоминал какое-то божество, виданное **в** Неаполитанском музее. Правда, она познакомилась с ним несколько позже, **около** 1895 г.

ческими и вовсе не меткими карикатурами. Нигде не

появлялось проблеска того, чем впоследствии пленил Константин Сомов,— тут не было ни фантазии, ни острой наблюдательности. Другой связующей чертой между мной й Костей могла бы быть наша страсть к театру, но и из обмена театральными впечатлениями с Сомовым в гимназии тоже ничего не выходило. Он как-то конфузливо замыкался и отделывался самыми бесцветными ответами; если же я приставал, он окончательно уходил в свою скорлупу и дулся. То ли дело — наши беседы с Валечкой, нередко (в ожидании учителя или в большую перемену) переходившие в целые представления. У наших товарищей долго оставалось в памяти, как мы однажды изобразили ряд сцен из «Кармеп» и между прочим — шествие контрабандистов, ступая по столам и скамейкам и распевая во всю глотку знаменитый хоровой марш. Представлены были и сцены из «Рюи Блаза» и «Марион Делорм». Несколько товарищей охотно помогали нам, но всякие попытки вовлечь и Костю в такие «действа» встречали с его стороны отпор. Он густо краснел и, чуть не плача, замыкался.

А затем Костя, не предупредив никого из товарищей, покинул гимназию, в которой, кстати сказать, он еще менее преуспевал, нежели мы. Некоторые предметы ему не давались вовсе, успех в других — доставлял ■ему величайшие муки. При этом он был убежден, что только он один — такой недоучка и бездарность. Когда после летних каникул 1888 г. мы узнали, что в новом для нас седьмом классе Сомова не будет, то в общем мы не были особенно удивлены этим, однако моему изумлению не было пределов, когда я узнал, что Костя для того покинул гимназию, чтоб поступить в Академию художеств! Костя со своими профилями Брендо и ребяческими каракулями — и вдруг теперь оказался в стенах Академии художеств, той самой Академии, в которой год назад я потерпел довольно постыдную неудачу (об этом будет рассказано в своем месте). С этого момента и на некоторое время я почти совершенно теряю Костю из виду. Лишь изредка, встречаясь на улице, мы обменивались несколькими фразами, но каждый раз он с грустью жалуется, что его рисование в Академии не подвигается и что его продолячает мучить сознание своей полной неспособности. Из известного чувства жалости (и еще потому, что как раз за самые последние месяцы в гимназии весной он успел-таки занять скромненькое место в моем сердце) я старался утешить Костю, подбодрить, вызвать в нем большую в себе уверенность. Делал я это, однако, без полного убеждения. Забегая вперед, я тут же прибавлю, что в такой же роли утешителя и ободрителя я продолжал пребывать и впоследствии — тогда, когда уже сам исполнился восхищения от

пробудившегося таланта Кости и когда уже мы стали неразлучными друзьями. Но это сам Костя провоцировал меня на подобное участие в нем, хотя я и сознавал, что он в нем по существу совсем больше не нуждается. Мало того, даже тогда, когда его талант и мастерство стали очевидными широкому кругу ценителей, когда фантазии, возникавшие в его ■мозгу, одна за другой ложились во всем очаровании совершенно своеобразной красоты на бумагу или на холст, он сам продолжал считать, что

ч

ему «ничего не дается», и искать во мне моральную поддержку, от которой, посмеиваясь, я не отказывался, хотя временами бывал склонен требовать, в своих творческих сомнениях и в своей борьбе с техническими трудностями, поддержку с его стороны. Впрочем, Сомов в дальнейшем занял слишком значительное место в моей жизни, чтобы я мог исчерпать все, что имею сказать о нем, в главе, посвященной школьным товарищам,

Глава 18 ФИЛОСОФОВЫ

Я только **что** упомянул о том, что между мной и Сомовым еще в гимназии, но под самый конец его в ней пребывания, стало намечаться нечто вроде дружбы. Возможно, что этому способствовало то, что кончились его вызывавшие во мне известное отвращение «институтские припадки», в которых выражались те нежные чувства, какие испытывали друг к другу оба мальчика — Сомов и Философов. Кончились же они потому, что Дима Философов перестал бывать в гимназии. Он все чаще болел и очень плохо выглядел. Родители видели причину этого в школьном переутомлении, и его даже отправили за границу, кажется, иа Ривьеру; он не был в Петербурге в течение нескольких месяцев. Таким образом, Дима пропустил целый год учения и отстал от нас. Я не жалел о нем, так как еще продолжал остерегаться его злословия, его едких и подчас очень обидных сарказмов. Вздохнули свободно и другие наши товарищи, особенно подвергавшиеся его насмешкам. Однако по прошествии года Дима снова оказался среди пас, и это случилось потому, что я и друг Валечка остались на второй год без экзамена в восьмом классе. Дима таким образом нас, отставших, догнал. К этому времени ядро нашего кружка успело уже вполне окрепнуть, и тогда же возник вопрос, включить ли в него и Диму? Большинство было против, и особенно ратовали за недопущение Фшлософова

Скалой и Калин, которые бывали возмущены надменными манерами Димы. Во мне же проснулся какой-то задор, мне захотелось покорить гордеца; он пленил меня своим умом, да и самим его аристократизмом. Сначала я убедил Валечку, а затем и прочих в томг что Дима «нам нужен». И, странное дело, гордец сразу поддался,— вероятно, его томила изоляция (Сомова уже не было в гимназии), и он пошел нам навстречу.

Через несколько недель я стал встречаться с Димой не только в школе. Как-то я его привел к себе, увлекшись беседой с ним на пути из гжмназии, а через дня два он, в свою очередь, затащил меня на Галерную (д. № 12), где проживал, но в другом конце улицы, и Валечка. Эти домашние посещения стали затем учащаться, и постепенно я совсем вошел в семью Философовых, в которой меня примяли с необыкновенным радушием. **Тут,** между прочим, сразу выяснилось, что Димины гор-

деливые маперы вовсе не являются отражением воспитавшей его среды, что, напротив, он и в этой среде представляет собой исключение. Некоторое время спустя стало сказываться и мое влияние на Диму; он оказался несравненно более мягким и податливым, нежели это казалось раньше. Он, видимо, привязался ко мне (и к Валечке), в его тоне неожиданно проявились сентиментальные нотки; шутки его остались такими же острыми, но теперь они бывали направлены на других, а не на нас. Совершенно же очевидным стало то, что он подвергся моему влиянию в отношении к художеству, до которого (даже до музыки) ему до тех пор было мало дела. Выразилось это, между прочим, в том, что и он стал покупать книги по искусству. Будучи человеком чрезвычайно одаренным, с умом пытливым и исполненным какого-то пиетета к самой идее культурности, он быстро освоился с этой, совершенно новой для пего сферой. Прибавлю, впрочем, что он в эти годы какой-то «подготовки к дальнейшему» на все глядел моими глазами и был во всем согласен со мной. Можно сказать, что он стал моим совершенно верным учеником по вопросам живописи и других пластических художеств; он никогда со мной не спорил, чего нельзя сказать про Валечку, у которог© те и дело прорывались попытки выявить какую-то независимость и «индивидуальность». Но у Валечки это было в натуре. Он «протестовал», потому что без протеста не мог существовать. Однако мне не стоило большого труда «эти вспышки мятежа подавлять».

Диме, видимо, нравилось, что он вошел в какой-то совершенно новый мир. Но, в свою очередь, и мне очень нравился весь быт Филесофовых, нравился мне и каждый член семьи в

отдельности. Состояла эта семья из отца и матери Димы — Владимира Дмитриевича и Анны Павловны (урожденной Дягилевой), из сестер Марин и Зинаиды и из братьев Владимира и Павла. Все они, каждый в своем роде, были довольно характерные фигуры. Владимир Дмитриевич был уже очень старый человек '*, высокий, худой, слегка сутуловатый; черты лица его, особенно его припухшие глаза, носили явно монгольский характер, а борода, усы и брови придавали ему что-то типично российское, простонародное. В комнате Димы висела фотография Владимира Дмитриевича в облачении коронационного герольда с двуглавым орлом на далматике, и нужно сознаться, что этот костюм вовсе не подходил ни к его лицу, ни к его фигуре. С тех пор (с 50-х годов) В. Д. Философов успел сделать если не блестящую, то все же очень видную карьеру. Состоя прокурором в Военном суде, он даже стяжал себе славу сурового, неумолимого блюстителя закона. За последние годы он более не занимал столь ответственного поста и «заседал на покое» в Государственном совете. Как раз в те же годы начала моей дружбы с Димой состоялся юбилей Владимира Дмитриевича, и поговаривали о том, что оп за свои заслуги будет возведет в графское достоинство; однако этой чести он не удостоился, зато

Любопытно, что все наши родители были старыми: мой отец, отец Сомова, отец Философова, матушка Нуведя.

***7/, 18. Философовы* 5 в1**

был награжден особенно почетным орденом — св. Владимира 1-й степени. Как-никак Владимир Дмитриевич был «весьма высокопоставленной» персоной, однако в его манерах это не сказывалось ни в отношениях с родными, ни даже с такими двумя юнцами, какими были мы оба, друзья его сына. Напротив, он проявлял в отношении нас какую-то изысканную любезность, охотно с нами шутил, а то, что он слегка заикался, придавало его речи какую-то, я бы сказал, своеобразную уютность. Нравилось мне в нем и то, что в его спальне, в комнате обширной, но лишенной окон, вечно горела лампада перед большим образом Нерукотворного Спаса (копия с Корреджо) и что его кот Васька был чем-то вроде ближайшего его друга. Надо при этом пояснить, что я сам — страстный поклонник кошачьей породы и что для меня человечество делится на две половины: одна мне особенно близка потому именно, что она чтит Кота-мурлыку, а другая мне несколько чужда именно потому, что она не признает сверхъестественной прелести этих очаровательных существ и относится к ним с пренебрежением, а то и с отвращением. Кот Васька Владимира Дмитриевича пользовался в доме

необычайными привилегиями; он то и дело вскакивал на колени своего сановного хозяина-друга и устраивался на них, как дома, а любимым местом его более обстоятельного отдыха служили полки богатой, но очень скучной юридической библиотеки Владимира Дмитриевича.

Владимир Дмитриевич был известен и почитаем в специальной среде, принадлежавшей к высоким рангам бюрократии, напротив, мать Димы была поистине знаменитой на всю Россию ' дамой, и имя ее пользовалось чрезвычайной популярностью — особенно среди передовой интеллигенции. О ней ходили всякие слухи, в значительной степени обоснованные. Говорили об ее увлечениях различными революционерами, но еще более об ее *служении делу* революции. Между прочим, тогда очень распространен был анекдот — будто на двух концах той казенной квартиры, которую Философовы занимали до их переезда на Галерную, находились кабинет Владимира Дмитриевича и гостиная Анны Павловны, и вот в кабинете страшный прокурор, не покладая пера, подписывал один приговор за другим: «к расстрелу», «к расстрелу», тем временем как в гостиной Анна Павловна принимала самых отъявленных террористов, кокетничая с ними, восхищаясь их доблестью. Разумеется, этот анекдот не более, как грубая лубочная картинка, однако все же он в известной степени соответствовал истине — в отношении Анны Павловны. Никогда в России XIX в., даже в дни самой темной реакции и «борьбы с крамолой», человеческая жизнь не зависела от произвола какого-либо одного административного лица. Зато вполне достоверно было то, что Анна Павловна, увлекающаяся, горячая, со всей страстностью своей натуры отдавалась тому делу, которое она считала абсолютно правым. Она даже до того ревностно относилась к своему «служению», что вовлекла в него и своего старшего сына Володеньку, и свою старшую дочь Марию, которым опа давала иногда и весьма рискованные поручения, заставляя их передавать, кому нужно, всякие подпольные инструкции и документы, или укрывая ö всяче-

ски спасая от полиции лиц, опаснейших для существующего порядка. Эта деятельность Анны Павловны привела, наконец, к тому, что не только ее «попросили» покинуть пределы России, но и достижение Владимиром Дмитриевичем того министерского поста, до которого оставалось сделать всего несколько шагов, стало навсегда невозможным. Тогда-то его и определили в Государственный совет, считавшийся не без основания чем-то вроде богадельни для престарелых сановников.

Все это, когда я вошел в семью Философовых, было уже делом прошлым, но, впрочем, не очень давним. Анне Павловне уже снова было разрешено жить в России — в столицах, да и в ней самой и ее делах от прежних опасных революционных увлечений оставались лишь воспоминания. Зато Анна Павловна, и прежде посвящавшая немало своей энергии благотворительности и делу женского образования, теперь всецело отдалась именно этим задачам. Почти все ее время уходило на заседания, комиссии, на беседы с профессорами, с делегациями курсисток, на слушание докладов и т. д. Должен при этом сознаться, что насколько Владимир Дмитриевич мне нравился своим величаво-ласковым спокойствием, настолько меня скорее раздражала суетливость и вечная взволнованность Анны Павловны. Она нередко заходила в комнату Димы, где происходили наши, часами длившиеся беседы, и каждое такое посещение носило будоражащий характер. Она то являлась (точнее «врывалась») с сияющим лицом и, захлебываясь от счастья, сообщала нам о какой-либо победе на «фронте просвещения», то, напротив, войдя, валилась на диван и, заливаясь слезами (настоящими слезами!), негодовала на какие-либо новые репрессивные меры или ужасалась по поводу гибели тысяч людей от повальных болезней и от голода. Казалось бы, что эти излияния должны были бы трогать наши юные сердца, однако в них всегда звучала та нотка истеричности и в то же время та характерная барская безалаберность, которые лишали эти излияния своей действенности. Дима, при своей нежности к матери, не мог скрыть в таких случаях своего конфуза, а я, не показывая вида, что меня эти восторги или ламентации шокируют, все же весь как-то сжимался. Было еще в этих жалобах и восторгах и нечто от «вечно-женственного». Когда-то Анна Павловна была одной из пяти самых красивых дам петербургского общества (одной шз этих пяти была жена моего дяди Сезара, о чем любила вспоминать матушка Валечки — Матильда Андреевна), и подобные излияния могли служить в сильной степени ее чисто женскому обаянию, ими она и пленяла своих бесчисленных поклонников, часть которых была прототипами тургеневских героев. Но в 1889 г. Анна Павловна утратила и последние следы своей красоты и прелести. Ей еще не было шестидесяти лет, однако ее сильно отяжелевшая фигура получила какую-то почти старушечью рыхлость, а черты ее лица заплыли и потеряли всякую «чеканность». Вечная ее ажитация -- смех, плач, возмущения, ликования — углубили складки у ее полного, не слишком отчетливо сформированного рта, и особенно ее старил двойной подбородок.

* * *

Я не стану в подробности говорить о других членах семьи Философовых, скажу только, что брат Поленька (Павел), бывший года на три старше Димы, был типичным военным (он служил в копногренадерах). Это был славный, приятный, несколько простоватый малый: в семье Философовых он представлял такой же декоративный элемент, какой в. нашей представлял мой брат Николай. Что же касается до сестры Димы (бывшей на год или два старше его), то это была пикантная, высокая с маленькой головой брюнетка, большая хохотунья и дразнила. То была эпоха, когда в моем «романе жизни» произошел разрыв (точнее «перерыв» — о чем дальше) и, возможно, что я серьезно увлекся бы этой, очень мне правившейся девицей, если бы опа не была уже невестой. Женихом же ее был наш давнишний знакомый Саша (Александр Николаевич Ратьков-Рожнов), друг моего кузена Жени Кавоса. Было время в начале 80-х годов, когда я чуть ли не ежедневно видел Сашу Ратькова в компании с другим Сашей (Панаевым) на даче дяди Сезара в Петергофе, где оба считались возможными женихами моих кузин. Бывали оба Саши и у брата Альбера. Они произвели сенсацию на одном маскараде, явившись в виде испанских иезуитов — иначе говоря, «двух» Дон-Бази-лио. Саша Ратьков был очень высокого роста, Саша Панаев был почти что карликом. У обоих были саженные черные шляпы и черные мантии, которые волочились по полу.

Лишь крайне редко я видел у Димы его старшего брата Володеньку. Он занимал в это время пост вице-губернатора Псковской губернии. Дима был лет на двадцать моложе его и несколько чуждался брата. Определенно же он ненавидел его первую жену, урожденную (или в первом браке бывшую) княжну (или княгиню) Шаховскую, про которую рассказывали, что она, влюбившись в В. В. Философова, насильно женила его на себе. С Володенькой и его второй женой мы с Анной Карловной очень подружились, когда в 1924—1926 гг. жили в Версале. Это оказался самый милый, добрый и необычайно скромный человек. Он лицом походил на отца, по был гораздо меньше его ростом. Еще реже бывала в Петербурге старшая сестра Димы Мария Владимировна, которая, как и брат Владимир, совершенно отреклась от прежнего «революционного дилетантизма». Она была замужем за генералом Камеиецким и проживала далеко в провинции, где ее муж командовал какой-то частью. Мария

Владимировна была статной, красивой, но не очень симпатичной дамой. К нам она относилась чуть свысока — как к мальчишкам, друзьям ее «маленького» брата.

Приятнейшее впечатление производил двоюродный брат Димы, тоже Дима (Дмитрий Александрович), носивший, однако, среди своих вполне заслуженное прозвище «толстого» Димы. Считалось, что перед ним открыта блестящая карьера и действительно, он дослужился после «первой революции» до министерского поста (государственных имуществ); однако судьба не дала ему пробыть долго на этом посту. Он скончался от раз-

рыва сердца во время какого-то торжественного спектакля в Мариинском театре. Мне он чрезвычайно правился всей своей подлинно барской манерой и своим тонким юмором. Мне нравилась и его жена (они были молодоженами) — Мария Алексеевна, в первом браке Бибикова. У них на квартире (тоже на Галерной) в 1890 г. были затеяны нами уроки фехтовального искусства; это было довольно весело, но и очень утомительно.

Был еще один «член семьи» Философовых, к которому я сразу почувствовал большое расположение. То была ключница Дуняша. За недосугом у Анны Павловны заниматься домашними делами, все ведение хозяйства лежало на этой толковой, спокойной и безгранично преданной своим господам уже довольно пожилой женщине. Зато все Философовы и относились к Дуняше не как к прислуге, а как к родной, как к другу. Это выражалось уже в том, что Дуняша, бывшая крепостная, занимала за обедом председательское место во главе стола, и она разливала суп, тогда как Анна Павловна садилась «куда попало». Самый стол у Философовых не отличался изысканностью и был самый что ни на есть домашний; даже наши меню, тоже незатейливые, могли казаться утонченными рядом с тем, что случалось мне едать на частых семейных пиршествах у Философовых. Но все было очень вкусно и подавалось в чрезвычайном обилии. Особенно я ценил те угощения, которые Дуняша ставила к вечернему чаю и которые были ее изготовления. Будучи вообще лакомкой и сластеной, я особенно ценил Дуняшины засахаренные «дули» (маленькие груши). Вполне домашним диктатором Авдотья Егоровна становилась во время летних месяцев, проводимых в родовом имении Фнлософовых — Богдановском, Псковской губернии. Там, в смысле всяческого варенья, соленья, маринования плодов и овощей, она развивала чрезвычайную деятельность, доставлявшую ей массу забот, но и немало наслаждения.

Именно то, что у Философовых было родовое имение, что они

были «люди от земли», что в основе это были помещики, что еще совсем недавно, до 19 февраля 1861 г., они владели крепостными, иначе говоря, были рабовладельцами, что об этом самом Богдановском то и дело вспоминалось в беседах, о жизни же в Богдановском говорили, как о каком-то Эльдорадо,— все это сообщало в моих глазах особый колорит всему философовскому быту. В этом лежала, если и не сразу мной тогда осознанная, но все же глубокая разница между их домом и нашим. Ведь мы, Бенуа, были чисто городскими людьми; мои родители не владели ни единым клочком земли, если не считать территории под нашим домом. Помещичья же природа Философовых давала всему их быту своеобразную прелесть. Несмотря на давность своего рода (считалось, что родословная их доходит до времен Владимира Святого и до крещения Руси), несмотря на то, что многие предки их занимали высокопочетиые места при древних князьях и царях, их нельзя было причислить к аристократии придворного круга. II вместе с тем это не была и буржуазия. Это был тот самый класс, к которому принадлежали все главнейшие деятели русской культуры XVIII и XIX столетий, создавшие прелесть характерного

русского быта. Это класс, из которого вышли герои и героини романов Пушкина, Лермонтова, Тургенева и Толстого. Этот же класс выработал все, что было в русской жизни спокойного, достойного, добротного, казавшегося утвержденным навсегда. Он выработал самый темп русской жизни, его самосознание и систему взаимоотношений между членами одного семейного «клана». Всякие тонкости русской психологии, извилины типично русского морального чувства возникли и созрели именно в этой среде. Бывая у Философовых, я проникся особого уважения ко всему этому, столь своеобразному и до той поры мне ведомому лишь через книжки и «вымыслы» поэтов. С внешней стороны этот быт мало чем отличался от нашего, но по существу то были все же миры различные. И для ознакомления с этим бытом вовсе не требовалось какое-то «наведение справок», какие-либо объяснения. Бывая в доме Философовых, я постепенно и незаметно для себя познавал его природу и через это познание стал лучше понимать и любить самую суть русской жизни. Мне кажется, что главная причина, почему я сошелся с Димой, а через него и с Сережей Дягилевым, лежала именно в этой атмосфере, через которую я открывал пресловутую «русскую душу».

Эта атмосфера философовского дома особым образом действовала и на самого Диму. Находясь в ней, он терял свою природную колючесть, вернее; она смягчалась, сглаживалась. Он

становился проще, доступнее. Да и позже кузен Димы Сережа Дягилев, попадая в нее, заметно менялся. Он переставал быть заносчивым, он терял значительную часть своего провинциального дурного тона. В этом доме, несмотря на полную непринужденность, на царившее в нем почти непрерывно веселое настроение, на массу молодежи, на временами очень разношерстное сборище людей, всегда царил «хороший тон», который не надо смешивать с рецептами светского приличия, а который естественно рождался и процветал. И во мне действие этого хорошего тона выражалось, между прочим, в том, что я, не переставая веселиться у Философовых, не корчил из себя шута, не ломался и не фиглярничал, чем я грешил (из вящего самолюбия, из желапия обращать на себя внимание) с раннего детства.

Веселились же у Философовых часто и но всякому поводу. Собиралась масса народу — старого и молодого; какие-то генералы, адмиралы и сановники засаживались за карты с почтенными дамами; кузены и кузены кузенов (а то и дяди помоложе) тут же дурачились, как малые дети, играли в «маленькие игры», спорили, разыгрывали шарады. Почти всегда все это переходило в танцы, и в таких случаях в самой просторной комнате квартиры, в почтенном, чуть мрачном кабинете члена Государственного совета ставилось пианино (обыкновенно находившееся в Диминой комнате), и я или Валечка лихо разыгрывали наш «салонный репертуар»: вальсы, польки, мазурки, кадрили. Меньше мы любили, когда Анна Павловна заставляла знаменитого адвоката Герарда говорить стихи. Его специальностью был Альфред де Мюссе, но то, как он, не без аффектации, произносил французские слова, вызывало в нас г- слушателях — мучительные припадки едва подавляемого смеха.

506*//, 18- Философоеы*

Из отдельных фигур дома Философовых мне еще припоминается .родственник Димы: Сергей Неклюдов — человек уже не молодой и, может быть, по своему служебному положению и важный, предпочитавший, однако, наше общество своей зрелой и перезрелой компании. Это был тоже характерный русский барин — большой остряк, балагур и «боимотист» *. Он чудесно рассказывал анекдоты — подчас и очень рискованные, по подносил их в формах, абсолютно корректных. Несколько обрюзгший, заплывший, с неряшливо содержавшейся желтоватой бородкой, одетый по-домашнему, Неклюдов все же сохранял облик настоящего барина и этим своим барством очаровывал.

Из наших же сверстников я особенно выделял у Философовых двоюродных братьев Димы — Павла Георгиевича Коребут-

Кубитовича и Николая Ивановича Дягилева. Оба они в то время жили на одной квартире и почти никогда не разлучались. Коля Дягилев учился игре па виолончели; он был скромным, застенчивым, молчаливым молодым человеком. С виду это был красивый, статный блондин с бородкой Генриха IV, однако по существу он являлся чем-то тусклым и в обществе не обращал на себя внимания. Но как раз тусклость Коли Дягилева еще более выдвигала выдержанную характерность его друга Павки Коребута, представлявшего собой еще одну разновидность русского <<средие-высшего» сословия. Если обаяние С. Неклюдова было скорее довольно понятного свойства, то Павка являл собой некую загадку.

В разные эпохи жизни я сближался с Павкой и даже дружил с ним. В его ласковости, в его готовности соглашаться и вместе веселиться, а когда нужно, то соболезновать и сокрушаться,— была масса прелести. Этим «духовным» чарам соответствовала и его типичная российская па-ружность — вся его круглота, его окладистая «боярская», почти белая от белокурости борода, его столь охотно расплывавшийся в широкую улыбку или грустно сжимавшийся рот, его розовые пухлые щеки, наконец, его по-детски захлебывавшийся дискантовый говор. Недаром Сережа Дягилев, выписав его в 1923 г. на свой счет из Советской России и устроив его без всякого определенного дела «при своей особе», говаривал, что он это сделал для того, чтобы иметь под рукой какое-то подобие валерьяновых капель. При всем том с Павкой было трудно сойтись по-настоящему. Не то он как-то не допускал до последних тайников своего я, не то он не внушал к себе полного доверия. С особой строгостью случалось обвинять Павку в двуличии Диме, и не раз такие обвинения принимали бурный характер. Павка же сносил эти нападки с «чисто христианским» смирением, трогательно оправдывался, чуть что не плакал! Надо при этом заметить, что этот «отпрыск Гедиминовичей» был далеко не глупым человеком, а когда нужно было, то он умел себя показать и с деловой стороны. Так, говорят, ои не без достоинства в течение нескольких лет исполнял в провинции должность официального опекуна, а во

* От bon mot *{франц.)* — острослов.

время первой мировой войны он обнаруживал большое и толковое усердие в заведовании лазаретом.

Еще несколько слов о жилище и об обстановке Философовых. Незадолго до моего знакомства с ними они еще занимали огромную казенную квартиру у Поцелуева моста, но я этого великолепия не застал. С момента же постигшей Владимира

Дмитриевича опалы (в начале 80-х годов), обрушившейся на него вследствие уж чересчур «нелояльного» поведения его супруги, Философовы занимали целый (второй по русскому счету) этаж в доме № 12 но Галерной улице — в двух шагах от Синода и Сената. В этот же дом, с другого конца той же улицы, перебрались около 1891 г. и Нувели, в квартиру как раз над Философовыми, но занимавшую лишь часть площади последней. Дом был старинный и обладал как некоторыми преимуществами, так и значительными недостатками таких домов. Комнаты были просторные, но целых две (у Нувелей — одна) были темные. Комната Димы, длинная и узкая, тоже была наполовину темная, что, однако, не отнимало у нее приятности. Обстановка Философовых не отличалась роскошью и не содержала, кроме нескольких картин, художественных редкостей, но это была добротная и вполне комфортабельная обстановка на старомодный лад. Кресла, диваны и стулья в кабинете Владимира Дмитриевича и в комнате Димы были крыты зеленым репсом; мебель в гостиной и в спальне Анны Павловны — голубым и темно-синим штофом. Единственным свидетелем прежнего великолепия у Философовых был десяток старинных картин — остатки собрания деда Димы — и несколько фамильных портретов. Среди последних особенно примечательны были портреты Дмитрия (Ивановича?) Филосо-фова — писанный О. Кипренским*г* и изображающий этого круглолицего, в бачках, курчавого брюнета с затейливым чубуком в руке, и другой, работы А. Венецианова, портрет бабушки Димы, дамы уже не совсем молодой, в чепце, томно склонившей голову набок. Меня еще более, нежели эти два портрета, притягивал большой портрет самого Владимира Дмитриевича — ребенком трех лет, висевший в простенке между окнами Димипой комнаты, Тихенький пай-мальчик в красной русской рубашке был изображен сидящим па высоком детском стуле, на фоне деревьев сада под колоннадой домовой террасы. Он был занят своими, лежащими на полочке, прилаженной к стулу, игрушками, среди которых особенно обращала на себя внимание вырезанная из игральных карт карета, запряженная парой лошадей. Самое замечательное в этой очень старательно и не без мастерства исполненной картине было то, что она являлась произведением крепостного художника Философовых, который был и автором каретки и других разбросанных игрушек. Этому же ученику Венецианова принадлежали и два интерьера того бревенчатого дома, который был наспех домашними средствами построен в Богдановском после того, как сгорел великолепный прежний, украшенный колоннами дом. Меня самый факт существования такого собрата

по искусству, «еще совсем недавно» (всего лишь лет сорок до моего рождения) пребывавшего в рабском состоянии и в таком же состоянии кончившего свой печальный век,

508*Н> 19- Окончание гимназии*

озадачивал и изумлял, а на портрет деда Димы я поглядывал с недоброжелательством, как на жуткого жестокого крепостника. В то же время о просвещенности этого деспота свидетельствовало как то, что он создал из холопа художника, так и те очень недурные старинные картины, которые, спасенные от пожара, все еще украшали стены гостиной Анны Павловны. Среди этих картин была большая «Клеопатра» во вкусе Гвидо Рени и несколько «маленьких голландцев»; я не уставал любоваться «Пирушкой» в духе Дирка Хальса, которую я охотно приписываю мастеру более изысканному и интересному — Бейтевеху. К большой моей досаде, мне не удалось впоследствии пристроить эту картину в Эрмитаж (ее пожелал продать Дима после смерти матери), и картина ушла за границу. В кабинете висел еще один портрет Дмитрия Философова, писанный художником Гольпейном и изображавший его уже в старости, стоящим спиной к зрителю, но отражающимся лицом в зеркале. Кроме того, там же висела прелестная картина одного из лучших учеников Венецианова — Крылова, изображавшая деревенскую кухню и в ней сидящую прямо на полу перед топящейся плитой кухарку. Этот перл раннего русского реализма был впоследствии, при моем посредстве, приобретен Русским музеем, где, вероятно, он находится и по сей день \

Глава 19 ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ

Однако пора вернуться к самой гимназии Мая, рассказать, как мы ее окончили — весной 1890 г. Нормально я должен был бы покинуть школу годом раньше, но я и Валечка за последнее время так нерадиво относились к нашему учению, мы до того оба были поглощены своими разными внешкольными интересами и переживаниями, что, несмотря на успехи у Мальхина и у Блумберга, мы оказались последними в классе. Уже задолго до Пасхи стал ходить слух, что, пожалуй, нас обоих и вовсе не допустят до выпускных экзаменов, и поэтому я не был особенно удивлен, когда увидел утром 25 марта входившим к нам в залу (я как раз сидел за роялем) самого Карла Ивановича. Вышедшей к нему навстречу мамочке он без обиняков, но в очень «грациозной» форме, объяснил причину своего, столь неожиданного визита: «Сегодня Благовещение, однако я не с

благой вестью к вам, Камилла Альбертовна, прихожу. Ваш сыпок, к крайнему Сожалению, не может в этом году держать экзамены, он слишком запустил свое учение» и т. д. С той же игрой слов на счет Благовещения и с той же речью (но уже но-немецки) Май предстал затем перед Валечкиной матушкой. Родители были очень огорчены такой новостью, особенно папа, для которого она была полной неожиданностью (за последние годы он как-то вообще «потерял меня из виду»), напротив, мы с Валечкой встретили иеблагую весть почти с ликованием. Ведь перед нами открывалась весна, совершенно освобожденная от со-

II, 19. Окончание гимназии

ът

пряженной с этим временем года пыткой экзаменов. Первым нашим дедом и было убрать подальше с глаз ненавистные учебники и тетради!

Ужас перед экзаменами возобновился, однако, через год — весной 1890 г. Сидение второй год в восьмом классе облегчило нам отчасти задачу, и мы благополучно одолели эти страшные выпускные испытания; тому не помешало даже то, что наша театромания приняла еще более страстный характер. С января 1890 г., благодаря «Спящей красавице», возобновилось с удвоенной силой мое, совсем было за последние годы остывшее увлечение балетом, а тут еще во время великого поста снова после пяти лет приехали мейнингепцы *, и я стал каждый вечер пропадать на их спектаклях.

При этом со мной произошло и нечто непредвиденное. После пятилетнего промежутка (и благодаря моим же собственным рассказам) впечатления от этих -представлений успели приобрести в моей памяти какой-то легендарный характер; я поверил в собственные преувеличения, и когда теперь стало возможным проверить эти мои собственные рассказы, то я увидел, до чего многое в них присочинено. Отсюда внутреннее разочарование, что, однако, я тщательно скрывал даже от себя, стараясь уверить себя, что я и на сей раз наслаждаюсь в той же мере, как то было в их первый приезд. Мало того, я даже вздумал на сей раз сам поступить в мейнингенскую труппу, чему способствовало то, что мы свели с Валечкой личное знакомство с главными артистами; кроме того, мне очень нравилась одна совсем юная, прехорошенькая сотрудница фрейлейн Клара Маркварт, знакомство с которой ограничилось лишь тем, что, дождавшись ее выхода из артистического подъезда Александрийского театра, я помог ей сесть в казенную карету, за что получил при очаровательной улыбке благодарность в двух словах: «Спасибо, сударь!» по-немецки.

Наше знакомство с другими актерами произошло благодаря тому, что Валечка узнал в одном из них — в комике Пауле Линке — того курортника, с которым он встречался лет пять назад на водах не то в Баден-Бадеие, не то в Висбадене. Этот «профессиональный весельчак» вовсе нам не был симпатичен, а его пошловатые уловки смешить нублику были безвкусны, но стоило ли обращать внимание на такие пустяки, когда этот же господии мог нас приблизить к самому Юлию Цезарю — маститому Паулю Рихарду, к самому Бруту — к Карлу Вейзеру или к хорошенькой Жанне д'Арк — Елизабет Хруби. У нас завелся тогда обычай после каждого спектакля ходить с этими господами ужинать в скромный ресторанчик на Малой Садовой,— и вот, за одним из таких ужинов, состоявших обыкновенно из яичницы с ветчиной или из беф-строганова, я и решился открыть Паулю Рихарду, что мечтаю к ним присоединиться, для какой цели я уже выучил наизусть комическую «Проповедь капуцина» из «Валленштейна» и негодующую речь графа Дюнуа из первого акта «Орлеанской девы», начинающуюся со слов: «Нет, я это больше не могу терпеть, я отказываюсь от этого короля!» Мало того, считая себя уже актером. я поспешил сбрить бороду и усы, которые покрывали щеки, губы и под-

бородок с густотой, не соответствовавшей моим годам. Но милый старый Рихард, к которому я воспылал тогда каким-то подобием «сыновней нежности», счел своим долгом меня разубедить. Он указал и на трудности их кочевой жизни, и на скудное вознаграждение, и особенно на то, что мне пришлось бы много упражняться, чтобы отделаться от моего не совсем правильного произношения немецкого языка. Я смирился, и на этом кончилось то, что я тогда был склонен считать своим «основным призванием».

Заключительным проявлением нашего ноклонения мейтшнгенцам было поднесение труппе адреса, украшенного моим рисунком в старо-германском стиле и содержавшего двадцать строк самой выспренней немецкой прозы. Все это было сущим ребячеством, но в своем роде и чем-то трогательным. Большого труда стоило нам собрать подписи после того, как мы трое — Нувель, Философов и я — поставили свои необычайно размашистые росчерки. Дядя Миша Кавос, хоть и был поклонником мейнин-генцев, наотрез отказался, а кузен Сережа Зарудный, хоть и поставил свою подпись, но предварительно жестоко высмеял нашу затею. Зато нам удалось подцепить одного <<титулованного», а именно — некоего князя Аматуни,

приятеля моего приятеля (еще со времен Цукки), Мити Пыпина. Этот Аматуни случайно оказался в театре на последнем спектакле мейшшгенпев и, будучи любезным человеком, не воспротивился нашей просьбе. Но едва ли сами мейнингенцы обратили должное внимание на наше подношение; возможно даже, что наш пергамент, порученный Линку, оказался в отельной корзине для бумаг...

С момента отбытия мейнингенцев и до первых наших экзаменов оставалось не более двух месяцев, и теперь, за эти шестьдесят дней, надлежало приложить «сверхчеловеческие» усилия, чтобы без позора для себя и для гимназии завершить свое «среднее» образование. И на сей раз древние языки и несколько других предметов нас с Валечкой не тревожили, зато мы продолжали быть отвратительными математиками, и пришлось снова обратиться к помощи лица, обладавшего в нашей семье репутацией прямо-таки гениального чудодея в смысле подготовки и самых отсталых учеников. Три года до того появилась в нашем доме эта фигура — одна из самых живописных когда-либо мне встречавшихся. Теперь же Иван Дмитриевич Дмитриев был снова призван, дабы в ускоренном порядке приняться за нашу тренировку в математике. Задачу он исполнил с обычной удачей, и благодаря этому мы не опозорились.

Рекомендован нам был Иван Дмитриевич милым Обером. Однако, советуя обратиться к И. Д. Дмитриеву, он несколько смутил мамочку, сообщив об одном уж очень оригинальном условии, которое его протеже ставило относительно гонорара. Это условие заключалось в том, чтобы к каждому уроку ставились две бутылки пива! Не предупреди заранее Обер о такой причуде, мамочка, наверное, остерегалась бы доверить сынка какому-то пьянчуге. Но Иван Дмитриевич не был пьяницей; хоть и выпивал он за день, бывая на разных уроках, полдюжины, а то и больше, «шампанского **для** пролетариев». Преподавание его неизменно отли-

чадось совершенно исключительной ясностью мысли; просто его натура требовала такого подкрепления!

Самый облик Ивана Дмитриевича был в своем роде замечательным. Не будучи вовсе тучным, он все же производил впечатление толстяка, чему способствовало как добродушное, луноподобное, гладко выбритое лицо с двойным подбородком, так и необычайно широкие плечи и манера держаться «пузом вперед». Ноги же у Ивана Дмитриевича были скорее тонкие, но покоились они опять-таки на колоссальных ступнях. Иван

Дмитриевич брил бороду и напоминал тех приверженцев скопческой ереси, которые заседали в меняльных лавках, но густой бас доказывал, что это сходство обманчиво и что он — мужчина в полном смысле слова. Басом своим Иван Дмитриевич гордился и, состоя в хоре своей приходской церкви, зычностью своего голоса он покрывал даже громоподобные возгласы 'дьякона. Опять-таки в противоречии с этим «величественным» голосом находился в нашем учителе совершенно детский взор ого глаз и его светлые, наивно завивающиеся волосы, а также его визгливое, чисто бабье хихиканье. Мне этот "его смех (и то, как при этом бантиком складывались его губы, как вздрагивали его щеки, как заплывали глаза и как всего его начинало качать и трясти) доставлял такое удовольствие, что я всячески старался его рассмешить, не щадя подчас и его девственного целомудрия. Зальется Иван Дмитриевич и вдруг вспомнит о своей высокой миссии, хлебнет пенистой влаги, густо крякнет, приосанится и со строгим видом проговорит всегда одну и ту же фразу: «Ладно, ладно, а теперь давайте решим еще одну задачку по алгебре». Вернувшись к исполнению долга, он и ученика заставлял снова напрячь все свое внимание.

Судьба Ивана Дмитриевича выдалась не из счастливых. При других обстоятельствах из этого типичного российского самородка мог бы, пожалуй, выработаться второй Ломоносов (он и был, судя по портретам, похож на него), но именно «других» обстоятельств не случилось, и этот человек с мозгом превосходного математика, этот рожденный профессор весь свой век провозился с лентяями, вроде нас, а то и с круглыми бездарностями, стараясь их уберечь от провалов или добавить к их образованию то, чего не давала казенная школа. Получилось же это так потому, что Иван Дмитриевич, рано потеряв отца, должен был, еще совсем юным, зарабатывать свой хлеб и кормить мать и сестру. Бедность помешала ему окончить гимназию и получить права на поступление в университет. А в сущности, в каком еще «аттестате» нуждался человек, который и труднейшую задачу решал сразу, «на глаз», который и самую сложную теорему мог объяснить так, точно это сущие пустяки!

Впрочем, не одно отсутствие диплома обусловило род существования и образ жизни Ивана Дмитриевича, а то, что он был до какого-то юродства скромный, незлобивый и бескорыстный человек, к тому же и ревностный христианин. Одет он был всегда в неизменный старомодный долгополый сюртук с широко раскрытым жилетом. Отложной воротничок безупречно белой рубашки только еще подчеркивал то, что было в нем

детского. Таким он явился к нам в первый раз, когда ему было не более двадцати пяти лет, и совсем таким же я его видел тридцать лет спустя, уже в качестве учителя-репетитора, дававшего уроки моему сыну. За эти годы он успел просветить мозги многочисленным нашим племянницам и племянникам. Дальнейшая судьба И. Д. Дмитриева мне не известна. <...>

Наконец подошли и грозные дни выпускных экзаменов! Как нарочно за несколько дней до их начала распространился слух, что на них будет присутствовать какой-то необычайно свирепый попечитель учебного округа, и это для того, чтобы проверить, происходит ли в нашей частной гимназии преподавание согласно с последними предписаниями министерства народного просвещения. Этот слух порядком нас напугал и деморализовал, однако после первого же испытания мы убедились, что особенных бед нам не грозит со стороны этого господина со звездой на груди, а вскоре нашлось и правдоподобное объяснение его снисходительности...

Дело в том, что среди нас уже года два или три как находился юноша, не без основания считавшийся за полуидиота. Каким чудом он дошел до последнего класса, оставалось невыясненным, но факт был налицо; он был среди нас, восьмиклассников, и ему все прощалось; учителя его всячески «тащили». Даже гордый и независимый Мальхин, и тот как-то по-особенному относился к нему и никогда его не вызывал, не желая отягощать свою профессиональную совесть предписанным кем-то снисхождением. Такое ультрапривилегированное положение нашего товарища объяснялось тем, что Митя Куломзин был сыном одного из важнейших персонажей империи Российской — управляющего делами комитета министров — и что этот сановный родитель, если и не мог питать иллюзий насчет достойной карьеры своего сына, все же желал доставить ему кое-какие права. Получив аттестат зрелости, Дмитрий Куломзин не поступил бы в университет, где уже на отличном счету состоял его брат, а был бы назначен куда-нибудь в провинцию, где он и прокоротал бы свой век как всякий другой не «особенно далекий», но одаренный связями русский гражданин.

У меня в юности была болезненная жалость ко всякого рода калекам и убогоньким; я и к Мите Куломзину относился с большим участием, нежели остальные товарищи. Мне хотелось найти доступ до потемок его души и попробовать вывести его сознание из того нолудремотного состояния, в котором он пребывал. Выучили же Митю читать и писать, умел же он, с грехом пополам, решать простейшие арифметические задачи, а

также «делать вид», что он *понимает* то, что на уроках геометрии и алгебры толкует учитель. Митя даже знал сотню-две латинских и греческих слов и имел некоторое (правда, очень смутное) представление о законах грамматики древних языков. Почему бы не попробовать продвинуть его и дальше? Дразнила мечта — а вдруг окажется, что под этой оболочкой кроется нечто и весьма ценное, скажем, вроде того, чем меня как раз тогда пленил князь Мышкин Достоевского? Митю, видимо, трогало **мое** внимание, и он перестал **меня дичиться, а вскоре он и**

совсем освоился и стал проявлять черты навязчивости и докучливости. Так, у него завелось обыкновение меня провожать из гимназии до самого дома, и, мало того, он без особого с моей стороны приглашения следовал за мной и дальше в мой кабинет. Тут он располагался на диване, болтая отчаянную чепуху или предлагая мне самые нелепые вопросы. Во всем этом было нечто жуткое, но однажды он даже не на шутку напугал меня, так как вдруг вскочил, подошел к камину, схватил один из стоявших на нем бронзовых подсвечников и стал его, с каким-то странным выражением, вертеть в руках, медленно подвигаясь ко мне. Какой-то хитростью я отвлек его внимание в другую сторону и, взяв его под руку, «деликатно» вынул у него тяжелый предмет. После этого я уже стал определенно бегать от Мити Куломзина, а прислуге был дан строгий наказ его не принимать, если бы он явился невзначай...

Еще более курьезный случай запомнился мне в связи с Куломзиным. Жил он не в своей семье, а у какого-то частного лица, взявшегося за его воспитание,— вероятно, в надежде, что удастся пробудить в юноше пребывающий в дремотном состоянии мозг и тем самым заслужить признательность влиятельного отца. Этот воспитатель относился к Мите гуманно (тут действовал и контроль нашего доброго Карла Ивановича), но все же Митя боялся его, как только может бояться дикий звереныш своего укротителя. Получив однажды уж очень плохую отметку, он побоялся вернуться домой, прослонялся весь остальной день по городу и даже ночь провел (уже стояло весеннее тепло) на одной из скамеек, расставленных по Среднему проспекту. Можно себе представить, какой получился переполох и в доме воспитателя, и в доме отца-сановника. И вот, к большому удивлению моего отца, часов около десяти утра к нему является сам управляющий делами комитета министров в вицмундире, украшенном звездой чуть ли не Андрея Первозванного. Откуда-то ему стало известно, что Митя бывает у меня. Вот он и пожаловал, чтобы лично выяснить вопрос. Получилась довольно комичная сцена. Долгое

время папа просто не мог понять, что от него хочет этот важный и церемонный, совершенно ему незнакомый господин, со своей стороны не решавшийся просто высказать предположение, что его слабоумный сын скрывается у нас. Папа же никогда до того не слыхал имени этого моего товарища (мало ли юношей тогда бывало у меня; все они смешивались в папином представлении в одну массу). К счастью, во время этого разговора, начавшего принимать несколько неприятный тон, примчался курьер с новостью, что Митя нашелся и что он уже водворился обратно к своему воспитателю. Вот из-за этого жалкого мальчика и сам Май и весь педагогический состав были предуведомлены, что на сей раз не следует быть строгими, а напротив, рекомендуется проявить особенную снисходительность. Страшный же ревизор-попечитель оказался на страже именно того, как бы экзаменаторы не упустили из виду этого предписания. Именно благодаря Мите Куломзину наши выпускные экзамены прошли с меньшей нежели обыкновенно тревогой и никто не провалился. Мы же трое — я, Валечка и Дима — несомненно сдали бы экзамены и при более

строгом отношении, но, вероятно, мы бы их сдали **с** меньшим блеском и натерпевшись больших мук **.

Вспоминаю еще: пока мы не подозревали, что среди **нас** находится лицо, служащее чем-то вроде громоотвода, мы готовились с величайшим усердием и моментами до полной одури. О том, как Иван Дмитриевич начинял наши головы логарифмами и биномами, я уже рассказал, но мы и над другими предметами проводили целые дни и часть ночей в зубрежке. Во избежание того, чтобы как-нибудь во время этого не заснуть над учебником, мы собирались вдвоем, втроем, читали и заучивали читанное вслух или предлагали друг другу самые каверзные вопросы. И подумать, все это с таким трудом приобретенное было тут же забыто, а через два месяца мы уже наверно провалились бы по тем самым предметам, которые сдали вполне удовлетворительно.

* * *

Окончание гимпазии было отпраздновано у меня по всем традиционным правилам, т. е. полунощным пиром при великом поглощении всяких яств и особенно питий, начиная с обязательного пунша. Но я не скажу, чтобы эта оргия оставила бы во мне приятное воспоминание. Правда, мы всячески и в самых

бурных тонах старались изобразить нашу радость, правда, мы с неистовством горланили, не будучи еще студентами 2*, студенческое «Гаудеамус игитур», правда, мы обпимались и клялись в вечной нерушимой дружеской верности, но все это носило характер чего-то нарочитого, какого-то представления, точно мы все сговорились сыграть какие-то роли из пьесы, к тому же очень глупые и вовсе нам не свойственные. Кончилось же пиршество для меня и для Димы плачевно. Мы оба почувствовали себя дурно; Дима тут же изверг все выпитое и съеденное из окна парадной лестницы на наш двор, меня же Валечка, сам шатаясь, увлек почти в беспамятстве в мою «Красную» комнату (пир происходил в бывшей чертежной) и уложил охающего и стонущего на постель. От пьяного усердия он затем так дернул одну из оконных занавесок (на дворе уже настал день), что содрал самый деревянный карниз, на котором она держалась, и вся тяжелая масса с грохотом свалилась на пол, чуть было не задев его самого. На шум прибежала мамочка, вслед за ней папа и прислуги. Я же в ужасных муках метался

** Во время письменных испытаний Куломзин старался устроиться позади меня, и то и дело раздавался шепот: «Бенуа, Бенуа! У меня ничего не выходит, скажи, что надо делать». Я на бумажке писал ответ заданной задачи, бумажка падала на пол» он ее подбирал и в точности списывал то, что на ней стояло. Но не всегда эта процедура удавалась, и на двух письмепных экзаменах Куломзин подал лист с одним только списанным с черной доски заданием. А дальше — ничего. Сошло и это.

2* Двое из нас уже были студентами: то были Скалой и Калин. Сережа Дягилев на пиру не был: он по какой-то причипе держал государственный экзамен в следующем 1891 г. и блестяще его выдержал, хотя почти не готовился к нему.

II, 20. Путешествие по Германии

515

по кровати и вопил о помощи. Появились ведра, чаши, компрессы запахло уксусом, одеколоном и крепким кофе. И все же, между двумя приступами рвоты, я хохотал до слез, глядя, с каким неуклюжим старанием, тоже совсем пьяный Нувельчик исполняет то, что он считал своим дружеским долгом. Только тогда, когда я, уже совершенно выпотрошенный, заснул, мой верный друг поехал к себе домой, где, весьма вероятно, повторилась подобная же сцена — к великому ужасу величественной Матильды Андреевны.

Глава 20 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ

Мои добрые родители не удовольствовались тем, что дали мне возможность устроить сей пир, но они пожелали меня наградить за успешное окончание гимназии и более роскошным образом — снабдив меня средствами, дабы я смог осуществить свою мечту снова побывать за границей. Это была, если и не очень заслуженная, то весьма приятная награда. Я получил возможность увидать в действительности многое из того, что до тех пор знал только по воспроизведениям в книгах и фотографиях. Меня манили грандиозные романские и готические соборы, таинственные замки, сказочные резиденции эпохи рококо, стриженые сады, полные романтической прелести старинные города. Но сначала надо было выработать план, куда именно ехать и в каком порядке знакомиться с разными диковинами. Тут я сразу остановился на том, что мне особенно полюбилось благодаря довольно основательному знакомству с немецкой литературой и что я в особенном изобилии встречал в тех прекрасных изданиях, которыми обогатилась за последние два года моя личная библиотека. Наконец, покидая милую Майскую гимназию, насыщенную характерно германским духом и какой-то своеобразной уютностью, я захотел еще раз «с головой» окунуться в ту же атмосферу. При этом я, несмотря на советы родных и друзей, решил ограничиться Германией, включая сюда и германскую Австрию. Напротив, я решительно отказался распространить свою поездку на Францию и на Италию. Правда, то были две родины моих дедов, однако они мне казались в тот момент почему-то более чуждыми и менее заманчивыми. Что же касается до Парижа, то он меня просто пугал. Я и его изучил заочно довольно основательно по всяким изданиям в папиной библиотеке, однако, разделяя в этом предрассудки моих соотечественников, я представлял себе столицу Франции не иначе, как неким пагубным и опасным инферно *. Пугала и Италия в целом своими чрезмерными сокровищами. Я ведь не мог бы, побывав во Флоренции, отказаться от Рима и Неаполя, или, заехав в Милан, не отправиться в Падую, Мантую, в «родную Венецию». Но на

* От inferno *(итал.)* — адом.

подобные разъезды уже никак не хватило бы ассигнованной суммы. Наконец, и времени до начала занятий в университете (куда я и мои друзья сразу записались) оставалось не так уже много — всего каких-нибудь шесть недель...

Итак, отпраздновав 1 июля папин день рождения (последний

раз папа его проводил в обществе обожаемой им жены), я 2 или 3 отправился в путь. О, как при расставании встревожилась мамочка, сколько она а папа надавали мне советов, братья шутливо предостерегали, чтобы я не подпал под шарм хорошеньких немок, а Степанида и на сей раз заливалась горькими слезами и чуть было не причитала как над покойником. Я же только блаженствовал. Уложив ручной багаж в сетку своего отделения, поставив рядом с собой объемистую корзину со всякой снедью, я удобно внедрился в бархатный диван, взял в руки накануне купленный Бедекер и с видом опытного путешественника стал изучать его планы и карты. В первую очередь надо было, прибыв в Берлин, сходить в Бюро путешествий и заказать круговой билет по выбранному маршруту. Этим маршрутом я и занялся, но сразу запутался, ибо слишком разыгралось любопытство — слишком многое захотелось увидать и повсюду побывать.

Окончательно установленная программа заключала следующие города: Берлин, Лейпциг (где я навестил своего дорогого друга Володю Кинда, отбывавшего воинскую повинность), затем через Хёхст и Бамберг я бы проехал в Нюрнберг, откуда через Вюрцбург и Франкфурт в Майнц; там я бы снова сел на пароход и совершил классическую поездку по Рейну до Кельна; потом снова Майнц, и далее Гейдельберг, Штуттгарт, Ульм, Мюнхен, Обераммергау1 (как раз в том году шли знаменитые «Страсти господни»), Зальцбург, Вена и, через Прагу, Дрезден,— снова Берлин. В специальную задачу входило увидать на этом пути елико возможно больше картин любимых художников с Бёклиным во главе,. услыхать несколько опер Вагнера (и вообще побывать в разных прославленных театрах), наконец, посетить особенно меня интересовавшие места — отчасти потому, что в них живали и творили любимые писатели: Гете, Шиллер, Гофман, Грильпарцер, отчасти потому, что в них разыгрывались сцены особенно меня пленивших романов и пьес. Почти вся эта программа и была выполнена, лишь от некоторых намеченных городов пришлось отказаться и очень сократить пребывание в других. Тут действовали и соображения времени и ограниченность средств (уже в Мюнхене пришлось просить о подкреплении), к тому же, посетив неимоверное количество музеев, церквей, руин, живописных уголков, я довел себя до полного изнеможения и почувствовал настоящее пресыщение. Особенно досадно было, что я из-за спешки пробыл всего шесть часов в Бамберге, всего четыре — в Вюрцбурге, столько же в Ульме, совсем не заглянул в замок Лихтенштейн (манивший меня благодаря роману Гауфа2) и не решился проехать в

Обераммергау. Последний пропуск не помешал мне, по возвращении в Петербург, с величайшими подробностями и даже с энтузиазмом рассказывать «в качестве очевидца» про знаменитые рели-

гиозные действа, повторяющиеся каждое десятилетие при участии жителей этой горной деревни. Моими рассказами я особенно возбудил зависть Валечки Нувеля. И надо признать, что я до того основательно успел подготовиться к этой мистификации, прочитав несколько брошюр и одну книжку, что я и сам поверил, будто я там побывал, ночевал и даже промок, сидя в театре под открытым небом.

В таких хвастливых привираниях, от которых я в те времена еще не отделался, было много глупого ребячества; впрочем, на самом деле, несмотря на свой очень возмужалый вид, на снова подросшую бороду и на то, что я мнил себя серьезным знатоком искусства, я был во многих отношениях настоящим мальчишкой. Разве не мальчишеством было, например, то, что, попав в Гейдельберг, я обзавелся двумя студенческими фуражками, из которых одна попроще была для каждого дня, а другая парадная, расшитая золотом и с буквой «V» (корпорации «Ванда-лия», в которую записывались русские). Я даже рискнул, напялив ее, пройтись по всему знаменитому университетскому городу, примкнув к какой-то очередной манифестации; в ней же я щеголял несколько раз в Петербурге и на петергофской музыке. Мальчишеством было и то, что я считал своим долгом влезать (по рекомендации Бедекера) на все башни, колокольни и возвышенности, чтобы оттуда любоваться прекрасными далями. Не пропускал я также ни одного паноптикума и ни одной панорамы. Совершенным ребячеством, наконец, было то, что в самом начале своего странствования, в Берлине, я накупил на 140 марок фотографий (среди них одну большого формата «Елисейских полей» Беклина и его же «В игре волн»), истратив таким образом сразу одну десятую моего бюджета.

Коснусь попутно моих художественных предпочтений и увлечений того времени. Многое в этом может показаться смешным, и от многого я с тех пор отказался, однако, я не сказал бы, что все мое тогдашнее восприятие искусства представляется мне сейчас ложным и таким, за что приходилось бы краснеть. Напротив, именно тогда стал складываться и крепнуть во мне тот фундамент, на котором затем построилось в течение моей долгой жизни все здание моего художественного «Символа веры». В основе его лежало требование абсолютной искренности; ничего

просто на веру не принималось, все проверялось посредством какого-то «инстинкта подлинности». В то же время во мне с особой силой сказывалось отвращение ко всяким проявлениям стадности и велениям моды — к тому, что позже получило кличку снобизма. Все, в чем резко означалось какое-либо направление, как таковое, было мне тоже чуждо и противно. Если же художественное произведение — будь то живопись, скульптура, архитектура, музыка или литература -- содержало в себе подлинную непосредственную прелесть поэзии или то, что принято называть «душой художника», то это притягивало меня к себе, к какому бы направлению оно ни принадлежало. Требовалась еще и наличность мастерства. Всякий дилетантизм был мне особенно ненавистен. Отчасти оттого, что я в собственном творчестве, не без основания, усматривал

значительную долю любительства, я был невысокого мнения о нем. Своими взглядами я постепенно заразил своих товарищей. В моей сравнительной зрелости и уверенности находилась и причина моего воздействия на них; я оказался в отношении их в роли какого-то ментора и вождя. Впоследствии и орган нашей группы «Мир искусства» получил определенное отражение именно моего «кредо» — иначе говоря, самого широкого, но отнюдь не холодного, рассудочного (и еще меньше — модного) эклектизма. Иногда такое всеприятие приводило меня к ошибкам, к увлечению чем-либо недостойным или к отвержению явлений неизмеримо более значительных, нежели то, чем в данный момент я увлекался. Но иначе не могло быть в двадцатилетнем юноше и, как-никак, «провинциале». Ведь художественный Петербург того времени представлял собой нечто во многом весьма отсталое. Прибавлю тут же, что некоторые из этих ошибок были и благотворны. Через всякие такие «отклонения» и блуждания лежал путь к «свету» — и этот свет казался тем ярче, чем темнее были иные из этих, ведших в нему закоулков.

Если теперь попробовать установить какой-то перечень моих увлечений в начале 90-х годов и, в частности, в эпоху моего первого самостоятельного путешествия по Европе, то нужно подчеркнуть среди современников-иностранцев имена Беклина, Менцеля, Ленбаха, Кнауса. Среди художников более отдаленных во времени я особенно выделял немецких романтиков — Швинда, Людвига Рихтера, Ретеля, отчасти Шнорра и Шин-келя. Кроме того, на меня большое впечатление произвели в берлинской Национальной галерее и картины поздних романтиков — Генненберга и Гертериха. Великой моей симпатией пользовались также английские «прерафаэлиты» (менее всего — Д. Г. Росетти,

более всего — Дж. Э. Мил-лес и Х. Хант), а также Тернер и вся его школа. Среди французов я продолжал нежно любить классиков начала XIX в.: Давида, Жпроде, Прюдона, Шерара, Энгра; из позднейших мастеров я продолжал питать особенный интерес к историческим картинам Поля Делароша и ему подобных, и меня все еще коробил (моя большая вина) Делакруа; в чрезвычайной степени меня пленили всякие «рисовальщики»: Гюстав Доре, Домье, Гранвилъ, А. Деверия и такие колористы и виртуозы, как Декан, Э. Изабе, Лепуатвен и Лами. Любовался я (разумеется в фоюграфиях) и теми мастерами, которые в 80-х и в 90-х годах перед лицом всего мира представляли «славную французскую школу». То были Анри Рено, Ж. П. Лоране, Бонна, Мейссонье, Жером, а также целые плеяды звезд второй и третьей величины. Пределом смелости в эти годы считалось признавать за нечто значительное искусство Альбера Венара. Если же покажется странным, что я здесь не упомянул ни Мане, ни Моне, ни Дега, ни Ренуара, то ведь о них я в те годы просто не имел (и не я один) ни малейшего представления. Об этих «импрессионистах» заговорили только после появления романа Золя «L'Oeuvre» *, но и этот роман познакомил только с теориями а с принципами новой французской

«Творчество» *(франц.),*

*//, 20. Путешествие по Германии*519

школы, самые же произведения их — даже в репродукциях — знал лишь самый тесный круг в Париже. Потребовался «мировой» успех книги Му-тера «История живописи в XIX веке», вышедшей (по-немецки) в 1893 г. чтобы названные художники получили бы более широкую известность.

Особенную пользу мне принесло во время путешествия в 1890 г. посещение двух картинных галерей: берлинского «Старого Музея» и мюнхенской «Старой пинакотеки». И не только самый осмотр их, но и то, что при изучении их я пользовался теми толковыми путеводителями, которые за год или за два до того были изданы Георгом Гиртом. Я познакомился с этими книжками еще в Петербурге, я их уже там основательно изучил и почти все сказанное в них запомнил, и теперь, при обзоре самих коллекций, меня как бы сопровождал какой-то удивительно тонкий и толковый комментатор, точнее, такой же любитель прекрасного, каким был я, по несравненно более сведущий. В некоторых своих частях эти «чичероне» ныне устарели (немецкая художественная наука сделала с тех пор столько открытий, столько исправила ошибок), однако для тех времен, о которых я рассказываю, это было, что называется, последним словом, к тому же изложенным без всякого педантизма, необычайно просто и убедительно. Я

благодарил судьбу, что они достались мне в руки так необычайно кстати. На примерах, что содержат оба эти прекрасных музея, я и вступил в своем изучении старой живописи на путь, с которого я уже затем не сходил. Тогда обозначились мои главные симпатии, мои главные мерила.

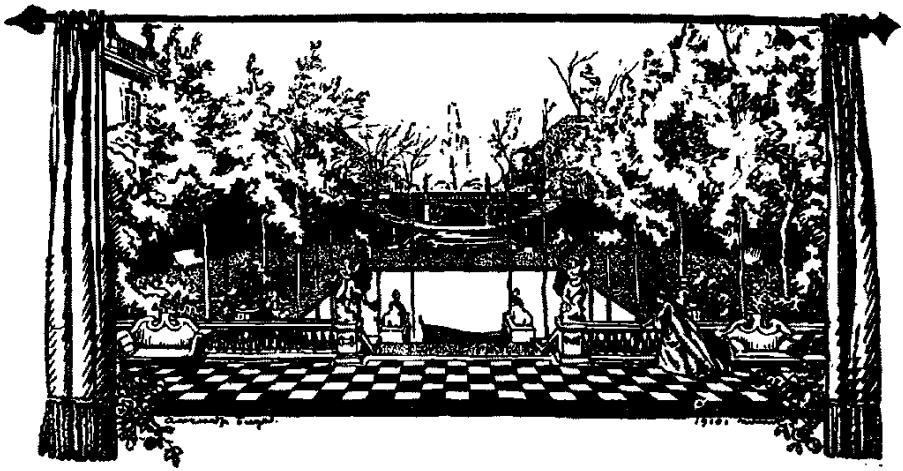
Изучая эти две книжки, а также монументальный увраж < ¢Kultur-geschichtliches Bilderbuch» *, который я приобрел в конце 1888 г., я заочно преисполнился своего рода пиететом к их издателю — мюыхенцу Георгу Гирту. Вот почему, попав в Мюнхен, я счел своим долгом отправиться к нему на поклон. Это посещение представляло для меня великий соблазн и потому, что я знал по репродукциям, что дом Гирта представляет собой настоящий музей прикладного художества. Гирт принял меня, совершенно незнакомого юношу, с удивившим меня вниманием и сразу стал развивать мне свою теорию художественного воспитания, находившуюся в полном противоречии с академической. Он как раз тогда готовил книгу, в которой, как на образец, достойный подражания, указывал на гравюры и рисунки японцев. Вслед за тем он провел меня по всем комнатам своего трехэтажного особняка, построенного у самых «Пропилеи» 3т под личным его, Гирта, руководством. Несметные коллекции были сгруппированы в прелестных декоративных подборах, и немало среди них было вещей, которым могли бы позавидовать и первоклассные музеи. В то же время многие редкостные вещи продолжали служить своему назначению. Особенно мне запомнились комнаты, посвященные немецкому барокко и рококо. Все это Гирт, несколько угрюмый с виду уже немолодой господин с черными усами, показывал, сопровождая демонстрации пространными и интереснейшими пояснениями, давая мне в

«История культуры в картинах» *(нем.)*.

руки самые вещи (особенно фарфоровые статуэтки и итальянские бронзы), обращая внимание на их глазурь, раскраску, патину, а также на грацию и жизненность их поз и жестов. Визит мой затянулся часа на три, и я покинул Гирта в состоянии какого-то восторженного опьянения. Я уже говорил выше, что во мне жила доставшаяся мне по наследству от деда Кавоса склонность к собирательству, но после посещения Гирта меня стала преследовать мечта о том, чтобы со временем обзавестись самому таким «домашним музеем» и жить в нем. Лично мне так и не удалось осуществить вполне эту мечту; того не позволили ни мои средства, ни моя непоседливая жизнь, ни, в

особенности, внешние обстоятельства «мирового значения». Однако скольких я заразил ею, сколько у меня одно время было богатых друзей, которые старались устроиться шьгиртовски, не имея никакого понятия о самом Гирте. Впрочем, как раз сам Гирт через несколько лет разочаровался в собирательстве и пустил все содержимое своего дома с молотка. Каталог его знаменитой распродажи занимает несколько томов.

Из других особенно сильных впечатлений, полученных во время моего путешествия, отмечу еще те, которые я испытал в «Германском музее» в Нюрнберге. Музей был только что тогда отстроен; в основе его лежал средневековый монастырь, и коллекции были расположены частью по ка-питулярным залам, галереям и переходам, частью по заново построенным помещениям. Последние казались рядом с подлинно старинными несколько новенькими и чистенькими, зато некоторые дворики (в последующие времена перестроенные или запущенные) поразили меня своей поэтической затейливостью. И в этом богатейшем музее (а также в Гейдельберге) я снова разорился на фотографии: накупая их, я заранее радовался тому, как я буду показывать их в Петербурге, как буду просвещать с их помощью друзей, какое одобрение я встречу со стороны дяди Миши Кавоса. Вернувшись восвояси, я поспешил наклеить эти сокровища по специально заказанным альбомам большого формата, и на этих фотографиях затем действительно учились и Костя Сомов, и Валечка Нувель, и Бакст, и оба Лансере, и Дима Философов, и Сережа Дягилев. К сожалению, громоздкость этих альбомов не позволила мне взять их с собой в эмиграцию, и что с ними сделалось, кому они, «бесхозные», достались, я не ведаю, так же, как я не знаю, что вообще сталось с моими коллекциями, картинами, книгами \ брошенными на произвол судьбы. Продолжают ли эти сокровища служить своему благородному назначению или все пошло прахом?



КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава 1 «РОМАН ЖИЗНИ»

Я имею полное основание так озаглавить данную главу. Наш роман с Атей Кинд, начавшийся тогда, когда нам было по шестнадцати лет, протянулся на всю жизнь — если не считать периода в два года (1889 — 1891), в течение которых между нами продолжалась размолвка. Подобное постоянство — явление довольно редкое, особенно в наше время, и потому оно требует и некоторого объяснения. Но как объяснить то, что два существа взаимно подходят друг к другу? Они точно предназначены одно другому, они друг другу *нравятся* и духовно, и нравственно, и «физически», и это «правление» сохраняет в течение многих десятков лет свой неизменный характер и силу. Недостатки каждого и некоторые, не всегда «удобные» странности без труда прощаются или игнорируются, а иные из них даже, пожалуй, чем-то пленяют и служат вящим средством притяжения! Несомненно, подобные Wahlverwandschaften * существуют в природе! В нашем же случае это оказалось чем-то особенно выдержанным. Если не опасаться сойти за человека, страдающего преувеличенным самомнением, то можно утверждать, что нас вела какая-то «верховная сила», иначе говоря «милость божия» — в чем, впрочем, внутри себя ни я, ни Атя никогда не сомневались.

Рассказывать во всех подробностях, как все произошло, как мы отметили друг друга и как развивался наш «роман», я не стану. Тому мешает порой известное «веление вкуса». Но если бы я был романистом, я бы использовал этот «материал», этот столь долгий и чудесный опыт, чтобы создать весьма занимательную повесть, в которую оказались бы вплетенными всякие эпизоды и элементы, похожие на те, что составляют прелесть знаменитых любовных историй, начиная, скажем, с «Дафниса и Хлои» 2. Но вот я не романист, никогда и не пытался стать таковым, совершенно же обойти эту *главную* сторону моего существования я в своих воспоминаниях не вправе, ибо «все оттуда пошло» и все вокруг этого сплеталось. А читатель пусть сам добавит многое, о чем я умалчиваю. Ведь у каждого, пожалуй, были в жизни минуты полного, предельного счастья — так пусть он о них здесь и вспомнит. Что же касается **тех,** кого вовсе обидела судьба и кто ничего подобного не испытывал,

* Избирательные сродства * *(нем.)*.

тех едва ли может вообще заинтересовать эта часть моего рассказа, и им я советую эту главу и несколько следующих просто

пропустить.

С той, кому суждено было стать моей подругой жизни, я впервые встретился в 1876 г. на бракосочетании моего старшего брата Лльбера со старшей сестрой Ати Марией. Новобрачным было около двадцати четырех лет, мы же были совсем малышами — нам было всего по шести лет. Однако я, как в тумане, помню у алтаря церкви св. Екатерины, а потом на дому только что повенчанных (где, по желанию родителей невесты, произошло «добавочное» благословение лютеранским пастором), я помню среди толпы взрослых девочку в белом платье, с белым бантом в темных волосах, очень дичившуюся и конфузливую. То была Атя. И она со своей стороны утверждает, что она заметила меня. Однако нас тогда не познакомили, официальная же обстановка мешала детям приступить к каким-либо играм.

Некоторое время спустя я стал получать известия об этой девочке из уст ее отца, почтенного Карла Ивановича Кинда, который в течение зимы 1877 —1878 гг. давал мне уроки фортепианной игры. Вероятно, для того, чтобы вызвать во мне соревнование, он часто говорил, что младшая его дочка — моя сверстница — далеко ушла вперед сравнительно со мной и безошибочно исполняет те пьесы, которые мне казались непреодолимо трудными. Помнится, что то были попури из любимых тогда опер—«Марты» и «Вильгельма Телля». Изредка я и встречался с этой самой Атей, то в городе у ее сестры — моей bell-soeur, то на дачах, снимаемых Альбером в Парголове или в Петергофе. Приблизительно с 1880 г. я стал дружить с ее старшим братом Володей, но мне не помнится, чтобы Атя принимала участие в наших забавах. Зато до странности отчетливое воспоминание о ней врезалось мне в память летом 1881 г., когда я как-то забрел на кушелевской даче в тот милый домик с колоннами, который снимал в том году Альбер 4*. Там я застал такую картину: у большого тройного («венецианского») окна, выходившего на заросший лопухом двор, сидела спиной к свету девочка (то была Атя), занятая чтением вслух, тогда как две ее сестры тут же что-то шили. Книга была толстая и русская — то была тогдашняя новинка — «Братья Карамазовы». Я тут же присел и стал слушать, но, как ни старался что-либо понять, я так ничего и не понял из этого «набора слов». Через десять минут я попробовал прервать это нудное занятие и заманить Атю в сад. Неподалеку все еще было удивительно подходящее место для игр — то был пустырь, где еще недавно стояла большая дача, но дача сгорела, и на месте ее торчали одни только обломки степ и лежали в беспорядке почерневшие бревна. Тут так удобно было прятаться и играть в любимые мои игры — в прятки, в «палочку-

воровочку» и т. п. Атя готова была последовать моему приглашению, но «жестокосердая» сестра, заинтересованная чтением, не пожелала отпустить ее (да еще с таким

См. главу, посвященную Кушелевке (с. 313).

шалуном, каким я тогда слыл), и бедная девочка должна была, чуть не плача, продолжать читать, тоже ничего не понимая из читаемого. У Марии Карловны это вообще было в обычае, чтоб ей вслух читали. Мне казалось это особенно удивительным, когда она заставляла кого-либо читать во время ее ежеутреппих упражнений на рояле. При этом она ухитрялась очень внимательно следить за всеми происшествиями рассказа. Случалось и мне служить ей таким лектором. Разучивая без устали какой-нибудь особенно трудный пассаж Шопена или Листа, Маша все же успевала делиться своими впечатлениями от чтения, а при каком-либо комическом эпизоде она разражалась смехом.

Проходят еще года два без того, чтоб Атя и я как-либо выделяли друг друга ` при встречах, но самые эти встречи все более учащаются. Тому главным образом способствует моя все крепнущая дружба с ее братьями — особенно с Володей, который был старше Ати на полтора года. Но изредка имя этой младшей сестры моей bell-soeur упоминалось в разговоре моих домашних. Запомнилось (почему запомнилась именно *эта* беседа из тысячи других?), как однажды за вечерним нашим чаепитием сам папочка, перебирая и характеризуя разных знакомых дам и девиц, вдруг задался вопросом, будет ли и третья из Киндов такая же хорошенькая, как обе ее сестры, и при этом он еще шутя высказал предположение, что эта девочка может с нами еще и породниться. Мамочка запротестовала и нашла, что в этом подростке ничего нет привлекательного, с чем и я тогда согласился, но тут совершенно неожиданно заступился синьор Бианки. Обыкновенно после воскресного обеда он сразу удалялся и до чая не досиживал, на сей же раз он почему-то застрял (возможно, что это были близкие к моей конфирмации дни, когда он с таким рвением вступил в роль моего «второго» крестного). И вот, с какой-то необычайной горячностью он заявил: «Ne dites pas cela, madame, la petite a ce qu'on appelle (que Dieu me pardonne) la beauté du diable — soyer sure elle aura encore plus du succés que ses soeurs» *. «Ай да святоша, ай да аскет Бианки,—подумал я,— какой у пего глаз!» В самый момент я, впрочем, не был поражен такой аттестацией, но впоследствии я не раз вспоминал о ней — следовательно, она затронула во мне какие-то мне самому

неведомые струны. Эти слова приоткрыли мое внимание на то, что было прелестного в этой девочке, как раз вступавшей в неблагодарный возраст, который немцы прозвали Backfischalter, а французы l'age ingrat.

Обладала ли впрямь Атя Кинд тем, что Бианки назвал столь мало-христианскими словами (beauté du diable) **, мне теперь трудно судить, но действительно, тринадцатилетняя эта девочка уже тогда начинала {aire des conquêtes ***, и даже сам ее зять — мой братец Альбер — не

Вы не правы, сударыня, девочка чертовски привлекательна (да простит меня бог),— уверяю вас, она будет иметь еще больший успех, чем ее сестры! *(франц.)**

Чертовская привлекательность *(франц.)*.

Покорять сердца *(франц.)*.

526*Hit 1- «Роман жизни»*

раз, не то в шутку, не то всерьез, изъяснялся ей в любви. Запомнилось мне и то, как он, бросив другие занятия, сам, ввиду готовившегося костюмированного бала, принял усерднейшее участие в изготовлении для Ати наряда, олицетворявшего Музыку. Белое ее платьице было испещрено вырезанными из золотой материи и нашитыми нотными знаками и «ключами», а талию охватывал пояс, изготовленный самим Альбером а изображавший клавиатуру. Напрасно, глядя на себя в зеркало, Атя, чуть не плача, пробовала протестовать. Альбер упорно отстаивал свою идею (он ее заимствовал из какого-то модного журнала), вертел Атей, как куклой, прилаживая булавками разные составные части, причем она то и дело вскрикивала от уколов. Он вообще пребывал в каком-то трансе костюмерного творчества. Мне стало очень жаль эту милую девочку 2*.

Летом того же 1883 г. я стал почти ежедневно встречаться с Атей, так как ее родители наняли небольшую дачку в деревне Бобыльске близ Петергофа. (Это дачное место у самого берега моря как раз тогда «открыл» Альбер и снял там большую дачу, сдававшуюся внаем рыбаками.) Мои родители предпочли остаться в городе: папе было трудно оторваться от своих служебных дел, мамочка жаловалась на усталость, и переезд на дачу ей представлялся чем-то непосильным. Вот я и оказался на все лето гостем моего брата, получив в свое полное распоряжение большую комнату в верхнем этаже. От дачи Альбера до дачи Киндов было не более двух минут ходу, и естественно, что вся детвора и молодежь из Альберовой дачи заходила за своими родственниками и тащила их на прогулки, это были Володя, Петя и Атя Кинды, которые приходили на Альберову дачу, где их ожидали всякие развлечения: игры в крокет, морские купания и

опять-таки «прогулки в компании». Надо при этом заметить, что у Альбера и Маши постоянно были гости, преимущественно морские офицеры, что там иногда музицировали и в то же время завязывались всякие романы и флирты (последнее слово стало тогда входить в моду). О нашем увлечении морским спортом, точнее говоря, греблей, я уже рассказал, но о той затее, в которой выразился «пароксизм», до которого я с Володей тогда дошли, я еще не упоминал, припасая этот рассказ для данной главы.

Затея эта представляла нечто крайне нелепое, однако мы в этот «ребяческий бред» поверили, что лишний раз показывает, что мы, несмотр» на рост и на исключительную скороспелость, были настоящими детьми. Решено было обзавестись собственной лодкой, приладить к ней каюту и пароходные колеса (которые мы рассчитывали двигать руками), и на этом «Наутилусе» мы должны были совершить далекое путешествие, поднявшись вверх по Неве до каналов Мариинской системы, а там добраться и до самой Волги! Теперь у нас было поглощающее занятие и в дождливые дни, когда приходилось сидеть дома. Мы изучала карты, чер-

Я сам на этом маскараде был одет Мефистофелем.

тили планы за планами нашего «корабля» и составляли подробный инвентарь всего, что нам понадобилось бы взять с собой. При разработке проекта плавания естественно входило и все то, что касается питания и тут для нас стало очевидно, что необходимо будет взять с собой и какую-нибудь «даму», которая варила бы нам уху (непременно уху, а не иной какой-либо обыкновенный суп; рыбу же мы ловили бы сами) и вообще «вела бы хозяйство». Ближайшей к нам по возрасту «дамой» и была Атя, которая с радостью дала нам свое согласие, согласия же родителей мы собирались испросить только перед самым отъездом, точно и впрямь таковое могло бы быть получено. Но весь этот чудесный план развалился, когда оказалось, что на постройку одной «каюты» и колес были бы потребны средства, далеко превосходящие все наши сбережения и все, на что мы могли еще рассчитывать. Да и самой лодки у нас не было. Правда, хозяин дачки Киндов, милейший чахоточный Яков Морин, рабочий с казенной гранильной фабрики в Петергофе, попробовал нам сосватать лодку какого-то своего приятеля, однако один вид этого суденышка, осиротело лежавшего килем вверх в рощице, позади дворца Марли, произвел на нас столь невыгодное впечатление, так мало соответствовал нашим грандиозным планам, что и я, и Володя совсем приуныли, и абсолютная несбыточность наших фантазий вдруг стала для нас

очевидной. Ничего не говоря друг другу, мы оба тут же отказались от них. При этом болезненнее всего я ощущал тогда именно то, что не состоится та очаровательная идиллия, о которой я стал было очень мечтать, и что наше совместное в течение многих, многих дней сожительство с Атей, такой простой, веселой и милой девочкой, не состоится!

Более всего в Лте мне нравилась именно ее совершенно особая, абсолютно искренняя, неподдельная простота. Она вообще очень мало походила на всех других знакомых девочек и барышень. Не похожа она была (ни чертами лица, ни «душой») и на своих сестер. Обе они, особенно Соня, были большими любительницами до пересудов, Атя же, при всей своей наблюдательности, никого никогда не «разбирала» (эту черту она сохранила на всю жизнь), а в общем была удивительно ко всем благожелательна. Охотнее всего она откликалась на темы художественные, музыкальные, литературные, но и это без намека на какое-либо желание блеснуть. Притягивала меня к Ате еще и ее любовь к живот-ным — особенно к кошкам и к собакам. Один из первых отчетливых образов ее, отпечатавшихся у меня в памяти, остается именно в соединении с огромным серым котом Васькой, которого Атя прямо обожала и который платил ей тем же. Я вижу ее в день переезда Киндов на дачу, как -она, одетая в черную бархатную кофточку и в красную шотландскую (еще короткую) юбку, бережно, как ребенка, несет этого тяжелого зверя от дачи Альбера и Маши, где новоприбывшие только что позавтракали, на свою дачу.

И все же ни в это лето, ни в течение еще двух **лет я и «не** думал влюбляться» в Атю. Мое сердце к тому же было **занято другим** романом, точнее, другими романами, среди которых один **был главным.**

528

///, 1. «Роман жизни»

Атя мне просто нравилась, как собеседница и как веселый, чуждый всякой жеманности, товарищ по играм.

Но вот, в один какой-то прекрасный день весны 1885 г., Атя, к моему собственному удивлению, *понравилась мне по-иному.* И что особенно странно, она понравилась не сразу сама по себе, а как-то «через Цукки», а именно через тот портрет итальянской балерины, который появился на страницах популярного журнала «Нива», В этот портрет, задолго до того, как я увидел Цукки в натуре, я действительно *влюбился.* Мне казалось, что представлено совсем юное существо и полное воплощение женственности (таких слов я тогда не употреблял, но *чувствовать* я их вполне чувствовал). И странно, это воплощение

вовсе не отвечало какому-то моему «основному идеалу красоты». Ни овал лица, ни соотношение черт между собой, ни чуть «китайский» постав глаз, ни слишком большой рот не были похожи ни на мадонн Рафаэля, ни на нимф Прю-дона, ни на головы знаменитых античных статуй! Не было в этом лице и ничего сладковато-миловидного. И все же лицо этой откинувшейся назад, чуть склонившей голову к правому плечу особы, кокетливо поглядывающей на зрителя, казалось мне прелестнее всех Венер и Диан! А «влажный» полуоткрытый рот сулил столько бесконечного счастья! Вглядываясь в этот рисунок, напечатанный среди текста на странице нашего почтенного «семейного» журнала, я буквально закипал страстным волнением. Эта девушка манила меня и казалась такой близкой! И что же — в тот, только что помянутый майский день, знакомая с детства Атя Кинд почудилась мне до странности тождественной с этим портретом — точно именно с нее и рисовал художник Вилье (не наш Михаил Яковлевич Wyllie, а какой-то Villiers, чужой — парижский). И что было особенно удивительно, и взгляд у давно знакомой девочки, тогда как раз быстро превращавшейся в девушку, *мог* быть таким же улыбчивым, робко и настойчиво зазывающим!..

В тот весенний день я зашел проведать друга Володю, но не застал ни его, ни его брата Петю, ни родителей, а прислуга была занята в кухне на другом конце квартиры. Атя одна была дома и была занята приготовлением к близкому школьному экзамену. Одета она была совсем по-домашнему, а окружали ее всякие наименее подходящие для «романа» предметы: учебники, словари, тетради и чернильный прибор. Да и пальцы Ати были замараны чернилами. Зато в открытые окна кабинета Карла Ивановича, избранного Атей, чтоб лучше сосредоточиться (она числилась среди лучших учениц своего класса), в эти окна, выходившие на самый поэтичный петербургский пейзаж — в одну сторону на Поцелуев мост, в другую — на канал, окаймляющий грандиозное здание «Новой Голландии», вливалось дивное полуденное солнце, в лучах которого и самые банальные предметы приобретали неожиданно искрящуюся жизненность и приветливость.

Атя не сочла нужным скрыть, что она рада моему приходу. Это ее отвлекало на несколько минут от заучивания тех премудростей, которые считались необходимыми для образования девиц в такой образцовой hö-

here Töchterschule *, какой справедливо слыло наше немецкое

училище св. Петра. Меня же эта неожиданная встреча (наедине!) с девушкой, вообще мне крайне симпатичной, настроила сразу на совершенно особый лад. Тут-то мне и показалось, что я стою перед живым и каким-то милым, дышащим радостью жизни *оригиналом* «портрета Цукки». Это меня наэлектризовало и подзадорило. Я принялся шутливо балагурить, рассказывать всякую чепуху, Атя же от всей души смеялась, а когда она смеялась, то становилась еще более похожей на «свой портрет»! Ее свежие, очаровательной формы ярко-алые губы открывались над рядом сверкающих белизной зубов, а в зеленоватых, чуть «китайских» глазах бегали искорки — «чертики». Это было до того прельстительно, что я не в силах был удержаться, чтобы тут же не попытаться этот рот поцеловать. Но Атя, не переставая смеяться, ловко увертывалась,. причем в этой манере «ставить меня на место» не было ничего напускного, никакой fausse pruderie ** и не было ничего для меня обидного. Однако экзамен надлежало сдать чуть ли не в следующее утро, Ате-было *некогда* продолжать такую игру, и она, все еще смеясь, ускользнула в соседнюю гостиную; когда же я бросился за ней, она ловким движением оттолкнула меня, прошмыгнула обратно в кабинет, кинула мне еще прощальный поцелуй и вслед за тем повернула в замке ключ. Я покинул Киндовское обиталище, как пьяный*** Однако тогда наш флирт на этом эпизоде и прервался. Я уехал на дачу, где меня ждало продолжение моего «главного» романа.

Позже, в то же лето, я увидел в натуре, на сцене театра Ливадия («Кинь грусть»), самое божественную Вирджинию, а в середине июля покинул вовсе Петербург, отправившись с родителями гостить в имение к. сестре под Харьковом. Должен тут же прибавить, что живая, настоящая Цукки хоть и очаровала меня танцами и мимической игрой, ока* залась вовсе не похожей на свой портрет в «Ниве»!..

По возвращении из Малороссии случилось так, что я в первый же-вечер отправился в Петергоф, в Бобыльск, и увидел там Атю; но увидел я ее на сей раз в самой неожиданной обстановке. Я попал прямо на генеральную репетицию какой-то пьесы, которую Мария Карловна, охотница до домашних спектаклей, решила поставить, для чего была сооружена в глубине сада довольно большая сцена, прислоненная к дровяному сараю. Что это была за комедия, я не помню, роль же, которая была поручена Ате, была самая незначительная — она изображала горничную «•в хорошем доме», и лишь раза три за весь вечер она появлялась, что-то докладывая. Но вот ей удивительно шло простенькое серенькое ситцевое платьице, белый передник и белая наколка на волосах; реплики-же она

подавала не как другие любительницы — без малейшей аффектации, просто, свободно и весело. На этой *естественной* веселости я настаиваю* Быть может, это не вполне отвечало требованиям хороших ма-

Высшим училищем для девиц *(нем.)*. Ложной стыдливости *{франц.)*.

.530

111, 1, «Роман жизни»

нер (позже, когда наш роман стал общеизвестным, я от некоторых своих -близких, критически к нему относившихся, слышал такую фразу: «c'est un coeur (Tor, mais elle n'a pas de manières» *), но как раз такое отсутствие всякой позы и жеманности, такое простодушие и такая *чудесная* искренность было тем, что мне более всего в Ате нравилось. Весь ее *стиль* был своеобразный. Самая ее «веселость» вовсе не походила на веселость других знакомых девиц и дам. Были среди них и очень смешливые, но если они и веселились иногда весьма бурно и громко, если и смеялись до «упаду», то под этим всегда сквозило желание обратить на ■себя внимание и *пленить*. Совсем иначе у Ати. Она никогда ничего не разыгрывала, а если и не была чужда кокетства, то сказывалось это очень просто, как нечто самое естественное и прямо «стихийное». Своему веселью она отдавалась всей душой и без всякой задней мысли. Могла она быть временами и «задирой», даже дразнилой, за что ее прозвали Neckvogel** (титул, унаследованный затем нашей дочерью Еленой), и, например, оба брата Ати из-за этой черты ее побаивались. Особенно доставалось Володе. Остро, но без малейшей злобы она подмечала смешные черты этого вечно в кого-нибудь влюбленного юноши (тоже большого ве-■сельчака), и доставляла себе особое удовольствие, когда ей удавалось его сконфузить. Конфузился же он удивительно мило и простодушно. Его .полные щеки заливались румянцем, он заикался, путался, не сразу находил нужные слова, чтобы парировать удары, и приобретал при этом совершенно потешный вид. Должен покаяться, что и я тогда не щадил своего друга. Сказать кстати, я никогда не видел, чтоб Атя ссорилась € ним, да и вообще с кем-либо из своих домашних.

На самый спектакль, состоявшийся на следующий день, собрался весь Бобыльск, да и из Петергофа и Ораниенбаума подъехало немало народу. Сад Альбера был, как водится, иллюминован цветными фонариками, развешанными по деревьям, а в стороне, на берегу, был устроен -буфет, среди которого красовался бочонок настоящего мюнхенского пива «Löwen», подаренный соседом по даче, богачом-фабрикантом Сан-

Галли. Несмотря на свою скромную рольку, Атя произвела наилучшее впечатление, причем я тут же из разговоров молодежи узнал, что она и во время моего отсутствия успела «отличиться как актриса» в более ответственной роли — морской царицы в феерии «Flick und Flock» ***¶ в которой участвовала вся детвора и несколько бобыльских женомов. Восторженно мне об этом рдссказывал, между прочим, Эрнст Грубе, молодой человек, несколько претенциозный и надменный. Я сразу понял, что он «тронут» Атей Кинд, и почувствовал тогда некоторый укол, хотя сам еще вовсе «не собирался завоевать ее сердце». Позже я узнал, что Грубе даже успел объясниться в любви, но Атя, начинавшая уже привыкать к своим победам и не придававшая им ни малейшего значения, только высмея-

У нее золотое сердце, но дурные манеры *(франц.)*.

Пересмешник *(нем.)*.

«Флик и Флок» 3 *(нем.)*.

*///, 1. «Роман жизни»*53f

ла неудачливого «жениха», который, жестоко обиженный, сразу и

«отъехал».

В начале осени, очень скоро после спектакля в Бобыльске, я поступил в гимназию Мая. Памятуя тот позор, что я претерпел весной, когда меня не допустили в казенной гимназии к экзаменам, я ревностно отнесся к своим школьным занятиям. Новая обстановка, новые товарищи, новые учителя и все в целом производило очень приятное впечатление. Некоторые же предметы меня заинтересовали по-настоящему. Но тут же1 вскоре наступил бурный фазис моего увлечения Цукки,— главным образом в заглавной роли балета «Дочь фараона». Я не пропускал ни одного' представления и каждый раз впадал в какое-то восторженное неистовство. Вполне разделял мое безумие мой верный театральный спутник Володя Кинд. Тогда же проснулась во мне и страсть прозелитизма. Я всег «гнал» на спектакли Цукки и торжествовал, когда ряды ее поклонников-пополнялись. Своим энтузиазмом я заразил не только бабушку Кавос, склонную приходить в восгорг от всего итальянского, но и брата Леонтия, до той поры вовсе не интересовавшегося балетом. Леонтий так зачастил на балетные спектакли с Цукки, пренебрегая обожаемой итальянской оперой, что вызвал даже ревнивую тревогу в своей супруге З*.

Обыкновенно мы сидели с Володей в задних рядах кресел, но иногда на спектакли Цукки брались нашей семьей ложи, и тогда они набивались, несмотря на протесты капельдинеров, до отказа. То были те любители, которые, кто по нерадению, кто по неудаче,

не успевали заручиться собственными местами — спектакли Цукки делали полные сборы, и публика буквально осаждала кассу.

Эта тревога особенно обострилась после памятного банкета, данного в честь божественной Вирджинии родственником Марии Александровны, почтенным балетоманом И. И. Ростовцевым. После роскошного угощения, тут же в столовой была импровизирована сцена из «Брамы», причем брату Альберу выпала роль создавать настроение на рояле. Кто-то («друг» Цукки — Васильчиков?) изображал принца, а Леонтий, «Филька» Ледэ (сводный брат танцовщиц Кшесинских) и еще кто-то были превращены в заговорщиков-браминов. Я как будто это уже рассказывал. Прибавлю здесь, что опасения моей belle-soeur за верность мужа были совершенно напрасными. Вирджиния, казавшаяся при свете рампы, в костюме и гриме, обольстительно юной, являла вблизи довольно поблекший, «помятый» вид. Неприятно поражал и ее грубоватый, чуть сиплый (типично итальянский) голос. В последнем мне случилось удостовериться, когда как-то, по окончании спектакля, я присоединился к компании юношей, возглавляемой грандиозным Степой Лалаевым. и мы отправились гурьбой к дому, в котором проживала Цукки, дабы ее там, *встретить,* когда она приедет из театра. Снимала она меблированное помещение совсем близко от театра, на Офицерской,— и мы успели туда добежать за четверть часа до того, как пожаловала сама дива. И тут, к моему недоумению, пышла из кареты вовсе не пленившая нас только что «Аспаччия» — дочь фараона, а крохотная, густо намазанная и набеленная, укутанная в какие-то шали, дама. Она чуточку задержалась, чтобы раздать нам несколько роз из гигантского букета, который она держала в руке, причем она произнесла несколько приветливых слов*. после чего сразу она «впорхнула» в дверь подъезда, а нам оставалось только глазеть на засветившиеся окна нижнего этажа и до1адываться, кому бы принадлеˆ жали те тени, которые моментами шевелились за тюлевыми занавесками.

532*H?> 1` «Роман жизни/f*

С этой самой норы произошел перелом всего петербургского общества в отношении к балету. Балет перестал быть каким-то предосудительным зрелищем — «голоножием для развратных стариков» или забавой детворы... Огромный Большой театр, часто до того времени пустовавший на балетных спектаклях, теперь, благодаря Цукки, заполнялся до последнего

места.

Несколько раз побывала с нами в таких ложах и Атя, причем ее неподдельный «детский» восторг от Цукки значительно

способствовал нашему сближению. Атя, как и ее братья, была и до того большой любительницей балетных зрелищ и успела перевидать едва ли еще не большее число их, нежели я. Однако только теперь, по ее словам, у нее «открылись глаза», только теперь она поняла, до какой высоты и силы может дойти балетная драма и до чего трогательной может стать балетная героиня. Очаровывала нас тогда и музыка «Дочери фараона» — в общем грубоватая и наивная, но местами не лишенная колоритности и даже поэзии — ведь автор ее, Пуни, был талантливейшим человеком, к сожалению, разменявшимся на всякую, иногда и очень вульгарную дребедень. Через несколько спектаклей я всю музыку «Дочери фараона» уже запомнил довольно точно и мог играть ее на рояле у себя дома или у Киндов. Часто я играл ее по просьбе Ати, и звуки музыки способствовали тому, чтобы с особой четкостью возникали в воображении полюбившиеся образы. Когда же был приобретен клавир «Дочери фараона», то и Атя сама стала играть по нему, что нас окончательно очаровывало, и мы доходили до каких-то экстазов, а также до попыток самим представить те или иные сцены и танцы. Надо помнить, что Володе было семнадцать лет, мне и Ате — пятнадцать и шестнадцать, а Пете тринадцать лет.

Ничто так не сближает людей, как общий восторг, как то, что один встречает в другом какое-то подтверждение и углубление собственных ощущений. Постепенно и незаметно для себя, на этой почве наши отношения стали переходить от товарищеских к дружеским, а там стало обнаруживаться и то, что мы питаем друг к другу и более нежные •чувства.

Еще до конца этого многозначительного для нас 1885 г. произошло -наше первое объяснение, и произошло оно в самый сочельник в квартире Альбера и Маши. Но то не было объяснением *словесным.* Обыкновенно елка у моего старшего брата устраивалась — не так, как у пас,— вечером 24 декабря, а ранним утром 25, еще до восхода солнца (что, кстати сказать, получалось довольно своеобразно и таинственно). Но на сей раз было решено, что елка будет зажжена для взрослых после того, ■ что малые дети будут уложены ровно в полночь, после чего нас ожидало обильное, как всегда у Альбера и Маши, угощение. Но до полночи оставался еще час, заняться чем-нибудь было трудно. И это ожидание показалось всем ужасно нудным, и поэтому все постепенно разбрелись по углам, расселись — кто по диванам, кто по кушеткам, кто по креслам, :все стихло, а иные и просто заснули. Я же с Атей оказались рядом

(едва ли случайно) на угловом диване, но и мы молчали, однако не потому. что4мы вздремнули, а потому, что эта близость и вся эта обстановка «торжественного ожидания» настроили нас на совершенно особый лад. Мы как бы чувствовали, что совершается в нас и «для нас» нечто, имеющее первейшее значение, мы подошли к тайнику, который должен нам открыться.

Едва сдерживая свое волнение, я протянул руку в сторону Ати и дотронулся до ее руки. И не только я не встретил отпора, но пальцы ее сомкнулись на моих... Так мы и продолжали сидеть рука в руку, в иол-ном молчании и в каком-то блаженном оцепенении, и я ясно чувствовал, что *происходит* нечто, что надлежит *запомнить* на всю жизнь, что нам суждено впредь идти вот так — рука в руку — и что это будет *хорошо.* Мне представилось тогда же, что состоялась наша помолвка и что с этого момента я должен считать Атю своей навеки нареченной4*. Что такие мысли могли зашевелиться в голове пятнадцатилетнего мальчика — вполне естественно, но что все в дальнейшем так и случилось, как тогда наметилось, это довольно-таки удивительно. И еще удивительнее, что наш роман вовсе не потек ровным непрерывным потоком, что через три года мы разошлись и сделали все возможное, чтобы забыть друг друга, и, однако, мы все-таки снова соединились и вот по сей день живем душа в душу в полном смысле этих слов 5*.

Через два дня после альберовской елки, в день рождения почтенной матушки Ати у Киндов состоялся бал — точнее то, что французы называют une soiree dansante * или еще менее почтительно — une sauterie**. Тут я увидел ту, с которой я считал, что я помолвлен, во всей прелести вечернего туалета. Несмотря на то, что Атя была еще почти девочкой и в ее сложении замечалась некоторая незрелость, та легкая диспропорция, что свойственна вообще всем еще не вполне сформировавшимся существам. это нисколько не нарушало ее обаятельности и скорее *подчеркивало* ее. Все в этом готовом распуститься цветке сулило чудесное счастье...

На вечеринку к Киндам явилось немало народу. Тут были и старики — сослуживцы Карла Ивановича, оркестранты Большого театра, во главе со знаменитым в Петербурге корнетапистонистом Вурмом, гут были и родственники разного пола и возраста, тут были и какие-то морские офицеры (большинство «стариков» сразу засели за карты), Володя же привел целый взвод своих товарищей по Petrischule. ... Атю, большую охотницу до танцев, эти юноши стали беспрерывно приглашать на кадри-

4* Около того же времени Атя увидала сон, она оказалась

стоящей около глубокого рва, через который нужно было перешагнуть, и вот явился Шура Бенуа, протянул ей руку, и она перешагнула через опасное место. А утром оказалось, что прислуга построила из щепок под Атиной кроватью «мост», долженствовавший как раз, согласно древнему поверию. показать ей «суженого-ряженого».

5* Увы, с тех пор, что были написаны эти строки, обожаемая **моя подруга жизни** покинула меня — 30 марта 1952 г, * Вечер с танцами *(франц.)*.

** Танцулька *{франц.)*.

ли. вальсы и мазурки. Я же и на этот раз не танцевал, хотя ноги так и просились под звуки задорной музыки пуститься в пляс. То был у меня род позы, но и на самом деле я никак не мог себе усвоить некоторые фигуры и па и боялся, как бы не напутать и не оскандалиться. В течение всего вечера я так и не выходил из кабинета Карла Ивановича, где был устроен буфет с массой сладких пирогов и бутербродов (слово «сапдвич» еще не было в ходу) и с целым батальоном графинов прохладительных напитков. Сюда разгоряченную, запыхавшуюся и раскрасневшуюся Атю вводили ее очередные кавалеры. Она бросалась в кресло, я же поджидал ее со стаканом розового морса или белого миндального молока, который она с жадностью и выпивала. Глаза мои не могли наглядеться на ослепительную белизну ее декольте и на ее оголенные руки. Пользуясь тем, что мы на несколько секунд оставались одни (старики за картами не могли идти в счет — они были поглощены игрой), я даже попробовал поцеловать руку немного выше локтя, но получил легкий удар веера, впрочем, при ласково-смеющемся взгляде.

Следующей главой нашего теперь уже вполне наметившегося романа явился день Нового, 1886 г., оказавшийся одним из самых значительных и счастливых дней всей нашей жизни. Считая себя уже взрослым, я решил последовать общему, тогда еще царившему обычаю и объехать с визитами главных родственников и знакомых. Однако исполнению этого похвального намерения помешало то, что я начал свою экспедицию с Киндов, куда меня тянуло с неодолимой силой... Случилось и на сей раз так, что я застал одну только Атю дома, так как ее родители и ее братья разъехались — опять-таки с визитами. В свою очередь, Ате пришлось принимать визитеров, которые и потянулись длинным рядом. Значительное число их оказалось молодыми людьми, которые так усердно отплясывали три дня до того на балу. Дольше других застрял долговязый семнадцатилетний блондин

Латышев. За ним установилась репутация настоящего сердцееда, и мне очень не нравилось, что он как будто имеет виды на Атю. На вечеринке он чаще других танцевал с ней и в минуты отдыха продолжал с ней разговаривать и шутить. Он был и старше меня, и выше ростом, а в его манерах была особая развязность, которая, как мни казалось, должна «особенно нравиться». Атя же охотно отвечала шутками на его шутки, а то и заливалась смехом, когда Латышев «сыпал» какими-нибудь остротами. Но на сей раз он был, видимо, очень неприятно поражен моим присутствием и не пытался это скрыть. Я же прямо исходил от внутреннего бешенства. В воздухе назревала гроза. И тут помогла благоприятствующая нам судьба. Явилось еще трое учеников Petrischule... им надо было спешить дальше по разным местам, они скоро снялись и увлекли с собой Латышева. Не успела, однако, эта компания скрыться за дверьми, как мы, точно по уговору, упали друг другу в объятия и так уж не расставались до следующего звонка и до нового посетителя. Дальше это превратилось, от одного визитера до другого, в своего рода обыкновение; когда же совсем стемнело, я с ужасом увидал, что уже шесть часов и что я сильно рискую получить порядоч-

ный нагоняй от папы, вообще ненавидевшего опоздание к обеденному

столу. Пришлось оторваться от Ати.

Однако, как я ни летел по всей Никольской и по Театральной площади, я все же подоспел только к жаркому. Вернулся я с таким лицом с такими кровавыми губами, что мамочка воскликнула: «Что с тобой? Откуда ты?» Не скрыли родители и своего недоумения, когда я сознался, что ни у одной тетеньки, ни у одного дяденьки я не побывал, а только все эти часы «прогуливался по улицам» на морозе.

Сразу после обеда я заторопился в театр. Шла «Тщетная предосторожность» — балет, недавно тогда возобновленный, в котором Цукки была изумительно хороша (она имела в «Тщетной» даже еще больший успех, нежели в «Фараоне»), и на сен раз я изирал на знакомую сцену III акта, где происходило любовное объяснение между Лизой и Коленом, с совершенно новым чувством. Ведь нечто подобное только что испытал я сам. и губы мои все еще горели от полученных поцелуев...

Чю эта моя влюбленность была иного рода и несравненно более серьезна, нежели все предшествовавшие, доказывало именно то, что я в своем обожании Ати поставил ее на недосягаемый пьедестал. Она стала для меня святыней! Я даже в воображении не допускал каких-либо «слишком свободных» желаний в отношении ее. И это был я, испорченный, скороспелый мальчишка, до того только и мечтавший о всяких «самых откровенных» наслаждениях!

Характерным для этого настроения можно считать следующий запомнившийся случай. С начала нового года я повадился бывать у Кипдов чуть ли не каждый день — то на пути из гимназии, то по вечерам, наспех приготовив уроки. Вообще же я вовсе не считал нужным скрывать свое чувство. Я *гордился* им. Немудрено, что все близкие и на моей, и на Атиной стороне вскоре узнали о нашем увлечении. Большинство ограничилось легким дразнением или намеками (у нас в доме вообще не было обыкновения очень откровепно, «по-российски» высказываться по таким вопросам). Но ипаче отнесся к нашему роману М. К. Истомин, ставший к этому времени «постоянным завсегдатаем» дома Альбера и Маши. Как я уже говорил, Истомин был исключительным шармером, но большой деликатностью он не отличался и часто обнаруживал некоторую склонность к цинизму. Вот он однажды за завтраком и позволил себе сначала

втихомолку дразнить меня, а потом громогласно провозгласить: «Да что говорить, всем известно, что Шура влюбился в Атю». Ничего особенно обидного в этих словах не было, но я отнесся к ним, как к чему-то возмутительному и оскорбительному. В бешенстве я вскочил, хлопнул тарелкой по столу и покинул столовую, крикнув «на уходе» что-то уж совсем несуразное. При этом, однако, меня обозлило не то, что наша тайна раскрыта, а только то, что Истомин употребил «такие опошленные слова», тогда как мое чувство было «недосягаемой высоты».

И действительно, благодаря этим чувствам, я весь тогда преобразился и, как мне казалось, очистился. Повторяю, «дурных» чувств и мыслей (до того времени мне очень свойственных) я и в намеках не допускал,

536*l¡h 1· «Роман жизни»*

если же они все же сами собой рождались и начинали меня преследовать» то я всячески прогонял и подавлял их, прибегая даже и к очень мучительным аскетическим приемам. Одной из самых жестоких среди этих мер «умерщвления плоти» было надевание на ночь рубашки, насквозь вымоченной в холодной воде! И это зимой и при открытой форточке! Уу! до чего это было неприятно. Да и опасно. Однако какие-то добрые силы берегли меня. Даже насморка я тогда но схватил. Лишь уж очень озадаченной бывала почтенная Ольга Ивановна, которая находила утром мою постель мокрой. Не могла же она допустить, что Шуренька, став взрослым, вернулся к привычкам самого раннего детства?

Впрочем, такие соблазны являлись редко. Для меня было достаточно проводить часы в Атином обществе, сидеть рядом с ней, гулять с ней! Зачем же было *портить* такое прекрасное блаженство помыслами и тем менее поступками, которые могли бы снизить мой идеал?...

Б первые месяцы нашего романа мы оба еще были школьниками, но школы наши находились на разных концах города. Моя «Майская» гимназия помещалась на 10-й линии Васильевского Острова, Атино же Петропавловское училище — в центре города. Одной стороной это древнее учреждение выходило на Большую Конюшенную, другой — на Малую. Тем не менее и несмотря на дистанцию в несколько верст, мне удавалось к моменту, когда кончались Атины занятия, оказываться на бульваре, насупротив подъезда женского отделения Petrischule, и тут, улучив момент, когда Атя, простившись с товарками, направлялась домой, я подходил к ней и дальнейший путь (через часть Невского и по всей Большой Морской) мы уж проделывали вместе. О, как я бывал счастлив, когда, доведя Атю до ее ворот у

Поцелуева моста, я слышал из ее уст ожиданный вопрос: «Не зайдешь ли?» И, разумеется, я заходил и застревал на несколько часов. Иногда, если и уроки Володи, также учившегося в Petrischule, кончались одновременно с Атиными, он присоединялся к нам, от всего своего дружеского сердца сочувствуя нашей любви,— благо и он в это время стал усиленно ухаживать за подругой Ати, Fräulein Janke — миловидной, но пустенькой блондиночкой. Присутствие Володи давало мне более благовидный предлог для продления наших прогулок, а также к тому, чтобы проникнуть в квартиру Киндов.

Нашим тогдашним прогулкам удивительно благоприятствовала погода. Чуть ли не в конце еще февраля наступили ровные ясные дни, а в марте — неслыханное дело в Петербурге — многие (и я в том числе) заходили без паль'то! Особенно запомнился вербный торг, который тогда происходил вокруг Гостиного Двора и который в этом году выдался необычайно многолюдным и разнообразным. В Вербное Воскресенье мы целой компанией бродили несколько часов по торговавшим всяким вздором лавчонкам на открытом воздухе и, забрав целую массу всяких сладостей, поехали к Киндам угощаться. Я ехал с Атей на одном извозчике, на другом Володя с Fräulein Janke, на третьем Петя с сестрой Соней. Но пир-шесаво это не обошлось без печальных последствий. Мы приналегли (больше всего я) на какой-то «китайский пирог» (род сухого варенья

или маседуана из всяких засахаренных фруктов), и на следующий день я был болен и даже не смог совершить свое ежедневное посещение Ати.

Жизнь только что помянутой сестры Ати — Софьи в общем протекала совершенно отдельно от нашей. Она бессменно жила у сестры Маши и редко наведывалась в родительский дом. Однако как раз тогда Соня зачастила, и это несомненно из желания как следует все разведать о на-шем романе, а может быть и воздействовать на младшую сестру — за-чем-де она себя так компрометирует с мальчишкой?! Толстушка Соня, бывшая на пять лет старше Ати, имела непреодолимое влечение к сплетням, к семейным интригам. Мы не доверяли ей и остерегались ее. Одна™ ко как раз теперь Соня сумела принять участливо-медовый тон и так ластилась к Ате, так была мила со мной, что мы поддались этому, и Соню пришлось принять в нашу компанию, а это естественно привело к первым недоразумениям и первым между нами размолвкам.

Здесь уместно сказать несколько слов о той обстановке, в которой разворачивался наш роман, о том Киндовском interienr'e, в котором я теперь проводил все свое свободпое от школьных занятий время. Семья Киндов, состоявшая из рара, maman, Ати и двух братьев — Володи и Пети, помещалась в четырех комнатах верхнего этажа левой башни той казармы флота, которая стояла в конце Большой Морской улицы, у самого Поцелуева моста. Одна из комнат киндовской квартиры служила продолжением передней и была полутемной — тут стояли шкафы и буфет, другая — спальней Елизаветы Ивановны и Ати, третья была довольно просторная гостиная, в четвертой помещался кабинет Карла Ивановича, в пятой спали мальчики. Из спальни Елизаветы Ивановны одна из трех дверей вела прямо на чердак, тянувшийся во всю длину здания казармы. Считалось, что там водились крысы необычайной величины, и эта молва прибавляла романтической жути этому огромному пустому помещению, стоявшему без всякого употребления... Вообще же у нас всех трех, т. е. у меня, Володи и Ати, потребность в романтике была так сильна, что мы находили таковую везде, где только что-либо представлялось мрачным и таинственным. Так, например, «совсем как в средневековом замке» представлялось нам и нижнее сводчатое помещение, откуда начиналась лестница, приводившая в третьем этаже к двери квартиры Киндов. Но в самой этой квартире романтики не было, ни в залитой светом гостиной с ее белыми обоями и белыми тюлевыми занавесками на окнах, ни в соседнем с ней кабинете. Меблировка квартиры была непритязательная и ограничивалась необходимым, если не считать «обязательного» высокого зеркала в простенке гостиной, длиннохвостого рояля фабрики Мюльбах, стоявшего у одной из стен гостиной, и прислоненного к противоположной стене, крытого красным сукном дивана. Здесь же висели единственные две большие акварели Альбера, подаренные им в период ухаживания за Марией Карловной. Одна изображала деревенскую дорогу, ведущую к лесу мимо золотистой нивы, другая — летний вечер на Неве, с рыбацкой тоней на первом плане и с башнями Смоль-

ного монастыря за рекой. Остальная обстановка была «утилитарного порядкам—стулья гнутого дерева, ломберные столы, несколько этажерок, письменный стол рара Кинда. буфет, много объемистых шкафов, большой открытый шкаф с книгами библиотеки. В Карле Ивановиче была коллекционерская жилка, но его собирательство не обладало какой-либо «декоративностью», он собирал серебряные и золотые монеты,

разложенные по коробкам и хранившиеся в ящиках под ключом его письменного стола. Показывал он свои сокровища лишь в экстренных случаях и не без торжественности. Надо прибавить, что вся квартира Киндов содержалась в безупречной, чисто немецкой чистоте, в ней ничем не пахло, все, начиная с полов, сияло и блестело... Стояло всегда ровное тепло, но ничто не манило к неге. Диван и стулья были жесткие, газовые люстры и лампы с белыми абажурами были высоко подвешены, на окнах висели белые кисейные занавеси. Ковры в гостиной и в кабинете в обыкновенные дни убирались и стлались только, когда ожидались гости. Впрочем, мы ничего этого не замечали, да и вообще, разве нуждаются в какой-либо внешней приятности молодые люди, поглощенные своими сердечными чувствованиями?

О чем же мы с Атей могли тогда вести наши каждодневные бесконечные беседы? Это теперь невозможно восстановить, но, во всяком случае, чаще всего мы обменивались литературными и художественными впечатлениями. Я был «начинен» всевозможным чтением, да и у Лти запас литературных впечатлений оказался не менее богатым; при этом, пожалуй, этот ее запас был более систематичным и однородным, основанным на примерном изучении классиков, особенно немецких. Правда, своей матушке Атя по вечерам, приготовив уроки, имела обыкновение читать вслух, но то была всякая фельетонная чепуха, вроде романов Габорио, Понсона дю Террайля или Поля Феваля, и это чтение вовсе не трогало Атю, это было лишь исполнением дочернего долга. Свою мать Атя любила страстно ц была готова ей в угоду приносить и не такие еще жертвы. Что же касается самого Карла Ивановича, то на родине, в Саксонии, он принадлежал к семье, в которой «культивировалась» поэзия, и один из его дядей даже прославился как поэт, в особенности как автор либретто оперы «Фрейшютц» 4. Естественно, что Карл Иванович пожелал иметь при себе иод рукой и сочинения своих любимых авторов, каковые в добротных переплетах и заполняли полки высокого шкафа. Рядом с Шиллером, Гете, Кернером и Лессипгом стоял и Шекспир (в немецком переводе, с теми иллюстрациями Джона Джилберта, которые я так часто разглядывал, забираясь и в библиотеку своего зятя М. Я. Эдвардса). Именно Шекспиром особенно увлекалась Атя и зачитывалась им так, как юные девиины обыкновенно зачитываются романами. Но характерно для нее было то, что склонность к серьезному чтению не мешала ей по-прежнему обожать сказки. Одним из самых значительные духовных звеньев, нас связывавших, была именно наша «верность детству», наша способность в любой момент как-то перенестись в другой,

фантастический мир. Атя, превратившись из девочки в барышню, не только не отказывалась

от своих прежних любимцев; напротив, именно на них был построен образован весь ее вкус. Сказки братьев Гримм, Андерсена, Перро, госпожи де Бомон и д'Онуа помогли ей (как и мне) создать себе известную «меру вещей». На них лучше, чем на чем-либо «более серьезном», мы научились отличать подлинное от фальши. Связывало нас и то, что мы были скорее приверженцами всего западного, «заграничного», русской же литературой (за исключением Пушкина, Гоголя и Тургенева) мы стали интересоваться позже. Однако многие чудесные русские сказки Атя знала со слов своей няни, которая, выйдя замуж за денщика Карла Ивановича, *еще* многие годы оставалась у них в доме в качестве прислуги. Еще большим мастером рассказывать сказки был сам этот денщик Яков, которого я довольно отчетливо помню и который производил самое *уютное* впеча!ление 6*.

Близко к литературным темам были театральные. Я уже рассказал о наших коллективных посещениях балетных спектаклей (мы не отставали друг от друга в нашем культе Цукки), но часто Атя бывала (с сестрами), и во французском театре. Еще раз напомню, что это было время, когда совершенно еще молодой Люсьен Гитри сводил с ума петербургскую публику. Рядом с ним на подмостках Михайловского театра подвизался и чудесный гротескный комик Hittemans (стоило ему только появиться на сцене, как весь зрительный зал рушился от хохота), милый, легкий, веселый и естественно изящный Андрие (Andrieux) и характерный Жумар (Joumard) и корректнейший Вальбель (Valbel). К манерам последнего, к непогрешимой его одежде, к его говору старательно приглядывались и прислушивались все те, кто посещал Михайловский театр, пек своего рода школу настоящей парижской светскости. Несколько позже присоединился к ним jeune premier* Дюмеии (Duméný), отличавшийся ювелирной отделкой своих ролей, и очаровательная Лего (Legault), которую можно поставить рядом с Режан (Régeane). В ролях grande coquette и фатальных женщин незаменима была L¡na Munthe, в ролях дам полусвета обольстительная Lender, одни плечи которой действовали зажигающим образом. Наконец, в ролях благородных светских женщин и тропических королев любимицей Петербурга была красавица Брендо (Bnndeau), в качестве ingenues — начинали тогда свою карьеру прославившиеся впоследствии в Париже Леони Ян (Yahne) и Томассен (Tho-massen). Наконец, смешила до слез верная партнерша Хиттеманса «комическая старуха» Дарвиль

(Darville). Когда давалась какая-нибудь буффонада, в которой участвовала она, Хиттеманс, «тихоня», «страдаюˆ щай любовник» Делорм, очаровательный Андрие и курьезный Жумар, то можно было заболеть от хохота!

** Кроме классиков, в библиотеке Карла Ивановича находилось полное издание «Жизни животных» Брема (Brehm's Tierleben) и несколько объемистых исторических трудов, И теми, и другими Атя была способна зачитываться так же, как впоследствии ее любимым чтением стали всякие мемуары.

* Пеовый любовник *(франц.),*

III , 1. ((Роман жизни»

По этим спектаклям в Михайловском театре русская публика, пожалуй, более разносторонне знакомилась с французской драматической литературой, нежели это было возможно в Париже! Ведь репертуар возобновлялся каждую субботу, благодаря чему единственный наш французский театр заменял целый десяток парижских. Каждая там нашумевшая новинка была уже через несколько недель поставлена и мастерски разыграна у нас. В то же время туалеты актрис и актеров, их манеры, их говор служили настоящей живой школой паризианизма. О, до чего прелестен, интересен и поучителен был в те годы Theatre Michel *! Я собирался написать в сотрудничестве с моим дорогим другом, князем П. А. Ливеном, целую книгу о нем, о тех вечерах, которые мы проводили в его изящном зрительном зале, отделанном оранжевым штофом и серебром, но, увы, этот проект вследствие кончины Ливена не состоялся! К шарму Михайловского театра надо еще прибавить, что в антрактах маленький, но отличный оркестр играл коротенькие пьески, преимущественно французские — Делиба, Визе, Годара, Массне, Оффенбаха и Ле-кока. К сожалению, уже к концу 80-х годов эту «музыкальную закуску» сочли за слишком старомодную и дорогую, и оркестр был упразднен.

В то блаженное время я мог бывать в Михайловском театре каждый вторник (и редкий вторник я пропускал), так как мы были абонированы пополам с дядей Костей на ложу во II ярусе. Но и Атя, со своей стороны, бывала здесь часто — обыкновенно в ложе своей сестры Маши, на еженедельных субботних премьерах. Когда нам пьеса очень нравилась, мы шли на нее два-три раза и тогда брали себе места в партере или в «сталях». Ах, какая милая, трогательная публика сидела именно в сталях — в этих недорогих местах (за креслами), откуда было все отлично и видно, и слышно! По большей части: то были все французские гувернантки, старые девы — восторженные энтузиастские

поклонницы Гитри, Вальбеля и Липы Мёнт. Там же была абонирована и милая «тетя Лиза Раевская», к которой надлежало непременно подойти в первом же антракте и которая то, задыхаясь от восторгаг шептала «до чего сегодня хорош Вальбель», то изливала свое негодование на грубые неприличия, на «сальности» Хиттеманса, «Дарвилыни» и прочих «шутов гороховых» (что не мешало нашей состарившейся институтке хохотать над теми же глупостями и гадостями до слез).

В русском театре я бывал реже. Виной тому было, пожалуй, то, что наши домашние не особенно долюбливали пьесы Островского, Крылова, Сухово-Кобылина, находя, что это уж слишком du prostoi **, уж очень «отзывается людской», что иное даже «дурно пахнет». Впрочем, как раз мама, вообще убежденная поклонница «всякой правды», «всего реального», как раз уважала русский театр, и ей вторила ее горничная Ольга Ивановна. Но вот настоящей компании мне для русских спектаклей не было, и сам я попадал в русский театр редко. Все же я счастлив, что

Михайловский театр *(франц.)*.

От русского «простой» в смысле «простонародный».

я успел увидеть в те годы (приблизительно до 1890 г.) в самом образцовом традиционном исполнении и «Ревизора», и «Горе от ума», и несколько драм и комедии Островского с несравненной (хоть на мой вкус чуть вульгарной) Савиной.

Атя в отношении русского театра была счастливее меня. Мария Карловна была большой его любительницей и не пропускала ни одной значительной новинки. Почти всегда она брала с собой обеих сестер. Еще реже it я, и Атя бывали в немецком театре, спектакли которого давались то в Михайловском, то в Александрийском театре.

Все же у меня остались в памяти превосходное исполнение трагиком Зуске роли Филиппа II в «Дон Карлосе», а также несколько комических пьес (Lustspiele, Possen, Schwänke), необычайно бойко и «натурально» разыгранных. В одной из них, которая, кажется, носила название «Dec Raub den Sabinerinnen» * выступала гастролировавшая прелестная юная актриса из Берлина. Однажды в немецком (государственном) театре мы с Атей увидали и тогдашнее загадочное «чудо-чудесное» — летающую по сцене танцовщицу. Звали ее Preciosa Grigolatis. Никакие бинокли не давали разглядеть ту систему проволок, благодаря которым эта особа слетала с небес и носилась в разных направлениях по сцене. Театральные люди рассказывали, что для установки этой очень сложной системы требовался долгий и

кропотливый труд, исполнявшийся специалистами, сопровождавшими летунью, при соблюдении абсолютного секрета. Малейший недосмотр мог бы стоить жизни артистке, которая обладала скорее исключительной отвагой, нежели талантом.

Вредило несколько впечатлению фантастичности то, что все полеты происходили под резкими углами, что выдавало наличность раз навсегда установленной сети. Специально для этой сенсационной гастролерши была поставлена популярная в Германии, но и очень наивная пьеса «Der Verschwender» **, в которой Прециоза исполняла роль доброй, благоволившей растратчику феи.

Глава 2

МУЗЫКА У КИНДОВ. РАРА́ КИНД. НАША РЕЛИГИОЗНОСТЬ

Дом Киндов был музыкальным домом; начиная с самого Карла Ивановича, все, кроме Пети, были музыкальны, все — любители музыки. Карл Иванович олицетворял тип музыканта доброго старого времени. По приезде в конце 40-х годов из своей родной Саксонии он сразу поступил на службу в Дирекцию петербургских театров в качестве первой скрипки при оперном оркестре, а затем занял место капельмейстера, сна-

«Похищение сабинянок» *(hctJ,* «Расточитель»5 *(нем.).*

чала в Гренадерском полку, а потом во Флотском экипаже. На этих двух постах он весь отдавался делу обучения музыке иногда и совершенно неотесанных, прямо из деревни прибывших в столицу молодцов, обнаруживая при этом как свое безграничное чувство долга, так и неисчерпаемое терпение. И ему удавалось превращать довольпо быстро этих оболтусов в совершенно приличных исполнителей. Полковые оркестры под его управлением славились своей слаженностью, и их приглашали в различные театральпые антрепризы, как, "например, в летний театр при Зоологическом саде, где они исполняли иногда и очень сложные программы. Кроме того, Карл Иванович был вполне культурным музыкантом; он умел играть решительно на всех инструментах, знал теорию музыки назубок и горел безграничным энтузиазмом к великим композиторам своего отечества. При случае он и сам сочинял то какой-либо вальс или польку, а то и торжественный марш, которые разыгрывались оркестром «Гармонии» ' — созданной им и им возглавляемой

Liedertafel *. Любимым местом отдыха Карла Ивановича был старинный немецкий клуб «Palma» в Демидовой переулке, где у него был стол и его ожидал кружок почтенных Stammgäsie **, где играли по очень экономическим ставкам в карты и в домино и где велись вполне благонамеренные беседы.

С виду это был высокий, прямой, крепко сложенный человек, рано поседевший, с крупными, энергичными чертами лица; густые, чуть свешивавшиеся усы придавали ему воинственный вид. Он слегка косил на правый глаз, что придавало -его выражению несколько насмешливый характер. Впрочем, он и действительно был склонен к шутке, к безобидной иронии, но при случае мог быть и довольно суровым и даже грозно сердитым. По-немецки он говорил очень чисто и изящно, без намека на какой-либо местный жаргон, по-французски довольно правильно, по-русски совсем неправильно, с потешными оборотами и сплошными ошибками.

Своим музыкальным образованием дети были обязаны ему, но лишь одна из трех дочерей делала вполне честь своему наставнику — это моя belle-soeur Мария, закончившая свое воспитание пианистки под руководством знаменитого Лешетицкого2 — сначала в Петербурге, потом в Вене. Другие две дочери хорошо читали по нотам, обладали достаточной беглостью пальцев, но из них в смысле музыкальной виртуозности ничего особенного не вышло. Правда, Соня, как я уже упоминал, обладала редкой силы голосом и прошла полный курс пения под руководством профессора Кореи, однако, будучи особой апатичной и довольно ленивой, она, выйдя замуж, постепенно совсем запустила пение. Старший сын Карла Ивановича, мой дражайший друг Володя, был исключительно музыкален, обладал прекрасной музыкальной памятью, не без блеска играл на рояле, но и ему было далеко до «концертной виртуозности». К тому же в молодости он был натурой беспечной, влюбчивой и довольно легкомысленной, и ему претила всякая усидчивая работа и тем более всякое

Капеллы *(нем.)*.

Завсегдатаев *(нем.)*.

систематическое упражнение. Та же характеристика, что касается музыки, годится и для моей Ати, но все же в ней было гораздо больше выдержки, и опа лучше справлялась с разными пианистическими трудностями, нежели брат. Наконец Петя Киыд если и не был лишен слуха, если и прошел какой-то первоначальный курс игры на рояле, то в общем он обнаруживал к музыке порядочное безразличие, причем, будучи любимцем

своей матери, он, к огорчению отца, вообще отличался нерадивостью и ленью.

Музыка являлась для нас с Атей одним из главных развлечений, а также (особенно в первый период нашего романа) предлогом для наших встреч и для того, чтобы быть вместе. То Атя и Володя услаждали мой слух, исполняя в четыре руки разные, нам тогда нравившиеся пьесы (например, рапсодии Листа, «Карнавал» Шумана и «Карнавал» Рубинштейна), то Атя одна играла то, что она разучивала под руководством отца, а то и я подносил своей возлюбленной мои фантазии, которым, имея это в виду, я и старался придать большую законченность. Наши вкусы были тождественны, мы любили тех же авторов и те же их сочинения или тот же тип сочинений. Положим, рояль Киндов был еще менее звучный и еще более тугой, нежели наш Gentsch, но это не мешало нам, слушая издаваемые им звуки, наслаждаться. Рара Кинд поощрял эти наши Musikunlerhaltungen *: отрываясь от своего обычного занятия (расписания нот по оркестровым партиям), он, одетый в халат, выходил из кабинета и, ласково ухмыляясь, делал свои заключения относительно исполнения или вносил поправки в мои сочинения. Чем-то он мне удивительно напоминал камерного музикуса Мюллера из «Коварства и любви» Шиллера. Пребывал в таком же благодушном состоянии он и когда давал мне уроки, но от его детей я слыхал, что он не всегда бывал таким добреньким и, напротив, часто за уроками становился и очень неприятным; изредка он даже прибегал к линейке и больно бил ею по пальцам.

Я уже упоминал о своей страсти ко всякого рода изображениям — «картинкам», и даже высказал предположение, что в этой мании можно видеть доказательство, что я «по природе живописец». Естественно, что, считая Атю *своею,* я с первых же месяцев нашего романа постарался заразить и ее этой манией. Очень скоро я повадился ходить к Киндам не иначе, как нагруженный всякими книгами; часть их я оставлял у Ати для лучшего с ними ознакомления на целые недели. Таким образом на том столике, который служил ей для ее школьных занятий, выросла целая гора всевозможных изданий — в громадном большинстве иностран-. ных 4*. Величайшее счастье я испытывал, когда встречал в моей возлюбленной отклик на мои художнические восторги или когда она выражала стремление лучше, полнее ознакомиться с каким-либо явлением

* Музыкальные занятия *(нем.)*.

** Но были и русские: например, роскошное фолио «Эллада и Рим» Фалька (перевод с немецкого) 3, которое я себе когда-то выпросил на рождение.

истории искусства. Сам я тогда только начинал усваивать кое-какие элементарные познания, но ведь известно, что лучшим преподавателем является тот, который сам только что обогатился знанием и страстно горит им поделиться. Постепенно я пристрастил Атю и к посещению музеев и выставок. Один из любимых наших музеев был тот, что устроил «обожаемый» мной Григорович в залах «Общества поощрения художеств» 4. Туда нас манил тот особый уют, с которым были расставлены коллекции старинной мебели, утвари, фаянса, бронзы. Местами эти коллекции были сгруппированы в целые жизненные уголки — казалось, точно только что давние хозяева, какие-нибудь бургграфы или почтенные ученые, покинули данное помещение, оставив на низком готическом столе увесистую Библию, медный шандал с полусгоревшей свечкой и огромную глиняную кружку. А над столом висела люстра, составленная из оленьих рогов, с фигуркой девушки, держащей перед собой пестро раскрашенный герб. Окна этой комнаты, выходившие на унылый петербургский, занесенный снегом двор, состояли из круглых Butzenscheiben * со вставками расписного стекла. Тогда мы уже стали мечтать о том, как бы и нам обзавестись когда-нибудь такой обстановкой; хотелось, чтобы разные милые вещи не только красовались как редкости — напоказ, но чтоб они *служили* в домашнем обиходе... Ныне, разумеется, я не могу смотреть на тогдашнее мое «знаточество» иначе, как со снисходительной улыбкой, но в то время я был полон гордости оттого, что разбирался в целой массе вещей, совершенно непонятных и «немых» для большинства наших знакомых. Впрочем, мы не только мечтали о чем-то, что могло бы исполниться в очень далеком будущем, но я, не откладывая, упросил мамочку сделать для меня (в душе я говорил «для нас») ряд совершенно ненужных приобретений, в которых, увы, выразилась лишь одна моя незрелость и мое самое поверхностное понимание. Так были приобретены полдюжины резных стульев мореного дуба в стиле тех, которые изображались на картинках из быта средневекового рыцарства, куплен фонарь кованого железа с малиновыми стеклами, куплена дюжина больших зеленых рюмок для белого вина, вроде тех, которыми чокались заговорщики в третьем действии «Piccolomini» 5, заказан был грандиозный диван красного дерева, крытый красным сафьяном (с перекидным матрацем), в стиле немецкого Возрождения. Но особенно я гордился креслом черного дуба, спинка которого была украшена маскароиами и кариатидами, ручки представляли собой крылатых драконов, а ножки

покоились на львиных лапах. Уже через пять-шесть лет я вполне осознал, до чего все это было безвкусным и уродливым; постепенно я и постарался со всем этим расстаться, но тогда мы были очень довольны таким «поэтичным» обогащением нашего будущего жилища, да и эффект, произведенный этими предметами на моих друзей, немало способствовал моему «возвеличению» в их глазах.

* Рам *{нем.)*.

Ill , 2. Музыка у Киндов

545

Я забежал несколько вперед, заговорив о том, как мы с Атей мечтали о том, как сложится наша будущая супружеская жизнь. Но, разумеется, первое время нашего «согласия» мы о том не заикались. Ведь нам было всего шестнадцать лет! Род «предложения» я все же ей сделал, и с этого момента наши мечты приняли более конкретный и определенно матримониальный характер. Произошло же это объяснение во время одного нашего выезда за город, организованного Володей. Этот выезд слишком курьезен сам по себе, чтобы не рассказать о нем в подробности.

Весельчак и вечный балагур, Володя обратился к нам как-то с весьма неожиданным приглашением, якобы исходившим не более не менее, как от самого... испапского посланника, маркиза Кампо Саградо! Сей сановник задумал-де устроить грандиозный бал у себя на даче иод Петер-буртом, и вот среди тысячи других приглашенных оказались, бог знает почему, и мы — совершенно ему незнакомые юнцы. Надо знать, что этот дипломат был в те годы одной из самых заметных фигур тогдашнего Петербурга, и он интересовал собой самые широкие круги общества — даже и такие, которые были весьма далеки от жизни «наивысших» слоев. Одна чрезмерная тучность маркиза обращала на него общее внимание как на улице, когда он сидел в открытой коляске (на козлах которой рядом с «русским» кучером восседал егерь с украшенной плюмажем треуголкой), так и в театре — в опере или в балете, когда он величественно, с ласковой улыбкой на своем широком лице, грузно шествовал к своему креслу в первом ряду. Имели мы с Володей случай любоваться им еще и тогда, когда Кампо Саградо в Страстную Пятницу, в обществе своих коллег — представителей держав католического вероисповедания — весь увешанный орденами, с большущей свечой в руке участвовал в процессии. продвигавшейся по «Мальтийской» церкви2*.

Про Кампо Саградо ходили по городу всякие анекдоты вроде того, что однажды его пришлось силой извлекать из театрального кресла, или будто кресло, на которое он был абонирован, было особой конструкции, которая могла выдержать его непомерную

тяжесть. Знаменит он был и своим обжорством, и на меня особое впечатление произвел рассказ очевидца о том, как маркиз на балу у богача Нечаева-Мальцева «слопал» целую миску, полную трюфелей, и как при этом заметно пухла его

** Эта католическая церковь была сооружена при Павле I в ознаменование того, что безумец-государь провозгласил себя гроссмейстером ордена иоаннитов. Она была построена по проекту архитектора Джакомо Кваренги — так же, как и соседняя с ней «православная мальтийская» церковь. Особенной красотой и благородной роскошью отличалась внутренность этой католической церкви, пленявшая гармонией своих пропорций и своих красок, в которых преобладал густой оранжевый тон. Наша семья имела обыкновение именно эту церковь посещать во время Страстной недели; службы, совершавшиеся там, были сопровождаемы превосходным хоровым пением, в котором, как говорили, участвовали и многие артисты итальянской оперы. Помянутая же процессия протягивалась через всю церковь, вслед за священником, шествовавшим со Святыми Дарами от главного алтаря к боковой капелле, где была устроена особая декорация, представлявшая гроб господень.

III , 2. Музыка у Киндов

печень! Словом, Кампо Саградо был фигурой легендарной и чрезвычайно живописной. Но был он и очень важный, недосягаемый, высокопоставленный саповник-олимпиец! И вдруг он узнал о нашем существовании и соблаговолил нас пригласить к себе! Все это представлялось совершенно фантастичным, но Володя клялся, что он не врет, объяснял с массой подробностей, как был налажен отбор приглашенных через целую сеть агентов и общих знакомых. Наконец ему удалось рассеять мои сомнения после того, что и Атя, и «пассия» Володи Fräulein Янке «вполне ему поверили». В назначенный вечер я и явился, облекшись во фрак (он был в предшествующую зиму сшит по случаю бенефиса Цукки), тщательно причесанпый и побритый. Дамы тоже были в вечерних платьях.

Однако, как и следовало ожидать, вся эта затея оказалась мистификацией. Меня действительно повезли через весь город и за Московскую заставу, но когда мы сошли с наших двух извозчиков у какого-то самого обыкновенного низкого забора, а за кустами я увидал большую, но тоже совершенно обыкновенную деревянную постройку, на резиденцию какого-либо гранда ничуть не похожую, то Володя раскрыл секрет своей шутки. Этот дом принадлежал некоему фабриканту, господину Кампосу, и эта дача

была действительно *за городом;* выходило, что он и не обманывал меня, когда клялся, что мы приглашены к Кампос-за-градом — к Кампо-саградо! Я было обиделся, собрался даже сесть на извозчика и ехать обратно, но мои спутники так заразительно стали смеяться удавшейся шутке, что и я присоединился к ним. Какая же жила в нас «святая простота» и какой же я, бывший тогда очень о себе высокого мнения, был юный дурак!..

Бал у господина Кампоса, устроенный по случаю чьих-то именин, был в полном разгаре, но часть гостей рассыпалась по аллеям довольно обширного сада, скупо иллюминованного бумажными фонариками. Я ненавидел балы (особенно когда на них танцевала Атя — обнимаемая другими мужчинами!), а потому, познакомившись с хозяевами (самого простецкого вида), я сразу пошел бродить по дорожкам, причем меня одолела ужасная тоска. Тут была и досада на то, что меня так провели, и особенно я был огорчен тем, что в этом заговоре предательски приняла участие Атя. Действовал на мое мрачное настроение и расстилавшийся за садом унылый пригородный пейзаж: далекие огороды, убогие домишки, фабричные трубы, зловеще выделявшиеся на фоне зари; а на горн-зонте то и дело появлялись дымки поездов, маневрировавших на запасных путях. Непреодолимо захотелось поскорее выбраться из этого «мещапского болота» и увезти из него Атю, тем временем уже вальсировавшую под хлесткую игру Володи. Вскоре мне это и удалось, но тут не обошлось без маленького скандала, которым и завершился для нас «пасторальный бал у испанского посла». Сменив Володю у рояля, я сыграл сначала два-три модных тапца, а затем без предупреждения перешел на самый залихватский трепак. Смущение танцоров было велико, но кое-кто попробовал было поддаться этой шутке. Но не сам хозяин — толстый, черномазый, довольно жутковатый господин. Он взгля-

•

нул на дело иначе; ему почудилось нечто особенно обидное в моей выходке, и он накинулся на меня с грубыми ругательствами, потрясал кулаками. Я отвечал в том же духе, с треском захлопнул крышку рояля и, забыв про шляпу и пальто, выбежал из зала и помчался к выходу из . сада. У калитки меня догнали перепуганная Атя и смущенный Володя (он же нес с собой мои вещи). После того, как я наотрез отказался вернуться на дачу господина Кампоса, с Володей мы расстались, и я с Атей вдвоем поплелись пешком обратно в город, причем я не переставал осыпать свою подругу упреками и изливать мое негодование на

Володю. Лишь пройдя Триумфальные ворота, мы, наконец, нашли какого-то возвращавшегося из города извозчика, который, соблазненный обещанием щедрого «на-чаёк», согласился повернуть оглобли и повезти нас через весь Петербург к Поцелусву мосту. И вот, сидя на этом тряском экипаже, мы сначала продолжали ссориться, но затем как-то совершепно неожиданно перешли па мировую, и тут я и спросил Атю, согласна ли она быть моей женой (для чего пришлось бы ждать несколько лет). Она без всякой оговорки отвечала, что согласна, и когда мы сходили с дрожек, то уже сияли оба счастьем, почитая себя всерьез женихом и невестой. Очень кстати в момент прощанья у ворот Атипого обиталища взошло за Исакием солнце, и все вокруг нас озарилось и заблистало.

Вспыхнувшая тогда, на обратном пути с бала у «испанского посла» ссора была ие единственная между нами. При нашем действительном *основном* согласии, все же характер каждого пз нас был далеко пе из самых покладистых и «удобных». Обе наши натуры имели в себе немало чего-то необузданного и своевольного. В частности, во мне сказывалась моя избалованность, что особенно выражалось в некоторых довольно неожиданных капризах и причудах. Да и Атя была очень нетерпелива, а при случае выказывала типично женское упрямство. К тому же, довольно скоро в ее семье стало проявляться противодействие нашему «роману». Старались, впрочем, нас разъединить только сестры Ати. Маша видела во мне второе издание столь ей опостылевшего Альбера, Сопя Hie была вообще склонна сеять смуту. Она мастерски умела вызывать людей на откровенность и их же затем натравливать друг на друга. Здесь открывалось для нее широкое поле деятельности. Мепя она не решалась трогать, зато свою сестру она буквально преследовала советами и предостережениями. Вполне естественно, что шестнадцатилетняя моя подруга иногда поддавалась наущениям старшей сестры, обладавшей к тому же большим даром убедительности. Под действием этих науськиваний и наговоров Атя, скрепя сердце, делала попытки прервать наши свидания, но вся ее решительность рушилась, как только я все же «добирался» до нее, а для этого существовала тысяча предлогов и способов, тем более, что ни рара Кинд, ни мама Кинд враждебных чувств ко мне не выказывали и не испытывали.

Не испытывали таких чувств к Ате и мои родители. Папа даже неоднократно похваливал ее, а мама до того баловала меня, что мне без большого труда удавалось заставлять ее приглашать все младшее **поко-**

ление Киндов к нам и угощать их на славу. Иногда только мамочка обращалась ко мне со знакомым уже мне вопросом: «Qu'as tu trouvé de tellement particuiier dans cette jeune personne?» *. И все же, верная своим правилам, она не восставала напрямик против моего увлечения. Мало того, по моей просьбе она сама купила на именины Ати (2ü июля) и на ее рождение (9 августа) по большой и нарядной коробке конфект от знаменитого кондитера Балле, которые я и поднес своей невесте. Вероятно, мамочка считала, что все это Шуренькина блажь, que cela ne tire pas à consequence** и что чем меньше противодействовать блажи, тем скорее она пройдет.

Однако «блажь» на сей раз не проходила, принимая все более отчетливые и серьезные формы. Я продолжал бывать у Киндов почти каждый день, а когда «для приличия» пропускал день, то и тогда мы встречались, В зимнюю пору я провожал Атю па те уроки, которые она по окончании школы давала каким-то детям (один урок был где-то очень далеко — на Кирочной, другой совсем близко — на Торговой). Летом мы совершали вдвоем часами длившиеся прогулки по улицам и садам Петербурга, причем предлогом нам служило то, что надо было прогуливать двух прелестных Атнных собачек — бультеррьеров белоснежной масти: Бойку и Мекку. Особенную симпатию мы оба чувствовали к Бойке — умпейшему, веселейшему псу -ион отвечал нам необузданными изъявлениями своей собачьей преданности. Мекка, напротив, была скорее особа глупая и с наклонностью к неврастении. Увы, во время одной нашей прогулки (уже в конце лета 1888 г.) с Бойкой сделался припадок удушья; он вдруг в судорогах кубарем покатился на землю, и я пе забуду того выражения смертельного испуга и мольбы о помощи, с которым он взглянул на нас, когда мы нагнулись над ним, дрыгающим и корчущимся в страданиях. Через несколько дней сделался второй припадок, и наш очаровательный песик скончался. Сколько было пролито Атей слез! Это у нее было редкостью, так как она вовсе не была плаксой и обыкновенно умела владеуь своими чувствами.

Другим местом наших свиданий была... церковь. Вернее — церкви. С самых дней уроков катехизиса у пэра Женье, если я и перестал быть «практикующим», то все же я продолжал быть глубоко верующим христианином и чувствовать тяготение к церкви. Особенно мне дорого было то настроение, которое овладевало мной, когда я переступал порог храма божьего, все равно какого — православного или католического, или

лютеранского. Меня также очень волновали разные религиозные вопросы, а в слово Священного Писания я верил абсолютно, не желая знать никаких научных проверок и толкований. Книги Штрауса или Ренана 6, о которых папа отзывался с омерзением, представлялись мне чудовищно-кощунственными, а когда до меня доходили слухи о каких-то археологических открытиях, опорочивающих или только частично подтверждающих то, что

Что ты нашел необыкновенного в этой молодой особе? *(франц.)**

Что это не имеет значения *(франц.)*.

/ff, 2. Музыка у Киндов

£49

сказано в Библии, то я старался как-то истреблять в себе впечатления ими производимые. При этом должен сознаться, что в смысле знакомства с Библией я не далеко ушел от того, что когда-то ребенком узнал от своих бонн, от папы и мамы, лучше же всего на уроках Е. А. Вертер в киндергартене. О них мне, кроме того, напоминали картинки в Библии Шнорра, свято мной хранимой, а в один прекрасный день и поднесенной моей возлюбленной. Основательно и как-то более самостоятельно я познал Новый Завет. Перед сном я завел себе обыкновение прочитывать по главе из Евангелия. Двухтомный экземпляр, которым я пользовался, был французским изданием романтической эпохи, переплетенным в зеленую с золотом кожу. Каждая его страница, наподобие средневековых часословов, была окружена символическим обрамлением, а, кроме того, главнейшие события были представлены в тонких гравюрах на стали.

В общем, если моя вера и была несколько прохладной и к тому же носила явно эстетический оттенок, то все же я был верующий, чего нельзя было сказать про большинство моих товарищей в школе и даже про моих братьев. Атя же была в полной мере верующей, и это, в свою очередь, отличало ее от ее сестер, относившихся безразлично к религиозным вопросам. Из родителей ее отец представлялся мне опять-таки безразличным к религии, зато мать Ати, милая Елизавета Ивановна, была глубоко религиозной натурой. Она перенесла за свою жизнь много горя, что ее преждевременно состарило, но в себе она сохраняла всю пламенность веры. Весной 1887 г. религиозность моей невесты получила особую крепость после того, что она прошла катехизис у доброго пастора Мазин-га и была конфирмована в лютеранской церкви св. Анны на Кирочной 7. То, что моя невеста была лютеранкой, тогда как я был тогда убежденным, как мне казалось, католиком, не вносило между нами какого-либо

разлада. Ведь и у нас в доме царила полная веротерпимость 3*. Мы могли отдаваться с Атей беседам на религиозные темы без того, чтоб наталкиваться на какие-либо догматические разногласия.

И вот как-то решено было, что по воскресеньям мы будем вместе ходить в церковь, причем, однако, произошел некий своеобразный уклон, который мне сейчас трудно объяснить. Вместо того, чтобы мне «заманить» Атю" в *мою* церковь (св. Станислава или св. Екатерины8), или вместо того, чтобы мне последовать за ней в *ее* церковь (ближайшей лютеранской была бы церковь св. Петра и Павла на Невском 9), мы выбрали для наших воскресных посещений божьего храма реформатскую церковь, лежавшую на Морской, при выходе ее к Мойке10. Причина такого выбора заключалась, во всяком случае, не в том, что эта церковь находилась в двух шагах от дома Ати (и очень недалеко от моего). Скорее всего нам нравилась ее внешность, напоминавшая нашему незре-

3* Кажется, в своем месте я уже указал на то, что все мои дяди с отцовской стороны были католиками, а все тетушки — лютеранками. Это поставила условием бабушка Екатерина Андреевна, рожденная Гроппе, выходя замуж за дедушку, что произошло в 1795 или в 1796 г.

лому вкусу те изображения романских церквей «кирпичного стиля», которыми мы любовались в книгах. Не забудем и того, что нам было шестнадцать и семнадцать лет, иначе говоря, что были мы сущими ребятами, а известно, что детей манит всякая новизна, все небывалое. *Необычайность* мы в Reformierte Kirche и нашли. Тут оказалось много такого, что нас очень заинтересовало и что даже нас первое время пленило.

Нравилось уже то, что, поднявшись во второй этаж и вступая в лишенное всяких украшений, картин и образов, высокое голое и светлое зало, надлежало мужчинам идти к скамьям направо, а женщинам — налево, причем каждый приходящий получал по чистенько переплетенной в черную клеенку книжке — псалтырю (при выходе она снова отдавалась кистеру*). На первых порах нам нравилось и то, что вся служба была сведена к самым простым формам, в чем нам чудилась простота первых веков христианства, — к проповеди, к двум-трем молитвам, к нению псалмов всей общиной под внушительные звуки превосходного органа, а при выходе прихожан из церкви раздавались либо чудесный прелюд Баха, либо какая-нибудь его фуга 4*, которые так чудесно звучали под пальцами знаменитого в Петербурге виртуоза Томилиуса.

Менее всего нам зато «нравилось» как раз *самое главное,* т. е. проповедь, хоть и держал ее славившийся своим красноречием пастор Дальтон — необычайно живой, крепкий и эпергичный человек. Подчас было даже мучительно выдерживать такую речь, произносимую каким-то странным, сдавленным и все же зычным голосом, при большой затрате мимики и даже пантомимы. Для особой выразительности Дальтон метался, как безумный, па своей тесной, высоко поднятой над всеми кафедре, высоко вздирал руки, облаченные в широкие рукава черной рясы, отшатывался от барьера и спова припадал ничком к нему. То он неистово рычал, а то, напротив, речь потухала до еле слышного шепота. И не жалел себя пастор, когда из всей мочи принимался колотить себя в грудь, и эти удары гулко раздавались на весь храм. Многое было просто смешно и напоминало мне Федю Лудвига на Кушелевке. Что же касается до содержания этих проповедей Дальтона, то надо им отдать справедливость, что они были всегда прекрасно построены и вообще могли служить образцами богословской учености, причем они были начинены остроумными, меткими сравнениями и уместными цитатами из различных областей. Дальтон несомненно хорошо знал человеческую душу и, в частности, специфическую душу своих прихожан — почти исключительно людей очень зажиточных, а то и богатейших, приезжавших с далекого Васильевского Острова на своих лошадях (перед церковным подъездом на набережной Мойки получался целый лагерь карет и открытых саней). К их кошельку он часто и обращался с особой настойчивостью, стараясь возбудить в

Кистер *(нем.)* — причетник.

В той реформатской церкви давались во время поста превосходные концерты духовной музыки. Там мы слышали в образцовом исполнении Matthäuspassion и Johannispassion [«Страсти по Матфею» и «Страсти яо Иоанну»].

них жалость ко всем тем, о ком уже заботились разные зависевшие от церкви богоугодные учреждения.

Наше усердие в посещении Reformierte Kirche продлилось всю зиму 1886—1887 гг. Целых восемь месяцев мы не пропускали ни одного воскресенья, ни одной проповеди. Однако, в конце концов, это нам стало в тягость, и когда я как-то предложил Ате пойти вместо реформатской церкви в лютеранскую — св. Петра и Павла, то она согласилась с радостью. Для меня же это означало какое-то своеобразное возвращение к- той красоте и к той поэзии, в которых я так нуждался и которые я находил в католических церквах. О, как мне понравилась та изящная архитектура, которая

была создана Александром Брюлловым в 30-х годах, что так отличалась от голых аскетических стен реформатской молельни! Какая это затейливая и сколь оригинальная постройка, в которой круглые своды покоятся на тоненьких высоких колонках! Сколько во всем воздуха, какие эффекты перспективы и рефлексов! Как приятно было, что вместо кафедры с черным мятущимся Дальтоном на ней (его физиономия с короткими бачками более напоминала нотариуса, нежели священнослужителя) здесь я снова увидал высокий алтарь, крест, ряд высоких зажженных свечей, прекрасную картину («Распятие)) работы Карла Брюллова и) и священников, исполняющих традиционные обряды. Не мог я оторвать глаз и от двух витражей, украшавших ближайшие ко входу нижние окна. На них с потрясающей мощью были представлены евангелисты (в те дни я был еще настолько несведущ, что не узнал в них копии со знаменитейших картин А. Дюрера!). Их яркие краски принимались ослепительно гореть, когда их пронизывали солнечные лучи, и все же они оставались глубоко *серьезными* картинами, не содержащими в себе ничего суетно-нарядного! Меня эти сиявшие образа притягивали настолько, что я даже переставал следить за тем, что говорилось в проповеди. Пасторов было, если я не ошибаюсь, три, и они поочередно произносили свои, иногда очень искусные проповеди. Но один нас особенно трогал. Наружность его была довольно своеобразная — особенно мертвенная бледность его бритого лица, окаймленного курчавой седой бородой, придававшей ему неожиданное сходство с теми «морскими волками», которых любили в XIX в. изображать английские и голландские художники. Говорил же пастор Ферман плачущим, жалобным голосом, как-то даже мямля и растягивая слова. Все это не мешало ему быть любимым и почитаемым своей многолюдной паствой священником. Увы, должен закончить эту главу признанием, что летом наши посещения и этой церкви стали все более редкими, а с осени мы уж и вовсе не возобновили своего усердия. Очень трудно объяснить, почему это так получилось, в вообще я не в силах найти какие-либо действительные обоснования тем постоянным колебаниям в нашей религиозности, которыми отличается все наше дальнейшее существование. Одно могу засвидетельствовать — ни я, ни Атя при этом не впали в безбожие и сохранили в отношении к таковому глубокое омерзение...

Глава 3 МОЕ ХУДОЖЕСТВО

Во время наших почти ежедневных свиданий в доме родителей Ати мы не ограничивались музыкой, чтением и беседами на всевозможные темы, но я туда же перенес в значительной степени и свои художественные занятия. Мое художество за период моих Flegeljahre *, приблизительно с 1883 по 1886 г., было запущено. Теперь же, благодаря нашему роману, оно как-то снова воспрянуло и ожило. Состояние влюбленности само по себе вызывает творческое возбуждение, является стремление отличиться перед возлюбленной. Влюбленность более мужественных натур толкает их на воинские или на спортивные подвиги; моей же насквозь миролюбивой натуре все насильственное претило, зато к моим услугам был мой изобразительный дар. В то же время живейший интерес, который проявляла Атя к моим успехам, являлся для меня самым значительным поощрением. Дома я бывал часто обескуражен разными критическими или скептическими замечаниями братьев. Раздражало меня и их понукание; «Ты бы, Шура, больше рисовал с натуры», «Надо с натуры рисовать, чтоб делать успехи, чтоб *научиться* рисовать!» Мне, недавнему вундеркинду, в детстве теми же близкими захваленному, мне, привыкшему своими рисунками вызывать восторг, было прямо оскорбительно слушать теперь такие речи; быть низведенным на степень какого-то начинающего школьника! По-своему братья были безусловно правы, но их психологический подход был неверен и вызывал чувства и решения как раз обратные тем, которые представлялись им желательными. Атя же, глядевшая на $u<m$ опыты влюбленными глазами, относилась к ним не только снисходительно, но приходила от них, и даже от малейшего пустяка, в восторг, и это естественно возбуждало мое рвение. Но я и теперь «сторонился натуры», а происходило это оттого, что при работе с натуры я натыкался на технические трудности, казавшиеся мне непреодолимыми. С другой стороны, дома я видел вокруг себя слишком совершенные образцы в работах отца и братьев. Напротив, у Киндов искусство, кроме музыки, не было чем-то «домашним», обыденным, и там мое художество, лишенное непосредственных сравнений, производило более выгодное впечатление, да и мне самому оно лучше нравилось. При моей театромании было естественно, что почти все мои художественные опыты тех лет были посвящены театру **. Как раз однажды за вечерним чаепитием Д. В. Григорович стал в самых пламенных выражениях превозносить искусство великих

театральных декораторов прош-

Отроческих лет * *(нем.)*.

Пробовал я свои силы и в книжной иллюстрации. Так, в конце 80-х годов я сделал серию акварелей, изображающих главных действующих лиц романа Вальтер Скотта «Ivanhoe», после чего я занялся иллюстрацией (акварелями) романа того же автора «Quentin Durward». Однако закончил я всего две композиции из этой серии. Одна из них была довольно удачна.

Ill, 3 Мое художество*

553

лого — Бибиены, Сервандони, и в заключение произнес запавшую мне в душу фразу: «Вот Шура должен был бы сделаться декоратором, пойти но стопам этих изумительных художников-волшебников». Папа поддержал приятеля, да и сам он не раз при мне с восторгом вспоминал о театральных спектаклях своей молодости и как раз о произведениях обоих Гонзаго (отца и сына), а также чудесных декораторов Каноппн и Корсини. Три великолепных рисунка того Бибиены, который работал при дворе Елизаветы Петровны, доставшиеся от деда Кавоса, хранились у отца в папках 2*, а у меня в комнате висела копия с прекрасной ма-кетки Корсини, изображающей внутренность грандиозного мавзолея. На меня лично сильнейшее впечатление произвели некоторые декорации мейнингенцев и те сценические картины миланца Цуккарелли, которые придавали столько прелести спектаклям оперы Рубинштейна «Нерон» (1884) и оперы Понкиеллп «Джоконда» (1883). Это было тогда тем идеалом, к которому я стремился, но который казался мне недостижимым. Первой попыткой создать нечто более серьезное (нежели прежние мои чисто ребяческие опыты, которые я делал для своих кукольных представлений) была серия рисунков, исполненных карандашом на полулистах ватманской бумаги, в которых я пытался по памяти воспроизвести постановку шиллеровской «Марии Стюарт» у мейнингенцев. Эту серию я смастерил уже во время Haoiero романа, и она встретила живейшее одобрение Ати. Я поднес ее пане в день его рождения 1 июля 1887 г. (следовательно, через два года после приезда мейнингенцев). Добрый папочка, больше из поощрения и едва ли по убеждению, похвалил мою работу (первую после долгого перерыва) и положил ее в свою отборную папку. На самом же деле это были очень наивные и довольно беспомощные композиции — далекие от тех образцов, которые меня вдохновили. Вычурный трехэтажный камин, что служил главным украшением комнаты, в которой томилась шотландская королева, должен был бы вызвать в папе, в этом глубоком знатоке готики, смех, однако он из

деликатности этого не показал. Тогда же я задался планом вслед за этой серией «увековечить» и другие мейнипгенские постановки, но хватило у меня энергии только для пяти картин «Пикколомнни», для единственной декорации «Лагеря Валленштейна» и для последнего действия «Смерти Валленштейпа». Работа над ними растянулась на два года; как п первая серия, эти мои «свободные реминисценции» мейнингенских постановок подносились папе то на его рождение, то на именины. Для собственной

2* Впоследствии папочка подарил их мне; они были вставлены в рамы и служили украшением нашей столовой. Их чрезмерно большой формат не позволил мне их взять с собой в эмиграцию. Один нз этих эскизов я воспроизвел в моей «Истории живописи» 2. Папочка сам неоднократно пробовал свои силы в декорации. У меня сохранилась очаровательная его акварель, являющаяся проектом для переднего занавеса того театра в Академии художеств, который был устроен в дни президентства князя Гагарина. Да, в сушпости, театральной декорацией является и тот его «архитектурный синтез* (акварель очень большого формата), что хранится в Русском музее в Петербурге.

же утехи я еще сделал вырезанную макету главной декорации страшной привиденческой трагедии Грильпарцера «Die Ahnfrau» *.

Более трудной и значительной затеей было представить у себя дома при помощи кукол нашу любимую «Дочь фараона», к чему я стал готовиться с осени 1886 г. и что было закончено и осуществлено в феврале 1887 г. Не странно ли, что 17-летний юноша, развитой не по годам, довольно начитанный, считавший себя женихом, мог заняться такой ребяческой затеей? Может показаться странным и то, что я вздумал в драматической форме представить на сцене кукольного театра то, что нас пленило в балете. Но мне уже очень хотелось испробовать свои силы в сложной н «роскошной» постановке; выбрал же я именно «Дочь фараона», во-первых, потому, что (благодаря Цукки) этот балет совсем завладел нашими думами, а, во-вторых, потому, что еще раньше, благодаря «Аиде» и прочтению романа Т. Готье 3, я воспылал особенным восторгом к древнему Египту. И отнесся я к задаче вовсе не легкомысленно; я перечел несколько серьезных книг по истории древнего Египта и делал выписки и зарисовки нз тех, которые я не мог приобрести; кроме того, я побывал раз десять в египетском отделе Эрмитажа. В конце концов мне показалось, что я могу считать себя чем-то вроде знатока

египетской культуры. На самом деле все это, разумеется, оставалось сущим дилетантизмом; я бы тогда едва ли сумел отличить памятник первых династий от памятников эпохи Птолемеев, но и этих моих знаний было достаточно для того, чтоб создать нечто такое, от чего и я сам, и мои друзья пришли в восторг. Скептически отнесся к моему труду один лишь дядя Миша Кавос. Он даже не досидел до конца спектакля, длившегося более двух часов, что я счел за жестокую обиду.

Текст мы состряпали вместе с Володей, тогда еше продолжавшим быть моим душевным другом, но, не владея вовсе стихосложением, я притянул к работе и старшего из братьев Фену, с которым я сошелся за минувшее лето3*. Жене Фену было поручено составить молитву

* «Праматерь* *(нем.)*.

3* В 1886 г, Альбер изменил когда-то им открытому Бобыльску и несколько лет подряд снимал большую дачу в поселке, именуемом «Ораниенбаумская Колония» и расположенном по гребню возвышенности, тянущейся вдоль всего южного берега Финского залива, и находящемся на полдороге от Петергофа до Ораниенбаума. Одним боком эта колония прикасается к Лейхтенбергскому парку, другим — к Мордвиновскому парку, переходящему в южной своей части в лес. Обслуживал дачников полустанок «Лсйхтеибергская площадка*. От колонии до берега моря шла по окраине Мордвиновского парка широкая тенистая аллея. Вправо от нее, в парке же, была расположена та дача, которую когда-то снимали Панаевы и куда Григорович завез однажды Александра Дюма-пэра. На даче, спимаемой Альбером у немецких (обрусевших) колонистов, часто и подолгу гостили и Володя, и Петя, и даже Атя (хозяйкой дачи по-прежнему считалась их сестра Маша, хотя разлад между ею и Альбером принял теперь совершенно явные формы). По соседству жили сестры Лохвицкие — прелестные барышни, которые обе занимались литературой и которые обе впоследствии прославились — старшая, Мирра, как поэтесса, TJtˆ¾1IaH, ˆадя' как авт0Р прелестных комических рассказов под нсевдопимом Хэффи. Кроме того, соседями Альбера были помянутое семейство известного кии-

Ill, 3. Мое художество

555

Аллаху, которую произносит начальник каравана, расположившегося у подошвы пирамиды. Справился он с задачей блестяще. Кроме меня Володи и моего племянника Жени (ему было всего 12 лет, но я мог ему поручить разные второстепенные живописные работы), участвовали в постановке милейший, но

еще более ребячливый, нежели мы, Коля Черемисииов, моя сестра Катя, Соня и Атя Кинд. Катя и Атя были заняты обшиванием кукол по моим рисункам, и у них получались очаровательные костюмные фигурки. Особенно запомнился «Гений пирамиды», весь сверкавший золотом и серебром. Чтоб опростать залу для зрителей, рояль, фисгармонию и часть мебели вынесли в соседнюю «Зеленую» комнату. Партию фисгармонии согласилась держать Атя, рояля— Соня. В сущности, вся музыка была заимствована из клавира Пуни — автора музыки «Дочери фараона». Она грубовата, по местами не лишена прелести. К сожалению, музыка прерывалась поневоле, когда начинался разговор, зато на эти минуты Атя освобождалась от своей «оркестровой)) партии и, к моей радости, присоединялась к нам — «водителям» кукол.

Самый театр вырос в довольно внушительное сооружение, под которое ушла вся половина гостиной, прилегающая к окнам. До самого потолка возвышалась стенка «портала», представлявшая собой подобие тех «пилон», которые служили преддверьем египетских храмов. Эта стена была сплошь покрыта моими рисунками, подражавшими египетским «врезанным» барельефам и представлявшими историю создания нашей постановки. При этом все персонажи (иначе говоря— все *мы)* были представлены в виде древних еиштян. Особенное удовольствие доставило мне то, что я мог изобразить то тут, то там мою возлюбленную. В одном месте она обсуждала со мной план работы, в другом была занята куклами, в третьем несла их мне на утверждение и т. д. Эти изображения тянулись рядами и были выдержаны в «строгой стилизации».

Система освещения сцены состояла из маленьких керосиновых ламп с рефлекторами по одной в каждой кулисе. Когда надлежало представить ночь или вечер, то свет заслонялся экранчиками из цветного желатина, красного и синего, и тогда требуемая «иллюзия» получалась полностью. Коптили эти лампочки бессовестно, но такой дефект был в те времена чем-то до того обыкновенным, что на него не обращалось большого внимания. Более серьезной представлялась опасность пожара — ведь мы манипулировали своими, в легкие материи одетыми персонажами и своими бумажными декорациями, стоя на довольно высоком помосте так, что наши ноги касались закулисных ламп; одного неловкого движения было бы достаточно, чтоб опрокинуть такую лампу и поджечь не только сцену, но и нас самих, да и весь дом. Но бог милостив, и ничего такого не случилось. Одна только бедная моя мамочка, склонная вообще к тому, чтоб видеть всюду какие-то опасности,

переживала во время спектакля

гопродавца (обрусевшего француза) Фену, владелец игрушечных лавок Дойников, семейство архитектора Жибер, какие-то Каховские и еще кто-то. Все эти дачники перезнакомились между собой и подружились. В Ораниенбаумской Колонии жилось тогда очень весело.

(и во время репетиций) немалую тревогу, и весь ее **вид** выражал **это** самым явным образом.

Спектакль сошел блестяще. Так, по крайней мере, всем нам, участникам, казалось. Но для меня это был праздник вдвойне. Во-первых, я целыми днями находился в обществе Ати — у нас, у себя дома, тогда как в иное время не было возможности ее к нам затащить — ей все казалось, что паши косо на нее смотрят. А затем я действительно был горд и доволен своей работой — что я с ней справился, что довел ее до конца. Глядя в центральное отверстие портала, в котором умещалась миниатюрная сцена, мне казалось, что я действительно вижу безграничную пустыню под звездным небом или даже угрюмую внутренность пирамиды, или выжженные солнцем песчаные холмы, среди которых происходят охоты царской дочери на львов. Особенно же удались многоколонные чертоги фараонова дворца. Благодаря советам папы, я лучше усвоил себе тогда главнейшие зьконы перспективы и применял их здесь с каким-то упоением. Не знаю, как бы я оценил эту работу теперь (во время одного из наших переездов с квартиры па квартиру вся папка с декорациями «Дочери фараопа» пропала), но тогда я «сам себе удивлялся» — до того, как мне казалось, удалось передать и колоссальность архитектуры и «аппетитную» сочность лотосоподобных капителей, и грозную монументальность изваяний богов и царей.

Особенно запомнилась мне из всей этой затеи ночь перед генеральной репетицией, когда два моих главных помощника, Володя Кинд и Коля Черемисинов, изнемогая от усталости, остались у нас ночевать и расположились, не раздеваясь, один на диване, другой на кушетке в гостиной, а я доставил себе поистине царское удовольствие4* ставить одну декорацию за другой, налаживать нужное освещение и затем любоваться в одиночестве каждой картиной, вживаться в нее, совершенно *в нее уходить.* Никогда впоследствии, при создании вещей куда более значительных, я не упивался так своим творением, как в ту ночь под тихое похрапывание моих друзей... О счастливое время самонадеянной, самовлюбленной юности!..

Успех моей «Дочери фараона» (в феврале 1887 г.) утвердил

мое намерение посвятить себя театру. С осени же я решил, не покидая гимназии, поступить вольноприходящим в Академию художеств, где в то время еще существовал специальный класс театральной живописи. Особенно сложных формальностей на это не потребовалось, надлежало лишь сдать приемный экзамен, заключавшийся в том, чтоб в два часа времени па-рисовать гипсовую голову, а затем в полчаса повторить ее на память. Тут мне пригодились уроки милого Обера, которые он давал по системе П. П. Чистякова. Состояла же эта система из перенесения на бумагу как основных линий, так и всех деталей посредством непрестанных

Как раз в те дни было много толков об эстетических причудах короля Людвига II Баварского 4 и, в частности, о тех спектаклях, которыми он наслаждался в качестве единственного зрителя.

«промеров». То и дело надо было вытягивать руку с карандашом вперед и отсчитывать, сколько раз такая-то часть содержится в какой-либо другой, принятой за основную. Эта система, основанная на чем-то совершенно механическом5 и лишенная всякого осознания, в сущности плохая, нехудожественная система, но мне, никогда до того «не учившемуся» и никакой дисциплине не подчинявшемуся, она все же что-то дала; ее я, во всяком случае, с успехом применил на том вступительном в Академию экзамене, и возможно, что именно благодаря ей мой рисунок оказался удовлетворительным. Бюст, который надлежало срисовать,— был головой Сократа, и я в этом увидал добрый знак, так как переживал эпоху особого преклонения перед греческой культурой, а к Сократу и к его учению питал род нежности.

Другой совершенно посторонний факт, случившийся в ту же пору (летом 1887 г.), я был склонен считать за некий «перст судьбы». В нашем доме освободилась в верхнем этаже угловая квартира, и вот только что тогда прибывший по приглашению театральной дирекции французский художник Левот возгорел желанием в ней поселиться. Когда я узнал, для чего приходил к папе этот пузатенький, «краснорожий», ужасно картавивший и оглушительно громко говоривший иностранец, и когда я узнал, что родители мои не склонны сделать ему ту уступку на квартирной плате, на которой он настаивал,— то я пристал к маме, чтоб эта уступка была сделана. Я уже про себя решил, что, живя с господином Левотом под одной крышей, я смогу сделаться его завсегдатаем, а то и помощником, что я получу от него ценнейшие наставления, «секреты», в которые меня не смогли бы

посвятить академические профессора Бочаров (превосходный пейзажист) и Шишков (специалист по архитектуре и по стилям). На самом деле и тот и другой были (как оказалось впоследствии) и талантливее и тоньше Левота, но то были необычайно скромные, даже застенчивые люди, державшие себя скорее на манер каких-то ремесленников, трепетавших перед начальством. Напротив, monsier Levot всем своим развязным стилем как бы доказывал, что он сам себе закон, что своим искусством он владеет как никто и что никаких соперников он не боится.

Родители вняли моим убеждениям и уступили Левоту. Цепкий француз в течение этих переговоров несколько раз бывал у нас, и папа должен был вооружаться всем своим терпением, чтоб переносить его бестактность, бесцеремонное приставание (надо признать, что эта квартира в 5 комнат с видом на Никольский собор, вся залитая солнцем, с круглой комнатой на углу, была исключительно прелестна). Наконец, в день, когда Левот явился подписать контракт, мама — все, чтоб доставить мне удовольствие,— оставила его у нас обедать, да и не одного его, но и сопровождавшего его (в качестве толмача) молодого человека, оказавшегося начинающим художником — итальянцем Орестом Аллегри 5*. Левот,

Таким образом произошло мое знакомство с Аллегри, ставшим впоследствии нашим верным сотрудником — исполнителем по нашим эскизам (моим и Бакста) де-

и без того уже возбужденный своей удачей, так за этим (импровизированным) обедом приналег на наш действительно упоительный сент-эми-лион, что красная его круглая физиономия, украшенная густыми белыми усами и бровями, стала малиновой, а его sans gene * «парижской знаменитости» (все иностранцы, попадавшие тогда в Петербург, считались «знаменитыми») перешел все границы. Он принялся рассказывать при маме скабрезные анекдоты, то и дело вскакивал со своего места, чтоб, перебежав на другую сторону стола, обнять папочку, а к концу обеда он даже спел осиплым голосом какую-то дурацкую chanson à boire **. Вся эта хамоватость была вовсе не по вкусу моим родителям, но контракт был уже подписан. В этом контракте была сделана еще одна уступка домогательствам Левота — квартира была переименована из № 13 в № 12. Через несколько дней состоялось вселение Левота, и я на следующее же утро посетил его, познакомился с madame Levot, статной и довольно красивой дамой, и увидал расставленные но комнатам только что прибывшие с вокзала ящики, частью вскрытые и наполовину опростанные. Содержимое их лежало тут же на полу,

па стульях, на столах; то были книги всяких форматов и несколько огромных архитектурных фолиантов. Левот привез с собой целую библиотеку (des documents ***) и на радостях тут же подарил мне перепечаток какого-то старинного архитектурного сборника, в чем я не преминул увидать то, что мои надежды и расчеты на Левота сбываются. Лавируя между ящиками, заглядывая то в одну, то в другую из этих книг, мне казалось, что все эти сокровища теперь, да и сам Левот поступили в мое распоряжение. На самый его mauvais genre **** я решил не обращать внимания и счесть его за потешную оригинальность или за нечто, в чем особенно ярко выразились навыки Парижа — этого бесподобного, веселейшего, остроумнейшего города, в котором весь тон должен был походить на хлестко-бравую манеру героев Александра Дюма-пэра, продолжавшего быть моим излюбленным писателем.

кораций, способствовавших в такой исключительной степени успеху наших парижских спектаклей. Аллегри, который был сыном даровитого капельмейстера и когда-то славившейся своей красотой балетной танцовщицы, оказался в Северной Пальмире по прихоти судьбы, потеряв отца где-то в славянских странах и принужденный зарабатывать свой хлеб в совершенно чужой стране. В момент моего знакомства с пим ему было уже за двадцать лет и он уже успел научиться довольно бойко и почти без акцента говорить по-русски. Левот приблизил его к себе в качестве переводчика, однако Орест Карлович обнаружил сразу такую даровитость, что вскоре он нреуспел в трудном декораторском мастерстве и сделался главным сотрудником Левота, а затем и самостоятельным художником, исполнившим для петербургских театров очень много превосходно писанных и отличавшихся большой иллюзорностью декораций. Скончался он глубоким стариком в Париже в марте 1954 г.

Бесцеремонность *{франц.)*.
Застольную песню *(франц.),*
Документы *(фрапц)*.
Дурной тон *(франц.)*.

Увы, мои иллюзии касательно Левота длились недолго. А именно до тех пор, пока я не увидал его работ. Таковые же предстали передо мной очень скоро в виде кропотливо острым карандашом нарисованных и ножичком ажурно вырезанных макеток его парижских постановок — каких-то опер и феерий. Как игрушки то были довольно миленькие вещицы но педантичная их сухость, отсутствие красок и светотени и, что

хуже всего, полное игнорирование Левотом какой-либо характерности, не говоря уже о поэтичности, все это подействовало на меня удручающим образом. На своем веку я уже видел сценические картины куда более художественные и пленительные. Не говоря уже о шедеврах Цуккарелли, даже выцветшие от времени, доживавшие свой век, но все еще гениальные, композиции наших старинных мастеров Роллера и Вагнера, да и некоторые декорации Бочарова и Шишкова были и эффектнее, и благороднее, и поэтичнее! Дальнейший же шаг в разочаровании Левотом был сделан тогда, когда я побывал у него в той огромной казенной мастерской, которая была только что тогда пристроена сбоку Мариинского театра и которая была целиком предоставлена ему.

Первой заказанной работой Левота была декорация к балету «Гарлем-ский тюльпан». Над ним я и застал как самого мэтра, так и полдюжи-ну прикомандированных к нему помощников, среди которых был и Аллегри. Боже! До чего то, что было разложено на полу, показалось мне тусклым и бесцветным и просто жалким, mesquin*: деталей было сколько угодно, всякий тюльпанчик на цветочных полях, каждый листочек на деревьях был тщательно выписан, но от этого общее не становилось более интересным. В стороне стояли вырезанные новые макетки и они были не лучше тех парижских, которые я видел у Левота на дому.

Несмотря на полное разочарование в Левоте как в художнике, я все же еще некоторое время навещал его, но отныне только потому, что благодаря знакомству с ним, я получал доступ в манивший меня закулисный мир. С Левотом я несколько раз спускался до самой сцены, но особенно заманчивой представлялась мне возможность прямо из его мастерской пройти на «колосники», на те мостки, которые на головокружительной высоте огибают сцену и соединяются между собой посредством перекинутых с одной стороны на другую, над самой бездной, переходов. С этих колосников можно было следить за репетициями и за спектаклями. Каким очарованием окутывались долетавшие туда звуки оркестра и голосов, как забавно было видеть где-то далеко под ногами, как порхают газовые юбочки балерин или еще как целая армия «плот-пиков-машинистов» ставит декорации, а бутафоры разносят свои картонные сокровища. И именно то, что сам я оставался в какой-то недосягаемости, прибавляло волшебности, освобождало эту область закулисного мира от того, что было прозаичного, суетливого, раздражающего в нижних его сферах, где воздух был отравлен всякими странными запахами, где он как бы был насыщен недобрыми чувствами и пресловутыми «теат-

Посредственным *(франц.)*.

560

ральными интригами». Да и то, что меня непосредственно окружало на этих верхах,— эти кипы холщовых картин, рядышком висящих во мраке, ожидая момента, когда каждая картина будет спущена и освещена, все эти веревки и стропила, вся эта изнанка театра казались мне (как и всякому, кто впервые проникал в это царство) чем-то особенно романтичным и прямо-таки колдовским. Характер сказочности подчеркивался тем, что у замыкающего сцену брандмауера висели чудовищные фигуры: громадный кит из «Конька-Горбунка», сам Конек с сидящим на нем Иванушкой, Руслан, вцепившийся в бороду Черномора, и еще многое другое.

* * *

За разочарованием в Левоте последовало и разочарование в академическом учении. С каким священным трепетом вступал я в этот *храм,* в котором получили свое воспитание и мой отец и двое из моих братьев, в котором всего год назад было торжественно отпраздновано пятидесятилетие художественной деятельности моего отца. Мне казалось, что в Академии все еще живет дух, которым питались Шебуев, Брюллов, Бру-ни. И до чего же мне стало *скучно,* когда я убедился, что это не так, что в этом прекрасном и величественном здании царит та же унылая, бездарная казенщина, от которой меня уже тошнило в моей первой гимназии! Я теперь понял, что имел в виду папа, когда он, с сокрушенным видом покачивая головой, отзывался о своих академических коллегах — о бывших своих самых близких друзьях — об индифферентности ко всему Кракау, о подхалимстве перед властью ректора Резанова, о путаных интригах остальных, об их мелком тщеславии. И как раз эти папины друзья превратились теперь, после того, как я попал в их ведомство, в недосягаемое «начальство», в каких-то олимпийцев. В прямое прикосновение я пришел с какими-то чиновниками, канцеляристами, надзирателями, инспекторами, и все это были люди, которым, очевидно, не было никакого дела до искусства. Чуждым, к сожалению, оказалось искусство и моим товарищам. Эти молодые люди выбрали художественную карьеру, не имея ни малейшего понятия о художественных идеалах, они о них вообще не думали, просто не нуждались в них. Среди них выделялся некий Фома Райлян — мальчик лет пятнадцати (которому нельзя

было дать больше тринадцати). Он держал себя как подобает гению, гордо, заносчиво, и за ним вечно тащился целый хвост его поклонников, с пиететом прислушивавшихся к тому, что он вещал, то сидя во время перерывов между занятиями па скамейке в коридоре, то в вонючей «курилке», то в столовке. Меня он сначала заинтересовал, но, прислушавшись к этим его монологам, я удостоверился, что и его волновали не вопросы красоты и мастерства, а самые прозаические. Он с жаром громил заве-дывающих кухней за плохую стряпню, он жаловался на то, как скудно живется стипендиатам, как мало предоставлено свободы русскому художнику, подразумевая под свободой отнюдь не свободу фантазии, а нечто

Ill, 3. Мое художество

561

совершенно иное — политическое. Иногда Райлян переходил и к критике тех или иных художественных произведений, но то была сплошная фразеология, неразбериха и безнадежный провинциализм.

Не лучше обстояло дело с самим учением. До декорационного класса, который главным образом я имел в виду, поступая в Академию, я мог бы добраться только после долголетнего подготовительного искуса. Сначала мне казалось, что я этот искус одолею довольно скоро. Мне казалось, что стоит лишь слегка приналечь, и я уже через несколько недель перейду из «головного» класса в «фигурный», а там недалеко и до натурного, после чего я смогу пользоваться наставлениями профессоров декорационного класса. Каждый месяц (или каждые две недели — я сейчас забыл) ставилась новая «голова» (гипсовый бюст — слепок с антич-ного), ее надлежало срисовать жирным итальянским карандашом на большом листе «ватманской» бумаги. Вследствие необходимости продолжать свои занятия в гимназии, в Академию я являлся лишь на вечерние классы, когда колоссальной величины бюст был освещен газовой, во много рожков, лампой, распространявшей чудовищную жару в помещении, и без того уже свыше меры натопленном. Стояла мучительная духота, соединявшаяся с отвратительным запахом, происходившим, вероятно, от малогигиенических бытовых условий, в которых протекало существование многих моих бедняков-товарищей. Первое время я был так наэлектризован, что на все это не обращал внимания. Даже потерпев некоторый конфуз от получения за свои первые две «головы» (помнится, одна была Юпитера Отриколи, вторая — Дианы) высоких номеров 6, приравнивавших меня к последним бездарностям, я еще не потерял бодрости. Но когда и третья моя «голова», на рисование

которой я положил все свое умение, опять оказалась среди пятого десятка, то я приуныл, и приуныл главным образом потому, что не понимал, чем заслужить одобрение моих преподавателей.

Преподавателей в этом «головном» классе было четверо: три старика и один молодой. Ни один из них не делал каких-либо замечаний, не давал советов. Двое — почтенный иконописец (во вкусе Неффа и поздних немецких назарейцев 7) и гравер Пожалостип просто молчали, глядя на мой рисунок, третий же, медальер Пожалостип, вносил в любой рисунок всегда одну и ту же поправку — прибавляя жирным нестираемым карандашом сантиметра три затылку, отчего Луций Вер или Цицерон вдруг оказывались болящими водянкой. У этого профессора это была всем известная и совсем необъяснимая мания; некоторые ученики нарочно вперед утрировали объем задней части головы— и все же Пожалостип прибавлял еще затылка и все в той же мере. Но и молодой, наиболее общительный Новоскольцев, «исторический живописец» — надёжа тогдашней Академии 6, садясь проверить рисунок, только что-то, не выпуская дымящей сигары изо рта, мямлил, что-то про себя сверял, и не удостоив ни одного прямого замечания, переходил к соседнему академисту.

Окончательно был я деморализован, приняв участие в «композиционном конкурсе». Этот конкурс задавался ежемесячно (а может быть раз

в два месяца), и в нем мог принять участие любой академист, хотя бы и только что вступивший волыюприходящий. В этой общедоступности испытания можно было усмотреть одну из немногих положительных сторон тогдашней академической системы. Задаваемая профессорской коллегией тема (всегда «исторического» характера) выписывалась на листке бумаги, который клался в витрину под ключом, а рядом был раскрыт известный костюмный увраж Готтенрота9 на той таблице, на которой были изображены типы костюмов соответствовавшей эпохи. Витрина стояла среди довольно большой залы, все стены которой были завешаны рисунками и акварелями, заслужившими в разные времена одобрение академического ареопага. Рядом с эффектными а 1а Гюстав Доре сепиями Семирадского висела еще совершенно строго классическая акварель Солнцева, изображавшая какой-то эпизод из византийской истории, и т. д. Занятно было разглядывать эту пеструю по духу, краскам и при* емам коллекцию, мечтая о том, что авось и моя композиция найдет себе здесь место... среди этих «проб пера великих предшественников»...

Но моя композиция, сданная на ноябрьский конкурс, не

только на этих стенах не повисла, но я даже не сохранил ее у себя. До того тяжело пережил я постигшее меня тогда новое посрамление. Задано было представить сцену из драмы Пушкина «Моцарт и Сальери», а именно тот момент, когда знаменитый сановный, но и завистливый итальянский маэстро подливает яд в бокал своего гениального молодого и беспечного соперника6*. Я долго бился над тем, как представить мне сцену как можно более «естественно» и убедительно. Много старания положил я и на то, чтоб придать лицу убийцы смешанное выражение настороженности, ужаса и чего-то вроде жалости. Когда у меня получилось нечто, меня, наконец, удовлетворявшее (папочка помог мне справиться со складками одежд и с прическами), то я понес, не без горделивого чувства, свое произведение в Академию, где и сдал ее сторожам, на обязанности которых лежала развеска всех рисунков конкурса по залам архитектурного музея. Решение профессорского жюри я ожидал без особой тревоги — до того я был уверен, что получу если не первую, то все же одну из первых отметок. Каков же был для меня удар, когда на следующий день, войдя вместе с другими академистами в помещение, где были развешаны конкурсные работы, я насилу отыскал свой рисунок, и он оказался *среди последних* номеров — рядом с самыми беспомощными опытами заведомых бездарностей! Увидав это, я сразу повернулся к выходу, и даже не потрудился взять с собой моего «Моцарта». Вероятно, сторожа употребили его с другими бумажными отбросами на растопку печей.

Тут я усмотрел какую-то явную и даже намеренно нанесенную обиду, нечто вроде интриги. II не только я так взглянул, но взглянул так и папочка, всегда такой благонамеренный. Но только, понятно, целились

Эта же тема была уже предложена па одпом из предшествующих конкурсов, и тогда в состязании принял участие юный Врубель i0,

обидчики не в меня лично: я, мелкая сошка, не мог их интересовать, а целились в моего отца, у которого в этот период сильно натянулись отношения с академическими его коллегами. Главной же причиной такой размолвки было то, что папа не скрывал своего отрицательного отношения к постройке иа месте цареубийства 1 марта 1881 г. грандиозного храма — и не только к действительно безобразному проекту архитектора Парланда, но и к ведению всего дела этой постройки. Вообще ходили тогда самые неблаговидные слухи, будто обнаружены чудовищные

растраты и будто эти растраты производятся доверенным лицом в.к. Владимира конференц-секретарем Исеевым и при попустительстве самого великого князя. Именно Исоева папа особенно недолюбливал, и тот платил ему тем же. Вся эта история кончилась затем весьма печально и скандально. Александр ITI потребовал, чтоб было произведено судебное расследование, и это расследование привело к раскрытию неоспоримых хищений. Для великого князя дело закончилось бурным объяснением с братом-самодержцем, но Исеев был приговорен к лишению всех прав, и лишь заступничество великого киязя спасло его от Сибири.

Этого Исеева, олицетворявшего собой самое беззастенчивое чванство, я через несколько лет встретил как-то на улице — одетого в поношенное пальто, жалкого, приниженного. Он как раз был тогда до срока выпущен из заточения и, ошельмованный, разоренный, влачил жалкое существование. Когда-то, весь увешанный орденами с красной «кавалерией» через плечо, он делал вид, что не замечает меня, теперь же он сам подошел и, сияв шляпу, с заискивающим видом попросил меня передать Николаю Леонтьевичу свое нижайшее почтение. Я так опешил, что не нашелся что ему ответить 7*.

Итак, я покинул Академию, но я и вообще с этого момента стал охладевать к мысли стать художником. Однако именно тогда же я увлекся мыслью создать целый спектакль, в котором я был бы и автором пьесы (либретто), и музыкантом (композитором), и художником (декоратором), и постановщиком (режиссером). Сюжетом этого «целиком моего» балета я выбрал сказку из любимого Атиного сборника «Elfenreigen» —

7* Прежде чем расстаться с моими воспоминаниями об Академии художеств, в которую после случая с композициопным конкурсом я уже не возвращался, мне хочется сказать два слова о тогдашнем ректоре... Шамшине — персоне не менее характерной для упадочной «дореформенной» Академии, нежели сонный олимпиец Резанов, нежели «засохший» Кракау или абсолютно чуждый искусству, ею фактически заправлявший Исеев. С виду Шамшин был очень «декоративен»: необычайно высокий, до странности тощий, с «благородно-бледным» лицом, украшенным белоснежными усами, он являл, особенно рядом с хамоватой внешностью Исеева, пря-' мо-таки аристократическийвид. Но этомˆ/ внешнему впечатлению не соответствовало внутреннее содержание. Добрался он до своего высокого положения, не обладая и тенью таланта, а исключительно благодаря молчалинским приемам — где нужно низкопоклонству, где нужно лести, а где нужно, то и коварству. Таково, по крайней

мере, было общее мнение о Шамшине и учеников, и готовых художников. В классах ректор появлялся редко; заглянет, постоит па пороге, точно опасаясь какого-либо враждебного выступления, тусклым взглядом обведет скамьи рисующих, что-то промямлит и, как призрак, исчезнет...

564

HI, 4, Разлад с Атей

«Die Kette der Nixe» *. Сюжет походил на «Ундину» Ламотт-Фуке, вдохновившую моего любимого Э. Т. А. Гофмана11, и на «Русалочку» Андерсена. Этим же сюжетом воспользовался в наши дни Ж. Жпроду, пьеса которого шла с большим успехом на сцене театра Л. Жуве.

В музыке же мне хотелось угнаться за Делибом, но на самом деле то, что у меня вылилось, походило более на Пуни или Минкуса. Впрочем, два-три номера не только привели в восторг Атю и Володю, но даже заслужили одобрение самого строжайшего Карла Ивановича. Да и мне до сих пор кажется, что они были не так плохи. Особенно нравились «подводная» вариация самой никсы и большой для кордебалета вальс. Напротив, совсем мне не удавалась сложная драматическая сцена, когда выступавшая из озера вода затопляет замок. Тут музыка должна была бы дойти до потрясающей силы, а у меня получалось что-то тусклое и однообразное, состоявшее из одних бесформенных переливов и совсем незначительных аккордов. Ведь я не обладал ни в малейшей степени какими-либо теоретическими знаниями, да и не желал их приобрести, вероятно смутно в глубипе сознавая, что это будет ни к чему, что мой талант не столь уж значителен, чтоб стоило им заниматься.

Когда же в 1889 г. я оценил Вагнера, а в 1890 г. стал упиваться музыкой Чайковского и Бородина, перебаламутившей всю. мою душу, то я бесповоротно «забраковал» себя как композитора и, если все же не проходило дня, чтоб я не садился за рояль, то это было скорее удовлетворением какой-то почти физической потребности «извлекать звуки», возникавшие и тут же забывавшиеся...

Глава 4 РАЗЛАД С АТЕЙ. СЕМЕЙСТВО ФЕНУ

Первая часть нашего романа в общем прошла наподобие идиллии. В современных костюмах и в современной обстановке, мы все же на-помипали собой героев романа Лонга (за исключением, впрочем, эпизода с изменой Дафниса). Это не значит, однако, чтоб наша идиллия протекала совершенно

безмятежно и без неоольших столкновений, но то были столкновения, ссоры, быстро проходившие и забывавшиеся. Наиболее мучительную из этих драм мы пережили летом 1888 г.; причина же была все та же — попытка сестер Ати нас разъединить. Моя возлюбленная всегда энергично отстаивала свою независимость, но все же от восемнад-цатилетней девушки нельзя было ожидать неколебимой стойкости — особенно после того, как к осаждавшим ее сестрам присоединилась и ее мать, опасавшаяся, что здесь может повториться печальная история Альбера и Маши. Вот Атя иногда и уступала их убеждениям со мной

* «Хоровод эльфов» — «Ожерелье Русалки» *(нем.),*

*Ill, 4. Разлад с Лтей*565

порвать. Однажды это и привело к чему-то вроде действительного разрыва.

Маше и Соне удалось убедить Атю, и она дала себя просто-напросто *увезти* — в Петергоф на дачу — точнее, на дачу Альбера, который в тот год официально еще считался супругом Марии Карловны. Узнав о таком бегстве Ати, я впал в совершенное отчаяние. Проще было бы тотчас же отправиться в Петергоф, явиться в дом брата и там добиться объяснения с той, которая обещала быть навеки моей. Храбрости на такой поступок у меня хватило бы, но я был слишком удручен «коварством» моей возлюбленной, тем, что она от меня скрыла в данном случае самые происки сестер. Ведь очевидно, что на это ушло несколько дней, а между тем при ежедневных наших встречах она об этих интригах даже не заикнулась. В отчаянии я решил покончить с собой и выбрал для этого тот же способ, к которому я прибегнул в 1884 г., когда из письма сестры Кати я узнал, что «Липа выходит замуж». Я решил себя уморить голодом. Способ этот, однако, имеет один существенный недостаток — он длителен, и то, что в первый день переносишь сравнительно легко, то на второй день и с каждым часом становится менее выносимым. Особенно мучила жажда — тем более, что стояла убийственная жара. Настоящим терзанием было утром и вечером выплевывать воду при полоскании рта...

На третий день я настолько уж ослабел, что еле плел ноги, в висках стучало и появилось головокружение. Тут мамочка не на шутку встревожилась и решила принять какие-то меры. По собственной инициативе она послала за Володей — в надежде, что близкий друг сумеет как-либо утешить и образумить. И что же, один вид этого всегда розового, бодрого, веселого юноши оказал сразу на меня освежающее действие. Часа два он убеждал меня и, наконец, убедил. Сразу же мы поехали на Балтийский

вокзал, а через час мы уже ехали от станции Старого Петергофа в сторону Ораниенбаумской Колонии. Но на дачу — к врагам — я отказался идти, а послал туда своего «представителя» для переговоров, сам же отправился по аллее Мордвииовского парка к берегу моря, к условленному месту — у будки, служившей раздевальной для купающихся. Тут я растянулся (я еле держался на ногах) прямо на песке и стал ждать. Но в это время я уже был уверен, что все устроится, и всякая тревога во мне исчезла. Зная золотое сердце Ати, я не сомневался, что миссия Володи увенчается успехом. И действительно, не прошло и получаса, как я увидал над собой лицо моей возлюбленной, озаренное тем особенным выражением тревоги и любви, которое 'делало его прекрасным — прекраснее и самых прелестных красавиц. Я вскочил, и через секунду мы уже сидели обнявшись на скамеечке, прилаженной к купальной будке — чуть не плача от радости, раскаяния и счастья. Не теряя времени, Володя, приведший сестру, помчался обратно в мелочную лавочку, стоявшую под горой у шоссе, и вернулся оттуда со всякой провизией и с двумя бутылками моего любимого кваса. Пенистый напиток подействовал на меня лучше шампанского. Но все же удивительно, как я тогда не заболел, поглотив затем с невероятной жадностью и на совершенно пустой

566*HI* ½· Разлад с Ате и*

желудок и огромную краюху черного хлеба, и полдюжины свежепросольных огурцов, и около фунта чайной колбасы, и целую банку брусничного варенья. Поистине бог любви делает чудеса, когда обращаются к нему с пламенным сердцем, а сердца наши в тот вечер действительна пламенели. И в соответствии с ними, после душного, серого дня, все небо очистилось и пылало. Солнце озарило залегшую у горизонта тучу и окрасило огненным цветом бесчисленные облачка.

Насытившись, наговорившись, мы отправились в «стан врагов» — на дачу Альбера; однако теперь я чувствовал себя триумфатором, ведя под руку свою победу. Но и «враги», будучи все же «своими» людьми, в сущности добродушными и меня вдобавок с давних пор любившими» приняли нас радушно. Состояние войны было сразу отменено и забыто. В моем трое суток пустовавшем желудке нашлось место еще для целого обеда — дом Альбера и Маши славился обилием вкусных вещей, и эта импровизированная пирушка выдалась из самых веселых. А затем нам постелили постели — мне на огромном угловом диване, который всегда сопровождал семью брата в летние резиденции, Володе на матрасе, разложенном на полдюжине стульев.

А утром па десятичасовом пароходе, забрав с собой Атю, мы

плыли по водам Финского залива, и около полудня я был дома. При возвращении блудного сына мамочка не могла скрыть своей радости, и возможно, что в душе она была благодарна Ате за то, что Шура вернулся довольный, здоровый и радостный. Что же касается папы, то, вероятно, он вовсе не был посвящен в эту историю, а если и был, то оценил ее по-своему — как еще одну глупую Шурину шутку.

Эта наша размолвка кончилась тогда общим примирением, но с начала осени интриги Маши и Сони возобновились с удвоенной силой. Со своей точки зрения они в своей заботе о сестре были правы, но мы относились к этому иначе, и вся эта путаница привела, в конце концов, к нашей полной изоляции. Мы отделились от наших самых близких людей. И не только Ате приходилось при этом выдерживать постоянную и непосильную борьбу, но и я повздорил с большинством своих родных и с некоторыми из самых милых друзей дома. Стоило кому-нибудь промолвить слово, выдававшее не совсем одобрительное отношение к нашему роману, как уже обмолвившемуся объявлялась с моей стороны опала, я переставал с ним разговаривать и не кланялся при встречах на улице. Вследствие этого приходилось не только отказываться от участия в наших (столь вкусных и часто очень интересных) семейных обедах, но я даже часами замыкался на ключ в своей комнате, дабы не встречаться с нашими обидчиками, если таковые были в гостях у моих родителей. Среди тех, которых я уже совершенно зря причислял к своим врагам, оказались и любимый мною и очень почитаемый дядя Костя Кавос, и мамина единственная подруга Елизавета Ильинична Раевская — так называемая «тетя Лиза», и мой брат Леонтий, и его жена, и наша бывшая французская гувернантка mademoiselle Леклер, и многие Другие.

*Ill, 4. Разлад с Атей*567

Еще глупее было то, что я требовал такой же непримиримости от Ати. Ей это было труднее и тяжелее. И все же я добился того, чтобы она совершенно прекратила посещать своих сестер **, Все это создавало вокруг нас отвратительную и все менее выносимую атмосферу. Опреде-леннее стала выражать свое недовольство и свою тревогу мать Ати. Мои по-прежнему частые посещения теперь только «терпелись»; и нередко у Ати с Елизаветой Ивановной происходили бурные объяснения. К большому нашему огорчению, мы как раз в этот критический период лишились нашего главного союзника и доброжелателя — Володи. Бедняге пришлось отправиться отбывать воинскую повинность в Германию, так как отец продолжал оставаться в немецком (саксонском) подданстве. В те времена подобные

совмещения были обычным явлением; можно было состоять, продолжая быть иностранным подданным, па русской государственной службе; следовательно, и дети (до исполнившегося их совершеннолетия) оставались в том же положении2*. Что же касается до papa Kind, то, пребывая безотлучно в горних сферах музыки, занятый по горло своей службой, он предоставил издавна заведование своим очагом супруге и просто ни во что не вмешивался и, во всяком случае, ни ко мне, ни к дочери своего обычного благодушного отношения пе менял.

Обстановка, в которой протекала наша идиллия, постепенно превратилась в нечто довольно-таки жуткое и мучительное, и такое настроение не могло не отразиться на нас самих, на наших отношениях. Мы все чаще ссорились, и хоть сладость примирения искупала до некоторой степени наши терзания, мы все же начинали от всего этого *уставать*. В то же время, где-то в тайниках подсознательного созревала жажда свободы и требования возвращения к каким-то более нормальным условиям.

Одной из наиболее диких моих странностей того времени, тоже немало портившей нам существование, был неизвестно откуда взявшийся и до юродства доходивший «аскетизм». В нашем затворничестве, в том унынии, которое являлось следствием его, я видел род подвига. Мы перестали совершенно бывать в обществе. Не говоря уже о семейных сборищах, о самых невинных вечеринках (я уже упомянул о тех приступах ревности, которые овладевали мной, когда я видел, как во время танцев Атю обнимают другие мужчины), мы даже наложили на себя запрет посещать театры и концерты. Это запрещение возникло из-за того, что

Соня успела за эти месяцы выйти замуж за своего троюродного брата, Августа Августовича Вальдштейна, за того самого Густю, который в период моих Flegel-jahre был, вместе со своим братом Джоном, моими закадычными друзьями,— будучи лет на пять, на восемь старше нас.

Досаднее всего для Володи, всем своим существом обрусевшего (и совершенно не интересовавшегося тем, что происходит в отчизне его дедов), было то, что уже по отбытии им повинности, длившейся целых два года, Карл Иванович все же решился стать русским подданным. Вся эта жертва Володи фатерланду оказалась напрасной. Разумеется, и он, как только вернулся, поспешил переменить свое немецкое подданство на русское.

я не хотел, чтоб Атя посещала французский театр в обществе Марии Карловны, а для того, чтоб ей подать пример, и для того, «чтоб ей не было так обидно», я и сам отказывался от каких-либо зрелищ и удовольствий. Именно *это* воздержание стоило нам, страстным театралам, особенных страданий. Мне запомнился такой случай в августе того же 1888 г., когда наше воздержание от всяких зрелищ длилось уже несколько месяцев. Я шел как-то днем мимо Мариинского театра и вдруг услышал дивное густое звучание оркестра; шла, ввиду близости открытия сезона, репетиция «Руслана» в фойе театра, а окна из-за теплыни были настежь открыты. Я буквально тогда прирос к земле, остолбенел в своем восхищении, я весь превратился в слух. Сам Тангейзер едва ли мог испытать более жгучий соблазн, большую потребность — вернуться *в* Венерин грот, нежели я тогда... снова очутиться в креслах родного Мариинского театра. И до чего же мне захотелось услыхать тогда же целую оперу! Такие же чувства несомненно испытывала и Атя, но чтоб не огорчать меня, она их скрывала, заверяя, что ни в каких развлечениях она не нуждается...

В этом состоянии постоянной напряженности и натянутости, естественно, что недоразумения между нами (и самое состояние раздражительности) приняли какой-то хронический характер. Малейшее слово, не так сказанное, интонация или намек на интонацию вызывали объяснения, причем должен покаяться, что инициатором этих объяснений почти всегда бывал я, движимый своей совершенно болезненной мнительностью и ревпостью. Стоило Ате запнуться, стоило ей прибегнуть к какой-либо маленькой и совершенно невинной лжи (между нами был установлен уговор ничего друг от друга не скрывать), как я уже приходил в дурное настроение, а то брала верх моя вспыльчивость, и я устраивал бурные сцены, осыпая Атю незаслуженными упреками. Вслед за такими сценами следовало раскаяние, так как я не переставал обожать Атю, «знать ей цену», и все мои помыслы были направлены к ней. Все же эти терзания все более расшатывали все мое духовное существо, и я все более погружался в состояние, близкое если не к помешательству, то все же к чему-то такому, для чего тогда в употреблении было слово «психопатия» и что теперь назвали бы неврастенией.

А тут еще получилось новое обстоятельство, как будто никакого касательства к нашему роману не имевшее, которое, однако, как-то придвинуло ко мне вплотную то, что на церковном языке называется мирским соблазном. За последние годы наш родительский дом стал все более приобретать оттенок узко семейный. Людей теперь жило в квартире на Никольской улице

больше, чем прежде, так как родители мои приютили у себя свою овдовевшую дочь Катю (Екатерину Николаевну Лансере) с шестью детьми и со своей прислугой, но от такого переполнения у нас не стало ни оживленнее, ни шумливее. Все шестеро детей Лансере были по натуре на редкость благонравными и тихими; все занимались по своим комнатам — девочки в одной, мальчики в другой (впрочем, старшая дочь Соня воспитывалась в Николаевском институте), не внося

никакой суматохи в наш обиход. С другой стороны, повышенные расходы, вызванные этим сожительством, принуждали маму к экономии, к сокращению всего, что походило на роскошь. Мамочка не раз жаловалась на то, как ей трудно сводить концы с концами. И было видно, что родители себя во многом стесняли. Словом, дом наш в этот период (начиная с осени 1886 г.) перестал походить на то, чем он был в моем детстве. Бывали у нас и теперь (почти ежедневно) гости, но это были исключительно самые близкие люди (или же напочкины утром по делу приходившие сослуживцы). Для таких гостей, все одних и тех же, on ne faisait pas de írais extraordinaires *. Дом Бенуа становился постепенно из очень привлекательного чуть угрюмым и скучноватым. Я, впрочем, на это не жаловался — угрюмость гармонировала с помянутыми моими переживаниями, я с ней уживался.

И вдруг происходит метаморфоза. В этот тусклый, дремлющий мирок проникает новый элемент. Со дня на день все меняется. На лицах папы и мамы вместо выражения покорной и привычной заботы прежняя веселая улыбка, наши старые служанки затормошились, засуетились и даже как-то по-праздничному приоделись. Откуда-то стали постоянно доноситься громкие разговоры и смех, по паркету то и дело звякали шпоры. Причиной всего этого было то, что в Петербург на время переселился мой варшавский брат Николай, улан-ротмистр, и поселился он у нас на целых два года, так как поступил для усовершенствования в своей специальности в петербургскую Кавалерийскую школу. И не только наше сонное царство пробудилось, зашумело, зазвенело, но в нем появились и совершенно новые запахи — кожи от седел и сбруи, от духов и от усиленного курения. То и дело раздавались на парадной звонки, Степа-нида вперегонку с денщиком Коли Степаном летели но коридору отворять; слышались приветственные возгласы. То и дело в комнату, отведенную Николаю (рядом с передней), несли подносы с угощением, с винами и ликерами. А то Николай начнет

упражняться на корнет-а-пистоне или вздумает даже устроить у себя состязание в стрельбе из пистолетов. Целыми группами вваливались к нему господа офицеры: гусары царскосельские и гродненские, уланы варшавские и петергофские, гатчинские кирасиры, конногвардейцы, а в передней гремели отцепляемые сабли и шашки; вешалка и ларь под окном заваливались шинелями. И все зто на фоне какого-то несмолкаемого молодого веселья.

Сначала эта суетня и возня меня раздражала и возмущала. Я слишком свыкся с нашей сонливой скукой и с моим (относительным) одиночеством. Я сторонился друзей брата, этих «пошляков-солдафонов»; однако постепенно то, что во всей этой компании было увлекательного и бодрящего, стало оказывать свое действие, и одновременно всякие формы «светскости», только что мною презиравшиеся, начали меня манить и прельщать. Теперь и семейные собрания стали у нас снова походить на то, чем они были прежде, и мне захотелось на них присут-

Не входили в большие расходы *(франц.)*.

ствовать. Одну за другой я стал тогда отменять свои «опалы», причем характерно для того благодушия, которое царило в нашей семье, было то, что все «пострадавшие» от моего дерзкого поведения только радовались тому, что я перестал блажить и сразу, без лишних объяснений, становились со мной на прежнюю ногу — как ни в чем не бывало. Да и я сам, постепенно оттаивая, становился прежним, склонным ко всяким дурачествам и чудачествам молодым человеком. Я возвращался в свое естественное по годам и по темпераменту состояние.

В этот же период вес сильнее стало отзываться на наших отношениях с Атей то, что раздор между нашими двумя семьями, возникший три года назад, теперь крайне обострился.

Нелады, царившие между Альбером и его женой, приобрели совершенно открытый характер. Еще летом 1885 г. мой брат произвел основательную перестройку в своей квартире, дабы иметь возможность faire **lit** à part * с женой; с тех пор жизнь супругов получила полную независимость, и они совершенно перестали интересоваться друг другом. Каждый зажил своей жизнью, у каждого были свои увлечения и целые романы. Но если это ничего не меняло в положении Альбера, то естественно на положении Марии Карловны в нашей семье это стало сказываться весьма определенно. Пересуды на ее счет сделались теперь самым обыденным явлением, они стали любимым занятием наших дам,

во главе которых находилась по-прежнему жена моего брата Леонтия — Мария Александровна. Эта в общем вполне достойная и даже очень симпатичная особа, примерная супруга и мать, страдала тем недугом, которым, за редкими исключениями, страдают особенно те женщины, которые не одарены счастливой, пленительной наружностью. В данном случае контраст между «писаной красавицей» Марией Карловной и толстенькой, как шарик, Марией Александровной был разителен, и удивляться было нечего, что последней сносить подобный ривалитет ** было тяжело. В начале своего знакомства обе belles-soeurs скорее дружили, и эта дружба получила даже особенно тесный характер, когда семьи двух братьев поселились па двух соседних дачах — все в том же Бобыльске. Но как раз тогда же брат Мишенька вернулся из плавания, а дом Альбера наполнился моряками, из которых почти все «приударяли» за Марией Карловной. Тут-то и воспылала обиженная Венерой Мария Александровна завистью к своей подруге, тут вскоре и начались помянутые пересуды, причем надо признать, что Мария Карловна, благодаря своему легкомыслию и артистической беспечности, давала йемало поводов к возникновению и развитию всяких сплетен.

И еще способствовало ухудшению положения Марии Карловны в нашей семье то, что она вообще не любила себя стеснять общественными обязанностями. Даже в лучшие времена своей супружеской жизни она была редкой гостьей на семейных сборищах, Альбер почти всегда являл-

Иметь отдельные спальни *(франц.)*.

От rivalité *(франц,)* — соперничество.

///, 4. Разлад с Атей

ся к воскресному обеду со стереотипной фразой: «Маша извиняется, она не будет, у нее мигрень». Напротив, Мария Александровна не пропускала ни одного случая быть среди родных, ей это и нравилось совершенно искренно. Она, несмотря на свою полноту, птичкой влетала в папин кабинет и покрывала его поцелуями. Тут не было какой-либо комедии, она была так воспитана и к этому приучена, тогда как воспитание Марии Карловны в этом отношении оставляло желать лучшего... Кризис назревал еще до официального разлада между Лльбером и Машей; теперь же Мария Карловна и вовсе перестала бывать у нас, и все стали привыкать к мысли, что она чужая и что поэтому она неминуемо *должна будет отпасть.* Никто об этом не жалел; друзей у нее среди наших не было3* и даже я, когда-то ее юный друг, ее паж и чуть что не конфидент, теперь — из-за противодействия нашему роману — сделался ее врагом.

Что же касается Ати, то она и прежде неохотно и очень редко бывала у нас (и то всегда по специальному приглашению и сдаваясь на мои настойчивые убеждения). Теперь же, раз получилась между ее сестрой и моим братом совершенно явная и непримиримая размолвка, то нечего было и думать, что мне удастся эту ее стеснительность побороть. Мало того, теперь Атя совершенно перестала бывать и «наверху», у сестры. Мы теперь виделись исключительно в доме ее родителей или на прогулках, на выставках, в музеях, в церкви. Пока длилось наше «аскетическое настроение» — это было выносимо, это даже сообщало нашей жизни известную романтику — в духе одной из любимых наших повестей Людвига Тика «Des Lebens Uberfluss» *. Мы удовлетворялись обществом друг друга. Но, когда я стал «оттаивать», когда, со своей стороны, и Атю, в силу понятной реакции, потянуло к жизни более яркой и разнообразной (к тому же более соответствующей всей ее натуре и ее молодости), то наша замкнутость, в которой периоды лада и счастья все чаще сменялись подозрениями и мучительными ссорами, и ей стала невмоготу.

Прямого Х систематического противодействия нашему роману со стороны близких теперь стало меньше. Все за эти три года слишком к тому привыкли, и на нас махнули рукой — мол, все равно с этими безумцами ничего не поделаешь. Но как иногда бывает, отсутствие внешних препятствий теперь скорее способствовало нашей внутренней разобщенности, и это без того, чтоб мы это сознавали. *Нравилась* мне Атя по-прежнему, и по-прежнему я *нравился* ей; в хорошие минуты нам казалось немыслимым быть одному без другого. Но в дурные минуты в каждом из нас

s* Великой неожиданностью поэтому было то, что когда Мария Карловна окончательно разъехалась с Альбером и покинула наш дом, поселившись на отдельной квартире, дядя Костя Кавос счел почему-то нужным сделать ей визит. Было ли то нечто вроде демонстрации-упрека по адресу Альбера, обнаружилось ли в этом нечто вроде особой симпатии к Марии Карловне, осталось невыясненным. Вскоре после этого дядя Костя скончался (весной 1890 г., о чем дальше).

* «Жизнь льется через край» * *(нем.),*

заговаривало недоброе чувство и возникал вопрос: зачем-продолжать? Зачем еще растягивать то, что уже надорвано и обречено. Да и все наше будущее теперь, чем ближе мы подходили к моменту, когда этот вопрос пришлось бы решить,

представлялось слишком проблематичным и нелепым. Какая-то основа «буржуазного благоразумия» (в которой, однако, ни я, ни Атя не признавались — «душевное мещанство» почиталось нами за злейшее зло, заслуживающее особого презрения) — эта основа «благоразумия» и «здравого смысла» требовала, чтоб прежде, чем нам окончательно соединиться, нам (или, по крайней мере, мне) следует стать на ноги. Нужно было кончить гимназию (а я был только в предпоследнем классе и слишком запустил учение, чтоб надеяться благополучно перейти в последний); нужно было пройти университет; впереди стояла угроза воинской повинности, наконец, нужно было обзавестись «местом службы». На все это требовались годы — шесть или восемь лет! Когда-то, в начале нашего романа, этих лет было еще больше, но тогда это нам казалось чем-то пустяковым, легко преодолимым; теперь же, сознавая, что мы и половины нашего испытания не прошли, такая перспектива стала принимать характер удручающего кошмара. Мы никогда об этом не заговаривали, но каждый чувствовал то же самое и чувствовал все сильнее и мучительнее.

Самая развязка (к счастью, пе оказавшаяся в дальнейшем окончательной) наступила в середине февраля 1889 г., и произошла она скорее безболезненно, как нечто вполне созревшее и неизбежное. Подготовлением к тому было то, что я стал реже бывать у Киндов и за это не слышал от Ати упреков. Как будто это отвечало и ее желанию. А затем в один вовсе не прекрасный день между нами произошло откровенное объяснение в совершенно дружественных и ласковых тонах, но и без намека на прежнюю пламенность, которая еще недавно окутывала, пронизывала все наше бытие. Мы, как говорится, вернули друг другу свободу и расстались с решением больше не встречаться.

Описать те чувства, которые тогда овладели мной, я не сумею. Помню только, что с самого этого дня мирного расторжения, в душе моей воцарилась какая-то муть, нечто до последней степени сумбурное и вздорное, а во многих отношениях и «недостойное». Надлежало во что бы то ни стало *забыть* Атю, порвать и последние нити духовной связи с нею, еще только что представлявшиеся самой сутью моего существования. Это было очень тяжело, и периодами я страдал до безумия; ведь все мое существование было так сплетено с ее существованием. Но я был уверен, что возврата нет и не может быть. Несколько случайных и скорее смехотворных, глупейших авантюр не оказались способными меня развлечь. Попробовал я вернуться и к той особе, которая владела моими чувствами до моего влюбления в Атю; однако девушка эта, когда-то несомненно мучительно пережившая мою измену, теперь и слышать не хотела о таком

воссоединении, и отсюда получились всякие длившиеся месяцами терзания, которые особенно обострялись, когда мы оказывались под одним кровом. Через подобные переживания (но о них я

узнал позже) проходила тогда и Атя в первые месяцы нашей разобщенности. А затем раны у нас обоих зарубцевались, и у каждого потекла жизнь, если и несравненно более тусклая, то все же в своем роде сносная. Между прочим, в эти годы разлуки с Атей я очень сблизился с семейством Фену и не столько с тем или другим из его членов, сколько именно со всей семьей в целом. Надо признать, что это была одна из самых достойных и симпатичных семей Петербурга, и что «дом Фену» (точнее, их квартира на Михайловской площади, в верхнем этаже соседнего с Михайловским театром дома) был одним из самых приятных. Хозяин дома, Н. О. Фену, владелец большого и очень популярного книжного магазина на Невском (впоследствии в этом же помещении открылся книжный магазин «Нового времени»), был прекрасно воспитанный, культурный, спокойный и приветливый господин. Это был уже пожилой человек, роста — больше среднего, худой, с окладистой седой бородой. Он мог сойти за типичного русского интеллигента. К сожалению, Николай Осипович страдал глазами и ему грозила в будущем слепота. Papa Fe-noult был французского происхождения, но maman Фену была из хорошей, чисто русской дворянской семьи. Небольшого роста, полная, очень живая, очень любезная, она обладала даром заставлять собравшихся у нее людей чувствовать себя как дома, в то же время сохраняя тон de très bonne compagnie*. Детей у супругов Фену было трое. Старший Женя (о нем я уже упоминал выше) в это время был студентом (юристом); второй — Саша — учился в Кадетском корпусе. Женя — такой же рослый, как отец и такой же тощий — держался несколько гордо и был из всей семьи наименее общительным, что, однако, не мешало ему принимать участие во всем том, что творилось с прочей молодежью. Раздражало несколько то, что он не столько говорил, сколько вещал. Напротив, Саша был самого веселого десятка юноша, почти мальчик, обожавший всякие затеи и принимавший в них самое усердное участие. Он был очень музыкален, и это ему пригодилось впоследствии в эмиграции, когда он в Лейпциге оказался заведовающим знаменитым издательством русской музыки Митрофана Беляева 2. Единственной дочери Фену было в то время около восемнадцати лет (может быть, немного меньше). Это была барышня, несколько склонная к полноте и вообще по наружности напоминавшая мать. Я скоро подружился с этой

живой и очень неглупой Наташей, находя большое удовольствие бывать в ее обществе. Собирались у Фену каждое воскресенье вечером, и с осени 1889 г. я почти ни одного воскресенья не пропустил. Мне там было весело, привольно, совершенно по душе. И что только собиравшаяся там молодежь ни вытворяла! Как от всего сердца и с каким хорошим вкусом, при полной свободе (и без малейшей жеманности) все веселились. Разыгрывались шарады (целые импровизированные иногда и очень удачные пьески), музицировали то всерьез, то в шутку; все наперерыв показывали свои talents de société **. А то вдруг брало верх какое-то чисто детское начало,

* Принятый в хорошем обществе *(франц.)*. ** Светские таланты *(франц.)*.

и все начинали играть в прятки, в палочку-воровочку и т. п. Общество состояло почти исключительно из молодежи, из учеников Кадетского и Пажеского корпусов, из гимназистов и лицеистов старших классов, из студентов. Дам (барышень) было почти столько же, сколько молодых люден. Такое мое посещение приятнейших вечеров у Фену продолжалось около двух лет, и оно продолжалось бы и дальше, если бы я не стал замечать, что родители Наташи начинают посматривать на меня как па возможного жениха, да и у самой милой девушки мне почудились потки, как будто выдававшие ее особые чувства ко мне. Наташу я в высокой степени ценил, лучшего *друга* я не мог бы себе желать, но она мне *не нравилась*. Словом, я почувствовал, что во избежание усугубления недоразумения мне «пора ретироваться». И сделал я это со всеми предосторожностями, не желая обижать ни прелестную девушку, пи ее родителей, ни братьев. Иногда впоследствии я встречался то с Женей, то с Сашей, но Наташу я так никогда больше и не видел 4*.

Глава 5

БЕЗ АТИ. ПРАЗДНИК У Е. В. САБУРОВОЙ

Отвлечься от мыслей об Ате помогло мне еще то, что я теперь вошел ь более тесное и частое общение с друзьями. Мучительный период разных сердечных переживаний совпал с расцветом нашего товарищеского кружка, получившего тогда более организованный характер. Напомню, что мы — ян Нувель — не были, вследствие наших плачевных успехов, допущены до

выпускных экзаменов, и именно это позволило отставшему от пас по болезни Диме Философову пас догнать. Отныне ядро кружка составляли мы трое с прибавлением еще Скалопа и Калина. Осенью •1880 г. мы, гимназисты 8-го класса, сочинили полушуточпый *устав* для вашего общества и дали ему тоже полуироническое название «Общество

4* 15 последний раз Женя Фену побывал у пас в Париже незадолго до своей смерти. Когда-то он был, как говорят, блестящим и влиятельным чиновником в каком-то министерстве, а тут в Париже занимал скромное место в какой-то конторе. Он посетил своего старого приятеля, пожелав ему показать свои (очень беспомощные) опыты в рисовании, страсть к которому у Жени проявилась на старости лет совершенно неожиданно. Саша, когда окончил Кадетский корпус, поступил воспитателем в Пажеский корпус и в качестве такового был одно время прикомандирован к особе сиамского принца Чекрабоиа. Сашу со своим принцем можно было часто видеть в театрах и в концертах. Живя в Леппцпге, оп иногда по делам Бе-ляевского издательства приезжал в Париж, и тогда я его встречал у Н. Н. Череп-нина. Это был прежний, почти такой же юный с виду, розовый, веселый и остроумный Саша, но почему-то, как я его ни зазывал к нам, он этим приглашениям не следовал. Возможно, что у них в семье в отношении меня сохранилось отношение, если и не как к изменнику, то все же как к человеку, в чем-то перед семьей провинившемуся... Очень **жаль...**

Ш,5. Без Ати

575

самообразования». Через несколько же месяцев к нам присоединился ученик Академии художеств Левушка Розенберг (Бакст), а через еще несколько месяцев, ранним летом 1890 г., вступил в наш кружок и приехавший из Перми Сережа Дягилев. Осенью 1890 г. мы всей компанией (кроме академиста Бакста) поступили на юридический факультет, и все в том же составе мы проделали в университете переход к молодости.

Выше я уже упомянул о том, что не допущенные до экзаменов, мы с Валечкой получили тогда в 1889 г. иолноту свободы в распоряжении нашим временем, тогда как до тех пор чудесный период весны бывал каждый год испорчен необходимостью готовиться к переходным экзаменам из класса в класс и самыми экзаменами. Не помню, как Валечка использовал эту свободу, что же касается до меня, то я не могу сказать, чтоб я провел это время с большой пользой и с большим достоинством. Напротив, я точно тогда поглупел на несколько лет. Только что я был еще чем-то вроде «кандидата на положение серьезного

супруга и отца семейства» и лишь не зависящие от меня обстоятельства помешали мне соединить себя навек с любимой девушкой, а тут я снова превратился в какого-то легкомысленного бездельника, жаждущего отведать всяких удовольствий и склонного без толку убивать время. С другой стороны, в этом сказывалась и необходимая для моего душевного здоровья реакция. Не по годам было повзрослевший, я ощущал теперь в себе некое непоборимое брожение молодости.

Одним из характерных проявлений этого моего тогдашнего «поглупе-ния» или возвращения в состояние Flegeljahre было то, что я пристрастился к фланированию, к бесцельным, бессмысленным прогулкам. И происходило это фланирование всегда вдоль набережной Невы — от Дворцового моста до Летнего сада н обратно. Некоторым моим извинением может служить то, что стояла ровная, изумительно мягкая и теплая погода, что никогда еще с таким прекрасным величием Нева не несла свои волны, никогда на ее просторе не дышалось так легко. Особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами, а также от зрелища прекрасной архитектуры дворцов; никогда я с таким любопытством не вглядывался в лица встречных гуляющих, или тех, кто в элегантных экипажах неслись мимо по торцовой мостовой. И как отрадно было с набережной повернуть в Летний сад, деревья которого порошились ранней зеленью, а освобожденные от своих деревянных будок мраморные боги снова улыбались лучам нежного солнца.

Среди постоянно встречавшихся меня особенно заинтересовала одна скромно одетая девица. Далеко не красавица, но необычайно милая, с чертами лица, отдаленно напоминавшими мне Атто. Ее всегда сопровождала сестра помоложе и почтенная гувернантка. Какую-то странную притягивающую силу изъявлял один цвет лица моей незнакомки — матово-бледный, чуть даже болезненно-серый, а также какая-то рассеянность во взоре. Я вскоре узнал, что это две княжны Имеретинские и что как раз со старшей, которая мне так нравилась, произошел минувшей зимой случай, сделавший ее героиней городских пересудов. На каком-то большом

балу танцевавший с ней моряк князь Э. Э. Белосельский вдруг запустил руку в ее открытый корсаж и положил ей туда не то комок мороженого не то охапку конфет. Это был большой скандал, дошедший до государя, вызвавший высочайший гнев и повлекший за собой строгое дисциплинарное наказание. Но меня эта уродливая история взволновала как-то особенно... Непростительно гнусен был ничем не вызванный поступок

(вероятно, сильно подвыпившего) озорника, и я готов был при встрече его побить, и в то же время меня не оставляла соблазнительная мысль о том, что должна было почувствовать рука обидчика, когда она проникла в самое нежное, сокровенное и прелестное в теле девушки!

Мой воображаемый этот роман продлился всего недели три, не более (за это время почки в Летнем саду успели едва распуститься), и он ровно ни к чему не привел; я даже не познакомился с предметом моих воздыханий. Да и позже за всю мою жизнь я никогда больше с княжной Имеретинской не встречался, хотя и был знаком с ее теткой (рожденной графиней Мордвиновой) и бывал у последней. Рассказал же я об этом эпизоде только как о чем-то характерном для тогдашних моих нелепых переживаний, почему-то запомнившемся мне с удивительной четкостью. Лицо княжны, ее томный взгляд, что-то жалкое, что мне чудилось в ее лице, я вижу и сейчас, более чем через шестьдесят лет, точно я только что вернулся с прогулки по Дворцовой набережной...

В этот же период и в той же обстановке весной 1889 г. я возобновил знакомство и род дружбы с моим бывшим товарищем по казенной гимназии Саней Литке. Он был классом старше меня, но его брат был со мной. Началось с того, что только что поступившая в дом Альбера горничная— воспитанница графини Литке, матери Сани,— передала мне от него поклон. Его же я через день или два встретил как раз на прогулке у Горбатого моста через Зимнюю Канавку. Тут же Саня познакомил меня с целой группой своих приятелей — все студентов 1-го курса, корчивших из себя представителей золотой молодежи. Во главе этой компании стоял некий Коврайский — le doyen cTâge * (ему было не более двадцати четырех лет), очень полный, уже обросший светло-русой курчавой бородой, он был одет в безупречно сшитый сюртук на белой подкладке, а околышек его фуражки был почти черного цвета вместо форменного голубого. Коврайский был необычайно важен и величествен, речь его была медленная, размеренпая, и такой же размеренной была его походка — носками наружу. Он поглядывал на собеседника свысока, делал вид, что не слышит вопросов, когда же сам их задавал, то не ждал ответов. Должен признаться, что все это импонировало мне и что я чувствовал себя удостоенным какой-то чести, когда он изредка, не ворочая головой, обращался ко мне. Уже одно то, что на мне не было мундира, а на боку не висела шпага, сообщало моему сознанию известную приниженность. Его манера со мной означала, что я должен почитать себя счастливым, что меня, «еще гимназиста» в скромном

партикулярном платье, он терпит в

* Старейший из нас *(франц.),*

*Ill, 5. Без átu*577

своем обществе. И я действительно был польщен этим, и тон у меня с ним становился чуть подобострастным, за что, уходя из-под чар его великолепия, я себя презирал.

Саню Литке я как будто не видал с самого того года, когда я по-кипул гимназию Ч. Л. О., и тогда ему было лет пятнадцать, но за эти шесть лет он мало изменился. Это был все тот же очень приятный, чуть женоподобный юноша, говоривший самые скабрезные вещи с видом невинной девушки. <...> Настоящей дружбы между нами не завязалось в гимназии, но и теперь дружба с ним не клеилась. В нем было что-то ненадежное, хоть и незлобивое, но все же коварное — тоже черта женственная. Такого же мнения о Сане был и Дима. Он и ему приходился далеким родственником, вследствие чего Литке бывал на разных семейных сборищах у Философовых. Примером его ненадежности может служить то, что Саня пригласил меня гостить к себе на дачу под Ревелем, а когда я туда явился, то его там не оказалось. К счастью, еще в лице его матери и его двух братьев я встретил, самый радушный прием и благодаря этому провел три очень приятных дня в Ревеле, тогда еще сохранявшем вполне свой старогерманский облик.

По дороге в Ревель брат Николай завез меня к товарищу по полку барону К. Деллингсгаузену. Мне очень нравился этот добрейший Карлу-ша, бывавший у нас к завтраку по воскресеньям, и мне очень понравился весь строй его усадьбы, выдержанный в «подлинпо благородном» стиле, характерном для тогда еще верного старинным традициям балтийского дворянства. В родовом имении Деллингсгаузепов все было солидно, удобно, просто и превосходно налажено. Такой же балтийский «баронский» стиль я нашел затем в Ревеле, вкушая свой Abendbrot * — вкусный, сытный и необычайно дешевый — в загородном ресторане (под открытым небом), в котором я познакомился с целым рядом очень приятных, очень воспитанных и очень простых людей с самыми звучными и «историческими» фамилиями, приходившими туда со своими семьями. Это все были помещики, приезжавшие на день — на два из своих деревень подышать городской атмосферой, повидать близких, сделать нужные закупки. Доставил мне много наслаждения и сам Ревель. Я был влюблен в романтику специфически германского типа, и эти городские стены, эти круглые башни, эти узкие кривые улички, эти готические церкви, среди коих выделялась неуклюжая огромная масса церкви св. Олая, как бы предвещали

мне те художественные радости, которые через год я вкусил, когда оказался в Нюрнберге, во Франкфурте, в Майнце. Одно меня огорчило: я не увидал мумии герцога де Круи \ которая хранилась с самых дней Петра I в церкви св. Николая и показывалась, говорят, за деньги — в оплату тех долгов, которые числились за герцогом в момент его кончины. Но я был утешен великолепием громадного резного готического алтаря, снятого и перенесенного в сакристию той же церкви (с бесчисленными золотыми фигурками и с дверками, покрытыми живописью от-

* Ужин *(нем.)*.

личного ганзейского мастера). Большое впечатление произвела на меня и внутренность «рыцарской» церкви в Вышгороде с ее стенами, сплошь покрытыми гербами балтийского дворянства.

Саня Литке обладал природной элегантностью и поэтому уже (и за свой графский титул) был включен в свиту Коврайского, зато совсем не обладал какой-либо элегантностью третий студент той же компании Митя Пыпин — сын знаменитого историка. С ним я тоже был знаком с самых дней Цукки (поклонником которой он состоял), но в минувшем марте я возобновил с ним приятельские отношения, встретившись на мейнингенцах. Попал же он в эту компанию «золотой молодежи» скорее всего по какому-то недоразумению, подчинившись какому-либо очередному влиянию. Митя был маленький, кургузый человечек, чуть на один глаз косивший, необычайно милый и услужливый, скромный, конфузливый, молчаливый, с вечной застенчивой улыбкой на устах. Его я ценил не только за его отзывчивость на всякие художественные явления, но и за его музыкальность. Временами он мог быть и *полезен,* так как он быстро читал по нотам, гораздо лучше Валечки, а для меня люди с таким даром являлись кладом, так как ведь я сам этим даром не обладаю, и для меня было пыткой что-либо разобрать.

Еще ценнее мог бы быть в том же смысле еще один из моих новых знакомых студентов — Володя Направник, сын превосходного музыканта, маститого дирижера русской оперы Эдуарда Францевича, но почему-то Володя держал меня тогда на дистанции не то из какого-то чванства, не то просто потому, что ему что-то во мне не нравилось. Вот он был отличный музыкант, не чета ни Пыпиу, ни Валечке и уже считался и тонким, очень сведущим в теории, знатоком. Позже в жизни мы неоднократно с Володей встречались, и к этому времени он успел в корне

изменить прежней своей манере относиться ко мне. Напротив, он много раз напрямик изъявлял желание сойтись со мной поближе, но это не удавалось, а почему, я не сумел бы объяснить. В эмиграции нашему сближению помешало просто то, что он поселился в Брюсселе, а я в Париже...

Было в той же компании еще три-четыре человека, но из них я запомнил только одного Левенштерна, да и то, вероятно, потому, что этот юноша, жгучий брюнет, носил такую звучную фамилию — однако без какого-либо титула или хотя бы словечка «фон». Возможно даже, что он был еврейского происхождения. Звучности фамилии отвечало изящество манер и отлично сидевший на нем мундир. Рядом с Коврайским Левен-штерн был наиболее декоративен в стиле «золотой молодежи» и, вероятно, в этом была причина, почему Коврайский терпел его общество и даже оказывал ему род предпочтения. Кажется и Левенштерн был музыкален, во всяком случае, музыка играла в этой компании, которую я одно время считал *своей,* значительную роль. Этот общий к музыке интерес побуждал нас гурьбой отправляться в Павлов-ск, славившийся своими симфоническими концертами.

Эти выезды за город бывалн только по вечерам, тогда как днем к четырем часам полагалось всем являться к Горбатому мосту, причем су-

*Ill, 5. Без Amu*579

ществовал и особый пароль, которым надлежало обмениваться при встрече. Здороваясь с приятелем, произносилась фраза «еще одна шпага», а те кто уже были на месте, отвечали: «закалывается». Запомнилась и другая фраза, совершенно неизвестно откуда взятая; это была даже не фраза, а что-то вроде заголовка какой-то пьесы или оперы; «Der Herzog imd die Zitterschlägerin» *. Она произносилась по всякому поводу, вернее без всякого повода, но часто, и опять-таки служила чем-то вроде пароля. Самый обмен этих фраз как бы намекал на существование некоего тайного братства и на принадлежность к нему. Однако никакого общества па самом деле не было, но все эти юноши-студенты имели основание упоминать о шпаге, так как неотделимой принадлежностью студенческой формы была та бутафорская шпажонка, что была воткнута в сюртук на левом боку. Увы, я еще не имел чести принадлежать к благородной студенческой корпорации, и вообще моя фигура должна была выглядеть среди этих «почти военных» жалким штатским, «штрюком» и филистером. Одно то, что подобная ерунда меня тогда тешила или огорчала, показывало, до чего я «поглупел», а главное, до чего я был выбит из колеи и растерян. Помнится, что мне особенно тогда захотелось поступить в университет, но

манила меня вовсе не наука, а все этот ребяческий соблазн гарцевать в мундире и *при шпаге/* Желание это через год исполнилось, но уже тогда, когда период растерянности миновал. Напялил я на себя и мундир поневоле, так как того требовал закон, но и уже без всякого удовольствия — напротив ко мне вернулось все мое прежнее отвращение ко всякой обязательной форме.

* * *

«Дружба» (в кавычках) с компанией Сани Литке и Коврайского была одним из проявлений моего «возвращения к светской жизни», другим таким проявлением было мое участие в устройстве того праздника, который с благотворительной целью устроила у себя Е. В. Сабурова — одна из видных представительниц петербургского upper-ten **. Это происходило еще во время поста, а может быть на Фоминой — и во всяком случае, несколько раньше моего периода фланирования. Самое деятельное участие в организации праздника принимал брат Альбер, но участвовал в ней и его приятель, художник Эрнест Карлович Липгардт. Альбер, озабоченный тем, чтоб меня развлечь и меня ввести в петербургское общество, притянул и меня к делу, представив меня «тете Леле», как называл Е. В. Сабурову весь город и даже те, кто не состоял с ней ни в малейшем родстве. Всем была хорошо знакома никогда не сходившая с ее уст приветливая улыбка (un sourire aimable mais quelque peu figé ***), все знали, что единственным ее никогда не сменяемым головным убором

«Герцог и музыкантша» *(нем.)*. Высшего круга *(англ.)*. * Улыбка любезная, но немного застывшая *(франц.)*.

19*

580

III, 5. Без Ати

был гладкий золотой обруч, охватывавший ее волосы. Все знали и уважали ее кипучую деятельность дамы-благотворительницы. И в данном случае стало известно, что, несмотря на далеко не великолепные средства Сабуровых, у них готовится праздник (un festival monstre*), который будет настоящим событием и на который соберется цзбраннейшее общество, включая и нескольких «высочайших».

Квартира Сабуровых в первом этаже дома на Сергиевской превратилась на те две недели перед праздником в подобие, по выражению самой Елизаветы Владимировны, «караван-сарая». По

всем комнатам (кроме бережно оберегаемого кабинета ее супруга, известного государственного мужа) сновали молодые люди и молодые девицы — некоторые действительно занятые под руководством старшей дочери Сабуровых каким-либо приготовлением к фестивалю, большинство же делавшие вид, что они чем-то заняты. Моему брату Альберу было тут широкое поле для его деятельности ловеласа. В доме тети Лели Альбер был своим человеком и позволял себе, не стесняясь, расставлять свои сети; он ухаживал сразу за тремя прелестными особами: за мадемуазель М., за пикантной очень юной графиней К. и за дочкой госпожи Т., прибегая со всеми к своему любимому способу прельщения. Он садился за рояль, и из-под его трепетных пальцев лились восхитительные импровизации, в которых лейтмотивы вагнеровских «Нибелунгов» причудливо сливались с самыми страстными призывами к любви из «Фауста». То одна, то другая из юных красоток подпадали под эти колдовские чары и застревали подолгу у рояля.

Впрочем, эти музыкальные envoûtements ** происходили только в короткие периоды отдыха, и не для них Альбер, отрываясь от своих бесчисленных и сколь разнообразных дел, являлся на Сергиевскую. Он взял на себя устройство большинства тех живых картин, которые должны были быть гвоздем вечера, и вызвался собственноручно написать для некоторых из них пейзажные фоны, тогда как другими заведовал Э. Лин-гардт. Сам Альбер, впрочем, отдавал этой живописи минимум времени, предварительно распределив работу между тремя помощниками, одним из коих был я. Он задавал нам определенную на день задачу, поправлял то, что было уже сделано, а иногда несколькими ударами кисти оживлял общий эффект, придавая всему законченность.

Происходила эта «пачкотня» не в квартире самих Сабуровых, а этажом выше, в большой зале, предоставленной на это время отбывшей за границу княгиней Кропоткиной, приходившейся ровно над парадными комнатами Сабуровых. Места здесь было довольно, и вот Липгардта можно было здесь видеть среди горшков клеевых красок и ушатов воды с самого утра до темноты. Ему никто не помогал, но так как наши холсты были разложены на полу тут же, то я мог постоянно следить, до чего старательно он относится к своей работе. В течение этих дней сов-

Грандиозное празднество *(франц.),*

Чары *{франц.).*

Ill, 5. Без Ати

местного труда я успел особенно оценить этого милейшего

человека. Эрнест Карлович был тогда далеко не старый человек **, но его впалые и прямо-такп провалившиеся щеки, его изможденное лицо и , невероятно тощая фигура, напоминавшая классический образ Дон Кихота, вызывали представление о каких-то долгих годах лишений, о каком-то многолетнем подвиге аскезы. Это не помешало Липгардту со временем пережить многих своих с виду куда более крепких коллег, а усердие его во все времена было совершенно баснословным. Кропотливейшее старание приложил он и на выписку (по фотографии) ликов ангельского хора верхней половины знаменитой картины Рафаэля в болонской Пинакотеке, представляющей св. Цецилию и несколько других святых.

С первых же минут беседы Липгардт обнаруживал редкую воспитанность. Это сказывалось и в чуть аффектированном французском (или немецком) говоре, и в том, как он мило коверкал русскую речь. Во всем сказывался подлинный балтийский барон, ein höchst feiner Herr *. Баронская воспитанность проявлялась в Липгардте и в его чрезвычайной и всегдашней готовности быть всем и каждому полезным, а также в том умении, с которым оп «поддерживал конверсапиго» па любую культурную тему. О живописи великих мастеров он говорил с неподдельным трепетом, отдавая безусловное предпочтение итальянцам — как флорентийским кватрочентистам, так и художникам XVIII в. с Тьеполо — его богом ~ во главе.

Я чувствовал особое расположение и даже род высокопочитания к Эрнесту Карловичу еще и потому, что я узнал об его биографии. Он был сыном богача-помещика и знаменитого собирателя художественных редкостей барона Карла фон Липгардта, славившегося на весь образованный мир 60-х и 70-х годов своим вкусом и своей эрудицией. Но сокровища отца достались не сыну, а были завещаны племяннику, и это потому, что паш Эрнест навлек на себя родительский гнев, изменив вере отцов и перейдя в католичество. Этот проступок он еще усугубил тем, что женился в Париже на своей модели — особе добрейшей и преданнейшей, однако несколько уж слишком простоватой. Имеппо вся эта «романтика» вселяла в меня какое-то нежное участие к художнику, которого я к тому же уважал и за его мастерство, вернее, за его чисто европейский характер живописи. Импонировало моей наивности и то, что Липгардт когда-то в Париже состоял постоянным сотрудником одного еженедельного журнала («Courrier de Paris»). Да и мюнхенский меценат граф Шак, поставивший себе задачей открывать юные таланты, отметил и Липгардта, заказав ему еще в начале 70-х годов несколько копий со знаменитых картин.

В 1889 г. Липгардт мог еще считаться новичком в Петербурге; он всего года два до того переселился из Парижа. Выставлял он мало, зато был завален заказами светских портретов, из которых, увы, лишь немыо-

Ему в 1889 г. минуло сорок два года. Утонченнейший господин *(нем.)*.

гие могут почитаться удачными. Писал он и плафоны, и стенные панно с аллегорическими и мифологическими сюжетами, но и тут надо сознаться, что эти декоративные изделия столь же мало походили на страстно им любимых венецианцев, как ¿го портреты на Тициана, Рубенса или хотя бы Бонна. Вся культурность Дишардта, вся его выдержка и все его усердие не могли заменить недостаток подлинного таланта, не могли ему помочь побороть какую-то «тугость» воображения, какую-то безнадежную сухость техники и живость красок. Слушать его, когда он восхищался великими мастерами, было одно наслаждение, он действительно глубоко понимал старых мастеров (по какой-то дикой причуде он *йена-виоел* голландцев и даже Рембрандта: пожалуй, в этом сказывался фанатик-католик), но когда от *слушания* его речи переходило к *смотрению* его собственных картин, то возникало недоумение: как странно сочеталось в одном человеке столько чуткости и такое отсутствие самокритики? Видимо, своих дефектов сам он не сознавал и чистосердечно считал себя преемником величайших художников былых времен.

Тут же я хочу представить другого художника, завсегдатая салона «тети Лели» и вообще высших столичных кругов — Михаила Яковлевича Вилье, хоть он и не принимал участия в приготовлениях данного фестиваля. Это и не могло быть, так как в натуре Вилье не было ни импровизаторской легкости Альбера, ни желания соперничать с великими мастерами Липгардта. Вилье был исключительно занят акварелями, которые он выписывал с величайшим старанием и в которых он старался с фотографической точностью изобразить разные исторические памятники. Как раз в те годы он заканчивал заказанный ему государем альбом видов приволжских древних городов. Над этой задачей он трудился уже несколько лет, но эти его работы на выставках не показывались, что только способствовало распространению всяких фантастических слухов, будто эти акварели не имеют себе ничего равного — до того верно передана малейшая деталь, до того все убедительно. К сожалению, эти слухи не оправдались впоследствии, когда наконец эти акварели

Вилье предстали на суд публики. Исполнены они действительно с предельным старанием и не без мастерства, но они лишены всякой «радости», они, что называется, замучены, и хорошие фотографии куда лучше служили бы назначению сохранить в образах чудесные произведения отечественного зодчества.

Вилье лично не участвовал в приготовлениях к празднику у Сабуровых, но это ему не мешало чуть ли не ежедневно навещать квартиру тети Лели и быть очень заинтересованным ходом работ. Его зычно сдавленный голос раздавался через все комнаты, как только он вступал в переднюю. Между ним и Липгардтом было мало общего. Их разъединяло то, что, казалось бы, должно было их сближать. Оба занимали аналогичное положение в обществе, и это создавало род ривалитета. В моем же представлении я их как-то соединяю потому, что к обоим я питал своего рода культ, и в основе этого культа лежало все то же мое преклонение перед «заграничным».

Ill, 5. БезАти

Вилье был не то внучатым племянником, не то приемным внуком знаменитого лейб-медика Александра I, сопровождавшего государя в его путешествии в Таганрог и присутствовавшего при последних минутах жизни «Благословенного». Этим же баронетом Вилье была основана клиника на Выборгской стороне, носящая его имя; бронзовая статуя перед главным фасадом увековечивает его память. Одно это происхождение создавало Михаилу Яковлевичу известный ореол. Но к этому надо прибавить, что прежде чем совершенно отдаться искусству, он служил в аристократическом Преображенском полку, и это объясняет количество и качество его общественных связей.

Михаил Яковлевич вел размеренный образ жизпи. Все утро он «корпел» за мучительным выписыванием своих акварелей для помянутого альбома, остальное же время он посвящал своим знакомым, а таковых у него по городу были сотни. Завтракал и обедал он почти всегда в гостях. И всюду Михаил Яковлевич был желанный гость, так как он нес с собой какую-то особенную специфически английскую атмосферу. Эта атмосфера была насыщена своеобразным юмором, и она же излучала какие-то весьма заразительные запасы бодрости. С другой стороны, удивительная память Вилье, содержавшая целую энциклопедию анекдотов (часто довольно соленых, предназначенных для мужской компании, частью элегантных — для общества дам), его способность находить в один миг удачные каламбуры и veparties * отводили ему видное место среди салонных beaux esprits ** и остряков.

Самая внешность Вилье была чрезвычайно характерна и замечательна. Она наводила на сравнение его с Фальстафом (минус тучность) и особенно с Генрихом VIII. Роста он был выше среднего, сложения массивного, носил он свою ежиком подстриженную и украшенную рыжей бородой голову как-то гордо и даже вызывающе. Своеобразная походка на ишроко расставленных ступнях вызывала представление о каких-то рыцарях, привыкших носить тяжелые доспехи. Однако легкость, с которой его бульдожья физиономия складывалась в веселую улыбку, причем вся его кажущаяся свирепость переходила в ласковость, свидетельствовала о перевесе в его натуре большого благодушия. Надо еще сказать, что не будучи вовсе тучным, Вилье производил впечатление чего-то чрез-вычяйно громоздкого и увесистого.

Весь в целом Вилье — громадный и чуть косолапый и чуть

бестактный — должен был раздражать утрированно вежливого и утонченного Липгардта. Должна была шокировать и решительность его выступления, резкость его (все же вполне «бонтонных») мапер и больше всего его. неистово оглушительный громкий голос. В свою очередь должна была действовать на первы Вилье тихоструйная речь и подчеркнутая деликатность обращения Липгардта. Бывало, раздражение вдруг и прорвется в

* Реплики *(франц.)*. ** Остроумцев *(франц.)*.

Сестра ее Ольга — в замужестве Мордвинова — унаследовала отцовский художественный талант и выработалась в хорошую рисовальщицу-портретистку, специализировавшуюся на детских портретах. В эмиграции я неоднократпо с пей встречался у наших общих знакомых супругов Нуфлар (Nouffiard). Ольга Карловна скончалась в этом (1954) году в своем маленьком поместье в Баварии.

вором, и манерами — напоминал о некоторых слегка юмористических персонажах Диккенса, не то сидящих у себя на земле gentlemen-far-mer'oB, не то отставных мореплавателей. Когда я впервые увидал его (это было в раннем детстве), он еще казался молодым, но довольно скоро Хис поседел, однако поседел как-то очень «декоративно». Рейнолдс или Реберн наверное с упоением написали бы по портрету с такого великолепного представителя расы. Типичность Хиса сказывалась, между прочим, особенно «вкусно» в момент, когда он на семейных пиршествах брал на себя роль форпшейдера и с удивительной методой разрезал ростбиф или индейку. Его соперником в этом занятии мог считаться только мой зять Матью Эдварде. Глядя на то, как оба они священнодействовали, слюнки текли.

При дворе цесаревича все души не чаяли в Хисе за его простодушно веселый, ровный и бодрый нрав и эа самые его чисто английские чудаческие, чуть комические повадки. Не изменилось отношение царской семьи к Хису и после вступления на престол Александра Александровича. Напротив, Хис продолжал состоять неотлучно при детях государя и сопровождал своих августейших воспитанников всюду, причем он чувствовал себя в придворной атмосфере как рыба в воде. Он обладал большим природным тактом и при совершенной свободе манер, никогда «не забывался», всегда с достоинством оставаясь на своем месте. Надо при этом вспомнить, что в интимности

Аничковского дворца или Гатчинского замка царила действительно полная непринужденность. Царская семья проводила время не в мраморных раззолоченных чертогах, устроенных в тех же резиденциях в иные, более пышные эпохи, а в тесных комнатках с низкими потолками, самый вид которых располагал к «буржуазной уютности». Со своей стороны Чарльз Хис буквально обожал своих суверенов, видя именно в этой их простоте свидетельство их душевного благородства, их искренности и всего того, что ему было особенно по душе. Но, разумеется, Хис при этом меньше всего задумывался над тем, насколько такая атмосфера годилась для воспитания будущего императора-самодержца, насколько мог насквозь пропитавшийся ею человек быть затем подготовлен к тому, чтоб играть наиболее тяжелую и опасную из всех жизненных ролей, роль, требующую змеиной мудрости и... чисто актерской выправки.

Я только сказал, что Хис был акварелистом; он даже был членом императорского «Акварельного общества». Но акварельки Хиса были особого рода. Начать с того, что он мог изготовить дюжину их в один вечер, не вставая с места. Это были все виртуозно набросанные и «залитые» пейзажики, в которых повторялись одни и те же мотивы, а именно те впечатления, которые он когда-то получил в горных местностях своей родины. Покрытые лесами скалы и холмы, бурные потоки, зеркальные отражения в озерах, и все это заволоченное туманами, через которые здесь и там пробивается хмурое солнце. Формат этих изделий был обыкновенно крошечный (выставлял он их по нескольку в одной раме), и чаще всего Хис пользовался для них светло-серым бристолем. К сожалению,

586///> 5. *Без Ати*

при всей миловидности, а порой и эффектности этих картинок, во всех них слишком явно сказывался известный раз навсегда усвоенный прием, известный *трюк*. Ничто не свидетельствовало о каком-либо вдумчивом отношении Хиса к искусству; à la longue * такой простоватый маньеризм приедался и переставал вызывать к себе доверие. Царские дети с самых ранних лет именно на таком вздоре (или еще на сентиментальных картинках в «Graphic»1 е и в «Illustrated London News») учились «понимать изящное». Немудрено, если в них так и не зародилось и не выработалось какое-либо серьезное отношение к искусству. Они были склонны на все художественное творчество глядеть через очки доброго дяди Чарльза; **для** них искусство осталось невинным и пустяковым баловством.

* * *

Но вернемся к вечеру у Сабуровых. В сущности, это был если и не совсем заурядный, то все же очередной монденный праздник, каких в каждом сезоне было несколько, но для меня после долгого периода известного отшельничества он действительно означал какое-то мое «возвращение к светской жизни». И не то, чтоб я стал с этого вечера вообще каким-то завсегдатаем салонов; после нескольких подобных выездов мне такой способ тратить время наскучил чрезвычайно. Однако кое-что в жизни «монда» меня притягивало, и я нет-нет в нее «окунался». Во всяком случае, я перестал ее дичиться и сторониться. Больше всего меня пленил тон (еще тогда царивший вполне) de bonne compagnie **, который я после нескольких промахов до некоторой степени и усвоил. Мне нравились также некоторые отдельные личпости, с которыми было приятно встречаться и которые в силу своей воспитанности как-то лучше и быстрее схватывали разные интересовавшие меня вопросы.

Самый вечер у Сабуровых прошел блестяще. «Империалы», или «высочайшие», явились в значительном количестве, и это придало собранию большую торжественность. Мне показалось, что я попал на какой-то куртаг Екатерины II, когда явилась сама древняя великая княгиня Екатерина Михайловна (как-никак прямая внучка Павла I и правнучка великой императрицы) и когда она, стоя среди гостиной в ожидании открытия праздника, принимала по очереди выражения высокопочитания разных допущенных до ее особы лиц. Был и я представлен ее высочеству, и я удостоился милостивой улыбки и даже какого-то вопроса. Рядом с ее величественной фигурой, одетой в старомодное желтое платье с массой кружев, стояла ее дочь принцесса Елена Георгиевна, впоследствии вышедшая замуж за принца Саксен-Альтенбургского. В другом конце гостиной — высокий, белокурый в. к. Константин Константинович — «августейший поэт К. Р.» и президент Академии наук — беседовал с двумя «профессиональными» поэтами — князем Церетели и графом Го-

*Со временем *(франц.)*.

* Хорошего общества *(франц.)*.

ленищевым-Кутузовым. Сенсацию произвел еще приход трех черногорских княжен (воспитывавшихся в те годы в Смольном институте), из которых одной было суждено стать итальянской королевой. Тетя Леля сияла счастьем — праздник удался на славу, народу собралось гибель.

Без особого запоздания началось и то, что составляло главную приманку праздника. Вслед за «высочайшими» толпа гостей двинулась в зал и расселась на золоченых креслах и

стульях (многие же остались стоять и даже не уместились в зале) перед завешанной алым бархатом сценой, на которой стали возникать в соответствующих стильных обрамлениях одна за другой «живые картины». Прелестная брюнетка Безобра-зова предстала в образе крестьянской девушки с картины В. Каульбаха «Röschen auf der Weide» *, пышная блондинка графиня Блудова до полной иллюзии напоминала «Лавинию» Тициана; не дрогнув, она продержала золоченое блюдо с (картонными) фруктами в течение многих минут, так как пришедшая в восторг публика требовала, чтоб ей еще и еще показали эту картину. В «Святой Цецилии» (по Рафаэлю) особый успех выпал на долю могучей фигуры господина Столыпина, изображавшего св. Павла, а серафическое личико художника Коли Бруни как нельзя более подошло к роли юного св. Иоанна. Но эффектнее всего получилась картина «Пастораль» (по Буше), в которой так милы были в своих пастушеских робронах две хорошенькие девушки. Одна из них, графиня Комаровская, мне особенно понравилась; мне даже показалось, что я чуточку в нее влюбился...

Каждая картина сопровождалась музыкальным номером, причем, если память мне не изменяет, при появлении Лавинии старинную итальянскую арию спела сама принцесса Елена Георгиевна, которая обладала действительно прекрасным голосом и которая с мастерством заправской певицы специализировалась на Бахе и других самых строгих классиках. И небольшие антракты между картинами были заполнены музыкой. В роли одного из таких антрактовых забавников выступил сып А. Г. Рубинштейна, симпатичный, по, кажется, довольно беспутный малый, «Яшка» Рубинштейн. Он лихо или томно пел цыганские романсы под собственный аккомпанемент на гитаре. Мой «пуризм», однако, не мог одобрить вторжение такого вульгарного, уличного элемента в столь блестящий ансамбль. А между тем именно Яшке выдался наиболее шумный успех и, вероятно, наиболее искренний. Кажется, вечер закончился танцами, но, так как я не танцевал, то мне этот финал не запомнился.

* «Дикая розочка» 2 *(нем.),*

Глава 6

ВЪЕЗД в. к. АЛЕКСАНДРЫ ГЕОРГИЕВНЫ.

СПЕКТАКЛЬ-ГАЛА.

ОБЕД С ГЕРЦОГОМ МЕКЛЕНБУРГСКИМ.

МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ВАГНЕРОМ

Праздник у Сабуровых оттого и оставил во мне такое яркое впечатление, что это было в первый раз, что я оказался в «свете» и провел даже несколько дней в его особой атмосфере. В этом же 1889 г. мне выдался случай еще увидеть вблизи высшее общество, мало того — царский двор и самого царя. В середине июня я в Петербурге был свидетелем одного из последних торжеств в духе и в масштабе великолепных придворных празднеств XVIII в. Праздновалось бракосочетание брата государя, в. к. Павла Александровича с принцессой греческой Александрой Георгиевной. На сей раз свадебный обряд был совершен в Казанском соборе, и туда при развертывании церемониала, установленного еще при императрице Елисавете Петровне, были доставлены высоконареченные, прибывшие в сопутствии всей царской родни из Петергофа морем и высадившиеся на Английской набережной. Оттуда свадебный поезд проследовал по главным улицам столицы — по Большой Морской и по Невскому проспекту.

Узнав об этом маршруте высочайшего въезда, я попросил папу дать мне возможность полюбоваться таким небывалым зрелищем, и он устроил меня в одном из окон в музее Григоровича — в доме «Общества поощрения художеств». В смысле видимости нельзя было найти что-либо лучшее. Нескончаемая процессия протянулась у самых наших ног; силе впечатления способствовало то, что Большая Морская — улица не очень широкая. Одно было неприятно — это духота, что воцарилась в довольно низкой зале, в которой набралось с полсотни таких же любопытных, как я, причем окна, несмотря на жару, запрещено было (полицией) открывать все из всегдашнего опасения покушений. Пришлось в таких условиях высидеть три часа (на *ожидание* ушло первых два), и под конец это показалось довольно тяжким.

Самое шествие было задумано с намерением вызвать впечатление предельной роскоши, представляя собой сплошной поток золота: длинный ряд золотых карет, золотых ливрей, золотых мундиров; в шествии участвовало несметное количество «действующих лиц» и еще в пять раз больше «статистов». И, однако, не могу сказать, чтобы в целом зрелище получилось вполне удавшимся. Произошло нечто аналогичное с тем, чему десять лет до того я был свидетелем при погребальном шествии

императора Александра II. Как тогда, так и на сей раз шествие не тянулось (кок рисуют на картинках) одной стройной и непрерывной лентой, а оно то и дело тормозилось, происходили остановки, иногда и очень длиъель-

ные. Одна часть наезжала на другую, и только благодаря мастерству кучеров, конюхов и скороходов удавалось избежать сцепок и путаницы. Вид самих парадных карет, иногда прекрасно расписанных и всегда густо раззолоченных, сверкавших на солнце своими зеркальными стеклами и увенчанных «букетами» перьев, — производил волшебное впечатление и еще прекраснее были ровно ступавшие белоснежные лошади в богатейших сбруях, которых вели под уздцы ливрейные слуги в белых париках. Но я бы сказал, что и эти исторические, баснословно роскошные экипажи производят в музеях большее впечатление, фантазия там добавляет то, чего вот здесь в действительности не оказалось, и это несмотря на яркий свет и на безоблачную лазурь.

Прямо смешными казались налаживавшие порядок церемониймейстеры, скакавшие взад и вперед вдоль поезда (из них далеко не все были хорошими наездниками), и довольно жалкий вид являли старые камергеры и гофмейстеры, которые с непривычки должны были чувствовать себя крайне неуютно, сидя верхом на исполинских конях...

* * *

Через два или три дня должен был состояться парадный спектакль в Мариинском театре. Папа в качестве члена Управы получил место в ложе, предоставленной группе лиц, стоявших во главе городского самоуправления. Но ему не хотелось среди летнего отдыха облачаться в мундир и подвергаться этому испытанию, и, благо билет не был именным, он его предложил мне. Сначала я отказался, так как собирался гостить на даче у Скалонов в Финляндии, но затем все обернулось иначе, и я все же на спектакль-гала попал.

Дело в том, что мне сразу же не по вкусу пришлось пребывание у моих друзей. Не понравилось уже то, что я должен был разделить крошечную спальпю с самим Колей и с его братом, еще менее, что, вернувшись среди дня с прогулки, я нашел на предназначенном мне диване огромного грязного пса. Не поправился мне и самый хмурый, чахлый, убийственно однообразный финский пейзаж. Требовалось пройти версты три,

чтобы наконец добраться до какого-то обрыва, с которого открывались довольно живописные дали. Ночь все же я там провел, но громкий храп двух братьев и назойливое гудение комаров не дали мне заснуть. Встал я сонный, вялый, в скверном настроении, и тут я «вспомнил», что мне необходимо быть к следующему вечеру обратно в городе, а до того я должен был еще заехать к другим друзьям — к Фену, жившим в это лето тоже в Финляндии в верстах пятнадцати от Скалонов. И Коля и его матушка несколько удивились такой мгновенной перемене программы и стали уговаривать меня остаться, но я настоял на своем и силу сопротивления нашел как раз в надежде, что я еще поспею в Петербург к празднику.

К Фену в Усть-Кирке я добрался к ночи, наняв финский тарантас, и застал там многочисленное и развеселое общество. Справляли чье-то

рождение или именины. Подъехав к крыльцу очень привлекательной дачки, я услыхал звуки рояля и неистовый топот танцующих; из кухни неслись соблазнительные запахи. Меня, которого вся компания собравшейся молодежи знала как большого затейника и забавника, встретили восторженно и сразу засадили на смену maman Фену за игру вальсов и мазурок. После раннего и очень вкусного ужина опять плясали, играли в pelits jeux * и снова плясали. Так и не заметили, как надвинулась и разразилась гроза. И вдруг над самыми головами раздался оглушительный удар грома, после чего что-то тяжелое рухнуло на землю. То была вековая липа, которая легла рядом с дачей, образовав своими ветвями и листвой род непроходимой чащи. Еще милостью божьей она не свалилась на самый хрупкий старенький домик, иначе она раздавила бы его и нас погребла бы под обломками. Никому после того не захотелось продолжать пляски, но веселье все же продлилось — в новой форме. Оставшимся ночевать гостям мужского пола постелили матрацы и сено в гостиной, а дамам предоставили диваны и составленные стулья в соседних комнатах. Но не скоро все заснули, завязались разговоры, шутки, споры, из соседних комнат звучал почти непрерывный смех. Лишь когда вставшее солнце осветило комнаты, все «по команде» повернулись, каждый на другой бок, и в течение трех часов предались, но уже не ночному, а дневному отдыху. С утренним поездом я уехал, и вот на всем пути почти до самого Петербурга я был поражен зрелищем ужаспых последствий пронесшегося урагана. На версты и версты по обе стороны железной дороги земля была усеяна соснами — точно какому-то

великану пришло в голову разбросать много, очень много коробок колоссальных спичек.

Вечером того же дня, облекшись во фрак (сшитый на бенефис Цук-ки) и напялив папин старомодный цилиндр, я отправился пешком без пальто в Мариинский театр, до которого, как уже известно, было от нас рукой подать. Контроль у входа я миновал благополучно благодаря папиному пригласительному билету, а раз попав внутрь театра, я уже без труда поднялся до ложи Городской управы, где я воссел среди папиных коллег, с которыми я почти со всеми был знаком. У каждого из этих убеленных сединой господ на плечах лежала тяжелая серебряная цепь — знак их достоинства, а на фраках и мундирах были натыканы звезды, кресты и медали; тем более странным должен был казаться мой юный вид и «нагота» моей одежды.

Не успели все рассесться, как оркестр заиграл «Боже, царя храпи», поднялся занавес, и выстроившиеся на сцене артисты и хор присоединились к оркестру. Это означало, что государь и государыня вошли в среднюю ложу, но наша ложа была над ней, и от нас то, что в ней происходило, пе было видно. Зато весь партер и все бывшие в боковых ложах теперь стали спиной к сцене и лицом к царской ложе. Гимн завершился троекратным «ура», после чего начался спектакль.

* Салонные игры *(франц.),*

Ill, 6. Мое увлечение Вагнером

591

От самого представления, однако, у меня не осталось никакого определенного воспоминания. Кажется, был дан акт из «Жизни за царя» (или из «Руслана») и какой-то балет, зато незабываемое впечатление произвело на меня то, чему я был свидетелем в фойе во время антракта. Тут я увидел в непосредственной близи русский двор, о котором светские хроникеры говорили, как о чем-то сказочно-роскошном. Увы, такое *«близкое»* с ним ознакомление не пошло ему на пользу. Состав этой густой и толкавшейся в разные стороны массы не отличался ни красотой, ни элегантностью, ни величественностью, ни какой-либо «породистостью». Большинство присутствующих состояло из согбенных под бременем лет сановников и из большей частью" маленьких, толстеньких, а частью из тощих и комично высоких старых дам. Не спасали ни золото мундиров, ни орденские ленты, ни удивительно расчесанные бороды и бакенбарды (многие царедворцы еще придерживались моды времен Александра II), ни бриллианты и жемчуга, лежавшие на иногда и очень объемистых, но серых от пудры и абсолютно не прельстительных персях. И держала себя эта архивельможная

масса совсем не так, как подобало бы носителям высших чинов и представителям знатнейших фамилий! Все довольно бесцеремонно толкали друг друга, особую же сумятицу производили те, что пробивались к буфету, тянувшемуся во всю ширину фойе вдоль окон. У самых же столов происходило настоящее побоище, до того всем хотелось выпить бокал шампанского или «отведать царских гостинцев»!

И вдруг все остановилось, притаилось, и в наступившей тишине резко раздался удар об пол прикладов часовых, охранявших вход в среднюю царскую ложу. Двери ложи распахнулись, выбежали церемониймейстеры с длинными тросточками, и за ними появился государь, ведя под руку новобрачную. Тут мне посчастливилось: в коловороте, получившемся от того, что надо было дать дорогу высочайшему шествию, направлявшемуся к зале, примыкающей к левой боковой царской ложе (там было сервировано вечернее угощение), я был оттерт до ступеней лестницы, поднимавшейся в верхние ярусы. Оттуда немного сверху стало особенно хорошо все видно. II тут я впервые увидал Александра III совершенно близко. Меня поразила его «громоздкость», его тяжеловесность и — как-никак— величие. До тех пор мне очень не нравилось что-то «мужицкое», что было в наружности государя, знакомой мне по его официальным портретам (один такой портрет висел в актовом зале казенной гимназии, другой в большом зале Городской Думы). И прямо безобразною казалась мне на этих портретах одежда (мундир) государя,— особенно в сравнении с элегантным видом его отца и деда. Введенная в самом начале царствования новая военная форма с притязанием на национальный характер, ее грубая простота, и хуже всего, эти грубые сапожищи с воткнутыми в них штанами возмущали мое художественное чувство. Но вот в натуре обо всем этом забывалось, до того самое лицо государя поражало своей значительностью. Особенно поразил меня взгляд его светлых (серых? голубых?) глаз. Проходя *под* тем местом, где я находился, он на секунду поднял голову, и я точно сейчас испытываю та, что я тогда

почувствовал от встречи наших взоров. Этот холодный стальной взгляд, в котором было что-то и грозное и тревожпое, производил впечатление удара. *Царский* взгляд! Взгляд человека, стоящего *выше всех,* но который несет чудовищное бремя и который ежесекундно должен опасаться за свою жизнь и за жизнь самых близких! В последующие годы мне довелось несколько раз быть вблизи императора, отвечать на задаваемые им вопросы, слышать его речь и шутки, и тогда я не испытывал ни малейшей

робости. В более обыденной обстановке (при посещении наших выставок) Александр III мог быть и мил, и прост, и даже... «уютен». Но нот в тот вечер в Мариинском театре впечатление от него было иное,— я бы даже сказал, *странное* и *грозное.*

Высочайшее шествие шло (довольно быстрой поступью) парами. Если я не ошибаюсь, вторую пару составляла императрица Мария Федоровна под руку со своим братом — королем эллинов Георгием. За ними следовали члены царствующих домов России, Греции, Дании и разные иностранные принцы. Пробыв за вечерним чаем с полчаса, высочайшие тем же порядком вернулись в среднюю царскую ложу, и при этом втором проходе я мог уже более внимательно вглядываться в, отдельные лица. Особенно меня тогда поразила матовая бледность прелестного лица и юных плеч новобрачной, что-то трогательное, точно обреченное было в ее выражении. Это придавало Александре Георгиевне совершенно особое, *трогательное* обаяние. Замыкали шествие знакомые мне по вечеру у Сабуровых сыновья в. к. Екатерины Михайловны герцоги Мекленбург-Стрелицкие — долговязый и симпатичный Георгий и младший брат его, весь какой-то сжатый, замкнувшийся — Михаил.

ЗЈ ї Эр ***

С помянутым только что герцогом Георгием я вскоре после того вошел в личный контакт, и рассказом об этом случае я закончу свое повествование о том, как «я вернулся к светской жизни».

Альбер был очень ласково принят при дворе в. к. Екатерины Михайловны; он часто там бывал, обедал и завтракал. И вот ему вздумалось угостить у себя на даче (в Ораниенбаумской Колонии) ответным обедом старшего из сыновей великой княгини. Его королевское высочество (так величали в России герцогов Мекленбургских) «милостиво приняло приглашение», а я как раз тогда гостил у брата ** и таким образом провел целый вечер в обществе этого члена императорской фамилии. Для тогдашних моих настроений это был весьма характерный случай, я был действительно *счастлив* и даже вошел в некоторый транс; я что-то уж очень много говорил, переплетая русскую речь с французской, и несомненно представлял собой довольно смешное зрелище. Герцог Меклен-бургский не был для меня тогда какой-то «Royalty* третьего ранга»,.

J* Мария Карловна была за границей вместе с моей бывшей (и будущей) невестой,

ее сестрой Атей.

* Королевской особой *(англ.),. > . .*

*Illy 6. Мое увлечение Вагнером*595

для меня это был «подлинный высочайший»,— внук брата высокопочи-таемого мной (но примеру отца) Николая I и прямой правнук Павла. Особый ореол придавало Георгию Георгиевичу то, что зимой в Петербурге он тогда еще жил вместе с матерью в самом грандиозном из всех дворцов (после Зимнего) — Михайловском (ставшим впоследствии Русским музеем императора Александра III), а летом — в сказочном Ораниенбауме,— к которому я питал с раннего детства прямо-таки трепетное чувство1*. И вдруг «принц», живший в этом волшебном замке, оказался моим vis-à-vis за столом моего брата, я мог к нему обращаться, беседовать с ним. Осмелев, я даже с пим *«заспорил»* (что должно было особенно раздражать моего брата!).

Георгий Георгиевич Мекленбургский (носивший в семейном кругу имя Жоржакса) вырос в музыкальной атмосфере, созданной еще его бабкой, знаменитой меценаткой в. к. Еленой Павловной *, у которой когда-то запросто (и не запросто) бывали (и играли) и Лист, и Антон Рубинштейн, и все выдающиеся, известные на весь мир виртуозы и ком* позиторы. Георгий Георгиевич был сам хорошим пианистом, ему же принадлежала заслуга создания и содержания первоклассного квартета камерной музыки, носившего его имя и пережившего на несколько лет своего основателя. Однако Георгий Георгиевич ничего, кроме немецких классиков, не признавал, я же тогда переживал первые месяцы своего «бешеного» увлечения Вагнером, считая всегда своим долгом ломать копья в честь своего кумира. Напротив, для «Жоржакса» Вагнер, хотя и был немцем, однако продолжал быть представителем неприемлемой «музыки будущего», а в «Кольце нибелунга» он признавался, что ничего кроме *шума* не слышит. Этого я никак не мог вынести...

Должен еще прибавить, что тогдашнее мое дерзновение можно объяснить юй атмосферой интимности, которую распространял вокруг себя герцог. Этот очень высокий, но скорее на немецкий лад немного неуклюжий офицер с длинным «лошадиным» лицом, со светлыми свисавшими усами, был само добродушие. Впечатлению добродушия способствовала еше и его чуть затягивавшаяся на гласных, обладавшая легким акцептом русская речь. Что-то мило-комическое было и в его военной выправке (Stiammheit), которой противоречил его добрый из-под стекол золотого пенсне взгляд близоруких глаз. Чувствовалось, что ему милее всего на свете домашний уют и семейная обстановка. Лишь временами он вспоминал, что он «принц», что

ему надлежит подтянуться, напустить на себя важность. У него, как и у брата Михаила Георгиевича, установилась r Петербурге репутация очень недалекого человека, чему в значительной степени способствовали клички, данные им их матерью: Esel * и Desel. Однако впоследствии, сделавшись более или менее *своим* человеком в:

2* Я уже упоминал, что я даже *боялся* Ораниенбаумского дворца, центр которого был увенчан гигантской княжеской короной, а на двух концах его длинного фасада, торчало по башне с каким-то очень странным куполом, * Осел *(нем.),*

594#Л *6. Мее увлечение Вагнером*

доме Мекленбургских, я мог убедиться, что Жоржакс, при некоторой -своей (тоже очень немецкой) наивности, человек далеко не глупый, что он был более на европейский лад образован, нежели многие его «собратья», наши коренные великие князья. При этом можно еще вспомнить, что русские люди часто не умеют различать настоящей сути и настоящего достоинства немцев. За глупость и тупость они охотно принимают известную германскую «косолапость», gaucherie, столь противоположную aisan-■*се* * французов и англичан. В Жоржаксе не было и тени лукавства и `roro, что теперь назвали бы снобизмом. Мне думается, что именно благодаря своему простодушию и доброте, он был как-то особенно счастлив в своей семейной жизни, бесконечно более счастлив, нежели большинство людей его круга. Сочетавшись (морганатическим) браком с одной из сестер Вонлярских, Наталией Федоровной, состоявшей лектрисой при его матери, Георгий Георгиевич прожил двадцать лет в полном согласии со своей супругой. Эта «mesalliance» создала ему очаровательный home**; графиня Карлова была самой приветливой и приятной хозяйкой дома; их дети — сын и три дочери (одна из них скончалась в юных годах) получили образцовое воспитание, но не как принц и принцессы, а как простые смертные "*.

Я только что упомянул о том, что в эту эпоху переживал бешеный (или буйный) период своего увлечения Вагнером. Возникло это увлечение как-то сразу и под действием тех впечатлений, которые я получил от тех спектаклей, на которых я сподобился присутствовать во время Великого поста 1889 г. в Мариинском театре, где тетралогия «Нибелун-гов» исполнялась полностью первоклассными немецкими артистами в составе антрепризы Неймана 2 и под управлением первоклассного дирижера Карла Мука. Нейман ручался, что его спектакли в точности воспроизводят байрейтские постановки 3, еще самим Вагнером установленные, и эта верность Байрейту сказывалась

даже в том, что начало каждого действия возвещалось фанфарами со сцены и в фойе и что театр погружался в темноту перед тем, чтобы раздвинулся занавес, а опоздавших в зрительный зал не пускали. Эти новшества возбуждали едва ли не больше тол-ковˆ нежели самые представления в целом.

Что касается меня, то я прозевал момент, когда можно было абонироваться на один из четырех циклов, а когда я спохватился, то оказалось поздно — несмотря па весьма высокие цены, все до последнего места было разобрано. Выручил милый друг дома В. С. Россоловский, который, несмотря на свою германофобию (чисто «нововременской» окраски), запасся местом в двух абонементах. Увидев мое горе, добряк Зозо уступил

* Непринужденность *(франц.),*

** Домашний очаг *(англ.)*.

л* Супруга герцога Георгия была возведена в графское достоинство и получила имя по названию одного из богатейших имений наследников в.к. Екатерины Михайловны — «Карловка» — графина Карловой. Это же имя и титул носили, как слышно, и ее дети, лишь позже (во время войны) Наталия Федоровна получила наименование герцогини Мекленбург-Стрелицкой.

одно из этих двух мест, но то было не в первом, а в четвертом, последнем абонементе. Такое запоздание имело свою хорошую сторону. За время, пока шли первые циклы, Альбер, побывав на двух из них, запомнил все главные лейтмотивы и все самое характерное в приемах Вагнера. Теперь в его импровизации вплетались и эти новые для меня элементы а то в вольной передаче он воспроизводил целые сцены: лесной шум, шествие богов к Валгалле, полет валькирий, Feuerzauber *, пение рейнских наяд и т. д. Слушая чуть ли не каждый день игру брата, я запомнил как отдельные фразы, так и целые куски, и эю мне затем помогло лучше усвоить то, что меня особенно поразило в оркестре и в пении. Когда же занавес в последний раз опустился после пожара Валгаллы в «Гибели богов», я чуть что не плакал, сознавая, что теперь я надолго окажусь лишенным тех потрясавших все мое существо наслаждений, которым я отдавался в течение четырех незабываемых вечеров моего первого знакомства с «Ring»`oM**.

Наступило это «неописуемое наслаждение» с самого момента, когда загудела чудесная квинта, с которой пачинается «Rheingold» ***, и когда потекли арпеджии, так изумительно передающие ровное, «вечное» течение Рейна. И как раз случилось нечто, что, хотя и явилось минутным нарушением нужного настроения, вызываемого музыкой, однако все же усугубило то состояние

какого-то мистического радения, которое овладело мной и значительной частью публики. Еще не кончились переливы, как вдруг откуда-то с галерки раздался неистовый на весь зал вопль. Кто-то не выдержал, с кем-то сделался припадок кликушеской истерики. И вот что курьезно — с тех пор каждый раз, когда я слышал музыку «Золота Рейна», я как-то ждал повторения того же непредвиденного автором добавления к его партитуре.

Всего в подробности ,я не стану описывать. Скажу только, что *по-насюящему* восторг мой был вызываем только оркестром и (в меньшей степени) пением, но вовсе не зрелищем. Таковое было вполне доброкачественно с технической стороны и, может быть, оно вполне отвечало, требованиям Вагнера — тому, что показывали с самых его дней в Бай-рейте. но оно нисколько не соответствовало моим ожиданиям, о чем, казалось мне, так ясно и определенно говорит музыка. Что же касается этого вопроса — насколько эта постановка удовлетворила бы Вагнера, то на это не следовало бы вообще обращать особое внимание. Весьма возможно, что сам гениальный в музыке Рихард плохо разбирался в пластических художествах. Ведь и его венценосный поклонник король Людвиг II Баварский был весьма безвкусным человеком, доказательством чего служат его замки и дворцы4, на которые истрачено столько миллионов и положено столько труда и старания. Дивно чувствовал Вагнер природу — и дремучий лес, в котором живет змей Фафнер, и прекрасную

* Заклинание огня *(нем.)*. ** «Кольцом [нибелунга]» *(нем.)*. *** «Золото Рейна» *(нем.)*.

596'■///, *в. Мое увлечение Вагнером*

:_—_ .— ' ¯ ' ***f*** ` '

дикость рейнских берегов и т. д., и все же он мирился с те**, что по

сего заказу сочиняли профессиональные декораторы и что было/ выдержа

но в духе банального «академического романтизма».f

Не более отрадное впечатление производили действующие лица. *Слушать* иных было приятно, но видеть их всех было тяжело. Разве не ужас эти «пивные бочки» с подвешанпыми бородищами и с рогатыми шлемами на головах? И это должно представлять Зигмунда, Гундинга, Гунтера! Разве этот клоун с рыжим вихром на голове может сойти за ■бога огня Логе? Разве этих полногрудых с перетянутыми талиями и с выпяченными бедрами дам можно принять за Фрейю, Зиглинду, ■Брунгильду, за дочерей Рейна? Тогда же я возмечтал создать *идеальную* «агнеровскую постановку, однако когда мне эта задача выдалась5 (в 1902 г.), то меня самого не удовлетворило то, что мной было

измышлено! Правда, кое-что мне удалось сочинить как-то «ближе к музыке», ¾ тому, что навевает музыка, и, во всяком случае, эти мои сценические картины были поэтичпее того, что мы увидали в Петербурге в 1889 г., или того, что я видел на разных немецких сценах, которые «оставались верными байрейтским традициям», но все же это «было не то». Гораздо ближе удалось подойти к Вагнеру моему сыну в его вагнеровских постановках в Милане и в Риме 6.

Запоздалое мое знакомство с Вагнером в 1889 г. совершенно переработало мой музыкальный вкус. Я пробовал воспроизводить на рояле запомнившиеся фрагменты «Нибелунгов», но эти намеки и сувениры только .меня раздражали своим любительским убожеством. Самому же разбирать •клавиры, которыми я тогда обзавелся, мне, музыкально безграмотному, было не по силам. Тут очень пригодились друзья Валечка Нувель и Митя Пыпин. Хоть и они были неважными пианистами, однако читать с листа они умели довольно бегло. Они проигрывали мне то, что .меня особенно пленило, по чем я с ума сходил, а я вслушивался и многое усваивал почти дословно. Кое-что после того мы играли в четыре руки. Бывало и так — Валечка сидел за роялем, я за фисгармонией. Выходило ■эффектно, но... и окончательно огорчительно для моего папочки, так как -он эту «музыку будущего» никак не мог принять к сердцу и... к *уху*\

И до чего же я тогда одурел в своем восхищении от Вагнера! Еще самой ранней весной я перебрался на дачу к брату Альберу (благо в тот год мне не надо было думать об экзаменах), и. там я целыми днями бродил в одиночестве по мшистым болотистым местам, расположенным вокруг Петергофа и Ораниенбаума, вдыхая таинственные запахи оживающей природы, распускающихся березок и влажной зелени, распевая про *себя или во все горло темы из «Валькирии» и «Зигфрида». Моментами при ?том меня одолевала тоска, что все это я теперь испытываю один и без той прелестной подруги, с которой я привык делиться всеми своими увлечениями,., и с которой, мне казалось, я расстался навсегда... Зато когда наш роман (через два года) возобновился,— с какой радостью я втянул и Атю в новооткрытый мной мир. Она же умела прекрасно разбирать и проигрывала мне и самые трудные места вагнеровских опер.

fff» *7. Семейное*5g7

Глава 7 СЕМЕЙНОЕ

1890 год, ознаменованный в моей личной жизни окончанием

гимназии и поступлением в университет, памятен еще по нескольким происшествиям первейшей для нашей семьи важности.

Б семейном кругу главнейшим событием была кончина дяди Кости Кавоса весной 1890 г., о чем я уже упомянул в первой части этих «Воспоминаний». Смерть дяди произошла молниеносно, дочь его Оля, жена моего брата Михаила, была вне себя от горя, но смерть боготворимого отца открыла перед ней и ее мужем довольно блестящие горизонты. Дела дяди были в полном порядке, и наследство, оставленное им, исчислялось почти в миллион «золотых» рублей. На одни проценты с такого капитала можно было, не затрагивая его, жить широко и даже не без известной пышности. Но Оля и Миша не любили пышности. Они переехали в квартиру дяди и только пожелали, чтобы к ней, уже достаточно просторной, были присоединены пять или шесть комнат из квартиры над ними. Пришлось снова побеспокоить и выселить доктора Реймера. Оля и Миша более по-модному отделали парадные комнаты, причем комната рядом с передней была использована под внутреннюю лестницу в верхнюю половину. Эта лестница столярной работы была построена по рисунку папы и могла в качестве удобства считаться образцовой. Пом-hhi ся, как именно в этом лестничном двухэтажном покое происходил однажды свирепый спор между, с одной стороны, мной и Сережей Дягилевым, с другой — кузиной Олей и ее учителем пения синьором Пане. Ольга не признавала русской музыкиˆ мы же как раз тогда сделались ярыми ее поклонниками.

Тогда же вскоре Миша и Оля приобрели в Бобыльске (близ Петергофа) большой участок земли на самом берегу моря, примыкавший с востока к владению нашего брата Леонтия, а с запада выходивший прямо в чащу парка «Собственной его величества дачи». На этом участке они построили себе (по проекту Леонтия) большой летний дом, разбив вокруг сад с множеством цветов, а немного в стороне — большой огород, в котором произрастали чудесные ягоды и отборные овощи. Наконец они обзавелись собственными лошадьми и экипажами, Мишенька купил себе и новую парусную яхту.

В остальном же их жизненный обиход остался прежпим. Оба супруга были экономны, Мишенька же даже с небольшим уклопом в сторону скупости. Олечка, считавшая себя безнадежно некрасивой, мало тратила на туалеты, и приемы их ограничивались одними родственниками, к которым несколько позже, когда дети Кока (Константин) и Кика (Ксения) подросли, присоединились их товарищи и подруги,

Воскресные grands diners * Миши и Оли продолжали

устраиваться в очередь с нашими и носить тот же характер, какой был заведен дядей.

Званые обеды *{франц.),*

598*Ш, 7. Семейное*

При значительной изысканности блюд, вин и закусок, эти обеды носили тот же солидно буржуазный стиль. Заведовала хозяйством по-прежнему тетя Катя Кампиопи. И так же, как при дяде Косте — мужская половица гостей после обеда забиралась в кабинет, ставший теперь Мишенькипым, а дамы рассаживались по диванчикам и мягким пуфам в будуаре тети Кати. Молодежь предпочитала пребывать в соседней прелестной угловой круглой комнате. За обеденным столом продолжал заседать кроме родных — плотный, весь какой-то гладкий плешивый перс-магометанин Мирза Казем-бек, самый ласковый из когда-либо мне встречавшихся людей (он был сослуживцем дяди Кости по министерству иностранных дел). По-прежнему споры па политические п культурные темы начинались с самого супа, но они утратили свою остроту, так как главного заводилы — дяди Кости — среди нас больше не было. Некоторым новшеством обедов Миши и Оли было почти несменяемое присутствие на них супругов Дех-теревых, т. е. нашей кузины Софьи Цезаровны и ее супруга Владимира Гаврилыча. Нельзя сказать, чтобы эта пара представляла собой очень гармоничный подбор. Сонечка была само изящество, не лишенное известной «прецпозности». Напротив, ее супруг представлял собой образчик чего-то дикого и первобытного. С виду он напоминал великанов из «Золота Рейна». Огромный, сутулый, ступавший медвежьей походкой, обросший девственной черной бородой и лохматыми волосами, чуть подслеповатый, в очках, он говорил, как-то шлепая губами, с необычайным апломбом. Возможно, впрочем (не мне судить), он и был тем светилом науки, каким он старался казаться и за кого несомненно его принимала влюбленная в него жена. Но злые языки (а их всегда немало среди родных) отзывались о «Гаврилыче» с иронией. И, кстати сказать, такое же отношение (возможно, что лишенное всякой справедливости) к пему было и у молодого поколения Философовых, которые за многие годы знакомства успели его хороню изучить. Он когда-то «ходил в народ» и поэтому принадлежал к людям, пользовавшимся особым расположением Анны Павловны Философовой. Сама же знаменитая патронесса освободительного движения и на склоне лет продолжала видеть в Дехтереве героя, каковым он ей представлялся, когда она писала восторженные о нем письма Тургеневу. Она переслала даже писателю записки своего протеже, а писатель возьми да и используй их для довольно ядовитой

характеристики одного из выведенных им революционных типов **. Этот же культ Дехтерева сблизил нашу Сонечку с Анной Павловной; после смерти мужа она даже сделалась чем-то вроде ее секретаря или адъютанта.

На фоне нашей родни супруги Дехтеревы (и особенно он) представляли собой нечто весьма красочное и курьезное. Как это ни странно, с моими ближайшими подругами детства —- с младшими дочерьми дяди Сезара Машей и с Инной — я с момента кончины дяди, летом 1883 г., встречался редко (а у них на дому, пожалуй, и ни разу не был). Инна

Кисляков — в романе «Новь».

III, 7. Семейное

вышла замуж очень рано за аккуратненького полковника Главного штаба Лашкевича, а Маша в начале 90-х годов внезапно скончалась в Неаполе, причем ходили слухи, что она приняла раствор из серных спичек. На этот ужасный поступок милую, поэтичную, когда-то так легко смеявшуюся девушку будто бы толкнул все усиливавшийся недуг — глухота. В общении с Машей и Инной я находил величайшее удовольствие но старшую сестру Соню я недолюбливал, так как считал ее гордячкой и болезненно не переносил, «когда она корчила из себя гувернантку».

Соню я тогда не любил, а теперь, став двадцатилетним молодым человеком, я как-то заинтересовался ей и ее мужем и стал довольно часто у них бывать. Пожалуй, меня притягивало к ним то, что их обстановка являлась частью когда-то столь мне нравившейся квартиры дяди Сезара. В зале у Дехтеревых стояла та же крытая светло-серым атласом мебель, в будуаре висела на степах прелестная серия больших, рисованных модным художником Беллоли портретов всех членов семьи, в столовой громко тикали большие часы буль с качавшимся маятником в виде Аполлона па своей колеснице, на вычурных венецианских зеркалах Тьеиоло-сын изобразил ряд «похищений» и т. д. Впрочем, и общество, собиравшееся у Дехтеревых, было довольно интересное. Оно состояло из разных «знаменитостей» — литераторов, художников и музыкантов.

Особенно мне запомнился вечер, который был ими дан в честь поэта Полонского и который был украшен превосходной певицей итальянской оперы госпожой Ферии Джермано. Приглашая на этот фестиваль, Владимир Гаврилыч обещал особое удовольствие от того, что можно будет слушать прославленную артистку (действительно лучшую из когда-либо мной слышанных Кармен) à trois metres du piano *. Должен, однако, сознаться, что я лично от такой чрезмерной близости (стоя у самого аккомпаниатора, я поворачивал страницы нот) большого наслаждения не получил; папротив, было даже довольно неприятно слышать, как певица «запасается воздухом», наполняя им свою объемистую грудную клетку. Тс, что исчезало на сцене, здесь, à trois metres, производило впечатление кузнечных мехов... В то же время мне с моего места было хорошо видно, как неразлучные друзья — Философов, Нувель и Дягилев «умирали от смеха», прячась один за другого. И не то, чтобы они не ценили пение итальянской дивы (напротив, и они были ее поклонниками), но просто таково было ребяческое обыкновение в

нашей компании — надо всем потешаться и непременно заражать друг друга смехом, особенно тогда и там, где это было совсем не к месту.

Помнится, как совсем неприлично мы (я и Дима) себя однажды вели на одном гастрольном спектакле Эрнесто Росси. Тут наш fou-rire ** дошел до такой степени, что нам пришлось покинуть зал Малого театра, так как негодование соседей на нас приняло угрожающий характер. Причиной же нашей потехи было то, что Росси привез с собой набор ужасаю-

В трех метрах от фортепьяно *(франц.)*.

Безудержный смех *{франц.)*.

600*?ї>* *7. Семейное*

щих провинциальных лицедеев и карикатурно уродливых старушек-актрис. Одни шамкали роли, другие из кожи лезли выказать свой темперамент. Макдуф, тот даже в патетический момент грохнулся со всей силы па пол и завопил истеричным голосом. Увы, и сам Росси, считавшийся величайшим актером своего времени, не показался нам на высоте своей славы. Будучи весьма почтенных лет, он, видимо, щадил свои силы, ступал с осторожностью, да и говорил самые страшные вещи таким тоном, точно это были какие-то обыденности. Возможно, что при этом те или иные фразы были тонко продуманы и оттенены — так, по крайней мере, уверяли знатоки, но для того, чтобы оценить эти тонкости, мое знание итальянского языка было в те дни недостаточным.

Вернемся к вечеру в честь Полонского у Дехтерева. Когда лакей доложил, что «господин Полонский приехали», то Дехтерева обуял какой-то восторг, и эта громадная фигура стала метаться из комнаты в комнату, возвещая, что «наш маститый поэт прибыл»; затем он кубарем скатился по внутренней лестнице в нижнюю переднюю и вернулся оттуда, береж-.но ведя и обнимая Якова Петровича, которому это, видимо, только мешало свободно пользоваться костылями. Полонскому было приготовлено золоченое кресло в первом ряду стульев и хозяева усадили его с выражением чрезвычайного счастья. После этого начался церемониал представления одного за другим разных лиц. Подвели и меня, однако, услыхав мое имя, он не сразу признал в этом бородатом студенте того Шурку, который когда-то прыгал у него на коленях и который требовал, чтобы он рисовал ему солдатиков и лошадок. Это было время около 1874 г., когда Полонский дружил с Альбером и часто бывал у нас в Петергофе. Между прочим, я отлично помню его сидящим в английском парке у каскада под специальным зонтиком и пишущим рядом с моим братом тот же мотив.

Не могу расстаться с живописной фигурой Дехтерева, не рассказав еще про один казус, показывающий, какое грандиозное впечатление производила его наружность. Это было в Висбадене в 1894 г., где мы случайно съехались с семьей брата Миши и с Дехтеревьш. За табльдотом в отеле «Zum Engel» * нашими соседями были потешный профессор College de France фон Бенлов и его супруга. Старичок любил занимать публику рассказами про то, чему он был свидетелем за день, и вот однажды он явился к «абендброту» в большом возбуждении. Он только что, зайдя в нашу излюбленную кондитерскую, которую он прозвал «le rendez-vous des distingués» **, был потрясен видом какого-то великана-бородача. Бенлов' решил, что это какой-либо walachischer Fürst ***, а двух же сопровождавших его дам он счел за любимых жен этого господаря (почему-то профессор причислил валахов к магометанскому вероисповеданию). При этом Frau Professor заметила, что у одной из этих жен в ушах были небывалой величины бриллианты. По проверке оказалось, что то был наш

«У ангела» *(нем.)*.

Местом встречи избранных *(франц.),*

Валахский князь *(нем.)*.

***líf`,`8. «Спящая кслсаещл»* в01**

Владимир Гаврилыч, а альмеи — мои обе кузины — Соня Дехтерева и Оля, жена моего брата. У последней были серьги хорошей воды, однако они показались огромными только в связи с впечатлением, полученным от «валахского князя».

Глава 8 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (1890)

Кажется, я уже не раз в этих записках упоминал о том впечатлении, которое на меня произвела «Спящая красавица» Чайковского. Теперь необходимо остановиться на этом моем увлечении, так как с него начался во мне поворот в отношении русской музыки; от моего полного ее неведения (и даже какого-то презрения) это увлечение меня привело к восторженному поклонению.

Премьера «Спящей красавицы» состоялась в последние дни 1889 г. или в самые первые 1890 г. В то время, с самых дней Цукки, я перестал посещать балет и не был в курсе того, что делалось в этой области. В то же время я продолжал разделять предрассудок, общий для нашей семьи, относившейся вообще с пренебрежением к русской музыке. Брату Леонтию, а вслед за ним и мне, казалось, что Чайковскому было не под силу создать что-либо достойное там, где блистали Адан и особенно Делиб.

Как мог отважиться русский композитор взяться за сказку Перро? И вот, такой предрассудок получил как будто известное подтверждение в том, что «Спящая красавица» была встречена холодом на генеральной репетиции. Леонтий присутствовал на ней, и ему, как и большинству собравшихся, музыка показалась «мало мелодичной», слишком сложной и сумбурной, а главное *не* танцевальной. Ходил даже слух, будто артисты отказывались под нее танцевать, до того она представлялась им непонятной.

В «Спящей» была занята вся труппа, и, кроме того, две итальянские звезды первой величины: синьорина Брианца и синьора Чекетти. Костюмы, сшитые по рисункам самого директора Всеволожского, отличались роскошью, и лучшие наши театральные художники написали эффектные декорации \ из которых особенно понравилась движущаяся панорама. Все это «не помогло». Рассказывали даже, что сидевший в первом ряду кресел (а не в своей боковой ложе) государь не удостоил Чайковского ни единым словом, что он повернулся спиной к Всеволожскому и сразу-по окончании балета отправился к выходу. Такое неодобрительное отношение царя неминуемо должно было привести Всеволожского к подаче в отставку, а самый балет должен был бы быть снят с афиши. Обо всем этом было много разговоров... Однако все обернулось иначе.

Ни на репетиции, ни на премьере я не был, и в первый раз я увидел «Спящую», вероятно, на втором представлении. Во всяком случае, запомнилось, что то был утренник на новогодних каникулах, и зто позволило

602' *IH> $· «Спящая красавица»*

мне с Димой Философовьш побывать на этом спектакле. И что же, я должен сознаться, что это первое впечатление от «Спящей», если и не было для меня каким-то откровением, то все же я покинул театр с таким чувством, точно я побывал на очень грандиозном пиру. То, что я увидал и услышал, показалось мне, во всяком случае, достойным внимания, а относительно некоторых кусков музыки я как бы ощутил род предвкушения, что, пожалуй, они могут оказаться мне совсем по вкусу. Я просто не решался поверить тому, что тогда уже зародилось в тайниках души. В то же время мне очень захотелось снова и поскорее побывать на «Спящей» и главное — снова прослушать эту музыку.

И вот во второй раз я «поверил своему счастью»... Возможно, что здесь помогло то, что я сразу обзавелся клавиром нового балета, и мои друзья-пианисты — Нувель и Пыпин — проигрывали мне все, что меня особенно заинтересовало. Главные темы, главные моменты музыки запомнились, и очень многое «выяснилось». Тут-то оказалось, что музыка .Чайковского

не только хороша и мила, а что *это то самое,* что я *всегда Как-то ждал.* И уже на втором спектакле не зрелище, не танцы, не спектакль, не исполнители меня пленили, а покорила меня музыка, нечто бесконечно близкое, родное, нечто, что я бы назвал *своей* музыкой. Словом, я *влюбился* в музыку Чайковского, а сам Петр Ильич (в нашей компании было принято его называть более фамильярно: «дядя Петя») стал мне самым близким человеком, хоть я и не решился познакомиться с ним лично.

Теперь я уже не пропускал ни одного представления «Спящей» и как-то умудрился (на Масляной, когда кроме вечерних спектаклей шли и утренники) побывать на этом балете четыре раза на одной неделе. Кроме того, я теперь слушал Чайковского где только можно, и в концертах и в домашпем исполнении. То же увлечение «Спящей» помогло мне вскоре после того полюбить и всего «Евгения Онегина», к которому я до того относился с «недоверием». Я знал только отрывки оперы, и мпе казалось, что она не так уж далека от Массне п от Лмбруаза Тома, а эти композиторы, достоинства коих я не отрицаю, перестали к тому времени быть моими любимцами 4*.

Анализируя теперь тогдашнюю мою одержимость «Спящей», я усматриваю, что в основе ее менее всего лежали лирико-мелодичные элементы, включая сюда и музыку знаменитой «панорамы» и лейтмотив Феи Сирени. Напротив, я не уставал слушать (да и сейчас не устал бы) *антракт* между картиной охоты и картиной «пробуждения», а также всю партию феи Карабос. Это все — подлинная гофмаповщина, эта музыка вводит в тот фантастический жутко-сладостный мир, который с такой полнотой отразился в рассказах моего любимого писателя. Мир пленительных кошмаров, мир, существующий у нас под боком и все же остающийся

1* В начале 80-х годов, в разгаре моего увлечения итальянской оперой, мне очень нравились «Король Лагорский» Массне и «Миньона» Тома. Заглавную роль в отой последней исполняла та же Ферни-Джермано. В «Короле Лагорском» особенно нравился вальс, под который отплясывают «гурии» Брамы.

недоступным. Эта смесь странной правды и убедительного вымысла всегда особенно меня притягивала и в то же время пугала. Ее я почувствовал еще тогда, когда брат Ища рисовал мне свои странные истории, или когда Альбер импровизировал свои маленькие рассказики, которым музыка придавала полную убедительность. Нельзя сочинить «гнусную» музыку Карабосихи, не испытав над собой власти какой-то злобной нечисти. Не удалось бы придать этой музыке и какой-то злобной шутливости, что сообщает ей особую инфернальную остроту. Точно так же Чайковский не создал бы гениальной музыта «антракта», если бы он не запомнил бы то сладостное томление, которое испытываешь в детстве в полудремотной горячке, когда лостепешю погружаешься глубже и глубже в небытие, не переставая улавливать точно из далекой дали доносящиеся отклики окружающей действительности...

Сколько и кроме того рассыпано в партитуре «Спящей» разнородных красот, начиная с бодрого марша в прологе и кончая танцами «сказок»! Всего не перечислишь. И как все это сделано, как звучит, какая во всем звуковая цветистость, как все оркестровано! Кроме того, «Спящей» присуща еще одна черта (ее же я нахожу в «Пиковой даме» и в «Щелкунчике») — это то, что когда-то было нами окрещено уродливым словом «эпошистость» и что, не найдя другого выражения, мы затем называли не менее уродливым словом «пассеизм». Петр Ильич несомненно принадлежал к натурам, для которых прошлое-минувшее не окончательно и навсегда исчезло, а что продолжает как-то жить, сплетаясь с текущей действительностью. Такая черта представляется ценнейшим даром, чем-то вроде благодати; этот дар расширяет рамки жизни и благодаря ему и самое «жало смерти» не представляется столь грозным. Мысль о смерти не покидала Чайковского, он «знал толк» в этом (вспоминаю только четвертую часть VI симфонии). Смерть не переставая «стояла за его спиной», такое близкое соседство и мучило его, отравляло радость бытия, но и в то же время его не покидало совершенно определенное знание, что не все со смертью кончается, что за гробом жизнь продолжается. И вовсе не какая-то отвлеченная «идея» жизни, нечто бесформенное и бесплотное, а напротив, нечто вполне ощутимое. И это реальное ощущение потустороннего манило его. Его тянуло в это царство теней; ему чудилось, что там, вдали от насущных забот, как-то даже свободнее и легче дышится; там возобновится общение с самыми

для нас дорогими, там могут произойти новые встречи несравненной ценности. Мало того, в этом царстве теней продолжают жить не только отдельные личности, но и целые эпохи, самая атмосфера их.

И Чайковскому было дано вызывать самую атмосферу прошлого чарами музыки. Удача в воссоздании атмосферы Франции в дни юного Короля-Солица в «Спящей красавице» такова, что лишь человек, абсолютно глухой к зовам минувшего, может оставаться равнодушным. Вся сцена охоты, все игры и танцы придворных в лесу, а также все обороты музыкальных фраз, характеризующие самого принца Дезире, обладают «подлинностью», которая вовсе не то же самое, что остроумная подделка под старину или какая-то «стилизация».

604*III, 8. «Спящая красавица»*

Это же касается в значительной степени и музыки последнего действия «Спящей красавицы», оканчивающегося апофеозом под меланхолические аккорды песенки «Vive Henri IV»2, якобы послужившей когда-то темой для королевского гимна. Удивительной силы достигает Чайковский в торжественном марше в начале акта (сбор гостей, прибывших на свадьбу Авроры и Дезире), а в «сарабанде» стиль Лголли *углублен* до чрезвычайной степени. Я лично сам наделен этим даром проникания в прошлое; по собственному опыту я знаю, до чего это *сладостно.* Но в отношении Петра Ильича у меня в те дни возникло чувство особой *признательности.* Благодаря именно ему мой пассеизм особенно обострился, Чайковский как бы открывал передо мной те двери, через которые я проникал все дальше и дальше в прошлое, и это прошлое становилось моментами даже более близким и понятным, нежели настоящее. Магия звуков рождала убеждение, что я как-то «возвращаюсь к себе», что я *вспоминаю* с особой отчетливостью, что когда-то было со мной, чему я был свидетелем.

Но не одним только этим своим колдовством пленила меня музыка «Спящей красавицы», но и всем тем, в чем Чайковский оставался просто самим собой и давал полную волю своему затейливому и поэтичному воображению. Благодаря этой свободе излияния (liberie d`épanchement) ему удались такие безусловные шедевры, как помянутые танцы некоторых фей, как прекрасное па-де-де Авроры и Дезире в «лесу», как марш сказок (Polacca), как сценки «Красной Шапочки и Волка», «Мэльчпка-с-пальчика», как большое па-де-де Синей птицы, как соло принца Дезире, открывающего финальный пляс. Все это носит отпечаток *личного,* столь своеобразного вкуса Чайковского, и в то же время все сливается в одно целое. До сих пор, слушая музыку «Спящей»

хотя бы на рояли, я испытываю те же чувства, какие я испытывал в дни своей юности, когда эта музыка была только что рождена. При этом я не без меланхолии отдаю себе отчет в том, насколько вся эта прелесть находилась тогда в соответствии с состоянием всей моей тогдашней телесной ц духовной природы и насколько, увы, нынешнее мое состояние восьмидесятилетие-го старца представляет собой нечто несравненно менее отрадное. Ведь я уже сам стою на пороге «царства теней».

В смысле постановки «Спящая красавица» далеко не во всем находила мое одобрение, хотя несомненно, это был результат очень больших и хороших координированных художественных усилий. Особенный успех у публики имела декорация, точнее, лента декораций, составлявшая движущуюся панораму. Она была мастерски написана Бочаровым; однако я находил, что ей недостает фантастики. Это было чем-то, что слишком часто появлялось в те времена на сцене, когда требовалось представить лесные чащи и лунные ночи. Наконец, в декорациях последнего действия и апофеоза профессор Шишков-обнаружил, что ему чужд стиль Версаля п его праздников. Напротив, художник Иванов превзошел себя 3 и в смысле trompe 1'oeil * и в смысле мастерства техники в декорации сцены

* Изображения, создающего впечатление реальности *(франц.)*.

Ill, 8. «Спящая красавица»

605:

«пробуждения». В сущности то были две декорации, из которых первая представляла собой погруженную в ночную мглу опочивальню Авроры; тусклая луна пробивалась через окно, заросшее паутиной, а в огромном роскошном камине едва тлели уголья; в полумраке трудно было разглядеть архитектурные детали, выдержанные в духе французского Ренессанса. И вдруг, как только принц прикладывался к руке спящей прин-цессы, комната заливалась солнечными лучами, проникавшими в малейшие закоулки. Все статуи в нишах оживали в сложной игре рефлексов, а в камине уже весело пылал огонь 2*.

Многое можно было критиковать и в костюмах, в значительной части сочиненных самим директором И. А. Всеволожским. Шокировала некоторая пестрота колеров, сопоставленных человеком, лишенным настоящего чувства красочной гармонии. И все же никак нельзя сказать, что первоначальная постановка «Спящей» была лишена прелести и в этом отношении. Особенно удачной надо признать основную затею Всеволожского, согласно которой тот принц, которому было суждено разрушить столетнее сонное оцепенение, отождествляется с личностью самого юного Луи-Каторза, в дни

царствования которого и появились сказки, собранные Шарлем Перро. Благодаря перенесению второй половины балета в 1660-е годы (в обстановку, более близкую к нам), получалось особенно острое ощущение того, что летаргический сон, сковывавший на столетие весь двор Флорестана XXIV, окончился возвращением всех к действительности, удивительно, однако, изменившейся. Казалось бы, эта поэтическая мысль, лежавшая в основе первоначальной постановки и самого создания балета, должна была бы быть сохранена как неотделимая черта «Спящей красавицы», тем более, что с остроумной и поэтичной затеей Всеволожского были заодно и композиторы и балетмейстер. Однако при следующем же возобновлении балета на той же сцене Мариинского театра, всего через двадцать лет, в дни управления В. А. Теляковского, художник Коровин пренебрег этим принципом 4. Да и Л. Бакст, создавший блестящую постановку «Спящей» для Дягилева в Лондоне в 1922 г.5, недостаточно последовательно отнесся именно к этой пленительной задаче.

Вполне на высоте оказался в «Спящей» престарелый балетмейстер-Мариус Петипа. Мало того, именно эта его постановка является прекрасным увенчанием всего его творчества. И надо надеяться, что сочиненные им сцены и танцы не будут забыты6, а напротив, будут продолжать служить примером и образцами для всех постановщиков, коим выдастся честь воссоздания на основе музыки Чайковского хореографии этого балета. Богатство и разнообразие плясовых и драматических моментов.

2* Через год тот же Иванов создал в «Пиковой даме» свой второй шедевр, а именно-справедливо прославленную «Спальню графини», но, к сожалению, то были последние достойные работы русского самородка. В дальнейшем Иванов уже не создавал чего-либо подобного, и объяснялось это тем, что он все более стал предаваться пьянству. Тем же пороком страдал и Бочаров.

306*HI** & *«Спящая красавица»*

здесь таково, что одно перечисление и характеристика их заняли бы слишком много места. Все же я не могу не выделить, по крайней мере, те «номера», которые меня особенно пленили. К ним принадлежат вся сцена Карабос в прологе с гротескным плясом сопровождающих ведьму уродов, знаменитый вальс в садах короля Флорестапа, сложный «pas (Taction» Авроры с женихом, все танцы придворных в лесу и особенно второе «pas (Taction» там же и, наконец, процессия сказок — танцы кошек, Синей Птицы, Мальчика-с-пальчика. Опять-таки очаровали меня танцы «Спящей» не только остроумием и изяществом, но и своей выдержанной стильностью — там, где в задачу Петппа входило

воссоздание давно минувшей эпохи. Несомненно, Петипа сильно помогло его французское происхождение и та школа, которую он сам прошел (в дни, когда французский балет мог еще с полным правом гордиться своими традициями, восходящими до XVII в.). Тот же французский стиль лежал в основе и всей нашей балетной академии7. Благодаря балетмейстерам-французам — Дидло, Перро, Сен-Леону и Петипа, а также по-французски воспитанному Иогансопу — этот стиль поддерживался в танцевальном училище в течение целой сотни лет и вплоть до нашего времени. И вот кульминационной своей точки этот стиль достиг в постановке «Спящей красавицы», удачу которой поэтому нельзя, пожалуй,'считать какой-то личной заслугой одного Петипа. ибо она явилась итогом всевозможных творческих исканий, направленных к одному идеалу.

Подробно я не стану говорить об исполнителях. Дело в том, что, как ни изящен в своей царственной роли принца был Гердт, как ни блестяще исполняла свою роль совершенно юная и очень миловидная Брианца, как ни уморителен был Стуколкшт (в роли гофмаршала Каталабютта), как ни кошмарен Чекетти в роли Карабос и он же — обворожителен в таоце «Голубой птицы», как ни хороши были десятки других танцоров и танцовщиц, изображавших фей, крестьян, гениев, царедворцев, охотников, персонажей сказок и т. д., однако все личное их мастерство и прелесть каждого из них сливались в красоте ансамбля. Вот когда мне действительно выпало счастье видеть подлинный Gesammtkunstwerk *. При этом особенно досадуешь на эфемерную природу всего театрального искусства. не допускающую «вечного существования». Каким-то *чудом* столько первоклассных художников оказались собранными для создания подлинного шедевра, ценного во всех своих деталях и, однако, увы, эти "люди покинули один за другим жизнь, декорации вылиняли, костюмы обветшали, и шедевр рассыпался, исчез через какие-то десять-пятнадцать лет. И никакие реконструкции помочь не могут. Все условия, все приемы техники меняются, забываются, даже при самом, казалось бы, пиететном соблюдении традиций.

Мне лично остается утешаться тем, что я все же видел этот шедевр во всей его свежести и яркости, что я мог тогда насладиться им вдоволь.

Восхищение «Спящей красавицей» вернуло меня вообще к балету,

■* Совокупное произведение искусств8 *{нем.)*.

*///, 9, Левушка Бакст*¾)7

к которому я было охладел, и этим загоревшимся увлечением я заразил всех моих друзей, постепенно ставших «настоящими

балетоманами». Тем самым создалось одно из главных условий того, что через несколько лет подвинуло нас самих на деятельность в той же области, а эта деятельность доставила нам мировой успех. Едва ли я ошибусь, если скажу, что не будь тогда моего *бешеного* увлечения «Спящей» (а до того моего увлечения «Коппелией», «Жизелью», «Дочерью фараона» с Цукки), если бы я не заразил своим энтузиазмом друзей, то и не было бы «Ballets Rus-ses» 9 и всей, порожденной их успехом «балетомании». Хорошо ли это или дурно — другой вопрос, разрешаемый для каждого согласно с era вкусом. Впрочем, я должен здесь высказать глубокое сожаление, что во многих случаях эта мания приняла вовсе когда-то непредвиденные и нежеланные формы. И еще я должен пожалеть, что как раз мой близкий друг 10 и в значительной степени мой ученик оказался инициатором тех. (с моей точки зрения) ересей, которые превратили балет в модное крив-ляние и в какое-то состязание по части самого недостойного эпатирования. Куда девались те идеалы, с которыми мы предстали в 1909 г. на суд усталой, блазированной, уже созревшей для снобизма парижской. публики?...

Глава 9 ЛЕВУШКА БАКСТ

Поднявшись как-то раз в ателье к Альберу **,—это было в марте-1890 г,,— я встретил там одного незнакомого мне молодого человека. Он попал к Альберу в качестве друга детства Марии Шпак, на которой мой брат собирался жениться, но которая из-за своего слабого здоровья проводила зиму в Крыму. Алъбер отрекомендовал мне своего нового знакомца. как талантливого художника, но я на эту рекомендацию не обратил серь-

1* За эти годы (а именно в 1886 г.) Альбер успел перебраться из третьего этажа нашего дома в четвертый (благо оттуда выехала женская гимназия Гедда) и построил себе еще специальную мастерскую над крышей. Это ателье было довольно. обширно и состояло из двух половин, соединенных аркой. Кроме того, к нему при-. мыкала еще комната, откуда был выход на черную лестницу. Другой, передний, ход вел в мастерскую прямо из передней, по узкой лестнице с перилами кованого-железа. Главным украшением мастерской была большая венецианская перспективная картина XVIII в., изображавшая улицу, уставленную роскошными дворцами и оживленную персонажами — кавалерами в цветных кафтанах и дамами в широчайших робронах. Кроме того, на стенах висели произведения самого Аль-

бера и его друзей, среди которых было пять акварельных портретов — один, работы С. Александровского, изображал нашего отца с орденской лентой через плечо, а остальные — детей Альбера работы художников А. П. Соколова, того же Александровского и Морозова. Первые два года жена Альбера, Мария Карловна, продолжала жить в одной квартире с мужем, но осенью 1889 г., ввиду готовившегося развода, покинула ее. Альбер прожил в этой «новой» квартире до самого момента». когда он летом 1924 г. навсегда покинул родину.

6081*H*> $■ *Левушка Бакст*

езного внимания, так как Альбер иначе вообще никого из художников не величал. Наружность господина Розенберга не была в каком-либо отношении примечательна. Довольно правильным чертам лица вредили подслеповатые глаза («щелочки»), ярко-рыжие волосы и жиденькие усики над извилистыми губами. Вместе с тем, застенчивая и точно заискивающая манера держаться производила если не отталкивающее, то все же не особенно приятное впечатление. Господин Розенберг много улыбался и слишком охотно смеялся. Вообще же было заметно, что он необычайно счастлив, что попал в дом к такому известному художнику, каким в те времена был мой брат.

Впрочем, и я едва ли произвол выгодное впечатление на своего нового знакомого. Как раз я только что тогда побывал на дневном спектакле мейштнгенцев, и, как это бывало со мной каждый раз, когда я находился под каким-либо особенно возбуждающим зпечатлением, я находился в состоянии своего рода «транса». Я кривлялся, дурачился, произносил крикливым голосом озадачивающие речи, карикатурпо имитировал пафос немецких актеров. Возможно, что господин Розеиберг счел меня прямо за полуумного 2*. Обменявшиось, однако, несколькими фразами в более спокойном тоне, я удостоверился, что он очень интересуется искусством, и сразу тогда решил, что не мешает свести с ним более тесное знакомство: в те годы я буквально *охотился* за новыми членами 'нашего кружка, и при каждой новой встрече задавал себе вопрос — не может ли данное лицо стать нашим союзником, не «поддастся ли оно просвещению в нашем духе?»

Относительно Розенберга мне сразу показалось, что хоть я еще не знаю, *какой* он *художник,* хоть с виду он и очень скромный, вовсе не

*2** Вообще в эту «мейпннгепскую» эпоху я охотно корчил из себя лицедея. Одним из моих «номеров» было разыгрывание сцены отчаяния и самоубийства Франца Моора из последнего

акта шиллеровскнх «Разбойников». Бешеная игра Карла Вей-зера произвела на меня, еще при первом гастролировании мейнипгенцев в 1885 г., особенно сильное впечатление. И вот именно эту игру, состоявшую из одного метания. шипения, скрежета зубов и диких выкриков, я передавал, возможно, что в не без удачи. Во всяком случае, каждое такое мое выступление на семейных сборищах или на художественных журфиксах у Альбера вызывало шумный успех, а И, Е. Репин, так тот даже пожимал мои руки, рассыпался в комплиментах (на них он вообще не скупился) и прочил мне самую блестящую будущность на поприще трагического актера. Этот номер подносился гостям экспромтом (по их настойчивым просьбам) и. когда это бывало у Альбера, то гости рассаживались вдоль стен, мне же предоставлялась вся середина довольно обширной гостиной •с непременным свободным доступом к окну, ибо кончалась сцена на том, что я срывал шнур, подхватывающий занавеску, и им душил себя.—До этой же эпохи, тогда, когда у мепя еще не росла борода (начавшая пробиваться на исходе пятнадцати лет), подобным же помером на семейных вечерипках было пзображепие мной •самой Вирджинии Цукки (!) в разпых ролях н танцах, причем моим партнером бывал Володя Кпнд. Кажется, я уже рассказывал о том, как Володя, еще совсем Юным мальчиком, сам на таких же вечеринках выступал в виде балерины; технически его танцы оставляли далеко позади мои, Володя в настояще.ч газовом тю-тю и в трико телесного цвета удивительно мило выглядел и должен был выслушивать иногда и очень пламенные признания со стороны господ, принимавших его за девочку.

///, 9. Левушка Бакст

блестящий малый, все же «он нам подходит». Не откладывая, я и пригласил его к себе на ближайшее собрание друзей, а Валечку и Диму предупредил, что придет некий молоденький (он был старше меня на три года) художник-еврейчик, что стоит им заняться и потому я их прошу не слишком его смущать, чтобы сразу не *спугнуть.* Последняя просьба была не лишняя. Оба моих друга отличались несравненно меньшей терпимостью, нежели я, а к тому же в *своей* компании они охотно распускались, и тогда невоздержанность их языка могла быть иногда и оскорбительной. Особенно Дима отличался этим дефектом: он с какой-то ne` понятной жестокостью озадачивал новичков колкими замечаниями и коварными вопросами. Вообще Дима á priori презирал всякого нового знакомого; в нем возникал вопрос — достойно ли данное лицо знаться с ним, с таким феноменом ума, остроумия и образованности, каким он себя (не без некоторого

основания) считал. Но все обошлось благополучно. Введение в наш кружок Левушки Розенберга произошло без какого-либо трения, и к концу первого же вечера он так освоился, что стал свободно высказывать свои мнения и попробовал даже поспорить с одним и с другим. Помнится, что какой-то художественный спор возник между ним и Скалоиом, и я с удовольствием убедился в том, что в лице Левушки Розенберга мы, «идеалисты», получили подкрепление. Ясно было, что и ему претят теории материалистического и утилитарного уклона и что он — *художник, в душе.* Кроме того, меня тронуло, с какой жадностью Розенберг разглядывал иллюстрации в журналах и в книгах, причем некоторые его замечания свидетельствовали об его вообще вдумчивом отношении к искусству. Правда, тут же обнаружилось, что его education artistique était à completer*. Он, например, не был знаком с целым рядом наших тогдашних кумиров — с Беклиным и Менцелем во главе, а об английских прерафаэлитах имел самое смутное, «чисто литературное» представление. Что же касается до современной французской живописи, он абсолютно отрицал значение импрессионистов, о которых, впрочем, имел одно только теоретическое представление — по роману «L'Oeuvre» ** Золя. Напротив, Левушка придавал преувеличенное значение разным модным художникам как русским, так и иностранным — К. Маковскому, Семирадскому, Фортуни, Мейсонье, Жерому, Фламенгу, Маккарту и даже Зихелю. Для нас же все эти мастера были «пройденными вехами». К дружескому отношению к Левушке Розенбергу у нас примешивалась и доля жалости. Он поведал мне и Валечке, как трудно ему живется. Оставшись без средств после внезапной кончины отца — человека зажиточного (биржевого деятеля), успевшего дать детям приличное начальное воспитание, Левушка должен был сам изыскивать средства, чтоб не только зарабатывать себе на жизнь, но и содержать мать, бабушку, двух сестер и еще совсем юного брата. Кроме того, он не желал бросать Академию художеств, в которой состоял вольноприходящим учеником.

* Художественное образование оставляло желать лучшего *{франц.).* ** «Творчество» *{франц.).*

Эти занятия в Академии брали у него немало времени, а на покупку необходимых художественных материалов не хватало и вовсе средств. Значительную поддержку Розенберг находил в лице старинного знакомого нашей семьи А. Н. Канаева и его подруги жизни Александры Алексеевны, которые по доброте

душевной взяли на себя и воспитание Марии Викторовны Шпак, оставшейся после кончины своих родителей круглой сиротой (теперь Мария Викторовна была невестой Альбера). В доме Панаевых Левушка был принят как сын. Он там бывал почти ежедневпо, и Панаевы изо всех сил старались достать ему художественные заказы и уроки. Так, через Панаевых он познакомился с каким-то издателем популярных кпижек (вернее, брошюр), для которых он сделал несколько рисунков пером. Мне запомнились два таких рисуночка — один изображал отца Иоанна Проиштадтского, пользовавшегося славой праведника и чудотворца, другой — довольно ловко скомпонованную сцену — Иоанну д'Арк на костре. Эти воспроизведенные цинкографией рисуночки были, однако, подписаны не Л. Розенберг, а Л. Бакст, чему Левушка давал довольно путаное объяснение — будто он избрал такой псевдоним в память уже почившего своего родственника, не то. дяди, не то деда3*. Путал Левушка что-то и про свое «отчество». Так вдруг, он попросил адресовать письма к нему не на имя Льва Самойловича, а Льва Семеновича, а затем, через еще песколько месяцев, он снова вернулся к «Самойловичу».„— вероятно, найдя это имя более благозвучным.

Левушка Бакст был первый еврей, с которым я близко сошелся, и некоторое время он считался единственным евреем в нашем кружке, так как А. II. Нурок, примкнувший к нам в конце 1892 г., решительно отрицал свое иудейское происхождение, всячески стараясь выдавать себя за англичанина, благо его отец был автором известного учебника английского языка. Нурок, впрочем, был *крещеный* еврей, тогда как Розеиберг-Бакст остался (до самой своей женитьбы на православной) верен религии отцов, отзываясь о ней с глубоким пиететом и даже с оттенком какого-то «патриотизма». Послушать его, так самые видные деятели науки и искусства и политики в прошлом были *все* евреями. Он не только (вполне по праву) гордился Спинозой, Дизраэли, Гейне, Мендельсоном, Мейербе-ром, но заверял, что *все* художники, философы, государственные деятели были евреями, раз они носили библейские имена Якова, Исаака, Соломона, Самуила, Иосифа и т. д. (однако почему-то он не включал в эту категорию и всех Иванов, которые, однако, тоже носили библейское имя Иоанна). На этом основании Левушка в евреев произвел и всех трех Рейсдалей, и Исаака ван Остаде и т. д., да и в принадлежности к еврейству Рембрандта он не сомневался на том основании, что великий ма-

Я и сейчас не обладаю достоверным объяснением имени «Бакст», которое Левушка со дня на день предпочел фамилии Розенберг. Последняя значилась у него в официальных бумагах.

Едва ли в данном случае действовала встречавшаяся иногда в еврейском быту адаптация дедом внука, что делалось главным образом

для того, чтоб внуку избежать военной повинности.

HI, 9. Левушка Бакст

611

стер жил в еврейском квартале Амстердама и что среди позировавших ему людей было много иудеев. Одного из таких «раввинов» Рембрандта Левушка в те времена как* раз копировал в Эрмитаже и не уставал любоваться не только красотой живописи, но и величественностью осанки этого старца \

Принадлежность к еврейству создавала Левушке в нашем кругу несколько обособленное положение. Что-то пикантное и милое мы находили в его говоре, в его произношении русского языка. Он как-то шепелявил и делал своеобразные ударения. Нечто типично еврейское звучало в протяжности его интонаций и в особой певучести вопросов. Это был, в сущности, тот же русский язык, на котором мы говорили (пожалуй, даже то был более грамматически правильный язык, нежели наш), и все же в нем одном сказывалась иноплеменность, экзотика и «принадлежность к востоку». Что же касается до оборотов *мысли,* то кое-что в этом нам нравилось, а другое раздражало, смешило или *злило.* Особенно раздражала склонность Левушки к какому-то «увиливанию» — что-то скользкое, зыбкое. Уличив его несколько раз в очень уж явной лжи, мы стали эту черту в нем преследовать насмешками. Сначала он всячески оправдывался и отнекивался, но когда его припирали к стене, то с обезоруживающим благодушием он сознавался, а то и каялся. Вообще on допускал, чтоб приятели позволяли с ним всякие вольности, и уже благодаря этому между нами и им интимно дружеские отношения установились очень скоро. Не прошло и трех месяцев с начала нашего знакомства, как уже все были с Левушкой на «ты» и он был признан «равноправным членом» пашей компании, а осенью того же 1890 г. он даже «удостоился» занять должность «спикера» в нашем пиквикианском «Обществе самообразования»2 — должность, дававшую ему, между про-чим, право трезвонить в специальный колокольчик. Однажды для водворения тишины и порядка он дозвонился до того, что бронза колокольчика дала трещину, в чем, кстати сказать, можно найти косвенное указа-Еие на то, до какой напряженности и ярости доходили наши прения.

В ту же осень Левушка затащил меня как-то к Канаевым, и я вскоре повадился бывать у них столь же часто, как и он. Тянуло нас к себе, однако, не столько общество самих хозяев, сколько то, что там за поздним чайным столом мы находили всегда одну и ту

же очень приятную компанию. Кроме того, для нас приманкой была масса книг с превосходными фотографическими воспроизведениями издания 70-х и 80-х годов, посвященных в значительной степени парижскому «Салопу» и вообще современной французской школе живописи. Эти книги принадлежали не Канаевым, а даме, снимавшей у них две комнаты. То была небогатая, не очень казистая с виду, но в высшей степени милая вдовица, Мария Николаевна Тимофеева. Ей эти книжные сокровища достались по наследству от мужа, который в течение многих лет служил главным приказчиком в большом книжном магазине Мелье 4* в доме Голландской церкви

Впоследствии Цинзерлинга.

20*

612ff/, *9. Лееушпа Бакст*

на Невском. Да не подумают, что сама госпожа Тимофеева пленила нас красотой, а изучение ее книг служило только предлогом, чтоб быть в ее обществе. Правда, она была женщиной не старой и при этом на редкость приятной и уютной, однако ни она не претендовала на обладание какими-либо женскими чарами, ни мы таковых в ней не примечали. Все же ее присутствие, ее тихий, скромный нрав создавали особую атмосферу теплоты, и к тому же приятно было изредка поделиться с ней художественными мнениями, так как Мария Николаевна была и очень культурной особой.

Совершенно в другом смысле нас притягивал к чайному столу Панаевых другой ежевечерний гость; режиссер русской оперы Геннадий Петрович Кондратьев. Его, по-видимому, влекла не одна потребность уюта, а то чувство, которое он питал к хозяйке дома. Хозяина, по правде говоря, мы с Бакстом не особенно долюбливали — уж очень нудно было слушать его то плаксивую, то хвастливую болтовню, неприятно было глядеть на его зоб и на его жидкую, нечесаную бороденку. Но если и существовали какие-то arrangements * внутри этого ménage'a**, то видимость взаимных отношений между «тетей Шурой» и Геннадием оставалась вполне благопристойной, разве только иной раз уловишь, как Геннадий схватит на ходу ее руку и прильнет к ней жадными, беззвучными поцелуями. Впрочем, Кондратьев славился вообще своим страстным и сладострастным нравом. Несмотря на свою длинную седую бороду, придававшую ему сходство с персонажами на древнеперсидских барельефах (между, собой мы его называли Камбизом), он был необычайно «предприимчив» с подвластными ему, как всемогущему режиссеру императорской оперы, хористками. Ходили упорные, слухи, что Геннадий никому из них проходу не дает и что даже

установлен порядок вроде того, что существовал у средневековых баронов в отношении своих вассалов.

Чаепитие у Канаевых, к которому собирались эти завсегдатаи (и мы оба среди них), начинались очень поздно — часов около одиннадцати, и затягивались до трех-четырех часов утра. И так изо дня в день круглый год, или, по крайней мере, в течение всего зимнего сезона. Возможно, что столь поздний час был учрежден как раз для Кондратьева, который только и мог выбраться из театра по окончании спектакля (причем ему надлежало протащиться на извозчике около трех верст), но заведенный для «оперных» вечеров порядок действовал и для всех других вечеров недели, для тех, в которые в Мариинском театре шли балеты и па которых присутствие Геннадия не требовалось. Во всяком случае, все к этому порядку привыкли, никто не протестовал и даже находили что-то особенно приятное в таких ночных собеседованиях. Noctambulismc *** был вообще в большом обыкновении у петербуржцев. Редко кто из интеллигенции (не говоря уже о «монде») ложился раньше трех часов ночи, за-

* Сделки *{франц.),* ** Супружеской пары *(франц.).* *** Ночной образ жизни *(франц.).*

///, 9. Левушка Бакст

613

то редкий человек тех же кругов поднимался раньше одиннадцати утра. Скверная то была привычка. Ею я заразился еще тогда, когда четыр-надцати-пятнадцатилетпим мальчишкой проводил вечера «наверху» в обществе моей обворожительной belle-soeur и ее друзей. Это шло вразрез с обыкновением моих родителей, у которых существовало правило удаляться на покой в одиннадцать и вставать в восемь.

Среди разных моих воспоминаний заседания у Панаевых принадлежат к самым приятным. В них было нечто совершенно особенное, чего я с тех пор нигде не находил и что в то же время было характерно для всего нашего российского быта. В довольно просторной столовой в три окна, обставленной лишь самыми необходимыми вещами, за длинным столом, покрытым далеко не свежей скатертью, заседала довольно пестрая компания. Председательствовала у большущего самовара Александра Алексеевна Алексеева, тетя Шура. Рядом с ней (по уже на длинной стороне стола) не сидел, а восседал живописнейший персонаж — горбоносый, длиннобородый маг — Кондратьев; слева от него устраивалась маленькая, сутуловатенькая, конфузливая и смешливая М. II. Тимофеева, не перестававшая что-либо шить, штопать и вязать для своих девочек; угол стола рядом с ней занимали мы с целым ворохом добытых из шкафа

Марии Николаевны роскошных изданий. По другую сторону стола па свое традиционное кресло, кряхтя, опускался «дядя Саша», а между ним и тетей Шурой места предназначались для каких-либо случайных гостей. Все это освещала висячая керосиновая лампа. Разглядывая картинки и шепотом обмениваясь замечаниями, мы все же с жадностью прислушивались к тому, что рассказывал Кондратьев о манившем нас театральном мире. Эти свои рассказы о том, что происходило не только на сцене, но и за сценой, или что ему вспоминалось из его богатого приключениями прошлого, Гепиадий пересыпал анекдотами, которых у него был неисчерпаемый запас и которые он с мастерством умел подносить. Хозяин дома выходил из своего кабинета около полуночи и на время нарушал общее блаженное настроение. Борясь с одышкой, Канаев, бывало, «понесет» что-либо ужасно нудное и никому не интересное или станет с раздражением спорить плаксивым голосом. Будучи профессиональным педагогом, он усвоил себе привычку во все вкладывать нечто поучительное и назидательное, и это нас раздражало 5*.

5* Панаевым принадлежал находившийся в нижнем этаже того же дома (родственников Панаевых Лихачевых — на углу Графского и Троицкой) магазин, носивший

\ характерное название *«Мастерская* учебных пособий и игр». Это было нечто единственное в Петербурге, основан был магазин в 70-х годах в самый расцвет фребе-левских увлечений, обязательно сплетавшихся со всякими другими прогрессивными идеями и затеями. Дядя Саша и Тетя Шура, будучи оба «профессиональными» педагогами, держали себя в своей «лавке» вовсе не как торговпы, желающие угодить покупателю, а как авторитетные *советники.* Это не мешало тому, что все товары, будь то игрушки для младшего возраста или «умные игры§ для подрастающих, или просто тетради, учебники и грифельные доски, все это было расценено чуть ли не вдвое по сравнению с другими торговыми предприятиями. Иные называли канаевский магазин просто «грабиловкой». Что же касается меня, то я этот

Еще более это раздражало тетю Шуру, которая вдруг не выдержит и резко оборвет супруга (они не были повенчаны, мешала какая-то история с затянувшимся разводом), после чего обиженный дядя Саша, сопя и охая, поднимался и демонстративно удалялся к себе. И тогда симфония чаепития снова возвращалась к мажорному ладу.

Геннадий Петрович не только представлял собой нечто очень выдающееся среди данного собрания, но он был вообще одной из

самых живописных фигур тогдашнего артистического мира Петербурга. У меня с Левушкой развилось к нему своего рода поклонение. Но действовала не одна эстетическая оценка, но и известная корысть. Ведь от Кондратьева зави-село нас допускать на сцену (что в императорских театрах было строжайше запрещено для посторонних), а закулисный мир, как я уже не раз упоминал, меня манил неудержимой силой. Манил он и Бакста. И вот однажды сам Геннадий, раздобрившись, пригласил нас" зайти «посидеть поболтать» в его режиссерскую комнату. Когда же мы в ней оказались, то уж было совершенно просто пройти из нее тут же на сцену. После нескольких таких посещений мы стали в кулисах Маршшского театра «своими людьми», перезнакомились со всеми артистами, обменивались приветствиями с машинистами, с осветителями, с бутафором и даже с пожарными. Правда, мое первое знакомство с закулисным миром произошло еще тогда, когда благодаря Левоту я мог делать свои наблюдения с высоты колосников и лишь раза два Левот брал меня с собою вниз, но это делалось на самые короткие моменты. Левот боялся, как бы ему не влетело от начальства, Кондратьев же был *сам начальством* и, раз *он* нас допускал, то кто же мог бы этому препятствовать?

На чем, в сущности, основана эта притягательная сила кулис? Отчего так манит людей, пе причастных к театру, проникнуть в это запретное царство? Несомненно действует уже то, что, попадая за кулисы, ощущаешь какую-то редкую и лестную привилегированность. Однако во мне и в Баксте говорило не только это, но несомненно и своего рода «призвание» — то, что мы оба чувствовали себя «рожденными для театра». На то, какую роль *для меня* играл театр с самого детства, я не раз здесь

магазин в детстве ненавидел, и то же чувство у меня тогда распространилось и па его хозяипа, который был одно время гувернером моего кузена Жени Кавоса и которого я тогда довольно часто видел. Ненавидел я «мастерскую у. п. п и.» уже за одно название — мне казалось, что такие скучные вещи, как учебные пособия, никак нельзя сочетать с такими самыми прелестными вещами, как игрушки. Выше я уже рассказал, до чего я бывал огорчен, когда на роскошных елках у дядя Се-зара я получал из рук его дочери Сонечки именно коробку с чем-либо очень па-зидательным и просветительным, что всегда оказывалось купленным именно в этом магазине Канаева. То было или какое-либо «историческое лото», или коробка со всеми материалами, нужными, чтобы делать какие-то плетушки. В позднейшие времепа я лучше оценил магазин Канаевых — впрочем, одпо только отделение его, а именно то, которым

заведовал почтенный А. К. Ержемский, великий специалист по фотографии и особенно по изготовлению диапозитивов научного характера. С ним мы еще встретимся в дальнейшем, так как он делал для меня и для Дягилева фотографические снимки для наших изданий.

Ill, 9. Левушка Бакст

815

указывал, но, вероятно, театр играл немалую роль и в прошлом Левушки. бывшего на три года старше меня. Если в своих воспоминаниях появившихся в каком-то парижском журнале в 1920-х годах 3, Бакст многое и приврал (вроде того, что его малюткой нянчила на руках сама Аделина Патти), то все же несомненно, что он довольно рано заделался театралом. Но увлекался он тогда исключительно оперой и драмой, тогда как в балете Бакст (игравший впоследствии такую первопланную роль в «Ballets Russes» и придавший ему столько красоты и блеска!) не бывал вовсе и даже относился к этому роду театральных зрелищ с предубеждением, как это и полагалось в юношах того поколения, которое росло в эпоху «социально-утилитарного уклона». Левугака даже недоумевал, почему часть его новых друзей допускает самое существование такого нелепого, легкомысленного и даже предосудительного зрелища. То ли дело серьезная опера или драма! Потребовалось лет пять, чтоб под нашим.влиянием радикально изменилась такая его точка зрения.

Совпал этот поворот с бурным пробуждением чувственности, когда наш целомудренный, «стыдливый, как девственница», Левушка, красневший от малейшей сальности, побывал в Париже (это произошло в 1892 г., то была первая и очень краткая экскурсия, длившаяся не больше двух недель) и там, благодаря профессиональным гетерам, он впервые познал прелесть «бесстыжей Афродиты». Он как-то среди дня забрел на Монмартре в какой-то подвальный кабачок и там прелестные особы, облаченные в адвокатские талары на голое тело, напоили его шампанским и, выманив у него несколько франков, почли своим долгом его déniaiser*. Рассказывал он про этот случай со смехом, но первое время и не без печали, скорбя о потери своей невинности...

До сих пор, однако, я ничего не сказал о своем новом друге как о художнике. Рекомендации Альбера, что-де Розеиберг очень талантлив, я, повторяю, не придавал большого значения; но не произвела выгодного впечатления и та картинка Левушки, к которой он меня подвел на выставке работ академических учеников и на которой в духе Владимира Маковского был изображен пьяный факельщик4, плетущийся после похорон но

осенней слякоти. Правда, картинка была довольно ловко написана, но уж очень меня огорчило безвкусие в выборе сюжета6*.

В момент же нашего знакомства Левушка трудился над большой картиной, которую я тоже не пощадил своей критикой, Изображена была молодая дама с лицом тети Шуры среди сумрачного пейзажа. Сразу становилось ясным, что она убита горем (отдаленно она напоминала «Неутеш-

Просветить *(франц.)*.

Не больше доверия я почувствовал и к другой картине того же времени, которую я тогда не видал, но которую Левушка мне описал во всех подробностях. То была вариация на тему «Неравный брак» 5. Изображала картина сидящих на садовой скамейке, где-то на Островах, двух супругов; муж — совсем уже старик, жена в полном распвете молодости и красоты, с выражением уныния на лице. Поодаль—элегантная коляска, запряженная парой лошадей, ждала момента, чтоб

доставить господ в их печальный дом.

ное горе» Крамского) и что она готова на самый отчаянный поступок; на какой именно — указывали рельсы железнодорожного пути и дымок приближающегося поезда, а лежавшее у ног несчастной разорванное письмо намекало на то, что привело ее к решению покончить с собой. Картина имела уже законченный вид, и несомненно, Левушке пришлось пережить немало терзаний, прежде чем внять моим убеждениям бросить ее и не посылать на академическую выставку, к которой он ее готовил.

Вообще же и я, и друзья первое время скорее ценили в Левушке приятного, очень начитанного собеседника, нежели художника, а о том, чтоб он мог сделаться когда-нибудь знаменитым, нам никак не могло бы прийти в голову. Однако уже в первое лето моего знакомства с ним я имел случай наглядно убедиться в его необычайной талантливости. Мы оба — и он, и я — гостили в течение нескольких дней у брата Альбера в Ораниенбаумской Колонии; целые дни мы гуляли, играли в крокет и вообще тунеядничали, но погода испортилась, зарядил дождь, и пришлось сидеть дома, заняться чем-либо. Тут Левушке и вздумалось попробовать-свои силы в акварели. В окружении Альбера, такого виртуоза живописи водяными красками, глядя на то, как «легко и просто» все у него выходит, все заражались желанием делать то же и так же. Для первого опыта Левушка попробовал написать с натуры розу, стоявшую в стакане воды на балконе.

То, что у него стало сначала получаться, имело беспомощный вид, и я уже про себя решил, что ему никогда не справиться с такой задачей. Но Левушка не бросил начатой работы и до тех пор корпел над ней, бесстрашно по нескольку раз смывая написанное и снова накладывая легкими мазками краски, что наконец он и одолел трудности. И то, что у него тогда получилось, было не только похоже на натуру, но и представляло собой известную техническую прелесть. В то же время это было и нечто вполне отличное от приемов Альбера — нечто более сложное, более осознанное. Я был в восторге, и, пожалуй, именно тогда во мне проснулась какая-то «вера в Бакста». Самый же этот случай остался для меня поучительным, чем-то таким, что противоречило той заразительной легкости, которой я привык любоваться в работах моего брата и его приятелей.

Постепенно акварель становится излюбленной техникой Бакста, однако он для нее не бросает и масляной живописи. Так, оставив свою «Самоубийцу», он принялся за новую картинуб довольно крупного размера, с темой еще более в его глазах серьезной и значительной. Писал же он ее в той же мастерской, предоставленной ему в здании Академии художеств 7*. Задумал Левушка создать нечто, по его мнению, очень сен-

Предоставление на время пустовавших мастерских Академии не было чем-то исключительным. Я помню, как много лет до того, еще в раннем детстве, я побывал с папой в такой же мастерской, которая была одолжена Е. А. Лансере, лепившему в ней конные статуи «Сокольничих», которые, вылитые из бронзы, украсили затем какой-то сад в Ментоне (это был чей-то дар городу). Однако все же для нолу-

///, 9. Левушка Бакст

617

сационное — в духе реалистических картин из жизни Христа Джеймса Tncco и Н. Н. Ге. В то же время он продолжал идти по тому же пути, который был ему намечен его учителем, почтенным художником Аскна-зи ˚, мечтавшим о возрождении «высокого рода живописи» и о прославлении через него еврейства. Затеял Бакст выразить в лицах взаимоотношения Иисуса и Иуды Искариота. Последний в его представлении (создавшемся, вероятно, под влиянием каких-либо еврейских толкований Евангелия) превратился из корыстного предателя в принципиального, благородного противника. Левушка был уверен, что Иуда был не столько *учеником* Христа, сколько его *другом* — и даже *ближайшим* другом, под влиянием которого Иисус даже находился одно время и который видел в Иисусе некое орудие для своих религиозно-национальных замыслов 7.

Лишенный личного обаяния, дара слова и заразительной воли, Иуда надеялся, что с помощью пророка-назарейца ему удастся провести в жизнь свои идеи. Одну такую беседу Христа с Иудой картина и должна была изображать. И до чего же мой друг огорчился, когда я стал его убеждать, чтоб он бросил и эту свою, на мой взгляд, нехудожественную за™ тею! Главный мой довод заключался в том, что подобные темы вообще не подлежат изображению. Даже в случае полной удачи такая картина требовала бы пространных комментариев, без которых эти две полуфигуры (натуральной величины) в античных одеяниях, выделявшиеся на фоне восходящей луны — одна с лицом, поднятым к небу, другая —понуро глядящая себе под ноги, остались бы непонятными. Левушка же, убежденный, что он поразит мир своим произведением, пытался отстаивать свою идею и несколько еще времени продолжал работать над своей картиной. А там он и сам в ней разочаровался, и через год он уж говорил о ней с иронией.

Как раз в этом же 1892 г. я увлекался вошедшей тогда в моду игрой, состоявшей в собирании ответов на ряд вопросов, из которых иные были довольно каверзны и «индискретны». Мода эта пришла из Франции, и примерный список вопросов такой анкеты появился в «Illustration». К этому списку я прибавил еще несколько собственного изобретения и стал приставать с ними ко всем, получая иногда и очень интересные ответы. Один только дядя Мита Кавос решительно отказался, вышутил меня и ужасно меня этим огорчил. А как было бы теперь интересно перечесть эти документы! Что же сказал каждый из моих друзей? Что Философов, что Валечка, что Сережа Дягилев! Увы, все это

чеиия такой мастерской лицу постороннему (не служащему в Академии и не имеющему академического звания) требовалось известных протекций и заступничеств. Очевидно, какие-то связи у Левушки уже были, однако кто был этим покровителем, я не смог выяснить. Впрочем, при всей своей мягкости и кажущейся бестолковости, Левушка обладал одной драгоценной чертой, свойствеппой вообще его племени. Он мог выказать необычайное упорство в достижении раз намеченной цели. Когда нужно, он становился неутомимым в своих хлопотах, прятал самолюбие в карман и забывал о тех вспышках возмещенной гордыни, которая была ему вообще свойственна.

6Î8

///, 9. Левушка Бакст

потеряно, но ответ Бакста на вопрос «Чем вы желали бы быть?» был так характерен, что его ответ я запомнил. Он ответил: «Я желал бы быть *самым знаменитым* художником в мире». Он не

пожелал быть *лучшим* художником или самым искусным, а так и заявил: «самым знаменитым». И что же, чего-то близкого к этому идеалу он и достиг, но в 1892 г. такое пожелание могло показаться довольно диким и смешным. Мы этом долгое время и дразнили Левушку.

Не малое значение для дальнейшей карьеры Левушки имели его усердные посещения «Акварельных пятниц», учрежденных Альбером. Первое время эти вечерние сборища художников происходили у моего брата на дому, но по мере их роста они сделались слишком обременительными для хозяйства, и тогда Альбер их перенес сначала в помещение архитектурного журнала «Зодчий» 8, а когда он стал руководителем акварельного класса Академии художеств, то он и эти. «Пятнипы» устроил в помещении своего класса. Новый вице-президент Академии граф И. И. Толстой был вообще расположен ко всякого рода новшествам, особенно если они носили несколько «либеральный» общедоступный характер, а кроме того, он очень благоволил Альберу, и поэтому он не только согласился на то, чтоб эти собрания происходили в Академии и чтоб на них были допущены посторонние лица, но он даже дал разрешение на то, чтоб эти сборища завершались товарищескими агапами * и чтоб за ними прислуживали академические сторожа. Вся организация этих академических «Пятниц» принадлежала Альберу, и первые годы он отдавался всей душой своей затее. Вскоре «Пятницы» приобрели большую популярность в художественном мире (сам президент Академии в. к. Владимир дважды удостоил их своим присутствием) и представили опасную конкуренцию более старинному художественному клубу, носившему название «Мюссаровских понедельников» э по имени своего учредителя.

Помещение «Акварельного класса» представляло собой просторное и отлично освещенное зало в третьем этаже здания Академии. Середину зала занимали три стола, составленные покоем. За ними восседали наши главные акварельные знаменитости вперемежку с несколькими любителями. Каждый художник приносил с собой свою коробку красок, кисти и бумагу, и каждый старался за вечер (с 8 часов до полуночи) создать хотя бы одпу картинку. (Из таких картинок устраивались периодически лотереи с благотворительной целью.) Наиболее эффектно работавших обступали разные «друзья искусства», пришедшие полюбоваться, как работают «настоящие» художники. Число их росло с каждым разом. На одном углу стола Альбер неутомимо импровизировал свои закаты, морские и зимние пейзажи, и иной раз он успевал «напечь» их трн или четыре штуки за вечер. На другом углу, сочно посасывая сигару и при

этом непрерывно рассказывая про всякие свои баснословные похождения, «русский Гюстав Доре» — Н. Н. Каразин набрасывал черной тушью и белилами то тянущиеся по стеии караваны, то тройку, мчащуюся по зане-

* Пирушками (греч.).

Ill, 9. Левушка Бакстgig

v'———

сенному снегом лесу; между ними тучный, обрюзгший Писемский, тоже с сигарой, с сонно тупым видом изображал пером очередную «Опушку» с неизбежной елочкой; поодаль милейший старенький Адольф Шарле-мапь предавался давним' оперным воспоминаниям, и из-под его кисти и карандаша рождались сцены из «Фауста», «Пророка» и «Гугенот». Это все были «мэтры», не нуждавшиеся в дальнейших упражнениях глаза на изучении натуры, но вот немного в стороне на эстраде сидела или стояла модель (почти всегда женская), которую одевали в добытые из богатого гардероба «костюмного класса» всякие национальные и исторические наряды. Модель то представляла хохлушку, переходящую вброд (воображаемый) ручеек, а то это была заснувшая за ночной работой швея, или средневековая девица, мечтающая за веретеном, и т. д. Особенным успехом пользовалась известная на весь Петербург профессиональная натурщица Ванда (излюбленная модель художника Боброва), а также совсем юная и очень миловидная портнишка, которую все называли по имени и отчеству — Елизавета Михайловна. Ее где-то нашел все тот же мой Альбер. Позже она стала на несколько лет его «официальной метрессой». Увлекался ею и Бакст.

Эти «Акварельные пятницы» сыграли весьма значительную роль в карьере Левушки. Он не пропускал ни одной «пятницы», однако вместо того, чтобы засесть за стол бок о бок со «знаменитостями» и изготовлять какие-либо пустяки, он заблаговременно выбирал себе выгодное место перед эстрадой и участвовал как в установке модели, так и в выборе для нее костюма. Эти этюды, которые Левушка делал даром с живой натуры, были для него полезным упражнением в только что им усвоенной акварельной технике. Кроме того, вышло так (едва ли намеренно с его стороны), что именно благодаря им он стал приобретать некоторую известность. Углубленного в работу, его всегда обступала кучка любопытных, и вот среди них оказался человек, который сыграл значительную роль в жизни Бакста, помог ему «выбраться в люди». То был Дмитрий Александрович Бенкендорф, персона очень заметная, как в петербургском монде, так и в парижском и лондонском.

Всюду Д. А. Бенкендорф, иначе говоря Мита, был принят и

обласкан, и это несмотря на несколько «темную» репутацию. Про него ходили весьма предосудительные слухи, вплоть до того, что он будто бы оказался (косвенной?) причиной гибели своей жены 8*. Были ли эти слухи на чем-нибудь основаны, я не знаю, но во всяком случае государь Александр III был убежден в их достоверности; он не отзывался о Мите ина-

8* Скандальная эта история, произошедшая еще в 70-х годах, кажется, в Берлине, послужила сюжетом для романа (roman à clef) Marie Colombier «Le pistolet de

*· la petite baronne» [[зашифрованный роман, где под вымышленными именами выведены реальные люди] Мари Коломбье «Пистолет маленькой баронессы» *(франц.)]*. Сказать кстати, Мита и впрямь имел право на баронский титул (его родственники были графами), однако он из каких-то странных соображений или из кокетства им пренебрегал. Впрочем, иные, особенно за границей, обращаясь к нему, называли его бароном.

ß2Ö///» $■ *Левушка Бакст*

у

че, как с презрением, и решительно отклонял все домогательства о том, чтобы ему, Д. А. Бенкендорфу было дано придворное звание. Напротив, брат государя в. к. Владимир и его супруга в. к. Мария Павловна души не чаяли в Мите, и он при их «малом» дворе был завсегдатаем, будучи великим специалистом по части всяких светских сплетен. Он же умел привести в хорошее расположение и самую скучающую компанию то удачным словечком — le mot pour rire*, то рассказиком, поднесенным с очаровательным цинизмом и бесподобным мастерством. В таких случаях великий князь разражался зычным хохотом, а в. к. Мария Павловна ударяла Миту но рукаву и, приняв шаловливо-строгий вид, приказывала: assez, assez, Mita, vous devenez impossible **.

И надо отдать справедливость Мите — он был, *действительно,* шарме-ром. Сужу по собственному опыту. Временами я его часто видел то у Альбера, а то на тех же академических «Пятницах»; позже я бывал у него, и несколько раз он бывал у меня. Каждая такая встреча с Митой была для меня своего рода лакомством. В описываемый период Мите было немного за сорок. С виду это был коротенький, дородный, холеный господинчик с темноватой, аккуратно клинышкоти подстриженной бородой, с кошачьими зеленовато-серыми глазами. Впрочем, он весь напоминал тихо мурлыкивающего кота. Ходил он легкими шагами, пузиком вперед, держа свои коротенькие ручки согнутыми в локтях — на манер ожидающей кусочек сахара собачки. Взгляд у Миты был масленый, ласковый, но и очень лукавый, изредка же он настораживался, и в глазах

вспыхивали недобрые искорки. В общем Мита был благодушен, bon enfant***, но он мог быть и коварно мстителен, почему я и вся паша компания пепрочь были верить рассказам об его темных заграничных проделках. Такие сладковато-ласковые люди часто таят в себе очень странные пороки, а припертые обстоятельствами, совершают поступки и весьма неблаговидные, а то и преступные. Склонный к ригоризму Александр III несомненно верил и худшим из рассказов о Мите, тогда как в. к. Владимир обладал достаточным запасом je m'en ПсЬе'изма ****, чтоб прощать приятелю его былые проделки, благо теперь il s*était range *****. Мита изрядно поправил свои финансы и вел жизнь достаточно солидную, свою же слабость к полу, не считающемуся прекрасным, он умел в достаточной степени скрывать. То была, кстати сказать, та эпоха, когда помянутая слабость начинала терять свой позорящий характер, а высшее общество начинало привыкать к мысли, что она не заслуживает инквизиторского преследования.

У Миты была еще и другая слабость. Он обладал природным вкусом, ие бог знает какой высоты, но все же более изощренным, чем у боль-

* Шуткой *(франц.)*.

** Довольно, довольно, Мита, это уже слишком *(франц.)*. ** Славный малый *(франц.)*. ** Наплевательства *(франц.)*. ** Он остепенился *(франц.)**

шинства людей его общества. Этот вкус толкал его в очень благоразумных пределах на коллекционирование, благодаря чему квартира его (в верхнем этаже дома на Фонтанке насупротив Инженерного замка) была одной из самых изящных в Петербурге. Она была обставлена хорошей мебелью XVIII в. и увешана тонко подобранными картинами, среди которых выделялись знаменитый портрет «Екатерины II на прогулке» Боровиковского10, чудесный портрет (якобы) Марии Манчшш Миньяра и отличный автопортрет Лагрепе в пестром халате. Для всего этого пророненное слово *«слабость»* не вполне подходит, *настоящая* же *слабость* Миты заключалась в том, что он пе только окружал себя красивыми вещами, но и сам пытался создавать «художественные ценности». Мало того, создавая таковые, он извлекал из созданного и материальную пользу. Имея довольно высокое мнение об его проницательности, я считал, что он не может не видеть, до чего безнадежно немощно все то, что выходит из-под его кистей, но умница Мита знал в то же время,

что у людей его круга хватит невежества, чтоб изготовленный им хлам принимать за нечто добротное. Во всяком случае, находились такие простаки, которые покупали подписанные им акварели, и даже за довольно крупные суммы. Среди них был и один великий киязь, а именно генерал-адмирал флота Алексей Александрович. Иногда кое-что приобретал и в. к. Владимир, но это уж исключительно по дружбе.

Специальностью Миты были акварельные копии с самых знаменитых произведений живописи, а кроме того он изготовил целую серию портретов нижних чинов, бывших на особенно хорошем счету у высочайшего начальства — главным образом портреты матросов (он их делал, имея в виду генерал-адмирала). Свои же копии с картин Мита делал при помощи фотографий, полагаясь, что касается красок, на свою память. Таким образом, между прочим, оставаясь в Петербурге, он сделал две копии довольно большого формата со знаменитых фресок Дж. В. Тьеполо в палаццо Лаббиа, и эти бездарные пародии на гениальнейшие произведения венецианца ему как раз удалось кому-то «пристроить» за довольно основательную сумму.

Все же, повторяю, Мита в глубине дупш пе мог быть сам высокого мнения о себе. Он робел, приступая к непосильной задаче, и поэтому *нуждался в помощи.* Поэтому он и прибегал к «сотрудничеству» профессиональных художников. За последние годы при нем в качестве такого «сотрудника» состоял художник С. Ф. Александровский, специалист по великосветским портретам; под видом уроков, за которые Мита платил щедро, он заставлял опытного техника «поправлять» свои работы, после чего ставил свою подпись и отправлял этот продукт сотрудничества на выставку... Но появляется на «Пятницах» новый юный художник Розен-берг-Бакст! Увидав, что возникает на бумаге у этого новичка, Мита, не долго думая, решает проститься со старым своим «сотрудником» и обзавестись новым — все под тем же предлогом «уроков». Бакст, хоть тогда и голодал буквально, не сразу согласился (предложение «барона» показалось ему несколько предосудительным), но, побывав у Миты в его

%22` Ш, 9. Левушка Бакст

изящной и уютной квартире, покушав у него за завтраком вкусных вещей, приготовленных французским поваром, и выпив разных вин высоких марок, главное же, подпав под очарование беседы с остроумным хозяином и его ласкательных кошачьих манер, Левушка сдался. Бенкендорф заспял от счастья, помолодел. То-то теперь он обновится, то-то поразит всех яркостью колеров п мягкостью техники. И действительно, копии с картин и «матросы», снабженные все той же подписью: «Д.

Бенкендорф», стали более высокого качества. Лишь постепенно бездарность все более отваживавшегося учепика-мецепата стала проступать сквозь «поправки» учителя. А может быть, дело обстояло и наоборот, что Левушке стала надоедать его недостойная роль, и он стал несколько отстраняться, заверяя своего ученика, будто тот делает замечательные успехи.

К этому моменту «уроки» Бенкендорфу успели оказать значительную пользу Баксту и не только в смысле тех денег, которые он зарабатывал (что сразу стало сказываться на всем его быте,— в том, что он переехал в довольно большую квартиру с мастерской и т. д.), но особенно в смысле приобретения более светского облика. Бенкендорф пе скупился на советы, касающиеся одежды и манер, и он же свел Левушку с массой высокопоставленных или родовитых лиц. Уже через год после начала уроков Бенкендорфу удалось определить своего юного учителя на место преподавателя рисования при детях в. к. Владимира, а па лето Левушка даже получил казенную квартиру при даче великого князя в Царском Селе. Постепенно его тихий, скромный нрав завоевал себе симпатию как его воспитанников, так и их августейших родителей. Это царскосельское пребывание было началом его «триумфального восхождения». Однако до достижения кульминационной точки Баксту пришлось еще пройти через ряд испытаний, иногда довольно мучительных, и среди них господствующее место занял бурный и страстный, на три года затянувшийся роман с особой, бывшей на несколько лет старше его.

Этот роман крайне тревожил почтенную матушку Левушки, и не менее он тревожил его ученика-мецената Миту. Оба они, т. е. госпожа Розенберг и Бенкендорф, в период кризиса этого романа то и дело навещали меня, чтоб излить свои жалобы на Левушку и просить меня пустить в ход все свое влияние, *спасти* заблудшего, вернуть его к семье и к последовательному труду. Но если бы даже мое влияние было настолько велико (в чем я сомневаюсь), чтоб подействовать на друга в начале его увлечения, то теперь уж было поздно пытаться что-либо сделать, так как Бакст с предметом своей страсти застрял во Франции, где одновременно он был занят и исполнением заказа в. к. Алексея — писанием картины «Встреча русских моряков в Париже» и. Оставалось урезонивать Левушку в письмах, но, спрашивается, когда подобный способ воздействия имел какую-либо силу? Тем менее можно было па то рассчитывать в данном случае, когда противовесом и самым красноречивым убеждением являлась все более разгоравшаяся страсть.

*Ill, 9. Левушка Бакст*623

Роман с госпожей Ж., актрисой Михайловского театра, тем сильнее захватил Левушку, что он попал в цепкие руки этой Цирцеи, будучи еще новичком в любовных делах и не имея в них большого опыта. Оиа и постаралась его «просветить» и «испортить;» по всем статьям. Кроме того, она связала его крепчайшими узами ревности и целой системой «периодических разрывов», за которыми следовали самые пламенные примирения. Бедный Левушка за эти три года прошел через все круги эротического ада. После «медовых месяцев» в уединении бретонского захолустья (Перрос-Гирек в те времена был еще захолустьем), госпожа Ж. тащила Бакста в самый омут Парижа, после идиллий, в которых талантливая сорокалетняя артистка с мастерством разыгрывала роль невинной Хлои, она превращалась в неукротимую менаду и в подкупную гетеру. Левушку швыряло и мотало, как тонущего в разбушевавшемся море. Было с чего потерять голову, запутаться в компромиссах, и это тем более, что и в материальном отношении начались оскорбительные для его самолюбия испытания. Не имея месяцами никакого заработка, он оказывался в полной зависимости от своей любовницы, а косвенно и от тех, кто заботился об ее благосостоянии. Первые авансы, полученные от в. к. Алексея Александровича в счет уплаты за заказанную картину, были давно истрачены, а Мита, не желая «поощрять глупости Бакста», не посылал, несмотря на мольбы, никаких подкреплений. Положение становилось отчаянным. В это время, осенью 1896 г., я с семьей поселился в Париже, и мы видели Бакста чуть ли не каждый вечер. Вблизи вся эта драма представлялась еще более нелепой и печальной, нежели издали. Бакст то и дело «спохватывался», решал, что «отныне все кончено», а через день он опять подпадал под чары Ж. или сдавался на ее убеждения. Кончилось все это тем, что она уехала на гастроли в Берлин, запретив ему следовать за ней, он же бросился ей вдогонку, и тогда разыгралась последняя сцена уже совсем во вкусе плохих пьес. Кажется, на Бакста отрезвляющим образом подействовало не столько то, что он застал Ж. en flagrant délit *, сколько то, до чего все это вышло глупым, пошлым. Финал тяжелой драмы в водевильном духе. Не слезы, не кровь, а смех...

Естественно, что среди всей этой бури писание «Приема русских моряков» подвигалось туго, а периодами и вовсе застревало. Первое время, поселившись в Париже ближе к месту действия своего сюжета, Бакст работал с увлечением, и тогда было сделано им много этюдов с натуры. Намеревался он создать нечто вроде массовых сцен Менцеля. На первом плане он поместил людей улицы — молодых, старых, подростков, занятых

приготовлением к иллюминации; одни зажигали фонарики, другие их развешивали. Все было подернуто сизым тоном сумерек, тогда как в отдалении, мимо гигантской статуи Свободы, в свете иллюминации тянулся цуг колясок, в которых сидели адмирал Авелан п его свита. Эффект позднего вечера, сочетание последних лучей солнца со светом от

* Иа месте преступления *(франц.)*.

фонарей и бенгальских огней было интересно задумано, но долго не давалось Баксту. Ему могло бы помочь ознакомление с импрессионистами, в частности с массовыми сценами Ренуара, но в те дни было не легко видеть произведения мастера, а с другой стороны, несомненно, что если бы Бакст дерзнул создать нечто в таком роде, то заказчик — великий князь — просто не принял бы подобной «декадентщины», и тот же Бенкендорф отвернулся бы от своего «погибшего» protege...

Все же еще через год картина с грехом пополам была окончена, привезена в Петербург и представлена великому князю. Успеха она не имела, большинство находило, что композиция плохо слажена (décousue), что все полно ошибок в рисунке (cela fourmiilait de fautes de dessin), что общий тон какой-то непраздничный, что русских моряков почти не видно, а бросаются в глаза только какие-то пролетарии, мальчишки, de pauvres gens presque de la tourbe *. Все это не могло приободрить автора, и никаких дальнейших официальных заказов нельзя было ожидать- в будущем. Но Левушке было сполна уплачено и даже что-то сверх условленной суммы, а картина, «не допущенная в апартаменты высочайшего заказчика», нашла себе пристанище в Адмиралтействе, где она висит, за ненахождением другого более подходящего места, на лестнице, ведущей к помещению Морского музея. Здесь я ее после многих лет снова как-то увидел, и должен сказать, что она, если и не произвела на меня впечатление «мирового шедевра», то все же я ее нашел весьма и весьма достойной и интересной. Во всяком случае, это добросовестно продуманный и не без мастерства написанный исторический документ. Ближайшие друзья Бакста были обрадованы самым фактом, что он не осрамился, а вышел из испытания с честью,

* * *

Основу характера Левушки составляло известное благодушие. За него ему прощалось многое. Оно распространяло вокруг него

определенную атмосферу уюта. С самых первых недель нашего знакомства именно эту его эманацию я почувствовал и оцепил. Мне нередко случалось ссориться с Бакстом, по обыкновенно я первый начинал испытывать потребность в его обществе и получать, благодаря его присутствию, совершенно своеобразное настроение приятного покоя. Уютно действовала самая его наружность — мягко-огненный цвет волос, подслеповато поглядывающие из-за пенсне глаза, скромная манера держаться, тихий, слегка шепелявый говор. Особенно приятно было вызывать в Баксте смех — не громкий (чаще какое-то хихиканье, а не «ржанье»), но веселый и искренний. Его извилистая губа складывалась при этом в чрезвычайно потешную гримасу...

И не только внешние черты притягивали к Баксту, а в той же мере действовал его ум, который я не могу иначе охарактеризовать, как сло-

* Бедняки, чуть ли не сброд *(франц.),*

вом «прелестный». Мысли Левушки были всегда своеобразны и выражались в яркой картинной форме. Они как-то тут же возникали и точно *изумляли* его самого (черта типично еврейская). В них никогда не звучало что-либо доктринерское, школьное, заимствованное. Теми же особенностями отличались и его письма. Их у меня накопились десятки, если не сотни 12, иные из них необычайной длины — целые трактаты; и я не только радовался при получении каждого, но и испытывал особое удовольствие, перечитывая их по прошествии многих лет. Многообразие тем Бакста было чрезвычайным, и это нас связывало, так как и я человек «многообразный», «пестрый», «всеядный». Левушка был и мастером рассказывать (без всякого нарочитого щегольства) про случившиеся с ним встречи или похождения; при этом в годы, когда в нем исчезли и последние следы юношеской невинности, он охотно задерживался на разных «негодных для печати» подробностях, пе опасаясь этим оскорбить стыдливость друзей. Разве только Серов иной раз с неудовольствием крякнет и пробурчит: «а все же нельзя ли поскромнее?» Особенно же мастерски и воодушевленно он передавал свои художественные впечатления. В таких случаях можно было заслушаться. Но сам Левушка отнюдь не слушал себя, он бывал весь поглощен желанием заразить других своим восторгом.

Еще типичная черта Бакста — его рассеянность. Она приводила часто к потешным недоразумениям. Среди шумной общей беседы он, бывало» продолжает сидеть молча с совершенно

отсутствующим видом, иногда что-либо набрасывая на случайно попавшейся ему под руку бумажке. Он действительно в такие минуты *отсутствовал-,* мысль его витала где-то далеко, и возможно, что он сам себе в таких случаях рассказывал нечто, не имевшее ничего общего с темой общей беседы. Заиомпился случай, как однажды за чайным столом в редакции «Мира искусства» спорившие друзья раскололись на два лагеря и одновременно обратились к Баксту, желая знать и его мнение. Но Левушка только обвел всех нас каким-то мутным взором и вдруг с великим недоумением вопросил: «Что-о-о? Египет?..» Это было совсем неожиданно, ибо в нашем споре и помину не было о стране фараонов. И каким же взрывом хохота закончился тогда наш спор, и как веселился, очнувшись от своего транса, сам Левушка! С тех пор слово «Египет», произнесенное на бакстовский лад с его интонацией, было лучшим средством охарактеризовать Левушку или попрекнуть его же за очередную рассеянность.

Наконец, великий шарм исходил и от всей необычайной художественной одаренности Левушки. Эту одаренность можно было наблюдать и en action * каждый раз, когда он бывал у меня или у Валечки, или в редакции «Мира искусства» — иначе говоря, чуть ли не каждый день. Талантливость неудержимо толкала его на творчество, и он чувствовал себя вполне по себе только когда был занят рисованием или акварелью, что не мешало ему принимать участие в общей беседе и даже в споре.

* В действии *(франц.).*

526*HL* 5. *Левушка Бакст*

У меня к его услугам был всегда полный набор художественных принадлежностей, в редакции оп даже был по обязанности прикован к рабочему столу, где всегда ожидали его тушь, белила, кисть и карандаши. Однако рука чесалась у Левушки и тогда, когда он сидел у Валечки или у Димы, где никаких художественных приспособлений не водилось, и в таких случаях он удовлетворялся первым попавшимся лоскутком бумаги, на котором возникала всякая всячина — то, что ему взбредет на ум, или то, что безотчетно станет выводить сам собой карандаш или перо. , Было в жизни Бакста несколько периодов, окутанных эротической одержимостью, п в эти периоды его рисунки бывали почти всегда посвящены прелести человеческого (преимущественно женского) тела. Это были своего рода «упражнения», и такие упражнения находили затем отражение в его театральных костюмных эскизах. Но рисовал он .от себя и головки, пейзажи, реже целые сцены, а то и всякие декоративные фантазии — вазы, блюда, мебель. Менее всего ему давалась архитектура, и особенно все, что связано с перспективой (как раз

то, что мне и Жене Лансере давалось легче всего). Тут он путал, а иногда даже грешил непонятными абсурдами 9*. Все остальное и хотя бы самая случайная и пустяш-ная прихоть кисти и карандаша Левушки свидетельствовали о необычайной природной технической его ловкости, а многое п об его чувстве красок.

Сказать мимоходом, он иногда прямо подражал в таких своих фантазиях знаменитому в те времена придворному художнику Михаилу Зичи. Это может показаться предосудительным с точки зрения ныне царящего вкуса, но перефразируя слова Давида про Буше, я скажу: «N'est pas Zichy qui vent» * и если Теофиль Готье и перехватил через край в своих восхвалениях блестящего венгерца13 (с творчеством которого Тео познакомился в Петербурге), то все же Зичи остается бесспорно одпнм из самых удивительных виртуозов середины XIX в. В смысле мастерства как раз Зичи не столь уж уступает ни Буше, ни Фрагонару.

Очень характерно для Бакста еще то, что нашей дружбе не вредили те ссоры, которые происходили между мной и им. Да и происходили они редко (реже, чем мои размолвки с Дягилевым, с Нувелем), и носили они всегда вздорный характер. Только одна наша размолвка рисковала стать чем-то окончательным и непоправимым. Это та, которая произошла из-за действительно совершенно удивительной провинности Левушки в отношении меня, когда он присвоил себе авторство того балета, который носит название «Шехеразады» 14 и который был целиком, от начала до конца, сочинен и во всех подробностях разработан мной — в качестве драматического истолкования музыки Рпмского-Корсакова. Но замечательна в данном прискорбном случае не только та беззастенчивость, с которой было произведено, пользуясь моим отсутствием (и при поддержке

** Но не было ли это уже как бы каким-то предчувствием или предсказанием того, что в дальнейшем привело всю «передовую» европейскую живопись к i/олному и сознательному отрицанию перспективы и вообще ощущения пространства?

* Не всякому, кому хочется, удается стать Зичи *(франц.)*.

Дягилева), данное «присвоение чужой собственности», но и то, что после года мое возмущение против Бакста и Дягилева остыло п я им обоим простил их гадкий поступок. Оглядываясь теперь назад на эту противную историю совершенно объективно и почти без горечи, я вижу именно в ней интересное свидетельство о наших взаимоотношениях. Осталось не вполне выяспенным (мне было тошно в свое время копаться во всей этой гадкой чепухе), не явился ли в данпом случае настоящим подстрекателем

Сережа, который и вообще никогда не отличался примерной деликатностью и даже тем, что можно бы назвать твердостью в своих моральных принципах. Такое предположение об его роли как подстрекателя допускает та фраза, которую он мне бросил, когда па сцене «Парижской Оперы» я обратился к нему с недоуменным вопросом — почему в программе «Шехеразада» значится как балет Бакста: «Что же ты хочешь, Шуренька, у тебя есть твой балет («Павильон Армиды»)'5, пусть же и у Левушки будет свой». В таком случае провинность Бакста свелась бы к тому, что он по слабости согласился на предложенную Дягилевым комбинацию: il s'est laissé faire *. Приняв же обычную свою позицию безапелляционного вершителя судеб, Сергей воспользовался тем, что я по болезни в пужпый момент отсутствовал из Парижа, и сделал Баксту своего рода подарок — ему, Дягилеву, ничего не стоивший.

Самая тогдашняя ссора с Бакстом из-за «Шехеразады» (весна 1910 г.) носила своеобразный характер. Вернувшись из Парижа в Лугано, я на-плсал Дягилеву письмо с заявлением, что прекращаю с ним, а следовательно, и с Бакстом всякие деловые сношения, иначе говоря, я покидаю наше общее дело. Мне это было очень больно, но я предпочитал такой способ реагирования, вместо того, чтоб выносить сор из избы. Однако уже осенью того же года, поддавшись увещеванию Сережи и Стравинского забыть обиду и принять ближайшее участие в создании балета на тему русской масленицы («Петрушки,)), я сменил гнев на милость и вернулся на дружеское лоно. Личпо с Левушкой примирение (без каких-либо объяснений) произошло затем в Петербурге весной 1912 г., куда он приехал на короткую побывку. Тут произошел крайне прискорбный и позорный для русских порядков казус. Бакста административным образом в двадцать четыре часа выслали из пределов России. Что было причиной, заставившей царскую полицию прибегнуть к такой мере, так и осталось невыясненным. Возможно, что причиной было то, что Левушка, перешедший в 1902 г. в христианство, дабы получить возможность соединиться браком с любимой женщиной, поспешил после развода с ней вернуться к религии своих отцов. Во всяком случае, мера была принята внезапно, причины не объявлены, а все хлопоты об ее отмене (причем в хлопотах участвовала сама в. к. Мария Павловна) остались тщетными. Бакст был принужден удалиться, причем он дал себе клятву никогда больше в Россию не возвращаться...

Он уступил *(франц.),*

-628*Hit 9. Лешушка Бшксг*

О ссоре, произошедшей между мной и Левушкой по поводу

того, *что* он без моего разрешения (и, вероятно, по наущению все того же Дягилева) переписал «портрет фокусника» на декорации 2-й картины «Петрушки», не стоит распространяться. В этой размолвке я был больше виноват, нежели он, но в свое оправдание могу привести то, что в тот день, когда я, увидав на репетиции видоизмененный «портрет», в бешенстве покинул театр, я был болен (у меня нарывала опухоль па локте), у меня был жар, и, кроме того, я был переутомлен последними приготовлениями к спектаклю. К тому же по существу я был прав, но не прав я был в выборе той формы, в которой вылилось мое негодование затем в объяснении по этому поводу с Серовым. Можно ли, однако, говорить о *выборе,* когда у человека 39° и он находится в состоянии крайнего аффекта.

Во всяком случае, и эта ссора не имела дальнейших последствий, и когда много лет спустя, в 1923 г. я выбрался из Советской России в Париж, Бакст был до последней степени мил и нежен со мной и с моей женой. Будучи тогда на зените своей славы, ои даже оказал нам на первых порах некоторую материальную помощь. К крайнему нашему горю, уже в следующем году, в декабре милый Левушка, которого мы когда-то считали мнимым больным (о чем еще будет речь ниже), после многих месяцев тяжелого недуга скончался.

Еще несколько слов об отношениях между Левушкой и Сережей. За последние годы, и особенно после постановки в Лондоне «Спящей Красавицы» в 1922 г., Левушка находился в открытой, непримиримой распре с Дягилевым, но думается мне, что на сей раз причина лежала в том, что Дягилев стал все круче изменять тому направлению, которое легло в основание всего дела русских спектаклей за границей. Новое направление, заключавшееся в том, чтоб во что бы то ни стало «эпатировать буржуа» и угнаться за последним словом модернизма, в высшей степени претило Баксту. Но и мне такой поворот в деле, которое когда-то было моим, казался возмутительным. Возникло же оно главным образом благодаря тому, что в годы моего вынужденного пребывания в России с 1914 по 1923 г. я совершенно утратил свое влияние на моего неверного друга и был безгранично огорчен, убедившись в том, что он разрушает то самое, что при нашем участии и по нашей инициативе он соорудил и что имело такой грандиозный успех во всем мире.

*Ill, 10. Университет*g29

Глава 10 УНИВЕРСИТЕТ

Вернемся к моему пребыванию в университете, куда я поступил осенью 1890 г. Если бы меня серьезно спросили, что, в сущности, побудило меня к этому шагу, то я затруднился бы ответить. Более всего тут действовал «установленный обычай». «Надлежало получить права>> для определения затем на государственную службу, а существование людей нашего круга вне государственной службы как-то не мыслилось (если они не имели какой-либо художественной или иной специальной профессии). И я собирался служить, но вовсе не потому, что чувствовал призвание к какому-либо роду службы, а потому что «надо же было куда-то приткнуться». Мысли же о свободной художественной карьере как таковой я оставил с самого того момента, когда, разочарованный, я в 1887 г. покипул Академию.

Как раз за эти же годы созрело решение в правительственных сферах, что пора в корне реорганизовать Академию *, пришедшую в полный упадок. Собирались всевозможные комиссии специалистов и просто «умных голов», но главная надежда возлагалась па графа Ивана Ивановича Толстою, пользовавшегося репутацией человека с уклоном в сторону известного либерализма. Ему и было поручено руководить работами по составлению нового академического «Устава».

И у нас в доме, в папипом кабинете часто происходили теперь заседания, посвященные тому же вопросу академической реформы. Естественно, я был очень заинтересован, не питая, впрочем, особого доверия к тому, что такие обсуждения и словопрения могли бы привести к чему-либо хорошему. Не особенно мне импонировал сам И. И. Толстой, с которым я и раньше встречался у своего двоюродного брата Жени Ка-воса. Иван Иванович был необычайно мил и любезен, он очень симпатично картавил, у него была приятная, круглая, слегка смахивающая на «традиционного китайца» физиономия с висячими черными усами, но все, что он говорил, было проложено легкой иронией, под которой чувствовалось не то какая-то внутренняя разочарованность, а не то просто пустота. Это был тип благожелательного барина-дилетанта, ничего, в сущности, в искусстве и во всей психологии творчества не понимающего, но как-то «привыкшего искусство уважать». Простота же Толстого, если и была искренней, а не напускной, в моих глазах являлась скорее минусом. Я уже тогда понимал значение силы воздействия на других, заключенной в известную представительность. Роскошь быть общественным деятелем «en pantoufles * мог себе позволить разве только какой-либо гений, который и самой распущенности умел бы придать известный декорум (скажем, на манер Потемкина). Но Иван Иванович не

был гением, а к тому же в вопросах искусства он сам себя признавал профаном, хоть

* В халате *(франц.)*.

630

III, 10. Университет

и сотрудничал с Кондаковым в составлении издания «Русские древности» 2.

Все же преобразование Академии, связанное с именем И. И. Толстого, оказалось в сравнении с дореформенным ее состоянием чем-то благотворным. Затхлый воздух, скопившийся в классах и в мастерских, обновился, какие-то надежды ожили, какие-то иллюзии расцвели, а все это много значит. Всего важнее было то, что взамен прежних «ископаемых, проеденных молью» старых профессоров, к делу преподавания были привлечены новые силы, подлинные живые художники с самим И. Е. Репиным во главе. Ученики воспрянули духом, и многие таланты окрылились, определились ярче. В этом по прошествии нескольких лет я мог убедиться на примере моего друга Константина Сомова, а также на примере Ф. А. Малявина и А. П. Остроумовой. Что же касается меня, то в самый тот момент, когда, окончив гимназию, я оказался на перепутье и мне надлежало выбрать дальнейшую дорогу, о реформе Академии только начинали говорить. Одно обещание чего-то нового и хорошего не могло повлиять на мой выбор.

Спрашивается еще, почему, поступая в университет, я выбрал именно юридический, а не какой-либо иной факультет? Почему, например, я не предпочел историко-филологический, в котором, казалось бы, я мог бы найти для себя больше интересного? На это настоящих причин не имелось, но уже достаточно было того, что все мои школьные друзья пос!упили именно ыа юридический факультет, да и все студенты, с которыми я за последнее время общался, были тоже «юристами». Было бы странно, если бы при отсутствии определенного иного жизненного плана я отделился бы от них и ушел бы куда-то в сторону. Ведь и Философов, и Нувель, и Калин, и Скалой, вместе с присоединившимся к нам в 1890 г. Дягилевым, поступая на юридический факультет, не следовали какому-либо призванию, а подчинялись все той же рутине. Так *полагалось.* Считалось, кроме того, что и тем, кто вовсе не собирались посвятить себя специально юриспруденции, «не бесполезно для жизни приобрести познания, преподававшиеся на юридическом факультете, что предметы, изучаемые на нем, служат продолжением все того же *общего* образования», а диплом, полученный на государственном экзамене юридического факультета, «отворял все двери» — иди служить куда хочешь.

Наконец, не последним соображением было для нас то, что самые занятия на этом факультете не требуют *полной* отдачи себя, а нам хотелось иметь как можно больше времени в своем распоряжении. Мы так были увлечены тем хаотическим, но все же интенсивным «самообразованием», которое давали нам чтение, посещение музеев, театров, концертов! Да и наши постоянные встречи с их обменом мнений, с их спорами, много значили. Я и сейчас считаю, что главную пользу (или даже единственную реальную и несомпенную пользу), которую нам принесло пребывание в университете, мы извлекли не из тех паук, которые мы слушали без особого рвения (с каждым семестром все менее и менее прилежно), а из того, что у нас теперь оказалось столько досуга. Эта «уйма свободного вре-

//f, 10. Университет%$

мени» дала нам возможность осмотреться, самоопределиться, понять, куда нас действительно *тянет*.

Нельзя отрицать и того, что и из некоторых предметов, «наименее судейских» и «наиболее общих», мы почерпнули для себя пользу несомненную. Эти познания дисциплинировали наше мышление, познакомили нас с различными философскими системами. Если до того мы ознакомились, благодаря классическому образованию, с Платоном, с Аристотелем, то теперь мы узнали и Декарта, и Локка, и Лейбница, и Канта, и Гегеля, и Шопенгауэра. Меня особенно влекло к первым трем, некоторые из друзей больше увлекались тремя последними, к которым прибавился Ницше — настоящий бог молодежи того десятилетия.

Историки С.-Петербургского университета характеризуют описываемую í>поху как время его упадка, и причину того они усматривают главным образом в реакционной политике правительства. Таково было и мнение большинства студентов. Профессора в их представлении разделялись на покорных ставленников (ненавистного) правительства и *и·à* тех, кто сумели, несмотря на всякие препоны, отстоять в значительной степени свою независимость. Правда, эти прогрессивные профессора были вынуждены несколько скрывать свое истинное свободомыслие, но отгадывать было все же легко то, чего они не договаривали. Это «отгадывание» превращалось даже у верных слушателей в своего рода излюбленную игру.

Профессора, которые отваживались более прозрачно высказывать независимость своих убеждений, пользовались особенным фавором, иногда и не столь заслуженным по существу. В мое время таким любимцем у студентов был приват-доцент Исаев, читавший курс политической экономии — предмет сам по

себе занимающийся всякими довольно каверзными вопросами, касающимися народного благосостояния. А. А. Исаев пользовался огромной популярностью. Этот не старый, рыжебородый, близорукий, плешивый ученый иначе не проходил по знаменитому бесконечному коридору университета, как окруженный толпой своих поклонников, а аудитории, в которых Исаев читал, наполнялись заблаговременно до того, что в них запоздалым и пролезть было трудно, а пролезшим приходилось стоять, а не сидеть.

Но как ни популярен был и как ни достоин был А. А. Исаев такой популярности, все же не он являлся настоящей славой юридического факультета моего времени, а являлись таковыми профессора Сергеевич, Дювернуа, Мартене, Фойницкий и Коркунов. Их аудитории не брались с бою, но внимание, с которым слушались их лекции, свидетельствовало о степени того высокопочитания, которым они пользовались, и это несмотря на то, что они как раз были совершенно чужды политике. В полном смысле слова *прекрасными* были лекции Сергеевича, читавшего историю русского права. Эти лекции излагались из года в год в тех же выражениях, по одной и той же установленной системе и даже с теми же эффектными паузами перед наиболее примечательными сообщениями. И тем не менее, они приковывали внимание — до того все, что рассказывал

Сергеевич, было колоритно, с таким тонким мастерством были подобраны примеры, иллюстрирующие те или иные явления. Из лекций Сергеевича я, кажется, не пропустил ни одной, а на экзамене показал, что предмет мною вполне усвоен.

Сергеевич был и с виду весьма замечателен. Его некрасивое, но харак* терное лицо сохраняло всегда несколько горделивое или брезгливое выражение; его плотная и все *же* стройная фигура, облаченная в отлично сшитый вицмундир, и даже тот плавный, закругленный жест, которым он то и дело без настоящей нужды снимал и вытирал очки или поправлял черный, безупречно повязанный галстук, все это складывалось, в связи с плавной, довольно медленной, по отнюдь не усыпляющей речью, в нечто своеобразно пленительное. Слушать Сергеевича было *наслаждением,* и приятно было глядеть на лектора. Самый предмет, который он читал, до странности оживал; становился интересным даже для тех, кто раньше вовсе не интересовался бытовым прошлым России.

Дювернуа, с которым я познакомился на втором курсе, читал гражданское право. Он представлял противоположность Сергеевичу. Это был старый господин с бритым, очень

«фраицузистым» лицом, напоминавшим каких-либо министров Реставрации. Читал он с жаром, часто увлекавшим его в сторону от основной темы, но как раз эти отступления были особенно интересными. Дювернуа пользовался большим авторитетом если и не среди наиболее прогрессивного студенчества, то среди тех, кто поступил в высшее учебное заведение с тем, чтоб действительно усвоить нужные для юридической карьеры знания. Однако он не был любим студентами. Он и мало кого допускал до себя, а на экзаменах был неприятен, придирался и охотно резал.

Я воздержусь от подробной характеристики других профессоров, да и что сказать о такой бездарности, как Ефимов, читавшем римское право **, как Бершадский — профессор энциклопедии права, излагавшем семинарской скороговоркой массу путаных сведений о самых глубоких философских системах, наконец трудно что-либо сказать и о таких маститых ученых с «европейским именем», но довольно тусклых лекторах, как Мартене и Фойницкий. Зато необходимо выделить еще Н. М. Кор-кунова, ибо самая его личность представляла значительный интерес, а то, как он преподавал свой предмет, будоражило умы и возбуждало страстные споры — особенно среди тех студентов, которые видели в своем пре-бывапии в университете род подготовительного стажа для политической агитации прогрессивного, иначе говоря, революционного характера. Кор-кунов пользовался настоящей *ненавистью* среди именно этих беспокой-

** Его чисто формальное отношение к предмету выражалось, между прочим, в том, с какой, я бы сказал, циничной снисходительностью он относился к зачетным работам, которые требовались от студентов для перехода с первого на второй курс. И я использовал эту снисходительность, написав род пересказа своими словами того, что говорил Fustel de Coulanges [Фюстель де Куланж.— *франц.]* в своем классическом труде «La cite antique» [Античный город.— *франц.]* про castrense peculium [военную казну»— *лат.]* — род сберегательной кассы для легионеров.

ных элементов, но в данном случае эта ненависть не сопровождалась презрением. Коркунова никак нельзя было причислить к разряду «выслуживающихся продаяшых холопов». Он был убежден в своих взглядах, которые тогда почитались^ за ретроградные, но в которых теперь можно скорее усмотреть нечто более передовое, нежели взгляды тех, кто слепо верил в спасительность «конституции» и дарования русскому народу парламентского режима в английском вкусе. Коркунов был

убежденным монархистом и имел мужество не скрывать этого. Тем самым и среди коллег его положение было обособленным. Он был одинаково далек как от безусловного рабьего преклонения перед существующим режимом, так и от его слепого и нелепого неприятия. Коркунов говорил об органической формации и росте государственных установлений, о том, что каждое государство создает свой режим «по своему образу и подобию» и что вообще *идеальных* систем не существует, что и система, представляющая многие дефекты, может оказаться подходящей для данного места и для данного народа. Такие и подобные мысли лежат (если я правильно их запомнил) в основе и его талантливо составленных книг — в «Сравнительном очерке государственного права» 3 и в «Русском государственном праве». Но слушать Коркунова было еще поучительнее и интереснее, нежели его читать. Он говорил совершенно просто, без подчеркивания, без пафоса, но его внутренняя убежденность сообщала его изложению большую силу. В частности, мне и моим друзьям Коркунов оказал ту пользу, что мы, благодаря ему, получили лучшее обоснование нашему, еще в гимназии начавшему образовываться credo. Только теперь в ясную систему с отчетливой формулировкой стал складываться наш «консерватизм», и только теперь я осознал, что я «по природе консерватор с монархическим уклоном». Тогда же окончательно выработался во мне и самый «идеал монарха», идеал, помогавший мне разбираться как в историческом прошлом, так и в современных российских и мировых обстоятельствах.

По-новому, более сознательно я теперь стал относиться и к царствующему государю, оценивать самую его личность. Многое, что я, зараженный почти поголовным фрондерством русского общества, находил когда-то в правлении Александра III уродливым и даже возмутительным, стало теперь казаться необходимым или неизбежным. И обратно, если и раньше меня отталкивала от себя вся незрелая и часто просто глупая («снобическая», сказали бы мы сегодня) революционность, то теперь она представлялась мне преступной, фатально, неминуемо ведущей ко всякой «мерзости запустения». Надо прибавить, что тогда же (и только тогда) я решил познакомиться с некоторыми творениями Достоевского, в которых я тоже нашел (рядом со всем парадоксальным и двусмысленным) настоящую пищу для своего миросозерцания 4.

Разумеется, Александр III не был *идеальным* государем. Ограниченность его интеллекта, примитивность, а то и просто грубость его суждений, его далеко не всегда счастливый выбор сотрудников и исполнителей — все это не сочетается с

представлением идеального самодержца.

6341H> 10. Университет

Наконец, его ограниченный национализм выливался подчас в формы мелочные и очень бестактные. И уж никак нельзя считать за нечто правильное и подходящее то воспитание, которое он дал своим детям, и особенно своему наследнику. Их слишком настойчиво учили быть «прежде всего людьми» и слишком мало подготовляли к их трудной сверхчеловеческой роли. Александра III заела склонность к семейному уюту, к буржуазному образу жизни. И все же несомненно его (слишком кратковременное) царствование было в общем чрезвычайно значительным и благотворным. Оно подготовило тот расцвет русской культуры, который,. начавшись еще при нем, продлился затем в течение всего царствования Николая II — и это невзирая на бездарность представителей власти, на непоследовательность правительственных мероприятий и даже на тяжелые ошибки. Проживи дольше Александр Александрович — этот «исполинский мужик» или «богатырь», процарствуй он еще лет двадцать, история не только России, но всего мира сложилась бы иначе и несомненно-более благополучно.

Главной, наинужнейшей для самодержца чертой Александр III обладал в полной мере. Он был *крепок,* он умел *держать* и сдерживать, он имел на вещи свое мнение, а его простой здравый смысл выработался на почве глубокой любви к родине. При этом он был честен, прост и в то же время достаточно бдителен, чтоб нигде и ни от кого Россия не терпела ущерба. Без кровопролитных войн, даже без особенных угроз* он, озабоченный тем, чтоб сохранить в добром состоянии «вверенную-ему богом» страну, являл в семье прочих государей и правителей некую твердыню — надежную для друзей, грозную для врагов. Не его вина, если Судьбе или Промыслу угодно было одновременно с ним вызвать к вершению дел мирового значения такую прямую противоположность емуг какой явился Вильгельм II. Не его вина и в том, что вековая дружба *с* соседом, с Германией, дружба, скрепленная столькими семейными союзами, дружба, на которой было построено все равновесие Европы, была нарушена отказом юного, нелепо тщеславного германского императора (вступившего на престол в 1888 г.) возобновить лучшее и сколь мудрое создание Бисмарка — договор о взаимной поддержке обоих государств (der Rück\ersicherungs Vertrag). Нельзя винить Александра III и в том, что после этого чреватого последствиями разрыва (и как прямое следствие его) он согласился на демонстративное сближение с Францией. Проживи он еще несколько лет, Александр III сумел бы, вероятно, провести

свой корабль между вновь возникшими опасностями, действуя своим авторитетом, своим престижем. Но рок готовил России, Европе, Миру иное — и этот тяжелый рок стал выявляться с момента, когда мощную, богатырскую его фигуру, его гранитную надежность сменила личность его сына. Николай II был «милым человеком», но и слишком обыденным человеком, полным добрых намерений, но лишенным способности их проводить в жизнь. И главное — Николаю II не хватало тех особых данных, которые только и позволяют играть с достоинством роль главы и вождя исполипского государства... Вот я и снова не утерпел, чтоб не

остановиться на моем отношении к режиму, к монархии, к самой личности монарха, но эти вопросы занимали и волновали нашу компанию в сильнейшей степени \ Меньше всего — Дягилева.

Вернемся теперь к моему, рассказу об университете и, в частности о профессоре Коркунове. Карьера этого замечательного ученого обещала быть блестящей, однако и здесь вмешалась превратная судьба. Любовная история, окончившаяся публичным скандалом, заставила Коркунова подать в отставку и покинуть университет. Вскоре после того в нем стали обнаруживаться признаки помешательства. Те годы, которые ему осталось жить, он провел с сильно померкнувшим сознанием и, как я слышал, в нужде. В последний раз я его увидал в 1901 или в 1902 г. в помещении редакции моих «Художественных сокровищ России» 6. Несчастный, жалкий человек решился сам прийти просить, ссылаясь на стеснительные обстоятельства, сделать ему скидку на подписной цене. Он был в восторге от всего, что появлялось в созданном мной сборнике и от того, «с каким чисто европейским вкусом» (его слова) он издается. Но до чего мучительно было мне видеть его потухший взор, некогда сверкавший воодушевлением, и это серое, изнуренное недугом лицо. А главное — слышать этот робкий, почти заискивающий говор. Я приглашал Николая Михайловича заходить, когда ему вздумается, однако он этим приглашением не воспользовался, и этот визит был первым и последним.

Бще несколько слов об университете, как о здании. Входя в него, я не испытывал того же душу поднимающего трепета, который неминуемо каждый раз меня охватывал, когда я вступал в чудесный, многоколонный вестибюль Академии художеств и подымался по одной из двух лестниц, ведших в бельэтаж. Все же и здание университета издавна привлекало мое внимание, и это уже вследствие того анекдота, который папа рассказывал про его

постройку при Петре Великом и который, может быть, не лишен исторического основания. Будто царь-преобразователь, уезжая в чужие края, повелел Мешникову строить это здание, в котором должны были поместиться все двенадцать коллегий-министерств, вдоль по набережной Невы7, являясь продолжением здания Кунсткамеры. И вот, великому негодованию Петра не было пределов, когда, вернувшись, он увидел, что Коллегии возводятся не вдоль берега, а перпендикулярно к нему, вследствие чего получилась совершенная нелепость. Эта самая значительная из построек в новой столице, долженствовавшая, по мысли царя, служить ее главным украшением, встала узким, невзрачным боком к реке, тогда как весь его внушительный фасад протянулся куда-то в сторону. Но фундамепт был уже заложен, стены наполовину выведены, и оставалось только отдубасить виновника (Меншикова). Заодно попало и архитектору-иноземцу (Леблону).

Все же и в настоящем своем виде здание коллегий, в котором со времени Александра I помещался университет, представляло собою с площади величественное целое, испорченное лишь тем, что во всю его длину расположен за решеткой сад, деревья которого заслоняют значи-

тельную часть здания. В дни моего детства и молодости университет красили в сплошной кирпично-красньтй цвет, и это если и не было особенно оригинально, то все же подчеркивало величавую однообразную громадность здания. Позже (но моему же совету) его стали красить в красный и белый цвет (по примеру современного ему Петергофского дворца), по надо сознаться, что такая окраска, не прибавив особенной живописности, нарушила то, что в этой архитектуре было благородно-горделивого.

К сожалению, внутри, кроме одного (не особенно интересного) кабинета, ничего от прежнего убранства и расположения не осталось. Необходимость устроить обширные аудитории и лаборатории, а также актовый зал и связать все части посредством общего коридора изменила весь первоначальный план. Но как раз этот коридор, тянущийся но надворной стороне с одного конца здания до другого, сообщал университету своеобразный характер. В течение дня (пока в аудиториях шли лекции) в этом коридоре происходило своего рода гуляние юношей, одетых в одинаковые черно-зеленые мундиры с синими воротниками и золотыми пуговицами. Здесь происходили встречи, завязывались знакомства, возникали споры. Вследствие непомерной длины этого прохода далекие фигуры можно было едва различать, а вследствие сравнительной узости коридора в нем часто получались заторы и толкотня. В этом же

коридоре происходили, несмотря на строжайший запрет, студенческие сходки. Мне особенно запомнилась одна, центром которой был черномазый болгарин, который, взобравшись на подоконник, оттуда держал свою речь, точнее, вопил на корявом русском языке призывы вести борьбу за свободу соединенными силами всех славянских народов. В этом же коридоре я случайно угодил в самую гущу внезапно откуда-то возникшей манифестации явно революционного характера, окончившейся вызовом полиции и казаков.

В раздевальне университета царил довольно курьезный порядок, наблюдение за которым было поручено особым контролерам — «педелям». Каждому студенту было отведено особое место под номером: вешалка-крючок для пальто, а пад ней отрезок полки, на которую клалась фуражка, портфель, книги и т. п. Педели то и дело обходили ряды вешалок и делали у себя отметки, кто из студентов явился, а кто отсутствует. В точности я не помню, какие санкции грозили недостаточно радивым; но, во всяком случае, нежелательно было попасть в число таких абсентеистов, и для избежания этого существовал простейший способ. Стоило повесить пальто и положить фуражку на полку, затем немного пофланировать по соседству в ожидании того, что педель сделает свою отметку, и тогда можно было без опаски покинуть университет, не побывав ни в одной аудитории и не прослушав ни одной лекции. Сторожа, на обязанности которых было охранение нашего участка в раздевальне, поощряемые щедрыми «на-чаями», подавали украдкой знак, что-де контроль прошел. Систематически предаваться такому отлыниванию мы, однако, стали лишь на третьем курсе, тогда как первые два года мы посещали университет усердно и не только слушали *своих* профес*

соров, но в своей жажде просвещения посещали и аудитории других факультетов, находя особенное упоение в таком энциклопедическом приобщении к наукам. Таким образом мы побывали и на ряде лекций популярного профессора иностранной литературы, маститого, украшеннога библейской бородой П. И. Вейнберга ***. Стал я было посещать и лекции Н. П. Кондакова, происходившие в помещении библиотеки, в очень интимной обстановке и при весьма ограниченном стечении слушателей. Отправляясь на первую, я мечтал, что вот услышу нечто дух подымающее, вроде легендарных лекций Грановского или Тэна. Вместо того на всех трех лекциях нашего знаменитого ученого, на которых я побывал, речь шла (в довольно «неуклюжем»

изложении) лишь о микенских древностях и происходил подробнейший разбор разных чаш, кубков и других откопанных золотых предметов. Получив тогда отвращение от подобного* «гробокопательства», я закаялся ходить на лекции маститого Никодима Павловича и тогда же оставил последние помыслы перебраться на историко-филологический факультет. Археология не была тогда в моем вкусе; мне она казалась областью прямо противоположной искусству. Позже-я лучше изучил пользу от досконального изучения хотя бы и очень невзрачных с первого взгляда предметов. Да и к самому Кондакову я исполнился величайшего уважепия. Какой светлый ум, какая глубокая ученость, какое чувство прекрасного скрывались под оболочкой сухости » даже какой-то тупости. Но в те все еще полуребяческие времена, в 1890 г.,. в тех бурных настроениях, в которых я пребывал, я требовал от науки, от искусства нечто совершенно иное — более трепещущее, сразу зажигательное.

Кончал я университет весной 1894 г. Как зто ни странно, я как ра¾ за свои студенческие годы убедился, что я *художник* и что должен *остаться худоэюпиком.* Я *поверил* в себя. Не посещая никакой специальной школы, я, однако, самостоятельно все ревностнее занимался рисованием и живописью, а также пополнением своего художественного образования. По окончании университета я уже считал, что искусство b÷ той или иной форме будет моей основной профессией. Но оставалось. еще претерпеть всю длительную и изнурительную пытку «государственных экзаменов». Зачем я пошел на это тяжелое испытание, раз я уже не-собирался воспользоваться теми правами на службу, которые эти экзамены давали? Вглядываясь в свое прошлое в целом, я вижу, что и те-«бессмысленные» мучения имели все же свой смысл. Получив «права»,.

1# Казалось очень странным, что этот глубоко серьезный, с оттенком какой-то характерно иудейской грусти старец, родной брат очень любимого комического актера Александрийского театра, главной специальностью которого были рассказывания со сцены перед занавесом еврейских анекдотов в антрактах между действиями или в конце спектакля. Диалоги в этих рассказах передавались на уморительном «жидовском» жаргоне, смеси идиша с русским. Зал покатывался со смеха и треоо-вал еще и еще повых рассказиков. С виду актер Вейнберг был разительным контрастом своему ученому брату. Это был стройный, очень подвижной человек, всег-да одетый во фрак.

ß38*Hh 1Q» Университет*

я как-то успокоился, я точно запасся талисманом, который в нужный момент я мог бы использовать; а ведь известно, что в том

и заключается сила талисмана, что он дает большую уверенность в себе; чувствуя себя вооруженным, человек пе боится вступать в борьбу с теми или иными, даже и самыми грозными силами.

Но действительно, эти экзаменационные мучения были до того ужас-ны, что и до сих пор я вспоминаю о них с содроганием. Мало того, в течение нескольких десятков лет один из моих самых страшных кошмаров был тот (повторявшийся каждую весну), в котором я оказывался в актовом зале перед столом профессора-экзаменатора. При этом я каждый раз с ужасом констатировал, что ровно, ровно ничего по данному предмету пе знаю. Экзаменационная пытка была для меня тем более мучительной, что от благополучного экзамена зависела вся ближайшая программа моей жизни. В этом 1894 г. минуло уже три года с того момента, когда наш роман с Атей возобновился, и теперь мы официально были признаны женихом и невестой. Наша свадьба была назначена тотчас по окончании университета, студентом же я пи за что не желал вступать в ряды «семейных людей». Как мне, так и Лте это казалось чем-то смешным и даже уродливым. С другой стороны, нашему терпению, после стольких лет ожидания, наступал конец, и откладывать дольше наше соединение представлялось невозможным. Нужно было во что бы то ни стало экзамены сдать и их выдержать. И вот такое ощущение абсолютной необходимости отчасти подстегивало меня, прибавляло мне мужества, а отчасти оно же наполпяло меня ужасом, лишавшим меня аппетита и спа... А тут еще моя невеста в апреле заболела. Я зубрил дни и ночи в состоянии какого-то угара, и все же некоторые предметы я успел только «просмотреть» (это были второстепенные предметы, и экзаменаторы по ним относились с известной снисходительностью к экзаменующимся, некоторых они никогда на своих лекциях и не видали).

Слава богу, все сошло благополучно, но два раза я «подходил к самому краю пропасти». В первый раз то было на экзамене международного права, которое у нас читал важный член министерства иностранных дел и «европейское светило» профессор Мартене. Предмет меня лично интересовал, и я знал его довольно хорошо. Получив билет по такому вопросу, который я особепно толково усвоил, я подошел к экзаменационному столу без страха и ответил без запинки. Но надо же было Мар-теису пожелать выяснить, кроме того, мои познания по политической географии. Этот добавочный вопрос коснулся того, в каком порядке расположены между собой балканские государства, которое из них на юге и которое на севере? И тут я позорно оскандалился. Я вообще «братуш-ками» не интересовался вовсе, и

для меня эти «проклятые Балканы» представлялись какой-то quantité négligeable et negligible *. За такое отношение я чуть было и не поплатился. Услыхав, что Болгария лежит на западе от Сербии, а Румыния па юге от Болгарии, Мартене уже взял-

* Ничтожно малой величиной, не стоящей внимания *(франц.)*. ■

ся за карандаш, чтобы поставить в графе против моей фамилии страшное слово «неудовлетворительно», которое означало бы общий мой провал, но тут я так взмолился и изобразил такое отчаяние, что этот человек, имевший репутацию неумолимой. строгости, смилостивился, и я„ к своему безграничному облегчению, увидел, что он выводит желанное «удовлетворительно».

Но международное право я действительно знал, а вот в учебник торгового права я и не захлядывал. Я был уверен, что это не имеет значения — ведь кроме тех студентов, которые себя готовили к данной специальности, никто даже не пытался узнать, что в сущности это такое. С другой стороны, всем было задолго до экзаменов известно, что достаточно бойко проболтать первые четыре *строчки* доставшегося билета,. как уже профессор отпускал студента с хорошей отметкой. Вызубрить же наизусть именно данные четыре строчки можно было успеть, пока экзаменовался коллега-предшествующий, так как в том столе, за который разрешалось присесть, чтоб «подготовиться», лежал этот самый учебник — стоило только его открыть на нужной странице и вызубрить полсотни слов. Но тут случилось со мной нечто совершенно идиотское. Я перепутал помер своего билета и вызубрил (сидя за столом) не то, что нужно. Обнаружив, что я отвечаю не по тому билету, который я вытащил, профессор остановил меня и попросил отвечать что мне полагалось... Наступила минута абсолютного молчания, профессор предложил другой вопрос, я и на него не нашел что ответить, а весь мой вид доказывал, что я вообще ровно никакого понятия о торговом праве не имею. Попросил я было отпустить меня к столу, но это вышло как-то уж очень цинично, и профессор даже обиделся. Тем не менее, и он смилостивился и не срезал, а с выражением крайней брезгливости поставил спасительное «удовлетворительно». Я же, неблагодарный, даже не запомнил фамилии этого благодетеля.

Таким образом я окончил университет далеко не блестяще, но я его *окончил,* что только и требовалось. Теперь я оказался полноправным гражданином Российского государства — кандидатом на штатную должность не то 14-го, не то 12-класса. Я мог бы поступить в то или иное министерство (протекции нашлись бы всюду), но этим лестным преимуществом я не пожелал воспользоваться, зато уже меньше чем через месяц — 29 июня 1894 г., я стоял перед алтарем в церкви св. Екатерины на

Невском, рядом с той, которую я выбрал себе в подруги жизни восемь лет тому назад, и добрый патер Шумп нас венчал при стечении всей нашей родии.

640

III, 11. Сережа Дягилев

Глава И СЕРЕЖА ДЯГИЛЕВ

Теперь пора представить еще одного из членов нашей основной дружеской группы — как раз то лицо, которому выдалась первопланная роль не только у себя на родине, но — без особого преувеличения — и в «мировом масштабе». Я говорю о Сергее Павловиче Дягилеве.

Мое первое знакомство с ним произошло в начале лета 1890 г., как раз когда только что миновала экзаменационная пора окончания гимназии. Я еще оставался в городе (готовясь к своему заграничному путешествию), оставался перед переездом на дачу и Валечка, но Дима Философов отбыл в свое родовое Богдановское. От него мы перед отъездом и получили поручение встретить его двоюродного брата, который на ближайших днях должен был прибыть из Перми, где он только что окончил гимпазию. Этот Сережа Дягилев собирался затем осенью поступить вместе -с нами в Петербургский университет. Первым увидал Сережу Валечка, ибо как раз в это время семья Нувелей перебралась с другого конца Галерной улицы и поселилась в том же доме, где жили Философовы (номер 12) — ровно над ними. Сережа же остановился в пустой квартире •своих родных и, приехав, не откладывая, поднялся к Нувелям, о чем Валечка меня тотчас же известил.

На худенького бледного Диму этот кузен вовсе не был похож"11. Он поразил нас своим цветущим видом. У него были полные, румяные щекя и сверкавшие белизной зубы, которые показывались двумя ровными рядами между ярко пунцовыми губами. Каждый раз, когда он смеялся, вся «внутренность» его «пасти» раскрывалась «настежь». Смеялся же Сережа по всякому поводу. Вообще было видно, что он в высшей степени ъоэбуждеп сознанием, что он в столице, в то же время он радовался своему знакомству с ближайшими друзьями его двоюродного брата, с которым он состоял в усердной переписке. Резюмируя впечатление, произведенное Сережей, скажу, что он показался нам «славным малым», здоровяком-провинциалом, пожалуй, «не очень далеким», немного terre à ter-re *, немного примитивным, но в общем симпатичным. Если же мы с

*л** Анна Павловна Философова была родной сестрой отца Сережи Павла Павловича Дягилева, когда-то в молодые годы служившего в самом аристократическом полку — в Кавалергардском, но затем вышедшего в отставку вследствие того, что материальное положение семьи, когда-то более чем зажиточной, сильно пошатнулось, что и принудило Павла

Павловича поселиться в провинции — в Перми. Мать Сережи, урожденная Евреинова, умерла в родах, и Павел Павлович был теперь, с 1874 г., женат на Белене Валериановне, рожденной Панаевой — дочери строителя «Панаевского» театра *. От этого второго брака родились еще два сына, но они, так же, как и их родители, перебрались в Петербург лишь в следующем году, когда Павел Павлович снова поступил на военную службу и получил, в чине генерал-майора, какой-то полк, стоявший в Петергофе. Сережа весь первый год прожил у Философовых, а с осени 1891 г. поселился вместе с братьями на особой квартире тоже на Галерной — ближе к «Новому Адмиралтейству».

* Приземленным *(франц.)*.

Ill, 11. Сережа Дягилев

641

Валечкой тогда же сразу решили его принять в нашу компанию, то это исключительно по «родственному признаку» — в качестве кузена Димы. Будучи одних лет с последним, Сережа был моложе меня на два года и на год моложе Валечки. Впрочем, наши впечатления носили самый поверхностный характер, ибо, устроив какие-то свои дела в Петербурге, Сережа через день уже отбыл в деревню.

Воспоминание об этой первой встрече с Сережей Дягилевым наводит меня и на другое, относящееся к ранней осени того же года. Это свидание происходило в летней обстановке. Вернувшись раньше других из Богда-повского, Сережа пожелал вместе со мной навестить Валечку, проживавшего тогда с матерью на даче в Парголове. Но Валечку мы не застали дома, он был где-то на прогулке, и тогда мы отправились его искать немного наобум. Стояла гнетущая жара, и мы скоро вспотели, устали и явилось непреодолимое желание прилечь. Выбрав место посуше, мы и растянулись на траве. Лежа на спине, поглядывая на безоблачную лазурь, я решил использовать представившийся случаи и более систематически познакомиться с новым другом. Такие товарищеские «допросы» были у пас вообще в ходу, а я им предавался с особым рвением, движимый все тем же «прозелитизмом» и желанием расширить круг «единомышленников». Надлежало выяснить, насколько новый приятель «нам подходит», не далек ли он безнадежно от нас, стоит ли вообще с ним возиться? Что касается Дягилева, то я уже знал, что он музыкален, что он даже собирается стать певцом, что он «сочиняет», но знал я и то, что музыкальные взгляды Сережи пе вполне сходятся с нашими. Правда, он боготворил Глинку (отец его обладал прекрасным голосом и зпал всего «Руслана» наизусть), правда, он ценил Бородина и Мусоргского, по тут же

он был способен увлекаться всякой «итальянщиной» и не разделял наших восторгов от Вагнера...

И вот эта серьезпая беседа на траве нарушилась самым мальчишеским образом. Лежа на спине я не мог следить за тем, что делает Сережа. и потому был застигнут врасплох, когда он навалился па меня и принялся меня тузить, вызывая на борьбу и хохоча во все горло. Ничего подобного в пашем кружке не водилось; все мы были «воспитанными маменькиными сынками» и были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода «физических упражнений», особенно же драк, К тому же, я сразу сообразил, что «толстый» крепыш Сережа сильнее меня и что мне не сдобровать. «Старший» рисковал оказаться в униженном положении. Оставалось прибегнуть к хитрости — я и завопил пронзительно: «Ты мне сломал руку». Сережа и тут не сразу унялся; в его глазах я видел упоение победой и желание насладиться ею до конца. Однако, не встречая более сопротивления и слыша лишь мои стоны и визги, он оставил глупую игру, вскочил па ноги и даже заботливо помог мне подняться. Я же для пущей убедительности продолжал растирать руку, хотя никакой особой боли на самом деле не испытывал.

Этот случай остался мне памятен навсегда. Он приобрел даже характер известного символа. В своих отношениях с Сережей я часто вспоми-

нал о нем, как в тех случаях, когда он «снова подминал меня под себя» (по уже в переносном смысле), так и тогда, когда мне удавалось получить реванш и победителем оказывался я. Взаимоотношения известной борьбы продолжались между нами в течение многих последующих лет, но я бы сказал, что именно это соревнование придавало особую жизненность и остроту нашей дружбе и отзывалось благотворным образом на нашей деятельности. Многие годы я был в некотором роде ментором Сережи, одним из его «интеллектуальных опекунов».

Благодаря этому мое отношение к Дягилеву осталось очень отличным от моего отношения к прочим друзьям. К Сереже в периоды его «послушания» и «прилежания» во мне просыпалось (и годами жило) чув-сг1во чисто менторской нежности. В эти периоды я был готов на всякие жертвы, на всяческое добровольное «самостирание» — лишь бы помочь развернуться во всю ширь любимому и самому яркому своему «ученику», лишь бы он мог осуществить наиболее полно мои же собственные самые заветные планы и мечты. Но вдруг получался заскок. Сережа

становился предателем в отношении этих самых планов, шщ *же* его пользование мной получало оттенок беззастенчивой, слишком циничной эксплуатации. Он клал меня на лопатки, а я принимался па время ненавидеть его лютой ненавистью, видеть в нем злейшего обидчика,

Очень характерны были в наших отиошепиях именно эти размолвки, раздоры, ссоры. Этих ссор (если бы я потрудился подвести им итог) было по меньшей мере пять *очень* серьезных. Иная ссора длилась месяцами, я расставался с ним «навсегда», «выходил в отставку» (из какого-либо общего дела), я слышать ничего больше не хотел о Дягилеве, ставил ему в вину всякие промахи и неудачи. А затем наступало примирение, и часто в самый такой патетический момент Сережа плакал настоящими слезами, плакал, ибо, при всей своей безудержной энергии, он был сентиментален и болезненнее других переносил распри между друзьями. Сережа не сразу стал *вполне нашим.* Кузен Димы был принят в компанию, но только по признаку этого родства. Иной раз казалось, что этот юнец и молодец совсем к нам не подходит, и тогда включение Дягилева в нашу компанию как бы оставалось на ответственности Димы, который очень хотел, чтобы мы его жаловали. Мы же сдавались на Ди-мипы доводы и готовы были простить новичку то, в чем сказывался известный его провинциализм. Шокировало нас и его тогдашнее явное безразличие к нашим чисто эстетическим и философским разговорам. В качестве близкого к Диме человека, он был раз навсегда допущен на наши собрания, а когда мы всей компанией собирались в театр на осо-бепно сенсационную премьеру (или, в теплую пору, пикником выезжали за город), то Сереже передавалось приглашение присоединиться к нам. Но все мы постепенно привыкли к тому, что на него не следует рассчитывать. Во время наших словопрений он начинал откровенно клевать ` носом, в театре ои сразу от нас отделялся, а пикники он просто игнорировал. Все это ставилось на счет его жровиниальной недозрелости или **ва c¾d(r его** фатовства. Впрочем, первые два года «в держал себя среди

нас более чем скромно, и лишь на третий год у него появились замашки, которые вызывали дружеские замечания и упреки. Особенно стал он нас тогда бесить в театре, где он проходил по партеру, как-то задрав свою огромную голову, еле здороваясь, и что особенно злило, он тут же дарил приятпейшими улыбками и усердными поклонами тех знакомых которые занимали в обществе или по службе видное положение. Этот

«стиль» он сохранил именно в театре почти на всю жизнь.

Сфера, лучше всего еще в самом начале нас сближавшая, была музыка, Несколько лет он тешил себя надеждой, что из него выйдет превосходный певец и что, кроме того, он подарит историю музыки рядом замечательных произведений собственного сочинения. Для своего голоса (баритона) он брал уроки у артиста итальянской (тогда уже переставшей быть «казенной») оперы Котоньи, по теории музыки он пользовался наставлениями Римского-Корсакова \ Пением он угощал нас у себя или на семейных вечеринках у Философовых. Но мы пе любили этих его выступлений. Голос у него был сильный, зычный, но какого-то пронзительного тембра (возможно, что он годился бы для сцены, но в комнате казался невыносимым), пел же Сережа с излишним пафосом. Не одобрили мы и сочиненную им в подражание Мусоргскому «Сцену у фонтана» (на те же слова Пушкина из «Бориса Годунова»), Это было нечто довольно хаотичное, во что некстати вплеталась «широкая мелодия», отдававшая итальянщшюй.

Жестокие споры у нас тогда бывали как раз из-за этой его приверженности к «широкой мелодии». Мы только что стали вагнерианцами, мы требовали от оперной музыки не арии, не фиоритур, не виртуозности, а настроения, яркой изобразительности, драматизма и тесного *соотношения* с действием. В Чайковском мы *боготворили* «Спальню графини» в «Пиковой даме», в «Спящей красавице» — «антракт», но относились с крайним неодобрением к таким взрывам лирики, как «Так это правда...» и «Пускай погибну я...» и т. п. Но и начав по нашему примеру увлекаться Вагнером, Сережа оставался равнодушным к тому, что нас особенно пленило: к прелюду в «Валькирии», к шелесту леса в «Зигфриде», и напротив, он особенно оценивал последний большой «монолог» Лоэнгрина, песню Вальтера в «Мейстерзингерах» и т. п. За такие предилексии, за увлечение Верди и Масспе ему приходилось выслушивать обвинения в низком вкусе. Сначала Сергей покорно сносил эти нападки и даже конфузливо пробовал оправдываться, но позже он стал огрызаться, а там и *кричать* на своих критиков, среди которых особенно придирчив и свиреп был Валечка. В конце концов, эти шероховатости в нашем отношении к музыке сгладились, и водворилось полное, основанное на взаимных уступках согласие. За весь тот подготовительный период мы помогли ему разобраться в себе и проститься со всякими грехами юности. Наш пример подвинул Сережу на более вдумчивое и менее чувственное, эмоциональное отношение к музыке; в свою очередь, и он был нам полезен своим стихийным, постепенно

очищавшимся и зреющим чутьем, а также тем, что в нем было музыкальво^ирофессиональБого. Когда, на-

2*·

конец, дошло до какого-то коллективного творчества (до затеи русских спектаклей в Париже), то Дягилев оказался вполне подготовленным и ъехпически к тому, чтобы где нужно самому ('приложить руку», причем дело не обходилось иногда и без жестоких расправ с уже существующими сочинениями. Достаточно вспомнить, какой оп винегрет сделал из «Египетских ночей» Лреыского 3. Редкий композитор или дирижер, вступая в контакт с Дягилевым, не испытал в известный момент на себе неприятности «быть положенным на лопатки». И удивительнее всего, что даже и очень строптивые se laíssaîent faire *, самые гордые уступали, созиавая, что чисто художественные требования Дягилева (он чаще требовал, нежели «давал советы») могут пойти на пользу их же произведениям.

Иначе обстояло дело в области изобразительных художеств. Здесь Дягилев гораздо дольше оставался на положении (и в самосознании) *ученика.* Не будучи одарен каким-либо талантом к рисованию, к живописи, к скульптуре (оп никогда и не пробовал своих сил в этих отраслях), Дягилев и сам считал себя если не полным профаном, то все же любителем, дилетантом (в итальянском понимании слова), и мнения «авторитетов» среди его ближайших друзей-художников — мое, Бакста и Серова — являлись для него абсолютными. Все же и здесь он готовил нам сюрпризы. Какими-то скачками он перешел от полного невежества и безразличия к пытливому и даже страстному изучению, причем он как-то *вдруг* приобретал компетентность в вопросах, требовавших значительной специализации"'*. Впрочем, и после того, что он приобрел посредством упорной работы в этой области нужные сведения, он продолжал нуждаться в наших одобрениях, тогда как в музыке он обходился без этого.

Еще в университетские годы Сережа в обществе кузена Димы, оказывавшего на пего огромное и плодотворное действие в смысле его умственного развития, совершил две поездки за границу. Впечатления были довольпо смутные, но важно было уже то, что он знакомился с Западом и с тех пор оп все определеннее поворачивался лицом к Франции, к Италии, к Германии и к Англии, причем и последние следы провинциальности начинали стираться. Постепенно он приобретает облик того Дягилева, каким он выступил, когда вполне осознал (вернее, почувствовал) свою *миссию.* Таким *созревшим Дягилевым* знали его все, кто впоследствии входил с

ним в общение, все, кто вступал с ним в сотрудничество, кто видел его во время творчества.

Именно на вопросе о *творчестве* надо остановиться, ибо творчество и есть основа и смысл его существования. При этом все же трудно опреде-

* Подчинялись *(франц.).*

2* Так, например, оп как-то несколькими взмахами заделался знатоком русского искусства XVIII в. п создал в своей книге о Левицком настоящий памятник4. Об-" стоятельстпа не позволили ему, к сожалению, издать и свои исследования о других больших русских мастерах — о Боровиковском, Рокотове, Шибанове и Семене Щедрине, а между тем он и на собирание архивных данных, касающихся их, уже потратил немало времени.

*Ill, 11. Сережа Дягилев*645

лить, в чем именно это *его* творчество заключалось. Картин Дягилев не писал; за исключением нескольких (очень талантливых) статей он не занимался писательством, он не имел ни малейшего отношения к архитектуре или к скульптуре, а в* своем композиторстве он очень скоро совершенно разочаровался; запустил он и пение. Иначе говоря, Сергей Дягилев ни в какой художественной области не был *исполнителем,* и все же вся его деятельность прошла в области искусства, *под знаком творчсстеа, созидания.* Я совершенно убежден, что и при наличии всех представителей творческого начала в искусстве (в музыке, в литературе, в театре), при участии которых возникли выставки «Мир искусства» и в течение шести лет издавался журнал того же наименования, цри наличии тех, кто принесли свои таланты на дело, ныне вошедшее в историю под названием «Les spectacles russes de Diaghileff» *, и т. д., я убежден, что и при наличии всех этих сил, ни одна из названных затей не получила бы своей реализации, если бы за эти затеи не принялся Дягилев, не возьтавил бы их, не привнес бы свою изумительную творческую энергию туда, где художественно-творческих элементов было сколько угодно, но где недоставало главного — *объединяющей творческой воли,*

У Дягилева *была* своя специальность, это была именно его *воля,* его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный человек «начинал хотеть», всякое дело «начинало становиться)), «делаться». Самые инициативы его выступлений принадлежали не ему. Он был скорее беден на выдумку, на идею. Зато он с жадностью ловил то, что возникало в голове его друзей, в чем он чувствовал зачатки жизненности. С упоением принимался он за осуществление этих «не его» идей. Случалось, что я, Бакст, Серов делали усилия, чтобы заразить Дягилева идеей, явившейся

одному из нас, и что в ответ на это он проявлял полную инертность. Мы обвиняли его в лени (смешно сказать, но больше всего попадало этому неустанному делателю от нас за лень), как вдруг через день (а то и через час) положение оказывалось опрокинутым. В глазах только что не верившего Сережи загоралась радость делания, и с этого момента он сразу принимается выматывать у того, кто предложил идею, все, что нужно для ее реализации. Взяв навязанпое дело в руки, он его превращал в *свое,* и часто с этого момента инициаторы, вдохновители как-то стушевывались, они становились ревностными исполнителями своих же собственных затей, но уже понукаемые нашим «вождем».

* # #

Поездка по чужим краям, которую Дягилев совершил (на сей раз один) летом 1895 г., означила важный этап на его жизненном пути; Эта поездка ознаменовалась, между прочим, тем, что он посетил ряд знаменитостей в художественном, в литературном и в музыкальном мирах — как это сделал другой русский путешественник сто лет тому назад —

* «Дягилевские русские спектакли» *(франц.),*

Карамзин. За это Дягилеву попало от друзей, увидавших в таком «турне по знаменитостям» признаки все того же фатовства (теперь мы сказали бы снобизма). И, вероятно, действительно Сергей наперед радовался, как он нас всех поразит своими встречами и беседами с Золя, с Гуно, с Мае-сне, с Менделем, с Веклиным, с Пюви де Шаванном и т.' д. Однако, лучше внпкпув впоследствии в натуру Дягилева, я понял, что не одно тщеславие или праздное любопытство толкало его, а какая-то потребность входить в личный контакт с людьми, его страстное желание «почувствовать человека». Как многие другие подлинные деятели, Дягилев читал мало, и ему совершенно было незнакомо упоение чтением; читал он больше для осведомления, а не для удовольствия или размышления (философские статьи, которыми наполнено столько страниц «Мира искусства», Сергеи наверное не читал, а довольствовался пересказом их Димы). Писать же письма он просто ненавидел, и за все время нашей многолетней дружбы у меня накопилось всего штук тридцать его писем, да и то, за несколькими исключениями, это все коротенькие записочки — напоминания, «понукания». Но такое воздержание от

эпистолярного обмена происходило не *от* лени или пустоты, а именно от какой-то потребности входить в *личный* контакт с людьми. Эта же потребность находилась в зависимости от присущего ему дара познавать людей, а познав, пользоваться ими. Дягилев был большой чаровник, настоящий шармер. Если он что-либо желал получить, то было почти невозможно устоять против его натиска, чаще всего необычайно ласкового натиска. И вот удача таких натисков основывалась па его изумительной интуиции, на поразительном угадывании людей, на ощущении не только их внешних особенностей и слабостей, но и на угадывании их наиболее запрятанных дум, вкусов, желаний и мечтаний. С самым беспечным видом, точно мимоходом, невзначай, оп добивался нужных ему сведений, признаний и особенно тщательно спрятанных тайн. Он, которому было лень прочесть роман и который зевал, слушая и очень занимательный доклад, способен был подолгу и внимательно изучать автора романа или докладчика. Приговор его был затем разительно точен, он *всегда* отвечал правде, не каждому доступной.

То же путешествие 1895 г. означает решительный поворот в отношении Сергея к искусству. Только с этого момента он сам как бы начипа-ет претендовать, чтобы с ним считались и как с ценителем художественного творчества. Для того, чтобы оправдать эту претензию, hbi были сделаны за последние годы особые усилия нас как-то *догнать,* а то и перегнать. Теперь же за границей он носился из одного музея в другой, из одной мастерской в другую, увлеченный этим желанием оказаться впереди, Мы, мечтатели и исполнители, предпочитали любоваться тем, что нас интересовало в музеях или на выставках, не входя в личное общение с создателями всего того прекрасного. Действовала и боязнь показаться навязчивым, а еще больше опасепие, как бы не разочароваться. Напротив, Дягилев, будучи одних же лет с нами (и самым молодым из нас), находил смелость проникать и к самым прославленным художникам,

-

Ill, 11. Сережа Дягилев

входить с ними в разговоры. При случае он и выманивал у них за самые доступные цены превосходные вещи (по большей части этюды, наброски рисунки). Таким образом, за эти полтора месяца странствия по Европе ему удалось приобрести довольно эффектное собрание, и теперь он мог вполне сойти в наших глазах за начинающего серьезного любителя.

Чтобы импонировать заграничным людям, Сережа довольно удачно разыгрывал Большого барина, un grand seigneur en voyage

*. Не щадя денег (он как раз вступил в распоряжение наследства, полученного от матери, этого наследства хватило года на три), он останавливался в лучших отелях, разъезжал по городу в закрытом экипаже, одевался с большой изысканностью, вставил в глаз (не нужный ему) монокль, не расставался с превысоким цилиндром, а на своих визитных карточках он проставил Serge de Diaghileíf, тогда как никому среди нас не приходило в голову вставлять la particule ** перед нашими фамилиями, хотя иные и имели на то такое же право. Кое-что в выработанных им «для общества» манерах (особенно за границей) пас шокировало своим привкусом paivenu ***, но для заграничных людей он был окружен ореолом какого-то заморского, чуть ли не экзотического барства — un vrai boyard rus-

ap 4s ¾5 *Þ ¢

Этюды Кившенки, Лагорио, картина Ендогурова, купленная когда-то по настоянию Бакста,— словом то, с чего началось коллекционирование Сережи, теперь было сослано в задние комнаты, к нянюшке, к лакею Василию, а вместо них на стенах новой квартиры, спятой на Литейном проспекте (в доме № 45), повисли целых три Ленбаха (портрет Бисмарка и портрет Беклина), два рисунка Менделя, несколько этюдов Дапьяна Бупре, несколько рисунков Либермана (один рисунок Либермана Сережа привез мне в подарок), прелестная женская головка Пюви де Шаванна, мастерские акварели Ганса Бартельса и Ганса Германца, большая картина Людвига Дилля и др. Ему только не удалось выманить что-либо у Беклина, о чем он очень скорбел.

Только что помянутые имена художников указывают на то, чем тогда увлекались мы — передовая молодежь в России — и что продолжало составлять фундамент нашей эстетики. Может поразить отсутствие имен импрессионистов, а между тем в те годы (середина 90-х годов) можно было еще приобрести за сравнительно доступную сумму и Ренуара, и Дега, и Писсаро, и Сислея, и Сезанна, а «начинающие» тогда художники — Вюйяр, Боннар, Руссель — шли просто за гроши. Но как я уже сказал выше, если еще имена импрессионистов мы знали понаслышке или по воспроизведению в книге Мутера, то о более современных нам художниках мы имели самое смутное представление исключительно по рассказам нашего нового друга француза Шарля Бирле. Характерно, что когда мы

* Путешествующего вельможу *(франц.)*. ** Частицу «де» *(франц.)*. *** Выскочки *(франц.)*. **** Настоящий русский боярин *(франц.)*,

увидали на выставке французского искусства в Петербурге первого Клода Моне (то была картина из серии «стогов»5), то мы все совершенно опешили — до того это было пово. И все же мы имели основание считать себя «передовыми ценителями искусства» — по сравнению с той провинциальной косностью, что вообще царила у нас (и особенно в Петербурге) . Прибавлю тут же, что если в музыке и в литературе русские люди шли тогда нога в ногу с тем, что создавалось на Западе, если иногда они оказывались и далеко впереди, то в пластических художествах русское общество в целом плелось до такой степени позади, что и наиболее свежим элементам стоило особых усилий догнать хотя бы арьергард европейского художества. С другой стороны, культ передовитости как таковой (чем отличаются теперешние времена), этот snobisme par excellence*, расползающийся, как проказа, по свету, тогда еще не проявлялся. Двадцать лет спустя Дягилев заделался в Париже каким-то суперсиобом, ему казалось, что он не только догнал то, что было самого передового, но что он далеко забежал вперед. Но в 189.5 г. он уже потому мог *временно* успокоиться на том, чего он тогда достиг, что даже названные, столь «безобидные» приобретения, сделанные им за границей, возбудили среди его родных и знакомых вопли негодования и бесконечные насмешки. С одной стороны, друзья его хвалили и поощряли на дальнейшее, с другой стороны, громадное большинство людей своего круга он озадачил и возмутил.

С этого момента можно сказать, что Дягилев, полный своих заграничных впечатлений, только что окончивший свои Lehrjahre ** (он весной, годом позже нас, сдал и государственные экзамены, подготовившись к ним с какой-то баснословной быстротой), Дягилев был, наконец, принят в нашу компанию на «вполне равноправных началах». Тогда же он, воодушевленный этим, стал ощущать и свое настоящее призвание, не зная, однако, в какой именно сфере и в какой форме это призвание может проявиться сначала. Именно тогда его творческие силы, не находившие себе выхода в чисто художественном «производстве», сосредоточились все же на вполне художественных, но не требовавших профессионального участия, задачах. Тут Дягилев и обнаружился в роли *творца,* решившего произносить «да будет» там, где его друзья только говорили: «Как хорошо было бы, если бы стало»...

Снобизм как таковой *(франц.).*

Годы учения8 *(нем.).*

777, *12. «Князь Игорь». «Пиковая дама»*649

Глава 12

РУССКАЯ ОПЕРА. «КНЯЗЬ ИГОРЬ». «ПИКОВАЯ ДАМА»

Я рассказал о том впечатлении, которое на меня произвела музыка «Спящей красавицы» и как с того момента я стал ярым поклонником Чайковского. Постепенно (и очень скоро) это поклонение распространилось и на всю русскую музыку. Своей же вершины оно достигло в течение ноября и декабря того же 1890 г., на премьерах бородинского «Князя Игоря» и «Пиковой дамы» Чайковского. Точной даты первой я не запомнил \ я только уверен, что *счастье* услышать «Игоря» предшествовало счастью, которое мне выдалось 7 декабря 1890 г., когда я познакомился с новой оперой Чайковского «Пиковая дама».

Не раз уже в течепие этих записок я касался того равнодушия, которое я обнаруживал в отношении ко всему национально русскому, В качестве продукта типичной петербургской культуры я грешил если не презрением, то известным пренебрежением и к древней русской живописи, к к характерной русской архитектуре **, и к древнерусской литературе. Что касается последней, то едва ли в этом не была виновата гимназия и то, что нас, совершенно незрелых мальчиков, заставляли любоваться древними былинами, «Словом о полку Игореве», строгим языком летописей, бойкостью и остроумием переписки Грозного с князем Курбским и вообще всем тем, что предшествует эпохе Петрˆ I. Это неуклюжее и просто бездарное *навязывание* в гимназии только усугубляло мое пренебрежение. И вот благодаря опере Бородина пренебрежение сменилось пытливым интересом, за которым последовало лучшее понимание и, наконец, восхищение.

В «Князе Игоре», созданном «любителем» (но каким подлинно гениальным любителем!), законченном и «исправленном» специалистами, имеется несколько несоответствий. Это произведение русской музыки неоднородно во всех своих частях, и не всюду в нем выражается подлинно русский дух. Бородин, как один из начинателей, естественно не всюду выдерживает тот стиль, что был ему подсказан, навеян древней поэзией; моментами он уступает формальной системе, созданной мастерами западного оперного искусства 2*, Зато какое глубокое волнение испытываешь,

** Тут, во всяком случае, не может быть речи о каком-либо влиянии моего отца, который был большим знатоком и поклонником древнерусского зодчества. Построенная им в шереметьевском поместье, селе Высоком, церковь принадлежит к наиболее удачным попыткам возродить ту формальную систему, что царила в России при первых Романовых. Еще интереснее был им задуман строгий и величественный проект «Храма 1 марта», к

сожалению, не приведенный в исполнение.

а* Подобных промахов меньше у Римского-Корсакова и вовсе нет у Мусоргского. Но в данный период я был плохо знаком с творением Римского и совсем не знал Мусоргского. Впрочем, как-то раз в Мариинском театре дали «Бориса», но в такой жалкой постановке и с такими заурядными певцами, что на меня этот спектакль

650*Ш, 12. «Князь Игорь». «Пиковая дама»*

слушая в прологе музыку, иллюстрирующую сбор в поход княжеских дружин, охваченных сверхъестественным ужасом перед небесным знамением солнечного затмения. До чего трогательна скорбная песня Ярославны в тереме и ее же плач на стенах Путивля. Как заразительно передана тревога в ее сцене с боярами и как ярко очерчена личность злодея Галмцкого, каким русским простором веет от хора a capella крестьян в последнем действии. А что сказать про обе половецкие картины: про песенку, с которой начинается первая и которую так божественно пела Долина, про танец половецких девушек и про заразительное беснование большого общего пляса перед шатром Кончака.

После премьеры я уже не пропускал ни одного спектакля «Игоря», оставляя без внимания убожество, а местами и безвкусие тогдашней, до-коровинской постановки \ Благодаря одним звукам «гениального провидца-дилетанта» я переносился за семь веков назад в удельную Русь и начинал ощущать какую-то близость по существу всей этой далекой древности, все тесное родство ее с Россией наших дней. Для меня, завзятого западника, эта русская старина становилась близкой, родной; она манила меня всей своей свежестью, чем-то первобытным и здоровым — тем самым, что трогало меня в русской природе, в русской речи и в самом существе русской мысли 3*.

В то же время я через свое увлечение «Князем Игорем» почувствовал связь той древней домонгольской России к издавна милой моему сердцу Европе. Сколько нам вдалбливали в голову, что удельная Русь не имела ничего общего со строем феодального средневековья Запада. Я принимал это на веру, и для меня русские князья с их дружинами были чем-то совершенно противоположным «моим» баронам, «моим» рыцарям. Древние русские люди представлялись мне какими-то дикарями или они казались мне темными, жалкими рабами кочевников, а вовсе не гордыми и благородными властителями. И как раз в опере Бородина противопоставлен с удивительной убедительностью мир европейский» христианский и мир азиатский. И как ни красочно и поэтично выражен этот последний, все же чувствуется, насколько ближе к сердцу самого композитора (несмотря на его

монгольское происхождение3) этот мир «христианской восточной Европы», нежели мир степных язычников. Я вполне сочувствовал князю Игорю, нарушающему клятву, данную хану, и предпочитающему уйти от всех сладострастных соблазнов, от сказоч-` ных красавиц-невольниц, от всей пряной роскоши ханского двора, чтобы вернуться к родным теремам, к чуть печальной, но сколь милой скромнице-княгине, Я здесь упоминаю лишь вскользь о своих тогдашних

не произвел никакого впечатления. Немного позже какая-то любительская труппа

поставила в Панаевском театре «Хованщину». Хотя и это был спектакль скорее

жалкий, я все же вынес из него потрясающее впечатление.

Несомненно, что моим сближением с русской древпостью я обязан одновременно

и прекрасным лекциям С. И. Сергеевича, о которых я говорю выше, в которых он

так выпукло и картинно обрисовал весь замкнутый своеобразный мир Древней

Руси.

чувствах, навеянных слушанием «Князя Игоря». Слова вообще слишком все определяют и отдают рассудочностью, на самом же деле то, что я тогда испытывал, было чем-то свободным, непосредственным и необычайно сильным. Я впитывал в себя стихию этой новой для меня музыки, не отдавая себе тут же отчета в том, что она для меня значит и какую со временем я извлеку из нее для себя пользу. О, какое это было счастливое время! Как вообще счастлив человек, когда, обладая всеми силами молодости, он приобщается к чему-то, в чем он узнает нечто чудесно близкое своей душе, нечто издавна вожделенное и что должно его вывести на большой простор, беспредельно расширить его горизонт.

¾` ¾` 4·

После бурного увлечения «Спящей красавицей» я с особым нетерпением ожидал премьеру новой оперы Чайковского. О ней задолго до спектакля ходили разноречивые слухи. Премьера эта назначена была уже в ноябре, но с исполнителем главной роли, с И. Н. Фигнером, для которого была собственно и заказана опера, случилось несчастье (он сломал себе ключицу), вследствие чего пришлось отложить премьеру на несколько недель. Но Фигнер

поправплся, и на афишах появилась ожи-данная дата. Билетом я обзавелся заблаговременно, да и все прочие друзья должны были быть в этот вечер в театре. Рядом со мной сидел Валечка, поближе к оркестру Дима Философов и Сережа Дягилев, за нами оба Сомовы, где-то обретался Митя Пыпин и Пафка Коребут. В первых же рядах, по соседству с братьями Стасовыми, восседал дядя Миша Кавос, а также его приятель Анатолий Половцев. За день или за два Пыпин раздобыл, прямо от издателя, не поступивший еще в продажу клавир, но, проиграв музыку дома, он остался недоволен ею, и придя вечером ко мне, он даже всю оперу в целом охаял, делая исключение только для арии Лизы на Зимней Канавке («Ночью и днем»). «Это еще туда-сюда,— конфузясь бормотал милый Митя,— а остальное все повторение уже слышанного; да и чего еще от Чайковского ожидать, он исписался, выдохся, он повторяется!» То же твердили большинство причастных к музыке людей как в Петербурге, так и в Москве. Такое брюзжанье всегда сопровождает творческий путь выдающегося, а тем паче гениального художника — пока он не займет «прочного места на Парнасе». Культ же Чайковского только еще начинался, и даже сам композитор не давал себе полного отчета, до чего он нужен своему народу, какое огромное значение он для него имеет. В передовых музыкальных кругах Чайковскому вредило то, что он оказался как-то в стороне от «кучки», а серьезные ценители уже тогда превыше всего ставили «кучкистов» и считали своим долгом относиться к Чайковскому как к какому-то отщепенцу, к мастеру, слишком зависящему от Запада. Это отношение унаследовало от них большинство французских музыкантов, пребывающих в полном непонимании того, что составляет *самую суть* музыки Чайковского.

652*///*, *12. «Князь Игорь». «Пиковая дама»*

Известное настроение неприязни или недоверия отчетливо ощущалось и па премьере «Пиковой дамы». Аплодировали любимым артистам, но не было бурных оваций по адресу композитора: его не вызывали с обычным у нас в таких случаях неистовством. Напротив, мне хорошо запомнились антрактные разговоры в коридорах Мариинского театра и в фойе; в них слышалось все, что угодно, кроме восторга, или хотя бы одобрения. Когда я, обезумев от восторга, бросился по окончании I акта к нашему семейному арбитру дяде Мише Кавосу, в надежде найти сочувствие, я услыхал только ироническую фразу: «pas mal, pas mal ce petit Chodowiecki» *, намекавшую на то, что толпа гуляющих в Летнем саду напоминала гравюры знаменитого берлинского иллюстратора. Во время же сцены в спальне графини у меня даже возникла маленькая ссора с Валечкой, так как мне

показалось, что он «недостаточно реагирует». В частности, он ничего не понял в хоре приживалок, шеппув мне с досадой: «Ну, это уже совершенно глупо», тогда как именно это «слав-ление» старушками своей вернувшейся с бала - благодетельнице, сразу показалось мне особенно удачной «находкой». Ничего так не вводит в ужас всей следующей сцены, как эта ласковая, заискивающая, чуть плясовая по ритму песенка, в которой, однако, уже слышится нечто погребальное — нечто похожее на причитание плакальщиц. Надо, впрочем, отдать справедливость Валечке (которого я тут же в гневном шепоте обозвал дураком и болваном), что после сцены смерти графини он отказался от своей презрительной позы и в дальнейшем вполне разделял мое восхищение.

Я не стану разбирать всю оперу и описывать спектакль во всех подробностях. Скажу только, что евли мной и овладел тогда какой-то угар восторга, я все же не со всем был согласен. Меня, например, огорчила героическая ария Елецкого (великолепно спетая красавцем Яковлевым); позже я ее оценил как несколько ироническую характеристику несчастного любовника, и я не одобрил ту «итальяпщину» (самое бранное у нас тогда выражение), в которой Лиза на Зимней Канавке выражает свое отчаяние («Так это правда со злодеем»). К тому же неуместный стиль этой арии Медея Фигнер подчеркивала тем, что она не пела ее, а как-то «голосила» на простонародный лад — чего будто бы требовал сам Петр Ильич. Большой публике единственно что действительно понравилось, это — пастораль. Ее даже пробовали бисировать; мне же (кроме божественной сарабанды пианиссимо, чудесно поставленной Петипа и с бесподобным мастерством станцованной) эта интермедия показалась довольно поверхностной, чуть приторной имитацией Моцарта. Но стоит ли говорить о таких подробностях, когда «Пиковая дама» содержит столько *совершенно изумительных* и бесподобных в своем роде красот? Все начало оперы: хор нянек и кормилиц, баллада Томского, клятва Германа (под раскаты грома), выход императрицы на балу, помянутая сарабанда — все это чудесно подготовляет к дальнейшему. А затем идут уже совсем

* «Ходовецкий, да и только!» *(франц.)*.

исключительные во всей музыкальной литературе сцены: в спальне Графини, в казарме, на Зимней Канавке.

Зоплы и умники находили, что сюжет нелеп и что он не подходит для оперы, что на каждом шагу встречаются промахи против хорошего вкуса; поклонники же Пушкина обиделись на то, что автор либретто — Модест Чайковский самовольно перенес

сюжет в иную эпоху, нежели та, которую избрал для своего рассказа великий поэт. Вообще, что только тогда ни говорили, ни шипели! Особенно же меня бесили отзывы прессы своей сдержанностью, в которой сквозило полное, почти презрительное неодобрение. Один лишь критик Финдейзен сочувственно и даже не без восторга разобрал новую оперу4, но его статья, если память мне не изменила, появилась в виде брошюрки несколько позже и прошла незамеченной.

Несомненно, что сам автор *знал,* что ему *удалось* создать нечто прекрасное и единственное, нечто, в чем выразилась вся его душа, все его мироощущение. В музыку он вложил все свое понимание самой сути русского прошлого, еще не совсем канувшего в вечность, но уже обреченного на гибель. Он был вправе ожидать, что русские люди скажут ему за это спасибо, а вместо того ему пришлось выслушивать все те же придирки или то снисходительное одобрение, которое оскорбляет хуже всякой брани.

Что же касается меня, то в мой восторг от «Пиковой дамы» входило именно такое *чувство благодарности.* Через эти звуки мне действительно как-то приоткрылось многое из того таинственного, что я чувствовал вокруг себя. Теперь вдруг вплотную придвинулось прошлое Петербурга. До моего увлечения «Пиковой» я как-то не вполне сознавал своей душевной связи с моим родным городом; я не знал, что в нем таится столько для меня самого трогательного и драгоценного. Я безотчетно упивался прелестью Петербурга, его своеобразной романтикой, но в то же время многое мне не нравилось, а иное даже оскорбляло мой вкус своей суровостью и «казенщиной». Теперь же я через свое увлечение «Пиковой дамой» прозрел. Эта опера сделала то, что непосредственно окружающее получило новый смысл. Я всюду находил ту пленительную поэтичность, о присутствии которой я прежде только догадывался.

Впрочем, значительная часть заслуги в этом выявлении поэтичности петербургского прошлого принадлежит «заказчику-вдохновителю» Чайковского — директору театров PL А. Всеволожскому. Не будь в этом старом подлинном вельможе лично сентиментального отношения к Петербургу, то «москвич» Чайковский, пожалуй, и не проникся бы в той же степени поэзией невской столицы. Это Всеволожский пожелал, чтобы первый акт происходил в Летнем саду, чтобы бал был настоящим екатерининским балом, чтобы в рпальне графини все говорило об отживающем великолепии елисаветинской эпохи, чтобы в сцене в казарме чувствовалась сугубая унылая казенщина, вторжение в которую «потустороннего начала» представляется особенно

потрясающим. Наконец, и перенесение места действия предпоследней картины в один из самых типичных и романти-

ческих «пейзажей» Петербурга — к Зимней Канавке, к подножию того дворцового перехода, который напоминает венецианский Мост Вздохов — эта своего рода чудесная находка принадлежала также Всеволожскому. Однако Чайковский все ему подсказанное усвоил всем своим художественным чутьем, благодаря чему опера, не переставая быть иллюстрацией или инсценировкой рассказа Пушкина, стала чем-то характерным для него —Чайковского.

Меня лично «Пиковая дама» буквально *свела с ума,* превратила на время в какого-то визионера, пробудила во мне дремавшее угадывание прошлого. Именно с нее начался во мне уклон в сторону какого-то *культа* прошлого. Этот уклон отразился затем на всей художественной деятельности нашего содружества — в наших повременных издапиях — в «Мире искусства», в «Художественных сокровищах России», а позже и е «Старых годах»; он же выявился в наших книгах — в дягилевской монографии Левицкого, в моей монографии Царского Села 5. Вообще этот наш «пассеизм» (еще раз прошу прощения за употребление этого неказистого, но сколь удобного термина) дал вообще направление значительной части нашей творческой деятельности. Своим пассеизмом я заразил не только тех из моих друзей, которые были уже предрасположены к этому, как Сомов, Добужинский, Лансере, но и такого активного, погруженного в суету текущей жизни человека, как Дягилев. И вот еще что: если уж «Пиковую даму» Пушкина можно считать «гофмановщиной на русский лад», то в еще большей степени такую же гофмановщину на русский лад (на «петербургский лад») надо видеть в «Пиковой даме» Чайковского. Для меня вся специфическая атмосфера гофмаыовского мира была близкой и понятной, а потому я в «Пиковой даме» обрел нечто для себя особенно ценное.

Музыка «Пиковой дамы» получила для меня силу какого-то заклятия, при помощи которого я мог проникать в издавна меня манивший Мир теней. Для многих (пожалуй, для громадного большинства) этот мир представляется чем-то фантастичным, ирреальным, отошедшим, исчезнувшим навсегда, для меня же (особенно в те времена) он представлялся чем-то еще живущим, существующим. Сколько мне пришлось слышать в течение моей жизни обвинений в том, что увлечение прошлым есть нечто болезненное, чуть ли не порочное; иные считают такое «перенесение в прошлое-» за нечто, подобное сумасшествию. Одпако этот самый «пассеизм» не только привел к созданию

целой отрасли науки: к *Истории,* но он вызвал к жизни несчетное количество прекраснейших произведений искусства и литературы...

Последние года гимназии я мало и не особенно усердно занимался художественным творчеством. Это была пора, когда я ревностно *изучал* искусство, с особенным любопытством и возбуждением посещал выставки и музеи, но сам я редко брался за карандаши и кисти. Лишь иногда на меня «находила какая-то статья», и тогда возникали разные «исторические фантазии», навеянною спектаклями иди чтением исторических романов А. де Виньи, Дюма, Гауфа, Мериме, Гюго, Вальтера Скотта и др.

Ill, 12. «Князь Игорь», «Пиковая дама»§55

ˆ *m* _ _

Большей независимостью отличались несколько отдельных картин, из которых одна изображала Мрачный рыцарский замок среди белого зимнего пейзажа, другая грандиозную виселицу, выделявшуюся на фоне вечереющего неба, третья — монастырь, расположенный далеко над долиной могучей реки.

В общем, насколько мне помнится, эти тогдашние мои опыты были довольно беспомощны. Не хватало ни знаний, ни технического опыта. Но вот с особой силой проснувшийся под действием моего восторга от музыки культ прошлого подзадорил меня к тому, чтобы с большим упорством продолжать уже начатое, а иное начинать сызнова. Так я три раза принимался за картину, в которой захотел выразить свое увлечение XVIII в., в частности эпохой императрицы Елисаветы Петровны, эпохой, не пользующейся вообще особым уважением историков, к которой я, однако, с отроческих лет питал особое влечение. Выше я уже рассказал о том, что я буквально влюбился в ее портрет, на котором художник Каравакк изобразил восьмилетнюю девочку в виде маленькой, совершенно обнаженной Венус. Этот портрет красовался в «диванной» петергофского Большого дворца6, а на другой стене этой же комнаты висел в затейливой раме ее же портрет, но уже в виде императрицы (он был писан французом Л. М. ван Лоо). Вся эта комната с окнами, выходившими на столетние ели, обладала исключительным шармом. Помянутая же моя композиция (мне так и не удалось довести ее до конца) представляла царицу и ее блестящий двор на фоне павильона «Эрмитаж» в Царском Селе 4*.

■ «Пиковую даму» я услыхал и увидал в декабре 1890 г., более же усердно я принялся за свои живописные фантазии с лета 1891 г., когда уже произошло мое «воссоединение» с Атей. Увлечение Чайковским и возобновление нашего «романа» как-то чудесно окрыляло меня. Моя возлюбленная всецело разделяла

мои восторги от музыки и в-сюду сопутствовала меня в прогулках по излюбленным местам Петербурга — по аллеям Летнего сада, по Островам, по той эспланаде, что выдается полукругом в Неву перед фасадом Биржи, по парку Екатерингофа. Будучи глубоко музыкальной натурой, Атя переживала не менее сильно, нежели я, упоение русской музыкой, и в частности Чайковским. И то, что обе ее сестры, будучи профессиональными музыкантшами, не разделяли ее увлечения, создавало для нее (следовательно, для нас обоих) род прелестной духовной обособленности. Эту потребность в уединении, которая вообще свойственна влюбленным, мы находили теперь особенно в музы-

4* Другим отражением моего «помешательства на Елвхавете» было составление целиком измышленной мной «реляции», или рассказ «очевидца», о вступлении ва престол Петровой дочери. Эту реляцию (выдав ее за найденный в бумагах отца подлинный манускрипт) я прочел 25 ноября 1892 г. своим друзьям, поверившим достоверности моего «документа», после чего был сервирован у нас в зале при эажженных люстре н всех канделябре-х довольно роскошный ужин, а во главе (хгода на кресле был водворен портрет Елисаввти I, что означало, ¾го ее императорское величество удостоило нас вшоим ирисухвтвием.

. 656

III, 12. «Князь Игорь». «Пиковая дама»

ке; у нас был свой, как бы отдельный мир, hortus conclusus, и как бы специально для нас созданная (и нами только вполне оцепиваемая) музыка. И эта музыка (не только «Пиковой дамы», «Спящей красавицы», «Евгения Онегина», «Князя Игоря», но и многого другого) как-то всегда сопровождала нас, мы ее не переставали слышать внутри себя, где бы мы ни были.

Я не могу расстаться с моим рассказом о «Пиковой даме», не сказав еще несколько слов о ней как о спектакле. В смысле зрелища постановка отличалась обычными для императорской сцены достоинствами и недостатками. Тщательность, художественное мастерство и роскошь как-то сплетались с удивительным безвкусием, а то и с бросавшимися в глаза абсурдами5*. Однако все же недостатков в дайной постановке было гораздо меньше, нежели в какой-либо другой, и в целом можно было эту постановку считать за самую удачную и выдержанную за время дирекции И. А. Всеволожского. Он лично как-то особенно ее облюбовал и внимательно следил за исполнением всех предначертаний. Благодаря Ивану Александровичу костюмы и военные формы в Летнем саду носили тот характер подлинности, который и навел дядю Мишу Кавоса на сравнение с Ходовецким, благодаря директору костюмы на

балу отличались особой точностью и богатством и т. д. Задумана была декорация «Спальни графини» с таким настроением и исполнена была художником Ивановым с таким мастерством, что, когда мне досталась честь создать (в 1920 г.) новую постановку «Пиковой дамы» (вместо окончательно обветшалой первоначальной), то я решил сохранить планировку и общий характер ивановской декорации, придав только еще больше торжественности всюду и выдержав более строго архитектурный стиль в духе Растрелли.

Очень удачно было в 1890 г. распределение ролей. Я задался целью держаться в ебщих чертах основного плана первоначальной постановки (как-никак, удовлетворившей Чайковского) и удалял лишь все то, что противоречило ее же *стилю.* Так, распланировав более затейливо и в характере боскетных затей декорацию Летнего сада, я придал редкой листве деревьев более определенный весенний характер (действие происходит еще в апреле), комнате Лизы я придал более «девичий характер»; мой большой бальный зал напоминал грандиозные чертоги Потемкинского дворца 7; в казарме я подчеркнул унылость казенщины, а сцену на Зимней Канавке (это, пожалуй, зря) я перенес в *белую* ночь, так как свет луны в Петербурге в мае почти незаметен. Наконец, последней картине («Игорный дом»), наименее удачной в первоначальной постановке, я сообщил известную торжественность, требующуюся близостью развязки. Правда, массивная, несколько уже тогда старообразпая Медея Фигнер не подходила в смысле внешности для роли несчастной,

6* Как на пример укажу на то. что в прекрасной декорации Иванова «Спальни графини», в виде гобеленов стены были украшены хорошо всем известными компо-1 зициями современных французских художников Бугро, Кабанеля п других.

Ill, 12. «Князь Игорь», «Пиковая дама»

хрупкой аристократичнрй барышни, какой я себе представляю Лизу; правда, ее манера петь была чересчур итальянской, но это забывалось как только начинали действовать чары ее сильного, свежего голоса. О дуэте под аккомпанемент флейты и фортепиано, петым ею вместе с Долиной (обладавшей *божественным* контральто), я сохранил по сей день самую отчетливую и восторженную память. Но неоспоримым героем всего спектакля был Фигнер, бывший и до того любимцем публики,. но стяжавший созданием роли Германа безусловное и восторженное признание. Даже его несколько сдавленный тембр оказался здесь уместным, ибо он углублял впечатление чего-то фатального, обреченного. Вообще в облике Фигнера было нечто

мрачное, и в нем не было ничего от приторности традиционного тенора, однако в «Пиковой даме» эта мрачность была еще подчеркнута формой черного гусара и гримом. Для данной роли Николай Николаевич решил сбрить бородку, оставив усы, лишиться же последнего украшения своего лица он не пожелал, и тогда Германа превратили из инженера (каким он является у Пушкина) в кавалериста, коим ношение усов было в XVIII в. предписано. И» разных же гусарских полков выбор остановился на Нежинских гусарах, мундир которых был черного цвета. Провел свою роль Фигнер с такой убедительностью, с такой страстью, которая доказывала, что он совершенно с нею сроднился; в течение нескольких часов он отождествлялся с представляемым им лицом. Такого Германа, каким был Фигнер, я больше не видал и не слыхал, да и едва ли можно себе представить, что какому-либо театру могло бы выдаться счастье найти столь подходящего к роли артиста.

Вполне в соответствии с таким идеальным Германом была *и* исполнительница роли старухи-графини Славина, тогда еще совсем молодая в красивая женщина, не пожалевшая себя, однако, чтобы изобразить «старую каргу», ветхую развалину, подобие жуткой ведьмы. Благодаря сочетанию этих двух артистов в сцене «Спальни графини» получилось нечто такое, от чего шел мороз по коже. Особенно убедительно передавала Славина момент засыпания бывшей Venus Muscovite. Она вспоминает о версальских приемах, о «самой» маркизе Помпадур и напевает арию из «Ричарда Львиное Сердце», которую она когда-то певала перед королем. Только человек с глубоким артистическим чутьем мог найти тог способ петь говорком с каким-то потуханием, который нашла Славина. Чувствовалось, что старуха подошла к самому порогу смерти, к краю могилы и, стоя у него, оглядывается на целый ушедший в какую-то тусклую даль, а когда-то полный блеска мир 6*.

в* Чуть было досадно, что тут получился анахронизм. Опера Гретри «Richard Coeur de Lion» [Ричард Львиное Сердце.— *франц.]* была сочинена в такие годы, когда и маркиза, и ее царственный любовник давно покоились в гробу. Но такая историческая справка охотно забывалась, когда Славина в полудремоте пела: «J'ai решав lui parler la nuit, j'écoute trop tout ce qu'il dit» [Я боюсь говорить с ним ночью, меня слишком волнует каждое его слово.— *франц.],*

1/а22 А. Венуа

658 ·W· *IB. Смерть мамочки*

Еще один артист способствовал прелести первого создания (creation) «Пиковой дамы» — то был старик Мельников, давно

спавший с голоса, но по-прежнему всей своей манерой петь свидетельствовавший о традициях лучшего тона. Образ Томского, созданный им, получился также со-ершенпо убедительным. В этой первоначальной версии Томский не был товарищем по полку Гермаиа, а типичным русским барином — любителем вращаться в молодой компании. Он и одет был соответственно с его положением и с годами — в штатское платье, солидно, просто, и все же являл образ несомненного вельможи. Этот образ я и вернул *своему* Томскому в 1920 г., а певец Андреев, поняв задачу, отлично справился с ней... И еще раз не могу не пожалеть о том, что театральное искусство так недолговечно и по самой своей природе эфемерно. Мне хотелось создать *образцовую* постановку моей любимой оперы, и мне кажется, что это мне в значительной степени удалось; была она одобрена и публикой. Однако уже десять лет спустя постановка «Пиковой дамы» была вновь поручена какому-то «гениальному» новатору из молодых мейерхольдов-ского толка 87 и этот художник устроил нечто столь ерундовое, такую карикатуру на модернистический лад, что ее пришлось вскоре заменить чем-то более благоразумным и осмысленным. Может быть и вернулись к моей постановке? 9

Глава 13 СМЕРТЬ МАМОЧКИ

Самым ужасным, самым печальным днем моей молодости было 11(23) апреля 1891 г., когда я потерял самого любимого и меня больше всех любившего человека — мою мать.

В общем мама пользовалась хорошим здоровьем. За весь период в двадцать лет, который я имел счастье прожить с ней, она ни разу не болела серьезно, и я не помню ее лежащей подолгу в постели, а неизбежные в петербургском климате гриппы и другие простуды она переносила на ногах, не оставляя дома ни на единый день без своей самой внимательной заботы. Полушутя она приписывала такое благополучие тому, что она «не слушает докторов» и как можно меньше лечится, а лекарства, прописываемые домашним врачом, если и «окупались, то тут же, не раскупоренные, отставлялись в висячий шкафик над ее рабочим столом. И замечательнее всего, что и доктор, бывавший у нас чаще в качестве папиного племянника, нежели врача '*, был с ней заодно. Он сам не очень верил в науку медшшны и поощрял лечение «домашними средствами». С годами это «философическое» отношение к своей про-

* То был сын старшего брата папы Леонтия (Людовика) Леонтьевича Бенуа — «дяди Лулу», Кузен Леонтий Леонтьевич

был лет на тридцать старше меня. Это был очень милый, очень отзывчивый человек, он считался отличным практиком.

фессии стало переходить в откровенный скептицизм, в безразличие и просто в вялость. Он к у нас стал бывать редко, и доверие к нему пошатнулось. Впрочем, это случилось позже, тогда как в описываемое время «дядя Люля-доктор» еще продолжал быть нашим домашним лекарем, и в его обязанности входило наблюдение за здоровьем всех родственников, обитавших на улице Никольской (Глинки). Это было удобно для него, так как он сам жил в близком соседстве, занимая казенную квартиру в доме Казанской части («у Львиного мостика»), при которой он состоял участковым врачом.

Мамино недоверие к медицине, поддерживаемое до известной степени «философией» дяди Люли-доктора, не мешало ей прибегать к разным испытанным простейшим средствам — компрессам, припаркам, гоголь-моголю, лимонаду, настойке из исландского мха, горчичникам и т. п. Периодами она увлекалась и гомеопатией, не обращаясь, однако, к пользованию врачей этого толка, а вычитывая в печатном лечебнике названия средств, полагающихся в случаях разных заболеваний: аппетитные прелестные флакончики, наполненные белыми крупинками или бесцветными каплями, всегда красовались на полке помянутого шкафи-ка. Кроме того, особым доверием пользовалась некая панацея, носившая громкое название «Жизненный эликсир», что приготовлялась по столетнему рецепту провизором Шуппе на Екатерингофском проспекте. Снадобье это продавалось в бутылочках старинного фасона с этикетками, напечатанными еще при Александре I. Окрашен был эликсир в темно-коричневый цвет, а на вкус он напоминал лакрицу. Моему романтизму нравилось, что было таинственного в этом и что напоминало чудодейственные напитки, о чем говорится в сказках или романах Александра Дюма-пэра.

Но вот с осени 1890 г. мамочка стала прихварывать; ее начал мучить неотвязпый кашель, становившийся все более надрывистым. Временами ее без видимой причины знобило или бросало в жар. Сидя как-то рядом с ней в театре, я обратил внимание на какой-то странный шумок, вырывавшийся помимо ее воли не то из гортани, не то из груди. Это было что-то вроде легкой икоты и нечто во всяком случае новое для меня и почему-то очень меня встревожившее. Мамочка сердилась, когда я спрашивал, что она при этом испытывает, хотя для меня было песомнепио, что этот непроизвольный звук ее самое беспокоит.

По настоянию папы, Люля-доктор несколько раз заходил; внимательно выслушивал маму, но ничего ненормального не находил, если только оп не скрывал того, что он констатировал и с чем уже не в силах был бороться. Запомнился мне и такой случай (уже в феврале 1891 г.), и не столько сам по себе, сколько потому, как мамочка на него реагировала. В своем упоении «Пиковой дамой» я настоял на том, чтобы была взята семейная ложа, и я заставил маму пойти на этот спектакль. В ложе кроме нее и меня сидели брат Миша и его жена и еще кто-то из родных. Я был убежден в том, что музыка произведет свое действие даже на таких профанов, как моя кузина и бэль-сер Оля, и заставит ее отказаться от общего

III, 13. Смерть мамочки

всей семьи предрассудка против русской музыки. Но я ошибся, Оля стала с первой же сцены все критиковать и даже отпускать по адресу постановки и артистов едкие замечания, что, разумеется, в высшей степени меня злило. А тут еще на беду, с половины спектакля соседнюю ложу наполнила шумливая компания, которая уже без всякого стеснения довольно громко стала издеваться и над певцами, и над музыкой, никак иначе не реагируя на происходившее на сцене. Не раз я прерывал идиотскую болтовню свирепым шиканьем, но это не помогало. Но вот как раз во время сцены в казарме и Оля обернулась ко мне с одним из самых нелепых иронических замечаний, тут я не выдержал. Я не помню, что я ей ответил — то была, вероятно, какая-то грубость, которую я прокричал на весь театр, а чтобы еще более подчеркнуть свое негодование я бросился вон из ложи и, опрокинув стул, со всего размаху хлопнул за собой дверкой. Это как раз совпало с моментом, когда на сцене под напором ветра распахивается окно и слышится дребезжание разбитого стекла. Мой поступок был выходкой балованного, не умевшего владеть собой юнца, и все кончилось на следующий день моими извинениями и полным примирением с Олей и Мишей. Немало бывало подобных моих вспышек в те годы, и я бы не запомнил этой, если бы не тихие упреки мамы и особенно ее фраза: «ты меня гак напугал, что у меня внутри точно что-то оборвалось...» Когда всего через три недели после этого с мамочкой случился первый припадок удушья, то я невольно с ужасом подумал, не был ли тот испуг если не основной причиной ее тяжкого заболевания, то, во всяком случае, чем-то, что ускорило кризис. Самый же кризис произошел в среду на первой неделе Поста. В этот вечер я обедал у бабушки Кавос и, возвращаясь на извозчике

по черной оттепельнои слякоти, почему-то, поровнявшись с церковью Спаса на Сенной, определенно почувствовал, что меня дома ожидает какая-то беда. Вид этого храма внушал мне вообще какие-то необъяснимые мрачные мысли и предчувствия, на сей же раз такое же предчувствие нашло себе сразу подтверждение, как только, заметив, что в спальне родителей свет, я прошел туда. Папа уже спал, но мама, лежа на правом боку, не спала, причем она прерывисто, часто и с трудом дышала. Глаза ее были открыты и выражала ужас. Иа мой вопрос, что с ней, она с трудом проговорила: «Это ничего, ванна была очень горячая, вот и сделалась одышка». Но не успел я пройти к себе, как услыхал, что в спальне родителей поднялась суматоха, послышались спешащие шаги Кати, какие-то восклицания поднятых прислуг, захлопали двери. Маме сделалось совсем худо, она задыхалась. Надо было тотчас же ехать за доктором (телефоны еще не были в ходу). Я и поехал, с трудом найдя в столь поздний час (было около часу) извозчика. Люлю-доктора (переехавшего в это время со своей прежней квартиры на площадь за Казанским собором) я поднял с постели. Едучи с ним обратно, я пытался выведать, считает ли он мамино заболевание очень серьезным, но Люля-доктор дремал и, уткнув нос в шубу, отвечал одним мычанием. Маму мы заста-' ли сидящей на постели. Ее поддерживали муж и дочь. **Она** пыталась

Ill, 13. Смерть мамочки

вздохнуть, «глотнуть воздуха», но это не удавалось ей. Уже были использованы разные домашние средства — ножная ванна, растирание, горячий компресс,—ничего не помогало. Не помогли и лекарства, прописанные доктором, за которыми я слетал в ближайшую аптеку у Харламова моста 2*. Обожаемая мамочка ужасно страдала, но мучились и мы, обступавшие кровать, сознавая свое бессилие ей помочь. Наконец, часам к семи кризис стал проходить, дыхание постепенно восстановляться. И как только она смогла произнести несколько слов, она поспешила заверить, что теперь ей «совсем хорошо» и что ей стыдно, что она нас потревожила...

В те годы у меня была привычка иногда заглядывать в будущее, в чем, впрочем, я видел и нечто греховное. И на сей раз я прибегнул к своего рода гаданию; я открыл папин красный шкаф, стоявший в моей спальне, вытащил один из томов архитектурного труда Gailhabaud «L'Architec-ture» * и раскрыл его паугад. Каков же был мой ужас, когда передо мной предстала таблица, на которой изображен был гроб под балдахгь ном, окруженный свечами! Вероятно — средневековый реликварий, заключавший в себе останки какого-либо святого, но я увидел в

этом прямой и безнадежный ответ на мой вопрос. В ту минуту я отказался поверить ему, одпако через пять недель гроб с телом нашей обожаемой действительно стоял в соседней зале.

Недуг, которым мама захворала, был «грудной жабой», и эта болезнь считалась семейной особенностью Кавосов. От нее скончались и мой дед, и двоюродные братья мамы: Альберт и Камилло, и оба брата мамы — дядя Ваня, живший в Тифлисе, и год назад дядя Костя. Недели через две последовал второй припадок, и с этого момента мы с растущей тревогой стали ждать третьего, который считался неминуемо роковым. Но сама больная и теперь отказывалась от серьезного лечения. Как только ей казалось, что ей лучше, она переставала принимать предписанные лекарства и, мало того, отказывалась соблюдать и самую элементарную осторожность. Уже на следующий день после второго припадка она поднялась с постели и взялась за свои обычные занятия — за шитье, эа уборку, а иногда она даже проходила и на кухню.

Всего за два дня до кончины я был чрезвычайно *обрадован]* То был втор пик на Вербной, а у мамы был старинный обычай в эти дни будить нас посредством стегания вербпым пучком, причем полагалось приговаривать: «Верба хлест, бьет до слез». Так и на сей раз, мама меня, заспавшегося до И часов, разбудила таким способом. При этом меня поразило и веселое выражение ее лица и то, что она с утра была одета в свое выходное платье, застегнутое у ворота любимой моей брошкой в

** Ни одпа аптека в те времена в Петербурге (да вероятно и во всей России) па ночь не закрывалась. Ночью аптеку можно было легко найти благодаря стоявшим в окнах стеклянным вазам, которые, освещенные изнутри, служили как бы фонарями и светящейся вывеской.

* «Архитектура» Гелабода *(франц.)*.

виде pensée *. Видимо, она чувствовала себя прекрасно, «совершенно здоровой», необычайный же «парад» ее туалета объяснялся тем, что Леонтий прислал ей свою открытую коляску с предложением воспользоваться приятной солнечной погодой и прокатиться. Это был ее первый выезд после многих недель безвыходного сидения взаперти, и она этому по-детски радовалась. День был действительно на редкость ясный, на небе ни облачка. За последние дни стало вообще так тепло, что у нас в зале и в папином кабинете накануне были выставлены зимние рамы, и теперь, когда открывали для проветривания окна, то в комнаты проникал могучей струей тот особый, сильный и сколь

«вкусный» воздух, в котором так ярко сказывается наступление нашей северной весны. Увы, не исключена возможность, что именно этот дивный воздух, самая дурманящая сила его произвели на организм мамочки слишком резкое и прямо-таки роковое действие.

Вернулась мама со своей получасовой прогулки вдоль набережной Невы если не разбитая, то я не приободренная. От утренней радости, во всяком случае, не оставалось и следа. За завтраком обнаружилось, что у нее совсем пропал аппетит, а после завтрака она сразу пожелала лечь в постель. К вечеру же она почувствовала себя настолько худо, что пришлось послать за доктором. Весь следующий день она пролежала, а в четверг (11 апреля) она хоть и поднялась, оделась, но ее вид ясно говорил, что ей сильно неможется. Она то прикладывалась на диван в кабинете папы, то бродила тихими шагами по комнатам. Несколько раз она заглядывала и в мою «Красную» комнату. Чувствуя по всему телу ощущение мурашек, она просила меня ее растирать. Все это заставило папу созвать часов около трех консилиум. Был призван по совету Люли-докто-ра известный доктор Гримм и еще какой-то врач — специалист по сердечным болезням. В это время меня не было дома, мне надо было побывать в университете (где уже начинались переходные экзамены с первого на второй курс), и я только по возвращении узнал о результатах совещания. Врачи нашли положение больной чрезвычайно серьезным — можно было ожидать худшего, если не на днях, то через несколько недель, едва ли месяцев. Однако в близкий исход я никак не мог поверить, а раз допускалась какая-то отсрочка, го пробуждалась и надежда, что за это время мамочка, окруженная особенно внимательным уходом, может еще и совсем поправиться. Меньше всего я мог допустить, что смерть уже на пороге, а не последние недели или дни, а последние часы сочтены. Растирая ее (ощущение мурашек все усиливалось), я пытался ее ободрить, но мама решительно отклоняла эти уверения, а в глазах ее, блуждавших по комнате, появилось совершенно новое выражение какого-то ожидания или прислушивания. Вспомнился мне и разговор, происходивший у нас дней за десять до того, когда мама чувствовала себя (после второго принадка) недурно. Как раз тогда Великим Постом в Малом театре шли гастроли Элеоноры Дузе, и весь город обсуждал ее

* Цветка анютины глазки *(франц.)*.

Ill, 13. Смерть мамочки

понимание разных ролей. Кто-то особенно восторгался

знаменитой актрисой в роли «Дамы с камелиями», подробно описывая, как она проводила сцены смерти. Мама с большим интересом слушала, а бабушка, заметив это, предложила ей место у себя в ложе на это самое И апреля. В ответ мамочка только грустно улыбнулась и промолвила — «что мне ходить смотреть, как умирает Дузе, когда я сама вам это скоро представлю».

Мамочка, видимо, вполне сознавала свое положение, но не смерть ее пугала, а ее заботило, что станется без нее с нами — с горячо любимым мужем, с Катей а ее детворой, а главное — со мной, недорослем. Она то и дело произносила фразы, долженствовавшие нас подготовить к этой разлуке, вроде: «скоро меня не будет с вами», «мне недолго осталось жить» и т. д. Когда я протестовал или принимался ее разубеждать, она (совершенно искренне) говорила, что *устала,* что она будет рада успокоиться. При этом она едва ли верила в загробную жизнь, однако никогда прямо о том не заговаривала, щадя религиозные чувства мужа и детей. Утомили же мамочку непрестанные заботы за всех нас; устала она от всего того, что выстрадало за других ее любвеобильное сердце.

Случалось, что мама произносила такие же фразы и раньше, но когда угроза кончины придвинулась вплотную, когда она заболела тем недугом, который ее свел в могилу, то эти предчувствия получили большую отчетливость. Забота же о близких обострилась в чрезвычайной степени. Она хорошо знала полную деловую беспомощность папочки и поэтому спешила привести в порядок те дела, которыми она лично заведовала. Дяди Кости, ее главного советчика, при ней уже не было, но теперь ей в этом помогли советами ее зять, М. Я. Эдварде, и наш свойственник, архитектор Фурман (который был женат на дочери дяди Лулу — старшего брата отца). В частности, свою заботу обо мне мама недели за две до кончины выразила в том, что она пожелала заплатить те долги, которые я понаделал — исключительно на почве моей книгомании. В кпиж-ных магазинах Эриксона на Вознесенском и Вольфа в Гостином дворе я забирал книги пудами, не имея сил устоять перед соблазном войти в обладание того или иного труда по истории искусства —особенно тогда, когда такой труд был богато иллюстрирован. Счета в обоих магазинах выросли до таких сумм, что мне становилось все более и более стыдно в них признаться, особенно ввиду того, что на свои прихоти я получал вообще гораздо больше, чем все мои товарищи. Но в этом (последнем) разговоре мама добилась-таки того, что я покаялся в своих грехах, и, слегка пожурив меня, она тут же выдала мне на руки всю сумму, присовокупив, чтобы я вперед, когда ее не будет, был более благоразумным. Увы, эту ее

просьбу я не исполнил и от данного порока не избавился и по сей день.

Как ужасно я ошибся, когда истолковал приговор консилиума в оптимистическом смысле, воображая, что перед нами еще несколько месяцев совместной жизни с мамой, а там, бог даст, она и совсем поправится.

22**

664

III, J3. Смерть мамочки

Вечером *того же дня* мамы уже не стало... Она продолжала лежать одетая на диване в кабинете. Было около девяти часов; казалось, что мама тихо отдыхает, вся же остальная семья собралась в соседней столовой вокруг чайного стола, причем я был занят разглядыванием только что полученной от Вольфа книги. Все говорили полушепотом, чтобы не будить маму, не прерыьать ее благотворного сна. И тут-то уютную тишину прорезал дикий, какой-то *свирепый* вопль. Это не был крик, а это был *нечеловеческий звук,* более всего похожий на тот, что получается, когда разрывают полотно. Все обомлели и не знали, что подумать. Но сомнения не оставалось, звук исходил из кабинета, его произвела наша тихая, терпеливая, выносливая мамочка! Звук выражал какое-то чудовищное страдание. И все поняли, что это Смерть расправляется со своей жертвой; смерть душила нашу обожаемую, и не было никаких средств помочь, отогнать страшную гостью. Когда мы ринулись в кабинет, то мамочка была еще жива, и она с выражением ужаса на лице обвела нас глазами... после чего как-то съежилась и затихла. Мамы с нами более не было.

И как странно, что, переживая этот самый трагический момент своей жизни, точнее, свой *первый* действительно трагический момент, я все же не утратил сознания того, что вокруг меня происходит. Я даже успел *удивиться* тому, что это так, и что мои глаза не наполняются слезами, тогда как у меня па плече рыдала сестра Катя. Мне казалось, что я как-то отодвинулся в сторону и гляжу на какую-то сцену, *прямо* до меня не касающуюся. В этом было что-то мучительное и уродливое. Я бы хотел, чтобы меня *одолело* горе, но эта реакция медлила явиться — я точно весь окаменел. И вдруг блеснула мысль — а что если еще не все потеряно, если еще можно вернуть к жизни мамочку. Скорей доктора! Ближайшего!.. Я как раз случайно запомнил адрес какого-то доктора на углу Торговой и Мастерской, к нему я и помчался пешком, не теряя ни мипуты, даже на то, чтобы одеть пальто. Но доктор, услыхав мой рассказ, промолвил: «очевидно, смерть от удара». Все же он уступил моей мольбе и последовал за

мной. Но ни малейших признаков жизни не оставалось, и тело успело остынуть. Та, которая меня родила, частью которой я когда-то был, паша обожаемая, столь отзывчивая, столь заботливая, столь любящая и жизненная мамочка — была теперь бездыханным трупом.

И сразу, как только доктор констатировал несомненную смерть, мамой стали распоряжаться, как какой-то вещью. К счастью, то выражение, которое несколько исказило ее милые черты в момент смерти, сгладилось... Поразило меня, что, как шестнадцать лет до того, когда умер брат Иша, папочка и теперь не плакал, а между тем для него кончина верной и обожаемой подруги жизни означала конец всякого земного счастья. И как тогда, папа и теперь, вероятно, чтобы отвлечься, сразу занялся устройством последнего ложа мамочки на сей раз в зале. Уже через час его Камилунза, одетая в свое шелковое сиреневое платье (перешитое из перекрашенного подвенечного) лежала на большой доске, положенной на два табурета и задрапированной простынями, а в головах папа н на сей

Ill, 13. Смерть мамочки

раз установил большое скульптурное распятие, висевшее обыкновенно в спальне. В ногах горели в бронзовых шандалах свечи.

Тут произошла еще одна раздирающая сцена. Кто-то из близких (вероятно, Женя Лансере) съездил в Малый театр, чтобы сообщить бабушке печальную весть. Как раз на сцене Элеонора Дузе переживала горькую судьбу Маргариты Готье, и драма близилась к концу. Бабушке не суждено было увидеть этот конец — мама сдержала слово: она показала нам, «как умирают». На звонок приехавших из театра отворил дверь я. Но бабушка не сразу вошла, а как-то попятилась и замахала на меня руками. «Нет, нет,— приговаривала она,— это неправда, она жива. Камиль не могла умереть!» Когда же она убедилась, видя наш сокрушенный вид, что больше ни надежд, ни сомнений нет, она резко повернулась, точно собираясь пуститься в бегство, а затем в полуобмороке опустилась на подоконник лестничного окна и там зарыдала...

Мне было приятно, если вообще что-либо могло быть в такие минуты *приятно,* что вместе с бабушкой прибыл ее внук, сопровождавший ее в театр, Сережа Зарудный. Несмотря на разницу лет между нами, мы за последние годы очень сблизились. За семейными обедами я норовил всегда оказаться рядом с ним. Видимо, и он был заинтересован своим молодчиком кузеном. Он недавно окончил Правоведение и теперь уже состоял

на службе. В наших беседах «будущий прокурор» сказывался в том, что Сережа охотно переходил на тон своего рода допроса, задавая мне иногда и очень недискретные, смущавшие, а то и злившие меня вопросы. С другой стороны, эта его манера располагала меня сводить нашу беседу на темы более задушевного или даже «покаянного» характера, это отвечало моей тогдашней потребности «выяснять себя», изливаться... Некоторое преимущество Сережи перед моими друзьями заключалось в самом факте его близкого родства — в том, что он знавал меня «всегда», с незапамятных времен и *в нашей, обычной для обоих* семейной обстановке. И вот в этот ужасный, самый ужасный из пережитых мной вечеров, появление Сережи оказалось если не утешением, то каким-то «отводом». Пока шли печальные приготовления, пока мамочку, при жизни не терпевшую посторонней помощи, мыли и одевали, я с Сережей удалились в мою комнату и завели привычную беседу. И на сей раз он не совсем бросил свой «прокурорский тон», не обошлось и без свойственных ему (или вообще русским людям?) бестактных расспросов; он не уставал доискиваться, как именно все произошло, в чем именно выразилась агония, как отнеслись к смерти папа и мы все. И вот даже наименее тактичные вопросы оказывали на меня своего рода благотворное действие, они помогли мне излиться, мой подробный рассказ Сереже как бы заменил те слезы, которые так и не явились в облегчение давившему меня горю.

Когда мы снова увидали мамочку, то она уже лежала в зале; черты ее лица приняли свойственное ей выражение какой-то ласковой сосредоточенности. Казалось, что она спит и тихо радуется тому, что ей грезится. Это выражение запечатлела и фотография, снятая на следующий день, и та гипсовая маска, которую сформовали с нее наши знакомые скульп-

торы Обер и М. В. Харламов. В самый вечер кончины мамочки меня поразило еще одно обстоятельство, носившее определенно таинственный характер. Проходя по столовой около полночи, я по привычке взглянул на циферблат больших стоявших в углу часов, и к удивлению своему увидел, что стрелки показывали без двадцати девять — иначе говоря, часы остановились в ту самую минуту, когда мамочка испустила последний вздох...

* * *

Из моего приготовления к переходному экзамену, который был назначен на ближайший понедельник, разумеется, пичего не могло выйти, и я решил обратиться лично к профессору Вредену, не сделает ли он, ввиду столь особенного случая, исключение для меня, не отложит ли мой экзамен на несколько дней? С этой просьбой я и отправился к нему в субботу под вечер на дом {жил он где-то на Загородном или па Звенигородской), рассчитывая на то, что этот добродушный шутник, забавлявший аудиторию смешными анекдотами и отличавшийся большой снисходительностью на экзаменах, отнесется ко мне благосклонно. Вреден выслушал меня с видом полного сочувствия, однако отложить мой экзамен отказался, так как это было бы против всех правил. При этом, однако, он обнадежил меня, что «это будет не так уже страшно...» В понедельник, едва успев еще раз пробежать его учебник, я пошел в университет в полпом смятении 3*. Но Вреден сдержал слово: он предложил мне такие вопросы, на которые и человек, никогда ничего о политической экономии-не слыхавший, сумел бы все же что-нибудь ответить; да он и не дожидался моих ответов, а сам за меня проговаривал все то, что нужно, делая вид, что он как бы проверяет мой ответ про себя. Я был готов обнять старика.

В субботу вечером, в сумерках, состоялся вынос. Мамочка уже лежала в гробу все такая же ясная, ласковая; никаких признаков смерти не обнаруживалось. И даже не побледнели два крошечных родимых пятнышка наверху лба у самых волос, одно синенькое, другое красное; я эти пятнышки знал с самых ранних лет и ежедневно целовал их по очереди, когда «мучил» маму своими ласками. Около восьми часов при большом стечешш людей (пришли и все мои друзья) пэр Лагранж отслужил полагающуюся службу и произнес надгробную речь. Дядя Миша Кавос был от нее в восторге. Он не уставал повторять одну и ту же фразу: «непобедимо то войско, в котором и простой солдат способен с таким достоинством нести свою службу». Па меня же этот образец церковной элоквенции не произвел того же впечатления — уж очень чувствовался в нем под оболочкой простоты и почти грубости (нн ton bourru*) известный «прием». С виду же пэр Лагранж, высокий, худой, с предлинной седой бородой, был очень эффектен, он скорее напоминал своим видом капуцина, нежели доминиканца.

а* Это было в самый день похорон, но теперь я забыл, побывал ли я в университете

утром до полудня или часов около четырех уже после погребения. * Суровый тон *(франц.)*.

Ill, IS. Смерть мамочкиgg¶

В половине девятого повезли маму в церковь св. Екатерины по столь мне знакомому пути, по которому я с мамой часто ходил — через Поцелуев мост, мимо казарм Флотского экипажа (где еще продолжали жить родители Ати), мимо реформатской церкви, которую я с той же Атей посещал когда-то каждое воскресенье, мимо магазинов, в которых мама покупала мне облюбованные игрушки, мимо величественного дворца Строганова, мимо Казанского собора.

Две ночи гроб с мамой простоял в особой капелле при церкви св. Екатерины, в понедельник же 15 апреля состоялось погребение. Утром была получена телеграмма от Альбера из Каира, куда он отправился тотчас же после того, что в Крыму обвенчался с М. В. Шпак. Альбер умолял отложить похороны до его возвращения, но уже было поздно отменить все распоряжения. Отпевание происходило в церкви, куда мама меня водила на уроки катехизиса пэра Женье. Наша многочисленная родня и еще более многочисленные знакомые почти заполнили храм; вокруг гроба, заваленного цветами, служили в своих траурных облачениях три священника, а хор Мальтийской церкви под мощные громы органа исполнял прекрасный «Реквием» Гуммеля. Все получилось торжественно и благолепно, но, пожалуй, не во вкусе той, во имя которой происходила вся эта помпа, и мне точно слышались ее попреки: зачем все это? «Pourquoi toutes ces dépenses inutiles?» * Все же я лично был доволен, что так почтили нашу дорогую мамочку, что папочка отказался на сей раз от своей обычно утрированной скромности, дабы всенародно выразить свою любовь к верной, но покинувшей его (согласно его убеждениям, не навсегда) подруге. Стояла солнечная, почти летняя погода, но по Неве все еще неслись льдины Ладожского озера, с грохотом ударявшиеся об каменные устои Литейного моста. За гробом шла густая толпа, которая почти не разредилась до самого Выборгского кладбища, а в подвальное помещение кладбищенской церкви, где в левом приделе находится (находится ли еще?) наш фамильный склеп, лишь одна треть провожавших смогла проникнуть. Плиты, прикрывавшие самую могилу, были уже отвалены, рядом лежали кучи земли и песка, а прямо под ногами зияла темная дыра, в глубине которой едва виднелись металлические гробы — один — Ишин — довольно большой, и два детских, в которых покоились умершие в младенчестве моя сестра Луиза и моя племянница Катя Лансере. Когда-то голая задняя стена склепа теперь была украшена недавно прибывшим из Италии мраморным узорчатым алтарем, изваянным по рисунку папы в готическом, итальянского типа стиле; середину его занимала копия на фарфоре с фрески Беато

Анджелико, исполненная сестрой Катей. Папа и теперь не плакал, но несомненно ему хотелось бы, не откладывая, лечь туда же; жизнь ему должна была отныне казаться жестоко одинокой и какой-то бессмысленной. Увы, те же чувства владеют-теперь мной, ибо и меня 30 марта 1952 г. покипула обожаемая моя Атя..,

* К чему все эти бесполезные траты? *(франц.)*.

6ß8*M$ 1½· Воссоединение с Area*

Глава 14 ВОССОЕДИНЕНИЕ С АТЕЙ

Первые месяцы после нашей разлуки (в феврале 1890 г.) мне было очень тяжело. Несмотря на несколько навязанных себе увлечений, я все же мысленно и в душе часто возвращался к той, которая в течение трех лет была моим сердечным другом и с которой, будучи еще совершенно юным, я серьезно думал соединить свою жизнь. Постепенно все же рана зарубцевывалась, и осенью 1890 г., после ряда случайных встреч с Лтей то в театре, то у ее сестры Маши, мне казалось, что ее общество я «ощущаю» не иначе, нежели общество ее сестер или других дам. Как раз в ноябре я решил окончательно «ликвидировать это прошлое» и уничтожить всякие его следы, а в первую же очередь — нашу переписку. Как Атины письма ко мне, так и мои к ней — все находились у меня; мы не бросали и малейшей записочки, считая, что когда-нибудь нам доставит особую радость все это перечесть. Ну а тут я решил, что все это прошлое прошло окончательно.

Писем было много. Особенно пространными были те, которыми мы обменивались в периоды, когда мы почему-либо встречали затруднения для личных свиданий. Усилению переписки способствовали и ссоры, особенно те, которые носили более серьезный характер п все же кончались миром. Надлежало тогда или ей или мне (смотря, кто из нас первый сознавал свою вину) объясниться, и эти объяснения доверялись бумаге. Но таких объяснительных и пространных посланий было не так уж много; главным образом переписка состояла из коротеньких, в несколько слов заметок, сопровождавших обыкновенно посылку какой-либо книги. Бывало и так — не успею я вернуться домой после нескольких часов, проведенных с милой, как уж потребность снова с ней побеседовать одолевала меня в такой степени, что я исписывал несколько листов, и снова дворник Аким, получив двугривенный за труд, шагал с одного конца Никольской до другого, с тем же приказом не уходить, пока «барышня не напишет ответа».

Всю эту корреспонденцию я и решил уничтожить, но

предварительно мне захотелось снова заглянуть в это прошлое, и поэтому прежде чем бросить письмо в пылающий камин, я его перечитывал. Естественно, что это лучше личных встреч стало вызывать в памяти всю прелесть нашего романа, все «родство нашнх душ и сердец». Вначале я думал посвятить закадычного друга Валечку в это минувшее й прочесть ему наиболее характерные из этих писем — благо мы оба тогда увлекались «Nouvelle Hé-loïse», «Liaisons dangereuses» * и другими эпистолярными романами. Но чем глубже меня трогало то, что я читал, тем меньше я чувствовал желание посвящать в этот замкнутый интимный мир кого-либо постороннего. Показалось даже, что это было бы своего рода профанацией. Тщетно

* «Новой Элоиэой», «Опасными связями» * *(франц.)*.

ill, 14. Воссоединение с Атей

669

любопытный Валечка напоминал мне о таком обещании, я находил всякие предлоги, чтоб откладывать прочтение, и так я своего обещания и не сдержал.

В эту осень 1890 г. я раза три видел Атю то у ее сестры, моей бывшей belle-soeur Марии Карловны, то у другой ее сестры, Сони Вальдштейн, но эти встречи ничем особенным в моей памяти не запечатлелись. Первая же моя встреча с ней одной произошла как раз вскоре после того, что я сжег последнюю партию наших писем. Эта встреча, хоть и не успела привести к какому-либо значительному обмену мыслей, все же запомнилась мне как нечто «чреватое последствиями». В самом факте, что это произошло на студенческом балу (точнее, на концертном отделении, предшествовавшем танцам), что я, никогда раньше таких общественных увеселений не посещавший, на сей раз, неизвестно почему, все же на этот вечер отправился, можно при желании узреть некий «перст судьбы». Попал же я на бал в качестве студента-распорядителя, не сумев отказаться от этой навязанной каким-то товарищем обязанности. Со своей стороны, и Атя, которая тоже не имела обыкновения посещать общественные балы, явилась на концерт просто потому, что жила (у сестры) ß доме, соседнем с залом Дворянского собрания, и ее чем-то заинтересовала программа концерта.

Я заметил Атю, стоя на верхней площадке лестницы, где нам, распорядителям, падлежало встречать и отводить на места особенно почетных гостей. Именно за такую почетную гостью я счел свою бывшую невесту и провел ее в первый ряд кресел. Атя была в тот вечер необычайно мила; ей очень шло скромное, но элегантное платье, привезенное ей из Парижа **. Я был чрезвычайно (себе на удивление) обрадован ее неожиданным

появлением и, усадив ее в первом ряду, сам присел на соседнее место. Никаких дальнейших намерений у меня не было, но почему-то мне стало сразу как-то особенно приятно на душе. И Ате, как она мне потом рассказывала, эта встреча, при всей своей неожиданности, оказалась приятной. Она ласково отвечала на мои расспросы и делилась впечатлениями от того, что мы слушали. Все же после первого отделения она объявила, что уходит, я же (все при том же «отсутствии дальнейших намерений») вызвался ее проводить, причем, ввиду близости Атиного дома, я не счел нужным, несмотря на январский холод, надеть пальто. Беседа наша во время этого перехода продолжалась не более трех минут, и мы ничего не успели друг другу сказать особенно интересного, но все же ответы Ати наполнили мне душу каким-то знакомым, но давно не испытанным ликованием, а вернувшись в зал, дальнейшее присутствие на балу показалось мне вдруг бессмысленным, и я под предлогом нездоровья отказался от дальнейшего исполнения своих распорядительских обязанностей.

** Вскоре после нашего в 1889 г. разрыва сестра Маша увезла Атю в большое путешествие по Европе. В Париже, где тогда была Всемирная выставка, они пробыли около месяца. Кроме того, они посетили Нормандию, марсельское побережье, Венецию и Вену.

§70*H?t 14- Воссоединение с Атей*

В течение зимы 1890—1891 г. я посетил Марию Карловну раз пять и раза три побывал у Вальдштейнов, но я готов был поклясться, что эти посещения вовсе не были вызваны желанием встретить там Атю, просто мне было там, среди с детства близких людей, по-домашпему приятно. С другой стороны, несомненно, что присутствие Ати придавало этим посещениям особую прелесть. Теперь она уже год как находилась на службе в том же «Съезде железных дорог» 2, в котором служил ее зять Вальдштейн, и это он ее туда и определил. Почти весь служебный персонал в «Съезде» состоял из дам и барышень очень приличного общества, самая же служба — сверка каких-то ведомостей, была вовсе не трудная. Ате эта служба была по вкусу, тем более, что она помещалась в доме Жер-биных, в котором жили и Вальдштейиы, в двух шагах от ее теперешнего жилища (в доме Бодиско на той же Михайловской площади). Жалованье было скромное, но позволяло ей иметь, живя на всем готовом у сестры, кое-какие собственные «карманные» деньги и одеваться на свой счет. Впрочем, последний вопрос не должен был ее особенно беспокоить. Модницей она никогда не была, а гардероб великой франтихи Марии Карловны, с которой она была одного роста, был к ее услугам. Все, в чем старшая сестра

разочаровывалась (а разочаровывалась она очень быстро), поступало в распоряжение младшей. К тому же, Мария Карловна нежно любила Атю и, будучи натурой широкой, выражала свою любовь во всевозможных щедротах.

Я не был посвящен в то, чем была Атя занята вне службы, я только знал, что она теперь увлекалась пением и между прочим разучивала партию Аиды. Раза два она и ее партнер Густя Вальдштейн, обладавший несколько петушиным тенорком, при участии еще кого-то в роли Амонас-ро, угощали меня «Сценой на Ниле», причем я заметил, что у Ати если не сильный, то все же приятный тембр и очень тонкий слух.

Насколько в этот период я все еще был далеко от мысли, что наш роман может возобновиться, показывает то, что, когда Мария Карловна (это было, вероятно, в середине марта) с веселым видом предложила поздравить Атю. объявив, что «она у нас невеста», я в ту минуту никакого укола не почувствовал и пожелал счастья *своей* бывшей невесте совершенно искренно.

Вероятно, однако, где-fo в подсознательном эта весть прошла не даром, и там, в глубине моего «я», возникла тогда же тревога. Возможно даже, что *там* стал вырабатываться целый план действия. Роль свахи в этом предстоящем браке сыграла Мария Карловна, «откопавшая» вовремя одного из своих посещений Москвы {куда она ездила по своим музыкальным делам) какого-то богатого (не старого) инженера по фамилии Сергеев, мечтавшего обзавестись семьей. Этот Сергеев недавпо приезжал в Петербург специально чтоб познакомиться с предполагаемой невестой; Атя ему очень понравилась, и он сразу сделал официальное предложение; и Ате он «не показался противным», и под влиянием сестры она дала свое согласие. Тут же была отпразднована помолвка, выпито шампанское, и жених подарил невесте колечко, после чего будущие молодые обменя-

Ill, 24, Воссоединение с *Атей*

лись поцелуями. На обороте своей фотографической карточки, поднесенной тогда же «невесте», Сергеев написал подобающее посвящение, причем, однако, Атя была названа Анной Карловной и обращение было к ней на «вы». На карточке был изображен молодой господип лет тридцати пяти с маленькой светлой бородой и типично русским лицом. Мне он показался «скорее симпатичным», и я подумал тогда, что Атя может найти с ним свое счастье, обеспеченное к тому же очень крупным состоянием. В глазах же Марии Карловны эта партия представлялась, разумеется, куда более завидной, нежели брак с «необеспеченным художником».

Но вот «подсознательное» все же этого дела «так не оставило». Не прошло и полной недели со смерти мамочки, как некая необъяснимая сила толкнула меня в объятия моей бывшей возлюбленной, и когда я говорю про *силу* и про то, что она *толкнула,* то это не фраза, а сущая и простая правда. В невыносимой своей тоске по мамочке я, естественно, искал утешения и надеялся, что найду таковое в обществе Ати и ее сестер, и потому в среду 17 апреля я и отправился к Марии Карловне, но, не застав никого дома, прошел к Вальдштейнам. Совершенно случайно туда же зашла и Атя, и тут я почувствовал странную *радость,* ту же радость, которую я уже испытал, заметив ее в толпе подымающихся по лестнице Дворянского собрания. Когда Атя предложила кончить вечер у Марии Карловны, я охотно за ней последовал.

У Марии Карловны к тому времени собрались гости, но они сидели в столовой, и там шел очень оживленный разговор. Мне же, в моем пе-чальпом настроении, было не до шума и веселья, и потому, отказавшись от чая, я сел на оттоманку в соседней полутемной гостиной, куда ко мне, на ту же оттомапку, подсели с одного боку Атя, с другого паша «общая» племянница Мася2*. Из хорошепькоп девочки Мася за этп два года превратилась в прелестную отроковицу. Она нежно любила свою юную тетушку, да и ко мне питала, по старой памяти, очень дружеские чувства. Таким образом мы трое, рядом сидевшие, были связаны между собою какими-то родствеппыми п духовными узами, и мне в моем настроении только это и было нужно. Тихо беседуя, я чувствовал, как горестная мука, сжимавшая мое сердце, начинает слабеть, как от меня удаляется тот могильный холод, который леденил все мое существо за последние шесть днен. Не могу вспомнить, о чем мы говорили и как долго длилась наша беседа, но первой встала Мася, и тогда, испытывая известную неловкость дольше оставаться вдвоем с Атей, поднялся и я. Тут и случилось «роковое». Все еще без какого-либо «сознательного плана» я нагнулся к Ате, она потянулась ко мне, и наши уста слились в долгом поцелуе. При этом не было сказано ни слова, но мы оба сразу почувствовали, что

Марии Алъбертовпе Бенуа, старшей дочери моего брата (будущей* супруге Н. Н. Череппина) было в том году четырнадцать лет. Она жила у матери, куда гол тому назад самовольно *перебежала* через весь город. Случилось это вскоре после того, что она и ее сестра Камилла были взяты их отцом из Смольного института, в котором обеим сестрам уж очень не понравились некоторые царившие там правы.

£72W> 1½` Воссоединение с Атей

снова соединены, что две разрозненные половинки сомкнулись, что наша продлившаяся два года разлука кончилась... Уходя, я еще только успел шепнуть Ате, что на следующий день, в гакой-то час, буду ее ждать у ее дома. Странное дело, я и теперь еще не вполне сознавал свое счастье; во мне водворился лишь удивительный покой, точно я испил какого-то целительного зелья, которое разлилось по всему моему душевному составу. Эту умиротворяющую гармонию я особенно ясно ощутил, когда я уже лежал в постели. Все последние дни моменты засыпания были особенно мучительны. Потушив лампу и закрыв глаза, я долго пребывал в отвратительном полубредовом состоянии, то погружаясь на несколько мгновений в черное небытие, то снова возвращаясь к действительности, одинаково беспросветной. Или еще меня посещали кошмары, один хуже, страшнее другого, и я просыпался в холодном поту. В эту же ночь после поцелуя я заснул сразу и в следующие вечера, стоило мне обратить свои думы к Ате, как возобновлявшееся было полубредовое состояние переходило в блаженный покой и отдохновение.

Наше первое условленное свидание прошло все в прогулке. Мы оба были вне себя от радости, что снова нашли друг друга, но никаких планов на дальнейшее мы не делали. К чему было заглядывать в будущее, когда самое главное свершилось, и наше воссоединение наполняло нас предельным счастьем? Атя в подробности, но в шутливом тоне, рассказала о своей помолвке, о своем «симпатичном» женихе, в нескольких словах коснулась и того, что происходило с ней за истекшие два года. Не скрыла она и своих мимолетных и совершенно бесцветных увлечений. Я не пожелал отставать от нее в своей исповеди и (должен покаяться) кое-что приврал, так как явилось желание немного «расцветить» рассказ про свое, в общем довольно-таки тусклое существование. Однако, разумеется, ни я ей, ии она мне никаких упреков за эти (в общем довольно невинные) признания не сделали. Мы не имели на то ни малейшего права, так как, расставаясь, даровали друг другу полную свободу. Одно наиважнейшее решение было все же принято Атей тут же и по собственной инициативе. Она решила объявить Марии Карловне, собиравшейся на ближайших днях везти ее в Москву знакомиться с семьей жениха, что она от поездки отказывается. Мария Карловна попробовала было протестовать, но Атя выказала на сей раз непоколебимую твердость, и Маша, рассердившись, оставила ее в покое и поехала одна. Все же, когда она вернулась дней через десять из Москвы, то стало немыслимо дольше скрывать создавшееся положение. Возмущению, что Атя собирается упустить «чудесную партию»,

которую она ей подыскала, не было пределов.

В конце мая обе сестры, а вместе с ними и Атя, переселились на дачу — на Крестовском Острове. Я и туда несколько раз ездил. Однако я предпочитал видеться с моей «новонайденной» в Летнем саду; через него как раз лежал ее путь от службы (отпуск кончился) до пристани того пароходика, который ее доставлял на Крестовский. О, эти чудесные прогулки в Летнем саду!

*Ill, 14. Воссоединение с Атей*673

Постепенно мы изучили каждую аллею, каждую статую, каждое дерево. После «приятия в душу» «Пиковой дамы» Летний сад стал для меня чем-то родным; теперь я уже знал и все его прошлое, он населился для меня милыми призраками, а такое население окружающей действительности тенями было чем-то свойственным как мне, так и Ате. Любимой нашей аллеей была та, что тянется вдоль Лебяжьей Канавки, отделяющей Летний сад от Марсова поля. Часы за часами уходили, а мы все еще не могли нагуляться и наговориться. Лишь когда долгий весенний вечер начинал заметно темнеть, мы спохватывались, и Атя почти бегом устремлялась к пароходику. Среди всего того, что мы считали особенно важным друг другу сообщить, значительное место занимали всякие художественные впечатления. Атя в подробностях рассказывала мне о своей первой заграничной поездке, я ей рассказал про свое путешествие но Германии. Но особенно меня тянуло скорее поделиться моими музыкальными, живописными и литературными увлечениями. Очень многое среди этого было чем-то совсем новым для моей подруги. Мой культ Беклина только начипался в момент нашей разлуки, и совсем новостью для нее было мое увлечение Вагнером, а также Чайковским, Бородиным и вообще русской музыкой. Без конца я описывал красоты «Спящей красавицы», «Пиковой дамы» и «Князя Игоря»; ничего из всего этого Атя не видела и не слыхала,— приходилось отложить ознакомление с этим до осени, когда театры вновь откроются.

Впрочем, я как-то привез на Крестовский клавиры и «Спящей» и «Пиковой», и там за разбор их я засадил самое Марию Карловну, как музыкантшу более опытную, но ни она, пи Сопя не оценили этой музыки и даже стали пад нами насмехаться. Я приносил с собой в Летний сад и охапки книг, и мы тут же на какой-либо укромной скамейке их разглядывали, По воскресеньям мы посещали Эрмитаж или Музей Академии художеств3. Часть художественных книг Атя увозила с собой для лучшего ознакомления. Очень были удивлены и возмущены сестры, увидав как-то в Атииых руках желтенький томик из серии «Ругоп-Маккаров» Золя. Предубеждение против Золя и его

«порнографии» было в те дни еще так велико, что даже совсем взрослым барышням и дамам было предосудительно читать его романы.

Сейчас тогдашнее наше действительно «бешеное» увлечение Золя может показаться странным. Когда я теперь иногда пробую прочесть столь меня волновавшие его книги, то очень скоро мне становится *скучно,* и скучло главным образом потому, что слишком видно, как *это сделано,* les procédés, ìes ficelles *. Это мешает *верить* автору. Его мастерство заслоняет самую рассказываемую историю, а герои получают характер марионеток; слишком видна их вымышленная с какой-то целью природа. Но в те времена, хотя я и считал себя совершенно зрелым знатоком жизни, все же я слишком мало и плохо знал ее, причем так стремился ее познать. И так был благодарен «Золаше» за то, что он меня систематически

* Приемы, ухищрения *(франц.) „*

с ней знакомит, что никаких таких недостатков я в нем не замечал. Вся наша дружеская компания разделяла мой восторг от Золя, и надо признать, что он нас познакомил с великим множеством вещей и обстоятельств. Нам нравились и самые его шаблоны и клише. Их легче было усвоить, нежели сложное, субтильное плетение Бальзака, Флобера или Стендаля. Нам импонировал и самый принцип творчества Золя, его проповедь натурализма и ничем не прикрытой правды. Во имя такой программы можно было простить и некоторые бросающиеся в глаза преувеличения, часто и безвкусные. Всего охотнее мы прощали пресловутые длинноты Золя — ведь они продлевали наслаждение от чтения его романов З*.

Были мы ему благодарны и за его проповедь в пользу передового искусства, но тут покамест приходилось верить ему на слово, что, впрочем, не мешало этой пашей вере быть пламенной. Что же касается нашего другого культа — Беклина, то ныне никак нельзя себе представить, *какое ошеломляющее* действие в свое время производили его картины. Их, по крайней мере, мы видели в прекрасных воспроизведениях; я же лично видел их и в оригиналах во время своего путешествия по Германии. С тех пор искусство Беклина удивительно устарело, оно как-то выдохлось, испошлилось именно благодаря тому успеху, который оно имело во всех слоях общества и не только в Германии. Я помню, например, что И. Е. Репин мне как-то раз (в 1891 или 1892 г.) заявил: «А знаете ли, Александр Николаевич, ведь это, пожалуй, самый великий художник нашего времени!» Враги Беклина видят

именно в этом всеобщем успехе Беклина доказательство какой-то низменности его искусства. Но в таком случае все, что теперь (в 1950-х годах) имеет равный тому успех — все, начиная с тех же импрессионистов и кончая Пикассо, Руо, Шагалом и прочими богами нашего времени, все это, тоже пользующееся успехом еще более распространенным, должно тоже подвергнуться переоценке и сдаче в архив.

Я должен, во всяком случае, признать, что Беклин открыл глаза на *самую жизнь* природы. И не в том смысле, что он олицетворил всякие ее элементарные силы, а в том, что он как-то *понял* дерево, листву, воду в разных ее состояниях; он пашел новые *интенсивные* краски для неба, для скал, для листвы, для далей, для изображения простора. Сколь многое, увы, он же сам затем портил своими топорными мифологическими фигурами, и — что еще хуже — своим «чересчур германским» юмором. Но те картины, в которых этих искажений и такого проявления дурного вкуса нет (их наберется десятка три — что очень много), остаются *ис-*

Путаную генеалогию «Ругон-Маккаров» мы выучили наизусть; нам опять-таки нравилось то, что перед нами не выхвачен один какой-то фрагмент жизни, а каждый раз представлен целый мир, целый общественный класс, в общей же сложности — «вся культура нашего времени». Любимыми нашими романами были «La Curée», «Pot Bouille», «l'Oeuvre» [«Добыча», «Накипь», «Творчество»]. К ним прибавилась «La bêie humaine» [«Человек-зверь»], особенно же сильное впечатление произвела «La debacle» [«Разгром»].

*Ill, 14. Воссоединение с Атей*675

тинными жемчужинами, полными подлинной поэзии. Недаром мы находили тесное родство Между ними и стихийной музыкой Вагнера.

Характерно для нашего увлечения Беклином то, что тогда я затеял сделать в довольно большом формате копию акварельными красками с той картины Беклиии, воспроизведение которой я случайно увидел в каком-то увраже и с которой (в 1888 г.) и началось мое знакомство с мастером. Это был знаменитый, ныне вконец испошленный «Остров Смерти»4*.'Свою копию я делал не с оригинала, который находился в частном собрании (кажется, майора Гейля), а с небольшой репродукции в журнале «Die Kunst für Alle» *. При этом я старался избежать того, что мне запомнилось от варианта на ту же тему, виденном мною в Лейпцигском музее (отчасти для этого я и заехал в 1&90 г. в Лейпциг). Меня огорчило в этой картине уж «слишком» что-то нарядное как в сочности красок, так и в виртуозной технике. Это «щегольство»

нарушает основную строгую и печальную поэзию этой как-никак удивительной и даже гениальной, но, повторяю, испошленной композиции. Напротив, в своей копии я старался подчеркнуть уныло-безнадежную мрачность всего. Работая над ней, я до того вжился в этот сюжет, что мне начинало казаться, будто я сам побывал на этой одинокой скале, будто я изведал все закоулки ее, будто вдыхал терпкий, смолистый запах этих черных кипарисов, будто слышал гудение ветра в их густой листве. Характерно и то, что я именно эту свою работу, вставленную в черную рамку, поднес тогда же моей возлюбленной, что было встречено ее родными с полным недоумением. Им показалось, что я просто сумасшедший: кто же, обладающий здравым смыслом, сделает такой подарок своей «даме сердца»? Вообще и во всяких других наших тогдашних увлечениях близкие люди постарше видели что-то донельзя нелепое, больное и уродливое. Мой культ Беклина, равно как и мой культ Вагнера, почитался не то мальчишеской блажью, не то «позой». Великой радостью зато было для меня то, что в совершенно равной степени разделял мой восторг милый Артюр Обер и вполне одобрял меня в данном случае дядя Миша Кавос, О мнении Репина я уже упомянул.

4* Я так и вижу ироническую улыбку читателя4 при напоминании об этой картине, ставшей «убранством любой швейцарской». Должен сознаться, что я вооружился здесь особым мужеством, чтоб сделать подобное признание. * «Искусство для всех» *(нем.)*.

Глава 15

НАША НЕГЛАСНАЯ ПОМОЛВКА.

ЛЮТАЯ ЗИМА 1892 г. НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ:

ДЕСМОНДЫ, БИРЛЕ, НУРОК. МОЯ ГЛАВА В КНИГЕ МУТЕРА

Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и бесповоротно отказывается от этого брака. Однако, как это ни странно, мы сами между собой все еще не касались вопроса, который, казалось бы, находился в прямой зависимости от нашего воссоединения. Мы вообще избегали говорить о нашем общем будущем; видимо, мы были до того проучены теми стеснениями, которые мы на себя наложили, едва выйдя из отроческого возраста, что теперь всячески остерегались повторять подобную ошибку. Все же по прошествии двух месяцев мы этого вопроса коснулись, и, естественно, что ответ у обоих был один и тот же: жить мы друг без друга не можем, и мы навсегда должны принадлежать друг другу. Эта наша «негласная помолвка» произошла перед одним из самых восхитительных видов в окрестностях Петербурга. Нагулявшись по той части петергофского парка, который расположен вокруг павильона Озерки, закусив в сторожке при «Двуглавом орле», мы отдыхали теперь па лавочке одной из крестьянских изб, что тянулись сплошным рядом по гребню невысокого холма. Это было 8 июня 1891 г. (ст. ст.). Стоял восхитительный тихий, теплый вечер. Восточный небосклон был покрыт нежно-розовыми облаками, но они не сулили ни грозы, ии дождя, а, казалось, расположились только для того, чтобы наполнить картину каким-то сладостным и радостным обещанием. Дали, расстилавшиеся на много верст вокруг, были частью освещены лучами низкого солнца, частью тонули в прозрачной голубоватой тени. Совсем на горизонте блестел купол Исаакия, ближе возвышалась «папина» готическая башня Петергофского вокзала, за ней из-за густых масс зелени горели золотые маковки Большого петергофского дворца. Наконец, у наших ног расстилались луга и зазеленевшие поля. Вероятно, во всей деревне никого не оставалось — все, и стар и млад, ушли на полевые работы. Нигде никто не показывался, ниоткуда не доносилось ни говора, ни криков, ни даже лая собак. Тишина казалась завороженной, точно все было нарочно для нас устроено. И в этом одиночестве среди необъятного простора, перед бесподобной красотой природы, в окружении всей нами

любимой поэзии прошлого, мы (пока только для себя) объявили себя женихом и невестой, дав от всего сердца обещание, что будем навеки принадлежать друг другу.

*HI, 15. Моя глава в книге Мутера*677

Эту клятву мы и сдержали свято... если не считать того, что моя подруга меня первая внезапно покинула !* .

Я уже рассказал про определенно несочувственное отношение родни Ати, главным образом ее сестер к возобновлению нашего романа. Но и на моей стороне подобное же несочувственное отношение привело к нескольким столкновениям, из которых особенно мучительными были ссоры, произошедшие между мной и моими двумя старшими братьями. Главным поводом к этим ссорам было то, что я не пожелал отправиться в Финляндию на рождение папочки 1 июля. Альбер и Леонтий (справедливо) обиделись за нашего отца, и это мое манкирование было, не без основания, приписано моему нежеланию расставаться с Атей, Дело в том, что на сей раз Альбер поселил на лето папу и Катю с ее семейством поблизости от той дачи, которую он сам снял в Финляндии, в местечке Пуумала, и это было довольно далеко; чтобы туда добраться, требовался целый день, и столько же взял бы обратный путь с неизбежной ночевкой. И вот на такой долгий срок я никак не в силах был разлучиться с той, которую я только что тогда снова обрел и с которой проводил счастливейшие дни. Вина моя усугублялась тем, что как раз за несколько недель до дня папиного рождения все наши обитатели Пуумала пережили тяжкое горе, явившееся как бы отголоском еще более ужасного горя — смерти нашей мамочки. Не прошло и двух месяцев с того дня, когда Альбер женился на Марии Викторовне Шпак, как она скончалась от скоротечной чахотки. Несомненно, что трагичную развязку ускорила та быстрая смена климата, которой подверг свою жену Альбер, желавший поспеть па погребение мамы, и потому, прямо из Каира, не останавливаясь нигде, он примчался в Петербург. И прибыли они в самый опасный момент, а именно, когда плывущий ладожский лед вызывает полосу резкого холода. В такие дни и совершенно здоровые люди заболевают, а для слабых грудью эта полоса часто бывает роковой... Уже в первые дни по приезде молоденькая жена Альбера 2*, с которой я тогда и познакомился, производила тяжелое впечатление своим серым цветом лица и темными пятнами под впавшими глазами, горевшими лихорадочным блеском. Когда же молодые переселились в еще более суровый и сырой климат Финляндии, то болезнь приняла сразу характер безнадежности, и уже через че-

** Последняя строчка прибавилась к основной рукописи этой главы после кончины моей Ати. произошедшей 30 марта 1952 г.

2* Мария Викторовна, которой было тогда двадцать лет (если не еще меньше), была дочерью скромного, но не бездарного художника-иллюстратора, скопчавшегося, когда она была еще малюткой. Ее взяли на воспитание Канаевы. С самых детских лет Мария Викторовна обнаруживала исключительное дарование к живописи и, учась r рисовальном училище «Общества поощрения художеств», она подавала самые блестящие надежды. В этой же школе она познакомилась с Левушкой Ро-зенбергом, который сам признавал, что был многим ей обязан в смысле развития понимания красок и техники. По смерти Маруси Бепуа-Шпак осталось довольно много работ для столь короткой жизни, и среди них целая серия прелестных этюдов, сделанных ею в Каире. Часть этого наследия Альбер раздал в память жены; , мне, между прочим, достался большой очень красочный натюрморт.

678

III, 15. Моя глава е книге Мутера

тыре недели Мария Викторовна угасла. В альбомчике, в который папа, верный своему обыкновению, заносил в тонких акварельках жизнь в Пуумале, одна такая картинка изображала тот печальный момент, когда гроб Маруси перевозили на лодке с острова, на котором находились дачи, занятые Альбером и Панаевыми, к тому острову, где было русское кладбище и православная церковь. Альбер при всей своей влюбленности был приготовлен к такой утрате и перенес ее спокойно, но на нашего отца, который успел оценить кроткий, тихий прав своей новой невестки, смерть ее произвела удручающее впечатление. Уже потому мне следовало навестить своего отца в день его семидесятивосьмилетия. Это тем более следовало бы сделать, что то было в первый раз, что традиционное празднование его рождения происходило без нашей мамочки.

Уступая упрекам и увещеваниям Альбера, Леонтия, Зозо Россолов-ского, я все же через два дня после объяснения с братьями эту поездку в Пуумалу совершил. Будь я в ином настроении, я, несомненно, оценил бы это интересное путешествие по незнакомым и довольно живописным местам. Самая дачка, занятая моими родными, этот выкрашенный в красный цвет домик, стоявший среди елок на холме у самого озера, был очень живописен. Но магнитное притяжение Ати действовало так сильно, что я ко всем прелестям северной природы отнесся равнодушно и уже к вечеру второго дня настоял на том, чтобы мне отправиться в обратный путь; надлежало поспеть к свиданию, назначенному в 10 часов утра в Летнем саду. К великой своей досаде, я как-то прозевал последний пароход, и тогда пришлось ехать на почтовых. Перебравшись на лодочке на

противоположный берег узкого в этом месте озера, я дальше должен был всю ночь трястись на двухколесной таратайке, причем приходилось будить среди (еще белой) ночи почтовых смотрителей и угрюмых чухонских ямщиков, отчего они не делались менее угрюмыми. Раза два мне пришлось более получаса застрять на почтовой станции, пока раздобывали лошадь, пасшуюся где-то в лесу. Потерянное время навёрстывалось затем бешеной быстротой, с которой мчалась повозка, причем я был поражен (сначала и встревожен) тем, что финн-возница не только не тормозил на спуске под гору, по, напротив, гнал лошадей вовсю, и это для того, чтобы с разбега «взять» следующий подъем. Так как вся местность от Пуумалы до Вильмапстрапда перерезана холмами, то от подобной езды получалось ощущение, похожее на морскую болезнь. В Петербург я прибыл разбитым, но увидав счастливую улыбку своей сходящей с пароходика возлюбленной, я забыл всякую усталость...

Как бы несочувственно ни относились обе наши роднн к возобновлению нашего романа, это прямого влияния па наши встречи не имело. Я, совершеннолетний студент, мог распоряжаться своим временем как мне было угодно. После двух очень неприятных разговоров с Альбером и-с Леонтием, я других столкновений с ними больше не имел, папочка же* верный своему правилу, в сердечные дела своих детей не вмешивался. Не так легко жилось моей бедной Ате. Осенью Мария Карловна, ставшая невестой зажиточного инженера Б. Е. Эфрона, переехала из дома

Ill, 25. Моя глава в книге Мутера

679

Бодиско в очень просторную квартиру на Морской (в верхнем этаже дома князя Львова), где Ате была предоставлена большая комната, выходившая двумя окнами на улицу. Сначала здесь мои почти ежедневные приходы терпелись, и мы даже с Атей музицировали, по затем Мария Карловна имела со мной «серьезный разговор», в котором она повторила все нам давно известное — о немыслимости и безумии нашего брака, о том, что я гублю будущее ее сестры, а через несколько дней от нее последовало и прямое запрещение посещать ее дом, причем об этом был дап наказ и швейцару. Когда я через день все же попытался пройти мимо этого величественного и гордого старца, украшенного предлинной белой бородой, то он преградил мне дорогу, и я с позором должен был удалиться. Дней через пять явилось и запрещение бывать у родителей Ати, продолжавших жить в своей казенной квартире; и такое же запрещение пришло

от сестры Сопи, Нам оставалось видеться либо на улице, либо в разных общественных местах — музеях, театрах, на концертах, на выставках. Уличные свидания были сносны (а то и приятны), пока стояла сравнительно теплая погода, но когда пошли осенние дожди, а там грянули и морозы, то мы натерпелись немало всяких мук...

Оглядываясь на те столь далекие времена, становится прямо непонятно, как мы *смогли* вынести в течение более года столь жестокий режим. Особепно плохо нам пришлось в январе и в феврале 1892 г., когда в течение нескольких недель стояли небывало лютые морозы. Все же, несмотря на стужу в 25 и в 30 градусов, мы продолжали ежедневно встречаться, но больше получаса не выдерживали, хоть оба и были закутаны так, что только носы выглядывали у меня из-за высокого мерлушкового, повязанного башлыком воротника, у Ати — из-за обмотанных вокруг шеи и головы шалей. Совсем скверно приходилось мне, когда опа задерживалась на службе, и мне приходилось топтаться на месте у решетки Михайловского сквера, откуда я мог наблюдать за дверью в «Железнодорожный съезд». Добрая память осталась у нас обоих о тех свиданиях, которые происходили тогда в польском ресторане па Михайловской улице, где за недорогую плату мы получали очень вкусный обед. К сожалению, музеи и выставки можно было посещать только по воскресеньям и праздникам: в будни же Атя задерживалась на службе до четырех, до пяти часов, когда и выставки и музеи были уже закрыты, а «польская пекарня» бывала часто до того переполнена, что не находилось ни единого свободного места.

Поздпей осепью 1892 г. Атя, наконец, покинула дом сестры Маши и перебралась к родителям в их новое помещение (папа Кинд вышел тогда в отставку). С этой квартирой на Канонерской у Покрова, состоявшей из четырех поместительных комнат, у меня также связаны самые добрые воспоминания. Начать с того, что первыми над нами сжалились именно добрейшие родители Ати, и они согласились меня принимать. В этом уютном обиталище тотчас же возобновились и наши чтения, и разглядывание иллюстрированных книг, и музыкальные занятия. Происходили эти собеседования в гостиной на издавна сколь знакомом крас-

ном диване за не менее знакомым овальным столом, а на почтенном кин-довском «флюгеле», на котором и Атя, и Володя, и Соня, и Маша учились под руководством их отца, Атя теперь мне играла клавирные переложения «Валькирии», «Зигфрида», «Гибели богов», «Мейстерзингеров», «Пиковой дамы» и «Спящей

красавицы». Атя тогда же стала увлекаться рисованием, и на это ее подстрекнул ее младший брат Петя, поступивший в «Рисовальную школу» * и делавший там заметные успехи.

К сожалению, лето 1892 г. выдалось из рук вон плохим, дождливым и холодным, и нам лишь крайне редко удавалось выбраться за город — в Петергоф, в Царское Село, в Павловск, и совершать наши маленькие пикники. Два таких неудачных выезда нам особенно запомнились. Во время одного — в Ораниенбаум нас чуть не заели какие-то уж очень сви-рецые комары; во время другого я попал под чудовищную грозу и добрался из Царского Села в Павловск к нашим новым друзьям Десмондам промокший до костей. Пришлось совершенно раздеться, и пока мои вещи сохли у плиты, я разгуливал в арабском бурнусе, привезенном хозяином дома, милейшим Ромюлюсом, из Алжира. Ати это бедствие не коснулось; она была на службе, когда ненастье разразилось, а когда настал момент ехать на вокзал, оно миновало. Увидав меня в виде бедуина, она покатилась со смеха.

Грозу я вообще обожал с самого детства. Была у меня даже странная блажь разгуливать без зонтика по улицам, невзирая на молнии, ливень и бурю. Такой «вызов природе» соответствовал моим романтическим вкусам. Однако как раз в помянутую грозу, которая застала меня в Царском (во время того, что я писал этюд у знаменитого фонтана «La cruche cas-sée» *), я натерпелся такого страха, пока со всех ног, шлепая по лужам, мчался на вокзал, а молнии буквально «сыпались» (*на следующий день стало известно, что тогда в Царском убито молнией несколько солдат), что в течение целых двадцати лет я затем не лучше какой-либо истеричной дамы чувствовал себя в неминуемой опасности, как только надвигалась гроза. А затем эта странная форма трусости прошла, и с тех пор я в грозу чувствую себя не иначе, нежели в иную погоду.

Раз я упомянул о Десмонде, то уместно будет рассказать здесь же об этом нашем новом приятеле. Зоил Валечка Нувель относился к Десмонду свысока il en faisait *ñ* **, он его охарактеризовал фразой: «C'est un bourgeois de Tavenir» ***, ни во что не ставя тот большой интерес, который Ромюлюс выказывал в отношении художеств, театра и музыки. Валечка отчасти был прав, но это не мешало мне ценить в Десмонде искренность его увлечений и его трогательное стремление «приобщиться к искусству». Мне нравилось в нем то, что он много путешествовал, изъездил почти всю Европу и даже побывал в Алжире и Тунисе, что тогда было еще редкостью. Свои впечатления он умел передавать увлекательно и со вку-

«Разбитый кувшин» *(франц.)*.

С пренебрежением *(франц.)*.

Это буржуа будущих времен *(франц.)*.

*Ill, 15. Моя глава в книге Мутера*68Î

сом; наслаждался я и разглядыванием тех бесчисленных фотографий, которые он вывез из этих странствий. А вообще это был необычайно благожелательный, ласковь£й и хлебосольный господин, у которого было приятно бывать, встречая там самый радушный прием. Угощал он нас чудесными обедами, очень изящно сервированными, причем некоторые блюда он готовил сам, и я положительно нигде, даже в Италии, даже у бабушки Кавос не едал таких макарон, таких ньок или равиоли, какими он нас потчевал. Все это заппвалось превосходным вином в сверкавших графинах богемского хрусталя (один такой графин я, о ужас, разбил), а заканчивался пир изумительным кофием по-турецки. При всех своих увлечениях, гастрономических и эстетических, Десмонд оставался тем, чем он был, т. е. солидным, деловым банковским служащим. В смысле художественных суждений он звезд с неба не хватал и лишь умеренно одобрял то, от чего мы приходили в дикое неистовство. Поглядывая с улыбкой на нас, он не без малой зависти восклицал: «Ah! cette jeunesse, cet-te jeunesse!» *

Познакомились мы с Десмондом через Бирле. И вот теперь необходимо представить и этого нашего друга, нашего закадычного друга, сыгравшего не только в моей личной жизни, но и в жизпи всего нашего кружка весьма значительную роль. Замечательно, впрочем, что сам Бирле не догадывался, что он представляет собой для своих «русских друзей», с которыми его свела сущая случайность. Да и дружеское наше общение в своем первом периоде (единственно важном) продолжилось тогда неполных два года.

Познакомил же нас с Бирле другой наш близкий друг, скульптор Артюр Обер, имя которого уже не раз упоминалось в этих записках, но о ком подробно я собираюсь.еще поговорить в другом месте. Здесь будет достаточно, если я укажу, что этот чудесный человек был на тридцать лет старше нас (он вообще был старинным другом нашего дома) и что он был один из первых, кто в тяжелый период нашей «отверженности» стал нас принимать у себя. Оп знал мою невесту еще маленькой девочкой и всегда относился к ней с большим и нежным вниманием. Дела Обера за последние годы очень поправились, он даже обзавелся прислугой, которую научил хорошо готовить на французский лад. Кухню «Обе-рона» мы с Атей оценивали даже, пожалуй, чрезмерно. Я, по крайней мере, так наедался и так напивался дивным домашним хлебным квасом, что после каждого такого в

честь меня и «Ати Карловны» устроенного пиршества еле дышал. Вечер заканчивался музыкой. Напялив очки, Артюр садился за пианино и играл нам (в несколько своеобразных ритмах) произведения своих любимцев — Шумана и Мендельсона. Что за очаровательные, ни с чем пе сравнимые то были часы!.. Как я до сих пор благодарен за них милейшему Обероиу!

Но вернемся к Бирле. Встретив осенью 1891 г. в одном французском семейном пансионе этого другого милейшего человека, Обер сразу испол-

* Уж эта молодежь, уж эта молодежь! *(франц.).*

нился к нему симпатией и решил его познакомить со мной. Это и был. Mr. Charles Birlé, занимавший какой-то незначительный пост во французском консульстве. Он всего только за несколько недель прибыл в Петербург, но уже начинал убийственно скучать в своем одиночестве (il s'ennuie à mourir * — поведала Оберу хозяйка пансиона). Бирле был еще совсем молодым человеком (кажется, он был старше меня на два года), и всего год, как он, окончив парижскую «Ecole de Droit» **, вступил в «дипломатическую карьеру II ранга». Испросив как-то у папы разрешения, Обер привел Бирле прямо к вечернему чаю к нам, и уютность нашей семейной обстановки так подействовала на Бирле, что он отбросил свойственную ему застенчивость и выказал себя очень интересным собеседником, Мне же он сразу понравился чрезвычайно, и я решил его «использовать».

Я уже упоминал, что в те времена во мне жила страсть «вербовать подходящих нам людей». Далеко не все такие завербованные оставались затем в нашем основном тесном содружестве: иных отпугивал свирепствовавший среди нас дух взаимного персифлажа, другие оказывались просто неспособными разделять ту массу далеко не всегда систематизированных, а часто и противоречивых интересов, которые являлись чем-то вроде нашего «духовного обихода». Однако вот этот новичок-француз, несмотря на то, что он не говорил и трех слов по-русски, сразу подошел вполне. Правда, нрава он был скорее медлительного, злословию и насмешкам не предавался; темперамента был флегматичного с некоторым расположением к меланхолии, но, к приятному нашему удивлению, Шарль оказался в полном смысле «художником в душе», да и не только в душе, ибо он обладал несомненным и очень тонким дарованием, а технически был даже более подготовлен, нежели того можно было ожидать от дилетанта. В «дипломаты» он попал по семейной традиции (уже его отец состоял консулом где-то на юге Италии), уступая требованиям родных; на самом же деле он терпеть не мог

своей службы и мечтал о том, чтобы совсем отдаться искусству.

И вот уже после пяти посещений Шарль так освоился, так слился с нами, что перешел со всеми на «ты» и просиживал у меня (или у Нуве-ля) целые вечера до двух, до трех часов утра. При этом он не требовал, чтобы им занимались или хоть из внимания к нему беседовали по-французски. Далеко не все среди нас могли свободно изъясняться на этом языке. Бакст тогда только начинал лопотать несколько слов (и с каким потешным коверканьем!), немного свободнее говорил Сережа Дягилев, Сомов же стеснялся своего дефектного произношения, а Калин и Скалой, если и читали французских авторов в оригинале, то неспособны были выразить и простейшую мысль по-французски. Только Дима Философов, Нувель и я могли без труда поддерживать с Бирле разговор. Он же довольствовался и тем, что часами разглядывал какие-либо книжки или» за

Он умирает от скуки *(франц.)*. Школу права *(франц.)*.

компанию с Бакстом, акварелировал. Когда мы, более опытные во французском языке, втягивали его в беседу, то она оказывалась не только занятной, но и *поучительной..,* Бирле принадлежал, при всей своей скромности и чуть робкой манере держаться, к людям, для которых художественная жизнь Парижа не имела тайн. Он был вполне a la page *, в курсе литературных и художественных течений, а в своем «изгнании на берега Невы» он всячески старался не терять связь с метрополией, выписывая несколько передовых журналов и покупая все появлявшиеся литературные новинки, что появлялось нового у Мелье или у Виоле (на Малой Конюшенной).

Как и вся французская молодежь тех дней, Бирле (в отличие от нас) бредил поэзией. Имена Бодлера, Малларме и Верлена были для него священны. Но кроме того он увлекался Метерлинком, Тюйсмансом, Шво-бом, Саром-Пелладаиом и еще всякими dii rainores **. Он и нас познакомил с их творениями, в частности заразил меня и Нувеля своим культом Верлена. Напротив, нашего увлечения Золя он не разделял — это было до него пройденным этапом. В живописи он был пламенным адептом импрессионизма и символизма, и еще до того, что мы сподобились увидать хотя бы один образец заглазно и на веру почитаемых художников мы, благодаря Бирле, получили о них довольно правильное (но исключительно теоретическое) понятие. Между прочим, помнятся наши споры о Ренуаре, о последней его манере (по тогдашнему счету). Вообще Ренуара мы были готовы принять в душу, но такие картины, как «Две девочки у рояля» или как «Парижская дама с дочкой», пас оскорбляли беспомощностью

почти любительского рисунка и особенно своей кукольностью. Напротив, Шарль возвел в принцип, что если кого принимаешь, то принимаешь en bloc, целиком и безоговорочно. Он сердился, если кто-либо позволял себе хотя бы частично критиковать одного из его кумиров, и как раз одним из таких кумиров был Огюст Ренуар. Впервые я тогда познакомился с этой чисто французской (парижской?) манерой безусловного признания. Под этим часто кроются коммерческие расчеты картинных торговцев, и не это ли постепенно привело общественное мнение в Париже до самых диких абсурдов или же до вящей растерянности в художественных оценках? Но в те времена на французском Парнасе все еще занимали почетные и, как казалось, навеки обеспеченные за ними места такие grands hommes ***, как Мейсонье, Бугро, Жером, Лефевр, Бонна, Бенжамеп Констан, а среди корифеев помоложе — Боннар, Каррьер и особенно Даньян Бувре. Они почитались за представителей преславной французской школы и отличались строжайшей выдержкой, самым добро-' совестным отношением к задаче и твердым знанием своего «ремесла». Рядом с такими хранителями традиций, с такими *устоями* имели свою raison d'etre **** и всякие смельчаки, мятежники и искатели. В свою оче-

* Современен *(франц.)*. ** Младшими богами *(лат.)*. *** Великие люди *(франц.)*. **** Законную основу *(франц.)»*

\

редь, не только для самих практикующих живописцев, но и для критики продолжали что-то означать такие выражения, как «правильный рисунок», «красивое письмо», «правдивые краски», «законченность» и «преодоление трудностей». Но как раз тогда же (в начале 90-х годов) в художественной оценке стало проглядывать и известное своеволие, все более крепнущий протест против стеснительных правил, а также интерес к любому чудачеству, к юродству и к дилетантизму. Меня, да и всех нас эти веяния, с которыми нас знакомил наш новый друг из Парижа, очень тревожили. При всем нашем стремлении к «свободе вдохновения» и при всем отвращении от тупой школьной выучки, от мертвой академической схоластики, мы все же стояли за то, чтобы в основу художественного творчества ставилось самое строгое отношение к «ремеслу», а главное — абсолютная искренность и честность. Для воспитания моего вкуса недаром прошло то, что я с детства видел многие образцы высшего качества, а в лице своего отца имел пример настоящего мастера.

Для «парижанина» же Бирле подобные заветы, законы, традиции уже тогда представлялись чем-то ненужным и отжившим. Оценивая же того или другого художника, он его брал целиком, стараясь вникнуть в то, что представлялось ему его существом, остальное же ему казалось неважным.

Сам Шарль Бирле лично был нам приятен и мил; мы почерпнули из общения с нилх много для нас нового и волнующего. Благодаря ему мы тогда в несколько месяцев очень развились и сильпо подвинулись, созрели. Но, кроме того, Шарль познакомил нас с помянутым Десмондом, а Десмонд, в свою очередь, ввел в нашу компанию того человека, который в дальнейшем играл немалую роль среди нас и даже явился одним из столпов нашего «Мира искусства». То был Альфред Павлович Ну-рок — одна из самых курьезных фигур, встреченных мной за всю мою жизнь. При первом знакомстве Нурок показался мне прямо-таки жутким, даже несколько «инфернальным», *опасным.* Тому способствовало его «фантастическое» лицо, с которого можно было написать портрет Мефистофеля. Манеры его были юркими, порывистыми и таинственными, говор его, как по-русски, так и по-французски, по-немецки и по-английски, при всей своей безупречной правильности, обладал определенно иностранным акцентом (на всех четырех языках) без того, чтобы можно было определить расовое или национальное происхождение этого акцента. Его воспаленные глаза глядели через острые стекла пенсне, а с уст не сходила сардоническая улыбка, К этому надо прибавить то, что Нурок старался всячески прослыть за крайне порочного человека, за какое-то перевоплощение маркиза де Сада. И, несмотря на это, Нурок не только заинтриговал меня, но и пленил. Пленил он меня сразу тем, что оказался поклонником моих литературных и музыкальных кумиров: Гофмана и Делиба. Постепенно же я научился понимать всю сущность этого загадочного человека. Его можно было полюбить за одну его, тщательно им скрываемую, доброту, за его человечность, гуманность, а кроме того, и он исповедовал тот культ искренности, который лежал в основе всего моего художественного восприятия. Впрочем, вне музыки и литературы Нурок

предстал перед нами в качестве полного профана и таким он и остался. Его просто не интересовали вопросы пластических художеств, а когда что-либо и заинтересовывало, то всегда под таким увлечением чувствовалась литературная подоплека. Все же именно ему мы обязапы знакомством с творчеством Обри

Бердсли, который в течение пяти-шести лет был одним из наших «властителей дум» и который в сильной степени повлиял на искусство (и на все отношение к искусству) самого среди нас тонкого художника — Константина Сомова. Впрочем, и Бердсли пленил Нурока какой-то своей литературщиной. Типичному декаденту Нуроку нравился в английском художнике тот привкус тления, та одетая во всякие кружева и в мишуру порочная чувственность, что просвечивает в замысловатых, перегруженных украшениями графических фантазиях Бердсли. То же пленило в Бердсли Оскара Уайльда. Кстати сказать, Уайльд был рядом с маркизом де Сад, с Шодерло де Лакло и с Луве де Кувре одним из главных авторитетов Нурока ,3*.

С момента, когда в 1892 г. подошел к нам Нурок, наш будущий «штаб» был сформирован. Редакция «Мир искусства» начала свое существование шесть лет до того, что был затеян и появился в свет наш журнал, носящий название, ставшее затем нарицательным для всей деятельности нашей группы. Но, разумеется, в те годы (1892—1894), о которых я теперь рассказываю, мы еще не думали о каких-то групповых общественных выступлениях; для этого мы были слишком молоды, и, несмотря на решительность наших суждений и всей нашей «независимой манеры держаться», мы внутри себя сознавали, что нам еще далеко до какой-либо зрелости. Многое уже хотелось высказать и даже *прокричать,* очень непрочь мы были так или иначе «выступить на арену», многое в современном русском искусстве казалось нам неприемлемым, но, при продолжающейся хаотичности основных убеждений, мы опасались, что нам не хватит духовных сил вести полезную во имя наших принципов борьбу.

* * *

Более отчетливую форму получило наше художественное вожделение благодаря толчку, полученному извне. Таким толчком явилась книга, начавшая выходить выпусками с февраля 1893 г.

То была «Geschichte der Malerei im XIX Jahrhunderte» * Рихарда Мутера. Первый же выпуск, присланный мне на просмотр моим поставщиком Л. М. Вольфом, произвел на меня впечатление какого-то откровения — revelation. Так об искусстве, об истории искусства до тех пор никто не

8* Откликом тех увлечений, которые в нас поощрял Нурок, было то, что Дягилев в своих посещениях Франции в 1897 г. и в

1898 г., совершавшихся со специальной целью ознакомиться с последними явлениями на Западе, счел долгом заехать в Дьепп к Уайльду, где, кроме него лично, он застал Бердсли и ближайшего друга последнего, молодого, необычайно изощренного художника Кондера. Последнего мы тоже в те годы очень пенили.

* «История живописи в XIX веке» 2 *(нем.),*

говорил. Так просто, свободно и смело. Но и один подбор иллюстраций был весьма показателен и вызвал во мне особое волнение. Не только современное, но и старинное искусство получало в освещении Мутера новую жизнь, новый смысл. Да и граница между прошлым и настоящим как-то стерлась. Придя в неистовый восторг от новинки, я тотчас же уведомил своих ближайших друзей — Валечку и Диму — о таком счастье, и оба поспешили тоже на эту книгу подписаться. С этого момента мы трое (и все причастные к нам) стали ждать появления каждого нового выпуска с растущим нетерпением (выпуски появлялись приблизительно каждый месяц, всего выпусков было десять, составивших три толстых тома), а когда очередной выпуск появлялся, то мы его проглатывали в один присест, а затем делились впечатлениями и комментировали прочитанное с крайним возбуждением. Надо, впрочем, тут же сказать, что книга Мутера показалась откровением не только нам, художественной зеленой молодежи «отсталого» Петербурга, но успех ее был прямо-таки *мировым,* «История живописи в XIX веке» была очень скоро переведена на мнорие языки, и всюду она порождала страстные толки; всюду старики были возмущены ею, ее жестокими переоценками, всюду .молодежь приходила от нее в восторг. Постепенно с нее началось изменение самого «тона» художественной критики. Она же дала общественному мнению по вопросам современного искусства род нити Ариадны, новые мерила и новые формулировки. Все сказанное может сейчас показаться преувеличенным — главным образом потому, что многое, что казалось тогда дерзким новаторством, теперь превратилось в какие-то общепринятые и уже более не спорные истины. Мутера, как и многих новаторов и пророков, успели за эти годы (за шестьдесят лет) позабыть; он уже перестал служить каким-то оракулом и верховным арбитром. Мало того, самую тогдашнюю «передовптость» оставили далеко за собой другие, несравненно более дерзкие derniers cris *... Но в то время книга Мутера произвела поистине впечатление разорвавшейся бомбы. Сколько еще совсем недавно спокойно восседавших на Парнасе художественных божков были растревожены, сколько их стало

вопить и требовать величайшей кары за подобное посягательство против самых утвержденных репутаций. Главное обвинение, которое предъявляли Мутеру, заключалось в каком-то искании скандала, в однобокости, в игнорировании заслуг, в пристрастности. Теперь же эта книга может показаться слишком объективной и даже местами недостаточно решительной — «компромиссной». Мне книга Мутера помогла, во всяком случае, разобраться в себе — недаром же я с того и начал свою историко-критическую деятельность, что принял известное участие в работе самого Мутера.

Случилось это так. К первому же выпуску «Истории живописи в XIX веке» был приложен обстоятельный конспект (Prospectus) всей книги. Текст готовившихся выпусков был разделен па главы по школам, странам и направлениям. И вот, хотя я и не отличался примерным лат-

* Последние крики [моды] *(франц.).*

///, 15, Моя глава в книге Мутераßg7

риотизмом, я все же возмутился за Россию, за русское художество. Среди глав, посвященных живописи различных европейских государств, глава, которая была бы посвящена русской живописи, просто *отсутствовала.* Это представлялось тем более несправедливым, что были намечены главы, посвященные не только скандинавским школам, но и польской. Между тем для меня не могло быть сомнения, что школа, давшая таких маете» ров, как Левицкий, Кипренский, Брюллов, Бруни, Иванов, Венецианов, Федотов, Репин, Суриков и т. д.,— была по меньшей мере равноценной со школой, гордящейся Яном Матейко, Веруш-Ковальским и Иосифом Брандтом. Как раз тогда же в наших с Атей частых посещениях музеев мы часто захаживали в «Циркуль» Академии4* или в те два эрмитажных зала, где также еще висели избранные произведения русской живописи (здесь рядышком занимали всю стену два гигантских полотна: «Последний день Помпеи» и «Медный змий»; по другим же стенам красовались несколько Айвазовских и К. Маковских и т. д.). Многие из этих картин отечественных художников затрагивали в нас особые струны, иные из них возбуждали нас, пожалуй, даже больше, чем современные им чужеземцы. В них отражались культура, быт и вкусы более нам близкие. Того же рода волнующее удовольствие испытывали мы и на выставках, особенно на Передвижной, где рядом с Репиным нас трогали и восхищали произведения Крамского, Левитана, Сурикова, Серова и Нестерова 5*.

Итак, я очень обиделся за Россию, усмотрев странный пропуск в программе книги Мутера. Предположив, что автор

просто не располагал достаточными сведениями по истории русской живописи, я и возымел смелую мысль предложить ему свои услуги по собиранию таковых. Никому из друзей я о том не обмолвился, а сочинил письмо Негг Doktor'y и послал его в Мюнхен, не питая больших надежд, что удостоюсь ответа. Ответ, однако, последовал *сразу,* а содержание его показалось мне совсем удивительным. Мутер попросту каялся в своем полном незнании русской живописи, но не просил у меня сведений, а предлагал мне самому написать эту недостающую главу, да еще сулил мне за то денежное вознаграждение. Я был вне себя от смущения и... страха, Сначала я думал даже отказаться от такой, казалось мне, непосильной задачи, но Атя

** Под «Циркулем» в Академии художеств подразумевался ряд зал, расположенных кругом с окнами на прекрасный академический двор. Здесь были собраны картины русских художников, начиная с петровских пансионеров и кончая «программами па золотую медаль» Репина, Ге, Семирадского и т. д. Между прочим, здесь же можно было видеть превосходные образцы живописи Сильвестра Щедрина, Венецианова и Кипренского до их перенесения в Музей Александра III.

5* Как раз из-за последнего у меня с Атей и с друзьями возникали ожесточенные споры. То, что было болезненно истеричного и в то же время слащавого, ñ картине, изображавшей св. Сергия Радонежского в лесу, я лично охотно прощал художнику за умилительную радость, которой была полна картина, и за что-то душистое, что было передано в пейзаже; в этом уголке мшистого сырого леса с его хрупкими березками и елочками. Напротив, уже тогда я не выносил Васнецова и всю его напускную святость, весь его дутый драматизм.

убедила меня испробовать свои способности. Она была уверена, что задача мне по плечу и что я с ней справлюсь вполне. После недели колебания я послал Мутеру свое согласие, причем обещал доставить и текст и иллюстрации.

С этого момента я совсем ушел в подготовительную работу. Работа же предстояла огромная. Надлежало, во-первых, основательнее и более систематично ознакомиться с предметом — и это при крайне ограниченном количестве трудов по русскому искусству. Надлежало приобрести кое-какие книги, а иные книги, ставшие библиографической редкостью, раздобыть у букинистов. Что же касается таких исследований, мемуаров и броцгор, которые невозможно было купить и за большие деньги, то многие из них нашлись в богатой библиотеке Академии художеств, где я

встретил величайшую отзывчивость в лице ее библиотекаря Ф. Г. Бернштамма. Дело затянулось до лета. Переходные экзамены с III на IV курс были уже позади (или их вовсе не было, сейчас не могу вспомнить), и поэтому я мог все свое время отдавать данной работе. Несколько месяцев ушли на то, что я готовился, читал, делал выноски, посещал еще и еще художественные хранилища, с обновленным вниманием всматриваясь в самые произведения; а затем, приблизительно с середины июля, я приступил и к самому писанию своей главы. Сначала я собирался писать по-русски, с тем, чтобы потом или самому перевести написанное или поручить другому, но во время хода работы я до того осмелел, что стал писать прямо по-немецки. При этом мне очень облегчало задачу мое увлечение книгой Мутера и не только ее содержанием, но и ее *стилем;* я как бы заразился от Мутера самой манерой излагать мысли, «преподносить вещи». Да и вообще вся работа оказалась превосходной *школой.* Ведь если не считать классных сочинений, за которые учителя меня похваливали, если не считать моих «лекций» в нашем дружеском кругу,™- это был мой первый писательский опыт.

Рукопись поспела к сроку (кажется, то было 15 августа), Атя, превосходно знавшая немецкий язык, мне все исправила, после чего я не без трепета упаковал свою работу и отправил заказной посылкой. Одновременно, в отдельном ящике я отослал Мутеру и иллюстрации числом около тридцати. Раздобыть их стоило мне едва ли не больше труда, нежели составление текста. В продаже тогда почти отсутствовали воспроизведения с интересовавших меня картин, и даже знаменитых «Бурлаков» я нашел лишь в фотолитографии с авторского рисунка пером. Что же касается до Левицкого, Боровиковского, Кипренского, Венецианова, как раз моих любимцев, которым я посвятил восторженные строки, то с них не существовало ни одной фотографии или иных каких-либо репродукций. Выручил милый Зозо Россоловский, который тогда по-любительски занимался фотографией (в то время и это было редкостью) и который вызвался мне сделать несколько снимков 6*. Удобнее всего это было произ-

в* Не помню, почему я не обратился тогда к своему кузену Жене Кавос, который уже несколько лет как занимался художественной фотографией и даже устроил у себя в доме целую лабораторию. Он же обзавелся всем для изготовления и печатания

Ill, 25. Моя глава в книге Мутера Qgg

вести в помянутом академическом «Циркуле», в летние месяцы совершенно пустовавшем. После нескольких опытов Зозо справился с задачей удовлетворительно, и .снимки с

произведений Левицкого, Венецианова Орловского и Кипренского были приложены к остальным.

Вскоре был получен и ответ от Мутера, да еще с приложением целых двухсот марок гонорара! Это был Мой первый литературный заработок. Однако я все еще продолжал хранить в тайне от друзей свой дерзновенный поступок. Наконец, в октябре появился выпуск с главой о русской живописи и в заглавии его стояла строка (единственная в этом роде во всей книге): «Unter Mitwirkung von Alexander Benois. St. Petersburg»*. Сенсация среди друзей получилась грандиозная; сюрприз удался вполне. Особенно был поражен Дима Философов, который, в качестве сына знаменитой общественной деятельницы, был падок До всего, что носило оттенок общественности. Он поздравил меня в торжественных выражениях, в которых на этот раз отсутствовал и малейший намек на иронию. В этом моем выступлении он увидел начало какого-то моего или нашего служения культуре. Мне даже думается, что этот мой опыт явился подзадоривающим примером как для него самого, так и для Сережи Дягилева, тогда как до той поры ни тот, ни другой ничего еще самостоятельного не затевали.

В общем, я был безмерно счастлив таким исходом моей рискованной затеи и чувствовал себя триумфатором. Долю огорчения я все же испытал. Мне было досадно, что Мутер выкинул весь конец моей статьи, все то, что я говорю о новейших явлениях в русской живописи. Особенно же было обидно, что не осталось и следа моего тогдашнего восторга от Нестерова; тогда как меня тянуло высказать публично оценку его творчества. Видно, у немецкого историка не хватило доверия к своему самозванному сотруднику; он мог заподозрить, что под моим восхвалением кроется дружеская услуга — попросту кумовство. Взамен этой купюры Мутер развил параграф о В, В. Верещагине, несомненно потому, что то был единственный русский художник, о ком он имел хоть кое-какое представление. Смешным и безвкусным оказалось и вступление к главе о русской живописи, самовольно «для красоты» и для couleur locale ** им прибавленной. То была какая-то якобы народная сказка слащаво-сентиментального характера.

Припоминаю еще, что за все последние месяцы между мной и Муте-ром шла усердная переписка. Несколько раз я позволил себе критиковать высказываемые им мнения о художниках или выражать недоумение

гелиогравюрных досок. Им, между прочим, тогда был выпущен сборник фотогра

фий с этюдов Репина3 (который в ту эпоху был частым гостем

Кавосов иочень

, похваливал работы жены моего кузена Екатерины Сергеевны Зарудиной-Кавос),

альбом лучших картин Кушелевской галереи 4 в Академии художеств -и род мо

нографии, посвященной скульптору А. Оберу5. Я очень сочувствовал этой затее

н склонен был видеть в ней начало нашей издательской деятельности. Поговари

вали мы уже и о своем журнале.

* При участии Александра Бенуа. С.-Петербург, *(нем.),*

** Местного колорита *(франц.),*

690/Я, *IB. Работа в Эрмитаже*

по поводу тех или иных пропусков... От своего издателя Георга Гирта он мог узнать, что я еще зеленый юнец. Но едва ли он догадался эту справку навести и, судя по тону его ответов, он до конца принимал меня за человека скорее почтенного. Любезным выражением его удовлетворения моей работой явилась та «премия», которую он счел своим долгом мне прислать, считая мой гонорар недостаточным. То была серия отличных гелиогравюр с картин одного из моих любимых романтиков — Морица Швинда. О моей любви к этому мастеру я ему писал.

Удача моего первого опыта окрылила меня на дальнейшее. Я тогда же предложил Зозо Россоловскому, исполнявшему в те годы обязанности одного из редакторов «Нового времени», написать что-либо для его газеты о современных художественных течениях. Зозо отнесся к этому сочувственно и взялся переговорить с А. С. Суворипым. Однако когда я ему вручил довольно длинный «фельетон» на тему об импрессионистах, то Зозо не решился его представить на суд своего принципала — до того эта проба пера показалась ему и «смелой» и незрелой. Надо вспомнить, какими не то что отсталыми, а просто невежественными отзывами кормила наша «самая распространенная» газета публику при участии усердного, но совершенно безличного компилятора Ф. Булгакова и, если и талантливого, то все же бессовестного обскуранта Буренина. Я, впрочем, сразу тогда утешился, а нынче должен скорее благодарить судьбу за свою неудачу. То, что я тогда состряпал об импрессионистской живописи, с которой я не был знаком в оригиналах, было несомненно чем-то весьма незрелым и легкомысленным.

Глава 16

«ВЫСОЧАЙШИМИ». РАБОТА В ЭРМИТАЖЕ

В то же лето 1893 г. наступает, наконец, долгожданная перемена в отношениях моих родных к нашему роману. Очевидно, в них постепенно исчезли последние сомнения в серьезности наших чувств, и взамен того получилась уверенность в том, что такое постоянство является залогом нашего будущего счастья. Первые шаги к тому, чтобы принять Атю в лоно нашей семьи,, были сделаны без какого-либо домогательства с моей стороны. Создалось к тому же несколько странное положение. Я уже год, как снова стал бывать каждодневно у родителей Ати, многие наши знакомые, и среди них милейшая патриархальная семья Сомовых, принимали нас как жениха и невесту, а мы все еще не представляли собой нечто определенное ß официальном смысле. Вражда Монтекки и Капу-летти — семей Бенуа и Кинд — продолжалась как бы по инерции.

*HI, 16. Работа в Эрмитаже*691

Первый решительный шаг к выходу из этого положения был сделан моей беспредельно доброй и сердечной сестрой Камиллой Эдварде, и так как мы оба питали к ней чрезвычайную нежность, то это было нам особенно приятно. Мы снова очутились под ее кровом, за ее гостеприимным столом, точно и не было всех минувших лет. Мы оценили и то, что мы снова па милой Кушелевке, там, где, будучи еще двенадцатилетними детьми, мы впервые стали обращать внимание друг на друга, там, где продолжало жить распространяемое Эдвардсами особенно нам близкое «диккенсовское настроение». Да и день выдался необычайно приятный, солнечный, мягкий с необычайно легким воздухом. Сад, расположенный между террасой дома и прудом, был полон благоухающих цветов, под тентом террасы восседала бабушка Кавос, как всегда, в отличном настроении, видимо, довольная, что может приветствовать Атю, к которой она всегда выказывала сердечную симпатию близкой родственницы. Вслед за Эдвардсами нас пригласили к себе (все еще до моего отца и сестры Кати) брат Миша и его жена Оля. Туда, в Петергоф к завтраку (и на весь день) мы предпочли, по традиции, отправиться не поездом, а на пароходе — па гладкому, как зеркало, морю. И тут мы тоже испытали особое удовольствие, когда оказались «нераздельной парой» в этом самом Бобыльске, в котором у нас впервые заговорило более определенное влечение

друг к другу. Но каким совершенно иным выглядел теперь Бобыльск. Сколько на территории, некогда запятой одними рыбацкими избами и огородами, выросло за десять лет богатых дач, и как раз самой нарядной среди них была только что отстроенная Мишенькина дача. Сам он встретил Атю после пяти лет, точно они расстались накануне, у Ольги же в выражении ее симпатии к будущей бэль-сёр было что-то радостно взволнованное, пожалуй, даже нотка известной истеричности. Благодаря жившему в ней чувству протеста в отношении всяких людских несправедливостей, ей, вероятно, было особенно по душе, что она может одна из первых исправить такую несправедливость, тогда как жившая рядом на даче жена Леонтия Мария Александровна не подавала все еще вида, что она готова изменить свое отношение к нам.

День в гостях у Миши и Оли прошел в угощениях, в прогулках, в катании на парусной яхте, а на Старопетергофский (до чего же знакомый!) вокзал нас доставили наши родные в собственном ландо. Вернулись мы в Петербург полумертвые от усталости, что, однако, не помешало пам прежде, чем разойтись, еще час бродить вдоль по тем каналам, которые оцепляют весь наш квартал. Была чудесная белая ночь.

Вообще, что может сравниться в своей прелести с нашими тогдашними прогулками по Петербургу? Или — с моими вечерними посещениями Ати. Для того, чтобы дойти от нашего дома на улице Глинки до того дома на Канонерской, где жили родители Ати, не требовалось* больше десяти минут. Перейдя через Крюков канал и пройдя домов пять-шесть по Екатерингофскому проспекту (наш дом тоже выходил одной стороной на Екатерингофский), я подходил к тому месту, где для сокращения пути я переплывал на ялике узкий Екатерининский канал, и тогда я ока-

зывался почти у начала Канонерской. Самое это «переплытие» имело в себе что-то мило-стародавнее. Обслуживали его трое мужиков: седой старик и два молодца; все трое ютились в крошечпой избушке, построенной на одном из двух плотов, служивших пристанями; все трое были неизменно в красных рубашках и босые. После 11-ти вечера, когда я шел обратно домой, перевозчики уже спали; приходилось постучать в оконце избушки, и тотчас же выходил полусонный парень, он помогал мне вступить в свою лодочку (пестро раскрашенную),-а затем достаточно было одного сильного толчка багром, чтобы отчалить от одной пристани и подплыть к противуположной. Плоты стояли

у сходов, устроенных в гранитной набережной. Меня яличники принимали всегда (даже ив более поздний час) с особенным удовольствием, так как я платил не по тарифу (3 копейки), а награждая, не скупился на гривенники и пятиалтынные. Их промыслу был положен конец, когда как раз на месте перевоза, рядом с Эстонской православной церковью, был построен деревянный мост.

И еще раз, вспоминая наши тогдашние блуждания по соседним кварталам, я не могу не остановиться с умилеппем на всем том, что эти кварталы Коломны содержали в себе замечательного — начиная с чудесного собора Николы Морского, золотые маковки которого в белой ночи так торжественно блистали на фоне лиловатого востока, а высокая стройная колокольня тянулась в опрокинутом виде в тихо колеблющихся водах. Я подолгу мог любоваться, как это отражение колышется, плавно извивается, выпрямляется или дробится и распадается... Большой театр в это время уже не существовал (вернее, его ломали, и на месте этого «Храма Аполлона» воздвигалось уродливое здание Консерватории), по продолжал стоять нетронутым Мариинский театр — такой же, как мне казалось, «римский», каким его построил дед. А как живописны были наши оба рынка: Литовский и Никольский с их бесчисленными аркадами, сводчатыми переходами и высокими красными крышами. Два из -девяти мостов в нашем квартале, перекинутые через каналы — Крюковский, Екатерининский и Фонтанку,— все еще были украшены гранитными обелисками. Весной вся наша довольно пустынная и чуть провинциальная Коломна насыщалась дивно-горьковатым запахом только что распустившихся берез Никольского сада, а летом сладким, дурманящим ароматом цветущей липы.

Часто мы совершали и более далекое путешествие — до Биржи. На поросшей травой, полукругом выдающейся в Неву эспланаде вечером не бывало ни души, и лишь белые боги у подошвы двух ростральных колонн, казалось, охраняют порученное им пространство. И почему-то нам вдвоем вовсе не было страшно среди этой пустыни; в этот тупик (Биржевого моста еще не существовало) никто не заглядывал, а о каких-либо разбойниках или грабежах мы даже не помышляли — об уличных нападениях в те времена меньше говорили, чем в позднейшие, а страшный рассказ «Бездна» Леонида Андреева еще не был написан.

Ill, 16. Работа в Эрмитаже

693

Лето 1893 г. стояло прекрасное (не то что ужасное

предыдущее), и отчасти благодаря этому я стал все больше втягиваться в художественную работу. Если до того я довольствовался зарисовками карандашом, которые я затем дома раскрашивал по свежей памяти, то теперь я отважился работать красками непосредственно с натуры, причем я особенно тогда пристрастился к пастели, что помогало мне добиваться большей яркости красочных эффектов. Мои племянники Лансере (Жене было 18 лет, Коле 15) часто нас сопровождали, и с этих пор завязывается между ними и Атей та искренняя дружба, которая продолжалась бы до сего дня, если бы нас не разлучили ужасные мировые события **. Иногда с их помощью и с помощью меньшего брата Ати Пети мы на наемном ялике спускались по Фонтанке до взморья. При этом мы рисковали уго~ дить под направляющиеся в Кронштадт и в Петербург большие заграничные пароходы, однако вид, открывавшийся от устья Невы на город, особенно под вечер, когда все заливалось оранжевыми лучами клонящегося к закату солнца, был так красив и фантастичен, что мы на подобный риск не желали обращать внимания. Как-то раз я умудрился сделать довольно тщательный этюд пастелью этого эффекта, несмотря на то, что нашу' лодку все время крутило, относило в сторону, а волны, поднятые проходящими судами, ее немилосердно качали. Иногда и Женя принимался за карандаши и краски. С этого времени все ярче начинает сказываться его исключительное дарование.

Не подвергаясь какой-либо опасности и в полном спокойствии можно было любоваться подобными же мотивами взморья и писать их, находясь на Лоцманском острове, лежащем у выхода в море Фонтанки. Селение на острове состояло из однообразных двухэтажных домиков, имевших в себе что-то голландское. В этих аппетитных домиках проживали присяжные лоцмана (откуда и название) и другие служащие морского ведомства.

Какая-то «заграничность» нас особенно притягивала. Да и вид с Лоцманского острова (на который можно было вступить, перейдя мост через речонку, отделявшую островок от «материка») — был совершенно исключительной красоты как в пасмурные дни, когда морская гладь тонула в перламутровой мгле, так и тогда, когда здания Морской таможни, расположенной у конца Морского Канала, мягким силуэтом выделялись на фоне пылающего заката. Я обыкновенно устраивался на завалинке одного из этих лоцманских домиков, и почти каждый раз через его оконце, из-за горшков с геранью, за моей работой следили жадные детские глаза. Все это бь*ло очаровательным и напоминало уютные сюжеты немецких жанристов эпохи

Biedermeier или иные прелестные акварели моего паны. Вокруг стояла удивительная тишина, нарушаемая лишь криками чаек и гудением далеких пароходов.

** Оба юноши попали в «компанию Ати» еще до того, что их мать — моя сестра Катя — решилась ее принимать и убедила папу, что пора это сделать. Возможно, что именно отзывы Жени и Коли об Ате способствовали такой перемене моих родных в отношении ее.

694

///, 16. Работа в Эрмитаже

Именно тогда я снова стал считать себя «заправским художником». Однако уже в предыдущий «бесплодный» период Альбер заставил меня принять участие в Акварельной выставке. Выставил я акварель большого формата, представлявшую уголок старинного немецкого города. То не был этюд, сделанный с натуры, а комбинация мотивов, запавших мне в душу во время моего посещения Франкфурта. Необычайный же размер я выбрал потому, что он должен был по моим расчетам привлечь внимание публики. Однако никто не пленился моим произведением, а что с ним сталось впоследствии, я не запомнил. На выставку следующего года я отправил девять акварелек, заключенных в одну общую раму, и на сей раз их крошечный размер послужил приманкой — шесть из этих картинок, изображавших опять-таки живописные городские виды, были проданы, и мне досталась сумма рублей в шестьдесят или восемьдесят. Созданы были все эти акварели с помощью фотографий, и разумеется, они никакой художественной ценности не представляли, мне же очень хотелось заработать довольно крупную сумму для покупки разных книг, на что не хватало тех денег, которые папа давал мне ежемесячно. Подобные же (совершенно недостойные) работы я выставлял в магазинах Авапцо и Беггрова, спрашивая за них от пяти до десяти рублей за штуку, и кое-что из всей этой макулатуры находило себе покупателей. Должен сознаться, что воспоминания о таких моих «художествах» не принадлежат к самому лестному в моем прошлом, и я не желал бы снова увидеть эти постыдные свидетельства моей «продажности».

Существенную пользу для своего художественного развития я вынес из выставки 1893 г., на которой я представил несколько фантастических композиций. Успеха они не имели, но я, благодаря им, лучше осознал свои недочеты. Между прочим, я с благодарностью вспоминаю ту беспощадную критику, которой подверг М. Я. Вилье мою «Пастораль». Тогда я попробовал с ним спорить, однако его замечания все же открыли мне глаза на то, что моя картина (род декоративного панно), в которой

соединялись элементы XVIII в. с элементами, взятыми у японцев (!), была не что иное, как самая безвкусная и ребячески претенциозная чепуха. Напротив, в. к. Константин Константинович эту же мою пастораль похвалил, усмотрев в ней то, что августейший поэт только и искал в живописи, а именно, известную «поэтичность». Его хвала не только не уничтожила обидного впечатления, полученного от свирепой критики Вилье, ио косвенно как бы послужила ей подтверждением. Уже тогда хвала людей, мало понимающих, меня скорее огорчала, нежели радовала.

Понимал ли вообще что-нибудь «К. Р.» в пластических художествах, на это трудно ответить. То, что он приобрел несколько превосходных вещей, в том числе прекрасное «Распятие» испанской школы, которое приписывали тогда Веласкесу, и Леготе, и Сурбарана, а также кошмарно жуткую бронзу Обера, олицетворявшую «Бедствие», еще ничего не доказывает. ибо он же приобретал и самые ординарные «исторические» картины, он же поощрял доморощенного слащавого декадента-символиста Соломко. Скорее всего те удачи в приобретениях великого князя полуда-

Ill, 16. Работа в Эрмитаже

лись благодаря советам более тонких ценителей (в том числе Липгардта) тогда как «неудачи» отражали личный его вкус. Вспоминаю и то как тот же в. к. Константин, глядя на врубелевского «Демона», воскликнул: «Будь я его отец, я бы выпорол этого художника». Он смутился, когда* я ему сообщил, что Врубель почитается за одного из самых выдающихся русских художников, а к тому же: «il n'est plus d'âge de recevoir la fessée» *.

Кроме поблажек моему самолюбию и небольших заработков от продажи моих акварелей эти выставки прельщали меня возможностью входить в непосредственный контакт с самим государем и со всей царской фамилией. Это было *слишком* интересно. Альбер извещал придворное ведомство о дне открытия очередной (бывавшей, в начале года) выставки, после чего неизменно приходило сообщение, когда следует ожидать августейших гостей. Обыкновенно назначался канун официального публичного открытия выставки. «Императы» (как было принято называть членов императорского дома) являлись все одновременно. Их встречали внизу у подъезда «Общества поощрения художеств» организаторы выставки (в том числе и мой брат Альбер). На первой площадке парадной лестницы их принимали президент «Общества», принцесса Евгения Максимилиановна и члены комитета, а затем после всяких

приветствий все три группы подымались еще выше в выставочный зал; тут, перед входом в него, происходило представление высочайшим нас, грешных, людей помоложе и «еще не знаменитых». На выставку 1891 г. я явился в студенческой форме и, возможно, что вид моего мундира произвел не столь уже приятное впечатление на государя, вообще к студенчеству относившегося с известнрй подозрительностью. Однако, когда Альбер подвел меня к его величеству и рекомендовал по своему обыкновению, как своего необычайно талантливого брата, государь ласково улыбнулся, протянул мне свою огромную руку и произнес несколько ободряющих слов. После того мне было поручено давать пояснение императрице Марии Федоровне и в. к. Ксении, но когда государь, шедший спереди, оказался перед моим «Франкфуртом» (Альбер обратил его внимание на эту картину), то он обернулся ко мне и предложил несколько вопросов. Эти вопросы высочайших бывали всегда более или менее одни и те же: «Когда вы это делали? Долго ли жили там-то и там-то? Что это, акварель или гуашь, вы долго писали эту картину?» и т.п. Мнений ни государь, ни государыня не высказывали, и лишь перед ланпо, занятым работами Альбера, они и все сопровождавшие рассыпались в восторженных комплиментах. Слышались восклицания: «Que c'esl beau» **, «какая прелесть, совершенная природа». После чего императрица каждый раз просила «оставить за ней» три или четыре акварели Альбера.

Вообще выставка обозревалась «империалами» во всех подробностях и с большим вниманием, ыа что уходило час или полтора. Должен при

* Он вышел из того возраста, когда получают порку *{франц.),* ** Какая красота *(франц.),*

этом сказать, что и все «манеры» императорской четы и то, что исходило из их уст, способствовало тем чувствам... «симпатии», которые несколько лет, как я уже питал к нашему государю. Они сменили во мне прежние, ребячески «революционные» и весьма смутные чувства, приобретенные от чтения некоторых исторических романов, и отражали то либеральное фрондирование, которое было до некоторой степени модным в петербургском обществе. Общество продолжало «дуться» на Александра Ш, особенно за то, что он не даровал в свое время «конституции», якобы уже лежавшей готовой к подписи на столе его отца в день цареубийства 1 марта 1881 г. Но я сознательно употребил здесь слово *симпатия,* намеренно воздержавшись от более подобающих в таких случаях выражений,

вроде «высокопочитание», «благоговение» или еще «обожание». Александр III всей своей колоссальной статурой, голосом и особенно взглядом своих пронизывающих глаз вселял в людей, подходивших к нему при исполнении своих верноподданнических обязанностей, чувства трепета и даже страха, никак не совместимых с чувством *симпатии.* Однако во время посещений царем наших (столь безобидных) выставок, он умел показать другую сторону своей личности. Он становился тем любезным, внимательным, вовсе не суровым, а скорее благодушным человеком, каким знали Александра III его семья, ближайшие царедворцы и дворцовая прислуга. Поражала его чрезвычайная простота, абсолютная непринужденность, абсолютное отсутствие какой-либо «позы» (позы властелина), чего нельзя было сказать ни про его брата Владимира, ни (в особенности) про недоступного, высокомерного в. к. Сергея Александровича.

Случалось императору во время обозрения выставки и шутить или же оп отвечал громким на весь зал хохотом на те остроты или малепь-кие потешные анекдоты, которыми его тешили наши специалисты по этой части: бонтонно-грубоватый Вилье и разыгрывавший из себя простачка, искусный маринист А. К. Беггров. На ужинах у Альбера тот же Беггров отличался неисчерпаемым запасом самых гривуазных, самых сальных анекдотов, которые он подносил товарищеской компании с особым смаком. Но Беггров обладал достаточным тактом, чтобы припасать для забавы государя и сопровождавших его дам шутки и словечки совершенно иного содержания и тона. Подносил же свои остроты этот неказистый с виду человек всегда кстати, точно невзначай и без того, чтобы выдать их заблаговременную «отделку».

Из шуток самого государя мне запомнилась одна, которую он себе позволил произвести пад особой своей троюродной сестры — принцессы Евгении Максимилиановны Ольдепбургскай. Принцесса почти всегда была одета в костюм-тайер, иногда темно-синего, но чаще светло-серого или бежевого цвета. Этому полумужскому паряду полагалось иметь сзади раскрывающиеся фалды. PI вот мы все были свидетелями того, как Александр III, самодержец всероссийский, осторожно подкравшись сзади к принцессе, ни с того, ни с сего раскрыл эти фалды и даже, манерно схватив кончиками пальцев, подержал их несколько секунд в таком по-

Ill, 16. Работа в Эрмитаже

ложешш. Спору нет, шутка эта была несколько дурного тона и какая-то чисто мальчишеская; вероятно, то была своего рода

реминисценция тех невинных шуток, которые те же персоны шутили между собой лет сорок тому назад, когда они были детьми. Но Евгения Максимилиановна без -всякого снисхождения отнеслась к ней. Обыкновенно очень бледная, она вся побагровела и буквально крикнула на государя: «Quelles sont ces maniérs? C'est honteux!»*. И трогательно было видеть, как колосс самодержец после такой реприманды выразил свое раскаяние, и до чего он был сконфужен. Внизу перед тем, чтобы выйти на улицу и сесть с государыней в двухместные сани (с великолепным казаком на запятках), государь, прощаясь с обиженной кузиной, еще раз при всех нас, гурьбой обступивших, произнес фразу вроде: «II ne faut pas m,`en vouloir» **, на что принцесса только погрозила ему пальцем, без тени улыбки на лице.

На акварельной выставке 1892 г. мне снова выдалась честь «водить» императрицу и в. к. Ксению. Среди девяти моих акварелей, вставленных в одну раму, имелся и крошечный видик Копенгагена, а именно его знаменитой Биржи со шпилем, составленным из хвостов сплетенных между собой драконов. Не скрою, что при выборе такого мотива среди фотографий, привезенных из моего первого заграничного путешествия, у меня был расчет посредством именно этого вида привлечь внимание бывшей датской принцессы. И этот расчет вполне оправдался. Государыня Мария Федоровна не только расспросила меня о том, когда я был в столице Дании, как она мне понравилась, но и пожелала знать, с каких пор я занимаюсь живописью. «Depuis l'âge le plus tendre, madame» ***,— был мой претенциозный ответ, вызвавший улыбку у обеих дам. Должен сказать, что я вообще был очарован императрицей. Даже ее маленький рост» ее легкое шепелявенье и не очень правильная русская речь нисколько не вредили чарующему впечатлению. Напротив, как раз этот легкий дефект в произношении вместе с ее совершенно явным смущением придавал ей нечто трогательное, в чем, правда, было мало царственного, но что зато особенно располагало к ней сердца.

Одета государыня всегда была очень скромно, без какой-либо модной вычурности, и лишь то, что ее лицо было сильно нарумянено (чего не могла скрыть и черная вуалька), выдавало известное кокетство — das ewig Weibliche ****. Отношения супругов между собой, их взаимное внимание также не содержало в себе ничего царственного. Для всех было очевидно, что оба все еще полны тех же нежных чувств, которыми они всзюрелись четверть века назад. Это тоже было *очень симпатично.* Характерно еще, что во время обхода выставки государь несколько раз подходил к жене, желая обратить ее внимание на то, что ему

понравилось.

Менее выгодное впечатление производил цесаревич — наш будущий государь. Начать с того, что вид у него был маловнушительный и не-

* Что за манеры? Стыдно! *(франц.)*. ** Не надо на меня обижаться *(франц.)*. *** С возраста самого нежного, сударыня *(франц.)*. **** Вечно женственное *(нем.),*

сколько простоватый. Форма преображенца не шла ему, и в ней он имел вид (то было общее мнение) «армейского офицерика». Рядом с отцом он казался маленьким, и его жесты отличались той развязностью, которая бывает у людей, попавших не в свое общество и желающих скрыть, что им не но себе. Он как-то резко поворачивался, как-то странно «шаркал» ногами, а его привычка водить пальцами по ряду пуговиц на сюртуке имела в себе оттенок назойливого тика. Цесаревич слишком явно скучал, показывал, что ему нет никакого дела до этих совершенно неинтересных картинок и до этих невзрачных господ, что пришли этими картинками торговать. При этом не надо думать, что такое отношение происходило от какой-то утонченности его вкуса. Он шел за отцом, но глядел по сторонам, а не на произведения художников, а к последним никогда прямо не обращался. Видно было, что для этого «молодого человека» посещение выставки настоящая corvee *. Вероятно, его «брали» с собой родители «насильно», и он соглашался сопровождать их только потому, что привык им повиноваться, или еще потому, что ему как раз в эти часы ничего другого более занимательного не предстояло.

Не более выгодное впечатление производил Николай Александрович и на улице, когда совершал свою ежедневную прогулку в санях или на дрожках. Иногда его можно было видеть в гусарской форме, но и она его не красила, а в том, что он как-то неестественно заносил голову в меховой шайке с высоченным султаном, было опять-таки что-то ребяческое и не «убедительное». Эти «образы» не сулили в будущем, что нами будет править *настоящий* государь. Но это будущее казалось еще в начале 1894 г. чем-то далеким, «недосягаемым»; ведь глядя на богатырскую фигуру Александра III можно было быть уверенным, что государь обладает всепобеждающей выносливостью и железным здоровьем.

* * *

Мое участие на акварельных выставках особой пользы для

моего художественного развития не принесло, если только не считать того чув~ ства внутреннего *стыда,* которое я испытывал при каждом таком ежегодном испытании. Стыд этот, происходивший от сознания малого достоинства (а то и плохого качества) моих произведений, вызывал во мне, со все еще усиливающейся остротой, самокритику и желание к следующему году исправиться, «сделать лучше». Более реальную пользу приносили мне работы, которые я не предназначал для показа публике и в которых я не искал одобрения «признанных» художников. Такими полезными работами были уже помянутые летние этюды с натуры, а также те копии со старых мастеров, которые я отважился делать в Эрмитаже как раз осенью 1893 г. Правда, я не исполнил за недосугом и половины намеченной себе программы; надлежало готовиться к государственному экзамену, но то, что я успел сделать, меня многому научило. Особенное

* Повинность *(франц.),*

Ill, 16. Работа в Эрмитаже

старание и выдержку я приложил, работая над копией (пастелью) с изумительного «Портрета неизвестного» Франса Хальса 1 <...> и над копией (акварелью) с восхитительного «Берега Схвенингена» ван Гойена. Самый этот выбор уже показывал как известную зрелость моего вкуса, tan и мое тяготение к искусству живому, непосредственному, правдивому. Но главное тут было "не в воспитании вкуса и даже не в том, насколько самые работы мне удались, сколько в том, что в течение всей осени и первой четверти зимы я целые дни проводил в нашем чудесном музее среди божественных шедевров. Я как бы жил здесь в обществе Ван-Эйка, Рубенса, Тициана, Рембрандта, Пуссена... Ни с чем не сравнимы те наслаждения, которые я испытывал и тогда, когда был занят своей работой, и во время долгих передышек-перерывов, когда я прохаживался по залам. Эти наслаждения чередовались с моментами полного отчаяния. Но они усугублялись еще благодаря тому, что моя Атя, получившая много свободного времени вследствие ликвидации ее места службы, тоже решилась испробовать свои силы на копировании эрмитажных картин. И она себе выбрала Хальса, к которому у нас обоих был в то время особый культ. В нескольких шагах от меня Атя углем и итальянским карандашом воспроизводила на бумаге того же формата, как картина, «Портрет молодого человека» в цилиндрической шляпе, в котором иные желали видеть сына великого гарлемца. Атя до полного забвения увлекалась своей труднейшей задачей. Ее ободряло то, что у нее, несмотря на отсутствие красок, все же

получалось нечто-близкое к оригиналу, нечто сочное, сильное... Но сколько было еще в нас дурачества и ребячества, показывало то, что нам не только в высшей степени импонировало все окружающее нас дворцовое великолепие, но что нам казалось, что мы здесь «у себя дома». Этому способствовало то, что, когда мы проходили по залам, дежурившие в каждой зале царские лакеи в своих красивых ливреях вскакивали со своих-мест (со специальных, не золоченых стульев) и отвешивали по низкому поклону. Причиной такого ничем не заслуженного почета было проявляемое в отношении нас благоволение начальства.

Вообще Эрмитаж в те годы пустовал. В будни мы бывали обыкновенно чуть ли не единственными посетителями — во всем гигантском здании, насчитывавшем десятки обширных зал и кабинетов. Впрочем, одновременно с нами, в нескольких шагах от нас и в том же отделении «большого зала Рембрандта» работала над копией с картины великого мастера «Девочка с метлой» молоденькая, миловидная и очень симпатичная художница. Нас она порядком интриговала, и мы не без удивления следили за тем, с каким мастерством, с какой силой эта барышня справляется с задачей, едва ли не еще более трудной, нежели обе наши. Мы приветливо, но издали, с нею раскланивались, но знакомиться не решались. Впо~ следе!вии же эта самая художница стала одним из наших самых близких друзей. То была чудесная наша Анна Петровна Остроумова (через несколько лет вышедшая замуж за своего двоюродного брата С. В. Лебедева — знаменитого химика).

700

III, 17. Наша свадьба

Именно благодаря этой пустыне и царившей по всему Эрмитажу тишине мы могли всецело уходить в работу и сосредоточиваться на ней. Лишь изредка нас отрывало от нее проходившее по залам «начальство»: их было' всего четыре человека, и промежутки между такими проходами исчислялись многими десятками минут. То были главный хранитель Картинной галереи, вообще довольно суровый, чуть даже надменный, но нам крайне благоволивший Андрей Иванович Сомов (отец нашего друга Кости), его помощники — милейший А. А. Неустроен и древний, крошечный, седенький аккуратненький, гладко выбритый .старичок Ту-тукин, поступивший на службу в Эрмитаж чуть ли не еще при Николае Павловиче, и, наконец, с необычайно деловитым видом проносившийся большими шагами, долговязый гоффурьер (начальник над лакеями), фамилию которого я запамятовал. Его и Ту ту кип а мы побаивались, ибо оба были порядочными болтунами и скучилами. Своими

никчемными разговорами они отвлекали нас от дела, причем Тутукин считал еще своим долгом награждать нас своими старомодными советами, а гоффурьер бесил своим хвастаньем, перечислением своих.заслуг и всякими сплетнями.

Глава 17

СМЕРТЬ ЕЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ КИНД.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ.

БОЛЕЗНЬ МОЕЙ НЕВЕСТЫ. НАША СВАДЬБА

В конце ноября 1893 г. папа, наконец, обратился ко мне с вопросом, почему я не привожу Атю к нам в дом? Под видом вопроса это было приглашение, но я не совсем был уверен в том, захочет ли Атя ему последовать, она могла затаить обиду па то пренебрежение, которое было ей оказано за оти два года. Однако Атя совсем просто выразила радость, что «все это недоразумение кончается», и уже на следующий день она снова появилась в тех комнатах, в которых она не была целых семь лет, с самого спектакля нашей «Дочери фараона». Папа встретил ее с обычной своей приветливостью, а Катя была прямо нежна и, видимо, растрогана. Тогда же (по все так же неофициально) было решено, что как только будущей весной я окончу университет и устрою свои дела с воинской повинностью, мы поженимся. В согласии родителей Ати на наш брак мы не сомневались. За исключением периода (с конца 1891 г. до середины 1892 г.), когда для меня были закрыты и их двери, Карл Иванович и Елизавета Ивановна относились ко мне с той же лаской, какую я встретил в первый же день моего появления у них.

Но вот так счастливо начавшийся 1894 год, суливший нам в близком будущем еще большую полноту счастья, принес нам и немало горя. Уже в январе мать Ати, любвеобильная, много в жизни настрадавшаяся Елизавета Ивановна (у нее когда-то, до Атиного рождения, за короткий срок

умерло от скарлатины трое детей), стала жаловаться на недомогание, а в конце февраля эта неустанно хлопотавшая по хозяйству женщина слегла и через три-четыре дня ее состояние настолько ухудшилось, что пришлось допустить мысль, что очень скоро мы можем ее потерять. Свои страдания Елизавета Ивановна

переносила с удивительным терпением, а за несколько часов до кончины она сама попросила пригласить пастора, чтобы причаститься. Когда- на пороге гостиной, куда была переведена больная, появился священнослужитель и произнес сакраментальный вопрос: «Glaubst du an Jesus Christus?» *, Елизавета Ивановна, несмотря на свою слабость, приподнялась и с удивительной твердостью произнесла ответные слова «Ja, ich glaube» **.

Почти сразу после причастия она впала в забытье. Все были в сборе. Часть окружала умирающую, другие расселись в столовой и в кабинете Карла Ивановича. Я пристроился к его письменному столу и по неисправимой моей привычке, не обладая способностью даже в такие минуты великого общего напряжения сидеть без какого-либо занятия, принялся за продолжение одной почти «механической» работы, а именно за нанесение на алфавитные фишки для какого-то своего каталога имен и произведений художников. При этом я почему-то себе сказал, что когда я дойду до «Острова мертвых» Беклина, то Елизаветы Ивановны не станет. Поэтому я нарочно медлил и по нескольку минут задерживался на каждой записи, когда же я дошел до этой страницы, на обороте которой, я знал, что увижу знаменитую картину, я долго ее не поворачивал. И в ту же секунду, когда все же повернул (прошло полчаса), из гостиной послышались возгласы Володи, его отчаянный призыв к матери откликнуться — и наконец его же рыдания, которым стал вторить плач всех прочих. Только Карл Иванович, я и Атя, хоть и были потрясены до глубины души, не находили Ge6e облегчения в слезах. Однако в самый день похо-роп бедная моя невеста как раз в момент, когда служащие похоронного бюро внесли крышку гроба, почувствовала себя дурно, и я не успел ее поддержать, как она грохнулась в тяжелом обмороке на пол... И все же, очнувшись через четверть часа, Атя с не допускающей возражений твердостью заявила, что пойдет за гробом, и действительно, опираясь на мою руку, она прошла пешком весь далекий путь от Покрова до Смоленского кладбища (где у Киндов было семейное место), наотрез отказавшись сесть в одну из следовавших карет.

За этим большим горем очень скоро последовали (un malheur ne vieni jamais seuì ***) другие испытания. Еще предыдущей осенью Атя лишилась места в «Железнодорожном съезде», где, благодаря родству с одним из начальствующих лиц (А. А. Вальдштейном), она чувствовала себя по-домашнему и где служба не была тяжелой. Пробыв затем часть зимы без заработка, она нашла себе новое место при Варшавском* вокза-

Веруешь ли ты в Иисуса Христа? *(нем,)**

Да, верую *(нем.)*.

Беда одна не ходит *(франц.)*.

ле. Но тут условия работы были несравненно хуже. Проверка бесчисленных счетов, возня с ведомостями, исписанными мелкими цифрами, при эюм недостаточное (газовое) освещение и ужасный воздух,—все это в связи с только что пережитым горем стало с каждой неделей все определеннее сказываться на Атиной нервной системе (возвращалась опа со службы изнеможденная), и наконец на Страстной ее силы внезапно надорвались, и она заболела острым припадком нервной лихорадки. Было страшно видеть, как бедная моя подруга в полузабытье быстро-быстро дышит, причем температура сразу поднялась до 40 градусов и больше недели затем держалась на 38. При этом полная потеря аппетита и состояние забытья. Она перестала сознавать, что происходит вокруг, и моментами даже меня она не узнавала. Кроме меня за больной ухаживала прислуга — прелестное существо карликового роста, чрезвычайно расторопная Дуня Турецкая, и через день навещала свою будущую бель-сёр моя ангельски добрая сестра Камишенька. Я был вне себя от ужаса, тем более, что болезнь при столь тревожных симптомах все же не принимала определенного характера. С каждым днем Атя слабела и прямо на наших глазах угасала. Вспоминалась печальная развязка в некоторых романах, где юная героиня умирала накануне свадьбы. А я и ухаживать за больной так, как хотелось бы, не мог. Приближалась грозная пора государственного экзамена, от успешного исхода которого зависело все наше будущее — в первую очередь наш брак. Чтение и заучивание (в большинстве случаев убийственно скучных учебников) в гостиной кин-довской квартиры рядом с той комнатой, в которой лежала и-страдала Атя, естественно, не могли идти впрок, и я был принужден для своих занятий чаще оставаться дома, где меня каждодневно навещал верный Валечка, принимавший самое близкое участие в моей тревоге. С ним за компанию было менее томительпо заниматься опостылевшими науками. Только по прошествии трех недель наступил перелом в Атином состоянии. Сказался ли тут естественный ход болезни или же действительно помог рекомендованный нам кем-то молодой и необычайно энергичный врач — Цабель (сын знаменитого оперного арфиста), но жар стал спадать, нормальное дыхание восстановилось и появился аппетит. В основе лечения лежал возраставший с каждым днем прием мышьяка. Вспоминаю, как мы оба первые дни опасались этого средства, как я следил за тем, чтобы отнюдь не

перелить хотя бы полкапли благотворного в данном случае, но вообще столь ужасного яда. Нечего было и думать, чтобы Атя вернулась на убийственную свою службу. Но ие успела она очнуться и немного окрепнуть, как стряслась новая беда. Ее отец, составивший себе порядочное состояние благодаря своим сбережениям и нескольким фппан-совым операциям, внезапно лишился всего. Выйдя в отставку после долголетней службы, Карл Иванович мог бы безбедно доживать свой век на то, что у него было накоплено, и на ту пенсию, которая ему полагалась после того, что он перешел в русское подданство, но стремление оставить после себя более значительное наследство заставило его послушать заманчивые советы сына Володи, состоявшего на службе в «Азовском бан-

ке» и считавшего себя великим финансистом. Сначала все шло как нельзя лучше. В несколько месяцев капитал удвоился, а там и утроился, и уже начинали реять в воображении отца и сына какие-то миллионы, как вдруг что-то подломилось, какие-то «вернейшие» бумаги оказались «дутыми», и все полетело в бездну. Никогда не забуду, как маститый, всегда бодрый, guten Mutes *, с виду такой крепкий, несмотря па восьмой десяток, отец Ати, вернувщись после многих часов отсутствия к себе, мешком повалился на стул и стал плакать, приговаривая: «Ich bin rui-niert, ich habe alles verloren, ich bin Bankrott, ich bin zu einem Bettler geworden» **. Непосредственное следствие этой катастрофы было то, что Карл Иванович не мог продолжать вести тот скромный, но достойный образ жизни, который он вел до этого дня. Надлежало отказаться от квартиры и переехать к сыну. Прелестное в своем роде гнездо было обречено на быстрое и полное разорение, а в зависимости от этого и моя Атя оказалась не только бесприданницей (что нас обоих мало трогало), но в буквальном смысле слова со дня на день без крова. Это заставило нас ближе подойти к вопросу о нашем окончательном и полном соединении, и поэтому, утешая Карла Ивановича в его беде, я тут же, взяв полагающийся церемонный тон, «попросил руку его дочери» — нечто такое, что уже годами подразумевалось и против чего никто не возражал. Свадьбу мы назначили в конце июня; к этому времени я уже кончил бы университет и устроил бы вопрос с воинской повинностью.

И вот относительно воинской повинности должен здесь признаться, что я не чувствовал к ней ни малейшего влечения. Если не считать моей детской страсти к солдатикам, если не принимать в соображение живущий во мне (по сей день) чисто театральный интерес к красивым формам и к некоторым военным

торжествам, то во мне не содержится и йоты воинского духа. Читая историческую повесть, глядя на спектакль, в котором действующие лица принимают участие в битве и выказывают чудеса доблести, я, пожалуй, способен преисполниться на несколько ми-нут Марсовой ярости. Но уже в серьезных исторических трудах я не в сосюятш преодолеть ту скуку, которая одолевает меня, когда начинаются описания баталий, и меня тогда тяпет поскорей перейти от них к обстоятельствам мирного порядка. Ненавижу я также разные Galeries de batailles ***, будь то в Версале, в петербургском Зимнем дворце, в Мюнхене или в Берлине. Такова уж моя природа, а если вспомнить об атавизме, то, вероятно, я эту «натуру» получил в наследство как от своих французских дедушек — миролюбивых хлебопашцев, так и от венецианских дедушек, занимавшихся науками, торговлей, ремеслами и художествами, но не прославившихся пи на полях брани, ни в морских боях. Мой отец и моя мать также были людьми, ненавидевшими вообще всякие распри и чуждавшимися споров. В частности, папа пребывал в каком-то

* Мужественный *(нем,)*.

** Я разорен, я все потерял, я банкрот, я стал нищим *(нем.)** *** Галереи батальных картин *(франц.)*.

состоянии полной объективности в политических вопросах, и для него, глубокого христианина, слово «враг» не существовало. Если же мне укажут, что один из моих родных дядей (oncle Мишель — старший брат папы) был военным, что его двое сыповей избрали себе военную карьеру, а один даже лишился рассудка от ранения на войне, если вспомнить, что и два моих брата, а также ряд племянников посвятили себя военному ремеслу, то на это я скажу, что, вероятно, все они и сосредоточили в себе ту долю военной доблести, что была уделена на всю нашу породу.

Как бы то ни было, но мысль, что мне придется служить, марширо-' вать по команде, держать в руках смертоносное оружие, мне, никогда никакого оружия, кроме детских деревянных сабель и ружей, в руках не имевшему и даже к охоте питавшему такое же отвращение, как к войне, что меня будут учить, как убивать и калечить моих ближних,— мысль эта представлялась мне до того чудовищной, что я совсем не зря грозился покончить с собой, если бы мне не удалось избежать воинской службы. Надо еще прибавить, что среди нашего довольно обширного круга знакомой молодежи, я вовсе не был-исключением. В частности, все мои ближайшие друзья питали

одинаковые с моими чувства, и всем им удавалось так или иначе избежать воинской повинности. Единственным исключением был бедный Костя Сомов, который так-таки и угодил в солдаты, но это случилось вследствие свойственной ему апатии, не позволявшей ему искать какого-либо выхода из положения. Зато он и перенес долгое испытание, пребывая все время в таком унынии, в такой тоске, что надо было удивляться тому, как он выжил, как не сощел с ума, да и впоследствии он вспоминал об этом времени не иначе, как с полным омерзением.

В настоящее время, после того как почти век прошел с момента, когда всюду была введена воинская повинность, все человечество превратилось в подобие вооруженного лагеря, и каждый народ готов под тем илнс иным предлогом наброситься на соседа, теперь, когда проповедь милитаризма н патриотизма приобрела, не то из самозащиты, не то из политического или догматического фанатизма, исступленный характер, все только что сказанное может показаться странным и даже предосудительным. Призывы к участию в спасении, в защите отечества почти всюду-породили целые системы духовного и физического воздействия (один спорт или скаутизм чего стоят), под действием которых самые миролюбивые юноши и даже девушки «рвутся в бой». В каждом государстве им вдалбливают некий символ веры, в котором требование жертвы собой во имя того или другого принципа, превращено в непререкаемый абсолют. <...) Однако в дни моей молодости дело обстояло совершенно иначе. Полуторагодовалая Турецкая война, разные колониальные войны и учреждение воинской повинности не успели изменить естественное отношение русских людей к организованному смертоубийству — отношение, особенно ярко выразившееся в проповеди Льва Толстого. Проповедь его находила себе тем более живой отклик в душах молодежи, что произносил ее человек, бывший сам когда-то «воякой» и на личном опыте по-

знавший как некоторые положительные стороны военного дела, так и все ею определенно-отрицательные. Очень характерны были наши споры на эту тему с Шарлем Бирле. Это был тоже в душе незлобивый, скорее очень миролюбивый человек, однако он ие только стоял за общую воинскую службу, но вспоминал о времени, когда он сам тянул ее лямку, с каким-то умилением. Даже все плоские шутки в казармах, все практиковавшиеся там, подчас и очень жестокие бримады, он готов был счесть за нечто милое и трогательное. В нас же эти его рассказы вызывали лишь

недоумение, переходившее в отвращение.

После всего сказанного не покажется удивительным, что и я, и все мои друзья давно решили пустить в ход все, что могло *бы* повести к освобождению пас от такого «временного порабощения», что уберегло бы каждого из нас от «измены собственному основному «я»». Те, кто обладал какими-либо физическими дефектами, радовался тому, а те, кто был освобожден от воинской повинности в силу разных льгот по семейному положению, вызывал в других нескрываемую зависть. У меня было мало шансов ускользнуть от беды. Все же лазейка без особенного труда нашлась; нашлась подобная же лазейка и у моих товарищей (Сомов, повторяю, не искал ее). Дальнейшее же произошло быстро и безболезненно. Я был почти уверен в успешном обороте дела и поэтому не очень трусил, когда явился на медицинский осмотр, происходивший в Городской думе; только было очень стыдно прогуливаться в костюме Адама по знакомым с детства думским залам и даже дать себя осмотреть и ощупать каким-то чужим господам. Самый же осмотр был весьма поверхностный. Услыхав, что я не пригоден к воинской службе из-за «общего рахитизма», я был готов обнять и расцеловать незнакомого бородатого господина, произнесшего этот приговор с видом нарочитой суровсгсти. Я был *освобожден* и лишь зачислен в ополчение 12-го разряда! А чтобы и этот разряд мог бы когда-нибудь быть призван, никому тогда и в голову не приходило. До меня, во всяком случае, в войну 1914—1918 гг. черед действительно так и не дошел.

Как только я получил нужную «бумажку» об освобождении от воинской повинности, которую я присовокупил к «правам» (так в дальнейшем и не использованным), дарованным университетом1*, то так и открылся путь, окончательно свободный от всяких преград, к нашему браку. Решено было, что до подыскания себе места службы я буду продолжать жить с женой у моего отца, почему забота об устройстве собственного гнезда была отложена. Зато мы сразу приступили к приготовлениям к самому высокоторжественному дню. Но и тут чуть было всего не испортила новая нагрянувшая беда. Едва силы Ати, благодаря решительному и усиленному режиму питания, предписанному доктором Цабелем, стали восстанавливаться, как она снова заболела и в довольно тяжелой форме. На сей раз то была злокачественная ангина. Однако никогда не унывавший Цабель поручился поправить дело к положенному

** О моей сдаче государственного экзамена мною рассказано выше,

сроку, и, назначив число 27 июня, я заказал золотые обручальные кольца с этим числом, выгравированным на внутренней стороне 2*. И вот, за три дня до этого срока Атя оказалась настолько слабой, что нечего было и думать ее вести под венец. Приходилось отложить церемонию и разослать свыше ста писем с извещением, что наше бракосочетание откладывается на два дня...

И, наконец, долгожданный день наступил. Стояла божественная летняя погода. Утром я съездил в церковь св. Екатерины, где патер Шумп меня исповедовал и причастил. Исповедь, впрочем, происходила пе в церкви, а в его просторной заставленной книгами «келье», более похожей на зал. Меня поразило, что милый Шумп до такой степени успел привыкнуть ко всяким поблажкам светской суетности, что он придал и таинству исповеди чисто формальный характер, то была скорее «уютная беседа». По дороге из церкви я заехал в большой цветочный магазин на Офицерской (он помещался в павильоне, некогда служившем «гротом» при Юсуповском дворце) и заказал там роскошный букет, а в половине третьего я с Женей Лансере за этим букетом заехал. Он оказался таким громадным, что еле влез в дверку кареты. При этом нам обоим стало до того смешно, что до самого Невского мы затем не переставали, как мальчишки, прыскать и закатываться от смеха. Упоминаю об этом, так как этот «кризис» лучше всего выражал то радостное возбуждение, которое владело мной и которое вполне разделял мой девятнадцатилетний племянник и шафер. Впрочем, вид Жепяки во фраке, который он напялил в первый раз в жизни — то был мой пресловутый фрак, заказанный еще в 1886 г. для бенефиса Цукки,— вид этого мальчика в таком церемониальном наряде был слишком необычайным и неожиданным.

Я не знаю, смеялась ли Атя, одеваясь с помощью родственных дам к венцу, но бедняжка, лишь накануне покинувшая постель, в которой она провела больше двух недель, еле держалась на ногах и прямо пугала своим видом,— до того лицо ее горело, и вся она дрожала мелкой дрожью. Я опасался, как бы ей и на сей раз не сделалось дурно. Однако все обошлось благополучно. В момент, когда мы с разных концов (она под руку со своим отцом) вступили в церковь, загремел традиционный «Hochzeitmarsch» * Мендельсона, уже перед алтарем горели свечи (электричество еще не было введено), а патер Шумп с двумя сослужащими в богатых золотых ризах ожидали нас у ступеней главного алтаря. А затем мы оба, преклонив колена за аналоями, были обвенчаны. Надлежало еще принять поздравления родственников и знакомых

(что происходило в Сакристии) и расписаться в церковной книге. Рука Ати при этом до того дрожала, что вывела она подпись не своим прекрасным четким по-

Заказал я их в той же ювелирной лавке в Гостином дворе, в которой мы с Атей купили в 4886 г. по колечку с камнем, соответствующим тому месяцу, в котором она и я родились. Уже тогда мы про себя решили, что мы навеки соединены и принадлежим друг другу. Свадебный марш *(нем.)*.

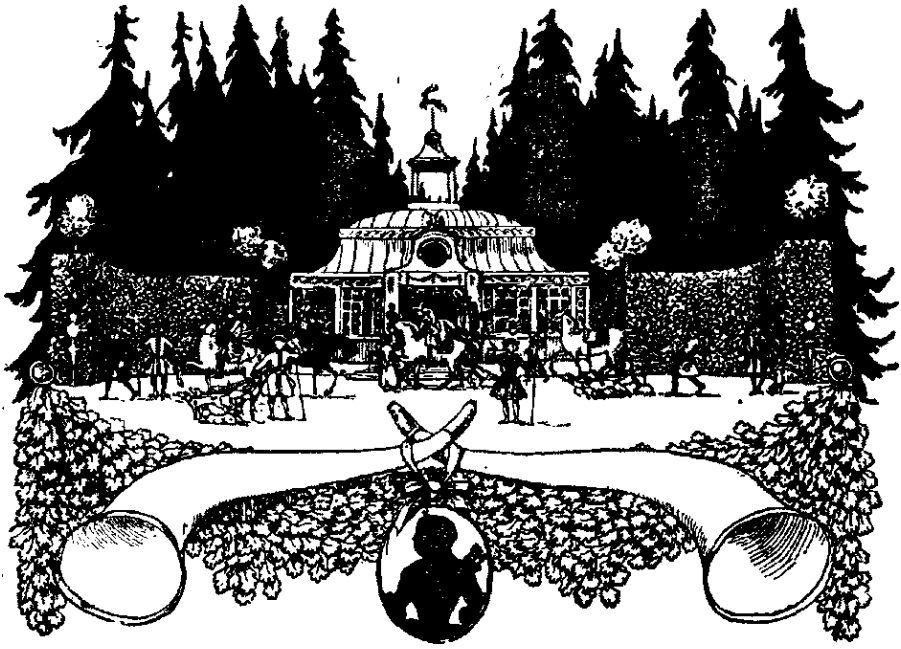
Ill , 17. Наша свадьба

черном, а какими-то неразборчивыми каракулями. Забыл упомянуть, что вторым моим шафером был Артюр Обер, и мой приступ смеха возобновился, когда я увидел и этого своего пятидесятилетнего друга в старомодном (вероятно, с чужого плеча) фраке. Однако сам наш добрый чувствительный Оберон, такой охотник до смеха, на сей раз не смеялся, а крепился, чтобы не расплакаться; украдкой он смахивал навертывающиеся слезинки. Одер, принимавший самое сердечное участие в нашем романе, был безгранично счастлив, что «все так хорошо кончилось».

Когда выходили замуж мои сестры (в 1874 и в 1875 г.), то у нас на дому устраивался бал, с которого молодые в известный момент «улетучивались». Перед этим и до начала танцев пили за их здоровье, кричали «горько», заставляли поцеловаться. Наемные и свои слуги разносили очень затейливые, специальпо свадебные конфеты на традиционных серебряных подносах-«горках» (их нанимали у Беррена). Но в 1894 г. это был уже отживший обычай, да и время было летнее, а час бракосочетания выбран дпсгной — специально для того, чтобы дать возможность приехавшим с дач вовремя вернуться к себе.

Совершенно к вечеру очнулась освобожденная от подвенечного наряда Атя. вышедшая к обеденному столу в обыкновенном летнем платье. Оставалось всего человек десять, в том числе папочка, мои обе сестры, муж Камиллы, а также оба моих шафера, все же остальные разъехались по окрестностям — кто в Петергоф, кто в Царское, кто в Павловск. Первый вечер нашей, супружеской жизни закончился поэтому в самой интимной обстановке, и на следующее утро нас покинули и папа, и Катя, и Женя. Мы остались в нашей пространной квартире совсем одни с двумя нашими старинными прислугами — Ольгой Ивановной и Степанидой. Спальней же нам служила бывшая «Зеленая» комната, что было особенно приятно потому, что она выходила на балкон, с которого открывался вид на златоверхий Никольский собор, самый же балкон был весь в цветах, и мы на

нем под спущенной маркизой завтракали и обедали.



КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1

НАШИ СТРАННЫЕ МЕДОВЫЕ МЕСЯЦЫ,
БОЛЕЗНЬ «МОЛОДОЙ» И НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОНОЙ

Уже через две недели после нашей свадьбы бедная моя Атя заболела снова,— в третий раз в том же году — и, однако, это печальное само по себе обстоятельство послужило нам в конце концов на пользу и даже на радость. Благодаря этой болезни, так некстати исказившей нам первые шесть «медовых недель», они растянулись затем почти на полгода и даже украсились непредвиденным образом традиционным Voyage de noces *.

Расскажу все по порядку. Итак, после того, что Атя на правах моей супруги поселилась в нашем родительском доме, мы зажили в нем полными хозяевами его, так как уже на следующее после свадьбы утро и папа, и Катя, и Женя — все уехали к себе на дачи в Финляндию, и в нашем распоряжении оказалась квартира в десять комнат,— для меня родная, в мельчайших закоулках знакомая, для Лти же скорее чужая. Под наше же начальство попали и две наши старые прислуги. Стали нас навещать друзья, оставшиеся на лето в Петербурге: Валечка, Бакст, Ну-рок. Дима и Сережа проживали уже в родовом Богдановском. Мы угощали друзей стряпней Степаниды, которая, хоть и не значилась кухаркой, однако могла бы заткнуть за пояс любую специалистку по кухонному делу. Ее супы, ее бифштексы «по-гамбургски» были настоящим объедень-ем, только вот десерты не очень удавались; спасали ягоды и соседство знаменитой на весь Петербург кондитерской Иванова на Театральной площади, где как раз летом изготовлялись изумительные сладкие пироги с земляникой и во всякое время разнообразные пирожные; последние очень крупного размера стоили всего пять копеек штука. В хорошую погоду, следуя обычаю, установленному мамочкой, мы обедали на балконе, где вдоль перил стояли цветы, а уютность сообщала опущенная белая маркиза. Странно, «смешно» и очаровательно было вс£ это, особенно видеть Атю в роли хозяйки нашего дома, заказывающей обед, проверяющей счета, дающей распоряжения нашим старушкам. С присущим ей тактом Атя ни в чем не меняла установленного строя, и наши прислуги это ценили, забыв прежние неприязненные чувства, которыми они было заразились от других в отношении моей избранницы.

Это блаженное состояние длилось, впрочем, недолго,— уже через четыре дня мы, не откладывая, отправились навестить HauiHXj кого в Фин-

* Свадебным путешествием *(франц.),*

ляндии, кого в Петергофе. Как папина дача, так и та, на которой жил Альбер на берегах Саймонского канала, были полны молодежи, а в малом расстоянии от этих дач жили Кавосы,— мой кузен Евгений Цезаревич со своей молодой женой и с детьми, еще не вышедшими из детского возраста. Мы очень любили милейшую Екатерину Сергеевну Зарудную-Ка-вос (я знал ее с раннего детства), которая к тому же была вовсе не бездарной художницей и как раз в те годы переживала расцвет своего таланта. Следует также запомнить, что Женя Кавос и его жена в период нашего «родственного остракизма» были из первых наряду с Сомовыми, с Десмондами и с Обером, кто открыл нам свои двери, и раза два мы даже были приглашены на их балы, вернее, на те многолюдные и непринужденные «танцульки» (sauteries), которые происходили в обширной мастерской Екатерины Сергеевны, построенной в мансардном этаже прелестного Кавосского дома. Я особенно ценил их общество, во-первых, потому, что и Женя выказывал интерес к искусству (я уже, кажется, упомянул о затеянном им художественном издательстве *) и потому еще, что их дом служил сборным пунктом для многих весьма интересных и значительных людей. Именно здесь я часто встречал И. Е. Репина и многих других художников; здесь же я заслушивался вдохновенных или полных каверзной иронии речей Владимира Соловьева \ портрет которого, писанный Катенькой Зарудной, почитался как весьма схожий; здесь же бывал историк Бестужев-Рюмин (основатель Бестужевских курсов 3), остроумнейший собеседник А. Ф. Кони, будущий «трибун» Ф. И. Родичев4 (женатый на сестре Екатерины Сергеевны), предводитель дворянства и археолог граф Алексей Александрович Бобрииский (и его писала моя кузина) и вице-президент Академии художеств граф И. И. Толстой... всех не перечислить. Особенно же меня пленил брат хозяйки дома «неистовый» Саша Зарудный 5 — впоследствии стяжавший себе славу в качестве блестящего и *благородного* адвоката и кончивший свое общественное служение на посту (не слишком удачливого) министра юстиции Временного правительства. Тогда же, в 90-х годах, «Саша» по окончании Училища правоведения только еще начинал свою карьеру. На нем мне хочется здесь остановиться. Однако я не стану касаться его общественной деятельности, а хочется занести в эти записки то, чем он меня (и многих других) пленил, почему на наших фамильных сборищах именно Саша Зарудный давал всему какой-то особый тон,

оживлял и будоражил даже и самых апатичных людей.

С виду он был «жгучий брюнет», который мог вполне сойти за цыгана (почти все дети знаменитого Сергея Ивановича Зарудного, одного из создателей судебных реформ Александра II6, имели такой *цыганский* облик). Но этого мало: светившиеся лихорадочным блеском черные глаза Александра Сергеевича, черная, густая, довольно длинная для столь юного человека борода, странные, быстрые и какие-то «обезьяньи» ухватки, не остывавшая ни на минуту возбужденность,— все это вместе взятое вызывало тревогу, по эта тревога быстро переходила (у меня, по крайней мере) в удовольствие, как только Саша, чуть освоившись (даже

IV , 1, Медовые месяцы

аЩ`~ ""—■■-_^__

среди самых близких ему нужно было несколько минут, чтобы освоиться, «прийти в себя» и осознать вполне окружающее), входил в свою роль забавника и даже настоящего шута. С виду при этом он становился все серьезнее и даже мрачнее... В частности, Саша Зарудный был один из тех, кто обладал даром доводить меня до настоящих судорог смеха. Для этого вовсе не требовалось, чтобы он говорил какие-нибудь острые вещи, а достаточно было его «действий» и поступков, отличавшихся *подлинным комизмом.* В его крови не было ничего итальянского, но я думаю, что знаменитые Арлекины и Бригеллы итальянской комедии были такими же божьей милостью «шутами гороховыми», один выход которых повергал зрителей в повальную истерику смеха. Кстати сказать, этим же даром «натурального комизма» обладали лишь три актера: главный комик Французского Михайловского театра 80-х годов — Хитте-манс (Hittemans), наш знаменитый Костенька Варламов и Н. Ф. Мона-. хов. Быть может, я еще вернусь к двум последним, но на случай, если бы это не случилось, я здесь же помяну их и помяну со свойственным мне чувством *благодарности.*

Обладавший, однако, исключительным даром слова, Саша Зарудный мог в то же время быть очень опасным в серьезных спорах оппонентом, а его поразительная память хранила десятки тысяч стихов, главным образом Пушкина, которого он обожал и чуть ли не всего знал наизусть. Он мог часами разгуливать по комнатам, произнося то тихо, то с громким пафосом любимые места из «Онегина» или из «Медного всадника», причем он до одури упивался самой их музыкой!

* * *

Порядком усталые, но все же счастливые, мы вернулись из Финляндии в Петербург с намерением тотчас же приступить к визитам другим близким родственникам. Программа была очень широкая и многообразная, но нам не было суждено ее исполнить.

Начали мы этот объезд с Бобыльска близ Петергофа, с дачи брата Миши (после которой надлежало перекочевать на соседнюю дачу к брату Леонтию), но на этом объезд наш и кончился,— злая (или благодетельная?) сила, преследовавшая нас за последние месяцы, вздумала возобновить свои гадкие шутки, и на сей раз

«шутки» приобрели настолько серьезный характер, что само существование моей подруги снова оказалось под угрозой.

Как раз чудесная погода, стоявшая уже несколько недель, за одну ночь резко изменилась; зарядили на целые дни дожди, изменилась и температура. Даже в уютной, добротно построенной Мишиной даче стало со дня на день сыро и неприветливо, а сад, весь в лужах, с поблекшими цветами принял самый плачевный вид. И тут, в мое отсутствие (я как раз поехал за чем-то в Петербург), Атя, которая вообще отличалась крайней беспечностью в отношении собственного здоровья, совершила вящую неосторожность. Попав во время прогулки с Мишей по пар-

ку царской «собственной дачи» под проливной дождь, она, вернувшись домой, поленилась переменить промокшее платье и обувь и просидела в них весь вечер. На следующее же утро я заметил что-то неладное. Меня поразила бледность моей жены и какой-то странно осунувшийся вид, г к полдню выяснилось, что это не простая простуда, а нечто более серьезное. Чем-то совершенно новым для нее были те боли в суставах рук, в коленях и в ступнях, на которые она теперь жаловалась, и именно загадочная новизна этих страданий и внезапное резкое повышение температуры погнали нас в город, куда Атя прибыла уже в состоянии, близком к обмороку, и где она сразу слегла. Вызванный немедленно «Люля-доктор» констатировал острую форму суставного ревматизма.

Тут была допущена еще одна оплошность. Вместо того, чтобы сразу прибегнуть к решительным мерам, «Люля-доктор», верный своему нажитому на многолетней практике скептицизму, ограничился прописанием каких-то если и безвредных, то абсолютно не полезных лекарств. Между тем, Атя не только стонала и металась, но порой и *кричала* от боли. В величайшей тревоге была и наша прислуга,— особепно Степаниду озадачивало, что «молодая барыня» ничего *не ест.* Однажды она даже рассмешила больную, явившись в мое отсутствие с огромным куском только что испеченного ею пирога, уверяя, что если бы им как следует наесться, то и болезнь прошла бы сразу. Едва ли более благоразумным был совет Обера, который, будучи сторонником гомеопатии, настоял на том, чтобы я приобрел лечебник доктора Бразоля и по этой объемистой книге, «где все так ясно сказано», попробовал бы, параллельно с лечением врача находить нужные средства для борьбы с болезнью. За изучение этого толстого тома я и принялся в наивной уверенности, что сам

помогу своей жене. Разумеется, из этой дилетантской попытки ничего не вышло. Зато из Бразоля я узнал о сотнях болезней, до той поры мне неведомых, и мне стало казаться, что, «судя по симптомам», я сам то одним, то другим недугом заболеваю.

Ныне без ужаса и омерзения я не могу вспомнить об этих неделях нашего первого «медового месяца». Некоторым утешением и приободре-нием служили мне частые приезды с далекой Кушелевки доброй моей Ка-мишеньки, которая с полным самопожертвованием ухаживала за Атей и помогала мне вести хозяйство. Особенно мучительны были ночи и для больной, которая из-за страданий не могла заснуть, и для нас, не знавших, как ей помочь. И все же ни в ком из нас еще не зарождалось сознания опасности, и никому не приходило в голову, что следовало бы обратиться к другому врачу. Тут как раз кончился летний отпуск папы, он вернулся с дачи, и его сразу поразила перемена, происшедшая во внешнем виде его повой невестки. Уже через день после своего возвращения он в необычный утренний час вошел вместе с Альбером ко мне в мой кабинет (где я спал с момента заболевания Ати), и оба стали меня «приготовлять к худшему». Папочка даже прямо заявил, что у «Атеньки совсем такой вид, какой был у Марии Викторовны, когда она умирала». Я решительно отверг мысль о таком близком роковом исходе, однако этот

IV , 1. Медовые месяцы ц

шаг папы и Альбера настроил меня на какой-то более решительный лад, *а* потому, когда в тот же день забежавший ко мне Бакст стал рассказывать о «чудесах», творимых его знакомым молодым врачом Л. М. Клячко, я, не откладывая, попросил Левушку тотчас же к нам его привести. В тот же вечер Клячко был у нас и произвел наилучшее впечатление всеми своими распоряжениями и своим авторитетным безапелляционным тоном. Он скорее отдавал приказания, нежели советовал, и это явилось полным контрастом бедному нашему «слишком уж домашнему» врачу-кузену. Превосходное впечатление этот молодой, но уже опытный и полный бодрости человек произвел и на больную. Особенно нас поразили его быстрые, как бы «осмысленные» руки. Атя глядела на него с верой, улыбаясь (чего уже давно не было) на его шутки (шутить с больными входило в приемы Клячко) и беспрекословно подчинилась всем его распоряжениям.

Подчинились и все мы. Эти распоряжения взбудоражили все наше чуть сонное царство. Первый приказ Клячко заключался в том, чтобы без малейшей проволочки перевести больную в одну из комнат, выходивших на солнечную сторону, причем он сам

выбрал мой бывший кабинет, иначе говоря, «Красную» комнату, выходившую окнами во двор, на юго-запад. Ольгу же Ивановну больше всего потрясло то, что доктор велел там сразу затопить камин («как так? — среди лета в жаркий день тратить дрова и уголь!»). А затем Клячко тут же выработал и записал целый режим,— что есть, что пить, от чего воздерживаться. В качестве же основного медикамента он предписал салиперин, который он предпочитал чистому салицилу, так как опасался осложнений со стороны сердца. Но самое замечательное в этих «приказах» доктора касалось того, что должно было произойти *после* выздоровления моей жены (в чем он, видимо, нисколько не сомневался). Все тем же тоном диктатора, которому нельзя перечить, он постановил, что как только Анна Карловна дней через десять поправится и наберется сил, она должна будет немедленно покинуть Петербург и отправиться... за границу, в Висбаден; после же полного курса лечения в шесть недель в Висбадене он предписал ей Nachkur * «на виноград» (эти слова звучали у него особенно эффектно благодаря его типичному еврейскому картавлению) на берег Средиземного моря — лучше всего куда-нибудь в окрестности Генуи... Только после этого мучительный (и опасный) недуг будет окончательно и навсегда побежден!

Вся эта программа и была выполнена без малейшего отступления. И действительно, уже через два дня после того, что Атя была переведена на новое место и стала принимать салиперин, боли стихли, вернулся совершенно исчезнувший аппетит, а через еще десять дней она настолькоˆ окрепла, что мы ее (правда, все еще очень слабенькую и едва решавшуюся ступить на пол) повезли на Варшавский вокзал. И вот мы уже оба си-

Дополнительный курс лечения *(нем.)*.

1Ž

IV } 1. Медовые месяцы

дим на бархатных сидениях купе первого класса, окруженные нашими чемоданами, цветами и мешками со всякими угощениями, и вот уже поезд тронулся, милые лица родных и их руки, машущие платочкамиˆ поплыли в сторону, исчезли, а мы *едем,* едем *за границуИ* Не верилось... Точно сон... Осуществилась мечта, только что казавшаяся несбыточной. Папа снабдил меня достаточной суммой денег (однако наш вояж затянулся, и их не хватило, пришлось дважды просить о подкреплении), и перед нами открывались несколько месяцев не только приятной обеспеченности, но и чрезвычайного блаженства. Мысль, что я снова окажусь в Германии, а там и в Швейцарии, в Италии (!) наполняла меня восторгом...

* * *

Берлин, куда я попадал уже в третий раз, был мне хорошо знаком, но на сей раз я мог его показать своей обожаемой подруге,— той, кому я столько о нем рассказывал. Правда, она не могла быть мне теперь товарищем во всех моих пеших рысканиях по улицам и по музеям (когда мы ее устраивали в вагон, пришлось прибегнуть к помощи двух дюжих молодцов, внесших ее на руках, и то же повторилось на границе при пересадке, и в Берлине). Кроме того, Атя ощущала боли в коленях при всяких подъемах и спусках. Но самый факт, что вот она, после почти пяти лет, снова за границей, что она увидит, хотя бы из окна гостиницы или сада, или из открытой коляски, новые лица, новые одежды, новые улицы — уже это одно, при ее любви к новым впечатлениям, окрыляло ее и сообщало ей какой-то особый подъем.

Выбралась она на третий день даже и в музей, благо Museuminsel * отстоял от нашего отеля буквально в нескольких шагах, стоило только перейти набережную улицу и мост, как мы уже были в колоннаде, оцепляющей и соединяющей Старый и Новый музеи, а также Национальную галерею. Именно в эту последнюю ее особенно тянуло,-— ведь в ней находилась одна из любимых (известная ей только по фотографии) картин Беклина (культ этого художника продолжал у нас быть в полном разгаре) «Die Gefilde der Seligen» ** и там же она увидела тоже хорошо ей известные по воспроизведениям и любимые картины — Менцеля, Хен-неберга, Фейербаха, Шпангенберга и многих других. Увидать все это в красках и как бы ожившим доставило Ате огромную радость, и я насилу оторвал ее от любования этими шедеврами тогдашней немецкой школы.

Потащил я ее и в тот ресторан «Лютер и Вегст:?р», близ Schauspiel-haus'a *** и площади Жандармов, в котором когда-то бывал чуть ли не каждый вечер Э. Т. А. Гофман и где он пьянствовал со знаменитым актером Девриеном 7. Чья-то акварель, висевшая над одним из столиков,

* Остров музеев *(нем.)*. ** «Поля блаженных» *(нем.)*. * Драматического театра *(нем.),*

IVt 1. Медовые Месяцыrø

изображала как раз такую встречу за бутылкой вина (за ˆмногими бутылками) двух друзей, и как раз под этой же картиной мы выбрали себе место за совершенно таким же простеньким столиком, как тот, за которым сидели оба приятеля.

Первый этап был Берлин, где мы пробыли пять дней, но надо было спешить сдать больную или точнее, выздоравливающую, под

опеку германских эскулапов. Одного такого, рекомендованного Валечкой (когда-то сопровождавшего свою мать во время ее ежегодных пребываний «на водах»), мы имели определенно в виду, но он не оставил по себе отчетливой памяти; да и посетили мы его всего раз, а получив на все время лечения инструкции (очевидно, те самые, которыми он, по рутине, наделял каждого), мы к нему и не возвращались.

Остановились мы в Висбадене (тоже по чьему-то совету), в старомодном, но удивительно добротном, безупречно чистеньком отеле «Zum En-gel» *, в котором уже через два дня мы стали себя чувствовать как дома. Два окна нашей комнаты выходили на боковую улицу, из-за низеньких домов которой выглядывала островерхая (новая) церковь, окруженная высокими деревьями. По утрам нам не давало спать почти беспрерывное дребезжание дверного колокольчика,— это в соседнюю булочную входила за свежеиспеченным хлебом прислуга со всего околотка. Но ложились мы с курами, и нас этот шум не слишком беспокоил. А впрочем, и весь Висбаден после десяти часов затихал совершенно, и даже в единственном в те времена театре ** спектакли начинались в шесть и кончались ь девять с половиной.

Каким вообще милым, уютно старосветским и провинциальным был тогда этот городок, как мало он заботился о развлечении своих гостей!-Когда-то в курзале велась разрешенная азартная игра, но теперь это отошло в предание, а ежедневные концерты на открытом воздухе в саду курзала никак не могли привлекать прежние толпы: программы были' уж очень банальными и пресными. Иные гости «громко» жаловались на то, что им подносят такой abgedroschenes Zeug**, да и мы предпочли бы что-либо более отвечающее нашим вкусам, но эта музыка соответствовала общему сонливому настроению Висбадена и была, вероятно, более *полезна,* нежели если бы мы слушали на первых же порах вещи волнующие, хватающие за сердце. После того, что мы пережили за последние шесть месяцев, такой покой оказался кстати, мне — не менее, нежели моей жене!

Как только выздоровление Ати достаточно определилось, мы стали предпринимать большие прогулки. В самом городе Висбадене, лишенном всякой старины и живописности, нечем было любоваться,— разве только, поднявшись на подъемнике до верхушки невысокого холма Неро-

«У ангела» *(нем.)*.

Грандиозный оперный театр только строился и был освящен к концу нашего пребывания, о чем дальше.

Пошлый вздор *(нем.)*.

берг, глядеть оттуда на расстилавшуюся «Schöne Aussicht» *. Более приятное впечатление оставила по себе экскурсия в коляске до руины Sonnenberg, лежащей в двух или трех километрах. Сама руина нас ничем не поразила, но почему-то запомнилась та картина, что предстала перед нами, когда мы взобрались на верхнюю площадку башни. Картина была совершенно в духе наших любимцев Морица Швинда и Л. Рихтера 8. Несколько девочек-подростков отплясывали здесь под собственное пение род польки-кадрили. Мелькавшие на фоне золотистого небосклона фигурки, веселая мелодия и взрывы непринужденного смеха — все это говорило о радости жизни... То была старинная Германия, что-то удивительно милое и родное, сулящее мир, благоденствие, скромное, но неподдельное веселье. Но вполне возможно, что эти же самые девочки, став через двадцать лет почтенными матронами и «пародив героев», неистово аплодировали своему кайзеру, когда он вздумал открыть двери Янусова храма, с чего и началось все дальнейшее потрясение не только Германии, но и всей Европы.

Интереснее были наши экскурсии в Биберих — ближайшее местечко на Рейне, куда нас довозил трезвонивший всю дорогу, дергающийся и раскачивающийся электрический трамвай. В самый Биберихский дворец нельзя было проникнуть; в нем еще проживали его собственники — какие-то члены княжеского рода Оранж-Нассау; но было чем любоваться и снаружи: как прекрасной архитектурой эпохи Людовика XIV, так и мягко красноватым тоном камня этого вытянувшегося по набережной величественной реки дворца. Особенно же притягивал пас в Биберих расположенный позади дворца открытый для публики несколько запущенный вековой парк. В нем мы бродили почти в полном одиночестве, то и дело спугивая остроносых ежиков, юрких кроликов и пушистых белок. Захаживали мы и в главную достопримечательность Биберихского парка — в так называемую Mosburg, одну из самых потешных пародий на средневековые замки, построенную в 1820-х или в 30-х годах, в самый разгар романтических увлечений.

Однако близкий Биберих перестал нас манить, как только силы Ати позволили ей пускаться в более далекий путь — до Майпца, того самого Майнца, который оставил во мне с 1890 г. самое чарующее впечатление. Теперь я мог изучить его исподволь и досконально. Пробовал я и рисовать в Майнце, и некоторые тогдашние зарисовки углем имели впоследствии успех на одной из выставок в Петербурге. Нас одинаково пленили как памятники средневековья, готические и романские, так и всякие довольно многочисленные здесь образцы архитектуры барокко и рококо. Но

совершенно особенное, торжественное настроение пас охватывало, когда мы вступали под суровые высокие своды знаменитого собора и оказывались среди тех надгробий майнцских архиепископов-курфюрстов, которые придают этому храму божьему значение первоклассного скульптурного музея. Начиная с каменного раскрашенного барельефа, на кото-

* Прекрасный вид *(нем.)*.

ром изображен архипастырь XIII в. Зигфрид фон Эпштейн, коронующий зараз двух германских королей 9, и кончая тем грандиозным мавзолеем XVIII в., в котором увековечен с удивительным пренебрежением христианского смирения некий, хоть и коленопреклоненный, но все же исполненный чванства Domprobst* фон Брейденбах,—все это настоящие *шедевры.*

Не менее любопытны в Майнцском соборе те, состоящие из нескольких звеньев, скамьи (les stalles), которые были привезены когда-то из другой церкви и отставлены под своды прекрасного деамбулатория 10 (Kreuzgang'a), прилегающего к собору.

Эти скамьи — опять-таки настоящие шедевры немецкого Ренессанса. Их локотники, их сиденья состоят из самых причудливых монстров: драконов, грифов, а также из сирен, амуров, фавнов — все вперемешку. При этом ни малейшего намека на христианскую религию. Спрашивается, какие мысли, какие соблазны должны были преследовать тех монахов, которые среди этой прелестной бесовщины восседали, выслушивая нескончаемые «службы»?

* * *

Исполнение заветной мечты — «паломничество» в городок Лимбург на реке Лане (Limburg an der Lahn) взяло у нас целый день с раннего утра до позднего вечера. Давно по фотографиям и гравюрам мне был знаком знаменитый вид на собор со стороны его абсиды, и мне всегда хотелось увидать эту единственную красоту в натуре. Но то, что открылось перед нами, подъезжая к Лимбургу, превзошло все ожидания, и я тогда же решил сделать на месте подробный рисунок, дабы затем в картинах значительных размеров передать этот бесподобный романтический памятник 2*.

У самого обрыва отвесной и оголенной скалы высится пятибашенный собор того чарующего стиля, в котором суровая строгая романская архитектура уже подпадает под смягчающее

влияние готики. Почти вплотную к собору жмутся несколько старинных островерхих домов, а под скалой, на берегу извивающейся речки стройным рядом стоят пирамидальные тополя. Самый собор по своим размерам не может быть причислен к *грандиозным* сооружениям средневековья, но формы его таковы, что, стоя на своем диком скалистом подножии, он кажется исполином. День выдался пасмурный, но это только углубляло звучную гамму сероватых тонов как самой каменной массы божьего храма, так и кровельных или аспидных крыш и покрытой бурыми потеками скалы...

И, как странно, именно тогда и несмотря на наше упоение вот этой красотой, между мной и Атей произошла наша первая после женитьбы

* Старший пастор кафедрального собора *(нем.)*. 2* Три раза я затем в Петербурге и в Париже приступал к этой теме и, однако ни один из этих вариантов меня не удовлетворял. Более законченный из них был мной поднесен кпягине Тенишевой и вошел в состав пожертвованного ею собрания в музей Александра III.

16*IV, 1, Медовые месАцы*

ссора, правда, совершенно пустяковая и продлившаяся не более двух часов, однако все же успевшая нас несколько и помучить. Какая была причина этой ссоры, я теперь не помню. Не то я слишком заработался, зарисовывая собор с противоположного берега, и слишком долго заставил ждать Атю, назначив ей место свидания у моста, не то я отказался пойти перекусить, когда с приближением сумерек и при остром ощущении осеннего холода мы оба проголодались. Вина была, во всяком случае, *моя.* Мы до того рассердились друг на друга, что пошли на железнодорожную станцию врозь, причем Атя чуть было в чужом городе не заблудилась и не опоздала на поезд. Может быть, настоящая причина ссоры лежала просто в той нервной реакции, которая явилась как следствие слишком большого духовного напряжения, и нас в нашей человеческой слабости просто потянуло на нечто прямо противоположное восторгу, на нечто совсем глупое и низменное.

Самым же значительным путешествием, которое мы тогда вдвоем с Атей совершили, была классическая Rheiniahrt * на пароходе. Но удоволь-ствовались мы тем, что, проплыв от Майнца до Кобленца, обратный путь совершили по железной дороге. Для меня это рейнское плавание было не новостью, но то, что *я мог теперь показать* все эти знаменитые руины, замки, городки и скалы возлюбленной супруге, преисполнило меня необычайным возбуждением, и я должен был представлять собой довольно

забавную фигуру безумца-туриста, который без устали носился с одного борта к другому, с носа на корму и обратно, таща за собой свою даму и указывая ей то одну, то другую достопримечательность. На сей раз склоны холмов, между которыми мы плыли, показались мне менее изуродованными культурной обработкой, нежели в мою первую поездку в 1890 г.; вероятно, тому способствовало, что на сей раз стояла осень, одевшая леса и рощи золотом и пурпуром, и это при ярком солнце под холодной лазурью неба, в сочетании с зеленоватым тоном воды, создавало чарующую гармонию.

В нашем висбаденском «Zum Engeb табльдот носил совершенно старосветский характер. Гости сидели рядышком вдоль двух или трех длинных столов. Натуры нелюдимые и стеснительные от этого страдали, и так как таких натур в человечестве немало, то с усилением туристского оборота в мире протесты этих людей привели к тому, что все гостиницы перешли на новую систему par petites tables **. Напротив, в 1894 г. старой системы держались не только в провинции и в маленьких гостиницах, но и в столицах, и в самых роскошных «паласах». Когда в 1882 г. я ездил по Скандинавии и Германии с родителями, и мы останавливались именно в наилучших «дворцах», то я мальчишкой двенадцати лет находил в этом большую прелесть; меня интересовали постоянно возобновлявшиеся встречи с чужими людьми (с иностранцами!); мне импонировал также весь окружающий «дворцовый» блеск — какие-то колонны,

Поездка по Рейну *(нем.)*.

Отдельных столиков *(франц.)*.

позолота, расписные плафоны, сервировка, цветы н пальмы на столах,

масса прислуги...

Табльдот в висбаденском пансионе был из самых скромных. Комната, служившая общей столовой, была хоть и просторная и светлая, однако не обладала ни малейшей декоративностью; сервировка была сведена к необходимому типу «средне-буржуазного» стола, да и среди гостей не находилось ни титулованных персон, ни богачей, ни эффектных дам. Но именно благодаря этому за обедами и за ужинами царила большая непринужденность, и часто слышались взрывы смеха или громкие споры.

Нам посчастливилось: нашими vis-a-vis оказалась пара, сразу обратившая на себя наше внимание, к концу же пребывания мы

так подружились с этими престарелыми супругами, что иногда совершали с ними прогулки по городу, закусывали в кондитерских и в молочной ферме (Milchkur), а за едой у нас через стол завязывался оживленный раз>-товор. Мы и шли к столу с особым удовольствием, предвкушая эту беседу. Впрочем, интерес представлял только *он,* почтенный и очень курьезный, забавный старичок, тогда как *она* была дама скучнейшая, с кислым выражением на бесцветном лице, вероятно, в интимности капризная и нелепая. Слишком часто прорывавшиеся эти черты нелепости раздражали супруга, и он то и дело обрывал ее притушенными возгласами: «Schon wieder bist du da mit deinen Grillen und Kra\vallen» *.

Особенно старичок любил рассказывать анекдоты, и почти все они были посвящены блестящему Парижу Второй Империи, который был ему хорошо знаком, так как он поселился там около полвека назад. Рассказывал «профессор» и про уличную жизнь Парижа, и про двор Наполеона III, и про парижские театры. Мы еще тогда сами Парижа не знали (Атя побывала в нем в 1889 г., но тогда была Всемирная выставка, и кроме выставочной суматохи, она из пребывания в Париже ничего не вынесла) и мечтали туда попасть. Естественно, что мы с жадностью слушали эти повествования и описания. На задаваемые вопросы профессор отвечал с особой охотой. Атю же старичок особенно оценил и говаривал: «Sie sind niedlich, Sie haben Geschmack, Sie müssen nach Paris! Die Frauen haben dort grosse Macht» **. Он же, узнав, что в Ате течет германская кровь, многозначительно изрек: «Sie haben den rich¯-tigen germanischen Typus, aber nicht den gewöhnlichen sondern vomeh-men» ***. Узнали мы из его рассказов, что он читает курс немецкого языка в College de France, что Professor Bentlow (или Benlow) своего рода знаменитость — известный ученый лингвист. В нас, благодаря нашей фамилии, он увидел своего рода соотечественников — любезных ему французов и охотно щеголял своим французским языком, безупречным в смысле грамматической правильности, но очень смешным в смысле произношения...

* Опять ты тут со своей блажью и суматохой *(нем.)*.

** Вы изящны, у Вас есть вкус, Вы должны быть в Париже! Женщины там все-■ сильны *(нем.)*.

У Вас истинно германский тип, но не заурядный, а благородный *(нем.)*.

i 8

IV , 1. Медовые месяцы

Насмешливый нрав моей жены избрал своей мишенью Herr Professor'a. Но старичок не обижался и не без элегантности

парировал ее легкие уколы, охотно вступая с дамой в своего рода jeux d'esprit *. Часто Бентлов назначал нам свиданье в лучшей кондитерской Висбадена, которую он прозвал «Le Rendez-vous des distingués» **. Бентлов был большим лакомкой и поедал один сладкий пирог за другим, запивая их превосходным кофием с целой шапкой белоснежных взбитых сливок.

Вид профессора был препотешный. Он носил усы и эспаньолку по моде 50-х годов, но на его одутловатом, очень бледном лице этот франтоватый «грим» создавал нечто карикатурное. Он и одевался по моде эпохи Наполеона III, если только можно вообще говорить о моде в приложе-' нии к его опрятной, но уж очень невзрачной фигурке.

Мы так полюбили добродушного и интересного профессора, что при расставании были не на шутку растроганы. Да и он чуть не прослезился, приговаривая: «Nun sehen wir uns doch bald weider in Paris!» *** В расчете на то, что мы его в Париже посетим, он тщательно вдалбливал нам свой адрес: Paris. Passy, rue Copernic, quarante deux ****. Однако, когда через два года мы действительно оказались в Париже, то своего обещания его посетить не исполнили. А впрочем, возможно, что его уже не было в живых — он был очень стар.

В самые последние дни нашего висбаденского пребывания город был «осчастливлен» приездом императора Вильгельма II — «unseres jungen Kaisers» *****. Удостоил явиться этот кумир своего народа на освящение нового здания «Оперы», только что законченного постройкой и отличавшегося претенциозным, в глаза бьющим великолепием. Великолепным был и самый въезд Вильгельма через разукрашенные флагами и гирляндами триумфальные арки. Густая толпа, съехавшаяся со всей Рейнской области, вопила от восторга, мужчины бросали шляпы в воздух, дамы визжали, махали платочками и зонтиками. Военные оркестры гремели вовсю. Сам же виновник торжества восседал в открытой коляске без намека на улыбку, с необычайно гордой осанкой, а белый султан на каске его грозно развевался. В новый театр мы сами не попали, но мы туда и не стремились. Нас (особенно меня) вполне удовлетворял милый старенький театр, стоявший в двух шагах от нашего «Zum Engel». В этом театрике шли в бесхитростной постановке, но в старательном исполнении всякие старомодные оперы вроде «Zar und Zimmerman» (какого потешного Петра I выпустили немцы!), «Das Nachlager von Granada», «Die weiße Dame», «Der Postilion von Longjumeau» ****** и т. п.

Раза три мы отправлялись в Франкфурт на Майне, куда нас манили вагнеровские оперы и куда от Висбадена было всего **час**

езды.

* Состязание в остроумии *(франц.)*. ** «Встреча избранных» *(франц.)*. *** Скоро мы снова увидимся в Париже *(нем.)*. **** Париж, Пасси, улица Коперника, сорок два ***(франц.)***. ***** Нашего молодого императора *(нем.)*. * **** «Царь и плотник», «Ночной лагерь **Гренады», «Белая дама», «Почтальон из** Лонжюмо» *(нем.)*.

IV , 2. Свадебное путешествие, Вормс, Страсбург **19**

Глава 2

НАШЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ВОРМС, СТРАСБУРГ,

ЛЮЦЕРН, ПЕРЕВАЛ ЧЕРЕЗ СЕН-ГОТАРД

Через день или два после посещения Висбадена кайзером мы тронулись в дальнейший путь — во исполнение программы, предначертанной доктором Клячко. Настоящая Hochzeitsreise * только с этого момента и началась. Теперь жена моя была совершенно здорова и в сущности не нуждалась в какой-либо Nachkur.

Крайнее же финансовое оскудение, в котором мы оказались во Франкфурте, первом после Висбадена городе, по моей же собственной вине (посланное папой денежное подкрепление запоздало),—не слишком отравило наше существование. Не имея никакого опыта по этой части, мы, вместо того, чтобы пойти объясниться с управляющим отеля и попросить его потерпеть день или два, решили растянуть те несколько марок, которые у нас оставались, питаясь колбасой, хлебом и фруктами (какие там чудесные были сливы — Zwetschgen). На третий день мы уже почти голодали и, сидя у себя в номере, пришли в некоторое уныние. Но тут как раз нас известили из банка, что чек получен, мы вошли в его обладание, сразу наелись и напились в полное удовольствие, а вечером отправились в театр, куда нас все время тянуло,— шла одна из опер Вагнера.

Решили мы ехать короткими переездами, как рекомендовал Клячко, но, кроме того, я был рад «показать» Ате те художественные достопримечательности, которые в 1890 г, «отложили до другого раза». Таким образом мы провели в Вормсе два дня, другие три дня ушли на Страсбург, три дня па Базель,

день или два на Люцерн и еще два дня на перевал через Сен-Готард.

В Вормс мы приехали в полную темноту и в дождь, а тут еще пришлось переплыть на пароме с правого берега Рейна на левый. При этом мы оба совершенно промокли. Остановились мы в «лучшей» (по Бедекеру) гостинице «Gasthof zum römischen Kaiser» **; оказалась же она старомоднейшей, в два этажа, с огромными, по пустыми комнатами и с портретами немецких государей ˆ государыней XVIII в., развешанными по коридорам и по стенам парадной лестницы. На широченной кровати в отведенном для нас номере лежала целая гора подушек и пуховиков, в камине весело пылал огонь, а на камине под тусклым зеркалом, видавшем еще современников Марии Терезии *, рядом с каким-то религиозным сувениром под стеклянным колпаком горел трехсвечный

* Свалебпое путешествие *(нем.),* ** **Гостиница «у римского короля» *(нем.),***

канделябр. Все это пришлось нам по вкусу, хоть и попахивало сыростью. Не менее понравился нам и усердно хлопотавший хозяин и отвешивавшие низкие поклоны слуги. Особенно же расчувствовались мы, осознав вполне, что мы в древней резиденции легендарных королей и героев, когда, отдернув занавески и распахнувˆ окна, мы увидели прямо перед собой точно надвигающийся на нас всей своей черной громадой собор с его четырьмя круглыми замкоподобными башнями. Было слишком поздно, чтобы сразу поспешить туда. Зато утром, не успели мы проглотить чашки превосходного кофе, как уже под ручку бежали в собор, вокруг которого и в котором мы затем и провели значительную часть дня, подпадая воздействию его величественных архитектурных форм и слушая пение различных служб. Внутри Вормский собор не содержит столько художественных диковин, как Майнцский, но самая его голизна способствует тому, что архитектура в целом настраивает на особо торжественный лад. Еще раз вернулись мы в собор уже перед самым закатом солнца, когда вся громадная храмина тонула в сизом полумраке и лишь барочная, колоссальная, увенчанная императорской короной сень над алтарем сияла золотом своих колонн и своих волют ы завитков. Как странно — это неуместное вторжение XVIII в. не портило общего настроения,

Интересным оказался тот музей, что нашел себе убежище в романской (заштатной), о двух круглых башнях, церкви св. Павла (мне она была знакома по папиной акварели, сделанной в 1846 г.), но особенно нас пленила готическая церковь, которая

находится на окраине города. К самым ее стенам и к своеобразному портику подходят поля с виноградниками, из которых выделывается знаменитое вино, носящее в сущности несколько кощунственное название — «молоко божьей матери», Lieb-frauenmilch. Рдеющие в вечерних лучах, трепещущие под сильными порывами ветра лозы с уже налившимися гроздьями создавали такую прелестную картину, что я, тут же усадив Атю отдыхать в церковь, сделал рисунок, по которому позже (уже в Петербурге) написал картину, казавшуюся мне довольно удачной **.

К вормским диковинам принадлежит еще синагога — одна из старей-гаих в Европе, а также еврейское кладбище, в котором покоятся немало сменявшихся поколений и в котором толпятся стоймя торчащие, обросшие мхом древние плиты. Но вот от посещения синагоги — точнее, гой еврейской школы, которая к ней примыкает и куда нас провел сторож, пожелавший нам показать тк^сптлетние книги, у нас сохранилось не слишком приятное воспоминание. Едва мы успели опуститься на одну из скамей, обступавших широкий и длинный стол, занимавший почти все пространство этой низкой комнаты, как ворвалась ватага необычайно зуйных мальчишек. Тут было не до рассматривания фолиантов, грудами пежавших на столе (в которых мы все равно ничего бы не поняли), а надо было спешно убраться.

Она была приобретена, если я не ошибаюсь, Академией художеств 2.

*IV, 2. Свадебное путешествие. Ворма, Страсбург*21

* * *

По первоначальному плану мы должны были еще посетить Шпейер, однако кто-то нас предупредил, что знаменитый собор чересчур подновлен в XIX в., и, — миновав Шпейер, мы прямо отправились в Страсбург. То был первый первоклассный чисто готический собор, который сознательно восприняла Атя, и восторгу ее не было границ. Да и я был глубоко захвачен этой удивительной архитектурой, имеющей что-то общее с грандиозным фонтаном, струи которого, взлетев почти сплошной стеной, так и застыли в воздухе. Страсбургский мюнстер далеко не самый цельный и гармоничный из всех рейнских соборов; напротив, как снаружи, так и внутри он представляет собой смесь всевозможных, часто противореча-. вых архитектурных и декоративных идей. Начатый по одному плану, он затем строился

по-иному. Главный фасад — на запад — получился, в сущности, каким-то однобоким, ибо одна из двух башен-колоколен осталась недостроенной, а другая выросла в два приема в непомерную высоту.. Однако возможно, что именно эта особенность придает Страсбургскому собору своеобразную прелесть и, я бы сказал, подчеркнутую романтичность, на что как раз в то время мы оба были особенно падки. Ту силу впечатления, которую мы получили, когда в глубине узкой улицы, уставленной старинными домами, выросла перед нами эта буро-розовая каменная громада, можно вполне охарактеризовать словами: un coup de foudre *. Мы обомлели и не верили глазам!

Затея заслонить стены храма лесом тонких каменных столбов и столбиков, из-за которых виднеются окна и круглая «роза», масса изваяний, ажурные лестницы, что ползут вверх по бокам здания,— все это вместе взятое озадачивает, а удивительная слаженность этого пленяет, прежде чем начинаешь отдавать себе отчет в том, из чего этот мираж состоит. Подойдя же вплотную к фасаду, диву даешься, как все это сделано, что это за «ювелирная», отделанная в мельчайших подробностях работа. Те же элементы, что растут высоко вверх, встречаешь в разных и все уменьшающихся сокращениях и внизу,— там, где можешь коснуться их «рукой». Именпо эта особенность придает всей архитектуре Страсбургско-го собора характер какого-то *естественного произрастания,* какой-то кристаллической формации, подчиненной не произволу художественной фантазии, а закономерности стихийных явлений.

Внутри Страсбургский собор представляет новую неожиданность — также основанную на разнородности ее составных частей. Правильный и легкий готический строй передней части упирается в глубине в более древнюю абсиду совершенно иного порядка и смысла; самый же алтарь, точно сцена, высоко поднят над полом наоса 3, и это придает всему нечто театральное. Тут даются представления. Но театральность эта, которой способствуют и светящиеся яркими сияющими колерами витражи, изо-

Удар грома, потрясение *(франц.).*

22*IV, 2. Свадебное путешествие. Вормс, Страсбург*

браясающие ряд величественных фигур святых царей, не имеет в себе ничего суетного, светского. Тут даются представления, но это представления священные и душеспасительные. Совершенной неожиданностью является правый притвор в виде высокого и просторного зала, своды которого поддерживаются одинокой центральной колонной (XIII в.), снизу доверху уставленной ангелами, трубящими в трубы

последнего судилища. Рядом выросла до потолка громада знаменитых астрономических часов, которые заводятся на несколько столетий и механические затеи которых приманивают каждый день в полдень толпы любопытных. Петух св. Петра бьет крыльями и горланит, смерть опрокидывает свою клепсидру4, из одних воротиков в другие проходит шествие апостолов. Рядом с разными прекрасными скульптурами, украшающими все три входные двери переднего фасада, а также оба боковых портала (один еще совершенно романского характера, другие — позднеготического), меня лично поразил фриз, состоящий из смехотворных карикатурных барельефных изваяний, что тянется на большой высоте по боковой стене северной башни.

Загадкой остаются вообще все эти шуточные гримасы средневековых художников. Загадка и то, почему они терпелись как блюстителями церковного благоприличия, так и простыми массами прихожан. Как объяснить, что в эпохи восторженного всепоглощающего благочестия, когда воинствующая и торжествующая церковь вовсе не была склонна шутить шутки— именно она же допускала подобную «свободу»? Или в сознании своей силы она с чисто материнским снисхождением терпела эти шалости своих детей, понимая, что развлечения людям так же необходимы, как хлеб, что без смеха скучно жить на свете, а скука ведет ко всякого рода грехам? Отсюда и те спектакли, что устраивались не только перед собо-ами, но и внутри их, спектакли, которые в некоторых своих частях отдавали больше бесовским соблазном, нежели ангельской благостыней. Отсюда и те определенные безобразия, которые божий дом видел во время «праздников шутов» 5 в своих стенах. Как раз этот смехотворный страс-бургский фриз наводит мысль на подобные вопросы. Частью изображения эти иллюстрируют, но в явно карикатурном виде, рассказы, то представляют сцены, разыгрываемые какими-то уродцами и чудовищами...

Последний день нашего пребывания в Страсбурге ушел на осматривание других городских достопримечательностей, в том числе церкви св. Фомы, в которой находится необычайно затейливый и вычурный мавзолей, воздвигнутый в память одного из главных военных героев эпохи Людовика XV, Морица Саксонского. В той же церкви, в отдельной комнатушке, хранятся в застекленных ящиках неистлевающие трупы каких-то персо-ажей XVII столетия. Но и самый город, его живописные улицы, его ста-инные, очень затейливые дома доставили нам много наслаждения.

Заключили мы свое страсбургское пребывание восхождением на правую башню собора. Но нельзя сказать, что этот подъем

обошелся вполне благополучно для моей подруги. Одолев с трудом почти девять десятых пути до платформы, что соединяет обе башни, откуда открывается знаменитая панорама, Атя вдруг почувствовала себя дурно и отказалась идти

*IV, 2. Свадебное путешествие, Вормс, Страсбург*23

дальше. Дело в том, что в Страсбургском мюнстере * подымаешься не так, как в других грандиозных средневековых соборах — по заключенным среди солидных сплошных стен винтовым лестницам, а крутишься в ажурных, открытых на все стороны клетках, откуда видишь у себя под ногами все ниже и ниже опускающиеся дома и все уменьшающиеся фигурки людей на улице. Вот у Ати в известный момент и закружилась голова, и тогда она просто села на ступени и решительно заявила, что не сдвинется с места ни вверх, ни вниз. После некоторого колебания я решил оставить свою спутницу одну — будучи уверен, что дурнота пройдет. Насладившись же видом с платформы, до которой я добрался, я уговорил ее сделать над собой усилие и последовать за мной вниз, закрывая глаза каждый раз, когда на поворотах ощущалось с особой остротой наше «по-висание в воздухе».

* * *

В Базеле мы остановились на три дня в очень большом, но тогда еще совершенно старомодном отеле «Zu den drei Königen» **. Насколько он был старомоден, показывает то, что единственным освещением в нашей просторной комнате была стеариновая свеча, да и за нее приходилось платить отдельно. Все три дня лил дождь, заставивший нас почти все время сидеть дома, глядя на эту плачевную картину, что стлалась перед нашими окнами. Мутно-зеленые потоки Рейна, а над ними точно жмущиеся от холода друг к другу неказистые дома, среди которых торчала какая-то островерхая церковь. Но мне это вынужденное сидение пригодилось; я сделал подробную зарисовку с этого вида, а увеличенная с нее пастель года через полтора была продана на выставке через посредство Академии художеств в Петербурге и попала в какой-то провинциальный музей. Когда получался перерыв в ненастье, мы тотчас же спешили это использовать и бежали через мост на противоположную сторону: нас уж очень тянуло познакомиться с разными знаменитыми достопримечательностями. Часа два были посвящены Базельскому мюнетеру, на фасаде которого так эффектна группа скачущего во весь опор св. Георгия в виде закованного в броню рыцаря, колющего длиннейшим копьем очень сердитого дракона.

Несколько часов в два приема мы посвятили и осмотру музея,

в котором нас особенно притягивало наше тогдашнее божество — Арнольд Беклин. Однако, к нашему собственному удивлению, мы получили более глубокие впечатления не от его картин («Derheilige Hain»*** все же прекрасный, полный настроения пейзаж), а от картин и рисунков Гольбейна, Vрса Графа, Никлауса Мануэля Дейча. Особенно нас поразили жуткие загадочные произведения последнего. Насладились мы вдоволь и в худо-

* От Münster *(нем.)* — кафедральный собор.

** «У трех волхвов» *(нем.)*. *** «Священная роща» *(нем.),*

жественно-декоративном музее, размещенном в одной заштатной церкви XV в.; там особенно нас пленил ряд старинных комнат XV и XVI в., целиком перенесенных сюда из разных частных домов и замков. Я все еще тогда мечтал когда-нибудь устроить и у себя такую реконструкцию поэтичной старины, и эту мечту вполне разделяла моя жена. Мечтам этим не суждено было осуществиться отчасти оттого, что для этого потребовались бы средства, но и кроме того наши вкусы впоследствии изменились, точнее, мы научились лучше ценить свою родную и столь дивную старину, а к тому же она была куда более доступной. Когда лет через пять или шесть ы взялись за устройство нашего собственного гнезда, то мы постарались, тобы наши комнаты вызывали иллюзию, будто это нечто такое, что досталось нам от наших дедушек и бабушек, и эта наша обстановка «старопетербургского привкуса» нашла себе затем весьма многих подражателей; почти все мои товарищи-художники обзавелись по пашему примеру мебелью начала XIX в. красного дерева и карельской березы, на стенах появились соответствующие картины хороших русских мастеров вперемешку с миниатюрными портретами, силуэтами и со всякими курьезами, а по комодам и этажеркам стали встречаться вазочки, потешные фигурки гарднеровского фарфора или кустарные игрушки.

В последний вечер в Базеле мы попали на ярмарку. То, что мы уви-цели, не представляло большой новизны для нас, когда-то бывших страстных поклонников наших балаганов; те же элементы народных развлечений: лавчонки и лотки со всяким лакомством, театрики, зверинцы, панорамы, лотереи и стрельбища были и здесь, причем все было несколько эолее культурного вида, а кое-что (например, карусели) и более роскошного. Совсем нас обворожил очень искусно сделанный автоматик, изображавший ораторствующего адвоката; немая жестикуляция его как бы убеждала прохожих зайти и поглядеть на то, что показывалось в том геатрике, на балконе которого он неутомимо метался, вздымая руки, открывая огромный рот, ворочая глазами и ударяя

себя в грудь. Несмотря за моросивший дождь, мы долго стояли перед этим оратором и не могли эторваться от его ворожбы. Подобно нашему «другу» Гофману, мы всегда эчень увлекались таким человеческим подобием (балет «Коппелия» был эдним из нами особенно любимых, а сам я впоследствии сочинил тоже залет с автоматами — «Петрушку»), у которого вместо мозга и сердца, чостей и крови хитро прилаженная деревянная кукла, пакля, пружины и колесики.

* * *

В Люцерн мы приехали опять-таки **под** дождем; весь знаменитый вид аа озеро Четырех кантонов 6 был застлан непроницаемой серой занавеской, а к тому же стоял пронизывающий холод. Такие климатические условия не могли иметь иного действия на мои зубы, как самое скверное, и действительно, что-то сразу начало сверлить и ныть.

*IV, 2. Свадебное путешествие. Вормс, Страсбург*25

За всю ночь я от боли не сомкнул глаз, а когда чуть забрезжил свет; я, стараясь не разбудить свою жену, вышмыгнул из комнаты и, подняв привратника, вышел на улицу в надежде найти где-нибудь дантиста. Увы, весь город еще спал и казался вымершим. Где, у кого тут искать помощи? С отчаянием в сердце я присел на скамейку у пароходной пристани и стал дожидаться общего пробуждения. И вот именно *тогда* я в первый раз сподобился увидеть эффект знаменитого Alpenglühen *, мне до тех пор знакомый только по описаниям в книгах и по одной из декораций «Вильгельма Телля». Картина эта была такой красоты, что я, поглощенный ею, забыл на несколько минут свою пытку! Дождь и тучи куда-то удалились и, напротив, теперь с удивительной отчетливостью открылись и самые далекие цепи гор и макушки их... Эти далекие, покрытые снегом вершины и загорелись первыми, а потом сияющая алая краска стала медленно скользить по склонам, как бы сгоняя сизую ночную мглу. И все это отражалось в ясной зеркальности совершенно спокойного озера, еще не тронутого утренней зыбью.

А затем спектакль кончился, солнце взошло, сразу откуда-то взялись пары и тучи, и сказочный вид превратился в тусклую обыденность. Одновременно с новой силой возобновились мои страдания. Но тут я заметил уже явившегося на свой сторожевой пост полицейского, и к нему я,' чуть не плача, бросился с мольбой указать, где бы я мог найти зубного врача. О счастье, таковой оказался рядом, на углу в доме с круглой башней на боку, и я,

несмотря на то, что еще не было восьми часов, кинулся к нему. Здесь меня ожидала новая приятная неожиданность. Комната оказалась настоящим музейным сокровищем. Вся она представляла собой пример самого подлинного, самого уютного немецкого рококо XVIII в. В углу стояла кафельная белая с золотом вычурная печь, вьющиеся золоченые узоры бежали и скакали по потолку и по стенам, а диван и кресла, очень изощренных форм, точно приседали на своих выгнутых ножках. И самый зубоврачебный кабинет представлял собой другую диковину —1 он был вплоть до потолка весь отделан деревянной обшивкой начала XVII в., состоявшей из пилястр, колонн, картушей, карнизов, консолей/ Странно было видеть в таком окружении специальное зуболечебное кресло, металлическую плевательницу и замысловатый аппарат для сверления зубов.

Сам дантист оказался в своем роде ценнейшим мастером своего дела. Посмотрев мне в рот, он только спросил: «Wer hat Ihnen diese Schmie-` rerei abgefertigt» **, а затем без длинных разговоров он ловко удалил пломбу висбаденского коллеги. Понимая, однако, что в пути мне не удастся произвести толковое лечение, он удовольствовался тем, что положил мне временное «pansement» *** со строгим наказом, до самого моего водворения к себе не предпринимать никаких операций. И за все это благодея-

*Пылания Альп *(нем.)*.

** Кто Вам устроил эту пачкотню? *(нем.)*.

*Снадобье *(франц.)*.

ние милый люцерпский дантист взял всего только пять франков, тогда как я готов был бы ему заплатить и сотню и две. Ликующий, здоровый, легкий на ногу, готовый на всякие авантюры, вышел я от него, и теперь снова зарядивший дождичек меня уже не пугал.

В том же блаженном настроении, которое я сообщил и Ате, мы обозрели Люцерн, показавшийся нам и под серым небом и с зонтиками в руках удивительно приятным и поэтичным. Особенно мы оценили оба крытых деревянных моста, под крышей которых, среди стропил ютятся картины, писанные без большого мастерства масляными красками, но представляющие значительный исторический интерес. Особенно любопытна серия картин «Танцы смерти», размещенная под стропилами моста, именуемого «Mühlenbrücke». Картины более близкого к центру Kapellenbrücke относятся к истории Люцерна. Особую физиономию придает Люцерну та неуклюжая остроконечная башня, что служит опорой Kapellenbrücke. Я ее и срисовал в

разных поворотах, так же, как и деревянную часовню, на которую мы с Атей набрели, выйдя из пределов города. Сложнейшая и очень красивая система балок, поддерживающих расползшуюся крышу этой часовни, показалась мне донельзя типично швейцарской.

На следующее утро мы погрузились на пароход, дабы совершить не менее классическое, нежели Rheinfahrt, плавание по озеру Четырех кантонов. Любуясь постоянно меняющимися контурами и массами крутых лесистых гор и приставая то к одному, то к другому берегу, мы дошли до того места, где озеро делает крутой поворот на юг, и здесь высадились в Бруннене с тем, чтобы уже на поезде достичь перевала Сен-Го-тарда.

Gotthardbahn *, открытый в 1882 г., продолжал еще быть сенсацион-пым, непревзойденным чудом инженерной отваги. Об этом нути, об его винтовых тоннеля-х, об его вьющемся по самому краю страшных обрывов полотне я уже слыхал от многих наших знакомых, и особенно любил обо всем этом распространяться на уроках географии Карл Иванович Май, приносивший даже в класс для иллюстрации своего рассказа специальные путеводители и карты. И вот то, что, шамкая и сморкаясь, вещал пат чудный старичок, скользило теперь перед нашими глазами. Все было точ-по так, но и бесконечно еще более удивительно, прекрасно и грандиозно. Поезд несся, как угорелый, сначала вдоль синеющего озера Вильгельма Телля, а затем все выше, выше, нисколько не замедляя хода даже при самых крутых поворотах. Всего замечательнее было увидать в три приема ту же церковку деревушки Вассен, появляющуюся сначала высоко над головами, затем вровень с нами и, наконец, еще раз — оказавшуюся под ногами. И наконец поезд уперся в самую громаду Сен-Готарда, и рельсы привели нас к черной дыре его знаменитого тоннеля. Однако мы отказались в такой ясный радужный осенний день зарыться, как черви, в эту ночь, а решили, по совету, полученному еще в Висбадене,

* Железнодорожный путь Сен-Готарда *{нем.)*.

высадиться на последней станции перед тоннелем, там переночевать и наутро совершить перевал тем же путем, каким его совершали наши деды. Им же шли суворовские войска.

Теперь Гёшенен превратился в значительный туристский центр, в место зимнего спорта и рискованных восхождений. Теперь и вокзал его вырос в соответствующую величину: при нем образцовый буфет, а в поселке несколько комфортабельных гостиниц. Но иначе было в 1894 г. Станция была самая захолустная, а в смысле отелей имелся всего один очень

неказистый деревянный домик. Оказались мы в нем единственными постояльцами, и это было очень неуютно, тем более, что бородач-хозяин имел совсем неприветливый вид, а единственная прислужница, безобразная и грязная с виду, ничего не понимала из того, что мы ей говорили на правильном немецком языке. Но что за вид открылся перед моими глазами, когда в отведенной нам комнате я открыл ставни! Прямо насупротив росла к небу и упиралась в его темную синеву гора. Внизу она уже была покрыта темной тенью, но выше все еще сияла на солнце разнообразными бурыми, зелеными, черновато-синими, золотисто-коричневыми и розовыми оттенками. Это было до того восхитительно, до того грандиозно и сурово, до того вовсе не похоже на традиционные и всегда слащавые изображения швейцарских пейзажей, что я тотчас же вытащил альбом и ящик с красками и стал набрасывать то, что было перед глазами. Картина эта была к тому же до того ясна, до того сияла каждая краска, так отчетливо один колер «относился» к другому, что казалось, перенести все это на бумагу не представит ни малейшей трудности: «Природа сама все показывала». Но до чего я ошибался. Как сказалась именно в данном случае моя неопытность!.. Вместо того, чтобы искать общее, я сразу занялся совершенно второстепенными деталями. А тут-то и тень стала подыматься по горе и, в зависимости от нее, краски стали меркнуть целыми зонами. В совершенном отчаянии я оставил едва начатую работу. И все же этот этюд я затем хранил среди наиболее для меня важных. Он, как-никак, означал известный этап в моем изучении натуры. Проученный и «обиженный», я с этого раза, не теряя необходимую для художника отвагу, все же был осмотрительнее и стал добиваться того, чтобы моя работа была более планомерной.

Ночь, проведенная в этой харчевне, после очень скудного ужина, осталась в нашей памяти, как одна из самых жестоких. Вот когда мы на себе испытали пытку замерзания! Печурка в общей, но совершенно пустой столовой, которую затопила служанка, только шипела, пыхтела и крякала, но жару не давала. Катастрофический же характер приобрело наше положение, когда мы поднялись к себе в номер и улеглись в сырые жесткие простыни. Несмотря на хозяйские одеяла и перины, несмотря на наши пледы и фуфайки, несмотря на то, что мы тесно прижались друг к другу, мы дрожали от стужи, и зуб на зуб не попадал. Немудрено, что с этой ночи слово Гёшенен приобрело для нас особый смысл, означающий *нестерпимый* холод. Надо только удивляться, как мы тогда не захворали, как выжили.

28 IV , 2. Свадебное путешествие. Вормс, Страсбург

Зато каким чудесным выдался весь последовавший день с самого того момента, когда мы уселись в заказанную накануне коляску и покатили по прекрасному гладкому шоссе. Сначала все было покрыто инеем, а долина глубоко под нами еще тонула в ночной синеве, но снежные вершины уже были позолочены солнцем и свет его с удивительной быстротой, «точно в театре», стал спускаться ниже и ниже, и с каждой минутой становилось теплее. Нами овладело какое-то веселое ликование. Явилось то возбуждение, что всегда охватывает после того, что миновала какая-то опасность, и пускаешься в авантюру, будучи заранее уверенным, что она кончится благополучно. Коляска была старомодная, но удобная, рессоры отличные, хорошо накормленные лошади бежали ровной рысью, кучер с внушительными усищами являл самый надежный вид. Когда-то это был очень опасный путь, и немало погибло на нем народу. Каким сплошным ужасом должна была быть та баталия у Чертова моста 7, в которой русские войска пробивали себе дорогу, загражденную французами! Вот уже и он, этот анафемский мост, но он теперь не такой, каким он был тогда, но новый, крепкий, широкий. А над ним значится исполинская надпись, высеченная в скале и знаменующая на «вечные времена» о подвиге росс сийского воинства и его легендарного вождя.

Что сказать про всю поездку? Отчетливо запомнился лишь этот переезд через Чертов мост и то, как, взобравшись до селения Андерматт, тогда еще носившего совершенно деревенский и типично швейцарский характер, мы там пьем кофе, любуясь тем, что солнце весело искрится в круглых стеклышках окон... На самом перевале, уже покрытом снегом, среди которого так странно темнело незамерзшее озеро, к нам из Hospice'a * сошли стражники в сопровождении больших мохнатых собак. А там начался спуск, некоторое время идущий спиралью, бесчисленными зигзагами все ниже и ниже и таким образом, что сверху видишь ту дорогу, по которой поедешь через минуту или две.

И, наконец, мы в Италии! Положим, еще не в настоящей Италии, ибо это все еще Швейцария, но живут здесь люди, родной язык которых итальянский, и дома у них совсем иные, нежели те, в которых мы только что побывали, и совсем другие церкви. Чтоб особенно осознать, восчувствовать, что мы в Италии, мы заказали себе в почтовом альберго ** макароны с пармезаном, которые мы с особенным умилением запивали темно-красным вином, наливая его из заделанной в солому круглой бутылки. Тут подоспел наш поезд. Ничто еще не походило на «обетованную» землю, нигде не проглядывала итальянская нега. Все, что мчалось мимо окон

вагона, имело тот же дико суровый альпийский вид. Те же горные потоки, те же ели по диким склонам уходящих в небо гор, те же скатившиеся с них каменные глыбы... Лишь начиная с Беллинцоны, напоминавшей своими замками романтические гравюры, стало ощущаться, что мы в другой стране, что хоть зто и швейцарский *кантон,* все же это несомненная

* Горного приюта *(франц.).*. ** От albergo *(итал.)* —почтовой гостинице.

*IV, 3. Милан, Пелъи, Генуя, Пиза*29

Италия. Поезд уже несется по берегам Луганского озера и пересекает его по длинному мосту. До чего это напоминает пленившие нас акварели Альбера или ту картину Ендогурова, которую Бакст «заставил» когда-то купить Серенсу Дягилева и которая так всем иам нравилась. А вот и граница Киассо. Уже вечер. На фоне розоватого неба силуэтом выделяется тонкая длинная колокольня, и оттуда льется своеобразный, не похожим ни на русский, ни на немецкий благовест. Такие же, вероятно, переливы слушали герои одного из наших любимых исторических романов — «Promessi sposi» * Маицони... Этот первый вечер в *Италии* запал нам глубоко в души. Тогда же захотелось в этих самых местах *пожить,* но мечта эта осуществилась лишь в 1908 г. — в наше «первое луганское лето»..,

Глава 3

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1894). МИЛАН, ПЕЛЬИ, ГЕНУЯ, ПИЗА

Настоящая Италия в эти первые дни нашего знакомства с ней показалась нам далеко не такой очаровательной, чем те мимолетные впечатления, которые мы получали, проносясь по швейцарской Италии. С самой границы стал моросить дождь, а в Милан мы въехали под ливнем. При этом откуда-то взялся уже вовсе не итальянский холод. Да и тогу дашний миланский вокзал показался нам после новешеньких грандиозных немецких — грязным, мрачным, захолустным. Наконец, гостиница, кудд нас провел пешком завладевший нашими чемоданами довольно трепаный портье, была уже совершенно «подозрительной», хотя и носила какое-то громкое название. Ложась спать, мы даже забаррикадировались, заставив двери тяжелым комодом, слишком живы были в памяти слышанные в детстве рассказы об итальянских бандитах. Гадкое впечатление, полученное сразу от Милана, особенно усухубилось вследствие того чувства, которое я

испытал, когда, наспех перекусив, один, гонимый любопытством, помчался на Пьяццу дель Дуомо **, чтобы сразу увидеть прославленный собор. Дождь перестал, но собор тонул в густых сумерках, и трудно было что-либо разглядеть. И тут вдруг я стал различать среди всяких других неистовых выкриков один повторявшийся и показавшийся мне зловещим, крик: «Le morte del tzar, le morte del tzar» ***. Купив газету, я удостоверился, что действительно нашего Александра III не стало. И это известие огорчило меня, точно я потерял очень близкого человека. В своих сокровенных мечтах мне думалось, что я когда-нибудь послужу этому государю, к которому за последние годы я стал чувствовать род

*Обрученные *(итал,)*.

!* От duomo *(итал.)* — соборную площадь.

*«Смерть царя, смерть царя» *{итал,)*.

благоговения. Около того же времени скончался и отец Димы — почтенный Владимир Дмитриевич Философов, и весть об этом меня тоже сер* дечно огорчила. Из всей семьи моего друга я был особенно расположен именно к этому высокому, сутуловатому старику с монгольским лицом, казавшемуся мне образцом настоящего русского барина.

В нашем первом итальянском городе мы провели три дня, но третий ушел почти целиком на экскурсию в Чертозу Павийскую \ В Милане я с тех пор бывал несчетное число раз, даже подолгу живал в нем и успел изучить его досконально. Я научился любить этот богатый, насыщенный историческим прошлым город. Но тогда мое впечатление от него было скорее безотрадным. Много тут зпачило, что нам попалась такая грязноватая, неаппетитная гостиница, к тому же далекая от центра. Да и погода стояла угрюмая, холодная, сырая. О восхваляемом всеми солнце Италии, о лазури ее неба не было и помину. Наконец, как-то уж очень нас разочаровал знаменитый Миланский собор... После величественных, строгих и столь возвышенных соборов Германии, находясь еще под поразившим нас впечатлением Страсбургского мюнстера, Миланский собор (снаружи) нам показался каким-то «мишурным». В своем письме папе я даже позволил себе сравнить этот знаменитый памятник с кондитерским пирогом! Самый материал — этот белоснежный мрамор наводил на сравнение с сахарным изделием. И неужели то, что теперь было у нас перед глазами, «тоже готика»?

Впрочем, нас тогда же утешила и даже восхитила внутренность Дуо-мо. Невольный трепет наполняет всякого, кто

проникает в этот лес исполинских стволов, имеющих вместо капителей какие-то (нигде больше не встречающиеся) короны-капеллы, в нишах которых расставлены целые полчища святых. Тонущие в полумраке перспективы, резкая яркость витражей, грандиозная роскошь хор, внушительные кариатиды, поддерживающие оба амвона, комбинация мрамора и бронзы, наконец, самая темнота, в которой точно в каком-то подводном царстве тонет это единственное в своем роде великолепие,— все это не может не трогать, не волновать и не потрясать.

А затем в Миланском соборе мы впервые встретились с «музейностью» Италии. На каждом шагу здесь открывались предметы, достойные самого бережного хранения и самого восторженного внимания. Но только на первых порах, пока не привыкнешь, самое обилие этих сокровищ вредило впечатлению от них. Требуется своего рода тренировка, чтобы по-должному все эти художественные примечательности оценить, нужно как-то *поверить* в них, поверить в свое счастье, что вот видишь эти красоты в таком соединении и в таком количестве.

Почти все главное, что, согласно Бедекеру и Буркхардту 2, надлежит обозреть в Милане, мы в следующие два дня обозрели: церкви, музеи, дворцы и многое среди этого оценили чрезвычайно. В особенности нас пленила древняя церковь Сант-Амброджо. В этом из красных кирпичей и серых камней построенном широкосводчатом храме живет та же полюбившаяся нам атмосфера романских соборов, которой мы дышали в Вормсе

я Майнце.* Атриум — дворик, который предшествует самой церкви, амвон, покоящийся на античном (уже христианского периода) саркофаге, и грандиозная сень на четырех порфировых столбах, под которой помещен алтарь, наконец, мозаичная конха абсиды сохранились от весьма древних и довольно еще суровых времен и внушают особое благоговение.

В галерее Бреры нас особенно пленили венецианцы, собранные здесь с удивительной полнотой. Здесь и первоклассные картины мастеров XV в.: Беллини, Карпаччо, Кривелли, Чимы, здесь и шедевры мастеров XVI в.: Савольдо, Тинторетто, Паоло Веронезе. В собрании Амброзианы мы насладились красотой портретов и рисунков самого Леонардо да Винчи и близких к нему ломбардцев, а также чудесными натюрмортами Караваджо и той серией маленьких тончайших пейзажей фантастического характера, которые сохраняются здесь с самых дней кардинала Федериго Борромео, заказавшего их Яну Брейгелю Бархатному. Напротив, то состояние, в котором мы

нашли знаменитейшее из произведений Винчи — «Тайную вечерю», написанную на стене трапезной монастыря Санта Мария делле Грацие, нас только огорчило. Ведь видишь не самое создание гениального мастера, а какую-то тень его...

Не по душе нам пришлась и Павийская Чертоза, и пожалуй, в данном случае, как и в неприятии фасада Дуомо, мы были несколько и правы. Неприятнее всего нас поразил слишком нарядный, светский характер святой обители, в которую щедрые дарители нанесли такое количество прикрас и украшений, что о самом назначении монастырской церкви забываешь. Мы даже не были очень огорчены, когда водивший нас в составе группы туристов сторож строго приказал оставить на голове шляпы,— мол, тут ничего больше освященного не хранится **.

Дивишься, поражаешься в Павийской Чертозе, но глаза буквально разбегаются, и нет возможности сосредоточить на чем-либо внимание, уловить основную мысль создателя этого сложного целого. Это особенно касается фасада. Все *слишком* богато, роскошно, слишком много драгоценных материалов. Лишь уголки малых двориков с открывающимся из-под аркад видом на боковые фасады церкви, лишь прекрасные напрестольные картины и иллюзионистические фрески Бергоньоне, а также исключительно изящный умывальник для монахов, остаются из всего виденного в памяти.

На третий день утром мы покинули Милан, но наш тогдашний въезд в Геную, в этот прекрасный царственный город, был довольно плачевен, так как по дороге со мной сделался ужаснейший гастрический припадок... Покинув поезд, я еле добрался до коляски, а в гостинице Атя сразу меня уложила, а сама отправилась в аптеку за каким-либо успокаивающим

** В 1938 г. мы снова, после долгого перерыва, посетили Чертозу, и на сей раз в ней оказались монахи, так как и монастырь и церковь были возвращепы богослужению, so монахов было так мало, что их фигуры в белых рясах производили впечатление чего-то не подлинного — точно их сюда поселили только «для оживления декорации».

средством. Такое ˆантиистерико» нашлось, я его принял, уснул, â когда через час проснулся, то почувствовал себя настолько здоровым, что тотчас отправился прогуляться: уяч* очень захотелось увидеть море — Средиземное море, то самое, по которому плавали и Одиссей, и Эней, и крестоносцы, и левантийские пираты, и, пожалуй, кое-какие мои дедушки — «венецейские гости». Атя уже была знакома с этим морем и даже чуть было не погибла в нем, увлекшись в Марселе купаньем, я же

видел его в первый раз! Однако увидал я его не райски-лазуревым, как его всегда описывают, а в эти октябрьские сумерки оно показалось неприветливым, хмурым, зеленовато-серого оттенка под пеленой низко нависших туч, Зато воздух был тот, которого мы жаждали,— т. е. насыщенный влагой, особыми морскими запахами. И чудесен был весь этот простор, которому особую ноту придавал высоко вытянувшийся старинный маяк, совсем такой фантастический, каким его видишь на гравюрах и на картинах.

Следующий день мы посвятили осмотру города, но это был беглый, поверхностный осмотр. Пленила нас Генуя в общем, вся в целом — своим гордым великолепием. Такого собрания прекрасных дворцов, какие здесь стоят сплошным рядом на главной улице, *нигде* не найти. II именно благодаря тому, что улица эта такая узкая и тесная, все эти дома и кажутся еще более грандиозными и царственными. Это обиталище королей и государей, а не разбогатевших купцов. А зато никак нельзя было усомниться, что у этих «государей» был отменный вкус, что к их услугам были лучшие зодчие и декораторы своего времени.

* * *

Искать долго пристанища для предписанной Nachkur не пришлось. Еще во Франкфурте нам посоветовали местечко Пельи (Pegli) в нескольких километрах на запад от Генуи. II здесь не обошлось без некоторых разочарований. Самое местечко оказалось бесцветным; от некогда процветавшего здесь когда-то рыбацкого селения осталось всего несколько лишенных всякой живописности домишек; среди них и втерлось совер^ шению банальное здание нашего отеля. Впрочем, наша комната, просторная и светлая, с видом на море, пришлась нам по вкусу, да и ко всему отелю мы за две недели нашего пребывания так привыкли, что не без огорчения его затем покинули.

Кажется, наша гостиница именовалась в рекламах «паласом», и по своему объему она это наименование заслуживала, но все же «дворцо-вость» ее была очень относительная. Весь строй был здесь буржуазный, слуг было не так много, и они были просты и любезны без навязчивости. Наконец, табльдот происходил за двумя общими длиннейшими столами. Сидело за ними человек шестьдесят, и все вперемешку: молодежь, старики, дети. Кормили хорошо и обильно. В качестве же вечернего развлечения, кроме картежной игры (для нас чуждая область), можно было слушать механический орган необычайной величины, чудесное дудение,

шипение и звякание которого довольно удачно имитировало оркестр.

IV , 3. Милан,, Пельи, Генуя, Пиза

33

К этому музыкальному чудищу мы после обеда вместе с другими невзыскательными меломанами подсаживались, а немец-оберкельнер заводил машину и ставил ее на разные номера. Репертуар состоял из двух десятков пьес, и все это было самое избитое (но все же милое), старое: увертюры или попури из «Фра Диаволо», «Цампы», «Белой дамы», «Марты», «Сороки-воровки», «Вильгельма Телля» и т. д.

К концу первой недели у нас уже образовалось, как в Висбадене, нечто вроде «своей компании». То были главным образом соседи по обеденному столу. Запомнились какие-то Орловы из Киева, поэт из Берлина, какой-то очень предприимчивый молодой немец, которого Атя прозвала кривоносым и который обладал действительно совсем в сторону сдвинутым носом, что не мешало ему считать себя (быть может и не без основания) неотразимым Дон Жуаном. Напротив, мой сосед по табльдоту, Herr Paul Bliss aus Berlin *, был человеком довольно элегантным, нос у пего был римский, рост высокий, лицо гладко бритое, манеры порывистые, как подобает поэту; он казался вечно чем-то возбужденным — вдохновенным, «парящим». Блисс был действительно другом муз и, кажется, был довольно известен на родине. Нам он благоволил и поминутно угощал нас фрагментами своих стихов, из которых я не все понимал, но которые мне казались звучными и эффектными. Самое его прибытие в Пельи носило поэтический характер. Он приехал хоронить своего сердечного друга, только что скончавшегося от скоротечной чахотки и всего за два дня до этого бывшего моим соседом за столом. От Блисса мы узнали, что таких угасающих юношей на Ривьере великое множество, что многие из этих обреченных обедают до последнего дня тут же и что редко кто из них отдает себе отчет в безнадежности своего недуга. И не успеет такой обреченный скончаться, как труп его тайно выпроваживается из гостиницы и отправляется в отдельно стоящую, замаскированную деревьями покойницкую, в которой Блисс и нашел своего приятеля.

Последние дни нашего пребывания в Пельи стояла совершенно летняя теплынь, позволявшая даже ночью оставлять окна открытыми. Мы сделали несколько чудесных прогулок по горным дорогам, любуясь изумительными видами. Я брал с собой мольберт и пробовал делать этюды с натуры, из которых один вид на высоко на вершину горы взобравшийся моиастырек — мне как

будто удался. Во время того, что я работал, я услыхал откуда-то издали пение. То была вереница паломников с крестами и хоругвями, которая шествовала по дороге, огибающей противоположный холм. Эта людская лента то исчезала за деревьями, то снова показывалась, а пение слышалось то громче, то глуше...

Чудесные летние дни сменились ужасающей бурей, грозой и проливным дождем. Непастье было такой силы, что был поврежден железнодорожный путь, затоплен ближайший тоннель, прервано движение поездов, снесены разбушевавшимися горными ручьями мост и несколько домов. Отель сразу опустел, да и мы стали собираться в дальнейший путь.

* Господип Пауль Блисс из Берлина *(нем.). 2* Заказ J4¾ 2516 34*IV, 3. Милан, Пелъи, Генуя, Пиза*

* * *

Теперь, проделав нечто вроде Nachkur, предписанной доктором Кляч-ко, мы только начали наше «чистое и свободное» странствование по Италии. По установленной программе надлежало проехать через Пизу во Флоренцию, и оттуда, через Болонью и Падую, в Венецию. Южнее Флоренции мы решили не спускаться, ибо сознавали, что накопится *слишком* много впечатлений, но от Флоренции и Венеции мы не могли отказаться.

К сожалению, я и в Пизу приехал с больным желудком, и пришлось тотчас же звать доктора. И тут совсем неожиданно нам была представлена сценка совершенно в Гольдониевском вкусе. Попросив слугу (в старомодном, но превосходном albergo «Nettuno»*, в котором нам отвели просторную комнату с монументальной кроватью за алыми занавесками) достать врача, мы получили в ответ: «Si, signore, vieni subito il signor dottore, è padrone della casa» **. Сказав это, слуга сломя голову полетел за своим хозяином, и уже через две минуты тот же слуга, держа высоко над головой пятисвечный канделябр, растворил обе половины двери и возгласил: «Ecco il signor dottore!»*** Вдали по коридору послышались торопливые шаги, и к нам в комнату не вошел, а вкатился пожилой господин с преогромным носом и выдающимся подбородком. Он как-то сразу, точно играя заученную роль, стал на потешном французском языке расспрашивать меня о моем недуге и тут же, не присев, прописал лекарство, после чего, получив им же самим назначенные пять лир, он так же быстро удалился, опять-таки в предшествии слуги

с тяжелейшим канделябром. И что же, несмотря на всю эту театральщину, сильно отдававшую шарлатанством, доктор заявил себя с наилучшей стороны. Его пилюли почти мгновенно успокоили мою взволнованную утробу, а что касается режима, то он разрешил мне есть все, что захочется, только под условием, чтобы все было приготовлено «al burro», а не «al-oglio»****.

* * *

Одной из главных достопримечательностей Пизы является его Сатро santo ***** — иначе говоря кладбище, готическая постройка, состоящая из прямоугольного садика, замкнутого с четырех сторон высокими галереями. Противоположные «окнам» стены покрыты сплошь знаменитыми грандиозными фресками. Но, в сущности, вся Пиза производит впечатление кладбища. Когда-то этот город дерзал соперничать с Флоренцией, но, побежденный и посрамленный, он с тех пор влачит жизнь «провинциального захолустья». Да и то, что три других его диковины расположены как-то в стороне, рядом с Кампо Санто, на очень пространной площади,

Гостинице «Нептун» *(итал.)*.

Да, сударь, господин доктор тотчас придет, он и есть хозяин дома *{итал.)*.

Вот господи доктор *(итал.)*.

На сливочном масле, а не на растительном *(итал.)*.

Кладбище *(итал.)*.

лишенной деревьев и поросшей травой, придает Пизе характер чего-то заштатного, отжившего и мертвого, а главная из этих диковин — пресловутая «падающая башня», своим поникшим видом невольно вызывает печальные мысли...

Меланхолическое, но не лишенное большой прелести, настроение владело нами все три дня, что мы посвятили Пизе. Мы несколько раз на дню возвращались на то поле, на котором высятся все главные памятники Пизы, мы грелись на солнце то у кургузого круглого Баптистерия, разглядывая странные многоэтажные колоннады на фасаде Дуомо, то у подножия знаменитой «падающей башни». Решились мы и влезть на последнюю, что вызвало ощущение, похожее на то, что испытываешь на корабле, когда он начинает сильно и тревожно крениться. Но прелестен вид, открывающийся сверху на рыжие и золотистые крыши домов, на пустую зеленую площадь с ее архитектурными диковинами и на белеющие вдали мраморные

горы.

Почему же, несмотря на всю меланхоличпость Пизы, и мы исполнились к ней тех нежных чувств, о которых нам говорили наши знакомые? Почему тянет снова в Пизу и даже хочется именно в Пизе *пожить?* Вроде того, как «хочется пожить» в Брюгге, в Венеции. Потому ли, что ее пустынные улицы и ее набережные населены манящими призраками или потому, что в ней вообще столько загадочного, да и самые ее знаменитые памятники, их «пленительная» странность, помимо сознания, задает нашему вкусу какие-то неразрешимые вопросы. И не одни только грандиозные фрески треченто и кватроченто в Кампо Санто оказывают сильнейшее притягательное действие, но и тысячи всюду встречающихся красот в орнаментах, в архитектурных деталях, в скульптурах. Так, нельзя себе составить правильное представление о скульптуре раннего Возрождения, не изучив произведения обоих Пизано — отца Никколо и сына Джованни. Амвон Никколо в Баптистерии служит самым ярким примером сознательного возвращения к формам строгой античности; напротив, в скульптурах его сына Джованни проявляется, задолго до чего-либо ар алогичного в живописи, «мятежный дух позднейшего времени»,— бурное и страстное пробуждение после продлившейся много столетий летаргии. Особенно потрясли меня тогда скульптуры амвона, некогда сооруженного в Дуомо, но впоследствии разобранного и хранившегося в таком разобранном состоянии в музее — что, кстати сказать, позволяло лучше разглядеть каждый из этих горельефов и каждую статую в отдельности и во всех подробностях1*.

** Ныне, если я не ошибаюсь, шедевру Джованни Пизано возвращается его назначение, и его амвон снова поставлен в соборе.

Глава 4

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ФЛОРЕНЦИЯ, ПАДУЯ, ВЕНЕЦИЯ, ВЕНА, ВАРШАВА

Наконец мы во Флоренции! По фотографиям, гравюрам, по описаниям в книгах и по рассказам я успел изучить чудесный город задолго до того, что в нем побывал, но сколько еще тут, на месте, оказалось неожиданного и прекраснейшего! Самое это сочетание чего-то очень строгого, почти мрачною с чем-то необычайно ласковым уже одно это сразу пленило.

Стояли осенние, довольно темные дни; в своем номере гостиницы мы мерзли. Но все же, несмотря на это и на то, что у нас во Флоренции не было ли одной души знакомой, мы уже через день стали себя чувствовать, как дома. Стоило выйти на улицу Calzaioli, на которую глядели окна нашего albergo, как особая атмосфера какой-то домашности нас окутывала и не покидала нигде; ни в музеях, ни в церквах, ни в ресторане. Правда, эта «домашность» была на улице несколько шумливого сорта — особенно к вечеру на площади Синьории, где стоял неугомонный крик продавцов газет и спичек («cento cerin — un sol» *,— выкрикивали мальчишки и старички на все голоса), однако эта толкучка нас уже здесь не коробила — очевидно, мы за три недели успели привыкнуть к таким формам южной экспансивности. Впрочем, здесь, во Флоренции, самая экспансивность носит более смягченный, более «тактичный» характер.

Описывать все, что мы видели и чем наслаждались во Флоренции, этой святыне искусства, не имеет смысла. Прекрасного, первоклассного в этом городе, в котором творческий гений Италии в течение трех веков (с XIV по XVI) горел самым ярким пламенем, слишком много. Упомяну же я только то, что нас поразило своей неожиданностью и что особенно в то же время *тронуло*.

И вот, как странно: нас больше всего поразила не какая-либо картина или скульптура итальянского художника, а произведение до тех пор нам даже в воспроизведениях неизвестного нидерландца. Я говорю о том грандиозном триптихе, который носит имя Портинари и который был исполнен в Брюгге по заказу семьи Портинари мастером Гуго ван дер Гусом. В 1894 г. этот шедевр из шедевров все еще находился в том же госпитале1 (degli Innocenti), для которого он был написан около 1470 г., и возможно, что именно то, что мы так неожиданно увидали этот шедевр в той длинной «палате», куда нас провел сторож,

повлияло на силу впечатления. Но можно ли в нескольких словах дать хотя бы отдаленное представление о том, что это за красота, какое сосредоточенно скорбное настроение царит в центральной картине, изображающей Рождество Спасителя? Бледная, болезненная девушка тихо молится, стоя на коленях перед только что рожденным младенцем, и тут же грубые, полудикие»

* «Сто спичек —соль [сольдо]» (ur < z¿.). _. -.

*IV, 4. Флоренция, Падуя, Венеция, Вена, Варшава*37

но чистосердечно умиленные пастухи преклоняются перед тем, кто явился на свет для их спасения, для спасения всего человечества, и который теперь в жалкой наготе, беспомощный лежит на горстке соломы, посреди открытой на все стороны развалины. Кроме пастухов, собрались, слетелись сюда и ангелы. Они двух разрядов: одни облачены в тяжелые роскошные ризы, другие в длинных белых и голубых хитонах. К этому обожанию младенца присоединились и изображенные на боковых створках складня заказчики — вся семья Портинари — муж, жена и трое детей: два мальчика и одна девочка. Все эти и реальные и мистические персонажи объединены глубоким благочестием.

Другой для нас неожиданностью (повторяю, *неожиданность* действует всегда сильнее) была флорентийская скульптура — главным образом то, что сгруппировано в музее Барджелло, но и все то, что разбросано по всем церквам или стоит прямо на площадях, на улице — как-то «Юдифь» Донателло, статуи в нишах Ор Сан Микеле, как Давид Мике-ланджело (оригинал был уже перенесен в музей, но еще недавно он стоял, овеянный всеми ветрами, у входа в Синьорию), как бронзовые фон-таны, как конные монументы Джованпи ди Болонья и Франкавиллы, как «Персей» Челлини. Нашим восторгам именно в Барджелло не было предела. Все эти бюсты, дышащие жизнью, в то же время являются верхом стильной выдержанности и пластического мастерства. Эти аристократы, ученые, политические деятели, почтенные матроны и поэтичные девушки, истлевшие пятьсот лет назад, благодаря магии Донателло, Дезидерио, Росселино, Мино, *продолжают жить,* и начинает казаться, что сам был знаком с ними, слышал их голос, их смех... В то же время в этих скульптурных портретах нет и тени вульгарности. Каждый бюст представляет собой образец художественного благородства, а иногда и величия, иногда благочестия. Эта флорентийская скульптурная портретисти-ка — целый мир, разнообразный, как живой мир.

И еще чудесной неожиданностью были для нас во Флоренции фрески Беноццо Гоццоли в домашней капелле дворца Медичи (Palazzo Riccar-di). Эта капелла — довольно темная комната с

одним выходящим во двор окном. Даже в солнечные дни некоторые части ее стенописи тонут во мраке. Очевидно, что расчет был на свечи, зажигавшиеся у алтаря. Теперь этому дефекту пособили проведением электричества, и каждый угол освещается так, что различаешь и малейшую подробность. Но в 1894 г. прибегали к более первобытному способу: у окна стояло большое зеркало (точнее, лист белой полированной жести), водруженное на штатив, и сторож поворачивал это зеркало, освещая рефлексом то одну часть фресок, то другую. Это было не очень удобно для изучения самой живописи, зато получалось нечто детски-сказочное, что отлично вязалось с той сказкой, что рассказана здесь блестящим учеником Беато Анджелико и что представляет славословящих ангелов и поезд трех царей-магов, отправляющихся на поклонение младенцу Христу. Чудесно выплывающие из мрака, благодаря отраженному свету, куски процессии, затем вновь погружавшиеся во мрак, напоминали представления волшебного фонаря*

38

IV , 4. Флоренция, Падуя, Венеция, Вена, Варшава

Да и впечатление того, что эти всадники в роскошнейших одеждах, эти пажи, воины, слуги, сокольничьи, царедворцы и прочая свита движутся, медленно подвигаются к цели, получалось благодаря такой смене одного образа другим.

О других флорентийских впечатлениях я умолчу. Их было слишком много, и они были таковы, какими я и ожидал, что они будут, к каким я готовился. Впрочем, многое оказалось *еще лучше,* чем то, что ожидалось. К совершенно выпадающим из ряда впечатлениям принадлежат: «Рождение Венеры» и «Весна» Сандро Боттичелли, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабиано, «Видение св. Бернарду» Филиппино Липпи в церкви Badia, бронзовые двери Баптистерия Андреа Пизано и Лорен-цо Гиберти, фреска Перуджнно в Santa Maddalena de Pazzi, фрески Беато Анджелико в монастыре Сан Марко, скульптуры обоих Роббиа, мозаики в купол? Баптистерия, архизнаменитые фрески Гирландайо в абсиде церкви Santa Maria Novella; чудесные фигуры полководцев и сивилл Андреа дель Кастаньо в S[anta] Appollonia и т. д.

Мы были слишком насыщены художественными впечатлениями во Флоренции, чтоб совершить поездку по другим городам Тосканы или чтоб но дороге в Венецию остановиться еще в Болонье или в Ферраре. Но Падую я не мог миновать: мы посвятили ей целых два дня и изучили этот замечательный город довольно подробно.

Ограничусь и здесь тем, что *особенно* меня поразило в Падуе.

На одном из первых мест окажется Palazzo della Ragione — именно внутренность этого «городского дома» — одного из наименее популярных, однако и наиболее интересных памятников Средневековья. Колоссальный зал занимает всю длину верхнего этажа этого здания и представляет собой как бы внутренность опрокинутого килем вверх корабля. Стены сплошь покрыты живописью начала XV в.— аллегорическими фигурами на темном фоне, имеющими отношение к астрологии. Некоторая их уродливость сообщает всему особенную, довольно жуткую ноту. Эта нота подчеркивается еще тем, что посреди салона стоит исполинской величины деревянный конь, имеющий вид, что он выступает навстречу посетителю. Считалось, что это произведение Донателло и что эта скульптура послужила великому мастеру моделью для чудесного монумента кондотьеру Гаттамелате, воздвигнутого близ базилики св. Антония. Однако, но другим догадкам, конь в салоне имеет более курьезное прошлое, будто он служил в каком-то театральном действе в качестве того коня, что был построен хитроумными греками и втащен, себе на погибель, троянцами внутрь своего города.

В целом от Падуи осталось у меня впечатление чего-то сурового, жесткого, кованого из меди и бронзы; и это впечатление достигало особой остроты, как во фресках Мантеньи в Эремитани, так и в том ансамбле, который был предназначен для украшения главного алтаря «Санто» и который является одним из самых мощных произведений гения Донателло. В 1894 г. этот бронзовый алтарь был выставлен в разобранном виде (он состоит из барельефов, представляющих многолюдпые сцены

«чудес» св. Антония, из отдельных статуэток и из весьма своеобразной мадонны) и находился не на предназначенном месте, а показывался в отдельном помещении Opera del Santo. Фрески же Мантеньи в отдельной капелле при монастырской церкви (ныне варварски уничтоженные бомбами) *била* посвящены (приходится теперь сказать «были») истории апостола Иакова и святого великана Христофора. В этих стенных картинах с особой силой воскрес дух древнего Рима. Как раз дни создания этих циклов §были отмечены особым увлечением раскопками классической древности, и молодой Мантенья страстно воспринимал ту далекую красоту, что чудом уцелела под землей в течение почти целого тысячелетия. Но не ласка и нежность древней Эллады, не мир Киприды и Эрота при-влекал художника, а мир Марса, мир римского величия, мир торжественных викторий. Он и действующих лиц христианских преданий одел как римских патрициев или заковал в вычурные доспехи, окружив

эти фигуры мраморными колоннадами и аркадами, роскошно разукрашенными. И эти фрески в церкви Эремитани, на которых представлено, как апостол Иаков стоит на судбище перед проконсулом, или как палач отсекает святому голову, не вызывают какого-либо умиления, а говорят о жестокой военной мощи, о неумолимой строгости. В то же время в них все полно царственного великолепия. Нет в них и намека на христианские идеалы, это абсолютный контраст с умиленностью Беате» Анджелико, с болезненно-хрупкой грацией Сандро, с детской сказочностью Беноццо Гоццолк. Нечто общее по духу содеряˆат и фрески Джотто, которыми сплошь разукрашены стены и потолок капеллы della Arena. Это тоже нечто очень суровое. Но в этих фресках, предшествующих более чем на сто лет фрескам Мантеньи, нет нарочитых античных реминисценций. Правда, действующие в бесчисленных сценах лица одеты е какие-то хламиды и тоги, но это те одежды, в которые издавна было принято одевать священные персонажи: на «костюмную часть» здесь не обращаешь ни малейшего внимания. Зато ни в чем Джотто пе оправдывает в такой степени свое значение началоположника *«новой»* живописи, покончившей с условностью Византии, как именно в этом «Евангелии в картинах». Здесь во всем веет дух творческой свободы, *личный* подход к задаче, желание выразиться как можно нагляднее и патетичнее. В целом это какая-то мистерия, в которой трагедия Христа разыграна с небывалой до тех пор ясностью и убедительностью.

* * *

И вот мы в Венеции, в этом чудо-городе. Ничто не сравнится с тем чувством, которое испытываешь, когда, покинув дымный поезд и выйдя из вокзала, впервые садишься в гондолу, а перед глазами высится несуразно вытянутый зеленый купол церкви San Simeone Piccolo.

Удивительно действуют зыбкость и валкость той черной лодки, на кожаные подушки которой усаживаешься при любезной помощи гондольера и древнего старичка с багром (grappino). Таких старичков с

багром встречаешь затем всюду, где имеется перевоз через канал (traghetto) или там, где вообще толпятся гондолы,— это характерные персонажи всего венецианского спектакля. •

Странно сразу действует в Венеции тишина и бесшумность, и в этом есть что-то удивительно успокаивающее. Даже предложения услуг делаются с особой дискретностью... Не спеша носильщики-факины уложили наши (довольно многочисленные) чемоданы, и вот мы уже плывем, сначала мимо не очень казистых

построек, мимо барочной церкви Скаль-цо (в которой тогда еще развертывался божественный плафон Тьеполо, погубленный в первую мировую войну), а там, после мягкого поворота, появляются один за другим чудесные мраморные дворцы, из которых иные мне кажутся старинными знакомыми. Вот Labia, вот Vendramin Cal3ergi, вот Ca'd'Oro, вот и «родной» мост Риальто. У грандиозного почерневшего мраморного палаццо Гримани гондольер сворачивает в боковой, узкий и темный канал. То и дело теперь подплываешь под небольшие мосты, по которым тянутся в том и другом направлении вереницы прохожих; шаги их отчетливо слышатся в общей тишине. Это тоже мне представляется чем-то *родным*... И еще каким-то «воспоминанием» представляется мне крик «поппэ!», которым гондольер дает о себе знать, подплывая к какому-либо повороту или к перекрестку. И до чего же все красиво (наша гондола была открытая и стоял чудный, светлый «не по сезону» теплый вечер).

Я в Венеции! Я со своей возлюбленной Атей — в Венеции! Атя четыре года назад уже побывала здесь, но то было в обществе своей сестры и в атмосфере какого-то взбалмошного пикника. Теперь же по ее сияющему лицу я вижу, до чего она сознательно все воспринимает, до чего в унисон бьются от восторга наши сердца...

Остановились мы по рекомендации наших родных в «antico Albergo Cavaletto», стоящем на берегу небольшой водяной площади (бассейна) как бы в кулисах самой Пьяццы Сан Марко. Как только наши вещи были внесены в помер, так мы, ничего не распаковав, побежали на эту площадь. В тот наш первый венецианский вечер зрелище этой площади выдалось особенно прелестным и великолепным. Ноябрьское солнце уже закатилось, и лишь отблеск его догорал в ажурных, украшенных по краю, закругленных тимпанах, кое-где зажигая золотые искры па мозаиках. Весь низ базилики уже тонул в голубоватом полумраке, а рядом такая прямая, такая массивная Кампанила выделялась более темной массой, уходя острием своим в небо... Через несколько минут все померкло, потухли последние искры, зато стали зажигаться всюду огни под аркадами в магазинах и в кофейнях, а самая площадь осветилась бесчисленными фонарями. И тотчас же она стала заполняться гуляющими, говором сотен людей и шарканьем их шагов по каменным плитам. Однако и в этих шумах сказывалась опять та же деликатность и «дискретность», какая-то «общая благовоспитанность». В этой громадной «зале под открытым небом» даже люди грубые должны получать хорошие манеры. Венецианцы и изъясняются, и жестикулируют, и ступают иначе, нежели

жители других «более реальных» городов. И это без малейшего принуждения, без острастки. Нарядные и чистенькие, как куколки, карабинеры в своих черных с красным мундирах, в своих кокетливых треуголках, как будто вовсе не несут какой-либо полицейской службы, а разгуливают парочками в качестве пикантного декоративного добавления к остальному. У них тоже удивительно благородный и благовоспитанный вид, это настоящие fils de fanrille*, служащие другим примером хорошего тона. Назойливого гомона, как в других городах Италии, в Венеции нет; даже на ее главном публичном торжище не слыхать каких-либо резких криков. Газетчики предлагают свои «Corriere» и «Tribuna», продавцы спичек свои cerini, лотерейные лавочки свои билеты, а продавцы «caramel» свои нанизанные на палочки засахаренные чернослив или миндали, но все это делается в «камерных» тонах. Впрочем, здесь и не приходится что-либо перекрикивать: ведь в Венеции нет грохота повозок или гудения конок и трамваев. Piazzo вообще не улица, а одна общая гостиная, и все здесь у себя *дома.*

К сожалению, на следующее же утро время года дало себя почувствовать с довольно жестокой стороны. Пошел снег, отчего получилась не одна мокрота, но и слякоть; в то же время стало сыро и холодно. Нас это скорее потешало. Венеция отложила свой праздничный наряд, в котором она еще предстала накануне, и теперь явила себя в каком-то будничном, домашнем виде — senza complimenti **. Для более интимного знакомства так, пожалуй, было и лучите. Это напоминало Россию, Петербург.

Мы знали, что в Венеции проживает близкий приятель моего брата Леонтия, очень известный в те времена русский художник К. П. Степанов, однако я не слишком горел к встрече с ним, опасаясь, как бы этот русский знакомый не испортил нам венецианского настроения. Но вот, вбегая как-то по ступеням мостика где-то около San Moisé, я нос к носу встречаюсь с другим русским художником — с А. А. Карелиным. Откровенно говоря, я и ему не обрадовался, я не очень доверял «вечному энтузиазму» Андрея Андреевича и его никчемному прожектерству. Но в те декабрьские сумерки, под медленно падающими хлопьями снега, на ступенях венецианского мостика эта удивительная «расейская образина», представшая предо мной в развевающемся плаще, под широкополой, «чисто художественной» шляпой, показалась мне «фантастичной», а всякая фантастика в те времена пленяла меня в сильнейшей степени. Поэтому я не подумал от него улизнуть, а отдался в руки судьбы. И вот оказалось, что Степанов, с которым Карелин видается ежедневно, уже предупрежден из Петербурга о

пашем прибытии, что он нас ждет и даже тревожится, почему нас все еще нет. Тут же мы сели в гондолу и поплыли вниз по Канале Гранде к тому несколько запущенному палаццо, рядом с великолепным Palazzo Pezaro, в котором поселился Клавдий Петрович со своей семьей.

Юпотн из хорошей семьи *(франц.)*.

Запросто *(итал.)*.

42*IV, 4. Флоренция, Падуя, Венеция, Вена, Варшава*

Степанов встретил меня как родного, и стал даже требовать, чтобы мы к ним перебрались, когда же я решительно отказался, то он настоял, чтобы мы «по крайней мере» к ним приходили обедать, обещая нас кормить самыми отборными и притом чисто венецианскими блюдами. Последнее показалось уж слишком соблазнительным, так как у Клавдия Петровича была заслуженная репутация изысканного гастронома и превосходного повара. Сколько раз я его видел у Леонтия или у бабушки Кавос с бумажным колпаком на голове и повязанного белым фартуком, когда он священнодействовал в кухне, готовя на разные лады макароны или ризотто...

Весьма приятное впечатление произвело на меня другое венецианское знакомство. У меня было письмо к сыну знаменитого испанского художника Фортуни. Все русские художники бредили Фортуни, говорили о нем как о предельном достижении в живописном мастерстве. Я надеялся, что на дому у сына я смогу познакомиться с некоторыми из этих чудес. Однако я медлил использовать рекомендацию, так как вообще ненавидел навязываться и знакомиться с людьми, которым вовсе нет до меня дела. Лишь когда осталось всего два дня до нашего отъезда, угрызения совести заставили меня преодолеть *стеснительность,* и я отправился к молодому Мариано, жившему с матерью тоже на Большом канале, где-то недалеко от церкви Салуте. Ничего, кроме какпх-то по-скребышек, бойко писаных маленьких этюдиков «знаменитого» Фортуни я там не нашел, зато весь двухэтажный домик, да и сам хозяин мне чрезвычайно понравились. Последний оказался одних лет со мной и даже слегка походил на меня лицом и статурой. Как будто и я пришелся ему по вкусу, по крайней мере, расставаясь после двухчасовой беседы, мы чуть не клялись в вечной дружбе, что должно было выразиться в частой и «содержательной» переписке. Увы, ни я, ни он своего обещания не сдержали. Единственное письмо, которое я написал Мариано, было то, в котором я ему рекомендовал Сережу Дягилева, когда последний через год отправился в свое большое европейское странствие (сказать кстати. знакомство с Фортуни очень пригодилось Сереже, ибо

Мариано с большим толком пилотировал его по Венеции, ставшей впоследствии любимым местопребыванием моего друга), единственным же письмом Мариано ко мне было то, которое он написал сорок лет спустя, когда мы оба превратились в стариков. Несколько раз, впрочем, мы с ним встречались, и каждый раз не обходилось без новых заверений во взаимной симпатии.

Я жалею, что из моей дружбы с Фортуни ничего не вышло. В нем, особенно в те давние годы, была масса прелести. Под оболочкой, несколько тяжелой и вялой, он таил страстное горение к искусству, что выражалось и в его художественном творчестве. К сожалению, он не унаследовал от отца, память которого он свято чтил, ни изумительной ловкости кисти, ни дара «искрящихся красок». Именно последнему дару Фортуни-отец был обязан своим мировым успехом. Репин, а позже Врубель, «завидовали» его неподражаемому мастерству2. Фортуни же сын, .который мог бы унаследовать талант не только от отца, но и со сторо-

ны матери, ибо он был внуком другого прославленного испанца — Мад-рацо, если и был полон гордых намерений, если его и тянуло к самым высоким задачам, то получалось у него лишь нечто вроде не очень блестящего любительства. Как многие другие дилетанты, и он обращал особое внимание на вопросы техники, на «угадывание тайн старых мастеров»; следовало-де найти секрет, каким способом создавали свои шедевры Тициан и Тинторетто, и тогда он сам станет подобен им. В смысле .же сюжетов, он находил их тогда в обожаемых операх Вагнера. Несколько таких композиций, навеянных «Парсифалем», он мне показал; однако при всей возникшей сразу симпатии к автору, при всем желании, чтобы эти вещи мне понравились, они оставили меня холодным. Краски были цветисты, он писал темперой собственного изготовления по рецепту, вычитанному в старинном руководстве, но между этими композициями, носившими, несмотря на свой крупный размер, характер иллюстраций, и тем, к чему он стремился, лежала непреодолимая пропасть. Я убежден, что в последующие годы Мариано и сам в себе, как в живописце, разочаровался; возможно, что это и направило его на театр и на фабрикацию в широком масштабе имитаций старинных роскошных материй **. Описывать свои впечатления от всех художественных сокровищ Венеции, полученные в то первое посещение ее, я не стану, тем более, что в большинстве случаев мне теперь трудно отделить то, что я тогда испытал, от того, что я испытал в последующие многочисленные посещения мои волшебного города. Скажу только, что особенно

поразила и пленила меня красочная красота внутренности собора св. Марка, красота .красок и живописи в картинах и плафонах Тинторетто и Паоло Вероне-зе во Дворце Дожей, и опять то красочное песнопение, что представляет собой картина первого — «Чудо св. Марка» в Академии. Глубоко тронула нас тогда же «Мадонна» Джованни Беллини в сакристии церкви Фрари, и в какую-то сказочную страну нас увели циклы картин Карпач-чо в Академии и в церковке San Giorgio dei Grechi. На какой-то особенно радостно-торжественный лад настроили нас фрески Тьеполо в плафоне церкви Скальци и в зале дворца Лабиа, совершенно же опьянил нас восторг от всей архитектуры и от всего орнаментного убора мраморной церкви Santa Maria dei Miracoli. А впрочем, дальнейшее перечисление бессмысленно, и я его прекращаю.

** Одна из позднейших моих встреч с Марпано произошла в Париже, вероятно, в 1906 г., когда он мне и Дягилеву демонстрировал построенную по его планам сцену в особняке графини де Беарн (впоследствии более известной под фамилией де Беаг). В этом домашнем театре он поставил себе задачей достижение возможˆ по большей иллюзорности. Он особенно возмущался исстари выработанной системой освещения посредством рампы, а также и против «подвесных небес», являющихся вечной помехой при желании декораторов придать своим картинам естественность. Во избежание этих «паддуг», Мариано и придумал «купол», который, освещенный иа разные лады, должен был давать впечатление «бездонного неба» с плывущими (посредством проекций) облаками, с восходящей луной и т д. Эта система, известная под именем Фортуни, была со временем принята почти всюду, по я не могу сказать, чтобы она имела благотворное влияние на развитие театральной живописи.

44

IV , 4. Флоренция, Падуя, Венеция, Вена, Варшава

Прожили мы в Венеции две с половиной недели и прожили бы дольше, но надлежало исполнить обещание вернуться к русскому Рождеству, а по дороге заехать в Вену, где нас ждал Бирле, и в Варшаву — к брату Николаю. Да и денег у нас оставалось не так уж много после того, что я опять порядком порастратился и во Флоренции, и в Венеции иа фотографии. Напоследок, в самый день отъезда, Степановы угостили нас особенно роскошным обедом, а на дорогу дали большущую корзину со всякими вкусными вещами, в том числе с изумительной пуляркой.

* * *

Столицу Австрии каждый из нас порознь видел в первый раз летом (я в 1890 г., Атя в 1889 г.), теперь же Вена была *зимней,* и это придавало ей особенную прелесть. Из-за снега вообще стояла на улицах тишина, но тем веселее гудела толпа, окружавшая временные лавчонки, в которых продавались игрушки и всякие елочные украшения. Все это удивительно напоминало картинки на листах «Müncheiier Bilderbogen» или в книжках с иллюстрациями Людвига Рихтера. К сожалению, от холода коченели пальцы, и мне так и не удалось сделать ни малейшего наброска.

В Вене нашли мы и нашего друга — милого Шарля Бирле. Он за два года не повысился в чине и все еще гнул спину в канцелярии за перепиской скучнейших бумаг. Некоторым же утешением ему служило то, что как французское посольство, так и консульство помещались в прекрасном старинном дворце князей Лобковиц. Отделившись от нашей компании, Шарль все это время пребывал в полном одиночестве, ни с кем из коллег близко не сходился и поэтому был невыразимо рад нашему появлению. Жил он в уютной, теплой и светлой комнате, которую снимал у двух милейших старых дев, оценивших его добрую душу и ухаживающих за ним, как за родным. Они даже помогли ему устроить в нашу честь елку, и вечер, который мы провели вокруг этого символического, горевшего многими свечами дерева, попивая горячий глинтвейн и закусывая всякими цукербродами, оставил в нас самую прелестную память. Как истый француз, Шарль очень различал <¢les Allernands» * (слово boche еще не было в ходу) и «les Autrichiens» **. Первых он считал нужным ненавидеть (все его поколение продолжало болезненно переживать обиду германской победы 1870—1871 гг.), вторых он был склонеп идеализировать, утверждая, наперекор фактам, что это совсем другая раса и что они достойны всякого уважения. Это отношение к австрийцам оп сохранил даже после того, что в 1914 г. они оказались в первых рядах врагов.

Шарлю удавалось на целые дни урываться от службы и сопровождать нас по музеям и церквам. Грустно было затем1 расставаться с милым

* Немцев *(франц.).* ** Австрийцев *(франц.).*

Шарлем (встретились мы с ним снова только в 1899 г., когда он был назначен консулом в Москве), но надо было спешить домой. Поэтому мь! и Варшаве могли посвятить только два дня. И до чего же я на сей раз был разочарован в польской столице, показавшейся мне, когда-то одиннадцатилетнему мальчугану,

столь нарядной, столь «заграничной». В этот же раз Варшава предстала перед нами в самом неприглядном виде. Несомненно, такой эффект усилился тем, что мы оказались в Варшаве зимой, да еще в распутицу. Наша память была начинена «колоссальными» впечатлениями от Италии, от Германии и Австрии, и естественно, что все варшавское показалось после того довольно-таки мелким и второсортным, и даже площадь с колонной Сигизмунда, и даже Саксонский дворец с его довольно жиденькой колоннадой... Я не поляк, однако я как-то принял к сердцу резкое, довольно-таки «бестактное», да и прямо оскорбительное вторжение русского национализма в этот чисто западный город, начиная со здания в «русском стиле», что выросло позади памятника Копернику) и в котором теперь расположилась русская гимназия.

Что же касается до семьи моего брата, то мы были очень тронуты той лаской, с которой нас приняли — и сам Николай, и его любезнейшая Констанс и, наконец, ее мать старушка — баронесса Бремзен (румынка по происхождению). В один из двух вечеров были созваны «па пас» ближайшие друзья Николая, мы были угощены превосходным обедом, а к концу вечера, к великой радости Миши и Марихен (детей Констанс от первого брака), состоялся марионеточный спектакль — так называемый «вертеп» — одна из последних польских традиций празднования Рождества.

Глава 5

МЕРЕЖКОВСКИЕ. РЕПИН.

РАБОТА НАД СОБРАНИЕМ КНЯГИНИ

М. К. ТЕНИШЕВОЙ

На елку домой мы не опоздали, но, если память нам обоим не изменяет, то поспели мы в последний момент. Праздник получился особенно радостный благодаря именно нашему приезду. Папа, не имевший вообще обыкновения явно выражать свои чувства, все же был видимо растроган, Катя, быть может, меньше (как-никак наш приезд прибавлял к ее домашним заботам новые), зато все шесть «Лансерят», и особенно оба старших, т. е. Женя и Коля, ставшие за последние годы нашими ближайшими друзьями **, каждый по-своему выражал восторг.

** И Женя и Коля иас пазывали просто по имени: Шура и Атя, напротив, все четыре девочки, из которых старшей, Соне, было тогда четырнадцать лет, а младшей, еще не ходившей в гимназию, Зине — всего девять, величали **нас** «дядей» и «тетей» п были с нами па «вы».

46

IV , 5. Мережковские, Репин. Тенишева

С нашего приезда в дом (на нашей половине, но не замыкаясь от остального) возобновились приемы, иногда довольно многолюдные; старый наш рояль звучал не только под робкими упражнениями моих племянниц, но и под пальцами тогда еще вполне виртуозной Ати 2*. И уж с первого дня, после раздачи заграничных подарков, начались наши рассказы о всем виденном и пережитом. Папу особенно трогали мои впечатления от милой его сердцу Италии, в которой он прожил, будучи пенсионером Академии, целых пять лет, принадлежавших к самым счастливым в его жизни; Женю Лансере особенно воспламеняли мои описания средневековых соборов Майнца, Вормса, Страсбурга; но и братья Аль-бер, Люля-Леонтий и Миша, каждый имел о чем расспросить, каждый реагировал на свой лад на мои восторги, разглядывая кипы приобретенных мной фотографий и мои зарисовки в альбомах.

Такие собрания в папином кабинете бывали почти каждый вечер, раза три в неделю ко мне приходили наши друзья — все те же верные: Ну-вель, Сомов, Бакст, Философов и Дягилев, и тогда наши собеседования, нередко очень возбужденные, происходили в моем кабинете у передней, и лишь к чаю группа молодежи выходила в столовую. Когда же мы созывали менее интимных знакомых, то под такие «рауты» предоставлялась и гостиная, где происходило угощение чаем, сластями и фруктами.

Таких «раутов>> за период между нашим возвращением и общим переездом на дачу состоялось несколько, и особенно мне запомнились те, на которых присутствовали наши новые знакомые, постепенно затем превратившиеся в друзей: Д. С. Мережковский *, его жена Зинаида Гиппиус 2, двоюродный брат последней, тогда еще студент — Владимир Васильевич Гиппиус3, а кроме того Анатолий Половцев с женой и И. Е. Репин, который в те годы очень благоволил ко мне и как будто возлагал на меня особые надежды.

С Д. С. Мережковским я познакомился как раз в доме А. В. По-ловцева, занимавшего тогда видный пост в «Кабинете его величества»* и принимавшего по воскресеньям в своей обширной казенной квартире в нижнем этаже флигеля Аничкова дворца. Анатолий Васильевич был тощий, еще не старый, но уже

совершенно облысевший и чуть курносый господин со светлой бородкой, с пенсне на носу. Мережковский находил в нем большое сходство с китайцем. Меня познакомил с ним дядя Миша Кавос еще в 1890 г. на одном из спектаклей мейнингенцев. Но сразу мое знакомство с Половцевым не имело продолжения, и только в 1893 г., когда у нас в семье пошли обсуждения того, «чем мне быть» и когда я выразил желание: «Уж если где-нибудь служить, то только по музейной части», то Зозо Россоловский, также близко знавший Полов-цева, возымел мысль, что именно он может быть мне полезен, «как важная шишка» в министерстве двора и к тому же как человек к искусству не безразличный. После того, как Зозо по этому поводу имел разговор

Живо запомнилось, как именно тогда она увлекалась «Сильвией» Делиба, и я наслаждался, слушая ее из другой комнаты.

с Половцевым и тот выразил полную готовность быть мне полезным, я и отправился с тем 7ке Зозо на один из его дневных журфиксов. Половцев пленил меня своей любезностью, но из его «покровительства» в дальнейшем ничего не вышло (да он вряд ли всерьез где-либо обо мне хлопотал), но бывать у него было приятно, так как там можно было встретить немало интересных людей и даже всяких «знаменитостей». Так, на одном из вечерних собраний у Половцева художник Н. Н. Ге читал о Толстом 5, на другом князь Сергей Михайлович Волконский сделал доклад о своем американском путешествии, что тогда было чем-то весьма диковинным.

Во время одного из первых моих посещений Половцева я, пришедший раньше других, беседовал с хозяином, как вдруг в кабинет без доклада быстрыми шагами вошел не старый, но какой-то «очень неказистый», скромно, почти бедно одетый, очень «щуплый» человек, поразивший меня тем, что он как-то криво держался и, хотя не хромал, все же как-то «кренил» в одну сторону. Поразило меня и то, что Половцев принял его с особенным вниманием. Фамилии я не расслышал, но из разговора догадался, что передо мной поэт Мережковский, о котором тогда уже начали говорить и роман которого «Юлиан Отступник» только что стал выходить в одном из толстых журналов 6. Лично я уже слышал о Мережковском еще в 1890 г.— от его тогдашних поклонниц, сестер Лохвицких, и в период моей дружбы с младшей из них, шестнадцатилетней Надей, ставшей впоследствии известной писательницей под псевдонимом Тэффи 3*. Однако сам я еще ничего из произведений Мережковского не

читал и скорее был предубежден против этого «русского символиста» и «декадента». Здесь же Мережковский в беседе с Половцевым сразу меня пленил всем своим энтузиазмом и своими многообразными знаниями, выливавшимися в пламенной и ярко красочной речи. Ничего подобного я до того не слышал. Беседа вертелась именно вокруг Юлиана, и потоком лившиеся слова Мережковского вызывали картины упадочной Греции, борьбы христианства с язычеством. Меня поразил при этом какой-то оттенок прозелитизма, который звучал в его словах. Он чему-то как будто *учил,* к чему-то *взывал,* что-то тоном негодующего пророка *громилЛ* Слышать в кабинете чиновника министерства двора (от Половцева я узнал впоследствии, что Мережковский ожидал чего-то похожего на то, что и я от него ожидал) столь будоражившие речи было очень и очень странно. Половцев хоть и вторил им, хоть и пробовал отвечать в таком же топе, однако, видимо, был несколько смущен, и временами, при всей своей прециозности, чуточку шокирован, особенно когда Мережковский касался религиозных вопросов, о самом Христе отзываясь с совершенной свободой.

3* Кстати сказать, Надежда Александровна Лохвицкая-Тэффи даже сочинила в* 1890 г. в мою честь небольшое шуточное стихотворение, в котором прославляла некий мой «подвиг», а именно то, что я пешком прошел от Петербурга до самой «Ораниенбаумской Колонии», где семья Лохвицких нанимала дачу рядом с той,

в которой жил мой брат Альбер.

48*IV, 5. Мережковские. Репин. Тенишева*

Независимо от меня, но почти одновременно, с Мережковским познакомился и Дима Философов, однако каждый из нас скрывал от другого такое интересное знакомство. Обнаружилось же оно, когда я с Димой встретился у самих Мережковских, живших тогда где-то на Пантелей-моновской или на Симеоновской улице 4*. Притащил я тогда с собой и Валечку Нувеля. Дима же не смог скрыть своего недовольства, увидав нас, пробившихся как бы контрабандой в область, которую он считал, в отличие от нашей «общей художественной», специально *своею* и для других недоступной 7.

Не могу сказать, чтобы это тогдашнее первое посещение Мережковских оставило во мне приятное впечатление. Это была пора характерного fin de siècle *, прециозиость и передовитость которого выражалась в культе (на словах) всего порочного с примесью всякой мистики, нередко роднившейся с мистификацией. В частности, Дмитрий Сергеевич как-то особенно любил сопоставлять слова «Г'ех» (он не совсем ясно произносил

букву «р») и «Святость», «Порок» и «Добро». Особенно же озадачила нас супруга Мережковского «Зиночка Гиппиус», очень высокая, очень тощая, довольно миловидная блондинка с постоянной «улыбкой Джоконды» на устах, но неустанно позировавшая и кривлявшаяся; была она всегда одета во все белое — «как принцесса Грез». Не успели мы с Валечкой с ней познакомиться, как она бухнулась на коврик перед топящимся камином и пригласила пас «возлечь» рядом; первый ее вопрос отдавал безвкусной прециозностью: «А вы, господа студенты, в чем дека-денствуете?» Окончательно же я был изумлен, когда в эту же гостиную Мережковских вошел мой почтенный дядя Миша Кавос, а Зинаида Николаевна бросилась ему навстречу: «Миша пришел! Хорошо, что пришел! А у нас новые декаденты! Послушаем, что они замышляют!» Михаил Альбертович со своей стороны немало был удивлен встретить у очага Сивиллы, с которой, господь ведает почему, он был на *ты,* своего родного племянника, да еще в компании с тем молодчиком, который имел свойство особенно раздражать его своим апломбом, своей претензией на всезнайство и скороспелостью своих мнений.

Кроме нас, хозяев, дяди Миши, его близкого друга С. А. Андриевского собралось в тот вечер у Мережковских немало народа — исключительно мужчин. Среди них меня особенно заинтересовал молодой поэт Владимир Гиппиус и мрачнейшего вида человек, не покидавший за весь вечер своего стула в углу у окна и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом до тех пор, пока, обидевшись на что-то, он не разразился какой-то отповедью в несколько истерических тонах. То был поэт Федор Сологуб, о котором я до того не имел никакого понятия, но стихи которого мне необычайно понравились и даже взволновали, когда он тут же прочел ряд их — без того, чтобы о том особенно просили,— точно

4* Через год они переехали па Литейную в дом князя Мурузи, удивлявший Петербург своей «арабской» архитектурой. Здесь они прожили много лет, впоследствии же переехали на Сергиевскую, близ Таврического сада. * Конца века *(франц.).*

IV, 5. Мережковские. Репин. Тенишева

4 »

воспользовавшись случаем высказаться. Прочел он их глухим, «загробным» голосом, отрывисто выбрасывая слова. Стихи были мрачнейшие,. но необычайно красивые и убедительные. Уже когда все сидели за чаем с беспритязательной закуской, явился из театра господин очень гордого вида, горбоносый, совершенно бритый (что тогда было скорее редкостью), в застегнутой на все пуговицы жакетке. Он сразу стал с без-апелляционной -

авторитетностью излагать свои мысли, и этим самым (а также своим каким-то чужеземным акцентом) мне очень не понравился. То был «философ» Флексер 8, впоследствии главным образом прославившийся под псевдонимом «Волынский» в качестве балетного критика и идеолога. Но в те дни о балете в серьезном обществе не полагалось-говорить, а общая беседа велась вокруг философа Ницше и его рокового безумия. Идеи Ницше приобрели тогда прямо злободневный характер (вроде того, как впоследствии приобрели такой же характер-идеи Фрейда). Их разбирали на все лады, и из-за них споры часто приобретали ожесточенный характер: особенно если часть споривших исповедовала своего рода «ницшеанскую религию» и могла (подобно супругам Мережковским) с полным правом считаться правоверными ницшеанцами.

Флексер-Волынский был принят у Мережковских с оттенком особоir интимности. Он даже, кажется, жил тогда у них, и они втроем около того же времени совершили путешествие по Италии9, что вдохновило зоила Буренина на один из его фельетонов определенно пасквильного характера. В нем он не постеснялся намекнуть на сплетню, ходившую тогда по городу. Было ли в самом деле что-нибудь предосудительное,-я не знаю, но Зиночка тогда позировала на женщину роковую и на какое-то «воплощение греха» и была не прочь, чтоб ореол сугубой греховности' горел вокруг ее чела. Да и Дмитрий Сергеевич не только терпел то, что в другом супружестве могло создать весьма натянутые отношения, но точно поощрял в жене те ее «странности», которые могли оправдать прозвище «белой дьяволицы», данное ей чуть ли не им же самим. Ходил даже анекдот, будто, войдя как-то без предупреждения в комнату жены и застав ее в особо оживленной беседе с Волынским, он отпрянул и воскликнул: «Зина! Хоть бы ты запирала дверь!»

Вскоре у нас у всех (включая Левушку Бакста, который позже нарисовал с Зинаиды Николаевны очень схожий портрет 10) установились-самые дружественные отношения с Мережковскими. Это дошло даже до-того, что, когда весной мы, молодые Бенуа, стали себе искать дачу, то-наш выбор пал на большущий каменный дом с башней, стоявший у самой дороги из Ораниенбаума в Ижору,— и это только потому, что Мережковские уже успели себе снять неподалеку дачу в «Колонии». Однако из этого ничего не вышло. Сестра Катя не пожелала селиться так далеко от Ораниенбаума, от лавок, от железной дороги, да кроме того ей едва ли могло нравиться столь близкое соседство с Мережковскими, что наверное привело бы к особенно частым приемам и соответствующим расходам.

Что же касается до Репина, то в другой части своих воспоминаний я уже говорил о том престиже, которым пользовался в нашей компании, и особенно у меня, наш неоспоримо *великий* художник; напомню, что я лично познакомился с Репиным в 1885 г., когда он писал портрет моей belle-soeur Марии Карловны11, однако только с 1890 г. я стал бывать у него на дому, усердно посещая вечерние сборища (кажется, по четвергам), происходившие сначала в его квартире у Калиыкина моста,— позже (с 1894 г.) в казенной квартире в верхнем этаже здания Академии художеств, куда Репины переселились с момента назначения Ильи Ефимовича профессором-руководителем возобновленного Высшего Художественного училища. Запомнились те оживленные споры, что происходили здесь за очень длинным столом, уставленным закусками, среди обширной, но совершенно голой, типично «казенной» столовой. Особенной яростью и едкостью отличался при этом Владимир Маковский, которого я тогда невзлюбил за его косные, уж очень откровенно высказываемые «филистерские» взгляды. Напротив, в самом Репине я всегда находил самый пламенный отклик на многие тогдашние мои увлечения. Так, Илья Ефимович не только вторил моему восторгу перед Беклином, но даже заявил как-то (к великому негодованию своих товарищей— убежденных позитивистов и «направленцев» 12, веровавших в исключительное благо одного только реализма), что он считает Беклина за *величайшего* из художников нашего времени. Это увлечение Репина Беклином затем так же прошло, как и его многие другие. Вообще же подобная его переменчивость создала распространенное мнение об его ненадежности, о том, что Репин «фальшивый». Напротив, мне эта versati-lité * Репина скорее нравилась, она как-то *приближала* его, в ней была даже особая *прелесть.* Она доказывала, что с приближением старости он вовсе не утрачивал своей свежести и отзывчивости, что он все еще полон жизни; он продолжал говорить и писать обо всех и обо всем с прежней юной непосредственностью и абсолютной искренностью. А ведь в способности наслаждения, «в даре энтузиазма», которым далеко не все «причастные к искусству» наделены, весь смысл такой их «причастности». Рядом с ним я здесь назову еще трех неостывавших «энтузиастов» того времени: маститого «Вавилу Барабанова» (эту красочную кличку сочинил для Владимира Васильевича Стасова тот же зоил Буренин) — пророка и наставника всей группы передвижников и «Могучей кучки», крошечного ростом, чуть косноязычного (шепелявившего)

скульптора Илью Гинцбур-га и всклокоченного, бородатого, похожего на русского попа милейшего Василия Васильевича Матэ. По своей профессии Матэ был «почти ремесленником»; для заработка он гравировал на дереве иллюстрации для книг и журналов, однако по своей широкой, глубоко художественной натуре он вполне был достоин занять видное место на тогдашнем русском Парнасе. Для меня всякая встреча с Матэ была большой *радостью;* я получал настоящее и какое-то освежающее удовольствие, слушая его,

Переменчивость *(франц.).*

всегда какие-то «сияющие» восторги! То же удовольствие от общения с Матэ получал и В. А. Серов. Пожалуй, одна из причин моего первого сближения с Серовым заключалась именно в том, что мы оба одинаково симпатизировали чудачливому, но абсолютно искреннему милейшему Василию Васильевичу. Дружба же Серова с Матэ выразилась в том, что Валентин Александрович под влиянием своего приятеля сам принялся за гравюру и в том, что он неделями и месяцами живал у Матэ во время своих длительных пребываний в Петербурге.

* * *

Первое время после нашего возвращения на родину моя жена могла еще выезжать, и мы использовали эту возможность, чтобы посещать ближайшую родню и некоторых из наших «семейных знакомых». Но затем беременность ее стала сказываться все определеннее, надлежало соблюдать особую осторожность, и поэтому Атя все менее охотно соглашалась бывать там, где приходилось соблюдать некоторые стеснительные формы. В эти же месяцы я стал серьезно подумывать о своих обязанностях будущего «отца семейства». Надлежало стать на ноги и «начать зарабатывать». Из «покровительства» А. В. Половцева ничего не вышло, не вышло ничего и из проекта использовать знакомство с вице-президентом Академии графом Иваном Ивановичем Толстым, о котором было известно, что он имеет решительное1 влияние на в.к. Георгия Михайловича, назначенного управляющим затеваемого музея национального искусства. Я нередко встречался с Толстым то у моих братьев, то у кузена Жени Кавос, то у Обера и всюду находил с его стороны «самое ласковое» внимание. Он охотно вступал со мной, «все еще юнцом», в беседу на художественные темы, делая даже вид, что он

прислушивается к моим суждениям и вполне разделяет некоторые из них. Ободренный таким отношением, я, наконец, пересилил свою «стеснительность» и решился пойти к нему на дом (он жил тогда на частной квартире в угловом доме у самой Николаевской набережной насупротив Академии), чтобы изложить ему свое горячее желание «послужить родному искусству», имея в виду мое причисление к Русскому музею. В качестве некоторого *«права»* на такое притязание я мог указать на ту главу о русской живописи, которая появилась в книге Р. Мутера. Во всяком случае, я был одним из весьма немногих во всем российском государстве, кто тогда прилежно изучал прошлое русского искусства и способствовал известному «оживлению» его истории.

Ивану Ивановичу все это было известно, он очень любезно наговорил мне всяких комплиментов, причем на его украшенных «китайскими» усиками устах играла самая чарующая улыбка. Ходатайство мое он обещал принять к сердцу и даже почти обнадежил меня, что оно будет удовлетворено. В мечтах я уже стал считать себя хранителем будущего музея. И вдруг все это пришло к самому неожиданному разрешению. Великий

князь по совету того же Ивана Ивановича действительно причислил к себе па службу в музей Бенуа, но то был не Александр, а мой старший брат Альбер, талантливейший художник и обаятельнейшйй человек, однако чуждый вообще всякого культа старины и, в частности, кроме самых общих мест, ничего не ведавший о прошлом русского искусства. Сам Альбер мне эту новость и сообщил,— не без смущения и сопровождая сообщение фразой: «Я понимаю, Шурка, что, в сущности, это *твое* место, но я не отказался, так как пусть лучше займу его я, нежели оно достанется совершенно постороннему человеку, подъехавшему к великому князю с заднего крыльца». Горькую эту пилюлю я кое-как проглотил, что же касается до Альбера, то надо ему отдать справедливость, что он, хоть и не имел никакой специальной подготовки, однако в течение нескольких лет с честью и достоинством исполнял доставшуюся ему должность — как раз в очень трудные первые годы формирования грандиозного учреждения. Немало пришлось Альберу при этом бороться со всякой косностью и со всякими «придворными интригами». В частности, рыхлый характер «августейшего управляющего» доставил Альберу немало неприятностей. Необычайная талантливость всей натуры Альбера в целом, его дар пленять и очаровывать людей, ладить с ними, оказали в данном случае большие услуги.

В те же первые месяцы 1895 г. тот же Альбер нашел мне место службы, правда очень «не видное» и оплачивавшееся более чем скромно, однако имевшее ту хорошую сторону, что оно было мне «по вкусу» *и* позволяло отдавать свое время занятою делом мне близким.

Уже лет пять как княгиня Мария Клавдиевна Тенишева ежегодно покупала, преимущественно на наших акварельных выставках, произведения русских современных художников — рисунки и акварели. У нее за зто время успела образоваться довольно большая коллекция, и эту коллекцию она теперь пожелала привести в порядок, снабдив ее толковой описью. Составление таковой и было поручено мне, мне же такое поручение нравилось потому, что я тут рассчитывал с пользой приложить свои познания и, может быть, направить дальнейшее собирательство княгини по пути более осмысленному, нежели тот, что обнаруживали ее ежегодные массовые покупки.

Ко мне .(я был ей представлен еще в 1891 г.) княгиня относилась ласково и любезно, но и немного свысока, как дама уже не первой молодости (ей было в 1895 г. около сорока лет13) и «меценатка» может относиться к юнцу и начинающему художнику. Мое же отношение к Марии Клавдиевне было несколько двойственное: я очень сочувствовал ее намерению составить собрание рисунков и акварелей (это было «совсем в моем вкусе») и в то же время я не мог не досадовать, глядя, каким образом это намерение осуществляется — каким нелепым, чисто дилетантским образом, при отсутствии какого-либо плана и в громадном большинстве случаев без малейшего критериума. Несколько спасала положение ее тесная дружба с другой княгиней — Екатериной Константиновной Святополк-Четвертинской, являвшейся «вдохновительницей на

великие дела» u своей более эффектной подруги и державшейся при этом в тени. Княгиня Четвертинская была настоящим *инициатором* проектов Тенишевой í5; она же зачастую пыталась ее удержать от самых неразумных трат. Эту роль кн. Четвертинской я почти сразу после знакомства угадал и вполне ей сочувствовал. Мое личное отношение при этом к каждой из этих дам приобрело особый оттенок. Ни «с виду», ни «по содержанию» мне Мария Клавдиевна не нравилась; я никак не мог согласиться, что репутация «красавицы» была ею заслужена. Правда, она была высокого роста, а по сложению могла сойти за то, что в те времена называли belle femme *; она обладала «пышным бюстом» и довольно тонкой талией. Но во всем этом не было никакого шарма. Черты ее лица были грубоватые, нос с

горбинкой выдавался слишком вперед, рот был лишен свежести, а в глазах не было ни тайны, ни ласки, ни огня, ни хотя бы женского лукавства. Еще менее мне был по душе ее нрав. Благодушие Марии Клавдиевны, связанное со склонностью к веселью, ее «душа нараспашку», казалось, должны были бы очаровывать, но, к сожалению, всему этому недоставало какой-то «подлинности» и не было чуждо известной вульгарности, никак не вязавшейся ни с ее титулом и ни с ее горделивой осанкой. Мария Клавдиевна, если и принадлежала по рождению и по своим двум бракам к тому, что называется высшим обществом, и обладала той долей образования, которая полагалась в этом кругу, однако в манерах, в разговоре и в самых оборотах мысли она обнаруживала нечто «простецкое», а «хлесткость» ее мнений не соответствовала тому, что дается хорошим воспитанием.

Напротив, в княгине Четвертинской, в «Киту» мне нравилось все, и даже ее довольно неказистая наружность, невысокий рост, известная сутуловатость, слишком для женщины определенные черты лица, одинаково далекие от безобразия и от всякой миловидности. Все это как-то шло к ее личности, подчеркивало, что в ней было мужественного. При этом — умные глаза и улыбка, иногда озарявшая лицо. Что же касается до духовной стороны, то она представляла собой настоящий контраст с духовной стороной Марии Клавдиевпы. Насколько все существо последней было показного характера и поглощено желанием блистать и нравиться, настолько «Киту» любила стушевываться, «оставаться в кулисах», быть режиссером спектакля, на сцене, однако, не выступавшим. Она непрестанно учила и вдохновляла свою подругу, но делала это с тактом и как-то даже вкрадчиво. Я застал уже ту стадию их взаимоотношений, когда Мария Клавдиевна за последние годы вполне оперилась, уверовала в себя и не ощущала потребности постоянной опеки, но этому моменту «выступления на общественную арену» несомненно предшествовал многолетний период подготовки, когда Киту в уединении учила и образовывала свою «Маню», избравши ее на то, чтобы создать нечто такое, на что она сама не была способна вследствие именно этой склонности держаться в тени и отсутствию в себе дара импонировать людям. На самом деле

* Красавицей *(франц.)*.

опекание никогда не прекращалось, но только теперь ментор был озабочен тем чтобы никто из посторонних этого не замечал. `

Самая идея художественного собирательства принадлежала Киту Четвертинской. Ее мать была во втором браке замужем за

графом Ку-шелевым-Безбородко, составившим то прелестное и необычайно изысканное собрание иностранной живописи (преимущественно XIX в.), которое граф завещал Академии художеств5*. В детстве, живя в роскошном Palazzo * своего отчима у Гагаринской набережной, наполненном художественными сокровищами, Киту приобрела вкус к этим вещам и какой-то пиетет к ним. Кроме того, Киту была в родстве с другим русским собирателем — Базилевским, от которого она также могла заразиться манией коллекционирования. Как у матери Киту, вдовы графа Кушелева (впоследствии, в третий раз, вышедшей замуж за князя Суворова), так и у наследников Базилевского оставалось, по отчуждении их главных редкостей, немало разрозненных художественных предметов, и Киту не могла без огорчения взирать на то, как эти сокровища, правда «второстепенные», но все же *сокровища,* постепенно распыляются благодаря индифферентности и невежеству своих новых обладателей. Коллекционирование Марии Клавдиевны (тогда еще госпожи Николаевой) и началось с того, что она, побуждаемая своей подругой, стала скупать эти beaux restes **, состоявшие главным образом из рисунков и акварелей иностранных художников, тогда как русские почти вовсе отсутствовали.

Уже в январе 1895 г. я приступил к ознакомлению с собранием княгини Тенишевой. Хранилось оно не в парадной половине того небольшого особняка, в котором жили Тенишевы на Английской набережной, а в двух комнатах флигеля, выходившего на Галерную. Те акварели, которые Тенишева накупила на наших выставках или непосредственно от художников, были вынуты из рам и вставлены в однообразные паспарту белого бристоля, что очевидно отвечало представлению княгини Марии Клавдиевны о «коллекции как таковой». Этих листов было несколько сотен, и они были сложены (тоже «как полагалось») в трех большущих «портфелях».

Вначале меня постигло большое разочарование. Мне даже стало стыдно, что я должен буду заниматься такой «дребеденью». Если не считать нескольких превосходных пейзажей моего брата Альбера и других искусных акварелей других художников, все остальное являлось тем «жалким сбродом», который вообще представлял собой главное содержание наших акварельных выставок...

До 1917 г. «Кушелевская галерея» оставалась в Академии. Но осенью этого года все Академические собрания были эвакуированы в Москву; когда же они вернулись в 1920 г., то Академия успела утратить весь свой традиционный характер и потому «Кушелевская галерея» была, по моему распоряжению,

направлена в Государственный Эрмитаж, где она составила основное ядро отделения XIX в.

Дворце *(итал.)*.

Прекрасные остатки *(франц.),*

IV, Õ. Мережковские. Репин. Тенишева

55

Вероятно, мне не удалось скрыть от обеих дам мое разочарование, ибо княгиня Четвертинская, желая спасти положение, вдруг промолвила: «Но это не все! Ты покажи Александру Николаевичу то, что у тебя еще не приведено в порядок: ведь там, в запасе, тоже может найтись кое-что; там имеются и старинные рисунки, которые, вероятно, ему понравятся!» «Запас» этот оказался сложенным в большом платяном шкафу; здесь в беспорядке покоились акварели в рамах и акварели без рам, а также кипы изрисованной бумаги, в двух же нижних ящиках шкафа лежали грудой.альбомы в кожаных переплетах разного формата — один с гербом Кушелева, другие с вензелем Базилевского. Меня сразу потянуло к ним. Раскрыв наугад один, я пришел в восторг, увидев наклеенным на первой странице чудесный итальянский рисунок начала XVI века «Плач над телом господним» (оказавшимся, по более внимательном изучении, произведением Гауденцио Феррари). Да и по другим страницам альбома были размещены превосходные рисунки частью сангиной, частью пером, мастеров разных эпох и школ. Вот *тут* было над чем поработать, и уже в силу контраста этих альбомов с тем, что меня так огорчило в «парадных портфелях», я стал с особым восторгом выражать свое удовольствие. Лицо Киту сияло, тогда как лицо Марии Клавдиевны выражало какую-то личную обиду. Ведь мой восторг можно было так истолковать: «Вот это другое дело, тут имеется и красота и смысл, не то, что тот вздор и безвкусие, что мне было показано сначала...» Княгиня Тенишева попробовала было защищать своих любимцев Редковских, Писемских, Навозовых, Бобровых и других корифеев русской акварели и пыталась объяснить, почему она до сих пор не придавала значения тому, что было сложено в шкафу, но затем ее благодушие, le côté bonne filìe * ее характера взяли верх, она как-то «смахнула» свою досаду или обиду. К моим доводам (во мне сразу проснулась свойственная мне страсть поучения и прозелитизма) присоединилась Четвертинская, и уже через час за чаем «кризис» миновал, я «перестал думать об отставке» и, подбадриваемый Киту, строил планы, один более грандиозный, нежели другой, а Мария Клавдиевна все более заражалась моим энтузиазмом. Расстались мы на том, что я сначала разберу то, что мне показано, и отдам переплетчику (для вставки в паспарту) все,

что достойно быть включенным в избранную коллекцию, а затем займусь описью. Эту работу я должен был бы производить в «одиночестве», ибо уже дня через два обе княгини отбывали в Париж.

Во мне несомненно сидит рядом с другими личностями и форменный архивариус, ибо в тех занятиях, которым я с этого дня стал посвящать весьма значительную часть времени, я находил своеобразное и весьма большое наслаждение. Может показаться странным, как художник, как человек и очень даже горячий, нетерпеливый и порывистый, мог надолго превращаться в кропотливого исследователя, в педантичного регистратора — однако это так, и эта черта осталась у меня на всю жизнь. Наря-

* Мягкость *{франц.)*.

ду с занятиями живописью и художественной критикой, вгаряду с моими музыкальными фантазиями, которым я в те годы все еще отдавал по крайней мере час или два в день, такие отступления в сторону работы «архивного порядка» являлись вовсе не какой-либо утомительной обузой, а скорее чем-то вроде отдыха. Устав затем от писания фишек, от справок по словарям и каталогам, я с особым удовольствием принимался снова за кисть и краски или садился за рояль. И наоборот, почувствовав в процессе художественной работы, что меня покидает та нервная поддержка, то умственное возбуждение, которое называется «вдохновением», я, ненавидящий простое, абсолютное «ничегонеделание», находил полезное и даже освежающее развлечение именно в самых, казалось бы, сухих и скучных записях, сверках и т. д. Подобная же потребность в отвлечении в иные области и иные «упражнения» выражается у других в каких-либо спортах, в игре в карты, в рыбной ловле или просто в курении... У моего отца она выражалась зимой в всевозможной бумажной клейке, летом — в садоводстве.

Окончательный подсчет коллекции показал, что старинных вещей мало (среди них, кроме упомянутого Гауденцио, нашлось шестьдесят сангин — contre èpreves * Бушардона, один рисунок Буше религиозного характера, одна батальная сцена «недостаточно хорошая для Ватто, но слишком хорошая для Парроселя», кое-что еще. Лучше был представлен, но тоже очень случайными примерами, без всякой системы, XIX век. Особенно было приятно найти отл-ичную акварель с восточным сюжетом А. Декана, несколько хороших Джиганти, Корроди, Вианелли, целую серию акварелей Гильдебрандта (по мнению обеих княгинь именно эти тридцать акварелей составляли главные pieces de

resistance**). Наконец, среди старинных русских художников для меня настоящей радостью было найти рисунки тушью нашего раннего реалиста Щедровского, явившиеся как бы в pendant *** к серии «Cris de Paris» **** Бушардона, а также рисунки и акварели Брюллова, Л. Орловского, Егорова, Кипренского. Многое не было подписано, и пришлось авторство устанавливать посредством сравнений и других справок; большую помощь мне при этом оказал как мой отец, так и отец моего друга Кости — маститый историк русского искусства Андрей Иванович Сомов, сам обладавший весьма значительным собранием рисунков и акварелей.

Когда разбор коллекции был окончен и когда «безусловный хлам» был выделен и отложен в особый сундук, то я принялся за подробную опись16, на что у меня уходило несколько часов в день. Одновременно за работой у меня назревали планы на будущие времена. Я мечтал, исходя ир данного зерна, создать настоящий и богатейший музей, посвященный как русской, так и иностранной акварели — род добавления к Эрмитажу

Оттисков с сангин *(франц.).* ** Лакомые кусочки *(франц.).* *** Под пару (франц.). **** «Крики Парижа» *(франц.).*

IV, 5. Мережковские, Репин. Тенишева

57

в музею Александра III. Я вступил в переписку с обеими княгинями, надолго застрявшими в Париже. Несомненно, в этих письмах многое выдавало мою неопытность и то известное, «все еще юношеское» простодушие. но намерения были наилучшие, и кое-что мне все же в дальнейшем, благодаря именно моей «вере в наивность», удалось достичь. По желанию княгини Тенишевон я отдал все, что было мною «откопано» и что подлежало присовокуплению к коллекции, переплетному мастеру для вставления всех рисунков и акварелей в однообразный «мундир»—в белое паспарту, однако я скорбел о том, что при этом могли исчезнуть те старинные, иногда очень изящные, монтюры, которыми люди XVIII и первой половины XIX в. любили окружать особенно рисунки. Поэтому переплетчику был дан наказ эти монтюры (шокировавшие вкус княгини) сохранять и прятать под бристолем.

К занятию Тенишевским собранием вскоре прибавилось другое дело,— э именно, брат Леонтий затеял составление толкового словаря русских архитекторов, который он задумал издать на свой счет и подготовительную работу к которому он поручил мне. К сожалению, эта затея, за которую я принялся сначала с большим рвением, постепенно стала тормозиться вследствие невозможности отдавать ему много времени. Надо

сказать, что денежное вознаграждение было только обещано вперед и оно никогда не было толком обусловлено. По существу же составление словаря меня интересовало, по только — насколько я был увлечен биографиями наших чудесных зодчих XVIII и первой половины XIX вв., настолько было скучно и нудно собирать сведения о всех тех, кто в моих глазах не заслуживал ни малейшего внимания...

К осени моя работа заглохла и главным образом потому, что сам Леонтий совершенно охладел к своей затее.

Менее всего за время от нашего возвращения из заграничного путешествия и до переезда на дачу мне удавалось заниматься личным художеством. Я успел за эти месяцы только разработать некоторые из привезенных с собой этюдов. Главным образом мне хотелось запечатлевать в акварелях значительных размеров то незабываемое впечатление, что произвел на'меня Лимбургский собор. Я сделал по крайней мере четыре варианта этой «картины», и однако, мне так и не удалось передать самое настроение, вызываемое этим памятником и всем его окружением. Мучился я и с технической стороной, пытаясь то так, то сяк превозмочь свое неумение найти какую-либо *манеру* (теперь бы мы сказали «трюк»), чтобы маскировать это неумение. При этом сказывалась не только неопытность, но и всякие мои природные дефекты, побороть которые (да и то не вполне) удалось лишь гораздо позже посредством долгой и упорной борьбы с ними. То были нетерпеливость, неряшливость, быстрое утомление и вызываемое им разочарование и т. д. Меня мучило сознание, что я не обладал ни выправкой, ни вкусом моего отца и моих двух братьев. Лишь много позже, посредством упорной борьбы я «научился своему ремеслу», одолел его, смог им распоряжаться свободно...

IV, 6. Первая дача. Мартышкино

Глава 6

НАША ПЕРВАЯ ДАЧА, НАШИ ХАРАКТЕРЫ. МАРТЫШКИНО

Ох, как тяжело было покинуть родительский дом. Правда, нам было немного тесно в квартире, в которой, кроме нас и папы, жило все семейство сестры Кати, однако то был все же с самого моего рождения *мой* дом, с чем я сросся до такой степени, что мне казалось просто немыслимым существование в ином месте и хотя бы в обществе любимой жены. Но иначе смотрела на положение сестра Катя, и по-своему она была права. Она и ее пятеро детей (старшая дочь Сопя воспитывалась в Николаевском институте и лишь во время каникул присоединялась к остальным) все принуждены были умещаться в трех комнатах, тогда как мы вдвоем занимали целых две. Понятно, что Катя желала, чтобы мы выселились и, при всей ее воспитанности и природной деликатности, ей не удавалось вполне скрывать это свое желание...

Возобновленные поиски дачи привели к некоторому «идеальному компромиссу» между нашими и Катиными желаниями. Она нашла для себя и для папы подходящую, очень поместительную двухэтажную дачу в деревне Мартышкино близ Ораниенбаума, и как раз рядом с ней оказалась принадлежавшая тому же хозяину, неказистая с виду, но для нас двоих вполне достаточная «избушка» с большим садом, доходившим до самой шоссейной дороги (соединяющей Петергоф с Ораниенбаумом). Меня с детства тянуло именно к этим местам и, напротив, сердце мое не лежало к противоположному берегу Финского залива — к Финляндии; меня отпугивали ее серость и суровость п какая-то во всем скудость (впоследствии я по-должному оценил и Финляндию). Я наперед был уверен, что в Финляндии я ничего не найду для себя «вдохновительного^, а мне как раз *ужасно* хотелось это первое лето, которое мы должны были провести целиком на лоне природы, живя совершенно самостоятельной жизнью, использовать для усиленной художественной работы. За время заграничного путешествия я уяснил себе свои недочеты и теперь рассчитывал, что если я с особенным усердием и с «методой» буду рисовать и писать с натуры, то я эти недочеты искореню и тогда стану «настоящим художником».

Мартышкино — скромное дачное место, и особенно таковым оно было р те годы, более полувека назад. За исключением десятка крупных дач (в одной и поселились папа с Катей), в остальном это селение состояло из деревянных домиков дачного типа с небольшими садиками, стоявшими вперемешку с крестьянскими домами и угодьями. Местные крестьяне жили в малокультурных условиях, грязновато и бедно. Но держали они себя с достоинством и даже не без известной гордости; скандалов среди них не возникало (кабака в Мартынткине и вовсе не было), и к тому же Пародом этот был богомольный. Их «кирха» простой, но благородной ар-

хитектуры (возможно, то было произведение самого Кваренги) возвышалась довольно живописно на краю того кряжа, что тянулся вдоль берега моря и шоссейной дороги.

Самое слово «Мартышкино» имеет в себе нечто смешное. И дачники всячески острили на счет этого названия. Однако надо думать, что происходило оно не от «мартышки-обезьянки», а по всей вероятности от какого-либо Мартына (Мартина), владевшего когда-то, еще при шведах, этой местностью. Об этих былых «шведских временах» свидетельствовал еще тот склеп XVIII в., который стоял на краю Мартышкинского кладбища и который был полон гробов прежних местных владельцев; этот склеп и другой грандиозный загадочный памятник в нем придавали особую романтическую нотку Мартышкину, и к этим достопримечательностям я еще вернусь в дальнейшем.

Главная прелесть Мартышкина заключалась в том, что это селение расположено у самого моря, от которого оно отделено лишь неширокой полосой песочных дюн. Местами сплошь вдоль берега тянутся и огороды, на которых разводились земляника, клубника и малина, окаймленные древними высокими соснами. Особенный характер придавали как раз тому виду, что расстилался перед нашими дачами, рыбацкие хижины, очень убогие, очень покривившиеся, очень почернелые, но тем более живописные. Тут же между ними сушились сети рыбаков, а у мостиков, служивших местами причала, были привязаны неуклюжие их лодки. Эти рыбаки были пришлыми,— великороссы, поселявшиеся здесь для сьоего промысла только с весны до осени, и в какое-либо общение с «туземцами» они не входили. Их было человек пятнадцать, не больше, и жили они холостой жизнью. Пищу свою они обыкновенно готовили на расположенных у избушек кострах, что также служило живописности. Море и стлавшееся над ним небо часто меняли

свою краску и свое «настроение», это особенно дразнило и возбуждало «нас, художников», т. е. меня, старшего племянника Женю Лансере, а также моего закадычного друга Костю Сомова, проживавшего на даче с родителями близ станции Лигово, но часто приезжавшего к нам дня на два, на три. Приезжал с ним и старший' его брат — толстяк Саша — большой шутник и балагур.

Но не одни пески дюн и огороды тянулись вдоль берега. Недалеко от них (в сторону Ораниенбаума) была расположена небольшая роща низкорослых сосенок (с тех пор ее распродали под дачи). Она навевала мне какие-то мечты «о древней Элладе», и я прозвал ее поэтому «Орфе-евой рощей». Стволы этих сосенок были до удивления корявые, на все лады изогнутые морскими ветрами, с полуобнаженными корнями. Они казались какими-то завороженными существами, превращенными за провинность в деревья. Совершенно сказочной «Орфеева роща» становилась, когда заходящее солнце обдавало ее огненно-красными лучами, а от стволов по оранжевым пескам протягивались и сплетались яркие зеленовато-голубые тени.

На восток от нас тянулся береговой лесок, через который протекал к морю ручей, а еще дальше, у «букета» раскидистых ив, ютился в не-

глубокой ложбине деревянный, осевший на один бок, домишко с несуразно-огромной кирпичной трубой. Полуруина эта была своего рода знаменитостью, славившейся на всю округу; в ней выпекались так называемые «выборгские крендели», лакомые до которых люди приезжали (иногда и в очень «шикарных» экипажах) даже из Ораниенбаума и из Петергофа. А кто же мог остаться равнодушным к этим кренделям, раз отведав их? В меру сладковатые, пахнувшие не то кардамоном, не то ванилью, изумительно белые внутри, изумительно ровно бурые снаружи, они, попадая кусочками в рот, наполняли все существо каким-то особенным, ни на что не похожим и прямо-таки «благороднейшим» блаженством. Вероятно, пеклись они особым образом и по древнему рецепту, сохранившемуся со шведских времен, И то еще было в этих кренделях аппетитно, что на оборотной стороне, в морщинках запеченного теста, застревали соломинки,— как это случалось и в русских «сайках».

Еще одной, редкой для петербургских окрестностей диковиной могло гордиться Мартышкино. То было его кладбище, издали имевшее вид рощи с лиственными деревьями. Это кладбище было расположено вне селения, далеко от берега, за полотном железной дороги. Мартышкинским кладбищем я

заинтересовался еще в юношеские годы, когда, дойдя по железнодорожной насыпи до Мартышкина, увидал в отдалении небольшое каменное здание очень необычайной архитектуры, стоявшее па самом краю обрыва среди высоких берез. Особенность этого здания заключалась в том, что над ним высился фронтон, имевший форму полого круга — характерный мотив барокко. Под этим же фронтоном виднелась окованная железом, выкрашенная в черный цвет дверь и по сторонам ее два круглых, забранных решетками оконца. Каково же было мое изумление, когда, влезши на кучу кирпичей, я увидел через одно из оконец совершенно голую, выбеленную внутренность этого домика или часовни, и в ней целую гору старинных гробов разнообразных форм и величин. Тут были и простые деревянные ящики, и железные саркофаги с гербами, и гробы до странности большие, и крошечные детские. Они громоздились в беспорядке друг на друге и занимали почти все квадратное в плане помещение. Этого открытия уже было достаточно, чтобы впасть в тот специфический «восторг», который меня охватывал тогда при всяком соприкосновении с чем-либо таинственным, и к тому же «потусторонним»... Этот восторг еще усилился, когда, проникнув дальше в кладбище, я оказался перед памятником куда более внушительным и самого мрачного характера. Он имел форму усеченной пирамиды, покоившейся на как бы вросших в землю дорических колоннах; пирамида на четырех углах основания была уставлена задрапированными урнами. Все это из сурового, почерневшего от времени гранита. На черной же доске, пригвожденной па недосягаемой высоте к передней стенке мавзолея, значилась надпись, смысл которой, к сожалению, было невозможно угадать, так как три четверти ее бронзовых золоченых букв выпали и пропали. Достаточно, впрочем, было одного слова Martyri (мученики), оставшегося целым, чтобы обострить любопытство до крайности. Если же очень на-

переть на одну из створок железной двери, замыкавшей этот склеп, то-можно было через образовавшуюся щель увидеть внутренность, слабо освещенную сверху через отверстия, имевшие форму полулунок. Здесь стояло всего три железных гроба, два больших и один детский, а остальное помещение было пусто. Не содержал ли этот склеп останки тех гол-штннцев, что состояли при особе Петра III? Но некоторым сведениям,. все эти голштинцы были перебиты в дни переворота 1762 г. и возможно,. что это Павел I по восшествии на престол пожелал подобным грандиозным монументом почтить память тех, кто пал, оставаясь

верным своему государю. Возможно, что в гробах склепа лежали трупы офицеров, тогда. как солдаты были погребены просто в земле или же погребены в той. окруженной стенкой квадратной площадке, что находилась у шоссейной дороги, не доезжая Мартышкина, и что тоже всех крайне интриговала.

Дача, в которой поселились папа и Катя с детьми, была очень большая, деревянная, в два этажа, с двумя большими застекленными верандами и с тенистым садом за невысоким забором. Весь облик ее был «господский», «барский». Наша же избушка, хотя и имела мезонин под. крышей, являла самый скромный и деревенский вид. Я себе иод рабочий кабинет выбрал угловую, ближайшую ко двору, отделявшему нашу дачу от папиной; рядом комната в два окна служила спальней, а третья с дверью на садовое крылечко — столовой. Впрочем, в хорошую погоду столовой служило нам и самое это крылечко, и на нем особенно приятно было пить утром кофе, который моя Атя чудесно готовила, а в очень жаркие дни «хлебать» холодные супы — окрошку и ботвинью. Кухня лежала ниже дачи, с окнами, затемненными густой листвой раскидистого дерева; от древности кухня несколько покосилась, но это придавало-ей только лишнюю живописность. Сад состоял почти исключительно из-молодых березок; от них, особенно в первые, еще весенние дни, по нашем вселении шел бальзамический, чуть горьковатый дух, а более сладкий и манящий тянулся из папиного сада с его кустами сирени, густо* покрывшейся цветами. Пахло и посаженными по грядам резедой, гелиотропом, левкоем и душистым горошком...

Наше настоящее супружеское существование лишь теперь начиналось — в обстановке собственного хозяйства и собственного бюджета. И, естественно, что это существование не получило сразу полной налаженности. La paix du menage * в общем нам обоим удалось соблюсти до> самой старости, но совсем без недоразумений и ссор все же не обошлось, и этн наши размолвки, бывавшие и до брака, с первых же недель нашего отделения от родительской опеки получили новый оттенок. Точнее, к прежним (совершенно ребяческим) мотивам для ссор прибавились новые — хозяйственные... и подчас как раз ссоры, возникавшие на этой почве, обнаруживали с большей ясностью те (к счастью, вовсе не очень существенные) различия, что были в наших личностях и характерах.

Семейный мир *(франц.)*.

62

IV, 6. Первая дача. Мартышкино

Спешу тут же объяснить окончательно по этому неприятному вопросу. Я отнюдь не желал бы, чтоб сказанное создало

впечатление, что наш брак получился не столь счастливым. Было бы грешно не почитать все наше прошлое в целом как некую *исключительную* «милость божшо»,' как некое «проявление рая на земле». Мы были «безумно влюблены» друг в друга в момент нашего соединения и таковыми же остались до сих пор '*, т. е. не только любящими и уважающими друг друга супругами, но и пламенно влюбленными один в другого. Самые наши размолвки всегда носили быстро проходящий характер и каждое примирение, запаздывавшее лишь в самых редких случаях на несколько часов, служило к какому-то усилению этой нашей сердечной и душевной близости.

Главное несчастье детства и юности моей подруги был тот раздор, что царил между ее родителями, причем вполне естественно получалось, что дети в этом раздоре склонялись на сторону матери против отца. Я кажется уже говорил, что Карл Иванович представлял собой олицетворение немецкой прямоты и дотошности. В области домашней экономики он был непримиримым врагом всякой Verschwendung *. И это возмущение он испытывал не только в случаях появления *настоящей* расточительности (их, пожалуй, и не бывало в столь скромном хозяйстве), но и в случаях совершенно безобидных и ничтожных. Добрейший, необычайно милый и деликатный старик (молодым ни я, ни Атя его пе знали) тогда становился довольно неприятным и придирчивым, причем он не обладал свойством «легкой отходчивости». Он мог в продолжение нескольких дней дуться, бубнить себе что-то под нос, а моментами колоть своих антагонистов (жену и детей) упреками, причем он постоянно возвращался к тем же обвинениям,— и это иногда по поводу самых пустяков. Елизавета же Ивановна Кинд представляла полный контраст мужу. И она была немка-балтийка (она и по-русски говорила не совсем правильно), но характер у нее был менее уравновешен; она была eine leicht aufbrau-sende Natur **, причем в ней было нечто такое, что роднило ее с пресловутой âme slave ***,— нечто «широкое», какая-то неудержимая потребность к размаху, особенно в отношении всяческого баловства детей, а также гостеприимства и угощения. В отношении самой себя она впадала в другую крайность. Она годами не меняла своего гардероба, а питалась чем попало. Зато в том, как кормить детей и гостей, она не терпела никаких стеснений и ограничений, и ее величайшей радостью было накормить и тех, и других до отвалу. Нередко и я становился «жертвой» таких угощений доброй Елизаветы Ивановны. Эти угощения были отменного качества (какие знаменитые Blechkuchen она умела печь! Один такой пирог изготовлялся

ежегодно специально ко дню рождения Аль-бера), но я все же их побаивался, ибо бывало, что лишь с трудом одо-

** Писано в 1940 г. * Расточительности *(нем.)*. ** Легко воспламеняющаяся натура («еж.). ** Славянской душой *(франц.)*.

IV, 6. Первая дача. Мартышкино

63

леешь то, что она наложила на тарелку, а тут же сваливается не менее внушительная порция. Вот именно такие валтасаровы угощения и раздражали экономного Papá-Kind'a; в этом он даже усматривал нечто вроде преступления, а потому Maraá-Kind старалась иные из этих угощений от мужа скрывать 2*, причем в таком заговоре должны были участвовать все. Гигантские пироги или окорока при опасности возвращения папаши прятались, а в лицо она ему лгала, иногда против всякой очевидности и когда по всей квартире стоял предательский и очень соблазнительный запах скрытого кушанья. Все это было сущим вздором, но этот вздор и особенно это лганье создали специфическую и иногда довольно тяжелую атмосферу в уютном киндовском доме, а от частого повторения таких сцен и от состояния такой «войны» в детях, которые всегда были на стороне матери, нарушалось уважение к отцу и вырабатывалась даже известная к нему враждебность. В них утверждалось убеждение, что добрейший Карл Иванович скареден, что он тиран... И одновременно утверждались известные неколебимые принципы. Широкость натуры, щедрость, хлебосольство превозносились, как великие добродетели, и напротив, расчетливость и экономия, приспособление бюджета *к* материальным условиям момента считались тяжелыми пороками. Такие «правила жизни» заразили и натуру моей, в общем такой «умственна и нравственно здоровой» Ати. Правда, материнские черты не доходили в ней никогда до каких-либо абсурдных эксцессов, вообще она всегда оставалась в границах благоразумия и, усматривая свои ошибки, каялась в старалась от них отделаться, но, тем не менее, при всяком намеке моего вмешательства в ее область хозяйки она испытывала раздражение, в ее` речах появлялись особые нотки, ужасно не шедшие ко всему ее облику. И я далек от скаредности, а в вопросах финансовых я даже хуже разбираюсь, нежели она; я скорее склонен к «совершенно неразумным» тратам, но все же где-то во мне сидит нечто, унаследованное от матери, от дедушки и бабушки — нечто, что носит следы французской étroitesse, немецкой Genauigkeit и итальянской esatezza *, Это особенна проявляется в моменты кризисов нашего бюджета, когда я готов прибегать к .«чрезвычайным мерам экономии и к крупным сокращениям» (таких кризисов у нас за всю жизнь было немало).

И вот именно тогда моя подруга оказывалась неспособной на подобную «эквилибристику» *ш* даже обнаруживала к ней враждебное отношение. Надо ли при этом прибавить, что в основе всего ее существа лежал какой-то абсолютный оптимизм, неколебимая вера в то, что именно в надлежащий, хотя бы последний, момент явится спасение (и не было случая, чтоб эта ее надежда не исполнилась), тогда как я от природы скорее подобен Фоме-неверующему, к особе которого я даже чувствую «душевную симпатию».

Что было пе трудно, так как по делам службы или из-за уроков в разных концах города Карл Иванович часто отсутствовал из дому, вечера же несколько раа-в неделю он проводил в своем немецком клубе «Пальма».

Расчетливости, точности, пунктуальности *(франц., нем., итал.),*

<**S4**

IV, 6. Первая дача. Мартышкино

Теперь я высказался по этому вопросу и постараюсь более к нему не возвращаться. Что же еще рассказать о нашем первом супружеском лете? Как выразить то почти сплошное блаженство, в котором мы пребывали, когда каждое утро начиналось с того, что, проснувшись, я видел нашу спальню, залитую зеленым отблеском деревьев нашего сада, а на подушке рядом милый профиль любимой женщины. И вот этот любимый человек уже поспешно накидывает легкий халат ь., ступая босыми ногами по некрашеным доскам нашей избушки, бежит в кухню давать распоряжения относительно кофия, живительный аромат которого вскоре распространяется по комнатам. Потом я слышу, как жена моя плещется юколо умывальника. Впрочем, на это предварительное мытье полагается всего минут десять, тогда как на окончательное «приведение себя в порядок» уже после кофия уходило значительно больше времени. Ко мне же, продолжающему валяться в постели, взамен упорхнувшей хозяйки -вскарабкивается наш черный, как смоль, котик Мур 3*, подаренный весной моей старенькой кузиной Катенькой Романовской. С раннего детства и до старости я любил кошек и, пожалуй, предпочитал их собакам, но домашняя прислуга была всегда против них, и я не успевал завести такую зверушку (поставщицей их всегда была та же кузина Катенька), как уже Ольга или Степаиида их куда-то спроваживали... Теперь же, казалось, никто не отымет у нас нашего очаровательного дружка, а дружок с каждым днем становился интересней и забавней. И какой курьез-вый контраст получался между этим красавчиком-аристократом в его черном, гладком, как атлас, одеянии, и нашей

собачонкой Бойкой-Чумич-кой, белая, по всегда запачкапиая шерсть которой торчала во все стороны, что, впрочем, ей «было к лицу»,— к ее дурацкой, простецкой, вечно недоумевающей морде, похожей на мордашку Петрушки.

Оттого ли, что у нас была эта собачонка, или оттого, что мы оба были вообще поклонниками животных, но наша дача вскоре сделалась сборным пунктом всех мартышкинских псов. Началось с того, что Атя стала «прикармливать» хозяйскую кудлатую вертлявую овчарку, для которой на балконе крылечка ставилась никогда не оскудевавшая чаша со всякой снедью. Эта же Мурза имела совершенно исключительный успех среди представителей собачьего мужского пола, и, благо калитка нашего сада всегда оставалась открытой, к нам, к ногам этой Мурзы, стали стекаться самые разнообразные и по виду, и по росту, и по характеру, и по «общественному положению» претенденты. Должен покаяться, что меня эти сборища очень забавляли, и я даже пользовался ими для зарисовок всевозможных песьих типов, однако постепенно положение сделалось неудобным, так как целыми дпями у нашей дачи слышались ворчанье и лай, а моментами страсти разгорались до настоящих поединков, на которые Мурза, подползши под стол, поглядывала через космы своей свешивавшейся на глаза шерсти. Увы, вся эта собачья романтика кончилась

Так названный в честь гофмановского кота Мурра.

IV, 6. Первая дача. Мартышкино(55

для нее плохо. Хозяин дачи, как-то рассвирепев против Мурзы, не долго думая, утопил ее в прудике у речонки.

Своего котика Мура и свою Бойку-Чумичку я много раз пробовал изобразить на бумаге, но нам этого было недостаточно и, наконец, мы отвезли их обоих в Ораниенбаум к заправскому фотографу. Операция съемки не так легко далась,— особенно кот никак не желал посидеть хотя бы полминуты спокойно, а то и дело ускользал то под кресла, то под стол, а то забивался среди всякой фотографической бутафории. Но общими усилиями мы все же обоих соединили в группу, и вышли оба наши любимца очень похожими на «кабинетной» карточке.

Что же касается до моего художества, то оно приняло с первых же недель жизни на даче характер известного запоя. Потерянное до сих пор в относительном безделии время я теперь репштельпо паверстывал, ве расставаясь с альбомами, и заносил в них все, что мне представлялось ценным в живописном отношении, да и вообще все, что меня поражало и что меня понуждало к изучению. А таких «подстрекательств» я находил на каждом шагу, начиная с нашего уютного садика. По любимым

монм местом все же в Мартышкине был морской берег, помянутые дюны со стоявшими па них избушками рыбаков, и «Орфеева роща». В первое же утро, выйдя из нашего садика, я остановился в совершенном очаровании перед тут же развернутой, как бы просвечивавшей через серебряную дымку картиной. На море стоял мертвый штиль, и в маслянисто-зеркальной поверхности его отражались громоздившиеся на горизонте пухлые белые облака. Все это так чарующе сочеталось с тонами песочных оврагов, а также с черневшими ветхими бревенчатыми постройками!

Только к концу лета, когда все, что было в близком соседстве от нашей дачи, было мной изрисовано, я стал уходить па более далекие прогулки — на Мартыгакинское кладбище, в Ораниенбаум и даже раза два в Петергоф. До городских ворот Ораниенбаума (построенных в классическом стиле) было всего четверть часа ходьбы, но меня тянуло дальше — ко дворцу и особенно к прелестному павильону «Катальная горка».'От длиннейшего спуска «горы», с которого еще мой отец в 20-х *ш* 30-х годах скатывался на особых саночках на колесиках, не осталось уже давно никаких следов, но то грациозное здание, от которого когда-то п шел спуск «горы», это здание «павильона» стояло в полной сохранности.

В моих прогулках почти всегда меня сопутствовал Женя Лансере, живший рядом на большой даче вместе с дедом, матерью, братом Колей и сестрами. Для меня было большой радостью видеть его удивительно быстрые успехи и особенно то чувство, которое он с такой остротой и так «естественно», без какой-либо подчеркиутостн умел вкладывать в свои этюды с натуры. По Женечка был и очаровательным товарищем. От отца оп унаследовал известную «легкость возбуждения», по у него она лишь очень редко переходила в раздражение, тогда как у Евгения Александровича Лансере, вследствие тяжелой болезни, принимала почти всегда весьма неприятный раздражительный характер. У Жени эта легкость

возбуждения придавала его речам и мнениям что-то задорное, особенно когда он отстаивал какой-либо свой идеал (а он был пропитан идеалами!). Евгений Евгеньевич таким юношей-идеалистом, безупречно чистым в своих устремлениях, и остался на всю жизнь, вопреки всяким посторонним воздействиям и тому, что «крутые горки» жизни «любую сивку способны укатать». Но если он и сейчас4*, когда ему пошел седьмой десяток» должен все

еще быть отнесен в разряд самых милых и благородных людей, то все же тот двадцатилетний Женя Лансере был еще куда более прелестен! Это была какая-то «олицетворенная поэзия», и немудрено, что наша дружба, начавшаяся еще тогда, когда я сам только начинал становиться «молодым человеком», а он едва выходил из детского возраста, именно в это лето углубилась в чрезвычайной степени. Много значило и то, что моя жена вполне разделяла мою склонность к племяннику. В нашем быту он играл ту роль, которую в других семьях играют братья. Мои же братья и сестры оставались нам менее близкими, будучи на столько лет старше нас.

Женя Лансере тогда уже готовился быть художником. Его толкали на то не одна семейная традиция и влияние, но и самое подлинное призвание, то, что называется «художественная натура». Но ни ему, ни мне, служившему тогда чем-то вроде ментора, не представлялось возможным достичь полного развития, оставаясь в России и особенно в той специфической буржуазной атмосфере, которая царила у нас в доме. Его тянуло на простор, и эта тяга обозначилась с особой силой после нашего возвращения из заграничного путешествия и после всех моих восторженных рассказов. Но не в Италию Жене хотелось ехать (считалось, что современная Италия ничего не может дать для образования художника), а его манил Париж, за художественной жизнью которого мы пытливо следили по книгам и журналам, и не покидая родины. У Жени были такие же кумиры среди современных французов, как и у меня, и у всех нас, но, пожалуй, он ими увлекался с еще большей пламенностью, и естественно, что, зная их почти исключительно по воспроизведениям, хотел их увидать во всей их красочности и в настоящую величину. Кроме того, его манил сам Париж как город, и особенно его стал он манить, слушая энтузиастские рассказы Бирле и Бакста (последний уже два раза за последние три года побывал в Париже), восторгавшихся решительно всем парижским, не исключая даже и самых неприглядных его сторон. Ближайшим, до некоторой степени, стимулом к тому, чтоб Женечка отпросился у родителей в Париж, послужило возвращение среди лета из поездки по Франции Валечки Нувеля. Валечке, собравшемуся объехать весь север Франции, было мной при отъезде поручено накупить большие фотографии с разных замечательных памятников, главным образом готических, и одно разглядывание этих чудес преисполнило меня и Женю желанием, не откладывая, увидать все это в действительности. После некоторого колебания Катя и согласилась с моими доводами, что «Жене

Писано в 1940 г.

нужен Париж», и юноша был отправлен в «Новый Вавилон» один, но снабженный всевозможными советами и рекомендациями. Это произошло в осеннюю пору и тогда, когда и папа и все «Лансерята» уже покинули Мартышкино и водворились обратно в городскую квартиру, мы же оставались еще на даче, так как считалось неблагоразумным произвести переезд Ати слишком скоро после родов. Женя приехал прощаться к нам, и мы его уложили в ту «комнату для гостей» (другой не было), в которой, к сожалению, неистово возились и визжали мыши и крысы, избравшие себе местом боев или амуров пространство между стеной и отставшими от нее обоями. Возможно, что этот инфернальный шум навеял Женечке какой-то чудовищный кошмар; во всяком случае, свое одиночное и последнее перед отъездом пребывание у нас он ознаменовал ужасающим воплем, напугавшим и нас, и его самого. Эти крики во сне у нас нечто семейное. Я тоже, стоит мне заснуть с рукой на сердце, как неминуемо мне снится что-либо до того страшное, что я начинаю вопить благим матом.

Незадолго до отбытия Жени в Париж к нам в Мартышкино «нагрянул» Сережа Дягилев, всего за день до того вернувшийся из своего первого «систематического и планового» объезда Европы. Сережа с 1890 г., когда он явился из Парижа, и до этого 1895 г. уже раза два или три побывал в чужих краях, но это были скорее «увеселительные поездки», которые он совершал вместе с Димой и которые производились без всякого предварительного плана. Да, кажется, и «путешествия» в настоящем смысле никакого и не бывало, а оба кузена просто прямо отправлялись на юг Франции, в Ниццу или в Канн, проводя все время, посвященное отдыху, у знакомых,— кажется, чаще всего у Дервизов. Напротив, в 1895 г. Сережа отправился один и не только объехал разные знаменитые города, но и систематически осмотрел все главные достопримечательности и одновременно посетил ряд «великих людей». Мало того, войдя по достижении совершеннолетия в обладание доставшегося ему от матери наследства (около 60 000 рублей), Сережа решил значительную часть атого капитала истратить на свою обстановку. Ввиду этого у меня с ним до отъезда было несколько совещаний, и я ему составил род наказа, что именно надлежит видеть и что было бы желательно, чтоб он приобрел.

Я помню, как он стал мне горячо каяться в своем безвкусии, в разных совершенных промахах и как я его успокаивал и утешал. В то же время я не упустил случая, чтоб особенно решительным

образом требовать от Сережи, чтоб он уж больше не сходил с того пути, на который он ступил. Первым делом надлежало «выбросить к черту» всю заполнявшую Сережину квартиру безвкусицу — главным образом отвратительную мебель, так недавно представлявшуюся Сереже каким-то верхом великолепия. Да и картинам Ендогурова, Кившенки, Лагорио не было более места на Сережиных стенах, и он должен был постараться привезти из Европы образцы хорошей живописи — Менцеля, Беклина, Ленбаха, Пюви де Шаванна и т. п.

3*

68

IV, 7. Рождение дочери

Я дал ему рекомендательное письмо к нашему дальнему свойственнику Гансу Бартельсу, жившему в Мюнхене и стоявшему тогда в зените своей славы, и другое письмо к только что обретенному мной новому другу _ Мариано Фортуни. Я считал, они оба согласятся пилотировать «русского юношу» по мастерским художников и по антикварам, и этот мой расчет оказался верным.

Уже среди лета откуда-то пришло от Сережи к нам в Мартышкино письмо, отражающее то душевное состояние, в которое он впал, посетив в рекордный срок баснословное количество музеев и лично познакомившись с самыми вершинами художественной, литературной и музыкаль-вой жизни Запада. В том же письме он в шутку изъявил намерение назначить меня «хранителем музея Сергея Дягилева» с намеком на го, что уже значительный вклад в такой музей он приобрел и везет с собой. А затем он лично сам явился к нам в Мартышкино, изысканно подорожному одетый, пахнувший особыми духами, розовый и точно пьяный от восторга, что может стольким похвастаться и удивить. Привез он и дары как мне, так и моей жене. Ей какие-то модные безделушки, мне — хороший рисунок Макса Либермана, изображавший старушку-голландку, занятую бельем в своей светлой комнатке. Хоть я и не был уж таким рьяным поклонником этого мастера, я все же был сердечно тронут вниманием друга, и рисунок этот в своей оригинальной раме украшал мою квартиру до самого конца моего пребывания ь России. Нас же самих, меня и Атю, Сережа чуть было не задушил в своих объятиях, а рассказывать он принялся, еще не присев, не закусив, Рассказ был путаный, говорил он захлебываясь, перескакивал с одного сюжета на другой, то описывая любезный прием, встреченный им со стороны Гуно, Сен-Санса, Пюви де Шаванна, Золя, Либермана, Даньяна Бувре, то вспоминая с благодарностью о том усердии, которое проявил Ганс Бартельс, водивший его три дня по

мюнхенским знаменитостям с Ленбахом во главе.

Глава 7 РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ

Это самое лето 1895 г. было в нашей семье ознаменовано несравненно более значительным событием, нежели все до сих пор рассказанные. Именно 13 (25 по новому стилю) августа у нас родилась дочь. Произошло это в 6 часов утра при самых благополучных обстоятельствах. Едва ли, однако, сама роженица могла считать «благополучным» все то, что она вытерпела в те часы, когда она производила на свет своего первого ребенка.

Но тревожного во всем этом, слава богу, не было ничего. Семейная наша акушерка Софья Яковлевна, когда-то способствовавшая и моему появлению на свет, прибыла и поселилась у нас за несколько дней, все

IV, 7. Рождение дочери

нужное для новорожденного было заготовлено, и роженица чувствовала себя все время прекрасно.

К самому моменту (вернее, еще накануне вечером) пожаловала из соседнего Бобыльска наша belle-soeur Мария Александровна. До наступления страданий я оставался в спальне, и между всеми нами шла самая обыденная беседа. Когда же бедная моя Атя первый раз вскрикнула, как ужаленная, меня выпроводили, и я с тех пор бродил несколько часов вокруг дачи и даже доходил до «Орфеевой рощи», но особенно раздирающие крики доносились и туда. Впустили же меня обратно в спальню, когда все было совершено.

Свою жену я застал все еще с взбудораженным блеском в глазах, с лихорадочным румянцем на щеках, но и с необычайным выражением счастья на лице. У груди жены лежал запелеиутый младенец, показавшийся мне необычайной величины, и это существо с жадностью сосало груды Какого-либо особенного рода умиления я, по правде говоря, не испытывал при этом первом знакомстве с нашим ребенком, мне вовсе не захотелось, например, *заплакать* от счастья. Скорее я продолжал себя чувствовать *неловко.* И то же ощущение какой-то «глупой роли» я ощущал и при рождении двух других наших детей. Скорее я был удивлен и темт что я вместо какой-то «бесформенной массы» вижу вполне сформированного человечка с головой, покрытой густыми черными волосами и с темными глазами, необычайно зорко и внимательно поглядывавшими во все стороны, я бы даже сказал, *всматривающимися,*

Утро и весь день выдались чудесными,— яркими и теплыми, с прелестнейшим ветерком, дувшим с моря. Часов около девяти началось обычное воскресное оживление. Толпа разряженных дачников, не спеша потянулась к той маленькой деревянной церковке, которая в то лето была построена у самой шоссейной дороги. И я попробовал проникнуть в нее, но после нескольких попыток удовольствовался выстоять обедню снаружи вместе с массой других молящихся, которым тоже не удалось войти. Впрочем, отчетливо доносились слова священника, пение и чудесный запах ладана. До чего все это было прекрасно. Прекрасны высокие, могучие, красностволые сосны, осенявшие своими густыми шапками сей скромный храм божий, прекрасно тихое гладкое море, прекрасными казались мне даже все эти столь разнообразные между собой люди, так чисто одетые для праздника, такие благонравные, так умилительно преклонявшие

колена прямо на траве.

С этого момента у нас оказалось в доме две Анны, две Ати, одна получила прозвище «большой», другая —«маленькой»

* * *

За это лето произошло вообще сближение между большой Атей и семьей моего брата Леонтия, жившего на своей даче в Бобыльске, верстах в трех от Мартышкина. Нередко то Мария Александровна с одной из трех дочерей, то вся семья брата заезжала к нам на своих белых в яб-

локах лошадях. Иногда за нами двумя (до рождения «Ати-маленькой») присылались дрожки, и в какие-нибудь четверть часа мы оказывались в Бобыльске, где мы бывали всегда роскошно угощаемы завтраком или обедом... однако в Бобыльске принадлежность к художественной семье не выражалась ни в чем, несмотря на всю природную талантливость Леонтия и на то, что он всегда был завален весьма значительными работами. Напротив, все члены семьи были там заняты либо плаванием на парусных лыжах, либо прогуливались на велосипедах, особенно же много времени отдавалось игре в теннис. Играли все, и даже кубарек Мария Александровна, и даже сам довольно пузатенький Леонтий. И она и он видели в этом упражнении средство для похудения, что, однако, на самом деле не оправдывалось. Оба супруга приобрели значительную ловкость, прыгали, как мячи, и возвращались с гроунда, обливаясь потом. Леонтий после такой «бани» (Schwitzbad *) любил, если располагала к тому погода, сразу выкупаться в море, благо была собственная купальня, к которой вели мостки от самого сада дачи, и можно было пробежать к ней и от нее, закрываясь простыней. Только теперь мой брат начал ценить мою жену, в отношении которой он до тех пор был предубежден более, чем кто-либо из моих родных. С особенным же участием относилась к Ате ее недавняя ненавистница, жена Леонтия Машенька, что выразилось, между прочим, в том, что она пожелала присутствовать при родах первого нашего ребенка. Впрочем, трудно было в точности разобраться, что руководило Марией Александровной в данном случае, действительно ли чувство симпатии или же, говоря грубо, то было характерное «бабье» любопытство, которое толкает женщин на всякие «зрелища семейного порядка» и на известное соприкосновение с главным явлением жизни: с появлением на

свет новых существ, с болезнями, со смертью.

Покинули мы дачу поздно и уже тогда, когда все соседи, в том числе f папа с Катей, уже недели две как успели водвориться обратно в город. При этом, верные петергофским традициям нашей семьи, мы для возвращения в Петербург брали морской путь. Как раз в день такого переезда пароходы делали свои последние перед закрытием сезона рейсы. День выдался ясный, море было спокойно; на пристань нас доставил экипаж Леонтия, который с семьей оставался на даче до конца сентября. Пароход был почти пустой; в первом классе было не более десяти человек. Этот наш переезд по Финскому заливу мпе запомнился с особой отчетливостью. Помню Атю-«болыпую» в осеннем пальто с закутанным ребенком на руках сидящей в верхней каюте, помню, как тут же с трогательным усердием возилась со всякими пеленками и одеялами симпатичнейшая Маша, нанятая за несколько дней до нашего переезда и успевшая за короткий срок всем сердцем привязаться и к нам и к малютке '*. Запомнилось и то, что, выйдя на палубу у капитанской рубки, мы повст-

* Паровая баня *{нем.),*

** Эта Маша осталась затем у нас на службе целый год, а расстались мы с ней только когда уехали надолго за границу. .

речаяись с супругами Сабанеевыми. Оба необычайно участливо относились и ко мне и к Ате. В ответ же на какую-то мою фразу о том, что вот я теперь совсем готовый человек, pater familias, несущий значительно большую ответственность: «пора-де подумать серьезно о заработке»,— Евгений Александрович вспомнил поговорку: «послал бог роток, пошлет и кусок». Вероятно, эти слова потому и мне и моей жене запомнились, что мы были удивлены встретить такую милую простоту со стороны этого довольно вообще заносчивого и грубоватого человека... С Сабанеевыми мы, впрочем, еще встретимся в дальнейшем и даже при обстоятельствах вовсе не похожих на столь идиллические, как данные. Напротив, госпожа Сабанеева была eine sehr feme Dame *, она отвоевала себе известное положение (па почве официозной благотворительности) даже в кругах, «соприкасающихся с высшими»; она заседала в разных комитетах, и это помогало ей всячески оберегать карьеру своего мужа, а то, когда и где нужно, и «проталкивать» его.

Глава 8 ПЕРВЫЙ ГОД НА СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ

Поиски квартиры начались еще летом, для чего я несколько раз приезжал в город и обозревал все, что отдавалось внаем, причем мне не хотелось очень удаляться от «родной» улицы

Глиики. В конце концов подходящая квартира и была найдена на *самой* этой улице, и прямо наискось от «дома Бенуэ». Таким образом, помянутая «операция» произошла с наибольшей легкостью и с наименьшей затратой сил и средств; «свой» дом я продолжал видеть каждодневно, как только выходил за ворота, да и продолжал я в нем бывать, то у папы, то у братьев Михаила и Альбера, очень часто. Для водворения нашей мебели па место не потребовалось возов, а все было перенесено на руках,— частью из занятых нами двух комнат родительской квартиры, частью из каретного сарая, куда за год до того было отставлено все, что составляло приданое моей жены.

Дом № 6 на улице Глиики, в котором мы теперь поселились, был, в сравнении с нашим столетним патриархом, молодым, но он не был и совершенно новым. Архитектурные детали отражали эпоху позднейших лет царствования Николая I. Красился же этот дом в темный, почти черный цвет, придававший ему несколько аристократический вид. Еще недавно часть его, выходившая на улицу, служила особняком, и там проживали какие-то «бары», по теперь эту часть занимала женская гимназия Гедда. Сказать кстати, учебное это заведение много лет помещалось в верхнем этаже нашего дома и в дни моего детства носило название «пансиона Лосевой». Позже, около 1880 г. госпожа Лосева передала свою школу до-

* Весьма утонченная дама *(нем,)*.

черям сенатора Гедда, и тогда это училище получило права казенной гимназии, в качестве каковой приобрела большую и заслуженную известность. То, что школа для девочек и молодых девиц находилась в нашем доме, придавало ему в моих глазах особенную прелесть. Наша монументальная, но и довольно мрачная лестница оживлялась, когда по окончании занятий по ней гурьбой спускались, болтая и смеясь, барышни разных возрастов, сопровождаемые гувернантками и боннами. В гимназии Гедда в то время училась и Зиночка Философова, и она впоследствии не раз вспоминала о том, как я, «противный мальчишка» (мне было столько же лет, сколько ей,— двенадцать, тринадцать) «пугал» ее и ее товарок и как вообще повесничал при встречах...

Наша новая квартира, находившаяся в нижнем этаже, выходила не на улицу, а па очень обширный двор, и благодаря этому в ней было довольно свету. Да и вообще она была приветлива и вполне удобна, если не считать то, что комната, избранная мною иод мой рабочий кабинет, глядела на прямой

запад, вследствие чего в хорошую погоду ее заливали солнечные лучи, и это являлось мне большой помехой. Пока стояла осенняя погода, почти всегда темная, можно было мириться с такой ориентацией, но с поворота к весне и уже в феврале, положение стало невыносимым, и особенно *досадным.* В такие яркие, радостные дни особенно тянуло к работе, а ослепительное солнце, ложась на бумагу, мешало видеть краски и вообще сбивало с толку...

Первую комнату, несколько темноватую (в ней было всего одно окно и как-то сбоку), мы отвели под столовую, и там же был поставлен наш древний длиннохвостый рояль; следующая за кабинетом узкая комната считалась будуаром моей жены (но она редко заходила в нее), дальше шла комната, предоставленная под нового члена нашей семьи, паша спальня, комната для прислуги и кухня с «черным ходом». Меблирована была наша квартира если и не роскошно, то все же прилично и довольно оригинально, Главным украшением столовой являлся еще мамой мне подаренный очень большой книжный шкаф красного дерева с медными па-клейками, так называемого стиля жакоб; в кабипет был водворен «знаменитый» биркеифельдовский диван с перекидным сиденьем и с полкой, о которую так больно каждый раз ударялся Дима Философов; в будуаре висело нарядное зеркало — свадебный подарок дяди Жюля Бенуа — и стояла мягкая мебель... Из картин на стенах я особенно гордился тремя большими эффектными проектами театральных декораций (торжественный зал, колоннада и еще колоннада) одного из последних Биббиен,— подарок папы. Под ними в столовой поместились некоторые мои этюды, акварели Альбера и Леонтия, Левушки Бакста и /Кепи Лансере, а также воспроизведения в красках со сказочных композиций Э. Грассе, которого мы тогда очень оценивали '*, На самом же видном месте красовался порт-

** Мы были в восторге именно от иллюстраций этого действительно поэтичного рисовальщика, которые появлялись в «Figaro Illustré»; напротив, мы относились скорее неприязненно к орнаментальным и декоративным его опытам, имевшим тогда настолько большой успех, что даже возник особый «стиль Грассе» — один

рет моей пассии, однако не способной вызывать ревность в Ате — императрицы Елисаветы Петровны, типа Каравакка. Его я приобрел в 1891 г. у букиниста Гартье на Невском вместе с портретами родителей Елисаветы — Петра I и Екатерины. При помощи моего кузена Саши «Конского», увлекавшегося в те

времена реставрацией картин по способу Пет-тенкофера2, мне удалось освободить мою Елисавету от позднейших записей, и она в подлинной вычурной золоченой раме ее времен необычайно эффектно выделялась на стене кабинета.

Через несколько недель после нашего поселения на собственной квартире состоялись крестины «маленькой Ати». Крестил ее венчавший нас доминиканский монах патер Шумп. Крестным отцом был мой брат Леонтий, подаривший новорожденной сто рублей облигациями, крестной матерью наша племянница; она приходилась родной племянницей как мне, так и моей жене — старшая дочь Альбера, одна из предшественниц Ати в моем сердце, Машенька. Собрались на крестины, кроме ближайшей родни и двух названных друзей, и вся остальная «моя компания»: Дима Философов, Костя Сомов, Сережа Дягилев и А. П. Нурок. Было распито шампанское из фамильных граненых высоких рюмок, было поглощено баснословное количество разнообразных бутербродов, и было нам и младенцу поднесено несколько ценных подарков, но бедный патер получил шишку на самом темени, так как при своем высоком росте он ударился о тяжелую лампу, слишком низко висевшую. Это не помешало и ему присоединиться к общему веселию — ведь он и вообще был нрава приветливого и, пожалуй, даже слишком склонного к светским развлечениям...

Это был первый, вполне самостоятельный «прием», устроенный моей женой, и она справилась с задачей блестяще.

Затем потянулась обыденная жизнь, о которой я не могу вспоминать с тем же удовольствием, с каким вспоминаю о других периодах минувшего. И не вспоминаю я с особенным удовольствием об этих первых месяцах нашего самостоятельного городского существования потому, что и нас не миновал тот «материальный кризис», который, говорят, наступает почти во всех молодых семьях именно тогда, когда люди, только что превратившиеся из «поглощенных друг другом» существ — в «родителей», оказываются понимающими свои родительские обязанности очень по-разному. Я был глубоко тронут появлением среди нас маленькой Ати, приятно было ею любоваться, заигрывать с ней, давать ей свой палец, который она с комической жадностью сразу тащила себе в рот; мне было вроде как бы лестпо узнавать в ее личике некоторые фамильпые черты; когда я бережно брал на руки этот «дрыгающийся пакет», то я в зеркале замечал, что я совсем так улыбаюсь, как почтенный святой

из ранних фазисов искания «нового» стиля *. Быть может, пастанет время, когда и эти поиски покажутся пленительными и

трогательными. Ведь нравятся же нам всякие курьезы, всякие «отступления от хорошего вкуса» эпохи Луи Филиппа, не так давно предававшиеся полному осмеянию.

74

IV, 8. Первый год

Иосиф на картине Гвидо Рени в Эрмитаже улыбается младенцу Христу. Но все это были чувства и впечатления скорее эстетического порядка, а потому и не особенно пламенные. Вообще же появление маленькой Ати вовсе пе изменило всего моего привычного самочувствия и самого образа жизни.

Совсем иное действие оказало па «большую Атю» появление «маленькой». И эта перемена была столь разительной и неожиданной, что даже уто как бы изменило, на время самый духовный облик моей подруги. Моментами я прямо «не узнавал ее». До рождения ребенка, без сомнения, я занимал, целиком все ее внимание, она мной жила и для меня жила, всячески выражая свою любовь ко мне. В лице же нашей дочки у меня появилась своего рода соперница, очень даже опасная, очень поглощающая. Из первой персоны в доме я вдруг сделался второй, если не третьей и превратился в какую-то quar¡tité négligeabie *... Вообще я и прежде не отличался большой сноровкой в разных занятиях, полезных для хозяйства и для домашнего строя, а тут я уже очутился на положении циркового «рыжего», которому ничто не удается. Что я пи делал, все оказывалось заслуживающим ипогда и очень неласковых замечаний, а то и выговоров. Самые первые дни, пока моя жена была на положении полубольной, я это сносил и терпел, но когда постепенно весь домашний обиход вошел в нормальную рутину, когда Атя покинула халат и стала снова «дамой в корсете», то такие замечания и окрики стали меня злить, и я принялся считать себя «несчастпым», Я испытывал те же чувства, что испытывал избалованный фаворит, попадая в опалу. Особенное раздражение своей жены я возбуждал, когда паше бэбэ спало; спало же оно целыми днями. Тогда надлежало ходить, двигаться, говорить не по-прежнему, а по-новому, совершенно бесшумно.

Довольно болезненное столкновение наших характеров произошло и в деле «первоначального воспитания». Помня заветы моей мамочки, я считал, что ребенок должен быть «воспитай» с самой колыбели если не в строгости (какая может быть строгость в отношении чего-то совсем бессознательного и безвинного?), то обязательно все же с известной выдержкой. Для его же блага с самых ранних пор следует приучать его к некоторой дисциплине и уж, во всяком случае, не следует потакать всем его капризам. До рождения дочки «большая Атя» была совершенно согласна с

этим, и она обещала мне и себе, что не будет такой же старосветской матерью-наседкой, каких мы иногда встречали в нашем кругу и которых мы чуть презирали. Она готовилась быть матерью «вполне современной», сознательной и руководимой разумностью и целесообразностью. Но как только у большой Ати появилась на руках маленькая, так все эти обещания и добрые намерения были забыты, и моя жена в нахлынувшем переизбытке своих материнских чувств из сознательной воспитательницы превратилась в рабу, не только почитающую за особое счастье исполнять малейшую прихоть своего деспота, но и пытающуюся

* Ничтожно малую величину, не стоящую внимания особу *(франц.)*.

предугадать эти прихоти, а то и провоцировать их, когда они медлили появляться. А известно, какие «прихоти», какие «фантазии» бывают у младенца в первые недели и месяцы своего существования. Они сводятся к одному — к тому, чтоб лишь бы приложиться к груди. Вот в такой покорный аппарат раздачи живительной влаги и превратилась теперь моя забывшая всякое благоразумие жена! Она не только клала к груди младенца при первых же признаках пробуждения, но она ему *навязывала* грудь, даже когда младенец спал, стоило ему только во сне пошевелиться и почмокать губками. Такое поведение привело к тому, что Атя принуждена была безотлучно находиться при ребенке. Несмотря на все советы людей опытных, она его закармливала и перекармливала, а это породило беспорядок в пищеварении и привело к болезненным схваткам. Получилось еще и другое последствие — моя бедная жена заболела грудницей. Все это причинило не только физические страдания, но и выбило ее окончательно из колеи, ибо волей-неволей она должна была, под страхом, чтэ ей будет совершенно запрещено кормить, соблюдать те предписания, которые ей предписал доктор, и главнейшее из них, заключавшееся именно в том, чтоб промежутки между моментами кормления были растянуты и чтоб самое кормление происходило «в меру». Пусть ребенок иногда и поплачет, от этого ему ничего дурного не будет. Все же период «материнского психоза» миновал, и вместе с тем отношение моей жены ко мне стало постепенно возвращаться к нормальному. В декабре наши взаимные отпошения приняли совершенно прежний характер.

В начале декабря нам с женой пришлось испытать очень большое огорчение. Захворал и через три дня кончился наш любимец — черный котик Мурик. Мы так оба привязались к

этому маленькому, но удивительно смышленому существу, да и Мурик до того во всем выражал свои нежные чувства к «приемным родителям», что постепенно он занял положение настоящего члена семьи и это до такой степени, что друзья, справляясь о здоровье одного из нас, непременно прибавляли вопрос: «А как Мурик?» Надо отдать справедливость, что это был *совершенно замечательный кот,* однако прибавлю тут же, что такими *совершенно замечательными котами* представляются все те, на коих хозяева обращают более серьезное внимание, с которыми люди удостаивают входить в более интимное, скажу даже — более «душевное» общение. В ответ на это и коты и кошки забывают свою неприступную важность и свою манеру держать нас на известной дистанции, они постепенно раскрываются и обнаруживают все «сокровища своей духовной природы». Мы оба, и Атя и я, не менее любили собак и *понимали* их, да и собаки понимали нас, но нас оскорбляет ходячее мнение, будто котам неизвестна привязанность, что это «черствые эгоисты и интересанты». Просто в них более выработано чувство собственного достоинства, в них нет того холопства, которым отличаются собаки. Мы и Гофмана так особенно полюбили за его любовь к котам и его понимание их «души». Мы и своего котика назвали Муром в честь того «гениального» кота, записки которого издал паш любимый писатель.

76

IV, 8. Первый год

Увы, наступила для нашего Мура та пора, когда коты перестают интересоваться только едой, играми и предметами домашнего и хозяйственного обихода, а в них просыпается интерес к внешнему миру со всеми его соблазнами. Этот возраст вообще критический для их породы. В их голове и во всем их существе начинают бродить смутные вожделения, и постепенно эти вожделения приобретают острый характер, как только они узнают о существовании особ другого пола. Уже я примечал, что Мурик стал терять свое спокойное довольство, что его мучают какие-то зовы, в которых он сам никак не мог разобраться. В его сказочных огромных желтых глазах появлялось странное вопрошающее выражение, мало того, в отрывистых им издаваемых звуках, во всем его поведении, в «жестах», повадке стали обнаруживаться недвусмысленные заявления о проснувшейся стихии. Наконец он повадился засиживаться часами в передней или на кухне, перед выходными дверьми, сторожа мгновение, чтоб прошмыгнуть наружу в тот таинственный мир, откуда иногда доносились нежнейшие призывные мяуканья, а то и волнующие злобные крики.

Разумеется, мы бы никогда не согласились учинить над Муриком ту операцию, которая сделала бы его равнодушным в отношении вещей наиболее соблазнительных.

Мы стали Мурика выпускать на двор... После первых прогулок (и, вероятно, первых знакомс!в) он возвращался очень быстро и скорее смущенный или перепуганный, но затем его отсутствия стали все более затягиваться, и наконец он как-то пропал до полночи. А пора была уже зимняя, снежная, холодная и сырая. Вернулся Мурик с этой злосчастной экскурсии с кашлем, и сразу стало видно, что он схватил что-то недоброе, что-то серьезное. Через день мы позвали ветеринара, который констатировал воспаление легких и прописал целый сложный уход. И вот в роли кошачьего фельдшера оказался я, тогда как моя жена не могла часто и подолгу отрываться от своего ребенка. Ухаживание за больным котом дело вообще весьма замысловатое н трудное, хотя бы то был самый милый и покладистый кот. Компрессы Муру мне так и не удавалось ставить даже при помощи няни Маши ц кухарки Домны, получалась каждый раз настоящая баталия, из которой я выходил весь исцарапанный, а кот, улизнув под диван или шкаф, рычал, стонал и кричал так, что у меня сердце разрывалось от жалости.

Развязка наступила довольно быстро. На третий день к вечеру Мурик так под столом в столовой и кончился. Мы как раз собирались на семейный grand-diner * к папе (только улицу перейти) и я, чтоб не расстраивать Атю, скрыл от нее постигшее нас несчастье, в душе же я не терял надежду, что наш котик очнется. Но когда и через три часа я увидал его все в той же позе на боку с вытянутыми ногами и с широко раскрытыми глазами, то пришлось примириться с непоправимым. Будь то летняя пора и мы бы жили на даче, мы бы сами устроили достойное погребение нашему дружку и забавнику, но тут не оставалось ничего

* Торжественный обед *(франц.)*.

другого делать, как позвать дворника, который без дальних разговоров схватил черный трупик за окоченевшие ноги и унес его с собой — вероятно для того, чтоб швырнуть в помойную яму.

Несколько дней мы не могли примириться с нашей утратой, привыкнуть к мысли, что исчезло такое близкое существо, но затем тут как раз наступила предрождественская пора, и мы занялись приготовлением к елке, и воспоминания о Мурике стали затушевываться. Надлежало устроить первую собственную елку и сделать ее елико возможно более пыпг-ной и праздничной. Хотелось нам (неопытным родителям), чтоб она поразила и нашу

малютку и чтоб впечатление от нее, пусть и незначительное, послужило чем-то вроде путеводной звезды.

Как раз я тогда продал на выставке «Blanc et Noir» *, устроенной В. В. Матэ 3, несколько своих рисунков углем и пастелью, и это позволило выполнить нашу затею с блеском. Но величину самого дерева мы пожелали сохранить традиционной, какой она всегда бывала у нас в доме и как это рисуется па немецких картинках. Иначе говоря, Christbaum -** должен был стоять не на полу (как, например, у дяди Сезара), а па столе. На столе же, на белоснежной скатерти были разложены подарки, и этих подарков пришлось припасти немало по числу приглашенных. Позваны были не только «соседние родные» — папа, Катя, все Лансерята, Миша, Оля и их двое детей, Альбер и его дети,— но и все мои друзья. Последним, разумеется, достались самые шуточные сюрпризы. Особенный успех имела огромная колбаса в несколько фунтов, которая была поднесена Косте Сомову нашими насмешницами, дочерьми Альбера — Машенькой и Милечкой, а досталась она Косте, потому что он успел заслужить репутацию обжоры. Больше всего смеялся этому сюрпризу сам Костенька, в я так и вижу его смятое в морщинах лицо, его широко раскрытый рот, слышу его своеобразный звук хохота; вижу и всех окружающих,— как во всю пасть хохочет Сережа, как ехидствует Дима, как конфузливо улыбаются девочки Лансере, как с недоумением поглядывают другие и как особенно веселятся авторы глуповатой шутки — оставившая на время свою сдержанность Машенька и ее более разбитная сестра Милечка.

Для меня только что упомянутая выставка в Академии имела очень большое значение. Я выставил на ней несколько пастелей по этюдам, сделанным во время нашего свадебного путешествия, несколько мелких этюдов и одну картину, в которой я испробовал новый технический прием — а именно, акварель поверх фиксированного рисунка углем,— и в котором я задумал передать впечатление, полученное от прочтения дра-■ мы Метерлинка 2* (им вся наша компания очень увлекалась) «La Mort de Tentagilles» ***. Мне захотелось передать не один из эпизодов самой пье-

* «Белое и черное» *{франц.)*. ** Рождественская елка *(нем.)*.

2* Нас познакомил с его драмами тот же Бирле, любивший сам читать пам вслух, причем он особенно старался голосом, манерой выговаривать слова, паузами передать чувство ужаса: le sentiment de la terreur. *** «Смерть Тентажиля» *(франц.)*.

сы, а как бы тот чужой мир, в который попал бедный

обреченный мальчик, иначе говоря,— тот замок, куда его привезли и где его оставили, кто, это в драме не выяснено, да оно и не «интересно». Удалась мне моя затея вовсе не блестяще отчасти потому, что я сам не слишком ясно «видел» то, что мне только мерещилось, а отчасти по отсутствию достаточного мастерства. Каково же было мое изумление и моя радость, когда примчавшийся прямо с выставки Сережа сообщил, что только что побывал там П. М. Третьяков и что он купил мою картину, да, кажется, только ее из всей выставки счел достойной попасть в свою галерею. Уже то было удивительно, что он побывал на этой академической выставке, которую он обыкновенно игнорировал, припасая свои деньги для приобретения ему любезных с полным основанием передвижников. Как это могло случиться, я до сих пор не понимаю, тем более, что я не был с ним знаком, никто из нас не был, но, во всяком случае, я был счастлив, я как-то сразу вырос в собственных глазах, да и на друзей это произвело сильное впечатление. Однако моя «художественная совесть» не позволила мне оставить так это дело. Уж раз Павел Михайлович почтил меня своим выбором, то и я почувствовал себя обязанным *лучше заслужить* эту честь, и в этом смысле я сразу же написал ему письмо, при личном же свидании сговорился с ним, что, не будучи вполне доволен своей работой, я попробую сделать то же самое, но лучше. Мы условились, что когда ему будет доставлена эта новая версия, то она и будет фигурировать в галерее, а эта первая будет мне возвращена. Этот новый вариант «Замка» я создал только на следующий год уже в Париже, и даже целых два варианта, и хотя Павел Михайлович принял один из них, однако я и им был недоволен — мало того, теперь мне кажется, что в первой версии при всем ее дилетантском характере было больше свежести и убедительности.

Мое личное свидание с Третьяковым произошло в комнате, где хранилось собрание Тенишевой. Об этом собрании Павел Михайлович что-то слышал и, узнав, что там имеется и несколько старинпых русских художников, пожелал взглянуть на него. Вероятно, в своей собирательской страсти его взяло некое беспокойство, уж не народился ли в лице богатейшей княгини Тенишевой опасный для него конкурент. Эта тревога должна была сразу рассеяться, как только он в два приема просмотрел несколько сот листов тенишевского собрания. Единственно, что вызвало в нем особый интерес, была серия петербургских типов Щедровского, и он даже предложил променять несколько из этих тридцати рисунков тушью» дав взамен несколько рисунков Максима Воробьева. Сам я был решительно против того, чтоб исключить хотя бы один рисунок из всей этой интереснейшей

серии, но все же сообщил Марии Клавдиевне в Париж о предложении Третьякова. Она в решительной форме согласилась со мной, и тогда я предложил Павлу Михайловичу приобрести у нее вид Елагина дворца М, Н. Воробьева, и она была так мила, что уступила его за какие-то гроши 3*.

2* Кажется, за пятнадцать рублей.

Глава 9 ДРУЖБА С СОМОВЫМ

С поворотом к весне 1896 г. моя рабочая комната стала все чаще заливаться солнечными лучами. Это было очень красиво, очень весело, но для меня, как художника, это было мучительно. Я снова переживал ту пытку, которую выносил в своих двух комнатах в родительской квартире, тоже ориентированных па юго-запад. Еще хорошо, что солнце являлось лишь после часу дня, и поэтому я имел в полном своем распоряжении утро, во время которого я предавался живописи и рисованию со все возрастающим увлечением. Кроме тех пастельных картин, мотивом для которых служили мои альбомные зарисовки, сделанные в Базеле, в Майнце, в Вормсе и под Генуей, я теперь с особенным рвением взялся за иллюстрации к одному неоконченному, но меня очень волновавшему рассказу Э. Т. А. Гофмана «Der Automat» *. На сей раз мы вздумали с Костей Сомовым создать подобие сотрудничества и в то же время соревнования. Однако из этой затеи ничего законченного не получилось. Я еще успел сделать (пером и тушью) несколько вариантов, представляющих тех музыкальных автоматов, с которых начинается этот рассказ, но Костя, попробовав изобразить сцену с говорящим автоматом-куклой, совершенно изверился в том, что ему это удастся, и, кляня свою «бездарность», отказался от дальнейшей работы, после чего и я тоже окончательно разочаровался в ней. Таким образом наше сотрудничество сразу же распалось.

Я в своем месте рассказал про свое знакомство с Костей Сомовым в гимназии Мая. Но тогда никакой дружбы между нами не возникло. Этот мальчик, который, как оказалось, был на год старше меня, показался нам гораздо моложе и к тому же вообще совсем неинтересным. Мне не нравилась его ребячливость и что-то «институтское». Совершенной институткой он себя держал со своим соседом по парте — Димой Филосо-фовым. Оба мальчика то и дело обнимались, прижимались друг к другу и чуть что не целовались. Такое поведение вызывало негодование многих товарищей, да и меня раздражали манеры обоих мальчиков, державшихся отдельно от других и бывших, видимо, совершенно поглощенными чем-то, весьма похожим на взаимную влюбленность.

Лишь через много месяцев я заметил, что Костя Сомов рисует и что у него та же мания, какой страдал и я, покрывать классные тетради и поля учебников рисуночками пером и карандашом. Это мне показалось любопытным, но я был разочарован, когда

добился от Кости, чтобы он мне показал свои грифонажи. Оказалось, что почти все они повторяют одно и то же, а именно женский профиль, в котором Сомов пытался передать черты актрисы французского (Михайловского) театра Jeanne Brin-

* «Автомат» *(нем.),*

deau, в которую Костенька считал себя влюбленным. Такая ограниченность тем, да и самое довольпо беспомощное исполнение этих рисунков не дало мне выгодпого мнения о даровании и просто интеллекте моего товарища, и вот почему, когда я через два года (в 1888 г.) узнал, что Костя Сомов собрался поступить в Академию художеств, я не без иронии отнесся к этому известию.

On покинул гимназию с осени 1888 г. С этого момента и я, и все товарищи, не исключая Димы Философова, потеряли Сомова из виду, Любопытно, что и впоследствии, когда Костя снова вошел в нашу компанию, его дружба с Димой не возобновилась. Заслуга же привлечения Кости в наш кружок принадлежит исключительно мне, и началось это скорее из некоторой моей к нему жалости. Дело в том, что, не прерывая занятий в Академии и чтобы скорее отделаться от кошмара военной повинности, Сомов решил совместить свое художественное образование с солдатской службой, и вот в образе удивительно невзрачного и даже жалкого солдатика я его встречал несколько раз на улице, причем он, стыдясь и своего вида, и своего положения, скорее избегал встречи со мной. Меня же это только подзадоривало, я повел ряд атак на чудака, я гонялся за ним и останавливал, я заставлял мне рассказывать о себе и своих художественных занятиях, и из его ответов я понимал, что он очень тяжело переживает столь не свойственное его независимой натуре рабство. Вероятно, в этих вынужденных исповедях что-то проскальзывало и более интересное, что побуждало меня настаивать на том, чтобы Костя заходил ко мне и чтобы мы видались с ним чаще. Однако последовал он моим зазывам только тогда, когда он наконец скинул с себя ненавистную форму.

Но и появляясь теперь на моих собраниях, Костя не переставал держаться букой, а о своих художественных успехах он отзывался с большим и как будто искренним пренебрежением. Он был уверен в своей бездарности и если и не бросал живописи совсем, то только потому, что любил самое это «мазание красками», и еще, вероятно, потому, что получал са-.мое горячее поощрение как со стороны отца Андрея Ивановича, так и со

стороны своей сестры Анюты, тогда еще не бывшей замужем, к которой он с детства и до конца жизни питал чувства, близкие к обожанию \

В это же время около 1890 г. я начинаю посещать сомовский дом. В нем меня пленяют и сами хозяева, и стены, сплошь завешанные небольшими и маленькими картинками, и стол в кабинете Андрея Ивановича, ящики которого битком набиты рисунками и акварелями русских и иностранных мастеров. Из родителей Кости мне была более по душе и по сердцу милейшая, нежнейшая и уютнейшая Надежда Константиновна, в которой было нечто общее с моей мамой: подлинный житейский ум соединялся с удивительной скромностью. Мне кажется, что и я завоевал сразу ее материнское сердце, а когда я через год или два привел к ней, по ее приглашению, свою (еще не объявленную официально тогда) невесту, то она и к ней отнеслась так ласково, так по-матерински, что это совершенно победило и мою Атю, вообще мало податливую на сближе-

ние с чужими дамами. Довольно разительным контрастом ей являлся ее супруг. Насколько внешний вид «старушки» Сомовой (на самом деле ей не было и шестидесяти лет) был мягок, неизменно приветлив с оттенком чего-то грустного, настолько весь внешний облик старика Сомова был суров, строг и брюзглив. Впрочем, оба родителя Кости были очень некрасивы, что касается черт лица, по самая неправильность и какая-то мя-тость черт Надежды Константиновны ей придавала чарующую уютность,. напротив, «корявые», типично русские, но и чуть монгольские, довольно» резкие черты Андрея Ивановича отталкивали слишком явным выражением какой-то душевной сухости, подчас и довольно оскорбительного высокомерия. Вот он ни в какой степени на моего отца не походил. Характерно для А. И. Сомова было то, что он не только никогда не смеялся, но и улыбался в редчайших случаях (да и то как-то «кисло»). Впрочем, я так и не разгадал настоящей природы Андрея Ивановича. То, например, что он разрешал своим детям обращаться с ним запанибрата и даже в-спорах шутливо его ругать «старым дураком» (ничего подобного нельзя было встретить у нас, да и вообще в домах нашего круга), как бы свидетельствовало о том, что в Андрее Ивановиче, в противоречии с его «маской суровости», было немало благодушия. Таким же выражением благодушия и даже просто щедрости могло служить то, что он охотно дарил рисунки из своего собрания и, например, я однажды удостоился получить четыре рисунка пером О. Кипренского 2, которые он при мне вырезал ножичком из путевого альбома, некогда

принадлежавшего знаменитому художнику. К жене Андрей Иванович относился с большим уважением, но я никогда не бывал свидетелем выражения в отношении ее какой-либо нежности, хотя бы того отеческого характера, с которой относился к Анне Павловне Философовой супруг — Владимир Дмитриевич. Нежность он все же выражал, но только к дочери.

Еще одно обстоятельство может служить доказательством тщательно скрываемого благодушия Андрея Ивановича. И, пожалуй, оно лучше-всего его выражает. Костя никогда не принимал меня в своей довольно тесной комнате (он даже неохотно впускал в нее), а сразу вел в кабинет к отцу. В этом кабинете почти каждый раз (а бывал я у Сомовых по-крайней мере раз шесть в месяц) проходили наши собеседования, главной темой которых служило обозрение коллекций, причем старик сам и доставал из стола папки, и усаживал нас, и давал все нужные, почт»: всегда очень ценпые объяснения. В гостиной же рядом мы главным образом занимались музыкой, причем и Костя и Анюта нас угощали пением преимущественно старинных итальянских песен и арий. Костя был вообще очень музыкален, и его страсть к музыке, его глубокое понимание в значительной степени способствовало нашему сближению. Но как раз пение было в нем скорее слабостью. Он, не переставая, годами учился петь, но то именно, что он был так заинтересован своим пением, скорее раздражало меня, тем более, что, хотя его голос и обладал приятным, бархатистым тембром, однако он все портил той доходящей до чего-то карикатурного аффектацией, которую он вкладывал в исполнение любого

романса, сам упиваясь звуком своего голоса, вздымая очи к небу и клада руку на сердце.

Тут же в моей памяти возникает, как -живой, образ старшего (года на два?) брата Кости — Саши. Если в характере Кости доминировали отцовские черты, если в Анюте черты обоих родителей нашли очень пленительную гармонию, то в Саше безусловно господствовала мать. Этот, начавший еще в юности полнеть, человек был каким-то олицетворением -благодушия и добродушия. Он и лицом был «вылитый Надежда Константиновна». он также мило заливался смехом (эта способность «заливаться» Надежды Константиновны мне больше всего в ней и напоминала мою маму), он даже как-то удивительно приятно шепелявил. Вообще же Саша был великим «смехачом», он и других любил веселить и смешить. Одним из его обычных «номеров» была имитация певцов итальянской и особенно

русской оперы, и сколько бы раз он ни представлял баса Мельникова, тенора Васильева III, М. Фигнер, Славину или Мазини и Котоньи, каждый ■раз со мной (и не со мной одним) делалась истерика смеха — до того верно передавал он манеру этих артистов, все их повадки и, разумеется, все их комические недочеты. Надо при этом заметить, Саше его насмешливость вовсе не мешала наслаждаться оперой, он лучше всего передразнивал своих же любимцев, которые его любимцами и оставались, несмотря на все смешное, что он в них подмечал...

Еще несколько слов о сомовском доме. Он стоял на продолжении того же Екатсрингофского проспекта, на который выходил своей узкой стороной и наш прародительский дом. Этот «собственный» сомовский дом входил некогда, если я не ошибаюсь, в состав приданого Надежды Константиновны (рожденной Любимовой), он был лет на двадцать моложе нашего, но архитектура его, очень скромная, все еще носила отпечаток классического стиля эпохи Александра I. Дом был четырехэтажный и выходил окнами на улицу. Квартира Сомовых занимала весь бельэтаж. Самый план квартиры носил определенный старосветский характер, «парадные комнаты» были просторны и довольно высоки, в общем однородны с нашими. Меблировка была скорее невзрачная и заурядная. У нас всегда было расставлено много всяких «редкостей», а на стенах много семейных портретов; из таковых же у Сомовых красовался лишь один «прадедушка» — тот самый офицер Ратков, который, согласно преданию, отличился тем, что первый прискакал в Гатчину доложить цесаревичу Павлу о кончине его матери, Екатерины II. Зато всяких других картин и картинок, акварелей, рисунков висело у Сомовых по стенам великое множество, и среди них особенной гордостью Андрея Ивановича был не лишенпый грандиозного стиля портрет актрисы Семеновой, работы Кипренского. Подобно нашему дому (и вообще большинству петербургских домов в те времена), парадная лестница сомовского дома не отапливалась. В общем весь уклад сомовского дома был мне по душе. В нем чувствовался если не большой достаток, то все же то, что здесь живут «совсем порядочные люди», умевшие при скромных средствах вести достойный п уютный образ жизни.

IV, 9, Дружба с Сомовым S3

Первые **годы** моей дружбы-я относился к Косте, как к художнику,. с прежним, еще в гимназии сложившимся предубеждением. Мне, да и всем нам казалось, что он лишен подлинного дарования. Но нельзя нас упрекать за это в отсутствии проницательности и дальновидности. Сам Костя был

не иного о себе мнения, и то, что он производил и что он лишь в очень редких случаях показывал, было по-прежнему и бедно по замыслу и беспомощно по исполнению. Первые проблески чего-то иного 3 проявились в акварельном этюде, сделанном им в Павловске, изображающем Анюту, стоящую у дачной калитки. Это было в 1892 г.,— во всяком случае, прошло года два после возобновления наших дружественных отношений. Да и эта акварелька не была чем-то поражавшим своим мастерством или блеском (Бакст в это время нас уже именно *поражал* своими виртуозными приемами в обращении с водяными красками), однако-меня удивило, до чего был тонко изучен и выработан профиль Анюты и до чего краски окружавшей ее листвы и цветов красиво пестрели и искрились. Чем-то эта манера напоминала Фортуни (у старика Сомова была одна акварель этого мастера). Вслед за этой акварелью начался период,, когда Костя почти ничего из своих работ не показывал, а когда случалось, что он это и делал, то крайне неохотно, и с досадой приговаривал,— все де это «гадость и бездарщина».

И вдруг Сомов меня удивил и порадовал, выставя на выставке «Blanc et Noir» несколько этюдов углем, слегка подкрашенных акварелью. Он привез их из одного поместья4, в котором он гостил у друзей ранней весной 1895 г., вещи настолько смелые, настолько своеобразные, в них было столько поэзии и настроения, что они встретили во всей нашей компании настоящий восторг, и я тут же заставил Сережу Дягилева приобрести два из этих этюдов, представлявших плодовый сад в поздние су-мерки. С этого момента Костя приобретает у нас значение *настоящего* художника, только с этого момента мы все, а я в особенности, начинаем ждать от него чего-то замечательного, и во мне утверждается в отношениях с ним особенная манера, состоявшая из постоянного подбадривания и даже «понукания». В то же время казавшиеся смешными заверения Андрея Ивановича в том, что «ево сынишко» гениален, перестали вызывать во мне иронический отклик, я начинаю верить им, и только сам Костя продолжает жаловаться на свою бездарность, чем как бы напрашивается на усиление тех же приободрений и понуканий.

Еще один случай запомнился мне из нашего первого «мартышкии-ского лета)> (1895 г.). Костя, живший тогда с родителями на даче где-то под Лиговом, приезжал к нам в Мартышкино и проводил с нами целые дни, хотя и останавливался у своих друзей Неустросвых на их гораздо более поместительной собственной даче. Приезжал и останавливался там же и Саша, которого связывала дружба с Александром Александровичем Неустроевым, только что тогда поступившим в

Эрмитаж. В один из первых вечеров, проведенных с Костей в Мартышкине,. мы оба уселись недалеко друг от друга и стали рисовать по этюду расстилавшегося перед нами моря, береговых песков и тех, покоившихся на

« 4

IV, 9. Дружба с Сомовым

жиденьких жердочках, мостков, что вели^ к купальным будочкам, придавая какой-то японский характер пейзажу. Я работал красками, Костя же .карандашом, но я был уже давно готов, когда он все еще корпел над небом, усеянным легкими облаками. Что мог мой друг так долго «ковырять», когда — казалось мне — и изображать тут было нечего? Несколько раз я его звал бросить работу и прогуляться, но он продолжал с неизменным прилежанием чиркать и чиркать, поминутно заостряя перочинным ножом свой карандаш и стирая резинкой то, что ему не сразу удавалось. Окончив работу, он с грустью заявил, что у него «ничего не вышло». Когда я все же заставил его мне показать то, что он сделал, то *я* поразился, до чего тонко был исполнен этот рисунок и как характерно были переданы разные подробности в очертании тучек, в земле, в воде, ìВ отражениях. Оказалось, что Костя «недаром корпел», что он «знал, что делает». В то же время мне стало конфузно за свой этюд, показавшийся мне, при некоторой его ловкости, совершенно пустым и бессмысленным **. Этот случай был для меня настоящим уроком, оставившим след на всю жизнь, на все мое художественное развитие.

•р •р •р \

Во второй половине «сезона» 1895—1896 гг. моя дружба с Сомовым ^приобретает еще более интимный характер. Он становится нашим почти •ежедневным гостем. Мы оба одинаково увлекались сочинениями А. Гофмана и поэтому вздумали создать серию иллюстраций к неоконченному рассказу «Ьег Automat» (о чем я уже упомянул выше), и несколько позже мы затеваем написать по портрету моей жены. Это дало возможность Косте испробовать свою величину и (с неожиданной удачей) . свои силы.

Получился и этот портрет Айны Карловны 5 чем-то вроде «Hommage •à Hoffmann» *. Моя жена на нем изображена не в современной одежде, а в том бальном платье «эпохи Директории», в котором она появилась па большом маскарадном балу, устроенном в январе 1896 г. ее сестрой Машей в ее обширной квартире в доме, выходившем на Мойку недалеко v< >T Марсова поля. Уже два или три года как Мария Карловна перестала носить фамилию Бенуа, вышла замуж за своего

долголетнего обожателя инженера Бориса Михайловича Эфрона, зарабатывавшего крупные деньги, состоя на службе в петербургском отделении фирмы «Симменс и Гальске». Это был на редкость некрасивый человек, тяжелый, с бесформенным огромным носом, но добрейший и очень неглупый, которому Мария ' Карловна, искренне его полюбившая и вообще «перебесившаяся», подарила двух сыновей и с которым она жила в самом тесном согласии. Сама

** На следующий день повторился подобный же «конкурс». На сей раз на том же берегу мы оба рисовали мою жену, сидевшую с книжкой в руке на камне. На ней была характерная широкая черная шляпа. И опять я был готов довольно скоро, а Костя застрял гораздо дольше, однако его не вполне законченный, слегка подкрашенный рисунок получился куда более значительным, нежели моя акварель. *■ Дани почитания Гофману *(франц.)*.

*IV, 9. Дружба с Сомовым*85

же она бросила думать о личных выступлениях, а получив профессуру в консерватории, сделалась усердной, несколько даже педантичной преподавательницей фортепианной игры. Помянутый же бал, данный ею главным образом для утех своих четырех детей от первого брака, удался на славу, были приглашены на этот вечер и мои друзья, причем Костя Сомов щеголял в роскошном, сверкавшем шелком костюме восточного принца, а Валечка Нувель распотешил всех, представ в виде афинского эфеба с золотым венком на голове, в короткой синей тунике и в красном гиматионе, из-под которого уж очень не по-афински выглядывали его жиденькие ножки. Я забыл, что я на себя напялил, зато моей Ате необычайно к лицу было то сшитое дома (и мной по подолу расписанное) шелковое белое платье и большая соломенная шляпа-caliche * с розовым страусовым пером. Она оказалась одной из бесспорных «цариц бала», соперничая даже со своей племянницей Машенькой в образе Дульцинеи, для которой этот бал означал какую-то вершину ее «женских успехов)) и которая вскоре после этого вышла замуж за юного композитора И. Н. Черепнина.

Именно на этом балу было решено мной и Сомовым «увековечить» Анну Карловну в этом наряде. Моя жена в нем до того мне как-то «по-новому» нравилась, она меня так *вдохновила,* она до того казалась мне «подлинной современницей)) той эпохи, которую она этим своим нарядом представляла и которая особенно манила меня,— благодаря Гофману, что самая задача показалась мне вполне посильной, стоило только использовать горевший во мне энтузиазм. Решено было, что мы будем писать

оба, я и Костя одновременно, что сеанс будет происходить у нас в гостипой, у двух окон рядом и что оба портрета будут одинаковой величины, поколенные. Однако вместо того, чтобы строго придерживаться натуры, мне сразу захотелось изобразить мою подругу в окружении осенней поэзии Ораниенбаумского парка. Атя выделялась бы светлым, слегка голубоватым силуэтом на фоне яркой и разноцветной листвы берез и кленов. Костя же начал свой портрет без какой-либо предвзятой затеи и с намерением просто и реально передать видимость, однако и он «по дороге отступил совсем в сторону» и после нескольких колебаний и у него за фигурой Анны Карловны вырос старинный, погруженный в поздние сумерки сад стриженых боскетов, выделявшихся на лимонно-желтом небе. Все это вместе создало очень нежную поэтичность, очень приятную, довольно монохромную красочную гармонию, среди которой розовое перо на шляпе и красный шарф давали особые ноты; «гофмаиовский же характер» был подчеркнут тем, что в глубине на фоне стриженой, почти черной листвы, появились две фигуры старичка и старушки в одеждах XVIII в.

Я совсем разочаровался в своей работе и бросил ее. Напротив, Костя, хоть и мучился, хотя по обыкновению и жаловался на свою «бездарность)), однако преодолевал одну трудность за другой, и его портрет, хоть

* Кибиточка [шляпа с пригнутыми с боков полями] *(франц.)*.

Атя и выглядит на нем несколько старше, стаповился все более схожим и *поэтичным.* И до чего же я был счастлив, когда Костя мне его подарил! Не откладывая, я его вставил в золотую раму и поместил в центре на стене гостиной. Новое произведение Сомова имело у друзей большой успех; напротив, часто заходивший тогда к нам Репин был недоволен своим учеником. Его замечания относительно некоторых недочетов в рисунке не были лишены основания, но с чем я никогда не соглашался, так это с критикой самой затеи. Именно в том «отступлении от реализма», на которое отважился Костя, я видел особенную прелесть и особое значение. В сущности, вовсе не преднамеренно и не сознательно он именно тогда вступил на тот путь, на котором он оказался впоследствии самым характерным представителем художественных исканий нашего «Мира искусства». Напротив, в критике Репина уже зазвучало то самое непонимание новых веяний, которое через год или два обострилось и довело его к резкому, даже к возмущенному «отвержению» всего нашего «декадентства» 2*.

Еще два «события», случившиеся в моей жизни в эти самые

первые месяцы 1896 г., остаются в моей памяти в качестве «особенно значительных». Одно из них было выступление Сережи Дягилева на «общественной арене», а именно его попытки сделаться художественным критиком8. Вторым «событием)) было обращение ко мне одного немецкого художественного деятеля9, имевшего касательства до устройств больших международных выставок в мюнхенском Glaspalast *.

Что касается до критических опытов Сережи, то я был немало удивлен, когда он совершенно неожиданно принес мне на просмотр две или три довольно пространные заметки о художественных выставках, которые он собирался предложить редакции газеты «Новости». Я все еще никак не ожидал подобной прыти и отваги от того из моих друзей, на которого я вначале возлагал меньше всего каких-либо «надежд». Однако, прочтя эти его заметки, я был поражен известной их зрелостью и не мог не одобрить их, внеся в них лишь самые необходимые поправки скорее стилистического порядка. Его намерение понести их именно в «Новости» я тоже одобрил, так как эта газета была наиболее передовой и свободомыслящей, а к тому же в ней постоянно сотрудничал почтенный Владимир Васильевич Стасов, к голосу которого мы очень прислушивались и на стороне которого мы всегда были в его схватке с сотрудниками оп-

:* Надо, впрочем, здесь же прибавить следующее: как я ни был очаровал портретом моей жены, я все же находил, что Костя заслуживает несравненно больше хвалы за написанный им маслом, около того же времени, портрет своей матери 6. Я тогда же счел именно этот портрет Надежды Константиновны за прямо-таки одно из «первоклассных произведений русской школы», и как раз этот портрет был выдержан в строго реалистическом характере без всякого «поэтического мудрения», что, впрочем, не мешает и ему быть в высшей степени поэтичным. Вполне реалистичен был и мой профильный портрет 7. начатый Костей в течение одного из его посещений Мартышкина, но так и оставшийся неоконченным.

* «Стеклянном дворце» 10 *(нем.)*.

IV, 9. Дружба с Сомовым§7

портунистического, а моментами и обскурантического «Нового времени». Статейки Сережи, написанные с жаром, а иные и не без едкости, выдавали молодость автора (ему в этом году было 24 года) и в то же время отличались большой свирепостью. Если я не ошибаюсь, они были напечатаны и, и возможно, что в следующем сезоне, т, е. с осени 1896 г., мой друг и продолжил такую художественную хронику, но тогда меня уже не было в Петербурге. С другой стороны, он настолько успел созреть, что

перестал нуждаться в .моей корректуре. Впрочем, надо думать, что и эти первые опыты проходили через предварительный контроль Фило-софова. Верно, во всяком случае, то, что в этих выступлениях Дягилева было положено начало тому, чтобы воздействовать на воспитание вкуса публики. Это было первое ознакомление ее посредством прессы с нашими надеждами и устремлениями.

В сущности и к Сереже следовало одному мюнхенскому художественному деятелю обратиться с тем предложением, с которым он (вероятно, по совету Р. Мутера) обратился ко мне3*. Однако о Сергее Дягилеве этот деятель не имел никакого понятия. Оглядываясь теперь на это далекое прошлое, я удивляюсь, почему я сам не попробовал перелояшть эту обузу со своих плечей на плечи моего друга — однако в те дни я еще питал относительно себя и своих возможностей известные иллюзии и, напротив, собирался в дальнейшем играть какую-то активную роль, вовсе не ограничиваясь ролью какого-то закулисного суфлера-вдохновителя. Обуза же заключалась в том, чтобы собрать группу русских передовых худояшиков, для которых выставочная комиссия «Гласс-паласта» предоставила целое отделение. Но кого было приглашать? Мы сами, наш кружок друзей в собственных наших глазах представлялись нам слишком еще незрелыми и незначительными, и сразу, не проверив себя в родной обстановке, выступать, да еще за границей на международном состязании, казалось неблагоразумным. Напротив, все мы, уже если кого почитали среди русских художников, так это тех самых участников Передвижных выставок, которые выдвинулись за последние десять лет и которые в своем творчестве, не объявляя никаких лозунгов, реализовали на деле многое и весьма существенное из того, что мерещилось нам в качестве идеалов современного искусства. Самые эти идеалы отчасти выросли на тех впечатлениях, которые мы из года в год получали не столько от маститых столпов этих выставок, сколько от художников более молодых, почти наших сверстников. Нам они нравились тем, что в их творчестве уже не было поощряемого Стасовым «направленчества» или какого-либо «литературного» привкуса. Напротив, своих старших товарищей они огорчали именно подобной, некоторой как бы «изменой прежней программе». Такими нашими любимцами были Левитан, Серов, К. Коровин, Нестеров,

3* К сожалению, я запамятовал имя этого уважаемого деятеля и за отсутствием при мне моего архива, оставшегося в Петербурге, мне трудно снова это имя вспомнить. Это была, во

всяком случае, довольно видная фигура в то время; его фамилия звучала вроде Паули, и как будто он состоял чем-то вроде эксперта в художественном предприятии Кассирера в Берлине 12.

IV, 9. Дружба с Сомовым

Аполлинарий Васнецов, а также несколько менее видных художников, как-то: Аладжалов, Досекин, Дубовской, Переплетчиков и т. д. Для нас, особенно для меня, не было сомнений, что если бы собрать их всех воедино, то получилось бы удивительно внушительное целое, а за границами России их художество явилось бы чем-то весьма поразительным и неожиданным.

Но вот беда была в том, что никто из нас тогда лично не был знаком с кем-либо из перечисленных только что художников — наших любимцев. При этом какая-то преувеличенная скромность в одинаковой степени почти всем нам (кроме Сережи Дягилева) присущая, мешала тому, чтобы нам куда-то и к кому-то «лезть». Да и наша художественная самооценка, несмотря на то, что все члены нашего кружка были уже вполне «готовыми» людьми (от двадцати трех до двадцати шести лет, Баксту было даже чуть ли не двадцать восемь), эта самооценка не позволяла притязать на то, чтобы с нами всерьез считались и чтобы нам, скажем, выступать в одном ряду с величинами вполне признанными. И вот поручение доктора Паули (?) давало нам предлог к тому, чтобы завязать желательные знакомства без того, чтобы это насило характер какого-то напрашивания4*. Поэтому, дождавшись прибытия в Петербург очередной Передвижной выставки 13 и набравшись храбрости, я и отправился на нее до ее открытия (в зале Общества поощрения художеств) с целью знакомиться. Мне сразу посчастливилось войти в контакт с В. В. Переплетчиковым, который очень сочувственно отнесся к мюнхенскому предложению, а через него я затем и познакомился и со всеми остальными, на кого рассчитывал. Через день или два я уже смог своих новых знакомых собрать у себя и образовать род учредительного комитета, на котором большинством голосов было постановлено на мюнхенской выставке участвовать. Главное, казалось мне, было сделано, и я мог написать в Мюнхен, что русские художники *будут.* Но тут и сказалась моя неопытность. Кое-кто из постановивших участвовать, действительно, послал по картине или по две 14, но многие в последнюю минуту «отлынулик Такие предприятия не устраиваются сами собой, без непрестанного напоминания, понукания устроителя, а у меня именно ни темперамента, ни выдержки и не было. Однако ни для меня, ни для всего нашего

кружка

4* То же отвращение от «пролезания вперед» не позволило мне действовать через Репина, который так дружественно тогда ко мне относился. Надо, впрочем, заметить, что в этот период Репин уже плохо ладил со своими товарищами-передвижниками. Наконец, хоть я в первую голову именно его лично и пригласил участвовать на Мюнхенской выставке, однако получил от него отказ в виде одной из свойственных ему «деликатпых отговорок». Что же касается до художников-участников акварельных выставок, то приглашения их казались мне для данной цели нежелательными. Я даже скрывал от своего брата Альбера самую затею, так как считал совершенно невозможным сочетать в одно целое Левитанов и Серовых с разными Каразиными, Писемскими, Александровскими и т. п. Самого же Альбера я бы с охотой включил, но именно он, при его экспансивности и товарищеских чувствах и при полном отсутствии критического чувства, непременно потащил бы за собой и всех остальных,— «вовсе нежелательных».

IV, 9. Дружба с Сомовымgg

случайно таким образом возникшее сближение с москвичами не прошло даром. С этого момента мы завязываем личные отношения с ними, что затем сказывается на нашей дальнейшей деятельности и отчасти на нашем творчестве. Да, пожалуй, и сами эти близкие к нам по духу художники, благодаря знакомству с нами, лучше осознали свое положение в художественном мире и как бы свое назначение, «миссию».

Попытаюсь здесь же передать те впечатления, которые я вынес из этого нового знакомства. Признаюсь, что больше всего мне понравился Переплетчиков, меньше всего — Серов. Да не осудят меня теперь за это странное предпочтение: Переплетчиков всей своей ласковой манерой, своей не сходящей с уст медовой улыбкой, вкрадчивым голосом и полной готовностью послужить сразу располагал к себе. В те времена я еще не был достаточно знаком со всей такой «повадкой)), и она меня покорила. Мне нравился Переплетчиков и как художник. Его скромные, несколько однообразные картины и рисунки (появился целый альбом последних 15, и он мне его преподнес) незатейливо, но очень точно передавали русскую природу, ее тихую поэзию. Переплетчиков был вообще милым добрым человеком, а его склонность к некоторой «дипломатии» вовсе не означала непременно какую-то коварную двуличность. Если же моя дружба с ним, начавшаяся тогда в 1896 г., не протянулась затем и на пять лет, то к этому были особые причины, из которых одна из главных заключалась в том, что к нему без всякого уважения

относились мои друзья (главным образом Сережа Дягилев и Серов) и что мы очень редко встречались5*.

Серов, к искусству которого у меня с гимназических лет было настоящее поклонение, представлял как личность полный контраст именно с Переилетчиковым. До момента, когда он начинал кого-либо любить и уважать, Валентин Александрович вполне заслуживал эпитета сумрачного-«буки», а часто он мог сойти и просто за невоспитанного, невежливого человека. Вообще неразговорчивый, он в обществе новых людей уходил в какое-то угрюмое, почти озлобленное молчание, едва отвечая на вопросы и лишь изредка что-либо процеживая сквозь зубы, сжимавшие медленно курившуюся сигару. При этом понять, вполне его мнения и суждения могли лишь люди, хорошо его знавшие и привыкшие к его манере (да и к самому образу его мыслей), непосвященных же они скорее озадачивали. К мюнхенскому предложению он отнесся без всякого сочувствия и даже с иронией. Зато я отлично помню, как в то «сборище» москвичей у меня за чаем (в целом отличавшееся веселым благодушием)

Недружелюбное отношение к Переплетчикову Серова, очень уж строгого к людям, выразилось, между прочим, как в той злой и меткой карикатуре 1G, которую сделал Валентин Александрович и которую он подарил мне, так и в том прозвище, которое он ему дал и под которым подразумевалась его организационная сноровка и его слишком большая практичность. Серов (за спиной) не иначе называл своего собрата, как Переплетчиков-Артельщиков. С виду Василий Васильевич был выше среднего роста, довольно неуклюжий, с некой кривизной в чертах лица, он слегка хромал на одну ногу.

90

IV, 9. Дружба с Сомовым

он внес довольно-таки режущий диссонанс. Тогда мне показалось, что с Серовым мне никак не сойтись, и это огорчало меня. На самом же деле уже через два года его отношение ко мне стало меняться, а в течение лета 1899 г. между нами завязалась самая тесная дружба. При этом я особенно ценил ее именно потому, что она далась не сразу, а что пришлось ее *заслужить,*

Впечатление, которое произвел на меня Левитан при первом знакомстве, было, пожалуй, однородным с впечатлением от Серова. И с Левитаном я не мог рассчитывать в дальнейшем на большое сближение. Однако внешностью они вовсе не были друг на друга похожи, хотя в обоих и текла еврейская кровь. Но Серов с виду казался чистокровным русским — приземистый, светловолосый, с «тяжелыми)) чертами лица, со взглядом скорее исподлобья. Самая угрюмость Серова имела в себе нечто

«северное!). В смысле же одежды все на нем как-то висело, казалось плохо сшитым или приобретенным с чужого плеча, и это несмотря на то, что он всячески старался исправить подобные недочеты и платил немалые деньги портным, которые его одевали. Левитан имел прямо-таки *африканский вид:* оливковый цвет кожи, и густая черная борода, и черные волосы, и грустное выражение черных глаз,— все говорило о юге... Всей своей натурой, своими спокойными, благородными жестами, тем, как он садился, как вставал и ходил, наконец, тем вкусом, с которым он одевался, он сразу производил впечатление «человека лучшего общества)). Этому впечатлению светскости способствовал и его несколько матовый голос, и его легкое «картавление)), отдаленно напоминавшее еврейский говор. При всем том, если Левитана никак нельзя было счесть за «буку», то все же он еще менее, нежели Серов, был расположен к излияниям, к интимному контакту, он еще определеннее отстранял людей от себя, «держал их на дистанции». В нем была некая, не лишенная, впрочем, грации *важность* (тоже восточного типа), и мне говорили, что он не оставлял ее даже в общении с близкими друзьями при самых откровенных беседах. Говорили, что именно эта черта «сводила с ума» женщин, и еще более сводило их с ума то, что всем было известно об его многочисленных победах, а за последние годы про его длительный роман с одной светской московской дамой, доставлявшей ему много мучений и приведшей его к попытке покончить с собой. В общем милый и сердечный человек, Левитан носил в себе печать чего-то фатального, и глядя на него, трудно было себе его представить «сидящим на натуре)), «скромно и тихо)) ею умиляющимся, старающимся как можно точнее передать па полотне красоту русской незатейливой, но столь милой природы. И не вязалась эта наружность с тем, что было в его пейзажах здорового, свежего, задушевного и «откровенного». Недостаток экспансивности в личных отношениях с людьми точно вознаграждался каким-то обострением чуткости к природе, к ее самым затаенным прелестям...

Уж если сумел пленить меня говор и все московские разговорные обороты Переплетчикова, то в еще гораздо большей степени пленила меня манера говорить и какая-то непрестанная шутливость, вообще весь

*IV, 9. Дружба с Сомовым*g¾

российско-балагурный стиль Константина Коровина. Я тогда чрезвычайно ценил и его живопись, его «Испанок у окна», его «Хозяйку» (со свечой в руке) 17. Эти картины очаровали при их появлении на передвижных выставках. Мне все в них нравилось: и «непосредственность подхода» их, и бодрая техника, но в

особенности их благородная гамма красок... Сейчас трудно себе все это представить, ведь постепенно особенности тогдашнего Коровина стали общим достоянием всех русских художников, порвавших с академической рутиной и ставивших себе целью писать просто, без прикрашивания, а также и без передвижнической навязанной «идейности». Но в те дни картины Коровина, с левитановскими наравне и с серовскими, действовали на наш вкус, помогали образованию в нас каких-то «велений современности», иначе говоря, толкали куда-то вперед. Левитан главным образом действовал своей поэзией, «ароматом», чем-то таким, что можно выразить и словами, иначе говоря, в его искусстве было нечто от литературы. В Серове и особенно в Коровине мы приветствовали самую *живопись*.

Однако личное знакомство с художником если и очаровывало в каком-то, я бы сказал, бытовом смысле (его рассказы, его чудесное краснобайство можно было слушать часами), но в смысле известного, ну что ли сознательного подтверждения того, что было в его живописи, оно ничего не давало. Почти сразу становилось ясно, что Коровин по натуре импровизатор, иначе говоря, что едва ли может вполне осознать то, что творит, и разумеется, он не способен к какому-то художественному углублению. Он как бы сам не ведал, что творил и что у него так хорошо выходило, а не то, чтобы он чего-либо последовательно искал и *добивался*. В свою очередь, именно то, что в нем было стихийного, «цыганского», но и зыбкого, неверного, а подчас и чуть коварного (о, как лукаво поглядывали и хитрецой поблескивали его чудесные глаза, да и весь он тогда был такой типично российский красавец),—все это подкупало и пленяло. Другом при первом знакомстве я его себе не пожелал иметь, еще менее мог бы он быть учителем (хоть практический опыт был у него громаден), но его всегда было приятно встречать, и уже на наших первых сборищах именно он создавал прелестную и какую-то пестро-переливчатую атмосферу. Он то очаровательно посмеивался над Серовым, то предлагал разные каверзные вопросы, то вдруг принимался, совсем иной раз невпопад, но всегда с удивительной картинностью, рассказывать. Ах, до чего восхитительно было именно это «Костино краснобайство» и «вранье»!

В том совершенно особом наваждении на российский лад, которое исходило из моих новых знакомых в целом, особенную ноту давал Аполлинарий Васнецов. Я уже тогда невзлюбил творчество его знаменитого брата Виктора, и особенно мепя отталкивало своей фальшью все то, что последний создавал для церкви. Невольно всему этому напыщенному и «честолюбивому»

творчеству я противопоставлял бесхитростное, простоватое, но зато и всегда искреннее творчество его младшего брата. Мне нравились его довольно наивные, но все же убедительные затеи «возрождения» прошлого обожаемой им Москвы и его попытки представить гран-

диозность и ширь сибирской природы. Познакомившись с ним поближе, я поверил в абсолютную чистоту его души, а также в тождества его духовной природы и его искусства. Да и наружность «Аполлинаши» удивительно соответствовала его творчеству. Что-то девичье-чистое светилось в его несколько удивленном взоре, а его довольно пухленькие «ланиты» (слово это как-то особенно сюда подходит) рдели таким румянцем, какого вообще не найдешь у взрослых людей и у городских жителей. Характерно детским был его рот, точнее, «ротик». На вид ему можно было дать не более восемнадцати лет, а светлые усики и бородка ничуть его не старили, между тем в 1896 г. Аполлинарию Васнецову было уже под тридцать. Прелестен был и его «сибирский» говор, еще более дававший впечатление чего-то истинно русского, нежели говор москвичей.

Относясь отрицательно к искусству Виктора Васнецова, я напротив, как уже имел случай говорить в другом месте, принял в душу творчество Нестерова. Я ломал за него копья и не только в спорах с типичными приверженцами академизма, вроде Липгардта, Вилье, обоих моих братьев (запомнился мне и тот негодующий спор, который я повел из-за Нестерова за ужином у Репина с Владимиром Маковским), по защищая его от нападок тех, кто критиковал Нестерова за «антиканоничность» его религиозных и скорее религиозно-бытовых картин. Его Сергий Радонежский в лесу 18 до того меня пленил, что из-за этой картины (уж очень мне нравилось все задание и как удивительно тонко передал художник атмосферу *леса)* я даже слегка поссорился с моей Атей, вообще не переносившей какой-либо фальши (а в данном случае, надо сознаться, что своего рода ханжество бросалось в глаза). Естественно поэтому, что я мечтал о том, чтобы познакомиться с самим Нестеровым, и мне казалось чем-то невероятно лестным, если бы он удостоил меня своей дружбой. И до чего же мне было приятно, когда явившийся на наше заседание Михаил Васильевич (о котором рассказывал тот же Владимир Маковский, что он и лукавый, и жуткий, и двуличный, и злой) выказал в отношении меня самое милое внимание. Из всех моих новых знакомых он с тех пор часто приезжал в Петербург, первый стал запросто захаживать ко мне и просиживать в беседе со мной целые часы. Болеа близкое

знакомство вовсе меня в нем не разочаровало; напротив, мне все в нем нравилось, и даже его странное лицо с высоко вздымающимся, ненормально выпуклым лбом. Правда, выражение его взгляда и его тонкая, почти вольтеровская улыбка, могли наводить на мысль о чем-то скорее демонически «лукавом», нежели о той христианской благости, которую он любил изображать на картинах и о которой он говорил с затаенным жаром, совершенно в тонах моего тогдашнего кумира Достоевского. Но ведь и в Достоевском мы находим тесное сплетение божественного с демоническим, лукавого, почти ханжеского с бессомненно искренним и задушевным. Это сплетение является даже самой красотой его искусства, самым для него характерным.

К сожалению, очень скоро обнаружилось, что Нестерову не было дано занять в русской живописи то место, которое принадлежит Достоевскому

IV, 10. Второе Мартышкинское лето $$.

и о котором сам Нестеров мечтал. И как раз в момент моего знакомства с Михаилом Васильевичем начался в его творчестве тот поворот или сдвиг, который откинул его далеко,— в самую отвратительную область церковного искусства, в ту самую область, с которой он сам начинал когда-то свою деятельность и в которой блистал его вдохновитель В. Васнецов.

Все свои хорошие картины (числом весьма немногие) Нестеров создал в период, когда ему «приходилось плохо», когда после своей первой работы (бок о бок с Васнецовым в киевском Владимирском соборе) он оказался как-то не у дел, и доступ до церковных стен оказался ему закрытым. Тут он, работая для себя, и вылился, тут и открылась для него область, в которую до него никто из русских художников не проникал. Он поверил в святую поэтичность отшельнической жизни в природе, и эта его вера отразилась в нескольких картинах, посвященных отрочеству и юности святого Сергия. Одобрение церковных сфер, большой публики и официальной критики он ими не завоевал, однако все же обратил на себя внимание некоторых влиятельных особ, а потому, когда понадобилось живописное украшение (в виде мозаики) для строившегося «Храма Первого марта» 19 в Петербурге, то к Нестерову и обратились. Как раз подготовительными эскизами для картонов этих мозаик он и был занят, когда мы познакомились, мне он их и показал... Со мной при этом случилось то, что часто бывает в подобных случаях. Я переживал высшую степень моего увлечения Нестеровым (не только его художественным творчеством, но всей его действительно весьма интересной личностью) и поэтому, хоть

многое в том, что я увидел, не могло мне нравиться, однако я сам себя старался переубедить и закрыть глаза как на слащаво-томпые лики ангелов, так и на лишенный всякого стиля рисунок, так и вообще на весь «иллюстрационный» пошиб, присущий этим «иконам». Меня действительно очаровали их топкие краски и мастерская техника гуашью. Тогда же я написал восторженное письмо княгине Тенишевой в Париж, и радость моя была велика, когда в ответ я получил разрешение нриоб-рести для ее коллекции эти эскизы .

Глава 10

ВТОРОЕ МАРТЫШКИНСКОЕ ЛЕТО.

А. Л. ОБЕР

Жажда поскорее оказаться в природе и снова приняться за этюды в-натуре была у меня такова (но и Анюта вполне разделяла это мое желание), что мы на сей раз совершили наш переезд на дачу еще раньше, чем в 1895 г., а именно в самом начале мая. Зато и померзли же мы тогда! Печи пришлось топить целыми днями, но они жестоко дымили, что вызывало необходимость в проветривании, проветривая же — усиливать топку. Еще, к счастью, у наших хозяев был неисчерпаемый запас. дров.

и

IV, 10. Второе Мартышкинское лето

Лето 1895 г., проведенное в Мартышкине, оставило такое прелестное впечатление, что мы решили поселиться снова там же. Однако, сию милейшую «избушку» мы променяли теперь на нечто более поместительное, так как с нами пожелали жить наши друзья Оберы, да и Костя Сомов, без которого мне трудно было обойтись хотя бы один день, тоже обещал у нас подолгу гостить. Дача, которую мы после некоторых поисков (еще когда лежал снег) облюбовали, стояла на другом конце поселка, на высоком месте, недалеко от лютеранской кирхи и ближе к пресловутому кладбищу, стоило только перейти по вновь построенному мосту терез полотно железной дороги. У этого же моста появился новый полустанок, у которого останавливался паровой вагончик, обслуживающий ежду поездами, шедшими в Ораниенбаум, два или три дачных местечка. Дача была довольно-таки древняя, пожалуй, ей было лет под восемьдесят, но была она крепкой постройки и понравилась она нам своей старомодной уютностью.

Понравился нам и тот неопределенный розовый цвет, в который она красилась и который живописно сочетался с черноватой крышей из дранки. Кухня помещалась в отдельной, несколько покосившейся избе (и это было живописно), к которой вел крытый на столбиках переход. В общем она сильно напоминала излюбленные нами в детские годы «усадебки с гусельками». Дачу окружал довольно большой и тенистый сад, но сама тень появилась только когда распустилась листва берез и кленов.

Первыми переехали Оберы * и заняли весь верх дачи, причем в качестве мастерской Артюр избрал балкончик; вскоре после того переселился и Костя Сомов, поместившийся внизу в комнатушке (он сам и ыбрал, он был очень нетребователен), выходившей на глухой дощатый забор. Большая комната рядом служила общей столовой.

С Сомовым мы достаточно познакомились в этих записках, а к тому же мы будем и впредь постоянно с ним встречаться. Но об Обере я до сих пор мало говорил; между тем он занимает очень значительное место как в жизни семей Бенуа и Кавос, так и в моей личной. В детские мои годы Обер был моим главным забавником, в отроческие годы моим «учителем», в юношеские — моим любимым собеседником. Если же я на нем не останавливался подолгу, то это только потому, что как-то «пе приходилось». Теперь же разговор об Обере дальше откладывать нельзя, его существование именно в это лето тесно связано с нашим.

Впрочем, неразлучны мы были теперь не с ним одним. Уже с год, ак он перестал быть «старым холостяком», женившись на своей юной племяннице Наталии Францевне Вебер (эльзасского происхождения). Когда-то он ее ребенком нянчил у себя на коленях, а теперь она стала его супругой. Он был безгранично влюблен в нее, но и она, несмотря на разницу в годах (ей было немногим больше двадцати пяти), была не менее влюблена в него.

Артемий Лаврентьевич, или, как все его у нас в семье звали, Артюр, в описываемом 1896 г. мало разнился как наружностью, так и всей своей духовной стороной, от того Обера, каким я его помню на самой заре

*IV, 10. Второе Мартышкинское летоД*ˆ

своей жизни. Однако ему стукнуло пятьдесят три года, и он сам себя, не без удивления, почитал за человека старого, с чем никак не желала согласиться его молодая жена.

Да и трудно было согласиться. Высокий, прямой рост, по-детски поглядывающие глаза, способность до слез смеяться над всяким пустяком, способность при случае и всплакнуть — тоже

по-детски,— все это вместе создавало образ и милый и удивительно юный. При этом, однако, нель-зя было сказать, чтоб его душа отличалась той доверчивостью, тем оптимизмом, которые свойственны юному возрасту. Напротив, Артюр бьиг очень склонен к пессимистическим прозрениям (его постоянной поговор-кой были слова «pauvre humanité» *). Он охотно верил всяким тревожным слухам, он не прочь был и жаловаться на свою действительно неочень благополучно складывавшуюся судьбу и страдал от некоторых физических недугов, среди коих особенно его мучили два — оба лишенные всякой декоративности. Один из них была сенная лихорадка. Она портила бедному Оберу как раз ту пору в году, которую он, великий обожатель природы, особенно любил и ценил. Как только начинали цвести деревья и цветы, так Артюр начинал задыхаться, глаза начинали воспаляться, и он принужден был во избежание этих страданий оставаться дольше других в условиях городской жизни. Впрочем, как раз пребывание в Мартышкине не вызвало в нем этих явлений, и он, переехав на дачу еще в мае, мог почти всегда оставаться на воздухе, то работая над своими восковыми группами (сидя у себя на балконе), то совершая со все-ми нами или в обществе одной Наташи далекие прогулки.

Что же касается его судьбы или, вернее, его художественной карьеры, то он был прав, когда считал себя чем-то вроде неудачника. *Настоящим* художником Обер не был, хотя он пользовался некоторой, и даже очень лестной известностью, к нему нередко обращались с официальными заказами как частными, так и казенными, он имел звание академика. Но, разумеется, на тусклом фоне русской скульптуры конца XIX в. его мощный и столь своеобразный талант заслуживал иной оценки. Что же касается заказов, то доставались ему преимущественно такие, которые его не радовали и вдохновляли, а причиняли скорее одни-страдания. Он мечтал идти по стопам своего парижского учителя, ге-ниального анималиста Бари и соперничать со своим современником,. гремевшим тогда на весь свет Фремье. Его пленяла жизнь всяких диких тварей, особенно самых яростных и свирепых — львов, тигров, самую «душу» коих он постиг. А вместо того он был вынужден для заработка (когда оп женился, у него не было и копейки какого-либо капитала) браться за самые неблагодарные сюжеты, лепить по заказу архитекторов самые банальные карнизики или изготовлять бюсты скучнейших господ и дам, иной раз по фотографиям. Это его угнетало как* художника, полного всяких идей,— однако угнетение это в потешном: самоиронизировании никогда не принимало оттенка жалобы.

Бедное человечество *(франц.)*.

IV, 10. Второе Мартышкинсков лето

Вообще людей, способных оценивать художественное творчество и сочувствовать художнику, на свете мало; большинство стадным порядком и не без стадной трусости следует вслепую за темп, кто приобрел (почти всегда незаслуженно) значение и авторитет вождей и арбитров. Но вот этих знатоков и арбитров Обер не умел ни пленить, ни заинтересовать, и даже Стасов, кланявшийся в пояс псевдо-гениальпым измышлениям Антокольского и анекдотическим статуэткам Ильи Гпнцбурга, не отдавал себе отчета, что «зверятник» Обер — очень крупный художник, что уж если кто, заслуживает пиететпого отношения, так это он, *его* следует объявить *«тузовым»* и *ему* помочь прокладывать путь к славе2.

Родился Артемий Лаврентьевич в семье французских выходцев в Москве, художественное же свое воспитапие он получил в Париже, покинуть который его принудила франко-прусская война 1870 г. (он отбыл *гз столицы Франции с последним иоездом, шедшим в Бельгию). Но, оставив Париж, он затем непрестанно стремился туда вернуться; ему казалось, что там, в городе прославленных анималистов — Барй, Мэна, Кэна и Фремье, и он мог бы завоевать видное положение н прославиться. Рассказы Обера о парижской жизни немало способствовали и •во мне усилению мечты туда попасть. Рассказывать же Обер был мастер; все, о чем он повествовал, вставало в воображении с полной яркостью и оолучало значение подлинности. Когда-то, ребенком восьми-девяти лет, я слушал, развесив уши, Григоровича, но его рассказы были в сущности чудесным краснобайством, а зачастую и совершенно явным враньем ˆсочинителя». Напротив, в рассказах Обера подкупала абсолютная простота и искренность. Особенный «отдел» в его рассказах, кроме Парижа, занимали еще животные, все, что он сам высмотрел, просиживая целыми днями перед клетками «Jardin des Plantes» *, и то, что on вычитал у Брема, Ксавье и пр. Он чудесно имитировал различные ревы, рычания, клекоты, мычания; кроме того, он то и дело хватался за карандаш, чтоб несколькими чертами выразить на бумаге самое характерное в «мимике» хищников, в их повадках. Их анатомию он знал назубок и любил прибегать к ней, чтобы особенно наглядно представить собеседнику, в чем кроется красота, грация, сила и, так сказать, целесообразность их движений. Остается тайной, почему этот самый миролюбивый и жалостливым человек, неспособный в буквальном смысле и комара обидеть, ненавидевший всеми силами души проявления всякого «военного начала», мог гореть

подобным энтузиазмом перед «красотой» схватак самых страшных бестий между собой или любоваться их же нападениями на слабых, беззащитных тварей.

Из отдельных воспоминаний об Обере особенно живыми остаются у меня несколько. Вот оп в Петергофе, на роскошпой даче дяди Сезара бегает с моими кузинами Инной и Машей по промоченным осенним дождем дорожкам, состязаясь (к великому ужасу миссис Кэв) в перепрыгивании через лужи и норовя при этом и себя забрызгать и обдать во-

* Зоологического сада *(франц.)*.

дой наши ноги. M-rs Cave, не решаясь сойти с веранды, требует, чтоб мы вернулись домой, но это нас — детей и нашего совершенно взрослого товарища — только подзадоривает. Вот и другое воспоминание тоже связано с домом дяди Сезара. На сей раз это зима, это «генеральная репетиция» домашнего спектакля, на котором Обер, несмотря на свою неспособность запомнить текст, все же решился сыграть одну из главных ролей в наивной пьеске «Что имеем не храним, потерявши плачем». Ар-тюр тоже, представляя взбунтовавшегося против своей давней подруги жизни старичка, не только всех рассмешил, но многих заставил и всплакнуть. Особенно трогательной получилась последняя сцена, когда он, стоя на коленях перед преставившейся мертвой супругой, умолял ее очнуться, открыть глазки и простить его, «старого дурака»-. К тому же времени (начало 80-х годов) относится еще ряд воспоминаний о поездках ряженых, происходивших на святках, в которых всегда самую видную роль играл Артюр Обер. Устраивались эти поездки великим нашим затейщиком Альбером. Альбер, которому это служило поводом к ухаживанию за теми или другими особами, ему понравившимися (состояние уже женатого человека ничуть не мешало нашему ловеласу расставлять свои сети), развертывал в этих поездках свою блестящую шаловливость. Но Обер служил ему и помощником, и режиссером, и конкурентом. Так, среди оркестра «странствующих музыкантов» он изображал контрабасиста, и его дикая возня с громадным инструментом (за порчу которого пришлось затем заплатить немалую сумму денег) была нечто демоническое, а все обезьяньи ужимки и выбранная им маска имели в себе нечто и уморительно смешное, и чуть жутковатое.

В другой поездке ряженых, избравших своей темой Берлинский конгресс 3, Обер изображал самого Бисмарка, и всей своей осанкой до того убедительно передавал великого пруссака, что казалось, что сам железный канцлер соблаговолил принять

участие в этой группе дурачащихся русских молодых людей, среди коих можно было узнать и нашего Горчакова, и даже самого первоклассного тогдашнего мирового деятеля — лорда Биконсфилда. В состав же турецкой миссии затесалась прелестная, вся закутанная в тюль одалиска — изображал ее архитектор Шильд-кнехт.

В эти годы я уже обожал Обера, но я тогда не считался с ним как с художником, хотя иногда имел случаи видеть, как чудесно из-под его пальцев рождались разные формы: то собаки дяди Сезара — Джек и Джил, то кошка с котятами, то свинья с поросятами, то медведь, то волк. В эти годы Обер — мой, или, вернее, наш общий забавник — почти что какой-то клоун или шут. Но затем, лет тринадцати, я начинаю «художественно прозревать», и тогда мой взрослый, казалось бы, слишком для меня «старый» друг становится и моим наставником. У нас заводятся длиннейшие беседы; в них я то проверяю свои впечатления, то излагаю свои восторги. Мы вместе восхищаемся и Репиным, и разными картинами в Эрмитаже и в Кушелевской галерее; а когда я (восемнадцати лет) «открываю» Беклдаьсц -xû щщщш в сорокапятилетнем Обере я

нахожу самый пламенный отклик на мои восторги, тогда как мои близкие только недоумевают, как можно такую чепуху признавать за искусство. Да и среди всех тех, кого я заразил своим увлечением Цукки, Обер становится самым пламенным, он даже *плачет* настоящими слезами при виде, как она танцует.

В роли настоящего *учителя* Обер оказался, когда он вызвался преподать мне несколько уроков «по системе П. П. Чистякова», и замечательно, что он так мило, просто и *заразительно* умел передавать основы этой системы, что я во время уроков не только не скучал, но *наслаждался.* Прямую пользу я от них вряд ли получил, да и вся эта система, основанная на постоянных промерах и на каком-то механическом неосознаваемом срисовывании видимости, скорее была по существу ересью 4, она не приучала схватывать общее и вообще притупляла художественное внимание. Однако косвенно я все же кое-что из этих уроков почерпнул. Как-никак то были *единственные* уроки, которые хоть какой-то след во мне оставили, они указали мне на иные пути, нежели то художественное баловство и тот «порочный дилетантизм», которым я предавался с детских лет.

В общем, мы были в согласии с Обером и при обмене наших философских, политических и, скажем, гражданских идей, чаяний и симпатий. Но все же тут иногда проглядывали и разногласия по

существу. Обер был скорее равнодушен к вопросам веры. Не будучи атеистом, он все же не исповедовал какой-либо определенной религии, а имел то, что называется sa petite religion à soi *. Напротив, я, если и переходил от увлечения одним вероучением к увлечению другим,— от католицизма, каким он был мне преподан на уроках отца Женье, к идеям реформации в духе проповедей пастора Дальтона, и наконец (под влиянием главным образом чтения Достоевского) — православию, чтобы затем снова обратиться к католицизму; если у меня так и не установилась какая-либо стройная и целиком мною владевшая духовная дисциплина, то все же *в целом я был религиозен,* и для меня религия была чем-то *самым существенным в жизни.* Это духовное состояние вполне разделяла со мной и моя подруга... Напротив, в политике я исповедовал уже тогда если и не интернационализм или анархизм, то все же нечто похожее на учение Толстого, однако все же от него не зависимое. Может быть, в этом сказалось то, что по своим *кровям* я принадлежал к трем главенствующим в Европе нациям: к французской, к немецкой и к итальянской, по воспитанию же я был русский. Моему «анационализму» способствовало и то, что старшая моя сестра вышла замуж за *(типичного)* англичанина, вторая сестра — за потомка французов, старший брат женился на русской немке, я сам был без ума влюблен в ее младшую сестру; что мой второй брат женился на чистокровной (опять-таки *типичной)* русской, третий брат — на балтийке, четвертый — на кузине, полурусской, полу-

* Свою собственную религию *(франц.).*

итальянке. У Обера же душа оставалась *французской,* лишь с сильной примесью элементов культуры русской. При всей широте своих взглядов он таил известную злобу против пруссаков, «единственных виновников войны 1870 года», а когда началось французско-русское движение 5, то он с энтузиазмом примкнул к его приверженцам. Он даже принял участие в специально организованной поездке в Кронштадт навстречу французской эскадре, тогда как на меня все тогдашние манифестации производили прямо-таки удручающее впечатление,— я не мог не видеть в них фальши. Здесь Обер сходился во всем со своим приятелем (и тоже нашим верным «другом дома») — Россоловским. Милого Зозо и я ценил за его сердечную доброту, за его основное джентльменство (чтоб не сказать «рыцарство»), но все же я не переставал видеть в нем ближайшего сотрудника «Нового времени», а эту газету, несмотря на всю талантливость ее вдохновителя6, я ненавидел «всеми силами души»,

II вот еще одна особенность моей дружбы с Обером. Мне он был с давних пор действительно другом (а когда подрос мой племянник Женя Лансере, то и он подружился с ним). Однако Обер никак не сошелся с моими другими друзьями; он никогда не заходил ко мне, когда они у меня собирались, и в таких случаях предпочитал проводить вечер в папином кабинете или за общим чаепитием (сказать кстати, в таких случаях он, не переставая принимать участие в общей беседе, что-либо небольшое лепил из воска, исполняя какой-либо очередной заказ). Он же, Обер, привел к нам Бирле, ставшего скоро нашим общим другом. Однако. пристроив Бирле в нашу компанию, Обер не поддерживал ни с ним, ни с другими участниками нашего кружка каких-либо близких отношений. Мне кажется, его главным образом смущал царивший среди нас тон, страсть к обоюдным насмешкам, к нескромным, оскорбляющим его целомудрие шуткам; не могли ему нравиться и наши слишком громкие споры. Кстати сказать, я думаю, что Обер вообще от природы был человеком стыдливым, тогда как у нас, как я уже не раз упоминал, была скверная гимназическая привычка острить на весьма скабрезный лад.

Возвращаясь же к нашему дачному сожительству в 1896 г., я еще раз должен сказать, что оно получилось удивительно «безоблачным» и исключительно приятным. Общее хозяйство вела моя Атя, успевшая вполне напрактиковаться в этой роли и обладавшая, несомненно, даром какого-то «авторитетного и все же мягкого, незаметного дирижерства». Оберов, что называется, «не было слышно». Спускались они со своего этажа только к утреннему кофе, к обеду, который подавался по-летнему обычаю в час, и к ужину в восемь; все же остальное время с недолгими перерывами, посвященными в хорошую погоду прогулкам, супруги проводили рядышком у себя на верхнем балконе, причем он всегда что-то лепил (между прочим, он за эти два месяца закончил довольно крупную статуэтку какого-то бедуина), она же — низко склонившись из-за близорукости, тут же что-то шила, зашивала и вышивала. Будучи усердной рукодельницей, Наталия Францевна, кроме работ чисто утили-

тарного назначения, создавала иногда и разные «эстетические безделушки».

Я немного опасался, как именно Сомов, при своей недоверчивости, разборчивости и брезгливости, уживется с Оберами. Однако ужились они превосходно, и хоть Костя и посмеивался иногда над старосветскими повадками и вообще над

смешными сторонами наших друзей, однако все же он их в общем оценил и по-своему даже полюбил. Как памятник этой его симпатии, получился даже один из его хороших портретов, который, если не ошибаюсь, попал впоследствии в Третьяковскую галерею \ На нем представлена Наташа Обер сидящей в ситцевом халате среди дорожки нашего садика. И на сей раз все началось с того, что я предложил писать Наталию Францевну в этом утреннем самом простеньком одеянии, светло-розово-сиреневый цвет которого, сам по себе довольно обыденный, прелестно вязался с окружающей зеленью березок. Сначала она должна была позировать стоя, и мы оба собирались ее писать таким образом, но у меня опять-таки дальше акварельного наброска не пошло, тогда как Костя увлекся красочной задачей, «завладел» своей моделью и, затеяв серьезную картину, предпочел ее усадить. Сеансов было не больше восьми, и хорошо, что не больше. Именно благодаря краткому сроку, Сомов свою картину не замучил, и вышла она у него необычайно свежей и «непосредственной».

В середине же лета у нас с Костей вышло еще раз нечто вроде конкурса. Возвращаясь как-то домой с дальней прогулки, я заметил в окне избушки, в которой жил кладбищенский сторож, прелестное личико девочки. В полусумраке, на фоне внутренней темноты, матовая бледность его и нечто глубоко грустное в глазах поразили меня своей особенной красотой. Мне захотелось еще раз взглянуть на эту девочку, и на следующее утро я направил свою прогулку в ту же сторону. Увидев теперь это «ангельское существо» при полном свете, я удостоверился в том, что девочка на редкость мила. Ей было не больше восьми лет. Ее внешность казалась тем более удивительной, что старшая на год сестра, тут же стоявшая, представляла собой самый уродливый тип. Костя не вполне разделил мое увлечение, но все же предложил обратиться к родителям девочки. Сначала они просто не могли понять, что мы хотим от их дочери, но догадавшись, что на этом можно кое-что заработать, согласились. Обе же девочки, насмерть перепуганные, расплакались.

Все это показалось мне отвратительным, и я уже приготовился к отступлению, но Костино упорство взяло верх, и он тут же обо всем условился. Не знаю, как родители объяснили Оле, что хотели от нее чужие господа, но явилась она одна, без провожатых, на следующий же день, с видом покорной жертвы, и этот вид не покидал ее в течение всех восьми или десяти сеансов, несмотря на ласку обеих наших дам и на то, что ее угощали шоколадом и всякими сластями. Это Костя потребовал так много сеансов, зато у него и получился очаровательный, прямо-таки

классический профильный портрет Оли 8, воспроизведенный впоследствии в «Золотом руне». Что же касается до меня, то я и на сей раз был

*IV, 11. У Тенишевых в Талашкине*Ю1

.,,,..,,..i

готов со своим рисунком, в первый же сеанс, в остальные же два, чтобы чем-нибудь себя занять, сделал еще по рисунку en face, profil perdu* и даже с затылка, но затем я убедился, что мне никак не дается передать то, из-за чего началась эта затея, т. е. самую поэзию нашей чуть жалкой пленницы, и я бросил этим заниматься. Случай этот запомнился мне с особой отчетливостью потому, что и тут с полной on-* ределенностью обозначалась и разница наших художественных темпераментов, и границы наших дарований.

Такое взаимоотношение между Костей и мной продолжалось затем в течение всего лета, и оно еще углубилось в последующие два-три года. Тогда мы составляли действительно своего рода «пару». Я продолжал в значительной степени быть его «духовным ментором» и его вдохновителем; он же, в свою очередь, занял в моих глазах место прелестного выразителя моих же художественных вожделений и в то же время какого-то образца, достойного подражания. Как мне нравилось все, что он тогда делал, будь то мелкие акварельные наброски, зарисовки тонко отточенным карандашом или же целые композиции. Когда погода позволяла, мы оба проводили все дни на воздухе, занятые этюдами. В дождливые дни (а их в то лето было немало) мы сидели дома, и вот тут Костя сам себя тешил и сочинял всякие сценки слегка шутливого характера, преимущественно изображавшие дам и господ 30-х и 40-х го-дов на прогулках. Сам он не придавал им никакого значения и готов был дарить их кому попало — мне в первую голову. Но я от каждого неожиданно рожденного такого каприччио приходил в восторг, сразу звал любоваться новым «перлом» и жену, и Оберов, а от даров отказывался. Именно с тех пор я и в беседах с другими друзьями стал делиться своим любованием Костиным искусством п талантом. Постепенно я и их приучил относиться к нему совершенно по-иному, нежели они относиˆ дись до. тех пор.

Глава 11

ВТОРОЕ МАРТЫШКИНСКОЕ ЛЕТО.

У ТЕНИШЕВЫХ В ТАЛАШКИНЕ.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПАРИЖ

Еще весной (того же 1896 г.) я в своих письмах к княгине Тени-шевой стал «нащупывать почву» относительно моего переселения в Париж. Решительного ответа я не получил, но, видимо, самый мой проект ей нравился, и среди лета Мария Клавдиевна пригласила меня на несколько дней в свое имение «Талашкино» Смоленской губернии, причем из ее письма можно было понять, что тут мы и столкуемся насчет Па-

* В фас, в неполный профиль *(франц.)*.

рижа. В разгаре моих летних работ мне не слишком-то улыбалось покидать полюбившееся Мартышкино, да и жаль было расставаться со всеми членами нашей идиллической колонии; даже мечты о Париже несколько тогда померкли. Но нельзя было идти на попятный, я и тронулся в путь, а раз тронулся, то вскоре «зарядился любопытством»,— ведь это была моя первая далекая поездка по возвращении из нашего свадебного путешествия и моя первая поездка по России с самого 1885 г., когда я в последний раз ездил к сестре в Малороссию.

Остановившись на два дня в Москве, я осмотрел довольно основательно Румянцевский музей и Третьяковскую галерею (последнюю под руководством самого Павла Михайловича), но, кроме того, сделал несколько зарисовок. Меня прямо ошеломила грандиозность кремлевских стен, особенно со стороны Москвы-реки1. Я также не ожидал найти такую причудливую «романтику», как то, что я увидел, добравшись по совету Аполлинария Васнецова до Новодевичьего монастыря **. Удивил меня своей живописностью и Смоленск, сохранивший еще в целости свои внушительные стены и свой гордо возвышающийся над городом собор XVIII в. А затем, в коляске, высланной мне на станцию, я проехал полями и лесками около двух десятков верст — точно не помню — и, весь в пыли, прибыл в княжеское поместье. Принят я был с редким радушием, и меня сразу отвели в предназначенную мне очень просторную и светлую комнату; рядом в такой же комнате гостил уже несколько недель художник Ян Ционглинский.

Этому соседству я обрадовался, но менее я обрадовался тому, что застал в Талашкине многочисленное общество. За стол в главном доме, ничего художественного и вообще интересного из себя не представлявшем, садилось по меньшей мере человек двадцать, а для экскурсий по окрестностям приходилось закладывать три или четыре коляски да еще и длинную «липею».

Это могло бы быть очень весело, если бы все эти люди были однородного общества, сходственных навыков, вкусов и манер; но беда была в том, что Мария Клавдиевиа, в силу своего добродушия и неразборчивости, набирала к себе кого попало, вследствие чего получались и всякие курьезные несоответствия. Что могли, например, представлять для нас, художников, три перезрелые английские миссы, которых Тенишева «подцепила» где-то в Швейцарии и которые с трудом калякали по-французски, тогда как сама Мария Клавдиевна едва говорила по-английски. Эти девицы были такие же любезные и восторженные, но и такие же карикатурно-жеманные, как и тысячи их соотечественниц, скитающихся по вселенной и потерявших всякую надежду выйти замуж. Они давали материал для безобидного над нами подшучивания и для упражнения в подмечании разных типичных сторон, хорошо знакомых по диккенсовским романам, но все же в их обществе никак нельзя было развернуться и тем менее «распуститься», что было, в пер-

** Из этих довольно подробных зарисовок я затем, уже в Париже, сделал две большие акварели.

*IV, 11. У Тенишевых в Талашкине*ЮЗ

вую голову, тягостно обеим княгиням, которые, будучи дамами харак-

, терно русскими, имели склонность в летние каникулы отходить от стес-

. нительных оков городского приличия. Моментами они даже были не

прочь дурачиться, а тут все время надо было остерегаться, как бы не

шокировать этих совершенно чужих особ.

За те три дня, что я провел в Талашкине, я успел от суматохи и шума устать, каково же было Ционглинскому, жившему здесь уже целый месяц и горько мне жаловавшемуся на свою судьбу, заставившую терять драгоценное летнее время в праздности и в специфической скуке всяческой условности. А покинуть этот плен он не мог уже потому, что в это время он преподавал живопись нашей меценатке, построившей для своих художественных занятий в Талашкине большое и прекрасное ателье.

Мой сосед Ян Францевнч Ционглинский, ныне почти забытый, был знаменитой фигурой в петербургском обществе, но он был обязан этой известностью не столько своей живописи, сколько личному шарму. Это был рослый, прекрасно сложенный, в меру дородный, красивый, далеко еще не старый, едва только «стареющий» поляк. На художественных сборищах или пирушках он охотно по собственному почину произносил необычайно

складные и эффектные тосты, тогда как вообще русские художники отличались в этом отношении непобедимой стеснительностью. Сидя за роялем, Ционглинский представлял собой вид вдохновенный, в который едва ли входила какая-либо нарочитая «поза». К козырям его музыкального репертуара принадлежали такие требующие известной виртуозности (тогда еще «очень передовые») вещи, как прелюд к «Тристану» и «Isoldens Tod» *. Его речей об искусстве можно было заслушаться, . но можно было и удивляться, почему он их не записывает, не превращает в законченные литературно-художественные произведения. При этом Ционглинский был человек добрейший, сердечный, мягкий,— образцовый товарищ. Несмотря на свой решительный успех у прекрасного пола, он оставался годами верен одной давнишней пассии, но соединиться браком с этой особой он, если я не ошибаюсь, не мог,— тому препятствовали какие-то фамильные причины. Яна все любили, все баловали, однако почему-то настоящих друзей у него не было, и скорее всего тому мешала известная его гордость, боязнь казаться навязчивым, а также опасения, как бы не утратить тот род свободы, в которой нуждалась его натура. Еще одной важной чертой Яна Францевича была известная indolence **, какая-то вялость воли (столь мало вязавшаяся с энергичностью его пламенных «призывов и воззваний»). А может быть, попросту говоря, то была лень. Ционглинский *говорил* об искусстве много и красно, он имел очень правильные и меткие суждения, он горел неподдельным огнем к искусству. В этом заключалось главное основание того, почему он приобрел себе славу превосходного преподавателя, будившего в юных

* «Смерть Изольды» *(нем.)*. ** Вялость, беспечность *(франц.)*.

сердцах энтузиазм2*. Однако сам Ян Ционглинский всю свою жизнь как бы только *готовился* занять то место, которое ему предназначалось в художественном мире, и его творение получилось до странности незначительным. Впрочем, и то немногое, что он создал при весьма благих и «передовых» намерениях (благодаря которым он стяжал себе даже славу «первого русского импрессиониста»), отличается некоторой тусклостью и, что хуже, неопределенностью.

В течение моего пребывания в Талашкине стояла жаркая, солнечная погода. Днем о прогулках не могло быть и речи, и поэтому ежедневные пикниковые выезды производились к вечеру, а иногда и при чудесном лунном свете. Остальное время приходилось отсиживаться на тенистой, заросшей ползучими растениями веранде большого дома, поглощая в большом

количестве прохладительные напитки и принимая участие в никчемных разговорах с английскими мисс'ами. Но был момент утром и сразу после завтрака, когда все получали полную свободу, и в эти часы Ционглинский вздумал написать у себя в комнате мой портрет. Трех сеансов хватило, чтобы изобразить меня таким, каким я тогда выглядел,— с густой черной бородой и с очень красными (от загара) щеками, с бретонским, надвинутым на лоб беретом. Но и на этом этюде-портрете я представлен в профиль, склонивший голову и с опущенными глазами, как уже меня изобразили и Сомов, и Бакст. Причиной тому было то, что я вообще не выносил позировать и сидеть долго без дела; меня сразу (быть может под магнетическим действием направленных на меня глаз) начинало клонить ко сну, во избежание чего приходилось брать книгу и читать. Ционглинский был в восторге от того, что он создал, и, действительно, это было одним из самых удачных его портретов 2 (впоследствии он мне его подарил), отличавшимся большей жизненностью и яркостью, нежели другие его произведения.

Что же касается до того дела, для которого я и ездил в Талашкино, то с этим мы поладили с княгиней очень быстро и к обоюдному удовольствию. Решено было, что она даст мне средства на путешествие в Париж и на пребывание там, а по дороге, в Берлине и в Мюнхене (по несколько дней в каждом), я должен был сделать покупки для собрания княгини (на общую сумму, как мне помнится, в 10 000 рублей). С момента же поселения в Париже я продолжал бы исполнять функции хранителя этого собрания, получая за это жалование в 100 рублей в месяц, что вместе с той сотней, которую я должен был получать от отца, составляло бы, по тогдашнему курсу, сумму в 530 франков, вполне достаточную для скромного, но безбедного существования... К сожалению (я забегаю вперед), в жизни не обошлось без моих обычных «фортелей

О нем, как о преподавателе (в школе Общества поощрения художеств) я имел довольно полное представление благодаря тому, что многие годы его учениками состояли два близких мне человека — брат Анны Карловны Петр (из которого, впрочем, настоящего художника так и не вышло) и мой племянник и задушевный друг Евгений Евгеньевич Лансере. Оба были от Ционглинского в восторге.

IV, 11. У Тенишевых в Талашкине fQ §

благородничанья». Во избежание того, чтобы меня могли упрекать в какой-то «эксплуатации» княгини, я настоял на том, чтоб вся моя «художественная продукция» в Париже сделалась бы собственностью моей меценатки, в силу чего главнейшие мои

картины из серии «Прогулки короля» 3 она получила от меня, так сказать, «даром». Надо при этом отдать ей справедливость, что это не обошлось без протестов с ее стороны. Себя же я и до сих пор виню за то именно, что в этом благородничанье была еще слишком большая доля «романтического ребячества»...

Расстался я с обеими княгинями, взаимно изливаясь в дружеских чувствах, а «конспиративные» мои планы при поддержке княгини Чет-вертинской получили с этого момента особую «надежность». Передо мной вырисовалось *колоссальное* будущее. В мечтах я уже видел создание в Петербурге по образцу московской Третьяковской галереи громадного музея современной *иностранной* живописи. Польза от такого «приближения вплотную» к русским людям превосходных примеров за* падного творчества казалась мне неоценимой. Вся слава благодеяния должна была выдаться М. К. Тенишевой, нам же с княгиней Четвертин-ской было бы достаточно того, чтоб мы сами сознавали значение нашей закулисной роли. Как раз финансовые и промысловые дела супруга Марии Клавдпевны шли блестяще, и казалось, что мы могли вполне рассчитывать на потребные для такой затеи миллионы.

Накануне моего отъезда из Талашкина был организован большой пикник — как раз в Смоленск. Тут мне выдалась возможность обозреть значительную часть городских стен и побывать в соборе, так живописно высящемся над древним городом. Вечером вся талашкинская компания (нас было человек двадцать), к которой присоединилось несколько именитых губернских персон (а может быть,— я теперь хорошо не помню,— и сам губернатор), отправилась в городской театр, где шла какая-то оперетка. Часть молодых людей, заняв ложу авансцены, вела себя, как водится, крайне развязно, заговаривала с артистками, громко суфлировала и напевала знакомые реплики и вообще представляла из себя на глазах у всей публики то, что им самим казалось верхом столичного шикаг на самом же деле все это было очень сомнительного вкуса, и мне с Ционглинским становилось все более невмоготу. Закончилась же эта folle journée * роскошным, заранее заказанным ужином, на котором «текло рекою» шампанское. Чуть запьяпевшая Мария Клавдиевна стала петь цыганские романсы, а Ционглинский произнес пламенную речь в ее славу. Было уж далеко за полночь, когда четыре коляски помчали нас обратно в Талашкино, а на следующее утро, чуть свет, я отбыл из Талашкина с туманной головой, но счастливый, что эта безалаберщина кончилась и я снова, оказавшись среди своих близких и любимых, смогу приняться за продолжение своих занятий; я привез с собой и приятное известие, что теперь

переселение в Париж дело решенное, вследст-

Безумный день *(франц.),*

106

IV, 11. У Тенишевых в Талашкине

вне чего наше ближайшее будущее приняло весьма реальные очертания. Я знал, что я этим известием особенно обрадую Атю, которая всей душой стремилась оказаться снова со мной в милой ее сердцу иностранной обстановке. Понадобился затем опыт многих лет, опыт, повторявшийся несколько раз, чтоб и я, и она поняли, до чего сердечно и душевно мы связаны с родиной и до чего трудно, а то и просто невозможно нам, русским, вполне приобщиться к жизни на чужбине.

К сожалению, последние недели «второго мартышкинского лета» были нам в значительной степени испорчены. Сначала заболел я, и пришлось прибегнуть к докторской помощи. Такой медик, к счастью, нашелся — он застрял, как и мы, на своей дачке, тогда как вообще большинство мартышкинских летних гостей вернулось в город. И уже через день или два после проделанной несложной, но очень болезненной «операции» доктор Миллер был нами позван, так как заболела воспалением легких наша крошка. А тут еще повеяло осенним хладом, пошли дожди, пришлось снова тоиить печи, снова они стали дымить. Бедная моя жена намучилась в неусыпном ухаживании за больной и в страхе за нее. Морально я страдал не менее, но к этому прибавилось еще то, что дурная погода не позволяла выходить, и она же погнала наших сожителей, так что мы остались на даче совершенно покинутыми. Все, что еще так недавно представлялось таким радужным, милым-, приняло теперь печальный и даже мрачный вид. Деревья с каждым днем все более оголялись. Неудержимо потянуло и нас самих в город, по пока у «маленькой Ати» был жар и она покашливала, нельзя было о том и думать. Наконец ей стало значительно лучше, и тогда мы отважились тронуться, но перебрались уже не к себе, а снова к отцу, так как от нашего собственного обиталища, ввиду переселения за границу, мы успели отказаться, и вся наша обстановка была уже снова «перенесена на руках» через улицу и расставлена по квартирам папы и братьев.

Чуть ли не за неделю до того дня, который был нами назначен для отъезда, произошла неожиданная заминка: милейшая Маша, ходившая за нашей маленькой с самого ее рождения, вдруг отказалась с нами ехать. Причина была уважительная — она сама готовилась быть матерью. С этого момента у нас в родительской кухне начинается смотр желающих поступить к нам в няньки. Однако все являвшиеся к нам как

только узнавали, что мы собираемся их взять за границу, отказывались. И тут нам сообщают, что у старшего дворника Акима в нашем же доме гостит его племянница, приехавшая из деревни, и вот она очень желала бы к нам поступить. Оказалось, что это совсем юная девушка, лет восемнадцати, полная, рослая, широкоскулая, с круглым, как блин, лицом, с широкой добродушной улыбкой во весь рот, открывавшей ряд безупречных зубов. В общем нечто удивительно характерное русское. К тому же *абсолютно безграмотная.*

«Ну что же, Аннушка,— спрашиваем мы ее.— готовы вы ехать с нами за границу?», а в ответ получаем; «А что это заграница?» Кое-как объяснили.— «Что ж, и там верно люди такие же живуть, как здесь,

не обидят». Однако собственного согласия ее, несовершеннолетней, было недостаточно, и пришлось снестись с ее отцом, дабы получить от него родительское разрешение. На это ушло еще несколько дней, и мы стали уже подумывать, не рискнуть ли нам отправиться в путь без всякой прислуги, когда, наконец, разрешение от отца с его благословением прибыло из глухой Псковской губернии, из деревни Закрупитье, и уже ничто не мешало нашему отбытию.

Скажу откровенно, что в момент отъезда я не испытывал особенной грусти, хоть город свой я нежно любил, хоть и оставлял в нем своего папочку и многих самых близких родных и друзей. В частности, что касается отца, то, несмотря на свои восемьдесят три года, он был еще до того бодр и полон сил, что продолжал с прежним усердием исполнять свои нелегкие служебные обязанности члена городской управы и начальника Технического отделения городского самоуправления. Поэтому я не сомневался, что перед ним еще многие годы жизни, что по возвращении через год (на побывку) или через три-четыре года («совсем») я его застану все таким же крепким и здоровым. Расставаясь со мной, папочка сунул мне тайно от других пачку сотенных бумаг — «радужных» — и кроме того, маленькую ладанку с мощами святого Доминика3*. Расставаясь с нашей малюткой, он еще позабавил ее теми «штучками» и «козами», которые он производил пальцами (на что он был большой искусник и чем он веселил каждого из нас, когда мы были еще младенцами в пеленках). За лето папа раза два приезжал из города к нам в Мартышкино и каждый раз с особой нежностью возился с «маленькой Атей», которая уже узнавала его, тянулась к нему ручками и производила перед ним, сидя на руках у няньки, тот род «ритуального танца», который выражал ее восторг,

наполнявший все ее крохотное существо. Папочка всегда с симпатией относился и к «большой Ате», даже тогда, когда она была еще подростком, и это чувство он не переставал выражать даже в течение тех лет, когда и он счел себя обязанным, следуя общему решению родных, проявлять в отношении нашего романа род осуждения. Теперь же моя жена, подарив ему еще одну внучку (всего этого «третьего поколения» набралось у него уже душ двадцать), необычайно выросла в его глазах, и я бесконечно жалею о том, что наше выбытие из непосредственного общения с ним не довело это его чувство до полного развития... Не перестает жалеть и моя жена о том, что

К очень скорбным утратам, которые я понес за свою жизнь, принадлежит и потеря именно этого «талисмана», случившаяся как-то в Париже в 1898 г. Я его держал во внутреннем отделении своего кошелька, и вот этот кошелек со всем его содержимым я «посеял» в почтовом бюро на бульваре Сен-Жермен. Меня это ужасно огорчило, и не потому, что я так уж верил в чудодейственную силу этой ладанки, а потому, что то была память от отца,— нечто в особый момент из его рук в мои перешедшее. При одном виде этой овальной оловянной вещицы передо мной сразу восставал образ папочки, чуть скорбное выражение его ста-реш.кого лица, его ласковые глаза, самый тембр его голоса, когда он обращался ко мне со словами «папин сын», и даже самый запах его пропитанного сигарным дымом халата.

108*IV, 11. У Тенишевых в Талашкине*

она слишком мало использовала общество и всю прекрасную мудрость своего тестя — этого чудесного, «почти святого» человека.

Уж если я без особенной скорби расставался с отцом, то естественно, что я ничего мучительного не испытывал, расставаясь с родными и друзьями. И это тем менее, что почти каждый из них обещал состоять со мной в постоянной переписке, а иные уверяли даже, что они в скором времени и сами посетят нас в Париже.

И вот «роковое утро» настало, и в И часов мы покинули родительский кров; предоставленное нам братом Леонтием ландо было завалено нашим ручным багажом, тогда как тяжелые сундуки (были и *очень* тяжелые, ибо в них ехала с нами избранная часть моих книг) были погружены на извозчичьих дрожках и поручены дворнику Акиму, который и должен был их сдать в багаж, как только я обзаведусь билетом 4*. На Варшавском вокзале собралось нас провожать немало народу; маленькая Атя на все таращила своп темные жуки-глаза с тем выражением

недоверия, которое ей было вообще свойственно, а Аннушку теребили вопросами — как она себе представляет «заграницу», город Париж, французов и немцев. На все наша симпатичная деревенщина отвечала смехом во весь свой широкий рот, выказывая .абсолютную беззаботность в отношении того, что ее ожидает в будущем.

Но вот билеты (пока только до Берлина) взяты, багаж свешен и сдан розданы бесчисленные «на-чаи», и мы уже в своем купе, которое запрудили несколько самых близких из провожающих. Пожали через окно руки тем, кто остался на перроне, я еще раз вылезаю, чтоб поцеловаться с папой, и устраиваюсь так, чтоб именно этот поцелуй был бы последним из всех полученных и отвеченных... Ровно в полдень поезд тронулся. Моя жена, счастливая, что все так складно устроилось, уже наводит порядок среди нашего бесчисленного ручного багажа; маленькая Атя на руках у своей няпи, испуская какие-то шипящие и свистящие звуки, показывает какой-то ликующий восторг от все быстрее и быстрее проносящегося мимо окон вида.

Удобно устроившись в углу, я развернул купленную мною на вокзале газету и стараюсь углубиться в чтение, чтоб отвлечь свои мысли от слишком волнующего сознания, что значительная эпоха моей жизни завершилась и что начинается ее новая глава...

-

4* В те счастливые времена никто не обзаводился заранее билетами; мест в поездах, отправляющихся за границу, было всегда достаточно. И что за просторные, удобные были те вагоны. Только вот освещение (свечой) было уж очень тусклое.

*IV, 12. По Германии*Ю9

Глава 12

ПО ГЕРМАНИИ. ГАНС БАРТЕЛЬС. БЕРЛИНСКИЕ И МЮНХЕНСКИЕ ХУДОЖНИКИ.

*OKTOBERFEST **

Вот и Эйдкунен2. Пьем снова традиционный кофе с аппетитными Brödchen ** в «готическом» вокзале (каким он представлялся тоже аппетитным, чистеньким!), водворяемся при помощи толковых, но не суетящихся (Kommt schön, seien sie ruhig***) носильщиков в купе II класса, кажущееся несколько тесноватым после огромных наших вагонов, и мы катим, страшно

быстро, но мягко, между полей Восточной Пруссии, столь опрятно обработанных и представляющих собою, после безнадежно унылых пейзажей Литвы, какое-то олицетворение плодородия и благополучия. Аннушка, однако, не выражает никакого удивления от той разительной перемены, что произошла, как только по невзрачному мостику мы перебрались через границу (я ей объяснил, что мы покинули Россию, что началась новая страна, что это Германия, что живут здесь немцы), и как будто совершенно безучастно, держа «маленькую Атю» на руках, поглядывает в окно. И вдруг лицо ее оживляется, рот расплывается в широкую улыбку и она, провожая глазами что-то мчащееся мимо, произносит фразу: «Ну и немцы! Картошку и ту копать не умеют! Нешто так копают картошку?» Эти слова нашей неграмотной деревенщины поразили меня чрезвычайно,— до того я в них почуял нечто характерно русское, что они запомнились мне на всю жизнь. Не сказался ли в них русский человек и все его отношение к чужеземцу? к немцу? Даже будучи полным невеждой, он уже с колыбели презирает все «немецкое», все «не-русское», он все лучше знает и потому учиться не желает. Устами Аннушки говорила тогда не она, а говорил целый народ— народ, не поддавшийся ни дубинке Петра I, ни муштре Аракчеева.

Остановились мы в Берлине на сей раз в Borsenhotel, и это не потому, чтобы он был особенно комфортабелен или дешев. Но здесь сказался и мой консерватизм, тяготение к чему-либо уже испытанному и хотя бы вовсе не удовлетворительному, и наша опаска перед всякими «пробами», да еще «с ребенком на руках», с риском попасть еще и на гораздо худшее. Но, кроме того, ситуация этой гостиницы была действительно исключительной. Ведь стоило перейти мост через узкий рукав Шпрее, тут же протекающей, как уже оказывался на музейной территории...

Начал я свой обход художников в Берлине в первый же день с Ганса Германа, от акварелей и гуашей которого я тогда был в восторге.

* Октябрьское празднество1 *(нем.).* ** Хлебцами *(нем.).* *** Преходите, будьте спокойны *(нем.),*

НО*IV, 12. По Германии*

Года три до того он по приглашению Альбера посетил Петербург и привез серию прелестных своих голландских этюдов, которые и были выставлены у «акварелистов». Они чрезвычайно выгодно выделились своим «европеизмом» на общем, довольно провинциальном фоне, но успех этот вызвал среди наших товарищей тревогу: многие увидали в этом допущении иностранца-конкурента опасность чисто материального порядка. Однако тогда Мария Клавдиевна ничего не приобрела под

предлогом, что она не собирает иностранцев, теперь же, согласно новому плану, я отправился на дом к Герману с тем, чтобы приобрести у него нечто такое, что мне показалось бы особенно желательным. С самим художником я уже познакомился в Петербурге, и этот простой, любезный, во-все с виду «не декоративный» человек тогда очень мне понравился. Понравился он и Сереже, когда последний побывал у него в 1895 г.

Увы! С первого же шага моя задача оказалась менее легкой, нежели я предполагал. У Германа очень много его вещей было разослано по разным выставкам в Германии и в других странах, и у него на руках ничего в данное время не оставалось для продажи. Тут как раз, среди тех картин, что висели по стенам, я увидел вещь, которую он сам почитал за одну из самых своих значительных и которая уже побывала у нас на выставке в Петербурге. Изображала она внутренность мясного рынка в Голландии и была мастерски исполнена смешанной техникой акварели и гуаши. Приобретать ее мне не хотелось из-за сюжета, а такˆ же потому, что я мечтал о вещах более скромных, но живых, непосредственных, сделанных прямо с натуры, записанных в путевые альбомы, вроде как раз того, что удалось забрать у мастера Дягилеву по ценам удивительно скромным. Получилась неловкость. Считая, что картина непродажная, я стал ее похваливать, а тут Герман возьми да сними ее со стены со словами: «Na, das können Sie schon haben» *, а цену за нее назначил такую низкую, что мне только и оставалось выразить свою; признательность.

Вообще же Герман был и очень добродушным, и очень услужливым человеком. Узнав, что я еще не бывал в Потсдаме, он взялся быть нашим гидом, и мы весь следующий день провели во дворцах Фридриха Великого, до того мне знакомых лишь по фотографиям и картинам Менцеля. Должен, однако, сознаться, что от этого первого обозрения у меня не осталось особенно яркого впечатления. Я даже был несколько разочарован, вероятно, потому, что продолжал находиться под обаянием наших Петергофа и Царского Села. Это западное, ультраутонченное рококо Кнобельсдорфа3, изощренность в малейшей детали были далеко не столь по-театральному эффектны, как то, что у нас наколдовали Растрелли и Ринальди...

Мне следовало бы в первую очередь отправиться к своему любимцу, к своему кумиру, к Адольфу Менцелю, но тут произошла моя вторая неудача. Просто, не спросясь, отправиться к великому художнику я не

* Ну. это-то Вы можете получить *(нем.)*.

отважился, а Герман не был достаточно близко знаком с «патриархом», чтоб снабдить рекомендацией к нему. Поэтому он дал мне совет побывать у Пауля Мейергейма, известного звериописца, которого связывало с Менделем давнишнее знакомство и даже, несмотря на разницу в годах, род дружбы. Заручившись поддержкой Мейергейма, я затем мог бы отправиться «zum Alten» *. Уже по рассказу Сережи (у которого *хватило* храбрости проникнуть до «самого» и которому удалось даже купить у него по сходной цене два хороших рисунка), я знал, что автор «Tafel-runde» и «Eisenwalzwerk» ** —господин неудобный и даже неприятный; он и его, Сережу, сначала едва не «спустил с лестницы». «Поддержка» была необходима. Но вот, хоть у Мейергейма я и побывал, однако и Мейергейм рекомендации к Менцелю мне не дал и только предупредил, что старик стал болезненно нелюдим, что он никого за последние месяцы не принимает и что даже он перестал посещать свой любимый Cafe Bauer (Unter den Linden), где еще недавно его можно было ежедневно застать и где в былое время он был вполне доступен. Курьезную вещь при этом рассказал Мейергейм. В кафе Менцель приходил не только для того,' чтоб закусить, но чтоб посмотреть всякие иллюстрированные журналы, причем любопытно было наблюдать со стороны, как этот тончайшего ума художник на долгие минуты углублялся в разглядывание одной и той же картинки, часто и совсем неказистой. Вероятно, он высматривал в ней то, что ему, великому знатоку быта, было интересно высмотреть **. Впрочем, весь вопрос в том, *как* смотришь; надо *уметь* смотреть, ну а все творение Менцеля доказывает, что он-то смотреть *умел*.

Сам Пауль Мейергейм был нестарый человек; он был выше среднего роста, чернобородый, с проседью. В его манере было что-то мило-благодушное и что-то нервно-настороженное, точно он чего-то когда-то испугался, и следы этого испуга остались навсегда. Занимал он вблизи Тир-гартена нарядный особняк с типичной для Германии 80-х годов обстановкой, состоявшей главным образом из старинной мебели. На стенах висели старинные картины, из которых он особенно ценил большой и роскошный натюрморт голландца Ван Бейерена. Но рядом с картинами старинных мастеров я заметил несколько маленьких картин середины XIX в.— того несколько слащавого жанра, главными представителями которого в 40-х годах были Meyer von Bremen и Eduard Meyerheim. Последний, чего я раньше не знал, был отцом Пауля, и трудно было себе представить больший контраст, как тот, что существовал между сыном — последователем Адольфа Менцеля и других реалистов, и тем

* К старику *(нем.)*.

** «Круглого стола» и «Железопрокатного завода» *(нем.)*.

** Мпе эта черта знакома. Ведь я тоже обладаю способностью не только любоваться высокими и прекраспыми произведениями искусства, но и находить характерное, для себя в данный момент ценное, а подчас даже волнующее, в самых баналъпых ремесленных произведениях. С детства я был страстным охотником до всяких «картинок», будь то «Illustrated London News», в «Graphic»'е, в «Illustration» или в наших «Всемирной иллюстрации», в «Ниве», в «Пчеле».

скромным, наивным художником, глядевшим на все через розовые очки дюссельдорфской «школы» 4. При этом мне понравилось в Пауле, с каким умилением этот рослый и элегаптный бородач, этот завсегдатай высших кругов и придворных балов 2*, отзывался о творчестве своего рара, как нежно он эти картинки любил, с каким убеждением отстаивал достоинства этой старосветской живописи.

В Мюнхене мои покупки продолжались в том же чередовании удач и неудач, но здесь в роли Ганса Германа оказался мой квази-родствен-ник Ганс фон Бартельс, сам себя называвший «кузеном всей семьи Бенуа». С ним я познакомился в Гамбурге в 1882 г. во время моего первого заграничного путешествия с родителями. Тогда Гансу было около двадцати пяти лет (мне же было двенадцать), и с тех пор я его не видел. Но Ганс за эти годы не переставал находиться в переписке как с Альбером, так и с нашим общим двоюродным братом Сашей Бенуа-Кон-ским. Наружность Бартельса за эти четырнадцать лет мало изменилась ни в чертах лица, ни в манерах, но тогда он мне показался каким-то гордым, «настороженным», несколько даже мрачным. Возможно, что действовала на него вся уж очень буржуазная семейная обстановка, в которой произошло наше знакомство; полный честолюбивых чаяний, художник просто тяготился специфической атмосферой фамильных собраний, и суждения, даже похвальные, старых тетушек и дядюшек должны были действовать ему на нервы. Теперь же во всяком случае *мюнхенский* Ганс 1896 г. был полон самого непринужденного веселья, принимавшего моментами бурио-шумливые формы; встретил он нас прямо с каким-то родственным восторгом. Мы сразу перешли на «ты», а нас и он, и его жена с первого же дня стали называть Schura, Atja. За все десять дней нашего пребывания в столице Баварии мы редкий день не завтракали и не обедали у Бартельсов. Ганс сопровождал меня по мастерским художников и по музеям, с ним

же мы совершили прелестную прогулку в Нимфенбург. И всюду Ганса встречали с распростертыми объятиями; его искренняя благожелательность в отношении всех и каждого, его fideles Wesen * сделали его тогда общим любимцем Мюнхена, начиная с членов королевского дома и кончая сторожами музеев и прислугой на большой выставке в Glasspalast'e.

Жили Бартельсы на окраине города (у самой Theresienwiese) в аппетитном особняке, похожем на виллу; весь этот квартал производил приятное, «дачное» впечатление. Женат был Ганс уже лет десять на особе не красивой, но очень симпатичной, сразу к себе располагающей. Frau Wanda была дамой полной, рыжеволосой, с широким круглым лицом. Она была образцовой хозяйкой и очень заботливой матерью.

2* На придворных балах карлик Мендель часто из-за спины великана Мейергейма высматривал то, что ему представлялось интересным набросать в свой никогда с ним не расстававшийся альбомчик. Иногда для этого он вставал на стул или на подоконник, а альбомчик клал на плечо своего приятеля. * Живой, веселый нрав *(нем.)*.

IV, 12. По Германии

Впрочем, свою *материнскую* заботливость она распространяла и на мужа, который, в свою очередь, всячески выражал ей свое обожание. Так как их семейные отношения были похожи на наши, то и это способствовало нашему быстрому сближению 3*.

Гуашами и акварелями Бартельса увлекались в те времена не мы одни, а вся Германия. Его картины (водяными красками) необычайных размеров красовались на почетных местах на выставках и в музеях. Картина: «Voll Dampf voran» *, изображающая пароход, идущий навстречу солнцу, борясь с сильным ветром и с волнами, была одной из самых популярных картин в мюнхенской «Новой пинакотеке» 5. Другая, очень нравившаяся его картина, была мне знакома по воспроизведениям; на ней была изображена голландская приморская, лежащая среди дюн деревня Катвейк; мне посчастливилось ее еще застать у Ганса в мастерской, и после маленькой борьбы с Frau Wanda я ее получил для тени-шевского собрания. При этом Ганс, из расположения ко мне, по собственному почину, уступил ее за половину цены 4*.

Бартельс сразу принял самое горячее участие, чтоб я с достоинетвом исполнил свою миссию. Он меня свел ко всяким «звездам», и он же способствовал тому, чтоб некоторые из этих звезд расстались для нашего собрания со своими произведениями. Посетили мы с ним тогда и Лен-баха в его прелестном palazzo ** «У Пропилеев», и старика Вильгельма Дитца, от действительно очаровательного искусства которого я был в восторге, и прославившегося в те дни на весь мир Франца Штука, и другого, «все еще знаменитого» мастера — Деффрегера, и многих других художников. И всюду, благодаря Гансу, я был принят с отменной любезностью (единственно, кто меня отшатнул своей угрюмостью,— был Деффрегер), но, к сожалению, не всюду я оказался в состоянии что-либо приобрести. Ленбах уверял, что все, что у него было «продажного» (verkäufl·lch), похитил у него dieser russische Jüngling, der mich im vor-igen Jahre besuchte *** (то был Сережа Дягилев), а не менее мужиковатый, нежели Деффрегер, В. Дитц, дымя сигарой, запросил такие суммы

s* С тех пор наша дружба не прекращалась, хотя случаев встречаться не выдавалось. Лишь в 1906 г. нам суждено было снова побыть несколько дпей вместе В Бретани, но до того мы писали друг другу письма и обменивались произведениями. На подарки Ганс был вообще очень щедр, что отчасти объясняется ■

той удивительной легкостью, с которой ему давалась живопись. И у меня, и **у** Альбера, и у Сережи Дягилева, посетившего Мюнхен за год до того, и особенно **у** Саши Конского было по целому ряду этюдов и картин Бартельса; и их было даже так много, что я в свою очередь расставался с некоторыми из них без особого сожаления, дарил или продавал эти подарки... Однако наше общее увлечение Бартельсом оказалось недолговечным. Его искусство, при всей его виртуозности, было каким-то бессодержательным и быстро приедалось. В этом он и **сам** отдавал себе отчет и даже *каялся* в этом. * «Полный вперед» *(нем.)*.

4* Эту картину приобрел на распродаже в Петербурге в **1903 г.** тенишевского собра-пия художник В. В. Матэ.

** Дворце *(итал.)*.

** Этот русский **юноша, который меня посетил в прошлом году *(нем.)*.**

за самые пустяшные рисуночки, что меня обуял ужас, и я поспешил выбраться из его прокуренной табаком мастерской. Блиставший аполлони-ческим блеском, точно озаренный ореолом славы, красавец, пожиратель женских сердец Штук вышел по-театральному одетый в бархат, держа в левой руке гигантскую палитру, с которой *текли* необычайно яркие колеры на роскошный мозаичный пол его новехонькой виллы. Он стал без устали выкатывать мольберты с поставленными на них картинами и картинищами (я тогда увидел, между прочим, еще один вариант его знаменитой «Sünde»*), но когда я попытался у него выклянчить хоть один какой-либо рисуночек для нашего будущего музея, то он только сверкнул своими очами навыкате, гордо откинулся назад и промолвил: «So was habe ich überhaupt nicht»**. Очевидно он забыл, с чего он десять лет до того начал, когда сотрудничал в юмористическом журнале «Flie-gende Blatter», где стали появляться его блестяще нарисованные эмблемы и аллегории. Теперь Штук считал себя за мирового гения, и как ему было не считать себя за такового, когда не только в Германии, но повсюду, где появлялись его картины, они встречали такой успех, какой не выдавался ни одному немецкому художнику с самых дней... Ма-карта 6.

Жили мы в Мюнхене, благодаря рекомендации все того же благодетеля Ганса, в прелестном, уютнейшем пансионе, на площади, где стоит обелиск. У нас были две комнаты — одна для нас, другая для нашей дочки и ее няни. В наши же комнаты нам подавали в полдень вкусные и сытные обеды, а в 7 часов —

ужины, но в большинстве случаев мы пользовались гостеприимством Бартельсов. Одно только портило удовольствие — маленькая Атя (за которой теперь окончательно укрепилось прозвище, данное ей первой ее нянькой — «Потаташка») захворала желудком. Но врач Бартельсов Herr Doktor Zeschwitz живо справился с недугом.

Наше пребывание в Мюнхене завершилось осенней ярмаркой на The-resienwiese — традиционным и самым популярным праздником всей Баварии. Das Õktoberfest было мне знакомо по картинке в «Münchener Bilderbogen», но, хоть и весьма занятно художник представил там это гульбище, однако действительность во много раз превзошла изображение. В обществе Ганса и его детей мы провели на Лугу Терезии целый день и за эти часы ни минуты не оставались без сменяющихся развлечений, без того, чтоб не наслаждаться то зрелищем диких пленников зверинца, то фокусами акробатов, то изучая диковинки «кабинета восковых фигур» и т. д. Все это было, как повсюду на ярмарочных сборищах, но общее веселье, благодаря распивавшемуся в баснословном количестве пиву и известному благодушию баварцев, было особенного размаха. Отовсюду слышались песни, и смех, и звон чокающихся кружек... Ганс наслаждался, как ребенок, хотя тут же извинялся за то, что все это так

«Грех» *(нем.)*.

Ничего подобного, у меня вообще нет *(нем.)*.

IV, 13. Мы в Париже ц§

провинциально, so fürchtbarpiessbürgerlich *. Не обошлось и без неизбеж~ ного в Мюнхене дождя, который на миг приобрел характер ливня, вся публика, и мы в том числе, попрятались, где кто мог,— по театрам, под навесами импровизированных Biergarten'oe ** и т. д., но затем из-за черного колосса «Баварии» снова выглянуло спускавшееся к закату солнце, зонтики позакрывались, и только ноги продолжали месить грязь и попадать в лужи.

* * *

По дороге в Париж мы остановились, чтоб передохнуть, в Страсбурге, что дало нам случай еще раз обозреть все, что нас так пленило в этом чудесном городе, а затем мы перевалили через границу, и поезд нас помчал по Франции. Это было мое первое знакомство с родиной моих предков, и должен сказать, что оно носило скорее меланхолический оттенок. На десятки километров местность по обе стороны полотна и почти до самого Парижа

была затоплена разлившимися реками. Стоя у открытого окна, я с упоением вдыхал воздух милой Франции, и почему-то мне при этом вспоминался сентиментальный романс на слова Марии Стюарт7, петый кузиной Ольгой Константиновной: «Aa-adieu, oh belle France, aa-adieu mon doux pays!..»*** Я до того был растроган видом деревушек, церковок, серебристыми красками пейзажа, показавшимися мне совершенно особенными, что несколько раз слезы подступали к горлу, и я делал усилия, чтоб не расплакаться. Не менее меня была растрогана и Атя...

Глава 13 МЫ В ПАРИЖЕ

К часам пяти мы доехали. И вот мы уже в страшном и прельстительном Париже! О сколько памятен мне этот вечер 20 октября 1896 г., я бы сказал,— один из «роковых» дней из всех в моей жизни! Я ведь оказался в городе, который меня с самых детских лет (еще тогда, когда мне читали повести мадам де Сегюр) непреодолимо притягивал и притяжение которого с годами все усиливалось. Мне казалось, что еще и не побывав в нем, я изучил его досконально. Такие названия, как Лувр, Нотр-Дам, Клюни, Сен-Жермен л'Оксеруа * и т. д. были мне столь же близки, как Зимний дворец, Исаакий, Эрмитаж, Никола Морской. Да и в дальнейшей моей жизни я столько лет прожил в этом городе, что с полным основанием могу считать его *своим* — наравне с Петербургом.

Такая страшная обывательщина *(нем,).*

Пивных с садом *(нем.).*

«Прощай, о прекрасная Франция, прощай, мой милый край!..» *(франц.),*

Какие я в нем испытал наслаждения, какие «пожал я в нем лавры»! И в этом же городе я теперь (1951), полный тревог и недоумений, доживаю свой долгий век.

Не могу сказать, чтобы первое впечатление от Парижа было благоприятным. Самый подъезд к нему показался мне и мрачным и унылым, лишенным какой-либо характерности. Совсем не авантажной показалась мне, после роскошных вокзалов в Франкфурте, в Кельне, ставшая уже старомодной, темная и неопрятная Гар-де л'Эст *. А какая на ее перронах царила бестолковая сутолока, отнюдь не похожая на культурный налаженный порядок какого-либо Фридрихсбанхоф'а. У меня было записано несколько адресов отелей, но, выйдя из вагона, мы

еще не решили, в который нам отправиться. И тут как раз подлетел к нам очень прыткий молодой человек в блузе и в фуражке, и не успел я опомниться, как он уже схватил наши ручные багажи и, властно приказав следовать за ним, пустился бежать к выходу, ловко перерезая толпу и лишь изредка оборачиваясь и кивая нам головой с таким видом, точно у нас уже с ним все условлено. Только выбравшись на улицу, он обнаружил свои намерения: «Je vais vous conduire dans un bon hotel»**, и, не дождавшись нашего согласия, он помчался дальше, лавируя между подъезжавшими со всех сторон к вокзалу фиакрами. Мы еле за ним поспевали (Аннушка с ребенком на руках), и всякие жуткие мысли уже стали лезть в голову (у Парижа тогда была отвратительная репутация, считалось, что в нем грабят среди бела дня, что он кишмя-кишит жуликами и апашами). Я стал уже поглядывать, не видать ли где полицейского, когда наш вожатый со словами: «suivez-moi, c'est ici» ***, нырнул в какой-то подъезд, и мы оказались в темной, очень невзрачной приемной, однако все же не похожей на разбойничью берлогу. Носила эта гостиница громкое название «Grand Hotel d'Europe» ****. Дама за конторкой со сладчайшей улыбкой спросила, сколько нам нужно комнат, и она же убедила меня, что я могу доверить багажные квитанции и ключи от сундуков (для таможни) носильщику. И действительно, через полчаса он на ручной тачке привез наши пять тяжелейших чемоданов и один ящик с книгами, благополучно проведя все это без вскрытия через таможню! Но, ах, как нам не понравились те две тесные комнатушки, которые были нам отведены, или, точнее, куда мы были уведены, взобравшись по узкой крутящейся лестнице в шестой этаж. До чего после просторных, хорошо вентилирован-: ных, приятно меблированных номеров в Берлине, в Мюнхене показались нам *мизерными* эти конуры с их неаппетитными альковами темно-красного репса и с затоптанными, драными коврами, с их убогой мебелью времен Луи Филиппа.

Однако хуже всего было то, что я все более и более начинал чувствовать свое горло, что меня мутило, что разболелась голова. Теперь уже

* Восточный вокзал *(франц.)*. ** Я вас проведу в хороший отель *(франц.)*. ** Следуйте за мной, это здесь *(франц.)*. «Большой европейский отель» *(франц.)*.

не было сомнений,— я заболевал ангиной (в те годы я был подвержен

ей), а между тем я не мог помышлять о том, чтобы лечь и me faire

soigner*. «Маленькая Атя» на руках у перепуганной и совершенно обал

девшей Аннушки вопила во всю мочь, «большая Атя» требовала, чтобы я

немедленно достал откуда-нибудь стерилизованного молока, о котором, ра

зумеется, в «Grand Hotel d'Europe» и не слыхали. За ним мне и при

шлось сразу пуститься в розыски.■

И тут меня, провинциала, ожидало новое разочарование. Я был уверен, что сразу в аптеке его найду. Как раз тогда начинали входить в моду художественные афиши, и у меня в Петербурге была прекрасная афиша Стейнлена, изображавшая девочку в красном платье, которая на зависть двум кошкам попивает из чашки молоко. Эта афиша рекламировала le Lait sterilise de la Firme de Vingeanne **. Запомнив это название, я был уверен, что в первой же аптеке мне это молоко и дадут... Не тут-то было. Я обежал все кварталы вокруг площади Гар де л'Эст, спрашивая в трех, четырех, пяти аптеках le Lait de Vingeanne, однако о таком молоке ничего даже не слыхали, и лишь в шестой более любезный фармацевт посоветовал мне просто стерилизовать обыкновенное молоко домашним способом. Делать было нечего, молоко специально прокипятили на спиртовке, и накормленная малютка была уложена. Тогда пришлось уложить и меня, так как я еле говорил от боли в горле, и у меня обнаружился жар. С шеей, обмотанной компрессами, приняв несколько облаток хинина, я лежал с тоской в полузабытье, поглядывая, как Атя и Аннушка выкладывают наиболее необходимые вещи из мешков и ручных чемоданов. Я был близок к отчаянию, и в воображении начинал зреть план, как бы поскорее выбраться не только из этой гостиницы, но и из Парижа вообще... Не понравились мне, пока я бегал за молоком, и улицы Парижа, их неистовый гомон, который продолжал достигать моего уха и теперь, несмотря на закрытые окна и ставни. В полубредовом состоянии мне казалось, что я опять пересекаю их, рискуя быть раздавленным громыхающими фурами и тяжело ступающими колоссальными першеронами... И почему здесь так бестолково во всех направлениях несутся и наемные и господские экипажи вперемешку с омнибусами? Омерзительными мне показались и разные специальные шумы, гиканья и подобные выстрелам щелканья бичей ломовиков, перебранка кучеров, выкрики газетчиков.

О да, этот вечер, проведенный в неприветливом «Grand Hotel d'Euro-pe», лежа под двумя одеялами и пледами, не принадлежит к отрадным моим воспоминаниям... Но о чудо, на следующее утро

и следа ангины не осталось, а при виде солнечных лучей исчезли и кошмарные тревоги. Напившись (скверного) кофе, я сразу помчался на поиски подходящего пристанища, окрыленный уверенностью, что не только я его очень скоро найду, но что и вообще все здесь в Париже устроится к лучшему. Пер-

Попросить, чтобы за мной поухаживали *(франц.)*.

Стерилизованное молоко фирмы Венжанн *(франц.)*.

*

вой областью моего исследования был Латинский квартал, но, обойдя все улицы вокруг Клюни и Одеона, я ничего другого, кроме тех же грязных стен, дырявых ковров, мрачных репсовых альковов и вони от нужников и кухонь, не нашел... И тут я вспомнил об адресе, данном мне какой-то дамой в поезде. Дама и мне и Ате показалась симпатичной, и я решился довериться ее рекомендации. Взяв фиакр, я и поехал на другой конец города — на рю Вано № 31. И до чего же я был счастлив, когда там нашлось нечто вполне подходящее! И чистота, и свет, и уют, и любезность. Хозяйка этой Pension de Famille Vecque * была та самая дама, с которой мы познакомились, и она оказалась до некоторой степени нашей соотечественницей, ибо она была финкой замужем за французом. По всем ее манерам было видно, что она хорошо воспитана, а лицо ее дышало честностью и приветливостью. Задержав две большие комнаты, я на радостях пешком через весь город вернулся к своим. И уже тут Париж, слегка подернутый белесоватым туманом, показался не только колоссальным, но и прекрасным. Особенно меня поразили аристократические особняки в фобур ** Сен-Жермен (наша рю Вано выходила как раз в самое сердце этого предместья) и грандиозная масса Лувра. Оценил я и нарядность авеню де л'Опера и оживленность бульваров.

В лице самого мосье Века, французского супруга финской дамы, мы нашли настоящего благодетеля. Он сам взялся быть нашим руководителем как в деле приискания постоянного жилища, так и в деле его меблирования. Этот милый человек просто разрывался, чтобы быть нам полезным. Он помог составить список всего необходимого в хозяйстве, он же сопровождал нас по всем отделениям Бон-Марше 2 и по базарам* проверяя каждую вещь, бракуя негодные и из нескольких выбирая ту, которая ему казалась лучшей. Особенно много старания мосье Век приложил к нашим кроватям. Что же касается до прочей меблировки, то она состояла из самого необходимого, из простейших, но весьма удобных предметов белого дерева.

Сначала я собирался эти чистые светлые поверхности размалевать, но затем отказался от подобной (тогда модной) безвкусицы. Наконец, стены нашей квартиры украсились на первых порах афишами; на самых почетных местах были приколоты как раз стенле-новская «Lait de Vingeanne» и чудесная афиша другого нашего любимца,— Тулуз-Лотрека «Le Divan Japonais» ***.

Квартир мы пересмотрели с мосье Веком очень много, благо в то время почти у каждой двери каждого дома болталась панкарта, объявлявшая, что имеется «Un appartement orné de glaces à louer» ****. Сколько мы проделали лестниц, взбираясь на четвертые, пятые и шестые этажи (лифты встречались лишь в очень роскошных, нам не доступных домах). И, наконец, нашли нечто вполне подходящее в пятом этаже номера 15 по

* Семейного пансиона Век *{франц.)*. ** От faubourg *(франц.)*— предместье. ** «Диван жапоне» *(франц.)*. *** Сдается квартира, убранная **зеркалами *(франц.)*.**

*IV, 13. Мы в Париже*цд

улице Казимир Перье с окнами, выходящими на громаду церкви Сент-Клотильд, что уже было мне по вкусу. Я бы предпочел, разумеется, чтобы вместо этой «фальшивой готики» мы бы ежедневно могли любоваться настоящей, чтобы перед глазами у нас не торчали точно из жести или из дерева вырезанные убийственно сухие пинакли, оживы, аркбутаны 3, а была бы сочная каменная флора, что восхищала нас в подлинных памятниках средневековой архитектуры. Но и то уже было хорошо, что перед нами высится храм божий, который к тому же при разных освещениях, а особенно вечером или ночью при луне, приобретал всю желанную романтику. Самая же квартира если и не отличалась высотой потолков, то была очень хозяйственной, четыре большие комнаты были удобно расположены, стены изобиловали плакарами *, не надо было покупать лишних шкафов и комодов. Правда, не было ванной (даже и в более нарядных квартирах тогда такая роскошь еще не полагалась), но это нас мало заботило, ибо в двух шагах находился un établissement de bains **, вполне рекомендованный тем же Веком.

Через две недели мы водворились к себе, и тут мы, успокоившись, почувствовали себя *совершенно* счастливыми. Жить в Париже, да еще в приятных домашних условиях,— это ли не было осуществлением всех наших самых, казалось бы, недостижимых мечтаний? Впечатлению того, что мы не на чужбине, а у себя дома, способствовало еще то, что нашими чуть ли не каждодневными гостями с первых же дней поселения были два моих сердечных друга: Левушка Бакст и Женяка Лансере.

Первый продолжал биться в когтях своей сирены (мадемуазель Жоссе), а второго поселил у себя его друг, художник-американец Humphrey Field, славный парень, более походивший на русского студента, нежели на чистокровного янки. Женя и Фильд снимали большое чердачное помещение на рю де Сен,— на той самой улице, которая сразу стала меня манить обилием художественных, антикварных и особенно эстампных бутик ***. В самом том доме (номер 12), где жили мой племянник и его приятель, помещался большой эстампный магазин В. Пруте, ставший впоследствии главным источником, из которого пополнялись как моя коллекция старинных рисунков и гравюр, так и коллекции моих друзей.

Благодаря тому же Жене Лансере круг наших знакомых с первых же месяцев пребывания в Париже распространился еще на одну русскую семью. То была госпожа Голынтейн, ее муж — доктор, ее сын от первого брака господин Вебер и ее дочь смуглянка Наташа, за которой наш Женя слегка приударял. А. В. Голынтейн — маленькая, толстенькая, уже пожилая дама с весьма заметным зобом, пользовалась большой популярностью в русской колонии, а ее «салон» с полным основанием мог претендовать на значение художественного и литературного центра. При этом надо отдать справедливость милейшей, уютнейшей Александре Васильевне, что при всей ее образованности (она кое-что зарабатывала переводами

* От placard *(франц.)* —стенными шкафами. ** Банное заведение *(франц.)*. *** От boutique *(франц.}* — лавок»

и литературным редактированием), она не представляла собой ненавистный тип синего чулка или педанта; она была полна непосредственности, непринужденности и веселья. В ее обществе все как-то сразу начинали себя чувствовать «как дома». С тактом, не подавая вида, она руководила общей беседой и мастерски «спасала положение», когда какая-либо скользкая тема грозила возбудить недобрые чувства в собеседнике. Скользких же тем в русской колонии было и тогда немало, тем более в таком эмигрантском салоне, на знамени которого значилось абсолютное свободомыслие.

Грешили и мы тогда (особенно Женяка) в этом смысле. О русском правительстве иначе, как в самом ироническом тоне не принято было говорить, а к личности государя уже установилось отношение, в котором известная жалость сплеталась с абсолютным недоверием в политическом отношении !*.

Как тут не вспомнить о катастрофе, происшедшей во время

празднования коронации. Подробности о ней с осведомленностью «почти очевидца» привез нам в Мартышкино Валечка Нувель, которому довелось в качестве чиновника министерства двора провести все дни торжеств в Москве. В этой катастрофе все увидали тогда же роковое знамение, ничего доброго в будущем не сулившее. В Париже же само собой напрашивалось сравнение и личностей императорской четы и будущей их судьбы с личностями и судьбой Людовика XVI и Марии Антуанетты. Как раз тогда только что закончились празднества, устроенные по случаю приезда Николая II и императрицы Александры Федоровны во Францию. Между прочим, за такое же зловещее предзнаменование, как Ходынка, было сочтено то, что французская церемониальная часть во время посещения царя и царицы Версаля ничего не нашла лучшего, как отвести для их отдыха бывшую опочивальню казненного короля и повесить над lit de repos *, предназначенном для императрицы, большой портрет Марии Антуанетты, писанный госпожой Виже Лебрен 2*.

Всего недели три после нашего водворения в Париж, произошла наша первая экскурсия в Версаль. В Петербурге мне казалось, что и Версаль

4* Это недоверие зародилосъ с первых же месяцев царствования Николая II. В своем месте я забыл рассказать, как даже в Петербурге и даже в нашей, в общем самой «лояльпой» семье, был оценен прием, оказапный земствам государем. Знаменитая речь, прочитанная им по «шпаргалке», неумело спрятанной на допыш-ке фуражки, и особенно «выкрикнутые» слова «безумные мечтания» 4 как бы дали тон всему царствованию и сразу определили и отношение «широкой общественности» к новому царю. Об этой речи мы узнали тогда сразу, ибо прямо из дворца к нам приехал Сергей Олив и рассказал нам в очень возбужденном тоне все, как было. Почти тождественную версию и в том же освещении я через день или два услышал из уст Родичева. Помнится, что печто неодобрительное позволил себе тогда высказать даже папочка, у которого, однако, отношение к личности государя все еще было исполнено духа царствования Николая I. * Ложем *(франц.)*.

*г** Превосходное гобеленовое воспроизведение с этого портрета было затем поднесено в дар французским правительством государю, и этот тканый портрет повешен в любимой их резиденции — в Александровском дворце Царского Села.

*IV, 14. Тенишевы в Париже*¾21

я отлично знаю и, отправляясь туда, я был уверен, что ничего совершенно для себя неожиданного я там не найду. Однако и тут

вышло совсем иначе. Именно *таким,* каким Версаль предстал тогда, я никак не думал его увидать. Я не думал, что он до того грандиозен и в то же время исполнен какой-то чудесной меланхолии... Что-то даже грозное и трагическое почудилось мне как в самом дворце, так и в садах в тот мрачный ноябрьский вечер... Особенно меня поразили черные конусы и кубы стриженных туй и зеркальность бассейнов, отражающих серые, нависшие тучи и темные, гладкие бронзовые божества, что покоятся на беломраморных окаймлениях этих зеркал.

То не был Версаль веселых празднеств Короля-Солнца и то не была прекрасная и парадная декорация для тех романтических авантюр, которые здесь разыгрывались. Почему-то я сразу перенесся в последние годы царствования Людовика XIV. Я чуть не расплакался, когда под самый конец этого нашего первого посещения Версаля лучи заходящего солнца на минуту прорвали густую пелену туч и оранжевым пламенем засияли бесчисленные окна дворца. И почему-то именно этот момент показался мне тогда чем-то удивительно знакомым, точно я это самое уже когда-то видал и «пережил». Подобные же ощущения я испытывал и в Петергофе, и в Царском, и в Ораниенбауме, но здесь, в Версале, они приобрели небывалую, почти до физического страдания дошедшую остроту.

Не мудрено поэтому, если я затем на годы «зарядился» версальскими настроениями и тогда же затеял картину, изображавшую прогулку старца-короля по построенным им волшебным садам. Особенно усердно принялся я за разработку такой серии «Последних прогулок короля» в следующую осень (1897 г.), и именно этой серии я обязан своим первым решительным успехом как в России, так и во Франции.

Глава 14 ТЕНИШЕВЫ В ПАРИЖЕ

Очень скоро после нашего поселения я принялся за исполнение своих «служебных обязанностей» — в качестве... ну, скажем, «составителя и хранителя собрания княгини М. К. Тенишевой». На первых порах эти обязанности ограничивались весьма малым. Самое собрание оставалось в Петербурге, а здесь, в Париже (и вообще за границей), я должен был лишь пополнять его по раз установленному сообща с княгиней плану. Впрочем, Мария Клавдиевна, не доверяя моей неопытности, пожелала, чтобы, оказавшись в Париже, я сразу вошел в сношения с ее обычным поставщиком художественных редкостей господином Пикаром, брат которого обладал довольно известной

антикварной лавкой на улице Лафитт, но который сам промышлял, как говорится ныне, en chambre *. В те вре-

Тайно, келейно *(франц.),*

мена таких «тайных комнатных» (не записанных в торговые книги) антикваров было не так много, как теперь, и я не сразу понял, что это своего рода *профессия.* В своей простоте я вообразил, что этот рекомендованный мне господин просто «хороший знакомый» княгини и что он из одной любезности старается выискивать ей интересные вещи. Однако, познакомившись с этими купленными через него вещицами, выставленными в витрине в гостиной тенишевского особняка, я, при всей своей неопытности, увидал, что многие среди них представляли собой весьма сомнительную ценность, и это заставило меня увидеть в Пикаре не того абсолютного знатока-эксперта, каким его считали обе княгини, а ловкача, эксплуатирующего их доверчивость,

Ни обепх княгинь, ни князя в момент нашего приезда в Париж еще не было, а «штат» в особняке на rue Bassano (№ 52) был представлен всего только четой консьержей да английским кучером с двумя конюхами, томившимися в безделии. Дом заполнился и оживился лишь в декабре, после того как хозяева наконец пожаловали «для сезона». Тут мы с женой и стали весьма часто пользоваться гостеприимством Тенишевых. Оно было совершенно российского характера, иначе говоря, весьма широкое. Не менее трех раз в неделю надо было являться то на завтрак, то на обед, и если Анне Карловне под разными предлогами иногда и удавалось отказаться, то мне это было труднее и à la longue * такое «исполнение служебных обязанностей» становилось подчас и тягостным. Забегая вперед, скажу, что именно в этих слишком частых встречах лежит одна из причин постепенного нашего охлаждения друг к другу. Изредка, впрочем, угощения обедами (или завтраками) происходили не на дому у Тенишевых, а в одном из знаменитых тогдашних ресторанов,— либо у «Voisin» на улице Сен-Оноре, насупротив церкви Assumption**, либо в старинной, но только что заново отделанной «Maison Dorée» *** на углу улицы Лафитт и бульваров '*. Особенно ценил князь Тенишев первый из этих ресторанов.

Два слова теперь о князе *; с ним я уже был знаком в Петербурге, но до нашей встречи в Париже я едва обменялся с ним несколькими фразами, что, кстати сказать, показывает, до чего оп был далек от всего того, что интересовало его жену... Ничего «княжеского» ни в наружности, ни в манерах, ни во вкусах у Вячеслава Николаевича не было. Широкое «квадратное» лицо с

негустой белокурой бородой было самое иро-

* Пол конец *(франц.)*.

** Успенье богоматери *(франц.)*.

'** «Золотой дом» *(франц.)*.

'* Новая отделка этого дома коснулась не только внутреннего помещения, но и фасадов. Тогда на втором этаже (au dessus de I'entresol) между окнами появились мозаичные панно, изображавшие ресторанные сценки по картонам Форена. Эти украшения продержались не более десяти лет. Весь же дом с его архитектурными украшениями, типичными для эпохи Людовика Филиппа, стоит и попыне, однако в нижнем этаже помещается уже не ресторан, а почтовое отделение. Укажу еще на то, что и дом рядом с этим на улице Лафитт сохранил свою характерную (и очень милую) архитектуру романтической эпохи.

*IV, 14. Тенишевы в Париже*ˆ23

стецкое, «мужицкое» (<¢il a Fair d'uü moujik russe» *, находили французы), да и широкоплечая, приземистая фигура скорее подходила для какого-либо торговца из Апраксина рынка, нежели для особы, украшенной титулом. Впрочем, будучи вполне достоверным князем, он все же не принадлежал к высшему обществу и тем менее к придворному кругу. Это был характерно русский self-made-man **, собственным умом и смекалкой составивший себе огромное состояние и продолжавший его с успехом увеличивать посредством всяких деловых операций и индустриальных предприятий. Между прочим, он один из первых поверил в будущность автомобиля и даже в расчете на эту будущность затратил немалые суммы на создание в Петербурге первого завода по постройке «самодвижущихся» машин (пока, впрочем, Тенишевы держали превосходных лошадей, а тенишевские «выезды» принадлежали к самым элегантным). В Париже в этом году князь «отдыхал», состоя членом парижского высокополетного и модного клуба «des Epataüts» ***, где он и проводил почти все вечера за карточной игрой. К своей жене, к ее знакомым он относился благодушно (вообще в нем была эта черта, столь типичная для русского человека, благодушия, не то искреннего, не то напускного), но и не без легкой иронии, как подобает человеку, занятому серьезным делом, относиться к людям, занятым таким вздором, как искусство. Ко мне он был очень ласков, что выражалось, между прочим, в усиленном потчевании меня шампанским. Раз пять в течение обеда или завтрака он делал знак лакею, чтобы тот подливал мне шипучего нектара, а когда я протестовал, то князь неизменно произносил одну и ту же фразу: «Пейте вино! Вино хорошее!» И действительно, оно было чудесное, как, впрочем, и все, что

подавалось за княжеским столом.

Что мне не удалось в какой-либо степени «просветить» Вячеслава Николаевича,— не мудрено. Он, пятидесятилетний человек, должен был смотреть на меня, ничем еще не прославившегося, как на мальчишку (хотя у «мальчишки» была густая черная борода), а на мое появление в его доме, как на одну из прихотей своей супруги, над взбалмошностью которой он любил подтрунивать. Но не успел «просветить» князя и сам Леон Бонна 2, особняк которого стоял тут же за углом на улице Бассано (ныне в нем помещается фотография) и который писал в то время поколенный портрет князя. О Бонна Тенишев, однако, отзывался с почтением,— несомненно, ему импонировал тот факт, что Бонна «собственным трудом», как и он, Тенишев, добился славы и фортуны. Фотографичный же характер портретов Бонна не мог шокировать Тени-шева,— напротив, он отвечал его «идеалу», если только можно говорить об идеале по поводу всего мировосприятия такого абсолютного и убежденного «реалиста», каким был Тенишев. Вот кому не было никакого дела до чего-либо мистического, таинственного, невыразимого. То, что

Он похож на русского мужика *(франц.)*.

Человек, сам всего добившийся *(англ.)*.

Шикарных, ошеломляющих *(франц.)*,

не поддается простейшему «научному» объяснению, что не отвечает практической полезности, отбрасывалось Тенишевым, как нечто лишнее и даже вредное. Можно себе поэтому представить, какая духовная пропасть разделяла его от жены, которая, хоть и бестолково, однако всегда «духовно чего-то алкала» и «к чему-то высокому тянулась». Не мудрено также, что между супругами происходили частые столкновения, и они стали учащаться по мере того, что Тенишев, женившийся по безумной страсти, стал к Марии Клавдиевне охладевать, что опять-таки совершенно понятно уже потому, что всем домогательствам влюбленного человека она противопоставляла не только холодность, но и едва скрываемое отвращение. Об этом непреодолимом отвращении она не стеснялась говорить с нами и даже напирала на это. быть может, не без тайной мысли, что тем самым она доставляет утешение своей подруге Киту Четвертинской. Один из самых захватывающих моментов моей деятельности по части пополнения собрания княгини Тенишевой настал, когда в феврале 1897 г. произошла в Париже распродажа наследия братьев Гонкуров 3. Это был действительно «un évènement bien parisien» *. Я помнил, как Д. В. Григорович в своих

рассказах о Париже любил распространяться о тех миллионных богатствах, что сосредоточивались на день, на два в Отеле Друо с тем, чтобы затем разбрестись по «кабинетам» коллекционеров и по музеям всего света. Побывав несколько раз в этом святилище Меркурия, я мог удостовериться, что эти рассказы Дмитрия Васильевича не противоречили истине в угоду его краснобайству. И вот в дни гонкуровского аукциона знаменитое учреждение как-то совсем преобразилось. Оно потеряло свой грубо меркантильный характер, родственный нашим «толкучкам» в Александровском рынке, и приняло какой-то праздничный и даже элегантный вид. Под ожидавшуюся всеми распродажу были отданы два зала, причем была снята разделявшая их перегородка, на кафедре же аукционного commissaire priseur'a ** восседала с особой чисто монденной торжественностью одна из популярных парижских фигур (une figure bien parisienae) — красавец-бородач Maître Duchesne. И до чего же остроглазые его помощники виртуозно «подхватывали» (attrappaient au vol) предлагаемые цены и зорко следили за всякими еле заметными кивками и иными условными знаками обычных покупателей. Во время хода торгов мэтр Дюшен имел какой-то вдохновенный вид, который уже сам по себе электризировал собравшуюся публику! Еще задолго до начала каждой сессии (а их было чуть ли ие шесть) зала наполнялась до отказа, но, кроме обычных посетителей аукционов, на сей раз большинство публики составляли персоны, которых привычным было встречать на самых элегантных вернисажах, на скаковых ристалищах и которые точно по какому-то приказу в известные дни собирались больше для того, чтобы себя показать, нежели для того, чтобы чем-то полюбоваться. Заранее было известно, что распродажа будет

Чисто парижское событие *(франц.)*.

Оценщика *(франц.)*.

IV, 14. Тенишевы в Париже^25

сенсационной и что цены достигнут баснословной высоты. Те же расфуфыренные дамы и те же господа, точно сошедшие с модных картинок, которые собирались в течение нескольких дней до аукциона на «партикулярных» выставках, теперь пожаловали в таком количестве, что становилось страшно, как бы кого не задавили. Высоко же над всем этим надушенным «мондом» восседали, взобравшись на что попало — на скамьи, на подоконники, на шкафы, менее декоративные фигуры — всякие «подонки» (bas-fonds): апаши, ночлежники, пришедшие поглядеть, как ненавистные «кровопийцы»-плутократы и разжиревшие «буржуи» станут швырять деньгами на удовлетворение своих прихотей.

Захотелось и княгиням помериться на этом состязании богатых людей, показать, что и в России еще имеются de vrais boyards *, однако в последний момент князь Вячеслав Николаевич, прослышав у себя в клубе, что цены будут вздутые, что под всем этим будет твориться «форменный ажиотаж», князь, сначала было милостиво предоставивший супруге весьма крупную сумму, внезапно затем затянул шнуры своего кошелька и объявил, что он ассигнует не более 10 000 франков. Что можно было на такие «гроши» получить на такой распродаже? А тут еще Мария Клавдиевна возымела намерение не целиком эту сумму употребить, как я того желал, на приобретение рисунков для нашего собрания, а значительную часть ее истратить на разные витринные безделушки и на фарфор. На «мою» же долю оставалось всего около четырех или пяти тысяч!

Тем не менее, я наметил себе к приобретению несколько рисунков., более скромного порядка и среди них я рассчитывал, что мне тысячи за полторы достанется особенно мной облюбованная необычайно «сочная» сангина Шардена «L'homme à la boule» **. Не тут-то было! Явившись на аукцион задолго до открытия торгов, я отвоевал себе «сидячее» место в первых рядах и, дрожа от волнения, готовился вступить в бой, опасаясь только одного, как бы от смущения мне не прозевать очереди, когда нужно будет сцепиться очами с «крикунами». Но приготовления эти оказались тщетными. Все, что я себе наметил, превзошло, в смысле цены, мои самые высокие предположения, и я отсидел все дни распродажи (15—17 апреля 1897 г.) без того, чтобы мне удалось приобрести что-либо, кроме одной акварели Гаварни —«Thomas Virelocque», пошедшей сравнительно дешево. Погнался я и за Шарденом, но, дойдя до двух тысяч франков, отстал, рисунок же пошел за две тысячи двести и был приобретен Лувром. Особенное же возбуждение в публике проявилось из-за цен нескольких (дивных!) рисунков головок Ватто, гуашей Бодуена «L'épouse indiscrete» *** и рисунков большого формата Моро-младшего «Revue dans la plaine de Sablons» ****. Бодуен «сделал» 25 000, Моро

Настоящие бояре *(франц.)*.

Человек с шаром *(франц.)*.

«Нескромная супруга» *(франц.)*.

** «Смотр войскам на Саблонской равнине» *(франц.),*

29 000! Б обоих последних случаях присутствующие апаши стали улюлюкать, ухать и галдеть довольно угрожающим образом. Такие цены за какие-то «лоскутки бумаги» были тогда

делом непривычным. Да, впрочем, если бы перевести эти суммы на нынешнюю стоимость денег, то они и сейчас показались бы рекордными!

Глава 15 АККЛИМАТИЗАЦИЯ. ПАРИЖСКИЙ УГАР

Но, рассказывая об аукционе Гонкур, я снова забежал вперед. Теперь надлежит вернуться к первым месяцам нашего пребывания в Париже и рассказать о том, как мы *акклиматизировались*. Впрочем, лишь первые недели мы чувствовали некоторую растерянность. И как было не растеряться, попав в этот омут, в этот «новый Вавилон», превосходивший в своей экзальтированной деятельности, в своей шумливости, а также в смысле обилия разнообразных впечатлений все, к чему мы привыкли в Петербурге, и даже все, что видели в Германии и Италии. Но затем довольно скоро началась ассимиляция. Она происходила ровно, постепенно, без скачков, чему способствовала и наша давнишняя подготовка и тот восторг, который мы испытывали от всего общего стиля парижской жизни. Особенно нам пришлось по душе *настроение* Парижа той эпохи, самый парижский воздух, который нам казался удивительно живительным, даже пьянящим и легким. Наш восторг вполне разделяли Женя и Левушка Бакст, и теми же чувствами, похожими на опьянение, бывали обуреваемы и все те родные и знакомые, которые наведывались к нам в Париж и проводили в нем несколько дней или недель. Среди этих гостей нам особенное удовольствие доставили бабушка К. И. Кавос, приехавшая с внуком — Сережей Зарудным, а также моя belle-soeur Ольга, пожелавшая, кстати сказать, ознаменовать наше новоселье роскошным подарком — большим нарядным ковром, тотчас же ставшим любимым местопребыванием маленькой Ати и всего того мира игрушек, который ее окружал.

Памятен, между прочим, и тот роскошный обед, которым нас угостили бабушка и Олечка в ресторане «Brebant», тогда еще стоявшем в зените своей славы.

Нашему «гутированию» Парижа особенно способствовали театры и концерты, так же, как и музеи и выставки. Из экономии в театрах мы брали места в верхнем ярусе, но мы были молоды и поэтому без труда выносили и тяжелый воздух, и жару, и вообще все неудобства, которыми отличались (да и по сей день отличается) большинство парижских зрительных зал (даже в нижних ярусах). Зато сверху можно было по многу раз наслаждаться тем, как Дельна изливала свою печаль в «Орфее» Глюка и как Ван Занд звонким колокольчиком с удивительным, без всякого усилия, мастерством, преодолевала трудности колоратуры в

«Лакме». А с каким благородством исполняла Бреваль роль Валькирии. Как раз на одном из спектаклей «Валькирии» я оказался не в райке, а в партере Большой Оперы—в амфитеатре (corbeille), и это благодаря приехавшему в Париж Сереже Дягилеву, который пожелал угостить меня этим креслом. Не обошлось, однако, тогда и без комического инцидента, о котором мы затем не раз вспоминали, причем Сережа неизменно разражался своим во весь рот хохотом. Инцидент был в чисто поль-де-коковском вкусе *. У меня лопнули фрачные штаны, и я принужден был просидеть весь вечер, не сходя с места и прикрывая кляком (chapeau-claque *) прореху, образовавшуюся на самом предосудительном месте. Такое происшествие помешало «серьезности восприятия» и «Walkyren: ritt»'a и «Feuerzauber»'a **, так как стоило Сереже перевести взгляд со сцены на меня, как он, на удивление и к негодованию соседей, прыскал со смеха и начинал весь трястись от подавляемого fou rire ***. Что же касается до Дельна в «Орфее», то ее «открыл» Женяка еще за год до нашего прибытия, и он нас прямо-таки удивил увлечением и всей этой (о сколь чудесной) оперой, и исполнительницей заглавной роли, которая обладала контральто исключительной красоты. Удивил он нас потому, что до сих пор он был более чем равнодушен к музыке — что меня немало огорчало. Женяка успел уже побывать раз пять до нас на «Орфее», шедшем в Театре Сары Бернар, тогда, после знаменитого пожара «Opera Comique» 2, служившем временным пристанищем «второго лирического театра Франции».

Мы вообще тогда перевидели и переслышали несметное количество оиер и драм, настоящий же характер запоя приобрели наши посещепия театров в следующем году (с осени 1897 г.), когда к нам присоединился Костя Сомов, причем рекордное число таких посещений осталось несомненно за ним. Чаще всего мы бывали в «Opera Comique» и в «Opera», реже в «Comédie Française» и в Одеоне. Не пропускали мы и всего, что давалось сенсационного и в других театрах. Совсем нам, однако, не понравился парижский балет, и это не мудрено, ибо искусство Терпсихоры переживало здесь тогда самый позорный упадок, что особенно было заметно нам, так ценившим наш чудесный петербургский балет. Особенно нас, убежденных энтузиастских поклонников балетного искусства, возмущало в Париже то, что балет, как правило, давался здесь только в качестве добавочной премии после какой-либо оперы и что в нем почти совсем отсутствовали мужчины, заменяемые полчищами танцовщиц. Того, говорят, требовали пресловутые abormés de ГОрега ****, в

большинстве случаев седоватые, но все еще молодящиеся, очень элегантные старики, занимавшие первые ряды кресел и отправлявшиеся, когда им было угодно, в цилиндрах и с тросточками в руках, по специальному ходу на

Шапокляк, складная шляпа-цилиндр *(франц.)*.

«Полет Валькирий» и «Заклинания огня» *{нем,),*

Безумного смеха *(франц.)*.

** Завсегдатаи Оперы *(франц.),*

сцену, чтобы поболтать в кулисах со своими балетными красотками, зачастую вовсе никакой красотой не отличавшимися. В том же обстоятельстве, что мужчины пляшут, секта балетоманов, да и вообще парижане конца XIX в. видели нечто постыдное. То ли дело uae petite femme * — это ее миссия на земле — служить забавой и самой забавляться. Вследствие этого весь стиль балетных спектаклей носил в то время оттенок чего-то пошловатого и скабрезного. On allait au ballet pour admirer les cuisses de ces dames **, и чем эти cuisses были круглее и полнее, тем они казались более соблазнительными. Танцевали же балетные petites femmes из рук вон плохо, с явным презрением к дисциплине. Попутно вспоминаю, что в обыденной жизни женские ноги — не то, что теперь, были совсем скрыты под юбкой, волочившейся по земле, и считалось, что бывали случаи, когда люди влюблялись в женщину, уловив взглядом одну лишь промелькнувшую щиколотку. В зависимости от этого было тогда выработано парижанками особое кокетство: как дамы света и полусвета, так и «гризетки» с удивительным мастерством поддерживали, заложив руку за спину, свои длинные шлейфы или заменяли эту ручную поддержку особой пряжкой, носившей название «пажа». Моя жена очень быстро навострилась в этом искусстве, да и вообще уже через два месяца приобрела облик подлинной парижанки. Но и безграмотная наша Аннушка, если ей и оставалось далеко до подобных тонкостей, то все же и она стала терять свой деревенский вид, изменила свою простецкую прическу на более модную, взбитую вверх, а вместо платочка у нее иа голове появилась шляпочка с цветочками и бантами.

Слова «Bon Marché» и «Magasin du Louvre» производили тогда на особ прекрасного пола магическое и притягательное действие. Но оттого ли. что первый из этих грандиозных базаров был от нас на более близком расстоянии, оттого ли, что в нем товары были более солидного качества (и к тому же как будто немного дешевле), но в то наше пребывание в Париже (с 1896 по 1899) Анна Карловна отдавала ему решительное предпочтение. По

всякому поводу, иногда даже из-за сущих пустяков, которые можно было купить в любой mercerie *** нашего квартала, она отправлялась в Bon Marché. И я неоднократно сопровождал ее туда — уж очень мне нравилась вся эта «налаженная суета» и все эти «нагромождения богатств и удобств». Кроме того, после Петербурга нам все здесь казалось и изящным, и нарядным, и удивительно дешевым, а то, что (вероятно) в Bon Marché все товары имели известный налет чего-то, скажем, «буржуазного», то от нас — «провинциалов» — это ускользало. Особенно же нам полюбился Bon Marché в период предрождественских приготовлений, и мы только жалели, что наша дочка недостаточно подросла, чтоб ей на елку поднести все то, что нас самих пленило и забавляло... И надо сознаться, что в те годы дирекция именно этого большого

* Красотка *(франц.).* ** В балет ходили восхищаться бедрами этих дам *{франц.),* ** Галантерейной лавочке *(франц.).*

IV, 15. Парижский угар

магазина в именно на Рождество, превосходила самое себя в смысле изобретательности и в смысле мастерства, с которым были расположены игры, игрушки, украшения и проч., занимая почти весь нижний этаж. В центре же его вертелся, качался и кривлялся колоссальный, со сказочной пестротой наряженный Полишинель, и один вид этого нашего давнишнего любимца, как бы царившего над всем этим мило-чепуши-стым миром, производил на нас чарующее впечатление. Мы были «в гостях у Полишинеля», это он — длинноносый, двугорбый, с улыбкой до ушей — приглашал нас не скупиться и набирать с прилавков все то, что нам нравилось! Чудесный шум стоял тогда в воздухе Bon Marché — не то, что нынешний оглушительный рев громкоговорителей и сатанинских джазов. Над гулом толпы и тогда плыли музыкальные звуки, но они происходили от бесчисленных заводных органчиков и коробочек, нехитрые мелодии которых переливались одни в другие, создавая в общем прелестную, тихоструящуюся волшебную симфонию.

Как раз от папы из Петербурга были тогда получены, специально для устройства елки, кроме месячной суммы, целых сто рублей, и эти сто рублей составили на франки сумму, позволившую нам не только сделать все желаемые приобретения, но и разукрасить дерево на самый блистательный лад. Не были забыты и друзья: каждый получил по подарочку и все вместе чуть не заболели от чрезмерного поглощения лакомств.

Особенно усердно мы тогда посещали (почти всегда в компании Жени и Фильда) концерты. Мы увлеклись концертами

Колонна, дававшимися днем по воскресеньям в театре Шатле. Подчас было довольно мучительно выдержать какую-либо нудную и безжизненную новаторскую ерунду, сидя на верхних жестких ступеньках амфитеатра в райке. Оттуда люди на сцепе кажутся крохотными. Мы все же любили эти места главным образом за их дешевизну, но и потому, что туда звуки долетают с особой силой, отчетливостью и гармоничностью. В Шатле мы прослушали тогда и многие фрагменты вагнеровских опер, и творения Бетховена, и Баха, и Шуберта, и Берлиоза, и Сен-Саиса (Symphonie avec orgue*), а также многих знаменитых виртуозов, из которых особенное впечатление на нас произвели — Падеревский, не менее славившийся своей красотой, нежели своей игрой, а также Рауль Пюньо, который восхитил нас, несмотря на свою наружность — толстенького, коротенького бородача — и на то, что он, единственный из всех пианистов, играл *по нотам.* Игра Пюньо была удивительно осмысленна; он обладал редким даром (без лишней подчерк-нутости) выяснять намерения автора. Что же касается до самого дирижера этих концертов, до маститого седовласого Эдуарда Колонп, то мы уже имели случай оценить и его бурный темперамент, и его «власть над оркестром» в Петербурге, куда он приезжал вместе с первоклассной, но уже престарелой певицей Краусс, бесподобно певшей «лид'ы» ** Шуберта.

* Симфонию с органом *(франц.).* ** От Lied *(нем.)* — песни.

IV, 25. Парижский угар

В Париже же нас несколько удивило то, что репутация Колонна в музы-' кальных кругах уступала репутании его соперника Ламурё. Нам, например, манера дирижировать последнего (его концерты давались в цирке иа Елисейских полях) казалась несколько сухой, педантичной. К ней были более приложимы такие французские выражения, как sobre, pondéré, réfléchi» *. Позже и мы стали постепенно переходить в лагерь поклонников Ламурё, тогда как Колопн с его эффектничаиием, подчас и очень грубоватым, стал нам казаться несколько даже вульгарным. В 1899 г, рнвалитет между этими двумя концертными корифеями кончился, так как сам Ламурё сошел в могилу, зять же его, Шевийар, принявший его концертное наследство, не мог заменить высокое мастерство своего тестя.

Огромное наслаждение испытывал я еще на концертах старинных инструментов, изредка дававшихся тоже в цирке. Там я впервые услыхал очаровательное дребезжание клавикорд, бесподобное звучание всяких ви-оль-д-амуров и виоль-да-гамба,

хрустальные переливы старинных арф и лютней. И дирижер (к стыду своему, не могу вспомнить его фамилии) и все оркестранты были настоящими фанатиками своего дела — возрождения старины. Все более увлекаясь прошлым королевской Фрапщш, мечтая о былой красоте жизни в Версале, в Шантильи, в Сен-Клу, в Seaux % я с особенным удовольствием слушал имеппо то, чем услаждались уши создателей и обитателей этпх волшебных мест, с особой яркостью оживавших в моем воображении благодаря музыке Люлли, Куиеренов и Рам о.

Нечто музыкальное получал я и от самой парижской улицы того времени. Тогда еще на улицах *пели* — пели прачки, пели каменщики, маляры; пели на жалобный лад нищие, ходившие по дворам; наконец, зачастую можно было встретить группу, образовавшуюся из прохожих, обступивших какого-либо продавца песенок. Разношерстная толпа, повторяя за ним куплет за куплетом, заучивала как мелодию, так и манеру петь. Иные из этих песенок были развеселые, а то и довольно пикантные, но, пожалуй, особым фавором пользовались песенки скорбные и чувствительные. В этом обычае, в настоящее время как будто и вовсе исчезнувшем, было нечто удивительно милое, наивное и трогательное. Милым и простодушным характером отличались и «крики» странствующих торговцев— пресловутые «Cris de Paris» **, о существовании которых я уже знал по рисункам XVIII в. Бушардона и по иллюстрациям в «Magasia pittoresque». Как было приятно услыхать теперь в действительности все эти звуки, с очень давнишних времен оглашавшие парижские улицы, все эти «предложения» и «напоминания» — одни раздававшиеся нараспев, другие резким горловым выкриком. Особенпо же я любил дудочку, которая заявляла о приходе стекольщика, и меланхоличную флейту пасту-

* Сдержанный, рассудительный, уравновешенный *{франц.)*. ** Крики Парижа *(франц.)*.

/F, *Jgt Парижский угар*i3i

xat водившего по улицам свое небольшое стадо коз (козье молоко считалось особенно полезным).

В общем (если сравнить с веком нынешним) было нечто праздничное в этой обыденной парижской уличной жизни. Но как не вспомнить здесь же о своего рода апофеозе этой праздничности — о том, что уже одно свидетельствовало о каком-то переизбытке жизненных сил? Я говорю о празднествах французского карнавала, о днях Mardi Gras * и Mi-Carême **. Эти гульбища носили тогда столь грандиозный характер, они так захватывали широкие массы населения, они отличались столь своеобразным и подлинным весельем (и весельем *поголовным),*

что никто тогда не поверил бы предсказанию, что эти праздники доживают последние годы, что они сами собой вымрут и исчезнут. Теперь подобные увеселения перебрались в Ниццу, в Канн; там они, пожалуй, лучше слажены, пожалуй, даже отличаются некоторой художественностью (одно обилие цветов вносит особую прелесть), но никакие эти «приманки» для туристов, для богатых и много денег тратящих чужестранцев, не могут сравниваться с тем, чему мы были свидетелями в 1897 и 1898 гг., в чем мы в значительной степени сами участвовали.

Особенно нам запомнился наш первый Mardi Gras 1897 г. Как дети, радовались мы тому длинному поезду колесниц с Полишинелем гигантской высоты впереди. Ведь я с детства любил всякие колоссальности (например, в Петербурге — гранитных атлантов, осеняющих вход в Эрмитаж) ; они меня и притягивали, и пугали, а в моих кошмарах нередко действовали как раз разные ожившие исполинские статуи и т. п. Уже за добрые полкилометра показывался вдали на бульварах сидящий на велосипеде Полишинель — в рост пятиэтажного дома, медленно подвигавшийся по бульварам, точно приглашая кивками направо и налево всех принять участие в устроенном им фестивале. Основой же программы фестиваля была баталия конфетти и серпантинов. То и другое с тех пор утратило всякую свою прелесть и превратилось в нечто избитое, банальное, ибо эти битвы стали обязательной принадлежностью всякого, даже самого захолустного праздника, но тогда это было ново, и самая эта новизна, отвечая расположению парижан всецело отдаваться всякой забаве, превращала толпу в массу каких-то одержимых и бесноватых. Описать все это трудно, но достаточно будет указать на то, что к четырем часам *все* бульвары, включая бульвар де Севастополь, были до того густо засыпаны пестрыми бумажками, что по ним ходили, как по сплошному мягкому, густому ковру. И ковер этот покрывал не только тротуары, но и срединное шоссе, по которому движение экипажей было на несколько часов прервано. В свою очередь и деревья были сплошь опутаны и оплетены бумажными лентами-змейками, местами перекинутыми с одной стороны улицы на другую, образуя своего рода сень, что одно придавало парижскому пейзажу какой-то ирреальный вид.

Масленичного карнавала *{франц.)*. Великого поста *(франц.)*.

.■.

Я наслаждался чрезвычайно, но мое наслаждение было ничтожным в сравнении с тем боевым упоением, которое овладевало моей женой: я просто не узнавал ее, я никогда не

предполагал, что в ней может проснуться такая якобы «вакхическая» ярость. Целыми фунтами покупали мы у разносчиков мешки с цветными конфетти, но не успевала моя Атя получить такой мешок на руки, как он уже оказывался пустым, и приходилось покупать новый. Есть действительно что-то соблазнительное в том, чтоб сразиться с людьми, совершенно незнакомыми, и «влепить им в физиономию» целую охапку таких бумажек, да еще норовить, чтобы они попали им в рот. Многие пускались в бегство от моей менады, но встречались и такие противники, которые, подзадоренные видом ее пылающего лица, ее блестящих глаз, безудержностью ее движений и ее смехом, не только не уступали перед ее ударами, но принимали бой, и тогда начиналось «кто кого». При этом я, если и испытывал моментами нечто вроде ревности, присутствуя при такой «интимности» моей жены с совершенно чужими молодыми людьми, то все же этот вид ревности имел в себе нечто и приятно щекочущее. Надо прибавить, что все эти схватки оставались в границах приличия и известной воспитанности. В парижском fin de siècle * еще не проявлялись те черты хамства, goujaterie, которые, увы, все чаще наблюдаются в нынешнее время; даже люди «самых скромных рангов» и те умели быть вежливыми, умели и веселиться так, чтобы не выходить из пределов общественно дозволенного.

Таким же характером отличались и другие общественные увеселения Парижа, в частности знаменитые «фуары» **, в течение года объезжавшие все кварталы, превращая на неделю и самый какой-нибудь тихий и даже унылый «внешний бульвар» в шумное гульбище. Самой же парадной из них, не без налета элегантности, была фуара на Эспланаде Инвалидов. Громадная эта площадь густо заполнялась, оставляя широкий проход посреди, разнообразными постройками, из коих несколько были и очень крупных размеров. Этот пестрый город в часы, когда гулянье достигало своего пароксизма, гудел и рычал, точно охваченное бешенством чудовище. «Ярмарка Инвалидов» была в двух шагах от нашего обиталища на рю Казимир Перье, и естественно, что я, всегда чувствовавший особое притяжение подобных публичных «позорищ», не был и теперь в состоянии противостоять соблазну посещать то, которое оказалось столь близким.

Под словами —la Tournée des Grands Dues*** подразумевался тот обязательный для всякого приезжего в Париж обход, который надлежало сделать по всяким «ночным коробочкам» (boîtes de nuit), коими главным образом изобиловал Монмартр. В эту обязательную программу входило и посещение нескольких публичных танцевальных зал, среди которых

* Конце века *(франц.)*. ** От foire *(франц.)* — ярмарка, базар, Прогулка великих князей *(франц.),*

IV, 15. Парижский угар

133

особенно славились (на весь мир) «Le Moulin Rouge» на бульваре Кли-ши, и «Bal Bullier», находившийся на другом конце города — недалеко от бульвара Монпарнас. Прозвище tournée des Grands Dues было дано этому «обходу» потому-де, что наши великие князья (и некоторые великие княгини) будто бы имели обыкновение при своих частых посещениях Парижа совершать его, причем они сорили деньгами самым щедрым образом. Эта легенда вряд ли имела под собой вполне реальное обоснование, и скорее всего она была творима и распространяема многочисленной тогдашней русской эмиграцией, которая в таком «дискредитировании Романовых» видела даже некий политический подвиг. Так или иначе, но и мы сочли своим долгом совершить тот же обход, к чему мы были особенно подстрекаемы и когда-то слышанными рассказами Шарля Бирле.

Несколько из тогдашних аттракционов Монмартра ничего порочного даже и в намеке не содержали и представляли даже собой нечто вполне художественное. На первом месте среди них было «Cabaret du Chat Noir», в котором между прочим мы застали чудесные китайские тени Аири Ривьера и «Caran d'Ache»'a 4, знакомые нам уже по воспроизведениям; среди них особой прелестью отличалась та «лента», что представляла собой путешествие волхвов в Вифлеем и что носила название «La Marche à FEtoile» *. Теперь детям, избалованным кинематографом, эти картинки показались бы уж очень простодушными, а то и просто скучными, но тогда и взрослые и старики не доходили до подобной блазиро-ванности **. Кроме «Chat Noir»'a, нам среди монмартрских приманок очень понравился марионеточный театр, в котором давались пресмешные шутовские пьесы, но, между прочим, шла и одна подлинная средневековая мистерия — «Abraham» — сочинение тысячу лет тому назад жившей монахини Гросвиты фон Гандерсгейм (история сродни с «Thais» 5 — о спасающихся в Фиваиде отшельниках). Кое-что забавное мы услыхали и в тех кабачках, в которых выступали поэты «dans leurs oeuvres» ***. В них, пожалуй, самым интересным была свойственная им атмосфера какой-то богемной непринужденности. Посетителей встречали с обязательным cha-hut****, после чего они должны были чувствовать себя «как дома». С тех пор прошло больше полувека, и тогдашние подававшие надежды «jeu-nes» ***** давно превратились в старцев, а то и в бородатых rates******, да и самая

их богемность выродилась в позу, в способ выколачивать из интернациональной публики деньги, но в годы fin de siècle подобная «торговля цыганщиной» и «декадентщиной» еще не успела утратить свой задор и даже известный шарм.

Но, однако, и тогда уже некоторые явления представляли собой нечто весьма безвкусное и даже грубое. К самым гадким из таких низко-

* «Вслед за звездой» *(франц.)*. ** От blasement *(франц.)* — пресыщенности. *** С чтением своих произведений *(франц.),* **** Шумом, гвалтом *(франц.),* ***** Юнцы *(франц.)*. ****** Неудачников *(франц.)*.

пробных «озадачиваний буржуев» (épatement du bourgeois) йринадлежал кабачок, именовавшийся «Cabaret du Néant» *, а также те «музыкальные сеансы», которые давались единственным в своем роде вир-туозом, носившим прозвище, достаточно указывавшее на род его инструмента. О нем рассказывали (мы побрезгали пойти сами его послушать), что этот артист опять-таки особенно угодил одному из наших высочайших тем, что пропел в его честь не ртом, а совершенно противоположным концом русский национальный гимн! Несомненно, то были враки, но они были очень в ходу. Что же касается до «Погреба Небытия»), то его мы посетили всей компанией. За предложенное факельщиками пиво, подававшееся здесь под наименованием «холеры» и «чумы», заплатили, однако к нему не пригубились (вместо столов кружка ставилась на черный гроб), выслушали какие-то погребальные шансонетки и, наконец, сподобились увидать нашего дорогого Женю постепенно па глазах у всех разлагающегося и превращающегося в скелет. Каждый посетитель мог подвергнуться подобному же процессу, ничего при этом не испытывая и не зная даже, что с ним происходит. Для того он должен был встать среди маленькой сцены перед открытым гробом; полная же иллюзия превращения его в гниющий труп достигалась посредством хитроумной комбинации сменяющих одна другую проекций. Омерзительное это зрелище сопровождалось шарманкой, игравшей похоронный марш, причем надо было хохотать (c'était de rigueur **) pi всячески выражать испытываемое удовольствие.

Посетили мы, тоже всего по разу, помянутые славившиеся на весь мир публичные балы. Почему-то мы были убеждены, что увидим какой-то апофеоз «прекрасного» парижского разгула, а разве не интересно хотя бы одним глазком со стороны поглядеть на нечто очень соблазнительное, не рискуя получить брызги этой грязи на себя?.. «Поедешь в Париж и там угоришь»,— гласила

одна из избитых поговорок; ее неизменно слышал каждый, кто сс5ирался отправиться «из нашего захолустья» в этот погибельный, но прелестный город. С тем именпо, чтоб «угореть», чтоб надышаться вдоволь адского угара, отправлялись в Париж не одни завзятые жуиры, но и люди, отличавшиеся скромным и добродетельным образом жизни... Особенно манил Париж художников, и не только потому, что в Париже била ключом художественная жизнь и можно было видеть неисчислимые, самые прекрасные художественные сокровища, а потому, что вековая репутация парижской прекрасной пагубы обещала показать художнику образы, уже пленившие его в произведениях литературы и всяческого художества, а теперь готовые предстать перед ним в самом реальном, осязаемом виде. Нам, поклонникам (по воспроизведениям) Ту-луз-Лотрека, хотелось видеть самые те места, в которых он проводил вечера и ночи и которые его вдохновляли.

* «Погреб Небытия» *(франц.)*.

'* Это было обязательным условием *(франц.)*.

*IV, 15. Парижский угар*j^5

И вот знакомство с этими знаменитыми местами произошло; однако оставило оно в нас только одно тягостное впечатление пошлости и убожества. Ни в «Красной мельнице», ни в «Баль-Бюлье» мы не только не застали какого-либо «апофеоза разврата», но эти увеселительные места представились нам, как некие обиталища скуки и тоски, что же касается *грязи,* то она была не столь морального и духовного порядка, сколь вещественного и жизненного: здесь просто «дурно пахло». Самое освещение в этом сарае и в этом саду было сумеречно-тусклое, а большие электрические шары и гирлянды иллюминационных лампочек только слепили и рябили в глазах. Убожество выражалось не только в декорации, но и в действующих лицах. Отправились мы и туда и сюда с (предосудительным) расчетом оказаться в непосредственном соседстве с роскошными и тревожными гетерами, а вместо того перед нами задирали ноги и развевали сомнительной чистоты dessous * профессиональные особы, ничуть не более пленительные, нежели те, которых можно было встретить на наших Гороховых и Вознесенских. Плясал и корчился среди дам до полного одурения и какой-то франт (быть может, то был «сам» Desosseé6), но глядеть на этого гаера было только противно. Пожалуй, в саду Бюлье настроение было несколько иное; здесь хоть особы прекрасного пола, собиравшиеся со всего Латинского квартала (с Монпарнаса еще некому было собираться в то время, еще не существовали ни «Dome», ни «Соиро-le» \ ни другие подобные заведения),

веселились взаправду. Здесь можно было встретить и немало миловидных рожиц (frimousses), и грациозных, типично парижских фигурок **, но для этого «не стоило приезжать в Париж» — такого сорта «угар» можно было (при желании) испытать и в наших «садах» — Демидовой и на Фонтанке. Что же касается Тулуз-Лотрека, то никак нельзя сказать, чтоб он неточно передавал то, в чем проходила значительная часть его жизни; однако в том и заключается *магия* художественного творчества, что художник передает не какую-то внешнюю видимость, а нечто иное — ему только доступное и составляющее *самую суть* вещей. Лишь постепенно происходит затем у зрителя процесс какого-то уравнения между образами действительности и тем миражом, который выколдовал художник. Род такого уравнения произошел и во мне, и тогда я окончательно уверился в *гениальности* Тулуз-Лотре-ка, несмотря на то, что мои личные впечатления не сходились с тем, что я видел в его произведениях.

* Белье, панталоны *(франц.)*.

** Особенный характер парижской улице, в частности бульвару Сеп-Мигаель (Boul Mich'y) в последние годы XIX в. придавало обилие «циклисток». Полумужской косном, удобный для езды на велосипеде, оказался и «к лицу» очень многим особам, а поэтому его избрали (был он и очень дешев) в качестве профессионального наряда дамы известной категории, хотя бы никогда ни на какие «циклы» не садившиеся. Женская клиентела знаменитого «Cafe d'Harcourt» а почти исключительно состояла из таких мнимо спортивных девиц.

IV, 16. Сокровища Парижа

Глава 16 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА ПАРИЖА

В предыдущих главах я пробовал нарисовать мои первые впечатления от Парижа, преимущественно в тех его «ликах», которые, хоть и пленили и занимали меня, однако не могли быть сочтены за то, *для чего,* в сущности, я и совершил наше переселение. Даже театры и концерты не так уж отличались от того высококачественного, что мы имели у себя в Петербурге. Иначе обстояло дело с тем, что являлось моей специальной областью и что представлялось мне *незаменимым* питанием для художника. Правда, я находил и у нас на родине немало случаев любоваться произведениями искусства и делать всевозможные «открытия», изучению которых я собирался посвятить все силы. Но в чужих краях таких «волнующих красот» было гораздо больше, и многие из них были несравненно большего значения, нежели сокровища, находившиеся в России. Особенно меня манило то, что я уже знал по воспроизведениям, но что мне

мучительно хотелось видеть в натуре, в своей атмосфере, в гармоничном окружении. Я чувствовал *жгучую* потребность увидеть воочию архитектурные памятники Парижа, а также изучить те мировые сокровища, что хранились в его музеях — с Лувром во главе. Хорога был наш Эрмитаж (он продолжает по сей день быть одним из богатейших музеев мира), но все же многие *мировые* шедевры хранились именно в Париже. Здесь только можно было вполне понять чары Леонардо да Винчи, здесь я готовился увидеть «Положение в гроб» Тициана, «Концерт» Джорджоне, «Брак в Капе» Веронеза, «Коронование Марай» Бсато Анжелико и столько-столько еще первоклассных произведений искусства. Наконец, *только* в Париже можно было полностью изучить французскую живопись, начиная с Пуссена и кончая Делакруа, что же касается до импрессионистов, то только здесь я мог бы проверить, говорил ли правду Р. Мутер и другие передовые историки и критики, когда они ставили на первое место тех или иных художников, недавно еще *ничего* не значивших и подвергавшихся всяческому осмеянию,

Естественно, что едва успев распаковать нужнейшие вещи, я в первый же день нашего поселения в пансионе Век, *полетел* в Лувр. Посещение этого храма искусства производилось затем, несмотря на поиски квартиры и на ее устройство, почти ежедневно, в те же дни, когда я не бывал в Лувре, я целые часы после завтрака проводил в Клюни, в Люксембурге * или посвящал их осмотру церквей. Несколько позже я познакомился и с Карнавале 2, с Национальной библиотекой и с Версалем. Что же касается до многих других достопримечательностей, коими ныне гордится Париж, то их тогда еще *не существовало,* В 1898 г. еще не был построен Малый дворец3, богатства Музея декоративного искусства лежали в ящиках, коллекции Жакмар-Андре 4 не были открыты для публики, не был доступен для осмотра и замок герцога Омальского Шантильи,

IV, 16. Сокровища Парижа

Í37

несметные богатства которого стали по завещанию герцога общественным достоянием лишь после его смерти (случившейся как раз весной 1897 г.). Но и того, что было доступно в Париже и в Версале, было достаточно, чтобы совершенно поглотить мое внимание на многие, многие месяцы и подчас вызывать во мне род отчаяния от сознания, что мне никак не справиться с подобной задачей. В этот первый год познавания Парижа я просто не выходил из какого-то ощущения опьянения, иначе говоря, и я *«угорел»* в Париже, но только этот угар был особого рода. Я непрестанно чувствовал, что я внутренне обогащаюсь, что

накопляю в себе духовное питание, которого хватит на всю жизнь.

Я и на сей раз не стану перечислять все то, что при изучении Парижа мне особенно запало в душу. Ограничусь главнейшим и начну как бы с конца, а именно со своего приобщения к тому, что в те дни могло все еще считаться за последнее слово французского искусства, за нечто современное и даже передовое. Ведь корифеи импрессионизма, за исключением одного Мане, были еще сами *живы,* иные — полные творческих сил. Тем не менее, в общественном мнении они вовсе не занимали каких-либо первых мест. Никому в широких массах не могло прийти в голову считать этих художников за каких-то «неоспоримых gloires de la France» *. Напротив, их творчество продолжало носить злободневный, слегка скандальный и вызывающий характер; даже и очень изощренные критики и культурнейшие любители с яростью спорили,— хотя бы о том, можно ли вообще допустить в стены национального музея французского искусства такие «horreurs» **, как «Олимпия» Мане? 5 Но где можно было изучать картины импрессионистов в момент моего прибытия в Париж? Люксембургский музей только еще готовился принять дар Кайботта 6, в частные собрания трудно было проникнуть, большинство художественных торговцев воздерживались от «крайностей», чтобы себя не «компрометировать» в глазах публики поощрением таких явлений, которые слыли за наглядные свидетельства об упадке французского искусства. Один только Durend Ruel продолжал бравировать общественное мнение; лишь в его галерее на rue Lafitte, как в любой музей, мог войти всякий и беспрепятственно обозревать то, что было развешано в ряде комнат, тянувшихся до самой rue Le Pelletier. Однако, при моей стеснительности, я и туда не сразу решился войти, а потребовался американский апломб Фильда, чтобы вслед за ним я переступил через порог галереи. В общем, мое принятие импрессионистов происходило не без скачков и не без своего рода внутренней борьбы. Далеко не все одинаково нравилось даже у того художника, который прежде других сделался моим любимцем: у Дега; а уж о Ренуаре и говорить нечего,— его я оценил значительно позже и тогда, когда я уже успел *привыкнуть* к странностям его красок и «выучился не обращать внимания» на погрешности в рисунке (совершенно неизбежные, а иногда в

Знаменитостей Франции *(франц.),*

Ужасы, мерзости *(франц.).*

чудесные). Я понял, какая в нем предельная, неподражаемая *жизненность.* Что же касается до Клода Моне, так решительный

момент в моем принятии его был тот, когда у того же Дюран Рюэля появилась его большая картина «Дама в зеленом» \ Тут я поверил в совершенную исключительность его живописного дара и в то, что Моне *подлинный* мастер. После того я и вообще преисполнился именно к нему особой *нежности.* Должен, впрочем, прибавить, что и тогда, когда я познал, понял и полюбил импрессионистов в первоначальной стадии их творчества, я продолжал с недоверием, а иногда и с ненавистью относиться к тому периоду их эволюции, который начался в 80-х годах и в котором постепенно рассудность, теоретичность стали заменять прежнюю простоту подхода и непосредственность. Сислей и Дега потому мне и оставались особенно дорогими, что они были чужды теоретических исканий, основанных на разложении цвета и т. д., продолжали писать так, как они сидели и чувствовали. Куда девалась та свобода и простота в подходе к задаче, благодаря которым и Моне и Ренуар в течение первых десятков лет своего творчества создавали один шедевр за другим! Почему они перестали следовать своим вкусовым влечениям? Увы, тот же Дюран Рюэль поощрял их на этом пути и вел усиленную пропаганду среди своих клиентов, дабы именно *эти* новшества и дерзания были приняты и оценены. При этом можно усомниться, вел ли он эту свою пропаганду с полной бескорыстностью. Будучи прежде всего купцом, он подготовлял общественное мнение к тому, чтобы весь «товар», скупленный в течение многих лет у «своих» художников, нашел бы себе сбыт, ему же досталась хорошая прибыль. Что же касается до того, каким развращающим образом такая пропаганда могла отозваться на общественном вкусе, в какой степени именно он, Дюран Рюэль, повинен в упадке *знаменитого французского* вкуса и как затем этот упадок отразился на художественном вкусе всего мира, ему как торговцу было, разумеется, мало дела.

Как раз с этих же пор, одновременно со все усиливающимся презрением ко всякого рода «мещанству», к «буржую», к «филистеру», начинают обозначаться и новые формы всемогущественного *снобизма,* опирающегося на такие формулы, как «люди никогда не оценивают по-должному современное им творчество», или «то, что сегодня кажется уродливым, завтра обязательно окажется на первом месте». Как раз импрессионисты служили разительным примером тому: четверть века назад никто не хотел отнестись серьезно к их творчеству, а теперь многие радовались тому, что они в свое время сделали выгодное placement (Targent *, приобретя за гроши вещи, всех тогда возмущавшие. Отсюда делался вывод, что и в будущем то, что в данный момент представляется уродливым и глупым, *будет*

завтра объявлено достижением величайшей красоты и *будет* цениться особенно высоко. Такие убедительные для клиентов формулы то и дело слышались из уст самого Дюран Рюэля, а затем их переняли и Воллар, и Бернгеймы8, а вне Парижа все те

Помещение капитала *(франц.)*,

IV, 26. Сокровища Парижа

торговцы искусством, которые напряженно следят за тем, что является «последним словом» именно в Париже. Эти наставления «биржевого порядка» окончательно сбили с толку не только «просвещенного филистера», но и настоящих художников. Они привели к тому, что рядом с подлинным искусством махровым цветом распустились всякие виды дилетантизма и мистификации.

Несравненно большие и более спокойные радости доставляли мне в Париже музеи былого искусства. Но когда я говорю «более спокойные», я это понимаю вовсе не в том смысле, что при обозрении, скажем, бессмертных сокровищ Лувра я оставался вялым и равнодушным, напротив, иные картины и скульптуры волновали все мое существо, и я как бы даже «заболевал» ими. «Спокойствие» же надо понимать в том смысле, что к моему наслаждению здесь не примешивались какие-либо тревожные сомнения, какое-либо «недоверие» и усилия самовнушения. Я наслаждался без малейшего в себе ощущения разлада, без оговорок и придирок. Споры относительно того или другого произведения былых времен частенько возникали между мной, Женей и Фильдом, но эти споры имели почти всегда своей причиной какое-либо мое *недовольство ими,* а недовольство это получалось тогда, когда я находил, что они *недостаточно* реагируют на то, что они имеют здесь счастье видеть. На Женю, в частности, я ополчался за то, что он «не вполне» принимал французское искусство XVIÍ и XVIII вв., а на Фильда за то, что он ничего не видел хорошего в Рубенсе. Во мне же при постоянных посещениях музеев все более вырабатывалась моя какая-то природная способность открывать красоту и радоваться ей *всюду* и хотя бы в самых противоречивых явлениях. Это создало мне впоследствии репутацию какого-то эклектика, человека, лишенного какой-либо «принципиальности». Однако мог ли я противиться развитию в себе этого заложенного во мне дара «восприятия красоты», когда я ощущал трепет (если и очень различных оттенков, то все же одинаковой силы), как перед «Коронованием Марии» Беато Анжелико, так и перед «Отплытием на остров Дитеры» Ватто, как перед дивно разумными картинами Пуссена, так и перед гениальным оргиазмом Рубенса или перед щемящей поэзией Рембрандта!

Сказать кстати, Лувр тогдашний сильно отличался от Лувра нынешнего. Начать с того, что длинная картинная галерея, тянущаяся вдоль набережной Сены, доходила только до того помещения, в котором года через два была устроена специальная

зала, посвященная картинам Рубенса, представляющим историю Марии Медичи. Еще в совершенной полноте красовался столь же знаменитый, как флорентийская Tribuna, Salon Carre * 9 с его двумя огромными Веронезами и с рядом первоклассных шедевров **. Тут рядом одна с другой висели «Джоконда» Леопар-

* Квадратный зал *{франц.)*. ** Одним из тяжелых вандализмеˆ последних времен (нишу это в 1953 г.) является уничтожение этого великолепного и столь внушительного в своем роде (и прекрасного п своем чисто дворцовом великолепии) зала. Его заменило унылое помещение, устроенное согласно «последним требованиям музейной техники*.

до да Винчи, и «Мадонна канцлера Ролена» Ван Эйка, а дивное «Поˆ ложение во гроб» Тициана, и «Концерт» Джорджоне.

Музей тогда еще не успел обогатиться дарами Томе Тиарри, барона Шлихтинга Каммондо, Ротшильдов и т. д. Зато посетитель, вступая в первый огромный зал — первый со входа по лестнице Генриха II, исполнялся уважения и благодарности, ибо этот зал был весь завешен картинами, составлявшими бесценный дар доктора «Наказа и среди которых красовались лучшие картины французской школы — и Ватто, и Шарде-на, и Ларжильера, приобретенные этим воплощением бальзаковского Cousin Pons lð в те времена, когда за несколько десятков франков можно было делать в Париже приобретения высочайшего достоинства! Порядок развески картин в Лувре был, надо сознаться, местами нелепый (но в этом была известная прелесть, так как именно она подзадоривала «делать открытия»), но хуже было то, что и лучшие картины были покрыты густым слоем грязи или потускневшего лака, сквозь который краски едва просвечивали. Между тем никакая чистка картин не допускалась — и за этим строго следил весь художественный Париж. Не дай бог, если кто-либо из хранителей дерзал подвергнуть ту или иную картину необходимому, самому безобидному и элементарному освежению! В прессе и обществе поднималась тогда настоящая буря, раздавались вопли о вандализме, чуть ли не доходившие до парламентских запросов. Одну из таких бурь вызвало как раз очищение от грязи картины Рембрандта «Ученики в Эммаусе», хотя после некоторого отсутствия она снова, но уже в обновленном виде, предстала перед публикой. Привыкнув к более благополучному состоянию картин в немецких музеях и в нашем Эрмитаже, я с недоумением знакомился с подобным проявлением ложно понятого пиетета и слепого консерватизма!

Что же касается до живописи конца XIX в., до «современной»

для тех дней французской школы, то я должен покаяться, что разделял многие общие «грехи». Так, в Люксембургском музее (тогда находившемся в Люксембургском саду) мне особенно нравились «Лежащая нимфа» Р. Коллена, «Портрет сына» Бенжамена Констана и еще ряд картин, которые мне теперь конфузно назвать. Напротив, я лишь с оговорками принимал «Сенокос» Бастьена Лепажа, «La femme au gant» * Каролюса Дюрана и любимую картину Шарля Бирле «Le pauvre pô-cbeur ** Пюви-де-Шаванна, тогда как одиноко висевшая «Олимпия» Мане, которую я впоследствии особенно полюбил, вызывала только одно недоумение.

Впрочем, ознакомление с «современным» и призпанным художеством в Париже не ограничивалось тогда посещепием этого специального хранилища; наиболее славившиеся произведения надлежало изучать на тех стенах, на которых они написаны,— главным образом в Ратуше (Hotel de Ville), в Пантеоне, в мэрии 1 аррондисмана *** и в Школе фармацев-

* «Дама с гшрчаткой» *(франц.)*. ** «Бедный рыбак» *(франц.)*. *** От arroûdissement *(франц.)* — округа.

тики. Особенной популярностью пользовались фрески Бенара в последнем учреждении, считавшиеся самыми замечательными и передовыми проявлениями таланта этого художника, которым Франция особенно гордилась. Эффектная же фреска Бенара в мэрии хотя и показалась мне в своей «философической и космогонической претензии» довольно-таки сумбурной, до того мне импонировала, что я считал своим долгом каждого нового русского приезжего непременно свести в этот зал, и все они, вместе со мной, поражались смелости и размаху, которые здесь обнаружил художник.

Мое отношение к Пюви-де-Шаванну, другому кумиру «передовых» кругов того времени, также как-то двоилось. Действительно поэтичной показалась мне пейзажная часть в его стильных картинах Пантеона, в Ратуше (особенно «Зима») и в амфитеатре Сорбонны, но что касается до фигур, населяющих эти идеальные местности, то цель мастера — создать р них цельный мифический или символический мир, нечто отвлеченное и прекрасное в своем благородстве — эта цель мне не казалась достигнутой; присущая мастеру чопорность и холодность сковывали его воображение.

Остается сказать еще несколько слов о самом Париже в целом. Что меня особенно пленило и заняло в Париже, так это, что отдельные кварталы не только прэдолжают оставаться свидетелями разных периодов французской истории, но они и до

сих пор живут жизнью, свойственной каждому из них. Париж Больших бульваров не похож на Париж Монмартра, Латинский квартал не похож даже на соседнюю с ним Cite, квартал Лувра и Пале-Рояля не похож на предместье Сен-Жермен, предместье Сент-Оноре не похоже на тот квартал, в котором особняк Карнавале, дворец Субизов и Place des Vosges все еще твердят о том, когда именно эта, ныне так «опустившаяся» часть города была наиболее нарядной и элегантной. Местами каменные массы как бы овеяны еще тем же духом, который послужил их созданию, так, например, по-прежнему дух аристократизма, несмотря на всякие «свержения и разорения», продолжает доживать в Сен-Жерменском предместье. Местами, напротив, в развалинах былого великолепия ютятся грязь и нищета, что, однако, с особой патетикой подчеркивает красоту, все еще сохранившуюся от былого. Все эти лики Парижа продолжают волновать меня и теперь, несмотря на то, что все это я «знаю теперь наизусть». Однако насколько сильнее были мои тогдашние впечатления, когда я впервые очутился среди того, о чем только читал и о чем мечтал! Надо тут же прибавить, что многое я тогда застал в менее обветшалом состоянии, нежели ныне, и что масса старинных домов и даже целых улиц с тех пор успели погибнуть под ломом и в угоду предписаниям более гигиенического «урбанизма». Так, еще в квартале Сорбонны и в смежных с ним стояло немало домов ayant pignon sur la rue *, а из характерных люкарн на

Собственных домов [буквально: выходивших щипцом крыши на улицу] *{франц.)**

их крышах высовывались балки со спускавшейся **на блоке веревкой** для подъема на чердак разных запасов.

Но испытал я и несколько разочарований; иное я себе представлял более поэтичным, более романтичным; иное, что я надеялся еще найти на месте, уже не существовало, иное предстало в искаженном или слишком запущенном виде. Особенно я был разочарован кварталом, прилегающим к Собору Богоматери, всей той унылой казенщиной, которая в течение XIX в. заменила тот лабиринт загадочных улочек и те гнезда древних жилищ, что окружали громаду Nôtre-Dame. Ничего из того, что могло вдохновлять Виктора Гюго, более не существовало... Не ожидал я и того, до чего неудачно мпогое было реставрировано. Так, если и можно похвалить сотрудников В иол л е ле Дюка и за то, что они с таким знанием и вкусом восстановили всю скульптурную часть фасада, включая сюда и тех монстров и химер, что, к великой радости туристов, уселись на парапете

верхней галереи, то никак нельзя похвалить реставрацию внутренности собора... Разумеется, и сейчас эта внутренность Nôtre-Dame действует возвышающим образом всем ритмом своих каменных масс; наконец, одни зеленый «подводный» тон, в котором все утопает, настраивает на особый лад; этому действию подвергается сразу всякий, как только он проникает внутрь. Но, приступая к обозрению отдельных частей, возникает досада, и не столь негодуешь на тех «благодетелей», следы вандализмов которых успели как-то сгладиться, сколько досадуешь на тех ученых знатоков, которые честно и добросовестно, но, увы, без настоящего чутья пытались «вернуть» Nôtre-Dame ее утраченную красоту.

Забегая вперед, хочу здесь же упомянуть об одном обстоятельстве, которое позволило мне (в последующие два года) с особенной тщательностью изучить Nôtre-Dame. Лето 1898 г. мы провели в нордмандском St. Pierre en-Port. И вот оказалось, что сын наших хозяев, приехавший на побывку в родную деревню, занимает должность швейцара в Парижском соборе. Этот M-r Monier Berthel — человек желчный и скорее мрачный — почему-то полюбил меня и пригласил навещать его в Париже, и он-то дал мне возможность ознакомиться с охраняемым им храмом в таких подробностях, какие обыкновенно остаются недоступными. Я даже думаю, что протекция этого скромного служащего оказалась более действенной, нежели если бы я был снабжен от лица церковных сановников какими-либо рекомендациями.

Монье Вертель водил меня и по хорам, и по башням, и на органную трибуну и по всяким закоулкам и тайникам. Сколько неожиданных перспектив я открывал при этих прогулках! А как интересно было следить за пасхальными службами с высоты верхней галереи! Благодаря тому же швейцару (возведенному через год в почетный ранг сакриста-ва *) я мог часами просиживать в той комнатке, что так неожиданно открылась перед нами где-то на хорах северной стороны. Изучая в этой скромной закуте хранившиеся там, оставленные за ненужностью древние

* От sacristaia *{франц.)* — ризничего, пономаря.

*IV, 16. Сокровища Парижа*ˆ43

ˆмолитвенные книги и антифонарии 12, я себе мог вообразить, что я в гостях у самого Клода Фролло 13, и лишь то, что некоторые из этих фолиантов (иные украшенные роскошными миниатюрами) принадлежали к более поздней эпохе (к веку Людовика XIV), нарушало мою романтическую иллюзию.

Величайшей по своей каменной массе церковью Парижа после Nôtre-Dame является St. Sulpice. Оба памятника могут быть

сопоставлены в качестве разительных контрастов, представляя совершенно различные эпохи и различные мировосприятия. Nôtre-Dame представляет собой целую историю «готики» за три столетия ее развития, St. Sulpice — один из самых внушительных примеров того стиля, который можно назвать «классическим барокко». И опять-таки в St. Sulpice — *целая история* этого стиля. Начатый в его нынешнем виде в XVII в. храм получил свое изумительное завершение в грандиозной двухэтажной колоннаде только в середине XVIII в. Также и башни его представляют в двух вариантах одну и ту же тему,— более древний тот, что успел соорудить (но не закончить отделкой) Сервандони все еще в прежнем вкусе барокко, тогда как тот, что закончил Шальгрен,— образец стиля Людовика XVI. Но не удивительно ли, что все это вместе взятое сочетается в одно прекрасное целое!

Именно зта чудесная гармония послужила тому, что эта церковь стала одной из моих любимых. Присутствуя в ней на торжественных мессах, слушая прекрасную игру Видора, состоявшего органистом Сен-Сюльписа, слушая каждое воскресенье чудное пение «Большой семинарии» (тогда еще не выселенной из соседнего здания), я испытал именно здесь тот подъем духа, к которому так убедительно призывают слова священника: «Sursum corda, habemus ad Dominum» *. Многим Сен-Сюльпис представляется чем-то холодным, и нельзя отрицать, что, при всем своем богатстве, это «очень серьезная», «очень строгая» церковь. С другой стороны, архитектура Сен-Сюльпис и снаружи, и внутри обладает все же особым оттенком, придающим что-то ласковое и «приглашающее» к суровости и к величию этого храма. Полюбил я Сен-Сюльпис и за очаровательную его капеллу Пресвятой Девы в абсиде. Будучи неисправимым любителем разных «театральных иллюзий», мог ли я не оценить этот своеобразный вариант на тему «Сикстинской мадонны» Рафаэля? Ведь и здесь богородица сходит к молящимся по облакам, освещаемым таинственным светом сверху, но только здесь и сама фигура мадонны, и облака, и колонны, служащие как бы преддверием царства небесного, *настоящие,* т. е. рельефные, осязаемые! Люблю я в Сен-Сюльписе и грандиозное надгробие работы Slodtz'a, сооруженное в память кюре Lanquet de Gergy, напомнившее мне особенно меня поразивший аналогичный мавзолей в паперти Майнцского собора. Наконец, все в той же церкви дивно звучат красочные симфонии на обеих фресках Делакруа, полны блестящего величия фигуры святых, высеченные резцом Бушардона, и почему-то меня *трогала*

* Горе имеем сердца наши ко господу, *(лат.)*.

даже та медная полоса парижского меридиана, что пересекает по диагоˆ нали пол церкви и взбирается в конце по обелиску, прислоненному К северной ее стене.

Однако я никогда не кончил бы этой главы, если бы я стал здесь описывать все свои восторги от парижских церквей. Скажу только, что на «третьем месте» после Nôtre~Dame и Saint-Sulpìce я заключил в сердце церковь Saìnt-Eustache за ее волшебную внутренность, но далее мне было трудно решить, которую из церквей я предпочитаю — скромную ли, уютную Saint-Sevèrin, роскошную ли St. Etienne du Mont с ее вьющимися вокруг колонн лестницами, величавую ли St. Paul или древнюю Saint-Germain des Près.

Что касается до памятников гражданской архитектуры, то тут мои симпатии стали сразу склоняться в сторону той «разумной» или мудрой красоты, в которой архитектура XVII в. сумела вложить чисто французское понимание красоты и гармонии, гениально выраженное в живописи Пуссена, в поэзии Расина и Корпеля. Мне уже на фотографиях необычайно нравился купол, да и вообще все сочетание круглых и прямых линий, самые несколько приземистые (trapus) (и все же не тяжеловесные) пропорции здания Французской Академии (Institut de France, College des quarte Nations*). Однако насколько эти линии и эти пропорции выигрывают по мере того, как приближаешься к зданию и оглядываешь его с разных сторон, открывая все новые и новые красоты! Не менее удовольствия доставляло мне разглядывание набережного фасада Лувра (в которой особенно прелестны узкие барельефы с разными атрибутами и с играющими ребятами). Однако, повторяю, всего не перечислить из того, что, несмотря на разрушения, сохраняет за Парижем одно из первых мест в смысле городской архитектуры. Впрочем, не одни шедевры французского зодчества прекрасны в Париже, прекрасен весь он сам, прекрасен и весь присущий ему особый характер, прекрасен светло-серый серебристый тон, прекрасны высокие черно-серые крыши, прекрасна та дискретная гамма, что получается от сочетания архитектурных масс с водами Сены и с часто заволоченным небом. Нравились мне кривые, узкие улицы с их почерневшими, покосившимися и грязными домами, нравились мансардные крыши с несуразным над ними полчищем труб; бродя по «коридорам» Латинского квартала, мне чудилось, что я и здесь узнаю нечто родное, давно знакомое и необычайно мне близкое! С умилением глядел я и на массивные арки Нового моста, знакомого по стольким романам и по гравюрам. Правда, меня огорчало то, что статуя Генриха IV, воздвигнутая посреди этого моста, теперь уже не та самая, что стояла здесь до

революции2*, но самый факт, что перед корпусами, коими выходит к мосту площадь Дофина, по-прежнему восседает на

* Французского института, коллежа четырех наций *{франц.)*.

*2** Еще обиднее мне представлялась замена чудесного конного памятника Жирардона королю-солнцу на Place Vendôme имитацией Траяновой колонны в честь Наполеона, и другого прекрасного (пешего) памятника тому же королю на площади Побед очень обыденной «конной» XIX в.

*IV, 17. Лувр*145

коне «добрый король»,— это меня трогало, и я сделал бесчисленные рисунки, изображающие именно это место. И опять-таки не без волнения посещал я чудесную площадь des Vosges (прежнюю Place Royale) и бродил по ее ныне пустующим аркадам, воображая себе всю ту жизнь, которая в дни Мольера здесь кишела, какие прелестные модницы здесь переходили от одной лавки к другой, сопровождаемые пажами и petils laquais *, какие реверансы проделывали перед ними и друг перед другом украшенные завитыми гривами господа, какие продвигались здесь во всех направлениях, огибая памятник Louis le Juste **, кароссы *** — одни мрачные, обитые кожей, другие сверкая золотом скульптур и пестротой ливрейных кучеров и лакеев! В моих упоениях подобной «ностальгией» по прошлому я имел те же странные чувства, какие я уже испытывал в Петергофе, в Царском Селе с момента, когда я «прозрел», когда прошлое ожило для меня с совершенной отчетливостью. А какое из этих двух «прошлых» является для меня более родным, более дорогим — русское ли или вот это «западное», я тогда не мог бы решить, да и по сей день не в состоянии это сделать...

Глава 17

В ПАРИЖЕ. К. БЕНУА. ЛУВР ВО МРАКЕ. Р. МЕНАР. Л. СИМОН

Только что я рассказал про то, каким полезным мне оказалось знакомство со швейцаром Nôtre-Dame. Заодно я здесь же расскажу, как мне (несколько позже) выдалось счастье более интимно ознакомиться с Лувром. Случилось это благодаря моему знакомству с однофамильцем Камил-лом Бенуа (Camille Benoit) ~ одним из тончайших и разносторонних знатоков искусства, каких за последние годы XIX в. дала Франция 1*.

Мне Камилл Бенуа чем-то напоминал Нурока. В нем жило то же ненасытное любопытство, та же склонность к чудачеству, та же потребность озадачивать, которая придавала нашему петербургскому другу нечто гофманское. У Бенуа отношение к

прошлому искусства не было похоже на обычное. Он вечно за чем-либо охотился, что-то открывал, но делал это вовсе не из каких-либо стяжательных или, скажем, карьерных побуждений, а из какого-то «спортивного вкуса». Не было в нем и ничего педантичного; если он и не прочь был блеснуть своей действительно необычайной эрудицией, то это происходило отчасти из той же потребности

* Лакеями *(франц.)*. ** Людовику Справедливому, т. е. Людомпсу XIII. *** От carrosse *(франц.)* — карета. ** По своей основной специальности Бенуа был музыкантом — композитором и критиком — и в этом причина, почему Фантен-Латур включил его в ту группу музыкальных деятелей, что представлена на портрете, носящем наименование: «Hommage à Chabrier» * [дань уважения Шабрие] *(франц.),*

«эпатировать», отчасти же потому, что он своих знаний не считал нужным прятать под спудом, а отдавал их на общее пользование. Страсть (или «страстишка») ко всякого рода озацачиваниям, вероятно, привела его и к тому, чтоб меня ознакомить с «изнанкой» Лувра (l'envers du Louvre) вовсе не как с административным целым, а как с чем-то таинственным и загадочным. Он *обожал* Лувр. Его пленили следы прошлого, что встречаются в нем на каждому шагу, несмотря на всякие переделки и часто варварские искажения. Бенуа в течение многих часов водил меня по секретным коридорам и лестницам, мы спускались в подвалы, обошли и чердаки, частью отданные под запасные склады. Я был поражен грудами туда отложенных и (несправедливо) позабытых картин, среди коих имелось немало прекрасных и некогда прославленных.

Таких прогулок было несколько. Они начинались с момента закрытия музея для публики. Между прочим, меня поразила внезапность, с которой происходил переход в настроениях и в самом виде охранного персонала. Мгновенно из унылых, несколько чванных блюстителей порядка эти люди, освободившись от своих старомодных мундиров и треуголок, прекращались в подобие распущенных по окончании занятий школьников. Не лишенным театральности показался мне момент, когда тамбур, на котором покоятся остатки знаменитых diamants de la couronne *, от нажима кнопки медленно опускается под пол, в особый тайник, куда доступ грабителям считается абсолютно невозможпым.

Особенное же удовольствие я получил во время третьей такой прогулки, произошедшей уже по наступлении полной темноты, когда пришлось шествовать при свете простой керосиновой

лампы, которую Бенуа держал в руке. Нескончаемые залы, погруженные в жуткое безмолвие, были населены одними тенями. Знакомые и любимые картины и скульптуры вдруг выскакивали из мрака и снова погружались в него. Было странно встретиться в таких условиях с усмешкой Моны Лизы, со «скользящими» фигурами па фресках Сандро (тогда помещенных на лестнице), со свирепым взглядом «Кондотьера» Антонелло да Мессина, с «Купальщицей» Рембрандта, со ставшим во фруит «Жилем» Ватто. Закончили мы наш обзор перед полустатуей той древней «Испанки», которая была открыта где-то около Эльче 2*. О, каким страшным выходцем с того света показалась мне среди всей темени эта сутулая покойница, вся увешанная тяжелыми и странными уборами.

* * *

Познакомился я с Бенуа у своих французских приятелей — не то у Симонов, не то у Менара. В свою очередь, мое знакомство с ними произошло благодаря тому, что мне очень понравились их произведения,

Алмазов короны *(франц.),*

Эт> скульптуру французское правительство позже обменяло на что-то, что хранилось в Испании,.

*IV, 17. Лувр*147

выставленные на выставках акварелистов и пастелистов, и мне не стоило большого труда убедить княгиню Тенишеву приобрести от каждого из этих мастеров по одному произведению для «нашего» собрания. Особенно мне понравилась серия пейзажей Менара, в которых он задавался трудной задачей передать эффект освещенных вечерними лучами облаков, громоздящихся над морским простором. Одну из таких картин Менар и уступил княгине. Выставка к тому времени успела закрыться, и я отправился к художнику на дом. Через Менара я познакомился и с его ближайшим другом Люсьеном Симоном, а также с другими художниками — с Котте, Прине, Жоржем Девальером и братьями Салио. С некоторыми из них мое знакомство протянулось затем на годы, и именно это сближение помогло мне лучше понять французское общество, его обычаи и самый его дух. Большинство в этой группе принадлежало к классу более или менее обеспеченной буржуазии и к той категории, которая у нас в России получила прозвище «интеллигенция». Напротив, в нее не входили ни представители «богемы», ни элементы аристократические, которых эти художники скорее

чуждались.

Самым симпатичным из этих новых знакомых был Рене Менар \ Уже одно то, что он был сыном того Менара, книга которого была моим первым и когда-то любимым пособием по изучению истории искусства, уже одно это располагало меня к приятию Менара в мое сердце. Но понравилось мне и все его обиталище — очень скромное, но все же свидетельствовавшее об изысканных вкусах хозяина. В этом небольшом, но светлом ателье (в верхнем этаже дома № 3 па площади Сорбонны) не было ни роскошной мебели, ни гобеленов на стенах (чему тогда полагалось быть в каждой мало-мальски элегантной художественной мастерской), зато висели хорошие фотографии и гравюры с разных художественных произведении, и как раз то были все вещи и мне особенно дорогие и близкие. С них наша беседа и началась, причем она сразу приняла то направление, которое (не будь безнадежной черты «недоступности» французов) привело бы меня и к дружбе на русский лад с Менаром. К сожалению, именно этой дружбы из моего знакомства с ним и не получилось. Не получилось такой дружбы и в результате многолетнего знакомства с другими французскими художниками. Ведь иностранцу не преодолеть ту retenue, ту reserve*, то «себе на уме», с которым типичный француз относится ко всем и ко всему.

Впрочем, про Менара я должен сказать, что хотя он и был очень «характерным французом», хоть до «русской» дружбы у нас не дошло, он все же был необычайно приятным человеком и производил впечатление человека с довольно открытой душой, охотно поддающегося всяким художественным эмоциям и склонного ими делиться. Самая наружность Менара располагала к нему. Высокий рост, полнота, склонная к тучности, крупные черты лица, добрые глаза — все оставляло и внушительное и располагающее к нему впечатление. К этому надо прибавить довольно

Сдоржанность, осмотрительность *{франц.)*.

1487F, *17. Лувр·*

длинно отрощенную черную бороду, красивые, плавные жесты, приятно звучащий голос. Очень эффектным я его помню на вернисаже, где уже издали можно было отличить в толпе его массивную фигуру и его высокий цилиндр среди обступавших его нарядных дам. Будучи очень красивым и видным мужчиной, он несомненно должен был пользоваться значительным успехом, однако если это и было так, то это не выражалось ни в разговоре, ни в том, как Менар держал себя с женщинами. На меня он производил скорее впечатление человека целомудренного, и возможно, что это качество лишало тех нагих особ, которыми он

населял <свои пейзажи, какой-то «эротической убедительности». Чувствовалось, что Менар их вводит, руководствуясь предвзятым намерением «faire du Pous-sin» *, а не потому, что природа для него насыщена неким любовным зельем; эти нимфы, дриады н просто купальщицы едва ли чудились ему, когда он «сидел на натуре».

Менар, впрочем, едва ли «много сиживал» на натуре. Его произведения тем особенно и отличались от работ Симона, что они в значительной степени измышленны. Получив творческий импульс от какого-либо эффекта или мотива в природе, Менар затем уже от себя превращал все виденное в *картину,* С натуры он делал только маленькие (иногда прелестные) наброски и заметки, но таковые он прятал и показывать не любил. Это были как бы лабораторные препараты, вспомогательные работы, его подспорья, а отнюдь не то, в чем он видел цель и назначение художника.

После нескольких моих посещений моего знакомого, он выразил желание побывать у меня и ознакомиться с моими работами. Отлично запомнился мне этот его первый «визит» на rue Casimir Perrier, Происходило это в апреле 1897 г.: стояла удушливая жара, и бедный «толстяк», поднявшись на пятый этаж по довольно крутой лестнице, долго не мог отдышаться и буквально изнывал от жары. От вина он отказался, зато (ему понравился тот сладкий шипучий сидр, что был гордостью нашего épícier du coin **. Он выпил его всю литровую бутылку сразу и только после этого пришел в себя. Однако, сколько и я, и моя жена его ни убеждали освободиться от тяжелого сюртука (тогда это было в обычае даже в самые теплые дни «делать визиты» en redingotte ***), Менар отказался — единственно из соблюдения известного декорума.

Второй из французских художников, с которым я вошел в более тесное общение, был Lucien Simon3. Менар и Симон были очень близкие между собой приятели, однако как личности и художники они представляли собой определенный контраст. Менар, при всей своей внутренней сдержанности, выказывал в своем внешнем облике известную открытость и широту. Симон, напротив, производил впечатление сухости и замкнутости. И, в сущности, он таким, несмотря на многие свидетельства его

* Подражать Пуссетг (¿¾w/¾.). ** Соседнего бакалейщика *{франц.).* *** В еюртуке *(фрлнц.и*

расположения ко мне, в моем представлении и остался. Зато нас с женой совершенно пленила госпожа Симон (они были такими же молодоженами, как и мы), являвшая в своей белокурой

красоте некий идеал французской женщины с весьма чарующим намеком на нечто германское. К этому надо прибавить удивительное, лишенное какой-либо гримасы радушие и способность быстро переходить с новыми знакомыми па какой-то почти товарищеский тон, благодаря которому гость уже через полчаса начинал себя чувствовать у Симонов как дома. Жанна Симон была и сама талантливой и очень своеобразной художницей. Верная ученица во всем, что касается техники, своего мужа, она в смысле содержания своего искусства представляла с ним полный и очень приятный контраст. Как раз то, чего не хватало ему, было у Жанны в избытке, а именно чувство поэзии. В ее религиозных композициях, темы для которых были навеяны ее семейным бытом, не было ничего «дамского», приторного, фальшивого. Мне было приятно бывать у Симонов, и я переставал себя чувствовать там чужим среди всего этого общества, отличавшегося, как всякое другое французское общество, чрезвычайной разговорчивостью, старанием блистать, но и известной чопорностью. Особенно таковым оно показалось мне в те времена, когда всякие правила «хорошего тона» были еще в полной силе и когда надлежало их знать назубок, чтобы на вас не смотрели косо. Мне импонировали эти, точно сошедшие с модных картинок, расфранченные дамы в своих огромных шляпах, и меня удивляли эти идеально причесанные и одетые господа, которые, распивая чай, жонглировали своими чашками, не покидая тростей и блистательных цилиндров. К тому же в зимние месяцы парижане, как то было еще при Луи-Ка-торзе (даже богатые дома тогда далеко не достаточно отапливались), входили в гостиную, не снимая ни пальто, ни перчаток!

Нужно еще прибавить, что Жанна Симон, благодаря присущему ей природному вкусу, сумела сделать свой интерьер необычайно изящным и уютным. Это была великая редкость в тогдашнем Париже. Нечто подобное тому, как выглядела их квартира в верхнем этаже довольно парадного дома на бульваре Монпарнас, я встретил только еще у незабвенной милейшей (и столь даровитой!) Марии Васильевны Якунчиковой, с которой я тоже в это время подружился в Париже,— подружился, преодолевая ее специфически русскую застенчивость, причем в этом преодолении мной двигал мой искренний восторг от ее творчества \ Комнаты у Симонов и у Якунчиковой носили слегка английский характер, в них прелестно сочетались матово-зеленый тон затянутых материей стен с красной обивкой мебели и со светлой деревянной обшивкой.

Что же касается до творчества Люсьена Симона, то меня очень пленяла его широкая, бодрая, уверенная манера как в

масле, так особенно в. акварели. Нравились и его краски, в которых было столько света и свежести. Особенно я оценил некоторые портреты 3*, но и в бретонских сюже-

** Акварельный портрет его двух детей я приобрел для тенишевского собрания. По распродаже его в 1903 г. оп достался С. С. Боткину.

150*IV> '№ Лувр*

IT._■■1*ш*-—,

тах Симона было столько бодрости, здоровой простоты! Он чудесно передавал и суровый характер местности, и то, что в жителях этих местностей есть первобытного, дикого. Сами Симоны жили летом в своей приветливой вилле на берегу моря в окрестностях Кемпера (в Беноде), это было прекрасное место для наслаждения воздухом, морем, для купанья, для прогулок в близлежащих сосновых рощах, но там всякие формы цивилизации успели за последние полвека значительно смягчить нравы: «окультурить» этих последних «европейских туземцев». Напротив, древняя Арморика продолжала существовать в своем чистом виде на полуострове Пенмарк 5, на котором в глубокой древности были расположены цветущие города и который теперь представляется краем заброшенным, опустелым и точно все еще подверженным каким-то зловещим проклятиям. Население Пенмарка, игнорируя благодеяния цивилизации, было в те годы почти поголовно неграмотным, зато хранило с упорным фанатизмом заветы праотцев. Это сказывалось как в необычайно цветистой, затейливой и тяжелой одежде женщин, как в языке (в этой области тогда по-французски никто пе говорил), так и в обычаях, в какой-то до изуверства доходящей преданности церкви и ее служителям. Сюда туристы в те времена заглядывали редко (автомобилей еще не было), только случайно, и никто из «парижан» не обзаводился здесь собственным жилищем. От скал, от камней, от пустынных дорог, от приземистых домов, от полуразрушенных церквей и капелл тогда веяло какой-то жутью. Это была страна очень страшных легенд и сказок, здесь даже среди дня могли почудиться кошмарные привидения.

Все это, вместе взятое, и могло пленить художника, и как раз два наиболее видных парижских живописца конца XIX в. часто искали именно в самых суровых местах Бретани вдохновение и мотивы для своих картин. То были Симон и Котте4*. Но если второму особенно давалось выразить нечто от самой души этой страны, то Симон довольствовался передачей одной чисто внешней стороны, что, впрочем, он делал с большим совершенством. Больше всего мне нравились его большие, непосредственные этюды акварелью, а также его «первые мысли»

картин, тогда как в окончательных версиях их почти всегда проглядывает известная школьная выправка. Надо еще сказать, что насколько госпожа Симон была натурой религиозной, по-детски верующей, настолько ее муж, как истый француз, в вопросах религии и вообще в отношении всякой мистики выказывал полное безразличие. Мне запомнился один характерный его ответ. Речь зашла о конце мира, который некоторые астрономы предвещали в самом близком будущем. Я был чрезвычайно встревожен мыслью, что вдруг не станет завтрашнего дня и что все, что мне дорого, из-за чего, казалось, жить «стоит»,— исчезнет безвозвратно. Я мучительно себя вопрошал — для чего же господу богу понадобилось все это со-

Всвомним, что и Гоген начал около того же времени свою творческую карьеру с бретонских мотивов, которым он придавал совершенно своеобразную цветистость и фантастичность.

*IV, 18. Дени, Валлотон, Боннар, Вюйар*Д51

здавать, когда все равно все обречено на бесследное исчезновение? Мысли эти я и поведал Симону, но он только улыбнулся и произнес следующую фразу: «Quand à moi, cela m'est bien égal» *. Такое «безбожное» равнодушие меня тогда огорчило и возмутило; но в то же время я понял, почему творчество Симона, хоть оно и было мне «очень по вкусу», все же как-то соскальзывало с моей души...

Глава 18

МОРИС ДЕНИ, ВАЛЛОТОН, БОННАР, ВЮЙАР

Весь мой первый парижский сезон (1896—1897) прошел без того, чтобы я продвинулся в своем ознакомлении с современным искусством дальше импрессионистов, и лишь в следующем году я стал обращать внимание на более передовые явления. Среди них были и такие, которыми я увлекался в чрезвычайной степени. Однако уже если импрессионистов приходилось до 1900 г. «отыскивать», делать усилия, чтобы увидать что-либо из произведений Моне, Дега, Сислея, Ренуара и Писсарро, то относительно художников, еще менее угодных официальному миру и вкусу, ознакомление с ними представляло трудности непреодолимые. На больших выставках они не участвовали («Salon cTAutomne» был учрежден только в 1900 г. *), частные коллекции были мне неизвестны, Publi-ceté **, к какой мы теперь привыкли, была в зачаточном состоянии. Единственными местами, где эта молодежь изредка (очень редко) появлялась,

была та же галерея старика Дюран-Рюэля, да еще лавка Воллара и «Салон независимых» 2. Вообще художественные магазины торговали «товаром», который показался бы сейчас до удивления старомодным. Неоспоримыми любимцами и торговцев, и собирателей, и широкой публики продолжали оставаться Эннер, Руабе, Рибо, Шаплен, Бзль, а то и слащавые или ультра-академические живописцы, которые теперь окончательно забыты. Не видно было, впрочем, в магазинах и художников чисто академического порядка, все еще славившихся на весь образованный мир.

Неминуемо должно теперь вызывать удивление, что я до сих пор не упомянул имен тех четырех художников, которые ныне уже лет тридцать как возведены в первейший ранг французской школы: имена Се-аанна, Гогена, Ван Гога и Сера. Правда, о них тогда «поговаривали» в специальных кружках, но видеть их произведений не было никакой возможности. О Гогене, уже проживавшем в те дни на Полинезийских островах, я имел представление по рассказам Бирле, но то было представление чисто литературного порядка. Я только мог воображать себе нечто,

* Что до меня, то мне это безразлично *{франц.)*. ** Реклама *(франц.)*.

когда речь заходила о творчестве этого «великого чудака», реального же представления о нем я не имел. Не мудрено поэтому, что когда я увидел в открывшейся около того времени лавочке Воллара (на той же рю Лаф-фит) первые его картины, я был озадачен и разочарован, не найдя их такими, какими я их видел в своем воображении. Впрочем, первое, что я увидал из творчества Гогена, была вовсе не живопись, а то были какие-то деревянные изделия и среди них целая разукрашенная резьбой художника кровать красного дерева, запимавшая всю ширину витрины Воллара и стоявшая окруженная всякими тропическими раковинами и ритуальными масками туземцев. Все это было прислано художником из далекой, тогда еще очень таинственной и малодоступной Океании. Что же касается до Сезанна, то из его картин я в Париже тех дней не видал *ни однойj* что, однако, не мешало ходить всяким рассказам об этом «еще большем чудаке», скрывавшемся где-то в Провансе. Наконец, самые *имена* Сера и Ван Гога цитировались редко, и считалось (понаслышке), что оба художника *настоящие* безумцы; никому в голову не могло прийти, чтобы *их* творчество получило бы со временем первостатейное значение и слава их затмила всех остальных и даже самых знаменитых.

По вот, как бы минуя одно звено в эволюции современного искусства, я довольно скоро узнал о существовании группы молодых художников, не без основания считавших себя *преемниками* и Сезанна и Гогена, отчасти и Ван Гога и Сера. Один из этих художников, которые были тогда известны под этикеткой «неоимпрессионистов», Морис Дени, изобразил себя и ближайших товарищей, сплотившихся как раз перед натюрмортом Сезанна, и озаглавил этот свой групповой портрет (по аналогии с подобными же группами Фантен-Латура) «Hommage à Cezanne» *. В эту группу входили кроме Дени — Боинар, Вюйар, Руссель, Ш. Герен. Другую группу составляли «пуантилисты», делившие наследство Сера, среди которых особой яркостью красок отличался Синьяк. Насколько первая из этих групп была мне по сердцу, настолько вторая оставляла меня холодным.

Мое ознакомление с неоимпрессионистами как раз началось с Мориса Дени, и он же в течение нескольких лет оставался одним из моих любимцев. Забегая вперед, должен тут же покаяться в том, что я усиленно пропагандировал Дени в России, и ни одна моя встреча с московскими меценатами не обходилась без того, чтобы я их не упрекал за их равнодушие к этому мастеру. На Сергея Ивановича Щукина 3 эти постоянные мои упреки не возымели действия, но своего брата Петра он по моему настоянию заставил купить одну из капитальных картин Дени «В лесу» 4 — тогда как самый значительный их конкурент по собирательству Иван Абрамович Морозов расхрабрился до того, что дал Дени возможность «высказаться вполне» 5. И до чего же мне стало неловко, когда собственник-заказчик торжественно ввел меня в только что украшенную картинами Дени галерею, посвященную истории Психеи, и я убедился, что имен-

* Дань уважения Сезанну *(франц.)*.

но *этого* пе следовало делать, что именно в таком мнимо-высоком искусстве неминуемо должна была обнаружиться вся несостоятельность художника, и что еще хуже — его безвкусие...

С тех пор мое отношение к Дени не изменилось, и, разумеется, не мог подействовать на такое изменение тот многосложный и сколь неудачный плафон, который он создал для зрительного зала Театра Елисей-ских полей. Ненавистна мне вся деятельность Дени в области якобы возрождения церковного искусства. Пи в чем так не сказывается фальшь, как именно в этих «подделках» под религиозное чувство. Но когда мне случается видеть его прежние скромные и искренние работы или такие произведения, в которых ему и позже (к сожалению, слишком редко) удавалось возвращаться к своему изначальному

отношению к задаче, то я по-прежнему оказываюсь в плену исключительного его обаяния. По существу, Морис Дени *все же подлинный художник,* но только не понявший меру и границы своих возможностей. Таких печальных недоразумений, какое произошло с ним, история искусства последних десятилетий насчитывает немало.

Тогда, в том далеком 1898 г., я был особенно очарован той скромной выставочкой, которую Дени, только что вернувшийся из путешествия по Италии, устроил, развесив без всякой претензии свои маленькие и скромненькие рамочки по тесной и довольно убого обставленной лавке Воллара. Что за совершенно самобытное, совершенно новое и необычайно тонкое понимание Италии он в них обнаружил! Это были мимолетные заметки, но в них было куда больше чувства и поэзии, самой «души вещей», нежели в иных и очень усердных, точных и эффектных изображениях. Казалось, точно от этих крошечных, то на дощечках, то на картонах писанных картинок Мориса Дени шел тот же бальзамный дух, каким дышишь среди кипарисов и сосновых рощ Тосканы. Иная розовая, позлащенная отблеском зари стена монастыря, выделяющаяся на фоне нежнейшей лазури, была целым откровением. А как чудесны были дерзкие но контрастам сопоставления, остававшиеся, однако, мягкими и благородными благодаря исключительному пониманию отношений, valeurs! В его бретонских приморских пейзажах с фигурами резвящейся молодежи «улыбалась» та же ясность и та же душевная чистота. Как тут было не возникнуть убеждению, что Морис Дени *может стать* прекраснейшим художником? Однако, верный своему правилу, я и тогда не пожелал войти в личное общение с моим кумиром и знакомство мое с Дени произошло уже в течение второго моего пребывания в Париже (1905—1907), о чем я постараюсь рассказать в своем месте. Принял я участие и в том чествовании, которым русские художники пожелали отметить его приезд в Москву и Петербург 6.

Мориса Дени я до своего поселения в Париже даже по имени не знал, имена же его товарищей Боннара и Валлотона были мне знакомы, в особенно я ценил отдельно изданные гравюры иа дереве последнего. Несколько таких листов принес как-то Иурок, и эти мрачнейшие композиции Валлотона произвели на меня такое впечатление, что я поспешил

добыть всю серию их, что стоило, кстати сказать, не так уже дорого. И какой эффект производил я, показывая эти страшные сюжеты приятелям и знакомым! Особенно поражали сцены «Гильотина», «Утопающая», или «Крокморы *, спускающие гроб по

узкой лестнице». Сведение в них всего к простейшим и наиболее характерным схемам представлялось мпе тогда идеалом.

В Париже я увидел и живопись Валлотона, но, не будь моего предварительного увлечения его гравюрами, я бы, пожалуй, просто не обратил на нее внимания — до того его картины казались обыденными, а иные напоминали раскрашенные фотографии. Все же во имя своей прежней симпатии к художнику я *заставил* себя игнорировать эти дефекты и, преодолевая свою стеснительность, пошел знакомиться с ним. Жил он тогда в тесной и убогой квартирке под самым небом где-то на рю Жакоб или на рю де л'Юниверсите. Принял он меня довольно холодно и в течение почти всей нашей беседы жаловался на свои плохие обстоятельства, а из своих произведений он показал мне всего два-три холста. В общем, Валлотон представился мне человеком сухим, болезненно-озлобленным на судьбу, и это впечатление было настолько невыгодно, что я и не попытался больше поддерживать это знакомство. И с виду Валлотон не производил приятного впечатления; неприятны были его светло-рыжие, гладко начесанные на лоб волосы, его унылое выражение лица и что-то ро всей манере держаться «типично швейцарское», методистское, пресное, черствое. Возможно, что впоследствии успех и то, что он получил (на время) «мировое» имя и даже довольно высокую «котировку», изменили характер и даже наружность его к лучшему1*, но я об этом судить не могу, так как больше с ним не встречался.

Боннар в те годы (1897, 1898, 1899) был долговязым, тощим, темноволосым и темпобородым молодым человеком, типичным парижским студентом или рапзном. Теперешний седовласый бритый Боннар совсем не походил на него. И с ним я не поддерживал завязавшееся было знакомство, но тут причиной был его специфически французский esprit gouail-leux **, которого я побаивался и который меня раздражал. Однако едва ли не эта самая склонность к шутке и к насмешке сказалась и в его творчестве. Этот esprit gouailleur обыкновенно связан с некоей неисправимой поверхностностью, а эта поверхностность, в свою очередь, питается самоудовлетворенностью — тем, что хорошо определяет слово suffi sail ce ***. Это тем более в отношении Боннара досадно, что в чисто красочном смысле Франция конца XIX в. не создала, пожалуй, художника, равного Бонна-ру. Уже если к кому могут быть приложены слова: «феерическая палитра», то это именно к нему — нужды нет при этом, что такая фееричность не проявляется в чем-либо сказочном по сюжету. Чудодейственный

*От croquemorts *(франц.)* — факельщики.

** Считалось, что этому успеху r некоторой степени **способствовало то, что он породнился** с богатым торговцем Воштгеимом. ** Пасмешлитшй, язвительный ум *(франц.)*.

*Самодовольство *(франц.)*.

IV, 18. Дени, Валлотон, Воннар, Вюйар

глаз Боннара открывает и в самых обыденных вещах изумительные сокровища цветистости. Говоря о нем, нельзя обойтись без сравнения его живописи с музыкой. Краски Боннара действительно поют, звенят, сливаются в совершенно своеобразные аккорды. Но вот при всем том в целом искусство его представляется пустым, часто даже ... нелепым. Трудно назвать хоть *одну* какую-нибудь картину Боннара, выделить ее во всем этом однообразном пестром и сверкающем калейдоскопе. В целом все творение его представляется одним сплошным ковром, в котором чудные краски и чудесные сочетания путаются, наплывают одни на другие, а в общем создают впечатление бесформенного хаоса... Едва ли поэтому можно быть уверенным в вечности его творения.

С большей уверенностью можно пророчить «вечность творению» Вюйа-ра и как раз той части его, которая создавалась в годы, когда он только начинал выступать и обращать на себя внимапие, иначе говоря до 1900 г. В это время жизненные условия обрекали художника на существование более чем скромное, но вот в самом ультра-мещанском быту Вюйар сумел выискать всю ту красоту и всю ту поэзию, которые, в сущности, разлиты повсюду, но различить которые — будь то во дворце, будь то в лачуге — дано только глазу и душе подлинного художника. Таким глазом и такой душой обладал в полной мере Вюйар, и как-то особенно этот божественный дар проявился тогда, когда предметами его наблюдения и любования было то убогое, но по-своему уютное и милое, что его окружало. В основе живописной магии Вюйара лежит то, как он чувствует «отношения»,— то, что французы называют словами valeurs, rapports. Но в этих отношениях Вюйар выискивает нечто большее, нежели только прелестную «игру». Посредством их он умеет передать, так сказать, самую «духовную эманацию» предметов. Он *настоящий* поэт. В его «комнатах», в его садах (особенно в *комнатах)* живет мир, тихое счастье семейпого быта, и чем эти комнаты и сады Вюйара менее казисты, а подчас и просто банальны, тем эта душа выявляется более отчетливо и пленительно.

Позже Вюйар, подчиняясь обыкновению, регулирующему всю художественную жизнь Франции, создал себе «специальность». Он сделался «портретистом интерьеров» — преимущественно

зажиточных и даже роскошных. В каждом случае он мастерски справлялся с поставленной задачей и с заказом, по как раз то, что составляло основную прелесть первых лет его творчества, покидает его, и лишь изредка Вюйару удается создавать вещи, в которых все еще светится какой-то далекий отблеск подлинной поэзии... Я бы даже сказал, что изо всех современных французских художников именно Вюйар стал мне наиболее близким и дорогим. Я тогда же с ним познакомился; он мне и лично очень понравился, понравился весь его скромный и даже застенчивый вид, понравилась его наружность, в которой особенно бросалась в глаза его светлору-сая окладистая борода, придававшая Вюйару какое-то сходство с капуцином. Однако из нашего знакомства в дальнейшем ничего не вышло и, возможно, что не вышло потому, что он в достаточной для меня степени

высказался в своей живописи, а общепие, беседа с ним ничего существенного к изъявлению его личности не прибавляли. Вюйар не был общительным человеком. Такие люди, «склонные к интиму», притом несколько простодушные и простосердечные, бывают прелестны, когда им дается всецело раскрыться, но раскрытие дается им не легко, оно может произойти только в среде для них привычной, связанной родственными, товарищескими или иными тесными узами...

Глава 19 МОЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРСТВО

В общем наша первая зима в Париже прошла без особенных событий, безмятежно, но не без пользы для нас обоих. Атя в чуждой обстановке, в нашем по необходимости упрощенном быту «созрела» как хозяйка, как мать и даже — как супруга. Не утратив своей главной и наиболее ценной, чарующей черты — удивительной непосредственности, она набралась жизненного опыта и мудрости. Что же касается меня, то, не говоря уже о той пользе, которую я почерпнул для своего художественного развития в том, что видел столько нового и превосходного, я несомненно созревал, расставаясь со всякими ненужными пережитками юности и с остатками своего «провинциализма», выражавшимися в известной бестолковости, сумбурности и узости моих художественных восприятий.

Сделал я и успехи в чисто художественном отношении. Я очень много рисовал с натуры, а своим домашним работам — «от себя», мог предаваться с большей последовательностью, не будучи, как в Петербурге, постоянно отвлекаем всякими

помехами.

В Париже, несмотря на новые знакомства и на частые посещения театров и других развлечений, мы, в общем, вели образ жизни уединенный и уж, во всяком случае, не похожий на тот довольно-таки суматошный, что сложился у нас на родине, где гости как званые, так и незваные, «не выходили из дому» и где мы сами были обязаны раза три в неделю у кого-либо бывать и терять время часто в совершенно нелепой болтовне, затягивавшейся по русскому обычаю до поздней ночи, а то и до утра.

Особенно полезно мне было осознать свои ошибки и слабые стороны. Уже в декабре я стал посещать вместе с Женей Лансере и с Фильдом «Академию Коларосси» на Монпарнасе \ и тут именно я испытал большое (но и сколь полезное) смущение при виде, как плохо мне дается передача того, что я видел перед собой и что пленило меня своими формами и пропорциями. Женя и Фильд занимались в той же Академии по утрам и днем, делая законченные этюды маслом с нагой натуры; я же довольствовался начинавшими тогда входить в моду получасовыми «кроки», и это отчасти потому, что мне было *стыдно* подвергать свои работы осмотру и критике состоявших при академии профессоров.

В том же доме, на улице Сены, в котором в верхнем этаже (точнее —• на чердаке) Фильд устроил (со вкусом) свое обиталище и поселил Женю,

*IV, 19. Мое коллекционерство*157

В нижнем этаже на улице находился тот эстампный магазин, который сыграл в моей жизни и в жизни моих ближайших друзей немалую роль. Здесь торговал оригинальными рисунками, гравюрами и литографиями известный на весь Париж господин Пруте — отец двух и поныне здравствующих сыновей. Однако оба сына, если и остались торговцами «картинок» (images), то все же ни один из них не пошел всецело по отцовским стопам. Старший сын Поль Пруте и вовсе изменил «жанру» отца, поставив свой собственный магазин на более научную почву и изгнав из него всякую «недостойную» мелочь. Младший же брат (от второй жены господина Пруте) вместе со своей матерью остался на прежнем месте, и первые годы после смерти отца он старался сохранить традиции, но потом не выдержал, так как эти традиции оказывались все менее отве-чающими требованиям времени.

Магазин или лавка Пруте представляет собой и по сей день все то же довольно просторное помещение, которое в былое время было разделено стеклянной перегородкой. За этой перегородкой принимались почетные гости, пользовавшиеся услугами самого хозяина, и среди них можно было часто видеть склоненный над

папками характерный, всем известный «лошадиный» профиль Анатоля Франса. Этот магазин стал меня манить с первого же моего посещения улицы Сены. И трудно было не остановиться перед его тремя витринами, не поглазеть на разложенные в них эстампы, изображавшие и виды старого Парижа, и бытовые сценки XVIII в., и ужасы революции, а также на чудесные литографии романтической эпохи — Гранвиля, Домье, Гаварни, Морена, Деверия. Я был тогда еще так наивен, что «просто глазам не верил», что вижу — вот так «на улице» такие сокровища, а о том, чтоб войти в их обладание, я и мечтать не смел.

По обе стороны входной двери в магазин, прямо на тротуаре стояли (и стоят до сих пор) низкие козла, а на них в открытых папках лежали сотни всяких листов, предоставленных публичному осмотрению. С этих козел и папок «все и началось». В них были сложены вещи скромные, дешевые (расценка начиналась с 10 сантимов), часто дефектные, с изъянами, надорванные и т. д., однако все же заманчивые для художника и весьма полезные: иллюстрации, вырезанные из книг, старинные географические карты, дешевые литографии, масса листов из «Charivari» и «Journal pour rire», портреты (иные XVI в.), виды городов и т. д. Среди пустяков было немало и очень интересных вещей — попадались даже рисунки неизвестных мастеров XVI—XVII и XVIII вв.! Словом, было и тут немало соблазнов. Самый же факт, что хозяева видимо не очень все это ценили и как-то «выбрасывали на улицу», служил лишней приманкой.

Первые месяцы я ограничивался тем, что только перелистывал содер-жимое папок, не решаясь что-либо выбрать и с выбранным войти в ма~ газин и спросить, что такой листок стоит (ибо я просто недоумевал, читая в уголке такие карандашом помеченные цифры, как 10, 25, 35 и не мог решить, означает ли эго франки или сантимы). Но случилось,

однажды, что, встретив Фильда, к которому я как раз направился, у самой лавки Пруте, я оказался свидетелем того, как мой приятель без церемонии отделил из висевшей пачки японских цветных гравюр один лист, вошел с ним внутрь и заплатил за него даже не франк, а всего двадцать пять саптимов! Гравюра эта была, если и не первоклассный оттиск, то все же самого Хирошиге, и представлен был на ней прелестный зимний пейзаж. Тут и я расхрабрился, шоняв, что к Пруте *можно* входить и людям со скромными средствами, что можно у него приобретать вещи и весьма завидные за гроши, я сразу набрал из уличных папок десяток листков, что составило не более трех франков. С этого началось мое знакомство с магазином и его

симпатичным владельцем, а после ряда случаев я убедился, что Monsieur и Madame Prouté не всегда разбираются в настоящем значении вещей и что поэтому можно вполне рассчитывать на «оказии», иногда и весьма удивительные. Да и вообще можно у них за совсем доступные цены приобретать вещи *весьма нужные* или приятные («возбуждающие») для художника. Постепенно я сделался завсегдатаем этого «источника» или этих «россыпей». Сначала я рылся в том, что было выставлено на улице, но потом приступил к просмотру и того, что было систематически разложено по картонным коробкам на полках и в самом довольно обширном помещении магазина. Коробки эти заполняли полки, коими были забраны все стены до самого потолка; их было, вероятно, несколько сот. Одних коробок с портретами, разложенными по алфавиту, было около двадцати пяти, и в каждой коробке лежало не менее трехсот листов. А сколько было коробок с топографическими материалами (видами городов и живописных местностей), разложепными по странам, сколько с художественными гравюрами всех времен и народов, сколько с оригинальными рисунками! Большая часть коробок была формата in quarto и стояла па полках вертикально, по листы большого формата были выделены особо и покоились в горизонтальном положении на нижних полках. Разумеется, при моих ограниченных возможностях, я не был в состоянии вполне удовлетворить все растущий во мне аппетит, но все же иной раз я тешил душу за два, за три франка, так как и за такие ничтожные суммы я покупал вещи, которые я нес затем домой с тем ликующим чувством, с каким охотник или рыбак тащит с собой особо удачную добычу. Разница же между моей радостью и радостью охотника была существенная. Ведь съешь зайца, и ничего от него не останется; а хорошая, интересная гравюра или рисунок может доставить нескончаемые радости!

Постепенно страсть моя к собиранию до того разгорелась, что я стал покупать не у одного только Пруте, но и у других торговцев эстампами, из которых почти все помещались на той же улице Сены. Особенно же мне полюбилась не лавка, а лавчонка, помещавшаяся ровно насупротив Пруте и принадлежавшая весьма оригинальному старцу — господину Манжену, известному на весь Париж под именем: le père Mangin *.

* Папаша Манжен *(франц.)*.

Свою страсть я мог удовлетворить у Манжена не в меньшей степени нежели у Пруте. Здесь к моим услугам были тоже сотни, если не тысячи битком набитых картонов, и здесь все было

разложено в довольно странном порядке, и здесь можно было среди всякого вздора набрести на весьма значительные вещи. При этом у Манжена цены были еще более низкие, нежели у Пруте, и иногда прямо смехотворные. Видимо, он их проставил (на обороте каждого листа, карандашом и очень мелким почерком) еще при Наполеоне III и с тех пор не удосуживался их повысить. Если набиралось у меня гравюр больше, чем на пять франков, то Мапжеп делал скидку. Еще охотнее и еще более щедрую скидку делала его сестра, одетая во все черное, высокая и тощая старая дама, ко мне особенно благоволившая,— вероятно за то, что я с обычным для себя вниманием к кошачьему роду относился и к ее маститому Minouche. Сестре Мапжена было лет под шестьдесят, но самому ему было наверняка лет восемьдесят, если не больше. Это был маленький, круглолицый, плохо выбритый старичок с вечным темным колпаком на голове, он неизменно заседал с большими ножницами за столом под окном на улицу и непрерывно производил там операции отрезания рваных и грязных полей у гравюр. Производил он это в угрюмом молчании, которое лишь в исключительных случаях прерывал двумя-тремя невнятно произнесенными фразами. Напротив, сестрица была болтливого десятка и часто мешала мне сосредоточиться, как хотелось, в моих поисках и в выборах, делясь своими хозяйственными заботами или какими-нибудь квартальными сплетнями. По я был готов и не то еще переносить, лишь бы подольше посидеть у Манжена и перебрать за час или за два сотни две-три (а то и больше?) гравюрок.

Каждый коллекционер ставит себе одну какую-либо специальную задачу, но у меня этих задач было несколько (специализация вообще не в моей натуре) и вот почему я мог переходить от гравюр на меди к литографиям, от «деревяшек» к рисункам 2 и т. д. Сегодня я рылся в отделе «пейзажа» (это была очень обширная рубрика у Пруте) завтра в «топографии», послезавтра в pieces historiques * или в sujets galants **. Я покупал и воспроизведения картин мастеров, и оригинальные гравюры, и модные картинки, и декоративные орнаментальные детали, и книжные виньетки. Повторяю, все это стоило тогда гроши и даже сотня разнородных листов редко превышала двадцать пять франков! А какие только сокровища в такой сотне не оказывались! Случалось, впрочем, что я позволял себе и настоящие «оргии» — это тогда, когда из Петербурга приходила какая-либо экстраординарная получка,— будь то папочкип сюрприз-подарок или же что-либо было продано из моих произведений, выставленных на петербургских выставках. Тогда я забирался к Пруте или к Манжену на полдня и уходил от них в

каком-то чаду, одурманенный теми бесчисленными изображениями, которые успевали за это время промелькнуть перед моими глазами.

* Исторических картинках *(франц.)*. ** Галантных сцепах *(франц.)*.

160/V, *20. Поездка в Петербург*

На второй год моего пребывания в Париже я сделал в той же области еще одно «открытие»,— а именно, в самом здании Лувра оказался казенный магазин эстампов — так называемая «La Chalcographie» *, в котором можно было приобретать новые оттиски со старинных досок. Это открытие повергло меня в неописуемый восторг. Подумайте только, за один франк я мог купить любой вид Парижа или его окрестностей XVIII в. Жана Риго, за два франка знаменитые гравюры Израеля Сильвестра Лепотра, изображающие празднества при дворе Людовика XIV; за чуть более высокую цену еще более знаменитые листы Кошена и Моро младшего. Оттиски с медных досок были превосходны, а бумага с виду такого же качества, какой она была в дни создания этих шедевров. Надо при этом заметить, что почти в равной степени всем этим увлекалась и моя жена, а когда подъехал в Париж Костя Сомов, то и он. С последним у меня получился род безобидного соревнования. Впрочем, Костенька не столько собирал «документы» для своих работ (однако модных картинок начала XIX в, он вскоре набрал еще большее количество, нежели я), сколько то, что ему казалось особенно курьезным, нелепым и даже безобразным. Этот сорт картинок мы (бог знает почему) прозвали «скурильностями» **, и величайшей радостью для Сомова было найти такую картинку, в которой глупость или уродство достигали особенно яркого выражения. С Костей и с моей женой мы иногда забавлялись и раскраской некоторых из купленных в халкографии гравюр, желая уподобить их прелестно раскрашенным в старину экземплярам. Мне особенно запомнился один такой вид Жана Риго, изображающий каскад в Марли, который Сомов оживил особенно удачным образом. Поверх штрихов гравюры он гуашью изобразил темные грозовые тучи, надвинувшиеся над все еще ярко освещенными деревьями, и золотые струи разразившегося ливня. Простить себе не могу, что не захватил эту фантазию моего друга с собой, а оставил ее вместе с другими бесчисленными сокровищами в своей петербургской квартире \

Глава 20

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ.

ВЫСТАВКА КНЯГИНИ ТЕНИШЕВОЙ.

ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ДЯГИЛЕВА.

ПРИЕЗД В ПАРИЖ ЧЕТЫ ОБЕР

В конце декабря 1896 г. мне пришлось на несколько недель покинуть свой парижский очаг и съездить в Петербург. Цель поездки заключалась в устройстве той выставки, посредством которой княгиня Тенишева желала ознакомить публику со своим собранием, для чего ею был снят об-

* «Халкография» [собрание гравированных досок] *(франц.).* ** От scurriie *{франц.)* — шутовской.

IV, 20. Поездка в Петербург

161

ширный зал «Общества поощрения художеств» на Большой Морской. Мне эта выставка доставила немало хлопот. В первую голову надлежало сделать более строгий отбор вещей, причем мне пришлось выдержать не одну стычку с милейшей Марией Клавдиевной, так как ей хотелось показать *пак можно больше* вещей и поразить общество количеством, я же отстаивал качественный уровень и безжалостно исключил все недостойное, не пожалел при том даже самых близких людей — брата Альбера, кузена А. А. Бепуа-Конского, любезного друга Л. Бакста и самого себя. Подоспевшие вовремя из Мюнхена и уже вставленные там в красивые рамы большие акварели, приобретенные мной у немецких художников, явились очень кстати, придав выставке большую нарядность и значительность. Кроме того, мне удалось (еще до своего отъезда за границу) приобрести за довольно крупную сумму маленькую, но восхитительную гуашь 70-х годов Менцеля, изображавшую сценку в парке из четырех персонажей, и это вместе с двумя мной же приобретенными портретами

. Петра П. Соколова, в свою очередь, очень повысило художественный уровень всей этой «художественной манифестации».

Когда-то в дни моего детства мое эстетическое чувство страдало при виде произведений П. П. Соколова; мне казалось, что от его помещичьих и охотничьих сцен разит грязью. Одутловатые «кувшинные рыла» его персонажей вызывали во мне чувство, похожее на тошноту. Напротив, когда у меня явилась

большая сознательность при оценке живописных произведений, то те же черты, которые во мне вызывали отвращение, стали теперь меня пленять своей мощной характерностью, своим «ароматом жизни». Пленяла меня вся стихийная, единственная в своем роде художественность искусства Петра Соколова, пленял столь

, ярко выражавшийся в его творчестве темперамент, пленяло его умение создавать настроение, наконец, полна чар оказалась для меня и его палитра, в которой преобладают серые и бурые краски и в которой все же нет черноты. Однако, получив разрешение княгини приобрести у Соколова более значительные произведения, нежели те две охотничьи сцены, которые уже украшали ее собрание, я отправился к нему не без трепетаˆ Дело в том, что одной из излюбленных тем рассказов Григоровича был именно Петр Соколов, которого наш «чудесный краснобай» выставлял в виде довольно жуткого авантюриста и чуть ли не салонного вора и мошенника. Григорович уверял, что когда Петр Соколов являлся в какой-либо богатый дом, то прислуге наказывалось запирать серебро и другие драгоценные вещи под ключ и зорко следить за всеми поступками гостя, которого все же хозяева ценили как замечательного художника и забавного собеседника. Слух о том, что Петр Соколов на руку нечист, держался в обществе крепко, и его не пытался опровергнуть даже его родной брат, ультра-порядочный, скромный, тонкий Александр Петрович — автор многочисленных и с мастерством исполненных (акварелью) монден-ных портретов. Наметил я себе приобрести у Петра Соколова чудесный портрет Сергея Атавы в красной рубахе с черным сеттером на коленях \ который за год или за два я видел на выставке и от которого я пришел

в полный восторг, однако художник «навязал» мне еще свой собственный (в овале), причем он без всякого стеснения сам его расхваливал, сравнивая его даже с Рембрандтом и Хальсом. На этом автопортрете Петр Соколов изобразил себя глубоким стариком, но в натуре, облеченный в халат, распахнутый над голой, поросшей седыми волосами грудью, он показался мне еще более древним и, главное, более жутким... Однако все сошло благополучно. Эти два приобретения так же, как покупка Менцеля, доставили мне такую радость, какую может доставить полководцу выигранное сражение. Оба раза Соколов, живший тогда во втором этаже дома, выходившего окнами на Тучков мост, принял меня если и не без сурового вида, то все же довольно любезно. Он откровенно жаловался на свои стесненные

обстоятельства и рассказывал весьма живописные анекдоты из своего прошлого.

Кроме забот о составе выставки, я должен был следить и за всей технической ее стороной: за вставлением в рамы, за публикацией в прессе, за рассылкой приглашений и, наконец, за печатанием иллюстрированного каталога. Это было мое первое прикосновение к типографскому делу: надо было заказать клише иллюстраций каталога, держать корректуру и т. п., что, в общем, послужило мне настоящей школой для дальнейшего. Каталог в форме карманной записной книжки2 получился очень изящным, и я своим первым опытом остался доволен...

К сожалению, бедной Марии Клавдиевне не суждено было пожать тот успех, на который она рассчитывала. Выставка, заняв весь низ большого двухэтажного зала, вышла довольно внушительной, на открытие съехалось немало приглашенных, в том числе и несколько «высочайших», но широкие массы публики отнеслись к ней с полным безразличием,— в общем выставка прошла просто незамеченной. Повредило успеху и то, что по городу пошли всякие сплетни о честолюбивых замыслах княгини, а также вредное брюзжание всех тех художников, которых мы исключили частично или совершенно. Среди них было несколько очень популярных, как-то Каразин, Писемский, Шрейбер, Бобров. Наконец выставка оказалась, пожалуй, и слишком серьезной или изысканной. На ней было мало того приторного товара, которым щеголяла наша «Акварельная выставка», а в достоинстве каких-нибудь старинных рисунков Менцеля, Депона, Кипренского, Воробьева и того же Петра Соколова некому было разобраться. Неуспех был настолько очевиден, что у меня явилось опасение, как бы это не повлияло на княгиню и как бы она не охладела к идее собрать тот музей, о котором я мечтал. Однако это не случилось, и потребовались другие испытания, чтобы Мария Клав-диевна разочаровалась в своем начинании окончательно. Самым тяжелым и прямо роковым испытанием явилось неприятие Музеем Александра IÏI иностранной части ее щедрого дара; немало огорчений бедная Мария Клавдиевна претерпела от прессы на первой русской выставке, устроенной Дягилевым, а также при выходе первого номера нашего журнала «Мир искусства» (осень 1898), но об этом далее...3

.Что касается до моей личной жизни за этот месяц, который я провел

IV, W. Поездка в Петербург

в Петербурге '*, то он явился для меня своего рода пыткой. Совершенно невыносимым мне показалось существование без моей жены. Ведь эта была наша первая длительная разлука с самого 1891 г., а затем, если я и был встречен с восторгом всеми близкими — родными и друзьями, я все же томился жить не в своей обстановке и оторванным от обычных занятий. Каждое письмо, которое я отправлял жене (писал же я ей ежедневно и получал такие же ежедневные известия от нее), содержало горькие жалобы на то, что я оторван от нее, а также заботы о том, что происходит без меня в Париже. Самая наша парижская жизнь, которая действительно была прелестной, представлялась мне издали каким-то раем, из которого я теперь исключен. Некоторое, но далеко не достаточное, утешение доставляло мне общение с друзьями. Как раз тогда наш кружок все более серьезно стал помышлять о том, чтобы выступить сплоченной группой на «общественной арене». Осуществление таких мечтаний стало представляться тем более возможным, что в лице уже вполне оперившегося Дягилева мы тогда начинали видеть того человека, который мог бы взять на себя всю пугавшую всех остальных практическую и организационную сторону дела. Напротив, в каком-либо идейном руководительстве мы не нуждались, и каждому из нас важнее всего было сохранение своей личной независимости. К тому же, всеми признанным безусловным авторитетом но всем художественным вопросам но-прежнему среди друзей считался я, и никто этого моего значения не оспаривал.

Как раз во время моего пребывания в Петербурге (январь 1897 г.) Сережа был занят устройством первой, затеянной им выставки. То было осуществление в более широком масштабе старой затеи — показать русской публике иностранное художество, и, так как мы по-прежнему оставались «под знаком акварели» (ведь наши художественные выступления начались с Акварельных выставок), то и эта выставка Дягилева задавалась сравнительно скромной задачей собрать характерные произведения современных немецких и английских акварелистов. С ее составом я смог ознакомиться еще до моего отъезда в Париж, так как ящики с Экспонатами уже прибыли из-за границы, и мы — т. е. я, Дима и Бакст — с великим интересом следили за их распаковкой. Я даже принял участие в окончательной сортировке прибывшего и наметил самое их распределение по снятому Сережей помещению. Под эту свою первую выставку нашему

энергичному другу удалось получить средний парадный двухэтажный зал только что законченного постройкою нового музея имени барона Штиглица, и, хоть нельзя было сказать, чтобы это было идеальным помещением для выставки картин — уже слишком оно было роскошным и «пестрым»,—однако мы все же радовались тому, что наш первый «праздник искусства» выйдет, благодаря этим мраморам, колоннадам и ярко расписанным сводам, особенно парадным. Немецкая часть

4* Остановился я и питался у брата Альбера: это был все еще тот же наш фамильный дом, в котором жили и наш отец, и братья Миша и Альбер.

6*

jß4*IV> 20* Поездка в Петербург*

этой выставки была мне хорошо знакома. Это были все те же наши тогдашние любимцы: Ганс Герман, Ганс Бартельс, Макс Либерман и т. д., зато полной новинкой оказалась английская часть, в которой доминировали так называемые «Мальчики из Глазго» — Boys of Glasgow4.

Сережа, тогда уже начавший поддаваться «последнему крику» (или тому, что он часто, при тогдашней неопытности, принимал за таковой), побывав на сей раз в Лондоне, поверил в исключительные достоинства всех этих Guthrie, Austin-Brown, Lavery, Paterson и др. Его пленила их дымчатая и все же сочная манера, их особенная красочность, тогда как их внутренняя пустота не могла его огорчать, так как наш друг был вообще довольно индифферентным к «поэтическому началу» в искусстве. Лишь бы было «красиво» (это слово у Дягилева вырывалось особенно часто, но означало нечто весьма неопределенное), тогда как была ли в картине хоть капля чего-то иного, нежели такая внешняя красивость, это его не заботило. Напротив, поверив со всем своим юношеским пылом в то, что *живопись* должна быть, во-первых, *живописью,* а что злейший враг такой живописи для живописи — всякое «содержание», всякая сюжетность, «все, что от литературы», Дягилев уже тогда сводил свое суждение о художественных произведениях к одному только требованию этого «живописного достоинства». При этом он был склонен (тогда казалось, что это по молодости лет, но дальнейшее показало, что в нем эта склонность была чем-то органически ему свойственным) принимать мишуру за золото, а приятность или «модность» за красоту.

Самого открытия выставки я не дождался \ так как меня тянуло с неодолимой силой обратно ко всему нашему милому парижскому парадизу...

* * #

В начале лета мы собрались в Бретань «на дачу», но до этого произошло одно событие, внесшее особую ноту в наше пребывание за границей и послужившее значительным обогащением нашего кружка. А именно, в Париж прибыли супруги Обер. Тому мы были очень рады — воспоминания о нашем уютнейшем сожительстве в Мартышкине были еще совершенно свежи. Однако в то же время я сразу был встревожен за своего старого друга. Дело в том, что он прибыл не просто для того, чтобы отдохнуть, чтобы освежить свои художественные впечатления и чтобы показать своей молодой жене город своей молодости, но целью (и даже единственной целью) его было «наверстать потерянное время», а за таковое он считал все годы, проведенные в России, после того, что первое пребывание Артюра в Париже так досадно оборвалось из-за событий 1870 г. В сознании своего могучего таланта и мастерства, Оберу хотелось запять во французском художественном мире подобающее ему место. Для меня же, успевшего за прожитые месяцы несколько ознакомиться с характером парижской художественной жизни, было ясно, какие непреодолимые трудности встретит Обер на своем пути «завоевания Парижа» и до чего рискованно его предприятие. .

IV, 2L· Лето в Бретани

165

Все же на первых порах я предпочел щадить дорогого друга и его не разочаровывать. К тому же я считал, что, как-никак, а пребывание в Париже, даже безотносительно до успеха, отзовется благодетельным образом на его творчестве. Но не так к этому отнеслись два старых парижских товарища Обера — скульптор Лоран и живописец Сальмои. Второй — добродушный и милейший человек сам по себе, зажиточный и не нуждавшийся в заработке — постарался окутать свои предостережения всякими смягчающими оговорками. Напротив, озлобленный неудачник Лоран, которого жестокие обстоятельства низвели на степень ремесленника-специалиста по декоративным работам, огорошил бедного Арттора своими заверениями, что *никакого^* успеха ему в Париже не завоевать, что вообще вкус публики опустился в чрезвычайной степени, что вся критика продажна, что нельзя рассчитывать на поддержку каких-либо меценатов. Артемий Лаврентьевич, склонный и без того к известному пессимизму, был так всем этим поражен, что сразу чуть было не собрался в обратный путь — насилу его отговорила от этого пылко верившая в гениальность мужа Наталья Францевна, к которой с полным

убеждением присоединилась и моя Анна Карловна. С другой стороны, уже слишком было соблазнительно, раз приехали, пожить в милой Франции и в особенности отправиться с нами в Бретань, где Обер, страстный поклонник всего стихийного, рассчитывал снова испытать все те эмоции и наслаждения от жизни моря, которые он испытывал, живя в Крыму, о чем он любил рассказывать с заразительным увлечением.

Первыми отправились в Бретань мы, т. е. мы двое, наша малютка, ее няня Аннушка и Женя Лансере, обещав нашим друзьям, что как только мы сами устроимся, так примемся за поиски чего-либо подходящего для них. Программа эта была приведена в исполнение, и Оберы через недели две присоединились к нам в Примеле.

Глава 21 ЛЕТО В БРЕТАНИ. ПРИЕЗД ДЯГИЛЕВА

С приближением лета наша давнишняя мечта пожить в Бретани стала принимать все более определенные и реальные очертания. И другие многие места манили нас издавна: Прованс, Альпы, Пиринеи, Нормандия, Голландия, но сильнейшее притяжение оказывала все же Бретань, и это стремление встретило горячую поддержку и поощрение со стороны наших новых знакомых — французских художников. Однако прежде, чем трогаться в путь, следовало точнее установить, куда именно в Бретани мы отправимся. Естественнее всего было бы отправиться туда, где жили эти наши новые знакомые: Симон, Менар, Котте, Доше '*; однако мне

4* Андре Доше был братом жены Симона, и шарм, присущий ой, в значительной степени был присущ и этому, тогда еще очень юному и только начинавшему выступать художнику. У меня с ним намечалась дружба; мне нравился его тихий,

казалось чем-то навязчивым и бестактным «соваться» в те края, которые были ими как бы открыты, изучены и даже прославлены на все ла-; ды. Пришлось взяться за изучение путеводителей, начиная с классического Жоанна \ Главным нашим требованием было, разумеется, море, непосредственное соседство моря, а затем и я, и наш верный спутник Женя Лансере мечтали о диких и чудовищных скалах, о старинных гранитных церковках и капеллах, о доисторических менгирах и кромлехах, вообще о всем том, что придает сказочность — сказочность несколько кошмарного оттенка — древней Арморике. Говорили в нас и воспоминания детства (одной из моих любимых книг была: «Le Foyer Breton» * Эмиля Сувестра). Случилось еще как раз так, что Женя тогда получил заказ (свой первый заказ) от

писательницы Балобаповой иллюстрировать ее «Бретонские сказки» 2, и для этой задачи ему было крайне полезно на месте изучить потребный материал.

Но все же, в конце концов, выбор нашей летней резиденции произошел совершенно случайно, но этот случай был удивительно счастливым. Конечным, нами намеченным по «гиду» пунктом была деревня Плугану, отстоящая от Морле в двадцати километрах. Там мы нашли бы и интересную готическую церковь, и ренессансную капеллу, и ossuaire** XVI в. Однако, когда мы на нанятой в Морле коляске добрались до Плугану. то нас постигло полное разочарование. Начать с того, что деревушка Плугану только на карте казалась стоящей на берегу, на самом же деле — до моря надо было идти целых полтора километра под гору, и обратно — в гору. А затем и церковь, хоть и была старинная, но показалась она нам довольно обыденной, капеллу же и ossuaire** мы так и не нашли. Мы совсем приуныли и чуть было не собрались в обратный путь, однако в этот самый момент счастье и улыбнулось нам самой радужной улыбкой.

Наш возшща на всем пути не переставал мне твердить, что он может

нас свезти немного дальше в несравненно для нас более подходящее ме

сто; теперь же, видя наше разочарование, он с удвоенной настойчиво

стью возобновил свои убеждения. И действительно, не успела наша ко

ляска проехать, покинув Плугану, по большой дороге километр с неболь

шим, как перед нами открылся вид неописуемой красоты. И этот вид

был, во всех своих частях и в целом до того *бретонский,* что и искать

что-либо *более бретонское* было бы бессмысленным. Во весь горизонт

* —

скромный нрав, его серьезное отношепие к делу. Побывав у него на дому на улице Гийом, я пленился и всей семейной обстановкой этой типично французской семьи. Во время нашего второго пребывания в Париже (1905—1907) я еще более сошелся с Доше. Особенно была мне по душе его некоторая детскость, его любовь к детям и его понимание нх. Но впоследствии наше знакомство совершенно расстроилось. Тут главную роль сыграло то, что мпе перестало нравиться его искусство — это однообразное, сухое и унылое повторение одной и той же

формулы, в которую ему все меньше и меньше удавалось вкладывать какую-либо поэтичность. * Сказки Бретани *(франц.)*. ** Оссуарий *(лат.)* —церковпое хранилище костей от старых погребений.

IV, 21. Лето в Бретани.....167

стлалась водяная ширь, в тот яркий, солнечный и несколько ветреный день окрашенная в темно-синий и ярко-зеленый цвета; далеко на западе тянулась полоса земли, на которой высились острые шпили церквей древнего города St. Paul de Leon; несколько ближе была расположена бухта Морле с ее цикладой мелких островков. Но прекраснее всего было то, что было непосредственно под нами и куда мы плавным заворотом спускались — небольшой залив, окаймленный скалами розового гранита самых причудливых форм. Единственным чуждым пятном было как раз здание отеля, рекомендованного нам возницей, довольно крупная постройка городского типа, несуразно белевшая среди всей этой дичи. Однако приветливость хозяйки, вышедшей встречать гостей, а затем тут же сразу поглощенный чудесный завтрак, начавшийся с креветок и с лангуста, а также просторные, светлые с видом на море комнаты, — все это примирило нас и с отелем. Мы решили, что попав так удачно, нечего было и искать что-либо другое. Однако прожить целое лето всей. семьей в отеле было бы слишком пакладно, и поэтому, вняв совету той же мудрейшей хозяйки — мадам Пупон, мы обратились к мадам Тальбот, владевшей вторым, более скромным отелем, у которой оказался свободным стоявший среди группы деревенских домов ее старый семейный домик. Таким образом мы попали в самую гущу бретонской народной жизни и оказались окруженными не только самыми характерными элементами бретонского пейзажа, но и чудесными подлинными бретонскими типами — всякими Клехами, Ледёнфами, Деанами, а их жены все еще рядились на традиционный манер — во все черное, с синими передпика-ми вокруг талии и с белоснежными чепцами на голове. Мы оказались *действительно в Бретани,* и перед нами открывалось лето, обещавшее массу тех самых впечатлений, за которыми мы сюда приехали и о которых мы мечтали еще в Петербурге.

Местное население Примеля не превышало сорока или полсотни душ, а число летних гостей, так называемых parisiens* (хотя бы они были v жители Морле) доходило в самый разгар сезона самое большее до двухсот человек, которые распылялись по помянутым двум гостиницам и совершенно терялись в широкой пустынной местности.

Настоящими хозяевами и владельцами примельской земли с

незапамятных времен оставалось несколько рыбаков и несколько земледельцев. Жили они в домиках, которым было по несколько сот лет и из которых самые убогие были еще крыты соломой...

Эти примельские рыбаки-мореходцы занимались самостоятельным промыслом и были связаны с более значительным рыбацким поселком Ди-беиом, расположенным по другую сторону Примельской бухты. Там происходил и рыбный торг, причем почти вся рыба забиралась в Париж.

Наша деревня (ее звали Трегастель-Примель, в отличие от другого Тре-гастеля, лежащего близ Ланниона) вела, в общем, самый тихий и совершенно замкнутый образ жизни. Лишь в праздничные дни она немно-

* Парижан *(франц.)*.

го оживлялась и преобретала более шумный характер, благодаря тому, что съезжались крестьяне из разных расположенных по верху фалэз* деревень, появлялись и редкие туристы.. Съехавшиеся пировали в трех небольших кабаках (по одному такому «эстамииэ» находилось при каждой гостинице, третий занимал отдельный дом), а к вечеру происходили танцы прямо на траве, по отлогому холму у дороги.— Мужчины в Примеле кое-как изъяснялись по-фрапцузски, едва за французскую речь можно было принять говор детей, посещавших коммунальную школу, где их обучали французскому языку, бабы же, и особенно старухи, те и вовсе им не владели. Ате волей-неволей пришлось вызубрить около сотни бретонских слов для обозначения самых необходимых предметов и действий. Практики же сразу досталось достаточно, как только в помощницы нашей Аннушке мы наняли древнюю старушку Marie. С ней и с несколькими постоянными поставщицами молока, яиц, масла, а также с прачкой иначе и объясняться нельзя было, как на их звучном, резком, но и необычайно энергичном «барагуэне» **.

Нам обоим, и жене и мне, вообще свойственно быстро входить в близкое отношение с разными «туземцами». Это отчасти зависит от другой, также нам обоим присущей черты — известной «благожелательности». Кроме того, нам совершенно чужды разные националистические предвзятости и предрассудки. Но в Бретани и без такой «предвзятой благожелательности» наши симпатии были сразу завоеваны местным населением, и между нами и этими рыбарями и крестьянами с их женами уже через неделю установились самые радушные отношения. Всех их мы выучились величать по имени с прибавлением иногда слов: Monsieur, Madame или же père и more, а тема наших несловообильных бесед сводилась (с теми, кто кое-как калякал

по-французски) к вопросам о погоде, о ветре, об улове или же о состоянии тех произрастаний, которыми были засеяны поля (картофель, пшеница, гречиха, роя^ь, лен). Этого было достаточно, чтобы почувствовать при встречах известную «человеческую созвучность», констатирование которой во все времена и даже по сей день (после стольких разочарований) доставляет мне большое удовлетворение.

На общем фоне благодушия и взаимпого расположения нам особенно полюбилось несколько человек: бодрый мужественный рыбак Lecor, его славная неутомимая жена, их двое девочек — Marie (11 лет) и Jeanne (8), ближайшая наша соседка прачка Nanou, чудесная, крепкая, бодрая mere Klech, ее хорошенькая дочь Маргарит, ее красавец сын и, накопец, наш сосед, нарочито «мордастый», угрюмый крестьянин la père Dean — не знавший передышки в работе, не признававший ни воскресных дней, ни праздников. Не все эти наши «друзья» вели безупречный образ жизни, не у всех было благополучие в доме. Так, например, Нану частенько напивалась до полного бесчувствия, и тем же пороком

* От faïaise *(франц.)* —утес, скала. ** От baragouin *(франц.)* — неправильном, ломаном языке.

страдал Клех-сын, следуя в этом примеру своего отца, который, возвращаясь с какой-нибудь попойки в Плугану или в Дибене, крепко колотил свою почтенную супругу, не терявшую и в этих случаях своего достоинства и своей гордой осанки. Но все это не мешало «существу дела»; все эти пьяницы, грубияны продолжали быть de très braves gens *, в частности же и Нану, которая как будто и на руку была не чиста, обезоруживала Атю чем-то собачьим в выражении лица и особенно виновато хитренькой улыбкой. От папаши Деана я узнавал всякие хлебопашеские новости и предвидения, господин Лекор выражал свое благоволение к нам тем, что контрабандой продавал нам омаров, лангустов, иногда рыбу, а то и каких-либо морских чудищ и диковин, которых мы с Женей усердно зарисовывали в свои альбомы. Он же возил нас по морю в своем объемистом, тяжелом, крепком парусном баркасе (о каких-либо моторных передвижениях не было тогда и помину). Наконец госпожа Клех угощала нас иногда блинами, на которые она была великой мастерицей, и хоть при приготовлении их она считала долгом двумя плевками сдобрить шипящую сковороду (так уж требовал обычай), однако мы уплетали эти ее огромные крампосы без гадливости — до того вся она чистенькая, до того ее свежий румянец, украшенный двумя рядами белоснежных зубов рот —

были аппетитны...

Перечисленные лица принадлежали к примельскому народу, но была в нем, как водится всюду, и своя аристократия. Главными ее представительницами были уже помянутые две хозяйки гостиниц: госпожа Пупон и госпожа Тальбот. Ни та, ни другая из этих пожилых дам не принадлежали к каким-либо знатным родам, и, тем не менее и несмотря па то, что ни та, ни другая не желали расставаться со своими чепцами (а госпожа Тальбот со всем своим характерным крестьянским нарядом), они внушали всей своей манерой быть (а также своим достатком, во много раз превышавшим средства других иримельских жителей) абсолютный решпект каждому, кто бы с ними ни входил в контакт. Признаться, и мной овладевал легкий трепет каждый раз, когда я обращался с какой-либо просьбой к нашей толстухе-хозяйке или когда мимоходом я завтракал в отеле Пупон и удостаивался минутной беседы с его патроншей.

Наш двухэтажный (по русскому счету) дом стоял, как уже сказано, в самом центре селения и потому был овеян разнообразными и временами порядком пронзительными запахами, шедшими от аккуратно сложенных куч навоза, от стогов сена, от коровников, конюшен, свинарников и от пылавших хворостом и вереском очагов. Все это вместе создавало вовсе не столь уж противное ароматическое целое, а дующий по примельской косе почти беспрерывно морской ветер не позволял этим запахам застаиваться в тесных закоулках. Окна и дверь нашего домика выходили па юг, на север же дом стоял спиной, и глухая стена с одной только маленькой дверью защищала нас от свирепых и студеных ураганов, от которых даже толстые каменные стены дрожали. Прихожей в

Очень славными людьми *(франц.)*.

доме не было, а как во всех крестьянских домах, вход со двора-улички вводил прямо в главное помещение; слева узкая комната служила нам столовой, справа была обширная палата, служившая и кухней и гостиной, а когда-то она была и главной спальней обитателей дома. В этой большой, темноватой, с закопченным деревянным потолком комнате члены семьи Тальбот располагались на ночь в двух монументальных деревянных кроватях, имевших вид шкафов и поставленных рядышком по северной глухой стене комнаты. Еще одна кровать стояла поперек. Еще одно лежбище было устроено в косом чулане под лестницей. В этом чулане мы однажды ночью, к большому изумлению, застали нашу прачку Нану, однако попытка добиться от черномазой усатой старушки, почему она предпочла этот

душный и тесный угол в чужом доме кровати в собственной лачуге, тут же, в двух шагах от нашего отстоящей, ни к чему не привели; объяснение шло по-бретонски. Но с тех пор Нану, уже не скрываясь, забиралась часов в восемь в эту свою конуру, откуда она на прощанье кивала своей усатой черномазой физиономией добродушной ведьмы, после чего раздавался тотчас же могучий ее храп.

Эта кухня-гостиная, с ее шкафами-кроватями, с ее черным потолком, с громадным, тоже прокоптевшим камином, в котором на особом крюке висел древний большущий котел и па полке которого были расставлены всякие, уже не употреблявшиеся в хозяйстве предметы, чудом уцелевшие от былтх времен, эта кухня была на редкость живописна, и с первого же дня я решил, что самым точным образом изображу ее. Но задача оказалась тогда еще мне не по силам, и хоть корпел я над этой акварелью много, хоть несколько раз смывал ее и снова принимался сначала, но так мне и не удалось справиться с сочной «рембрандтовской» светотенью и создать то, что хотелось, т. е. как бы самый тип древнего бретонского жилища. Впрочем, то первое бретонское лето я не мог считать, что касается моих работ с натуры, удачным. Значительных этюдов у меня к концу лета так и не оказалось. При чрезмерном богатстве новых впечатлений, при страстном желании все запечатлеть, «все увезти с собой», я поневоле разбрасывался, вследствие чего получилось бесчисленное множество отдельных зарисовок карандашом и пером или небольшие этюды акварелью в альбомах, а на нечто более серьезное и выдержанное не хватало времени. И все же лето для меня, как художника, не пропало даром; в непрестанном упражнении руки и глаза я приобрел большую меткость и большую уверенность.

Это констатировал, к моему значительному утешению, и Сережа Дягилев, нагрянувший к нам среди лета в Примель и пробывший с нами целых два дня. К большому нашему сожалению, мы не могли ему оказать гостеприимство в нашем доме; три комнаты, составлявшие второй этаж (по русскому счету) служили нам спальнями, и все они были заняты нами двумя, нашей малюткой, ее няней и Женей 2*. Да и продо-

Те кровати, в которых мы спали, имели вполне комфортабельный вид; они были снабжены и тюфяками, и матрацами, и подушками, но все это насквозь пропах-

IV, 21. Лето в Бретани

вольственные условия в тогдашнем Примеле были таковы, что моя бедная Атя не выходила из отчаяния. В самом поселке не было лавок, и за всяхшм пустяком приходилось тащиться в гору — в Плугану. Мы почти исключительно питались картофелем, рисом, тогда как даже рыба была редкостью. Как тут было угодить такому требовательному и привычному к отельному обилию человеку, как Сережа? Все же он как будто остался доволен, живя в отеле Пупон, своим пребыванием. Днем я водил его по всем нашим достопримечательностям, а оба вечера я провел с ним в отеле, беседуя об его проектах. Попал он к нам па пути из Швеции, Дании и Норвегии, где он как раз наладил свою первую значительную выставку — скандинавских художников 3, а от нас он собирался в Дьепп, где оп хотел у Ж. Э. Бланша встретиться с Оскаром Уайльдом (уже отбывшим свое наказание) и с Бердсли.

Еще до своего приезда он писал мне, что занят осуществлением нашего давнишнего желания образовать свое художественное общество, одной из главных задач которого было устройство своих отдельных выставок передового характера. В моем согласии примкнуть к этому обществу и в полном сочувствии к его затее он не мог сомневаться — ведь я был как бы создателем нашей группировки еще до того, что он появился среди нас; я даже мог считаться тогда как бы моральным или эстетическим вождем и ментором нашей группы. И все же требования Сережи вызвали во мне довольно мучительную душевную «суматоху» и растерянность. Дело в том, что еще в мою бытность в Петербурге Альбер, возмущенный какими-то интригами, проявившимися в возглавляемом им «Обществе акварелистов», стал подумывать о том, чтобы покинуть это «Общество» и основать свою группу4. Тогда же и я и Бакст совершенно естественно дали наше согласие войти в это общество. Однако брату моему было не по плечу и не по характеру создать нечто действительно серьезное и значительное, да еще передовое, «авангардное». К нему сразу примкнули наименее желательные из его коллег — разные любители и дилетанты, которых он баловал свой дружбой. Это уже казалось с самого начала чем-то губительным. Сережа сначала отнесся к затее Альбера если и не с сочувствием, то все же не без известного интереса, но затем он понял, куда эта альберовская затея клонит, и тогда у него и возникло намерение устроить другое, *свое,* уже совершенно новое общество. И вот именно такой

оборот дела и доставил мне мучения. Всей душой я был с Дягилевым и с моими друзьями, и в то же время мне было очень неприятно огорчить брата, ибо сочетать ту и другую затею было немыслимо. К счастью, эти терзания мои через два-три месяца кончились сами собой. Альбер понял, что ему никакого общества не сформировать, и он, поломавшись немного, верпулся на лоно своего прежнего «Общества акварелистов»; я же благодаря этому ощутил полную свободу и мог без всяких угрызений совести всецело отдаться новому, «нашему» кружку.

ло сыростью, к чему мы с трудом привыкли и что привело к тому, что и мы сами пропахли этим довольно противным ароматом.

172

IV, 21. Лето в Бретани

Вот то письмо, которое Сережа мне написал в Примель, приблизительно за полтора месяца до своего собственного появления. Привожу его, как очень характерное для него; но представляет оно интерес и как наиболее ранний документ, относящийся к истории возникновения нашего «Мира искусства»:

«Милый друг Шура,

«Пишу тебе лишь два слова, чтобы держать тебя в курсе дела. Из Альое-ровского общества ничего путного не выйдет, так как члены-учредители его суть: Беггров, Степанов, Игнациус, Аккер 8* и проч., а потому я учреждаю свое новое, передовое общество. Первый год, по постановлению большинства бывшего у меня собрания молодых художников, выставка будет устроена от моего.личного имени5, причем не только каждый художник, но и каждая картина будет отобрана мною. Затем будет образовано общество, которое будет работать дальше. Выставка предполагается у Штиглица 4* от 15 января до 15 февраля 1898 г. Ты, конечно, попимаешь, кто входит в состав общества: петербургская молодежь, москвичи, которые страшно ухватились за мою мысль, финляндцы (они ведь тоже русские), а затем кое-кто из русских за границей: Александр Бенуа, Якунчикова, Федор Боткин... Итак, я надеюсь, ты примыкаешь к нам, а не к альберовскому болоту. То, что я пишу, не есть лишь проект; это дело решенное. Ответь моментально, как ты к этому относишься. На днях получишь от меня по этому поводу официальное письмо».

Вместо обещанного «официального письма» явился сам Сережа, и в личной беседе рассеял последние мои сомнения и угрызения совести в отношении Альбора. Посещение Сережи произошло уже в середине лета, и к этому времени и у меня, и у Жени набралось несколько таких работ, которые свидетельствовали о сделанных нами успехах. Но в Дягилеве уже

тогда обнаружилась определенная склонность ко всему незаконченному, к тому, что вылилось у художника сразу, не пройдя через строгий контроль сознания. Об этом он мне еще написал из Парижа, где я (снабдив его «пропуском» в нашу квартиру) дал ему возможность ознакомиться со всеми теми моими работами, которые я сделал с момента моего поселения в Париже. Эти хвалы Сережи были мне чрезвычайно приятны, что, между прочим, доказывает, какую авторитетность этот «вчерашний мой ученик» приобрел даже во мнении своего бывшего «ментора».

Дягилев был неправ, ставя на одну доску такого искусного мастера, как Александр К. Беггров, с такими бездарными любителями, как глухонемой Степанов и морской офицер Игнациус. В вале Училища имени барона Штиглица.

IV, 22. По Бретани

173

Глава 22 ПО feРЕТАНН

Во вторую половину лета 1897 г. я совершил с Женей Лансере несколько поездок по Бретани и Нормандии. Первая из них, длившаяся всего три дня, была посвящена самому Морле и недалеко от Морле лежащим местечкам Гимилио и Сен-Тегонек; во время второй поездки самым далеким, на север лежащим пунктом был нормандский город Кутанс, а по дороге к нему мы посетили Динан, Доль, Мон-Сен-Мишель, Фужер, Витри; на возвратном пути — Карнак, Плоэрмель, замок Жослен, Кархе, целью третьей были знаменитые скалы Плуманах близ Перрос-Гирека.

Возвращались мы с каждой экспедиции с массой зарисовок в альбомах, рассчитывая многое из этого дома «привести в порядок» и, по свежей памяти, снабдить красками. Однако все новые впечатления помешали исполнению этих благих намерений, и в результате получилось у меня за лето не более десяти законченных вещей, из которых я запомнил «Церковь в Кархе», приобретенную князем В. Н. Тенишевым, и «Замок в Фужере», кому-то проданный на нашей первой выставке. Женя, впрочем, очень удачно использовал все то, с чем он познакомился во время этих поездок,— в своих полных подлинного бретонского настроения иллюстрациях к сказкам госпожи Балобановой. Это была его первая ответственная заказная работа, и в ней суть его искусства уже высказалась вполне.

Не могу тут же не выразить все мое любование личностью в целом нашего дорогого родственника. Трудно себе представить большее душевное единение, нежели то, что нас тогда связывало. От прежних наших отношений, походивших скорее на отношения между наставником и учеником, остались едва заметные следы; постепенно они перешли в дружбу на основе полного равенства. Кроме того, у меня к «Женяке», как к художнику, был род поклонения. С чем можно сравнить то отрадное чувство, с которым следишь изо дня в день, как растет и зреет подлинный божий дар? Нечто подобное я уже испытал в предыдущее лето (1896 г.), любуясь расцветом на моих глазах таланта К. Сомова; здесь же происходил аналогичный процесс с тою разницей, что в творчестве Жени как в работах с натуры, так и его фантазиях, я видел нечто для меня особенно близкое, действительно родное... Костя помог мне лучше осознать особую прелесть русской природы и исконного русского быта. Я через него лучше понял иные, характерно русские настроения, настроение русской усадьбы, русской помещичьей жизни. В произведениях же, опять-

таки на моих глазах возникавших, Жени уже в Париже, но особенно — в Бретани я изумлялся его удивительному схватыванию наиболее своеобразных черт того, что мы видим. Бретонские легенды приобрели в его передаче необыкновенную остроту и убедительность.

А какой вообще исключительно прелестпып человек был тогда Евгений Лансере! Прелестным в основе человеком он остался и на всю жизнь,

но все же и его не миновала всякая трепка и ломка, всякие заботы и разочарования. В то же описываемое время много в нем было очаровательно юношеского, что чудесно гармонировало с его утонченной, я бы сказал, аристократической внешностью и его необычайно деликатной, скромной и ласковой манерой быть. Самое его простодушие, выражавшееся в каких-то рыцарски благородных убеждениях политического и морального характера, придавало удивительно «милое и *светлое»* обаяние его личности. Случалось мне Женю за что-либо корить и упрекать, но каждый раз я тогда внутри себя чувствовал, что мои наставления носят оттенок порчи, что озабоченный тем, что было в его натуре «не от мира сего», и желая ему привить более трезвые взгляды, я рисковал разрушить в нем нечто особенно тонкое и нежное.

Одной из характернейших специальностей Бретани являются так называемые «кальварий» * — памятники, которые фанатично благочестивые бретонцы сооружали в XV, XVI вв. и даже еще в XVII в. на своих кладбищах в наглядное памятование Страстей господних. Одним из самых значительных таких калъвариев и прославилась деревушка Гими-лио, но здесь кальварий окружен весьма своеобразными и затейливыми постройками (из гранита), и в целом получился удивительный архитектурный ансамбль, правда, не отличающийся ни роскошью, ни блеском, ни особой изощренностью деталей, но производящий все же чрезвычайно сильное впечатление единством характера. Мне еще в Петербурге особенно хотелось видеть эту странную, замкнутую стеной церковную площадь, посреди которой и возвышается кальварий и на которую проникаешь через затейливые ворота. И я не был разочарован на месте. Увидали мы Гимилио при особенно подходящих для этого как бы завороженного места условиях,— в мрачный лиловатый день, с мчащимися по небу тучами, то и дело проливавшими потоки дождя. Жалобный перезвон низенькой остроконечной колокольни схватывал бушующий ветер и разносил по окрестным безотрадным далям. И именно то, что вследствие непогоды мы оказались единственными посетителями Гимилио, сообщило особую таинственность всему, а те

коротенькие, карликовые фигурки, которые, точно на подмостках средневековой мистерии, тесно сбившись в группы, уже четыре века как разыгрывают у подножия трех распятий главнейшие моменты страданий Спасителя, получили особую жизненность. Помнится, как во время того, что я, пользуясь перерывом между дождями, стал с разных сторон зарисовывать кальварий, мне положительно чудилось, что эти каменные людишки перемещаются, жестикулируют. Еще немножко, я бы стал различать их говор, крики, брань, топот коней, плач святых жеп. И какое-то близкое родство существует между этими изваяниями и сказками о карликах, в реальное существовапие коих не только дети, но и всякий бретонец верит, как в абсолютно удостоверенную быль.

Подобное же чисто бретонское ощущение мы оба испытали в Карна-ке, зарисовывая с разных точек зрения знаменитые alignements * «друи-

Ряды *{франц.),*

IV, 22. По Бретани

175

дических» камней2. И там погода была мрачно унылая, и там выл над полями ветер; казалось, стихия хочет препятствовать продвижению того таинственного шествия, которое вот уже сколько тысячелетий стремится К непопятной для нас цели. Кто, откуда и зачем запес эти глыбы и расставил их правильными рядами? В Гимилио мерещится, что скульптуры оживают и вот-вот сползут, соскочат со своего высокого помоста; здесь же, в Карнаке, если долго оставаться среди этих серых каменных полчищ, то начинает казаться, что корявые в своей первобытной бесформенности камни сдвигаются с места и, ковыляя и спотыкаясь, совершают какой-то обрядовый хоровод.

Иными настроениями мы исполнились, гуляя по древним улицам Морде, Динона, Витри, Фужера и Мон-Сен-Мишеля. Та языческая, дикая, первобытная Бретань, в сущности, нам чужда. Было ужасно любопытно заглянуть в этот неведомый мир отдаленных предков. Напротив, среди этих готических и романских (в Доле) домиков, под сводами этих стрельчатых соборов и я, и Женя чувствовали себя, точно вернувшись в какие-то давно знакомые, родные места. Это уже *наше.* Это наш уют, наши обычаи; это *наш бог* живет в этих церквах, это ему мы молимся, на него уповаем. Особенно мы оценили это настроение в Мон-Сен-Мишеле, где мы решили переночевать и провести два дня. Когда к вечеру толпа туристов отхлынула, лавочки со всякой сувенирной чепухой позакрывались, то городок потерял свой бутафорский налет и стал почти таким же, живущим своей

жизнью городом, каким он существовал многие века, прижавшись к высоким стенам грандиозного аббатства и ища в нем защиту от всевозмоншых мирских и духовных тревог. От сторожей мы получили разрешение остаться в пределах самой обители после того, что часы официального осмотра закончились. Мы теперь были совершенно одни среди этих башен, бастионов, укрепленных лестниц и переходов, террас и сторожевых убежищ; и такое одиночество и получившееся вследствие того чувство оторванности от обыденной сутолоки удивительно способствовали более интимному познанию памятника. Уже через час нам казалось, что мы здесь свои люди, и камци начинают нам рассказывать свои тайны. А до чего интереспо было оттуда сверху наблюдать одно из самых грандиозных зрелищ природы, когда песчаная пустыня, стелющаяся на много километров вокруг Мон-Сен-Мишеля, начинает заливаться морским приливом. Вот только что мы с Женей еще ступали по плотному, за несколько часов высохшему морскому дну, только что мы решались присесть то тут, то там, чтоб зарисовать различные повороты той одинокой, «рожденной морем» скалы, которая увенчана монастырем и по уступам которой лепятся разнообразные домики жителей и шумит сосновый бор. Теперь же, если бы мы вовремя не поспешили взобраться вˆ безопасное место, вода, точно пролитая из гигантского ведра, с коварной быстротой окружила бы нас, и мы были бы отрезаны от земли. Особую патетичность придает Мои-Сен-Мншелю именно эта ежедневно окружающая его водная опасность. Когда же Мон-Сен-Мишель был островом, и его , не соединяла с сушью та дамба, по которой можно теперь доехать до

самых его ворот, эта патетичность носила еще более грозный характер.

Из всех соборов Франции — собор в Кутансе, пожалуй, наименее популярен, и это отчасти потому, что самый город лежит несколько в стороне, а отчасти и потому, что он почти не украшен скульптурой, сообщающей и Реймсу, и Амьену, и Шартру совершенно особый ореол. Художественный интерес Кутаиса сводится исключительно к его архитектуре. Зато какое это чудо! В отличие от родственных ему памятников, здесь весь замысел получил полное гармоничное завершение, а последующие времена почти не нарушили этой полной целости. Уцелели все башни, вышки, шпили — вследствие чего собор в Кутансе вполне выражает идеалы готики в тот ранний период, когда строители и украсители только созидали в только что открытых новых формах, а не искали придать им особую роскошь и изощренность. Кутанс — один из наиболее чистых примеров стрельчатой

архитектуры, но эта его чистота отнюдь не сообщила ему какой-либо «аскетической сухости». И издали, и вблизи, и снаружи, и внутри все живет, тянется, рвется ввысь, и одновременно он всеми своими остриями производит впечатление какой-то настороженности, какой-то цитадели, готовой в битве отстоять истинность своих убеждений, своей веры. Это одновременно и дом молитвы, славословия, и крепость, твердыня «воинствующей церкви».

С характером Кутанса я уже был знаком по снимкам; это знакомство н побудило меня в первую же далекую поездку по Франции выехать из пределов Бретани и посетить юго-западную часть Нормандии. Когда же я увидел Кутанс в натуре, в лучах утреннего солнца, то я и не раскаялся в том, что мы сделали довольно значительное отступление в сто-ропу. Этот крюк стоило сделать. То впечатление, которое я тогда получил, осталось одним из самых ярких на всю жизнь. Самое слово Кутанс сразу вызывает в воображении что-то острое и могучее. По мере того, что мы приближались к собору, впечатление грандиозно-музыкального все усиливалось. В то же время все эти обращенные к небу стрелы, коими взъерошены обе его передние башни, коими уснащена вся громада его корпуса, не застыли в покое, а точно движутся; эти острия слагаются во все новые и новые сочетания. Самый темно-серый цвет камня в Кутансе имеет в себе нечто сурово воинственное, а с другой стороны, ни один средневековый храм не являл такого сходства с гигантской базальтовой скалой. Одухотворенный поэт и ученейший техник сочетались в творении Кутанского собора, чтобы замыслить и осуществить такой нолет фантазии и выявить такое чудесное понимание пропорций, равновесия частей и гармонии.

А как прекрасен этот нормандский собор внутри, как сияют иод уходящими в недосягаемый сумрак сводами его витро, слагающие в своих рубиновых и сапфирных стеклах сказочные арабески, напоминающие самые затейливые и цветистые восточные ковры. Не отразились ли в этих симфониях мечты или воспоминания крестоносцев, то, что их манило на опаснейшие авантюры во имя Христово или то, о чем, побывав на сияющем в солнце роскошном Востоке, они любили рассказывать, вернувшись на свой сумрачный и холодный север?

IV, 22. По Бретани

ill

* * *

Не менее сильное впечатление, нежели Мон~Сен-Мишель,— это создание рук и ума человеческих, произвела на меня и на Женю та «каменная сказка», что в Плуманахе создала на бретонском побережье сама природа, создала как бы нарочно для того, чтобы поразить человеческую душу сверхъестественным ужасом. Увы, с этим даром природы, с этим на вечные времена установленным зрелищем люди нашей эпохи не су™ мели обращаться с подобающим пиететом. Уже когда всего через восемь лет я снова посетил Шуманах, я застал в нем немало всяких следов проявления человеческого духа паживы и эгоистичного присвоения. Во многих местах между каменными глыбами были протянуты проволочные заграждения, означавшие, что данный кусок изъят пз общего обращения — сделался чьей-то «дачей». Уже на отдельном острове в море вырос нелепо-претенциозный замок, построенный, если я не ошибаюсь, Сенкевнчем, который именно там якобы написал один из своих романов. Но все же в общем и в 1905 г. Плуманах еще был тот же дикий Плуманах, который мы посетили в 1897 г. Но какую мерзость запустения я застал здесь, навестив Плуманах снова еще через тридцать с чем-то лет, в 1939 г.!

Казалось бы, самый определенно *чудовищный* характер местности должен был бы защитить Плуманах от посягательства человеческой пошлости. Кому может быть соблазнительным селиться среди этих разбросанных в беспорядке исполинских глыб, из которых каждая точно корчит какую-то гримасу или напоминает застигнутых в смертельной агонии и тут же окаменевших чудовищ? Все это бредовое должно было бы отпугивать, держать обыкновенных мирных граждан и добрых, склонных к мирному уюту отцов семейства, на дистанции. Ведь отпугивал же весь этот каменный кошмар в течение тысячелетий суровое и мужественное местное население, которое и не пыталось здесь селиться и устраиваться. Самая пустынность этого куска берега способствовала тому, что народная фантазия населила ее злодейской нечистью, гномами, кориганами и бесенятами. Однако сила того запрета, с чем не могли совладать и мудрые чародеи и вдохновенные экзорсисты *, эта сила ныне сломлена, и вероятно — навеки. Совладала с ней наша бездушная, безмозглая, враждебная всякой поэзии и искусству культура. И какие же теперь еще могут оставаться в Плуманахе и в других подобных заповедных местах корпганы и феи, когда гостиницы выросли здесь одна рядом с другой, когда поминутно

сюда прикатывают автокары с сотнями туристов, когда шумливые эти, не питающие ни к чему пиетета, толпы, со смехом и распевая шансонетки, пробегают эту местность, на ходу покупая в открытых лавчонках всякую сувенирную дребедень? Теперь *настоящий* Плуманах, тот, который я еще застал, более не существует. Вот почему за великое счастье, за какую-то исключительную милость судьбы я могу почитать то, что тогда, полвека назад, я удостоился побывать в *настоящем* Плуманахе в

* От exorcisîes *{франц.)* — заклинатели.

провести там с другом-единомышленником целых два дня. Переночевав с Жепечкой в соседнем, уже тогда модном Перрос-Гиреке, мы получили возможность в течение двух дней, с раннего утра и до ночи, оставаться в этой диковинной местности и исходить ее во всех направлениях. Увидели мы тогда Шуманах даже при лунном свете, что, разумеется, придавало особый ужас всем этим загадочным формам. Как жутко было пробираться при звуках ревущего бешеного прибоя по колючим цепким кустарникам, обходить эти торчащие из земли головы, торсы, лапы, эти, точно готовые сейчас сдвинуться и покатиться, громады...

Но не только все это «кошмарное» доставило нам с Женей своеобразное «удовольствие». Вся эта местность и самые редкие постройки на ней полны дразнящей живописности. Как прекрасны в своем роде, например, те курьезные древние водяные мельницы, что стоят на двух концах запруды, в том месте, где местная речка выливается в одну из морских бухт. Я эти мельницы тщательно зарисовал, а пока рисовал, прислушивался к музыке стучащих и что-то напевающих колес. И до чего внушительна массивная, как крепость, сложенная из бурого гранита, кривобокая, остроконечная церковь Notre Dame de la Clarté, что стоит довольно далеко от берега на холме. Знаменитый ее храмовый праздник 15 августа 3 собирает сюда со всей Бретани ежегодно толпы паломников, а в соседней деревне идет тогда гулянье — фуара. Мне тогда еще приходила мысль создать балет или оперу, в чем я бы использовал эти бретонские .элементы, однако из этой затеи почему-то пичего не вышло, хотя Стравинский как будто сначала и заинтересовался моим предложением и записал к себе в книжечку напетый мной танцевальный мотив, который мне случайно запомнился.

* * *

Надо еще раз вернуться к самому месту нашего поселения и воздать ■ему должную хвалу. Правда, в Примеле, в ближайшем его соседстве не £ыло каких-либо знаменитых памятников архитектуры; единственный замок (Тромлен), стоявший в долине, был очень скромным представителем Средневековья. Все же и «наши» приморские скалы являли собой очень странные и жуткие примеры «игры природы», да и вся местность в те времена была полна таинственной красоты и какой-то за1адочной настороженности. Оберу как раз особенно полюбилась та каменная громада, которая расположена в начале уходящей в море Примельской «косы» и которая при известном освещении давала полную иллюзию присевшего к земле и дико озирающегося дракона. Без всякого насилия можно было в этой обветренной, поросшей мхом груде различить и кошачью голову чудовища, и его утыканный иглами хребет, и завернувшийся у задних лап хвост. Первые дни Обер только любовался и изумлялся все этой исполинской диковине, но потом он решил в более отчетливой форме передать то, что ему мерещилось, и после нескольких «сеансов с натуры» он и изобразил в глине (в довольно крупном формате) эту страшную ока-

менелую громаду. Скульптура эта была затем в Париже отлита в керамике и, покрытая глазурью, производила вполне убедительное впечатление, хотя современная палеонтология еще и не доискалась до данного вида допотопного животного.

Особенно любимым местом моих прогулок были прибрежные скалы, окаймляющие берега нашей бухты на противоположной стороне — немного дальше выстроившегося по холму значительного рыбацкого селения Дибен. Иные из этих скал напоминали башни средневековых соборов, другие какую-то свалку гадких монстров, третьи имели формы шаров, кубов, обелисков. Когда же, изучив во всех подробностях все то, что было в близком соседстве, мы с Женей пустились исследовать более далекие берега, то и там мы нашли всевозможные то чарующие, то пугающие достопримечательности. В одном месте из воды торчала исполинская голова, похожая на те, которыми покрыты склоны холмов на острове Пасхи, в другом стоит точно едва начатый обработкой монумент — предвкушение роденовского Бальзака, еще дальше на берегу Морлеской бухты среди пустынного пляжа мы набрели на гигантское нагромождение камней самых разнообразных форм; не соорудил ли их себе на потеху какой-либо великан?

Кроме того, эти наши дальние прогулки привели нас к роще низкорослых сосен, и на опушке ее — к заброшенному двухэтажному домику с двумя башенками по углам и с наглуу.о заколоченными ставнями. Этот «слепой» мануарчик стоял на самом краю обрыва и служил как бы некоей «первопланной кулисой» для того бесподобного вида, что стлался за ним — на Морлеский залив с его цикладой мелких островов и с узкой линией противоположного берега, уснащенного высокими шпилями церквей древнего Сен-Поля — родины Тристана. Это совершенно волшебный вид, но лишь семь лет спустя мне удалось запечатлеть его в нескольких акварелях \

Наиболее знаменитым в историческом отношении местом в ближайшей окрестности Примеля является лежащий в двух километрах от него и тоже у самого берега городок St. Jean du Doigt. В нем сохранилась церковь конца XV в., славящаяся своей реликвией, притягивающей в Иванов день паломников со всей Бретани. Этой святыней является палец святого Иоанна Крестителя — якобы как раз тот палец, которым он указал народу на приближающегося Христа. Тут же в церковной ограде возвышается монументальный и роскошный фонтан начала XVI в.

и очень интересная открытая капелла, служившая когда-то ossuoir'oM — складочным местом для костей когда-то погребенных, но давно истлевших покойников. В первый раз мы посетили это прелестное местечко, притаившееся в долине между зелеными холмами, 22 июня, и это посещение оставило в пас неизгладимое впечатление, точно мы побывали в стародавней древности. Все подступы к церкви были заполнены богомольцами, главным образом добредшими или доставленными сюда калеками, безрукими, безногими, разбитыми параличом, немыми и слепыми. Так это было заведено еще в эпоху, когда царила добрая герцогиня Анна, дважды став-

шая французской королевой5, так этот праздник, надо думать, будет праздноваться еще хмногие годы, ибо бретонцы верны своим традициям и верят во все те чудеса, о которых свидетельствует церковь. В тот же день, после многих служб и крестных ходов, устраивается церковью особое «действо». Сложенный из хвороста костер, лежащий па противоположном конце городка, воспламеняется «чудесным образом». Этот чудесный образ заключается в том, что по проволоке, протянутой с колокольни, прилетает сюда игрушечный голубь с зажженной паклей в клюве, который и поджигает этот feu de joie *. И как только хворост начинает пылать, так находятся смельчаки, которые норовят перепрыгнуть через огонь, причем прыгают не только деревенские юноши и девушки, но и, подняв подол своих черных ряс, семинаристы, которым в этот день разрешается баловаться и проявлять на людях свою юную удаль.

Я никогда бы не кончил этой главы, если бы хотел рассказать все, что мы в те три месяца с половиной получили от Бретани; однако я никак не могу пропустить молчанием то божественное наслаждение, которое мы испытали, купаясь на нашем прекрасном песочном пляже. Особенно увлекательно это было в дни большого п несколько бурного прилива, когда волны во всю ширину берега с бешеной яростью наступают ряд за рядом, подбрасывают купающихся, как мячи, рі ведут с ними веселую борьбу. Тогда мой молодой организм вполне выдерживал такие «испытания», и после купания я же чувствовал какого-либо неприятного озноба или стеснения в сердце. "Когда же я через восемь лет попробовал возобновить эту примельскую забаву, то после второго же раза я должен был ее прекратить, так как почувствовал себя отвратительно. На те же неприятные ощущения пожаловалась и моя жена...

А как еще интересно было в часы отлива спускаться по почти

отвесной стене, ища погой еле заметные выступы, к подножию скал и, бродя по еще иевысохшим глыбам, заниматься исследованием бесчисленных «природных аквариумов». Только что здесь бушевали ярые водяные массы, обдавая берега белой пеной. Только что и самый сильный атлет не устоял бы, а был бы увлечен в бездну. А теперь и совсем слабые, изнеженные городские жители бродили по этому полю сраягекия безнаказанно... А какая радость была в такие часы отлива проникать в те два грота, один па самом гранитном мысе Примеля, другой у подножия скалы, недалеко от St. Jean du Doigt. Эти пещеры могут служить чудесным сценарием для страшных приключений, рассказанных в романе «Les Tra-vailleurs de la Meг» **, чтением которого мы как раз тогда увлекались. Первый, еще весь мокрый от только что покинувшей его воды, блистал и отливал всеми цветами радуги, второй производил впечатление разинутой в ширину пасти, а наполняющие его белеющие, круглые, отшлифованные морем камни имели совершенно вид оголенных черепов — точно то было логовище одного из баснословных змиев.

* Праздничный костер *(Францу.* ** «Труженика моря» *(франц.).*

2V f 23. Моя работа

181

Впрочем, и не покидая в ненастные дни или в долгие осенние вечера нашего жилища, мы и там находили для себя массу интересного и поучительного, делая то зарисовки всяких рыб, крабов, креветок, а также раковин и водорослей, то наброски с наших соседей, начиная с «героического» Лекора и его прелестных двух девочек, Мари и Жанн, и кончая пьяницей Наиу. Несмотря на скудное освещение единственной керосиновой лампы, мы тогда же перечли не только «Travaüleurs de la Meг», но и «Бесов» Достоевского. Казалось бы, что общего между этой былью о гнуснейших порождениях человеческой культуры и нашими поэтичными бретонскими впечатлениями, однако вся эта жуткая быль про Российское подполье возникла тогда перед нашим духовным зрением с особой трагичной отчетливостью, и возможно, что русская бесовщина связана какими-то непонятными узами с той бесовщиной, что в таком избытке живет, как бы притаившись, по всем закоулкам сказочной Арморики,

Глава 23

СОЖИТЕЛЬСТВО С СОМОВЫМ. МОЯ РАБОТА. МОИ «ЛЕКЦИИ» У ТЕНИШЕВОЙ

Водворились мы обратно в Парияс довольно поздно, в исходе сентября. Мы бы остались и дольше, если бы не ставшая невыносимой стужа, особенно по ночам, и то ощущение одиночества, которое усиливалось € каждым днем, по мере того, как пустел Примель и его покидали летние гости. Гораздо раньше нас уехали Оберы. Закончив своего «Дракона», Артюр вылепил еще из воска «Бретонку», увидав одну из наших соседок-старух, шествующую с огромным ножом в одной руке и с петухом в другой **, а также два декоративных блюда, на одном из которых, вдохновленный тем морским миром, который он наблюдал с особым увлечением, оп изобразил рыб, кружащихся вокруг головы отдувающегося Тритона.

Надо было возвращаться в Париж еще и потому, что приближался < <тэрм» * (15 число октября), и к этому моменту надлежало нам найти новое помещение и в него переехать. Оставаться же па rue Casimir Per-rier нам не хотелось главным образом потому, что я стал ощущать необходимость в отдельной настоящей мастерской. Таковую мы решили искать где-либо на Монпарнасе, который нам правился своей тишиной (никаких грандиозных кафе тогда еще там не существовало) и своей близостью к Люксембургскому саду, являющемуся идеальным местом для прогулок нашей малютки. Наконец, весь этот квартал считался несравнен-

-■* Эта статуэтка была затем отлита в Париже из бронзы, и ее приобрел мой брат

Леонтий. * От terme *(франц.)* — срок.

1§2*IV, 23. Моя работа*

но более дешевым, нежели аристократический faubourg St.-Germain* (или просто «Le Faubourg»),

Переехав в Париж, мы сразу же принялись за поиски, и после недели поисков набрели наконец на то, что нам было подходящим, в доме № 22 по тихой улице Delambre, где кроме квартиры в пять комнат в третьем этаже, оказалась и отдельная мастерская — во дворе.

Правда, чтобы попасть в нее, надо было спуститься три этажа, сделать несколько шагов по двору и снова подняться на второй этаж, но все это было так близко, что стоило моей жене меня позвать через окно, как я уже через миuуту мог быть в «семейной» половине.

К сожалению, когда мы уже водворились на новом месте, в мастерской обнаружился очень серьезный дефект, с которым я так и не смог примириться и из-за которого притнлось сразу от

этой своей «осуществленной мечты» отказаться. Дело в том, что мастерская примыкала к органной фабрике Cavaillés-Coll, из которой непрерывно доносились всякие весьма назойливые шумы. Деревянные, частью застекленные стены пропускали любой звук, и все стуки, лязги, шипения слышались с удручающей отчетливостью. Уже на второй день я был готов уплатить любую неустойку, только бы освободиться от этой музыки. И как раз в это время, исполняя, наконец, и свое намерение пожить в Париже, явился Костя Сомов, который с радостью переснял у меня мастерскую, вполне примиряясь с ее шумами. Нам же оставалось только уплотниться в нашей квартире: свою рабочую комнату я устроил там, где была детская, где спала маленькая Атя и ее нянька. Это было не так уж стеснительно, так как все равно наша девочка весь день проводила под крылышком матери в спальне или же в саду, а Аннушку мы устроили в боковушке. Зато Костя был в восторге — ведь все наладилось на началах, подобных тем, какие существовали при нашем сожительстве в Мартышкине, а это ему представлялось настоящим идеалом. Столовался он за взнос своей части расходов у нас, а кулинарный талант моей жены, любившей покушать, друг наш успел оценить. В свою очередь, и мне было приятно общество Кости. Здесь, на чужбине он как бы заменял мне всю мою петербургскую компанию. Нрава Костя был тихого, покладистого, художественные интересы у нас были общие, наши оценки расходились лишь из-за незначительных нюансов, мы одинаково увлекались выставками, театрами, концертами и всей парижской жизнью в целом. Все это обещало приятнейшее сожительство, и нужно признать, что эти обещания осуществились вполне. Если же между нами и возникали иногда кое-какие недоразумения, то они быстро улаживались и следов в наших взаимоотношениях не оставляли... Все же для полной характеристики как нас обоих, т. е. меня и моей жены, так и нашего друга, я считаю не лишним на этих недоразумениях остановиться — иногда и пустяшная как будто черта говорит больше, нежели то, что представляется в данный момент значительным. Все наиболее серьезные из этих недоразумений могут

Предместье Сен-Жермен *(франц.)*.

быть сведены, с моей стороны, к некоторым мучениям, точнее,— к некоторым тревогам ревности, п, однако, эти тревоги не имели никакого основания. В лойяльности моего друга я не мог сомневаться, в верности моей подруги жизни еще менее, но

люди уж так созданы, что, помимо и воли, и сознания, а часто и наперекор рассудку,— самые дикие мысли подчас лезли в голову. Просто тот факт, что любимый человек находится в частом близком общении с «существом другого пола», вызывает известное раздражение и обостряет внимание; происходит что-то в области подсознательного, известное нашептывание всевозможных подозрений. Лишний «слишком» веселый смех (а моя жена всегда была нрава веселого и любила посмеяться в дружеской среде, а то и насмехаться над кем-либо), какие-то непроизвольные проявления женского кокетства (а моя жена в своей чрезвычайной женственности была иепрочь пококетничать, прямо этот «инстинкт» был до того в ней силен, что никакие мольбы или укоры не помогали), слишком подчас вольный тон беседы,— все это меня волновало. С другой стороны, я не мог не заметить, что Костя не совсем равнодушен ко всему шарму моей жены,— шарму, который был всегда велик, но в эти годы полного ее расцвета проявлялся с особенной силой. Получалась ли у него настоящая и даже до мучений дошедшая влюбленность,— этого я не знаю и этого я никогда *не желал* знать, но, во всяком случае, внешне это не выражалось в чем-либо. Правда, Костя в наших общих спорах (а спорили мы охотно) часто становился на сторону Анны Карловны (нередко и она прибегала к его поддержке против меня), однако это если и раздражало меня, то само по себе ничего еще не доказывало. Надо, впрочем, прибавить, что все подобные огорчения были мимолетными и никогда не переходили в настоящие ссоры. Из всех моих друзей именно на Костю я ни разу в жизни не гневался, не «порывал с ним» и не «кричал на него». Со своей стороны и Костя, хотя и был способен иногда надуться и даже «огрызнуться», то, в общем, я уверен, что он, любивший кичиться своей якобы черствостью и даже злобой, любил меня в те времена сердечно и был мне по настоящему предан. В свою очередь (и это я считаю нужным еще раз подчеркнуть), у меня в те времена был к искусству Сомова определенный *культ.* Не все одинаково мне нравилось из того, что тогда у него возникало на холсте и на бумаге, что создавалось им на моих глазах и за постепенным созреванием чего я мог ежедневно следить, но вся своеобразная сущность сомовского искусства, выражавшаяся как в изумительной тонкости и точности его образов, так и в тех настроениях, которые ему удавалось передать,— все это было мне по вкусу в большей степени, нежели что-либо, что создавалось в те дни. Наконец и «историческое чувство» Сомова, его способность убедительным образом передавать жизнь былых времен, будь то и самое обыденное, будничное существование, как раз то существование, которое не оставляет по себе особенно

ярких следов,— все это пленило меня, возбудило во мне своего рода острую и сладостную ностальгию по прошлому. Но и Сомову то поклонение его искусству, которого я не скрывал, служило большим ободре-

цием и сильной поддержкой. Ведь он все еще продолжал относиться к себе с каким-то странным недоверием; испытывал он иногда и острые приступы полного разочарования в себе. Тут мое поклонение сослужило ему хорошую, незаменимую службу.

Начиная с осени 1897 г. мной создано несколько вещей, которые, при всех своих недочетах и некоторой наивности, были более зрелыми, нежели все то, что я делал до тех пор. Но поводом к созданию их не были только что испытанные бретонские впечатления или все то, в чем выразилось мое восторженное восприятие Парижа, а затеял я их после того, как несколько раз осенней порой снова побывал в Версале и исполнился в нем совершенно особых настроений. В сущности, эти настроения были в известной степени возобновлением или продолжением тех, что овладевали мпой в Петергофе, в Ораниенбауме, в Царском Селе. Уже в первое мое посещение Версаля, год назад (в своем месте я об этом рассказывал), очутившись среди этих мраморных водоемов, бронзовых божеств и стриженых деревьев, я испытал странное наваждение: я увидал в них создателя всего этого мира, самого короля Людовика XIV и его окружение. Но ночему-то представился он мне не в виде юного красавца-полубога, любовника блестящих женщин, мощного триумфатора и устроителя баснословных празднеств, но увидел я его на склоне лет, больным и хилым, ищущим одиночества, разочарованного в людях и в собственном величии. Очень кстати мне попались тогда же купленные у букиниста дневники — записки последних лет царствования Людовика, которые заносил в свою памятную книгу его верный обожатель — царедворец маркиз Данжо, комментариями к которым являются те томы мемуаров герцога де Сен-Симон \ которые я брал в наемной библиотеке (превосходная такая библиотека «Oilier» находилась и находится на углу rue Férou и площади St. Sulpice).

Сразу же после моей первой поездки в Версаль я набросал картину, в которой среди почерневших и оголенных садов на террасе Латоны выступает одетый в зимние одежды король, сопровождаемый несколькими приближенными. Теперь же это «видение» стало меня преследовать, и куда бы я в Версале не направлял свои шаги, мне всюду мерещилась эта самая, чуть согбенная, но все же еще величественная фигура, то тяжело ступающая, опершись на трость, то сидящая в золоченом

колоссальном кресле. И после каждой такой экскурсии (близость вокзала Мон-парнас особенно манила к ним) я пытался воспроизвести под свежим впечатлением одно из таких очередных «видений». Зовы прошлого обладали для меня величайшими чарами. Особенного культа к самой личности «Луи Каторэа» у меня не было; находясь в каком-то постоянном общении с его тенью, я познал все, что в нем было суетного и напыщенного. Не мог я питать особых симпатий и ко всем тем персонажам,— дамам и кавалерам, которые составляли версальский Олимп. Тем не менее, этот мир, в нарядах, поступках и обычаях которого так ясно выразилась старческая усталость эпохи, ханжество, раболеннреть, порочность и даже начавшийся упадок вкуса, явившийся на смену юной самонадеянности,

IV, 23. Моя работа

185

беспечности и чувству величавой красоты (чувству, лежавшему в основе создания Версаля), этот мир сделался вдруг *моим* миром, чем-то родным, чем-то мне особенно близким.

Уже мной было сделано в октябре и ноябре 1897 г. несколько таких небольших версальских композиций, когда я отважился затеять картину, в которой суммировал бы, синтезировал бы все эти «образы». Темой я выбрал тот момент, когда «Луи Каторз» предавался своему любимому развлечению, а именно — кормлению рыб в разных водоемах своей резиденции. Сначала я полагал поместить такую сцену в ту обстановку, которая служила мне для самого первого из моих версальских набросков — иначе говоря, у бассейна Латоиы. Но затем я придумал «декорацию» более выразительную, а именно — я изобразил нечто напоминавшее один из четырех бассейнов Времен Года2. Самого «Луи Каторза» я изобразил совершенно осунувшимся и с тем рассеянно отсутствующим выражением лица, которое бывает у стариков и в котором сказывается, что они уже «не жильцы иа свете», что они уже вне жионенной суеты. Король уже до того слаб (такие моменты слабости встречались в последние годы его нередко), что самое кормление карпов он поручил сопутствующему его царедворцу. Кроме того, в сцене фигурировали состоящий при нем «на всякий случай» неотступно, задрапированный во все черное врач-хирург и молодой лакей, одетый в живописную ливрею, на обязанности которого было толкать довольно тяжелую повозку. В отдалении я изобразил еще несколько куда-то спешащих господ, которые, сознавая, что его величество их не видит, все же издали и на ходу отвешивали ему низкий поклон.

«Последних прогулок короля» я создал еще около десяти, но

увы, менее значительных размеров, нежели эта крупная акварель. Когда все они были готовы, я пригласил княгиню Тенишеву и предложил ей отобрать из них (а также и из других моих работ) то, что ей нравится. Мария Клавдиевна выбрала описанную картину и еще две-три «Прогулки». Все это я счел своим долгом ей преподнести, выражая тем самым свою признательность. Ведь не будь ее денежной помощи, я не попал бы в Париж и не смог бы надолго в нем с семьей поселиться. После некоторого combat de générosité * княгиня уступила и приняла мой дар. В составе ее собрания эти вещи попали затем в Музей Александра III.

Тогда же, осенью 1897 г., я приступил к тому, что можно бы назвать художественным перевоспитанием моей княгини Марии Клавдиевны. Я и это считал чуть ли не важнейшей функцией моей службы в качестве заведующего ее собранием, в чем лишний раз выразился присущий мне «педагогический инстинкт». Я задался целью милую, довольно легкомысленную и поверхностно образованную даму превратить в настоящую, вполне сознающую свои цели и задачи меценатку, в нечто подобное, скажем, чем Москва обладала в лице П. М. Третьякова. И как раз эта задача совпадала с той, которой задавалась и княгиня Четвертинская, вследствие чего у меня получился с последней какой-то негласный сго-

* Соревнования в великодушии *(франц.),*

вор, что, пожалуй, и привело бы к чему-либо действительно дельному, если бы с одной стороны ряд внешних обстоятельств не помешал осуществлению наших планов, а с другой и я не разочаровался бы довольно скоро в своей «ученице».

Самым курьезным примером моего усердия по созданию из Марии Клавдиевны образцовой меценатки были те лекции, которые я тогда затеял и которые должны были заполнить пробелы в ее художественных познаниях. Эти лекции происходили в помянутом уютном, обитом светлым кретоном будуаре княгини, в верхнем этаже тенишевского особняка. Происходили они во время вечернего чаепития, раза два в неделю (большинство остальных вечеров отдавалось театрам). К чаю подавались всевозможные конфеты, пирожные, и печенья, до чего я был большой лакомка. Присутствовала иногда при этих моих докладах и моя жена, но безусловно доступ в святилище был запрещен князю Тенишеву, с чем, впрочем, он вероятно вполне мирился, предпочитая карточную игру в своем клубе такой «школе» для взрослых. Надо еще заметить, что сам профессор этой школы вполне сознавал и свою неподготовленность, и всю основанную на отсутствии опыта трудность задачи. Но мне было

двадцать семь лет, я был еще полон иллюзий и желания служить доброму, высококультурному делу, а кроме того, тут была и значительная часть... «патриотизма». Я положительно тогда думал, что мне удастся образовать в Петербурге еще один музей общеевропейского значения. Игнорируя свои собственные недочеты и не считаясь с неспособностью моих слу шательниц посвящать много времени предметам, требующим чрезвычайного внимания, я смело и храбро взялся за дело и в течение нескольких вечеров вел его с примерным прилежанием, Но бедные княгини! Как должны были они скучать, выслушивая мои перечисления и хронологии. Ведь вследствие желания сразу все выяснить и обнять, сразу ввести моих слушательниц в познание массы вещей, лекции мои получили скорее характер какого-то сухого конспекта, нежели толкового и увлекательного исследования.

Глава 24

ВЫСТАВКА РУССКИХ

И ФИНЛЯНДСКИХ ХУДОЖНИКОВ.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МИРА ИСКУССТВА»

Среди зимы 1897—1898 г. я вынужден был снова отлучиться из Парижа и провести целых два месяца в Петербурге. Главной причиной того было устройство тенишевского дара в Музей Александра III. Однако за этот период случилось еще два происшествия, которые имели исключительное значение в моей личной жизни и в жизни всей нашей группы. Первое событие — устройство Дягилевым выставки русских и финлянд-

IVf 24. Выставка финляндских художников¾g7

ских художников — нашей первой самостоятельной выставки, устроенной в зале Музея барона Штиглица; второе — начало реализации нашей старой мечты — создания журнала, который должен был служить распространением взглядов нашей группы на искусство.

Если бы этот наш журнал уже существовал в момент, когда была устроена только что упомянутая выставка и существовал под тем названием, которое, после многих споров, ему было дано, то эта выставка вошла бы в историю, как «Первая выставка «Мира искусства»». Она уже была устроена согласно тем принципам,

которые были положены в основу нашего журнала и нашего общества. На самом же деле она под этим названием не значилась, а значилась под приведенным выше, а такое название само по себе ничего не говорило ни о наших задачах, ни о нашем направлении. Впрочем, самый факт, что организатор выставки счел нужным пригласить к участию группу финляндских художников, означал известный уклон и известный принцип. Это соединение нас с финнами было средством для выражения того «космополитизма» в искусстве, которому наша группа готовилась служить с самого возникновения своего сознательного отношения к художественной деятельности. Мы горели желанием послужить всеми нашими силами родине, но при этом одним из главных средств такого служения мы считали сближение и объединение русского искусства с общеевропейским, или, точнее, с общемировым. Уже во имя этого служения Дягилев предпринял обе свои первые выставки — «Немецких и английских акварелистов» и «Скандинавских художников», и если бы он уже тогда обладал достаточными средствами, то он свою третью выставку сделал бы прямо «международной». Этими средствами, однако, он еще не обладал (нашел он их лишь в следующем 1899 г.), пока же удовлетворился известной полумерой, отражавшей тот же принцип. За невозможностью пригласить в Петербург всех выдающихся западных художников, он ограничился ближайшими, которые до тех пор ничем не были связаны с русскими. Ведь Финляндия в отношении России была чем-то вроде «заграницы», частью Западной Европы.

С финским искусством Дягилев успел ближе познакомиться, устраивая свою скандинавскую выставку, но с одним из самых значительных финских художников, и как раз с тем, который считался главным представителем финской школы, я и Бакст уже несколько лет были знакомы., Никогда не забуду, до чего мы были взволнованы, когда весной 1891 г. на одном из ужинов у моего брата Альбера мы оказались соседями Альберта Эдельфельта, этого статного, красивого человека, о котором мы знали, что он пользуется большой известностью в Париже и что картины его висят в парижском музее \ Войти в непосредственный контакт с такой «знаменитостью», беседовать запросто с ним. слышать из его уст рассказы о том, что сейчас творится на свете, что принято любить, что презирать,— это ли не было для нас великим счастьем? При всей нашей блазированности в разных смыслах, в нас было тогда еще мпого наивности и известного «провинциализма», и поэтому мы буквально насели да

IV, 24. Выставка финляндских художников

Эдельфельта, закидывая его вопросами и чуть ли не экзаменуя его. Надо при этом заметить, что этот типичный северянин, в котором Аыло больше шведских элементов, нежели финских, обладал совершенно исключительным шармом; его большие глаза из-под строгих бровей точно светились, в них точпо отразилась таинственность белых ночей, гладь студеных озер. И в то же время это был элегантнейший светский человек — un parfait homme du monde, превосходно одетый и еще лучше воспитанный. Он, видно, ценил свою принадлежность к лучшему обществу как у себя на родине, так и во всех странах, где он был прославлен как художник. Это был во всех смыслах ein sehr feiner Herr *, а в наших глазах его голова была еще окружена ореолом «парижского призпания».

С тех пор Эдельфельт, встречая- радушный прием как в высших русских кругах, так и в лице Александра III и Марии Федоровны (ведь императорская чета питала особую склонность к красотам финляндской природы и каждое лето проводила несколько недель в плавании среди финских шхер), стал довольно частым гостем Петербурга, и в один из этих приездов он при «Весенней выставке» в Академии художеств2 устроил выставку последних своих работ. Говоря откровенно, эта выставка меня разочаровала. Как раз тогда я начал (заглазно) увлекаться импрессионизмом, я стоял за более свободную манеру,— все же картины и портреты Эдельфельта отличались некоторой сдержанностью и некоторым безразличием к краскам. Однако разочарование это не помешало тому, что мы продолжали любить и почитать художника, и вполне естественно, что именно через него произошло затем наше сближение с его соотечественниками, среди которых нам особенно полюбились тонкий, разносторонний Эрнефельд, более грубоватый здоровяк Бломштедт я, наконец, тот художник, которого сами финны почитали за своего национального гения, за большого эпического поэта в живописи — Аксель Галлен. Кроме того, на нашу первую выставку Дягилев пригласил еще несколько молодых финнов, и среди них Энкеля, про которого тогда говорили, что он зря прожигает свой исключительный талант. Приглашен был и выдающийся скульптор (такой же «парижанин», как Эдельфельт) — Вальгрен.

Факт участия на нашей выставке финских художников мог быть рассматриваем как значительная новость и даже как нечто имеющее сим-волико-политическое значение **, однако не в этом был главный интерес

* Изысканный господни *(нем,)*.

** Самый этот наш «союз» с финнами, за продление которого было произнесено тогда немало речей и банкетных тостов, ограничился на самом деле одним только этим разом. Не без грусти финны, которых мы продолжали приглашать и в последующие годы, отвечали, что они не могут быть с нами, но это единственно по политическим причинам. Те утеснения, которые русское правительство считало товда нужным применять «к финляндскому княжеству», вызывали в финском обществе слишком большое негодование. Финские же художники были гораздо более солидарны с такими переживаниями общественной совести, нежели были мы. Новая попытка соедппеиия русского и финского художества произошла еще раз —гораздо позже, в связи с мартовским переворотом 1917 г., и тогда, когда

IV, 24. Выставка финляндских художников {$$

выставки, а в том, что молодое русское искусство выступило в первый раз в каком-то обобщении. Впрочем, если не считать «склонности к скандалу» нашего «лидера» Дягилева, сами мы вовсе не собирались бросать какой-либо вызов. Мы просто хотели предстать в качестве известного единодушного целого, а если у нас и была своя «творческая программа», то она не выражалась в каких-либо формулах и тем менее являлась объявлением войны. Правда, все участники этой выставки в одинаковой степени ненавидели рутину, и для нас рассадником таковой представлялся «академизм», главной цитаделью которого продолжала оставаться императорская Академия художеств (невзирая на ту реформу, которая была в ней только что проведена3),—однако это вовсе не значило, чтоб мы порывали со всем прошлым и своим примером приглашали молодое русское художество ступить на совершенно новые «революционные» пути. Напротив, самое ядро того «сочетания умов и дарований», которое через год получило официальное название «Мир искусства», стояло за возобновление многих как технических, так и идейных традиций русского и международного искусства. Мы томились по «школе», мы взывали к воссозданию таковой, мы считали себя в значительной степени представителями тех же исканий и тех же творческих методов, которые ценили и в портретистах XVIII в., и в Кипренском, и в Венецианове, и в Федотове, а также и в выдающихся мастерах непосредственно предшествующего нам поколения — в Крамском, Репине, Сурикове... Впрочем, кроме академизма, мы ненавидели еще и «типичное передвижничество», понимая под этим все то, в чем проявлялась известная «литературщина», какая-либо политическая или социальная тенденция. Нашим лозунгом было «чистое и свободное искусство». Но вот чем-то наша, уж очень

широкая позиция оказалась неыовятной русской публике и еще менее — всей тогдашней русской прессе, а потому наше выступление в общем было встречено с определенной и предвзятой враждебностью 4. Те обвинения, которые бросались тогда молодой русской поэзии, были теперь направлены и против нас — художников. Мы сразу были прозваны «декадентами», сразу нашлись и какие-то господа, которые являлись на нашу выставку только для того, чтобы вдоволь на ней посмеяться и повозмущаться 2*.

обе страны исполнились иллюзии, будто со старым антагонизмом между ними покончено навсегда и будто отныне станет возможным вести всякую культурную работу рука об руку. И опять был устроен банкет, произнесены были речи, однако, кроме одного опыта, дальше дело не пошло и тогда. 2* Какой-то почтенный генерал приходил несиолько раз на выставку и каждый раз, обходя ее, разражался зычным хохотом перед целым рядом картин. Другой посетитель устроил скандал кассирше, требуя обратно деньги, заплаченные за вход. В моей собственной семье я нашел таких же свирепых поносителей нашей выставки в лице моих братьев и их жен. На семейных сборищах мои родственники не уставали допытываться от меня — неужели я серьезно все это одобряю, не кроется ли под личиной моего увлечения Сомовым, Коровиным, Нестеровым и т. д. какое-то с моей сторопы лукавство, а то и мистификация? И тогда меня наградили кличкой «декадент», и ходил я с ней по крайней мере еще лет десять. Лишь успех за пределами России повлиял на какую-то нашу «реабилитацию»

190

IV, 24. Выставка финляндских художников

Да и среди самих участников выставки многие были смущены той бурей негодования, которое она возбудила, и в нашей компании послышались (правда, довольно робкие) упреки организаторам выставки с Дягилевым во главе — зачем-де дразнить гусей, зачем допускать всякие крайности? Напротив, горой стоял за выставку в целом Серов, и больше всего за то, что было в ней особенно смелого и дерзкого.

Из всего выставленного наибольшие возражения в публике вызвало декоративное панно Врубеля 5. С его искусством мы и сами только теперь познакомились, но слышали мы о нем очень много от наших приятелей-москвичей. Почти все они говорили о Врубеле, как о каком-то озадачивающем чуде, но у одних звучали при этом нотки не совсем полного доверия, другие, напротив, «верили» в него абсолютно и отзывались о нем с энтузиазмом. Все, впрочем, соглашались на том, что Врубель представляет

собой нечто совершенно исключительное и такое, равного которому не только в русском искусстве, но и вообще не найти. Сам Врубель, когда-то бывший учеником петербургской Академии, с тех пор уже многие годы в Петербурге не бывал и на петербургских выставках не участвовал. Нельзя было пайти здесь ни самих работ его, ни каких-либо воспроизведений с них. Все это углубляло таинственность, окружавшую его имя.

Наше любопытство было теперь удовлетворено: перед нами, занимая центр одной из стен выставки, красовался очень значительный образец кисти Врубеля. И надо сознаться, нас, начиная с Дягилева, постигло разочарование. Ведь нам рассказывали, что Врубель — безупречный мастер рисунка, что он рисует, «как Энгр», а тут, среди каких-то водорослей барахтались еле различимые, очень «приблизительно» разработанные и довольно банальные фигуры женщин. Нам превозносили его бесподобные краски, его блестящий колорит, а это панно было точно покрыто одним сплошным мутно-зеленым колером, и не было в пем никаких звучных сочетаний. Повторяю — мы были разочарованы, но когда послышались со всех сторон нападки «профанов», то пришлось поневоле кривить душой и защищать это панно. Нападки стали особенно озлобленными, когда стало известно, что наша княгиня под влиянием молвы о гениальности Врубеля приобрела это панно 6, что и было сочтено прямо за некий вызов. Смешливые посетители выставки избрали теперь именно это панно мишенью для своих излияний веселости. Ежедневпо перед панно можно было встретить группы совершенно открыто потешающихся людей. Люди же более серьезные и угрюмые гневались и возмущались, вовсе не стараясь смягчить выражений своих чувств.

Окончательную точку в скандале, вызванном картиной Врубеля, поставила карикатура художника Щербова 7, известного под псевдонимом

Нечто подобное происходило и в семьях моих ближайших друзей. Старики Сомовы были прямо-таки сокрушены тем, что их Костеньку «зачислили в декаденты», Анну Павловну Философову утешало лишь то, что ее племянник Сережа Дягилев н ее сын Дпма хоть путем скандала, а все же прославились. Совершенно же напугана была родня и Левушки Бакста, и Валечки Нувеля.

*IV, 24. Выставка финляндских художников¾*gi

Old Judge *, напечатанная в красках на двух страницах сатирического журнала «Шут». На ней была изображена сама наша щедрая, благожелательная меценатка Мария Клавдиевиа Тенишева в виде омерзительной бабы-торговки, а перед ней стоял Дягилев, представленный каким-то прощелыгой (о нем упорно

держался слух, что он — «промотавшийся авантюрист», ищущий всюду возможности поживиться на чужой счет), и вот этот оборванец предлагал бабе изношенную зеленую тряпку, которая и должна была представлять панно Врубеля... Подпись под картинкой содержала дурацкую игру слов *Врубель* и *рубль*.

Наш кружок в целом отнесся к этой грубой и пошловатой шутке с благодушием — мы были подкуплены как-никак талантливостью Щербова, но легко себе представить то впечатление, которое произвел этот пасквиль на княгиню. Того ли она ожидала, когда добровольно бралась за миссию поощрять молодое русское художество? Она была с полным основанием оскорблена в своих лучших чувствах, и нам всем стоило больших усилий, чтоб ее как-то утешить п успокоить...

Честь послужить петербургской публике забавой и оказаться перед ней в чем-то вроде шутовского колпака на голове, эту честь вполне разделял с княгиней К. Сомов. В первый раз люди тогда знакомились с чарующей тонкостью его творчества, с его редким чувством природы и с его удивительным угадыванием настроений прошлых времен. На почетном месте среди ряда его акварелей Дягилев повесил одно из самых «душистых» его произведении — «Радугу», которая тогда же сразу поступила в Гельсингфорский музей. Но за исключением тесного круга более чутких людей, никто не понял всего, что было искреннего и тонкого в этих фантазиях или в этих отражениях простой действительности, зато всяким придиркам к каким-либо погрешностям в рисунке, в перспективе, не было конца, и сразу по городу распространилась молва, что этот «новоявленный декадент» не только «не умеет ни писать, ни рисовать, но что он при этом и шарлатан, и обманщик». Напрасно пытался я защищать где только мог искусство моего друга. В спорах, доходивших до ссор, которые тогда велись мною повсюду, куда бы я ни попадал, обвиняли меня в лицеприятстве («вы так говорите потому, что Сомов ваш друг») или в участии в каком-то заговоре все того же порочного «декадентства» против здравого смысла и всех «законов красоты». Эти споры, эти обвинения протянулись затем на годы, и именно Сомов долгое время продолжал навлекать на себя особенно яростные обвинения.

Все же наибольшую враждебность публики испытал на' себе наш организатор, наш «лидер» — Сергей Дягилев. Ему ставилось в вину даже то, что выставка получила какой-то слишком нарядный вид8. Этой роскошной нарядности много способствовал самый предоставленный под нее зал, уже раз использованный Сережей. На сей раз он казался особенно парадным, благодаря невиданному обилию оранжерейных расте-

ний и цветов, которые, не жалея затрат, Сережа всюду порасставил. На известную «передовую» и «независимую» часть столичной интеллигенции дурное впечатление произвело еще и то, с какой небывалой еще на выставках помпой произошло открытие, на которое пожаловала почти вся царская фамилия, с обеими императрицами и императором во главе. При вступлении их в зал грянул помещенный на хорах оркестр. Мне довелось в этот раз «водить» то одного, то другого из царственных посетителей, в частности в. к. Елизавету Федоровну, ее супруга в. к. Сергея Александровича, государыню Марию Федоровну и почтенного в. к. Михаила Николаевича. Все они отнеслись к выставке с тем ровным «рутинным» квазивниманием, которое входит в воспитание «высочайших особ», очень редко высказывающих свое действительное одобрение или неодобрение. Один только в. к. Владимир Александрович удивил всех своих августейших родственников тем, что приобрел акварель как раз Сомова, причем это было единственное его приобретение на выставке. Осталось, впрочем, невыясненным, явилась ли эта «выходка» Владимира Александровича своего рода «бравадой» (стоившей ему очень незначительной суммы,— а деньги он тратить не любил), чем-то вроде дразнения, или эта прелестная вещь, изображавшая боскет из стриженных деревьев, ему в самом деле понравилась.

Памятна мне еще эта выставка 1898 г. тем, что я, часто бывая па ней, каждый раз встречал здесь милого Серова, что и способствовало нашему сближению. Надо при этом заметить, что Серов имел в этом году совершенно исключительный успех, и действительно, что могло вызывать, кроме самого искреннего восторга, такие его шедевры, как портрет в. к. Павла в латах Конного полка, как портрет Александра III в красном датском мундире 9, как два чудесных пейзажа? Хороши были и выставленные портреты Малявина — его сестры и И. Е. Репина. Несколько слабее обыкновенного был представлен Левитан, приберегший более значительные свои работы для Передвижной выставки, с которой он не собирался порывать, тогда как Серов почти не скрывал того, что «передвижники ему надоели» и что его тянет к какой-то иной группировке, подальше от всего, что слишком выдает «торговые интересы» или «социальную пропаганду». Этой «тяге» особенпо способствовало то, что Серов тогда переживал эпоху особого увлечения личностью Дягилева. Ему нравились в нем не только его размах, его смелость и энергия, но даже и некоторое его «безрассудство». Не надо

забывать, что в Серове таился весьма своеобразный романтизм (вспомним хотя бы его увлечение Вагнером). Наконец, он любовался в Сереже тем, что было в нем типично барского и немного шалого. То была любопытная черта в таком несколько угрюмом, медведем глядевшем и очень ко всем строгом Серове. Впрочем, его часто пленяли явления, как раз никак не вязавшиеся с тем, что было его собственной натурой. Не отказываясь от своей привычной иронии, он, однако, не скрывал, что вообще пленен некоторыми чертами аристократизма. Его тянуло к изысканным туалетам светских дам, ему нравилось все, что носило характер праздничности, что отличалось от

серой будничности, от тоскливой «мещанской» порядочности. Дягилев, несомненно, олицетворял какой-то идеал Серова в этом отношении.

Еще до открытия выставки, но и тогда, когда уже часть картин была развешана, ее стали посещать разные лица, заслуживавшие такой привилегии своим явно выраженным интересом к искусству вообще и своей явной симпатией к нашей группе. Из них надо выделить чету Боткиных, б которой я тогда как раз познакомился и с которой затем у нас завязались самые дружеские отношения. При первой встрече я принял эту высокую, дородную даму и этого очень белокурого господина за «юных молодоженов», я даже принял Сергея Сергеевича, благодаря его полувоенной форме, за студента-медика. На самом деле этот сын одного из самых знаменитых светил русской науки был уже сам известным врачом и профессором Военно-медицинской академии. Жена же его, Александра Павловна, была дочерью особенно мной чтимого Павла Михайловича Третьякова. Мне понравилась как ее несколько монументальная наружность, так и его сразу сказывавшаяся «склонность к хорошему настроению», к шуткам — черта, особенно меня всегда пленявшая в людях. Сергей Сергеевич часто разражался весьма заразительным смехом. Он, что называется, «ржал», причем его маленькие светлые глаза под сильными стеклами очков начинали как-то особенно блестеть, а лицо становилось удивительно детским. Но, вдоволь отсмеявшись, Боткин сразу возвращался к своей обычной серьезности, в которой таился оттенок печали. При всех своих знаниях он был искренне и глубоко верующим христианином, а в смысле политическом — убежденным монархистом. Это не мешало тому, чтобы в его присутствии подчас развивались взгляды и на религию, и на правительство, очень не схожие с его взглядами 3*. Даже самые крайние из них не вызывали в нем каких-либо протестов, если в них слышалось серьезное

убеждение, а не проявлялось нечто недозрелое, взятое напрокат, в угоду моде, из тех учений, которые периодически становились на время общеобязательными. Мы, впрочем, и я, и моя Анна Карловна, особенно скоро сошлись с Боткиными на чисто художественной почве. Оба супруга искренне и пламенно любили и чувствовали искусство, и в обоих жила та коллекционерская жилка, которую в Александре Павловне можно было считать наследственной. Возможно, что или жена в данном случае увлекла мужа, или что благодаря ей эта страсть, уже заложенная в Сергее Сергеевиче, развилась в чрезвычайной степени. В первые годы нашей дружбы он коллекционировал совершенно по-любительски, покупая все, что случайно его пленило у антикваров и не задаваясь какой-либо особой программой.

s* Очень характерно для благородства Сергея Сергеевича было то, что он никогда не отказывался хлопотать за смягчение участи каких-либо политических осужденных Мне особенно памятен случай, когда он специально отправился по моей просьбе в Царское Село, в качестве лейб-медика получил царскую аудиенцию и добился у государя приказа о досрочном освобождении художника Гржебина, больного туберкулезом и попавшего в «Кресты» во время той реакции, которая началась вслед за первой революционной вспышкой 1905—1906 гг.

7 Заказ J`A 2516

194

IV, 24. Выставка финляндских художников

В тесной связи с этим нашим первым групповым выступлением находится и начало реализации нашей давнишней мечты о создании своего собственного органа. Уже я упомянул, как мы ходили вокруг да около этой идеи, не находя в себе самих ни сил, ни средств эти проекты осуществить. Одно время мой двоюродный брат Е. Ц. Кавос взялся было за создание такого художественного журнала, но из этого ничего не вышло. Лишь начиная с 1896 г. идея журнала стала приобретать более конкретные очертания. У Владимира Н. Аргутинского сохранилось воспоминание, как, встретившись случайно с Сережей на музыкальном торжестве в Байрете, они заговорили о таком нашем собственном органе, считая, что момент настал, чтобы в России возникло нечто подобное английскому «Studio» 10. Вопрос о характере журнала, о его аспекте и содержании, обсуждался тогда со мной во время летнего визита Дягилева в Бретани, а осенью того же 1897 г. я получил от него письмо, в котором он опять и еще более определенно возвращается к этой же идее журнала. Вот несколько строчек из этого письма: «Я весь в проектах — один грандиознее другого. Теперь проектирую этот

журнал, в котором думаю объединить всю нашу художественную жизнь, т. е. в иллюстрациях помещать истинную живопись, в статьях говорить откровенно, что думаю, наконец, примкнуть к журналу новую, развивающуюся в Москве и в Финляндии отрасль художественной промышленности. Словом, я вижу будущее через увеличительное стекло. Но для этого мне нужна помощь и, конечно, к кому же мне обратиться, как не к тебе? Впрочем, в тебе я уверен, как в себе, не правда ли?.. Костя уже обещал помощь обложкой и афишей».

О журнале в течение всего подготовительного к выставке периода и особенно после ее открытия было **тоже** много разговоров. Кроме княгини Теиишевой, стремившейся заслужить благородную славу меценатки, на нашем горизонте появился теперь и знаменитый московский деятель — промышленник по профессии, но художник в душе, знаменитый, безудержный, неустрашимый Савва И. Мамонтов. Он горячо поддержал намерение княгини субсидировать журнал и изтзявил готовность взять половину расходов на себя. Соединение этих двух лиц было отпраздновано роскошным обедом в тенишевском особняке на Английской набережной. На нем особенно блестящую и пламенную речь произнес экспромтом Ян Ционглинский. Ему отвечал в не менее патетических топах Савва Иванович, и вслед за ним, с бокалом в руках, очень бойко произнесла нечто короткое, но вполне соответствующее моменту, Мария Клавдиевна. Из-за стола, за которым было выпито очень много шампанского, все встали в сильпо приподнятом настроении, после чего состоялось музыкальное послесловие, в котором под большим портретом Чайковского княгиня спела несколько романсов, а тот же Ционглинский с мастерством сыграл на великолепном «Блютнере» «Isoldens Tod»*.

* «Смерть Изольды» (меж,).

*IV, 24, Выставка финляндских художников*195

Это чрезвычайное сборище для большей торжественности происходило на парадной половине тенишевского особняка, вообще Мария Клавдиевна принимала тогда своих друзей и более близких знакомых в особой квартире, которую она снимала в большом соседнем доме, на той *те* Английской набережной, несколько ближе к Сенату. Квартира эта помещалась в нижнем этаже, с окнами на Неву, и была ею прозвана «Эрмитажем». Туда князь Вячеслав Николаевич вообще не допускался, зато почти каждый вечер, а то и днем, здесь происходили сборища, состоявшие из художников, музыкантов и некоторых особенно привилегированных приятелей княгини. Тут часто бывал красивый, статный преображенец — князь Оболенский,

приходившийся, если я не ошибаюсь, каким-то родственником Тенишевым, тут бывал и другой офицер, тоже очень статный и красивый — Шипов. Оба в своих с иголочки мундирах представляли собой скорее декоративный элемент и активного участия в прениях не принимали, тогда как настоящими действующими лицами являлись мы—«слуги Аполлона», в том числе сам Илья Ефимович Репин4*. Он уже тогда взялся руководить той учрежденной княгиней свободной художественной школой и, что помещалась в ее особняке, во флигеле с выходом на Галерную. Кроме того, можно было часто встретить в «Эрмитаже» Адриана Викторовича Прахова, поведшего с какими-то непонятными для нас целями атаку на княгиню. Рядом с Репиным он являлся представителем более старого, нежели мы, поколения — ведь еще в 70-х годах Прахов занял в художественном мире Петербурга видное положение, главным образом благодаря изданию иллюстрированного журнала «Пчела» 12, считавшегося для того времени образцовым. В сравнении с нами, людьми только начинающими, это был в полном смысле деятель маститый, успевший прославиться своими учеными трудами. Однако сам Прахов вовсе еще не собирался переходить в разряд почтенных, отсевших в сторону старцев; напротив, он был полон прыти и молодцеватости, и это сказывалось хотя бы в такой подробности, как то, что он красил свою длинную седеющую бороду. Бывало, вечерами веселье в «Эрмитаже»

4* В этом «Эрмитаже» можно было наблюдать за первыми шагами романа Репина с той, которая стала вскоре затем его хозяйкой в знаменитых «Пенатах». Наталья Борисовна Нордман находилась в родстве с княгиней Тенишевой и состояла тогда при ней на положении dame de compagnie [компаньонки,— *(франц.).*]. В «Эрмитаже» она заведовала всей хозяйственной частью, разливала чай, руководила прислугой, потчевала гостей лакомствами, занимала разговорами тех, кто оказывался как-то в стороне. Наружность ее была скорее тусклая, стертая, манеры — характерные для «бедной родственницы». Но это была неглупая особа, довольно образованная и начитанная. Я иногда вел с ней долгие и содержательные беседы, и мне кажется, что Н. Б. именно этой склонностью к умным разговорам должна была импонировать Илье Ефимовичу. Одной из частых том этих ее бесед был Толстой, и уже тогда она обнаруживала свою приверженность к некоторым из его учений. Впоследствии, когда она стала самостоятельной хозяйкой, она с чрезвычайной последовательностью проводила толстовские наставления, особепно что касается еды, и посетители «Пенатов» обязаны были

за обедом (при котором отсутствовала прислуга) насыщаться разными, далеко не вкусными вегетарианскими блюдами, среди которых особенно дурной славой пользовался «суп из сеиа».

принимало шумный характер, и в таких случаях именно Прахов предавался ему с особым рвением, дурачась на все лады и даже пускаясь в пляс. Помнится, как мне однажды было поручено привести с собой на такое сборище Нестерова. Стоило больших трудов убедить Михаила Васильевича, так как занятый непрерывно картинами «божественными», церковными, он и в жизни старался выказать особую строгость, соответствующую его «духовной миссии». Однако не успели мы с ним переступить порог тенишевского «Эрмитажа», как он в ужасе отшатнулся и пустился в бегство — до того его испугал тот шум, смех, визги, топот, что доносился из соседней с передней гостиной, и особенно ему показа-лось отвратительным зрелище отплясывавшего наподобие античного силена Прахова — того самого почтенного Адриана Викторовича, которого Нестеров привык видеть в ином свете, в качестве руководителя росписью киевского Владимирского собора.

Нельзя себе представить более разительного контраста с этим резвящимся профессором, как вид Константина Петровича Победоносцева, однако и сего государственного мужа можно было иногда встретить в «Эрмитаже». Российский «Великий Инквизитор», впрочем, пе посещал тех вечеринок, а являлся к пятичасовому чаю, причем не принимал участия в общих со всеми беседах, а уединялся с княгиней в уголке у окна. Бледный, как покойник, с потухшим взором прикрытых очками глаз, он своим видом вполне соответствовал тому образу, который русские люди себе создавали о нем, судя по его мероприятиям и по той роли, считавшейся роковой, которую он со времен Александра III играл в русской государственной жизни.

Это было какое-то олицетворение мертвенного и мертвящего бюрократизма, олицетворение, наводившее жуть и создававшее вокруг себя леденящую атмосферу. Тем удивительнее было то, что Победоносцев умел очень любезно, мало того — очень уютно беседовать, затрагивая всевозможные темы и не выказывая при этом своих политических убеждений. Что могло притягивать этого казавшегося бездушным и закостенелым человека к княгине? Ведь умной собеседницей ее нельзя было назвать, и едва ли у них находились какие-либо общие интересы. Остается предположить, что Победоносцеву княгиня нравилась как

женщина, что он дросто находил известное удовольствие и известное освежение в бесхитростной болтовне с ней. А может быть, его пленило и то, что все, что говорила Мария Клавдиевна, отличалось если не глубокомыслием, то искренностью и той чисто женской «логикой», над которой так легко праздновать победы. И потом, Марию Клавдиевну нельзя было зачислить в категорию скучных светских дам или претенциозных «синих чулок». В ней не было и тени жеманства или того, что тогда еще не называлось снобизмом.

В заключение рассказа о тенишевском «Эрмитаже» я приведу еще один случай, относящийся все к тем же вечерам.

Было вообще принято покидать «Эрмитаж» в довольно поздние часы -то в два, а то и в три часа ночи. Княгиня при этом никогда не

*IV, 24. Выставка финляндских художников*197

заботилась о том, как мы доберемся до дому. Однако покидая как-то вместе с Валечкой Нувелем «Эрмитаж», мы были чрезвычайно изумлены и тронуты, когда Мария Клавдиевна при прощании объявила, что нас ждут ее сани. И, действительно, таковые оказались у подъезда. Но вид незнакомого, очень молодого кучера, почти мальчика, который с трудом сдерживал огромного белого в яблоках рысака, не произвел на нас особенно благоприятного впечатления, и Нувель уже заговорил о том, что ему проще дойти до себя пешком, благо он жил тут же рядом — за углом, па Галерной, но швейцар и выбежавший лакей как-то очень решительно и ловко подсадили пас, одного за другим, на довольно узкое сидение саней, туго застегнули медвежью полость, и опомниться мы не успели, как рысак уже рванул и полетел вдоль по набережной. Несся конь вихрем, мальчишка же кучер его еще подгонял то вожжами, то чмоканием. Дух захватывало, а на взлетах по горбатым мостам у Зимнего дворца и у Летнего сада, казалось, вот-вот мы перекувырнемся и разобьемся о какую-нибудь тумбу. При этом никакие убеждения на кучера не действовали,— было ясно, что он исполняет какой-то наказ, что это шутка, придуманная княгиней. Тут, всматриваясь в кучера, мне почудилось в его затылке, в ухе с напяленной бобровой шапкой что-то знакомое. Странно мне показалось и то, что кучер молчит и не поворачивает к нам лица. Постепенно убедившись, что мы вверены в руки хоть и молодого, но очень сильного и ловкого «специалиста», я стал забавляться авантюрой, Валечка же все больше и больше раздражался и, накопец, стал браниться по-французски: «C'est absurde, c'est dégoûtant, *ìì* va nous verser, c'est un fou...» * и т. п. И тут, когда парень неожиданно в ответ на это негодование прыснул, стало

ясно, кого мы имеем перед собой; В кучерском армяке сидела на облучке сама княгиня Четвертинская,. и это она так мужественно управляла неистовым рысаком. Смилостивившись наконец, Киту, доехав до Литейного моста, повернула обратно и довезла сначала Иувеля до его дома на Галерной, а затем доставила и меня на улицу Глинки. И столько затем было смеху при воспоминаниях об этой безумной поездке и об удавшейся мистификации.

Как потешалась княгиня Мария Клавдиевна, как хитренько и не без гордости усмехалась сама княгиня Екатерина Константиновна! И какой это был типично русский случай, годный для повести из помещичьего быта, а теперь — для фильма. Жаль только, что ни я, ни Валечка не подходили для ролей влюбленных героев...

* Это нелепо, это гадко, он наб опрокинет, это сумасшедший... *(франц.)*.

1V,,\25' Открытиеˆ Русского музея

Глава 25

ОТКРЫТИЕ РУССКОГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Главной причиной моего пребывания в Петербурге в течение первых месяцев 1898 г. было устройство дара княгини Тенишевой в новоучреж-денном Музее императора Александра III. К сожалению, пожертвование коллекции оказалось сопряженным для дарительницы с глубоким разочарованием. Согласно ее первоначальному намерению, дар ее должен был оставаться нераздельным, и , обе части собрания, русская и иностранная, помещаться в одном хранилище. Пожалуй, это было не так уж логично, но то была выраженная воля пожертвователя, мало того, —. главным условием принятия дара, и это условие было принято государем, поставившем на прошении княгини, поданном на высочайшее имя, свое «быть по сему». Увы, в дни царствования Николая II и самые категорические утверждения уже немного значили. Почему-то данное условие не пришлось но вкусу Михаилу Петровичу Боткину **, и он повел свою интригу, воздействуя на вице-президента императорской Академии художеств графа И. И. Толстого, и на «августейшего управляющего» музеем в. к. Георгия Михайловича. В конце концов, он добился того, что в последний момент княгине Тенишевой было официально объявлено, что она имеет доставить в Музей Александра III *одни лишь русские вещи.* Будь я в это время в Петербурге, я постарался бы обернуть дело таким образом, чтобы все же как-то спасти идею образования доступного для публики хранилища европейского искусства, выраженного в рисунках и акварелях. Можно было бы сделать предложение — разместить иностранную часть даже в верхнем этаже Михайловского дворца (места было довольно) или, в крайнем случае,— при музее Академии художеств, где тенишевское собрание иностранных мастеров явилось бы добавлением или продолжением к уже существовавшей там галерее графа Куше-лева-Безбородко. Наконец, княгиня могла бы, ввиду несоблюдения поставленного условия, просто отказаться от представления своего дара. Но вот меня, особенно заинтересованного в том, чтобы обе части собрания княгини Тенишевой стали бы общественной собственностью, тогда в

Петербурге не было, а все, что я писал об этом и Марии Клавдиевне, и Екатерине Константиновне, и Альберу (выражавшему полное согласие с моей точкой зрения), все это не могло возыметь того действия, которое оно имело бы при моем личном и энергичном вмешательстве. Пытался

'* Художник-любитель и знамспитый коллекционер всяких редкостей, М. П. Боткин ! приходился родным дядей нашему Сергею Сергеевичу, однако находился с ним не в особенно приязненных отношениях. Состоя;) он во всевозможных художественных комиссиях и комитетах, но всюду пользовался, несмотря на свои ласковые манеры, репутацией коварного интригана.

*IV, 25, Открытие Русского музея*199

я еще и позже поправить дело, но все напрасно. Постигшее разочарование сыграло в деятельности княгини значительную роль. Между тем Мария Клавдиевна была не из тех натур, которых неудачи и обиды только подбивают на новые усилия. Она довольно скоро примирилась со случившимся, смирилась, покорилась. Русские вещи были свезены в Михайловский дворец, все же «осиротелые иностранцы» остались у нее на дому. Кое-что княгиня приобрела и после этой «катастрофы», однако, в общем, она до такой степени была деморализована случившимся, что через пять лет, в 1903 г., в ее петербургском особняке был устроен аукцион2, и иностранное ее собрание разбрелось по рукам. Сама я?е княгиня в то время уже целиком обратилась к новой затее — создания в своем имении художественного центра3, долженствовавшего помочь образованию пресловутого русского национального *стиля.* Как все подобные любительские затеи и эта была обречена на неудачу4. *Стиль,* да еще такой, который выражал бы самую народную душу, не зависит от благих намерений отдельных лиц, а образуется сам собой по каким-то таинственным органическим законам.

* * *

Несколько слов теперь о Михайловском дворце 2*, превратившемся в те дни в Музей имени Александра III. В момент приобретения дворца у наследников в.к. Екатерины Михайловны, я имел случай в подробности его обозреть, и тогда вся его обстановка еще стояла на своих местах, и весь гигантский дворец имел жилой вид. В огромном большом зале еще не снята была сцена домашнего театра, на которой всего года три до того давались спектакли; великосветские участники их долгое время

вспоминали о них, как об особенно блестящих и удавшихся празднествах. В большой угловой красной гостиной нижнего этажа еще стоял рояль, на котором сам А. Г. Рубинштейн услаждал слух своей царств венной поклонницы в.к. Елены Павловны и ее приглашенных. Но особенно сильное впечатление произвели на меня две комнаты нижнего этажа, выходившие в сад и служившие когда-то кабинетом и библиотекой в.к. Михаила Павловича. Можно только пожалеть, что эти бытовые ансамбли не сохранились в том виде, в котором они, будучи созданы в 20-х и 30-х годах, такими же и оставались. Все в этих обширных комнатах со сводчатыми потолками говорило о николаевском веке, и говорило в тонах, если н несколько суровых, то все же не лишенных художественности и живописности. Целый арсенал касок, киверов, треуголок, целые полчища небольших, удивительно тщательно обмундированных и вооруженных статуэток иод стеклянными колпаками стояли на верхних полках книжных шкафов, степы были завешаны «трофеями», состоявшими из саблей, шпаг, знамен, а также картинами военного содержания и

2* Михайловский дворец построен архитектором К. И. Росси с 1818 по 1822 г. для молодою брата императора Александра I — Михаила.

портретами; в образцовой симметрии была расставлена мебель красного дерева, крытая темнозеленой кожей; средину комнаты занимали огромные столы, на которых можно было разложить планы большого формата. В углу помещалась целая пирамида разнообразных трубок. Книги идеальной сохранности в красивых чернозеленых и красных переплетах наполняли шкафы, а в нижних отделениях шкафов помещались гравюры и литографии. Михаил Павлович вошел в историю в качестве педантичного до изуверства фрунтовика-солдафона, тем удивительнее было встретить в его библиотеке множество роскошных изданий но искусству, которые он выписывал из Германии и из Парижа, и в частности серии литографий Домье, Гаварни, Деверия и т. д.— все в изумительной сохранности 3*.

Вообще же внутренность Михайловского дворца, этого шедевра Карла Росси, поражала своим великолепием и выдержанностью стиля не менее, нежели его внешность. Особенной красотой отличалась парадная лестница — одна из самых величественных и торжественных на свете; но не уступала ей так называемая «колонная гостиная» бельэтажа, в которой в целости сохранились не только отливающие блеском искусственного мрамора стены, но и одна из самых изящных

гарнитур густо золоченной мебели стиля «эпохи Империи». Вообще нужно отдать справедливость, что новые хозяева грандиозного здания поставили себе задачей сохранить в целости все существенное архитектурного убранства. За этим со всей строгостью следили назначенный с самого начала хранителем музея — мой брат Альбер и его коллега П. А. Брюлловв. Лишь в нескольких местах пришлось уступить требованиям чисто музейного характера. Так, в некоторых залах произведена заклейка обоями глянцевитых стен; более тяжелые вандализмы произведены там, где закрашена роспись en grisaille * потолков и сводов, а также удаление некоторых скульптурных украшений, самым же тяжелым вандализмом приходится считать упразднеиие-«разгром» кабинета и библиотеки Михаила Павловича.

Когда я прибыл в Петербург в начале 1898 г., то работы по устройству музея шли полным ходом. По паркетам лежали доски, а на высоких стремянках живописцы оканчивали окраску стен и реставрировали живопись плафонов. Большинство музейных картин (и как раз самые большие среди них) еще не были повешены, а стояли прислоненные к стенам. Казалось, что работы тут по крайней мере на год. Однако все

s* Все это досталось герцогу Мекленбург-Стрелицкому, и в позднейшее время я проводил приятнейшие часы, разглядывая эти листы, бережно хранившиеся в библиотеке герцога в его маленьком дворце на Фоитапке. Это единственное по полноте собрание подверглось незадолго до революции разрознению, и это потому, что графине Н. Ф. Карловой (вдове герцога) вздумалось эти серии отдельных листов отдать переплетчику. В момент бегства владельцев из Петербурга в 1917 г. эти уже переплетенные серии все еще находились у переплетчика, но затем последний, потеряв надежду увидеть возвращепие своих заказчиков, уступил их художнику Вл. Лебедеву 5. * Гризайль [монохромная роспись **в серых тонах]** ***(франц.),***

*IV, 25. Открытие Русского музея*201

было готово к назначенному дню открытия, и, таковое состоялось без опоздания с обычной торжественностью. Некоторое участие в этих лихорадочно-спешных работах принял и я, и не только в тех двух залах которые были отданы тенишевскому собранию, но и повсюду.

Большинство тех художественных произведений, которые составили ядро музея и которые при открытии его уже находились в его стенах, были переданы из Эрмитажа, Академии художеств и царских резиденций, но, кроме того, сюда вошли и «высочайшие приобретения», сделанные за последние пятнадцать-

двадцать лет с нарочитой целью их помещения в имеющем образоваться хранилище национального искусства. К ним принадлежали исполинские картины: «Фрина» Семирадского, «Грешница» Поленова, «Ермак» Сурикова, «Русалка» и «Поцелуйный обряд» К. Маковского. Эти картины заняли три четверти стен наибольшего просветного зала (того, где прежде был театр) и в той же зале пришлось разместить несколько исключительных по своему значению или по своей привлекательности для публики произведений, как картины Репина «Садко», «Св. Николай» и «Запорожцы», Васнецова «Парижские балаганы» и «Перенесение ковра» К. Маковского и т. д. Все это составляло очень внушительное целое, и наши патриоты уже считали, что преимущество русской школы живописи здесь безусловно доказано. На самом же деле многие из этих картин вредили друг дружке, и все вместе производило впечатление чего-то пестрого и не очень утешительного.

Куда выдержаннее был соседний, тоже просветный зал, куда встали одна рядом с другой (так же, как они были выставлены в Эрмитаже) исполинские картины «Помпея» К. Брюллова и «Медный змий» Брупи. Туда же вошли и другие крупные и знаменитые произведения, как то «Явление Христа Магдалине» А. Иванова, «Мученики» Флавицкого и «Камилла» Бруни, «Тайная вечеря» Ге и две или три картины Айвазовского. К сожалению, туда же, по настоянию П. А. Брюллова, была водворена самая неудачная из картин К. Брюллова «Осада Пскова», чем племянник знаменитого художника оказал дяде дурную услугу.

Совсем неудовлетворительно был представлен XVIII век, и в частности, меня огорчало отсутствие *главной* гордости русской школы живописи. Раз устраивался национальный музей, было бы естественно, чтобы на самых почетных местах красовались «Смолянки» Левицкого, тогда еще продолжавшие украшать Петергофский дворец \ а также несколько шедевров Боровиковского, находившихся в Гатчине и в Романовской галерее 8. Комиссия по устройству музея была того же мнения, и даже в предвидении изъятия из петергофского Большого дворца этих картин распорядилась сделать с них копии, которые и должны были запять их места в Петергофе. Но тут комиссия наткнулась на решительный отказ государя, придерживающегося той точки зрения, что во дворцах все должно оставаться в том виде, в каком оно было при его отце, и никакие изъятия не должны нарушать ансамбли такого исключительного значения. К сожалению, как и всякое другое «принципиальное» решение,

u это требовало для данного случая корректива. Будь

«Смолянки» как-то исторически связаны с тем местом, куда они попали случайно, будь они написаны для Петергофа 9, естественно было бы их не перемещать; однако именно с Петергофом эти шедевры русской живописи не имели ничего общего, а попали туда случайно.

Что же касается до собрания княгини Тенишевой, то под него были отведены две залы в нижнем этаже, с окнами в сад. В угловой более крупные акварели были просто развешаны но стенам, а рисунки разложены в витринах и размещены на двух турникетах. Соседнему же длинному залу в три или четыре окна Мария Клавдиевна пожелала придать более нарядный вид. Тут были установлены щиты столярной работы **, обитые серым бархатом, а на них повешены избранные или особенно ценимые княгиней вещи. На одном из этих панно красовался и ее акварельный портрет, писанный Репиным. Общее впечатление получалось очень изящное, а среди самих произведений, вставленных в однообразные дубовые рамы, было немало отличных или интересных вещей. Перед тем, чтобы их окончательно водворить на места, я произвел всему еще раз особенно строгий выбор, и если уже и после того осталось все же кое-что недостойное красоваться в музее, то это не по моей вине, а потому, что Мария Клавдиевна никак не соглашалась с браковкой вещей, особенно ей когда-то нравившихся. Все же и после чистки друзья меня поругивали за снисходительность и уступчивость,— особенно бранил Левушка Бакст, устроивший мне даже род сцены за то. что я положил в одну из витрин его рисунок «Младший дворник», когда-то в его академические годы отражавший его увлечение жанровыми сюжетами в духе Владимира Маковского.

К сожалению, я не мог остаться в Петербурге до дня открытия музея — Анна Карловна в середине марта ожидала второго ребенка, и к этому моменту я должен был быть при ней. Нелегко мне было противостоять убеждениям отложить свой отъезд еще на несколько дней; особенно того желали обе княгини, Альбер и все мои друзья. Да и самому мне, склонному ко всякого рода «спектаклям», очень соблазнительно было присутствовать при подобном торжестве, на которое должна была явиться in согроге * вся царская семья и все главнейшие представители искусства и пауки. Но риск прибыть в Париж с опозданием был слишком велик, и потому я все же пересилил себя.

Все же при чем-то вроде генеральной репетиции, «инавгурации» музея 10, произошедшей дней за пять до официального торжества, мне было дано присутствовать и даже принять в этом участие. Эта «репетиция» была ознаменована

прибытием самого государя, пожелавшего обозреть музей имени своего отца с особой тщательностью и вне обычной

л* Мой милый папочка пожелал дать для пих рисунок. То была, вероятно, его последняя работа; за год до того он же, по моей просьбе, создал рисунок большого шкафа в гол лап деком вкусе, в котором временно хранились коллекция княгини.

* В полном составе *(лат.),*

сутолоки церемониальных сборищ. Для княгини это был особенно, важ

ный день. Она в первый раз должна была встретиться лицом к лицу с

царем, и бог знает, какие иллюзии и надежды зароились у нее по

этому поводу в голове. Во всяком случае, она была в чрезвычайно при

поднятом настроении в этот день, хоть и пыталась его скрыть под обо

лочкой какой-то даже шаловливой фривольности. У меня и у Альбера

даже возникли опасения, как бы она не совершила какой-либо бестакт

ности, не сболтнула по своей обычной привычке что-либо, что ей при

шло бы вдруг на ум. Однако все сошло благополучно, если и не совсем

так, как бедной Марии Клавдиевне хотелось.;

Нам — княгине и мне — надлежало встретить государя у дверей первой из тенишевских зал. Ожидать пришлось долго. Уже давно раздались сигнальные звонки, означавшие, что государь выехал из Зимнего дворца, что он в пути, что он приехал, а все еще ничего не доносилось из тех помещений, что лежали между нами и вестибюлем Михайловского дворца. Но это так было потому, что государь по прибытии стал осматривать подробно тот ряд зал, что открывался по левую руку от входа, и продвигался он медленно, выслушивая объяснения, иногда довольно пространные, которые давали ему Альбер, М. П. Боткин•■ и II. А. Брюллов. Наконец раздались довольно близкие шаги, послышались голоса, дежурившие сторожа (все бывшие солдаты) вытянулись во фрунт 5*, княгиня поспешно схватила тот огромный букет, который она считала нужным вручить императору, у всех появилась та специфическая улыбка, которой полагается быть при встречах с владыками мира сего, и Николай II со своими сопровождающими появился в соседней зале; мы его

увидали...

Читатель знает, что я уже не раз имел случай оказываться в непосредственном контакте с императором (тогда еще наследником) на акварельных выставках, да еще совсем недавно — на открытии нашей выставки русских и финляндских художников, но там среди массы людей трудно было его «вполне осознать», здесь же я его «получил» на добрые двадцать минут. Надлежало ему все рассказать про состав собрания, про его характер и значение; я отвечал на его вопросы, а перед некоторыми произведениями происходила более долгая остановка, и между мной и «самодержцем всероссийским» завязывался настоящий «обмен мнений». К последнему располагало полное отсутствие в Николае II величия, крайняя его простота, а также нечто в тоне его замечаний, что, при всем их благодушии, как-то вызывало возражение. Я же был неисправим.

5* Несколько музейных служащих вперемешку с целым отрядом тайной полиции стояли тогда на страже как снаружи, в занесенном снегом саду (мы их видали из окон), так и по всем залам музея. Опасались, как и всегда в России тех дней, какого-либо покушения. Как раз накануне Альбер, засидевшийся в своем храни-тельском кабинете, выходившем на парадную лестницу, был перепуган внезапно зазвеиевшим электрическим сигналом. «Безумный» трезвоп насилу уняли, причем так и не доискались причины этой тревоги. Многие были готовы даже увидать в этом какое-то предупреждение свыше. Заношу эту пустяковую подробность как нечто очень характерное для тогдашних настроений.

204*IV* 25. Открытие Русского музея*

Мне хотелось использовать до конца представившийся случай и хоть несколько «просветить» нашего властелина, от которого все зависело. Спрашивается, могло ли что-либо послужить темой для такого обмена мнений во всем том, в сущности, очень скромном и совершенно «безобидном», что здесь было выставлено, однако нашлись эти темы и здесь. Особенно долгие остановки произошли перед недавно приооретенными эскизами Нестерова к образам в Храме 1 марта, а теперь перед прекрасной акварелью Репина «Читающая дама», перед портретом Нувеля работы Бакста и перед чудесными кавказскими акварелями Альбера. Нужно еще прибавить, что вся манера держаться государя была теперь иная, нежели та, которая была ему свойственпа в бытность его наследником. Тогда он не без аффектации показывал всем своим видом, что ему убийственно скучно и что ему до всего, что ему показывают, пет никакого дела. Теперь же его maintien * был проще, естественнее, и чем уж

он грешил, так это чрезмерной доступностью и приветливостью. Тенишев-скую коллекцию он осмотрел во всех подробностях, но нельзя сказать, чтобы та совсем короткая фраза, которой он ответил на глубокий реверанс (и на букет) Марии Клавдиевны, отличалась теплотой. Видимо, он был предубежден против нее и не считал нужным скрывать свое личное отношение к ней. Не могла скрыть и княгиня своего огорчения и даже досады после того, что государь, еще раз кивнув ей, прошел в соседнее помещение, никак не изъявив своего монаршего благоволения. Вернувшись сразу к себе в «Эрмитаж», Мария Клавдиевпа велела подать к чаю ром, и заявив, что она «хочет сегодня напиться», влила себе в чашку чуть ли не полграфинчика. Когда же Киту попробовала ее поздравить, она резко ее оборвала и объявила «поздравить не с чем», и тут же всплакнула. Мне стало ее ужасно жалко...

Глава 26

МАДОННА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ ЕЛЕНЫ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЫСТАВКЕ 1900 г.

КОНСТАНТИН КОРОВИН

Дня через три после посещения государем музея Александра III, я уже сидел в вагоне и мчался обратно в Париж. Приятно было сознание, что у меня в бумажнике достаточно денег (полученных за проданные на выставке картины1), потребных ввиду предстоящих чрезвычайных расходов. Только бы поспеть, только бы быть на месте, когда начнутся те ужасающие страдания, которые всегда предшествуют появлению на свет нового человеческого существа!

* Вид, обхождение, манеры *(франц.)*.

*IV, 26. Мадонна Леонардо*205

Несмотря, однако, на то, что я всем существом рвался в Париж, мне пришлось, внемля настойчивым просьбам брата Леонтия и его жены, еще на целый день остановиться в Берлине. Дело в том, что они мне поручили показать принадлежащую им картину — знаменитому Боде2, Эта картина представляла собой

исключительную ценность. То была та самая «Мадонна с гвоздикой», которая в собрании Сапожниковых в Астрахани считалась за произведение Леонардо да Винчи и которая ныне всеми авторитетами за таковое и признана, войдя в историю искусства под названием «Мадонны Бенуа» **. Я лично тогда не совсем верил в авторство знаменитейшего художника, но этого признания мне нечего сейчас особенно стыдиться, раз такой же скепсис я встретил в лице всех тех немецких и французских светил, которым я эту картину показал.

Имея перед собой всего один день, я должен был так распорядиться временем, чтобы за эти несколько часов повидать всех тех, мнение которых было интересно узнать. Переночевав в отеле, я и отправился с самого утра в хорошо мне знакомый Altes Museum * к самому Боде, но его я там не застал. Очередное воспаление ножных вен заставляло знаменитого ученого не покидать своего ложа. Достаточно, однако, было, чтобы я освободил картину от бумаги, в которую она была завернута, чтобы сразу возбудить живейший интерес во всем персонале музейных хранителей и чтобы один из них (кажется, Маковский) тотчас же протелефонировал Боде fe- просьбой меня принять. Особенно же страстный интерес вызвала наша картина в профессоре Müller Walde, оказавшемся случайно тогда в музее. Он буквально вцепился в нее, потащил ее в музейную фотографическую мастерскую для произведения с нее нескольких снимков, после чего он же понес ее в Kupferstich-Kabinett **, желая ее демонстрировать и Максу Фридлендеру6. Когда же подошел час, назначенный мне Боде в его особняке, я отправился к нему, не сомневаясь, что он разрешит все сомнения. Лежа в постели, мучимый сильными болями знаменитый Негг Geheìmrat *** взял картину в руки, добрых четверть часа вертел ее перед собой на все лады, то поднося ее

** В сущности, это название «Мадонна Бенуа» нельзя считать обоснованным; оно «не заслужено» нашей фамилией, но так ее окрестил Э. К. Липгардт 3, который через несколько лет добился того, чтобы картина была уступлена Эрмитажу4. Я же предлагал тогда в Берлине другое наименование, а именно, «Madonna aus dem Hause Sapognikoff» [«Мадонна из дома Сапожниковых» *(нем.)],* и действительно, в астраханском доме родителей моей belle-soeur эта картина находилась в течение почти целого века, после того, как она (так гласит предание) была куплена дедом Марии Александровны у какой-то труппы странствующих актеров. Далее в глубину времени ее происхождение, к сожалению, нельзя проследить, документальный ее след теряется с самого момента ее создания в 80-х годах XV в.5 во Флорепции. Лишь

существование нескольких копий с нее itoy¾a XV и начала XVI в. показывает, что она пользовалась исключительной славой в свое время. * Старый музей *(нем.)*.

** Гравюрный кабинет *(нем.)*.

** Господин тайный советник *(нем.)*.-

IV, 26. Мадонна Леонардо

к самому носу, то отдаляя ее на всю длину руки, и наконец изрек свой приговор, который гласил буквально так: Nein! Ein Leonardo ist es nicht, aber es könnte wohl sein — das Werk ëines Mitschülers Leonardos bei Verocchio! * Этот пифический ответ я сообщил затем Мюллеру Вальде, и тогда последний предложил мне картину тотчас же продать,— у него-де имеется кто-то в виду для этой покупки. Я ответил, что мой брат с картиной не желает расстаться, чем беспредельно огорчил почтенного профессора, уже замечтавшего о том, что Мадонна останется за Берлином ¦¿*. Так, ничего положительного не добившись, я повез Леонардо в Париж, где это бесценное произведение и пребывало затем целый год частью у меня в моей более чем скромной квартирке на rue Delambre, частью у старичка реставратора de Nizrad'a, которого мне горячо рекомендовал Camille Beñoit, кстати сказать, тоже с авторством Леонардо не соглашавшийся. Реставрация ограничилась снятием старого пожелтевшего лака и некоторых грубоватых записей; вообще же картина была в отличной сохранности, после того, что еще в 1820-х годах она была переведена с дерева на холст искусным русским1 реставратором Митрохиным 8.

Разлука, продолжавшаяся более двух месяцев, была для нас, супругов, по-прежнему влюбленных друг в друга и ощущавших потребность в постоянном общении, в высшей степени мучительной. Правда, мы обменивались письмами ежедневпо, а иной раз и по два раза в день, однако это не могло заменить нам личную близость, и поэтому легко себе представить тот восторг, который я испытал, когда я получил Атю в свои объятья! Это произошло, едва за нами захлопнулась дверка фиакра, повезшего нас с Gare da Nord ** на rue Delambre. Но как это было неосторожно с ее стороны в ее положении явиться меня встречать, не взяв никого себе в сопровождающие! Она рисковала быть затолканной и даже ушибленной в толпе. Однако все обошлось благополучно. Дома

* Нет! Это не Леонардо, но возможно, что это произведение кого-нибудь из соучеников Леонардо по мастерской Вероккио *(нем.)*.

*2** Приведу тут же два других мнения о «Мадонне Бенуа» парижских ученых — Larnestre'a [Лафнестра] и Eugene Müntz'a [Эжена Мюнца]. Первый объявил, что картина — XVI в. и на Леонардо просто не похожа; второй высказал мнение, что ее писал какой-либо нидерландский подражатель Леонардо. Через

восемь лет, а именно осенью 1906 г., получилось нечто вроде последствия моей встречи с Мюллером Вальде в Берлине 1898 г. Я был как раз занят, вместе с Дягилевым и Бакстом, устройством большой Русской выставки в Grand Palais, и вокруг шла неистовая стукотпя обойщиков и плотников, когда мне подали карточку, на которой стояло: «Professor Doktor Müller Walde», и не успел я согласиться его Припять, как на меня налетела его собственная персопа с криком: «Jetzt bin ich . fe?t iiberzeugt; ïhre Madonne *ist* ein Leonardo!» [Теперь я твердо убежден: ваша Мадонна — Леонардо! *(нем.)]*. Тут же, не присев, не давая мне опомпиться. красный от волнения, он стал вытаскивать из огромного, туго набитого портфеля кипу фотографий тех несомненных рисупков Леонардо 7, которые являлись в его глазах (и па самом деле) подтверждением его уверенности в авторстве великого мастера.

** Северного вокзала *(франц.)*.

IV, 26. Мадонна Леонардо

меня ожидал чудесный обед, весь состоявший из моих любимых блюд, и не успел я занять, свое место за столом, как уже ко мне на колени вскарабкалась сиявшая счастьем «маленькая Атя» — с огромной подаренной Тенишевой куклой на руках. Уж очень ей хотелось рассказать мне все, что произошло в мое отсутствие и особенно про справленную без меня елку.

Уже на следующий день пришлось серьезно и спешно заняться приготовлениями к ожидавшемуся событию. Наш домашний доктор Boehler, в которого мы верили абсолютно, считал, что оно должно произойти самое позднее через десять дней, а потому необходимо было первым долгом заручиться акушеркой, которую Боэлер сам рекомендовал, так же как и опытную, полного доверия заслуживающую сиделку. Ученая акушерка madame Alphonsi была маленькая, черненькая, подвижная, еще не старая, отлично знавшая свое дело дама; напротив, сиделка madame Renard была особа почтенная, импонирующей наружности, полная, с грубоватыми чертами лица, но сразу располагавшая к себе написанной на них добротой. С момента ее вселения в нашу спальню мне пришлось перебраться в детскую, и сразу я утратил всякий хозяйственный и фамильный авторитет. Madame Renard решительно всем командовала, бесцеремонно устраивала головомойки Аннушке, и даже попадало мне, а при случае и моим друзьям. Что же касается меня, то madame Renard считала, что я недостаточно «галантен» в отношении моей жены, и эту погрешность она усматривала в том, что я-де никогда не подношу ей (жене) цветов, конфет, un bijou quelconque *. В период, когда Атя стала поправляться, madame Renard даже старалась в этом смысле настроить свою пациентку против меня и ставила ей в пример «un *vrai* mari français» **.

Вообще же роды прошли не только в иной обстановке, нежели первые, но и по совершенно иной «системе». Начать с того, что при родах присутствовали не только «бабка», но и врач, а затем был выработан весь распорядок жизни как роженицы, так и младенца — вперед на целый месяц. И все это время madame Renard строго следила за тем, чтобы предписания доктора и madame Альфонси соблюдались с абсолютной точностью. Самое мучительное для моей столь подвижной жены было принуждение двадцать один день (в России требовалось всего девять) оставаться в кровати. Что же касается до ухода за младенцем, то тут получился еще больший контраст с российской «системой».

Там новорожденного туго пеленали и зашпиливали, причем, однако, после всякого орошения пеленок мумия снова разбинтовывалась, и пеленки (требовавшиеся в несметном количестве) менялись. Няньки все дни проводили в стирке и в глажении. Напротив, французская система оставляла за членами известную свободу движения, пеленки зашпиливались так, что ребенок мог шевелить и ручками, и ножками; что же касается

* Какую-нибудь драгоценность *(франц.)*. ** *Истинно* французского супруга *(франц.)*.

до смены белья, то она производилась всего четыре раза в день и непременно в установленные сроки; в промежутках же производимая младенцем нечистота оставалась совершенно закупоренной, создавая своего рода компресс. Сначала такая «сознательная нечистоплотность» показалась нам просто варварской, и моя жена беспокоилась, как бы не сделалось от того сыпи, но опыт доказал целесообразность французской системы, которая и применялась в течение первого полугода неукоснительно и с наилучшими результатами.

Труднее было убедить такую страстную мать, как моя Анна Карловна, в необходимости регулировать кормление младенца и во всяком случае, избегать перекормления. Но настойчивость madame Реиар и тут одержала победу. Родившееся крошечное существо получало свою порцию материнского молока только через каждые два часа, и в промежутках никакие вопли и крики пе действовали. «Laîssez la crier, cela ne **lui** fait que du bien» *,— говорила неумолимая мадам Ренар. И что же, уже через двое суток малютка привыкла к режиму и получала свое питание лишь в условленные моменты. Это было полезно и ей, и особенно матери. Ничего подобного того состояния какой-то материнской экзальтации, в которое впадала Атя в течение первых трех-четырех — вернее, пяти месяцев после первых родов, здесь не повторилось, и, разумеется, это оказало благодетельное влияние и на физическое, и па нравственное ее состояние. Уже через два месяца исчезли и последние следы перенесенной беременности и всех терзаний; ночью моя жена вдоволь высыпалась, и это отзывалось на ее аппетите и на общем самочувствии. Мне также были возвращены мои права, и кризис «заброшепиого супруга», пережитый мной в 1895 г., на сей раз не повторился.

Новорожденный член семьи оказался женского пола, но это меня только обрадовало, тогда как моей жене было вообще безразлично, кого бог ей послал и с кем ей вяньчиться, на кого излить всю свою стихийную любовь. Но вот, я должен сознаться, что, мечтая о девочке, я в то же время желал, чтоб она была

«олицетворенной красотой», На самом же деле на свет появилось нечто, что меня даже встревожило. Все было нормально, и даже сразу заблиставшие звездочки-глазки были прелестны, но подгулял носик... Младенец оказался совершенно и даже безобразно курносым, *хуже того,* этот носик пуговкой был *вдавлен^* и над ним лежала довольно толстая мясистая складка. Я не был в состоянии скрыть свою тревогу и досаду, однако и Боэлер и госпожа Альфонси только смеялись над моим смущением, утверждая, что «это пройдет само собой». В сердце у меня происходила своего рода борьба между обостренной жалостью, любовью и обидой на то, что какая-то коварная фея устроила нам подобную каверзу! Лишь по прошествии года предсказания врача и акушерки оправдались, и личико нашей девочки стало получать нормальный в приятный вид. «Прекрасной Еленой» в полном смысле этих слов она,

* Пусть кричит, это ей только па пользу *(франц.).*

IV, 26. Мадонна Леонардо

209

правда, так и не сделалась, но, подобно матери, и наша Леля 3* с годами стала «mieux que joiie et mieux que belle» *. Осооенныи шарм всей ее наружности в полной гармонии с ее весьма своеобразным нравом, с весьма острым умом и со всей ее даровитостью доставил ей немало побед над сердцами...

Этот *нрав* Елены стал обозначаться необычайно рано. Еще в бытность у нас госпожи Ренар, следовательно, в такое время, когда человеческому существу полагается быть чем-то совершенно безличным, губки нашей малютки стали складываться в нечто вроде улыбки, а лучистые ее глазки глядели так внимательно, точно у нее уже просыпалось известное сознание. Через три месяца Леля стала без посторонней помощи садиться в своей кроватке, через пять подниматься на руках и вставать в ней на вожки, шести месяцев она из нее выпала, а девяти,— о чудо,— она стала ходить! Очень скоро, когда мы летом жили в Нормандии, она во всем околотке прослыла за свою веселость. «Petite Hélène toujours gaie, toujours contente» **,— умилялись деревенские кумушки. Удержать ее на руках при виде матери пли меня требовало настоящих усилий — до того энергично начинала она прыгать и плясать на руках, причем я должен сказать, что курносенькая ее мордочка придавала этим излияниям особенную прелесть! Еленой она была названа в память одной из моих теток, но еще более в честь ее кузины, Елены Матвеевны Эдварде, дочери моей старшей сестры, тогда как раз приехавшей со своим мужем господином Шмелиигом в Париж, совершая свой voyage de noce ***.

В самое утро существования нашей Лели-Елены, я по закону должен был сделать декларацию в мэрии при двух свидетелях. Таковыми, за неимением под рукой других, согласился с большой готовностью быть помещавшийся в нижнем этаже нашего дома marchand de vin ****, и случайно там же у прилавка оказавшийся клиент, кажется, каменщик. Эти добрые люди сочли возложенную на них обязанность за честь, и хозяин погребка после нашего возвращения из мэрии, отказавшись от того денежного вознаграждения, которое я имел бестактность совать ему в руку, предложил распить втроем бутылку красного «закупоренного» вина, что было произведено на общее удовольствие и на здоровье роженицы. Все это — и наша прогулка втроем в ясное весеннее утро 1 апреля в мэрию, в это скромное, но очень сердечно предложенное угощение — оставили во мне чрезвычайно приятное воспоминание.

Постепенно наша семейная и хозяйственная жизнь вернулась к норме, с той только разницей, что я теперь окончательно устроил свою рабочую комнату в той, которая сначала служила исключительно «детской». Там же я проболел довольно мучительной формой ангины, ежегодно в те

Наша дочка сама стала называть себя Лелей, а не Лелей.

Лучше, чем красивая, и лучше, чем прекрасная *(франц.)*.

Маленькая Елепа всегда весела, всегда довольна *(франц.)*.

Свадебное путешествие *(франц.),* ** Торговец вином *(франц.)*.

"210*ÎV, 26. Мадонна Леонардо*

времена меня посещавшей. Мадам Ренар, тогда еще ие покидавшая нас, ходила за мной, причем, обращалась со мной еще строже, нежели с моей выздоравливающей женой. В той же комнате я с возобновленным увлечением принялся снова за живопись. У меня были затеяны две довольно сложные композиции. В одной под впечатлением одной гравюры XVII в. я задумал представить сад со стриженными в виде всяких фигур деревьями; большая золоченая гондола подплывала к острову на пруде, полная развеселой компанией молодых щеголей и щеголих. Эта картина была начата мной акварелью и гуашью, но собирался я ее окончить пастельными карандашами. В другой, еще более крупной картине я изобразил 9 (пастелью) один из тех придворных маскарадов, описание которых я вычитал в дневнике маркиза Данжо10 (или в «Письмах» Madame?). Но только я не собирался представить какой-либо определенный случай, происходивший в известный момент, а мне захотелось изобразить нечто вообще очень праздничное и блестящее, но в чем сквозило бы и нечто меланхоличное, «похоронное», что так характерно для эпохи «заката короля-солнца». Мой маскарад происходит под

открытым ночным небом, отражающим огни иллюминаций; площадка сада окаймлена архитектурной декорацией с аллегорическими транспарантами. На этом довольно тускло освещенном фоне почти силуэтами выделяются фигуры ряженых. Центр занимает невысокая фигура самого короля; он как бы выслушивает шутливую речь (harangue*), произносимую склоняющейся к нему огромной и довольно чудовищной Mere Gigogne **.

Я просиживал целые дни в Cabinet des estampes *** Национальной библиотеки, причем, чтобы ие терять времени, я в полдень закусывал, по способу французских школьников, двумя круассанами и плиткой шоколада. Как мне нравились эти сидения в нижней «галерее» дворца Мазарини, и это разглядывание переплетенных в красный сафьян волюмов! Мне нравилась вся атмосфера этого святилища науки и искусства. Меня не отпугивали ни кислая физиономия главного хранителя monsieur Raffet (сына знаменитого рисовальщика12), ни несколько крутые манеры сторожей, бравших с полок и «бросавших» на стол то, что я просил к выдаче. Впрочем, после того, что я несколько раз им сунул по два франка в руку, они заметно смягчились, а со временем даже стали ласковыми. Совсем милым, с самого начала, был один из помощников Раффе, грустный, вероятно больной чахоткой, молодой человек с длинным, окаймленным жиденькой бородкой, лицом, фамилию которого я позабыл, но который своими советами мне немало помог в моих поисках «документов».

* * *

Теперь у меня было достаточно денег, чтобы предпринимать частые экскурсии в Версаль, а это давало мне возможность все глубже окунаться

*Торжественная речь *(франц.)*.

'* Матушки Жигонь и — персонаж ярмарочных представлений *(франц.)*. .

*Кабинете эстампов *(франц.)*.

в требуемую атмосферу. Повторилось, но в еще большей степени то что я уже испытал в России в острый период своего увлечения Царским Селом и Петергофом. И на сей раз я доходил подчас до чего-то близкого к галлюцинации — особенно когда я, получив на то разрешение, часами бродил по парадным залам дворца или по тем комнатам «Северного аттика» 13, где была сгруппирована богатейшая коллекция портретов разных эпох. Полное одиночество получалось там в пасмурные и ненастные дни, которые я вообще любил и без того и которые не способны были меня удержать от паломничества к тем личностям, с которыми я вошел в какой-то интимный контакт благодаря чтению мемуаров и исторических книг.

В это же время стала сильно пополняться моя собственная коллекция. Между прочим, я поставил себе за правило каждую неделю посещать халкографию Лувра, и каждый раз я с чувством охотника, овладевавшего какой-либо цепной дичью, уносил оттуда по гравюре, по две, по три, изображающие либо какие-то празднества в Версальском дворце, либо виды Парижа и его окрестностей XVIII в. Все чаще я заходил теперь в-лавки Пруте и Манжена, а между мной и Костей Сомовым стал даже тогда намечаться род коллекционерского соревнования; до настоящей и болезненной конкуренции у нас все же с ним не дошло.

Вообще все это время в течение первых недель после возвращения из Петербурга у меня было довольно много свободного времени, так как Те-нпшевых не было в Париже. Позже, к весне, в мае, а именно с момента, когда прибыли к «сезону» обе княгини,— положение сильно изменилось. Возобновились обеды, завтраки, поздние беседы в будуаре княгини и разные выезды с Тенишевыми по выставкам, театрам, концертам. Я употреблял все старания, чтобы княгиня продолжала делать свои пополнения коллекции и русских и иностранных мастеров (между прочим, она купила тогда у Сомова его прелестную масляную картинку «В лесу», а Обер, по ее заказу, чудесно вылепил ее юркую собачку-грифона) и чтобы ооа забыла обиду, нанесенную ей отказом от принятия в музей иностранной части ее собрания. Временами мне удавалось и как бы гальванизировать ее коллекционерскую страсть. В то же время, именно этот период можно считать за вершину нашей дружбы. Внимательное отношение княгини Марии Клавдиевны ко мне очень повысилось с момента моего успеха на выставке в Петербурге, а замечательный такт княгини Четвертинской

скрашивал то, что было не совсем приятного в этом моем «порабощении». Новой и самой увлекательной темой наших бесед был теперь затеянный Сережей *наш* журнал и. Тенишева была тогда полна самых радужных надежд ва этот счет и горела желанием *лично* как-то принимать участие в журнале. Ее, между прочим, занимала мысль создать обложку к нему, и она несколько часов в день проводила, запершись в комнате, служившей ей мастерской, в поисках композиции, которая выражала бы главную цель издания. Однако бедная Мария Клавди-евна так и не удостоилась чести выступить в собственном журнале. Сережа безжалостно и безапелляционно отверг этот опыт,, и надо ска-

зать, что он был совершенно прав. Зато княгине эта неудача не могла послужить поощрением к дальнейшему *активному* участию в том органе, который она считала своим и который ей уже начинал стоить немало денег.

В эти же весенние месяцы внимание Тенишевых все более стало сосредоточиваться на участии России в Международной выставке, имевшей открыться через два года. Дело в том, что князь Вячеслав Николаевич был назначен русским правительством главным комиссаром Русского отдела, и это не только обязывало его изыскивать лучшие способы, каким образом представить нашу родину па «суд народов», но это направляло и художественное рвение княгини в ту же сторону. К сожалению, архитектура главного русского павильона, иод который был отведен правый угол сада, расположенного по склону холма Трокадеро (ныне более известного под именем Chaillot*), была уже в Петербурге поручена архитектору Мельцеру, который ничего особенно оригинального не придумал, а ограничился тем, что воспроизвел в сильно сокращенном виде Московский Кремль. Но оставался Кустарный отдел, расположенный неподалеку от этого «Кремля», и тут влияние Марии Клавдиевны, скорее, «всего будущего «Мира искусств»», сказалось в том, что как архитектурный ансамбль этого павильона, так и все его убранство были поручены одному из лучших художников нашего толка. В общем, Кустарный павильон должен был напоминать русские деревянные постройки, но при этом не копировать что-либо уже существующее. Художником — творцом и вдохновителем (с почти диктаторскими полномочиями) — этого предприятия был назначен наш новый друг, москвич Константин Коровин, и он же, в сотрудничестве с другим художникомі5, украсил Кустарный отдел (и одну из зал «Кремля») большими декоративными панно, изображающими пейзажи далекого Севера и городские виды

Средней Азии. Часть их, впрочем, была уже создана для Нижегородской выставки 1896 г.

Здесь, кстати, будет уместно сказать несколько слов об этой последней выставке, возбудившей большие толки в русском обществе. Двое из тех действующих лиц, которым выдались показные роли на арене русского художества, обратили на себя особенное внимание общества именно на этой Нижегородской выставке. То были Савва Мамонтов и М. А. Врубель. Имена их соединились благодаря тому, что Мамонтов решил исправить акт известного «вандализма», совершенный в отношении Врубеля. А именно, верховная комиссия, ведавшая убранством выставки, отказалась принять заказанные Врубелю два исполинских панно — «Принцессу Грезу» (олицетворение, в представлении Врубеля, Западной Европы), другое — «Встречу Микулы Селяниновича с Ильей Муромцем» (олицетворение России). И тогда, возмущенный решением комиссии, Савва Иванович выстроил на собственные средства отдельный павильон *специально* для помещения этих двух не угодивших официальным судьям картин.

Картины русского Севера в Кустарном отделе Всемирной выставки

* IIL*íJO *(франц.)*.

*IV, 26. Madonna Леонардо*213

были исполнены Коровиным под впечатлением его путешествия по берегам Белого моря и явились одним из самых примечательных украшений всей выставки. Начиная с этого успеха, К. А. Коровин занимает в семье русских художников одно из первенствующих мест. В эти же годы он выступал с особым блеском в качестве театрального декоратора, создав ряд постановок для оперной антрепризы того же Саввы Мамонтова. Его декорации и костюмы к «Псковитянке», которые я имел случай видеть на сцене Петербургской консерватории в феврале 1898 г., явились чем-то действительно новым и прекрасным. С них даже началась как бы целая новая эра в русском музыкальном театре.

Тогда же Петербург впервые оценил и Шаляпина, гениально воплотившего в той же опере жуткий образ Иоанна Грозного 4*.

В эти весенние месяцы 1898 г. Коровин лично появился в Париж и сразу сделался одним из ежедневных завсегдатаев Тенишевых. Его очень полюбил князь, главным образом потому, что нашел в нем достойного, знавшего толк в вине гостя. Но близко сошелся тогда и я с Коровиным, несмотря на то, что он был старше меня и что наши характеры не очень сходились. Вскоре я перешел с ним на «ты», тогда как в это же время и еще через год я не «тыкался» с Серовым. И каким чаровником

оказался этот мой «второй» Костя! Какой это был красавец, как очаровательно играли его бархатные, всегда немножко смеющиеся «цыганские» глаза! И какой это был чудесный, несравненный рассказчик! Его рассказы про свои путешествия по Северу и по Средней Азии я мог часами слушать. Возможно, что они не были всегда правдивы,— но они всегда были полны удивительной красочности. «Красноречив» был Коровин не только тогда, когда он говорил, но и тогда, когда умолкал. Бывало, описывая грустную картину северного пейзажа, Костя скажет вполголоса слово «тихо», замолчит, обведет слушателей каким-то напряженным взглядом, точно стараясь уловить, нет ли где мешающего безмолвию шума, и картина, уже созревшая в воображении, получает полную отчетливость и убедительность, точно и сам плывешь в белую ночь по пустынной лесной реке или ступаешь по мшистым кочкам среди чахлых берез и елей. Кое-что из этой прелести Коровин сумел вложить и в свои печатавшиеся в 20-х годах в ((Возрождении» очерки i6, но они все же уступают его устным рассказам, и я почитаю за особое счастье, что мне досталось много раз Коровина *слушать,*

Еще одно воспоминание, скорее трагического характера, у меня связано с нашими тогдашними частыми посещениями Тенишевых, но оно относится к 1897 г., а именно, к вечеру 4 мая этого года. Отправляясь с женой на обед к Тенишевым, мы доехали тогда в открытом фиакре до

В тот же мой приезд в Петербург в 1898 г. я побывал (и даже несколько раз) на новом балете Глазунова «Раймонда». Постановка была из самых банальных, но сочность и разнообразие партитуры очаровывала и заставляла забывать как эту банальность, так и нелепость сюжета. Станцована же была «Раймонда» с О. Преображенской в главной роли превосходно.

2)*4IV, 26. Мадонна Леонардо*

перекрестка улиц Francois I и Jean Goujon, но тут наткнулись на военный пикет, не позволявший нам продолжать путь в принятом направлении. Сильно пахло гарью, из улицы Жан-Гужон валил дым, а из одного угла к другому тянулась вереница носилок, на которых лежало что-то завернутое в простыни. Оказалось, что только что произошел пожар на том месте, где теперь возвышается нарядная Chapelle de la Consolation *Т а тогда было пустопорожнее место, на котором был устроен великосветский благотворительный базар. Пожар этот был одной из самых потрясающих катастроф конца XIX в. В нем погибло более ста лиц, почти исключительно принадлежавших к высшему парижскому обществу. Среди них и одна особа королевской крови — la Duchesse cTAlançon **, сестра тоже трагически погибшей

австрийской императрицы. С тех пор мы как-то привыкли к массовой гибели наших ближних; даже известия, сообщающие, что на поле сражения легла не одна сотня тысяч воюющих, не производят какого-либо *сокрушающего* действия на нашу психику. Но тогда катастрофа du bazar de la charité *** ввергла меня в какое-то почти безумное состояние ужаса,— точно я сам там был, точно я чудом спасся от гибели! Аналогичное впечатление произвела на всех и гибель парохода «Титаник»...17

Глава 27 ЛЕТО В НОРМАНДИИ - 1898 г.

Как я ни был очарован в прошлое лето Бретанью, однако на сей раз захотелось воспользоваться летними месяцами, чтоб ближе познакомиться с Нормандией. Особенно меня манили фалэзи — такие местности, как Et-retat, Yport и т. п., хорошо знакомые по картинам Изабе, Клода Моне и других старых и новых мастеров. Решено было, что я поеду вперед в Fecamp, а оттуда произведу разведку по ближайшим берегам. В Фекане я послушался совета отельного служащего и, вверяясь судьбе, занял место в почтовой карете, которая и доставила меня в совершенно мне до тех пор не известный Saint-Pierre-en-Port. Прибыл я туда сравнительно поздно, в сумерках, местность показалась мне довольно обыденной, и сразу меня огорчило множество уродливых вилл, лепившихся по обоим склонам фалэзи. Я уже решил, что на следующее утро продолжу своп поиски, однако, когда я рано утром открыл ставни и вышел на балкон, я так был поражен видом на безбрежный простор зелено-голубого моря и на сиявший белизной фалэзи, мне так захотелось, не тратя времени зря, приняться за работу, что я сразу послал телеграмму жене с наказом прибыть сюда, в этот же St. Pierre.

* Капелла Консоласьон *(франц.)*. ** Герцогиня Алансонская *(франц.)*. ** Благотворительного базара *(франц.)*.

IV, 27 Лето, ß Нормандии, 1898*215

И как раз еще до приезда семьи мне посчастливилось найти нечто подходящее для длительного пребывания. То был простой двухэтажный (по русскому счету) деревенский дом, в котором нам предоставлялись три лросторные комнаты и чердак. Из последнего я сразу же решил сделать свою мастерскую. Я знал, что Ате не понравится самый факт сожительства с совершенно чужими людьми (то был необычайно чистенький старичок, monsieur Монье-Бертель — бывший рыбак и мореплаватель, его почтенная, тоже необычайпо чистенькая супруга и их две дочери — кандидатки на стародевичество) и то, что еду придется

готовить на одной с ними плите. Но жилые комнаты хозяев находились в смежном доме, и это спасло положение. Не было и сада, в тесном смысле слова, но прямо к порогу подходили яблони и стлалась сочная зеленая трава. Все вместе создавало то, что я искал, для чего отчасти и приехал. Атя действительно поморщилась, увидав названные и другие еще дефекты, но в общем она одобрила мой выбор, и мы сразу зажили своим хозяйством. Приятно было, что немаловажный вопрос прачки решился сам собой, так как одна ш хозяйских дочерей занималась стиркой. Эта некрасивая, нескладная девица оказалась существом редкой сердечности. Не прошло и трех дней, как ею совершенно завладел наш домашний тиран — маленькая Атя. Самым бессовестным образом она превратила эту Мари в свое вьючное животное, заставляя ее таскать себя на спине, и это не только на ровном месте в саду и по улицам села, но и в гору, что приходилось делать каждый раз после того, как мы побываем на берегу, а спускались мы туда ежедневно.

То, что к самому морю, к воде, нельзя было иначе попасть, как спустившись со всей высоты грандиозной фалэзи и то, что обратный путь шел по крутым и никак не обработанным тропинкам, тогда как более удобная шоссейная дорога была в три раза длиннее, несомненно представляло значительное неудобство, и мы не раз за лето, особенно в жаркие дни, всползая наверх, охали и кляли судьбу, пославшую нам такое испытание. Особенно это было неудобно с грудным ребенком на руках и без возможности пользоваться колясочкой. Но постепенно мы как-то к этому привыкли, а то, что наша жизнь в общем протекала в стороне от толчеи купающихся и что все лавки, необходимые для нашего питания, находились тут же наверху, под рукой, в деревне (не то, что в «пустыне» Примеля),— это представлялось достаточной компенсацией. К этому прибавлю еще, что по верху фалэз было удобнее делать далекие прогулки в соседние деревушки. Как раз ближайшая из них — les Grandes Dalles — стала любимой целью моих художественных экскурсий1*. *А* каково было наслаждение ступать по густому ковру пряно пахнущей мятой и полынью траве, по той самой траве, в которой весной собирались ароматические растения, что входят в состав знаменитого ликера —

* В 1934 г. я снова побывал в Grandes Dalles, но прямо не узнал местности. Оба склона лощины, по которой когда-то лепились живописнейшие рыбацкие лачуги, теперь заняты садами и зданиями какого-то специального курорта для детей.

la Benedictine de Fecamp *. И какой охватывал меня восторг,

когда оттуда, с высоты обозреваешь стелющийся во всю ширину горизонта морской простор. На той же траве чаще всего располагались Атя и Аннушка с детьми, причем маленькая Атя бегала и резвилась, скатывалась н карабкалась под их присмотром, опьяненная воздухом и светом.

Скоро я нашел себе новые знакомства. Однажды, во время того, что я зарисовывал какой-то живописный уголок, ко мне подошел молодой господин, который заинтересовался моей работой и предложил мне несколько вопросов, сразу выдавших, что и он художник. Это был скульптор Michel, который тогда подавал большие надежды, а его женская статуя из розового мрамора была куплена государством и попала в Люксембургский музей. Сам Мишель был приятным, скромным, знающим толк в искусстве человеком, а из беседы с ним сразу было видно, что он отличался от тех его товарищей, которые интересовались лишь практическими «жизненными>> вопросами. К сожалению, после нескольких встреч он уехал в Париж, а в Париже я, несмотря на его приглашение, так и не удосужился к нему попасть. Перед отъездом Мишель познакомил меня с кюре Сен-Пьера, и вот это знакомство, если так же не протянулось дольше летних месяцев, то все же оказалось гораздо более для меня значительным.

Дело в том, что я вообще в тот год мечтал ближе подойти к церкви, и на это меня толкало, кроме личных переживаний, то, что я как раз находился под сильным впечатлением книг Huysmans'a !, в которых этот писатель изложил свой «путь спасения». Отведав всевозможных бесовских соблазнов и поняв всю их тщету, Гюнсманс почувствовал действие благодати и, следуя ее зову, поборол в себе гордыню безбожия и своеволия... Постепенно из мятежника и скептика он превратился в покорного сына церкви. Награда явилась непосредственно вслед за этим. Церковь, со всей традиционной красотой своих литургических торжеств, со всей сложностью и глубиной своей доктрины, опирающейся на вековой опыт, п этому раскаявшемуся блудному сыну раскрыла свои объятия, пригрела и утешила его, дала ему особую силу бороться с соблазнами, искушениями и страданиями. Независимо от Гоисманса (отчасти под действием чтения Достоевского), меня тяготило мое религиозное равнодушие (или *малодушие),* но несомненно, что это Гюисманс, рассказывая про свои переживания, обострил во мне «искание живой воды», Я мечтал тогда'о том, чтоб мне кто-нибудь помог этот источник найти и, напившись из него, почувствовать внутреннее обновление...2*

* Феканскни бенедиктин *(франц.),* 2* Род подобного религиозного кризиса я пережил в 1894 г. Он обострился в

чрезвычайной степени после кончины матери Ати и во время тяжелого нервного заболевания моей невесты. По тот кризис имел скорее уклон к иравославию и тогда-то тлавиым образом и сказалось влияние Достоевского. Я простаивал часами не только на воскресных обеднях, но и на разных других службах в нижней церкви нашего чудесного Никольского Собора. Позже это мое состояние, и значительной степени разделявшееся Атей, стало постепенно рассеиваться и принимать все более, я бы сказал, «эстетический» характер.

*IV, 27. Лето в Нормандии, 1898*21?

Подлинного такого источника я так ни тогда, ни потом не нашел (да если каяться до конца, то и не приложил всех усилий на его искание), но нечто «вроде такого источника» я встретил именно в лице кюре Сен-Пьера, аббата Фике. Во всяком случае, это знакомство явилось очень кстати для тогдашнего моего настроения.

Не надо, однако, думать, чтобы аббат Фике и внешне, и духовно, представлял собой нечто, скажем, серафическое, нечто, отвечающее представлению о каком-то духовном светоче. Когда, в самые первые дни нашего пребывания в Сен-Пьере, я в первый раз увидел его, идущего из церкви к своему пресвитеру *, он произвел на меня скорее неприятное впечатление. Да он и не *шел,* а огромная и тяжелая его фигура ковыляла, слегка покачиваясь в разные стороны. Я даже заподозрил его в том, что он «хлебнул лишнего». Возможно, что оно так и было, ибо аббе Фике был охотником до вина (и до вина хорошего, которого у него был немалый запас в собственном погребе). Однако первое отталкивающее впечатление постепенно, после знакомства с ним, сменилось большой симпатией к этому весьма своеобразному человеку.

Он и вблизи являл собой нечто, скорее «чудовищное». Ростом он был выше среднего, при этом очень тучный, очень смуглый, а круглое его лицо скорее отвечало ходячему представлению о разбойнике, нежели о святителе. При малейшей эмоции черные, густые брови его грозно сдвигались, черные глаза становились прямо страшными, а громадный рот с гнилыми зубами и лиловатыми губами напоминал пасть какого-либо дикого зверя или рыбы, в углах же губ набивалась желтая пена. Щеки у аббата были почти всегда плохо выбриты и отливали синевой; наконец, массивные его кулаки скорее годились бы для какого-либо матроса или каменщика и нисколько не напоминали обычно столь холеные руки католического духовенства. При всем том аббе Фике был очень интересным, очень тонким собеседником; служил же он у алтаря так, как только мог служить человек с

настоящим *призванием.* И в эти минуты все помянутые отталкивающие черты не только не вредили впечатлению, а напротив, придавали что-то особенное, какую-то удивительную внушительность всему его образу. Этому же внушительному впечатлению способствовал и великолепный голос — зычный, сочный баритон, и та в высшей степени проникновенная манера, с которой он громко и отчетливо произносил священные слова. Впрочем, почти всю мессу он не говорил, а *пел,* строго следуя грегорианским напевам, к которым он питал глубочайший пиетет. Надо еще прибавить, что он был вообще музыкально одаренный человек и его игра на виолончели, если и не отличалась виртуозностью, то все же была более высокого качества, нежели то, что полагается дилетанту. Что же касается до церковной музыки вообще в церкви Сен-Пьера, то, ввиду отсутствия органа (на построение такового как раз делался сбор), она сводилась вот к этим возгласам и напевным речам кюре у алтаря и к хоровому пению прихожан, почти исключитель-

Священнику *(греч.)**

218*?У, 2?· Лето в Нормандии, 1898*

но состоявших из старых отставных рыбаков (молодежь летом отсутствовала—она была на далеких промыслах), из женщин и детей. На аббе Фике сам заботился о том, чтобы это пение всей паствы оставалось музыкальным. Ничего подобного тем гнусавым воплям и крикам старых полячек, которые мне раздирали уши в разных петербургских католических церквах, здесь не было. Пение было налажено, а безупречным камертоном служил голос самого патера, которому иногда вторил старинный церковный инструмент (род фагота) — le serpent. Звук этой «змеи»» правда, не отличается особой тонкостью, но моментами он способен вызывать представление о каких-то небесных трубах.

Уже за одно его поведение у алтаря можно было исполниться уважения к нашему кюре, но он и лично очень выигрывал при близком знакомстве. Наше сближение произошло довольно быстро. Фике занимал в. центре деревни рядом с церковью довольно большой дом с садом и огородом, но все это было устроено па самый обыденный деревенский лад, без малейшей претензии. Хозяйством ведала племянница, имевшая при себе малолетнего сына. Возможно, что она и впрямь приходилась родственницей аббату. Во всяком случае, совершенно безгрешным аббе Фике, при всем своем искреннем уважении церковных велений, едва ли был, да он и не прикидывался святошей, а то, что женский шарм па него действовал, в этом не оставалось для меня сомнений, когда, обедая у нас, он видимо *таял* в обществе моей жены. Кстати сказать, эти наши обеды, происходившие в

тихие теплые вечера за столом, вынесенным прямо на траву, под яблонями и при свете свечей, были очаровательны, и беседа за ними затягивалась до полночи. По, боже мой, чего только не вмещала необъятная утроба кюре, что только он не съедал и в особенности не выпивал...

Одной из главных причин моего сближения с аббе Фике было то, что я в нем нашел не только хорошо осведомленного собеседника по вопросам перкви и религии, но и ревностного поклонника старины и искусства. Он хорошо знал все художественные достопримечательности как ближайших окрестностей Сен-Пьера, так и всей Нормандии. Все наши экскурсии в Veules, Veulettes, Pelites Dalles, к прелестному замку Сапу и т. д. совершались согласно с указаниями аббата Фпке, по, кроме того, я совершил с ним самим несколько поездок на его двухколесном шарабане, причем он сам правил своей откормленной, лоснящейся кобылой. Побывал я с ним, между прочим, в историческом замке Valmont, в запущенной капелле, которая все еще сохраняется исключительно по* тонкости скульптуры гробницы (gisants) прежних владельцев замка; осмотрел я в подробности и прелестный город Fecamp, где так величественна большая церковь St. Trinité (La Collegiale *), полная внутри замечательных скульптур, и так изящна церковь St. Etienne; побывал я и в нескольких местностях за Феканом. В каждой деревушке мы находили что-либо интересное и говорившее о глубокой древности. В нескольких

Св. Троицы (Коллегиальная) *(франц.)*.

церквах было тогда еще немало утвари, статуй, витражей, резных «сталей» *, которые, пожалуй, с тех пор проданы американцам. Покупку по очень сходной цене одного прелестного фрагмента витраиля с изображением какого-то епископа аббат Фике мне даже вызвался устроить, но я посовестился и не поддался соблазну. Он же, Фике, помог мне выработать план двух более далеких поездок, во время которых я посетил Этре-та, Гавр, Трувиль, Байе, Кан (Caen), Кодебек, Сеп-Вандриль и Руан. Меня особенно очаровал городок Кодебек с его узорчатой, как кружево, церковью (война 1940 г. только ее из всего города и пощадила). Кроме того, в Кодебеке я увидел любопытное явление природы — le masca-ret — стремительный бег одинокой волны морского прилива, врезывающейся в плавно текущие воды Сены. Более глубокие впечатления я вынес от посещения остатков знаменитого аббатства Sant-Wandrille. Поселившееся среди развалин новое братство бенедиктинцев успело за несколько лет восстановить многие разрушения и наладить вновь на довольно

широкую ногу свою монастырскую жизнь. Аббат Фике дал мне рекомендательное письмо к одному из молодых монахов — отцу Жоржу, и благодаря этому я был принят с особенным радушием, В течение целого дня я как бы участвовал в жизни монастыря, присутствовал на разных службах и разделил с монахами, под чтение житий святых, их скромную трапезу. Особенно меня тронуло и здесь пение, но то было *ученое* пение в унисон и по всем правилам plain chant **, без всякого участия органа 2. Точным восстановлением древнего лада был как раз занят настоятель аббатства, одно из светил церковной археологии, dom Pot-tier ***, которому после многолетних изысканий удалось разгадать многие загадки музыкальных начертаний, сохранившихся в древних манускриптах (так называемых «нейм») и считавшихся навеки обреченными на хранение своей тайны. Этот почтеннейший ученый пожелал лично меня принять и показать наиболее ценные, украшенные миниатюрами пергаментные книги, которыми гордилось восстановленное его стараниями книгохранилище Сен-Вандриля. Dom Pottier был низенького роста, кругленький, с подслеповатыми глазами, плешивый, но в беседе сразу открывалось, что этот очень старый человек полон энергии и духовного рвения. Эта его энергия позволяла тогда надеяться, что, благодаря его управлению, знаменитому аббатству будет со временем возвращена прежняя его значительность, что, пожалуй, удастся и снова выстроить, согласно первоначальным планам, прекрасный (судя по руинам) собор. Однако антирелигиозная политика Франции помешала осуществлению этих надежд. Этим воспользовался сам Maeterlinck; он приобрел всю усадьбу Сен-Вандриля и устроил там резиденцию себе и своей супруге — актрисе Georgette Leblanc.

* От stalle *(франц.)* — скамей. ** Церковного пения *(франц.)*. *** Отец Потье *(франц.)*.

* * *

Своими работами этого нормандского лета 1898 г. я остался более доволен, нежели теми, что составило мою «жатву» в прошлом году. Однако и на сей раз я не создал ничего «вполне выставочного», а вся моя жатва ограничивалась этюдами скромных размеров, исполненных карандашом и акварелью. Первые полтора месяца стояла скверная погода и редкий день проходил без дождя, что принуждало мепя довольствоваться скорее беглыми зарисовками с натуры, которые я затем дома

раскрашивал по свежей памяти. За эти три-четыре недели я изрисовал половину толстого альбома, точнее, не альбома, а школьного брульона, бумага которого мне* понравилась3*. Когда же погода установилась, то я принял решение, не заботясь о том, чтобы создавать какие-либо показные вещи, посвятить остаток лета простому, но и точнейшему *изучению* природы. Для этого я выработал особую систему. Сначала я делал этюд прямо с натуры в крошечном карманном альбомчике (с довольно гладкой бумагой), но в эти миниатюры я вкладывал все внимание, на которое я был способен. На пространстве в ладонь можно было за два-три часа достичь того же, что в большом формате потребовало бы нескольких сеансов по нескольку часов. Это было еще желательно из-за погоды, переменчивостью которой славится Нормандия. При этом я затевал сразу несколько работ, переходя от одного мотива к другому, если того требовала перемена в освещении и т. д. Непосредственно вслед за этим я делал с тех же самых точек рисунки в гораздо большую величину и делал их с предельной тщательностью и совершенной простотой душевной, «не мудрствуя лукаво». Только такой «говор с собой» позволял мне вполне вникать в то, что я видел перед собой, в то же время я *навсегда* запоминал все то, что я примечал. В мои планы входило затем, уже в городе и при всех удобствах технического характера, создать из этих элементов некий синтез.

Я не щадил себя и работал прямо с исступлением... Одна из самых больших жертв, которую я тогда приносил своему художественному воспитанию, заключалась в том, что я заставлял себя вставать вместе с солнцем и даже до него, справедливо считая, что в его ранних лучах все выглядит свежее и цветистее, нежели среди дня. Часто уже в пять часов утра я сидел на этюде, занося в свой альбомчик красочный эффект или рисуя на полулисте энгра или кансона 3 тончайше отточенным карапда-

Как многим другим художникам, так и мне свойственна черта постоянной неудовлетворенности разными техническими средствами и отсюда частая «измена» той или другой бумаге, холсту, карандашу и т. д. В данном случае я предпочел брульоп альбому не из-за экономии, а потому, что один вид этого плотпого «томика» мне показался располагающим к работе, плохенькая же писчая бумага, оказалось, лучше «держала цвет и топ» краски, нежели иная специально «акварельная». Начав рисовать и раскрашивать в этом томике (с другого его коппа я уже зарисовывал костюмные документы в Кабинете эстампов), мне понравилось, что я как бы создаю какую-то книгу, вроде тех <dibri», которые остались от разных старых мастеров. Но так я эту «книгу» и не кончил, уж слишком много было в ней листов.

шом.Этот первый на дне сеанс длился до того момента, пока все освещение не менялось. Второй утренний сеанс длился с 10 часов до полудня, третий — с четырех до шести и позже. Особенно меня пленили утренние эффекты на пляже, когда вся масса фалэз находится еще в тени, и лишь верхушки их зажигаются ярким светом. Днем однообразная белизна фалэз слепила, но утром, в тени, эти грандиозные стены обнаруживали массу красочных оттенков.

Как выразить то блаженство, которое я испытывал, когда, невзирая на утренний холодок, сидя на берегу среди еще мокрых после отлива водорослей, я любовался чудесной архитектурой грандиозных отвесных скал, или когда в яркий солнечный день упивался лесными ароматами и следил за игрой блестков на светло-серых стволах буков. Однажды, сидя у самого обрыва фалэзы, я был чрезвычайно обрадован видом зайчат, выскочивших из какой-то норки и начавших, не замечая меня, возиться и играть. Подоспевшие, однако, родители поспешили их снова загнать в. свой подземный, хитро скрытый дом. А каким воздухом в эти утренние часы я дышал! Какими упивался ароматами!..

Не могу еще не рассказать о наших хозяевах. О старшем сыне, состоявшем швейцаром в парижской Нотр-Дам, я уже упоминал. Второй сын Monier-Berthel в течение всей первой половины лета плавал где-то-очень далеко, состоя рыболовом на одной из тех больших парусных шхун, которые производили улов сельдей. В бурную погоду, когда море зловеще чернело и сплошь покрывалось барашками, на лицах матерей и жен появлялось мучительное выражение; несомненно, они тогда более напряженно думали о тех опасностях, которым подвергались их сыновья и мужья. Но на сей раз все обошлось благополучно. Рыболовная флотилия вернулась без потерь. С высоты фалэзы мы видели, как она плыла довольно далеко от берега, направляясь к порту, но каждый из жителей опознавал то судно, на котором находился близкий ему человек. Вечером того же дня вернулись восвояси все моряки родом из Сен-Пьера и среди них хозяйский сын — молодой, красивый парень, сильно па радостях подвыпивший. С женой он обошелся точно они расстались всего накануне, но-родителей он обнял и расцеловал с трогательной нежностью. Трогательно было видеть, как оба щупленьких, сморщенных старичка ласкали этого на голову их переросшего детину. По случаю возвращения сына они даже изменили свое обычное меню и, вместо вечного pot-au-feu *, в котором было больше вымоченного хлеба, нежели капусты, было зажарено-жиго,

запах которого привлек все кошачье отродье Сен-Пьера и среди них неисправимого драчуна и ловеласа, кривоногого и большеголового-нашего Марку.

Тишина, невозмутимо царившая в доме наших хозяев, была в обычное время такова, что к нам в верхний этаж через пол отчетливо доносилось одно только отстукивание часов. Вставали хозяева с солнцем и

Супа *(франц.)*.

сразу принимались каждый за свое дело. Но никогда не было слышно ни стука, ни иного какого-либо звука — разве только до странности громко икнет старушка или старичок произведет тот звук, про который русская пословица гласит, что то душа с богом разговаривает. Да и вся деревня ■была тихая. Иной раз прогогочут гуси, пасшиеся за домом, закудахчет курица, запоет петух, а то еще возмутят тишину визги и крики подравшихся кошек, по ведь к таким звукам в деревне привыкаешь до того, что их и не слышишь. Более определенно раздалось несколько раз за лето пение шествовавшего по главной улице крестного хода, а если ветер был с моря, то он приносил и звон колокола нашей церкви. Всту^ пать в беседу с мосье Монье-Бертель было трудновато, но увидев меня ■собравшимся на работу, он неизменно взглядывал на небо и пророчил погоду: «Le vent est haut, il *n`y aura pas de pluie, vous pouvez vous fier à ma parole» *. Но бывало, что он и предупреждал меня: «N'allez pas trop loin, monsieur Benois, il y aura de Feau» **, и дождь действительно являлся среди самого солнечного дня, пригнанный бог весть откуда. Особенно я любил поспеть на открытое место фалэзы к моменту, когда цвет воды на всем необозримом пространстве меняется, точно на сцене театра, Только что оно было лазуревым и изумрудно-зеленым, и вдруг с непонятной быстротой оно превращается в тяжелую свинцовую массу... А то появившийся вдали грязно-розоватый туман внезапно настигнет кручи берега, и постепенно одна часть его за другой исчезают. Еще фантастичнее бывали грозы, и особенно запомнилась мне та, которая разразилась над Сен-Пьером к концу лета. Сотни молний вспыхивали почти беспрерывно^ и все небо, по которому с бешеной быстротой неслись тучи, точно было в огне. И, однако, все это зрелище оставалось немым, беззвучным, и не доносилось ни одного раската грома: только гнувшиеся и трепетавшие деревья наполняли воздух шумом своей листвы. Это представление продолжалось около двух часов, но с самого начала мосье Монье-Бертель заверял: «N'ayez aucune crainte, cela ne sera rien, le vent •est haut, cala va passer a coté, sans nous toucher» ***. И его слова сбылись.

Глава 28 ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МИРА ИСКУССТВА»

Досадно было покидать Сен-Пьер как раз тогда, когда листья буков стали восхитительно желтеть и краснеть, погода продолжала быть теплой и даже жаркой (во время моего пребывания в Руане я внутри собора ■буквально обливался

потом), а колючие кустарники по дорогам густо

*Ветер верховой, дождя не будет, можете положиться па мои слова *(франц.)*

'* Не ходите слишком далеко, господин Бенуа, будет дождь *(франц.)*.

*Не опасайтесь, ничего не будет, ветер верховой, гроза иройдет стороной, нас не

коснется *(франц.)*... :

*IV, 28. Возникновение «Мира искусства»*223``

покрылись черными, похожими на малину ягодами (ежевикой?), до которых я был большой охотник (особенно до пирогов с начинкой этих. «мюр», божественно приготовляемых Атей). Но вот стали приходить телеграммы и письма то от княгини, то от Дягилева, требовавшие моего возвращения в Париж. Вскоре прибыли и Тенишевы. Князю надлежало-приступить к более последовательному и непосредственному наблюдению-за устройством Русского отдела на Всемирной выставке, а обе княгини решили зорко следить за тем, как бы Вячеслав Николаевич, вкусу которого они не доверяли, не натворил чего-либо непоправимого. Костя Сомов, уехавший на лето в Россию, не счел по возвращении удобным возобновлять наем своей мастерской во дворе нашего дома ** и поселился в небольшой, довольно комфортабельной комнате на соседней рю Леопольд Робер, нам же эта его «измена» пришлась кстати, ибо при осложнении (в связи с рождением второй дочери) хозяйственных забот, моей. жене становилось обременительным иметь ежедневным гостем хотя бы в очень близкого, но все же постороннего человека. Более значительным усовершенствованием нашего житья-бытья для меня лично было то, что-мы принаняли еще одну квартиру в две комнаты с кухней по нашей же-лестнице, но двумя этажами выше. Обе эти «мои» комнаты выходили на север и могли мне служить для живописи. В «гостиной» я устроил мастерскую, и она скоро приняла, благодаря мольбертам и стойкам с папками, соответствующий «технический» аспект, вторая же комната предназначалась под мои литературные занятия. Я и до того писал немало — «для собственного удовольствия», теперь же, ввиду создания нашего журнала, я почувствовал себя обязанным более последовательно прибегать к перу. О таком моем «долге» постоянно напоминали в письмах и друзья,. особенно Сережа.

Еще весной я резюмировал в письмах к княгине Четвертинской мнение о задачах и о характере нашего журнала: «Авось,— писал я 1/13 апреля 1898 г.,— нам удастся соединенными силами насадить хоть кое-какие более путные

взгляды. Действовать нужно смело и решительно, но-без малейшего компромисса. Не гнушаться старины (хотя бы «вчерашней») и быть беспощадным ко всякой сорной траве (хотя бы модной и* уже приобретшей почет и могущей доставить чрезвычайно шумный внешний успех). В художественной промышленности избегать вычурное, ди-

4* В мастерской на рю Деламбр Сомов создал за год ряд своих наиболее известных и удачных произведений *К* Назову лишь те, которые мне особенно нравились и1 за созреванием которых я следил день за днем. На первом месте стоит поэтичный портрет Елизаветы Михайловны Мартыновой, которую Костя одел в старомодное голубое платье (это — «Дама в голубом» Третьяковской галереи); в само№ же начале Сомов создал здесь свой курьезный «Пруд» (двое молодых супругов, обнявшись, отдыхают на траве, собрание А. А. Попова), а несколько позже — «Усадьбу», являющуюся каким-то синтезом старой помещичьей жизни — той-самой, о которой так любил рассказывать старик Сомов. К этому же периоду принадлежит и чудесная «Радуга» (Гельсингфорский музей). Наконец, в этой же мастерской он сочинил и забавную афишу для нашей первой выставки.

кое, болезненное и нарочитое, но проводить в жизнь, подобно Моррису 2, принципы спокойной целесообразности — иначе говоря, «вечной» красоты. Отчего бы не назвать наш журнал «Возрождение» и в программе не объявить гонение и смерть декадентству, как таковому? Положим, все, что хорошо, как раз и считается у нас декадентским, но я, разумеется, не про это ребяческое невежество говорю, а про декадентство истинное, которое грозит гибелью всей культуре, всему, что есть хорошего. Я органически ненавижу эту модную болезнь, да и моду вообще! Мне кажется, что мы призваны к чему-то более важному и серьезному, и нужно отдать справедливость Сереже, что своей выставкой он попал в настоящий тон. Никогда не уступать, но и не бросаться опрометью вперед. А глав-ное3 дай бог ему устоять перед напором Мамонтова, который, хоть и грандиозен и почтенен, но и весьма безвкусен и опасен. Ох, Сереженьке ■будет много дела!»

Среди лета, особенно в дождливые дни, когда не было возможности выйти на воздух и работать с натуры, я стал пробовать свои силы в писании критических статей. Пять лет назад я, правда, уже смастерил (да еще по-немецки) вполне удовлетворительную для того времени статью о русской живописи для Мутера, правда, у меня накопилось немало всяких

«проб пера», коими я пытался «восполнить художественное образование моих княгинь», правда, я как-то отважился написать большой (но отвергнутый) фельетон для «Нового времени» на тему об импрессионизме, однако из всего этого ничего теперь не могло быть использовано и не составляло того опыта, который приучил бы меня систематически излагать свои мысли и впечатления. Особенно меня мучили всякие сомнения психологического порядка.

Вот что я писал в одном из своих писем другу Валечке Нувелю из Сен-Пьера (5 июня 1898 г.): «Года три назад я бредил о художественном журнале..., но с тех пор я охладел к самой мысли об издании журнала. По самой своей натуре — журнал есть «опошление». В то же время я не должен забывать, что есть люди, молодые художники, которым журнал может принести существенную пользу. Поэтому принципиально я *за* журнал. Но от этого до теплого к нему отношения далеко. Будь я в Петербурге, с вами, разумеется, мой «лед» под ударами дебатов (каков образ!) раскололся бы. Но здесь, вдали от всех, лед толстеет и крепнет».

Приведу отрывки из двух писем того же Валечки — и пз одного дяги-левского — они характерны и для личностей моих приятелей, и в то же время они бросают свет на то, как создавался журнал и какая царила атмосфера в нашем кружке, постепенно превращавшемся в настоящее сообщество — в то, что еще через несколько месяцев получило право называться «редакцией Мира искусства».

Вот выдержка из письма Валечки от 15/27 июня 1898 г.: «Твое письмо меня очень тронуло, но вопрос, предложенный тобой, поставил меня в крайне затруднительное положение. Вздор ли жизнь или нет? Могу ответить только так: 1) не знаю; 2) я об этом теперь не думаю. Объясняю же это тем, **что** из юношеского возраста я перешел в зрелый (Ва-

IV, 28. Возникновение «Мира искусства»

лечке в тот год было 26 лет.— *А. В.).* Прошла пора мечтаний, **грез и** уто-**пий,** то время

Wo Nebel mir die Welt umhüllt,

Die Knospe Wunder noch versprach *.

После целого ряда разочарований 2* наступил момент усталости, потребность в абстракциях исчезла, способность к исканиям ослабела. Мы окунулись в действительную жизнь. Единственное, что осталось — это желание и надежда вернуться когда-нибудь снова к au delà ** в такое время, когда потребность в нем будет настолько велика, что даст нам новые силы для исканий. Все это, быть может, очень грустно, но мне кажется — это закон... Все мои вечера я теперь провожу у Сережи. Журнал нас экситирует, эмоционирует, и мы все за него принялись с жаром. Каждый день происходят горячие дебаты. Вот что меня теперь интересует! Быть может, это мелко и низко, но оно есть, и я не могу и не буду насиловать свою личность. К более высоким интересам я перейду только тогда, когда почувствую к тому естественную настоятельную потребность)).

Второе письмо Валечки еще характернее для личности моего друга. Если В. Нувель и не пожелал (по отсутствию известного мужества) стать каким-то «официальным участником» журнала, то все же он проявлял в интиме редакционных собраний весьма большой интерес к делу, а моментами он отваживался и активно вмешиваться как в общие вопросы, так даже и в составление отдельных текстов — главным образом по своей специальности — по музыке.

«Не знаю,— писал мне Валечка 1 июля 1898 г.,— разошлись ли мы, по мне кажется, ты меня не понял. На вопрос: перешли ли мы в зрелый возраст или нет? Я отвечаю: да, перешли. На вопрос, было ли прошедшее юношеским бредом и вздором, говорю *нет.* Наконец, если меня спросят, когда было лучше,— тогда или теперь,— смело отвечу: *тогда.* Из этого ты видишь, что в прежних увлечениях я вижу что-то истинное хорошее и прекрасное. Вот три слова, к которым мы в настоящее время

* Когда мир окутан туманом, а бутоны обещают чудеса 3 *(нем.).*

2* Разочарования Валечки были всякого рода. Тут были и неудачи в делах сентиментальных, но тут были и неудачи психологического и философского порядка. Первые привели моего Друга к убеждению, что он *не может* иметь успех у женщин, и отсюда выработалась у него склопность искать Эрота вне области, подчиненной Афродите. В то же время это обусловило развитие того цинизма, задатки которого намечались в нем еще тогда, когда он ходил в коротких штанах. Своим «учением*) он заразил и нашего общего друга К. Сомова, с которым он особенно сблизился в годы моего (позднейшего) отсутствия из Петербурга. Неудачи же «философического» порядка выразились в том, что Нувель заделался было последователем Толстого (и даже до того поверил в свою призвашюсть на подвиг отречения от всего суетного, что сгоряча распродал и роздал свою библиотеку)ˆ Однако вскоре затем понял, что эта «прпзванность» была иллюзией, и всякий «толстовизм* слетел с него бесследно. Были у него и другие подъемы и падения, и. г конце концов, душевная мятежность в нем исчезла совершенно.

** Высшему *(франц.)*.

8 3;tií.i2 Л 2516

226

IV, 28. Возникновение «Мира искусства»

не можем относиться иначе как с иронией. Но ведь истина, добро и красота были все-таки почвой, и почвой солидной, а на какой мы теперь стоим? Да *стоим* ли вообще? Я, по крайней мере, не могу назвать свое состояние даже словом irren*, ибо оно предполагает искание. Я просто Ш1 jouet du flux et du reflux **. Я отношусь к своему состоянию с презрением, но принимаю его как нечто неизбежное, фатальное... А надежда на лучшие времена во мне все-таки есть, и я уверен, что когда-нибудь мы во что-нибудь уверуем... Дима и Сережа уехали в деревню (в родовое поместье Философовых «-Богдановское») до первого августа, и потому журнальная агитация (в смысле французского слова agitation — суета) прекратилась... Я вполне понимаю, что живого отношения к журналу ты не имеешь. Я бы его тоже не имел, если бы у меня было свое дело, но такого нет 3* (музыку я совсем бросил и, пожалуй, хорошо сделал). Журнал же дает повод к отвлеченным спорам, которые я ужасно люблю, а так как такие споры давно уже не ведутся, то я с радостью ухватился за журнал... Но как только затрагиваются вопросы чисто практического свойства,- я начинаю скучать и зевать (в этом весь Валечка.— *А. В.)*. Таково уже мое назначение думать и говорить о вещах, которые никому не нужны и никакой пользы не приносят. Я уверяю тебя, мне это

куда симпатичнее, чем вся наша теперешняя активная деятельность. Подымать до себя большую публику значит в сущности опускаться до ее уровня. И какое мне дело до большой публики?»

В том же письме Валечка, развивая свою «психологию», делает выпад против наших общих друзей и как раз против тех двух, которые на своих плечах выносили самое трудное во всяком деле — его начальную организацию: «В тенденциях Сережи и, главным образом, Димы я вижу желание, быть может, бессознательное, остановиться и сесть, и против этого я буду всегда и всеми силами протестовать». И, наконец, вот как Валечка (все в том же письме) рисует положение дел внутри редакции; это место письма тем более интересно, что даваемая в нем характеристика осталась пригодной и для дальнейшего нашего «коллективного творчества». «Состав журнальной палаты следующий: Дима — правая, Бакст и я — левая, председатель — Сережа, прислушивающийся к заявлениям левой, но явно опирающийся на правую. К левой принадлежали Коровин и Серов (но их теперь здесь пет), а затем Иурок, который скорее представляет одну из фракций левой, с которой мы не всегда согласны. Несмотря на то, что левая в палате обладает большинством, правая часто одерживает победу, так как за ней стоят публика и, главное, издатели (Тенишева и Мамонтов). Это только способствует энергичности и ожесточенности, с которой ведутся споры. Кто победит, не знаю. Но вряд ли мы — по крайней мере в ближайшем будущем. Тем не менее оппозиция будет весьма энергичной, ибо я считаю ее необходимой».

* Блуждать, ошибаться *(нем.)*. ** Игрушка удачи и неудачи *(франц.),*

** В. Ф. Нувель уже состоял тогда на службе в канцелярии министерства императорского двора, но это он «своим делом» не считал.

*IV, 28і Возникновение «Мира искусства»*227

Вероятно, такие же письма «профессиональный спорщик» Валечка писал и Диме и Сереже, в устных же разговорах он становился моментально и весьма неприятным, за что ему попадало от них. Но попало от Сережи Дягилева как-то и мне. Вот фрагмент такой головомойки, полученной мной в начале лета: «Когда строишь дом,— писал Сережа 2 июня,— то бог весть сколько каменщиков, плотников, маляров тебя окружают, бог знает сколько хлопот, то в строительном, то в ином каком-нибудь отношении. То кирпичи/то балки, то обои, то всякая другая мелочь. Об одном только спокоен — это, что фасад дома будет удачен, так как ты веришь в дружбу и талант архитектора-

строителя. И вот выходит обратное. Когда ты в пыли и в поту вылез из-под лесов и бревен, оказывается, твой архитектор говорит тебе, что он дома выстроить не может, да и вообще к чему строить дома, есть ли это необходимость? И тут только понимаешь всю мерзость кирпичей и всю вонь обоев, клея и всю бестолковость работы и пр. Так ты подействовал на меня своим письмом. Уж если Валечку расшевелили, то пойми же — главным образом потому, что он видит, чего все это стоит, как это все делается. А ты вдруг начинаешь говорить о пользе журнала, о том, можно ли говорить о стариках, о Васнецове. Как я не могу и не сумею просить моих родителей о том, чтобы они меня любили, так я не могу просить тебя, чтобы ты мне сочувствовал и помогал — и не только поддержкой и благословением, но прямо категорически и плодотворно помогал своим трудом. Словом, я ни доказывать, ни просить тебя ни о чем не могу, а трясти тебя, ей богу, нет времени, того и гляди сверну тебе шею. Вот и все. Надеюсь, что искренний, братственный тон моей брани на тебя подействует и ты бросишь держать себя как чужой и посторонний, а оденешь скорее грязный фартук, как и все мы, чтобы месить эту жгучую известку».

Это письмо так же характерно для Сережи того периода, как вышеприведенные письма для Валечки. Оно передает в красочных образах горячечный темп работы, закипевшей в кабинете Дягилева, превратившимся вдруг в редакцию, но оно характерно и для всей его деятельности вообще, а также для отношений, существовавших между нами обоими. Как многие русские люди, Сергей Павлович соединял в себе черты известной распущенности в духе, скажем... Потемкина, с чертами, скажем (toute proportion gardée *) Петра Великого — бывшего общим кумиром нашего кружка (к тому же, по полушутливым уверениям Сережи, он приходился Петру каким-то далеким потомком — как-то через Румянцевых, что я так и не удосужился проверить). Периоды лени и апатии сменялись в Сергее приступами чрезвычайной деятельности, и только тогда он начинал чувствовать себя в своей настоящей стихии. Тут ему уже мало было преодолевать трудности, естественно возникавшие на пути осуществления задачи; он любил себе такие трудности *создавать искусственно* — дабы их с удвоенным рвением преодолевать. Как раз эта черта, отпугивавшая людей спокойных, вялых, замкнутых в эгоистических

Соблюдая все пропорции *{франц.)*.

заботах (и просто «благоразумных»), нас дразнила, окрыляла

и освежала. Этот «первый среди нас работник» служил друзьям возбуждающим примером, и мы все более и более привыкали видеть в нем своего подлинного вождя, за которым подчас мы готовы были идти всюду, куда бы он ни указал,— хотя бы иной раз мы и не усматривали в том настоящего основания и необходимости. Дягилев — этот делец, этот brasseur d'affaires * — для посторонних (а для многих в те времена даже «подозрительный аферист, ловко обделывающий свои делишки»), для иас> близких и хорошо его изучивших, обладал великим шармом какой-то «романтической бескорыстности». Он был великим мастером создавать атмосферу заразительной работы, и всякая работа под его главенством обладала прелестью известной фантастики и авантюры. Напрасно временами более благоразумные среди нас (главным образом Философов и я) взывали к лучшему соблюдению его же собственных интересов и пробовали обуздать слишком уж ретивые его порывы. Стихия авантюры брала верх, мчала его дальше... Вот почему в целом жизнь этого фантастического человека получила отпечаток несколько озадачивающего безумия То, что здесь отразилось в письме, то, что в этом письме написано сплеча и в каком-то порыве,— так, что одни слова наскакивают на другие, то являл Дягилев в пароксизме своей деятельности. Единственный среди группы художников, он сам ничего не творил художественного, он даже совершенно оставил свое композиторство и свое пение, но это не мешало нам, художникам, считать его вполне за *своего.* Он не писал картин, он не создавал постановок, он не сочинял балетов 4* и опер, он даже очень редко выступал как критик по художественным вопросам, но Дягилев с таким же вдохновением, с такой же пламенностью, какие мы, профессиональные художники, обнаруживали в своих произведениях, организовывал все, с чем наша группа выступала, издавал книги, редактировал журнал, а впоследствии ведал трудным, часто удручающим делом «театральной антрепризы», требовавшим контакта со всевозможными общественными элементами. Наиболее же далекой для нас областью была реклама, publicité, все дело пропаганды, а как раз в этом Дягилев был удивительным, как бы от природы одаренным мастером.

Письмо Сережи от 2 июня 1898 г. может еще служить как образец приемов Дягилева «встряхивать» своих соучастников. Когда он замечал в ком-либо из нас упадок сил или разочарование, он охотно прибегал к

Воротила *(франц.),*

Только в самые последние **годы своей жизни и растеряв** по **пути** всех **своих** первоначальных друзей, всех творцов, которых

он возглавлял и воодушевлял, он стал в балетах постепенно проявлять и даже навязывать свои личные идеи. Когда я, приехав после девяти лет отсутствия, в 1923 г. в Монте-Карло, увидал эти его последние новинки, то меня особенно поразил самый тот факт, что Сережа отважился теперь выступить лично как *творец.* Однако я не состою среди поклонников этого периода его деятельности: мало того, мне кажется, что если в его трех «учениках», в Мясине, Кохно и Лифаре, обнаружилось рядом с подлинной даровитостью столько нелепого и просто безвкусного, то это были **следы** именно влияния «личного творчества» Дягилева.

*IV, 28. Возникновение «Мира искусства»*229

упрекам, понуканиям, а часто и к воздействию на совесть, а то и к возбуждению какой-то жалости к себе. Последнее, должен признаться, производило особенно сильное действие на меня. Вдруг становилось стыдно за свое недостаточное радение, забывались обиды (иногда и очень чувствительные). Переход от состояния инерции к самой активной «помощи* происходил внезапно и решительно. Многочисленны примеры таких перемен в настроении в моих взаимоотношениях с Сережей, но, как это ни странно, даже столь независимого (с виду апатичного) Серова Сережа тоже *встряхивал,* и это встряхивание производило наилучшие результаты. Дягилеву удалось вообще «приручить» Серова, и моментами он совершенно *подчинял* его своей воле. Было даже трогательно видеть, как наш «Антон» во имя дружбы и во имя служения тому, кого и он признал за какого-то вождя, отправляется своей медвежьей повадкой, ворча себе под нос, исполнять какое-либо данное ему поручение или встречаться с людьми, ему определенно противными, но для дела *нужными.*

* * *

К концу лета я, наконец, набросал несколько статей для нашего журнала. Первую статью я собирался посвятить импрессионистам, которыми я особенно увлекался (тогда как вся наша группа, не исключая Дягилева, продолжала иметь о них очень смутное представление), но уже во второй статье моя склонность к искусству прошлого и моя «педагогическая жилка» взяли верх. Мне захотелось, с одной стороны, познакомить русских читателей с художником доселе им еще совершенно неизвестным (с Питером Брейгелем), а с другой — предостеречь моих друзей-сотрудников от того, что считал особенно серьезно опасным. Мне вообще была чужда всякая тенденциозность, все то,

что в области искусства отзывает навязываемым нравоучением или, что еще того хуже — модой 5*, направлением или «направленчестзом». На наш кружок я продолжал смотреть, как на центр, в котором будет вырабатываться просвещение и самое широкое восприятие прекрасного. Напротив, я ненавидел (и ненавижу) всякую кружковщину, узкость, заведомое пристрастие, а главное, добровольный отказ, во имя каких-либо общественных принципов, от свободного творчества и свободной оценки явлений. И вот тут меня и натолкнуло на тему второй статьи впечатление, полученное от картины Питера Брейгеля 6*, к восторженному описанию которой я пристегнул рассуждения, не только не содержавшие каких-либо выпадов против реализма, натурализма и вообще живописи *сюжетной,* но скорее настаивающие на том, что и «сюжетность» имеет все права на существование. Я ратовал о том, чтобы в связи с более широким миросозерцанием произошел в молодом русском художестве поворот в сторону именно известной «содержа-

Слово *снобизм* тогда еще не было в ходу.'*

Вопрос о том, есть ли картина в Музее Кан (Caen) оригинал самого мастера или

коппя, сделанная его сыном, здесь не имеет значения.

тельности». При этом я все же оговаривался, что вовсе не желательно, чтобы эта содержательность была бы такого же характера, какую мы привыкли видеть в некоторых «направленческих» картинах передвижников. Статью эту я отправил Сереже и считал, что она попадет в первый же номер нашего «Мира искусства», однако в первом номере она не оказалась!

Первый номер нашего журнала вышел в свет в конце октября ила в начале ноября 1898 г. Произвел он среди нас, «парижан», большую сенсацию; однако должен прибавить, что если и был приятен самый факт рождения нашего собственного органа, то в этом первом номере нам далеко не все понравилось. Начать с самого «преувеличенного» формата и с претенциозной в своей «пустоте» обложки. Еще меньше мне были по вкусу уродливые, совершенно любительские потуги создать что-либо новое в декоративной области. Никак я не мог одобрить и то, что в первом же номере, имевшем как-никак значение известного «credo» наших лдеалов и стремлений, половина иллюстраций была посвящена тому художнику, к которому' у меня выработалось определенно отрицательное отношение, а именно к Виктору Васнецову. Я никак не мог понять, как это могло случиться, так как никто из художников в составе редакции как

будто не поддавался обаянию этого якобы основоположника новой русской церковной и национальной живописи! Менее всего я мог заподозрить в этом самого Дягилева. Позже выяснилось, что вообще первый выпуск следует в значительной степени считать делом Философова, и это он именно скорее из каких-то *тактических* соображений навязал Васнецова, настоял на том, чтобы ему было уделено столько места. Он же добился того, чтобы нашему журналу был придан определенно *литературный* уклон, что также в моих глазах было серьезным дефектом. Будь я во время создания журнала в Петербурге, я бы не допустил такого преобладания *текста* над *изображениями.* Но меня не было, а с остальными членами редакции Дима, убежденный в правоте своего тактического хода, не привык считаться в той же степени, как со мной. Из всех нас как раз Дягилев был особенно чужд литературе и философии, а тем паче философии религиозного оттепка, т. е. того, что как раз захватывало его двоюродного брата. Дягилев вообще читал мало и иногда, в минуты откровенности, признавался *в* удивительных пробелах своего знакомства с литературой — даже классической. В нем это было чем-то даже «органическим». При его удивительной способности все схватывать на лету, чтение книги, смысл и цель которой ему становились ясными с первых же страниц, представлялось ему занятием скучным и просто лишним. В философских же вопросах Сережа просто не разбирался, да и не желал разбираться. Это была для него область закрытая и недоступная. К тому же, не будучи каким-либо убежденным атеистом (вроде Нуро-ка), выражая, напротив, известный пиетет к церкви и к религии вообще, Дягилев все же обнаруживал к так называемым «запросам души», к коренным загадкам бытия полное равнодушие. Но вот перед Философовым этот столь отважный человек буквально «трусил»; ему он уступал чаще

*IV, 28. Возникновение «Мира искусства»*23!

всего без споров, а так как Дима был натурой довольно-таки властной, то эти уступки повторялись постоянно и принимали хронический характер.

В значительной степени Дягилеву принадлежит выработка внешнего вида нашего журнала — формат, забота об изяществе печати и придача его внешности известного «дразнящего» характера, что, между прочим, выразилось и в том «штемпеле», представляющем двух рыбок, который, не долго думая, сочинил К. Коровин и который, помещенный на «пустой» светлой обложке, так наивно должен был свидетельствовать о *передовитости* нашего журнала. Напротив, скорее Философову, нежели Дягилеву, принадлежал тот специфический тон, который был

придан текущей хронике и критическим заметкам. Однако сам Философов, чрезвычайно едкий в жизни на язык, редко брал на себя сочинение таких злобных пасквилей. Считая необходимым для успеха журнала, для придания ему большего значения подобное «дразнение гусей», Философов все же охотнее предоставлял сочинение этих выпадов Нуроку. Задира-тельный юмор последнего особенно отразился в заметке о выставках Клевера и Верещагина 4, и вот именно эта заметка произвела тогда в художественных кругах Петербурга *наибольший* шум, она же сразу укрепила за «Миром искусства», несмотря на все заверения о нашем *мнимом* упадке, репутацию какой-то штаб-квартиры опаснейшего декадентства. Озадачила эта заметка и нас. Ничего подобного мы не ожидали, это шло вразрез с нашими чаяниями и предположениями, наконец, и с нашим вкусом. Когда оказалось из (почти единодушных) отзывов прессы» что все старания «Мира искусства» показаться солидным, веским, значительным и просвещенным органом, были парализованы именно вот таким *мальчишеством,* такой «провокацией к скандалу», то это возмутило не только меня, Сомова и Лансере, но и обеих княгинь. Мария Клавди-евна прямо-таки рвала и мегала. Она не могла простить Дягилеву, что он допустил подобную выходку, бросившую тень и на нее, как издательницу.

У меня здесь, на чужбине, не сохранилось то письмо к друзьям, в котором я высказал свое мнение о первом номере «Мира искусства», но мне запомнилось в общих чертах, в чем заключалась моя критика. Особенно досталось за предоставление значительной части иллюстраций Васнецову. Все это было не лишено основания и возможно, что с многим иные из моих друзей согласились бы, но то, что мой отзыв был лишен «поощрения»,— огорчило всех и внесло ненадолго в наши отношения некоторый холод. Не того друзья мои и единомышленники от меня ожидали. Находясь вдали от них, от общей, захватившей их всех работы, я не подозревал, какие трудности им пришлось преодолевать в деле, в котором все они были новичками. Главными же двигателями этого общего труда были Философов и Дягилев, и они-то более всего обиделись на мои (недостаточно прочувствованные) слова...

Считаю не лишним привести выдержку из статьи Философова, написанной им правда много лет позже, но в которой, пожалуй, все же зву-

чит род самооправдания в ответ на мою критику 7*. В то же время эти строки дают яркое представление именно об этой общей подготовительной работе по созданию нашего журнала.

«Теперь (писал Философов в 1916 г.) русское издательство удивительно продвинулось вперед. Те времена, когда книга Шильдера «Александр I»6 считалась «художественным» изданием, а Экспедиция государственных бумаг — рассадиицей хорошего вкуса, прошли безвозвратно. Замечается даже скорее некоторая усталость от изящных переплетов, виньеток, обложек. Второе поколение широискусственников», вроде Чехонина, Митрохина, Иарбута и др. в достаточной мере научили русскую публику ценить красоту книги. Но тогда, какие-нибудь двадцать лет назад, у нас в техническом смысле была пустыня аравийская. И мечтатели (имеется в виду редакция «Мира искусства» в 1898 г.— *Л. Б.)* долго споривсшие о том, следует ли сразу «ошеломить буржуя» или сначала его обласкать, преподнеся «Богатырей» Васнецова, должны были прежде всего превратиться в техников. Шрифт они откопали в Академии наук — подлинный елисаветинский (вернее, не самый шрифт, а матрицы, по которым и был отлит шрифт). Необходимую (для печатания автотипий.— *А.* Z>.) меловую бумагу они добыли только на второй год издания, а пресловутая бумага verge (кто только ею теперь не пользуется?) нашлась лишь к третьему году. Только с 1901 г. внешний вид журнал получил удовлетворительный для самих редакторов, тогда как до того каждый выпуск вызывал новые огорчения, а порой и отчаяние. Фотографических снимков с картин никто не умел делать; на помощь пришел старик А. К. Ержемский, автор самоучебиа-ка фотографии. Изготовлять клише также не умели. Кто подумает, что прославившаяся с тех пор фирма Вильборг, с таким успехом соперничающая с Европой, изготовила нам клише такого плохого качества, что пришлось обратиться с заказом за границу».

Глава 29

ПУТЕШЕСТВИЕ В НИДЕРЛАНДЫ. РАЗРЫВ С КНЯГИНЯМИ

В момент появления первого номера «Мира искусства» моя дружба с обеими княгинями была в полном разгаре. Их добрые чувства ко мне распространялись и на мою маленькую семью и даже на моих друзей. Наших детей княгиня Мария Клавдиевна задаривала игрушками и платьицами; Айна Карловна была чуть ли не ежедневной ее гостьей, иногда обе княгини приезжали к нам или брали нас на прогулку, а по крайней мере раз в неделю устраивали помянутые пирушки в самых знаменитых

1# Заимствую я эти строки из статьи, написанной для моей

монументальной монографии, которая должна была появиться в свет в издательстве «Просвещение» в 1917 г., которая была уже вся составлена, однако, так и не была издана 5.

ресторанах. Предельное же выражение эта дружба с обеими княгинями нашла себе в том путешествии (точнее, экскурсии), которое они предприняли по Бельгии и Голландии и в которой они предложили мне принять участие. Сначала я попробовал отказаться, но, в конце концов, они меня убедили, и я отправился с ними в качестве как бы ходячего справочника по истории живописи фламандской и голландской. О расходах я не должен был заботиться; Мария Клавдиевна брала их на себя. Мария Клавдиевна предложила и Анне Карловне принять участие в этой поездке, но она не могла оставить без надлежащего присмотра наших двух малюток.

Поездка вышла во всех смыслах удачной и приятной. Мы посетили Антверпен, Амстердам, Гарлем и Брюссель, всюду останавливались в лучших гостиницах, в которых княгини снимали целые апартаменты, а для меня бралась отдельная комната, в которой я мог себя чувствовать более свободно. Вся поездка имела целью известное художественное образование обеих дам, и в этом сказывалось последствие моих «лекций», во время которых дамы могли удостовериться, до чего они во многих отношениях не сведущи.

В самое же первое утро в Антверпене, куда мы прибыли накануне к ночи, я пришел в состояние какого-то восторженного опьянения, и так все двенадцать дней, что длилась наша поездка, я из этого состояния и не выходил. Но это первое утро запомнилось мне с особой яркостью, Я проснулся рано и, не дожидаясь того, чтобы меня позвали к общему завтраку, пошел бродить по ближайшему кварталу. Улицы были еще пустынны, и они показались мне скорее «захолустными», большинство домов были низенькие, всего в два этажа (по русскому счету), они никак не соответствовали моему представлению об одном из богатейших городов мира и не напоминали те затейливые дворцы, которые я рассчитывал здесь увидать (и которые я и нашел, когда днем познакомился с центром Антверпена). Многое казалось мне даже убогим, провинциальным.

И тут, совершенно неожиданно, я забыл всю хмурость и все убожество этой первой антверпенской улицы. Случилось же это потому, что мой добрый гений направил меня к очень скромной с виду церкви, войдя в которую, я получил опять один из тех coups de foudre *, которых я периодически удостаивался и которые каждый раз производят впечатление реализации каких-то моих

самых заветных мечтаний. Вошел я в эту неведомую мне церковь, не зная ни ее названия, ни того, имеется ли в ней что-либо примечательное, но поравнявшись с средним алтарем, я с каждой стороны его увидал по *шедевру* фламандской школы. То были запрестольные картины — справа «Мучение св. Аполлопии» Иорданса, а слева «Видение св. Августина» — раннее произведение Ван Дейка. В тот же первый день нашего пребывания в Антверпене я увидал десят-

* Громовых ударов, потрясений *(франц.)*.

ки и сотни чудеснейших образцов живописи, а к концу путешествия в кладовой моей памяти их накопилось столько, что даже явилось своего рода пресыщение, но те две первые картины как-то особенно запали мне в душу — и это именно потому, что я их как бы «открыл». Впрочем, эти две картины действительно чудеснейшие вещи. Картина Иорданса свидетельствует о полном расцвете могучего таланта мастера, картина же Ван Дейка и в красках, и в исполнении, и в композиции исполнена той огненности, которой совершенно еще юный гений «заразился» от своего «еще более гениального» учителя Рубенса и которую уже не найти в его позднейших произведениях. Рембрандт не сразу сделался моим кумиром. В первые мои посещения Эрмитажа мне лишь некоторые картины мастера нравились (и особенно я любил разглядывать чудесное «Снятие со Креста»), некоторые же картины меня скорее коробили тем, что мало воспитанному на академических идеалах мальчику представлялось непростительными ошибками. Понадобилось как-то отойти от этих *наших* слишком мне хорошо известных Рембрандтов и получить в Берлине и в Мюнхене ряд тех ударов, которые особенно действуют на нашу эстетическую восприимчивость и заставляют покориться творческой воле того или иного художника. Общая оценка тогда до того меняется, что самые дефекты начинают казаться пленительными достоинствами. И в художнике такой колоссальной мощи и такой «силы соблазна», как Рембрандт, это превращение недостатков в нечто чарующее приобретает особенно убедительный характер.

Что-то в этом роде я говорил своим спутницам, которые пришли на ту выставку Рембрандта, которая была устроена в Амстердаме, еще во власти школьных предрассудков, а покицули ее (после второго посещения) в значительной степени «переработанными». Так мне, по крайней мере, казалось. Особенно запомнилось мне наше «стояние» перед картиной «Купание Дианы». Моих дам смутило это сборище безобразных, вульгарных женских (скажем проще—«бабьих») тел и то, как все

они сбились в одну барахтающуюся кучу, стараясь закрыть свою стыдливую госпожу от взоров дерзновенного охотника Актеона. Смущал и костюм последнего, пе только ничего общего с античностью не имеющий, но и сам по себе тяжелый, «неудачно-театральный».

Меня же эта картина, о существовании которой я до сих пор не ведал, заинтересовала особенно. Она произвела на меня почти столь же сильное впечатление, как картина того же раннего периода творчества Рембрандта в Берлинском музее: «Похищение Прозерпины». Как там меня удивил тот адовый, копотью покрытый властелин-разбойник, что мчит на колеснице бьющуюся в его руках, одетую в парчевое платье девицу, так и здесь подобное перенесение античного мифа в какой-то мир северной сказки сообщает всему особенную силу поэзии.

Такие неожиданности в Рембрандте меня всегда особенно трогают, тогда как я остаюсь скорее равнодушным перед иными особенно знаменитыми его шедеврами. II менее всего меня тронула в Амстердаме архизнаменитая его картина «Ночной дозор».

IV, 29. Нидерланды. Разрыв с княгинями

235

В 1898 г. она оставалась на месте в Рейксмузеуме, и ее оттуда не взяли в особое помещение выставки. Мои дамы, усевшись на стулья, расставленные перед картиной (на манер, как в Дрездене устроены такие же места для паломников искусства перед << Сикстипской мадонной»), сначала, как полагается, онемели, а потом пошли восклицания и вздохи восторга. Я же почувствовал себя пеловко, так как картина мне сразу представилась какой-то «грандиозной неудачей»— чем-то несуразным^ путанным и чрезвычайно «условным». Этой картине присущ какой-то faux air * 1830-х годов. Мне думается это не только потому, что многие бельгийские и голландские художники XIX в. специализировались на сценах в костюмах времени Рембрандта (и при этом особенно вдохновлялись «Дозором»), но и потому, что эти художники как раз были пленены ее фальшью à grand spectacle ** и тем, что в ней есть внешне-пышного, почти что мишурного. В частности, редко найдешь у великого мастера столь же поверхностно представленные человеческие лица. Это *самая условная из всех картин* Рембрандта, а в этом дивном *поэте жизни* условность производит впечатление чего-то обидно недостойного.

Вот чего уже никак не скажешь про гарлемских Хальсов, про эту серию групповых портретов, в которых удивительный мастер как бы играючи, без малейших видимых усилий, но и без промахов, без поправок сразу «набросал» сборища той

буржуазной милиции, которая, горя патриотическим пылом и готовая отдать жизнь за свои свободы, обучалась военному ремеслу. То было время, когда война еще продолжалась тут же, на территории штатов, и того и гляди могла придвинуться под самые стены родного города. Быть хорошим стрелком не только создавало репутацию, аналогичную той, за которой нынешнее юношество состязается в спортивных матчах, но могло сослужить и самую реальную службу, «спасти» близких, отогнать врага, защитить свой быт и свою веру,

Эти хальсовские групповые портреты не картины в обычном смысле,

а какие-то «моментальные» снимки с натуры — потребовавшие, однако,

от съемщика такой уверенности в рисунке, такой гибкости и послушцот

сти кисти, такой безошибочности в выборе красок, каких не найти ниг

де и ни у кого. Хальсовские «Стрелки» (так же, как и две изумительные

его портретные группы представителей богоугодных заведений) стоят

особняками, не имеют ничего себе подобного, если не считать такого *тЩ*

«чуда», как они,— картину-портрет Веласкеса «Les Meninas».;

В Брюсселе, посещение которого было оставлено напоследок, я полу-J чил особое наслаждение от старонидерландских «примитивов», а также от картин Иорданса, Рубенса и других менее знаменитых, но все же пре^ красных мастеров фламандской живописи XVII в. Отдельно же запомнилось от этого первого моего пребывания в столице Бельгии — посещение музея Виртца и мастерской «живого» художника Леона Фредерика. В сущности, в музее Виртца я *ничего* не нашел, что было бы мне по

Искусственный стиль *(франц.).* Торжественного зрелища *(франц.),*

душе и по вкусу; это как раз то, что менее всего соответствовало моим требованиям от живописи. И все же трудно не поддаться воздействию такого фанатика своей идеи, каким был Виртц1. Мало история искусства насчитывала имен, вызывающих такое уважение, какое заслуживает Виртц; и вполне понятно, что именно милая княгиня Четвертинская, склонная к таким же благородным чувствам и к тому же служению обществу, которые двигали Виртцем, увидала в ансамбле творчества

художника нечто близкое к своему идеалу. И опять вокруг оценки Виртца у нас возникли горячие споры, причем мне приходилось то спорить с княгиней Четвертинской, то с княгиней Тенишевой. Я не мог разделять восторг первой и никак не мог согласиться с чересчур наивными нападками второй.

Зато я был чрезвычайно осчастливлен, когда мне удалось заразить в равной степени и ту и другую из моих спутниц моим увлечением Леоном Фредериком. Я не только побудил их посетить его мастерскую, но и приобрести у него ряд- очень значительных произведений. Фредерик принадлежал тогда к моим самым неоспоримым любимцам, и если впоследствии я несколько изменил свое отношение к нему (в отношении кого из тогдашних моих любимцев я впоследствии не оказался изменником?), то все же я и после продолжал считать этого художника за одного из самых значительных и замечательных мастеров конца XIX в. Может не нравиться его склонность изображать всякую бедноту, может претить в его творении какой-то пролетарски-социалистический налег (удивительно при этом, что и среди социалистов Фредерик не приобрел настоящих поклонников), можно не соглашаться и с тем мировосприятием, которое он выразил в своей исполненной пессимизма композиции, изображающей «Конец всего человечества», наконец, многим неприятны и самые его формальные приемы: определенность и слишком законченная лепка его форм, а также какая-то блеклость его колорита. Все это, однако, не меняет того, что Леону Фредерику присущи (как никому из его современников) подлинная поэтичность и совершенно особый внушительный *стиль*.

В те годы я находился под особенным обаянием «открытого мной» художника. Я полюбил его после первых же его картин, увиденных на выставках в Мюнхене и в Париже; я не переставал о них твердить всем, причем мне нередко удавалось заражать и других своим восторгом. К такому моему восторгу присоединились и обе княгини — каждая по-своему. Княгине Киту импонировали опять-таки те идеи, которые заложены в творчестве Фредерика, княгиню Тенишеву пленила формальная сторона — то, с каким виртуозным мастерством все сделачю и особенпо как все *нарисовано*. Было решено, что необходимо познакомиться лично с Фредериком.

Леон Фредерик в те годы занимал очень невзрачную, чисто рабочую мастерскую, в которой не было ничего такого, что можно было тогда встретить в мастерских других видных художников. Ни малейшей заботы о декоративности или об изящности. Сразу чувствовалось, что здесь живет фанатик своего дела скорее

аскетического склада. На стенах висе-

• " "" "" — —

ли в беспорядке этюды, по низу стен были прислонены части уже известного мне по репродукциям фриза, состоящего из разнообразных типов крестьян и рабочих Бельгии, а на двух мольбертах были водружены более крупные полотна, над которыми художник еще работал. Одна нас трех особенно пленила. «Водопад», в которой представлены бесчисленные, совершенно нагие работники обоего пола, резвящиеся среди брызг и потоков скатывающейся по камням воды; все это залито солнцем, проникающим сквозь весеннюю листву.

Я очень хотел, чтобы картина такой значительности вошла в состав того музея, о котором я продолжал мечтать, но Мария Клавдиевна по-прежнему упорствовала в своем решении ограничиваться лишь собиранием акварелей и рисунков, да и формат «Водопада» ее испугал. Это не помешало тому, что все же она тут же приобрела одно весьма значительное произведение Фредерика. Формально оно вполне подходило для нашего собрания, а именно, то была серия композиций, правда, в совокупности занимающая еще большее пространство, нежели «Водопад», но состоявшая из одних рисунков углем на бумаге. Это был тот, затеянный (несколько лет до того) грандиозный по вложенному в него труду «памятник», который художник пожелал посвятить двум основам человеческого благополучия — льну и хлебу. В двадцати композициях, в которых самый неприкрашенный реализм чудесно сочетается с монументальным стилем, он представил, как сеют и собирают лен, как превращают его в полотно и в одежду, а также как сеют, жнут, молотят, месят пшеницу и как из теста пекут хлеб. Лично Л. Фредерик своей застенчивостью и скромностью сразу завоевал симпатию обеих княгинь, а от картонов «Льна» и «Хлеба» они пришли в такой восторг, что тут же убедили художника обе серии продать. К ним Фредерик присовокупил картон большого формата (приблизительно 1 м. 50 высоты), изображающий аллегорию «Плодородия» и, кроме того, тронутый таким, редко ему дававшимся, успехом, он подарил Марии Клавдиевне очаровательную композицию (тоже рисунок углем на желтоватой бумаге), изображающую девочек на лугу, занятых плетением венков **. Расстались мы с Леоном Фредериком довольные друг другом. Мария Клавдиевна так увлеклась, что оставила за собой и «Водопад», но благоразумие Киту взяло затем верх: «Зачем нам тогопиться,— картавила она,— ведь эти вещи у него не уйдут, а на пегвых порах он и так будет хогошо представлен». Мне же этот

невзрачный белокурый, невысокий человек, совсем простой в своих манерах, скорее стесняющийся, поглощенный своим творчеством, оказался очень по душе, и я собирался оставаться с ним в контакте, однако уже более с ним не встречался. Сейчас я даже (не справляясь в книгах) пе знаю, жив ли он 2 или нет 2*.

1* дтот рИСуНок мне удалось в 1903 г. приобрести на распродаже тенишевской коллекции. К сожалению я не мог его взять с собой, когда покинул Петербург.

г* 1899 год был его триумфом в Париже, Люксембургский музей приобрел его замечательную картину «Le Travail» [«Труд» *(франц.)*], и многие годы после того и пока музей оставался в своем старом помещении, оправдывавшем его наимено-

23S

IV, 29. Нидерланды, Разрыв с княгинями

В общем, наша нидерландская экскурсия сошла удачно. Все, что было намечено для обзора,— музеи, церкви, городские ансамбли, было хоть и бегло, но все же довольно обстоятельно осмотрено. Я был душевно благодарен княгине за все испытанные радости. II однако именно во время этого путешествия наметилась та «неувязка», которая уже через несколько месяцев привела к расторжению нашей дружбы и даже к пол-кому разрыву. Едва ли я смог бы в точности объяснить, что именно послужило причиной такого разлада, но, пожалуй, настоящую причину следует искать в том, что при некоторой mcompatibilité de caractères * мы за эти дни путешествия просто несколько друг другу надоели. Мы слишком много и слишком подолгу виделись и общались... При этом, разумеется, не обходилось и без маленьких, совсем маленьких, но все же не совсем приятных столкновений, которые я, при своей обостренной «щепетильности», переносил довольно болезненно и которые, накапливаясь, постепенно образовывали в душе довольно горький осадок. Некоторую роль тут играло и то, что княгиня Мария Клавдиевна, вообще большим тактом не обладавшая, слишком настаивала на том, что она знала меня «мальчишкой», что она мне годится не то в матери, не то в тетушки, а потому может себе позволить то или иное замечание или подшучивание — всегда, впрочем, очень благодушное. Во мне же оставалось в те годы немало какой-то глупейшей амбиции. Я всерьез принимал свою роль «директора» (только создававшегося, но далеко еще не созданного) музея и испытывал род гордости оттого, что поучал таких уже немолодых дам, и собирался еще более их подчинить своему художественному авторитету, Возможно, что вследствие всей такой психологии я был способен задеть обостренное самолюбие кн. Тенишевой, а тем, что я иногда искал себе

союзницу в лице кн. Четвертинской, я только эту последнюю шокировал, заставлял ее видеть во мне если не прямого какого-то интригана, то все же человека, не преданного безоговорочно той, в ком она души не чаяла и о славе которой она была непрерывно озабочена. Атмосфера наших отношений за те дни, которые мы провели, не расставаясь ни на час, сгустилась до чего-то весьма нудного и трудно выносимого. Во мне все более стало обозначаться желание как-то освободиться от своей материальной зависимости и встать с княгинями на равную ногу. II как раз через несколько дней после конца нашего путешествия произошло то бесконечно печальное событие, которое мне дало возможность осуществить такое освобождение. То была кончина обожаемого мной отца — и

ванне, этот триптих висел там на самом почетном месте, но когда коллекции музея были, бог знает почему, перенесены в павильон Jeu de paume [Же де ном *(франц.)* — здание для игры в мяч в Тюильри] и размещены согласно новым вкусовым директивам, то триптих Фредерика был разрознен, и оставлена для ознакомления публики только одна из его створок, а затем произошла еще одна «чистка»: из музея европейского искусства — бывший Люксембург превратился в музей одного только французского импрессионизма и всяких «крайних» направлений, а все иностранные картины отставлены в «запас». * Несходстве характеров *(франц.),*

*IV, 30. Смерть отца*239

получение небольшого наследства. Я воспользовался этим, чтобы подать в отставку, что было не без основания принято княгинями за своего рода измену и что положило между нами пропасть, через которую так и не было переброшено затем мостов.

Глава 30 СМЕРТЬ ОТЦА

Наш отец скончался 11/23 декабря 1898 г. О том, что нашего чудесного, обожаемого папочки не стало, я был извещен телеграммой, вызвавшей меня па погребение в Петербург. Известие это не было неожиданным. Покидая в начале марта Петербург и прощаясь с папой, я мог предполагать, что не увижу его больше в живых. В момент моего приезда в январе мне показалось, что он за год очень постарел, в его лице подчеркпулось что-то скорбное, что легло на него с самой минуты смерти мамочки, и, кроме того, он и ходить стал менее уверенной и легкой походкой. Однако в остальном это был все тот же

бодрый, живой, то занятый какой-либо работой, то отдыхающий с тем достоинством, которое приличествует человеку, имевшему за собой долгую, ни единым пятнышком не замаранную жизнь. Уже два года, как он бросил свою службу в Городской думе и проводил время исключительно в домашних занятиях — совершенно же без дела он мог оставаться ровно столько, сколько было потребно, чтобы набраться обновленных сил. Он по-прежнему рисовал, вырезал, клеил, читал **, раскладывал пасьянсы. Все же теперь чаще можно было заставать его сидящим в буквальном смысле сложа руки и следящим своим грустным взором, в котором уже просвечивало прощание с жизнью, за занятием или играми своих внуков и внучек. Вечером в столовой за самоваром или в кабинете вокруг его стола собирались кто-либо из родных, а в известные дни являлись неизменные «тетя Лиза Раевская», скульптор М. В. Харламов, Зозо Россоловский и другие, •но участия в общих беседах папа уже почти не принимал, и чувствовалось, что он как-то все более уходит в свои воспоминания, в тот мир, который для пего был все таким же живым и прекрасным, но для других являлся чем-то замкнутым и неведомым. На какие-либо недомогания папа не жаловался...

Но вот к конпу моего пребывания, в начале марта 1898 г. произошла значительная перемена именно в физическом состоянии папы. Он внезапно почувствовал большое затруднение в пользовании ногами, на них

** Любимым чтением папы в этот последний период были статьи в большой пятидесятидвухтомной энциклопедии «Dictionnaire des connaissances usuel]es» 40-х годов. По утрам за кофием он неизмепно прочитывал номер издававшейся в Петербурге французской газеты <;Le Journal de St. Petersburg» (специально издававшейся при субсидии правительства для информации дипломатического корпуса и «заграницы»).

появились отеки и раны. В то же время он стал жаловаться на неприятный вкус во рту или на то, что он вообще не различает вкуса и запаха в пище. В связи с этим появилось и отвращение к еде и приступы тошноты. В этом состоянии я его покинул, но из писем сестры Кати я догадывался, что здоровье нашего отца, если не проявляет катастрофического характера, то все же постепенно ухудшается. Пришлось нанять человека, который ходил бы за все более слабеющим папочкой, и хотя он еще и не обезножил совсем, все же пришлось обзавестись катальным креслом, так как передвигаться ему становилось труднее и труднее. Еще в течение лета 1898 г. я получил два или три письма от папы, писанные (почти всегда по-французскн) тем же ясным почерком, но они уже

не были украшены его обычными прелестными рисунками и акварелями. А зате.м осенью пришло то его письмо, которое меня напугало. Слова, писаипые дрожащей рукой, наезжали одно на другое, а местами начатая строчка просто переходила в какие-то непонятные каракули. Было совершенно очевидно, что ясный, светлый ум папы помутился, что наступают сумерки его духа, предвещающие конец. Мне это показалось тогда обидным — ужасно «незаслуженным». И особенно меня поразило то, что писала Катя о каких-то странных попытках папы «бежать нз дому». Оставалось непонятным, как ему два раза удалось обмануть бдительность приставленного специально к нему слуги, встать с кресла и добраться до передней. Второй раз его перехватили уже на лестнице, с которой он готовился спуститься. Из этого явствовало (моментами во всяком случае), что он перестал считать за свой дом тот, в котором он прожил безвыездно целых сорок пять лет — с самого начала своей жизни, в котором жила и скончалась его обожаемая подруга, наша мать, рождались и воспитывались их дети, а двое из них там же умерли. Теперь хозяйка этого дома была любимая дочь, и он был окружен самыми нежными заботами. И все же его *тянуло* куда-то «к себе»!.. Вероятно, этим своим воображаемым домом был дом его родителей, тот лом «на Песках», недалеко от Таврического дворца, в котором он родился и в котором он вместе с братьями и сестрами провел первые годы своей жизни. Рядом с этим было совершенно удивительно то, о чем еще успела мне написать сестра Катя, а именно, про последнее празднование папочкиных именин 6 декабря, что являлось самым значительным в году событием в нашем семейном быту. К обеду и к вечеру собралось немало народу и были устроены танцы в зале: папочка взирал на них с видимым удовольствием. Но только на сей раз он изменил своему обыкновению, он сам участия не принял в «гросфатере»! А то ведь он неизменно налаживал на наших семейных вечеринках этот танец и даже волновался и сердился, когда молодежь обнаруживала неспособность усвоить те туры и фигуры, которыми прерывалось под звуки веселенькой ритурнели торжественное парное шествование. Это письмо, пришедшее всего за день или за два до извещения о смерти, несколько обнадежило меня, но все же и оно не могло создать иллюзии, что папе остается жить долго и что при нашем возвращении на родину мы его еще застанем.

*IV, 30. Смерть отца*241

•¾î *t` • p

Скорбная весть застала нас среди приготовлений к елке... Уже к нам было доставлено дерево, уже Атя была занята

украшением его, уже были сделаны главные закупки подарков и всяких угощений, уже прибыли подарки для маленькой Ати от княгини Тенишевой. Мы были очень заинтересованы, как будет реагировать на «иллюминацию» маленькая Елена, проявлявшая с каждым месяцем все большее внимание к окружающему. Что же касается до старшей сестры, то она уже вполне сознательно относилась к приближающемуся празднику, приставала к нам с вопросами, что-то ей достанется, и была в высшей степени заинтересована тем, что происходило в нашей спальне, куда доступ был ей запрещен на все время приготовлений. Все это я покинул внезапно и через два дня оказался снова в пашем прародительском доме на улице Глинки. Но многолетний хозяин этого дома уже навеки покинул его, и вследствие этого все сразу получило новый, несколько чуждый оттенок. Стояло морозное утро, и лучи солнца заливали «парадные» комнаты. Однако на сей раз они не придавали веселый вид всему, а скорее подчеркивали общую осиротелость. Все родные в момент моего прибытия были в сборе, но все — в черном; сестры, племянницы, кузины в длинных креповых вуалях и с заплаканными глазами. Папочка скончался в бывшей когда-то моей «Красной» комнате, куда его не так давно переселили из комнаты, служившей ему спальней. Умер же папа сидя, минуту спустя после того, что, одетого в халат, его из постели пересадили в катальное кресло. Вынос тела в церковь св. Екатерины произошел накануне моего приезда вечером, и папочку в гробу мне так и не удалось видеть.

Глядя с самым пытливым интересом на те пышные погребальные процессии, которые то и дело тянулись под нашими окнами, я иногда представлял себе, что такая же пышная, нескончаемая церемония потянется и в тот день, когда повезут папу на место вечного упокоения. Шестерка лошадей цугом попарно в длинных черных попонах с гербами под коронами повезут черные дроги с балдахином, а по сторонам улицы будут шагать факельщики; папочкины ордена понесут впереди, каждый на подушке, папины сослуживцы, а вслед за колесницей потянется нескончаемый ряд карет. На самом же деле все произошло совсем иначе и... гораздо трогательнее. Правда, цветов было так много, что их пришлось сложить на отдельную повозку, да и провожающих карет было немало, но вся остальная торжественность, по настойчиво высказанной воле папы, была отменена. Его желание даже было, чтобы его хоронили как бедняка, на простейших дрогах, запряженных в одну лошадь, без попоны, чтобы и факельщиков не было; на это, однако, семья все же не решилась, и простую, открытую без балдахина колесницу везла пара лошадей в попонах. Из нескольких надгробных речей

над открытой могилой в нашем семейном склепе наиболее замечательной была та, что произнес граф П. Ю. Сюзор. На сей раз нашему знаменитому говоруну удалось не только блеснуть подлинным ораторским даром, но и выразить охватившее его глубокое чувство. Граф Поль даже прослезился и еле ее договорил. Он

«

был стольким обязан отцу, при котором он многие годы состоял на службе, он так искренне и так душевно был ему предан...

Уже через два-три дня было приступлено к решению вопроса о наследстве. Таковое оказалось менее значительным, нежели можно было ожидать, и сводилось, в главных чертах, к капиталу в сорок тысяч, к дому на улице Глинки, оцененному в сто шестьдесят тысяч, и к движимому имуществу — обстановке и разным ценным вещам. Согласно завещанию, наличные деньги достались двум нашим сестрам, а дом, по праву старшинства, перешел к Альберу, причем он должен был *выкупить* его, уплатив каждому из братьев тридцать две тысячи. Что же касается до мебели, книг, картин, кое-каких драгоценностей, то им была сначала произведена опись и оценка, а затем все предметы распределены на семь групп — таким образом, чтобы эти группы, с одной стороны, были равноценны, а с другой, чтобы каждый из нас получил то, чем ему было бы особенно приятно обладать.

Альбер, в качестве старшего, заявил свои права на все семейные портреты н па обстановку папиного кабинета, Леонтию достались лучшие бронзы и наиболее ценные архитектурные книги (другая часть досталась Кате ввиду того, что ее сын Коля готовился стать архитектором). Я же из всех сокровищ пожелал войти в обладание двух чудесных сепий Фран* ческо Гварди. Довольно замысловатую задачу представлял собой раздел массы собственных произведений папы. Было бы, разумеется, правильнее все его путевые альбомы передать в какое-либо общественное хранилище — в музей Александра III или Музей Академии, но на это ни у кого из нас не хватило гражданской доблести, напротив, каждому уже слишком хотелось получить хотя бы частицу того, что мы с самого детства любили разглядывать, слушая при том комментарии автора всех этих зарисовок и акварелей. Путевых альбомов было как раз четырнадцать, и каждому из нас поэтому досталось по два. Брат Миша получил те два альбома *, которые были целиком заняты изумительными по краскам зарисовками, сделанными в Италии,

плитных полов из разноцветных мраморов. Один из выбранных мной альбомов 2 был посвящен пребыванию папы (в 1846 г.) в прирейнских городах, п таким образом многое из того, что меня самого поразило в Вормсе, в Майнце, в Кельне, я теперь имел в тончайших изображениях, сделанных папиной рукой и отражающих всю его любовь к памятникам среднеевропейского средневековья. Как и другие братья, я получил и несколько отдельных листов, еще самим папочкой выделенных и вклеенных в толстенном scrap-book или вставленных в рамы.

Почти все чисто архитектурное наследие папы получил Леонтий, но вообще этого наследия, кроме путевых альбомов, оказалось не так много, как можно было ожидать,— очевидно, значительная часть проектов и детальных чертежей осталась в каких-либо ведомственных архивах или же на руках у частных заказчиков 2*. Леонтий в первом пылу затеял

¾* На той выставке, посвященной творчеству нашего отца, которая в 1886 г. была устроена в Академии художеств по случаю папиного пятидесятилетнего юбилея,

монументальное издание творений папы, однако своего намерения он затем так и не выполнил. Я думаю, впрочем, что мой брат с этим непривычным для него делом и не справился бы, а моих советов он не слушал. Между тем к пи га о зодчем Николае Леонтьевиче Бенуа могла бы получиться и очень интересной, и очень изящной, и очень поучительной, но только следовало бы подойти к задаче не с профессионально-архитекторской точки зрения, а с общехудожественной. Папа из всех архитекторов своего времени был несомненно наиболее чуткой художественной натурой. Это сказывается уже в его большой, прекрасной, строго классической «Перспективе», которая хранится в Русском музее; это сказывается и в бесчисленных акварелях, обладающих жанровым характером3*, наконец, та же особая чуткость проявляется в его лучших постройках, в грандиозных царских придворных конюпшях в Петергофе, в фрейлинских домах и в Вокзале там же, в здании Училища в Петровско-Разумовском в Москве, в церкви в имении Шереметьевых в селе Высоком и в том проекте, который он представил на построение собора на месте цареубийства 1 марта 1881 г.

Разумеется, папа разделял то, что принято теперь считать «заблуждением вкуса», но что в то время считалось вкусом *наилучшим.* Подобна своим старшим коллегам Кленце и Штакеншнейдеру, и он вдохновлялся памятниками самого разнородного порядка. Поэтому Н. Л. Бенуа следует причислить к

категории ныне не пользующейся признанием художников-эклектиков. Особенным неодобрением художественно-эстетической критики стала пользоваться именно архитектура этого типа с тех пор, когда появились все усиливавшиеся требования о непременном создании нового, еще небывалого, *самобытного* стиля с уклоном в «национальное». Однако по проверке оказалось, что эти искания новизны не привели ни к чему действительно живому и убедительному, и, по мере разочарования в них, общество стало меняться в отношении к тому художеству, более скромному, менее «заносчивому», которое им предшествовало. Не только классический «ампир» предстал в обновленном свете и нашел себе энтузиастских поклонников (тогда как еще в дни моего детства ампирная архитектура считалась чем-то удручающим по своей казенщине), но и так называемые стили Louis Philippe, Second Empire, Victorien *, «стиль» эпохи позднего

весь громадный Тициановский зал был заполнен его произведениями, аричем рядом с заграничными этюдами и рисунками было немало разработанных проектов тех зданий, которые им были построепы. 8* Несколько очаровательных акварелей папы, принадлежавших моей сестре Кате, изображали виды комнат (оживленных очень характерными фигурами их обитателей) в имении Лансере «Нескучном». Они были исполнены во время нашего пребывания там летом 1885 г. Другая, меньшего формата серия была посвящена летнему пребыванию в Пумале (Финляндия) весной 1891 г. Что сталось со всеми этими акварелями, я не знаю3. Не знаю и то, сохранились ли бесчисленные акварели в письмах, которые писал наш отец сыну Николаю в Варшаву и сыну Михаилу во время кругосветного плавания последнего. • Луи Филиппа, Второй империи, викторианский *{франц.)*.

244*IV¶ 30' Смерть отца*

Николая I и начала Александра II, *все* основанные на помянутом «эклектизме» и на известном поклонении прошлому, стали снова приобретать себе защитников и поклонников 4*.

* * *

К сожалению, разница в годах очень отозвалась на моих взаимоотношениях с папой и эта разница стала ощущаться со все большей остротой по мере того, что я превращался из ребенка в отрока, в юношу. Лет до десяти можно сказать, что мы с папой были «закадычными» друзьями, а его авторитет был для меня

неоспоримым. Эта «закадычная дружба», выражавшаяся в какой-то неразлучности, в желании всегда быть вместе, приобретала нередко и довольно странные и даже смешные формы. Так, папочка нередко брал меня с собой на место своей службы, в Городскую думу, где он усаживал меня рядом с собой в своем кабинете (начальника технического отделения) и где я, окруженный почтенными господами, изрисовывал лист за листом целые стопы казенной бумаш (очень хорошего качества), пожиная обязательный и несомненно совсем не заслуженный восторг. Брал меня папочка и на всякие торжества, например, на те трибуны, которые сооружались в центре народных гуляний — в Екатерингофе (1 мая) и на Марсовом поле. С открытой платформы павильонов было очень весело наблюдать, как мальчишки пытаются влезть на круглые, гладко навощенные столбы и как иные из них, достигнув при неимоверных усилиях вершины, срывали привешенный там приз. Совсем принцем чувствовал я себя, когда мне разрешали бросить в народ мешочки с гостинцами (пряники и паточные леденцы) и в месте падения таковых образовывалась человеческая воронка, так как десятки парней одновременно ныряли, а то и падали, чтобы завладеть подачкой. Вероятно, за такие попустительства папа подвергался критике своих сослуживцев или особ и более высокого ранга. Не забуду, как во время молебна в Думе по случаю вступления на престол Александра III я подробно разглядывал красивый орден Белого Орла, висевший на боку у товарища министра Дурново, вплотную придвинувшись к этому в золото облаченному сановнику. Действительно, должно было казаться чем-то ненормальным встречать четырех- пятилетнего карапуза или даже мальчишку десяти и одиннадцати лет среди всяких особ в треуголках с плюмажем и в белых с золотым лампасом штанах. Но у папы это было plus fort que lui *. Бывал я и жестоко наказан за то, что напрашивался напе в спутники. Однажды я затерялся в толпе прибывших на какие-то торжества, не раз я и коченел от слишком долгого стояния под открытым небом в пасмурные дни. Бывало и так, что я подымал рев, просясь домой. И что же, папе приходилось покидать важное для него сборище.

Однако, когда я стал более самостоятельно разбираться в вещах, когда во мне заговорили всякие таившиеся во мне потребности и интуиции

4* Должен покаяться, что и я ныно принадлежу к таковым. * Выше его сил *(франц.)*.

IV, 30. Смерть отца

245

как общедуховного, так и эстетического порядка, когда меня

стала заинтересовывать возможность по любому вопросу выискивать в себе подсказку моей личной совести или моего *личного* вкуса, когда я стал ко многому относиться так, как относились полюбившиеся мне писатели и, далее, когда наступил тот возраст, когда под влиянием Дюма, Вальтер Скотта, Купера я возомнил себя и д'Артаньяном, и Жозефом Бальзамо, а то и Бонапартом или Робеспьером, а еще немного позже, начитавшись вперемешку романами Тургенева, Евгения Сю, Альфреда де Виньи, Гофмана и т. д., и т. д., я стал увлекаться самоанализом, что вело к «любованию глубиной своих душевных переживаний», то из ласкового ребенка, из нежного обожателя папы во мне стал вырабатываться «протестант». И этот протестант стал с идиотской предвзятостью усматривать во всем, что говорил или что делал папа, нечто для себя неприемлемое, а моментами даже «возмутительное». К этому прибавились еще нелады между нами из-за моего небрежного отношения к учению или из-за наших ночных засиживаний с друзьями. Моя дружба с Марией Карловной {в 1884—1885 годах), которая вследствие своих артистических замашек, вследствие своего нежелания считаться с «предрассудками», была в натаем патриархальном быту не на очень хорошем счету и, в особенности, то, что я почерпал из общения с ней и с ее, подчас очень циничными обожателями, усугубляли эту размолвку, этот антагонизм в стиле тургеневских «Отцов и детей». И вот к этому «покаянию» прибавляются ныне чувства *жгучей досады.* Мне досадно, что я как-то недостаточно «использовал папочку», не взял от него всего, чем бы он мог со мной поделиться; в частности, я не использовал его громадного художественного опыта. Но тут, пожалуй, виноват не один я, но и он; точнее, тому помеша-ии какие-то педагогические навыки, какая-то манера быть папочки, привитая ему Академией (Академией 20-х и 30-х годов). Ведь тогда в полной силе был принцип, согласно которому ученик должен был принимать на веру и «не рассуждая» все, что ни скажет учитель.

Не могу тут же, именно «у гроба дорогого папочки», еще раз не вспомнить о роли мамы в моем воспитании. К этому воспоминанию меня нудит чувство *беспредельной благодарности.* Конфликты между мной и отцом грозили не раз принять довольно-таки уродливые формы. Я, начиненный идеями, характерными для XIX в., исполненный стремлением к «свободе», принимая на веру все, чему учили те либеральные времена, я с негодованием относился ко всякого рода *насилию,* и особенно меня возмущало в папе то, что он в своей манере быть унаследовал от суровых николаевских времен. На типичного николаевского служаку, сухаря-формалиста наш мягкий, добрый,

отзывчивый отец, разумеется, вовсе не был похож, но все же он верил, что какая-то дисциплина в воспитании детей необходима и что это можно достичь посредством (часто напускной) строгости. И вот, чем менее естественной, чем более напускной становилась в нем эта строгость, тем более бурные протесты она встречала во мне, доводя меня подчас и до весьма предосудительных слов и поступков. Тут мудрость и удивительная тактичность мамы подсказывала ей те

приемы и те слова, благодаря которым бури стихали; в угоду ей, одинаково нами обожаемой, и я и папа смирялись, и жизнь, по крайней мере во внешних своих проявлениях, возвращалась к норме. Так это продолжалось до самой ее кончины, но к этому моменту, т. е. к моему совершеннолетию, я и сам уже успел расстаться с моими ребяческими причудами и гримасами, с моей мальчишеской фанаберией. Я уже начинал яснее различать в жизни мишуру от подлинно ценного. Тогда уже у меня открылись глаза на то, что представлял из себя по самому своему существу мой отец. Последние годы после смерти мамы между мной и им царил полный, никогда не прерывавшийся лад.

Глава 31

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ПАРИЖЕ. ПОЕЗДКА В ЛОНДОН (ВЕСНА 1899 г.).

ХЭМПТОН-КОРТ

На похороны моего отца пришли все мои друзья, и в этой печальной^ обстановке произошло мое первое свидание с ними после разлуки в несколько месяцев и после выхода в свет первого номера «Мира искусства», На следующий же день после погребения я отправился к Сереже, продолжавшему жить в доме № 45 на Литейном проспекте, однако теперь это уже не была его личная квартира, а это стало редакцией нашего журнала. Тут я познакомился со всем редакционным бытом. Дима меня посвятил во всю «кухню», каким образом пополняется «портфель редакции», где и как «Мир искусства» печатается, как происходит корректура, как изготовляются специально для журнала фотографии и т. д. Из всего этого я понял, что он взял на себя всю «грязную» и наиболее скучпую, но сколь необходимую часть работы — и это для того, чтобы кузен Сережа мог вполне развернуться и свободно проявлять свои творческие силы-Мне все это немало импонировало, а то, что уже во втором номере должны были пойти мои милые «Смолянки» Левицкого из Петергофского дворца, показалось мне залогом того, что в будущем наш журнал будет знакомить русское общество (а там «и Европу») со всем тем, что у на& имеется самого прекрасного.

Однако во второе мое посещение «Редакции», на следующий день, когда все наиболее жгучие темы были исчерпаны и когда я уже счел себя каким-то «членом редакционного комитета» и только стремился скорее взяться за работу (на первых порах хотя бы только в качестве заграничного корреспондента), между мной и друзьями произошла серьезная размолвка. На мой вопрос, когда они думают поместить присланную мною из Парижа статью о жанровой живописи, я из разных недоговорок и хитрений понял, что они вообще помещать ее не намерены. Против ее помещения были не только Дима и под его влиянием Сережа, но и **все**

прочие, т. е. Нувель, Бакст и Нурок. Выходило, что я *не сумел угадать* основной дух журнала и что моя статья могла бы прозвучать в нем как нежелательный диссонанс. Теперь (после стольких лет) я и сам нахожу, что, в сущности, они были правы, что моя статья была просто преждевременной и до известной степени «нетактичной». Журнал выступал как поборник «чистого искусства», а своими врагами он считал в первую голову всесильных в те дни, официально признанных передвижников (Академия художеств после своей недавней реформы была передана передвижникам с типичным «жанристом» Вл. Маковским во главе),— между тем, моя статья могла сойти за превозношение как раз того, чему себя посвящали наиболее характерные и видные представители общества Передвижных выставок. Другое дело, если бы посредством ряда статей мы постепенно подготовили бы почву, приучили наших читателей к нашей «широко-охватывающей свободе», допускавшей «сосуществование на Парнасе» всего, что только отмечено печатью даровитости, что содержит в себе живую искру. Без такой подготовки моя статья должна была вызвать недоумение среди единомышленников и полное недоразумение во всем художественном мире. Все это, повторяю, я впоследствии отлично понял, но тогда я был главным образом возмущен фактом, что мои товарищи (а в некотором отношении «ученики») «дерзают» перечить моим директивам, вместо того, чтоб с благодарностью принять мой вклад. Я даже не пробовал спорить, а потребовал, чтоб статья была бы мне возвращена, причем я тут же про себя решил, что участвовать в журнале я не стану. Свою досаду я скрыл и продолжал бывать чуть ли не каждый вечер у Сережи, но, вернувшись к себе в Париж, я оттуда написал письмо, в котором, не объявляя форменной войны и продолжая считать своих друзей за таковых, я предупреждал, что они в дальнейшем на мое сотрудничество не должны рассчитывать.

На деле, как и можно было ожидать, все обернулось иначе. Не ожидая момента своего возвращения на родину, я при первой же попытке Сережи и Димы разъяснить недоразумение протянул им руку и даже стал посылать им заметки и статьи для журнала. С лета же 1899 г., которое я провел в Финляндии, я всецело впрягся в общую работу и стал одним аз самых активных участников «Мира искусства». Кое-что мне и тогда продолжало не нравиться, по теперь я уже был одним из хозяев общего дела, и мало-помалу мне удалось внести в пего все те исправления, которые я считал необходимыми.

Итак, эта размолвка с друзьями была кратковременной и она не имела дурных последствий. Напротив, моя размолвка с двумя княгинями оказалась окончательной, но об этом я уже вкратце рассказал.

Доставшуюся после размолвки с княгиней Тенишевой независимость я использовал с каким-то упоением. Это сказалось и на моем художественном творчестве, в том, что я сразу затеял массу картин, а также и в том, что я для этих своих замыслов с удвоенным интересом и усердием стал собирать материалы, покупая всякую всячину у торговцев эстампами. Решив, что пора возвращаться домой, мне хотелось запастись

24S?`V» %1` *Поездка в Лондон*

всем тем, что мне еще мог дать Париж,— я сомневался, чтоб мне в скором будущем удалось бы снова оказаться в этом чудесном городе и еще менее, чтоб я мог в нем пожить.

В те же последние парижские месяцы мне довелось вернуться и к некоторым русским темам и настроениям. Это явилось как бы предвкушением того, что меня ожидало на родине. В Париже появился московский издатель Кончаловский (отец известного художника), и он заказал нам (мне, Сомову и Лансере) часть иллюстраций к затеянному им популярному изданию Пушкина. К стыду своему, я сейчас не могу вспомнить, что должен был сделать Сомов («Графа Нулина»?) * и даже исполнил ли он что-либо, мне же с Женей достались «Дубровский» и «Пиковая Дама». Для первой из этих повестей я сделал заставку, изображающую возвра- . щение Дубровского в отцовскую усадьбу, а Женин рисунок изображает нападение в лесу на свадебную карету; для «Пиковой» же «дамы» я нарисовал заставку, представляющую графа Сен-Жермена среди игральных карт и сцену смерти старухи графини. Задача этих иллюстраций была не из трудных, но все же она заставила меня с усердием заняться изучением при помощи графических материалов русских нравов пушкинской эпохи, и с этой целью я перерыл в Кабинете эстампов все, что имелось там русского. Оказалось не так уж мало. Тут я впервые познакомился

с гравюрками Гейслера (и не в тусклых воспроизведениях, а в самих оригиналах, раскрашенных от руки), в совершенном же восхищении я был от (тоже раскрашенных) акватинт Аткинсона в его капитальном труде, посвященном России и русским нравам, и от литографированных видов Петербурга Галактионова, Мартынова, Сабата и Шифлара, А. Брюллова и т. д. И как раз оказалось, что некоторыми из этих сокровищ я могу и сам обладать. У Пруте и у одного букиниста по соседству с Национальной Библиотекой нашлись те же, столь меня пленившие, листы, и стоили они не разорительно дорого.

Однако среди этих собранных в два с половиной года сокровищ почти совершенно отсутствовали — оригинальные рисунки. О, если бы я уже тогда налег на последовательное собирание их в Париже, какими драгоценностями я бы мог обзавестись! Но эта область казалась мне недоступной; посещая лавку Пруте, я даже не заглядывал в картоны, в которых рисунки хранились в удивительном количестве. Тогда еще собирание рисунков пе приобретало характер моды. Тогда еще немецкие и американские скупщики не увозили их целыми пудами.

Мои учащенные посещения Кабинета эстампов производились иногда в компании с Анной Карловной, с Женей и с Костей. Было так приятно тут же делиться своими восторгами и открытиями. С некоторых же пор к нам стала присоединяться и приехавшая погостить в Париж премилая девушка и высокодаровитая художница — Анна Петровна Остроумова^ Костя знал ее еще с Академии и очень ценил ее талант, но и нам с Женей Анна Петровна, эта маленькая, довольно миловидная, немного кри~ венькая (последствия тяжелого заболевания скарлатиной) особа была, по крайней мере с виду, знакома, так как это она копировала (в ту зиму,

когда и мы оба занимались копиями в Эрмитаже) «Девочку с метлой* Рембрандта. Однако тогда мы только обменивались легкими поклонами, а заговаривать друг с другом не пробовали. Впрочем, и в Париже наше знакомство не сразу наладилось, и в этом был виноват чудак Сомов, который решил, что надо Анну Петровну «держать от нас подальше». Объяснял же он это тем, что мы-де недостаточно ласково приняли другую его приятельницу — художницу Званцеву и что поэтому он не желает подвергать подобной же «обиде» и Остроумову. Возможно, что мы и впрямь довольно холодно приняли госпожу Званцеву и что она «не пришлась нам ко двору». Напротив, с А. П. Остроумовой мы сошлись *сразу*\ как только Сомов, наконец, сдался на наши просьбы и нас с пей познакомил. Завязавшаяся тогда дружба

продлилась затем до самых тех нор, когда обстоятельства революционного времени нас разлучили со всеми теми, кто остался жить в России, тогда как мы предпочли покинуть родину. О нашей встрече и о первых шагах нашего знакомства Анна Петровна правдиво и красочно повествует в своих прелестных воспоминаниях 2. Мне только кажется, что она не упомнает в них одной довольно забавной подробности. Жила она тогда в Париже со своей подругой в каком-то довольно неприглядном домишке где-то на Impasse du Maine *. Обе девушки вели вдвоем хозяйство, как могли вести барышни, до тех пор никогда к этому делу не прикасавшиеся, да и мало к нему расположенные; и вот Сомов (вообще вовсе не отличавшийся «галантностью») предложил им свои услуги и с таким усердием стал исполнять добровольно принятые на себя обязанности (по уборке комнат, по закупке пищи, по мытью посуды), что дамы наградили его прозвищем: <шаш кухонный мужик». Тема, что Сомов состоит при них чем-то вроде лакея, служила предлогом для всяких подшучиваний и дразнений. Надо при этом прибавить, что Костя не был влюблен ни в одну, ни в другую из этих особ, в они. в свою очередь, относились к нему совершенно по-товарищески. Оп вообще обладал склонностью дружить с дамами, а дамы, что называется, льнули к нему, охотно делая его своим конфидантом.

В ЛОНДОНЕ

Совсем к концу парижского пребывания наша компания разрослась, благодаря приезду Нурока и Нувеля. Мы, «старые» парижане, старались faire les honneurs ** новоприбывшим; гурьбой человек в десять мы ходили аа выставки, по музеям, иногда и угощались в ресторанах, причем, разумеется, было много смеха и всякого шутовства,— ведь и нашему старейшему — Нуроку — было немного за тридцать. Почти в полном этом составе мы осуществили и нашу мечту побывать в Лондоне. Нурок, проведший часть детства й отрочества в Англии, взялся быть нашим гидом, а когда

* В тупике Мэп *(франц.)*.

** Оказать радушный прием *(франц.)*.

мы уже оказались в Лондоне, то в помощь ему явился еще другой русский англичанин, господин Острогорский. Однако надо признаться, что гидирование их ограничилось помещением нас в отвратительном грязном boarding'e * и в ознакомлении нас с

системой омнибусов (bus). Они же свели нас в несколько театров. Попробовал я проникнуть к своему английскому свойственнику, к всемогущему театральному деятелю Джорджу Эдвардсу, но ои меня (возможно, что по недоразумению) не принял, на что я чрезвычайно обиделся. Во всем же остальном, как-то: в посещении и изучении музеев и других достопримечательностей, мы очень скоро эмансипировались от наших гидов и сумели, каждый по-своему, вкусить прелести великобританской столицы.

Ощущение Англии началось с самого нашего прибытия в порт Southhampton, куда нас доставил из Дьеппа пароход после трехчасового плавания (этот более долгий путь был экономичнее) по совершенно спокойному Ламаншу. Один вид первых прогуливающихся на портовых фортификациях необычайно франтоватых военных; куцые красные мундиры *и* маленькие шапочки с ремнем по подбородку привели нас в тот своеобразный восторг, который испытываешь, когда видишь наяву реализацию давно знакомых изображений. Да и многое другое представилось нам точно таким, каким все английское представлялось нам при чтении английских книг и при разглядывании английских журналов, и это была необычайно приятно!

Тогда Англией правила еще древняя королева Виктория (та самая королева, которая уже не первый год царила в 1846 г., когда мой отец. посетил Англию), и это во многом способствовало сохранению всевозможных общественных навыков, тех самых навыков, что старались нам привить и наши апглийские гувернантки. Мне же они были хорошо знакомы ш> всему бытовому укладу моего зятя и моей сестры. А то, что в этой Англии уже в те последние викторианские годы многое начинало меняться, следуя закону времени, на поверхностный взгляд трудно было заметить.. Весь строй жизни казался все таким же, каким он был при Биконсфил-де и при Гладстоне, нравы и обычаи такие же, как в дни Давида Коп-перфилда. Во многих кварталах Лондон все еще хранил тот облик, который он принял после пожара 1666 г.3; то был Лондон, в котором проживали Хогарт и Рейнолдс, Рёскин и прерафаэлиты, Свифт, Филдинг и Шеридан, Диккенс, Теккерей и еще многие из тех, кто нам казался окруженным каким-то ореолом особенного остроумия и превосходного вкусаˆ Тогда и мы разделяли очень распространенное (и вполне заслуженное) убеждение, что *только* в Англии можно (мужчинам) хорошо одеваться, и вот почему Костя Сомов уже на следующее утро после нашего прибытия полетел на Old Bond street и накупил себе на несколько фунтов-галстуков и носков assortie... Сказать кстати, именно с этого путешествия мы заметили, что наш друг, бывший до того не

меньшим неряхой,. нежели я, начал со все растущим вниманием относиться к своему туалету*

* Пансионе *(англ.),*

IV, 31, Поездка в Лондон

251

зорко следя за тем, что именно в Лондоне почитается за последнее повеление изящного вкуса.

Я назвал тот пансион, в котором нас (Костю, Валечку, Женю и меня) поселил Нурок, отвратительно грязным, и действительно, он был таким. Грязными были комнаты и соединявшая все четыре этажа лестница, но особенно поразило нас нечистоплотностью отхожее место, помещавшиеся где-то под чердаком и не имевшее водопровода! ** Таким же грязным был слуга; рубашка на нем была почти такого цвета, как его фрак, в свою очередь, посветлевший от жирных и других пятен. И все же, находись под тем же гипнозом англомании, мы оценили даже свой бординг. О и до полной иллюзии напоминал нам некоторые диккенсоновские описания. Проживая ь нем, мы сами себя могли вообразить какими-то возрожденными никвикианцами, попавшими в давно знакомое место. Совершенно же замечательна в своем диккенсоновском комизме была хозяйка — старая дева необычайного роста, сухая, как палка, в старомодном чепце, слащаво любезная, но при случае и свирепо строгая. Не без умиления вспоминаю про наши пансионные вечерние симпозионы, на которые, кроме нас четырех, садилось еще человек шесть-семь мужчин н дам. То были тоже своего рода ископаемые; никто из них не говорил ни на одном иностранном языке, что не мешало им делать попытки заводить с нами разговор и делать вид, что они понимают нас, когда мы отвечали им какой-то смесью французского с немецким (по отсутствию практики, я тогда совсем разучился говорить по-английски). Считая, что мы сказали что-то ужасно смешное, они разражались хохотом, тогда как мы ничего особенно веселого не старались выразить. И кормили нас из рук вон плохо — совсем как в некоторых романах Диккенса; приходилось после такого голодного завтрака насыщаться тостами и пирожными в каком-нибудь tearoom'e*. Впрочем, отведав раз настоящей английской кухни в одном баре ¢ центре города, мы стали изменять нашему домашнему угощению. За удивительно низкую цену мы получали колоссальный кусок ростбифа с отварным картофелем и превкусный пай, начиненный крыжовником или «рубарбом» **. После такого пиршества у нас исчезло мужество проглатывать какие-то проблематические супы и что-то похожее на подошву вместо жаркого. К тому же было так весело совсем *по-английски*

кушать, сидя па высоких стульях, с тарелкой, стоящей на узком цинковом прилавке. Приманкой служило нам (особенно мне) то, что в баре, в эти жаркие июньские дни, можно было выпивать сколько угодно того божественного ginger-beer'a ***, которым я упивался еще в детстве, когда сне-

4* Последнее должно было нас особенно удивить. Это в Англии, в центре Лондона, на самой, можно сказать, родине W. C. Что снабженный водой нужник был английского происхождения, доказывало уже то, что у нас в России «укромное местечко» еще много лет после войны 1877 г. и Берлинского конгресса называлось именем великого нашего обидчика Биконсфилда, а то и просто ((англичанином». * Чайном занедении *(англ.)*. *+ От rubarbe *(франц.)* — ревенем. *** Имбирного пива *(англ.)*.

цпалъно по моей просьбе мама выписывала этот нектар от кушелевскои* пивовара мистера Неверсона.

Грязен и неаппетитен был наш бординг, зато его ситуация была от-менна. Он стоял посреди квартала, именуемого Bloomsbury, недалеко от Британского музея, на улице Montaigu Place. Эта часть Лондона как-то особенно переносит в эпоху Джорджей 4. Дома в этих Russel-square, Rus-sel-Place, Montaigu-street и т. д. невысокие и все почти одинаковые, *с* совершенно плоскими, ничем не украшенными фасадами. Площади здесь имеют всегда посреди сад, но этот сад всегда закрыт на замок и проникнуть в него (кроме кошек) могут только те из жителей обступающих площадь домов, кто имеет ключ к этому замку. Движение на этих улицах квартала самое ограниченное, и не видно лавок и магазинов. В общем, это совершенно обособленный мирок, побывав в котором, хочется его снова посетить. Верный принятому правилу, я и на сей раз воздержусь от того, чтоб рассказывать про все, что меня в Лондоне поразило в музеях, в Вестминстерском аббатстве, в соборе св. Павла и в других особо знаменитых местах; скажу только, что в Национальной галерее яг от одного восхищения переходил к другому. Действительно, нигде в мире как будто нет такого изысканного подбора картин, как здесь. Грандиозные же и столь разнообразные сокровища British Museum меня ошеломили и подавили, но, откровенно говоря, скульптуры Парфенона произвели меньше впечатления — вероятно, потому, что я тогда, после своего юношеского увлечения античностью, переживал вообще известное охлаждение к этому предельно прекрасному, но сколь от нас далекому искусству. Несравненно более я был потрясен тем, что сохранилось от триумфального памятника Мавзола и от всего

египетского отдела. На этих скомканных признаниях я и остановлю свой отчет о чисто художественных впечатлениях, полученных в 1899 г. в Лондоне, но о двух впечатлениях несколько иного или несколько смешанного порядка я не могу умолчать.

Как это ни странно для такого пацифиста, каким я себя считаю, одно из этих воспоминаний носит определенно милитаристический характер. Проходя как-то утром по White Hall'у мимо казарм Horse Guards (перед которыми так эффектно в каменных будках восседают на своих прекрасных конях недвижимые, как статуи, конногвардейцы), нам вздумалось пройти через центральную арку этого здания. И вот, выйдя па обширную площадь, мы наткнулись на группу разношерстной публики* видимо, собравшуюся в ожидании чего-то особенно замечательного. Ii действительно, то, что мы тогда случайно сподобились увидеть, превзошло в своей курьезности всякие ожидания...

За англичанами (особенно в те времена) утвердилась слава, что они: составляют наименее воинствующую нацию. Хоть и владела Англия доброй половиной мира, хоть эти владения достались ей не только пронырливостью и коварством дипломатов, но и применением где нужно военной силы. Общее мнение па континенте было, что в Англии армия в *счет* пе идет, да чуть ли и не существует вовсе — в сравнении с другими:

государствами. Этому поверхностному суждению способствовало то, что Англия упорно отказывалась вводить у себя уже введенную повсюду воинскую повинность, а на улицах английских городов редкостью было встретить солдата или офицера в форме. Тут же — на площади за казармой Horse Guards происходит чуть ли не каждый день одна из тех Марсовых потех, которые свидетельствуют о каком-то *культе* военного дела; эта церемония была проделана с таким пиететом, с такой безукоризненной точностью, что не оставалось сомнения в чрезвычайной убежденности всех действующих лиц в том, что они исполняют какой-то священный долг, что это ритуал не менее значительный, нежели те пышные и роскошные службы, посредством которых англиканская церковь и после расторжения с католичеством, считает нужным выражать свое «государственное верование».

«Changing Guards» (смена караула и передача знамени) — так эта сложная церемония называется. Лондонцы с ней хорошо знакомы и ценят ее, что доказывает та масса публики, которая

изо дня в день собирается полюбоваться на нее. Я удивлялся, почему же до сих пор я от людей,. побывавших в Лондоне, или от самих англичан ничего о ней не слыхал. Пусть это не более, как некий анахронизм, обломок культуры, которая в главных своих чертах уже отмерла, этот парад все же сам по себе представляет как зрелище такой исключительный интерес, он служит таким удивительным связующим звеном между нынешним и минувшим, между нашей тусклой современностью и тем прошлым, когда люди «умели облачать» те или иные принципы в наглядные и «душу подымающие» формы, что уже это одно заслуживало бы большого внимания — особенно со стороны тех, кто лишь на короткое время посещает Лондон и все же желает в эти несколько дней увидать *самое* в нем замечательное. И мы, если бы случайно тогда не пришли на разводную площадку, то и покинули бы Лондон, не подозревая, что пропустили спектакль куда более своеобразный и красивый, нежели все, что мы видели в театрах и music hall'ax *. И чего же думал наш проводник Нурок, бравшийся все нам показать?

Началось с того, что откуда-то слева появился под звуки шагающего оркестра с тамбур-мажором во главе и в предшествии офицера на коне довольно значительный отряд гренадеров в их красивых куртках и огромных меховых шапках. Почти одновременно с другой стороны появился навстречу первому другой подобный же отряд, тоже с оркестром иг наконец, откуда-то взялась еще горстка шотландцев в своих клетчатых юбочках и с полуголыми ногами; эта горстка шагала под заунывное дудение большущих волынок — horn-pipes. Все три партии проделали под непрерывное громыхание бравой музыки несколько маршей и контрмаршей, после чего вся масса солдат слилась и выстроилась в один безупречный фронт, конные же и пешие офицеры подошли вплотную к казарме; причем пешие стали приблизительно шагах в тридцати один от дру-

* Мюзик-холлах *(англ.)*.

гого. Из гауптвахты было вынесено знамя, и вот, когда часы забили на башне одиннадцать, произошла передача его под звуки «God save the Queen» *. После этого музыка неожиданно заиграла арию из моцартов-ской «Nozze di Figaro» **, а офицеры, держа сабли паголо у самого носа, отправились церемониальным шагом, высоко вскидывая ноги, вперед через всю площадь, каждый к своей части.

Как известно, в воскресный день жизнь во всей Англии, не исключая Лондона, замирает, и особенно это строгое повеление полного отдыха соблюдалось в те давнишние дни. И как раз

последний день нашего пребывания в Лондоне был воскресеньем. Случилось еще так, что для меня этот, обязательно скучный для всех, день обещал быть особенно скучпым. Накануне мы всей компанией были в Ковент-Гардене на спектакле «Тристана и Изольды» с участием обоих Решке и госпожи Мелба, и покинул я театр не только адски утомленный от слушания этой очень длинной оперы, но, кроме, того, я по совершенно идиотскому поводу во время спектакля поссорился с Костей и до того на него обиделся, что не пожелал более с ним разговаривать. А тут еще ночью случилось у меня очередное желудочное заболевание, которое в условиях нашего бординга было особенно неприятно. Все это так меня расстроило, что я решил провести день, не выходя из дому, тогда как другие разбрелись кто куда. О, сколь меланхоличны были часы этого утра, проведенные в моей неприглядной, грязноватой, чем-то странным пахнущей комнате и в полном одиночестве при той мертвой тишине вокруг, которая воцаряется в Лондоне по воскресеньям и которая особенно тяжелой казалась в нашем квартале, где совсем прекратилось всякое движение. К довершению печали с половины дня эту тишину стали раздирать визгливые поты шарманок пли дикая трескотня механических роялей. Наконец я не выдержал и, вскочив с кровати, пустился в бегство, благо и желудок успокоился. Никакой определенной цели у меня не было, я шел куда глаза глядят и дошел таким образом до Strand'a. Там я застал иную картину. Правда, все лавки и магазины были наглухо закрыты, зато улица была полна всяких экипажей, среди коих лавировали кургузые, сплошь покрытые рекламами омнибусы. И тут оказалось, что провидение не зря заставило меня покинуть отель и «пуститься в авантюру». Останься я в компании друзей, я бы провел последний день в Лондоне самый унылый, тогда как тут меня что-то толкнуло обратить внимание на переполненные людьми «бусы» и на те зазывы, которые выкрикивали стоявшие на задних площадках кондуктора. И как раз один такой громыхающий мастодопт, ковыляя, подъехал к самому тротуару, на котором я задержался. Мне в глаза бросилась приглашающая улыбка кондуктора, и у меня вдруг явилась решимость отведать той chance ***, о котором кондуктор-глашатай настойчиво вещал. Заметив мое колебание, он ловко подхватил меня, и не

Боже, храпи королеву5 ***(англ.),*** ** Свадьба Фигаро *(итал.)*. ** Возможности *(англ.)*.

IV, 31. Поездка в Лондон

255

успел я опомниться, как уже я взбирался по внешней винтовой лесенкег ведущей на империал. Сразу за мной поднялся

и он, а когда я назвал своей конечной станцией Кью (это название я прочел среди других на передке), то кондуктор решительно отсоветовал мне ограничиться сравнительно близкой дистанцией и прямо *повелел* проследовать до конца — до Хэмптон-Корта 6, где, по его словам, меня ожидала масса куда более интересных и невиданных вещей.

Если я все это так живо и точно запомнил, то это потому, что я остался навсегда благодарен провидению и посреднику его, омнибусному кондуктору. Дело в том, что полученные в тот день впечатления принадлежат к самым приятным среди столь многих мной испытанных. Начать с того, что с высоты своего империала я мог на все взирать, уподобляясь какому-то «вознесенному триумфатору», и это как-то особенно веселило душу. А взирать *было* на что. Одни картины сменялись другими, а все вместе составляло нечто удивительно интересное и типичное. Вот в какой-то узковатой улице (еще в пределах Лондона, но уже на отлете) получился минут на пять затор, заставивший наш бус задержаться. И как раз тут, у самых наших колес, происходила манифестация Армии Спасения. Люди в уродливых куцых мундирах и дамы в старомодных шляпках шли гурьбой, следуя за духовым оркестром, игравшим ужасную неразбериху, каждый инструмент во что горазд. Оратор, взобравшись на дроги, запряженные в одну лошадь, неистово выкрикивал приглашения жертвовать на благотворительные цели этой Армии Добра2*. Дамы в шляпочках визгливо и тоже без всякого лада пели что-то вроде духовных песен, а несколько молодцов, подходя вплотную к домам, протягивали к окнам верхних этажей длиннейшие шесты с кошелями.

А вот уже наш бус громыхает по горбатому мосту Ричмонда, откуда открывается один из знаменитейших пейзажей Англии; пронеслась эта утопающая в густой зелени картина с блистающей на солнце рекой, а там замелькал Твикенхэм, видавший последние дни короля Луи Филиппа, и всякие старомодно нарядные коттеджи. Местность все расширялась, становясь более привольной, более деревенской и все более похожей на те классические английские декорации, среди которых в детских книжках

Как раз за год до того пам с Атеп выдался в Париже случай присутствовать на конференции знаменитого предводителя всего этого мирного воинства — генерала Бутса. Почтенный седобородый старец говорил в битком набитом зале «Soci-ètè de Geographie» [«Географического общества» *(франц.)*.]; говорил он по-английски и как будто импровизировал, лишь изредка заглядывая в лежавшие-перед ним бумажки с цифрами; говорил

же он о всяких видах нужды и да каких колоссальных размеров дошла организованная им но всем мире помощь Salvation Army [Армии Спасения *(англ.).]*. Фразу за фразой эту, очень простую. но и удивительно внушительную речь тут же сразу переводил на французский язык без малейшей запинки рядом с «генералом* стоявший «офицер». Речь же-Бутса была до того убедительна, что и моя Атя, и обе княгини не только выложили в обносимые кружки все содержимое своих кошельков (а у Марии Клав-диевны могло лежать в портмоне не один десяток луидоров), но даже заговорили о том, не поступить ли им всем троим в состав войска почтенного генерала»

256*IV> 31` Поездка в Лондон*

Кеты Гриневей и Кальдекотта гуляют и возятся прелестно-одетые девочки или же скачут в красных фраках ретивые охотники.

И вдруг полная перемена. Наш дилижанс (и вместе с ним сотни, если не тысячи других экипажей) оказался уже катящим по прямой аллее — столь длинной, что конец ее еле мерещился в послеобеденной дымке. По сторонам аллеи тесным рядом выстроились высокие, густые каштаны, усеянные мириадами цветов. Под деревьями шествовала густая масса пешего, по-воскресному разряженного люда. Зрелище было куда более занимательным, нежели то гулянье, что происходит ежедневно на знаменитой Rotten-Row в Гайд-Парке. Впрочем, здесь, на аллее, ведущей к замку Хэмптон-Корт общий характер «гулянья» не носил определенного характера high-life'a *. Здесь были представлены все слои общества. Какие великолепные джентльмены восседали на высоких козлах, считая своим долгом править четверкой породистых лошадей и имея за собой целую кучу гостей! Какие очаровательные, расфуфыренные мальчики и девочки -сопровождали на коротеньких и лохматых попьках своих родителей, оседлавших великолепных породистых коней. Какое разнообразие повозок, начиная от скромнейших деревенских шарабанов, кончая восьмирессор-ными колясками с лакеями впереди и позади. И какой в этой кажущейся запутанности царил лад, какой порядок, какая вежливость! Ни криков, ни скандалов, ни брани. Ровно и спокойно катилась почти без остановок грандиозная лавина, а мое очарование росло с каждым поворотом колес.

Тут я пожалел, что со мной нет никого, с кем бы поделиться, и боль-гае всего пожалел я, что со мной нет моей подруги жизни, у которой я всегда встречал в подобных случаях полный отклик. А дальнейшее только еще дополнило это мое одинокое пиршество. Все в самом замке Хэмптон-Корт оказалось столь же

неожиданным и замечательным, столь же «потрафляющим моим вкусам». Хэмптон-Корт с этого дня стал для меня таким же заманчивым местом, как Версаль, Петергоф или Царское Село. Здесь стоят, спаеппые в одно целое, две грандиозных затеи былых времен: роскошный поздпеготический замок фаворита Генриха VIII кардинала Wolsey и резиденция счастливого соперника короля-Солнца — Вильгельма Оранского.

Когда же, поднявшись по грандиозной лестнице под мифологический плафон Торнхилла, я вступил в амфиладу парадных апартаментов, то к наслаждению «историческому» прибавилось и чисто художественное, чисто живописное. Сами эти комнаты далеко не так роскошны и эффектны, как версальские или наши царскосельские, зато по стенам их расположен целый первоклассный музей живописи. Какие тут редчайшие и прекраснейшие картины, какие Тинторетто, Лотто! Какая прелесть портреты красавиц, писанные «кавалером Лели» \ Я стал было делать заметки в свой альбом, но когда я понял, что мне таким образом просто *не успеть обойти* всего, а на моих часах я увидал, что близится роковой

* Высшего общества *{англ,)*.

IV, 32. Возвращение на родину

257

час нашего отъезда из Лондона, то я пустился бежать и только вздыхал в горевал, что не хватает времени как следует изучить эти сокровища.

И, действительно, времени оставалось в обрез. Когда я доехал на бусе обратно до Лондона, до нашего бординга, на хэидсоме3*, то я застал всю нашу компанию уже в сборе, ожидающей меня на улице и возмущенной моим запаздыванием. Непонятно, как я еще успел уложить свои вещи, бросая их как попало в два своих чемодана, на ходу расплачиваясь с хозяйкой и суя на чай мальчишке-итальяшке. Увы, только на вокзале Victoria я нащупал в кармане злополучный lutch-key—ключ от входной двери, который я получил из рук хозяйки с настойчивым наказом отнюдь его не увезти с собой, что я ей клятвенно и обещал.

В South-hampton мы прибывали уже в темноту и сразу с поезда погрузились на пароход. Сильный ветер рвал наши одежды, а на мой вопрос капитану, каково море, он ответил: «The sea is rather ruffle this night)> *. Свирепствовала настоящая буря, но никаких неприятностей мы от этого не претерпели, так как сразу (по совету того же капитана) залегли на свои койки и проснулись только в Дьеппе. Чудесная авантюра кончилась.

Глава 32

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ.

ЛЕТО 1899 г. В ФИНЛЯНДИИ.

ПАФКА КОРЕБУТ

Всего недели через две (а то и меньше) после нашего возвращения из Лондона мы покинули Париж, мы покинули наше уютное гнездо на рю Деламбр, продав предварительно за гроши нашу неказистую, но вполне достаточную обстановку. Все особенно тяжелое было затем отправлено морем и доплыло до Петербурга несколько недель после нашего прибытия.

Приехали мы в Париж осенью 1896 г., вчетвером, считая в том числе Аннушку. Покинули же мы Париж весной 1899 г. впятером — к прежним спутникам присоединилась еще годовалая крошка Леля.

** Не могу без умиления вспомнить и об этом способе передвижения по лондонским улицам. Что может быть аристократичнее и элегантнее этой открытой спереди двуколки, кучер которой сидел позади, вследствие чего ничто перед вами не закрывало вида? Такие (извозчичьи) экипажи назывались handsome в отличив от простых наемных кареток, подобных тем. что обслуживали парижан и вообще жителей всех больших городов па континенте. Проезд в хэндсомах стоил вдвое дороже, что, однако, не препятствовало тому, что я их нанимал при всяком случае, до того мне нравилось, баюкаясь на мягких рессорах и на резиновых шинах, бесшумно плыть по лондонскому асфальту. Мои товарищи даже негодовали па мою такую расточительность. * Море этой ночью неспокойно *{англ.)**

Переезд в Петербург, с недолгой остановкой в Берлине, произошел благополучно, а в Петербурге нас уже на вокзале встретили несколько членов нашей многочисленной семьи. Впрочем, сестра Катя со всей своей семьей жила уже на даче, и поэтому мы смогли на первых порах занять ее квартиру. С некоторых пор она уже покинула большую квартиру наших родителей в бельэтаже и переселилась в том же доме Бенуа в прелестное помещение в четвертом этаже, которое когда-то занимал П. Гонза-га *. Оно было угловым, выходившим окнами на улицу Глинки и на Екатерингофский проспект. Эта квартира была едва меньше прежней, но вполне достаточной для Кати и ее шестерни. Мы устроились бивуаком в двух комнатах «мальчиков»;

было тесновато, зато до чего же трогательно было, что прямо перед нами высились пять золотых глав Николы Морского, а утром, после нашего приезда, мы были разбужены знакомым перезвоном с чудесной колокольни.

Все внимание, вся ласка, все хлебосольство, которые мы встретили со стороны нашей семьи, очень скрасили нам то, что было чуть грустного в этом возвращении, в том, что мы бросили ставший нам тоже как бы родным Париж. Особенно же грустно было то, что, оказавшись в родном доме, мы уже не застали того помещения, в котором я родился и вырос. Там шел теперь усиленный ремонт, ввиду его занятия новыми квартирантами — Шаховскими.

Оставались мы в Петербурге недолго; поиски собственной квартиры были отложены до конца лета, а теперь мы спешили на дачу — благо, таковая уже была снята милым Альбером — по соседству с той, которую он занимал сам и сестра Катя — с семьями. Впрочем, с Альбером жили теперь не все четверо его детей, а только трое — старшая его дочь, подруга моего детства Мася, успела за это время выйти замуж за талантливого, только что блестяще окончившего консерваторию композитора и пианиста Н. Н. Черепнина. Жили Альбер и Катя (на очень большой даче) в Финляндии близ Райвола, и там же, в полуверсте от них, они приискали нам дачу поменьше, стоявшую на песчаной косе на самом берегу Черной Речки, при впадении ее в Финский залив.

Вообще, в Петербурге мы мало кого застали; я даже не смог повидать всех моих друзей, зато именно тогда же, в дни нашего короткого предлетнего пребывания в городе, на моем горизонте появляется еще одно лицо, ставшее с тех пор для меня близким. Этот новый знакомый дал возможность мне выступить на одном из тех поприщ, на которых в дальнейшем я приобрел себе известность. Такой новой фигурой на моем горизонте был милый, мало того, *милейший* человек — Всеволод Дмитриевич Протопопов, юный русский помещик, переполненный стремлением послужить России и русской культуре; усматривал же он это служение главным образом в более тесном приобщении к западной образованности. Это его (довольно несуразное) западничество способствовало нашему сближению, перешедшему затем в дружбу, продолжавшуюся до самой его преждевременной кончины. Явился же Протопопов ко мне с определенным предложением. Он затеял издать русский перевод столь нашу-

мевшего в свое время труда Р. Мутера г «История живописи в XIX веке», но ему казалось, что невозможно было ограничиться в

русском издании всего несколькими страничками, посвященными русской живописи, а что следует эту главу расширить. Мне эта мысль была по душе; я «рвался в бой», но сначала я так оробел, сознавая свою неподготовленность, что стал было отказываться. Протопопов рассеял мои сомнения; его главным доводом было то, что до появления в свет всего перевода книги Мутера остается много месяцев (перевод, порученный Зинаиде Венгеровой, далеко еще не был закончен). За это время я успел бы вполне подготовить-ся. Уже во время моих бесед с ним я понял, кого я имею перед собой, *в* сразу полюбил этого чудаковатого человека, в котором была масса путаного даже нелепого, но еще более — самого подлинного прекраснодушия. Это и склонило меня к принятию его предложения, но тогда же мне показалось, что как ни расширяй русскую главу, этого будет недостаточно, имея в виду русского читателя. Тут и явилась у меня мысль приложить к переводу Мутера целую *книгу* 3. Мысль моя была принята с энтузиазмом, и сразу были установлены материальные условия, причем мне пришлось Всеволода Дмитриевича удерживать от чрезмерной щедрости! После заключения договора я уехал в Финляндию, уже совершенно поглощенный столь неожиданно мне доставшейся (и столь интересной) задачей **.

Чтение книг и пространные выписки из них заняли у меня добрые три четверти моего лета, что, разумеется, отозвалось на моей сравнительно малой живописной продуктивности. Немало времени отняли у меня и поездки, которые я делал по крайней мере раз в неделю специально для посещения музея Александра III и для занятия в библиотеке Академии художеств. Зато именно эти посещения и эти занятия снова разожгли во мне потухший было энтузиазм к русской живописи. Они же помогли мне основательно проверить мои прежние суждения и выработать новые. В общем, оказалось, что я «продолжаю соглашаться» с прежней моей оценкой главнейших явлений русской живописи, и это в особенности касается того, что совершенно «отошло в историю», начиная с чудесных портретистов XVIII в. и кончая мастерами «сюжетной живописи» с Федотовым и Перовым во главе. Требовались лишь некоторые разработки, а местами некоторые смягчения и частичные поправки. Гораздо сложнее обстояло дело с оценкой передвижников, и уже совершенно трудно с явлениями последних лет. Я заранее чувствовал, как трудно будет, а подчас как мучительно, говорить правду (то, что я считал за таковую) о моих современниках, и тем паче о моих *друзьях*.

** Для собирания графических материалов для иллюстрации русского перевода Протопопов завел в Лейпциге целую контору,

которой была поручена закупка фотографий, журналон и книг; кроме того, он и сам пе переставал искать их всюду, где только можно было.

9»

260*IV> $2` Возвращение на ро&цну*

* * *

Лето 1899 г., проведенное на Черной Речке, мне памятно и по некоторым другим причинам. За исключением одного пикника, организованного Альбером в прекрасную заповедную рощу Лиственницу, посаженную (специально для получения корабельных мачт) еще Петром Великим, никаких других экскурсий не предпринималось, зато ближайшую окрестность нашего дачного поселка я исходил во всех направлениях. При этом я находил немало поэтичных мотивов.

Среди лета к нам на Черную Речку явились Дима Философов и Сережа Дягилев. Приехали они специально для того, чтобы *поразить* нас сенсационной новостью. Однако, весть о том, что директор императорских театров И. А. Всеволожский ушел в отставку, а что на его место назначен молодой князь Сергей Михайлович Волконский, успела дойти до нас, и уже кое-какие виды на него у меня, и у Жени, и у Бакста, и у Серова сразу наметились. С приездом же «кузенов» оказалось, что эти виды приобрели и известное осуществление. Волконский, как только стал директором, обратился к ним с пожеланием, чтобы они (и все мы) «ему помогли». Разумеется, ни Сережа, ни Дима не вздумали отказываться и с радостью согласились, тем более, что каждому из них были тут же сделаны конкретные и очень соблазнительные предложения, вводившие их сразу в столь заманчивый и до того закрытый для них театральный мир. Философову предлагалось войти в состав комитета (комиссии?) 'по выработке репертуара Александрийского театра, этого центра отечественной драматургии, а Дягилев был приглашен занять пост чиновника 'особых поручений при самом директоре, что, разумеется, при энергии и талантах Сережи отнюдь не означало бы какой-либо синекуры, а позволило бы ему принять активное участие во всей деятельности императорских театров. Как последствие этого назначения у Сережи сразу появился «директорский тончик», пришлось даже и мне и Серову тут же его несколько раз «осадить», но самое назначение как его, так и Димы, мы искренно приветствовали. Оно открывало всякие перспективы и для нас, для нашего творчества в театре. От меня

Сережа сразу потребовал, чтоб я, не откладывая, посетил Волконского, который-де, по его словам, с нетерпением ждал встречи со мной и как будто имел даже мне сделать определенное предложение.

Уже два раза я упомянул имя Серова в связи с нашим пребыванием в Финляндии. Это станет понятным, когда я скажу, что почти все лето 1899 г. Серов провел в Териоках, отстоящих по прямой береговой дороге всего в нескольких верстах от Черной Речки. Именно тогда завязалась между мной и им та дружба, которая продолжалась затем до самой его безвременной кончины и воспоминание о которой принадлежит к самому *светлому* в моем прошлом. Вообще, Серов был скорее недоступен. Этот несколько мнительный, недоверчивый человек неохотно сближался. Поэтому дружеские отношения со всей нашей компанией должны были завязаться с Серовым не **без** некоторых с **его** стороны колебаний, а то и

огорчений. Чего в нас наверняка не было, так это простоты. В этом я не могу не покаяться, и делаю это с сознанием, что в позднейшие времена и тогда, когда последние следы юношеской блажи стерлись, мы все, и я в частности, все более и более стали опрощаться, «отвыкать от гримас и всяческого ломанья». И вот в этом нашем *исправлении,* без сомнения, немалое влияние оказывал Серов, не столько его весьма редкие замечания или упреки, сколько тот *огорченный вид,* который он принимал каждый раз, когда в его присутствии кое-какие застарелые в нас привычки брали верх. Впрочем, надо оговориться. Серова отнюдь не следует себе представлять в виде какого-то угрюмого пуританина-цензора, и менее всего он походил на «гувернера». Скорее тон гувернера (или, как мы его дразнили, «гувернантки») брал иногда Дима; напротив, Серов терпеть не мог всякую «цензуру». Он любил и сам пошутить, и никто так не наслаждался удачными шутками других, как он. Как очаровательно он смеялся, какая острая наблюдательность, какой своеобразный и подчас очень ядовитый юмор просвечивал в его замечаниях2*! Но чего Серов положительно не терпел, так это кривляний и хитрения в обращении с друзьями. Тут больше всего попадало Сереже, но попадало и мне, и Баксту, и Валечке, причем еще раз прибавлю: это «попаданье» выражалось не столько в словах, сколько во взгляде, в странно наступавшем молчании, в том, что Серов вставал и начинал прощаться, когда ему на самом деле некуда было спешить. Особенно его огорчали циничные «сальности». Зато когда беседа с друзьями была ему по душе, он готов был пропустить даже и очень нужное для него свидание.

II вот лето 1899 г. сыграло большую роль в сглаживании всяких шероховатостей в моих отношениях с Серовым. Живя на Черной Речке, мы виделись с Серовым несколько раз в неделю; в большинстве случаев это он приходил или приезжал к нам, иногда же мы встречались, по предкам рительному уговору, на полпути от нас до Териок, и тогда мы заканчивали прогулку вместе, причем особенно любимым местом была шедшая параллельно прибрежному шоссе верхняя дорожка, откуда открывались чудесные далекие виды 3*. Наконец, он заезжал к нам по дороге к тому месту на побережье, которое он купил и где уже строилась под его наблюдением дача.

Какие чудесные, необычайно меткие карикатуры нарисовал он на всех нас! Эти рисунки заполняли целую стену той боковой комнаты во двор (в великолепной квартире Сережи в доме № 11 по Фонтанке), которая служила «редакцией» в тесном смысле и куда посторонние не допускались. Что сталось с этими чудесными рисунками4, которые висели приколотые булавками к обоям? В квартире Сережи в Замятпном переулке я их уже не помню. В той же комнате, на камине Бакст вздумал «соперничать с Микелапджело», набросав человеческую фигуру в очень утрированной позе.

Одну из моих тогдашних акварелей, как раз сделанных с этой дорожки, Серов выбрал себе, дав мне в обмен очаровательпый этюд маслом, писанный им в Фре-денсборге (близ Копенгагена), куда оп ездил для собирапия материалов к заказанному ему портрету имп. Александра Ш в датском мундире.

262

IV, 32. Возвращение на родину

Значительную часть лета 1899 г. Серов провел в Териоках, однако гостил там он у В. В. Матэ один, тогда как его семья оставалась в Москве. Часто и добрейший Матэ принимал участие в наших прогулках, причем его энтузиазм, воспламенявшийся по любому поводу, немало веселил Серова. Очень своеобразны были вообще отношения между этими двумя людьми, имевшими между собой, казалось бы, мало общего. Матэ был, несомненно, даровитым человеком, и одно время на него возлагались большие надежды не только как на искусного, чуждавшегося рутины мастера своего дела, но и как на чуткого преподавателя. Однако эти надежды не сбылись в полной мере, и помешала тому его органическая непоборимая лень (он слишком довольствовался болтовней, проектами, мечтаниями, лишь бы только не засесть за работу), а также и крайняя его бестолковость. Фамилия у него звучала на французский лад, но говор у него был чисто «расейский», всей же своей повадкой и манерами он напоминал

«старого, засидевшегося в университете студента».

Я был знаком -с Василием Васильевичем с юных лет, и тогда уже Матэ, будучи еще совсем молодым, представлялся мне таким же растяпой-энтузиастом, каким он остался на всю жизнь. При этом он был честнейшим малым, безгранично преданным всем, с кем он сходился, а ученики *обожали* его. С своей стороны, и Матэ был склонен преувеличивать достоинства и дарования своих учеников. По собственному почину он, между прочим, учредил в академической своей квартире свободный вечерний класс, на котором он в непринужденной форме делился со всеми своими техническими познаниями в гравюре. При своем широком гостеприимстве он не только всякому был рад, но он не уставал зазывать к себе и тех, кто по собственной инициативе не шел к нему или «все откладывал» свое посещение. К таким «отлынивающим» от посещения милого Матэ принадлежал, бог знает почему, и я. Скорее всего меня коробило в нем слишком явно выраженный style russe, его какая-то бесшабашность, а также и то, что называется «складной душой». Нельзя было *вполне положиться* на Матэ, а в своих взглядах, будь то политические и гражданственные, он звал и мнил себя исповедующим «самые передовые», «самые светлые» идеи; однако это у него как-то уживалось с весьма неожиданными противоречиями, едва ли им самим осознаваемыми. Женат он был на немке (на эстонке?), говорившей по-русски с немецким акцентом, и вот это сочетание долговязого всклокоченного Матэ, являвшего во всем очень ярко выраженную âme slave *, с этой плотненькой, очень некрасивой, но очень аккуратненькой Frau Professor, как бы сошедшей со страниц «Fliegende Blatter» **, казалось чем-то нарочитым и чуть даже карикатурным. Серов любил благодушно подтрунивать над ними обоими, причем Василий Васильевич смеялся во весь свой заросший бородой рот, а жеманная его жена (забыл ее имя и отчество) слегка надувалась, что только еще более подстрекало Серова к насмешкам.

* Славянскую душу *{франц.),* ** «Летучих листков» *(нем.).*

IV, 32. Возвращение на родину

263

Дача, нанятая Альбером пополам **с** Катей, представляла собой боль-шой, старомодный, покрашенный светло-желтой краской дом в два этажа с обязательной вышкой — бельведером на Соку. Уже издали можно было заприметить это подобие «шато», благодаря тому гигантскому, похожему на императорский штандарт, флагу, который развевался с высокой мачты, водруженной Альбером на следующий же день после своего переезда на дачу. Мой брат обожал всякие подобные

эффектности, так же, как он обожал фейерверки, спуски воздушных шаров, иллюминации, пикники, и как раз летом ему было в этом смысле особенное раздолье. Но еще ха-рактерным для него было то, что, хоть дача и была огромная и поместительная, однако обитателей в ней набралось такое множество, что всем стало тесновато. Мания Альбера вечно кого-нибудь зазывать к себе и за-ставлять у себя гостить дня два или три, с годами вовсе не ослабела. Подобно тому, как 15 лет назад в петергофском «Бобыльске», или в «Ораниенбаумской Колонии», у него и здесь, на Черной Речке, гостило по нескольку человек зараз, и всех он кормил, если и не роскошно, то обильно и вкусно. А главное, что ценили гости Альбера, это настроение непрерывного веселья, царившего в его доме. Смех, песни, шутки, игры, всякие дурачества и представления не переводились. Хотя теперь он был лишен общества своей первой жены, также очень любившей веселиться, однако эта утрата не сказывалась на всем его житье-бытье, и это тем меньше, что отчасти Марию Карловну заменяла вторая дочь Альбера — Камилла, «Милечка», впоследствии вышедшая за известного генерала Хорвата, но тогда еще пребывавшая в девичестве и пользовавшаяся огромным успехом у мужчин. Достаточно будет сказать, что за ней волочился не только славившийся своей влюбчивостью Левушка Бакст (он даже сделал ей однажды предложение), но и наш «сухарь» Валечка под-нал под ее чары и воздыхал по ней. Прибавлю, что это была последняя (столь же неудачная, как и все предыдущие) попытка нашего друга проникнуть в Венерин Грот, после чего он от подобных попыток отказался совсем и превратился в того «убежденного» гомосексуалиста, каким он остался до старости, совратив даже в свою веру и приятеля Сомова. Однако в то лето 1899 г. у Милечки нашлась опасная соперница по заколдовыванию сердец, а именно, в лице Иви Ливисей, дочери моего английского приятеля Рэджа, превратившейся из кусавшей (!) всех шалуньи-девочки, в действительно очаровательную, необычайно типичную англичаночку. Теперь ей было 18 лет, и она вся цвела молодостью и задором. Только что она казалась вакханкой, готовой броситься в объятия любого сатира, и тотчас же эта кажущаяся распущенность заменялась манерами образцовой «викторианской мисс». Совершенно без ума влюбился в нее тогда Коля Лансере; он даже осенью того года отправился вслед за ней в Англию; однако из этого ничего не вышло, и он «с носом» вернулся к себе. Хохот Иви раздавался на всю дачу Альбера и на весь окружающий ее большой и довольно запущенный сад. Бегала она на своих длинных точеных ногах, как Диана, обыгрывала **всех** в крокет (в

те годы в России еще процветавший), взлетала на пад-

жане под самые небеса, а главное, дурила и кружила головы, начиная со своего квази-дядиныш — Альбера.

Поддался шарму Иви даже Александр Сергеевич, иначе говоря, «Саша» Зарудный. С некоторых пор он казался теперь менее бешеным, нежели был раньше, когда он на даче нашего Мишеньки вытворял черт знает какое скоморошество, но обезьяньи ухватки у него остались те же, и по-прежнему он мог озадачить хоть кого своими неожиданными сумасшедшими выходками. Теперь этот молодой «прокурор» с длинной, как смоль, черной бородой, с глазами, сверкавшими безумным блеском, уже не прыгал на столы, не кувыркался, но зато он то и дело впадал в какие-то трансы элоквенции и поэзии. Это поистине бывало чудесно. Присутствие Иви особенно раззадоривало Сашу. Он экспромтом сочинял в ее честь полушутливые оды и сонеты, которые она, не понимая ни слова по-русски, не могла оценить по достоинству, но которые Саша произносил с такой страстью, с таким воодушевлением, что один его голос, одна его мимика производили нужное впечатление. Мы же, посторонние, только любовались и потешались этими сценами.

Последние недели нашего пребывания на Черной Речке были для нас несколько испорчены тем, что пришлось усиленно заняться подысканием квартиры. На это ушло по крайней мере пять поездок в Петербург, иной раз в дождливую предосеннюю погоду. Наконец, после всяких разочарований и огорчений, мы остановились на том, что нам показалось более приемлемым, нежели другое, но что все же далеко не отвечало нашему идеалу. Нам хотелось поселиться в чем-то таком, что напоминало бы отцовскую квартиру. Иначе говоря, найти себе обиталище в старинном доме с большими комнатами, с высокими потолками. Но вот, хотя подобных квартир мы видали несколько, однако все они были слишком неудобны в хозяйственном отношении или же намного превышали наш бюджет. Близкие к отчаянию, мы, наконец, решили взять то, что, если в хозяйственном смысле и в смысле экономическом было удовлетворительно, то вовсе не совпадало с нашими основными пожеланиями. Начать с квартала: мы оба ненавидели «роты», т. е. те лишенные всякой поэзии улицы, что тянутся параллельно одна другой за казармами Измайловского полка. Да и самые комнаты этой квартиры не обладали никаким шармом; особенно меня огорчали претенциозные обои, тогда как хозяин дома — доктор Бари — не

соглашался на какой-либо ремонт, так как съехавшие с квартиры жильцы оставили ее в полном порядке. Все же, faute de mieux *, мы поселились там и прожили в этой квартире целых Два года.

Устройство нашего нового очага оказалось довольно сложным. Надлежало собрать нашу обстановку, размещенную по разным местам перед тем, как мы перебрались в Париж, и свезти все эти вещи в новое помещение. Комнату, которая стала моей рабочей, загромоздил преслову-

* За неимением лучшего *(франц.),*

тый «перекидной» диван Биркенфельда, но он так мне опостылел, что я сразу решил его продать. На опустевшее же место стал диван карельской березы, который отлично вязался с прелестными креслами и стульями, доставшимися мне по наследству из папиного кабинета. Имея возможность теперь распоряжаться более крупными суммами, мы тогда же сделали несколько других приобретений в старомодном роде. Главной поставщицей была все та же Брайна Мильман, одна из самых характерных фигур Александровского рынка. Нельзя сказать, чтобы товар у Брайны был особенно изысканным; кто желал обзавестись чем-либо более роскошным и редкостным, тот шел к Ерыкалову, к Линевичу, к Кузнецову,— все эти антикварные магнаты имели свои склады в Апраксином или Щукином рынке. Зато для людей со скромными средствами, но которые все же желали жить не среди новой банальщины, а среди приятных, овеянных поэзией старинности вещей, для тех лавка Брайны была неисчерпаемой, непрестанно пополнявшейся сокровищницей. К этому «буржуазному пассеизму», начинавшему тогда входить в моду, примешивался и известный «литературный сентиментализм». Приятно было видеть себя и своих близких в обстановках, похожих на те, в которых жили и любили герои Пушкина, Гоголя или Гете, Альфреда де Виньи, а то и просто наши собственные бабушки и дедушки.

Честь «учреждения» в нашем кружке данной моды принадлежит неоспоримо Павлу Георгиевичу Коребут-Кубитовичу, двоюродному брату Димы и Сережи. Это он вздумал еще в самом начале 90-х годов обставить свою довольно пространную квартиру на Мойке, в которой он, будучи студентом, жил со своим другим двоюродным братом, Колей Дягилевым (виолончелистом), исключительно мебелью той эпохи, которую немцы прозвали Biedermayerzeit5. И в этом смысле он был тогда необычайно *передовым* человеком, прямо каким-то основоположником целого течения в русской обстановке, которое

затем превратилось даже в своего рода маниачество и дошло до довольно курьезных крайностей.

При входе в обиталище «Пафки» казалось, что действительно перенесся в другую эпоху, что вот-вот выйдет навстречу закутанный в пестрый халат Фамусов под ручку со Скалозубом или же Иван Александрович Хлестаков появится, поддерживаемый городничим, Ляпкиным-Тяи-киным. Добродушная, красная от волнения физиономия белобрысого бородоча Пафки расплывалась в широченную улыбку предельного счастья, когда он видел, что это создание его вкуса имеет успех. Своим дискант-ным бабьим голоском он тут же, торопливо захлебываясь, давал пояснения, как и откуда он все это раздобыл и до чего мало все это ему стоило. И действительно, в качестве пионера в этой области, Пафка имел возможность обзавестись и этими солидными комодами, и этими многосложными секретерами, и этими дедовскими креслами, и этим обеденным столом-сороконожкой, и даже самоваром в виде урны—«за гроши»; причем созданный им необычайно привлекательный и благородный ансамбль **вовсе** не походил на антикварную лавку иди на музей. Остается

загадкой дальнейшее: прожив среди такой прелести несколько лет, **Паф-**ка все это, ни с того ни с сего, продал, получив,. впрочем, при **этом** значительный барыш.

Вообще, Пафка Коребут принадлежал к особенно живописным фигурам в нашем кружке. Он никакой активной роли в нем не играл, и все же его можно с полным основанием назвать одним из наших «спутников жизни». Всего же более он оказался спутником жизни Сережи Дягилева. Я сейчас не могу вспомнить, кому из них он приходится родственником — то ли Философовым, то ли Дягилевым, но, во всяком случае, он считался *кузеном,* называл А. П. Философову тетей и принимал живейшее участие во всех семейных празднествах. Да и в другие дни он зачастую бывал и у Философовых и у Ратьковых, а с момента учреждения редакции «Мира искусства» он являлся среди нас чуть ли не ежедневно, уклоняясь, однако, от каких-либо обязанностей.

Что касается наружного вида Павла Георгиевича, то мы в шутку его называли «le vrai boyard russe» *. И действительно, его круглое, украшенное очень светлой бородой лицо могло бы служить в качестве модели для какой-нибудь картины К. Маковского из древнерусского быта. Особенностью этого лица было то, что выражения ласки, веселья, ужаса, сострадания и т. п.

чередовались на нем почти непрерывно, смотря по тому, что он рассказывал или чему он внимал. Мимику эту можно было назвать прямо-таки *чудесной.* Разумеется, легкость, с которой такая «участливость» менялась, не следовало принимать за нечто верное и надежное; это была именно *мимика,* нечто актерское.

Отношение к Пафке у нас было разное. Почти все его действительно *любили* (и трудно было не любить человека, который сам выражал столько любви к вам). Однако Дима Философов его «презирал» и совершенно открыто это выражал. Но кого только Дима не презирал? Напротив, Сережа ценил общество Пафки и прямо не мог без него обойтись. Когда он в начале 20-х годов узнал, что Пафка собирается покинуть Россию (это было в начальную эпоху НЭП'а, и из Советской России не было большого труда выбраться), то он снабдил его нужными средствами и выписал его к себе во Францию. В ответ на это Пафка горел желанием послужить своему, уже ставшему знаменитым родственнику; однако его ожидало разочарование. Никакой «должности» он при Дягилеве не по* лучил, а когда он изъявлял род обиды на подобное пренебрежение, то получал всегда тот же ответ: «сиди и не рыпайся», ты—старик (Пафке в это время не было еще и 60 лет), ты старик на отдыхе!» Пафка горько жаловался мне на такое к себе отношение Сережи, однако я не уверен, чтобы эти жалобы были вполне искренни, так как одной из основных черт этой âme slave была непробудная лень. Все же он тяготился своим положением нахлебника (из России он приехал с самым скудным багажом) и завидовал тем двум друзьям Сережи — Валечке Нувелю и

* Настоящий русский боярин *(франц.).*

Борису Кохно, которые играли роль «чиновников особых поручений* или секретарей и при нашем Übermensch*е *.

Впрочем, это довольно неопределенное состояние Павла Георгиевича при Дягилеве в 20-х годах не было для него чем-то совершенно новым и небывалым. Уже в 1911 г. я застаю Пафку Коребут в Монте-Карло, тогда он очутился там (уже не в первый раз) не по приглашению Сережи, а по собственному почину, и это в силу того, что его неодолимой силой влекло... к игорному столу. Просиживал Пафка в «Казино» каждый день по нескольку часов, то ставя свои последние франки, а то, за неимением более таковых, следя за причудами фатального шарика, желая похитить секрет самой *системы* этих причуд. С этой целью он завел себе записную книжку, в которую заносил цифры за цифрами, комбинации за комбинациями. Я эту довольно толстенькую книжку перелистывал и только изумлялся последовательности и

тому прилежанию, которые лентяй-Пафка в этом своем «труде» проявлял. Однако никакой реальной пользы он из этого изучения не извлекал, никакого рулетного волшебства он не угадал! Напротив, в один злосчастный день он оказался совершенно à sec ** и был вынужден занять у меня 200 рублей, чтоб иметь возможность расплатиться с отелем и доехать до того русского провинциального города, который служил ему тогда резиденцией.

После смерти Сережи Дягилева Пафка мог бы оказаться просто на мостовой, но его спас, в память своего друга и учителя, С. М. Лифарь, обеспечив его в достаточной степени месячным жалованьем. При Лифа-ре Павел Георгиевич исполнял какие-то поручения, и последние мои свидания с ним были связаны с финансовыми расчетами (Лифарь платил в рассрочку то, что он мне был должен, купив у меня целую массу моих театральных эскизов). Он продолжал жить в своем милом Монте-Карло, где и скончался около 1940 г.

Еще раз повторяю: Пафку *я любил.* С ним было *необычайно* приятно быть, слушать его или превращать его в *удивительно* внимательного и прямо-таки трепещущего слушателя. При этом беседы с ним действовали *ублажающим* образом. Это находил и Сережа, который называл Пафку своими «валериановыми каплями». Он был типом конфидентов в старинных пьесах. Надо еще прибавить, что при всей страсти к сплетне, Пафка был абсолютно незлобивым. Самые сплетни его не имели характера какого-либо очернения или злобы. Даже когда он поддакивал в ответ на чьи-либо жалобы, он и это делал с какой-то особой сноровкой и так, что жалобщик покидал беседу скорее в каком-то умиротворенном (а не в более разъяренном) состоянии. В качестве же резюме этой слишком короткой и односторонней характеристики я скажу, что Павел Коребут-Кубитович (считалось, что его род был царский и происходил от Геднмина) принадлежал к одним из самых *милых* людей, с какими мне довелось общаться.

Сверхчеловеке *(нем.).* Без греша *{франц.).*

268*W, 32. Возвращение на родину*

Живя последние годы в Монако, Павел Георгиевич, не будучи вовсе балетоманом, заделался другом всех к балету причастных лиц, и его как бы специальностью стало навещать разных поселившихся там на постоянное жительство матушек, вдов и жен балетных артистов. В ответ на его ласку, эти дамы искренно любили Павла Георгиевича и всячески его ублажали и баловали. Я убежден, что не одна из них поплакала от всего сердца, когда его не стало. В этом только и сказалась причастность кузена

Дягилева к тому делу, которое прославило имя послед-1 него на весь мир. И кто знает, какую роль сыграл Пафка в качестве «валериановых капель» в тот период деятельности Дягилева, когда последний стал все более томиться под бременем принятых на себя обязательств и когда лямка, которую он тянул, стала для него невыносимой...

Я не припомню, чтоб кто-либо из художников удосужился запечатлеть наружность Павла Коребута, хотя она и представляла собой весьма выгодный и интересный сюжет. Не сделал на него карикатуры и Серов; Осталось несколько фотографий, из которых особенно удачной получилась та, что я снял с него в 1911 г. в Монте-Карло, в обществе балерины Облаковой и дочери С. С. Боткина — «Шурочки».

Глава 33 В МОСКВЕ И В КИЕВЕ

Не успели мы перебраться в город и устроиться на новой квартире, как я уже собрался в то довольно далекое путешествие, которое я решил предпринять — ввиду своей дальнейшей работы над историей русской живописи. Нужно было проверить свои впечатления от московских музеев, познакомиться с рядом частных собраний, побывать у нескольких наиболее значительных художников, а затем проехать и в Киев.

Резюмируя свои впечатления и оставляя в стороне все то, что я получил от ознакомления с Москвой в целом, я на первое место должен поставить творения Александра А. Иванова. Я и до того питал к этому' художнику (одному из самых *подлинных* во всей истории русского искусства) глубокое почитание, вместе с какой-то «сердечной симпатией» (причем я был подготовлен к тому рассказами отца, знавшего Иванова лично) и с особенным же увлечением я изучил «Библейские эскизы» Ивапова, уже известные мне по воспроизведениям facsimile l, изданным его братом Сергеем. Теперь же я их увидал в несравненно большем количестве и в оригиналах — и это меня окончательно убедило, что в этом художнике горело пламя настоящего гения, которому, увы, так и не суждено было расцвести до совершенной полноты. В то же время меня трогало то упорство, с которым Иванов в своих этюдах к «Явлению Христа» стремился «научиться правде» и забыть привитую Академией школьную рутину.

IV, 33. В Москве и в Киеве

гт

J Словом, во мне возник тот культ Иванова, который я и поставил во главу угла всей моей книги. Из всех русских

живописцев он представился мне самым живым, самым драгоценным и каким-то прямо *идеалом художника вообще.* Возможно, что я при том впал и в некоторое преувеличение; я увлекся своим «открытием» (как всякий другой очень большой и подлинный художник, Иванов уже подвергался до меня и вероятно подвергнется еще участи «быть открываемым», оцениваемым и переоцениваемым по нескольку раз), однако все же по существу я был *прав* как бывает прав человек всегда, когда испытывает великое счастье найти через посредство искусства нечто освежающее и поднимающее его душу. Через знакомство с оригиналами Иванова я только лучше понял *его* искусство, я нашел в них некую ценнейшую *меру вещей,* и с тех пор в течение многих лет я обращался к Иванову всякий раз, когда меня брали разные сомнения, когда я хотел проверить свои убеждения, когда путался в противоречиях, которыми так изобилует оценка художественных произведений.

Менее всего, впрочем, я оценил, увидав в натуре (по гравюрам я ее знал с самого детства), колоссальную картину Иванова: «Явление Христа народу». И как раз по этому поводу у меня возник горячий спор с В. Васнецовым, который оказался ревностным поклонником Иванова и особенно *этой* его картины. Он и слышать не хотел о том, что в целом картина представляет собой *неудачу,* что она лишена объединяющей цельности, что она замучена, засушена, наконец, что Иванов, несмотря, на все свои усилия, не сумел вложить в нее ту жизненность, которой он. главным образолг задавался. Васнецов с жаром отстаивал абсолютное совершенство картины. Он отрицал, что имеется известное противоречие между Ивановым, сочинившим свои вдохновенные эскизы, и тем «пенсионером академии», который затеял «Явление Христа» и в течение стольких лет мучился над ним, этим исполинским холстом. Этот спор так тогда ни к чему и не привел,— разделяя, впрочем, при этом участь всех подобных споров.

К Виктору Васнецову, к «великому» Васнецову я тогда попал благодаря его брату Аполлинарию. С последним я уже года четыре как был знаком, и даже в некотором роде дружил с этим милым, несколько наивным человеком. Дружба наша получила некоторый изъян во время пребывания Аполлинария в течение зимы 1898—1899 г. в Париже, куда он явился уверенный в том, что его живопись будет иметь там значительный успех. Но французы не потрудились обратить какое-либо внимание на его выставленное в Салоне Марсова Поля гигантское полотно, изображающее сибирскую тайгу2, и картина прошла незамеченной. При этом я лично оказался как бы свидетелем

этого «посрамления», и, вероятно, ему было не особенно приятно встречаться с кем-то, напоминавшим понесенную обиду. Все же мое знакомство с Виктором Васнецовым произошло благодаря Аполлинарию, тогда как без такой протекции было бы затруднительно пройти через те заграждения, которыми себя обставил старший брат, достигший в те дни верха своей славы.

270?V> #& *В Москве и в Киеве*

Впрочем, и так оказанный мне Виктором Васнецовым прием оказался не из самых радушных— особенно если принять во внимание традиционное радушие москвичей. Виктор Михайлович был *очень вежлив* со мной, но и только. Помешала ли большей экспансивности общая его нелюдимость, или он разделял ходячее о всех нас мнение, будто бы мы насаждаем пресловутое и зловреднейшее «декадентство», я не знаю. Не мог не почувствовать, несомненно, очень чуткий Виктор Михайлович во мне — в этом «представителе ненавистного петербуржского художества», дерзающем с ним спорить, какого-то врага. Считая себя каким-то преемником заветов Иванова, он догадывался, что, если я вижу известную фальшь в главном произведении Иванова, то я могу счесть за ложь, за притворство многое и в произведениях его самого — Васнецова.

Вообще же дом Виктора Васнецова показался мне скорее унылым и мрачным. Возможно, что тому способствовал пасмурный осенний день, быть может и отсутствие какого-либо декоративного чувства в обстановке. Положим, В. М. Васнецов увлекался в те годы вопросом возвращения русского прикладного художества к его первоисточникам и сам производил опыты в этом смысле в виде сундуков, шкафов, кресел, тут же расставленных по квартире. Однако опыты эти показались мне неудачными, предметы имели очень неубедительный вид, они были громоздки, неуклюжи. Глядя на них, возникал протест против *такого* возрождения. Но сам художник был, видимо, доволен своими опытами и собирался свою деятельность в этом направлении расширить. Он заразил и брата своим «древнерусским пассеизмом» — Аполлинарий стал тогда с особым рвением заниматься в картинах реконструкцией древней Москвы.

Мое тогдашнеэ посещение Виктора Васнецова было единственным, и больше я с ним никогда не встречался. Если уже в 1899 г. я должен был произвести при нашей встрече неприятное впечатление, то едва ли мог он получить желание снова со мной встретиться после того, как вышла моя книга, и он ознакомился с моими откровенными суждениями о нем.

Из других моих посещений московских художников мне

особенно запомнились два — Сергея Коровина и А. Я. Головина. Первый не значился в моей «программе», а отправился я к нему единственно по настоянию его брата Константина, с которым я тогда состоял (да и вся наша компания состояла) в самых дружеских отношениях. «Костя» же питал беспредельное уважение к старшему брату и ставил его гораздо выше себя. Он видел в нем прямо-таки какой-то идеал русского художника.

Побывал я у Сергея Коровина на его квартире — очень скромной, ти-нично мещанской, ни в чем не выдававшей принадлежность хозяина к «благородной корпорации художников». Напротив, эти комнатки с их тюлевыми занавесками, с горшками цветов на подоконниках, со стенами, оклеенными дешевыми обоями, могли сойти за обстановку какой-либо пьесы Островского из мелко-купеческого быта. И сам Сергей Коровин ни в чем не напоминал художника. Невысокого роста, с чахлой бородкой на испитом лице, угрюмый н печальный, он скорее напоминал собой каного-

нибудь писаря или приказчика. На своего красавца брата он совершенно не был похож. Мне с большим трудом удалось заставить его ответить на несколько вопросов и вырвать у него письмо к хранителю Исторического музея, который был в это время закрыт для публики и где находилось единственное крупное произведение Сергея Коровина (увы, как оказалось мало интересное) «Мамаево побоище» \

Ярким контрастом Сергея Коровина явился Александр Яковлевич Головин, Обиталище его оказалось где-то очень высоко, чуть ли не на чердаке, и представляло собой нечто еще менее декоративное, нежели «мещанская» квартира Сергея Коровина. Но у последнего все было при-брапо, вычищено, даже вылощено. У Головина же царил «дикий» беспорядок пли, по крайней мере, та «видимость беспорядка», которую часто создает вокруг себя поглощенный творчеством художник и в котором он сам все же вполне разбирается. И вот, среди этого беспорядка, состоявшего из всяких «орудий ремесла», меня встретил молодой, высокого роста красавец-блондин, показавшийся мне олицетворением изящества и самой аристократической приветливости. Я даже вообразил, что передо мной не «простой Головин», а отпрыск древнего графского рода. В то же время, мне показалось, что я встретил в нем человека, который мог бы мне стать другом, и что именно с ним мне будет особенно приятно общаться. На самом же деле Александр Яковлевич, не будучи вовсе благородного происхождения (он откровенно признался, что он попович), не только своим наружным видом походил на

аристократа, но это был органически-недоступный человек, избегавший всякого сближения. Французские выражения distant, fuyant * вполне подходили к его характеристике. Такие люди пользуются своим даром очарования, своими ласковыми манерами, чтобы держать людей, пе обижая их, на непреодолимой дистанции и не давать им проникнуть в какую-то святую святых их душевного мира.

Впоследствии я, кроме того, убедился в том, что Головин страдал большой мнительностью и даже в пекоторой степени манией преследования. Особенно это сказывалось у него по отношению к товарищам-художникам. В каждом из них он был склонеп видеть конкурента, в каждом их поступке иптригу, специально направленную против него. Настоящей же bête noire ** Головина сделался как раз К. Коровин, тот самый Коровин, которому Головин был обязан своим привлечением к театру и известным покровительством при его первых шагах на этом поприще. Иначе как «черным человеком» Головин за спиной его не называл, причем в таких случаях лицо его принимало выражение крайней настороженности и почти испуга. Это, однако, не помешало тому, что Головин, переселившись из Москвы в Петербург, занял при супругах Теляковских место «домашнего консультанта» по делам театральных постановок и постепенно совсем вытеснил с этого почетного (по тайного) положения своего товарища.

* Отчуждеппый, избегающий общепия *(франц.),* ** Антипатией, пугадом, жупелом *(франц.)*.

272

IV t 33. В Москве и в Киеве

В те же дни я посетил и Владимира Аркадьевича Теляковского, недавно назначенного на пост начальника Московской конторы императора ских театров. Под таким прозванием подразумевалось почти независимое от Петербургской дирекции управление казенными театрами в первопрестольной. И это знакомство не обошлось без «сюрприза». Дягилев уже успел до меня познакомиться с Теляковским и был в восторге от его энергии и предприимчивости, в частности от тех постановок, которые были затеяны им при сотрудничестве Головина и Коровина. По рассказам Сережи я себе представил Владимира Аркадьевича чем-то вроде Всеволожского, т. е. человеком маститым, спокойным и довольно сановитым. Я знал, что Теляковский служил до своего назначения в одном из самых аристократических полков столицы — в Конногвардейском, и уже это одно рисовало мне его в виде господина светского облика. На самом же деле мне навстречу «выбежал» какой-то штабс-капитан

в отставке. И этот человек, с манерами совершенно простецкими, в мундире без погон, сам поспешил отрекомендоваться: «Владимир Аркадьевич Теляковский»! Впрочем, это впечатление было скорее приятное. Если как-то впоследствии в одном из моих довольно свирепых отзывов о постановках Теляковского я его назвал «рубахой-парнем», то в основе такой характеристики лежало то мое *первое* впечатление от него. И все же впечатление это оказалось не менее ложным, нежели первое впечатление от «аристократической» ласковости Головина. Теляковский вовсе не был ни простаком, ни рубахой-парнем, а был оп очень хитрым и даже лукавым человеком, его же пребывание в офицерской среде придало ему только ту «бравую простоту» манер, которая подкупала на первых порах всех, с кем он входил в деловые отношения и которая, кстати сказать, была вообще в большом у нас ходу в дни царствования Николая П. Ведь и сам государь подкупал любого собеседника чем-то мило-простоватым, чем-то, что было и в чертах его лица и во всей его наружности.

Последним из художников в Москве я посетил Михаила Александровича Врубеля. Как я уже сказал выше, я узнал о самом существовании Врубеля только весной 1896 г. от моих новых знакомых — москвичей — от Нестерова, Переплетчикова, К. Коровина. Направляясь теперь лично знакомиться к Врубелю, который недавно переселился в Москву, я внутри себя очень желал, чтоб то дурное впечатление от его панно «Утро», которое он выставил на первой Дягилевской выставке, сгладилось, и чтоб то, что мне предстояло увидеть из его произведений, оправдало бы восторженные отзывы моих московских приятелей. Словом, я шел к нему с полной готовностью уверовать в его гениальность ... Однако я покинул Врубеля, после двухчасового пребывания в его обществе, очарованный, плененный — но не его произведениями, а им самим! По рассказам я рисовал себе его замкнутым, чуть таинственным гордецом, а вместо того я застал милого, простого, приветливого п необычайно отзывчивого человека. Да и наружность его, начиная с небольшого роста, и с черт лица, со светлой клинушком остриженной бородкой, почему-то производившей впечатление «француза» (и в говоре его, в его легком

картавленье слышалось тоже нечто «французское»),— все это отнюдь не внушало какого-либо «трепетного почтения», однако в то же время оно очаровывало. Очарован я был и женой Врубеля — прелестной Надеждой Ивановной Забелой, артистический талант и звучность голоса которой я успел оценить в ее выступление в

Мамонтовской опере в Петербурге. Но вот произведении у Врубеля на дому оказалось до крайности мало, а то, что он мне показал, не вызвало во мне восторга. Сам он придавал большое значение портрету жены, которую он изобразил сидящей на воздухе, в какой-то замысловатой шляпе 4, но и эта вещь скорее оттолкнула меня своей несуразностью и опять-таки какой-то неудачливостью. Мастерство было несомненно; оно сказывалось уже в том, как уверенно и с каким брио были положены мазки; характерно была передана поза и несколько игривое выражение лица. Но я не мог примириться со странной пестротой красок, к тому же портрет производил впечатление неоконченности — точно художник его бросил, недовольный своей работой.

При расставании Врубель снабдил меня подробной инструкцией относительно того, что мне нужно видеть в Киеве, и в частности, что именно принадлежит ему в стенописи Кирилловского монастыря, в которой его часть тесно сплеталась с остатками древней, реставрированной им же живописи. Кроме того, Врубель дал мне рекомендательное письмо к своему молодому приятелю и сотруднику по декоративным работам во Владимирском соборе — художнику Яремичу, в точности указав, где мне этого «бездомного» человека найти.

К сожалению, эта рекомендация пропала тогда даром. Явившись в то здание в ограде Киево-Печерской Лавры, в котором Яремич нашел себе с недавних пор приют, я его там не застал — он оказался гостившим у кого-то на даче в окрестностях города. Тем не менее, неудавшийся этот визит не прошел даром, а имел важные для меня, для нас обоих, последствия. Может ли быть в жизни что-либо более важное, нежели приобретение нового и преданного друга! И таковым-то закадычным другом Степан Петрович мне и стал, продолжая оставаться им как в отпошении меня самого, так и в отношении всей моей семьи — до самой своей смерˆ ти...6

* * *

В Москве в тот день, когда я ее покидал, стояла глубокая осень. Тем радужнее представилась открывшаяся передо мной картина, когда я приближался в солнечное утро к Киеву — залитому яркими и горячими лучами и утопавшему в густой листве все еще зеленых деревьев. Поистине Киев — один из прекраснейших городов на свете, а по своему своеобразному расположению над могучими водами Днепра и над бесконечными далями степи,— это даже *единственный* город. Я был в

совершенном упоении и все три дня, что пробыл в Киеве, не выходил из какого-то востерженного состояния. Главным образом, впрочем, этот восторг был вызван, так сказать, пейзажем, теми видами, которые открывались во

все стороны, тогда как я был скорее разочарован и даже **огорчен всем** тем, что мне довелось там видеть из памятников искусства.

Спору нет, что Софийский собор одно из самых почтенных сооружений византийской архитектуры, а его мозаики принадлежат к самому значительному, что оставил по себе XI век. Но, к сожалению, снаружи -собор совершенно утратил свой первоначальный вид и являет собой с XVII в. если и нечто довольно эффектное, то отнюдь не такое, что свидетельствовало бы об его глубокой древности. Впечатление строгости теряется благодаря блеску золотых куполов и высокой барочной колокольни. Внутри же огорчает какое-то общее убожество, какая-то голиз-яа, а местами и просто безвкусие, благодаря вторжению всяких чужих элементов. Знаменитые мозаики не только не составляют одного целого *с* архитектурными массами, но как-то «остаются сами по себе», точно они занесены сюда случайно или точно их доставили сюда, в это голое и унылое помещение, для какой-то временной выставки. Подобное же впечатление произвела на меня и Лавра, в которой отсутствует то величие глубокой древности, которое ожидаешь от такой знаменитой святыни. Расположена Лавра опять-таки живописно, а золото ее куполов сказочно поблескивает среди сочных куп украинских лип и тополей, но как архитектурный памятник Лавру никак нельзя отнести к грандиозным и прекрасным целостиостям. То ли дело какие-либо западные монастыри той же барочной эпохи — особенно в Швейцарии, в Австрии и в южной Германии! Или хотя бы как наш несравненный петербургский Смольный .монастырь!

Самое сильное из художественных впечатлений, испытанных мною в Киеве, я получил от Андреевского собора — от этой жемчужины времени имп. Елисаветы Петровны, возвышающейся на самом краю обрыва, откуда открываются виды на Днепр и на простор полей. Этот вид — «чудесное творение рук божиих», но чудесно вяжется с этой красотой и данное ■создание ума человеческого. Растрелли вложил в него все свое мастерство, все свое знание, все свое чувство пропорций, все, что в его искусстве представляет собой счастливое соединение особенностей итальянского и русского зодчества. Но. кроме того, любимец Елисаветы Петровны выказал здесь редкий вкус и такое изящное

чувство меры, которых, пожалуй, не найти в его других, более значительных по размерам, сооружениях. Невольно напрашивается на перо слово «игрушка», до такой степени формы Андреевского собора «улыбчивы», до того они подкупают! Однако эти резвые, веселые формы рококо, которыми так удивительно владел Растрелли, оставаясь резвыми и веселыми, так явно и убедительно слагаются в некое песяопенке во славу божию!

Увы, не нахожу в себе слов, подобных этим, для выражения впечатления, произведенного на меня Владимирским собором. Между тем я главным образом именно для него предпринял далекое путешествие. Задавшись целью написать историю русской живописи за последние два столетия, я не мог не высказать в ней свое суждение о таком значительном памятнике русской живописи, не увидав его собственными гла-

зами в действительности. Владимирским собором русские люди той эпохи гордились так, как разве только современники Рафаэля и Микеланд-жело могли гордиться фресками обоих мастеров в Ватикане. Считалось, что в этих стенных картинах и, в особенности, в колоссальном образе божией матери с младенцем на руках в полукружии абсиды, русское религиозное чувство вылилось целиком. Сотни тысяч наших соотечественников верили, что это так, а у некоторых это поклонение Васнецовской «Мадонне» доходило до известной экзальтации. Однако, увидав роспись Владимирского собора на месте, я простился с какими-либо иллюзиями.. Я был глубоко огорчен, но огорчился я не столько по вине Васнецова,. сколько потому, что энтузиазм, возбужденный у нас стенописью Владимирского собора, наглядно свидетельствовал о чем-то чрезвычайно неблагополучном в состоянии религиозного чувства во всем русском обществе *1**. Лично к Васнецову я, обозревая живопись Владимирского собора, скоро исполнился известного почтения. Я увидал огромный труд, причем труд весьма одаренного художника. Но беда была в том, что этот даровитый мастер взялся за задачу, которая была ему не по плечу! Не дано личным одиноким усилиям (при самой доброй воле) в условиях современной жизни преодолеть тот гнет духовного оскудения, которым уже давно болеет не только Россия, но и весь мир. Фальшь, присущая «стенописи» Владимирского собора, не личная ложь художника, а ложь, убийственная и кошмарная, всей нашей духовной культуры.

Еще более я был огорчен во Владимирском соборе своим «другом» Нестеровым. Его запрестольная картина, изображающая «Ро^ждество Христово», выдает и ужасающий дурной вкус и нечто сладковато-дряблое, что художник пытается выдать за нежно-

благоухающее. И это небыла частичная неудача — это выдавало в Нестерове нечто «непреодолимое», что расцвело затем махровым цветом в его церковных картинах: для церкви в Абастумане 6. В них Нестеров проявил уже настоящее «художественное ханжество». До этого момента я был склонен, закрывав глаза на многое, что мне претило, *ждать* от него какого-то *исправления*ˆ какого-то поворота к тому, что когда-то составляло прелесть его первых выступлений, его «Видения отрока Варфоломея» и «Св. Сергия в лесной пустыне». Однако после того, что я увидал это «Рождество», я понял, что Нестеров безвозвратно потерян для подлинного искусства. Этот человек таил многое весьма значительное, однако не то заботы суетного света, *пег* то какой-то изъян в его духовном существе, не то помянутые общие условия культуры задушили в нем эти благие семена, и личность религиозного живописца Нестерова осталась каким-то печальным недоразумением..

** Подобное же огорчение охватывает меня пьгне (в 1954 г.), когда я усматриваю,. в какое чудовищное изуверство превращается религиозное чувство части французского общества, допускающее всякие кривляния известного церковного снобизма. Все же фальшь Васнецова содержит в себе долю подлинного воодушевления; если в его творчестве и нельзя найти много «божественного», то все же это не бесовщина, тогда как через модернистские гримасы сквозит несомненное издевательство дьявольского начала!

276*ÏV> $3· & Москве и в Киеве*

Впрочем, под конец жизни, когда в России водворилась власть, вообще чуждая религии, религиозные измышления Нестерова оказались ни к чему не применимыми, он «лучше нашел себя» в писании портретов, некоторые из них отличаются довольно сильной характеристикой,

* * *

Во многих смыслах и художественной личности Врубеля грозит подобная же переоценка. По крайней мере, я так думаю теперь, тогда как в течение нескольких лет я был убежден, что Врубель действительно *гениальный* художник. Спрашивается, однако, было ли то мое суждение «вполне свободным» или оно зависело от разных влияний и больше всего от собственного *желания* в эту гениальность Врубеля поверить. Проверяя после стольких лет свои тогдашние убеждения, мне кажется, что я не был свободен от посторонних влияний, и больше всего

действовало то внушение, которому я подвергся со стороны моего друга Яремича. Вот кто *был* искренним и безусловным поклонником Врубеля, и это до такой степени, что он заражал своим увлечением и других. Действовало при этом то, что Яремич лично хорошо зпал Врубеля, так как жил в постоянном и близком общении с ним в Киеве, где он ему и помогал при орнаментальной росписи стен и сводов Владимирского собора. Из рассказов Степана Петровича я начал было познавать Врубеля, точно и я с ним состоял в близких отношениях. Я узнал всю его подноготную, все, что в его существовании было печального, романтического, ã в нем самом «демонического». Я через Яремича *полюбил* Врубеля и как человека, а это отозвалось на моем приятии его в душу как художника. Постепенно, однако, это наваждение стало затем (уже после безвременной кончины впавшего в безумие художника) рассеиваться, и теперь у меня к Врубелю как к человеку если и осталось чувство большой нежности, пропитанное жалостью, если я и признаю, что это был один из самых действительно одаренных натур конца XIX в., то все же я должен признаться, что мое отношение к нему было когда-то преувеличенным, что «гениальный по своим возможностям» художник оставил по себе творение в целом фрагментарное, раздробленное и по существу такое, которое гениалышм назвать нельзя. Крупицы «божественности» приходится в нем выискивать с трудом, отметая черты и вовсе недостойные, нелепые, моментами даже безвкусные и тривиальные.

Однако я забежал вперед, теперь же надо вернуться к осени 1899 г. и к моему пребыванию в Киеве, отмеченному, кстати сказать, совершенно райской погодой, удивительной ясностью и теплом, при полном отсутствии гнетущего зноя. Бродя пешком и разъезжая в такой дивной атмосфере по Киеву, я испытывал целыми днями такой силы *блаженство,* что во мне даже забродили мечты, не перебраться ли нам всей семьей в Киев.

В последний из таких райских дней я побывал и в лежащем на окраине города Кирилловском монастыре, специально для того, чтоб озна-

IV, 34, Училище Штиглица

til

комиться в нем с работами Врубеля. Посвятил я этому обозрению часа три и если и не покинул собор в состоянии какого-то восторга, то все же я был поражен тем, с каким мастерством написаны очень своеобразные «местные образа» в иконостасе (и особенно изображенная сидящей с младенцем на руках богородица) и с каким, я бы сказал, «вдохновенным

остроумием» он же реставрировал древние фрески византийского характера, а местами заново сделал к ним добавления (иные из этих добавлений прямо принадлежат целиком кисти Врубеля). Всюду пиетет к старине гармонично сочетается с порывами творчества свободной фантазии.

Глава 34

НАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

МОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ

В УЧИЛИЩЕ БАРОНА ШТИГЛИЦА.

ЯРЕМИЧ. ВИСЕНЬКА ПРОТЕЙКИНСКИЙ.

СКАНДАЛ С БАКСТОМ. СУБСИДИЯ ГОСУДАРЯ

Во время моего отсутствии наша новая квартира была приведена в полный порядок, и я смог уже «ощутить* ее как действительно «мой дом». Жизнь потекла безмятежно и на первых порах не обремененная теми насущными материальными заботами, которые периодически так меня мучили в дальнейшем. Хоть мы и дали себе слово обращаться с по-лучепными по наследству деньгами с величайшей бережливостью, все же приходилось затрагивать капитал, так как проценты с него были недостаточны даже для нашего очень скромного бюджета, однако сознание того, что довольно значительный запас все же имеется, действовал успокаивающим образом. Что же касается других заработков, то намечалась служба в Художественном училище барона Штиглица \ куда я был приглашен в качестве преподавателя по «истории стилей», но по условию с директором училища, архитектором Г. И, Котовым, я должен был приступить к своим лекциям только с нового года, так как мне нужно было основательно к ним подготовиться. К этой подготовке я (параллельно с моим изучением прошлого русской живописи) теперь и приступил. Впрочем, надо прибавить, что в смысле заработка эта «служба» не обещала мне дать обеспечения — жалованье было совершенно ничтожное, и согласился я на приглашение Котова только для того, чтобы как-либо «заявить о себе». На заработок же чисто художественный можно было

рассчитывать только в момент выставки, а до этого было далеко.

Через несколько недель после нашего водворения в Петербурге явился без предупреждения тот киевлянин — С. П. Яремич, к которому меня направил Врубель. Оказалось, что в моем посещении Киева и в том фак-

те, **что** я его **там** искал и не нашел, он увидел нечто вроде «перста судьбы» — ему-де не следует дальше откладывать свою поездку в Петербург, о чем он уже давно мечтал. Вот он и явился да чуть ли не прямо с вокзала — ко мне. Будь это другой человек, я, вероятно, испугался бы такой стремительности, я бы заподозрил, что меня этот незнакомец собирается использовать для своих, бог знает каких, целей. Однако один вид Степана Петровича и вся его манера сразу так меня расположила к нему, что я его принял с исключительным радушием, сразу почувствовав в нем единомышленника или «единодушника».

Что касается наружности Яремича, то перед нами предстал довольно высокий, несколько худощавый человек лет двадцати пяти, не более, рыжеватый блондин, с головой на шее несколько преувеличенной длины, с остриженной клинушком бородкой и с удивительно розовенькими, совершенно младенческими «щечками». Он чуть прихрамывал, и происходило это от какого-то природного дефекта в ступне (вследствие чего он и обувь носил по специальному заказу), но эта еле заметная хромота не мешала Яремичу быть неутомимым пешеходом. Говорил он с едва уловимым украинским акцентом, придававшим, однако, своеобразную прелесть его речи.

Вначале Яремич, видимо, робел, но впоследствии я убедился, что он вообще несколько утрирует свою природную робость, пользуясь ею как некоторым средством нравиться. Он охотно улыбался, приятно и часто смеялся. Сразу же стала приметной его склонность соглашаться с собеседником, но это его соглашательство не означало какого-либо заискивания, а обнаруживала лишь чрезвычайную мягкость характера и, пожалуй, известную шаткость собственных убеждений. Впрочем, в каких-то *главных* вопросах между нами сразу наметилось действительно большое единодушие. Были у Степана Петровича и разные причуды, но они только придавали ему лишний шарм. Одна из самых курьезных причуд была та, что он ни за что не желал сообщить, сколько ему лет, но и это было какое-то «кокетство» несколько женственного оттенка; женские черты вообще преобладали в его характере. Никогда он не говорил ни о своем прошлом, ни о своем происхождении, ни о своих родных, и

лишь случайно, много лет позже, я узнал, что его отец принадлежал к духовному званию. Пожалуй, нечто от семинариста или бурсака было и в Степане Петровиче, но он был бы ужасно огорчен, если бы узнал, что производит такое впечатление и что таинственность, которой он себя окружил, была отчасти разоблачена. Во всяком случае, детство и ранняя юность у него были, вероятно, незавидными и чем-то таким, о чем неприятно вспоминать; это не мешало ему интересоваться детскими и юношескими годами других и вообще «знать толк» в этой, не всякому доступной области.

Окутано тайной было и его образование. Он едва ли прошел весь куре среднеучебного заведения и уже наверное не побывал в университете, но это вовсе не помешало Яремичу принадлежать к числу людей высокой и глубокой культуры. Он, вероятно, самоучкой, движимый же-

насытной потребностью познания, дошел до всего. Кроме того, он обладал даром черпать для себя все нужное при всяком случае и главным образом в общении с людьми выдающегося ума и вообще «интересными». С особенной благодарностью он вспоминал о своем общении с другом Льва Толстого — художником Н. Н. Ге и с М. А. Врубелем. Немало почерпнул он и из общения с нашим кружком, в котором он довольно скоро занял подобающее ему место. Особенно близко он сошелся с Ну-роком и с Сомовым, но его полюбили и стали считать за своего и Философов, и Дягилев, и Бакст. В редакции «Мира искусства», куда я его ввел, как только увидал в нем ценного «союзника*, он очень скоро сделался своим человеком и бывал там не реже меня. К тому же, он оказывал там и заметные услуги как по части информации, так и в качестве отличного графика-шрифтиста. Из его литературных предпочтений нас несколько смущало его беспредельное поклонение Вольтеру, но и это принадлежало в Яремиче к его чудачествам и было настолько вне круга наших идей, что не возбуждало даже споров. Находился же этот культ Вольтера в связи с материалистическим уклоном мировоззрения Яремича, что поражало в нем тем более, что по всему своему облику (а во многих отношениях и по своим вкусам и взглядам) он производил впечатление человека, склонного к мистике и чуть ли не к аскетическому подвижничеству. Впечатлению чего-то «иноческого» способствовало и то, что он в те времена был неуклонным вегетарианцем. Последнее можно было объяснить еще и тем, что он когда-то (под влиянием Н. Ге) был адептом Толстого, и черты бывшего «толстовца» нет-нет в нем и

проглядывали. Вегетарианство Яремича огорчало мою хлебосольную Анну Карловну. Она не знала, чем его кормить, чем угощать. Когда в первое время нашего знакомства он невзначай оставался у нас к завтраку или к обеду, она, застигнутая врасплох, делала ему яичницу-глазунью и окончательно растерялась, когда обнаружилось, что именно яйца Яремич терпеть не может. Зато этой его идиосинкразией воспользовалась наша крошечная Едена, обладавшая ненасытным аппетитом. Улучив момент, когда внимание хозяйки было чем-либо отвлечено, Степан Петрович с ловкостью фокусника перебрасывал то, что было приготовлено для него, на тарелку своей маленькой соседки, и та поглощала эту прибавку в один миг *1**.

** Еще одной причудой Яремича была его беспредельная вера **в** доктора Распайля, самолечебник которого он буквально знал наизусть и предписания которого он исполнял с неуклонной точностью. Среди разных целебных средств, почерпнутых из чтения Распайля, на первом месте фигурировал алоэ, который наш друг то и дело принимал в натуральном виде и при помощи которого он боролся с «главным врагом здоровья» — «крепким желудком». Алоэ — вещь несомненно прекрасная, однако действие его на организм со временем притупляется, что приводит к постоянному усилению дозы. В этом усилении дозы Яремич дошел до того, чтс стал глотать уже не крупинки, а целые куски этой отчаянной горечи. Возможно, что эта система послужила и тому, что он умер сравнительно рано (кажется в 1938 г.; мы узнали об его кончине в Петербурге гораздо позже), **но возможно, что причиной** ею **кончины** была **и все усиливавшаяся преданность вину.**

/F, *34. Училище Штиглица*

Прибавляю еще, что другом Яремич стал мне очень скоро и что потребность в его обществе приобрела во мне даже характер некоторой мании. Он удивительно благотворно действовал на мое настроение и обладал ценнейшим и столь редким свойством распространять вокруг себя уют. Тем не менее, мы тогда не перешли на «ты» и на обращение по имени (без отчества). Но не стали мы «тыкаться» даже после того, что выпили (приблизительно на двадцатом году нашей дружбы) на брудершафт. Нам обоим, при всей интимности нашего сближения, почему-то нравилось сохранять тот стиль, который установился в самом начале нашего знакомства. Не был я на «ты» и с Нуроком.

У меня когда-то было несколько сделанных с Яремича набросков — довольно схожих и характерных. Самой удачной была та карикатура, которую Серов нарисовал (приблизительно в 1902 г.) и которая изображала Степана Петровича Яремича в виде привязанного и подвешенного к дереву, проткнутого стрелами Святого Севастьяна. Этот рисунок карандашом, только слегка подкрашенный для передачи типичности ро-зовеньких щечек нашего приятеля, вызвал общий восторг. И он был торжественно водружен (приколот булавками) в той же редакционной комнате, на обоях которой все мы висели, представленные в самом потешном виде. Рисунки эти были сделаны Серовым, Бакстом и мною. Я сам был изображен Серовым в виде оранг-утанга, влезшего на пальму и бросающего оттуда орехи на прохожих; Дягилев — в виде совершенно одряхлевшего и обрюзгшего сановника («Директора театров»), принимающего доклад от своего «чиновника особых поручений» — Валечки Нувеля; этот последний был представлен (Бакстом) в виде собачки-таксы, одетой в форменный виц-мундир.

Не был я на «ты» со «Стипом» (так его прозвали наши дети), но не перешел я на ты и с другим довольно близким нам человеком — с «Висенькой». Но тут не дало до этого дойти время. Моя дружба с этим совершенно первостатейным чудаком длилась всего один десяток лет, а затем наши пути окончательно разошлись, и я продолжал встречаться с ним крайне редко. А был Висенька, иначе говоря Виктор Петрович Протейкинский, дальним родственником не то Философовых, не то Дягилевых, и одно время несмепным завсегдатаем наших сборищ в квартире родителей Философова или у Сережи, а затем и в редакции «Мира искусства». Оценил я его чуть ли не с первого же дня

знакомства, но короче мы сошлись, когда Висенька стал бывать у меня чуть ли не ежедневно, и это потому, что он, по моей просьбе, взял на себя корректуру моей «Истории русской живописи». То был мой первый предназначенный для печати труд, и я еще не был достаточно опытен в деле проверки и исправления текста. Висенька же славился и своим основательным знанием русского языка, и крайней своей дотошностью. Был он человек нуждающийся, и мне было приятно дать ему небольшой заработок. Висенька просиживал у нас тогда целыми днями, занятый, впрочем, не одной только корректурой (ее было не так уже много), но и разговорами на всевозможные темы со мной и с моей женой. Умел он

ладить и с нашими девочками. Особенно трогателен был Висенька, когда я довольно серьезно заболел воспалением легких, и он не отходил от моего одра. Он вообще *любил* «сторожить болящих», а тут выдалась ему оказия сделаться каким-то неотступным сидельцем, причем он с неумолимой строгостью соблюдал предписания врача относительно лекарств и вообще всячески за мной ухаживал. То был кульминационный пункт нашей дружбы, а затем она не то что пошла на убыль, а как-то оказалась оттиснута всяческими обстоятельствами.

О внешности Висеньки можно судить по необычайно схожему литографическому портрету Бакста 2*. Глядя на это изображение, можно подумать, что художник представил тип в стиле Кнауса или Владимира Маковского, изображающий какого-либо провинциального актера или «отставного учителя». Однако представлен здесь подлинный Виктор Петрович, и представлен без всякой утрировки — таким, каким он был в жизни. Это тот самый Висенька, который нас бывало журил, а то и до слез смешил. В нем было что-то и от классического педагога, и от комического лицедея, и от клоуна. Один его облик располагал к смеху; он это знал и извлекал из этого какой-то своеобразный успех. Он *любил* смешить, но вызывал смех отнюдь не какими-либо анекдотами или острыми словечками, а длиннейшими рассказами (едва ли не намеренно сумбурными), либо *блестящими* спорами, точнее, речами дискуссионного характера. И, пожалуй, эти речи, подносившиеся с самым серьезным и убежденным видом, были еще смешнее, нежели его смешные истории. Надо себе при этом вообразить этого довольно коротконогого человека с физиономией «гениального музыканта» (он был чертами лица похож на Листа в старости), с неряшливо причесанными, точнее, вовсе не причесанными, жирными от запущенности волосами, в засаленном долгополом сюртуке. Надо

вообразить себе все разнообразие его крайне выразительной мимики и всю его патетическую жестикуляцию. Спорил же он с азартом, с упоением, обожая самый процесс спора, всю эквилибристику логических построений. И, как ни странно, этот беспредельно добрый в жизни человек достигал иногда в увлечении спором большой язвительности. Он «громил врага», «повергал его в прах», и в эти минуты жалости не было доступа в его пропитанное евангельской любовью сердце.

Что касается до его личных убеждений, то добраться до самой сути их было трудно. Он был поклонником, а то и прямым *учеником* Владимира Соловьева, но мысли Соловьева, обрастая по пути изложения их Виктором всевозможными неожиданными экскурсами и цветами красноречия, становились подчас неузнаваемыми. Висенька был типичный ритор. Я представляю себе подобные фигуры где-либо на афинской Агоре или в воротах иерусалимских городских башен, где толпились всякие профессиональные говоруны и пророки. Но я не прав — то были главным

Этот портрет иомещен, среди десятка других оригинальных литографий, в альбоме. изданном «Миром искусства» 2 около 1900 г. Может быть (я теперь не помню), и Серов сделал с него литографированный портрет.

282

IV, 34. Училище Штиглица

образом «лгуны и шарлатаны», предававшиеся словоблудию из стяжательных соображений; душа же Висеньки была кристаллической чистоты и даже тогда, когда, увлекаемый собственным красноречием, он впадал в путаный лабиринт парадоксов, он оставался по существу *правдолюбцем.* Назвать его пустым краснобаем никак нельзя. Он верил, в то, что вещал, он горел желанием заразить других своим ощущением правды... Но вот, в трансе элоквенции верх брало какое-то *художественное* начало. Это был такой фейерверк слов, сравнений, цитат, придирок к оппоненту, иногда даже каких-то провокаций, все это так переплеталось с бичующим юмором, во всем этом было столько «актерского парада», что это отнимало у его речи убедительность. Возникали сомнения в том, искренен ли Висенька или он только дурачит и себя и других...

Всех курьезных черт Висеньки не перечесть, но некоторые заслуживают особого упоминания. Так, например, он считал нужным, встретив на улице любую похоронную процессию, присоединиться к ней и проводить совершенно ему незнакомого покойника до самой могилы. Из-за этого чудачества случалось, что он опаздывал к назначенному времени (и даже по делу

важному) на целые часы. Целомудренность Висеньки не шла ни на какие уступки, и раза два-три происходили на наших сборищах настоящие скандалы потому, что мы забывали, что в его присутствии нельзя говорить каких-либо сальностей, между тем как это было общей для всей компании с самых гимназических лет весьма непохвальной, но и безобидной привычкой. Нельзя было при нем делать и малейших намеков, набрасывавших тень на репутацию кого-либо. При этом не мешает заметить, что родной брат Висеньки, с которым он жил в одной квартире, был на весь город известным гомосексуалистом, а это в то время было чем-то еще бесконечно более предосудительным, нежели это стало впоследствии. Мы этого брата никогда не видели, но шла молва, что он во всем является полным контрастом Виктора Петровича. Насколько последний был неряшлив и даже попросту грязен, настолько тот был фатоват, изящен в своих одеждах и отличался щегольской опрятностью, что должно было ему придавать при его горбатости особую карикатурность.

Из особенно смешных эпизодов нашего общения с Виктором у меня в памяти остались два, принадлежащие вообще к самым веселым минутам, когда-либо мной пережитым. Я и все друзья дохохотались при этих случаях буквально «до упаду», до настоящих болезненных корчей. Но для того, чтобы убедительно выразить, в чем тут была соль, потребовался бы юмористический гений Диккенса или Гоголя... В первом случае (это происходило еще в самом начале пребывания Дягилева в Петербурге, у него в снятой им отдельной квартире; мы еще мало знали Ви-сеньку) он вздумал заступиться за одну даму-благотворительницу, известную всему городу, а как раз тогда оказавшуюся замешанной в какую-то скандальную историю, произошедшую в одном опекаемом ею приюте. Ходили слухи, что в этом заведении были обнаружены ужасающие и притом коллективные непотребства среди призреваемых юных си-

рот; причем цитировались и имена тех патронесс, которые не только эти непотребства допускали, но и сами принимали в них участие. Мы этих дам знали только понаслышке, да и коснулись в разговоре этого скандала совершенно случайно, перебирая всякие «актюалите» * того момента. Но оказалось, что Виктор Петрович отлично обо всей этой истории осведомлен, что этим заподозренным дамам он благоволит и потому он, вмешавшись в нашу беседу, сразу взял тон адвоката — защитника в деле, ему во всех подробностях знакомом. Эта-то «защитительная речь» Виктора Петровича, начавшаяся, когда уже пробило полночь и мы уже собирались разойтись по домам, продлилась затем *полных*

три часа без передышки (он не давал никому вставить слово), но речь эта была до того блестяща и до того *смешна,* что мы постепенно из равнодушных и даже немного досадующих слушателей превратились в людей живейшим образом заинтересованных, а к тому же как-то *опьяненных стихией смеха.* Если же меня теперь спросят, что же было столь смешного в этом plaidoyer **, то я не сумею объяснить. Известная доля комизма заключалась, во всяком случае, в том, как целомудренный Висенька, взявшийся за такую скабрезную тему, *лавировал* между весьма рискованными деталями и все же, по необходимости, в интересах своей защиты касался их и даже вдавался во всевозможные «технические» подробности... Все это, сказанное с абсолютно серьезным видом, и даже с видом величайшего удручения (обиды за невинно заподозренных), со всеми интонациями заправского присяжного поверенного, приобретало такую степень гротеска, что тут только оставалось отдаться смеху — точно перед нами не уважаемый собеседник, а какой-то блестящий шут-пародист. Первый час речи все еще как-то крепились, так как опасались, как бы не обидеть милого человека, но когда внезапно прыснул Дима Философов, а Висенька не обратил па это ни малейшего внимания и отнюдь не смутился, то постепенно, один за другим, и все прочие дали волю своему веселью.

Второй незабываемый сеанс смеха, вызванного Висенькой, произошел на одном из заседаний «Религиозно-философского общества». Виктор был, кажется, членом «Общества» и, во всяком случае, непременным посетителем его собраний, причем он почти каждый раз выступал с теми или иными возражениями, а то и с каверзными вопросами, обращенными «к уважаемому докладчику». Председателю приходилось не раз, и даже не без строгости, призывать его к порядку, усматривая нечто вроде провокационной западни в этих неожиданных выступлениях Виктора. Но в тот вечер Висенька заблаговременно сам записался в качестве *докладчика,* и ему по правилам наших собраний нельзя было не предоставить высказаться полиостью. Председательствовал на этом вечере как раз Д. В. Философов, который в перерыве всячески убеждал своего родственника сократить длину своей речи и сдержать свой азарт. Но

От actualités *(франц.)* — злободневные новости. Выступлении *(франц.),*

IV, 34. Училище Штиглица

ничего не помогло. Виктор Петрович влез на кафедру 3*, таща за собой тяжелую охапку книг и каких-то религиозных журналов, и вот свою речь он поминутно уснащал цитатами, которые он черпал по закладкам из этих томов и брошюр, манипулируя ими с чисто жонглерской ловкостью. Надлежало уличить в противоречиях какого-то особенно Виктору не полюбившегося священника (фамилию я забыл), выступавшего на предыдущем собрании. Речь этого почтенного с виду, довольно тучного и довольно сановитого попа показалась нам тогда не особенно интересной, и выслушали мы ее скорее со скукой. Но не безразлично отнесся к ней Висенька. Он заподозрил священнослужителя в чем-то сугубо еретическом и счел своим долгом эту ересь разоблачить и разбить.

Началось и тут с очень солидного и даже строгого вступления, нр постепенно оратор стал увлекаться своей задачей выставить оппонента в смешном виде, для чего ему и понадобились все принесенные с собой книги. Дело в том, что одна часть цитат из книг была когда-то высказана тем же духовным лицом, и вот оказывалось, что те прежние его мыс-г ли были в полном противоречии с тем, что он говорил в последнем со-? брании. Другая же часть цитат являлась текстами разных авторов, на которые ученый батюшка ссылался, но которые, прочитанные Виктором с надлежащим выражением, приобретали совершенно новый смысл. И опять на сей раз какая-то стихия смеха стала овладевать Висенькой, заражая всю аудиторию. Тщетно председатель пытался остановить расходившегося обличителя, тщетно раздавался его звонок. Висенька не унимался и все дальше и дальше углублялся в дебри своей казуистики; никакие силы остановить его не могли. Уже давно весь зал стонал от хохота, а несчастный батюшка, красный, как рак, сидел в первом ряду, лишь изредка пытаясь выразить протест; книги с цитатами подскакивали в руках Висеиьки, и слова, слова, слова продолжали литься непрерывным потоком. Букетом этого своеобразного спектакля явилось то, что сам председатель паконец не выдержал и разразился неудержимым смехом, после чего и Виктор Петрович последовал за ним, на чем и закончилось это единственное в своем роде словопрение. Время оказалось очень позднее, и когда хватились посрамленного батюшки, то его и след простыл — он бежал с поля сражения...

В последующие годы и я, и вся наша компания все реже стали встречаться с милым Виктором Петровичем, а о кончине его я

узнал уже по прошествии некоторого времени. Это случилось в первые годы первой мировой войны (или немного раньше; возможно, что я был в это время в Москве). Д. В. Философов присутствовал при кончине своего родственника; его позвал брат Висеныш, когда положение последнего стало безнадежным. Тут только Философов узнал, что Висенька уже

Это происходило в помещении Польского женского клуба на Фонтанке, где наше «Общество» временно устраивало свои заседания, после того, что мы перестали пользоваться гостеприимством «Географического общества» на Театральной улице.

*IV, 34. Училище Штиглица*285

давно хворает и что к физическому недугу (что-то в связи с грыжей или с кишечником) присоединилось и нечто психическое — род тяжелой афазии или ипохондрии. Уже более месяца, как Виктор не покидал своей комнаты и не сходил с постели, пренебрегая даже самыми элементарными требованиями гигиены при исправлении своих нужд. Он буквально оброс собственными нечистотами, и запах в его полутемной конуре стоял такой, что Философову сделалось дурно, когда он в нее проник. Виктор тотчас был перевезен в больницу, где его сначала не без труда всего отчистили, а потом посадили в ванну. И тут случилось нечто удивительно трогательное: он, совершенно забывший ощущение прикосновения теплой воды к телу, принял это пребывание в ванне за райское блаженство. Как малый ребенок, он плескался, забавляясь возникавшими пузырями. Затем он съел несколько конфект, которые, по его просьбе, ему привез кузен Дима, а через несколько часов отдал господу свою праведную душу...

С момента возвращения из своего маленького путешествия в Москву и в Киев я становлюсь ближайшим сотрудником нашего журнала, которому шел теперь одиннадцатый месяц. Впрочем, раз в неделю, если не чаще, весь состав редакции, иначе говоря, наша старинная дружеская компания, к которой прибавилось несколько лиц (В. Я. Курбатов, Коля Лансере, «Кика» Ге3, А. П. Остроумова), собирались у меня. Таким образом, «Мир искусства» имел как бы две резиденции — одна, главная и официальная, в которой находилась и самая «кухня», естественно, помещалась в квартире фактического создателя и двигателя «Мира искусства» — Дягилева, другая — более интимная — у меня. Сережина квартира была все та же, снятая им лет пять назад в четвертом (верхнем) этаже дома № 45 по Литейному проспекту. Но осенью 1900 г. он переехал на новую, более эффектную, в третьем этаже дома № 11 на Фонтанке. Местом наших собраний служила по

большей части столовая со стульями стиля жакоб, но деловые визиты принимались рядом, в увешанном картинами кабинете, там Сергей Павлович, восседая на очень красивом кресле XVII в., работал, тогда как в конце темного коридора, в двух комнатах во двор, помещалась техническая часть, и там же была спальня Сережи. В помощь Философову был нанят специальный бухгалтер — чахлый, желтый, вечно потный г. Штюрцваге; он же составлял текст деловых писем, в особенно же трудных случаях призывался на помощь Валечка, которому от места службы его (канцелярии министерства императорского двора) на Фонтанке было два шага. В одной же из последних комнат можно было почти всегда найти Бакста; Сережа и Дима засадили туда покладистого Левушку за довольно неблагодарные графические работы и главным образом за ретушь фотографий, отправляемых в Германию для изготовления с них клише4*; Бакст рисовал и особенно нарядные подпи-

4* Особенно обильная работа этого рода выдалась нашему другу во время издания «Ежегодника императорских театров». Ему принадлежали все фоны позади фигур артистов, там представленных.

си, заглавия, а то и виньетки. Левушка любил эту работу и исполнял ее с удивительным мастерством; к тому же, он все еще нуждался в те дни, а работа эта давала ему небольшой, но довольно верный заработок. Платили («гроши») за аналогичные работы и Жене Лансере, вскоре и Яремичу (а там, еще позже, Добужинскому, Билибину и Замирайле). Некоторую материальную пользу из сотрудничества в журнале извлекали себе и оба наших официальных редактора, Сережа и Дима, но это было дело тайное, и общие бюджетные вопросы никогда в наших собраниях не обсуждались.

Настоящим заведующим редакционной «кухни» был Дмитрий Владимирович, и он очень ревниво оберегал свою абсолютную автономность в •этой области, не подпуская к ней даже своего кузена Сережу. Вовсе не парадно и даже не уютно выглядела эта кухня-лаборатория, так как она очень скоро завалилась всякими пакетами, ящиками, грудами цинковых клише и целыми тоннами бумаги. Дима не позволял прибирать периодически образовывавшийся беспорядок, но сам он прекрасно в нем разбирался. Напротив, в парадных комнатах все выглядело чинно и изящно. Того требовал Сережа, и за этим следила старушка-няня, непременная, но совершенно безмолвная председательница ежедневных (с четырех до семи) чаепитий. В помощь ей был нанят удивительно расторопный молодой лакей Василий,

прекрасно подошедший ко всему стилю дяги-левского «дома». Нянюшка — типичная деревенская старушка, бывшая крепостная, с трудом ковыляла на своих опухших ногах, лицо ее было измято морщинами, в глазах было что-то тревожно вопрошающее. Сережу она обожала и позволяла ему делать с собой все, что ему вздумается. Он и дразнил ее, и тискал, а иногда на нее и покрикивал довольно грозно, но все же «любя». Мы все уважали нянюшку и считали ее «своим человеком». Хоть она ровно ничего не понимала в наших беседах, однако ее взор часто выражал тревогу, особенно когда голоса спорящих подымались и дело доходило до криков, а то и до взаимных (не очень обидных и чисто «гимназических») ругательств. Ей все подавали руку, я же позволял себе и обнимать эту чудесную женщину — выходца из совершенно иной эпохи.

В общем жизнь в редакции носила оттенок благодушный, с уклоном во что-то забавное, но как-то раз приключилось и нечто весьма неприятное, я бы даже сказал — «постыдное». А именно, Сережа с Димой вышвырнули Левушку Бакста за дверь — на лестницу! Так-таки: схватили, сволокли его, сопротивляющегося и негодующего, до входных дверей и вытолкнули на площадку, выбросив вслед и зимнее пальто, и шапку, и калоши. Произошел же этот невероятный и поистине возмутительный казус по причинам, очень специальным.

У Левушки был брат — Исай Розенберг, с виду неудачная копия своего старшего брата. Он был такой же рыжеволосый, горбоносый, однако все то, что в наружности Левушки складывалось в нечто скорее привлекательное и не лишенное изящества, то в Исайке превращалось в довольно отталкивающий тип неаппетитного, чтобы не сказать хуже,

IV, 34. Училище Штиглица

287

«жиденка». Так, золотистый оттенок волос Левушки в новом издании сделался красноватым, и цвету шевелюры соответствовало покрытое* веснушками лицо. Подобный же «неавантажный вариант» замечался и в; говоре младшего брата. Чуть шепелявящий, но безупречный в грамматическом смысле говор Левушки выдавал лишь в некоторых протяжно-недоуменных интонациях его принадлежность к племени Израиля, у Исай-ки же шепелявление и вообще все произношение слов доходило до карикатурности, до той манеры, в которой принято рассказывать «жидовские анекдоты». И характеры обоих братьев представляли подобные нюансы расовых особенностей. Левушка, приобщившись к светской жизни, утратил до известной степени свою милую наивность, а вместе с тем и долю своего

прежнего прямодушия, но при всем том он, в общем, не переставал быть «вполне порядочным человеком», он даже неирочь был выказывать известное «благородство чувств». Напротив, Исайка был жалкой,. подхалимо-плутоватой натурой — sans foi, ni loi *. Ни ко мне, ни к Сереже он не был вхож; и мы только изредка его встречали и тогда каждый раз старались скорее от него отвязаться. На такое отношение к брату Левушка ничуть не жаловался, будучи и сам непрочь выставить Исайку в неприглядном виде. Но вот этот же Исай Самойлович Розенберг после ряда лет, загнанного и даже бедственного существования (в течение которого ой находился всецело на иждивении брата) вдруг начал приобретать известное общественное значение. Когда-то он не мог и трех слов связать, а тут вдруг превратился в «нечто к литературе причастное»: он заделался постоянным сотрудником популярной «Петербургской газеты», где его Довольно бойкие, всегда со скандальным привкусом заметки не только не отличались от общего пошловатого тона, но вполне гармонировали с ним. Иногда репортеру Исайке удавалось преподнести и нечто сенсационное и возбудить бурю (в очень небольшом) стакане воды.

Все это «восхождение» Исайки прошло для нас незамеченным; он и не подписывался своим именем, а его газета (имевшая усердных читателей главным образом среди мелкого купечества) лишь изредка и случайно попадала нам в руки. Но положение изменилось с момента «нашего приближения к театру», т. е. с момента назначения князя Волконского директором, а Сережи — его чиновником особых поручений. С этих пор разные интимные события, происходившие в императорских театрах, перестали быть для нас тайными, и естественно, что среди посвящаемых в театральные секреты был и Бакст, который был жаден до всяких сплетен, особенно с тех пор, как закулисный мир стал ему близок благодаря его роману с артисткой Ж. К тому же Бакст начинал чувствовать какое-то специфическое призвание к театральной деятельности. Все мы умели хранить поверенное нам под большим секретом, и уже, во всяком случае, мы воздерживались от распространения этих иногда и довольно пикантных тайн, но вот Левушка обладал в лице родного брата настоящим «газетным детективом», который как раз все, что ему менее

Без чести, без совести *(франц.)*.

IV, 34. Училище Штиглица

всего полагалось знать и что, во всяком случае, не должно было попадать в печать, вынюхивал и выслеживал с усердием. Со своей стороны, у Левушки не хватало выдержки от Исайки особенно интересные вещи скрывать. У нас даже возникали подозрения, что для того, чтобы угодить брату, он эти секреты иногда и сам, по собственному почину, выдавал. Как бы то ни было, после ряда случаев, когда Левушке «влетело» от Сережи и от Димы за его manque de discretion *, в газете Исайки появилась однажды какая-то особенно сенсационная новость из театрального мира, и тут не оставалось сомнения, что произошло это «через канал» Левушки. Дима и Сережа стали его за это попрекать, Левушка, чувствуя себя в душе виноватым, очень глупо оправдывался; слово за слово, дело дошло до настоящих и оскорбительных ругательств и, наконец, наш друг и член редакции был вытолкнут за дверь и подвержен немилосердному «навсегда» изгнанию. Происходило это поздно вечером, и, кроме названных лиц, никого из нас в редакции уже не было.

При всем своем уродстве, эта история прошла бы в жизни «Мира искусства» без заметных последствий, подобно тому, как проходили всевозможные подобные ссоры не раз. Ведь уже через неделю «вышвырнутый» Левушка восседал, как ни в чем не бывало, в своей рабочей комнате в конце коридора и усердно ретушировал фотографии, а выйдя к чайному столу, он принимал со всегдашним своим веселым добродушием участие в общей беседе. Да и мы пожурили Диму и Сережу за их безобразный поступок, но поспешили забыть то, что они сделали. Совсем иначе взглянул на случившееся Костя Сомов. Он не только принял к сердцу обиду, напесенную другу, но решил из-за этого порвать с Сережей и с Димой, а решение свое безотлагательно привел в исполнение, послав по адресу Дягилева негодующее письмо, в котором он в очень резкой форме объявил, что покидает «Мир искусства» и отныне вообще не желает продолжать знакомство с его редактором. Сережу это письмо бесконечно *огорчило.* Из всех своих друзей-художников Дягилев возлагал именно на Сомова самые большие надежды, и выражалось это в каком-то постоянном *ухаживании* за ним и даже в самом тоне, в котором он к нему обращался. Как раз тогда, незадолго до скандала, он заказал Косте от имени дирекции театров несколько программ для эрмитажных спектаклей, да и новая прелестная обложка журнала, заменившая неудачную коровинскую с начала 1900 г., была сделана по рисунку Сомова.

И вдруг — такой оборот! И за что же? За то, что «немножко бесцеремонно» было поступлено с Бакстом, чему ведь имелись многие аналогичные прецеденты. Сережа, получив письмо, сразу примчался ко мне и чуть ли не со слезами на глазах потребовал от меня, чтоб я немедленно устроил его примирение с Сомовым, я поспешил с этим поручением и тотчас же поехал к Косте, у которого встретил Нувеля. Соединенными усилиями мы стали убеждать нашего друга, чтоб он сменил гнев на милость. Но никакие доводы и убеждения не смогли сломить

Нескромность, недостаточную сдержанность *(франц.)*.

*IV, 34. Училище Штиглица*Ž89-

упрямство Сомова. Он остался при своем, и это решение порвать как с` Сережей, так и с Димой он затем провел на деле, если и не с полной выдержкой, то все же в достаточно показной, демонстративной форме.

Должен сказать, что мне это упорство Сомова тогда же показалось' несколько странным; раз сам пострадавший снова появился у Сережи,* то решение Кости быть plus royaliste que le roi * с очевидностью показывало, что для него разрыв является лишь чем-то *желательным,* что он ухватился за первый представившийся предлог. Тут могло играть роль и нечто старое, издавна затаенное. Несомненно, на Костю, такого тихого, деликатного, особенно болезненно действовал весь «жанр» Дягилева, его заносчивость, его барские замашки. Все это до того не нрави-` лось Сомову, что он при всей своей чуждости к аристократическим предрассудкам все же считал Дягилева за своего рода выскочку (parvenu), тогда как он, Сомов, потомок татарских царевичей и принадлежащий к одному из стариннейших дворянских родов, «записанных в VI Бархатную книгу»4, и не помышлял показывать свою подлинную принадлежность к благородному сословию. Кроме того, возможно, что в ненависти к Дягилеву у Сомова могли быть и чисто личные, интимнейшего порядка основания. Хоть уже прошла «институтская» нежность и квази-влюб- ` ленность между ним и Философовым, хоть с момента выхода Сомова из гимназии общение между обоими юношами почти и вовсе прекратилось (Сомов никогда не заходил к Философовым), однако все же не исключена возможность, что он не без горечи переносил то явное предпочтение, которое оказывал его бывший, его самый сердечный друг к «пришельцу».

Как бы то ни было, разрыв Сомова с Дягилевым из-за Бакста произошел. Мои старания не привели ни к чему и после того, что я устроил -встречу (неожиданную для Сомова, заранее условленную для Дягилева) у себя и я их при появлении Дягилева

во время того, что Сомов сидел у меня, «заново познакомил». Сомов, предполагавший провести у меня несколько часов, едва коснулся протянутой руки Дягилева и тотчас же попрощался... Сережа же после того действительно всплакнул настоящими слезами... Это выбытие одного из самых близких людей из состава нашей общей работы означило трещину, которая затем не переставала нас огорчать.

* * *

Другим весьма неприятным событием в жизни редакции^ «Мир искусства» за первый год его существования был отказ княгини Тени-шевой от дальнейшего субсидирования. Этот удар был тем более ощутителен, что и другой наш меценат, С. И. Мамонтов, незадолго до того . уже отказался нести взятую им па себя часть расходов по изданию журнала. Но в Мамонтове действовал не каприз, не обида, не разочарование, а то, что Савва Иванович оказался сам в очень тяжелом финансовом

* Более роялист, чем сам король *(франц.)*. 10 Заказ *Н* 2516

положении: он был отдан под суд (я никогда в точности не знал, в чем дело, но то было нечто связанное с его многочисленными и частью очень рискованными предприятиями) 5 и к чему-то приговорен, что его совершенно разорило. Мамонтов, такой ловкий, отважный и толковый в делах художественно-творческого порядка, запутался в «делах просто деловых».

Для «Мира искусства», только что тогда начинавшего свою деятельность и встречавшего в широкой публике далеко не сочувственное отношение, эти две «измены» могли бы стать просто роковыми. Некоторое время мы осенью 1899 г. и жили в том убеждении, что песенка журналу спета, что мы вскоре перестанем фигурировать на общественной арене в качестве чего-то сплоченного и тем самым значительного... Но тут «произошло чудо»! Спас нас сам царь-батюшка, а точнее,— спасло заступничество перед ним Серова. Зная вкусы государя в искусстве (или скорее его равнодушие к художественным вопросам), мы менее всего могли ожидать, что помощь явится с этой стороны. Особенно мало основания, казалось, могло быть для того, чтоб Николай II пожелал поддержать нечто, в чем людская молва (и, в частности, молва высших кругов) видела проявление известного свободомыслия. Но как раз тогда Серов,

уже находившийся в зените своей славы, был занят писанием портрета государя и бывал ежедневно в Зимнем дворце. Пользуясь известной свободой, которая царила во время сеансов, Валентин Александрович и поведал государю то, что его тревожило. С убедительностью, основанной на прямоте, ему удалось повернуть дело так, что Николай II по собственному почину выказал желание прийти на помощь гибнущему делу. Эта помощь, выдававшаяся из «собственной его шкатулки», ограничилась всего десятью тысячами рублей (что в то время равнялось двадцати пяти тысячам франков), но этого было достаточно, чтобы продлить жизнь журнала, а там примеру царя последовали и несколько частных лиц (С. С. Боткин, И. С. Остроухов, кто-то из Морозовых и т. д.), внесших также свои немаловажные лепты. Жизнь «Мира искусства» была спасена.

Глава 35

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО. КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ. В. В. РОЗАНОВ

Д. Философову целиком принадлежит честь создания в «Мире искусства» отдела, посвященного вопросам философического и религиозно-философского порядка; он же всячески стремился этот отдел расширить, что происходило не без сопротивления со стороны прочих членов редакции, включая сюда и Дягилева. С другой стороны, было бы ошибкой считать, что этот отдел возник исключительно по личному желанию Фи-лософова, и еще большей ошибкой, что тут действовало какое-либо угож-

дение известному кругу публики, что этот отдел не отвечал душевным запросам многих из нас, в том числе меня, Бакста и Нувеля. Мы все были в те годы мучительно заинтересованы загадкой бытия и искали разгадку ее в религии и в общении с людьми, посвятившими себя подобным же поискам. Отсюда получилось привлечение в сотрудничество по журналу четы Мережковских, Минского, Перцова, Шестова, Тернавцева и в особенности Розанова; отсюда же и образование «Религиозно-философского общества» *, которого названные лица (и я в их числе) были членами-основателями и собрания которого стали сразу привлекать к себе не только самых разнородных лиц из «мирян», но и многих духовных. То была пора, когда в православном духовенстве стало намечаться стремление к известному обновлению и к освобождению от гнетущего верноподданничества и от притупляющей формалистики. Именно

с целью войти в контакт с духовными пастырями и в надежде, что это сближение поможет нам во многом (и в самом главном) разобраться, были предприняты шаги, среди которых одним из самых важных, казалось нам, было личное знакомство с петербургским митрополитом Антонием.

Испросив через Тернавцева (состоявшего на службе в святейшем Синоде) аудиенцию, мы в один прекрасный вечер и отправились небольшой группой в Лавру, где наша разношерстная и для тех мест весьма необычайная компания была принята с видимым любопытством. Участвовали в этой поездке супруги Мережковские, Тернавцев, Минский, Розанов, Философов, Бакст и я. Д. С. Мережковский и Минский изложили его высокопреосвященству наши вожделения и надежды, и главную среди них надежду на то, что духовные пастыри не откажутся принять участие в наших собеседованиях. Запомнилось, как, между прочим, до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под благословение — и как это производить, лобзать или не лобзать руку иерея, а после аудиенции более всего разговору было о поразившем нас белом клобуке с бриллиантовым крестом и о красоте и величественно ласковой осанке митрополита Антония. В общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит обещал свою поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом настроении, в котором полагается быть после одержанной победы или после выдержанного экзамена. Отмечу еще, что в нашей группе двое были евреи (Минский и Бакст), один «определенно жидовствующий» — В. В. Розанов2, один католик — я. Впрочем, ни я, ни Бакст в течение всей беседы не открывали рта или, вернее, открывали его только для того, чтобы отпивать превосходного чаю из тяжелых граненых стаканов и закусывать разными сдобными кренделями, сайками и плюшками. Зато, пока другие были заняты разговором, мы с особым любопытством разглядывали все вокруг нас. Митрополит был один, без каких-либо сопровождающих.

Происходило это наше «сретение» 3 зимой, при свете довольно тусклых, по углам горевших ламп. Его высокопреосвященство принимало нас в просторной гостиной митрополичьих покоев, куда нас провел молодой монах по довольно внушительной парадной лестнице, через

большой зал в два света, сохранивший декорозу XVIII в., и через ряд ужасно неуютных и типично «казенных» хором. Митрополит занял место в углу тяжелого дивана красного дерева.

Мы расположились но массивным, неповоротливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый цветной скатертью. По натертым до зеркального блеска полам лежали узкие половички-дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями, что усиливало впечатление старинности и провинциальности. Не помню, были ли по стенам картины, но возможно, что где-то висел портрет государя, а также развешаны изображения предшественников митрополита Антония.

Первые собрания нового общества, возникшего при благосклонном «попустительстве» властей (после полученного в установленном порядке утверждения) происходило в помещении имп. Географического общества, находившегося тогда в доме министерства народного просвещения на Театральной улице — насупротив Театрального училища. Под наши собеседования была отведена довольно большая и узкая комната, во всю длину занятая столом, покрытым зеленым сукном. По стенам висели карты, а в углу на мольберте чернела большая квадратная доска — вроде тех, что ставятся в школьных классах. Комната за этим «залом заседаний» служила буфетом, где можно было получить во время перерыва чай и бутерброды, а в двух или трех комнатах, предшествующих залу заседаний, происходил обмен мнений в менее официальном тоне. Впрочем, и самые доклады не всегда носили строго-формальный характер. Неизменно «смиренную строгость при любовном внимании» выражали два епископа, ставшие членами «Религиозно-философского общества»; зато среди других участников и особенно среди случайных гостей попадались и весьма придирчивые, иногда и вовсе бестактные «забияки». Тут можно вспомнить еще раз и о выступлении Висеньки, мишенью коего были обыкновенно попы.

Сначала (пожалуй, весь первый год) эти собрания на Театральной улице, возбудившие сразу общественный интерес, были очень «содержательны», и за этот период они получили для многих участников большое значение. Однако с течением времени они стали приобретать тот характер суесловных говорилен, на который обречены всякие человеческие общения, хотя бы основанные с самыми благими намерениями. Мне лично становилось все более и более ясным, что тут, как и во всем на свете, дело складывается не без участия Князя Мира сего — иначе говоря, не без вмешательства какой-то силы мрака, всегда норовящей ввести души людские в соблазн и отвлечь их от всего подлинно-возвышающего. Каково же было мое изумление, когда я удостоверился в *«реальном» присутствии* бесовского начала!

Дело в том, что из-за помянутой черной классной доски в углу зала выглядывали два острых торчка, похожих на рога. Меня

это заинтересовало, но доска находилась па другом конце зала и почему-то я не сразу отправился взглянуть, что это такое. Все же я, наконец, через несколько недель пробрался **и заглянул за** доску, **и тут меня обуял на-**

стоящий ужас! Передо мной стояло гигантского роста чудовище, похожее на тех чертей, которые меня преследовали в моих детских кошмарах и какие были изображены на лубочных картинках, представлявших «Страшный Суд». У этой гадины были настоящие волосы на голове и на бороде, а все тело было покрыто густой черной шерстью. Из оскаленной пасти кровавого цвета торчали длинные загнутые клыки, пальцы рук и ног были вооружены колючими когтями, а на голове торчали длинные рога. Страшнее же всего были выпученные глазищи идола, с их свирепым, безжалостным выражением. Это был идол, вероятно, когда-то привезенный из глубокой Монголии или Тибета какой-либо научной экспедицией Географического общества. Может показаться странным, что я придал такое значение своему «открытию», но в тот момент я действительно испугался, исполнился ужаса, не лишенного мистического оттенка. Чудовищное безобразие этого дьявола было передано прямо-таки с гениальной силой, а нахождение идола в данном помещении в качестве какого-то притаившегося наблюдателя — показалось мне до жути *уместным.* Оно паглядио символизировало то самое, что мне начинало мерещиться, выслушивая длинные, безнадежно топчущиеся на месте прения и присутствуя при схватках, в которых было меньше и меньше искания истины и все больше и больше самого суетного софистского тщеславия. Удивительно, что на моих друзей этот дьявол не произвел того же впечатления, и только Д. С. Мережковский, тоже начинавший тогда переживать известное разочарование в том, что, согласно его замыслам, должно было открыть путь к перерождению русской религиозной жизни,— только он, когда я его свел за доску, на минуты выразил крайнее изумление, а затем, привычным жестом пригладив бороду, криво улыбнулся и чуть ли не радостно воскликнул: — «Ну, разумеется! Это — *он*\ Надо было ожидать, нечего и удивляться...»

* # *

Постепенно увлечение нашей основной группой религиозно-философскими собраниями стало ослабевать и интерес к тому, что говорилось (именно говорилось) в собраниях,—падать. Но интерес к самим обсуждавшимся вопросам едва ли не.становился при этом еще более жгучим. Было сделано и несколько попыток

каким-то «более домашним», более интимным образом войти в религиозное общение как между нами самими, так и с церковными людьми. Из последних на меня особенно сильное впечатление произвел архимандрит Антонин из Александро-Невской Лавры, которого как-то вечером привел к Мережковским Тернавцев. Впечатление это было как внешнего, так и внутреннего порядка. Поражал громадный рост, поражало прямо-таки демоническое лицо, пронизывающие глаза и черная, как смоль, не очень густая борода. Но не менее меня поразило и то, что стал изрекать этот иерей с непонятной откроговенностью и прямо-таки цинизмом.

Память не сохранила подробностей, но главной темой его беседы было общение полов и греховность этого общения, и вот Антонин не только не вдался в какое-либо превозношение аскетизма, а напротив, вовсе не отрицал неизбежности такого общения и всяких форм его. Это вовсе не преподносилось с оттенком какого-либо тривиального юмора» строгий тон и оттенок чего-то даже научного не покидали этого нашего неожиданного осведомителя. Естественно, вся личность Антонина в высшей степени заинтересовала тогда наш кружок, однако мне кажется, что его посещение так и осталось единственным.

Из попыток найти собственные, не зависимые от церкви, пути к духовному обновлению мне особенно запомнилась одна. Это происходило опять-таки у Мережковских. Дмитрий Сергеевич предложил вместе читать Евангелие и, получив общее согласие, тут же, не откладывая, стал нам читать случайно открывшееся место. Однако, хоть читал он с проникновенным чувством и даже не без умиления, хоть читаемое производило впечатление неоспоримой подлинности, за которой мы и обратились к Священной книге, подобающего настроения не получилось, и потому показалось совершенно уместным и своевременным, когда «Зиночка» самым обывательским тоном, нарочно подчеркивая эту обывательщину, воскликнула: «лучше пойдемте пить чай». Замечательно, что и Дмитрий Сергеевич сразу согласился и выбыл из настроения («навинченного»? надуманного?); лишь Философов остался и после того в убеждении, что следовало продолжать, что на этом пути мы бы наконец все же обрели нечто истинное. Философов был вообще тогда убежден, что и под историческим христианством лежит *насильственное* воздействие над собой, известное самовнушение группы лиц, что все дело в создании известной *традиционности,* хотя бы «источник традиции» и не обладал полнотой подлинности и убедительности. Вокруг как раз этого его убеждения у нас велись

самые горячие споры.

Припомню и еще один аналогичный случай. То было тоже нечто вроде «форсирования благодати», но эта попытка имела уже определенно кощунственный уклон и грозила привести к какому-либо «безобразию», если не к постыдному юродству и к кликушеству. Собрались мы тогда у милейшего Петра Петровича Перцова, в его отельной комнате. Снова в тот вечер Философов стал настаивать на необходимости произведения «реальных опытов» и остановился на символическом значении того момента, когда Спаситель, приступая к последней Вечери, пожелал омыть ноги своим ученикам. Супруги Мережковские стали ему вторить, превознося этот «подвиг унижения и услужения» Христа, и тут же предложили приступить к подобному же омовению. Очень знаменательным показался мне тогда тот энтузиазм, с которым за это предложение уцепился Розанов. Глаза его заискрились, и он поспешно «залопотал»: «Да, непременно, непременно это *надо* сделать и надо сделать сейчас же». Я не мог при этом не заподозрить Василия Васильевича в порочном любопытстве. Ведь то, что среди нас была женщина, и в те времена все еще очень привлекательная, «очень соблазнительная Ева», должно было

толкать Розанова на подобное рвение. Именно ее босые ноги, ее «белые ножки» ему захотелось увидать, а может быть и омыть. А что из этого получилось бы далее, никто не мог предвидеть. Призрак какого-то «свального греха», во всяком случае, промелькнул над нами, но спас положение более трезвый элемент — я да Перцов (может быть, и Ну-вель, если только он тогда был среди нас). Розанов и после того долго не мог успокоиться и все корил нас за наш скептицизм, за то, что мы своими сомнениями отогнали тогда какое-то наитие свыше.

В заключение приведу еще один случай, аналогичный с моим «открытием Дьявола» в помещении Географического общества. Этот случай характерен для наших тогдашних настроений, но, может быть, и кроме того здесь можно увидать не простую игру случая, а нечто, над чем следовало бы призадуматься. Сидели мы в тот вечер в просторном, но довольно пустынном кабинете Дмитрия Сергеевича, я и Розанов на оттоманке, Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна поодаль от нас, на креслах, а Александр Блок (тогда еще студент, как раз незадолго до того появившийся на нашем горизонте) — на полу, у самого топящегося камина. Беседа и на сей раз шла на религиозные темы, и дошли мы здесь до *самой важной* — а именно до веры и до «движущей горами» силы ее. Очень вдохновенно говорил сам

Дмитрий Сергеевич, тогда как Василий Васильевич только кивал головой и поддакивал. Вообще же настроение у всех было «благое», спокойное и ни в малейшей степени не истерическое. И вот, когда Мережковский вознесся до высшей патетичности и, вскочив, стал уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоило бы, например, повелеть с настоящей верой среди темной ночи: «да будет свет», то свет и явился бы. Однако, *в самый этот миг,* и не успел Дмитрий Сергеевич договорить фразу, как во всей квартире... погасло электричество и наступил мрак. Все были до такой степени поражены таким совпадением и, говоря по правде, до того напуганы, что минуты две прошли в полном оцепенении, едва только нарушаемом тихими восклицаниями Розанова: «с нами крестная сила, с нами крестная сила!», причем при отблеске очага я видел, как Василий Васильевич быстро-быстро крестится. Когда же свет снова сам собой зажегся, то Дмитрий Сергеевич произнес только: «Это знамение», Розанов заторопился уходить, а Зинаида Николаевна, верная себе, попробовала все повернуть в шутку и даже высмеяла нас за испуг.

т т ¾*

Скажу еще несколько слов о В. В. Розанове, который в те годы занимал в нашем кружке обособленное и очень значительное место. Он притягивал к себе многообразием и глубиной своих прозрений, а также своим непрерывным любопытством, обращенным на всевозможные предметы. Только к чистому искусству, к истории искусства и, в частности к живописи (и, пожалуй, еще — к музыке), он обнаруживал равнодушие и до странности малую осведомленность. Превосходным памятником этого на-

шего общего увлечения Розановым (он был на много лет старше старшего среди нас) остается портрет, рисованный пастелью Бакстом (ныне находящийся в Третьяковской галерее в Москве). Увлечение же это имело в данном случае еще то специальное основание, что Левушка, будучи убежденным евреем, особенно ценил в Розанове его *культ* еврейства. Бакст был человеком далеко не безгрешным, а в некоторых смыслах даже порочным, но он все же носил в себе реальное «ощущение бога», Что же касается до еврейства, то отношение Л. Бакста к своему народу было таковым, что его вполне можно было назвать «еврейским патриотом». Забегая вперед, укажу, что только человек с такими душевными переживаниями, совершив ужасный в собственных глазах поступок отречения от веры своих отцов, мог затем до такой степени трагично пере-живать свое

отступничество и даже впасть в состояние, близкое к помешательству...

Всего милее Василий Васильевич бывал у себя дома. Он был большим домоседом и вечера любил проводить у себя за чайным столом, который накрывался у них в гостиной, ничем изящным не отличавшейся, да и вся его квартира была самая обыденная и меблированная только самым необходимым. К этому почти ежевечернему чаю собирались постоянные и случайные, «разовые» гости, и все усаживались рядышком по обеим сторонам хозяина, занимавшего среднее место в конце стола, насупротив самовара. К чаю подавались какие-то незатейливые печения: калачи, сухари и т. п. Разливала чай жена Василия Васильевича, разносила же стаканы его падчерица — девица рослая, хорошо сложенная, но, несмотря на правильные черты лица, нисколько не привлекательная. Мы ее про себя прозвали «барашком», и действительно, нечто овечье, что было в ее выражении, подчеркивалось курчавыми светлыми волосами, частью заплетенными в косу, положенную кольцом вокруг головы. Обеих этих женщин Розанов ценил безмерно, и это свое отношение к ним постоянно выражал вслух, гордясь ими и цитируя их слова и мнения, хотя бы и самые обыденные. Злые языки утверждали, что он неравнодушен к падчерице, но, во всяком случае, он был «по уши влюблен» в жену — женщину немолодую, некрасивую и вообще на посторонний глаз лишенную всего того, что в наше время получило кличку sex apeal. Для него же она представляла какую-то квинтэссенцию женственности и женской прелести. Мало того, движимый своим супружеским энтузиазмом, Розанов не боялся разных нескромных определений и описаний, основанных на его супружеском опыте и служивших подтверждением его эротических теорий, причем сплетал свою изощренно тонкую наблюдательность с почти ребяческой наивностью. Редкие собеседования с ним обходились без сообщений каких-либо подобных новых «открытий и наблюдений» психологического и физиологического порядка, причем, однако, это делалось без тени легкомысленной или пошловатой скабрезности — вроде той, что царит в нецеломудренных анекдотах или в остротах, имеющих ход в мужской компании. Манера его касаться этих довольно-таки скользких тем исключала всякую их «неприличность» и в то же время

IV, 35. Религиозно-философское общество

оставалась вдали от какого-либо «научного подхода», чисто материалистическою, «базаровского» оттенка. Розанов приходил в сильнейшее волнение, если он встречал отклик в собеседнике, и, напротив, принимался остро ненавидеть и презирать тех, кто оказывался не одаренным желательной ему чуткостью, особенно что касается именно такой Афродити-иой области.

Изредка Розанов бывал у Мережковских, живших недалеко от него, но мне стоило труда заманить его к себе, что удавалось не чаще двух-трех раз в год. Его пугало расстояние — мы действительно жили на другом конце города. Приезжал он и к нам, и к другим один или реже с женою, всегда только по приглашению. Приезжал в сравнительно поздний час, когда уже наши дети были уложены и спали своим первым сном. Тем не менее, он каждый раз изъявлял желание их видеть, а, попадая в детские,— он обходил, при свете ночника, все три кроватки **, совершая над каждой по несколько крестных знамений. Это тем более было удивительно, что вообще он к Христу и к христианству питал какое-то «недоверие», почти что неприязнь. Все подлинное, все важное для жизни, все ответы на запросы духа, крови и плоти он находил в Библии, в Ветхом Завете, а когда ему указывали на «моральные преимущества» христианства или на реальную благодать, дарованную Отцом в Небесах через жертву, принесенную Его Сыном, Василий Васильевич сердился и со страстным убеждением цитировал из Ветхого Завета то, что он считал за «эквивалент» христианских принципов. Я, однако, не вполне уверен в том, что Розанов так уж досконально изучил Библию, и в нескольких случаях эти его ссылки или его превозношения были импровизациями, исполненными, впрочем, всегда яркостью и заразительной вдохновенностью. Чего в нем, во всяком случае, не было ни в малейшей степени, это какой-либо схоластичности или расположения к жонглированию парадоксами. Для него Ветхий Завет (и даже самые ритуальные или законодательные его части) представляли собой неиссякаемые источники животворящей силы. Моментами в этом проглядывало даже нечто суеверное. А пожалуй, дело обстояло и так: в душе его жила какая-то *своя* Библия, свой Завет, и из этой своей *личной* сокровищницы он и черпал свои наиболее убедительные доводы, свои чудесные прогнозы, а также свои, иногда довольно лукавые и язвительные возражения. Спорить с

ним было так же трудно, как трудно было спорить ученикам Сократа со своим учителем. Я, впрочем, лично с ним и не спорил и всегда предпочитал «его слушать»; напротив, охотно вступали с ним в спор Зиночка Гиппиус, П. П. Перцов, Тернавцев. Отмечу еще, что Розанов, привлеченный в сотрудники «Мира искусства» Философовым, пользовался ограниченным расположением последнего, а между ним и Дягилевым даже существовала определенная неприязнь. Ведь Сергей вообще ненавидел всякое «мудрение»; он питал «органическое отвращение» от философии; в религиозно-философские собрания он никогда не загляды-

** Весной 1901 г. у нас родился сын.

вал 2*. Со своей стороны, и у Розанова было какое-то «настороженное» отношение к Дягилеву. Дягилев должен был действовать ему на нервы всем своим великолепием, элегантностью, «победительским видом монден-ного льва». Области светскости Розанов был абсолютно чужд, и, в свою очередь, Дягилев если и допускал в свое окружение лиц, ничего общего с «мондом» не имеющих, а то и самых подлинных плебеев, то все же с чисто аристократической брезгливостью он относился к тем, на которых быт наложил несмываемую печать «мещанства». А надо сознаться, что именно эту печать Василий Васильевич на себе носил — что в моих глазах, разумеется, не обладало ни малейшим оттенком какой-либо срамоты.

Я только что упомянул о равнодушии Розанова к пластическим художествам и об его невежестве в этой области. Имена первейших художников: Рафаэля, Микелапджело, Леонардо, Рембрандта и т. д. были ему, разумеется, знакомы, и он имел некоторое представление об их твор-* честве. Но он до странности никогда не выражал живого интереса к искусству вообще и в частности к искусству позднейших эпох, разделяя, впрочем, эту черту почти со всеми литераторами, с которыми меня сводила жизнь3*. Он был способен в одинаковой степени заинтересоваться какой-либо пошленькой сценкой в «Ниве», как и какой-либо первоклассной картиной, лишь бы в том и другом случае он находил что-либо соответствующее какой-либо занимавшей его в тот момент идее.

При всем том Розанову не была чужда психология коллекционера, но область его собирательства была совершенно обособленная. Он коллекционировал античные монеты и находил беспредельное наслаждение в их разглядывании, видя и в профилях всяких царей и императоров, и в символических фигурах, украшающих оборотную сторону, все новые и новые свидетельства о когда-то господствовавших идеях и

устремлениях. Перебирая эти серебряные кружочки, хранившиеся у него в образцовом порядке, давая на них играть отблеску лампы, он получал и чисто эстетические радости, причем ему случалось говорить прелестные слова, как про технику, так и про красоту лепки. Но это была, повторяю, единственная область искусства, доступная Розанову. Даже в особенно милом его сердцу Египте он оставался скорее безразличным в отношении могучей архитектуры древних египтян и до красоты всей их формальной системы, выражавшейся в барельефах и в стенописи. Напротив, любопытство Розанова было в высшей степени возбуждено всем, что он вычитывал таинственного в барельефах и в иероглифах, свидетельствующих о верованиях египтян, обнаруживая при этом свой дар проникания в самые сокровенные их тайны.

Напротив, постоянной посетительницей их была его мачеха — добрейшая и умнейшая Елена Валериановна, урожденная Панаева. Свою родную мать он не знал, и Елена Валериановна вполне ее ему заменяла. Зато и он ее любил, как ролиую.

И у Мережковского подход к одному из его главных героев его исторической трилогии — Леонардо — был чисто литературно-философский, и пас, художников, всегда как-то коробило то, что он видел, что «высмотрел» в творчестве Винчи.

IV, 36. Театральные дела

Тот род дружбы, который завязался между мной и Василием Васильевичем около 1900 г., не продолжался долго и не возобновился после того, что я с 1905 по 1907 г. два с чем-то года провел вне Петербурга. Но все же я сохранил о нем память, не лишенную нежности и глубокого почитания, да и он как будто не забыл меня, хотя с момента войны мы более никогда не встречались. Свидетельство об этом я нашел (к своей большой радости) в одной из его удивительных статей, которые каким-то необъяснимым чудом стали появляться в виде небольших тетрадей в начале 1920-х годов4. Живя в тяжелых условиях в посаде Троицко-Сер-гиевской Лавры, Розанов находил в себе силы интересоваться самыми разнообразными вопросами и с удивительным просветлением обсуждать их, что, хоть и делалось в тайне, однако было и представляло значительную опасность. <...>

Глава 36

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЛА. КНЯЗЬ С. ВОЛКОНСКИЙ. РАУТ В ДИРЕКЦИИ. ЕЖЕГОДНИК ТЕАТРОВ

Итак, весной 1899 г. почтенный Иван Александрович Всеволожский принужден был по воле государя покинуть директорский пост императорских театров и уступить эту должность «молодому» князю С. Волконскому 4*. За двадцать лет своего управления Всеволожский заслужил горячие симпатии петербургской публики, лично же я питал (заглазно, я еще не был тогда знаком с ним) глубокую благодарность как за приглашение превосходных артистов (на первых местах стояли «божественная» Вирджиния Цукки и несравненный Люсьен Гитри), так и за роскошные постановки, в частности за постановку музыкальных произведений, благодаря которым я познал и полюбил (превыше всего) русских композиторов — я имею в виду «Спящую красавицу», «Щелкунчика» и «Пиковую даму» Чайковского, «Князя Игоря» Бородина и «Раймонду» Глазунова. Тем не менее, и я приветствовал случившееся обновление в казенных театрах, так как сразу возложил на нового директора самые блестящие надежды. Мне казалось, что назначение Волконского открывало лично мне путь к театральному творчеству, так как я был знаком с князем, как и он высказывал всегда в отношении меня самое любезное внимание. Я не мог сомневаться, что, зная мою

страстную любовь к театру и имея представление о моем художественном даровании, Волконский обратится ко мне. Если трудно было рассчитывать на то, что меня сразу притянут к творческой работе, то все же в ожидании этого я мог быть

** В виде компенсации И. А. Всеволожский получил назначение быть директором императорского Эрмитажа. Это считалось чем-то вроде повышепия по службе, яо в сущпости означало почетную отставку.

3W-

IV, 36. Театральные дела

полезным своим опытом и своими советами. Что вообще Волконский не обойдется без нас, сразу доказало то, что он уже приблизил к себе двух моих ближайших друзей, а Дягилеву он прямо наказал, чтоб я при первой же возможности его посетил. < <Dites lui,— сообщили мне приехавшие к нам на Черную речку Дима и Сережа, передавая слова князя,— dites que je compte beaucoup sur lui. Qu'i] vienne done me voir dòs qu'il aura l·occasion de venir en ville»*.

Приглашению Волконского я и последовал в начале июля, в одно из ближайших посещений Петербурга. Застал я его едва ли не еще более возбужденным, нежели были Дягилев и Философов. Он еще не успел поселиться в великолепной казенной квартире (в доме позади Александрин-ского театра), только что очищенной его дядей — И. А. Всеволожским, но ремонт в ней шел полным ходом, и prince Serge строил планы, как он в ней устроится, а главное, как он сможет этим хоромам придать наибольшую эффектность. Особый расчет у него был на императорские портреты: Елисаветы Петровны, Екатерины II и Марии Федоровны (супруги Павла), которые до тех пор украшали анфиладу комнат, составлявшую продолжение главного фойе Александрийского театра. Эти громадные полотна уже были перенесены в директорские аппартаменты, но еще не висели, а стояли прислоненные к стене той залы, которая предназначалась служить приемной и через которую надлежало проходить, чтоб попасть в кабинет директора. Мысль Сергея Михайловича выдавала «un certain esprit de grandeur» **, а это всегда вызывало мое сочувствие. Одобрил я и те кодеры, в которые Волконский собирался окрасить свои парадные аппартаменты 2* и тот штоф, который он выбрал для обивки раззолоченной, чисто дворцовой мебели, принадлежащей директорской квартире. В следующее мое посещение я застал Волконского уже живущим в новом своем помещении; императрицы величаво поглядывали со стен, окрашенных ß характерные для начала XIX в. цвета — желтый, розоватый, серо-голубой, а на стульях, креслах и диванах ярко

рдел штоф с классическими мотивами. Завтрак, которым меня угостил князь, показался мне, пожалуй, чересчур умеренным, что касается яств и питий3*, зато он был чрезвычайно оживленным в смысле беседы. Никого из посторонних не было, я Волконский дал волю всевозможным своим проектам, перескакивая с одного сюжета на другой, неистово при этом моргая, подергивая своим заостренным усом и жестикулируя с чисто театральной пластичностью. Он не давал мне вставить слова, хоть и закидывал меня вопросами. На каждом шагу он при этом взывал (обращаясь скорее к себе, нежели ко мне) к осторожности, к такту: «II faut surtoul

* Скажите, скажите ему, что я очень рассчитываю на него. Пусть придет ко мпе,

как только приедет в город *(франц.)*. ** Стремление к величию *(франц.)*.

2* После революции в этих залах был устроен Театральный музей. 8* Сергей Михайлович славился некоторой своей скупостью.

*IV, 36. Театральные дела*30j

du tact, il faut que nous nagions dans le tact»* . Театральный мир-де'-полон интриг и всяких козней. Не дай бог в самом начале «faire un faut pas» **. С другой стороны, я уже от моих друзей слышал критику их нового начальника. Они жаловались, что Волконский слишком осторожен и что он то и дело подрезает им крылья. Становилось очевидным, что мне придется играть между ними тремя роль (сколь неблагодарную и скучную) соглашателя и примирителя.

Что же касается до творческой работы, то особенные расчеты у князя сразу обнаружились в отношении Бакста и Сомова. Однако, что касается надежды сломить упрямство нашего Костиньки и заставить его забыть данный зарок — для театра не работать — таких надежд было мало. Напротив, Бакст только и мечтал проявить себя в театре.

Беседа паша затянулась часа на два, когда мы уже сидели за кофием в огромном директорском кабинете. Тут Сергей Михайлович развернул. передо мной планы не столь узко-театрального характера, сколь, я бы сказал,— общекультурного. Жалуясь на некоторую дикость и грубость русских артистов, он рассчитывал их перевоспитать посредством сближения мира артистического с миром, к которому он сам принадлежал. Осуществить эту затею он поспешил в ту же осень 1899 г., устроив в своих покоях раут, па который были приглашены вкеремежку как деятели сцены (оперы, драмы, балета), так и представители и представительницы. нашего петербургского большого света. Были

позваны и несколько литераторов и художников.

Внешним образом раут вышел блестящий. Величественный швейцар в. красной придворной шинели с гербами и несколько лакеев помогали при входе па парадную лестпицу снимать пальто и шубы, в дверях директорской квартиры капельдинер, тоже в своей красной придворной ливрее, выкрикивал фамилии, а князь, стоя посреди первой залы, встречал каждого входящего с обворожительной лаской подлинного (притом же скорее итальянского) грансеньера, говоря дамам и знаменитостям разные комплименты. В столовой же под канделябрами высились пирамиды всяких угощений (à la fourchette ***), и потоками лилось шампанское. Видно, на сей раз и для такого случая prince Serge решил отказаться от своих благоразумных навыков. Была исполнена и какая-то программа, состоявшая из музыкальных и литературных номеров; вообще все было сделано по лучшим традициям аристократического меценатства.

Но вот, не получилось вовсе того, для чего все это великолепие было развернуто! Не получилось намеченного слияния двух «миров». Артисты жались своим кружком, великосветские дамы, несмотря на благосклонную ласковость, которую им «предписал» милый князь, оставались в без-

*Необходим главным образом такт, нужно, чтобы мы действовали с тактом

(франц.).

Сделать промах (бестактность) *(франц.)*.

Закуска стоя, не садясь за стол *(франц.),*

надежной недоступности, литераторы и художники наблюдали, примечали курьезы и смешные стороны, но тоже оставались в стороне, «никак не блистая» и не затевая общих бесед! Что же касается до нрограммы, то она только мешала всем; никого не могло интересовать то, что давным-давно всем было известно; к тому же сразу наметились какие-то обиды — почему пригласили петь *ее, а не меня* и т. д. К полночи лед не только не растаял, но еще более окреп. Сам хозяин завял; переходя "от группы к групне, он все нервнее крутил свой кверх завернутый ус и все чаще мигал своими прекрасными глазами, но это не помогало преодолеть общее безнадежное уныние. Подошел он и ко мне с Сомовым, забравшимся в уголок, откуда лучше был виден весь спектакль и откуда мы могли вдоволь любоваться чудесной фигурой княгини Ольги К. Орловой, одетой в изумительное желтое платье с золотыми блестками, специально к этому вечеру прибывшее из Парижа. Нагнувшись к нам, князь с

тревогой вопрошал: «Non, dites, dites. Est-ce que vous trouvez que c'est réussi? Ou bien c'est un four?»* Мы, разумеется, кривя душой, стали его заверять, что удача полная. Однако, заехав ко мне дня через два, Сергей Михайлович признал, что его затея потерпела фиаско, и при этом он клялся, что больше таких опытов производить не будет!

Привлечение нас, художников, к активному участию сделалось не сразу, несмотря на все понукания Дягилева и несомненную волю нового директора. Ближайшие постановочные задачи были розданы еще при Всеволожском художникам, состоявшим на казенной службе при театрах, и надо было ждать новых ассигновок. Нельзя было нарушать «нормальное течение дела». Дягилев и Философов мечтали о каком-то периоде бурп и натиска, Волконский же умолял, чтоб ему дали время оглянуться, собраться с мыслями; а главное надо было «nager dans le tact...» ** Первый художественный заказ все же был им сделан скоро после вступления в должность, но он достался москвичу А. Васнецову. Только весной 1900 г. Волконский обратился и к Баксту, и ко мне, но то не было что-либо значительное, а сущие пустячки... Зато эти пустячки носили особо почетный характер, так как они предназначались для интимных придворных спектаклей в Эрмитажном театре.

Увы, это мое тогдашнее *первое* выступление в театре никак нельзя считать за удачу! В оправдание же того, что у меня ничего хорошего не получилось, я укажу на то, что *тема* не была мне вовсе по душе, хоть и казалась вполне подходящей к моим вкусам. Если бы мне досталось что-либо, что мепя бы пленило и вдохновило, то, возможно, я и создал бы нечто интересное. Но менее радостной задачи, нежели та, что для меня припас милейший Сергей Михайлович, трудно было себе представить. Он, впрочем, имел самые добрые намерения и исходил из того соображения, что «Бенуа обожает XVIII век». Та декорация, которая была мне поручена, должна была изображать уголок старинного французского сада*

Скажите, скажите, по-вашему, все прошло удачно? Или это провал? *(франц.)*.

Поступать тактично, соблюдать чувство меры *(франц.)*.

IV t 36. Театральные дела

303

в глубине которого выделялся бы средневековый замок. К сожалению, то действие, которое разыгрывалось в этом саду, и в особенности та музыка, под которую это разыгрывалось, представляли собой нечто до последней степени безотрадное. Одна мысль, что придется иллюстрировать такую музыку и такие

действия, парализовали мою фантазию. Поневоле в голову лезли всякие слащавые французские иллюстрации, а то и просто крышки от конфетных коробок! В конце концов, я сумел избежать полного посрамления, но и не получилось ничего свежего, поэтичного. Совершенно естественно, что эта моя декорация к одноактной опере сановного, любезнейшего, но малодаровитого дилетанта Александра Сергеевича Танеева4* (забыл, как она называлась,— что-то вроде «Месть Амура»), прошла незамеченной, на большую же сцену эта опера так и не была перенесена.

Несравнепно более, нежели мне, повезло Левушке Баксту. Ему досталась для тех же Эрмитажных спектаклей французская пьеска; я не помню ее автора, но называлась она «Le coeur de la Marquise» *. Кокетливая эта раздушенная безделушка так его вдохновила, что он создал как в декорации, изображавшей белый с золотом салон эпохи Директории, так, в особенности в костюмах действующих лиц, настоящий маленький шедевр, который уже вполне предвещает будущего Бакста «Русских балетов». Ничего такого русская сцена до тех пор не видала, ибо всегда французские пьесы, прекрасно разыгранные первоклассными артистами, исполнялись среди самых ординарных декораций, да и костюмы, если в современных пьесах и отличались парижской модностью, то в исторических были ниже всякой критики. Можно сказать, что с этого спектакля началась не только карьера Бакста, но и новая эра в постановках казенных театров. За ней через год и опять в Эрмитаже последовала очаровательная бакстовская постановка «Феи кукол».

Теперь, благодаря С. М. Волконскому, я часто бывал в театрах, и не только на спектаклях, но и на репетициях, куда директор меня приглашал то записочкой, посланной с курьером, то через Сережу, с которым он почти не расставался. На репетициях Волконский меня приглашал сесть рядом с собой и делился со мной впечатлениями. Таким образом я попал в положение какого-то неофициального консультанта. Особенно мне запомнилось такое мое «участие» при возобновлении (в 1900 г.) ■«Евгения Онегина». Декорации были заказаны еще при Всеволожском «казенным» декораторам, но еще не были написаны, представленные же на одобрение эскизы очень не понравились Волконскому; действительно, они были банальны, и все недочеты, присущие первоначальной постановке, были в них повторены. Между тем, так хотелось увидать на

Не надо смешивать этого сановпнка-композитора, занимавшего высокий пост «начальника собственной его величества канцелярии», со знаменитым его однофамильцем —

директором Московской консерватории. «Сердце маркизы» *(франц.)*.

сцене нечто *более убедительное.* Волконский попробовал сам что-то внушить «своим» «штатным» художникам, но чувствовал, что его слова не доходят, что его просто не понимают. Уже три раза художники Ламбин и Янов меняли эскизы по его указаниям, а получалось все то же самое. И вот я, случившись тогда в кабинете Волконского и понукаемый директором, попробовал описать художникам, как я все это *вижу.*

Для первой картины мне вспомнилась какая-то усадьба (или большая дача), особую поэтичность которой придавала подступившая к самому дому березовая роща; комната Татьяны почудилась мне где-то под крышей в мезонине с типичным полукруглым окном, выходящим на балкон. Причем обстановка комнаты должна была быть самой скромной и являть какой-то специфически девичий характер; наконец, первый бал (у Лариных) должен был происходить в зале характерной «доморощенной классической архитектуры», с тесными хорами для крепостного оркестра, покоящимися на массивных кургузых колоннах.

Этот разговор с художниками происходил в присутствии и тех двух чиновников, которые постоянно находились близ персоны директора: барона Кусова и господина Петрова. Мне было не совсем ловко, что я, посторонний человек, как-то «учу» людей, которые и старше меня, и были облечены в вицмундиры и могли себя считать специалистами в данной области. Со своей стороны я был необычайно возбужден представившейся оказией поделиться своими взглядами, и это помогло мне побороть неловкость и дать волю своей фантазии. Художники и Волконский с жадностью прислушивались к моим словам, а чиновники, те даже что-то записывали, как бы составляя некий «протокол» нашего собеседования.

И что же, результаты получились довольно утешительные. Правда, нельзя было привить Ламбипу то, чем природа обидела этого отличного техника, а именно не хватавшее ему чувство красок, правда, и в «комнате Татьяны» и в декорации ларннского бала многое пришлось еще исправлять по мере созревания этих декораций, но все же то, что, в конце концов, предстало на генеральной репетиции, заметно приблизилось к моему идеалу. Не обошлось в течение всех проверок и без курьезов. Особенно запомнился один — происшедший тогда, когда уже написанная декорация комнаты Татьяны была нам показана на одной из репетиций, и я все еще не находил в ней желательного

настроения. Тут барон Кусов полез в свой битком набитый портфель и вытащил нечто действительно похожее на протокол, и к этому оказался пришпиленным тот планчик «всего дома Лариных», который я наспех набросал исключительно для того, чтоб пояснить какие-то мои мысли. Набрасывая его, я никак не ожидал, что снова увижу этот листок, но барон Кусов подобрал его и пришил его «к делу», предварительно приложив и административную печать!

Лично Сергею посчастливилось вскоре особенно угодить и директору и даже государю — изданием «Ежегодника императорских театров», который за 1899—1900 г. был целиком поручен именно ему, Дягилев же в

составление этой отчетной книги впряг всю нашу компанию. Иллюстрированный «Ежегодник императорских театров» начал, если не ошибаюсь, появляться еще в 1890 г., и за эти десять лет он образовал довольно внушительную коллекцию книжек с ценными статьями и с разными документами, касающимися личного состава, репертуара и т. д. Но общий характер этого издания был самый тусклый, «казенный».

Дягилеву же удалось в новом «Ежегоднике» представить нечто со* вершенно невиданное, причем сухая справочная сторона была им выделена, а свое главное внимание он обратил на художественный облик сборника.

Работали мы все над «Ежегодником» дружно и усердно. Мне, в частности, было поручено составить богато иллюстрированную статью, посвященную Александрийскому театру — как бесподобному архитектурному памятнику, и, кроме того, мне удалось в архиве Театров откопать ряд чудесных декорационных проектов Пьетро Гонзага. Баксту принадлежала забота о всей графической части, начиная с обложки, кончая шрифтами, виньетками и т. п., и он же немало потрудился над ретушью портретов артистов, так как фотографии, которые доставил фотограф Фишер, состоявший при императорских театрах, были лишены всякой художественности и требовалось придать им большую живость, особенно что касается фонов, на которых фигуры выделяются. Наконец, Серов, Бакст и Браз исполнили для «Ежегодника» несколько литографированных портретов, среди которых особенно удачен портрет Ивана Александровича Всеволожского, явившийся ценнейшим украшением очерка, посвященного бывшему директору. Успех выдался «Ежегоднику» исключительный, и — что особенно было важно для его составителя — этот труд не только укрепил его положение в дирекции и среди сослуживцев, но получил одобрение и самого

государя, о чем поспешил уведомить Сергея Павловича князь Волконский. Экземпляр книги в особо роскошном переплете произвел среди сидевших в царской ложе настоящую сенсацию. Николай II перелистал всю книгу страницу за страницей, то и дело выражая свое удовольствие.

Но вот «вынести» этот успех оказалось не по силам нашему другу.. Успех вскружил ему голову и явился одной из причин той «катастрофы», которая последовала непосредственно за выходом в свет «Ежегодника». При всем своем уме, при всех своих талантах, среди которых одним из главных была какая-то страстная, не знавшая устали работоспособность, Дягилев был совершенно ¤о-ребяческп тщеславен и честолюбив. Уже то, что он в качестве чиновника особых поручений имел право носить вицмундир с золотыми пуговицами и что оп имел «свое» кресло в каждом из казенных театров, наполняло его спесью, которая так и лезла наружу. Тот величаво-рассеянный вид, с которым он «ноншалаптной» * походкой проходил через партер к своему месту, едва отвечая на поклоны знакомых и друзей, в сильной степени способствовали тому, что весь--

* От nonchalant *(франц.)'*—небрежный, беспечный.

¾ta многие в Петербурге просто возненавидели его. После же успеха «Ежегодника» Дягилев потерял и всякое правильное осознание своего положения. Ему стало казаться, что он уже у цели, что он единственный, что без него вообще обойтись нельзя и что он может рассчитывать в самом ближайшем будущем на то, чтоб играть первейшую роль не только в тесной художественной среде, но и в «государственном масштабе». Льстило ему чрезвычайно и то, что с ним близко сошелся и почти подружился в.к. Сергей Михайлович и ему благоволила наша первая балерина М, Ф. Кшесинская. Сережа то и дело навещал великого князя « Матильду Феликсовну, встречая в них не только каких-то своих единомышленников, но даже и нечто вроде заговорщиков, преследующих одну общую цель. Не прошло и двух лет с момента своего назначения при Волконском, а Сергей уже сам начинает метить в директора, и это представлялось ему тем более возможным, что и в.к. Сергей Михайлович одновременно мечтал о посте «августейшего управляющего театрами». Если бы он занял бы таковой, то, без сомнения, он взял бы Дягилева себе в помощники, и вероятно, в фактические заведующие театрами. За этим этапом Дягилеву мерещилось и дальнейшее восхождение — сплошь до одного из «первых чинов Высочайшего Двора». Но эти фантастические грезы внезапно рассеялись,— и это вследствие главным образом какой-то торопливости нашего друга,

торопливость же получилась благодаря именно все тому же успеху «Ежегодника»...

Прежде, однако, чем обратиться к рассказу о «катастрофе», явившейся поворотным пунктом для Дягилева (и отчасти для всей нашей группы), нужно еще продвинуть рассказ о том, что происходило в моей -личной жизни в течение первого года после нашего возвращения на родину (1899-1900).

Удивительнее всего то, что я тогда решился вступить на педагогическое поприще! Говорю — *удивительнее всего,* ибо, если во мне и жила ˆпедагогическая жилка, выражавшаяся в постоянной потребности кого-то просвещать или заражать своим энтузиазмом, хотя я и создал на своем веку немало (негласных) «учеников», однако я никак пе ощущал в себе ˆпризвания стать профессиональным педагогом. Поприще педагога предполагает открытое официальное выступление, «беседу с кафедры» в присутствии многих лиц, и как раз к этому я чувствовал неодолимое отвращение. Но в 1899 г. меня побудило сделаться «профессором» отнюдь не призвание, а исключительно то, что я счел нужным заручиться «положением», «местом», которое давало бы мне и известное обеспечение. Тут ~как раз архитектор Григорий Иванович Котов, близкий друг моего брата Леонтия, с некоторых пор занимавший пост директора Художественного училища барона Штиглица, сам предложил мне, вследствие открывшейся вакансии, место преподавателя «класса орнамента». В его представлении преподавание такого предмета не сводилось бы к ознакомлению с раз-

ными видами орнамента и еще менее к срисовыванию таковых, а заключало в себе более значительное и интересное, а именно *историю стилей.* Это предложение Котов сделал мне в конце лета 1899 г., я тогда же принял его, но выговорил себе условие, что начну свои занятия только *с* января, рассчитывая за эти месяцы более основательно подготовиться. Гонорар полагался ничтожный, но Котов обнадеживал меня, что уже к будущему году он добьется более высокого для меня вознаграждения, тогда как важно было теперь «занять место».

Приступив в начале января 1900 г. к отправлению обязанностей,. я испытал немалое смущение, когда увидел перед собой группу в двадцать, если не в тридцать молодых людей обоего иола, из коих многие были одних лет со мной, однако мне удалось свою робость скрыть, к тому же мое смущение скоро рассеялось, когда я увидал, с каким вниманием эта молодежь меня слушает. Уже на третий раз я до такой степени свык* ся с

положением и набрался такого апломба, что решился не читать по-тетрадке, а импровизировать на месте свои введения в каждую эпоху я в каждый стиль.

Увы, мое преподавание продолжалось всего до весны, и уже в мае я подал в отставку, придравшись к чему-то, что не имело прямого отношения ни к моей деятельности, ни ко мне лично. Я счел себя обиженным тем, что верховное начальство Училища и Музея А. А. Половцев сначала ассигновал известную сумму денег на отправку в Париж на Всемирную выставку всего преподавательского состава, а затем поставил условием этой отправки, чтобы вся эга группа лиц была подчинена известному руководителю экспедиции. Обиделся на это и мой коллега па училищу В. В. Матэ, но он все же покорился воле начальника и свою отставку взял обратно; я же, должен покаяться, скорее *придрался* к случаю и покинул училище с легким сердцем. Эти уроки только утомляли меня, вся атмосфера, царивптая у Штиглица, была мне совсем не по нут* ру, а материальное вознаграждение — совершенно грошевое.

Глава 37 ЛЕТО В ПЕТЕРГОФЕ. 1900 год

Все же я в Париж на выставку поехал, и поехала даже после меня и моя жена, но случилось это в августе, а до того прошло почти все лето — мое второе по возвращении на родину лето. И было оно для меня как художника настолько важным, что необходимо здесь на нем остановиться. На сей раз я решил осуществить давнишнюю мечту и поселиться в Петергофе, где я если иногда и бывал и гостил наездами, однако длительного пребывания с самого лета 1885 г. не имел. Впрочем, и те мои детские и юношеские пребывания если и содержали в себе массу разнообразных и самых прелестных впечатлений, однако Петергофом *как тако-*

3ö8*?V> 37. Лето в Петергофе, Î9ÕQ`*

sum я тогда не пользовался, проводя главным образом у братьев на их дачах в Бобыльске и в Ораниенбаумской Колонии.

Наметив себе Петергоф как дачную резиденцию, я уже вперед составил целую программу работ. Пребывание в этом месте, в *самом* для моего сердца милом, должно было меня воодушевить на то, чтоб создать не только отдельные этюды, но и целый ансамбль внешних и внутренних видов дворцов и парков Петергофа, насыщенных для меня сентиментальными воспоминаниями и «историческими видениями)). Я готовился исполнить как бы некий обет, данный давным-давно.

Именно в окрестностях столицы, и особенно в Петергофе, творческие усилия монархии выразились в грандиозных художественных формах; выражение величия и мощи России соединилось здесь с теми чарами, которые присущи нашей северной природе. Это соединение художественной фантазии с природной прелестью произошло здесь в тот момент, когда европейское искусство переживало чудеснейший расцвет и целый ряд отличных западных художников оказались к услугам российского государства. Приглашенные Петром, Анной, Елисаветой, Екатериной II и Павлом зодчие, декораторы, садоводы, скульпторы, резчики, бронзовщики и т. д., побуждаемые широкими замыслами царственных и вельможных меценатов, создали именно на русской земле свои шедевры. Леблон, Шлютер, Ринальди, Кваренги, Камерон, Гонзага и превосходящий их всех размахом и романтикой своих замыслов Растрелли,— все они потрудились во имя одной и той же идеи, и как ни своеобразны в отдельности творения каждого мастера (или каждой группы), но всем им присуща одна общая черта, отвечающая необъятной шири русской земли п размаху русской жизни,

Особое очарование придает Петергофу то, что он расположен на самом берегу моря, а также и то, что здесь на всем лежит отпечаток той гениальной личности, благодаря воле которой рожден и в память которой Петергоф и получил свое наименование (ныне так нелепо видоизмененное). Мало того, в Петергофе и только в нем, можно было как бы *прикоснуться* к нему, к собственной персоне Петра. Вступая в покои Мон-плезира или в павильоны Марли и «Эрмитажа», посетитель начинал дышать тем же воздухом, которым дышал он; стоя перед ступенями каскадов, служащих подножием Большого Дворца, мы видели осуществленным и *действующим* то самое, что он вызвал к жизни и чем он любовался. Петр I, этот сверхчеловек, показал здесь, что он не чужд чего-то такого, что другим словом, как *поэзия,* не назовешь. В учебниках (да и в серьезных исторических трудах) Петра обыкновенно выставляют в виде какого-то «политического аскета», в виде человека, чуждавшегося всякой роскоши, всякой жизненной красоты. На самом же деле Петр продолжал быть «политическим аскетом» только пока он весь был поглощен непомерной работой ломки старого и положением основ нового строя, того, что в его провидении должно было спасти и возвеличить Россию. Однако, как только посиеянное стало всходить и появились первые плоды, так Петр вспомнил и о другой своей миссии — о созидании жизненной

IV, 37. Лето в Петергофе, 1900

красоты. Но это и нельзя назвать «исполнением какой-то миссии»,— влекли его к тому глубокие духовные потребности. В целом ряде мероприятий, из коих значительная часть именно выпала на долю Петергофа, он показал себя *художником,* человеком, обладающим своеобразным вкусом и знающим толк в прекрасном. Между прочим, нельзя объяснить одной счастливой случайностью, что «вчерашний варвар» остановил, из всех мастеров Запада, свой выбор на самых лучших и что он их привлек к творчеству во имя величия и великолепия России **.

Для того, чтоб я смог выполнить поставленную себе помянутую задачу, надлежало первым долгом заручиться разрешением Петергофского Дворцового правления работать где и когда мне вздумается, и тут мне помогли как Валечка Нувель, служивший в Канцелярии министерства двора (и успевший за короткое время очень подвинуться по службе), так и мои другие связи. Все разрешения я и получал заблаговременно, и это позволило мне приступить к работе с самого начала мая на всем пространстве петергофских парков и садов, а также внутри всех дворцов и павильонов. Единственным недоступным местом остался весь участок «Александрии», и это вполне понятно, так как в стоящих на этом участке дворцах жили члены императорской фамилии. С другой стороны, как раз эти места, лишенные прелести далекого прошлого, меня менее интересовали.

К самым сладостным и поэтическим моим воспоминаниям принадлежали те часы, которые я проводил в чудные июньские и июльские дни 1900 г. в каком-нибудь Марли или в Монплезире. Я старался так распределить свое время, чтоб работать внутри дворца по утрам, когда в нем не бывало посетителей и никто не мог мне мешать; в остальное же время, если погода позволяла, я был занят снаружи. Впрочем, внутри «Марли», которое вообще менее посещалось, я мог вдоволь наслаждаться, пребывая здесь и в послеобеденные часы в полном одиночестве, тем, что в.этом миниатюрном дворце Екатерины I напоминало моих любимых голландских художников Питера де Хоха и Яна Вермеера. г Так же, как на картинах Вермеера и Питера де Хоха, выбеленные стены этих домиков насыщались отблеском пронизанной солнцем листвы, тесно обступающих деревьев, так же в них блестели выложепные в шашку полы, так же сочно выделялись па светлых фонах темные рамы тонко написанных картин. А через настежь открытые окна временами доносилось дребезжание того колокольчика, которым придворный, состоявший при Марли лакей, по желанию забредшей публики, вызывал в ируду

«золотых» рыбок, получавших в награду за беспокойство хлебные крошки.

'* Достаточно назвать такие первые величины в европейском масштабе, как Шлю-тер, Леблон, Растрелли-отец, Наттье, Пино. Но и среди мастеров, не завоевавших у себя па родине большой славы и приглашенных Петром, следует назвать тех, которые создали для него вещи, стоящие на высоте требований самого изысканного тогдашнего вкуса: Пильмапа-отца, Микетти, Трезини и многих других.

310*IVf 37. Лето в Петергофе, 1900*

И до чего упоительно было вдыхать во время этих моих занятий опьянительные ароматы сирени, душистого горошка, резеды, гелиотропа и всяких других цветов, вливавшиеся через окна и двери! Как чудесно сливались они с тем совершенно особым, специфическим *запахом старины,* что шел от «видевших Петра» стен, от картин, от мебели. Совершенно странно пахло чем-то пряным, заморским в «Японском кабинете» Моннлезира, кипарисовые доски которого, несмотря на свое двухсотлетнее существование, все еще издавали необычайно сильный и острый аромат, замечательно вязавшийся со всем убранством этой маленькой, роскошно-узорчатой комнатки. Как досадовал я на то, что как раз теснота этого кабинета не позволяла мне найти тот нужный отход, который дал бы мне возможность представить весь этот ансамбль. Невозможно было также изобразить внутренность моыплезирской «Воль-ери» с прекрасно сохранившейся живописью Пильмапа в куполе... А впрочем, покидая осенью Петергоф, я считал, что я исполнил лишь малую часть намеченной себе задачи !. Впоследствии кое-что мне удалось еще дополнить в течение двух летних пребываний в Петергофе в 1907 и особенно в 1918 гг., но и после того оказалось, что Петергоф *неисчерпаем.*

* * *

Из наших многочисленных друзей ближайшие, Сережа и Дима, проводили лето 1900 г. в имении Философовых, Богдановском; Сомов жил на даче со своими родителями близ местечка Лигово, Бакст, если не ошибаюсь, снова пропадал в Париже; лишь Нувель и Нурок оставались в Петербурге и изредка навещали нас. Однако ни тот, ни другой не имели «никакого вкуса» к природе и еще менее к красоте н поэзии исторических мест. Зато я встретил энтузпастское отношение к Петергофу со стороны обоих Лансере. В это же время я ближе сошелся с одним

юным химиком Владимиром Яковлевичем Курбатовым, у которого изучение подстоличных достопримечательностей стало впоследствии его «добавочной» (кроме химии) специальностью 2, Но мог ли я тогда думать, что именно этот самый Курбатов, такой безобидный с виду, такой доброжелательный, обладатель такого тоненького, совершенно женского голоска, нанесет (уже при большевиках) ужасный ущерб именно Петергофу (а впрочем,— и Царскому Селу). Из какого-то плохо понятого пиетета перед стариной и из увлечения старинными садами. Это он настоял перед властями (около 1930 г.) на том, чтоб были вырублены столетние ели, выросшие по уступам террассы, что тянется под Большим Петергофским Дворцом. Эти ели придавали единственную в своем роде сказочность всей местности.

Однако самый пламенный восторг от Петергофа я услыхал из уст не русского человека и не от близкого приятеля, а от случайно к нам пожаловавшего иностранного гостя — от поэта, тогда еще совершенно неизвестного и только что вступавшего на первые ступени Парнаса, впоследствии же удостоившегося всемирной славы. То был милейший Рей-

нер Мария Рильке 3, внезапно появившийся на нашем горизонте, не без труда отыскавший нас, пробывший с утра до ночи в чудесный мягкий летний день в Петергофе, а затем исчезнувший — навсегда для меня. Впрочем, некоторое время я продолжал и после его отъезда оставаться в переписке с Рильке; он присылал мне каждый новый сборник своих стихов и своих рассказов, всегда с весьма трогательным посвящением. Та же прогулка, в течение которой мы пешком исходили вдоль и поперек все петергофские сады, принадлежит к самым приятным моим воспоминаниям (хочется думать, что и для него они не прошли бесследно4). В совершенное же умиление Рейнер Мария пришел, стоя уже вечером на мосту через канал, ведущий от Большого Дворца к морю, и глядя в сторону все еще бившего «Самсона». Солнце только что село, и дворец был освещен тем зеленоватым отблеском потухающей зари, которая является одной из самых пленительных особенностей полунощных стран. Все три ряда окон дворца продолжали еще светиться, отражая северное небо, а серебряный столб «Самсона» стоял, как на страже, перед царскими чертогами, потерявшими всю свою плотность.... Все прочие фонтаны уже перестали бить и потому в бассейне, что стелется иод ступенями каскадов, не заметно было и малейшей зыби; все отражалось с зеркальной четкостью: и ели, и гранитная набережная канала, и серебро высоких крыш дворца, и толпы золотых статуй, расставленных по уступам. У Рильке,

видно, дух захватило. Он долго стоял в восхищенном безмолвии, а затем, обернувшись ко мне с совершенно изменившимся лицом и со слезами на глазах, он воскликнул: «Das ist ja das Schloss der Winterkönigin!» *, и действительно, картина была до того чудесна, что воспоминания о северных сказках, о феях и царицах, живших в хрустальных замках, возникали сами собой. Тогда же он дал слово посвятить стихотворение этому вечеру, но я не знаю, исполнил ли он свое намерение...5

* * *

Дорога, на которую выходил садик нашей дачи, а насупротив стояли павильоны флигеля «Рубинштейновской» дачи, была для меня с самых ранних лет чем-то родным; на нее выходил и наш кавалерский домик. Начиналась же эта дорога под стенами Большого Дворца и тянулась до самой «собственной его величества дачи». У Большого Дворца находилась небольшая четырехугольная площадь, на которой происходили разводы и парады войск (самое интересное для меня, мальчишки, из всех зрелищ); в эту же дорогу упирался тот кусок парка, который служил проходом к «Золотой Горе», на нее же упиралась «Золотая» улица, на которой стояла дача дяди Сезара, тут же с нее открывался вид на отражавшуюся в маленьком пруде высокую круглую башню дачи наших знакомых Крон, и все на той же дороге стояли дачи других наших

* Да это просто замок Снежной королевы! *(нем.)*.

знакомых — Малисон, красивая дача в характере тосканских вилл, построенная моим отцом, наконец, дача Кудлай, на которой когда-то у сестры гостила моя Атя. После этой дачи дорога окончательно теряла характер улицы; обсаженная по сторонам деревьями, она шла полями и огородами и, наконец, приводила к двум «царским» усадьбам: к помянутой «Собственной его величества даче», построенной Штакеишнейдером в виде грациозного павильона, отдаленно напоминавшего стиль Людовика XV, и к группе зданий, выкрашенных в темно-красный цвет и долженствовавших представлять роскошную античную римскую виллу. То была вилла, сооруженная в 40-х годах для в. к. Марии Николаевны — герцогини Лейхтенбергской, и после ее кончины она принадлежала вместе со всем огромным парком ее наследникам 2*.

Именно потому, что эта дорога соединяла Большой

петергофский Дворец и обычную резиденцию государей, Александрию, с летними резиденциями других членов царской фамилии, по ней можно было то и дело видеть мчащихся то в одну, то в другую сторону разных великих князей, принцев, герцогов, иногда же проезжал и сам государь или обе государыни. Эти «высочайшие проезды» чрезвычайно возбуждали любопытство наших девочек, и особенно когда придворное ландо было наполнено детьми. «Da fahren schon wieder die kleinen Prinzessinen vorü-ber» *,— восклицала боина Матильда, и тогда Атя и Леля бросали свои игрушки, бежали к калитке сада и глядели во все глаза, как эти расфуфыренные в пух н прах их сверстницы в шляпках со страусовыми перьями катили на великолепных лошадях, управляемых придворными кучерами в треуголках и в красных с орлами шинелях.

Благодаря тому, что наше обиталище стояло на этой же дороге, я в одно прекраснейшее майское утро был разбужен грохотом и звяканьем полковой музыки. То отправлялась (но обычаю каждого года) гвардейская конница (не то лейб-уланы, не то лейб-конпогренодеры, стоявшие в Петергофе), и вот, покидая Петергоф, полагалось особенно весело и браво играть полковые марши — в сопровождении литавр и особенного инструмента с колокольчиками. Это было так красиво и так особенно. Продолжая играть свой марш, разбудившее меня воинство свернуло направо и стало спускаться к нижнему шоссе — звуки же музыки все более тускнели и, наконец, совсем замерли... Среди разных *музыкальных* впечатлений этот сыгранный на походе марш принадлежит к одним из самых сильных и наиболее отчетливо запомнившихся. Долгое время я помнил благородно-ухарский мотив, и когда я его себе напевал, то в памяти сразу же возникали и та наша спальня с белыми кисейными занавесками, и высокие, но еще едва убранные листвой деревья сада, и чут десный весенний аромат, вливавшийся через раскрытые настежь окна.

2* Впоследствии я узпал, что эта чудесная постройка, претендовавшая на сходство

со средневековым замком, была построена по проекту знаменитого Тома де

Томона,. -

* Вой опять едут маленькие принцессы *(нем,)*.

*IV, 38, «Художественные сокровища России»*313

Заодно вспоминаются и всякие другие *милые* звуки, которые были вообще присущи дачам; откуда-то с заднего двора доносилось кудахтанье и гоготание гусей, крики обходивших дачи разносчиков, скрип каких-то качелей. И наконец,—

очаровательный лепет наших малюток, уже умытых, одетых и выбежавших в сад возиться в песочке...

Но хранит моя память в связи с нашей дачкой и другой случай — на сей раз печальный.

Сидя как-то на балконе, я был окликнут голосом, не вполне знакомым. К большому удивлению, я увидал у калитки пытающегося ее отомкнуть М. В. Нестерова. Я был обрадован его посещению, однако то печальное лицо, с которым он сдержанно отвечал на мои приветствия, сразу показало, что он явился не с доброй вестью. И действительно, ок чрезвычайно огорчил меня, сообщив, что за день или за два скончался Левитан, «Левиташа», как он его называл. Я не был близок с Левитаном, и поэтому горе мое не было из тех, что испытываешь, теряя людей, к которым привязан сердечно. Однако это исчезновение в полном расцвете сил и таланта чудесного поэта русской природы показалось мне ужасной утратой для русской живописи, для той самой русской живописи, историей которой я уже целый год как был занят и в которую я все более вживался...

Глава 38

ПРЕДЛОЖЕНИЕ П. П. МАРСЕРУ.

ПАРИЖСКАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ»

По мере того, что лето проходило, соблазн попасть на Парижскую выставку обострялся. Много знакомых и кое-кто из родственников уже побывали на ней, и их рассказы о всяких чудесах — о trottoir roulant *, о баснословных иллюминациях и всяких ерундовых, но занятных аттракционах подзадоривали меня больше и больше. Еще более мне хотелось увидеть те собранные со всех концов мира шедевры искусства, что были выставлены на «Centennale» ', в Международном художественном отделе, в разных павильонах и в Petit Palais. Этот соблазн достиг, наконец, такой силы, что в один прекрасный день верх взяло решение туда отправиться — наперекор всяким благоразумным экономическим соображениям. Я прямо так объявил Ате, что «еду в Париж». Как и следовало ожидать, она не только не стала меня отговаривать, но, напротив, помогла мне разделаться с последними сомнениями. Когда же, пьяный от впечатлений, я

через три недели вернулся, то рассказы мои так разохотили мою жену, что она не вытерпела и, сговорившись с Анной Петровной Остроумовой, в свою очередь, отправилась с ней в Париж, и эта

* Двигающемся тротуаре *(франц.)*.

ее десятидневная экскурсия получилась не менее удачной, нежели моя. В Париже они случайно встретились с Серовым и после того почти с ним не расставались, что опять-таки прибавило всему много прелести.

Остановился я в Париже, по совету брата Альбера, в меблированных комнатах на rue Cambon — в старинном доме, вестибюль которого был украшен прелестными, наполеоновской эпохи барельефами...1* В этой maison meublée я и в следующие приезды в Париж всегда останавливался, то один, то с женой, а в 1914 г.—со всей семьей, и тогда пришлось снять два этажа. С течением времени у нас с хозяевами установились отношения чуть ли не дружественные, и это было очень приятно, это создавало иллюзию «дома». Центральное положение, близкое соседство с почтовым бюро, с которого я отсылал свои ежедневные «бюллетени» жене, скромная цена, близость ресторанов, в которых я питался, а впоследствии соседство с «Оперой», где шли наши спектакли,— все это было до того удобно, что можно было не считаться с фактом, что в самом этом пристанище (кроме утреннего кофе) не кормили. Последнее обстоятельство оказалось особенно неприятным, когда я (в тот выставочный год) заболел довольно сильной ангиной. Первые два дня хозяева согласились меня питать тем, чем сами питались, но на четвертый Monsieur Henri буквально погнал меня вон из дому, и я, чтоб recouvrir mes forces *, по его же совету отправился в Taverne Tourtel ** на бульваре, съел там кровавый бифштекс и запил это целой бутылкой чудесного Nuit. И что же,— на следующий день я был здоров и снова бегал по выставкам.

Но именно то, что благодаря болезни я застрял в Париже, именно в тот день снова оказался на выставке, сыграло, как это ни странно, значительную роль в моем существовании. А именно, в этот день я в Американском отделе нос к носу встретился с П. II. Марсеру, мы вместе угостились там же ice-cream-soda***, и угощаясь, он поведал мне, до чего его огорчает все бездарное ведение дел в императорском «Обществе поощрения художеств» (членом комитета которого Марсеру состоял) и до чего ему бы хотелось повернуть эти дела в сторону чего-то более достойного и отвечающего основным задачам «Общества». Особенно негодовал Марсеру на нелепость Н. П. Собко, бывшего многие годы

секретарем «Общества» (иначе говоря, фактическим заведующим делами), в последний же год совмещавшего эту должность с редактированием (им же основанного) журнала «Общества» «Искусство и художественная промышленность». Журнал этот, начавший выходить одновременно с «Миром искусства», подвергался со стороны последнего жестокому (и за-

** Этот дом существует поныне; в нем помещается одно из отделений знаменитой портнихи и фабрикантши косметики Coco Chanel. Но прелестные барельефы, изображавшие стоячие фигуры каких-то нимф (или «Времен года»?), кажется, погибли вследствие переустройства всего дома. * Восстановить свои силы *(франц.)*.

** В таверну Туртель *(франц.)*.

** Крем-сода со льдом *(англ,)*.

IV, 38. «Художественные сокровища России»

служенному) осмеянию2. Но вот как **раз** Собко недавно вышел в отставку и собрался продолжать издание журнала на собственный счет. «Общество» же поощрения осталось без секретаря и без журнала. Тут Марсеру и пришла в голову мысль — что дело журнала мог бы взять в свои руки «Шура Бенуа». Узнав от моих братьев, что я в Париже, он «всюду искал меня» и нашу случайную встречу счел за перст судьбы2*. Для меня предложение Марсеру было столь неожиданным, что я сразу даже не поверил в серьезность его. Учитывая южный темперамент и известное всем легкомыслие милейшего «Павлуши Марсеру», я мог допустить, что он, по обыкновению, просто увлекается и принимает свои собственные фантазии за нечто реальное. Однако выяснилось, что Марсеру уже успел переговорить с вицеиредседателем «Общества поощрения», с И. П. Балашовым, и что тот, человек серьезный и положительный, вполне одобрпл его выбор. Все же я продолжал сомневаться. С одной стороны, мне рисовалось все го, что можно сделать на этом поприще, и у меня сразу возник план нового издания. С другой стороны, меня смущало, что мне поневоле придется войти в контакт с тем самым «старичьем», которое засело в комитете «Общества» и коего закоренелое рутинерство «Мир искусства» так презирал. Правда, в комитете влиятельными членами состояли и мой брат Альбер, и отец моего ближайшего друга А. И. Сомов, все прочие члены, начиная с М. П. Боткина, были нашими хорошими знакомыми, но за людей, мне действительно сочувствующих, я и их не мог считать. Только вот Марсеру, да, пожалуй, еще художник Куинджи и симпатичнейший А. А. Ильин были бы на моей стороне, тогда как остальные должны были относиться к

выросшему на их глазах «Шурке Бенуа» как к молокососу, да к тому же и «декаденту»... Напротив, Марсеру утверждал, что все эти «старики» после неудачи с первым журналом находятся в полной растерянности и готовы уцепиться за любого спасителя. Настоящим же вершителем судеб «Общества» являлся помянутый Иван Петрович Балашов, который, когда Марсеру назвал ему мое имя, даже привскочил на своих коротеньких, снабженных шпорами ножках3* и воскликнул: «Совершенно верно, вот кто нам нужен!»

2* Павел Петрович Марсеру владел обширным магазином художественной майолики на Большой Конюшенной, однако до того, чтоб совершенно уйти в коммерцию, он готовился в архитекторы, и в качестве ученика Академии художеств сошелся с моим братом Леонтием. Это был типичный француз, и, хотя он вырос в Петербурге, говорил он по-русски с явным французским акцентом и с типично французскими интонациями. Типично французскими были и все его порывистые манеры, его горячность, его жажда играть благодетельную роль в любом художественном деле. Вообще же это был необычайно симпатичный человек, и хоть трудно было отделить в нем коммерсанта (магазин Марсеру славился своей чудовищной дороговизной) от художника, то все же можно было вполне его считать «художественной натурой». В общем, он являлся вариантом другого русского француза, графа П. 10. Сюзора, о котором я уже упоминал и с которым мы еще встиетимся в дальнейшем.

3* Сапоги Ивана Петровича были снабжепы шпорами, потому что на такую «привилегию» он имел право, будучи шталмейстером «высочайшего двора». Однако вся

IVj 38. «Художественные сокровища России»

У меня оставалось еще одно сомнение. Не значили ли как раз эти слова Балашова, что «старички хотят меня перетащить в свой лагерь», что я должен буду изменить тому, *к* которому принадлежу. Не желают ли они, чтоб этот *мой* журнал являлся конкурентом *нашему* «Миру искусства»? Я попроспл Марсеру дать мне два дня на раздумье, и за эти вечера (последние в Париже) я окончательно разработал план «своего» журнала, и план этот был таков, что вполне допускал дружное *сосуще-ствование* обоих изданий.

За образец моего сборника я взял те иностранные издания, которые и мой отец и я получали в течение многих лет из Парижа и Мюнхена, а именно «L/Art pour tous», «Formenschatz», «Bilderschatz» и «Skulptu-renschatz». Все они не были журналами в

обычном понимании слова,— являлись ежемесячными сборниками таблиц, снабженных краткими пояснительными текстами, таблицы же воспроизводили в (кажущемся) беспорядке разные достопримечательные предметы: картины, рисунки, гравюры, архитектурные и скульптурные памятники, изделия художественной промышленности и т. и. Накопляясь, эти таблицы могли быть затем сгруппированы по школам, по мастерам, по эпохам, по отдельным отраслям декоративных художеств, и с годами такие группы, разрастаясь в настоящие кодексы по каждой отдельной отрасли, представляли в целом весьма внушительные и полезные материалы по истории искусства. В данном же случае я не хотел целиком повторять то, что сделали немцы и французы. Моя цель была более узкая, но для русских людей и более значительная. Обладая несметными богатствами художественного порядка в музеях, дворцах, церквах и в частных собраниях,— русский народ, в своей массе (и даже среди интеллигенции), не знал их вовсе или знал плохо. «Общество поощрения» и исполнило бы свой прямой долг, если бы оно взяло на себя озиакомлепие русских людей с этими отечественными богатствами посредством хороших воспроизведений, которые сопровождались бы короткими, но вполне достоверными историческими сведениями... Такой сборник, естественно, можно было назвать: «Художественными сокровищами России». В смысле же материального вознаграждения за свой труд я заранее готов был довольствоваться ка-

наружность и все манеры **этого милого** и замечательно благонамеренного человека не выдавали в нем (кроме шпор) царедворца. Он был мал ростом, с жалкой бородеикой, какая бывает у самых серых мужичков; даже когда Балашов облекался в сплошь золотом расшитый парадный мундир, он продолжал казаться «не барином» (он и по родству и по несметному богатству принадлежал к самым высшим кругам), а каким-то разночинцем. То, что было в нем неизгладимо простецкого, он, вероятно, сознавал, и это создавало его inferiority complex [комплекс неполноценности *(англ.)];* это же заставляло его принимать монументальные позы, задирать голову, говорить в повелительном наклонении и вообще вся-ческп корчить из себя вельможу. Отсюда же ношение (при самом штатском костюме) шпор. При всем том, повторяю, это был милейший и добрейший человек. К сожалению, в 1902 г. он отправился на Дальний Восток, где собирался играть очень значительную роль, но где он (если не ошибаюсь) вскоре скончался.

*IV, 38. «Художественные сокровища России»*317

. кой угодно суммой (уж очень мне вдруг захотелось получить в своя .руки ведение такого дела), зато *непременным условием* я ставил *абсолютную свободу в* своей деятельности вне данного редактирования. На этом мы с Марсеру и расстались, но очень скоро после моего возвращения в Петербург я получил крайне любезное письмо от И. П. Балашова, содержавшее официальное подтверждение сделанного мне пред-ложения, полное одобрение моей программы и утверждение меня в должности редактора, причем и «условие моей свободы» было безоговорочна принято. Передо мной развернулось весьма широкое поле деятельности, и я поспешил взяться за дело. Год, проведенный мной за общим редакторским столом «Мира искусства», оказал мне при этом большую пользу. Мне были уже знакомы имена и адресы всяких техников и поставщиков: фотографов, типографий, фотомеханических мастерских; я знал и то, что от них требовать и как вообще ведется дело печатания текста и иллюстраций.

Начало нового издания назначено было на январь 1901 г. К этому моменту надлежало окончательно уточнить программу, набрать сотрудников, а главное, наполнить портфель редакции материалом, который обеспечил бы выход журнала хотя бы на первую половину года. Однако теперь пора вернуться к Парижской Всемирной выставке. Тема эта сейчас, по прошествии полувека, стала для меня не из; легких. Проще было бы отослать читателя к тем моим статьям, что по-явились тогда же в «Мире искусства» 3 и что написаны под свежим впечатлением, Но в них говорится главным образом о вещах «серьезных». В «Мире искусства» я говорю о Centennale, на которой я вместе со многими «открыл» и Домье, и Шассерио (портрет двух сестер), и Мане, и рисунки Эпгра, и многое другое; я говорю и о сокровищах старинной французской живописи, собранных в неповторимой полноте в Petit Palais, и среди них о, до той поры неизвестных, французских «примитивах» с Enguerrand Charenton и с Nicolas Froment во главе; на Международной я восхищаюсь более всего картинами скандинавов, переживавших тогда эпоху своего, быстро затем увядшего, расцвета; там я разбираю и отдел русской живописи, на котором первые места занимали Серов и Левитан, больше же всего толков возбуждала картина Малявина...4 Все это не имеет смысла повторять здесь.

Сейчас же я предпочитаю вспомнить о всем том эфемерном, курьезном и забавном, что я тогда воспринял со всей страстностью своих тридцати лет. Глубокого значения этим впечатлениям не нужно прида-вать, но в свое время я получил от них немало удовольствия, да и сейчас воспоминание о всей этой «чепухе» все еще принадлежит к чему-то освежающему. Именно

рассказы об отих выставочных чудесах и подстрекнули мою жену и ее подругу предпринять, в свою очередь, поездку в Париж, а вернувшись оттуда, они были не менее очарованы и даже опьянены, нежели я.

Уж общий аспект выставки стоил того, чтоб на него поглядеть и чтоб-в этой очень красочной и эффектной декорации — погулять.

318*IV, 38. «Художественные сокровища России»*

Да и мы, россияне, здесь в грязь не ударили. Наш «Кремль», который стоял в стороне, на склоне Шайо, если казался несколько игрушечным рядом с Трокадеро, то все же его остроконечные башни с их пестрыми шатрами и золотыми орлами, его белые стены производили впечатление известной царственности. Ну, а дальше начиналась всякая «экзотика»: Каирская улица, кхмерский храм, какая-то китайщина, а по другую сторону Сены целая швейцарская деревня была прислонена к декорации, довольно убедительно изображавшей снежные Альпы.

А сколько еще было, кроме того, всяких чудес и курьезов! В одном балаганчике юная еще Лои Фюллер отплясывала, развевая свои, освещенные цветными прожекторами вуали, и от этой невиданной диковины сходил с ума буквально весь мир. Не меньшего внимания заслуживал в другом балаганчике спектакль фантош, созданный остроумным карикатуристом Альбером Гийомом. Это была уморительная комедийка, представлявшая монденное сборище: «Un the chez la marquise» *. Художник с изумительной меткостью воспроизвел в куклах все повадки и манеры элегантнейшего, снобического «салопа». Один из балаганчиков (забыл, что в нем давалось) был снаружи украшен яркой живописью тогда только еще начинавших свою карьеру Вюйяра, Боннара и чуть ли не самого Тулуз-Лотрека; в другом — вас приглашали совершить плавание (une croisière **) «до самого Константинополя», причем иллюзия морского путешествия была так велика, что у иных зрителей начиналась морская болезнь.

Мне, да и сотням тысяч посетителей выставки большое и совершенно своеобразное удовольствие доставляло trottoir roulant. Несколько раз я совершил эту фантастическую прогулку без всякой надобности и цели, только бы снова испытать то особое ощущение, которое получалось от этого быстрого и, однако, не требующего никаких усилий скольжения, •от этого «полета» на высоте второго этажа домов, огибая значительный квартал Парижа иод боком у Инвалидов. Так удобно было вступать сначала на платформу, двигавшуюся с умеренной скоростью для того, чтоб с нее перебраться на платформу, несущуюся с двойной или тройной быстротой. Но на этом я за

недостатком места свой рассказ о выставке прекращаю.

* * *

Осень 1900 г. прошла для меня в горячке приготовлений к моей редакторской деятельности. Вначале я чувствовал, что какая-то скрываемая неприязнь продолжает царить против меня в Комитете «Общества поощрения», но с момента, когда стало известно, что сама «августейшая» председательница принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская вполне одобрила выбор И. II. Балашова (и «очень милостиво» отнеслась

* Чаепитие у маркизы *(франц.),* Морское путешествие *{франц.),*

ко мне лично, когда я был представлен ей в качестве редактора), то и «старичье» смирилось, а М. II. Боткин, тот даже сам первый предложил мне пользоваться предметами своего собрания. В помощь мне (и отчасти для наблюдения за тем, как *бы* «декадент» не выкинул бы чего-либо нежелательного для «Общества») была выбрана редакционная комиссия из трех лиц: затейщика всего дела П. П. Марсеру, директора рисовальной школы «Общества поощрения» Е. А. Сабанеева и А. А. Ильина. Иа них трех единственно кто мне не был особенно приятен — это Сабанеев,— бестолковый, придирчивый (ярко-рыжий) господин, но нам втроем не стоило большого труда его урезонивать и обезвреживать. Напротив,. и Марсеру, и Ильин приходили в восторг от всего, что я ни затевал,. а нередко оба были мне полезны в чисто практических и технических вопросах. Особенно Ильин, стоявший во главе самого значительнога картографического заведения в России и имевший большой опыт вообще в печатном, и в частности — в литографском деле.

Очень скоро редакция «Сокровищ» стала сборным пунктом для многих моих друзей — особенно для тех, которых я пригласил к прямому участию в моем издании в качестве постоянных сотрудников; самыми. верными и усердными среди них оказались Яремич и Курбатов. Но тотчас же послышались жалобы со стороны Сережи и Димы на то, что редакция «Мира искусства» пустеет но вине притягательной силы, исходящей от «Сокровищ», и тогда, с общего согласия, было постановлена устроить очередь: два дня в неделю я принимал друзей у себя в редакции на Мойке и поил их чаем с кренделями; в остальные же дни все-(и я в том числе) собирались у Сережи, тоже за чайным столом, но с баранками и калачами. С осени 1900 г. «Мир

искусства» переехал с Литейной на новую, более парадную квартиру в 3 этаже дома № 11 па Фонтанке, с окнами, выходившими на дворец Шереметевых. Рядом с этим (выкрашенным в черный цвет) домом был особняк-дворец графини Софьи Владимировны Паниной, считавшейся самой богатой невестой & России.

Одним из условий, поставленных «Обществом поощрения», было то,. чтоб все,нужное для сборника производилось в России, и мне строго запрещалось наподобие «Мира искусства» что-либо заказывать за границей. Бумагу, и ту надо было раздобыть *русскую,* что, после многих поисков, мне и удалось (с некоторой натяжкой),— меловая бумага, годная для печатания автотипий, нашлась — в Финляндии. Так же и хромолитографии и гелиогравюры приходилось заказывать у себя — главным образом в цинкографии А. Вильборга. Текст же печатался у Голике. Вначале существования «Сокровищ» то были еще два не зависимых один от другого предприятия, но вскоре они слились в одно — небывалого еще а России размаха. С этого момента душой и мозгом сложного целого стал не вечно суетливый хлопотун и путаник Роман Романович Голике и не апатичный, вялый Артур (Иванович) Вильборг, а главный техник в деле последнего Бруно (или Александр) Георгиевич Скамони — один из самых толковых и дельных людей, когда-либо мне встречавшихся на.

320*IV, 38. «Художественные сокровища России»*

этом поприще. Скамони мне впоследствии признавался, что и мое сотрудничество сослужило добрую службу его фирме — в смысле подъема уровня художественных работ. Мои строгие, но всегда справедливые требования и критика по-существу, без лишних придирок, способствовали постепенному совершенствованию качества работ. В то же время я, благодаря Скамони, стал лучше различать, что *можно* (и надлежит) требовать, а что нельзя и остается вне достигаемости. Наше истинно дружеское сотрудничество со Скамопн пригодилось и после того, что я покинул «Сокровища»; оно способствовало созданию целого ряда строго художественных и монументальных изданий 5 — среди которых были мое «Царское Село», моя «Русская школа живописи» и моя же (увы, оставшаяся незаконченной) «Всеобщая история живописи».

Ближайшей моей задачей было составление первых выпусков «Художественных сокровищ», и эта задача оказалась тогда потому же особенно трудной, что до выпуска первого номера оставалось, с момента моего вступления в должность, всего четыре месяца, да и те не полностью, так как царила убийственная темнота петербургской осени, и это мешало съемке фотографий. Вообще

же требовалось подобрать иллюстрации-таблицы так, чтобы они одним своим подбором давали сразу понятие о широте и разнообразии программы, а также и о художественной высоте общего уровня, В известной пропорции нужно было поместить памятники и отечественного искусства и чужестранного; нужно было представить всевозможные эпохи и всякие отрасли — лишь бы каждый воспроизводимый предмет *находился в России.*

Особенных усилий потребовалось от меня для осуществления моего намерения давать, в виде объяснительного текста, не просто одни отрывочные сведения (вроде того, как это практиковалось в «L'Art pour tous» * или «Formenschatz»'e **), а нечто более обстоятельное и подписанное заслуженными авторитетами. С другой стороны, условия моего сборника не позволяли уделять много места тексту, да я и сам был против того, чтоб текст в «Сокровищах» доминировал над иллюстрациями и чтоб сборник получил характер тяжелого научного органа — ведь «Сокровища» были рассчитаны на распространение в широких кругах, главным образом среди художников и художественных ремесленников. Многое из того, что требовалось для текста, я и мои ближайшие помощники сами знали, незнаемое же можно было без особенного труда узнать из словарей и специальных книг. Но трудно было какого-либо заслуженного и знаменитого ученого заставить прикинуться «скромным популяризатором» и при этом все же получить от него сведения «вполне научного» характера. Но и тут, после долгих уламываний, доходивших подчас до неприятных колкостей, мне удавалось добиться своего даже от таких светил, как заведующий Античным отделением Эрмитажа Кизерицкий, как знаменитый византолог Я. И. Смирнов, как профессор Шляпкин и мно-

«Искусство для всех» *(франц.),*

«Сокровища формы» *{нем.).*

гие другие. На эти переговоры и убеждепия уходило много времени и нервов, но я был уверен, что нахожусь на верном пути. Моя программа была рассчитана на годы, и я не сомневался, что со временем мне удастся одолеть и равнодушие публики, и недоброжелательство некоторой части «начальства». И действительно, надежды мои стали сбываться скорее, чем я предполагал. Постепенно смысл и цель сборника, по мере появления дальнейших выпусков, делались понятнее, и «Сокровища» стали завоевывать симпатии и уважение. Когда же увеличение числа подписчиков позволило мне рискнуть пойти на большие затраты, и я целые выпуски отважился посвящать одной,

объединяющей все содержание их теме (с текстом, более пространным), то я стал все чаще слышать комплименты, а то и изъявления настоящего восторга. Особенный успех имели выпуски первого года издания, которые были посвящены Китайскому дворцу в Ораниенбауме, богатому собранию голландских картин Л. II. Семенова-Тян-Шаньского и Строгановскому дворцу в Петербурге.

Петр Петрович Семенов, со своими густыми белыми бакенбардами, с отросшими на затылке волосами, представлял собой необычайно живописную фигуру. Характерна была и вся его повадка, за которую злющий Деларов дал ему прозвище «Топтуна». Он действительно как-то все время *топтался,* передвигаясь от одной картины к другой и давая краткие пояснения о каждой. Память у Семенова была изумительная, и лишь изредка происходили в ней те заскоки, касающиеся имен авторов или городов, которые так нопятны, если принять в соображение его годы и те мириады названий, которые должен был хранить мозг этого восьмидесятилетнего старца, особенно прославившегося в качестве отважного путешественника и исследователя. Основной же заботой Семенова при собирании картин было то, чтоб его коллекция могла служить дополнением Эрмитажу и чтоб в ней были представлены все те голландские художники, которые в государственном хранилище отсутствовали.

Несравненно менее гладко сошла моя работа по составлению «Строгановского номера», посвященного как самому зданию дворца Строгановых на Невском проспекте, так и находящимся в нем художественным предметам. Эти чудесные вельможные палаты, построенные (и перестроенные) еще при Елисавете Петровне, интриговали и интересовали меня с отроческих лет. В архитектуре графа Растрелли, в кровяном цвете, в который дворец тогда красился, в львиных мордах на воротах, в странных железных тумбах, что стояли по краю тротуара, оцепляя дом со стороны Невского проспекта и Мойки, во всем этом было что-то необычайное и чуть «гримасирующее». К этому надо прибавить, что Строгановский дворец считался хранилищем баснословных сокровищ, однако попасть в это зачарованное место не было возможности. Принадлежал дворец, на правах майората, последнему в роде Строгановых — графу Сергею Александровичу, по оп жил постоянно в Париже и в Петербург не заглядывал. Громадный дом оставался годами необитаемым, и было известно, что хозяин решительно против того, чтоб кого-либо в его отсутствие впускать. Это очень досадовало любителей старины и историков

искусства. Все же после всяких тщетных попыток я добился того, чтоб для меня Сезам открылся. Для этого пришлось познакомиться с управляющим графа и убедить его послать запрос проживавшему в Париже графу. На первую телеграмму ответа не последовало, на вторую ответ получился отрицательный, и лишь в ответ на третью, в которой управляющий сослался на рекомендацию П. Я. Дашкова и принцессы Е. М. Ольденбургской, разрешение последовало. К сожалению, я и после того наткнулся на настоящего цербера. То был дворецкий, живший в полном безделии п покое в боковом флигеле дворца. Он не мог напрямик противиться воле графа, однако он с такой явной неохотой покорился его приказу, открыв для меня и для моих фотографов парадные комнаты, что для меня изучение Строгановского дворца сделалось чем-то мучительным. Напрасно каждое мое посещение я кончал тем, что совал в его руку по золотому, напрасно я был с ним изысканно любезен, хамоватый дворецкий продолжал противиться, чтоб картины и предметы снимались с места и т. д. Многое из того, что я себе наметил, так и осталось не снятым.

Глава 39

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. ДЕЛАРОВ. П. Я. ДАШКОВ. в. к. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Необходимо теперь рассказать об одной весьма существенной стороне моей деятельности и, более того, моего характера, а именно о моей страсти к собирательству. Возможно, что я об этом уже упоминал выше не раз, но писания эти до того растянулись, что мне подчас трудно проверить.

Определенные к собирательству наклонности обнаружил я с ранних лет. Сначала я со страстью собирал, как все мальчики тогда, почтовые марки, затем наступил период собирания бабочек и жуков, потом я стал собирать книги. Несомненно, меня в свое время сильно раззадорил обход антикварных лавок в обществе Реджинальда Ливисей, которому я служил и толмачом, и чем-то вроде эксперта. В 1886 г. особенно сильное впечатление на меня произвело посещение квартиры старого еврея господина Кауфмана, который около 1884 г. внезапно появился на пашем горизонте.

Чем в обыкновенной жизни занимался Кауфман, я и тогда не

знал, возможно, что он был «биржевым маклером» или чем-то в таком роде, ео обладал Кауфман, во всяком случае, очень крупными средствами и значительную часть их он тратил на приобретение всяких редкостей. Ими он любил хвастаться и все предлагал папе посетить свою квартиру па Васильевском Острове, на углу 1-ой линии и Большого Проспекта. Папа, наконец, собрался и взял меня с собой. Мне теперь трудно сказать,

что представляло собой то, чем было битком набито это очень пространное помещение, но мне, мальчику шестнадцати лет, во всяком случае, самая эта «масса сокровищ» чрезвычайно импонировала...

Не совсем заглохла, но все же значительно сократилась моя коллекционерская мания в первые годы нашего самостоятельного существования. Средства у нас были очень ограниченные, и почти все уходило на хозяйство. Первое время пребывания в Париже эта страсть и вовсе замерла, зато несколько позже, еще в Париже, она получила особую интенсивность. Вернулся я в Россию с папками, набитыми всякими гравюрами и литографиями, среди коих очень многие относились к прошлому Петербурга, а несколько сот представляли собой бытовой материал. С момента, когда я вошел в обладание отцовским наследством, я получил возможность более последовательно и более широко заняться обстановкой пашей квартиры; и мне, и жене хотелось придать ей, вместе с уютом, то изящество п ту «парадность», которые соответствовали нашим вкусам и нашей потребности жить среди приятных, а то и редкостных вещей. И вот тут на нашу сцену вступает, в качестве не особенно длительной «гастроли», Павел Викторович Деларов. На этой весьма необычайной фигуре мне хочется остановиться.

Однажды, еще до Парижа, во время одного моего посещения Эрмитажа на меня сильное впечатление произвел господин, который, стоя в «Галерее истории живописи» \ перед мольбертами с новыми приобретениями музея, громко и с необыкновенной авторитетностью подвергал их немилосердной критике. Самая наружность этого господина обращала на себя особенное внимание. Это был невысокого роста, коренастого сложения человек с густой рыжей бородой и рыжим же клочком волос среди высокого лба, что придавало ему сходство с античным сатиром. При этом, острые, очень злые голубовато-зеленые глаза и яркий румянец на щеках. Поразило меня и то, как он был одет. Увидеть человека среди дня во фраке было уже чем-то необычайным; вид этот наводил на предположение, что это какой-либо присяжный поверенный, забредший в Музеи в перерыве между двумя тяжбами; за лакея же его, во всяком

случае, никак нельзя принять. Под мышкой у рыжего господина топырился огромный, туго набитый портфель. Вел он себя вызывающе дерзко. Все в целом было настолько странно, что я тотчас же тогда поднялся в кабинет хранителя музея, к А. И. Сомову, которому я описал наружность поразившего меня человека. II не успел я закончить свой рассказ, как А, И. Сомов, а за ним и его помощник А. А. Неустроев в один голос воскликнули: «Да это Деларов!» За этим последовала весьма нелестная характеристика. Оказалось, что этот Деларов никакого отношения к жизни Эрмитажа не имеет, что он вовсе не какой-либо важный сановник или родовитый вельможа, а служит он в Министерстве путей сообщения, где занимает пост юрисконсульта (вот откуда сходство с адвокатом) и как таковой славится своим бессовестным стяжательством. Он — обладатель большого собрания картин, а к администрации Эрмитажа издавна питает лютую ненависть.

11*

.324

l¯V\ 39. Коллекционеры

Проходят четыре года. Я вернулся из Парижа и снова «окунулся» в петербургскую жизнь. II вот, к большому моему удовольствию, я встречаю своего эрмитажного сатира на сей раз в семейной обстановке — у своей кузины Е. С. Зарудной-Кавос на одном из ее журфиксов, на которых можно было видеть всяких знаменитостей художественного и литературного мира. Деларов с неистовым жаром с кем-то спорил, сыпал цитатами на всяких языках, иногда разражался дико-язвительным смехом. Во всяком случае, он еще более меня тогда заинтересовал, и я был в восторге, когда я тут же был им приглашен с женой отобедать у него на даче в Павловске.

В ближайшее же воскресенье мы туда и отправились. И тут все было довольно неожиданным. Дом, в котором круглый год жили Деларовы, не был вовсе каким-либо каменным особняком, а то была самая обыкновенная двухэтажная деревянная дача. Госпожа Деларова оказалась той самой мадемуазель Аршеневской, которая произвела на меня известное впечатление своим болезненным и грустно-томным видом на приеме после бракосочетания моего брата Михаила; с тех пор она превратилась в очень полную и вовсе не томную матрону, успевшую уже родить своему супругу нескольких детей (были у него взрослые дети и от первого брака). Поразила меня и коллекция Деларова, о которой я столько слышал. По количеству картин это был настоящий музей, по, боже мой, в каком неприглядном порядке все это было размещено! И какая это была мешанина школ, эпох и достоинств.

Заполнены были не только стены гостиной, кабинета и столовой, но и спален. Картины висели и над детскими кроватками, в коридорах и даже в отхожем месте! Условия света были всюду крайне невыгодные, и часть картин пришлось рассматривать при свете свечки, так как они находились в самых темных углах или в чуланах, а электричество отсутствовало.

Дело происходило зимой (в ноябре), сумерки, а затем и темнота наступили рано, а потому дальнейшее мое ознакомление с коллекцией было отложено до другого раза. Зато мы были угощены замечательным обедом. Он, правда, был сервирован без всякой декоративной претензии, по был он и обильным, и вкусным, и сытным, а главное — *пьяным.* Не только после превосходного soupe à l'oignon * в крупные рюмки была налита мадера, после рыбы — зеленые рюмки наполнились рейнвейном идеального аромата, после ростбифа — стаканы — бургундским, а к кофе была подана целая батарея ликеров, но во время всего обеда лилось рекой шампанское, и хозяин зорко следил, чтобы все пили, причем сам пил втрое больше гостей и к концу обеда так «налился», что стал совершенно невоздержан на язык, стал рассказывать в очень откровенных формах анекдоты и ругать не совсем цензурными словами своих врагов (особенно попадало знаменитым историкам искусства Бредиусу и Гоф-стеде де Грот) — и все это при дамах и даже при маленьких детях. И замечательно, что бывшая поэтичная мадемуазель Аршепевская, за-

* Лукового супа *(франц.).*

седавшая на председательском месте, видимо, была до того приучена к таким проявлениям темперамента своего супруга, что и не пыталась положить какой-либо предел им.

Достойным образом закончился этот сумбурный день и вечер тем, что пьяный извозчик, повезший нас па вокзал, выворотил нас вместе с санями па крутом повороте в снег, причем моя бедная жена получила от осколков льда несколько ранок на лице!..

Вскоре после этого folle journée * последовал первый визит Деларова к нам. Тут он меня поистине тронул своим восторгом от наших семейных Гварди: «Sic itur ad astra» **,— твердил он, глядя на эти чудесные рисунки. Похвалил он и другое, что висело у пас по степам и тут же, видимо, убедился в том, что я кое-что понимаю и кое-что знаю, что в те времена в России было редкостью. Взялся он и «пилотировать» меня в деле собирательства, но от предложения участвовать в каких-либо аферных комбинациях, основанных па купле и продаже картин, я

сразу и решительно уклонился. Я вообще «насторожился», тем более, что слышал весьма нелестные вещи про корысть Деларова и не слишком строгую его честность. Последнему я получил подтверждение из уст самого циничного и необузданного Павла Викторовича. Как раз в день первой экскурсии его «пилотирования» по антикварам я заехал за ним в министерство на Фонтанке и был поражен, что и его очень обширный кабинет был завешен картинами, но такого формата, который не пролез бы ни в одну дверь павловской дачи. Тут висела большущая и прекрасно писаная «Аллегория мира» Луки Джордано и не менее крупный библейский сюжет Иорданса, натюрморты Снапдерса и еще много другого. Стоя перед этими полотнами, Деларов понес невероятную галиматью, что-то вроде гимна взяточничеству, совершенно не стесняясь присутствием секретаря и сторожа. Кстати сказать, этот сторож (или курьер) был вернейшим спутником его превосходительства в его посещениях Александровского рынка и разных антикваров. Купленные картины он сразу забирал и тащил на пролетку или на сани, где и усаживался рядом со своим начальником, придерживая руками приобретенные «находки». В целом это представляло зрелище, достойное Перова или Владимира Маковского.

Много картин Деларова прошли через руки реставратора Напса (тоже очень характерной фигуры), по и сам Павел Викторович был склонен заниматься этим своеобразным «спортом». Однако про пего уже пикал; нельгя было сказать, чтобы он обнаруживал при этом необходимый такт и осторожность. Я уверен, что сам Деларов погубил не один десяток картин, так как сам жестоко поплатился, доверив его знанию дела прелестную картину в духе Пауля Поттера, которую я считал за Адриана ван де Вельде. Это был пейзаж с отдыхающими на первом плане под тенью деревьев коровами. И вот, вооружившись ватой, которую Деларов

* Безумного дня *(франц.)*. ** Так идут к звездам *(лат.)*.

макал в раствор спирта со скипидаром (первого было больше, чем второго), он так энергично принялся «шкурить» мою картину, что пе успел я оглянуться, как полетела топко выписанная листва на деревьях, как за средней коровой появился стог сена, как исчезла деревня и колокольня церковки на горизонте... И стала моя картина плоской, пропала вся ее поэзия...

Эту картину я приобрел на аукционе барона Фитингофа, который состоялся в пустой квартире обреченного на слом дома Жербииых на Михайловской площади. Интересные в

художественном отношении распродажи были у нас редкостью, а потому и этот аукцион получил значение известной сенсации и собрал всех, что было у нас коллекционеров и антикваров. Поживились па нем тогда многие мои знакомые, да и мое собрание обогатилось не только той, погубленной затем Деларовым картиной, но и прелестным ранним «сухопутным» пейзажем Я. ван Гойена, двумя превосходными пейзажами, шедшими за Гасиара Пуссена (настоящим автором их был несправедливо забытый немец XVII в. Иоганн Гла-убер), и еще кое-что. Очень мне хотелось получить восхитительную «Зи-мку» Яна Брейгеля и «Аллегорию зимы» Роттенгаммера, но первую мне пришлось уступить Деларову, за что он обещал мне не «гнать» Гойена (благо у него было несколько картин этого мастера), а вторую у меня «выпросил» милейший граф А. *А.* Голеннщев-Кутузов.

Добрыми отношениями с Кутузовым я дорожил, но пе потому, что особенно ценил его как поэта, и еще менее потому, что, сделавшись секретарем вдовствующей императрицы, он стал (или мог стать) влиятельным персонажем; наконец, н не потому, что ему удалось, начав с малого и очень скромного, собрать в сравнительно короткий срок весьма интересную коллекцию картин, а просто потому, что я редко встречал человека такой изощренной любезности. II эти манеры Кутузова не были чем-либо напускным или лицемерным, а соответствовали действительно необычайному его благодушию. Что же касается до наружности графа, то на поверхностный взгляд его легче было принять за купца. На это наводила его тяжелая, расползшаяся фигура, его одутловатое широкое лицо, его жиденькая белокурая борода; все это вместе взятое напоминало торговцев в Апраксиином рынке, которые, сидя перед своими лавками, целыми днями попивали чай и зазывали прохожих. Но стоило немного побеседовать с этим мнимым купчиной, и настоящая природа Арсения Аркадьевича выявлялась вполне; все выдавало в нем «подлинного барина». Большими средствами он не обладал и поэтому долгое время не мог потакать уже давно таившейся потребности окружать себя предметами искусства. Но с момента, когда он поступил на службу по двору вдовствующей императрицы Марии Федоровны и ему была предоставлена прекрасная казенная квартира в доме для служащих Аничкова дворца на Фонтанке, для него открылась возможность se payer quelques folies * (его собственные слова). Приобретения на аукционе Фитингофа были пер-

* Позволить себе кое-какие безумства *(франц.),*

выми из этих безумств, и они были еще робкими и осторожными, с течением же времени граф все более смелел, и в конце концов коллекция его, сгруппированная в его обширном и глубоком кабинете, представляла и весьма значительное целое. Он особенно увлекался старыми немцами XV в.

Раз я уже заговорил о петербургских коллекционерах, то будет уместно упомянуть здесь имена и других главнейших наших собирателей: М. П. Боткина, Е. Г. Швартца, И. И. Ваулина, П. Я. Дашкова, С. С. Боткина и князя В. Н. Аргутинского. Со всеми ними я часто встречался как раз в эту пору, т. е. вокруг 1900 г.— отчасти на почве моей деятельности редактора «Художественных сокровищ», но двое последних из названных сделались моими ближайшими друзьями; с ними я стал видеться чуть ли не ежедневно, мы с женой постоянно бывали у них, а они у нас, они же стали принимать живейшее участие во всем, из чего складывалась моя жизнь, как общественная, так и семейная. Позже к ним присоединились еще князь М. К, Горчаков с княгиней и М. С. Олив с супругой.

На одном из этих лиц мне нужно подольше остановиться. Я имею в виду самого замечательного из них — Павла Яковлевича Дашкова 2. Имя его мне стало известно еще в 80-х годах, когда в изданиях Суворина, посвященных истории Петербурга, его окрестностей и Москвы, постоянно появлялась под иллюстрациями одна и та же заметка: <<Из собрания П. Я. Дашкова». Заметки эти заставляли предполагать, что у этого счастливца хранятся неисчислимые сокровища, как раз касающиеся такой области прошлого, которая меня все более и более приманивала. Несколько раз, все через А. И. Сомова, я пытался попасть к Дашкову, но пока я из себя ничего официально не представлял, мои домогательства оставались тщетными; напротив, с момента, когда я стал редактором художественного исторического сборника, издаваемого имп. «Обществом поощрения художеств», Дашков смилостивился. Были у меня и конкретные виды на Павла Яковлевича; я понимал, что мне никак не обойтись без многого из того, что собрал Дашков. Не скрою, что, отправляясь к такому знаменитому и заслуженному лицу, с такой «исторической» фамилией, я несколько робел... Но эта робость сразу миновала, как только я переступил порог дашковской квартиры. Вся его обстановка оказалась совершенно не такой, какой я ее себе представлял. Бог знает почему я ожидал, что, войдя в этот снаружи издавна знакомый мне дом на углу Михайловской площади, в двух шагах от Михайловского театра, я окажусь в подлинно барских хоромах, с массой картин на стенах

и с великолепной «дворцовой» мебелью. На самом деле эти комнаты были самыми обыкновенными, в гостиной висел всего один портрет, кресла и диваны покрыты чехлами... Что же касается самого хозяина, то я увидал вовсе не какого-либо важного вельможу, а передо мной предстал подвижной и прямо-таки юркий, сухонький, седеющий господин, с коротко стриженной бородкой, с волосами ежиком, и уж окончательно неожиданным было то, что этот господин препотешно заикался, а речь его, хоть

и была безукоризненно правильной, однако в ней слышался как бы намек на иностранный акцент **.

Несколько своеобразный вид представляла из себя одна только столовая. К ней прямо из передней шел светлый коридор, установленный «тропическими» растениями, и целая «горка» таких же растений придавала столовой некоторое сходство с «зимним садом». Тут, за широким столом происходили те длившиеся часами заседания, во время которых гости, званые и незваные, бывали потчеваемы обильным, но совершенно на домашний лад приготовленным кушанием и целыми потоками вина. Погреб Павла Яковлевича славился на весь Петербург; считалось, что у него хранятся какие-то «совершенно единственные» коньяки, реинвейны, токайские, бургундские и бордоские вина, но не ими он угощал своих завсегдатаев, а исключительно своим янтарным сиракузским, похожим на марсалу. И какое же это было чудное зелье! Вкусное и легкое! Как оно развязывало язык и как веселило, как располагало к беседе и даже к болтовне и к вранью. Хозяин неустанно следил, чтобы бокалы (очень крупные бокалы) были всегда полны, и, стоило отпить толику, как он делал знак лакею, и тот, несмотря ни на какие протесты, подливал до краев, а хозяин тянулся, чтобы чокнуться, и приходилось пить. Павел Яковлевич и сам не отставал от гостей в этом культе Бахуса, но с момента, когда появились у него первые признаки заболевания грудной жабой, он стал осторожнее, и вместо сиракузского ему подавали рюмочку молока с каплей в нем коричневой микстуры — вероятно иода. Это уже не могло служить подстреканием для других, и, пожалуй, в эти годы пили у него меньше прежнего, несмотря на настойчивые его приглашения и понукания.

Павлу Яковлевичу *доставляло удовольствие* напоить гостя. Об одном таком случае он говорил в тоне полководца, одержавшего блестящую победу. Жертвой оказался известный московский театральный коллекционер Бахрушин. Этот

самонадеянный господин имел неосторожность похвастаться, что «его вино не берет», что он остается трезвым, сколько бы ни выпил вин и водки. «Ну подожди, братец,— подумал Дашков,— я ттебе поккажу, каким тты осстанешься тттрезвым у меня!..» И, пригласив на следующий день самонадеянного москвича к обеду, Павел Яковлевич *так* его угостил, что тот оказался под столом, и его пришлось вынести на руках, уложить в карету и отвезти в гостиницу. В этой решительной битве были пущены в ход les grands moyens *, и в том числе какой-то коньяк эпохи Людовика XVI и какое-то шампанское, превратившееся в подобие густого сиропа. «От одддной рррюмочки тттакого шшшшампанского люди валятся зазазамертво». Знатоки, впрочем, утверждали, что это не так и что столетнее шампанское ничего из себя, кроме чего-то тухлого и кислого, не представляет.

** Отец П, Я. Дашкова был русским посланником в Швеции, и в Швеции же про

текло детство Павла Яковлевича. * Сильные средства *{франц.)*.

IV, 39. Коллекционеры

3á9

О, эти чудесные, эти пьяные завтраки за дашковским столом. Как* не упомянуть о них добром и восторгом. Какие то были удивительно занимательные, разнообразные собеседования. Какое они мне доставляли наслаждение, сколько интересных людей я за ними перевидал и переслышал. Два-три человека были des habitues *, и они исполняли при Дашкове роль, которую в старом домашнем быту играли домочадцы и приживальщики; они были выдрессированы «подавать реплики» хозяину, наводить разговор на желательные темы и, главное, следить за тем, чтобы гости пили. Из них мне лучше других запомнился некий господин Минин, отец красавицы-балерины Муромцевой и, как говорили, спутник Павла Яковлевича в каких-то ночных авантюрах. К завсегдатаям же можно еще причислить и популярного историка Божерянова, а также неизменно каждый раз появлявшегося генерала Несвецевича. Но только последний долго не оставался и, хоть являлся во время завтрака, однако «к столу приглашаем не был». Он заезжал на десять минут, и это для того только, чтобы вручить Дашкову для его «современной хроники» какой-либо только что отпечатанный снимок. Этот Несвецевич был очень маленького роста и очень невзрачный, прямо-таки чумазый, и генеральская форма шла ему, как корове седло. Но человек он был ценный — это был настоящий предтеча тех фотографов-репортеров, тех chasseurs d'images **, которые расплодились ныне в таком количестве и стали чем-то вроде общественного бедствия.

Технически снимки Несвецевича были не ахти какие, но то были все же документы, выхваченные прямо из жизни и обладавшие полной достоверностью. Про Несвецевича, про его способность «пролезать» в самые запретные места ходили разные анекдоты, иногда и вовсе неправдоподобные, как например, будто бы он снял одно очень высокопоставленное духовное лицо с балериной на коленях!..

Постоянные гости Павла Яковлевича являлись к нему, не дожидаясь, чтоб он особенно приглашал. Это были настоящие Stammgäste ***; я довольно скоро попал в их разряд. А затем шла серия самых разнообразных персонажей, начиная с каких-то господ в военных и в гражданских мундирах, служивших в Охранном отделении, и кончая заведующим военными музеями и архивами. Не было такого готовящегося исторического труда— будь то юбилейная история полка пли министерства,— в котором можно было бы обойтись без того, чтоб украсить книгу воспроизведениями гравюр, почерпнутых из собрания Дашкова.

Мои посещения Павла Яковлевича имели предлогом известную корыстную цель; я являлся как бы для того, чтобы узнать, не откопал ли чего Дашков для меня из «недр» его собрания, куда *никто не допускался.* На самом же деле меня просто тянуло к Дашкову, тянуло оказаться за этим столом и послушать все то, что там говорилось. Разговоры были почти всегда исторического характера; сообщались и обсуждались по-

Завсегдатаи *(франц.)*. Охотников за кадрами *(франц.)*. Постоянные гости, завсегдатаи *(нем.)*.

вейшие открытия всяких тайн (постоянно возвращались, например, к подробностям убийства Павла I или к тому, был ли или не был Федор Кузьмич действительно Александром 13); рассказывались анекдоты про всяких первопланных личностей, обсуждалась целесообразность распоряжения полководцев, выигравших или проигравших какое-либо знаменитое сражение и т. д. Изредка затрагивалась и современность, но в таких случаях я не помню, чтобы можно было вывести вполне отчетливое заключение о настоящих политических убеждениях беседующих. Едва ли присутствие каких-то господ из охраны (или из сыскной полиции) могло способствовать такому уяснению. Впрочем, сам Павел Яковлевич был убежденным монархистом. Даже тогда, когда с 1904 г. «дело стало пор-титься», оп не терял своей абсолютной веры в государя. Я помню, как он на какие-то едкие нападки одного из гостей вдруг возвысил голос и, почти не заикаясь, в несколько приподнятом тоне заявил: «Вот увидите,

государь еще себя покккажет и всех, и всех, и всех удивит!..»

Вообще же Павел Яковлевич больше любил послушать умные и ученые речи и постоянно подзадоривал гостей к тому, чтобы они выкладывали побольше всяких сенсаций. Но изредка он и сам выступал с каким-нибудь рассказом (почерпнутым из его необъятного архива). И вот что странно: его заикание не только тогда не портило дела, а напротив, придавало его речи особую значительность и живописность. Он с ловкостью умел пользоваться заминками своего языка перед каким-либо особенно замечательным сообщением. Заминки эти служили ему многоточием, они же позволяли ему в течение такой паузы собраться с мыслями и отлить их в особенно отчетливую и поражающую формулу. При этом Павел Яковлевич начинал по-особенному ерзать на стуле, вертеться, оглядывать сидящих за столом, и все это подготовляло эффект, заставляло насторожиться и загореться особенным любопытством. «Сенсация» затем выпаливалась уже без заминки и с каким-то «триумфом». Часто сенсации Павла Яковлевича бывали юмористического порядка, и тогда, сохранив величайшую серьезность до последнего момента и выпалив, наконец, то, чем он желал потешить аудиторию, он начинал трястись в каком-то молчаливом смехе, заражая им и всех присутствующих. Да и заражать было нечего, ибо то, что подносил Павел Яковлевич, отличалось всегда тонким остроумием.

Однажды среди завтрака в столовую вошел высокого роста, чуть сутулый военный в форме (тужурке) кавалергардского полка. Ему на вид можно было дать лет сорок. Красивое, значительное лицо было несколько восточного типа (в иллюстрациях детских сказок такими обыкновенно изображаются всякие татарские ханы или индийские принцы и раджи). Уже было странно то, что этот запоздалый на добрых два часа гость вошел совсем по-домашнему, без доклада, но еще более меня удивило то, что Павел Яковлевич, который в подобных случаях не двигался с места, тут вскочил и с каким-то гостеприимным восторгом бросился настречу. Все тоже привстали, но гость попросил «не беспокоиться» и сам уселся на уголок рядом с хозяином, отказавшись впрочем от еды. Оказалось,

*IV, 40, Новые друзья*331

что это в. к. Николай Михайлович, которого соединял с Дашковым интерес к прошлому России п который не раз пользовался для своих исторических трудов коллекциями и архивами Павла Яковлевича.

Приход великого князя нарушил было общую беседу: иные не знали, как подобает в таких случаях себя держать. Но сам

Николай Михайлович постарался, раздавая любезные улыбки во все стороны, очень скоро устранить стеснительность. Он стал рассказывать про какое-либо свое новое открытие, Павел же Яковлевич задавал ему задорные вопросы, вникая в подробности, прося уточнения, высказывая иногда свои предположения или не без потешного пафоса изображая «крайнее изумление». Постепенно вслед за ним и все прочие оживились и вошли в беседу.

На меня в этот первый день великий князь произвел очень сильное и *обворожительное* впечатление. Он показался мне удивительным умницей, человеком прелестной воспитанности и просто необычайно приятным собеседником. Увы, позже, когда я с ним ближе сошелся и был приглашен «запросто заходить к нему» (главным образом, чтобы принять участие в разборе фотографических материалов для его грандиозного предприятия — издать своего рода свод русских портретов), мне пришлось несколько изменить это мнение о нем. Под оболочкой тончайшего «европейца», «парижанина» и «сказочного принца» обнаружились некоторые весьма неприятные черты грубости и, я бы сказал, самодурства. Но к нему я еще вернусь в дальнейшем,

Глава 40

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ: СУПРУГИ БОТКИНЫ,

КНЯЗЬ В. Н. АРГУТИНСКИЙ,

«КОКА» ВРАНГЕЛЬ, ДОБУЖИНСКИЙ

Перечисленные коллекционеры были просто нашими новыми знакомыми. Но вот двое стали и нашими близкими друзьями. Наше сближение произошло на почве собирательства, на общности интереса к старине, к красивым и курьезным вещам, но постепенно в этом сближении начали вскрываться общечеловеческие начала, наше отношение к жизни вообще, наши «жизненные вкусы». Как и старых моих друзей отрочества и юности, так и этих, подошедших к нам уже тогда, когда мои друзья юности перестали представлять собой сплоченное целое, привлекало к себе монархическое начало. Но и у меня и у них было в этом больше эстетизма, нежели чего-либо похожего на доктрину. Нас всех продолжало пленять в клонившейся к упадку монархии то, что еще оставалось в ней от «традиционного

великолепия». Кроме того, и у Боткина, и у князя Ар-гутинского монархизм поддерживался принадлежностью к тому кругу, который более тесным кругом обступал престол.

332*IVt 40. Новые друзья*

Я уже рассказал, как произошло мое знакомство с С. С. Боткиным и его женой * — на первой нашей выставке в 1898 г. Меня заинтересовала тогда эта «юная» и симпатичная пара и то, с каким особенным вниманием они разглядывали выставленное и оживленно делились между собой своими впечатлениями. Но тогда дальше наше знакомство не пошло, и Боткины еще не были «допущены» в наш «интим», а к тому же я вскоре после того уехал к своим в Париж. Лишь по моем возвращении в 1899 г. это знакомство стало быстро приобретать более тесный характер, а уже через несколько месяцев мы с женой стали почти неразлучны с четой Боткиных. То они звали нас к ним, то мы принимали их у себя, то все четверо встречались у общих приятелей или в театре. С момента же моего вступления в редактирование «Художественных сокровищ» С. С. Боткин стал оказывать мне и весьма ценные услуги, знакомя меня с разными обладателями прекрасных вещей. Это он ввел меня к графу и графине П. П. и Е. В. Шуваловым, и к Юсуповым, и к князю и княгине Орловым, он же принял живейшее участие в том, чтоб я мог получить разрешение производить снимки внутри Строгановского дворца. Разумеется, к этому времени я уже знал, что он вовсе не «студент», а профессор Военно-медицинской академии и к тому же лейб-медик, что он вовсе не так молод, как казался, а что его жена — дочь П. М. Третьякова, память которого я особенно чтил. Все это не «портило дела», но и не отзывалось на наших отношениях, в которых царил самый непринужденный тон — такой же, какой царил между нами и нашими прочими друзьями. Профессор и лейб-медик оказался очень склонным к юмору, к шуткам; его несколько сиплый, давящий смех то и дело раздавался на наших беседах, он быстро освоился со всеми нашими чудачествами и странностями. Александра Павловна была более сдержанной, но это происходило отнюдь не от какой-либо спеси, иногда присущей представителям именитого московского купечества, а происходило оттого, что она с трудом освобождалась от сохранения некоей природной «молчаливой монументальности», выражая то удовольствие, которое она испытывала в нашей компании, одной лишь приятной, как бы «про себя», улыбкой. И тот и другой из супругов обладал, во всяком случае, большим шармом, но, пожалуй, он в большей степени, нежели она. Сказать кстати, в Александре Павловне нас очень коробила одна странная черта. Она обожала свою старшую

дочь Шуру и не скрывала своей антипатии к младшей — Тасе. Причиной этого, говорят, было то, что после рождения первой дочери Александра Павловна особенно страстно стала мечтать о сыне, и вот разочарование, постигшее ее, когда снова родилась девочка, до того ее огорчило, что она с самых пеленок принялась это ни в чем неповинное дитя ненавидеть и, мало того, всячески это показывать. В этом несомненно сказывались пережитки купеческого самодурства, но надо отдать справедливость Александре Павловне, что в чем-либо другом такого следа ˆтемного царства» не обнаруживалось.

Иным характером обладал Сергей Сергеевич. Он был чрезвычайно *любопытен* до людей (черта, которая особенно меня с ним сближала),

*IV, 40. Новые друзья*333

а потому он не только не чуждался кого-либо, но любил бывать а там, где людей было много и где он мог вдоволь удовлетворить свое специфическое любопытство. Не брезгал Сергей Сергеевич и всякой chronique scandaleuse *, охотно пополняя ее собственными наблюдениями, которые накапливались в его великосветской практике. При этом он, разумеется, остерегался выдавать тайны профессионального характера и сообщать, хотя бы и в тесном дружеском кругу, те из своих наблюдений, которые могли бы нанести ущерб репутации людей, состоящих его пациентами.

Одной из основ нашего дружеского общения с Боткиным было коллекционирование, но, разумеется, я никак не мог тягаться с Сергеем Сергеевичем, располагавшим несравненно большими средствами, нежели я. Впрочем, и вообще конкурентами мы едва ли могли бы быть, так как меня больше тянуло собирать старину западного происхождения, он же почти исключительно собирал русские вещи и преимущественно рисунки. У него их уже набралось несколько сот, но качественно в момент нашего сближения далеко не все были равного достоинства. Боткин тогда зачастую «попадался», придавая веру слишком смелым атрибуциям (желание во что бы то ни стало иметь образчик того или другого редкого мастера влияло на эту доверчивость); не всегда он разбирался и в разных тонкостях. Но постепенно он от таких недостатков освобождался, становясь все более и более строгим в выборе и в то же время стараясь вести с большей последовательностью пополнение своего собрания (которое он завещал Музею Александра III). И до чего же по-детски бурно радовался милый Сергей Сергеевич, когда ему удавалось найти что-либо особенно интересное! Как он «ржал», приговаривая, что Остроухов и Ар-гутинский *подавятся* от

зависти, когда узнают, что у него прибавился еще один Брюллов или еще один Кипренский.

Особенно интенсивный характер получила моя дружба с С. С. Боткиным незадолго до его кончины — в зависимости от наших парижских спектаклей. Уже для успеха моего балета «Павильон Армиды» он потрудился немало, здесь же он прямо-таки распинался за меня, за Дягилева, за всех нас и проводил целые дни то на репетициях в «Екатерининском эале», то у менят то у Сережи. Он всегда был поклонником балета, и эту его страсть вполне разделяла его жена, но с момента, когда он перестал быть только зрителем, глядевшим на спектакль со своего кресла, а лично познакомился с лучшими артистами и видел их за подготовительной работой, он просто потерял голову. Впрочем, не одну голову, но и сердце. Он безумно увлекся Тамарой Карсавиной, в которую в те дни трудно было не влюбиться, до того обворожительна была эта всегда веселая и в то же время скромно себя державшая, очень неглупая, очень начитанная, совершенно еще молодая женщина, тогда и начинавшая подавать самые серьезные надежды. Этот *односторонний* роман (Тамара Платонов-

* Скандальной хроникой *(франц.),*

на, только что тогда вышедшая замуж за В. В. Мухина, не отвечала чувствам ее уже немолодого поклонника) мог бы, пожалуй, привести к каким-либо драматическим осложнениям в жизни нашего друга, если бы не внезапная кончина его, произошедшая в начале 1910 г. Особенно запомнилось мне возбужденное состояние Сергея Сергеевича весной 1909 г. в Париже, когда он специально прибыл к нашему сезону, но под предлогом, что ему необходимо продлить (или возобновить) лечение в Виши. Впрочем, он не менял своей обычной «манеры быть», он принимал такое же горячее участие в наших делах, он так же болел всеми маленькими драмами, что разыгрывались на обостренных нервах внутри нашего «стана», и в то же время он продолжал вносить в нашу компанию ту совершенно своеобразную ноту бодрости, которая была нам так необходима. Мало того, он в известной мере поддерживал Дягилева и материально, когда случилось так, что, несмотря на успех и полные сборы, наш лидер оказался без гроша.

Несколько омрачила Боткина в эти последние годы его жизни ссора, произошедшая между ним и князем В. Н. Аргутинским2 — другим нашим близким другом. Произошла она из-за какой-то сплетни еще в эпоху подготовительного периода перед первым

спектаклем моего балета «Павильон Армиды», а затем ссора вспыхнула заново, с еще большей силой, по поводу глупейшей чисто коллекционерской истории. А именно, Боткин приобрел у антиквара Гризара дюжину старинных русских тарелок с какими-то курьезными музыкальными нотами, па которую уже давно целился Аргутинский, и это было известно Боткину. Бешенство, охватившее добрейшего Владимира Николаевича, было безгранично. Напрасно и я, и моя жена старались обоих наших друзей помирить: была даже устроена с этой целью, с согласия Боткина, но неожиданно для Аргутин-ского, встреча их у нас. Но Владимир Николаевич почувствовал к своему обидчику такое омерзение, что, увидев его в нашей гостиной, он, не поздоровавшись с ним, «вылетел пулей». Нам было ужасно жаль бедного Боткина, который горько раскаивался в своем стяжательном поступке и даже готов был пойти на то, чтобы уступить половину злополучных тарелок «Аргутону», которого он, в сущности, нежно любил. Аргутинский же обвинял Боткина чуть ли не в грабеже и каждое его предложение истолковывал в худшую сторону. Он перестал кланяться при встречах не только с Сергеем Сергеевичем, но заодно и с Александрой Павловной, что являлось особенно диким, когда она оказывалась в балете на соседнем кресле.

И что ж? Кто примчался первым к смертному одру Сергея Сергеевича? Кто, услыхав в телефон печальную весть об его скоропостижной кончине, оказался там за добрых два часа до нас? Кого мы застали в кабинете Боткина, куда положили тело, рыдающим навзрыд и проливающим потоки слез? То был милый «непримиримый враг» — Аргутон. Все дни до погребения он не выходил из дома Боткиных и выказывал самое нежное попечение о безутешной вдове и об обеих «девочках». Разумеется, мир с Александрой Павловной был заключен без объяснений, и с тех пор Ар-

IV, 40. Новые друзья

у

гутинский добровольно превратился в какого-то их доброго гения, чуть ли не в опекуна. Для нас же внезапная смерть Сергея Сергеевича была глубоко нас потрясшим ударом, и мы долго не могли опомниться.

Только что рассказанная история о том, как поссорились Сергей Сергеевич с Владимиром Николаевичем, может послужить здесь своего рода введением к ознакомлению со вторым из этих наших двух друзей, прямо не принадлежавших к первоначальному «школьному» ядру, однако ставших за несколько лет нашими самыми близкими людьми. Эта ссора покажется тем более характерной для Аргутинского, если я тут же прибавлю, что и я с ним ссорился — и даже довольно серьезно — раз пять, причем две из этих ссор прервали наши (ежедневные) встречи каждая на целых два года! Характерно и то, что все эти наши ссоры кончались полным миром, притом без всяких извинений и объяснений ни с той, ни с другой стороны. В этих распрях оправдывалась поговорка: «милые бранятся, только тешатся», и если никак нельзя сказать, чтоб мы как раэ очень *тешились,* то все же несомненно, что эти ссоры отвечали известным потребностям наших душ и что, во всяком случае, мы и в состоянии ссоры не переставали сердечно любить друг друга. За известное (и даже большое) счастье я почитаю, что в момент смерти В. Н. Аргутинского — 9 декабря 1941 г., произошедшей столь же неожиданно, как н смерть Боткина '*, между им и мной царило полное согласие и что всякие вопросы, иногда отравлявшие наше общение с момента начала гитлеровской войны, если и не были между нами вполне ликвидированы, то все же приведены к известному, отнимавшему у них всякую остроту соглашению.

Познакомился я с князем Владимиром Николаевичем Аргутинским-Долгоруковым еще в университете. Это был очень привлекательный, очень симпатичный молодой человек (ему было тогда около восемнадцати лет,

*• За два часа до смерти Владимира Николаевича я сидел у него в его кабинете на рю Франсуа I, в он угощал меня шоколадными конфетами, что в те дни (оккупации) было редким и очень дорого стоящим лакомством. Каков же был мой ужас, когда, верпувшись к себе, я в телефон услыхал голос его племянника, графа В. Т. Дорис-Меликова, произносящий страшные слова: «дядя Володя только что умер...» Накануне я с

Владимиром Николаевичем ходили проститься с прахом только что скончавшегося Д. С. Мережковского. Аргутинский имел здоровый вид, и лишь при расставании на улице он со странной улыбкой, указывая на сердце, произнес фразу: «J'ai de drôles de sensations ici» [у меня здесь какие-то неприятные ощущения *(франц.)]*. Во время же нашей последней беседы он только слегка жаловался на простуду и готовился к тому, чтобы ему с разрешения врача были поставлены банки. Не получив от них ожидавшегося облегчения, Владимир Николаевич без посторонней помощи вскочпл с постели, подошел к комоду и налил каких-то успокоительных капель, однако уже на возвратном пути к постели он почувствовал себя дурно, а свалившись, успел только сказать фразу: «Мне очепь холодно». К нашему с женой особенному огорчению, мы не могли тотчас же отправиться к телу нашего друга: было уже шесть часов, а с шести, по распоряжению немецких властей, всякое движение по парижским улицам в те дни прекращалось до утра следующего дня— это была репрессивная мера, принятая после какого-то покушения.

но производил он впечатление еще более юное). Прибавка к фамилии Аргутинский «исторически звучащего» слова Долгоруков сообщала ему особый ореол и, так сказать,— большую достоверность его аристократизму, как бы родня его с Рюриковичами, в то же время «отделяя его от Кавказа». Впрочем, в его приятной наружности, в его не столько овальном, сколько круглом лице, в его правильном, вовсе негорбатом носе, в его карих близоруких глазах (он довольно рано стал носить очки), в его чуть пробивавшихся усиках не было ничего типично восточного. Держал себя Владимир Николаевич скромно, почти робко, отнюдь не спесиво и не «distant» *. Напротив, во всем чувствовался хороший, доверчивый и ищущий сближения с другими человек, и лишь гораздо позднее стала в нем проявляться недоверчивость, а еще позже и нетерпимость, что несомненно было следствием многих разочарований.

После университета наша компания теряет Аргутинского на несколько лет из виду; это объясняется тем, что эти годы он проводит в Англии, в Кембридже, где и довершает свое образование. Лишь по возвращении на родину и после поступления на службу в министерство иностранных дел наше знакомство с Аргутинским возобновляется и, постепенно преодолевая свою стеснительность, он становится частым гостем сначала одной только редакции «Мира искусства», а затем и нашим. При его скромности и молчаливости, потребовалось

время, чтобы мы *заметили* его интерес к искусству; еще гораздо больше времени ушло на то, чтоб мы стали считаться с его мнением, прислушиваться к его суждениям. Тут, впрочем, происходил двойной процесс. Мы постепенно учились оценивать этого новичка, но и новичок, благодаря общению с нашей компанией, формировался, шлифовался, терял остатки своего «провинциализма», приобретал разнообразные знания, вкус его утончался и одновременно он терял свою стеснительность, свою робость. Его мнения становились более определенными и оригинальными, ясными и обоснованными, и в зависимости от всего этого он приобретал апломб в отстаивании своих позиций. Я лично сначала только «терпел» присутствие милого, тихого, безобидного, но, как казалось, не особенно интересного молодого человека, но когда я открыл в нем задатки чего-то, что в будущем могло сделать из него культурного любителя, *полезного* для русского искусства, то я ближе сошелся с ним. В характере Аргутинского было много чего-то такого, в чем мы были склонны видеть, быть может без особого основания, черты «типично армянские». Сюда главным образом относятся его упрямство, его «стародевическая» обидчивость, его склонность к какой-то унылой созерцательности и больше всего известный недостаток темперамента. Что же касается его суждений, то они раздражали своей доходившей подчас до смешного однобокостью, а то и предвзятостью. Одной из причин нескольких наших размолвок были его предубеждения против всяких лиц, его привычка «делить людей» на «вполне приемлемых и на абсолютно неприемлемых», на добрых и злых, на умных и глу-

* Отчужденно, высокомерно *(франц.)*.

цых h`, т. д. Словом, этот человек, обладавший песомненным вкусом *в*-отношении художественных произведений, не желал или не умел считаться ˆ жизни с нюансами, с оттенками и как-то схематизировал и ду-. шевные качества, и недостатки людей, доходя зачастую до озадачивающих наивностей и вопиющих абсурдов.

Начало коллекционирования Владимира Николаевича напоминало начало коллекционирования Сережи Дягилева. И на сей раз дело началось с пустяков, с обстановки. Ютился Аргутинский первые годы в небольших квартирках, совершенно ничего в себе декоративного и барского не имевших. Он вполне мирился с этим, а деньги, которые ему присылали его очень состоятельные родители из Тифлиса, он тратил на одежду (он одевался со скромной, но дорого стоящей элегантностью и даже многое заказывал в Лондоне), на спектакли, на хозяйство и,

наконец... на «лихача». Вот за этого лихача ему особенно попадало от друзей; было действительно странно, что этот человек, отворачивавшийся от всяких проявлений пошлой фанаберии, все же, точно кутящий купчик, разъезжал по городу не иначе, как на таком наемном вознице, бросавшем пыль в: глаза, будто это «собственный» кучер... Лишь с момента своего переезда на ультра-аристократическую Миллионную улицу Владимир Николаевич начинает обставляться на более изысканный лад и постепенно превращается в настоящего, одержимого всепоглощающей страстью собирателя. Цель, которую он ставил себе, была двоякая: надлежало из данной квартиры с ее высокими потолками и окнами создать нечто очень парадное и дающее иллюзию старины; в то же время он хотел собрать все, что можно было, из картин, рисунков и всякой декоративной мелочи, что со временем могло бы послужить значительным обогащением наших музеев и, главным образом — Русского музея Александра III. Увлекаясь такой сложной задачей, Владимир не щадил затрат и постоянно влезал в долги.

Если можно утверждать, что Боткин и Аргутинский совершенно слились с нашей основной компанией, то того же нельзя сказать про еще одного, «подошедшего» к нам в эти годы (1900—1903), а именно про барона Николая Николаевича Врангеля 3. Но Врангель просто «не успел» занять этого места; все что-то мешало этому, все точно *откладывало* эту-дружбу. Вначале несомненно препятствовала тому его юность — ему было не более двадцати трех лет, когда он со своим кузеном К. Н. Рауш фон Траубенбергом 4 появился у нас. Когда же дружба уже определенно наметилась, то грянула война, и Врангель добровольно отправился на фронт, где вскоре скончался от тяжелой болезни почек.

Николай Николаевич был родным братом того генерала-барона Врангеля, который возглавил «белое движение» на юге России. Однако я не могу судить, было ли между братьями какое-либо близкое единение, так как «военного» Врангеля я у Коки ни разу не встретил, и Кока никогда о нем не говорил. Напротив, я хорошо запомнил их отца. «Старик» Врангель был любопытной и по внешнему виду и по характеру фигурой, но как раз *стариком* Николая Егоровича никак нельзя было назвать, и. не

только потому, что ему на вид, когда я в первый раз попал к ним в дом, нельзя было дать и пятидесяти лет, но и потому, что он с совершенно юношеским жаром относился к вопросам, интересовавшим его младшего -сына. Это был высокого роста господин с крупными чертами лица, с едва начинавшей седеть

бородой, недостаточно скрывавшей его некрасивый рот. Мясистые губы его сразу же бросались в глаза своим сероватым цветом и сразу выдавали арабское или негритянское происхождение. Но таким происхождением Врангели только гордились, ведь в них была та же кровь, которая текла в жилах Пушкина, так как и они происходили от того же «арапа Петра Великого», как и наш великий поэт и как знаменитый военачальник XVIII в., Ганнибал. Что-то арабское было и в Коке, и не только в смуглости лица и в каком-то своеобразном блеске глаз, но и в сложений, во всей его повадке, в его чрезвычайной живости и подвижности, в чем-то жгучем и бурном, что сразу проявлялось, как только он чем-либо заинтересовывался, да и в манере относиться к людям не было ничего славянского или германского, скандинавского, словом — арийского или европейского. Первое время Кока Врангель немного пугал меня своим чрезмерным натиском. Он относился к человеку, который был ему нужен, как к крепости, имеющей быть взятой в кратчайший срок. Он «штурмовал людей на суворовский лад». Да и смеялся Кока совершенно по-особенному, несколько по-дикарски — уж очень откровенно, уж очень бесцеремонно. А смеяться он *любил,* что, между прочим, вызвало сразу мою к нему симпатию, сглаживая то ощущение опаски, которое вызывала его безудержность. Не прочь был он и *насмехаться.* Его удивительная память хранила бесчисленные острые анекдоты, касающиеся разных высокопоставленных лиц, как прежнего времени, так и современных. Благодаря той же изумительной памяти, он знал наизусть тысячи и тысячи стихов, что, без сомнения, послужило ему лучшей школой в его собственном стихотворчестве 2*.

Оба барона, оба кузена, Кока Врангель и Кока Рауш, были чрезвычайно забавны, когда являлись вместе (к нам они в первые годы никогда порознь и не являлись, и непременно это бывало около полуночи); точно два актера, заучившие роли, они подавали друг другу реплики, подзадоривая на всякое «словесное шутовство». Прибавлю еще, что юмор Коки Рауша охотно принимал чуть «дьяволический» оттенок, несмотря на то, что это был добрейгаий и необычайно благожелательный человек. Впечатлению инфернальности способствовала и его физиономия, тоже явно африканская, темный цвет кожи, покрытой «породистыми» бородавками, и его жутко-язвительная усмешка, напоминавшая те маскароны фавнов и сатиров, которыми в старину любили скульпторы украшать архитектурные и мебельные детали. Хмыканье, издававшееся Раушем, придавало особую значительность его остротам. От такого хмыкания антич-

Говорят, Николай Николаевич сочинил целую сатирическую

поэму-хронику петербургского гранд-монда. Я слышал лишь небольшие отрывки, но они отличались действительно необычайной меткостью и остроумием.

IV, 40. Новые друзья

339

ные нимфы и дриады должны были со всех ног удирать и прятаться в

чаще 3*.

Одна черта мне была особенно мила в Коке Врангеле. Принадлежа по фамилии к высшему обществу, он не обнаруживал и тени какой-либо спеси или хотя бы снобизма в стиле jeunesse dorée *. Аргутинский даже обвинял его в известном <¢mauvais-жанре». Он и получасом не пожертвовал бы для какого-нибудь монденного сборища и для пустого перемалывания светских сплетен, зато любое художественное дело забирало его целиком. Я плохо знаю условия их семейной жизни, возможно, что тут сказывалось то, что, при всей своей древней родовитости, эта ветвь Врангелей была сравнительно захудалой, что лишь благодаря деловитости барона Николая Егоровича, который мне казался типом self mademan'a**, семья сумела отвоевать себе обратно утраченное было, но подобающее положение в обществе. Матушку же Коки я встретил всего раза два и очень жалею, так как уже тогда ходил слух, вполне затем подтвердившийся, что именно она была настоящей духовной воспитательницей своих сыновей, мало того, она принимала как раз в художественных делах Коки, если и скрытое, то все же самое активное участие, помогая ему разбираться в накопившихся выписках, заметках и т. д. Характерно для баронессы Врангель, во всяком случае, то, что, уже потеряв мужа и обоих сыновей, живя в эмиграции, она принялась за составление словаря современных русских художников и с этой целью обратилась ко всем нашим проживавшим в эмиграции собратьям 4*.

Особенно развернулся Н. Н. Врангель во время издания сборника «Старые годы», начавшего выходить с 1907 г. Инициатива этого сборника принадлежала не ему, а Василию Андреевичу Верещагину, а очень большие средства, на то потребные, дал Петр Петрович Вейнер \ но с самого начала Врангель был притянут к делу, и очень скоро именно он сделался настоящей душой, заводилой и вдохновителем этой прекрасной затеи, не говоря уже о том, что именно его авторству принадлежит значительное число наиболее интересных изысканий, в которых под формой археологической научности у него всегда пробивается какое-то более жизненное, иногда даже сентиментальное и поэтическое начало. В общем, можно сказать,

что его основные взгляды на искусство и главным образом на *русское* искусство носили отпечаток моего влияния, но в отношении некоторых оценок исторических личностей и отдельных произведений мы не сходились и даже подчас я порядком на Коку Врангеля досадовал. Одним из таких пунктов разногласия была личность императора Николая Павловича, к которому у Врангеля установилось отношение,

3* Появление двух баронов произошло вследствие затеи Николая Николаевича Врангеля устроить в Петербурге выставку русских исторических портретов 5. Не имея еще ровно никакого опыта и лишь довольно приблизительные знания, он счел необходимым прибегнуть к моему опыту и моим знаниям. Но об этой затее я собираюсь говорить подробнее в другом месте. * Золотой молодежи *(франц.)*.

** Человека, всего добившегося своими силами *(англ.),*

** Мне неизвестно, что вышло из этой прекрасной затеи.

'

я бы сказал, «герценовского порядка». Возможно, что тут сказывались кое-какие семейные традиции либерализма в духе 50-х и 60-х годов или, восходя выше, и какая-либо обида из эпохи декабристов. Но тут было много и просто от молодости Врангеля.

Еще одна симпатичная черта Врангеля было отсутствие в нем всякого тривиального самолюбия. Возможно, что и он когда-то мечтал «стать Наполеоном или Александром Македонским», но то вместе с другими чисто ребяческими бреднями испарилось бесследно. В позднейшие же времена Врангель едва ли таил в себе какие-либо чисто карьерные замыслы. В своей неистовой деятельности он был совершенно бескорыстен. Это был дилетант в самом благородном понимании слова; он служил искусству для искусства.

Врангель скончался, находясь во время первой мировой войны в качестве добровольца на санитарном фронте, от острого воспаления почек. Произошло это далеко от Петербурга, и весть об его кончине поразила всех своей полной неожиданностью. Но мне кажется, что сам он чувствовал в себе того гложущего червя, который так рано подточил его физические силы. Именно этим сознанием своей ранней обреченности можно объяснить то, что Врангель находился всегда в состоянии чрезвычайной возбужденности, какой-то спешки; его точно что-то нудило торопиться, чтобы успеть все сделать, что он себе наметил. Что-то тревожное и беспокойное было и в его взоре, что-то особенно порывистое в движениях. А может быть, подгоняло его и то

чувство, которое, как я уже говорил, руководило, но в темпе менее «ударном», и мной, и некоторыми нашими друзьями, т. е. ощущение близости какого-то конца *всей той культуры,* продуктом которой мы были сами и слуяшть на пользу которой мы считали своим радостным долгом. В этом отношении судьба оказалась милостива к Врангелю — она не дала ему видеть <... > крушение всего нашего мира. Он не познал и этого чувства никчемности, выброшенности за борт, которое отравило нам жизнь <... >.

В вопросе оценки художественного значения и достоинства М. В. До-бужинского7 особенно ярко выразились те две противоположные точки зрения, которые руководили Дягилевым и мной. Для меня как-никак •*главным* в искусстве всегда было (и до сих пор остается) то, что, за неимением другого слова, приходится назвать избитым словом «поэзия» или ■еще более предосудительным в наши дни словом — «содержание». Я не менее другого падок на красоту красок, и меня может пленить в сильнейшей степени игра линий, сочетание колеров, блеск и виртуозность техники, но если эта красочность, эта игра форм и эта техника ничему более высокому или более глубокому (все слова, потерявшие прежнюю свою <жгу, но вот других пока не создано) не служат, то они не будят во мне тех чудесных ощущений, для которых по-моему и существует искусство. Здесь дело не в «сюжете», который может оставаться и чуждым, непонятным, неугадаемым, а здесь все дело в какой-то тайне, которая проникает до глубины нашего существа и возбуждает там ни с чем не сравнимые упования, надежды, мысли, эмоции и вообще то, что называется

«движениями души». В моем представлении и в моем непоколебимом убеждении *эта тайна и есть искусство.* Если это главное, эта тайна — налицо, то я могу простить не только те или иные ошибки и «неправильности», а я их просто не замечаю, они перестают для меня существовать, вместе со всем тем, что объединено словом «академизм» (иной раз эти самые якобы ошибки являются даже особенно острой прелестью вещей); я готов простить и некоторые другие недочеты — сухость, корявость, даже известную беспомощность. В Дягилеве же, еще тогда, когда он почти юношей робко искал приобщиться к нашему кружку, всегда чувствовалось какое-то специфическое безразличие к тому, что мы — я и мои друзья — почитали за главное. В нем проявлялась какая-то душевная пустота и вообще отсутствие поэтических запросов. В нем эта черта была

стихийная, примитивно-дикарская. Никто его этому *не учил,* однако и все мои, все наши старания «научить его чему-нибудь другому», терпели полную неудачу. Кстати сказать, самая эта стихийная «дикость», самое это «варварство» Сережи особенно пригодилось ему, когда он, в силу внешних обстоятельств, освободился от нашего влияния. Это они, эти черты «варварства», создали ему особенно громкий успех, и это сроднило его с «передовыми» элементами европейского искусства, которые так же с презрением и ненавистью отвернулись от «сюжета» или стали творить вещи, в которых всякое наличие поэзии подвергалось осмеянию и издевательству. Согласно новым теориям (уж и не таким новым — им уже полвека), произведение должно действовать средствами, свойственными каждой художественной отрасли,— *чистой* музыки, *чистой* поэзии, *чистой* живописи. Однако я знаю доподлинно, что тех эмоций, которыми я обязан Боттичелли, Микеланджело, Тинторетто, Рембрандту, Баху, Моцарту, Вагнеру, Мусоргскому, Бородину, Чайковскому и т. д., эмоций такой же интенсивности, той же степени восторга, я никогда не испытывал и не в состоянии испытывать от самых изощренных картин, ну, скажем, Брака, Пикассо, Матисса или даже импрессионистов.

Да простится мне такое отступление от темы. Мне могут указать, что искусство Добужинского не столь значительно, чтоб по поводу него пускаться в подобные выспренние рассуждения. Однако это не так. Говорить нечего, искусство это действительно скромное, *тихое* искусство; «Cela ne casse rien» * (до чего характерно для всей эстетической психологии нашего времени это выражение), однако в этом скромном и тихом искусстве заложена та крупица *подлинности,* которую следует особенно ценить и которой лишены многие другие и весьма гордые, знаменитые и блестящие произведения. Это *необычайно искреннее* искусство вполне свидетельствует об искренности и душевной правдивости художника. Не все в До-бужинском одинаково ценно; попадаются и в его творении, будь то иллюстрации или театральные постановки, вещи надуманные и потому менее ценные. Бывало (особенно за последние годы), что Добужинский старался «не отставать от века», и такие честолюбивые попытки неминуемо

Это ничего необычайного не представляет *(франц.).*

кончались неудачей. Там же, где он остается совершенно самим собой и где задача, которую он себе ставит, ему по душе и в его средствах, где ему не приходится ни хитрить, пи что-либо «прятать», он создал и создает вещи, полные неувядаемой

прелести. Иной его вид российского захолустного города, иные его пейзажи худосочной, по милой русской природы, иная его виньетка обладают такой остротой и такой чувствительностью, что эти произведения не перестают действовать на сердце и на воображение. К таким вещам (или вещицам) Добужинского приятно *возвращаться* и через многие годы. Они не приедаются, не «исчерпываются», их соль не выдыхается. Ну, а это и есть то, что роднит на Парнасе и самых мощных, грандиозных с самыми скромными, с самыми «маленькими», как роднит в раю самых героических подвижников с самыми смиренными, но чистыми душами. Все бога хвалят, и хвала каждого господу приятна. Что же касается не художника, а *человека* Добужинского, - то он несомненно принадлежит к разряду наилучших и наиплените льных. Беседа с ним создает всегда то редкое и чудесное ощущение уюта и какого-то лада, которое мне представляется особенно ценным и которое всегда свидетельствует о подлинном *прекраснодушии.* Добужинский — человек с прекрасной светлой душой!

Глава 41

КАТАСТРОФА С «СИЛЬВИЕЙ». НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ

Теперь нужно вернуться к тому, что произошло в феврале 1901 г. и что возымело самые значительные последствия как для Дягилева, так, в меньшей степени, и для всей нашей компании. Я говорю о том скандале, который возник из-за постановки балета «Сильвия» и который повлек за собой удаление Сережи со службы в Дирекции императорских театров.

Я уже рассказал о том, как князь Волконский поручил Дягилеву редактирование «Ежегодника императорских театров» и как блестяще Сережа справился с задачей. Я упомянул и о том, что успех (и особенно то, что «Ежегодник» удостоился высочайшего одобрения) вскружил голову нашему другу; этот успех оказался ему как бы «не по силам». Иллюзия, что он уже совсем близок к цели своих честолюбивых замыслов, лишила его способности трезво судить как о своем личном положении, так и о своих возможностях. Наконец, я упомянул и о том, что Дягилев в это время свел нечто вроде дружбы с в. к. Сергеем Михайловичем и с нашей знаменитой балериной М. Ф. Кшесинской. Сам великий князь замышлял получить верховное и почетное «управление» императорскими театрами, Дягилев же занял бы тогда при «августейшем управляющем» пост

«действительного директора». Словом, намечалась характерная «придворная интрига», и Сережа, которому льстило уже то, что он был заодно

*IV, 41. Катастрофа с «Сильвией»*343

с «императорским высочеством», совершенно в этой интриге запутался. Он зачастил каждый день ездить то во дворец великого князя, то в особняк госпожи Кшесинской, и возвращался с этих конспиративных совещаний опьяненный честолюбивыми мечтами.

И как раз тогда же (но совершенно независимо от этого заговора) я стал требовать от Сережи, чтобы он решительно настоял перед Волконским на более толковом и достойном использовании сил окружавших его художников. При этом я считал, что особенно подходящим случаем явилась бы какая-либо постановка, в которой приняла бы участие вся наша группа. И самая «тема» была у меня давно наготове — то был трехактный балет «Сильвия» любимого мной Делиба. Своим культом этого грациоз-нейшего и поэтичнейшего музыканта я успел заразить всю нашу компанию, начиная с Валечки и Сережи и кончая Серовым. Остановив свой выбор для такой нашей первой коллективной работы на «Сильвии», я был уверен в том, что именно в этой музыке найдется вся потребная сила вдохновения, то «магическое воздействие», без которых всякая художественная работа обречена на мертвечину. В то же время постановка именно «Сильвии» давала, казалось мне, возможность внести в хореографическое творчество значительное и необходимое обновление. Еще об Айседоре Дун-кап не было помину (мы увидели эту удивительную артистку лишь через три года), но в моем воображении уже бродили танцевально-сценические видения в духе возвращения к большей естественности и освобождения от связывающих и ненужных условностей «классики». Намечались и те хореографы, которые смогли бы облечь подобные видения в реальные формы. Когда братьям Легат было сообщено про наши пожелания *, то они изъявили полную готовность принять участие в общей работе, и, следовательно, можно было вполне рассчитывать на то, что при участии этих юных и даровитейших артистов вся затея завершится полным успехом.

Мечты художников нашли себе совершенный отклик в Дягилеве. Он стал с особой настойчивостью домогаться, чтобы поставлена была «Сильвия» при участии всей нашей группы. При этом, однако, он ставил условием, чтобы заведование постановкой было всецело поручено ему и чтобы вся работа производилась исключительно под его личной ответственностью.

Для него было важно, чтобы в случае удачи (в которой он не сомневался) таковая послужила бы ему неким трамплином, а трамплин пригодился бы для дальнейшего его восхождения на намеченном пути. Но и Волконскому, уверенному в том, что мы несем нечто новое и прекрасное, мысль дать художникам «Мира искусства» возможность вполне высказаться нравилась чрезвычайно. Сгоряча он и согласился на все то, что ему предлагал (или от него требовал) Дягилев... С этого момента я распределил (по давно выработанному плану) всю работу между друзьями, и все с радостью изъявили желание тотчас взяться за работу **.

* Декорацию первого действия: освещенная луной полянка в лесу с капищем Амура, я оставил за собой; во втором действии две картины: первую (пещеру Орио-

g/j4IV, 41. Катастрофа с «Сильвией»

Свидание с Легатами состоялось на следующий же день после того, что Сережа вернулся от Волконского, сияющий от счастья, получив на все полное согласие директора. Легаты тотчас же явились, и соединенными усилиями, в четыре руки, Валечка и Сережа проигрывали им музыку «Сильвии», я же ее, такт за тактом, комментировал. Легаты зажглись сразу не на шутку. Одно нас огорчило — на это заседание не явилась, хоть и обещала, наша тогдашняя любимица О. О. Преображенская, которой предназначалась главная роль, но Легаты обещали выбрать среди молоденьких танцовщиц ту, которая «еще лучше Ольги Осиповны» справилась бы с задачей. Среди этих будущих звезд обращала на себя внимание прелестная Павлова 2-я.

Увы, всей этой чудесной затее и всему нашему блаженному состоянию творческого энтузиазма наступил скорый и самый печальный конец. И настоящей причиной катастрофы была слишком уже решительная манера действовать Сережи. Таковая манера была вообще ему свойственна, и она в общем являлась его огромным преимуществом, но в данном случае он перехватил через край, оп закусил удила. Он был все еще отуманен успехом «Ежегодника» (сам государь имеет теперь о нем представление!). Вот почему он особенно вознегодовал, когда Волконский, как бы опомнившись, выразил «сомнение» в правильности, с точки зрения административной, того, что «Сильвия» будет изъята из общего ведения постановочных дел. Продолжая разговор, директор уже прямо заявил Дягилеву, что он принужден взять у пего обратно данное поручение или, по крайней мере, лишить это поручение характера официальной привилегированности. Тут успех «Ежегодника» и сыграл фатальную-роль. Дягилев в это время был уже занят собиранием материалов для издания

«Ежегодника» за 1900 год, и ему казалось, что у него таким образом в руках какое-то неотразимое средство добиться своего. Он и предложил князю своего рода ультиматум: постановка-де остается в исключительном ведении его, Дягилева, в противном случае он отказывается от заведования «Ежегодника». В свою очередь, такой тон показался Волконскому недопустимым со стороны, как-никак, подчиненного, и он вспомнил, что он может — *приказывать*- Он и объявил Дягилеву, что он безоговорочно *приказывает* ему продолжать заниматься «Ежегодником». Слово за слово, разговор получил характер ссоры и, наконец, Волконский потребовал от Дягилева, чтобы он, раз он не желает подчиняться своему начальнику, подал в отставку. «А я не подам!»—был" ответ Дягилева. «А я вас *заставлю* подать»,— закричал ему вслед директор.

Прямо из дирекции Сергей прилетел в величайшем волнении в «редакцию», где все друзья были в сборе и где тотчас же было постановлено

на) я поручил Баксту, вторую Коровину, декорацией 3-го действия занялся Женя Лансере. Он создал нечто очень пзящпое и поэтичное, вдохновляясь картинами Клода Лоррена. Почти все костюмы взялся сочинить Бакст, но Серов так увлекся общей творческой горячкой (предварительные эскизы набрасывались тут же в «редакции»), что сочинил чудесный образ древпего сатира.

*IV, 41. Катастрофа с «Сильвией»*345

доказать нашу солидарность с Сережей, выразив это в том, что и мы все в письмах к Волконскому тоже отказались от дальнейшего сотрудничества с театральной дирекцией.

На следующий день было получено официальное требование отставки. Сережа этого не ожидал и в полном смущении обратился к великому князю, который не откладывая, на экстренном поезде, отправился в Царское Село специально, чтобы осведомить государя о возникшем в театральной дирекции недоразумении и узнать личное мнение о том его величества. Высочайшее мнение при этом было высказано в несколько неожиданной, но и самой обнадеживающей форме. Государь ответил буквально следующим образом: «На месте Дягилева я бы в отставку не подавал». Чего же было ожидать лучшего? Выходило, что государь «заодно», что он как бы сочувствует. Опираясь на такую высочайшую апробацию и почти совет, Дягилев был уверен, что его карта выиграла. Вместе с ним мы все были в восторге. Теперь *не он* уйдет в отставку, а вынужден будет выйти в отставку посрамленный Волконский, и тогда «заговор» развернется в предначертанном порядке. Великий князь станет «августейшим управляющим» театров, Сережа при нем

фактическим директором.

Обернулось же все совсем иначе. На следующий день после беседы великого князя с императором состоялся обычный субботний высочайший доклад по Министерству двора, но докладчиком оказался вследствие нездоровья не министр, барон Фредерике, а его заместитель, генерал Рыд-аевский, за что-то очень не взлюбивший Дягилева; Сережа считал его прямо-таки своим злейшим врагом. Что было говорено между ним и его величеством, остается тайной, но через два дня в понедельник, когда Сережа, еще лежа в постели и ничего дурного не предвидя, развернул только что полученный им «Правительственный вестник», он в рубрике «Правительственных распоряжений» прочел жестокие строки: «Чиновник особых поручений С. П. Дягилев увольняется без прошения и пенсии по третьему пункту». С ним чуть не сделался обморок. Значили же эти слова, что все его дальнейшее существование как бы меняло направление и теряло свою цель и самый смысл. Эти слова показывали, что Волконский одержал полную победу и это несомненно с ведома государя, что заступничество великого князя нимало не помогло, что государь не принял стороны Дягилева, а что Дягилев поражен, растоптан, смешан с грязью. Ведь «3-й пункт» применялся лишь в крайних случаях и почти всегда как кара, когда служащий был уличен в каких-либо неблаговидных поступках, в лихоимстве, в воровстве и т. п. Этот роковой «3-й пункт» равнялся публичному ошельмованию и как бы выбрасывал ошельмованного из общества порядочных людей. Получив такую отставку, такой волчий паспорт, нечего было думать снова поступить на государственную службу 2*.

На самом деле Дягилев уже через год (или два?) был снова принят на службу а даже в учреждение не менее почетное, нежели Дирекция императорских теат-

IV, 41. Катастрофа с «Сильвией»

Кто теперь мог бы помочь, раз случилась эта беда с ведома и даже с несомненного согласия безапелляционного вершителя судеб всего российского государства? Сережа и покорился неизбежности, но стоило это ему немало усилий над собой. Надлежало главным образом скрыть то, что у него происходило на сердце. Если это ему и удавалось при чужих, то перед нами он не стеснялся, и в течение нескольких недель мы видели его таким, каким и не подозревали, чтоб он мог быть. Он не клял судьбы, он не поносил виновников своего несчастья, он не требовал от нас какого-либо участия, он только просил с ним о случившемся не заговаривать. Все должно было идти своим

обычным порядком, «как пи в чем не бывало»! Когда в редакцию «Мира искусства» являлись посторонние, он выходил к ним в приемную с тем же «сияющим» видом русского вельможи, какой у него выработался до виртуозности, но как только он оставался наедине с близкими, он как-то сразу оседал, он садился в угол дивана и пребывал в инертном положении часами, отвечая на вопросы с безнадежно рассеянным видом и почти не вступая в ту беседу, которая велась вокруг него. В одиночестве с Димой он больше распоясывался, иногда даже плакал или отдавался бурным проявлениям гнева, но это проходило в тиши его спальни, в конце коридора, куда кроме Димы, лакея Василия и нянюшки никто не бывал допущен.

Постепенно текущая работа стала развлекать Сережу; он стал в нее втягиваться. С обновленным рвением принялся он тогда заниматься «Миром искусства», к которому за последнее время он несколько охладел, но в особенности его заняла та книга с чудесном нашем художнике Д. Г. Левицком 2, которой он был исподволь занят уже несколько времени, ко за окончание которой он теперь принялся с удвоенной энергией. Она появилась в том же еще 1901 г., и она одна может служить достойным памятником художественно-исторической деятельности Дягилева. Сергей очень настаивал, чтобы я написал биографический очерк в этой книге, оставляя за собой одну только документальную подготовку к ней (он днями теперь просиживал в архиве Академии художеств и у других источников), однако я был тогда без того переобременен работой, как редактированием «Художественных сокровищ», так и заканчиванием моей «Истории русской живописи». Пришлось отказаться от этого лестного сотрудничества, и тогда Дягилев обратился (по совету П, Я. Дашкова) к известному украиноведу, Горленко, который и изготовил нечто весьма

ров (прп слабовольном Николае ТÎ такие непоследовательности не были редкостью). Но можпо ли было сравнить то «поле деятельности», которое представляло собой Управление театрами, с тем унылым, чисто бюрократическим делом, к которому Дягилев был теперь приставлен? Да он и не пытался показывать какой-либо интерес к своей новой должности: он почти не заходил на службу или появлялся там на четверть часа, пользуясь снисхождением как самого уть равляющего собственной его величества канцелярией А, С. Танеева (благоволением которого Дягилев успел в свое время заручиться — при постановке оперы этого сановпика на Эпмитажтюй гпене). так и своего пепосре̂твеппого начальника — гофмейстера Николая Р. Шульмана, милейшего и

добродушнейшего человека, состоявшего с нами в довольно близком родстве.

IV, 41. Катастрофа с нСильвией»

приемлемое, но все же тусклое, тогда как документальную сторону Дягилев взял на себя и она является по сей день ценнейшим справочником, касающимся жизни и творчества Левицкого. Да и внешний облик этого увража получился необычайно пышный и монументальный. Не обошлось, впрочем, и на сей раз без некоторых странностей Сергея, но стоит ли придираться к пустяшным грехам 3*, когда имеешь перед собой такой цельный, единственный вклад в сокровищницу науки о русском искусстве? В плане дальнейшей исследовательской деятельности С. II. Дягилева книга о Левицком являлась лишь первым томом в ряду целого ряда других, в которых были бы с одинаковой обстоятельностью представлены и все прочие выдающиеся русские художники XVIII столетия: Рокотов. Боровиковский, Шибанов, Щукин, Семен Щедрин и др., к сожалению, однако, из этой прекрасной затеи ничего не вышло, хотя много подготовительной работы уже было им сделано (фотографии сняты, отдельные жизнеописания подготовлены по архивным данным, и даже заказаны книжные украшения художникам). Сначала Дягилев отвлекся от этой прекрасной задачи приготовлением к грандиозной Портретной выставке, а потом наступили смутные годы 1905—1906, когда вообще стало «не до того».

Я только что упомянул вскользь о моей «Истории русской живописи в XIX веке», первая половина которой вышла из печати (в виде приложения к русскому переводу книги Р. Мутера «История живописи в XIX веке») все в том же 1901 г., вторая же часть только через год, в 1902 г. В свое время появление моей книги, ожидавшейся с нетерпением всеми друзьями, приобрело характер известного события, но я сам не был вполне доволен своим трудом. Многие высказанные мной в нем мнения показались мне уже тогда слишком односторонними и пристрастными (точнее, не вполне выражающими то, что я желал выразить). Особенно же меня огорчало, что я многих и даже мне лично очень симпатичных людей обидел! 4 Но тут я утешался поговоркой: «Amicus Plato, sod magis arnica est Veritas» *.— В общем, я все же сознавал, что создал нечто, что в данной области останется чем-то вроде основы 5, что я поставил известные вехи и расчистил многие заросшие плевелами пространства, указав на более правильные пути для дальнейшего изучения предмета. Впрочем, и тогда, при своем появлении, книга вызвала немало всяких толков, в которых особенно громко звучали крики

возмущения (кое-кто даже из друзей считал нужным меня ругать и ими запугивать), но были и такие читатели, которым моя книга доставила удовольствие. Наиболее я был утешен одобрением Серова, Аргутиыского и С. С. Боткина; последний мне признавался, что для него моя книга явилась чем-то вроде откровения. Наконец, в полном восторге были Яремич, Лансере,

3* «Грехом» следует считать отсутствие в книге алфавитного указателя и совершенно нелепый порядок в размещении таблиц3, за который Сережа, несмотря на уговоры, упрямо держался едипственно из каких-то эстетических соображений. * Плэтон мне друг, по истина дороже *{лат,)*.

IV> 42. Лето в Ораниенбауме

Курбатов и мой издатель — милый Всеволод Протопопов. Вообще же с этого момента я становлюсь каким-то арбитром в вопросах художественной оценки и получаю всевозможные предложения сотрудничать от издателей.

Глава 42

РОЖДЕНИЕ СЫНА. И. М. СТЕПАНОВ. . ЛЕТО 1901 г. В ОРАНИЕНБАУМЕ. " ГЕРЦОГИ МЕКЛЕНБУРГСКИЕ. ПРИНЦЕССА АЛЬТЕНБУРГСКАЯ

Несравпенно более значительным для пашей личной и семейной жизни явилось другое событие, происшедшее весной того же 1901 г. А именно 19 апреля (2 мая по «новому» стилю) родился наш сын. Произошло это не у нас в доме, а в «клинике» или попросту — в квартире одной акушерки, рекомендованной лечившим нас в те годы доктором Бацеви-чем. Жила же эта дама очень близко от нашей квартиры на Загородном. Мне нелегко было подчиниться новым требованиям «научного подхода», во мне продолжали жить известные традиционные навыки (и просто предрассудки), согласно которым появлепие нового члена семьи должно было происходить в *своей* обстановке. Все же я уступил Бацевичу, и так как все сошло как нельзя лучше, то я и не раскаялся в своей уступчивости. Роды прошли довольно быстро, в несколько часов, но все же раздирающий душу крик, который я услыхал из третьей комнаты (из которой мне было запрещено выходить), исполнил меня ужасом и ... конфузом, ощущением «как-никак, какой-то вины». Когда же я, наконец, был позван, мне показали моего сына в виде довольно благообразного существа с очень характерным носом на крошечном личике. Этот нос был несомненным родовым признаком, но он в одинаковой степени напоминал как прадеда Кавоса, так и дедушку Кинда — отца моей жены. Назвали мы это существо Николаем, в честь деда Бенуа, но крестины состоялись только через три месяца на даче в Ораниенбауме, куда потрудился приехать венчавший нас патер Шумп.

К осени надлежало найти новую квартиру и там устроиться. Таковую мы после многих поисков и нашли в натттей «родной Коломне», на углу Малой Мастерской и Офицерской, иначе говоря, на той же улице, на которой когда-то помещался киндергартен Е. А. Вертер и где по-прежнему стояла па одном

конце католическая церковь св. Станислава, на другом — кирпичная эстонская церковь.

Покидая 1-ю роту, об одном можно было пожалеть, а именно о том саде, который находился в двух шагах от нас и куда ходили гулять наши девочки: это был большой, старинный, несколько запущенный сад при доме, служившем резиденцией католическому митрополиту и помещением римско-католической Консистории. Этот дом, выходивший глав-

ным фасадом на Фонтанку, когда-то принадлежал знаменитому поэту и екатерининскому министру юстиции — Державину1. Садовый фасад сохранил свой характерный полукруглый, украшенный круглыми пилястрами выступ и, окруженный деревьями, представлял собой характерное подобие русской усадьбы конца XVIII в. Помянутый сад не был доступен публике, но нам было нетрудно получить разрешение им пользоваться через И. М. Степанова, служившего в Консистории.

Этому хорошему человеку 2 я должен посвятить здесь несколько строк. Он был лет на пятнадцать старше меня и уже тогда, в 1901 г., у него в черных как смоль волосах и в такой же бороде начинала пробиваться седина. Однако, если Иван Михайлович уже и приближался к старости, он при первых же встречах со мной стал выражать такую жажду «у меня поучиться» и «через меня» просветиться, что это скорее я стал в себе чувствовать в отношении его какую-то почтенность. Впрочем, должен покаяться, в это первое время знакомства я «бегал» от него и всячески держал его на дистанции. Уж очень агрессивно выражалось зто его почитание.

В этом-то «державинском доме» в казенной квартире и проживал милейший Иван Михайлович. В момент, когда мы с ним познакомились, это был еще совершенно сырой человек, только что вышедший из малокультурной среды, и у нас с ним сначала общего языка не находилось. Постепенно, однако, его страсть просветиться как-то растормошила мой педагогический инстинкт, и я все более стал втягиваться в отношении к нему в привычную мне роль какого-то ментора: а затем он и совершенно завоевал мою симпатию и мое уважение. Оказался он человеком, обладающим поистине золотым сердцем и, при всей своей прямо-таки детской наивности, вовсе не глупым. В дни, когда <...> все так ужасно растерялись и особенно растерялся как раз чиновничий мир, И. М. Степанов не только сохранил всю свою природную ровность духа и весь свой здравый смысл, но он как раз тут развернул особенно усердную деятельность, благодаря

чему он спас и себя лично, и семью, и свое жилище и — свое издательство. Мало того, он это «свое издательство» как-то расширил и «возвеличил»!

Слова «свое издательство» я поставил в кавычки, и это вот почему. Никакого действительно своего издательства у Ивана Михайловича не было. Он как состоял чиновником в консистории, так им и остался, а когда консистория была упразднена, то он все же сумел себя устроить при том учреждении, которое ведало не то ликвидацией, не то управлением делами, касающимися католической церкви. Но не надо думать, что он принадлежал к той особенно предосудительной категории бюрократов, которые в таких случаях старались выслужиться посредством угождения властям. Напротив, основная благожелательность или, попросту говоря, человечность Степанова делали его другом, а где требовалось, и покровителем людей, с которыми его сводила жизнь. Его «контрольная» деятельность при консистории привела даже к непредвиденным и, вероятно, не столь уж поощряемым свыше результатам; он преисполнился к ка-

толическому духовенству искреннего уважения и стал где только можно было всячески отстаивать его интересы, причем не обходилось и без эксплуатации его доброты со стороны некоторых лукавых интересантов среди ксендзов и патеров. Те же черты характера Степанова продолжали действовать и тогда, когда уже никаких ксендзов и патеров в Петербурге не оставалось. Он как-то прирос к державинскому дому, к своей светлой и просторной квартире в верхнем этаже правого флигеля: ее ему чудом удавалось сохранить и после полной метаморфозы всего строя российского государства.

Впрочем, вся эта служебная деятельность Ивана Михайловича была очень далека от меня, и я, вероятно, никогда не имел бы случай даже познакомиться с ним самим, если бы у этого образцового чиновника не проявилась годам к сорока какая-то вторая «жизненная тема» — нечто вроде двойного существования, double existence. Эта вторая тема явилась в виде издательства художественного характера. Случилось же это так потому, что, оказавшись сверх своей основной службы делопроизводителем при одном из благотворительных учреждений Красного Креста, - Степанову пришла в голову счастливая мысль в видах усиления средств издавать «художественные открытые письма». Затея была из самых скромных, и, по правде говоря, носившая вначале малохудожественный характер, но тут и открылось, что у Ивана Михайловича таится в душе нечто большее, нежели те качества,

которые делали из него добросовестного и дельного служаку. Он довольно скоро осознал недочеты первых своих начинаний, и это стало его *мучить*. Вообще, мне кажется, что особенной чертой Ивана Михайловича было то, что он умел как-то страдать, тревожиться, и когда на него находила такая душевная мука, то он не только не находил себе места, но он, человек очень деликатный, был способен превратиться в несносного приставалу. Так случилось и со мной, а что из этого в конце концов получилось, тому служит наглядным свидетельством тысяча превосходно отпечатанных изображении, дающих в совокупности отличную иллюстрацию истории как русского, так и мирового искусства \ массу портретов исторических деятелей, виды живописных местностей и архитектурных памятников и т. д. С течением времени Степанов, получив себе в сотрудники и помощники другого такого же «чудака-чиновника», тоже постепенно перевоплотившегося в художественного энтузиаста, в лице Николая Николаевича Чернягина, перешел от открыток (не бросая заниматься и ими) к изданию художественных путеводителей 4 по музеям, по загородным резиденциям, по историческим городам. Не прекратили они своего дружеского сотрудничества и при большевиках. Община св. Евгении Красного Креста 5, будучи учреждением аристократического оттенка (она состояла под председательством принцессы Евгении Ольденбургской), распалась, исчезла, но издательство продолжалось с прежним, если не с еще большим размахом, переменив только свое наименование 6, превратившись в «Общество любителей художественных изданий» и заручившись официальным покровительством Академии материальной культуры.

*IV, 42, Лето в Ораниенбауме*35Î

* * *

Лето 1901 г., которое мы провели, сняв дачу в Ораниенбауме (в 35 километрах от Петербурга), оказалось весьма для меня плодотворным. Дача была поместительная, лежала она в двух шагах от верхнего пруда, и если сад при этой даче и не был очень велик, то этот дефект возмещался тем, что вход в огромный дворцовый парк находился тут же — стоило только перейти через дорогу. Не более, нежели триста шагов, приводили затем к одной из достопримечательностей Ораниенбаума — к остаткам той затейливой крепостицы, которую соорудил наследник престола императрицы Елисаветы Петровны Петр Федорович,

забавлявшийся здесь «игрой в солдатики» со своими голштинцами, а еще через сотни четыре шагов в отдалении открывался вид на Большой Дворец с его двумя кургузыми куполами на боках и со своей гигантской герцогской короной на вышке среднего корпуса. Когда-то эта корона означала принадлежность этих чертогов великолепному герцогу Ингерманландскому, бывшему пирожнику, а впоследствии первому министру государя Петра I — Александру Даниловичу князю Меншикову, теперь же под этой короной жили целых два герцога — два сына покойной вел. кн, Екатерины Михайловны (и праправнучки Екатерины II) — герцог Георгий Георгиевич Мекленбург-Стрелицкий и его брат Михаил Георгиевич. Несколько в стороне, прячась в чаще елей и других деревьев, ютился прелестный «Китайский дворец», в котором проживала сестра герцогов, принцесса Елена Саксен-Альтенбургская, а дорога, шедшая от Большого дворца в другом направлении, приводила к «Павильону катальной горы».

Как раз около того же времени, благодаря встречам у общих знакомых, у нас завязался род дружбы с Софией Федоровной Вонлярской, младшей сестрой графини Карловой — морганатической супруги герцога Георгия Георгиевича. Благодаря ей я не только сразу получил разрешение рисовать в парке и во дворцах, но и был самым радушным образом принят в семью герцога Георгия. После первого же визита я был запросто приглашен к завтраку, и с тех пор не проходило недели, чтобы я не был зван через нарочного то к завтраку, то к обеду, то на концерт, то к пятичасовому чаю, а то и — принять участие в пикнике, совершавшемся в большой компании на многих экипажах. Тон, царивший в этом «высочайшем» доме, был самый непринужденный, и задавался он как самим благодушнейшим хозяином, так и Наталией Федоровной Карловой.

Некоторая характеристика герцога Георгия уже была дана мной в другом месте этих записок. Что же касается графини Карловой, то она пленила меня в разных смыслах. Начать с того, что я вполне *понимал,* что герцог «Жоржакс» мог увлечься этой «лектрисой» своей матушки и пожелать возвести ее до своего высокого ранга. Не будучи столь же хорошенькой, как ее младшая сестра — Марианна Мансурова (впоследствии: супруга Якова Владимировича Ратькова), она все же обладала той женственной прелестью, которая иногда вполне возмещает отсутствие патентованной красоты. Довольно высокая, очень стройная, с глазами, в кото-

рых играет какая-то весело-лукавая и в то же время

ласкающая искорка, с чертами лица скорее простоватыми, по «милыми», «Наташа Карлова» вполне заслуживала быть зачисленной в разряд приятнейших особ женского пола. Но, кроме того, она была весьма неглупой женщиной, она интересовалась и художеством и литературой, больше же всего — музыкой, что, вероятно, и послужило ее сближению с ее мужем — герцогом Георгием, который сам был отличным пианистом и с такой страстью относился к музыке, что даже завел свой собственный, знаменитый на весь Петербург квартет из четырех первоклассных, чудесно сыгравшихся виртуозов. Злые языки говорили, что Наташа Вонлярская «женила на себе» герцога, этого грузного и большого человека, жившего до того под крылышком своей строгой матери, крайне целомудренного и никакого жизненного опыта не имевшего. Но, насколько мне удалось изучить характер графини Карловой, это едва ли было так. Что получить разрешение матери было нелегко «Жоржаксу», это вероятно. В. к. Екатерина Михайловна была дама строгая, очень знавшая себе и своему рангу цену, очень следившая за соблюдением своих прерогатив. Но победили ее не интриги нетитулованной и бедной «втируши», а упорство подлинной любви. Наталия Федоровна всем сердцем (и даже против своей воли) полюбила «своего принца», со своей же стороны «принц» нашел в ней своей идеал — то самое, что было нужно его душе, в чем он почуял всю полноту жизненного счастья. И эта взаимная любовь дала обоим энергию и силу преодолеть все препятствия. Выйдя замуж и получив титул графини, Наталия Федоровна осталась сама собой и не выказывала ни в чем какой-либо фанаберии. Положение ее первые годы было несколько щекотливым; она не была принята ко двору, она чувствовала все недоброжелательство, с которым относились к ней почти все члены царской семьи, а вслед за ними и большинство аристократии, но она до того ушла в свою семью, в воспитание своих детей и в заботы об обожаемом муже, что ей горя было мало. Она продолжала идти той же стезей твердой, спокойной поступью и постепенно покорила все сердца. Она даже, при всей своей скромности, приобрела известную популярность. Будущее, казалось, должно было оставаться озаренным столь же мягким ровным светом, но жестокая судьба решила иначе — Георгий Георгиевич в полном цвете лет неожиданно для всех скончался, и Наталия Федоровна осталась до конца дней своих безутешной вдовой. Кончила же она жизнь в эмиграции, где я ее уже не видел, так как она жила где-то на юге Франции, а я поселился в Париже. Не видался я в эмиграции и с той из сестер Вонлярских, с которой и я и моя жена наиболее сблизились — с помянутой Софией

Федоровной, так и оставшейся в девицах.

Однако, как ни милы и приятны были хозяева Ораниенбаума, все же еще большую прелесть для меня представляла самая та «декорация», в которой протекала их жизнь. Моему историческому чувству как-то осо-бенно^льстило, когда, сидя в маленькой комнатке дворца, служившей гостиной графине Карловой (то была единственная комната, сохранившая лепные украшения рококо времени Елисаветы Петровны), я как бы ды-

шал тем же воздухом, которым дышала прежняя (и самая знаменитая) хозяйка Ораниенбаумского дворца — Екатерина 7. Здесь она томилась и лила горькие слезы обиды, здесь же отдыхала после своих охотничьих прогулок, здесь читала любимых авторов и, наконец, здесь она находила, в своей покинутости, утешение в обществе молодых людей, менее грубых и диких, нежели те, кого к себе приблизил ее недостойный супруг.

Совершенно заполонила меня Катальная Гора, точнее, тот обнесенный колоннадой высокий павильон, от которого когда-то тянулся на много саженей деревянный скат самой «горы». Мой отец помнил, как ребенком в 1820-х годах он бродил по полуразрушенным, с тех пор совершенно исчезнувшим галереям, тянувшимся по обе стороны этой Rutschbahn *. Но вот павильон с его вытянутым куполом и развевающимся по ветру флагом, на котором был представлен герб Мекленбурга (бычья голова), все еще стоял, и что особенно удивительно, стоит до сих пор. Внутри павильона хорошо сохранившаяся декорировка свидетельствовала о творческом гении строителя всей этой затеи: архитектора Ринальди. Средний зал был сплошь расписан, включая купольный плафон, al fresco **, братьями Бароцци, а над каждой из трех дверей было по овальной картине, в которых Стефано Торелли на итальянский лад соперничал с Буше. Наконец, в одном из боковых кабинетов, стены которого напоминали малиновое и фисташковое мороженое, лепились прихотливые разводы, а среди них резвые обезьянки поддерживали подставки для когда-то здесь красовавшихся групп мейсенского фарфора, изображавших все божества Олимпа. Сколько часов я провел здесь в полном одиночестве, пробуя акварелью и пастелью передать игру красок и солнечного света, вливавшегося через большие окна. Я, кроме того, мечтал создать картину того, что когда-то здесь происходило; мне чудились смехи развеселых молодых шалунов и шалуний, визги дам, которых в особых колясочках толчком спускали с «горы». Главное же оживление молодого общества шло

от той, которая всего два-три года до того воссела на престол российских государей 8, которая была все еще опьянена своей сказочной судьбой и своей страстью к красавцу-богатырю Григорию Григорьевичу Орлову.

Наиболее изящным из сооружений, восходивших к той же эпохе, когда Екатерина еще любила свой Ораниенбаум, был сохранившийся до наших дпей и нисколько не пострадавший Китайский дворец1*. Это совершенно единственный в своем роде архитектурный памятник, в сооружении и украшении которого участвовали те же Ринальди, Бароцци и Торелли. К наибольшим диковинам этого дворца принадлежит длинная зала, стены которой заделаны деревянными панно в китайском вкусе,

Катальной горки *(нем.)*.

С фресками *(итал.)*.

О *чудесной* сохранности всех художественных памятников, находящихся на территории Ораниенбаумского парка, свидетельствует несколько художественных изданий, вышедших в СССР за последние годы. Сохранность эта объясняется тем, что немцы так и не завладели Ораниенбаумом, служившим tête de **port** [плацдармом *(франц.)]* Кронштадту.

•

а в потолке протянут большой продолговатый плафон, приписывавшийся Девельи и изображающий какую-то китайскую церемонию. Вообще же только этот очень просторный биллиардный зал оправдывал наименование «Китайский дворец», приданное всему одноэтажному зданию. Согласно преданию, именно эту прохладную, темноватую (из-за обшивки стен и густых драпировок на окнах) комнату особенно любила Екатерина, и ее же избрала себе обычным пребыванием принцесса Елена — единственная дочь в.к. Екатерины Михайловны, сестра помянутых герцогов Мекленбургских. Я помнил ее еще совсем молодой, теперь же это была дама лет сорока пяти, несколько отяжелевшая, с классически-правильными, но мало привлекательными чертами лица. Несколько лет до того и тогда уже, когда она рисковала быть навсегда зачисленной в разряд «старых невест» — она вышла замуж за уже совершенно седовласого принца Саксен-Альтенбургского, но брак этот был чисто «резонным», муж продолжал жить почти безвыездно заграницей, поручив наблюдение за воспитанием своих дочерей от первого брака Елене Георгиевне.

Что именно принцессе Елене досталась такая жемчужина, как Китайский дворец, можно почитать за особое счастье. Обладая

такой же, чисто немецкой страстью к порядку, как ее брат Михаил Георгиевич, она все же имела и достаточный исторический пиетет, чтобы отказаться вносить, под предлогом реставрации, какое-либо «усовершенствование» и переделки в порученном ее ведению художественном перворазрядном памятнике. Содержала она дворец и всю примыкающую к нему часть парка в удивительном порядке, однако она ничего нигде не восстанавливала *и* не добавляла, а на всякие представления своего архитектора господина Марфельда она неизменно отвечала: «Так было при мама, так пусть и остается».

Лицо принцессы часто портила какая-то «кислая усмешка»; возможно, что то был отблеск тех милостивых улыбок, которыми дарила ее бабка в.к. Елена Павловна, а то и несравненно более знаменитая пра-праба-бушка — Екатерина II. Такой именно усмешкой реагировала принцесса и на мое обращение к ней с просьбой разрешить мне увековечить в моих «Сокровищах» ее прелестный дворец9, и уже я успел подумать, что просьба моя отклонена, как тут же принцесса согласилась и объявила, что могу начать свою работу хоть на следующий день, после того, что она покинет на часть лета Ораниенбаум, а что до того — она будет всегда рада меня видеть у себя. Вообще под наружностью не очень приветливой в ней крылось неожиданное большое доброжелательство. Лучше изучив ее со временем, я понял, что вся ее брезгливая надменность была напускная и, по всей вероятности, скрывала непреодолимую стеснительность. Пожалуй, это она требовала от собеседника известного ободрения! Зато когда такое «ободрение» получалось, то беседа с пей теряла всякую принужденность, и она была даже не прочь «изливаться», переходя от тем исторически-политических (в ее отношении к русскому строю звучал слегка тот уклон к либерализму, который слышался и в речах в.к. Николая Михайловича) к темам художественным и, особенно, к музыко.

Ведь в качестве музыкальной одаренности она не уступала брату Георгию, но ее главная сила была пение, а ее любимый автор — И. С. Бах. Обладая прекрасным, полнозвучным, сочным голосом и отлично владея им, она могла бы занять первенствующее место среди Bach-Sängerin-nen *, но ранг и природное смущение не допускали того. Тем не менее, ободряемая поклонниками, она изредка преодолевала свою робость перед публичным выступлением и давала в своем грандиозном Каменноостров-ском дворце концерты, в которых наиболее ценной участницей была она сама в своем излюбленном строгом репертуаре.

Я охотно бывал у принцессы Альтенбургской как в Ораниенбауме, так и в Петербурге, то приглашенный на чашку чая, то на завтрак, то на обед. Особенно памятными остаются для меня те обеды, которые происходили у нее в Китайском дворце и на которых я разделял эту честь с двумя самыми значительными дипломатами довоенной эпохи — с германским послом графом Пурталесом и с австрийским послом графом Берхт-хольдом. Первый был человек пожилой, невысокого роста и державшийся несколько криво; у него был странный, чрезмерно высокий и несколько заостренный череп. Он был изысканно и даже преувеличенно любезен, говорил очень тихо, медленно, с какой-то странной осторожностью, точно опасаясь сделать какую-нибудь непоправимую gaffe ** и точно извиняясь, что вот он «позволяет себе» иметь такое или иное мнение. Напротив, Берхтхольд был мужчина во цвете лет, высокого роста, он держался необычайно прямо, горделиво неся свою красивую голову блондина. Говорил он уверенно, любил сентенции, а анекдоты рассказывал мастерски и всегда кстати. Графа Пурталеса «хотелось приободрить» (как и принцессу) и за него становилось подчас неловко. Берхтхольд, разумеется, «ни в каком приободрении не нуждался»; он имел вид человека, привыкшего повелевать и распоряжаться. К сожалению, я забыл, о чем говорилось на этих обедах (их было три и они происходили летом 1909 г., когда мы снова жили в Ораниенбауме), но, думается мне, что то было нечто едва ли возвышающееся над обычной светской canserie *** и едва ли обсуждались мало-мальски важные и значительные вопросы. Кстати сказать, беседа, несмотря на то, что за столом сидело два немца и одна немка, шла по-французски. С пруссаком графом Пурталесом у принцессы были отношения более простые, он даже бывал приглашаем на пикники, и в этих случаях бывал прямо-таки трогательно мил, шутил с юными принцессами Альтенбургскими, с «девочками» «Карловыми» 2* и «усерд-

.*. Певиц — исполнительниц Баха *(нем.)*.

** Оплошность, промах *(франц.)*.

'** Болтовней *(франц.)*.

2* Из трех прелестных и милейших дочерей графини Карловой одна скончалась в юных годах, две другие вышли замуж за князей Голицыных, но вторая, необычайно оживленная, прелестная «Мерика», разведясь с первым мужем, вышла замуж за графа Клейнмихеля. Старшая, Екатерина Георгиевна, погибла от бомбы в Лондоне в 1940 или 1941 г. Это была одна из самых милых и добрых девушек, которых я когда-либо встречал. Она очень напоминала отца. Единст-

ствовал» во время веселых угощений на траве. Падкий до всякого декорума, мне особенно нравилось в ораниенбаумских обедах у принцессы то, что они происходили в прелестной круглой средней зале дворца под чудесным плафоном Тьеполо, на который я то и дело взглядывал, нравилось мне и то, что прислуживали лакеи в изящных ливреях иностранного покроя с аксельбантами у плеча.

* * #

Из всех загородных резиденций, которые я посетил в то лето, наиболее глубокое впечатление произвела на меня Гатчина, с которой я только тогда познакомился, так как вообще Гатчинский замок не был доступен публике; теперь же, благодаря моему официальному положению, двери его были для меня раскрыты. О Гатчине ходили всякие легенды, завещанные как жуткой эпохой Павла I, так и тех дней, когда там в странном одиночестве «прятался» со своей семьей император Александр III10. Кроме того, А. И. Сомов говаривал, что Гатчина битком набита картинами, служа каким-то складочным местом для всего того, что не нашло себе места в Эрмитаже. Сомов неоднократно делал представления о желательности передачи особенно выдающихся из этих произведений в Петербургский музей, однако на все эти представления со стороны вдовствующей государыни следовал один и тот же ответ. Она ревниво оберегала то, что в ее глазах имело не столько историко-худо-жественное значение, сколько служило напоминанием о тех тревожных, часто мучительных годах, которые она прожила с боготворимым ею супругом.

Больше всего из всего тогда виденного в Гатчине (это первое обозрение замка длилось пять или шесть часов) поразил меня портрет Павла Петровича в образе мальтийского гроссмейстера. Этот страшный, очень большой портрет, служащий наглядным свидетельством умопомрачения монарха, был тогда «запрятан» подальше от членов царской семьи, в крошечную проходную комнату «Арсенального каре», но господин Смирнов, водивший меня тогда по дворцу, пожелал меня «специально удивить». У него был ключ от этой комнатки, и вот, когда он этим ключом открыл дверь и безумный Павел с какой-то театральной, точно из жести вырезанной короной, надетой набекрень, предстал предо мной и обдал меня откуда-то сверху своим «олимпийским» взором, я буквально обмер. И тут же решил, что я воспроизведу

раньше чем что-либо иное, именно этот портрет, писанный Тончи.11 и стоящий один целого исторического исследования.

венного сына герцога Георгия Георгиевича и графини Карловой я помню сначала на руках английской nurse [няни (англ.)], а через несколько лет в виде хорошепького и очень бойкого мальчугана. Как слышно, он унаследовал от отца не только родовой замок в Мекленбурге (этот замок с массой исторических документов сгорел), но и герцогский титул.

*IV, 42. Лето е Ораниенбауме*357

Впрочем, гатчинский замок весь в целом говорит о Павле, хотя он и был сооружен для фаворита его матери12. Особенно остро ощущается 3* «присутствие Павла» в тех комнатах, в которых главным образом он и проводил время, почти не пользуясь роскошными апартаментами бельэтажа. Переступая через порог в первую из этого ряда небольших комнат нижнего этажа, мне показалось, что я так прямо и перенесся на целый век назад. Все здесь продолжало быть таким, каким это видели глаза безумного царя; оставался нетронутым весь этот быт — «солдафонский» и все же царственный, жуткий и все же в какой-то степени уютный. Вот малый тронный зал — с золоченым креслом середины XVIII в. на низком помосте под балдахином; за креслом, во всю высоту комнаты — портрет скачущего на коне «прадеда» Павла — Великого Петра, писанный Жувене; между окнами на золоченом подзеркальнике рокайль мраморный бюст Генриха IV; одна из дверей завешена французским тканым ковром. Рядом комната с круглой белой фаянсовой печью в углу, имеющей подобие храма, уставленного ионической колоннадой; на одной из стен картина, изображающая травлю оленя на большом канале в Шантильи — воспоминание о тех празднествах, коими было ознаменовано посещение принца Конде русской великокняжеской четой, путешествовавшей под именем графов Северных 13. Рядом — темноватая столовая или актикамера, где, дрожа от страха, прижимая к бедру колоссальную треуголку и стараясь не слишком стучать сапожищами, стоя дожидали своей очереди попасть под распечку и услыхать пронзительный гневный голос императора провинившиеся или ни в чем неповинные офицеры. Но интереснее всего последняя комната у одной из угловых башен. Спальня-кабинет отапливалась кургузой кубической фаянсовой печью, украшенной вверху точно небрежно туда брошенными трофеями; по стенам в несколько рядов висели картины, среди которых два овальных портрета опять-таки Генриха IV и его «верного» министра Сюлли, а также крошечная картинка Ватто, изображающая итальянских комедиантов. Как раз под ней за невысокой дырявой ширмой — кровать — та самая,

на которую 11 марта 1801 г. собирался лечь, но едва ли лег, Павел Петрович, так как в эту минуту уже проникли к нему убийцы. Жалкая эта походная кровать видела ужаснейший исторический момент, когда повелитель величайшего на свете государства валялся у ног одного из маскированных заговорщиков и, принимая его за родного сына, взывал: «Grace, sire, grace, votre majesté» *. Тут же на стуле был повешен зеленый с красными обшлагами мундир, стоят непомерные ботфорты и прислонена тростъ-дубинушка. Вее эти «реликвии» были сразу после убийства доставлены по распоряжению овдовевшей императрицы Марии Федоров-

3* Ощущается? Вернее *ощущалось,* ибо, если даже эти комнаты и уцелели после вандальского разгрома отступающих немцев, то они наверное утратили тот удивительный «психологический аромат», который они сохраняли первое время даже при большевиках. * Пощадите, государь, пощадите, ваше величество! *(франц.)*.

358*IV, 42. Лето в Ораниенбауме*

ны _ из Михайловского Замка в Гатчину, и там сложены в том самом порядке, в каком эти вещи находились при ее супруге. В башенной же боковушке-фонарике на подоконнике лежала на куске алого штофа с нашитым на нее крестом толстая, сильно потертая книга — это Священное Писание, которое любил здесь, в одиночестве, читать Павел, а сопровождавший нас камер-лакей шепотом прибавил: «Его величество покойный государь тоже кажинный день сюда заходил и вот по этой самой книге изволили молиться». Живо припомнились тогда ооо эти личности, между собой столь мало схожие, но обе носившие царский венец, обе мучительно сознававшие и свою ответственность и свое трагическое бессилие сделать нечто такое, что действительно и навсегда было бы спасением их отечества. Здесь в тяжелые минуты и тот царь с помутившимся рассудком, и этот, еще так недавно правивший государь, должны были прибегать в тяжелые минуты к господу с мольбой их научить, их просветить или удалить от них горькую чашу.

Глава 43 (1901 год.)

ПОЯВЛЕНИЕ ИГОРЯ ГРАБАРЯ. МОЕ УЧАСТИЕ В ОБОИХ НАШИХ ИЗДАНИЯХ.

И. С. ОСТРОУХОВ

Поздней осенью и уже тогда, когда никто из летних жителей в Ораниенбауме не оставался, решились и мы расстаться с тем местом, где нам было гак хорошо, и перебраться в город. Ораниенбаум пустел, но все по-прежнему были прекрасны его сады и парки, теперь засыпанные по дорожкам золотом и пурпуром опавших листьев, распространявших дивный в своей печали запах. Последние недели я почти что уж не жил с семьей, да и моя жена должна была несколько раз ездить на новую квартиру и заниматься приведением ее в порядок, оставляя детей на попечении приветливой смуглянки Fräulein Elsa aus Riga и необычайно строгой, но преданнейшей эстонки Лены Сорро. К сожалению, мы тогда же вскоре лишились их обеих — они обе вышли замуж и служить больше не захотели.

Наша новая квартира не вполне отвечала нашему идеалу. Уж то было неприятно, что надо было лезть в пятый этаж (дома, даже недавно построенные, редко были снабжены лифтом), а для моей живописной работы большое неудобство представляло то, что кабинет (довольно просторный) выходил на юго-запад, так что в ясные дни невозможно было здесь укрыться от солнечных лучей, в других же комнатах, начиная с угловой, было довольно тесно. Зато приятно было сознавать, что мы опять «в своем квартале», в Коломне, да и квартира в общем была очень светлая и

уютная. Отлично выглядели на этих стенах мои новоприобретенные картины — прелестный «Пейзаж» ван Гойена, «Похищение Прозерпины» Пуссена, большой кухонный натюрморт «Бодегон», приписываемый Ве-ласкесу, «Старуха» Венецианова, «Сельский сюжет» Кипренского, «Пейзаж в окрестностях Рима» Александра Иванова. Но по-прежнему я более всего гордился двумя бесподобными сепиями Ф. Гварди. Благородную нарядность придавали всему наши мебельные обновки; угловая гостиная прямо напоминала какой-либо салончик Марии Федоровны в Павловске или в Гатчине.

Но вот, не успели мы перебраться с дачи и расположиться, как нас посетила жестокая беда. Наша старшая дочка «маленькая Атя» или «По-таташка» заболела горлом, и вскоре стало ясно, что это нечто более серьезное, нежели очередная ангина. К сожалению, пользовавший нас тогда врач, господин Аксюк, был очень нерешителен; он вместо того, чтобы сразу принять энергичные меры, ограничивался какими-то невинными домашними средствами. Нашей обожаемой девочке становилось все хуже, и хотя температура не была особенно высокой, но она уже стала задыхаться и слабела с каждым часом. Больше всего меня смущал отвратительный запах, который шел от больной. Тут

я вспомнил о том фельдшере Казанской части, который меня так удачно лечил лет шесть назад, когда я страдал нарывами; в его врачебный талант я крепко верил. Я послал за ним, и он через полчаса явился. Достаточно ему было освидетельствовать больную, чтобы определить, что у нее не ангина, а дифтерит, и притом в тяжелой степени. Лечить сам он не считал себя вправе и решительно объявил, что необходимо безотлагательно созвать консилиум. Что же касается других детей, то нужно их изолировать, а еще лучше и совсем выселить.

Предписания Феденко были немедленно приведены в исполнение. Анна Карловна, забрав грудного Колю, маленькую Лелю и сподручную няньку (младшую сестру Аннушки-парижанки), переселилась в меблированные комнаты на углу Театральной площади, я же полетел доставать докторов,

Дальше все пошло по программе, намеченной Феденко, Главного врача я застал в Детской больнице принца Ольденбургского **, а он взялся пригласить своего коллегу, тогда как третьим в совещании был по необходимости паш домашний доктор. Какой совершенно изменившейся и прямо зловещей показалась мне в сгущающихся сумерках наша столь неожиданно опустевшая квартира. Несколько успокаивающим образом подействовало на меня, что я уже застал при больной сестру милосердия, которую прислал тот же Феденко. Кроватка Атечки была теперь перенесена из детской в спальню, освобожденную от всякой лишней мебели и принявшую вследствие того какой-то очень строгий больничный вид.

Доктора явились довольно поздно, уже в темноту, часов около семи.

* Из страха заразы мы предпочли не обращаться к С. С. Боткину, у которого **тоже** были две девочки; младшая Тася была ровесницей нашей заболевшей **Ати.**

IV, 43. Появление Иг. Грабаря. И. С. Остроухое

Они сразу облачились в белые халаты и в таком виде предстали перед больной, что произвело на нее сильнейшее впечатление, оставшееся в памяти на всю жизнь. Необходимо было сделать сыворотную прививку тотчас же. Один из докторов привез на всякий случай все для того нужное, и несложная операция была тут же произведена, впрочем с наказом, что если бы через определенное число часов не было улучшения, прививку повторить. И действительно, к моему все растущему ужасу, улучшения не наступило, и тогда Аксюк сделал вторую прививку. Ночь затем прошла в тяжелом выжидательном настроении. Ни я, ни сестра милосердия не ложились, оставаясь при больной и

прислушиваясь к ее хрипу. И вот к утру я услыхал ободряющие слова: «кажется, подействовало, больная дышит свободнее», а когда при первом же полоскании темные пленки стали сходить густыми пластами, то уже не осталось сомнения, что наша девочка спасена.

Уже через два дня она стала безболезненно принимать пищу и при этом обнаруживать все растущий аппетит — к великой радости и моей, и сестрицы, и остававшейся с нами кухарки. Глазки вновь заискрились весельем и задором. Первое, что она попросила себе в кроватку, это любимую свою куклу, которую она умилительно стала сейчас же пеленать; «кормить», лечить, а также учить уму-разуму и бранить за какие-то провинности. Я же пустился в изобретение новых забав и развлечений; И как удивительно: одной из наших с ней наиболее захватывающих игр стала тогда... война! Мы оба, и я, и моя жена — абсолютные пацифисты, мы войну, как и всякое другое проявление бесовского начала, ненавидели всеми силами души, но все же у меня с детских лет осталась страстишка к оловянным солдатикам. О них я и вспомнил, вспомнил, вероятно, потому, что захотелось пережить вместе со своей девочкой те сладостные эмоции, которые я пятилетним мальчиком в Павловске, болея скарлатиной и на пути к выздоровлению, испытывал, лежа в двухспальной родительской кровати.

Побывав в трех магазинах, я набрал целую армию и даже целых две, в которых была и артиллерия, и пехота, и кавалерия, и полковые оркестры, и расставлявшиеся палатки, и походные кухни, и возы с продовольствием, и два генеральных штаба. Сначала я сомневался,— как-то оценит Потаташка такую совершенно ее полу несвойственную игру, но вышло наоборот — она пришла от всего в восторг. Но особенно она оценила крошечные пушки, из которых можно было стрелять горошком и посредством которых можно было разить полчища врага. Кроме того, я склеил из бумаги две крепости, и вот у нас часами пошли бои за обладание той или другой из этих фортеций. Сестра сначала дивилась и недоумевала, а потом, будучи особой довольно решительной, она запротестовала, уверяя, что такие непедагогические забавы вредны, «особенно для девочек», «лучше папаша занялся бы с девочкой чем-либо другим». Но тут возмутилась дочка, она надулась, зарылась в подушки и изобразила такое горе, что сестра поспешила взять свой запрет обратно и предоставить нам полную свободу. В душе же она, вероятно, считала, что *пя*

*IV, 43. Появление Иг. Грабаря. И. С. Остроухое*ЗЎ1

такого ребенка при таком отце обязательно выйдет какое-

либо жестокое воинствующее чудовище. В таком случае сестрица ошиблась. Наша дочь еще более возненавидела все военное, нежели мы... не переставая в то же время чувствовать слабость к оловянным солдатикам.

Еще через несколько дней нас выпроводили из нашей квартиры для произведения в ней основательной дезинфекции. Мы же на эти три дня поселились у меня в редакции «Сокровищ», куда была доставлена кроватка для Атп; сам же я спал на клеенчатом диване. В редакции же нас все время посещали друзья (только Сережа, смертельно боявшийся заразы, пе бывал), и время проходило очень весело, причем я порядком запустил очередные дела. Когда же срок нашего общего остракизма кончился и мы все спова воссоединились, то это была великая радость! Впрочем, не без доли огорчения для Ати-Потаташки, так как из гигиенических соображений все ее игрушки (Леля свои игрушки брала с собой, а у Коли еще пе было игрушек) были преданы огню. Погибли в пламени и крепости, и войска, так храбро их защищавшие, а главное куклы, и среди них любимая, та, которая закрывала глаза и даже (если ей нажать на грудь) трогательно пищала. Но это горе было тут же забыто, так как родители на радостях прямо-таки разорились на приобретение всяких новых игрушек и кукол; лишь погубленные крепости не были заменены новыми.

Все еще в том же 1901 г., если я не ошибаюсь, в осеннюю пору, среди нас появляется Игорь Эммануилович Грабарь \ Он решил, что ему больше нечего совершенствоваться в художественных школах Мюнхена и что настала пора для него вернуться на родину и послужить ей. Грабарь состоял с самого начала сотрудником «Мира искусства», но никто из нас, редакционных людей, его лично не знал (возможно, что Дягилев его посетил в Мюнхене), а об его личности трудно было судить по одним его печатавшимся у нас «письмам», хоть они и были довольно пространны и обстоятельны.

Совсем недружелюбно относился (в душе) к Грабарю Дягилев, хотя для виду и «для пользы дела» он и принимал его довольно ласково. Дело в том, что, как я уже упомянул, Сергей Павлович в каждом новом человеке, появлявшемся на нашем горизонте, был неизменно склонен видеть возможного соперника, а Грабарь навлек на себя *особое* подозрение своим очень уж явно выражавшимся желанием играть первую роль 2 и стать каким-то chef d'école *. Возненавидели сразу Грабаря и Нувель, и Нурок (а также в стороне остававшийся Сомов), не особенно дружественно к нему относились и Яремпч, и Лансере. Что же касается меня, то если меня и раздражали манеры нового знакомого и особенно его непрерывное хвастовство, то все же, познакомившись с ним

ближе, я разобрал, что это, во-первых, «не было так страшно», что в душе Грабарь если и крайне тщеславен, то все же человек, не лишенный сердечности и добродушия, а затем я увидел, что его неукротимая энергия может принести при ра:

* Главой школы *{франц.}* *

362/F, *43. Появление Иг. Грабаря. И. С. Остроухое*

зумном пользовании ею и очень хорошие плоды. Приблизительно так же к нему относился (вообще равнодушный к художникам) Д. Философов, ограничиваясь едкими насмешками за спиной Грабаря, но считая, что вообще он может пригодиться для разных дел. Всего снисходительнее отнесся к Грабарю Серов — и это очень много значило. Пожалуй, Серов был и единственным, кто сочувственно и даже с уважением отнесся к живописи Грабаря; ему импонировало то усердие, с которым Игорь Эмма-нуилович посредством своеобразного применения техники пуантилистов добивался яркости красок и света.

Впрочем, как это ни странно, я и в настоящее время, по прошествии стольких лет, не вполне определил своего отношения к Грабарю как к художнику. Смешно спорить о том, что он по праву занял особенно выдающееся место в русской художественной живописи. Уже одним созданием и редактированием своей «Истории русского искусства» Грабарь создал нечто, за что русская культура обязана ему беспредельной благодарностью 3. Но и живописец Грабарь заслуживает особого внимания, а некоторые его пейзажи являют собой удивительно внимательное изучение русской природы. Особенно хороши его солнечные «Зимы» и передача волшебного эффекта инея.

«Трогательно» в своем роде было его отношение к собственному творчеству, непрестанное стремление к совершенствованию. Нельзя отнять у Грабаря и то, что он был всегда движим желанием быть справедливым и что он болезненно опасался всякого лицеприятства. Что же касается моего совершенно личного отношения к Грабарю, то я вполне признавал в нем наличие совершенно исключительных знаний, «пропитанных» большой общей культурностью, но вот почему-то я не припомню каких-либо таких мнений Грабаря, которые в своей формулировке были бы особенно ценными; я не припомню и того, что какие-либо его характеристики доставляли мне радость своим «ощущением живой правды», какую мне доставляли мнения Серова, Бакста, Яремича. А главное, *тон*\ Тон Грабаря был (особенно тогда, в первые годы) положительно *невыносим.* Он все время кого-то чему-то учил, причем в громадном большинстве случаев то были изжитые и уже давно нами пережитые «истины». Видно, состоя руководителем в Мюнхене при школе Ашбе, он до

такой степени втянулся в художественную педагогику и среди своих учеников встречал там столько глупцов, тупиц и невежд, он так привык им импонировать, что, очутившись в новой среде, он как бы счел своей обязанностью продолжать учительствовать, поучать, твердить о каких-то своих открытиях. Наконец, что мешало Грабарю войти по-настоящему в нашу тесно сплоченную художественную семью,— это *отсутствие юмора.* Все его рассказы были какими-то пресными, все его шутки или остроты чуть простоватыми, «faul» *, как говорят немцы; чужих же шуток (и в особенности того специфического балагуренья, которое у нас процветало) он и вовсе не понимал.

* Пустыми, вялыми *(немг)*.

IV, 43. Появление Иг. Грабаря. И. С. Остроухое

* * *

Мне остается несколько точнее означить, в чем выразилось все в том же 1901 г. мое художественно-критическое и иеторико-художеетвен-ное сотрудничество в обоих издаваемых нашим кружком журналах: в «Мире искусства» и в «Художественных сокровищах».

В первом из этих органов появились следующие мои статьи: «Французское искусство на Всемирной выставке 1900 г.»; «Весенняя выставка в Академии художеств», «Монплезир», «Морис Дени» и «Мой ответ г. Философову». Кроме того, две анонимные заметки о выставке «Художественных училищ» и о выставке, устроенной «Обществом поощрения художеств». Первая из перечисленных статей заканчивала серию тех, которые в 1900 г. я посвятил Exposition Universelle *, однако то не была на самом деле заключительная статья; согласно первоначальному плану, я должен был с не меньшей обстоятельностью рассказать *все* впечатления, вынесенные из обозрения парижского мирового торжища и затем подвести какие-то итоги всему виденному. Но время шло, многое из того, что было только что злободневным, оказалось уже уплывшим далеко вглубь минувшего, оно утратило значительную долю интереса — даже для меня.

Из остальных перечисленных статей наиболее значительной как лично для меня, так и для всего нашего кружка, был «Ответ г. Философову» 4, вызванный весьма недружественным разбором другом «Димой» того, что в первом выпуске своей «Истории русской живописи XIX века» я высказал об Александре Иванове. Подробно разбирать здесь этот диспут не стоит, но, перечитывая теперь тогда нами высказанное, мне с особенной ясностью вырисовываются мои с Димой отношения, а также самые наши личности, какими они сложились к тому времени и какими они остались и в дальпейшем. Впрочем, каким он был тогда, наш «умник» Дима, «поклонником Науки» (не будучи на самом деле заправским ученым), таким он и остался, что выражалось в его «принципиальной» вере во всякие формулы и в недостаточном ощущении живой жизни. В то же время Философов был тогда уверен в совершенной независимости своих взглядов и в смелости своих духовных порывов; в будущем же ему продолжали

мерещиться и очень замечательные подвиги. Однако и тогда этого *необыкновенно умного* человека связывала особого рода парализованность фантазии и вкуса. Он хотел бы летать, но крыльев не было; это было нечто вроде духовного скопчества, что он нередко сам с горечью констатировал. Особенно его мучило сознание отсутствия творческого начала; это питало в нем своеобразную зависть в отношении тех его друзей, которые творческим даром обладали. Отсюда и всякие, подчас совершенно неожиданные вылазки, обычно кончавшиеся для Философова некоторым конфузом. В общем, Философов представлял собой тип интеллигента-неудачника, и именно полной неудачей завершилось его земное супде-

* Всемирной выставке *(франц.)*.

ствование, посвященное в последние годы каким-то окончательно беспочвенным, а в значительной степени и сумбурным политическим идеалам \

Однако именно то, что в Диме было вечно ищущего, неугомонного и что в его честолюбии было бескорыстного, какая-то высота помыслов по существу всегда пленяло меня и делало то, что я готов был ему прощать его неспособность понимать самую суть в художественных вещах. Это было в нем чем-то органическим, не зависящим от его воли и сознания. В другие эпохи и при других человеческих связях, из него вышел бы какой-либо пуританин иконокласт*, а так судьба сыграла с ним странную шутку, внедрив его в самое сердце наиболее значительного художественного начинания в России, в то время существовавшего. При всем том, все несогласные, враждующие в нас элементы не привели в те годы к расторжению нашей еще на школьной скамье начавшейся дружбы.

В этом году Философов уже с трудом и как-то по инерции, больше из уважения к своей многолетней дружбе (и более, чем дружбе) с Дягилевым, продолжал тянуть лямку редактора нашего художественного журнала, тогда как он предпочел бы оторваться от чуточку презираемых им (потому что плохо понимаемых) художников. До чего ему должна была надоесть та роль, которую он играл в деле, в котором остальные участники никаких ролей не играли, но оставались, начиная с того же Дягилева, вполне и только самими собой. Его неудержимо тянуло совершенно уйти к близким ему по темпераменту литераторам и философам религиозного уклона 6, для коих перебор вечных (неразрешимых) вопросов представлялся какой-то священной миссией и которые вещали о вещах, казавшихся беспредельно более значительными и такими, которые вот-вот приведут к непосредственному

общению с богом, а там и к апостолату мирового значения.

Что же касается до моих «Художественных сокровищ», то мое личное участие (помимо общего редактирования, бесконечных корректур и т. д.) выразилось в составлении не менее трех четвертей всего напечатанного текста, состоявшего из описания иллюстраций, в составлении заметок для «хроники», в «обзоре журналов» и в «новостях книжного рынка»; эти мои заметки частью снабжены моим псевдонимом — Б. В., частью совершенно анонимны. Кроме того, я многое исправлял и добавлял в доставляемых по моему заказу статьях историко-художественного характера. Особенно много пришлось потрудиться над текстами Л. И. Успенского, участием которого я дорожил, так как через него я получил доступ к такому неисчерпаемому источнику документальных сведений, каким является архив Министерства двора, сложенный в Троицкой башне Кремля.

На выставках й в 1901 г. участвовал два раза. Раз в Петербурге, раз в Москве. На грандиозной и роскошно устроенной выставке «Мира

* Иконоборец *(греч.)*.

искусства» в Академии художеств (дирекция Музея Штиглица не пожелала нас снова иметь у себя) я выставил серию своих петербургских этюдов, которая была буквально расхватана любителями, а одна пастель изображающая пруд в Верхнем саду, была куплена государем. В Москве я принял участие на выставке «Общества 36-ти художников» 7, только что возникшего тогда и превратившегося впоследствии в конкурирующий с «Миром искусства» «Союз художников». Дягилев относился к этому предприятию с подозрением, однако он все же «разрешил» мне участвовать на этой выставке. Для нее мы оба отправились в Москву и, уступая приглашению Серовых, остановились не в отеле, а в их удивительно скромном обиталище, любуясь в разные часы дня всем очаровательным укладом их семейной жизни. В другие же мои приезды в Первопрестольную для дел «Сокровищ» я принужден был уступать настойчивому приглашению И. С. Остроухова8, и вот о последнем мне хочется сказать несколько слов, так как он несомненно принадлежал к самым характерным фигурам московского художественного мира.

Уже то было любопытно, что Илья Семенович соединял в себе личности типичного именитого купца с личностью подлинного художника-живописца. Когда-то, в 80-х годах, в свои молодые годы, он явился в глазах московских любителей благодаря двум-трем пейзажам чуть ли не соперником Левитана и Серова, а его «Сиверко» до сих пор занимает вполне заслуженное положение 9

среди самых характерных и поэтичных пейзажей русской школы. Однако, происходя (если я не ошибаюсь) из торговой среды, женившись на богатейшей невесте — Надежде Петровне Боткиной, дочери одного из самых знатных купеческих магнатов Москвы, занимая в деле тестя (чаеторговле) ответственный пост одного из директоров, Остроухов постепенно забросил художественное творчество и, что называется, «почил на лаврах», не пренебрегая, впрочем, при любой оказии напоминать собеседникам о том. что и он *мог бы* занимать первенствующее положение среди художников.

И вот это творческое оскудение Остроухова, в связи с развившимися в нем торговыми и коллекционерскими инстинктами, создало из него сначала довольно бестолкового и любительски прихотливого, но и страстного собирателя2*, а затем он постепенно превратился в нечто <...> значительное и почтенное <...>. Правда, по общему правилу, все имущество такого видного «капиталиста» должно было быть национализовано, но в отношении Остроухова эта мера была применена только для вида. Илья

2* В начале своего собирательства он был вправе гордиться крошечной «Богоматерью у Креста» (фрагмент), которую он приписывал самому ван Эйку, а также картиной на меди «Аполлон, сдирающий кожу с Марсиаса», которую он почему-• то считал за Веласкеса и которая была просто уменьшенным повторением картины Яна Лиса («Пана>/) в Венецианской академии. Было у него и несколько хороших русских картин, и среди них «Девушка с теленком» Венецианова, «Берег моря» Малютина и «Сирень» Врубеля. В картонах же Остроухов хранил большое количество русских рисунков и акварелей, возбуждавших зависть других московских собирателей — Цветкова, Трояновского, Гиршмана и др.10

366- *IV, 43. Появление Иг. Грабаря, И. С. Остроухов*

Семенович был назначен «хранителем» своих сокровищ и дожил свой век в том же характерно буржуазном особняке в Трубниковском переулке, в тех же комнатах, битком набитых солидной мебелью и со стенами, сплошь завешанными картинами. Довольно обширный сад также продолжал оставаться при доме. Весь этот ансамбль был с 1918 г. превращен в государственный музей и и был открыт для обозрения публики, но Илья Семенович был даже тому рад, потому что теперь он мог хвастаться собранными богатствами перед весьма расширенной массой любопытных; сам же он жил с женой в этом «музее» по-прежнему, ни в чем не нуждаясь, чудаком-сибаритом, все так же попивая красное вино, к которому он питал особое пристрастие, и

беспрерывно принимая многочисленных друзей. Мало того, Остроухов *продолжал собирать* и <…> ему удалось пополнить свое (якобы реквизированное) собрание икон особенно замечательными произведениями.

Поворот в его собирательстве, носившем до того помянутый любительски-прихотливый характер, произошел едва ли не случайно. Отрасль, которая стала с тех пор его коллекционной специальностью (и которая доставила ему славу и за пределами России) была древняя иконопись. Однако уже тогда, когда многие москвичи его же круга (среди пих члены семьи Рябушинских) принялись яростно собирать образа древних писем, Илья Семенович продолжал относиться к ним равнодушно и откровенно сознавался, что икона ему ничего не говорит, И вот перемена произошла как-то мгновенно, его «осенила какая-то благодать»! Как мне передавали, началось это с того, что друзья подарили ему на рождение прекрасную икону XV в. «его» святого — Ильи Пророка, и тут, не то благодаря тому сильному впечатлению он и прозрел, не то он своим нюхом торгового человека почуял какие-то чрезвычайные возможности, ведь затрачивая не очень высокие суммы, он мог обзавестись величайшими редкостями, которые могли ему принести не только коллекционерский гонорар, но и создать себе нечто вроде патриотического ореола! Благодаря ряду необычайно удачных приобретений, делавшихся обыкновенно через посредство его приятеля, хранителя Третьяковской галереи Черно-губова 12 (человека тончайшего вкуса, понаторевшего в коллекционерских комбинациях и лукавствах), он добился того, что имя его стало синонимом самого передового, самого просвещенного собирателя, к тому же оказывавшего бесценные услуги русской культуре… Ведь открытие всей этой новой области красоты произвело всемирную (благодаря заграничным выставкам) сенсацию. Еще недавно считалось, что вся русская живопись до Петра — нечто аморфное, рабски подражательное; теперь же историки искусства и на Западе считаются с русской иконой, а иные склонны даже приравнять русских художников (не богомазов, а *художников)* и среди них на первых местах Андрея Рублева и Дионисия, с итальянскими тречентистами и кватрочентистами.

Лично я относился к Остроухову если и не с настоящим дружеским чувством, то все же с большим и «симпатическим» интересом. Этот тяжелый, плешивый, подслеповатый, шепелявый верзила, этот московский

самодур плейял меня всей своей вящей характерностью. Кроме того, как-никак, в нем и после отказа от собственного живописного творчества продолжала жцть художественная жилка, которая придавала общению с ним немалую приятность. По натуре он был сущий варвар, но он много сделал для того, \ чтобы просветиться и чтобы это свое варварство скрыть под лоском европеизма. Он прочел неимоверное количество книг на раз* ных, уже в зрелом возрасте усвоенных языках, он искренне обожал музыку, не пропускал ни одного значительного концерта и сам недурно играл на рояле, по существу же все это не мешало тому, чтобы он производил впечатление человека грубого, а все им духовно приобретенное не складывалось в нечто гармоничное.

Меня не притягивала в Илье Семеновиче эта его «видимость культуры», а мне было интересно подойти вплотную к типу, который наверное вдохновил бы Островского и послужил бы центром еще одной комедии из купеческого быта. Выносить его общество ежедневно или много дней подряд было трудно (это случилось, когда я у него в 1902 и 1903 гг. гостил на даче под Москвой), и я только дивился кротости и терпению его жены, которая невозмутимо переносила его грубости, нередко доходившие до настоящих ругательств и до дикого крика из-за сущих пустяков. Бывая часто и подолгу в доме Остроухова, можно было .зачастую услышать в отношении Надежды Петровны такие эпитеты, как «дула» (Остроухов не выговаривал буквы «р») и «идиотка», или же он прикрикивал на нее при всех, гнал из комнаты и требовал, чтоб она молчала. Надо, впрочем, прибавить, что во все это безобразничание входило немало «театра для себя», разыгрывания какой-то комедии, казавшейся самому Илье Семеновичу чем-то в высшей степени эффектным и колоритным — вот-де я каков — купец-художник Астлаухов!

Все для большей колоритности он щеголял всевозможными чудаческими повадками, из которых одна особенно забавляла и меня и Серова. Ежевечерне, без исключения, ровно в одиннадцать с половиной часов слуга приносил ему к чайному столу на шипящей сковородке два биточка, именно только два и только для него одного. Но эти битки, жаренные в сметане, должны были отвечать раз установленным кулинарным требованиям. Они должны были быть пухлые и белесые, сочность же их проверялась вонзанием в них вилки. Если при этой операции из биточка не брызгала струя, то Илья Семенович начинал буйствовать, рычать, топать ногами, а слуга, забрав сковородку, опрометью летел обратно в кухню. И в таких случаях не полагалось, чтобы повар взамен неудавшихся изготовлял новые. Нам даже казалось, что эти буйные припадки Семеныча означали то, что ритуал

ежевечерних битков ему давно надоел, но отказаться ему от него все же представлялось зазорным. Вместе с биточками в столовую вносилась бутылка красного вина («класное бол-до» — в произношении Остроухова), которую он всю и выпивал, И тут не обходилось без фокусов: то покажется, что вино отдает пробкой, то оно было недостаточно или слишком согрето. Замечательно, что ни биточками, ни #клаеным» вином Илья Семенович никого не потчевал и даже, когда

368*IV, 43. Появление Иг. Грабаря. И. С, Остроухое*

я протянул как-то к забракованному блюду руку, он безапелляционно

отослал его в изъявление своего неудовольствия./

Вообще же вечернее угощение у этих очень богатых людей было до странности скудное: всего несколько сухарей и бубликов. Вероятно, тут сказывалась не простая скаредность Ильи Семеновича, но и скупость дочери знаменитого своей скаредностью Петра Петровича Боткина, с особой наглядностью выражавшаяся, между прочим, и в том, что не успеет гость себе положить сахару в стакан чая (первоклассного, Боткинского), как уж сахарный ящичек закрывается самой хозяйкой на ключик и отставляется на буфет. Эта черта и подобные ей не мешали Надежде Петровне быть радушной и любезной, но и крайне молчаливой дамой. Своей же внешностью она невольно вызывала сравнение с ... бегемотом, а то и с жабой, вообще с чем-то чудовищно уродливым, что исключало всякое предположение, что Илья Семенович мог жениться на ней по любви. Я даже убежден, что неуклюжая, серая с лица Надежда Петровна так н не познала супружеских радостей, что, впрочем, не мешало ей всячески выражать свое высокопочитание мужу и во всем, согласно Домострою, проявлять беспрекословную покорность и преданность.

Невозмутимость духа Надежды Петровны была вообще легендарной. Сказалось это, между прочим, и в том, что в дни октябрьского переворота, когда происходила осада Кремля, она нисколько не изменила своих привычек и, между прочим, с совершенной методичностью совершала, для моциона, свою ежедневную прогулку с собачкой по собственному саду, между тем как вокруг свистели и щелкали по стенам соседних домов случайно залетавшие откуда-то пули. Как ни в чем не бывало, она не прибавляла скорости, продолжая шествовать своей тяжелой, медленной походкой, о чем с гордостью рассказывал сам Илья Семенович.

Глава 44

ТЕЛЯКОВСКИЙ. «ФЕЯ КУКОЛ». «ИППОЛИТ». «ГИБЕЛЬ БОГОВ»

1902 г. прошел в тех же «тонах» и настроениях, как 1901 г. Я все больше увлекался редактированием своих «Художественных сокровищ», и в связи с этим я несколько запустил свое сотрудничество «Мира искусства». За это мне частенько попадало от Сережи и особенно от Димы. Последний с прежним усердием относился к своим обязанностям и играл роль какого-то ворчливого опекуна нашего журнала. В то же время можно было заметить, что ноша становилась ему все более тяжкой, тогда как параллельно все теснее становилось его сближение с литераторами и главным образом с четой Мережковских. Он проектировал даже вместе с ними и вовсе от нас оторвавшись основать свой особый орган, более отвечающий его душевным запросам, тогда как ему казалось, что узко художественные интересы он как-то «перерос;». Замечалось с некоторых

IV, 44. Теляковский. «Фея Кукол»

пор и известное охлаждение в его дружбе с Сережей. Соблюдая при посторонних! прежний декорум единения и никогда не вынося более серьезных раздоров на общее обсуждение друзей, оба кузена все же чаще при нас спорили, в упреках Димы слышалась горечь, в ответах Сережи раздражение и тяготение к тому, чтобы освободиться от контроля своего склонного к педантизму и недавно еще глубоко чтимого двоюродного брата. Сказать кстати, только в это время у нас у всех и даже у Серова получилось убеждение, что их дружба не лишена чувственной основы. Обратимся теперь к нашим отношениям с Дирекцией императорских театров. Катастрофа с «Сильвией» не только сыграла губительную роль для театральной карьеры Дягилева, но она и меня и Бакста как-то отстранила от театров. Но это наше добровольное отстранение продолжалось лишь несколько месяцев — пока продолжал директорствовать «наш обидчик» Волконский. Оставшись, однако, в каком-то одиночестве, лишившись поддержки своих ближайших друзей и сотрудников, князь Волконский долго не выдержал этого положения и, придравшись к первому же случаю (к какому-то капризу нашей прима-балерины М. Ф. Кшесин-ской1), он еще летом 1901 г. сам попросился в отставку и удалился на покой. Государь, однако, не пожелал создать новый пост «августейшего управляющего театрами», а предпочел внять рекомендации своего министра двора, барона Фредерикса, и назначить на должность директора казенных театров В. А. Теляковского, который, как уже сказано, успел себя заявить с очень выгодной стороны во время своего управления московскими театрами. Тут пригодилось, что Теляковский до своего поступления на гражданскую службу служил в том же лейб-гвардии Конногвардейском полку, в котором когда-то состоял сам Фредерике, а последний вообще благоволил к своим однокашникам, хотя бы между ними и им была значительная разница в годах. К осени 1901 г. весь этот придворыо-административный переполох приобретает законченные формы, о кратковременном управлении Волконского вскоре все забыли, Теляковский же как только воцарился, так первым долгом счел нужным обратиться в Петербурге к тем же самым лицам, на которых возлагал свои надежды его предшественник,— иначе говоря, ко мне и к Баксту. Но не к Дягилеву. Новому директору не представлялось желательным приближать его к себе; ему казалось, что энергией и вкусом он сам обладает в достаточной мере, тогда как ему нужны были художественно-

творческие силы. Он сразу выписал к себе в Петербург «открытого» им еще в 1898 г. Головина, предоставив ему грандиозную декорационную мастерскую, помещавшуюся над зрительным залом Мариинского театра; одновременно он окончательно заручился участием другого москвича — К. А. Коровина. Когда Владимир Аркадьевич обратился ко мне и к Баксту, Дягилев попробовал было воздействовать на нас устройством с нашей стороны своего рода обструкции, требуя, чтобы мы поставили бы условием нашего участия привлечение вновь и его, Дягилева, однако при первом же зондировании почвы в этом смысле мы получили со стороны Теляковского такой отпор, что уже больше к этому вопросу не возвра-

щались. Теляковский рассыпался в похвалах Дягилеву; он сожалел, что все для него так несчастливо обернулось, но о том, чтобы брать Дягилева себе в помощники, не могло быть и речи. «Покорно благодарю,— высказался он откровенно,— это для того, чтобы он через месяц стал интриговать против меня!»

Манера быть Теляковского представляла собой прямую противоположность манере быть и приемам Волконского. Насколько последний был элегантен, изящен, тактичен и осторожен, и вообще мог вполне сойти за подлинного вельможу былого времени, а всей своей внешностью вызывал образ какого-либо итальянского принчипе эпохи Возрождения, настолько Теляковский любил щеголять «чисто российской простотой» и даже грубоватостью с оттенком чего-то «армейского». Так и в данном случае он прямо заявил и мне и Баксту, что Дягилева он *боится.* Мы не сочли нужным скрыть от Сережи этот разговор, и его разочарованию в Теля-ковском не было пределов. Баксту была заказана постановка на Александрийской сцене «Ипполита» Еврипида, и кроме того, он должен был закончить для Эрмитажного театра «Фею кукол» 2; мне же досталась «Гибель богов», одна из моих любимых опер. Уже одно то, что этот заказ позволял мне *окунуться* в стихию вагнеровской музыки, так меня восхитило, что никакие соображения не могли заставить меня отказаться от подобной задачи.

Было бы также слишком досадно, если бы Бакст во имя дружбы с Дягилевым отказался довести до конца уже начатую работу над постановкой балета «Фея кукол». Можно, пожалуй, пожалеть, что ему досталась тема не очень высокого полета, но Бакст не был настолько музыкален, чтобы это принять в соображение. Зато он сразу почуял все, что он может извлечь из сюжета, если перенести действие из современности в 50-е года и из Вены — в наш родной Петербург. Вспомнилась та особая

радость, которую вызывали в детстве игрушечные лавки в Гостином Дворе, моя же к тому времени уже очень разросшаяся коллекция народных игрушек дала ему чудесный материал для создания в качестве апофеоза целого мира, близкого душе русского ребенка и в то же время обладающего особой прелестью ярких своих красок и своей хитрой затейливостью. Левушка чрезвычайно увлекся работой над «Феей кукол», чему немало способствовало дружное сотрудничество с братьями Легат, Николаем и Сергеем,— не только в качестве первоклассных танцоров, но и в качестве тонких, одаренных неисчерпаемой фантазией постановщиков. Еще о Фокине, как о балетмейстере, тогда никто не думал, а все надежды возлагались именно на Легатов. Оба артиста не только на лету схватывали идеи, приходившие в голову художника, но разрабатывали их в полном согласии с ним.

Была, впрочем, еще одна причина, почему Бакст с особым жаром и вдохновением работал над «Феей кукол». Он переживал тогда пламенный период своего романа с Любовью Павловной Гриценко, как раз незадолго до этого поселившейся в Петербурге. Любовь Павловна была дочерью П. М. Третьякова и сестрой В. П. Зилоти (супруги известного пианиста

IV, 44. Теляковский. «Фел Кукол»

и дирижера)\ Александры Павловны Боткиной и Марии Павловны тоже Боткиной (две сестры вышли за двух братьев). Со всеми этими дамами мы были знакомы, но с Александрой Павловной и ее мужем у нас в это время уже образовалась более тесная дружба; недели не проходило, чтобы мы не виделись с ними по крайней мере два раза. Вполне естественно поэтому, что Любовь Павловна тоже стала нашей частой гостьей, и это несмотря на некоторые стороны ее характера, которые казались нам не столь уже привлекательными. Рядом с сестрами и особенно с совершенно простой Александрой, Любовь Павловна казалась несколько жеманной и претенциозной. И Левушка Бакст отнесся сначала к Любови Павловне так, как вся наша компания — с некоторым «недоверием», однако постепенно он первый стал менять свое отношение к ней. Когда мы его дразнили на эту тему, то он отвечал: «Мне она нравится. C'est mon type de femme»*. Встречая полную взаимность, его увлечение вскоре приобрело характер более пылкий, а еще через короткое время стало ясно, что это не простой флирт, а «настоящий серьезный роман». Однако, как все в жизни Бакста, так и тут не обошлось в самом же начале без чего-то чудачески-комического. Особенно поразило всех, что он поместил предмет своего поклонения на самую декорацию «Феи кукол».

В поисках предлога и места для своих свиданий Левушка задумал написать портрет Любовь Павловны, а так как он в это время заканчивал свою декорацию игрушечной лавки, то и сеансы происходили в этой же декорационной мастерской, лишь немного в стороне. Портрет получился очень схожим и удачным, и тогда, по странной прихоти, он решил его включить, всем напоказ, в самую декорацию. Возможно, что Любовь увидала в этом особый hommage **, и, во всяком случае, она не протестовала. Фигура ее на холсте была аккуратно вырезана и пришита к общей «паддуге» среди всяких паяцов, кукол, барабанов, мячей, тележек и прочих игрушек. Любовь Павловна висела в своем новомодном парижском черном платье и в своей огромной черной шляпе! Я помню изумление, охватившее ее зятя С. С. Боткина, когда на генеральной репетиции в Эрмитажном театре взвился занавес и перед его глазами, на самом первом плане предстала его бэль-сер. О каким жирным смехом он тогда залился, приговаривая: «Люба-то, Люба-то *висит*\ Он подвесил ее под потолок! ха, ха, ха. И ведь как похожа!..» Немалое, как тогда говорили, впечатление произвела эта чудаческая выходка художника и на

высокопоставленных зрителей, когда перед ними на следующий день был представлен новый балет. Все в зале спрашивали друг друга, что это за дама висит, как живая, среди игрушек? Таким образом, сердечная тайна влюбленных стала «басней города»...

По постановке «Ипполита» не получилось никаких курьезов, но и она вызвала немало толков в публике и в литературных кругах. Ведь, согласно плану энтузиаста — режиссера Юрия Эрастовича Озаровского, ко-

* Это мой тип женщины *(франц.)*. ** Знак преклонения *(франц.),*

IV, 44. Теляковский. «Фея Кукол»

торому была поручена постановка, надлежало представить трагедию так, как ее видели афиняне полторы тысячи лет назад, не исключая религиозно-ритуального характера. Этим Озаровский особенно угодил переводчику Еврипида — Д. С. Мережковскому. Склонный все принимать и истолковывать с какой-то религиозной, а то и мистической точки зрения, Дмитрий Сергеевич и в этом «возвращении к подлинной трагедии» видел некий залог поворота в религиозном сознании нашей эпохи. О, как возносился Дмитрий Сергеевич, вещая об этом в тех спорах, что велись по поводу постановки «Ипполита» и с каким вдохновением он прочел перед началом спектакля свою (прекрасную) вводную речь! Замечу, однако, что за исключением Бакста энтузиазм Мережковского не находил среди «Мира искусства» поддержки. Он не находил ее даже в лице духовно порабощенного Мережковским Димы. И скептики оказались правы. Никакого религиозного воодушевления торжественно-иератическое передвижение учеников и учениц Театрального училища вокруг картонного жертвенника, из которого курилась струйка пара, не вызвала, а многим это показалось просто смешной и чуть даже кощунственной пародией.

«Гибелью богов» я занялся с самой весны 1902 г., еще до переезда (в Павловск) на дачу. По условию с Дирекцией я являлся полным хозяином постановки, иначе говоря, мне была целиком и бесконтрольно поручена выработка режиссуры, вследствие чего я и не входил ни в какие предварительные совещания с кем бы то ни было — кроме как с главным машинистом Бергером, ведь от машиниста в вагиеровских операх столь многое зависит. Особенно озабочивал меня *пол;* этот банальный, плоский театральный паркет, который особенно мешает всякой иллюзии в «воссоздании природы». После многих опытов мне, наконец, удалось создать модель «скалистой поверхности», и я особенно был доволен тем, что придумал целую систему, как посредством не особенно сложных перегруппировок этих масс они могли бы служить не только в I и в III картинах, но и во всех остальных. Что же касается до самого писания декораций, то я не отважился, несмотря на убеждения Теляковского, взять эту работу на себя (я не имел еще тогда никакого опыта), а настоял на том, чтобы мои декорации были написаны Коровиным. С ним я успел договориться обо всем, и он заверил меня, что относится к задаче с величайшим вниманием и даже с пиететом: «Тебе, Шура,— говорил он мне,— и в Москву нечего приезжать, мы все напишем

тютелька в тютельку по твоим эскизам и прямо доставим к сроку в Петербург».

Возможно, что при этом он был совершенно искренен; в тот момент ему действительно хотелось угодить другу. Когда же до дела дошло, то получилось несколько иначе. Набрав, кроме того, кучу работы и для Москвы и для Петербурга, Коровин не только сам не успел дотронуться до моих холстов, но едва дал себе труд следить за тем, как исполняют декорации «Гибели богов». В результате такой «беспризорности» получилось нечто весьма огорчительное — и мне пришлось сразу же обратиться к директору с просьбой дать мне возможность самые грубые недочеты исппавить.

*IV, 44. Теляковский. «Фея Кукол»*373

Однако недовольство Коровиным было одно, а мое недовольство самим собой — другое и чем-то более серьезного характера. Дягилев написал в «Мире искусства» о моей постановке довольно строгую критику3 и на сей раз это его мало дружественное выступление я ощутил с особой горечью, так как и сам остался далеко не довольным собой. Главное, чего мне не удалось добиться,— это объединяющего стиля. Получившийся у меня общий характер постановки, правда, несравненно лучше подходил к духу вагнеровской музыки, чем то, что я видел в Германии и в Париже, но вот в этом моем ансамбле было слишком много мелких ненужных лодробностей, тогда как я сам сознавал, что здесь требуется величайшая простота. Согласен я был с Дягилевым и в том, что моя постановка получила слишком реалистический оттенок.

Кое-чем, впрочем, я был все же и доволен. Больше всего я угодил себе в Зале Гибихунгов. В виденных мной (п считавшихся образцовыми) постановках в Франкфурте, в Мюнхене этот зал имел просто *смешной* вид. Не только ничего убедительного не получалось там из старания профессиональных декораторов создать первобытные, грозные и все же царственные чертоги, но и в чисто археологическом смысле эти измышления выкаэывали ужасное невежество. Напротив, мне кажется, что *моя* зала вышла и жуткой, и грандиозной и убедительной в своей первобытности. В этих хоромах, состоящих из массивных каменных глыб, поддерживающих сложный переплет темных от древности стропил, покрытых загадочной резьбой, только и могли жить такие дикие, но в своей символичности грандиозные существа, как Гунтер, Гудруна и Хаген. Каждый раз на спектаклях я и получал «лестное для себя» ощущение чегот то подлинного, когда запавес после музыкального антракта снова взвивался.

Вспоминается по поводу постановки «Гибели богов» еще один

курьезный случай. На одной из последних репетиций (и уже тогда, когда действие разыгрывалось в декорациях, но все еще не в костюмах), театр посетил Теляковский. Увидав па авансцене рояль, он сел за него и с большой бравурой заиграл вальс собственного изобретения (тут же импровизируя) — на темы вагртеровского «Кольца». О, как я и как Феликс Блу-менфельд, мы были шокированы такой бестактной шуткой! Даже ненавистник Вагнера Э. Ф. Направник обиделся за непризнаваемого им бога. Между тем наш солдафон-директор пустился на такую неуместную шутку, наивно воображая, что он этим оживит атмосферу и придаст всем бодрости. Полный добрых намерений, но лишенный душевной тонкости — таков был весь Владимир Аркадьевич.

Как к священнодействию относилась зато к своей роли Фелия Литвин, незадолго до спектакля прибывшая прямо из Парижа. Однако, увы, как раз она причинила мне лично наибольшее огорчение. Началось с того, что она отказалась надеть мой костюм, над сочинением которого я так бился — в поисках чего-либо, что скрадывало бы ее чрезмерную полноту. Бедняжка не понимала, что в этом «ночном пеньюаре», в котором она привыкла выступать, да еще с треном и «с талией в рюмочку» (из-за

чего ее могучая грудь вздымалась под самый подбородок) она была просто карикатурно смешна **.

Но история с неприятием костюма повредила только ей, другое же требование Литвин искалечило мою декорацию — ту самую декорацию первого акта, в которой мне особенно хотелось уйти от шаблона и создать нечто действительно соответствующее действию и музыке. Мне казалось особенно важным, чтобы Брунгильда с Зигфридом при первых лучах восходящего солнца выступали из темных недр, служащих им обиталищем ровно посреди картины. Я был убежден, что обданное ярким светом и окруженное темной массой священного бора — все в целом получит особенно ликующий торжественный характер (что так удивительно выражено в музыке). Но увидев декорацию на сцене, мировая знаменитость чуть что не впала в истерику и решительно объявила, что она не будет петь, если ее выход не останется, по традиции — из правой (от зрителей) кулисы. Я было заупрямился и отказался вносить какие-либо изменения в свое создание, но перепуганный Теляковский (день премьеры был уже назначен, и на ней должна была быть вся царская фамилия) так взмолился, так долго меня уламывал, что я уступил и тем самым буквально

«зарезал» свою картину. Пришлось в три дня переиначить весь фон и вместо скалистой стены с пещерой открыть дальний вид на соседние возвышенности, а пещеру втиснуть на самом первом плане.

Еще одну дискуссию мне пришлось выдержать со Славиной, исполнявшей роль валькирии Вальтрауты. Для нее я придумал, как для вестницы грозящих бед, воинственный, но необычайно мрачный костюм. Длинная юбка была раздвоена спереди (как бы для верховой езды) и развевалась во время ходьбы, открывая ноги, одетые в красное с чешуйчатым рисунком трико; при этом черный плащ, броня темной стали и на голове черный шлем с огромными вороньими крыльями. Все это очень шло красивой, тогда еще пленявшей своей молодостью артистке. Но вот товарищи и особенно товарки уверили Славину, что она в этом костюме с раздвоенной юбкой смешна и что к тому же такой образ валькирии противоречит (все той же пресловутой) традиции. Немало пришлось мне положить труда, чтобы переубедить Марию Александровну, но в конце концов она отважилась сделать опыт и вышла из испытания победительницей. Все наперерыв ею восхищались в этой роли, и она сама сочла нужным выразить мне благодарность за мое упорство.

Вполне удачным вышло все, что следует после сцены убиения Зигфрида; все это *вполне* соответствовало моему замыслу. С самого момента, когда герой испускает дух, сцена заволакивалась идущим от Рейна туманом, вследствие чего стволы и осенняя листва деревьев и самых человеческих фигур теряли свою отчетливость и получали какой-то призрачный характер, в то же время из-за лесистого противоположного берега

** Что и подмечено было в том чудесном рисунке, который набросал под живым впечатлением Серов, подаривший мне его на память.

IV, 45. {(Современное искусство»

375

выходила и тихо подымалась над горизонтом точно обагренная кровью луна. Охотники свиты Гунтера, положив тело Зигфрида на скрещенные копья, медленно направлялись с драгоценной ношей вверх по той самой тропе, на которой мы только что видели Зигфрида живым, весело беседующим с водяными девами. После знаменитого антракта, заполненного погребальным маршем, сцена прояснялась и мы снова видели палаты Гунтера особенно зловещими в ночном полумраке. И тут же они озарялись заревом, идущим от пылающих факелов в руках воинов, несущих тело убитого. Чтобы добиться именно того,

чтобы эти факелы действительно пылали (и чтобы от них шел дым), мне стоило чрезвычайных усилий. Лишь после исполнения всяких антипожарных условий, среди коих была установка за кулисами целой системы помп и труб, брандмейстер согласился на столь вящие отступления от всех предписаний и правил. Зато эффект этого продвигающегося костра получился полный. В конце декабря состоялся спектакль, «моя *первая* премьера» (я ни во что не ставил мое выступление с декорацией для оперы А. С. Танеева в Эрмитажном театре). Это был в полном смысле слова экзамен, который мной лично был выдержан. Полный успех выдался всему спектаклю, начиная с нашего божественного оркестра, кончая исполнителями главных ролей, которые все были задарены цветами и лаврами. Особенно хорош был тогда еще юный Ершов-Зигфрид. Досталось и на мою долю. Не только друзья меня наперехват поздравляли, но и люди совершенно незнакомые пробивались, чтобы мне сказать несколько восторженных слов. Эти излияния, лично меня касающиеся, происходили в толкотне разъезда, когда я пробирался по коридорам театра от сцены, где я простоял весь последний акт, к ложе в бель-этаже, где сидела с друзьями моя Анна Карловна. При этом я тащил колоссальный, с меня ростом, лавровый венок, полученный только что, когда я, вместе с артистами, раскланивался перед рукоплескавшей публикой. Венок был перевязан широкой алой лентой, пригодившейся з*атем для всяких детских нарядов, а лавры частью ушли на супы и соусы. Увы, этот венок так и остался единственным за всю мою театральную карьеру...

Глава 45

«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО».

КНЯЗЬ ЩЕРБАТОВ И ФОН МЕКК.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ».

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

Вторую половину лета и всю осень 1902 г. я был, кроме перечисленных задач по редактированию наших журналов и по постановке «Гибели богов», занят еще одной крупной работой, а

именно, я принял участие в создании некоего художественного предприятия, получившего название

376

IV, 45. «Современное искусство»

«Современное искусство». Это то, с чего Грабарь решил начать осуществление намеченной себе программы вызвать в России целое могучее движение и прямо-таки «новый Ренессанс». К этому весьма сложному делу были им притянуты *все* те художники, с которыми он находился в общении, иначе говоря, вся наша компания «Мира искусства». Ревнивые опасения Дягилева сбывались теперь вполне. Правда, Грабарь выступал под видом союзника, но на самом деле это был настоящий *конкурент* и потому уже особенно опасный, что он явился в Петербург с весьма значительными средствами, тогда как обстоятельства «Мира искусства» продолжали быть далеко не блестящими и вовсе неверными. Несмотря на личную субсидию государя '*, которую выхлопотал нам Серов, и на помощь ближайших друзей, журнал едва сводил концы с концами. Уж очень дорого обходилось решение оставаться на той же высоте и продолжать быть одним из самых блестящих европейских художественных органов.

Из-за своего «материального худосочия» «Мир искусства» не мог расширить свою деятельность за пределы одного издания журнала, как это предполагалось вначале. Напротив, Грабаря поддерживал молодой и очень состоятельный москвич, князь Сергей Александрович Щербатов, только что вступивший в обладание большого наследства и горевший желанием пожертвовать «сколько будет нужно» на процветание отечественного искусства. Полный такого же благородного рвения был и другой, еще более юный московский богач, Владимир Владимирович фон Мекк, который предоставил себя всецело тому, что бы ни затеяли Грабарь и Щербатов.

i* Эту субсидию мы получили в первый раз на 1900 г., и Серов ее исхлопотал ва время тех бесед, которые он вел с царем при писании его «портрета в серой тужурке».— Ныне в Третьяковской галерее хранится реплика. Во время сеансов, происходивших на личной половине государя, между художником и монархом установилась известная интимность, выражавшаяся как в обмене всякими мнениями, так и в том, что Серов посвящал Николая II в разные художественные дела. Таким образом, однажды наш «Антоша» сообщил государю, в каком критическом положении оказался журнал «Мир искусства» после того, что он лишился поддержки и С. И. Мамонтова и княгини Тенишевой. Николай II тут же выразил готовность поддержать дело

ассигнованием на это из личных средств по 10 000 рублей — сумму, если и не огромную, то все же достаточную в тот момент, чтобы спасти журнал от гибели. Вообще я?е нужно думать, что государь в обществе прямолинейного, абсолютно искреннего Серова чувствовал себя лучше, нежели в обществе тех людей, от которых так или иначе страдало его самолюбие и в общении с которыми ему не удавалось побороть свою природную стеснительность. К сожалению, в самом конце работы не обошлось без известного неприятного казуса. Когда художник счел свой портрет законченным, Николай II пожелал его показать императрице, но она, привыкшая к лизапной законченности Ф, А. Каульбаха, Ф. Фламенга и других модных заграничных художников, откровенно в присутствии Серова, но по-английски, выразила свое мнение в словах: «but the portrait is not finished» [«но портрет не кончен» *(англ.)]*. Это больно кольнуло нашего друга, и так как он еще продолжал держать палитру и кисти в руке, то он и протянул их государыне со словами: ... «Тогда кончайте вы».

IV, 45. «Современное искусство»

377

По внешности князь Щербатов являл собой настоящий тип аристократа (московской складки) — огромный, тяжелый (стулья под ним трещали и даже подламывались), с явной склонностью к тучности. Держал он себя необычайно прямо и нес голову не без сановитой важности. Самый его типично московский (но дворянский, а не купеческий) говор с легким картавленьем имел какой-то наставительно барский оттенок, говорил он медленно, с расстановкой, причем старался выказаться во всех смыслах «европейцем» и человеком наилучшего общества, но не петербургского жанра, а именно исконно московского.

Он не прочь был вставить в свою речь иностранные слова, и не исключительно французские, но и немецкие. Все это не мешало прорываться иногда и странно капризным, чуть даже истерическим ноткам, а моментами являть из себя образ очень «своевольного барина» старинной складки. Вот этот громадный, тяжелый человек был в те дни совершенно порабощен Грабарем: он ступал за ним, по выражению Яреми-ча, как слон за своим корнаком *. Что же касается до духовных и интеллектуальных достоинств, то в те первые времена нашего знакомства они мне не представлялись особенно значительными и, наконец, о нем, как о художнике, мы и вовсе не могли иметь суждение, так как ни одной черточки его рисунка, ни одного мазка его кисти мы не видали; приходилось на слово верить Грабарю, который одобрительно отзывался о даровании своего ученика '. В нашей

компании, в которой почти все отличались бойкостью языка и ядовитостью, Сергей Александрович, видимо, чувствовал себя пе совсем по себе, он робел, он краснел и предпочитал молчать 2*.

Впрочем, Щербатов не так часто приезжал из Москвы, а во время своих пребываний редко с нами встречался. Тут опять-таки, как я позже узнал от самого Сергея Александровича, «было не без Грабаря», который ревниво оберегал и прятал своего мецената, стращая его всякими баснями о нашей нетерпимости и находя те или иные предлоги, чтобы не допускать нас до него.

Рядом с колоссом Щербатовым, маленький, щупленький, непрерывно густо краснеющий и даже немного от конфуза заикающийся фон Мекк в своем студенческом сюртуке производил впечатление какого-то состоящего при богатыре совершенно юного оруженосца. Его, к тому же, мы отдельно от Щербатова никогда не встречали, и он ни у кого из нас на

* Погонщиком, вожаком *(франц.)*. г* Впоследствии я ближе познакомился с князем Щербатовым и лучше его оценил. Я и совсем принял бы его в сердце, если бы не нечто уж очень напористое в его манере изъявлять свои мнения, а главное, если бы не черта дилетантства, что осталась навсегда присуща его художественному творчеству. Несомненно, Щербатов — человек, исполненный любви, самой пламенной любви к искусству. С ним иптересно беседовать на художественные темы, разбирать художественные произведения, «разделять восторг». Но его собственные творения, созданные все1да с наилучшими намерениями и имея перед собой какой-то идеал недосягаемой (даже величайшими гениями) высоты, чаще меня озадачивают, а то и печалят.

дому не бывал. В обществе он представлялся очень милым малым и необычайно благожелательным. И ему особенно мешала его природная чрезмерная застенчивость; уже из-за нее он предпочитал оставаться в тени (в густой тени), бросаемой монументальной фигурой его приятеля.

В Петербурге князь обзавелся собственной квартирой (где-то в районе Моховой или Пантелеймонской), но обставил он эту гарсоньер лишь самым необходимым. Единственным украшением обиталища был портрет аннеиской эпохи его предка Дмитриева-Мамонова кисти Людерса. При желании можно было найти известное сходство между прадедом и правнуком, а вообще этот единственный портрет придавал известный «родовой ореол» скромным комнатам. В этой квартире состоялся, между прочим, особенно памятный мне парадный завтрак 2, имевший целью

сблизить друзей Грабаря с представителями «Мира искусства» (по всей вероятности, этот пир состоялся еще в марте 1902 г.). Па завтраке было произнесено несколько речей, из которых особое впечатление произвела как раз та, что произнес сам Грабарь. В ней он как бы раскрыл свою «программу» и набросал очень радужные перспективы. Было произнесено и самое слово «Ренессанс», причем определенно заявлялось, что подготовительный период, соответствовавший тому, что происходило в Риме в дни папы Юлия II, уже прошел, а что теперь мы дошли до первых светлых дней настоящего золотого века, причем роль Льва X Грабарьг видимо, и сулил своему патрону — Щербатову. Мало ли какие глупости, облеченные в торжественный юбилейный наряд, изрекаются в теплой компании, еще согретой яствами и потоками шампанского, однако такие бредни показались на сей раз уж слишком перехватившими через край, а Дягилева они прямо и взбесили, так как если и лестным могло показаться самое это сравнение его с великим папой Юлием, то все же уж очень откровенно Грабарь как бы давал ему отставку, предоставляя отныне первую роль Щербатову. Дягилев даже не скрыл своей обиды, а сказал несколько остроумных, но и не лишенных едкости слов — вроде тех, которые ему (вообще ненавидевшему словесные выступления), удавалось произносить, когда его что-либо особенно задевало. Грабарь почувствовал, что он сделал оплошность, une gaffe, попытался было оправдаться, но сконфуженно замолк. Завтрак, во всяком случае, не привел пи к какому сближению и даже напротив, усугубил чувство недружелюбия* которое уже намечалось между ним и Дягилевым.

Вскоре после этого завтрака у Грабаря окончательно созрел вполне конкретный план того, какими путями дать выявиться на первых порах силам нашего «Возрождения», Он убедил Щербатова и фон Мекка дать средства на создание в Петербурге художественного центра, который в одно и то же время служил бы наглядному проявлению творческих сил и представлял бы собой некое себя окупающее, а то и доходное предприятие. Это была эпоха, когда вся Европа бредила созданием «нового стиля», а потому и наш Ренессанс должен был начаться с того же самого —с *создания нового стиля.* «Самоокупающееся предприятие» получило название «Современное искусство» и должно было представлять пе-

тербургской публике ряд обстановок, в которых новый стиль «специфически петербургского оттенка» предстал бы в формах

невиданных и пленительных. Помещение вскоре было найдено ровно насупротив дома «Общества поощрения художеств» на Большой Морской в верхнем этаже двухэтажного особняка, откуда только что выехало известное музыкальное издательство Юргенсона. Главным преимуществом этого помещения была его центральность на самой парадной улице столицы. Зато главным недостатком его было то, что эта обширная, во много комнат квартира сама по себе имела довольно простоватый вид и не отличалась в своих пропорциях каким-либо «благородством». Потолки были низкие, не все комнаты обладали хорошим светом, часть их выходила на самый обыденный петербургский двор. Но Грабарь рассчитывал на то, что художникам удастся все это переделать, изменить и самый характер помещения. Более всего он рассчитывал на меня, на Лансере и на Бакста. Кроме того, обещали свое участие и Коровин и Головин, а сам Грабарь собирался отличиться в «самых простейших, утилитарных формах» — в устройстве бюро распорядителя и в декорировке (очень скромной) лестницы, ведшей прямо с улицы во второй этаж, весь отданный под наше предприятие. Что же касается до Щербатова и фон Мекка, то первый ограничился сочинением нескольких стульев, кушетки и еще чего-то, а второй особенно роскошными дамскими платьями.

Я не сразу согласился с предложением Грабаря. У меня времени оставалось слишком мало, да и не чувствовал я в своем воображении «желаемого наплыва идей» для такой задачи. В душе я скептически относился к какому-либо нарочитому измышлению — шутка сказать — целого стиля, сознавая прекрасно, что *стиль* рождается не изо дня в день, не по щучьему велению. Но от Грабаря не так было легко отделаться и, в конце концов, я согласился, поставив непременным условием тесное со мной сотрудничество Е. Лансере и А. Обера; первый, в отличие от меня, как раз «рвался в бой» в данной области.

Грабарь предоставил нашему выбору самую тему, и мы остановились на «столовой». Работы затянулись до самого конца декабря. Напрасно понукал и торопил Грабарь и непосредственный производитель работ молодой белобрысый инженер Собин, какой-то родственник издателя «Нивы» Маркса; потребовалось гораздо больше времени (и денег), чтобы из развороченного вконец старого помещения создать совершенно нечто новое и к тому же нарядное, чтобы поставить на свои места уборы измышленных комнат, наложить новые паркеты и вытянуть новые, взамен старомодных, карнизы. Среди всего этого развала, среди стукотни молотков, в атмосфере, пропитанной всякими тяжелыми запахами, писалась по моему эскизу стенная картина

для нашей столовой, изображавшая парк со скрещивающимися каналами и фигурами готовящихся войти в воду Дианы и ее нимф. Производство самой живописи я поручил Яреми-чу, но часто и сам прикладывал руку; кроме того, я тут же делал этюды (для лучшей прорисовки фигур) с натурщицы ... У меня осталось скорее хорошее воспоминание как раз от этой общей работы, от этого

IV, 45. «Современное искусство»

«художественного бивуака» на сквозняках, среди наполовину вскрытого пола, среди груд мусора, горшков с красками и в беспорядке наваленных досок; при очень дефектном освещении (стоял ноябрь и декабрь) посредством нескольких дымящих керосиновых ламп. Несчастная натурщица мерзла безбожно, несмотря на какие-то импровизированные ширмы и дрянную, дававшую угар печурку, однако не теряла своей веселости, подстрекаемая к тому же бесподобным, чисто украинским юмором «Сти-па» Яремича. Чтобы не терять времени, мы тут же и закусывали доставленными из соседних гастрономических лавок снедями, что, вероятно,, должно было представлять со стороны немалую живописность. Эта некрасивая и даже не очень хорошо сложенная Ксения Арсеньевна стала с тех пор чем-то вроде лейб-натурщицы всей нашей компании, а в конце концов она интимно сошлась с прибывшим как раз тогда из Киева приятелем Яремича — Виктором Замирайло, и в течение многих лет сделалась его неразлучной подругой жизни, а может быть — и супругой.

Из других комнат, созданных специально для «Современного искусства» мне, пожалуй, более других нравилась «Чайная» — Коровина. Это была вовсе немудреная затея: суровый желтоватый холст, которым были обтянуты стены маленькой, лишенной окон комнатки, был покрыт шитьем темно-оливкового цвета — силуэтно представлявшим не то кленовые листья, не то дикий виноград; в свою очередь, эти панно были прикрыты темной решеткой, что в целом создавало впечатление трельяж-ной беседки. По низу тянулся широкий, совершенно простой темного цвета диван.

Бакст в своем «будуаре» захотел превзойти сеоя в смысле изящной и элегантной простоты, и это привело его к созданию чего-то уж прямо «аскетического». Мне больше всего нравились в этой круглой комнатушке те барельефы, изображавшие спящих детей, которые венчали под самым потолком род пилястров, составляющих весь убор стен. Эти барельефы Левушка очень искусно вылепил сам. Мебели, которую он сочинил для своего будуара, можно было сделать упрек, что все эти стулья, туалетный столик, шифоньерка обладали слишком жидкими формами, они даже производили какое-то болезненное впечатление своей «ломкостью»..

Наконец, «Светелка», «Горенка» или «Теремок» А. Я. Головина была единственной уступкой среди всего этого «европеизма» каким-то националистическим исканиям — в духе того, что тогда

же творилось княгиней Тенишевой в ее Талашкине. Четыре стены низкого помещения, к которому проникали, поднявшись на несколько ступеней и которые освещались посредством полукруглого окна, выходившего на улицу, были сплошь убраны пестро раскрашенной резьбой, в которую были вставлены майоликовые части в виде большой лежанки и какого-то подобия печи. Главным мотивом этого убора были рядышком сидящие совы, назначение коих было создавать «сказочное настроение»; кроме того можно было различить среди корявых форм какого-то (очень «необычайного») растительного царства и других фантастических животных.

IV, 45. «Современное искусство»

381

Щербатов и Мекк были в упоении3 от проявления такого якобы «чисто русского» начала (впоследствии князь поместил эту светелку у себя в имении), но мое недоверие ко всякому «архитектурному маскараду», долженствовавшему означать возвращение к исконным российским народным формам, при всей приятности головинских красок, нисколько не было поколеблено. Да, в сущности, я и народной «сказочности» в-этих нарочитых измышлениях не видел, и мне казалось, что в такой горенке нельзя пробыть и два дня, не получив отвращения от всей этой *гримасы.*

Много времени у мепя взяло участие в устройстве «образцовых» комнат «Современного искусства», немало его ушло и на приготовления к спектаклю «Гибели богов», по-прежнему я принимал ближайшее участие в деятельности «Мира искусства» и в Издательстве Красного Креста, но все же моим главным и любимым занятием продолжало быть редактирование «Художественных сокровищ». Опираясь на все растущий успех и на увеличение числа подписчиков, я продолжал расширять и углублять принятую программу моего сборника. За этот второй год его существования я особенно мог гордиться теми номерами 4, которые были целиком* посвящены Петергофу, богатствам Московской Оружейной палаты, коллекциям М. П. Боткина, графа П. П. Шувалова, Петра Ивановича Щукина,. Ораниенбаумской Катальной горе. Последние же выпуски были отданы Галерее драгоценностей императорского Эрмитажа, в которой я проводил многие прелестные часы, руководя снимками и занятый описью особенно ценных в художественном смысле предметов. Для двух московских коллекций (Оружейной палаты и для собрания Петра Ивановича Щукина) мне пришлось несколько раз съездить в Первопрестольную. Работа а Оружейной палате, при любезности и отзывчивости ее хранителя Тру-товского, доставила мне одну

только радость. Напротив, иметь дело с довольно-таки самодурным Петром Ивановичем Щукиным было делом нелегким и требовало большого терпения. Каждую минуту я рисковал чем-либо не угодить привередливому хозяину. Наконец, исключительное удовольствие мне все же доставила работа над *петергофским* номером. Читатель этих записок уже знаком с моим поклонением Петергофу, который я могу считать чем-то особенно мне близким, и даже «родным». Но, кроме нежности, которую я чувствовал к чудесным дворцам и тенистым беспредельным садам этого чарующего места, особенно пленяла там личность его создателя. Именно самой этой личности Петра I я и решил посвятить несколько номеров наступавшего 1903 г.5 Массу материалов для этого я нашел опять-таки в Эрмитаже, ибо тогда все еще там находился «Кабинет Петра Великого», а в отделении гравюр и рисунков хранился громадный том, содержащий, под названием «Куншты», великое множество проектов зданий и всяких затей петровского времени...

Сенсационным в моем изучении «Кабинета» было то открытие, которое я сделал, найдя в глубинах огромного голландского шкафа гипсовый слепок с головы Петра 8. Этот слепок не был занесен в инвентарь и происхождение его было и осталось тайной. Сначала и готов был его

счесть за произведение Растрелли-отца, которое он мог сделать перед тем, чтобы приступить к лепке над знаменитым (раскрашенным) восковым бюстом, который попал к нам из Рима. Но более внимательное изучение найденной головы не оставляло сомнения в том, что перед нами слепок с натуры, с живой натуры, что если к нему скульптор или формовщик и приложил руку, то только для «раскрытия» глаз, для удаления швов и для некоторой «очистки» всего, причем, однако, не менялась ни одна из существенных черт лица и всего черепа. Поистине это было *сенсационное* открытие, и маститый В. В. Стасов по-должному оценил его, горячо меня поздравил с ним и собирался его опубликовать7 в своем труде о портретах Петра Великого.

Два раза в неделю в моей редакции бывали сборища друзей, но «постоянных» сотрудников у меня было, в сущности, всего два: С. П. Яре-мич и В. Я. Курбатов; приходили же, кроме того, все, кому приятно было посидеть в теплой компании и выпить стакан чая с баранками и поделиться художественными новостями. Не совсем одобрительно смотрели на эти собрания ревнивцы «Мира искусства» — Сережа и Дима, и сами они заглядывали ко мне редко, да и то по моему специальному зову. Зато ни одного

такого собрания не обходилось без Бакста, Сомова, Лансере, И. М. Степанова, А. П. Остроумовой. Появлялся между двумя великосветскими визитами С. С. Боткин, прибегал с какой-либо сенсацией Нурок, служивший в контроле Морского министерства тут же за мостом (это он принес нам известие об убийстве в Мариинском дворце министра Сипягина8), приходили с очередной жалобой супруги Обер, покинувшие, после ряда неудач, Париж; заезжали кузены-бароны Рауш и Врангель и, разумеется, то ц дело наведывался Грабарь — ему из «Современного искусства» было только улицу перейти. Однако, как ни приятны были эти многолюдные и дружественные сборища, я им предпочитал те часы, которые я проводил здесь в одиночестве, прийдя специально для очередной работы утром и дав наказ секретарше, необычайно усердной, О. К. Витте, никого ко мне не пускать. То была *отдохнови-тельная* работа, во время которой меня не покидало сознание, что я делаю полезное дело, и такое, за которое мне будут благодарны и будущие поколения. Ящики редакционной конторки были уже битком набиты фотографиями и рукописями «редакционного портфеля». В дальнейшем же я лелеял самые честолюбивые планы. Я рассчитывал увековечить в своем сборнике все замечательные памятники, все наиболее интересные частные собрания. Часть этой программы была затем, с 1907 г. с превосходным успехом выполнена «Старыми годами», но мне и сейчас кажется, что у меня в «Сокровищах» она получила бы более толковый и более .художественный характер.

*IV, 45, «Современное искусство»*383

* * *

t`

Уже давно мы лелеяли с женой мечту свести наших девочек в театр. Замечая ту жадность, с которой они слушали сказки и разглядывали кни&ски с картинками, коих у нас было множество3*. Мы были уверены, что театральное зрелище произведет на них должное впечатление. Сознаюсь, что в этом намерении доставить им такое сверхудовольствие играло немалую роль и то несколько эгоистическое предчувствие, что мы и сами испытаем при том немалую радость. Так оно и вышло. Обе девочки — и семилетняя Атя, и четырехлетняя Леля,— узнав, что их поведут в театр, пришли в неописуемое волнение и стали отсчитывать дни и часы, оставшиеся до этого момента.

Программа первого театрального выезда была исполнена

согласно всем традициям. Хоть Мариинский театр отстоял от нашего дома (на Малой Мастерской) не более как в десяти минутах ходьбы, однако, чтобы добраться до. него, все же было решено прибегнуть к карете, и это не столько из опасения простуды (стоял ноябрь и уже сыпал снег), сколько именно для придачи всему большей торжественности. Затем немало было потрачено моей женой забот о том, чтоб «барышень» «представить публике» в наивыгоднейшем виде. Одно огорчало, но и то было нечто непоправимое: обе девочки были после кори довольно коротко острижены, и поэтому причесывать было нечего, и пришлось ограничиться повязанными вокруг головы цветными лентами. Зато в первый раз тогда были надеты новые праздничные белые муслиновые с ажурными нрошивками-платьица, перевязанные в талии широкими шелковыми голубыми лентами, а ножки были обуты в белые чулки и белые башмачки. Дабы дет» могли бы лучше следить за действием, я наизусть вызубрил либретто,. и, сидя за ними, нашептывал им объяснения того, что происходило na` сцене.

Впрочем, до балета «Лебединое озеро» (шедшего целиком, т. е. в четырех картинах) была дана «Арлекинада», поставленная еще при И. А. Всеволожском, пожелавшим в этой затее воскресить какие-то свои. собственные детские воспоминания, полученные от спектаклей в парижском «Шатле». «Арлекинада» —прелестный балет, прелести которого особенно способствует музыка Дриго, включающая в себя знаменитую на весь мир, ныне немного слишком затасканную серенаду. Вообще же этот балет состоит из всяких трюков — вырастает до неправдоподобной высоты свеча, проваливается балкон дома, то и дело являются феи, а главное,— сам Арлекин представляется в виде элегантного юнца, одетого в пестрый и сверкающий золотом костюм. Все это очень понравилось девочкам, и они к началу «Лебединого озера» вовсе не казались усталы-

3* Среди них были и очень старенькие, служившие еще моим братьям и сестрам,. но были и повейшие с иллюстрациями Ю. Дица, Крейдольфа, Карлэгля, Делава. Буте де~Монвеля и т. д.

ми и были еще более взбудоражены, нежели когда они только вошли в

ложу4*.

Все же доминирующим впечатлением ют вечера осталось «Лебединое озеро», и с того вечера обе наши крошки только и бредили о том, чтобы самим дома воспроизвести в точности, а родители только поощряли такую милую блажь. Были сшиты

балетные юбочки, а сами наши маленькие танцовщицы пытались делать такие же туры и пируэты, так же ходить на пуантах, как это они видели на сцене. Особенно их поразило предельное мастерство пашей звезды первой величины — Матильды Кшесинской. Надо прибавить, что на следующий день после спектакля у Лели сделался сильнейший жар, но, к счастью, то была вспышка, длившаяся не более суток и явившаяся лишь наглядным показателем того, до чего вообще была впечатлительна наша дочка, до чего она все виденное «пережила». Чудесные райские воспоминания об этом волшебном вечере остались у обеих на всю жизнь. И, правда же, редкий праздник удавался так, как этот. Один вид зрительного зала Мариинского театра, который являл особенно блестящее зрелище из средних лож бельэтажа, чего стоил! А затем,— как лестно и приятно было сидеть у всех напоказ, с парадно разодетыми родителями (мамаша в черном, довольно открытом вечернем кружевном платье, папаша во фраке с белым жилетом), с бонной, тоже расфуфыренной, с коробкой чудесных конфет, поднесенной «дядей Володей» (В. Н. Аргутинским), лежащей на барьере ложи, с чередой друзей, являвшихся во время антрактов проверить вблизи, как наслаждаются «девочки Бенуа». Ну и, наконец, самый балет с его легко запоминающейся, местами развеселой, но чаще чуть щемящей музыкой (под нее, затем исполняемой на рояле их матерью, обе девочки отплясывали каждая «своп номер»), с его чудесными хороводами белых и черных лебедей, со страшным злым духом, то принимающим образ филина, то появляющимся на придворном балу в виде очень грозного рыцаря. Тридцать пять туров, которые производила под все растущий энтузиазм публики Одилия — Кшесинская, также не могли не произвести потрясающего впечатления, но еще больше понравился принц — Николай Легат, а также Фокин в роли приятеля принца.

До чего же удобны, приятны, широки и уютны ложи милого нашего Мариинского театра!»хвала моему дедушке, что он все так хорошо устроил!

IV, 46. Пребывание в Риме

385

Глава 46

КАТАСТРОФА С «ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ СОКРОВИЩАМИ». ПРЕБЫВАНИЕ В РИМЕ. МОЯ ЖЕНА ПЕРЕХОДИТ В КАТОЛИЧЕСТВО.

ПОРТО Д'АНЦИО

Для Дягилева роковым поворотным годом был 1901 год. Не случись тогда катастрофы с «Сильвией», он продолжал бы служить в Театральной дирекции, и неизвестно, как бы все дальнейшее обернулось. Возможно, что он и дослужился бы до высоких чинов, ему удалось бы заместить Волконского и сесть на его место. Оставаясь на службе у себя на родине, он смог бы связать свое имя с каким-либо особым расцветом искусства в России. Он, во всяком случае, мечтал об этом, и среди этих мечтаний одним из особенно им лелеянных было— получение придворного чгша, который дал бы ему право блистать при высочайших выходах в качестве какого-нибудь первого чина двора. В минуты откровенности он не скрывал от друзей этих планов. В свою очередь, мы, зная их, частенько его на этот счет поддразнивали, а Серов даже изобразил в карикатуре «будущего Сережу» *i* в виде тучного обрюзгшего сановника с большущей звездой на сюртуке, принимающего доклад своего главного чиновника — совершенно высохшего, облаченного в вицмундир Валечки Ыувеля. Но если бы жизнь Сережи приняла бы такой оборот, то и не было бы всего того, что он создал в качестве независимого деятеля и что прославило его имя за пределами родины. В частности, не было бы русских сезонов в Париже и в Лондоне, не родились бы «les ballets russes de M-г de Diaghilev» *, а в зависимости от этого не распространилась бы «балетная мания» но всему свету.

Со мной же нечто аналогичное случилось в 1903 г. И я пережил тогда катастрофу, значительно изменившую направление моей дснтех.ь-ногти. Вместо чего-то верного и последовательно развивающегося, получилось нечто валкое, зависящее от всяких случайностей, а главное нечто *ужасно необеспеченное.* Некое витанье в воздухе или хождение по слабонатянутому канату. Это если и дало мне возможность проявить себя в различных областях, то все же это было очень «неудобно» и лишено всякой устойчивости. Останься я редактором «Художественных сокровищ», мое увлечение этим

делом продолжало бы расти и неминуемо заполнило бы всего меня. Эта деятельность приняла бы скорее всего научный, музейный уклон, к чему я чувствовал тяготение, а в таком случае *я* едва ли смог бы уделять много внимания другим «зовам», жившим в моей душе. Все это догадки из категории «если бы» да «кабы», но, во

* Русские балеты господина Дягилева *(франц.)*. 13 Заказ К 2516

всяком случае, в тот момент моя отставка, доставив мне очень глубокое огорчение, произвела значительный поворот во всем моем ведении жизни и в течение всего моего дальнейшего существования. Я и не переставал озираться на это брошенное мной, столь мной *любимое* дело иначе, как с душевным сожалением.

Произошла же катастрофа следующим образом. Я уже упомянул в своем месте, что, принимая в 1900 г. приглашение Императорского «Общества поощрения художеств» взять иа себя редактирование его оргапа, план и программа которого были выработаны лично мной, я поставил в качестве главного условия то, чтобы моя деятельность вне этого редактирования оставалась бы совершенно свободной и не подвергалась бы какому-либо контролю со стороны «Общества». Это условие я считал нужным поставить, зная, до какой степени недоброжелательно и даже с каким презрением некоторые члены комитета «Общества» относились ко всей нашей группе «Мира искусства» — к «декадентам». Между тем, я вовсе не собирался отделяться от моих друзей и чуть ли не изменять им. Я собирался по-прежнему принимать самое близкое участие в работах нашего журнала. В свою очередь, я обязывался в редактируемом мною органе не допускать никакой полемики, тем менее какой-либо критики на все, что входило в сферу деятельности «Общества», ограничиваясь сообщением одних только фактов из области искусства. Эти взаимные обязательства нашли себе подтверждение при обмене письмами между мной и тогдашним вице-председателем «Общества».

В течение двух лет эти взаимные условия соблюдались в точности, п хотя «Мир искусства» позволял себе разные колкости по адресу «Общества», последнее никак через «Сокровища» не реагировало. Но вот случилось так, что в начале 1903 г. в помещении «Общества» была устроена большая выставка современной французской живописи, и она вышла до того неудачной и просто позорной, что я не утерпел и разразился, за

полной своей подписью, на страницах «Мира искусства» весьма суровой ее критикой 2. Было бы благоразумнее этого не делать, а если и делать, то не доходить до нападок особенно резких, метивших прямо в самое «Общество» и его комитет, по я действительно тогда «обиделся» за французское искусство, а в состоянии такой обиды немного перехватил через край. Члены комитета сочли, что в нескольких фразах я имел их лично в виду, и приняли это чрезвычайно к сердцу. Пожалуй, однако, несмотря на возмущение, выраженное в комитете Сабанеевым, М. П. Боткиным и Л. И. Сомовым (к которым пи с того ни с сего примкнул и мой брат Альбер), эта буря улеглась бы сама собой, но тут произошел еще один весьма нелепый инцидент, который и привел к «катастрофе».

Как раз на тех же днях состоялось торжественное открытие предприятия князя Щербатова «Современное искусство». Я находился в качестве участника этого дела для приема гостей, приглашенных на вернисаж, у входа на выставку. II как раз одним из первых пожаловал директор школы «Общества поощрения художеств» Е. А. Сабанеев. Он сразу отвел меня в сторону и с топом «начальника, делающего выговор иодчи-

ненному» произнес злополучную фразу: «Как вам не стыдно. Вы получаете жалованье от императорского «Общества поощрения» и позволяете себе так о нем отзываться». Фраза была глупая, и, в сущности мпе следовало бы ее пропустить без всякого внимания, но мои нервы (как это часто бывает па вернисажах) были особенно натянуты, и я почувствовал в этой фразе такое оскорбление, что слепая ярость сразу овладела мной. Не успел я сообразить, что я делаю, как я уже судорожно сжимал обшлаг сюртука Сабанеева и, потрясая его изо всей силы, с шипением произносил какие-то ругательства вроде «негодяй», «мерзавец» и т. п. Насилу он вырвался и убежал, а меня схватили подоспевшие знакомые и друзья, схватили и увели в соседнюю комнату.

После этой рукопашни я, естественно, мог ожидать, что оскорбленный действием Сабанеев вызовет меня на поединок, и в зависимости от этого предался тем мыслям, которые полагается иметь в подобных случаях. В качестве секундантов я уже наметил себе Дягилева и Филосо-фова и получил на всякий случай их согласие. Действительно, под вечер я получил от Сабанеева письмо, посланное с нарочным, но, к моему величайшему изумлению (да что скрывать — и к облегчению), то был не вызов, а длинное объяснение в довольно даже жалостливом тоне. Это меня до того озадачило, что хорошенько не сообразив, я велел

посланцу передать: «ответа не будет». Это, вероятно, и переполнило чашу, и уже в следующем заседании комитета «Общества» Сабанеев добился того, чтобы мне было отправлено официальное выражение неудовольствия, содержавшее и угрозу, что в случае повторения подобного моего отношения к «Обществу», оно будет вынуждено со мной, как с редактором своего сборника, расстаться. На это через пять дней, ушедших на всякие раздумья, я послал 13 февраля на имя вице-председателя свою отставку, не сопровождая ее никакими объяснениями.

Но на этом дело не кончилось, а затянулось оно еще на три месяца, доставляя мне большие душевные страдания. Масса людей встала на мою сторону (и в первую очередь члены моего же редакционного совета Мар-серу и Ильин), сам новый вице-председатель «Общества» Ю. С. Нечаев-Мальцев (Балашов отбыл на Дальний Восток) лично *умолял* взять мою отставку обратно. Да и мне самому до смерти хотелось это сделать — тем более, что я все еще продолжал работать лад теми выпусками 1903 г., которые я решил посвятить Петру Великому. Но я не мог сообразить, *как* это сделать, как взять назад свою отставку без ущерба собственному достоинству. В этот момент секретарь «Общества» Н. К. Рерих придумал и предложил ссобый выход из положения. Он вызвался сам убедить принцессу Ольденбургскую (председательницу «Общества») написать мне приглашение взять мою отставку обратно, на что я не мог бы не согласиться. Для этого Рерих собирался лично ot` правиться в Гагры (южная резиденция Евгении Максимилиановны), причем он не сомневался, что она такое письмо напишет. Однако после таких решительных изъявлений своей дружбы Рерих все же никуда не поехал, а принцесса никакого письма мне не написала. Мои «страдания»

13*

388*IV, 46. Пребывание в Риме*

(очень реальные и очень мучительные —хуже нет ничего, как когда надо прибегнуть к какой-то неизбежной операции и та все время откладывается), мои страдания обострились еще после того, что Анна Карловна с детьми, исполняя издавна созревавшую мечту, в двадцатых числах (русского) февраля отправилась в Рим. Я ее не удерживал, мне даже захотелось остаться одному, чтобы лучше во всем разобраться и принять наименее опрометчивое решение. Вышло же наоборот. После первых же писем моей жены из Рима, где уже царила во всем своем великолепии веспа, мне до того захотелось воссоединиться со своими, что «интересы мои как-то переставились». В сравнении с *таким* соблазном даже самый мой выход из редактирования «Художественных сокровищ»

стал казаться почти что желательным. Когда же я уверился, что все старания Нечаева-Мальцева и Марсеру ни к чему не приведут, что Рерих никогда в Гагры не поедет, то я назначил себе день своего отъезда. К этому времени я закончил составление «Петровских» номеров и никакие другие срочные дела меня в Петербурге не задерживали. А тут еще наш большой друг А. II. Остроумова тоже собралась в Рим вместе с одной своей подругой, и перспектива проделать путь в такой милой компании окончательно утвердила мое решение дальше не откладывать свою поездку.

В начале (русского) марта мы втроем и отправились, а через четыре дня (с остановкой в Bene) мы были уже в Риме, и я уже оказался в той приятнейшей квартире, которую моя жена нашла в лучшем (новом) квартале города на виа Сицилиа, в двух шагах от садов Боргезе. В этой квартире нашлась и просторная комната для моих спутниц, которые с радостью согласились на паше предложение поселиться и столоваться у нас. С первого же вечера началась тогда очаровательная жизнь в дивной атмосфере Рима. Все это до того меня заняло и поглотило, что я моментами и вовсе переставал думать о «Сокровищах».

В Риме я оказался тогда в первый раз, и разумеется, нет возможности здесь хотя бы вкратце передать все те впечатления, которые я получил в тот сравнительно очень короткий период, что я в нем пробыл. Их было столько, они были столь разнообразны и такой глубины, что даже беглое перечисление потребовало бы слишком много места. Мне хочется только подчеркнуть, что в том «художественном пиршестве», которому я предавался тогда в Риме, особенное очарование всему придавало то, что я всем этим наслаждениям предавался без усталости, которой обыкновенно подвержен «странник», что я жил своим домом, окруженный обычным, столь мной ценимым семейным укладом, в уютной квартире и в приятнейшем квартале. Моей жене удалось, кроме того,— и это не последнее дело — найти очень подошедшую к нам прислугу — правда, Джузенпина нередко пребывала dans les vignes du Seigneur *, однако это не мешало ей быть образцовой кухаркой, отлично стряпавшей наши любимые (итальянские) блюда.

——— . *

* В вертограде господнем *(франц.),* т. е. напивалась пьяной.

IV, 46, Пребывание в Риме

389

Л тут еще случилось так, что моя сестра Катя, проводившая из-за здоровья младшей своей дочери Зины (ставшей впоследствии знаменитой художницей) зиму в окрестностях

Неаполя, решилась перебраться более на север и тоже оказалась в Риме. Благодаря им в наш круг попал и их добрый знакомый — симпатичнейший, но и потешный в своей безграничной наивпости американец, уже несколько лет как поселившийся в Риме,—мистер Гендерсон. Он незадолго до того перешел в католичество и был вследствие того весь исполнен ликующего энтузиазма* он горел духом прозелитизма и в общем оказался удивительно созвучным с теми религиозными переживаниями, в которых пребывала за последнее время моя жена. После нескольких колебаний Атя и решилась, наконец, совершить этот столь значительный шаг — сделаться католичкой. К этому ее побуждало как малое духовное удовлетворение, которое она находила в своей «родной» религии, в лютеранстве, казавшемся ей слишком рассудочным, лишенным мистического полета, так и ее желание еще более приблизиться ко мне и к нашим детям. Знакомство с Гендерсоном получило при этом значение какого-то «знака свыше».

Повторяю, те сто с чем-то дней, которые я провел тогда в Риме, можно вполне сравнить с каким-то сплошным и чудесным «пиршеством». Однако не все одинаково было оценено мной, и было бы интересно подвести итоги моим тогдашним духовным приобретениям — что из всего виденного более всего запало в душу. И вот, как это ни странно, *менее* всего впечатлений я получил от остатков классической древности. Не то, чтобы я не был поражен величием Колизея и не был бы очарован некоторыми особенно поэтичными уголками Форума; однако, пожалуй, я бы все же предпочел вместо этих вырытых обломков, дающих ныне впечатление какого-то «недавнего военного погрома», застать еще прежний Campo Vaccino *, по которому бродил и мой отец, и Александр Иванов, и сколь многие другие художники и поэты прежних времен, когда это «поле» перерезала тенистая аллея, когда тут же паслись стада волов и коров.

Не особенно меня волновали и памятники ранних христианских времен. Единственное наше посещение катакомб было испорчено тем, что очень спешивший монах-проводник, француз, не переставая острил и болтал какой-то вздор. Чудесны мозаики в св. Пуденциане (еще исполненные классического духа), св. Климента и других церквей, но почти все эти церкви испорчены украшениями позднейших времен. Вот когда в досаде на это «бестактное» вторжение совершенно чуждого и даже *враждебного* элемента начинаешь ненавидеть барокко, его бесцеремонную, высокопарную назойливость, его столь «неуместную шумиху». И это там, где так хотелось бы сосредоточиться в тишине и в спокойствии. Но тут же я спешу

сделать очень важную оговорку. Все же к самым сильным римским впечатлениям принадлежит то, что получаешь от небольшой капеллы Сан-Зено в церкви С. Пресседе, в своде которой мозаи-

* Коровий дуг *(итал.)*.

ка изображает четырех ангелов, поддерживающих круг с ликом Спасителя. Аналогичное волнение одолевает, когда находишься под сводами колонной галереи в церкви Санта Констанца, в мозаиках которых еще светятся последние улыбки паганизма *. А сколько чудесной символики, сколько волнующих сцен находишь на стенках бесчисленных саркофагов! Что говорить, в этой области Рим, несмотря на позднейшие порчи и на варварские разрушения, содержит неисчерпаемые сокровища, приглашающие к пытливому изучению одного из самых значительных и драматических периодов истории. И все же Рим обладает для меня особенно притягательной силой в памятниках более к нам близких. И как раз то, что выражено в формах того самого барокко, которое я готов предать проклятию там, где оно отвлекает внимание от вещей совершенно пн< > го порядка. Напротив, там, где вся система барокко творит свои чудеса совершенно свободно и при этом пользуется такими знаниями, такой техникой и таким чувством масс, которые не имеют себе равных, там я испытывал ни с чем не сравнимый восторг и восхищение.

Начать с Сан-Пьетро с его божественной колоннадой и с его дышащим мощью фасадом, пусть слишком выдвинутым вперед (что, как известно, скрывает на близком расстоянии вид на купол Микеланджело) и все же чудесным **. Это ли не божественная архитектура? Это ли не предельная художественная мощь? Да и впутри Собора св. Петра барокко празднует свои ликующие триумфы. Что спорить, в романских и готических соборах *лучше молится.* Как-то помимо сознания, само собой, под действием их каменных масс, устремленных ввысь, устанавливается род общения с высшими силами. В Сан-Пьетро действительно молиться трудно (просто некуда приткнуться), зато душу наполняет радость, не похожая ни на какую иную земную радость. Это какой-то навеки утвержденный праздник, это каменный и все же трепещущий жизнью апофеоз... Он охватывает и убеждает. Это «резиденция наместника Петра», но не Симона-Петра — бедняка рыбаря, а Петра, привратника небесного, того самого апостола, на котором, как на несокрушимой скале, зиждется вся торжествующая церковь Христа. Здесь все крепко, звучно, строго

и даже не без оттенка чего-то грозного — как подобает тому месту, в котором силы небесные изъясняются понятным и все же непостигаемым языком.

Я никогда не кончил бы своего рассказа о моем первом посещении Рима, если стал бы перечислять все, что меня поразило и пленило, хотя бы только в одной области живописи, но как не помянуть здесь станцы Рафаэля, Сикстинскую капеллу или в отдельности картины Тициана, такие картины, как «Любовь Земная и Небесная» (толкование сюжета этой картины мне безразлично), как ряд картин одного из моих люби-

* От paganus *(лат.)* — язычества.

1* Этот фасад архитектора Мадерны подвергается всегда ожесточенной критике; однако я не знаю другого примера, где бы «контрапункт» колонн и окон, где бы игр& мощных карнизов, где бы грандиозные капители складывались в такую чудесную гармонию.

мых художников — Караваджо в галерее Дориа и в капелле евангелиста Матфея в San Luigi dei Francesi, как плафон Гверчино «Аврора» в Казино Лудовизи, как фрески Пинтурпккио в Ватикане (тогда еще недоступные публике, но показанные мне милейшим художником Людвигом Зейтцем, состоявшим хранителем папских сокровищ). Хочется еще назвать фрески «Истории Психеи» Рафаэля в «Фарнезине».

Мне бы следовало закончить эту главу о Риме прогулкой по его очаровательным окрестностям, рассказать про наши экскурсии в Тиволи, н Фраскати, в Альбано, на озеро Неми. Некоторые из этих экскурсий мы проделывали всей семьей, некоторые происходили с ночевкой, и тогда до чего же были чарующи эти утра в какой-нибудь полудеревенской альберго. Я особенно много поработал в Вилле д'Эсте и в вилле Монд-рагоне близ Фраскати, я изучил со всех сторон загадочную «Гробницу Горациев» под Арричией, но рассказ обо всем этом приходится отложить «до другого раза», ибо никак мне это не уложить в какие-то нормальные рамки. В качестве же резюме скажу, что эти загородные поездки имели особенное для меня значение, как художника; они явились как бы существенным дополнением к той школе, которую я прошел в Петергофе и других петербургских окрестностях и которую я закончил в Версале. Одна Вилла д'Эсте дала мне столько «уроков» (с восторгом воспринятых и усвоенных), что я одно время мечтал даже посвятить этим тиволийским впечатлениям отдельную книгу, но времени на это, увы, не нашлось...

В Риме мы пробыли до начала июня и пробыли бы и дольше, но когда приятная теплынь сменилась тягостной духотой, перед нами встал вопрос, куда бы перебраться па лето? Меня лично тянуло в горы или, точнее, в те предгорные местности, куда на лето перебирались и мои милые романтики — в Суббианко, в Рокка ди Папа или в Тиволи, в Фраскати, в Неми, но Анне Карловне представлялось, что было бы особенно полезно для детей пожить на берегу моря, а в таком случае всего проще было отправиться в ближайший (в те времена) приморский городок — Порто д'Анцио. Поэтому на следующий же день после того, что «наши барышни» отбыли обратно в Россию (сестра Катя с дочерьми еще раньше покинула Рим), мы же тронулись «на дачу» — к морю, тогда как от нашей милой квартиры пришлось отказаться, так как мы не собирались после лета возвращаться в Рим.

Однако нельзя сказать, чтобы Анцио оказалось вполне отвечающим тому, что мы ожидали. Я надеялся найти грандиозные руины того роскошного дворца, что когда-то соорудил здесь, на самом берегу, Нерон, я думал, что и современный порт даст мне массу живописных мотивов. На самом же деле от дворца остались лишь совершенно бесформенные из воды торчащие глыбы, что же касается до порта, то анциевский порт в те годы был очень неказистой рыбацкой гаванью, в которой на якоре стояло не больше двадцати парусных судов. Любой бретонский порт обладал большей значительностью и живописностью. О том же, что мы находились на юге, говорило лишь то, что стояла жестокая жара, что

целыми днями, растянувшись по парапетам, спали сном праведных разного рода бездельники. К счастью, в часы полдня можно было укрыться в сравнительно прохладных комнатах того каменного дома, который мы наняли и которые выходили на открытую, обнесенную низким парапетом террасу. С нее можно было наблюдать за ленивой работой не слишком отважных мореплавателей, изучать пластические позы спящих и любоваться, как в кристаллически прозрачпой изумрудной воде па фоне золотистого дна плавают, ныряют и кувыркаются голые мальчишки. Мы занимали весь верхний этаж этого дома, носившего у местных жителей совершенно незаслуживаемое название палаццо; в этаже же под нами ютился какой-то не внушавший большого доверия сброд, а в лавочке нашего этажа можно было отведать свеже наготовленных устриц и других даров Нептуна, запивая их довольно терпким вином.

Пляж в Анцио песочный, и в будни он оставался пустынным.

Зато по праздникам наезжали и купались масса жителей из окрестных дачных мест и, главным образом, из Рима. Тогда городок оживлялся, но грязный без того берег еще более загрязнялся самым отвратительным образом. Говорят, теперь этот дефект в значительной степени исправлен, но в то время буквально нельзя было сделать двух шагов, чтобы не наступить на всякие отбросы, в <том> числе и на «человеческие». Ни меня, ни Атю совершенно не соблазняло купаться в таких условиях, но раз мы привезли детей на море, следовало дать им возможность этим пользоваться. Была нанята будка-кабинка и приглашен «maestro del bagno» * — карикатурно тучный средних лет «итальяшка», который должен был научить детей плаванью. Эта препотешная фигура целыми днями не выходила из воды, пребывая в очень упрощенной одежде с огромным оголенным пузом. Он всячески старался доказать свою полезность, то и дело повторяя фразу: «О, я стараюсь наблюдать беспрерывно, чтобы не приключилось какой «disgrazia» **», но риск потонуть при таком мелком дне в этой части бухты был минимальный. Толстяк зарабатывал получаемую мзду тем, что поддерживал наших девочек в воде в горизонтальном положении и, пожалуй, действительно научил их первым основам ната-ционного искусства.

Очень плохо спалось в Анцио, так как и ночью не наступала первг-дышка в гнетущей жаре, а то, что необходимо было защищаться от мустиков под кисейными палатками, не способствовало освежению и сну. А тут еще непривычные загадочные звуки. Так, сначала мы не могли понять, кто это босыми ногами ходит над нашими головами, ведь жилого помещения над нами не было. На третью ночь я, наконец, вылез из-под кисеи, зажег свечку, и тогда оказалось, что это шлепают по потолку нашей спальни очень гадкие, желтые, прозрачные, как желатин, ящерицы. Их способность бродить, как муха, по опрокинутой поверхности объясняется тем, что лапки их снабжены своего рода щупальцами или вантузами, которые при каждом шаге, отделяясь от поверхности,

Учитель плавания *{итал.)*.

Беды, песчастья *{итал.),*

IV, 46. Пребывание в Риме

393

чмокают. Одна из зверюг, на свою погибель, попала на липкую бумагу, положенную против мух, и тут мы смогли изучить эту очень безобразную ночную гадину.

Днем нашими мучителями, кроме комаров, являлись suonatori, иначе говоря, странствующие музыканты — один с тромбоном, один с писклявой дудкой, третий дико пиликавший

на контрабасе, четвертый — бивший в барабан и звякавший цимбалами. Получив как-то раз брошенную из окна подачку, эти виртуозы сочли своим долгом приходить каждое утро и исполнять по нескольку раз свой репертуар. Продолжался этот кошмар до тех пор, пока Джузеппина не надоумила нас от них откупиться. И действительно, после того, что им были вручены dieci lire * с просьбой оставить синьори в покое, их стало слышно только издали.

Среди портовых моряков один отличался удивительно мужественной осанкой, и был он до того мило вкрадчив и убедителен, что мы, наконец, сдались и стали его нанимать для морских прогулок в его баркароле. «У меня две жены,— говорил этот Сальваторе,— la mia e moglie e la mia barca» **. Но я думаю, что жен случайных и не собственных у него было гораздо больше — уж очень он был красив и приятен. Однажды, изловив большущую черепаху, Сальваторе ее поднес нам (получив за это гораздо больше, нежели полагалось); дети долго забавлялись на террасе неуклюжестью допотопного животного, пока тут же Сальваторе вдруг одним взмахом не отрубил его змееподобную голову, вслед за тем он искусно отделил массивный щит от мясистой части, а из нее наш «cordon bleu»*** приготовила превкусный, сочный суп.

Из прогулок на «второй супруге» Сальваторе особенно запомнилась та, которую мы совершили, когда, подняв парус, переплыли всю нашу бухту, доехав до того пустынного берега, где находятся руины «виллы Цицерона». Там, под высоким и широченным сводом, наш рыбак при помощи прихваченного с собой приятеля развел костер и на костре, сварил грандиозную порцию макарон (половину съели наши моряки), превкусно приправленных луком и томатами. Выходило, что мы покушали в гостях у того самого римлянина, из-за которого я когда-то порядком намучился, переводя его обличительную речь против (взяточника и шантажиста?) Росция Америнуса.

Прямо насупротив выхода из этого зала-погреба (и отстоя всего метров на сто от берега) возвышается средневековый замок с одинокой квадратной башней, к которому ведет через воду покоящийся на массивных арках каменный мост. Вход в этот замок, занятый военными властями, запрещен, но я сделал с этого Кастель Астура два довольно удачных этюда — один из-нод свода Цицероновой виллы, другой с берега. Не этот ли замок вдохновил Беклина на одну из его самых эффектных картин: «Uberfallene Burg am Meer»? ****

* Десять лир *(итал.)*. ** Моя жена и моя барка *(итал.),* *** Искусная кухарка *(франц.)*. **** «Поверженный город» *(нем.)*.

394 ***IV, 47. Иллюстрации к «Медному всаднику»***
Глава 47 (1903 г.) .

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР В РИМЕ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ.

КОНЕЦ «СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА».

ВИЗИТ ПРАХОВУ В «МОЕЙ» РЕДАКЦИИ.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К «МЕДНОМУ ВСАДНИКУ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕМЬИ... НАШИ ДЕТИ.

«РУССКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ». НАВОДНЕНИЕ. АУКЦИОН ТЕНИШЕВОЙ

Я уже упомянул о зовах, которые я получал из Петербурга. Скрепя сердце я, наконец, решился оставить семью и в одиночестве отправиться в обратный путь. Первым долгом надлежало наладить наш бюджет после того, что я лишился жалованья по редактированию «Художественных сокровищ»; римское пребывание унесло добрую четверть остатков отцовского наследства, и если бы мы продолжали так безрассудно тратиться, то через года полтора-два мы бы оказались с совершенно пустой кассой. Иьше **, что мы уже столько лет живем буквально изо дня в день, обеспечение, которым мы еще тогда обладали, представляется мне колоссальным, но в те еще «вполне нормальные» времена оно было ни-чтожпо. Никто в нашем кругу вообще не «затрагивал капитала», и я, непрестанно затрагивая свой, должен был это скрывать от близких, иначе они стали бы уж очень неодобрительно ко мне относиться.

Настал и самый момент отъезда. Еще целый день я провел с женой ь Риме, наняв до вечера комнату в том отеле около San Guiseppe, в котором останавливалась с дочерьми сестра Катя. В темноту мы объехали на ветурине разные любимые места и добрались до Сан-Пьетро. Остановившись на площади, мы глядели на единственное светящееся на фасаде Ватикана окно; это было окно опочивальни папы, и то, что в нем еще был свет, означало, что Лев XIII, болевший уже некоторое время, еще был жив... По пути на вокзал я бросил еще одну крупную серебряную

монету в грохочущие воды фонтана ди Треви, дабы быть уверенным, что еще вернусь в Рим, а там Атя помогла мне сдать багаж и усадила меня в купе II класса Как и в предыдущие годы, мы обещали Друг другу писать ежедневно, и оба сдержали слово, что если и утешало нас, то в то же время и разжигало до настоящей пытки наше желание снова оказаться вместе.

Увы, в Петербурге меня ожидали одно разочарование # за другим. Начать с того, что не только Грабаря, но и вообще я никого не нашел

'* Писано в 1944 г.

*IV, 47. Иллюстрации к «Медному всаднику»*395

в «Современном искусстве». Самое помещение было закрыто, и я насилу добился какого-то сторожа, который только смог мне сообщить, что все-де уехали, «а когда будут обратно, не сказывали». Лишь недели через две все же появились в Петербурге князь Щербатов с Мекком. Приехали они специально для меня, однако вовсе не для того, чтобы, как о том Щербатов писал, передать мне заведование «Современным искусством», а для того, чтобы сообщить, что они совершенно отчаялись в целесообразности и даже вообще в художественном смысле своей затеи. При этом, естественно, они не обнаружили ни малейшего интереса к тому, исполнил ли я данный ими заказ «рабочего кабинета»; но и я не напомнил им о нем и не показал им своих проектов, так как сам был ими слишком недоволен. Так бесславно и кончилась та затея, которая при своем возникновений должна была свидетельствовать о нашем «несомненном Ренессансе» и на осуществление которой князь Щербатов положил больше ста тысяч рублей. Как это ни странно (и несмотря на то, что рушился один из устоев, на которые я рассчитывал), я был рад такой развязке, так как, повторяю, в глубине души никогда не верил в жизнеспособность этой «барской блажи» и еще менее чувствовал в себе призвание к ней.

Более болезненно я перенес другое разочарование, постигшее меня во время того визита, который я сделал новому редактору «моих» «Художественных сокровищ» — знаменитому Адриану Прахову. Шел я к нему с надеждой, что мне удастся его убедить не публиковать те материалы *и* те архивы, сведения о царских резиденциях, которые я заказал1 раздобыть по моим указаниям в московском архиве А. И. Успенскому. Однако Прахов, принявший меня с какой-то «веселой лаской», сидя r кресле, так еще недавно служившем мне, и за моим столом, сразу иг наотрез отклонил мою просьбу. Он-де уже успел получить от Успенского» часть заказанных мной статей, он уже заказал *(моим* же фотографам!) новые снимки в садах и дворцах Павловска и Царского Села и он

готовился выпустить такого же монографического характера номера, как те, что были публикованы мной 2*. Напрасно я попробовал подействовать на совесть и на простое чувство порядочности Прахова (ведь как-никак, он меня и мои идеи обкрадывал); маститый профессор все с той же слегка насмешливой улыбочкой остался при своем, а когда я слегка вспылил е стал произносить слова в менее вежливом тоне, он, положив руку мне на колена, вымолвил: «Не горячитесь, дорогой Александр Николаевич. Это вы принимаете так к сердцу потому, что вы молоды, когда же вы достигнете моих седин (в это время Прахов уже перестал красить свою окладистую бороду и свою профессорскую шевелюру), то все это покажется вам сущими пустяками». Тут я его покинул, но вовсе не успокоенный, а чуть не плача от досады и бешенства. Достигнув же пыне

Однако в первую голову он был занят выпуском тройного номера, посвященного художественному собирательству покойного государя Александра III, что показалось мне уже очень откровенным актом лакейства.

396

IV, 47. Иллюстрации к «Медному всаднику»

обещанных нм седин, я все еще не счел тогдашний инцидент за пустяк, а продолжаю чинить Прахову и очень значительный моральный иск 3*.

Эти и еще другие, менее значительные разочарования, обострили мои мучения от разлуки с женой и с детьми. Я спрашивал себя, для чего я их покинул, уехал из божественной Италии и теперь бессмысленно коротаю однообразные летние дни в пыльном, опостылом Петербурге, б пустой квартире. Почти все друзья были в разъезде. Сережа и Дима, вернувшись из заграницы и наладив ближайшие дела, успели отбыть в деревню. К братьям в Петергоф меня не тянуло, а общество одного милого Аргутинского и вечные с ним коллекционерские разговоры меня не удовлетворяли. Особенно я заскучал с момента, когда из Анцио стали приходить письма, весьма меня встревожившие. Анна Карловна, вздумавшая подвергнуться по совету доктора М... каким-то подкожным вспрыскиваниям,— заболела таинственной сыпью, сопровождавшейся сильным жаром. Когда же эта беда миновала и ее письма заполнились рассказами о всяких тамошних развлечениях и удовольствиях, то мне и совсем стало невмоготу4*. Я стал серьезно подумывать — не махнуть ли обратно?

Сначала, однако, я решил закончить одну начатую еще в Риме работу и отправиться в путь, получив за нее гонорар. То были заказанные мне «Кружком любителей изящных изданий»

иллюстрации к поэме Пушкина «Медный всадник». Задумал я эти иллюстрации в виде сопровождающих каждую страницу текста композиций. Формат я установил крохотный, карманный, наподобие альманахов пушкинской эпохи. В Риме, постоянно отвлекаемый прогулками и изучением достопримечательностей, я занимался «Медным всадником» урывками, теперь же, имея в своем распоряжении массу времени, я постепенно втянулся в работу. В общем, мне казалось, что у меня выходит нечто довольно удачное. Вот, мечтал я, получу свои 500 рублей, и тогда прощай Питер, я стрелой полечу к своим! Однако, видно, уже год выдался такой незадачливый, ничего не клеилось, расклеилось и это дело, причинив мне еще одно огорчение...

Особенно же обидным мне показалось, когда эти монографические номера «Сокровищ», посвященных Павловску и Царскому Селу, действительно появились. Просто непонятно, до какой степепи этот профессиональный эстет сумел исказить мою затею, с какой бездарностью, с каким безвкусием он ее представил. В этих письмах особенно ярко выразилось писательское дарование обожаемой моей Анны Карловны. Особенно запомнилось то письмо, в котором она описала какой-то религиозный праздник в Анцио и, между прочим, передала в комическом тоне проповедь необычайно рьяного курата. Говоря о величии Иисуса Христа, он его назвал: il l·mperatore dei imperatori, il snltano dei sullani [императором из императоров, султаном из султанов *(итал.)],* а предвещая конец мира, он, неистово жестикулируя, погрозил, что тогда произойдет нечто такое, что он выразил словами apocatricata ed apotricatata. В другом письме Атя подробно описывала ту прелестную прогулку в коляске, которую ома с детьми проделала, начав ее с осушенных болот Понтийских и завершив посещением, с ночевкой, Альбапо и Рокка ди Папа.

IV, 47. Иллюстрации к «Медному всаднику»

397

Инициатором затеи и посредником между «Кружком» и мной был один из деятельных членов его — милейший Василий Андреевич Верещагин. Все, что у меня получалось из-под карандаша и пера, находило его полное одобрение, а то и возбуждало восторг... Получаемые из типографии оттиски, воспроизводящие мои рисунки (сделанные в стиле политипажей 30-х годов), я тотчас же раскрашивал в «нейтральные» тона, которые должны были затем припечатываться литографским способом. Моя часть должна была поспеть к концу августа, и казалось, ничто не могло помешать тому, чтобы книжка появилась на свет в декабре. Но не так все обернулось. «Кружок

любителей» отнесся в общем благо-склонпо к моей работе, но вот им очень не понравился рисунок, изображавший самого Пушкина с лирой в руке на фоне Петропавловской крепости. Они потребовали, чтобы я его переделал. Среди этих господ было несколько бывших лицеистов, и это они в качестве как бы однокашников и сотоварищей Александра Сергеевича считали себя вправе отрицать сходство моего (очень условного) портрета с поэтом. Таковое требование взорвало меня, и я решительно отказался внести и малейшую поправку, после чего Верещагин с сокрушенным видом вернул мне мои рисунки, а мне пришлось расстаться с забранным вперед гонораром. К счастью, к этому самому моменту вернулись из деревни Сережа и Дима, и оба, что называется, «вцепились» в мои иллюстрации, решив, что они будут помещены в «Мире искусства». Мало того, тогда же Сережа предложил мне разделить пополам редактирование нашего журнала. Он сохранил бы за собой современный отдел, которому были бы посвящены шесть выпусков, я же должен был редактировать остальные шесть, целиком отданные старине. Иллюстрации же к «Медному всаднику» (с полным текстом поэмы) Сережа взял себе с тем, чтобы *поместить* в первом номере нового 1904 г.

Ч* зр ¾ç

Последние недели ожидания возвращения жены и детей были самыми мучительными. Я считал не только дни, но и часы. Столько-то-де остается до вечера, столько до утра, а там еще день пройдет и т. д. И наконец, радостный момент настал. Кажется, это было 15 сентября. Я нанял большое ландо и покатил на Варшавский вокзал за целый час до прибытия поезда, на вокзале заручился носильщиками, дома же все приготовил для «торжественной встречи».

Постепенно все затем вошло в норму, и вот тут я как-то особенно оценил наших деток, сильно за эти месяцы повзрослевших и развившихся. Особенно это сказывалось на Леле 5*. Из совершенного бэбэ она постепенно превращалась в мило-шаловливую и очень смышленую девочку. Проказам ее не было конца. Тогда-то ей и было дано вполне заслужен-

Произносить надо не Лиоля, а Лэля. Это она сама себя так назвала.

398

IV, 47. Иллюстрации к «Медному всаднику»

ное прозвище: «Hausteufel» *. Маленькая Атя тоже нас

радовала—но в другом роде. Не по годам развитая, она теперь много читала и про себя *и* вслух сестре, а карапузик Коля потешно присаживался к ним и тоже старался вникать в те истории, которые содержались в нескольких любимых книжках, среди коих почетное место занимал сборник сказок в зеленом с золотом переплете: *«Die* Elfenreigen» **. Впрочем, читала Атя свободно и по-русски... Живым же «сказителем» сделался для них с этих пор Яремич...

Что касается Коли, то ему частепько поиадало от матери, но это исключительно за то, что он *мало ест* и решительно отказывается расширить свое меню дальше кашек и молока. Сколько Атя его ни потчевала, пи уговаривала, какие она ему ни готовила вкуснейшие, аппетитнейшие вещи, он от всего отказывался. Почти каждодневно за завтраком или за обедом происходили сцепы, аналогичные с теми, которые происходили, когда дети чем-либо заболевали. Атя чуть не плакала, возмущалась, негодовала, бранила сынсчка: «противный мальчишка», топала ногой, но все это если и действовало, то в обратную сторону. Коленька не только всячески артачился, не давал себе просунуть между зубов ложку, по выплевывал то, что все же насилу попадало в рот. В данном вопросе я не был заодно с женой, так как был убежден в полной бесполезности всякого насильственного питания. Но разве можно совладать с материнским инстинктом такой силы, как тот. что продолжал господствовать в моей Обожаемой?

Одним из памятных событий осени 1903 г. было то наводнение, в котором чуть не захлебнулся Петербург. Это бедствие не достигло тех размеров и не имело тех трагических последствий, которыми прославилось наводнение 1824 г. (повторившееся, почти день в день, через сто лет), однако все же вода в Неве и в каналах выступила из берегов, и улицы, в том числе и наша Малая Мастерская, на несколько часов превратились в реки. Из своих окон мы могли «любоваться», как плетутся извозчики и телеги с набившимися в них до отказа седоками и с водой по самую ось, и как разъезжают лодочки, придавая Питеру вид какой-то карикатуры на Венецию. Мне это наводнение пришлось до чрезвычайной степени кстати, так как я получил тогда новый заказ сделать иллюстрации к «Медному всаднику» от Экспедиции заготовления государственных бумаг. Стояла не очень холодная погода (южный ветер нагнал нам бедствие), и когда вода довольно скоро отхлынула, то я смог пройтись по сухому по всей набережной. По дороге, под все еще всклокоченным небом с быстро мчавшимися розоватыми облаками, очень жуткими показались мне огромные дровяные

баржи, выброшенные на мостовую Английской набережной! Совершил же я тогда эту далекую прогулку не только из любопытства, настоящей целью ее был аукцион

* Домашний чертик *(нем.)*. ** Хоровод эльфов *(нем.)*.

коллекций княгини М. К. Тенишевой, происходивший в ее доме на Английской набережной *. Почему-то княгиня решила распроститься со всем тем, что отверг Музей императора Александра III (о чем я рассказал выше)... Большей частью то были акварели и рисунки, в свое время приобретенные ею из собраний Кушелева-Безбородко и Базилевского, но продавалось и все то, что было ею куплено по моему совету. Аукцион происходил в том самом небольшом особняке, в котором я когда-то предавался мечтам об образовании грандиозного музея современной иностранной живописи и где был устроен банкет в ознаменование создания журнала «Мир искусства» и т. д. Печально было глядеть па такое окончательное разорение моего (недоношенного) детища... Безжалостно были тогда разъединены обе серии, так любовно и с таким бесподобным мастерством созданные Леоном Фредериком — «Лен» и «Хлеб» `¿ с их центральным панно, изображающим «Плодородие»; разъединены были и все шестьдесят сангин Бушардона «Les cris de Paris» *. Пошли по рукам и Бартельс, и Мейсонье, и Ганс Герман, и Латуш, и Казен, и прелестный портрет детей Люсьена Симона, а также все, что я откопал в комнатах и шкафах Марии Клавдиевпы, среди этого — чудесный рисунок Гауден-цио Феррари и три этюда дам в костюмах конца XVIII в. (Норблена де ла Гурдепь).

* * *

В самом конце все того же 1903 г. фирма «Голике и Вильборг» (соединение этих двух домов, которые работали для нас, произошло около того же времепи), в которой технической частью заведовал бесценный А. Г. Скамопи, заказала мне монументальный и роскошно иллюстрированный увраж, посвященный русской живописи, который я назвал «Русская школа живописи». Помимо других соображений, я взялся составить эту книгу потому, что мне это давало возможность исправить некоторые уж очень резкие и несправедливые отзывы о русских художниках, которые являлись моими «грехами молодости» в книге «История русской живописи в XIX веке», вышедшей в 1902 г. Кроме того, мне было при-ятпо руководить изданием, которое задалось целью дать ряд образцовых

воспроизведений в черном и в красках с наиболее характерных картин русской школы.

* «Крики Парижа» *{франц.)*.

Глава 48

НАЧАЛО ВОЙНЫ С ЯПОНЦАМИ.

НЕДОВОЛЬСТВО РЕЖИМОМ.

в.к.НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.

ИНТРИГА ПРОТИВ ДЯГИЛЕВА.

СОБИРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ВЫСТАВКИ ПОРТРЕТОВ.

«ОТРАДА» ГРАФОВ ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ

Новый 1904 год начался фортиссимо — с грохота внезапно начавшейся войны с японцами. Это произошло совершенно неожиданно для нас, для всего нашего круга. Но как будто не совсем подготовлены были к тому и другие круги — те, «кому ведать надлежит». Это была первая *настоящая* война, в которую была втянута Россия после 1878 г., но за *совершенно настоящую* ее никто вначале не считал, а почти все отнеслись к ней с удивительным легкомыслием — как к какой-то пустяпшой авантюре, из которой Россия не может не выйти победительницей. Подумайте. Эти нахалы японцы <...> вдруг полезли на такую махину, как необъятное государство Российское с его более чем стомиллионным населением. У меня и у многих зародилось даже тогда подобие жалости к этим <<неосторожным безумцам». Ведь их разобьют в два счета, ведь от них ничего не останется, а если война перекинется к ним на острова, то прощай все их чудесное искусство, вся их прелестная культура, которая мне и друзьям особенно полюбилась за последние годы. Полюбилась она настолько, что многие из нас

обзавелись коллекцией японских эстампов, а Хокусаи, Хиросиге, Купиоси, Утамаро стали нашими любимцами. Как раз за год до войны Грабарь привел ко мне одного странствующего японского антиквара, у которого мы все купили тогда по довольно сходным ценам прекрасные листы и восхитительные нетцке \ Потом разнеслась молва, что наш торговец был шпион; но никому во время его бытности в Петербурге подобное не приходило в голову...

Недолго, однако, пребывало русское общество в неведении настоящей силы нового, презренного врага. Пока получились первые известия о поражениях, общее настроение оставалось оптимистическим; общий интерес сосредоточился па осаде Порт-Артура, а в надежности этой твердыни все были уверены — благо там командовал такой архигерой, как Стессель. А вообще дело представлялось так: где-то «у черта на куличках» идет какая-то свара, в которой мы ничуть не повинны; туда отправлены одни только армейские полки, столичным людям мало знакомые, предводительствуемые неизвестными командирами; дело это, как всякое кровопролитное, быть может, и жестокое, дикое и нелепое, но

*IV, 48. Недовольство режимом*401

нас, живущих за тридевять земель, оно мало касается. И вот, постепенно положение стало меняться, а после гибели «Петропавловска» и битв при Ляояне и Мукдене, после ряда отходов «на заранее укрепленные позиции» — японцы <...> перестали быть смешными, русское общество вспомнило о воинском духе и воинских доблестях этой «страны самураев» и поняло, что надо дать *достойный* отпор. Тут п дамы принялись за дело, одни из действительного чувства долга, другие из подражания и чего-то вроде моды. Война становилась в некотором смысле «популярной», перестала быть каким-то «колониальным недоразумением». Тут же стали с каждой неделей все громче и громче раздаваться голоса, твердившие, что мы-де не были приготовлены, что это преступление, что война эта следствие какой-то гнусной аферы, дело рук каких-то алчных высокопоставленных хищников. Параллельно шло разочарование в тех, кому выдалось трудное дело руководить военными действиями. Подвергалось критике «кунктаторство» (вынужденное кунктаторство) генерала Куропаткина, и совсем без доверия относилась интеллигенция к тому энтузиазму, который старались раздуть в войсках «представители официальной мистики» посредством молебнов, крестных ходов и раздачи икон и т. д. ... Где-то глухо раздавались увещевания и прорицания старца из Ясной Поляны, которые, распространяясь по всей

России, будили совесть и напоминали о заветах Христа... С другой стороны, не было никакой возможности сразу со всем покончить — раз еще далеко не все ресурсы были исчерпаны и страна в целом не испытывала каких-либо тяжких последствий от этой далекой трагедии.

В частности, мы, художники, что греха таить, просто не были озабочены войной, не интересовались... Прочтешь очередные военные телеграммы и успокоишься, а иной раз даже и не прочтешь. Возмущались мы скорее бездарностью и нелепостью разных мероприятий, а кое-кто помоложе начинали тревожиться лично, как бы не дошла очередь до них, как бы не попасть на фронт. Если же вся интеллигенция в целом на чем-либо сходилась, то, во всяком случае, не на каком-либо ура-патриотизме, а скорее на том, что наш строй целиком никуда не годится и что пора его радикально переменить. Одни при этом видели вину в самом режиме и мечтали о революции, которая водворила бы новый, более рациональный порядок; другие же видели беду не так в строе, как в том, кто его возглавлял. Замена одного лица другим могла бы спасти и самый принцип монархии... Но вот, кто мог бы явиться таким спасителем? Кто бы нашел в себе храбрость и решимость Елисаветы, Екатерины II или ... хотя бы «попустительство» Александра I Павловича.

Как раз в этом же году произошло мое сближение с самым культурным и с самым умным из всей царской фамилии— с в.к. Николай Михайловичем 2. В течение зимы 1903—1904 г. я виделся с ним по крайней мере один раз в неделю, и я просиживал целые часы в его кабинете (в нижнем этаже Ново-Михайловского Дворца на Дворцовой набережной), беседуя с ним, а то и занимаясь разбором тех фотографических

материалов, которые он собрал для задуманного монументального издания «Русский исторический портрет» 3. Ближайшими его официальными сотрудниками были два ученых историка — Шумигорский и Голонбьев-ский, но они занимались лишь составлением текстов, тогда как до самых портретов, как таковых, они не касались вовсе; я же пользовался уже в это время достаточным авторитетом как историк русского искусства, и поэтому, когда как-то за завтраком П. Я. Дашков заявил великому князю, что вот Бенуа очень интересуется его изданием, он тут же пригласил меня посещать его и «помочь ему в данном деле».

Рассказывая в другом месте о завтраках Павла Яковлевича, я уже не только упоминал об их посещениях великим князем, но и попробовал дать некоторую характеристику его. Первое время

знакомства с в. к. Николаем Михаиловичем я подпал его несомненному шарму. Его манера быть запросто со всеми, его живой интерес к истории как прошлого, так и настоящего времени, его широкие познания,™ все это способствовало тому, что он почти всех пленил.

Нравилась мне и его статная, со склонностью к полноте, но все же стройная и очень эффектная фигура, правилось и что-то монгольское в красивых чертах лица, напоминавшее, впрочем, скорее турка или южного татарина, пежели калмыка или китайца. Иные находили в нем сходство с евреем, что объяснялось тем, что, как говорила придворная молва, его настоящим дедом был банкир Габерт. Но вот должен здесь прибавить, что шарм великого князя действовал вполне на меня, пока я лишь изредка с ним встречался и в довольно многочисленном обществе, когда же я стал его видеть чаще и в большем интиме, то шарм этот получил значительный ущерб.

Началось с того, что он однажды прямо меня возмутил, когда, не стесняясь моего присутствия, он разнес своего адъютанта, барона Брюм-мера, с такой резкостью, с какой разве только какой-либо барин-крепостник разносил своего холопа. И произошла эта сцена по поводу самого пустяшного недосмотра, допущенного Брюммером. По жалкому виду последнего видно было, что он к таким распечкам приучен, что это для него нечто обыкновенное. При первой же встрече с Дашковым я поделился с ним своим впечатлением, па что услыхал такие слова: «Вввы еще не зззпаете вввеликого князя, он ттолько приккидывается европейцем, а на ссамом дделе, этто азззиат и бббедному Бббрюммеру приходится подддчас очень ппилохо!» Не нравилось мне и то, как Николай Михайлович относился к моим советам и к моим замечаниям, касающимся его труда, то, как он их недослушивал, как он оставался при своем, было что-то очень обидное, «типично великокняжеское». При этом он по существу бывал всегда не прав.

Честь и слава остаются, разумеется, за пим, как за создателем такого грандиозного памятника (не говоря уже о всех его других исторических исследованиях), но все же очень и очень досадно, что присущие этому изданию недостатки мешают пользоваться «Русским историческим портретом» в полной мере. Можно было вполне избегнуть или во-

время исправить многое, если бы не упирательство великого князя **. Наши споры относительно формата воспроизведений, техники репродукций, необходимых сведений в тексте — приобретали не раз довольно острый характер, и я по одним

испуганным глазам Брюммера чувствовал, что захожу слишком далеко; в таких случаях я предпочитал оборвать на полуслове под предлогом, что я куда-то спешу. Становилось очевидным, что мой августейший оппонент стоит на своем из одного упрямства и что никакие доводы не способны это упрямство преодолеть. В этом сказывалась и значительная доля самодурства.

Однажды великий князь обнаружил при мне и при П. Я. Дашкове и при других еще одну не очень приглядную сторону своего характера. Это произошло уже поздней осенью 1904 г. в разгаре приготовлений к затеянной Дягилевым грандиозной выставке портретов, которую, по просьбе Дягилева, возглавил великий князь, оказавший в дальнейшем ходе работ немалые услуги, среди которых главной было то, что он добился от своего венценосного племянника высочайшего покровительства. Это открывало нам и самые замкнутые двери и заставляло сдаваться и самых строптивых обладателей портретов. Однако во время хода рабог два таких «неудобных» характера, как Дягилев и великий князь, все чаще сталкивались. Николай Михайлович стал тяготиться безудержной решимостью Сергея, и еще более его стал пугать размах всего, что касалось финансовой стороны дела. Он стал жаловаться то одному, то другому на Дягилева и, наконец, повел против него настоящую интригу с целью избавиться от непокорного сотрудника. Но великий князь забывал, что Дягилев не был «сотрудником», а ему принадлежала инициатива всей затеи и что им уже произведена колоссальная работа для ее осуществления как в смысле отыскания самих портретов, так и их исследования.

«Подкоп» обнаружился на одном из заседаний Комитета выставки r Ново-Михайловском дворце, на котором присутствовали, кроме меня, несколько ученых, хранитель Артиллерийского Музея Струков *ш* П. Я. Дашков, но на котором, к моему большому удивлению, я не увидал Дягилева: великий князь сначала возобновил свои жалобы на отсутствовавшего, а затем прямо объявил, что он *решил* сменить Дягиле-

** В числе самых существенных дефектов этого издания надо отметить следующее: совершенно непонятное отсутствие портретов допетровских и петровских. Отсутствует даже сам Петр I, отсутствуют Екатерина I, Анна Иоанновна, Петр II, Анна Леопольдовна и Елисавета Петровна, Екатерина II представлена всего одним п далеко не характерным портретом; да и в дальнейшем наблюдаются необъяснимые пропуски, касающиеся членов царских семей. Затем весьма огорчительно отсутствие в тексте всяких сведений, касающихся портретов как таковых, т. е. означение размеров, технических способов (на чем писаны,

какими красками), происхождения. Наконец, тот факт, что воспроизведения малого формата помещены по три и по четыре па одном листе, часто принадлежат к разным эпохам, разным семьям и руке разных мастеров, мешает раскладке их. Между тем раскладка как будто предвиделась в плане — иначе к чему было прибегать к табличной системе?

ва, причем ов прибавил, что собирается на следующий же день отправиться в Царское Село для того специально, чтобы испросить у его величества соизволения на назначение на должность комиссара Выставки иного лица.

За этим сообщением великого кешзя наступило гробовое молчание. Всем стало как-то стыдно за нашего председателя... Прервал молчание Дашков. Он встал и замахал руками, не будучи сразу в состоянии справиться со своим заиканием, а затем «выпалил», сильно повысив голос, целую громовую речь. С тоном крайнего возмущения он запротестовал против самой возможности отнять у Дягилева то, что было его идеей и на что им уже положено столько труда; кончил же Дашков угрозой, что он ни минуты не останется в составе выставочного комитета, если действительно его императорское высочество исполнит высказанное намерение. Такой взрыв смутил великого князя. Он сразу забил отбой, но Павел Яковлевич не унимался и продолжал усовещевать нашего председателя, пока тот ему твердо не обещал все оставить по-старому...

Дашков был так возмущен за Дягилева, он так разволновался и расстроился, что, когда мы вскоре покинули дворец, он попросил меня, несмотря на поздний час, проводить его пешком до Михайловской площади, а когда мы дошли до его дома, он пригласил меня зайти. И вот тут, в комнате, обыкновенно служившей каким-то преддверием столовой (а при небольшом кружке гостей в ней мы распивали после завтрака чудесное дашковское мока), он в течение нескольких часов продолжал возмущаться и разбирать по косточкам великого князя. Никогда еще я не видал благодушного, уравновешенного Павла Яковлевича, всегда, несмотря на легкий оттенок либеральности, столь «лояльного» в отношении всего, что касается монарха и его близких, в таком возбуждении! Ругая великого киязя, он буквально задыхался, а заодно попало и государю, ибо Павел Яковлевич не сомневался, что «хитроумному, лукавому дяде» без труда удалось бы убедить «племянника» — тем более, что было известно, что сам Николай II недоброжелательно относится к Дягилеву с того самого момента, когда последний получил отставку «по третьему пункту». Под конец беседы (часам к трем

ночи) у обоих у нас совершенно заплетались языки (была распита целая бутылка дивной «мммо-рошки»), а вернулся я домой ньянепький, но все еще в особенно приподнятом расположении духа. Вспоминая характерно судорожные, напоминавшие Петрушку жесты Павла Яковлевича, сто хохот (il avait le vin gai *, но за последние годы, с появлением симптомов грудной жабы, вино ему было строжайше запрещено), его премилое заикание, я в ночном одиночестве у себя в кабинете продолжал смеяться до слез. Незабвенная ночь! Милый Павел Яковлевич! Как особенно стал он мне мил после того, что так выразил благородство души и одержал столь блестящую победу над коварством.

* Вино его веселило *(франц.)*.

IV, 48. Недовольство режимом

405

* * *

Я забежал вперед и рассказал сцену, случившуюся уже тогда, когда работа над портретной выставкой была в полном разгаре. Теперь нужно вернуться назад и рассказать, что это была за затея и каково было мое личное отношение к ней.

Я уже неоднократно указывал на то, что одной из моих самых характерных черт всегда было очень сильное «тяготение к прошлому» — то, что кто-то назвал уродливым словом «пассеизм». Стало это тяготение проявляться очень рано, и толчком к тому могли служить разные театральные впечатления. Немалую пищу я находил в этом отношении в самом нашем родительском доме, который был «полон призраков». Ведь стены папиного кабинета были завешаны фамильными, частью очень хорошими портретами когда-то живших дядюшек и тетушек, а в его библиотеке очень много книг содержали изображения былых времен, и как раз многие из этих книг я не уставал рассматривать, причем мне особенно нравились всякие рыцари, пажи, старинные замки, жуткие подвальные темницы, грандиозные чертоги, внутренности соборов. Ко всему такому меня тянуло, и я очень рано сам стал пробовать свои силы в подражаниях подобным картинам. Затем решительным моментом в моей пассеистской мании были спектакли мейнингенцев, в первый раз посетивших Петербург в 1885 г. Постановки их буквально свели меня с ума. Одновременно родилась и моя книгомаиия, как раз специально направленная на ознакомление с «видимостью» прошлого, с тем, как все выглядело, как люди одевались, из чего состояла их обстановка и т. д. Рассказал я и о том, как я и Атя (в ней я находил полный отклик) увлекались, будучи еще совсем юными, музеем «Общества поощрения художеств», как нам захотелось окружить себя когда-нибудь такой

же, столь нам много говорившей стариной. Сильнейшим толчком в этой же мании были появление костюмных увражей Расине и Готтенрота, затем приобретение в 1888 г. монументального сборника Г. Хирта «Kulturgeschichtliches Bilderbuch» (в 6-ти томах), годом позже приобретение четырехтомного «Словаря русских гравированных портретов» Ровинского, с которым я с тех нор никогда не расставался и который я всюду таскаю с собой. Незабываемое впечатление произвели на меня отдельные портреты, например, в 1883 г. «Смолянки» Левицкого, украшавшие тогда комнаты Большого Петергофского дворца, и там же поразивший меня портрет Елиса-веты Петровны девочкой. С момента какого-то моего влюбления в этот портрет начался вообще мой культ Елисаветы, доходивший временами До чего-то похожего на галлюцинации. Я был на седьмом небе, когда мне удалось купить (у букиниста Гартье на Невском) хороший портрет Елисаветы I в роскошной вычурной раме того же времени, после чего последовала покупка портретов Петра I (особого типа), Екатерины I, почтенного князя Шаховского, фельдмаршала Апраксина и мн. др. Одновременно я коллекционировал гравированные портреты разных деятелей

406

IV, 48. Недовольство режимом

и подписался на выходивший в Германии многотомный «Portraitwerk» *. Любил я подолгу застревать в канцелярии Академии художеств, где все стены тогда были сплошь увешены портретами художников и любителей искусства, среди которых было несколько шедевров (лучший из них был портрет архитектора Кокорипова работы Левицкого). Постепенно я заразил «пассеизмом» своих друзей, и больше всего того, кто позже других подошел к нам. По .моему пастоянию же во втором выпуске «Мира искусства» появились «Смолянки», а через год Дягилев, запуская другие всякие дела, занялся своей монографией, посвященной Левицкому, имея намерение в дальнейшем посвятить такие же исследования Рокотову, Боровиковскому, Щукину. Как все, чем он занимался, так и это получило скоро оттенок какой-то одержимости. Он запускал (к великому огорчению Философова) все другие, иногда и нужнейшие дела, просиживая целые дни в архивах или разъезжая по дворцам и усадьбам в поисках новых и новых изображений людей былых времен. Стали поговаривать и о том, что следовало бы устроить и специальную выставку вроде той, которую историк Петербурга Петров устроил в 1870 г,4

Когда на пашем горизонте появился во всей своей необузданности юный барон 11. *И.* Врангель и почти сразу

заговорил о своем намерении устроить выставку исторических портретов, я усмотрел в этом исполнение чего-то давно желанного и изъявил сразу полную готовность помочь ему советом и делом, не сомневаясь, что и Дягилев так же взглянет на эту затею Врангеля. Но не тут-то было. Сергей увидал в «мальчишке» Врангеле конкурента, жестоко распек меня за данное согласие, сам же от принятия участия в выставке наотрез отказался, а лично Врангелю не стесняясь стал показывать свое недружелюбное отношение. Когда же выставка Врангеля все же состоялась (в 1902 г.) 5 и получилась если не полной, то все же крайне интересной, Сергей всячески выражал свое отрицательное отношение к ней, придираясь и к выбору вещей и к размещению, особенно возмущаясь тем, что многое на нее не попало. На меня же Сережа много месяцев дулся — обвиняя меня в каком-то попустительстве и в том, что благодаря мне выставка вообще *могла* состояться и тем самым оказалась каким-то предвосхищением давно им лелеянной мысли.

И вот почти сразу после того, что закончилась врангелевская выставка (памятником которой остается отлично изданный и содержащий мас-су сведений каталог), Дягилев, тогда уже не занятый в театре и без особого усердия продолжавший заведовать «Миром искусства», принимается за выполнение своей *главной* задачи. Вскоре благодаря П. Я. Дашкову он добивается того, чтобы во главе затеи встал в. к. Николай Михайлович, а через посредство последнего — получает высочайшее «покровительство». Естественно, что его ближайшим советником и сотрудником продолжал быть я, но и в отношении Врангеля он меняет гнев на ми-

* «Собрание портретов» *(нем.)*.

лостъ и привлекает его к участию, продолжая, впрочем, «держать его на известной дистанции».

Труд самого собирания (или, по крайней мере, нахождения) портретов был поделен между Сергеем и мной, но далеко не поровну — себе он взял наиболее тяжелую часть, мне же предоставил более легкую. Он поставил себе задачей объехать «всю провинцию», т. е. все города и веси, все помещичьи усадьбы, о которых было слышно, что они обладают интересными в разных смыслах (но главным образом в художественном) портретами. И Дягилев выполнил значительную часть этой колоссальной программы, памятником чего являются изданные им «ведомости», в которых результаты этих его блужданий, часто сопряженных с большими неудобствами, с ужасной усталостью, перечислены (это

издание ставилось особенно в вину великим князем «транжиле» Дягилеву—«растратчику»). Мне же достались петербургские коллекции, часть московских, а кроме того два отдельных, особенно интересных места: толстовская Ясная Поляна и Отрада графов Орловых-Давыдовых.

Однако, как это ни странно,— до Отрады-то я добрался и провел там целый день, а в Ясную Поляну к Толстым передумал ехать, хотя уже было испрошено и получено разрешение на мое посещение от графини Софьи Андреевны. Оставалось только дать телеграмму, что я еду, дабы были высланы лошади на станцию. Всякому показалось бы особенно любопытным войти в личный контакт с самым значительным человеком своего времени и увидеть его в его обыденной обстановке, однако, по мере приближения намеченного дня, я все менее и менее радовался предстоящей встрече и, напротив, меня стал одолевать род ужаса перед ней, природу чего, однако, я не смог бы вполне выяснить. Мне с особенной ясностью представилась вся суета — царившая, как говорят, непрерывно в Ясной Поляне, в этом доме, всегда полном гостей, а самая беседа с Львом Николаевичем стала мне представляться все менее заманчивой. В свое время большое впечатление произвел рассказ о той ободряющей ласке, с которой Толстой встретил Философова и Дягилева в Москве в своем московском доме; тогда, в ответ на высказанное моими друзьями «покаяние» — что де они плохие христиане, что они плохие ученики — его, Толстого, хоть и чувствуют всю правоту его проповеди,— он напомнил им об евангельском Закхее, которого Христос одобрил, хоть этот начальник мытарей отдал только половину своего имущества... Да, но то было пять или шесть лет тому назад, а что встречу я теперь? А вдруг Толстой станет меня корить и усовещевать? Хуже того, вдруг, я, художник, вынужден буду выслушивать ту (с моей точки зрения) дикую ересь, которую он изложил в своей книге об искусстве? Спорить же я бы с ним не стал, и беседа могла бы получить очень нудный оборот. Лучше отказаться от соблазна. Я и отправил из Отрады телеграмму, что приехать не могу. Впрочем, я и сейчас не раскаиваюсь в таком «малодушии». Разумеется, было бы крайне любопытно все увидать и услыхать, что я уже знал понаслышке (в величайших подробностях), разумеется, это был бы мне превосходный материал для занимательных рассказов,

разумеется, мне бы позавидовали и Валечка, и Бакст, и Дима, и весьма еще многие, все это так, по, в сущности, все это было бы чем-то никчемно-суетным, пожалуй, даже чем-то «снобнческим», а такие чувства мне не хотелось мешать с моим подлинным

пиететом к Толстому.

Из всех посещенных мной тогда ввиду нашей выставки мест наибольшее впечатление на меня произвела помянутая Отрада Орловых, и не столько сам трехэтажный из кирпича построенный и не отштукатуренный, совершенно простой дом, более похожий на фабрику (мне говорили, что его строил ученик или помощник знаменитого Ринальди), сколько то, что я нашел внутри, и опять-таки не его хозяин, который, мучимый очередным припадком мигрени, так ко мне и не вышел, а все то подобие «двора», что состояло из управляющих разных частей огромного хозяйства, а также из учителей и гувернеров того из молодых графов, который, пребывая от рожденья в полубезумном состоянии, никогда не покидал Отрады и проводил жизнь в своего рода заключении под непрерывным наблюдением врачей и помянутых «гувернеров». Этот молодой человек оказался за завтраком сидящим как раз наискось от меня, но меня с ним не познакомили, а его странные судорожные движения, а временами и какое-то мычание вскоре объяснили, почему это так. Особенно меня поразило, что каждый кусок он прежде чем положить в рот, тщательно и с весьма подозрительным видом обнюхивал. Его как будто преследовал страх, что его могут отравить. Мой сосед слева предостерег меня, чтобы я отнюдь не глядел в сторону несчастного, так как присутствие чужого уже беспокоило его, и это беспокойство могло бы кончиться буйным кризисом...

Велико было мое удивление, когда другим соседом за столом оказался дражайший друг детства — Лева Брюн де Сент-Ипполит, с которым я не встречался лет шестнадцать или восемнадцать. Теперь он состоял в Отраде ученым агрономом и жил там постоянно с женой и детьми в отдельном доме. После обеда я совершил с Левой большую прогулку вдоль двух прудов, лежащих перед садовым фасадом усадьбы и мимо каменного павильона, в котором хранилось ценное собрание научных инструментов и других предметов, принадлежавших Ломоносову. Побывали мы и на «образцовой пасеке», где ученый пчеловод очень толково рассказал мне про жизнь в ульях, причем, несмотря на одетую на меня сетку, меня ужалила одна из жительниц этой многотысячной обители. Зашли мы и в церковь, имеющую форму окруженной колоннами ротонды и служащей родовой усыпальницей графов Орловых. Там похоронен и знаменитый фаворит Екатерины II, князь Григорий Григорьевич, а также его во цвете лет скончавшаяся жена. После прогулки я еще посидел час с Левой, вспоминая наше детское прошлое, а с вечерним поездом отбыл в Москву. С Левой я с тех пор не видался...

Из других подмосковных усадеб, посещенных мной тогда

ввиду выставки, я должен еще назвать грандиозное юсуповское Архангельское и две прелестных усадьбы Голицыных: Петровское (там я нашел между прочим два замечательных портрета, писанных «пенсионером» Петра I —

IV, 49, Конец «Мира искусства,»

Матвеевым) и другой изящный одноэтажный дом в строгом стиле Людовика XVI, в котором жили две старые княжны. Все это я пишу по памяти, которой вполне доверять я не решаюсь.

Глава 49

ЛЕТО В ГОРКАХ.-

СОБИРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ МОЕЙ МОНОГРАФИИ О ЦАРСКОМ СЕЛЕ.

«АЗБУКА». «ЗМЕИНАЯ ПОЛЯНКА».-

НАЗРЕВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КРИЗИСА.

Я ПРИГЛАШЕН УЧАСТВОВАТЬ В ГАЗЕТЕ

«СЛОВО». КОНЕЦ «МИРА ИСКУССТВА».

АЙСЕДОРА ДУНКАН. ВСТРЕЧИ С ВРУБЕЛЕМ

Лето 1904 г. мы провели в Финляндии, верстах в двадцати от станции Райвола — на восток. Среди «непроходимых» лесов и студеных озер нашлась для нас уютная дачка, стоявшая на территории имения сестры А. П. Остроумовой — М. П. Морозовой. Я и на сей раз не принял в сердце унылый, чахлый финский пейзаж, но все же воздух идеальной чистоты, аромат обступивших нас тесным кольцом сосен и елей, прозрачность озерных вод и нежная меланхолия лимошю-желтых зорь, а также чудесное молоко (и странное отсутствие комаров) сообщило нашему пребыванию в Горках большую прелесть и настоящее отдохновение. Отдыху способствовало и то, что никто из обыкновенно нас «осаждавших» гостей сюда, в такую глушь, не решался заглядывать. Да и я за это лето вдали от городской суеты

основательно отдохнул, несмотря на то, что проводил на даче лишь три последних дня недели, тогда как остальное время оставался в городе, будучи поглощен занятием в архивах — для моей «Истории Царского Села». Ценнейшие сведения я нашел в Государственном Архиве (помещающемся на Дворцовой площади в нижнем этаже министерства иностранных дел) и именно совершенно неожиданно, по указанию любезнейшего архивариуса,— среди самых разнообразных бумаг канцлера Безбородко. Много интересного оказалось и в Архиве министерства двора на Шпалерной. Там властвовал суровый хранитель, но мне удалось не без труда завоевать его доверие, и с этого момента он стал мне оказывать большие услуги. Наконец, работа в Дворцовом архиве Царского Села доставляла мне особое *удовольствие.* Этот архив был сложен в здании царской оранжереи, и надлежало пройти через «лес пальм», чтобы, поднявшись на верхний этаж, очутиться в небольшом, очень светлом помещении, на архив мало похожем. В нем я проводил многие часы в полном одиночестве, в полной тишине, при открытых окнах, через кото-

рые вливался знаменитый своей живительной **прелестью царскоседьскии**

воздух.

Там же, в здании оранжереи я однажды под вечер чудесного летнего дня услыхал пушечный выстрел. То значило, что царица разрешилась от бремени. Просчитав число ударов, которыми ознаменовалось бы рождение особы женского пола и слыша, что пушка продолжает налить, я повял, что Российское государство получило давно ожидавшегося наследника цесаревича. Дай-то бог, подумалось мне тогда, и вероятно, миллионам моих соотечественников, чтобы этот наш будущий государь оказался более отвечающим идеалу монарха, нежели его отец, который, при всех своих «общечеловеческих» качествах и при всем своем шарме, в это время уже перестал пользоваться любовью и доверием своих подданных. Но судьба готовила страшный, трагичный ответ на подобные надежды. Родившемуся в тот день младенцу было суждено, прежде чем погибнуть мученической смертью, стать невинной причиной непрерывной многолетней муки своих родителей; благодаря его же роковой болезни на память его и отца и матери легла жуткая тень Распутина, обладавшего магическим даром останавливать кровотечение, коим страдал несчастный мальчик. А какой то был ясный, радостный день! Какие радостные лица были у всех, кого я

встречал затем, отправляясь после окончания своей работы на вокзал. Как весело неслись со всех концов экипажи — придворные, «собственные» и наемные, спешившие к Александровскому дворцу поздравить царскую чету.

* * *

На даче в Горках я в то лето мало работал с натуры, зато там, в деревенской тишине, я закончил свою «Азбуку» и приступил к иллюстрированию «Капитанской дочки». И то и другое печаталось в Экспедиции заготовления государственных бумаг, но «Азбука», созданная по моей инициативе, вышла затем сразу в печати, тогда как иллюстрации к Пушкину пролежали под сукном до самой Революции, когда они, наконец, нашлись в совершенно другом ведомстве и были мне возвращены.

Целью одной из наших любимых прогулок в Горках была грубо сколоченная круглая беседка, стоявшая на невысоком холмике в центре полянки, густо поросшей можжевельником. К беседке вела узкая тропинка, Там было приятно, прячась от солнца и от дождя (чаще от дождя), читать, беседовать; дети приносили туда свои игрушки. Но среди лета прелесть этого места исчезла, когда обнаружилось, что самая полянка густо заселена змеями-гадюками. Как-то раз наше внимание было обращено на странное сверкание, показывавшееся над низкими жесткими зарослями — то в одном месте, то в другом, а то и в нескольких сразу. Когда это сверкание приблизилось, то явилась возможность различить, что производили его быстро и плавно сновавшие, точно по волнам, змейки-гадюки. Зрелище было занятное, и даже, пожалуй, красивое, но совсем не «уютное». Жена и дети, поняв в чем дело, бросились вон из бе-

седки и закаялись туда ходить. Напротив, меня манили не только это в своем роде очень поэтичное место, но и этот, чуть колдовский «балет», представляемый таинственными и сколь опасными обитателями полянки.

* * *

С середины июля нам пришлось начать поиски новой квартиры. После нескольких тщетных поездок мы, наконец, набрели с женой на нечто вполне подходящее — па какой-то

идеал. Эта находка была просторной квартирой в восемь комнат в последнем доме по 1-й линии Васильевского Острова — у самого Тучкова Моста и больницы Марии Магдалины. Здесь для меня была большая высокая комната с окнами, выходившими на север; просторна была и детская, и наша спальня, а что касается столовой, то она, будучи в одном конце закругленной формы, была пожалуй и чрезмерной, так пак в длину она имела шестнадцать шагов. Зато сколько места оказалось в моем распоряжении для развески своих художественных редкостей. Я особенно гордился пейзажами Гойена, Клаубера, Гюисманса, но особенно картиной Н. Пуссена, изображающей «Похищение Прозерпины»; далее превосходными образцами живописи и рисунка были две батальные картины неаполитанца Ф. Мура, большой кухонный натюрморт («бодегоп»), в котором я не прочь был видеть кисть самого Веласкеса, два наших «фамильных» Гварди, две чудесные сангины, приписывавшиеся Клодиоиу, великолепный проект тронного зала Екатерины II Вален де Ламотта, проект театрального занавеса Т. де Томона, эскизы декораций Гонзаго, Каноппи, Биббиены, две гуаши Жозефа О. Верне, эскиз театральной декорации Буше, наконец, ряд русских вещей: большой вид римской кампаньи Александра Иванова, жанровый сюжет О. Кипренского, «Старуха» Венецианова, портрет придворного скорохода Бурдипа, «Дети, пускающие пузыри» Пнина, портрет Анны Карловны и мой профильный работы Сомова, большая группа семьи моего деда около 1818 г. и т. д., и т. д. Кое-какие свои работы я теперь удостоил чести занять места рядом с этими сокровищами, тогда как бесчисленные другие мои этюды или композиции оставались покоиться в картонах, В картонах же лежала и моя уже тоже порядочно разросшаяся коллекция старинных и новых иностранных и русских рисунков.

Водворились мы на новой квартире в конце августа. Собирались мы зажить в ней на многие годы — так она нам нравилась, такая она была удобная и комфортабельная, по судьба сулила иное и не прожили мы в квартире у Тучкова моста даже года. Политический горизонт все более заволакивался, и это получало отражение на любой частной жизни. С каждом днем усиливалось настроение общей тревоги; известия с войны становились все менее утешительными, и непрестанно росло небывалое общее неудовольствие. Это уже не было обычное в русском обществе «бубнение» и «невинное фрондирование». Ведь даже в своих самых лояльных кругах русские люди и раньше не прочь были позлословить на счет разных персон, стоящих у власти, или критиковать всякие меро-

приятия правительства; в общем, однако, это было скорее довольно благодушное «чесание языка». Особенно падки были на то лица, которые, ничем не рискуя и вовсе не собираясь каким-либо образом примкнуть к «крамоле», чувствовали потребность слыть среди близких за каких-то очень *передовых,* даже не без оттенка чего-то «красного». Тут было и нечто от басни про Моську и Слона, тут было и что-то, что называют «показыванием кукиша в кармане». Так всегда было, и не только вреда не приносило, а напротив, приносило известную пользу, исполняя функцию какой-то отдушины. Так смотрели на подобный ропот и те, кому было поручено блюсти нерушимость общественного порядка. Даже в нашем определенно «полицейском» государстве существовало мудрое правило: «пусть болтают, большого вреда от этого нет». Иные сановники, и те охотно принимали участие в этих пересудах, зная, что ныне никакое «Слово и дело» не может обернуть подобную невинную игру в подобие заговора и в нечто для них опасное.

Семья Беыуа была из наиболее лояльно настроенных, однако, боже мой, как иной раз за обыкновенным семейным сборищем свирепствовали наши домашние зоилы и критиканы (только мамочка озиралась тогда и тревожно приговаривала: «Pas devant les gens!»*). Да что скрывать, и я многогрешный нередко подливал масла в огонь, наслаждаясь своим же собственным «священным негодованием». Так было еще, когда правил не любивший шутки шутить Александр III, так продолжалось в очепь усиленном тоне в дни его сына. Бывало, что (при ощущении прочной надежности всего строя) такая беседа сбивалась и на более «революционный» лад — отчего было не поиграть с чем-то столь далеким и недостижимым, как «ниспровержение существующего строя»? Когда же русские люди попадали в чужие края, то и самые мирные, незлобивые любили пококетничать своим свободомыслием, горько жалуясь на «невыносимый гнет» и вторя «клеветникам России».

Но теперь, под действием той трагедии, что разыгрывалась на Дальнем Востоке, под действием того срама, который приходилось претерпевать всенародно, обычное «бубнение» стало переходить в иной тон. Революция казалась уже не за горами, она как-то вдруг придвинулась к самой действительности. Русское общество почувствовало зыбкость, ненадежность всего и ощутило потребность в коренной перемене. Громче и отовсюду стали слышаться требования «обуздания правительственного произвола», непопулярная японская война способствовала развитию уродливого явления — *пораженчества.* В этой войне стали видеть не столько борьбу с внешним врагом, сколько

средство справиться с внутренней неурядицей. Проиграв войну, обанкротившись, существующий режим должен будет уступить иному, и уже, разумеется, более культурному, опирающемуся на более передовые данные, выработанные политической наукой, и более сходственному с теми государственными системами, которыми гордились передовые государства Запада. Вопрос об обуздании

* Не в присутствии прислуги! *(франц.)*.

абсолютизма, о конституции стал злобой дня, а так как правительство, особенно после гибели среди лета министра Плеве (одного из самых тупых, но и самых храбрых поборников системы неуступчивости), стало выказывать все большую растерянность, то эти вопросы теперь могли быть обсуждаемы и в печати сначала в несколько робких и «иносказательных» тонах, а там все громче и откровеннее.

Как раз я тогда впервые получил доступ к повседневной печати. В тесном кругу людей, интересующихся искусством, мое имя было известно, благодаря сотрудничеству в «Мире искусства» и моей «Истории русской живописи», однако после нескольких (давнишних) тщетных попыток проникнуть в одну из газет, я перестал об этом думать. И вот осенью 1904 г. Н. И. Перцов, приступивший к изданию новой газеты умеренного направления, сам обратился ко мне с предложением взять на себя в «Слове» отдел художественной критики. Хотя Н. И. Перцов был близким родственником моего приятеля — члена «Религиозно-философского общества» Петра Петровича Перцова, однако до того времени я с Николаем Ивановичем не встречался, но из беседы с ним выяснилось, что он мой «усердный читатель» и что вообще лично интересуется искусством. Внешность Перцова не особенно располагала к нему. Это был высокого роста, массивный, очень прямо державшийся, черноволосый и чернобородый господин с необыкновенно грубыми и некрасивыми чертами лица, чему, впрочем, противоречила его воспитанность и отличные манеры. В общем, он производил впечатление не то что высокомерного, но все же преувеличенно сдержанного, холодного «европейца». Что же касается его художественных взглядов, то они не были созвучны с моими, а отличались известной склонностью к академической банальности и большим недоверием ко «всяким крайностям», а крайностями в те времена представлялось все, что хоть немного выходило за пределы самого обывательского реализма. Однако Н. И. Перцов гарантировал мне полную свободу мнения в своей газете, и именно это явилось для меня тем соблазном, перед которым я не

смог устоять. Оставалось выяснить политическую окраску «Слова», и на этом особенно настаивал Д. Философов, тогда еще не переставший заботиться о соблюдении друзьями какой-то осмотрительности в их общественных выступлениях — недаром за ним все еще числилась у нас кличка «гувернантки». По его совету, я и предложил Перцову вопрос — «будет ли газета стоять за реформы, за конституцию?» (до которой мне лично было мало дела). Когда я в ответ услыхал категорическое «разумеется», то моим колебаниям настал конец, и я согласился стать постоянным сотрудником новой газеты, которая, если я не ошибаюсь, стала тогда же осенью выходить.

414*jyt ¢g Конец «Мира искусства»*

ˆг ˆг ˆг

Надо еще сказать, что как раз тогда же мы решили покончить с нашим детищем, с «Миром искусства». Последней попыткой продолжить его существование явилось со стороны — в виде предложения нашей прежней меценатки, княгини М. К. Тенишевой, вновь взять на себя расходы по изданию нашего журнала. Мы было пошли на это — жаль было бросать столь все же близкое нам дело. Но Тенишева ставила непременным условием принятие в качестве равноправного третьего редактора (кроме Дягилева и меня) и И. К. Рериха *, а это совершенно не нравилось никому из нас, так как, при всем уважении к таланту Рериха, как художника, мы «не вполне доверяли ему» как человеку и товарищу, не верили в его искренность и в самое его расположение к нам. Прибавлю к этому, что прекращение издания «Мира искусства» не причинило нам большого огорчения. Все трое, Дягилев, Философов и я, устали возиться с журналом, нам казалось, что все, что нужно было сказать и показать, было сказано и показано, поэтому дальнейшее явилось бы только повторением, каким-то топтанием на месте, и это особенно было нам противно **.

Первые номера «Слова» появились еще осенью того же 1904 г.; в них было несколько моих статей и заметок z. К сожалению, у меня нет под рукой этих моих первых опытов газетного сотрудничества, и, кроме двух статей, я не помню, о чем именно они толковали. Запомнилось только, что одна из моих статеек была посвящена моему кумиру — Адольфу Менделю 3, как раз в то время окончившему свою долгую и плодотворную жизнь, а другая — танцовщрще Айседоре Дункан, восторженным поклонником которой я тогда выступил.

Танцы Айседоры произвели на меня (и на очень многих — среди них на будущего нашего ближайшего сотрудника М. М. Фокина) глубокое впечатление, и скажу тут же, что если мое

увлечение традиционным или «классическим» балетом, против которого Айседора вела настоящую войну, и не было поколеблено, то все же я и по сей день храню память о том восхищении, которое вызвала во мне американская «босоножка». Не то, чтобы *все* в ней мне нравилось и *убеждало.* Начать с того, что она, как женщина, не обладала, на мой вкус, каким-либо шармом—тем, что теперь так грубо означается словом sex appeal. Она не отвечала ни одному из моих идеалов (не то, что Цукки, или Павлова, или Карсавина, или Спесивцева, или сестры Федоровы). Многое меня коробило и в танцах; моментами в них сказывалась определенная, чисто английская жеманность, слащавая прециозность. Тем не менее, в общем, ее пляски,

Я не читал воспоминаний княгини Тенишевой (изданных в Париже), но мне говорили. что весь этот эпизод с кандидатурой Рериха выставлен там в ином и в превратном смысле — в частности, что княгини в этих записках очень отрицательно отзывается обо мне и о всей нашей компании. Бог ей судья. Мне же жаль, что она не нашла иного послесловия нашему содружеству и сотрудничеству.

IV, 49. Конец «Мира искусства»

415

ее скачки, пробеги, а еще более ее «остановки», позы были исполнены подлинной и какой-то осознанной и убеждающей красоты. Главное, чем Айседора отличалась от многих наших славнейших балерин, был дар «внутренней музыкальности». Этот дар *диктовал* ей все движения, и, в частности, малейшее движение ее рук было *одухотворено.*

После одного пз ее выступлений в 1904 г. поклонники решили чествовать артистку ужином, устроенным в верхнем зале ресторана Кюба. Я был среди приглашенных и удостоился чести сидеть рядом с этой несомненно «гениальной», но и шалой в жизни женщиной. Естественно, что во время такого пиршества ни о чем серьезном не говорилось. Беседа ограничилась шутками, тостами, изъявлениями восторга. Особенно вдохновенным характером отличалась речь милого, совершенно обезумевшего от восторга, все еще продолжавшего пылать юношеским пылом Яна Ци-онглинского. Перед тем, чтобы произнести ее, он нагнулся через стол ко мне и, захлебываясь от волнения, произнес (по-русски, но с очаровательным польским акцентом) незабываемые слова: «Ты понимаешь, Александр, что это такое? Это не женщина, это Ангел, это черт какой-то!!» Свою аигелобесовскую натуру Айседора тут же проявила. Она, сильно запьянев, вдруг заявила, что желает плясать. Немедленно был отодвинут в сторону стол, все расселись широким кругом, а она, сбросив с

себя верхнюю хламиду, и оставшись в одной короткой рубашонке, сымпровизировала вакхический танец («Oh, je vais vous danser une danse bacch¿que» *)Т а под конец грохнулась (не причинив себе ни малейшего увечья) на ковер... Кто-то из устроителей отвез ее затем в «Европейскую» гостиницу, где она остановилась, и рассказывал потом, что и там безумица еще долга не могла успокоиться, плясала, валялась по полу, обнимала и целовала своего спутника. Насилу вырвался 2*.

Последние месяцы 1904 г. прошли у нас в приготовлениях к Исторической выставке портретов. С высочайшего разрешения Дягилеву был для того предоставлен в полное распоряжение необъятный Таврический дворец, и теперь надлежало придумать, как его использовать. Этими планами был главным образом занят я. В помещении, вовсе для того не предназначенном, надо было разместить всю массу имевших поступить картин, скульптуры и всякой драгоценной мелочи. При этом желательно было соблюсти известную систему, какой-то хронологический порядок, дабы все в целом могло представить течение истории России и в то же

* Я вам спляшу танец вакханки *(франц.)*. г* Тут же вспоминаю рассказ К. С. Станиславского про подобный же пир в Москве. И тогда Дункан без устали плясала, валялась и снова плясала, а под самое утро, уже совершенно пьяная, пожелала *на деле* выказать свою страсть. Себе же в пару она наметила, к немалому его смущению, нашего целомудренного Константина Сергеевича Станиславского. Стараясь соблазнить его, беспредельно сконфуженного, она доказывала ему, что от двух таких гениев, как она и он, непременно должно родиться существо небывалой красоты и значительности — какой-то (сподлиппыё сверхчеловек». Насилу Станиславский от подобного сотрудничества уклонился.

время явить собой некое торжественное целое. Я чрезвычайно увлекся задачей и был счастлив, когда Сергей принял мой план безоговорочно, а это значило, что он, по своему обыкновению, приложит всю свою энергию на его исполнение. Я притянул к делу моего племянника, даровитого и очень культурного архитектора Николая Лансере 3*, а также его ближайшего приятеля А. И. Таманова. Оба только что кончили Академию художеств и горели желанием послужить делу, затеянному «Миром искусства», усердными поклонниками которого опи состояли. Первым долгом надлежало разбить все помещение по царствованиям, а для того, чтобы выразить это особенно явственным образом, я придумал, что в каждом из больших зал

будет род тронного места под балдахином с драпировками, под которыми и был бы помещен наиболее характерный и величественный портрет данного монарха. Такие «тронные места» Н. Е. Лансере и А. И. Таманов скомпоновали для Петра I, для Елисаве-ты Петровны, для Екатерины II, для Павла I, для Александра I и для Николая I.

Открытие выставки было сначала намечено в середине января, но довольно сложные строительные и обойные работы затянулись. Устроителям это пришлось кстати, мы и не торопились. Так интересно было заниматься сортировкой картин, попутно их изучая и сравнивая между собой! Немало запущенных, порванных пришлось подвергнуть реставрации. Каждый день прибывало по новой партии. Сколько получалось открытий! Сколько удалось исправить застарелых ошибок и ложных «традиций». Насколько отчетливее становились личности некоторых больших мастеров с Левицким на первом месте. Доступ посторонним лицам на выставку до открытия был строжайше запрещен, но, разумеется, для целого ряда лиц были сделаны исключения, вследствие чего зачастую получались в Таврическом дворце род каких-то конференций, состоявших из особенно сведущих и особенно заинтересованных любителей. Среди них особенно нам желательны были: князь Аргутинский, С. Н. Казнаков, П. Я. Дашков, гр. Д. И. Толстой, В. А. Верещагин.

* * *

В эти же последние месяцы 1904 г. у нас неоднократно бывал М. А. Врубель. После двух лет длившегося кризиса умопомешательства он теперь стал снова нормальным, а так как жена его Н. И. Задела получила ангажемент в Мариинском театре, то супруги перебрались из Москвы в Петербург. Беседуя с ним, трудно было себе представить, что этот человек, такой рассудительный, уравновешенный, столь заинтересованный и искусством и жизнью, такой *очаровательный собеседник,* совсем

3* Он же помог мне придать Елисаветинской выставке в 1911 г. необычайно пышный, выдержанный строго в стиле эпохи характер: Н. Е. Лансере был самоотвержен до крайности, а в смысле дарования он удивительно напоминал своего **деда — моего отца.**

IV, 50. 9 января 1905 г .

417

недавно был в полном смысле слова безумцем, лишенным контроля над собой, а временами даже одержимым буйными

изъявлениями животных инстинктов. Но и от прежнего Врубеля этот «выздоровевший» Врубель тоже сильно отличался. Куда девалась его огненность, горячность, блеск его красноречия, его независимые «протестующие» мысли? Теперь Врубель стал тихим и каким-то «покорным», но вследствие того и несравненно более *милым,* уютным, нежели прежде.

Я несколько раз заходил к нему в ту небольшую, скромно обставленную и несколько темноватую квартиру, которую Надежда Ивановна нанимала на Театральной площади позади Консерватории. Тут Врубель работал. Но это уже не были прежние колоссальные затеи, требовавшие пространной и светлой мастерской. Он почти и не касался масляных красок, а довольствовался карандашом и акварелью. Странным показался мне выбор задач. Так, несколько рисунков воспроизводили выпуклые узоры на том пикейном одеяле, что покрывало его ноги, в другой серии он тоже карандашом старался передать блеск и *переливы* перламутровой раковины. Сделано это было с удивительным старанием и большим мастерством, а когда Врубель мне показал и начатую акварелью картину, изображавшую раковину с наядами, расположенными по ее краю, то я понял, что он извлек для себя ценного из такого казалось бы «сухого» изучения. Получился тот его шедевр \ который, если я не ошибся, приобрел князь С. А. Щербатов и в котором действительно создана своего рода «поэма моря». Тогда же Врубель был занят портретом жены5, которую он представил среди березовой рощи. Эта картина, если и обладала известной странностью в самой затее, однако она ничем не выдавала того, что несчастный художник создал ее в перерыве между двумя кризисами безумия, из которых последний оказался беспощадным. Недуг овладел им окончательно и уже не покидал его до самой смерти — шесть лет после описываемого периода, шесть лет невыносимых нравственных и физических страданий.

Глава 50

9 ЯНВАРЯ 1905 года. УГРОЗА ОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ. ТАВРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ. НАШЕ ОТБЫТИЕ ИЗ РОССИИ

1905 год. Вот мы и дошли до этого рокового года, получившего в дальнейшем значение какой-то «генеральной репетиции» перед окончательным спектаклем — революции 1917 года <...>. Ни убийство Сипягина, ни убийство Плеве, ни все более тревожные известия с театра войны не произвели того

впечатления, которое произвело знаменательное 9-е ян-

варя, ставшее такой же исторической датой, как 14 июля — взятие Бастилии, как 4 сентября — падение Второй империи и т. д. Чувствовалось уже задолго до этого, что нечто назревает, что накопляется гроза, готовая разразиться. С осени 1904 г. все пресловутое «фрондирование» общества стало окончательно терять свой прежний характер. Неизбежность, необходимость радикальных реформ стала чем-то общепризнанным, толки на эту тему получ*или даже привкус «моды». Где бы русские люди ни сходились, беседа по любому вопросу сразу сворачивала на обсуждение общественных дел и принимала горький, негодующий оттенок. Наконец, первый гром грянул, но после того атмосфера нисколько не прояснилась; напротив, с этого момента водворилось настоящее политическое ненастье, и оно установилось надолго. То, что произошло в утро 9 января, дошло до меня и до моей жены почти сразу. Первым вестником уже этой трагедии явились наши дети ** и их бонна, гулявшие, по обыкновению, в Соловьевском сквере, что под боком у Академии художеств. Они вернулись раньше, чем мы их ожидали, и в чрезвычайном возбуждении, перебивая друг друга, они спешили сообщить пережитое: «Man schiesst auf die Strassen. Da sind viele Verwundete. Und auch viele Toten» *.

Большего толка трудно было добиться ни от детей, ни от окончательно напуганной фрейлейн Наннн. Немного позже прибежали Женя и Коля Лансере. Их известия носили более определенный характер. Ко-лоссальная-де масса рабочих направлялась с популярным попом Гапопом во главе к Зимнему Дворцу с целью подать какую-то петицию государю, но была в упор расстреляна. Вся-де площадь перед дворцом усеяна трупами и ранеными. В других местах происходили такие же расправы. По проверке оказалось затем, что число жертв, слава богу, не столь велико, но самый факт расстрела ни в чем неповинных, мирно настроенных людей оставался возмутительным. Чего в точности хотели рабочие, никто в нашем кругу не знал, но то, что они, безоружные, имели высказать какие-то свои пожелания (о требованиях не было тогда и речи) верховному главе государства, встречало общее сочувствие. Надо было принадлежать к категории завзятых черносотенцев, чтобы мыслить и чувствовать иначе.

Меня известия, принесенные нашими детьми и братьями Лансере, до того перебаламутили, что я, невзирая на уговоры

жены и на крики детей, решил сразу отправиться в поисках более обстоятельных сведений. Как раз в Академии художеств была за день или за два до того устроена (в двух больших залах на Неву) наша очередная выставка «Союза русских художников». Я туда и отправился. На обыкновенно столь спокойных и даже «сонных» улицах Васильевского Острова сразу бросалось в глаза необычайное возбуждение. Всюду стояли группы людей, что-то горячо обсуждавших. И такое же возбуждение я застал в стенах Академии,

Девочкам было десять и восемь лет, мальчику три с половиной.

На улицах стреляют. Там много раненых. И много убитых *(нем.)*.

IV, 50. 9 января 1905 г ,

419

начиная со швейцара, облеченного в красную ливрею с гербовым галуном, и кончая музейными сторожами. Публики на выставке не было, но от двух моих товарищей по «Союзу» и от хранителей Академического музея я услыхал то, чему они все были свидетелями. В непосредственной близости от Академии, у выхода 4-й и 5-й линий на Невскую набережную произошла час тому назад такая же стрельба, как на Дворцовой площади, ей подверглась та колонна рабочих-манифестантов, которая направлялась к Николаевскому мосту. Служащие Академии (и среди них почтенный А. П. Соколов, главный хранитель музеев), квартиры которых выходили на 4-ю линию, оказались непосредственными очевидцами этого расстрела — опять-таки в упор... Офицер Финляндского полка, стоявший прямо под окнами, отдал приказ, не предпослав тому обычное предупреждение. Вероятно, именно этот залп и слышали наши дети и бонна.

Почему такое могло случиться? Кто был в этом виноват? Сразу возникли бесчисленные комментарии. Впрочем, никто не сомневался, что тут действовала провокация; вероятно, и сам поп Гапон, затеявший шествие к батюшке-царю, был провокатором, действовавшим в согласии с полицией, решившей, что надо создать устрашающий прецедент.

Больше всего пострадали не манифестанты, участвовавшие в самом «ходе», а собравшиеся поглазеть на диковинное зрелище совершенно посторонние люди, с этой целью пробравшиеся в засыпанный снегом Александровский сад. Оттуда действительно можно было как-то со стороны и в казавшейся безопасности видеть то, что готовилось произойти на Дворцовой площади. И как раз эти посторонние жестоко поплатились за свое

любопытство. Мальчишки, которые влезли, чтоб лучше видеть, на деревья, дети и бабы, которые стояли в саду за решеткой ограды, они-то и были почти все убиты или ранены первым же залпом тех войск, что были приведены охранять резиденцию. А царя-то вовсе в Зимнем Дворце и не было. Николай II с семьей с осени не покидали Царского Села. Таким образом, до него самого в тот день все равно депутации от рабочих не было бы возможным добраться...

Но одной трагедией расстрела рабочих так сразу разразившаяся гроза не ограничилась. До самой ночи улицы и площади Петербурга оставались полны народа; посреди всего Невского вытянулись пикеты войск (С. С. Боткина, проезжая по Невскому, видела, как где-то у Казанского собора высилась тяжелая фигура герцога Мекленбургского во главе эскадрона Петергофских конногренадеров), движение экипажей по главным артериям было сведено до минимума, зато тротуары — особенно по Невскому — были запружены почти сплошь.

Не будучи в силах совладать со своим любопытством, я часов около двух с половиной сам отправился в центр на разведки. В нашем квартале извозчиков не оказалось, и тогда я избрал самый практический для передвижения и для наблюдения способ, а именно империал той конки, которая проходила мимо нашего дома, а свернув через Тучков мост,

пересекала всю Петербургскую сторону и дальше направлялась через Троицкий мост, на Михайловскую площадь. Но до конца я не доехал, а сошел у памятника Суворову и дальше пошел (захватив по дороге Валечку, которого я застал у Сережи) по набережной Фонтанки. Подходя к Невскому, мы встретились с Д. М. Толстым, тоже пришедшим со своими двумя мальчиками поглядеть, что творится. У нас было намерение дойти до Адмиралтейства и вернуться через Николаевский мост, но, дойдя до Гостиного двора, вид запруженной черной массой улицы показался в сгущающихся сумерках до того грозным (пикеты войск были сняты, фонари не зажжены), что мы, случайно найдя извозчика, предпочли свернуть на Садовую, а там на Гороховую. И вот на углу последней улицы наша разведка чуть не окончилась плохо. Извозчик сдуру попробовал крикнуть «посторонитесь, добрые люди», пересек густую толпу и при этом он слегка задел оглоблей какую-то бабу. Сразу раздались крики: «Куда лезешь? Вздумал людей давить. Бей его, бей их». И на несчастного ваньку посыпались кулаки. Недолго думая, я соскочил с низких санок на

снег и попробовал потащить за собой Валечку, но тут извозчик так сильно ударил по своей кляче, что она дернулась вперед и вынесла из опасного места. Я же поплелся один и благополучно дошел до дому с ощущением, что выбрался из довольно опасного положения.

Настоящей опасности быть изувеченной подверглась тогда же моя бель-сер, Мария Карловна. Она совершала свою обычную прогулку (она жила на Мойке у Круглого рынка) и, дойдя до Полицейского моста, попала, ничего еще не ведая, в толпу. Это был, вероятно, момент сразу после стрельбы по Дворцовой площади, а на Невском взволнованные массы неслись одни в одну сторону, другие в обратную. И вдруг раздались вопли: казаки, казаки. Действительно, карьером пронесся по мосту отряд казаков, стегая нагайками без разбору по сторонам. Один из ударов и пришелся по голове нашей бедной Маши; еще немного, и она лишилась бы глаза, а так она отделалась одним глубоким шрамом. Ошалевшая толпа вынесла ее затем на набережную и вниз по ступеням схода к замерзшей воде. Тут Маша простояла вместе с другими с добрый час, так как все еще по мосту взад и вперед проносились казаки и было опасно подняться на улицу. То и дело раздавались выстрелы...

Брожение в Петербурге, в Москве и во многих городах после этого росло и углублялось, и вполне естественно, что более сознательно и планомерно оно проявилось на заводах среди рабочих, где революционная пропаганда находила теперь себе особенно подготовленную почву. Начались стачки, и скоро заговорили о близости генеральной забастовки. Проносились слухи, что железные дороги станут, что не сегодня-завтра прекратится водоснабжение, и почти во всех квартирах, где были ванные, таковые спешно наполнялись водой. Заговорили снова и о террористических заговорах, а полиция, опомнившись после первого переполоха, принялась с удвоенным усердием за преследование и поимку подозрительных лиц. Одного такого скрывавшегося от полиции молодого человека привел к нам невзначай Женя Лансере, не забывший своих парижских

*

мятежнических наклонностей и находивший в этом себе поощрение со стороны своей жены и ее брата, Юрия Арцыбушева. Целый вечер этот молодой и очень приятный «крамольник» провел тогда у нас, причем, должен покаяться, что каждый звонок с парадной в тот вечер заставлял нас вздрагивать особым образом. Ночевать его взял к себе Женя. Помнится, что у

молодого человека не было шапки (он ее потерял, убегая от казаков на Невском), и я ему пожертвовал свою мерлушковую, за неделю до того купленную.

Толки о генеральной забастовке, помимо общей тревоги, которую слухи вселяли, заботили нас еще и в чисто личном отношении. Дело в том, что наш маленький Коля (он еще не получил своего позднейшего прозвища: Кока), которому теперь было три с половиной года, все чаще и чаще болел какой-то невыясненной, но очень изнуряющей болезнью. Лечивший его доктор решил, что это малярия, и тогда явилось подозрение, не схватил ли наш мальчик недуг в Анцио или во время той экскурсии, которую Анна Карловна предприняла с детьми на озеро Альбано, проехав часть пути по пресловутым Понтийским болотам, тогда еще не всюду осушенным. Доктор считал, что единственным спасением для мальчика была бы перемена климата, и усиленно советовал длительное пребывание где-нибудь в Бретани или в Нормандии. В Петербурге меня ничего не держало, если не считать уже близившейся к концу работы по устройству Таврической выставки и поэтому было решено, что как только выставка откроется, мы тронемся в путь. На первых порах проектировалось поселиться где-нибудь в Версале или в Сен-Клу. Я успел заручиться через Юру Арцыбушева поручением от самой распространенной тогда прогрессивной газеты «Русь» * посылать еженедельно фельетоны на какие угодно темы, и щедрый гонорар за них должен был нас в значительной степени обеспечивать.

На самом деле все обошлось несколько иначе. Петербург и Россию пришлось покинуть несколько раньше, чем предполагалось, вследствие чего я не присутствовал па открытии выставки. Таким образом, я лишился случая увидать еще раз вблизи государя (после 9 января было особенно интересно войти в какой-то личный контакт с тем, кто без личной вины уже тогда нес ответственность за это тяжкое преступление). По приезде в Париж мы поселились на первых порах не в окрестностях его, а в самом городе, причем я, к великому своему огорчению, сразу лишился того заработка, на который я вполне рассчитывал. Моих фельетонов было помещено всего два 2 (они у меня не сохранились и теперь я забыл самые их темы), зато оправдалась пословица: Qui va à la chasse perd sa place *. Впрочем, пожалуй, самая моя манера писать, самые мои мысли и интересы в связи с усилением грозового настроения в России просто оказались «несозвучными» с моментом. Приблизить же срок нашего отъезда пришлось из-за того, что слухи о генеральной заба-

Кто место свое покидает, тот его теряет *(франц.)*.

стовке (и прекращении движения на железнодорожных путях) росли и приобретали особенно тревожный характер. Мы и собрались к отъезду в каких-то нервных попытках, рассчитали прислугу и, сдав все дела по ликвидации квартиры Жене Лансере, тронулись в путь. Ехали мы до самой границы в сплошном страхе, как бы не застрять в пути, и, лишь перевалив через границу, вздохнуль спокойно.

Еще несколько слов о Таврической выставке. В момент моего отъезда устройство ее в главных своих частях было закончено. Я все исполнил, что от меня ожидалось, и покидал Петербург со спокойной совестью. Все картины и скульптуры висели согласно выработанному плану, монументальные портреты государей украшали иод своими балдахинами центральные места — в залах, посвященных эпохам каждого царствования. Под высокими полированными белыми колоннами зеленый уголок пакетов ского «сада» являлся особенно приятным местом отдохновения. Было что-то давяще-душное в том многолюдном пестром сборище, что представляли собой все эти вельможи, облаченные в золотое шитье картины, все эти расфуфыренные дамы, весь этот «Некрополь», вся эта vanitas vanitatum *, и вот, сидя в садике в обществе беломраморных бюстов, можно было передохнуть.

Все было готово, все расставлено и развешено, и только в последних залах, предоставленных XIX веку, продолжалась работа по раскладке миниатюр и акварелей по витринам, а наши «адъютанты», среди которых особым усердием отличался милый Кока Врангель, нашпиливали номера и этикетки, носясь по всей выставке. Я мог вполне судить об удаче общего эффекта, который получился поистине *грандиозным.* С тем более тяжелым сердцем, чуть не плача, прошелся я в последний раз по всем залам, сознавая, что благодаря моему отсутствию, мне не достанется и малейшая доля той чести, которую я заслуживал в качестве одного из инициаторов и одного из главных реализаторов этой колоссальной затеи. Надеяться на то, что Сергей заступится за отсутствующего друга, я, зная по опыту его обыкновения, не мог. К тому же он был зол на меня за то, что я его покидаю в такую важную минуту.

Впоследствии из писем и из устных рассказов я узнал, как сошел самый праздник, открытие выставки. Сошел он по раз установленному церемониалу: государь, прибыв вместе с значительным числом членов царской фамилии, медленно прошел по этой нескончаемой галерее предков. Объяснения давали Дягилев, в. к. Николаи Михайлович и II. Я. Дат-ков. По окончании обзора, длившегося около двух часов, Николай II

благодарил и своего «дядю», и Дягилева, и Дашкова, но при атом не было произнесено ничего такого, что выдало бы какое-то личное его отношение ко всему осмотренному. А между тем ведь все это имело к нему *именно личное* отношение, все это говорило о прошлом российской монархии, в частности о предшественниках его, Николая II, на троне, а также

* Суета сует *(лат.)*.

об их сотрудниках и сподвижниках. Известно было, что государь «интересуется» историей, а здесь развернулся грандиозный «парад истории», что неминуемо должно было так или иначе затронуть его Душу. Но или тут еще раз сказался тот «эмоциональный паралич», которым страдал государь, его неспособность выявлять свои чувства, или же ему могло показаться, что все эти «предки» таят какие-то горькие упреки или грозные предостережения. И ему, неповинному в том, что таким создала его природа, стало от всех этих упреков и угроз невыносимо тяжело.

Не помню, поспел ли ко дню открытия каталог (точнее, каталоги), но вчерне он уже был составлен при мне, и я успел с Сергеем и с Врангелем продержать несколько корректур. Все (или почти все) портреты были фотографированы, и я поспешил сдать в мое любезное издательство Красного Креста значительное количество их для печатания открыток, которые должны были продаваться на выставке с первого же дня ее открытия. Для увековечения столь исключительной затеи тогда же было задумано и несравненно более значительное издание, но, к сожалению, в течение наступившего тогда же смутного времени, нечего было думать о чем-то подобном, а потому мои друзья ограничились одной подготовкой документального материала, пользуясь тем, что такая масса портретов собрана в одном месте, что облегчало задачу их всестороннего изучения. У Дягилева до окончания выставки скопилась не одна тысяча фотографий (с обозначением владельцев, размеров, техники и происхождения), но вся эта масса снимков так до сих пор и не увидала света. Тому виной было, между прочим, то, что сам Дягилев охладел к издательству художественно-исторических исследований и весь ушел в театр. Я прожил два с чем-то года за границей, а но возвращении в Россию и меня тоже целиком поглотил театр. Что же касается Врангеля, то он, при всей своей энергии, не был наделен талантом изыскивать необходимые материальные средства, потребные для того, чтобы поднять подобное дело. Лишь после создания в 1907 г. Вейнером и Верещагиным

сборника «Старых годов» тот же Врангель настоял на том, чтобы Вейнер приобрел все эти фотографии, но и тут произошла такая проволочка в передаче их Дягилевым, что и до самой революции ничего не могло быть предпринято. Где теперь эти сокровища, мне не известно, и очень возможно, что они безвозвратно погибли.

В связи с выставкой у меня возникла и другая мысль, точнее, что моя давнишняя мечта представилась тогда вполне осуществимой. Я говорю об Историческом музее в Петербурге, в основу которого легли бы, если не все портреты, бывшие на выставке, то весьма значительная часть их. Портреты из дворцов могли бы, во всяком случае, быть переданы в такие специальные хранилища но высочайшему повелению, а среди частных владельцев несомненно нашлось бы немало, которые согласились бы пожертвовать или продать то, что у них сохранилось. В качестве же идеального здания для такого собрания мне казалось, что трудно было бы найти что-либо более подходящее, нежели Михайловский (Ин-

424*IV, 50, 9 января 1905 г.*

женерный) замок, который уже сам по себе является перворазрядным художественным и историческим памятником. Эти мысли я изложил в одном из своих фельетонов в газете «Слово» (куда я вернулся, выйдя из состава сотрудников «Руси»), однако какого-либо сочувственного отклика на это свое предположение я не встретил, а от своего ближайшего друга — Д. Философова — я получил (уже живя в Версале) очень строгий нагоняй. Он нашел почему-то мой проект «верхом пошлости». Очевидно было, что мое выступление было несвоевременным, а следовательно, и ненужным. Однако я и по сей день считаю, что мысль моя была хорошая (слишком хорошая) и что если бы она осуществилась, то Петербург и вся Россия обладала бы теперь изумительным до своей грандиозности хранилищем своего славного прошлого.

1

КНИГА ПЯТАЯ

Глава 1 [ЛЕТО 1905-1906 гг. ПРИМЕЛЫ

Свои памятные записки я прервал на том, как в феврале 1905 г. мы всей семьей в пять человек в сопровождении племянницы Сони Лансере отправились на продолжительное пребывание за границу — в Париж. Я только что тогда успел закончить свою часть работ по устройству грандиозной выставки русских портретов в Таврическом дворце, однако не пожелал остаться еще на три дня, когда должно было состояться ее торжественное открытие в присутствии царской фамилии. То было своего рода бегство. Надлежало как можно скорее увезти нашего маленького четырехлетнего Колю (лишь впоследствии переименованного в Коку) из зловредного для него петербургского климата, и надо было особенно с этим спешить, так как упорно ходили слухи, что с минуты на минуту может произойти общая забастовка. Б воздухе уже чувствовалась революция в связи с тяжелым положением па японском фронте и под потрясшим все слои впечатлением от кровопролития 9 января. Генеральная забастовка — нечто до того времени никогда не бывавшее — грозила прервать, быть может, и па очень долго, железнодорожное движение, а там предвиделись всякие другие осложнения и непорядки. Денег у нас оставалось (от отцовского наследства) тысяч пятнадцать (в облигациях), not кроме того, я заручился через зятя Жени Лансере — Юру Арцыбушева — «совершенно верным» и немаловажным заработком, заключавшимся в сотрудничестве в одной из самых распространенных газет — в «Руси». Прибавлю тут же, что после двух фельетонов мое это сотрудничество, к сожалению, прекратилось — то ли из-за моего «общего несозвучия» с тоном и направлением газеты, то ли потому, что мое пребывание в каких-то «эстетических эмпиреях» показалось уж очень несвоевременным. Эта утрата материальной опоры привела к тому, что, очутившись на чужбине, мне с женой сразу стало «очень неуютно»—тем более, что, покидая надолго Петербург, мы распростились с нашей (недавно нанятой и во всех отношениях прекрасной) квартирой на 1-й линии у Тучкова моста, а все наши вещи были расставлены по складам, по родным и знакомым. У пас на родине не было больше «ни кола, ни двора»— самого-«дома». К этому материальному вопросу я постараюсь более не возвращаться, но должен сказать, что именно он нас чрезвычайно мучил в течение всего этого времени (двух с

половиной лет), которые мы тогда прожили за границей — тем более, что моментами этот вопрос обострялся в чрезвычайной степени. С точки зрения нормального благоразумия наша

вся эта тогдашняя «авантюра» могла бы подвергаться и очень сильной критике, но нам казалось, что иного выхода нет и что для спасения нашего мальчика такая жертва необходима. С другой стороны, надо признать, что в этой «авантюре», наряду с мучительными и тревожными, было немало радостных моментов, и в общем у нас сохранилось о том времени скорее светлое воспоминание. Много способствовало тому, что мы целый год (с осени 1905 г.) провели в божественном Версале, а оба раза на лето возвращались в Бретань, к которой и у меня, и у жены, и у детей было какое-то чувство удивительной близости и нежности.

Весной 1905 г. (когда мы уже несколько месяцев прожили своим домом в Париже) настал момент решить, где нам поселиться на лето. По совету нашего все того же парижского доктора Боэлера мы остановили свой выбор на местечке Локирек на северном побережье Бретани, тогда как возвращаться в Примель, где нам так хорошо было восемь лет назад, не хотелось. А вдруг разочаруемся, а вдруг все в Примело до неузнаваемости изменилось. Однако, попав в Локирек, это местечко показалось нам столь невзрачным, обыденным и «скучным», настолько уступающим *божественному* Примелю, что я сразу отменил установленный план и, последовав «зову души», один проехал в Примель, где на месте удостоверился, что все в нем по-старому, что это все столь же исключительно чарующее место, а к тому же сразу нашлось и подходящее обиталище. Я отправил условленную телеграмму жене: «venez!» *, а уже на следующее утро мы снова все были в сборе в Примеле. Атя с помощью взятой из Парижа прислуги быстро привела в порядок нанятый нами только что построенный домик (стоявший не среди деревушки, а отдельно в поле) и наладила хозяйство, наняв в помощь Léonie крепкую старуху Marie и подручную девочку лет четырнадцати Marie-Josephe, в обязанности же Сони Лансере входил присмотр за детьми.

И на сей раз при нашем домике не было сада — но стоит ли об этом сожалеть, когда вокруг в нашем полном распоряжении было столько простора, столько живописного, и все было насыщено дивным морским воздухом. Не было и отдельной для меня мастерской, но об этом я менее всего жалел, так как пространный чердак с довольно крутым слуховым окном оказался вполне пригодным для работы. А работать я собирался без устали

и с упоением. Как раз тогда я решил оставить водяные краски и перейти на масло—«заделаться настоящим живописцем», и сразу увлекся этим новым для меня делом в сильнейшей степени. Мне казалось, что в масле мне легче будет применить на деле те советы, которые я «высмотрел» у импрессионистов и вообще у современных художников. Целые два года я после того и в Бретани, и в Париже, и в Версале писал больше маслом, нежели акварелью, и у меня за этот период накопилось большое количество этюдов разного формата. И все же я так и не превратился в «масляниста», нечто «кровное», наследственное, какие-

* Приезжайте *(франц.)*.

то с детства привитые навык и вкус взяли верх. Тем не менее, работа маслом принесла свою пользу. Я лучше научился схватывать общее, смелее выбирать краски, и выработал более широкую технику. Наконец я окончательно поборол в еебе наклонность к «изящной манерности».

Если, в общем, мы нашли Примель в 1905 г. таким же, каким мы его покинули в 1897 г., то все же некоторые перемены произошли и здесь, но только, слава богу, не было перемен в чудесной дикости общего характера этого удивительного уголка Бретани. По-прежнему совершенно первобытной оставалась уходящая в море гранитная коса, кончающаяся скалистой глыбой Pointc de Primel *, всюду виделись вычурные, изъеденные морем розовые камни. Лишь места, ближе лежащие к деревушке отданы были под посевы и огороды. Возникшие за эти девять лет постройки состояли лишь из двухэтажного белого дома, в котором поместился кабак (четвертый по счету), и из двух дач буржуазного типа с примыкающими к ним новопосаженпыми садиками. Все это не портило общего характера. Одна из этих дач — ближайшая к нам — принадлежала жителю St. Germain-en Laye под Парижем — Mr. Ledoré, с детьми которого у наших детей сразу завязалась тесная дружба, особенно с обоими мальчиками — десятилетним Пьером и восьмилетним Жаном, прозванным почему-то «Jean-Doudon-L'Adiniral» **. Это были очень милые, воспитанные дети, умевшие бурно резвиться, це впадая, однако, в какое-либо озорство **. Были в той же семье и девочки, такие же благонравно веселые, как мальчики. Из старшего поколения — мадам Пупон, хозяйка большого отеля, носящего ее фамилию,— с прежней деловой мудростью и не ослабевшей властной рукой управляла своей процветавшей гостиницей, но мадам Тальбот, имевшая столь разительное сходство с жабой, уже пять лет как покоилась в земле, а ее отельчиком заведовал ее бездарный,

вялый и слащавый сын. Он же был не прочь напиваться в компании с рыбаками и рабочими в собственном «Эстамине» ***, пристроенном сбоку основного здания.

В отеле Тальбот мы поселили наших новых знакомых — поэта К. Д. Бальмонта с супругой и с пятилетней дочкой — Ниночкой Бальмонт, ставшей вскоре любимым товарищем в играх нашего Коли. Однако вместе с ними поселилась еще поклонница — муза поэта — молодая барышня, фамилии которой никто из нас не знал, но которую принято было означать одним только именем — «Еленочка». Такой явный «menage à troìs» **** в этом глухом захолустье возбуждал немалое недоумение, и пересудам среди местных дам пе было конца. Да и держали себя эти пришельцы очень странно. Поэт неустанно и очень быстро шагал по всей местности, никогда не останавливаясь, закинув гордо голову и глядя в

* Мыс Примеля *(франц.)*. ** Жан-Дуду-Адмирал *(франц.)*.

«* Бедный Пьер, которого мы **особенно полюбили, был убит в** первой мировой

войне (1914 г.). *** От estaminet *(ф.ранц.)* — кабачок. **** Супружеский треугольник ***(франц.),***

430*V, ¿ Лето 1905 и 1906. Прим ель*

небо; за ним легкой поступью едва поспевала в своей развевающейся тальме щупленькая Еленочка, производившая на нас скорее жалкое впечатление жертвы. Но никогда нельзя было видеть вместе с ними (разве только в столовой отеля за едой) изящную, чрезвычайно бонтонную, очень культурную и очень приятную Екатерину Алексеевну (урожденную Андрееву). Она тоже возбуждала род жалости и всякие комментарии. Как-никак, она «публично» являлась в качестве покинутой, обманутой жены. Надо при этом прибавить, что сам Бальмонт на всех наводил страх: он почти всегда был сильно пьян, а иногда напивался и до чего-то безобразного. Не забуду, как однажды поздно вечером я попался ему в «лапы» (обыкновенно мне удавалось избегать его компании), и он уже в темноту протаскал меня но всем четырем питейным Примеля и даже, несмотря на все мое сопротивление, дотащил меня до кабака в селе Плугану — два километра в гору, дабы и там отведать местной водки. Видя, в какой он оргиастической экзальтации, я опасался, как бы он не натворил чудес вроде тех, которыми он тогда же прославился в Париже 2*. Насилу я его уломал вернуться к себе, но тут в виде финала он устроил еще шумный дебош в эстамине отеля Тальбот, наговорив мне на прощанье массу дерзостей, и я был уже у себя в постели, когда все еще доносились сквозь рокот прибоя его призывы и ругательства. Вероятно, немало труда стоило обеим его дамам

уложить его и успокоить. Должен сказать, что и в трезвом виде Константин Дмитриевич не был мне приятен. Отталкивающее впечатление производила на меня одна его наружность, хотя нельзя было отрицать, что в ней было много своеобразного и замечательного. Небольшая голова со светлорыжими волосами ø с несколько подслеповатыми близорукими светлосерыми глазами, с светлорыжими усами и барбишкой * на старомодный лад, была подперта высокими воротничками. Длинная же фигура Бальмонта пребывала, когда он ходил или лежал (иногда раскинувшись на траве), в каком-то «косом» положении, которое он, быть может, считал грациозным. Одна эта особенность придавала его осанке нечто неизменно напряженное. Его манеры напоминали актера, играющего роль ловеласа-бреттера. При этом высокомерная гримаса, нескрываемое выражение какого-то своего безмерного превосходства над другими. Бальмонт *никогда* не бывал естественным, он никогда не раскрывался, не откровенничал, не пытался входить в душевный контакт с кем бы то ни было. Его манера цедить и отчеканивать слова действовала на нервы, так же, как и его склонность к декламации. Попросту с ним беседовать не было возможности. Он либо дерзил, обдавая собеседника горделивым презрением, либо как-то вещал или возносился в высшие сферы поэзии, то и дело цитируя стихи — как оригинальные, так и переводные — со всевозможных языков. Знал он наизусть сотни и тысячи стихов. И хоть бы Бальмонт произносил эти

Одно из «чудес» заключалось в том, что он с пятого этажа повыбрасывал часть мебели (хозяйской) в окно — прямо на улицу Raynouard.

От barbiche *{франц.)* — бороденка.

стихи так, чтобы можно было их легко понять и оценить. Благодаря его читке чуть нараспев с подчеркнутым ритмом, все выходило одинаково выспренним, вздутым, а если такая декламация затягивалась, это действовало как снотворное, и мне становилось и вовсе не по себе. Когда я перечитывал потом про себя те же его стихи, то я находил в них и глубокий смысл, а иногда и необычайную красоту образов и прелестную звучность, но сам автор их искажал до неузнаваемости.

* * *

Кроме Бальмонтов, за нами последовало несколько знакомых,

вследствие чего оба наших бретонских лета (1905, 1906) получились вовсе не уединенными — моментами получалось даже и некоторое от того неудобство. Однако я постепенно научился как-то «любезно отделываться» от «милых, но подчас лишних» людей, и в сильной степени мне в этом помогала моя Анна Карловна, которая в этом отношении (как и во многих других) была идеальной подругой художника. В общем, эти знакомые украшали нашу жизнь, развлекали пас, но в то же время не мешали' нам вести тот образ жизни, который был нам свойственен. Такие случаи, как мое ночное блуждание с Бальмонтом по кабакам, было чем-то совсем исключительным.

Из самых первых, кто после Бальмонтов последовал за нами в При-мель, был наш новый знакомый — необычайно милый и прелестный человек — художник, князь Александр Константинович Шервашидзе !. Его род принадлежал к самой достоверной и древней кавказской аристократии 3*, а предки его были, как говорят, даже царями Абхазии, но Александр Константинович хоть и был очень породист с виду, однако, обладая весьма скудными средствами, вел жизнь более чем скромную. Он был женат на особе прекрасных душевных качеств, умной и образованной, но с виду напоминавшей простую деревенскую бабу. Как это так случилось, что такой изящный и пленительный человек связал свою судьбу с такой удивительно к нему не подходившей особой, никак нельзя было объяснить, но вряд ли тут подействовало минутное увлечение страсти и еще менее материальный расчет — нечто окончательно чуждое Александру Константиновичу. И он, и она были настоящими бедняками. Относился он, во всяком случае, к Екатерине Васильевне если и без каких-либо проявлений нежности, то все же с изысканной вежливостью. Брак этот состоялся, если я не ошибаюсь, за год или два до нашего приезда в Париж, и у четы были уже малолетние дети, но, кроме того, Александр Константинович взял на себя воспитание своего племянника, что доставило ему немало забот и даже удручения, т. к. Жорж (тогда мальчик лет двенадцати) хоть и был очень милым отроком, однако не

3* Родной дядя нашего друга занимал выдающееся положение при дворе; он был управляющим делами вдовствующей императрицы Марии Федоровны н, кажется, ее гофмаршалом.

■■■■ — -. — .. — ■■ * — . ■■ I . — —ч 1 — I *щ* I . ■■■■ l aH * o i i i . i '- —

проявлял никаких способностей или влечения к школьной

науке. Мне, впрочем, казалось, что и наш князь едва ли был образцовым воспитателем. Это был вообще великий чудак. Его доброта легко переходила в «преступную» слабость, в то же время он был нелепо вспыльчив, крайне непоследователен в своих поступках и... классически ленив. Из всех моих знакомых художников он был, несмотря на подлинную даровитость, наименее продуктивен, и лишь впоследствии, женившись после развода с первой женой на Н. И. Бутковской и войдя в тесный контакт с театральным миром, он в качестве искусного декоратора более наглядно проявил свои способности. Театр со своей вечной срочностью хоть кого перевоспитает.

По существу же Шервашидзе оставался и впоследствии таким же чарующе-туманным, такой же «складной душой», охотно подчиняющейся и мнению, и воле других и не боровшейся со своей трудноодолимой склонностью к far niente *. Это не мешало ему быть всегда опрятно одетым, отличаться большой воздержанностью в пище и в питье.

В Примель он явился как-то неожиданно и собрался провести там все лето. Из экономических соображений он поселился не в гостинице (где полный пансион стоил тогда всего 5 франков в день), а нашел он как-то сразу маленькую комнатку у наших рыбаков-соседей, молодоженов Клэх. Хорошенькая Маргарита Клэх, которую я не раз рисовал в 1897 г., была теперь замужем за красавцем, но и отчаянным пьяницей — тоже по фамилии Клэх. В низенькой пристройке к их крошечному домику (с одним только покоем) Шервашидзе й устроился; в шутку он утверждал, что первоначальное назначение этой пристройки было служить свинарником. Пол здесь был битой земли, а обстановка состояла всего только из деревянной кровати и рукомойника, висевшего на веревочке. Кроме того, Шервашидзе привез с собой большую коробку масляных красок, складной мольберт, складной треножный стул и очень нетяжелый чемодан. Носильные вещи были развешены — ничем не прикрытые — по гвоздям, вбитым в стену. Единственное окно, выходившее на огород, освещало этот покой потомка абхазских монархов. Гостеприимную мою Анну Карловну удручало, что князь плохо питается — его меню состояло неизменно из хлеба (правда, чудесного, деревенского с толстой хрустящей коркой), молока, простокваши и крутых яиц. Но лишь изредка удавалось моей жене заполучить его к нам. Приходилось уламывать, и он всячески уклонялся из какой-то преувеличенной деликатности и гордости.

Маленькие Ледоре охотно поддавались «излучению» его редкостного шарма, однако дали ему прозвище le prince apache **. Он с готовностью принимал участие в возне всей примельской

детворы, особенное же впечатление произвел он на всех на том импровизированном спектакле, который был устроен в день именин обеих Анн — 26 июля. В этом дурач-ливом представлении (кажется, текст был выработан Пьером Ледоре)

* Ничегонеделанию *(итал.)*. ** Князь-апаш *(франц.)*.

Шервашидзе взял на себя роль-палача, тогда как маленькая Атя исполняла роль чуть ли не Шарлотты Корде (!?). Общими усилиями наши дамы соорудили «Шервашу» эффектный костюм, а накрашенные брови, глубокие морщины, окровавленные руки и деревянный меч придавали добрейшему Александру Константиновичу достаточно лютый вид. Сколько было хохоту, когда le prince apache явился перед всей компанией в таком виде, причем он выказал и несомненный талант, чудно представляя из себя une terrible brute *. Прибавлю еще, что непреодолимая склонность Шерваша к far niente отразилась и на его художественной продукции. Прямо непонятно, как, находясь все время в тесном контакте со мной, он не заразился моим усердием. Его butin artistique ** свелся к одному букетику полевых цветов, к автопортрету, писанному при помощи бритвенного зеркальца, висевшего на стене, и к моему рисованному карандашному портрету, исполненному по заказу Н. П. Рябушин-ского — о чем дальше. Но ни одного пейзажа н вообще чего-либо из тогот что ему давала бретонская природа! Таков уж был Шервашидзе, и с ним ничего нельзя было поделать. Прибавлю, что и букетик, и автопортрет были написаны мастерски и с удивительным вкусом.

Полным контрастом Шервашу явился другой русский парижанин, тоже вскоре к нам присоединившийся. То был наш тоже недавний знакомый — Николай Георгиевич Платер,— Monsieur de Plater. Как Шервашидзе, так и Платер были приятелями Степана Петровича Яремича, причем дружба, связывавшая Шервашидзе с последним, восходила к очень давним временам, к тому времени, когда они оба еще были киевлянами и работали под начальством А. Прахова.

И Платера дети заставили играть какую-то роль, но то было не в доморощенной пьесе, а на костюмированном вечере. Его удачно превратили в изящного кавалера-мушкетера, украсив его светлосерую фетровую шляпу страусовым пером, пришив к ботинкам вырезанные из картона отвороты и накинув на плечи дамскую мантильку. Но лицо Платера не нуждалось в гриме; он и так походил, благодаря своим светлым усикам и острой бородке, на фатоватого душку-тенора из какой-либо романтической оперы.

Платеру было тогда не более двадцати трех — двадцати четырех лет. Он был щеголем по природе и сам считал себя (не без основания) неотразимым. Говор у Платера был ласково-вкрадчивый, он непрестанно рисовался и улыбался, любил, чтобы его называли бароном, хотя и не принадлежал к титулованной ветви этой «исторической» (польской, балтийской) фамилии. Все это не мешало и Яремичу, и Шервашидзе посмеиваться над приятелем, что он благодушно сносил с «грациозным терпением». Ему казалось, что он так хорош, так мил и так пленителен, что никакое вышучивание не может нанести ущерба его достоинству. Меня коробила его беззастенчивость, тот цинизм, с которым Платер хвастался своими женскими победами, но возможно, что он дей-

Внушающего ужас зверя *(франц.)*. Трофей на поприще художества *(франц.)*.

434*V, 2. Лето* ***1905*** *и* ***1906. up*** *им ель*

ствительио имел основание ими хвастаться. Дамы в его обществе начинали вести себя несколько по-иному, и их смех становился более звонким и игривым. В Примеле Платер сразу завел «интрижку» с одной парижанкой, которая жила вместе с мужем в отеле Пупон, где поселился и Николай Георгиевич. Эту даму прозвали Venus de Prime] *, и действительно, она была чудесно сложена, в чем было нетрудно убедиться всякому, так как она купалась не в тех закрытых купальных костюмах, в которых la bienséance ** повелевала тогда дамам входить в воду, а в тесно облегающем трико телесного цвета, обрисовывавшем, особенно когда Венера выходила из воды, все приятные подробности ее телосложения. Это казалось тогда (и в таком захолустье) ужасно неприличным, и дама сразу стала притчей во языцех всего купального общества и каким-то олицетворением парижской порочности. Это подстрекнуло Платера, и он сразу повел атаку. Крепость сдалась быстро, и уже через неделю можно было встретить нашего мушкетера и Венеру на самых далеких уединенных прогулках — то в низкорослых еловых рощицах, то среди лабиринта скал, где так удобно было играть в прятки.

Платер, попав в компанию художников, сам заделался таковым; в Париже он нашел большую мастерскую, обставил ее не без известной нарядности и любил в ней задавать пирушки, которые, как говорят, кончались настоящими оргиями. Он только что тогда получил довольно крупное наследство и сорил деньгами на все стороны. Будучи до смешного тщеславен, он любил, чтобы его принимали за Креза. Была в нем еще одна черта, которая и послужила нашему сближению — а именно, он был коллекционером. И особенно удивительно то, что при самых

скудных и самых поверхностных знаниях он все же под влиянием Яре-мича стал довольно тонко разбираться в достоинствах художественных произведений — особенно в старинных рисунках. Это и сблизило его с Яремичем, который обладал такой же страстью при несравненно более основательных знаниях и более утонченном вкусе. Коллекционировать на последние гроши стал тогда и Шервашидзе, и все мы стали тогда клиентами магазина Пруте на rue de Seine и разных антикварных лавочек, ютившихся по набережной левого берега Сены 4*.

* Примельская Венера *(франц.)*.

** Благопристойность *(франц.)*.

4* Впоследствии в России, уже в революцию, коллекционерская страсть и коллекционерская практика как Платера, так и Яремича в чрезвычайной степени пригодилась обоим: Яремичу это даже позволило немного спустя сделаться хранителем «Кабинета рисунков» в Государственном Эрмитаже. Оба не только продолжали собирать рисунки, но принялись с большой удачей и торговать ими. Часть собранного и того и другого была вывезена с разрешения Советского правительства из России и распродана в Отеле Друо. Составлению своей очень замечательной коллекции Платеру помогло то, что он сделался в 1920-х годах организатором художественных аукционов при бывшем «Обществе поощрения художеств», и, таким образом, он как бы мог стоять на страна всего того, что происходило на художественном рынке в Петербурге. Свою торгово-коллекциоиерскую деятельность Платер продлил затем и в эмиграции — сначала очень удачно служа посредником и комиссионером, но с годами его страсть к вину в соедипепии с его

С Яремичем читатель этих записок уже знаком, но как будто я не упомянул о том, что Степан Петрович за целый год до нас поселился в Париже. Яремича стало как-то непреодолимо тянуть в чужие края; отчасти это мои рассказы разожгли издавна горевшую в нем страсть к художественному собирательству. Но для того, чтобы отправиться в Париж и там надолго поселиться, требовалась значительная сумма денег, а скудный, случайный заработок, что приносила графическая работа, не давал возможности какой-либо капиталец отложить. И вот заказ акварелей для нескольких серий открыток, издаваемых Красным Крестом (Общиной св. Евгении), собрал ему эти деньги (приблизительно полторы тысячи рублей), и на это он отважился отправиться «за границу». Осмотревшись, ему удалось еще немного подработать, что дало ему возможность продлить

пребывание в Париже еще на два с лишним года и собрать, по моим следам, совершенно удивительную коллекцию, в которой рядом с превосходными итальянскими рисунками XVI и XVII вв. красовалось немало французских и среди них даже такие имена, как Ватто, Фрагонар, Гюбер-Робер. Объясняется это тем, что Париж в то время все еще был наводнен обилием подобного товара я что еще не успели использовать это немецкие и американские любители. Прекрасных вещей, поступающих на аукционы, было так много, что французы расхватывали лишь самые сливки, а остальное куда-то тут же проваливалось и оказывалось, часто потеряв свои атрибуции, в самых скромных лавочках. Вот этих лавочников «Стип» и посещал с особенной «выдержанной последовательностью». Питаясь одной картошкой и овсяной кашей, он зато не пропускал ни одной оказии приобрести за несколько франков вещи, и весьма значительные. В день нашего приезда он встретил нас на вокзале и сразу отвез в очень приятную и недорогую гостиницу на rue de Observatoire (насупротив памятника двух знаменитых аптекарей, тогда еще не превращенного немцами в пушки), в которой им были задержаны для нас три комнаты 5*, где мы прожили целые две недели, пока не нашли себе квартиру на хорошо знакомой нам rue Delambre, ровно насупротив дома, в котором мы прожили с осени 1897 до весны 1899 г.

Чуть ли не на перроне Северного вокзала (Gare du Nord) Яремич стал хвастаться своими (действительно удивительными) находками, при-

крайней беспечностью превратила когда-то изящного петиметра в довольно жалкого представителя богемы. От бывшего оперного мушкетера, от шалого барина, любившего угощать шампанским всех, хотя бы ему и вовсе незнакомых присутствующих в каком-нибудь кабаре — или одаривать цветами всех там же находившихся дам — от всего этого остались одни воспоминания. Однако своего нюха Платер не утратил, и к его посредству и советам охотно прибегали все — кто или: тешил себя приобретением прелестной старины или торговал таковой... К сожалению, карман бедного Николая Георгиевича как был дырявым, таким и остался: все (иногда и довольно крупные) суммы, какие бы он ни заработал, мгновенно уходили на попойки или в одиночестве или в компании, такой же, как off сам, богемы. Скончался он осенью 1957 г. в Париже. 5* Столовались мы там же, за тем же табльдотом, за которым сидел симпатичный и тогда очень любимый молодой художник Аман Жан.

чем, вероятно, для того, чтобы мне не было слишком

завидно, он тут же заявил, что ряд вещей (декоративно-архитектурного порядка) он приобрел для меня.

Сам Яремич жил на улице Carnpagne-Première, в доме, целиком состоявшем из мастерских. Его огромное, во всю южную стену окно выходило на большой сад, принадлежащий (вероятно, и по сей день) женскому монастырю. Этот «лесистый» вид с птичьего полета наш друг пробовал изобразить несколько раз на довольно крупных полотнах. Эти его вещи не лишены были своеобразной прелести. Прямо под его окнами находилась среди кустов капелла, и нередко можно было наблюдать, как к ней под нежное, печальное пение тянулись вереницы одетых в светлое монахинь. Не будучи вовсе религиозным человеком (кажется, я в своем месте уже представлял Яремича как убежденного приверженца Вольтера), он все же умел ценить всю эту «романтическую атмосферу», и когда ему пришлось покинуть Париж, ему было особенно больно расставаться именно с ней. В этой его чересчур светлой и голой мастерской он прожил четыре года. Лишь летом 1906 г. он перебрался на время нашего отсутствия в нашу версальскую квартиру. Живя в Версале, он и там написал ряд больших, мастерски исполненных, но, как всегда, чересчур серых в тоне этюдов и, между прочим, центром одного из этих парковых мотивов явилась мраморная группа лошадей Аполлона, прячущихся среди густых кустов сирени, в стороне от знаменитого грота. Эту картину он назвал Homraage à Hubert-Robert *. Серость колорита Яремича была чем-то ему органически присущим (яркие колеры, и особенно зеленые, он ненавидел), и в зависимости от этого он выработал целое учение, будто живописец может вполне обходиться всего тремя красками: «костью» (черной краской), желтой охрой и белилами; будто смесь кости с белилами дает благородную и «вполне достаточную» синеву, а смесь охры с костью заменяет всякие оттенки зелени. К этой гамме он лишь в редчайших случаях примешивал венецианскую красную. Такая явная «ересь» не мешала «Стииу» создавать вещи и очень приятные и декоративные, особенно же он преуспевал в акварели, в которой пытался подражать Гварди. Стип и в Примеле, где он прогостил около месяца, сделал один большущий квадратный этюд прямо с натуры, причем неистовство непрестанных бретонских ветров не позволяло ему пользоваться обыкновенным мольбертом, а приходилось ему привязывать свои подрамники толстыми веревками к торчащим наподобие менгиров из земли каменным клыкам. И все же Борей вырвал однажды такую конструкцию и далеко умчал стиповскую уже почти законченную картину; насилу он ее догнал и спас. Закончу этот свой рассказ

воспоминанием о том, что общество Шервашидзе, Яремича и Платера, к которым еще присоединился милый студент-филолог «Саша» Смирнов, приехавший изучать на месте древний язык Арморики, и милейшая художница Е. С. Кругликова \

* Дань почтения Гюбер-Роберу *(франц.)*.

придало нашему бретонскому пребыванию значительную и своеобразную

прелесть.

Наслаждаясь всей грозной и жуткой дичью Бретани, мы одновременно не теряли связи с «городской культурой». Не помню, чтобы когда-либо я или моя жена начинали хандрить, хоть и часто лил дождь, хоть ураганные ветры и трясли наш домик. Помянутая присоединившаяся к нашей колонии Е. С. Кругликова вместе со своей неразлучной подругой Mademoiselle Sellier произвела в Примеле некоторую сенсацию уже потому, что их привез не поезд и не дилижанс, а прикатили они прямо из Парижа на велосипедах, что представлялось тогда каким-то подвигом ö*. Впечатление произвел и их спортивный костюм, особенно их штаны-шаровары. В Париже к этому давно привыкли — одно время, около 1895 г., костюм «сиклистки» * стал даже чем-то вроде профессионального мундира для особ уличной профессии — но вне Парижа и на «больших дорогах» такая «tenue» ** все еще представлялась диковинной и даже довольно предосудительного характера.

За последние месяцы мы как раз тогда очень сошлись с Елизаветой Сергеевной, и это несмотря на то, что ее искусство (и особенно присущий ему несколько любительский оттенок) не могло нам импонировать — ни мне, ни моим друзьям. Вовсе не импонировало нам и старание Кругликовой идти вместе с веком, быть передовой, à la page ***. Все это, однако, не мешало этой некрасивой и стареющей девице обладать большой «притягательной» силой. Она отличалась исключительной живостью темперамента, страстно всем интересовалась, что и позволило ей устроить у себя в Париже, на улице Буассонад что-то вроде русского художественного центра, усердно посещаемого не только русскими, Была она и очень отзывчива, разные бедняки и неудачники нередко прибегали к ее кошельку. Она же устраивала у себя простодушные балы, из которых мне особенно запомнился один костюмированный, когда весь дворовый садик перед ее дверью был завешан цветными фонариками, а в ее двойной мастерской была устроена сцена, на которой выступали разные любители с шансонетками и монологами. Всех тогда поразила своей миловидностью одна из дочерей Плеханова, одетая пастушкой с картины Буше, и очень всех позабавила на редкость некрасивая старая дева, с потешным английским акцентом пропевшая тогда популярные песенки, среди которых

одна начиналась словами: «Je suis la plus jolie de toutes les jeunes filles» ****. Угощение на таких пирушках бывало в высшей степени обильным, но и совершенно беспретеициозным, «домашним». Непременным гостем Кругликовой бывал добродушный Макс

$* Не найдя свободных комнат в Примеле, обе подруги художницы поселились в соседнем местечке St Jean du Doigt, но виделись мы с ними каждодневно — то опи наведывались в Примель, то мы всей семьей совершали прогулку в Сен-Жан, * От франц. «cycliste» — велосипедист, -ка,

** Одежда *(франц.)*.

** В духе времени *(франц.)*.

*** Я самая хорошенькая из всех молодых девиц *(франц.)*.

Волошин 3, дружба с которым у меня тогда и завязалась. Жил он где-то по соседству на бульваре Эдгара Кине, снимая мастерскую скульптора au rez-de-chaussée *. Несмотря на молодость лет, его лицо было украшено густой рыжей бородой, а на плечи падали такие же рыжие вьющиеся волосы, что придавало ему какое-то сходство с древнегреческим Юпитером. При этом он был очень близорук, и благодаря этому в его взгляде было нечто «отсутствующее», а в сложении этого коренастого, довольно полного человека не было ничего величественного. Не совсем было понятно, почему ему понадобилась мастерская художника, раз он тогда живописью не занимался, но возможно, что он уже тогда в интиме что-то пробовал, что пригодилось ему впоследствии — когда он вместе со своей молодой, прелестной и талантливой женой М. В. Сабашниковой расписывал собственными руками построенный «храм теософов» 4, и тогда, когда он, поселившись безвыездно в Крыму, в Коктебеле создал длинную серию очаровательных акварельных пейзажей...

Возвращаюсь к Кругликовой. В качестве «по-настоящему парижской» художницы Елизавета Сергеевна пробовала свои силы в разнообразных техниках и одно время очень увлекалась монотипией, что ее особенно тешило тем, что это печатание не требовало строгой обдуманности и тем менее точности в рисунке, в красках, а эффекты получались случайно, сюрпризом. Тут было нечто игривое, нечто совсем не серьезное и не внушительное. Но сама Кругликова была такая живая, такая смешная с виду (носатая, похожая больше на стареющего мужчину, чем на женщину) и в то же время такая добродушная и благожелательная, что все ее очень быстро принимались любить и всячески ей это выражать. В своих же акварелях с натуры она

старалась подражать манере позднего импрессиониста Мофра, с которым она была лично знакома. Эти ее быстрые наброски были мало убедительными в смысле передачи того, что видел глаз, но они были довольно приятными по цвету, по мокрому разливу красок, безделушками, а главное, они были куда более «модерн», нежели наши работы (мои, Сомова, Добужинского, Серова, Лансере и Остроумовой), в которых мы, уже тогда «устарелые пережитки XIX века», добросовестно старались запечатлеть как можно точнее то, чем мы были пленяемы в натуре.

Если я не ошибаюсь, то та же Кругликова привлекла в Примель двух других наших соотечественников, двух русских мюнхенцев, о которых было тогда немало толков: Явленского и его подругу Марианну Ве-ревкину 5. Вот Явленский, тот был уже не на шутку «передовым художником», что он и доказал сразу, когда мы после завтрака отправились на этюды. Далеко не пришлось ходить, ибо прямо на дороге, ведшей к нашему домику, нас пленил мотив: груда камней разноцветных оттенков: та часть, что была ближе к морю, была черного с оранжевыми пятнами, выше ее лежал слой светло-голубоватого и розоватого, шарообразного, отшлифованного морем булыжника; к нему примыкала кайма зеленой

* В нижнем этаже *{франц.)*.

V , 1. Лето 1905 и 1906, Примелъ

травы, а **над всем** этим виднелись поля **с** золотистыми снопами снятого хлеба. Все это было окутано дымкой пасмурного, но тихого и теплого дня, причем ничего особенно яркого и цветистого в этом не звенело, не кричало. Уселись мы врозь, и я не видел, что выходило у товарищей, ни у Кругликовой, ни у Шервашидзе (который, впрочем, сразу устал и лег тут же на траву), ни у Явленского (Марианна Владимировна осталась с Анной Карловной). У меня и у Кругликовой в конце работы, длившейся часа полтора, вышло нечто похожее на то, что было перед нами, но каково же было наше удивление, когда мы взглянули на холст мюнхенского мастера. Ничего похожего на природу и на данный эффект: зато его этюд «рычал» самыми яркими колерами оранжевого кадмиума, кровяного краплака и сияющего ультрамарина. Сам художник был очень доволен таким результатом. Он был уверен, что подошел вплотную к заветам и Сезанна, и Гогена, и Ван Гога. Я же тогда понял, чему теперь учат в той самой мюнхенской школе, в которой еще недавно царили В. Пилоти, В. Диц, Лендах или Трюбнер и Лейбл...

Явленский и М. Веревкина остались всего на два дня в Примеле, а может быть, и меньше. Еще менее продолжительным, но и несравненно более эффектным было посещение Примеля другим соотечественником. Пожаловал этот гость в 3 часа пополудни и уже в шесть отбыл, но пожаловал он на великолепной, грандиозной открытой машине (что одно было великой диковинкой — так как автомобилей на бретонских дорогах тогда и вовсе еще не было видно). Был тот гость *сам* Николай Павлович Рябушинский, тогда еще никому за пределами своего московского кружка не известный, а уже через год гремевший по Москве благодаря тому, что он пожелал «продолжать дело Дягилева» и даже во много раз перещеголять его. Считаясь баснословным богачом, он возглавлял всю московскую художественную молодежь и в своей вилле «Черный лебедь» стал устраивать какие-то удивительные пиры, а то и настоящие «афинские ночи». В той же вилле он держал на свободе, пугая тем соседей, диких зверей. Сам Николай Павлович что-то по секрету пописывал и производил весьма малоталантливые картины в символическом или, как тогда говорили, «декадентском роде». Наподобие Алкивиада, он всячески бравировал филистерское благоразумие старосветской Первопрестольной и швырял деньги охапками. Его появление у нас было совершенно неожиданным, ибо я не имел ни малейшего

понятия о таком представителе московского именитого купечества, приобщившегося к последним западным течениям. Но появление Николая Павловича тем более всех поразило и озадачило, что он приехал не один, а с прелестной, совершенно юной, но уже славившейся тогда испанской танцовщицей (не могу вспомнить ее имени). Он таскал ее всюду за собой и совсем вскружил ей голову, но не столько своими авантюрами, сколь буйным образом жизни и сорением денег. Был он малым статным, с белокурыми, завивающимися на лбу (если не завитыми) волосами, а лицо у него было типично русским и довольно простецким. Что же касается его манер, то казалось, точно он *нарочно* представляется до карикатуры типичным купчиком-

голубчиком из пьес Островского. И говор у него был такой же характерный московско-купеческий, с легким заиканием, ударением на «о» и с целым специфическим словарем. Иностранными языками он тогда почти не владел, и как он объяснялся со своей красавицей, оставалось тайной: вероятно формулы любовных объяснений были ему известны на каком угодно языке,— успел же он объездить весь свет, побывать даже и у людоедов Новой Гвинеи, где однажды ему дали вина не в кубке, а в черепе врага того племени, среди которого он оказался и вождь которого таким образом особо почтил гостя. Тогдашний Рябушинский был фигурой весьма своеобразной и немножко тревожной. На что я ему понадобился и для чего он примчался до самого Финистера, я сразу не мог понять, тем более, что он сам был, видимо, смущен и старался скрыть это,— как-то уж очень был развязен, егозил и путал. Наконец он все же объяснился. Я ему понадобился, как некий представитель отошедшего в вечность «Мира искусства», как тот элемент, который, как ему казалось, должен был ему облегчить задачу воссоздать столь необходимое для России культурно-художественное дело и который помог бы набрать нужные силы для затеваемого им — в первую голову — журнала. Название последнего было им придумано: «Золотое руно», и все сотрудники должны были сплотиться, подобно отважным аргонавтам. Он предложил мне возглавить эту его затею — когда же я, порядком испугавшись столь решительного натиска, от подобной степени участия уклонился, он тут же попросил меня хотя бы разрешить ему включить меня в ближайшие сотрудники, причем сообщил, что моему творчеству будет посвящен целый отдельный номер 6. Все это как-никак тронуло меня, и если я ему и выказал вначале некоторую недоверчивую уклончивость, то к концу беседы у нас

все же установился довольно гармоничный контакт. Тронуло меня еще то, что он усадил наших и кого-то из примельской детворы в свою машину (из которой испаночка так и не вылезала) и повелел шоферу в течение получаса покатать их по окрестностям. Дети были в восторге, но мы с женой до их возвращения пережили порядочную тревогу, особенно потому, что шоферу было наказано мчаться «à toute allure» *. Вполне кстати визит Рябушинского пришелся милому Шервашидзе. По моему совету Николай Павлович заказал ему мой биографический очерк и мой же портрет — все для того же «моего» номера, и тут же он вручил нашему князиньке довольно крупный аванс.

За портрет (карандашом) принялся Александр Константинович на следующий же день: трудился над ним довольно долго, по в конце концов справился с задачей прекрасно. Получилось одно из удачных моих изображений — я жалею только, что он напечатался слишком бледно...

Таким же ураганом, каким он примчался, ухарь-меценат затем умчался, чтоб попасть еше к ночи в Париж, обещая снова появиться зимой.

* Во весь дух *(франц.)*.

V , 1. Лето 1905 и 1906. Примель

* * *

Пожаловали к нам в Примель и двое моих братьев — Леонтий с супругой и Мишенька. Наконец собрался посетить Примель и дражайший мой друг — Костенька Сомов, но это среди лета 1906 г.7*

С пребыванием Леонтия у меня связано воспоминание о каких-то его гастрономических утехах в отеле Пупон, увенчавшихся изумительным обедом с бесконечным количеством блюд в лучшем ресторане Морле. С пребыванием брата Мишеньки связано, во-первых, то, что он привез детям целый воз игрушек, и среди них прекрасный, оснащенный двухмачтовый корабль, с которым дети затем целые дни возились на пляже, а вернувшись в Париж,— на бассейне Люксембургского сада. Вспоминается и то, как именно с Мишей мы предались изучению той пещеры, что выдолбило море в скалах Pointe de Primel. Попасть в нее можно только в часы отлива, когда еще не обсохли ее стены, а отполированные камни, коими она выложена, кажутся точно лакированными и отливают всеми красками. Приятно было при таких экспедициях во время отлива ходить по плотному, гладкому, уже почти сухому песку, огибая «пешком» те черные рифы, которые только что были яростно осаждаемы волнами прилива.

Что же касается до К. Л. Сомова, то он пробыл с нами всего два дня, хотя и был совершенно зачарован всеми бретонскими красотами. Один дикий вид, открывающийся с тропинки, ведшей к окрещенному нами мануару *, который мы прозвали «La Maison aveugle» **, вызвал в нем такой восторг, что он даже объявил этот вид *самым* прекрасным пейзажем *на всем свете.* С Кости я тогда же сделал довольно удачный набросок (акварелью) — пока он отдыхал, любуясь закатом с верхнего камня нашего далеко в море выходящего мыса.

Летом 1906 г. я один повторил свою экскурсию в жутко прекрасный Шуманах, где я, к своему приятнейшему удивлению, нашел своего «кузена» Ганса Бартельса со всей его семьей. Они поселились там в большом отеле на все лето, и Ганс без устали и с юношеским увлечением делал этюд за этюдом морского прибоя. Два дня, проведенные вместе с ним, оставили во мне самое приятное воспоминание — но это была наша последняя встреча. Изредка йотом мы еще с Гансом переписывались, а там он еще далеко не старым человеком8* и скончался. Возможно, что он, неисправимый курильщик сигар, вторично и окончательно отравился никотином.

7* Мне вообще трудпо разобраться, что именно из разных семейных событий произошло в Примеле в 1905 г. и что в 1906 г. На расстоянии оба бретонских лета как-то слились в одно. * От manoir *(франц.)* —замок [средневековый].

** Слепой дом *(франц.)*.

8* Бартельс был на два, на три года моложе моего брата Альбера... **Сын** его — Полли, композитор, посещал пас одно время в Париже, а затем исчез. Одно время он пользовался в Берлине пекоторой славой. Продолжала ли одна из его сестер артистическую карьеру (она удивительно искусно лепила животных и птиц из разноцветного воска), — я не знаю.

Глава 2 1905-1906 гг. ВЕРСАЛЬ. ПАРИЖ

Далеко не столь радужной оказалась осень, наступившая после чудесного лета 1905 г., хоть как раз тогда мы исполнили свою заветную мечту, поселившись в самом центре Версаля на rue de la Paroisse в очень удобной и светлой квартире au premier аи — dessus de l'entresol *. Себе под мастерскую я выбрал ту комнату, что в нормальном буржуазном быту должна была служить столовой (в силу чего ее стены были обнесены панелью в метр высоты, а обои были темные с красноватым отливом); не глядела моя рабочая комната на усаженный кустами двор, прямо на север, что было художнику особенно желательно. Я собирался развернуть в ней плодотворную деятельность, что и исполнил, но, к сожалению, не в каких-либо приятных чувствах, а напротив, изводясь от тревоги и самого острого беспокойства. Особенно мучили все более грозные вести, приходившие с родины. События там достигли, наконец, такой степени, что даже на несколько дней (а то и на неделю и больше) прекратились всякие сношения с Россией. Мы оказались «отрезанными от всего», и «не на что было рассчитывать». Как раз известие об общей забастовке было получено тогда, когда в Версале поселились (к нашему большому удовольствию) наши милые друзья Ратьковы-Рожновы: Александр Николаевич и Зинаида Владимировна; узнав, однако, что железнодорожное движение прекратилось на пространстве всей западной части империи, они сразу собрамсь и пустились в обратный путь, но уже не нормальным маршрутом через Германию, а круговым — через Финляндию.

За ними последовали и супруги Баксты — Левушка и Любовь Павловна. Приехали они еще довольно согласными супругами, а отбыли в состоянии полного раздора '*. Их сменили Щербатовы — князь Сергей и княгиня Полина Ивановна. Эти супруги являли полный контраст с той враждующей четой: между ними царили мир и согласие, что было нам, тоже вполне согласным супругам, особенно по душе. Щербатов собирался надолго обосноваться в Версале, так как задался целью написать целую серию картин с версальскими мотивами, однако почему-то он предпочел

На нервом этаже над антресолями *(франц.)*.

Левушка даже не проводил Любовь Павловпу до родины, а остался в Париже. Жили Баксты в Версале в гостинице в двух шагах от нас и ссорились безбожным образом, поочередно являясь к нам и обвиняя друг друга на все лады. Их жалобы и

обвинения приходилось выслушивать то мне, то Анне Карловне, и каждое такое обвинение сопровождалось требованием безусловного согласия и соболезнования с докладчиком. Со стороны, однако, нам казалось, что вся их тяжба сплошной вздор, и мы всячески старались урезонить враждующих и привести их к миру. В конце концов, incompatibilité de caractères [несовместимость характеров *(франц.)}* приняла такую остроту, что дальнейшее сосуществование оказалось для них невозможным, и вскоре супругами Бакстами было затеяно бракоразводное дело.

*V, 2. 1905—1906 гг. Версаль, Париж*443

не обзаводиться собственной квартирой (что в то время не представляло никаких трудностей), а снял целый аипартамент в самой дорогой гостинице Версаля — в ныне более не существующем «Hotel des Reservoirs». Правда, из этой гостиницы был прямо выход в парк, и это представляло известный соблазн для художника, но причудливый наш князь возил с собой целый зверинец: несколько собак, кошек, двух обезьян (одну —-уистити — он подарил нашим детям и, кажется, еще попугая). Такая компания в отельных условиях была совсем неуместна: отсюда постоянные жалобы и протесты, как со стороны отельной дирекции, так и со стороны соседей-постояльцев, а молва о чудачном русском барине быстро распространилась на весь Версаль. Нам присутствие Щербатовых, особенно в такую эпоху, было только желательным. Моя жена иолюбила необычайно милую княгиню, а я отводил душу в беседах на всякие темы (преимущественно художественные) с Сергеем Александровичем. К сожалению, мне мало нравились его работы, хоть и писал он в парке почти беспрерывно, с раннего утра до темноты. Очевидно у него была совершенно иная «vision» * версальских пейзажей, и мне щербатовская интерпретация казалась и фальшивой, и просто *любительской.* Но сам художник был доволен и считал, что он с каждым этюдом делает большие успехи. Отбыли Щербатовы уже ближе к весне, когда путь в Россию был восстановлен, а он спешил в свое прелестное поместье, дабы приложить приобретенный опыт в работы с русской природы, благо, ничего у них дома не пострадало, и красота подмосковного лета манила неодолимым образом. Поговаривал князь уже и тогда о каких-то очень монументальных символических композициях, а также о постройке собственного дома в Москве, который был бы одновременно и чем-то вроде особняка, и приносил бы значительный доход. Но свою мечту о таком доме Щербатов исполнил гораздо позже * при участии молодого и очень даровитого архитектора А. И. Таманова (который был женат на

моей племяннице Мизе Эдварде).

Теперь нужно сказать несколько слов о моем, о нашем отношении к тому, что происходило в России. Я уже упомянул в четвертой части этих записок о том, что и я не устоял против того стихийного порыва, который охватил все слои русского общества иод действием неудач японской войны, особенно же под впечатлением того гнусного события, которое известно под названием «кровавой бани 9 января». Редкий человек тогда не считал, что какой-то полный поворот, иначе говоря, какая-то *«Революция»* является неизбежной, а то даже и желательной. Но были оттенки, и даже очень существенные, в этой массовой психологии.

Когда С. Ю. Витте удалось ьырвать у государя подпись под указом 17 октября и когда благодаря этому у многих возникла надежда, что теперь желанное переустройство осуществится, что будет создана Государственная дума и при ее участии будут произведены необходимые реформы, то это более или менее успокоенное множество увидело уже бли-

* Видение *(франц.)*.

зость достижения своих вожделений. При этом представлялось желательным, чтобы известные (и могучие) сдерживающие силы продолжали действовать, дабы удержать государственную колесницу от свержения в бездну. Требовалась великая осторожность, всякая же поспешность могла бы повести к катастрофе. Даже те, кто не доверял самой личности Николая II и видел в его неспособности править государством главную беду, и те были уверены, что отныне монархическая власть будет в значительной степени обезврежена, пагубный произвол обуздан. К таким осторожным и благоразумным элементам принадлежал почти весь наш парижский кружок, да и мое личное отношение, при всей моей «органической» чуждости политике, было подобного же характера. Но были и такие элементы, которые питали прямо-таки какой-то суеверный «мистический» культ самой *Революции* как таковой и они были заранее готовы продолжать «борьбу до конца», за нечто если и довольно туманное, то все же заманчивое в какой-то своей озаренности свободой. В них говорил пленительный дух авантюры, нечто однородное с игральным азартом... И таких представителей «борьбы до конца» (до какого конца — не всем было ясно) мы знавали немало, и к ним, между прочим, принадлежало несколько из тех моих друзей, которые были самыми влиятельными членами редакции «Мир искусства». В этом лагере, в одной из многочисленных его секций, оказался, между прочим,

и мой друг (тогда... «все еще» друг) Дима Философов и супруги Мережковские. Как раз тогда они все трое перебрались из Петербурга в Париж и проживали теперь где-то в Отейле (Auteil). Заставил же их покинуть Россию страх, как бы им не поплатиться за то, что они выпустили втроем книжку — род обвинительного акта, направленного лично против царя 2. Каждый из них в этом памфлете (носившем явный характер «оскорбления величества») написал по главе и, насколько мне помнится, книжка была издана и в французском переводе под многозначительным титулом «Le Glaive» *. Это было время, когда 3. Н. Гиппиус изящно кокетничала с разными «пар-ламентными заговорщиками», и среди них и с самим Савинковым, и тогда же в их салоне на улице Теофиль Готье3 образовалось нечто вроде штаб-квартиры революции, куда захаживали всевозможные персонажи революционного вероисповедания. Кажется, тогда же у них установилась связь с Керенским. Впрочем, я сам там бывал редко, и мне претила вся эта отдававшая легкомыслием и любительством суета. Сам же я тогда снова стал сотрудничать в перцовском «Слове» \ иначе говоря, в органе октябристов. Не то, чтобы я действительно сочувствовал их программе, но я искал заработка и печататься в «Слове», держась исключительно художественной области, мне представлялось наиболее для себя подходящим. Однако за такое мое «ретроградство» мне попадало от некоторых моих друзей — как от тех, с которыми я встречался в Париже (в первую голову от Димы Философова), так и от тех, что писали мне из России. Как раз тогда некоторые из нашей группы художники, более горячие и

* «Меч» *(франц).*

прямо-таки «озорные», затеяли ряд сатирических журналов, в которых они собирались проявлять свое сочувствие революции. Сначала цензуре было не до того, чтобы заниматься их преследованием, но когда власти осознали, что острый кризис миновал, они стали притягивать особо провинившихся к ответу. Среди этих провинившихся оказались даже такие «ручные» крамольники, как Билибип, а наш новый знакомый, близкий приятель Добужинского, добродушнейший Гржебин даже угодил в «Кресты» за уж очень дерзкий графический выпад против государя под. титулом «Орел-оборотень» 5. В своих письмах из Петербурга эти мои товарищи (среди них, разумеется, были и Женя Лансере и Нурок) *требовала,* чтобы и я присоединился к ним. Однако, даже если бы я захотел, то у меня ничего бы не вышло. Такое донкихотство, такое «махание саблей по воздуху» (заимствую это выражение из одного потаенного письма

Антокольского) было мне не по душе. Единственной же данью подобным настроениям явился мой рисунок для первой страницы одного номера «Жупела» (при мне здесь нет материалов, чтоб в точности установитьв, было ли то в «Жупеле» или в «Шуте» или уже в «Сатириконе») с подписью: «И вот начинается». Рисунок этот был сочинен, когда стали ходить слухи о новой войне, и во мне заговорило мое «пацифистское нутро».. Изображал рисунок смерть в виде увенчанного шлемом скелета, отдергивающего занавес, за которым открывались груды трупов и всяческого оружия 2*.

Впрочем, я и времени не имел, чтобы заняться чем-либо, кроме как выполнением всяких моих издавна затеянных картин и композиций. Особенно ценя получившееся для меня (довольпо относительное) «отшельничество», я решил его использовать исчерпывающим образом в разных смыслах. Мне казалось, что наша добровольная ссылка продлится многие годы, а потому мне необходимо, не откладывая, «занять какую-то позицию» и во французском художестве. Для этого я должен был создать ряд «значительных» произведений, а не пробавляться одними случайными опытами. В то же время жизнь в ближайшем соседстве с версальскими садами, со всем, что составляет «мир Версаля», воодушевляла меня исключительным образом. До этого времени тесное общение с природой, установившееся во время летних каникул, прерывалось с момента переезда в город,— на сей раз это общение не только продолжалось, но и получило особую интенсивность. Я буквально не выходил из какого-то восторженного опьянения, меня неодолимо тянуло в парк, и я находил в нем неисчерпаемое множество возбуждающих мотивов. И то, что роскошь осени постепенно, на моих глазах сменялась благородной суровостью зимних красок, не только не порождало во мне какое-то охлаждение моего восторга, а напротив, я все более очаровывался всем тем, что я каждый день и по несколько раз в день находил, как только переступал

Мысль о смерти меня вообще тогда преследовала, что и нашло себе особенно наглядное отражение в серии рисунков пером, которые я исполнил (еще в Париже) для гржебинского сборника «Шиповник» 7.

446*У, 2. 19Õ5~1906 гг. Версаль, Париж*

ворота Grille du Dragon * или, пройдя через главный дворцовый вестибюль, оказывался среди овеянного ветрами простора Parterre cTEau **. Один воздух, одни сладковато-горьковатые запахи, шедшие от сырой земли, от стриженых буксбаумов ***, от опавшей листвы, как-то по-особенному настраивали. И все эти восторги тут же отражались в этюдах на

холстах крупного формата или на маленьких дощечках и, наконец, в виде заготовок в альбоме, когда погода не позволяла работать прямо с натуры красками. Дома же я работал над вещами, в которых эти же впечатления выливались в более «картинную форму». И снова меня стали посещать какие-то подобия галлюцинаций — образы того, что происходило здесь когда-то (или что *могло* происходить)'— среди этой грандиозной и поэтичной обстановки. Так я вернулся к прежней своей теме — к прогулкам Людовика XIV, а когда выпал снег сказочность картины, получившейся в мягкие зимние сумерки, навеяла мне мысль представить вереницу карнавальных масок, выступающих по снегу из-за вычурного фонтана «Пирамиды». В такие дни у всего бронзового и мраморного населения Версаля как бы возникает особая жизнь. Сады пустеют. Нигде ни души. Тишина стоит ненарушимая, но эта тишина постепенно как бы наполняется таинственным шептанием. Богини и боги, из которых одни мраморные на высоких пьедесталах, а другие — бронзовые,— возлежат по краям бассейнов, обмениваются между собой или с нами — смертными их поклонниками — приветливыми улыбками, а их благородные жесты, их чудесная красота форм манят к себе. И какие тогда появляются во всем оттенки. Какие красочные аккорды! Как чудесно, отливая золотом, чернеет на снегу патина бронзы, каким теплым становится тон мрамора! А какая совершенно удивительная красота получалась в иные зимние вечера, часов около четырех-пяти, когда солнце перед тем, чтоб совсем исчезнуть, зайдя за лес, пронизывало густую пелену туч и обдавало всю громаду дворца своими пронзительными лучами...

В январе 1906 г. снова появился у нас Н. П. Рябушинский — специально для того, чтобы выбрать что-либо из моих вещей для затеянного им в «Золотом руне» *моего* номера. И на сей раз он нас распотешил всей своей повадкой, но я все же лучше оценил его и но существу. Он меня тронул. Пусть и провинциал, пусть и «примитив», пусть многое в нем напоминало персонажей Островского, все же я не мог не проникнуться симпатией и своего рода почтением к этому купчику-меценату, из всех сил пытающемуся выползти из того состояния, которое ему было определено классом, средой, воспитанием, и проникнуть в некоторую «духовную зону», представлявшуюся ему несравненно более возвышенной и светлой.

Во всем том было много милого простодушия, какая-то ребячливая наивность, перед чем мне всегда бывает особенно трудно устоять. А за-

Решеткп Дракона *(франц.)*. Водного оартера *(франц.)*.

Буковых деревьев *(нем.)*.

тем, хоть многое из его «программы журнала» мне показалось и ненужным и даже вздорным, однако, с другой стороны, все было настолько полно добрых намерений, что это заставляло игнорировать слабые стороны и, напротив, сообщало известную пленительность всей затее в целом.

Забрав мои две большие акварели (для воспроизведения их в красках в Германии), Рябушинский исчез и больше в Версаль не наведывался. Спешу прибавить, что вся деловая сторона была затем справлена безукоризненно: мои картины, после воспроизведения их в красках, были мне возвращены в целости, а гонорар за виньетки и за статью о мят-левском собрании заплачен. В дальнейшем, однако, мое сотрудничество в «Золотом руне» свелось к очень малому и случайному8,— мне было там не по душе, меня коробил весь специфический стиль издания и весь тот в корне дурной вкус, которым этот архироскошный, но и довольно нелепый сборник отличался от своего прототипа — «Мира искусства».

* * *

Прожив второе лето (1906 г.) в Бретани, мы не поселились снова в Версале/ а предпочли Париж. Как-никак, то было удобнее — ближе к друзьям, ближе к выставкам, к театрам. Да и нашим девочкам настала пора учиться.

В общем, воспоминания, связанные с нашим новым жилищем на rue Notre Dame des Champes, принадлежат к приятнейшим, однако как раз там нам выдалось и довольно тяжкое испытание, продолжавшееся несколько недель. Именно там переболели зимай 1906—1907 г. все трое наших детей скарлатиной. Начала «маленькая» Атя, от нее заразилась Леля; последним переболел Кока, и как раз наш немножко слабенький и часто хворавший сын проболел более тяжело, чем его сестры. Особенно растревожились мы, когда у Коки что-то случилось с глазами, и в течение нескольких дней мы боялись за его зрение. Но под наблюдением милейшего доктора Боэлера все обошлось благополучно, и период выздоровления имел в себе после пережитых страхов и нечто даже специально уютное. Попеременно то я, то Атя занимали выздоравливающих всякими спокойными играми или же мы читали им вслух. Тогда старшим двум мы прочли, между прочим, и не без удовольствия для себя «L'île Mysté-rieuse» * Жюля Верна.

Еще эта скарлатинная эпоха была замечательна тем, что почти все наши друзья нас оставили из страха заразы. Сережа Дягилев, как раз тогда приехавший для ликвидации грандиозной выставки в Grand Palais (о чем ниже) и для налаживания затеянных им концертов русской музыки, не только больше, чем кто-либо, боялся у нас бывать, но даже не без ужаса соединялся со мной по телефону. Между тем, нам необходимо было быть в постоянном контакте по всякому ряду вопросов.

«Таинственный остров» *(франц.)*.

448*V, 2. 1905—1906 гг. Версаль, Париж*

Предупрежденный посредством пневматички о часе, когда он собирался со мной беседовать, я к этому моменту отправлялся в близкое кафе и оттуда вызывал его. Но и тогда чудак настаивал, чтоб я говорил «мимо трубки», так как был уверен, что зараза может проникнуть по проводу3*.

Из русских друзей единственно бывал у нас почти ежедневно и в течение всей скарлатины С. П. Яремич. Ему поручали даже функции «сиделки» при больных, которых он занимал своими нескончаемыми и весьма фантастическими рассказами-импровизациями. Из всех же французских знакомых остался нам верен Жорж Девальер (Georges Desvallières), несмотря на то, что у него были дети-подростки: двое юношей и одна девица, к которым он мог бы занести заразу. Но Девальер, человек глубоко религиозный, слепо полагался на милость божью, а, с другой стороны, считал своим христианским долгом приносить ближнему — в данном случае нам, — посильное утешение и ободрение.

К большому моему огорчению, я не могу вспомнить о Девальере как о художнике с таким же теплым чувством, как о чудесном человеке, о семьянине и о радушном хозяине. Несмотря на его несомненно искреннюю религиозность, все его творчество, посвященное церкви, носит, увы, какой-то отпечаток фальши. А впрочем, разве не все церковное искусство, пресловутый Art Sacré наших дней (и за все XIX столетие) таково, а многое и гораздо хуже (Морис Дени, Руо, Кокто, Матисс)? Нет которое исключение составляет творчество Жанны Симон, но и в нем, несмотря на всю ее подлинную душевность и искренность, часто проглядывает что-то специфически клерикальное4*, «поповское». Иначе и быть не может. На всем свете в художественном выражении христианского обращения к богу — ощущается та же фальшь, и дело обстоит не лучше ни в католическом мире, ни в протестантском, ни в иудействе, ни в православии.

С квартирой на Notre Dame des Champs связано у меня еще несколько воспоминаний, центром которых является весьма

замечательная фигура парижского света: граф Робер де Монтескью9 (de Montesquiou), тогда еще не перестававший считать себя первенствующим образцом всевозможных элегантностей. Я сейчас не помню, когда я с ним впервые встретился, но, во всяком случае, к моменту нашей русской выставки, осенью 1906 г., он уже часто бывал у нас и я у него. Между прочим, он сразу как-то увлекся искусством К. Сомова и даже приобрел одну его

3* Эта утрированная боязнь заразы оыла, как мне кажется, у Сережи и некоторой оозой, своего рода кокетством. Об его страхе перед лошадиным саном, принуждавшем его всегда ездить в закрытой карете, я, кажется, уже упоминал. Кафе, из которого я беседовал с Сережей, было из очень скромных и находилось у того места, где впоследствии был пробит последний отрезок бульвара Распай,— там, где теперь стоит роденовский Бальзак. Если я не ошибаюсь, именно то скромное кафе, переехав через два дома, превратилось затем в грандиозное «Cafe du Dome».

4* Un côté de ce qu'on appelìe fort irrévérencieusement «bondieuserie» [Отчасти то, что весьма непочтительно называют «ханжеством» *(франц.)*].

статуэтку (даму с маской). Нередко Монтескью заезжал за мной на своем великолепном лимузине (с шофером) и возил меня по выставкам, по музеям и окрестностям. Попали мы раз с ним и на дачу к очень богатым людям, носившим довольно странно для русских людей звучащую фамилию. Монтескью хотел мне показать их большую коллекцию рисунков XVIII в., однако, приехав к ним в Chesnay (под Версалем) без предупреждения, мы оказались среди какого-то семейного праздника, дом был полон родни, детской шумной возни, и о показывании рисунков не могло быть и речи. Этот случай запомнился мне как типичный для Ро-бера, в котором была смесь утонченной воспитанности, громадного апломба, выработанного многими годами «царствования», с чем-то удивительно нелепым, неловким, а подчас и бестактным. Возможно, что под всей этой личиной красавца-денди скрывалось нечто несравненно менее упорное, нечто требовавшее вечного взвинчивания, нечто сопряженное с внезапным упадком сил и с чрезвычайной эиервацией. Взятая им на себя роль (еще с самых 80-х годов) какого-то законодателя и арбитра подлинной элегантности была не из легких и требовала постоянного над собой контроля, какого-то постоянного «затягивания корсета». Кстати сказать, я не помню, чтоб Монтескью когда-нибудь смеялся. Что именно его притягивало к моей особе, я не вполне понимал; ведь во мне, во всяком случае,

не было и доли светской позы, да и в моем искусстве не было и тени какого-либо прециозного прельщения. Все же вся его манера быть со мной показывала его желание «меня завоевать» и со мной сблизиться, Это трогало меня, и в то же время мне было как-то неловко. Говорило во мне, как это ни странно, и чувство какой-то *жалости;* я чувствовал, что он устал от той роли, которую он играл уже столько лет, что ему хотелось бы большей естественности, чего-то более простого, чуждого всяческого ломания. Но застарелые привычки брали верх, и он продолжал быть тем же «кокетом», себе и другим в порядочную тягость. У меня сохранился до сих пор и тот подарок, который Моптескью как-то раз поднес в 190fi г. То была книга его стихов «Les perles rouges» *, в которую он вложил, кроме того, сонет, мне посвященный и характеризующий мое творчество. Скажу тут же, что то пренебрежение, которое замечается теперь к памяти Монтескью, представляется мне незаслуженным или не вполне, точнее, заслуженным. В большинстве его стихотворных произведений нет ни настоящей силы, ни настоящего вдохновения, я их подчас чересчур вылощенная форма и их выспренность лишены подлинной убедительности. Многое же довольно ходульно и пелепо. И все-таки нельзя сказать, чтоб Монтескью был лишен всякого поэтического дара, едкое же свое остроумие ему лучше удавалось выразить в его прозаических скетчах, в которых он с легкой ядовитостью осмеивает разные смешные черты своих современников и набрасывает весьма схожие в своей гротескности портреты. Какая-то противоречивость его природы сказывалась и в его роскошном обиталище, в пресловутой его вил-

* «Красные жемчуга» *(франц.),* 15 Заказ № 2516

ле «Pavilion des Muses» *, находившейся в Нейи (Neuilly) у самого Бу-лонского леса. Этот большой белый каменный дом с элегантным перроном как-то *давил* на узенькую полоску сада 5*. Вестибюль парадной лестницы был заставлен большими мраморными группами, имевшими вид, что они случайно туда попали, а в просторных комнатах отсутствовала какая-либо декоративная мысль, что-либо личное. Одна из комнат с низким потолком (антресоль) была вся отдана под коллекцию разных уборов, некогда принадлежавших знаменитой в дни Наполеона III царице мод — графине Кастильоне, к которой Монтескью питал настоящий культ. Он видел в ней нечто вроде своей предтечи. Странно было встретить в этих безличных и пустоватых хоромах целый ряд жанровых картин бельгийского художника Альфреда Стевенса. То были характерные для Стевенса мастерски писанные

полотна, но определенная старомодность изображенных на них когда-то шикарих, среди когда-то казавшихся элегантными обстановок, не соответствовала всей «манере быть» их нынешнего владельца — его передовитости и неувядаемости во что бы то ни стало.

Несколько раз я завтракал, пил чай или обедал у Монтескью в «Павильоне Муз». Обыкновенно третьим лицом за столом был или какой-либо художник, или писатель. Раза два-три то был виртуозный офортист Hel-leu, такой же поклонник Версаля, как и я. Однажды за завтраком оказался Пьер Лоти. Я очень увлекался последним, впрочем, не столько его малоправдоподобными романами с разными экзотическими прелестницами, сколько его удивительно красочными описаниями «пейзажного» характера. Поэтому я очень обрадовался, когда заехавший за мной Монтескью меня предупредил, с кем я у него встречусь. Но я был разочарован. Не только пикаких рассказов и описаний из уст этого маленького С довольно приторным личиком господина я не услышал, но он вообще все время молчал и лишь как-то вполголоса, точно робея, соглашался с хозяином, когда тот для оживления беседы по обыкновению воспарялся и перорировал ** — точно на сцене театра.

Дружба с Монтескью оказала немалые услуги всем нашим тогдашним затеям как в момент грандиозной выставки русского искусства в Grand Palais, так и во время первых сезонов русских спектаклей оперы и балета. Особенно Монтескью оценил мой «Павильон Армиды», о чем он высказался и в печати (не помню, в каком органе прессы помещена его статья). Но в следующие годы я стал бывать в Париже короткими урывками, а в 1912 и в 1913 г. и вовсе не заезжал и таким образом потерял

* «Павильон Муз» *(франц.)*.

5* Садик этот был украшен врытой в землю знаменитой в анналах царствования Людовика XIV колоссальной, из одного куска розового мрамора высеченной купелью (vasque), когда-то украшавшей апартаменты фаворитки, маркизы де Монтесоан. После смерти Монтескью эта ваноа была возвращена версальскому дворцу и, кажется, вставлена в одну из комнат нижнего этажа.

** От pérorer *(франц.)* — разглагольствовал.

всякий с ним контакт. Последний раз я увидел его в 1914 г., в августе на бульваре Капюсин под вечер, в полутемках (уличные фонари из-за угрозы бомбардировки были прикрыты абажурами, отчего все получило какой-то зловещий, призрачный характер); Монтескью показался мне тогда удивительно постаревшим,

осунувшимся, почти жалким. Он не сразу узнал меня и не обнаружил никакой радости. Чувствовалось, что он окончательно убедился в том, что его время прошло безвозвратно, что никакой роли ему в парижском свете не играть, что он уже никак не может служить ни образцом, ни авторитетом. Едва нашлись бы слушатели для его витиеватых, когда-то блистательных вещаний.

Монтескью на третьем слове упоминал имя своей кузины и подруги детства — графини Елизабет Грефюль, игравшей в том же обществе менее шумную, но едва ли не более значительную роль, как и он. Знакомство же с графиней оказало Дягилеву огромную пользу в момент «Русских концертов» 1907 г. и первых его спектаклей, начиная с «Бориса Годунова» в 1908 г. Она его ввела в малодоступные круги, она даже помогла достать ему нужные деньги. Однако у нее я был всего раз, и встречался я с ней редко. Зато я принял участие в той коллективной поездке, которую в 1907 или 1908 г. совершила компания человек в пятнадцать в ее подстоличное имение Буабудран. В этой поездке, кроме Сережи и меня, участвовали Д. А. (Мита) Бенкендорф и Алексей За-харьевич Хитрово. Ехали мы в специальном вагон-салоне, причем всю дорогу туда и обратно неисчерпаемый «Мита» потчевал нас чудесно поднесенными анекдотами, относящимися к концу Второй Империи или к первым годам Третьей Республики. Ему вторил и его вызывал на большие уточнения его сверстник Хитрово, и для меня, охотника до всякой й в особенности до «интимной» старины, это было большим наслаждением. Прием же в самом «шато» графини Грефюль был украшен сеансом кинематографии в небольшом театрике. И опять то было прошлое, но не столь уж далекое, а относящееся к первым дням существования кинематографа. Любительские снимки были мутными и частично попорченными, но это не мешало им быть интересными. Особенно смешными казались тогдашние моды (около 1896 г.), тем более что и жесты и вся повадка появлявшихся на экране персонажей имела в себе что-то дергающееся, судорожное и торопливое, что придавало всему какую-то ку-кольность. Сережа громко хохотал. Радости Хитрово не было границ, когда он увидел самого себя в обществе «божественной Елизабет», но тут же он брякнул какую-то бестактность, касающуюся ее возраста и наружности. Тактом этот милый человек вообще не отличался, а его пронзительный голосок, пытавшийся имитировать ту манеру, с которой актеры «Comédie Française» или нашего Михайловского театра представляли мольеровских маркизов, придавал его речам удивительно потешный характер. Это не мешало тому, что в Петербурге у него бывали очень приятные собрания — приятные

главным образом потому, что его апартаменты (на Сергиевской? на Фурштадской?) были полны прекрасной французской мебели, бронз, фарфора, со стен глядели портреты Гоп-

нера, Генсборо, Ромнея, Реберна и Лоренса, которые он пожертвовал Эрмитажу6*.

Теперь пора, наконец, рассказать про ту истинно грандиозную выставку, которую Дягилев при ближайшем участии моем и Бакста устроил в 1906 г. при Salon (TAutomne в залах Grand Palais. О размере выставки достаточно свидетельствует то, что она занимала четыре огромных зала и целый ряд небольших: на ней красовалось немало первейших шедевров русской живописи XVIII в. и первой половины XIX в., и в большом обилии были представлены наиболее видные современные художники. Идея такой выставки возникла под впечатлением знаменитой выставки в Таврическом дворце, и тогда нам всем особенно захотелось показать то, чем мы были вправе гордиться, ие одним нашим соотечественникам, а «всему миру». Захотелось получить род аттестаций от Парижа, явилась потребность как-то экспортировать то, чем была духовно богата Россия. Еще раз напомню, что мы сами себя считали (и тем паче другие нас считали) за плохих и даже просто «никаких» патриотов, однако в ряде наших поступков общественного значения все же выразилось нечто, что выдавало пашу, правда, латентную для самих себя и все же страстную любовь ко всему тому, в чем мы выросли и чем были напитаны. Тогда в пас зародилось решение показать русское искусство за границей,— решение, нашедшее затем себе в 1910 г. особенно яркое выражение в «русских спектаклях», из которых особенно восторжествовал русский балет.

Лишний раз тогда проявился творческий и организаторский дар Сергея Дягилева. Не имея па родине никакого официального положения (кажется, он к тому времени бросил свою службу в Канцелярии его величества, к которой он вообще относился с каким-то циничным пренебрежением), Сережа добился того, что сам государь не только разрешил повезти в чужие края лучшие картины и скульптуры русской школы из дворцов и музеев, но и принял на себя расходы по этой грандиозной затее. При этом достойно внимания то (о чем, кажется, я уже упоминал), что Николай II лично невзлюбил Дягилева и ни в какой личный контакт (за исключением посещения царем выставки) никогда с ним не входил. Зато весьма благосклонно и сочувственно относился к Сереже «малый» двор, иначе говоря, в. к. Владимир Александрович и его супруга в. к.

6* В юды, о которых я теперь рассказываю, А. З. Хитрово жил в Париже, спимап небольшую квартиру в нижнем этаже одной из элегантных парижских авепю. Он очень был напуган «первой» революцией и решил, что места ему больше нет на родине. Тогда же он увез с собой и эти свои английские портреты, хотя он их уже назначил в дар Эрмитажу. На мой вопрос, неужто оп и впрямь лишит nam музей этих шедевров — оп даже закричал: «Certes поп! Certes je ne veux pas les laisser au roi Witto» (!) [Конечно пет! Конечно, я не хочу их оставить коротю Витте *(франц.)]*. Однако затем, в столыпинские годы он все же доставил эти картины обратно, и они одно время красовались в Эрмитаже, пока пекоторые из них не были проданы за границу. Понимал ли что-нибудь сам Алексей Захарович в живописи? Судя по тому, что рядом с этпми чудесными произведениями он терпел отвратительный портрет двух мальчиков, считая его за оригинал Рей-нольдса, в этом позволительно сомневаться.

*V, 2. 1905—1906 гг. Версаль, Париж*453

Мария Павловна. Через них главным образом Дягилев и добивался многого из того, что ему было нужно или желательно. В Париже Сергей нашел себе достаточно прочную и сильную поддержку как в лице состава нашего посольства, так и среди французских интеллектуальных кругов. Особенную симпатию он себе завоевал со стороны председателя Общества «Осеннего салона» — архитектора Франсиса Журдена. Пригодились ему и разные французские друзья, начиная с Монтескыо и графини Грефюль. Что же касается до плана выставки, то он не вполне соответствовал моим идеям, а именно, русское искусство было показано с каким-то определенным пробелом в полвека, т. е. с пропуском всего, что дали «передвижники». Посетители выставки должны были переходить от эпохи Брюллова и Бруни прямо к Левитану, Серову, Врубелю и художникам «Мира искусства». Но таков был наш друг, таковыми были его барские замашки, в которых всегда значительную роль играла прихоть,— иногда и весьма причудливая. Почему-то он был убежден в том, что французы всего этого *слишком* российского, *слишком* простодушного не поймут: «им все равно не понять». С другой стороны, он был чрезвычайно озабочен тем, что он принимал за «требование стиля», в чем сказывался его неисправимый эстетизм. На этот счет и я, и Серов, и Бакст немало спорили с ним, но когда Сережа закусывал удила, то с ним ничего нельзя было поделать, и никакие резоны не действовали. Таким образом, русское художество оказалось в Париже лишенным представительства и Верещагина, и обоих Маковских, и Сурикова, и В. Васнецова, и даже Александра Иванова, да и Крамской, и

Репин, и Ге, если имена их и значились в каталоге, то на самом деле их участие прошло совершенно незамеченным (чего и желал Дягилев), так как несколько портретов (далеко не лучших) и всего одна картина («Выход после Тайной вечери» Н. Ге) не могли восполнить отсутствие тех вещей, коими эти первостатейные мастера прославились.

Декорировкой выставки заведовал Бакст. Он подобрал очень приятные и гармоничные колеры для отдельных зал (обтянутых холстом). Но и. тут Дягилев навязал ему свою довольно дикую идею расположить древние иконы не на каком-либо нейтральном фоне, а на сверкающей золотом парче, покрывавшей сверху донизу большой зал, с которого начиналась выставка. Это оказалось во вред вещам, среди которых были несколько превосходного качества (их одолжил великий знаток и собиратель икон — Лихачев 10). Общее впечатление от иконного зала было театрально-эффектным, но сами эти строгие образцы древней живописи теряли среди всего такого сверкания, а их краски казались тусклыми и грязными. Мне даже кажется, что никто в прессе их не заметил, а уж наверное не посвятил им более или менее толкового разбора. Надо, впрочем, вспомнить, что даже в России 1906 г. широкие круги публики тогда только начинали интересоваться иконами, и никакого еще «чисто художественного подхода» к ним не было найдено.

Зато очень удачно получилась та узкая зала, в которой Бакст повторил идею, уже использованную в Таврическом дворце, где среди гигапт-

ского колонного зала он устроил род зимнего сада. И здесь в Grand Palais среди трельяжей и боскетов были расположены чудесные бюсты Шубина, пейзажи Сильвестра Щедрина, и здесь же на центральном месте был водружен громадный коронационный портрет Павла I, писанный Боровиковским — несомненный шедевр мастера, в котором художник сумел придать неприглядной фигуре безумного императора что-то мистически жуткое. Недалеко от Павла висели и шедевры Левицкого — вся «компания» смоляноки. После многолетнего пребывания на стенах петергофского Большого дворца это был первый выезд аристократических барышень в свет — и в какой свет — прямо в самый центр Парижа. Успех как раз им выдался исключительный — так же, как и бесподобному портрету Дидро кисти того же Левицкого, специально доставленному из Женевского музея...

Немалый успех выдался и современным русским художникам, тогда в первый раз представленным в Париже в такой полноте и с таким тонким подбором. Общее впечатление от них (начиная с

исполинского панно Врубеля «Микула Селянинович») было удивительной свежести и бодрости. Особенно поражали своей правдой, поэзией и тонкостью красочных отношений пейзажи Левитана, мощно характерные портреты Серова, полные щемящей печали большие северные панно К. Коровина, изящная затейливость и очаровательная поэтичность фантазии К. Сомова (и его же чудесные портреты) и многое, многое другое. И я не могу пожаловаться. Большинство выставленных мной вещей нашло себе любителей, и такое пополнение нашей кассы позволило нам продолжить на несколько месяцев наше пребывание в Париже и провести эти месяцы без особенных материальных тревог и забот. Мое личное участие в выставке выразилось кроме того в том, что под моим руководством была она развешена,— я же составил изящно изданный и богато иллюстрированный каталог 12, и я же прочел на самой выставке доклад, посвященный краткой истории русского искусства за последние два века.

Кончу свой рассказ о нашей выставке при парижском Осеннем салоне 1906 г. приведением нескольких цифр. Выставка занимала всего двенадцать зал, из которых по крайней мере четыре громадных. Каталог насчитывал свыше 700 предметов; среди них было 36 икон, 23 избранных произведений Левицкого, 6 Рокотова, 20 Боровиковского, 9 Кипренского, 14 Венецианова, 6 Сильвестра Щедрина, 12 Карла Брюллова, 18 Левитана, 19 Серова, 33 К. Сомова, 9 И. Грабаря, 12 Малявина, 10 Юона, 10 К. Коровина, 31 Бакста и 23 пишущего эти строки Александра Бенуа. Одни эти цифры говорят о значительности всего собранного. К этому надо еще прибавить, что в помещении выставки было устроено несколько концертов русской камерной музыки, как бы предвещавших ту несравненно более значительную манифестацию русской музыки, которой Дягилев угостил Париж 13 всего через несколько месяцев после нашей выставки,— весной следующего, 1907 г.7*

7* Значительность выставки и ее устроителей побудила администрацию Осеннего салона избрать несколько лиц в почетные члены Общества (с нами той же

К последней затее я не имел личного касательства, но, разумеется я был чрезвычайно ею заинтересован и «использовал» ее как для себя так и для моей Анны Карловны в полной мере. Получив в свое распоряжение ложу в «Опера», мы не пропустили ни одного концерта, ни одной ренетхщпи. В нашу ложу набивалось каждый раз несравненно больше народу — друзей и знакомых, нежели полагалось. Несменяемой же нашей гостьей

являлась тогда (в очень эффектных туалетах) баронесса Наталия Владимировна Рауш фон Траубеиберг — супруга уже знакомого читателю «кузена Коки Врангеля» — «Кокн Рауша». То была тогда (да таковой и осталась) очень влюбленная пара (они недавно поженились). Рауши жили тогда в Париже, где Николай Константинович рассчитывал развить свой талант скульптора, что отчасти ему и удалось. Баронесса же с редким усердием «исполняла роль его музы», заставляя супруга преодолевать свою склонность к лени, и непрестанно его понукала к работе. Необычайно живая, отзывчивая, энергичная, она очень полюбилась моей жене, и одно время они были прямо подругами. Кроме того, барон был тогда занят портретом — статуэткой нашей маленькой Елены, которой, однако, эти сеансы при ее непоседливости скоро стали невмоготу. Мое же отношение к Раушу как к художнику было не совсем таким, каким хотелось бы, чтоб оно было, и ему и мне. Иначе говоря — при всей моей симпатии к нему лично, как к очень остроумному, живому и во всех смыслах приятному человеку, я не мог «совершенно всерьез» принимать его творчество, в котором меня всегда огорчала сильная доля дилентантизма.

Возвращаюсь к рассказу о концертах русской музыки. Затея в целом была того же размаха, как все, что предпринимал наш неистовый друг, но впоследствии яркость впечатлений, которые произвели его театральные затеи, как-то совершенно затмила впечатления от этих концертов. Интересны были и репетиции, но с особенным удовольствием я вспоминаю о тех музыкальных сеансах совершенно интимного характера, которые происходили у Сережи в номере гостиницы (Hotel Mirabeau на rue de la Paix). Дягилев снимал две большие комнаты во двор (и еще одну — для своего неразлучного слуги Василия Зуйкова), и в первой, служившей приемной (принимать ему приходилось бездну народа), красовался огромный рояль — не то «Плейель», не то «Блютнер». За ним я слыхал Скрябина, за ним под аккомпанемент самого Сережи Шаляпин пропевал то вполголоса, как бы для проверки, а то и во всю свою тогдашнюю мощь то, что он собирался поднести публике. В том же номере однажды — около полуночи — Федор Иванович неожиданно предстал перед нами таким, как бог его создал, спустившись по служебной лестнице из своего номера над дягилевским. Было убийственно жарко, и это отчасти оправдывало столь странный, чтоб не сказать дикий поступок;

участи удостоились и наши меценаты — супруги Г. Л. и В. О. Гиршманы), а кроме того, «представить» Бакста и меня «к ордену Почетного легиона», который мы оба и получили. Однако сам

Дягилев от этой чести отказался.

456*V> 2· 1905—1906 гг. Версаль, Париж*

к тому же артист (тогда еще не великий, но сколь чудесный) был сильно навеселе, чго случалось с ним нередко. Впрочем, как раз тогда же он почти не выходил из крайне возбужденного состояния, ибо протекал бурный период его романа с той, которая стала затем его верной супругой и спутницей жизни. А что касается до тех «сурдинных пропевов», о которых я только что упомяпул, то слушание их припадлеяшт к самому восхитительному, что я когда-либо испытывал в области музыки. Именно их интимный характер обвораживал. Как-то особенно пленяла музыкальность натуры Федора. Он выявлял самую суть того, что пел, причем было ясно, что он и сам глубоко этим наслаждался. Помню, как он в один из таких «сурдинных пропевов» доказывал, что опера «Моцарт и Сальери» Римского вовсе не «скучная опера», а содержит в себе удивительный пафос. Ему очень хотелось, чтоб когда-нибудь Дягилев поставил эту двухактную оперу, и он действительно убедил Сережу и меня, что это *стоит,* но именно с ним... И все же она у нас не была поставлена, зато «комментарии» Шаляпина пригодились мне, когда в 1915 г. я был занят постановкой драмы Пушкина 14 на сцене Московского художественного театра. И опять, «сказать кстати», именно во время парижских концертов мне выдалось счастье ближе познакомиться с автором «Моцарта и Сальери» — с Н. Л. Римским-Корсаковым, послушать его разговоры и в личном контакте убедиться, сколько в этом человеке под наружностью «скучного, проглотившего язык сухаря» было затаенного огни. Увы, мое тогдашнее знакомство с ним не имело продолжения, ибо Нико* лай Андреевич скончался летом следующего года.

Глава 3

[1907 г. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ. Д. С. СТЕЛЛЕЦКИЙ]

Как в 1899 г., так и в 1907, нам тяжко было расстаться с Парижем, ` с Францией, в которой на этот раз мы провели немного больше двух лет. Но надо было возвращаться по всяким причинам. Мы вовсе не намеревались превращаться в эмигрантов, отрываться от родины, и то, что побудило пас в 1905 г. покинуть Петербург,— здоровье сына — нас более не тревожило. Наш Кока (теперь он перестал называться Колей, он как-то сам себя переименовал) после двух лет, проведенных в благотворном воздухе Бретани, и одной зимы — в Версале, совершенно окреп,

удивительно вырос и даже «возмужал». В то же время он соответственно и развился, стал многим интересоваться и, что нас с женой особенно радовало,— пристрастился к рисованию. Уже в тех очень ранних опытах выявлялось несомненное дарование.

А тут еще как раз подошел один повод, почему мы *поспешили* с отъездом и решили уже ближайшей весной произвести его, не помышляя

больше о даче где-либо на французских побережьях. Дело в **том.** что как раз весной 1907 г. в Париже оказался Н. Н. Черепнин1, выписанный, если я не ошибаюсь, театром Opera Comique, чтобы руководить постановкой музыкальной части «Снегурочки» Римского-Корсакова. Мне же он привез обрадовавшее меня известие, что наш балет «Павильон Армиды» назначен к постановке на сцене Марпиыского театра и что хореографическая часть поручена молодому и необычайно даровитому артисту М. М. Фокину (до тех пор выдвигавшемуся исключительно в качестве блестящего танцовщика). У меня всякая надежда увидать свой балет на сцене успела за четыре года молчания театральной дирекции совершенно погаснуть '*, и тем более я был обрадован, получив свидетельство того, что это не так, вернее, что обстоятельства изменились в мою, в нашу пользу. Объяснялась же такая перемена в отношении нашего балета тем, что для нынешнего годового экзаменационного спектакля Фокин выбрал к постановке — по совету Черепнина 2 (бывшего в те годы управляющим оперы и балета) именно наш балет, но, впрочем, не весь, а лишь наиболее показную сцену в нем, а именно оживление гобелена. И вот успех, выдавшийся этой постановке 3, подал новому (мне еще незнакомому) заведующему постановочной частью, А. Д. Крупенскому мысль — не поставить ли весь балет в целом, и уже не скромно при участии одной лишь балетной школы, а со всей пышностью, какую допускала императорская сцена. Крупенский был еще совершенно новичком в деле, однако он уже успел запять первенствующее положение и как бы заслонить самого директора. Поговаривали даже, что Теляковский устал, что он собирается в отставку. Напротив, Крупенский был еще совсем молодым человеком (лет тридцати) и отличался удивительной энергией, а к тому же он был богат, что обусловливало его полную независимость. Черепнин был уверен, что это именно Крупенский вырвал у Теляковского согласие на постановку «Павильона». Мало того, он получил какие-то особые на то полномочия — вероятно, те самые, в которых когда-то было

отказано Дягилеву. Что при этом, несмотря на мое отсутствие, меня не забыли не только в качестве автора сюжета, по в качестве создателя всей зрелищной стороны,— этим

1 Это молчание отвечало прекращению добрых отношений между мпой и директором В. А. Теляковским, что произошло вследствие моих довольно суровых критических разборов разных его постановок, причем бывали выпады лично против него, точнее, против самого стиля этих постановок, в которых я с полным основанием усматривал как раз *его личное* влияние. Я бранил печто легкомысленное и дилетантское, чем все они отличались, а главное, отсутствие во всем какой-либо поэтической мысли. Владимир Аркадьевич подходил к театру с фривольностью светского любителя. К этому надо еще прибавить прециозный эстетизм его супруги Гурлии Логиновны (рожденной Миллер), которая во все время управления мужем императорскими театрами оставалась тайной, но настоящей вдохновительницей всей зрелищной стороны постановок. Заслуга привлечения к театру таких превосходных художников как К. А. Коровин и À. Я. Головин продолжает делать честь супругам Теляковским, «открывшим» и того, и другого в еще бытность Владимира Аркадьевича управляющим «Московской конторой», но ни ему, ни его жене не хватило культурности или просто ума, чтобы ими руководить и извлекать из них лучшее, что они могли бы дать.

458*V, B. Испания. Петербург*

я был обязан Черепнину. Правда, радостное известие, привезенное Николаем Николаевичем, несло с собой и некоторое огорчение. Крупенский был готов немедленно приступить к осуществлению постановки, но ставил условие — сокращение балета и превращение его из трехактного в одноактный, состоящий из трех картин, следующих одна за другой без антракта. Я стал сопротивляться, но убеждения Черепнина победили мое упорство, а после некоторого размышления я даже нашел, что, пожалуй, данное сокращение послужит на пользу дела, без ущерба для самого существа всей затеи. Так будет лучше: впечатление от балета получится более целым и сильным. Естественно, что раз я должен был и переработать сюжет и следить за тем, чтоб во всем был соблюден определенный стиль — стиль любезного мне XVIII в. (Фокин определенно рассчитывал на то, что я ему помогу выдержать этот сгиль, а Крупенский, потирая руки, приговаривал: «От Бенуа можно ожидать, что все будет выдержано в чисто гобеленовском вкусе»), то явилась безотлагательная необходимость поспешить с возвращением. Именно нашим балетом должен был уже в начале осени

открыться новый сезон Мариинского театра.

Уже с середины мая мы стали собираться в дорогу, однако за несколько недель до отъезда (еще в конце апреля) мне удалось осуществить свою давнишнюю мечту посетить Испанию. В товарищи по этой экскурсии я выбрал себе милого В. Д. Протопопова, бывшего в это наше двухлетнее парижское пребывание нашим неизменным гостем (напротив, Атя отказалась от поездки — из экономических соображений), и это сообщило поездке немалый шарм, причем моментами Всеволод Дмитриевич развлекал меня и своими чисто русскими чудачествами. Но я не стану распространяться насчет нашей прогулки. Побывали мы в Сеговии (где надлежало посетить родственника Зулоаги), Гранхе, Мадриде, Эскуриале, Толедо, Бургосе, и разумеется, впечатлений за эти три недели накопилось столько и были они такой силы, что я и до сих пор отчетливо помню все в малейших подробностях. Приходится ограничиться вот этим конспектом, так как иначе мой рассказ грозил бы занять целый том. Среди этих путевых впечатлений самыми сильными были: восторг от живописи Веласкеса, в котором я только тогда увидал какого-то «безусловного царя живописи», то сильнейшее впечатление, что я получил в Толедо от «Погребения графа Оргаса» и от «Поцелуя Иуды» Греко, то наслаждение, что доставили мне картины для шпалер Гойи (я как раз тогда был занят маленькой популярной монографией, заказанной Гржебиным4). *Подавляющее* впечатление произвело на меня мрачное величие Эскуриала. Волшебные сады Гранхи мы увидали сначала под покровом снега, но горячее солнце, вышедшее во время нашего (прескверного) завтрака, в несколько минут превратило зимний пейзаж в ликующий весенний... А как резюмировать восхищение от грандиозных и роскошных кафедралей в Толедо, Сеговии и Бургосе, а также от всего испанского чудесно-красочного и грандиозного сурового пейзажа. Благодаря рекомендательным письмам, которыми меня снабдили И. И. Щукин (с этим едким умницей я очень подружился) и Игнасио Зулоага, я получил доступ во многие за-

претные места (например, в охотничий замок Рио Фрио). Побывали мы в Мадриде и на бое быков, однако Всеволод Дмитриевич в ужасе убежал после первого же пробитого лошадиного живота, я же, дав себе зарок что выдержу испытание до конца, действительно *высидел* и даже почти *увлекся,* как может человек увлечься всяческим садизмом, всяческой бесовщиной. Однако поклонником и пропагандистом этого позорного зрелища

я не стал.

В начале мая, тотчас после моего возвращения из Испании, мы стали собираться в дорогу. Отказавшись от квартиры, мы распределили наше имущество на три группы. Одни вещи должны были ехать с нами, другие надлежало отправить более экономическим образом — морем, а третьи за ненадобностью мы решили распродать, что, впрочем, как и в 1899 г., дало лишь совершенные гроши. Прежде чем уложиться и двинуться в путь, решено было задать у нас «отвальный пир» и в последний раз собрать всех друзей. Этот grand diner ¢Tadieu * наделал массу хлопот моей жене, но эти же хлопоты доставили ей своего рода удовольствие, так как Анна Карловна, хоть временами и жаловалась на «постоянных» гостей, любила потчевать и угощать. Пир этот вышел на славу. Среди приглашенных было несколько французов: Жорж Девальер, А. Доше, Максим Детома, Люсьен Симон, Андре Салио и, кажется, Котте. Среди русских — ростом, увесистостью и всей своей редкой живописностью выделялся скульптор Паоло Трубецкой (русского, впрочем, в этом итальянце было мало), и для него пришлось готовить особые блюда, т. к. он был убежденным и неуклонным вегетарианцем 2*. Обед начался с русских закусок, а далее была подана наша семейная гордость — венецианский минестроне «ризи-бизи», а затем последовало, как полагается, рыба и жареные куры, а на десерт изумительный, заказанный у Сала иона пирог. Выпито было немалое количество бутылок разнообразных вин. Пришлось приискать у соседнего торговца несколько дюжин всевозможной посуды, и многое из этого было перебито. Но какие же пиры не обходятся без таких проторей, а к тому же всякое битье почитается за «счастье». Было произнесено и несколько речей. Естественно, что наши французские приятели выражали надежду нас снова в близком будущем увидать среди них. Что касается меня, то такое пожелание исполнилось скорее, чем я думал. Всего через год, весной 1908 г., я уже оказался опять в Париже, занятый заведованием затеянной Дягилевым постановкой «Бориса Годунова» 5.

* * *

На следующий же день после приезда в Петербург я заявился в Дирекцию императорских театров к доселе мне незнакомому А. Д. Крупен-скому. Он оказался довольно массивным, со склонностью к полноте, большого роста, чернобородым господином. Он выразил восторг при виде меня

* Прощальный пир *(франц.)*. 2* Глядя, как другие за обедом ели мясное, Паоло по обыкновению загудел: «Как Эы можете есть трупы?» Я уже как будто рассказывал, что у себя дома в Петербурге он даже ручную волчицу и медвежонка превратил в вегетарианцев.

и буквально «обволок» меня своей лаской. Это меня тем более поразило, что мне уже успели сообщить, что Круненский отличался спесью и доходящей до чего-то оскорбительного важностью. Последнее происходило, пожалуй, от сознания, что при всей своей молодости он уже вступил на путь, прямехонько ведущий к наивысшим сферам (чему могли способствовать его бессарабские богатства). К сожалению, великолепию его осанки и манер очень вредило шепелявенье, которое он тщетно пытался маскировать. Продолжавшееся отсутствие директора и его помощника Вуича делали в те дни раннего лета 1907 г. Крупенского каким-то безапелляционным владыкой, хозяином всего сложного театрального дела. Свое полновластие оп и проявил, согласившись «не торгуясь» с моими условиями вознаграждения и со сроками исполнения заказа, предоставив в то же время в мое полное распоряжение отлично оборудованную громадную мастерскую на Алексеевской улице, в которой обычно работал Аллегри (тогда еще состоявший на государственной службе) и которая была мне знакома с того времени, когда я в ней четыре года назад был занят дописыванием декораций «Гибели богов». В помощники мне Круненский определил двух опытных художников, В. Эмме и Экка, а также трех или четырех «маляров» во главе с лучшим знатоком всей техники декорационной живописи, имя которого я сейчас забыл. Это был простой, необразованный, но необычайно толковый работник, на долголетней практике овладевший всеми тайнами трудной декорационной техники и потому оказывавший неоценимые услуги всем тем, кто работал для императорской сцены, особенно тем, кто вроде меня и Бакста, Головина и Апол. Васнецова не принадлежали к профессиональным декораторам, а являлись «художниками со стороны», мало что в специальном малевании клеевыми красками смыслившими 3*.

3* Как раз с приглашения Головина (1899). Коровина, Апол. Васнецова («Садко» 1900), Бакста (1900) и меня пачалось «вторжение» посторонних художников в замкнутую сферу деятельности профессионалов и специалистов. Из двух только что помянутых моих помощников (на время писания декораций «Павильопа Армпды») — тощий, длинноногий, аккуратный немчик Экк был милым человеком, по сущей бездарностью, тогда

как В. В. Эмме, несмотря на немецкую фамилию, был типичным русаком. Он не отличался большим вкусом и чувством красок, причем был несколько самонадеян п свосволеп (многое, что оп делал в мое отсутствие, приходилось потом исправлять и переписывать заново), зато я мог заслушиваться его очень живописными рассказами, так как он был страстным путешественником, н все. что оп зарабатывал, он тратил па удовлетворение этой своей страсти в те периоды, когда получал отпуск по службе — на два-три месяца. При этом оп гнушался проторепиых дорожек, а манило его исследование совершенно неведомых местностей средне-восточной Азии. Я убежден, что проживи Эмме до наших дней, он принял бы участие в одной из ставших модными экспедиций, поставивших себе целью взобраться на самые высокие вершины Гималаев. Неделями он слонялся, нагруженный рюкзаком, в местностях совершенно пустынных, безлюдных, где ие было ни гостиницы, пи паже какой-либо харчевни. Впрочем, если я пе ошибаюсь, ему иногда давались императорекпм Географическим обществом те или иные поручения топографического характера. С виду Эмме был корепастый, носил короткую белокурую бородку... Он часто улыбался и, повторяю, был очень упрям, вследствие чего не всегда было легко с ним ладить.

*V, 3. Испания. Петербург*461

Я от всего был в восторге, и принялся с необычайным рвением первым долгом за приготовление эскизов. Напрасно милый Аргутинский предупреждал меня, что нельзя слепо полагаться на ласку и отзывчивость Крупепского, что он-де успел прославиться за сумасбродного и до крайности непоследовательного человека, что, например, «фавор» Стеллецкого так же быстро кончился, как и возник,— я несколько недель пробыл в самых радужных настроениях.

Кстати о Стеллецком 6. Я не могу причислить Димитрия Семеновича к моим *близким* друзьям, однако я все же чрезвычайно ценил его (и продолжаю ценить) как художника, и я же не мог подчас не *любоваться* его чудачествами, редкой независимостью его характера и его какой-то неуступчивой художественной честностью. Уж не раз я признавался на этих страницах в своей чуждости к разным проявлениям националистического начала, в чем я почти всегда угадывал какую-то фальшь. Но вот Стеллецкому, его фанатическому поклонению всему древнерусскому я как-то *поверил,* и отсюда объясняется мое сочувствие к его попытке это древнерусское возродить в согласии с каким-то свободным, вдохновенным его пониманием. Начав свою художественно-творческую деятельность

с раскрашенной скульптуры, он в дальнейшем целиком перешел на живопись. причем он с годами успел выработать свой совершенно своеобразный (и все же покоящийся на проникновенном знакомстве с древними отечественными памятниками) стиль. Особенно ему удавались работы графического характера. Так, бесподобен его «стилистический шедевр» — иллюстрации к «Слову о полку Игореве», существующий в двух редакциях7. За последние годы его потянуло и к театру. Ему же принадлежала сложная постановка «Царя Федора Иоанновича» 8 (особенно хороши были бесчисленные костюмы, исключительной красоты был подбор суровых красок), однако самый спектакль откладывался благодаря разным интригам (Стеллецкий был мастер вызывать таковые). Круиенский, который сначала было увлекся искусством Стеллецкого, ручался, что он теперь эту постановку осуществит. Род дружбы, завязавшийся между театральным сановником и чудаком-художником, переживал к моменту моего возвращения какой-то бурный период. Крупенский и Стеллецкий почти не расставались, и их можно было видеть чуть ли не ежедневно на «Островах», куда их доставляла великолепная пара вороных. Веселье обоих при этом доходило до того, что сидя в открытом экипаже, они всячески фиглярничали, мало того — показывали встречным языки и делали им «длинные носы». Зачинщиком был несомненно Стеллецкий, в котором часто проявлялось скоморошное начало все в том же «древнерусском стиле», но как он мог заразить таким баловством своего великолепного и важного «начальника»,— это остается необъяснимым! Во всяком случае, дружба и баловство пришли скоро к концу, а постановка «Царя Феодора» была снова отложена. Увидела она свет рампы — и то частично — уже после революции, по вовсе не в драме А. К. Толстого, а в опере Мусоргского «Хованщина». Прелестны были и глубоко поэтичны декорации Стеллецкого к «Снегурочке», но они дальше эскизов не пошли.

462

V , 3. Испания. Петербург

Не имея собственного крова в Петербурге, мы воспользовались отсутствием моей сестры Кати (она с частью своей семьи уже перебралась в «Нескучное») и поселились в ее квартире, где оставался Коля Лансере. Но думали располагаться здесь недолго, а сразу, как только я устроил свои дела с постановкой своего балета, мы переехали на летнее пребывание в Петергоф — точнее, в ту «петергофскую колонию», дачи которой были построены по холмистому хребту, тянущемуся вдоль всего берега Финского залива. Таким образом, мы оказались в

ближайшем соседстве с деревней Бобыльск, в которой находились виллы — резиденции обоих моих братьев Леонтия и Михаила. Это паша belle-soeur Мария Александровна, жена Леонтия, подыскала нам дачку и наладила в пей все хозяйство в ожидании нашего приезда. Уже на пятый или шестой день по возвращении на родину мы зажили своей жизпью в этом очень симпатичном двухэтажном домике с садом, а я для своей работы выбрал в нижнем этаже застекленную веранду, глядевшую на север. Первым долгом я занялся эскизами декораций «Павильона Армиды». и здесь же — с середины лета — я принялся за исполнение другого заказа, полученного мной от историка — профессора С. А. Князькова, затевавшего издание больших картин из русской истории, предназначенных служить украшением классных стен. Кто направил Князькова ко мне — я не помню, но, видимо, я еще до личного знакомства пользовался его доверием, благодаря чему почти сразу наши взаимоотношения получили желаемую окраску. А именно, мне задавалось лишь в самых общих чертах изобразить что-либо на ту или иную тему, тогда как разработка се и самый характер каждой композиции предоставлялись целиком мне — моему знакомству с прошлым, и никаким стеснениям мои измышления не подвергались.

В первую очередь надлежало представить помещика 9 старых времен и наглядно выразить его отношение к крепостному крестьянству. Тут мне пригодилось мое основательное знакомство с этим бытом, главным образом почерпнутое из чтения пространных и дышащих такой подлинностью записок А. Т. Болотова, составлявших в продолжение очень долгого периода мое любимое чтение. Благодаря обстоятельному и местами столь живому рассказу этого милейшего и культурнейшего для своего времени человека, владевшего собственным весьма скромным поместьем, но хорошо знакомого с хозяйствами несравненно более значительными, благодаря тому, что он состоял в течение многих лет управляющим разными крупными имениями и, накопец, имением внебрачного сына Екатерины II — графа Бобринского. Благодаря чтению записок Болотова и других однородных им мемуаров я как-то совсем вжился в тот мир и временами точно переселялся в него, видя его в непосредственной близи. Но не самого доброго, усердного и разумного Андрея Тимофеевича представлял я в качестве типичной фигуры «помещика-крепостника», а вообразил себе барина-лежебоку, уютно расположившегося в ясный летний день в углу веранды своего усадебного дома и лениво прислушивающегося к тому обмену слов, что происходит между его немцем-конторщиком и группой крестьян, пришедших с

оброком. Напрасно кланяются и бьют челом и

старые и молодые мужики, напрасно причитают бабы, напрасно все они нанесли в большом количестве муки и всякой снеди — конторщик, запи-сывающий в книгу, что принесено, отмечает и недоимки и что он — неумолимо и с угрозой тяжкой расправы — требует. Вся эта группа вырезается темным силуэтом на фоне залитого солнцем «регулярного» сада по дорожкам которого носятся дети помещика, а в отдалении из-за деревни выглядывает церковь и стелется далекий пейзаж с прудом и с пашнями. Как-то нечаянно получилось у меня нечто мне совсем не свойственное, нечто вроде обличения, но это особенно и понравилось заказчику.

Сразу после этой картины я написал тогда же и две других. Одна изображала «куртаг» в дни Екатерины II 1д, на второй я вернулся к теме, которая когда-то уже манила, подстрекала меня — а именно, то был вахтпарад под грозным оком Павла Петровича. Екатерину я представил в момент, когда она в сопровождении своего почти-супруга, очередного фаворита, выступает из внутренних покоев Царскосельского дворца в «Картинный зал», где иногда и происходили такие приемы, нов данном случае то был не обычный прием, а нечто более праздничное, ибо только что прибыли с юяшого фронта курьеры с известием о каких-то победах; молодой офицер склоняется к ручке государыни, а за ним несут «трофеи» — несколько бунчуковых знамен. Придворные, приглашаемые предшествующими царице пажами, расступаются, «очищают» место, фрейлины приседают в глубоком реверансе, а на первом плане придворный «пиит» готовится прочесть хвалебную оду.

В «Параде при Павле» u я изобразил мрачный зимний день. Густой снег сыпется с темного неба. В глубине плац-парада высится грозный фасад Михайловского замка, одна сторона которого еще и в лесах. Император, сопровождаемый двумя сыновьями (все трое на конях), только что подъехал п теперь вызывает из строя несколько провинившихся офицеров и солдат. Подходя по очереди к царю, они немеют от ужаса, ибо встречают его безумный, уничтожающий взгляд и слышат его гневный голос. Тем временем ряды за рядами церемониальным маршем, под громыхание оркестров, проходят полки, а за каждым взводом бегут солдаты, специально отряженные, чтоб подбирать упавшие с голов неудобные кивера и шляпы. И тут получилось «нечто обличительное», но н это против моего желания. Мне интересно было выявить лишь какую-то мерещившуюся мне картину, и если

она получилась более или менее убедительной, то это, мне думается, потому, что я с да вник пор питал какое-то особенное чувство к личности Павла, нечто даже похожее на сочетание благоговения с нежностью и жалостью. А впрочем, странное вообще существо — художник. Вот я, например, всеми силами души ненавижу войну, военщину, строевое рабство, а между тем нахожу какое-то необъяснимое наслаждение, нечто вроде сладострастия в том, чт.об изображать и как бы временно перевоплощаться и в безумного Павла, и в каждого из этих фруитовых мучеников. Да мне и этот мрачный день, и этот мокрый снег, и эта серая стужа — все это ненавистно, но мне нравится воскрешать в памяти и изображать в картинах такие видения.

4(Î4 У, 4. «Павильон Армиды»

Глава 4 «ПАВИЛЬОН АРМВДЫ» •

От самого милого Петергофа я в то лето7 видел немного — уж очень я был поглощен как изготовлением постановки «Павильона Армиды», так и этими картинами для Князькова 1*, требовавшими, кроме сочинения их, и изысканий исторического характера. Но с тогдашним пребыванием в Петергофе у меня связано одно воспоминание несколько комического порядка. Очень нас как-то изумил чудак В. Д. Замирайло, неожиданно явившийся к нам на дачу облаченный в черную епанчу до самых пят, без шляпы, и вообще имея вид какого-то оперного заговорщика. Это был обычный его костюм, и иначе Замирайло ни зимой, ни летом на улицах не являлся. Однако немудрено, что специальная дворцовая полиция и «охрана» приняли его за настоящего конспиратора, когда он, приехав на поезде, прежде чем пройти к нам в деревню, заглянул в царский Петергоф и, попав на террасу перед Большим дворцом, долго любовался исключительной красотой всего «ансамбля» и даже что-то стал набрасывать в записную книжку. На следующий же день ко мне пожаловал какой-то полицейский чин, пожелавший получить сведения о столь поразившей всех стражников фигуре и удостовериться, что от него ничего не грозит существующему порядку. Мне пе без труда удалось убедить полицейского, что это был не террорист, а «совершенно безвредный» художник, к тому же и пользующийся и некоторой известностью. В го же время я не мог не изумиться усердию блюстителей порядка — ведь выходило, что накануне кто-то из них потрудился проделать три, если не четыре, версты, чтоб выследить, куда и к кому направляется столь загадочный субъект. Милый Замирайло!.. Как он захохотал «деревянным» смехом, когда я ему все это рассказал; в то же время он был как-то польщен, что так озадачил и «провел»

расейских алгвазилей!

Князьков привлек кроме меня (и после меня) несколько выдающихся художников. Большинство было нашего же круга «Мира искусства», но был и совсем для нас посторонний мастер — москвич С. В. Иванов, которому были поручены почти все сюжеты из древнерусского допетровского прошлого. Особенно прекрасную вещь создал Серов, тогда очень увлеченный личностью Петра Великого. Его картина изображала самого преобразователя, бодро в грозно шагающего по «развалу» строящегося Петербурга. Очень удачны были также листы Е. Лансере *в* М. Добужинского. Я, кроме названных трех сюжетов, исполнил еще для Князькова: «Петр I в Летнем саду», «Улица Петербурга при Петре I», «Немецкая слобода» и «Лагерь суворовских солдат» *1*. Последняя композиция не сразу угодила заказчику. Это была ночная сцена, и представляла группу молодых солдат, греющихся у костра и слушающих рассказ одного бывалого воина; в отдалении пылала только что взятая турецкая крепость. Угодил я Князькову версией гораздо менее романтичной, но зато явственно были видны все формы. Картины были прекрасно воспроизведены в хромолитографиях в Германии и имели большой успех. Их покупали не только школы, но и частные лица. Многие вставляли их в рамы я вешали у себя в кабинете или в гостиной.

*V, 4. «Павильон Армиды»*465

Сочинение декораций моего балета мне далось не сразу 2. Уж очень роскошно мне хотелось изобразить самый таинственный павильон, в котором находит себе приют юный путешественник Репе де Божепси; уж очень затейливыми должны были быть волшебные сады Армиды и ее дворец в глубине. Надлежало и пригнать обе декорации одну к другой так, чтобы одна на глазах у публики и без спуска занавеса, плавно, без толчков превращалась в другую — и обратно, когда в третьей картине тот же павильон снова появляется, но уже при дневном свете. Мысль о монументальных часах с аллегорической группой, представляющей поражение Амура (любви) Сатурном (временем) явилась уже во время работы и потребовала видоизменения всего центрального мотива с гобеленом. Помнится, именно над «укладкой» этих монументальных часов2* я долго бился, но наконец добился намеченной цели. В дивертисменте второй картины (происходившей в волшебных садах Армиды) мне все казалось, что программа этого придворного фестиваля недостаточно «насыщена», и отсюда родились целых три вначале непредвиденных номера, которые затем, в парижской редакции, были исключены3. То были: «Похищение из сераля», «Появление

из земли четырех магов» 3*, вызвавших целый хоровод теней и ведьм-вакханок и безобразных сатиров. Каждое такое мое новое изобретение требовало совещаний с Черепниным и с Фокиным. Первый создавал музыку, второй — танцы. Эти совещания, это тесное сотрудничество принадлежит к моим самым приятным воспоминаниям; мне думается, и для обоих моих приятелей это было так.

Три дня в неделю я оставался в Петербурге, ночуя в квартире Лансере, и тогда проводил почти все время в декорационной мастерской. Не все и там клеилось. Всю предварительную работу «механическую» — перенос моих эскизов на гигантские площади холста — исполнили прикомандированные дирекцией художники — Эмме и Экк — вполне удовлетворительно; при чудесном знании дела первого все обошлось без каких-либо ошибок и недоразумений, но когда дело дошло до красок, то тут у меня стали происходить трения — именно с Эмме. Впрочем, всю центральную часть «Павильона» (первая и третья картины), на которой надлежало en trompe I'oeil * представить сложнейшую комбинацию ленных драпировок, из-за которых то тут, то там выглядывают и барахтаются нагие фигуры гениев и амуров — все в стиле бешеного «барокко» — все это написал я сам, и хоть вначале я с непривычки порядком робел, однако довольно скоро я освоился, и эффект получился вполне иллюзорный. С фоном же садовой декорации произошла маленькая драма, а именно,

2* Ящик их отворялся, чтобы дать выйти под прелестную музыку «marche miniature» [маленький марш *{франц.)*] двадцати четырем мальчикам, представлявшим часы и несшим зажженные фонарики. Костюм их (желтый с белым) напоминал форму придворных скороходов.

8* Музыка появления Магов и Теней была в Париже использована под то «па де труа», в котором впервые перед парижской публикой появился Нижинский в сопровождении Карсавиной и Александры Федоровой. * Дли обмана зрения *(франц.)*.

V , 4, «Павильон Армиды»

вечернее небо над садами я начал согласно своему акварельному эскизу, но Эмме за одну ночь все переписал по-своему и жестоко испортил, внеся в общий красочный эффект что-то приторное, и банальное. Пришлось почти все смыть и написать вновь.

Однажды Фокин обратился ко мне с просьбой придумать еще какую-либо роль, в которой была бы дана возможность выдвинуться необычайно талантливому, только что окончившему

Театральное училище юноше (это был Вацлав Нижинский). Уже сюжет был теперь весь установлен; все действующие лица получили свое место и назначение, и я не без некоторого сопротивления уступил балетмейстеру. Пришлось изобрести какого-то «Любезного раба» Армиды, что давало танцовщику возможность не переставая находиться рядом с главной балериной и ее когда нужно «поддерживать», тогда как наш чудесный П. А. Гердт, которого я насильно уломал взять на себя главную роль Рене, только бы брал позы и вел бы исключительно мимическую роль.

Работа шла у меня по всем статьям полным ходом и вполне удачно — я весь ушел в нее и вовсе не заботился, что происходит в дирекции театров, считая, что у меня установились наилучшие отношения с начальством, и вдруг... без предупреждения (около 20 июля) ко мне в мастерскую нагрянул «сам» Крупенский в сопровождении двух чиновников. Войдя, он еле со мной поздоровался и сразу потребовал у моих помощников какую-то расходную книгу. В чем было дело, что случилось, в чем кто-то провинился (у меня к материальной стороне не было никакого касательства), я так и не понял; Крупенский же так и не удостоил меня ни малейшим объяснением. Очевидно, дело заключалось в обнаружении каких-то хищений, о которых ему донесли, и, вероятно, он счел меня как-то к тому причастным или за что-то ответственным.

Пробыв в мастерской час, он с тем же видом разгневанного сановника отбыл со своей свитой, не подав мне руки.

Предупреждение милого Аргутинского сбылось. Самодурство Крупенского выявилось вовсю! Я был вне себя от бешенства, тем более, что во все время своего посещения «ревизор» ни с какими вопросами ко мне не обращался. И вот с этого дня так чудесно установившаяся атмосфера уступила место известной тревоге и раздражению. Я мог каждую минуту ждать какого-либо осложнения. Отныне всякие встречи с Крупенским сделались мучительными, и насколько это было возможно, я избегал их, а когда работа над постановкой была перенесена в самый театр (это произошло в сентябре), то встречи стали неизбежными, и мне ничего не оставалось иного, как взять в отношении Крупенского такой же до дерзости пренебрежительный тон, какой он взял в отношении меня. Когда же являлась для меня неотложная необходимость в чем-либо для постановки, то я обращался к другим чиновникам, минуя Крупенского. В этом была неприятная сторона дела, тогда как приятная заключалась в том, что я с головой ушел в театральную работу и вес время чувствовал, что наконец попал в *свой* мир и в *свое* дело. Не все и тут шло гладко.

Возникали недоразумения, то в мастерских женских и мужских костюмеров,

а то с париками (в моем балете парики играли видную роль) — немец же куафер пробовал противопоставить моим требованиям раз навсегда принятую рутину. Чтобы добиться исправления, приходилось знакомиться в деталях с той или другой техникой. К счастью, таких же уточнений не требовалось в беседах с бутафором-скульптором (Евсеевым), который сразу схватывал все, что было характерного в моих рисунках, и превосходно справился с задачей. На нем лежало изготовление изощренных шлемов, гротескных масок для сатиров, монументальных часов, всякой мебели, всяких пластических подробностей на панцирях, голенях и т. д. Чудесный он был мастер, и какой скромный, какой малотребовательный, подлинный художник в душе!.. Такими же подлинными художниками проявляли себя два других «реализатора» моих пожеланий: начальник красильной мастерской и воспитанный Головиным бывший живописец-декоратор А. Б. Сальников и «машинист» Филиппов. Без обостренного чувства красок первого тот красочный эффект, на который я рассчитывал, не был бы достигнут. Что же касается Филиппова, то это был совсем юный человек, состоявший помощником ушедшего в оставку Бергера и, будучи маленького роста и вообще очень невзрачной наружности, он не внушал большого доверия. Однако он блестяще справился со своей сложнейшей машинной частью. Декорация «Павильона» разверзалась на глазах у публики на составные части и снова составлялась. И так же без осечки происходили всякие другие превращения — появление из-под пола и провалы целых групп разных персонажей и т. д.4*

Не подвел и электротехник, хоть и ему мой балет ставил немало трудных и разнообразных световых задач. То возбуждение, род какого-то экстаза, из которого я в течение нескольких месяцев не выходил, пока создавался мой балет, это возбуждение еще обострялось каждый раз, когда я входил в личный контакт с композитором и балетмейстером. Между нами тремя царило полное согласие. С М. М. Фокиным я познакомился не сразу по своему возвращению из Парижа — он был где-то в отпуске, отдыхал на даче. Подоспел же он тогда, когда у меня все было

4* С этим Филипповым, совсем простым до того времени молодым человеком, которого Круненский назначил ко мне,быть может, не без коварного намерения сделать мои проблемы

неисполнимыми, у меня в те годы завязался род дружбы. Личного опыта у него было еще мало, и ему до многого приходилось доходить почти наугад. Однако чисто русская смекалка и совершенно исключительное усердие выручали. Все сошло действительно как бы по волшебству, и уже на репетициях я радовался, видя, как безошибочно, без малейших задержек осуществляются **и** самые, казалось, необычайные эффекты. Ах, театр... что это за божественная игрушка для тех, у кого и в зрелых годах сохраняется — как то было у меня — нечто детское. И таких прирожденных «hommes de theatre» [людей театра *(франц.)]*немало на свете. На них все и держится. Таков мой сын Николай, таковы мои друзья Добужинский и Бакст. Но совсем иного порядкаˆ те бесчисленные художники, которые за последние десятки лет «контрабандой» проникли в театр и которые позволяют себе в нем свои фиглярства и шалости, вовсе не заботясь о том, чтобы создать нечто пленительное и соответствующее музыке и данному литературному произведению. Что же касается до Филиппова, то оттˆоказал мне еще неоценимые услуги в 1923 г. **при** постановке на Александрийской **сцене** «Мещанина во дворянстве» Мольера.

468

У, 4. «Павильон Армиды»

сочинено, все слажено и ничего не приходилось ему «додумывать». И вот, оттого ли, что все это придуманное ему понравилось, оттого ли, что я обладал тогда значительной авторитетностью, смягченной (хвастаться, так хвастаться) тактом, который я приобрел с годами, пройдя через всякие уроки жизни, но Фокин (бывший на десять лет моложе меня) со всем соглашался 4 и изо всех сил старался мепя до конца понять и мне вполне угодить. Фокин, не обладавший бог знает какой культурой, на этой работе и в контакте со всей нашей группой учился и вполне сознавал пользу от этого учения, в чем он не раз мне признавался. Он черпал у меня все, что могло ему пригодиться и не только для данного случая. Но и я сам проходил в этой работе известный «курс учения». Я впервые соприкасался с обожаемым мной с детских лет балетом, и все более и более оценивал этот совершенно особый мир, этих совершенно особых людей, не похожих пи на оперных, ни на драматических артистов. Балетные люди точно вылеплены все из другого теста — у них своя совершенно особая психология, особое воспитание. При всей детскости их, в них живет какое-то очень серьезное и прямо благоговейное отношение к собственной профессии. В большинстве случаев это *подлинные художники.* И не только первые роли, не только те среди них, кто обладает особым

дарованием и особой интуицией (а главное способностью извлекать из музыки нужную для них подсказку), но и почти вся анонимная масса кордебалета. Разумеется, и среди них попадаются «недостойные элементы», пошляки, продажные души, гадкие интриганы и циники, но не на них держится весь храм Терпсихоры. Вот я упомянул имя того божества, которое ведает танцем и танцевальным действием, и это вышло у меня естественно. Вся атмосфера балетного дела пропитана каким-то культом... впрочем, па эту тему можно говорить без конца. Мне же нужно теперь докончить рассказ про «Павильон Армиды»—про то, «с чего все началось». Началось же то, что затем вошло в «историю» под названием прославленных на весь мир «Ballets Russes>>. Что касается до исполнителей, то с самого начала роль «первого любовника» была мной предназначена любимцу моему с детских лет — Павлу Андреевичу Гердту. Но мне стоило немало усилий, чтобы преодолеть его сопротивление и убедить его взять эту роль. Сам он считал себя слишком старым — ведь уже в 1885 г. чествовалось его двадцатипятилетие па сцене, и он уже давно перешел на мимические роли. С грустью улыбаясь, он указывал на свой чуть выдающийся животик, причем его пугало еще и то, что оба его костюма требовали для ног тесно прилегающее трико. Моментами и я начинал колебаться: не лучше ли дать эту роль кому-либо помоложе, а в первую голову тому же моему новому приятелю — Фокину, которым я уже имел случай любоваться как первоклассным танцовщиком и который с первых же шагов данной работы успел высказать столько чуткости и понимания. Но сам Фокин решительно отклонил мое предложение, ссылаясь на то, что ему будет слишком трудно руководить постановкой, если он сам при этом будет в ней «занят» и должен будет каждую минуту «всюду поспевать». Сомнение же мое относительно Гердта обострилось.

V, 4. «Павильон Армиды»

469

когда я увидел его на первой же «полной репетиции» без костюма и грима в самой близи. Он мне казался скованным, а игра слишком условной, почти «ходульной)). Но когда я затем увидел его па сцене в двух его костюмах (первый представлял молодого денди в дорожной одежде начала XIX в., второй по-оперному сказочного рыцаря), то мои сомнения рассеялись. То, что в зале Театрального училища казалось чуть чопорным, лишенным настоящей жизненности, то в условиях сценической оптики поражало отчетливостью намерений и в то же время бесподобным изяществом. Я пришел в восторг именно от игры милого Павла Андреевича, от того самого Гердта, который был

когда-то таким идеальным «кавалером» Цукки и Брианцы, а в еще более давнее время — Евгении Соколовой и Базем, и которого на склоне лет (в 1907 г. ему должно было быть около 60 лет) я был счастлив увидеть в балете, мною сочиненном.

Роль Лрмиды с самого начала была предназначена нашей прима-балерине Матильде Феликсовне Кшесииской. Этот выбор принадлежал Фокину — не потому, что она воплощала какой-то его (и мой) идеал, а потому что ему хотелось быть абсолютно уверенным в безупречном *мастерстве* главного действующего лица. Что касается до мастерства, то действительно, нельзя было желать ничего лучшего, нежели то, чем гордилась наша сцена в лице ее «звезды первой величины». Хоть как раз стал выдвигаться целый рой noBbiv и даровитых танцовщиц, хоть по-прежнему вполне заслуженными любимцами публики продолжали быть О. О. Преображенская, Трефилова и Седова — все *те* совершенно особенным блеском отличалась именно Кшесинская. От природы ей, пожалуй, не хватало поэтичности и того «je ne sais quoi»*, что возводит артиста на степень «божественности», но как раз в данной роли и не требовалось выявления чего-либо особенно *трогательного,* Армида не была реальным, живым существом, обладающим всей гаммой чувств — это наваждение, мираж.

И вот, всего за две недели до назначенного дня спектакля и когда уже все было установлено и свою роль Кшесинская вполне усвоила, она без всяких видимых причин, по с благосклонного согласия начальства и не без коварства отказалась от участия в «Павильоне». В этом и я, и Фокип не без основания увидали подтверждение того, что не все в высших сферах обстоит благополучно в отношении к нашему балету. Но как раз тут спасла положение Анна Павлова. Она сразу заявила, что готова взять па себя роль Армиды и что она уже успела на репетициях к ней присмотреться. С Павловой в те времена у меня установились дружественные отношения. Я стал возлагать на нее самые светлые надежды с самого того момента, когда она, едва окончив Театралыюе училище, стала выступать, совсем юная и топко привлекательная, в разных второстепенных ролях. Вскоре я познакомился и лично с ней, и с ее будущим супругом господином Дандре. То была очень приятная пара, очень гостеприимные хозяева; я нередко бывал у них и хорошо себя у них чувствовал. Такое же отношение к Павловой было у моих двух ближайших

Я не знаю, чего (в смысле «неуловимого оттенка») *(франц.).*

друзей — у князя Владимира Николаевича Аргутинского-Долгорукова и у С. С. Боткина. Наконец втайне я мечтал, чтоб именно Павлова украсила своим участием мой балет. Но тогда, в самом начале, по причинам, уже указанным, Фокин отклонил ее кандидатуру и остановил свой выбор на Кшесинской. До чего мы были теперь обрадованы, когда, независимо от нас, все обернулось в угодном для нас смысле. Сразу деморализация, получившаяся от отказа Кшесинской, сменилась ликованием — лучшей Армиды, чем Павлова, нельзя было себе вообразит*,.

Еще два слова о моем знакомстве со столь замкнутым для посторонних Театральным училищем. Это произошло в начале осени; в момент, когда Фокин решил, что его работа настолько оформилась, что ее можно теперь представить мне на суд. Если же я в качестве автора что-либо не одобрил бы, то еще было время это исправить, видоизменить. Репетиция всего балета произошла без декораций, без костюмов (декорации были написаны, но ждали своей «подвески», а бесчисленные костюмы еще кроились и шились) не на сцене Мариинского театра, а в танцкласс© Театрального училища. Меня ввел туда Черепнин — он же, а не присяжный пианист, сидел в этот день за роялем. Уже подымаясь по лестнице, я услышал жужжание юных женских голосов, а когда я переступил через порог зала, то ощутил «специфический удар по всему своему существу»; я вступил в подобие магометова рая, меня окружили сотни оголенных плеч, рук, и все эти милые девы в своих белых газовых юбочках «тютю» (никому не разрешалось тогда являться на репетиции в каких-то рабочих трико или в костюмах по собственному вкусу) показались чарующими, и все их движения полными «негр! и ласковых обещании». В этой большой, но голой зале с окнами по обе стороны стоял особый дух, особая «эманация женственности». Были здесь и взрослые танцоры, и мальчики-воспитанники, пожалуй, не в меньшем числе, нежели танцовщицы однако господствовали Евины дочки, и это сразу настраивало по-особенному... Циник Черепнин выразил аналогичное чувство, проговорив: «Мяса-то! Сколько мяса!»

Это тогда же, в тот же день я увидел помянутую уже, мало мне угодившую игру Гердта, и тогда же я познакомился с артистом, которому уже через два года суждено было получить некий легендарный ореол. Скромный, робкий, конфузливый юноша, что стоял прислонившись к роя* лю, именно и был тот танцор, особенно отличенный Фокиным. Небольшого роста, плотного сложения, с довольно «простецким», вовсе не артистическим, а скорее даже обыденным лнцом,— Вацлав Нижпнскпй производил скорее впечатление какого-то

мастерового, а отнюдь не «полубога»» Не скажу, что и танцы его меня тогда поразили. Далекий прыжок на сомкнутых ногах, с которого начиналась его вариация, был довольно удивительным, скорее акробатическим фокусом,— не всякий бы это сделал с такой уверенной легкостью, точно это ему не стоит усилий. Но мало ли какими трюками мы были избалованы. Потребовалось мне увидеть Ни-жинского в костюме на сцене, чтобы по-должиому оценить все его искусство, все его обаяние. Я попробовал заговорить с ним, но он до того

смутился, до того растерялся, что ничего, кроме каких-то «да» и «нет» я от него не добился.

Уже с самого грозного появления Крупенского летом в декоративной мастерской я почувствовал, что наше дело утратило благоволение начальства и где-то вокруг «зреет интрига» — нечто мне и Фокнпу враждебное. Надо вспомнить, что Михаил Михайлович вовсе не был persona grata * в дирекции, а что, напротив, он навлек на себя крайнее неудовольствие начальствующих лиц с момента, когда года полтора назад он выступил с каким-то требованием от имени товарищей, недовольных устарелыми порядками в управлении балетной труппы. То была пора, получившая прозвище «первой революции»; и кто тогда только ни протестовал, ни требовал, ни обличал. За эту дерзость Фокина чуть было не исключили со службы, насилу его удалось отстоять. Но и прощенный, он продолжал еостоять на подозрении, и это сказывалось каждый раз, как ему приходилось обращаться с чем-либо к дирекции. Таким образом, из нас троих один только Черепнин продолжал быть на добром счету, и когда мне или Фокину что-либо надобилось, то Черепнину поручалось это провести, что он делал без особенного удовольствия. Однако это враждебное к нам отношение пока что не проявлялось в чем-либо определенном, выявилось же оно в инциденте с отказом Кшесинской и еще более, когда настал момент назначения генеральной репетиции, и на следующий же день спектакля. Никто из дирекции за последнюю неделю к нам не наведывался, но от своих соглядатаев (их бывает всегда много при всяком «деспотическом режиме», а «режим Крупенского» был несомненно таковым) начальство знало, что все в постановке еще далеко не налажено, и даже не было ни одной пробы в костюмах и в декорациях. Внезапно назначенная, несмотря на протесты Фокина, и состоявшаяся «генеральная» явила картину полного хаоса. Артисты в новых для них нарядах с новыми головными уборами

не узнавали друг друга, сбивались, путали; машинисты были более озабочены тем, как бы никто ие провалился в поминутно открывающиеся люки, и потому не поспевали со своими переменами за музыкой. Тут, в суматохе, толпился чуждый для балетных элемент — хористы оперы (Черепнин с большим вкусом ввел человеческие голоса за сценой, как раз в момент начинающегося колдовства). Фокин разрывался на части и постепенно терял свой апломб. И вот, среди репетиции, совершенно для себя неожиданно, во мне созрело чувство какого-то долга перед собственным «детпщем». Надо было во что бы то ни стало спасти положение, иначе говоря, во всеуслышание излить свое негодование, свою авторскую тревогу, и в то же время снять с себя ответственность за «провал». Тут я вспомнил о брате Бакста, об этой «газетной крысе», об «Исайке» Розенберге. Вообще мы держали его (по совету того же Левушки) на большой дистанции. Однако за последнее время Исай Самой-лович очень повысился в чипе в своей «Петербургской газете» и теперь заведовал там светской хроникой. На мой телефон (во время перерыва

Желательной особой *(лат.)*.

472ˆj 4. *«Павильон Армиды»*

в репетиции) он с радостью предоставил себя к моим услугам, однако отказался приехать в театр для интервью, а посоветовал, чтоб я сам целиком *сочинил* такую с ним беседу и ему ее доставил. При этом Исай ручался, что он ее тотчас проведет, и завтра моя статья в форме «разговора с сотрудником газеты» появится. Тут же, не выходя из театра, я эту беседу сочинил и сразу же отправил с посыльным в редакцию газеты. К моему большому изумлению, статейка, занявшая два столбца, действительно на следующее же утро появилась5. «Петербургская газета» не славилась высоким культурным уровнем (напротив, за ней установилась репутация довольно низкопробной сплетницы и скандалистки), зато *ее* все и всюду читали. Неминуемо должна была прочесть мой обличительный вопль и театральная дирекция.

Она действительно прочла ее, но действие ее превзошло все мои ожидания. Всемогущая Дирекция императорских театров не на шутку встревожилась и была поколеблена в своем олимпийском величии. Спектакль, который должен был идти на следующий день, в воскресенье, был отложен на целую неделю, и на эти семь дней нам предоставлялась сцепа в полное распоряжение, а главное, были назначены две *экстренные* генеральные репетиции — «полные» — в костюмах и с оркестром. Придя в театр, я нашел там всех в сборе и в чрезвычайном возбуждении. Меня поздравляли точно полководца, одержавшего

решительную победу. Кру-пенский же и теперь не показывался 5*, но в один из ближайших дней пожаловал вернувшийся из отпуска сам Теляковский, а на обеих генеральных присутствовал и его помощник — любезнейший Г. И. Вуич, который первым долгом заверил меня, что Дирекция готова исполнить все мои пожелания. Я тотчас *же* этим воспользовался, чтоб получить разрешение украсить шлемы «пленных рыцарей» колоссальными страусовыми султанами, в чем до тех пор мне было из экономии отказано. Теляковский был изысканно любезен со мной, и даже, подсев ко мне рядом в креслах, сделал мне, как живописцу, несколько комплиментов.

Самый спектакль сошел блестяще. Театр был битком набит, даже в проходах к партеру набралась, несмотря на протесты капельдинеров, масса народу. Враждебная нам интрига провела еще один бессмысленный подвох. Наш балет-новинка был назначен *после* всего «Лебединого озера», и это с несомненной целью, чтоб усталым зрителям он пришелся в тягость. Однако этого не случилось. Балет шел под сплошные аплодисменты, многие номера были бисированы, а в конце театр просто вопил. Вызывали артистов и авторов, выходили много раз, держась ручка за ручку, Павлова, Фокин, Гердт, Черепнин и я. Но лучшим вознаграждением за весь труд и за многие страдания мне было то, что Сережа Дягилев, пробившись через запрудившую при разъезде вестибюль театра толпу, стал душить меня в объятиях и в крайнем возбуждении кричал: «Вот это надо везти за границу». В те дни он был занят приготовлением

В своем «интервью» я его лично обличал в злом умысле под прозрачной маской «Некоего в вицмундире».

спектаклей «Бориса Годунова» в Парижской опере, и одновременно у меня с ним назревало какое-то «категорическое требование» показать Европе, кроме гениальной оперы Мусоргского, русский театр вообще, а в частности повезти за границу и наш чудесный балет 6*.

Глава 5 [М. М. ФОКИН. «СТАРИННЫЙ ТЕАТР»]

Дягилев и исполнил свое намерение в первом же сезоне своих Парижских спектаклей в 1909 г. Мало того, именно с «Павильона Армиды» и начались столь затем прогремевшие на весь мир «Ballets Russes». Наконец, в «Павильопе» же «Европа» впервые увидела танцы Нижинского и хореографический гений Фокина. Самые первые овации парижской публики достались именно «Павильону», и лишь через несколько дней (через две недели) еще больший энтузиазм вызвала «Клеопатра» 1. Из отзывов прессы особенно мне польстил тот, в каком-то театральном журнале («Comoedia»?), что был подписан Robert de Montesquiou. Милый Robert не пропускал ни одного спектакля. Однако он еще больше оценил Иду Рубинштейн, которая вообще совсем свела с ума парижан и даже затмила Павлову, что как будто вызвало досаду последней, отказавшейся в следующем сезоне от участия в дягилевском спектакле. Но этим триумфом Ида была обязана не танцам (она и не танцевала, а лишь ходила, но *как* ходила, с какой царственностью, с какой красотой жестов), а была она обязана своей удивительпой пластике и выразительности своей мимики. В дальнейшем возили «Павильон» и в Монте-Карло, и в Рим (наши спектакли давались в «Констанце» во время большой международной выставки1*). Он же, «Павильон», удостоился фигурировать в качестве

в* Упомяну еще здесь об одном довольно-таки огорчительном случае, происшедшем во время подготовительной работы над постановкой «Павильона Армиды». Близкие друзья, заинтересованные в созревании постановки, не раз наведывались в театр во время очередных репетиций и свободно проходили в зрительный зал. Чуть ли не каждый день заезжал С. С. Боткин, и каждый день заглядывал В, Н. Аргутинский. Несколько раз побывал Валечка Нувель. Явился и Сережа Дягилев, который

следил за тем, что творится на сцене. Ему, вероятно, вспомнились те времена, когда он так же восседал во время репетиций, но в виде причастного к начальству лица. И тут-то, в самый разгар танцев, к нему подходит полицмейстер театра и просит его покинуть зал. Я запротестовал и собрался телефонировать Теляковскому, но полицейский отклонил всякое мое вмешательство, указав на то, что распоряжение исходит как раз от самого директора и что оно касается *именно* Сергея Павловича.

** В Риме мы неожиданно наткнулись на «интригу», но она была не против нас, а было нечто междоусобное, и выразилась эта интрига в забастовке некоторых частей служащих в театре. К счастью, на посту оставался носатый,^ как Полишинель, добродушный и благожелательный (щедро вознагражденный) заведующий бутафорией, которого мы прозвали Signor Trabuchetlo [господин сигарош-ник *(итал.)],* и с нами были два или три русских рабочих. Благодаря его сове-

спектакля-gala в Лондоне во время торжеств, ознаменовавших коронацию короля Георга V в 1911 г.

И все же ныне я не могу не констатировать, что этот мой балет забыт и что сложившаяся легенда о «Ballets Russes» как-то молчит о том, *с чего все началось.* Возможно, что в Советской России его продолжают давать. Я слышал, что первоначальные декорации погибли (сгорели), но что по моим эскизам, хранящимся в Русском музее, постановка была возобновлена, и балет шел с успехом. Но за пределами России «Павильон» больше нигде не идет, и даже при жизни Сережи, после первых трех сезонов, он был исключен из репертуара 2*. Одна из основных причин, почему «Павильон» был преждевременно сдан в архив и вообще не приобрел популярности, какой пользовались наши другие creation *, как «Жи-зель», «Жар-птица» и особенно «Петрушка», объясняется тем, что полная постановка «Павильона» чрезвычайно сложна, что она требует особых сценических приспособлений и очень большого числа фигурантов. Большую сложпость представляют и самые танцы и вся драматическая сторона. Но повинен, пожалуй, в забвении и самый характер моего балета, отсутствие в нем чего-либо «сугубо модернистического». Да и не для того я его в свое время придумал, чтобы гарцевать каким-либо новшеством. Напротив, его настоящим назначением было возродить балет à grand Spectacle ** в несколько старомодном вкусе. Возродить то самое, что меня так пленило в моем детстве и в юности, когда я с ненасытным восхищением, затаив дыхание и весь дрожа от возбуждения, следил за тем сказочным, что творилось на сцене в

«Дочери фараона» и в «Баядерке» и особенно в «Спящей красавице»...

там и их смекалке, спектакли все прошли вполне благополучно. Однако и Дягилеву, и мне пришлось играть непредвиденную роль «директоров сцены». Сережа даже просиживал весь первый спектакль в суфлерской будке, откуда он руководил всеми световыми, весьма сложными эффектами, а я должен был нажимать то на одну, то на другую из сигпальных кнопок, вызывавших всякие подъемы и провалы, а их было в самом балете больше, чем в каком-либо ином, и я боялся, как бы с непривычки не ошибиться, не напутать, как бы не нажать па провал, когда требовался подъем и наоборот. Как раз с одним из этих подъемов произошел несчастный случай в Монте-Карло: заведующий афишей и программами (не могу вспомнить его фамилии), прибыв из Ниццы с корректурными листами (для утверждения), бегом перекосил Сцену и, отстранив специально сторожившего над люком (который должен был опуститься) маэстро Чекетти, ступил в открывшуюся пустоту и слетел несколько этажей до самого низа. Удар о землю был настолько силен, что с его пальцев слетели кольца... Когда мы все спустились в troisième dessous [в третий подвальный *(франц.)],* то перед нами лежал труп. Рауль Гинцбург, директор театра, горько заплакал. Этот «провал» я после этого случая отменил совершенно.

Все же одна из декораций, а именно «Сады Армиды», в виде совершенно вьтдвет-шей тряпки продолжала ходить в антрепризе и Дягилева и де Базиля 2, но уже в качестве фона того дивертисмента, что Дягилев «состряпал» из балета Чайковского, снабдив его названием «Manage d'Aurore» [(«Свадьба Авроры» *(франц.)].* Эту свою декорацию, эту печальную тень прошлого я с грустью увидел в Лон-допе в «Ковент-Гардепе» летом 1947 г.

Постановки *(франц.).*

¦* Как мпогоактпый пышный спектакль *(франц.).*

*V, 5. М. М. Фокин. «Старинный театр»*475

Работа над постановкой «Павильона Армиды» привела к чему-то вроде дружбы с Фокиным, а все вместе пережитые тревоги как-то особенно сплотили нас.

Я теперь часто стал бывать у Фокиных, в их незатейливой квартирке у Пяти Углов. Часто в беседе за самоваром я там застревал до двух и трех часов ночи. Не могу сказать, что супруга Михаила Михайловича была мне особенно симпатичной. Вера Петровна (в балете ее не иначе звали, как «Вераша») была тогда особой совсем юной и могла бы считаться хорошенькой, если бы не слишком выдающийся нос. Симпатичности ее вредило и то,

что слишком чувствовалось, что она, в контрасте со скорее беспечным супругом, очень склонна была к материальной стороне дела. Она же несравненно хуже перешивала всякие обиды, неизбежные в театральной жизни, которые испытывали и муж, и она* сама, всякие неприятности на службе, и постоянно настраивала его на «обидчиков» как действительных, так и воображаемых. Позже, когда Фокин стал много зарабатывать, в ней сказалась корысть типично женского оттенка. Она накупала всяких драгоценностей и стала появляться даже на самых интимных дружеских приемах вся увешанная бриллиантами. Напротив, живейшую симпатию я сразу почувствовал к почтенной матушке Михаияа Михайловича. Она была германского происхождения и по-русски говорила с сильным немецким акцентом, с довольно потешными ошибками. Она в те времена заведовала хозяйством недавно соединившихся браком Михаила Михайловича и Вераши 3* и очень любила угощать. Стол вечернего чая был заставлен не очень утонченными, но превкусными закусками, бутербродами, пирожками домашнего приготовления...

Почти всегда, когда я бывал у Фокиных, меня сопровождал Бакст, но очень скоро у него установились с Фокиным какие-то деловые отношения несколько конспиративного стиля. Фокин стал тогда давать уроки балетного танца какой-то незнакомке «из общества», с которой был знаком и «Левушка»... о ней-то они все время и шушукались. Возможно, что Фокин привел к ней Левушку, возможно и обратное, что Левушка указал этой таинственной особе на Фокина как на идеального преподавателя. Как бы то ни было, они теперь то и дело при мне обменивались какими-то для них только понятными полусловами, и это меня порядочно злило.

Лишь спустя несколько месяцев тайна раскрылась. Таинственная ученица Фокина оказалась Идой Рубинштейн3, но вплоть до нашего первого парижского сезона в 1909 г. оба заговорщика держали «открытое ими сокровище» как бы под спудом, что не мешало рождению легенды,

s* Для всей балетной труппы не было секретом, что М. М. был много лет безумно влюблен в совсем юную и очаровательную Карсавину, однако на три его предложения руки Тамара Платоновна ответила отказом, после чего он и женился на Вераше, затаив долго не остывавшую обиду на свою прежнюю пассию, и вымещал свою обиду (не без напущения Вераши) во всяких придирках. Вся наша группа принадлежала к поклонникам Тамары, и наша поддержка много^ сделала, как лично в моральном, так и в чисто карьерном смысле для Карсавиной.

которая расцвела вскоре пышным цветом. Таинственная особа и гениальна как артистка, и к тому же несметно богата, ß то же время она отличалась удивительными и даже единственными странностями: она готова была идти для достижения намеченной художественной цели до крайних пределов дозволенности и даже приличия, вплоть до того, чтобы пудлинено раздеваться догола. При этом она была бесподобно красива и удивительно одарена во всех смыслах. Наконец, опа принадлежала к высшей еврейской знати, которая крайне неодобрительно относилась к такой сценической одержимости и всячески ставила Иде препоны на ее пути к достижению идеала. Все это окружало личность ученицы Фокина пленительным ореолом. Бакст прямо млел, рассказывая про нее (все еще не называя ее имени), а Фокин усердно подтверждал.

Hq не в одних разговорах и пересудах проходили мои частые собеседования с Фокиным, а в сочинении всяких проектов. Один из них приобрел тут же форму известной реализации. Уж очень хотелось продолжить наше сотрудничество, и как раз тогда какой-то коллектив учеников Академии художеств (в точности не запомнил названия) обратился к Фокину с просьбой что-нибудь поставить на устраиваемом ими вечере. Мы за это ухватились и наладили целый маленький спектакль с постройкой в зале того клуба па Литейном, что был нанят академистами, целого театрика. В качестве же действующих лиц пришлось обратиться исключительно к отставным артистам, так как никто из еще состоявших *па* службе не пожелал себя компрометировать в глазах начальства, приняв участие в затее заведомых «врагов Дирекции». Напротив, «отставные» с готовностью пошли, при том же удовольствовались самым ничтожным гонораром. Таким образом, я получил на очень короткий срок в свое распоряжение несколько своих старых любимцев: все еще огненного Беке-фи, взявшего на себя сложную роль Арлекина (он же переодевался в Доктора), сильно постаревшую и отяжелевшую «Марусю Петипа», предмет моего ребяческого увлечения, и чудного мима Чекетти (для роли Панталоне). Хотел я притянуть к делу одного своего любимца, уже тоже отставного — Лукьянова (на роль Пьеро), по он наотрез отказался, откровенно признавшись, что он но хочет портить своих отношений с Те-ляковским и Крупенским 4*. Я же придумал какой-то чепушистый сюжет в стиле итальянской комедии XVIII в., с несколько непристойной проделкой Арлекина. А в качестве музыки решил использовать прелестные (когда-то самим Моцартом одобренные) сонатины Клементи, незатейливую

оркестровку коих Фокин поручил своему композитору и дирижеру Келлеру, с которым он находился в контакте. С поставленной задачей добропорядочный и музыкально вполне грамотный музикус слра-

Лукьянов в эти годы жил в квартире рядом с нами на Адмиралтейском канале и доставлял мне жестокие страдания, бренча на рояле целые дни излюбленные им места из «Дочери фараона». Я неоднократно впадал из-за этого (музыка мешала мне сосредоточиться на своей работе) в отчаяние и в бешенстве проклинал своего соседа. Не думаю, однако, чтоб эти проклятья привели Лукьянова к скорой кончине.

вился вполне, и получилась партитура довольно пикантная и изящная. Писание единственной декорации взяло не более недели времени, и на последней репетиции все нам показалось довольно удачным и забавным. Увы, не так отнеслась к нашему шуточному творчеству публика. Точнее, наш балет вызывал в юношах, пришедших на бал не для того, чтобы быть зрителями, а для того, чтобы самим танцевать, полное и даже неодобрительное недоумение. Лишь кучка человек в тридцать столпилась у сцены и довольно безучастно глядела на то, что па пей происходит \ остальная же масса продолжала свое гуляние но всем залам, забавляя смешливых барышень, а то и громко споря, «распевая песни». Когда же через четверть часа спектакль под жиденькими аплодисментами кончился и «Маруся» получила от заправил вечера тощий букет, то в воздухе почувствовался некий вздох облегчения, оркестр под управлением того же Келлера грянул первый фигурный кадриль, и бал наконец начался. Мы не были огорчены этим фиаско, эта общая работа достаточно нас позабавила. Нам просто приятно было быть вместе и тешить друг друга выдумками.

Вскоре Фокин поставил балет (в феврале 1908 г.5) для какого-то благотворительного спектакля. Балет этот не имел какого-либо определенного сюжета — все его содержание сводилось к *музыке,* в каком-то пластическом выявлении музыки. А музыка, вдохновившая Фокина, состояла исключительно из произведений Шопена — из прелюдов, вальсов и мазурок. То было до некоторой степени запоздалой данью того увлечения, которое вызвало в Фокине искусство Айседоры Дункан (в еще более сильной степени сказавшегося в его первом балете «Евиике»6). Ведь и Айседора не «представляла» что-либо, а только «танцевала музыку». Однако в угоду этому увлечению (успевшему за четыре года несколько охладеть) Фокин не пожелал отказаться от «носков» (pointes) и прочей «классики», свой же живописный

«эффект» он строил в данном случае на белой дымке тарлатановых тюник на каком-то нейтральном, бесцветном фоне.

Я как раз тогда познакомил Фокина с искусством Дега. Когда же на первой репетиции (на сцене Мариинского театра) я увидел, что получается из этого «белого балега», я пришел в такой восторг, что сразу же пристал к Сереже с требованием включить этот балет, эту «Шопениану», в репертуар спектаклей, который мы теперь уже твердо решили везти на показ за границу, в первую голову — в Париж. Сначала Фокин думал ограничиться просто каким-либо серым, однотонным фоном, но потом ему понравилась моя мысль заставить эти белые видения порхать на чем-либо пейзажном, опять-таки довольно нейтрального характера. Теляков-ский позволил использовать для этой цели одно из звеньев той длиннейшей лесной «панорамы», что проходила в глубине третьей картины «Спящей красавицы», и для того, чтоб остановить паш выбор на каком-либо из этих звеньев, пам была продемонстрирована вся «панорама». В последний раз я видел тогда шедевр Бочарова. Свой выбор мы остановили на том звене или «моменте», когда чаща деревьев наиболее густеет и представляет собой род непроходимых зарослей. Это и был «достаточно нейт-

ральный» фон, однако позже, для Парижа, я же придумал для «Шоне-нианы», переименовав ее в «Сильфид», особую декорацию, а именно, нечто вроде запущенного кладбища, над которым высятся развалины готической капеллы и восходит луна 5*. Тогда же был придуман черный с белым костюм единственного в этом *женском ансамбле* танцора 7.

Не успели еще в нашей компании замолкнуть пересуды и толки, вызванные спектаклем «Павильона», как меня пригласили (в декабре того же 1907 г.) участвовать в повом театральном предприятии. То была затея, во главе которой стояли Н. В. Дризен и Н. Н. Евреинов, ставившие себе целью возродить «Старинный театр» 8, иначе говоря, показать ряд постановок средневековых драматических представлений, начиная с мистерий, в том виде, в каком их видели современники. Было что-то «парадоксальное» и «ненужное» в таком музейном воскресении омертвевших форм и самих творческих идей, но Дризен, Евреинов и Миклашевский горели таким энтузиазмом и так настаивали на моем участии, что я согласился к ним примкнуть. Сначала я ограничился тем, что сделал для «Старинного театра» *занавес,* но затем они трое и присоединившийся к этой «ставке» А. А. Санин «втянули» меня в целую постановку, но не какой-либо пьесы, а того, что было названо «Уличным театром» и должно было состоять из всего, что

мог видеть средневековый европеец у себя в повседневной уличной суматохе. Тут были и странствующие музыканты, и театр на «козлах», что-то вроде «Гиньоля» с выходом шутов, и наконец, целый церковный «Крестный ход». Я, впрочем, сразу отказался от декорации, а ограничился сочинением костюмов, декорацию же передал моему племяннику Е. Е. Лансере, который и на сей раз обрадовал меня (и всех прочих участников) той убедительностью и той красотой общего эффекта, с которым ему удалось разрешить поставленную задачу. Остроумный текст этой пьесы, или точнее, этого «сборного спектакля» принадлежал Евреинову, он же и играл роль какого-то общего вдохновителя, найдя в Санине чуть ли не еще более одержимого сотрудника. Меня и Женю Лансере торопили безбожно, однако когда дело дошло до самой

5* С самого того дня, когда весной 1884 г. (а может быть 1885) я случайно попал в Большой театр на «Жизель», шедшую в самой запущенной постановке, я возмечтал о том, чтобы увидеть этот поразивший меня своей поэзией балет в достойном виде. Когда мы затевали наш первый театральный сезон оперы и балета в Париже, «Жизель» не была включена в репертуар, но я все же захотел улучить представившуюся оказию и показать публике эту картину, которая мне представлялась соответствующей настроепию второго действия «Жизели», и отсюда родилась помянутая только что ультраромантическая декорация в «Шопениа-не»-«Сильфидах». Через год я все-таки настоял на том, чтоб везти (в новой «достойной» постановке) «Жпзсль» (с Липой Павловой б главной роли), и я же тогда для «Жизели» сочинил нечто лесное и «ультраромантическое». Таким образом в нашем парижском репертуаре получилось подобие «дублпката романтического настроения». Позже в антрепризе де Базиля мою декорацию для «Шопе-нианы» они заменили копией с картины Коро. То было возвращение к совершенно «бессюжетнойл декорации, однако я не мог одобрить такой перемены уже потому, что луврская картина Коро (которую очень точно скопировал для сцены князь Шервашидзе) слишком известна и к тому же ничего «таинственного» в себе не имеет.

V , 5. M . M. Фокин. «Старинный театр»

реализации постановки, то касса всей антрепризы оказалась до самого дна пуста, — вследствие чего спектакли, нашедшие в широкой публике довольно равнодушный прием, не дав тех материальных выгод, на которые рассчитывали наши энтузиасты, пришлось прекратить, и от «Уличного театра» отказаться. Помянутый мной передний занавес представлял именно протянутую на всю ширину сцены занавеску, из-за которой выглядывали белый ангел, черный косматый черт и совершенно нагие Адам и Ева 6*. Вообще надежды на то, что «Старинный театр» окажется чем-то жизненным и займет прочное положение среди всяких других петербургских зрелищ, не оправдались. Это была прелестная в своем роде причуда (мы ее назвали «баронской фаптазией»), что и пленило меня и всех моих друзей, однако с самого начала я не разделял иллюзий инициаторов и никак не мог поверить в то, что это что-то *нужное* и «жизненное». Иллюзии эти только вскрыли всю наивность, которой отличались и барон Дризен и его супруга, просадившие немало средств на осуществление своих мечтаний. Первая неудача не помешала тому же Н. В. Дризену через год или два снова в компании с Ёвреиповым с каким-то маниакальным упорством вернуться к той же идее, на сей раз, впрочем, посвятив все свои усилия исключительно «Испанскому театру». Здесь в качестве театрального художника особенно отличался «Женя» — Е. Е. Лансере, я же в те дни был слишком обременен всякими другими художественными и литературными делами и принужден был от участия в «Испанском театре» отказаться. Между прочим, была поставлена (скорее как курьез) и пьеса Кальдерона (Лопе де Вега?) с сюжетом, взятым из русской истории, а именно с тем же сюжетом, который составляет содержание неоконченной драмы Шиллера, трагедии Пушкина и оперы Мусоргского «Борис Годунов».

* * *

И еще одна близкая по духу, скажу прямо, по своей беспочвенности, затея относится к тому же времени. А именно, вздумали наши театральные эстеты создать в Петербурге то, чем (уже не первый десяток лет) славился Париж, а для многих русских людей это даже служило главной приманкой Парижа. Я имею в виду парижское *«кабаре»,* то есть то вечно-разнообразное, причудливое, почти всегда дурашливое зрелище, что временами

могло принимать характер чего-то обличительного, но что

в* Спектакли «Старинного театра» происходили в обширной зале Кононова на Мойке, у Полицейского моста. Начинались спектакли с мистерии, разыгрывавшейся на паперти романского собора. Всю декорацию Рёрих выдержал в свойственных ему тяжелых формах и густых красках, за этим следовала комедия Adam de la Halle XIII века «Robin et Marion» [«Лицедейство о Робене и Марион» *(франц.)],* которой Добужинский придал очень остроумно стилизованную форму. В этой пьеске особенпым забавником проявил себя Миклашевский. Третьим номером программы была мистерия, в которой Билибин с особенным удовольствием представил «Рай» и «Ад», отклонившись на сей раз от своих обычных древнерусских форм. Произвел он метаморфозу над собственным стилем с мастерством и тонким пониманием 9.

480*Vt 5. М. М. Фокин. «Старинный театр»*

главным образом потешало даже и «самых серьезных» людей и что было разбросано по ряду маленьких предприятий на склонах Монмартра. Я забыл (это было так давно) имена главных зачинщиков «Петербургского кабаре» ,0, по помнится, что то были литераторы, пожалуй, и не из очень удачливых. К ним примкнуло несколько из наших братьев — художников и сценических деятелей. Состоялось несколько организационных собраний, на которых и мне пришлось отсиживаться, хоть я в эту затею еще меньше верил, нежели в «Старинный театр»,— но друзья настаивали, и мне было как-то неловко отказаться.

На одном из первых таких заседаний я оказался рядом с Мейерхольдом, тогда только начинавшим свою мятежную, сумбурную карьеру, впоследствии столь гремевшую. Большой успех среди передовой публики имели его смелые постановки, незадолго до того появившиеся на частной сцене и (но их я, к сожалению, не увидал, так как они прошли еще до нашего возвращения из чужих краев). Сам Мейерхольд был фигурой не менее курьезной, нежели Евреинов. Мне Мейерхольд «понравился» одним своим видом, особенно «зигзагом» своего носа, того профиля, точно нарочно как-то нелепо изваянного шутником-скульптором. На заседаниях же оп особенно вдохновенно взывал: что-де надлежит родить нечто, чего еще никогда пе было и что должно поразить всякого неожиданностью своей новизны. Однако Всеволод Эмилиевич (ив самом имени-отчестве, в этой смеси славянского с германским было что-то несуразное), взывая таким образом, никаких конкретных предложений так и не вносил 7*.

'* В те дни (да и позже) Мейерхольд воспламенялся чем попало. У него этот вдохновенный восторг носил даже характер

«обязательного, почти профессионального». Воспламенился он и одпой барышней босоножкой, которая пожелала стать «русской Айседорой* 12 (таких барышепь тогда иа всем свете расплодилось немало). Увлекшись ею, Мейерхольд во что бы то ни стало пожелал, чтобы его «protegee» смогла продемонстрировать свое искусство у нас - в нашей квартире... Напрасно я его уверял, что у нас нет достаточно обширного помещения, да и «специфическое наше» общество вовсе не интересуется подобными «манифестациями», он все же не отставал и наконец обратился к Анне Карловне, которая по душевной своей доброте и согласилась; после чего и мне пришлось сдаться. В назначенный вечер сеанс состоялся у нас в столовой, из которой была вынесена вся громоздкая мебель и по всему полу которой разостлан был густой ковер, откуда-то раздобытый Мейерхольдом. Публики по нашим приглашениям собралось с полсотни: часть заняла стулья, отодвинутые вдоль стен, большая же часть жалась в дверях из передней, из гостиной и из коридора,- наконец, кое кто остался сидящим иа полу. Но все эти хлопоты не оправдали ожиданий. Девица оказалась небольшого роста, самого обыденного вида, я ничего своеобразного ояа в своих иляскаx, сколько ни старалась, сколько ни гготела, не обнаружила. Это было самым обыденным любительством. Закончила же она свое выступление, длившееся около часу, тем, что со всего размаху бухнулась (как полагалось и у Айседоры, но та умела делать это бесшумно) на ковер, за чем последовала маленькая истерика. Нам с женой стало ужасно жалко ее. Мейерхольд был сконфужен, гости же разошлись в недоумении. Босоножка, впрочем, после этой пе совсем удачной демонстрации вовсе от своего пляса не отказалась, а попав вскоре па сцену того театра, который открыл брат М. М. Фокина на Троицкой улице, стала там любимицей обычпых его посетителей.

F*, 5. М. М. Фокин. «Старинный театр»*481

Проектов программы создающегося кабаре наконец накопилось масса но тут же все отметалось, так как слишком явно было, что такой чепухой не стоит заниматься.

Особый характер какой-то блажи придавало нашим совещаниям то помещение, в котором мы собирались. То были хоромы особняка-дворца графини де Шово на Литейной, насупротив Симеоновской (или Пантелей-моновской) улицы. Дом этот, построенный архитектором Бонштедтом в конце 60-х годов, имел очень затейливый фасад, весь из серого камня высеченный, внутри же он был отделан по изысканнейшей моде «Второй империи», иначе говоря,— с вызывающей роскошью. Золоченые сту^ лья, кресла и диваны были обиты обюссонами, с потолка

свешивались многопудовые хрустальные люстры, по полам были разостланы пушистые ковры; повсюду стояли огромные фарфоровые вазы, канделябры, бронзовые гарнитуры. Часть стен была обита ярким лионским штофом, часть покрыта зеркалами... в которых все это довольно безвкусное великолепие отражалось нескончаемыми анфиладами. Что было тут общего с парижским кабаре? Впрочем, если для организаторов все помещение было целиком открыто (как раз тогда с недавних пор обладателем дворца графини Шово сделался ее племянник юный князь Феликс Юсупов — и спрашивается, что побудило его, баснословного богача, отдать в наем этот особняк?), то большую публику с улицы, когда кабаре стало действовать, пускали лишь по роскошной беломраморной лестнице, ведшей от вестибюля прямо в большой квадратный танцевальный зал. Там и был устроен кабацкий театрик.

Из того, что на сцене этого театрика давалось, я запомнил лишь два номера 13. Один был «ужасно страшный», в стиле Grand Guignol * — драма, сюжетом которой служил вздорно переделанный рассказ Эдгара По «Гибель дома Эшеров». Другой, несколько более удачный,— шутливая комедия (сочинения, кажется, Потемкина) в виде уличного «Петрушки». Традиционные роли были исполняемы не куклами, а живыми актерами, толкавшимися поверх протянутой занавески и с деревянными ножками, перекинутыми поверх ее. Это одно было довольно смешно, но я не запомнил, чтобы все представление вызывало тот гром смеха, на который рассчитывали.

Впрочем, и вся затея кабаре продолжалась недолго, мне кажется, всего два-три месяца — до весны, и уже осенью не возобновлялась.

Надо сказать, что то было вообще время всяких за гей и всяческой блажи. Оно по всему своему характеру очень отличалось от того времени, когда мы в 1905 г. покидали Петербург. Но я не сразу по прибытии из Парижа это почувствовал и познал. Было начало лета, когда уже многие разъехались, а всякие затеи или совсем позакрывались или влачили пригашенное и усталое существование. По от оставшихся еще в городе друзей — от Валечки, от Нурока, от Сомова я узнал, что произошли в наших и в близких к нам кругах поистине, можно сказать в связи с какой-

* Гран Гиньоль *(франц.).*- название парижского «Театра ужасов».

то общей эмансипацией, довольно удивительные перемены.

Да и сами мои друзья показались мне изменившимися. Появился у них новый, какой-то более развязный цинизм, что-то даже вызывающее, хвастливое в нем. Наши дружеские беседы и прежде не отличались скромностью и стыдливостью, но тогда тон все же был иной, более сдержанный, а главное, такие разговоры в сущности ни на что «реальное» не опирались — то было чесание языка (остававшееся еще с гимназических скамеек, привычка балагурить, смешить друг друга всякими особенно дикими выдумками или же какой-то смесью правды с вымыслом). Теперь же разговоры все чаще стали носить отпечаток пережитой были, личного опыта. <...>

Теперь вообще поэтов народилось удивительное количество — целый легион. Народились и новые музыканты; а в художествах пластических несравненно более уверенную и твердую позицию, нежели прежде, заняли всевозможные дерзатели, а то и шуты гороховые... Произошли симптоматические перемены в некоторых общественных явлениях. Например, на каком-то незадолго до нашего возвращения художественном вечере, девицы и дамы «вполне приличного буржуазного общества» выступали и плясали чуть ли не совсем нагими.

Много рассказов ходило о собраниях в «Башне», иначе говоря, в квартире недавно тогда появившегося на петербургском горизонте поэта и философа Вячеслава Иванова — где-то за Таврическим садом. То был центри, куда собирались все, которые задавались созиданием чего-то нового, и те, кто жаждал делиться своими мечтами с подобными же искателями. И как раз мои древнейшие друзья — Валечка и Костя (но не Сережа) были в «Башне» постоянными и весьма желательными гостями. Однако обо всем этом я уже говорю исключительно не по личному опыту, а понаслышке. Побывал я в «Башне», но гораздо позже, и уже тогда, когда этот центр утратил значительную часть своей прежней притягательной силы. Около того же времени многие из этих элементов сплотились, «облагоразумились» вокруг превосходного художественного журнала «Аполлон» 15, созданного Сергеем Маковским и явившимся до некоторой степени преемником нашего «Мира искусства» и московского «Золотого рупа». Другими центрами духовной жизни служили редакции всяких альманахов; в одних появилось немало искренних и прекрасных опытов, в других печатались почти исключительно всякие литературные гримасы, специально задававшиеся «эпатированием буряхуя». К великому удовольствию таких озорпиков, «все еще не сдававшийся буржуй» (с тех пор почти все своп позиции бедный буржуй сдал)

действительно возмущался, негодовал или с презрением отворачивался. Редкие стоявшие в стороне личности благодушно на все поглядывали, посмеивались, а то и наслаждались зрелищем всего этого паидемошгзма.

Менее всего касательства имел ко всем этим явлениям Дягилев. Волна стадного безумия захватила и его гораздо позже — в период, когда он уже в военные годы оказался отрезанным в Париже от общества своих основных друзей и сотрудников. В этом же 1908 г. Сережа был занят таким серьезным делом, как постановка «Бориса Годунова», которую

он собирался везти в Париж. И на сей раз им овладел тот поглощающий близкий к мономании энтузиазм, который овладевал им каждый раз когда перед ним вырастала какая-либо новая задача, причем его не только не отпугивали трудности ее решения, а напротив, они больше всего его манили и прельщали.

Глава 6 [ПАРИЖ. «БОРИС ГОДУНОВ»]

В данном случае творческие силы Сергея получили свой начальный импульс в том, что ему захотелось показать «миру» (а не одному только Петербургу) чуть ли не с детства знакомое произведение своего любимого композитора — Мусоргского. И надлежало его показать в самой совершенной сценической и драматической форме, во всем великолепии оперного спектакля. По счастью, ему сразу же удалось заручиться высоким покровительством в. к. Владимира Александровича **, а это и помогло ему раздобыть и нужные громадные средства и открыло двери, не исключая тех, ключи от которых находились в руках наших злейших врагов — Теляковского и Крупенского. Что же касается до главного действующего лица, до самого царя Бориса, то тут нечего было оглядываться и искать: к нашим услугам стоял сам Шаляпин, успевший за последние десять лет показать весь свой могучий талант. С каким глубоким чувством трагизма он понимал эту жуткую роль!.. Роль же Лжедимитрия Сережа решил доверить тогда только начинавшему выступать, совсем еще неопытному Смирнову, обладателю изумительно красивого голоса. Несколько гнусавый голос Алчевского удивительно подошел для характеристики коварного пресмыкающегося Шуйского; Марину должна была петь красавица Ермоленко, которую я успел оценить еще в дни постановки «Гибели богов» (в 1903 г.). Для руководства всей музыкальной частью нельзя было

найти лучшего мастера, нежели Феликса Блуменфельда, милейшего человека и на редкость чуткого дирижера; сценическая режиссура была поручена А. А. Сапину, как раз только что тогда с блеском поставившему массовые сцены в «Старинном театре». Наконец, для создания всей декорационной стороны Дягилев после моего отказа рассчитывал на К. Коровина и А. Головина, уже создавших превосходные декорации к «Борису» для императорской сцены.

Но тут Дягилева ожидало крупное разочарование. К. Коровин сразу и наотрез отказался. Головин же, если и дал разрешение на исполнение своих «идей», однако от сценической их реализации собственными рука-

** Мне кажется, я уже упомянул о том, что великий князь — президент Академии художеств, открыто благоволил нам, и Сереже и мне, и это несмотря на то, что оба мы были «les bêtes noires» [ненавистными людьми, **пугалами *(франц.)]* всего** академического ареопага.

16*

4S4*Vj 6. Париж. «Борис Годунов»*

ми и он отказался: несомненно, под этим крылось опасение, как бы не навлечь на себя недовольство Теляковского и его супруги. Вместо себя Головин советовал обратиться к одному московскому художнику (кажется, фамилия его Егоров1)» который, однако, будучи занят одновременно другим срочным заказом, отнесся к делу крайне небрежно, а от двух картин и вовсе отказался. Пришлось их («Терем» и «Кромы») поручить Юону, который и исполнил их со вкусом и совершенным мастерством, но откровенно отойдя от замыслов Головина. Совершенно удивительно, что Сергей исключил из постановки столь важную для всей трагедии сцену в «Корчме».

Лишь сочинение одной из семи картин оперы я отважился оставить за собой. То было «Польское действие». Оно представляло сады Вышне-вецкого замка, в которых происходит сцена Лжедимитрия и Марины Мнишек у фонтана. Отказался же я от остального, не считая себя достаточно компетентным во всем, что касается древнерусского быта. Напротив, здесь я был уверен, что буду себя чувствовать в «своей атмосфере». Моя декорация представляла в фоне грандиозный замок «европейской» архитектуры. Освещенные окна сразу вводили в ощущение праздника. На первом плане в тени высоких деревьев виднелась типичная для эпохи «фантастическая затея» с боскетом и мраморными статуями... К сожалению, на сцене, по вине тогдашней моей недостаточной опытности, получилась теснота, мешавшая эволюции танца, и, ввиду краткости срока до

спектакля, пришлось просто несколько кулис удалить, чем был нарушен весь мой эффект. Моптескью, которого я затащил на одну из последних репетиций, не скрыл своего разочарования именно от этой картины, и я малодушно скрыл, что я ее автор. Для самого же живописного исполнения этой картины в подмогу себе я обратился к молодому художнику Лок-кепбергу, успевшему на наших выставках выявить свое чувство красок и свое техническое умение. В общем, наше сотрудничество сошло благополучно, несмотря на то, что Локкенберг, отличаясь чрезмерной самоуверенностью (а отсюда и «непослушанием»), частенько меня раздражал. Но наши ссоры длились недолго и не помешали поспеть с работой к сроку. Писалась моя декорация в Петербурге, прямо на полу сцены придворного Эрмитажного театра, и мне доставляло особое удовольствие в минуты передышки переходить в зрительный зал и садиться на одно из мест полукруглого амфитеатра. Любуясь чудесной архитектурой Кваренги, я без труда себе воображал те праздники, которые здесь устраивала матушка Екатерина. Там же, на Эрмитажной сцене, был устроен смотр всех костюмов оперы: большинство было напялено на взятые напрокат деревянные манекены, частью одеты на живых людей — портняжных подмастерьев. На этот смотр пожаловал сам в. к. Владимир,— один, без свиты. Он с большим вниманием все разглядывал и остался чрезвычайно доволен. Теперь он уже был уверен, что спектакль сойдет на славу и не посрамит его в качестве «августейшего покровителя».

Самое изготовление этих (бесчисленных) костюмов происходило таким образом. Несколько основных костюмных типов нарисовал для нашей по-

становки И. Я. Билибин, одни из лучших знатоков русской старины. Руководствуясь ими и совещаясь с другими большими знатоками и со Стел-лецким 2*, мы с Сережей руководили всей портняжной работой. Сергей страстно увлекся подысканием материалов и с этой целью обошел вместе со мной все еврейские и татарские лавочки в Александровском рынке, а также славившиеся магазины парчовых и иных роскошных материй в Щукином рынке (Апраксином) и в Гостином дворе. В первых (лавках и лавчонках) мы неожиданно для нас нашли удивительное количество старинных и не особенно дорого стоивших подлинных кокошников, кик, повойников; немало также шугаев, летников и сарафанов,— все это из чудеснейших по цвету и выделке материй. Особенно же Сергей пристрастился к расшитым золотом и блестками головным платкам, из которых он надумал делать отложные воротники боярских кафтанов и шуб.

Вся эта *{музейная)* роскошь чрезвычайно поразила затем парижан (особенно тех нам близких людей, которым разрешалось приходить во время репетиций на сцену). Особенно же эти чудесные одежды пригодились в сцене коронации, в которой наиболее роскошно одетые бояре были поставлены в один ряд спинами к зрительному залу и составляли как бы заслон, за которым двигалась коронационная процессия. По другую сторону того же хода выстроились стрельцы в своих красных кафтанах и со своими гигантскими знаменами. Стеллецкий сделал рисунки регалий, тронов, хоругвей, больших, несомых на руках икон (крестный ход первой картины), а также всей обстановки в сцепе Терема. Все трое — Сережа, Стеллецкий и я — мы чрезвычайно увлеклись изготовлением этих предметов (Стеллецкому в самом здании Оперы было отведено особое помещение, и там он собственноручно все с большим вкусом раскрашивал). Особенно' были облюбованы те большие диковинные часы, что стояли в тереме Бориса 3*.

Что же касается польских панов и их дам, то я сделал, главным образом при помощи старинных гравюр, много рисунков костюмов определенно национального польского хграктера (для полонеза), но, кроме того, вздумал их смешать с чисто западными европейскими (по моде 1590-х годов) костюмами. Для этого Сережа по моему совету купил у Дирекции театров роскошные костюмы, мужские и женские, когда-то (еще во дни Цукки в 1886 г.) меня поразившие своим «достоверным» видом в сцене придворного балета в балете «Приказ короля» (1886). Их мы с трудом отыскали в лабиринте театральных складов в Тюремном пе-

Я совсем не помню, почему мы прибегли к столь мало удобному способу, а не заказали просто всю костюмную часть одному какому либо художнику — тому же, например, Стеллецкому.

Большой заслугой Дягилева было то, что он восстановил в партитуре, хранившейся в Публичной библиотеке, вето музыку этих «курантов», которая почему-то вообще была «купирована». Это одно из гениальнейших мест всей оперы, и меня каждый раз охватывала дрожь ужаса, когда эти «заморские часы» начинали хрипеть, заикаться и, наконец, проливать чудесные, волшебные звуки (все это в оркестре).

реулке и — о, удивление,— все это было в полной сохранности, не поедено молью и во всем блеске цветных шелков и бархатов, золотого шитья и самоцветных каменьев. Покровительство великого кпязя открыло нам и эти заповедные

двери царства Теляковского **.

К сожалению, властное «августейшее» покровительство перестало действовать, как только мы оказались в Париже, Там, в «Grand Opera», мы сразу встретили самое откровенное недоброжелательство и систематическое нерадение. Впрочем, не со стороны высшего начальства. Напротив, оба директора — п администратор Бруссан (Broussan,— тип довольно ограниченного и грубоватого «дельца») и композитор Мессаже (топкий музыкант, но равнодушный ко всему, что не касается его лично) — оба они делали от себя все зависящее, чтоб нам облегчить задачу устроиться в тогда еще для нас совершенно чуждом огромном помещении. Но в прямом смысле зависела вся зрелищная часть от всемогущего главного машиниста господина Петромана, пользовавшегося репутацией злостного интригана. И, действительно, он старался нам ставить на каждом шагу палки в колеса. Он командовал целым взводом (toute une équipe) рабочих, и эти господа приходили и уходили, когда им вздумается, и страшно нас смущали (мы все были очень плохо знакомы со всей «манерой быть» французских рабочих) своим «классическим» ропотом. В планы Петромана как будто входил полный провал нашего спектакля, что должно было нас отвадить на все времена. Вторжение иностранцев в такой, тогда еще строго оберегаемый храм, как «L*Académîe Nationale de Musique» *, должно было казаться французскому персоналу каким-то нашествием варваров — une horde de barbares. Эти варвары все что-то требовали, сердились, бранились. Свободно по-французски изъяснялись лишь Сережа, я и Блуменфельд, но, разумеется, французским языком вовсе не владели наши субалтерны — все заведующие разными частями — особенно наши портные и портнихи, бутафоры и прочие. Декорации писались в Петербурге и были доставлены по железной дороге, но холсты надо было еще набить на деревянные основы кулис, а навесные части закрепить на всей сложной системе канатов и блоков. Кроме того, надлежало вырезать окна и двери и построить все площадки, лесенки и т. д. Между тем, прибыли наши холсты неизвестно почему с большим опозданием, всего дней за пять до генеральной. Можно себе вообразить, какое получилось напряжение нервов, следовавшая за ним «адская» усталость, какое нами овладело отчаяние. Я буквально раздирался «на части», ибо взял на себя неблагодарную роль второго «неофициального» — директора (вернее, я как-то, сам того не замечая, влип в

Мой расчет на удачу смешения этих роскошных костюмов с темп, что были заново сделаны, не оправдался. Из-за слишком явной роскоши этого приобретенного старья с какой-то

«дешевкой» новых костюмов, последние казались довольно жалкими, а первые как-никак выдавали «прежнюю манеру» трактовать театральные костюмы.

Национальная Академия музыки *(франц.)*. (Академия **музыки и танца** - официальное название «Гран опера»).

*V, 6. Париж. «Борис Годунов»*487

эту роль) и поэтому на мне лежала обязанность за всем присматривать, всех информировать, всем — и русским, и французским — что-то объяснять, кого-то утешать, кого-то распекать и торопить. В это время наш «вождь» — Сережа — метался, по городу, угощал завтраками представителей прессы, хлопотал перед всякими «властями», чинившими нам те или иные препоны, доставал деньги. Только мы оба знали, где что находится, что должно происходить после чего; мы одни могли решать тут же, не задумываясь, массу назревших вопросов... У меня же чаще происходили столкновения, причем я должен был себя сдерживать, что-бы не разразиться свойственными мне вспышками бешенства...

И вот этот самый Петроман устроил нам в самый критический момент совершенно неожиданный сюрприз. В день первой полуофициальной генеральной репетиции и тогда, когда до «публичной генеральной» оставалось всего сорок восемь часов, Петроман в качестве хозяина сцены заявил, будто по нашей вине произошла ошибка и будто декорации не имеют требуемых размеров и что они па целых два метра не хватают до пола, а кроме того, требуются большие исправления и починки и что на все эти непредвиденные работы ему потребуется по крайней мере три или четыре дня. Но тут наш Сергей Павлович показал себя. Он нашел нужный тон, и это спасло положение. С самым спокойным видом Сергей Дягилев заявил, что откладывать спектакль он не намерен и что готов показать Парижу оперу без декораций. Петроман так испугался скандала, что «немыслимое» затем свершилось, и на следующий день к началу генеральной, к восьми часам, все семь картин не только оказались висящими на своих местах, *достигая пола,* не только все было «подделано», а что требовало починки, было починено, но мы еще успели перед началом спектакля с шести до восьми наладить главные эффекты освещения. Все поспело действительно «в последнюю минуту», и я еще стоял на стремянке, заделывая пастелью какое-то проступившее от сырости пятно на фоне декорации Новодевичьего монастыря, когда уже кончалось вступление, и был подан сигнал к поднятию занавеса.

Не устану повторять: удивительная вещь — театр и всякие его неожиданности. Вот эта самая, помянутая только что «интимная

генеральная репетиция» (без декораций) — осталась в моей памяти как нечто ни с чем не сравнимое. Шаляпин очень волновался, вероятно ощущая нечто напряженное, почти катастрофическое в воздухе. Насилу убедили его выйти на сцену. Он даже отказался гримироваться и не переменил костюм после сцены коронации. В сцене «Терема» он так и остался в коронационном облачении и с шапкой Мономаха на голове. Мало того, он уверял, что забыл текст Пушкина, который он должен «говорить» под музыку помянутых курантов. На всякий случай я положил на стол перед ним свой томик Пушкина, который и осветил электрической лампой, заслоненной от публики грудой книг. И вот *никогда* я не испытывал такого мистического ужаса, такого мороза по коже, как тогда в этой сцене. Борис без бороды казался слишком молодым, вместо декорации царских хором зияла мрачная пустота сцены, и лишь лунный луч падал на стоявшие у

488*У, 6. Париж. «Борис Годунов»*

самого переднего плана диковинные часы. И вот, когда куранты стали «играть» (заиграл оркестр, но казалось, что звуки льются из часового ящика), то нам, и Шаляпину первому, стало нестерпимо жутко, вследствие чего и получился неповторимый эффект.

Но и после той странной репетиции и после того, что chef machiniste * сдался и обеодал перевесить декорации, мы, «русская дирекция», не были еще уверены, что генеральная репетиция (при полном зале) может на следующий день состояться. Не говоря уже о бесчисленных неисправностях в деталях костюмов и в бутафории, многое не было готово в самой постановке, хоры не были вполне слажены, а единственная проба со статистами, прошедшая накануне (после полуночи — раньше сцена не была свободна), обернулась в какую-то дикую оргию, с которой не мог справиться даже такой «укротитель масс», как Сашш 5*. Все это грозило катастрофой, и даже наш бесстрашный держатель Сереженька струсил. Однако тут и произошло н на сей раз удивительное театральное «чудо». Дягилев решил устроить ужин в знаменитом ресторане «La Rue» на площади Мадлен, и на этом ужине он созвал род военного совета, который и должен был решить — *выступать ли завтра или нет.* Кроме всех действующих лиц — артистов, занятых в опере, включая и несколько балетных, кроме художников и режиссеров, были приглашены и низшие служащие: заведующий портняжной мастерской Йеменский, его главные закройщик и закройщица, а также старшие из взятых с собой плотников московского Большого театра и, наконец, шаляпинский гример — заика \ но

великий знаток своего дела, пользовавшийся абсолютным доверием Федора Ивановича. И вот когда после всего съеденного и выпитого был поставлен па общее голосование вопрос (видно, Сергей действительно йена шутку оробел, раз прибегнул к такому ему не свойственному «демократическому» приему), выступать ли завтра или нет, и уже большинство высказалось за то, чтоб отложить спектакль дня на четыре,— поднялся

* Главный машинист *(франц.)*.

5* Еще одно из незабываемых впечатлений тех дней. Почти полные потемки на необъятной сцене «Оперы», среди которой горит одна «дежурная лампа», резко освещая лишь тех. кто подходил к ней совсем вплотную. И вот среди этой по-лутьмы толпится расшалившаяся масса (человек около двухсот) подобранных с улицы, грязных и дурно пахнущих людей с наскоро подвешенными бородами, в наспех, криво и косо напяленных боярских шубах и в меховых шапках. Видно, сброду эти наряды показались чем-то до того удивительными и смешными, ¡¡ до того все ошалели от неожиданности собственного вида, что всем этим полуголодным, случайным лицедеям явилась вдруг охота, несмотря на поздний час, повеселиться. Они что-то стали петь и наконец закружились в каком-то вихре фарандолы. Напрасно их предводитель (единственный постоянный статист «Орˆга», на ком и лежала обязанность подобрать остальную компанию) отчаянно вопил, взывая к порядку, напрасно Санин, взобравшись на какой-то стол, обращался на своем «тарабарском» наречии, с мольбой, начиная свои вопли словами: «Chers citoyens francais!» (Дорогие французские граждане!)—толна в течение целого часа не унималась, дурила и бесновалась. Л нлдо было наладить и коронационную процессию, и крестный ход в периой кг ртине, и толпу польских магнатов в «Польском действии».

V , 6. Париж. «Борис Годунов»

489

этот самый гример-заика и произнес небольшую, но столь внушительную речь (что-то вроде: «не посрамим земли русской» и «ляжем костьми»), что волна оптимизма снова подхватила всех, и окончательно было постановлено играть, не откладывая, во что бы то ни стало завтра, «будь, что будет» и «с нами бог».

И получился не позорный провал, а триумф. Все в последний момент поспело, все сладилось. Коронационное действие было среди дня прорепетировано иод личным наблюдением Сережи — раза три (так же, как полонез в польском акте и «мятеж» в Кромах). В какой-то зале главные артисты проверили под рояль свои наиболее ответственные места. Где-то в восьмом этаже

Стеллецкий дописывал выносные иконы и хоругви, в двух других залах тридцать русских швей в страшной спешке что-то зашивали, пороли, перешивали, выглаживали помятые костюмы. Я носился, как безумный, вверх и вниз по всем этажам и по всем боковым коридорам (ни лифтов, ни внутренних телефонов в гигантском здании «Оперы» не было....). Сережа тем временем был занят вне театра и сразу в нескольких местах, приглашал представителей прессы и каких-то влиятель-ных персонажей, читал корректуру великолепной, наполненной иллюстрациями программы и т. д. Не меньшую вездесущность, нежели Сережа и я, проявил Санин, но, кроме того, он на самом спектакле, никого не предупреждая, облачился в красный кафтан «пристава», создал себе удивительно характерный образ свирепого блюстителя порядка и оказался сам в толпе у ворот Новодевичьего монастыря. Шагая между коленопреклоненными людьми, он безжалостно стегал кнутом по спинам баб и мужиков и производил ото с таким мастерством, так выразительно, что его отметил весь зрительный зал, и на его долю выпала значительная часть успеха. В «Коронации» и в «Думе» он же преобразился в боярина и опять, смешиваясь с толпой, руководил ею, поправляя позы и группы, незаметно давал сигнал для общих движений, подстрекая вялых и нерадивых, приструнивая тех, кто терял предписанную важность и принимался по неисправимой французской привычке шутить и паясничать. Я лично до того был возбужден и до того полон тревоги, как бы все же не случилось чего-либо неожиданного, что во время спектакля то бросался на сцену, то отсиживал в нашей директорской ложе, где, между прочим, нужно было давать объяснения нашему главному французскому доброжелателю — мастиюму критику Беллегу, который вместе с Клодом Дебюсси был из самых первых во Фрапции, оценивших все несравненное значение, всю бесподобную красоту русской музыки.

Беллег же, при всем своем сочувствии, выразил крайнее недоумение перед некоторыми купюрами, которые себе позволил сделать наш автократ. Узнав о них, Беллег стал требовать их восстановления. Самым непонятным было исключение всей чудесной сцены «В корчме». Но как раз эта купюра объяснялась каким-то припадком страха, что вообще при всей отваге Сергея было ему иногда свойственно. Когда такой страх им овладевал, то никакие доводы не помогали. Ему вдруг показалось *невозможным* показать элегантной, брезгливой парижской публике нечто до такой

степени грубое и «грязное». Доводы Беллега в другое время, вероятно, и подействовали бы, но тут было уже поздно

восстанавливать целую картину,— к тому же и декорация не была написана, и никто не был приглашен для столь важной роли как «шинкарка»...

Беллег и вместе с ним некоторые французы: Дебюсси, Кальво-Корес-си, не говоря уже о русских поклонниках «Бориса Годунова», негодовали, но принуждены были смириться, и, кажется, никаких протестов в прессе не появилось. Другая купюра была менее чувствительной,— это пропуск сцены Марины с архиепископом, и эта купюра с тех пор даже стала общепринятой. Эта сцена действительно только затягивала действие и существенного значения в его развитии не имела. Было высказано немало критик в отношении того порядка картин, который установил Дягилев. Заботясь о контрастном эффекте в чередовании сцен массовых и более интимных, Дягилев сразу после первой картины, происходящей у ворот Новодевичьего монастыри, назначил идти сцене в келье Пимена 6*, а после тихой темной кельи особенно эффектно получается солнцем залитый Кремль с его белокаменными и златоверхими соборами. Также был нарушен порядок и в двух последних сценах. По идее Мусоргского, трагедия должна кончиться под заунывное пение замерзающего под снегом юродивого, олицетворяющего всю печальную судьбу России, наступившую в Смутное время. Вместо этого опера у нас кончилась на более театральном эффекте — на смерти Бориса, и несомненно, что тот энтузиазм, который вызвал здесь Шаляпин, является лучшим заключительным аккордом. К новшествам и «контрастам» Дягилева принадлежало и то, что Самозванец в картине «Кромы» не выезжал на коне, а его, стоящего в санях, тащил серый, голодный и мятежный люд: так Сергею казалось «вернее». Певцу не надо было думать, как под ним ведет себя конь (кони — плохие актеры, и часто ведут себя на сцене неподобающим образом), а сцена получилась куда более выразительной и даже нарочито символичной: выходило, что Димитрий — избранник народа, а тем самым более грозен для Бориса.

Максимум же успеха выпал, разумеется, на долю Шаляпина. И до чего же он был предельно великолепен, до чего исполнен трагической стихии! Какую жуть вызывало его появление, облаченного в порфиру, среди заседания боярской думы в полном трансе безумного ужаса. И сколько благородства и истинной царственности он проявил в сцене с сыном в «Тереме»! И как чудесно скорбно Федор Иванович произносил предсмертные слова <(Я царь еще...» Однако и другие артисты были почти на той же высоте *{совсем* на той же высоте не было тогда, да и после, — никого, а сам Шаляпин переживал *как раз тогда*

кульминационный момент расцвета своего таланта): прекрасно звучал бархатистый, глубокий, грудной голос Ермоленки (Марина), чудесно пел Смирнов (Димитрий), особенное впечатление производил столь подходящий для роли коварного

в* Вследствие чего получилась историческая нелепость: Пимен грозит Борису-царю, тогда как Борис еще не царь и становится им лишь после венчания. Но публика плохо следит за текстом и этой нелепицы не замечает.

царедворца Шуйского чуть гнусавый тембр Алчевского. Выше всех похвал оказались и хор и оркестр под управлением Блуменфельда.

Необычайный успех был отпразднован сразу после окончания первого спектакля (или то была генеральная публичная репетиция, имеющая в Париже еще большее значение), однако то было празднование скорее интимного характера, происходившее под председательством двух нам благоволивших дам; очаровательной Миси Эдварде 7* и знаменитой в лондонских анналах конца XIX в. госпожи Бернардаки, столь же славной как всем своим «европейским» прошлым, своими жемчугами, так и своей редкой музыкальностью. Ужин происходил в соседней с Оперой «Cafe de la Paix», за ним было выпито изрядное количество шампанского. Ярким воспоминанием живет еще во мне то, что за этим последовало: как мы — я и Сергей — под ручку, уже на рассвете, возвращались в свои оте-ли, как не могли никак расстаться, и как, под пьяную руку дойдя до Вандомской площади, мы не без вызова взглянули на столб со стоящим на его макушке «другим триумфатором» \ Да и потом мы еще долго не могли успокоиться и даже, оказавшись каждый в своей комнате, продолжали переговариваться через дворы соседних домов — я из своего «Hotel d'Orient» на rue des Petits Champs, Сережа из своего более шикарного «Hotel Mirabeau» на rue de la Paix 8*. Уже встало солнце, когда ко мне забрел Сережин кузен, остановившийся в одной со мной гостинице,— милейший Пафка Коребут, тоже сильно пьяненький. Ему от пережитых волнений не спалось и его нудило излить в дружеские души свои восторги. Узнав о возможности переговариваться через окно с Сережей, он стал взывать к нему, и это так громко, что наконец послышались из разных мест протесты, а в дверь к нам строго постучал отельный гарсон. Насилу я Пафку оттащил от окна и уложил тут же у себя на диване.

Глава 7 [1908 г. ЛЕТО В ЛУГАНО]

В таком же состоянии восторженного упоения я оставался и все остальное время моего пребывания в Париже, но последнего спектакля «Бориса», мне помнится, я не дождался. Мне нужпо было спешить вернуться, так как у нас с женой был давно лелеян план провести лето

7* У меня явилось сомнение. Пожалуй, я здесь путаю. Мися тогда еще не играла в нашей компании столь исключительной роли 3. Она стала ее играть лишь в следующем году, когда начались наши балетные спектакли. Однако с Мисей и ее будущим мужем, испанским художником Сертом, мы уже были знакомы,— я и Сережа, еще в 1899 г. Познакомился я с ним у Камилла Бепуа.

8* Столь близкое соседство наших гостиниц заменяло нам телефон. То я вызывал Сережу, то он меня. Звуки рояля в Сережином номере при открытых окнах свободно долетали до меня. Не знаю, сохранилось ли подобное «удобство» после полной перестройки моей «Гостиницы Востока», утратившей самое свое название.

где-нибудь на итальянских озерах. Мечта о таком пребывании зародилась у меня еще тогда, когда в 1884 или 1885 г. Лльбер весной вернулся из своей поездки по северу Италии и привез серию превосходных этюдов. Позже я как-то почувствовал и «предвкусил» всю прелесть именно Луганского озера благодаря картине Ендогурова, которую я и Бакст очень облюбовали на выставке и которую мы «заставили» Сережу приобрести, что и явилось началом его (не долго длившегося) коллекционирования. Глядя па альберовские акварели и на эту картину, мне казалось предельным счастием оказаться на этих берегах и наслаждаться отражением лесистых гор в кристаллической изумрудного отлива воде. И то же мне еще раз особенно сильно почувствовалось, когда, мчась во время нашего свадебного путешествия вдоль Луганского озера, мы оба из окон поезда были в чрезвычайной степени поражены единственной в своем роде красотой этих райских мест... И вот теперь, в 1908 г. мы наконец получили дматериальную возможность осуществить нашу мечту. Вышло так, что и Добужинские выбрали для своего летнего пребывания те же места, и это нам было приятно. Мы даже думали нанять одну общую виллу, но это Fie удалось, и пришлось ютиться по отелям сначала в Кастаньоле, в поэтическом, стоявшем у самой воды пансионе «Villa du Midi» *, а затем в более высоко лежащем местечке Соренго на берегу соседнего с Луганским озером La go di Muzzano. И там нам пришлось разъединиться, так как в том папсионе деревенского типа, который нам понравился, не было

достаточно для всех места (нас было пятеро, и семейство Добужинских состояло из пяти человек, а кроме того, при детях состояла бонна-немка). Однако гостиница, подошедшая нашим друзьям, отстояла через дорогу всего па полсотню шагов от нас, так что мы могли быть вместе, когда только вздумается. Наша «Pensione Collina сГОго» ** (хозяина звали Olgiati) была совершенно рюстичного *** характера, сад даже не был отделен забором от дороги (зато в стороне была длинная просторная беседка-трельяж, увитая виноградом, и к концу лета на нас свешивались поспевшие тяжелые гроздья); а самый дом был типа «шале». Во втором этаже была наша совсем старомодная, но очень опрятная спальня с расписным потолком, а рядом две комнаты для девочек и для Коки. Хозяин и хозяйка оба очень вкусно готовили, а хозяин был любезнейший малый. У них были сын и дочь: Карлино — смуглый черноволосый мальчик и белокурая, с пушистыми волосами Изиде. Сын был тех же лет, что наш Кока, но с ним мы не «ладили», ибо он мучил свою собаку — милейшего, веселейшего дворнягу, полутаксу Флика. Прислуживала при отельчике всего одна девушка, но что за прелесть была эта Тереза, настоящая деревенщина, простодушная, едва ли грамотная, до необычайности усердная, с вечной улыбкой на очень правильном (в стиле К. Брюллова) лице, успевавшая все делать и никогда не роптавшая. Кроме нас

*«Полуденная вилла» *(франц.)*.

'* Пансион «Золотой холм» *(итал.)*.

*__От rustique *(франц.)*.— деревенский.__

в этом отельчике жило всего одно немецкое семейство, состоявшее из трех лиц, и какая-то особа, на которую наши дети косились, но которая вела очень скромный и тихий образ жизни... Стоило же полное пропитание в этом пансиончике всего четыре франка в день с человека (тогда курс швейцарского франка был одинаковый с французским), и это вполне соответствовало нашему бюджету.

Я только что одобрительно отозвался о синьоре Ольджиати как о поваре, но, кроме того, этот даровитый человек совершенно для меня неожиданно оказался в высшей степени полезным, так как он во всех подробностях знал все окрестные места и был лично знаком с большинством их обитателей. Как раз тогда Игорь Грабарь был занят исканием материалов для своей «Истории русской архитектуры» в XVIII и XIX вв., и дошел в своей работе до разных иностранных художников екатерининского и александровского времени, часть коих происходила из Лугано и

из соседнего Комо. Узнав, что я отправляюсь в эти места, он и попросил меня навести справки на месте, не сохранилось ли каких-либо сведений о Д. Джилярди, о Висконти, об Адамини, а то и об их произведениях на родине. И вот от Ольджиати я узнал, что потомства всех этих мастеров по сей день благоденствуют и ведут образ жизни зажиточных людей по близ царящим деревушкам, и особенно их много в лежащем повыше местечке Montagnola на склоне той же «Collina d'Oro» — «Золотого холма», названного так именно потому, что местные жители туда вернулись богатыми людьми из чужих краев, и главным образом из России. Всех этих потомков Ольджиати отлично знал лично и с удовольствием взялся меня с ними познакомить. На самом деле я, благодаря этим знакомствам и сохранившимся у них семейным архивам, узнал за лето столько для себя нового, что уже моя исследовательская работа далеко превысила заданную мне Грабарем задачу, и я эту работу обнародовал * в «Старых годах». Назвал же я свою статью: «Рассадник искусства», а так как из Луганской и соседней Комской области родом были не только разные архитекторы, работавшие в России, но и масса других художников,— живописцев и скульпторов, среди коих фигурируют несколько *первоклассных* мировых знаменитостей. Почти все они работали за пределами своей прекрасной, но в то же время далеко не богатой родины — кто по разным итальянским городам, а кто в Германии, в Испании, Польше. Я не выходил из изумления. Как, и Мадерна, окончивший грандиозный собор св. Петра в Риме, отсюда? Отсюда и Борромини, гениальный в своей виртуозности представитель «крайнего барокко», и такие художники, как Луини, и многочисленные представители семьи Гад-яшни и т. д.

Доменико Джилярди был родом из помянутой деревушки Монтаньола, и в ней, вернувшись на родину, он закончил свое долгое существование. Там же он и похоронен на поэтичном кладбище (в около Монтаньолы находящемся местечке Джентилино), украшенном классическим портиком, им на свои средства построенном. Любезный Ольджиати скоро заразился моим увлечением и стал меня возить на своей таратайке по

более далеким закоулкам, как только он по наведенным справкам узнавал, что там или здесь имеются или *могут* найтись какие-либо художественные достопримечательности. К концу лета я познакомился еще с молодым курато церкви в Джентилино — доном Луиджи Симона. Его я буквально *заразил,* и впоследствии дон Луиджи стал уже самостоятельно делать всякие изыскания, плодом которых явилось несколько его обильно

иллюстрированных брошюр и книг, а сам он занял видное положение среди тессинских любителей и знатоков старины.

Из разных местечек, с которыми меня познакомил Ольджиати, особенно приметной оказалась деревушка, лежащая по полгоре, высящейся над озером Мудзано, под Бионьо. Там оказались все еще живущими в своем семейном домике наследники художника Ламони, тоже работавшего в России, в Петербурге, в XVIII в. Там же я набрел на целый очень интереспый архив и там же мне удалось приобрести для милого друга Аргутипского (в то время он еще не жил в Лугано) два произведения Стефаио Торелли, из которых одно (незаконченное) изображает «Славу Екатерипы II», а другое — портрет двух детей художника. Мне же Ламони подарил два любопытных рисунка пером моего прадеда, изображающих виды Петербурга около 1780 г. Много интересного я нашел и в архиве семьи Адамини... Один из предков Адамини, носивший название «каменных дел маете-р» (на самом деле руководивший каменоломней — инженер), принял самое значительное и самое ответственное участие в сооружении по проектам Монферрана таких грандиозных памятников первой половины XIX в., как Александровская колонна и Исаакиевский собор.

Все благодаря тому же милому Ольджиати и тому подобию дружбы, что завязалась между этим совсем простым, но очень отзывчивым человеком и мной, я познакомился лично и с рядом лиц, занимавших более или менее значительное положение в этом своеобразном обществе,— потомков разбогатевших техников и художников. Тяготения к искусству я уже среди них не нашел. Художеством жили их деды и прадеды. Нынешние же их наследники в лучшем случае были инженерами, а большинство были «des particuliers» *, существование которых было обеспечено капиталами, нажитыми дедами. Образ их жизни мало чем отличается от того, который ведут местные крестьяне — «contadini». Среди этих новых знакомых оказались и двое Джилярди. Один из них, еще совсем молодой человек, в те дни был синдако (староста) Монтанъолы, другой — милейший Алессандро Джилярди, владел там многоэтажным домом, который стоял бок о бок с роскошной виллой, когда-то принадлежавшей знаменитому Доменико, однако, благодаря иронии судьбы, доставшейся по наследству совсем постороннему лицу (вследствие брака). Синдако Джилярди познакомил нас со своей теткой — синьорой Камуцци, и это знакомство оказалось для нас особенно значительно, ибо синьора

* Частными людьми *(франц.),*

Матильда, как ее все звали, «дзия (тетушка) Матильда», жила в своем прелестном старинном палаццо, вид из которого на Луганское озеро нас до того пленил, что мы тут же решили непременно в нем поселиться в следующем году. Это намерение мы и исполнили на очень выгодных для пас условиях, и таким образом, в течение следующих четырех лет мы сами стали жителями Луганской области и божественной (поистине — божественной) Монтаньолы.

В моем распоряжении в казе (доме) Камуцци было даже целых три комнаты: в одной я занимался живописью, в другой, глядевшей на полукруглую площадь перед домом, я становился писателем (своих фельетонов для «Речи» и своей «Истории живописи»2), в третьей — в нижнем этаже, в салончике с фамильными портретами, я мог в минуту отдыха предаваться (увы, на очень расстроенном пианино) своим музыкальным импровизациям. Там же в 1910 г. я написал маслом по заказу большую картину с версальским мотивом, поднесенную архитектору Лид-велго его друзьями и сотрудниками.

Чудесный тенистый сад с живописным гротом, террасами спускающийся к небольшому потоку, мы могли считать *исключительно* нашим. Из удивительной деликатности наши хозяева никогда сами туда не выходили — «чтоб нам не мешать». Вообще дзия Матильда была в высшей степени воспитанная дама (она никак не напоминала «контандинов») и всячески старалась как бы совсем «стереться».

Мы каждой весной возвращались туда как к себе домой и находили все в том же порядке, в той же чистоте и в той же приветливости. Я настоял на том, чтобы мы в Монтаньоле никакого настоящего хозяйства не заводили, а пользовались бы ресторанчиком, отстоявшим в нескольких шагах от казы Камуцци и обладавшим, в качестве столовой, террасой, с которой открывался далекий вид, если и не столь фантастический, как тот, что стелился из окон нашей виллы в сторону Комо, то все же чудесный. На этот же горный вид, с цепью Камоге в глубине, глядели и окна квартирки, которую снимал для себя В. Ы. Аргутинский-Долгоруков в помянутом уже доме Алессандро Джилярди. Жизнь в Монтаньоле рядом с нами так нравилась Владимиру Николаевичу, что он с нетерпением ждал момента, когда он мог освободиться от службы (в Министерстве иностранных дел) и приезжать к нам. Он также столовался в ресторанчике синьора Барбе и, будучи не особенно требовательным к еде,— вполне довольствовался теми скромными и немножко однообразными меню, из которых состояли наши завтраки и обеды. Утренний же кофе с чудесным

молоком и чудесным деревенским хлебом и он, и мы пили у себя дома.

И до чего же вообще и мне, и моей жене, и нашим детям нравилась эта жизнь. Дети быстро подружились со всей окружающей молодежью, что очень подвинуло их в итальянском языке. Атиной главной подругой была серьезная, лицом неказистая, но добрая Чекина Луккини; Лелиной подругой — столь же шаловливая, как она, Ольга Беретта Пик-коли; Кокиным другом — брат Чекины Винченцо. В Монтаньоле нам нра-

вилось все: и мягкий, ровный климат, благодаря которому дни текли в удивительном покое, лишь изредка нарушавшемся эффектными, но довольно «милостивыми» грозами, и прелестная лесистая местность, и воздух (ах, какой целительный горный, почти альпийский воздух, как легко там дышать!), и самые жители, весь их строй жизни, соединявший в себе лучшие стороны швейцарской и итальянской культуры, их приветливый, веселый нрав, особенно же пленяло удивительное разнообразие пейзажей, густо тенистые рощи, горы, из которых одни подступали к самой нашей «Collina cГОго», другие — огромные, зеленея или голубея, громоздились в отдалении и уводили глаза далеко-далеко. Пленил нас и наш собственный маленький дворец, его изящная архитектура, его старомодная удобная меблировка, его эффектная, широкая лестница, спускающаяся от площади через наш дом к саду.

Несколько раз в лето на главной верхней террасе устраивались нами большие сборища (в дни рождения и именин моей жепы и старшей дочери Анны) с иллюминациями и фейерверками, с танцами и играми, а раз даже был устроен домашний спектакль, в котором участвовали наши дети и их друзья, и на него пожаловала вся Монтаньола вкупе с милым доном Луиджи. Однако ему как священному лицу не подобало оставаться среди прочей публики, и потому была устроена на застекленном балконе тетушки Матильды своего рода ложа для сохранения его инкогнито. Один бал был устроен внутри дома в нижней романтической гостиной, и для этого случая был приглашен не слишком благозвучный оркестр, состоявший из четырех местных наемных музыкантов. Боже, сколько во всех этих случаях было смеха, сколько безобидных шалостей! Особенной изобретательностью на шалости и шутки отличался наш Кока, очень за последнее время окрепший здоровьем и развившийся умственно. От прежнего болезненного, худенького, робкого мальчика-тихони не осталось следов. При этом он по-прежнему

нас обоих обожал и был необычайно к нам внимателен. В лице своего кузена (точнее, двоюродного племянника) Саши Черепнина он пашел себе достойного товарища. Саша со своей матерью, моей подругой детства и «нашей общей племянницей», провела большую часть лета 1912 г. в Монтаньоле. Из разных изобретений Коки и Саши особенное впечатление произвел мастерски ими склеенный из бумаги скелет, который и был (без нашего ведома) повешен среди деревьев над тропинкой, по которой к вечеру поселяне возвращались вверх по горе со своих полевых работ. Легко себе представить ужас, охвативший этих добрых людей (особенно женщин), когда в сумерках среди листьев они узрели такое жуткое memento mori. Из-за этого вышел целый скандал, и оба наши молодца, Саша и Кока, подверглись опасности быть жестоко наказанными рассвирепевшими мужьями и отцами. Несколько дней они просидели дома, боясь показаться в деревушке.

Раз попав на тему о наших пребываниях в Лугано и Монтаньоле, я не могу воздержаться от соблазна тут же рассказать, все более забегая вперед, про разные особенности тех чудесных лет. К особенно оригинальным таким особенностям края принадлежали (и несомненно, при-

надлежат и ныне) те погребки — «convettí», которыми обладает почти каждый из жителей этих полугорных деревушек, подчас вовсе не богатый. Считается, что местное вино, обладающее своеобразным привкусом, лучше сохраняется в этих погребах, а то обстоятельство, что эти «каяветти» или «гротти» расположены целыми рядами в тенистых рощах, способствует — особенно в праздничные дни — очень веселым и уютным семейным сборищам, причем вино распивается, как того требует обычай, не из стаканов, а из чашечек (рода плошек, без блюдечка), сидя на простых деревянных скамьях вокруг грубо сколоченных столов (без всяких скатертей). Получаются своего рода пикники на лоне природы, под густой листвой, часто совсем недалеко от дома. Вино очень легкое, быстро пьянит веселым опьянением, и потому угощения эти проходят без буйства или какого-либо дебоша. Мы предпочитали местному вину, которое нацеживалось прямо из бочки (и пилось почти ледяным), бутылочку чего-либо шипучего: белого «Asti» пли темно-красного «Barbera`>. Очень ценил такое баловство Стип Яремич, который не раз хватал и лишнего, после чего нес ужасающую, но и пресмешную чепуху, доставлявшую нам — особенно нашим детям большое наслаждение. Он и без всякого винного вдохновения мог

быть чисто украински, по-гоголевски остроумен, ну, а когда выпьет, то его фантазия не знала пределов, и надо отдать ему справедливость, что он и тогда не изменял своему природному такту.

А экскурсии! Сколько мы их за эти пять лет (одно «Соренговское» *я* четыре «Монтаньольские») совершили, где только ни побывали, что только ни видели, куда только ни влезали, какие художественные открытия ни делали! В первое луганское лето (проведенное в Соренго у Ольд-жиати в 1908 г.) почти все такие экскурсии делались, как я уже упомянул, в связи с моими поисками материалов для моей статьи о художниках, работавших в России, и они почти все происходили в обществе и под некоторым руководством синьора Ольджиати. Но с момента, когда в 1910 г. мы познакомились с курато Джентилино-Монтаньолы доном Луиджи Симона, он стал нашим спутником и проводником. С ним я лично посетил Saronno, где такие замечательные фрески Луини, Varallo, где ряд капелл, 'стоящих по поднимающейся в гору дороге (Sacro Monte), содержат изумительные образцы творчества (скульптуры и живописи) самого выдающегося из ломбардских художников — Гауденцио Феррари. В той же компании со включением юных друзей наших детей мы взобрались на довольно-таки крутой Monte Generoso (и оттуда любовались как закатом, так, на следующее утро, и восходом солнца над грядами гор и над пятью озерами). Дважды, а может быть и трижды мы побывали на Борромейских островах. Мы досконально изучили все деревушки, расположенные в Val d'lntelvi и в двух близлежащих долинах; каждая содержит но церкви с замечательно декоративными и блестяще исполненными скульптурами и фресками; дважды мы совершили род паломничества к древней церкви Madonna d'Onagero, лежащей далеко от всякого жилья в совершенно диком лесу на южном склоне Monte San Sal-

vatore l*, раза три мы посетили Орию, где сохранился тот самый дом, в котором жил Фогаццаро и который он описал в своем «Un piccolo mondo antico» * (там у него утонула маленькая дочка); взобрались мы и на обе возвышающиеся над самым городом Лугано горы: на менее высокий Monte Bré и на более высокую, рядом лежащую, Monte Baglia, откуда открываются чудесные виды. Через последнюю по следам контрабандистов мы перешли из Швейцарии в Италию. Побывали мы и в Менд-разио, откуда родом наши художники Бруни, и в обоих Альбогазио, и в Моркоте, в котором тоже прелестная церковь и где теперь, как я недавно узнал, кончает свой век ставший старцем, а в те времена

необычайно прыткий и неутомимый дон Луиджи. В крупном селении Кастелло, лежащем над Сан Мамете, меня поразила грандиозная по композиции и по своим густым краскам плафонная фреска, автор которой в те времена не был известен. В горную деревню Ponte Capriasco мы отправились специально для того, чтобы взглянуть на фреску, являющуюся копией (в ту же величину) знаменитой «Тайной Вечери» Леонардо, исполненной еще в начале XVI в. каким-то учеником великого мастера. В очаровательно лежащей, нарядно барочной церкви Кампионе, виртуозно расписанной блестящим фрескистом Изидоро Бианки, сохранилась на стене крытого, огибающего ее перехода, фреска раннего XV в., одно из самых интересных и своеобразных изображений Страшного Суда. Блестящие •фрески одного из забытых соперников Тьеполо и Пьяцетты — Петрини 2* украшают ту одинокую церковь, которая лежит в лесу по дороге к помянутой Мадонне д'Онаджеро, а на наружной стороне этой последней чудом, несмотря на дожди и бури, сохранились примитивные фрески XII или XIII в. Да всего не перечислить, да и досадно ограничиваться лишь такой номенклатурой, тогда как каждое наше «открытие» заслуживало бы подробного описания... Говорю «открытия», ибо большинство этих достопримечательностей ни в каких путеводителях и тем мепее в каких-либо «историях» искусства не помянуты.

Кроме этих экскурсий по окрестностям Лугано (в самом Лугано •сохранился один из шедевров Луини — замечательная фреска в церкви Santa Maria rìegli Angeli, расположенной на самом берегу озера), кроме этих экскурсий я, то один, то с женой, а то и со всем семейством,

На возвратном пути второго такого паломничества в 1913 г. я натерпелся немало страху, так как, пустившись один, по своей неисправимой привычке искать «сокращенные пути*, по неизведанной тропинке, вскоре заблудился в малорослом кустарнике и уже шел наобум, вернее, сидя сползал илн прыгал, держась за гибкие веткн и все больше ощущая, что мне не выбраться, что меня окружает что-то неведомое (ходила молва, что несколько человек заблудилось и пропало такпм образом). И лишь три часа спустя такого блуждания я услыхал под собой лай собаки и увидел крышу какого-то дома. «Я был спасен». Но боже! В каком виде я предстал перед своими дорожными товарищами!

«Маленький старинный мирок» *(итал.)*.

Прекрасный портрет старнка-скульптора Агостино Камуцци, приписываемый этому Петрини, мне удалось приобрести у госпожи Камуцци, и он занял особен- , но почетное место среди моего собрания.

совершал ряд поездок в Милан, музеи которого благодаря тому я наконец стал «знать» не хуже Эрмитажа или Лувра. И опять-таки — то-один, то с женой — мы побывали, «исходя» все из того же ставшего родным Лугано, в Венеции, в Брешии (что за чудесный художник Морет-то!), в Равенне, в Болонье, в Виченце, в Вероне, во Флоренции, в Сиене, в Мантуе два раза и т. д. Спустились даже в Неаполь. И после каждой такой поездки я возвращался с записной книжкой, полной заметок, и чемоданом, полным музейных каталогов, с бесчисленными фотографиями... Немало фотографий понаснимал я и сам, причем так наловчился это производить, пользуясь очень скромным, примитивным аппаратом, что некоторой части своих снимков я мог затем дать место в своей роскошно издававшейся «Истории живописи», которая стала выходить выпусками с 1911 г.

Увенчанием всех этих прогулок и путешествий явился произведенный нами в наше последнее луганское лето в 1913 г. перевал череа Симнлон.

ВОСПОМИНАНИЯ О БАЛЕТЕ

РУССКИЕ БАЛЕТЫ В ПАРИЖЕ

Русский сезон 1909 г. в Париже *, представлявшийся для многих наших соотечественников не более, как «сравнительно удавшейся антрепризой»,— оказался на самом деле настоящим триумфом. Если не у всех участников было Сознание значительности момента, то все же труппа в целом была охвачена одним каким-то трепетом, и «последний солдат шел в бой» с сознанием долга перед некоей святыней... Еще не состоялось ни одного спектакля, и в полумраке сцены шли одни только подготовительные репетиции (репетиции эти иногда кончались нервными кризисами, ссорами и скандалами, ибо «срок экзамена» подступал, а не все казалось вполне готовым), но уже у многих, и более всего у нас, у «дирекции», сложилось убеждение, что «Парижу несдобровать».

В сущности, я западник. Мне в «настоящей», на запад от России лежащей, старой Европе все дорого, и несомненно, на свете нет места, которое было бы мне дороже Парижа, этого «гениального» города, в котором вот уже сколько столетий не переводятся и бьющая ключом жизненная энергия, и удивительное чувство красоты, и всевозможные откровения науки, и романтика общественных идеалов. И все же, затаивая где-то на дне души досаду на готовившуюся победу «нагрянувших варваров», я чувствовал с первых же дней нашей работы в Париже, что русские варвары, скифы, привезли на «генеральный экзамен в столицу мира» то, что есть *лучшего в искусстве* в данный момент *на свете.* И сразу образовался вокруг нашего дела сначала небольшой, а затем все ширившийся круг фанатических поклонников, les fervents des Russes *, состоявший из французских критиков, литераторов и художников, которые лучше всяких реклам и рецензий понесли по городу благую весть о том, что в «Шатле» готовится нечто удивительное и прекрасное.

Оказывалось, что русские спектакли нужны были не только для нас, для удовлетворения какой-то «национальной гордости», а что они *нужны* были для всех, для «общей культуры». Наши французские друзья только это и повторяли: вы-де приехали в самый надлежащий момент, вы пас освежаете, вы наталкиваете нас на новые темы и ощущения. И я лично уже тогда был убежден, что с «Русского сезона» 1909 г. может начаться нечто вроде новой эры во французском и общезацадшш теат-

* Почитателей русских *(франц.).*

ральном искусстве **. И такая эра стала было действительно

вырисовываться. Впечатление от русских спектаклей и больше всего от русского балета стало расти и сказываться во всевозможных явлениях — не только в театральных. Если же затем это действие как-то ослабелоˆ если так и не получилось ожидавшегося нами расцвета западного театра, а народились вместо того многие, подчас и весьма уродливые ереси; если, в частности, в Париже, с одной стороны, рутина, с другой — все более упрочивавшийся снобизм задушили появившиеся было живые ростки, то виноваты в том те явления мирового значения2, которые никак нельзя было тогда, в 1909 г., предвидеть. Скорее еще можно было удивляться тому, что русское балетное дело не только «выжило» в течение всего ужасного кризиса последних тридцати лет, но даже получило такое распространение3, о котором раньше нельзя было и мечтать.

Балетные репетиции в Екатерининском зале в Петербурге уже носили какой-то специфический, не то пикниковый, не то авантюрный характер, и вот эта же атмосфера пикника и авантюры сказывалась теперь снова, когда вся наша компания, весь наш «табор» прибыл в Париж. Почти никто из участников до тех нор не бывал за границей. Тут же все сразу попали на самые берега Сены, да еще весной, в чудесныеˆ яркие, опьяняющие дни! Первые сюжеты обеих трупп, балетной и оперной, поселились в центре города, если не в первоклассных, то все же очень приличных отелях, но большинство ютилось неподалеку от «Шатле» — в Quartier Latin *. Один из скромных отельчиков на Boulevard Saint-Michel ** был до отказа, по всем этажам и даже но мансардам, занят нашими «балетными». Из всех номеров раздавалась русская речь, а то и зовы и перекликания. Известно, что русские люди, даже когда они воспитанны, не умеют себя сдерживать, и их обращение друг к другу, будь то простая просьба или какое-либо обыденное сообщение, производятся с чрезмерной затратой темперамента и так громко, что «европейцам» остается только пожимать плечами и бормотать сквозь зубы: «Que voulez-vous — ce sont des sauvages!» ***

Одной из величайших для нас неожиданностей было то, что знаменитая сцена «Шатле», на которой шли феерии с самыми удивительными превращениями, оказалась, по сравнению с нашими театрами, оборудованной весьма примитивным образом. Между тем, в одном «Павильоне Армиды» никак нельзя было обойтись без надежной системы люков и провалов, а также без сложного, на глазах у публики совершающегося превращения декорации. К счастью, Дягилеву удалось заманить в свою «авантюру» первоклассного машиниста московской оперы — К. Ф. Вальца 4, и под его руководством с разрешения дирекции

«Шатле» была произведена при участии небольшой компании русских плотников (рабо-

*1** Почти буквально я цитирую здесь свои же "слова, сказанные мной в фельетоне

в «Речи» от 19 июня (2 июля) 1909 г, * В Латинском квартале *(франц.)*. ** Бульваре Сен-Мишель *(франц.)*. *** Что вы хотите — это же дикари! *(франц.)*.

тавших и днем и ночью) переделка всего пола и системы подвески декораций. Работы начинались непосредственно по окончании репетиций и затягивались иногда до поздней ночи, и это было возможно только потому, что русские театральные рабочие, щедро вознаграждаемые, никогда не роптали, а с веселейшим видом исполняли все, что от них требовалось.

Однажды я тогда чуть было не ногиб, благодаря именно тому, что весь иол «Шатле» «был в движении». Наступив на одну планку в тот момент, когда производилась проба, хорошо ли она скользит в своих рейках, я чуть было не свалился в открывшуюся подо мной пропасть, и лишь при напряжении всех мускулов, зацепившись за неподвижную часть, удержался, повиснув на секунду в воздухе.

От «Шатле», который был снят для наших спектаклей, до boul-Mich'a * рукой подать, а потому Le Pont au change ** в те дни представлял подчас курьезное зрелище бредшей гурьбой чужестранной молодежи, направлявшейся, громогласно беседуя, в театр или из театра.

Те из наших дам и девиц, у кого было больше собственных денег, те сразу обзавелись новыми шляпочками и летними костюмами, и иных из них, только что выглядевших провинциалками, теперь можно было и впрямь принять за парижанок. Мужчинам же для их акклиматизации потребовалось гораздо больше времени. Очаровательны были общие завтраки и обеды, происходившие часто в ресторане в самом здании театра или в ближайших «Bouillon Duval» et «Bouillon Boulant».

С самого 1900 г. резиденцией служил мне в Париже тот меблированный дом на рю Камбон, где теперь помещается одно из отделений «Шанель», а завтракал и обедал я обыкновенно, если не бывал приглашен en ville ***, у Вебера или в отличном, ныне более не существующем ресторане «Туртель» на b-d de la Madeleine ****. Однако в тот год я до того был увлечен получившейся «цыганщиной», что своему элегантному кварталу предпочитал скромные симпозионы с артистами в Quartier Latin. Все чаще к нам присоединялся и секретарь Дягилева А. М.5,

которому необычайно нравилась одна из наиболее талантливых артисток труппы, что и привело к настоящему между ними роману, растянувшемуся затем па многие годы. «Измена» М-а вызвала бешенство Дягилева, который «прогнал» его и лишил навсегда своей милости2*. Однако еще до

* Бульмиш — сокращенно от бульвара Сен-Мишель *(франц.)*.

** Мост менял *(франц.)*.

** В гости *(франц.)*.

*** Бульвар Мадлен *(франц.)*.

2* Как-то зимой, ужиная с Сережей в отеле «Метрополь» в Москве, я был безмерно поражен словами моего друга, правы которого уже несколько лет как не составляли для нас тайны. Большой ресторационный зал этой только что отстроенной и отделанной на новейший лад гостиницы был в два этажа, и в верхнем ртаже

, помещались отдельные кабинеты, открывавшиеся в виде лож на общий зал. Так вот, показав на одну особу, которая, свесившись через барьер, поглядывала на то, что творилось внизу, Сергей мне поведал что это О. Ф.— сестра знаменитой С. Ф.— и что это единственная женщина, в которую он **«мог** бы влюбиться».

того и сам Сергей у всех на глазах стал изменять дружбе М-а, будучи все более и более пленен Нижинским. Те, кто были сердечными конфидентами Дягилева, утверждали, будто это новое увлечение началось чуть ли не еще в дни «Павильона Армиды». Судить об этом я не могу. Не сочувствуя дягилевским слабостям, я вообще избегал заводить с ним разговор на подобные «сентиментальные» сюжеты. Если же это так, то умение скрывать свои сердечные дела было доведено у Сережи до виртуозности. Вплоть до появления Нижинского на наших балетных репетициях в Екатерининском зале я никогда не видал его и Сережу вместе, хотя и виделся с Дягилевым почти ежедневно. Если имя Нижинского и произносилось Сережей, то исключительно в качестве имени артиста, который заслуживает особого внимания ввиду своей даровитости. Теперь же в Париже всем стало ясно, какое исключительное место Нижинский должен занять во всем деле и в какой степени «директор» r`.i увлекается. Сразу же тогда Дягилев учредил особую кампанию рекламирования никому еще неведомого артиста, и еще не состоялось ни одного спектакля, как уже я от наших парижских друзей стал слышать такие слова: «II paraît que vous avez parmi vos danseurs iin prodige, un garcon d'un talent formidable» *. При этом подразумевался именно Нижинский, тогда как ни о>

Павловой (портрет которой был расклеен по всему городу) \ ни о Фокине так никто не справлялся.

Нижинский, надо признаться, оправдал затем такую свою предвосхищенную известность вполне. Никогда не забуду его первого «выпархивания» в «Павильоне Армиды». Это был танец pas de trois, совершенно заново поставленный Фокиным для Парижа на музыку, первоначально сопровождавшую «танец теней» и интермедию «Похищения из сераля» (два номера из дивертисмента «Павильона» было решено в Париже выпустить, дабы не затягивать действие). Уже на репетициях можно было предвидеть, до чего появление Нижинского в виде «раба Армиды», сопровождающего двух ее наперсниц (в исполнении Т. Карсавиной и А. Федоровой), будет эффектным. Но когда Вацлав надел придуманный для него белый с желтым и с серебром костюм, гармонично сочетавшийся с двумя желтыми с золотом костюмами его дам, то получилось нечто, превзошедшее все ожидания и просто «невообразимое». В самый момент этого появления едва касавшегося пола Нижинского с грациозно поднятой над головой рукой Париж ощутил присутствие на сцене того начала, которое иначе, как «божественным», не назовешь. И вот здесь я считаю уместным сказать несколько слов вообще о том, кто с самого того «выпархивания» стал нашей неоспоримой vedette **.

Имспыо эта О. Ф. три месяца спустя оказалась той, которая побудила А. М-а «предать» Сережу. Не является ли эта история интересным вкладом на тему о

«Wahlverwandschaften»?

Кажется, среди ваших танцовщиков есть чудо, мальчик с громадным талантом *(франц.)*.

Звездой *(франц.)*.

Русские балеты в Париже

507

Очень трудно определить, что из себя представлял Нижинский, этот чудесный артист, столь безвременно сошедший со сцены. В жизни это был самый обыкновенный юноша, тогда еще почти мальчик («почти ребенком», впрочем, он остался до самого момента, когда овладевшее им безумие прервало его карьеру7), неказистой наружности, скорее коротенький, с толстой шеей, неизящно торчавшей на плечах и несшей большую голову с довольно вульгарными, слегка монгольскими чертами лица. Юноша редко открывал рот для разговора, краснел, путался и замолкал. Да и то, что он все же иногда издавал, решительно ничем не выделялось от тех нескольких простецких речей, которые можно было слышать от его товарищей. Даже когда

позже Нижинский под ревнивой опекой Дягилева понабрался кое-каких мнений по общим вопросам и кое-каких сведений по искусству и решался иногда их высказывать, всегда получалось нечто тусклое и сбивчивое. Дягилев конфузился за приятеля, а тот понимал, что ему лучше вернуться к молчанию.

Ничего, бросающегося в глаза, не обнаруживалось и на репетициях. Нижинский исполнял все беспрекословно и точно, но это исполнение носило слегка механический или автоматический характер... Но картина менялась сразу, как только от предварительных репетиций переходили к тем, которые уже являлись не столько «постановкой», сколько последней перед спектаклем «проверкой». Нижинский тогда точно пробуждался от какой-то летаргии, начинал думать и чувствовать. Окончательная же метаморфоза происходила с ним, когда он надевал костюм, к которому он относился с чрезвычайным и «неожиданным» вниманием, требуя, чтобы все выглядело совсем так, как нарисовано на картине у художника. При этом казавшийся апатичным Вацлав начинал даже нервничать и капризничать. Вот он постепенно превращается в другое лицо, видит это лицо перед собой в зеркале, видит себя *в ролц,* и с этого момента он перевоплощается: он буквальпо входит в свое новое существование и становится другим человеком, притом исключительно пленительным и поэтичным...

В той степени, в какой здесь действовало подсознательное, я и усматриваю наличие гениальности. Только гений, т. е. нечто никак не поддающееся «естественным» объяснениям, мог стать *таким* воплотителем «хореографического идеала эпохи рококо», каким был Нижинский в «Павильоне Армиды» (и особенно в парижской редакции моего балета), только гений мог дать такой глубоко скорбный образ тоскующего по утраченной возлюбленной юноши, каким он являлся в «Жизели», и опять-таки *гениальной* была интерпретация им того странного существа, что танцевало среди могил и развалин в «Сильфидах». Гениальным он был и негром в «Шехеразаде», гениальным духом цветка в «Spectre de la Rose» * *h* наковец, *гениальнейший* образ Нижинский создал в «Петрушке».

Ужасным несчастьем следует считать то, что Дягилев, вполне оценивший своего друга как артиста, одновременно переоценил его интед-

* «Призраке розы»8 *{франц.)*.

лект. Дягилеву казалось, что *он может* сделать из этого фантастического, не от мира сего и ничего не понимающего в

жизни существа какого-то деятеля и творца. Он вообразил, что Нижинский, не обладавший и «тремя своими идеями», сделается его «творческим осуществителем»,— тем самым, кем не мог стать Фокин уже просто потому, что у Фокина было достаточно *своих* идей и что он вполне владел их творческим выявлением. Кроме того, Дягилеву как человеку страстному, с некоторым сентиментальным уклоном, захотелось, чтоб его друг блистал несравненным блеском, чтоб он «оставил след в истории», чтоб он не оставался *только* танцором. И тут произошел надлом. Нижинский поддался этим внушениям, он поверил, что может быть и творцом. Однако, сколько ни старались его напитать и Дягилев и Бакст,— вместо живого творчества получалась жалкая гримаса \ получались мертворожденные произведения. Кое-что было в этих мучительно надуманных вещах *нового* и *курьезного,* но новости и курьезы сами по себе не ценны, и в этом настоящая причина того, что эти оалеты не удержались, несмотря на то, что музыка в них была создана Стравинским и Дебюсси...

* * *

Но вернемся к 1909 г. и к нашим первым балетным спектаклям в

Париже.

Спектакли начались с «Павильона Армиды», половецкого акта из «Игоря» и с дивертисмента, которому было дано достаточно нелепое название «Le Festin» *, хотя никакого пира на сцене не было.

Павлова, связавшая себя контрактом с какой-то другой антрепризой, не смогла поспеть к первым представлениям, а потому, к нашему бесконечному сожалению, ее пришлось заменить в «Павильоне Армиды» московской примадонной Каралли, умелой технически и очень красивой женщиной, но артисткой слабой и бездушной. Первый танцовщик московского балета Мордкин заменил Гердта в роли Рене, однако и ему пе хватало той нежной «поэтичности», которая является основной чертой моего героя. Мордкин во всех своих манерах и жестах был слишком силен, здоров и «бодр». Напротив, «Павильон» скорее выиграл от замены в Париже Солянникова Булгаковым. Особенно удачной у последнего получилась вся та часть роли, которая происходит в сновидении, когда дряхлый маркиз превращается в великолепного царя-чародея Гидроата. Громадным плюсом явилось и то. что Нижинскому была дана возможность отличиться вовсю. Парижская публика с наибольшим вниманием следила именно за его танцами.

К преимуществу парижской версии «Павильона Армиды» следует еще отнести некоторые купюры и перестановки

музыкальных номеров. В зависимости от купюр время исполнения балета сократилось на добрую четверть. Наконец, мне удалось внести в новые декорации и костюмы,

* «Пир» *{франц.),*

Русские балеты е Париже

509*

специально для Парижа написанные и сшитые, значительные улучшения. Так, в петербургской версии меня мучили соседство каких-то лиловых,. розовых и желтых тонов и некоторая пестрота в перегруженной деталями декорации второй картины. Дефекты эти я теперь исправил, и зрелище, ничего не утратив в своей яркости, получило большую целостность. Особенно удачным получилось то усовершенствование или «украшение», на котором настоял маг и волшебник машинист Вальц. Это усовершенствование заключалось в том, что вместо небольшого среднего фонтана, бившего в петербургских «садах Армиды», здесь, в Париже, к концу второй картины вздымались две гигантские водяные пирамиды. Не только вид этих серебристых и пенистых масс производил на фоне темной зелени чарующее и необычайно «освежающее» впечатление, но и самый плеск воды как-то поэтично сочетался с музыкой. Лично мне это напоминало те незабвенные минуты, когда ребенком я, бывало, слушая царский оркестр на петергофской «музыке», наслаждался и там окружающими водяными шумами...

В нашем репертуаре «Павильон Армиды» имел назначение показать французам русское понимание «наиболее французской» эпохи — XVIII века. И вот что получилось. Людям, привыкшим к тем приторным «кондитерским» изделиям, которыми их угощают под видом эпохи рококо парижские театралы (например, в постановке «Манон» в «Opera Comique>>), наши краски показались чересчур яркими, а грация наших танцовщиков несколько вычурной. Зато людям, умеющим еще находить в Версале, в гобеленах, в раззолоченных залах и стриженных парках подлинный дух того, все по-прежнему не стареющего искусства, мы в «Павильоне Армиды» угодили. Среди них были — один из самых наших восторженных друзей граф Робер де Монтескью и «сам» Анри де Ренье.

*** *ф ф***

Лучшие сборы делала «Клеопатра»10, которую мы припасли для конца наших гастролей. Ее даже стали давать под конец оперы, и она оказалась *приманкой* для «Псковитянки»! Ее успех

превосходил успех самого-Шаляпина. Но действовал тут не какой-либо «соблазн зрелища», грубее говоря,— не элемент скабрезной пикантности. Правда, сама царица Египта в лице смелой и юной Иды Рубинштейн, постепенно лишалась своих покровов и затем предавалась любовному экстазу у всех на глазах, причем лишь в самый критический момент являлись услужливые придворные дамы, окружавшие занавесками ложе любовников (что до некоторой степени только подчеркивало рискованность положения)... Под дивную, но и страшную, соблазнительную, но и грозную музыку из «Млады» происходило пресловутое раздевание царицы. Медленно, со сложным придворным ритуалом, разматывались один за другим многочисленные покровы и оголялось тело всемогущей красавицы, гибкая тонкая фигура которой оставалась лишь в том чудесном полупрозрачном наряде, который ей придумал Бакст. Но то являлась не «хорошенькая актриса в откровенном дезабилье», а настоящая чаровница, гибель с собой несущая.

Рядом с этой сценой «раздевания» кульминационным пунктом спектакля «Клеопатра» являлась «вакханалия» на музыку Глазунова из «Времен года», что и оправдало вполне возложенные на этот номер надежды. «Вакханалию» следует причислить к таким же *абсолютным* удачам Фокина, как «Половецкие танцы», как «Шуты» в «Павильоне», как весь «Карнавал» и вся «Шехеразада». «Вакханалия» вызывала каждый раз такой энтузиазм, что дирижер был принужден останавливать минуты на три оркестр. Если в «Половецком стане» (о чем речь еще впереди) мы удовлетворили парижан, жадных до первобытной свежести, если в «Павильоне» мы удовлетворили художественный мир в его увлечении утонченностью XVIII в., то «вакханалия» в «Клеопатре» явилась дивным видением ясной красоты древнего мира. Нас же тогда спрашивали, почему мы, задаваясь целью оживить античность, не дали чего-либо более определенно-эллинского, более откровенно-классического. Но, во-первых, ничего такого «достойного Парижа» под рукой в 1909 г. не оказалось3*, а с другой стороны, именно в «Клеопатре», в этой повести о *красивейшей* женщине древности, об этой египетской гречанке, можно было выставить античную красоту не только в эллинских хитопах и хламидах, но и в окружении всей цветистой яркости древневосточной цивилизации, дать *полную* картину античной *жизни,* изобразить то, что прельщало самих древних греков и римлян так, как нас прельщает теперь заветная Индия или иератический Китай...

Свое дело сделали и чары *талантов.* Они как бы «бросили пыль в глаза» публике, заставляли поверить вздорности сюжета, заставляли умолкнуть и упреки в том музыкальном вандализме, который Дягилев себе позволил, сделав из партитуры «Клеопатры» какой-то салат русских авторов. Таланты создали удивительную иллюзию *настоящей жизни,* тогда как, разумеется, никогда ничего подобного тому, что разыгрывалось на сцене, быть не могло. Никогда египетские «дворянчики» не ухаживали за служанками храма и не пускали к ногам царицы стрелы с любовными записочками. Никогда дочери фараонов не предавались любовным ласкам на паперти храма, никогда они не отравляли минутных фаворитов на глазах у всего народа, пришедшего их чествовать... Наконец, если при дворе Клеопатры могли быть греческие танцовщицы, то не перед великими же богами царица позволила бы им бесноваться и отплясывать ту вакханалию, которая подняла парижскую публику и заставила ее, обыкновенно столь сдержанную и корректную, вопить от наслаждения.

Чары талантов! О да, здесь их было много, и трудно было встретить такое соединение талантов и людей, владеющих в совершенстве своим очарованием, какое оказалось в «Клеопатре»! Тут все служило оча-

Лишь два года спустя Дягилев, Фокин и Бакст создали «вполне эллинский балет» — «Нарцисс» с музыкой Н. Н. Черепнина, а еще через год **балет** «Дафнис и Хлоя» с музыкой Равеля, и хореографическую интерпретацию **«L'apres-midi** d'un faune» Дебюсси. [«Послеполуденный отдых фавна» — *(франц.)]*

рованию. Одна декорация Бакста чего стоила, такая торжественная по замыслу, такая красивая по своим розоватым, желтым и фиолетовым тонам! На этом фоне, дававшем впечатление знойного, душного, южного вечера, необычайно ярко загорались пурпуры костюмов, блистало золото, чернели хитросплетенные волосы... А как чудесно удалось Баксту и Фокину выполнить мной придуманное появление Клеопатры, появление не на открытых носилках, а в каком-то подобии гроба или саркофага, испещренного таинственными золотыми письменами!... Идея этого появления пришла мне, когда я снова и снова слушал на рояле чудесную музыку «Млады». Я точно воочию увидел тогда путешествие царицы па пескам пустыни именно в таком замкнутом ящике, а отсюда сам собой был сделан «логичный вывод», что и она сама должна быть закутана, как мумия,— дабы и малеигаие песчинки не проникли через покровы

и неосквернили ее божественного тела.

II каким себя проявил в «Клеопатре» сам Фокин чудесным артистом-исполнителем! В проведении роли Амуна проявился вполне его дар *пере-живания.* Ему не переставали ни на секунду *верить.* Он был убедителен и тогда, когда играл со своей возлюбленной, и тогда, когда его охватывало внезапное безумие страоти, и тогда, в особенности, когда он бросался в объятия Клеопатры и искал в поцелуях забвения попранного счастья и предстоящей неминуемой гибели. Он был — весь стремительность, закипающая южная кровь и героическая молодость. Рядом с этим ураганом образ, созданный Павловой,— нежной и гибкой, как тростник, девушки,— казался еще более хрупким и трогательным. Из отдельных исполнителей нельзя было не назвать еще Карсавиной и Нижинского ur так складно, так грациозно исполнявших танец с покрывалом, нельзя было не упомянуть о Вере Фокиной и обеих сестрах Федоровых, сумевших быть столь чарующими вакханками!..

Рядом с «Клеопатрой» потрясающий успех нашего первого сезона обусловил «Половецкий стан» из Бородинского «Князя Игоря». Но и тут в *оперной* части программы энтузиазм главным образом вызвал все же-*балет.* Стройно и мощно пели хоры, эффектна была Петренко в роли Кончаковны, а тенор Смирнов восхитительно исполнял свою столь сладостную «арию ожидания»,— но не это сообщало «Стану» невиданную красоту, не это покоряло и восхищало, а танцы. Впрочем, надо сказать,. и здесь декорация производила громадное впечатление. Созданный Рерихом по «принципу панорамы», лишенной боковых кулис, этот фон с его золотисто-алым небом над бесконечной далъго степей, с его дымами, столбами подымающимися из пестрых приземистых кочевых юрт,— *это было то самое, чему здесь надлежало быть!* До чрезвычайности убедительны были и костюмы, для которых Дягилев обобрал все восточные магазины Петербурга и которые поражали никогда еще не виданной (особенно в Париже) цветистостью. Наши же незаменимые балетные артисты с таким жаром отдались своей роли (можно сказать, что у всех была именно *одна* роль), так переживали ее, так перевоплощались в каких-то древних героических дикарей, в чутких степных девушек и в подобия индус-

ских баядерок, что *не поверить* тому, что происходило на сцене, оказывалось невозможным.

Однако, разумеется, и очарование от половецкого стана следует, главным образом, приписать *музыке.* Именно ей принадлежала *первая* роль в этом восхитительном наваждении4*.

Чудесное слияние оркестра с человеческими голосами, под которое происходят танцы, узорчатый рисунок тем, то подлинно восточных, то целиком измышленных Бородиным, нарастание звуков и бешенство ритмов,— все это, поднесенное в прозрачной и понятной форме, без лишних ухищрений, но и без тени устарелости в технике, вдохновило замыслы Фокина и Рериха, и эта гениальная музыка одухотворяла на каждом спектакле исполнителей, отдававшихся плясу всей душой.

Наша русская «дикая примитивность», наша простота и наивность оказались в Париже (в культурнейшем Париже) более изощренной, более передовой и тонкой, нежели то, что там вырабатывалось на месте. Я был прав, когда высказывал предположение, что «наша музыка» и хореография, из нее выросшая, окончательно убьют характерную парижскую салонную «приторность». Точно так же после наших постановок те дорогие и сложные академические постановки, которыми тогда еще гордились «образцовые» (но сколь омертвевшие) театры — «Opera» и «Opera Comique», должны были показаться мишурными и жалкими. Наконец, после наших артистов, после нашего балетного ансамбля Academie de Danse 12 вдруг потеряла свой стародавний престиж.

* * *

Состав нашей дружеской компании за 1900-е годы очень изменился. Совершенно отпал от нас Философов. Началось его отдаление еще в дни существования «Мира искусства», ибо «Диму» все менее и менее стали интересовать пластические художества, а напротив, он все более и более углублялся вместе со своими друзьями Мережковскими в сферу религиозно-философских вопросов. Когда же «Мир искусства», окончив 1904 г., прекратил свое существование, Философов и вовсе исчез с нашего горизонта, а затем переселился вместе с Мережковскими в Париж, где и прожил несколько лет. Не бывал теперь у Дягилева и Нурок. Он вообще «всем своим демократическим нутром» ненавидел Сережу, то, что в нем было «барского» и «деспотического», а потому, раз кончился журнал,

4* Как на курьез, очень характерный для Дягилева, я укажу на то, что он, несмотря на весь свой гшетет к Бородину, выпустил из этого акта наиболее в России

популярную арию самого князя Игоря: «О дайте, дайте мне свободу...» Поступая так, Дягилев ублажил свою страсть к купюрам вообще; предлогом же ему послужило то. что несколько

тактов этой арии напоминают один из самых любимых военных маршей Франции. За год до того он же отважился выпустить в «Борисе Годунове» целиком всю картину «Корчмы» из опасения, как бы она не оскорбила парижан своей грубостью.

в котором Нурок-Силэн играл очень значительную роль13, ему нечего было продолжать общение с бывшим редактором-издателем. По-прежнему постоянными завсегдатаями у Сережи бывали, кроме меня, Нувель, обиталище которого отстояло от дягилевского на еще меньшем расстоянии, нежели мое, а также Бакст и князь Аргутинский. Когда серьезно возобновились разговоры о парижском сезоне, здесь стал бывать и Фокин и «новичок» в нашей компании — совершенно еще юный Стравинский.

Честь «открытия» Стравинского принадлежит целиком Сереже, который, услыхав его «Scherzo» и «Фейерверк» 14 в концерте, сразу решил, что это тот человек, который нам нужен. Мне кажется, что и Стравинский, попав в нашу компанию, тоже почувствовал, что это та среда, которая нужна *ему*. Во всяком случае, он почти сразу освоился, после чего знакомство стало быстро переходить в подобие дружбы, и это — несмотря на разницу в годах и на то, что он, начинающий, несомненно должен был себя чувствовать слегка dépaysé * в обществе людей зрелых и известных.

Одной из связующих нитей между нами, кроме музыки, был культ Стравинского к театру, а также его интерес к пластическим художествам. В отличие от других музыкантов, обычно равнодушных ко всему, что не есть их искусство, Стравинский интересовался живописью, архитектурой, скульптурой, н хоть оп не обладал какой-либо подготовкой в этих областях, он все же являлся ценным собеседником для нас, ибо вполне «реагировал на все», чем мы жили. Ему вообще был тогда присущ известный «шарм ученичества». Он жаждал «просвещаться», его тянуло расширить область своих познаний и впечатлений. В музыкальных же вкусах мы были почти во всем заодно: его любимцы — и среди них Чайковский — были нашими любимцами, его антипатии были и нашими. Но самое ценное в нем было отсутствие даже в намеке того доктринерского начала, которое затем (что бы ни говорили его поклонники и адепты) подорвало творческие силы чудесного мастера. В общем, если Стравинский и шокировал нас подчас своей «типично-русской» резкостью и какой-то склонностью к цинизму, то в нем было еще много и той чарующей экспансивности, и того «сентиментального

реагирования», которые являются лучшими источниками вдохновения. Увы, ныне Стравинский и самую важность вдохновения для художпика отрицает...15

Сразу же было тогда решено, что необходимо как-то использовать Стравинского «для Парижа». Сам Стравинский поведал, что он занят оперой «Соловей» с сюжетом, заимствованным из сказки Андерсена, и что у него уже почти готов первый акт. Однако об опере тогда не могло быть и речи; опера обошлась Дягилеву в 1909 г. слишком дорого и сравнительно не оправдала себя (если не считать одного акта из «Князя Игоря»). Напротив, нашими триумфами мы главным образом были обязаны балету, и поэтому было решено, что одни только балеты и пове-зутся в следующий раз в Париж. Кроме того, и сам Сергей теперь от-

* Неуютно *(франц.)*. 17 Заказ № 2516

носился к своей антрепризе не с той олимпийской объективностью, с которой он приступал к первому сезону, а напротив, благодаря своей дружбе с Нижинским, он как-то *лично* был заинтересован в успехе именно *балетном,*

Еще два года до того в «Диалоге о балете», появившемся в одном сборнике статей о театре 16, я высказал мечту о том, чтоб народилась в балете «настоящая русская (или даже славянская) мифология». Я находил это вполне возможным, ибо все элементы для хореографической драмы содержатся как в «образной», так и в «психологической» стороне наших древних сказаний, былин и сказок. Мне казалось, что стоит отойти от ребячливого трафарета «Конька-Горбунка», стоит людям, влюбленным в нашу древность, поискать способы, как ее претворить в сценические и музыкальные действа, чтобы все дальнейшее нашлось само собой. Слишком яркой вставала эта древность со всей глубиной своих символов перед современным сознанием, и слишком она представлялась живой и заманчивой. После же нашего первого парижского сезона было принципиально решено, что настал момент создать русскую хореографическую сказку, и наиболее подходящую для сцены сказку мы начали искать общими усилиями. Однако мы убедились вскоре, что подходящей во всех своих частях сказки нет, и таковую приходилось сочинить, вернее, «скомбинировать». Музыку должен был писать Черепнин, танцы ставить Фокин, основные же элементы сюжета были подсказаны молодым поэтом Потемкиным. Разработкой этих элементов занялась своего рода «конференция», в которой приняли участие Черепнин, Фокин, Стеллецкий, Головин и я. Очень зажегся нашей

мыслью и превосходный наш писатель, великий знаток всего исконно-русского и, вместе с тем, величайший чудак А. М. Ремизов, обладавший даром создавать вокруг себя сказочное настроение и даже тогда, когда беседа ведется на самые обыкновенные темы. В двух заседаниях, которые происходили у меня с Ремизовым, самый его *тон* способствовал *оживлению* нашей коллективной работы, а оживление выразилось затем в том, что мы уже не только теоретически приблизились к задаче, *но зажглись* ею.

Однако по дороге, достаточно трудной к осуществлению новой затеи, большинство участников «конференции» отпало, в том числе отстал и Черепнин,— человек, вообще подверженный необъяснимым sautes d'hu-meur * и к тому же переживавший в те дни какое-то необъяснимое охлаждение к балету вообще. Впрочем, его мечты о «Жар-птице» (вокруг этой сказки и вертелись паши «нащупывания») нашли себе все же выражение в иной форме — в ряде музыкальных картин, из которых первая, очень колоритная и поэтичная, была исполнена в одном из симфонических концертов еще в сезоне 1909—1910 гг.17 Убедившись, что Черепнин больше не с нами, Дягилев и решил поручить создание музыки к нашему «русскому балету» Стравинскому. Это был один из тех «отменно смелых» поступков, которыми вообще полна деятельность на-

* Внезапным переменам настроения *(франц.)*.

шего друга, но в данном случае и после того, что мы познакомились с совершенно исключительной одаренностью юного композитора,— риск не был уж столь велик. После первых же опытов Стравинского стало очевидным, что «русский балет» у него *выйдет.* Если же, в конце концов «Жар-птица» в целом не вполне оказалась тем, о чем мечталось, то случилось не по вине Стравинского. Партитура его принадлежит к несомненным «перлам», и более поэтичной, во всех своих моментах выразительной и фантастически звучащей музыки трудно себе представить.

Главным недостатком балета «Жар-птица» остается ее фабула, ее либретто. Как мы ни старались «отойти от Конька-Горбунка», мы все же создали «сказку для детей», а не «сказку для взрослых». А хотелось чего-то такого, что не требовало бы «становиться на какую-то специально ребячливую точку зрения», к чему можно было относиться с полной серьезностью. Хуже всего — что герой балета, Иван-царевич, случайно попадающий в погоне за огненной птицей в запретные сады Кащея, и полюбившаяся ему царевна — Ненаглядная Краса, остались, в

сущности, чуждыми и далекими для зрителя. Это — трафаретные фигурки из картона, а не живые существа; им не веришь, и болеть за них невозможно.

Более живым в «Жар-птице» получилось «злое начало», олицетворенное Кащеем. Музыка, «страшная и пленительно-отвратительная» во всем, что касается этого гнусного порождения народного вымысла, особенно удалась Стравинскому. Но гибель Кащея наступает в балете слишком быстро, и многое остается каким-то недосказанным, случайным. Впрочем, последнее получилось и оттого, что Дягилев поставил «обязательным условием», чтоб балет длился не больше часа и состоял из одного акта. Вследствие этого получились известная теснота в разработке драматического действия и какая-то неполная мотивированность разных моментов. Тогда же я требовал от Сережи, чтоб в следующей аналогичной попытке всякая поспешность и другие стеснительные рамки были оставлены. Следовало дать *созреть вполне* затеянному. Сережа обещал, но мы до этого следующего, более серьезного опыта с «балетом на русскую тему» так и не дошли, и поэтому «Жар-птица» остается лишь какой-то «предвозвестницей» чего-то, что, может быть, достанется вполне осуществить другим.

На репетициях «Жар-птицы», происходивших в Петербурге в том же Екатерининском зале, в котором зрели наши постановки 1909 г., я приходил в восторг от всего, что творил Фокин. Чарующей получалась под Дивно переливающуюся музыку игра царевен с золотыми яблочками; прекрасно было придумано па-де-де (как дико звучит это слово в приложении к русской сказке!) Птицы и Ивана-царевича. Сколько в этом было остроумия, как выразительны и многообразны попытки плененного райского существа вырваться из цепких рук и улететь обратно в свой неведомый край! Хореографическая задача была здесь тем более трудной, что надлежало дать артистке выказать свое мастерство в передаче своей окрыленности и в то же время *связать* каждое ее движение. Масса изобретательности (но совершенно иного порядка) была вложена Фо-

киным в постановку сплошь на танце происходившего «выхода Кащея», а также в «Поганом плясе» и в «Колыбельной». Существовали ли когда-либо (хотя бы в народной фантазии) все те «белибошки» и другие уроды и гады, о существовании которых нам с таинственным и авторитетным видом рассказывал Ремизов? Быть может, он это тут же все выдумывал. Фокин, однако,

безусловно поверил в них, увидал их в своем воображении. То, что вылезало на сцену, вертясь, кружась, приседая и подпрыгивая, нагоняло гадливый ужас даже тогда, когда исполнители были еще в своих рабочих репетиционных костюмах. Как наслаждался при этом сам Фокин, создавая эти жуткие образы, для полного превращения которых в сценические, облаченные в костюмы, фигуры, потребовалась бы демоническая изобретательность Босха или Брейгеля...

Беда именно в том, что ни Босха, ни Брейгеля среди нас пе было. В прежние годы такой задачей мог бы, пожалуй, плениться склонный ко всякой жути Сомов, но Сомов из непримиримой антипатии к Дягилеву продолжал упорно держаться вдали от наших театральных затей. Из «специалистов же древнерусского стиля» ни Билибин, ни Стеллецкий не подходили к данной задаче — слишком в творчестве как того, так и другого было много этнографического и археологического привкуса, и поэтому, в конце концов, пришлось обратиться к Головину.

К сожалению, задача оказалась не по плечу и Головину, точнее, он оказался несозвучным ни с тем, что говорила музыка Стравинского, ни с тем, что, вдохновляясь этой музыкой, «лепил» Фокин из артистов. Впрочем, тот эскиз декорации, который был представлен Головиным, сам по себе нас всех пленил. Сады Кащея были изображены ранним утром, незадолго до рассвета, как бы потонувшими в прозрачной серости. Слева нагромождение каких-то ядовитых грибов, смахивающих на индийские пагоды, служило намеком на замок Кащея; справа — наслоения матово-цветистых красок говорили о коварных, мягких и густых зарослях, о топкой, душной глуши. Но если этот эскиз Головина и был в своем роде шедевром как картина, то он никуда не годился как декорация. Самый опытный специалист на планировки не мог бы разобраться во всей этой путанице и приблизительности, и вся она казалась пестрым ковром, лишенным всякой глубины. Нельзя было себе представить, что в такой лес можно проникнуть, что это вообще лес с его таинственной мглой и влагой.

Еще менее удачными получились костюмы Головина к «Жар-птице» 18. Взятый сам но себе, каждый рисунок годился бы в музей — скорее всего в музей этнографический. Какие тут были краски, какие узоры! Но и эти краски и узоры не отвечали сценической задаче. От придворной челяди Кащея получилось впечатление чего-то роскошного и нарядного, но вовсе не жуткого и не «мерзкого». Головин повторил ошибку, в которую он уже впал в постановке акта Черномора в «Руслане» 19. И вот, пока хореографические затеи Фокина исполнялись артистами на репетициях, они представлялись фантастическими, на сцене же

все как-то заволокла неуместная, слишком элегантная пышность. Кикиморы выгляде-

ли средневековыми пажами, белибошки — боярами, «силачи»янычара

ми и т. д. Да и сам Кащей... Как ии старался артист казаться страшным

в жестах и гриме, ему это удавалось мало, ибо одеяние его слишком на

поминало традиционный наряд Дедушки Рейна из немецких сказок...

Такому Кащею Иван-царевич не плюнул бы в лицо из одного отвращения

как это полагалось в сказке и как это превосходно исполнял Фокин.

Нужно отдать справедливость — все артисты заслужили вполне во

сторги публики. Фокин-Царевич был удивительно красив и «на русский

лад героичен». Ненагладная Краса соединяла какое-то достоинство «прин

цессы» со стыдливой грацией и обольстительной ласковостью. Очень

мастерски вел свою роль гадина-Кащей, и совершенно чудесными были

обе артистки, исполнявшие роль «Жар-птицы»,—как Карсавина20, пре

вращающаяся постепенно в нашу «главную звезду», так и совершенно

юная Лидия Лопухова. У первой образ феи-летуньи носил в себе черту

какой-то чисто восточной истомы. Так, особенно хороша была Карсавина

во все моменты страдания,— в своих порывах высвободиться из рук пой

мавшего ее Ивана. У Лопуховой же получалось что-то более бойкое,

нервное и, пожалуй,—детское. Одна была *птицей,* другая — *пташечкой,*

но обе с безукоризненной четкостью исполняли все замысловатости того

хореографического рисунка, который им сочинил «безжалостный» балет

мейстер и которые поражали тогда еще невиданными трудностями.

* * *

При всех своих недочетах «Жар-птица» была все же прелестным зрелищем. Что же касается второй нашей новинки в сезоне 1910 г.— «Шехеразады», то это наше коллективное произведение оказалось одним из неоспоримых наших шедевров2i. До сих пор успех этого балета не убывает, несмотря на то, что чудесная декорация Бакста давно заменена неказистой с нее копией, а костюмы, тридцать раз перешитые и вконец затрепанные, утратили всю свою прежнюю обворожительную яркость!

К сожалению, мне лично спектакль «Шехеразада» в Париже в 1910 г. доставил очень большое и несколько специальное страдание, и это же страдание я испытывал и в дальнейшем,— каждый раз, когда бывал зрителем этого балета. Дело в том, что не только сама идея превратить в хореографическое действие симфоническую картину Римского-Корса-кова принадлежала мне, но мне же принадлежала и вся сценическая обработка сюжета. Это «тем более мое произведение» 22, что я даже не потрудился придерживаться программы автора, а придумал нечто, совершенно от нее отличное. Согласно программе, здесь описываются приключения мореплавателя Синдбада, я же предпочел представить тот эпизод, который является вступлением ко всему сборнику арабских сказок и в котором главным действующим лицом является вовсе не добродетельная рассказчица Шехеразада, а безымянная и весьма порочная супруга шаха Шахрияра. Оправдываться в том, что я позволил, себе такое от-

ступление от авторской воли, я не считал бы нужным. Когда в первый раз, давным-давно, я слушал «Шехеразаду» и ничего тогда не знал о существовании программы,— мне представлялись именно те картины гаремного сладострастия и жестокой расправы, о которых говорится в прологе «1001 ночи», и эти же картины не переставали восставать в моем воображении каждый раз, когда я слушал «Шехеразаду» и после того, как мне уже стала известна настоящая программа.

Поэтому и тогда, когда мы решили, что повезем в Париж балет па музыку «Шехеразады», и когда для возбуждения моего творческого воображения приглашенный на этот предмет пианист

стал каждый вечер нам проигрывать клавирное переложение симфонии, я оставил помыслы о похождениях восточного Мюнхгаузена, а стал под эти звуки снова фиксировать свое воображение на том самом, что уже давно сложилось у меня в голове. И постепенно это воображаемое стало принимать все более конкретные очертания и все логичнее укладываться в сценическое действие. Сергей с самого начала работы решил выпустить одну из частей (впоследствии ее исполняли в виде увертюры), и это, в свою очередь, облегчило задачу: благодаря этой купюре действие приобрело большую стремительность и сосредоточенность. По мере того, как балет сочинялся, я записывал сцену за сценой на страницах клавира, причем все мои указания принимались и Дягилевым и присутствующим почти всегда тут же Фокиным — безоговорочно, без малейших споров. Что же касается до Бакста, то он на этих auditions * даже не всегда присутствовал — хотя с самого начала было решено, что постановка будет поручена ему.

Выходя как-то ночью после одного из таких творческих вечеров из квартиры Дягилева, я, полушутя, сообщил провожавшему меня до моего обиталища князю Аргутинскому, что «запись черным по белому» па клавире должна на сей раз послужить гарантией тому, что мной придуманное будет числиться за мной. Год назад я мучительно пережил, что Дягилев не постарался отметить мой творческий вклад в общее дело — ив частности, то, что мной были придуманы столь действительно эффектный выход Клеопатры и не менее эффектное ее «развертывание». Мне и сейчас непонятно, что руководило при этом и при многочисленных подобных случаях Сережей, говорила ли какая-то затаенная досада человека, в общем лишенного воображения, говорил ли род зависти, которую ведь находишь в самых неожиданных местах, или то происходило просто по «российскому неряшеству»?

Каково же было мое изумление, когда усевшись в кресло парижской «Оперы» и раскрыв программу, я прочел под титулом «Шехеразады» слова: «Ballet de L. Bakst». Я до того был поражен, что даже не поверил глазам, но когда тут же зазвучал оркестр и поднялся занавес, я настолько весь отдался слуху и зрению и получаемое от слияния звуков с представшей и жившей передо мной картиной наслаждение оказалось

* Прослушиваниях *(франц.)*.

таким интенсивным, что я как-то забыл о только что прочитанном Да и тогда, когда балет кончился, восторг мой был

настолько велик/что поздравляя на сцене и обнимая Бакста и Сережу, я в эти минуты более не сознавал нанесенной мне одним из них или обоими обиды. Лишь перечитывая афишу у себя в отеле, я вполне осознал настоящий смысл злополучных слов, и тогда душа наполнялась горечью и возмущением. При этом мне и в голову не приходили какие-либо материальные соображения. Несмотря на свои сорок лет, я все еще до такой степени оставался далек от всяких практических расчетов, что даже не подозревал о существовании так называемых авторских «тантьемов» *. Меня возмущал один только голый факт, что люди, столь мне близкие, такие стародавние мои друзья могли так со мной поступить... И разумеется, я только окончательно опешил, когда на предложенный мною Сереже вопрос, что это означает и как это могло случиться, он, не задумываясь, на ходу бросил мне фразу: «Que veux tu?** Надо было дать что-нибудь и Баксту. У тебя «Павильон Армиды», а у него пусть будет «Шехсразада»... Я смолчал, но, вернувшись в летнюю свою резиденцию в Лугано, я уже оттуда написал Сереже письмо, полное негодования и упреков. Мало того, в этом письме «я порывал с ним навсегда» и клялся, что ни за что не буду больше сотрудничать в его антрепризе.

Лучше всего выражают мое тогдашнее впечатление от «Шехера-зады» те строки, которые я тогда написал в одном из своих фельетонов в «Речи», посвященных парижским спектаклям23.

«Шехеразада»,— писал я под свежим впечатлением,— почему-то названа балетом Бакста. На самом же деле все либретто до мельчайших подробностей было сочинено другим лицом, имя которого Дягилев почему-то счел нужным не упомянуть в Париже. Но Баксту действительно принадлежит честь создания «Шехеразады», как зрелища,— и зрелища изумительного, я бы сказал, невиданного. Когда вздымается занавес на этом грандиозном зеленом «алькове», то сразу вступаешь в мир особых ощущений — тех самых, которые вызываются чтением арабских сказок. Один изумрудный тон этих покровов, занавесок и трона, одна эта голубая ночь, что струится через решетчатые окна из гаремного сада, эти ворохи расшитых подушек и среди грандиозно-интимной обстановки эти полунагие танцовщицы, что тешат султана своими гибкими, строго симметрическими движениями, одно это чарует сразу и абсолютно. Кажется, точно со сцены несутся пряно-чувственные ароматы, и душу наполняет тревога, ибо знаешь, что здесь вслед за пиром, за безумно сладкими видениями должны политься потоки крови. Трудно себе представить более тонкую, меткую и менее навязчивую

экспозицию драмы, нежели декорация Бакста».

«И откуда Бакст оказался в такой степени колористом и красочни-ком? Вот поистине человек нашел, наконец, себе настоящее, свое назна-

От tantieme *(франц.)* — дополнительное вознаграждение.

Что же ты хочешь? *(франц.)*.

чение. Здесь видишь, что Бакст может создавать большие, чудесные картины, а не одну остроумную графику или «надуманные диссертации» вроде своей картины «Terror antiquus» *. На сцене Бакст становится свободным, простым, он получает ценнейшую художественную черту — размах. И не только декорация, написанная Аписфельдом в сотрудничестве с Бакстом, и написанная изумительно-виртуозно, широко и в самых звучных красках, но и фигуры, движущиеся на этом самом фоне (согласно остроумнейшим комбинациям Фокина), фигуры эти — произведения Бакста и вполне вяжутся с фоном. Говорю без преувеличения: *я никогда* еще не видел такой красочной гармонии на сцене, такого «благозвучного» в своей сложности красочного оркестра».

«Исполняется этот балет (длящийся всего двадцать минут) с бесподобным мастерством. Восхитительны танцовщицы Фокина, Полякова и С. Федорова, очень хороши все жены султана и их любовники-негры; внушителен и отвратителен старый евнух (г. Огнев), хорош и г. Киселев в роли мрачного, изверившегося в жизни Шахземана. Но совершенно бесподобны гордая, коварная, безудержная в своих страстях султанша Зобеида, г-жа Рубинштейн, благородный с головы до ног царь Шахрияр-Булгаков и, наконец, Нижинский, который дает ие то змеиный, не то кошачий образ вертлявого, женоподобного и все же страшного фаворита-негра».

«ПЕТРУШКА»

В ответ на то печально-негодующее письмо, в котором я объявлял свое нежелание участвовать в Сережином деле, он сам явился в Лугано в сопровождении Нияшпского.™ При свидания были дружеские объятия и даже какой-то намек на слезы со стороны моего вероломного и кающегося друга, но все же это не произвело на меня никакого впечатления. Я твердо тогда решил, что больше не буду себя подвергать подобным весьма тяжелым испытаниям, и мольбы Сергея и убеждения не могли на меня повлиять. Дня четыре оба приятеля оставались в Лугано, и мы

виделись по два раза в день, но дальше каких-то рассказов о том, что происходило после моего отъезда в Париже и дальше царившего у нас по-прежнему всякого шутовства разговоры не заходили... Не скрою при этом, что оставаться стойким в принятом решении мне стоило значительных усилий. Отказаться от дела, которому предан всей душой, которое в значительной степени считаешь своим собственным созданием, не так-то легко... Все же я тогда *выдержал,* и как только Сергей с Вацлавом укатили дальше (в Венецию), так я принялся за свои обычные занятия.

И вот осенью, находясь уже в Петербурге, я получаю от Дягилева письмо, которое меня всего взбаламутило. В нем он писал приблизительно следующее: он-де верит в бесповоротность моего решения вообще и

* < < Древний ужас» « (лаг.).

Петрушка

521

все же, ввиду *совершенно исключительного* случая, обращается ко мне и надеется, что я, простив обиду, снова присоединюсь к друзьям... Исключительность же случая заключалась в том, что Стравинский сочинил и сыграл ему «на днях» какой-то «русский танец» и еще нечто что он назвал «криком Петрушки», и обе эти вещи оказались в самом настоящем смысле слова *гениальными.* У обоих у них тогда же явилась мысль использовать эту музыку для нового балета. Сюжета у них пока пет но попутно пришла в голову мысль, не представить ли на сцене петербургскую Масленицу, и не включить ли в ее увеселения представление Петрушки? «Кто, как не ты, Шура,— кончал письмо Сережа,— мог бы нам помочь в этой задаче!?» И поэтому-то они оба обращались теперь ко мне, причем Сережа заранее высказывал уверенность, что я *не смогу* от такого предложения отказаться.

Сережа имел все основания «быть уверенным». Петрушка, русский Гиньоль, не менее, нежели Арлекин, был моим другом с самого детства. Если, бывало, я заслышу заливающиеся, гнусавые крики странствующего петрушечника: «Вот Петрушка пришел! Собирайтесь, добрые люди, посмотреть-поглядеть на представление!»—то со мной делался род припадка от нетерпения увидеть столь насладителыюе зрелище, в котором, как и на балаганных пантомимах, все сводилось к бесчисленным проделкам какого-то озорника, кончавшимся тем, что мохнатый черт тащил «милого злодея» в ад. Таким образом, что касалось личности самого Петрушки, то я сразу почувствовал своего рода «долг старой дружбы» его увековечить на настоящей сцене. Но

еще более меня соблазняла идея изобразить на сцене театра — «Масленицу», милые балаганы, эту великую утеху моего детства, бывшую еще утехой и моего отца. Тем более было соблазнительно соорудить балаганам какой-то памятник, что самые эти балаганы уже с десяток лет как были упразднены \ Они были вынуждепы уступить и погибнуть в той борьбе с алкоголизмом (говорить нечего, па балаганах простолюдины изрядно предавались русскому водочному Вакху), которую повел против них принц Л. П. Ольден-бургский '*.

К этим проявлениям чувства «долга дружбы» к Петрушке и к этому желанию «увековечить» петербургский карнавал присоединилось в качестве окончательного решающего аргумента за принятие предложения Сережи то, что я как-то вдруг *увидел,* как именно такое представление можно создать. И сразу стало ясно, что «ширмы» Петрушки в балете неприменимы. Год до того мы попробовали в Художественном клубе устроить такого «Петрушку с живыми людьми», и хотя в этот спектакль Добужинский вложил все свое остроумие, получилось нечто довольно-

** Принц Александр Петрович мог питать особливое отвращение к этому шумливому торжищу потому, что оно располагалось под самыми окнами его дворца. Балаганы из центра города были около 1900 г. перенесены на окраину — на Семеновский плац, и там они захирели, а через несколько лет и вовсе прекратили свое существование.

таки нелепое и просто даже скучное. Живые большие люди в масках что-то проделывали над краем занавески, через которую были перекинуты пришитые к костюмам деревянные ножки, но все это создавало лишь впечатление чего-то вымученного и скорее жалкого. Тем паче нужно было опасаться подобного же эффекта на сцене театра, и уж никак эта «система» не подходила для балета, ибо что можно было заставить делать балетных артистов, которые не смогли бы пользоваться своими «натуральными» ногами? Раз уж отменялись ширмы, то, естественно, их должен был заменить на сцене театр, театрик. Куклы этого театрика должны были ожить, не изменяя, однако, своей кукольной природе... Куклы оживали бы по велению какого-то чародея, и этому оживлению был бы присущ несколько мучительный характер. Чем резче вышел бы при том контраст между живыми людьми и ожившими автоматами, тем все в целом стало бы «интереснее», «острее». Надлежало предоставить значительную часть сцены под массы живых людей, под публику «на гулянии», тогда как кукол было бы всего две: герой пьесы,

тот, кому была обязана возникновением вся затея,— «Петрушка» и его дама.

Продолжая выдумывать сюжет, я захотел, чтоб появился еще и третий персонаж — арап. Дело в том, что среди сшектакля петрушечника неизменно вставлялось не связанное с остальным иптермеццо: двое черномазых, одетых в бархат и золото, безжалостно колошматили друг друга палками но деревянным башкам или же кидали и ловили палки. Такого-то арапа я и решил включить в число своих действующих лиц. Включение же его как-то само собой привело к тому, что арап сделался «олицетворением третьего угла треугольника». Если Петрушка был олицетворением всего, что есть в человеке одухотворенного и страдающего, иначе говоря,— начала поэтичного, если его дама, Коломбина-балерина, оказалась персонификацией des Ewig Weiblichen *,— то «роскошный» арап стал олицетворением начала бессмысленно-пленительного, мощно-мужественного и незаслуженно-торжествующего.

Увидав «духовными очами» такую «пьесу» \ предугадывая коллизию, которая *неминуемо* должна была произойти от сочетания столь контрастных элементов, я уже не смог отказаться от предложения Сережи — способствовать сценическому выявлению затеваемого балета. Тому же, что Дягилев писал мне о *гениальности* музыки «русского танца» и «крика Петрушки», я верил вполне, и это в свою очередь меня подстрекало в чрезвычайной степени. Гениальность этих двух отрывков служила ручательством того, что и все остальное в музыке Стравинского будет *гениальным.* Как же было тут упорствовать и оставаться на своих позициях «благородного дутья»? Через два-три дня я сдался, уведомив Сережу, что предложение его принимаю, что все обиды забыты и что я всецело снова с ним, с ним и со Стравинским.

Через несколько недель в Петербург пожаловал и сам Сережа. Моя схема была сразу и с восторгом принята им, и теперь за традиционным

* Вечно-женственного *(нем.),*

Петрушка -^

чайком с бубликами в дягилевской квартире потянулись каждовечерние собеседования, вертевшиеся главным образом вокруг «нарождающегося Петрушки». Одно время, давая свободу фантазии, сюжет у меня стал было пухнуть и превращаться во что-то очень сложное, но затем он вошел в собственные рамки и постепенно уложился в четырех коротких «актах без антрактов». Два крайних из них должны были происходить среди масленичного гуляния, два средних внутри театрика фокусника.

Ожившие в первом акте на людях куклы продолжали жить настоящей жизнью в своих комнатах, и между ними завязывался роман. «Крик Петрушки», который мне теперь подробно описал Сережа (выяснив и все, что в этот крик Стравинский вложил кликушески-страдальческого), должен был заполнить первый из этих двух «интимных» актов, во втором же царил арап, по что именно тут происходило, оставалось до поры до времени под вопросом.

Наконец, в декабре приехал на короткую побывку к своей матери и Стравинский. Тут я и услыхал как оба «готовых куска», с которых все началось, так н еще кое-что из того, что Стравинский успел придумать для первой картины. Сыграл мне их Игорь в моей маленькой гостиной с темно-синими обоями, под большим пейзажем Александра Иванова, на моем старом, безбожно твердом «Гентше»— на том самом инструменте (бедному старику отрубили с тех пор половину его безмерно длинного хвоста) t на котором Альбер когда-то рассказывал мне историю про мальчика, похищенного чертями. И то, что я теперь услыхал, превзошло все ожидания. «Русский танец» оказался поистине волшебной музыкой, в которой дьявольский заразительный азарт чередовался со страшными отступлениями нежности и который внезапно обрывался, достигнув своего пароксизма. Что же касается до «крика Петрушки», то, прослушав его раза три, я уже стал в нем различать п горе, и бешенство, и какие-то любовные признания, а над всем какое-то беспомощное отчаяние. Стравинский не протестовал против моих комментариев, и в дальнейшем эта «программа», явившаяся post factum *, мною была разработана во всех подробностях 2*. Слушая теперь музыку второй картины «Петрушки» и глядя на то, что с большей или меньшей удачей артист выражает в жестах и в мимике, я подчас сам с трудом могу поверить, что при столь абсолютном совпадении поступков и музыки, последняя не написана на уже готовую программу, а что «программа» была подставлена под уже существовавшую музыку. Процесс творчества здесь шел путем как бы обратным естественному и нормальному.

Согласованность нашего сотрудничества в создании нового балета поддерживалась и в дальнейшем, несмотря на то, что до самой весны 1911 г. мы уже больше не встречались. Стравинский продолжал жить с семьей

* Задним числом, позже *(лат.).v*

2* Тогда же увидал я ту черную комнату, в которую поселил злой фокусник **свое** произведение, получившее - о ужас! - дар осознания окружающего.

в Швейцарии, а я в Петербурге3*. Согласованность между нами поддерживалась письмами. Сюжет принимал все более отчетливые формы. Наметившееся во второй картине драматическое положение — безнадежность любви «поэта» Петрушки — получило свой противовес в той незаслуженной страсти, которой возгорелась балерина к тутшще-арапу. Личности и балерины, и арапа при этом стали все более выявляться, а когда я услыхал музыку «комната арапа», то во всех деталях у меня сочинился и «монолог черномазого»— все его нелепые поступки: игра с орехом, «сопротивление» ореха стараниям арапа его разрубить и т. д. Как раз в момент «идиотского религиозного экстаза» арапа перед орехом является балерина и происходит «сцена соблазпа». Но в самую кульминационную минуту любовного экстаза, когда арап от разбушевавшейся страсти чуть ли не готовится пожрать прелестную гостью, врывается обезумевший от ревности Петрушка, и занавес падает на том, что арап выталкивает вон смешного соперника.

Конец третьей картины предвещал и окончательную развязку — ведь сцены, подобные этой, должны были повторяться внутри теагрика, страсти распалялись, и, наконец, трогательного, но и безнадежного несчастливца постигал роковой конец. Финал необходимо было вынести из интимной обстановки снова на людей, в гущу той самой ярмарки, среди которой в первом действии произошло оживание кукол. Я был в восторге от мысли композитора к концу уличного гуляния выпустить еще толпу маскированных ряженых — ведь русский карнавал не обходился без такого «дьявольского развлечения». Среди прочих масок появились бы и всякие кикиморы и прочая нечисть, и уж непременно «сам черт». Тут-то как раз, когда пьяный разгул достигает своего предела, из театрика фокусника раздаются вопли Петрушки. Спасаясь от рассвирепевшего врага, он в диком ужасе выбегает и ищет спасения в толпе, но черный человек настигает его и ударяет саблею по голове.

Таким был задуман мною в общих чертах финал балета, но разработкой его мы занялись со Стравинским лишь тогда, когда снова соединились — на сей раз в Риме. Вершины трагического композитор достиг в нескольких заключительных тактах, выражающих агонию Петрушки... Я и сейчас не могу без дрожи слышать эту столь теперь знакомую музыку агонии — жалобное прощание Петрушки с жизнью! Удивительной находкой можно считать и то, каким образом выражен самый момент смерти — отлет души Петрушки в лучший мир. Слышится отрывистый «всхлип», получается же этот странный звук от бросаемого на пол

бубна.

3* Как раз иод комнатой, которую я специально нанял для работы над декорацией **и** костюмами «Петрушки», находилась квартира, снятая графом Бобринским для своих кучеров (чудесный особняк графа Бобринского находился рядом с обитаемым нами домом). В этой кучерской целыми днями происходили при участии развеселых особ прекрасного пола и под треньканье балалаек оргии и танцы. В другое время мне это мешало бы, но в данном случае этот шум и даже визги, крики, песни и топот только способствовали созданию подходящего настроения.

Это «немузыкальное» звякание как бы разрушает все наваждение возвращает зрителя к «сознанию реальности»... Но не так-то просто кончается драма для злодея фокусника, дерзнувшего вложить сердце и мысль в свои игрушки. Душа Петрушкн оказалась бессмертной, и тем временем, когда старик-кудесник с презрительным равнодушием волочит перерубленную куклу по снегу, собираясь ее снова починить (и снова мучить),— освободившийся от телесных уз «подлинный» Петрушка появ- ' ляется в чудесном преображении над театриком, и фокусник в ужасе обращается в бегство!..

Музыка финала далась Стравинскому не сразу и не без всяческих комбинаций и поисков. Он все еще бился над ней, когда оставалось всего несколько недель до спектакля. Из своего номера той гостиницы, в которой мы оба поселились, на via Quattro Fontane, я по утрам часами слышал доносившийся из комнаты подо мной неясный перебор рояльных звуков, прерываемых более или менее долгими паузами. Это созревали последние такты четвертой картины... Когда же все было готово, то «Петрушка» уже весь подряд был сыгран мне и Дягилеву. Последний не меньше моего был в восторге от всего, и единственно, с чем Сережа не соглашался, это с тем «вопросительным знаком», на котором кончается музыка балета. Он и потом долго не сдавался, требуя более правильного «разрешения», что доказывает, между прочим, сколько еще в нем оставалось, даже в 1911 г., «академических предрассудков»...

О, чудесные времена! Издали они мне кажутся такими же лучезарными, какие были радостные годы детства или самые поэтические годы юности. Поистине все тогда чудесно соединилось. Чудесно было, что мы дружно и в абсолютной гармонии работали над произведением, значительность которого мы сознавали. Чудесно было, что работа эта заканчивалась в

столь необычной для нас и столь прекрасной обстановке —* в Вечном городе, в комнатах, выходящих в сад Барберинн с его денно и нощно журчащим фонтаном. Чудесно было то, что, оставив детей в Лугано на попечение друзей, ко мне в Рим приехала жена, без которой я себя всегда чувствую как бы действительно лишенным «лучшей половины». Чудесно было еще и то, что рядом со мной и со Стравинским поселились супруги Серовы... Наши три семьи буквально не расставались, вместе бродили по городу, вместе посещали церкви, музеи и ту всемирную выставку, на которой настоящим триумфатором был как раз Серов и на которой мы принимали (при открытии русского отдела) короля и королеву 4*.

4*

Дягилевские балеты были приглашены в Рим Комитетом Всемирной художественной выставки, комиссаром которой состоял благоволивший к нам симпатичнейший граф Сан-Мартино. Напротив, со стороны ближайших заведующих театром «Констанца» (который в то время не был государственным театром) мы встретили далеко не благожелательный прием, С первого же дня начались всякие подвохи, принимавшие моментами характер настоящего саботажа. Так первый наш спектакль мы принуждены были дать при довольно *опасных* обстоятельствах. Половина технического персонала не явилась, и мне поэтому пришлось

526

Петрушка

Иногда к нам присоединялись Карсавины — Тамара Платоновна и ее брат, известный профессор-философ, и почему-то тут же оказался наш милейший «домашний черт» Нурок. Незабвенными для меня остались экскурсии всей компанией в Тнволи и в Альбано. Места эти я уже по-прежнему времени знал хорошо, но в том духовном упоении, в котором я тогда находился, все мне представлялось каким-то новым и еще более поэтичным. А по вечерам мы опять всей компанией оказывались в театре — на гастролях нашего балета.

В том же римском театре «Констанца» начались репетиции «Петрушки». Надо было торопиться, чтобы поспеть с постановкой к Парижу, и поэтому Фокин приступил к работе, не дожидаясь даже того, чтобы музыка была совершенно законченной. Репетиции, за невозможностью получить от дирекции театра более подходящее помещение, происходили в нижнем этаже, в баре, и на засаленном малиновом сукне, которым был покрыт пол, приходилось нашим артистам упражняться, а то на него и ложиться. Стояла адская жара. Все ужасно от нее страдали, более

же всех непрерывно метавшийся Фокин и Стравинский, часами исполнявший роль репетиционного пианиста, ибо кто же мог, кроме автора, разобраться в сложнейшей рукописи, кто, кроме него, мог на ходу упрощать свою музыку настолько, чтоб она стала понятной танцорам. Фокин и тот моментами затруднялся усвоить некоторые (тогда же вовсе непривычные) ритмы и запомнить темы, ныне всем знакомые, но казавшиеся сначала «возмутительным оригинальничаньем». Почти ежедневно присутствовал на репетициях и Сережа, с утра отлично одетый, но безмерно усталый, ибо ноша, которую он на себя взвалил и которую он нес тогда без передышки в течение уже трех месяцев, начинала угнетать даже его. А впереди был Париж с его еще большими и очень специфическими «страданиями», с требованием еще большей затраты сил!..

самому во время исполнения «Павильона Армиды» стоять у электрической доски и давать сигналы для различных перемен (поминутно надо было нажимать то ту, то иную кнопку, и бог знает, что могло бы случиться, если бы я ошибся!). В то же время Сережа руководил, сидя в электрической будке под сценой, эффектами освещения, коих тоже немало в моем балете. Зато когда все благополучно закончилось, мы радовались, как малые ребята!

Не могу не рассказать тут же н о другом курьезе, приключившемся во время наших римских гастролей. По условию, часть кордебалета обязался предоставить нам театр. На этих двенадцать дам были возложены менее ответственные роли, но без них все же нельзя было обойтись... И вот, придя часов около девяти утра на смотр этих особ и готовясь увидать «прелестных итальяночек», мы с Фокиным узрели на пустой еще сцене компанию понурых, жалких существ. Мы их приняли за *маменек* обещанных танцовщиц. Но каков же был наш ужас, когда на вопрос: «Где балерины?» — театральный служащий, указывая на старушек, не без иронии вымолвил: «Вот они>>... Мы были принуждены использовать этих дам. но, разумеется, постарались их прятать как можно дальше или же выпускать их в полумраке — как того требовал, например, выход «часов» в «Павильоне Армиды», Должен поспешить с заверением, что с тех пор в Риме подобные явления отошли в область преданий, и сейчас балет при римском «Teatro Reale» один из лучших в Италии.

* * *

В Париже очень быстро постановка «Петрушки» наладилась окончательно. Прибыли исполненные в Петербурге костюмы и

декорации (последние были еще зимой превосходно написаны по моим эскизам Анисфельдом), все оказалось в порядке, и окончательное сценическое созревание пошло полным ходом... Тут пришлось подумать о программе и в частности, о весьма существенном — кого считать автором либретто новорожденного произведения? Мое упоение Стравинским было так велико, что я готов был из пиетета перед несомненной гениальностью его музыки стушеваться совсем — благо самая *инициатива* всей затеи принадлежала, действительно, ему, я же «только помог» создать конкретные сценические формы. Мне принадлежало почти целиком сочинение сюжета балета, состав и характер действующих лиц, завязка и развитие действия, большинство разных подробностей, но мне все это казалось пустяками в сравнении с музыкой. Когда Стравинский на одной из последних репетиций подошел ко мне и спросил: «Кто же автор «Петрушки»? — я, не задумываясь, ответил: «Конечно, ты». Стравинский, однако, не мог согласиться с такой несправедливостью и энергично запротестовал, утверждая, что автор либретто я. Наш combat de générosités* закончился тем, что авторами были названы мы оба, но и тут я, все из того же пиетета, настоял, чтоб первым, как инициатора, стояло имя Стравинского, а мое, наперекор алфавиту, следовало за ним. Имя мое, впрочем, упоминается еще раз на партитуре, ибо Стравинский пожелал посвятить «Петрушку» мне, и это меня безмерно тронуло.

К сожалению, без тяжелого недоразумения не обошлось и на сей раз! «Петрушка» послужил поводом к тому, что еле зажившая после обиды из-за «Шехеразады» рапа снова открылась, причинив мне ту нестерпимую боль, от которой невольно вскрикиваешь и приходишь в ярость. Декорация комнаты Петрушки смялась во время перевозки из Петербурга, причем пострадал тот «портрет фокусника», который занимает центральное место на одной из стен. Портрет играет значительную роль в драме; фокусник повесил его сюда не зря, а для того, чтобы ежечасно напоминать Петрушке о своей власти над ним и исполнять его духом покорности. Но Петрушку в его принудительном заключении как раз лик его страшного мучителя более всего возбуждает и перед фиксирующими его глазами он отдается всем порывам своего возмущения; он ему протягивает кулаки, ему посылает проклятия.,. Портрет необходимо было починить, и с этим надо было спешить, а как раз назло у меня сделался нарыв на локте, и я был принужден сидеть дома. Тогда починку портрета любезно взял на себя Бакст, и я не сомневался, что Левушка справится с задачей наилучшим образом.

Каково же было мое изумление, когда через два дня на

генеральной репетиции я увидал вместо «моего» портрета фокусника *совершенно дру**

* Поединок великодушия *(франц.)*.

гой, повернутый в профиль, с глазами, глядящими куда-то в сторону. Если бы я был здоров, я бы, разумеется, постарался устроить это дело à ГаппаЫе *: вероятно, Бакст просто перестарался и никакого злого умысла не имел. Но явился я в театр в лихорадке, рука нестерпимо болела, настроение было более чем напряженное, и все это вместе взятое привело к тому, что изменение портрета показалось мне возмутительным издевательством над моей художественной волей. Сразу вспомнился прошлогодний афронт, и вскипевшее во мне бешенство выразилось неистовым криком иа весь театр, наполненный избранной публикой: «Я не допущу!—завопил я.™ Ото черт знает что! Снять, моментально снять!!»—после чего я швырнул папку, полную моих рисунков, на пол и помчался вон на улицу и домой...

Состояние бешенства продолжалось затем (все вследствие болезни) целых два дня. Напрасно Серов сразу вызвался вернуть портрету его первоначальный вид и исполнил это с трогательным старанием; напрасно неоднократно приходил Валечка Иувель и старался объяснить, что произошло недоразумение, что и Сережа и Бакст очень жалеют о случившемся,— я не унимался, не унималась и боль в руке, пока доктор не взрезал опухоли. Сереже я послал отставку от должности художественного директора и объявил, что и в Лондон я уж не поеду, хотя там на спектакле-гала, по случаю коронации короля Георга V, должна была идти вторая картина моего «Павильона Армиды». Бешенство возгорелось даже с новой силой, когда Серов и Иувель вздумали меня за мою неуступчивость *попрекнуть.* Это мое неистовство я вспоминал затем не без некоторого конфуза, но особенно мне было тяжело, что я как-то косвенно оскорбил при этом милого Серова 3. Добрый «Антоша» написал мне письмо, из которого было нсио, что какие-то слова мои он принял на свой счет. Я ничего ему не ответил, а через несколько дней, нарисовав еще несколько новых костюмов для лондонского спектакля, я покинул Париж, отложив примирение с друзьями до более спокойного времени. Знай я тогда, что именно Серова, своего лучшего друга, я больше не увижу в живых, я, разумеется, иа коленях умолил бы его простить меня.

Перед тем, чтоб уехать, я все же побывал на двух спектаклях «Петрушки», и должен сказать, что получил от них большую

радость. В первоначальном своем виде, в состоянии чего-то совершенно свежего и только что созданного, наш балет производил действительно удивительное впечатление. С тех пор, не сходя в течение стольких лет с репертуара, первая «дягиловская» постановка «Петрушки» обветшала и утратила для меня всю свою прелесть. Даже мне стало тяжело бывать на «Петрушке», ибо во всем сказывался du temps l'irreparable outrage**. Исчезла настоящая карусель, иа которой катались дети5*, исчезли перекидные

* Полюбовно *(франц.)*. ** Непоправимый ущерб времени *(франц.)*.

¾* Это был подлинный manege de chevaux de bois [карусель деревянных лошадок *(Франц.)]* времен Наполеона III, который нам удалось приобрести с какой-то фуары [от foire *(франц.)* — ярмарка]. Лошадки и сбруя этой карусели были нря-

качели, как мельницы размахивавшие своими пестрыми крестообразными лапами, исчезли лавочки с пряниками и сластями, исчезла наружная лестница, на которой толпились простолюдины, дожидаясь очереди, чтобы попасть на представление в балаган, и как-то совсем затертым оказался столик продавца чая с его дымящимся огромным самоваром. Напротив, в 1911 г. все это было, все это радовало мой авторский глаз, все это с достаточной точностью воспроизводило картину нашей петербургской Масленицы. Еще более меня впоследствии огорчал тот «беспорядок», который воцарился на сцене.

Первоначально каждая фигура в толпе была мной индивидуально продумана. На репетициях я следил за тем, чтоб и последний статист точно исполнял порученную ему роль, и в апсамбле смесь разнообразнейших и характерных элементов производила полную иллюзию жизни... «Люди хорошего общества» являли примеры изысканных манер, военные выглядели типичными фрунтовиками эпохи Николая I, уличные торговцы, казалось, всерьез предлагали свои товары, мужики и бабы походили на настоящих мужиков и баб. При этом я не разрешал никакой «импровизации», никакого переигрывания. В последующие же времена все мои наставления были забыты, и на сцене получалась сплошная импровизация и дилетантизм. Люди без цели и смысла шатались из угла в угол, не зная в точности, что они должны делать и кого они изображают, все только старались прикрыть такое забвение задачи напускным азартом. Особенно же меня раздражали *«пьяные».* В первоначальной постановке, на фоне более или менее чинного гулянья приличной

публики шатались какие-то три безобразника, услаждавшие себя звуками гармоники. Теперь же все стали вести себя как пьяные, и отсюда получилось нечто абсолютно фальшивое. Как пи пьянствовали на Руси, однако все же улица имела свои правила, свое представление о благонравии и приличии, и тогда только отступления от этих правил могли казаться чем-то забавным и смешным..

Совершенно был смят и выход гуляки-купца. Идея этого номера мне явилась при слушании одной полувеселой-полумрачной частушки Н. Плевицкой, тогда пленявшей всех — от монарха до последЕ1его мещанина,— своей русской красотой и яркостью своего таланта... «Ухарь-купец» называлась эта песенка Плевицкой, и «ухарем-купцом» названо то действующее лицо, что появляется иод великолепно придуманную музыку Стравинского среди масленичного гульбища в сопровождении двух цыганок. Каким характерным и интересным этот ухарь-купец был когда-то, каким типичнейшим представителем русского купечества — с его наименее приглядной, но и очень характерной стороны! В эпоху создания «Петрушки» если молодые, разбогатевшие купчики уже не одевались в те длиннополые синие сюртуки, в какой я нарядил своего Ухаря соглас-

ью очаровательны в своей трогательной примитивности. К сожалению, тюк, заключавший эти «музейные предметы», сорвался во время разгрузки в Буэнос-Айресе с крана и потонул в морской пучине.

но моде 30-х годов 5*, то все же вести себя они продолжали «традиционно», т. е. согласно формуле «чего моя левая нога хочет»... Раз же все на сцене безобразничают, то появление еще одного лишнего озорника не может произвести никакого впечатления...

Особенно меня восхитил на первых спектаклях «Петрушки» Нижин-ский. На репетициях роль ему не давалась. Он точно не совсем понимал того, что от него требовали. Против своего обыкновения артист даже просил меня ему роль *растолковать.* Однако и на сей раз получилось нечто, к чему он нас уже приучил в «Павильоне», в «Сильфидах», в «Шехера-заде», в «Жизели». Но только та внутренняя метаморфоза, которая произошла с ним, когда он надел костюм и покрыл лицо гримом, на сей раз была еще более поразительна. Я не мог надивиться тому мужеству, с которым Вацлав решился выступить после всех своих «теноровых» успехов в роли этого ужасающего гротеска — полукуклы-получеловека. Суть роли Петрушки в том, чтобы выразить жалкую

забитость и бессильные порывы в отстаивании личного счастья и достоинства, и все это — не переставая походить на куклу. Роль вся задумана (как в музыке, так и в либретто) в каком-то «неврастеническом» тоне, она вся пропитана покорной горечью, лишь судорожно прерываемой обманчивой радостью и исступленным отчаянием. Ни одного па, ни одной «фиоритуры» не дано артисту, чтобы «понравиться публике». А ведь Нижинский был тогда совсем молод, и соблазн понравиться должен был прельщать его более, чем других, умудренных годами артистов...

Впрочем, и Карсавина, взявшаяся в «Петрушке» исполнить роль куклы-балерины, доказала еще раз, что артистичность задачи способна всегда вознаградить ее за отсутствие «благородной», в смысле чисто балетных эффектов, роли. Надо прибавить, что, несмотря на умышленную «глупость» балерины и ничуть не изменяя этому характеру, Карсавина и на сей раз сумела остаться *прелестной и пленительной.* Ей к тому же очень шел тот потешный костюм, который я почти дословно скопировал ¢ одной статуэтки гарднеровского фарфора.

Менее мне нравился мой арап, и вот почему я в постановке «Петрушки» на других сценах 4 несколько раз менял его облик, наряжая его

** Кстати сказать: тщательно разработанные мной на основании старинных документов одежды и формы 30-х—80-х годов в последние годы дягилевских спектаклей были самым бессмысленным образом перемешаны. Глядя на это, мне просто хотелось вопить от досады. Сережа каждый год давал мне обещание обновить постановку «Петрушки», но так и не успел этого сделать. Уже после его смерти «Петрушка» был возобновлен Б. Ф. Нижинской для парижской антрепризы князя Церетели и де Базиль, и для этой версии я создал декорацию, вернувшись к одной из моих первоначальных идей: вместо ярко-синей «коробки» я представил на авансцене как бы стену балагана, сколоченную из свеженапиленных досок.... К наиболее тщательно исполненным и наиболее во всех подробностях проработанным постановкам «Петрушки» принадлежит та, которую я сделал при участии балетмейстера Леонтьева для Марианского театра в Петербурге (1920), и та, которая была создана в Милане в моих декорациях и костюмах Борисом Романовым в 1929 г.

то в красный, то в голубой, то в синий цвет. Все же, пожалуй, удачнее других была первая версия \ т, е. тот зеленый с серебром и с золотом кафтан и те парчовые шаровары, в которых он появился в 1911 г. Превосходный наш Орлов 6 — один из наших

лучших хореографических танцоров — мастерски справился тогда с ролью, трудность которой заключается также в том, чтоб дать впечатление «механической бессмысленности» с примесью, в данном случае, чего-то звероподобного.

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ДО ВОЙНЫ

Зимний сезон 1913—1914 гг. у меня весь прошел в Москве, где я был главным образом поглощен своей постановкой «Хозяйки гостиницы» («La Locandiera») Гольдони. Если я скажу, что для этой пятиактовой **, но все же не бог знает какой длинной комедии пришлось произвести (того требовала обязательная тщательность постановок в Московском Художественном театре) сто двадцать пять (!) репетиций, если я прибавлю, что я был не только автором декораций, но и постановщиком-режиссером, то станет ясно, до какой степени я весь ушел в эту работу, увенчавшуюся полным успехом. И все же «моя первая любовь» продолжала владеть мною, и поэтому, когда Дягилев попросил меня создать постановку оперы Стравинского «Соловей», то после некоторого колебания я принял это предложение. Мало того, Сережа сумел меня втянуть еще и в постановку «Золотого петушка», о котором я мечтал давно — с того самого времени, когда под марш из этого шедевра Римского-Корсакова в 1909 г. выступали артисты, занятые в дивертисменте «Le Festin» 2*. Теперь же не только эта мечта могла получить свою реализацию, но одновременно мне силь-

Мы остановились на полной, не сокращенной версии этой комедии, а в ней пять действий.

«Пир» *(франц.)*. Об этом балете я упоминал уже вскользь в своем месте. Он причинил мне немало забот и не потому, разумеется, что я сделал рисунки для некоторых костюмов, а потому, что самая затея этого дивертисмента принадлежала мне. Хвастаться этим не приходится. Получилось нечто довольно банальное, но нам в 1909 г. во что бы то ни стало нужно было тогда еще одно балетное действие на 3/4 часа времени (того требовало репертуарное распределение), и вот пришлось прибегнуть к такому салату. При этом мои расчеты были основаны на эффекте, который, мне казалось, неминуемо должен был произвести любимый мной финал из 2-ой симфонии Чайковского. Я не перестаю и сейчас считать, что музыка этого финала содерлшт в себе все данные для создания чего-то бесновато-упоительного. Даже в богатой на произведения подобного характера русской музыкальной литературы найдется не много вещей, которые обладали бы такой силой плясового задора, каким обладает эта гениальная разработка темы украинского «Журавля». В этом поистине есть что-то дьяволическое, угарное, какой-то пьяный, непреодолимо-

притягивающий разгул, заставляющий всех откалывать коленца и участвовать в каких-то безумных хороводах. Увы, на самом деле получилось нечто скорее тусклое и, во всяком случае, далекое от первоначального замысла, на осуществление которого, однако, Фокин приложил все усилия. Я думаю, что грех заключался скорее именно в разношерстности той массы в 60 человек, которая принимала участие в этом ансамбле. То были те самые танцоры, которые только что выступали в отдельных номерах дивертисмента:

но захотелось осуществить и другую свою заветную идею,— поручить зрелище оперного исполнения... балетным артистам, и это при сохранении всего вокального элемента.

О таком довольно-таки рискованном раздвоении оперного исполнения я думал давно, но руководило мной при этом не вздорное желание «выкинуть что-то особенное» (напротив, я за свою долгую художественную карьеру остался чист в этом отношении и никогда не подпадал соблазну «эпатировать буржуа»); толкало меня на этот опыт то, что слишком часто оперный спектакль представляет собой совершенно неприемлемое *зрелище,* и это потому, что в нем доминируют требования голосовой звучности. Бывают, разумеется, исключения. Прекрасен был всегда Шаляпин; когда нужно — демонически красив, а то и жутко страшен. Прекрасен был Ершов в Тангейзеро, в Зигфриде, в Зигмунде. Очень хорош бывал Фигнер, и я мог бы удлинить этот список еще на десяток имен как русских, так и французских, итальянских и немецких артистов. Но исключения только подтверждают правило, да и этим артистам зачастую приходилось петь и играть с товарищами, один вид которых разрушал всякую романтику, всякую иллюзию; достаточно вспомнить хотя бы о такой дивной певице, как Фелия Литвин1. Какая же она была, по правде говоря, Изольда или Брунгильда?

В сознании того, что в этом кроется грех непоправимый, присущий самой природе оперы, у меня и явилась «преступная» мысль — заменить оперных артистов такою группою исполнителей, в которых физические недостатки как бы исключались сами собой. В балете *не может быть* явных монстров, и в любой балетной компании легко добиться того, чтобы происходящий на сцене «роман», служащий всегда драматической основой, казался убедительным и *привлекательным.* В балете, как правило, мы имеем дело с людьми, обладающими если не всегда идеальной, то все же

приятной и «располагающей к себе» наружностью. Другой дефект оперы заключается в том, что в ней зачастую участвуют артисты, не имеющие понятия об игре, ступающие как медведи, жестикулирующие без всякого смысла. О, сколько я таких ужасов нагляделся еще в детстве, когда посещал итальянскую оперу, где дело доходило иногда до того, что даже привыкшие к этим безобразиям меломаны прыскали от смеха при виде того, что вытворял (чего «не мог не вытворять») какой-нибудь тенор или какое-либо сопрано с самым знаменитым именем!

' Напротив, в самое воспитание балетных артистов входит в качестве «обязательного предмета» и обучение «выразительной видимости» на сцене. Самая культура танца учит управлять своими движениями, «развязывает» их, дает им гибкость и грацию. При этом, когда нужно было, то талантливый балетный артист с успехом воплощал и любой гротескный или уродливый образ — достаточно вспомнить о Чекетти в роли феи Карабос, Бекефи в роли Квазимодо, Гердта в «Синей бороде»...

в Трепаке, в Мазурке, в Гопаке, в Лезгинке и т. д., и это преобладание этнографического, слишком реального элемента и лишило наш финал фантастики, присущей музыке.

Последний сезон до войны

533

И вот, когда я ознакомился в 1909 г. с предсмертным произведением Римского-Корсакова, я решил, что это та самая опера, которая могла бы позволить произвести намеченный опыт с *наименьшим риском.* В этой онере есть нечто от кукольного театра; ее символика, точно заимствованная из простонародных лубков, имеет *простую категоричность* и не требует более тонкого психологического толкования. Опера эта — очень показная опера. При этом она вся состоит из действия. С другой стороны, как раз главное после царя Додона действующее лицо — Шемаханская царица *должна* являть собой *сказочную красоту,* а к тому же она должна уметь и ходить как фея, и даже танцевать. В силу всего этого я не переставал настаивать на своем проекте, но естественно, что в годы, когда у нас в труппе не было оперных элементов, поставить «Золотой петушок» было немыслимо. С момента же, когда Дягилев снова вернулся к опере, возможность эта настала.

Однако даже бесстрашного Сережу пугал опыт столь опасный. Ведь в сущности надлежало как бы представить «Золотого петушка» сразу в двух планах; разучить его одновременно и порознь как балетным, так и оперным артистам. И сразу вставал вопрос, согласятся ли оперные артисты, подчас знаменитые любимцы публики, ограничиться ролью чуть ли не каких-то

«оркестровых инструментов», которые должны были только «подпевать» тому, что творилось бы на сцене и что было *настоящим* представлением. Но я знал, что наш «Петр Великий» если захочет, то преодолеет и не такие трудности,— стоило его только основательно раздразнить и раздразнить указанием на эти трудности. Это мне удалось и на сей раз, после чего Сережа с особым рвением принялся за осуществление задачи.

Сначала проектировалось, что наши поющие артисты, солисты и хор будут помещены в оркестр, но потом возымела верх другая моя мысль — поместить их прямо на сцене, но так, чтоб из самого их помещения извлечь некий декоративный эффект. Надлежало одеть их всех в одинаковый костюм и расположить их этажами по обе стороны того, что было бы оставлено под место действия. К сожалению, сам я не имел времени в силу уже одной переобремененности в Художественном театре (сверх того, я уже взял на себя «Соловья») заняться «сценическим оформлением» «Золотого петушка». Но как раз тогда я переживал увлечение искусством И. С. Гончаровой2, обратившейся после всяких довольно-таки нелепых опытов ультра-модернистского характера за воодушевлением к народным лубкам и к древней иконописи, и на ней я и решил остановить свой выбор. Только бы Гончарова согласилась, только бы приняла она мой план,— а тогда что за чудесный спектакль могли бы мы показать Парижу! И велика же была моя радость, когда я получил разрешение «директора» обратиться к Гончаровой, а Гончарова сразу ответила согласием, причем и самый мой план она *приняла к сердцу,* поверила в него, поняв, какую пользу для своих сценических эффектов она из него может извлечь.

Хореография «Золотого петушка» была поручена Фокину, снова **в 1914** г. соединившемуся с Дягилевым, ведь главное препятствие к его возвращению — балетмейстерство Инжннского — отпало. С моим планом постановки Фокин после некоторых возражений и сомнений также согласился 3. Однако удивительнее всего, что Дягилев получил согласие и оперных артистов на ту жертву, которая от ни-х требовалась. Дело было окончательно налажено в Москве и в Петербурге, и с тех пор я почти больше его не касался. Сереже же я поставил одно «условие», чтобы в афише *стояло мое имя* в качестве *автора плана* постановки. Этому заявлению авторства я придавал немалое значение. Мне казалось, что пример нашего «Петушка» может открыть целую эру в опере. Сережа клятвенно мне это

обещал, но своего обещания, по обыкновению, не сдержал, и чтобы меня «как-то утешить», он подослал мне интервьюера (из второстепенной парижской газеты), который с моих же слов напечатал то, о чем должно было быть оповещено официально. Впрочем, я до того привык к подобным поступкам моего друга, что я даже перестал гневаться на него, а настоящим утешением как в данном, так и во всех подобных случаях было то, что мои советы и указания способствовали вящему успеху дорогого мне, несмотря на все, дела.

* * *

Моей личной работой в сезоне 1914 г. была постановка «Соловья». Строго говоря, рассказ о ней не должен был бы входить в настоящие воспоминания, посвященные исключительно балету, однако ввиду того, что и этот спектакль по своему стилю приобрел несколько балетный характер, я позволю себе остановиться на нем.

Как я уже говорил, опера «Соловей» была затеяна Стравинским и его приятелем Митусовым еще в 1910 г. \ и тогда же оп мне проигрывал законченную музыку первого акта. Занятый затем другими задачами, он оставил эту оперу и вернулся к ней лишь после того, как уже совершил весь удивительный путь от «Жар-птицы» к «Петрушке» и от «Петрушки» к «Весне Священной»... Вполне естественно получилось бросающееся несоответствие в стиле именно первого акта «Соловья» и двух других. Дягилев пытался убедить Игоря в необходимости переработать и первый акт, дабы опера получила один общий характер, но композитор настоял на своем, и какое-то нестроение стиля в «Соловье» осталось. Заметно оно, впрочем, только тогда, когда слушаешь музыку «Соловья» *вне* сцены,— скажем, на рояле — напротив, в спектакле эта разнохарактерность сглаживается. Лирический характер первого акта, в котором посланные от богдыхана придворные приходят на берег моря с тем, чтобы пригласить соловушку во дворец, в котором мысли в духе китайской мудрости распевает сидящий в лодке рыбак, лирический этот характер служит *интересным* контрастом к дальнейшему — к придворной помпе приема японского посольства, являющегося с искусственным соловьем (второй акт), и к борьбе у одра болеющего императора между Смертью и Соловьем,

к борьбе, кончающейся победой второго. Мне очень

нравилась простая и разительная, совершенно в духе сказки Андерсена выдержанная заключительная сцена оперы,— когда явившиеся с погребальной церемонии мандарины застают богдыхана здоровехоньким и приветствующим их звучным «здра-а-ствуй-те».

Вообще мне очень нравилось то, как Стравинский и Митусов «уложили» сказку в оперное либретто. Мне это давало возможность излить весь мой восторг от дальневосточного искусства — как в передаче приморского пейзажа, так и в изображении тронного зала в «фарфоровом» дворце и золотой, залитой солнцем, царской опочивальни. Сначала я было решил держаться стиля тех chinoi-series *, которые были в ходу в XVIII в.; но по мере работы меня стала немпого раздражать их слишком явная нелепость, и в мою постановку стали проникать отражения моего увлечения подлинно китайским. В смысле костюмов неоцененным материалом мне послужили раскрашенные китайские лубки, коих у меня было великое множество— ими меня когда-то одарил ездивший во время войны в Маньчжурию С. С. Боткин. В конце концов у меня получилось нечто далекое от педантичной точности, весьма смешанное, но и нечто вполне соответствовавшее музыке Стравинского, в которой великолепный китайский марш, занимающий половину второго акта, а также обе серии Соловья и Смерти как бы выдают известный «стиль подлинности», тогда как все остальное выдержано скорее на «европейский» лад.

Работа над «Соловьем» доставила мне огромное наслаждение. Только этим наслаждением я и объясняю себе теперь то, как мог я с ней в ту зиму справиться, как мог я совместить ее с напряженной работой над «Хозяйкой гостиницы» для Художественного театра и с научными трудами, связанными с созданием моей «Истории живописи».

Костюмы я рисовал в своем довольно светлом номере московской «Национальной» гостиницы; декорации я скомпоновал во время своих побывок в Петербурге, и сделал я все эти эскизы в необычайную для себя величину. Самую живопись для сцены я поручил симпатичнейшему и весьма искусному художнику Н. Б. Шарбе, который их и привез с бесчисленной бутафорией в Париж, частью пользуясь дипломатической вализой. К этому моменту и я сам вырвался из Москвы и приехал в Париж, где шли наши репетиции.

Вспоминаю мое первое появление чуть ли не прямо с поезда на сцене «Опера» в разгаре репетиции «Легенды Иосифа» 5. Так и вижу ярко освещенное лицо Рихарда Штрауса у дирижерского пульта, выделяющееся на темном фоне пустого зрительного зала,

вижу группу «избранных друзей русских балетов», сидящую на скамейках, расставленных прямо на сцене — и среди них музу русских балетов, милую Мисю Эдварс, которая выразила при моем появлении самую искреннюю и даже буйную радость. Рядом сидел по обыкновению «в бороду ухмыляющийся» будущий ее супруг Серт, автор великолепной декорации «Иосифа». Но Бакста в театре

* Увлечений китайщиной *(франц.),*

не было, хотя ему и принадлежали костюмы **для того же «Иосифа». Он** переживал тогда какую-то очередную ссору **с Дягилевым и, надувшись,** забаррикадировался у себя дома...

С момента моего приезда началась горячка приготовлений к моим спектаклям. Мне приходилось присутствовать то на *балетной* репетиции «Золотого петушка», то на репетициях оперных и балетных «Соловья». Особенно меня радовало то, что получалось из Китайского марша у начинающего тогда свою балетмейстерскую деятельность Б. Г. Романова — всего семь лет до того совершенным мальчишкой отплясывавшего (и Как лихо!) одного из шутов в «Павильоне Лрмиды»... По моему плану надлежало в строгом соответствии с музыкальными кусками выступать из кулис звеньями длиннейшей процессии. Она начиналась с «танцовщиков Его Китайского Величества» и кончалась появлением под гигантским черным с лиловым зонтом самого государя — в окружении мандаринов первого ранга, облаченных в черные халаты. По мере выступления «придворной балетной труппы» каждая группа, сделав два тура по сцене, располагалась затем на полу, внутри огороженного зажженными фонариками специального пространства, образуя собой пестрый и роскошный живой цветник, подчеркивающий своими движениями разные моменты развертывающегося затем действия. Романов с редкой чуткостью понял мои намерения, и уже до того, как артисты надели костюмы, эта длинная сцена выходила удивительно волнующей. На спектакле же, когда все это повторилось во всей яркости причудливых одежд под огромными голубыми фонарями-люстрами, на фоне белых с синим фарфоровых колонн, когда из-под зонта выступило все сверкавшее золотом и драгоценностями Богдыханское Величество, собравшиеся же подданные поверглись перед пим ниц, то эффект получился такой силы, какой я и сам не ожидал! И, пожалуй, в первый раз тогда за всю мою театральную карьеру я почувствовал какое-то «умиление» перед собственным произведением... Меня даже стали «душить слезы», а Мися Эдварс признавалась мне потом, что она и впрямь прослезилась. Ее

особенно почему-то тронул одинокий танцовщик в черном шелку, производивший свои стилизованные эволюции на самой авансцене, ровно посреди зала.

Вообще я считаю «Соловья» одной из наиболее мне удавшихся постановок, и вот почему мне особенно горько, что именно эта постановка, данная всего два раза в Париже 3*, а и Лондоне — четыре, была затем

3* Дягилеву удалось «навязать» расходы по роскошной постановке «Соловья» лондонскому театру «Drnry Lane», но при этом мой удивительный друг сумел все это устроить так, чтобы премьера и равнозначащая с премьерой генеральная репетиция были даны сначала в парижской «Опере», Таким образом, он лишал Лондон преимущества новинки. На премьере же «Соловья» в Лондоне произошла и моя очередная ссора с Дягилевым. Многое в Париже по недостатку времени не было mise au point [доведено до конца *(франц.)]*. Особенно это касалось сложной конструкции специальных мостков эстрады, на которых стоял трон богдыхана и были среди целой коллекции ваз назначены места для придворных высшего ранга. Сережа мне клялся, что в Лондоне требуемая mise au point **произойдет, и этим меня успокоил. В надежде на это исправление я в Париже на**

погребена в кладовых «Drury Lane», где половина декораций и костюмов за годы войны успела сгнить. Это обнаружилось тогда, когда впоследствии директор парижской «Оперы» господин Руше пожелал приобрести мою постановку «Соловья» для своего театра, и дело именно из-за этого расстроилось. Тем временем Дягилев, не имея возможности возить с собой оперную труппу, заказал Стравинскому переделку оперы «Соловей» в одноактный балет. Вследствие моего отсутствия — я еше был в это время в Советской России — он заказал эту постановку Матиссу. Костюмы у последнего получились очаровательные по краскам, но куда девалось во второй версии «Соловья» все первоначальное великолепие? Все, что" составляло в 1914 г. *поистине* un grand spectacle? *

* * *

Еще несколько слов о моих впечатлениях от сезона 1914 г.— этого последнего сезона дягилевских балетов до войны. «Моя система» в постановке «Золотого петушка» была весьма сенсационной, но в общем она вызвала меньше споров и толков, нежели можно было ожидать6. По™ жалуй, многие в публике до

такой степени были очарованы зрелищем, что даже и «не заметили» этих поющих безликих масс, среди которых, однако, были бесподобные и знаменитые голоса.

Зрелище же получилось действительно изумительное. Прекрасно выполнил свою задачу Фокин, прекрасна была Карсавина в роли Шемаханской царицы, грандиозен в бурлескном смысле был Булгаков, игравший царя Додона, а Чикетти удалось вложить подлинную жуть в исполнение роли Звездочета. Гончарова совершенно покорила Париж своими ярко цветистыми декорациями и костюмами. На премьере я сидел в ложе Миси Эдварс, служившей сборищем «перворазрядных amis des Russes» **, и я помню, как при каждом новом эффекте вся ложа в один голос ахала. Когда же появился в шествии последнего действия серебряный на коле-сиках конь Додона, то супер-арбитр парижских «elegantiarum», тогда еще сравнительно молодой и «до черта» изысканно одетый Boni de Cas-tellane 7 застонал от восхищения и на весь театр воскликнул своим тоненьким «версальским» голоском: «C'est trop joli!» ***

многое, что меня шокировало, смотрел сквозь пальцы. Но и на сей раз Сергей не сдержал своих обещаний, и когда на сцене «Drury Lane» я снова увидел все те же дефекты, я так разгорячился, так стал бранить в сущности не столь уж виноватого Сергея, что это было слышно (несмотря на опущенный занавес) даже в зрительном зале... Получилась жестокая ссора; однако уже на следующий день явился в качестве вестника мира Валечка Нувель, состоялся завтрак в «Savoy», и мы расстались после многих объятий и лобзаний на русский лад, друзьями. С этого то завтрака и до следующей встречи моей с Дягилевым прошли затем девять лет. * Величественное зрелище *(франц.)*. ** Друзей русских *(франц.)*. *** Это уж слишком красиво! *(франц.)*.

Мне, однако, не все у Гончаровой нравилось в одинаковой степени. И менее всего мне нравилось то, что ее часть слишком вылезала вперед и даже как бы мешала действию. Не нравилось еще мне и то, что она, несмотря на мои убеждения, осталась при традиции, требовавшей изображать русскую сказку не иначе как в стиле «дико-пестрой азиатчины»,— тогда как я предпочел бы полуевропейский стиль русских лубочных картинок XVIII в. Не они ли мерещились самому Николаю Андреевичу, особенно когда он сочинял свой гениальный похоронный марш солдат *(солдат,* а не воинов) Додоновской армии? В общем, «Петушок» в интерпретации Гончаровой оказался несколько лишенным *поэзии, настроения,* до которых, разумеется, Вони де Кастеллану и всяким другим представит-елям парижской передовитости не было дела.

Особенно же я огорчился за последний и как раз мой любимый акт в этой любимой опере. Процессия вышла у Гончаровой очень потешной и довольно эффектной, но куда девалось то настроение жути, которое с момента, когда солнце скрывается за черной тучей, не перестает сгущаться все больше! А о туче художница и вовсе забыла!..

Несмотря на эти оговорки, надо признать, что постановка «Петушка» принадлежит все же к большим удачам дягилевского дела... Зато едва ли к настоящим удачам можно причислить «Жозефа» — как все мы называли штраусовскую «La Légende de Joseph» *. Правда, я вообще не любитель Штрауса, и в данном произведении автор «Rosenkavalier»'а и «Till Eulenspiegel »'я менее, нежели в чем-либо, сумел скрыть свою внутреннюю пустоту под громом и сверканием оркестровки4*. Грандиозна была «веронезовская» декорация Серта с ее черными, витыми (как в храме Соломона) колоннами, эффектны были «веронезовские» костюмы Бакста 8, но ни декорации, ни костюмы никак не способствовали тому, чтобы можно было «поверить» разыгрывающейся драме. Очень красив был заменивший Нижинского премьер труппы — открытый Дягилевым в Москве Мяснн, но танцевал он неважно и далеко не так мастерски, как его предшественник и как он сам стал танцевать впоследствии. Партнер-

* «Легенду об Иосифе» *(франц.),* 4* На одной из последних оркестровых репетиций композитора со стороны оркестра была произведена некая «назидательная демонстрация», явившаяся ответом на довольно-таки бестактные слова, которые были произнесены Штраусом по поводу некоторых порядков в парижской «Опере» и отсутствия кого-то из оркестрантов. Взбешенный повторным характером такого манкирования, композитор позволил себе произнести громко (и так, что это было сдыпшо на весь театр) фразу, выражавшую его презрение к «упадочному французскому народу»! Новому тогда директору «Opera» Monsieur Rouché удалось затем кое-как загладить инцидент и убедить Штрауса принести своего рода повинную, после чего «инцидент был исчерпан». Этот инцидент был. впрочем, единственным за ту весну, который можно было бы счесть за выражение известной натянутости между французами и немцами. Напротив, с немцами тогда парижане, что называется, «носились». И как раз тот же Штраус вместе с Гофмансталем и с симпатичным Kunstfreund'oM [любителем искусства (неж.)] графом Кеслером были чество-ваемы на все лады. Мало того, в тот же сезон 1914 г. в «Theatre des Champs Elysées» гостила немецкая опера, и когда-то вообще не допускавшийся в Париже к

исполнению Вагнер 9 шел по-немецки.

шей ему служила оперная певица М. Н. Кузнецова (бывшая супруга одного из моих племянников), которая, однако, в этой немой роли обнаружила полную беспомощность и, несмотря на архироскошное платье со шлейфом, являла малоубедительный образ соблазнительной Madame Po-tiphar. Наконец, и Фокину мешала развернуться плохо продуманная планировка сцены.

* * *

Лично я никогда еще не имел такого успеха как в Париже, так и в Лондоне, как в эту весну 1914 г. На меня со всех сторон сыпались заказы. В частности, директор «Оперы», подстрекаемый успехами наших балетов, также решил нарушить рутину порученного ему учреждения и создать нечто весьма сенсационное. Поэму этого чрезвычайного произведения, в котором должны были сочетаться и опера и балет, взялся сочинить Габриэль д'Аннунцио, музыку — Райнальдо Ган, а мне была бы поручена постановка — декорации, костюмы и общий план. Это «чудо» должно было созреть к весне 1915 г., и мне запомнился тот интимный обед у знаменитого (с тех пор исчезнувшего) «Voisin», который был дан будущим сотрудникам господином Руше и за которым мы условились в самом недалеком будущем приняться за наше коллективное творение. Увы, события бесконечно большего значения, нежели какие-то мечты художников и поэтов, не позволили этой затее осуществиться! 10 Расстался я с моими сообедовавшими всего на два месяца, и в тот момент никто из нас четверых не предполагал, что эта разлука для некоторых окажется разлукой навеки и что о нашей, тогда нас столь пленившей, затее сохранится лишь самое смутное воспоминание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прощаясь о настоящей моей темой, мне все же хочется оглянуться еще раз на то, что я здесь рассказал. В частности, я попробую уточнить, чем в сущности балет был для меня и чем он в моем представлении *должен* быть... Как раз тот мой друг (а в некотором смысле и «ученик» мой), который помог творчески выявиться моим идеалам в балете, повел во второй половине

своей жизни, окончательно освободившись от моего влияния, балет в совершенно ином направлении, нежели принятом вначале, и это направление я не могу не считать *ложным.*

Все на свете подвержено закону изменения, эволюции: «все течет» — как это уже две тысячи лет тому назад определил один греческий мудрец. Нет и не может быть остановок. Но разве из этого следует, что *любое* течение и во *всякое время* следует считать благополучным? Разве иное течение не встречает на своем пути и пороги, и катаракты, и омуты? Разве нельзя в известный момент почувствовать, что течение приняло опасный поворот и разве тогда не следует это направление выправить? Неужели надо *все* благословлять и со *всем* мириться? Мне и кажется, что

балет ультрапередового характера завело куда-то в безысходный тупик, и, ощущая это, мне кажется полезным осознать опасность и попытаться из нее выбраться.

Позади время, когда балет был чем-то осмысленным, поэтичным, тесно связанным с другими художествами и *больше всего с музыкой.* В сущности, можно видеть в балете как бы пластически кристаллизованную музыку. Теперь же он имеет тенденцию совершенно эмансипироваться даже от музыки *1* и стать чем-то абсолютно самодовлеющим.

Балет — одно из самых последовательных и цельных выражений идеи Gesammtkunstwerk'a 2, и именно за эту идею наше поколение готово было положить душу свою...

Недаром зарождение «нового» балета (того, что и вылилось потом в так называемые «Ballets Russes») получилось отнюдь не в среде профессионалов танца, а в кружке *художников,* в котором, при внешнем преобладании элемента живописного, объединяющим началом служила идея *искусства в целом.* Все возникло из того, что нескольким живописцам и музыкантам *захотелось увидеть* более цельное воплощение бродивших в них театральных мечтаний. Но я настаиваю на том, что в мечтаниях этих не было ничего *специального* и *профессионального.* Напротив, было *горе-ние к искусству вообще.*

Случилось затем так, что в лице Фокина и Стравинского мы нашли тех людей, которые, развившись в стороне от нас и принадлежа к другому поколению, жили мечтаниями, схожими с нашими. Получилось своего рода «чудо» какой-то *нужной для тех и для других встречи.* Случилось еще и то, что единственный представитель в нашем кружке делового начала (Дягилев) оказался постепенно зараженным общими для нас идеалами. Он

и способствовал тому, что наши идеалы получили свое осуществление. Но, повторяю, идеалы наши вовсе не были сведены к одному балету, а касались всего мира искусства. *«Миром искусства»* и был па-зван наш журнал, наш орган, то, что являлось нашим первым общим делом, то, чем еще до нашего приобщения к театру (и, в частности, к балету) мы пытались воздействовать на общество. Но в дальнейшем, действительно, на балете часть нашей группы как-то лучше всего «спелась», и мы смогли в создании балетных спектаклей дружнее и плодотворнее работать...

К сожалению, состояние такого единения продолжалось всего только несколько лет, а затем явились обстоятельства грозного и грандиозного, но внешнего характера — война и революция, разъединившие нас, и мы надолго потеряли друг друга из виду. Когда же внешние обстоятельства позволили кое-кому из прежнего кружка снова сойтись, то оказалось, что во взглядах и во вкусах даже весьма близких людей произошли значительные изменения. Идеалы перестали быть общими. С этого момента я лично и почувствовал, что то дело, которое было когда-то нашим общим, коренным образом изменило свое направление. И тогда же мне померещилось в будущем нечто довольно-таки кошмарное, что являлось вполне логичным следствием этого изменения.

Заключение

541

Ныне в «наиболее передовых» проявлениях балетного творчества я нахожу тот же «психоз экспериментализма во что бы то ни стало», который благодаря действиям «профессиональных дерзателей» (вроде Мейерхольда) уже привел драму к весьма печальному кризису. Впрочем, как раз в области драмы за последнее время уже намечается известное отрезвление; ересь как будто начинает себя изживать, и этому я от души радуюсь. Однако насколько я был бы еще более счастлив, если бы я увидал, что и в области, особенно близкой моему сердцу, в балете, происходит такое же прояснение, что балет выбирается из того тупика, в который его загнали под рукоплескания толпы.

Все течет, все меняется, все должно меняться, все *не может не меняться.* Однако через все изменения в человеческом художественном творчестве проходит одна живительная струя — та самая, что придает ему характер *подлинности* — это *искренность.* Истинная радость получается от сознания, что творение — будь то пластические образы (в том числе и *спектакль),* будь то музыкальные звуки, будь то мысли и слова — соответствует какой-то внутренней подсказке или тому, что

принято называть *«вдохновением».*

Но только пока это соответствие существует, рождается подлинное искусство и рождается *красота;* когда же оно заменяется суетным желанием поразить и удивить новизной или, что еще хуже, желанием «быть по моде», то искусство и красота исчезают, а на место их является унылая подделка, а то и попросту *уродство.*

Я еще застал эпоху, когда в балете все обстояло, как в богоспасаемой глуши, самым благополучным образом. И в то же время то была эпоха полной неосознанности. В сущности, тогда, когда я начал увлекаться театром со всем энтузиазмом своих четырнадцати или пятнадцати лет, русское балетное искусство пребывало в состоянии известной мумификации, но как раз эта мумификация русского балета уберегла его от того упадка, который постиг все другие и даже самые знаменитые балетные европейские школы в последнюю четверть XIX в.

Балет продолжал жить в России своей жизнью, где-то в стороне от прочей сутолоки и скорее как-то по инерции, причем, однако, особым счастьем надо почитать то, что о нем с редким рвением пеклись два таких знатока своего дела и два таких превосходных художника, какими были Иогансон и Петипа 3. Благодаря им, при всей «традиционности» школы и приемов композиции, в русском балете сохранилась какая-то прямо-таки *чудесная* свежесть. И в таком состоянии русский балет дожил до директорства Всеволожского, при котором и таланты названных двух ревнителей, и самая традиционность пригодились удивительным образом, дабы учредить эру невиданного и единственного расцвета.

И я должен почитать за *особенное счастье* именно то, что в самые те годы, когда душа начинает с особой жаждой искать живительных впечатлений в искусстве, я «сподобился» получить их от нашего петербургского балета, как раз *именно тогда* вступившего в эту свою счастливую эпоху. И разве нельзя видеть особую «милость Аполлона» в том соеди-

нении элементов, которое произвело помянутый расцвет? Чудесно соединились тогда «подлинная вельможность» Всеволожского, зажигающая пламенность гениальной Вирджинии Цукки, творческое вдохновение Петипа, превосходное состояние театрального училища и, наконец, готовность такого музыканта, как Чайковский, создавать музыку для балетов... Я же все тогда возникавшее вкушал с жадностью своих юных лет и в Єамый момент, когда оно возникало. При этом вкушении я испытывал

наслаждение, не утратившее своей возбуждающей силы даже поныне, по прошествии стольких, стольких лет!

Вслед за этой счастливой порой, длившейся приблизительно с 1884 по 1895 г., наступил период известной усталости и тусклости. Отведав тех радостей, было теперь тяжело видеть, как русское художество в целом, â в составе его и балет, стало клониться к омертвению. Явление это обострилось, когда во главе театрального дела в России, после двухлетнего робкого директорства князя Волконского, встал В. А. Теляковский — человек, если и обладавший большим практическим смыслом и даже чем-то похожим на вкус, то все же внутренне грубый и абсолютно чуждый всякому поэтическому чувству, человек с «типично тривиальной» душой.

Мне и моим друзьям (энтузиастам театра вообще и балета в частности) было невыносимо смотреть на этот упадок, который не спасали ни талантливость исполнителей, ни роскошь постановок. Нам хотелось спасти самое дорогое нам дело, вернуть ему постепенно выдохнувшуюся из него жизненность. Наше объединение «Мир искусства» могло бы принести на дело этого спасения достаточно сил и достаточно пыла, но, к сожалению, общие обстоятельства в России 1900-х годов не давали нам ходу. Самый опыт моего «Павильона Армиды» остался бы одиноким и бесплодным, да и всей талантливости Фокина едва ли удалось бы основать какую-либо новую эру там, где прочно и глубоко внедрилась антихудожественная по своему существу психология. И вот тогда мы и стали думать о каком-то собственном, ни от кого, кроме как от нас самих, не зависящем деле, и в то же время у нас явилась идея показать это наше творчество в новых местах, приобщить к нему новые массы. В Париж мы, во всяком случае, повезли *не начавший клониться к упадку, мертвевший императорский балет,* а нечто от него отдельное — *наш балет,* нечто вполне отвечавшее нашим идеалам, нечто такое, что возрождало радости нашей юности и в то же время обещало какую-то дальнейшую эволюцию на уже намеченном пути.

То, что мы показали Европе с 1909 г. по 1914 г. в «Павильоне Армиды», в «Шехеразаде», в «Жар-птице», в «Петрушке», в сущности, вовсе, пожалуй, и не *балет* в прежнем и в узком смысле слова, а это как бы целая новая форма спектакля, в основании которой, однако, лежало известное возобновление традиций петербургского балета. Мы отнюдь не задавались целью поразить чем-то, *никогда* еще не виданным, а главным нашим желанием было приобщить европейскую публику к тому, что мы сами особенно любили, что когда-то было прекрасно, что нас когда-то окрыляло, но что затем стало падать, меркнуть, и чему

мы стремились

вернуть прежнюю прелесть жизненности. Подобным возрождением русского балета нам не было дано заняться на родине, и поэтому, как это ни странно, мы стали этим возрождением заниматься для чужих, для *иностранцев.*

Тут же уместно вспомнить то, что чудесный русский балет не был в России продуктом местным, почвенным, национальным, но это было нечто занесенное извне и продолжавшее свое существование на новой родине благодаря, главным образом, попечению иностранных же талантов —• Дидло, Сен-Леона, Перро, Иогансона, Петипа и т. д. Но только почва в России оказалась более восприимчивой, нежели где-либо <...>

Несомненно, что если бы мы явились в Европу в качестве представителей какой-то *экзотики,* мы бы и тогда взбудоражили европейское и ми-; ровое мнение. Но такой успех не был бы столь же значительным и столь же прочным. Напротив, самый тот факт, что мы Европе показали *ев* ропейское* же, нечто чудом консервированное и в то же время преображенное и оживленное, — это и придало нашему выступлению особое значение и способствовало его особому успеху.

Однако уже и тогда, вскоре после наших первых выступлений, послышались рядом с голосами, певшими нам гимны, и такие, которые высказывали известные пожелания во имя «более передовых» чаяний. Если для одних мы были достаточно (а то и *слишком)* «авангардными», то для других русские балеты не представлялись стоящими на уровне того, чем жило наиболее передовое европейское художество. И как раз к *этим* последним голосам Дягилев был особенно чувствителен, они его волновали и беспокоили в чрезвычайной степени. Вообще, единственно, что могло по-настоящему встревожить нашего героически отважного «вождя», это критики, обвинявшие его в отсталости или хотя бы журившие его за остановку. Черта эта была хорошо знакома и нам, его самым близким, изучившим в малейших чертах его натуру. Лучшим средством «напугать» Сережу было указать на то, что он не поспевает за веком, что он отстает, что он «погрязает в рутине». К этому своего рода шантажу часто прибегали Бакст и Нувель, но не безгрешен был и я в этом отношении. И вот податливость Сережи на такое воздействие сделала его безоружным тогда, когда на смену нам явились люди, для которых «культ передовитосги an und für sich» * превратился в какую-то profession de foi ** и которые возвели всякое чудачество и всякую гримасу в своего рода абсолютный

закон художественного творчества. С момента же «вынужденной изоляции» Сергея (с 1914 г.) уже некому было удерживать его, напоминать ему о том, что в сущности мы ставили себе главной целью, что было при неограниченном свободомыслии «Мира искусства» единственным непоколебимым и животворящим принципом,— о какой-то внутренней правде.

* Сам по себе *(нем.)*. ** Исповедание веры *(франц.)*.

Дягилева, оставшегося одиноким, умчало куда-то в сторону от прежнего пути то типичное для конца XIX в. явление, которое получило затем необычайное развитие и которое известно под названием «снобизма».' В сущности, оно существовало во всех переутонченных центрах куль-` туры и во все века. Над чем, как не над тем же «снобизмом», издевался Мольер в своих «Précieuses ridicules»?* Но только, пожалуй, никогда еще это духовное и формальное кривляние в поисках за «последним словом» не достигало таких геркулесовских столбов абсурда и безобразия, каких оно достигло в Париже в первые годы XX в. Поистине, тогда наступил какой-то триумф Маскарилей и Жодле 4, и тяжело приходилось тем, кто пробовал теперь срывать маски со всевозможных мистификаторов. От природы Дягилеву («изолированному Дягилеву») такое разоблачение не было ни в малейшей степени свойственно; напротив, его соблазняло и здесь занять положение какого-то вождя, и это, если и создало ему специфический ореол, то все же в корне стало изменять самый дух всего возглавляемого им дела.

Нужно при этом прибавить, что «Маскарильяда» вовсе не исключает «даровитости». Те, кто думает, что успех разных передовых явлений создан исключительно благодаря шарлатанским приемам и художественному ажиотажу, те, разумеется, совершают тяжелую ошибку. Без настоящего *соблазна,* без *соблазна даровитости* и самые ловкие ловкачи ничего не могут достичь. Но вот соединение подлинной (а подчас и очень яркой) талантливости со снобизмом учредили во всех художественных делах нашего времени такую чудовищную путаницу, что разбираться в ней стало особенно трудно. Где кончается любительство и дилетантизм, где начинается подлинное мастерство? Где кончается искреннее искание новой красоты, а где начинается жонглерство и «эпатирование»? Все оказалось смешанным, и Ложь, о падении которой еще не так давно печалился Оскар Уайльд5, ныне впутывается во всевозможные проявления подлинности!

При этом столько народилось сект, учений, символов веры,

формул и теорий! Какие появились хитроумные специалисты по всяким доктринам, какие явились извилистые и блестящие софисты и настоящие профессионалы парадокса. Дягилев и без того был предрасположен к тому, чтобы принять участие в этой идейной и творческой сатурналии, и не мудрено, что его втянуло в этот омут. Оторванный от родной почвы, а затем навсегда утерявший воспитавшую его родину и образовавшую его среду, растерянный в душе и чем-то хронически запуганный, он решил «встать во главе движения», опередить и самых передовых. Говорят, храбрость, выказываемая иными героями, имеет в основе своей «боязнь трусости». Эта форма храбрости составляла и сущность характера Дягилева. Она его подвинула на то, что способствовало распространению многого действительно прекрасного, но она же затем сделала из него какого-то паладина всякой модернистской чепухи.

* «Смешные жеманницы» *(франц.),*

Заключение

545

Когда, проведя девять лет в разлуке с другом и не получая за все это время никаких толковых сведений о том, что творится в Париже и чем Дягилев занят, я в 1923 г. увидал новые произведения дягилевской антрепризы, меня охватило сильное смущение. Это смущение было тем сильнее, что я не мог оставаться равнодушным к тому, что в этом новом было пленительного,— иначе говоря, к тому, что в этом было талантли^-вого. Мне хорошо была знакома помянутая склонность Сергея ко всякого рода крайностям, служившим тому, чтобы создавать любимые его «пампсы». Но в прежние годы многое все же сдерживало его, и больше всего таким сдерживающим началом служил «контроль» друзей. Теперь же, после того, что из всех его прежних друзей остался с ним один лишь Бакст, талант которого он охотно эксплуатировал, но с мнением которого он не считался, Сережа поддался своей склонности к «эпатированию во что бы то ни стало», и склонность эта развернулась вовсю, подзадориваемая людьми, столь же падкими на всякого рода эпатирования, как и он.

Отсюда получился «новый дух» в дягилевском деле. Этот дух поразил неожиданностью меня, но с ним уже настолько успели свыкпуться и сам Сережа, и Стравинский, и вся труппа, и ближайшие «fervents» *, что все они этой самой перемены в атмосфере не замечали, а находили создавшееся положение вполне нормальным. Когда милый Левушка Бакст увидал, что он уже не в силах противодействовать тому, что его возмущало, он поссорился насмерть с Дягилевым, отошел в сторону и уже с того

момента не принимал больше участия в деле, когда-то столь близко лежавшем к его сердцу. Главными же консультантами Дягилева были *г&*-перь «новые люди»: Жан Кокто, который до 1914 г. был у нас скорее на положении enfant terrible **, но за годы войны успел занять вакантное (освободившееся после Монтескью) место арбитра парижских эле-гаптностей, а вместе с ним Б. Кохно, состоявший при Дягилеве в качестве секретаря и ставший присяжным его вдохновителем, и наконец; супруг Н. Гончаровой — М. Ф. Ларионов6. Внутренняя пустота людей; окружавших Сережу, была мне очевидна, она не могла быть по душе и ему, однако он всецело отдался им в руки.

Первые месяцы моего тогдашнего пребывания в Париже (осенью 1923 г.) прошли без того, чтоб я *видел* самые плоды этого нового курса. 11 внешне между нами как будто все было по-старому. Сережа поручил мне постановки опер Гуно 7, которыми он пожелал ознаменовать в Мовг-те-Карло столетие со дня рождения автора «Фауста»: «Le Médecin mal-gré lui» и «Philemon et Baucis» ***. Но затем, с момента, когда начались балетные репетиции и спектакли в Монте-Карло, я увидел, что дело обстоит неладно.

Многое, повторяю, меня *пленило,* а от нового произведения Стравинского «Пульчинелла» я даже был в упоении. Затея связать культ музы-

* Почитатели *(франц.).* ** Озорника, проказника *(франц.).* *** «Лекарь поневоле» **и «Филемои и Бавкида» *{франц.)****

ки Перголези с каким-то издевательством над нею же 8 удалась Стравинскому в высшей мере, и я не знаю в музыкальной литературе произведений, в которых подобное «святотатство» было бы облачено в столь же *соблазнительную* форму. Этого может быть не следовало делать, но сделано оно было так, что никак нельзя было сетовать на получившийся результат. Выверт, гримаса, но и нечто, что можно уподобить *гениальной* музыкальной клоунаде. И как это было *похоже на Стравинского,* — а ведь Стравинский продолжал быть тогда одним из моих самых дорогих музыкантов! В соответствии с музыкой находилась и «нелепо придуманная и кое-как намазанная» декорация Пикассо 9 и его костюмы, напоминавшие наряды уличных акробатов; наконец, было что-то необычайно «угаданное» в стиле хореографии Мясина '*. И как все это было стан-цевано!

Прелестен был и другой балет, положенный на старинную музыку,— а именно «Les femmes de bonne humeur» *, хотя и

подбор музыки Скар-латти и его модернизация неизмеримо уступали тому, что было произведено с Перголези. Бакст сделал (еще до разрыва с Дягилевым) очаровательные костюмы, напоминавшие те, что видишь на старинных фантошках, и в гармонии с ними находилась выдержанная в бурых тонах декорация, на которой безобидной уступкой времени явилось лишь то, что здания на ней казались слегка наклоненными. Откровенной гримасой было то, что хореографии был придан марионеточный характер: гротескные персонажи этой балетной интерпретации Гольдони и двигались и жестикулировали точно подергиваемые за ниточки. Но такая «пикантность» не мешала все же спектаклю «Femmes de bonne humeur» производить чарующее впечатление.

Зато весьма от этого отличными показались мне другие балеты, шедшие «под фирмой Дягилева», и это— несмотря на то, что хореография в них была создана художпицей, в редкий талант и удивительную восприимчивость которой я поверил один из первых 12. В общем, эти создания меня тревожили, а моментами они меня и *огорчали.* В «Biches» ** меня пленил элегантный и грациозный эклектизм музыки Пуленка, в музыке «Fâcheux» *** грациозная шутливость Орика; с наслаждением я услыхал снова чарующую музыку Монтеклера, которая теперь служила балету «La tentation de la Bergère» ****, хотя ее и не украшало то, что ей была придана большая звучность. Тем не менее, определенное кокетничанье модернизмом во всем слишком лезло вперед и сообщало этим балетам тот налет проходящей модности, который после временного успеха способст-

1* После того я видел еще две другие постановки той же «Пульчинеллы», оба раза созданные весьма талантливыми людьми (Лопуховым в Петербурге u и Романовым в Монте-Карло), но обе погубили хрупкую красоту этого парадоксального произведения, усложнив и «углубив» сюжет. * «Жизнерадостные женщины» 10 *(франц.)*. ** «Лоретках» *(франц.)*. *** Докучных *(франц.)*. **** «Искушение пастушки» *(франц.)*.

вует особенно быстрому увяданию художественных произведений. Бессвязность и нелепость эпизодов лишала их чего-либо захватывающего; это были скорее какие-то «фуарные парады», нежели настоящие театральные действа. И не спасала дела постановочная сторона — «пастельная блеклость» Мари Лорансен, «вкусная грязь» Брака или беспомощная попытка Гри воссоздать старинную театральную пышность.

Внешне наши отношения с Сережей оставались прежние, В

нем даже появилась ко мне какая-то нотка небывалой прежде нежности. В этой нотке слышалось не то какое-то извинение: «ты, мол, прости мне мои грехи»,— не то какое-то торжество: «вот-де, старина, как далеко мы здесь ушли вперед с тех пор, что освободились от своего провинциализма»...

О восстановлении моей же «опеки» над Сережей не могло быть и речи. Сережа верил теперь другим советчикам и считал, что он вполне усвоил истинные запросы времени — самые передовые из передовых запросов. Одобрения его молодых соратников окрыляли его на новые подвиги, а мои увещевания казались ему столь же скучными, как «бубнение» всякого другого почтенного ментора. Какое-то душевное кокетство, какое-то непобедимое желание казаться молодым заставляли его ненавидеть вообще все, что представлялось ему под видом «трезвого благоразумия». На самом деле я готов был идти и на еще более рискованные эксперименты, нежели те, которые теперь занимали Сережу, но основным началом всякого творчества оставалось для меня «подлинное художественное побуждение».,.

И позднейшие дягилевские балеты меня иногда радовали, но чаще огорчали — все той же чертой «эпатирования во что бы то ни стало». Особенно же меня разгорячил пустяшный балетик «Chatte» *, имевший, однако, очень большой успех у публики и даже, пожалуй, способствовавший новому притоку поклонников «Ballets Russes». Успех «Chatte» ß то же время доказывал, что парижское общество, в достаточной степе-пи развратившись, готово теперь мириться и с величайшими нелепостями, гутировать ** и худшие уродства, лишь бы ему это было подано с этикеткой: «самоновейшее». В одном только нельзя было отказать «Chatte» — это в какой-то своеобразной гармонии. Бессмысленности фабулы вполне соответствовали и салонный дилетантизм музыки Core (Saugu-et), и жалкий схематизм «конструктивной» декорации, и полное игнорирование красочности, и отсутствие какой-либо осмысленности в костюмах. Получался настоящий ансамбль, единственным диссонансом в котором являлись лишь грация и мастерство исполнителей. Казалось при этом, что артистам должно быть очень не по себе среди этих подобий стеклянных приборов, точно попавших сюда из какой-то лаборатории, сооруженной сумасшедшим маннаком.

Не уступали по бессмысленности и уродству «Chatte» и другие ультрамодернистские или ультра-снобистические балеты Дягилева: «Лисич-

* «Кошечка» *(франц.)*. ** От goûter *(франц.)* — смаковать.

ка» 13, «Matelots» *, «Train bleu» ** и т. д. Но все это было превзойдено «Стальным скоком)) («Pas d'acier») <...> Впрочем, Сережа вообще как будто начинал томиться от всей той лжи, в которую его втянул «культ последнего слова», и я не могу забыть той беседы, которую я имел с ним за год до его смерти, когда он, без того, чтобы я его вызвал на то, стал передо мною оправдываться в «странности своих поступков)). Ноша, которую он взвалил себе на плечи (и которую он уже нес целых двадцать лет), становилась ему непосильной. Единственную настоящую отраду он находил теперь не в том деле, которое его возвеличило перед всем светом, а в интимном коллекционерстве. Это было своего рода возвращение к тому самому, «с чего все началось», когда он в 1895 г. мне писал о «Музее Сергея Дягилева». Он теперь стал библиофилом и притом *русским* библиофилом. В немного лет его библиотека, для которой он, «бездомный)), нанимал специальную квартиру, разрослась до весьма значительных размеров. Сережа тратил большие суммы для удовлетворения этой страсти и бывал безгранично счастлив, когда ему удавалось «откопать» и «выцарапать» какой-либо экземпляр чрезвычайной редкости. В будущем ему теперь рисовался идеал покоя, известного otium cum dig-nitate ***. Дягилев видел себя в своем кабинете за сверкой каких-то текстов, за составлением каких-то комментариев. Там он не царил бы над толпой строптивых, тщеславных и издерганных людей, а общался бы с лучшими умами, с лучшими проявлениями культурного прошлого — притом прошлого своей родины, той самой родины, в которую ему уже не было возврата, но которую он не переставал обожать, несмотря на все свое «западничество», несмотря на ту метаморфозу, которая с этой родиной произошла.

Умер Сережа неожиданно для всех, после нескольких дней продолжавшегося заболевания. И умер он, согласно пророчеству какой-то цыганки, «на море», однако не на корабле, а в отеле на Лидо, выходящем своими окнами на Адриатику. Уже многие годы он ездил отдыхать после всех треволнений «создания сезона» и всяких мучительных турне — в Венецию. Там же этот глубоко русский человек, соединивший в себе характерные особенности русской культуры, и покоится вечным сном, на поэтичном кладбище San Michele ****. На обожании Венеции я как-то особенно с ним сходился — независимо от нашего делового и творческого общения. О Венеции Сережа говорил со странным умилением, весьма похожим на то, с которым он говорил о русской деревне, о березовых рощах, о звоне русских церквей, о шири рек и полей... К Венеции он питал те же, я бы сказал, родственные чувства, которые питаю к ней я. Но во мне при этом

несомненно говорит какой-то атавизм. Находясь в Венеции, попирая ногами плиты площадей и улиц, всходя и сходя по бес-

Матросы *(франц.).*

«Голубой экспресс» *(франц.),*

Достойного отдохновения *(лат.),* ** Сан-Микеле *(итал.).*

— ' ■■ ■ ■ ■■ — -

численным мостам, плывя в гондоле, проникая в прохладную мглу церквей, я испытываю особое умиление, когда представляю себе, что по тем же улицам и мостам ступали мои предки, что гондольер, стоя за спиной, так же вскрикивал на поворотах, что в этих же самых San Staë, Sari Moise молились мои дедушки и бабушки! Но откуда взялась у Сережи эта «мания» Венеции? Отчего он именно ее предпочел всему остальному на свете? В этом действовала не одна предилекция просвещенного дилетанта, не один эстетический культ и уже вовсе не мода, но нечто более глубокое, пожалуй, тоже своего рода «атавизм»... Недаром же главная городская артерия в Венеции называется «Берегом Славян», недаром же базилика святого Марка является какой-то провинциальной сестрой византийской святой Софии, а следовательно,— и «дальней родственницей» русских Софий в Новгороде и в Киеве... Да и в художестве Венеции Дягилев находил особое удовлетворение тем «мятежным» чувствам и той жажде простора, которые жили в его подлинной âme slave*. В иконной благости мозаик, в безудержном, подчас доходящим до абсурда своеволии Тинторетто, в упадочно-царственной грации, в ясной праздничности безгранично воздушных плафонов Тьеполо, он встречал такие созвучия себе, каких он не мог найти нигде.

Сергей любил в кругу друзей прихвастнуть своим происхождением de main gauche ** от Петра I. Он едва ли верил этой семейной легенде (которую, быть может, он сам и выдумал), но что в нем *было* что-то от Петра — это все же несомненно. Когда я создавал свои иллюстрации и картины, в которых центральной фигурой являлся Петр Великий, я невольно себе представлял, toute proportion gardée ***, Сережу — не столько an physique, сколько au moral ****. И то же знание Сережи помогло мне приготовить артиста Мудзалевского u к созданию им в драме Мережковского «Царевич Алексей» труднейшей роли Петра, В Дягилеве несомненно жила та *природная властность,* тот, проникающий в самую суть вещей, ум, часто и без всякого знания этих вещей, то же умение угадывать людские слабости и на них играть, что" составляет основной характер преобразователя России. Дягилев был природным вождем, и не случись так, что жизнь случайно сблизила его с художниками, быть может, он

свой дар проявил бы на более широком и значительном поприще, нежели балет и даже нежели вся область искусства. Однако и в этой ограниченной сфере Дягилеву удалось основать своего рода «державу», и эта держава не умерла после него. Она продолжает жить, переходя от одного «властителя» к другому или даже дробясь между «диадохами» 5.

Никогда еще Терпсихора не властвовала так над человечеством, как в наши дни. Мне, живо еще помнящему то время, когда ее триумф в дни появления Цукки и постановок Всеволожского только еще начинался,

* Славянской душе *(франц.)*.

** С левой руки (в смысле: от незаконной связи) *(франц.),* ** Соблюдая все соотношения *(франц.)*. ** Не столько внешне, сколько духовно *(франц.)*.

мне этот триумф представляется особенно удивительным. Но, к сожалению, я не могу сказать, чтоб меня все формы, в которых выливается торжество этого, мной с самого малолетства обожаемого дела, радовали. Самое чрезвычайное распространение его скорее меня огорчает; точнее, я вижу в нем опасность постепенного опошления. Мне жалко, что из состояния чего-то замкнутого — но сколь в своей замкнутости очаровательного и изысканного! — балет превратился в нечто общедоступное и всемирно распространенное. С другой стороны, это в порядке вещей, и я утешаю себя мыслью, что ныне под всякими долготами и широтами, в странах, управляемых самыми разнообразными режимами и заселенных самыми разнородными расами, могут найтись такие же восприимчивые натуры, какими были мы, когда впервые оценили балет.

ДОПОЛНЕНИЯ

ВАРИАНТЫ

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава 1 «РОМАН ЖИЗНИ»

Стр. при ласково-смеющемся взгляде. / Тут как раз неловким движением ˆ я уронил на пол подаренный на елку Ате флакон духов Es Bouquet; флакон разбился вдребезги, лишь уцелела пробка, но ее, видя мое огорчение, Атя тут же подарила мне на память. Эта стекляшка чудесно пахла, и долгое время я ее таскал с собой в кармане жилета — стоило мне поднести ее к носу, как вся картина киндовского «бала» вставала перед моим воображением, и в центре чудесно улыбающийся образ моей милой... *Стр.* опоздание к обеденному столу / опоздание к обеденному столу (а для *635* него обед должен был все еще начинаться, как в дни его молодости,— в 5 часов). Тем менее это правило можно было обойти, если то был un grand dîner de famille *. *Стр. После слов:* к первым между нами размолвкам:

*№7*Включение Сони в нашу компанию нашло себе отражение в двух

метких, но незлобивых карикатурах моего брата Леонтия. То была эпоха турнюра, и эта мода дошла в 1885 году до предельного уродства. Требовалось, чтобы спина дамы переходила в какой-то странный придаток, якобы pour mieux cambrer la taille **, все были подчинены этой тирании, но одним это только искажало профиль фигуры, другие же дамы, склонные к полноте, превращались, благодаря турˆ нюрам, в каких-то гротескных монстров, напоминавших центавриц. Произошло это обезображение как раз и с бедной Сонечкой, и Леонтий, увидав нас как-то на променаде, был до того поражен силуетом старшей из моих дам, что он поспешил, под свежим впечатлением, представить это в прелестной, но и высоко комичной акварели. На ней были представлены мы все трое. Впереди одна за другой шествуют Соня и Атя, за ними следую я — тоже в довольно-таки потешном виде. А именно: на плечах у меня падающая до пят лисья шуба, унаследованная от приятеля Федора Ливисей, а на голове соболья шапка с белым мерлушковым верхом — тоже чей-

то подарок.

Большой семейный обед *(франц.)*.

Чтобы лучше подчеркнуть талию *(франц.)*.

552

Варианты

Другой рисунок Леонтия изображал опять-таки моих дам, но на сей раз со спины и сидящими в низеньком шарабане (правила, кажется, Соня). Ни у моих родителей, ни у Альбера, ни у Киндов не было собственных лошадей, и, сказать кстати, это служило мне немалым огорчением. Мамочка из соображений экономии, не желая осложнять и без того довольно сложного и много стоющего хозяйства, не соглашалась на мои приставания и лошадей не заводила, тогда как до моего появления на свет у «нас» таковые были и тому служили свидетелями пустовавшие конюшня и каретный сарай. Помянутый же шарабан, вероятно, принадлежал друзьям Сони и Маши, богачам-банкирам Стерафапнзам, которые его и одалживали. Как бы то ни было, в эти месяцы чудесной петербургской Prima-_yera * можно было видеть сестер Киыд катящими по торцам Морской улицы и набережной в легкой плетушке, запряженной парой гнедых лошадок, я же обыкновенно следовал за ними на лихаче, которого я нанимал на несколько часов на Михайловой улице, у Европейской гостиницы. Сидя па сверкающей, тщательно вымытой пролетке, за спиной огромного бородача-кучера, я (что скрывать?) расплывался от чванства, вихрем несясь на бесшумных резиновых шинах (тогда это было новостью), вслед за помянутым шарабаном. Удовольствие это обходилось не так уж дорого — целковых два-три, да еще полтинник на чай. Зато как я был счастлив *и* горд, когда «мой» совсем «барский» возница обгонял моих дам или пропускал их вперед, я же каждый раз элегантно с ними раскланивался. Должен еще покаяться, что, сидя на таком лихаче, я старался так расположить свое пальто, чтобы оно закрывало его «номер», помещенный па заднем сиденьи,— таким образом должно было казаться, будто я еду «на своем»... *Стр.* у самого Поцелуева моста. / у самого Поцелуева моста. Повернув 557 затем под прямым углом, Морская тянется под названием Никольской улицы (мимо театров Большого и Мариинского) до нашего родительского дома.

Глава 4 РАЗЛАД С АТЕЙ. СЕМЕЙСТВО ФЕНУ

Стр. творилось прочей молодежью. / творилось прочей молодежью. Мои 573 друзья — Философов, Калин, Нувель, находили его скучным, претенциозным и противились его

включению в нашу компанию. Я был склонен с ними согласиться.

Весны *(игал.)*.

*Варианты*553

Глава 5 БЕЗ АТИ. ПРАЗДНИК У Е. В. САБУРОВОЙ

Стр. чисто актерской выправки. / чисто актерской выправки. Никому в *№&* голову не придет упрекать Хиса за то, что его воспитанник довел монархию до гибели и сам трагически погиб, но все же несомненно, что добряк Charles Heath, олицетворение всякой бесхитростности, ни-как не способен был подготовить Николая Александровича к более глубокому и разностороннему знанию людей или преподать ему ту «технику», которая помогает самодержцу нести свой тяжелый венец.

Глава 8 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (1890)

Стр. позволило мне с Димой Философовым побывать на этом спектакле. / tföi / позволило мне с Димой Философовым побывать на этом спектакле. Помнится также, что это Дима меня затащил, и это потому, что он от своих домашних слышал, будто балет не так уже плох. *Стр.* слушал Чайковского где только можно, и в концертах и в домашнем *60%* исполнении. / слушал Чайковского где только можно, и в публичных концертах и в домашнем исполнении, когда Сережа Дягилев с Валечкой Нувелем в четыре руки одолевали, более или менее удачно, симфонии и сюиты. Если к hhäï присоединялся кузен Сережи, «Коля Дягилев», недурно игравший на виолончели, то исполнялось очень нами тогда ценимое трио. *Стр.* Альбер импровизировал свои маленькие рассказики, которым музы-

*602*ка придавала полную убедительность. / Альбер импровизировал по

моей настойчивой просьбе свои маленькие рассказики, которым му

зыка придавала такую убедительность, что у меня по всему телу

ползли мурашки. Эту же смесь я находил в любимых сказках Перро,

госпожи д'Онуа, Андерсена, Гауфа; она же продолжает действовать

в «Erlkönig» *, в «Doppelgänger» ** Шуберта.

Стр. отплясывают «Гурни» Брамы, / отплясывают «Гурии»

Брамы. Это

*603*был один из моих собственных тузовых номеров, когда я на семей

ных вечеринках исполнял роль домашнего тапера.

Стр. художественных усилий. / художественных усилий. Декорация пробой лога (писанная Левотом) была самого банального типа и лучше подходила бы для каких-либо феерий на балаганах или в парижском Шатле. *Стр.* Мне лично остается / Правда, остается музыка, партитуры, но если *606* с этой музыкой уже ее связано когда-то созданное зрелище, то и не

* «Лесном царе» *(нем.).* ** «Двойнике» *(нем.),*

получается восхитивший когда-то своей цельностью спектакль. Мне

лично остается *Стр.* дЛя снобизма парижской публики?.. / для снобизма парижской пуб-*601* лики?.. И опять приходится вспомнить об эфемерности всего того,

что находится подвластным Аполлону, всем его музам и Дионису.

Глава 9 ЛЕВУШКА БАКСТ

Стр. избежать военной повинности / избежать военной повинности. В дан-*610* ном случае, например, оба брата подлежали призыву на военную службу, однако, если бы один из них стал бы, вследствии усыновления, «единственным сыном» (своего деда), то по закону он мог быть освобожден, но мог быть освобожден и брат, так как и он стал бы единственным сыном вдовы. Нечто подобное произошло с моим другим приятелем, с художником О. Э. Бразом, который благодаря адаптации дедом превратился в дядю своих родных сестер. Но, повторяю, в семье Розенбергов едва ли произошло нечто подобное, ибо наш Левушка все же был призван на воинскую службу и освободился от вее только на основании своей чрезвычайной близорукости. Я помаю, как он в течение недели или двух был вынужден для проверки лежать в военном госпитале. Это произошло в 1891 или 1892 году, когда он покинул Академию, до тех пор его «спасавшую». *Стр.* в позднейшие времена / Уже едучи на Елку к дяде, я предчувст-*614* вовал, что меня постигнет очередное разочарование, тогда как все другие мальчики и девочки: Зарудные, Арсеньевы, Герцевановы, Эд-вардсы, Лансере — повезут домой чудесные предметы — волшебные фонари, какой-либо цирк или военный лагерь (с «настоящими» палатками) и

даже целый театр с вырезанными декорациями и актерами. За что же, за что гадкая Соня, точно мне назло и несмотря на мои слезы, продолжала мне ежегодно вручать все такие же вовсе не полезные, а *скучнейшие* подарки! В позднейшие времена *Стр. ц* первые годы он отдавался / и первые годы он, будучи неисправи-*els* мым любителем всего, «что походило на праздник», что носило характер занятного общественного сборища, отдавался *Стр.* в третьем этаже здания Академии. / в третьем этаже здания Акаде-**ls* мии, куда можно было подняться по лестнице, расположенной у ворот, выходивших на Четвертую Линию. *Стр.* автопортрет Лагрене в пестром халате. / автопортрет Лагрене в пест-*№1* ром халате. Кроме того, в столовой висели два больших «птичьих

двора» Яна Вэникса. *Стр,* в те дни было не легко видеть произведения мастера / в те дни ˆ было не легко видеть после ставшие знаменитыми на весь мир произведения мастера

*Варианты*555

■— ■■■ — — ■ -'■— ....

Глава 10 УНИВЕРСИТЕТ

Стр. вызовом полиции и казаков. / вызовом полиции и казаков. Питая б# > отвращение ко всяким стадным проявлениям в общественной жизни, я, как только понял, в чем дело, так бросился к выходу, но надо было пробраться до конца коридора, а оттуда сбежать по лестнице, но которой навстречу подымались новые и новые массы. Крайне возбужденная масса галдела, толкалась, перекликалась, кого-то несла на плечах, где-то уже пели хором революционные песни. Мне все же* удалось протискаться до раздевалки. Захватив свое пальто и не надевая его, я, рискуя быть задавленным в выходных дверях, успел все же преодолеть последние препятствия и оказаться на снегу перед средним фасадом.

Глава 11 СЕРЕЖА ДЯГИЛЕВ

Стр. Этот «стиль» он сохранил, именно в театре, почти на всю жизньУ *643 I* Этот «стиль» он сохранил, именно в театре, почти на всю жизнь, и лишь в самые последние годы я стал примечать в нем известную перемену — видно сказывалась в нем приобретенная жизненная мудрость. *Стр.* Он, которому было лень прочесть роман / Так же, как и в том ˆб «хождении по

знаменитостям», им руководил в общении с нужным ему человеком какой-то особый дар любопытства или любознания, связанный с этим чудесным даром угадывать и распознавать людей. Он, которому было лень прочесть роман *Стр.* разъезжал по городу в закрытом экипаже / разъезжал по городу в *№1* закрытом экипаже, якобы опасаясь лошадиного сапа *Стр.* о чем он очень скорбел. / о чем он очень скорбел. В то же время *047* он накупил во Флоренции, кроме превосходной реплики бюста Никколо Удзано (возможно, что то был только отличный слепок со знаменитого произведения Донателло), много старинной, времен Возрождения, мебели, а в Неаполе ряд факсимиле с античных бронз. Чуть ли не три четверти материнского наследства, недавно им полученного, ушло на все эти роскошества. *Стр.* культ передовитости, как таковой (чем отличаются теперешние вре-*М8* мена), / культ передовитости, как таковой (чем отличаются теперешние времена), благодаря которому человечеству грозит окончательно сбиться с толку и утратить всякий непосредственный подход к самому существу художественного творчества,

556

Варианты

Глава 12 РУССКАЯ ОПЕРА. «КНЯЗЬ ИГОРЬ». «ПИКОВАЯ ДАМА»

Стр. стала чем-то характерным для него — Чайковского. / стала чем-то *654* характерным для него — Чайковского, являясь в то же время чем-то чрезвычайно значительным, чем-то создающим целую художественную эпоху. *Стр.* мундир которых был черного цвета / мундир которых был черного *657* цвета, вследствие чего облик Германа получил оттенок чего-то инфернального

Глава 13 СМЕРТЬ МАМОЧКИ

Стр. Но вот как раз во время / Когда же одна из дам совсем громко и *660* со смехом спросила подругу, что изображает картина на мольберте, стоящем рядом со столом, за которым дремлет старуха-графиня, то я в ярости выпалил: «это корова!» Это, разумеется, было еще глупее, нежели предложенный вопрос, но зато отвечало моему возбуждению и непоборимой потребности что-либо «выкинуть». Десять минут спустя такой совсем непозволительный поступок я и выкинул, когда во время

Глава 15

НАША НЕГЛАСНАЯ ПОМОЛВКА. ЛЮТАЯ ЗИМА 1892 г.

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА И ДРУЗЬЯ:

ДЕСМОНДЫ, БИРЛЕ, НУРОК.

МОЯ ГЛАВА В КНИГЕ МУТЕРА

Стр. Познакомились мы с Десмондом / Были у Десмонда и кое-какие *Щ* комические черточки в виде, например, его слабости к восточным изделиям третьего сорта. Одна из комнат на даче в Павловске, в которой жили Десмонды, была целиком заставлена предметами, купленными на базарах Алжира. Спальню же целиком занимала монументальная кровать в стиле рококо, расписанная гирляндами роз и амурами — vous voyez ça d'ici...* Не нравилось мне и то, что в своих , рассказах про la belle vie de Paris ** Десмонд, в мужской компании, не без умиления вспоминал о каких-то оргиях с дамами весьма легко одетыми. Но у кого не найдутся подобные грешки? К тому же «па-рижанство» Десмонда не мешало ему боготворить свою жену и тех двух милейших девочек, которых эта тоже очень милая, но чуть «по-русски взбалмошная» мадам Лила ему подарила. Сам же Ромюлюс

`*`Ее легко себе представить *(франц.).* ** Привольную парижскую жизнь *(франц.),*

Варианты

557

был французом, однако родился он в Риме, откуда и его довольно необычайное имя. Служил он в Учетном банке, в котором занимал довольно видное положение.

689

Познакомились мы с Десмондом *Стр.* Последнего мы тоже в те годы очень ценили. / Последнего мы тоже *685* в те Годы очень ценили: я был в отчаянииˆ что княгиня Тенишева отказалась приобрести расписанный по шелку Кондером крошечный будуарчик, который за очень доступную цену, будучи выставлен в магазине Бинга, не находил себе покупателя. *Стр.* были приложены к остальным. / были приложены к остальным. Снимки были небольшие, но и все иллюстрации в книге Мутера были крошечные, что и позволило ему поместить их в очень большом количестве.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1

НАШИ СТРАННЫЕ МЕДОВЫЕ МЕСЯЦЫ.

БОЛЕЗНЬ «МОЛОДОЙ»

И НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОНОЙ

Стр. за которым сидели оба приятеля. / за которым сидели оба прияте-*13* ля. Я и в позднейшие приезды в Берлин заходил каждый раз в эту Weinstube *, но, расширяясь постепенно и уступая духу времени, она становилась все более нарядной и все менее интимной, а цены росли да росли... В 1894 году погребок был еще почти такой же, каким он был в 1820-х годах, и это одно уже составляло его своеобразную прелесть. Прелестно было и то, что по стенам была развешана масса всяких гравюр, имеющих отношение к Гофману и к другим знаменитостям (литературным, музыкальным и театральным), а также несколько оригинальных рисунков самого автора «Kater Murr'á» ** и Серапионовых братьев. Кормили же там просто, но превкусно, а винами «Лютер & Вегнер» славился на всю Германию. Мы даже нажили себе с Атей легкий Rauch ***, осушив вдвоем полбутылки божественного Liebfrauenmilch'a **** какой-то знаменитой Ausle-se *****. Посидели мы и на узенькой «террасе» знаменитой знакомой кондитерской Kranzler'a на Unter den Linden, где я угостил свою жену превосходными пирожными, щедро наделенными взбитыми сливками, до которых Атя была всегда особенно лакома.

* Кабачок *(нем.)*. ** «Кота Мурра» *(нем,)*. *** Опьянение *(нем.)*. **** Название рейнского **вина.** ***** **Марки** ***(нем.)*.**.

558

Варианты

Стр. в самый разгар романтических увлечений. / в самый разгар роман-

*14*тических увлечений,— тогда, когда и у нас в Царском Селе и в дру

гих местах воздвигались подобные же затеи. Но у нас смехотворная

эта имитация «страшных рыцарских гнезд» в далекой дали от под

линных резиденций Raubritter'oB были простительны, тогда

как

здесь, в непосредственном соседстве с самыми знаменитыми и поэтич

ными средневековыми развалинами, было странно смотреть такую

курьезную бутафорию, очень мало похожую на то, что она должна

была представлять...

Стр. настоящие шедевры. / настоящие шедевры.

*16*Эти скульптуры одинаково замечательны, как образцы портретно-

го мастерства, так и самой изощренной техникой. Говорят, Майнцкий собор очень пострадал от бомбардировок современных вандалов, но толком я до сих пор не могу добиться, что погибло, что уцелело. Все рассказы, к сожалению, сходятся на том, что пожар уничтожил роскошные «пузатые» стали, на которых в западной абсиде 1# восседали каноники курфюршества. Как ни странно, даже эта дикая вычура эпохи рококо прекрасно вязалась со всем остальным; она во всяком случае вещала о все еще весьма значительном периоде клерикального могущества.

Стр. выслушивая нескончаемые «службы»? / выслушивая «нескончаемые

*15*службы»? Вообще, до чего была многообразна, полна самых кричащих

противоречий духовная жизнь той эпохи! И до чего все это было про

питано мастерством — достоянием многих веков самой упорной борь

бы человеческого гения с косностью «материи» — будь то камень,

металл или дерево... Каким варварским кажется наше время в срав

нении с тем! И все наши художественные вожди заигрывают, кокет

ничают с бесовщиной, учатся у нее корчить рожи и показывать язы

ки всему разумному, но до чего это носит унизительный оттенок лю

бительства, невежества и просто самой дикой неразберихи...

Стр. покрытой бурыми потеками скалы... / покрытой бурыми потеками

15 скалы...

Очарование «переходного стиля» особенно сказывается внутри Лимбургского собора, где поворот к стрельчатым формам

только еще намечается, но уже действует на настроение подобно отдаленным-звукам какой-либо радостной симфонии. Есть в этом и что-то *весеннее.* В оголенной суровости главных рейнских соборов: Майнца, Вормса, Шпейера кроется нечто «зимнее». В них точно сказывается грозный рок, неумолимый каратель греховного мира. Здесь же (как и в некоторых церквах Кельна), светлая, ласковая приветливость, нечто милостивое, если еще не ликующее, не праздничное, то все же обещающее, располагающее к надежде. В таких храмах все приглашает к молитве, но мысль не возносится в какие-то горние сферы,

У Майнцкого собора имеются две абсиды на двух концах огромного здания, *п* большей роскошью отличавшееся, как все то, что глядит на северо-запад.

Варианты

559

не начинает казаться, что уже приближаешься к апофеозному бытию небожителей, а оставаясь на земле, видишь, как приоткрываются небеса и оттуда льются чудотворные лучи. Немногие часы, которые мы провели в Лимбургском соборе, остались нам обоим памятными на всю жизнь. Они возымели, пожалуй, на формацию наших не только эстетических, но и существенно-духовных убеждений весьма значительное действие, полное осознание которых, впрочем, выявилось гораздо позже...

Стр. нечто совсем глупое и низменное. / нечто совсем глупое и низ-

16 менное.

Другое интересное художественное паломничество в окрестностях Висбадена совершил я один. Кто-то из гостей отеля нарассказал мне чудес про деревушку Kiedrich, где средневековая церковка сохранилась с XV века в абсолютной целости. Это заставило меня отправиться на розыски столь зачарованного места. Надлежало доехать по железной дороге до Эльтвиля на Рейне, а оттуда в почтовом дилижансе проделать еще несколько километров. Все это было бы прекрасно, если бы, выехав утром из Висбадена при солнечной погоде, я не увлекся зарисовкой в Эльтвиле живописной улички и не прозевал бы почту. А тут и полил проливной осенний дождь. Я все же дерзнул пойти под дождем до Кидриха пешком, шлепая по лужам и все более тяжелея в своем новом «непромокаемом» и все же набухавшем водою пальто. Последние сотни шагов я уже плелся в полном изнеможении, а Кидриха достиг умирая от усталости и мечтая только об отдыхе. Спрашивается — стоило ли таких усилий и Stra-pazen * то, что я там нашел? Если говорить откровенно,— прогулка эта принадлежала к самым неудачным за всю мою

жизнь. Церковь (вернее, капелла) оказалась подлинной, но очень незначительной, а к тому же заново ремонтированной, а кроме нее ничего не привлекало в этой скромной деревушке, если не считать лежащей на ее окраине господской усадьбы. Самого дома я из-за деревьев не увидал, но в памяти осталась курьезная ограда XVIII века, состоявшая из невысоких столбиков с скульптурными военными трофеями на каждом...

Глава 2

НАШЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ВОРМС, СТРАСБУРГ, ЛЮЦЕРНГ ПЕРЕВАЛ ЧЕРЕЗ СЕН-ГОТАРД

Стр. картину, казавшуюся мне довольно удачной. / картину, казавшуюся *20* мне довольно удачной. Мне казалось, что мне особенно удалось вложить в нее что-то своеобразно печальное, что было во всем этом

* Тяжелых хлопот *(нем.),*

560

Варианты

пустынном и все же тревожно беспокойном пейзаже, в лимонном небе с лиловыми облаками, в ржаво-золотистом отливе листьев, которые рвали неистовые порывы ветра, в серой массе старинной церкви, местами убранной кирпичной кладкой... Другой тщательный рисунок в Вормсе я сделал с самого собора, и этот рисунок послужил мне материалом для того большого углем нарисованного картона, который у меня выпросил Левушка Бакст, что мне особенно тогда польстило. *Стр.* Мы обомлели и не верили глазам! / Мы обомлели и не верили гла-

*21*зам! В благородно-спокойных, строгих, несколько даже суровых, но

таких устойчивых, уравновешенных и поэтому надежных романских

соборах Майнца и Вормса мы ощущаем совсем иное. Подходя к фа

саду страсбургского Мюнстера, очарование только росло и осложня

лось...

Стр. шествие апостолов... / шествие апостолов... Вообще же в стилистиче-

*22*ском, архитектурном отношении эта внутренность уступает париж

ской Notre Dame и соборам в Амьене, в Шартре, в Кельне, в Вене,

но в каком-то церковно-постановочном смысле она представляется

достижением единственным и беспримерным. Даже самые пышные

à grand spectacle * затеи барочных соборов, в которых церковная

театральность празднует свои величайшие удачи, остаются в смысле

разительного эффекта далеко позади этой красоты. Там она носит

уже слишком «оперный», «феерический» характер. Возникают сом

нения, куда, в сущности, тебя манит все это золото, все эти изви

вающиеся формы, все эти похожие на прислужников Киприды соб

лазнительные небожители, что балансируют свои наготы по карнизам

или вихрями вьются в расписных плафонах. Напротив, в Страс

бурге театральность остается церковной, христианской — радостной,

но в то же время строгой, целомудренной. Испытывается на себе

воздействие этого великолепия, не закрадывается сомнения, что под

этим кроются козни того лукавого Князя Мира сего, который как раз

изображен на портале в сопровождении соблазняемых им Не

разумных Дев (что за красота эти портальные статуи!).

Стр. сердитого дракона. / сердитого дракона. К сожалению, внутри собо-

*23*ра варвары-фанатики ничего не оставили из всего того художествен

ного богатства, которым этот храм когда-то славился. Не нашли мы

и следов архизнаменитого Totentanz`a **, написанного на стенах

крейцганга. Мотивом для другой моей базельской пастели (тоже

проданной в Петербурге) послужила та терраса, обсаженная веко

выми липами, которая расположена позади церкви над самым Рейном.

Роскошные *(франц.)**
Танца смерти *(нем.)*.
Варианты
56fc

Глава 4

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ФЛОРЕНЦИЯ, ПАДУЯ, ВЕНЕЦИЯ, ВЕНА, ВАРШАВА

Стр. сопровождать нас по музеям и церквам. / сопровождать нас по му-ˆ зеям и церквам. Уже в первое мое посещение дворца «Бельведер» (где было развернуто богатейшее собрание картин, составлявших достояние Габсбургов) я обратил особое внимание на Питера Брейгеля, но все же тогда (в 1890 г.) меня больше интересовали другие мастера (и пожалуй особенно Иордане — вследствие того, что у нас в доме, в столовой, висело повторение знаменитой венской картины «La Roi boit» *). Теперь же я стал несравненно более зрелым ценителем в живописи и в то же время восторг (видно, тихий и сосредоточенный) моего друга помог мне лучше понять «Вавилонскую башню», «Детские игры», «Шествие на Голгофу» и другие картины этого тогда еще не признанного большой публикой мастера 1#;

Глава 5

МЕРЕЖКОВСКИЕ. РЕПИН. РАБОТА НАД СОБРАНИЕМ КНЯГИНИ М. К. ТЕНИШЕВОЙ

Стр. МОи зарисовки в альбомах. / мои зарисовки в альбомах. Необычайно-*46* поэтичным и трогательным памятником того нашего домашнего уюта, который тогда царил в нашей прародительской квартире, могла бы служить та акварель, которую тогда же папа написал, поставив себе задачей увековечить те почти ежевечерние заседания, что происходили в его кабинете и в центре которых сидел он сам, занятый каким-либо срочным думским делом (у него была удивительная способность уходить совершенно в хотя бы вовсе неинтересную работу, если даже вокруг стоял шум и велись громкие разговоры), то раскладыванием своих любимых пасьянсов. Ни то ни другое не мешало ему следить за общей беседой и вставлять в нее иногда свои замечания. Увы, к безутешному моему огорчению, эта акварель, которую я себе выпросил после кончины папочки, была украдена в 1905 г. во время переезда с одной квартиры на другую2*. Хорошо

¿* «Король пьет» *(франц.)*.

~* Вполне я понял исключительность этого совершенно удивительного поэта-художника лишь в третье мое посещение Вены в 1903 году — когда Питер Брейгель (и особенно его

«Месяцы») как-то даже совсем заслонил все в этом великолепном собрания.

2* Давая Жене Лансере распоряжение об этом переезде (сами мы были в то время в Париже), я особенное его внимание обратил именно на эту акварель, и вот почему он, выделив ее из общей массы разных вещей, отставил ее в сторону. Возможно, что это-то выделение и соблазнило вора. Когда через несколько минут Женя вернулся к тому месту, где он ее оставил прислоненной к стене, ее уже там не оказалось.

562

Варианты

еще, что с нее **была** до того снята **фотография В. С. Россоловским, а** Коля Лансере сделал с нее копию **тушью в величину пропавшего**

оригинала.

Место действия — папин кабинет. Он сам изображен сидящим спиной к зрителю за своим письменным столом, освещенным старомодной висячей лампой, окруженной медными спиралями. Папа приподнял голову, прислушиваясь к тому, что ему говорит сын Миша. К папе ластится довольно уродливая собачонка, которую мы с Атей подобрали на улице, заплатив за нее рубль мальчишке, несшему ее топить. С другой стороны к папе подошла одна из Лан-серят — его любимица Маша. К столу с другой стороны подошла Зина Лансере, ставшая впоследствии известной и прекрасной художницей (под фамилией своего мужа Серебрякова). В это время она страдала какой-то глазной болезнью и поэтому носила особый козырек из зеленой тафты. Справа у окна за квадратным «маминым» столом под фарфоровой лампой сижу я, а надо мною склонился Женя. Мы оба рассматриваем какую-либо только что приобретенную книгу и делимся впечатлениями. Из соседней (синей) столовой к двери кабинета направляется (тогда пятнадцатилетний) Коля, на ходу что-то читающий, однако это он, бедняжка, не захвачен каким-либо романом, а он зубрит гимназический урок, что он по своему обыкновению и делал, размеренным шагом расхаживая по анфиладе комнат. Самое интересное в папиной акварели — это тот Damcntisch*, что придвинут (па вечер) к центральному столу и за которым заседает тот кружок, который собирается почти всегда в том же составе, чтобы поболтать и [делать] какую-либо работу: вязание или шитье. Вероятно, увековеченный такой вечер — понедельник, ибо среди присутствующих дам выделяется своим гордым, горбоносым «римским» профилем милая «тетя Лиза Раевская», которая неизменно уже сколько лет у нас обедывала именно по понедельникам с тем, чтобы потом сразу

отправиться на свое абонементное место в Мариинский театр. Ей насупротив сидит сестра Катя, а между ними прямо vis-a-vis поместилась моя Атя. Особенно характерно для нее в это время был ее домашний наряд, желтый балахон, в котором ей разрешалось оставаться на людях ввиду ее уже заметной беременности. К этой же группе принадлежали еще остальные две девочки Лансере — гостящая отпущенная из института на рождественские каникулы Соня и следующая за ней по годам Катя. В глубине в полумраке тонет стена кабинета, увешанная фамильными портретами, среди коих в рамке красуется под портретом прадеда Бенуа тот акростих, что сочинил **в** его честь его сын — мой дедушка. *<Ст>г·* в большом платяном шкафу. / в большом платяном шкафу, *£5* стоявшем в комнате, служившей Марии Клавдиевне живописной

* Дамский стол *(нем.),*

Варианты

563

мастерской — ведь и она пробовала свои силы (нельзя сказать чтоб удачно) в писании масляными красками, и даже брала уроки у Я. Ф. Ционглинского, а позже и у самого Репина.

Стр. обе княгини отбывали в Париж. / обе княгини отбывали в Париж.

55Мне хочется упомянуть здесь еще об одном случае, очень харак-

терном для М. К. Тенишевой. Услыхав мои особенно восторженные восклицания от найденного толстого пакета, содержавшего шестьдесят сангин Бушардона, представляющих разные мелкие уличные ремесла Парижа в XVIII веке («Les Cris de Paris»*), она «на радостях» попробовала их навязать в виде подарка «мол на память об этом дне». И должен сознаться, что мне стоило не мало усилий от такого неожиданного подарка отказаться 1#.

Глава 6 НАША ПЕРВАЯ ДАЧА. НАШИ ХАРАКТЕРЫ. **МАРТЫШКИНО**

Стр. всех крайне интриговала. / всех крайне интриговала.

б*Когда я дома рассказал о своем «открытии» (это происходило

в 1886 г.), то оказалось, что мой отец знал о существовании мавзолея на Мартышкинском кладбище и он с большой хвалой отзывался об его действительно величественной архитектуре, считая ее произведением гениального Петра Гонзага. Однако много лет позже я на одной выставке в Москве увидал оригинальный проект мартышкинского памятника, и он был подписан Воронихиным. К сожалению, этот рисунок не был

снабжен каким-либо означением, что это за монумент и в память кого он был сооружен. Во» всяком случае и этот проект был Павловского времени, что могло служить подтверждением того, что здесь были действительно голш-тинцы.

ê

* «Крики Парижа» *(франц.).* ** По ближайшем изучении этих замечательных рисунков выяснилось, что они ие самые оригиналы, а лишь отпечатки (contre épreuves [Обратные оттиски *(франц.)])* с них. И все же художественная и бытовая ценность их велика, ибо как-никак мы в этих сангинах видим самый «почерк» большого мастера, прославившегося главным образом как ваятель — автор уничтоженного в Революцию грандиозного конного монумента Людовика XV и в качестве изумительной красоты фонтана на rue de Grenelle в Париже. С этими же зарисовками «Cris de Paris» Бушардона я был уже издавна знаком по гравюрам с них comte'a de Caylus [графа Келюса *(франц.)].* Тенишевская серия contre épreuves происходила из знаменитого собрания XVIII в.

Оригинальные рисунки Бушардона находятся в British Museum [Британском музее *(англ.)].* Напротив, те сангины, что в Bibliothèque Nationale [Национальной библиотеке *(франц.)]* в Париже, не более как не особенно удачные копии.

При распродаже (в Петербурге в 1903 г.) собрания Тенишевой мне удалось купить восемь из этих сангин; многие другие достались кн. Аргутинскому, Сомову, Яремичу и Боткину.

J564*Варианты*

С/пр. с черневшими ветхими бревенчатыми постройками. / с черневшими *Sб* ветхими бревенчатыми постройками. Тут же пестрели развешанные для просушки сети, блеклой голубоватой зеленью отливалась приморская трава и сочными тенями лепились вытащенные на берег лодки. Иа самом же горизонте в сероватой мгле тянулась линия Кронштадта с его рядом отдельно, прямо в море стоящих фортов, Те же элементы при других освещениях сочетались в совершенно иные аккорды и создавали иные настроения. Особенно запомнились ясные июньские вечера и светлые ночи: море под меркнувшим небом становилось темио-сизым и над водой выплывал убывающий серп... Или еще в августовскую непогоду, когда над насупившимся морем цвета аспидной доски нависали сулившие (или уже пролившие) дожди тучи, а Кронштадт казался до странности близким и отчетливо рисовались его церкви, фабричные трубы и мачты бесчисленных судов. *Стр.* стояло в полной сохранности. / стояло в полной сохранности. Под-*65* ходя к нему, подымаясь по отлогим ступеням наружной лестницы и огибая его бель-этаж по

открытым галереям, из-за белых колонн которого так ярко румянилась и горела осенняя, необычайно пышная в Ораниенбауме листва, мне начинало чудиться, что я слышу когда-то здесь раздававшиеся смехи молодого двора Екатерины или же трусливые визги дам, стремительно слетавших вниз по спуску в сопровождении своих насмешливых кавалеров. Благодаря знакомству с герцогами Мекленбургскими, которым принадлежал Ораниенбаум, я получил доступ и внутрь этого павильона. Подымаясь по закругленной внутренней лестнице и вступив в большой круглый зал, стены и купол которого братья Бароцци покрыли причудливыми арабесками, а над дверьми которого в овалах были представлены Стефаном Торелли соблазнительные нимфы, наваждение чудесного волшебного прошлого становилось еще более сильным и острым. О, как мне тогда хотелось представить эти мои миражи в убедительных образах! Но увы, дальше довольно неумелого этюда акварелью внешнего вида Павильона дело не пошло. Для такой задачи, которая была бы по плечу разве только Менцелю или В. Ди-цу, мне не хватало опыта и знаний., *¢ntp·* было бы желательно, чтоб он приобрел. / было бы желательно, *ffl`* чтоб он приобрел.

Вообще за последнее время Сергей заметно стал подвигаться вперед в культурном отношении, и это привело к тому, что у меня с ним установились несравненно более задушевные отношения, нежели те, которые сложились в первые годы его поступления в наш кружок. Да в сущности по-настоящему никакого такого «поступления» не было. С Сережей мы виделись очень часто, то по дороге в Университет я заходил сначала за Димой и Валечкой, потом за ним, и мы дальше шли (зимой пешком по льду Невы); то вся компания отправлялась в театр; часто он бывал у меня, иногда

*Варианты*565

мы все бывали у него (после того, что он переехал от Философо-вых на свою отдельную квартиру, где к нему присоединились два его единокровных брата, Линчик и Юра). Но все это не вело к настоящему сближению. По принципу Дягилев для нас представлял собой «кузена Димы», мы его как такового «терпели», и однако он продолжал от себя отталкивать некоторым «провинциализмом», своим малым интересом к «пластическим» художествам, своим удивительным невежеством в вопросах литературы. Сказать кстати, будучи большим любителем оперы и сам готовясь быть певцом (для чего он брал уроки у чудесного баритона нашей бывшей итальянской оперы Котоньи), оп совершенно игнорировал балет, он даже высказывал к нему несколько презрительное отношение, как к чему-то

второстепенному. И однако эта самая область создала ему впоследствии мировую известность!

И вот эти взаимоотношения между Сергеем и остальными членами кружка стали постепенно меняться. Не то чтоб он вдруг превратился в пламенного любителя художеств, не то чтоб стал более внимательно следить за нашими спорами, не то чтоб он принялся эа какое-либо систематическое пополнение своего общего образования, но все же он во многих смыслах стал как-то «прозревать» и обнаруживать больший интерес к вопросам, до того ему абсолютно безразличным. Тут много значило, что Дима принялся всерьез за своего страстно ему полюбившегося кузена, а при деспотическом нраве Димы это значило весьма многое. Понятно, первые проблески того, что Сережа стал интересоваться художествами, носили очень наивный характер. Так, он вдруг истратил немалую сумму денег, чтоб обзавестись «роскошной» мебелью для своего кабинета. Это были по случаю купленные тяжеловатые кресла и диван в псевдо-ренессанском стиле. И однако эта покупка была известным жестом, и она всех немало удивила своей неожиданностью. Вслед за тем оп приобрел и несколько картин. Первый был пейзаж Ивана Ея-догурова, изображавший прибрежную деревушку на Луганском озере. Эту картину ему горячо рекомендовал Бакст, который с этого момента начинает, как и я, сближаться с Сережей. Дальше последовал крошечный этюд Репина, изображавший старуху на коленях спиной (куплена она была за 10 рублей на выставке Репина и ` Шишкина в Академии), два пейзажика Лагорио, три этюдика как раз тогда скончавшегося Кившенко и, наконец, целый ряд масляных и акварельных этюдов Крамского. К последней покупке я уже отнесся несравненно серьезней, чем к предыдущим, да и то, с какой страстностью отнесся к ней сам Сережа, с какой жадностью он прислушивался к моим советам и к моей критике1#, показывало

** Среди этих (этюдов) (которые Сережа покупал у дочери скончавшегося мастера)

были очеиь приятные и достойные вещи. Репин, правда всегда пересаливавший

в своих оценках, не задумывался сравнивать с Веласкесом этюд головы натур-

. щика в античном дплеме, который был написан Крамским для затеянной им кар-

Варианты

именно, что он «прозревает», что в нем зашевелилось нечто «подлинное и живое» и такое, что я как раз больше всего ценю в

людях. Именно около этого времени (зима 1894—95) Сергей Дягилев как бы повышается в чине среди нашей компании и становится ее «полноправным» членом — в то же время моим близким другом. Он по-прежнему молчит во время споров, и ему вечно импонирует авторитетный тон Валечки, Бакста, Нурока, он не высказывает больших познаний в истории искусства, к балету, между прочим, он продолжает относиться с равнодушием, однако уже то замечательно, что он охотно посещает наши сборища, да и сам устраивает таковые у себя. Последние почти всегда украшаются музыкальными номерами. В это время он разочаровывается в своем композиторском даре (однако уроки у Римского-Корсакова, кажется, еще продолжаются некоторое время), да и своим пением он не решается нас более услаждать после того, что Валечка и Нурок не раз его за это высмеивали. У Сергея был сильный «зычный» голос, однако очень неприятного «пронзительного» тембра.

Глава 8 ПЕРВЫЙ ГОД НА СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ

Стр. ее более разбитная сестра Милечка. / ее более разбитная сестра

77 Милечка.

Однако отсутствовал как раз тот из моих друзей, который через год «втюрился» именно в Милечку и даже собирался просить ее руки,— Левушка Бакст. Но его несколько времени до того похитила французская актриса Шоссе, с которой, к великому огорчению своей семьи, уехал pour filer le passionnel*, в Париж. Этот первый серьезный роман (roman passionnel **) Бакста был тогда настоящей злобой дня в нашем кружке. В начале нашего знакомства (1890) Левушка был юношей (однако этому «юноше» было уже 24 года) необычайно целомудренным и не тронутым. Он густо краснел при каждой неприличной шутке, и приходилось ему краснеть часто, так как в интиме нашей компании мы имели дурную привычку острить и шутить на темы и сюжеты недозволенные. Еще из своей первой поездки в Париж (jí¾tom 1892 г.) он вернулся таким же Sainte Nitouche ***, но среди его рассказов, очень вообще живописных, был и один, который указывал на вступление им на новый путь. Выражаясь языком XVIII века, Левушка все еще не приносил

тины «Смех», иначе говоря, издевательство над Христом. Мне же особенно запомнились две акварели — одна изображавшая самый простой российский пейзаж, другая улицу в Помпеях. * Чтобы наслаждаться любовью *(франц.)*. ** Любовный роман

(франц.). *** Недотрогой *(франц.)*.

Варианты

жертв на алтарь Венеры, однако как раз **тогда в Париже** несколько гетер заманили его днем в какое-то подвальное кабаре, и эти профессиональные прелестницы, имевшие на себе en tout et pour tout * широко распахивавшиеся адвокатские мантии, защекотав его и выманив 60 франков на шампанское, произвели над ним известное усладительное действие. Кончался все же этот типичный для Бакста рассказ чем-то вроде победоносного возгласа; а именно, вырвавшись из объятий адвокатесс и уже стоя на ступеньках лестницы, ведшей на улицу,— он вынул из потайного кармана бумажник, потрясая им, крикнул соблазнительницам (с отчаянным французским произношением): «voilà, vous n'avez pas trouvé cela et ici il y a encore beaucoup cTargent **. В этой браваде Левушка видел нечто героическое и был убежден, что он отомстил за совершенное над ним насилие...

Но теперь-то этот случай был чем-то давным-давно забытым, и Левушка успел за последние три года заслужить среди друзей • репутацию настоящего Дон-Жуана. Он кичился своими многочисленными победами и он же любил со всеми подробностями рассказывать о том, как ему досталась та или иная жертва, какие он при том испытал радости. Особенно охотно слушал эти рассказы Валечка и наш «профессиональный» (но едва ли подлинный) ловелас — Нурок. Первое время свои жертвы Бакст находил среди особ весьма скромного разряда, но постепенно стал подыматься в более высокие сферы. Особенно гордился тем, что вскружил голову одной из первенствующих актрис нашего Михайловского (французского) театра — m-lle Josset, которая не отличалась красотой, но, будучи талантливой и остроумной артисткой, обладала в то же время тем, что французы обозначают словами: «avoir du chien» ***. Впрочем, рыжеволосая Josset была еврейкой; и вот рыжеволосость и еврейство сыграли известную роль в этом сближении — ведь волосы девушки, обладавшей еще очень густой шевелюрой, были ярко-рыжие. Не принадлежа к натурам сильным и оставаясь все еще довольно наивным «провинциалом», Бакст скоро «сдал все свои мужские позиции». И из победителя под действием чар лукавой и циничной женщины превратился в покорного невольника. Напротив, Жоссе не только все крепче привязывала его всякими ухищрениями, но и развращала его своей специфической парижской «жизненной философией». Через несколько месяцев этой связи Левушка утратил и последние остатки своей роли и превратился в какое-то «олицетворение тряпки» — une loque.****. В виде такой тряпки они был увезен в Париж. Впрочем, в качестве

оправдательного предлога

* Всего-павсего *(франц.)*.

** Ну вот! Этого вы не нашли, а здесь еще много денег *(франц.),* ** «Женщина с изюминкой» *(франц.)*. *** В размазню *(франц.),*

563

Варианты

мотивом этого бегства продолжала служить необходимость закончить заказанную в. к. Алексеем Александровичем картину: «Русские моряки в Париже», под которую была забрана вперед некоторая сумма денег.

Никогда, кажется, не было в нашем кружке разговоров о Баксте, как в течение этой его любовной авантюры, затянувшейся более чем на два года. Но наши эти разговоры состояли из благодушного су-дачеппя, причем мы, признавая все права такой пламенной страсти, в сущности не осуждали его поведения. Напротив, двое лиц переживали бегство Левушки очень тяжело — то были его почтенная матушка и левушкин ученик-меценат Мита Бенкендорф. Госпожа Розенберг, раньше у нас никогда не бывавшая (и с которой вообще мы виделись всего на двух свадьбах левушкиных сестер и еще раза три, при довольно редких посещениях моего друга), теперь стала меня навещать чуть ли не каждый день, и каждое ее посещение проходило в сплошной жалобе на то, что «эта француженка» губит ее сына, и в желании вырвать из ее когтей похищенного ею. Немало писем и телеграмм было мной тогда послано Левушке под действием этих воплей. Это горе матери хоть и казалось мне сильно, на еврейский лад, преувеличенным, вызывало, однако, во мне настоящее на жалости основанное сочувствие. Совершенно иное впечатление производили на меня негодование и чуть ли не угрозы «Миташки», который тоже раньше у меня ае бывал, а тут поваживался захаживать через день, а то и два раза в день. Начиналось каждое такое посещение с вопроса: «Avez — vous des nouvelles de Baxt.?»*, и за этим неизменно следовало: «II se perd, ce malheureux, il finíra mal»**. Я более и менее вторил ему, так как тоже был встревожен за друга, но все же внутри меня разбирал смех и своего рода злорадство — мол так тебе и надо, поделом тебе за то, что ты бессовестно эксплуатировал бедного художника и пользовался его талантом, чтоб иметь художественный успех в обществе. С другой стороны, я считал, что такая разлука Левушки со своим «пауком», роль которого в карьере Бакста была уже исчерпана (ведь у Бакста было теперь известное имя, и он уже успел приобрести некоторые связи в высшем свете), эта разлука была Левушке только полезна.

Полезным мне казалось и то, что он перестал слушать советы и критики Мита — человека несомненно остроумного и в какой-то степени тонкого, но пропитанного всеми предрассудками, которые можно объяснить словами «салонный» вкус.

Зовы матери, Мита и мои, разумеется, не возымели какого-либо действия. Бакст попросил меня выставить на выставке в Академий художеств несколько своих старых картин (то были сущие пустячки, и ничего более серьезного у него в мастерской не нашлось),

Есть ли у вас известия о Баксте *(франц.)*.

Он себя губит, бедняга, он плохо кончит *(франц.)*.

Варианты

5G9

он и сам неожиданно явился, но проболтавшись в Петербурге несколько дней, он снова затем укатил в погибельный Париж к своей «Цирцее». Вид у него был сильно изношенный, да и всем своим нравом он более не напоминал прежнего Бакста, являя собой олицетворение рассеянности и самых путаных тяжелых переживаний. Было очевидно, что все его мысли были *там,* и не столько мысли, сколько весь его «физический состав», все его желания и стремления. Эти желания и возымели верх над всеми другими соображениями, и Левушка, наскоро простившись с друзьями и с семьей (но, кажется, не посетив Бенкендорфа), сел в поезд и исчез, даже не пообещав, что он скоро будет обратно...

Глава 11

ВТОРОЕ МАРТЫШКИНСКОЕ ЛЕТО. -У ТЕНИШЕВЫХ В ТАЛАШКИНЕ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПАРИЖ

Стр. мечты о Париже несколько тогда померкли. / мечты о Париже *Ю2* несколько тогда померкли, несмотря на то, что их оживил было своими восторгами Левушка Бакст. Приехав к нам на целый день, он почти безумолку рассказывал, однако успел кроме того написать с меня (со спины, за работой) довольно удачный этюд маслом. *Стр.* нежели другие его произведения. / нежели другие его произведе-*104* ния. Однако большого успеха портрет все же среди наших друзей не имел, и причина тому была все та же известная «приблизительность» в рисунке и вообще нечто любительское.

Глава 12

OKTOBERFEST

Стр. этой старосветской живописи. / этой старосветской живописи.

*112*Мое посещение Пауля Мейергейма затянулось на целых три

часа, и оставайся я в Берлине, я, вероятно, еще ближе сошелся бы , с ним. Да и «добыча», которую я у него забрал, была из тех, что меня радовала,— то был отличный, уверенно сделанный, «крепкий» гуашевый этюд какой-то тирольской деревушки и три чудесных рисунка зверей, из которых два были мной куплены для Тенишевой, третий же, изображавший обезьяну, он, несмотря на все мои протесты, подарил мне с весьма любезным посвящением.

«Пришлось» мне еще посетить в Берлине одного художника,— говорю пришлось, потому что имя его не стояло в моем списке, да и не'" могло стоять, так как я не любил его умелого и холодного, пустого искусства. То был Ludvig Dettmann, который только

570*Варианты*

что тогда начал обращать на себя внимание, но на которого некоторые художники возлагали большие надежды. К нему меня усиленно «тащил» Герман, но когда и Мейергейм настойчиво несколько раз повторил фразу о *необходимости* мне посетить Деттмана, то я не счел возможным от этого уклониться. К сожалению, от личного контакта с художником я получил то же впечатление, как и от его произведений. Это был длинный, довольно худой, еще очень молодой человек, напоминавший типичных немецких студептов, неловкий и резкий в движениях, конфузливый и от конфуза немного нахальный.

Картин у Деттмана на дому не оказалось (они, по его словам, «гуляли по выставкам») и лишь среди этюдов крупного формата два или три отвечали условиям Тенишевского собрания, т. е. были написаны водяными красками. Мой выбор остановился на большом этюде, изображавшем уголок сада, типичном для тогдашних исканий «plein air'a», т. е. серого освещения без солнца (лет пятнадцать назад главой этой «школы» в Париже был балтиец Лепаж). Этюд этот был исполнен мастерски, но все же это была вещь заурядная, и приобретать ее не стоило.

Стр. выкрики газетчиков. / выкрики газетчиков, й опять — до чего все *117* это безобразие не было похоже на те образы Парижа, которые возникали у меня при чтении «La Semaine des Enfants» или романов Александра Дюма пэра. Смутило меня еще то, что та церковь, что стояла у самого вокзала, оказалась мне совершенно незнакомой, а ведь я был уверен, что я все церкви Парижа, и старые и новые, знаю. Мало того, хоть еще было довольно светло, я не мог решить такого простого вопроса, старинная она или нет? '* *Стр.* Щеня и Фильд снимали / Мастерская Бакста (куда, однако, он нико-

*119*го не пускал и где он как будто ничего не делал) находилась доволь

но далеко от нас, тогда как Женя и Фильд снимали

Стр. абсолютное свободомыслие. / абсолютное свободомыслие и коист-

*120*руктивные лозунги. Довольно-таки определенный привкус «герце-

новщины» был даже чем-то обязательным, и если только кто-либо

позволял себе не разделять «установок» автора «Былое и Думы*...

то на него склонны были смотреть в лучшем случае как на «без

надежного клеврета ненавистного царизма».

Стр. г-жей Виже Лебрен. / г-жей Виже Лебрен.

*120*Левушка Бакст приходил к нам чуть ли не каждый день, но

беседа почти исключительно вертелась вокруг его сердечных дел.

То была церковь St. Laurent. Он&ттаринная, но фасад у нее новый, времени Наполеона III.

*Варианты*57Ì

Он переживал убийственное разочарование в той особе, которой он «дал себя похитить» два года назад. Он успел изучить мадам Жоссе до самых основ ее порочного и пустого существа — особенно в периоде, когда она в разгаре их романа заперлась с ним в бретонской деревушке (тогда еще не ставшей модной) Perros-Guirec. Но то были месяцы, если и полные всяких сцен, размолвок и ссор, однако все же еще не остывшей страсти. Бакст, когда-то наш целомудренный и стыдливый Левушка, завершал именно тогда свое, если можно так выразиться, «эротическое воспитание» под руководством женщины, о специальной

опытности которой он рассказывал много и подробно. Но затем, по возвращении любовников в Париж, начались более тяжелые между ними раздоры, вызываемые взаимной ревностью обоих и непреодолимой склонностью г-жи Жоссе к самой циничной лжи. Несколько раз Бакст удостоверялся в том, что она ему изменяет (у нее был какой-то богатый покровитель, которого ей удалось первое время прятать от своего amant-de-coeur*, но который затем занял менее затушеванное положение в этом menage à trois **), и в конце концов эти вечные распри закончились почти драматически, когда Бакст в Берлине, куда Жоссе ездила на гастроли, застал ее en plein flagrant délit *** с этим ее покровителем. Но этот случай, завершивший печальный роман моего друга, произошел несколько позже, а покамест он все еще «бился в когтях сирены». Сегодня он принимал решение с ней бесповоротно порвать, клялся (себе и нам), что никогда больше ее не увидит, поносил ее самыми бранными словами, а завтра он или первый отправлялся к ней с повинной или же уступал ее мольбам возобновить порванную было сладко-мучительную связь. Рассказывая все эти перипетии, жалуясь, ища у нас моральной поддержки (но какую поддержку могут посторонние оказывать в делах, в которых властвуют разнузданные страсти?), повторяя свои проклятия и клятвы, Левушка просиживал у нас до глубокой ночи и затем брел но спящему Парижу в свое далекое обиталище '* на пляс Перейр. В обществе Левушки же произошло и наше первое знакомство с Версалем — с тем божественным местом, которое затем в течение всей жизни не переставало меня манить и в котором в два приема мы впоследствии (в 1906 г. и в 1924 г.) прожили «своим домом» особенно приятные, заполненные художественным творчеством годы.

* Друга сердца *(франц.)*.

** Любовном треугольнике *(франц.)*. *** На месте преступления *(франц.)*.

** Однако не в одних только подобных жалостливых разговорах проходили наши беседы с Л. Бакстом. Он вообще не мог долго оставаться без того, чтобы не занять своих рук рисованием и живописанием. И вот в течение нескольких его вечерних посещений он сделал пастелью два удачных этюда с меня (читающего) и с Ати. Эти пастели находятся в составе Семейной хроники у меня здесь, в Париже. Любопытно, что мое темя уже тогда стало обнаруживать начало облысения.

Варианты

Глава 16 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА ПАРИЖА

çmp. слепого консерватизма! / слепого консерватизма!

140Если же теперь припомнить, какие именно картины в Лувре на-

ходили во мне особенно сильный отзвук, то этот перечень надо будет начать как раз с помянутых уже двух «контрастов» — с «Положения во гроб» Тициана и с «Коронования Богородицы» Беато Анжелико. Непосредственно рядом с ними я назову «Голгофу» Мантеньи и его же «Парнасе», «Богородица с донатором» ван-Эйка, «Рай» Тинто-ретто, «Елену Фурман» Рубенса и «Нарцисса» Пуссена... Несколько луврских картин XIX века также принадлежали к моим любимейшим,— среди них на первых местах пейзаж Милле «Радуга», «Вергилий и Данте» Делакруа, его же «Баррикада», портреты Давида, Энгра. Некоторые из тогдашних моих увлечений были впоследствии^ вытеснены произведениями более сильных темпераментов и большей интенсивностью красок (и еще более блестящей происшедшей во мне самом эволюции вкуса, но в общем я оставался верным своим предпочтениям и «краснеть мне за них не приходится».

Cmp. вызывала только одно недоумение. / вызывала только одно недоуме-

140кие. Напомню, что за исключением ее, приобретенной благодаря

подписке среди поклонников Мане (дар Кайботта еще не находился

в Люксембургском музее, пожалуй, и сам завещатель был еще

жив?), музей был заполнен продукциями довольно безотрадного,

а то и просто банального характера. И тогда, как и впоследствии,

«приобретения государством» не отличались ни вкусом, ни толком,

ни прозорливостью **.

Cmp. которым Франция особенно гордилась. / которым Франция особенно

141гордилась. Однако мне главные сюжеты этого цикла не нравились;

эти поиски «стильного реализма» показались мне не достигавшими

своей цели: их элегантность была чисто иллюстративного характера,

световой колорит очень условным. Я лучше оценил те небольшие

пейзажные композиции, которые как бы дополняли более монумен

тальную серию. В них темперамент художника чувствовал себя сво

боднее, в них ему не надо было заботиться о том, как бы скрыть

свои основные черты — поверхностность и рассудочность.

сковывали его воображение. / сковывали его воображение.

Стр. ß произведениях Бенара можно было увлечься его пусть и не-***141*** сколько искусственно-распаленной фантазией, в Пюви же раз не

Такими же чертами отличалось и все отделение скульптуры в Люксембургском музее. Помнится, что Родеп был представлен одним произведением — не то «идеальной головой», не то портретом; весь же лес статуй в перистиле являли общество жеманно-извивавшихся приторных красавиц, которые, впрочем, были превосходно высечены из белого мрамора и вызывали в публике уверенность, что французская скульптура продолжает стоять на недосягаемой высоте.

Варианты

57$

убеждали идеалистические поиски, то тем более начинал угнетать недостаток даже того «рассудочного» темперамента, который позволяет видеть в Пуссене гения.

Особенным характером отличалось мое разочарование, касавшееся «богов» моего детства и отрочества, к которым я продолжал и позже чувствовать род нежности, а то и благодарности. Но до тех пор я был знаком с их творчеством, за редкими исключениями, лишь по> воспроизведениям, чаще всего мало удовлетворительным. Теперь же, при непосредственном ознакомлении с главными произведениями, я уже не в силах был разжечь в себе прежний энтузиазм. Это касается как всей группы классиков начала XIX века, так и некоторых «более скромных» представителей романтической эпохи. И не-петому я в них разочаровался, что классицизм или романтизм, самые идеи, составляющие их основу, мне опостылили (в странном соединении я содержал оба течения в своем сердце, да и продолжаю их содержать), но просто [стал] удостоверяться, что и это, и баров Ж'ерар, и Герэн, и мой любимец Жироде, да и сам Давид уже очень далеки от того, что я теперь искал в живописи. И

все же иные картины (и среди них на первых местах «Коронация» Давида и «Битва при Эйлау» Гро) можно считать подлинными триумфами мастерства и выразительности! Чудесными, но совершенно отдельно стоящими оставались все творения Прюдона...

Что же касается до когда-то главного моего любимца, Поля Деларош, то и краски его и самые его концепции показались мне тусклыми и даже приторными. Ему в той же зале, где еще продолжали висеть и его «Смерть Елизаветы» и «Дети Эдуарда», слишком вредило соседство «Резни на Хиосе» и «Вергилия и Данте» Делакруа. <...> * оказался и когда-то столь прославленный Hémicycle ** в Ecole` des Beaux Arts, который был знаком по гравюрам в Magasin Pit-toresque и который когда-то казался мне достойным быть поставленным рядом с произведениями самого Рафаэля... Вместе с Деларошем померкли в моем критическом сознании и те мастера, которые по< заказу Луи Филиппа заполнили стены Версаля иллюстрациями особо внушительных размеров во славу de toutes les Glotres de la France ***. И среди них можно выискать вещи, полные добротной школьности, а иные и такие, в которых проявлялась и доля исторического понимания, но все же до чего это было далеко от настоящего волнующего искусства. До чего некстати наполнили эти велеречивые анекдоты залы дворца Людовика XIV, тут же, рядом с теми аппартаментами, которые, хоть и запущенные, пустые от мебели,, однако все еще убедительно вещавшие о подлинной славе эпох французского прошлого и о короле, недаром прозванном «солнечным»..*.

* Пропуск в оригинале. ** Амфитеатр *(франц.)*. ** Всех великих людей Франции *(франц.),*

— — - —■■ ■■ ■■ ■ - ■■ — т— — ¯-··· — — · —

Никаких разочарований в скульптуре я не испытал. Напротив, все значительные статуи и барельефы, высеченные из камня и вылитые из бронзы, удивительно выигрывали в оригиналах в сравнении с тем, что мне было знакомо но гравюрам, по иллюстрациям в книгах и в слепках. Упомяну здесь лишь о главном. И на первых местах окажутся древнеегипетская и древнеассирийская пластика. В нижнем этаже Лувра я мог окунуться в эту а1мосферу, которой я напитался для моей постановки на моей кукольной сцене «Дочери фараона». Я просиживал часы, стараясь в своем этюдике запечатлеть торжественно таинственное выражение большого сфинкса или эротические позы павианов и «тупую божественность» того изваяния, которое я принимал за изображение Аписа. Без трепета и

даже некоторого ужаса я не проходил мимо бородатых царей и крылатых херувимов ассириан, и в этих чувствах было что-то сладостное. Менее меня тогда притягивала скульптура классической древности, зато иначе как словом «влюбления» я не могу назвать то, что я испытывал в отношении скульптуры Жана Гужона и Жер-.мена Пилона, а также ряда произведений французской скульптуры XVII и XVIII веков. Одно из первых моих паломничеств на улицах Парижа было посвящено фонтану на rue de Grenelle, который был мне знаком в Magasin Pittoresque и который даже в таком крошечном размере представлялся мне верхом изящества, грации и гармонии. В действительности же этот «фасад без дома» и «водопад без воды» показался мне еще куда более прекрасным и пленительным. Кто во всей истории скульптуры создал такие поэмы детства, как те барельефы, коими Бушардон украсил этот им сочиненный архитектурно-скульптурный ансамбль? И тот же Бушардон — автор самого пленительного изображения бога любви, когда-либо измышленного европейским искусством. Эта статуя в Лувре была для меня настоящим откровением, и каждый раз, когда я бывал в Лувре, •я непременно заходил в ту полутемную залу, которая была полна статуями XVIII века, но которая мне представлялась святилищем только этого *моего* кумира.

«Влюбился» я и во всю версальскую пластику. Первая поездка в Версаль была посвящена ознакомлению с общим его настроением, а также со внутренностями дворца, обзору его музейных коллекций, но затем я стал ездить в Версаль специально для его садов, а в них для тех статуй и для тех ваз (!), коими уставлены партеры, боскеты, аллеи и бассейны. Нужды нет, что я эти фонтаны не видел бьющими; когда же весной они забили в дни Grandes Eaux*, то в сущности ничего от этого к моему наслаждению от Версаля не прибавилось, а скорее получилось некоторое разочарование, тем более что в эти дни сады наполнились густыми, весьма неприглядными толпищами...

Праздник воды *(франц.),*

Варианты

575

Все эти речные божества и нимфы, эти Времена года, Часы дня Ча сти Света и Темпераменты, все эти герои древности и небожители Олимпа до того казались живыми, что никакого другого *оживления* все это беломраморное и темнобронзовое население не требовало. Особенно удивительно, каким чудом ваятелям и литейщикам XVII века удалось *оживить* и такие «отвлеченные» формы, как вазы! На это, помнится, мне указал еще Левушка Бакст, который обладал особой чуткостью или, я бы

сказал, скорее «чувственное гью», чтобы оценивать жизненность даже в предметах и вовсе неодушевленных. И действительно, каждая пара ваз из тех, что выставлены вдоль «Зеленого Ковра», имеет *лицо,* свое выражение, свою душу! Но особенно прекрасно круглятся и «набухают» те из них, на мраморе которых художник представил эмблему Луи Каторза — подсолнечник. В монументальном и все же вполне реалистическом изображении этого вовсе уж не столь аристократического цветка лесть нашла себе выражение такого благородства, что лучшего символа себе представить нельзя.

Стр. ее утраченную красоту. / ее утраченную красоту.

*М2*Уродлива в сухости своих линий кафедра, слишком тощими ка-

жутся решетки, худосочными представляются писанные по трафарету орнаменты, покрывающие стены капелл, колят глаза краски витро средних окон в абсиде. Зато до чего же рядом прекрасна и сказочна та застывшая в цветистой хрустальности музыка, что сияет и переливается в трех исполинских «розах», сохранивших всю волшебную праздничность с XIII и XIV веков.

Глава 17

В ПАРИЖЕ. К. БЕНУА. ЛУВР ВО МРАКЕ. Р. МЕНАР. Л. СИМОН

Стр. цель и назначение художника / цель и назначение художника *148* \\ именно в этом, увы, и кроется грех его творчества — то самое, что придало его картинам до того устарелый характер, что молодежь (даже та, которая «понимает толк» в Пуссене) и не пытается его-понять, им заинтересоваться. Это измышленные, якобы насыщенные поэзией, «классические» пейзажи населены «наемными моделями», и несоответствие этих фигур с окружающим тем более бросается в; глаза, что художник не сумел этим фигурам сообщить ту стилистическую обработку, которой он подверг скалы, тучи, небеса, водыа рек и озер. Они остаются сами по себе и выдают свое происхождение из академических классов — ту «faciiite» *, ту школьную сноровку, которые в таких классах процветали.

Одну из таких нимф я как-то застал однажды в мастерской Ме-

Легкость *(франц.)*.

.'576

Варианты

нара, и хотя эта особа обладала вполне гармоничными

пропорциями, меня все же поразило (я, кажется, в первый раз тогда видел «живую натуру» в обыденной обстановке рабочей мастерской), как мало в таком «видении» какой-либо поэзии и, напротив, сколько в нем довольно отталкивающей вульгарности. Эту-то банальность и эту вульгарность Менар переносил затем бессознательно в свою «опоэтизированную» природу.

**Стр.* известного декорума. / известного декорума.

*148*Но чем мог я похвастать тогда в смысле своего «творчества»?

Несколько простеньких этюдов в альбомах, сделанных за последние два «мартышкинских» лета и какие-то начатые акварели более картинного порядка — вроде варианта «Замка Тентежиля» и «Мартыш-кинского мавзолея» не давали мало-мальски выгодного представления о моих способностях и скорее свидетельствовали о моей крайней неопытности. Однако Менар все же кое-что похвалил, причем более всего ему понравились (он видимо был искренен) то, что я успел сделать за несколько месяцев пребывания в Париже и в Версале. Особенно же он похвалил несколько этюдов, изображавших то, что было видно à vol d'oiseau * с нашего балкона — уголок площади, тускло освещенный фонарем, и громаду церкви св. Клотильды в лучах вечернего солнца. Тут же Менар дал мне несколько технических советов, которыми я в дальнейшем и пользовался с успехом. Вообще же беседа наша была из самых оживленных, причем, однако, то был главным образом Менар, который чудесно рассказывал про свои путешествия по югу Франции, по Италии и по Греции. Это был мой первый живой контакт с французским художником, и я чувствовал себя безгранично счастливым от ощущения такого сближения.

Глава 22 ПО БРЕТАНИ

**Стр.* какой-то обрядовый хоровод. / какой-то обрядовый хоровод. Меня *176* это столь вообще чуждое привычным моим чувствам наваждение до того поразило, что, вернувшись к себе, я затеял картину, которая по своему сюжету более подходила бы Рериху. А именно я захотел представить человеческое жертвоприношение среди подобного древнего капища. Солнце как бы готово появиться из-за морского горизонта; старец-жрец ждет этого мгновения, чтоб вонзить в сердце пленнику священный нож, тогда как друидесса рядом уже подносит золотую чашу, в которую хлынет кровь жертвы; вокруг в ожидательном оцепенении стоят, как вкопанные, вооруженные

копьями и щитами вождь-князь и его дружинники.

* С птичьего полета *(франц.)*.

*Варианты*577

Глава 25

ОТКРЫТИЕ РУССКОГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

Стр. сыграло в деятельности княгини значительную роль. / сыграло в *№9* деятельности княгини значительную роль. Несомненно, что с принятием всего дара были у нее связаны какие-то ее личные честолюбивые планы. Возможно, что в будущем рисовалась перспектива быть принятой ко двору, а это послужило бы ей чем-то вроде реабилитации после того, что она, разведясь со своим первым мужем, заняла в петербургском обществе несколько щекотливое положение. Эти мечты могли бы реализоваться особенно, если бы и впредь она продолжала пополнять свой дар и постепенно значительность его стала бы для всех очевидной. Наконец, то, как с ней в данном случае обошлись, как ее *обидели,* показывало, что с ней вообще не считаются, что у нее нет настоящей опоры в художественном мире 1#.

Глава 26

МАДОННА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.

РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ ЕЛЕНЫ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВЫСТАВКЕ 1900' г.

КОНСТАНТИН КОРОВИН

Стр. много раз Коровина *слушать.* / много раз Коровина *слушать.* Ко-*%13* ровин, и раньше бывавший в Париже, как-то особенно страстно любил этот город, Париж действовал на него возбуждающим, электризующим образом. Не грустно ли, что в том же Париже, веселые огни которого он так любил изображать, под конец жизни изведал столько обид и даже настоящую нужду. Кто в Париже еще помнит о том, где некогда Коровин был здесь

чем-то [вроде] модной художественной Vedette *? Парижане должны были быть благодарны ему за когда-то доставленные художественные радости.

1# Супруг ее, князь Вячеслав Николаевич, держался в стороне и в ее дела не желал вмешиваться — он только снабжал ее деньгами. Впрочем, сам оп, несмотря на титул, не занимал в Петербурге какого-либо значительного положения. Это был замечательный по своей энергии, предприимчивости и уму self made man [Человек, сам всего добившийся *{англ.)],* сумевший себе составить очень крупное состояние, по он вовсе не был светским человеком, типичным аристократическим вельможей. Полученный через Витте пост главного комиссара русского отдела на Парижской выставке, разумеется, ничего не прибавил к его светской значительности. * Звезды *{франц.).*

19 Заказ .Y* 2516

578*Варианты*

Глава 31

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ПАРИЖЕ.

ПОЕЗДКА В ЛОНДОН (ВЕСНА 1899 г.)

ХЭМПТОН-КОРТ

Стр. Тут я пожалел / Когда же мы подъехали к большому четырех-*256* угольному пруду, посреди которого возвышается увенчанный статуей Дианы фонтан, когда предшествовавшая нам вереница экипажей, огибая пруд, стала отражаться в его, как зеркало, спокойных водах, то мне захотелось кричать от восторга. Тут я пожалел

Глава 32

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ.

ЛЕТО 1899 г. В ФИНЛЯНДИИ.

ПАФКА КОРЕБУТ

Стр. я:ивописной продуктивности. / живописной продуктивности. Надо, *269* впрочем, заметить, что природа Финляндии никогда меня не увлекала. *Красок* же в Финляндии я просто «не видел», да и, действительно, она куда менее красочна, нежели любая другая страна на земном шаре.

Глава 38

ПРЕДЛОЖЕНИЕ П. П. МАРСЕРУ.

ПАРИЖСКАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ»

Стр. К словам «Taverne Tourtel» — примечание А. Я. Бенуа:

*314*Этот отличный и не слишком дорогой ресторан помещался в од-

ном из домов на бульваре, которые вошлн в состав магазина Trois Quartier, в те годы ограничивавшегося двумя-тремя витринами. В этом «Туртеле» мне еще в 1908 г. довелось угощать тенора Смирнова, дирижера Ф. Блуменфельда, режиссера Санина, но я не помню, чтоб я там же угощал балетных артистов. Пожалуй, в 1909 г. (год наших первых балетных спектаклей) Туртель уже перестал существовать.

*Варианты*суд

Глава 43

ПОЯВЛЕНИЕ ИГОРЯ ГРАБАРЯ. МОЕ УЧАСТИЕ В ОБОИХ НАШИХ ИЗДАНИЯХ.

И. С. ОСТРОУХОВ

Стр. опасался всякого лицеприятства. / опасался всякого лицеприятства.

362 Но вот его мания вечно оценивать и переоценивать художественные явления получала у него нередко оттенок довольно назойливого педантизма, а иногда он не умел сопротивляться и модности. Это лишало иногда его мнения меткости и убедительности.

Стр. кончавшиеся для Философова некоторым конфузом. / кончавшиеся

•^ для Философова некоторым конфузом. Происходило же все это от того, что он был склонен принимать мираж за действительность, и потому, что он часто отворачивался от того, что сияло реальным блеском и убедительностью.

Глава 44

ТЕЛЯКОВСКИЙ. «ФЕЯ КУКОЛ». «ИППОЛИТ». «ГИБЕЛЬ БОГОВ»

Стр. слишком реалистический оттенок. / слишком реалистический отте-*3?5 нок,— уж очень мне хотелось передать то, что в музыке так чудесно отражается из разных явлений и образов природы.

КНИГА ПЯТАЯ

Глава 2 1905—1906 гг. ВЕРСАЛЬ. ПАРИЖ

Стр. утешение и ободрение. / утешение и ободрение.

*448*Здесь уместно сказать несколько слов об этом прекрасном чело-

веке, тем более, что в течение тех двух с половиной лет, которые мы тогда провели в Париже (и в Версале), именно с ним и с его семьей, не менее, чем с Симонами, я сблизился и стал у них бывать часто и запросто. И их быт был нам необычайно симпатичен. Занимали Девальеры в доме № 10 по rue St~Marc (в квартале Национальной библиотеки и Биржи) ту самую квартиру, в которой жил (и, кажется, скончался) Эрнест Легуве, занимающий видное место в истории французской литературы в качестве драматурга и писа-теля-«моралиста». Его книга «L'Art de la lecture»* считалась образ-

* «Искусство чтения» *(франц.)*.

19*

цом прекрасного слога и руководства в «полезном чтении». И я ее когда-то прочел, если и без жгучего интереса, то все же с удовольствием, любуясь не только изложенными в ней мыслями, но и тем, *как* все сказано, самим ритмом слов, самой архитектурой фраз. Впрочем, прелесть ей сообщала и полная

искренность автора, его убежденность в том, что преподаваемые им уроки — советы, основанные на живом опыте, должны оказывать большую духовную пользу читателям. С момента кончины этого милого человека, дожившего до глубокой старости (и приходившегося не то отцом, но, вероятно, *дедом* г-жи Девальер) прошло не много лет и все их жилище носило еще отпечаток совсем иного времени, иных нравов,— чего-то спокойного, солидного. Отчасти их квартира напоминала мне нашу обстановку в родительском доме Бенуа. Особенно мне нравилась овальная столовая с двумя нишами, в которых стояло по старинной белой фаянсовой печи, а также не очень большая комната, служившая когда-то рабочим кабинетом писателя. Она была обита алым штофом и обставлена старинной мебелью, что считалось особенно элегантным в 1830-х и 1840-х годах. Во время домашних концертов, нередко устраиваемых Девальерами и происходивших в соседней гостиной, которая была сплошь завалена картинами самого хозяина, было принято собираться тесно спаявшейся компании молодых художников, к которым был допущен и я. Особенно я тогда подружился с Максимом Детома, близким приятелем Апри де Ренье. Установился тогда же обычай отправляться после концерта гурьбой в Cafe Napolitain на бульваре Капюсин и там кончать вечера, попивая чедеснейший Mazagran, кушая удивительно вкусное мороженое — granite или иное какое-либо итальянское лакомство. Это являлось даже некоторой «необходимостью», так как угощение у Девальеров не отличалось обилием и каким-либо разнообразием: но раз принятому обычаю гостей потчевали лимонадом и крошечными сандвичами. Немудрено, что наша компания, покидая их милый дом, чувствовала голод, желание его утолить и полакомиться. Пока мы жили в Версале, я был принужден покидать эти собрания не позже полуночи, дабы поспеть к последнему поезду, по переезде же в Париж мы часто расходились гораздо позже. Иногда к нам на этих собраниях в Cafe Napolitain присоединялись типичный представитель Tout Paris * того времени Catulle Mendès и его замечательно красивая жена.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ *

Александр Бенуа в своем рабочем кабинете в Петербурге. **Фот. 1900-х годов.**

ЛГАКФФД **

Набережная Невы и Эрмитажный театр. Акварель А, Н. Бенуа. **1935** г,

Арка Главного штаба. Акварель А. Н. Бенуа. 1941 г.

Литовский замок и Новая Голландия. Акварель А. Н. Бенуа. **1922** г.

Большой театр в Петербурге в 1885 году. Акварель А. Н. Бенуа. 1939 г.

Вид из окна дома Бенуа на Никольской улице. Акварель А. Н. Бенуа

Петергофский дворец и церковь. Акварель А. Н. Бенуа. 1901 г.

Беседка в Павловске. Акварель А. Н. Бенуа. 1902 г. *Частная келлекция, Москва»* Публикуется впервые

Петергоф. Большой каскад. Акварель А. Н. Бенуа. 1901 г. *ГРМ*

Ораниенбаум. Акварель А. Н. Бенуа. 1901 г. *ГТГ*

Екатерина Гроппе (бабушка А. Н. Бенуа). Миниатюра 90-х годов XVIII в. Публикуется впервые

Луи Жголь Бенуа (дед А. Н. Бенуа) е женой и детьми. Портрет работы Оливье. Масло. 1817 г. *ГРМ*

Луи Жюль Бенуа (дед А. Н. Бенуа). Миниатюра 90-х годов **XVIII в.** Публикуется впервые

Групповой портрет братьев Бенуа работы М. И. Скотти. Масло. 1847 г. *ГРМ*

Н. Л. Бенуа и И. С. Китнер на заседании в Академии художеств. Рисунок И. Е. Репина. 1891 г. *Собрание И. С. Зильберштейиа. Москва*

Камилла Альбертовна Кавос (Бенуа). Портрет работы Я. Ф. Капкова. Масло. Начало 50-х годов XIX в.

Николай Леонтьевич и Камилла Альбертовна Бенуа с детьми. Фот. **1867** г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бепуа. Париж.* Публикуется впервые

Николай Леонтьевич Бенуа. Фот. 1886 г. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые

Юлий Бенуа 13 лет. Фот. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Медальоны с портретами Николая Леонтьевича **и** Камиллы Альбертовны Бенуа. Бронза работы А. Л. Обера. 1892 г. *Собрание Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Константин Альбертович Кавос. Фот. 80-х годов. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Елизавета Ильинична Раевская. Фот. 1889 г. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Камилла Альбертовна Бенуа со своей старшей дочерью Камиллой. Фот. 1875 г. *Из семейного архива А. А. Черкес о вой-Бену а. Париж.* Публикуется впервые

Евгений Александрович Лансере. Фот. 70-х годов. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва*

Екатерина Николаевна Бенуа (Лансере). Фот. 1870 г. *Из семейного архива А. А, Черкесовой-Бенуа. Париж*

Леонтий Николаевич Бенуа. Фот. 1895 г. *Из семейного архива Л. Л. Черкесовой* Бенуа. Париж*

* Иллюстрации подобраны Н. И. Александровой.

** *ЛГАКФФД* — Ленинградский государственный **архив кино-фоно-фото-документов**

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея

ГРМ — Государственный Русский музей

Список иллюстраций '709

Михаил Николаевич Бенуа. Фот. 1883 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж.* Публикуется впервые

Шура Бенуа. Фот. 1875 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Шура Бенуа. Фот. 1883 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Дом Бенуа на Никольской (теперь ул. Глинки, 15). Фот, 1979 г.

Маски на доме Бенуа. Фот. 1978 г.

Никольский собор в Петербурге. Фот. *Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР. Ленинград*

Кабинет Николая Леонтьевича Бенуа в доме на Никольской улице. Фот. конца XIX в. *Из семейного архива И. Н. Бенуа, Ленинград.* Публикуется впервые

Гостиная в доме Бенуа на Никольской улице. Фот. конца XIX в. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые

Николай Леонтьевич Бенуа в Риме. Акварель В. И. Штернберга. 1840 г. *Из семейного архива И.Л^Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые

Триумфальная арка в Римини. Акварель Н. Л. Бенуа. 1842 г. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые.

Большой фонтан в Тосканелле. Акварель Н. Л. Бенуа. 1843 г. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые.

.

Дача в Кушелевке. Акварель А. Н. Бенуа. 1951 г.

Александр Николаевич Бенуа. Фот. 1887 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Анна Карловна Кинд (Бенуа). Фот. 1887 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Дом в Петербурге (Васильевский остров, 10 линия, 13), в котором в 1856— 1910 гг. помещалась гимназия Мая. Фот. 1979 г.

Сергей Павлович Дягилев, Дмитрий Владимирович Философов, Вальтер Федорович Нувель, Александр Николаевич

Бенуа. Фот. 80-х годов. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Портрет Дмитрия Владимировича Философова. Литография В. А. Серова. 1899 г.

Собрание И. С. Зильоерштейна, Москва

Портрет Альфреда Павловича Нурока. Литография В. А. Серова. 1899 г. *Собрание U. С. Зилъберштейна. Москва*

Набережная Мойки. Фот. начала 1900-х годов. *ЛГАКФФД*

Мариинский театр в Петербурге. Фот. начала 1900-х годов. *ЛГАКФФД*

Невский проспект и церковь св. Екатерины. Фот. 1902 г. *ЛГАКФФД*

Гостиный двор и Городская дума в Петербурге. Фот. конца XIX в. *Собрание*

Н. Таг рипа. Ленинград

Лев Самойлович Бакст. Рисунок карандашом А. Н. Бенуа. 1908 г. *ГРМ*

Александр Бенуа. Автопортрет. Рисунок карандашом. 1893 г. *ГТГ*

«Атя читает «Жерминаль»». Рисунок карандашом А. Н. Бенуа. 1893 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Вальтер Федорович Нувель. Портрет работы Л. С. Бакста. Акварель, пастель. 1895 г. *ГРМ*

Сергей Павлович Дягилев с няней. Портрет работы Л. С. Бакста. Масло. 1906 г. *ГРМ*

Мария Карловна Бенуа. Портрет работы И. Е. Репина. Масло. 1884 г. *Музей-квартира И. И. Бродского На суперобложке использован силуэт Бенуа работы* Г. *И. Нарбута*

СОДЕРЖАНИЕ

Д. *С. Лихачев.* Предисловие5

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть первая

Глава 1. Мой город11
Глава 2. Окрестности Петербурга. Петергоф и Ораниенбаум . •22
Глава 3. Царское Село и Павловск27
Глава 4. Наша семья. Предки с отцовской стороны 28
Глава 5. Предки с материнской стороны35
Глава 6. «Бабушка Кавос»,38
Глава 7. Мои родители 44
Глава 8. Наша прислуга 64
Глава 9. Наши поставщики 67
Глава 10. Мамино парадное платье 71
Глава 11. Тетя Лиза .72
Глава 12. Сестры и братья. Сестра Камилла78
Глава 13. Сестра Катя83
Глава 14. Брат Альбер88
Глава 15. Брат Леонтий98
Глава 16. Брат Николай106
Глава 17. Брат Юлий .112
Глава 18. Брат Михаил115
Глава 19. Дяди и тети с отцовской стороны123
Глава 20. Родственники с материнской стороны. Дядя Сезар127
Глава 21. Дядя Костя Кавос149
Глава 22. Дядя Миша и другие' дяди Кавос165
Глава 23. Моя собственная особа170
Глава 24. Родительский дом . '182

Часть вторая

Глава 1. Первые впечатления. В Петергофе193
Глава 2. Брат Иша205
Глава 3. Любимые игрушки208

Глава 4. Оптические игрушки215
Глава 5. Любимые книжки,222
Глава 6. Музыка в моем детстве235
Глава 7. Мое художество241
Глава 8. Лето 1875 г. в Павловске .253
Глава 9. Снова в Петергофе264

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 1. Первые зрелища283
Глава 2. Балаганы289
*Содержание*7îi
Глава 3. Театр298
Глава 4. Кушелевка312
Глава 5. Первая школа 351
Глава 6. Русско-турецкая война365
Глава 7. Andre Potelette 372
Глава 8. Выставка Александра I. Цареубийство 1 марта . . .376
Глава 9. Домашнее воспитание386
Глава 10. Брюны 391
Глава 11. Казенная гимназия399
Глава 12. «Заграница» 412
Глава 13. Venusberg425
Глава 14. Первое причастие450
Глава 15. «Наваху»,460
Глава 16. Гимназия Мая. Преподавательский состав 474
Глава 17. Гимназия Мая. Товарищи . *486
Глава 18. Философовы499
Глава 19. Окончание гимназии .508
Глава 20. Путешествие по Германии 515
КНИГА ТРЕТЬЯ.....
Глава 1. «Роман жизни» .523
Глава 2. Музыка у Кнндов. Рара Кинд. Наша религиозность541
Глава 3. «Мое художество»552
Глава 4. Разлад с Атей. Семейство Фену564
Глава 5. Без Ати. Праздник у Е. В. Сабуровой574
Глава 6. Въезд в. к. Александры Георгиевны. Спектакль гала. Обед с герцогом Мекленбургским. Мое увлечение Вагнером588
Глава 7. «Семейное»597
Глава 8. «Спящая красавица»601
Глава 9. Левушка Бакст607

Глава 10. Университет629
Глава И. Сережа Дягилев .640
Глава 12. Русская опера. «Князь Игорь», «Пиковая дама» . .649
Глава 13. Смерть мамочки 658
Глава 14. Воссоединение с Атей668
Глава 15. Наша негласная помолвка. Лютая зима 1892 г. Новые знакомые и друзья: Десмонды, Бирле, Нурок. Моя глава в книге Мутера . . .676
Глава 16. Родственники пас принимают. Посещение акварельных выставок «высочайшими». Работа в Эрмитаже 690
Глава 17. Смерть Елизаветы Ивановны Кинд. Освобождение от - воинской повинности. Болезнь моей невесты. Наша свадьба700
Список иллюстраций *(Сост. Н. И. Александрова)*708
* Парижского светского общества *(франц.)',*
ПРИЛОЖЕНИЯ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГМИИ —Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина *ГРМ* — Государственный Русский музей *ГТГ* — Государственная Третьяковская галерея *ИРЛИ*— Институт русской литературы (Пушкинский дом) *ЛГАКФФД* —Ленинградский государственный архив кино-фоно-фотодоку-ментов *ЦГАЛИ* — Центральный государственный архив литературы и искусства

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Александр Николаевич Бенуа. Фот. 40-х годов

Александр Николаевич Бенуа. Портрет работы Л. С. Бакста. Пастель, акварель. 1898 г. *ГРМ*

Анна Карловна Бенуа. Портрет работы К. А. Сомова. Масло. 1896 г. *ГРМ* «Замок». Картина А. Н. Бенуа. Акварель, гуашь, пастель. 1895 г. *ГТГ*

Артемий Лаврентьевич Обер с женой и маленькая Атя в Мартышкине. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1896 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Женя Лансере. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1893 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Константин Андреевич Сомов. Автопортрет. Акварель, гуашь. 1903 г. *ГТГ*

Девочка Оля. Рисунок К. А. Сомова. Карандаш. 1896 г. *ГТГ*

Мстислав Валериапович Добужинский. Портрет работы К. А. Сомова, Сангина,

карандаш. 1910 г. *ГТГ*

Валентин Александрович Серов. Автопортрет. Карандаш. 1885 г. *ГТГ*

Бретань. Плугану. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш, тушь. 1897 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

«Вид на Трегастель со скалы около нашего огорода». Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1897 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Нормандия. Ивето. Рисунок А. Н. Бенуа. 1898 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

«Король прогуливается в любую погоду». Картина А. Н. Бенуа. Пастель, акварель, гуашь, 1898 г. *Собрание И, С. Зильбер штейна.* Москва

«Версаль под дождем». Акварель А. Н. Бенуа. 1897—1906 гг. *Днепропетровский*

государственный художественный музей

«Служба у капеллы св. Варвары». Картина А. Н. Бенуа. Акварель, гуашь.

1905 г. *Псковский историко-художественный а архитектурный муяей-заповедник*

Здание Русского музея в Петербурге. Фот. 90-х годов. *Музей Ленинграда*

Парадная лестница в день открытия Русского музея в Петербурге. Фот. 1898 г. *ГРМ*

Мария Клавдиевна Тенишева. Фот. 90-х годов. *ГРМ*

Павел Яковлевич Дашков. Гравюра И. П. Пожалостина. *ГМИИ*

«Парад при Павле I». Рисунок А. Н. Бенуа. Тушь. 1907 г. *ГРМ*

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Рисунок А. Н. Бенуа.

Тушь, акварель. 1903 г. *Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Рисунок А. Н. Беиуа.

Тушь, акварель. 1903 г. *Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

Александр Николаевич Бенуа с семьей на даче в Павловске летом 1902 г. Фот. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Александр Николаевич Бенуа и Игорь Федорович Стравинский в Тиволи. Фот.

1911 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Александр Николаевич Бенуа у себя в кабинете в Петербурге. Фот. 10-х годов-*ЛГАКФФД*

Александр Николаевич Бенуа за работой. Фот. 10-х годов. *ЛГАКФФД*

Кока и Леля Бенуа. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1905 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Примель. Берег. Рисунок А. Н. Бенуа. Итальянский карандаш, мел. 1905 г. *ГРМ*

Лугано. Дорога к часовне Жилярди. Акварель А. Н. Бенуа. 1908 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Игорь Эммануилович Грабарь. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1907 г. *ГРМ*

Николай Николаевич Врангель. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1908 г. *ГРМ*

Владимир Николаевич Аргутинский. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1909 г,

ГРМ

Сергей Павлович Дягилев. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1911 г.

«Бальмонт в Примеле». Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш, 1906 г. *ГРМ.* Пубян-куется впервые

Степан Петрович Яремич. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. ■ 1904 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Айседора Дункан. Рисунок Л, *С* Бакста. Итальянский карандаш. 1908 г. *Собрание И. С. Зилъберштейна. Москва*

Николай Николаевич Черепнин. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1907 г. *ГРМ.*

Виктор Петрович Протейкинский. Портрет работы Л. С Бакста. Литография. 1899 г. *ГРМ*

Михаил Михайлович Фокин. Портрет работы В. А. Серова

1910 г. Карандаш» сангина

Эскиз занавеса для балета «Петрушка». Рисунок А. Н. Бенуа. Тушь. 1910. *Собрание И. С, Зилъберштейна. Москва*

Эскиз костюма Красного мага для балета «Павильон Армиды». Акварель А. Н. Бенуа. 1907 г. *Собрание И. С. Зилъберштейна. Москва*

Эскиз костюма Ряженого для балета «Петрушка». Акварель А. Н. Бенуа. 1911г.

Собрание И. С. Зилъберштейна. Москва

Леонардо да Винчи. Мадонна с цветком (Мадонна Бенуа). Масло. *Государственный Эрмитаж*

Александр Николаевич Бенуа. Фот. конца 50-х годов. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа.* Париж

В I томе ((Моих воспоминаний» А. Н. Бенуа помещены цветные вклейки (работы А. Н. Бенуа)

Версаль. У Курциуса. Акварель, пастель. 1897 г. *ГРМ*

Прогулка короля. Гуашь, акварель, бронза, серебро. 1906 г. *ГТГ*

Парад при Павле I. Гуашь. 1907 г. *ГРМ*

-Заставка к книге Н. И. Кутепова «Царская и императорская охота на Руси», Акварель. 1902 г. *Собрание П. Д. Добычина. Ленинград*

Передняя Большого дворца в Павловске. Пастель, гуашь. 1902 г. *ГТГ* Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Акварель, гуашь, пастель. 1910 г. *Всесоюзный музей А. С. Пушкина* Купальня маркизы. Гуашь. 1906 г. *ГРМ*

Во II томе «Моих воспоминаний» А. Н. Бенуа помещены цветные вклейки (работы А. Н. Бенуа)

Б. М. Кустодиев. Групповой портрет художников «Мир искусства». Масло, 1910-1916 гг. *ГРМ*

Эскиз декорации к опере А. С. Танеева «Месть Амура». Акварель, уголь. 1900 г, *Собрание А. Ф. Чудновского. Ленинград*

Итальянская комедия. Любовная записка. Гуашь, акварель. 1906 г. *ГТГ*

Эскиз декорации к балету И. Ф. Стравинского и М. М. Фокина «Петрушка». Гуашь, акварель, бронза, тушь. 1911 г. *Музей ГАБТ*

Эскиз костюма Петрушки к балету И. Ф. Стравинского н М. М. Фокина «Петрушка». Гуашь. 1911 г. *Собрание Я. К. Кунина. Ленинград*

Эскиз костюма Балерины к балету И. Ф. Стравинского и М. М. Фокина «Петрушка». Акварель. 1911 г. *Музей ГАБТ*

Эскиз костюма Знаменосца к балету «Празднество» аа музыку К. Дебюсси. Акварель, гуашь, серебро, бронза. 1912 г. *ГРМ*

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1. Наши странные медовые месяцы, болезнь «молодой» и неожиданные последствия оной7
Глава 2. Наше свадебное путешествие продолжается. Вормс, Страсбург, Люцерн, перевал через Сен-Готард19
Глава 3. Свадебное путешествие (1894). Милан, Пельи, Генуя, Пиза29
Глава 4. Свадебное путешествие. Флоренция, Падуя, Венеция, Вена, Варшава36
Глава 5. Мережковские. Репин. Работа над собранием княгини
М. К. Тенишевой45
Глава 6. Паша первая дача. Наши характеры. Мартышкино58
Глава 7. Рождение дочери68
Глава 8. Первый год на собственной квартире71
Глава 9. Дружба с Сомовым79
Глава 10. Второе мартышкинское лето. А. Л. Обер 93
Глава 11. Второе мартышкинское лето. У Тенишевых в Талашкине. Переселение в Париж101
Глава 12. По Германии. Ганс Бартельс. Берлинские и мюнхенские художники. Oktoberfest*109
Глава 13. Мы в Париже115
Глава 14. Теиишевы в Париже121
Глава 15. Акклиматизация. Парижский угар . . -126
Глава 16. Художественные сокровища Парижа136
Глава 17. В Париже. К. Бенуа. Лувр во мраке. Р. Менар.
Л. Симон145
Глава 18. Морис Дени, Валлотон, Боннар, Вюйар151
Глава 19. Мое коллекционерство156
Глава 20. Поездка в Петербург. Выставка княгини Тенишевой. Первая выставка Дягилева. Приезд в Париж четы Обер . .16Э
Глава 21. Лето в Бретани. Приезд Дягилева 165
Глава 22. По Бретани 173
Глава 23. Сожительство с Сомовым. Моя работа. Мои «лекции»
у Тенишевой181
Глава 24. Выставка русских и финляндских художников. Возникновение «Мира искусства»186
Глава 25. Открытие Русского музея императора Александра

III198
Глава 26. Мадонна Леонардо да Винчи. Рождение дочери Елены. Приготовление к выставке 1900 г. Константин Коровин204
Глава 27. Лето в Нормандии — 1898 г214
Глава 28. Возникновение «Мира искусства» 222
Глава 29. Путешествие в Нидерланды. Разрыв с княгинями232
Глава 30. Смерть отца239

Глава 31. Последние месяцы пребывания в Париже. Поездка в Лондон (весна 1899 г.). Хэмптон-Корт246
В Лондоне249
Глава 32. Возвращение на родину. Лето 1899 г. в Финляндии. Пафка Коребут257
Глава 33. В Москве и в Киеве268
Глава 34. Наше материальное положение. Мое преподавание в училище барона Штиглица. Яремич. Висенька Протейкинский. Скандал с Бакстом. Субсидия государя277
Глава 35. Религиозно-философское общество. Кружок Мережковских. В. В. Розанов . . .290
Глаза 36. Театральные дела. Князь С. Волконский. Раут в дирекции. Ежегодник театров299
Глава 37. Лето в Петергофе. 1900 год 307
Глава 38. Предложение П. П. Марсеру. Парижская всемирная выставка. «Художественные сокровища России»313
Глава 39. Коллекционеры. Деларов. П. Я. Дашков, в. к. Николай Михайлович322
Глава 40. Новые друзья: супруги Боткины, князь В. А. Аргутинский, «Кока» Врангель, Добужинский . 331
Глава 41. Катастрофа с «Сильвией». Наши исторические труды 342
Глава 42. Рождение сына. И. М. Степанов, Лето 1901 г. в Ораниенбауме. Герцоги Мекленбургские. Принцесса Альтенбургская348
Глава 43. (1901 год). Появление Игоря Грабаря. Мое участие в обоих наших изданиях. И. С. Остроухов358
Глава 44. Теляковский. «Фея кукол». «Ипполит». «Гибель богов» 368
Глава 45. «Современное искусство». Князь Щербатов и фон Мекк. «Художественные сокровища России». «Лебединое озеро»375
Глава 46. Катастрофа с «Художественными сокровищами». Пребывание в Риме. Моя жена переходит в католичество. Порто д'Анцио385

Глава 47. (1903 г). Последний вечер в Риме. Возвращение в Петербург. Конец «Современного искусства». Визит Прахову в «моей» редакции. Иллюстрации к «Медному всаднику». Воз вращение семьи... Наши дети. «Русская школа живописи». Наводнение. Аукцион Тенишевой394
Глава 48. Начало войны с японцами. Недовольство режимом. В. к. Николай Михайлович. Интрига против Дягилева. Со бирание материалов для выставки портретов. «Отрада» графов Орловых- Давыдовых400
Глава 49. Лето в Горках. Собирание материалов для моей монографии о Царском Селе. «Азбука». «Змеиная полянка». Назревание общественного кризиса. Я приглашен участвовать
*Содержание*743
в газете «Слово». Конец «Мира искусства». Айседора Дункан. Встречи с Врубелем409
Глава 50. 9 января 1905 года. Угроза всеобщей забастовки. Таврическая выставка портретов. Наше отбытие иэ России417
КНИГА ПЯТАЯ
Глава 1. [Лето 1905—1906 гг. Примель]427
Глава 2. 1905—1906 гг. Версаль. Париж442
Глава 3. [1907 г. Путешествие в Испанию. Д. С. Стелецкий]456
Глава 4. «Павильон Армиды»464
Глава 5. [М. М. Фокин. «Старинный театр»] . . é 473
Глава 6. [Париж. «Борис Годунов»]483
Глава 7. [1908 г. Лето в Лугано].491
ВОСПОМИНАНИЯ О БАЛЕТЕ
Русские балеты в Париже503
«Петрушка»520
Последний сезон до войны531
Заключение539
ДОПОЛНЕНИЯ
Варианты551
ПРИЛОЖЕНИЯ
Г. Ю. Стернин. «Мои воспоминания» Александра Бенуа и рус ская художественная культура конца XIX — начала XX в.583
Примечания *(Сост. Л. В. Андреева и Г. Г. Поспелов)* 629
Список иллюстраций *(Сост. Н. И. Александрова)*711
Указатель имен *(Сост. Н. И. Александрова и А, Л. Гришунин)*713

ПРИМЕЧАНИЯ

«Мои воспоминания» А. Н. Бенуа, включающие пять книг, написанных на протяжении последних двадцати лет жизни художника, впервые публикуются в полном своем объеме.

Оригинал всего труда — около полутора тысяч страниц машинописного текста с многочисленными исправлениями и пометами автора поступил в Академию наук СССР от дочери мемуариста — Анны Александровны Черкесовой-Бенуа в соответствии с не раз высказывавшимся А. Н. Бенуа желанием видеть весь труд напечатанным па его родине.

Ценнейшим источником при текстологической работе над рукописью явились кроме того авторские экземпляры двух первых книг, выпущенных «Издательством имени Чехова» (Нью-Йорк) в 1955 г. и имеющие дополнительную собственноручную правку А, Н. Бенуа. Они были присланы мемуаристом доктору искусствоведения Алексею Николаевичу Савинову, которому и принадлежит заслуга быть инициатором данного издания.

К середине 1950-х годов, ко времени переговоров и началу «чеховского» издания у А. Н. Бенуа уже была подготовлена основная часть рукописи, по всей видимости, четыре книги из пяти (вслед за первыми двумя писалась книга IV, судя по обозначенным в оригинале авторским датам, по меньшей мере с 1944 по 1953 г., затем в 1954 г. закончена книга III). Однако продолжение издания не состоялось из-за краха «чеховского» издательства. К тому же само издание 1955 г. не вполне удовлетворяло автора. Вызывало недовольство, в частности, «нелепое» (по выражению А. Н. Бенуа) новое заглавие мемуаров — «Жизнь художника», данное издателями без ведома и согласия автора. Книга V писалась несколькими годами позже, с 1957 г. и почти до конца жизни художника. Лишь отчаявшись найти нового издателя, А. Н. Бенуа «прекратил дальнейшее (никчемное),— как ему тогда казалось,— писание, остановившись на 1909 годе», о чем он и сообщал в одном из писем в октябре 1959 r.J

При подготовке текста настоящей публикации «Моих воспоминаний» в серии «Литературные памятники» была учтена авторская правка как на страницах двух принадлежавших А. Н. Бенуа изданных томов, так и машинописного экземпляра. В тексте исправлены только очевидные ошибки записи, унифицирована транскрипция имен, которые даются, как правило, в современном написании, и упорядочена пунктуация, непоследовательная в «чеховском» издании и в продолжающей текст авторской машинописи.

В оригинале автором был намечен ряд сокращений. Часть из них, представляющая, по мнению составителей, интерес, помещена во II томе, в разделе «Варианты». В основном тексте места, к которым относятся публикуемые варианты, не отмечаются. Некоторые сокращения предприняты и составителями; эта возможность была предусмотрена и оговорена А. А. Черкесовой-Бенуа при передаче рукописи для издания.

«Александр Бенуа **размышляет...», с.** 558.

g30Примечания

Во II томе, вслед за основным текстом печатаются главы из работы А. Н. Бенуа «Воспоминания о балете», написанной в конце 1930-х годов. Составители сочли возможным опустить две первые главы этого сочинения, поскольку материал глав хронологически охватывается основным текстом «Моих воспоминаний». Текст «Воспоминаний о балете» печатается по журнальной публикации в издании «Русские записки» (Париж, 1939), книги XVIII—XXI и приводится в настоящей книге в разделе «Дополнения».

Комментируя текст «Моих воспоминаний», составители решили свести количество примечаний к тому необходимому минимуму, без которого текст может оказаться не до конца проясненным, а чтение иногда затруднительным. Воспоминания А. Н. Бенуа превосходят все возможные рамки числом упомянутых в них деятелей искусств — художников, писателей, композиторов, артистов — или названных художественных произведений. Великолепная память автора позволяла ему буквально рассыпать на страницах мемуаров блестки своей поражающей эрудиции — плоды самой солидной осведомленности в различных областях мировой культуры. Пояснять, как это нередко делается, каждое из упоминаемых в тексте имен означало бы присоединить к двум объемистым томам, написанным автором воспоминаний, еще один том — словаря художников. Составители имели в виду все возрастающую культуру тех читательских кругов, на которые рассчитана книга, умение все большего числа людей самостоятельно использовать разнообразную справочную литературу, в том числе и словари художников или энциклопедии по разным отраслям культуры,— которая к настоящему времени стала весьма обильной.

Составители отказались и от развернутых комментариев, цель которых конкретизировать и обогатить добавочными фактами то, что сообщается автором по поводу разных эпизодов современной ему художественной жизни. Таких эпизодов, самостоятельных тем в «Моих воспоминаниях» великое множество. И очень часто рассказ А. Н. Бенуа можно было бы

дополнить большим количеством других материалов, теперь уже обследованных и собранных в научной или мемуарной литературе по русской художественной культуре рубежа столетий. Такие темы, как история оалет-ного театра второй половины XIX — начала XX века, как эволюция «Мира искусства» и его роль в современной ему художественной жизни, как портретная выставка 1905 г. или сатирическая графика времен первой русской революции,— достаточно охарактеризованы усилиями многих специалистов и потому комментарии по этого рода вопросам сознательно кратки, сводятся к фактическим уточнениям или фиксации расхождений в оценках различных мемуаристов тех или иных упомянутых событий.

Исключение при комментировании составили фигуры или темы, непосредственно связанные с личной и творческой биографией мемуариста. Таковы история семьи и судьба сохраненного наследия А. Н. Бенуа. Такова сама тема или отдельные памятники Петербурга, составлявшего предмет неустанных размышлений А. Н. Беиуа, а вместе с тем образовывавшего и своеобразную историческую сцену, где разворачивается действие его мемуаров. Таковы и фигуры участников художественного развития, описанного в воспоминаниях,— живописцев, писателей, коллекционеров, в тесном контакте с которыми протекала творческая судьба или выполнялась культурная «миссия» автора повествования.

В других случаях, когда речь заходит о темах не столь широко известных, еще мало обследованных, как, например, история отдельных частных собраний или само направление художественного коллекционирования в дореволюционной России, либо круг общественных явлений, выходящих за грани специально художественной культуры и связанных с религиозно-философским движением начала века и историей «религиозно-философских собраний» — комментарии даются более обстоятельные и информативные. Для дальнейшего изучения этих и ряда других, еще недоисследо-ванных сторон русской культуры конца XIX — начала XX в. «Мои воспоминания» А. Н. Бенуа окажутся поистине незаменимым источником, на который будут опираться в будущем мысль и усилия ученых.

И все же «Мои воспоминания» А. Н. Бенуа — не только источник сведений по вопросам художественной жизни описываемой эпохи, но прежде всего выражение взглядов большого художника на время и на современников, взглядов, «погружен-

ных» в материал и подтвержденных фактами, однако более всего интересных как глубоко индивидуальное и талантливо выраженное свидетельство одного из участников ушедшего в прошлое художественного движения.

Основной принцип, избранный при комментировании,— принцип не дополнения, а разъяснения. Культурный кругозор и самого А. Н. Бенуа, и тех людей, среди которых протекала его жизнь, был существенно иным, пежели кругозор современного нам широкого читателя. Здесь сказывались и доступный тогда лишь немногим высокий уровень, а главное — характерная направленность тогдашнего гуманитарного или «классического» образования, полученного и самим мемуаристом и рядом его современников. Но еще более — иная эпоха, все жизненные примеры, культурный обиход и символика которой были совершенно иными, нежели это есть сегодня. То, что современникам А. Н. Бенуа, и прежде всего людям его культурной среды, было понятно с намека или полуслова, может оказаться для нас немым или малопонятным. «На языке» у нашего времени иные слова, а «в воздухе» — совсем другие идеи. Задача комментаторов — не столько сообщить читателю сумму подробностей и фактов из разпых областей специальных знаний, сколько, по возможности, ввести его в тот культурный контекст, в котором страницы «Моих воспоминаний» смогут быть более ясно носприняты.

Выбирая жанр примечаний, комментаторы вполне сознавали, что общекультурная значимость «Моих воспоминаний» А. Н. Бенуа как литературного памятника во много крат превышает специально научную ценность сообщаемых в них конкретных фактов. Было поэтому важно, следуя за излагаемыми мемуаристом многочисленными обстоятельствами художественной жизни, избежать невольной перестановки акцентов и сосредоточения внимания на сугубо фактологической стороне мемуаров. Как пи обильны и во многом новы сообщаемые А. Н. Бенуа историко-культурные подробности, на первый план выходит художественно-полноценная и колоритная картина эпохи, написанная ее наблюдательным очевидцем.

Отсылки к примечаниям самого автора, помещаемым подстрочно, обозначаются в тексте цифрой.со звездочкой; звездочки без цифры отсылают к подстрочному при мсчанию-переводу; цифрами обозначены отсылки к затекстовым примечаниям.

Над подготовкой текста «Моих воспоминаний» для настоящего издания несколько лет работал А. Н. Савинов. После его кончины (1976) эту работу продолжили Н. И. Александрова и

А. Л. Гришунин. Ими же составлен Указатель имен. Примечания написали Л. В. Андреева и Г. Г. Поспелов. Французские тексты просмотрены М. В. Вахтеровой и О. В. Моисеенко. В просмотре других иноязычных текстов принимали участие А. В. Михайлов и В. П. Гайдук.

Редколлегия серии «Литературные памятники», подготовители и редактор выражают глубокую признательность Апне Александровне Черкесовой-Беиуа. За существенную помощь материалами и полезные консультации Редколлегия благодарит Илью Самойловича Зильберштейна и Владимира Семеновича Кеменова, а также Ирину Николаевну Бенуа, Татьяну Борисовну Серебрякову и Федора Францевича Бенуа.

КНИГА ПЕРВАЯ Часть I

Глава 1 МОЙ ГОРОД

1 *...я так и не дозрел, чтобы стать настоящим патриотом...* — Одна из заостренно-полемических «западнических» деклараций А. Н. Бенуа, повторенных им и в некоторых других частях «Моих воспоминаний». (См. об этом статью Г. Ю. Стернина ««Мои воспоминания» Александра Бенуа...», II, с. 589 и след.).

1 .„наименее простительной его измена Петербургу.— 18 августа 1914 Г. В СВЯЗИ С начавшейся войной с Германией Санкт-Петербург был переименован в Петроград.

632*ФПримечания lt I, 1*

3 *...который уже раз осенил идею мирового духовного владычества...*— Согласно преданию католической церкви, апостол Петр — глава христианской церкви — был первым епископом Рима и передал главенство над церковью своим преемникам — римским папам.

* *...в двух молитвенных напевах...*— «Коль славен наш господь» — начальная фраза христианского гимна, слова которого восходят к одному из «Псалмов Давида» («Псалтирь», 98); «Боже, царя храни»—первая фраза государственного гимна Российской империи.

5...*несколько картин «моего» города...*— В более узком значении «Петербургом Бе-

нуа» может быть названа часть Петербурга, расположенная у Крюкова канала

(район Новой Голландии), близ Никольского собора и Театральной площади —

подобно тому как другие мсста соединяются в нашей памяти

с именами Пушкина,

Некрасова, Достоевского или Блока. Красота этих мест была «открыта» Бенуа и

его товарищами, он сумел «заразить» ею некоторых художников «Мира искусства».

Известны рисунки, акварели, гуаши М. В. Добужинского и Е. Е. Лансере, запечат

левшие здания и набережные Крюкова канала, виды «Новой Голландии» А. П. Ост

роумовой-Лебедевой и др.

6...*Благовещенская церковь...*— Благовещенская (Конного полка) церковь была вы

строена в 1844—1849 гг. по проекту архитектора К. А. Тона (1794—1881). Ныне не

сохранилась.

7...*мои друзья: Нувель, Дягилев, Философов.*— Каждому из членов будущего со

дружества «Мира искусства» А. Н. Бенуа посвятит соответствующие разделы

«Моих воспоминаний»: В. Ф. Нувелю — с. 487—492 и др., С. П. Дягилеву — с. 640—

648, II, 548—549 и др., Д. В. Философову — с. 499 и след.

8...*у этого города, охаянного его обитателями и всей Россией...* — См. примечание

1, с. 634.

9...*ближе к нашему дому...*— Дом семьи Бенуа на Никольской улице (ныне ул. Глин

ки 15) сохранился до нашего времени.

10...*сверкающая золотыми куполами Никольская церковь...*— Никольский Морской

собор — один из выдающихся архитектурных памятников Петербурга XVIII в.—

был выстроен между 1753 и 1762 гг. по проекту архитектора С. И. Чевакинского

па обширном плацу «морского полкового двора» (ныне пл. Коммунаров), а пото

му и назван «Морским».

11*Большой театр, когда-то построенный Томоном...*— Театр был построен архитек

тором Тома де Томоном (1760—1813) в 1802—1805 гг. на месте и в габаритах су

ществовавшего здесь здания, сооруженного в 1783 г. Л. Ф. Тишбейном. До нача

ла 80-х годов XIX в. театр занимала казенная итальянская

опера (была упразд

нена в 1885 г.). Русская опера смогла давать спектакли в помещении театра всего

несколько лет, так как уже в середине 80-х годов здание Большого театра было

признано ветхим и в 1889 г. передано для перестройки Петербургской консерва

тории.

12...*на старой основе был построен Мариинский театр.*— Театр был построен А. К. Ка-

восом (1801—1863) в 1860 г. в качестве постоянной площадки русской оперной

труппы. В 1883 г. перестраивался архитектором В. А. Шретером (1839—1901).

13...*я теперь забыл, по какой причине они это прозвище получили.*— В здании «Ли

товского замка» в конце XVIII — начале XIX в. последовательно размещались пе

тербургская полиция, казармы литовского полка (1807), которые и дали название

и замку, и находившемуся поблизости рынку, и казармы гвардейского экипажа

(1814). «Семибашенный» замок был выдержан в псевдоготическом стиле, а эиитег

«турецкий» напоминает о его прототипе — «Семибашенном замке» в Константи

нополе. В 1826 г. здание было перестроено архитектором И. И. Шарлеманем

(1782—1861) под пересыльную тюрьму, а в дни февральской революции 1917 г.

сожжено и разрушено. Замок занимал треугольную территорию между Крюковым

каналом, Мойкой и Офицерской улицей (ныне ул. Декабристов); торговые ряды

«Литовского рынка» — помещались на углу Крюкова канала и Офицерской ули

цы (против задней стороны Мариинского театра). См. илл.

Примечания 1, 1, 3

633

14...*«сам» — Андрей Первозванный.*— Орден св. Андрея Первозванноговысший

орден Российской империи, учрежденный Петром I 30 ноября 1698 г. Согласно церковному преданию, апостол Андрей — первый из «призванных» Иисусом Христом в ученики (отсюда и

прозвание «Первозванный») — был первым проповедником христианства среди народов на территории будущей Древней Руси.

15...*на широком Царицыном Лугу...*— С 1818 г. Царицын Луг стал называться «Марсо

вым полем» и сделался местом регулярных военных парадов.

Глава 2 ОКРЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРГА. ПЕТЕРГОФ И ОРАНИЕНБАУМ

1...*что греха таить — Петергоф «провинциален».*— А. Н. Бенуа лишь вскользь упо

минает о Большом петергофском дворце, составляющем вместе с каскадом фонта

нов центральный художественный образ всего петергофского ансамбля. Архитек

тура этого главного памятника, сооруженного в 1747—1752 гг. В. В. Растрелли

(1700—1771, ему же принадлежат Екатерининский дворец в Царском Селе, Зимний

дворец и собор Смольного монастыря в Петербурге и др.), не может быть названа

провинциальной хотя бы уже потому, что своеобразием своего замысла и форм

она вообще не имеет аналогий в Западной Европе XVIII столетия.

2*Посетивший меня летом 1900 г. Райнер Мария Рильке...*— См. II, с. 310—311.

3...*грандиозные... придворные конюшни; два элегантных... дворца для придворных*

дам ...вокзал «Нового» Петергофа...— В последние годы царствования Николая I

и при перестройке резиденции Александра II в Петергофе Н. Л. Бенуа были по

строены придворные копюшпи (1846—1854), здание железнодорожного вокзала

(1854—1856) и два фрейлинских корпуса (1858).

4...*интимная резиденция императорской фамилии... Александрия.*— Так называлась

царская резиденция XIX—XX вв., расположенная в восточной части петергофской

приморской полосы и отделенная стеной от Нижнего сада. Участок принадлежал

когда-то А. Д. Меншикову и носил название «Монкураж», а затем был отведен

под императорский охотничий зверинец. Сразу после

вступления на престол Ни

колая I здесь создаются пейзажный парк и новый царский дворец (архитектор

А. Меиелас, 1826—1829). Название «Александрия» было дано в честь жены Нико

лая I Александры Федоровны. Дворец «Коттедж», павильон «Ферма» (А, Менелас,

1829) и «Капелла» (сооружена по проекту К. Шинкеля (1781—1841) А. Менеласом

и И. И. Шарлеманем в 1833 г.) были выдержаны в формах неоготики эпохи ро

мантизма. Для Александра II архитектором А. И. Штакеншнейдером (1802—1865)

«Ферма» была перестроена в «Фермерский дворец». В 1885 г. по проекту А. О. То-

мишко (1850—1900) для Николая II был возведен на берегу залива «Нижний дво

рец», последнее сооружение петергофской Александрии.

5*Более же всего меня пленил самый дворец...*— Большой дворец был построен в

1710—1725 гг. архитекторами Дж. М. Фонтана и Г. И. Шеделем (1680-е — 1752).

Полукружие его плана было образовано дугообразными галереями, соединявшими

центральный корпус с двумя купальными павильонами по краям. Парадная фи

гурная лестница, сооруженная в 1772 г. А. Ринальди (ок. 1710—1794), спускалась

к регулярному Нижнему парку, связывая дворец с каналом, ведущим к морю.

Такие же каналы, соединяющие дворцы с морем, были проведены в Петергофе и в

Стрельне. Они отвечали «морским» интересам Петра.

Глава 3 ЦАРСКОЕ СЕЛО И ПАВЛОВСК

1 *„.дравюр, входивших в состав «альбома Махаева»...* — К альбому М. И. Махаева (1718—1770) с видами Петербурга 1753 г. в 1761 г. были добавлены три гравюры с изображением Царского Села: виды Большого дворца, павильона Эрмитаж и Зверинца (или Охотничьего павильона), и две гравюры с изображениями Больших

Примечания I , I , 3

дворцов в Петергофе и Ораниенбауме. Лист, о котором пишет А. Н. Бенуа,— вид дворца в Царском Селе со стороны циркумференции—гравирован Е. Внуковым, П. Артемьевым и Н. Челноковым по рисунку М. И. Махаева в 1759—1761 гг. *Циркумференция* — площадь, обнесенная закругленными (в плане) постройками служебного назначения (см. «Виды Петербурга и его окрестностей середины XVIII в. Гравюры по рисункам М. Махаева». Составитель и автор текста Г. Н. Комелова. Л., 1968).

2...в *темных аллеях Сильвии...*— В Павловске существуют две Сильвии — старая и

новая. Старая Сильвия — это лесистая часть парка (silva *(лат.)* — лес), представ

лявшая собой круглую площадку, украшенную статуей Аполлона, с радиально

расходящимися двенадцатью дорожками-аллеями, у входов в которые также рас

полагались статуи. Новая Сильвия — чуть дальше от дворца, с павильоном — па

мятником «Супругу благодетелю».

3*Манила меня и Крепость...*— Игрушечная крепость «Бип» была построена архи

тектором В. Ф. Бренной (1740—1819) в 1795 г. и до 1811 г. значилась в «списке

крепостей Российской империи». Располагалась на высоких валах за прудом пав

ловского парка.

4 *...монумент Павлу 1, что стоит перед дворцом...* — Статуя была исполнена скульп

тором И. П. Витали (1794—1855) в 1850 г.

- * „..,..,Глава 4

ПРЕДКИ С ОТЦОВСКОЙ СТОРОНЫ

1***Это*** *презрение и прямо-та?ги ненависть продолжались* ***и*** *дальше...*— **А. Н. Бенуа**

был склонен преувеличивать отчужденное отношение к Петербургу со стороны

«доподлинно русских» людей. Ведь среди них и основатель города царь Петр,

и М. В. Ломоносов, и строитель Адмиралтейства А. Д. Захаров, и А. С. Пушкин,

и Н. А. Некрасов, и Ф. М. Достоевский и Андрей Белый, и

Александр Блок. У мно

гих из них восприятие Петербурга было противоречивым, нередко драматическим,

однако оно никак не укладывалось в формулу А. Н. Бенуа — «настоящему» рус

скому человеку все в Петербурге претило и он продолжал в нем видеть чуже

странца». С этим связано и известное преувеличение исторической роли так назы

ваемой «немецкой колонии» — полуассимилировавшихся иностранцев в Петер

бурге,— которую А. Н. Бенуа несколько ниже называет «фундаментом типичной

петербургской культуры» (с. 33). Этот фундамент, как о том говорит сам автор,

образовывали и культурные деятели русского происхождения, «художники сло

ва, кисти и музыки», не говоря уже об архитектуре. С другой стороны, и сами ипо-

страпные мастера, украшавшие и строившие Петербург, осознавали себя пе толь

ко частью «петербургской культуры», но действовали, по словам архитектора

В. В. Растрелли, относящимся к строительству Зимнего дворца, «для одной славы

всероссийской».

2*Самый древний из известных нам предков Никола Дени Бенуа...*— Федор Франце-

вич Бенуа — один из представителей разветвленного рода Бенуа — в своей книге

«Краткая история семьи Бенуа в России» 1 называет еще и отца Никола Дени Бе

нуа— Дени Бенуа, крестьянина, жившего в конце XVII и начале XVIII в. в го

родке Сезанн (в НО км к востоку от Парижа). От его брака с Марией Брошо 22 де

кабря 1702 г. родился Никола Дени Бенуа, который был пе хлебопашцем, но учи

телем в церковно-приходской школе в местечке Сент-Уэп-ап-Бри, расположенном

в 65 км от Парижа, его жена, Мари ле Ру, была дочерью каменщика. Их сып —

Никола Бенуа, прадед художника и отец родоначальника русской ветви семьи Бе

нуа, родился 17 или 18 июля 1729 г. Он учительствовал в той же церковно-при-

1 Рукопись. С любезного разрешения Ф. Ф. Бенуа дальнейшие уточнения к гл. 4 «Предки с отцовской стороны», касающиеся происхождения и пребывания семьи Бенуа в России, будут даваться без ссылок на соответствующие страницы его работы.

ходской школе, что и его отец, с 1748 по 1795 г. Здесь под его руководством обучение начиналось с латинского языка и Священного Писания. Помимо преподавания, Никола Бенуа принимал участие в церковном хоре и совершении обрядов, что составляло основу материального существования его семьи. *9 (Сохраняю орфографию подлинника).—В* приведенном французском тексте акростиха содержится несколько отклонений от подлинника (фотокопия акростиха в архиве Ф. Ф. Бенуа). Местонахождение оригинала неизвестно, перевод акростиха на русский язык местами не точен.

4*...к моему отцу, родившемуся как раз в год смерти моего деда...*— Вместо слов

«моего деда» следует читать «моего прадеда» или «своего деда».

5*...(в замужестве Meut)...*— Допущена ошибка в фамилии: следует читать Mahue.

6*У этого дома было странное прозвище «VAbbaye>>...*— На самом деле дом имено

вался «Le presbytaire», то есть «дом священпика», так как в нем когда-то жил свя

щенник. Никола Бенуа снял этот дом в аренду в 1796 г. у владельца, уже не имев

шего отношения к церкви.

7*У прадеда было три сына и две дочери.*— Всего было двенадцать детей, из них

семь умерло в младенческом и детском возрасте.

6 *Последний французский Бенуа скончался лет двадцать назад...*— Артюр Бенуа скончался 18.XI.1907 г. и похоронен в семейном склепе Бенуа на кладбище Пер-Лашез. Сам А. Н. Бенуа похоронен па кладбище в Батиньоле под Парижем.

9*...носивший имя Жан Франсуа и прозвище Надо, был женат на своей кузине, но*

брак этот остался бездетным.— У Жана Фраисуа и его жены Анн Луиз, урожден

ной Моранс, родились сын и две дочери; его прозвище было Каде (cadet *(франц,)* —

младший).

10*Чем в точности занимался Анн Франсуа, я не знаю...*— Анн Франсуа Бенуа в

1776 г. был отдан в обучение ремеслу кондитера на кухне герцога де Монморан-

си в Париже и прослужил у него до 1793 г. В 1793 г. А. Ф. Бенуа отправился в

Россию, где прожил более пяти лет, а затем вернулся во Францию. Кондитером

был и второй сын Никола Бенуа — Жан Франсуа.

11*От младшего сына прадеда — моего родного деда (1772—1822)...*— Ф. Ф. Бенуа на

зывает датой его рождения 1770 г.

12*Воспитание этот Луи Жюль получил во Франции...*— В 1783 г. Луи Жюль поступил

в обучение ремеслу кондитера в дом герцога де Монморанси, у которого в это

время служил его старший брат. Когда в начале революции герцог эмигрировал,

оба брата Бенуа последовали за ним сначала в Брюссель, а затем и в Льеж.

В 1793 г. Луи Жюль Беиуа перешел на службу в качестве повара к посланнику

Пруссии, а последний в 1794 г. взял его с собой в Петербург. Здесь Луи Жюль

(Леонтий Николаевич) Бенуа от прусского посла вскоре перешел на службу в

аристократические русские дома (к Голициным, Нарышкиным) и лишь в 1808 г.

был удостоен места придворного метрдотеля, которое и занимал до своей смерти

в 1822 г. На надгробном памятнике Л. Н. Бенуа указывалось, что он умер в долж

ности метрдотеля вдовствующей императрицы Марии Федоровны.

13...*происходившей от одной из ...немецких семей...*— Жена Л. Н. Бенуа Екатерина

Андреевна Гропп была дочерью медника, приехавшего в Петербург из Ганнове

ра и открывшего на Васильевском острове небольшую медную мастерскую.

14...*бабушка подарила своему супругу семнадцать человек детей...*-— В действитель

ности их было восемнадцать, из них семь умерли в

младенчестве.

15*У нас в архиве хранилась толстая тетрадь...*— Тетрадь находится в настоящее вре

мя у Ф. Ф. Бенуа в Ленинграде.

16...*обладателем двух каменных домов...*— Один из этих домов был деревянным. Он

был куплен Л. Н. Бенуа в 1816 г. и продан его вдовой в 1832; ныне не сохранился.

17...*через несколько дней оба они... лежали... в земле...*— Ф. Ф. Бенуа ставит эту леген

ду под сомнение. По его словам, «в приведенной выше истории многое приукра

шено. Доподлинно известно, что Огюст Робер... умер на один год и 12 дней позже

своего тестя (20 января 1823 г.)».

18*Вся семья дедушки изображена целиком на картине, писанной каким-то «другом*

дома» по фамилии... Оливье.— Портрет находится в *ГРМ,* его дата — «около 1817 г.».

636**Примечания I, f, 5*

На нем изображены Леонтий (Луи Жюль) Бенуа (1770—1822); его жена Екатерина Андреевна, рожденная Гропп (Гроппе, 1777—1852); их дети — Жаннет (1798— 1881, в замужестве Робер); Михаил (1799—1861); Леонтий (1801—1883); Александ-рина (1803—1901, в замужестве Бранденбург); Елизавета (1806—1876, в замужестве Петерсон); Елена (1807—1866, в замужестве Келлер); Николай (1813—1898) и Франсуа (1814—1858). Картина поступила в 1933 г. из собрания А. Н. Бенуа. 19 ...*после революции, в 1920-х годах эмигрировал в Германию...*— Генерал А. М. Бенуа попал в плен в 1915 г., после чего остался в Германии.

Глава 5

*ПРЕДКИ С МАТЕРИНСКОЙ СТОРОНЫ

1...*мой прапрадед Джованни Кавос...*— Его звали, очевидно, Альберто Джованни.

2...*поступил на службу в императорские театры.*— Катарино Альбертович Кавос

(1776—1840) появился в Петербурге в 1798 г., приглашенный в Итальянскую оперную труппу. Позднее он служил в качестве композитора и капельмейстера во французской и русской (1803—1840) труппах. Он сочинил около 30 опер, в том числе на исторические и сказочные сюжеты («Илья Богатырь», либр. И. А. Крылова, 1807; «Иван Сусанин», либр. А. А. Шаховского, 1815; «Жар-птица», либр. Н. М. Языкова, 1822 и др.), а также балеты, водевили, хоры, песни.

3...*состоявший «директором музыки» в Петербурге...*— Помимо работы в театрах,

К. А. Кавос руководил всеми музыкантами, состоявшими на императорской служ

бе. «Все оркестры были под его начальством, и ежедневные наряды артистов-вир

туозов по театрам, балам и маскарадам — были самым хлопотливым занятием...

Кавосу часто доставалось слышать самые незаслуженные упреки и испытывать

величайшие неблагодарности, но он всегда продолжал действовать с неизменной

добротой сердца и справедливостью»,— писал биограф Кавоса Р. М. Зотов (Био

графия капельмейстера Кавоса. СПб., 1840, с. 9—10).

4...*как непосредственный предшественник Глинки.*— К. А. Кавос был предшествен

ником Глинки в разработке сюжета «Ивана Сусанина». Ни в каком другом отно

шении искусство Кавоса нельзя воспринимать как предшествующий творчеству

Глинки этап в истории русской музыки.

5...*монументальный труд его по этому вопросу считался классическим.*— Имеется

в виду книга: «Traité de la construction des theatres. Ouvrage contenant toutes les

observations pratiques sur cette partie de Г architecture». Paris — Saint-Pétersburg,

1847.

...*возобновление театра было... закончено... к коронационным торжествам 1856 г.*—* _ Театр был возобновлен А. К. Кавосом после пожара 1853 г.

Глава 6 «БАБУШКА КАВОС»

1...*насупротив божественной Салуте.*— Барочная церковь Санта Мариа делла Салу-

те, построенная в 1631—1682 гг. архитектором Балдасаре Лонгена (1598—1682).

2...*сейчас после минестроне, была подана тембалъ-де-макарони...*— Минестроне —

густой овощной суп из фасоли, артишоков, шпината, зеленого горошка с макаро

нами; тимбалло ди макарони — запеканка из макарон.

Глава 7 МОИ РОДИТЕЛИ

1 *Только правда хороша* (Seul le vrai est aimable).— Неточная цитата из Н. Буало («Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimab!e». TV. *Boileau.* Epitre. IX).

Примечания I, /,11

637

г „.участвуя... в постройке грандиозного храма Спасителя...— Храм Христа Спасителя, спроектированный К. А. Топом в официально-византинизирующем, псевдонациональном стиле, строился в Москве с 1832 до 1883 г. Ныне не сохранился.

3...*изучению того дивного архитектурного памятника...*— Имеется в виду готиче

ский кафедральный собор в Орвието, строившийся с конца XIII по конец XVI в.

4...*из папской халкографии.*— Хранилище гравированных, чаще всего медных

(XolX×óç, (греч.)—медный) досок, с которых по мере надобности делались новые

отпечатки.

5...*результаты изучения собора были изданы во Франции.*— Имеется в виду книга:

Monographie de la cathédrale d'Orvìelo par N. Benois, A. Resanoff et A. Krakau, pen-

sionnaires de l'Academie Imperìale des beaux arts de Saint-Pétersburg. Paris, 1877.

6...*оставил на произвол судьбы в своей петербургской квартире.*— Оставленные

А. Н. Бенуа при его отъезде за границу архивы и художественные ценности со

хранены в музеях СССР. См. примеч. 4. с. 654—655.

7...*каждый камушек мозаик «Косматп»...*— Обобщенное наименование группы мо

заичистов и декораторов-мраморщиков (Италия, XII—XIV вв.), связанное с тем,

что среди этих мастеров были художники, носившие имя Cosma (Козимо) — Кози-

мо ди Якопо, Козимо ди Пьетро Меллини.

8*Где-то эти, оставленные в Петербурге, чудесные серии...*— Некоторые из альбомов

Н. Л. Бенуа хранятся теперь в *ГРМ* и у И. Н. Бенуа в

Ленинграде.

• *...достойные фигурировать рядом с «Поездкой в Данциг» Д. Ходовецкого...*— Имеются в виду 108 рисунков п акварелей немецкого художника Д. Ходовецкого (1726—1801), входившие в его дневник поездки из Берлина в Данциг в 1773 г.

10...*затевалась игра в «бочи»...*— Правильнее «бочче» (от итальянского «Ьоссе») —

название очень древней и любимейшей в Италии игры (распространена до настоя

щего времени также и во Франции, в особенности в Провансе, где она называет

ся «le pétanc»). Игра состоит в том, чтобы с определенного расстояния бросать

деревянные шары (бочче), стараясь попасть как можно ближе к маленькому,

тоже деревянному шарику и сбить шары противника. Выигрывает тот, у кого

шары приземлились ближе к маленькому шару — цели. Играют в «бочче» женатые

мужчины деревни, улицы, двора и т. п. по воскресеньям или по праздникам.

11...*юбилейное чествование моего отца осенью 1886 г....*— Праздновался 50-летний

юбилей архитектурной деятельности Н. Л. Бенуа.

Глава 10 МАМИНО ПАРАДНОЕ ПЛАТЬЕ

1 ...*Бриллианты и жемчуга* (Diamanten und Perlen) — Намек на начальную строку стихотворения Г. Гейне «Du hast Diamanten und Perlen» («У тебя и бриллианты, и жемчуг» — перевод В. Гиппиуса) из цикла «Die Heimkehr» (Возвращение на родину, 1823—1824 гг.).

Глава 11

ТЕТЯ ЛИЗА

1...*служа в ведомстве императрицы Марии.*— Правительственное учреждение, заве

довавшее различными благотворительными предприятиями (больницами, школа

ми и т. п.), начало которому было положено императрицей

Марией Федоровной,

женой Павла I, еще в 90-е годы XVIII в. С 1854 г. стало называться «Ведомство

учреждений императрицы Марии»... (См. «Ведомство учреждений императрицы

Марии 1797—1897». СПб., 1897).

2...*спешила на свой «балкон», чтобы аплодировать Гитри, Вальбелю... Томассен...*

Речь идет о спектаклях Французской драмы в Михайловском театре. Театр оыл

сооружен на Михайловской площади А. П. Брюлловым еще в 1831—1833 гг., а в

1859—1860 гг. перестроен А. К. Кавосом. С конца 70-х годов здесь играла постоян-

Примечания 1, I , 12

ная французская труппа, считавшаяся одной из лучших в Европе, с репертуаром из новинок французской драматургии. В 1920 г. в здании б. Михайловского театра начал работать Театр комической оперы, позднее переименованный в Ленинградский гос. академический Малый театр оперы и балета. я ...*«чудесное спасение» 1887* г.—Это событие произошло 17 октября 1888 г.; в этот день потерпел крушение царский поезд, где находилась вся семья Александра III, Ни царь, ни его близкие при этом не пострадали.

Глава 12 СЕСТРЫ И БРАТЬЯ. СЕСТРА КАМИЛЛА

1 ...*положение... какого-то Вениамина.*— Вениамин — младший из сыновей библейского патриарха Иакова, родившийся в годы его старости. Этот образ А. Н. Бенуа использовал для своего литературного псевдонима «Вениаминов», под которым он в ряде случаев выступал в журнале «Мир искусства».

Глава 14 БРАТ АЛЬБЕР

1*Брат Алъбер.*— Близкие люди называли Альберта Николаевича Бенуа по-француз

ски — Альбером.

2...*это издевательство выразилось в знаменитой «Вампуке».*— Пародийный спек

такль «Вампука, невеста африканская: во всех отношениях образцовая опера» был

поставлен значительно позже, в 1909 г. в петербургском театре «Кривое зеркало».

Название «Вампука» происходит от одной из арий, где поется: «Вам пук, вам

пук,... цветов подносим». С тех пор это словцо стало ходячим для обозначения хо

дульных оперных штампов.

9 ...члены «Общества акварелистов» избрали его своим председателем.— Альб. Н. Бенуа был членом-учредителем «Общества русских акварелистов», основанного в 1880 г. (то же, что «Общество акварелистов» и «Императорское акварельное общество»). Сезон «Пятниц акварелистов>> в здании Академии

художеств открывался в октябре и кончался в начале апреля. На эти собрания допускались посторонние лица, а сами собрания носили характер литературно-музыкальных и художественных вечеров. Ежегодные выставки (до 1917 г.) устраивались в «Обществе поощрения художеств», в Академии художеств (1896—1900), в здании петербургского Пассажа. В правление Общества входили Альб. Н. Бенуа, Д. А. Бенкендорф и А. С. Егорнов, а почетными членами были избраны Н. П. Собко, В. Е. Маковский, М. К. Тенишева и Александр Н. Бенуа.

1 *И вот все это он бросил на произвол судьбы...*— Многочисленные произведения Альб. Н. Бенуа хранятся ныне в музеях СССР.

Глава 15 БРАТ ЛЕОНТИЙ

1 *Через год Леонтий принял участие в конкурсе на сооружение... храма.., на месте убиения государя.*— В открытом конкурсе па проект храма Воскресения Христова «на крови», то есть на месте смертельного ранения Александра II 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале (ныне канал Грибоедова) приняли участие многие архитекторы: Н. Л. Бенуа, А. И. Резанов, В. А. Шретер, А. М. Павлинов и другие. Первый тур конкурса не дал результатов. При повторном конкурсе, в котором принял участие и Л. Н. Бенуа, было оговорено требование строить храм «в чисто русском вкусе»; одобрение получил проект А. А. Парланда и И. В. Малышева. Строительство началось в 1883 г. и завершилось в 1907 г.

Примечания I , I , 20

2 ...в *фабричном поселке Гусь...*— Ныне город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

3...*сняты вместе с автором знаменитого дневника.*— Широкая известность М. К. Баш-

кирцевой (1860—1884) —русской художницы, работавшей во Франции (ее произ

ведения есть и в музеях СССР) — основывалась главным образом на успехе ее

«Дневника» (Journal de Marie Bachkirtseff. 1887), написанного на французском и

переведенного на основные европейские языки. См.: «Дневник Марии Башкирце-

вой». Пг.—М., 1916.

4...*среди последнего красовалась и знаменитая «Мадонна Бенуа» Леонардо да Вин*

чи...—Qu. II, с. 205—206.

Глава 16 БРАТ НИКОЛАЙ

1 *...в прелестном классическом здании Таможни...*— Здание, построенное в 1829— 1832 гг. архитектором И. Ф. Лукини (набережная Макарова 4), выдержанное в формах позднего классицизма. Его объем увенчан куполом на высоком барабане, а обращенный на Малую Неву фасад выделен восьмиколонным портиком. В настоящее время здесь помещается Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом).

Глава 17 БРАТ ЮЛИЙ

1 *...стройными рядами выступают гоплиты...*— тяжело вооруженная пехота в античной Греции.

Глава 18 БРАТ МИХАИЛ

1*...директорство пароходного общества «Кавказ и Меркурий»...* — Так называлось в

те годы Общество пароходства и торговли по Каме и Каспийскому морю.

2*...парк «собственной его величества дачи».*— Так назывался интимный дворец Алек

сандра II, построенный в 40-х гг. XIX в. А. И. Штакеншнейдером неподалеку от

Петергофа. Дворец был сооружен в духе французских особняков XVIII в. и окру

жен цветниками и парком.

Глава 20

РОДСТВЕННИКИ С МАТЕРИНСКОЙ СТОРОНЫ. ДЯДЯ СЕЗАР

1*...на Кирочной, насупротив того места, где начинается Надеждинская.*— Дом на

Кирочной улице (ныне улица Салтыкова-Щедрина) сохранился, над домом над

строен верхний этаж.

2...Варвара И. Икскулъ — Варвара Ивановна Икскуль фон Гильденбандт (рожд.

Лутковская, 1846—1929) —русская писательница и общественная деятельница.

3...*на публичных состязаниях в Юсупском саду.*— «Пейзажный» сад, разбитый в

90-х годах XVIII в. Д. Кваренги при перестроенном им же дворце Юсуповых на Садовой улице.

4...*постройкой больницы принца Ольденбургского...*— Больница принца П. Г. Ольден-

бургского (ныне им. К. А. Раухфуса), сооруженная в 1869 г., стала первой в-те

годы крупной детской больницей.

640

Примечания I , I , 21

5 ...я... *постарался, чтобы вся роскошная обстановка Оливов...* — Художественная коллекция, обстановка и убранство дома Е. П. и М. С. Олив были исключительными по ценности. Журнал «Старые годы» в апреле-июне 1916 г. посвятил собранию ряд очерков, выпущенных затем отдельным оттиском («Собрание Е. П. и М. С. Олив». Пг., 1916). Общий обзор составлен А. Трубниковым, старые портреты описаны С. Р. Эрнстом, убранство и обстановка — В. Я. Чемберсом, фарфор — С. Н. Тройницшм. В июне 1919 г. Управление Эрмитажа, действовавшее как учреждение Музейного фонда, в работе которого активнейшее участие принимал А. Н. Бенуа, возбудило ходатайство о регистрации собрания Олив и находившихся в одном с ним доме (Потемкинская ул. 9) коллекции С. С. Боткина (редкой старой мебели, фарфора и фаянса, картин русской школы живописи XVIII — начала XX ¾b.) и М. К. Горчакова (полотен Рокотова, Боровиковского, Каналетто, Лонги и др.). По типу создававшихся в те годы Музейным фондом домов-музеев или музеев быта во дворцах Строганова, Шереметева, Бобринского, Юсупова и Шуваловой в квартире Олив была создана выставка «быта XVIII века», включавшая французскую мебель эпохи Людовиков XV и XVI, люстры, жирондоли, картины Гюбер-Робера, Буше, Каналетто, Тьеполо, Левицкого, Щукина, Рослена, Ван Лоо и др., фарфор и множество иных антикварных предметов. В начале 1921 г. выставка была уже открыта и действовала около полутора лет, однако после осмотра домов-музеев выяснилось, что охрана их недостаточно обеспечена, и они стали закрываться. Вещи передавались в Эрмитаж и Русский музей.

* *Об Обере речь будет впереди...*— См. II, с. 94—99.

7*Дехтерев... удостоился... быть изображенным... в романе «Новь».*— Имеется в виду

Кисляков. А. Н. Бенуа еще раз возвращается к фигуре Дегтярева на стр. 598—601.

8...*какие чудеса творит вера и в наши дни.*— Лурд — городок

на юго-западе Фран

ции. Согласно местной легенде, в находящемся там гроте Масавьель в 1858 г. по

явилась Божья Матерь, из-за чего город сделался популярным центром паломни

чества верующих.

Глава 21 ДЯДЯ КОСТЯ КАВОС

1*Он был усердным читателем «Голоса» и «Нового времени».*— «Голос» (1863—1884) —

петербургская ежедневная газета умеренно-либерального толка, враждебная по

отношению к революционному движению. В описываемые годы издавалась под

редакцией В. А. Бильбасова. «Новое время» (1868—1917) — ежедневная газета кон

сервативного и националистического направления, издававшаяся с 1876 г. А. С. Су

вориным. Газета обрела скандальную известность, в частности, благодаря фель

етонам В. П. Буренина, реакционным по оценкам и обывательски-злобным по

тону.

2*...памфлет его по адресу «Наполеона маленького»...*— Памфлет «Napoleon le Petit»

(1852), написанный В. Гюго в изгнании и направленный против Наполеона III и осуществленного им государственного переворота.

3*Стены были обтянуты чинсом...*— Чине (или чинт — chint, chinte — франц.) —хлоп

чатобумажная обивочная ткань типа кретона.

4*„.эпоха, когда я до безумия увлекался мейнингенекими спектаклями,..*— См. I,

с. 509—510.

Глава 22 ДЯДЯ МИША И ДРУГИЕ ДЯДИ КАВОС

1*...Репин увековечил в знаменитом портрете...*— Ныне находится в *ГТГ*.

2*Это был первый мой визит... супругам-поэтам.*— См. II, с. 46—49.

3*В характерной полемике между нами и Репиным...*— А. Н. Бенуа вспоминает о тех

спорах, которые разгорелись между И. Е. Репиным и «Миром искусства» на про-

Примечания.!, 7, 24

641-

тяжении 1899 г. В одном случае И. Е. Репин («Нива», № 15) выступил против иронических оценок журналом польского художника Яна Матейко, которого сам он высоко ценил, в другом — «Мир искусства» (№№ 23—24) ополчился на И. Е. Репина за сочувственную интерпретацию творчества Брюллова, обвиняя его в непоследовательности взглядов.

Глава 23 МОЯ СОБСТВЕННАЯ ОСОБА

1*Моя собственная особа.*— Глава (в несколько измененной авторской версии) напе

чатана в кн.: «Александр Бенуа размышляет...» Подготовка издания, вступитель

ная статья и комментарии И. С. Зильберштейна и А. Н. Савинова. М., 1968.

2*...чуть ли не вторым Брюмелем.*— Бенуа дает французскую форму фамилии Брам-

мела Джорджа Бриана (1778—1840), известного в Англии начала XIX в. денди,

прозванного современниками «красавчик-Браммел».

3*Мистенгет* — псевдоним Жанны Буржуа (1875—1956) — французская звезда мюзик-

холла, театра и кино; *Шевалье Морис* (1888—1972) — популярный французский

шансонье.

4*...журнал... <(Мир искусства» был лишен какого-либо направления...*— Это утверж

дение А. Н. Бенуа справедливо лишь при том условии, если под «направлением»

действительно иметь в виду присутствие, как он выражается, «чего-то предвзято

го, что подчиняет свободу творческого излияния». В настоящем же смысле направ

ление у журнала, разумеется, существовало, и А. Н. Бенуа сформулировал одну

из его сторон двумя строками ниже: «мы повели борьбу против всего того, что в

русском художестве отражало идейные принципы предыдущего поколения». Если

говорить о программе художественного отдела журнала, в котором с годами уси

ливалось влияние А. Н. Бенуа, то очень многое в ней не совпадало с реально осу

ществляемой мирискусниками деятельностью. Например, противопоставляя прин

цип «свободного творчества» принципу «общественного служения» искусства, ис

поведуемому «предыдущим поколением», художники «Мира искусства» были на

деле отнюдь не чужды тому же общественному служению, причем вполне отчет

ливо осознанному: в своей издательской, выставочной или театральной практике

они выступали за живое развитие и обновление национальной художественной

культуры, боролись за ее обогащение путем сближения с западноевропейской ху

дожественной традицией. А. Н. Бенуа упоминает далее, что его «главным оппо

нентом» в этих вопросах оказывался Д. В. Философов, возглавлявший литератур

ный отдел журнала. Однако в понимании Философова «тенденциозность» художе

ственного творчества по существу сводилась к поискам религиозно-проповедниче-

ской миссии искусства. Философов не случайно поддерживал внутри редакции

«Мира искусства» живопись В. М. Васнецова, в котором он ценил не столько поэ

та и живописца, сколько национально-религиозного идеолога.

5*Поэзию от правды.*— Намек на название автобиографической книги И. В. Гете

«Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» («Из моей жизни. Поэзия и правда»,

ч. I—IV, 1811-1833).

Глава 24 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

1*Купил дом мой дед... кажется, в 1799 г.*— По сведениям Ф.

Ф. Бенуа, дом **был** при

обретен Л. Н. Бенуа в 1808 г. у полковника В. В. Баженова. С 1816 по 1832 г.

семья Бенуа жила в деревянном доме на Старой Офицерской **улице,** а затем пе

реехала в «дом Бенуа, что у Николы Морского».

2*...что его можно было приписать самому Кваренги.*— Фактические **подтверждения**

этому предположению неизвестны.

3*Под столом лежал пестрый ковер обюссон...*— **В XIX** в. **обюссонами называли вор**

совые ковры для пола. Обюссон — традиционный центр французского ковроткаче-

Примечания I , II , 1

ства, объединявший ряд мануфактур, выпускавших разные виды ковровых изделий.

4*Мозаика Салонов.*— Салонами называли во Франции выставки современного изо

бразительного искусства. Первоначально (с 1667 г.) они устраивались в Квадрат

ном салоне (Salon Carre) Лувра, откуда (уже во времена Людовика XV) и получи

ли свое наименование. Со временем название «салоны» стали присваивать не толь

ко ежегодным «салонам», но и другим выставочным организациям. Так во второй

половине XIX — начале XX вв. были основаны «Салон Независимых», «Салои Мар-

сова по,'1Я». «Осенний салон» и др.

5*...«Немецкая комната»* — точнее: G. Hirth. Das deutsche Zimmer der Gothik und Re

naissance, der Barokk-, Rococo- und Zopfstils. Munchen — Leipzig. 1886.

Часть И

Глава 1 ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В ПЕТЕРГОФЕ

1*„.один из тех «кавалерских» домов...*— Домов для придворных.

2*...я боялся двух менажерных фонтанов...*— Фонтаны

Золотого (марлинского) кас

када в Нижнем саду, обладающие необычно толстой струей. Толщина этих струй

обманчива, ибо в середине струи — пустота, образуемая пропуском воды через

кольцеобразную трубу. Этим достигается и экономия воды (menager *(франц.)* —

беречь) и наибольший эффект: в XVIII в. струи менажерных фонтанов поднимали

и поддерживали на высоте большие золоченые шары.

3 *...этих плавающих друг за дружкой уточек и преследующую их собачку.*— Этот

фонтан носит название Фаворитный, он имел в документах XVIII в. соответст

вующее пояснение: «Собака фаворитка гоняетца за утками по воде; тогда утки ей

сказали тако: ты напрасно мучися, ты де силу имеешь нас гнать, только не име

ешь силы поймать» (см. *Архипов* Я. Сады и фонтаны XVIII века в Петергофе. М.—

Л., 1931, стр. 20).

Глава 3 ЛЮБИМЫЕ ИГРУШКИ

1 *...мастерами Троицкого посада.*— Или Сергиева посада (ныне г. Загорск). Результатом увлечения А. Н. Бенуа народной игрушкой явилась в дальнейшем его небольшая книга «Русские народные игрушки» (СПб., 1905).

1 Хранилась модель Стрелинского вокзала...— Вокзала на станции Стрельна Балтийской железной дороги, построенного Н. Л. Бенуа.

s *...издание ((Зеленой библиотеки».*— Бенуа имеет в виду многотомное иллюстрированное собрание рассказов разных авторов для детей. Издавалось в 70-х годах XIX в. М. О. Вольфом на русском языке.

' *...я побывал в этом «зале моделей»...*— Основа коллекции архитектурных макетов (выполненных из пробки) была заложена еще Екатериной II, специально заказывавшей их для своего внука, будущего Александра I.

Глава 4 ОПТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ

1 *...то, что я говорю о праксиноскопе, относится к зоотропу и наоборот.*— Приборы описаны автором правильно.

1 ...его заимствовал я из записок А. Т. Болотова (18 в.)...— «Записки» А. Т. Болотова (1738—1833) были изданы в 1871—1873 гг. под заглавием «Жизнь и приключе-' ния Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738—1793».

Глава 5 ЛЮБИМЫЕ КНИЖКИ

1*Повесть «Казака Луганского»...*— «Казак Луганский» — псевдоним В. Й. Даля

(1801—1872). Его повесть «Похождения Х. Х. Виольдамура и его Аршета» .была

напечатана в 1844 г.

2*...рисунков... Ф. П. Толстого к «Душинъке» Богдановича...*— Мы сохраняем в данном

случае старинное написание заглавия этой книги (так же, как и имени ее героини).

Так значилось оно на титуле петербургского издания рисунков Ф. Толстого 1850 г.

3*...любимыми были «Мальчик с пальчик», «Белая кошечка» и «Красавица и чудо*

вище».— Это были сказки Шарля Перро, Мари Онуа и Мари Лепренс де Бомон.

Во французских и в дореволюционных русских изданиях «волшебные сказки» этих

авторов нередко издавались в одном переплете.

* *...в томике «Bibliothéque rose...»* — Имеется в виду серия изданий для юношества,

основанная в 1857 г. французским издательством Ашетт. 5 *...для эпохи juste milieu...*— эпохи, характерной политикой «золотой середины»,

проводившейся в царствование Луи Филиппа (1830—1848).

**...кориганы...*— крошечные гномы, духи бретонских легенд.

7*Берталъ* — псевдоним французского иллюстратора и карикатуриста Шарля Арну

(1820—1883), работавшего в журналах «Magasin pittoresque», «Journal pour rire», «Journal pour tous». *Буш Вильгельм* (1832—1908) и *Оберлендер Адольф* (1845— 1923) —немецкие карикатуристы, сотрудники журнала «Fliegende Blatter» и других изданий.

8...первого сотрудника «Punch»'a Dicky Doyle...—Дойль *Дик* (1824—1883) —англий

ский рисовальщик и карикатурист, печатавшийся в сатирическом журнале «Punch»

(«Петрушка»).

Глава 6 МУЗЫКА В МОЕМ ДЕТСТВЕ

1 ...*гимне торжествующей любви»...*— Выражение, навеянное повестью И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви», написанной в 1881 г.

**...«Кармен», которая до Петербурга доехала в 1882 или в 1883 г....*— Опера ffi. Визе

«Кармен» была впервые показана в Петербурге (итальянской труппой) 28 февра

ля 1878 г., а затем (на сцене Мариииского театра) — 30 сентября 1885 г,

5 ...*способствовал разрушению этого чудесного памятника...*— См. прим. 11, с. 632. Необходимость уничтожения Большого театра многими в те годы ставилась под сомнение, и в этих кругах считали, что на решение о его сносе в большой степени повлияла потребность в помещениях для Петербургской консерватории.

Глава 7 МОЕ ХУДОЖЕСТВО

1 *Колоссальное впечатление, произведенное на меня Библией Шнорра (о чем я расскажу в своем месте)..,.*— См. I, с. 362—363.

...как раз в Африке тогда погиб le Prince Imperial,*— **Речь идет о сыне Наполео

на 111 принце Евгении, прозванном «принц Лулу». Он погиб в 1879 г. в Африке,

приняв участие в войие англичан с зулусами.

3...*популярную «Историю искусств» Рене Менара...*— Имеется в виду «Histoire **des**

beaux-arts, ill·ustrce de 414 erravurcs représcntant les chefs d'oeuvre de l'art à toutes

les époques par Rene Ménarde». Paris, 1875.

4...*собирательное название «Les Annates du Musée».*— Annales du Musée et de l'Éco-

le Modcrne des Beaux-Arts. Paris, 1812—1822.

5*Особенное впечатление произвела на меня... выставка... в Академии художеств...*—

Имеется в виду VI выставка картин Общества выставок художественных произ

ведений (устав утвержден в 1875 г.), с 1876 г. устраивавшего периодические вы

ставки в залах Академии художеств.

*„..Верещагин.., обличал кумовство и протекционизм военных кругов...— Имеются

в виду полотно «Под Плевной» (1878—1879, *ГТГ)* и картина, позднее получившая

название «Адъютант» (1878—1879, местонахождение неизвестно).

4 ...изображающей голову Христа... на плате св. Вероники..,— Согласно одной из средневековых легенд, распространенных в западно-христианском мире, Вероника подала Иисусу Христу во время его шествия на Голгофу платок, на котором отпечатались черты его страдающего лица. Легенда легла в основу одного из сюжетов христианской иконографии*

8 *В 1885 г. ...Илья Ефимович начал писать портрет жены Альбера, Марии Карлов*-ны.*- Судя по дате на портрете, это происходило в 1884 г. Портрет М. К. Бенуа-Эфрон находится теперь в «Музее И. И. Бродского» в Ленинграде.

.• Грабарь неодобрительно отзывается об этом- незаконченном произведении Репина...— «Судя по началу, портрет и в закопченном виде не принадлежал бы к числу удачных репинских»,— заметил И. Э. Грабарь о портрете М. К. Бенуа-Эфрои в приложениях к своей монографии «Репин» (Мм 1937, с. 240).

Глава 8 ЛЕТО 1875 В ПАВЛОВСКЕ

1 *...повторением той работы Витали...* — Оба памятника (в Павловске и в Гатчине) представляют собой две одинаковые отливки с одной модели.

г ...гроссмейстер иоаннитов...— Мальтийский рыцарский орден (орден св. Иоанна, основанный в Иерусалиме в XI в.) в конце XVIII в. стал пользоваться покровительством Павла I. Когда (после французской революции) орден лишился своих владений во Франции, новое приорство ордена было учреждено в России в 1797 г. В 1798 г. был издан манифест об установлении в пользу российского дворянства ордена св. Иоанна Иерусалимского, и в том же году, после того как остров Мальта оказался занятым французскими войсками, резиденция ордена была перенесена в Петербург и в Гатчину, а Павел I избран его великим магистром. В 1798— 1800 гг. Д. Кваренги построил при Воронцовском дворце (Садовая ул., 26) католическую капеллу (с. 545) и православную церковь Мальтийского ордена; тогда же Павел I готовил флот для освобождения Мальты. Однако после смерти Павла популярность ордена пошла на убыль, и в 1817 г. было официально объявлено,

что орден в Российской империи более не существует.

3...*носящая шутливое название «Бип».*— См. I, с. 28.

4*А не взрослым ли ребенком он проехался по той же Европе...* — В 1781—1782 гг.

Павел Петрович и его супруга Мария Федоровна совершили по строго предписан

ному Екатериной II маршруту путешествие по Западной Европе под именем гра

фа и графини Северных. Описание их поездки в кн.: *Шильдер Н. К.* Император

Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901.

5*Vaux-Hall* — село под Лондоном, которое начиная с XVIII в. было местом гуляний

и увеселений сначала привилегированной публики, а затем и простонародья.

8 *Главач* Войцех Иванович (1849—1911) — чешский композитор и дирижер, переехавший в Россию в начале 70-х годов. С 1881 по 1886 г. он управлял ежегодными летними Павловскими концертами, а в сезоны 1876 и 1877 гг. дирижировал на концертной эстраде в саду в Озерках. Возможно, что в 70-х годах Главач выступал с отдельными концертами и на Павловской эстраде.

" Штраус Иоганн (1825—1899), впервые приглашенный для выступлений в Павловске в 1856 г., когда он еще не пользовался европейской известпостью, затем в течение десяти лет бессменно дирижировал концертами на Павловской эстраде. Возможно, что в последующие годы Штраус появлялся в Павловске уже в качестве гастролера. Последние концерты в России (в Павловске и Петербурге) он дал в 1886 г.

...авторам «La fille de madam Angot» и «La belle Hélenê».— Имеются в виду композиторы Ш. Лекок и /К. Оффенбах.

...прическа à ìa Capoule...— По имени французского певца Виктора Капуля (1839— 1924), гастролировавшего в Петербурге в 7ü-х годах.

*Примечания 1, II, 9*ß45

Глава 9 СНОВА В ПЕТЕРГОФЕ

1 .*„столбы этих ворот были украшены любимыми растреллиевскими шныркy ля-ми...*— *Шныркулъ* — причудливая декоративная деталь — от немецк. Schnirkcl или Schnorkel — необязательное украшение.

**.„были выкрашены в «казенные краски»: ярко-оранжевую и*

белую.— В желтую

и белую краски красилось в первой трети XIX в. большинство официальных и

множество частных построек, как современных, так и принадлежащих прошлому

веку и рассчитанных на иную раскраску.

3 *...о главнейшей достопримечательности Петергофа, о Монплезире.*— Монплезир — группа зданий на прибрежной полосе Петергофа с небольшим «голландским» дворцом Петра I, построенным в конце 1710-х годов И. Браунштейном, Ж. Леблоном. Н. Микетти. Отделка здания была закончена к 1721 г. при участии живописца Ф. Пильмана и резчика Н. Пино.

**Живопись, изображавшая пейзажи... сильно от времени поблекла...*— Это была жи

вопись известного пейзажиста и театрального декоратора XVIII в. И. М. Тонко-

ва (1739—1799).

8*...то были Марли и Эрмитаж.*— Обе постройки воздвигнуты в 1720—1725 гг. по про

екту И. Браунштейна.

**...искажение какого-либо финского слова...*— Бабигоны — искаженное финское па-

звание Papinkunta (поповский приход), здесь некогда (в шведские времена) на

ходилась приходская лютеранская церковь. Название «Царское Село» произошло,

по-видимому, от существовавшей там ранее «Сарской мызы», которая дала имя и

вновь возникшей резиденции.

7 *...под увитой плющом перголой...*— *Пергола* — пристройка, навес, длинный трельяж— сооружение из ряда арок или парных столбов, связанных между собой поверху деревянной решеткой и обсаженных вьющимися растениями.

**...в котором блистала Черрито...*— Имеется в виду итальянская танцовщица Фран

ческа (Фанни) Черрито (1817—1909), приехавшая в Петербург в 1855 г.

9*Первый из трех Бабигонских холмов украшен дворцом Бельведер...*— Здание, по

строенное А. И. Штакеншнеидером в 1852—1856 гг., с нижним массивным этажом

из серого гранита и верхним, облегченным, в виде греческого храма с мраморны

ми колоннами.

10...*силуэтом двухэтажной избы «Никольского домика».*— Домик «в русском стиле»

(1834), выстроенный А. И. Штакеншнеидером по желанию Николая I для импе

ратрицы. При первом посещении «домика» царицей Николай Павлович в качестве

сюрприза встретил ее у крыльца с хлебом-солью, одетый в форму гвардейского

инвалида-сторожа, и вывел всех своих детей, одетых в «русские» костюмы.

11...*построенному... немецким архитектором...*— А. Н. Бенуа без оснований называет

строителя Никольского домика «немецким архитектором». Андрей Иванович Шта-

кеншнейдер родился, сформировался и всю жизнь проработал в России.

12...*выездом à la Daumont...*— Имеется в виду упряжка, введенная в 3G`е годы XIX в.

во Франции герцогом Домоном.

КНИГА ВТОРАЯ

Глава 1 ПЕРВЫЕ ЗРЕЛИЩА

1 *„.спектакли фантошей Томаса Олъдена...*— Речь идет о спектаклях американского театра марионеток Томаса Олъдена, проходивших в Петербурге в сезон 1882— 1883 гг. Первое представление состоялось в театре «Ренессанс» (Офицерская, 35) 5 декабря 1882 г. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» (7 декабря 1882 г.) пи-

^" сала: «Американец Ольден довел механизм этих кукол до возможной степени совершенства. Они повторяют почти все движения живых людей. Его акробаты, клоуны, танцоры выделывают положительно изумительные вещи, раскланиваются с публикою, подражают всем приемам и ужимкам актеров,.. Публика осталась очень довольна представлением... от которого в особенный восторг приходили дети». Некоторое время спустя в представление были введены новые номера, среди которых особенно занимательным был «Электрический скелет», разнимавшийся по частям и снова складывающийся, и «Большой концерт негров», в котором шесть фигур играли на пианино, гитаре, бубнах и кастаньетах и пели галоп, хоровую песню, теноровое соло и комические шансонетки» («Санкт-Петербургские ведомости», 23 января 1883).

Глава 2 БАЛАГАНЫ

1*1874 год был последним (или предпоследним) годом устройства балаганов на Ад*

миралтейской площади...— Эту дату оспаривает Е. Кузнецов, опиравшийся на вос-

* поминания одного из предпринимателей петербургских театров «на балаганах* А. Я. Алексеева-Яковлева («Русские народные гулянья по рассказам А. Я. Алексеева-Яковлева в записи и обработке Евг. Кузнецова». JI.— М., 1948). По его словам, гулянья на Адмиралтейской площади были прекращены уже в 1872 г., а если это так, то А. Н, Бенуа, по-видимому, описывает свое посещение уже не Адмиралтейской площади, а Царицына Луга (Марсова поля). Подтверждается это тем, что среди упомянутых А. Н. Бенуа театров фигурирует театр «Развлечение и польза», а это заведение принадлежало как раз А. Я. Алексееву-

Яковлеву и устраивалось им на Царицыном Лугу после переноса гуляний па эту площадь. Более того, если доверять свидетельству Е. Кузнецова, то театр «Развлечение и польза» существовал на Царицыном Лугу с 1880 по 1897 г., а это противоречит и отнесению описываемого посещения балаганов к 1874 году. Вполне вероятно, что в своем образе петербургских балаганов А. Н. Бенуа невольно объединил те впечатления, которые накапливались у него за несколько детских лет» и к памяти о Масляной 1874 г. (с братом Ишей) присоединились воспоминания о последующих посещениях. А. Н. Бенуа рассказал о своих впечатлениях от петербургских балаганов в статье «Масленица (Воспоминания)» («Речь», 1917, 1 февраля), перепечатанной с добавлениями в кн. А. Лейферта «Балаганы». (Пг., 1922).

2*При лунном свете мой друг Пьеро* (Au claire de la lune mon ami Pierrot) —знаме

нитая французская народная песенка, музыка которой приписывается Ж.-Б, Люл-

ли (1633—1687).

3...*на далеком и грязном Семеновском плацу...*— Народные гуляния просуществова

ли здесь только до 1898 г. Ныне этот плац не существует. Он располагался между

Обводным каналом и Загородным проспектом, у полотна Царскосельской железной

дороги. До переноса на Семеновский плац балаганов это было место казней, так,

именно здесь в апреле 1881 г, были повешены причастные к покушению на Алек

сандра II члены «Народной волн».

4—е *каменном цирке Чипизелли.*— Цирк был построен на Симеоновской площади

(ныне пл. Белинского) в 70-х годах архитектором В. А, Кеннелем. Его директором

был Ч, Г. Чинизелли.

Примечания 11, 4

Глава 3 ТЕАТР

1*...совершил в 80 дней путешествие вокруг земного шара,*— Сюжет романа Жюля

Верна «Вокруг света в 80 дней».

2*...знаменитая Жюдик сообщала антрепризе особенный блеск.* — Псевдоним Апны

Дамьен (Damiens, 1850—1911), одной из лучших французских артисток оперетты.

После 1875 г. Жюдик неоднократно гастролировала в Петербурге.

3*.„тему, которой целиком посвящены мои специально балетные воспоминания.— Бе-*

ну а А. Н. Воспоминания о балете,—Русские записки, кн. XVI —XXL Paris, 1939

(заключительные главы этих воспоминаний публикуются в настоящем издании.

См. II, с. 503—550); более развернутый вариант: *Benois Alexandre.* Reminiscences

of the Russian Ballet. London, 1941 (повторные издания 1945 и 1947 гг.).

4*...одной фантастической повестью Теофиля Готъе.*— Имеется в виду новелла «Ом-

фала». О постановке А. Н. Бепуа балета «Павильон Армиды» см, II, с. 464—474.

8 *То была Вирджиния Цукки, появившаяся в Петербурге летом 1885 г.*— Вирджиния Цукки (1847—1930) гастролировала в России в 1885—1892 гг. сначала в частной антрепризе М. В. Лентовского, а затем в Мариинском театре, позднее танцевала в частных театрах Петербурга и Москвы.

**...в сцене, которая ей давала возможность показать всю силу своего темперамен*

та...— В «Воспоминаниях о русском балете» *(Benois Alexandre.* Reminiscences of the

Russian Ballet) А. Н. Бенуа подробно рассказывает о выступлении Цукки в отрывках

из «Брамы» (балет Ипполита Монплезира на музыку К. Даль Аржипи). Его описа

ние сцены Падманы и заговорщиков процитировано В. М. Красовскои в ее книге

«Русский балетный театр второй половины XIX в.» (Л.—М., 1963, стр. 452—453).

7*„освященные тени Лимидо, Дельэры».*— Имеются в виду

итальянские танцовщицы

второй половины XIX в. Джиованнина Лимидо и Антониста Дель-Эра, в разные

годы выступавшие в России.

8*...в ней «мало баллона»...*— Terre-à-terre— балетный термин, отвечающий танцу,

где преобладает впечатление не отрыва от земли, но напротив, устойчивости и опо

ры; ballon (воздушный шар.— *франц.)*— балетный термин, отвечающий способно

сти танцовщиков фиксировать различные позы в воздухе во время прыжков.

9*Теорба* — род лютни, бывшей в употреблении в XVI—XVII вв.

Глава 4 КУШЕЛЕВКА

1 *...пристанище «самому» Александру Дюма-отцу...* — А. Дюма побывал в России в 1858—1859 гг., совершив поездку из Петербурга в Москву, по Волге до Астрахани и далее — по Кавказу. О пребывании Дюма в гостях у Г. А. Кушелева-Безбородко А. Н. Бенуа мог слышать рассказы Д. В. Григоровича, сопровождавшего в свое время Дюма в великосветских визитах; а о днях, проведенных писателем в Астрахани—от семьи Сапожниковых (родственников жены брата Леонтия), в астраханском доме которых он останавливался. Описание своей поездки Дюма публиковал в 1858 г. в собственном журнале «Monte-Cristo» («De Paris à Astrakan»), а затем в двух книгах: <<En Russie» и «Le Caucase». Путешествие Дюма в Россию подробно описано в работе: *Дурылин С.* Александр Дюма-отец и Россия.— «Литературное наследство», т. 31—32. М., 1937.

**...дворец, построенный Кваренги...*— Сохранившийся до наших дней дом бывшей

усадьбы А. А. Безбородко сооружен по проекту Д. Кваренги в 1783—1787 гг. Ар

хитектор включил в качестве центральной части нового здания существовавший до

этого в усадьбе Полюстрово дом сенатора Г. Н. Теплова (возведенной в 1777 г.,

предположительно по проекту В. И. Баженова), в огромном парке Кваренги по

строил «Руину» — двухэтажный павильон с помещением для библиотеки, и «Ротоп-

ДУ» — двеиадцатиколопиый круглый павильон с бронзовой

статуей Екатерины II в

виде Цереры по модели Д.-И. Рашетта (1744—1809). (См.: «Fabbriche e discqni di

¾48*Примечания 11, 5*

Giacomo Quarenghi architetto di S. M. L'Imperatore di Russia cavaliere di Malta e di S. Woiodimiro». Milano, 1821). В 40-х годах дворец Кваренги был основательно перестроен, в 1896 г, в усадьбе поместилась Елизаветинская община сестер милосердия, и фасад здания был опять отделан заново. Ныне здание бывшего дворца занимает больница.

8 *От «моей» Кушелевки к... образованию «Общества охраны памятников»,— лежит прямой путь.*— О большинстве этапов этого пути А. Н. Бенуа подробно рассказывает в кн. IV—V «Моих воспоминаний». «Русское ими. общество защиты и охранения памятников искусства и старины» было основано в 1911—1912 гг. А. Н. Бенуа способствовал его деятельности, войдя в «Комиссию по изучению и описанию Старого Петербурга».

* *Самая церковь.., была построена отцом в 50-х годах...* — Церковь св. девы Марии была построена Н. Л. Бенуа на Выборгском католическом кладбище в 1856 — 1858 гг. (кладбище не сохранилось).

8 *...в качестве синдика св. Екатерины...* — В пределах петербургской «немецкой колонии» (по примеру Западной Европы), синдиками называли и старост церквей, и лиц, ведущих судебные или иные гражданские дела различных учреждений.

8 *...посетить... кабинет восковых фигур.*— Музей восковых фигур типа паноптикума существовал в описываемые А. Н. Бенуа годы в Кронверкском парке па Петербургской стороне, устроенном еще в середине XIX в.

7*...Литейного моста еще не существовало...* — Литейный мост строился по проек

ту инженера А. Е. Струве в 1875—1879 гг.

Глава 5 ПЕРВАЯ ШКОЛА

Ъ% Фребель Фридрих (1782—1852) — известный немецкий педагог, создатель популярной системы воспитания детей младшего возраста. Система предусматривала усвоение гигиенических навыков, изучение естествознания, математики, закона божия. Фребелю принадлежит само понятие «детского сада» (Kindergarten), означавшего уголок естественной природы, а в переносном смысле — идею выращивания юношества. 2 *...большие во всю страницу картины... принадлежали... немецкому*

художнику Шнорру... — «Библия в картпнах» Ю. Шнорра фон Карольсфельда (1796—1872) издавалась в Лейпциге в 1852—1860 гг. и содержала 240 гравюр на дереве по его рисункам. Издание приобрело большую популярность в Германии и других странах.

8*„.отвечали программе передвижников, ибо изображали... печальные события из*

крестьянского быта...— А. Н. Бенуа разделяет здесь то искаженное представление

о передвижнической «программе», которое распространялось в некоторых художе

ственных кругах начала XX в. «Изображение печальных событий из крестьянско

го быта» было типично не столько для передвижников, сколько для предшествую

щего периода русского искусства — для «шестидесятников», для В. Г. Перова.

В пору расцвета передвижнического искусства в 70—80-е годы подобные темы

отошли на второй план. Достаточно сказать, что они не были характерны для та

ких столпов передвижничества, как И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. Н. Крамской,

Н. И. Ге.

Глава 6 РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА

1 *...от Жени особенно доставалось лорду Биконсфилъду.*— Лорд Биконсфильд возглавлял английскую делегацию на Берлинском конгрессе в июне — июле 1878 г., где рассматривались условия Сан-Стефанского договора между Россией и Турцией. В русско-турецком конфликте 1877—1878 гг. Англия занимала позицию, враждебную России.

Примечания II , 8

649

2 *Премьера состоялась не то в конце 1877 г., не то в начале 1878 г.*...Балет (в

постановке М. И. Петипа) был впервые показан 29 января 1878 г. и явился реакцией балетной сцены на балканские события. Поверхностные, по существу сюжетно-ассоциативные отклики на события современной жизни были вообще типичны для императорской сцены. Так, постановка «Дочери фараона» в 1862 г. была навеяна интересом к Египту, связанным со строительством Суэцкого канала, а «Дочери снегов» (1879)—

общественным вниманием к полярным экспедициям А. Е. Норденшельда. Казенно-аляповатый дух подобных откликов, характерный не только для сцены, но и для официально-мещанской прессы тех лет, был одной из причин неизменной иронии, с которой А. И. Бенуа описывает реакцию широких общественных слоев на ход русско-турецкой войны.

* *...чуть ли не сам Гурко.*— Генерал И. В. Гурко — один из деятелей войпы 1877— 1878 гг., с именем которого связаны наиболее успешные операции русских войск: занятие балканских проходов, поражепие турок под Уфланы, Казанлыком, преследование разбитых турок до Адрианополя и др.

4 *...я увидел «Панихиду на поле битвы»...*— Имеется в виду картина «Побежденные. Панихида» (1877—1878, Г7Г).

8 *...я был одним из первых, кто еще в 90-х годах восстал против его «абсолютной» славы...*— А. Н. Бенуа имеет в виду свою главу о русской живописи, написанную для «Истории живописи в XIX веке» Рихарда Мутера (см. I, с. 685—690). В. В. Верещагин получил там чрезмерно критическую оценку. Его произведения, по словам А. II. Беиуа, «оставляют очень грубое впечатление,— опи колоритны. по жидки и скучны по композиции». Тем не менее, уже в этом очерке присутствуют и другие, более обобщающие определения, отдающие должное вкладу художника в развитие батальпой и шире — реалистической русской живописи. «Он хотел представить войну такой, как она есть, а не такой, как ее изображали в аллегориях, и в этом смысле он тоже был пионером реализма, что дает ему право запять если не высокое, то во всяком случае почетное место в истории развития того принципа, который руководит современным искусством». В кн.: *Muther R.* Geschichte der Malerei in XIX Jahrhimdert. Berlin, 1893—1894. Русское издание главы А. Н. Бенуа: Русская живопись в XIX веке. М.. 1900. с. 40. 42.

0*...панорама Пиглъхейна, изображавшая Голгофу.*— Панорама «Древпий Рим

с триумфальным шествием Константина», написанная Шандором (Александром)

Вагнером (1838—1919) по архитектурным эскизам Бюльмана, была впервые по

казана в Мюнхене в 1888 г. Панорама «Распятие Христа», созданная в 1886 г.

Бруно Пигльхейном (1848—1894), сгорела в Вене в 1892 г.

Глава 8

ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА I. ЦАРЕУБИЙСТВО 1 МАРТА

1...*с парижского покушения в 1867 г.*— Первое покушение на Александра II было

совершено 4 апреля 1866 г. в Петербурге Д. В. Каракозовым (1840—1866), членом

московского народнического кружка «ишутинцев», второе — **6 июня** 1867 г. в Па-

рпже А. И. Березовским (1848—1907), польским революционером, участником

польского восстания 1863 г.

2...*в odiiy из таких прогулок...*— Соловьев А. К. (1846—1879) — революционер-па_род-

ник. примыкавший к обществу «Земля и воля», стрелял в царя 2 апреля 1879 г.

на Дворцовой площади.

8 ...*произошло еще несколько террористических актов...* — Покушения готовились по решению Исполнительного комитета партии «Народпая воля». Ряд неудавшихся покушений завершился событиями 1 марта 1881 г.. когда па набережной Екатерининского канала первой бомбой, брошенной И. И. Рысаковым, была разбита карета царя, а второй (брошенной И. И. Гриневпцким) были смертельно ранены и царь и метальщик. 3 апреля 1881 г. в Петербурге были повешены причастные к делу «первомартовцы» А. И. Желябов, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, С. Л. Перовская, И. И. Рысаков.

Примечания IT , 11

** Фотографии с лежащего в гробу... государя... висели затем годами в папином кабинете...* — Подобные фотографии были распространены тогда не только в том относительно высокопоставленном общественном слое, который описывает А. Н. Бе-нуа, но и в более широких демократических кругах. Например, одну из таких фотографий можно было видеть на стене комнаты вернувшегося ссыльного в картине И. Е. Репина «Не ждали» (1884, *ГТГ)*. Позднее, при переработке холста в 1885 г. художник сделал изображение менее узнаваемым.

Глава 11 КАЗЕННАЯ ГИМНАЗИЯ

1*Меня определили в гимназию императорского «Человеколюбивого общества». —*

Благотворительное общество, основанное Александром I в

1802 г. и в течение

XIX в. расширявшее свою деятельность на основе правительственных субсидий и

частных пожертвований. В его задачи входило оказание помощи бедным — меди

цинской, образовательной и т. п. Обществу были подведомственны школы, боль

ницы, приюты, богадельни. Гимназия, в которой учился А. II. Бенуа, находилась

на Крюковом канале, против церкви Николы Морского. Здание сохранилось.

2*...в «Русском доме» Сент-Женевьев де Буа...* — Имеется в виду дом призрения при

колонии русских эмигрантов, существовавшей с 1927 г. на юго-западной окраи

не Парижа. Здесь образовалось обширное русское кладбище, где похоронены мно

гие деятели русской культуры — И. А. Бунин, К. А. Коровин, З. Е. Серебрякова

и др. многочисленные представители русской эмиграции.

Глава 12 «ЗАГРАНИЦА»

1*Особенно это чувствовалось на площади... Жандарменмаркт.* — Семь лет до янва

ря 1822 г. Гофман жил в доме, окна которого выходили на Жандарменмаркт (Жан

дармский рынок) и последняя его новелла «Угловое окно» — это ряд сцен, кото

рые он наблюдал из своей квартиры в рыночный день, когда на площади кипела

пестрая толпа.

2*Ряд старых домов Schlossfreiung...*— Шлоссфрайунг — старинная улица Берлина,

примыкавшая к королевскому дворцу и соединявшая Жандарменмаркт с рекой

Шпрее.

Глава 13 VENUSBERG

1 *Гора Венеры.*— Немецкая народная легенда называет «горой Венеры» одну из гор в Тюрингском лесу, где, по преданию, находится «грот» богини любви Венеры. Попавший в этот «грот» миннезингер Тангейзер много лет пребывает во власти Венеры, предаваясь любовным утехам. Использовав эту легенду в опере

«Тангейзер», Р. Вагнер противопоставил царству Венеры с его чувственными наслаждениями образ невесты Тангейзера Елизаветы — олицетворение чистой и преданной любви, к которой, покинув Венеру, и устремляется легендарный певец. Для А. Н. Бенуа заглавие «гора Венеры» — всего лишь тема его отроческого чувственно-эротического опыта (а вместе и не лишенный легкой иронии отклик на характерные для интеллигенции рубежа веков «ходячие» идеи). Однако любопытно, что следующую, III часть воспоминаний, написанную, кстати, и в более «целомудренных красках», А. Н. Бенуа посвятил «роману жизни» со своей невестой и будущей женой А. К. Кинд. По замыслу автора, таким образом,

Примечания II , 15

651

чередование любовных эпизодов в «Воспоминаниях» должно было в какой-то мере ассоциироваться с восхождением Тангейзера от язычески-чувственных радостей к нерушимо-духовному любовному союзу. *1 Бурбаки* Шарль (1816—1897) — генерал, командовавший французскими войсками во времена Крымской (1853—1856 гг.) и франко-прусской компаний (1870—1871).

3*...воспитывалась она в Патриотическом сиротском институте...* — Учебное заведе

ние благотворительного «Императорского женского патриотического общества»,

основанного в Петербурге в 1812 г. и вошедшего затем в ведомство учреждений

императрицы Марии.

4*...обомлел я перед «Помпеей» Брюллова... восторженное описание которой я читал*

у Гоголя.— В статье «Последний день Помпеи (картина Брюллова)», написанной

в 1834 г.

ð *...начитавшись Жозефа Балъзамо...* — Роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо», посвященный приключениям знаменитого в Европе второй половины XVIII в. мага-шарлатана Жозефа Бальзамо (графа Калиостро).

6 *...странную повесть, которую так зло пародировал Достоевский в «Бесах».* По мнению исследователей творчества Ф. М. Достоевского, «Mercі» Кармазинова, прочитанное им с эстрады на празднике «в пользу гувернанток» («Бесы», ч. III, гл. первая «Праздник») —пародия на содержание и стиль сразу нескольких произведений И. С. Тургенева 60-х годов («Довольно», «Призраки», «По поводу «Отцов и детей»),

Глава 14 ПЕРВОЕ ПРИЧАСТИЕ

1.*„под которыми были похоронены последний король польский и ˆзнаменитый*

французский полководец» генерал Моро.— Имеются в виду король Станислав Ав

густ Понятовским, отрекшийся от престола в 1795 г. и умерший в Петербурге в

1798 г., и генерал наполеоновской армии Ж. В. Моро, перешедший после изгнания

его Наполеоном из Франции на сторону союзников и смертельно раненный в

1813 г. под Дрезденом.

2.*..познакомил русских людей с изобретением Ниепса и Дагерра.* — П. Ииепс и

Л. Дагерр изобрели в 30-х годах XIX в. способ химического закрепления на ме

таллической пластинке изображения в камере-обскуре (дагерротип), и открыли

тем самым эру фотографии.

Глава 15 «НАВЕРХУ»

1 *...соперником какого-нибудь Фаринати...* — А. Н. Бенуа, видимо, вспоминает о Карло Фаринелли (1705—1782), итальянском певце-кастрате, снискавшем громкую славу выступлениями на европейских сценах первой половины XVIII в.

г ...Толстой счел нужным сочинить на ту же тему целую комедию...— Имеются в виду «Плоды просвещения» (1880).

3 *...превратил это занятие в нечто как бы профессиональное...* — А. Н. Бенуа необъективен по отношению к Н. К. Рериху. На его оценках сказались те трения между художниками, которые возникли еще в 90-е годы и углубились в 1900-х годах (см. II, с. 414). То, что А. Н. Бенуа имеет в виду, говоря об «общении с духами», было связано с активным интересом Н. К. Рериха к буддийской философии, особенно развившимся в годы эмиграции. В послереволюционные годы Н. К. Рерих переселяется в Индию, где пытается непосредственно соприкоснуться с истоками своей новой веры. Он посвящает себя, с одной стороны, научным исследованиям, для которых предпринимает опасные и сложные экспедиции в наименее исследованные районы Центральной Азии, а, с другой стороны,— живопи-

си, где реализует свои эмоциональные, нередко мистические прозрения. Произведения Рериха поздией поры намного уступают по художественной значимости ранним, русским картинам мастера, однако лучшие из них несомненно искренни и продиктованы новым для Рериха восприятием мира. Как бы ни оценивать их живописный уровень, они едва ли заслуживают тех упреков в спекуляции, которые звучат в высказывании А. Н. Бенуа.

Глава 16 ГИМНАЗИЯ МАЯ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

1 *...под знаком частной гимназии Мая.*— Средняя школа Карла Ивановича Мая (1820—1895) была одним из лучших частных средних учебных заведений Петербурга. Ее основатель ставил целью применение учений Песталоцци, Дистервега и Фребеля в педагогической практике. Первоначально (1857) школа была открыта как реальное училище, в 1862 г. было добавлено коммерческое отделение (закрыто в 1906 г.), а в 1865 г.— гимназическое отделение с полным курсом древних языков, которому в 1882 г. были присвоены права правительственных гимназий. Преподавание велось на русском и немецком языках, т. к. около половины учащихся были немцами (также французы и англичане), а в самом составе предметов ощущался определенный художественный уклон: во всех классах преподавалось рисование (существовали, кроме того, вечерние классы рисования), преподавалась история искусств, ученики совершали экскурсии в музеи (Эрмитаж, Училища Штиглица, Академии художеств) и посещали под руководством преподавателей выставки. Из «клана Бенуа» в гимназии К. И. Мая учились, кроме Александра Николаевича, Альберт Николаевич, Николай Альбертович, Николай Леонтьевич, Юлий Юльевич и Карл Бенуа. В годы учения А. Н. Бенуа школа

ь К. И. Мая помещалась па 10-ой линии Васильевского острова в доме № 13. См. кн.: «1856—1906. Пятидесятилетие школы К. И. Мая». СПб., 1907.

2*...встретил... на Ринге...* — Рипг — главная улица Вены, образующая кольцо вокруг

центра города.

3*...преподавал он... по системе перипатетиков, расхаживая по классу...* — Перипа

тетики — последователи Аристотеля в античной философии. Их прозвище обус

ловлено манерой Аристотеля прогуливаться во время лекций со своими ученика

ми (греч. лер1лат£(о — прохаживаюсь).

** Перед растроганным директором... прошло «Шествие рек» в соответствующих костюмах.—* Это гимназическое представление было навеяно «Парадом рек» из балета «Дочь фараона», шедшего в те годы на императорских сценах. «Божество Нила» торжественно встречало там героиню балета Аспиччию, которую приходили приветствовать и реки всего мира: Гвадалквивир, Темза, Рейн, Хуанхе, Тибр, Нева (в московском спектакле — Москва-река). Каждая река-тапцовщица исполняла соответствующий национальный танец, при этом русские реки выступали в костюмах боярышень. В главе 3 «Мое художество» (с. 554—556) А. Н. Бенуа рассказывает, что как раз осенью и зимой 1886—1887 гг. он был целиком захвачен балетом «Дочь фараона» с Цукки в заглавной роли и в течение нескольких месяцев занимался у себя дома его постановкой в качестве кукольного спектакля. Это заставляет предположить, что и гимназическое «шествие рек» в честь К. И. Мая осенью 1886 г. было тоже «делом рук» А. Н. Бенуа, а тем самым и ОД" ним из наиболее ранних его «режиссерских» начинаний.

5 *Н. К. Рерих..ь вспоминает в своих мемуарах не без умиления об этом дебюте.— Рерих Н.* Листы дневника. Полвека (1937).—В кн.: *Рерих Н. К.* Из литературного наследия. **М., 1974,** с. 84, **Н. К.** Рерих, по его собственным словам, изображал Волгу,

Глава 17 ГИМНАЗИЯ МАЯ. ТОВАРИЩИ

**...выражение «импрессионизм» стало известно широкой публике только по выходе*

в свет нашумевшего романа Золя «Труд».— А. Н. Бенуа имеет в виду роман

«L'Oeuvre» («Творчество», 1886), появившийся спустя двадцать лет после того

как Золя начал борьбу за признание Мане и других импрессионистов. В романе

читатель встречается пе только с термином «импрессионизм», но и с характер

ными фигурами нового художественного движения. «В образах персонажей ро

мана,™- пишет А. А. Аникст в статье «Золя и искусство»,— возрождается к жиз

ни батиньольский кружок живописцев; мы легко узнаем в писателе Сандозе са

мого Золя. Что же касается героя, то отчасти ои напоминает Мане, отчасти Моне,

отчасти Сезанна, а в целом Клод Лантье, конечно, ни тот. пи другой, пи третий,

а вымышленный образ, вобравший в себя черты художников, которых знал и на

блюдал Золя...» — Сб.: «Импрессионисты, их современники, их соратники». М.,

1976, с. 191.

2*Даже... И. Е. Репин... имел о них [импрессионистах] очень слабое представле*

ние...— Живя в Париже в 1873—1876 гг., Репин с интересом следил за творчеством

импрессионистов. В 1875 г. он увлекся искусством Э. Мане и сообщал В. В. Ста

сову, что панисал «портрет Веры à la Manet» (жены художника, см.: *Ре*

пин И. Е. и *Стасов В. В.* Переписка, т. I. 1871—1876. М.— Л., 1948, с. 120, 239).

Во второй половине апреля 1876 г. Репин побывал в мастерской Мане на ул. St.-

Petersbourg, где художник устроил выставку своих картин, не принятых в Салон,

предварительно разослав знакомым пригласительные билеты. В том же письме

Рении с удовлетворением сообщает Стасову, что и И. С. Тургенев под влиянием

Э. Золя «начинает верить в импрессионистов» и вспоминает, как он сам до этого

защищал импрессионистов в своем споре с Тургеневым (там же, с. 132). Делился

Репин своими впечатлениями от импрессионистов и с И. И. Крамским. Подроби

нее: «Александр Бенуа размышляет...» М., 1968, с, 195—196.

З*Будем веселиться.*— «Гаудеамус игитур» *(лат.)* — начало старинной студенческой

песни. Музыка фламандского композитора Жана Окегема (ок. 1430—1495).

Глава 18 ФИЛОСОФОВЫ

**...мать Димы была... знаменитой на всю Россию...*— Философова Анна Павловна

(1837—1912) — одна из активных русских общественных деятельниц. Вместе с

А. Н. Бекетовым, Е. И. Конради, Н. В. Стасовой, К. Н. Бестужевым-Рюминым

А. П. Философова была в числе учредителей петербургских высших (так назы

ваемых «бестужевских») женских курсов (1878). Домашняя жизнь Философовых,

на фоне неизменной преданности супругов друг другу, характеризовалась обост

ренными идейными конфликтами, достигшими особенного накала на рубеже 70-х

в 8Ü-х годов, когда В. Д. Философов вел борьбу с заговорщиками, а А. П. Фило

софова была выслана правительством за границу за ее сочувствие освободитель

ному движению. Позднее, когда в имении Философовых Богдаиовском начались

заседания участников будущего «Мира искусства», а затем и самой редакции

журнала, на смену спорам А. П. Фплософовой с мужем пришли ее столкновения

с сыном и его друзьями, мировоззрение которых

складывалось в борьбе с теми

«идеалами 60-х годов», в которых воспиталась сама А. П. Философова. Этими

расхождениями во взглядах объясняется во многом и тот иронический тон, ко

торым пронизан отзыв А. И. Бенуа, Более объективную оценку личности А. П. Фп

лософовой А. Н. Бенуа дал в газете «Речь» (15 ноября 1915 г.), в рецензии на

книгу А. В. Тырковой «Анна Павловна Философова и ее время» («Сборник па

мяти Анны Павловны Фплософовой», т. 1. Пг., 1915), в которой собраны обшир

ные материалы о семье Философовых и, в частности, об отношении А. П. Фила-

софовой к кругу друзей ее сына в период образования «Мира искусства».

654

Примечания II , 19

2 ...особенно примечательны были портреты Дмитрия (Ивановича?) Философова,-ˆ писанный Кипренским,.. — Портрет Дмитрия Николаевича Философова кисти Кипренского находится ныне в Музее изобразительного искусства Армянской ССР в Ереване; портрет М. М. Философовой работы Венецианова — в *ГТГ,* портрет В. Д. Философова ребенком — в Псковском обл. краеведческом музее. Исследователи высказывают сомнение в принадлежности портрета В. Д. Философова и упоминаемых далее А. Н. Бенуа изображений интерьеров дома Философовых в Богдаповском кисти одного живописца (см.: *Алексеева Т.* Художники школы Венецианова. М., 1958, с. 175).

s *...еде, вероятно, он находится и по сей день.*— Картина «Кухня» находится в *ГРМ,* однако до сих пор окончательно не установлены ни авторство по отношению к ней Г. А. Крылова, ни факт его ученичества у Венецианова. (См.: *Алексеева Т.* Художники школы Венецианова. М-, 1958, с. 175).

Глава 19 ОКОНЧАНИЕ ГИМНАЗИИ

1 *...снова приехали мейнингенцы..,*— Имеются в виду спектакли немецкого Мей-нингепского театра, основанного в г. Мейнингене, столице Саксен-Мейнингепско-го герцогства. В 1866 г. его главным режиссером становится Л. Кронек, под руководством которого театр в 1884—1890 гг. гастролировал в

европейских странах, дважды (в 1885 и 1890 гг.) посетив Петербург. Основными для театра были пьесы классического репертуара — Шиллера («Разбойники», «Мария Стюарт», «Дон Кар-лос», «Лагерь Валленштейна», «Пикколомини», «Смерть Валленштейна», «Вильгельм Телль» и др.), Шекспира («Гамлет», «Укрощение строптивой», «Юлий Цезарь» и др.). Ставились также пьесы Гете, Мольера, Грильпарцера и др. Важнейшее значение придавалось художественной цельности в исполнении режиссерско-* го замысла, достигаемой тщательной слаженностью всех элементов спектакля. О гастролях 1885 г. см. I, с. 553—554.

Глава 20 ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГЕРМАНИИ

**Обераммергау* — баварское селение, где начиная с 1634 г., по обету, данному

местными жителями, раз в десять лет разыгрывалась мистерия «Страстей господ

них». Наиболее ранний текст относится к 1662 г., новейшая обработка текста и

музыки принадлежит А. Дайзенбергу и Ф. Фельдингу (1890). В период, описы

ваемый А. Н. Бенуа, мистерия исполнялась в специальном театре, вмещавшем око

ло четырех тысяч зрителей, в игре участвовали более сотни жителей деревни,

выступавших в качестве актеров, певцов и статистов. Вместе с тем уже в эти

годы зрелище начинало принимать характер представления для туристов, соби

равшего множество приезжих со всех концов Германии и иностранцев.

2*...замок Лихтенштейн (манивший меня благодаря роману Гауфа)...*— Имеется в

виду роман «Лихтенштейн», появившийся в 1826 г.

3*...трехэтажного особняка, построенного у самых «Пропилеи»...* — «Пропилеи» —

триумфальные ворота с классическим портиком и двумя фланкирующими баш

нями, сооруженные в 1846—1860 гг. архитектором Л. Кленце (1784—1864).

**...я не знаю, что вообще сталось с моими коллекциями, картинами, книгами...*—

В 1923 и 1924 гг. А. Н. Бенуа, в то время заведовавший картинной галереей

Эрмитажа, дважды направлялся в командировки во Фрапцию и Германию для оз

накомления с новейшими достижениями музейного дела и искусства, проведя

за границей в общей сложности более двух лет. В октябре 1926 г. А. Н. Бенуа

вновь был командирован, но на этот раз за свой счет для устройства своей пер

сональной выставки во Франции. Из этой поездки А. Н. Бенуа не возвратился,

однако должность заведующего картинной галереей оставалась за ним вплоть до

17 октября 1930 г. (См.: личное дело А. Н. Бенуа в архиве Гос. Эрмитажа). Все

Примечания III , 2

эти годы в квартире А. Н. Бенуа сохранялась его библиотека, архив и огромное количество художественных произведений, фотографий и репродукций. В 1932— 1933 гг. все эти ценности — среди пих более 50 работ маслом, около пяти с половиной тысяч (23 папки) рисунков, акварелей и гуашей, около 40 связок с рукописями, более 270 папок с репродукциями и т. п. были переданы в Русский музей, где находятся и поныне. Репродукции с произведений иностранных мастеров переданы в музей Академии художеств, подлинные вещи — в Гос. Эрмитаж.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава 1 «РОМАН ЖИЗНИ»

1*Избирательные сродства.*— Wahlverwandschaften — устаревший научный термин,

ставший популярным в немецком языке после появления в 1809 г. одноименного

романа И. В. Гете. На русский язык название романа переводилось вначале как

«Сродство душ» *(Гете.* Собр. соч. в переводе русских писателей под ред. Гербеля,

т. 8. СПб., 1879), а затем как «Избирательное сродство» (Собр. соч. в переводе

русских писателей. Изд. 2-е, т. 5, СПб., 1893; Собр. соч. в 13 т. Юбилейное изда

ние, т. 6. М.—Л., 1934).

2*...прелесть знаменитых любовных историй, начиная... с «Дафниса и Хлои».*—

Имеется в виду античная пастушеская повесть (роман-идиллия) «Дафнис и

Хлоя», написанная на греческом языке, приписываемая легендарному автору Лон-

гу и датируемая предположительно II в. нашей эры.

3*Флик и Флок.*— «Flick und Flock Abentener» («Приключения Флик и Флок») —

комедийный балет, впервые поставленный Полем Тальони в 1858 г. на сцене Бер

линского оперного театра, прижился затем на сценах многих

европейских теат

ров и на домашних сценах, став популярным любительским спектаклем.

4...*автор либретто оперы «Фпейшютц»...*— Либретто оперы «Фрейшютц» («Вольный

стрелок», 1820, музыка К. М. Вебера, 1786—1826, название оперы переводилось в

XIX в. и как «Волшебный стрелок») было составлено дрезденским актером и ад

вокатом Фридрихом Киндом по одноименной новелле П. Апеля из сборника «Кни

га привидений».

8 *«Расточитель»* — пьеса австрийского драматурга Ф. Раймунда (1790—1836), написанная в 1834 г.

Глава 2 МУЗЫКА У КИНДОВ. РАРÄ КИНД. НАША РЕЛИГИОЗНОСТЬ

1...*разыгрывались оркестром «Гармонии»...* — Общество музыкантов-любителей

«Гармония», основанное в 1883 г., помещалось в Соляном городке, в здании Педа

гогического музея. Здесь 2—3 раза в год устраивались увеселительные семейные

вечера, председателем был А. А. Майер, дирижером Р. В. Циммерман, а почетны

ми членами А. Н. Макаров и Карл Иванович Кинд.

2*Лешетицкий* Теодор (1830—1915) —польский пианист и педагог. С 1862 по

1878 год профессор Петербургской консерватории.

3...*роскошное фолио «Эллада и Рим» Фальке (перевод с немецкого).*— Имеется в

виду книга «Эллада и Рим. Культурная история классической древности Якова

Фальке» (Якоб Фальке, 1825—1897), изданная в Петербурге А. С Суворины в

1881 г.

* *Один из любимых наших музеев... в залах «Общества поощрения художеств».*— Это был Художественно-промышленный музей, организованный в конце 70-х — начале 80-х годов XÎX в. в новом помещении Общества на Большой Морской улице (ныне ул. Герцена). Инициатором его устройства был писатель Д. В Гри-

горович, около 15 лет (с начала 60-х до середины 80-х годов) состоявший секретарем «Общества поощрения художеств». Музей объединял различные коллекции прикладного искусства, в

частности по истории стилей и орнаментов. При музее была открыта постоянная выставка-продажа картин.

5*...в третьем действии «Piccolomini»...* — А. Н. Бенуа имеет в виду спектакль Мейнил-

генского театра, показавшего в 1885 г. в Петербурге всю «Трилогию Валленштей-

на» Ф. Шиллера («Лагерь Валленштейна», «Пикколомини» и «Смерть Валленштей-

на»).

6*Книги Штрауса или Ренана...*— Имеются в виду книги «Жизнь Иисуса» (Das Leber)

Jesu, 1835) немецкого историка и философа Д. Ф. Штрауса (1808—1874) и «Жизнь

Иисуса» (Vie de Jésu) французского филолога и историка Ж. Э. Ренана (1823—

1892). Оба автора представляли либеральную школу изучения «жизни Иисуса»,

которая тяготела к изображению Иисуса как конкретно-исторического персонажа и

даже романического героя. Книги получили в XIX в. большую известность не толь

ко в западноевропейских странах, но и в России. В частности, книга Штрауса

произвела большое впечатление на Александра Иванова.

7*...в лютеранской церкви св. Анны на Кирочной.*— Лютеранско-немецкая церковь

св. Анны (Кирочная, ныне ул. Салтыкова-Щедрина, 8) построена в 1775—1779 гг.

по проекту архитектора Ю. М. Фельтена (1730—1801).

8*...в мою церковь (св. Станислава или св. Екатерины)...* — Костел св. Станислава по

строен в 1823—1825 гг. на пересечении Торговой (ныне ул. Союза печатников) и

Мастерской улиц по проекту архитектора Д. И. Висконти (1772—1838), Костел

св. Екатерины — в 1783 г. на Невском проспекте (32—34) по проекту Ж. Б. Вал-

лен-Деламота (1729—1800).

9*...церковь св. Петра и Павла на Невском...* — Евангелическо-лютеранская церковь

св. Петра (Невский пр., 22—24) сооружена в 1832—1838 гг. по проекту А. П. Брюл

лова (1798—1877).

1° *...реформатскую церковь... на Морской, при выходе ее к*

Мойке.— Церковь была построена в середине XIX в. архитекторами Л. Л. Бонштедтом (1822—1885) и К. К. Ра-хау (1830—1850), ныне здание церкви перестроено.

11 *...((Распятие» работы Карла Брюллова...*— Ныне в *ГРМ.*

Глава 3 МОЕ ХУДОЖЕСТВО

1*Отроческих лет.*— В выражепии «отроческих лет» (Flegeljahre) содержится намек

на название романа немецкого писателя Жана Поля (псевдоним И. П. Ф. Рихтера,

1763—1825), написанного в 1804—1805 гг.

2*Один из этих эскизов я воспроизвел в моей «Истории живописи»...*— В книге «Ис

тория живописи всех времен и народов» (т. III. СПб., 1912, с. 481) А. Н. Бенуа пред

положительно приписал воспроизведенный эскиз Карло Бибиене (1728 —после

1778).

3*...благодаря... прочтению романа Т. Готье...* — Имеется в виду «Роман мумии»

(1858) Теофиля Готье, послуживший отправной точкой для либретто балета «Дочь фараона», впервые поставленного еще в 1862 г. на музыку Цезаря Пуни и в декорациях А. А. Роллера и Г. Г. Вагнера. Из романа Готье, посвященного временам легендарного Моисея и исхода евреев из Египта, либреттисты М. И. Петипа и Ж. Сен-Жорж использовали только отдельные мотивы пролога (англичанин, попадающий в .древнюю пирамиду), все же остальные липии сюжета были прочерчены в соответствии с обычными экзотико-фантастичеекпми канонами романтического балета — с ожившими мумиями, подводным царством Пила и апофеозом с участием богов Осириса и Исиды.

4*Людвиг II Баварский* (1845—1886) — восторженный поклонник и покровитель Ваг-

пера — уже современниками был наречен «королем-романтиком», королем-арти

стом». Оп с юности был одержим устройством импровизированных спектаклей,

претворявших его фантазии, в которых главным для него было общее состояние

пышной театральности. Позже увлечение постановкой феерий и «живых картин»

Примечания III, 3§57

сменила потребность в уединении и организация «сепаратного» театра для себя одного (См.: *В. Александрова.* Людвиг II король Баварский. К истории жизпи и творчества Рихарда Вагнера. СПб., 1911).

5*Эта система, основанная на чем-то совершенно механическом...* — А. Н. Бенуа дает

здесь одностороннее представление о чистяковской системе. На деле она предпола

гала целую совокупность приемов, способных научить изображать объем в прост

ранстве и передавать соотношения частей объема относительно друг друга. Чи

стяков «посылал учеников в Эрмитаж посмотреть, как «вставлен глазок у Веласке-

за» или как «привязана кисть у Риберы» (*Грабарь Игорь.* Валентин Александрович

Серов. Жизнь и творчество. М., 1914, с. 54). Для установления таких соотношений

ученикам и рекомендовались, в частности, те «промеры» с помощью вытянутой

руки, о которых упоминает А. Н. Бенуа. Однако основное значение в преподава

нии Чистякова принадлежало не столько «системе», сколько его личному влиянию

на учеников, самому воздействию его энтузиазма и накопленного опыта. Не слу

чайно Репин предпочитал не учить Серова по хорошо известной ему «чистяков

ской методе», по направить его к самому Чистякову. Надо было непосредственно

заразиться у этого мастера его отношением к искусству как к священнодействию,

как к делу, требующему серьезнейших знаний. Выражая мнение целого поколения

русских художников второй половины XIX — начала XX в., Репин назвал Чистя

кова «нашим общим и единственным учителем».

6*...потерпев некоторый конфуз от получения... высоких номеров...* — Номер первый,

второй и т. д. присваивались в Академии художеств самым лучшим работам, поэ

тому, чем неудачнее был рисунок, тем более «высокий номер» он получал.

7*...почтенный иконописец (во вкусе Неффа и поздних немецких*

назарейцев).—

Нельзя с уверенностью сказать, кого из тогдашних академических профессоров

имеет здесь в виду А. Н. Бенуа.

3 *...Иовоскольцев,... надежа тогдашней Академии...*— Новоскольцев А. Н. (1853—?) — до поступления в Академию один из любимых учеников В. Г. Перова, в свое время подавал надежды картиной «Последние минуты митрополита Филиппа» (1889, *ГРМ),* в которой стремился к большей, чем у других академистов, одушевленности персонажей и к более сложной живописной разработке.

9 *...костюмный увраж Готтенрота...*— Имеется в виду книга: *Hottenroth* ***Fr.*** **Trach-**ten¯, Haus-, Feld- und Kriegsgerathe der VÖlker alter und neuer Zeit. Stutg., 1877. В 1885 г. появился русский перевод: *Готтенрот Ф.* История внешней культуры. Одежда, домашняя утварь, полевые и военные орудия народов древних и новых времен, тт. I и II. СПб.— М. (перевод с немецкого С. Л. Клячко).

10 *...в состязании принял участие юный Врубель.*— В воспоминаниях руководителя академического хора И. Ф. Тюменева содержится иная версия возникновения вру-белевских рисунков на тему «Моцарт и Сальери». Он записал в своем дневнике от 28 ноября 1883 г.: «После инструментальной репетиции П. А. [Черкасов] по моей просьбе пригласил к себе Врубеля на совещание по поводу нашего вечера, который] думаем дать на рождестве» [имеется в виду вечер учеников Академии 6 января 1884 г.]. «Решили прочесть между про[чим] «Моцарта и Сальери» с иллюстрациями на экране, а в заключение с картиной Каульбаха «[Смерть] Моцарта» и музыкой из Requiem'a. Врубель обещал сделать иллюстрации». В январе 1884 г. М. А. Врубель сообщал сестре: «я тебе писал об иллюстрациях для вечера академического, для туманных картин: они меня все праздники продержали за карандашом». Рисунок «Сальери всыпает яд в бокал Моцарта» был воспроизведен на литографированной программе вечера. В настоящее время рисунки: «Сальери», «Моцарт и Сальери слушают игру слепого скрипача» и «Сальери всыпает яд в бокал Моцарта» находятся в *ГРМ* (см.: «Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике». Л., 1976, с. 45, 311). Ф *1 *Сюжет походил на «Ундину» Ламотт-Фуке, вдохновившую моего любимого Э.-Т.-А. Гофмана...* — «Ундина» (1811) немецкого поэта Фридриха де ла Мотт Фуке (1777—1843) — сказка о русалке, которую любовь превращает в живую девушку, известная в России по стихотворному переводу В. А. Жуковского, послужила сюжетом для первой немецкой романтической оперы, созданной

Э. Т. А. Гофманом в 1812—1814 гг. и поставленной Берлинским оперпым театром в 1816 г.

Примечания III , 4

Глава 4 РАЗЛАД С АТЕЙ. СЕМЕЙСТВО ФЕНУ

1 . *Жизнь льется через край (Des Lebens Überfluss)* — новелла, написанная Людвигом Тиком (1773—1853) в 1839 г.; она пронизана тонкой иронией по отношению и к романтическому герою, и к окружающей его мещанской среде.

* *Беляев Митрофан* Петрович (1836—1903) — русский музыкальный деятель и ио-тоиздатель, основатель «Русских симфонических концертов» (1885) и «Русских квартетных вечеров» (1891). В 1885 г. он учредил издательство «М. П. Беляев в Лейпциге», выпускавшее произведения русских композиторов.

Глава 5 БЕЗ АТИ. ПРАЗДНИК У Е. В. САБУРОВОЙ

4 *...я не увидел мумии герцога де Круи...—К.* Е. де Круи (1650—1702) —герцог, выходец из Бельгии, фельдмаршал русской армии при Петре I, командовавший войсками во время сражения со шведами под Нарвой (1700). Сдавшийся в плен шведам, герцог вскоре умер от ран, успев предварительно наделать много долгов. Согласно тогдашним шведским законам, умерших должников не хоронили до тех пор, пока долги не будут уплачены их наследниками, и вследствие этого тело герцога де Круи — совершенно высохшее и превратившееся в мумию — оставалось непогребенным до 1897 г., доступное с 1819 г. для всеобщего обозрения в капелле ревельской церкви св. Николая. Только в 1897 г. оно было, наконец, опущено в склеп той же церкви. А. Н. Толстой вывел герцога де Круи в романе «Петр 1».

г *{(Дикая розочка».—* Сюжет картины В. Каульбаха был навеян стихотворением Гете «Röslein auf der We¡de» («Дикая розочка». 1771), ставшим народной песней и * явившимся в свою очередь обработкой фольклорного поэтического мотива.

Глава б

ВЪЕЗД В. К. АЛЕКСАНДРЫ ГЕОРГИЕВНЫ. СПЕКТАКЛЬ-ГАЛА.

ОБЕД С ГЕРЦОГОМ МЕКЛЕНБУРГСКИМ.

1 *...знаменитой меценаткой в. к. Еленой Павловной...*— В. к. Елена Павловна (1806—1873) известна широким содействием развитию русской музыки и музыкального образования в России. При ее поддержке, в частности, были организованы «Русское музыкальное общество» и Петербургская консерватория.

¾ *...в составе антрепризы Неймана...*— Вагнеровская труппа А. Неймана под управлением дирижера К. Мука (1859—1940) дважды гастролировала в России — в 1889 г. в Петербурге и в Москве и в 1891 г.— в Москве.

3*...байрейтские постановки...*— Постановки вагнеровских опер в специально построен-

ном для этой цели театре в Вайрейте. Театр был сооружен в начале 70-х годов XIX в. по проекту самого Р. Вагнера и при материальной поддержке его покровителя короля Людвига II Баварского. В 1878 г. состоялось первое исполнение «Кольца пибелунга», в котором приняли участие лучшие музыкальные силы Германии. В 1882 г. был представлен «Парсифаль», а затем «Тристан и Изольда», «Нюрнбергские мастера пения», «Тангейзер». С этих пор постановки в Байрейте ежегодно в летнее время привлекают массы любителей музыки, а их стиль становится образцом для постановок вагнеровских опер в других театрах.

4-*..доказательством чего служат его замки и дворцы...*— Выстроенные для Людви

га II в Баварских Альпах два роскошпых дворца (Линдергоф и Геренхимзее)

отражали его увлечение Людовиком XIV и воспроизводили обстановку Малого

Трианона и Версальского дворца; замок Нейшванштейн был порождением культа

Примечания III , 8

659»

Вагнера, древнегерманских легенд, средневековой романской и готической архитектуры.

...когда мне эта затея выдалась...— В 1902 г. по заказу дирекции императорских театров А. Н. Бенуа выполнил эскизы декораций к «Гибели богов» Р. Вагнера. Передав исполнение декораций по своим эскизам К. А. Коровину, Бенуа остался недоволен работой художника, а тем самым и всем спектаклем. Публика была, однако, покорена представлением. «Моментами зритель совсем забывал, что это театральное «действо». Ему казалось — реальная жизнь проходит перед его глазами». См.

Остроумова-Лебедева А. Автобиографические записки, т. II. Л — М 1945, с. 37. См. также II, с. 372—375.

...в его вагнеровских постановках в Милане и в Риме.— В Римской опере, в частности, А. Н. Бенуа оформил ту же оперу «Гибель богов» (1931), а также «Валькирию. (1929) и «Зигфрида» (1930).

Глава 8 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (1890)

1*...лучшие наши театральные художники написали эффектные декорации...*— Деко

рации к спектаклю писали М. И. Бочаров, И. П. Андреев, М. А. Шишков, К. М. Ива

нов, Г. Левот.

2*...под меланхолические аккорды песенки «vìve Henri IV»...*— Старинная француз

ская песня «Vive Henri Quatre» была использована Чайковским не только в финале

3 акта балета «Спящая красавица», но и в партии графини в 4-й картине оперы

«Пиковая дама». Работая над балетом и оперой, композитор обращался к француз

ским песенным сборникам XVIII в. для воспроизведения музыкально-бытового ко

лорита эпохи. (См.: «Музыкальное наследие Чайковского. Из истории его произве

дений». М., 1958, с. 100)*.

s *...художник Иванов превзошел себя...*— За макет «Спальня Авроры» к «Спящей красавице» Чайковского К. М. Иванов (1859—1916) был удостоен в 1892 г. Большой золотой медали на международной музыкальной и театральной выставке в Вене.

4*...художник Коровий пренебрег этим принципом.*— Интересно, что, работая в 1913—

1914 гг. над декорациями к «Спящей красавице», К. А. Коровин был озабочен как

раз сохранением того же контраста эпох. «Прошу вас,— писал он в письме к

Л. Д. Менцеру,— несмотря на корректное исполнение рисунков и верпость в них

эпохе, все же обратить внимание Сальникова на то, чтобы при раскраске узоров,

а портным — при вышивке — руководствовались бы по указанию Чичагова време

нем, взятым мною, именно до акта «Охоты» — Людовик XIII (Франция), после

«Охоты» — Людовик XIV. Так что разница сто лет» (цит. по кн.: *Коган Д.* Констан

тин Коровин. М., 1964, с. 317). Если этого эффекта и не возникло в постановке

1914 г., то, очевидно, из-за того, что в самом театральном искусстве Коровина пре

обладало стремление не к стилистически четкому воспроизведению той или иной

эпохи, как у художников «Мира искусства», а скорее к единству эмоционально-кра

сочного впечатления.

5...*постановку «Спящей»... в Лондоне в 1922 г.*— Балет был частично переоркестро

ван И. Ф. Стравинским, хореография М. И. Петипа возобновлена Н. Г. Сергеевым

с добавлением номеров в постановке Б. Ф. Нижинской. Спектакль был показан

в лондонском театре «Альгамбра» в ноябре 1921 г.

6*И надо надеяться, что сочиненные им сцены и танцы не будут забыты...*— Разви

тие балета в XX в. оправдало надежды А. Н. Бепуа по отношению не только к

% «Спящей красавице», но и к другим постановкам М. И. Петипа. «Балеты Петипа «Спящая красавица», «Раймонда», «Лебединое озеро» (в соавторстве с Львом Ивановым), «Баядерка», «Дон Кихот» (в хореографической версии А. А. Горского), танцевальные фрагменты из «Пахиты», «Корсара», «Эсмеральды»... и других балетов... украшают репертуар многих современных театров»,— свидетельствует Ю. И. Слонимский («Мариус Петипа. Материалы, воспоминания, статьи». Л., 1971, с. 7). В советском балетном театре получила развитие форма многоактного «большого*

то

Примечания III , 9

балета М. И. Петиима. Что же касается его достижений в сфере собственно танца, то отношение к ним в разное время было различным. Большие классические ансамбли, обобщенно выражающие эмоцию, в 30—50-е годы, в пору преобладания драматических балетов были отвергнуты, но возродились в советском театре в 60—70-х годах.

7 *Тот же французский стиль лежал в основе и всей нашей балетной академии.*—-Более развернуто и точно Л. II. Бенуа

говорит о соотношении французского и русского начал в создании русской балетной школы в заключительной главе «Воспоминаний о балете» (II, с. 341).

в *Совокупное произведение искусств.*— Понятие, идущее от эстетики Рихарда Вагнера и наиболее полно разъясненное им в статьях «Произведение искусства будущего» (1850) и «Опера и драма» (1851). По мысли Вагнера «в совокупном (или целостном) произведении искусства сольются усилия всех искусств (поэзии, музыки, танца, архитектуры, живописи), сделав его доступным для всех. Этим произведением будет драма, которая может достичь своего предельного развития в том случае, *если каждый вид искусства* будет присутствовать в ней *в своем предельном развитии»* («Произведение искусства будущего».—В кн.: *Вагнер Рихард.* Избранные работы. М., 1978, с. 230). Идеи Вагнера оказали огромное воздействие на интеллигенцию рубежа столетий, в частности на мпогих русских художественных деятелей. См., например: *Римский-Корсаков Н. А.* Вагнер. Совокупное произведение двух искусств или музыкальная драма. — Полное собрание сочинений, т. 2. М., 1963. Идеал объединения искусств в пределах доступного для всех общенародного художественного действа разрабатывался и теоретиками, и практиками искусства (В. И. Ивановым, А. И. Скрябиным), широко отразившись и на взглядах А. Н. Бенуа на природу театра, в том числе, на его представлениях о балетном спектакле как единстве танца, музыки и живописи.

...то и не было бы «Ballets Russes».,.~~ А. Н. Бенуа говорит о русских балетных спек

таклях на сценах Западной Европы и Америки в XX в., начатых в 1909 г. гастро-

t лями дягилевскои антрепризы в Париже. Этим гастролям посвящены специальные «Воспоминания о балете» А. II. Бенуа, публикуемые во II томе настоящего издания. 10 *...мой близкий друг...—А.* Н. Бенуа имеет в виду С. П. Дягилева и тенденции его балетных постановок в 20-е годы. Подробнее см. II, с. 343—349.

Глава 9 ЛЕВУШКА БАКСТ

1...*величественностью осанки этого старца.*— Речь идет о «Портрете старика в крас

ном» Рембрандта (Гос. Эрмитаж).

2...В нашем... «Обществе самообразования»...— Так именовали друзья и единомыш

ленники А. Н. Бенуа свой ранний кружок, послуживший

зародышем будущего со

общества «Мира искусства». О собраниях этого кружка, докладах и т. п. А. Н. Бе

нуа подробно рассказывает не только в «Воспоминаниях», но и в кн.: «Возникно

вение «Мира искусства»». Л., 1928.

3*...в своих воспоминаниях, появившихся в каком-то парижском журнале в 1920-х го*

дах...— Имеются в виду выпуски «Comoedia Illustre», где была напечатана статья:

Leon Bakst. Tchaikowsky aux Ballets Russes. Paris, 9 octobre 1921.

**...картинка... на выставке работ академических учеников...*— На Академической вы

ставке 1890 г. была показана работа Бакста — «Философ», которую предположи

тельно отождествляют с описанной А. Н. Бенуа и изображающей «пьяного факель

щика» (находится в собрании А. II. Рамма в Ленинграде.— См. *Пружан И. Н.* Лев

Самойлович Бакст. Л., 1975, с. 13, 210).

5 *То была вариация па тему «Неравный брак».*— Местонахождение этой картины неизвестно.

**...принялся за новую картину...*— Местонахождение этой картины неизвестно.

-' *Левушка был уверен, что Иуда... видел в Иисусе некое орудие для своих религиозно-национальных замыслов.*— Бакст достаточно близко примыкал в таком понима-

Примечания III , 10

661

нии взаимоотношений Христа и Иуды к некоторым традициям русской критики. Аналогичную точку зрения высказал, например, еще в 1863 г. в журнале «Современник» М. Е. Салтыков-Щедрин по поводу картины Н. Н. Ге «Тайная вечеря» (1863). По его словам, Иуда «видел Иудею порабощенной и вместе с большинством своих соотечественников жаждал только одного: свергнуть чужеземное иго и возвратить отечеству его политическую независимость и славу» («М. Е. Салтыков-Щедрин о литературе и искусстве». М., 1953, с. 543). С рецензией писателя согласился и Ге, назвав ее «дорогой для себя)> *(Ге II. Н.* Встречи. — Северный вестник, 1894, № 3, отд. 1, с. 235).

** ...в помещение архитектурного журнала «Зодчий»...*— Журнал издавался имп. Санкт-Петербургским обществом архитекторов (1872—1917), и одним из его редакторов в годы,

описываемые А. Н. Бенуа (и позже), был Л. Н. Бенуа. Редакция журнала находилась на набережной Мойки, 83.

э *...художественному клубу, носившему название «Мюссаровских понедельников».*,.— Кружок был учрежден в 1881 г. благодаря инициативе тайного советника Е. Н. Мюс-сара и существовал до 1917 г. Он объединял преимущественно акварелистов, собиравшихся по понедельникам для товарищеской беседы и за чаем рисовавших натуру или компоновавших эскизы. Работы, сделанные за год по «понедельникам», составляли довольно большую коллекцию — до 200 листов, вырученные от их продажи средства поступали на содержание бедных семей и сирот художников. В 90-е годы XIX в. деятельность кружка активизировалась. К его 10-летнему юбилею в 1891 г. была организована выставка акварелей и сепий в пользу вдов и сирот художников, позже устраивались периодические выставки картин, рисунков, акварелей и эскизов в Соляном городке, привлекавшие широкую публику. «Понедельники» и выставки акварелистов собирали художников разных направлений и объединений. В 1900 г. кружок насчитывал более 50 художников и любителей искусства. Председателем его был герцог Н. Н. Лейхтенбергский, членами — художники «академической» ориентации: В. П. Шрейбер, Л. Ф. Лагорио, А. И. Мещерский, В. А. Бобров, К. Я. Крыжицкий, Н. Н. Каразин, В. В. Мазуровский и др.

10...*портрет «Екатерины II на прогулке» Боровиковского...*— Портрет находится те

перь в *ГТГ*.

11...*писанием картины «Встреча русских моряков в Париже».*— Картина «Встреча ад

мирала Авелана в Париже» находится в ленинградском Центральном военно-мор

ском музее. Этюды к ней и акварельный эскиз хранятся в *ГРМ.* Изображен эпизод

въезда в Париж адмирала Авелана, командовавшего в 1893 г. русской эскадрой Сре

диземного моря и участвовавшего, по личному выбору Александра III, в тулонских

празднествах по случаю заключения франко-русского союза.

12*Их у меня накопились десятки, если не сотни...*— Письма Бакста к А. Н. Бенуа на

ходятся в архиве А. Н. Бенуа в *ГРМ.*

3...*Теофиль Готъе... перехватил через край в своих восхвалениях блестящего вен*

герца...— Посетив в 1858 г. Петербург, Теофиль Готье — поклонник современного

ему салонного искусства — посвятил затем Зичи целую главу своей книги «Voyage

en Russie» (1866), где высоко оценил искусство художника.

4...*присвоил себе авторство... «Шехеразады»,.*— О размолвке с Бакстом по этой при

чине А. Н. Бенуа подробно рассказывает на страницах «Воспоминаний о балете»

(II, с. 517—520).

5...*у тебя есть твой баЛет («Павильон Армиды»)...*— Подробнее о работе над этим

балетом см. II, с. 464—473.

Глава 10 УНИВЕРСИТЕТ

1 *Как раз за эти же годы созрело решение... в корне реорганизовать Академию...*— В апреле 1890 г. была учреждена комиссия для выработки нового устава Академии художеств во главе с И. И. Толстым. Устав был утвержден 15 октября 1893 г. и вошел в действие в 1894 г. Академией художеств стало называться собрание членов

Академии, а бывшая Академия преобразована в Высшее художественное училищет куда в качестве профессоров были приглашены и крупные передвижники: И. Е. Репин, А. И. Куииджи, И. И. Шишкин, Н. Д. Кузнецов, А. Д. Кившенко, В. В. Матэ; архитектуру преподавали Л. Н. Бенуа, А. Н. Померанцев, А. О. Томишко.

2...*сотрудничал с Кондаковым в составлении издания «Русские древности».*— «Рус

ские древности в памятниках искусства» (вып. I—П. СПб., 1889) — популярный об

зор археологических, нумизматических и других находок, составленный известным

историком византийского и древнерусского искусства II. П. Кондаковым (1844—

1925) вместе с И. И. Толстым.

3...в *«Сравнительном очерке государственного права»...*— Точнее «Сравнительный

очерк государственного права иностранных держав» (СПб., 1890).

4...*тогда же... я решил познакомиться с некоторыми творениями Достоевского...*—

А. II. Бенуа, вероятно, имеет в виду роман «Бесы», впервые опубликованный

в 1871 — 1872 гг.

5...*эти вопросы занимали... нашу компанию в сильнейшей степени.*— О свойствах

«монархизма» А. Н. Бенуа см. статью Г. Ю. Стернина «„Мои воспоминания" Алек

сандра Бенуа...».

6...*в помещении редакции моих «Художественных сокровищ России».*— Редакция

журнала помещалась на набережной Мойки в д. 83.

7...*повелел... строить это здание... вдоль по набережной Невы...*— Версия, изложен

ная А. Н. Бенуат не подтверждается документами. Судя по чертежам, сохранив

шимся в копии XIX в., восточная часть Васильевского острова уже с самого начала

его застройки получила тот план, который и был впоследствии осуществлен —

с расположением здания 12 коллегий перпендикулярно Большой Неве. Проектиро

вание здания и руководство строительством осуществлялось Д. Трезини (ок. 1670—-

1734). (См.: Грозмани М. Строительство и первоначальный облик здания 12 кол

легий — ныне главного здания Ленинградского гос. университета им. А. А. Жда

нова.— Вестник Ленинградского университета, 1953, № 6).

Глава 11 СЕРЕЖА ДЯГИЛЕВ

1...*строителя «Папаевского» театра.*— Театр был выстроен-в 80-х годах XIX в. инже

нером путей сообщения В. А. Панаевым (по имени которого и получил свое на

звание) на набережной Невы после засыпки Адмиралтейского канала. Здание сго

рело около 1903 г.

2...*по теории музыки он пользовался наставлениями Римского-Корсакова.*— С.П.Дя

гилев, очевидно, собирался брать уроки у Римского-Корсакова, но по свидетельству

В. В. Ястребцова (дневниковая запись от 22 сентября 1894 г.), «произведения его

оказались более, чем вздорными; Римский-Корсаков высказал ему прямо свой

взгляд; тот, видимо, обиделся» *(Ястребцов В. В.* II. А. Римский-Корсаков. Воспоми

нания. М., 1960, т. 1, с. 207).

3...*какой он винегрет сделал из «Египетских ночей» Аренского.* — См. II, с. 509—511.

4...*создал в своей книге о Левицком настоящий памятник.*— См. II, с. 346—347.

5...*первого Клода Моне (то была картина из серии «стогов».:.*— Первая встреча круж

ка А. Н. Бенуа со «стогами» Моне состоялась, по-видимому, еще в 1891 г. на Фран

цузской промышленной выставке, показанной и в Москве и в Петербурге. В ката

логах большого художественного отдела выставок «Стога» К. Моне не отмечены,

однако одна из картин этого цикла, очевидно, все же присутствовала на выстав

ках, ибо, помимо А. Н. Бенуа, об этом вспоминают и некоторые другие современ

ники, ссылающиеся, правда, на московскую экспозицию. О «стогах» К. Моне пишет

Андрей Белый в своих мемуарах «На рубеже двух столетий» (М.— Л., 1930, с. 308—

309), говоря об испытанном им «летучем, но остром переживании импрессиони

стов», о них же упоминает П. П. Кончаловский (его высказывание приводит

В. А. Никольский в кн.: *Кончаловский П. П.* (М., 1936, с. 15—17), наконец,—

свидетельство В. В. Кандинского в его кн.: *Кандинский В. В.* Ступени. Текст худож-

ника. 25 репродукций с картин 1902—1917 гг.» (М., 1918, с. 18). В числе событий, наложивших печать на всю его жизнь, художник называет «французскую импрессионистскую выставку в Москве — и особенно «Стог сена» Клода Моне». Эти «события» относились к началу тех же 90-х годов XIX в.

**Годы учения* (Lehrjahre) — выражение, ставшее широко употребительным после

романа И. В. Гете «Wilhelm Meisters Lehrjahre» («Годы учения Вильгельма Мейсте-

ра», 1793—1796).

Глава 12 РУССКАЯ ОПЕРА. «КНЯЗЬ ИГОРЬ» — «ПИКОВАЯ ДАМА»

"* *Точной даты первой я не запомнил...*— Премьера оперы «Князь Игорь» в Мариин-ском театре состоялась 23 октября (4 ноября) 1890 г.

1 *...безвкусие тогдашней до-коровинской постановки.*— Спектакль шел в декорациях И. П. Андреева, М. И. Бочарова, А. С. Янова.

-3 *...несмотря на его монгольское происхождение...*— А. П. Бородин был внебрачным сыном грузинского (а не татарского) князя Л. С. Гедианова, записанным при рождении сыном камердинера князя Порфирия Бородина.

4*Один лишь критик Финдейзен сочувственно... разобрал новую оперу...*— Имеется

в виду статья о «Пиковой даме», вошедшая в сборник Н. Ф. Финдейзена «Музы

кальные очерки и эскизы» (СПб., 1891). Эта работа с ее высокой оценкой оперы

и серьезностью анализа положила начало всем дальнейшим музыковедческим ра

ботам о «Пиковой даме».

5*...в моей монографии Царского Села.*— Имеется в виду книга «Царское Село в цар

ствовании императрицы Елизаветы Петровны (материалы для истории искусства

в России в ХУШвеке)». СПб., товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1910.

**Этот портрет красовался в «диванной» петергофского Большого дворца...*— В Петер

гофском дворце находилась в те годы копия с портрета Л. Каравакка (1684—1754),

исполненная в 60-х — 70-х годах XVIII в. Г. Бухгольцем. Подлинный «Портрет ца

ревны Елисаветы Петровны ребенком» (вторая половина 1710-х годов) поступил

в 1897 г. в Русский музей из собрания А. Б. Лобанова-Ростовского.

7 *...бальный зал напоминал грандиозные чертоги Потемкинского дворца...*— Парадные залы Таврического дворца, построенного для Г. А. Потемкина И. Е. Старовым (1745—1808) в 1783—1789 гг.

...какому-то «гениальному» новатору из молодых мейерхолъдовского толка...— Имеется в виду одна из самых

значительных постановок самого В. Э. Мейерхольда — спектакль «Пиковая дама» (1935) в Ленинградском малом оперном театре, сценарий которого принадлежал В. Э. Мейерхольду и В. Стеничу, а декорации — художнику Л. Т. Чупятову (1890—1942).

Может быть и вернулись к моей постановке? ■— «Пиковая дама» в декорациях Бе-нуа была возобновлена в Ленинградском театре оперы и балета в 1939 г.

Глава 14 ВОССОЕДИНЕНИЕ С АТЕЙ

1*«Новой Элоизой», «Опасными связями».*— Памятники французской литературы

XVIII в.— «Новая Элоиза» (1761). Ж. Ж. Руссо и «Опасные связи» (1782) П. А. Шо-

дерло де Лакло.

2...на службе в том же «Съезде железных дорог»...— Учреждение, существовавшее

при Министерстве путей сообщения: «Общий съезд представителей русских част

ных железных дорог».

3...*Музей Академии художеств,*— Музей Академии художеств объединял в ту пору

несколько «музеев»: 1. Русской живописи; 2. Галерею новейшей иностранной жи

вописи гр. Н. А. Кушелева-Безбородко; 3. Скульптуры (в гипсовых слепках);

Примечания IV , 1

4. «Альгамбру»; 5. Нумизматический кабинет; 6. Библиотеку с собранием рисунков и художественно-исторических сочинений; 7. Музей копий с картин и фресок Ватикана, Флоренции, Венеции и других итальянских школ. 4 *Я так и вижу иронической улыбку читателя...*— Со времени написания А. И. Бенуа этих строк художественные вкусы изменились в противоположную сторону, и произведения А. Беклина, как и другие, в том числе и откровенно салонные, образцы символизма в живописи второй половины XIX — начала XX в. широко демонстрируются на больших международных выставках.

Глава 15

НАША НЕГЛАСНАЯ ПОМОЛВКА. ЛЮТАЯ ЗИМА 1892 г.*

НОВЫЕ ЗНАКОМЫЕ И ДРУЗЬЯ: ДЕСМОНДЫ, БИРЛЕ, НУРОК.

МОЯ ГЛАВА В КНИГЕ МУТЕРА

1...*поступивший в «Рисовальную школу»...*— Рисовальную школу, основанную при

«Обществе поощрения художеств» еще в 1839 г.

2*«История живописи в XIX веке».*— Выпуски выходили в 1893 и 1894 гг.

3...*сборник фотографий с этюдов Репина...*— Альбом фотографий с картин Репина.

Изд. Е. Ц. Кавос. СПб., 1892.

4...*альбом лучших картин Кушелевской галереи...*— «Снимки с картин Галереи гра

фа Н. А. Кушелева-Безбородко» (СПб., 1891).

5...*род монографии, посвященной скульптору А. Оберу.*— «Скульптурные работы

А. Л. Обера». СПб., 1891.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава 1

НАШИ СТРАННЫЕ МЕДОВЫЕ МЕСЯЦЫ, БОЛЕЗНЬ «МОЛОДОЙ» И НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОНОЙ

1 ...Женя Кавос и его жена... я уже... упомянул о затеянном им художественном издательстве... О Е. Ц. Кавосе и его издательстве см. I, с. 688—689. *Зарудная-Кавос* Екатерина Сергеевна (1861 — 1917) —живописец и график; получила образование в Академии художеств (1881—1887), где занималась у П. П. Чистякова, в 1885 — 1886 гг. посещала в Париже студию К. Дюрана и академию Жюльена. Известны ее портреты В. С. Соловьева (1891), К. Н. Бестужева-Рюмина (1889, *ГТГ),* И. Е. Репина в мастерской (1903), М. Горького (1905, Музей М. Горького в Москве), Р. Люксембург и других. В 1906 г. она была одним из организаторов сатирического журнала «Леший».

¾ *Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900) — поэт, публицист, философ-идеалист, оказавший большое влияние на литературный процесс, мировоззрение Ф. М. Достоевского, особенно же на эстетику поэтов-символистов, которые восприняли образную мистико-поэтическую основу его мироощущения как целостность его философских взглядов (идеи

«вечной женственности» в «Стихах о Прекрасной Даме* Блока, космические представления о «мировой душе» в поэзии Андрея Белого, учение о пророческой миссии художника в произведениях Вячеслава Иванова).

3*Бестужев-Рюмин* Константин Николаевич (1829—1897) — профессор русской исто

рии Петербургского университета (с 1865 г.), возглавлял Высшие женские курсы

в Петербурге со времени их основания в 1878 г. (по 1882 г.), что и дало им назва

ние «бестужевских». Открыты же они были по инициативе группы интеллигенции,

возглавленной А. Н. Бекетовым.

4*Кони* Анатолий Федорович (1844—1927) —юрист, судебный и общественный дея

тель, получивший большую известность после процесса по делу В. И. Засулич,

стрелявшей в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова (1878). Суд присяжных под его председательством вынес ей оправдательный приговор, после чего он был отстранен от работы. В 1918—1922 гг.— профессор уголовного судопроизводства в Петроградском университете. *Родичев Ф. И.* (1856) — юрист, один из лидеров партии кадетов, депутат Государственной думы всех созывов, комиссар Временного правительства по делам Финляндии, после Октябрьской революции жил вне России. 5. *...«неистовый» Саша Зарудиый...— Зарудный* Александр Сергеевич (1863—1934) — народник-социалист, адвокат, в 1913 г. выступал защитником Бейлиса, в 1917 г. входил во второе коалиционное правительство в качестве министра юстиции, после Октябрьской революции от политической деятельности отошел.

**„.одного из создателей судебных реформ Александра II...— Зарудный Сергей Ивано*

вич (1821—1887) —юрист, принимавший деятельное участие в проведении судеб

ной реформы 1864 г. В 1866 г. издал «Судебные уставы», предусматривавшие ос

новные принципы буржуазно-демократического судопроизводства — равенство всех

перед законом, гласность, выборность некоторых органов, введение суда присяж

ных, адвокатуры, института судебных следователей.

7 *...ресторан «Лютер и Вегнер»...*— Название дано по имени владельцев кабачка. Э. Т. А. Гофман бывал в нем в последний — «берлинский» период своей жизнн (1814—1822), когда возобновилась его служебная деятельность в Министерстве юстиции и государственном суде и когда им были созданы основные прозаические произведения. Тогда же знакомство с актером *Л. Девриеном* (1784—1832) перешло в крепкую дружбу. Ныне ресторан не существует.

в *Картина... в духе наших любимцев Морица Швинда и Л. Рихтера.— Швинд Мориц* (1804—1887) и *Рихтер* Адриан *Людвиг* (1803—1884) —живописцы и графики позднего австро-немецкого и немецкого романтизма, склонные к изображению идиллических пейзажей и сценок из народного быта.

0*...Зигфрид фон Эпштейн, коронующий зараз двух германских королей...*— Зигфрид

фон Эпштейн, умерший в 1249 г., изображен на надгробии коронующим двух коро

лей, занявших германский престол за несколько лет до его смерти: Генриха Распе,

графа Тюрингии, ставшего королем в 1246 г. и убитого в 1247 г., и его преемни

ка — Вильгельма Голландского, правившего с 1247 по 1256 г.

10*...под своды прекрасного деамбулатория...*— Деамбулаторий *(ит.)*—галерея, кры

тый переход вдоль внутренних степ монастырского двора.

11*Три раза я затем... приступал к этой теме...*— Одна из акварелей С видом Лимбург-

ского собора (1895) находится теперь в Днепропетровском художественном музее.

Глава 2

НАШЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. ВОРМС, СТРАСБУРГ, ЛЮЦЕРН, ПЕРЕВАЛ ЧЕРЕЗ СЕН-ГОТАРД

1*Мария Терезия* (1717—1780) — австрийская императрица, время правления кото

рой приходилось на любимую А. Н. Бенуа эпоху XVIII столетия.

2*Она была приобретена... Академией художеств.*— Местонахождение картины неиз

вестно и нет сведений о том, что она находилась ранее в музее Академии худо

жеств.

5 ...*алтарь... поднят над полом наоса...*— Наос (греч.) — главное помещение античного храма, в данном случае — средневекового базиликального собора.

*...*смерть опрокидывает свою клепсидру...*— Клепсидра — прибор для отсчета време

ни; он подобен песочным часам и состоит из сосуда с водой, по каплям вытекающей

из одной части сосуда в другую. Уровень воды и показывает время. Опрокинутая

клепсидра служила аллегорией смерти, прерывающей течение жизни.

5 ...*безобразия... во время «праздников шутов»...*— «Праздники шутов*, или «праздники дураков» справлялись школярами или низшими клириками на новый год, в день св. Стефана, в богоявление, в Иванов день и т. д. Первоначально они праздновались в церквах, затем стали носить полулегальный характер, а к исходу сред-

невековья и вовсе нелегальный, продолжая существовать на улицах, в тавернах,. затем влились в масленичные увеселения *(Бахтин М.* Творчество Франсуа Рабле. М., 1965, с. 83).

6 ...*вид на озеро Четырех кантонов...*— Озеро близ Люцерна — Фирвальдштетское (от нем. vier Waldstätte — четыре лесных кантона).

' *„.баталия у Чертова моста...*— Легендарные бои и переход суворовских войск из-Северной Италии через Альпы в Швейцарию (швейцарский поход в сентябре-1799 г.). После поражения одной из лучших французских дивизий русские войска захватили Чертов мост, перекинутый над узким ущельем и р. Рейс на высоте 23 метров и, преследуя противника, вышли к Люцерискому озеру,

Глава 3

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1894). МИЛАН, ПЕЛЬИ, ГЕНУЯ, ПИЗА

1...в Чертозу павийскую.— Имеется в виду картезианский монастырь (certósa —

ит.) в Павии близ Милана.

2....*согласно Бедекеру и Буркхардту...*— Имя Карла *Бедекера* (1801—1859), немецко

го издателя путеводителей по историческим и художественным достопримечатель

ностям стран Европы, Азии, Америки и Африки уже во второй половине XIX в.

стало нарицательным и служило обозначением популярных руководств для путе

шествий. Справочники издавались им на немецком, французском, английском и

русском языках; фирма «Карл Бедекер» существует и ныне. *Буркхардт* Якоб (1818—

1897) — крупнейший швейцарский историк культуры, автор классических трудов:

по истории Возрождения в Италии, напечатал в 1855 г. путеводитель по художест

венным сокровищам Италии, выдержавший затем многократные переиздания.

Глава 4

СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. ФЛОРЕНЦИЯ, ПАДУЯ, ВЕНЕЦИЯ, ВЕНА, ВАРШАВА

1 ...этот шедевр... все еще находился в том же госпитале... для которого.., был на

писан.— Ныне в музее Уффици во Флоренции.

2*Репин, а позже Врубель «завидовали» его неподражаемому мастерству.*— Отноше

ние Репина к творчеству испанского живописца К. М. Фортуни (1838—1874) не

было ровным. Вначале он отрицательно отнесся к нему, однако, в бытность пен

сионером в Париже, после Салона 1875 г., восхищенный виртуозностью его техники

и реалистичностью письма, писал В. В. Стасову: «Фортуни... конечно, гениальный

живописец нашего века; и после него уже никакая живопись не удовлетворяет»

(Репин И. Избранные письма в двух томах, т. 1. 1867—1892, с. 151, 154). Позднее

Репин пересмотрел свое отношение к этому мастеру. За Врубелем, по его собствен

ному признанию, в Академии художеств утвердилось даже прозвище «Фортуни»г

тем не менее сам он, ценя тонкость техники этого художника, видел в нем преж

де всего «натуралиста», остановившегося «на изучении» природы. («Врубель. Пе

реписка. Воспоминания о художнике», с. 61, 65).

Глава 5

МЕРЕЖКОВСКИЕ. РЕПИН. РАБОТА НАД СОБРАНИЕМ КНЯГИНИ М. К. ТЕНИШЕВОЙ

1 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — религиозный писатель, беллетрист, философ-идеалист, критик и публицист. Основная идея наиболее значительного сочинения в прозе трилогии «Христос и Антихрист» (ч. 1—3) заключена во-взгляде на исторический процесс как на борьбу двух начал — христианского и язы-

яеского, обостряющуюся в кульминационные моменты истории, однако ведущую к примирению и наступлению «третьего царства». Эта же система взглядов характерна и для исследования «Лев Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» (1901—1902), в котором предвидится появление нового гения, синтезирующего открытия Толстого («провидца плоти») и Достоевского («провидца духа»), Мережковский был одним из организаторов «Религиозно-философских собраний» и журнала «Новый путь». Его выступления резко критиковались Г. В. Плехановым («О так называемых религиозных исканиях в России. Евангелие от декаданса»). В 1920 г. эмигрировал из России, жил в Варшаве, затем в Париже, выступал с антисоветских позиций.

2*Гиппиус* Зинаида Николаевна (1869—1945) —поэт, писатель, критик и публицист,

одна из активных фигур русского символизма и литературного декаданса. Участ

вовала в издании религиозно-философского журнала «Новый путь». В 1920 г. эмиг

рировала из России, жила в Варшаве, затем в Париже, выступала с антисоветски

ми статьями.

3*Гиппиус* Владимир Васильевич (Вл. Бестужев, Вл. Нелединский) (1876—1941) —

поэт и литературный критик. Примыкал к символистам.

4*...в «Кабинете его величества»...*— Как административное учреждение с исполни

тельскими функциями, ведавшее собственностью императора,

«Кабинет» был вве

ден Петром I. С каждым новым царствованием его задачи изменялись, то расши

ряясь, то сокращаясь («Кабинет» ведал, в частности, дворцовым строительством,

приобретением художественных произведений, горными заводами и художествен

ными производствами), со времени введения Николаем I Министерства император

ского двора «Кабинет» вошел в его состав (200-летие Кабинета е.и.в. 1704—1904.

Историческое исследование. СПб., 1911).

5...*художник II. II. Ге читал о Толстом...*— Воспоминания Н. Ы. Ге о Л. Н. Толстом

неизвестны, и, по всей видимости, написаны не были. Вероятно, художник читал

отрывки своей книги «Воспомипаний», писавшейся им с 1891 г., в которой могли

содержаться запомнившиеся слушателям отдельные свидетельства его о Толстом,

отзывы Толстого о произведениях Ге и т. п.

...«Юлиан Отступник» только что стал выходить...*— Роман Д. С. Мережковского

«Юлиан Отступник» (первая часть трилогии «Христос и Антихрист», названная

также «Отверженный», или «Смерть богов») впервые печатался в урезанном и ме

стами искаженном виде в 1895 г. в журнале «Северный вестник» (№№ 1—6).

7 ...*нас, пробившихся как бы контрабандой в область...*— А. Н. Бенуа имеет в виду интерес Д. В. Философова к религиозным вопросам, о чем подробнее — II, с. 363—364.

Волынский-Флексер Аким Львович (1863—1926) — литературный и художественный критик, сотрудничал (с 1889 г.) и руководил журналом «Северный вестник» (1893—1898), где выступал как идеолог литературного декаданса, проводя принципы идеалистической эстетики. Его теоретическая философия, но мнению Г. В. Плеханова, сводилась к «бессодержательным фразам», а практическая — к «плохой пародии на нашу „субъективную социологию"». («Судьбы русской критики. А. Л. Волынский».—Г. *В. Плеханов.* Собр. соч., т. 10. М.—Л., 1925). После закрытия журнала — историк живописи, театра, балета, музыки.

...*они втроем... совершили путешествие по Италии...*— Речь

идет о путешествии весной 1896 г., которое было подготовительным к работе Д. С. Мережковского над романом «Леонардо да Винчи» (или «Воскресшие боги», вторая часть трилогии «Христос и Антихрист», 1901). В 1900 г. и Волынский выпустил книгу о Леонардо, свое первое историко-художественное сочинение.

10 *...позже нарисовал... очень схожий портрет...*— Портрет З. Н. Гиппиус был сделан Л. С. Бакстом в 1906 г. (бум. на к., черный кар., мел, сангина) и находится в *ГТГ*.

41 *...когда он писал портрет... Марии Карловны...* См. I, с. 252—253.

12 *...к... негодованию своих товарищей — убежденных позитивистов и «направление»...*—*А.* Н. Бенуа имеет в виду наиболее ригористично настроенных членов Товарищества передвижных художественных выставок, таких как Владимир Е. Маковский, Г. Г. Мясоедов и некоторые другие.

Примечания IV , 8

13 *...ей было в **1895 г. около** сорока **лет...*— **Здесь А. Н. Бенуа не точен: в 1895 г.** М. К. Тенишевой (1867—1928) было 28 лет, она была старше его всего на три года.

*4 *...являвшейся «вдохновительницей на великие дела»...*-— Воспоминания М. К. Тенишевой («Впечатления моей жизни», Париж, 1933) и предисловие, которым снабдила их посмертное издание ее друг Е. К. Святополк-Четвертинская, позволяют составить более широкое представление о личных дарованиях Тенишевой и о направленности ее деятельности в сфере русского просвещения в конце XIX — начале XX в. М. К. Тенишева, прошедшая профессиональную вокальную школу в Париже, помимо собирательства, организации художественных мастерских в Талашки-но и музея русской старины в Смоленске, устройства рисовальной школы в Петербурге на Галерной улице, в которой преподавал Репин и которая заняла заметное-место в истории русского художественного образования на рубеже веков, наконец, помимо участия в первых предприятиях кружка Дягилева — Бенуа (журнал «Мир искусства» и выставка 1899 г.), и сама работала как художница; выполненные ек> эмали экспонировались на выставке в Париже в 1905 г. (L'Art russe. Les émeaux champleués de la Princesse Marie Ténichev. Texte par Denis Roche. Paris). Многолетнее изучение техники и истории эмали было ею обобщено в диссертации «Эмаль и инкрустация», изданной семинарием Н. П. Кондакова в Праге в 1930 г.

15*„.была настоящим инициатором проектов Тенишевой...*— В этих словах сквозит,

возможно, некоторое преувеличение. С известным основанием они могут быть от

несены к организации сельскохозяйственной школы в Талашкине, которое до при

обретения его Тенишевыми было родовым владением Святополк-Четвертинских.

16*...я принялся за подробную опись...*— Над составлением описи А. Н. Бенуа трудил

ся около 3-х лет, включив в нее почти все акварели и рисунки, имевшиеся в те

годы в тенишевском собрании. Позднее опись продолжена не была, и новые при

обретения в нее не включались. «Подробный каталог коллекции акварелей и ри

сунков кн. М. К. Тенишевой», снабженный подготовленными

А. Н. Бенуа деталь-

* ными описаниями вещей и биографическими справками о художниках, хранится ныне в Смоленском областном музее изобразительных и прикладных искусств им. С. Т. Коненкова *(Л. С. Журавлева.* Подробный каталог акварелей и рисунков кн. М. К. Тенишевой, составленный А. Н. Бенуа.— В кн.: «Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1978». Л., 1979, с. 378—392).

Глава 8 ПЕРВЫЙ ГОД НА СОБСТВЕННОЙ КВАРТИРЕ

1*„..«стиль Трассе» — один из ранних фазисов искания «нового» стиля.*— Отзыв

А. Н. Бенуа об Эжене Самюэле *Трассе* (1841—1917) показателен для отношения

мирискусников к искусству модерна, заявлявшему о себе в те годы,— восторжен

но оценивая занимательные иллюстрации художника, А. Н. Бенуа и его друзья

не разделяли общего мнения относительно его орнаментально-декоративных ком

позиций, как раз приобретавших тогда популярность и последователей.

2*...реставрацией картин по способу Петтенкофера...*— *Петтенкофер* Макс (1818—

1901), врач-гигиенист, в 1863 г. получил патент на изобретение метода регенерации

(восстановления) покровного лака парами спирта на картинах, написанных мас

лом.

3*...я тогда продал на выставке... устроенной В. В. Матэ.,.*— На выставке 1897 г,

в Академии художеств А. Н. Бенуа были показаны акварели «Весна», «Село», «Ого

род», «Кладбище», «Зимний вечер в Петербурге», «Старая площадь в Майпце»г

«Вечер в Базеле», «Набережная Рейна в Базеле», «Абсида церкви св. Жерве в Па

риже», «Церковь св. Клотильды в Париже». В то время графические выставки Ака

демии еще не носили официально утвердившегося за ними позже названия выста

вок «Blanc et Noir». С 1901 г. это название появляется и на

обложках указателей

выставок, а в специально оговоренных «правилах» значится, что «на выставку при

нимаются гравюры, офорты, ксилографии и произведения, исполненные одним то

ном,— карандашом, углем, пером или кистью и проч.»

*Примечания IV, 9*ßß9

Глава 9 ДРУЖБА С СОМОВЫМ

1...*питал чувства, близкие к обожанию.*— Переписка К. А. Сомова с А. А. Сомовой-

Михайловой была особенно регулярной в последний парижский период его жиз

ни, когда она заменяла ему дневник и велась в форме дневника; их переписка —

важнейший материал к биографии художника («Константин Андреевич Сомов-

Письма. Дневники, Суждения современников». М., 1979).

2...*четыре рисунка пером О. Кипренского...*— Местонахождение этих рисунков неиз

вестно.

3...*в акварельном этюде...*— Портрет А. А. Сомовой в саду (1892, б. акв.), в собрании

семьи А. А. Сомовой-Михайловой в Ленинграде.

4...*привез их из одного поместья...*— В поместье Оскочное Курской губернии Сомо

вым, кроме этюдов, упоминаемых Бенуа, был написан также «Пейзаж» (к., м.)т

находящийся в собрании Е. А. Гунста в Москве.

5...*этот портрет Анны Карловны...*— Портрет А. К. Бенуа (1896, к., пастель) находил

ся в собрании А. И. Бенуа, с 1932 г.— в *ГРМ.*

6...*портрет своей матери.*— 11ортрет матери художника (Н. К. Сомовой, 1895), в на

стоящее время находится в собрании семьи А. А. Михайловой в Ленинграде.

7...*мой профильный портрет...*— Портрет А. Н. Бенуа. 1895 (уголь, цв., граф. кар.,

акв.), находится в *ГРМ.*

8...*его попытки сделаться художественным критиком.*— В петербургской газете «Но

вости и биржевая газета» (26 августа 1896 г.) была

опубликована статья Дягилева

«Европейские выставки и русские художники», посвященная выставке Мюнхенско

го Сецессиона 1896 г., где участвовали и русские художники. Она получила зна

чение программы того направления, которому Дягилев следовал в дальнейшем,.

пропагандируя достижения русского изобразительного и театрального искусства

за рубежом.

8 *Вторым «событием» было обращение ко мне... немецкого художественного деятеля.*— В книге «Возникновение „Мира искусства"» (Л., 1928, с. 24) А. Н. Бенуа называл этого деятеля доктором Иаулусом. Речь шла об Адольфе Паулюсе, одном из устроителей Мюнхенского Сецессиона 1896 г., который обратился к А. Н. Бенуа не в 1896 г., а еще в 1895 г. В июле 1895 г. А. Н. Бенуа писал В. Ф. Нувелю: «...месяц назад получаю из Мюнхена письмо со штемпелем Secessions на конверте. Оказывается, что пишет мне Paulus... Он просит меня взять, так сказать, устройства Отдела Русской Мистической школы на выставке в будущем году в Мюнхене... Я ему немедленно ответил, что в сущности школы Мистиков у нас нет, а есть ¾ 3 художника и что ввиду разносторонности их искусства лучше было бы сделать-простой Нсорусский Отдел. Устройство этого я брал на себя» (Цит. по кн.: *Стер-пин Г.* Художественная жизнь России на рубеже XIX—XX веков. М., 1970, с. 166).

10*«Стеклянном дворце»* — Так называлось выставочное помещение в Мюнхене, имев

шее, подобно Хрустальному дворцу в Лондоне, стеклянную кровлю.

11*Статейки Сережи... были напечатаны...*— В 1896—1897 гг. газета «Новости и бирже

вая газета» поместила еще пять рецензий Дягилева на выставки иностранного и.

русского искусства в России.

12*...в художественном предприятии Кассирера в Берлине.*— *Кассирер* Бруно Пауль —

владелец художественной галереи в Берлине (типа парижского выставочного са

лона Дюран-Рюэля), торговец картинами, заведовавший делами Берлипского Се

цессиона.

13*...дождавшись прибытия в Петербург очередной Передвижной выставки...*— Речь.

идет о XXIV передвижной выставке, состоявшейся в Петербурге с И февраля по

17 марта 1896 г.

ˆ4 *Кое-кто... действительно, послал по картине или по две...*— Картины послали И. И. Левитан, А. М. Васнецов, В. В. Переплетчиков и В. А. Серов (Offizieller Kata-log der Intcrnationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens Secession. 1896).

15 *...появился целый альбом последних...*— Речь идет об издании фототипии Фишера

t>70

Примечания IV, 10

«Рисунки В. В. Переплетчикова» (М., 1891), содержащем одиннадцать листов иллюстраций. ˆ16 *...в этой злой и меткой карикатуре...*— Воспроизведена в кн.: *Грабарь Игорь.* Валентин Александрович Серов. Жизнь и творчество. М., 1914, с. 275. Ныне в *ГТГ*.

17*...ценили его... «Испанок у окна», его «Хозяйку» (со свечой в руке).*— Картины

«У балкона. Испанки Леонора и Ампара» (1888) и «Хозяйка» (1896) находятся

в *ГТГ*.

18*Его Сергий Радонежский в лесу...*— Имеется в виду картина «Юность преподобно

го Сергия» (1892-1897, *ГТГ*).

*9 *...для... «Храма Первого марта»...*— См. I, с. 101.

120 *...приобрести для ее коллекции эти эскизы.*— Часть эскизов 1894—1897 гг. находится в *ГРМ.*

Глава 10

ВТОРОЕ МАРТЫШКИНСКОЕ ЛЕТО. А. Л. ОБЕР

i Первыми переехали Оберы...— *Обер* Артемий Лаврентьевич (1843—1917)—худож-` ник-анималист и его жена Наталья Францевна Обер. См. I, с. 140.

2*...и ему помочь прокладывать путь к славе.*— Сам А. Н. Бенуа сделал немало для

упрочения имени А. Л. Обера. Им написаны статья «Художественные письма. О Ре

пине и Обере» («Речь», 2 декабря 1911), появившаяся как возражение на статью

И. Е. Репина «Об Александре Бенуа, Обере и прочем...»

(«Биржевые ведомости»,

19 ноября 1911) и некролог 1917 года («Александр Бенуа размышляет...» М., 1968,

с. 159—164). Серьезный и сочувственный разбор творчества Обера был сделан кро

ме того Н. Н. Врангелем в «Истории скульптуры» (См. кн.: *Грабарь И.* [ред]. Исто

рия русского искусства, т. V. М., [1913], с. 385—412).

3...*избравших... темой Берлинский конгресс...*— Берлинский конгресс 1878 г. был

крайне непопулярен в России. Проходивший под председательством Бисмарка, он

был созван по инициативе Великобритании и Австрии для пересмотра выгодных

для России условий Сан-Стефанского договора, завершавшего Русско-турецкую

войну 1877—1878 гг.

4...*система... была по существу ересью...*— А. Н. Бенуа несправедлив по отношению

к системе П. П. Чистякова. См. I, с. 556—557.

5...*когда началось французско-русское движение...*— Франко-прусская война 1870—

1871 гг. привела к глубоким переменам в Европе: Франция потеряла первенствую

щее положение на континенте, закончилось национальное объединение Германии.

Усиление Германской империи и общность антигерманских внешнеполитических

интересов привели в 1882 г. к образованию Тройственного союза, а в 1890-е годы —

к французско-русскому движению, завершившемуся франко-русским союзом

в 1893 г.

6...*несмотря па всю талантливость ее вдохновителя...*— Газета «Новое время», начи

ная с 1876 г., возглавлялась А. С. Сувориным (1834—1912), приобретшим до того

широкую известность в качестве журналиста умеренно-либерального, западниче

ского толка, автора пользовавшихся большим успехом фельетонов на общественно-

политические и литературные темы (Суворин печатал также «Недельные очерки

и картинки» в «С.-Петербургских ведомостях» под

псевдонимом Незнакомец). С кон

ца 70-х годов Суворин резко изменил общественную ориентацию, начав проводить

в издаваемом им «Новом времени» реакционно-националистические взгляды, одна

ко в глазах определенных интеллигентских кругов позиция обывательского «Ново

го времени» все же не до конца сливалась с общественным лицом ее издателя, та

лантливость которого признавали многие.

7*...один из его хороших портретов... попал впоследствии в Третьяковскую галерею.*—

В *ГТГ* ныне хранятся два портрета работы Сомова 1896 г.— «Портрет Н. Ф. Обер»

(х., м.), о котором пишет А. Н. Бенуа, и «Н. Ф. Обер на фоне пейзажа» (б., акв.,

граф. кар).

^*...классический профильный портрет Оли...*— Портрет находился в собрании В. О. Гиршмана; с 1917 г.— в *ГТГ*. Другой рисунок Сомова с той же модели — в *ГРМ*.

*Примечания IV, IS*ß7t

Глава 11

ВТОРОЕ МАРТЫШКИНСКОЕ ЛЕТО. У **ТЕНИШЕВЫХ В ТАЛАШКИНЕ.**

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ПАРИЖ

1.*„ошеломила грандиозность Кремлевских стен...*— Акварель «Москва. Кремлевские

стены и Спасская башня» хранится в *ГРМ*.

2...это был один из самых удачных его портретов...— Портрет А. Н. Бенуа находите»

в *ГРМ*.

3*...главнейшие мои картины из серии «Прогулки короля»,..*— Акварели, выполненные

в 1897 г. для серии «Последние прогулки Людовика XIV» («У бассейна Цереры»,

«У Курция», «Кормление рыб», «Прогулка в кресле» и др.) перешли вместе с со

бранием Тенишевой в *ГРМ*.

ПО ГЕРМАНИИ. ГАНС БАРТЕЛЬС. БЕРЛИНСКИЕ И МЮНХЕНСКИЕ ХУДОЖНИКИ. OKTOBERFEST.

1*Октябрьское празднество.*— Осенний праздник, отмечавший окончание сбора вино

града ¾ очень популярный в Мюнхене; он носил также название праздника вина.

и сопровождался карнавалом, шумными массовыми гуляниями.

2*Вот и Эйдкунен.*— В те годы пограничный пункт на границе России и Германии

(точнее, Пруссии).

3...*ультраутонченное рококо Кнобельсдорфа...*— *Кнобельсдорф* Георг Венцеслаус

(1699—1753) — немецкий архитектор, работавший при дворе Фридриха II, строи

тель дворца в Потсдаме (1744—1751), Берлинского оперпого театра (1741—1743) а

берлинского дворца Шарлоттенбург (1740—-1743), планировщик парков Тиргартеи

и Сан-Суси.

4...*через розовые очки дюссельдорфской «школы».*— Живописцам дюссельдорфской

школы, сложившейся в 20-е годы XIX в., был свойствен поверхностный сенти

ментализм, а картинам — сюжетная занимательность. Во времена А. Н. Бенуа под

«дюссельдорфцами» чаще подразумевали живописцев Л. Кнауса (1829—1910) и

В. Вотье (1829—1898).

5...в *мюнхенской «Новой пинакотеке».*— Так был назван музей современной живопи

си (XIX в.), основанный в 1853 г. (в отличие от «Старой пинакотеки», основанной

в 1836 г. и хранившей творения старых мастеров).

6...*с самых дней... Макарта.*— Исторические полотна и росписи австрийского живо

писца Ганса Макарта (1840—1884) отличали эффектная красочность, пышность^

композиции, богатство костюмов и аксессуаров.

7 *«Прощай, о прекрасная Франция, прощай, мой милый край!..»* — По-видимому, имеется в виду романс Р. Шумана «Прощание с Францией» («Adieu, mein freulích FrankenlancL.)>),— первый из

цикла, написанного им на тексты стихотворений королевы Марии Стюарт (ор. 135; пер. на нем. Г. Финке). Романс известен и в русском переводе Эм. Александровой: «Корабль готов — прощай! / Прощай, веселый, добрый край...» Бенуа дает текст во французском переводе.

Глава 13 МЫ В ПАРИЖЕ

1 *...Клюни, Сен-Жермен л'Оксеруа...*— Отель Клюни — монастырская гостиница, построенная в 1495—1500 гг., в которой с 1844 г. размещен музей средневекового искусства с богатейшей коллекцией прикладного искусства V—XV вв. Церковь *Сен-Жермен л'Оксеруа* основана в VII в. и перестроена в XIII и XV в.; как и отель *Клю ни* — памятник искусства поздней, так называемой «пламенеющей» готики.

3 *...по всем отделениям Бон-Марше..,*— Бон-Марше — большой универсальный мага-

зин, построенный в 1868—1876 гг. инженером *А.* Г. *Эйфелем* (1832—1923) и архитектором *Л. А. Буало* (1812—1896).

3 *...пинакли, оживы, аркбутаны...*— *Пинакли* — остроконечные завершения, венчаю-"щие контрфорсы готических церквей (наружные укрепления, предохраняющие стены и противодействующие распору сводов). *Оживы* (ogive — *франц.)* — стрелы или нервюры, профилированные ребра готического свода. *Аркбутаны* — упорные арки, передающие распор свода на контрфорсы.

•* *Знаменитая речь... и особенно... слова «безумные мечтания»...*— Речь была произнесена в январе 1895 г. перед представителями дворянства, земств и городов в Николаевском зале Зимнего дворца. Приветствовав собравшихся и выйдя на середину зала, Николай II сказал: «Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный, покойный родитель» (Полное собрание речей императора Николая II. 1894— 1906. СПб., 1906, с. 7).

Глава 14 ТЕНИШЕВА В ПАРИЖЕ

л Два слова... о князе...— Помимо крупных промышленных и коммерческих предприятий, Вячеслав Николаевич Тенишев (1843—1903) занимался научной деятельностью, получив известность и как ученый-этнограф. В 1896 г. им была напечатана программа собирания этнографических сведений о крестьянах Центральной России и учреждено для этого этнографическое бюро; кроме того, делались шаги к изучению быта городского населения, чиновничества и т. п. Материалы обследований, проводившихся по тенишевской программе, находятся в Ленинградском этнографическом музее. В 1895 г. Тенишевым было основано в Петербурге реальное училище, получившее его имя.

Л Бонна Леон (1833—1922)—один из известнейших художников французской академической живописи, признанный мастер официальных парадных портретов.

-* *...распродажа наследия братьев Гонкуров.*— Братья *Гонкуры* Жюль (1830—1870) и Эдмон (1822—1896) собирали в основном французское искусство XVIII в. Их загородный дом в Отейле был превращен в настоящий музей и описан Эдмоном Гонкуром в книге «Дом художника» (1881). В 1896 г., после смерти Эдмона, состоялся аукцион по продаже коллекции Гонкуров.

Глава 15 АККЛИМАТИЗАЦИЯ. ПАРИЖСКИЙ УГАР

1*Инцидент... в чисто поль~де~коковеком вкусе.*— Иначе говоря — бытовое происшест

вие с «пикантными подробностями», мастером описаний которых был француз

ский писатель Поль де Кок (1794—1871), знаток быта и нравов различных слоев

населения Парижа.

2*„.после знаменитого пожара «Opera Comique>>...*— Театр «Опера комик» (основан

как временный в 1715 г., в 1801 г. получил свое наименование и был открыт

вновь) был полностью разрушен пожаром в 1887 г. Его новое здание выстроено

архитектором С. Л. Бернье в 1898 г.

* *...в Seaux...*— Со — одно из южных предместий Парижа, расположенное вдоль Сены. Замок сооружен в 1670 г. по эскизу Кольбера (1619—1683) и плану К. Перро (1613—1688), планировка парка принадлежит А. Ленотру (1613—1700).

4...*«Cabaret du Chat Noir> >... чудесные китайские тени Анри Ривьера и «Сагап*

á"Ache»'a...— «Cabaret le Chat Noir» — доступное для публики артистическое кафе и

литературный кружок на Монмартре открыто Рудольфом Сали в 1881 г. В 1886—

1889 гг. *Анри Ривьер* (1864—1951), французский график и иллюстратор, в содру

жестве с Сали основал в кабаре теневой театр. В нем дебютировал и художник-

карикатурист Эммануэль Пуаре (1859—1909), родившийся в Москве и известный

во Франции под псевдонимом Карандаш *(Сагап d'Ache)*. А. Н. Бенуа посвятил

ему специальную статью-некролог (Речь, 1909, 15 февраля).

5...*мистерия... монахини Гросвиты фон Гандерсгейм (история сродни с «Thais»)...—*

Монахиня Гандерсхеймского монастыря Хросвита (Гросвита, Росвита, ок. 935 —

ок. 975) писала на латыни, излагая в гекзаметрах и дистихах сюжеты своих ис

торических поэм. Сюжет мистерии «Abraham» напоминал А. II. Бенуа сюжет цер

ковного предания о Таис, александрийской куртизанке, обращенной в христианст-

, во и известной затем под именем св. Таисии. Легенда о Таис легла в основу и нескольких произведений А. Франса — стихотворного наброска, новеллы и философской повести «Таис» (1888—1889). В русском переводе роман появился в Петербурге уже в 1891 г. под названием «Александрийская куртизанка». 5 ...*то был «сам» Desossé...— Валентин Ле Дезоссе* (Ренодеи) — прославленный танцор-любитель, постоянный партнер танцовщицы Ля Гулю в Мулен Руж, много раз изображавшийся Тулуз-Лотреком. За необычайную пластичность движений был прозван «бескостным» и «человеком-змеей».

7...*не существовали ни «Dome», ни «Coupole»...*— Известные литературные и арти

стические кафе па Монпарнасе, ставшие особенно популярными в начале XX в. ■

8...*знаменитого «Cafe dlìárcourt»* — Кафе «d`Iiárcourt» в Латинском квартале на

бульваре Сан-Мишель (№ 47) было одним из старых,

имеющих установленные
традиции.
г

Глава 16 ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА ПАРИЖА

1...*часы... проводил... в Люксембурге...*— Люксембургский музей был открыт в 1808 г.
в части дворца Люксембург, построенного для Марии Медичи архитектором С. де
Броссом в 1615—1620 гг. Он был основан как галерея новейшей французской жи
вописи, колж'кция которой не была постоянной: по прошествии 10 лет после при
обретения произведения, подвергнутые проверке временем, либо передавались в
Лувр, либо пересылались в провинциальные музеи. В 1920 г. большое собрание
живописи импрессионистов перешло Лувру и составило самостоятельную экспози
цию в Тюильрпйском «Павильоне для игры в мяч». В 1939 г. музей перестал су
ществовать, его заменил Музей современного искусства.

2...*познакомился и с Карнавале...*— Музей Карнавале — исторический музей. Он раз
мещен в квартале Маре во дворце середины XVI в., построенном архитектором
Пьером Леско и украшенном скульптурами Жа.на Гужона. Его коллекции, откры
тые для осмотра с 1880 г., посвящены истории города Парижа и эпохе Великой
французской революции.

3...*не был построен Малый дворец...*— Малый дворец, как и Большой (Пти-Пале и
Гран-Пале) сооружались на Елисейских полях к Всемирной выставке 1900 г. Пти-
Пале замещал старый Дворец индустрии и был построен архитектором Шарлем
Жиро (1851—1932). Его залы заняли впоследствии коллекции, связанные с горо
дом Парижем, собрания искусства старых мастеров и французской живописи
XIX—XX вв.

4...*богатства Музея декоративного искусства... коллекции Жакмар-Андре...*— Музей

декоративного искусства, основанный в 1882 г. Центральным союзом декоративно

го искусства во дворце Индустрии, был свернут при постройке Малого дворца

и вновь открыт в 1905 г. в северном крыле Лувра — павильоне Марсан (он занял

более 200 зал).

Коллекция Жакмар-Андре, завещанная Институту Франции и размещенная в его здании, построенном архитектором Анри Пареном, содержит как наиболее

ценную часть — французское искусство XVIII в., кроме того искусство итальянского Ренессанса XV—XVI вв., манускрипты XIV в. Ее особенность — в «немузейной системе» размещения экспонатов, при которой залы устроены так, что создается впечатление частной квартиры богатого коллекционера. Открыта для широкого осмотра с 1913 г. 4 ...*такие «horreurs», как «Олимпия» Мане?*—«Олимпия» Эдуарда Мане была включена в состав луврского собрания только в 1907 г.

6Люксембургский музей только еще готовился принять дар Кайботта.— Исключи

тельная по составу коллекция *Гюстава Кайботта* (1848—1894, инженера, специа

листа по кораблестроению, живописца), в которой наряду со старыми мастерами

были прекрасно представлены Мане, Дега, Ренуар, Писсарро, Сислей и другие,

близкие Кайботту художники, была завещана им государству при условии, что

все собрание целиком войдет в Лувр. В 1896 г.,.как раз в год приезда А. Н. Беыуа,

после продолжительных дебатов «дар Кайботта» был принят в Люксембургский

музей.

7...его *большая картина <<Дама в зеленом».*— Картина написана в 1866 г. и находит

ся в Музее г. Бремена.

8...*и Воллар, и Бернгеймы...*— *Воллар Амбруаз* (1868—1939)— торговец картинами,

издатель и писатель, составивший имя и состояние

приобретением картин Сезан

на, Ван Гога, Гогена, скульптур Майоля и др. *Бернгеймы* — парижские маршаны

и художественные критики. Успешное начало торговли было положено Жозефом

Бернгеймом (1799—1859), продолжено Александром (1839—1915), другом Дела

круа, Коро и Курбе, передавшим в 1900 г. галерею сыновьям — Бернгеймам млад

шим — Гастону (1870—1953) и Жоссу (1870—1941), организовавшим первую вы

ставку картин Ван Гога (1901), выставки Боннара, Вюйара, Сезанна, Сера (1907),

Матисса (1910) и т. д.

9...столь же знаменитый, как флорентийская ***Tríbuha,*** *Salon Carre...*— Салон Карре,

или Большой Квадратный салон — зал Луврского дворца, расположенный в кон

це Большой галереи (вдоль Сены) при ее соединении с перпендикулярной к ней

галереей Аполлона. При устройстве в Лувре музейной экспозиции Салон Карре

был избран для помещения в пем самых ценных картин собрания, в большинстве

своем художников итальянской школы («Портрет Моны Лизы (Джоконды)»

Леонардо да Винчи, «св. Семейство» и «Портрет Бальтазара Кастпльоне» Рафаэля,

«Деревенский концерт» Джорджоне, «Пир в Кане Галилейской» Веронезе и др.).

Это и сделало его знаменитым, дав А. Н. Бенуа основание сопоставить зал с не

менее знаменитой «Флорентийской трибуной» — восьмиугольным залом галереи

Уффици во Флоренции, где также, в соответствии с принципом музейной экспози

ции тех лет, были сосредоточены наиболее прославленные шедевры музея («Ма

донна со щегленком» и «Иоанн Креститель» Рафаэля, «Венера Урбинская» и «Ма

донна в кресле» Тициана, «Поклонение младенцу» Корреджо, «Бедствия войны»

Рубенса и др.).

1,1 *...воплощением бальзаковского Cousin Pons...*— *Кузен Поле*

— герой бальзаковской эпопеи «Человеческая комедия» (ч. 1. Этюды о правах; Сцены парижской жизни — «Кузен Понс». 1846—1847), тип бескорыстного знатока и собирателя, который на скромные средства создал уникальную коллекцию произведений искусства.

" ...*похвалить сотрудников Виолле ле Дюка*...— Виолле-ле-Дюк Эжен Эмманюэль (1814—1879) — французский архитектор, историк и теоретик архитектуры, знаток средневекового искусства; в 1841—1864 гг. реставрировал собор Нотр-Дам. В процессе восстановительных работ, однако, не только были укреплены разрушенпые части, но и воссозданы утраченные, что одновременно с признанием огромных заслуг Виолле-ле-Дюка по спасению выдающегося памятника французского средневековья, способствовало и репутации несколько насильственной, недостаточно корректной практики ведения реставрационных работ.

11 Антифонарии — сборники антифонов (противогласиików), церковных песнопений, входящих в состав литургии.

1 ...в *гостях у самого Клода Фролло*...— Имеется в виду герой романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», священнослужитель церкви Нотр-Дам, архидиакон.

*Примечания IV, 18*ß75

Глава 17]

В ПАРИЖЕ. К. БЕНУА. ЛУВР ВО МРАКЕ. Р. МЕНАР. Л. СИМОН

1...*на портрете... «Hommage à Chabrier>>* — *Шабрие* Алексис Эмманюэль (1841

1894) — французский композитор, автор оперетт и написанных под влиянием Р. Вагнера опер, поставленных многими театрами Германии и Франции.

2*Менар* Эмиль *Рене* (1862—1930) — сын историка искусства Рене Менара (см. I,

с. 248) — был автором картин преимущественно на темы античности и буколи

ческие сюжеты.

3*Симон Люсъен* (1861—1945) —художник-жанрист, член группы «Банд нуар» («Чер

ная банда»), возникшей как оппозиция фовистам и их исканиям красочности.

В эту же группу входил и Шарль Котте (1863—1925), автор картин из жизни бре

тонских моряков, обращавших внимание темнотой колорита.

4...*мой искренний восторг от ее творчества.*— Произведения М. В. Якунчиковой

(1870—1902), работавшей в живописи, офорте и в сфере прикладного искусства, высоко оценивались в ту пору и другими художественными критиками. Так, П. П. Муратов (уже после смерти художницы) поставил ее имя в ряд с именами лучших русских живописцев рубежа столетий. «Может быть недалеко уже то время, когда эти годы, годы Серова, Коровина, Врубеля, Сомова, Якунчиковой и Мусатова, будут называться лучезарной эпохой русской живописи» *(Муратов П. ÎL* О нашей художественной культуре.— Московский еженедельник, 1906, № 38, с. 35).

5...в *окрестностях Кемпера... на полуострове Пенмарк...*— *Кемпер*— город в Бретани,

* близ мыса Пепмарк, юго-западной оконечносри Бретонского - полуострова. *Армо*

рика — древнее кельтское название Бретани.

Глава 18 МОРИС ДЕНИ, ВАЛЛОТОН, БОННАР, ВЮЙАР

f ...*«Salon d`Åutomne» был учрежден только в 1900 г.*— С середины 80-х годов и особенно после Всемирной выставки 1889 г. число выставочных объединений — Салонов стало заметно расти. «Salon d'Automne» — Осенний салон — был последним из возникших в конце XIX — начале XX в. Салонов (утвержден в 1903 г.), привлекшим на свои экспозиции импрессионистов и постимпрессионистов. Положение Осенних салонов во французской художественной культуре приближалось к тому, которое занимали в русской художественной культуре выставки «Мира искусства» и отчасти «Союза русских художников»; из русских художников его членами были К. А. Сомов, Л. С. Бакст, И. Э. Грабарь, П. В. Кузнецов, В. В. Кандинский, М. В. Ларионов, Н. А. Тархов, А. С. Голубкина, П. П. Трубецкой и пекоторые другие.

* ...*«Салон Независимых».*— «Общество независимых художников» возникло в 1884 г. и положило начало учреждению новых (в противовес официальному Салону Общества французских художников) художественных Салонов. Весенпие выставки «Независимых», для которых воздвигались длинные бараки на берегу Сены, привлекали художников разных течений. Условия выставок допускали любого записавшегося, жюри отсутствовало, свобода создавала «пеструю и яркую картину бурной действительности; здесь водоворот школ, направлений, вкусов и взглядов,— писал Б. Н. Терновец,— от крайне правых до

крайне левых, от смешного дилетантизма и любительства до высоких и значительных произведений... Выставка «Независимых» не имеет каких-либо аналогий в нашей художественной жизни... Трудно передать всю силу и резкость коптрастов и противопоставлений... она привлекала всегда новаторов и наиболее яркие полотна «диких» — то есть Анри Матисса и его друзей, как потом — кубистов и орфистов (Делоне)». *(Б. Н. Терновец.* Письма. Дневники. Статьи. М., 1977, с. 100).

3 *Щукин* Сергей Иванович (1854—1937) — московский коллекционер западного искусства, первый среди собирателей энтузиаст новой французской живописи, один

из четырех братьев Щукиных — собирателей художественных произведений (Петр, Дмитрий н Иван Ивановичи). Его галерея находилась в Большом Знаменском пер., д. 8. близ Знаменской улицы (ныне ул. Фрунзе). Превосходная коллекция картин импрессионистов, Гогена и, в особеппости, Матисса и Пикассо, Руссо и Дерена была им завещана городу; позднее она составила значительную часть собрания Гос. музея нового западного искусства.

4 ... *брата Петра... заставил купить одну из... картин Дени «В лесу»...— Щукин* Петр Иванович (1852—1912) был собирателем русской художественной старины, но в его особняке на Грузинской имелась коллекция картин новой французской живописи, лучшие вещи которой еще при его жизни перешли в собрание С. И. Щукина — в том числе картина Дени «Священная роща».

D ...*Иван Абрамович Морозов... дал Дени возможность «высказаться вполне».— Морозов Иван Абрамович* (1871—1921) — коллекционер французской живописи, собрание которого легло в основу Гос. музея нового западного искусства. В 1906 г. Морозовым были приобретены у Дени картины «Святой источник» и «Вакх и Ариадна» и заказана парная к последней — «Полифем». В 1907 г. совместно с Дени им задумано оформление большого концертного зала в особняке на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина). В качестве сюжета избрана «История Психеи». С эскизными набросками композиции Дени побывал в северной Италии, чтобы на фоне ее пейзажей развернуть серию мифологических сюжетов. 5 панно были им завершены к осени 1908 г. и показаны на выставке Осеннего салона. К концу года панно были перевезены в Москву и закреплены на стенах зала.

fi *„.отметить его приезд в Москву и Петербург.*— Морис Дени

приезжал в Москву **в** январе 1909 г., чтобы проверить впечатление, производимое панпо, и прописать их, притушив излишнюю резкость красок. Недостаточная слитность оформления с архитектурой зала привела его к мысли заполнить простенки и наддверные пространства серией добавочных панно. К концу 1909 г. панно были закончены, присланы в Москву и установлены *(Терновец Б. 11.* Письма. Дневники. Статьи, с. 109—* 111). В честь приезда Дени русскими художниками был дан обед.

Глава 19 МОЕ КОЛЛЕКЦИОНЕРСТВО

1...*стал посещать... «Академию Коларосси» на Монпарнасе...*— Академия Коларос-

си — известная парижская художественная студия, основанная в 80-х годах XIX в.

За умеренную плату художники получали возможность писать с обнаженной мо

дели. Студию Коларосси посещали многие русские художники — В. А. Серов,

К. А. Сомов, Е. Е. Лансере, А. С. Голубкина п др.

2...*от «деревяшек» к рисункам и т. д.*— «Деревяшки» — гравюры на дереве.

3 Простить себе не могу, что... эту фантазию моего друга... оставил... вместе с дру

гими... сокровищами...— Как уже упоминалось, художественные собрания А. Н. Бе-

нуа были переданы в различные музеи Ленинграда. В частности, в Эрмитаже хра

нится альбом гравюр Жана Риго, однако трудно с достоверностью утверждать, ка

кой из листов раскрашен К. А. Сомовым.

Глава 20

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ. ВЫСТАВКА КНЯГИНИ ТЕНИШЕВОЙ. ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ДЯГИЛЕВА. ПРИЕЗД **В ПАРИЖ** ЧЕТЫ **ОБЕР**

' *...чудесный портрет Сергея Атавы в красной рубахе...*— Портрет **Сергея Атавы** (С. Н. Терпигорева. акварель) находится в *ГТГ*.

2 Каталог в форме карманной записной книжки...— Выставка коллекции рисунков и акварелей кн. М. К. Тенишевой. СПб., 1897.

Акварельная выставка из тенишевско-го собрания, на два месяца опережавшая дягилевскую выставку немецких и английских акварелистов, явилась по существу первым выставочным опытом членов

Примечания IV, 21

677

будущего объединения «Мир искусства». В характере экспозиции и общественной реакции на нее уже здесь дал о себе знать проведенный устроителем — А. Н. Бе-нуа — принцип «художественности»), серьезности и изысканности при отборе произведений. Непопулярность у широкой публики и недовольство в среде академических живописцев были следствием этих новых критериев и эстетических ориентации. 1 *...но об этом далее...—См.* II, с. 190—191.

4*...доминировали так называемые «Мальчики из Глазго»...*— Группа молодых шот

ландских художников, работавших в Глазго и выдвинувшихся в конце 80-х — на

чале 90-х годов; их платформа соответствовала движению «Новый английский

клуб» в Лондоне и была близка «Миру искусства». Они первыми обнаружили за

интересованность в идеях передового французского искусства, в исканиях барби-

зонской школы и импрессионистов. Наиболее известны из них Джои Лавери

(1856/7—1941), Джеймс Гутри (1859—1930) и Джеймс Патерсон (1854—1901). И на

чале 90-х годов выставка работ художников из Глазго состоялась в Берлине и

Мюнхене, после чего некоторое число их произведений было приобретено музея

ми Германии.

5*Самого открытия выставки я не дождался...*— Выставка немецких и английских

акварелистов открылась в Музее Училища А. Л. Штиглица в марте 1897 г.

Глава 21 ЛЕТО В БРЕТАНИ. ПРИЕЗД ДЯГИЛЕВА

4 *...путеводителей, начиная с классического Жоанна.*— Адольф Жоанн (1813—1881) — книгоиздатель, выпускавший подобпо Бедекеру путеводители и туристические справочники. В данном

случае А. Н. Бснуа пишет о кн.: *Joanne Adolf.* Itinéraire general de la France. Bretagne. Paris, 1877.

s *...Балобаповой... «Бретонские сказки».*— Книга Е. Балобаповой «Легенды о старинных замках Бретани» вышла в Петербурге в 1899 г. Оригиналы иллюстраций Е. Е. Лансере, исполненные тушью, карандашом, белилами, кистью, находятся в *ЦГАЛИ* и *ГРМЧ* многочисленные натурные черновые зарисовки Бретани — в собрании семьи Е. Е. Лансере.

1 „.наладил свою первую значительную выставку — скандинавских художников...— В октябре 1897 г. С. П. Дягилев устроил в залах «Общества поощрения художеств» в Петербурге «Скандинавскую выставку», первую, столь полно представлявшую в Европе мастеров Швеции, Норвегии и Дании (на выставке были работы более семидесяти художников).

4 *...Альбер... стал подумывать о том, чтобы... основать свою группу.*— А. Н. Беиуа подробно рассказывает об этом эпизоде в кн.: «Возникновение „Мира искусства'1». Л.. 1928, с. 23—26.

* *...я учреждаю... общество... Выставка будет устроена от моего... имени...*— «Выставка русских и финляндских художников» открылась в Петербурге в январе 1898 г. в залах Музея Училища А. Л. Штиглица и своим направлением определила платформу будущего «Мира искусства;). С нее по существу начинается история выставок этого объединения, обычно выступавшего от имени журнала, первый номер которого появился в ноябре того же 1898 г. Среди представленных на выставке русских художников были: М. А. Врубель, К. А. Коровин, В. А. Серов, И. И. Левитан, М. В. Нестеров, А. М. Васнецов, К. А. Сомов, А. Н. Беиуа, Л. С. Бакст, А. II. Рябушкин, С. В. Малютин. Финляндский раздел экспозиции включал работы крупнейших финских художников тех лет — А. Галлен-Каллола, А. Эдельфель-та, Е. Ернефельта и др. Уже эту выставку Дягилев собирался показать в дальнейшем в Москве, а затем на Сецессионе в Мюнхене, об организации русского отдела он вел переговоры с устроителем Сецессиона А. Паулюсом.

Глава 22 П© БРЕТАНИ

...так называемые «кальварии»...— Означая в переводе с французского Голгофу, кальварии воспроизводили холм с распятием и служили придорожными распятиями, воздвигались на кладбищах и возле часовен. К числу наиболее замечательных относятся как раз описанные А. Н. Бенуа, построенные в Бретани в средние века. Они оказывались в центре небольших монастырей, выкладывались из кирпича и имели алтарь, украшенный барельефами.

...«друидических» камней — т. е. «жреческих» камней (druide — жрец у кельтов). Скорее всего имеются в виду менгиры — большие камни, ставившиеся вертикально (высотой 4—5 м, иногда до 21 м), и имевшие культовое назначение: около них совершались жертвоприношения и иные религиозные церемонии.

Знаменитый ее храмовый праздник 15 августа...— День Успения богородицы, особо чтимый как православной, так и католической церковью.

...лишь семь лет спустя мне удалось запечатлеть его в нескольких акварелях.— Несколько видов Примеля (масло, акварель, гуашь), находящихся в музеях Советского Союза, датируются 1905 годом.

ь *...герцогиня Анна, дважды ставшая французской королевой...* — Анна Бретонская (1477—1514) — герцогиня Бретани, последнего самостоятельного герцогства во Франции, была королевой Франции с 1491 по 1514 г. Она дважды получала королевский титул в результате брака с королями Франции — Карлом VIII и после его смерти (1498) —с Людовиком XII. Присоединение Бретани к Франции завершало образование французского национального государства.

Глава 23

СОЖИТЕЛЬСТВО С СОМОВЫМ. МОЯ РАБОТА. МОИ «ЛЕКЦИИ» У ТЕНИШЕВОЙ

**...томы мемуаров герцога де Сен-Симон...*— «Memoires» Луи де Сен-Симона охваты

вают годы с 1694 до 1723, то есть последние годы Людовика XIV и период Регент

ства. Во Франции выдержали несколько изданий, на русский

язык переведены

частично: *Сен-Симон.* Мемуары. М.— Л., 1934—1936, т. 1—2.

1 ...один из четырех бассейнов Времен Года.— Бассейны «Времен года» занимают углы большого прямоугольника в центре партера перед садовым фасадом Версальского дворца. Направо от главной аллеи — бассейны Флоры-Весны и Цереры-Лета, налево — Бахуса-Осени и Сатурна-Зимы. Они более известны по имени мифологических персонажей, скульптуры которых установлены на островках в центре бассейнов, два из которых (Флоры и Бахуса) имеют округлые, два (Цереры и Сатурна) — прямоугольные очертания. А. Н. Бенуа не раз писал и рисовал их, но особенно часто, в разные времена года — бассейн Бахуса.

Глава 24

ВЫСТАВКА РУССКИХ И ФИНЛЯНДСКИХ ХУДОЖНИКОВ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МИРА ИСКУССТВА»

** ...картины его вися! в парижском музее.*— Финский художник *Альберт ЭЬель-фелы* (1854—1905) был связан с Парижем все начальные годы своего пути. Он получил образование у Ж. Жерома в Институте изящных искусств, его первые исторические картины 1877—-1878 гг. были близки по стилю к произведениям *Ж.* П. Лорана, французского художника салопно-академического направления, пользовавшегося тогда шумной известностью; картина «Богослужение в шхерах», одна из первых, написанных на сюжет национальной истории, была приобретена в 1881 г. французским правительством для Люксембургского музея; позже передана в музей г. Лилля.

Примечания IV, 24

679

** ...при «Весенней выставке» в Академии художеств...*— Проводившиеся обычно весной годичные экспозиции Академии художеств в 1897 г. получили официальное название «Весенних выставок». Вновь были утверждены правила выставок, до того не раз менявшиеся (в 1883, 1885, 1890 гг.). С марта 1897 г. «Весешше выставки» стали устраиваться на более демократических основаниях, жюри избиралось не собранием Академии, а самими экспонентами, имеющими звание художника, благодаря чему представительство художественных групп на выставках расширилось.

1 *...Академия художеств (невзирая на... реформу)...*— См. I, с. 629—630.

4*...паше выступление... было встречено с... враждебностью.*— Не все рецензии

были таковы: в статье нововременского критика И. Кравченко («Выставка рус

ских и финляндских художников в зале музея барона Штиглица».— Новое время,

1898, 19 января) делалась попытка разъяснить позицию устроителей и поднять

организационную роль Дягилева. Однако именно эта статья вызвала особенно рез

кую реакцию В. В. Стасова, голос которого продолжал оставаться авторитетным

для читающей публики (см. его статью: «Выставки».— Новости и биржевая га

зета, 1898, 27 января; см. также: *Стасов В. В.* Избранные соч. в 3-х томах. М., 1952,

т. 3, с. 215—221).

5...*наибольшие возражения... вызвало... панно Врубеля.*— Речь идет о декоратив

ном панно «Утро» (1897, *ГРМ)* — первоначальном, отвергнутом заказчиком, вари*

анте панно для особняка С. Т. Морозова. Не только панно, но и скульптура Вру

беля («Демон» и голова великана из «Руслана») вызвали резкие нападки Стасова.

6...*наша княгиня под влиянием молвы... приобрела это панно...* — В своих воспоми

наниях М. К. Тенишева пишет, что панно Врубеля было приобретено ею для

особняка на Английской набережной; она сочувствовала художпику и хотела по

мочь ему, не находившему признания в официальных художественных кругах.

«Утро» было первым произведением художника, появившимся на выставке по

сле неофициально показанных С. И. Мамонтовым двух декоративных панно Вру

беля на Нижегородской выставке 1896 г. Высоко ценя дарование Врубеля и

выделяя его из среды современных художников, Тепишева и в дальнейшем стре

милась привлечь его к своим художественным начинаниям, в частпости, к дея

тельности мастерских в Талашкиие.

7...*карикатура художника Щербова...*— Напечатана в журнале «Шут» (1898, № 7,

с. 8—9) с подписью: «Брось, бабка, торговаться: одеяло — в рубель... Ведь я его

не на свалке выгреб, а в больнице у Фрея выудил».

8...*выставка получила... слишком нарядный вид.*— Даже на карикатуре П. Е. Щер

бова Дягилев изображен в окружении расставленных на земле ваз и горшков с

цветами.

9...*портрет Александра 111 в красном датском мундире...*— В каталоге выставки пор

трет Александра III не значится.

10...*нечто подобное английскому «Studio».*— «The Studio» — английский ежемесяч

ный художественный журнал, выходящий в Лондоне с 1895 г.

11...*учрежденной княгиней свободной художественной школой...*— М. К. Тенишевой

в 90-е годы на собственные средства были учреждены две рисовальные школы.

Одна из них — в Петербурге, просуществовала с 1894 по 1904 г., другая, началь

ная рисовальная школа в Смоленске — с 1896 по 1899 г. «Студия... сразу завоевала

себе почетное место. Желающих поступить... было в десять раз больше, чем по

зволяло помещение. В нем могли работать при двух натурщиках от пятидесяти

до шестидесяти человек. В начале учебного сезона места брались положительно с

боя...» *(Тенишева М. К.* Впечатления моей жизни, с. 180). В устройстве петер

бургской художественной студии некоторые из современников, в частности

А. П. Остроумова-Лебедева, склонны были видеть основную заслугу Тенишевой.

В ней преподавал И. Е. Репин, среди других художественное образование получи

ли его сын — Юрий Репин, дочь К. Е. Маковского — Е. К. Маковская-Лукш,

И. Я. Билибип и др.

,2 ...*иллюстрированного журнала «Пчела».*— «Пчела» или «Русская иллюстрация» — еженедельный иллюстрированный журнал по вопросам искусства, литературы,

политической и общественной жизни. Выходил в Петербурге в 1875—1878 гг. Редактором-издателем его был художник М. О.

Мнкешин (1876—1878), художественным отделом руководил А. В. Прахов, писавший под псевдонимом «Профан».

Глава 25 ОТКРЫТИЕ РУССКОГО МУЗЕЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА Ш

< *Боткин* Михаил Петрович (1839—1914) — художник, академик живописи, автор картин религиозного содержания был одной из ярких фигур старой Академии; он сохранил влияние в различных организациях Петербурга и после ее реформы в 1893 г., когда сам в Академию избран уже не был.

2 *...в ее петербургском особняке был устроен, аукцион...*— В каталоге аукциона, состоявшегося в особняке на Английской набережной в 1903 г., осмотр вещей был объявлен в течение трех дней — 4—6 ноября, продажа — 6—9 ноября. Однако продавались не только рисунки иностранной части коллекции, но и мебель, фарфор и многие другие художественные предметы. Аукцион был вызван смертью князя В, Ы. Тепншева в 1903 г., нежеланием Тенишевой жить в Петербурге и ее переездом в Талашкпно, решительным изменением с начала 1900-х годов ее собирательских интересов, сосредоточившихся на предметах русской старины и народного творчества.

s *...создания в своем имении художественного центра...*— М. К. Тепишева организовала в своем смоленском имении Талашкпно сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, где помимо специальных предметов преподавались ремесла и прикладные искусства. В дальнейшем это привело к образованию мастерских по керамике, резьбе но дереву, рисованию и вышиванию. В 1904 г. в работах мастерских по вышиванию участвовало около 2000 крестьянок из более чем 50 деревень. С Талашкиным и предпринимавшимися попытками создать национальный стиль искусства были связаны многие крупные художники, там в разное время жили и * работали В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. В. Малютин, П. К. Рерих, В. А. Серов и др.

4*...и эта была обречена на неудачу.*— Это мнение А. Н. Беиуа разделяли не все со

временники. П. Э. Грабарь писал позднее: «Талашкпно наравне с Абрамцевым

были самыми известными и значительными пунктами дореволюционной России,

где ряд славнейших русских художников... с большим успехом работал над воз

рождением народного искусства применительно к быту и потребностям современ

ной жизни...» (см.: «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке со

временников», т. 2. Л., 1971, с. 271).

5*...переплетенные серии... уступил... художнику Вл. Лебедеву.* — Возможно, что эти

альбомы, в свою очередь, были переданы В. В. Лебедевым другим коллекционе

рам, ибо по сведениям лиц, близко знавших художника, перечисленные литогра

фии отсутствовали у него уже в 1920-е годы.

6*Брюллов* Павел Александрович (1840—1914) — живописец, член Товарищества пе

редвижных художественных выставок (с 1874) и академик (с 1893) был резко

оппозиционен к направлению «Мира искусства». С 1897 по 1912 г. занимал пост

хранителя Русского музея.

7*...«Смолянки» Левицкого, тогда еще продолжавшие украшать Петергофский дво*

рец...— Портреты были переданы в Гос. Русский музей только в 1917 году.

g *...несколько шедевров Боровиковского... в Романовской галерее.*— В Романовской галерее Зимнего дворца с 1842 г. находился, в частности, портрет Павла I в малиновом далматике и порфире (1800), предназначавшийся для конференц-зала Академии художеств (с 1927 г. в *ГРМ)*.

в *...будь они написаны для Петергофа...*— По мнению И. М. Долгорукого, портреты были предназначены для биллиардной комнаты Петергофского дворца (*//. М. Долгорукий.* Капище моего сердца. М., 1890, с. 91).

;ö *...вроде генеральной репетиции, «инавгурации» музея...*— торжественного открытия, «посвящения» музеи (от поздыелатипского слова, означающего «обряд посвя-щепия» какого-либо лица или места, совершавшегося жрецами-авгурами).

Примечания IV, 26

68î

Глава 26

МАДОННА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. РОЖДЕНИЕ ДОЧЕРИ ЕЛЕНЫ. ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВЫСТАВКЕ 1900 Г. КОНСТАНТИН КОРОВИН

* *...за проданные на выставке картины...*— В Каталоге выставки русских и фипляпд-ских художников (СПб., 1898) помимо трех работ, принадлежавших М. К. Тени-шевой, К. А. Сомову и С. П. Дягилеву, свободпыми значились 15 работ А. Н. Бе-нуа 1896—1897 гг.: «У бассейна Цереры» и «Кладбище» (ныне в *ГТГ),* «Прогулка в кресле» и «Вид на Дворец» (ныне в *ГРМ),* «Дворец зимой», «Лестница оранжереи», «Вид на оранжерею», «Партер Д'Еаи», «Вид на Большой канал», «Вечер» и другие, в большинстве тогда приобретенные. Названия этих произведений не вполне идентичны ныне принятым, что и затрудняет сейчас определение их местонахождения.

2 *Боде* Вильгельм (1845—1929) — немецкий искусствовед и музейный деятель, дирек-

f

ор Королевского музея в Берлине (1890—1914), генеральный директор берлинских осударст венных музеев (1906—1920). Крупнейший знаток европейского искусства, особенно голландского. 8 *Липгардг* Эрнест Карлович (1847—1934) — живописец поздпеакадемической русской школы, в годы, о которых идет речь,— хранитель картинной галереи Императорского Эрмитажа. «Мадонне Бенуа» и творчеству Леонардо да Винчи он посвятил работы: «О некоторых переработках типа Мадонны Бенуа» (Пг., 1922) и «Леонардо да Винчи и его школа» (Л., 1928).

4*...картина была уступлена Эрмитажу...*— В собрание Эрмитажа картина Леонарде*

да Винчи «Мадонна Бенуа» поступила в 1914 г.

5...с... *момента ее создания в 80-х годах XV в....* — Это была одна из двух ранних

«Мадонн», начатых Леонардо в 1478 г.

6*Фридлендер* Макс Якоб (1867—1958) — немецкий историк искусства, директор кар

тинной галереи Государственных музеев Берлина (1904, 1924), как и В. Боде, от

носился к числу музейных работников-знатоков и специалистов в избранной обла

сти истории искусства-

7*...кипу фотографий... несомненных рисунков Леонардо...*—

Некоторые из подгото

вительных рисунков пером к «Мадонне Бенуа» находятся в Британском музее в-

Лопдоне.

8*Митрохин* Андрей Филиппович (1766—1845) был назначен на должность техни

ческого реставратора картинной галереи Эрмитажа в 1801 г. и проработал здесь-

более сорока лет. В 1843 г. он обобщил свой опыт в «Правилах о переложении.

живописи с дерева на холст».

9*В... картине я изобразил...*— Пастель «Маскарад при Людовике **XIV»** (1898) хра

нится ныне в *ГРМ.*

10...*я вычитал в дневнике маркиза Данжо (или «Письмах» Madame?)...— Данжо* Фи

липп (1638—1720) — придворный Людовика XIV и мемуарист, оставил дневник, из

данный позднее в 19 томах, в котором отражена жизнь французского двора^ *с*

1684 но 1720 г. Journal du marquis de Dangeau, Pubìié en entier pour la premiere-

fois par Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon, avec les additions

inédites du due de Saint-Simon publiées par Feuillet de Conches. Vol. 1 — 19. Paris,.

1854—1860. *«Письмам Madame.*— Madame — титул супруги брата короля, очевидно,

второй супруги герцога Орлеанского — Елизаветы Шарлотты Баварской (1652—

1722), известной под именем Paìatin Princesse) и фигурирующей в воспоминаниях

Сен-Симона. Она оставила многочисленные письма, повествующие о быте и нра

вах двора Людовика XIV («Briefe der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orleans...»

(aus den Jahren 1707 bis 1722). 4 Bd. Stuttgart, 1871 — 1881; ...Aus den Jahren 1716

bis 1718. Stuttgart, 1884). Извлечения из писем издавались и в качестве мемуаров

(«Anekdoten vom FranzÖsischen Hofe vorzüglich aus den Zeiten Ludewigs des XIV

und des Due Regent aus Brfëfen der Madame d'Orleans Charlotte Elisabeth...» Stras-

burg, 1789).

11*Матушка Жигонъ.*— Mere Gigogne (Gigogne, Madame ou la Mere) —сказочный пер

сонаж, действующее лицо театральных пьес и представлений, восходящее к **язы-**

£82

Примечания IV, 27

ческому образу богини-матери, символизирующему неиссякаемое плодородие и обновление человеческого рода. Во французской литературе и театре появился в начале XVII в.

12...*М-г Rajjet (сына знаменитого рисовальщика)...*— Августа Раффе (1804—**1860)** —

французского гравера, литографа, офортиста, ксилографа, рисовальщика, живопис

ца батальных сцен.

13...*по тем комнатам «Северного аттика»...*— В комнатах невысокого третьего — ат

тикового этажа северной части Версальского дворца размещалась портретная кол

лекция.

14...*увлекательной темой... был... наш журнал-*— Подробный рассказ об этом см.: II,

с.'223—232.

15...*Коровин... в сотрудничестве с другим художником...*— Соавтором Коровина по

проекту деревянных зданий Кустарного павильона и их декоративному оформле

нию был А. Я. Головин.

16...*печатавшиеся в 20-х годах в «Возрождении» очерки...*— Очерк «На севере ди

ком» был папечатаи К. А. Коровиным в газете «Возрождение» (Париж) в мае

(1, 10, 25) 1932 г. Перепечатан в кн.: «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках

и переписке современников», т. 1, с. 320—328.

47 ...*гибель парохода «Титаник»...*— Это событие произошло в апреле 1912 г. Крупнейший по тому времени океанский пассажирский лайнер, пароход-гигант, имевший 9 этажей, оборудованный не только с комфортом, но и роскошью, погиб, следуя из Европы в Америку, вблизи острова Нью-Фаундленд, натолкнувшись ночью на айсберг. При катастрофе погибло около 1500 человек, в том числе команда парохода.

Глава 27 ЛЕТО В НОРМАНДИИ — 1898 ГОД

1...*находился под... впечатлением книг Huysmans'a.*— Французский писатель

Ж. Ш. М. Гюисманс (1848—1907) прошел путь от натурализма Золя к «спиритуа

листическому натурализму», свободному от «реальности» и обращенному к миру

таинственного и потустороннего. Его романы («Там внизу» или «Бездна», 1891;

«В пути», 1895; «Собор», 1898), особенно роман «Наоборот» (1884) пользовались

необычайной популярностью в кругах символистов, в том числе и русских. В на

чале Í89ö-х гг. Гюисманс увлекся католицизмом. Религия была провозглашена им

единственным спасением от страшных проявлений жизни. С середины 1890-х гг.

Гюисманс выступал и как художественный критик, поддерживая вначале импрес

сионизм, позднее его художественным идеалом осталась лишь сфера средневеко

вого религиозного искусства (первый русский перевод его романов появился в

1906 г.).

2...*без... участия органа.*— По правилам одноголосного хорового церковного пения

(от лат.— planus cantus, термина, известного примерно с XII в.).

`3 ...*рисуя на полулисте энгра или кансона...*— Знаменитые сорта бумаг для художественных работ.

Глава 28 ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МИРА ИСКУССТВА»

1 ...*Сомов создал за год ряд... удачных произведений.*— К. А. Сомов пробыл в Париже с сентября 1897 до лета 1898 гˆ Портрет Е- М. Мартыновой — «Дама в голубом» был им написан в 1897 г., но не завершен, окончен же только в 1900. Весной 1897 г., однако, до поездки в Париж, Сомов написал портрет художницы Е. М. Мартыновой на фоне весеннего пейзажа (к., м., Астраханская картинная галерея им. Б. М. Кустодиева). Под «Усадьбой», по всей видимости, подразумевается созданная тогда же картина «Конфиденции» (1897, *ГТГ).*

*Примечания IV, 29*ßgß

2...проводить в жизнь, подобно Моррису...— Уильям Моррис

(1834—1896)—англий

ский художник, писатель и общественный деятель, занимавшийся архитектурой,

живописью и декоративно-прикладным искусством. Взгляды У. Морриса основы

вались на известной гуманитарной утопии, видевшей в искусстве главное средст

во преобразования жизни. Предпринятые им попытки возрождения средневеково

го ремесла и ручной техники носили романтический характер; он был одним из

учредителей в 1861—1862 гг. художественно-промышленной компании — мастер

ских по изготовлению мебели, керамики, обоев, шпалер, тканей, витражей, изде

лий из стекла и металла. Принципы спокойной целесообразности, простоты и ра

зумного уюта, проводимые им при проектировании жилого интерьера, далеко не

совпадали с методами декорирования книги, тканей, шпалер и обоев, для которых

было характерным использование обильных стилизованных растительных моти

вов, предвосхищавших орнаментальные формы модерна.

З*Когда мир окутан туманом, а бутоны обещают чудеса.*— «В тумане мир передо

мною/Скрывался; жадною рукою / Повсюду я цветы срывал / И в каждой почке

чуда ждал». Приводимые стихотворные строки — из «Фауста» Гете («Пролог на

театре», перевод Н. А. Холодковского). А. Н. Бенуа упомипас-г и\ и в км. vBo-ïhihì-

повение „Мира искусства"» (Л., 1928, с. 33), однако, по-видимому, оттого, что он

цитировал их по памяти, в первую строку вкралась неточность; ее следует читать

не «Wo Nebeì mir die Welt verhüllt», а «Da Nebel mir die Welt verhüllten».

* *...в заметке о выставках Клевера и Верещагина...*— Вся заметка сводилась к следующему тексту: «Несчастной Англии грозят выставки картин русских художников Ю. Клевера и В. Верещагина. Как предохранить русское искусство и английскую публику от такого неприятного сюрприза?» («Мир искусства», 1899, № 1—2, с. 9).

5*...для моей... монографии, которая... не была издана.*— Экземпляр этой рукописи

«Юношеские годы Александра Бенуа. 1885—1899. Страничка воспоминаний» хра

нится в Гос. Русском музее. Книга должна была появиться в 1916 г., помимо статьи

Д. В. Философова в ней предполагалась и статья С. П. Яремича об Александре Бе

нуа, выдержка из которой приведена в издании: «Валентин Серов в воспомина

ниях, дневниках и переписке современников», т. 1, с. 381.

6„.когда книга Шилъдера «Александр /»...— Книга Николая Карловича Шиль-

дера (1842—1902) «Император Александр Первый. Его жизнь и царствование» была

издана А. С. Сувориным в 1897—1898 гг., в год выхода первого номера журнала «Мир

искусства». Обильно иллюстрированная, с большим числом портретов в тексте и документов в приложениях, она воспринималась тогда образцом солидного «казенного» издания, лишенного печати творческого индивидуального вкуса, хотя ее •оформление и не было лишено некоторых качеств художественного издания.

Глава 29 ПУТЕШЕСТВИЕ В НИДЕРЛАНДЫ. РАЗРЫВ С КНЯГИНЯМИ

4 *...фанатика своей идеи, каким был Виртц.*— А. Н. Бенуа имеет в виду миротворческие, антимилитаристские идеи Виртца, социальпо-утопичоские взгляды которого питались и его религиозным миросозерцанием. Они сказались в исторических и символико-аллегорических полотнах художника «Наполеон в аду» (1842), «Последняя пушка» (1855), «Партии, судимые Христом». Наряду с другими картинами и небольшим числом скульптур все они представлены в музее А.-Ж. Виртца (1806— 1865) в Брюсселе.

2 *...не знаю, жив ли он...*— Л. А. М. Фредерик умер в 1940 г.

Глава 30 СМЕРТЬ ОТЦА

■ *Брат Миша получил те два альбома...*— Хранятся в собрании И. Н. Бенуа в Ленинграде.

2*Один из выбранных мной альбомов...*— В сооранпп *ГРМ.*

3*Что сталось со всеми этими акварелями, я ие знаю.*— Значительное собрапие аква

релей и архитектурной графики Н. Л. Бенуа находится в Гос. Русском музее. Часть

писем в семейном архиве наследников М. Н. Бенуа — у И. Н. Бенуа в Ленинграде.

Глава 31

ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ ПРЕБЫВАНИЯ В ПАРИЖЕ. ПОЕЗДКА В ЛОНДОН (ВЕСНА 1899 Г.). ХЭМПТОН-КОРТ

4...*не могу вспомнить, что должен был сделать Сомов («Графа Нулина»?)...*—

К. А. Сомовым были сделаны в 1899 г. иллюстрации к поэме «Граф Нулин» (Сочи

нения А. С. Пушкина, т. 2, М., 1899). Оригиналы (бум., тушь, акв., перо) во Всесоюз

ном музее А. С. Пушкина.

2*О нашей встрече... Анна Петровна правдиво... повествует в своих прелестных вое-*

поминаниях.— Речь идет о трех книгах «Автобиографических записок» А. П. Ост

роумовой-Лебедевой, изданных в Ленинграде в 1935, 1945 и 1951 гг.

В ЛОНДОНЕ

3...*облик, который... принял после пожара 1666 г....*— Лондонский пожар или «Боль

шой пожар», разразившийся в Сити в сентябре 1666 г., стал переломным в истории

% строительства города. Огонь, бушевавший два дня, уничтожил всю центральную часть Лондона. Проект восстановления Сити был разработан архитектором К. Ре-ном (1632—1723), однако коренная реконструкция проведена не была: жителям разрешалось возводить дома иа старых фундаментах при соблюдении правил, принятых парламентом. Новые кирпичные дома, отделанные белым камнем, имели окна одинаковых размеров, равномерно распределенные но всем этажам. Была установлена стандартная высота домов: четыре этажа для главных улиц, три — для улиц поменьше и два этажа для переулков.

4...*переносит в эпоху Джорджей* — т. е. в эпоху XVIII —

начала XIX в., когда англий

ский престол занимали короли Георг I (1714—1727), Георг II (1727—1760), Георг III

(1760—1820) и Георг IV (1820-1830).

5*«Боже, храни королеву»* — слова английского государственного гимна.

6*...проследовать... до Хэмптон-Корта...*— Хэмптон-Корт — дворцово-парковыи ансамбль

близ Лондона. Его строительство относится в основном к двум периодам: к первой

четверти XVI в. (времени английского Возрождения) и к концу XVII в., когда ар

хитектором Реном был создан один из наиболее значительных памятников раннего

английского классицизма, по грандиозности замысла и великолепию родственный

Версалю.

7*...портреты красавиц, писанные «кавалером Лели».*— Лели Питер (ван дер Фас,

1618—1680) —живописец, в середине XVII в. ведущий портретист Англии,

с 1661 г.— придворный художник короля.

ГЛАВА 32

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ. ЛЕТО 1899 Г. В ФИНЛЯНДИИ. ПАФКА КОРЕБУТ

...помещение в четвертом этаже... занимал П. Гонзаго.— Имеется В виду сын знаменитого художника-декоратора Пьетро Гонзага — *Паоло Гонзага* (Гонзаго Павел Петрович, 1794—1877) — декоратор Петербургских императорских театров (1818--

1841), участвовавший под руководством отца в оформлении спектаклей и празднеств в Павловске, Петербурге и Москве (1812, 1814, 1825).

2*...издать русский перевоо... труда Р. Мутера...*— см. II, с. 685 —690.

3*...явилась... мысль приложить... целую книгу.*— Идея эта осуществилась, и А. Н. Бе-

иуа была написана двухтомная «История живописи в XIX веке. Русская живо

пись», первая часть которой вышла в Петербурге в 1901 г., вторая — в 1902 г.

4*Что сталось с этими чудесными рисунками...*— Местонахождение серовских карика

тур неизвестно,

â *...мебелью той эпохи, которую немцы прозвали Biedermaierzeit.*— *С* середины XIX в. это определение закрепилось за культурой эпохи между 1815—1848 гг. Стиль этого времени, сказавшийся не только в мебели, но и в интерьере, стал своего рода синонимом и нормой добропорядочного быта и буржуазного уюта. Его появление в Европе было вызвано стремлением уйти в мир замкнутой частной жизни после потрясений наполеоновских войн и революций. Сам термин первоначально звучал насмешливо п был произведен от псевдонима, которым был подписан один из пародийных стихотворных сборников тех лет (Biedermeier — то есть простак). Ст*ль Бидермейер, несколько десятилетий признававшийся «безвкусицей», стал «реабилитироваться» после 1900 г., позднее явились попытки найти соответствие этому стилю в архитектуре, живописи, поэзии и музыке.

Глава 33 В МОСКВЕ И В КИЕВЕ

1*«Библейские эскизы»... известные мне по воспроизведениям facsimile...*— Имеется

в виду альбом «Изображения из Священной истории оставленных эскизов Алек

сандра Иванова», изданный в Берлине с предисловием М. П. Боткина. Альбом вы

ходил выпусками, по 15 листов каждый, в течение восьми лет (вып. 1—14, 1879—

1887).

2...в Салоне Марсова Поля... полотно, изображающее сибирскую тайгу...— Салоны

Марсова Поля (Champ de Mars) проводились в Париже с 189U г., после того как

группа художников во главе с Мейсонье и Пюви де Шаваином порвала в 1889 г.

с официальными Салонами «Общества французских художников» и учредила новое

«Национальное общество изящных искусств». В Салопе 1898 гг, экспоиировалась

картина А. М. Васнецова «Сибирь» (1894 г., *ГРМ).*

J *„воинственное крупное произведение... «Мамаево поЬоище».*— Речь идет о панно «Куликовская битва», над которым, по мнению исследователей творчества С. А. Коровина, художник работал с 1900 по 19u8 г, *(II. Суздалев.* Сергеи Алексеевич Коровин. 1858—1908. М., 1952). Если верить памяти А. Н. Бенуа, то очевидно уже в 1899 г., а не в 190i г., был готов большой эскиз этой вещи, который он и видел в Историческом музее.

4*...он придавал... значение портрету жены... в какой-то замысловатой шляпе...*— Речь

идет о портрете Н. И. Забелы-Брубель (1898 г.), хранящемся ныне в *ГТГ*.

5*...другом... в отношении всей моей семьи...*— Именно С. П. Яремич (1869—1939) пос

ле отъезда А. II. Бенуа в 1926 г. осуществлял наблюдение за его квартирой, биб

лиотекой и художественными коллекциями, продолжавшими сохраняться и чис

литься за владельцами. Благодаря его усердию архив и художественное наследие

А. П. Бенуа были переданы в 1933 г. в Гос. Русский музей. В собственном архиве

С. П. Яремича, поступившем в 1939 г. (как и его собрание рисунков, насчитывав

шее более 4300 листов) в Государственный Эрмитаж (где он работал все последние

годы), содержится около полутораста писем А. Н. Бенуа, а также его жены и до

чери — А. А. Черкесовой-Бенуа

6*...картинах для церкви в Абастумане.*— В 1899 г. М. В. Нестеров начал работу над

росписями храма Александра Невского в Абастумане, которую он завершил только

в 1904 г. Им была выполнена живопись иконостаса и царских врат, росписи в ку

поле, алтаре, в плафонах при входе, на стенах и на пилонах (более 50 эскизов фи

гур и более 20 эскизов орнаментов хранятся ныне в *ГРМ)*.

ßgß*Примечания*IV`, 34*

Глава 34

НАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

МОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ БАР. Б1ТИГЛИЦА.

ЯРЕМИЧ. ВИСЕНЬКА ПРОТБЙКИНСКИЙ.

СКАНДАЛ С БАКСТОМ. СУБСИДИЯ ГОСУДАРИ

1*„..намечалась служба в Художественном училище барона Штиглица...*— В 1879 г.

в Петербурге на средства крупного финансиста А. Л. Штиглица (1814—1884) было

основано Центральное училище технического рисования, имевшее целью развитие

художественной стороны отечественной промышленности. В нем существовали

классы: натурный, майолики, декоративной живописи и резьбы, ксилографии и

офорта, живописи на фарфоре, рисования па ткани и набивного дела и др.

2*...в альбоме, изданном «Миром искусства»...*— Альбом «15 литографий русских ху

дожников». Издание журнала «Мир искусства». СПб., 1900.■

3*...«Кика» Ге...*— Николай Николаевич Ге (1857—1940) — сын художника Н. Н. Ге,

последователь взглядов Л. Н. Толстого, автор брошюры «I mio rapporti con Tolstoi

e la seia famiglìa» (Флоренция, 1936), в которой содержатся воспоминания и о его

отце.

4*...записанных в VI «Бархатную книгу»...*— Так назывался один из древнейших родо

словных списков Российской империи, составленный еще в конце XVII в. и сохра

нявшийся (в малиновом бархатном переплете) в департаменте герольдии в Сенате.

В дальнейшем создавались все новые родословные книги русского дворянства, на

которые позднее переносилось и выражение «Бархатная книга».

5*...Савва Иванович... был отдан под суд...*— В 1899 г. Мамонтов был арестован по об

винению в финансовых злоупотреблениях и посажен на скамью подсудимых. Не

сколько месяцев он провел в тюрьме, семь дней длился

процесс, взволновавший

всю Россию. Мамонтов был оправдан. То, что ему инкриминировалось — присвое

ние огромных сумм в целях личного обогащения — на самом деле оказалось лишь

* халатностью и игнорированием буквы законов финансовой дисциплины.

Глава 35

РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО. КРУЖОК МЕРЕЖКОВСКИХ. В. В. РОЗАНОВ

1 *Отсюда... привлечение в сотрудничество по журналу... Минского, Перцова, Шесто-ва, Тернавцева... Розанова; отсюда же и образование «Религиозно-философского общества»...*— Идея петербургских религиозно-философских собраний родилась не в кружке «Мира искусства», хотя именно в журнале «Мир искусства» З. П. Гиппиус еще до их открытия писала о желательности упреждения таких собраний *(З. Гиппиус-Мережковская.* Дмитрий Мережковский. Париж, 1951, с. 83). Религиоз-но-фплософские собрания открылись в Петербурге 29 ноября /12 февраля 1902 г., председателем их был ректор Петербургской духовной академии епископ Ямбург-ский Сергий, членами-учредителями — Д. С. Мережковский, В. В. Розанов, В. А. Тернавцев, В. С. Миролюбов (см.: *В. Е. Евгенъев-Максимов и Д. Е. Максимов,* Из прошлого русской журналистики. Статьи и материалы. Л., 1930). *Минский* Николай Максимович (1855—1937) —поэт и писатель; в 1884 г. выступил с первой в России программой «декадентов». Философские взгляды Минского были эклектичны, общественная позиция не всегда последовательна. *Перцов* Петр Петрович (1868—19i7) —литературный критик и публицист, один из зачинателей символистского движения; был издателем религиозно-философского журнала «Новый путь» (1903—1904). *Шестов* Лев (псев. Шварцмана Льва Исааковича, 1866—1938)—философ-экзистенциалист, литературный критик и публицист. С 1920 г. в Париже. *Тернавцев* Валентин Александрович (1875—1940) —богослов, автор исследования об «Апокалипсисе». На первом заседании «Религиозно-философских собраний» прочел доклад «Русская церковь перед великою задачей» («Интеллигенция и цер-

ковь»), *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) —писатель, религиозный мыслитель, публицист, автор бессюжетной эссеистско-дневниковой прозы («Уединенное», 1912; «Опавшие листья», т. 1—2. 1913—1915 и др.). Религиозно-экзистепциалыгые-умонастроения Розанова сочетались с апофеозом пола, семьи, частной жизни и одновременно с критикой христианского аскетизма. Его общественным взглядам были-свойственны непоследовательность и аполитизм, что вызвало критику В. И. Ленина (Полн. собр. соч., т. 25, с. 172).

* *...один {(определенно жидо ест сующий» — В. В. Розанов...*— А. Н. Бенуа имеет в виду-не раз высказывавшееся В. В. Розановым предпочтение «иудаистской» Библии христианскому Евангелию. -3 *Происходило это паше «сретение»...*— Сретение *(церк.-слав.)* — встреча. В употреблении этого выражения сквозит тот оттенок иронии, с которой «поздний» Бенуа относился к своим былым «богоискательским» настроениям. Впрочем, не лишены-иронии и некоторые его отзывы более ранних лет, относящиеся ко времени организации собраний (см. письмо, адресованное П. П. Пердову в марте 1902 г. в кн.: *Г. Ю. Стернин.* Художественная жизнь России в начале XX века. М., 1976, с. 161; *А. В. Лавров.* Архив П. П. Перцова.— Ежегодник Рукописного отдела Пушкинско-го'дома на 1973 г. Л., 1976, с. 38).

4 *...он... не забыл меня... в одной из его... статей...*— Очевидно, в сознании А. Н. Бенуа объединились два сочинения В. В. Розанова: действительно выходившие небольшими тетрадками в течение 1917—1918 гг. главы «Апокалипсиса нашего времени», в которых нет упоминаний о А. Н. Бенуа, и изданные в 1922 г. письма В. В. Розанова к Э. Ф. Голлербаху, где к одному из осенних писем 1918 г. Розанов сделал приписку: «...А. Н. Бенуа — привет... и любовь. Умный. Только молчалив, и, я думаю, эгоист» (см.: Письма В. В. Розанова Э. Голлербаху. Берлин, 1922, с. 79).

Глава 37 ЛЕТО В ПЕТЕРГОФЕ. 1900 ГОД

1 *...я исполнил лишь малую часть... задачи.*— Около 20 акварелей, сделанных в Петергофе летом 1900 г., находятся в *ГТГ, ГРМ,* Гос. Эрмитаже, Курской картинной' галерее, Краснодарском художественном музее, Омском музее изобразительных искусств и других собраниях.

г *...изучение подстоличных достопримечательностей стало... специальностью.*— *Курбатов* Владимир Яковлевич (1874/8—1958), по образованию физик и химик, был большим энтузиастом изучения русской архитектуры, много писавшим по истории

архитектуры. Наиболее известны его работы — «Петербург» (СПб., 1913); «Садовая архитектура и сады Италии» (Пг., 1915); «О красоте Петрограда» (Пг., 1915); «Сады; и парки» (Пг., 1916).

3*Рильке Райпер Мария* (1875—1926) дважды приезжал в Россию — в 1899 и 1900 гг.

(См.: *Азадовский К.* и *Чертков Л.* Русские встречи Рильке. В кн.: *«Р. М. Рильке.*. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Статьи». М., 1971). Восторженно относясь к России и русскому искусству, Рильке старался способствовать сближению русских и немецких художников, задумывая то выставку русских живописцев в Берлине, то перевод на немецкий язык книги А. Н. Бенуа о русской живописи XIX в. Переписка А. Н. Бенуа и Р. М. Рильке издана К. М. Азадовским (Р. М. Рильке и А. Н. Бенуа. Переписка. 1900—1902 гг.— В кн.: «Памятники культуры. Новые открытия.. 1976». М., 1977).

4*...хочется думать, что и для него она не прошла бесследно.*— Свой визит к А. Н. Бе-

' нуа Р. М. Рильке описал на следующий день в письме к матери: «Вчера я ужинал

у него в Петергофе на даче, а после еды, приблизительно в полвосьмого, он повел-меня по большим и старым Петергофским паркам, в которых рассыпаны маленькие голландские замки Петра Великого и из глубокой темноты которых идут вплоть-до бесшумного моря длинные аллеи источающих свет фонтанов». *(Азадовский К. М.* Указ. соч., с. 77, перевод с немецкого автора публикации).

« 88

Примечания IV, 38

5 ...дал слово посвятить стихотворение... но я не знаю, исполнил ли он свое намере-"пие...— Рильке исполнил свое намерение, А. Н. Бенуа сам, в своей записке Рильке, написанной (судя по содержанию и ответному письму поэта) 19 или 18 августа (в день, следующий за их прогулкой по Петергофу, когда стихотворение было написано и отправлено Бенуа), пишет следующее: «Многоуважаемый господин Рильке, весьма сожалею, что не застал Вас дома. Я заходил, чтобы поблагодарить Вас за прекрасное стихотворение...» *(Азадовский К. М.* Указ. соч., с. 78). Есть все основания считать, что это стихотворение — «О фонтанах», вошедшее в «Книгу Образов», впервые изданную в 1902 г. (сообщено А. В. Михайловым). Его первые строфы явственно отражают атмосферу и впечатления петергофского вечера, описанные и А. Ы. Бенуа:

Я вдруг впервые понял суть фонтанов, стеклянных крон загадку'и фантом.

Что мне дышал величьем изначальным старинный парк, в огне зари прощальном вздымавшийся...

(Перевод А. Карельского) .

**(Райнер Мария Рильке.* Новые стихотворения. Новых стихотворений вторая часть. .М., 1977, с. 268).

Глава 38

ПРЕДЛОЖЕНИЕ П. П. МАРСЕРУ. ПАРИЖСКАЯ ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА. «ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ»

1...*выставлены на «Centennale>>...*— Всемирную Парижскую выставку 1900 г. назы

вали «вековой», «столетней».

2...*«Искусство и Художественная промышленность»... подвергался ...жестокому...*

осмеянию.— Ежемесячный иллюстрированный журнал «Р1скусство и Художествен

ная промышленность» издавался с конца 1898 г. по инициативе В. В. Стасова, ко

торый рассматривал его как действенное средство борьбы с «декадентским» «Ми

ром искусства». Оба журнала вели между собой ожесточенную полемику вплоть

до 1902 г., когда журнал «Искусство и Художественная промышленность» (на № 38)

прекратил свое существование.

-* *Проще... отослать читателя к... моим статьям... в «Мире искусства»...*— «Письма со Всемирной выставки».— «Мир искусства». 1900, т. IV, с. 105—110, 156—161, 200—207 и «Французское искусство на Всемирной выставке».— 1901, т. V, с. 35—43.

4 ...*больше же всего толков возбуждала картина Малявина...* — На Всемирной выставке 1900 г. была показана малявипская картина «Смех», за год до того представленная на конкурс Академии художеств и отвергнутая консервативной частью Совета. Только решительное вмешательство Репина помогло Ф. А. Малявину получить звание художника. В Париже картина произвела фурор, о ней много писала пресса, отмечая и «варварское буйство кисти», и очевидную связь с устремлениями новейших школ европейской живописи. Международное жюри Всемирной выставки, в котором Россию представлял Репин, удостоило Малявина и Коровина золотых медалей, Серова — высшей награды выставки — «Гран-При».

...созданию целого ряда строго художественных и монументальных изданий...— Речь идет о книгах А. Н. Бенуа «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Материалы для истории искусства в России в XVIII веке» (СПб., 1910}-; «Русская школа живописи» (СПб., 1904) и «История живописи всех времен и народов», в которой была издана только первая часть, посвященная пейзажной живописи (вып. I-XXIL М.(1912—1917).

Примечания IV, 40

689

Глава 39

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ. ДЕЛАРОВ. П. Я. ДАШКОВ. В. К. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

** „стоя в «Галерее истории живописи»...*— Галерея истории живописи — вводная, первая при входе с парадной лестницы в здании Нового Эрмитажа (построен в 1839—1852 гг. по проекту Л. Клепце), должна была давать по замыслу архитектора общее представление об античном искусстве. На парусах круглых плафонов галереи изображены всемирно известные художники — Джотто, Рафаэль, Микельанджело, Тициан, Рубенс, Рембрандт и другие.

1 Дашков Павел Яковлевич (Í849—1910) —действительный член Академии художеств (с 1903), помощник статс-секретаря Государственного совета, обладал уникальной коллекцией, в которой особенно полно была представлена гравюра петровского времени (см.: «П. Я. Дашков. Некролог».—Речь, 1910, 7 февраля). После смерти Дашкова А. Н. Бенуа посвятил его памяти специальную статью (Речь, 1910, 12 февраля). Коллекция П. Я. Дашкова была включена в собрание Исторического музея.

9 ...был ли или не был Федор Кузьмич,., Александром /...— Смерть Александра I в Таганроге в 1825 г. дала повод к возникновению легенды, связывавшей его имя с судьбой «таинственного старца» Федора Кузьмича, объявившегося в окрестностях Красноуфимска Пермской губернии в 1836 г. Наружность Федора Кузьмича, его образованность, осведомленность о фактах дворцовой жизни и событиях войны 1812 г. давали некоторым историкам (папример, В. В. Барятинскому, см. его ки.: «Царственный мистик (Император Александр I — Феодор Козьмич)». СПб., б. г.) повод для отождествления их личностей. Легенда вдохновила Л. Н. Толстого на создание «Посмертных записок старца Федора Кузмича» (1905, не закончены). Мнения о тождестве Александра и старца Федора первоначально держался и в. кн. Николай Михайлович, однако позднее, под давлением царской семьи, он изменил свою точку зрения на противоположную. В его книгах «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича» (СПб., 1907) и «Некоторые новые материалы к вопросу о копчине императора Александра I» (СПб., 1914) опровергалась возможность сопоставления этих исторических лиц.

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ: СУПРУГИ БОТКИНЫ, КНЯЗЬ В. Н. АРГУТИНСКИЙ. «КОКА» ВРАНГЕЛЬ, ДОБУЖИНСКИЙ

1*Боткин Сергей Сергеевич* (1859—1910) — врач, профессор Военно-медицинской ака

демии, любитель искусства и коллекционер, действительный член Академии худо

жеств (с 1905 г.). А. Не Бенуа писал о Боткине не раз — в 1910 г. в связи с его

кончиной («Сергей Сергеевич Боткин».— «Речь», 1910, 31 января, № 30) и позже

(«Памяти С. С. Боткина» (1924) — в кн.: «Александр Бенуа размышляет...» М., 1968,

с. 168—175).

Боткина Анна Павловна (1867—1959), вторая дочь П. М. Третьякова, вместе с В. А. Серовым и И. С. Остроуховым входила в совет Третьяковской галереи в 1899—1912 гг.

2*Аргутинский-Долторуков Владимир Николаевич* (1874—1941) — коллекционер произ

ведений искусства, примыкавший к основной группе «Мира искусства», принимал

участиэ в организации «Русских сезонов» в Париже.

8 *Врангель* Николай Николаевич (1880—1915) — историк искусства и художественный критик, автор двухтомника «Русский музей императора Александра III. Живопись и скульптура» (СПб., 1904), соавтор И. Э. Грабаря по «Истории русского искусства», им написан том V, посвященный скульптуре (М., 1913).

4 *Рауш фон Траубенберг* Константин Николаевич (1871—1935) — скульптор, был привлечен к работе на Императорском фарфоровом заводе (1909—1915), автор портретных статуэток и декоративной скульптуры малых форм.

1/223 Заказ Nì 2516

5 *...выставку русских исторических портретов.*— См. II, с. 406. - * ...во *время издания сборника «Старые годы»...*— «Старые годы» — ежемесячный журнал для любителей старины, издававшийся при кружке Любителей русских изящных изданий в 1907—1916 гг. Его редактором был В. А. Верещагин, издателем — П. П. Вейнер.

7*Добужинский* Мстислав Валерианович (1875—1967) — живописец, график, теат

ральный декоратор, один из главных выразителей художественных идей «Мира

искусства». Он оставил воспоминания, в которых детально описаны его детские

и юношеские годы, пора участия в «Мире искусства», годы работы в театре *{До*

бужинский М. В. Воспоминания. Нью-Йорк, 1976, т. 1).

Глава 41 КАТАСТРОФА С «СИЛЬВИЕЙ». НАШИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ

1 *Легат* Николай Густавович (1869—1937) — балетмейстер и танцовщик, партнер А. П. Павловой, М. Ф. Кшесинской. С 1904 г. балетмейстер Мариинского театра. С 1921 г. жил вне России. В 1925—1926 гг. участник труппы Дягилева; в 1929 г. открыл балетную школу в Лондоне. *Легат* Сергей Густавович (1875—1905) — один из лучших танцовщиков своего времени, партнер многих известнейших балерин, в том числе Т. П. Карсавиной.

% ...книга о чудесном нашем художнике Д. Г. Левицком...— «Русская живопись в XV1I1 веке», т. 1. Д. Г. Левицкий. 1735—1822. Составил С. П. Дягилев [СПб., 1902]. Дягилев «дважды публиковал в газетах обращение ко всем лицам, обладавшим произведениями Левицкого, с просьбой сообщить все то, что они знают об этих вещах. Кроме того, он разослал не менее шестисот писем, содержащих ту же просьбу, к начальникам губерний и губернским и уездным предводителям. Дягилев получил около пятидесяти ответов, которые дали ему богатый материал для пополнения списка работ Левицкого... Каждое название, включенное в список, снабжено... историей произведения, обстоятельствами его создания и т. п., а также зачастую соображениями о его достоверности. Большинство из этих соображений не утеряло своей ценности до сих пор» *(Гершензон-Чегодаева* Я. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М., 1964, с. 20). К списку работ художника приложены подробнейшие биографии лиц, изображенных на портретах.

8*„.нелепый порядок в размещении таблиц...*— Последовательность расположения таб

лиц действительно не подчинена какому-либо принципу — хронологическому, со

словному или тематическому. Альбом открывается портретами Екатерины II, Пав

ла 1 и Александра I, но следующие за ними великокняжеские портреты переме

жаются портретами отца и брата художника, портреты смолянок разрознены,

портреты позже написанные, чередуются с более ранними, портреты лиц установ

ленных — с портретами неизвестных лиц.

** ...меня огорчало, что я многих... симпатичных людей обидел!*
— Нелицеприятных характеристик и определений в книге А. Н. Бенуа «История русской живописи в 19 веке» (СПб., 1902) было немало. Внимание прессы было занято главным образом обсуждением критического разбора творчества Репина и будто бы противостоявшим ему приязненным отзывом о Баксте. Однако не меньше поводов для обид могли дать характеристики Бакста и Сомова. А. Н. Бенуа писал: «В былое время «золотые руки» Бакста нашли бы применение. Он не стыдился бы посвящать себя тому, к чему он, в сущности, призван... был бы декоратором, ювелиром... — мелким, но интересным и истинным художником... Его не смущало бы желание тягаться с Менцелем...» (намек на неудавшееся полотно Бакста «Въезд адмирала Авелана в Париж»), И далее — «Сомов не может считаться великим живописцем. Его искусство... слишком специфического оттенка. Оно не захватывает широкого круга идей, не дает мощных, укрепляющих и поднимающих дух образов. Рядом с безусловно великими произведениями живописи оно покажется, пожалуй, мел-

. ким, во всяком случае, болезненным, слишком изнеженно тонким... Сомов покажется хилым ребенком» (с. 268, 273).

Примечания IV, 42

ф

...я... создал нечто... вроде основы...— *А,* Н. Бенуа не упоминает в числе лиц, высказавших одобрение его книге, имени С. П. Дягилева. Однако «характер известного события» придал ее выходу как раз его развернутый отзыв в журнале «Мир искусства». В конце статьи С. П. Дягилев отметил: «Заслуга... работы чрезвычайна». Бенуа «первый расчистил авгиевы конюшни нашей живописи и дал руководящую нить, с которой не рискуешь сбиться с настоящего пути». (По существу, А. ТІ. Бенуа перефразировал в воспоминаниях эту мысль). Оценка, данная С. П. Дягилевым самому автору книги, представляла в 1902 г. первое обобщающее определение роли Бенуа в художественном процессе конца XIX — начала XX в. Ои писал: «Влияние Бенуа на жизнь современного русского искусства несравненно больше, чем кажется на первый взгляд... не будь влияния Бенуа па всю ту среду, из которой появились Сомов, Лансере, Бакст, Браз, Малявин и даже Серов,— не будь, повторяю я, этого влияния, все эти художники никогда не сплотились бы и брели каждый своей дорогой» («По поводу книги Бенуа «История русской живописи в XIX веке», часть П.— «Мир искусства», 1902, № 11, с. 44, 39).

Глава 42

РОЖДЕНИЕ СЫНА. И. М, СТЕПАНОВ.

ЛЕТО 1901 Г. В ОРАНИЕНБАУМЕ. ГЕРЦОГИ МЕКЛЕНБУРГСКИЕ.

ПРИНЦЕССА АЛЬТЕНБУРГСКАЯ

1.„дом... принадлежал... Державину.— Дом на Фонтанке (Набережная Фонтанки, 118)

был куплен Г. Р. Державиным в 1791 г. Уже начатое строительство продолжил его

друг — архитектор Н. А. Львов: главный корпус дома был расширен, пристроены

боковые корпуса, двор опоясан галереями из свободно стоящих колонн, такие же

галереи соединяли флигели на набережной; за домом был разбит сад с прудами,

мостиками, ооседками. С 1846 г. владельцем участка стала Римско-католическая ду

ховная коллегия, для нужд которой дом и флигели были перестроены архитекто

ром А. М. Гориостаевьш. Менее всего пострадал при реконструкциях садовый фасад

дома, тогда как ооковые корпуса были надстроены дважды, что изменило общий

характер архитектуры дома.

2*Этому хорошему человеку я должен посвятить...*— *Степанову* Ивану Михайловичу

(1857—1941), одному из руководителей издательства Общины св. Евгении, было

посвящено также обширное письмо А. Н. Бенуа, написанное им в 1926 г. в связи

с тридцатилетием издательства. Это письмо открывало ценную документальным

материалом книжечку И. М. Степанова «За тридцать лет. 1896—1926» (Л., 1928).

8 *...изображений, дающих... отличную иллюстрацию истории... искусства...*— За тридцать лет издательство Общины св. Евгении выпустило 6410 открыток, тиражом от тысячи до десяти тысяч штук. Начав в 1896 г. с выпуска конвертов и поздравительных открыток, привлечения таких художников как Н. Н. Каразин, К. Е. Маковский, Е. м. Нем и С. С. Соломко, издатели перешли затем к публикации работ И. Е. Репина. М. В. Нестерова, В. Д. Поленова, В. М. Васнецова, всей группы художников «Мира искусства» и «Союза русских художников», представляя в открытках все наиболее замечательное, что давала художественная жизпь.

4 *...к изданию художественных путеводителей...*— Перелом в деятельности издательства наступил в 1902 г. в связи с конкурсом к 200-летию Петербурга. Тогда в число сотрудников вошли все члены «Мира искусства», расширившие диапазон художественных изданий. В осуществление идеи выпуска «русских Бедекеров» были изданы путеводители А. И. Бенуа по Эрмитажу, В. Я. Курбатова по Петербургу и Павловску, многие художественно-исторические очерки по пригородам, дворцам, музеям.

* *„.Община св. Евгении Красного Креста...*— Комитет попечения о сестрах милосердия. основанный в 1882 г.. образовал в 1893 г. Общину сестер милосердия Красного креста. Председателем Общины стала принцесса Евгения

Ольденбургская; в честь ее святой и было дано название Общине.

23*

692

Примечания IV, 42

8*...переменив только свое наименование...*— В 1920 г. в связи с ликвидацией общин

сестер милосердия издательство Общины св. Евгении перешло в ведение Академии

истории материальной культуры (преобразована в 1918 и 1919 гг. из Император

ской, затем Государственной археологической комиссии) и стало называться Ко

митетом популяризации художественных изданий. Этим издательством были выпу

щены» в частпости, монография С. Р. Эрнста о Л. Н. Венуа (Пг., 1921), «Медный

всадпик» с его иллюстрациями (Пг., 1923), книга «Возникновение «Мира искусства»

(JI., 1928) и множество других публикаций, монографий, путеводителей п каталогов.

7 *...хозяйка Ораниенбаумского дворца — Екатерина.*— Дворец в Ораниенбауме, в XVIII в. чаще называвшийся Голландским, в дальнейшем получил название Китайского (пз-за убранства некоторых комнат «в китайском вкусе»); он был по-строен для Екатерины в 1762—1768 гг. и особенно любим ею.

• *„.два-три года до того воссела на престол...*— Не совсем точно: дворец был окончен и торжественное новоселье отпраздновано в нем в 1768 г., то есть спустя шесть лет после того, как Екатерина получила титул императрицы.

9*...разрешить... увековечить в моих «Сокровищах» ее... дворец...* — В журнале «Худо

жественные сокровища России» А. Н. Венуа посвятил Ораниенбауму два номера:

Да 10 за 1901 г.—Китайскому дворцу в К» 5 за 1902 г.—Катальной горе. Статья

к обоим номерам были написаны А. И. Успенским.

10*...в странном одиночестве «прятался» со своей семьей император Александр ///.*—•

Опасаясь покушегшй, Александр III подолгу «отсиживался» в Гатчинском замке,

приобретя у современников прозвище «гатчинский пленник».

11*...именно этот портрет, писанный Тончи...*— Портрет Павла I находится ныне в Пав

ловском дворце-музее.

12...*гатчинский замок... сооружен для фаворита его матери.*— Дворец **в Гатчине**

строился архитектором А. Ринальди в 1766—1781 гг. для Г. Г. Орлова.

13...*четой, путешествовавшей под именем графов Северных.*— См. I, с. 257,

Глава 43

1901 год

ПОЯВЛЕНИЕ ИГОРЯ ГРАБАРЯ,

МОЕ УЧАСТИЕ В ОБОИХ НАШИХ ИЗДАНИЯХ. И. С. ОСТРОУХОВ

* *...если я не ошибаюсь, в осеннюю пору, среди нас появляется... Грабарь.*— Действительно, по приезде из Мюнхена, «наскоро устроившись» в Петербурге осенью 1901 г., Игорь Эммануплович Грабарь (1870—1960) «отправился знакомиться» с редакцией «Мира искусства», о чем он подробно пишет в «Автомонографии» (*//, Э. Грабарь.* Моя жизнь. Автомонография. М., 1937, с. 153 и след.). Личное знакомство Грабаря и Дягилева должно было состояться еще в 1896 г., однако этому помешали вначале сборы Дягилева в заграничную поездку, а затем и отъезд Грабаря в Мюнхен. Исключительно благожелательный отзыв И. Э. Грабаря о всех членах редакции и его высокая оценка культурно-исторической роли «Мира искусства» явились, по существу, первой развернутой характеристикой петербургского объединения в искусствоведческой и мемуарной литературе, если не иметь при этом в виду выпущенную за несколько лет до этого книгу самого А. Н. Бенуа «Возникновение „Мира искусства"» (1928).

2 *...Грабарь навлек... подозрение... желанием играть первую роль...*— В 1901 г. лидерство И. Э. Грабаря в московской худо/ кественной жизни еще не вполне определилось, хотя общность намерений его и Дягилева обнаружилась гораздо раньше. Уже в 1896—1897 гг. сотрудничавший в «Ниве» Грабарь, намечая программу популяризации произведений европейского искусства, предпринимал шаги для публикации картин европейских художников из музеев России и частных собраний и, в частности, вел переговоры с Дягилевым о воспроизведении принадлежавших

ему картин Бартельса и Дюпре. Дягилев же писал Грабарю в апреле 1896 г.: «Я... преследую ту же цель —хоть немножко открыть глаза нашей публике и... художникам.

*

Примечания IV, 43

693

Конечно, это скромное начало, но я надеюсь, что и моя капля пе пройдет даром...

очень радуюсь встретить единомышленника». *(Игорь Грабарь.* Письма. 18911917*

М., 1974, с. 342). Некая перекличка и внутренняя полемика крылись и в появившихся в следующие годы программных статьях Грабаря «Упадок или возрождение? Очерк современных течений в искусстве» («Нива», ежемесячное литературное приложение, 1897, № 1 и № 2) и Дягилева, открывавшей первый номер основанного им журнала «Наш мнимый упадок» («Мир искусства», 1898—1899, №№ 1—2). *Уже... созданием... ((Истории русского искусства» Грабарь создал нечто, за что русская культура обязана ему беспредельной благодарностью.*— Интонация повествования А. Н. Бенуа, пожалуй, отражает не изжитый и у него с годами оттенок соперничества. Первая многотомная «История русского искусства» была создапа Грабарем; Бенуа, после продолжительных колебаний отказался от участия в ней, ибо не смог работать по предложенным Грабарем «рецептам и программам». Между Бенуа и Грабарем не всегда существовало взаимное понимание, не было полной совместимости взглядов и сходства натур; однако объединяли их — «единомышленников борьбы за новое искусство» — общие цели. Отстаивая позиции Грабаря и солидаризируясь с ним перед лицом оппонентов и противников, Бенуа высоко оценивал его «даровитость, деятельное и личное начало, способность на свой страх и свою совесть работать иа общей ниве культуры, мужество проводить то, что человек считает нужным и хорошим. Грабарь,— писал Бенуа уже в 1916 г.,— ...знает, откуда и куда идет. Он знает, чего он хочет, и он знает, что то, что он знает, хорошо и нужно... Не чиновник он и не белоручка, а настоящий деятель, деятель талантливый, храбрый, умелый, а главное, деятель, лучше знающий свое дело, чем кто-либо в России настоящего момента». *(Бенуа Л,* Спор из-за Грабаря.—Речь, 1916, 31 января, № 29).

Знаменательно, что Бенуа писал Грабарю, с которым у него возобновилась в 50е годы переписка и которому он предполагал послать две первых вышедших книги своих «Воспоминаний»: «...Как недостает мне все наше родное, российское, далеко недостаточно в свое время оценивавшееся... И как хотелось бы

быть там, где у меня открылись глаза иа красоту жизни и природу, где я вкусил любви и т. д. Почему я не дома?!» (письмо 27 декабря 1957 г., в кн.: «Александр Бенуа размышляет...», с. 664).

4*Из... статей наиболее значительной... был «Ответ г. Философову»...*— «Ответ г. Фи-

лософову» появился в журнале «Мир искусства» (1901, № 11—12) вслед за статьей

Д. В. Философова «Иванов и Васнецов в оценке Александра Бенуа» (1901, № 10),

написанной в связи с выходом русского издания главы А. Ы. Бенуа для книги

Р. Мутера «История живописи в XIX веке». Различие в оценке творчества А. А. Ива

нова и В. М. Васнецова коренилось в более глубоком несовпадении их взглядов —

в различном отношении к современной религиозной живописи и шире — отноше

нии искусства и религии. Философов указал Бенуа на «зияющую пропасть» между

двумя частями его книги: в первой из них господствовал эстетический критерий,

во второй, в связи с творчеством А. Иванова, вставал вопрос о «миссии русского

искусства в воплощении национально-религиозного идеала». Философов считал эту

позицию уязвимой, вопросы о «народности и религии» очень сложными и замечал,

что В. Васнецову во Владимирском соборе в Киеве удалось практически сделать

больше, нежели «римлянипу» — А. Иванову. Со своей стороны, отвечая Философо-

ву, Бенуа вменял ему прежде всего схематичный идеологизм позиции, неспособ

ность проникнуть в психологию художника и желание говорить о темах, которые

в живописи можно только чувствовать. Он писал, что в А. Иванове «я только чую

национальность, смысл и значение России», которые не усматривал тогда в творе

ниях В. Васнецова, считая его в те годы эпигоном академизма.

5...*Философов представлял собой тип интеллигента-неудачника... полной неудачей*

завершилось его земное существование...— Философов Дмитрий Владимирович

(1872—1940) — литературный и художественный критик и публицист. Представить

Д. В. Философова в начале жизненного пути «в каком-либо соприкосновении с по

литикой и, следовательно, с «толпой» и чуть ли не с «чернью» было решительно

невозможно»,— писал позднее близко знавший мирискуснический круг П. П. Пер-

цов («Литературные воспоминания. 1890—1902 гг.» М.— Л., 1933, с. 279). На рубеже 90-х и 1900-х годов Философов заведовал литературной частью «Мира искусства», а затем с 1904 г. стал редактором религиозно-философского журнала «Новый путь». В 1900-е годы, когда Философов сблизился с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, деятельность его также не выходила за рамки журнальной публицистики. On проповедует в своих статьях тезис «религиозной общественности», понимая такую «общественность» как духовный союз людей на почве целостной «религиозной культуры». Он противопоставляет ее, с одной стороны, рационалистической «общественности» второй половины XIX в., а с другой — уходящим от «культуры» (в его понимании) «мистическому анархизму» или «мифотворчеству». В рецензии на сборник Философова «Слова и жизнь. Литературные споры новзйшего времени. 1901—1908 гг.» (СПб., 1909) Г. В. Плеханов подчеркнул бесплодно-идеалистический характер его идей. «Словоиспускание г. Философова,— писал он,— распространяется на важнейшие вопросы современной мысли и современпого общественного движения. Он хочет везде сказать что-то новое, глубокое, недоступное пониманию нашего брата-материалиста. Но из его усилий ничего не выходит» (Современный мир, 1909, № 8, с. 159). В послереволюционные годы, однако. Философов перестал чураться политики, заняв последовательно-контрреволюционную позицию. С 1920 г. он обосновался в Варшаве (где прожил до своей смерти в 1940 г.), сотрудничал с эсером Б. В. Савинковым, писал статьи в белоэмигрантской газете «За свободу», с 1932 г. по 1934 г. издавал газету «Иллюстрированная молва», а с 1934 г.—ами-грантский русский журнал «Меч», вторым редактором которого в Париже был Д. С. Мережковский.

Его... тянуло,., уйти к... литераторам и философам

религиозного уклона...— После организации журнала «Новый путь» Д. В. Философов постепенно отошел от ведения дел в «Мире искусства»; в 1904 г.—в последний год издапия «Мира искусства» — соредактором С. 11. Дягилева стал А. Н. Бенуа.

...я принял участие на выставке «Общества 36-ти художников»...— Строго говоря, такого «общества» не существовало. Выставка «36-ти» (фактически в ней участвовали 34 художника) открылась в Москве в декабре 1901 г. в помещении Строгановского училища. В ней приняли участие В. А. Серов, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. А. Коровин, А. М. Васнецов, С. А. Виноградов, В. В. Переплетчиков, Н. В. Досе-кин, А. Н. Бенуа, К А. Сомов, А. П. Остроумова-Лебедева и др. В декабре 1902 г. состоялась вторая выставка «36-ти» в несколько измененном составе, и только в 1903 г. участники выставок образовали постоянный «Союз русских художников», куда вошли и москвичи и представители «Мира искусства» (См.: *Лапшин В. П.* Союз русских художников. Л., 1974).

Остроухое Илья Семенович (1858—1929) — живописец, пейзажист, член-учредитель «Союза русских художников», член совета и попечитель Гос. Третьяковской галереи (1889—1903, 1905—1913), коллекционер, с 1906 г. академик.

...его «Сиверко»... занимает... заслуженное положение...— Пейзаж «Сиверко» был написан в 1890 г., после чего И. С. Остроухов принят в Товарищество передвиж-пых выставок. Картина находится в *ГТГ*.

...московских собирателей — Цветкова, Трояновского, Гиршмана и др.— Цветков Иван Евмениевич (1845—1917)— крупный банковский деятель, коллекционер, собиравший преимущественно рисунки. Собрание Цветкова, именовавшееся Цветковской галереей, насчитывало 1200 рисунков и 300 картин *(И. И. Янжул.* И. Е. Цветков.—«Русская старина», 1911, № 2). В 1909 г. Цветков передал коллекпию в дар Москве, в 1926 она вошла в состав Третьяковской галереи. *Трояновский* Иван Иванович (1855—1928) — врач-терапевт, собиратель картин новой русской живописи, связанный тесной дружбой со многими деятелями русской культуры. Один из организаторов общества «Свободная Эстетика». Основпая часть коллекции перешла в Третьяковскую галерею. *Гиршман* Владимир Осипович (1867 — 1936) — московский фабрикант и коллекционер, собрание картин которого, вошедшее впоследствии в Третьяковскую галерею, отличалось особой изыскапностью отбора. *...ансамбль был с 1918 г. превращен в государственный музей**..*— Музей икопописв и живописи И. С. Остроухова стал с конца 1918 г. филиалом Третьяковской галереи,

а сам Остроухое до конца своих дней являлся его директором. После его смерти музей прекратил свое существование, а экспонаты были переданы в Третьяковскую галерею. 18 *Черпогубов* Николай Николаевич (1873—1942) — помощник хранителя Третьяковской галереи (1902—1913) и ее хранитель, позже научный сотрудник Киевского Гос. музея русского искусства.

Глава 44 ТЕЛЯКОВСКИЙ. «ФЕЯ КУКОЛ». «ИППОЛИТ». «ГИБЕЛЬ БОГОВ*

1...*придравшись к... капризу... М. Ф. Кшесинской...*— Дело обстояло не вполне так.

С. М. Волконский наложил на Mv Ф. Кшесинскую штраф за то, что она не поже

лала танцевать русский танец в балете «Камарго» в полагавшемся для балета

костюме с фижмами (по традиции этот костюм воспроизводил костюм Екатери

ны II, который она носила на костюмированном балу в честь императора Иоси

фа II). Пользовавшаяся высочайшим покровительством, балерина настояла на

своем, заменила «не шедший» ей костюм — «русским», Волконскому же пришлось

отменить приказ и вслед за этим весной 1901 г. подать в отставку («Воспоминания

заслуженной артистки Императорских театров Матильды Феликсовны Кшесинской

(светлейшей княгини Романовской-Красинской)». Париж, 1953).

2...*закончить для Эрмитажного театра «Фею кукол»...*— В придворном Эрмитажном

театре один или два раза в неделю в течение января и февраля давались пред

ставления для членов императорской фамилии и лиц, приглашенных двором.

Премьера одноактного балета «Фея кукол» па музыку Байера (либретто Хасрейте-

ра и Гауля) в оформлении Л. С. Бакста состоялась в феврале 1902 г.

8 ...*Дягилев написал... о моей постановке довольно строгую критику...*— Статья С. П. Дягилева «Гибель богов. П. О постановке» была напечатана в журнале «Мир искусства» (1903,

№ 4, с. 35—38): кончалась она между тем словами: «...несмотря на все указанные несогласия и недочеты, мы все ;ке должны констатировать, что ни на одной европейской сцене *так* Вагнера не ставили и что наша постановка совершенно своеобразна и нерутинна».

Глава 45

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО — КНЯЗЬ ЩЕРБАТОВ И ФОН МЕКК. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СОКРОВИЩА РОССИИ. «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»

**...одобрительно отзывался, о даровании своего ученика.— *Щербатов* Сергей Алек

сандрович (1875—1962) был художником, с 1898 г. он учился у И. Э. Грабаря

в школе А. Агдбе в Мюнхене и стал его другом. И. Э. Грабарь, вспоминая позднее

мюнхенский период своей жизяи, писал, что Щербатов «был очень талаптлив, живо

схватывал малейшие намеки и вскоре так усвоил строение головы, лепку, игру све

та, что оставил далеко позади других учеников, работавших два года и дольше»

{Грабарь И. Э. Моя жизнь. М.— Л.. 1937, с. 143).

2 *...памятный мне, парадный завтрак...*— С. А. Щербатов ярко описывает эту «историческую» встречу в книге воспоминаний «Художник в ушедшей России» (Нью-Йорк, 1954, с. 160).

Щербатов и Мекк были в упоении...— Их мнение разделял и М. В. Добужинский, писавший: «Этот теремок, хотя и выпадал из общего стиля, будучи чересчур «театральным», был настоящим маленьким chef-d-oeuvre и невиданная в Петербурге новость» (*Добужинский М. В.* Воспоминания, с. 287).

...я... мог гордиться теми номерами...— Действительно, только один первый выпуск журнала за 1902 г. состоял из отдельных таблиц и сопровождавших их описаний; № 2 и № 3 посвящены собранию М. П. Боткина; №4- Выставке русской портретной живописи за 150 лет (1700—1850); № 5—Катальной горе в Ораниенбауме, № 6—Музею П. И. Щукина в Москве; № 7—8 — Петергофу в XVIII веке;

J4s 0—10 —Императорской Оружейной палате; *N*° 11 —

Собранию П. П. Шувалова в Петербурге; Лз 12— Галерее драгоценностей Императорского Эрмитажа.

5 .*„личности Петра /... решил посвятить несколько номеров...* — Первые три номера журнала «Художественные сокровища России» за 1903 г. назывались «Петр Í»; они были выпущены уже А. В. Нраховым, но их редактором еще значился А. И. Бе-нуа. Иа страницах были воспроизведены гипсовая маска и восковой бюст Петра I из Петровской галереи Эрмитажа, обильные архитектурные материалы, связаппые с Петром I,— гравюры и снимки дворца и дома Петра I в Ревеле, первого летнего дворца в Петербурге, Нарвского дома и др.

0 *...гипсовый слепок с головы Петра.*— Слепок был сделан с живого Петра скульптором К. Б. Растрелли. По мнению современного историка скульптуры, в маске «были сохранены неуловимая мягкость контуров живого лица... Вместе с тем Растрелли творчески оживил маску, передал характер и темперамент Петра... От этой странной, небольшой круглой головы с грозным, почти свирепым взглядом веет неподдельной исторической правдой» *(Пресное Г.* К. Б. Растрелли.— «История русского искусства», т. V. М., 1960, с. 464). А. И. Бенуа отозвался на эту находку в своих «Художественных сокровищах России» — «Гипсовая голова Петра I в Императорском Эрмитаже» (1903, т. III, с. 83—84).

7...*В. В. Стасов... собирался его опубликовать...*— Портрет был опубликован в кн.:

В. Стасов. Галерея Петра Великого в имп. Публичной библиотеке. СПб., 1903,

Таблица 24.

8...*известие об убийстве... министра Сипягипа...*— Министр внутренних дел Д. С. Си-

» пягин был убит 2 апреля 1902 г. С. Балмашовым.

Глава 46

КАТАСТРОФА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ СОКРОВИЩАМИ.

ПРЕБЫВАНИЕ В РИМЕ.

МОЯ ЖЕНА ПЕРЕХОДИТ В КАТОЛИЧЕСТВО. ПОРТО Д'АНЦИО

...Серов даже изобразил в карикатуре «будущего Сережу»...— Карикатура находятся в Ленинградском театральном музее.

...я... разразился... на страницах «Мира искусства» весьма суровой критикой.— Речь ндет о статье А. Н. Бенуа «Французская выставка» («Мир искусства», 1903, № 1, с. 13-15).

Глава 47 [1903 г.] ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР В РИМЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ. КОНЕЦ «СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА». ВИЗИТ ПРАХОВУ В «МОЕЙ» РЕДАКЦИЙ.

ИЛЛЮСТРАЦИИ К «МЕДНОМУ ВСАДНИКУ». ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕМЬИ... НАШИ ДЕТИ. «РУССКАЯ ШКОЛА ЖИВОПИСИ».

НАВОДНЕНИЕ. АУКЦИОН ТЕНИШЕВОЙ.

1...*целью... был аукцион коллекций княгини М. К. Тенишевой...* — См. II, с. 199.

2...*серии... «Лен» и «Хлеб»...*— Серии «Рожь» и «Лен» Л. Фредерика находятся ныне

в Гос. Эрмитаже.

Примечания IV, 49

Глава 48

НАЧАЛО ВОЙНЫ С ЯПОНЦАМИ. НЕДОВОЛЬСТВО РЕЖИМОМ.

.в. к. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. ИНТРИГА ПРОТИВ ДЯГИЛЕВА.

СОБИРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫСТАВКИ ПОРТРЕТОВ.

«ОТРАДА» ГРАФОВ ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ

1*Нетцке* — мелкая скульптура из камня, широко распространенная в странах Даль

него Востока.

2*Николай Михайлович,* великий князь (1859—1919) — историк, автор многих трудов:

«Император Александр I. Опыт исторического исследования» (т. 1—2, СПб., 1912);

«Московский некрополь» (СПб., 1907); «Петербургский некрополь» (СПб., 1912—

1913} и др.

3*„.для... издания «Русский исторический портрет».*— Книга «Русские портреты

XVIII—XIX столетий» была издана в 1905—1909 гг.

4*„.выставку... которую историк Петербурга Петров устроил в 1870 г.*— См. «Каталог

исторической выставки портретов лиц XVI—XVIII вв., устроенной Обществом по

ощрения художества. СПб., 1870.

5*Когда... выставка Врангеля все же состоялась...*— См.: «Подробный иллюстрирован

ный каталог выставки русской портретной живописи за 150 лет (1700—1850)». СПб.»

1902.

Глава 49

ЛЕТО В «ГОРКАХ».

СОБИРАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МОЕЙ МОНОГРАФИИ О ЦАРСКОМ СЕЛЕ.

«АЗБУКА». «ЗМЕИНАЯ ПОЛЯНКА». НАЗРЕВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КРИЗИСА.

Я ПРИГЛАШЕН УЧАСТВОВАТЬ В ГАЗЕТЕ «СЛОВО».

КОНЕЦ «МИРА ИСКУССТВА». АЙСЕДОРА ДУНКАН. ВСТРЕЧИ С ВРУБЕЛЕМ

1 *...Тенишева ставила непременным условием принятие... (кроме Дягилева и меня)... Н. К. Рериха...*— В эти годы М. К. Тенишева, действительно, очень дорожила сотрудничеством с Н. К. Рерихом. «Из всех русских художников,—писала она,— ...кроме Врубеля, это единственный... культурный, очень образованный, настоящий европеец, не узкий, не односторонний, благовоспитанный и приятный в обращении, незаменимый собеседник, широко понимающий искусство и глубоко им интересующийся» *(М. К. Тенишева.* Впечатления моей жизни, с. 387). Как раз одним из условий Тенишевой при согласии возобповить субсидии журналу «Мир искусства» было исключение А. II. Бепуа из состава редакции. На словах как бы согласившийся с этим Дягилев, тем не менее указал имя своего друга среди будущих сотрудников журнала; усмотрев в этом нарушение их договоренности, Тенишева поместила объявление в газете, в котором отказывалась принимать какое-либо участие в предстоящем издании. Это окончательно решило судьбу журнала.

' *„.номер «Слова».., в них было несколько моих... заметок.*— А. Н. Бенуа сотрудничал в газете «Слово» с 1904 но 1907 г. В 1904 г. в газете появились его статьи: «Ноябрьские выставки», «Новая постановка «Руслана»» и «Музыка и пластика (По поводу Айседоры Дункан)» (4, 12 и 23 декабря).

8 *...одна из моих статеек... посвящена... Адольфу Менцелю..**— Это был некролог в связи с кончиной Менделя, напечатанный не осенью 1904 г., а 3 февраля 1905 г.

4*Получился тот его шедевр...*— Пастель М. А. Врубеля «Жемчужина» (1904), ныне

Dill.

5*...был занят портретом экены...*— Портрет II. И. Забелы-Врубель на фоне березок

(акварель, пастель, ит. и граф. карандаши, 1904 г.) — ныне в

ГРМ.

698*Примечания IV, 50*

Глава 50

'. 9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА. УГРОЗА ОБЩЕЙ ЗАБАСТОВКИ. ТАВРИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА ПОРТРЕТОВ. НАШЕ ОТБЫТИЕ ИЗ РОССИИ

1*Я успел заручиться... поручением от... газеты «Вусъ»...*— «Русь» — ежедневная газе

та, издававшаяся в Петербурге в 1903—1908 гг. Редактор-издатель А. А. Суворин.

2Моих фельетонов было... всего два...— В газете «Русь» в 1905 г. было напечатано

четыре фельетона А. И. Бенуа: «Путевые впечатления художника. В Берлине»;

«Париж»; «Париж. «Анджело» у Сары Бернар. Новая опера Дебюсси «Пелеас и

Мелмсанда»; «Страстная неделя в Париже» (14 марта, 12, 23 и 30 апреля).

КНИГА ПЯТАЯ

Глава 1 [ЛЕТО 1905—1906 г. ПРИМЕЛЬ]

* *Шервашидзе* (Чачба) Александр Константинович (1867—1968) —живописец и » театральный художник. После революции жил и умер во Франции.

2*Кругликова* Елизавета Сергеевна (1865—1941) —живописец и график, мастер офор

та, монотипии и силуэта; ее мастерская в Париже была своего рода русским худо

жественным центром с середины 1900-х до середины 1910-х годов. Альбому ее мо

нотипий «Париж накануне войны в монотипиях Е. С. Кругликовой» (Иг., 1916)

А. Ы. Бенуа предпослал небольшой вступительный текст «Вместо предисловия» —

«Кругликова в Париже».

3...*Макс Волошин, дружба с которым у меня тогда и завязалась.*— А. Н. Бенуа, по

святивший Максимилиану Александровичу Волошипу (1877

—1932) небольшой

очерк («О Максимилиане Волошине», 1932), писал, что основой их дружбы было

«мое любование им, как цельной своеобразной фигурой» и что «Не так уж много

в истории живописи, посвященной только «настоящим» художникам, найдется

произведений, способных вызывать мысли и грезы, подобные тем, которые возбуж

дают импровизации этого „дилетанта"» («Александр Бенуа размышляет...», с. 233,

234).

4*...расписывал собственными руками построенный «храм теософов»...*— Вернее, ан

тропософов. Храм строился в годы первой мировой войны в Швейцарии, в Дарнахе

по проекту основателя антропософии Рудольфа Штейнера (1861—1925) и носил на

звание «Гётеаиум». В строительстве принимали участие ученики Р. Штейнера;

из России — А. Белый, М. Волошин и др.

5*Явленский* Алексей Георгиевич (1864—1941) —живописец, с 1896 г. учился в школе

А. Ашбе в Мюнхене, с этого времени жил в Германии (в годы первой мировой вой

ны—в Швейцарии). *Веревкипа* Мариамна Владимировна (1870—1938) —художни

ца, жена А. Г. Явленского, как и он, училась в школе А. Ашбе в Мюнхене.

6*...моему творчеству будет посвящен целый отдельный номер.* — Творчеству А. И. Бе

нуа был посвящен № 10 журнала «Золотое руно» за 1906 г. В номере был альбом

` репродукций с работ художника и биографический очерк А. К. Шервашидзе «Александр Бенуа».

Глава 2 [1905—1906 ГОДЫ. ВЕРСАЛЬ. ПАРИЖ]

1 ...мечту о... доме Щербатов исполнил гораздо позже...— Дом С. А. Щербатова на Новинском бульваре в Москве (пыне ул. Чайковского, 11) был построен архитектором А. И. Тамановым в 1912—1913 гг. В его композиции была объединена традиционная схема городской усадьбы и многоярусная структура доходного

дома.

Примечания V, 2

690

2 *...выпустили втроем книжку — род обвинительного акта, направленного лично про-тив царя.*— Сообщаемые здесь факты несколько расходятся с ныне известными. В настоящее время нет сведений об издании в России книги, представляющей род «обвинительного акта» против царя и послужившей причиной отъезда Мережковских и Философова в Париж. Не известен и ее французский перевод под названием «Меч» («Le Glaive»). Не исключено, что в памяти автора мемуаров объединилось несколько событий из литературной деятельности Мережковских и Философова в 1905—1907 гг. «В начале 1906 г.— пишут К. М. Азадовскнй и Д. Е. Максимов,— Мережковские и их едипомышлениик Философов (а также Бердяев и Булгаков) пытаются объединиться в группу под пазваиием «Меч» (так называлась и статья Мережковского, вошедшая в его сборник «Не мир, но меч») и даже проектируют издание аналогично озаглавленного журнала». В журнале «Золотое руно» (1906, *2*\\ 2, с. 120) сообщалось: <<В Петербурге возникает новый религиозпо-обществен-ный, философский и литературный журнал «Меч» при близком участии гг. Мережковского и Бердяева». В том Hie 1906 г. сборник «Меч» был предложен известному мюнхенскому издательству Пипера... однако пи одно пз этих начинаний по увенчалось успехом» («Брюсов и „Весы", к истории издания». В кн.: «Литературное наследство. Валерий Брюсов». М., 1976, т. 85, с. 290, 321). Между тем, книгой-памфлетом, направленным против царя, в которой каждому из трех названных авторов принадлежали отдельные главы, была книга «Le Tzar et la Revolution», по она, судя по воспоминаниям З. И. Гиппиус *(Гиппиус-Мережковская З.* Дмитрий Мережковский, с. 159), была написана в Париже, где и издана в 1907 г.

? *...в их салоне на улице Теофиль Готъе...*— В парижской квартире Мережковских собирались, по словам З. II. Гиппиус (см.: «Дмитрий Мережковский»), две группы посетителей, к одной пз них относились общественные деятели, в частности, И. Бу-иаков, член партии эсеров, познакомивший Мережковских с Б. В. Савинковым, Другую составляли современные французские художники, среди которых иногда бывал и А. Н. Бенуа.

4*...я тогда снова стал сотрудничать в перцовско.ц «Слове»...*— В 1906—1907 гг. А. Н. Бе

нуа писал для газеты «Слово» «Парижские заметки»: о «Салоне независимых», «Са

лоне Champ-de-Mars», о монументальной скульптуре и др.

(1906 г., 29 марта, 15

и 19 апреля). Последняя заметка о «Русских концертах в Париже» появилась

в 1907 г. (№ 162). *«Слово»* — ежедневная газета, издававшаяся в Петербурге

в 1903—1909 гг., вначале как орган правых земцев, с начала 1905 по июль 1906 г.—

правых октпбристов, а затем — сторонников «Партии мирного обновления», обра

зовавшейся после раскола либерального лагеря в ходе революции 1905—1907 гг.

Заняв промежуточное положепие между октябристами и кадетами, она прекрати

ла вскоре существование из-за отсутствия поддержки в общественных кругах.

5...*графический выпад против государя под титулом «Орсл~оборотенъ».~* Этот рису

нок был помещен в первом номере сатирического журнала «Жупел», выходившем

в конце 1905 — начале 1906 гг. После третьего номера журнал был запрещен цен

зурой, все его номера были конфискованы, редактор журнала З. И. Гржебин (1865—

1929) был арестован и приговорен к шестимесячному заключению. Аресту под-

вергся и И. Я. Билибин. В литературной части журнала принимали участие вид

нейшие писатели, в том числе М. Горький, а в художественной — почти все

участники «Мира искусства». Так, в том же первом номере журнала был воспроиз

веден знаменитый рисунок В. А. Серова «Солдатушки, бравы ребятушки», испол

ненный но впечатлению от расправы правительственных войск с петербургскими

рабочими 9 января 1905 г.

* ...*пет материалов, чтоб в точности установить*...— Рисунок был воспроизведен в журнале «Сатирикон», начавшем выходить в Петербурге в 1908 г. (№ 27). Он был напечатан черной, желтой и красной красками и представлял «оказавшееся пророческим изображение грозного и отвратительного бога войны, выступающего на авансцену европейского театра» *(А. А. Сидоров.* Русская графика пачала XX в. Очерки истории и теории. М., 1969, с. 170).

*1 ...*в *серии рисунков... для... сборника «Шиповник».—Ъ* «Литературно-художественном альманахе» издательства «Шиповник* (кн. 2. СПб., 1907, с. 119—132) был папе-

чатан цикл рисунков А. Н. Бенуа, озаглавленный «Смерть»; он составлен из б листов: «Предупреждение», «Ожидание», «Поединок», «На покой», «Сто лет спустя» и «Двести лет спустя».

8*...мое сотруд}Шчество в «Золотом руне» свелось к... случайному...*— В «Золотом рупе»

было напечатано пять статей А. II. Бенуа, среди них такие значительные, как

статья «Художественные ереси» (1906, № 2, с. 80—88) и «Собрание М. И. Мятле-

вой в С.-Петербурге» (1906, № 11—12, с. 35—41).

9*Моптескъю-Фезензак де,* Робер (1855—1921) —французский поэт, критик, автор ме

муаров, коллекционер.

iº *Лихачев* Николай Петрович (1862—1936) — историк, археограф, коллекционер, основатель русской сфрагистики, создатель упикального музея палеографии, автор трудов по истории русского иконоиисапия («Материалы для истории русского ико-нописания», т. 1—2. СПб., 1906; «Манера письма Андрея Рублева». СПб, 1907), внесших существенный вклад в изучение древнерусской живописи. Академик с 1925 г.

11*...вся «компания» смолянок.*— Па выставке отсутствовали портреты смолянок

Е. П. Молчановой и А. П. Левшшюй.

12*...я же составил изящно изданный и богато иллюстрированный каталог...*— Exposi

tion de Fart russe. Paris, 1906.

13*...манифестацию русской музыки, которой Дягилев угостил Париж...*— В 1907 г.

С. II. Дягилев устроил в Париже пять концертов русской музыки от Глинки до

Скрябина. В концертах участвовали Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов.

А. Н. Скрябин приезжал в 1907 г. в Париж в связи с дягилевскими концертами

» русской музыки, на которых исполнялись его 2-я симфония и фортепьянный концерт (сыгранный И. Гофманом).

14*...в 1915 г. я был занят постановкой драмы Пушкина...*— Трагедия А. С. Пушкина

«Моцарт и Сальери» вместе с «Каменным гостем» и «Пиром во

время чумы» вхо

дила в единый «Пушкинский спектакль», поставленный К. С. Станиславским

и А. Н. Бенуа в Московском художественном театре. Декорация принадлежали

А. Н. Бенуа.

Глава 3

[1907 ГОД. ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСПАНИЮ. ПЕТЕРБУРГ. Д. С. СТЕЛЛЕЦКИЙ]

* *„.весной 1907 г. в Париже оказался И. Н. Черепнин...*— Приезд П. Н. Черепнина в Париж в связи с постановкой «Снегурочки» на сцене Комической оперы относится к весне 1908 г. Ее первое представление состоялось 7 мая 1908 г.

2...*Фокин выбрал к постановке,— по совету Черепнина...*— По словам М. М. Фокина,

он сам отыскал композитора и обрадовал его своим решением поставить балет на

его музыку, после того, как услышал нд одном из концертов в консерватории сюи

ту Н. Н. Черепнина из балета «Павильон Армиды» *[Фокин М.* Против течения.

Воспоминания балетмейстера, статьи, письма. Л.—М., 1962, с. 179). Впрочем,

М. М. Фокину в период написания его поздних мемуаров было, по-видимому, свой

ственно приписывать себе пекоторые инициативы в создании и осуществлении

различных балетных замыслов. Так, по его словам, не II. Н. Черепнин, а именно

он убедил Дирекцию императорских театров привлечь в качестве декоратора «Па

вильона Армиды» А. II. Бенуа («Против течения...», с. 181) и именно ему, а не

А. Д. Крупенскому, принадлежала идея превращения балета из трехактного в од

ноактный (там же).

3...*успех, выдавшийся этой постановке...*— Постановка «Оживленного гобелена» была

показана на выпускном спектакле балетного училища 15 апреля 1907 г.

4*...я... был занят маленькой... монографией, заказанной Гржебиным.*— Монография

«Франсиско Гойя» вышла в свет в следующем, 1908 г. в гржебипском издательст

ве «Шиповник».

5*...ганятый постановкой «Бориса Годунова».*— См. II, с. 483—491.

6*Стеллецкий* Дмитрий Семенович (1875—1947) — живописец, скульптор, **график** и

театральный художник, близкий к кругу «Мира искусства». Свою приверженность

Примечания V, 4

701

темам древней русской истории, о которой далее пишет А. Н. Бенуа, он объяснял следующим образом: «Русскому народу подобает иметь свое искусство. С годами я попял, что только изучая художественное наследие наших предков, и даже сначала рабски ему подражая, можно и нужно воскресить свою русскую, родную красоту. Понятно, не исключается необходимость знать, что делали и делают иноземцы и каково было их влияние на расцвет нашего искусства, так варварски задушенного в XVIII веке и так презираемого почти до наших дней. Я знаю, что мое влечение к русской красоте было в рождено во мне, а не воспитано» *(Стеллецкий Д.* Описание моей жпзпи. Рукопись в собр. И. С. Зильберштейна. Цит. по кн.: «Валентин Серов в воспоминаниях...», т. 2, с. 108).

7*...его «стилистический шедевр»... в двух редакциях.*— Над иллюстрациями к «Сло

ву о полку Игоревс» Д. С. Стеллецкий работал с 1900 г., когда он был еще учени

ком Академии художеств. Спустя десять лет, он показал их на выставке «Мира

искусства», состоявшейся в Петербурге в зимний сезон 1910—1911 гг. 45 иллюстра

ций к «Слову» были приобретены тогда Третьяковской галереей.

8*Ему же принадлежала... постановка «Царя Федора Иоановича»...*— Это была не

осуществившаяся совместная постановка В. Э. Мейерхольда и Д. С. Стеллецкого.

Об эскизах декораций к ней А. Н. Бенуа отозвался в свое время в статье «Искусст

во Стеллецкого» («Аполлон», 1911, № 4): «...точно с закоптелых древних стен сошли

суровые образы святителей или колдунов, и эти бредовые фигуры зачали какой-то

страшный литургический хоровод, в котором неминуемо (если бы все удалось на

сцене) должна была бы потонуть и самая фабула и все душевные переживания

действующих лиц. Остались бы только чудесные, несколько монотонные, но чарую

щие, ворожащие узоры и плетеяия Стеллецкого».

9*...надлежало представить помещика...*— Гуашь «Помещик в деревне» находится

в Картинной галерее Армении в Ереване и датирована не 1907 т., а 1909 г.

10*Одна изображала «куртаг» в дни Екатерины II...*— Гуашь «Выход императрицы

Екатерины II в Царскосельском дворце» находится в Картинной галерее Армении

в Ереване и датирована, как и предыдущая, не 1907 г., а 1909 г.

11*В «Параде при Павле»...—Гуашь* «Парад при Павле I» (1907) хранится в *ГРМ.*

Глава 4 [«ПАВИЛЬОН АРМИДЫ»]

1*Я... исполнил еще для Князькова: «Петр 1 в Летнем саду», «Улица Петербурга при*

Петре 1», «Немецкая слобода» и «Лагерь суворовских солдат».— Гуашь «Петр I на

прогулке в Летнем саду» хранится в *ГРМ* и датирована, как и следующая, не

1907 г., а 1910 г. Гуашь «Петербургская улица при Петре I» находится в собр.

И. С. Зильберштейна, гуашь «В Немецкой слободе» (1909) —- в собр. М. И. Кнебель,

местонахождение гуаши «Суворовский лагерь» (1910) неизвестно.

2*Сочинение декораций моего балета мне далось не сразу.*— В созданном А. Н. Бенуа

либретто нового балета использовались несколько литературных источников. Меж

ду тем главная для балета Бенуа тема — бессилия человека перед таинственным

и злым роком — расходилась и с замыслом новеллы

«Омфала», с ее историей ожив

шего гобелена, и с присоединенной к ней сюжетной линией более раннего произ

ведения — поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим». Следование А. Н. Бенуа

французскому придворному балету, уже в начале XVII в. интерпретировавшему

поэму Тассо, сказалось и в сценическом, живописном решении, в увлечении стили-

зованными костюмами и фоном, и в имени главного героя. Не Ринальдо, а виконт

Ренэ де Божанси оказывается застигнутым на охоте грозой, после чего попадает

в павильон, где и происходит его встреча с Армидой. Из современного ему

XVIII века время незаметно смещается в XVII, в обстановку эпохи Людовика XIV.

Оживают гобелен, огромные часы с фигурами Амура и Сатурна, олицетворяющи

ми любовь и неумолимое к ней время. Между тем при всей стилизации историче

ского антуража в трактовку Бенуа вплеталась и неизменная для него «петербург-

кая тема». По свидетельству ноэта Жана-Луи Водуайе, зрителя парижской премье-

Примечания V t 5

ры условно показанная эпоха была даже «ближе Петергофу, чем Большому Трианону» Версаля *(В. М, Красовская.* Русский балетный театр начала XX в. I Хореографы. Л., 1971, с, 205). Русский критик по поводу спектакля замечал: «Занавес падает как раз тогда, когда нужно. Остается жуткое впечатлепие жизни, навсегда отравленной тоской по исчезнувшей красоте, по фантастической действительности» *(А. А. Ростиславов.* «Павильон Армиды».— «Театр и искусство», 1907, № 50, 16 декабря).

s *...целых три,,, номера, которые затем в парижской редакции были исключены.*— В «Воспоминаниях о балете» (II, с. 506) А. Н. Бенуа говорит только о двух сокращенных номерах — «Похищении из сераля» и «Тапце теней». Возможно, что «появление из земли четырех магов» с вызванными ими «хороводом теней» и пляской «ведьм-вакханок» можно было рассматривать то как один, то как два последовательных и тесно связанных между собою эпизода.

* *...Фокин... со всем соглашался...— «Я* старался припимать все

его [А. II. Бенуа] планы без возражений. В этом было больше уважения к нему, как к автору (либретто) и зпатоку стилей, чем полного согласия»,— замечает в своих воспоминаниях М. М. Фокин («Против течения..,», с. 186).

0 *...статейка... на следующее же утро появилась.— Р[озенберг].* Павильон Армиды (у Александра Бенуа).— Петербургская газета, 1907, 18 ноября.

Глава 5 [М. М. ФОКИН. «СТАРИННЫЙ ТЕАТР»]

1 *...еще больший энтузиазм вызвала «Клеопатра»,*— А. Н. Бенуа подробно рассказывает о парижских балетных сезонах в «Воспоминаниях о балете» (II, с. 509—511).

г ...одна из декораций... «Сады Армиды»... продолжала ходить в антрепризе и Дяги^-лева и де Вазиля...— См. II, с. 504.

3*Рубинштейн Ида* Львовна (1880—1960) — танцовщица-любительпица, завоевавшая

большой успех как актриса-мимистка. Выступала в «Русских сезонах» в балетах

«Клеопатра», «Шехеразада» и др., позднее основала собственную балетную труппу,

с которой выступала до второй мировой войны. В дальнейшем посвятила себя бла

готворительной деятельности.

4*Лишь кучка человек в тридцать... глядела на то, что на пей происходит...*— Иначе

описывает спектакль М. М. Фокип. по словам которого «публика... „покатывалась

со смеха"» («Против течения...», с. 135).

5...*Фокин поставил балет (в феврале 1908* г....—Первая редакция «Шопениапы» (на

музыку в оркестровке А. К. Глазунова) была впервые показана на сцене Мариин-

ского театра 10 февраля 1907 гм вторая редакция (на музыку в оркестровке

М. Ф. Келера) — 11 марта 1908 г.

6...*в его первом балете «Евнике».*— Балет был показан 10 февраля 1907 г, (в один

вечер с первой редакцией «Шопенианы»). Сценарий балета «Евника» («Эвника»,

«Евнике») был написан Стенбок-Фермором по роману Г. Сенкевяча «Quo vadis»

(«Камо грядеши?»), музыка, принадлежавшая композитору-

дилетанту А. В. Щер-

бачеву, была банальной и слабой, однако, по словам самого М. М. Фокина, его «тан

цы^ производили впечатление какой-то подлинной и невиданной до того на балет

ной сцене античности, ...имели связь с драматическим сюжетом балета и его выра

жали» («Против течения...», с. 167).

...единственного в этом женском ансамбле танцора.— Единственная мужская роль в балете — образ романтического юноши-мечтателя — была создана М. М. Фокиным специально для В. ф. Пнжинского.

...И. В. Дризен и Я. И. Евреинов, ставившие себе целью возродить «Старинный театр».,.— Идея организации «Старинного театра» принадлежала Н. Н. Евреинову, однако заслуга проведения ее в жизнь — Н. В. Дризепу, обладавшему немалыми организационными способностями. После сезона 1907—1908 гг. спектакли «Старинного театра» были возобновлены в 1911—1912 гг. при участии режиссеров

*Примечания V, 5*703

—

К. М. Миклашевского и Н. И. Бутковской и художников Н. К. Рериха, Е. Е. Лансере, Н. К. Калмакова, В. А. Щуко, И. Я. Билибипа и др.

9 *Спектакли «Старинного театра»...*— Ставили спектакли Н. Н. Евреинов, Н. В. Дри-зен и А. А. Санин, научными консультантами являлись Е. В. Аничков и В. Ф. Ши-шмарев, среди переводчиков были А. А. Блок и С. М. Городецкий, а музыкальную часть возглавили А. К. Глазунов, Л. А. Саккети и И. А. Сац. В качестве художника выступал В, А. Шуко. Первое представление состоялось 7 декабря 1907 г.

10 *Я забыл... имена главных зачинщиков «Петербургского кабаре»...*— Этот театрик предполагалось организовать на вновь строящейся сцене при петербургском Театральном клубе. В. Э. Мейерхольд писал в письме Л. Я. Гуревич от 9 декабря 1908 г.: «Ю. М. Юрьев, артист Александрийского театра, в качестве члена театральной комиссии, избранной руководить спектаклями на вновь строившемся при театральном клубе театре, обратился ко мне с просьбой помочь ему в руководительстве молодым делом. Я посоветовал ему составить... маленький «совещательный комитет»..., в состав которого я предложил ему из целого ряда известных художников, литераторов, музыкантов, артистов — Бенуа, Сомова, Добужинского, Головина, князя Шервашидзе, Фокина, Каратыгина, Ремизова, Городецкого, Нурока, Нувеля,

Рад-зивилловича, etc.» (цит. по кн.: *Волков П.* Мейерхольд, т. П. 1908—1917. М.— Л., 1929, с. 36).

** *...его смелые постановки... на частной сцепе...*— В. Э. Мейерхольд вместе с С. Ю. Судейкиным осуществил любительскую постановку драмы Кальдерона «Поклонение кресту» в так называемом «Башепном театре», в доме Вяч. И. Иванова в Петербурге (19 апреля 1910 г.). Кроме того, на частной сцене Мейерхольд ставил в 1910 г. две сцены из пьесы Д. С. Мережковского «Павел I»; в 1911 г. в доме Ф. Сологуба вариации но мотивам итальянской комедии дель арте — «Арлекин — ходатай свадеб»; в 1912 г. в доме О. К. и II. П. Карабчевских пантомиму «Влюбленные» на музыку К. Дебюсси.

12*...которая поо/селала стать «русской Айседорой»...*— Ада Корвпн (Ада Адамовна

Юшкевич, ум. в 1919 г.) была актрисой театра В. Ф. Комиссаржевской, выступала

как танцовщица-босоножка, принимала участие в гастрольной поездке труппы

В. Э. Мейерхольда по провинции в 1908 г.; была другом Л. Д. Блок.

13*...на сцене этого театрика... я запомнил лишь два номера.*— Открытие театрика,

получившего название «Лукоморье», состоялось 6 декабря 1908 г. В программу

первого вечера входили: «Пролог» (сочинение А. Т. Аверченко), «Петрушка» (либ

ретто П. П. Потемкина, худ. М. В. Добужинский), «Падение Дома Эшеров» — тра

гедия в одном действии (худ. М. В. Добужинский, В. Я. Чемберс, музыка Кара

тыгина), небольшое концертное отделение «Честь и месть» — «тайна в одном дей

ствии графа Сологуба» (худ. И. Я. Билибин). Критика сочувственно отметила «бес

подобные» декорации Добужинского, Билибина, костюмы по рпсункам Чемберса,

однако постановку в целом оценили отрицательно.

14*Много рассказов ходило о собраниях в «Башне»... То был центр...*— «Башней» со

временники именовали квартиру Вяч. Иванова, занимавшую верхний этаж дома

против Таврического сада (угол Таврической и Тверской улиц) с угловым фона

рем-башней. У Ивановых устраивались еженедельные среды

— литературный

центр петербургских символистов тех лет, на которых читались стихи и доклады;

постоянными посетителями «сред» были А. Блок, А. Белый, Ф. Сологуб, М. Куз-

мин, А. Ремизов, М. Волошин, Г. Чулков, К. Сомов, Л. Бакст, Е. Лапсере, В. Нувель,

М. Добужинский, З. Гржебин. «Домашнему» сближению художников с литератора

ми способствовал и тот факт, что непосредственно под квартирой Ивановых поме

щалась основанная Е. Н. Званцевой в 1906 г. художественная школа, в которой

преподавали Л. Бакст и М. Добужинский. В ней училась, в частности, и жена Во

лошина М. Сабашникова,

15...*многие... сплотились... вокруг превосходного худоо/ сественного журнала ((Апол*

лон»...— «Аполлон» — ежемесячный литературно-художественный журнал^ издавал

ся в 1909—1917 гг.

v. I. i·' -—— -' ■•——

Глава 6 ПАРИЖ. «БОРИС ГОДУНОВ»

*...*кажется, фамилия его Егоров...*— Речь идет о Владимире Евгеньевиче *Егорове*

(1878—1960)—театральном художнике Московского художественного театра, ав

торе декораций к «Драме жизни» К. Гамсуна, «Жизни человека» Л. Н. Андреева*

«Сипей птице» М. Метерлинка. С 1915 г. он работал в кино, став основателем со

ветского кинодекорациониого искусства.

2...*шаляпинский гример-заика...*— *Григорьев* Федор Федорович (ум. 1918)—теат

ральный парикмахер и гример. Ф. И. Шаляпин посвятил ему один из очерков гла

вы «Русские люди» в своей книге «Маска и душа. Мои сорок лет на театрах»

(Федор Иванович Шаляпин, т. 1, Литературное наследство. Письма. М., 1976,

с. 277—279). Он писал; «Этот человек в скромной профессии театрального парик

махера умел быть.., художником.,, спорым, точным мастером своего ремесла... Фе

дор Григорьев делал просто чудеса... В нем горели простонародная русская талант

ливость и несравненная русская сметливость и расторопность. Был он хороший

и веселый человек, заика и лысый — в насмешку пад его ремеслом. ...Он сам для

себя изучил всякое положение красок на лице, отлично знал свет и тень... Федо

ра Григорьева я сердечно полюбил».

5 ...*Мися... еще не играла... столь исключительной роли.*— *Серт Мися* (урожденная Годебская Мария София, в последующих браках — Натансон, Эдварде, Серт) принимала ближайшее участие в организации «Русских сезонов», оказывая содействие в отыскании средств, в устройстве влиятельных покровительств; Дягилев считал се своим «лучшим другом».

*„.*столб со стоящим на его макушке «другим триумфатором»,* — Наполеоном I.

Глава 7 1908 ГОД. ЛЕТО В ЛУГАНО

1 ...*я эту работу обнародовал...*— *Назвал же я свою статью «Рассадник искусства»...*—> Старые годы, 1909, с. 175—202.

3...*становился писателем (своих фельетонов для «Речи» и своей «Истории живопи*

си»...— С 1908 по 1917 г. А. Н. Бенуа выступал в качестве постоянного художест

венного критика в газете «Речь». Почти еженедельно, с некоторыми перерывами,

в этой газете появлялись его статьи, посвященные вопросам современного изобра

зительного искусства, архитектуры, театра, музыки и оказывавшие огромное воз

действие па русские художественные круги. «История живописи» — это «История

живописи всех времен и народов», посвященная главным образом развитию пей

зажа (не окончена); выходила в издательстве И. Н. Кнебель в 1912—1917 гг*

ВОСПОМИНАНИЯ О БАЛЕТЕ

РУССКИЕ БАЛЕТЫ В ПАРИЖЕ

1 *Русский сезон 1909 года в Париже...*— Сезоном 1909 г. открылись ежегодные гастроли русского балетного театра за границей. Программа 1909 г., помимо балетных спектаклей и сцен («Павильон Армиды», «Пир», «Клеопатра», «Сильфиды»), включала также и оперные («Половецкий» акт из «Князя Игоря» А. П. Бородина, «Иван Грозный» («Псковитянка»), акт из «Юдифи» А. Н. Серова, акт из «Руслана и Людмилы» М, И. Глинки), однако с 1910 г. устраивались одни балетные представления. Труппа состояла из русских артистов, в зимний сезон игравших на сценах русских театров, но с 1911 г. С. П. Дягилев основал постоянно действующую антрепризу «Русский балет», гастролировавшую в разных городах Европы и Америки и просуществовавшую до его смерти в 1929 г. С 1914 г., в связи с начавшейся мировой войной, антреприза все более отрывалась от России и русского театра,

и в ее репертуаре все большую роль приобретало сотрудничество иностранных художников, композиторов и танцоров.

2...*то виноваты в том те явления мирового значения...*— А. II. Бенуа, вероятно име

ет в виду широчайшую смену художественных форм,

захватившую в 1910—

1930 гг. все виды западноевропейского искусства, и, по существу, положившую

предел той фазе в развитии изобразительного и театрального творчества, которой

отвечали и деятельность самого А. Н. Бенуа, и художественные тенденции дяги-

левской антрепризы на рубеже 1900-х и 1910-х годов.

3*...русское балетное дело.,, получило... распространение...*— Дягнлевские «Русские

сезоны» 1909—1910 гг. и дягилевская труппа «Русский балет» послужили началом

своеобразной русской экспансии в балете западных стран 1910—1930 гг. В 1911 г.

возникла «Труппа Иды Рубинштейн» в Париже, возобновленная в 1928—1935 гг.;

в 1912 г. основала собственную труппу переселившаяся в Англию Анна Павлова.

После прекращения «Русского балета» Дягилева были основаны «Русский балет

Монте-Карло» (1932) и «Русский балет де Базиля» (псевдоним В. Г. Воскресен

ского, 1936). Немалую роль сыграли частные школы-студии, принадлежавшие рус

ским танцовщикам: Л. II. Егоровой (1923), Н. Г. Легату (1929), О. И. Преображен

ской, М. Ф. Кшесинской (1929), А. Е. Волпнину и др. На протяжении десятилетий

на Западе работали (в разных антрепризах) и талантливые русские балетмейсте

ры, так или иначе прошедшие выучку в труппе Дягилева. Это были М. М. Фокин

и В. Ф. Ыижинский, Б. Ф. Нижинская и Л. Ф. Мясин, С. М. Лифарь и Дж. Баланчин,

переносившие традиции русского балета не только во Францию, но и в другие стра

ны. Так, Дж. Баланчин с 1934 г. и затем на протяжении многих лет был цент

ральной фигурой балетного театра в США.

4*...первоклассного машиниста московской оперы — К. Ф. Вальца...—Вальц К. Ф.*

(1846—1929) прославился как виртуоз сцепической машинерии в постановках мос

ковского Большого театра. Плодом его безграничной

фантазии были наводнения

и пожары, волшебные появления и исчезновения, полеты и провалы. «Вальц ши

роко применял люки, тележки, подвесные люльки, подвижные рейки, обыгрывал

возможности тюля и света»,— пишет В. М. Красовская (Русский балетный театр

второй половины XIX века. Л.— М., 1963, с. 13), именно эти возможности Вальца

были использованы при переоборудовании сцены Шатлс при постановке «Пави

льона Армиды».

8 ...*секретарь Дягилева А. М.*...— Имеется в виду А. Маврин. , * ...о *Павловой (портрет которой был расклеен по всему городу).*— Плакат, нарисованный В. А. Серовым для сезона 1909 г. Оригинал плаката — рисунок углем и мелом на синем фоне — в *ГРМ.*

7 ...*когда овладевшее им безумие прервало его карьеру...*— Начавшаяся душевная болезнь заставила В. Ф. Нижинского в 1917 г. навсегда оставить сцену.

...«Призраке розы»* («Spectre de la Rose») —балет, поставленный М. М. Фокиным

на музыку «Приглашения к танцу» К. М. Вебера, в декорациях Л. С. Бакста,

Премьера состоялась 19 апреля 1911 года в Монте-Карло.

•*Однако... вместо живого творчества получалась жалкая гримаса...*— Имеются в

виду постановки В. Ф. Нижинским «Послеполуденного отдыха фавна» К. Дебюс

си и «Весны священной» И. Ф. Стравинского. Мнение Бенуа об этих постановках

разделялось одними и не разделялось другими современниками. Колебались оцен

ки даже одних и тех же свидетелей, а то и участников постановок. Например, сам

И. Стравинский заявил перед премьерой «Весны священной» 1913 г., что в лице

Нижинского ои нашел «идеального пластического сотрудника» (Музыка, 1913,

№ 141, с. 491) и подтвердил это в письме к М. О. Штейпбергу от 20 июля 1913 г.,

свидетельствуя, что «хореография Нижинского бесподобна. За исключением очень

немногих мест, все так, как я этого хотел» (Цит. по кн.: *Красовская В.* Русский

балетный театр начала XX века. 1. Хореографы. Л., 1971, с. 446). Позднее Стравин

ский отрицательно оценивал эту же постановку (см. его «Хронику моей жизни».

Л., 1963, с. 92), однако в конце своего пути опять пришел к заключению, что из

многочисленных виденных им интерпретаций «Весны» наиболее близка его за

мыслу все та же постановка 1913 г. *(Красовская,* В. Нижинский. Л., 1974, с. 156).

Воспоминания о балете

«Критика хореографии Нижинского всегда была несправедливой»,— записал И. Ф. Стравинский незадолго до смерти (Stravinsky in pictures and documents by Vera Stravinsky and Robert Graft. N. Y., 1978, p. 511).

10*Лучшие сборы делала «Клеопатра»...*— Балет был поставлен М. М. Фокиным на

сцене Мариинского театра 8 марта 1908 г, под названием «Египетские ночи». Ос

новой либретто была новелла Т. Готье «Ночь Клеопатры». Для постановки в Пари

же С. П. Дягилев модернизировал балет, видоизменив сюжет и прослоив недоста

точно выразительную музыку А. С. Аренского отрывками из произведений

М. И. Глинки, А. К. Глазунова, М. П. Мусоргского, С. И. Танеева, Н, А. Римского-

Корсакова. Так, для сцены появления Клеопатры было использовано «Видение

Клеопатры» из оперы Римского-Корсакова «Млада», для «Вакханалии» — вставно

го танца «греческих танцовщиц» — отрывок «Осень. Вакханалия» из балета Гла

зунова «Времена года».

11...*образ, созданный Павловой... нельзя было не назвать еще Карсавиной и Нижин*

ского...— Павлова танцевала невесту Амуна Таор, Карсавина и Нижинский — лю

бимых рабов Клеопатры.

1г *«Academie de Danse».*— Этим названием А. Н. Бенуа обобщенно именует всю французскую балетную школу или даже шире — академическую балетную традицию.

13 ...*Нурок-Силэн играл очень значительную роль...*— Силэн — литературный псевдоним А. П. Нурока.

** ...*услыхав его «Scherzo» и «Фейерверк»...*— «Фантастическое скерцо» и «Фейерверк» — пьесы 1908 г. для симфонического оркестра. Обе были исполнены в сезон того же года в одном из «Концертов Зилоти».

18 *Увы, ныне Стравинский и самую важность вдохновения для художника отрицает...*— А. Н. Бенуа не совсем точен в формулировке позиции И. Ф, Стравинского в те годы. «Профан воображает, что для творчества надо ждать вдохновения,— писал

И. Ф. Стравинский в «Хронике моей жизни», которую, по-видимому, и читал А. Н. Бенуа (она была впервые опубликована в Париже в 1935 г.).— Это глубокое заблуждение. Я далек от того, чтобы совсем отрицать вдохновение. Напротив, вдохновение— движущая сила, которая присутствует в любой человеческой деятельности... Но эта сила может развиваться только тогда, когда она приводится в действие усилием, а усилие — это и есть труд» *(Стравинский И.* Хроника моей жизни, с. 247). Композитор не изменил своих взглядов и в 1939 г., когда писались «Воспоминания о балете», целиком подтвердив их в лекциях о «музыкальной поэтике», прочитанных в Гарвардском университете: «Я не собираюсь отрицать роль вдохновения в генезисе творчества: я утверждаю только, что оно ни в какой мере не является первоначальным условием творческого акта, а только лишь вторичным зв^ттом во временной цепи» *(Стравинский И. Ф.* Статьи и материалы. М., 1973, с. 34).

16 *Еще два года до того, в «Диалоге о балете...»* — «Беседа о балете», в сб.: «Театр. Книга о новом театре» (СПб., «Шиповник», 1908).

|Т *...из которых первая... была исполнена... в сезоне 1909—1910 гг.*— Симфоническая картина «Зачарованное царство».

|в *...костюмы Головина к «Жар-птице».*— Костюмы Жар-птицы и Царевны-Ненагляд-ной Красы были выполнены Л. С. Бакстом.

*• *Головин повторил ошибку, в которую он уже впал в постановке акта Черномора в Руслане.*— А. Я. Головин и К. А. Коровин оформили постановку «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки на сцене Маршшского театра в 1904 г. Головинский эскиз декорации первой картины четвертого акта «Сады Черномора» находится теперь в Краснодарском художественном музее им. А. В. Луначарского.

20 *Карсавина* Тамара Платоновна (1885—1978) —русская балерина. В 1902—1918 гг.— танцовщица Мариинского театра, с 1909 по 1921 г.— в-одушая солистка труппы С. П. Дягилева. С 1930 по 1955 г.— вице-президент английской Королевской академии танца, автор книги «Театральная улица» (Лондон, 1929).

li ...Одним из неоспоримых наших шедевров.— Споры, возникшие вокруг «Шехера-зады», касались главным образом права постановщиков вносить изменения в музыку Н. А. Римского-Корсакова. Против самоуправства Дягилева выступила в га-

зете «Речь» вдова композитора Н. Н. Римская-Корсакова,

«Партитура оказалась варварски перекроена»,— поддержала ее «Русская музыкальная газета» (22-—29 августа 1910 г.). Однако среди людей, имевших возможность видеть спектакль, преобладало восхищенное одобрение. «Так много вложено в эти танцы истинной красоты,— писал присутствовавший па представлениях В. А. Серов,— красоты одеяний, фона, красоты самих существ, движимых пленительной музыкой Римского-Корсакова, что... видишь и ощущаешь близость востока и признаешь сказку из тысячи и одной ночи» («Письмо в редакцию». — Речь, 1910, 22 сентября).

82 *Это «тем более мое произведение»...*— И здесь, и в дальнейших эпизодах рассказа, касающихся споров об авторстве «Шехеразады» или «Петрушки», А. Н. Бенуа не упоминает о роли М. М. Фокина-хореографа — еще одного и едва ли пе главного автора балетов. Объясняется это до некоторой стенени тем, что участие Фокина в спектаклях неизменно отмечалось в афишах словами «хореография М. Фокина» и тем самым стояло вне конкуренции с усилиями либреттистов или художников. В своих позднейших воспоминаниях («Против течения. Воспоминания балетмейстера, статьи, письма», Л.—М., 1962) М. М. Фокин не менее ревниво, чем А. Н. Бенуа, отстаивал свои заслуги в создании «русских балетов», однако характерно, что он оспаривал их прежде всего у С. П. Дягилева, неоднократно называвшегося в западной печати единоличным создателем балетов, и только затем у Бепуа ила Бакста.

гз *...в одном из своих фельетонов в «Речи»...*— «Русские спектакли в Париже («ГЛе-хераза да»)».— Речь, 1910, 12 июля.

24 *«Древний ужас»* — картина, написанная Л. Бакстом по следам его поездки в Грецию, представляла гибель в морских волнах легендарной страны Атлантиды (темпера, 1908, *ГРМ).* «Историко-символический» горный пейзаж с зигзагом молнии на небе и древней статуей на первом плане был написан рассудочно и вяло. Восторженно принятая поэтами-символистами, картина не имела успеха у художников, и это заставило Бакста в дальнейшем отойти от станковой живописи и сосредоточить свои усилия в сфере театральной декорации.

«ПЕТРУШКА»

1.*„балаганы уже с десяток лет как были упразднены,*— См. I, с. 289—298.

2*Увидав «духовными очами» такую «пьесу»...*— Иначе рисует возникновение либ

ретто «Петрушки» II. Ф. Стравинский. По его словам, основные идеи сюжета были

согласованы им с С. П. Дягилевым еще до приглашения А. Н. Бенуа. «Мы [с Дяги

левым] условились относительно места действия — ярмарка с ее толпой, ее бала

ганами и традиционным театриком; персонажей — фокусник, развлекающий эту

толпу, ярмарочные куклы, которые оживают: Петрушка, его соперник и балерина,.

и сюжета — любовная драма, которая заканчивается смертью Петрушки» *(Стра*

винский И. Хроника моей жизни, с. 73).

3...*я как-то косвенно оскорбил при этом милого Серова.*— Этот инцидент с В. А. Се

ровым подробно охарактеризован в кн.: «Валентин Серов в воспоминаниях, днев

никах и переписке современников» (Л., 1971, I, с. 434, 457—458). Воспоминание об

этой размолвке было очень тягостным для А. Н. Бенуа и в дальнейшем им не раз

мучительно переживалось, «...стоит меня навести па эту злополучную тему, как

я становлюсь словоохотливым. Меня нудит «объясниться». Заноза в сердце напо

минает о себе и хочется ее вытащить»,— признавался он в письме к И. С. Зильбер-

штейну 28 апреля — 5 мая 1959 г. (с. 458).

ь ...*вот почему я в постановке «Петрушки» на других сценах...* — А. Н. Бенуа неоднократно возвращался к работе над «Петрушкой» на протяжении всей своей жизни. В 1916 г. «Петрушка» был поставлен в его декорациях в Мадриде, в 1920 г. — в Москве и Петрограде, в 1929 г.—в Милане, в 1930 г.—в Париже и Коненгагепе, в 1936 г.— в Монте-Карло. Все новые постановки предпринимались и после выхода в свет «Воспоминаний о балете»: в Милане (1947, 1953), Париже (1949), Вене; (1956), Лондоне (1957), Копенгагене (1957).

s *Все же, пожалг/й, удачнее других была первая версия...*— Один из эскизов костюма Арапа, отвечающий «первой версии», находится в *ГРМ.* местонахождение другого, еще более выразительного по краскам, в настоящее время неизвестно (воспроизведен в кн.: *Светлов В.* Современный балет. СПб., 1911, с. 130).

в *Превосходный наш Орлов...*— Орлов Александр Александрович (1889—1974) — русский танцор. С 1908 г. танцевал характерные роли в Мариииском театре, в 1jX)9— 1911 гг.—участник «Русских сезонов», исполнитель ролей Шута в «Павильоне Лрмиды», Панталоне в «Карнавале», Арапа в «Петрушке».

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН ДО ВОЙНЫ

**Литвин* Фелия Васильевна (псевдоним Франсуазы Жанны Шютц, по мужу Лит

виновой, 1861—1936)—русская певица, драматическое сопрано, прославившаяся

как одна из лучших исполнительниц главных партий в операх Вагнера — Эльзы

в «Лоэнгрине», Брунгильды в «Валькирии», «Зигфриде» и «Гибели богов», Кундри

в «Парсифале» и др.

1 Но как раз тогда я переживал увлечение искусством Н. С. Гончаровой...— А. Н. Бе-нуа восторженно отозвался о персональной выставке Н. С. Гончаровой, состоявшейся осенью 1913 г. В статье, опубликованной в газете «Речь» (1913, 21 октября), он назвал ее «огромным талантом и настоящим художником». Говоря далее об опытах «ультра-модернистского характера», А. П. Бенуа, очевидно, имеет в виду «футуристические» или «лучистые» картины II. С. Гончаровой 1912—1913 гг., однако он допускает ошибку, считая, что они предшествовали ее обращению к народным лубкам и древней иконописи, тогда как на самом деле Гончарова обратилась к искусству «примитивов» (иконам, лубкам) уже в конце 1900-х годов.

**С моим планом постановки Фокин... согласился.*— В своих позднейших воспоминаниях М. М. Фокин приписывает этот план себе, оставляя за А. Н. Бенуа лишь идею не прятать певцов в

оркестровую яму, а сохранить их на сцене *(Фокин М.* Против течения. Воспоминания балетмейстера, статьи, письма. Л.— М., 1962, с. 315—316).

**„.опера «Соловей» была затеяна Стравинским... еще в 1910 г....*— В списке произве

дений И. Ф. Стравинского сочинение первого акта оперы (либретто С. С. Митусова

по одноименной сказке Г. Х. Андерсена) относится к 1908—1909 гг. *(Стравин*

ский Игорь. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. Л., 1971, с. 379).

9 *...в разгаре репетиции «Легенды Иосифа»,—Так* первоначально назвали балет его авторы — либреттисты Гуго фон Гофмансталь (1874—1929) и Гарри Кесслер (1868— 1937) и композитор Рихард Штраус (1864—1949). Позднее балет пазывался «Легенда об Иосифе».

ь *...она вызвала меньше споров и толков, нежели можно было ожидать.*— После постановки оперно-балетной версии «Золотого петушка» в петербургском журнале «Аполлон» была опубликована статья сына композитора А. Н. Римского-Корсако-ва, содержавшая протест против превращения оперного действия в танцевальное («Аполлон», 1914, № 6—7, с, 46—54).

7...*Бони де Кастеллан...*— Бонифаций (Бонн) Кастеллан (1867—1932) — француз

ский политический деятель и журналист. Говоря о Бонн Кастеллане как о супер

арбитре elegantiarum, А. Н. Бенуа намекает на прозвище arbiter elegantiarum,

данное Тацитом римскому писателю Петронию (автору «Сатирикона»), бывшему

в свое время законодателем в сфере художественных вкусов.

8.*„«веронезовская» декорация Серта..,, «веронезовские» костюмы Бакста...*— Спек

такль был задуман в «веронезовском» стиле самими его авторами — либреттиста

ми и композитором. Художники Х. М. Серт (1876—1945) и Л. Бакст были лишь

исполнителями их замысла. «Декорации напоминают «Брак в Кане галилейской»

[картина П. Веронезе],— записывал в своем дневнике присутствовавший на спек

такле Ромен Роллан.— Костюмы под Веронезе или Карпаччо, прошедшие через

воображение московских артпетов, наполовину восточные,

утрируются до огнен

ного сверкания» («Из архива Ромена Роллана. Рихард Штраус и Ромен Роллап.

Переписка, выдержки из дневника». М., I960, кн. 3, с* 155—156).

Воспоминания о балете

m

9...*когда-то вообще не допускавшийся в Париже к исполнению Вагнер...*— А. Н. Бе-

нуа вспоминает о временах провала вагнеровского «Тангейзера» в парижской

«Operas в 1861 г. В позднейшие годы оперы Вагнера исполнялись в Париже неод

нократно.

10...*не позволили этой затее осуществиться/* —■ В чем было существо «затеи» — ндея

а план спектакля,— остается неизвестным,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 *Теперь же он имеет тенденцию совершенно эмансипироваться даже от музыки...*— Намек на позицию балетмейстера С. М. Лифаря (1905), высказанную в книге «Танец» («La Danse», 1938). Лпфарь выступал там против подчинения танца музыке, доказывая самостоятельность танца и ссылаясь на постановку одного из своих балетов («Икар»), идущего в сопровождении ударных инструментов. Это направление, однако, не возобладало в западноевропейском и американском классическом балете.

**„.идеи Gesammtkunstwerk'a* — См. 11, 66U.

З*два таких превосходных художника, какими были Иогансон и Петипа.-~ Иоган*

сон К. Ü. (1817—1903) —танцовщик, а затем ведущий педагог петербургского ба

летного училища, знаток классического танца, сыгравший такую же роль в каче

стве преподавателя, какая досталась Петипа как постановщику. Танцовщик и ба

летмейстер Н. Г. Легат — ученик Петипа и Иогапсона — писал позднее, что эта

мастера «поделили между собой руководство русском балетом в течение всей вто

рой половины девятнадцатого века и сформировали ту

русскую школу, которую

мы знали вплоть до мировой войны. Один был богом танцевального класса, вто

рой — сцены, и их слово в каждой из этих областей было непререкаемым» *(Бе-*

gat Nicolas. The story of the Russian School. London, 1932, p. 33).

4*...триумф Маскарилей и Жооле...*— Имеются в виду персонажи «Смехотворных же

манниц» Мольера, лакеи, переодетые знатными господами и разыгрывающие роли

«модных острословов».

8 *...Ложь, о падении которой еще не так давно печалился Оскар Уайльд...*— Намек на одну из парадоксальных статей Уайльда «Упадок лжи» (1889).

Жан Кокто (1889—1963) —французский поэт, художник и драматург, создал для дягилевской труппы либретто балетов «Синий бог», «Парад», «Голубой экспресс»; *Нохно Борис* (1904) — французский (русского происхождения) литератор и театральный деятель, составил либретто «Блудного сына» (на музыку С. С. Прокофьева (1929), впоследствии автор книги «Балет во Франции с XV века до наших дней» (Париж, 1954). *Ларионов* Михаил Федорович (1881—1964) — русский художник, оформивший для дягилевской антрепризы балеты «Ночное солнце» (1915) на музыку Н. А. Римского-Корсакова, «Русские сказки» (1916—1917) на музыку А. Лядова, «Шут» (1921) на музыку С. С, Прокофьева, «Байка про лису...» (1922) на музыку И. Ф. Стравинского (в постановке «Шута» Ларионов участвовал и как хореограф). Отрицательная оценка этих художников вытекала у А. II. Бенуа из его общего неприятия исканий современного ему «левого» искусства. Справедливо отвергая многие наносные явления в западноевропейском искусстве, А. Н. Бенуа — художник предшествующего исторического этапа — так и не смог до конца понять и многие подлинные устремления мастеров XX столетия.

Сережа поручил мне постановки опер Гуно,..— Декорации для опер «Лекарь поневоле» и «Филемон и Бавкида» были выполнены А. Н. Бенуа для «Театра Монте-Карло» в 1924 г.

8 *З/ия связать культ музыки Перголези с каким-то издевателъа вам над нею же...*— А. Н. Бенуа был не одинок в обвинениях Стравинского в кощупстве по отношению к музыке Перголези. Отвечая на подобные упреки, композитор счел необходимым объяснить свое понимание интерпретации старинной музыки в новейших произведениях: «Я убежден, что не допустил никакого кощунства, и совесть мои чиста. Напротив, я считаю, что мое отношение к Перголези — единственно

возможное

отношение к музыке прошлого, если мы хотим, чтобы работа над ней была плодотворной» («Хроника моей жизни». Л., 1963, с. 134).

9 *...«нелепо придуманная и кое-как намазанная» декорация Пикассо...*— Иначе оценивал работу Пикассо один из создателей балета И. Ф. Стравинский: «Что же касается Пикассо, то он сотворил настоящее чудо, и я затрудняюсь сказать, что меня восхитило больше — краски, пластика или удивительное сценическое чутье этого замечательного человека» («Хроника моей жизни». Л., 1963, с. 138).

•° *«Жизнерадостные женщины»* — Имеется в виду балет на сюжет пьесы К. Гольдо-ни «Проказницы», поставленный в 1917 г. Л. Ф. Мясиным на музыку Д. Скарлат-ти с декорациями Л. С. Бакста.

11...*Лопуховым в Петербурге...*— В СССР балет «Пульчинелла» был поставлен 16 мая

1926 г. на сцене ленинградского Гос. академического театра оперы и балета (ба

летмейстер Ф. В. Лопухов, художник В. В. Дмитриев).

12...*хореография в них была создана художницей...*— Имеется в виду *Нижинская Б. Ф.*

(1891—1972), поставившая в 1921—1926 гг. несколько балетов для дягилевской ант

репризы. Среди них были упоминаемые далее «Biches» (1924) с декорациями

М. Лорансен, «Fâcheux» (1924), оформленные Ж. Браком, и «La tentation de la

Bergère» в декорациях Х. Гри.

18 *«Лисичка»* [«Le Renard»] — «Байка про лису, петуха, кота да барана». Композитор и либреттист И. Ф. Стравинский, балетмейстер Б. Ф. Нижинская, художник М. Ф. Ларионов.

14...*в драме Мережковского «Царевич Алексей»...*— Трагедия Д, С. Мережковского

«Царевич Алексей» была поставлена в 1920 г. А. Лаврентьевым и А. Бенуа на сцене

Большого драматического театра (Петроград).

15...*дробясь между диадохами.*— Так называли полководцев Александра Македон

ского, разделивших после его смерти его монархию. В данном случае имеются в

виду наследники С. П. Дягилева в деле русского балета на

Западе,

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ * Том I

Александр Бенуа в своем рабочем кабинете в Петербурге. Фот. 1900-х годов.

ЛГАКФФД **

Набережная Невы и Эрмитажный театр. Акварель А. Н. Бенуа, 1935 г,

Арка Главного штаба. Акварель А. Н. Бенуа. 1941 г.

Литовский замок и Новая Голландия. Акварель А. Н. Бенуа. 1922 г.

Большой театр в Петербурге в 1885 году. Акварель А. Н. Бенуа. 1939 г.

Вид из окна дома Бепуа на Никольской улице. Акварель А. Н. Бенуа

Петергофский дворец и церковь. Акварель А. Н. Бенуа. 1901 г.

Беседка в Павловске. Акварель А. Н. Бенуа. 1902 г. *Частная келлекция, Москва.*

Публикуется впервые

Петергоф. Большой каскад. Акварель А. Н. Бенуа, 1901 г. *ГРМ*

Ораниенбаум. Акварель А. Н. Бенуа. 1901 г. *ГТГ*

Екатерина Гроппе (бабушка А. Н. Бенуа). Миниатюра 90-х годов XVIII в. Публикуется впервые

Луи Жюль Бенуа (дед А. Н. Бенуа) е женой и детьми. Портрет работы Оливье. Масло. 1817 г. *ГРМ*

Луи Жюль Бенуа (дед А. Н. Бенуа). Миниатюра 90-х годов XVIII в. Публикуется впервые

Групповой портрет братьев Бенуа работы М. И. Скотти. Масло. 1847 г. *ГРМ*

Н. Л. Бенуа и И. С. Китнер на заседании в Академии художеств. Рисунок И. Е. Репина. 1891 г. *Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

Камилла Альбертовна Кавос (Бенуа). Портрет работы Я. Ф. Капкова, Масло. Начало 50-х годов XIX в.

Николай Леонтьевич и Камилла Альбертовна Бенуа с детьми. Фот. 1867 г. *Из*

семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж. Публикуется впервые

Николай Леонтьевич Бенуа. Фот. 1886 г. *Из семейного архива И. Н. Бенуа, Ленинград.* Публикуется впервые

Юлий Бенуа 13 лет. Фот. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Медальоны с портретами Николая Леонтьевича и Камиллы Альбертовны Бенуа. Бронза работы А. Л. Обера. 1892 г. *Собрание Т. Б. Серебряковой. Москва,* Публикуется впервые

Константин Альбертович Кавос. Фот. 80-х годов. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Елизавета Ильинична Раевская. Фот. 1889 г. *Из семейного архива Т. Б. Серебряковой. Москва.* Публикуется впервые

Камилла Альбертовна Бенуа со своей старшей дочерью Камиллой. Фот. 1875 г, *Из семейного архива А. А. Черкесо вой-Бену а. Париж.* Публикуется впервые

Евгений Александрович Лансере. Фот. 70-х годов. *Из семейного архива Т. Б.Серебряковой. Москва*

Екатерина Николаевна Бенуа (Лансере). Фот. 1870 г. *Из семейного архива А. А. Черкесо вой-Бену а. Париж*

Леонтий Николаевич Бенуа. Фот. 1895 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой»*

Бенуа. Париж

* Иллюстрации подобраны Н. И. Александровой.

** *ЛГАКФФД* — Ленинградский государственный архив кино-фоно-фото-документов

ГТГ — Государственная Третьяковская галерея

ГРМ — Государственный Русский музей

Список иллюстраций '709

Михаил Николаевич Бенуа. Фот. 1883 г. *Иг семейного архива А.* Л. *Черкесовой-Бенуа. Париж.* Публикуется впервые

Шура Бенуа. Фот. 1875 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Шура Бенуа. Фот. 1883 г. *Из семейного* ***архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж***

Дом Бенуа на Никольской (теперь ул. Глинки, 15). Фот. 1979 г.

Маски на доме Бенуа. Фот. 1978 г.

Никольский собор в Петербурге. **Фот.** ***Научно-исследовательский музей*** *Академии художеств СССР. Ленинград*

Кабинет Николая Леонтьевича Бенуа в доме на Никольской улице. Фот. конца XIX в. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* **Публикуется впервые**

Гостиная в доме Бенуа на Никольской улице. Фот. конца XIX в. *Из семейного архива И. II. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые

Николай Леонтьевич Бенуа в Риме. Акварель В. И. Штернберга. 1840 г. *Из семейного архива И.М^Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые

Триумфальная арка в Римпни. Акварель II. Л. Бенуа. 1842 г. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые.

Большой фонтан в Тосканелле. Акварель Н. Л. Бенуа. 1843 г. *Из семейного архива И. Н. Бенуа. Ленинград.* Публикуется впервые.

. Дача в Кушелевке. Акварель А. Н. Бенуа. 1951 г.

Александр Николаевич Бенуа. Фот. 1887 г. *Из семейного архива А, А. Черкесовой-Бенуа, Париж*

Анна Карловна Кинд (Бенуа). Фот. 1887 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Дом в Петербурге (Васильевский остров, 10 линия, 13), в котором в 1856— 1910 гг. помещалась гимназия Мая. Фот. 1979 г.

Сергей Павлович Дягилев, Дмитрий Владимирович Философов, Вальтер Федорович Нувель, Александр Николаевич Бенуа. Фот. 80-х годов. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Портрет Дмитрия Владимировича Философова. Литография В. А. Серова. 1899 г.

Собрание И. С. Зильберштейна. Москва

Портрет Альфреда Павловича Нурока. Литография В. А. Серова. 1899 г. *Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

Набережная Мойки. Фот. начала 1900-х годов. *ЛГАКФФД*

Мариинский театр в Петербурге. Фот. начала 1900-х годов. *ЛГАКФФД*

Невский проспект и церковь св. Екатерины. Фот. 1902 г. *ЛГАКФФД*

Гостиный двор и Городская дума в Петербурге. Фот. конца XIX в. *Собрание Н. Тагрина. Ленинград*

Лев Самойлович Бакст. Рисунок карандашом А. П. Бенуа. 1908 г. *ГРМ*

Александр Бенуа. Автопортрет. Рисунок карандашом. 1893 г. *ГТГ*

«Атя читает «Жерминаль»». Рисунок карандашом А. Н. Бенуа. 1893 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Вальтер Федорович Нувель. Портрет работы Л. С. Бакста. Акварель, пастель.

1895 г. *ГРМ*

Сергей Павлович Дягилев с няней. Портрет работы Л. С. Бакста. Масло. 1906 г. *ГРМ*

Мария Карловна Бенуа. Портрет работы И. Е. Репина. Масло. 1884 г. *Музей-квартира И. И. Бродского*

На суперобложке использован силуэт Бенуа работы Г. И. Нарбута

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ Том II

Александр Николаевич Бенуа. Фот. 40-х годов

Александр Николаевич Беиуа. Портрет работы Л. С. Бакста. Пастель, акварель.

1898 г. *ГРМ*

Анна Карловна Бенуа. Портрет работы К. А. Сомова. Масло.

1896 г. *ГРМ*

«Замок». Картина А. Н. Бенуа. Акварель, гуашь, настель. 1895 г. *ГТГ*

Артемий Лаврентьевич Обер с женой и маленькая Атя в Мартышкине. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1896 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Женя Лансере. Рисунок А. Н. Бенуа, Карандаш. 1893 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Константин Андреевич Сомов. Автопортрет. Акварель, гуашь. 1903 г. *ГТГ*

Девочка Оля. Рисунок К. А. Сомова. Карандаш. 1896 г. *ГТГ*

Мстислав Валериаиович Добужинский. Портрет работы К. А. Сомова. Сангина, карандаш. 1910 г. *ГТГ*

Валентин Александрович Серов. Автопортрет. Карандаш. 1885 г. *ГТГ*

Бретань. Плугану. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш, тушь. 1897 г. *ГРМ,* Публикуется впервые

«Вид на Трегастель со скалы около нашего огорода». Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1897 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Нормандия. Ивето. Рисунок А. Н. Бенуа. 1898 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

«Король прогуливается в любую погоду». Картина А. Н. Бенуа. Пастель, акварель, гуашь. 1898 г. *Собрание И. С. Зильберштейна.* Москва

«Версаль под дождем». Акварель А. Н. Бенуа. 1897—1906 гг. *Днепропетровский*

государственный художественный музей

«Служба у канеллы св. Варвары». Картина А. Н. Бенуа. Акварель, гуашь.

1905 г. *Псковский историко-хубожественный и архитектурный музей-заповедник*

Здание Русского музея в Петербурге. Фот. 90-х годов. *Музей Ленинграда*

Парадная лестница в день открытия Русского музея в Петербурге. Фот. 1898 г. *ГРМ*

Мария Клавдиевна Тенишева. Фот. 90-х годов. *ГРМ*

Павел Яковлевич Дашков. Гравюра И. П. Пожалостина. *ГМИИ*

«Парад при Павле I». Рисунок А. Н. Бенуа. Тушь. 1907 г. *ГРМ*

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Рисунок А. Н. Беиуа.

Тушь, акварель. 1903 г. *Собрание И. С. Зильберштейна, Москва*

Иллюстрация к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник». Рисунок А. Н. Бенуа.

Тушь, акварель. 1903 г. *Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

Александр Николаевич Бенуа с семьей на даче в Павловске летом 1902 г. Фот. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Александр Николаевич Бенуа и Игорь Федорович Стравипский в Тиволи. Фот. 1911 г. *Из семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа. Париж*

Александр Николаевич Бенуа у себя в кабинете в Петербурге. Фот. 10-х годов. *ЛГАКФФД*

Александр Николаевич Бенуа за работой. Фот. 10-х годов. *ЛГАКФФД*

Кока и Леля Бенуа. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1905 г. *ГРМ.* Публикуется

впервые

Примель. Берег. Рисунок А. Н. Бенуа. Итальянский карандаш, мел. 1905 г. *ГРМ*

Лугано. Дорога к часовне Жилярди. Акварель А. Н. Бенуа. 1908 г. *ГРМ.* Публикуется впервые

Игорь Эммануилович Грабарь. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1907 г. *ГРМ*

Николай Николаевич Врангель. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1908 г. *ГРМ*

712*Список иллюстраций*

Владимир Николаевич Аргутинский. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1909 г,

ГРМ

Сергей Павлович Дягилев. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1911 г.

«Бальмонт в Примеле». Рисунок А. £1. Бенуа. Карандаш, 1906 г, *ГРМ.* Пубян-куется впервые

Степан Петрович Яремич. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. ■ 1904 г. *ГРМ,* Публикуется впервые

Айседора Дункан. Рисунок Л- С Бакста. Итальянский карандаш. 1908 г. *Собрание И.* С. *Зильберштейна, Москва*

Николай Николаевич Черепнин. Рисунок А. Н. Бенуа. Карандаш. 1907 г. *ГРМ.*

Виктор Петрович Протейкинский. Портрет работы Л. С Бакста. Литография. 1899 г. *ГРМ*

Михаил Михайлович Фокин. Портрет работы В. А. Серова 1910 г. Карандаш, сангина

Эскиз запавеса для балета «Петрушка». Рисунок А. Н. Бенуа. Тушь. 1910. *Собрание И. С, Зильберштейна. Москва*

Эскиз костюма Красного мага для балета «Павильон Армиды». Акварель А. Н. Бенуа. 1907 г. *Собрание И. С. Зильберштейна. Москва*

Эскиз костюма Ряженого для балета «Петрушка». Акварель А. Н. Бенуа. 1911г.

Собрание И. С. Зильберштейна. Москва

Леонардо да Винчи. Мадонна с цветком (Мадонна Бенуа). Масло. *Государственный Эрмитаж*

Александр Николаевич Бенуа. Фот. конца 50-х годов. *И$ семейного архива А. А. Черкесовой-Бенуа.* Париж

В I томе ((Моих воспоминаний» Л. Е. Бенуа помещены цветные вклейки (работы А. Н. Бенуа)

Версаль. У Курциуса. Акварель, пастель. 1897 г. *ГРМ*

Прогулка короля. Гуашь, акварель, бронза, серебро. 1906 г. *ГТГ*

Парад при Павле I. Гуашь. 1907 г. *ГРМ*

-Заставка к книге Н. И. Кутепова «Царская и императорская охота на Руси», Акварель. 1902 г. *Собрание П. Д. Добычина. Ленинград*

Передняя Большого дворца в Павловске. Пастель, гуашь. 1902 г. *ГТГ* Иллюстрация к повести А. С. Пушкина «Пиковая дама». Акварель, гуашь, пастель. 1910 г. *Всесоюзный музей А. С. Пушкина*

Купальня маркизы. Гуашь. 1906 г. *ГРМ*

Во II томе «Моих воспоминаний» А, Н. Бенуа помещены цветные вклейки (работы А. Н. Бенуа)

Б. М. Кустодиев. Групповой портрет художников «Мир искусства». Масло. 1910—1916 гг. *ГРМ*

Эскиз декорации к опере А. С. Танеева «Месть Амура». Акварель, уголь. 1900 г. *Собрание А. Ф. Чудновского. Ленинград*

Итальянская комедия. Любовная записка. Гуашь, акварель. 1906 г. *ГТГ*

Эскиз декорации к балету И. Ф. Стравинского и М. М. Фокина «Петрушка». Гуашь, акварель, бронза, тушь. 1911 г. *Музей ГАБТ*

Эскиз костюма Петрушки к балету И. Ф. Стравинского и М. М. Фокина «Петрушка». Гуашь. 1911 г. *Собрание Я. К. Кунина. Ленинград*

Эскиз костюма Балерины к балету И. Ф. Стравинского и М. М. Фокина «Петрушка». Акварель. 1911 г. *Музей ГАБТ*

Эскиз костюма Знаменосца к балету «Празднество* аа музыку К. Дебюсси. Акварель, гуашь, серебро, бронза. 1912 г. *ГРМ*

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

Абдинов, Мирза Казым-бек I 162, 598 Авапцо, Иван Иосифович I 694 Авелан, Федор Карлович I 623; IJ *661* Аверченко, Аркадий Тимофеевич II *70S* Апш, Александр Алексеевич I 223 Адамипи, Домеиико II 493, 494 Адамини, семья художников и архитекторов II 494 Адан, Адольф Шарль I 309, 601, II *599* Адриан V, папа I 55 Азадовский, Константин Маркович II 201,

687, 688, 699 Айвазовский, Иван Константинович I 96,
249, 687 Аксаковы I 84, 366
Аксюк, Михаил Николаевич II 359—360 Аладжалов, Мануил (Эммануэль) Христо-
форович II 88 Александр I Т 21, 25, 124, 196, 346, 376-
377, 583, 635, 659; II 82, 199, 330, 401,
416, *642, 650, 683, 689—690, 697* Александр II I *6,* 20, 41, 52, 76, 101, 118,
151, 278-279, 378-380, 384, 588, 591, 696;
И 8, 244, *633, 638-639, 646, 649, 665* Александр III I *6,* 61, 76, 93-94, 107, 148,
386, 401, 468, 490. 563, 585, 590-592, 601,
620, 633-634, 695-698; II 29, 188, 192,
196, 201, 244, 261, 356, 395, 412, *592, 637,*
661, 679, 692 Александр Македонский II 340, *710* Александра Георгиевна, принцесса I 588,
592 Александра Федоровна, жена Николая I
II *633* Александра Федоровна, жена Николая II
II 120, 376, 410 Александрова, Вера II *657* Александрова 0м. II *671* Александровский, Степан Федорович I
607, 621; И 88 Алексеева. Александра Алексеевна (тетя
Шура) I 610, 613-615 Алексеева. Татьяна Васильевна II *654* Алексеев-Яковлев, Алексей Яковлевич II
646 Алексей Александрович, в. к. I 621—624;
II 568 Алексей Николаевич, цесаревич I 76; II
410 Алкивиад II 439
Аллегри, Орест Карлович I 557—558- II
460
Алчевский, Иван Алексеевич II 483, 491
Альфред Великий Í 234
Аман-Жан, Эдмоп II 435
Америнус, Росштй II 393
Андерсен, Ганс Христиап I 229—230, 539 504; II 513, 535. 553,708
Апдерсин, Мария Леонтьевна — см. Бе-пуа, Мария Леонтьевна
Апдерсин, Михаил I 366
Аижелико (Анджел-ико) (Фра Джованни да Фьезоле, прозванный Беато Аижелико) I 53, 427, 667; II 37-39, 136, 139, 572, *594*
Андреев, Иван Петрович II *659, 663*
Андреев, Леонид Николаевич I 692
Андреев, Павел Захарович I 658
Андреевский, Сергей Аркадьевич I 311; II 48

Андрие, Шарль Î 74, 539
Аникст, Александр Абрамович II *653*
Аиисфельд, Борис Израилевич II 520, 527
Аничков, Евгений Васильевич II *703*
Анна Бретонская II 179—180, *677*
Анна Иоапповна II 308, 403
Айна Леопольдовна II 403
Антокольский, Марк Матвеевич II 96, 445
Антонелло да Месстша II 146
Антоний, митрополит II 291—292
Антонин, архимандрит II 293—294
Апель, Пауль II *655*
Апраксин, Степан Федорович II 405
Аракчеев, Алексей Андреевич I 253, 257; II 109
Аргутинский-Долгоруков. Владимир Николаевич I 388: II 194, 327, 331, 333—337, 347, 384, 396, 416, 464, 466, 470, 473, 494—495, 513, 518, 563, *689, 712*
Ареиский, Антон Степанович I 644; II *662, 706*
Аристотель I 631: II *652*
Артемьев, Прокофий Артемьевич II *634*
Архипов, Николай Ильич II *642*
Арцыбушев, Юрий Константинович II
421, 427 Аршенсвская, Елена Романовна — см. Де-
ларова, Елена Романовна Аскиази (Аскпазий), Исаак Львович I 617

* Составлен Н. И. Александровой и А. Л. Гришушшым. Написание имен дается в современной транскрипции, в отдельных случаях приводятся варианты транскрипций имен и необходимые пояснения. Для членов семьи Бенуа и Кавос указывается степень родства с автором книги — Александром Бенуа. Курсивом выделены страницы приложений.

Атава, Сергей Николаевич — см. Терпи-
горев, Сергей Николаевич Атилла I 114
Аткинсон, Томас Вильям II 248 Ахматова, Анна Андреевна I *6*
Ашбе, Антон II 362, *695, 698*
Баженов, Василий Иванович II *647* Базилевский А. П. II 54—55, 399 Байер, Йозеф II *695*
Бакст (Розенберг), Лев Самойлович I 5, 77, 166, 181, 299, 520, 557, 575, 605, 607-628, 644—645, 647, 677, 682—683, *709;* II 7, И, 46, 49, 66, 72, 83, ˆ 104, 119, 126, 161, 163, 171, 187, 190, 202, 204, 206, 226, 247, 260-261, 263, 279-281, 285— 289, 291, 296, 301-303, 305, 344, 362, 369-372, 379-380, 382, 408, 422, 442, 452-455, 460,

467, 471, 475-476, 492, 508-511, 513, 517-520, 527-528, 535, 538, 543, 545-546, 554, 560, 565-571, 575, *595} 608, 611-612, 660—661, 667, 675, 677, 690—691, 695, 703, 705—708, 710—712* Бакст (рожд. Третьякова, в первом браке Гриценко), Любовь Павловна II 370— 371, 442. Баланчин, Джордж (Баланчивадзе, Георгий Мелитонович) II *705* Балашов, Иван Петрович II 315—318, 387 Балмашев, Степан Валерианович II *696* Балобанова, Елизавета Вячеславовна II

166, 173, 442, *677* Бальзак, Оноре де I 674; II 140, 179, 448,

674 Бальзамо, Жозеф (граф Калиостро) 1438;

II *651* Бальмонт (рожд. Андреева), Екатерина

Алексеевна II 430 Бальмонт, Константин Дмитриевич II

429-431, *712* Бальмонт (в замуж. Бруни), Нина Константиновна II 429 Бари, Адольф Эдуардович II 95—96 Бари, Александр Оттович II 264 Барик, Жюль Жан Антуан I 225 Бароцци (Бароци, Бароччи), Джузеппе

Джакино II 353, 564 Бароцци (Бароци, Бароччи), Серафино

Лодовико II 353, 564 Бартельс, Ганс фон I 422—423, 647; II 68,

112—114, 164, 399, 441, *692* Бартельс, Ванда II 112—113 Бартельс, Полли II 441 Барятинский, Владимир Владимирович

II *689* Басин, Петр Васильевич I 242 Бастьен-Лепаж, Жюль I 491; II 140, 570 Баталиоли (Батальоли), Франческо I 137 Баттенберг, Александр (принц Баттен-бергский) I 380

Баумгартен, Василий Федорович I 123 Бах, Иоганн Себастьян I 236, 550, 587; II

129, 341, 355 Бахрушин, Алексей Александрович II 328 Бахтин, Михаил Михайлович II *666* Бацевич, Евгений Феликсович II 348 Башкирцева, Мария Константиновна I

103; II *639* Беггров, Александр Карлович I 696; II 172 Безбородко, Александр Андреевич I 315—

316; II 409, *647* Бейлис, Мендель II *665* Бейтевех, Биллем I 508 Бекетов, Апдрей Николаевич II *653, 664* Бекефи, Альфред Федорович II 476, 532 Беклин, Арнольд I 166, 192, 516—518, 609, 646—647, 673—675, 701; II 12, 23, 50, 65, 97, 393, *609, 614, 664* Белинский, Виссарион Григорьевич II *604* Беллег, Камиль II 489—490 Беллини, Винчепцо I 236 Беллини, Джованни 1 180; II 31 Беллоли, Андрей Францевич I 40, 133, 142,

186, 599 Белосельский, Э. Э. I 576 Белый, Андрей (Бугаев, Борис Николаевич) II *587, 634, 662, 664, 698, 703* Беляев, Митрофан Петрович I 573; II *658* Бем, Елизавета Меркурьевна II *691* Бенар, Поль Альбер 1 491, 518; II 141, 572 Бенжамен-Констан, Жак Жозеф I 491,

683; II 140 Бенкендорф, Дмитрий Александрович (Мита) I 7,

619-624; II 451, 568-569, *638* Бенлов, Луи I 600; II 17—18 Бентковская (рожд. Бруни), Тереза Федоровна I 56, 400, 410 Бентковский, Альфред Карлович I 411 Бенуа, Августа (жопа дяди Леонтия) I

123 Бенуа (рожд. Эбергардт), Августа, жена

Саши «Конского» I 125 Бенуа, Александр Александрович (Саша «Конский»), двоюродный брат (сын дяди Александра) I 125, 236; 11 73,112,161 Бенуа, Александр Леонтьевич (дядя

Саша), брат отца I 125, 413, 422 Бенуа, Александр Михайлович, двоюродный брат (сын дяди Михаила) I 34; II *636* Бенуа (в замуж. Бранденбург), Александ-рина Леонтьевна, тетка (сестра отца) II *636* Бенуа, Альберт Альбертович (Аля), племянник (сын брата Альбера) I 460 Бенуа, Альбер (Альберт) Николаевич, брат I 43, 58, 88-99, 112, 123, 125, 130, 135, 137, 171, 177, 186-187, 192, 196, 205, 211, 215, 220, 235-236, 240, 244-245, 252, 272, 283, 302, 313, 319, 321-323, 342, 356,

714

363, 381, 391, 410, 439, 458, 460-468, 470-473, 503, 524-527, 530-532, 535,

537, 547, 554, 564-566, 570-571, 576, 579—580, 582, 592, 595—596, 600, 807— 608, 610, 615-616, 618, 667, 671, 677— 678, 694-696; II 8, 10—11, 29, 46-47, 52, 54, 62, 71-73, 77, 88, 97, 110, 112-113, 161, 171-172, 187, 199-200, 202-204, 242, 258, 260, 263-264, 311-315, 386, 441, 492, 523, 552-553, *592-593, 638, 644, 652, 677*

Бенуа (рожд. Кинд), Анна Карловна (Атя), жена I 14, 43—44, 58, 262, 270, 363, 451, 464, 473, 503, 523-541, 543-549, 551-556, 563—568, 570-575, 592, 596, 628, 638—639, 655, 667—673, 676—681, 687-688, 690-691, 693, 699—703, 705— 707, *709;* II 7-24, 31-33, 40, 44, 46, 51, 61-63, 67-71, 73-76, 80, 84-86, 92-93, 98—99, 104, 106—107, 112, 115, 117—118, 122, 128, 132, 148—149, 156, 160, 163, 165, 168—171, 180, 182—183, 186, 193, 202,

< 206—208, 210, 213—216, 218, 223, 232— 233, 241, 248, 255, 279, 280, 307, 312-314, 317, 323—325, 327, 334—335, 348, 352, 358—360, 375, 383, 388—389, 391—392, 394, 396-398, 405, 410-411, 418, 421, 427-428, 431-432, 437, 439-440, 442-443, 447, 455, 459, 480, 495-496, 498-499, 525, 551, 557, 559, 562, 571, *580, 593, 601, 650, 667, 669, 711*

Бепуа (в замуж. Черкесова), Анна Александровна (Атя маленькая), старшая дочь I *708, 709;* II 68-70, 73—74, 106— 109, 114, 116—117, 126, 128. 165, 170, 182, 207, 215, 216, 241, 312. 359—361, 383, 398, 418, 433, 447, 495-496, *628, 629, 631,685, 711—712*

Бенуа (рожд. Моранс), Анн Луиз, жена Жапа Франсуа (сына

прадеда) II *635*

Бенуа, Анн Франсуа, сын прадеда I 32; II *635*

Бенуа, Артюр I 32; II *635*

Бенуа, Дени, прапрадед II *634*

Бенуа (в замуж. Бертон), Евгения Юль-евна (Женя), двоюродная сестра (дочь дяди Юлия) I 124

Бенуа (рожд. Грогше), Екатерина Андреевна, бабушка I 33—35, 63, 78, 549, *708;* II *635—636*

Бенуа (в замуж. Лансере). Екатерина Николаевна, сестра I 55, 57—58, 79, 83, 85, 87—88, 146, 184, 191, 204, 208, 244, 247, 253, 255, 262, 366, 396, 434-435, 437, 441, 443, 457, 555, 565, 568, 660, 664, 667, 677, 691, 693, 707, *708;* II 7, 45, 58, 61, 66, 70, 77, 240, 242—243, 258, 263, 389, 391—394, 462, 562

Бенуа (в замуж. Клемап), Елена Алек-. сандровиа (Леля), младшая дочь I 530;

715

II 208-209, 223, 241, 257, 279, 312, 359, 361, 383, 397, 418, 447, 455, 495, *712*

Бенуа (в замуж. Келлер), Елена Леонтьевна, тетка (сестра отца) II *636*

Бенуа, Елена Юльевна (Эля), двоюродная сестра (дочь дяди Юлия) I 124

Бенуа (в замуж. Петерсон), Елизавета Леонтьевна, тетка (сестра отца) II *636*

Бенуа, Жан Франсуа (Кадо, Каде), сын прадеда I 32; II *635*

Бенуа (рожд. Бодар), Жанна Мелани, жена брата деда I 32

Бенуа (в замуж. Робер), Жаннет Леонтьевна (тетя Жаныет), сестра отца I 30, 125—126, 375; II *636*

Бенуа (рожд. Осипова), Ирина Николаевна, жена Михаила Константиновича (внука брата Михаила) I *70S—709;* II *631, 637, 684*

Бенуа, Камилл II 145—146

Бенуа (рожд. Кавос), Камилла Альбертовна, мать I 17, 21, 37-38, 40, 44-51, 57— 59, 61-64, 66-73, 77, 79-80, 86, 110— 111. 116-119, 124, 127, 130—131, 134, 140, 153-154, 156, 160-161, 163-165, 169, 177, 182, 186, 188-191, 193, 195, 200, 205—208, 211, 219, 229, 236, 238, 243, 249—250, 255, 262-263, 274-276, 318—321, 323-326, 328-329, 331, 338, 341— 342, 344—346, 351, 353, 355—35S, 369, 372,

374,378, 383, 392, 395, 399—400, 404, 406,
408, 412, 418, 423, 427, 429-430, 432, 435—
436, 442, 449-450, 452-453, 455, 459-
460, 467, 471, 479, 485, 508, 510, 516, 525,
547-548, 555, 557-558, 565—566, 569,

658—667, 671, 677, 703, *708;* II 80, 239—
240, 245-246, 252, 412, 552, 562

Бепуа (в замуж. Хорват), Камилла Альбертовна (Милечка), двоюродная сестра (дочь брата Альбера) I 460, 671; II 77, 263

Бенуа (в замуж. Эдварде) Камилла Николаевна, сестра I 14, 44, 57—58, 71, 78— 83, 193, 204, 207-208, 233, 312-313, 321, 346-350, 431, 433, 691, 702, 707, *708;* II 10, 209, 491, *638*

Бенуа, Карл II *652*

Бенуа, Клара Александровна, двоюродная сестра (дочь дяди Александра) I 422

Бенуа (рожд. Бремзен, в первом браке Слезкина), Константция, жена брата Николая I 111—112; II 45

Бенуа, Константин Михайлович, племянник (сын брата Михаила) I 121, 123, 597

Бенуа (в замуж. Баумгартен), Ксения Михайловна (Кика), племянница (дочь брата Михаила) I 121, 123, 597

Бепуа, Леонтий (Людовик) Леонтьевич (дядя Лулу), брат отца I 124, 126—127,
375,658, 663; II 46, *636*

Бенуа, Леонтий Леонтьевич (Люля-док-
24*
тор), двоюродный брат (сын дяди Леонтия) I 382, 659-660, 662; II 10 Бенуа, Леонтий Николаевич (Люля), брат I 77-78, 94, 98-103, 105-108, 112, 114, 116, 122-123, 130, 141, 160, 166, 171, ' 185, 200, 205, 211, 236, 244-245, 247-248, 252, 283, 356, 380—381, 383, 402, 406, 416, 470, 531, 566, 570, 597, 601, 662, 677-678, 691, *708;* II 9, 41-42, 57, 69-70, 72—73, 108, 181, 205-206, 242—243, 306, 315,441, 462, 551—552, *593, 638, 647, 661—662* Бенуа, Луи, сын брата деда I 32 Бенуа, Луи Жюль (Леонтий Николаевич), дед I 31, 33-37, 181, 183, 189, 549, *708;* II 72, 411, 562, *635, 636, 641* Бенуа, Луиза, жена дяди Юлия I 124 Бенуа, Луиза Николаевна, сестра I 48, 78,
324, 667 Бенуа (рожд. Леру), Мари, прабабка I 30;
II *634* Бенуа (рожд. Фиксен), Мари (тетя Мари),
жеиа дяди Александра I 422 Бенуа (в замуж. Махю), Мари Мадлен,
сестра деда I 31; II *635* Бенуа (рожд. Броню), Мария, прапрабабка II *634* Бенуа (рожд. Сапожникова), Мария Александровна I 100, 102—103, 105, 121, 470, 531, 570-571, 691; II 69-70, 205, 460 Бенуа (в замуж. Черепнина), Мария Альбертовна (Мася), племянница (дочь брата Альбера) I 88, 91, 460, 671; II 73, 77, 85, 258, 566 Бенуа (рожд. Кипд, во втором браке Эф-роп), Мария Карловна (жена брата Альбера) I 43, 58, 88, 90—91, 93, 97, 238, 240—242, 253, 272, 321—324, 460—465, 468, 470-473,

524-527, 529, 531-532, 535, 537, 540—542, 547, 554, 564—566, 568, 570—571, 592, 607, 613, 668—673, 676, 678, 680, *709;* II 50, 84, 245, 263, 420, 552, *644* Бенуа (в замуж. Апдерсии), Мария Леонтьевна (тетя Маша), сестра отца I 34, 125, 127, 189, 236, 240; II *636* Бенуа, Михаил Леонтьевич, дядя (брат

отца) I 34, 127, 189, 704; II *636* Бенуа, Михаил Николаевич, брат I 41, 56, 66, 112, 115—123, 155, 171, 191, 200, 206, 220, 276, 338, 342, 344-345, 372, 375, 401, 439, 449, 467, 469, 570, 597-598, 600, 659—660, 691, *709;* II 9—10, 46, 71, 77, 163, 242-243, 264, 324, 441, 462, 562, *639, 684* Бенуа (по мужу Устинова) Надежда Леонтьевна (Надя Бенуа), дочь брата Леонтия I 106 Бенуа, Никола, прадед I 30—33; II 562,

634 Бенуа, Никола Пени, прапрадед I ЗФ;

II *634* Бенуа, Никвлай Александрович (Кока),

сын I 596; II 297, 348, 359, 361, 398, 418, 421, 427, 429, 447, 456, 467, 492, 495-496, *584} 659, 712*

Бенуа, Николай Альбертович, сын брата Альбера I 460; II *652*

Бенуа, Николай Леонтьевич, отец I 16— 17, 24, 27, 30-32, 34, 36, 44—55, 57-63, 72, 76, 79, 81, 86-87, 94, 99, 102, 117-119, 123, 125-126, 130, 153-154, 174, 176, 182—185, 188-189, 191, 193, 195-196, 199, 202-203, 206, 208-209, 211, 214, 217, 226, 232, 236, 242-245, 247-249, 255-256, 259, 261, 264, 272, 274—275, 299, 312, 314, 321, 325—327, 331, 339, 344—346, 353, 376-377, 380, 382-384, 404-405, 408, 410, 412-413, 416, 418, 420-424, 429-430, 441-442, 449, 451, 455, 459, 497, 500, 508, 513, 516, 547, 553, 557, 560, 562-563, 588—590, 593, 596—597, 607, 649, *№^* 658-660, 662-665, 667, 677-678, 682, 691, 693, 700, 703, 707, *708, 709;* II 7-8, 10-12, 45-46, 56, 58, 61, 67, 70, 72, 76-

77,81, 104, 106-108, 120, 129, 159, 163,

202, 238-246, 250, 316, 322, 348, 353, 389,

405, 415, 521, 561-563, *592—594, 633,*

636—638, 642, 648, 652, 682, 684

Бенуа, Николай Михайлович, двоюродный брат (сын дяди Михаила) I 366, 372

Бенуа, Николай Николаевич, брат I 56, 66, 77, 106-112, 134, 141, 171, 200, 209, 273—274, 276, 300, 323—324, 367, 388, 415, 417, 423, 503, 569, 577; II 44-45, 243, 462, *639*

Бенуа (рожд. Кавос), Ольга Константиновна, жена брата Михаила I 41, 58, 120-122, 153—154, 157, 159-160, 162, 164, 233, 417, 449, 597-598, 600, 659-660, 691; II 77, 115, 126

Бенуа, Федор Фрапцевич, внук дяди Юлия II *631, 634, 635, 641*

Бенуа, Франсуа (Федор Леонтьевич), дядя (брат отца) II *636*

Бенуа, Фралц Юльевич, двоюродный брат (сын дяди Юлия) I

124
Бенуа, Юлий Леонтьевич (дядя Жюль), брат отца I 123—124, 127
Беиуа, Юлий Николаевич (Иша), брат I
78,112-116, 200-201, 205-208, 213, 215,
227, 244, 275, 286, 289, 293—294, 324, 334,
ê03, 664, 667, *708;* II *639, 646*
Бенуа, Юлий Юльевич (Жюль), двоюродный брат (сып дяди Юлия) I 124, 314— 315; II *652*
Бенуа (в замуж. Массе), Юлия Юльевна (Аля), двоюродная сестра (дочь дяди Юлия) I 124
Бергер, Николай Александрович II 372, 467
Бергоньоне (Амброджио да Фоссано) II 31
Бердсли (Бердслей), Обри Винсент I 685
716
Бердяев, Николай Александрович II *699*
Березовский, Антоний II *649*
Верен, Александр I 67—68, 133
Берлиоз, Гектор II 129
Берпар, Сара I 65, 74; II 127, *698*
Бершеим, Александр II *674*
Берн гейм, Гастои II *674*
Бернгейм, Жозеф II *674*
Бернгейм. Жосс II *674*
Бернгенмы, продавцы картин II 138, 154,
674 Берншш. Джовапни Лоренцо I 53; II *594* Берпштам (Берешптам), Федор Густавович I 688 Бернье, Станислав Луи II *672* Берталь (Шарль Альбер д'Арну) I 230—
231, 234, 248, 389, 427; II *643* Берхтхольд (Берхтольд), Леопольд II 355 Бершадский, Сергеи Александрович I 632 Бестужев-Рюмин, Константин Николаевич
II 8, *653. 664* Бетховен, Людвпг ван I 240, 283, 462, 472;
II 129 Бианки. Джованни I 84, 252, 369, 414,
456—457, 325 Бианки, Изидоро И 498 Бибиепа (Биббиена), Карло Галли I 192,
553; II 72, 411. *656* Визе. Жорж I 306, 540; II *643* Бикарюков, Ефим Севастьяпович I 327 Биконсфильд (Дпзраэли), Бенджамин I
366, 610; II 97, 250—251, *648* Бшшбин, Иван Яковлевич II 286, 445, 479,
485. 5Ì6, *679, 699, 703* Бильбасов, Василий Алексеевич II *640* Бирле. Шарль I 647. 681—684. 705; II 44—
45, 60, 77. 99, 133, 140, 151, *612* Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд I 151,
379, 475. 634, 6'*7:`II 97, *670* Бланш, Жак :-)миль II 171 Блисс,

Пауль II 33 Блок, Александр Александрович II 295,
616, 632, 63 4, *703* Блок (рожд. Менделеева), Любовь Дмитриевна TI *703* Бломштедт. Вайно Альфред II 188 Блудова, Антонина Дмитриевна I 587 Блумберг, преподаватель гимназии Мая I
480, 508 Блумепфельд, Феликс Михайлович II 373,
483. 486, 491. 578 Бобргшский, Алексей Александрович 118,
524. *640* Бобриискый, Алексей Григорьевич II 462 Бобров. Виктор Алексеевич I 619; II 55,
ÌB2, *661* Богаджоло (Еагаджиоло) А. I 98 Богданович, Ипполит Федорович I 227;
II *643* Бодар, Жанна — см. Бенуа, Жанна Боде, Вильгельм II 205, *681*
Бодлер, Шарль I 683; II *612* Бодузн, Пьер Антуап II 125 Божерянов, Иван Николаевич II 329 Болотов, Андрей Тимофеевич I 217; II 482, *624, 642*
Бомон, Мари Лепрепс де I 539; II *643* Бонна, Леон Жозеф Флорантен I 491, 518,
582; II 123, *672* Бониар, Пьер I 647, 683; II 152, 155, 318,
613, 674 Бонштедт, Людвиг Людвигович II 481, *656* Борнсов-Мусатов, Виктор Эльпидифоро-
вич II *675* Борисполец, Платон Тимофеевич I 242 Боровиковский, Владимир Лукич I 257,
386, 621, 644, 688; II 201, 347, 406, 454,
640, 661, 680 Бородин, Александр Порфирьевич I 7,
210. 564. 641, 649—650, 673; II 299, 341,
512, Ш, *704* Борромео, Федериго II 31 Борромини, Фраическо II 493 Босх. Иероним II 516 Боткин, Михаил Петрович II 198, 203, 319
327, 381, 386. *680, 685* Боткин, Петр Петрович II 368 Боткин, Сергей Сергеевич II 150, 193, 198,
268, 290, 327, 331-335, 337, 347, 359, 371,
382, 419. 470. 473, 535, 563, *640, 6S9* Боткин. Федор Владимирович II 172 Боткина (рожд. Третьякова). Александра
Павловна II 193, 332-334. 371 Боткина (в замуж. Хохлова), Александра
Сергеевна (Шурочка) II 268, 332 Боткина (в замуж. Потгафт), Анастасия
Сергеевна (Тася) II 332, 359 Боткина (рожд. Третьякова), Анна Павловна II *689* Боткина (рожд. Третьякова), Мария Павловна II 371. *695* Боттичелли, Сандро I 180, 247, 311; II 38—
39, 146, 341 Бочаров, Михаил Ильич I 557, 559, 604—
605; II 477, *659, 663* Враз, Иосиф (Осип) Эммануилович II 305,
554, *603. 691* Брак, Жорж II 341, 547, *710* Брандт, Иосиф I 687

Браушитейн, Иоганн Фридрих II *645* Бреваль, Люсьен (Б. А. Л. Шиллинг) II

127 Бредиус, Абрахам II 324 Брейгель, Питер I 180, 224; II 229, 516. 56Î Брейгель, Ян Старший (Бархатный) II 31,

326 Брем, Альфред Эдмунд I 539; II 96 Бреидо, Жанна I 74, 497—498, 539 Бреина, Викентий Францевич II *634* Брианца, Карлотта I 601; II 469 Бросс, Саломон де II *673* Броню, Мария — см. Бенуа, Мария

7Í7

Бруни, Георгий Юльевич (Жорж) I 402, 405, 410-411

Бруни, Юлий (Жюль) Федорович 1 72, 410—411

Бруни, Николай Александрович I 587

Бруни, Федор Антонович I 56, 62, 242, 300, 400, 410, 560, 687; II 201, 498

Брустолоне, Андреа I 189

Брюллов, Александр Павлович I 551; II 248, *637, 656*

Брюллов, Карл Павлович I 242, 247, 386, 437, 551, 560, 687; II 56, 201, 333, 454,492, *641, 651, 656*

Брюллов, Павел Александрович II 200— 201, 203, *680*

Брюмель (Браммел, Джордж Бриан) 1172

Брюн де Сент-Ипполит, Алексей Анатольевич I 399

Брюн де Сент-Ипполит, Анатолий Егорович I 391—394, 396

Брюн де Сент-Ипполит, Борис Анатольевич 1 399

Брюн де Сент-Ипполит, Валентин Анатольевич I 391, 393-394, 396, 399

Брюн де Сент-Ипполит, Лев Анатольевич I 391-394, 396, 399

Брюн де Сент-Ипполит (рожд. Лансере), Елеонора Александровна (тетя Леля)

I391—392, 394—396

Брюсов, Валерий Яковлевич II *699* Буало, Луи Огюст I 32, 189; II *672* Буало (Буало-Депрео), Никола II *636* Буальи, Луи Леопольд I 32 Бугеро (Бугро), Адольф Вильям I 491,

656, 683 Булгаков, Алексей Дмитриевич II 508, 520,

537 Булгаков, Сергей Николаевич II *699* Булгаков, Федор Ильич I *690* Бунин, Иван Алексеевич II *650* Бурбаки, Шарль I 431; II *651* Бурдин, Николаи Алексеевич II 411 Бурении, Виктор Петрович I 151, 690;

II49-50, *640*

Буркхардг, Якоб II 30, *G66*

Буте де Монвель, Морис II 383

Бутковская, Наталья Ильинична II 432,

70S Бутс, Вильям II 255 Бухгольц, Генрих II *663* Буш, Вильгельм I 224, 231—232, 245, 395;

II *643* Бушардон, **Эдм** II 56, 130, 143, 399, 563,

574 Буше, Франсуа I 587, 626; II 56, 353, 411,
437, *640* Бюльман, Йозеф II *649* Бэль, Антуан II 151
Вагнер. Генрих-Гартман II *656*
Вагнер, Рихард I 192, 240, 306, 516, 564,
580, 593-596, 641, 643, 673, 675; II 19,
43, 129, 192, 341, 370, 372-373, 538, *608,*
650, 656—660, 675, 695, 708, 709 Вагнер, Шандор (Александр) I 371, 559;
II *649* Вазем, Екатерина Оттовпа I 91, 308; II 469 Валлеп-Деламот, Жан Батист II 411, *656* Валлотон, Феликс II 153, 154 Вальбель, Луи I 74; II *637* Вальгреи, Вилле II 188 Вальдштейн, Август Августович (Густя)
I 567, 670, 701 Вальдштейн, Джон Августович I 473, 567 Вальц, Карл Федорович II 504, 509, *705* Ван Бепереи, Абрахам II 111 Ван Гог, Винсент II 151-152, 439, *623—*
615. 674 Ван Дейк, Антонпс II 233-234 Ван дер Вельде, Адриан II 325 Вап-Занд, Мария II 126 Ван Лоо (Ваплоо), Жан Батист I 655 Ван Лоо (Ванлоо), Луи Мишель II *640* Ban Эйк, Ян I 180, 699; II 140, 365, 572 Варламов, Константин Александрович II 9 Варлих, Гуго I 268
Васильев, Василий Петрович I 68—69 Васильев, Михаил Дмитриевич II 82 Васнецов, Аполлинарий Михайлович II
88, 91-92, 102, 302, 460, 669, 677, 685,
694 Васнецов, Виктор Михайлович I 687; 11
91—93, 201, 227, 230—232, 270, 453, 641,
680, 691, 693 Ватто, Жан Антуан I 226; II 125, 139—
140, 146, 435, *614* Ваулин И. И. И 327 Вебер, Карл Мария фон II *655, 705* Вебер, Наталия Францевна — см. Обер,
Наталия Францевна Вепзер. Карл I 509, 608 Вейпберг, Петр Исаевич I 637 Вейпор, Петр Петрович И 339, 423, *690* Веласкес, Диего Родрнгес де Сильва I
691; II 235, 359, 365, 411, 458, 565, *657* Вепгерова, Зинаида Афанасьевна II 259 Венецианов, Алексей Гаврилович I 507т
637-689; II 189. 359, 365, 411, 454, *654* Вениг, Карл Богданович I 249 Вер, Лунин I 501 Верди, Джузеппе I 236. 554, *643* Веревкипа Марианна (Мариамна) Владимировна II 438—439, *698* Верещагин, Василий Андреевич II 339,
397, 416. 423, *690* Верещагин, Василий Васильевич I 249—
250. 369-370; II 453, *644, 649, 683* Верещагин, Василий Петрович I 376 Верлеп. Поль I 6S3; II *612* Вермеер (Вермер) Дслфтский (Вал дер
Меер), Ян II 309

Берн, Жюль I 117, 229, 247, 400, 418, 428,

435: II 447, *647* Берне, Орас II 411 Вероккио, Андреа II 206 Вероиезе, Паоло I 132; II 31, 136, 139,
674, 708 Вертер, Евгения Аристовна (тетя Женя)
I246, 353—354, 356—358, 361—364, 367,
386, 549; II 348
Веруш-Ковальский (Ковальский-Веруш).
Альфред I 687 Вианелли, Ахилл II 56 Видор, Шарль Мари II 143 Виже-Лебрен, Луиза Элизабет II 120, 570 Виктория (английская королева) I 218;
II250
Вильборг, Артур Иванович II 232, 319,
399, *663* Вильгельм I (прусский король) I 21 Вильгельм II (германский император)
I634; II 18
Вильгельм Голландский (германский король) II *665* Вильгельм I Оранский II 256 Вилье (Виллие), Михаил Яковлевич I 528;
582—584, 694, 696; II 92 Вилье де Лиль-Адан, Эмилий Степанович
(Самойлович) I 380 Виндт, Фр. И., преподаватель гимназии
Мая I 479—480 Виноградов, Сергей Арсеньевич ÍI *694* Виньи, Альфред де I 654; II 245, 265 Виоле, Рафаил Вольдемарович I 683 Виолле ле Дюк, Эжеи Эммануэль II *674* Виртц, Антуан Жозеф II 235—236, *683* Висконти, Доменико II 493, *656* Витали, Иван Петрович I 256; II *634, 644* Витте, Ольга Карловна II 382 Витте, Сергей Юльсвич II 443, 577 Владимир Александрович, в. к. I 60—61, 105, 110, 310, 563. 618, 620—622; II 192, 452, 483 Внуков, Еким Терентьевич II *634* Водуайе, Жап Луи II *701* Волков, Николай Дмитриевич II *703* Волконский, Сергей Михайлович I 308;
II47, 260, 287. 297-306, 342-345, 369—
370, 385, 542, *695*
Воллар, Амбруаз II 138, 151—153, *674* Волошин. Максимилиан Александрович
II 438, *698, 703* Волинин (Валинин), Александр Емельянович II *705* Волынский (Флексер), Аким Львович
II 49. *667* Вольпини Э. I 98 Вольтер (Аруэ, Мари Франсуа) II 279,
436 Вольф, Людвиг Маврикиевич I 683 Вольф. Маврикий Осипович I 663—664;
U 642
Вонлярская (Ванлярская), Наталия Федоровна — см. Карлова Н. Ф. Вонлярская (Ванлярская), Софья Федоровна II 351—352 Воробьев, Максим Никифорович II 78, 162 Воронихин, Андрей

Никифорович II 563 Вотье, Веиьямин II *671* Врангель, Николай Егорович II 337—339 Врангель, Николай Николаевич (Кока) II 337-340, 382, 406, 422-423, 455, *670, 689, 697} 712* Врангель, Петр Николаевич II 337 Врангель, Мария Дмитриевна II 339 Вреден, Эдмунд Романович I 666 Врубель, Михаил Александрович I 695; II 42, 190-191, 212, 272, 276-277, 279, 365, 416—417, 454, *604, 613, 657, 666, 675, 677, 679—680, 694, 697* Всеволожский, Иван Александрович I 605, 653-654, 656; II 260, 272, 299-300, 303, 305, 383, 541-542, 549 Вуич, Георгий Иванович II 460, 472 Вурм, Василий Васильевич I 533 Венике, Ян II 554

Вюйар, Жан Эдуард I 647; II 152, 155—156, 318, *613, 674*

Габорио, Эмиль I 538 Гаварни, Поль I 167; II 125, 157, 200 Гагарин, Григорий Григорьевич I 553 Гаджини, художники XV—XIX вв. II 493 Гадон, Сергей Сергеевич I 464 Галактионов, Степан Филиппович II 248 Галлен-Каллела, Аксели II 188, *677* Гальнбек, Наталья Любимовна («Таляби-

на») I 132, 138, 143-148, 238, 431 Гамбс, Генрих, I 71 Гамсун, Кнут II *704* Ган (Ан), Райнальдо II 539 Ганнибал, Абрам Петрович II 338 Гапон, Георгий Аполлонович II 418—419 Гарнье, Шарль I 36 Гаррик, Дэвид I 164 Гартье, Эмиль Карлович II 73, 405 Гауль, Ф. II *695*

Гауф, Вильгельм I 516, 654; II *654* Гварди, Франческо I 96, 189; II 242, 325,

359, 411, 436 Гверчино, Джованни Франческо II 391 Ге, Николай Николаевич I 617, 687; II 47,

201, 279, 453, *648, 667, 686* Ге, Николай («Кика») II 285, *686* Гегель, Георг Фридрих Вильгельм I 631 Гедда, Михаил Михайлович I 607; II 71—

72 Гедианов, Лука Семенович II *663* Гедике, Роберт Андреевич I 60 Гедимин, князь II 267 Гейль, Александр I 675 Гейне, Генрих I 610; II *637* Гейне, Томас Теодор I 482; II *609*

719

Гейслер, Христиан Готфрид Генрих II

248 Гелабод. Жюль I 661 Гендерсон, Джонни II 389 Генненберг, Рудольф Фридрих I 518 , Генрих II II 140 Генрих IV (английский король) I 246;

II 144, 357 Генрих VIII (английский король) I 389,

583; И 256 Генсборо (Гейпсборо), Томас II 452 Георг I (английский король) II *684* Георг I (греческий король) I 592 Георг II (английский король) II *684* Георг III (английский король) II *684* Георг IV (английский короле) I 506;

II *684* Георг V (английский король) II 474, 528 Георгий Александрович, в. к. I 76 Георгий Михайлович, в. к. II 51, 198 Герард, Владимир Николаевич I 505 Гербель, Николай Васильевич

II 6*55 Гердт, Павел Андреевич I 307, 311, 606;

II 466—470, 472, 508, 532 Гереи, Шарль II 152, 573 Герке, Антонина Леонтьевна I 353 Гермаи, Ганс I 647; П 109—112, 164, 399,

570 Гертерих, Иоганн Каспар I 518 Герцевановы II 554 Герцен, Александр Иванович II 340, 570,

604 Гершензон-Чегодаева, Наталия Михайловна II *690* Гете, Иоганн Вольфганг I 79, 307, 516, 538; II 265, *586-587, 624, 641, 654—65,% 658, 663, 683* Гиберти, Лоренцо II 38 Гильом (Гийом), Альбер I 288; II 318 Гильдебрандт, Эдуард I 100, 244; II 56 Гинцбург, Илья Яковлевич II 50, 96 Гинцбург, Рауль II 474 Гиппиус, Владимир Васильевич II 46, 48,

637. '667 Гиппиус (Мережковская), Зинаида Николаевна I 167, 497; II 46, 48-49, 294— 295. 297, 444, *667, 686, 694, 699* Гирлаидайо, Доменико II 38 Гирт (Хирт), Георг I 519—520, 690; II 405 Гиршмаи, Генриетта Леопольдовна II 455 Гиршмаи, Владимир Осипович II 365,

455, *670, 694* Гитри, Люсьен I 74, 497, 539—540; II 299,

637 Главач, Войцех Иванович I 260; II *644* Гладстон, Вильям Эварт II 250

Глазунов, Александр Константинович

II 213, 299, 510, *702, 703, 706* Глазунов, Илья Иванович I 441 Глаубер, Иоганн II 326

Глинка, Михаил Иванович I 35, 492, 641;

II 632, 636, *704, 706* Глюк, Христоф Виллибальд II 126 Гоген, Поль I 120; II 150—152, 439, *613*—

615, 674, 676 Гоголь, Николай Васильевич I 53, 210,

226, 283, 400, 403, 437, 484, 495, 539, 541;

II 265, 2s2, *594,604, 651* Годар, Бепжамеп I 540 Гойеи, Ян ваи I 699; II 326, 359, 411 Гойя, Франоиско II 458, *700* Голенищев-Кутузов, Арсений Аркадьевич

I 586-587; II 326 Гояике, Роман Романович II 319, 399, *663* Голицынский, Александр Павлович I 401—

402 Голлербах, Эрих Федорович II *687* Головин, Александр Яковлевич II 270—

272, 369, 379-380, 457, 460, 467, 483—484,

514, 516, *682, 703, 706* Голомбьевскнй (Голомбиовский), Александр Александрович II 402 Голубкина, Анна Семеновна II *675—676* Гольбейн, Ганс I 496; II 23 Гольдоии, Карло I 42; II 531, 546, *626,710* Голынтейп, Александра Васильевна II 119 Голыптепп, Наталья II 119 Годьпейн, Генрих I 508 Гомер I 477-480

Гонзаго (Гонзага), Паоло I 553, *684* Гонзаго (Гонзага), Пьетро ди Готтардо

I553; II 258, 305, 308, 411, 563, *684*

Гонкуры, Жюль и Эдмон II 124, 126, *672*
Гончаров, Иван Александрович I 118
Гончарова, Наталья Сергеевна II 533,
537-538, 545, *708* Гопнер (Хоппиер), Ласкелз II 452 Горавскии, Аполлинарий Гиляревич I
33-34, 189, 376 . Горбунов, Иван Федорович I 357 Горлепко, Василий Петрович II 346 Горностаев, Алексей Максимович II *691* Городецкий, Сергей Митрофанович II *703* Горский, Александр Алексеевич II *659* Горчаков, Александр Михайлович I 150,
475; II 97 Горчаков, Михаил Константинович II 327,
640 Горшенкова, Мария Николаевна I 308 Горький (Пешков), Алексей Максимович
II*626, 629, 664, 699*
Готтенрот, Фридрих I 562: II 405, *657* Готье, Теофиль I 309, 554, 626; II 444, *647,*
656, 661, 699, 706 Гофман, Август Генрих I 223 Гофман, Иосиф Казимирович II *700* Гофман, Эрнст Теодор Амадей I 56. 230,
307-308, 424, 516, 564, 654: II 12, 24. 68,
75, 79, 84-85. 145. 245, 557, *598, 608t*
610. 650, 657, 665 Гофмапсталь, Гуго фон II 538, *708*
720
Гофстеде де Грот II 324
Гоцци, Карло I 42
Гоццоли, Бепоццо II 37, 39
Грабарь, Игорь Эммануилович I 253;
II 361—362, 376—379, 382, 394, 454, 493,
579, *587, 589, 598, 609—610, 614—615,*
641, 657, 670, 675, 680, 692—693, 712 Гранвпль (Жерар, Жан Иньянс Изидор)
I 518; II 157 Грановский, Тимофей Николаевич I 637 Граосе, Эжен Самюэль II 72, *668* Граф, Урс II 23 Грез, Жан Батист I 30, 243 Гретри, Андре Эрпст Модест I 657 Грефюль, Елизабст II 451, 453 Гржебип, Зиновий Исаевич II 193, 445,
458. *699—700, 70S* Гри (Грпс), Хуан II 547, *710* Грибоедов, Александр Сергеевич I 541 Григорович, Дмитрий Васильевич I 378,
383, 429, 430, 544, 552, 554, 588; II 96,
124, 161, *647, 655—656* Григорьев, Федор Федорович II *704* Гризар, Леон Львович II 334 Грильпарцер, Франц I 472, 516, 554; II *654* Гримм, Давид Иванович I 60 Гримм, Иван Васильевич I 662 Гримм, Якоб и Вильгельм I 531 Г.рипевей (Грииавей), Кэт I 234; II 256 Грипевпцкий, Игнатий Иоахимович II *649* Гриценко, Любовь Павловна — см. Бакст,

Любовь Павловна Гро, Антуан Жап I 249; II 573 Грозмани М. II *662* Грубе, Эрпст I 530 Гужон, Жан II 574, *673* Гуммель, Иоганн Иепомук I 667 Гуно, Шарль Франсуа I 236—237, 283, 302,
307, 462, 580. 646; II 68, 545. *709* Гунст, Евгений Анатольевич II *669* Гуревич, Любонь Яковлевна II *703* Гурко, Иосиф Владимирович I 369; II *649* Гус, Гуго ван дер II 36 Гусарова. Алла Павловна II *588* Густав I Ваза (шведский король) I 420 Густав II Адольф (шведский король)
I419-420
Густав III (шведский король) I 420
Гутри, Джеймс II *677*
Гюго, Виктор I 152, 165, 654; II 142, 180—
181. *640, 674* Гюисманс, Жорж Карл I 683; II 216, 411,
682
Давид, Жак Луи I 31, 249, 259, 518, 626;
II572—573
Даггер. Луп Жак I 456; II *651* Даль, Владимир Иванович (Казак Луганский) I 226; II *643* Дандре, Виктор Эммануилович II 469 Данжо (Дапгро), Филипп II 184, 210, *681*
Д'Аннунцио, Габриэле II 539 Дапьяи-Бувре. Паскаль Адольф Жап
I491, 647, 683; II 68
Дарвилъ, Клемапс I 74, 539—540
Дашков, Павел Яковлевич И 322, 327—
331, 346, 402—404, 40G, 416, 422, *711*
Дашков, Яков Андреевич II 328
Де-Базиль (Воскресенский, Василий Григорьевич) II 474, 478, 530, *702, 705*
Дебюсси, Клод II 489—490, 508, 510, *698,*
703, 705'
Девальер, Жорж II 147, 448, 459, 579—580
Девельп (Вельи, Велли), Жан Луи II 354
Дсвериа, Ашиль I 518; II 157, 200
Дезойо, Жюль I 240
Девриен, Людвиг II 12, *665*
Дега, Эдгар I 491, 518, 647; II 137—138, 151, 477, *674*
Деглау К. Х. I 478
Дозидерио да Сеттиньяно II 37
Дезоссе, Валентин Ле (Реноден) II 135, *673*
Дейч. Никлаус Мануэль II 23
Декан, Александр Габриэль I 251, 518i
II556
Декарт, Рене Ї 631
Делакруа, Эжен I 51, 518; II 136, 143,

572—573, *674* Деларон, Павел Викторович II 321, 323—
326 Долаоова (рожд. Аршеневская), Елена
Романовна I 121, 449; II 324—325 Деларош. Поль J 247, 518; II 573 Делиб. Лоо I 306—309, 439, 540, 564, 601;
II 46, 343, *599* Деллиыгсгаузен, Карл I 110—111, 577 Делоне,' Робер II *675* Делорм. Опост Эмиль I 539 Дельна. Мари II 126-127 Дель-Эра (Дельэра). Антонлетта I 311;
II *647* Дени, Морис II 152-153, 363, 44Й, *613, 676* Дерен, Андре II *076* Державин, Гавриил Романович II 349,
691 Дерфельдея, Христофор Платонович I 439,
464 Десмонд, Ромюлюс I 680—681; II 8, 556-<
557 Детайль, Эдуард Т 371 Детома. Максим IT 459, 579 Деттмап, Людвуг II 569—570 Деффрегер, Франц II ИЗ Дехтерев. Владимир Гаврилович I 142,
598-600, II *640* Дехте-і>ОВа. Софья Цезаревна — см. Кавос,
Софья Цсзаровна Джантиле да Фабриано II 38 Джигпнти (Жигагпти), Джачинто TI 56 Дяшлъберт (Джилберт), Джон I 330, 538 Джилярди, Алессандро II 494—495
721
Джилярди (Жилярди), Доменико II 493—
494, *712* Джованни ди Болонья I 42; II 329 Джордано, Лука II 325 Джорджоне (Джорджо да Кастельфранко) II 136, 140, *674* Джотто ди Бондоне II 39, *689* Дзоффани, Иоганн I 189 Дзупьо (Цуньо), Франческо I 137 Дидло, Шарль Луи I 606; II 543 Дидро, Дени II 454 Дизраэли — см. Биконсфильд Диккенс, Чарлз I 74, 146, 234, 389, 585;
II 250-251, 282 Дилль, Людвиг 1 647 Дионисий II 366 Дистервег, Адольф II *652* Диц, Вильгельм II ИЗ, 439, 564 Диц, Юлиус II *383,609* Дмитриев, Владимир Владимирович 11
710 Дмитриев, Иван Дмитриевич I 510—512,
514 Дмитриев-Мамонов, Иван Иванович II 378 Доброаисцев, Владимир I 481 Доброписцсв, Михаил Евграфович 1 483—
484 Добужинский, Мстислав Валерианович Г181, 654; II 286, 340-342, 445, 464, 467, 521, *608, 610, 621, 628, 632, 690, 695, 703, 711* Добужинские II 492 Дойль, Дик I 231, 248; II *643* Дойников, Тимофей Васильевич I 210, 287,
555 Долгополов, Леонид Константинович ЇІ
603 Долгорукова (Долгорукая) (княгиня Юрьевская), Екатерина Михайловна I 379, 382 Долгорукий, Иван Михайлович II *680* Долина, Мария Ивановна I 650, 657 Домбровский, Владислав Александрович
I 3Й9 Домбровский, Карл-Христиан Алексаыдрович Ї 319— 320 Домье, Оноре I 167, 225, 231, 518; II 157.
200, 317 Донателло (Донато ди Никколо ди Бет-то Барди) II

37—38, 555 Доницетти, Гаэтано I 236 Доре. Гюстав Ї 187, 224. 231, 233—234,

247-248, 389, 5'8, 562, 618 Досекин, Николай Васильевич II 88, *694* Достоевский, Федор Михайлович I 28, 411, 441, 470, 512, 524, 633; II 92, 98, 181, 216, *632, 634, 651, 6G2, 664, 667* Доше, Апдрс II 165—166. 459 Дриго, Рикардо 1 306, II 383 Дризен, Николай Васильевич II 478—479, *702—703*

Дуайен, Габриэль Франсуа I 451 Дубасов, Федор Васильевич I 273, 367 Дубовской, Николай Никаиорович II 88 Дузе, Элеонора I 74, 662—663, 665 Дузи, Казрое I 300 Дункан, Айседора II 343, 414 —415, 477,

480, *697, 703, 712* Дурново, Иван Николаевич I 312; II 244 Дурылин. Сергей Николаевич II *647* Дювернуа, Николай Львович 1 631—632 Дюге, Гаспар (прозванный Гаспар Пуссен) II 326 Дюма, Александр (отец) Ї 312, 316, 407, 429. 435, 472, 554, 558, 654, 659; II 245, 570, *647, 651* Дюмеин, Франсуа Î 539 Дюпре, Калам Жюль I 100; II *692* Дгорап, Мария I 240, 463 Дюран-Рюзль, Поль Ί 491; II 137—138,

151, *669* Дюрер, Альбрехт I 496, 551 Дягилев, Липчик (Павлович) II 565 Дягилев, Николай Иванович I 506; II 265,

553 Дягилев, Павел Павлович I 640 Дягилев, Сергей Павлович I 5, 15, 77, 142, 175, 181, 308, 404, 423, 505, 506, 514, 520, 575, 597, 599, 605, 614, 617, 626-628, 635, 640—648, 651, 654, 682, 685, 689, *709;* II 7, 42-43, 46, 67-68, 73, 77-78. 83, 86-89, 110-111, 113, 127, 162-164, 170-172, 186-194, 206, 211, 224—231, 246-247, 260-261, 265-268, 272, 279— 280, 282, 285-290, 297-298, 300, 302-306, 310, 319, 333—334, 337, 340—347, 361, 364-365, 368-370, 373, 376, 378, 382, 385, 387, 396—397, 403-404, 406-407, 414—415, 420, 422-423, 439, 447—448, 451-457, 459, 472-474, 477, 482-492, 504-508, 510-516, 518-523. 525-526, 528, 530—531, 533—534, 536-538, 540, 543—549, 553, 555, 564-566. *595, 604, 617 —618, 620—621, 624, 632, 660, 662, 668, 669. 676-677, 679, 681, 690—697, 700, 702, 704—707, 710, 712* Дягилев. Юрий Павлович II 565 Дягилева (рожд. Панаева), Елена Вале-

рияновна I 640; II 298 Дягилева (рожд. Евреинова), Евгения Николаевна I 640

Евгений (принц Лулу) I 246; II *643*

Евгеньев-Максимов, Владислав Евгеньевич II *686*

Евреинов, Николай Николаевич II 478— 480, *702—703*

Еврипид II 370. 372

Евсеев, Сергеи Александрович II 467

Егарев, Василий Никитич I 289, 291, 293, 296, 303

Егорнов, Александр Семенович II *638*

Егоров, Алексей Егорович II 56
Егоров, Владимир Евгеньевич II 484, *704*
Егорова, Любовь Николаевна (Александровна) II *705*
Екатерина I II 73, 309, 403, 405
Екатерина II I 18, 43, 124, 181, 202, 268, 270, 314, 316, 317, 586, 621; II 82, 300, 308, 351, 353—354, 357, 401, 403, 408, 411, 416, 462, 463, 484, 494, 564, *591, 642, 644, 647, 661, 690, 692, 695, 701*
Екатерина Арагонская, первая жена Генриха VIII I 389
Екатерина Михайловна, в. к. I 586, 592— 594; II 199, 351-352, 354
Елена Георгиевна — см, Саксеи-Альтен-бургская, Елена Георгиевна
Елена Павловна, в. к. I 593; II 199, 354, 658
«Еленочка» — ЕленаКонстантиновна
Цветковская II 429—430
Елизавета (английская королева) I 234, 371, 389, 390
Елизавета Алексеевна, жена Александра I Ї 377
Елисавета (Елизавета) Петровпа, имп. I *6, 8,* 553, 588, 655; II 73, 274, 300, 308, 321, 351-352, 401, 403, 405, 416. *663, 68S*
Елизавета Федоровна, в. к. II 192
Елизавета Шарлотта Баварская II *681*
Елисеев, Григорий Григорьевич I 161
Ендогуров, Иван Иванович I 647; II 29, 67, 492, 565
Ержемский, Александр Константинович
I614; II 232
Ермоленко-Южина, Наталья Степановна
II483, 490
Ернефельт — см. Эрнефельд
Ершов, Иван Васильевич II 532; II 375 Ершов, Петр Петрович Ї 304 Ерыкалов, Александр Николаевич II 265 Есипова, Анна Николаевна I 240 Ефимов, Василий Владимирович I 632
Жан Поль (Рихтер, Иоганн Пауль Фридрих) II *656*
Желябов, Андрей Иванович II *649*
Жерар, Франсуа I 249, 518; II 573
Жером, Жан Леон I 491, 518, 609, 683; II *678*
Жибер, Эрнст Иванович I 555
Жилло, Клод I 226
Жирардон, Франсуа II 144
Жиро, Шарль II *673*
Жироде де Руси-Триозон, Анн Луи I 249, 518; II 573
Жироду, Жан I 564
Жоан, Жан Адольф Лаурент II 166, *677*
Жоссе, Марсель I 623; II 119, 287, 566—568, 571

Жуве, Луи I 564
Жувене, Жан II 357
Жукова, Вера Васильевна II *657*
Жуковский, Василий Андреевич II *657*
Жумар, Жозеф I 74, 539
Журавлева, Лариса Сергеевна II *668*
Журден, Франсис II 453
Жюдик (Дамьсн, Анна) I 300; II *647*
Забелла-Врубель, Надежда Ивановна II
273, 416-417, *685, 697* Замирайло, Виктор Дмитриевич II 287
380, 464 Зарудная, Софья Альбертовна — см. Кавое, Софья Альбертовна Зарудная-Кавос, Екатерина Сергеевна —
см. Кавос, Екатерина Сергеевна Зарудный, Александр Сергеевич II 8—9,
264, *665* Зарудный, Митрофан Иванович I 40, 128,
203, 204, 269 Зарудный, Сергей Иванович I 286; II 8,
665 Зарудный, Сергей Митрофанович I 44,127,
131, 153, 161, 166, 252, 510, 665; II 126 Засулич, Вера Ивановна I 379; II *664* Захаров, Андреян Дмитриевич II *634* Званцева, Елизавета Николаевна II 249,
703 Зейтц, Лудвиг II 391 Зембрих, Марчелла (Коханьска, Марцелина) I 240, 463 Зигфрид фон Эпштейн II 15, *665* Зилоти, Александр Ильич II 370—371 Зилоти (рожд. Третьякова), Вера Павловна II 370 Зильберштейн, Илья Самойлович I *708—*
709; II *584, 631, 641, 701, 707, 711—712* Зихсль, Патанель I 609 Зичи, Михаил Александрович I 41, 204,
626; II *661* Золя, Эмиль I 491, 518, 609, 646, 673—674;
II 68, *612, 653, 682* Зотов, Рафаил Михайлович II *636* Зуйков, Василий, слуга С. П. Дягилева
I647; II 286, 346, 455
Зулоага, Игнасио II 458
Зуске, Фердинанд I 541
Иван IV Грозный I 66, 165, 252, 649; II 213
Иванов, Александр Андреевич I 53—54,
363, 687; II 201, 268-270, 359, 363, 389,
411, 453, 523, *594—595, 656, 685, 693*
Иванов, Вячеслав Иванович II 482, *660f*
664, 703 Иванов, Игнатий Иванович II 7 Иванов, Константин Матвеевич II *659* Иванов, Лев Иванович II *659* Иванов, Сергей Андреевич II 268 Иванов, Сергей Иванович I 604—605, 656 Иванов, Сергей Васильевич II 464 Игиациус, художник-любитель II 172 Изабе, Луи Габриэль Эжен I 100, 518;

II214
72а
Икскуль фон Гильдснбандт (рожд. Лутковская),,Варвара Ивановна I 129, 165;
II *639* Ильин, Алексей Лфиногенович II 315, 3Î9,
387 Имеретинские I 575—576 Иоанн Кронштадтский (Сергиев, Иоанн
Ильич) I 610 Иогансоп, Христиан Петрович I 606;
II 541, 543, *709* Иордапс, Якоб I 190; II 233—235, 325, 561 Иосиф II (австрийский император) II *695* Исаев, Андрей Алексеевич I 631 Исаков, Сергей Константинович II 584 Исеев, Петр Федорович I 563 Истомин, М. I 467, 470-472, 535
Кабаиель, Александр I 656
Кавос, Альберто Джованни, прапрадед I 35, 38; II *636*
Кавос, Альберто Камилл (Альберт Ката-ринович), дед I 17, 36—41, 47, 167, 192, 456, 520, 553, 601; II 348, 384, *593, 632, 636—637*
Кавос, Альберто Иванович (дядя Берта), сын Ивана Катариновича (брата деда) I 168—169, 203, 661
Кавос, Джованни Катаринович, брат деда I 36
Кавос, Евгений Цезаревич, двоюродный брат (сын дяди Сезара) I 43, 128, 131, 133, 136-137, 141, 148. 217, 269, 273— 274, 503, 614, 629, 688; II 8, 51, 194, *664*
Кавос (рожд. Зарудная), Екатерина Сергеевна (жена Евгения Цезаревича) I 689; II 8, 324, *664*
Кавос, Иван Альбертович (дядя Ваня), брат матери I 127, 165, 661
Кавос, Иван Катаринович, брат деда I 130, 168
Кавос (в замуж. Лашкевич), Инна Цеза-ревиа, двоюродная сестра (дочь дяди Сезара) I 118, 132—134, 137, 139, 140— 141, 146, 356, 431-433, 598; II 96
Кавос, Камилло Иванович, двоюродный дядя (сын брата деда Ивана Катариновича) I 168-170, 203, 661
Кавос, Катарнно Камилл (Альбертович), прадед I 17, 35—36, 88, 189, 195; II *636*
Кавос, Констаптип Альбертович (дядя Костя), брат матери I 37—38, 41, 57 121, 122, 127, 137, 145, 149—165, 168, 171, 185, 195, 217, 252, 283, 369, 413-414, 417, 422, 437, 540, 566, 571, 597-598, 661, 663, 708; II *640*
Кавос, Ксения Ивановна («бабушка Кавос») I 37—44, 62, 77, 121, 127, 152— 153, 165, 185, 252, 267, 283, 287, 300, 413— 414, 449, 531, 660, 663, 665, 681, 691; II
ˆ 42, 126, *636*
Кавос, Мария Цезаревна, двоюродная се-

стра (дочь дяди Сезара) I 131—133т
-139-141, 144, 146, 356, 431—433, 598—
599; II 96
Кавос, Михаил Альбертович (дядя Миша), брат матери I 40, 42, 127, 150, 152—
-153, 161—162, 165—168, 252, 283, 369,
379, 406, 414, 457, 510, 520, 554, 617,
651-652, 656, 666, 675; II 46, 48, *640*
Кавос, Нина Цезаревпа, двоюродная сестра (дочь дяди Сезара) I 133
Кавос, Ольга Константиновна — см. Бе-нуа, Ольга Константнповна
Кавос (в замуж. Дехтерева), Софья Цезаревна, двоюродная сестра (дочь дяди Сезара) I 133, 136, 139—142, 144, 267, 317, 357, 598-599, 600, 614; II 554
Кавос (в замуж. Зарудная), Софья Альбертовна (тетя Соня), сестра матери I 40, 44, 127, 203
Кавос (рожд. Мижуева), Софья, жена дяди Сезара I 133
Кавос, Стефано Иванович, двоюродный дядя (сын брата деда) I 168—170, 203
Кавос, Стефано (Станислав) Альбертович («дядя Фа»), брат матери I 38, 127, 129—131
Кавос (в замуж. Коррошши), Стефани, сестра деда I 39
Кавос, Цезарь Альбертович (Альберт Се-зар) (дядя Сезар), брат матери I 37— 38. 59, 80, 118, 127-141, 143-147, 149— 150, 157, 159—160, 185, 195, 216—217, 237, 256, 274, 283, 286, 313, 356-357, 369, 372, 390, 430—431, 433, 457, 502—503, 598—599, 614; II 77, 96—97, 311, *639*
Кавос (рожд. Каробио), мать матери I 38
Каждан, Татьяна Павловна II *614*
Казак Луганский — см. Даль, Владимир Ивапович
Каванова, Джованни Якопо I 93, 96
Казен, Жан Шарль II 399
Казнаков, Сергей Николаевич II 416
Кайботт, Гюстав I 492; II 137, 572, *674*
Калам, Александр I 100, 244
Калин, Александр Емельянович I 495
Калин, Григорий Емельянович (Гриша) I 77, 481, 485, 492, 494—496, 499, 514, 574, 630, 682; II 552
Калиостро — см. Бальзамо, Жозеф
Калмаков, Николай Константинович II *703*
Кальво-Коресси (Кальвокоресси), Мишель II 490
Кальдекот, Рандольф I 234; II 256
Кальдерой де ла Барка, Педро II 479, *703*

Кам (Cham) — см. Шам
Камерон, Чарлз II 308
Кампнони, Екатерина Анжеловна (тетя Катя) I 57, 127, 153-156, 159, 190, 204, 417, 598
Кампиони, Евгения I 157
724
Камшшни, Мария I 157
Кампиошт, Павел Апжелович I 162
Кампос, Генрих Генриховнч I 546—547
Камуцци, Агостипо II 498
Камуцци, Матильда II 494—496, 498
Камуччинп, Винчеицо I 38
Каиаев, Александр Николаевич I 610,
613-614 Капаевы I 611—613, 677—678 Капалетто (Антоиио Канале) I 136, 137,
143; II *640* Кандинский, Василий Васильевич I 221;
II *662,675* Каиоппп, Антонио I 553; II 411 Кант, Иммануил I 631 Капков, Яков Федорович I 44, 71, 186,
708 Капулъ, Виктор II *644* Караваджо (Мпкеландшело Меризи да
Караваджо) II 31, 391 Каравакк, Луи Ì *6,* 655; II 73, *663* Каразлн, Николай Николаевич I 618; II
88, 162, *661 691* Каракозов, Дмитрий Владимирович II
649 Каралли (Коралли), Вера Алексеевна II
508 Карамзин, Николаи Михайлович I 646 Каратыгин, Василий Андреевич I 283 Каратыгин, Вячеслав Гаврилович II *703* Карелин, Андрей Андреевич II 41 Карельский, Альберт Викторович II *687* Карл I (английский король) I 247, 390 Карл II (английский король) I 390 Карл VIII (шведский король) II *678* Карл XII (шведский король) I 420 Карлова (рожд. Ванлярская), Наталия
Федоровна I 594; II 200, 352, 355—356 Каролюс-Дюрап, Эмиль Огюст I 491; II
140, *664* Карпаччо, Витторе II 31, *708* Карпов, Николай Афанасьевич I 402 Каррьер, Эжен I 491, 683 Карсавипа. Тамара Илатоновиа I 308; II
333. 414. 475, 506, 511, 517, 526, 530, 537,
690, 706 Карсавин, Лев Платоиович II 526 Кае атк гтиа-Ростовская (рожд. Норова),
Софья Николаевна I 73 Касеирер, Бруно Пауль II 87, *669* Кастапьо (Андреа дель Кастаньо) II38 Кастеллан, Бонифаций (Вони) II 537—
538, *708* Каульбах, Вильгельм I 587; II *657—658* Каульбах, Фридрих Август I 424; II 376 Кауфман, Арон Мордухович II 322

Каховский I 555 Кваренги, Джакомо I 183, 197, 313—314,
316-317, 451, 545; II 59, 308, 484, *639,*
641, 644, 647, 648
Келлер (Келер), Мориц Францевич II
476—477 Кемепов, Владимир Семенович II *631* Кепнель, Василий Александрович II *646* Кербец, Софи I 451, 453—455, 458 Керенский, Александр Федорович II 444 Кернер, Карл Теодор I 538 Кесслер (Кеслер), Гарри II 538, *708* Кибальчич, Николай Иванович II *649* Кишненко, Алексей Данилович I 647: II
67, 565, *662*
Кнзернцкнй, Гангольф Егорович II 320 Кннд. Анна Карловна — см. Бенуа, Анна
Карловна Кицд, Владимир Карлович I 91—92 138,
306, 308, 310, 438-439, 462, 466, 468—
469, 472, 516, 524-528, 530-533, 537,
Г. 42-543, 545-547, 554—556, 564-567,
60S, 680. 702 Кинд, Елизавета Ивановна I 533, 537—
538, 547, 549, 567, 700-701; И 62-63,
° 16 Кiiiiх Карл Иванович I 238, 524, 528, 533—
534. 537-539, 541-544, 547, 564, 567,
679—680; II 62—63, 348, *655* Кинд, Петр Карлович I 92, 462, 466, 526,
528, 530, 532, 536-537, 541, 543, 554, 680,
693, 700—703; II 104 Кипд (в замуж. Вальдштейн), Софья
Карловна I 90, 462-463, 465, 468, 472,
527, 536-537, 542, 547, 555, 564-568, 669,
673, 676, 679-680; II 551-552 ' Кинд, Фридрих II *655* Кипренский, Орест Адамович I 386, 507,
687—689; II 56, 81—82, 162, 189, 333, 359,
411, 454, *669* Киселев, Василий Васильевич II 520 Китнер, Иероним Севастьянович 1381,705 Клаубер. Игнатий Севастьянович II 411 Клевер, Юлий Юльевич I 250; II 231, *683* Клейнмихель. Николай Владимирович II
355 Клейнмихель, Петр Андреевич I 59 Клемепти, Мушго II 476 Клеице, Лео фон II 243, *654, 689* Клингер, Макс I 167 Клодион, Клод Мишель II 411 Клячко, Левит Мойшович II 11, 19, 34 КлячкоС. Л. *U 657* Кпаус, Людвиг I 518; II 281, *671* Кнебель, Иосиф Николаевич II *704* Кнебель, Мария Иосифовна II *701* Кнобельсдорф Георг Венцеслаус II 110,
671 Княжевич, Владимир Александрович I
402, 405, 409—410, 474, 493 Княжевич, Николай Александрович I 402,
405, 409—410, 474 Князьков, Сергей Александрович II 462,
464, *701*

725
Коврайский, Виктор Федорович I 576,
578—579 Коган, Дора Зиновьевна II *659* Козимо ди Пьетро Меллини II *637* Козимо ди Якопо II *637* Кок, Поль де II 127, 672 Коклен, Бенуа Констан I 74 Кокорииов, Александр Филиппович II 406 Конто, Жан II 448, 545, *709* Колен, Поль Альфред II 140 Коломбье, Мари I 619 Колонн, Эдуард II 129—130 Кольбер, Жан Батист II *672* Комелова, Галина Николаевна II *634* Комиссаржевская, Вера Федоровна I 260;
И *703* Кондаков, Никодим Павлович I 630, 637;
II *662, 668* Конде (Людвиг Жозеф Бурбон), принц I
60; II 357 Кондер, Чарлз I 685; II 557 Кондратьев, Геннадий Петрович I 612—
614 Кони, Анатолий Федорович II 8, 664 Конради, Евгения Ивановна II *653* Константин Великий, имп. I 371 Константин Константинович («К. р.»),
в, к. I 586, 694—695 Константин Николаевич, в, к. I 256, 258 Контский, Антон I 236 Кончаловский, Петр Петрович (отец) II
248 Кончаловский, Петр Петрович (сын) II
248, 662 Коперник. Николай I 417, 421; II 45 Корвин, Ада (Юшкевич, Ада Адамовна)
II *703* Корде, Шарлотта II 433 Коребут-Кубитович, Павел Георгиевич
(«Пафка») I 506, 651; II 265—268, 491 Коркунов, Николай Михайлович I 631—
633, 635 Корн ель, Пьер II 144 Коро, Камилл II 478, *614, 674* Коровин, Константин Алексеевич I 605;
II 87, 91, 189, 212—213, 226, 231, 270—
272, 288, 344, 369, 372—373, 379—
380, 454, 457, 483, 577, *604, 650, 659, 675,*
677, 680, 682, 688, 694, 706 Коровин, Сергей Алексеевич II 270—-272,
685, 694 Короленко, Владимир Галактионович II
617 Корреджо (Антонио Аллегри) I 501; II
674 Корроди, Соломон I 95; II 56 Корронини, Стефани — см. Кавос, Стефани Корсини, Доменико I 192, 553 Котов, Григорий Иванович II 277. 306—
307
Котоньи, Антонио II 236, 240, 643; II 82,
565 Котте, Шарль II 147, 150, 165, 459, *675* Кохно, Борис Петрович II 228, 267, 545,
709 Кочкуров, Николай Николаевич I 161 Кошен, Никола II 160 Кравченко, Николай Иванович II *679* Кракау, Александр Иванович I 52, 60, 560 Кракау, Василий Александрович I 478,

482; II *637* Крамской, Иван Николаевич I 616, 687;
II 189, 453, 565, *648, 653* Кранах, Лукас I 496 Красовская, Вера Михайловна II *647, 702,*
705 Краус, Габриела II 129 Крейндольф, Эрнст II 383 Крен, Уолтер I 234 Кривелли, Карло II 31 Кромвель, Оливер I 247 Кронек, Людвиг II *654* Кроте, Евгений Александрович I 466 Кругликова, Елизавета Сергеевна II 436—
439, *698* Круи, Карл Евгений де I 577; II *658* Крупенский, Александр Дмитриевич II
457-461, 466-467, 471-472, 476, 483,
700 Крыжицкий, Константин Яковлевич II
661 Крылов, Иван Андреевич I 76, 540; II
636 Крылов, Гурий Асафович I 508; II *654* Ксения Александровна, в. к. I 695, 697 Кувре, Луве де I 685 Кудлай, Вера Владимировна II 312 Кузмин, Михаил Алексеевич II *703* Кузнецов, Василий Арсеньевич II 265 Кузнецов, Евгений II *646* Кузнецов, Николай Дмитриевич II *662* Кузнецов, Павел Варфоломеевич II *675* Кузнецова, Мария Николаевна II 539 Кузьмин, Александр Андреевич I 60 Куинджи, Архип Иванович I 244—245,
250; II 315, *662* Куломзин, Дмитрий I 512—514 Куиioси, Утагава II 400 Купер, Джеймс Фенимор I 229, 393, 400,
418, 428, 435; II 245 Куперены, композиторы II 130 Курбатов, Владимир Яковлевич II 285,
310, 319, 348, 382, *687} 691* Курбе, Гюстав II *674* Курбский, Андрей Михайлович I 649 Куропаткин, Алексей Николаевич II 401 Куртейль, Никола I 33, 189 Кусов, Владимир Алексеевич II 304 Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович I 312, 317; 11*47 Кушелев-Безбородко, Николай Александ-
726
рович I 247; II 54—55, î¼ 399,*663—664* Кшесинская, Матильда Фекнксовна II 306, 342-343, 369, 384, 469—471, *69Ô, 695, 705*
Лавери. Джон II *677*
Лаврептьев, Андрей Николаевич II *710*
Лагорио, Лев Феликсович I 647; II 67,
5(13, *G6Î* Лагранж, Антон 1 666
Лагрене, Луи Жан Франсуа I 621; II 554
Лаказ, коллекционер II 140
Лакло; Пьер де I 668, 685; II *663*
Лалаев, Степан I 531
Ламбин, Петр Борисович II 304
Лами, Эжен Луи I 518
Ламони, Доменико Феличе II 494
Ламотт-Фуке, Фридрих I 568; II *657*

Ламуре, Шарль II 130
Лансере, Евгений Александрович I 56, 83-86, 153, 188, 204, 254-255, 347, 366, 369, 414, 442—444, 446, 448, 457, 606, *708;* II 65, 310, *421,593, 648*
Лансере, Евгонпй Евгеньевич I 86—87, 166, 188, 262, 347, 434—435, 520, 555, 626, 654, 663, 665, 693, 706-707; II 7, 45-46, 59, 65-67, 72, 99, 104, 119-120, 126— 127, 129, 134, 139, 156. 165—166, 169—170, 172-175, 177-170, 181, 231, 248, 251, 260, 286, 310, 344, 347, 361, 379, 382, 418, 420-422, 445, 464, 478-479, 561—562, 570, *593, 60S, 632, 676-677, 691, 703, 711*
Лансере (в замуж. Зелепкова), Екатерина Евгеньевна I 434, 437, 667; II 562
Лансере, Екатерина Николаевна — см. Бепуа, Екатерина Николаевна
Лансере (в первом браке Солнцева, во втором — Калачева), Мария Евгеньевна II 562
Лансере, Николай Евгеньевич I 87, 184, 105-196, 347, 434-435, 520, 693; II 45, 65, 242, 263, 285, 416, 418, 462, 562
Лансере (рожд. Арцыбушева), Ольга Константиновна II 421
Лансере (в замуж. Даниэль^, Софья Евгеньевна I 434-435; II 45, 58, 427—428, 562
Лапшин, Владимир Павлович II *694*
Лапшина, Наталья Павловна II *588*
Ларжильер, Никола II 140
Ларионов, Михаил Федорович И 545, *675, 709—710*
Латуш, Гастон П 399
Лафонтен, Жап I 247
Лашкевич, Николай Алексеевич I 139, 599
Лебедев, Владимир Васильевич II 200, *680*
Лебедев, Сергей Васильевич I 699
Леблон, Жан Батист Александр I 22, 635; II 308—309, Ш
Лев X (Джованни Медичи), папа II 378 Лев XIII (Джоакино Печчи), папа II 394 Левитан, Исаак Ильич II 87—88, 90—91, 192, 313, 317, 365, 454, *604, 669, 677,*
Левицкий, Дмитрий Григорьевич I 386,
644, 654, 687-689; II 201, 246, 346-347,
405-406, 416, 454, *640, 662, 680, 690* Левот, Генрих I 557—560. 614; ЇІ 553, *659* Левшииа, Александра Петровна II *700* Легат, Николай Густавович II 343—344,
370, 384, *609, 705, 709* Легат, Сергей Густавович II 343—344, 370,
690 Лего, Мария I 539 Леготе, Пабло I 604 Легуве, Эрнест II 579—580 Ледоре, Жан II 429 Ледоре, Пьер II 429, 432 Ледэ, Филипп Федорович I 531 Леже, Фернан I 221 Лейбл, Вильгельм

Мария II 439 Лейбниц, Готфрид Вильгельм I 631 Леиферт, Александр Абрамович I 221,

296; *П 646* Леихтенбергский, Георгий Николаевич I

25 Лекок, Шарль I 540; II *644* Лели, Питер (ван дер Фас) II 256, *684* Лемох, Карл Викентьевич I 246, 363 Лейбах, Франц фон I 518, 647; II 67—69,

113, 439, Ш Ленин, Владимир Ильич II *584, 602, 618,*

626, 687 Лепотр, Андрей II *672* Лентовский, Михаил Валентинович I 310;

II *647* Леонардо да Винчи I 103, 311; II 31, 136,

139—140, 205—206, 298, 498, *639, 667,*

674, 681, 712 Леонтьев, Леонид Сергеевич II 530 Леопольд II (бельгийский король) I 35 Лененау, Алечка I 244, 286, 288 Лепотр, Израэль Сильвестр II 160 Лепуатвен, Эжен Модест Эдмоч I 513 Лермонтов, Михаил Юрьевич I 296, 484,

505 Леру, Мари.— См. Венуа, Мари Легко. Пьер II *673* Лосснг, Готхольд Ефранм I 538 Лофевр, Жюль Жозеф I 491, 683 Лешетицкий, Теодор Ї 542; II *655* Либерман, Макс I 647; II 68, 164 Ливен П. А. I 540 Лиштсей. Ивп II 263—264 Ливнсей, Реджинальд I 118; II 263, 322 Ливнсей, Федор II 551 Ливисей (рожд. Эдварде), Эллен I 118 Лпдваль, Иоганн Фридрих II 495 Лилле, Роберт Христофорович I 27 Лимидо, Джованнина I 311; II *647*

727

Линевич, Леон Осипович II 265 Линке, Пауль I 509 Липгардт, Карл фон I 581, 695 Липгардт, Эрнест Карлович I 106, 579—

583; *П* 92, 205, Ш Липпи, Фшшнпнно II 38 Лис, Яп II 365 Лист, Ференц I 137, 283, 300, 323, 462, 525,

543, 593; II 281 Литавкпи, Сергей Спиридонович I 307 Литвин, Фелия Васильевна (Франсуаза

Жанна Шютц) II 373—374, 532, *708* Литке (Лндтке), Александр Николаевич

I410, 576-579

Литке, Константин Николаевич I 402, 405,

410, 577 Лифарь, Сергей Михайлович II 228, 267,

705, 709 Лихачев, Иван I 273—274 Лихачев, Николай Петрович II 453, *700* Лихачевы I 136, 200, 613 Лобанов-Ростовский, Алексей Борисович

II*663*

Логановскпй, Александр Васильевич 154

Локк, Джон I 631

Ломоносов, Михаил Васильевич I 511; II

408, *634* Лопг I 564; II *655* Лоигена, Балдасаре II *636* Лоиги, Алессандро и Пьетро II *640* Лоле де Вега II 479

Лопухов, Федор Васильевич II 546. ***710*** Лоиухова, Лидия

Васильевна II 517 Лоране (Лоран), Жан Поль I 491, 518; II
678 Лоран (Лоране), Франц Антон И 165 Лорансен, Мари I 547, *710* Лоренс, Томас II 452 Лорис-Меликов В. Т. II 335 Лоррен, Клод II 344 Лосев, Алексей Федорович II *608* Лотн, Пьер II 450 Лотто, Лорепцо II 256 Лохвицкая, Мирра Александровна I 554;
II 47 Лохвицкая, Надежда Александровна,—
См.: Тэффи, Надежда Александровна Лугебидь (Люгебйль), Софья Андреевна
I 478, 485 Лудвнг, Александр I 333—337 Лудвиг, Анна I 333—334 Лудвиг, Екатерипа I 333—334, 336 Лудвиг, Копстаптин I 333 Лудвнг, Федор I 333—334, 550 Луи Филипп Ї 37, 60, 123; II 73, **116, 122,**
243, 255, 573, *643*
«Яуини, Бернардиио II 493, 497—498 Лукин, Николай I 196 Лукини, Иван Францевич II *639* Лˆкка, Паолина I 98
Лукьянов, Сергей Иванович I 305, 438; II
476 Луначарский, Анатолий Васильевич II
584, 626 Львов, Александр Дмитриевич I 679; II
691 Львов, Николай Александрович II 691 Лыткнн, Анатолий Сергеевич I 47, 381 Людвиг II Баварский I 556, 595; II *656*—
658 Людерс, Давид II 378 Людовик XII *П 678* Людовик XIII II 145, *659* Людовик XIV I 33, 198, 246, 371, 603, 605;
II 14, 121, 143-144, 149, 160, 184-185,
210, 256, 446, **450,** 573, 575, *611, 658-659,*
671, 678. 681, 701 Людовпк XV 1 18Í, 300; II 22, 312, 563,
640, 642 Людовик XVI II 120, 143, 328, 409, ***640*** Люксембург, Роза II *664* Люлли, Жан Батист I 603; II **130,** ***646*** Ля Гулю (Вебер, Луиз) II *673* Лядов, Анатолий Константинович II *709*
Мавзол II 252
Маврин А. II 505—506, 705
Мадерна, Карло И 390, 493
Мадрадо, Федерико II 43
Мазарини, Джулио II 210
Мазцнг, Альберт Карлович I 549
Мазипи, Анджело I 74—75, 240; II 82
Мазуровекий, Владимир Внкентьевич II
661 Май, Агнесса Ивановна I 478, 484—485 Май, Карл Иванович I 7, 474—478, 481—
486, 488, 508, 513, 531; II 26, 79, *596, 652* Майоль, Аристид II *674* Макарт, Гаис I 250-251, 422, 609; II *671* Маклейз, Даниэяь I 162 Маковская-Лукш, Елена Константиновна
II *679* Маковский, Владимир Егорович I 252,
615; II 50, 92, 202, 247, 281, 325, 453, *614,*
638, 667 Маковский, Константин Егорович I 247,

366, 609, 687; II 201, 266, 453, *679, 691* Маковский, Сергей Константинович II

611 Макс, Габртэль I 250—251 Максимов, Дмитрий Евгеньевич II *686,*

699 Малафеев, Василий Михайлович I 291,

296, 368 Малларме, Стефан I 683; II *612* Мальхин (Малькпн), Иван I 481 Мальхин (Малькин) Э, К, I 480—482, 508 Малютин, Сергей Васильевич II 365, *677,*

680 Малявин, Филипп Андреевич I 630; II

192, 317, 454, *688, 691*

728

Мамонтов, Савва Иванович4 II 194, 212— 213, 224, 226, 289—290, 376, *679, 686*

Мане, Эдуард I 491—492, 518;4I 137, 317, 572, *612, 614, 653, 674*

Манжен, продавец картин II 158—159, 211

Мансурова (рожд. Ванлярская), Марианна Федоровна II 351

Маптенья, Андреа II 39, 572

Манцопи (Мапдэопи), Алессандро II 29

Мапчини, Мария 1 621

Марио, Джованни I 98

Мария Александровна, жена Александра II I 381

Мария-Антуанетта II 12Ö

Мария Николаевна, в. к. I 465; II 312

Мария Павловна, в. к. I 105, 620, 627; II 453

Мария Стюарт I 208, 390; II 115, *671*

Мария Терезия И 19, *665*

Мария Тюдор I 389

Мария Федоровна, жена Павла I I 25, 33—34, 52, 73, 258; II 300, 431, *635, 637*

Мария Федоровна, жена Александра **III**

I92-93, 117, 119, 590, 592, 695, 697; Л

188, 192, 326, 356-359

Маркварт, Клара I 509

Маркс, Адольф Федорович II 379

Маркусси, Луи I 221

Марселей (Эмиль Плана) I 248

Марсеру, Павел Петрович II 314—317,

319, 387—388 Мартене. Федор Федорович I 631—632,

638 Мартос, Иван Петрович I 346 Мартынов, Андрей Ефимович II 248 Мартынова, Елизавета Михайловна II 223,

682 Марфельд, Роберт Робертович II 354 Массне, Жюль I 540, 602, 643, 646 Массой, Апдре I 221 Матвеев, Андрей Матвеевич II 409 Матейке, Ян I 687; II *641* Матисс, Апри И 341, 448, 537, *613,*

674—

676 Матэ, Василий Васильевич II 50—51, 77,

113,262, *307,662, 668* Матэ, Ида Романовна II 262 Махаев, Михаил Иванович I 27; II *633—*

634 Медем, Екатерина Карловпа I 74 Медичи, Мария II 139, *673* Мейербер, Джакомо I 484, 610 Майергейм, Пауль ЇІ Ш—112, 569—570 Мейерхольд, Всеволод Эмильевич I 658;

II480, 541, *663, 701, 703*

Мейснер А. Э. I 122

Мейспер (рожд. Сапожникова), **Ольга**

Алекеаидровна I 103, 105 Мейсонье, Жан Луи Эрнест I 491, 518, 609,

683; II 399,655

Мекк, Владимир Владимирович **фон** II

376—379, 381, 395, *695*

Меклепбург-Стрелицкий, Георгий Георгиевич («Жоржакс») I 592—594; И 200, 351-352, 354—356, 419, 564

Меклепбург-Стрелицкий, Михаил Георгиевич I 592-593; Ц 351, 354, 564

Мелба, Нелли II 254

Мельников, Иван Александрович I 658*

П 82 Мельников, Павел Иванович (Андрей

Печерский) I 470 Мельцер, Роберт Фридрих II 212 Менар, Эмиль Репе I 248; II 146—148

165, 575-576, *643, 675* Менар, Репе II 147, *675* Мендельсон-Бартольди, Феликс I 610, 681

706 Менелас, Адам Адамович II *633* Мёнт, Лина I 540 Менцель, Адольф I 224, 518, 609, 623, 646—

647; II 12, 67, 110-112, 161—162, 414,

564, *609, 690, 697* Ментиков, Александр Данилович I 26,

635; II 351, *633* Мережковский, Дмитрий Сергеевич II

46—49, 291, 293—295, 297—298, 335, 368,

372, 549, *616, 618, 666—667, 686, 694,* ***703,***

710 Мериме, Проспер I 654 Мессаже, Андре Шарль Проспер II 486 Метерлинк, Морис I 683; II 77, 219, *704* Меттерних, Клеменс Венцель Лотар I 150,

475 Мещерский, Арсений Иванович II *661* Микеланджело Буонаротти I 247—248,

311; II 260, 275, 298, 341, 390, *689* Микетти, Никола II 309, 645 Микешин, Михаил Осипович II *680* Миклашевский, Константин Михайлович

II 478—479, *703* Миллес (Милле), Джон Эверст I 518 Милле, Жан Франсуа II 572 Миллер, Карл Иванович I 47 Мильман, Брайна Янкелевна II 265 Мильяра, Джовашш I 95 Минин, Николай

Васильевич II 329 Минкус, Людвиг Федорович I 307, 564 Мино да Фьезоле Il·37 Минский (Виленкин), Николай Максимович II 291, *686* Миньяр, Никола I 621 Миро, Жоан I 221

Миролюбов, Виктор Сергеевич II *686* Мистепгет (Буржуа, Жанна Мари) I 173;

II *641* Митрохин, Андрей Филиппович II 206,

681 Митрохин, Дмитрий Исидорович II 232 Митусов, Степан Степанович II 534—535 Михаил Александрович, в. к. I 76

Михаил Николаевич, в. к. II 192 Михаил Павлович, в. к. II 199—200 Михаил Федорович, царь I 300 Михайлов, Тимофеи Михайлович II *649* Моллер, Федор Антонович I 53 Молчанова, Екатерина Ивановна II *700* Моль, Эмиль I 478—480 Мольер (Поклен, Жан Батист) I 93, 300;

II 145,467, 544, *626, 654, 709* Монахов. Николай Федорович II 9 Мопе, Клод I 491-492, 518, 648; II 138,

151, 214, *653, 662-663* Монплезир, Ипполит II 647 Монтеклер, Мишель II 546 Монтескью, Фезензак Робер де II 448—

451, 473, 484, 509, 545, *700* Монтеспая де, маркиза II 450 Монферран, Огюст Ришар де II 494 Монье-Бертель, семейство II 142, 215,

221—222 Мордвинов, Александр Александрович I

25, 187 Мордвинова (рожд. Хис), Ольга Карлов-па I 534 Мордкин, Михаил Михайлович II 508 Морен, Эдмон Александр II 157 Моретто, Алессандро II 499 Морин, Яков I 527 Мориц (Морис) Саксонский II 22 Моро, Жан Виктор I 453; II *651* Моро, Гюстав I, 491; II 125, 160 Морозов, Александр Иванович I 607 Морозов, Иван Абрамович II 152, *676* Морозов, Сергей Тимофеевич II *679* Морозова (рожд. Остроумова), Мария

Петровна II 409 Морозовы, меценаты II 290 Моррис, Уильям II 224, *620, 683* Моцарт, Вольфганг Амадей I 236, 472,

052; II 254, 341, 476 Мофра, Максим II 438 Мудзалевский, Георгий Васильевич II

549 Мук. Карл *U 658* Мур, Томас I 81

Мур (Франческо де Мура) II 411 Муратов, Павел Павлович II *675* Муромцева, балерина II 329 Мурузи, Александр Константинович II 48 Мусатов — см.: Борисов-Мусатов, Виктор

Эльпидифорович Мусоргский, Модест Петрович I 7, 306,

641, 643, 649; II 341, 461, 473, 479, 483,

490, *706* Мутер, Рихард I *7,* 647. 685-689; И 51, 87,

136, 224, 259, 347, 557, *607, 612, 649,685,*

693 Мухин В. В. II 334 Мэк (Мен), Пьер Жюль II 96 Мюллер-Вальде II 205—206 Мюнц, Эжен II 206

Мюссар Е. Н. II *661*
Мюссе, Альфред де I 505
Мяеин, Леонид Федорович II 228, 538,
546, *705, 710* Мясоедов, Григорий Григорьевич II *667* Мятлева, Мария Ивановна II *700*
Навозов, Василий Иванович II 55 Наполеон I Бонапарт I 248, 331, 393, 496;
II 144, 245, 340, 651, *704* Наполеон III I 36, 41, 151-152, 155, 373;
II 17-18, 159, 450, 528, 570, *640, 643* Направник, Владимир Эдуардович I 462,
578 Направник, Эдуард Францевич I 578; II
373. Напс, Евгений Иоганн II 325 Нарбут, Борис I 433
Нарбут, Георгий Иванович I 433; II 232 Наттье, Жан Марк И 309 Невилль (Невиль), Альфонс Мири де I
247, 371 Нейман, Анжело I 594; II *658* Нейрейтер, Эуген Наполеон I 54 Неклюдов, Сергей I 506 Некрасов, Николай Алексеевич II *632,634* Нелидова, Екатерина Ивановна I 257 Неметти, Вера Александровна I 470 Немирович-Данченко, Владимир Иванович II *587* Нерон I 249; II 391 Нестеров, Михаил Васильевич I 687, 689;
II 87, 92-93, 189, 196, 204, 272, 275—
276, 313, *677, 685, 691* «Нетинька».— См.: Храбро-Василевская,
Нетинька Неустроев, Александр Александрович I
700; II 83, 323 Нефф, Тимофей Андреевич I 561; II *657* Нечаев, Иван Алексеевич I 189 Нечаев-Мальцев, Юрий Степанович I 545;
II 387-388 Ниепс (Ньепс), Жозеф Нисефор I 456; II
651 Нижинская, Бронислава Фоминишна II
530, *659, 705, 710* Нижинский, Вацлав Фомич II 466, 470,
473, 506-508, 511, 514, 520, 530, 534, 538,
702, 705, 706
Никитина, Варвара Александровна I 92,
308 Никколо да Удзано II 555 Николаева. Анна II 106—109, 116—117,
128, 165, 168, 170, 182, 193, 207, 216, 257,
359 Николай I I 20-21, 24, 52, 59—60, 75—
76, 111, 211, 257, 270—271, 289, 336, 380,
416, 456, 593, 700; II 71, 120, 244, 339-
340, 416, *633, 645, 667*
Николай II I *6,* 12, 76, 257, 363, 410, 634, 697-698; II 120, 198, 201-204, 272, 290,
299, 304-305, 330, 344-346, 365, 369, 376, 404, 412, 418-419, 421-422, 444, 452, 529, 553, *633, 672*

Николай Михайлович, в. к. II **331, 354,** 401—404, 406—407, 422, *689, 697*
Николай Николаевич, в. к. I 104
Николини, Эрнест Никола I 236
Никольский, Виктор Александрович ÍI *662*
Нильсон, Христина I 98, 240, 302
Ницше, Фридрих I 631; II 49
Иовоскольцев, Андрей Николаевич I 561; *П 657*
Норблен де ла Гурден II 399
Норденшельд, Иидьс Адольф Эрик *11649*
Нордман-Северова, Наталья Борисовна II 195
Нувель, Вальтер Федорович (Валечка) I 15, 57, 77, 166—167, 404, 479—481, 487— 490, 492, 496—497, 499—500, 502, 508—510, 513—514, 517, 520, 574—575, 578, 596, 599, 602, 609, 617, 625-626, 631, 640—641, 643, 651—652, 668—669, 680, 682—683, 686, 702, *709;* II 7, 13, 46, 48, 66, 85, 120, 190, 197, 204, 224-227, 247, 249, 251, 261, 263, 266, 285, 288, 291, 295, 309-310, 343-344, 361, 385, 408, 420, 473, 481-482, 513, 528, 537, 543, 552-553, 564, 566-567, *632, 669, 703*
Нувель, Матильда Андреевна I 488, 500, 502, 515
Нувель (в замуж. Геккерн), Матильда Федоровна I 489
Нувель, Ричард Федорович (РикардоНор-ди) I 489
Нувель, Федор Федорович I 489
Нувель, Эдуард Федорович (Эдя) I 487, 489
Нурок, Альфред Павлович (Силен) I 610, 685, *709;* II 7, 73, 145, 153, 230-231, 247, 249, 251, 253, 279-280, 310, 361, 382, 445, 512-513, 526, 566—567, *703, 706*
Обер, Артемий Лаврентьевич (Артюр) I 57, 76, 140, 144, 190, 192, 412, 510, 666, 675, 681-682, 689, 707, *708, 711;* II 8, 10, 51, 94-101, 165, 178, 181, 211, 379, 382, *640, 664, 670*
Обер (рожд. Вебер), Наталья Францевна II 94-95, 99-101, 164-165, 382, *670*
Оберлендер, Адольф I 224, 231—232, 245; II *643*
Облакова, Екатерина Александровна II 268
Оболенский, Владимир Николаевич II 195
Образцов, Михаил Захарович («Зюзя») I 483, 488
Овербек, Иоганн Фридрих I 53
Овидий, Публий Назон I 403, 439, 479
Огнев, Сергей Владимирович II 520
Одио, Жан Батист Клод I 32
Озаровский, Юрий Эрастовпч II **371**—372
Окегем, Жан II *653*
Олив, Елена Павловна II *640*
Олив, Михаил Сергеевич II *640*

Олив, Сергей II 120
Оливье, художник I 34, *708;* II *635*
Ольден, Томас I 288—289; II *646*
Ольденбургская (рожд. Лейхтенберг-
ская), Евгения Максимилиановна I 61.
465, 695-697; II 318, 322, 350, 387, *692-*
692 Ольденбургский, Александр Петрович I
25, 135, 296, 465; II 521 Ольденбургский, Петр Георгиевич II *639* Ольджиати, Изиде II 492 Ольджиати, Карлино II 492 Оне, Жорж I 489
Онуа, Мари де I 229, 539; II 553, *643* Орик, Жорж II 546 Орлов, Александр Александрович II 531г
708 Орлов, Владимир I 403 Орлов, Владимир Николаевич II 332 Орлов, Григорий Григорьевич II 353, 408,
692 Орлова (рожд. Белосельская-Белозер-
екая), Ольга Константиновна II 302,
332 Орлов-Давыдов, Алексей Анатольевич I
398 Орловы-Давыдовы, графы II 407—408 . Орловский, Александр Осипович I 96, 689;
II 56 Оскар II, шведский король I 420 Осокин, Константин Семенович I 36, 189 Остаде, Исаак ван I 610 Островский, Александр Николаевич I
400, 470, 540; II 270, 367, 440, 446 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна I
630, 699; II 248-249, 285, 313-314, 382t
388, 409, *587, 603, 632, 659, 679, 684, 694* Остроухов, Илья Семенович II 290, 333г
365—368 Остроухова (рожд. Боткина), Надежда
Петровна II 365—368 Оффенбах, Жак I 540; II *644*
Павел I I 21, 27-28, 33, 129, 183, 256— 257, 377, 545, 586, 593; II 61, 82, 300г 308, 330, 356—358, 416, 454, 463, 563, ***634,*** *637, 644, 680, 690, 692, 701, 703, 711*
Павел Александрович, в. к. I 60, 588; II 192
Павлинов, Андрей Михайлович II *638*
Павлова, Анна Павловна (Матвеевна) I 308; II 414, 469-470, 472-473, 478, 506г 508, 511, *690, 705, 706*
Павлова (Антонова), Варвара Павловна II 344
Падеревский, Игнаци II 129

Падовапино (Варотари, Ллессандро) 1162 Палисадов, священник I 65, 402, 408—409 Панаев, Александр Ипполитович I 503 Панаев, Валериан Александрович II *662* Папина, Софья Владимировна II 319 Панчетта, Александр Павлович (Саша)
I 47, 57, 208, 414 Парен, Апри II *673* Парланд, Альфред

Александрович I 101,
563; II *638* Парросель, Жозеф II 56 Паскевич, Иван Федорович I 417 Патерсоп, Джеймс II *677* Патти, Аделина I 98, 615 Пенгильи-Ларидон, Октавьен I 230 Паул юс, Адольф II *669, 677* Перголези, Джованни Баттиста II 546,
709 Переплетчиков, Василий Васильевич II
88—90, 272, *669—670, 694* Перов, Василий Григорьевич II 259, 325,
657 Перовская, Софья Львовна II *649* Перро, Жюль Жозеф I 606 Перро, Клод II *672* Перро, Шарль I 229, 539, 601, 605; II 543,
553, *643* Перуджино, Пьетро Вануччи I 53; II 38,
594 Перцов, Николай Иванович II 413 Перцов, Петр Петрович II 291, 294—295,
297, 413, *686—687, 693—694* Песталоцди. Иоганн Геприх II 652 Петипа, Мариус Иванович I 311, 605—
606, 652; II 541, 543, *649, 656, 659—660,*
709 Петипа, Мария Мариусовна I 305—306,
368, 438-440; II 476-477 Петр I I 12, 14, 22-24, 26, 29, 40, 155,
197, 257, 266, 238-269, 376, 385, 413—
444, 484, 577, 635, 649; II 18, 73, 109, 227,
260, 308-310, 338, 351, 357, 366, 381-382,
387, 403. 405, 408, 4J 6, 464, 533, 549, *604,*
633—634, 645, 658, 667, 687, 696, 701 Петр II II 403 Петр III I 21; II 61, 351, 353 Петренко, Елизавета Федоровна II 511 Петрини, Джузеппе Аитоиио II 498 Петров, Всеволод Николаевич II *588* Петров, Петр Николаевич II 406, *697* Петров, Николай Степанович II 304 Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич II *587* Петромап, машинист сцены II 486—487 Петроний (Гай Петроний Арбитр) II *708* Петтенкофер, Макс II 73, *668* Пигльхейн, Бруно I 371; II *649* Пизано, Андреа II 38 Пизано, Джованни II 35 Пизано, Никколо II 35 Пизистрат I 482 Пикар, антиквар II 121—122
Пикассо, Пабло I 674; II 341, 546, *676t*
710 Пикколи, Ольга II 495 Пилой, Жермеи II 574 Пилотн, Карл Теодор I 251; II 439 Пильмэн, Филипп I 22; II 309—310, *645* Пименов, Стенай Степанович I 192 Пнно, Никола I 22; II 309, *645* Пинтуриккио (Бернардпно ди Бетто ди
Бьяджо) I 53; II 391, *594* Пиранези, Джованни Баттиста I 52 Писемский, Алексей Александрович I
619; II 55, 88, 162 Пнссарро, Камилл I 647; II 151, *674* Платер, Николай Георгиевич II 433—436 Платон I 480—481, 631 Плеве, Вячеслав Константинович I 7\ II
413, 417 Пловицкая (Виинникова), Надежда Ва-
сильевпа II 529 Плеханов, Георгий Валентинович II 437,
667, 694 Пнин, Петр Иванович II 411 По, Эдгар I 146; И 481

Победоносцев, Константин Петрович I 7,
121; II 196 Пожалостин, Иван Петрович I 561; II *711* Поленов, Василий Дмитриевич II 201,
691 Половцев, Анатолий Васильевич I 651;
II 46-47, 51 Полонский, Яков Петрович I 142, 203,
599—600 Полякова, Елена Дмитриевна II 520 Померанцев, Александр Николаевич II
662 Помпадур (Пуассон, Жанна Антуанетта)
I 657 Понкиелли (Понкьеллп), Амплькаре I
240, 553 Понсон дю Террайль, Пьер Алексис I 538 Понятовский, Станислав Август (польский король) II 651 Попов, Александр Александрович II 223 Потапов, Владимир I 399—400, 409, 411 Потемкин, Григорий Александрович I
629, 656; II 227, Ш Потемкин, Петр Петрович II 481, 514, *703* Потлет, Апдре I 372—375 Поттер, Пауль II 325 Прахов, Адриан Викторович II 195—196,
395—396, 433, *680, 696* Премацци, Луиджи I 94—95, 381 Преображенская, Ольга Иосифовна (Осиповна) I 473; II 213, 344, 469, *705* Преснов, Григорий Макарович II *696* Прециоза (Preciosa Grigolatis) I 541 Прине, Рене II 147
Прокофьев, Иван Прокофьевич I 183 Прокофьев, Сергей Сергеевич II *709*
732
Протейкинский, Виктор Петрович («Ви-
сенька») II 280-285, 292, *712* Протопопов, Всеволод Дмитриевич I 493;
II 258-259, 348, 458—459 Пружан, Ирина Николаевна II *660* Пруте В. II 119, 157-159, 211, 248, 434 Пруте, Поль II 157 Прюдон, Пьер Поль I 249, 441, 518, 528;
II 573 Пти, Жорж I 96 Пуаре, Эммануил (Каран д'Аш; Сагап
d1 Ache) II *673* Пуленк, Франсис II 546 Пуни, Цезарь I 532, 555, 564; II *599, 656* Пурталес, Фридрих II 355 Пуссен, Гаспар.—См.: Дюге, Гаспар Пуссен, Никола I 243, 699; II 136, 139, 144,
148, 359,411, 572-573,575 Путятин М. С. I 118, 467 Пушкин, Александр Сергеевич I *6,* 296,
484, 489, 505, 539, 562, 643, 653—654, 657;
II 6, 265, 338, 396—397, 410, 456, 479,
487, *583, 603, 626—627, 632, 634, 684,*
700, 711 Пьяцетта, Джованяи Баттиста II 498 Пыпип, Александр Николаевич I 578 Пыпип, Дмитрий Александрович I 510,
578, 596, 602, 651 Пюви де Шаванн, Пьер I 491, 646—647;
II 67-68, 141, 572, *685* Пгопьо, Рауль II 129
Рабле, Франсуа I 231

Равель, Морис II 510
Радзивиллович, Иероним Владимирович II *703*
Радлов, Василий Васильевич I 485
Раевская, Елизавета Ильинична (тетя Лиза) I 57, 71-77, НО, 163, 190, 283, 379, 382, 414, 540, 566, *708;* II 239, 562, *637*
Раевский, Илья Александрович I 73
Райляи, Фома I 560—561
Ранмупд, Фердинанд II *655*
Рамм А. П. II *660*
Рамазанов, Николай Александрович I 54
Рамо, Жан Филипп II 130
Pacini, Жан II 144
Расине, Альбер Шарль .Огюст II 405
Расне, Генрих II *665*
Распутин (Новых), Григорий Ефимович II 410
Растрелли, Бартоломео (Варфоломей Варфоломеевич) I 101, 338, 656; II НО, 274, 308, 321, *619, 633—634*
Растрелли, Карло Бартоломео II 309, 382, *696*
Ратков, Авраам Петрович II 82
Ратьковы II 266
Ратьков-Рожнов, Александр Николаевич (Саша) I 503; II 442
Ратьков-Рожнов, Яков Владимирович II
351
Раухфус, Карл Андреевич II *639*
Рауш фон Траубенберг, Константин Николаевич II 337—338, 382, 455, *689*
Рауш фон Траубенберг, Наталья Владимировна II 455
Рафаэль (Рафаэлло Санти) I 53, 214, 237 242-245, 247, 311, 362, 437, 528, 581, 587;' II 143, 275, 298, 390-391, 573, *594-595*\ *674, 689*
Раффе, Август II 210, *682*
Раффе, Денис Огюст Мари II 210
Рахау К. К. II *656*
Рахманинов, Сергей Васильевич II *700*
Рашетт, Антуан Жан Доменик II *647*
Ребсрн, Генри I 585; II 452
Редковский, Андрей Алексеевич II 55
Ре до н, Одилон II *614*
Рсжан, Габриэль I 539
Резанов, Александр Иванович I 52, 60, 5íi0, 563; II *637—638*
Решюлдс, Джошуа I 585; II 250, 452
Репс, Федор I 497
Реисдаль, Якоб ван дер I 610
Рембо, Артюр II *612*

Реморапдт Харменс ван Рейн I 51, 180 224, 582, 611, 699; II 139-140, 146, 162 170, 234-235, 249, 298, 341, *660, 689*
Ремизов, Алексей Михайлович II 514, 516 *703*
Рен, Кристофер II *684*
Реваи, Жозеф Эрнст I 548; II *656*
Рени, Гвидо I 508; II 74
Репо, Анри I 456, 518
Ренуар, Пьер Огюст I 491—492, 518, 624, 647, 683; II 137-138, 151, *674*
Рснье, Анри де II 509, 580
Репетто, Эльвира Тризолини I 240, 463
Репин, Илья Ефимович I 165, 168, 249, 252-253, 492, 608, 630, 674-675, 687, 689, *708, 710;* II 8, 42, 46, 50, 86, 88, 92, 97, 189, 192, 195, 201—202, 204, 453, 563, 565, *607, 617—618, 640—641, 644ч 648, 650, 653, 657, 662, 664, 666, 668, 670, 679t 688, 690—691*
Репин, Юрий Ильич II *679*
Репина (рожд. Шевцова), Вера Алексеевна II *653*
Рерих, Николай Константинович I 474, 485-486, 511-512; II 387, 414, 576, *651—652, 680. 697, 703*
Рёскин, Джон II 250
Ретель, Альфред I 518
Решке, Эдуард II 254
Решке, Ян Мечислав II 254
Рибера, Хосе де II *657* Рибо, Огюст Теодюль II 151 Ривьер, Анри II 133, *673* Риго, Жан II 160, *676*
733
Рильке, Райнер Мария I 23; II 311, *633,*
687—688 Римский-Корсаков В. В. II *657* Римский-Корсаков, Николай Андреевич
I240, 306, 626, 643, 649; II 456-457, 531,
533, 538, *660, 662, 700, 706—709*
Ринальди, Антонио II 110, 308, 353, 408,
633, 692 Ритт, Августин I 33 Рихард, Пауль I 509—510 Рихтер, Людвиг I 56, 224, 363, 518; II 14,
44, *665* Роббиа (Андреа делла Роббиа и Лука дел-
ла Роббиа) II 38 Робер, Гюбер I 315; II 435, *640* Робер, Жаниет Леонтьевна.— См.: Бенуа.
Жаниет Леонтьевна Робер, Огюст I 34; II *635* Робеспьер, Максимилиан II 245 Ровинский, Дмитрий Александрович II
405 Роден. Огюст II 179, 572 Родичев, Федор Измаилович II 8, 120, *665* Розанов, Василий Васильевич II 291,
294—299, *616, 686—687* Розенберг. Исай Самойлович II 286—288,
471-472, *702* Рокотов, Федор Степанович I 644; II 347,

406, 454, *640* Роллан, Ромен II *708* Роллер. Андрей Адамович I 27, 300, 559;
II*656*
Романов, Борис Георгиевич II 530, 536,
546 Романовская (рожд. Робер), Екатерина
I126; II 64
Романовский, Евгений Осипович I 126
Ромней (Ромни), Джордж II 452
Рослен, Александр II *640*
Росселино, Бернардо II 37
Россетти, Данте Габриэль I 518
Росси, Александр I 54
Росси, Карл Иванович II 199—200
Росси, Эрнесто I 74, 164, 599—600
Россини, Джоаккино I 236
Россоловский, Вячеслав Сильвестрович
(«Яозо») I 57. 84, 153, 165—166, 250, 252,
366. 379, 414, 594, 678, 688—690; II 46с-
47, 99, 239, 562 Ростиславов, Александр Александрович
II*702*
Ростовцев И. И. I 531
Ростопчин, Федор Васильевич I 257 Ростопчина (де Сегюр), Софья Федоровна
I 160, 229, 233. 257; II 115 Роттенгаммер, Ганс II 326 Ротшильды II 140 Рошгросс, Георг Антуан I 491 Руабе, Фердинанд I 491: II 151 Рубенс, Питеп Пауль I 180, 582, 699; II
139, 234-235, 572, *674, 689*
Рубинштейн, Антон Григорьевич I 240—
241, 323,462, 543, 553,587, 593; II 199,473 Рубинштейн, Ида Львовна II 475, 476, 509,
520, *702, 705* Рубинштейн, Яков Антонович I 587 Рублев, Андрей II 366, *700* Румянцевы II 227 Руо, Жорж I 674; II 448 Руссель, Альберт I 647; II 152 Руссо Анри I 34; II *676* Руссо, Жан Жак I 668; II *663* Руше, Жак II 538-539 Рыдзевский, Константин Николаевич II
345 Рысаков, Николай Иванович II *649* Рябушинский, Николай Павлович I *8*\ II
433, 439—440, 446-447 Рябушинские II 366 Рпбушкин, Андрей Петрович II *677*
Сабанеев, Евгений Александрович II 71,
319, 386—387 Сабат К. Ф. II 248 Сабашникова, Маргарита Васильевна II
438, *703* Сабуров, Андрей Александрович I 129; 580 Сабурова, Александра Андреевна I 129 Сабурова, Елизавета Владимировна

(тетя Леля) I 129, 579—580, 582, 587 Сабурова, Мария Андреевна I 129 Савина, Мария Гавриловна I 541 Савинков, Борис Викторович II 444, *694,*

699 Савинов, Алексей Николаевич II *584—*

585, 628, 631, 641 Савицкий, Константин Аполлонович I 252 Савольдо, Джовашга Джироламо II 31 Савонарола, Джироламо I 409 Сад, Донасьен Альфонс Франсуа I 685 Садовников, Василий Семенович I 41 Саккетти, Ливерий Антонович II *703* Саксен-Альтенбургская (рожд. Меклен-

бург-Стрелицкая), Елена Георгиевна I

586-587; II 351, 354-355 Сали, Рудольф II *673* Салтыков {Щедоии), Михаил Евграфо-

вич I 400; II *661* Сальвини, Томмазо I 74, 164, 472 Сальмон, Эмиль Фредерик II 165 . Сальников, Александр Борисович II 467,

659 Сан-Галли, Франц Карлович I 465, 530 Сандро,— См.: Боттичелли Санин (Шенберг), Александр Акимович

II 478, 483, 488—489, 578. *703* Сапожников, Александр Александрович I

103 Сапожиикси, Александр Петрович II 205 Сапожников, художник-любитель I 226

Сапожникова, Мария Александровна.— См.: Бенуа, Мария Александровна

734

Сапожцикова, Нина Александровна I 104 Сапожникова, Ольга Александровна.—

См.: Мейспер, Ольга Александровна Сапожниковы I 100, 104—105; II 205, *647* Сар-Пелладон (Пеладаи), Жозефен 1683 Сац, Илья Александрович II *703* Светлов (Ивеченко), Валериан Яковлевич II *70S* Свечинские I 159, 223, 243—244, 460 Свечинский, Николай Кириллович I 243—

244

Свифт, Джонатан I 231; II 250

Свитополк-Четвертинская,Екатерина

Константиновна («Киту») II 52—55, 57,

103, 105, 122, 124—125, 185—186, 198,

202-204, 211, 223-224, 231-239, 247,

255, 563, *668* Себастьяно дель Пьоыбо (Себастьяно Лу-

чиани) I 90 Седова, Юлия Николаевна II 469 Сезанн, Поль I 647; II 151—152, 439, *613—*

615, 652, 674 Семенов-Тяп-Шанский, Петр Петрович

II 321 Семенова, Екатерина Семеновна II 82 Семирадский, Генрих Ипполитович I 249,

562, 609, 687; II 201 Сен Жорж, Жюль Анри II *656* Сенкевич, Генрик II 177, *702* Сен-Леон (Мишель), Шарль Виктор Ар-

тюр I 606; II 543 Сеи-Санс, Камиль II 68, 129 Сен-Симон, Луи де Рувруа II 184, *678,*

681 Сера, Жорж II 151-152, *674* Сервандони, Джовашш Никколо II 143 Сервантес де Сааведра, Мигель I 304 Сергеевич, Василий Иванович I 631—632 Сергей Александрович, в. к. I 696; II 192 Сергей Михайлович, в. к. II 306, 342—343,

345 Сергий, епископ Ямбургский II *686* Сергий Радонежский I 687; II 92—93, 275,

670 Серебряков, Анатолий Александрович I

254, 442 Серебрякова (рожд. Лансере), Зинаида

Александровна I 87—88, 254, 444

Серебрякова (рожд. Лансере), Зинаида Евгеньевна II 45, 389, 562, *593, 650*

Серебрякова, Татьяна Борисовна I *708;* II *631*

Серов, Александр Николаевич I 283; II 704

Серов, Валентин Александрович I 625, 628, 644—645, 687, *709·,* II 51, 87—91, 190, 192—193, 213, 229, 260—262, 268, 280—281, 290, 305, 314, 317, 343-344, 347, 362, 365, 367, 369, 374, 376, 385, 453— 454, 464, 528, *604, 657, 660-670, 675—*

677, 680, 682, 688, 691, 694, 696, 699, 705, 707, 711, 712 Серт, Хосе Мария I 491, 535, 538; II *708* Сигизмунд I 417; II 45 Симон, Жанна II 149—150, 165, 448 Симон, Люсьен II 147—148, 150—151, 165

399, 459, *675* Симона, Луиджи II 494, 496—498 Сииьяк, Поль II 152 Сипягин, Дмитрий Сергеевич II 382, 417,

696 Спелей, Альфред I 492, 647; II 138, 151,

674 Скалоп, Александр I 493, 589 Скалой, Варвара I 493 Скалой, Николай I 77, 481, 492—495, 499,

514, 574, 589, 609, 630, 682 Скамони, Бруно Георгиевич II 319—320

399 Скарлатти, Джузеппе Доменико II 546,

710 Скиавоне (Скьявоне), Иатале I 38, 40 Скотт, Вальтер I 552, 654; II 245 Скотти, Михаил Иванович I 54, *708* Скриб, Оггост Эжен I 420 Скрябин, Александр Николаевич II 455,

660, 700 Славина, Мария Александровна I 657; II

82, 374 Слезкиина, Константция.— См.: Бенуа, Константция Слонимский, Юрий Иосифович II *659* Смирнов, Александр II 436 Смирнов, Гавриил Григорьевич I 121 Смирнов, Дмитрий Алексеевич II 483, 490,

511, 578 Смирнов, Яков Иванович II 320 Снайдерс, Франс II 325 Собеский, Ян I 415 Собко, Николай Петрович II 314—315,

638 Core, Анри II 547 Соколов, Александр Петрович I 607; II

161, 419 Соколов, Петр Петрович II 161—162 Соколова, Евгения Павловна I 92, 308,

31], 368; II 469 Соколова, Наталья Ивановна II *588* Сократ I 557; II 297 Солнцев, Федор Григорьевич I 562 Соловьев, Александр Константинович I

379—380; II 649 Соловьев (Андреевич), Владимир Андреевич I 403, 439—440, 493 Соловьев, Владимир Сергеевич II 8, 281,

664 Сологуб (Тетерников), Федор Кузьмич II

48, *703* Соломко, Сергей Сергеевич I 694; II *691* Солянников, Николай Александрович II 508

735

Сомов, Александр Андреевич I 473; II 59,

82—83

Сомов, Андрей Иванович I 497, 500, 651, 700; II 56, 80—81, 83, 190, 223, 315, 323, 327, 356, 361, 386

Сомов, Копстантип Андреевич I 181, 299, 404, 473, 487, 492, 496-498, 520, 630, 651, 654, 682, 685, 700, 704—705; II 46, 59, 73. 77, 79-86, 94, 101, 104, 127, 160, 173, 182—183, 189—192, 194, 211, 223, 225, 231, 248-251, 254, 263, 279, 288ˆ289, 301-3Ö2, 310, 382, 411, 441, 454, 481— 482 516, 563, *628, 669—€70, 675—677, 681—682, 684, 690—691, 694, 703, 711*

Сомова (в замуж. Михайлова), Апна Андреевна (Анюта) II 80-83, *669*

Сомова (рожд. Любимова). Надежда Константиновна II 80—82, 86, 190, *669*

Сорро, Елена II 358

Спесивцева, Ольга Александровна II 414

Сниноза, Бенедикт I 610

Станиславский (Алексеев), Константин Сергеевич II 415, *585, 587, 700*

Старов, Иван Егорович II *663*

Стасов, Василий Петрович I 371

Стасов, Владимир Васильевич I 250; II 50, 86-87, 96, 382, *609, 653у 666, 679, 688, 696*

Стасова, Надежда Васильевна II 653

Стевенс, Альфред II 450

Стейнлен, Теофиль И 117

Стеллецкий, Дмитрий Семенович II 461, 485, 489, 514, 516, *700, 701*

Стенбок-Фермор, Владимир Васильевич II 477, *702*

Стендаль (Анри Бейль) I 674

Стенич, Валентин II *663*

Степанида, служанка I 66—67, 70, 118, 219, 262, 319, 345, 358, 382, 384, 406, 516, 569, 707; II 10, 64

Степанов, Иван Михайлович II 349—350, 382, *691*

Степанов, Клавдий Петрович И 41—42, 44

Степанов, глухонемей художник II 172
Стернин, Григорий Юрьевич II *617, 662ш 687*
Стессель, Анатолий Михайлович II 400
Стравинский, Игорь Федорович I 289, &27; II 178, 508, 513—516, 521-527, 529, 531, 534-535, 537, 540, 545-546, *659, 705—710, 712*
Строганов, Сергей Александрович II 321—322
Строганов, Сергей Григорьевич II *640*
Струве А. Е. И *648*
Струков, Дмитрий Петрович II 403
Стуколкин, Тимефей Алексеевич I 305, 307, 3д3, 364, 606
Сувестр, Эмиль I 229—230; II 166 Суворин, Алексей Алексеевич II *698* Суворин, Алексей Сергеевич I 690; II 327,
640, *655, 679, 6S3, 698* Суворов, Александр Васильевич II 27—
28, 338, 420 Судейкин, Сергей Юрьевич II *703* Судковский, Руфим Гаврилович 1 250 Суздалев, Петр Кириллович II *685* Сурбаран, Франеиско I 459, 694 Сурпков, Василий Иванович I 252, 687;
II 189, 201, 453, *607, 648* Сухово-Кобылин, Александр Васильевич
I 540 Сухомлинов, Владимир Александрович I
112' Сю, Эжен II 245
Сюзор, Павел Юрьевич Н 241, 315 Сюлли (Макеимилъян де Бетюн) II 357
Тагрин, Николай Степанович I *709*
Тальони, Поль II *655*
Талябина.— См.: Гальнбек, Наталья Лю-бимовна
Таманов (Тамапян), Александр Иванович II 416, 443, *698*
Тамберлик, Энрико I 98
Танеев, Александр Сергеевич II 303, 346, 375
Танеев Сергей Иванович II 303, *706*
Тархов, Николай Александрович II *675*
Тассо, Торкватто II *701*
Таубе (в замуж. Лансере). Ольга Карловна (бабушка Е. А. Лансере) I 84
Таузиг, Карл I 462
Тацит, Публий Корнелий II *708*
Теккерей, Уильям Мейкпис I 74; II 250
Теляковская (рожд. Миллер), ГурлияЛо-гиновна II 457, 484
Теляковсккй, Владимир Аркадьевич I 308, 605: II 271—272, 369—370, 372—374 457, 472—473, 476—477, 483—484, 486, 542
Теиишев, Вячеслав Николаевич II 123— 125, 173, 195. 212—213, 223, 577, *672, 680*
Тенишева, Мария Клавдиевяа II 52—55 57, 78, 93, 101-103,

105, 110, 121-125, 147, 150, 160-162, 185-186, 190-191, 194—199, 201—204. 207. 211—21Я. 223— 224, 226, 231—239. 241 247. 255, 2¾9 376. 380, 399, 414. 557, 562—563, 569. 577, *638, 668, 671, 676, 679—682, 696—697, 711*

Тениисон, Альфред I 81

Теплов, Григорий Николаевич II *647*

Тернавпев. Валентин Александрович II 291, 293, 297. *686*

Тёриер, Уильям I 518

Териовец, Борис Николаевич II *675—676*

Тепгшгорев (Атава), Сергей Николаевич II 161, *676*

Тиерри, Томе II 140

736

Тик, Людвиг I 571; II *658*

Тимофеева, Мария Николаевна I 611—613

Тинторетто (Якоио Робусти) I 132, 311;

II 31, 43, 256, 341, 549, 572 Тиссо, Джеймс I 617 Тициан, Вечелли I 180, 582, 587, 699; II

43, 140, 390, 572, *674, 689* Тишбейн, Людвиг Филипп II *632* Толстая (рожд. Берс), Софья Андреевна

II 407 Толстой, Алексей Константинович II 462 Толстой, Алексей Николаевич II *658* Толстой, Дмитрий Андреевич I 490 Толстой, Дмитрий Иванович II 416 Толстой Д. М. И 420 Толстой, Дмитрий Николаевич 1 404 Толстой, Иван Иванович I *ñi8,* 629—630;

II 8, 51-52, 198, *661—662* Толстой, Лев Николаевич I 473, 494, 505,

704; II 47, 98, 195, 225, 279, 401, 407-

408, *617—618, 651, 667, 686, 689* Толстой, Федор Петрович 1 226—227, 302,

373, 376, 427, 441; II *643* Тома, Амбруаз I 602 Томасов, Николай Николаевич I 402—404,

480, 495 Томассен, Жанна I 74, 539; II *637* Томилиус, органист I 550 Томишко, Анатолий Осипович I 101; II

662 Томой, Тома де II 312, 411, *632* Той, Константин Андреевич I 52, 55; II

632, 637 Тонков, Иван Михайлович II *645* Тончи, Сальваторе (Николай Иванович)

I257; II 356, *692*

Торвальдсен, Бертель I 360, 421

Торслли, Стефано И 353, 493, 564

Трахтенберг, Осип I 357

Трезини, Джузеппе Андреа Пьетро IJ 309, *662*

Тропов, Федор Федорович I 379; II *665*

Третьяков, Павел Михайлович II 78, 102, 185, 193, 332, 370

Трефилова, Вера Александровна (Ивановна) II 469
Троиницкий, Сергей Николаевич II *640*
Трояновский, Иван Иванович II 365, *694*
Трубецкой, Паоло (Павел Петрович) II 459, *592, 675*
Трубецкой, Григорий I 304
Трубников, Александр Александрович (Андрей Трефилов) II 640
Трутонекий, Владимир Константинович
II381
Трюбиер, Вильгельм II 439 Тугендхольд, Яков Александрович II *609* Тулуз Лотрек, Анри II 118. 134—135, 318,
673 Тургенев, Иван Сергеевич I 407, 441, 470,
505, 539, 598; II 245
Турецкая, Евдокия I 702
Тьеполо, Джован-ни Баттиста I 41, 122 136, 581, 599; П 40, 498, 549, *640*
Тьеполо, Домешшо 1 621; II 356
Тьер, Луи-Адольф I 151
Тыркова, Ариадна Владимировна II *653*
Тэн, Ипполит I 637
Тэффи (Лохвицкая), Надежда Александровна I 554; II 47
Тюменев, Илья Федорович II *657*
Уайльд, Оскар I 685; II 171, 544, *709* Успенский, Александр Иванович II 364,
395, *692* Устинова, Надежда Леонтьевна.— См.:
Бенуа, Надежда Леонтьевна Устинов, Питер I 106 Утамаро, Китагава II 400 Уэллс, Герберт I 181; II *619* Уэтам Г. I 240
Фальке, Яков (Якоб) фон I 543; II *655*
Фальконе, Эжен Морис I 155
Фантен-Латур, Анри II 145, 152
Фарпнелли, Карло II *651*
Феваль, Поль I 435, 538
Федор Кузьмич, старец II 330, *689*
Федорова, Александра Александровна II
506 Федорова, Ольга Васильевна II 414, 505—
506, 511 Федорова, Софья Васильевна II 414, 505,
511, 520 Федотов, Павел Андреевич I 687; II 189,
259 Фелипото (Филиппото), Феликс Эммануэль Анри I 370 Фельтен, Юрий Матвеевич II *656* Фену, Александр Николаевич I 573—574 Фену, Евгений Николаевич I 554, 573—
574 Фену, Наталья Николаевна I 573—574 Фону, Николай Осипович I 555, 573 Ферзен, Николай I 110—111 Ферман, Александр Владимирович I 551 Ферпи-Джермано, Вирджиния I 142, 240,

602 Феррари, Гаудепцио II 55—56, 399, 497 Фигнер, Медея Ивановна I 652, 656; II 82 Фигнер, Николай Николаевич I 651, 657;

II 532 Фидий I 421

Фнксен, Мари.— См.: Бенуа, Мари Филдицг, Генри II 250 Философов, Владимир Владимирович I

500, 501, 503 Философов, Владимир Дмитриевич I

500—502, 507; II 30, 81, *653, 654* Философов, Дмитрий Александрович I

503

Т37

Философов, Дмитрий Владимирович I 15, 77 142, 166, 180, 192, 240, 404, 410, 479, 481 487, 492, 497, 499-500, 502-503, 505-508, 510, 513, 514, 520, 574, 577, 599, 601, 609, 6Ї7, 626, 630, 640-642, 644, 651,

686, 689; II 7, 30, 46, 48, 67, 72-73, 77 79-80, 87, 163, 190. 226-228, 230-232, 246-247, 260-261, 265-266, 279, 283-286, 288-291, 294, 297, 300, 302, 310 319, 346, 361, 363-364, 368-369, 372, 382, 387, 396-397, 406-408, 413-414, 424 444, 512, 552-553, 564-565, 579, *595, 597, 604, 612, 615, 621, 641, 653, 667,*

693—694, 699

Философов, Дмитрий Николаевич I 507— 508; II *654*

Философов, Павел Владимирович (Поленька) I 500, 503

Философова (рожд. Дягилева), Анна Павловна I 142, 500—502, 505, 507—508, 598, 640; II 81, 190, 266, *653*

Философова (в замуж. Ратькова-Рожно-ва), Зинаида Владимировна Т 500, 503; II 72, 442

Философова (в первом браке Бибикова), Мария Алексеевна I 504

Философова (в замуж. Каменецкая), Мария Владимировна I 500—501, 503

Философова М. М. I 507; II 654

Фильд, Хамфри II 119, 129, 137, 139, 156, 158, 570

Фитпейзен, Николай Федорович I 653; II *663*

Фишер, Карл Андреевич II 305, *669*

Флавицкий, Константин Дмитриевич IT 201

Фламенг, Франсуа I 609; II 376

Флобер, Ггостав I 674

Фогаццаро, Антонио П 498

Фойницкий, Иван Яковлевич I 631—632

Фокин, Александр Михайлович II 480, *700*

Фокин, Михаил Михайлович II 370, 384, 414, 457-458, 465-473, 475-477, 480, 506, 508. 510—518. 520. 526. 531. 534. 537, 539-540, 542, *587, 700, 702—703, 705— 708, 712*

Фокина (р«жд. Антонова), Вера Петровна II 475, 511, 520
Фонтана, Мария Джованни II *633*
Форен, Жан Луи II 122
Фортуни, Мариано Хосе Мария I 609; II 42, 83, *666*
Фортуни, Мариано (сын) II 42—43, 68
Фрагонар, Жан Опоре I 626; II 435
Франкавилла, Пьер II 37
Франс, Анатоль TI 159, *673*
Франц Иосиф I 415
Франциск Ассизский I 175, 454
Франциск I (французский король) I 246
Фребель, Фридрих I 354; II *648, 652*
Фредерик, Леон II 235—238, 399, *683, 69$* Фредерике, Владимир Борисович II 345г
369 Фрейд, Зигмунд II 49 Фремье, Эммануэль II 95—96 Фридлендер, Макс Якоб II 205, *681* Фридрих II (прусский король) I 21, 181,
424; II НО, *671* Фрикке, Логгин Христианович I 54 Фуке, Жан I 180 Фульд, Ахилл I 36 Фурман, Борис Егорович I 663 Фюллер, Лои II 318 Фюстель де Куланж, Нюма Дени I 632
Хальс, Дирк [508
Халъс, Франс I 699; II 162, 235
Харламов, Михаил Васильевич I 666; II
239 Хант, Уильман Холман I 518 Хасрейтор, Йозеф II 695 Хенненберг, Рудольф II 12 Хцросиге (Хирошиге), Андо II 158, 400 Хис, Чарлз I 92, 261, 263, 468, 584—586;
II 553 Хис, Эдит I 585
Хитрово, Алексей Захарович II 451—452 Хиттеманс, актер I 74, 539—540; II 9 Хогарт, Уильям II 250 Ходенева, Ольга Ивановна I 64—66, 206*
219, 221, 283, 319, 345, 352, 384, 408, 436,
456, 536, 540, 707; II 11, 64 Ходовецкий, Даниэль Николаус I 55, 224,.
652, 656; *И 637* Хокусай, Кацусика II 400 Холодковский, Николай Александрович
II *683* Хох, Питер де II 309
Храбро-Василевский, Аркадий I 436—437 Храбро-Василевская, Вера I 430 Храбро-Василевская. Екатерина I 430 Храбро-Василевская, «Нетипька» I 186,
238—240. 391, 487 Христина (шведская королева) I 419 Хросвита (Гросвита. Росвита) II 133, *673* Хруби, Елизабст I 509
Цабель, Оскар Альбертович I 702, 705 Цветков, Иван Евмепьевич II 365 Цейдлер, Владимир I 402 Пезарь, Гай Юлий I 403. 439 Цепетели, Акакий Росстомович I 586; II

530 Циммерман Р. В. II tf.?J Пинзерлинг, Август Федорович I 611 Ционглинскип. *Яп* Францевич II 102—
105, 194. 415, Г»63 Цицерон, Марк Туллий I 561 Цуккарелли. Франческо I 553. 559 Цукки Випттжипття Т 92. 166. 309—312
438, 510, 528-529, 531, 539, 554, 578, 590.
738
601, 607—608, 706; II 98, 299, 414, 469,
542, 549, *647, 652*
Чайковский, Модест Ильич I 653 Чайковский, Петр Ильич I *7,* 15, 240, 306, 309, 410, 564, 601-605, 643, 649, 651—
656,673; II 194, 299, 341, 474, 513, 531,
542, 553, 556, *598, 659*
Чаплин, Чарлз I 173
Чаплин, Ермолай Николаевич I 110
Чевакинский, Савва Иванович I 16; II *632*
Чекетти, Энрико I 606; II 474, 532, 537
Чекетти, Жозефина I 601
Челлини, Беивенуто I 189
Челнаков (Челноков), Никита Федорович II 634
Чемберс, Владимир Яковлевич II 640, *703*
Черемисинов, Николай I 555—556
Черепнип, Александр Николаевич II 496
Черепяип, Николай Николаевич I 88, 460, 574, 671; II 85, 258, 457-458, 465, 470— 472, 510, 514, *700, 712*
Черкесов, Александр Юрьевич (Татан) I 256
Черкесова, Аипа Алексапдровна,— См.: Бенуа, Анна Александровна
Черногубов, Николай Николаевич II 366, *695*
Чернягин, Николай Николаевич II 350
Черрито, Франческа (Фанпи) I 270; *11645*
Четвертинская, Екатерина Константиновна.— См.: Святополк-Четвертипская, Екатерина Константиновна
Чехонин, Сергей Васильевич II 232
Чима да Капельяно, Джовапни Баттиста II 31
Чшшзелли, Гаэтапо I 296; II *646*
Чиньяни, Карло I 162
Чиппендель (Чиппендейл), Томас I 188
Чистяков, Павел Петрович I 556; II 98,
657, 664, 670
Чулков, Георгий Иванович II *70S*
Шабрие, Алексис Эммануэль II *675*
Шагал, Марк Захарович I 674
Шак, Адольф фоп I 581
Шальгрен II 143

Шаляпин, Федор Иванович II 213, 455—
456, 483, 487—488, 490, 509, 532, *704* Щам (Амедей Шарль Анри де Ноэ) I 248 Шамшин, Петр Михайлович I 563 Шаплен, Шарль II 151 Шарбе, Николай Баконович II 535 Шарден, Жан Симон II 125, 140 Шарлемань, Адольф Иосифович I 41, 376,
381, 619 Шарлемань-Боде, Иосиф Иосифович II
632, 633 Шассерио, Теодор II 317
Шаховская (в замуж. Философова) I 503
Шаховской, Александр Александрович
II 405, *636* Швальбе, Эрик I 352 Швартц, Евгений Григорьевич II 327 Шварц, Михаил Петрович I 493 Швинд, Мориц фон I 56, 363, 480, 518,
690; II 14, *665* Швоб, Марсель I 683 Шебуев, Василий Кузьмич (Козьмич) I
259, 560 Шевалье, Морис I 173; II *641* Шевийар (Шевильяр), Камилл II 130 Шедель, Готфрид II 633 Шекспир, Уильям I 81, 234, 330, 390, 403,
538; II 654 Шервашидзе (Чачба), Александр Константинович II 431—434, 436, 439—440,
478, *698, 703* Шервашидзе, Екатерина Васильевна II
431 Шеридан, Ричард Бринслей II 250 Шестов (Шварцман), Лев Исаакович II
291, *686* Шибанов, Михаил I 644; II 347 Шиллер, Фридрих I 516, 538, 543, 553, 608;
II 479, *654,656* Шильдер, Николай Карлович II 232, *644,*
683 Шильдкнехт, Николаус II 97 Шинкель, Карл Фридрих I 518; II 633 Шипов, Николай Николаевич II 195 Шифляр (Шифлар), Самойло Петрович
II 248 Шишкин, Иван Иванович I 249; II 565,
662 Шишков, Матвей Андреевич I 557, 559,
604; II *659* Шишмаров, Владимир Федорович II *70S* Шлютер, Андреас II 308—309 Шляпкип, Илья Александрович II 320 Шмелииг, Николай Васильевич II 209 Шпорр фон Карольсфельд, Юлиус I 246,
362—363, 518, 549; II *643, 648* Шопен, Фредерик I 220, 240, 283, 525; II
477 Шопенгауэр, Артур I 631 Шпак (в замуж. Бенуа), Мария Викторовна I 607, 610, 667, 677—678; II 10 Шпангенберг, Густав Адольф II 12 Шпицвег, Карл I 480
Шрейбер, Василий Павлович II 162, *661* Шрётер, Виктор Александрович I 381; II
632, 638 Штакеншнейдер, Андрей Иванович I
270; II 243, 312, *633, 639, 645* Штейб, Людвиг I 232 Штейнберг, Максимилиан Осеевич II *705*

Штейнер, Рудольф II *698*
Штернберг, Василий Иванович I 54—55,
709
739
Штиглиц, Александр Людвигович I 60,
158; II 163, 172, 187, 277, 306-307, 365,
652, 677, 679, 686 Штифтор, Адальберт I 56 Штраус, Гергард Фридрих Альбрехт I
548 Штраус Давид Фридрих II *656* Штраус, Иоганн I 260-261; II *644* Штраус, Рихард II 535, 538, *708* Штук, Франц II 113—114, *610* Штюрцваге, Антон-Леопольд Федорович
II 285 Шуберт, Франц I 240, 309, 462; II 129, 553 Шубин, Федот Иванович II 454 Шувалов, Павел Петрович II 332, 381, *696* Шувалова, Елизавета Владимировна II
332, *640* Шульман, Николай Рудольфович I 372;
II 346 Шуман, Роберт I 240, 543, 681; II *671* Шумигорский, Евгений Севастьянович II
402 Шумп, Иоанн Себастьян I 454, 459, 639,
706; II 73, 348 Шуппе, Николай Карлович I 189, 659
Щеглов, Василий Васильевич I 402 Щедрин, Семей Федорович I 644; II 347 Щедрин, Сильвестр Федосеевич II 454 Щедровский, Игнатий Степанович II 56,
78 Щепкин, Михаил Семенович I 283 Щенбатов, Сергей Александрович II 376—
379, 381, 386, 395, 417, 442-44Л, *695, 698* Щербатова, Полина Ивановна II 442—443 Щербачев, Андрей Владимирович ÍÍ *702* Щербов, Павел Егорович II 190—191, *679* Щукин, Дмитрий Иванович П *676* Щукин, Иван Иванович II 458, *676* Щукин, Петр Иванович II 152, 381, *676,*
695 '
Щукин, Сергей Иванович II 152, *675*—
676
Щукин, Степан Семенович I 386; II 347
40ñ,640 Щуко, Владимир Алексеевич II *703* Щурупов, Михаил Арефьевич I 339
Эдварде, Джомми Т 188. 312, 347, 434 Эдварде, Жорж I 462; II 250
Эдварде (в замуж. ПТчелинг), Елена Матвеевна (Эля) I 347, 434; II 209
Эдварде, Камилла Николаевна.—См.: Бенуа, Камилла Николаевна
Эдварде, Матвей (Матью) Яковлевич I
79-82, 84-85, 118, 146, 206-207, 312— 313, 324, 329-330, 332, 341—343, 346— 350, 366, 389—390, 538, 585, 663, 707

Эдварде (рожд. Годебская), Мария София (Миея) II 443, 49 Í, 535-537, *704*
Эдельфельт, Альберт II 187—188, *677— 678*
Эйфель, Александр Гюстав II *672*
Экк, Рудольф Федорович II 460, 465
Экштедт, Фициум фон I 402
Эллё, Поль Сезар II 450
Эль Греко (Доменико Теотокопули) II 458
Эмме, Владимир Владимирович II 460, 465—466
Эпгр, Жан Огюст Доменик I 51S; П 190, 317, 572
Эпкель (Энкелль), Магнус II 188
Эинер, Жан Жак 1 49Í; II 151
Эшшнтер, Федор Иванович I 54
Эриксон, Вальфр. Данилович I 166, 663
Эрпефельд, Эрно Николай II 187, *677*
Эрнст, Сергей Ростиславович II *584, 6409 692*
Эткинд, Марк Григорьевич II *584, 599*
Эттингер, Мэри I 204
Эфрон, Борис Михайлович I 678; II 84
Юлий II, папа II 378 Юоп, Константин Федорович II 454, 484 Юргенсои, Иосиф Иванович П 379 Юрьев, Юрий Михайлович II *703* Юсупов (Сумароков-Эльстон), Феликс
Феликсович II 481, *640* Юсуповы II 332, 408, 481, *640*
Явленский, Алексей Георгиевич II 438—
439, *698* Языков, Николай Михайлович II *636* Якоби, Валерий Иванович I 249 Яков II (английский король), I 390 Яковлев, Леонид Георгиевич I 652 Яковлев, Иван Еремоевич I 386 Якунчикова, Мария Васильевна II 149,
172 *675* Ян, Леоии I 539
Янов, Александр Степанович II 304, *663* Япжул И. И. II *694* Яремич, Степан Петрович II 273, 276—280,
286, 319, 347, 361-362, 377, 379-380,
382, 398, 433-436, 448, 497, 563, *683, 685,*
712 Ярогаеико, Николай Александрович I 252 Ястребцов, Василий Васильевич II *662*